This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

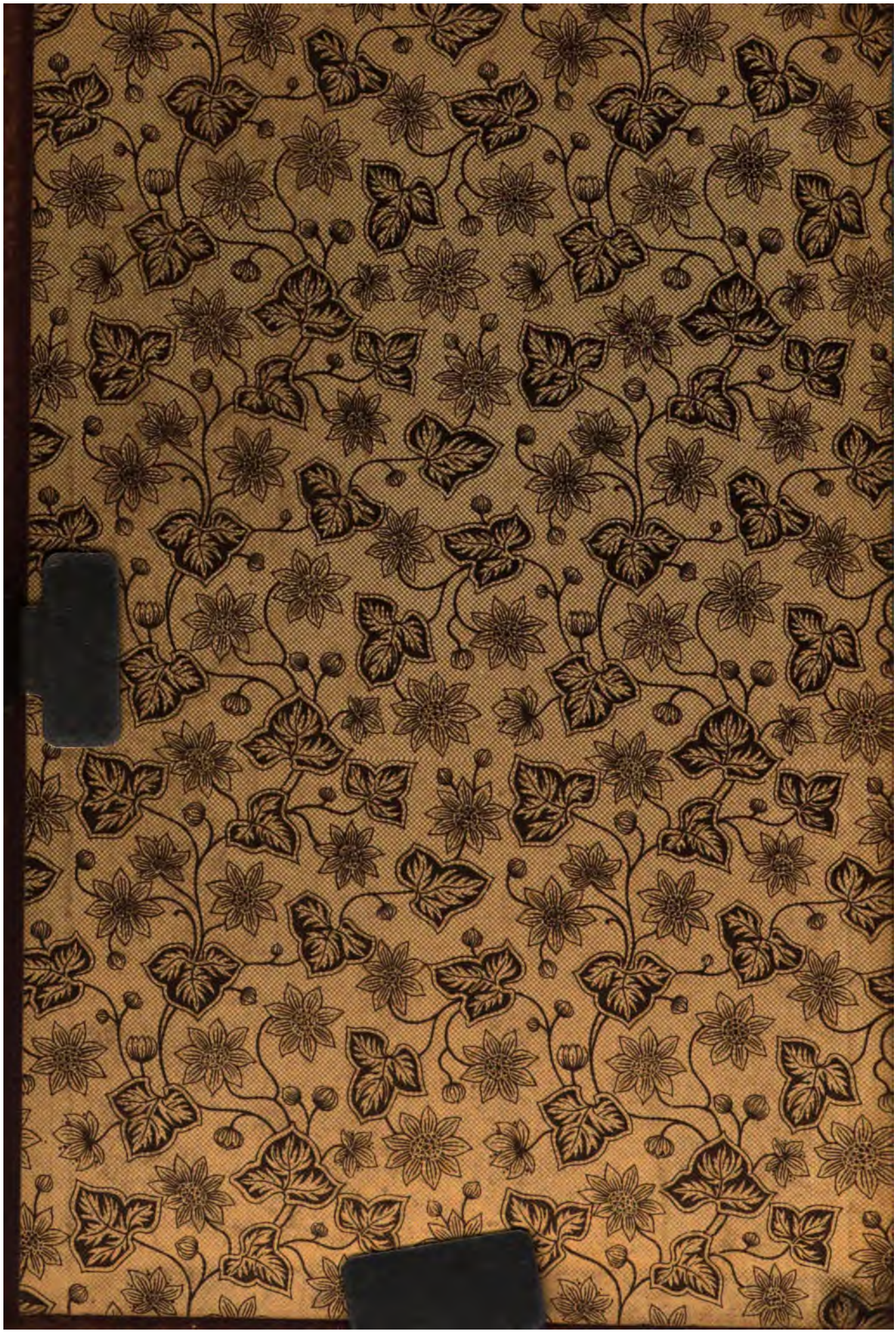
- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

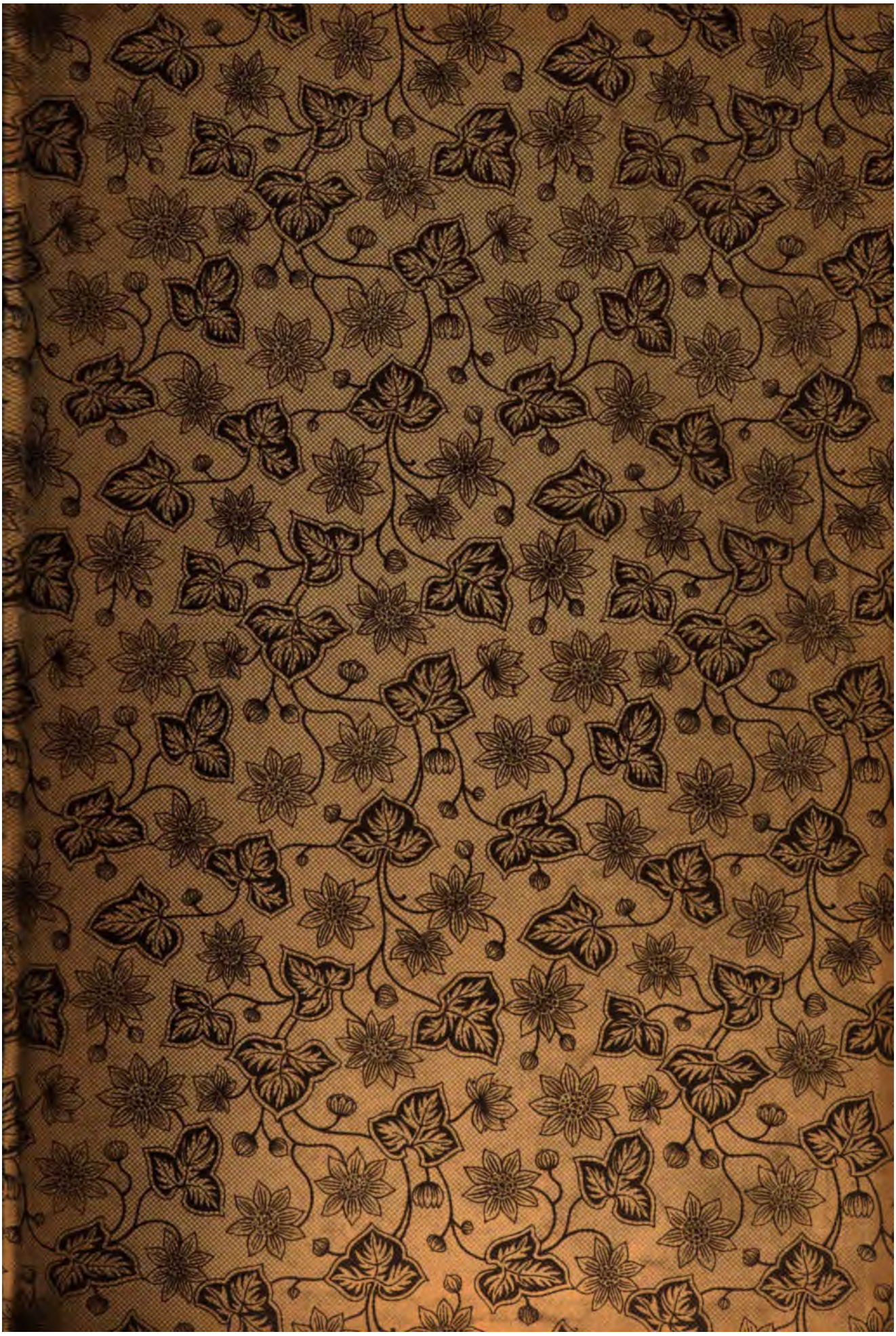
- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`





ОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

ЗАГОСКИНА

Ъ ДВУХЪ ТОМАХЪ.

Томъ II-й.

-ПЕТЕРБ Ъ.
В. И. ВИНСКАГО.
1902

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

М. Н. ЗАГОСКИНА

ВЪ ДВУХЪ ТОМАХЪ.

Томъ II-й.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
ИЗДАНІЕ В. И. ГУБИНСКАГО.
1902.

„С.-Петербургская Электропечатня“, Коломенская, 38—41.

Кузьма Рощинъ.

I.

Разбойникъ.

Говорятъ, что нѣтъ ничего прекраснѣе и разнообразнѣе уединенныхъ береговъ рѣки Свири, которая, соединяя Онежское озеро съ Ладогой, перерѣзываетъ поперекъ всю западную часть Олонецкой губерніи. Я не думаю, однако-жъ, чтобы берега ея были живописнѣе нагорной стороны широкой Оки, особливо на пространствѣ тридцати или сорока верстъ въ окрестностяхъ одного уѣзднаго города, котораго названіе, безъ сомнѣнія, отгадаютъ читатели, если я скажу, что нѣкогда, съ обширнымъ своимъ округомъ, онъ составлялъ отдѣльное государство и былъ столицею царя, но только не православнаго. Лѣтъ восемьдесятъ тому назадъ, верстахъ въ восьми отъ этого, прежде бывшаго престольнаго, града, на высокой горѣ, которая почти отвѣсно опускается до самой Оки, стоялъ обширный господскій домъ вовсе не красивой наружности, — объ этомъ старики наши мало думали, — но сложенный на прочномъ кирпичномъ фундаментѣ, изъ толстыхъ сосновыхъ брусьевъ, съ дощатою плотною кровлею, съ огромными печами, съ маленькими окнами, словомъ,—домъ, построенный такъ, какъ строили въ старину свои дома богатые помѣщики, которые не знали англійскаго слова comfortable, но любили жить тепло и спокойно, не прорубали большихъ итальянскихъ оконъ, не имѣли понятія о цѣльныхъ стеклахъ, не украшали лѣпными барельефами своихъ деревянныхъ домовъ, но зато и не строили ихъ изъ лучинокъ; порѣже нашего кашляли и почаще оставляли дома въ наслѣдство своимъ внучатамъ.

Въ полуверстѣ отъ барскаго двора начинался, также по гористому берегу рѣки, длинный порядокъ крестьянскихъ избъ; онъ оканчивался большимъ лугомъ, посреди котораго стояла обшитая тесомъ деревенская церковь; позади нея выстроены были бѣлыя избы для священника и всего причта. Деревенское кладбище было расположено поодаль отъ церкви, внизъ по крутому скату горы, но два или три надгробныхъ камня и нѣсколько деревянныхъ голубцовъ возвышались на самомъ церковномъ погостѣ. Тутъ *было* мѣсто вѣчнаго *успокоенія дворянъ Ильменевыхъ*, родовыхъ помѣщиковъ села Зыкова и прилежавшихъ къ нему двухъ деревень, — что все вмѣстѣ составляло душъ до восьми сотъ и давало право Сергѣю Филипповичу Ильменеву, тогдашнему помѣщику Зыковской волости, полагать себя въ числѣ первыхъ дворянъ Ка.....го уѣзда.

Въ одинъ ненастный вечеръ, — это было въ концѣ шестой недѣли Великаго поста, — Сергѣй Филипповичъ Ильменевъ, добрый старикъ, лѣтъ шестидесяти, въ широкомъ калмыцкомъ тулупѣ и красныхъ сафьяныхъ сапожкахъ, сидѣлъ за небольшимъ дубовымъ столикомъ противъ своего сосѣда, мелкопомѣстнаго дворянина и пожилого вдовца, Ивана Тимоѳеевича Зарубкина; они играли въ шахматы. Въ одномъ углу комнаты супруга хозяина, въ бѣломъ пудремантѣ и преогромномъ накрахмаленномъ чепцѣ, вязала чулокъ; подлѣ нея, при свѣтѣ двухъ сальныхъ огарковъ, Машенька, миловидная дѣвушка лѣтъ семнадцати, единственная дочь Ильменевыхъ, вышивала въ пяльцахъ; позади нея, облокотясь на высокую спинку стула, стоялъ молодой и видный офицеръ въ драгунскомъ мундирѣ. Поодаль отъ нихъ три краснощекія сѣнныя дѣвушки, съ длинными косами, въ мухояровыхъ кофтахъ, сидѣли за круглыми подушками и плели кружева; у дверей переминался съ ноги на ногу вооруженный свѣчными щипцами мальчикъ, въ байковомъ казакинѣ; а въ самомъ темномъ углу комнаты, прислонясь спиной къ большой израцовой печи съ лежанкою, стоялъ человѣкъ лѣтъ тридцати-пяти, высокаго роста, съ окладистою русою бородою. По платью можно было его принять за богатаго мѣщанина или купца.

Если дѣйствительно наружныя формы и выраженіе лица служатъ вывѣскою душевныхъ нашихъ качествъ, то, конечно, лицо этого человѣка было исключеніемъ изъ общаго правила. Пріятная наружность, простодушная веселая улыбка и въ то же время пара сѣрыхъ глазъ, которые повременамъ сверкали изъ-подъ густыхъ бровей, какъ сверкаютъ глаза тигра, когда онъ крадется къ своей добычѣ,—все это вмѣстѣ составляло такую чудную смѣсь добра и зла, что самъ краснорѣчивый Лафатеръ, который съ такимъ разнообразіемъ описалъ и разгадалъ тысячи двѣ человѣческихъ физіономій, заду-

мался бы, взглянувъ на лицо этого купца. Казалось, онъ смотрѣлъ съ большимъ участіемъ на играющихъ въ шахматы, но лишь только замѣчалъ, что никто не обращаетъ на него вниманія, безпокойный и быстрый взоръ его облеталъ всю комнату и вспыхивалъ, какъ порохъ, останавливаясь на небольшомъ желѣзномъ сундукѣ, который помѣщался въ переднемъ углу подъ образами.

— Какъ я погляжу на тебя, Владиміръ Ивановичъ, — сказала драгунскому офицеру хозяйка дома, не переставая вязать свой чулокъ:—такъ, видитъ Богъ, и вѣрить-то не хочется, чтобъ такой бравый молодецъ былъ тотъ самый Володя, котораго я, десять лѣтъ тому назадъ, за уши дирала! Да надолго ли ты намъ достался, батюшка?

— Я думаю, Варвара Дмитріевна,—отвѣчалъ офицеръ,—что нашъ полкъ прогоститъ у васъ до самой зимы. Моей ротѣ приказано заготовить фуражу на шесть мѣсяцевъ.

— А гдѣ ты, мой отецъ, квартируешь съ твоими солдатами?

— Я живу у батюшки, а рота моя стоитъ въ полуверстѣ отъ меня, въ большомъ экономическомъ селеніи... Какъ, бишь, его зовутъ?

— А, знаю, знаю! Село Воскресенское. Да это близехонько. Ахти-хти-хти!.. То-то горько будетъ твоему батюшкѣ, когда ему придется опять съ тобой разстаться!

— Да, авось, не разстанемся, матушка Варвара Дмитріевна, — сказалъ Зарубкинъ, подвинувъ впередъ одну пѣшку. — Я хочу взять его въ отставку; пора: послужилъ царю-государю,—будетъ съ него. А то, пожалуй, уѣдетъ опять куда-нибудь лѣтъ на десять, такъ некому будетъ меня похоронить. Легко вымолвить: десять лѣтъ мы не видались; а послѣдніе три года, какъ началась война съ пруссакомъ и угнали ихъ въ эту Нѣметчину, такъ и слуху объ немъ вовсе не было. Эхъ, матушка, матушка! Я ужъ на ладанъ дышу, плохъ сталъ; гдѣ мнѣ одному хозяйничать: то проглядишь, того не досмотришь...

— И, полно, Иванъ Тимоѳеичъ! Да ты еще такой хозяинъ, что и намъ бы не худо у тебя поучиться; мы только-что концы съ концами сводимъ, а ты, батюшка, живешь не по нашему, и копѣечку зашибить умѣешь; съ каждымъ годомъ становишься богаче: то купишь деревеньку, то прихватишь землицы. Да вотъ и у насъ почти двѣ пустоши сторговалъ! Откуда что берется. Года три тому назадъ у тебя и двадцати душъ не было, а теперь, чай, подъ сотню идетъ?

— Слава Богу, матушка, найдемъ и побольше. Да въ томъ-то и дѣло: чтобъ все это прахомъ не пошло, такъ надобно мнѣ помощника, а Володѣ моему помощницу. Не правда ли, ваше благородіе... а?.. Ну, что *молчишь? Чай, скажешь,* что дочка моего сосѣда, Ѳаддея Карпыча Побирашкина, тебѣ не приглянулась?

— Да я ее только однажды и видѣлъ, батюшка,—отвѣчалъ офицеръ съ примѣтною досадою,—и вовсе не имѣю желанія увидаться съ нею въ другой разъ.

— Полно, полно, молодецъ!—продолжалъ Зарубкинъ, подвинувъ впередъ еще одну шашку.—А о чемъ же ты по ночамъ вздыхать изволишь? Вѣрите ль, матушка, съ того самаго часу, какъ онъ ее увидѣлъ, а это былъ тотъ день, какъ я въ первый разъ привезъ его къ вамъ, онъ вовсе не тотъ сталъ: все задумывается; люди добрые спятъ, а онъ бродитъ, какъ шальной, по лѣсу; не позовешь обѣдать, такъ самъ не пойдетъ; да и за обѣдомъ-то ѣстъ, словно ребенокъ; вовсе хлѣба лишился! А, кажется, всѣмъ здоровъ; и городской нашъ лѣкарь, Иванъ Ѳомичъ, то же говоритъ. Ну, что-жъ это значитъ?

— Да, да, — сказала хозяйка, взглянувъ съ лукавою улыбкою на офицера:—по этимъ примѣтамъ и я начинаю думать... Что ты, Машенька, все нагибаешься?

— Ничего, маменька!—отвѣчала дѣвушка, не сводя глазъ съ своей работы:—клубокъ упалъ.

— Да развѣ дѣвка не могла поднять? Смотри, какъ ты покраснѣла: вся кровь въ лицо бросилась.

— Что, Сергѣй Филипповичъ, надумались ли, батюшка?—спросилъ Зарубкинъ хозяина, который нѣсколько разъ уже брался попеременно то за ту, то за другую шашку.

— Эхъ, братецъ, не торопи! Разговаривай съ женою, а мнѣ думать не мѣшай!

— Ну, что, матушка? — продолжалъ Зарубкинъ, обращаясь снова къ хозяйкѣ. — Вѣдь я, точно, правъ. Владиміръ у меня малый совѣстливый, стыдливый; отъ него правды, какъ отъ красной дѣвушки не скоро добьешься, а чему быть, тому не миновать.

— Да помилуйте, батюшка, — сказалъ съ нетерпѣніемъ драгунскій офицеръ,—что вамъ вздумалось на меня клепать?..

— Добро, добро, любезный! Развѣ я не видѣлъ, какъ ты на нее поглядывалъ?.. Потерпишь, потерпишь, да смолвишь когда-нибудь. И я такъ же въ старину тосковалъ о моей покойницѣ; точно такъ же таилъ отъ всѣхъ, что она пришлась мнѣ больно по сердцу; и у меня такъ же сна не было, и кусокъ въ горлѣ останавливался; а ужъ тоска-то была какая,—тоска, ахъ ты, Господи, Боже мой: два раза изъ петли вынимали! Зато какъ подослалъ сваху, да пошло дѣло на ладъ, такъ, вѣрите-ль, чуть было не спился отъ радости, совсѣмъ ошалѣлъ! Подумаешь, какъ все на свѣтѣ мудрено устроено! Вотъ, напримѣръ, хоть эта любовь: курьезное дѣло! Любого молодца съ ногъ срѣжетъ!

— Охъ, эта пѣшка!—вскричалъ Сергѣй Филипповичъ, потирая лѣвой рукой свой лобъ.—Ну, точно бѣльмо на глазу! Нельзя вывести коня, ладья стоитъ безъ дѣла... Ахъ, чортъ возьми!.. Ужъ добро бы шашка, а то эта дрянь, пѣшка проклятая!

— Да такъ-то всегда и бываетъ, Сергѣй Филипповичъ,—сказалъ Зарубкинъ, улыбаясь съ довольнымъ видомъ: — не бойся боярина, а бойся слуги. Не великъ человѣкъ секретарь нашего воеводы, а всѣ ему въ поясъ кланяются. Я прошлаго года попытался не послать ему на именины барашка въ бумажкѣ, такъ онъ чуть меня совсѣмъ не погубилъ. Выдумалъ, окаянный, что будто бы по зимамъ этотъ злодѣй Рощинъ держитъ у меня на хуторѣ свою разбойничью пристань, и если бы вы, мой благодѣтель и милостивецъ, не вступились въ мое горе, да не оправдали передъ начальствомъ, такъ меня бы, горемычнаго, какъ липку облупили. Я себѣ и думать не думаю; вдругъ прислали ко мнѣ сыщиковъ. Господи, Боже мой, какъ пошли они куръ душить! А тамъ нагрянула ко мнѣ цѣлая ватага подъячихъ изъ суда, принялись бражничать, давай имъ вина, наливки, того-сего; а ужъ какъ жрутъ-то, проклятые, жрутъ!.. Ключница моя, Никитишна, подастъ имъ бывало для фриштика жаренаго гуся, да окорокъ ветчины или бараній бокъ; глядь-поглядь, однѣ косточки остались! Такъ бѣдная и всплеснетъ руками. Да что и говорить, въ конецъ было разорили! Ну, что, Сергѣй Филипповичъ, изволили пойти слономъ?

— Пошелъ, братецъ.

— Напрасно, батюшка, напрасно! Шахъ королю.

— Какъ такъ?..

— Да такъ! Укрыться-то нечѣмъ: шахъ и матъ.

— Подлинно шахъ и матъ! — раздался грубоватый голосъ позади Зарубкина: — да только вамъ, сударь, а не Сергѣю Филипповичу.

Зарубкинъ обернулся: позади него стоялъ купецъ.

— Полно, такъ ли, любезный, — сказалъ хозяинъ, взглянувъ съ удивленіемъ на купца.—Конечно, со стороны виднѣе, но, воля твоя...

— Посмотрите хорошенько.

— Смотрѣть-то, я смотрю, да ничего путнаго не вижу.

— Попытайтесь, сударь; извольте-ка заслонить вашего царя конемъ.

— Такъ что-жъ? онъ возьметъ его ферязью.

— Некогда будетъ, Сергѣй Филипповичъ; вѣдь, тронувъ съ мѣста коня, вы откроете вашу ладью и скажете ему шахъ и матъ.

— Ахъ, батюшка, подлинно такъ!—вскричалъ *Ильменевъ*. — *Точно, точно! Его* царю нельзя двинуться съ мѣста!.. Что, братъ, Иванъ Тимоѳеевичъ, а?

— Постойте, постойте, дайте подумать!

— Чего тутъ думать? Матъ, да и только!

— Тьфу ты, пропасть! Въ самомъ дѣлѣ! Ахъ, я дуракъ, дуракъ! Увязилъ ферязь, приперъ самъ царя... слона не вывелъ!.. А игра-то какая была!

— Ай да купецъ, молодецъ!—сказалъ хозяинъ.— Да ты, видно, любезный, мастеръ въ шахматы играть.

— Маракую, батюшка. У насъ, въ Астрахани, персіянъ довольно; я часто съ ними игрывалъ; такъ около нихъ и понаторѣлъ немного.

— А ты ѣдешь изъ Астрахани?

— Да, сударь; я тамошній купецъ.

— И, вѣрно, пробираешься въ Москву?

— Статься можетъ, и до Питера доѣду.

— А что, любезный, — не прогнѣвайся, имени твоего и отчества не знаю...

— Алексѣй Артамоновъ, батюшка.

— А по прозванью?

— Выдыбаевъ.

— Послушай, Алексѣй Артамоновичъ: ты ѣдешь издалека, такъ, вѣрно, и коней своихъ измучилъ и самъ умаялся; останься-ка у меня, отдохни порядкомъ, да разговѣйся вмѣстѣ съ нами, а тамъ и съ Богомъ!

— Всенижайше благодарю, батюшка, за вашу ласку,—отвѣчалъ купецъ съ низкимъ поклономъ.

— Ну, что, останешься?

— И радъ бы радостью, Сергѣй Филипповичъ, да никакъ нельзя: завтра надо чѣмъ-свѣтъ опять въ дорогу. Будетъ, батюшка, и того, что вы, по вашей милости, изволили сегодня укрыть меня, дорожнаго человѣка, отъ темной ночи и непогоды.

— Эй, братъ, останься! Мы будемъ съ тобой въ шахматы биться, а лошадки твои межъ тѣмъ отдохнутъ. Вѣдь Христовъ день не за горами.

— Знаю, сударь, знаю; да объ страстной мнѣ надо быть неотмѣнно въ Муромѣ. Вотъ, какъ я тамъ всѣ дѣла свои исправлю, такъ, если вашей милости угодно, къ празднику опять вернусь сюда. Въ Москву торопиться нечего: мнѣ надо быть тамъ послѣ Ѳоминой. Такъ, чѣмъ ѣхать муромскими лѣсами, я лучше поѣду на Рязань. Да и крюку-то почти не будетъ; чай, отъ вашего помѣстья дней въ пять легонько до нашей кормилицы Бѣлокаменной доѣдешь!

— Я и въ третьи сутки поспѣваю. Смотри же, любезный, коли такъ, такъ такъ! Милости просимъ! Пріѣзжай нашимъ куличемъ разговѣться. Э, да скажи-ка мнѣ, братецъ, ты человѣкъ дорожный: что поговариваютъ объ этомъ чортовѣ сынѣ, разбойникѣ Кузьмѣ Рощинѣ? Ока давно уже прошла, а о немъ что-то вовсе не слышно. Ужъ не поймали ли его гдѣ-нибудь.

— Дай то, Господи! Теперь онъ, какъ слышно, тѣшится со своими молодцами по Волгѣ и, говорятъ, близъ Макарья ужъ три села выжегъ.

— Вотъ что! Такъ онъ на Волгу перебрался? Что, видно, здѣсь жутко пришлось?

— Да, батюшка: теперь по Окѣ стоятъ вездѣ воинскія команды, такъ онъ и бросился внизъ по матушкѣ по Волгѣ, а шайка-то у него, какъ видно, пребольшая. Мнѣ сказывали, что онъ на трехъ косныхъ лодкахъ разъѣзжаетъ.

— Да что ему, прости Господи, ужъ не самъ ли сатана помогаетъ? Два года по Окѣ разбойничалъ, теперь грабитъ на Волгѣ, и все ему съ рукъ сходитъ! Ну, дорого бы я далъ, чтобъ хоть разъ взглянуть на этого Рощина.

— А я такъ и даромъ его видѣлъ,—сказалъ съ улыбкою купецъ.

— Неужели, батюшка? — вскричала Варвара Дмитріевна.—Когда?

— Дней семь тому назадъ. Верстахъ въ десяти отъ Нижняго я вмѣстѣ съ нимъ ужиналъ и ночевалъ на постояломъ дворѣ.

— Какъ, вмѣстѣ съ Рощинымъ?—прервалъ Сергѣй Филипповичъ. И ты остался цѣлъ?

— А вотъ, какъ видите. Онъ былъ одинъ-одинехонекъ, и я узналъ ужъ послѣ, кто со мною ужиналъ: мнѣ на другой день сказалъ объ этомъ хозяинъ постоялаго двора.

— Такъ чего же смотрѣлъ этотъ бездѣльникъ? Ему бы надобно было кликнуть народъ да связать этого разбойника.

— Связать! Нѣтъ, батюшка, это легко вымолвить; не только хозяинъ постоялаго двора, да и все село знало, что у нихъ ночуетъ Рощинъ, а, небойсь, никто не сунулся.

— Да неужели онъ такъ страшенъ, что къ нему и приступиться-то никто не смѣетъ?

— А какъ бы вамъ сказать, сударь?.. Повыше меня цѣлой головой. Вотъ господинъ офицеръ молодецъ собой, плечистъ, а тотъ вдвое плотнѣе будетъ. А рожа-то какая! Не приведи Господи и во снѣ увидѣть! Борода по поясъ...

— И, вѣрно, рыжая, — сказала робкимъ голосомъ Варвара Дмитріевна.

— Нѣтъ, сударыня, какъ смоль черная.

— Да что за вздоръ! — прервалъ хозяинъ.—Вѣдь этотъ Рощинъ не Полканъ же богатырь какой. Ну, можетъ ли статься, чтобъ цѣлое село не справилось съ однимъ человѣкомъ?

— Какъ не справиться? Да вѣдь мужички-то себѣ на умѣ. Его схватятъ, такъ товарищи останутся, а въ селѣ-то не останется ни кола, ни двора. Слыхали ли вы, сударь, поговорку: какъ подпустятъ краснаго пѣтуха, такъ запоешь и курицей.

— Правда, правда! Да чего же нижегородскій воевода смотритъ! У меня бы этотъ разбойникъ давнымъ-давно сидѣлъ въ острогѣ! Да, милости просимъ, пускай пожалуетъ ко мнѣ въ гости!

— Эхъ, батюшка, не напрашивайтесь!— прервалъ Зарубкинъ.

— А что-жъ! — продолжалъ хозяинъ. — Приму, угощу и въ банѣ выпарю, да такъ, что онъ до новыхъ вѣниковъ не забудетъ. Вѣдь я не кто другой: свистну только, такъ у меня пятьдесятъ молодцовъ хоть сейчасъ подъ ружье станови. Конечно ты, Иванъ Тимоѳеевичъ, дѣло другое, тебѣ какъ не бояться! У тебя что за дворня! Чай, душенокъ пять-шесть. А я двѣсти душъ держу на мѣщинѣ, любезный!

— Такъ, сударь, такъ, вѣстимо: большому кораблю большое и плаванье; да вѣдь и онъ, батюшка, не самъ-другъ выходитъ на грабежъ.

— Такъ что-жъ? Эка фигура! Чтобъ я не справился съ этою сволочью! Да у меня любой псарь на пятерыхъ разбойниковъ пойдетъ.

— Эхъ, батюшка, не хвалитесь. Не ровенъ часъ. Знаете ли вы, какую штуку выкинулъ третьяго года этотъ Рощинъ съ княземъ Владиміромъ Павловичемъ Зашибаевымъ?

— А что такое? — спросилъ съ любопытствомъ Ильменевъ.

— И я объ этомъ не слыхала, — сказала Варвара Дмитріевна. — Разскажи намъ, батюшка.

Она положила на столъ свой чулокъ. Машенька перестала вышивать. Всѣ сдвинулись въ кружокъ, поближе къ Зарубкину, и онъ началъ:

— Вотъ, изволите видѣть: года два тому назадъ этотъ Рощинъ былъ вовсе не страшенъ; теперь у него цѣлая шайка, а тогда онъ одинъ-одинехонекъ промышлялъ по большимъ дорогамъ. Всѣ окружные дворяне и вы, Сергѣй Филипповичъ, не разъ изволили досадовать на мѣстное начальство, которое не могло справиться съ однимъ разбойникомъ; но пуще всѣхъ кричалъ князь Владиміръ Павловичъ и также, какъ вы, батюшка, хвалился передъ всѣми и въ грошъ не ставилъ Рощина. «Да что этотъ плутъ не вздумаетъ меня ограбить!» сказалъ онъ однажды на отъѣзжемъ полѣ. «Ужъ то-то бы я потѣшился! Да будь онъ хоть семи пядей во лбу, а отъ меня бы не отвертѣлся; ужъ я бы привелъ его на арканѣ къ нашему ротозѣю-воеводѣ, у котораго этотъ мошенникъ скоро голову съ плечъ украдетъ. И что онъ за разбойникъ! Такъ, воришка, шишимора!» Вотъ, видно, эти рѣчи и дошли до Рощина. Однажды, около Петрова дня, — вы изволили быть тогда со всѣмъ вашимъ семействомъ въ Москвѣ, — князь Владиміръ Павловичъ собрался на богомолье въ Ольговъ - Успенскій монастырь, что верстъ двадцать отсюда, на самой Окѣ. Рощинъ провѣдалъ объ этомъ. Вы, вѣрно, знаете, что его сіятельство изволитъ ѣздить всегда очень людно; такъ одно-

му разбойнику нельзя остановить его на большой дорогѣ. Прошу отгадать, что этотъ вражій сынъ, Рощинъ, придумалъ? Онъ отправился ранехонько впередъ и догналъ цѣлую ватагу нищихъ, которые шли также въ Успенскій монастырь, все чающіе движенія воды, калѣки, увѣчные старики и старухи. Съ этимъ народомъ ему не трудно было справиться: какъ пристрастилъ ихъ ружьемъ, да зыкнулъ «сарынь на кичку», такъ всѣ они, какъ овсяные снопы, и повалились ничкомъ наземь. «Слушай, нищая братія!» заревѣлъ Рощинъ страшнымъ голосомъ. «Сейчасъ съ дороги долой, ложись въ кусты, да никто ни гу-гу; пошевелиться не смѣй! Вы, старухи, лежать смирно, а вы, старики и увѣчные, слушайте мой приказъ: лишь только я закричу: «Гей, вы, сорванцы, вставай!»—такъ вы всѣ привстаньте немного и высуньте изъ-за кустовъ головы. Закричу: «ложись» — мигомъ припадай опять въ кусты. Да смотрите вы, убогіе, если изъ васъ кто безъ приказу пошевелится или голосъ подастъ, такъ тутъ ему и карачунъ!» Какъ сказано, такъ и сдѣлано. Нищая братія улеглась въ кустахъ, а Рощинъ вышелъ на средину дороги и сталъ поджидать проѣзжихъ. Вотъ, князь Владиміръ Павловичъ ѣдетъ въ своемъ четверомѣстномъ рыдванѣ; впереди скачутъ вершники, на запяткахъ стоятъ гусары, а позади, на двухъ тройкахъ, везутъ всякихъ челядинцевъ, и всѣ съ оружіемъ: кто съ пистолетомъ, кто съ саблею, кто съ охотничьимъ ножомъ. «Стой!» закричалъ Рощинъ, когда рыдванъ съ нимъ поровнялся. Кучеръ, въ котораго онъ уставилъ конецъ своей длинной винтовки, остановился, гусары спрыгнули съ запятокъ, передовые вернулись назадъ, остальные холопы повыскакали изъ телѣгъ, окружили со всѣхъ сторонъ Рощина, а князь высунулся изъ рыдвана и закричалъ: «Бейте этого мошенника въ мою голову!» — «Ни съ мѣста!» заревѣлъ удалой разбойникъ.—«Я Рощинъ; здѣсь вся моя шайка, и если кто изъ васъ хоть руку отведетъ, хоть однимъ пальцемъ пошевелитъ, такъ я васъ всѣхъ, какъ барановъ перерѣжу... Смотрите!» продолжалъ онъ, показывая на кусты: «Гей вы, сорванцы, вставай!»—Господи, Боже мой! Такъ у княжескихъ холопей руки и опустились: изъ каждаго куста высунулось головъ по пяти, и бѣдному князю со страстей показалось, что въ засадѣ лежитъ человѣкъ двѣсти. «Ну, что, видите?» сказалъ Рощинъ. «Ложись, ребята! А вы, сарынь проклятая, стоять смирно, а не то, какъ гаркну, такъ праху вашего не останется!—Здравствуйте, батюшка, ваше сіятельство», продолжалъ Рощинъ, отворяя дверцы рыдвана:—«вы изволили похваляться, что приведете меня на арканѣ къ нашему воеводѣ; вотъ я самъ налицо, и веревку припасъ. Милости прошу, попытайтесь, батюшка!»—*Бѣдный князь хотѣлъ* что-то сказать, да поперхнулся первымъ словомъ.—«Что, ваше сіятельство», молвилъ Рощинъ:—«иль язычекъ онѣмѣлъ? Слушай, князь», прибавилъ онъ грознымъ голосомъ:—«мнѣ бы надобно было за твое хвастовство удавить тебя этою веревкою, да такъ ужъ и быть; счастливъ ты, что у меня обычай первую вину прощать. Добро, выкладывай все, что у тебя есть въ карманахъ; я знаю, ты всегда возишь съ собою денежки!»—Дѣлать было нечего: князь отдалъ ему свои завѣтные часы, черепаховый рожокъ съ табакомъ, въ серебряной оправѣ, да пятьдесятъ крестовиковъ. Когда Рощинъ очистилъ совсѣмъ его карманы, онъ поклонился ему низехонько и сказалъ:—«Прощай, князь, благодарствуй за твое жалованье; не забывай Кузьмы Рощина, да помни коренную русскую пословицу: не хвались, а прежде Богу помолись! Что стали, ребята? Садись по мѣстамъ. Ну, трогай лошадей! Да, чуръ, не оглядываться, а не то пошлю въ догонку такого свинцоваго гонца, что отъ него и шестерикомъ не ускачешь».—Проѣзжіе помчались безъ оглядки, а Рощинъ юркнулъ въ лѣсъ, да и былъ таковъ. Нищіе пролежали въ кустахъ до самой ночи. Вотъ одинъ колченогій, посмѣлѣе другихъ, выползъ на большую дорогу и, какъ увидѣлъ, что никого нѣтъ, закричалъ своимъ товарищамъ, и вся ватага поплелась опять впередъ. На другой день — я самъ былъ тогда въ монастырѣ— посмотрѣли бы вы, что сдѣлалось съ княземъ, когда онъ узналъ, на какую штуку поддѣлъ его этотъ сорванецъ Рощинъ. Онъ совсѣмъ взбѣленился, принялся колотить своихъ челядинцевъ, перепоролъ десятка два нищихъ и до того кричалъ и бѣсновался, что его хотѣли было отчитывать.

— Въ самомъ дѣлѣ штука!—сказалъ Сергѣй Филипповичъ.—Ну, хитеръ онъ, разбойникъ! Да и то сказать, что за народъ у этого князя Владиміра Павловича: дворецкій соня, людишки — дрянь! Да ихъ не только разбойникъ съ ружьемъ, а простой мужикъ съ рогатиною на большой дорогѣ ограбитъ. Я помню, однажды на отъѣзжемъ полѣ князевы собаки остановили волка. Какъ вы думаете?.. Вѣдь никто изъ его охотниковъ приступиться къ нему не смѣлъ; и еслибы не мой стремянный, такъ они навѣрное бы его упустили, кричатъ изъ-далека: тю-лю-лю-лю, а никто спѣшиться не хочетъ. Хуже бабъ! Ну, вотъ, ни дать ни взять, какъ людишки двоюродной моей сестры, Авдотьи Павловны Хлестовой; да и тѣ, чай, бойчѣе стали съ тѣхъ поръ, какъ побывали въ передѣлкѣ у Рощина. Ну, эта штука была также славная.

— А что это, сударь, за случай былъ?— спросилъ Зарубкинъ.

— Да такой-то случай, что когда сестра стала мнѣ объ этомъ разсказывать, такъ я, видитъ Богъ, расцѣловалъ бы этого разбойника. Вотъ послушай, любезный, какая была

оказія. Прошлаго лѣта сестра поѣхала, изъ Каширской деревни, повидаться съ родственникомъ своимъ, пронскимъ воеводою. Она ѣхала въ четырехъ повозкахъ, и съ нею было человѣкъ десять людей, ребята все молодые и не съ пустыми руками: у троихъ были даже ружья. Верстахъ въ пятидесяти отъ города Пронска остановилъ ихъ на большой дорогѣ Рощинъ. Онъ былъ только самъ-четвертъ; но лишь крикнулъ на сестриныхъ людей, такъ эти плюгавцы тутъ же и повалились ему въ ноги. Рощинъ велѣлъ ихъ всѣхъ перевязать, а самъ подошелъ къ сестрѣ, снялъ шапку и началъ просить, какъ будто бы изъ милости, чтобъ отдала ему всѣ деньги, которыя съ нею были. Разумѣется, сестра не стала съ нимъ торговаться, и когда онъ обобралъ ее кругомъ, такъ, видно, съ испугу и, не понимая сама, что говоритъ, сказала! «Батюшка, что ты со мною сдѣлалъ: вѣдь мнѣ не съ чѣмъ будетъ доѣхать до Пронска!»— «Да, боярыня», отвѣчалъ Рощинъ:—«тебѣ еще раза два покормить придется, а корма нынѣ дорогіе. Нечего дѣлать, на тебѣ, сердечная, рублевикъ взаймы».—«Да какъ же я тебѣ отдамъ?»—сказала сестра, которая все еще не могла порядкомъ образумиться.—«Все равно, матушка, отдай нищимъ,—пусть молятся за Кузьму Рощина». — «Теперь я поговорю съ вами, слуги вѣрные», продолжалъ онъ совсѣмъ уже другимъ голосомъ, обращаясь къ связаннымъ людямъ. «Такъ-то вы, негодяи, бережете вашу добрую боярыню! Экіе болваны! Десять человѣкъ дали себя перевязать четыремъ разбойникамъ! А еще съ ружьями! Вы только хлѣбъ-то барскій ѣсть умѣете, хамы проклятые, небось, никто изъ васъ руки не отвелъ, чтобъ оборонить вашу кормилицу... Да ужъ не изволь безпокоиться, матушка»,—прибавилъ онъ, обращаясь опять къ сестрѣ:—«я задамъ имъ теплую баню; не станутъ выдавать тебя руками первому встрѣчному разбойнику. Эй, молодцы, въ плети ихъ! Перебирай всѣхъ поодиночкѣ! Да у меня, смотри, чуръ, не мирволить!» Что-жъ ты думаешь, братецъ: вѣдь въ самомъ дѣлѣ онъ такъ ихъ всѣхъ отодралъ, что они и теперь еще спины у себя почесываютъ!

— Ну, молодецъ! — вскричалъ Зарубкинъ. — И придетъ же въ голову пересѣчь людей за то, что они ему безъ драки покорились? Ай да Рощинъ!

Вошелъ слуга и доложилъ, что кушанье готово.

— Жена,—сказалъ Сергѣй Филипповичъ, вынимая изъ камзольнаго кармана свои огромные серебряные часы:—что мы сегодня такъ рано ужинаемъ?.. Эге, да какъ же мы заболтались,—продолжалъ онъ, вставая: — девять часовъ, десятый! Иванъ Тимоѳеевичъ, *Алексѣй Артамоновичъ, милости прошу. Жена, веди Владиміра Ивановича,—вѣдь онъ твой* гость; да, смотри, не больно съ нимъ перемигивайся, — я и такъ ужъ давно за вами примѣчаю.

Послѣ ужина всѣ разошлись по своимъ комнатамъ. Зарубкину и купцу отвели ночлегъ въ одномъ изъ флигелей дома, а драгунскому офицеру, по собственному его желанію, приготовили постель въ садовой бесѣдкѣ, которая одной стороной обращена была къ сосновой рощѣ, а другой къ господскому дому и соединялась съ нимъ длинною, обсаженною липами, дорожкою. Во время ужина небо совершенно прочистилось; затихъ холодный сѣверный вѣтеръ, и, когда офицеръ вошелъ въ садъ, легкій южный вѣтерокъ повѣялъ на него ароматомъ отъ сосновой рощи и обдалъ своею весеннею теплотою. Войдя въ бесѣдку, онъ сказалъ мальчику, который дожидался его со свѣчею, что не имѣетъ никакой надобности въ его услугахъ. Мальчикъ ушелъ, а офицеръ, оставшись одинъ, вышелъ на крыльцо бесѣдки. Въ господскомъ домѣ свѣтились еще кое-гдѣ огоньки. Вотъ они стали тухнуть понемногу. Черезъ полчаса всѣ окна потемнѣли, и только сквозь одно, задернутое бѣлою гардиною, проникалъ слабый, едва замѣтный свѣтъ лампады, которая горѣла передъ образами въ спальной Варвары Дмитріевны Ильменевой. Прошло еще около часу, и вдругъ въ самомъ крайнемъ окнѣ замелькалъ самый яркій огонекъ. Офицеръ встрепенулся; какъ въ минуту отчаяннаго боя, забилось его ретивое; онъ спрыгнулъ съ крыльца и, пробираясь подлѣ самыхъ деревьевъ, пошелъ по дорожкѣ, ведущей къ дому. Ночь была темная, и не только подъ кровомъ вѣтвистыхъ липъ, но даже и на открытомъ мѣстѣ нельзя было въ двухъ шагахъ различать предметы; однако-жъ онъ робко посматривалъ вокругъ себя и какъ-будто прислушивался къ собственнымъ шагамъ. Не дойдя до конца дорожки, онъ повернулъ въ сторону, продрался сквозь куртину плодовитыхъ деревьевъ, перемялъ нѣсколько кустовъ смородины, развелъ голыми руками два куста колючаго крыжовника и вышелъ къ самому дому; потомъ, прокравшись вдоль стѣны, подошелъ къ открытому окну, противъ котораго на небольшомъ столикѣ стояла зажженная свѣча.

— Вы ли это, Владиміръ Ивановичъ? — раздался едва слышный шопотъ.

— Да, это я,—отвѣчалъ офицеръ прерывающимся отъ сильнаго чувства голосомъ.

— Тише, Бога ради, тише.

Огонь погасъ, и черезъ минуту послышался опять прежній шопотъ.

— Подойдите ближе къ окну!.. Вотъ такъ!.. Боже мой, какъ на дворѣ свѣтло... Ни одного облачка.

— Не бойтесь! Теперь ужъ поздно, ночь темная...

— О, нѣтъ!.. Посмотрите, какъ эти звѣзды

блестятъ... Отъ нихъ свѣтло, какъ днемъ! Ну, если садовникъ васъ видѣлъ?

— Успокойтесь! Кругомъ все тихо, всѣ спятъ.

— Ахъ, Владиміръ Ивановичъ, я чувствую, что дѣлаю очень дурно; но мнѣ нужно было переговорить съ вами: мнѣ кажется, я не пережила бы этой ночи, если-бъ не высказала вамъ всего, что у меня на душѣ. Послушайте! Для чего сегодня вечеромъ вашъ батюшка говорилъ о дочери этого Побирашкина? Почему онъ думаетъ, что она вамъ нравится?.. Гдѣ вы съ ней видѣлись?.. Когда?.. Не правда ли, она очень хороша собою?..

— Что вы, Богъ съ вами, Марья Сергѣевна. Да она только-что не уродъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, она лучше меня: у нея большіе черные глаза.

— Но можно ли ихъ сравнить съ вашими?

— Прекрасный ростъ...

— И одно плечо ниже другого.

— Такъ вы замѣтили...

— Да, это въ глаза бросается.

— Но зато она такъ мила, такъ умна!

— Помилуйте! Двухъ словъ не умѣетъ сказать сряду.

— Неправда, она умнѣй меня. Но только знаете, что она презлая.

— Какое мнѣ до этого дѣло!

— Вашъ батюшка, какъ видно, очень хочетъ, что-бъ вы на ней женились.

— Можетъ быть, да я не хочу.

— Но если онъ станетъ васъ упрашивать, будетъ каждый день говорить одно и то же?

— Не безпокойтесь; я завтра же ему скажу, что терпѣть не могу этой Побирашкиной.

— О, какъ вы облегчили мое сердце! — сказала Машенька, прижавши къ груди свою руку.—Если-бъ вы знали... если-бъ ты знялъ, Владиміръ, что я чувствую!

Слезы прервали слова ея. Она отошла отъ окна и, рыдая, упала на колѣни предъ иконой Божіей Матери.

— Что вы, Марья Сергѣевна? Что съ вами?—вскричалъ съ безпокойствомъ офицеръ.

— Ничего, — сказала она, подойдя опять къ окну и подавая Владиміру свою руку, которую онъ покрылъ пламенными поцѣлуями.— Мнѣ теперь такъ весело, такъ легко! — говорила Машенька, а между тѣмъ крупныя слезы капали изъ-подъ ея густыхъ рѣсницъ.

Бѣдная дѣвушка, довѣрчивая, какъ дитя, не думала о будущемъ; она была счастлива въ эту минуту и, какъ тихое весеннее утро, въ которое и дождь и солнышко безпрерывно смѣняютъ другъ друга, она и плакала и улыбалась почти въ одно время.

— Такъ вы не послушаетесь вашего батюшки,—шепнула она наконецъ,—не женитесь на ней?

— Ни за что на свѣтѣ!..

— Милый Владиміръ. Но если вашъ батюшка *потребуетъ, что-бъ вы непремѣнно* на комъ-нибудь женились... Въ нашемъ сосѣдствѣ такъ много молодыхъ дѣвушекъ...

— Я вамъ клянусь, что ни одна изъ нихъ не будетъ моею женою.

— Я вѣрю вамъ, Владиміръ Ивановичъ! Но, несмотря на то... Ахъ, эта неизвѣстность такъ мучительна! Одинъ разъ легче умереть, чѣмъ умирать каждый день... Откройтесь во всемъ вашему батюшкѣ; пусть онъ поговоритъ ..

— Съ отцомъ вашимъ? — прервалъ Владиміръ.—И вы думаете, что онъ спокойно его выслушаетъ?.. И вы надѣетесь, что вашъ отецъ, богатый родовой дворянинъ, отдастъ за меня дочь свою?

— Да чѣмъ же вы хуже другихъ? Вы офицеръ, вашъ батюшка человѣкъ благородный...

— Но отецъ его... Нѣтъ, нѣтъ! Зачѣмъ себя обманывать? Не бывать этому никогда; не судилъ намъ Господь въ этой жизни быть счастливыми! Божій рай на небесахъ, Марья Сергѣевна, а мы съ вами живемъ на землѣ.

— Но для чего же вамъ отчаиваться? Я увѣрена, добрая матушка съ радостью благословитъ меня, а батюшка... Да вы не знаете, какъ онъ меня любитъ! Онъ тысячу разъ говорилъ, что отдастъ меня только за того, кто будетъ мнѣ по сердцу.

— О, въ этомъ я увѣренъ: онъ не станетъ принуждать васъ! Но и вы также не пойдете замужъ противъ его воли, а онъ никогда не согласится назвать меня своимъ сыномъ. Третьяго дня, разговаривая съ батюшкой, онъ сказалъ: «Видно, мнѣ придется на старости перебраться въ Москву; дочь у меня невѣста, а во всей нашей округѣ нѣтъ по ней ни одного жениха». И лишь только батюшка намекнулъ ему о старшемъ сынѣ здѣшняго воеводы, какъ онъ закричитъ: «Что, что? Да не съ ума ли ты сошелъ? Мой дѣдъ служилъ царю окольничьимъ, а прадѣдъ сидѣлъ въ боярской думѣ, и я выдамъ дочь свою за внука какого-нибудь подъячаго съ приписью? Да по мнѣ, она лучше вѣкъ въ дѣвкахъ оставайся! Господи, Боже мой! Чтобъ я, послѣдній въ родѣ Ильменевыхъ, породнился съ какимъ-нибудь щелкоперомъ!.. Нѣтъ, любезный, ему и во снѣ это не привидится». Ну, Марья Сергѣевна, неужели и послѣ этого вы можете надѣяться?

— А почему знать? Богъ милостивъ. Вы очень нравитесь батюшкѣ. Матушка васъ любитъ; а сверхъ того, если вы не имѣете никакой надежды, такъ чего же вамъ и бояться? Вѣдь ужъ хуже этого быть не можетъ.

— А чего боится приговоренный къ смерти преступникъ? — сказалъ мрачнымъ голосомъ Владиміръ.—Онъ знаетъ, что гибель его неизбѣжна, а, если-бъ могъ, отдалилъ бы хоть на полминуты казнь свою. Неужели вы думаете, что намъ позволятъ видѣться и тогда, когда любовь наша не будетъ уже тайною? Не видѣть, не быть подлѣ васъ, не говорить

съ вами безъ свидѣтелей!.. Да развѣ такая жизнь лучше смерти? Ахъ, Марья Сергѣевна, не мѣшайте мнѣ пожить еще хоть нѣсколько дней!

— Нѣтъ, Владиміръ Ивановичъ, эти тайныя свиданія должны кончиться. Я люблю васъ, вы это знаете; но вы честный, благородный человѣкъ и, вѣрно, не захотите сами, чтобы та, которая желала навсегда принадлежать вамъ, была недостойна уваженія вашего. Если вы не можете быть моимъ мужемъ, то мы должны непремѣнно разстаться.

— Разстаться! — повторилъ съ отчаяніемъ Владиміръ.

— Да, это необходимо,—продолжала сквозь слезы, но твердымъ голосомъ, Машенька:—я не могу быть съ вами вмѣстѣ и стараться убѣгать васъ. О, Владиміръ, будьте моимъ защитникомъ противъ самихъ себя! Если ваши чувства совершенно сходны съ моими, то я не требую отъ васъ невозможнаго, не хочу, чтобъ вы меня забыли; но разстаться мы должны непремѣнно.

— Такъ вы желаете, чтобъ жизнь мнѣ опостылѣла, чтобъ я сталъ проклинать минуту, въ которую увидѣлъ васъ въ первый разъ?

— Нѣтъ, Владиміръ Ивановичъ,—сказала тихимъ голосомъ Машенька:—я хочу, чтобъ мы и въ несчастіи нашемъ имѣли какое-нибудь утѣшеніе. Если мы разстанемся теперь, то можемъ, не краснѣя, вспоминать другъ о другѣ. Вамъ не въ чемъ будетъ упрекать себя, а мнѣ можно будетъ молиться о васъ съ надеждою, что Господь услышитъ мою молитву. Я сказала все. Дѣлайте, что вамъ угодно; только знайте, что я или въ послѣдній разъ вижусь съ вами безъ свидѣтелей, или навсегда буду принадлежать вамъ... Но что это?.. Мнѣ кажется, сюда идутъ... Боже мой!.. Такъ точно... Ахъ, Владиміръ Ивановичъ, если кто-нибудь насъ слышалъ?.. Уйдите, ради Бога, уйдите скорѣе!

Машенька затворила окно, Владиміръ спрятался позади большого рябиноваго куста; шаги приближались, кто-то говорилъ съ большимъ жаромъ, но такъ тихо, что Владиміръ не могъ понять ни одного слова. Вдругъ разговаривающіе повернули въ сторону и вышли изъ куртины на небольшую поляну. Ихъ было двое. Несмотря на темноту, Владиміръ не могъ ошибиться и принять ихъ за караульщиковъ; онъ замѣтилъ также, что одинъ изъ нихъ по своему видному росту весьма походилъ на проѣзжаго купца, съ которымъ онъ ужиналъ. Въ другое время эта ночная прогулка возбудила бы его любопытство, но теперь ему было не до того, и когда эти полуночники, продолжая разговаривать между собою, исчезли за деревьями, онъ вышелъ опять на дорожку и, наблюдая попрежнему всю возможную осторожность, добрался, наконецъ, *до своей бесѣдки.*

Повидимому, не нужно сказывать читателямъ, что Владиміръ не могъ заснуть ни на минуту. Послѣднія слова Машеньки безпрестанно раздавались въ ушахъ его, и когда ему приходило на мысль, что черезъ нѣсколько часовъ участь его должна навсегда рѣшиться, сердце въ немъ сжималось и замирало отъ ужаса. Повременамъ слабый лучъ надежды проникалъ въ его растерзанную душу; но почти въ то же время жестокій, неумолимый разсудокъ обдавалъ ее холодомъ; ему казалось, что какой-то неотвязчивый злой духъ шепталъ надъ его изголовьемъ: «Безумный, и ты можешь надѣяться, — ты, сынъ бѣднаго помѣщика и внукъ отпущенника,—что богатый и родовой бояринъ выдастъ за тебя единородную дочь свою! Конечно, онъ любитъ ее и вѣрно желаетъ видѣть счастливою; но эта барская спѣсь!.. Нѣтъ, ты напрасно стараешься себя обманывать. Ты хочешь испытать свое счастіе? — Испытай! Но знай заранѣе, тебя ждетъ не радость, а горе и позоръ; не ласковый привѣтъ, а презрѣніе и обидныя насмѣшки». Нѣсколько разъ Владиміръ рѣшался не говорить ничего отцу своему и упросить начальство перевести его роту куда-нибудь подалѣе за Рязань; но, несмотря на это, кончилъ тѣмъ, что вскочилъ чѣмъ-свѣтъ съ постели и побѣжалъ къ Ивану Тимоѳеевичу, который ночевалъ въ одномъ изъ флигелей дома. Онъ такъ перепугалъ спросонья бѣднаго старика, что тотъ не могъ долго понять о чемъ идетъ дѣло. Владиміръ объявилъ отцу, что онъ долженъ непремѣнно сватать за него дочь хозяина и, не давъ ему образумиться, прибавилъ, что если просьба его не будетъ исполнена, то онъ самъ подыметъ на себя руки или, по крайней мѣрѣ, уйдетъ служить за тридевять земель въ тридесятое государство и никогда уже не воротится на свою родину.

— Я сейчасъ отправлюсь домой,—продолжалъ онъ,—и стану тамъ дожидаться рѣшенія моей участи; какой бы отвѣтъ вы ни получили, поспѣшите меня увѣдомить. Я солдатъ и привыкъ сносить безъ ропота все, что ни пошлетъ на меня Господь, но неизвѣстность... Ахъ, батюшка, это не земное мученіе, не пытка, а мука адская, съ которой ничто сравниться не можетъ!

Владиміръ обнялъ отца, побѣжалъ на конюшню, осѣдлалъ персидскаго жеребца своего и помчался вихремъ вонъ изъ села Зыкова.

Было уже около шести часовъ утра. Варвара Дмитріевна Ильменева почивала еще крѣпкимъ сномъ; но супругъ ея давно обошелъ всѣ деревенскія свои заведенія, побывалъ на псарнѣ; завернулъ на конный дворъ, надавалъ тузовъ одному лѣнтяю конюху, который не продиралъ еще глазъ; покричалъ съ своимъ управителемъ и, выпивъ добрую чарку домашней настойки, трудился

около жирнаго балыка и отличной паюсной икры, которую наканунѣ получилъ изъ Астрахани. Въ эту-то самую интересную минуту двери потихоньку растворились, и Иванъ Тимоѳеевичъ Зарубкинъ вошелъ на цыпочкахъ въ столовую. Багровый носъ его казался не столь краснымъ, какъ обыкновенно, волосы были растрепаны, лѣвая рука почтительно засунута за камзолъ, а правою онъ перебиралъ машинально свои кисейныя манжеты.

— А, сосѣдъ любезный,— закричалъ Ильменевъ,—милости просимъ! Я думалъ, что ты еще спишь богатырскимъ сномъ такъ же, какъ и моя барыня. Ну-ка, Иванъ Тимоѳеевичъ, попробуй икорки; прямо изъ Астрахани получилъ отъ пріятеля. Ужъ нечего сказать, икра!.. Диво! И настойка хоть куда. Налей себѣ чарку, да посмакуй хорошенько, такъ скажешь спасибо моей Варварѣ Дмитріевнѣ; что и говорить, мастерица!.. Да подойди, братецъ, что ты, какъ пень, стоишь на одномъ мѣстѣ? Закуси чего-нибудь.

— Всепокорнѣйше васъ благодарю,— сказалъ Зарубкинъ, перегнувшись почти вдвое.— Кушайте себѣ, батюшка, на здоровье, а мнѣ ѣсть не хочется.

— Такъ ты, видно, братъ, ужъ позавтракалъ?

— Никакъ нѣтъ, сударь.

— Такъ что-жъ ты не кушаешь?.. Да кой прахъ, что это тебя коробитъ? Здоровъ ли ты, братецъ?

— Тѣломъ, слава Богу; да на сердцѣ-то у меня, батюшка...

— И, полно, любезный! Хвати-ка добрую красоулю, такъ и на сердцѣ легко будетъ. Прошу покорно!

— Нѣтъ, Сергѣй Филипповичъ, не трапезою душа живится; конечно, и я чарочку-другую въ день выпью ради стомаха, но теперь мнѣ вовсе не до питья, батюшка.

— Кой чортъ! Да что съ тобой случилось?

Зарубкинъ всплеснулъ руками и такъ жалко искривилъ рожу, что Ильменевъ повторилъ съ безпокойствомъ свой вопросъ.

— Охъ, батюшка,—сказалъ Зарубкинъ,— не даромъ говорятъ: дѣти радость, дѣти и горе! А у кого всего-на-всего одно только дѣтище...

— И, любезный! и мало, и много дѣтей, все равно. Вѣдь и десять сыновей, какъ десять пальцевъ: любой отрѣжь, все больно. Да что тебѣ вздумалось говорить объ этомъ? Ужъ не занемогъ ли твой Владиміръ?

— Хуже, Сергѣй Филипповичъ, хуже.

— Какъ хуже?

— Да, батюшка; мой Володя... О, Господи, и выговорить страшно!.. Съ ума сошелъ.

— Какъ такъ?—вскричалъ Ильменевъ, вскочивъ со стула.

— Совсѣмъ рехнулся; того и гляжу, что самъ на себя руки подыметъ.

— Что ты говоришь?

— Наладилъ одно: хочу, батюшка, жениться, да и только.

— Такъ вотъ что!—сказалъ Ильменевъ, садясь на прежнее мѣсто.—Ахъ, ты, шутъ нарядный!.. Перепугалъ меня до смерти! Эко диво, подумаешь: малому двадцать семь лѣтъ, а онъ жениться захотѣлъ!

— Да знаете ли, на комъ, батюшка?

— Неужели, въ самомъ дѣлѣ, на дочери этого жидомора Побирашкина?

— И, сударь, да о чемъ бы мнѣ тогда горевать? Сегодня посватался, а завтра и сговоръ. Нѣтъ, Сергѣй Филипповичъ, Володя мой влюбленъ по-уши, да только не въ нее.

— Такъ что-жъ, и всякая другая дѣвушка за него пойдетъ. Вѣдь нынче, любезный, женихи-то въ сапожкахъ ходятъ, а невѣстами хоть прудъ пруди.

— Такъ, батюшка, такъ, — да не ровна невѣста.

— И, полно, братецъ, такой молодецъ, какъ твой Владиміръ, кому не женихъ!

Лицо Зарубкина просіяло; поблѣднѣвшій носъ покрылся снова обычнымъ румянцемъ, и онъ, цѣлуя въ плечо Ильменева, сказалъ радостнымъ голосомъ:

— Ахъ, ты, отецъ мой родной! Дай Богъ тебѣ много лѣтъ здравствовать! Утѣшь тебя Господь, какъ ты утѣшилъ меня на старости!

— Что ты, что ты? — прервалъ Ильменевъ. — Да развѣ я въ первый разъ это говорю? Вѣстимо, такого жениха, какъ твой Владиміръ, никто не забракуетъ!

— Въ самомъ дѣлѣ, батюшка?

— Конечно, братецъ; за него пойдетъ дѣвушка и не Побирашкиной чета.

— Ну, а если-бъ онъ, сударь, — продолжалъ Зарубкинъ, говоря съ разстановкою и не смѣя глядѣть прямо въ глаза Ильменеву:—примѣромъ будучи сказать, вздумалъ посвататься, то-есть влюбился... сирѣчь пожелалъ бы себѣ въ сожительницы... Не ради чего-нибудь другого прочаго!.. Боже сохрани, станетъ онъ о приданомъ думать!.. Душъ триста, четыреста, такъ и за глаза; а тамъ воля Господня... Два вѣка никто не живетъ... Да и то сказать, дай Богъ вамъ прожить несчетные годы; не имъ, такъ дѣткамъ ихъ достанется.

— Да что ты за околесную несешь? — сказалъ Ильменевъ, поглядѣвъ съ удивленіемъ на Зарубкина.—Какимъ дѣтямъ достанется? Что достанется?.. Тьфу, чортъ возьми! Да на комъ же ты хочешь женить своего сына?

— Не я, Сергѣй Филипповичъ, видитъ Богъ не я! Когда бы не онъ, такъ мнѣ бы это и во снѣ не приснилось, и если-бъ не ваши ласковыя рѣчи, языкъ бы не повернулся ска-

зать, что мой Володя желаетъ вступить въ законный бракъ...

Тутъ Иванъ Тимоѳеевичъ заикнулся, да и было отчего: глаза его встрѣтились съ глазами Ильменева, и онъ прочелъ въ нихъ что-то не ласковое.

— Желаетъ вступить въ законный бракъ,— повторилъ Сергѣй Филипповичъ, оттолкнувъ отъ себя тарелку съ икрою.

— Да, батюшка,—продолжалъ робкимъ голосомъ Зарубкинъ, — мой сынъ желаетъ... вступить въ законный бракъ...

— Съ кѣмъ?—заревѣлъ хозяинъ.

У бѣднаго свата ноги подкосились, и онъ промолвилъ, захлебываясь на каждомъ словѣ: «съ предостойною... прекрасною... и многолюбезною дочкою вашею...»

Ильменевъ вскочилъ со стула; глаза у него засверкали.

— Съ моею дочерью!—вскричалъ онъ, ударивъ такъ сильно по столу кулакомъ, что глиняная перечница слетѣла на полъ и разбилась вдребезги.

— Съ моею дочерью!—повторилъ онъ, сдѣлавъ шагъ впередъ.

Зарубкинъ попятился назадъ; но, замѣтивъ, что въ передней никого не было, остался въ комнатѣ. Между тѣмъ гнѣвный взглядъ хозяина смягчился.

— Скажи мнѣ, братецъ, — спросилъ онъ, наконецъ, почти хладнокровно: — когда ты успѣлъ наклюкаться?

— Кто, я?.. Помилуйте, маковой росинки во рту не было!

— Пошелъ, пошелъ, проспись!.. Ахъ ты, полоумный старичишка! Да какъ тебѣ въ голову пришло, что я выдамъ мою Машеньку за твоего сына? Ужъ не потому ли, что онъ офиціи добился?.. Велико дѣло!.. Драгунскій офицеръ!.. Прошу покорно, съ чѣмъ изволилъ подъѣхать! Куда въ родню нарохтится! Да ты, видно, вовсе забылъ, что твой отецъ служилъ псаремъ у покойнаго моего батюшки?

— Не извольте гнѣваться, ваше высокородіе. Видитъ Богъ, я этому не причиною; я и самъ толковалъ Володѣ: «Что ты, глупый, затѣялъ? Ну, по плечу ли тебѣ такая невѣста? Что ты сравниться-то хочешь; перекрестись!» Ужъ я говорилъ, говорилъ, что толку: слышать не хочетъ, и повѣрите-ль, батюшка, какъ шальной, вотъ такъ на стѣну и лѣзетъ.

— Чтобъ духу его не было въ моемъ домѣ! Слышишь!

— Да онъ, сударь, и такъ чѣмъ-свѣтъ ускакалъ къ себѣ въ деревню.

— Ага, догадался! Видно, братъ, онъ умнѣй тебя.

— Эхъ, батюшка, Сергѣй Филипповичъ, когда бы вы сами не польстили меня...

— Польстилъ? Чѣмъ?...

— Да какъ же! Не вы ли изволили говорить, *что моего сына никто не забракуетъ!*

— Да я то же самое сказалъ третьяго дня сыну моего старосты, Андрюшкѣ Рыжему; такъ и ему бы надо посвататься за мою дочь? Дурачина, знай сверчокъ свой шестокъ, а залетитъ ворона въ высокія хоромы, такъ и шею свернутъ. Покойный мой батюшка,—дай Богъ ему царство небесное!— велѣлъ бы тебя дубьемъ со двора проводить, а, можетъ статься, и на конюшнѣ выдрать; я не въ него, посмѣюсь надъ этимъ сватовствомъ съ женою, да съ дочерью...

— Батюшка, — прервалъ Зарубкинъ, сложивъ униженно руки,—не извольте только гнѣваться, такъ я всю правду скажу: вѣдь мой Володя не смѣлъ бы и посвататься за вашу дочь, когда бы не было на это собственной ея воли.

— Какъ?!—закричалъ Ильменевъ. — Возможно ли!.. Дочь моя осмѣлилась?!.. Безъ моего вѣдома?!.. Ты лжешь!.. Быть не можетъ!

Въ эту самую минуту двери гостиной растворились, и Машенька вошла въ столовую. Она была блѣдна, какъ смерть; грудь ея сильно волновалась, но покраснѣвшіе отъ слезъ глаза выражали не страхъ, а какую-то твердую рѣшимость и даже спокойствіе.

— Ты здѣсь, мой другъ? — вскричалъ Ильменевъ.—Поди сюда. Какъ ты думаешь, что говоритъ этотъ старый дуралей? Онъ увѣряетъ меня, что сынъ его, съ твоего согласія и воли, осмѣлился за тебя свататься.

— Это правда, батюшка, — сказала Машенька.

Румяное лицо Сергѣя Филипповича помертвѣло; онъ остолбенѣлъ и, молча, какъ безумный, устремилъ свои неподвижные глаза на бѣдную дѣвушку.

— Какъ?.. Что?—прошепталъ онъ, наконецъ, задыхаясь отъ гнѣва.

— Да, батюшка, это правда,—повторила Машенька кроткимъ, но твердымъ голосомъ.

— Ну вотъ, изволите видѣть?—сказалъ Зарубкинъ.

— Молчи! — закричалъ Ильменевъ такъ грозно, что Иванъ Тимоѳеевичъ съ одного прыжка очутился въ передней.—Вонъ отсюда, холопъ, вонъ! Эй, люди, люди!..

Зарубкинъ исчезъ.

Минутъ пять продолжалось молчаніе. Съ видомъ глубочайшей покорности, но въ то же время и съ утѣшительнымъ чувствомъ подсудимаго, котораго обвиняетъ все, кромѣ собственной совѣсти, смотрѣла Машенька на разгнѣваннаго отца. Ильменевъ, не говоря ни слова, ходилъ скорыми шагами взадъ и впередъ по комнатѣ; румянецъ то исчезалъ, то выступалъ багровыми пятнами на блѣдномъ лицѣ его; губы дрожали; казалось, онъ употреблялъ всѣ силы, чтобъ удержать первый порывъ своего гнѣва. Вдругъ Ильменевъ остановился противъ своей дочери, ласково взялъ ее за руку и почти умоляющимъ голосомъ сказалъ:

— Машенька, другъ мой, не правда ли, вѣдь ты смѣялась?.. Ты шутила надъ этимъ полоумнымъ старикомъ?

Слезы брызнули изъ глазъ бѣдной дѣвушки. Этотъ ласковый голосъ, этотъ нѣжный взглядъ отца поразили ее сильнѣе, чѣмъ гнѣвъ и всѣ упреки, къ которымъ она приготовилась.

— Ты плачешь?!—вскричалъ Ильменевъ.— Такъ это правда? Такъ ты осмѣлилась?..

— Выслушайте меня, батюшка!—сказала Машенька, которой суровый видъ отца возвратилъ всю прежнюю твердость.—Я никогда не выступлю изъ вашей воли, и безъ родительскаго благословенія никто не поведетъ меня къ вѣнцу; но я не хочу скрывать отъ васъ ничего. Да, батюшка, я люблю Владиміра Ивановича, и если не могу быть его женою, то останусь навсегда съ вами. Вы, вѣрно, не захотите, чтобы дочь ваша, любя одного, сказала другому предъ престоломъ Божіимъ, что желаетъ вѣчно принадлежать ему. Людей можно обмануть, батюшка, но Бога не обманешь.

— Машенька, другъ мой,—сказалъ Ильменевъ, устремивъ на дочь свою взоры, исполненныя удивленія:—что сдѣлалось съ тобою!.. Куда дѣвался твой дѣвичій стыдъ?.. И кто далъ тебѣ волю располагать собою? Дочь влюбилась безъ вѣдома отца и матери!.. Дѣвчонка говоритъ, что не выйдетъ замужъ ни за кого, потому что ее не выдаютъ за офицерика, у котораго отецъ съ приписью подъячій, а дѣдъ былъ псаремъ! Слушай, дочь: если ты не выкинешь этой дури изъ головы, если я услышу когда-нибудь, что ты назовешь по имени этого негодяя, то я навсегда отрекусь отъ тебя; забуду, что у меня была дочь, и развѣ только, умирая, вспомню объ этомъ, но не для того, что-бъ оставить ей мое благословеніе! Нѣтъ, я унесу его съ собой въ могилу...

— Батюшка! — вскричала съ отчаяніемъ бѣдная дѣвушка.

— Да, да,—продолжалъ Ильменевъ часъ-отъ-часу съ большимъ жаромъ, — если и на томъ свѣтѣ отецъ можетъ благословлять дѣтей своихъ, такъ не жди этого благословенія, не приходи плакать надъ моей могилою: ты ничѣмъ его не вымолишь!

Машенька хотѣла что-то сказать, хотѣла подойти къ отцу, но ноги ея подкосились, и она упала безъ чувствъ на землю.

— Дочь моя, дочь моя! — закричалъ Ильменевъ, бросившись къ ней на помощь. — Что съ тобой, дитя мое?.. Она безъ памяти!.. Эй, кто-нибудь!.. Дѣвка, дѣвка!.. Бѣдняжка, что ты надѣлала со своею головою!.. Проклятый Зарубкинъ!.. Ужъ попадешься же ты мнѣ когда-нибудь... Возьмите вашу барышню, — продолжалъ онъ, обращаясь къ горничнымъ дѣвушкамъ, которыя вбѣжали въ столовую:— уложите ее на постель и позовите ко мнѣ *Варвару Дмитріевну*.

Черезъ нѣсколько минутъ вошла жена Ильменева.

— Поди сюда, матушка!—сказалъ онъ, идя къ ней навстрѣчу. — Такъ-то ты смотришь за своею дочерью? Знаешь ли ты?..

— Охъ, батюшка Сергѣй Филипповичъ, все знаю! Машенька сегодня по-утру во всемъ мнѣ призналась!

— Ну, что скажешь сударыня?

— Что тутъ сказать? Наслалъ Господь горе, такъ дѣлать нечего.

— Какъ дѣлать нечего?

— Да не гнѣвайся, батюшка; мы всѣ люди, всѣ человѣки, всѣ подъ Богомъ ходимъ. Конечно, Владиміръ Ивановичъ женихъ не богатый, не чиновный, да ужъ если такая судьба нашей Машенькѣ...

— Судьба!—повторилъ Ильменевъ.— Ахъ, ты, глупая! Да съ чего ты это вздумала?— Прошу покорно!.. Судьба... Такъ по-твоему первый пострѣлъ, который приглянется твоей дочери, ей и женихъ? Судьба!.. А мы-то что съ тобою? Что я отчимъ что ль, а ты мачеха?

— Такъ, батюшка Сергѣй Филипповичъ, такъ, да вѣдь суженаго-то конемъ не объѣдешь, и чему быть, тому не миновать!

— Чтобъ я породнился съ этимъ отпущенникомъ! Чтобъ меня, родового дворянина, называли сватомъ какіе-нибудь подъячіе!..

— Помилуй, Сергѣй Филипповичъ, да вѣдь у Владиміра Ивановича, кромѣ старика отца, никого родныхъ нѣтъ!

— Право?.. А не хочешь ли, я въ моей дворнѣ найду ему внучатныхъ братцевъ?! Полно вздоръ говорить, жена! Пока я живъ, этому не быть. Слышишь ли, не бывать! И если кто-нибудь впередъ мнѣ объ этомъ заикнется...

— А если, батюшка, дочь наша зачахнетъ съ горя? Посмотрѣлъ бы ты на нее! Господи, Боже мой!.. Словно, рѣка льется.

— Вздоръ, сударыня, вздоръ!.. Дѣвичьи слезы—роса утренняя; проглянетъ солнышко, росы какъ не бывало. Подари ей свои изумрудныя сережки или сдѣлай новое объяринное платье, такъ дѣло и съ концомъ!

— Смотри, батюшка, чтобъ не пришлось, вмѣсто объяриннаго платья, сшить ей бѣлый саванъ! Вѣдь, ты не знаешь, какъ она любитъ Владиміра Ивановича.

— Полно, матушка. Скоро полюбила, такъ скоро и разлюбитъ.

— Не говори такъ, Сергѣй Филипповичъ! Сохрани Господь и помилуй, а ужъ если, Божьимъ попущеніемъ, эта лиходѣйка-любовь заберется въ дѣвичье сердце, такъ ея ничѣмъ не выживешь. Вѣдь, любовь, батюшка, на взглядъ и красна и преизрядна, какъ махровый цвѣтъ; а на самомъ-то дѣлѣ и горька и цѣпка, какъ репейникъ.

— Эге, да это цѣликомъ изъ исторіи объ Аленкуртѣ и Флоридѣ!.. Вотъ то-то и есть!

Начитались вы обѣ съ дочерью этихъ дурацкихъ книгъ, набили вздоромъ свои головы. Да и чему быть путному! Вчера я приказалъ Малашкѣ принести мнѣ изъ спальни календарь; гляжу, тащитъ ко мнѣ... Что такое?.. «Повѣсть о княжнѣ Жеванѣ», дочери какого-то мексиканскаго царя, Фирдедондака! Господи, Боже мой, до чего довела насъ эта грамота! Какъ, дескать, русской барышнѣ не умѣть читать, когда въ Нѣметчинѣ простыя мѣщанки читаютъ?.. Читаютъ! А на что? Знали бы да знали свои пяльцы, такъ не пошла бы эта заморская дурь въ голову; не стали бы безъ вѣдома отца и матери сами выбирать себѣ жениховъ и влюбляться въ каждаго встрѣчнаго и поперечнаго. Да что объ этомъ говорить! Слушай, жена, я люблю дочь не меньше тебя, но никогда не соглашусь на этотъ срамъ: не бывать внуку псаря моимъ сыномъ!

— Но подумай, батюшка?

— Нечего тутъ думать. Какъ пройдетъ эта дурь, такъ сама скажешь мнѣ спасибо.

— А если не пройдетъ, Сергѣй Филипповичъ!

— Да что-жъ ты въ самомъ дѣлѣ! — закричалъ грознымъ голосомъ Ильменевъ: — иль учить меня вздумала? Слышишь ли, чтобъ объ этомъ впередъ и рѣчи не было!

— Воля твоя, Сергѣй Филипповичъ, — сказала робкимъ голосомъ покорная жена: — только смотри, чтобъ не пришлось послѣ пенять на самихъ себя.

— Добро, добро; умны вы съ дочкой-то больно стали! Съ тѣхъ поръ, какъ побывали со мной въ Питерѣ, да наслушались тамъ всякихъ басурманскихъ рѣчей, такъ съ вами и ладу нѣтъ. И то сказать, я самъ дуракъ: зачѣмъ пускалъ къ себѣ въ домъ эту книжную чуму, этого краснобая Тредьяковскаго? Вѣдь онъ-то всему злу и корень... Святочное пугало! Вспомнить не могу: придетъ, бывало, въ своемъ дурацкомъ парикѣ, торчитъ, какъ рожонъ; подъ мышкою книга, въ карманѣ тетрадь, начнетъ говорить виршами и занесетъ такую околесную, что самъ чортъ его не разберетъ.

— Напрасно, батюшка: Василій Кирилловичъ Тредьяковскій человѣкъ очень хорошій.

— Хорошій! А кто пріучилъ васъ къ этимъ вздорнымъ книгамъ? Бывало, то принесетъ къ вамъ какую-то героическую повѣсть «Аргениду», то разныя стиходѣйства, да всякія другія лихія болѣсти. Изъ меня было хотѣлъ сдѣлать такого же, какъ самъ, книжника и фарисея. Помнишь, однажды вытащилъ изъза пазухи маленькую книжонку, прижалъ меня къ стѣнѣ, да и ну на фандарахъ: «не подумайте, ваше высокородіе, что я, ради какого высокомѣрнаго падменія, просію книжицу,—«ѣзда на островъ Любви» именуемую,— продерзностно доложить вамъ осмѣлюсь, что *въ оной, такъ сказать, закраснѣвающаяся* съ честнаго устыденія рѣчь, есть какъ безпорочна, такъ и не напыщена, но нѣкоторою природною красотою возносится. Я было на попятный дворъ. Куда, прихватилъ меня за кафтанную петлю, надулся, какъ индѣйскій пѣтухъ, да какъ примется читать... Царю мой Небесный!.. И теперь еще морозъ по кожѣ подираетъ. Ужъ онъ пыталъ, пыталъ меня! А ты-то, мать моя, уши развѣсила, да такъ и надсѣдаешься: «Ахъ, батюшки мои, что за вирши такія!.. Господи, какъ хорошо! Куда, дескать, вы, сударь Василій Кирилловичъ, сладко писать изволите»! Анъ вотъ тебѣ и сладко! Небось, горько стало. Бывало, каждый день только и слышишь: тоска сердечная, любовь безконечная, игры да смѣхи, любовныя утѣхи; такъ что за диво, коли у дѣвчонки голова кругомъ пошла?! Да вотъ, постой, я приберу къ рукамъ всѣ эти скверныя книжонки!.. Видишь, грамотницы какія!.. Ну, что стоишь, матушка? Чай, все утро ничего не дѣлала? Пошла, пошла, задавай уроки своимъ кружевницамъ, да у меня смотри, чтобъ объ этомъ дурацкомъ сватовствѣ и въ поминѣ не было!

Варвара Дмитріевна ушла къ Машенькѣ, которая слегла въ постель, а Ильменевъ велѣлъ осѣдлать себѣ лошадь, надѣлъ полевой кафтанъ и до самаго обѣда проѣздилъ кругомъ своего села. Къ столу явилась одна Варвара Дмитріевна.

— Что Машенька? — спросилъ Ильменевъ, не глядя на свою жену.

— Плачетъ, батюшка.

— Плачетъ!—повторилъ сквозь зубы Сергѣй Филипповичъ. — Плачетъ... Ну, пусть себѣ плачетъ: уймется когда нибудь.

Послѣ обѣда весь вечеръ Ильменевъ бился въ шашки со своимъ дворецкимъ, и какъ ни старался смѣтливый Ѳома поддаваться своему барину, а не могъ проиграть ни одной игры. Онъ ужиналъ одинъ. Варвара Дмитріевна не выходила изъ комнаты своей дочери. Ильменеву очень хотѣлось взглянуть на больную; но онъ укрѣпился и, какъ слѣдуетъ разгнѣванному отцу, ушелъ спать, не простясь съ женою и не перекрестя на сонъ грядущій своей дочери. На другой день за обѣдомъ онъ спросилъ опять у Варвары Дмитріевны:

— Что Машенька?

— Плачетъ пуще прежняго, — отвѣчала бѣдная старушка, утирая глаза.

— Пуще прежняго! — сказалъ вполголоса Ильменевъ.—Глупая дѣвчонка!.. Пуще прежняго!.. Ну, видно, слезы-то у нея не покупныя!

Такъ прошла цѣлая недѣля. Вотъ наступилъ великій годовой праздникъ. Машенька не могла еще подняться съ постели. Ильменевъ и жена его сходились только за столомъ и въ церкви: одна плакала, другой прикидывался сердитымъ; но давно уже сердце его не вмѣщало другого чувства, кромѣ со-

страданія и любви: онъ грустилъ не менѣе своей дочери и даже повременамъ приходилъ въ отчаяніе, не видя никакого средства пособить ея горю. Ему казалось точно такъ же невозможнымъ выдать дочь свою за Зарубкина, какъ желать, чтобъ старшій сынъ его, который умеръ еще въ ребячествѣ, всталъ изъ могилы и явился къ нему цвѣтущимъ двадцатилѣтнимъ юношею. Нѣсколько ночей сряду приходилъ онъ украдкою къ дверямъ комнаты, въ которой жила Машенька, чтобъ послушать: спокойно ли она спитъ.

— Авось, пройдетъ! — говорилъ онъ, если ему казалось, что сонъ ея спокоенъ. — Разбойникъ Зарубкинъ!—шепталъ онъ съ бѣшенствомъ, когда замѣчалъ по неровному ея дыханію, что она плачетъ.

Наканунѣ Свѣтлаго Воскресенья Машенька вышла въ первый разъ къ столу. Грустно было взглянуть на бѣдную дѣвушку: она была такъ блѣдна, такъ слаба, что не только отецъ и мать, но даже слуги не могли безъ слезъ ея видѣть. Молча, но почти съ ласковымъ видомъ, Ильменевъ далъ ей поцѣловать свою руку. Машенька не плакала, она глотала свои слезы; но могла ли она скрыть, на полумертвомъ лицѣ, эти глубокіе слѣды безотрадной горести и томительныхъ ночей, проведенныхъ безъ сна?

— Проклятый драгунъ!—прошепталъ Ильменевъ.—И кто его угораздилъ быть сыномъ этого Зарубкина? Бѣдняжка совсѣмъ извелась... А что дѣлать?.. Хоть бы дѣдушка-то его не былъ исаремъ у покойнаго моего батюшки!

Послѣ самаго молчаливаго обѣда Машенька поцѣловала опять руку у отца и пошла въ свою комнату. Варвара Дмитріева отправилась вслѣдъ за нею, а Сергѣй Филипповичъ съ горя прилегъ на постель и заснулъ.

Что дѣлалъ между тѣмъ Зарубкинъ? Нѣсколько дней сряду онъ употреблялъ всѣ средства, чтобъ утѣшить своего сына; но, видя, наконецъ, что его краснорѣчіе гибнетъ даромъ, махнулъ рукою и сказалъ то же, что Ильменевъ:

— Ну, дѣлать нечего, пускай себѣ тоскуетъ: уймется когда-нибудь!

Деревня Ивана Тимоѳеевича Зарубкина отдѣлялась только однимъ выгономъ отъ большого экономическаго селенія, въ которомъ стояла рота драгунъ подъ командою его сына; нѣсколько черныхъ, до половины вросшихъ въ землю, лачужекъ окружало господскій домъ, который мы называемъ домомъ, потому что изъ соломенной его кровли выглядывала кирпичная труба, и что обширный дворъ его обнесенъ былъ не плетнемъ, а заборомъ. На этомъ барскомъ дворѣ, вмѣстѣ съ индѣйскими пѣтухами и курами, преважно расхаживалъ ручной журавль, спокойно валялись въ грязи домашнія свиньи, и нѣсколько утокъ плавало *въ огромной лужѣ*, которая, какъ Средиземное море, стояла, не пересыхая, круглый годъ, на самой серединѣ двора. Во всемъ домѣ было только два покоя и одна пристроенная сбоку свѣтелка: въ ней жилъ Владиміръ; сзади къ дому примыкали обширный огородъ и конопляникъ, а за ними начиналась дубовая роща, которая доходила почти до самыхъ гуменъ казеннаго селенія.

Въ послѣдній день Страстной недѣли, часу въ седьмомъ вечера, Владиміръ сидѣлъ на крыльцѣ передъ домомъ своего отца. Съ этого мѣста видъ на всѣ окрестности былъ прекрасный; но Владиміръ смотрѣлъ не на величественное теченіе широкой Оки, не на крутые ея берега, усыпанные селами; взоры его не останавливались на отдаленной и живописной группѣ городскихъ домовъ, изъ среды которыхъ подымалась высокая башня татарской мечети, которая и до сихъ поръ существуетъ. Нѣтъ, онъ глядѣлъ прямо передъ собою на темный сосновый боръ, за которымъ, какъ сквозь туманъ, виднѣлась тесовая кровля господскаго дома; подъ этою кровлею жила Машенька Ильменева, въ этомъ домѣ онъ увидѣлъ ее въ первый разъ. Вотъ что-то вдали, какъ неподвижное облачко дыма, стоитъ надъ самою кровлею дома... Такъ точно,—это вершина сибирскаго кедра, посаженнаго въ саду дѣдомъ Ильменева. Давно-ли Владиміръ вмѣстѣ съ *нею* любовался этимъ великаномъ дремучихъ лѣсовъ Сибири? Давно-ли *она*, переносясь мыслію въ этотъ пустынный и безлюдный край, говорила ему: «О, какъ были бъ мы счастливы, если бы могли жить тамъ, вдали отъ всѣхъ, одни съ нашею любовью»! Давно ли и мысль о вѣчной разлукѣ съ нею казалась ему невозможною? А теперь!..

— Опять ты носъ повѣсилъ, Володя, — сказалъ Зарубкинъ, подойдя къ своему сыну.—Да полно грустить!.. Завтра Свѣтлый праздникъ, всѣ православные должны веселиться, а ты, смотри-ка, словно въ воду опущенный... Грѣхъ, Володя, право, грѣхъ!

— Я не грущу, батюшка.

— Не грустишь? Погляди-ка на себя, на что ты сталъ похожъ: кости да кожа! Вчера, въ пятницу, ты не хотѣлъ обѣдать: «Я, дескать, батюшка, въ этотъ великій день до звѣзды не ѣмъ». А сегодня что?

— Сегодня я обѣдалъ.

— Хорошъ обѣдъ: двѣ ложки пустыхъ щей, да корочку хлѣба!.. Эхъ, Володя, Володя, напустилъ ты на себя дурь!.. Да что въ самомъ дѣлѣ: иль на всемъ бѣломъ свѣтѣ для тебя только и есть одна невѣста? И что тебѣ въ ней полюбилось?.. Ни дородства въ тѣлѣ, ни румянца въ лицѣ; такъ, взглянуть не на что!.. Рѣсницы длинныя, да глаза по ложкѣ — эка невидаль! Посмотри-ка дочку воеводскаго секретаря, Говоркова, ты еще не видалъ; она гоститъ въ Рязани у

своей крестной матери. Вотъ ужъ подлинно есть чѣмъ полюбоваться. Что и говорить, царь-дѣвица! Ростомъ съ тебя будетъ, черноглазая, чернобровая, въ щекахъ румянецъ такъ и пышетъ. А ужъ обычай-то какой: дѣвка веселая, затѣйница, на мѣстѣ не посидитъ. А голосъ-то, голосъ!.. Какъ зальется: «Ахъ, ты море, море синее», такъ за версту слышно. И эта не придетъ по-сердцу, найдемъ другую. Вѣдь тебя, Володя, любая невѣста съ руками оторветъ; не всѣ такіе чваны, какъ этотъ гордецъ Ильменевъ, — чтобъ ему, проклятому, цѣлый вѣкъ внучатъ не дождаться! Онъ бригадиръ, у него восемьсотъ душъ, такъ ужъ ему съ нашимъ братомъ, ординарнымъ помѣщикомъ, и породниться нельзя! Эка спесь, подумаешь!.. Велико дѣло—ваше высокородіе; намъ и превосходительные кланяются. Да если пошло на то, такъ хочешь ли Володя, я сосватаю тебѣ дочь сосѣда нашего, князя Беркутова? Хоть онъ и татарскаго отродья, а все-таки сіятельный, и въ табели о рангахъ не ниже стоитъ этого высокороднаго скареда. Что, Володя, хочешь ли?

— Нѣтъ, батюшка, я хочу служить.

— Да что тебѣ служба далась? Вотъ пошелъ бы лучше по гражданской части...

— Не хочу, батюшка. Но вотъ ужъ, кажется, смеркаться начало... Прощайте, батюшка, я пойду сосну; вѣдь въ полночь надо быть у заутрени.

— Погоди, Володя,—сказалъ Зарубкинъ,— поболтаемъ еще кой о чемъ. Иль нѣтъ,—продолжалъ онъ торопливо:—ступай, голубчикъ, ступай... сосни, въ самомъ дѣлѣ!

— Что это, батюшка, — сказалъ Владиміръ:—мнѣ кажется, у нашихъ воротъ кто-то дожидается, вонъ тамъ, видите, за заборомъ, въ высокой мѣховой шапкѣ?

— Какой-нибудь прохожій или проѣзжій. Богъ съ нимъ: теперь намъ не до гостей! Ступай, Володя, ступай!

Владиміръ вошелъ въ домъ, а Зарубкинъ съ примѣтною робостью подбѣжалъ къ воротамъ, отперъ калитку и впустилъ во дворъ человѣка высокаго роста, въ синемъ купеческомъ кафтанѣ.

— Здравствуйте, батюшка, Иванъ Тимофеевичъ, — сказалъ гость, не приподнимая своей шапки.

— Тише, Бога ради, тише! — прошепталъ Зарубкинъ, посматривая съ ужасомъ вокругъ себя.—Въ умѣ ли ты, Кузьма Степанычъ: на дворѣ свѣтлехонько, и народъ еще порядкомъ не угомонился, а ты лѣзешь прямо ко мнѣ въ домъ.

— Небось, меня никто не видѣлъ.

— Какъ никто? Да мой Владиміръ сейчасъ здѣсь былъ; ну, если-бъ онъ тебя узналъ?

— Такъ назвалъ бы меня Алексѣемъ Артамонычемъ Выдыбаевымъ. Вѣдь у меня на лбу не написано, что я...

— *Тише, тише!.. Что ты горланишь!*

Гость засмѣялся.

— Ну, братъ, Иванъ Тимофеевичъ,—сказалъ онъ,—трусоватъ ты. Видно, въ воеводской-то канцеляріи тебя путемъ припугнули. Да вотъ, постой, скоро ты совсѣмъ окуражишься; какъ покину навсегда вашу сторону, такъ и всѣ концы въ воду. Я зашелъ къ тебѣ, Иванъ Тимофеевичъ, проститься.

— Проститься?

— Да, любезный. Вишь, нагнали сюда этихъ сухарниковъ драгуновъ, чтобъ имъ передохнуть, окаяннымъ. Теперь по всей Окѣ ходу нѣтъ нашему брату.

— Да, Кузьма Степанычъ, держи ухо остро!

— Когда-бъ ихъ не такъ людно было, то я бы и «охъ» не молвилъ; у меня ребята все удалые, любому изъ нимъ по два солдата мало на закуску; да вотъ бѣда: придется не по два, а десятка по три на брата, такъ, знаешь ли, и не въ моготу.

— Ты сбираешься отсюда подалѣе?

— Да, голубчикъ! Дѣлать нечего: сила солому ломитъ. Завтра спущусь по Окѣ вплоть до самой Волги, а тамъ погляжу: есть пожива около Нижняго,—ладно; нѣтъ, — такъ внизъ по матушкѣ, къ Царицыну: тамъ есть къ чему руки приложить: и струговъ много, и купцовъ не мало, а всякой вольницы и безпаспортныхъ счету нѣтъ. Что, въ самомъ дѣлѣ, Иванъ Тимоѳеевичъ, не цѣлый же вѣкъ шмольничать, да по рублевикамъ сбирать; хватилъ разомъ,—а тамъ и шабашъ!

— То-то же, Кузьма, видно, ужъ и самому надоѣло?

— Не то, что-бъ надоѣло: кому волюшка не люба? Житье разгульное, промыселъ удалой; да два-то столбика съ перекладинкой мнѣ больно не по-сердцу, любезный.

— Кому они по-сердцу! Ну, Кузьма Степанычъ, если такъ, прощай, пріятель; добраго пути, счастливой дороженьки!

— Постой, постой, Иванъ Тимоѳеевичъ! Иль ты думаешь, что я на прощанье съ моей родимой стороной не захочу по себѣ памяти оставить?

— Небось, тебя не скоро забудутъ.

— И, любезный, у народа память коротка. Да не мѣшаетъ и хлѣбомъ запастись на дорогу. Послушай, голубчикъ, сослужи уже мнѣ послѣднюю службу. Вотъ тебѣ пятьдесятъ крестовиковъ; мало,—такъ еще десятокъ накину; а дѣло-то все для тебя гроша не стоитъ.

— Что ты еще затѣваешь?

— Вотъ, изволишь видѣть...

— Тсъ!.. Тише, тише!—прервалъ Зарубкинъ, поглядывая съ робостью на отдаленный уголъ двора.—Смотри, смотри, кто это тамъ крадется подлѣ забора?

— Гдѣ?

— Вотъ прямо противъ насъ.

Гость опять засмѣялся.

— Ну, правду говорятъ,—сказалъ онъ,—

«пуганая ворона и куста боится». Экъ тебѣ со страстей-то мерещится! Да развѣ не видишь, что это твой журавль?

— Журавль? Тьфу, батюшки, въ самомъ дѣлѣ!.. Проклятый... какъ онъ меня испугалъ! Однакожъ, знаешь ли, что: здѣсь мѣсто прохожее, а людишки мои не всѣ еще улеглись; пойдемъ-ка лучше въ рощу.

— Да не шатается ли въ ней твой полуночникъ?

— Кто? Владиміръ? Нѣтъ, онъ пошелъ спать. Пойдемъ, Кузьма Степанычъ, пойдемъ!—продолжалъ Зарубкинъ, таща за собою гостя.—Володя прошлую ночь глазъ не смыкалъ, такъ вѣрно спитъ теперь мертвымъ сномъ.

Но Владиміръ не спалъ. Онъ ушелъ въ свою свѣтелку для того только, чтобъ пробраться изъ нея въ рощу, гдѣ могъ на свободѣ грустить и мечтать о протекшихъ минутахъ мимолетнаго счастія; о погибшей навсегда надеждѣ; о вѣрномъ, неизмѣнномъ другѣ всѣхъ злополучныхъ, — о своемъ послѣднемъ смертномъ часѣ, который такъ ужасенъ для счастливца и такъ утѣшителенъ, такъ радостенъ для того, кто испилъ до дна всю чашу земной горести. Смерть — конецъ тяжкаго изгнанія, берегъ родной зели, о, какъ мила ты для усталаго бѣдняка! Съ какимъ восторгомъ, устремивъ къ небесамъ взоры, утомленный страданіемъ, онъ повторяетъ неизъяснимо утѣшительныя слова: «Пріидите ко Мнѣ вси труждающіеся и обремененніи, и Азъ упокою вы». Съ какимъ веселіемъ спѣшитъ онъ сбросить съ себя тяжелое бремя земной жизни, грѣховъ и горя, болѣзней, житейскихъ заботъ и грустнаго воспоминанія, всегда минутныхъ радостей и вѣчно постоянныхъ бѣдъ!

Владиміръ съ полчаса ходилъ уже по рощѣ; все было тихо, и даже неугомонные грачи, которыхъ шумный крикъ съ утра до вечера раздавался по лѣсу, замолкли и пріютились на вершинахъ вѣтвистыхъ дубовъ и высокихъ березъ. Вдругъ ему показалось, что шаги его повторяются въ близкомъ отъ него разстояніи... Это не отголосокъ! Нѣтъ!.. Такъ точно, онъ не одинъ гуляетъ по рощѣ... Вотъ хрупнула сухая вѣтка... раздался шорохъ между кустовъ... и нѣсколько невнятныхъ словъ долетѣло до его слуха. Владиміръ остановился, шаги послышались ближе, кто-то назвалъ его по имени. Голосъ показался ему знакомымъ. Владиміръ прислонился къ дереву и, почти совсѣмъ закрытый высокимъ кустомъ жимолости, сталъ прислушиваться.

— Полно, Иванъ Тимоѳеевичъ! — продолжалъ тотъ самый голосъ, — Ну, что ты ломаешься? Эка важность, припереть часика на три свѣтелку, въ которой живетъ твой сынъ! Пусть проспитъ заутреню... Эхъ, братъ, зазнался ты! Бывало, изъ двухъ рублей сбѣгалъ бы *на рысяхъ до самой Рязани*, а теперь даютъ тебѣ пятьдесятъ крестовиковъ за такое плевое дѣло, а ты еще кочевряжишься!

— Да для чего же ты хочешь, чтобъ я продержалъ Володю взаперти до самаго утра?

— Какое тебѣ до этого дѣло?

— Нѣтъ, воля твоя, Кузьма Степанычъ, прежде скажи.

— Ну, слушай, любезный! Да только знай напередъ: если я тебѣ все выскажу, такъ ужъ, хочешь-не-хочешь, а дѣлай по-моему. Я сбираюсь сегодня поздравить съ праздникомъ сосѣда твоего, Сергѣя Филипповича Ильменева.

— Помилуй, Кузьма, что ты затѣваешь?

— Какъ, что? Да, развѣ ты, забылъ? Вѣдь я при тебѣ далъ слово пріѣхать разговѣться его куличомъ. Правда, я не сказалъ ему, что привезу съ собой гостей; да у него домъ, какъ полная чаша, про всѣхъ будетъ, всего вдоволь. Мои молодцы въ полуверстѣ отъ его дома вышли на берегъ и ждутъ только меня, чтобъ приняться за работу. Вотъ какъ ударятъ въ колоколъ и всѣ сберутся въ церковь, такъ они съ двухъ концовъ и зажгутъ село, а сами тотчасъ на сборное мѣсто, то-есть въ домъ его высокородія, да и гуляй, молодцы! Мужички и дворовые станутъ хлопотать около пожара, а мы на просторѣ поочистимъ барскія кладовыя, кинемся на лодки, а тамъ и поминай, какъ звали. Ну, понимаешь ли теперь, зачѣмъ мнѣ надо, чтобы твой сынъ до утра не выходилъ изъ своей свѣтелки?

— Нѣтъ, не понимаю.

— Ахъ, ты голова, голова! Да, развѣ, ты не замѣтилъ, что твой сынокъ засматривается на дочку Ильменева? Ну, какъ онъ увидитъ, что Зыково горитъ, да нагрянетъ со своею командою прежде, чѣмъ мы успѣемъ убраться по-добру, по-здорову, такъ дѣло-то будетъ плоховато; а если ты его продержишь взаперти, такъ и бояться нечего: безъ командирскаго приказа ни одинъ драгунъ не посмѣетъ отлучиться отъ своей квартиры. Ну, что смекнулъ ли, теперь, любезный?

— Понимаю, Кузьма Степанычъ, понимаю. На-ка твои пятьдесятъ крестовиковъ, возьми ихъ назадъ!

— Я ужъ тебѣ сказалъ, что еще десять прибавлю.

— И пяти сотъ не возьму.

— Что такъ?

— Да такъ, не надо. Я тебѣ, Кузьма Степанычъ, не указъ! дѣлай, что хочешь, а на меня не надѣйся. Хоть Ильменевъ и больно меня разобидѣлъ, но я никогда не забуду, что ѣлъ его хлѣбъ и соль. Нѣтъ, любезный, бери одинъ этотъ грѣхъ на свою душу, а я съ тобой дѣлиться не стану. Да и ты нашелъ время: въ Христовъ день!.. Эхъ, братъ Кузьма, Бога въ тебѣ нѣтъ!

— А давно ли, батюшка, Иванъ Тимоѳеевичъ, вы стали такъ совѣстливы? Ужъ не

хотите ли покаяться и раздать нищимъ свое имѣніе? Слушай, братъ: черезъ недѣлю ты воленъ каяться, но если ты прежде съ кѣмъ заикнешься объ этомъ, вымолвишь хоть полслова, такъ не будь я Кузьма Рощинъ, если не издохнешь вотъ на этомъ ножѣ. Видишь, что выдумалъ! Нѣтъ, голубчикъ, не хочешь дѣлать, что я приказываю, не дѣлай; но только знай, что если, хоть одинъ драгунъ будетъ на пожарѣ, такъ читай себѣ заранѣе отходную. Прощай!

— Постой, постой, Кузьма Степанычъ. Что ты, перекрестись!.. Ну, самъ ты разсуди: за что мнѣ быть въ отвѣтѣ, ежели съ тобой какая ни есть бѣда случится? Самъ лѣзешь въ петлю, а я отвѣчай!

— Ужъ тамъ думай, какъ хочешь; было бы сказано.

— Да выслушай: ты боишься драгуновъ, а Сергѣй-то Филипповичъ Ильменевъ, чай, отпору тебѣ не дастъ? Вѣдь онъ не кто другой; у него дворовыхъ человѣкъ пятьдесятъ, и все молодецъ къ молодцу, оружія всякаго вдоволь; да и самъ-то онъ за себя постоитъ. Эй, Кузьма, смотри, чтобъ оглядокъ не было!

— Да развѣ ты не знаешь, что врасплохъ одинъ десятерыхъ прибьетъ?

— Такъ, любезный, такъ, а если кто-нибудь дастъ ему вѣсточку!..

— Вѣсточку?.. Ой-ли? Послушай, Иванъ Тимоѳеевичъ,—Богъ вѣсть, что у тебя на умѣ, но если я попаду въ западню, такъ не прогнѣвайся. Пошелъ со мной за однимъ, такъ одну чашу и пей. Нарочно живой въ руки отдамся, чтобъ объявить на судѣ, у кого я по зимамъ держу мою пристань.

— Что ты, что ты, Кузьма Степанычъ! Да не ты ли божился?..

— Да, я божился, что не выдамъ тебя ни за что, когда ты станешь служить мнѣ вѣрою и правдою.

— Да что-жъ тебѣ надобно?

— Теперь ничего; дѣлай, что хочешь. До свиданья, товарищъ!

— Постой, постой!.. Экій ты задорный! Ну, ну, добро, быть по-твоему.

— Что, надумался? То-то-же! Прощай, пріятель, мнѣ болтать съ тобою некогда.

— А пятьдесятъ-то рублей!

— На, вотъ, бери.

— Охъ, Кузьма, Кузьма, не сдобровать намъ съ тобою... Да ты хотѣлъ еще десять рубликовъ накинуть.

— На, на, возьми, крапивное сѣмя! Да только смотри, братъ, не сатани. Не сдержишь своего слова, такъ я сдержу мое. Прощай покамѣстъ.

Голоса умолкли. Опять раздался шорохъ по рощѣ. Вотъ онъ слился вдали съ тихимъ шопотомъ вѣтра. Прошло еще нѣсколько минутъ. Владиміръ стоялъ все на томъ же мѣстѣ. Неподвижный, какъ истуканъ, онъ съ *трудомъ переводилъ дыханіе*, которое вмѣстѣ съ глубокимъ стономъ вырывалось изъ груди его. Подъ темнымъ сводомъ небесъ, усыпанныхъ яркими звѣздами, казалось, все покоилось кроткимъ и тихимъ сномъ, но въ душѣ несчастнаго юноши ревѣла буря. Праведный Боже, и это былъ не сонъ? И голосъ, который онъ слышалъ, былъ голосъ его отца! И тотъ, кому онъ обязанъ жизнію, кто называетъ его сыномъ,—товарищъ презрѣнныхъ убійцъ, наемникъ и слуга разбойника Рощина!

— Зачѣмъ я, горемычный, вернулся на родину!—сказалъ Владиміръ прерывающимся голосомъ.—Матушка, матушка, зачѣмъ я пережилъ тебя! О, родная, зачѣмъ ты умолила Господа! Для чего я не сложилъ на чужой сторонѣ своей злосчастной головы! Теперь я былъ бы съ тобою!

Бѣдный Владиміръ залился слезами... Въ эту минуту онъ думалъ только о своемъ вѣчномъ позорѣ, о безчестномъ имени, которое передастъ ему отецъ, умирая подъ рукою палача, какъ сообщникъ и товарищъ Рощина. Вдругъ мысль о томъ, что черезъ нѣсколько часовъ шайка разбойниковъ будетъ пировать въ домѣ Ильменева, мелкнула въ головѣ его: онъ вспомнилъ въ то же время угрозы Рощина: если этотъ злодѣй спасется, то гибель отца его неизбѣжна; если онъ или одинъ изъ разбойниковъ его будетъ захваченъ живымъ, то правительство узнаетъ все, и тогда—что ожидаетъ Владиміра? Презрѣнье товарищей, вѣчный срамъ и позоръ...

— Боже мой, Боже мой, вразуми меня!—прошепталъ Владиміръ.

— Володя, Володя, гдѣ ты?—раздался въ близкомъ разстояніи голосъ Зарубкина.

Владиміръ вздрогнулъ. Этотъ голосъ возвратилъ ему всю твердость: отецъ ищетъ его, чтобы исполнить свой договоръ съ разбойникомъ, чтобъ сдѣлать и его участникомъ своего гнуснаго заговора.

— Нѣтъ, нѣтъ, лучше смерть, чѣмъ вѣчный позоръ!—вскричалъ Владиміръ, пустившись бѣгомъ по тропинкѣ, которая вела въ село, гдѣ стояли его драгуны.

Въ нѣсколько минутъ онъ достигъ противоположной опушки лѣса: тропинка оканчивалась высокимъ плетнемъ. Владиміръ перелѣзъ черезъ него и очутился на старомъ, давно покинутомъ гумнѣ, которое соединялось съ обширными деревенскими огородами. Онъ не успѣлъ еще сдѣлать двадцати шаговъ, какъ вдругъ оступился и полетѣлъ стремглавъ въ глубокую овинную яму; разбросанные на днѣ ея снопы полусгнившей соломы спасли его отъ ушиба, но прошло нѣсколько минутъ прежде, чѣмъ Владиміръ очнулся отъ сильнаго потрясенія. Онъ всталъ. Слабый ночной свѣтъ, который проникалъ сверху, помогъ ему разсмотрѣть, что не было даже и остатковъ лѣстницы, по которой спускались нѣкогда въ яму. Владиміръ пытался сначала выбраться на поверхность земли,

цѣпляясь за стѣну, но всѣ усилія его остались тщетными: земля осыпалась подъ его руками, ноги скользили, онъ обрывался и падалъ снова на дно ямы. Болѣе двухъ часовъ прошло въ этихъ напрасныхъ попыткахъ; онъ не смѣлъ просить помощи: за плетнемъ, шагахъ въ пятидесяти отъ него, раздавались голоса, между которыми Владиміръ ясно различалъ голосъ своего отца. Наконецъ, мало по малу голоса стали отдаляться, затихли, опять настала глубокая тишина... Вдругъ раздался вдали и прогудѣлъ первый ударъ колокола. Вся кровь застыла въ жилахъ Владиміра.

— Милосердый Боже! —вскричалъ онъ.—Это условный знакъ; еще полчаса, и все погибло...

Вотъ, въ селѣ, отъ котораго отдѣляли Владиміра одни огороды, начался также благовѣстъ; народъ зашевелился по улицамъ, и надежда вспыхнула снова въ душѣ несчастнаго юноши; онъ началъ кричать, громкій отголосокъ повторялъ его отчаянные вопли, но никто не спѣшилъ къ нему на помощь. Измученный безпрерывными усиліями и въ совершенномъ изнеможеніи, Владиміръ упалъ на сырую землю. Какъ живой мертвецъ въ открытой могилѣ, лежалъ онъ неподвижно и смотрѣлъ съ мрачнымъ отчаяніемъ на безоблачныя небеса. Онъ не молился; нѣтъ, въ головѣ его не было никакихъ мыслей; ни одинъ вздохъ не вылеталъ сквозь стиснутые зубы, даже сердце, казалось, застыло и перестало биться въ одервенѣвшей груди его... Но что это?.. Неужели утро?.. Звѣзды блѣднѣютъ; вотъ побѣлѣли небеса; вотъ они становятся все свѣтлѣе и свѣтлѣе; вотъ на нихъ ложится какой-то кровавый отблескъ... Такъ точно, это зарево пожара... Все кончено. Въ домѣ Ильменевыхъ раздаются буйные крики убійцъ. Несчастный старикъ и жена его подъ ножами разбойниковъ; а дочь... дочь!.. Быть-можетъ, въ эту минуту она лежитъ безъ чувствъ въ позорныхъ объятіяхъ злодѣя; быть-можетъ, ея чистое, дѣвственное чело, заклейменное поцѣлуемъ гнуснаго разбойника... О, какой адъ закипѣлъ въ душѣ Владиміра! Онъ вскочилъ какъ безумный, впился руками въ рыхлыя стѣны своей темницы, хватался зубами за осыпающуюся землю; окровавленные его пальцы вонзались въ нее, какъ когти дикаго звѣря. Напрасныя усилія! Цѣлыя глыбы влажной земли отрывались, падали на дно ямы, и утесистыя стѣны становились еще круче и неприступнѣе.

— Помогите, Бога ради, помогите!—закричалъ, наконецъ, Владиміръ, выбившись совершенно изъ силъ.

— Кто тутъ оретъ?—раздался вверху голосъ на самомъ краю ямы.

— Это ты, Жегулинъ?—спросилъ Владиміръ, узнавъ по голосу своего ротнаго трубача.

— Ахъ, ты, Господи *Боже мой*... Ваше *благородіе! Какъ это васъ угораздило?*

— Скорѣй, скорѣй, вытащи меня изъ этой ямы!

— Сейчасъ, ваше благородіе. Разомъ сбѣгаю за лѣстницей.

— Нѣтъ, нѣтъ; прежде бѣги на ротный дворъ; труби тревогу: сѣдлать лошадей, карабины зарядить, всѣ на коня!

— Слушаю, ваше благородіе.

— Постой!.. Ты видишь пожаръ?

— Какъ не видѣть, ваше благородіе! Такъ и пышетъ. Должно быть, Зыково горитъ.

— Такъ, нѣтъ сомнѣнія!.. Скорѣй, Бога ради, скорѣй!

Жегулинъ побѣжалъ. Черезъ четверть часа вся окрестность дрогнула, и земля застонала отъ конскаго топота. Владиміръ впереди своихъ драгуновъ промчался по дорогѣ въ село Зыково.

Теперь намъ должно вернуться нѣсколько назадъ и посмотрѣть, что дѣлается въ помѣстьѣ Сергѣя Филипповича Ильменева.

Было уже близко полуночи. Тихо струилась широкая Ока; луговая сторона ея, покрытая разливомъ, представляла видъ необозримаго озера, посреди котораго чернѣлись мѣстами не совсѣмъ потопленные кусты и до половины залитыя водою деревья. Ничьи шаги не раздавались ни на барскомъ дворѣ, ни на широкой улицѣ села. Деревня—не городъ, въ ней полуночный часъ—часъ общаго отдохновенія. Но отчего же въ это позднее время мелькали по всѣмъ избамъ огоньки, въ господскомъ домѣ освѣщены были всѣ окна? Чего ожидали эти красныя дѣвушки и разряженныя въ пухъ молодицы? Зачѣмъ выбѣгали онѣ безпрестанно за ворота и посматривали съ такимъ нетерпѣніемъ на колокольню своей приходской церкви? Для чего во всемъ селѣ Зыковѣ, отъ старика до малаго ребенка, никто не ложился спать? Для чего?.. Всякій, кто живалъ въ деревнѣ, безъ труда будетъ отвѣчать на этотъ вопросъ; послѣдній часъ великой субботы былъ уже на исходѣ; еще нѣсколько минутъ и, вмѣстѣ съ первымъ ударомъ колокола, все закипитъ жизнію, всѣ дома опустѣютъ, и Божій храмъ наполнится народомъ.

На завалинѣ одной изъ крайнихъ избъ села Зыкова сидѣлъ худощавый старикъ, лѣтъ осьмидесяти; онъ также поглядывалъ съ нетерпѣніемъ на колокольню, которая подымалась изъ-за соломенныхъ кровель на противоположномъ концѣ улицы.

— Ну, видно, кумъ Герасимъ прилегъ соснуть,— промолвилъ, наконецъ, старикъ, покачавъ головою: — вотъ ужъ первые пѣтухи пропѣли, такъ чего жъ онъ дожидается? Хи-хи-хи! Нѣтъ, старый нашъ дьячокъ Парѳенъ не въ него былъ; ужъ тотъ бы не задремалъ передъ заутреней!

— Дѣдушка, а дѣдушка, ты здѣсь?—спросилъ молодой парень, выглянувъ изъ полурастворенныхъ воротъ.

— Что ты, Ванюша? Подь сюда.

— А что, дѣдушка, — сказалъ Иванъ, подходя къ старику,—ты пойдешь, аль нѣтъ къ заутрени?

— Вѣстимо, пойду! Вѣдь, Богъ вѣсть, доживу ли еще до другого Свѣтлаго праздника.

— Да коли ты пойдешь, дѣдушка, такъ дома-то никого не останется.

— И, Ванюша, да чего намъ беречь-то? Что у насъ, аль казна какая?

— Казна, не казна, дѣдушка, а все-таки лошадка, скотинка, да то, да се. Слава Тебѣ, Господи, есть и отъ насъ чѣмъ ворамъ поживиться!

— Да что тебѣ, Иванъ, все воры мерещутся? Вчера, повечеру, ты баилъ, что на Окѣ какія-то лодки съ народомъ разъѣзжаютъ.

— Да, дѣдушка! Я самъ видѣлъ двѣ косныя лодки и, кажись, не съ бурлаками, а теперь слышишь, какъ жучка-то на огородѣ лаетъ?

— Такъ что-жъ?

— Какъ что? Ужъ я унималъ, унималъ ее, и хворостиной раза два огрѣлъ по боку, такъ нѣтъ,—вотъ такъ и рвется! Видно, что-нибудь, да есть.

— И, парень, чему быть!

— То-то, дѣдушка, ужъ не забрался ли къ намъ кто-нибудь на зады?

— На зады? Зачѣмъ? Вязанку—другую соломки снести?.. Такъ что-жъ? Богъ съ нимъ! Онъ не разбогатѣетъ, а мы не обѣднѣемъ... Чу!

— На колокольнѣ раздался первый ударъ колокола.

— Слава тебѣ, Господи,—сказалъ старикъ, перекрестясь,—вотъ ударили и къ заутрени. Ухъ, батюшки, такъ сердце и запрыгало отъ радости... Да что-жъ онъ?.. Иль опять заснулъ? Хорошъ звонарь, ударитъ, да домой сходитъ. Ну, такъ ли надо благовѣстить въ Христовъ день?.. Эхъ, кумъ, кумъ, поучился бы ты у покойника Парѳена! Бывало, тотъ пріударитъ, такъ что твой набатъ! А этотъ... Эка мямля, подумаешь!.. Ну. затянулъ!

— Смотри-ка, дѣдушка, никакъ, ужъ съ барскаго двора народъ идетъ?

— Зашевелились! Вотъ и шабры наши вышли за ворота... Ну, что, Ваня, стоишь? Какъ всѣ православные сберутся въ церковь, такъ не продерешься. Ступай, посылай жену.

— Постой-ка, постой: слышишь, какъ жучка опять залаяла? Эй, дѣдушка останься дома!

— Эхъ, полно! Наладилъ одно, да одно: жучка лаетъ! Эко диво! Ну, заяцъ пробѣжалъ по огороду, такъ вотъ она и надсѣдается.

— Власть твоя, дѣдушка, а у меня сердце что-то недоброе чуетъ. Ну, да воля твоя Господня! Вотъ и Груня идетъ. Пойдемъ, родимый.

Старикъ всталъ съ завалины и, опираясь на свой посохъ, поплелся вмѣстѣ съ внучатами къ заутрени.

Не прошло еще и десяти минутъ отъ перваго удара колокола, а въ церкви уже невозможно было пошевелиться отъ тѣсноты; вновь приходящіе становились на паперти: вскорѣ и на самомъ погостѣ началъ толпиться народъ. Всѣ ожидали съ нетерпѣніемъ своихъ господъ; вмѣстѣ съ ихъ приходомъ должна была начаться заутреня. Вотъ пробѣжалъ тихій шопотъ по всей церкви; народъ заколыхался и, несмотря на тѣсноту, отъ самыхъ дверей до амвона, посреди густой толпы, образовалось пустое мѣсто.

— Посторонись, посторонись! — заговорили со всѣхъ сторонъ.— Господа идутъ.

И Сергѣй Филипповичъ Ильменевъ съ женою и дочерью вошли въ церковь.

— Родная-то наша какъ похудѣла,—шептали между собой крестьянскія бабы, посматривая съ горемъ на Машеньку: — вовсе схизнула! Ахъ, ты Господи, Боже мой, кровинки въ лицѣ не осталось!

Семейство Ильменевыхъ, пройдя всю церковь, помѣстилось на лѣвомъ клиросѣ, и служба началась. Вотъ стали подымать хоругви и мѣстные образа; народъ вслѣдъ за ними потянулся тихимъ ходомъ изъ церкви; но лишь только священникъ, окруженный своимъ причитомъ, и крестьяне съ образами вышли на паперть, послышался сначала невнятный говоръ, — и вдругъ сотни голосовъ слились въ одно общее восклицаніе ужаса.

— Пожаръ, пожаръ!—раздалось на паперти.

— Горимъ! Батюшки, горимъ!—закричали въ церкви.

Народъ заволновался, всѣ крестьяне хлынули толпою къ дверямъ и, давя другъ друга, высыпали на погостъ. Ильменевы вышли изъ церкви послѣдніе. На дворѣ было свѣтло, какъ днемъ. Нѣсколько избъ пылало на противоположномъ концѣ улицѣ. Вдругъ пламя показалось посреди села, а черезъ минуту вспыхнулъ огонь противъ самой церкви. Быстро, какъ огненная рѣка, разлился пожаръ отъ одного конца селенія до другого, и черныя тучи дыма улеглись надъ пылающими кровлями домовъ.

Если вамъ не удавалось никогда видѣть пожара въ деревнѣ, то, конечно, вы имѣете только одно слабое понятіе объ этомъ ужасномъ бѣдствіи. Въ городѣ такъ близка всякая помощь; тамъ есть полиція, которая смотритъ за порядкомъ и сберегаетъ имущества обывателей, въ то время, какъ хорошо устроенная пожарная команда работаетъ дружно, безъ замѣшательства, имѣя въ рукахъ своихъ всѣ средства, чтобы дѣйствовать съ успѣхомъ, но въ деревнѣ, особливо лѣтъ сорокъ тому назадъ, когда еще начальство не обращало вниманія на то, чтобы сельскіе жители строились просторнѣе, пожаръ являлъ самую ужасную картину разрушенія, гибели и безпорядка. Выстроенныя безъ всякихъ промежутковъ сотни и полторы избъ и клѣтушекъ, составлявшихъ село Зыково, казались въ эту минуту однимъ обширнымъ костромъ. Пыла-

ющіе отрывки соломенныхъ кровель летали и крутились по воздуху; крестьяне, какъ безумные, бросались въ огонь, спасали дѣтей, вытаскивали свое имущество, выгоняли лошадей на улицу; никто не слушалъ другъ друга; каждый думалъ только о себѣ. Крикъ и плачъ ребятишекъ, вопли отчаянныхъ матерей, трескъ отъ разрушающихся строеній, все заглушало голосъ Ильменева, который, съ хладнокровіемъ стараго солдата, хотѣлъ было сначала распоряжаться и отдавать приказанія, но, видя, что никто его не слушаетъ, онъ велѣлъ всѣмъ дворовымъ остаться въ деревнѣ и помогать крестьянамъ тушить огонь, а самъ отправился съ женою и дочерью домой.

— Не бойся,—говорилъ онъ Машенькѣ, которая дрожала отъ страха,—до насъ огонь не доберется; отъ нашей усадьбы до деревни съ полверсты, да и вѣтеръ не въ ту сторону.

— Господи, Господи,—сказала съ ужасомъ бѣдная Варвара Дмитріевна, когда, пробираясь задами, она увидѣла, что почти все селеніе охвачено огнемъ,—за что Ты насъ наказуешь? Чѣмъ мы провинились передъ Тобою? Вотъ, грѣхъ какой!.. И въ самый Свѣтлый праздникъ!

— И загорѣлось въ трехъ мѣстахъ разомъ!—шепталъ Сергѣй Филиповичъ, покачивая головою.—Ну, это не даромъ!.. Я провожу васъ до дому, а самъ пойду опять на пожаръ! Тутъ что-нибудь да есть. Ужъ не по насердкалъ ли кто-нибудь?.. Ужъ не сосѣдъ ли нашъ Кочерышкинъ, съ которымъ мы въ тяжбѣ?.. Чего добраго,—отъ этого негодяя все станется. Что это?—продолжалъ Ильменевъ, взглянувъ на ярко освѣщенныя окна своего дома, до котораго оставалось ужъ не болѣе двухсотъ шаговъ.—Иль мнѣ мерешится!.. Да у насъ въ домѣ суетятся люди!.. Видишь, жена... какъ-будто бы таскаютъ что-то... Ну, такъ и есть! Дурачье, я велѣлъ имъ всѣмъ остаться на пожарѣ; такъ нѣтъ, прибѣжали, какъ прибѣжали! И, вѣрно, выносятся!

— Охъ, батюшка Сергѣй Филиповичъ, право не худо, что они выбираются! Ну, если вѣтеръ повернетъ въ нашу сторону?

— Такъ успѣли бы и тогда... Скоты!.. Пройдемте вотъ здѣсь, садомъ; тутъ будетъ ближе... Да ступайте скорѣе: вѣдь, они, пожалуй, съ дуру-то весь домъ поставятъ вверхъ дномъ!

Сергѣй Филиповичъ отворилъ калитку, и лишь только онъ вошелъ въ садъ, какъ вдругъ тяжкій стонъ раздался у самыхъ ногъ его.

— Что это такое?—вскричалъ Ильменевъ, отскочивъ съ ужасомъ назадъ.

Передъ нимъ лежалъ человѣкъ, весь въ крови, съ разрубленною головою.

— Вы ли это, батюшка баринъ?—прошепталъ умирающій.

— Ахъ, Боже мой, садовникъ Кудимычъ! Что съ тобой *сдѣлалось?*

— Разбойники!

— Врешь, — раздался подлѣ грубый голосъ:—не разбойники, а удалая вольница рязанская! Милости просимъ, хозяинъ; принимай дорогихъ гостей.

И прежде, чѣмъ Ильменевъ успѣлъ очнуться, его окружили, схватили вмѣстѣ съ женою и дочерью, и, несмотря на отчаянное сопротивленіе, потащили по дорожкѣ, ведущей къ дому.

Если вамъ случалось когда-нибудь, гуляя въ праздничный день за городомъ, войти поневолѣ въ питейный домъ или какую-нибудь харчевню, чтобы укрыться отъ внезапной грозы, то вы, вѣрно, видали, какъ пируетъ и веселится низшій классъ нашего общества. Безъ всякаго сомнѣнія, эта буйная, неистовая радость, эти безумныя восклицанія пьяной черни, это скотское и срамное веселіе возбуждало въ высочайшей степени ваше отвращеніе, и вы, не смотря на проливной дождь, спѣшили выйти опять на воздухъ, чтобы не задохнуться въ заразительной атмосферѣ разврата, чтобы не видѣть гнуснаго порока во всей безобразной наготѣ его. Теперь представьте себѣ сборище людей, въ сравненіи съ которымъ эту бесѣду налитой виномъ сволочи можно было бы назвать почти хорошимъ обществомъ, и тогда вы будете имѣть понятіе о томъ, что происходило въ домѣ Сергѣя Филипповича Ильменева въ то время, когда онъ со всей своей дворней былъ на пожарѣ.

Въ обширной столовой его барскихъ хоромъ пировали человѣкъ тридцать разбойниковъ; одни, въ нарядныхъ плисовыхъ полукафтаньяхъ, забрызганныхъ кровью, запачканныхъ грязью; другіе въ лохмотьяхъ, въ сѣрыхъ зипунахъ, въ красныхъ рубашкахъ, съ засученными рукавами; у одного за поясомъ заткнуты были пистолеты, у другого торчалъ широкій ножъ; по угламъ стояли длинныя винтовки и рогатины, а посрединѣ комнаты бочка вина, съ выбитымъ дномъ. Кругомъ нея валялись стеклянныя бутыли, и наливки разныхъ цвѣтовъ стояли лужами на полу. У самыхъ дверей лежалъ зарѣзанный старикъ, дворецкій Ильменева, а подлѣ внукъ его, грудной ребенокъ, съ размозженною головою, былъ брошенъ на кучу разбитыхъ бутылокъ. По всей комнатѣ валялись узлы съ платьемъ, серебряная посуда, ларцы и окованные желѣзомъ сундуки. На одномъ изъ нихъ сидѣлъ человѣкъ, лѣтъ тридцати, въ зеленой курткѣ, небольшого роста, плечистый, съ отвратительною, красною рожей и обритымъ лбомъ. Это былъ извѣстный есаулъ Рощина, бѣглый солдатъ, по прозванью Филинъ, самый кровожадный звѣрь изъ всей этой стаи голодныхъ волковъ.

— Эй ты, Ежъ, — закричалъ онъ сиповатымъ голосомъ одному изъ разбойниковъ, — подай-ка мнѣ еще стаканчикъ винца: что-то на сердцѣ не весело. Да куда дѣвался атаманъ?

— Воръ, въ томъ покоѣ; все возится око-

ло желѣзнаго сундучка, — отвѣчалъ разбойникъ, подавая есаулу серебряную чару съ виномъ.

— Да что онъ ему, словно кладъ, не дается?

— Ну, вотъ поди ты! Вишь, такъ прикованъ къ полу, что и ломъ не беретъ.

— Такъ половицу вонъ!

— Пытались отодрать, да нѣтъ, не подается; видно, ерши въ балку пропущены.

Два разбойника вошли въ столовую, волоча за собой огромный дубовый сундукъ.

— Ну, что-жъ вы стали?—закричалъ Филинъ.—Тащите проворнѣе.

— Да вотъ этотъ мѣшаетъ, — отвѣчалъ одинъ изъ разбойниковъ, указывая на убитаго старика:—вишь, растянулся поперекъ дороги.

— Постойте, ребята, я подсоблю.

Есаулъ всталъ, оттолкнулъ ногою убитаго и помогъ имъ втащить сундукъ.

— Ну, что, — продолжалъ онъ, — совсѣмъ очистили барскую кладовую?

— Да, почитай, совсѣмъ; такъ кой-какой хламъ остался.

— Такъ вы бы огоньку подложили; по мнѣ, ужъ грабить, такъ грабить; чего самъ не захватилъ, такъ то огнемъ гори.

— Оно бы, кажись, и такъ; да, развѣ, ты не слышалъ приказа атамана?

— Какого приказа?

— Да чтобъ не жечь барскихъ хоромъ.

— А почему такъ?

— Про то онъ знаетъ.

— Онъ знаетъ, а я не знаю, да и знать не хочу.

— Ой-ли? Эй, Филинъ, смотри! Ты, что-то, крупно поговариваешь! Услышитъ Кузьма...

— Такъ что-жъ? Что я холопъ что ли его? Велика фигура атаманъ! И кто его атаманомъ-то поставилъ? Кого онъ спрашивался? Дери его горой! Да чѣмъ мы хуже его?

— Ну, полно, не шуми, осиновое яблоко, не мѣшай грибамъ цвѣсти,—проревѣлъ одинъ мужичина, аршинъ трехъ росту, съ огромною курчавою головою.

— А тебя, Каланча, кто спрашиваетъ?— сказалъ есаулъ, взглянувъ исподлобья на разбойника.—Хочу шумѣть, такъ и шумлю!

— Смотри, чтобъ у тебя въ головѣ не зашумѣло!—продолжалъ великанъ, зачерпнувъ ковшикъ вина изъ бочки.

— Что, что!—закричалъ, подойдя къ нему, Филинъ. — А крѣпко ли твоя-то башка на плечахъ держится?

— Да чтожъ ты въ самомъ дѣлѣ хорохоришься? — сказалъ Каланча, пріостановясь пить.—Много ли тебя въ землѣ, а на землѣ-то немного. Вишь, богатырь какой! Завалился за маковое зерно да думаетъ, что ему и чертъ не братъ.

— Слушай, ты, долговязный, — заревѣлъ есаулъ,—да какъ ты смѣешь?..

— Полно же, полно, не суйся мнѣ подъ ноги! Неравно наступлю, такъ и поминай, какъ звали.

— Ахъ ты, жердь проклятая!—вскричалъ Филинъ, стараясь схватить за воротъ колоссальнаго разбойника.

— Да полно тянуться-то, не достанешь!— сказалъ Каланча, оттолкнувъ Филина. — Эй, братъ, отстань; дамъ разъ, такъ другого не попросишь!

— Тише, тише, ребята, — закричали разбойники.—Атаманъ идетъ.

Рощинъ вошелъ въ столовую.

— Что вы тутъ развозились?—сказалъ онъ, взглянувъ сердито на Каланчу и есаула. — Чѣмъ бы торопиться все къ рукамъ прибрать, они схватились драться, дурачье!.. Филинъ, возьми съ собой человѣкъ десятокъ да перетаскай все на лодки! Ну, что стоишь? Поворачивайся!

Есаулъ, ворча сквозь зубы, какъ цѣпная собака принялся съ товарищами за работу.

— Носите все садомъ, — продолжалъ Рощинъ,—прямо внизъ къ Окѣ; да проворнѣй: вѣдь намъ не сутки здѣсь гостить!.. А это что?—прибавилъ онъ, указывая на убитыхъ.— Старикъ и ребенокъ?.. Ахъ вы мясники, мясники! Что они съ вами въ драку что ли лѣзли?.. Кто ихъ зарѣзалъ?

— Да старика-то я хватилъ, — сказалъ, почесывая въ головѣ, Каланча. — Онъ чуть было не улизнулъ на село. А парнишку пришибъ есаулъ: визжать больно сталъ.

— Эка бѣшеная собака!.. Кровопійца... Ну да теперь некогда объ этомъ толковать. Эй, ты, Цапля!..Поди-ка сюда. Ты, бывало, мастеръ безъ ключа отпирать чужіе замки; не ухитришься ли какъ ни есть отпереть желѣзный сундучекъ, вонъ въ томъ покоѣ? Ужъ мы около него попотѣли; хоть тресни, не отдерешь отъ полу... Иль нѣтъ, постой-ка на минутку, авось и безъ тебя дѣло обойдется.

Четверо разбойниковъ ввели въ комнату связаннаго Ильменева и почти внесли на рукахъ жену его и дочь, которыя отъ страху едва могли держаться на ногахъ.

— Милости просимъ, ваше высокородіе!— сказалъ Рощинъ, поклонясь вѣжливо Ильменеву.—Я сдержалъ мое слово и пріѣхалъ къ вамъ разговѣться.

— Возможно ли?—вскричалъ Ильменевъ.— Алексѣй Артамоновичъ!

— Да, сударь, и Алексѣемъ бывалъ. Что дѣлать, Сергѣй Филипповичъ; не погнѣвайтесь: на томъ стоимъ!

— Такъ поэтому ты...

— Кузьма Рощинъ, котораго вы изволили величать Кузькою и хотѣли принять, угостить и въ банѣ выпарить.

— Ну, боишься ли ты Бога?—воскликнула Варвара Дмитріевна, всплеснувъ руками. — Есть ли въ тебѣ совѣсть?..За нашу хлѣбъ-соль...

— Молчи, жена!—сказалъ Ильменевъ. — Захотѣла ты совѣсти въ разбойникѣ!

— И у насъ есть, баринъ, своя совѣсть,— прервалъ Рощинъ:—у другого бы помѣщика не осталось ни кола, ни двора, а твои хоромы цѣлехоньки; отъ другого бы хозяина мы огонькомъ допытались, гдѣ лежатъ его денежки, а тебя я съ поклономъ прошу: «Пожалуй, батюшка Сергѣй Филипповичъ, ключъ отъ своего сундука!» Не пожалуешь, такъ Богъ съ тобой! И сами поищемъ. Только не погнѣвайся, матушка Варвара Дмитріевна, ежели мы тебя обшаримъ немножко; мнѣ помнится, что ключи-то у тебя въ карманѣ побрякивали.

— На, злодѣй, возьми!—проговорила Ильменева, подавая ему связку ключей.

— Покорнѣйше благодаримъ, матушка! Будьте спокойны, васъ никто ничѣмъ не обидитъ. Эй, вы, пострѣлы, шапки долой! Да у меня смотри, не лаяться при барыняхъ; дѣло дѣломъ, а почетъ почетомъ.

— Вдругъ въ близкомъ разстояніи отъ дома раздался выстрѣлъ.

— Что это? — вскричалъ Рощинъ. — Кто смѣетъ?.. Развѣ я не приказывалъ?.. Еще!.. Проклятые! Переполошатъ все село!.. Эй, Каланча, бѣги скорѣй, скажи этимъ дуракамъ...

— Гдѣ атаманъ?—загремѣли голоса въ передней, и нѣсколько разбойниковъ съ испуганными лицами вбѣжало въ столовую.

— Что вы?—сказалъ Рощинъ, идя къ нимъ навстрѣчу.

— Драгуны!..

— Возможно ли?.. Анаѳема Зарубкинъ! Это его дѣло... Гдѣ они?

— Близехонько; сейчасъ выѣхали изъ-за рощи.

— Много ли ихъ?

— Видимо-невидимо...

— Эй, ребята,—закричалъ громовымъ голосомъ Рощинъ,—живо! Забирай, что полегче, да садомъ на Оку! Филинъ, сбери сторожевыхъ и бѣги туда-же!.. Двери въ переднихъ сѣняхъ на запоръ! Вы всѣ заднимъ крыльцомъ на-утекъ, а я покамѣстъ побуду здѣсь... Одинъ челнокъ оставить у берега... Лодкамъ отчаливать, да внизъ по Окѣ... Ступай, ребята!.. А ты, Сергѣй Филипповичъ,— продолжалъ Рошинъ, запирая изнутри двери въ прихожую, — изволь стоять смирно. Вы также, барыни, смотрите, ни гугу, — какъ будто-бы никого въ покоѣ нѣтъ! А если кто-нибудь изъ васъ подастъ голосъ, такъ не прогнѣвайтесь,—прибавилъ онъ, вынимая изъ-за пояса пистолетъ.—Чу!.. Нахлынули.

На дворѣ послышался конскій топотъ.

— Измѣнникъ! — прошепталъ Рощинъ. — Іуда Предатель! Да погоди: не тебя, такъ сына!

Онъ подошелъ къ окну, изъ котораго виденъ былъ весь дворъ, открылъ форточку и взвелъ курокъ у своего пистолета.

— Спѣшились!.. Вотъ онъ... впереди своихъ драгунъ... Милости просимъ!.. Подходи, подходи, голубчикъ!.. *Вотъ такъ... Владиміръ Ивановичъ*,—закричалъ громкимъ голосомъ Рощинъ,—отнеси это своему батюшкѣ...

Вмѣстѣ съ выстрѣломъ Машенька вскрикнула и упала безъ чувствъ на полъ.

— Сюда, за мной!—загрѣмѣлъ на крыльцѣ голосъ Владиміра.

— Что за дьявольщина, — сказалъ Рощинъ,—неужели промахнулся?.. Ну, дѣлать нечего; авось разочтусь съ батюшкою... Чу!.. Ворвались въ сѣни... мѣшкать нечего.

— Ломайте дверь! — закричали голоса въ передней.

— Ты не уйдешь, злодѣй!—сказалъ Ильменевъ.

— Богъ милостивъ, Сергѣй Филипповичъ! А не уйду, такъ вотъ моя оборона,—прибавилъ Рощинъ, подбѣжавъ къ лежащей безъ чувствъ Машенькѣ.

Онъ схватилъ ее, взбросилъ какъ перышко на плечо и кинулся вонъ изъ комнаты.

— Дочь моя, дочь!—вскричала съ отчаяніемъ Варвара Дмитріевна.—Помогите, Бога ради, помогите!

Крѣпкая дубовая дверь затрещала подъ ударами ружейныхъ прикладовъ, и черезъ минуту Владиміръ съ драгунами ворвался въ столовую.

— Сергѣй Филипповичъ!—вскричалъ онъ, подбѣгая къ Ильменеву. — Вы живы?.. Гдѣ дочь ваша?

— Батюшка, спаси! — завопила Варвара Дмитріевна.

— Гдѣ она?.. Бога ради, говорите! Скорѣй, скорѣй!

— Ее унесъ разбойникъ Рощинъ.

— Куда?

— Батюшка, не знаю! Вѣрно, садомъ къ Окѣ.

— Спаси мою дочь, и она твоя! — вскричалъ Ильменевъ.

— За мной, ребята!

И прежде, чѣмъ драгуны успѣли выйти вслѣдъ за нимъ на заднее крыльцо, онъ бѣжалъ уже по саду.

Рощинъ, несмотря на свою ношу, былъ уже далеко. Въ нѣсколько минутъ онъ выбрался изъ сада и сосновой рощи; ему оставалось только спуститься съ горы къ небольшому заливу рѣки, гдѣ межъ потопленныхъ кустовъ причалены были лодки разбойниковъ. Вдругъ внизу, на Окѣ, загремѣли выстрѣлы.

— Неужели,—прошепталъ онъ,—ихъ успѣли отхватить? Да не можетъ статься! Они вѣрно отстрѣливаются, — промолвилъ онъ, начиная спускаться по крутой тропинкѣ.

Дорожка вилась между кустовъ, которые мѣшали ему видѣть ближній берегъ рѣки.

— Да что жъ они не выплываютъ на середину? — проговорилъ Рощинъ, поглядывая вдаль. — Дурачье, нашли время держаться берега.

Онъ продолжалъ идти, прислушиваясь къ ружейнымъ выстрѣламъ, до того мѣста, гдѣ

тропинка поворачивала круто въ сторону и огибала небольшой песчаный холмъ, который стоялъ почти отвѣсно надъ самою рѣкою. Рощинъ вбѣжалъ на него, и въ первый еще разъ безстрашное сердце разбойника дрогнуло отъ ужаса: налѣво подъ его ногами разстилался небольшой заливъ; три косныя лодки вытащены были на берегъ, и человѣкъ пятьдесятъ драгунъ встрѣчали изъ-за нихъ ружейными выстрѣлами прибѣгающихъ разбойниковъ; вся пристань была устлана ихъ трупами.

— Ну, плохо дѣло!—сказалъ Рощинъ, опуская наземь Машеньку, которая начинала приходить въ себя.

Онъ окинулъ быстрымъ взоромъ всю окрестность: направо, шагахъ въ пятидесяти отъ него, подлѣ рыбачьей хижины, понятой водою, причалена была лодка.

— Авось успѣю!—шепнулъ онъ.

— Владиміръ!—вскрикнула Машенька слабымъ голосомъ.

Быстро обнялъ разбойникъ одной рукой Машеньку, выхватилъ изъ-за пазухи широкій ножъ и занесъ его надъ грудью полумертвой дѣвушки, но Владиміръ былъ уже подлѣ; поднятая рука разбойника замерла въ его рукѣ, и ножъ выпалъ на землю. Рощинъ бросилъ Машеньку и отвелъ лѣвою рукою направленный на него пистолетъ; выстрѣлъ раздался; пуля свистнула мимо. Сильнымъ порывомъ разбойникъ освободилъ свою правую руку, обхватилъ обѣими Владиміра, прижалъ его къ груди, и смертельная борьба началась. Она была непродолжительна: отчаянное мужество, гибкость, необычайная мощь Владиміра,—ничто не устояло противъ колоссальной силы Рощина: онъ задушилъ его въ своихъ объятіяхъ, сшибъ съ ногъ, придавилъ колѣномъ къ землѣ и, поднимая свой ножъ, сказалъ вполголоса:

— Это тебѣ! А батюшкѣ честь впереди!

Съ воплемъ отчаянія кинулась Машенька на грудь Владиміра подъ самый ножъ разбойника; онъ остановился и устремилъ свои сверкающіе глаза на бѣдную дѣвушку.

— О, ради твоего послѣдняго часа, ради самого Господа!—произнесла умирающимъ голосомъ Машенька.

Въ неумолимыхъ взорахъ разбойника мелькнуло что-то похожее на жалость.

— Сюда, братцы, сюда!—загремѣли вблизи голоса, и человѣкъ десять драгуновъ выбѣжали изъ-за кустовъ.

— Молись за нее Богу!—сказалъ Рощинъ.

Онъ вскочилъ, отступилъ шага два назадъ и со всего размаха бросился въ рѣку.

— На берегъ, ребята, — вскричалъ вахмистръ, который бѣжалъ передъ драгунами,— и лишь только онъ вынырнетъ...

— Стойте!—сказалъ Владиміръ, подымаясь съ трудомъ на ноги.—Пусть онъ умираетъ своею смертью: мы не палачи.

— И то правда, ваше благородіе!—отвѣчалъ вахмистръ, войдя со своими товарищами на песчаный холмъ.—Рѣка въ разливѣ не переплыветъ.

— Вотъ онъ, вотъ онъ!—закричали драгуны.

Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ берега Рощинъ показался на поверхности воды; онъ плылъ съ неимовѣрною быстротою.

— Смотри, смотри, куда, пробирается!—сказалъ вахмистръ.—Вонъ тамъ, на водѣ, подлѣ той избенки, видите, причалена лодка?.. зорокъ, собака!

Рощинъ доплылъ до рыбачьей хижины, прыгнулъ въ лодку, въ полминуты выбрался на быстрину и помчался стрѣлою внизъ по теченію рѣки.

— Эхъ, ваше благородіе,—сказалъ одинъ драгунъ,—прозѣвали мы его.

— Молчи, дуракъ!—прервалъ вахмистръ!— Видно, ему такъ на роду написано; кому быть повѣшену, тотъ не утонетъ.

— Дочь моя, дочь моя! Она жива!—раздались позади голоса, и Машенька бросигась на шею къ Ильменеву.

— Теперь поцѣлуй жениха своего,—сказалъ Сергѣй Филипповичъ, подводя ее къ Владиміру.

— И да благословитъ васъ Господь! — прошептала Варвара Дмитріевна, обнимая ихъ обоихъ.

На другой день, около вечерень, Ивана Тимоѳеевича Зарубкина нашли зарѣзаннымъ въ лѣсу, въ двухъ шагахъ отъ его усадьбы. Вся шайка Рощина была истреблена, но онъ самъ пропалъ безъ вѣсти. Владиміръ женился на Машенькѣ, вышелъ въ отставку и вмѣстѣ съ Ильменевыми отправился на житье въ Москву. Прошло лѣтъ двадцать; имя удалого разбойника почти совсѣмъ изгладилось изъ памяти прибрежныхъ жителей Оки; одни зыковскіе крестьяне пугали еще Кузьмою Рощинымъ дѣтей своихъ и разсказывали имъ, какъ онъ выжегъ ихъ село, какъ разграбилъ барскій домъ, какъ молодой ихъ баринъ, Владиміръ Ивановичъ, нагрянулъ на его шайку со своими драгунами и перерубилъ всѣхъ до тла, кромѣ самого Рощина, который обернулся сѣрымъ волкомъ и, какъ слышно, убѣжалъ въ Брынскіе лѣса, гдѣ и теперь рыскаетъ по ночамъ и воетъ такъ, что кругомъ его верстъ за десять по всему сырому бору стонъ идетъ, земля дрожитъ и птица со страстей гнѣзда не вьетъ.

II.

Судъ Божій.

Тысяча семьсотъ семьдесятъ первый годъ памятенъ для московскихъ жителей,—онъ былъ одинъ изъ самыхъ тяжкихъ годовъ для нашей древней столицы; и теперь еще старики, разсказывая про былое, говорятъ: «Это случилось года два до московской чумы; это было въ самый чумной годъ». Выражаясь

такимъ образомъ, они увѣрены, что опредѣляютъ съ большою точностью время происшествія. До сихъ поръ московскіе старожилы вспоминаютъ съ ужасомъ объ этой «годинѣ бѣдствія», съ которой, по словамъ ихъ, едвали можетъ сравниться французскій погромъ 1812 г. Я почти согласенъ съ этимъ: въ 1812 году, смотря на необъятное пепелище Москвы, на тысячи разрушенныхъ и сгорѣвшихъ домовъ, вы могли думать, что тѣ, которые въ нихъ жили, зажгли ихъ собственною своею рукою, что они утратили часть своего достоянія, но спаслись сами, и, можетъ-быть, спасли симъ пожертвованіемъ славу, могущество и самобытность своей родины. Эта утѣшительная мысль, эта мысль, возвышающая душу, накидывала какой-то очаровательный покровъ на развалины Москвы; вы смотрѣли не съ горемъ, но съ благоговѣніемъ и гордостью на эти священныя груды камней, на эту обширную могилу враговъ Россіи. Пусть скажетъ тотъ, кто вскорѣ по изгнаніи французовъ былъ въ Москвѣ, не была ли эта мысль для него ангеломъ-утѣшителемъ даже и тогда, когда онъ сидѣлъ на развалинахъ собственнаго своего дома.

Въ 1771 году, Москва не горѣла, по улицамъ не дымились остовы домовъ: дома стояли попрежнему на своихъ мѣстахъ, но эти заколоченныя двери, забитыя досками окна, эти вывѣски смерти—красные кресты на воротахъ зачумленныхъ домовъ, которые, какъ два ряда огромныхъ гробовъ, тянулись по обѣимъ сторонамъ улицы—ни во сто ли разъ ужаснѣе всякаго пожара? Прибавьте къ тому почти совершенное безначаліе, безмолвіе могильное въ предмѣстіяхъ, неистовые крики бунтующей черни въ срединѣ города,—этой безумной толпы, которая, упившись кровію тѣхъ, кои заботились о ея же спасеніи, грабила, разбивала кабаки и устилала своими зараженными трупами опустѣлыя улицы Москвы. Представьте себѣ все это, и вы вѣрно согласитесь, что бѣдствіе 1771 года было гораздо тяжелѣе для московскихъ жителей, чѣмъ то, которое въ 1812 году сдѣлалось началомъ, а, можетъ быть и главною причиною спасенія всей Европы.

Восточная чума, которую простой народъ такъ выразительно называетъ *моромъ*, показалась въ Москвѣ еще въ 1770 году; она свирѣпствовала тогда въ Молдавіи и Валахіи, гдѣ въ то время расположены были наши войска. Частыя сообщенія московскихъ жителей съ дѣйствующею арміею, вѣроятно, были причиною появленія язвы сначала въ Малороссіи, а потомъ и въ самой Москвѣ. Мѣры, принятыя начальствомъ, казалось, прекратили ее совершенно, но въ слѣдующемъ, то-есть въ 1771 г., въ мартѣ мѣсяцѣ она открылась снова и усилилась до того, что въ сентябрѣ, число ежедневно умирающихъ доходило до тысячи человѣкъ. Всѣ старанія для прекращенія моровой язвы были безуспѣшны.

Чернь негодовала на учрежденіе карантинныхъ домовъ, запечатаніе бань, а болѣе всего на запрещеніе погребать умирающихъ при городскихъ церквахъ. Въ смутныя времена обманщики и плуты всегда пользуются легковѣріемъ народнымъ. Одинъ фабричный изъ суконнаго двора началъ разглашать, будто бы видѣлъ во снѣ, что это бѣдствіе постигло Москву за то, что никто не только не пѣлъ молебна, но даже и свѣчи не хотѣлъ поставить образу Божіей Матери, находящемуся у Варварскихъ воротъ. Несмотря на нелѣпость этой сказки, или, лучше сказать, потому именно, что въ ней все противорѣчило истинной вѣрѣ и здравому смыслу, безумная чернь кинулась толпою къ Варварскимъ воротамъ; начались безпрерывные молебны, здоровые и больные стекались со всѣхъ концовъ Москвы, заражали другъ друга и, разнося смерть по домамъ своимъ, гибли цѣлыми семействами.

Въ это-то бѣдственное время, рано по-утру, 15 сентября, тащилась шагомъ, по большой ярославской дорогѣ, телѣга, запряженная тройкою лошадей; въ ней сидѣлъ купецъ въ синемъ кафтанѣ тонкаго сукна, сверхъ котораго наброшена была дорогая лисья шуба. Съ перваго взгляда на его бѣлую какъ снѣгъ бороду и высокій лобъ, покрытый морщинами, можно было подумать, что онъ доживаетъ осьмой десятокъ, но жизнь, которая горѣла въ его глазахъ, по временамъ грустныхъ и задумчивыхъ, его прямой и видный станъ, не совсѣмъ поблекшія щеки, все доказывало, что не лѣта, а горе провело эти глубокія морщины на лицѣ и покрыло преждевременною сѣдиною его голову.

— Вотъ ужъ солнышко и пригрѣвать стало,—сказалъ проѣзжій, спуская съ плечъ свою шубу.—Эй, другъ сердечный,—продолжалъ онъ, обращаясь къ ямщику,—ты ужъ версты четыре ѣдешь шагомъ: не пора ли рысцой?

— Постой, хозяинъ,—отвѣчалъ ямщикъ:—выберемся на горку, такъ и рысью поѣдемъ. Да что ты больно торопишься? Теперь всѣ норовятъ изъ Москвы, а въ Москву охотниковъ мало.

— А ты давно ли былъ въ Москвѣ? — спросилъ купецъ.

— Да вотъ ономнясь, дней пятокъ назадъ, возилъ ростовскаго купца.

— Ну. что, полегче ли стало?

— Куда легче? Такой моръ, что и сказать нельзя! Такъ, слышь ты, варомъ и варитъ. Гробовъ не успѣваютъ дѣлать.

— Боже мой, Боже мой,—прошепталъ купецъ,—не накажи меня по грѣхамъ моимъ!

— Прогнѣвали мы Господа,—продолжалъ ямщикъ. — А слышалъ ли ты, хозяинъ: на Варварскихъ воротахъ явился образъ Боголюбской Божіей Матери?

— Нѣтъ, не слышалъ.

— Я въ прошлый разъ ходилъ самъ ему свѣчу поставить. Господи, Боже мой, народу-то, народу!.. Такъ другъ друга и давятъ! А, говорятъ, стали мереть пуще прежняго.

— И не диво, любезный,—вѣдь эта болѣзнь пристаетъ... Ну, теперь дорога пошла подъ горку, — продолжалъ купецъ:—пріударь-ка, голубчикъ.

— Погоди, хозяинъ, выберемся изъ этого села, такъ поѣдемъ: вишь, по улицѣ-то грязь какая, вовсе дороги нѣтъ.

Проѣзжіе въѣхали въ село Пушкино. Коегдѣ лаяли тощія собаки, и заморенные голодомъ телята бродили по улицѣ; но нигдѣ не слышно было голоса человѣческаго, ни одна труба ни дымилась; все было мертво и тихо, какъ въ глубокую полночь.

— Что это, любезный,—спросилъ купецъ,— иль еще по домамъ всѣ спятъ? Кажись солнышко высоко.

— Какое спятъ! — отвѣчалъ ямщикъ, покачивая головою.— Все Пушкино вымерло.

— Возможно ли? Неужели всѣ до одного?

— Всѣ отъ мала до велика; во всемъ селѣ живой души не осталось.

— Всѣ, до одного! — повторилъ купецъ вполголоса.—Быть-можетъ, въ этой избѣ дня три тому назадъ отецъ любовался своею семьею... мать няньчила дѣтей своихъ...

— А теперь,—прервалъ ямщикъ и воротъ-то притворить нѣкому; тутъ жилъ мой кумъ Ѳаддей, мужикъ богатый; а семья-то какая была: шестеро сыновей, молодецъ къ молодцу! Недѣли двѣ тому назадъ всѣ были здоровехоньки, а какъ въ послѣдній разъ я проѣзжалъ, такъ, гляжу, горемычный старикъ одинъ какъ перстъ сидитъ на завалинкѣ. Онъ что-то хотѣлъ мнѣ сказать въ догонку, да вдругъ покатился, застоналъ и тутъ же при мнѣ Богу душу отдалъ.

Миновавъ длинный порядокъ крестьянскихъ дворовъ, проѣзжіе стали приближаться къ деревенской околицѣ. Изъ крайней избы, высунувшись до половины въ окно, смотрѣла на улицу крестьянская баба, повязанная бѣлымъ платкомъ.

— Слава Тебѣ, Господи, — сказалъ проѣзжій:—насилу-то увидѣлъ живого человѣка!

Ямщикъ покачалъ головою.

— Да развѣ ты ослѣпъ? — продолжалъ купецъ.—Вонъ въ крайней-то избѣ.

— Виду, хозяинъ; да она ужъ пятыя сутки смотритъ изъ окна. Видно, голубушка, хотѣла передъ смертію взглянуть на свѣтъ Божій. Сердечная!.. И прибрать-то ее некому!

Купецъ невольно содрогнулся, когда они поровнялись съ избою, изъ которой выглядывала эта ужасная хозяйка. Онъ закрылъ руками глаза, чтобы не видѣть ея обезображеннаго и покрытаго черными пятнами лица, на которомъ замерло выраженіе нестерпимой муки и адскаго страданія.

Когда проѣзжіе выѣхали изъ села, ямщикъ тронулъ лошадей и поѣхалъ небольшой рысью.

— Да прибавь немного ходу,—сказалъ купецъ:—этакъ мы цѣлый день протащимся!

— Какъ еще ѣхать-то?—пробормоталъ извозчикъ, пошевеливая вожжами.—И куда спѣшишь, хозяинъ! Вѣдь не на радость ѣдешь.

— Почему ты это знаешь?—спросилъ торопливо купецъ.

— Да что теперь веселаго-то въ Москвѣ?

— У меня тамъ жена и дѣти.

— Вотъ что!.. Да постой-ка,—продолжалъ ямщикъ, оборачиваясь къ своему сѣдоку!— никакъ ты московскій гость, Ѳедотъ Абрамычъ Сибиряковъ?

— Да, это я.

— То-то, я слышу, голосъ знакомъ. Ахъ Ты, Господи, Боже мой, на силу призналъ!

— Да почему ты меня знаешь?

— Какъ не знать, Я прошлую осень возилъ тебя со всею семьей въ Ростовъ. Вѣдь у тебя свой домъ на Варваркѣ, въ приходѣ Максима Исповѣдника? Такія знатныя каменныя палаты.

— Постой, постой, — сказалъ купецъ:—а тебя не Андреемъ ли зовутъ?

— Андреемъ, батюшка. Я и сожительницу, и дѣтокъ твоихъ знаю. Ну, ужъ хозяюшка у тебя, что за добрый человѣкъ! Дай Богъ ей много лѣтъ здравствовать. И двѣ дочки, нечего сказать, такія ласковыя, пригожія... Вотъ сынокъ-то у тебя...

— У меня нѣтъ сына.

— А кто жъ это былъ съ вами? Такъ, парнишка рыженькій, неважный собою, Терешей зовутъ?

— Это мой пріемышъ.

— Да на что жъ тебѣ пріемышъ, коли у тебя свои родныя дочки есть?

— Я взялъ его тогда, когда еще у меня дѣтей не было.

— Вотъ что! Ну, не погнѣвайся, хозяинъ: навязалъ ты на себя лихую болѣсть. Вѣдь этотъ пострѣлъ Тереша вовсе озорникъ. Да какой злющій!.. Помнишь, въ Большихъ Мытищахъ мы остановились дать вздохнуть лошадямъ. Вы пошли чайку напиться, а я забѣжалъ на царское кружало винца хлебнуть. Что же ты думаешь этотъ рыжій безъ меня надѣлалъ? Возьми да и разнуздай потихоньку всѣхъ лошадей! Еще хорошо, что я спохватился, а то бѣда да и только: кони у меня лихіе— косточки бы живой не оставили. Вотъ я сталъ на него браниться, такъ онъ же, чертенокъ, лукнулъ въ меня камнемъ, да чуть-чуть глазъ не вышибъ.

— Да,—сказалъ со вздохомъ купецъ,— видно, по грѣхамъ наказалъ меня Господь.

— И, хозяинъ: да что онъ родной что ль тебѣ? На порогъ, да и въ шею!

— Нѣтъ, другъ сердечный; когда Господь Богъ отъ меня, окаяннаго грѣшника, не вовсе еще отступился, такъ мнѣ ли покинуть безъ призрѣнья этого круглаго сироту! При-

дется терпѣть отъ него горе; что дѣлать, любезный,—видно, на это была воля Божья и если бы только Господь помиловалъ жену мою и дѣтей...

— Небось, хозяинъ,—прервалъ ямщикъ,—авось все ладно будетъ; Богъ милостивъ... Ну, вотъ теперь дорога пойдетъ скатертью; потѣшить что ль твою милость?

— Пожалуйста, любезный! Поспѣешь въ Москву къ обѣднямъ, такъ я тебѣ рубль на водку дамъ.

— Спасибо, хозяинъ! Да крѣпка ли у тебя повозка-то?—сказалъ ямщикъ, подбирая вожжи.—Эй, вы, други! Смотри, Ѳедотъ Абрамычъ, держись!—продолжалъ онъ, вытаскивая изъ-за пояса свой ременный кнутъ.—Ну, что стали!.. Ударю! Эй, ты, сѣрко, замялся!.. Али ножки болятъ?

Удалой ямщикъ свистнулъ, гаркнулъ, и телѣга вихремъ помчалась по широкой дорогѣ. Тарасовка, Большія Мытыщи, Ростокино, село Алексѣевское со своимъ царскимъ домомъ и зеркальными прудами замелькали мимо проѣзжихъ, и благовѣстъ еще не начинался въ городѣ, когда ямщикъ, осадивъ съ трудомъ свою лихую тройку, остановился близъ креста у Троицкой заставы. Къ нимъ подошелъ, какъ будто нехотя, старый инвалидъ, и узнавъ, что купецъ ѣдетъ изъ «благополучнаго» города Ярославля, безъ дальнихъ разспросовъ отворилъ рогатку.

— Ну, счастливъ ты, хозяинъ!—сказалъ ямщикъ, тронувъ лошадей.—Меня въ прошлый разъ отъ самыхъ полуденъ продержали за рогаткою почитай вплоть до вечеренъ; разспросовъ-то сколько было!..

— А вотъ обозъ, что передъ нами идетъ,—сказалъ купецъ,—его вовсе не останавливали.

— Да, да,—подхватилъ ямщикъ.—Что за притча такая?

— Видно, любезный, и караулить-то ужъ некому нашу матушку Москву.

— Что ты, хозяинъ? Мало ли здѣсь всякихъ командъ! Однихъ выборныхъ, да десятскихъ тьма-тьмущая. Нѣтъ, знать, въ Москвѣ-то полегче стало.

— Дай то Господи!—произнесъ съ глубокимъ вздохомъ купецъ.

Обозъ, который ѣхалъ передъ проѣзжими, вдругъ сталъ торопливо сворачивать въ сторону, и впереди раздался отвратительный, сиповатый голосъ:

— Сворачивай проворнѣ, господа ѣдутъ.

Въ одну минуту вся середина улицы опустѣла, и купецъ увидѣлъ передъ собою такой страшный поѣздъ, что сердце его оледенѣло отъ ужаса. Къ заставѣ тянулся длиный рядъ роспусковъ, нагруженныхъ гробами; нѣкоторые изъ нихъ были такъ плохо сколочены, что, казалось, при каждомъ потрясеніи готовы были развалиться; иные были даже вовсе безъ крышъ, и безобразные, едва прикрытые цыновками трупы выглядывали изъ нихъ на проходящихъ. Живые люди, которые окружали эту похоронную процессію, показались проѣзжему еще ужаснѣе самихъ мертвецовъ, не потому, что они были одѣты какими-то пугалами, въ вощаные балахоны и колпаки, но ихъ пьяныя, развратныя физіономіи, ихъ звѣрскія лица, ихъ безумный хохотъ при видѣ проѣзжихъ, которые торопились сворачивать съ дороги,—все придавало имъ видъ настоящихъ демоновъ. Нѣсколько поодоль шли гарнизонные солдаты съ ружьями и ѣхалъ полицейскій чиновникъ верхомъ.

— О, Господи,—сказалъ купецъ,—что это за люди!.. Въ нихъ нѣтъ и образа человѣческаго.

— Развѣ не видишь, хозяинъ, что они въ кандалахъ? — прервалъ ямщихъ.—Это разбойники.

— Разбойники?—повторилъ робкимъ голосомъ купецъ.

— Ну, да. Сначала вывозили покойниковъ за городъ казенные погонщики, да больно стали мереть, такъ теперь наряжаютъ изъ острога колодниковъ.

— Эй, ты, хозяинъ,—закричалъ одинъ каторжный, — почти кубышку-то, дай, что-нибудь!.. Нечѣмъ помянуть покойниковъ.

— Да полно, не скупись!—промолвилъ другой.—Вѣдь завтра, можетъ статься, и тебя туда же потащимъ.

Купецъ бросилъ имъ горсть мелкихъ денегъ; всѣ разбойники, какъ голодныя собаки, кинулись подбирать мѣдные гроши; одинъ только колодникъ, аршинъ трехъ росту, не подражалъ ихъ примѣру. Онъ стоялъ неподвижно на своемъ мѣстѣ пристально смотрѣлъ на купца.

— Ну, что ты, Каланча, глаза-то выпучилъ!—закричалъ одинъ изъ его товарищей.—Иль захотѣлъ плети отвѣдать? Ступай!

— Проѣзжай скорѣе, любезный,—шепнулъ купецъ: — на этихъ людей и глядѣть-то страшно!

— Поживешь здѣсь денька два, такъ привыкнешь, — пробормоталъ ямщикъ, погоняя лошадей.

Они проѣхали отъ заставы до самой Сухаревой башни, не встрѣтивъ ни одного прохожаго. Мертвая тишина, изрѣдка прерываемая глухими воплями, которые проникали сквозь стѣны домовъ; кой-гдѣ на церковныхъ погостахъ окостенѣлые трупы нищихъ; заколоченныя двери, окна съ выбитыми стеклами и вездѣ, почти на каждомъ шагу, красные кресты на воротахъ... За Сухаревой башней проѣзжіе стали обгонять сначала людей, идущихъ поодиночкѣ, потомъ цѣлые толпы мужчинъ и женщинъ, и когда, выѣхавъ къ Никольскимъ воротамъ, поворотили налѣво, мимо городской стѣны, то должны были безпрестанно останавливаться, чтобъ не передавить народа.

— Смотри-ка хозяинъ,—сказалъ ямщикъ,—какъ всѣ православные бѣгутъ помолиться

Боголюбской Божіей Матери! Глядь-ка, глядь! Вонъ тамъ, у Варварскихъ воротъ!.. Ахъ ты, Господи! Эва народу-то! словно въ котлѣ кипятъ!

— Да что это?—сказалъ купецъ, прислушиваясь къ какимъ-то невнятнымъ звукамъ, которые, какъ отдаленные перекаты грома, раздавались посреди безчисленной толпы народа. Это не походитъ на обыкновенный людской говоръ... Слышишь, какъ кричатъ?

— Слышу, Ѳедотъ Абрамычъ. Въ прошлый разъ народу не меньше было, а такъ не шумѣли... Ужъ не фабричные ли?

— Избави, Господи!..

— А вотъ постой, хозяянъ; подъѣдемъ ближе, такъ увидимъ.

Не доѣзжая шаговъ трехсотъ до Варварскихъ воротъ, проѣзжіе должны были остановиться. Все пространство между городскою стѣною и приходскою церковью Всѣхъ Святыхъ было усыпано народомъ.

— Ну, дѣлать нечего, — сказалъ купецъ, вылѣзая изъ телѣги: — ступай назадъ; авось Ильинскими воротами проѣдешь на Варварку, а я ужъ какъ-нибудь добреду пѣшкомъ до дому.

Ямщикъ поворотилъ лошадей, а купецъ смѣшался съ народомъ и поперемѣнно, то продираясь медленно впередъ, то быстро увлекаемый бѣгущими толпами, очутился въ нѣсколько минутъ у самыхъ Варварскихъ воротъ. Прежде всего кинулся ему въ глаза стоящій на высокой скамьѣ небольшого роста человѣкъ, съ растрепанными волосами, запачканный, оборванный; однимъ словомъ, похожій на убѣжавшаго изъ тюрьмы колодника; онъ кричалъ отъ времени до времени охриплымъ и протяжнымъ голосомъ: «Порадѣйте, православные, Богоматери на всемірную свѣчу». Къ образу Боголюбской Божіей Матери, вдѣланному саженяхъ въ двухъ отъ земли въ стѣну башни, приставлена была лѣстница; народъ лѣзъ по ней безпрерывно вверхъ: одни прикладывались, другіе ставили свѣчи; нижніе цѣплялись за верхнихъ, стаскивали ихъ внизъ, пидали сами; ихъ топтали въ ногахъ, давили; клятвы, крики, женскій визгъ, стоны умирающихъ—все заглушалось общимъ ропотомъ народа, который волновался и шумѣлъ, какъ бурное море. Прислушиваясь къ разговорамъ нѣкоторыхъ лицъ, пріѣзжій купецъ былъ пораженъ именемъ преосвященнаго Амвросія и намеками на опасность, угрожающую добродѣтельному пастырю. Онъ хотѣлъ узнать подробнѣе въ чемъ дѣло; разспрашивалъ многихъ; отвѣты были темныи или заключались въ общихъ угрозахъ, и онъ не сталъ обращать на нихъ вниманія.

Когда толпа начала рѣдѣть, купецъ снова пошелъ впередъ. Миновавъ церковь Георгія Побѣдоносца, онъ выбрался на просторъ; позади него кипѣли толпы народа, но впереди вся улица была пуста, и только кое-гдѣ изъ *оконъ домовъ выглядывали* украдкою жены богатыхъ купцовъ, которыя жили взаперти и не смѣли выходить на улицу. Вдругъ купецъ, который шелъ скорыми шагами, остановился; онъ увидѣлъ вдали кровлю своего дома; сердце его сжалось, холодный потъ выступилъ на блѣдномъ лицѣ. До этой рѣшительной минуты онъ не вовсе былъ несчастливъ: онъ могъ надѣяться, могъ думать: «у меня есть жена, у меня есть дѣти!» Но теперь... еще нѣсколько шаговъ, еще полминуты—и, быть можетъ, онъ давно уже одинъ въ цѣломъ мірѣ; горькій сирота, съ сѣдыми волосами, быть можетъ, онъ станетъ искать и не найдетъ могилы, надъ которою могъ бы поплакать.

— Милосердый Боже, — прошепталъ бѣдный старикъ,—не мнѣ просить Тебя о милости, но чтобъ искупить ихъ жизнь, нашли на меня болѣзни, страданія, дозволь мнѣ живому лечь въ могилу, и я стану прославлять твое милосердіе!

Въ эту самую минуту оборванный и безобразный собою мальчишка, который бѣжалъ, оглядываясь безпрестанно назадъ, наткнулся на купца.

— Тереша, — вскрикнулъ онъ, схвативъ его за руку,—ты ли это?

— Вѣстимо я,—пробормоталъ мальчишка, стараясь вырваться.

— Да постой! Куда ты бѣжишь?!.. Ну, что, скажи: всѣ ли у насъ здоровы? Что моя жена?.. Что дочери?

— А что имъ дѣлается! — сказалъ мальчикъ, поглядывая съ нетерпѣніемъ впередъ.

— Такъ онѣ живы?

— А кто ихъ знаетъ!

— Да развѣ ты живешь не съ ними?

— Вѣстимо, нѣтъ! Мнѣ колотушки-то надоѣли... Да пусти меня!

— Возможно ли?—вскричалъ купецъ.—Ты покинулъ мой домъ!? Да какъ ты смѣлъ...

— А вотъ какъ!—сказалъ мальчикъ, высвободивъ свою руку и пускаясь бѣгомъ къ Варварскимъ воротамъ.

— Онъ живъ!—прошепталъ купецъ, глядя вслѣдъ за своимъ пріемышемъ.—А быть можетъ, этотъ ангелъ во плоти, жена моя, мои дѣти... О, скорѣй, скорѣй!—продолжалъ онъ, торопясь идти впередъ.—Что будетъ, то будетъ, а лучше одинъ конецъ!

И вотъ ужъ онъ подлѣ своего дома; глядитъ, ставни заперты, двери съ улицы заколочены досками, онъ спѣшитъ къ воротамъ... Праведный Боже! На нихъ красный крестъ!.. Но кажется?.. Такъ точно: на дворѣ залаяла собака. Такъ домъ не совсѣмъ еще покинутъ! Купецъ стучитъ въ калитку: отвѣта нѣтъ; одна лишь собака, почуявъ хозяина, лаетъ пуще прежняго. Проходитъ нѣсколько минутъ,—все та же мертвая тишина. Вотъ въ сосѣднемъ домѣ медленно отворилось окно, и человѣкъ съ блѣднымъ, больнымъ лицомъ, сказалъ купцу.

— Не стучи, любезный: въ этомъ домѣ никого нѣтъ.

— Никого? — повторилъ бѣдный старикъ прерывающимся голосомъ.—А хозяйка дома?

— Третій день, какъ умерла.

— А ея дочери?

— Вчера послѣднюю отвезли на кладбище.

— Послѣднюю!!..—прошепталъ купецъ.

Онъ прислонился къ стѣнѣ своего дома. Несчастный не лишился памяти; онъ чувствовалъ, онъ понималъ, что у него нѣтъ ни жены, ни дѣтей,—есть горе, которое мы, Богъ знаетъ почему, называемъ горемъ: оно не имѣетъ и не можетъ имѣть имени на языкѣ человѣческомъ. Это чувство непродолжительно, какъ послѣдній вздохъ умирающаго, но полжизни безпрерывныхъ болѣзней, цѣлый вѣкъ страданій тѣлесныхъ ничто предъ этою минутною смертію души. Старикъ-сирота молчалъ; въ глазахъ его не было слезъ, въ груди ни одного вздоха; онъ взглянулъ на небеса: они были ясны, чисты, но такъ же безотвѣтны, также мертвы, какъ душа его. Ему казалось, что кто-то шепталъ надъ его ухомъ: «Не стучись и тамъ, старикъ! и тамъ тебѣ никто не откликнется». Безжизненные взоры купца остановились на притворѣ церкви, противъ которой онъ находился. Вдругъ онѣ вспыхнули.

— Итакъ,—вскричалъ онъ, заскрежетавъ зубами,—ни раскаяніе, ни теплыя молитвы, ни кровавыя слезы мои, ничто не могло смягчить Тебя!

Въ эту минуту кто-то вышелъ изъ церкви: въ ней служили молебенъ, и черезъ растворенныя двери послышались тихіе голоса; на клиросѣ пѣли: «Царю Небесный, утѣшителю души истинный!» Слова отчаянія замерли на устахъ купца, кроткое смиреніе, какъ благотворный дождь, пролилось въ его душу, слезы брызнули изъ глазъ, и онъ упалъ во прахъ предъ карающею десницею своего Господа.

Усердная молитва облегчила сердце несчастнаго. Онъ чувствовалъ всю великость своей потери; онъ могъ сказать: «Прискорбна есть душа моя даже до смерти», но не ропталъ ужъ на Того, Кто даетъ и отнимаетъ.

— Да будетъ Твоя святая воля! — сказялъ онъ, устремивъ глаза на икону Спасителя, которая висѣла надъ притворомъ церкви.—Твой праведный судъ совершился надо мною, Ты видишь мои страданія!.. Господи, Господи, примирился ли я съ Тобою?

Скоро нагрянула толпа людей, шедшихъ отъ Варварскихъ воротъ, и онъ услышалъ снова имя Амвросія. Купецъ задрожалъ; онъ сталъ страшиться за безопасность почитаемаго архипастыря, котораго зналъ лично.

Съ горестью въ сердцѣ, должны мы упомянуть о происшествіи, котораго ужасъ не позволяетъ намъ раскрывать всѣ подробности.

Кромѣ бѣдствій, которыя претерпѣла Москва въ это *время, ей суждено было* еще прибавить черную страницу къ своимъ лѣтописямъ. Ужасное злодѣяніе совершилось въ ея стѣнахъ: архіепископъ Амвросій палъ, какъ извѣстно, подъ ножемъ шайки гнусныхъ злоумышленниковъ. Накинемъ скорѣе завѣсу на это святотатственное событіе, о которомъ московскіе старожилы доселѣ не могутъ вспомнить безъ содроганія, и скажемъ только, какое участіе принималъ въ немъ нашъ пріѣзжій купецъ панскаго ряда, Федотъ Абрамовичъ Сибиряковъ.

Удостовѣрившись въ дѣйствительности замысла злодѣевъ, этотъ несчастный человѣкъ рѣшился спасти Амвросія. На другой день, 16 сентября, рано по-утру, онъ поскакалъ въ Донской монастырь, гдѣ тогда жилъ архіерей. Онъ засталъ у воротъ обители одного молодого послушника и келейника Амвросіева и требовалъ отъ нихъ настоятельно, чтобы они убѣдили достойнаго пастыря тотчасъ уѣхать подальше отъ Москвы. Преосвященный не успѣлъ еще выполнить его совѣта, какъ уже убійцы были у воротъ монастыря, онъ искалъ убѣжища въ церкви. Злодѣи вломились въ храмъ, и тотъ самый пріемышъ Сибирякова, змѣя, воплощенная въ человѣческомъ тѣлѣ, открылъ его на хорахъ и указалъ разъяреннымъ изувѣрамъ. Разбойники стащили преосвященнаго съ хоръ. Одинъ изъ нихъ, въ которомъ Сибиряковъ узналъ фабричнаго, собиравшаго у Варварскихъ воротъ деньги «на всемірную свѣчу», бѣсновался болѣе другихъ. Истощивъ всѣ бранныя слова, онъ заносилъ уже широкій ножъ надъ грудью жертвы. Сибиряковъ схватилъ его за руку и остановилъ ударъ.

— А этотъ что вступается?—заревѣли голоса разбойниковъ.—Бейте его.

— Что вы, братцы,—принужденъ былъ сказать купецъ,—вѣдь я съ вами! Пригожеели дѣло осквернять храмъ Господенъ? Выведемъ его изъ монастыря, а тамъ допросимъ, увидимъ...

— Правда, правда,—вскричали разбойники:—вѣдь онъ не уйдетъ!

Сибиряковъ надѣялся, что онъ между тѣмъ успѣетъ усовѣстить изверговъ, но всѣ его усилія были тщетны: Амвросій погибъ. Злоумышленники не избѣгли заслуженнаго наказанія. Петръ Дмитріевичъ Еропкинъ, единственный тогда начальникъ въ Москвѣ, успѣлъ собрать нѣсколько ротъ Великолуцкаго полка, который стоялъ верстахъ въ тридцати отъ города, и при помощи этой горсти солдатъ разсѣялъ скопище и переловилъ зачинщиковъ. Вслѣдъ за этимъ прибылъ въ Москву главнокомандующій, графъ Петръ Семеновичъ Салтыковъ, гражданскій губернаторъ Юшковъ и оберъ-полиціймейстеръ Бахметьевъ. Вскорѣ спокойствіе было совершенно возстановлено и учреждена особая комиссія для произведенія слѣдствія объ убіеніи архіепископа Амвросія. Великость преступленія и соб-

ственная безопасность столицы требовали необычайныхъ мѣръ строгости; изъ числа участвовавшихъ въ убіеніи архіерея двое были повѣшены, а остальныхъ, которыхъ было весьма много, приговорили наказать, по жеребью десятаго, кнутомъ.

Въ концѣ сентября мѣсяца, въ судебную палату, въ которой засѣдала слѣдственная комиссія, вошелъ чиновникъ пожилыхъ лѣтъ; онъ былъ очень блѣденъ, и, казалось, съ трудомъ передвигалъ ноги.

— А, это вы, Аѳанасій Кирилловичъ, — вскричалъ предсѣдатель комиссіи, привставая со своего мѣста. — Милости просимъ! Что, какъ ваше здоровье?

— Слава Богу, брожу понемножку,—отвѣчалъ Аѳанасій Кирилловичъ, садясь на ряду съ другими членами комиссіи за присутственный столъ.

— А мы ужъ начинали безпокоиться,— сказалъ одинъ изъ его товарищей:— съ перваго дня открытія комиссіи вы занемогли, и вотъ третья недѣля, какъ о васъ не было ни слуху, ни духу.

— Да, батюшка, чуть было не умеръ! Ну, что у васъ дѣлается?

— Я думаю, скоро все кончимъ,—сказалъ предсѣдатель.—Двое главныхъ убійцъ приговорены уже къ смертной казни, а сегодня тѣ, которые также участвовали въ преступленіи, будутъ вынимать жеребья; изъ нихъ десятый, по приговору комиссіи, долженъ быть наказанъ, какъ уголовный преступникъ.

— Смотрите, господа, чтобъ кто-нибудь не пострадалъ напрасно; вы знаете волю нашей милосердой царицы: лучше десятерыхъ виноватыхъ простить, чѣмъ одного невиннаго наказать.

— О, что касается до этого, мы можемъ быть покойны!—прервалъ одинъ изъ членовъ, старинный нашъ знакомецъ, Владиміръ Ивановичъ Зарубкинъ.—Подсудимые добровольно и безъ всякаго пристрастнаго допроса сознались въ своемъ преступленіи, выключая одного, который запирается, но всѣ обстоятельства и показанія очевидцевъ его уличаютъ.

— Я прикажу прочесть вамъ списокъ ихъ именъ,—сказалъ предсѣдатель... — Потрудитесь, Кондратій Прохоровичъ, — продолжалъ онъ обращаясь къ секретарю.

Секретарь взялъ со стола листъ исписанной бумаги и началъ читать:

— Десятокъ первый: московскій купецъ гостиной сотни, Ѳедотъ Авраамовъ Сибиряковъ...

— Что, что? — прервалъ Аѳанасій Кирилловичъ.—Какъ ты его называешь?

— Ѳедотъ Авраамовъ, то-есть, въ простонародьи, Ѳедотъ Абрамовъ Сибиряковъ.

— Этотъ богатый купецъ, который лѣтъ десять тому назадъ выѣхалъ въ Москву изъ Иркутска?

— Точно такъ, ваше высокородіе.

— *Не можетъ быть!*—вскричалъ Аѳанасій Кирилловичъ.—Это ошибка! Я знаю Сибирякова; онъ человѣкъ умный, набожный, достойный всякаго уваженія...

— И, несмотря на то,—подхватилъ предсѣдатель,— онъ точно былъ въ числѣ убійцъ покойнаго Амвросія.

— И самъ признался въ этомъ?

— Напротивъ, онъ стоитъ въ томъ, что не виновенъ, но доказательства его преступленія такъ очевидны...

— О, Бога ради, не торопитесь! — прервалъ съ жаромъ Аѳанасій Кирилловичъ. — Я повторяю еще разъ, это должна быть ошибка. Подумайте, господа, если впослѣдствіи откроется, что онъ невиненъ.

— Позвольте доложить. ваше высокородіе, — сказалъ секретарь: — вотъ показаніе полицейскаго чиновника, Кочеткова, который, переодѣвшись фабричнымъ, былъ вмѣстѣ съ разбойниками въ монастырскомъ соборѣ въ то самое время, какъ архіерея стащили съ хоръ. Онъ слышалъ своими ушами, какъ купецъ Сибиряковъ приказывалъ вывести преосвященнаго Амвросія изъ церкви и казнить его за монастырскою оградою?

— Но если этотъ Кочетковъ не видалъ его никогдапрежде, и обманутый сходствомъ лица...

— Вотъ то-то и бѣда, Аѳанасій Кирилловичъ,—сказалъ предсѣдатель: — полицейскій чиновникъ, который на него донесъ, знаетъ его лично и даже не разъ хлѣбъ-соль съ нимъ важивалъ.

— Да это еще не все, ваше высокородіе,— продолжалъ секретарь: — пріемышъ вышереченнаго купца Сибирякова добровольно и по чистой совѣсти показалъ, что оный Сибиряковъ, выводя, при помощи своихъ клевретовъ, за монастырскія ворота покойнаго архіепископа Амвросія, одинъ изъ первыхъ наложилъ на него свою святотатственную руку, а таковое уважительное и согласное показаніе двухъ очевидцевъ, по силѣ законовъ, обращается въ явную и неоспоримую улику.

— Воля ваша, господа,—сказалъ Аѳанасій Кирилловичъ,—я увѣренъ въ его невинности, и не смотря на показанія очевидцевъ, которыя, впрочемъ, могутъ быть слѣдствіемъ личной вражды...

— Да о чемъ вы такъ хлопочете?! — прервалъ предсѣдатель. — Пусть этотъ Сибиряковъ вынетъ свой жребій: быть-можетъ, ему посчастливится; а если нѣтъ, такъ успѣемъ и тогда объ этомъ поговорить... Прикажите ввести сюда купца Сибирякова,—продолжалъ онъ, обращаясь къ секретарю.

Черезъ минуту двери отворились, и знакомый намъ купецъ вошелъ въ присутствіе.

— Ѳедотъ Абрамовичъ,—вскричалъ его защитникъ,—тебя ли я здѣсь вижу?!

— Здравствуй, батюшка, Аѳанасій Кирилловичъ!—сказалъ купецъ, помолясь иконѣ и низко поклонившись своимъ судьямъ.

— Всѣ обстоятельства тебя обвиняютъ, —

продолжалъ Аѳанасій Кирилловичъ:—но я не могу повѣрить, чтобъ ты былъ въ числѣ злоумышленниковъ и убійцъ покойнаго архіерея.

— Дай Богъ вамъ много лѣтъ здравствовать! — сказалъ купецъ, и на болѣзненномъ лицѣ его изобразилась унылая радость.—Вотъ первое слово утѣшенія, которое я слышу съ тѣхъ поръ, какъ нахожусь въ числѣ преступниковъ.

— И твой пріемышъ, эта змѣя, которую ты отогрѣлъ на груди своей...

— Что дѣлать, батюшка, Аѳанасій Кирилловичъ! И добрыя дѣла грѣшника обращаются на главу его.

— Сибиряковъ,—сказалъ предсѣдатель, — подойди къ присутственному столу. Ты долженъ вынуть самъ свой жребій. Вотъ десять свернутыхъ бумажекъ: одна только изъ нихъ отмѣчена крестомъ; авось не она тебѣ попадется.

Купецъ перекрестился и взялъ одинъ изъ жеребьевъ; руки его дрожали; онъ хотѣлъ передать его секретарю.

— Нѣтъ, — сказалъ предсѣдатель: — разверни самъ.

Сибиряковъ развернулъ; вся кровь бросилась ему въ лицо, которое почти въ то же время снова покрылось смертною блѣдностью.

— Съ крестомъ, — сказалъ хладнокровно секретарь, взглянувъ на развернутую бумажку.

— Боже мой!—вскричалъ Аѳанасій Кирилловичъ, вскочивъ со своего мѣста и подойдя къ Сибирякову.—Такъ точно!

— Господа судьи, — сказалъ купецъ дрожащимъ голосомъ, — мнѣ нечего сказать въ мое оправданіе, я ужъ все переговорилъ, но повторяю еще разъ, и Богъ видитъ, что говорю истину: я не виновенъ.

Предсѣдатель подалъ знакъ, чтобъ вывели купца изъ присутствія.

— Не теряй надежды, Ѳедотъ Абрамовичъ,—шепнулъ его заступникъ: — Богъ милостивъ.

— Ну, теперь дѣлать нечего, — сказалъ одинъ изъ членовъ:—видно ему на роду было написано...

— Послушайте, господа товарищи, — прервалъ Аѳанасій Кирилловичъ, пробѣжавъ нѣсколько бумагъ, которыя подалъ ему секретарь:—я готовъ положить руку на Евангеліе и присягнуть, что онъ невиненъ. Вотъ его допросные пункты. Показаніе полицейскаго чиновника опровергается самымъ признаніемъ купца: онъ не запирался, а съ перваго слова объявилъ, что точно подалъ совѣтъ злодѣямъ, которые хотѣли убить архіерея въ церкви, вывести его за монастырскую ограду. Но для чего онъ это сдѣлалъ? Для того, чтобъ дать время убійцамъ образумиться и почувствовать всю гнусность ихъ преступленія. Въ его допросѣ видно также, что, въ доказательство своей невинности, онъ ссылается на архіерейскаго *келейника*.

— Котораго нигдѣ не нашли, — замѣтилъ секретарь.

— Аѳанасій Кирилловичъ,—сказалъ предсѣдатель, — мы всѣ васъ уважаемъ и охотно вѣримъ словамъ вашимъ; но вы не были свидѣтелемъ этого несчастнаго происшествія, а въ уголовномъ дѣлѣ показанія очевидцевъ служатъ главнымъ основаніемъ для судейскаго приговора.

— Но всѣ другіе преступники сознались...

— А онъ не признается! Такъ что-жъ? Быть-можетъ, это доказываетъ только то, что онъ неспособенъ даже и къ разскаянію. И гдѣ была бы справедливость, если-бы мы оправдали преступника, котораго все уличаетъ, потому только, что онъ не сознается въ своемъ преступленіи?

— Прошу васъ объ одномъ,—сказалъ, помолчавъ, Аѳанасій Кирилловичъ: — позвольте его перевести въ другой десятокъ, и пусть онъ еще одинъ разъ вынетъ жребій... Господа товарищи, — продолжалъ онъ, обращаясь ко всѣмъ членамъ,— ради меня, изъ уваженія къ дружбѣ, которую я имѣлъ всегда къ этому несчастному, не откажите въ моей просьбѣ.

— Въ самомъ дѣлѣ, — сказалъ Владиміръ Ивановичъ Зарубкинъ,—теперь я вспомнилъ, я слыхалъ много хорошаго объ этомъ купцѣ: онъ былъ истинный отецъ всѣхъ бѣдныхъ.

— И я то же слышалъ,—прибавилъ предсѣдатель.—Конечно, это не даетъ намъ права, вопреки всѣмъ доказательствамъ, признать его невиннымъ, но если вы, господа, согласны, изъ уваженія къ просьбѣ почтеннаго нашего товарища, я прикажу перевести его въ другой десятокъ. Пускай еще разъ испытаетъ свое счастье.

Члены комиссіи, поговоривъ нѣсколько минутъ между собою, согласились на предложеніе своего предсѣдателя, и купца ввели опять въ судейскую.

— Сибиряковъ,—сказалъ предсѣдатель, — до твоего преступленія ты велъ себя какъ примѣрный гражданинъ, дѣлалъ много добра, былъ честію всего московскаго купечества. Изъ уваженія къ прежнему твоему поведенію и къ просьбѣ благодѣтеля твоего, Аѳанасія Кирилловича, мы переводимъ тебя въ другой десятокъ и дозволяемъ еще разъ вынуть жребій.

Купецъ, молча, поклонился, медленно подошелъ къ столу и взялъ изъ второго десятка одну изъ свернутыхъ бумажекъ. Когда онъ сталъ ее развертывать, Аѳанасій Кирилловичъ не усидѣлъ на своемъ мѣстѣ; онъ подошелъ къ Сибирякову и спросилъ торопливо:

— Ну, что?

— Посмотрите сами,—сказалъ съ горькою улыбкою купецъ, подавая ему жребій.

— Опять крестъ!—вскричалъ почти съ отчаяніемъ его защитникъ.

— Опять!—повторилъ предсѣдатель.—Ну, это несчастливо.

— Келейникъ покойнаго архіерея желаетъ войти въ присутствіе, — сказалъ громкимъ голосомъ присяжный, отворяя дверь.

— Введи его скорѣй!—закричалъ Аѳанасій Кирилловичъ.—Ну, видишь ли, Ѳедотъ Абрамовичъ, самъ Богъ посылаетъ тебѣ защитника.

— Да, — прошепталъ купецъ, — теперь я вижу, какъ Богъ спасаетъ грѣшника.

— Что тебѣ, любезный, надобно? — спросилъ предсѣдатель у келейника, когда онъ вошелъ въ присутствіе.

— Слава Тебѣ, Господи, — сказалъ онъ, увидѣвъ купца Сибирякова,—кажется, я поспѣлъ во-время!.. Господа судьи, я келейникъ покойнаго архіепископа Амвросія; сегодня только возвратился въ Москву изъ Воскресенскаго монастыря и услышалъ, что купецъ Сибиряковъ по какому-то ложному извѣту, попалъ въ число преступниковъ, судимыхъ за убіеніе нашего преосвященнаго владыки. Я не знаю, что на него доказываютъ, но объявляю, здѣсь передъ зерцаломъ, и готовъ присягою подтвердить мое показаніе, что этотъ самый купецъ прибѣжалъ въ Донской монастырь за нѣсколько времени до прихода убійцъ, что онъ увѣдомилъ черезъ меня его преосвященство объ ихъ богомерзкомъ намѣреніи, умолялъ насъ оставить немедленно Донской монастырь, и еслибы не вышло остановки въ лошадяхъ, покойный архіепископъ, по милости этого добраго человѣка, остался бы въ живыхъ и управлялъ бы доселѣ своею духовною паствою.

— Ну, господа,—вскричалъ съ радостію Аѳанасій Кириловичъ,—можете ль вы теперь сомнѣваться въ его невинности? Нельзя же въ одно время и желать спасти, и быть убійцею одного и того же человѣка!

— Да,—сказалъ предсѣдатель,—это показаніе совершенно его оправдываетъ.

— И если бы нашелся еще другой свидѣтель,—прибавилъ секретарь.

— Я могу вамъ его представить,—прервалъ келейникъ.—Когда этотъ купецъ объявилъ мнѣ объ угрожающей намъ опасности, я былъ вмѣстѣ съ однимъ изъ послушниковъ Донского монастыря; теперь онъ не могъ придти со мною, потому что больно избитъ злодѣями и вчера только въ первый разъ всталъ съ постели.

— Ну, вотъ, любезный другъ, вскричалъ Аѳанасій Кирилловитъ,—не говорилъ ли я тебѣ—Богъ милостивъ, не теряй надежды? Видишь ли теперь, какъ милосердъ и справедливъ «судъ Божій»?

— Вижу,—прошепталъ купецъ, но лицо его, то блѣдное, то покрытое багровыми пятнами, выражало не радость, а внутреннюю, тяжкую борьбу.

— Господинъ Сибиряковъ.—сказалъ предсѣдатель,—я не сомнѣваюсь, ты будешь оправданъ, но судебный порядокъ не дозволяетъ мнѣ сейчасъ освободить тебя изъ-подъ ареста.

— Я беру его на поруки,—прервалъ Аѳанасій Кирилловичъ.

— Такъ и дѣло съ концомъ... Поздравляю тебя, Ѳедотъ Абрамовичъ: ты свободенъ.

— Свободенъ!—повторилъ купецъ, и глаза его заблистали необычайнымъ огнемъ.—Да, я скоро буду свободенъ... Господа судьи: я преступникъ!

— Что ты, что ты!?—вскричалъ Аѳанасій Кирилловичъ.

Всѣ присутствующіе молча взглянули другъ на друга.

— Возможно ли?—сказалъ съ удивленіемъ предсѣдатель.—Ты самъ сознаешься, что былъ въ числѣ убійцъ покойнаго Амвросія?

— Нѣтъ, — отвѣчалъ Сибиряковъ,—этого тяжкаго грѣха я не прибавилъ къ прочимъ; священная кровь его не возстанетъ противъ меня въ страшный часъ суда Божія; я желалъ не погубить, а спасти его. Но эти преступныя руки не разъ обагрялись въ крови христіанской, и судъ Божій долженъ свершиться надо мною... Безумный,—продолжалъ купецъ, не обращая вниманія на удивленіе всѣхъ присутствующихъ, — я думалъ, что, избѣгнувъ наказанія земного, могу примириться съ Богомъ и моею совѣстью. Нѣсколько дней назадъ у меня была добрая жена, милыя дѣти: Богъ взялъ ихъ къ себѣ. Онъ видѣлъ мое сердце, Онъ слышалъ мои стоны и не простилъ меня! Сирота, призрѣнный и вскормленный мною, оклеветалъ меня; зло было мнѣ наградой за добро, но я не сѣтовалъ на неисповѣдимыя судьбы Божіи и, молча, покорился Его волѣ, а совѣсть, совѣсть, какъ голодный коршунъ, продолжала терзать мое сердце!.. Ни раскаяніе, ни молитва. ни слезы, ничто не облегчало его. Меня осудили, какъ преступника; я не роптalъ, а сказалъ изъ глубины души: «Да будетъ Его святая воля!» И все тотъ же тяжелый камень лежалъ на груди моей. Господа судьи, я преступникъ.

— Да въ чемъ же ты себя обвиняешь?— спросилъ старинный нашъ знакомецъ Зарубкинъ.

— Владиміръ Ивановичъ, — сказалъ купецъ,—посмотрите на меня хорошенько! Я узналъ васъ съ перваго взгляда: двадцать лѣтъ почти совсѣмъ васъ не измѣнили,—и не диво: сонъ вашъ былъ спокоенъ, васъ не терзала совѣсть, не мучило позднее и безплодное раскаяніе; на васъ не гнѣвался Господь...

— Но кто же ты?—спросилъ Владиміръ Ивановичъ.

— Кузьма Рощинъ!—отвѣчалъ тихимъ, но твердымъ голосомъ купецъ.

МОСКВА и МОСКВИЧИ.

Записки Богдана Ильича Бѣльскаго,

издаваемыя М. Н. Загоскинымъ.

ОТЪ ИЗДАТЕЛЯ.

Я не люблю читать предисловій, очень рѣдко пишу ихъ самъ и всегда стараюсь, чтобъ они были какъ можно короче; но на этотъ разъ долженъ поневолѣ отступить отъ моего правила, и начать эту книжку слѣдующимъ предисловіемъ или, какъ говорилось въ старину, краткимъ *возглашеніемъ*.

Любезнѣйшіе читатели и почтеннѣйшіе читательницы!

Хотя на заглавномъ листѣ этой книжки напечатано, что я только издатель, а сочинитель ея Богданъ Ильичъ Бѣльскій, но можетъ быть, вы примете это за шутку. Чтобъ увѣрить васъ въ противномъ, мнѣ должно разсказать, по какому случаю я сдѣлался издателемъ этихъ записокъ.

Мѣсяца три тому назадъ, возвратясь домой, послѣ обыкновенной моей утренней прогулки, я нашелъ на своемъ письменномъ столѣ огромный запечатанный пакетъ безъ надписи; по словамъ моего человѣка, его принесъ незнакомый слуга, весьма опрятно одѣтый, но какой-то грубіянъ, потому что на всѣ разспросы моего Андрея: кто онъ таковъ и отъ кого присланъ—отвѣчалъ только: «велѣно отдать твоему барину». Наружная форма и толщина этого пакета ничего добраго не предвѣщали. «Ахти»,—вскричалъ я,—«вѣрно какая-нибудь переводная мелодрама или комедія, передѣланная на русскіе нравы! Да неужели я долженъ публиковать въ газетахъ, что это уже вовсе до меня не касается и что я не обязанъ, *по долгу службы*, читать почти каждый день драматическія произведенія семинаристовъ, гимназистовъ и даже глубокомысленныхъ московскихъ гегелистовъ, изъ которыхъ нѣкоторые весьма усердно занимаются театромъ!.. «Я распечаталъ пакетъ: письмо на мое имя и кругомъ исписанная тетрадь; однако-жъ не драматическое сочиненіе, а записки какого-то Богдана Ильича Бѣльскаго. — Прочтемъ, что онъ ко мнѣ пишетъ.

«Милостивый государь! (я не прибавлю *мой*, потому что вы старѣе меня чиномъ»).

— Ого, — подумалъ я, — да это какой-то старовѣръ! Онъ еще держится правила: «чинъ чина да почитаетъ». Посмотримъ, чего онъ отъ меня хочетъ.

«Я васъ давно знаю; мнѣ случалось иногда встрѣчаться съ вами въ разныхъ обществахъ; вѣроятно и вы также меня знаете, но только подъ настоящимъ моимъ именемъ. Хотя принятое мною въ этихъ запискахъ прозваніе *Бѣльскаго* могло бы, по всей справедливости, принадлежать мнѣ, какъ единственному и прямому наслѣднику этого знаменитаго историческаго имени, но я рѣшился остаться при моемъ, весьма обыкновенномъ, которое ни разу не упоминается въ русскихъ лѣтописяхъ; слѣдовательно, весьма прилично человѣку съ умѣреннымъ состояніемъ и вовсе не чиновному, потому что у насъ,—да я думаю, и вездѣ,—для поддержанія знаменитаго имени необходимы или богатство, или чины. Ну, разсудите сами, какую жалкую роль играетъ человѣкъ съ громкимъ историческимъ именемъ, если онъ самъ по себѣ ровно ничего не значитъ? Представьте, какъ смѣшно или, лучше сказать, грустно было бы видѣть отставнымъ коллежскимъ регистраторомъ Скопина Шуйскаго, или становымъ приставомъ какого-нибудь князя Пожарскаго?.. Но я, можетъ быть, надоѣлъ вамъ моею болтовнею, а мнѣ нужно поговорить съ вами объ одномъ весьма важномъ для меня предметѣ. Вотъ въ чемъ дѣло: я давно уже веду записки, — не о домашней моей жизни: въ ней не было ничего особенно замѣчательнаго, — но о всемъ томъ, что касается до Москвы и ея жителей, относительно ихъ частнаго, политическаго и историческаго быта. Я изучалъ Москву слишкомъ

тридцать лѣтъ и могу сказать рѣшительно, что она не городъ, не столица, а цѣлый міръ — разумѣется русскій. Въ ней сосредоточивается вся внутренняя торговля Россіи; въ ней процвѣтаетъ наша ремесленная промышленность. Какъ тысячи солнечныхъ лучей соединяются въ одну точку, проходя сквозь зажигательное стекло, такъ точно въ Москвѣ сливаются въ одинъ національный обликъ всѣ отдѣльныя черты нашей русской народной физіономіи. Европейское просвѣщеніе Петербурга, не вовсе чуждое тщеславія хлѣбосольство нашихъ великороссійскихъ дворянъ, простодушное гостепріимство добрыхъ сибиряковъ; ловкость и досужество удалыхъ ярославцевъ, костромитянъ и володимірцевъ, способность къ письменнымъ дѣламъ и необычайное умѣнье скрывать, подъ простою и тяжелою наружностью, умъ самый смѣтливый и хитрый—нашихъ, нѣкогда воинственныхъ, малороссіянъ; неуклюжество и тупость бѣлорусцевъ; страсть къ псовой охотѣ степныхъ помѣщиковъ; щегольство богатыхъ купцовъ отличными рысаками, безусловное обожаніе всего чужеземнаго нашихъ русскихъ европейцевъ, и въ то же время готовность ихъ умереть за славу и честь своей родины; безотчетная ненависть ко всему заморскому нашихъ запоздалыхъ старовѣровъ, которые, не смотря на это, не могутъ прожить безъ нѣмецкой мадамы или французскаго мусью; ученость и невѣжество, безвкусіе и утонченная роскошь; однимъ словомъ, вы найдете въ Москвѣ сокращенье всѣхъ элементовъ, составляющихъ житейскій и гражданскій бытъ Россіи, этого огромнаго колосса, которому Петербургъ служитъ головою, а Москва сердцемъ. Москва богатый, неисчерпаемый рудникъ для каждаго наблюдателя отечественныхъ нравовъ. Можетъ-быть, во мнѣ не достало умѣнья разработать, какъ слѣдуетъ, этотъ богатый рудникъ; впрочемъ, и то хорошо, если мнѣ удалось открыть его и указать человѣку болѣе меня искусному, гдѣ долженъ онъ искать не одной руды, вовсе не походящей на металлъ, который въ ней скрывается, но чистыхъ самородковъ, не всегда золотыхъ—это правда; но, вѣдь, золото вездѣ рѣдко, а томпакъ, семилеръ и всякая другая блестящая композиція, которую иногда стараются выдавать намъ за пробное червонное золото, право, не стоятъ нашего простого желѣза... Да объ этомъ послѣ; дѣло состоитъ въ томъ, что я рѣшился напечатать мои записки.

Я человѣкъ не очень богатый, такъ прежде всего долженъ былъ подумать о томъ, во что мнѣ обойдется изданіе этой книги, а для этого мнѣ нужно было посовѣтоваться съ человѣкомъ знающимъ и опытнымъ. Вы, вѣроятно, слыхали о книгопродавцѣ Иванѣ Тихоновичѣ Корешковѣ; мы съ нимъ люди знакомые, — я даже прошлаго года крестилъ у него сына.

Чего жъ лучше,—подумалъ я;—мой куманекъ тридцать лѣтъ занимается книжною торговлею, такъ ужъ вѣрно сочтетъ мнѣ по пальцамъ, что будутъ стоить бумага, печать, обертка, однимъ словомъ, все; а можетъ статься, и манускриптъ у меня купитъ: это было бы всего лучше.

Лишь только я хотѣлъ послать за Иваномъ Тихоновичемъ, а онъ ко мнѣ и въ двери.

— А, любезный куманекъ!—вскричалъ я.— Милости просимъ... Очень кстати! Вѣдь, у меня есть до тебя дѣльце.

— Рады служить, Богданъ Ильичъ!.. Что прикажете?—сказалъ Корешковъ съ низкимъ поклономъ.

— Садись-ка, любезный!.. Вотъ изволишь видѣть: ты знаешь мои записки?

— Какъ же, батюшка, вы мнѣ еще прошлаго года читали изъ нихъ разныя этакія штучки,—очень интересно!

— Я хочу ихъ напечатать.

— Ну, что-жъ, сударь, съ Богомъ!

— Да вотъ что: я человѣкъ непривычный, до смерти боюсь всякихъ хлопотъ. Знаешь ли что, любезный? Купи у меня манускриптъ въ вѣчное и потомственное владѣніе: я дешево продамъ.

— Нѣтъ, Богданъ Ильичъ,—извините! Мы этимъ не занимаемся. Дѣло другое на комиссію...

— Впрочемъ, — продолжалъ я съ видомъ совершеннаго равнодушія, — для меня все равно: книга моя не залежится. Ужъ одно названіе этихъ записокъ разлакомитъ покупщиковъ: «Москва и Москвичи!»

— Да съ, названье бенефисное.

— А какъ ты думаешь, куманекъ: дорого мнѣ будетъ стоить напечатать эту книгу?

— Да если всю, такъ не дешево-съ.

— Какъ всю? Да развѣ можно будетъ печатать ее по частямъ?

— А почему же нѣтъ, Богданъ Ильичъ? Вѣдь, если я не ошибаюсь, такъ книга ваша, такъ-сказать, отрывочная; то-есть не то чтобъ какой-нибудь романчикъ или исторія, а вотъ въ родѣ тѣхъ, которыя выдаются теперь въ Петербургѣ: «Сто писателей», «Сказка за сказкою» и прочія другія. Вы не извольте только выставлять на заглавномъ листѣ: «часть первая», а «выходъ» или «выпускъ первый».

— Да развѣ это не все равно?

— Помилуйте! Ужъ кто написалъ часть первая, такъ какъ будто бы обѣщаетъ вторую часть непремѣнно; а выпускъ что значитъ?.. Будетъ, дескать, время, такъ выпущу другую; а нѣтъ, такъ не прогнѣвайтесь!..

— А что ты думаешь? Вѣдь, это правда.

— Какъ же, батюшка!.. Одну книжку напечатать не фигура, и можно дешевле пустить, такъ, авось, и поразберутъ; а тамъ, если она понравится, да пойдетъ, такъ и выпускайте себѣ вторую,—сколько душѣ вашей угодно.

— Спасибо, куманекъ, за добрый совѣтъ. Итакъ, рѣшено: я буду выдавать мои записки отдѣльными книжками; ихъ число и время ихъ выходовъ будутъ совершенно зависѣть отъ моей воли и отъ пріема, который сдѣлаетъ имъ публика.

— Да-съ! Только смѣю васъ спросить: вы объявите свое имя?

— Нѣтъ, я хочу назваться въ моихъ запискахъ Бѣльскимъ.

— А, понимаю-съ! Это нынче въ модѣ-съ! Вамъ угодно быть вотъ этимъ... какъ-бишь они называются?

— Псевдонимы.

— Да-съ, точно такъ-съ. Только воля ваша, Богданъ Ильичъ, напрасно-съ: это не дастъ ходу вашей книжкѣ.

— Такъ ты думаешь, что лучше выставить на заглавномъ листѣ мое настоящее имя?

— Оно, если хотите, сударь, все равно. Не прогнѣвайтесь, батюшка, вы по книжному дѣлу человѣкъ вовсе неизвѣстный. Вотъ, если бы вы ужъ печатали, да васъ разика два похвалили въ «Библіотекѣ», въ «Сынѣ Отечества», въ «Сѣверной Пчелѣ» или въ «Русскомъ Вѣстникѣ», такъ это бы другое дѣло, а то хоть будьте вы человѣкъ распреумный, съ большимъ талантомъ...

— Да что-жъ еще надобно?

— Имя, сударь, имя! Это всего нужнѣе въ нашей книжной коммерціи.

— Да гдѣ-жъ мнѣ прикажешь его взять?..

— Вотъ то-то и дѣло! Не знакомы ли вы съ какимъ-нибудь сочинителемъ, который въ ходу, то-есть котораго всѣ знаютъ?.. Попросите его...

— Что, что? — вскричалъ я, вскочивъ съ моихъ вольтеровскихъ креселъ.—Да неужели ты думаешь, что я допущу, кого бы то ни было называться сочинителемъ моихъ записокъ?

— Позвольте!.. — прервалъ Корешковъ, вставая также со своего стула.

— Чего тутъ позвольте! — продолжалъ я весьма неравнодушно. — Стану я изъ подлыхъ барышей прибѣгать къ такимъ средствамъ!.. Я трудился, писалъ и, надѣюсь, не вовсе дурно; а кто-нибудь другой...

— Да выслушайте, Богданъ Ильичъ...

— Полно, кумъ! Вы всѣ, торгаши, на одинъ покрой. Что такое для васъ книга?— Товаръ, и больше ничего. Для васъ произведеніе высокаго таланта, творческое созданіе генія и какой-нибудь новѣйшій пѣсенникъ— одно и то же...

— Нѣтъ, сударь, иногда пѣсенникъ и лучше, если онъ ходчѣе идетъ. Да дѣло не въ томъ. За что вы изволите гнѣваться? Вѣдь, я хотѣлъ вамъ сказать: попросите какого-нибудь извѣстнаго автора, чтобъ онъ назвался не сочинителемъ, а издателемъ вашихъ записокъ...

— Какой вздоръ! Да развѣ имя издателя ручается за достоинство *сочиненія*?

— А какъ же, сударь? Всякій скажетъ: «видно, дескать, отличная книжка, если издаетъ ее извѣстный писатель».

— Ну, ну, хорошо! — сказалъ я, когда встревоженное мое самолюбіе поуспокоилось.— Можетъ-быть, куманекъ, ты и дѣло говоришь. Да кого же я стану просить объ этомъ?

— Мало ли, сударь, въ Москвѣ сочинителей. Да вотъ хоть, не далеко идти: г-нъ Загоскинъ... Не то, чтобъ онъ былъ какой-нибудь знаменитый писатель — нѣтъ, — есть, батюшка, гораздо почище его, да ему какъ-то посчастливилось: выдалъ «Юрія Милославскаго», попалъ въ народность, да и пошелъ пописывать разные романчики; а тамъ опера «Аскольдова Могила»... Что за опера такая!.. Вы изволили ее видѣть?

— Какъ же!.. И ты думаешь, что г-нъ Загоскинъ согласится?..

— А почему знать?—попробуйте!..

— Я напишу къ нему письмо.

— Да знаете ли, этакъ, повѣжливѣе — польстите ему... «Позвольте, дескать, украсить вашимъ знаменитымъ именемъ...

— Куманекъ, а не ты ли сейчасъ говорилъ?..

— И, батюшка, да развѣ вы не знаете, что ложь бываетъ иногда во спасеніе? Хвалите его на убой:—ну, что за дѣло: бумага все терпитъ!..

— А если онъ подумаетъ, что я надъ нимъ смѣюсь?..

— Не подумаетъ, батюшка!.. Знаемъ мы этихъ сочинителей! Иной ломается такъ, что не приведи, Господи!.. «Мы да мы!»—а что сдѣлалъ? Водевильчикъ перевелъ или статейку напечаталъ въ журналѣ!.. Я много съ ними обращался, Богданъ Ильичъ. Случалось иногда,— по надобности, — начнешь хвалить иного въ глаза... русскимъ Вальтеръ Скоттомъ назовешь... Вѣрите ль Богу, самому стыдно,—а онъ лишь только ухмыляется. Ужъ, видно, они всѣ родомъ такъ, батюшка!

— Вотъ вамъ, милостивый государь, слово-отъ-слова мой разговоръ съ Иваномъ Тихоновичемъ Корешковымъ. Я не скрылъ даже отъ васъ, что онъ не слишкомъ высокаго мнѣнія о вашемъ талантѣ. Изъ этого вы можете заключить, что я не въ точности исполнилъ его совѣтъ, то есть не прибѣгалъ къ лести, чтобъ склонить васъ быть издателемъ моихъ записокъ. Если вы на это не согласитесь, то я поневолѣ долженъ буду подумать, что мой кумъ лучше моего знаетъ, чѣмъ можно угодить вообще всѣмъ писателямъ и въ особенности вамъ, милостивый государь.

Съ чувствомъ истиннаго почтенія честь имѣю остаться вашимъ покорнѣйшимъ слугою.

Богданъ Бѣльскій.»

Теперь вы видите, любезные читатели, въ какое затруднительное положеніе поставилъ

меня г-нъ Бѣльскій. Принять его предложеніе мнѣ вовсе не хотѣлось, а не принять его я не смѣлъ: г. Бѣльскій могъ бы подумать, что я разсердился на его кума за то, что онъ не хочетъ признать меня знаменитымъ писателемъ. Конечно, это очень обидно; но вы понимаете, любезные читатели, что я ни въ какомъ случаѣ не могу показывать, до какой степени огорчаетъ меня это мнѣніе почтеннаго г-на Корешкова, а для этого я долженъ былъ непремѣнно согласиться на сдѣланное мнѣ предложеніе. Но еще разъ повторяю, что не намѣренъ брать на себя чужихъ грѣховъ и быть отвѣтчикомъ за г-на Бѣльскаго, съ которымъ во многомъ я даже не согласенъ. Онъ говоритъ иногда слишкомъ рѣзко правду, а я этого терпѣть не могу. Ну, что за охота называть въ глаза горбатаго горбатымъ, кривого кривымъ? Вѣдь, и того и другого исправить одна только могила, — такъ зачѣмъ же ихъ и дразнить? Впрочемъ, я долгомъ считаю прибавить, что г-нъ Бѣльскій человѣкъ не злой; онъ только немного крутенекъ, подчасъ бываетъ слишкомъ откровененъ, да любитъ иногда придержаться извѣстнаго правила, что:

Вовсе не грѣшно
Надъ тѣмъ смѣяться, что смѣшно.

ВЫХОДЪ ПЕРВЫЙ.

I.

Московскій старожилъ.

„Воскреснемъ ли когда отъ чужевластья модъ,
Чтобъ умный, добрый нашъ народъ,
Хотя по языку, насъ не считалъ за нѣмцевъ".

Грибоѣдовъ.

Если-бъ я написалъ романъ, то, конечно, не имѣлъ бы никакой надобности знакомить съ собою моихъ читателей; но въ этихъ запискахъ я говорю прямо отъ своего лица, описываю собственныя мои дѣйствія, замѣчанія и даже приключенія,—слѣдовательно, долженъ прежде всего сказать нѣсколько словъ о самомъ себѣ моимъ, надѣюсь, снисходительнымъ и, безъ всякаго сомнѣнія, многочисленнымъ читателямъ. «Многочисленнымъ!»— Да, милостивые государи, я въ этомъ совершенно увѣренъ, какъ и всякій начинающій писатель; разница только въ томъ, что другіе это думаютъ про себя, а я говорю вслухъ. Безъ этой увѣренности, которую не всегда могутъ поколебать даже и постоянныя неудачи, никто не сталъ бы печатать своихъ сочиненій. Повѣрьте мнѣ: всѣ эти ссылки на друзей, *по настоятельной просьбѣ* которыхъ будто бы книга печатается, одно жеманное пустословіе. Мы, обыкновенно, печатаемъ для *всѣхъ*, и очень бы оскорбились, если-бъ насъ прочли одни только пріятели.

Кто изъ москвичей не знаетъ Прѣсненскихъ прудовъ; но, можетъ быть, не всякому случалось бывать по ту сторону этихъ прудовъ, въ узкихъ и кривыхъ переулкахъ, которые довольно круто подымаются въ гору. Въ одномъ изъ нихъ, недалеко отъ обсерваторіи, стоитъ на полугорѣ небольшой деревянный домикъ, осѣненный спереди нѣсколькими кустами бузины и акацій. Изъ оконъ надворной стороны дома видна внизу, подъ самою *горою*, часть города, примыкающая къ тремъ холмамъ, знаменитымъ во всей Москвѣ своею *трехъ-горною* водою. Когда вы смотрите въ окно, вашъ взоръ, быстро пробѣжавъ по кровлямъ, невольно останавливается на обширномъ поемномъ лугу, по которому змѣится наша изгибистая Москва-рѣка; прямо за ней чернѣются рощи Воробьевыхъ горъ, налѣво подымается колокольня Новодѣвичьяго монастыря, а еще лѣвѣе, какъ сквозь туманъ, мелькаютъ кровли домовъ и кресты церквей отдаленнаго Замоскворѣчья. Этотъ видъ вездѣ бы назвали прекраснымъ; но въ Москвѣ ужъ, вѣрно, никто не придетъ имъ полюбоваться. Мы, москвичи, избалованы прекрасными видами; мы встрѣчаемъ ихъ на каждомъ шагу и привыкли смотрѣть равнодушно на эти великолѣпныя панорамы, которыя плѣняютъ всѣхъ иностранцевъ своею роскошною красотою и дивнымъ разнообразіемъ. Маловодная Москва-рѣка и ничтожная рѣчка Яуза вовсе не замѣчательны, какъ рѣки, но зато какіе у нихъ живописные берега!

Въ этомъ-то уединенномъ домикѣ я, Богданъ Ильичъ Бѣльскій, живу почти безвыѣздно съ 1814 года, то есть двадцать-восемь лѣтъ сряду. Я никогда не могъ назваться богатымъ человѣкомъ, однако-жъ, было время, что и у меня былъ каменный домъ на Никитской, что и я не понималъ, какъ можетъ порядочный человѣкъ жить за Прѣсненскими прудами, въ какомъ-нибудь кривомъ переулкѣ, въ глуши, гдѣ каждый проѣзжающій экипажъ обращаетъ на себя всеобщее вниманіе. Я началъ служить довольно рано и вышелъ въ отставку ротмистромъ. Въ 1812 году вступилъ снова въ службу; участвовалъ въ Бородинскомъ сраженіи, былъ въ дѣлѣ подъ Тарутинымъ и едва остался живъ послѣ сраженія подъ Малымъ Ярославцемъ, гдѣ разбитый непріятель долженъ былъ, къ явной своей гибели, вмѣсто сытной и привольной калужской дороги, продолжать свое отступленіе по смоленской, совершенно опустошенной и своими, и чужими. Я былъ такъ тяжело раненъ, что пролежалъ безъ

чувствъ почти цѣлый день между убитыми, безъ всякаго пріюта и помощи. Къ счастію, зимніе холода еще не наступали,—не смотря на то, *что побѣжденный непріятель бѣжалъ уже изъ Россіи совершенно разбитый и разстроенный*. Это обстоятельство противорѣчитъ нѣсколько мнѣнію иностранцевъ, которые стараются доказать, что одна зима спасла Россію. Я имѣю большую вѣру ко всему тому, что пишутъ о насъ чужеземцы, и въ особенности уважаю извѣстное всему міру безпристрастіе французскихъ писателей; но въ этомъ случаѣ не могу даже согласиться и съ ними, потому что непремѣнно бы замерзъ подъ Малымъ Ярославцемъ, если-бъ французовъ побѣдилъ и выгналъ изъ Россіи одинъ только зимній холодъ. Вѣроятно, многіе, подобно мнѣ, имѣютъ неограниченную вѣру ко всему, что пишутъ французы, а межъ тѣмъ не были, такъ же, какъ я, подъ Малымъ Ярославцемъ, то легко, можетъ быть, иной подумаетъ, что я изъ патріотизма, который онъ, безъ всякаго сомнѣнія, назоветъ *квасным*ъ, говорю неправду; въ такомъ случаѣ я попрошу его прочесть, что пишетъ объ этомъ нашъ знаменитый партизанъ Д. В. Давыдовъ. Онъ доказываетъ *фактами* и словами самихъ непріятелей, что первые, весьма легкіе, морозы начались спустя три дня послѣ сраженія подъ Малымъ Ярославцемъ, слѣдовательно, французовъ гналъ изъ Россіи русскій штыкъ, а не русскій морозъ, который помогалъ только впослѣдствіи нашимъ казакамъ истреблять отсталыхъ солдатъ непріятельской арміи, когда она уже не дралась, и даже не отступала, а просто—безъ оглядки бѣжала вонъ изъ Россіи.

Уволенный за ранами въ отставку съ чиномъ подполковника, я отправился прямо въ Москву. Я зналъ, что она горѣла, но никакъ не воображалъ увидѣть то, что увидѣлъ, когда подъѣхалъ къ Дорогомиловской заставѣ!.. «Москва!.. Да гдѣ же она!»—спросилъ я съ удивленіемъ. — «Вотъ, батюшка!» — отвѣчалъ ямщикъ, указывая передъ собою. Представьте себѣ ребенка, который, разставшись на нѣсколько дней со своею матерью, цвѣтущею здоровьемъ и красотою, возвращается домой, спѣшитъ обнять ее, спрашиваетъ, гдѣ его родная, и ему, указывая на каменную плиту, отвѣчаютъ: «Ты ищешь своей матери,—вотъ она, подъ этимъ камнемъ!..» О, увѣряю васъ, этотъ ребенокъ не заплакалъ бы горчѣе того, какъ заплакалъ я, окинувъ испуганнымъ взглядомъ эти безпредѣльныя развалины... Развалины! Нѣтъ, подъ этимъ словомъ мы привыкли разумѣть что-то величественное, прекрасное, или, по крайней мѣрѣ, живописное. Мы украшаемъ искусственными развалинами сады наши; а это огромное пепелище, которому не видно было и конца, эти безобразныя кучи кирпичей и *обгорѣлыхъ бревенъ, которыя*, казалось, еще дымились; этотъ безконечный лѣсъ, изъ одинокихъ, почернѣвшихъ трубъ, и кой-гдѣ закопченные дома безъ кровель, съ обвалившимися стѣнами... Развалины!.. Мы любуемся остатками языческаго Рима; развалины Пальмиры или Бальбека, съ цѣлыми рядами гранитныхъ колоннъ, обвитыхъ плющемъ и дикимъ виноградомъ, полуразрушенные портики, изъ-за которыхъ весело подымаются высокія пальмы—да это прелесть! Видъ этихъ развалинъ не возмутитъ души вашей, не омрачитъ ее никакимъ грустнымъ чувствомъ; надъ ними пролетѣли вѣка, и тѣ, которые жили въ нихъ, давно уже не существуютъ. Вы смотрите на эти развалины, какъ на древній могильный памятникъ, заросшій травою; онъ нравится вамъ своею формою, возбуждаетъ ваше любопытство; но, глядя на него, вы не думаете о смерти, вамъ не представляется трупъ человѣка, который вчера былъ живъ, а теперь спитъ непробуднымъ сномъ... А Москва? О, Москва показалась мнѣ свѣжею, еще не засыпанною могилою!.. Но что говорить объ этомъ! Благодаря Бога, Москва стала краше прежняго, а слава и честь остались при ней. Она сгорѣла, это правда,—да зато подпалила крылья хищному орлу, который хотѣлъ забрать весь міръ въ свои когти.

Когда я доѣхала до Кудрина, сердце мое сильно забилось.—«Что-то мой домикъ на Никитской?» — думалъ я. — «Почему знать, можетъ-быть и уцѣлѣлъ?»—Вотъ ужъ я проѣхалъ Никитскія ворота—вонъ мой приходъ... Церковь цѣла, быть-можетъ, и мой домъ... Нѣтъ, вонъ онъ, голубчикъ, безъ кровли!.. Вотъ венеціанское окно, которымъ освѣщалась моя парадная гостиная... оно безъ рамъ... кругомъ все покрыто копотью... Эхъ, если-бъ уцѣлѣлъ хоть нижній этажъ, въ которомъ я жилъ!.. Подъѣзжаю поближе... Гляжу—и что жъ? Господи Боже мой!.. Передняя стѣна дома въ развалинахъ, почти всѣ комнаты нижняго этажа раскрыты, какъ на показъ! Вотъ столовая съ узорчатымъ лѣпнымъ карнизомъ; вотъ диванная съ двумя колоннами подъ мраморъ, а вотъ... такъ точно,—мой кабинетъ... Праведное небо!.. Кабинетъ, въ которомъ стѣны такъ искусно были расписаны моимъ домашнимъ живописцемъ Степкою... въ немъ пріютились извозчики!.. Онъ служитъ имъ биржею, и лошади ихъ преспокойно кушаютъ сѣнцо изъ моего камина?..—«Разбойники!»—закричалъ я.—«Да знаете ли, что въ этомъ кабинетѣ бывали литературные вечера, что въ немъ читались творенія русскихъ поэтовъ, что одинъ изъ нихъ назвалъ даже этотъ кабинетъ московскимъ Атенеемъ,—а вы сдѣлали изъ него конюшню!»..—Извозчики скинули шапки, выпучили на меня глаза, разинули рты, и когда я закричалъ неистовымъ голосомъ: «вонъ отсюда!»—они кинулись къ своимъ лошадямъ и начали ихъ взнуздывать

вать. Но горе меня одолѣло: я махнулъ рукою, велѣлъ ѣхать на постоялый дворъ, и на другой день отправился въ мою подмосковную. Хотя она была не близко отъ большой дороги, однако жъ, французы въ нее завертывали: изъ двадцати избъ осталось пять и большая часть мужичковъ жила въ землянкахъ. На барскомъ дворѣ уцѣлѣла какъ-то баня съ передбанникомъ. На первый случай я расположился въ немъ. Со мною было нѣсколько денегъ; я, сколько могъ пособилъ крестьянамъ обзавестись всѣмъ необходимымъ, прожилъ въ передбанникѣ цѣлый годъ, продалъ двѣ трети моего имѣнья, чтобъ привести въ порядокъ дѣла и поправить остальныхъ мужичковъ; потомъ промѣнялъ мой сгорѣвшій каменный домъ на деревянный домикъ за Пресненскими прудами и переѣхалъ на житье въ Москву.

Теперь, любезные читатели, когда уже вамъ извѣстны всѣ важнѣйшія приключенія моей жизни, позвольте мнѣ сказать нѣсколько словъ о самомъ себѣ. Изъ всего предыдущаго вамъ не трудно заключить, что для меня наступила та грустная эпоха жизни, въ которую насъ перестаютъ уже называть молодыми и даже зовутъ иногда стариками, но только еще не въ глаза. Я не сталъ бы жеманиться и сказалъ бы вамъ прямо, сколько мнѣ лѣтъ отъ роду, да боюсь огорчить моихъ ровесниковъ, тѣмъ болѣе, что въ числѣ ихъ найдутся черноволосые молодцы, у которыхъ въ головахъ нѣтъ ни одной сѣдинки, и которые до сихъ поръ еще смотрятъ такими губителями сердецъ, что упаси Господи! Правда, и они не всегда скрываютъ свои лѣта. Вотъ одинъ изъ этихъ господъ, который ужъ лѣтъ тридцать-восемь служитъ въ офицерскомъ чинѣ, очень часто и даже при дамахъ горюетъ о своей прошедшей молодости, приговаривая: «Скоро уже, скоро стукнетъ мнѣ сорокъ лѣтъ!» Но, однако-жъ, все-таки лучше поберечь ихъ и не сказать вамъ ничего положительнаго о моихъ годахъ. Не знаю, долженъ ли говорить о своей наружности тотъ, кто въ 1812 году былъ ужъ ротмистромъ; впрочемъ, почему-жъ и нѣтъ? Развѣ мы не любуемся прекрасными развалинами? Развѣ эти развалины,—если-бъ только онѣ могли говорить, — не имѣли бы права сказать съ гордостію: «посмотрите, какой я былъ великолѣпный городъ!»—Да, было время, что и меня, называли прекраснымъ мужчиною! и теперь еще современницы мои, московскія старушки, не шутя говорятъ, что я очень моложавъ, и если-бъ только побольше стягивался, красилъ волосы, да одѣвался по модѣ, такъ могъ бы еще,—этакъ въ сумерки,—показаться весьма пріятнымъ мужчиною. Теперь мнѣ осталось вамъ сказать одно, что я человѣкъ совершенно одинокій, близкихъ родныхъ у меня нѣтъ, а женатъ я никогда не былъ, — не потому, чтобъ я не хотѣлъ жениться, да какъ-то все не случилось. Одинъ *знаменитый англійскій философъ* сравниваетъ холостого человѣка, который вступаетъ въ законный бракъ, съ глупцомъ, опускающимъ руку въ мѣшокъ, чтобъ вытащить изъ него угря, который лежитъ одинъ-одинехонекъ въ этомъ мѣшкѣ, съ цѣлою сотнею змѣй. Боже меня сохрани повѣрить этому грубіяну! Нѣтъ, любезныя читательницы, если я не женатъ, такъ на это есть совсѣмъ другія причины. Мнѣ всегда хотѣлось, чтобъ будущая моя супруга соединяла въ себѣ нѣсколько качествъ, которыя казались мнѣ необходимыми для общаго нашего счастія. Во-первыхъ, я желалъ, чтобъ моя жена принадлежала къ тому же самому разряду общества, къ которому и я принадлежу, то-есть, чтобъ она была дворянкою; за этимъ, кажется, у насъ дѣло не станетъ; во-вторыхъ, чтобъ она была женщина съ образованіемъ, — и это бы еще ничего: у насъ хорошо воспитанныхъ благородныхъ дѣвицъ довольно; да вотъ что бѣда: я хотѣлъ, чтобъ дѣвица, которой я отдамъ мою руку, не походила ни на французскую *мадемуазель*, ни на нѣмецкую *фрейлейнъ*, ни на англійскую *миссъ*, а была бы просто образованная, просвѣщенная *русская барышня*, которая любила бы свое отечество, свой языкъ и даже свои обычаи. Вещь, кажется, самая простая: я хотѣлъ, чтобъ русская барышня была русская; а вотъ тутъ-то именно и вышелъ грѣхъ! Ужъ я искалъ, искалъ!.. Сначала въ Москвѣ, — что за странность такая! Встрѣчался я съ дѣвушками очень любезными, милыми; посмотришь, иная по всему мнѣ пара: я охотникъ до музыки, — она большая музыкантша; порядочный знатокъ въ живописи,— она отъ нея безъ памяти; я люблю словесность,— она знаетъ всѣхъ французскихъ поэтовъ и выписываетъ въ свой альбомъ цѣлыя страницы изъ Новой Элоизы; я страстенъ къ исторіи,—она читала Анахарсиса, Гибона и даже Боссюэта. Все это прекрасно, да вотъ что худо: начну говорить по-русски,—мнѣ отвѣчаютъ по-французски; заведу рѣчь о русскихъ художникахъ, — и на розовыхъ губкахъ появляется такая презрительная улыбка, что я съ досады готовъ сквозь землю провалиться. Нашихъ родныхъ писателей она знать не хочетъ, а объ русской исторіи и не заикайся,— какъ-разъ назоветъ Владиміра Мономаха святымъ, да и то потому только, что у папеньки ея Владиміръ на шеѣ. Одна умираетъ отъ нашего климата и вздыхаетъ объ Италіи; другая была уже въ Парижѣ и все русское сдѣлалось для нея противнымъ; третья сбирается еще только въ Парижъ, а ужъ къ ней и приступу нѣтъ. «Постой,—подумалъ я,—дай поищу русскую барышню въ провинціи». Что-жъ вы думаете?.. И тамъ то-же самое! Правда, случалось иногда, въ какомъ-нибудь уѣздномъ городкѣ, познакомиться съ дѣвушкою, которой и наружность мнѣ понравится и обычай придетъ по-сердцу: съ ногъ до головы русская. Хвалитъ все свое, любитъ въ

морозъ прокатиться на лихой тройкѣ, лѣтомъ въ горѣлки поиграть, объ Святкахъ золото хоронить, и не только не жалуетъ французовъ, а особливо Наполеона, но ругаетъ ихъ на чемъ свѣтъ стоитъ. Чего же, кажется, недостаетъ? А вотъ чего: она, конечно, говоритъ со мною всегда по-русски; да это потому, что не знаетъ никакого другого языка; не просится въ Италію, да зато едва-ли и слыхала, что есть на свѣтѣ такая земля. Побесѣдуешь съ ней разъ, другой, а тамъ и скучно. О чемъ не заговоришь, все невпопадъ: заведешь рѣчь объ изящныхъ художествахъ, она начнетъ посматривать то направо, то налѣво; перейдешь къ словесности, она и ротикъ разинетъ, да примется зѣвать,—очень мило — это правда, но, вѣдь, зѣвота вещь прилипчивая. Да и что это за барышня? Чѣмъ она отличается отъ своей горничной? Развѣ только тѣмъ, что носитъ декосовое, а не затрапезное платье? «Ахъ, Боже мой», — думалъ я,—что-жъ это за неуловимое существо такое русская барышня?.. Ужъ полно, есть-ли на свѣтѣ русская барышня?.. Не миѳъ-ли это какой? Или ужъ правду говоритъ мой слуга Никифоръ! «У русскаго-де народа натура такая: немножко дай форсу, тотчасъ и зазнается». Вотъ, напримѣръ, эта-же самая дѣвица, о которой была рѣчь, получи она какое-нибудь образованіе, выучись болтать по-французски, умѣй только кстати сказать: «кесексе, киселя», такъ ужъ все русское будетъ ее ни почемъ. Ну, дѣлать нечего, видно пришлось сидѣть у моря и ждать погоды.

Надобно вамъ сказать, что все это происходило лѣтъ двадцать-пять тому назадъ. Вотъ я жду-пожду, а время идетъ да идетъ. Я живу на своихъ Прѣсненскихъ прудахъ, хоть очень смирно, однако-жъ не вовсе отшельникомъ: и у меня бываютъ люди, и я выѣзжаю въ свѣтъ; посматриваю, замѣчаю, прислушиваюсь: худо, очень худо, все по старому! Одна мода смѣняетъ другую, а эта проклятая мода парижанить да вторить во всемъ французамъ словно корни пустила въ Русскую землю. Но что всего досаднѣе, съ нѣкотораго времени стали мнѣ встрѣчаться русскія барыни съ умомъ, съ образованіемъ, а межъ тѣмъ чисто русскія; слѣдовательно, мой идеалъ русской барышни существуетъ, да мнѣ-то онъ какъ кладъ не дается, а время летитъ да летитъ. Вотъ, наконецъ, сталъ я замѣчать, что въ нашемъ хорошемъ обществѣ начинаютъ, гораздо чаще прежняго, похваливать и произведенія русскихъ художниковъ, и стихи русскихъ поэтовъ. Ужъ нѣсколько разъ удавалось мнѣ слышать, что наши барыни и барышни разговариваютъ минутъ по пяти сряду на русскомъ языкѣ. Жуковскій, Батюшковъ, Пушкинъ лежатъ уже на дамскихъ столикахъ рядышкомъ съ Ламартиномъ, Викторомъ Гюго и Казимиромъ Делавинь. *Прошло еще нѣсколько лѣтъ* и въ нашей словесности стала проявляться необычайная дѣятельность: начали писать не только стихами, но и прозою; рабское подражаніе иностранцамъ, по крайней мѣрѣ въ словесности, примѣтно ослабѣвало, стали появляться сочиненія совершенно русскія, народныя, любовь къ чтенію русскихъ книга быстро распространялась во всѣхъ классахъ общества; однимъ словомъ, все предвѣщало, что эта безусловная страсть ко всему иностранному, это второе татарское иго скоро будетъ сброшено. У меня были еще и другія примѣты, которыя очень поддерживали эту надежду. Однажды, кажется, на какомъ-то гуляньѣ, осанистый русскій купецъ шелъ вмѣстѣ съ своею дочкою, разодѣтою по послѣдней модѣ. Около нея увивался франтикъ съ козлиною бородкою, въ короткомъ сюртукѣ и бѣлой шляпѣ. Я вспомнилъ, что видалъ его въ рядахъ за прилавкомъ. Этотъ *левъ* суровской линіи изъяснялся съ купеческою дочкою на французскомъ діалектѣ и называлъ ее попеременно то мадемуазель, то Матреной Карповной; они начинали спорить, и Матрена Карповна отпустила нижеслѣдующую фразу: «Финисе, финисе, кель гонтъ! Ужъ вы и этого не знаете, что это не клекъ, а бурнусъ... ахъ, ву!» Я готовъ былъ прыгать отъ радости, а особливо когда вскорѣ послѣ этого узналъ, что большая часть секретарскихъ и купеческихъ дочекъ не только говорятъ по-французски и толкуютъ о Парижѣ, но даже, потихоньку отъ своихъ стариковъ, безъ милосердія позорятъ матушку святую Русь. «Славно, — говорилъ я, потирая руки,— славно! Дѣло идетъ отлично, хорошо! Видно, эта французская дурь выходитъ изъ моды, если начала уже пробираться въ нижніе слои нашего общества». Вы можете представить послѣ этого, въ какой пришелъ я восторгъ, когда русскіе стихи и проза, обличающія не только истинный талантъ, но даже совершенное познаніе языка, начали появляться въ печати за подписью дамъ, принадлежащихъ къ лучшему нашему обществу. Однажды, по-утру, думая объ этомъ, я сказалъ вслухъ:

— Ну, кажется, теперь пора, — теперь я найду для себя невѣсту!

— Что вы это, батюшка Богданъ Ильичъ, Богъ съ вами!—сказалъ мой Никифоръ, устанавливая противъ меня зеркало и бритвенный ящикъ.—Гдѣ ужъ намъ съ вами думать о невѣстахъ.

Я взглянулъ въ зеркало, и руки у меня опустились.

— Честь имѣю васъ поздравить, — прибавилъ этотъ злодѣй, — со днемъ вашего рожденья: вамъ сегодня ровно стукнуло...

— Знаю, братецъ, знаю!—прервалъ я съ досадою.

— Да извольте, сударь, бриться, — сказалъ, помолчавъ, Никифоръ: —вода простыт-

нетъ. Волосы-то у васъ больно жестки стали... съ тѣхъ поръ, какъ у васъ борода посѣдѣла...

— Да отвяжись!—закричалъ я.—Ну, что ты присталъ. Я не хочу бриться!

Я, что-бъ доказать это, взялъ со стола басни Крылова, съ которыми никогда не разстаюсь.

— Впрочемъ, — продолжалъ я вполголоса, разгибая книгу,—полно, не лучше ли, что я остался холостымъ? Всѣ эти женщины такія капризныя, своевольныя созданія, такія...

Я готовъ былъ произнести ужаснѣйшую клевету, готовъ былъ назвать женщинъ кокетками, какъ вдругъ языкъ мой онѣмѣлъ. Представьте себѣ: книга раскрылась, какъ будто нарочно, на извѣстной баснѣ: «Лисица и Виноградъ». Ну, ужъ если-бъ я меньше уважалъ и любилъ Ивана Андреевича Крылова, быть бы этой книгѣ подъ столомъ.

Теперь вы знаете, любезные читатели, что я за человѣкъ, какого чина, какихъ лѣтъ, какая у меня наружность, почему я не женатъ и что дѣлалъ прежде; а что дѣлаю и чѣмъ занимаюсь теперь, вы также узнаете, если не полѣнитесь прочесть эту книжку.

II.

Взглядъ на Москву.

„Но вотъ ужъ близко. Передъ ними
Ужъ бѣлокаменной Москвы,
Какъ жаръ, крестами золотыми
Горятъ старинныя главы".

А. Пушкинъ.

У кого изъ насъ нѣтъ любимой, если не страсти, то, по крайней мѣрѣ, маленькой страстишки или слабости, которую мы лелѣемъ и тѣшимъ, какъ избалованное дитя? Одинъ любитъ похвастаться своимъ домомъ, по милости котораго у него все имѣнье въ закладѣ. Другой платитъ въ три-дорога за какую-нибудь золотую табакерку, величиною въ сундукъ, изъ которой онъ никогда не будетъ нюхать, но которая ему необходима, потому что у него цѣлая коллекція точно такихъ-же уродливыхъ и неуклюжихъ табакерокъ. Третій разоряется на рысакахъ, прославляющихъ его имя на бѣгу, а ѣздитъ самъ на клячахъ, которыя, по крайней мѣрѣ, выполняютъ свое лошадиное назначеніе, то-есть возятъ того, кто ихъ кормитъ. Четвертый щеголяетъ необыкновеннымъ покроемъ своихъ платьевъ, и готовъ нарядиться шутомъ для того только, чтобъ не походить на другихъ. Пятый любитъ ѣздить по гостямъ, съ утра до вечера таскается съ визитами, а такъ какъ въ Москвѣ иного визита нельзя сдѣлать безъ подставныхъ лошадей, то онъ убиваетъ *послѣднюю копѣйку на то,* чтобъ держать лишнюю четверню и каждый годъ мѣнять свой экипажъ. Шестой не ѣздитъ въ гости ни къ кому, но зато не пропуститъ ни одного публичнаго собранія, ни одного гулянья, ни одного народнаго сходбища и,—даже трудно повѣрить, однако-жъ это правда,—ни однѣхъ похоронъ. Вы встрѣтите его вездѣ, гдѣ только есть люди, для чего бы они ни собрались: веселиться или горевать — ему все равно. Этотъ жить не можетъ безъ театра; не то, чтобы онъ очень любилъ театръ, а потому, что привыкъ къ своимъ абонированнымъ кресламъ, потому, что можетъ сказать съ гордостію: «я сижу на нихъ пятнадцать лѣтъ сряду!» Посадите эго на другія, и онъ не станетъ узнавать актеровъ, не будетъ понимать, что они говорятъ, зачахнетъ, умретъ со скуки. Тотъ любитъ каждый день пріѣхать въ Англійскій или Дворянскій клубъ, походить по комнатамъ, посидѣть поперемѣнно подлѣ каждаго карточнаго стола, посмотрѣть, какъ играютъ на билліардѣ, вздремнуть въ газетной комнатѣ за «Инвалидомъ» и ѣхать въ первомъ часу домой, съ усладительною надеждою, что завтрашній день пройдетъ для него такъ-же пріятно, какъ прошелъ этотъ настоящій и какъ, вѣроятно, прошли и всѣ прочіе дни его дѣятельной и полезной для общества жизни. Я думаю, не трудно догадаться, что я говорю все это для того только, чтобъ приготовить читателей къ собственной моей исповѣди. Что грѣхъ таить, и у меня также есть господствующая слабость: я люблю... показывать Москву, — да еще съ какимъ кокетствомъ, съ какою снаровкою! О, въ этомъ умѣньи *выказать товаръ лицомъ* я не уступлю не только самому бойкому гостинодворцу, но даже любой московской барынѣ, когда она въ первый разъ знакомитъ со свѣтомъ свою милую Зеничку, Катишь или Мими, которая была бы очень завидная невѣста, если-бъ у нея не было четырехъ сестеръ и пяти братьевъ. Вы не можете себѣ представить, какъ я забочусь о томъ, чтобы показать Москву съ самой выгодной для нея стороны; какъ стараюсь соблюдать эту необходимую постепенность, посредствомъ которой возбуждается сначала вниманіе, потомъ любопытство, а тамъ удивленіе и, наконецъ, полный восторгъ. Конечно, все это стоитъ мнѣ большихъ хлопотъ; но зато какъ я бываю счастливъ, когда достигну моей цѣли, съ какимъ восхищеніемъ, съ какою гордостью смотрю я на иноземца, пораженнаго красотою и величіемъ моей Москвы. Да, моей!.. Въ эту минуту мнѣ кажется, что Москва моя, что я самъ Москва, что онъ удивляется мнѣ! Вообще я показываю Москву охотнѣе иностранцамъ, чѣмъ своимъ. Если свой пріѣхалъ изъ провинціи, а особливо изъ Казани или Одессы, то онъ не слишкомъ восхищается Москвою, во-первыхъ, потому, чтобы не уронить своего собственнаго достоинства; а во-

вторыхъ, потому, чтобы не выказать себя провинціаломъ, который всему удивляется. Если же онъ пріѣхалъ изъ Петербурга, то, разсудите сами, можетъ ли онъ любоваться Москвою? Конечно, Москва называется столицею, она многолюднѣе Новгорода, побольше Твери, покрасивѣе Торжка, а все-таки провинціальный городъ. Правда, есть много исключеній, не всѣ такъ думаютъ; но мнѣ какъ-то чаще удавалось встрѣчаться съ людьми, которые весьма легко поговариваютъ о нашей Бѣлокаменной и даже не вѣрятъ, что мы въ Москвѣ, ни дать ни взять, какъ они въ Петербургѣ, пьемъ цѣльное шампанское вино, нюхаемъ неподдѣльный французскій табакъ и точно такъ же, какъ они, ѣдимъ прескверныя устрицы.

Въ прошедшій понедѣльникъ, рано поутру, получилъ я отъ моего стариннаго пріятеля, живущаго въ Смоленскѣ, письмо; онъ рекомендуетъ мнѣ въ этомъ письмѣ одного путешественника, г-на Дюверніе, который ѣдетъ взглянуть на Москву. Тутъ же приложена была небольшая записка на французскомъ языкѣ отъ самого г-на Дюверніе. Онъ увѣдомлялъ меня, что вчерашняго числа поздно ночью, не доѣхавъ до Москвы, остановился въ Кунцовѣ у своего единоземца г-на Д***, который нанимаетъ тамъ дачу. Въ заключеніе своей записки онъ просилъ меня увѣдомить его, когда можетъ ко мнѣ пріѣхать. «Вотъ, — подумалъ я, — прекрасный случай пощеголять Москвою! Этотъ французъ пріѣхалъ ночью, не видѣлъ еще Москвы, слѣдовательно, увидитъ ее такъ, какъ я хочу. Да только вотъ бѣда: смоленскій-то въѣздъ больно плохъ: что за улица, какіе пустыри!.. Вида никакого, дома прескверные. Первое впечатлѣніе будетъ самое невыгодное, а для француза это все! Нѣтъ, ужъ такъ и быть,— лошади у меня добрыя, прокачу его порядкомъ». Я отдалъ кой-какія приказанія моему Никифору, велѣлъ заложить коляску четверней въ рядъ и отправился.

Я засталъ г-на Дюверніе за утреннимъ туалетомъ; онъ очень извинялся, что позволилъ себя предупредить, и вообще показался мнѣ весьма умнымъ и любезнымъ человѣкомъ. Я пригласилъ его къ себѣ на русскій столъ и предложилъ отправиться до обѣда вмѣстѣ со мною смотрѣть Москву. Когда мы выѣхали на смоленскую дорогу и стали приближаться къ заставѣ, я сказалъ ему: «Знаете ли что? Теперь еще рано, утро прекрасное: чѣмъ намъ ѣхать прямо въ городъ, не лучше ли взглянуть на его окрестности? Здѣсь же пойдутъ мѣста гористыя, съ которыхъ весьма пріятный видъ на Москву».

— Очень радъ!—отвѣчалъ французъ. — Я совершенно въ вашихъ приказаніяхъ.

— Ступай направо!—закричалъ я кучеру.

Мы свернули *съ большой дороги*, проѣхали шибкою рысью мимо *Скотнаго двора* *), переправились подлѣ мельницы черезъ рѣчку Сѣтунь, которая въ этомъ мѣстѣ впадаетъ въ Москву-рѣку, и стали подыматься въ гору. Сначала мы не видѣли ничего, кромѣ мелкаго кустарника и глинистыхъ бугровъ, посреди которыхъ прорѣзывалась довольно плохая дорога. Потомъ, когда поднялись на первыя возвышенности Воробьевыхъ горъ, налѣво стали обрисовываться, на самомъ краю горизонта, отдаленныя части города: ближайшихъ не было еще видно; но мой путешественникъ, какъ будто бы предчувствуя, что передъ нимъ готова открыться великолѣпная картина, не спускалъ глазъ съ лѣвой стороны нашей дороги. Мы въѣхали по узкой дорожкѣ въ мелкій, но частый лѣсъ. Вотъ онъ сталъ рѣдѣть, дорожка круто поворотила влѣво, мы выѣхали на открытое мѣсто, и третья часть Москвы, со всѣми своими колокольнями, церквами и каланчами, которыя такъ походятъ на турецкіе минареты, разостлалась, какъ нарисованная, подъ нашими ногами. Впереди всего подымался Новодѣвичій монастырь со своими круглыми башнями и высокою колокольнею; посреди необозримыхъ луговъ тихо струилась, въ своихъ песчаныхъ берегахъ, капризная Москва-рѣка: то приближалась къ подошвѣ Воробьевыхъ горъ, то отбѣгала прочь, то вдругъ исчезала за деревьями, которыя росли кой-гдѣ по скату холмовъ. Какъ въ волшебной оперѣ мѣнялись поминутно декораціи этой обширной сцены: при каждомъ поворотѣ дороги, при каждомъ изгибѣ горъ Москва принимала новый видъ.

— Это прелесть! Чудо!—кричалъ Дюверніе. — Я готовъ стать на колѣни передъ Москвою!

Я чуть было не вымолвилъ:

— Нѣтъ, ужъ это слишкомъ много! Мнѣ совѣстно!—Но опомнился и не сказалъ ничего.

— Впрочемъ, все это, — прибавилъ черезъ минуту путешественникъ, — вѣроятно, одинъ оптическій обманъ.

Меня обдало холодомъ.

— Какъ?—вскричалъ я.

— Да!—продолжалъ Дюверніе. — Я былъ въ Константинополѣ: издали это великолѣпнѣйшій городъ въ мірѣ; а въѣзжайте въ него — скверныя улицы, безобразные дома, гадость, грязь...

— Да что же общаго,—спросилъ я,—между Константинополемъ и Москвою?

— Какъ что общаго? Да что-жъ такое ваша Москва? Сотни двѣ барскихъ огромныхъ домовъ, нѣсколько тысячъ деревянныхъ домиковъ; рядомъ съ дворцами хижины, множество церквей какой-то странной азіатской архитектуры; однимъ словомъ, не городъ, а собраніе деревень—c'est connu!

---

*) Загородный домъ, принадлежащій Воспитательному дому.

— У васъ въ Парижѣ, вѣроятно, это знаютъ изъ путешествія Олеарія, — сказалъ я почти съ злобною улыбкою.

— Да развѣ Москва походитъ на европейскій городъ? — спросилъ съ удивленіемъ Дюверніе.

— И да и нѣтъ. Да вотъ вы сами это увидите.

Я замолчалъ. Насъ быстро провезли мимо Васильевскаго, и я не обратилъ даже вниманія на то, что путешественникъ былъ пораженъ необычайною красотою этого загороднаго дома. Мнѣ кажется, я даже не отвѣчалъ на его вопросъ, кому принадлежитъ *этотъ замокъ* (ce château); однимъ словомъ, я просто сердился и молчалъ вплоть до Калужской заставы. Да и не удивительно: послѣ такой *личной* обиды не скоро успокоишься!

— Вотъ и Москва! — прошепталъ Дюверніе, когда опустился за нами шлагбаумъ.

— То-есть мы въѣхали въ одно изъ ея предмѣстій,—сказалъ я,—въ которомъ, какъ вы видите, нѣтъ еще настоящихъ городскихъ домовъ. Всѣ эти небольшіе домики съ обширными садами можно скорѣе назвать дачами, чѣмъ домами. Вотъ налѣво Нескучный садъ. Вамъ надобно побывать въ немъ: онъ очень живописенъ...

— Что это за монастырь? — спросилъ путешественникъ, взглянувъ направо.

— Это Донской монастырь. Онъ основанъ въ 1596 году въ память побѣды, одержанной Царемъ Ѳеодоромъ Ивановичемъ надъ Крымскимъ ханомъ; слѣдовательно, существуетъ только двѣсти-сорокъ-шесть лѣтъ. У насъ въ Москвѣ есть монастыри несравненно древнѣе и любопытнѣе этого. Вотъ напримѣръ...

— Quel superbe hôtel — прервалъ мой французъ. — Какія принадлежности! Какой дворъ!

— Это лѣтній дворецъ Русской Императрицы. Изъ его сада прекрасный видъ на Москву-рѣку.

— А это также дворецъ? — сказалъ Дюверніе, указывая на Голицынскую больницу.

— Нѣтъ, это больница...

— А это что за великолѣпное зданіе? — спросилъ онъ черезъ полминуты.

— Больница.

— Ого!—прошепталъ французъ.—Извините,—сказалъ онъ, помолчавъ нѣсколько времени,—я надоѣдаю вамъ моими вопросами.

— Сдѣлайте милость!

— Позвольте спросить, что это за огромный домъ?..

— Больница.

— Ну, вашимъ больнымъ жить хорошо!

— Я увѣренъ, что вы это повторите въ настоящемъ и буквальномъ смыслѣ, когда заглянете во внутренность этихъ заведеній.

— *Три больницы, похожія* на дворцы, и всѣ три почти сряду!..—шепталъ путешественникъ.

— Есть недалеко отсюда и четвертая.

— Слѣдовательно, эта часть города исключительно назначена для человѣколюбивыхъ заведеній?

— О, нѣтъ, и въ другихъ частяхъ города есть страннопріимные дома и больницы, ничѣмъ не хуже этихъ.

— Вотъ это прекрасно! — сказалъ Дюверніе. — Это признакъ истиннаго просвѣщенія, это дѣлаетъ честь Москвѣ!

Черезъ нѣсколько минутъ мы выѣхали на Полянскую площадь. Я велѣлъ повернуть по Козьмодемьянской улицѣ, на Каменный мостъ. Такъ какъ эта часть города не изъ самыхъ красивыхъ, то я заговорилъ съ моимъ товарищемъ о Парижѣ. Французъ закипѣлъ, началъ мнѣ разсказывать *о своей столицѣ всего просвѣщеннаго міра*, и вовсе не замѣчалъ, гдѣ мы ѣдемъ. Я оставилъ его въ этомъ восторженномъ положеніи до тѣхъ поръ, пока мы ѣхали до Каменнаго моста; тутъ я велѣлъ остановиться и сказалъ ему:

— Посмотрите направо!

Дюверніе поднялъ глаза и ахнулъ: передъ нимъ Москва-рѣка въ гранитныхъ берегахъ, съ широкою набережною, съ красивыми чугунными рѣшетками; за ней съ одной стороны громада каменныхъ зданій и длинный рядъ кремлевскихъ садовъ, съ другой, какъ цѣлый городъ, колоссальный Воспитательный домъ; за нимъ, уставленный каменными домами, красивый холмъ, который, впрочемъ, я не люблю называть по имени, а посреди зеленая гора, подпертая высокими стѣнами, опоясанная цѣпью башенъ и увѣнчанная святыми храмами, подъ благодатною сѣнію которыхъ возвышаются чертоги царскіе и древніе терема—эта священная колыбель всѣхъ Царей православной и могучей Россіи.

— О, que c'est beau! — вскричалъ Дюверніе. — Это Кремль?

— Да!—отвѣчалъ я. — Это нашъ русскій Капитолій, нашъ Кремль, котораго не могли разрушить ни татары, ни поляки, ни...

— Ни французы? — сказалъ съ улыбкою путешественникъ. — Вы напрасно ихъ обвиняете.

— Однако-жъ, въ двѣнадцатомъ году...

— Они хотѣли подорвать весь Кремль, — прервалъ Дюверніе.—Обвиняйте въ этой, не слишкомъ европейской, попыткѣ не французовъ, а того, кто привелъ ихъ въ Москву. Мы взрываемъ крѣпости; но дворцы, историческіе памятники и стѣны, за которыми не спрячешься отъ ядеръ, мы ужъ, конечно, разрушать не станемъ.

— Сказалъ бы я тебѣ и на это кое-что,— подумалъ я, — да ты любуешься Кремлемъ, такъ Богъ тобой!

— Знаете ли, — продолжалъ французъ, — что это все такъ прекрасно, такъ живописно,

что я, можетъ-быть, предпочелъ бы Москву многимъ европейскимъ городамъ, если-бъ она была хотя нѣсколько многолюднѣе, а то мнѣ кажется, извините, улицы ваши очень пусты.

«Злодѣй!—подумалъ я,—замѣтилъ, какъ замѣтилъ! Да постой же, я поподчую тебя народомъ!»—Держи правѣе, по набережной!—закричалъ я кучеру,—на Москворѣцкій мостъ!

Когда мы переѣхали черезъ этотъ красивый мостъ и стали подыматься вверхъ по Москворѣцкой улицѣ, Дюверніе замѣтилъ, что тутъ вовсе нѣтъ недостатка ни въ проходящихъ, ни въ проѣзжающихъ. Первый предметъ, который обратилъ на себя все его вниманіе, былъ Покровскій соборъ, который мы привыкли называть *Василіемъ Блаженнымъ*.

— Что это?—вскричалъ онъ,—я въ жизнь мою ничего подобнаго не видѣлъ! Это ни на что не походитъ! Это такъ пестро, такъ тяжело... а чрезвычайно любопытно!

Онъ не успѣлъ еще наглядѣться на этотъ чудный памятникъ шестнадцатаго столѣтія, какъ мы выѣхали на Красную площадь и остановились подлѣ Лобнаго мѣста, противъ самой Ильинки, которая была вся запружена экипажами и народомъ.

— Вотъ, — сказалъ путешественникъ, — вотъ это жизнь, движеніе! И это бываетъ здѣсь каждый день?

— Разумѣется! Здѣсь средоточіе московской торговли. На Кузнецкомъ мосту экипажей несравненно больше, но зато менѣе народу.

— Какая странная противоположность! Здѣсь вездѣ движется народъ, вездѣ замѣтна дѣятельность, суета, а тамъ, гдѣ мы ѣхали...

— Да мы ѣхали Замоскворѣчьемъ: тамъ живутъ по большей части наши русскіе купцы, которые ведутъ жизнь тихую и сидячую; жены ихъ не любятъ кататься по улицамъ, и ворота ихъ домовъ всегда заперты; вы можете даже по этому тотчасъ отличить купеческій домъ отъ дворянскаго. Притомъ же большая часть обывателей Замоскворѣчья съ утра до вечера здѣсь.

— А, — подхватилъ французъ, обративъ, наконецъ, вниманіе на ряды,—такъ это-то вашъ *базаръ?* il est immense.

— Онъ, какъ видите, занимаетъ всю площадь. Эта колоссальная группа, которая стоитъ противъ самой его средины, изображаетъ спасителей Россіи въ 1612 году, князя Пожарскаго и гражданина Минина. Теперь, если хотите, мы поѣдемъ въ Кремль.

— Позвольте еще одинъ вопросъ: что значитъ это каменное круглое возвышеніе, похожее на огромную каѳедру?

— Это *Лобное мѣсто*, на которомъ въ старину...

— Рубили головы?—прервалъ съ живостью французъ. — Такъ точно!.. Вотъ здѣсь вводили на *него преступниковъ... вотъ* тамъ, вѣроятно, лежала роковая плаха..! Да, да, непремѣнно тамъ!.. Посмотрите!.. Замѣчаете ли вы на этихъ камняхъ слѣды кровавыхъ пятенъ?.. О, я не забуду этого въ моихъ запискахъ! Какая странная вещь наше воображеніе,—продолжалъ Дюверніе, не давая мнѣ вымолвить ни слова;—одинъ взглядъ на историческій памятникъ, — и минувшіе вѣка возстаютъ изъ своего праха; времена варварства, пытокъ и казней, все оживаетъ передъ вами. Повѣрите ли, мнѣ кажется, я вижу на этомъ отвратительномъ эшафотѣ цѣлыя груды отрубленныхъ головъ, обезображенные трупы...

— Да успокойтесь,—сказалъ я,—на этомъ Лобномъ мѣстѣ никого не казнили; съ него объявляли только царскіе указы и совершали молебствія.

Мой французъ успокоился, и когда мы подъѣхали къ Спасскимъ воротамъ, онъ спросилъ меня:

— Почему всѣ входятъ въ эти ворота съ непокрытою головою?

— Быть можетъ, оттого, что тутъ чудотворный образъ, — отвѣчалъ я, — или, если вѣрить народному преданію, это дѣлается потому, что князь Пожарскій, освободивъ Москву, вошелъ Спасскими воротами въ Кремль.

— Я всегда уважалъ народные обычаи,— сказалъ Дюверніе,—и охотно снимаю вмѣстѣ съ вами мою шляпу.

Мы въѣхали въ Кремль; вышли изъ коляски; обошли кругомъ всѣ соборы, поглядѣли на Ивана Великаго, подивились царь-колоколу, который, по волѣ нынѣ царствующаго Императора, явился, наконецъ, на свѣтъ Божій; взглянули на огромную пушку и молча прошли мимо тѣхъ самыхъ пушекъ, которыя нѣкогда громили всю Европу, а теперь лежатъ себѣ преспокойно на деревянныхъ подмосткахъ и не обижаютъ никого. Не знаю, догадался ли мой французъ, что эти пушки ему сродни, только онъ что-то очень на нихъ косился; однако-жъ, не спросилъ меня, почему онѣ, сердечныя, выставлены на показъ цѣлому міру и лежатъ безъ всякаго пріюта. Когда мы пересмотрѣли все: арсеналъ, сенатъ, терема, Николаевскій дворецъ, монастыри Чудовъ и Вознесенскій, Грановитую и Оружейную палаты, то подошли къ самой закраинѣ кремлевской горы. Дюверніе взглянулъ и обомлѣлъ отъ восторга. Я не буду описывать этотъ неизъяснимоплѣнительный видъ съ кремлевской горы на все Замоскворѣчье? Кто изъ москвичей не бывалъ въ Кремлѣ? А кто вовсе незнакомъ съ Москвою, тотъ, право, можетъ въ нее пріѣхать для того только, чтобъ полюбоваться хоть разъ въ жизни этою очаровательною панорамою... Когдо мы сѣли въ коляску, и я приказалъ кучеру ѣхать Троицкими воротами

на Моховую, Дюверніе объявилъ мнѣ, что онъ безъ ума отъ нашего Кремля.

— Да вы видѣли его въ будничномъ нарядѣ,—сказалъ я,—теперь въ немъ все мертво и тихо. Нѣтъ, вы посмотрѣли бы его при Русскомъ Царѣ! О, вы не можете себѣ представить, какъ прекрасенъ этотъ Кремль, когда Державный его хозяинъ посѣтитъ свою Москву! Эта дворцовая площадь, на которой теперь такъ пусто, покроется и закипитъ вся народомъ, изъ котораго многіе ночевали на этой площади, для того только, чтобъ занять повыгоднѣе мѣсто и взглянуть лишній разъ на своего Государя. Вы посмотрѣли бы на Кремль тогда, какъ загудитъ нашъ большой колоколъ, и Русскій царь, охваченный со всѣхъ сторонъ волнами безчисленной толпы народа, пойдетъ черезъ всю площадь совершать молебствіе въ Успенскомъ соборѣ.

— Какъ?— прервалъ Дюверніе.— Да неужели вашъ Государь идетъ по этой площади пѣшкомъ, при такомъ стеченіи народа?..

— Да, да, пѣшкомъ; и даже подчасъ ему бываетъ очень тѣсно.

— Что вы говорите!.. Но, вѣроятно, полиція...

— Гдѣ Государь, тамъ нѣтъ полиціи.

— Помилуйте! Да какъ же это можно?.. Идти посреди безпорядочной толпы народа одному безъ всякой стражи...

— Я вижу, господа французы, — сказалъ я, взглянувъ почти съ состраданіемъ на путешественника,—вы никогда насъ не поймете. Нашему Царю стража не нужна: его стража весь народъ русскій.

— Удивительно!—прошепталъ Дюверніе.— Ну, надобно признаться, я вижу и слышу здѣсь такія неожиданныя для меня вещи, такія странности...

— Какихъ вы не видите и не слышите въ Парижѣ? Да такъ и быть должно: вѣдь, и всѣ путешествуютъ для того, чтобъ слышать и видѣть что-нибудь новое.

Мой путешественникъ согласился съ неоспоримой истиной этого заключенія и замолчалъ. Мы отправились по Моховой къ Охотному ряду. Я показалъ моему товарищу крытую площадь, которую мы называемъ манежемъ, нашъ великолѣпный Университетъ, Благородное собраніе, въ которомъ залъ едва ли не одинъ изъ лучшихъ по всей Европѣ, и Большой театръ, въ которомъ парижская опера можетъ помѣститься какъ въ самомъ просторномъ футлярѣ, потому что нашъ московскій театръ цѣлымъ аршиномъ шире знаменитаго Сенъ-Карла. Потомъ мы выѣхали на Никольскую площадь и повернули Кузнецкимъ мостомъ на Тверскую. Мимоѣздомъ Дюверніе любовался также нашими водометами, которые, украшая площади кругомъ Кремля, поятъ всю Москву такою чистою и здоровою водою. Когда, проѣхавъ всю Тверскую до Страстного монастыря, мы повернули по бульвару къ Никитскимъ воротамъ, Дюверніе удостовѣрился самою очевидностью, что въ Москвѣ гораздо болѣе огромныхъ барскихъ домовъ, чѣмъ онъ думалъ, и что во многихъ и весьма обширныхъ ея частяхъ не только нѣтъ *хижины*, но даже *ни одного* деревяннаго дома. А когда мы проѣхали всю Поварскую, то онъ согласился со мною, что наши оштукатуренные или просто выкрашенные деревянные дома, построенные по всѣмъ правиламъ изящной архитектуры, несравненно красивѣе этихъ шести-этажныхъ полукирпичныхъ и полудеревянныхъ избъ, которыми наполнена вся Германія.

Я пріѣхалъ съ моимъ гостемъ домой, совершенно довольный нашею прогулкою; но настоящее и полное торжество ожидало меня за обѣдомъ, за которымъ Дюверніе объявилъ мнѣ торжественно, что русская янтарная уха, изъ свѣжихъ стерлядей и жирныхъ налимовъ, вкуснѣе всѣхъ возможныхъ суповъ, даже и французскихъ, а Москва прекраснѣе, живописнѣе и разнообразнѣе всѣхъ извѣстныхъ ему городовъ, разумѣется, исключая Парижа, съ которымъ, не смотря на его грязныя улицы, ничто въ мірѣ сравниться не можетъ.

III.

СЦЕНЫ ИЗЪ ДОМАШНЕЙ и ОБЩЕСТВЕННОЙ МОСКОВСКОЙ ЖИЗНИ.

СЦЕНА 1-я.

Выборъ жениха.

„Суженаго и конемъ не объѣдешь“.
Русская пословица.

У меня есть въ Москвѣ внучатная сестрица, богатая вдова лѣтъ пятидесяти, женщина довольно добрая, довольно честная и даже, по-своему, не глупая; но, какъ бы вамъ это сказать,—не отсталая—избави Господи: она два раза была за границею и ѣздила по желѣзной дорогѣ,—а такая обыкновенная, такая дюжинная, благовоспитанная барыня, что, право, иногда пожалѣешь о томъ, что она не вовсе безграмотная; мнѣ кажется, тогда было бы съ ней не такъ скучно. Двухъ старшихъ дочерей своихъ она выдала очень неудачно замужъ. Одну за французскаго графа, который впослѣдствіи оказался не графомъ; другую обвѣнчала съ русскимъ княземъ, котораго за буйство и картежную игру отправили жить въ какой-то отдаленный городокъ, гдѣ онъ и теперь находится подъ судомъ, за то, что прибилъ уѣзднаго стряпчаго или станового пристава, — право, не помню.

Третья и послѣдняя дочь была еще не замужемъ; а такъ какъ покойный отецъ оставилъ на ея долю шестьсотъ душъ, да маменька хотѣла укрѣпить ей все имѣнье, то, разумѣется, и она не могла долго засидѣться въ дѣвкахъ. Я не часто бываю у этой внучатной сестрицы, не потому, чтобъ я ее чуждался—о, нѣтъ! Она очень ко мнѣ ласкова, зоветъ братцемъ, присылаетъ каждый разъ своего стараго слугу Антропа поздравить меня съ именинами и со днемъ рожденья, а въ Новый годъ, въ Рождество и въ Свѣтлый праздникъ форейтора съ визитной карточкой, на которой напечатано мелкимъ шрифтомъ: «Маргарита Степановна Барашева, урожденная княжна Горенская, съ дочерью». Если я вижусь съ ней очень рѣдко, то на это есть весьма уважительная причина, которая также принадлежитъ къ числу особенностей нашей Москвы. Я живу за Прѣсненскими прудами, а она въ Яузской части, въ приходѣ Николы Кобыльскаго, то-есть мы живемъ другъ отъ друга, по-крайней мѣрѣ, въ восьми верстахъ, слѣдовательно, всякій разъ, когда я бываю у Маргариты Степановны, бѣдныя мои лошади должны пробѣжать по бойкой мостовой шестнадцать верстъ, а у меня на конюшнѣ никогда не бываетъ болѣе четырехъ лошадей, такъ я ихъ и поберегаю.

Собственный домъ, въ которомъ живетъ моя сестрица, можетъ назваться *типомъ* или, по крайней мѣрѣ, образцомъ большей части деревянныхъ домовъ тѣхъ московскихъ зажиточныхъ дворянъ, которые не принялись еще отдѣлывать дома свои *во вкусѣ среднихъ вѣковъ*, то-есть пристроивать къ нимъ готическіе балконы, въ видѣ огромныхъ фонарей и колоссальныхъ перечницъ, а живутъ точно такъ же, какъ жили лѣтъ двадцать-пять тому назадъ. Деревянный домъ моей родственницы построенъ на двѣнадцати саженяхъ, оштукатуренъ и снаружи и внутри, съ большимъ мезониномъ, на фронтонѣ котораго какъ жаръ горитъ вытиснутый на латуни гербъ дворянъ Барашевыхъ подъ княжескою короною, напоминающею сіятельное происхожденіе прежде бывшей княжны Горенской. Весь домъ окрашенъ въ блѣднопалевый цвѣтъ, исключая различныхъ *орнаментовъ*, которые покрыты бѣлою краской. Передъ домомъ обширный дворъ съ двумя воротами, изъ которыхъ одни всегда заперты; на воротахъ неизбѣжные алебастровые львы. Позади дома садъ на трехъ десятинахъ, съ порядочнымъ прудомъ и красивой бесѣдкой. Домъ расположенъ очень покойно: парадныя сѣни, не всегда чистыя—это правда, но просторныя и свѣтлыя, лакейская, всегда запачканная, но теплая и помѣстительная. Потомъ ежедневная столовая, одинаковаго цвѣта съ наружностію дома; изъ нея налѣво довольно большая зала, съ колоннами подъ мраморъ и даже съ хорами для музыкантовъ, которые, впрочемъ, должны играть непремѣнно сидя. Стѣны залы приготовлены также подъ фальшивый мраморъ и, вѣроятно, будутъ скоро отдѣланы, потому что стоятъ въ этомъ видѣ лѣтъ около двадцати. Прямо изъ столовой парадные покои, то-есть двѣ большія гостиныя комнаты и такой же величины диванная. Первая гостиная свѣтло-бирюзовая, вторая голубая; во всѣхъ простѣнкахъ, какъ слѣдуетъ, зеркала, подстольники съ бронзовыми часами и фарфоровыми вазами, шелковыя занавѣски надъ окнами, бумажныя люстры подъ бронзу; кой-гдѣ фамильные портреты; мебель въ одной гостиной изъ корельской березы, въ другой изъ краснаго дерева въ греческомъ вкусѣ, слѣдовательно, не новая, но весьма опрятная и всегда въ чехлахъ, которые едва-ли когда-нибудь и снимаются; полы во всѣхъ парадныхъ комнатахъ паркетные. Войдя въ диванную, вы тотчасъ замѣтите, что послѣднее путешествіе Маргариты Степановны за границу принесло свои плоды: эта диванная отдѣлана и убрана почти во вкусѣ нашего времени: стѣны оклеены малиновыми насыпными обоями подъ рытый бархатъ; по обѣимъ сторонамъ дивана трельяжъ, то-есть деревянныя рѣшеточки, обвитыя плющемъ, двѣ горки à ла помпадуръ, уставленныя фарфоровыми чашками; между ними нѣсколько китайскихъ болванчиковъ, и въ томъ числѣ преважный мандаринъ, который качаетъ головою, моргаетъ глазами и дразнится языкомъ. Два готическіе стула изъ орѣховаго дерева съ высокими спинками, три столика «рококо» съ кривыми ножками, широкія эластическія кресла, трое другихъ креселъ, различной величины и формы. На одномъ изъ столовъ бронзовый карсель; а въ углу, витой жгутомъ, изъ краснаго дерева столбъ, который, загибаясь вверху крючкомъ, поддерживаетъ висячій фонарь съ расписными стеклами. За этой диванной внутреннія комнаты, дѣвичья и широкій коридоръ съ довольно крутой лѣстницей, ведущей въ мезонинъ, въ которомъ живетъ Эмѣ, сирѣчь Любовь Дмитріевна, меньшая дочь Маргариты Степановны, дѣвица лѣтъ осьмнадцати, очень миловидная, ловкая, развязная и воспитанная какъ нельзя лучше, по крайней мѣрѣ, такъ говоритъ ея маменька, которая увѣряетъ, что ничего не жалѣла для ея умственнаго и душевнаго образованія; что нянюшкой у нея была нѣмка, гувернанткой француженка, а компаньонкой англичанка, которая и теперь еще живетъ вмѣстѣ съ нею; что она, то-есть Эмѣ, брала уроки у всѣхъ лучшихъ московскихъ учителей, большая музыкантша, поетъ, какъ ангелъ, рисуетъ, какъ художникъ, понимаетъ по-нѣмецки, можетъ вести рѣчь по-англійски, а по-французски говоритъ и лучше и свободнѣе, чѣмъ природнымъ своимъ языкомъ. Сверхъ того, сколько мнѣ извѣстно, ей случалось иногда сочинять французскіе стишки, которые, если не вполнѣ

изобличали истинный талантъ, то, по крайней мѣрѣ, всегда ручались за то, что ихъ сочинительница одарена весьма чувствительнымъ сердцемъ и необычайно пламенной головой. Учитель французскаго языка, большой франтъ и любезникъ, обыкновенно при этихъ случаяхъ называлъ ее, очень вѣжливо, русскою Сафо, чему добрая маменька отъ всей души радовалась.

Вчера я получилъ отъ Маргариты Степановны записку, въ которой она убѣдительно проситъ меня заѣхать къ ней послѣ обѣда, поговорить объ одномъ весьма важномъ дѣлѣ. Я отправился изъ дому часу въ седьмомъ и ровно черезъ часъ коляска моя въѣхала къ ней во дворъ, гдѣ уже стояло нѣсколько экипажей. Я нашелъ мою внучатную сестрицу въ диванной, въ кругу близкихъ ея родныхъ. Тутъ былъ ея двоюродный братъ, князь Иванъ Юрьевичъ Бубликовъ, племянникъ ея покойнаго мужа, Андрей Евстафьевичъ Барашевъ, родная ея сестра, дѣвица лѣтъ сорока-пяти, княжна Агафоклея Горенская, вдова ея покойнаго двоюроднаго брата, Настасья Никитишна Черново-Сусальская и тетушка Маремьяна Сергѣевна Булыжникова. Все общество сидѣло вокругъ стола, на которомъ кипѣлъ самоваръ. Сама хозяйка разливала чай; ей помогала англичанка, а Любовь Дмитріевна стояла подлѣ окна и разговаривала со своимъ внучатнымъ братомъ, гусарскимъ поручикомъ, Александромъ Васильевичемъ Зоринымъ, большимъ повѣсою, но весьма красивымъ молодцомъ, съ черными усиками и огненными глазами. Когда я раскланялся съ мужчинами, пожалъ, какъ слѣдуетъ человѣку фешенебельному, руки у дамъ, кивнулъ головою Зорину и поцѣловалъ ручку у почтенной тетушки Маремьяны Сергѣевны, хозяйка налила мнѣ чаю, и я присѣлъ къ общему столу. Разговоръ какъ-то не клеился. Князь Иванъ Бубликовъ игралъ кисточками своей камышевой трости, смотрѣлъ на ея золотой набалдашникъ, на которомъ вырѣзанъ былъ его княжескій гербъ, и молчалъ. Андрей Евстафьевичъ Барашевъ прихлебывалъ съ отдыхами и растановкою чай, надувалъ весьма значительно губы или съ большимъ глубокомысліемъ подымалъ кверху свои густыя брови и молчалъ. Княжна Горенская, которая сидѣла подлѣ Настасьи Никитишны Черново-Сусальской, разсказывала ей что-то вполголоса объ очаровательныхъ окрестностяхъ Карлсбада; но Настасья Никитишна, казалось, слушала ее однимъ только ухомъ, вертѣлась и туда и сюда на креслахъ, поправляла свой чепецъ и отъ времени-до-времени подносила къ носу хрустальный флаконъ со спиртомъ. Тетушка Маремьяна Сергѣевна была погружена въ глубокую задумчивость, безпрестанно открывала свою круглую золотую табакерочку съ рульнымъ табакомъ, шевелила въ ней пальцами, поминутно нюхала и забывала даже стряхать табачную пыль со своей черной тюлевой косынки. Хозяйка говорила не болѣе другихъ; замѣтно было, что она дожидается чего-то съ большимъ нетерпѣніемъ и очень торопится напоить всѣхъ чаемъ. Любовь Дмитріевна показалась мнѣ также необычайно смущенною: она то краснѣла, то блѣднѣла, играла разсѣянно своимъ флеровымъ эшарпомъ и смотрѣла все внизъ. Одинъ только гусаръ Зоринъ говорилъ безпрестанно и, повидимому, съ большимъ жаромъ; но онъ говорилъ съ одною Любовью Дмитріевной и такъ тихо, что нельзя было разобрать ни одного слова.

— Эмé,—сказала Маргарита Степановна, когда всѣ напились чаю,—ты бы, мой другъ, пошла погулять съ Александромъ по саду; вечеръ прекрасный. Миссъ Мери,—продолжала она, обращаясь къ англичанкѣ,—ступай и ты съ ними; да возьми, ма шеръ, съ собою провѣтрить Амишку: она цѣлый день не выходила во дворъ.

Зоринъ подалъ руку своей кузинѣ, англичанка взяла подъ плечо болонку, и они вышли изъ диванной. Маргарита Степановна приказала слугѣ унести чайный приборъ, поправила на себѣ шаль, усѣлась покойнѣе на диванѣ, вынула изъ ридикюля батистовый платокъ и начала рѣчь слѣдующимъ образомъ... Да нѣтъ, когда разговариваютъ многіе, тогда разсказъ рѣшительно не у мѣста. Всѣ эти пояснительныя рѣчи: «такой-то сказалъ, такая-то отвѣчала, тотъ возразилъ, этотъ прервалъ, та подхватила»—только что сбиваютъ и путаютъ читателя; итакъ, позвольте мнѣ прибѣгнуть къ обыкновенной драматической формѣ. Это будетъ и яснѣе, и проще.

Маргарита Степановна. Я просила васъ къ себѣ, почтеннѣйшая моя тетушка, и всѣхъ васъ, мои родные, чтобъ поговорить съ вами о нашей Эмé... Вы всѣ ее любите... Да какъ и не любить этого ангела!.. Когда я подумаю, что мнѣ должно будетъ разстаться съ нею... (*Маргарита Степановна прикладываетъ къ глазамъ свой батистовый платокъ и плачетъ; тетушка нюхаетъ табакъ; княжна Горенская вздыхаетъ; князь Бубликовъ устремляетъ взоръ на золотой набалдашникъ своей трости, а Барашевъ становится мрачнѣе и глубокомысленнѣе прежняго.—Минутное молчаніе*).

Черново-Сусальская (*вполголоса*). Ахъ, невѣстушка, не говорите!.. У кого есть свои дочери...

Маргарита Степановна (*укладывая въ ридикюль свой батистовый платокъ, который, вѣроятно, былъ ей нуженъ только для вступленія*). Да, мои родные, пришло время разстаться съ дочерью... Что-жъ дѣлать, — добрая мать не должна быть эгоисткою... Вамъ извѣстно, какъ несчастливо я выдала замужъ первыхъ моихъ дочерей?

Тетушка. А кто-жъ виноватъ, мать моя?..

Маргарита Степановна. Знаю, тетуш-

ка, знаю! Вы мнѣ говорили, что этотъ французскій графъ походитъ на французскаго парикмахера, а этотъ князь на дневного разбойника. Что-жъ дѣлать — ослѣпленье!.. Для того-то я теперь и не хочу приступать ни къ чему безъ вашего общаго совѣта, тѣмъ болѣе, что есть изъ кого выбрать.

Тетушка. Вотъ что!..

Маргарита Степановна (*съ примѣтною гордостью*). Да, ма тантъ, благодаря Бога, у моей Эмеши много партій; она на этотъ счетъ очень счастлива.

Черново-Сусальская (*съ язвительною улыбкою*). Въ самомъ дѣлѣ?

Маргарита Степановна. Да вотъ, братецъ князь Иванъ Юрьевичъ, онъ предлагалъ жениха для нашей Эме...

Тетушка. А кто такой, матушка?

Князь Бубликовъ (*приподнявшись немного съ кресель*). Пріятель мой, графъ Троекуровъ, знатной фамиліи, съ блестящимъ родствомъ, свой человѣкъ князю Свѣтлинскому, двоюродный братъ графинѣ Наливайко-Перхушковой и, если не ошибаюсь, внучатный племянникъ его свѣтлости...

Тетушка. Да самъ-то онъ что такое, батюшка?

Князь Бубликовъ. Самъ?.. Да я ужъ имѣлъ честь вамъ докладывать, что онъ графъ Троекуровъ.

Тетушка. Графовъ и князей много, мой отецъ; какого рангу?..

Князь Бубликовъ (*пожимая плечами*). Ну, если вамъ угодно: онъ былъ камергеромъ, теперь въ отставкѣ, но если только захочетъ служить...

Тетушка. Графъ Троектуровъ... оставной камергеръ... Постой-ка, батюшка... Да не тотъ ли это Троекуровъ, у котораго домъ на Остоженкѣ, съ какими-то стеклянными фонарями да вычурными балкончиками?

Князь Бубликовъ. Тотъ самый.

Тетушка. Ну, сударь, хорошъ женишокъ!.. Мотъ, пустодомъ, чванишка!.. Платитъ французу повару пять тысячъ жалованья, а нечѣмъ заплатить пятисотъ рублей мяснику!., Вотъ ужъ, батюшка, пустой-то человѣкъ!.. Съ утра до вечера бьетъ баклуши, шатается по всѣмъ мѣняльнымъ лавкамъ, скупаетъ у всѣхъ разные антики, мозаики, рѣзные камешки, да всякую другую лихую болѣсть, а тамъ начнетъ ихъ мѣнять съ придачею; да вотъ и домѣнялся до того, что ему скоро перекусить нечего будетъ.

Князь Бубликовъ (*съ достоинствомъ*). Извините, Маремьяна Сергѣевна, вы изволите ошибаться: у графа Троекурова и теперь еще двѣ тысячи душъ.

Тетушка. И ихъ, батюшка, промѣняетъ на табакерки да на всякія другія рѣдкости; а какъ примется заводить картинную галлерею, такъ и женино-то имѣнье по-боку!.. А все, вѣдь, изъ любви къ художеству. Вотъ изволите видѣть—знатокъ, батюшка!.. Въ Римѣ былъ, папу видѣлъ, дуракъ этакій!

Княжна Горенская. Вы, ма тантъ, слишкомъ ужъ строго судите графа! Я познакомилась съ нимъ въ Карлсбадѣ, и, увѣряю васъ, онъ очень любезный и милый человѣкъ.

Черново-Сусальская. Я, по крайней мѣрѣ, ничего дурного о немъ не слышала, и если онъ понравится Эме...

Барашевъ (*покачиваясь въ своихъ креслахъ*). Ну, это нѣсколько трудно: Эме восемнадцать лѣтъ, а ему подъ пятьдесятъ...

Черново-Сусальская. Такъ чтожъ? — Развѣ мужъ и жена должны быть ровесники?

Маргарита Степановна. О, нѣтъ,—разница въ годахъ должна быть! — Разумѣется, какой-нибудь мальчишка... вотъ, напримѣръ, Александръ;—ну, конечно, какой это мужъ!

Княжна Горенская. О, я знаю мужчинъ не только за сорокъ лѣтъ, но даже за пятьдесятъ, которые такъ милы!..

Черново-Сусальская. По мнѣ мужъ долженъ быть, по крайней мѣрѣ, вдвое старѣе своей жены.

Тетушка (*постукивая двумя пальцами по своей табакеркѣ*). Право?.. Такъ ты бы, мать моя, выдала за этого графа свою Зеничку.

Черново-Сусальская (*вспыхнувъ*). Позвольте, Маремьяна Сергѣевна, попросить васъ не мѣшать тутъ мою Зеничку!

Тетушка. Не гнѣвайся, матушка, — я, вѣдь, это съ твоихъ же словъ сказала.

Черново-Сусальская. Я, право, не знаю, что вамъ сдѣлала моя Зеничка, только у васъ, Маремьяна Сергѣевна, всегда на языкѣ Зеничка да Зеничка!

Маргарита Степановна. И, машеръ, какъ вы живы!.. Ма тантъ сказала это безъ всякаго намѣренія... Вотъ любезный мой родной, Андрей Астафьевичъ, предлагаетъ также жениха для нашей Эме, котораго вы, Настасья Никитишна, коротко знаете: онъ у васъ часто бываетъ.

Черново-Сусальская (*съ примѣтнымъ безпокойствомъ*). У меня?.. Кто жъ бы это такой... Я, право, не знаю.

Барашевъ. Иванъ Андреевичъ Пеньковъ.

Черново-Сусальская. (*вздохнувъ свободно*). А!.. (*Нюхаетъ изъ флакончика*).

Княжна Горенская. Это тотъ самый мосье Пеньковъ, что прошлаго года былъ въ Парижѣ?.. Премилый!

Князь Бубликовъ Пеньковъ! (*Пожимаетъ плечами*).

Барашевъ. Человѣкъ замѣчательный, съ небольшимъ тридцать лѣтъ, хорошее состояніе, просвѣщеніе европейское. Недюжинный человѣкъ, недюжинный!

Князь Бубликовъ. Пеньковъ!!!

Черново-Сусальская. О, конечно, конечно! Прекрасный молодой человѣкъ!

Князь Бубликовъ. Въ первый разъ слышу!.. Пеньковъ!.. Какая странная фамилія!

Барашевъ. (*поглядѣвъ съ презрѣніемъ на князя Бубликова*). Ничуть не страннѣе всякой другой; и что такое фамилія?.. Мы всѣ происходимъ отъ Адама. Впрочемъ, Пеньковы были князья. Потрудитесь заглянуть въ бархатную книгу.

Тетушка. Пеньковъ!.. Я гдѣ-то слыхала объ этой фамиліи... Ахъ, батюшки, — да это не тотъ ли Пеньковъ, что третьяго дня обѣдалъ у тебя. племянница, вмѣстѣ со мною?

Маргарита Степановна. Да, тетушка.

Тетушка. Какъ?.. Этотъ мохнатый съ длинными волосами, отъ котораго за версту пахнетъ табачищемъ?.. Который прошлаго мѣсяца разъѣзжалъ на всѣхъ гуляньяхъ вотъ съ этакою бородою?..

Барашевъ. Да, онъ ходилъ прежде съ бородою, но теперь...

Тетушка. А теперь припустилъ себѣ къ носу двѣ піявки, да воображаетъ, что у него усы!.. И ты, племянница, хочешь за него отдать Любушку?

Маргарита Степановна. Нѣтъ, матантъ, я только еще объ этомъ совѣтуюсь.

Тетушка. Да чего тутъ совѣтоваться! Какъ взглянешь, такъ пострѣлъ!.. Нѣтъ, мать моя, выдавай за него если хочешь, дочь, только ужъ я отъ него ворота на запоръ! Я этихъ фрачныхъ бородачей до смерти боюсь. Чего добраго, онъ, пожалуй, заберется ко мнѣ въ образную да на лампадѣ сигарку свою закуритъ!

Княжна Горенская. Ахъ, тетушка, да если-бъ вы были въ Карлсбадѣ... да тамъ почти всѣ съ бородами,—это мода.

Тетушка. Что мнѣ твой Карлсбадъ! Я, матушка, живу въ Москвѣ, а не въ Карлсбадѣ... Мода!.. Хороша мода... Ужъ по мнѣ бы лучше совсѣмъ одѣлись въ армяки, а то на что это походитъ: кафтанъ барскій, а рожа кучерская! Нѣтъ, племянница, воля твоя: что это за женихъ Любушкѣ!

Князь Бубликовъ (*шопотомъ*). Пеньковъ!!!

Барашевъ. Да позвольте, тетушка, мы не должны останавливаться на одной наружности...

Тетушка. А внутренность-то, отецъ мой, одному Богу извѣстна. По мнѣ тотъ, кто отпустилъ себѣ бороду или оттянулъ аршинные усы—или неряха, или буянъ, или пустая голова, который готовъ нарядиться паяцомъ для того только, чтобъ всѣ добрые люди на него пальцемъ указывали.

Маргарита Степановна. Успокойтесь, тетушка, мнѣ и самой онъ не очень нравится! Я хотѣла только, чтобъ всѣмъ роднымъ было извѣстно, какія предлагаютъ партіи моей дочери, а теперь скажу вамъ, кто еще сватается за нашу Эмé. Ну, этотъ женихъ, я думаю, вамъ больше понравится.

Черново-Сусальская (*съ любопытствомъ*). А кто же это такой, невѣстушка?

Маргарита Степановна. Ѳедоръ Николаевичъ Журковъ.

Черново-Сусальская (*съ необычайною живостью*). Кто-съ?.. Журковъ, Ѳедоръ Николаевичъ?

Тетушка. Вотъ, матушка, человѣкъ порядочный, съ разсудкомъ, богатъ, смотритъ въ генералы—хорошій человѣкъ!

Князь Бубликовъ. Позвольте,—да онъ, кажется, изъ даточныхъ?

Тетушка. И, что ты, князь! Да я съ его бабушкой была знакома, и батюшку-то его знала—природный дворянинъ.

Барашевъ. Рожденье что такое—это случай; но образованіе, цивилизація — вотъ это дѣло другое. А мнѣ кажется, что этотъ господинъ Журковъ...

Тетушка. Ну, да, человѣкъ неученый, это правда. Охъ, да ученые-то мнѣ ужъ надоѣли!

Черново-Сусальская (*которая во все это время нюхала спиртъ*). Позвольте же васъ спросить, невѣстушка: Ѳедоръ Николаевичъ вамъ сдѣлалъ предложенье?

Маргарита Степановна. Нѣтъ еще, машеръ; но мнѣ сказывали люди...

Черново-Сусальская. Вѣрные-то люди иногда врутъ вздоръ, невѣстушка.

Маргарита Степановна. Какъ вздоръ? Да почему жъ вы это думаете?

Черново-Сусальская. Да такъ! Эти вѣрные-то люди безпрестанно всѣхъ женятъ, а поглядишь—никто не женатъ.

Маргарита Степановна. Что вы этимъ хотите сказать?

Черново-Сусальская. Ничего! Только мнѣ кажется, вы ошибаетесь, невѣстушка!.. Ну, можетъ-быть, онъ такъ, безъ всякаго намѣренія, сказалъ лишнее слово съ вашей Любовью Дмитріевной, а вы ужъ тотчасъ...

Маргарита Степановна. Тотчасъ?.. Что такое тотчасъ?.. Нѣтъ, Настасья Никитишна, извините,—я никого не ловлю; я не вожу Эмé каждый вторникъ въ собранье! Она у меня не смѣетъ никого интриговать подъ маскою...

Черново-Сусальская. Ахъ, Боже мой, да это уже личности!..

Тетушка. Что за личности, матушка? О твоей Зеничкѣ и рѣчи нѣтъ.

Черново-Сусальская. Опять Зеничка!.. Да оставьте насъ въ покоѣ, Маремьяна Сергѣевна. Извините, невѣстушка, мнѣ некогда!.. Право, я вамъ совѣтую не слишкомъ вѣрить всему, что говорятъ. И то и другое говорятъ, а глядишь, выйдутъ все сплетни. Прощайте!

Маргарита Степановна. Прощайте, Настасья Никитишна! Я васъ не смѣю удерживать: вы сегодня въ какомъ-то странномъ расположеніи... (*Провожаетъ Черново-Сусальскую до юстиной. Барашевъ и князь Бубликовъ встаютъ*). А вы, мои родные, куда?

Князь Бубликовъ. Меня дожидаются въ Англійскомъ клубѣ. (*Вполголоса*). Я завтра заѣду къ вамъ часу въ восьмомъ послѣ обѣда (*откланивается и уходитъ*).

Барашевъ. У меня сегодня ужинаетъ одинъ вояжеръ-французъ, членъ оппозиціи, весьма замѣчательный человѣкъ. Въ десять часовъ я долженъ быть непремѣнно дома. (*Тихо хозяйкѣ*). Я завтра заверну къ вамъ въ одиннадцать часовъ утра. (*Кланяется и уходитъ*).

Маргарита Степановна. Что это сдѣлалось съ Настасьей Никитишной?

Тетушка. И, мать моя, да неужели ты не видишь, что она прочитъ за Ѳедора Николаевича свою Зеничку? Ужъ она два мѣсяца, какъ его ловитъ. На томъ стоитъ, матушка!.. Четырехъ дочерей выдала этакъ замужъ. Вотъ старшую-то дочь, Феничку, какъ она обвѣнчала съ этимъ простофилею Иваномъ Ивановичемъ Баклашкинымъ? Сидитъ онъ однажды съ глазку-на-глазокъ съ Феничкой, вдругъ Феничкѣ дурно, — а маменька и тутъ! — «Что такое?» — «Предложеніе, дескать, сдѣлалъ?» А онъ, голубчикъ, и не думалъ!.. Откуда ни взялись родные, братья.—«Честь имѣемъ поздравить!» Образъ со стѣны — благословляй! — Не дали дураку опомниться. Ну, а тамъ, извѣстное дѣло,— нельзя жъ благородную дѣвицу компрометировать: хоть въ петлю полѣзай, да женись!.. Э, да что и говорить,—она весь вѣкъ этимъ промышляла!.. Однако-жъ, племянница, прощай,—пора домой!

Маргарита Степановна. Ну, что, тетушка, какъ же вы рѣшили?

Тетушка. Да что, матушка, коли Ѳедоръ Николаевичъ сдѣлалъ предложеніе, такъ съ Богомъ! Да я завтра буду у тебя обѣдать, такъ мы еще объ этомъ поговоримъ. Прощай, мой другъ! Прощай, Агашенька! (*Идетъ вонъ изъ комнаты. Маргарита Степановна и княжна Горенская провожаютъ ее до передней*).

Когда хозяйка и сестра ея воротились въ диванную, я сталъ съ ними прощаться.

— Останьтесь, братецъ,—сказала Маргарита Степановна, — отужинайте съ нами... Да что-жъ это Эмé такъ загулялась по саду? Эй, дѣвка, ступай въ садъ, проси къ намъ Любовь Дмитріевну и Александра Васильевича: «Сыро, дескать, пожалуйте домой!..» Что это, братецъ,—продолжала она, обращаясь ко мнѣ:—мы межъ собой по-родственному говорили, разсуждали, а вы хоть бы словечко вымолвили!

— Да что-жъ мнѣ было говорить?—отвѣчалъ я.—Дѣло другое, если-бъ я зналъ этихъ господъ, о которыхъ шла рѣчь.

— А вы ихъ не знаете?

— Въ первый разъ отъ роду имена ихъ слышалъ.

— Въ самомъ дѣлѣ?.. Ну, однако-жъ, все-таки, какъ вы думаете?

— Я, право, ничего не могу вамъ сказать.

— Не правда ли, что Ѳедоръ Николаевичъ Журковъ всѣхъ выгоднѣе?..

— Это должны рѣшить вы, а не я.

— О, нѣтъ, я ужъ напугана; я не намѣрена ничего брать на себя: какъ хотятъ родные! Конечно, Ѳедоръ Николаевичъ такой женихъ, какого лучше и желать нельзя...

— Но если онъ въ самомъ дѣлѣ человѣкъ вовсе необразованный?..

— У него полторы тысячи душъ, братецъ.

— Это очень хорошо, не спорю...

— И ни одной заложенной души въ опекунскомъ совѣтѣ,—я ужъ справлялась.

— И это не дурно; но, если позволите мнѣ сказать...

— На хорошей дорогѣ, батюшка: полковникъ, надняхъ генералъ...

— Все это прекрасно; но вы дали такое блестящее образованіе вашей дочери, такъ, можетъ-быть...

— О, объ этомъ не безпокойтесь! Эмé выйдетъ замужъ за того, кого я назначу. Да и какъ ей можно выбирать самой: она еще дитя!

— Да, конечно... А позвольте васъ спросить, какъ вамъ родня Зоринъ?

— Александръ? Внучатный племянникъ.

— Не ближе?..Внучатный...слѣдовательно, онъ можетъ жениться на своей кузинѣ?

— Что вы, что вы? Александръ? Слышишь, ма шеръ,* что говоритъ Богданъ Ильичъ?

— Помилуйте!—вскричала княжна Горенская.—Александръ, этотъ ребенокъ!..

— Ну, смотрите!—сказалъ я.—Эти ребятишки въ гусарскихъ мундирахъ, да съ черными усами сплошь женятся и даже иногда, не спросясь у старшихъ.

— Какія у васъ странныя идеи, Богданъ Ильичъ!—сказала Маргарита Степановна.— И какъ придетъ въ голову!..

— Давно живу, сестрица. Однако-жъ прощайте! Вы знаете, какъ мнѣ далеко ѣхать.

Хозяйка стала меня уговаривать, чтобъ я остался ужинать, но я кой-какъ отдѣлался. Пока мой кучеръ Ѳедоръ садился на козлы, что обыкновенно продолжалось нѣсколько минутъ, я стоялъ на крыльцѣ, и въ двухъ шагахъ отъ меня, за угломъ дома, происходилъ нижеслѣдующій разговоръ между двумя горничными и однимъ лакеемъ.

— Ну, что, Матрена?—говорила одна изъ дѣвушекъ.

— Да что: обѣгала весь садъ,—ни бѣшеной собаки!

— Да ты была въ вишневой куртинѣ?—спросилъ лакей.

— Вотъ еще! Я и за тепличку ходила,— нигдѣ нѣтъ.

— А садовника спрашивала?

— Хорошъ садовникъ!.. Калитка въ переулокъ отперта, а онъ спитъ себѣ, какъ убитый.

Тутъ подали мою коляску и я отправился. На другой день рано по-утру я поѣхалъ на богомолье къ Троицѣ, а оттуда завернулъ въ новый Іерусалимъ. Путешествіе мое продолжалось четверо сутокъ. Возвратясь въ Москву, я нашелъ въ моемъ кабинетѣ, на письменномъ столѣ, двѣ визитныя карточки съ загнутыми углами и, признаюсь, вовсе не удивился, когда прочелъ на одной изъ нихъ: «Любовь Дмитріевна Зорина, урожденная Барашева».

IV.

Московская старина.

„Бяше градъ Москва видете великъ и чуденъ градъ и много множество людей въ немъ кипяше богатствомъ и славою".

Ростовскій лѣтописецъ.

На прошлой недѣлѣ сосѣдъ мой, Николай Степановичъ Соликамскій, обѣщалъ завернуть ко мнѣ сегодня часовъ въ 9 по-утру, чтобъ ѣхать вмѣстѣ въ Оружейную палату. Николай Степановичъ принадлежитъ къ весьма малому числу моихъ искреннихъ пріятелей; онъ почти однихъ со мною лѣтъ, бездѣтный вдовецъ, великій антикварій и ужасный библіоманъ. Конечно, не у многихъ найдется такое любопытное собраніе старинныхъ русскихъ печатныхъ книгъ и манускриптовъ, ихъ которыхъ, однако-жъ, иные весьма для меня подозрительны, а особливо какой-то исписанный, Богъ знаетъ какими буквами, безконечный свитокъ, который, по мнѣнію моего пріятеля, есть истинный и подлинный списокъ *Слова о полку Игоревомъ*. Николай Степановичъ очень добрый, умный и образованный человѣкъ; но у него есть одна слабость, впрочемъ, самая невинная и безгрѣшная: онъ видитъ вездѣ славянъ, находитъ во всѣхъ древнихъ языкахъ сходство съ славянскимъ языкомъ, и даже не шутя готовъ увѣрять, что греки Омировой Иліады всѣ чистой славянской породы. Не знаю навѣрно, а кажется, ему первому пришла въ голову догадка, что царя Менелая прозвали этимъ именемъ потому, что онъ со всѣми ругался и что ему часто говорили: мене-лай! Несмотря, однако-жъ, на эту странную *славяноманію*, онъ человѣкъ истинно ученый и, конечно, одинъ изъ первыхъ русскихъ археологовъ нашего времени. Прождавъ его къ себѣ съ полчаса, я подумалъ, что онъ купилъ на Смоленскомъ рынкѣ какой-нибудь древній манускриптъ или вымѣнялъ у раскольника старинный требникъ, занялся повѣркою текста и рѣшительно забылъ свое обѣщаніе. Читать мнѣ не хотѣлось; вотъ, отъ нечего дѣлать я присѣлъ къ письменному столу, взялъ въ правую руку перо, указательнымъ пальцемъ лѣвой руки уперся въ лобъ и началъ думать... «Писать,— да о чемъ?» При этомъ вопросѣ, который я задалъ самому себѣ, глаза мои нечаянно остановились на большомъ планѣ Москвы, который виситъ у меня въ кабинетѣ. «О чемъ?»—повторилъ я.—«Да я еще ничего не писалъ о московской старинѣ; чего же лучше: давай писать объ основаніи Москвы»!

«Не говоря уже о Новгородѣ и Кіевѣ (такъ началъ я, подумавъ нѣсколько минутъ), есть много городовъ въ Россіи гораздо старѣе Москвы. Однако-жъ имя ея встрѣчается въ лѣтописяхъ первой половины двѣнадцатаго столѣтія, слѣдовательно, Москва существуетъ уже семьсотъ лѣтъ. Въ 1147 году Суздальскій князь Юрій Владиміровичъ угощалъ въ ней князя Святослава Ольговича Сѣверскаго. Около того же времени въ Южной Россіи она была извѣстна подъ настоящимъ своимъ именемъ и подъ названіемъ Кучкова. Въ XIII вѣкѣ ее причисляли къ *Залѣсскимъ* городамъ. Говорятъ также иные лѣтописцы, которыхъ не очень уважаютъ въ ученомъ мірѣ, но которымъ я, какъ истинный москвичъ, готовъ отъ всей души повѣрить, что будто бы Москва основана еще въ 882 году знаменитымъ Олегомъ, который, проѣзжая изъ Новгорода въ Кіевъ, построилъ городокъ на рѣчкѣ Неглинной въ томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ она впадаетъ въ Москву-рѣку. Впослѣдствіи этотъ городокъ, вмѣстѣ со своимъ округомъ, перешелъ во владѣніе Суздальскаго боярина Степана Ивановича Кучки. Домъ этого боярина стоялъ на берегу *Поганаго пруда*, который въ началѣ XVIII столѣтія, неизвѣстно почему, переименованъ *Чистымъ*. Вся окружность этого пруда, составляющая нынѣшнюю Стрѣтенскую часть, называлась *Кучковымъ полемъ*. Насильственная смерть боярина Кучки, убитаго княземъ Суздальскимъ Юріемъ Владиміровичемъ; женитьба сына его Андрея Боголюбскаго на дочери умерщвленнаго боярина, а потомъ, спустя много лѣтъ, ужасная месть, совершенная сыномъ Кучки надъ этимъ же самымъ Андреемъ Боголюбскимъ, необычайная казнь убійцъ великокняжескихъ, которыхъ посадили живыми въ деревянные короба и бросили въ озеро Плещеево, гдѣ, по народному преданію, они и теперь еще плаваютъ,—все это такъ занимательно и такъ походитъ на какой-то романтическій вымыселъ, что, можетъ-быть, строгій критикъ не рѣшится никакъ назвать эти происшествія историческими фактами. Впрочемъ, какъ бы то ни было, но то вѣрно, что о Москвѣ упоминается въ лѣтописяхъ XII столѣтія и что въ 1328 году

Москва была уже столицею всей Россіи, потому что Іоаннъ Даниловичъ Калита перенесъ въ нее изъ Владиміра свой великокняжескій престолъ. Есть еще преданіе, о которомъ я не смѣлъ бы и заикнуться, говоря съ ученымъ профессоромъ исторіи. Въ этой легендѣ разсказываютъ о какомъ-то отшельникѣ *Букалѣ*, который, въ незапамятные годы, жилъ на нынѣшней кремлевской горѣ, покрытой тогда сплошнымъ непроходимымъ боромъ, отчего этотъ холмъ и назывался въ старину *Боровицкимъ*. Теперь остались только въ Кремлѣ три памятника, напоминающіе намъ о существованіи этого дремучаго лѣса: соборъ Спаса-на-Бору, церковь Рождества Іоанна Предтечи-на-Бору и Боровицкія ворота».

«Кругомъ всей Москвы считается тридцать-пять верстъ; она, какъ древній Римъ и Византія, лежитъ на семи холмахъ; какъ отъ столицы святого Константина почти вся Греція именовалась Византіею, а отъ Рима получила свое названіе вся Римская имперія,— точно такъ же въ старину всѣ иностранцы называли Россію, по имени ея столичнаго города, *Московіею*, а русскихъ *Московитянами*; послѣднее названіе сохранилось и до нашего времени въ Польшѣ и Малороссіи. Спачала Кремль, вмѣсто каменныхъ стѣнъ, былъ обнесенъ дубовымъ тыномъ. Послѣ нашествія Батыя, эти деревянныя стѣны были возобновлены, а въ 1367 году великій князь Даніилъ Ивановичъ, съ братомъ своимъ Владиміромъ, задумалъ, по словамъ лѣтописца: «поставить городъ камень Москву», то-есть обнести Кремль кирпичными стѣнами. Первую въ Москвѣ каменную соборную церковь, во имя Успенія Божіей Матери, заложилъ митрополитъ Петръ, при великомъ князѣ Іоаннѣ Даниловичѣ, который въ томъ же году»...

— Здравствуй, Богданъ Ильичъ,—сказалъ позади меня кто-то знакомымъ, но очень страннымъ голосомъ.

Я обернулся и вскричалъ отъ удивленія. Передо мной стоялъ сосѣдъ Николай Степановичъ Соликамскій, блѣдный, растрепанный, съ такимъ вывороченнымъ на изнанку лицомъ, что я не шутя испугался.

— Боже мой,—сказалъ я,—здоровъ ли ты? Что съ тобою?

— Да ничего, братецъ.

— Какъ ничего?—продолжалъ я съ безпокойствомъ.—На тебѣ лица нѣтъ! Ты не говоришь, а хрипишь. Ты боленъ, точно, боленъ!

— Что за боленъ,—разстроенъ немножко, это правда. У меня сейчасъ былъ Грибовскій.

— А, этотъ отъявленный врагъ всякой русской старины! И ты, вѣрно, съ нимъ спорилъ?..

— Да еще какъ: два часа сряду!

— *Это замѣтно.*

— Несносный человѣкъ!.. Для него нѣтъ ничего святого; онъ ничему не вѣритъ, ничего не признаетъ!.. Э, да лучше о немъ вовсе не говорить, а то у меня бросится опять вся кровь въ голову... Что ты это пишешь?

Я подалъ эту тетрадь.

— Что это?—вскричалъ онъ...—Олегъ!.. Такъ ты вѣришь въ Олега? Ты думаешь, что Олегъ въ самомъ дѣлѣ былъ?.. Какой вздоръ! Игорь и Олегъ, Аскольдъ и Диръ— все это миѳы, братецъ! Спроси у Грибовскаго, такъ онъ докажетъ тебѣ, что и Святославъ ничто иное, какъ миѳъ, несмотря на то, что византійскій историкъ Левъ Діаконъ говоритъ о немъ и называетъ его Свѣнтославомъ; несмотря на то, Несторъ... Да что Несторъ! Неужели ты не знаешь, что Несторова лѣтопись подложная, что она писана... какъ бы тебѣ сказать?.. лѣтъ... нѣсколько тому назадъ: что «Слово о полку Игоревомъ» сочинено какимъ-нибудь перервенскимъ семинаристомъ, что все это вздоръ, выдумки!.. Ужъ не думаешь ли ты, что Мамаево побоище въ самомъ дѣлѣ когда-нибудь было?—Какое легковѣріе!—Русскій мужикъ выгравировалъ лубочную картинку, назвалъ ее Мамаевымъ побоищемъ, и всѣ наши историки ну писать о Мамаевомъ побоищѣ!.. А первые русскіе князья?.. Неужели ты не видишь этого жалкаго подражанія нашихъ лѣтописцевъ Священному писанію и византійскимъ историкамъ?—У Ноя было три сына: Симъ, Хамъ и Афетъ,—а у насъ три князя: Рюрикъ, Синавъ и Труворъ; у грековъ была царица Елена, а у насъ Великая Княгиня Ольга. Посмотри, какими баснями наполнены наши лѣтописи. Тутъ деревянные идолы, которыхъ побросали въ Днѣпръ, стонутъ человѣческими голосами; тамъ злой чародѣй передаетъ свое имя рѣкѣ, на которой стоитъ Новгородъ. Правда, въ лѣтописяхъ другихъ народовъ еще болѣе этого басенъ, да это совсѣмъ другое дѣло! Мы можемъ сомнѣваться въ томъ, что дикая волчица была кормилицею Ромула, однако жъ должны вѣрить, что Ромулъ основалъ Римъ; а если мы встрѣчаемъ въ русскихъ лѣтописяхъ, что змѣя ужалила изъ лошадинаго черепа Олега и что это было ему предсказано, то мы вправѣ не вѣрить даже и тому, что этотъ Олегъ существовалъ. Ты скажешь, пожалуй, что мы, русскіе, происходимъ отъ славянъ... Какое заблужденіе!.. Мы — такъ... сбродъ, остатки какихъ-то неизвѣстныхъ племенъ, какая-то разнобоярщина,—Богъ знаетъ, что такое!.. Да и сами-то славяне что такое?.. Неужели ты думаешь, что они были когда-нибудь самобытнымъ и воинственнымъ народомъ?.. Громили Византію, основывали города... Сказки, братецъ, сказки!.. А знаешь-ли ты...

Тутъ Николай Степановичъ поперхнулся и началъ кашлять. Я воспользовался этою ми-

путною остановкою, взялъ трость, надѣлъ перчатки и сказалъ ему:

— Ну, полно, братецъ! Пора въ Оружейную палату... Да брось ты этого Грибовскаго!.. И что тебѣ за дѣло, что онъ бредитъ вздоръ?

— Какъ что за дѣло? — вскричалъ Николай Степановичъ, продолжая откашливаться.—Вотъ этимъ-то равнодушіемъ вы все и губите!.. Что за дѣло! Когда этотъ клеветникъ осмѣливается говорить, что мы происходимъ не отъ славянъ...

— Эхъ, братецъ, да развѣ мы не всѣ дѣти Адама?.. Ну, не все ли равно, отъ кого бы мы ни происходили? Главное только въ томъ, что теперь-то мы русскіе, а объ этомъ и Грибовскій не станетъ съ тобою спорить. Пойдемъ!

— И какъ можетъ прійти въ голову такая дурацкая мысль?—ворчалъ Соликамскій, выходя вмѣстѣ со мною на крыльцо. — Мы происходимъ не отъ славянъ! Да отъ кого же?.. Ужъ не отъ китайцевъ ли? Что, мы говоримъ маньчжурскимъ нарѣчіемъ, что ль?.. И какъ языкъ повернется у человѣка сказать, что Несторова лѣтопись, этотъ перлъ всѣхъ древнихъ лѣтописей, не что иное, какъ мошенническая выдумка, подлогъ!..

— Что жъ дѣлать, любезный, — прервалъ я. — у всякаго своя булавочка въ головѣ: одинъ хлопочетъ, какъ бы доказать, что Россія существуетъ только со вчерашняго дня; другой производитъ русскихъ по прямой линіи отъ славянскаго царя Менелая...

— Что жъ это?—сказалъ Николай Степановичъ, садясь въ мою коляску.—Ты это погуливаешь на мой счетъ, что ль?

Я не отвѣчалъ ничего. Пріятель мой надулся и во всю дорогу не говорилъ ни слова. Черезъ нѣсколько минутъ мы пріѣхали въ Кремль. Оружейная палата была еще заперта.

— Къ чему изволилъ торопиться?—проговорилъ Николай Степановичъ, нахмуривъ брови.—Ну, что мы пріѣхали ни свѣтъ ни заря?.. Что мы теперь будемъ дѣлать?

— А вотъ что,—отвѣчалъ я, вылѣзая изъ коляски: — мнѣ давно хотѣлось походить съ съ тобою по Кремлю и поразспросить у тебя, гдѣ что прежде было. Никифоръ останется здѣсь и придетъ намъ сказать, когда отопрутъ Оружейную палату.

Брови у моего пріятеля раздвинулись, наморщенный лобъ сдѣлался гладкимъ, и онъ, какъ молодой человѣкъ, выпрыгнулъ изъ коляски.

— Вѣдь это, мой другъ, — продолжалъ я,—твоя стихія; не правда ли?

Соликамскій улыбнулся очень весело.

— Ты, вѣрно, знаешь,—прибавилъ я, — древній Кремль почти такъ же хорошо, какъ новый?

— Ну, нѣтъ Богданъ Ильичъ, хоть и не такъ же, а знаю хорошо—хорошо знаю! Съ чего бы намъ начать?.. Да вотъ, напримѣръ, извѣстно ли тебѣ, когда построены эти кремлевскія стѣны?..

— Знаю, мой другъ, знаю! При Великомъ Князѣ Іоаннѣ Даниловичѣ.

— А вотъ и не знаешь! — прервалъ съ примѣтнымъ удовольствіемъ Николай Степановичъ. То были другія, а эти построены при Великомъ Князѣ Іоаннѣ Васильевичѣ III. А знаешь ли ты, сколько въ Кремлѣ было воротъ?

— Да я думаю, столько же, сколько и теперь.

— Нѣтъ, Богданъ Ильичъ! Ихъ теперь всего пять, а было шесть: Фроловскія, Никольскія, Курятныя, Боровицкія, Тайницкія и Константино-Еленовскія. Фроловскія и Курятныя переименованы; первыя зовутся теперь Спасскими, вторыя Троицкими, Константино-Еленовскія заложены.

— А что было на этомъ мѣстѣ, гдѣ теперь Оружейная палата?—спросилъ я.

— Не на самомъ этомъ мѣстѣ, а подлѣ, противъ переулка, отдѣляющаго Чудовъ монастырь отъ сената, стоялъ домъ, а впослѣдствіи и дворецъ Царя Бориса Годунова.

Въ этомъ дворцѣ, по приказанію самозванца, умерщвлены супруга и сынъ Годунова, Ѳеодоръ Борисовичъ, который былъ уже, по праву наслѣдства, Царемъ Русскимъ. Въ немъ же, когда Москва стонала подъ игомъ поляковъ, жилъ польскій коронный гетманъ Жолкѣвскій. Ближе къ Троицкимъ воротамъ стояло Троицкое подворье, по имени котораго названы и ворота. Это подворье достопамятно тѣмъ, что въ немъ совершилось избраніе на царство Михаила Ѳеодоровича Романова. Прямо изъ него пошелъ келарь Авраамій Палицынъ, со всѣмъ духовенствомъ и государственными сановниками, на Лобное мѣсто, чтобъ объявить народу объ избраніи Царя.

— Какъ жаль,—сказалъ я,—что это зданіе не было поддержано.

— Да, конечно,—промолвилъ со вздохомъ Николай Степановичъ.

Потомъ, помолчавъ нѣсколько времени, прибавилъ:

— Лѣтъ около сорока тому назадъ и дворецъ Годунова и это подворье были проданы на сломку съ аукціона. Но пойдемъ дальше... Иль нѣтъ, постой на минуту! Видишь ли ты эту башню, которая стоитъ за кремлевскою стѣною, въ головѣ моста, ведущаго къ Троицкимъ воротамъ?..

— Вижу!.. Ну, что жъ такое?..

— Ничего. Я хотѣлъ только тебѣ сказать, что въ старину ее звали «башня кутафья». Теперь повернемъ налѣво, мимо кавалерскихъ корпусовъ.

Мы прошли нѣсколько шаговъ. Соликамскій остановился и спросилъ меня, что я вижу передъ собою.

— Ордонансъ-гаузъ,—отвѣчалъ я,—комендантскій домъ, а лѣвѣе конюшенный дворъ.

— На этомъ-то самомъ мѣстѣ, — сказалъ Николай Степановичъ, — стоялъ домъ боярина Милославскаго; въ этомъ домѣ давались первыя зрѣлища въ Москвѣ и, вѣроятно, во всей Россіи; бывали иногда маскарады, въ которыхъ нѣмцы играли на органахъ и *фіолахъ*, и происходили разныя другія потѣхи. Когда царь Алексѣй Михайловичъ женился на первой своей супругѣ, дочери боярина Милославскаго, то этотъ домъ сталъ называться Потѣшнымъ дворцомъ. Впослѣдствіи, при царевнѣ Софьѣ Алексѣевнѣ, давались въ этомъ дворцѣ разныя театральныя піесы, вродѣ древнихъ мистерій, какъ-то: Олоферъ, Притча о блудномъ сынѣ, Шемякинъ судъ; нѣкоторыя изъ этихъ піесъ, какъ полагаютъ, были сочинены самою царевною. По словамъ издателя «Статистическаго описанія Москвы», театральныя представленія въ Потѣшномъ дворцѣ продолжались до 1701 года; въ этомъ году построена для нихъ, сначала на Красной площади, а тамъ у Красныхъ воротъ, такъ называемая, *деревянная комедія*, которая сломана, наконецъ, въ 1753 году. Идя отъ Троицкихъ воротъ, подлѣ первой конюшенной башни, межъ строеній Потѣшнаго дворца, былъ *Лебединый* прудъ. Почти всѣ нынѣшніе кавалерскіе корпуса составляли одну связь и назывались *дворцовыми покоями*; въ числѣ ихъ была замѣчательна расписанная по золоту *Ольгина палата*, названная симъ именемъ въ честь Великой Княгини Ольги.

Въ продолженіе этого разговора мы подошли нечувствительно къ тротуару, который окаймляетъ вершину кремлевскаго холма и съ котораго такой великолѣпный видъ на все Замоскворѣчье.

— Вотъ, направо,—продолжалъ Соликамскій,—эта церковь во имя Рождества Іоанна Предтечи, построенная на холмѣ, отъ котораго начинается съѣздъ къ Боровицкимъ воротамъ, едва ли, послѣ Спаса-на-Бору, не самая древнѣйшая въ Москвѣ. Она первоначально была срублена изъ брусьевъ и существовала 140 лѣтъ; потомъ, въ 1461 году, перестроена въ каменную и стоитъ донынѣ, слѣдовательно, отъ основанія ея прошло слишкомъ пять столѣтій. Прямо за нею, подъ горою, стоялъ *житный дворъ*, лѣвѣе, по скату горы, разстилались царскіе сады, или, какъ говорили въ старину, *огороды*, принадлежавшіе ко дворцу царей Михаила Феодоровича и Алексѣя Михаиловича. Въ этомъ дворцѣ было много великолѣпныхъ покоевъ, дворцовая палата, золотая, средняя подписная, царицына золотая палата: *брусяная столовая изба*, въ которой происходили царскія свадебныя церемоніи, столовая набережная, сѣнники царскіе, комнатный садъ, въ которомъ водились вишни и сливы, постельная палата, отвѣтная или посольская палата, панихидная палата, крестовая палата... Да ты меня не слушаешь, Богданъ Ильичъ!—вскричалъ Соликамскій, прервавъ свой разсказъ.

— Слушаю, мой другъ, слушаю! Я только позаглядѣлся на этотъ прекрасный видъ.

— Прекрасный видъ!.. Да что ты, въ первый разъ что ль смотришь отсюда на Замоскворѣчье!

— Да развѣ можно когда-нибудь на это насмотрѣться!

— Ну, Богданъ Ильичъ, ты не въ нашихъ старичковъ: они объ этомъ, видно, не очень думали. Знаешь ли, что тутъ, гдѣ мы стоимъ, все было застроено; по всей закраинѣ кремлевскаго холма, начиная отъ дворца, почти до самой Константино-Еленовской башни, тянулось сплошное строеніе, въ которомъ помѣщались всѣ приказы, а впослѣдствіи коллегіи. Тогда проходящіе не могли любоваться этимъ прекраснымъ видомъ, который, какъ мнѣ кажется,—прибавилъ Соликамскій съ примѣтной досадой,—занимаетъ тебя гораздо болѣе моихъ разсказовъ.

— Что ты, мой другъ, — напротивъ! Въ первый разъ, какъ ты будешь свободенъ, я попрошу тебя обойти со мною весь Кремль.

— А почему же не теперь?

— Теперь ты будешь моимъ чичероне въ Оружейной палатѣ.

— Никакъ нѣтъ, сударь,—сказалъ Никифоръ, подойдя къ намъ,—отперта-съ, и публика такая, что и сказать нельзя: такъ другъ друга въ дверяхъ и давятъ.

Мы отправились въ Оружейную палату. Мимоходомъ Николай Степановичъ успѣлъ мнѣ сказать, что на томъ мѣстѣ, гдѣ теперь сенатъ, былъ нѣкогда домъ князей Трубецкихъ, конюшенный дворъ Чудова монастыря и три церкви: Козьмы и Даміана, св. Петра митрополита и Введенія Пресвятыя Богородицы. А тамъ, гдѣ возвышается огромный арсеналъ, стоялъ *Стрѣлецкій Лыковъ дворъ*— гнѣздо неугомонныхъ крамольниковъ, сколько разъ посягавшихъ на жизнь нашего великаго Петра.

Мы проходили часа два по обширнымъ заламъ Оружейной палаты, въ которой, несмотря на множество посѣтителей, вовсе было не тѣсно. Я не берусь, да и не могу описать то, что мы видѣли въ эти два часа; самый поверхностный обзоръ любопытныхъ вещей, находящихся въ Оружейной палатѣ, составилъ бы томъ вчетверо болѣе этой книжки; но когда-нибудь въ отдѣльной главѣ скажу хотя нѣсколько словъ объ этомъ, во всѣхъ смыслахъ драгоцѣнномъ, хранилищѣ царскихъ сокровищъ и нашей русской старины.

V.

Контора дилижансовъ.

„Завистники Россіи говорятъ, что мы имѣемъ только въ высшей степени *терпимчивость:* но развѣ она не есть знакъ превосходнаго образованія души?.. Учители Лейбница находили въ немъ также одну *терпимчивость*".

Карамзинъ.

Я думаю, многіе изъ моихъ читателей помнятъ то время, когда дорога между Москвою и Петербургомъ была самымъ тяжкимъ испытаніемъ человѣческаго терпѣнія для того, кто ѣхалъ въ собственномъ экипажѣ, и рѣшительно наказаніемъ небеснымъ для всякаго, кто ѣхалъ на перекладныхъ. Я предпочиталъ, однако-жъ, всегда послѣдній способъ путешествія, точно такъ же, какъ предпочитаютъ жестокую, но кратковременную болѣзнь медленной и изнурительной, которой не видишь и конца. У меня и теперь еще волосы становятся дыбомъ, когда я вспомню про эту каменную мостовую, передъ которой всякая городская мостовая показалась бы вамъ гладкимъ и роскошнымъ паркетомъ, и эта-то мостовая была для путешественника отдохновеніемъ, когда онъ въѣзжалъ на нее, проѣхавъ верстъ триста по дорожной бревенчатой настилкѣ, которую ужъ вѣрно бы Данте помѣстилъ въ свой адъ, если-бъ ему случилось прокатиться по ней, въ телѣгѣ, верстъ полтораста или двѣсти. Теперь мы ѣдемъ отъ Москвы до самаго Петербурга по ровному шоссе, насъ не тряхнетъ ни разу, а если иногда придется проѣхать съ четверть версты по дурно-вымощенному селенію, мы начинаемъ гнѣваться и кричать, почему у насъ нѣтъ еще до сихъ поръ желѣзныхъ дорогъ и паровозовъ. Видно, ужъ человѣкъ такъ созданъ: онъ тотчасъ забываетъ все дурное и привыкаетъ ко всему хорошему; я не говорю о новомъ поколѣніи: оно не знаетъ, каково было ѣздить изъ Москвы въ Петербургъ; но сколько есть людей, которые извѣдали на опытѣ эту адскую пытку, а межъ тѣмъ весьма равнодушно поговариваютъ о петербургскомъ шоссе, какъ будто бы оно сдѣлалось само собой и существовало еще до перваго нашествія татаръ.

Эту попытку усвоить себѣ изобрѣтеніе *битыхъ дорогъ*, конечно, можно назвать подражаніемъ. Но такова участь Россіи: мы долго еще должны подражать другимъ, не во всемъ — избави Господи! Я всегда былъ ненавистникомъ рабскаго, безусловнаго подражанія, которое есть вѣрный признакъ не просвѣщенія, а грубаго невѣжества, желающаго прикинуться просвѣщеніемъ. Всякій разъ, когда я встрѣчаю русскаго человѣка, который отпускаетъ казенныя французскія фразы, одѣвается по модному парижскому журналу, толкуетъ безъ толку о просвѣщеніи Запада и позоритъ, на чемъ свѣтъ стоитъ, свое отечество, мнѣ кажется, что я вижу передъ собой какого-нибудь островитянина Южнаго океана, на которомъ нѣтъ даже и рубашки, но который воображаетъ, что онъ одѣтъ по-европейски, потому что на него надѣли галстухъ и трехъ-угольную шляпу. Конечно, перенимать истинно полезное и хорошее должны всѣ другъ у друга, а и того болѣе мы, русскіе, которыхъ тяжкое иго татаръ не только остановило на одномъ мѣстѣ, но даже отбросило назадъ, въ то время какъ западные народы, хотя и очень медленно, а все-таки шли да шли впередъ. Впрочемъ, Русь и въ подражаніяхъ своихъ сохраняетъ то, что отличаетъ ее отъ всѣхъ другихъ народовъ. Она мелочей не любитъ, ей надобно разгулье, просторъ; ей все давай въ колоссальныхъ размѣрахъ, все считай сотнями да тысячами верстъ! Наше первое шоссе раскинулось не на сто, а разомъ на семьсотъ верстъ, слѣдовательно, могло бы опоясать Францію во всю ея ширину, начиная отъ савойской границы до Атлантическаго океана, и протянуться отъ Дувра до Эдинбурга, то-есть во всю длину Англіи и Южной Шотландіи.

Вмѣстѣ съ учрежденіемъ петербургскаго шоссе появились въ Россіи первыя почтовыя кареты. Сначала только одно было заведеніе дилижансовъ, и, можетъ быть, они уступали нѣсколько въ удобствѣ иностраннымъ; иначе и быть не могло: всякое улучшеніе бываетъ слѣдствіемъ трехъ необходимыхъ условій: времени, опыта и соревнованія или, вѣрнѣй сказать, соперничества. Но теперь пусть всякій, кто бывалъ за-границею, скажетъ по чистой совѣсти, есть ли гдѣ-нибудь дилижансы красивѣе, спокойнѣе и удобнѣе тѣхъ, въ которыхъ мы ѣздимъ изъ Москвы въ Петербургъ и изъ Петербурга въ Москву? Я не говорю ничего о дешевизнѣ; разумѣется, въ Англіи не повезутъ васъ въ спокойной и просторной каретѣ отъ Дувра до Эдинбурга за семьдесятъ пять рублей, но это совершенно ничего; цѣна есть вещь относительная и условная; благодаря Бога, у насъ деньги не сдѣлались еще самымъ дешевымъ товаромъ, слѣдовательно, и цѣны на все должны быть ниже. Теперь въ Москвѣ считаютъ шесть заведеній, изъ которыхъ одни отправляютъ дилижансы въ Петербургъ каждый день, а другія три раза въ недѣлю. Сверхъ того одно, которое отправляетъ дилижансы въ Петербургъ и Ригу; одно въ Тулу, Орелъ, Курскъ и Харьковъ; одно во Владиміръ и Нижній-Новгородъ, и недавно учрежденныя при московскомъ почтамтѣ почтовыя кареты и брики, которыя поспѣваютъ въ Петербургъ въ двое сутокъ съ половиною. Всѣ эти заведенія процвѣтаютъ, или, по крайней мѣрѣ, вовсе не въ убытокъ своимъ основателямъ, потому что

экипажи примѣтнымъ образомъ улучшаются и дѣлаются съ каждымъ годомъ удобнѣе и спокойнѣе для путешественниковъ.

Николай Степановичъ Соликамскій, съ которымъ въ предыдущей главѣ я познакомилъ моихъ читателей, заѣхалъ ко мнѣ вчера, часовъ въ восемь утра, объявить, что онъ отправляется по своимъ дѣламъ на нѣсколько дней въ Петербургъ.

— Когда ты ѣдешь?—спросилъ я.

— Сейчасъ, — отвѣчалъ Соликамскій. — Я взялъ мѣсто въ дилижансѣ, который выѣзжаетъ въ девять часовъ.

— Такъ я тебя провожу, а межъ тѣмъ посмотрю хоть одно изъ этихъ заведеній. Я думаю, они всѣ очень похожи одно на другое?

— Да, конечно. Я перебывалъ во всѣхъ конторахъ: разницы большой нѣтъ. Однако-жъ, если хочешь, такъ поѣдемъ, пора! У меня пролетка широкая, усядемся оба.

Мы отправились и минутъ черезъ десять остановились на Тверской, у подъѣзда лучшей московской гостиницы. Войдя въ сѣни и повернувъ налѣво мимо великолѣпной лѣстницы, мы очутились въ просторной комнатѣ, не щеголевато убранной, однако-жъ довольно опрятной. Въ ней сидѣло нѣсколько дамъ и мужчинъ въ дорожныхъ платьяхъ. Въ одномъ углу прикидывали на вѣсахъ чемоданы, шкатулки, погребцы и разныя другія дорожныя укладки; въ другомъ—сидѣлъ за прилавкомъ конторщикъ и писалъ что-то въ толстой шнуровой книгѣ. Соликамскій, узнавъ, что дилижансы отправляются не прежде получаса, пошелъ въ столовую позавтракать, а я остался въ комнатѣ пассажировъ.

Когда я бываю съ людьми, совершенно мнѣ незнакомыми, то очень люблю отгадывать по ихъ физіономіи, платью, рѣчамъ и ухваткамъ, къ какому разряду общества они принадлежатъ, какого характера и что въ эту минуту ихъ занимаетъ. Разумѣется, я часто ошибаюсь, но иногда отгадываю довольно вѣрно. Нѣкоторые изъ дорожныхъ стояли подлѣ вѣсовъ и наблюдали за конторскимъ служителемъ, который взвѣшивалъ ихъ поклажи; другіе сидѣли на диванѣ и креслахъ, обитыхъ не слишкомъ красивымъ ситцемъ. Ближе всѣхъ были ко мнѣ двое отъѣзжающихъ, изъ которыхъ одинъ весьма толстый пожилой купецъ съ окладистою бородою, а другой дѣтина молодой, съ усиками, но безъ бороды, въ нанковой сибиркѣ и красной шелковой рубашкѣ съ косымъ воротомъ. Толстый купецъ считалъ что-то по пальцамъ, отъ-времени-до-времени поглаживалъ правою рукою свою густую бороду и бормоталъ себѣ подъ носъ: «Отправлено фамильнаго два мѣста, да цвѣточнаго три цибика, итого въ остаткѣ... да, такъ точно»!..

Мнѣ не трудно *было отгадать,* что этотъ толстый купецъ торгуетъ въ овощномъ ряду, и предпочтительно чаемъ, что онъ человѣкъ богатый, потому что бѣдный торговецъ не сталъ бы такъ важно и съ такимъ самодовольнымъ видомъ поглаживать свою бороду, и, наконецъ, что онъ разсчитываетъ въ эту минуту барыши, которые должна ему принести поѣздка въ Петербургъ. Вотъ онъ шепнулъ что-то своему сосѣду, и тотъ бросился вонъ изъ комнаты; изъ этого я заключилъ, что молодецъ въ нанковой сибиркѣ его сидѣлецъ, и что толстый купецъ характера крутого, взыскательнаго и любитъ, чтобъ его приказанія исполнялись безъ малѣйшаго отлагательства. Тутъ я обратилъ вниманіе на другого дорожнаго, который сидѣлъ поодаль отъ всѣхъ, развалясь весьма небрежно въ креслахъ. На немъ былъ долгополый косматый сюртукъ, застегнутый на всѣ пуговицы, а на шеѣ слабо завязанный пестрый шелковый платочекъ. При первомъ взглядѣ на его рыжеватую козлиную бородку и длинные виски, въ родѣ кудрявыхъ песиковъ, я принялъ его за польскаго жида; но тотчасъ же увидѣлъ свою ошибку: на немъ не было ермолки, а всѣмъ извѣстно, что польскій жидъ не разстанется ни за что съ этою скуфьею, которая отличаетъ его отъ всѣхъ иновѣрцевъ. «Такъ точно»,—подумалъ я,—«это какой-нибудь щеголекъ изъ панскаго ряда, которому раскольникъ-отецъ не дозволяетъ обрить бороды, но который, однако-жъ, желаетъ, хотя издалека, идти за вѣкомъ, то-есть носить жилетку, галстухъ и, вмѣсто русскаго кафтана, долгополый сюртукъ». Въ то время, какъ я дѣлалъ эти наблюденія и внутренно радовался моей проницательности, гостинодворецъ съ рыжею бородкою подошелъ къ конторщику и спросилъ его,—представьте мое удивленіе!—по-французски, самымъ чистымъ парижскимъ нарѣчіемъ, во сколько сутокъ дилижансы поспѣваютъ въ Петербургъ?—«Ахъ, батюшки,—подумалъ я,—принять парижанина, быть-можетъ, какого-нибудь маркиза, сначала за жида, а тамъ за купеческаго сынка изъ панскаго ряда!.. Ай да отгадчикъ!».. Межъ тѣмъ французъ продолжалъ толковать съ конторщикомъ, который на всѣ его вопросы отвѣчалъ, пошатывая головою: «Не понимаю, батюшка, не понимаю: я понѣмецки не говорю!» Мнѣ стало жаль француза, который началъ уже отъ нетерпѣнія топать ногою и произносить не вовсе приличныя восклицанія. Я подошелъ къ прилавку и предложилъ ему мои услуги; но едва успѣлъ перевести отвѣтъ конторщика, какъ вдругъ подошелъ къ намъ какой-то баринъ въ плисовыхъ сапогахъ, шелковомъ ваточномъ халатѣ, подпоясанномъ носовымъ платкомъ; онъ держалъ въ одной рукѣ кожаный картузъ, а въ другой шитый серебромъ сафьянный кисетъ и пѣнковую трубку съ волосянымъ чубукомъ и янтарнымъ наконечникомъ. Этотъ господинъ казался очень встревоженнымъ.

— Позвольте узнать,—сказалъ онъ,—кто здѣсь старшій?

— А что вамъ угодно?—спросилъ конторщикъ.

— Я, батюшка, пассажиръ, надворный совѣтникъ Щипковъ.

Конторщикъ поклонился.

— Позвольте вамъ сказать,—продолжалъ г-нъ Щипковъ,—что это такое: съ меня требуютъ за мою поклажу почти половину того, что я заплатилъ за мѣсто въ дилижансѣ!

— Кто жъ виноватъ, сударь, если у васъ такъ много поклажи?

— Да помилуйте! Всѣ вещи нужныя, необходимыя, безъ которыхъ никто въ дорогу не ѣздитъ.

Конторщикъ подошелъ къ вѣсамъ.

— Это все ваша поклажа?—сказалъ онъ.— Ну, сударь, да съ вами цѣлый возъ всякаго хламу!.. Что у васъ въ этомъ кулькѣ?.. Помилуйте!.. Окорокъ ветчины, коровай хлѣба!.. Ахъ, батюшки, полголовы сахару!..

— Я, сударь, всегда по дорогамъ пью мой собственный чай.

— Да вѣдь это выйдетъ вамъ дороже, сударь.

— Покорнѣйше васъ благодарю! Я знаю, какъ деруть съ проѣзжихъ по большимъ дорогамъ.

— А эта киса чѣмъ набита?.. Позвольте, что въ этой жестянкѣ?.. О, ой, ой!.. Да ее насилу подымешь!

— Въ ней, батюшка, костромской табакъ: я другого не нюхаю.

— А это что?.. Колодка... сапожныя щетки... четыре пары сапоговъ... Ну, вотъ, зачѣмъ вы это съ собой берете?

— Какъ, батюшка, зачѣмъ? Да что мнѣ въ Петербургѣ-то босикомъ что ль ходить?

— Ну, воля ваша,—только вы за все заплатите вѣсовыя деньги!

— Какъ за все? Да развѣ у васъ въ положеніи не сказано, что всякій пассажиръ можетъ взять съ собою...

— Двадцать фунтовъ поклажи... да, сударь; а тутъ слишкомъ четыре пуда.

— Такъ что жъ прикажете мнѣ дѣлать?

— Не хотите платить, такъ оставьте все лишнее здѣсь.

— Покорнѣйше благодарю!.. Нѣтъ, ужъ я лучше заплачу.

— Какъ вамъ угодно.

— Ахъ, ты, Боже мой!—продолжалъ баринъ, вынувъ изъ-за пазухи довольно туго набитый бумажникъ и расплачиваясь съ конторщикомъ.—Прошу покорно,—тридцать рублей за одну поклажу!.. Ну, вотъ, скажите пожалуйста!.. А еще говорятъ—дешево ѣздить въ дилижансахъ!

— Батюшка баринъ,—сказалъ вполголоса слуга этого господина, человѣкъ лѣтъ за сорокъ, съ небритою бородою, въ фризовой шинели, подвязанной какою-то мочалкою:—да ужъ прикажите хоть колодку-то оставить; право, она не стоитъ того, что за провозъ заплатите!

— Дуракъ!.. А на чемъ ты станешь въ Петербургѣ-то сапоги чистить?

— Мы тамъ, батюшка, купимъ другую ногу.

— А на что мнѣ двѣ ноги?

— Да вѣдь одна-то придется намъ даромъ, сударь.

— Вотъ еще, стану я на пустяки деньги тратить!.. Пошелъ, дуракъ, укладывайся! Да постой, и я съ тобою пойду: надобно уложить такъ, чтобы все было подъ руками.

— Баринъ и слуга вышли изъ комнаты, а я сѣлъ возлѣ двухъ дамъ, подлѣ которыхъ стояла, съ узломъ въ рукахъ, довольно смазливая служаночка. Одна изъ этихъ дамъ казалась женщиною пожилою, другой было на видъ лѣтъ около двадцати, онѣ разговаривали между собою вполголоса. По *смѣшенію французскаго языка съ нижегородскимъ*, мнѣ не трудно было отгадать, что я имѣю честь сидѣть подлѣ русскихъ барынь.

— Какъ скучно!—говорила молодая.—Nous sommes venues trop tot, maman.

— Non, ma chère, мы пріѣхали какъ должно.

— Такъ чего жъ мы дожидаемся?..

— Чего дожидаемся?.. Порядокъ хорошъ!.. Да это всегда у насъ: заведутъ на иностранный манеръ, расхвалятъ, распишутъ, а тамъ посмотришь—гадость!..

— Я думаю, что давно уже десять часовъ, maman?

— А что на твоихъ часахъ — voyez, ma chère?

— Да они стоятъ.

— Опять не завела! Ахъ, Sophie, comme c'est ridicule!..—Всякій разъ!

Я воспользовался этимъ случаемъ, чтобъ начать разговоръ съ моими сосѣдками,—вынулъ часы, посмотрѣлъ и сказалъ:

— Вамъ угодно узнать который часъ? Безъ десяти минутъ девять.

— Mercі, monsieur!—прошептала маменька.—А я думала, что гораздо позднѣе.

— Вы изволите ѣхать въ Петербургъ?..

— Да-съ! теперь въ Петербургѣ...

— А оттуда à l'étranger, — прервала съ живостію дочка,—на пироскапъ.

— Позвольте спросить, вы московскія жительницы?..

— О, нѣтъ! — проговорила маменька съ такою обидною улыбкою, что меня зло взяло.

— Такъ вы,—продолжалъ я послѣ минутнаго молчанія,—проѣздомъ въ Москвѣ?

— Да, мы хотѣли здѣсь пробыть однѣ только сутки и вмѣсто этого должны были прожить цѣлыхъ двѣ недѣли.

— Ну, что, понравилась ли вамъ Москва?

— Помилуйте, да чтожъ въ ней хороша-

го? Большой городъ, въ которомъ умираютъ отъ скуки, и больше ничего.

— А какой театръ!—прибавила дочка.— Dieu, comme c'est mauvais!

— Это ужъ слишкомъ немилостиво,—сказалъ я.—Впрочемъ, вѣроятно вы имѣете полное право быть взыскательными, и если вы были за границею...

— Ахъ, нѣтъ еще!—промолвила со вздохомъ маменька.—Но я надѣюсь, что нынѣшнимъ лѣтомъ мы увидимъ чужіе края.

— Такъ, конечно, вы бывали въ Петербургѣ и, сравнивая тамошній театръ съ здѣшнимъ...

— Je vous demande pardon, monsieur!— подхватила дочка. — Мы съ маменькой никогда не были въ Петербургѣ.

— Такъ позвольте же васъ спросить, откуда вы изволите ѣхать?

— Изъ Костромы.

Къ счастію, я держалъ мой платокъ въ рукѣ и успѣлъ имъ закрыться.

— Здравствуй, Богданъ Ильичъ!—сказалъ кто-то подлѣ меня густымъ басомъ; я обернулся и увидѣлъ передъ собою моего стараго сослуживца, Андрея Даниловича Ерусланова, съ которымъ мнѣ должно познакомить короче моихъ читателей.

Андрей Даниловичъ человѣкъ лѣтъ сорокапяти, средняго роста, плечистый, здоровый и краснощекій. Онъ можетъ, по всей справедливости, назваться и въ моральномъ и въ физическомъ смыслѣ самымъ чистымъ, безъ всякой примѣси, русскимъ человѣкомъ. Русская безпечность и русскій толкъ; радушіе и удальство, по временамъ необычайная дѣятельность и подчасъ непреодолимая лѣнь; однимъ словомъ, вы найдете въ немъ все то, въ чемъ упрекаютъ и за что хвалятъ русскій народъ. Не смотря на то, что многіе называютъ его старовѣромъ, невѣждою, отсталымъ, онъ человѣкъ образованный, много читалъ, много видѣлъ; но вообще не большой обожатель Запада и любитъ Русь, какъ любили ее въ старину наши предки, то-есть не только съ пристрастіемъ, но даже съ ослѣпленіемъ, которое иногда, надобно сказать правду, выходитъ изо всѣхъ границъ.

— Здравствуй, Андрей Даниловичъ!—сказалъ я.—Ты также отправляешься въ дилижансѣ?

— Въ дилижансѣ!.. Что ты, братецъ, перекрестись! Я зашелъ проститься съ Соликамскимъ. Поѣду я въ дилижансѣ! Вотъ нашелъ человѣка!

— А почему же не поѣдешь? Еслибъ мнѣ нужно было прокатиться въ Петербургъ, я непремѣнно бы поѣхалъ въ дилижансѣ.

— Поѣхалъ! Да кто тебѣ сказалъ, что ты ѣдешь въ дилижансѣ? Нѣтъ, не ѣдешь: тебя везутъ, голубчикъ! Напихаютъ васъ въ этотъ курятникъ, какъ тюки съ товарами, да и потащутъ!..

— А тебѣ бы все скакать сломя голову.

— Да, воля твоя, Богданъ Ильичъ, не люблю я этой аккуратной нѣмецкой ѣзды. Ну, какая въ ней поэзія?.. Тоска, братецъ! Вѣдь наша Русь не то, что чужіе края: тамъ живутъ тѣсно; проѣхалъ версту—село; проѣхалъ двѣ — пригородье; а верстахъ на десяти въ трехъ городахъ побываешь. Въ одномъ государствѣ позавтракаешь, а въ другомъ придется отобѣдать. Нѣтъ, братъ, Русская земля не то: и широко, и просторно, и гладко, такъ что ты себѣ хоть шаромъ покати. Поѣзжай-ка у насъ въ дальнюю дорогу въ какомъ-нибудь рыдванѣ, нѣмецкою трухою,—съ ума сойдешь: все то-же да то-же въ глазахъ. Ну, то ли дѣло нашъ родимый экипажъ? И безпокойно да весело. Заляжешь въ просторную телѣгу, завернешься въ шинель, да и покатывай! Эхъ, какъ вспомнишь, братецъ, случится иногда попасть на удалого ямщика, — ахъ, ты, Господи!.. Коренная рвется изъ оглобель, пристяжныя визжатъ,— ну, вотъ такъ и грызутъ землю!.. Бравый ямщикъ встряхнетъ кудрями, шапку на бекрень, присѣлъ кой-какъ бочкомъ, прибралъ вожжи, гаркнулъ — и свѣта Божьяго не взвидишь! Только что по кочкамъ попрыгиваешь, да любуешься русскою удалью. Кати, лихая тройка!.. Захлебывайся, валдайскій колокольчикъ!.. Летите мимо поля, лѣса и перелѣски!.. Любо да и только! Вотъ засинѣлся вдали черный боръ... глядь, а ты ужъ въ немъ... Вотъ порой проглянетъ деревенька, мелькнетъ въ сторонѣ боярская усадьба,—ау!.. поминай какъ звали!.. Ну, словно вихремъ несетъ тебя на край свѣта, словно крылья тебѣ подвязали и ты мчишься туда, гдѣ небо сходится съ землею!.. Вотъ это, братецъ, ѣзда!.. Не успѣешь оглянуться, а станція и тутъ! Хлебнулъ чайку, впрягли и пошелъ опять по всѣмъ по тремъ!

— А бока-то что, Андрей Данилычъ?

— Бока... Эхъ, братецъ, не русскій ты человѣкъ!.. Эка важность, отобьетъ тебѣ бока, ну, что за бѣда? Пріѣхалъ домой, сходилъ въ баню и какъ съ гуся вода!..

— Пожалуйте садиться,—проговорилъ громкимъ голосомъ кондукторъ, растворивъ обѣ половинки дверей.

Всѣ поднялись со своихъ мѣстъ и стали понемногу выбираться изъ комнаты; я вышелъ также вмѣстѣ съ другими на крыльцо. Въ нѣсколько минутъ оба дилижанса наполнились пассажирами; но Соликамскаго между ними не было. Я поспѣшилъ воротиться назадъ и нашелъ въ столовой комнатѣ, — вы думаете за завтракомъ? Нѣтъ, передъ нимъ стояли двѣ котлеты и порція бифштекса; но онъ еще до нихъ не дотрогивался, а спорилъ съ какимъ-то ученымъ мужемъ, который, сколько я могъ понять, сомнѣвался въ подлинности извѣстнаго Евангелія, писаннаго дьякономъ Григоріемъ, въ началѣ второй по-

ловины одиннадцатаго столѣтія. Я засталъ этотъ ученый диспутъ въ самомъ его разгарѣ, и, надобно сказать правду, не случись меня въ ту пору, пришлось бы Соликамскому гнаться за своимъ мѣстомъ и чемоданомъ до первой станціи. Когда я почти насильно вытащилъ его изъ столовой, дилижансы уже отправились, и мы съ трудомъ догнали ихъ у Петровской заставы, да и то потому только, что тутъ обыкновенно всѣ проѣзжающіе останавливаются на нѣсколько минутъ, чтобъ прописаться въ караульной и запастись на всю дорогу московскими калачами и сайками.

VI.

Два Московскихъ бала въ 1801 году.

...„Я провожу, говоритъ, время съ крайнимъ удовольствіемъ; барышень, говоритъ, много, музыка играетъ, штандартъ скачетъ“.

Гоголь.

Во второй главѣ этихъ записокъ я намекнулъ мимоходомъ о ложномъ понятіи, которое многіе изъ петербургскихъ жителей имѣютъ о Москвѣ. Москва, по мнѣнію ихъ, конечно, большой городъ, но городъ рѣшительно провинціальный, въ которомъ вы должны непремѣнно подвергаться разнымъ лишеніямъ, весьма чувствительнымъ для человѣка, привыкшаго ко всѣмъ удобствамъ и роскоши петербургской жизни. Да это бы еще ничего, — пускай бы ужъ они думали, что въ Москвѣ, точно такъ же, какъ и въ Новгородѣ или въ Архангельскѣ, все порядочное должно выписывать прямо изъ Петербурга; но эти господа полагаютъ даже, что большая часть жителей Москвы, и средняго и высшаго класса, имѣетъ на себѣ *какой-то особый отпечатокъ*, что почти всѣ москвичи сплошь Фамусовы, Репетиловы, Молчалины и Загорѣцкіе *) Я долженъ однако-жъ сказать, что этотъ образъ мыслей принадлежитъ почти исключительно только тѣмъ, которые никогда не бывали въ Москвѣ, и весьма рѣдко встрѣчается у людей, живущихъ въ лучшемъ обществѣ; но зато ступайте къ какому-нибудь петербургскому старожилу, который во всю жизнь свою не видалъ ничего выше Пулковской горы и живописнѣе Парголова, у котораго свой домъ на Пескахъ, въ Коломнѣ или у Таврическаго и который, нанимая каждое лѣто избенку на Петербургской или Выборгской сторонѣ, съ тридцатью квадратными саженями болота и пятью тощими березками, воображаетъ, что живетъ на дачѣ; заговорите съ нимъ о Москвѣ, и вы увидите, что онъ въ грошъ ее не ставитъ, а особливо съ тѣхъ поръ, какъ появилась на сценѣ комедія Грибоѣдова. Какъ будто бы есть въ цѣломъ мірѣ такой городъ, въ которомъ не нашлось бы дюжины двѣ комическихъ лицъ, и какъ будто бы эти лица должны быть непремѣнно представителями и образчиками цѣлаго общества? Конечно, Москва во многомъ не походитъ на Петербургъ, но это вовсе не оправдываетъ мнѣнія тѣхъ, которые воображаютъ, что она отстала отъ него цѣлымъ столѣтіемъ. Разумѣется, Москва, какъ и всякій большой городъ, имѣетъ свою собственную физіономію: въ ней еще сохранились кой-какія преданія старины, нѣкоторые общественные и религіозные обычаи, извѣстные въ нашей сѣверной столицѣ. Вы встрѣтите въ ней оригиналовъ, которыхъ, можетъ-быть, не увидите въ Петербургѣ. Тамъ попадется иногда на Тверскомъ бульварѣ отчаянный франтъ въ такомъ фантастическомъ нарядѣ, что вы невольно остановитесь. Вѣроятно, вы не увидите также на Невскомъ проспектѣ какого-нибудь барина въ уродливомъ картузѣ собственнаго изобрѣтенія или въ пальто, похожемъ на широкую юбку съ рукавами, или въ шляпѣ величиною съ открытый зонтикъ. Въ Петербургѣ даже и въ крещенскіе морозы всѣ ходятъ въ обыкновенныхъ круглыхъ шляпахъ, а въ Москвѣ зимою носятъ бобровые каскеты, эриванки и круглыя шапки съ кистями, похожія на греческія фески. Конечно, это нѣсколько напоминаетъ Азію, да зато головѣ тепло и уши не зябнутъ. Чтожъ дѣлать, мы, москвичи, народъ смирный, по большей части отставные, живемъ на покоѣ,—такъ гдѣ намъ воевать съ морозомъ. Теперь я спрошу всякаго: неужели эти мелкія и ничтожныя особенности что-нибудь значатъ? Неужели Москва не можетъ быть такимъ же просвѣщеннымъ городомъ, какъ и Петербургъ, потому только, что въ ней побольше пестроты и разнообразія? Повѣрьте, не только Москва, но и провинціи наши вовсе не походятъ на то, чѣмъ онѣ были лѣтъ сорокъ тому назадъ. Тогда — о, тогда, конечно, московское общество отдѣлялось рѣзкими чертами отъ петербургскаго; но это время прошло и, вѣроятно, ужъ не воротится. Я давно живу на свѣтѣ, такъ помню эту старину. Я не забылъ еще того времени, когда существовало въ Москвѣ старое поколѣніе коренныхъ русскихъ бояръ, когда графъ Ш***, графъ Р***, князь Д***, графъ О***, графъ С*** и нѣкоторые другіе были по праву представителями московской аристократіи. Всѣ эти магнаты жили съ необычайной роскошью; но эта роскошь была совершенно азіатская. Огромные дома, по большей части убранные безъ всякаго вкуса, безчисленное множество слугъ, крѣпостные театры, доморощенныя танцовщицы, домашніе оркестры, ежедневные обѣды, богатые не качествомъ, а количествомъ блюдъ, и балы, на которые съѣзжалась вся Москва. Многіе изъ петербургскихъ жителей думаютъ, что

*) Дѣйствующія лица комедіи „Горе отъ ума“.

этотъ образъ жизни, но только въ уменьшенномъ размѣрѣ и, слѣдовательно, лишенный даже своего восточнаго характера, и теперь еще не въ диковинку у насъ въ Москвѣ. Я могу увѣрить ихъ, что они рѣшительно ошибаются и, чтобъ дать понятіе, — не имъ, а моимъ согражданамъ, — до какой степени въ теченіе послѣднихъ сорока лѣтъ измѣнились нравы и обычаи нашей Москвы, разскажу, что видѣлъ нѣкогда собственными моими глазами, хотя увѣренъ заранѣе, что этотъ разсказъ примутъ многіе за вымыселъ и только развѣ самые довѣрчивые скажутъ, покачивая головами:

„Свѣжо преданіе, а вѣрится съ трудомъ".

Я воспитывался въ Петербургѣ въ первомъ кадетскомъ корпусѣ и зналъ Москву по одной только наслышкѣ. Когда я былъ выпущенъ офицеромъ, дальній мой родственникъ, генералъ Д***, взялъ меня къ себѣ въ адъютанты. Онъ ввелъ меня въ лучшій кругъ петербургскаго общества. Я былъ хорошъ собою, ловокъ, танцовалъ прекрасно и болталъ очень мило по-французски. Благодаря этимъ блестящимъ качествамъ, я сдѣлался въ короткое время самымъ моднымъ молодымъ человѣкомъ. Въ числѣ искреннихъ моихъ пріятелей былъ одинъ природный москвичъ, Иванъ Андреевичъ Двинскій. Отправляясь передъ Рождествомъ на свою родину, онъ предложилъ мнѣ ѣхать съ нимъ вмѣстѣ, провести въ Москвѣ святки и посмотрѣть, какъ погуливаютъ тамъ наши старики.

— Эхъ, братецъ,—говорилъ онъ,—вы здѣсь не знаете, что такое веселье. Погляди-ка, любезный, какъ тѣшутся у насъ въ Москвѣ. По два, по три бала въ вечеръ, домашніе театры, обѣды, катанья; у Медокса въ маскарадѣ биткомъ набито, въ благородномъ собраніи давка; однимъ словомъ, такая гульба, братецъ, что когда придетъ великій постъ, такъ всѣ въ растяжку лежатъ. Ну, конечно, ты не найдешь у насъ такого утонченія, такихъ парижскихъ формъ, такого приличія, какими щеголяютъ здѣсь. Можетъ-быть, кой-что покажется тебѣ и страннымъ, да зато, любезный другъ, мы въ Москвѣ и живемъ и веселимся, и гуляемъ—все на распашку!

Увлеченный краснорѣчіемъ моего пріятеля, я взялъ отпускъ и отправился вмѣстѣ съ нимъ въ Москву. Мы пріѣхали на четвертыя сутки довольно поздно вечеромъ и остановились у родной тетки Двинскаго, Марьи Степановны Заозерской, которая жила въ своихъ наслѣдственныхъ деревянныхъ хоромахъ на Чистыхъ прудахъ. Я не знаю, что больше меня поразило, наружная ли форма этого дома, построеннаго въ два этажа какимъ-то узкимъ, но чрезвычайно длиннымъ ящикомъ, или огромный дворъ, на которомъ наставлено было столько флигелей, клѣтушекъ, хлѣвушковъ, амбаровъ и кладовыхъ, что мы въѣхали въ него точно какъ будто въ какую-нибудь деревню. Въ лакейской мы разбудили нашимъ приходомъ двухъ слугъ, которые преспокойно почивали на деревянномъ коникѣ; одинъ изъ нихъ былъ въ поношенной ливреѣ, съ напудренной головою, другой въ суконномъ сюртукѣ съ оборванными петлицами. Съ просонья они кинулись, какъ шальные, снимать съ насъ шубы, засуетились и уронили столикъ о трехъ ножкахъ, на которомъ стояла шашечница и горѣла сальная свѣча, воткнутая въ бутылку. На этотъ шумъ вышелъ изъ столовой, и къ счастію, со свѣчою, толстый старикъ, въ нѣмецкомъ кафтанѣ и камзолѣ, съ красною рожею, отвислымъ подбородкомъ и огромнымъ чревомъ: это былъ дворецкій Марьи Степановны.

— Батюшка, Иванъ Андреевичъ! — вскричалъ онъ, увидѣвъ племянника своей барыни.—Милости просимъ!.. Пожалуйте ручку!

— Здравствуй, Трифонъ Семеновичъ! — сказалъ Двинскій.—Ну, что тетушка?

— Все славу Богу!.. Ужъ мы васъ, сударь, ждали, ждали.

— Что, тетушка дома?

— Какъ-же, батюшка, дома-съ! Въ боскетной... Пожалуйте!

Толстый Трифонъ Семеновичъ пошелъ передъ нами со свѣчою. Пройдя большую столовую и двѣ гостиныя, мы подошли къ полурастворенному дверямъ освѣщенной комнаты. Дворецкій распахнулъ обѣ половинки дверей и проговорилъ торжественнымъ голосомъ:

— Иванъ Андреевичъ, сударыня!

Вмѣстѣ съ этими словами поднялась ужасная кутерьма: тетушка-старушка, лѣтъ шестидесяти-пяти, въ гродетуровомъ шлафрокѣ и бѣломъ чепцѣ, съ радостнымъ восклицаніемъ вскочила съ дивана. Весь дворъ ея пришелъ въ движеніе: зеленый попугай засвистѣлъ, какъ соловей-разбойникъ, со всѣхъ сторонъ кинулись къ намъ подъ ноги съ громкимъ лаемъ три болонки, двѣ моськи и одна поджарая англійская собаченка. Пожилая калмычка. Федосья Тихоновна, вскрикнула, молоденькая фаворитка Глашенька ахнула, а Михѣичъ, безобразный карло, съ огромною головою, бросился унимать собаченокъ, изъ которыхъ одна успѣла ужъ мнѣ прокусить сапогъ.

— Другъ мой, Ванечка!—говорила Марья Степановна, обнимая своего племянника.—Насилу ты пріѣхалъ!.. А я ужъ думала, не случилось ли что съ тобою?.. Ахъ, ты, мой душенька!.. Да ты, мнѣ кажется, потолстѣлъ, право потолстѣлъ!.. Ну, слава Богу!.. Давно ли ты изъ Петербурга?.. Говорятъ, дорога такая гибель, что не приведи Господи!.. А вѣдь ты, я думаю, все скакалъ!.. Да что это у тебя носъ-то?.. Ужъ не отморозилъ ли?.. Постой-ка!.. Нѣтъ, нѣтъ! обвѣтрило только!.. Ахъ, ты, мой сердечный!.. То-то, чай, умаялся!.. Глашенька, чаю!.. Проворнѣй, проворнѣй!.. Однако-жъ,

Ваничка, послушайся меня: какъ ляжешь спать, натри себѣ носъ гусинымъ саломъ. Феничка, приготовь ему!.. Право, я боюсь,— кажется, прихватило немножечко!.. Ахъ, ты мой милый другъ!.. Ахъ, ты мой голубчикъ!..

Во все продолженіе этой семейной сцены я игралъ довольно жалкую роль; казалось, никто не замѣчалъ моего присутствія; наконецъ Двинскому удалось промолвить словечко.

— Тетушка,—сказалъ онъ,—честь имѣю вамъ рекомендовать моего искренняго друга и сослуживца, Богдана Ильича Бѣльскаго.

Я, какъ слѣдуетъ, подошелъ къ рукѣ.

— Ахъ, батюшка,—сказала Марья Степановна, цѣлуя меня въ щеку,—извините; я совсѣмъ обезумѣла отъ радости!..

— Я уговорилъ его пріѣхать со мной въ Москву,—продолжалъ Двинскій,—и надѣюсь, тетушка, вы не позволите ему жить нигдѣ, кромѣ вашего дома.

— Разумѣется!... Очень рада, Богданъ Ильичъ!.. Будьте здѣсь, какъ у себя... Всѣ друзья моего Ванечки мнѣ свои.

— Но мнѣ, право, совѣстно...—проговорилъ я.

— Что вы, что вы?.. Да неужели я допущу васъ жить въ какомъ-нибудь трактирѣ? Нѣтъ, батюшка, этого въ Москвѣ не водится... Можетъ быть, у васъ въ Петербургѣ... А мы живемъ по старинѣ! Милости просимъ гостить у меня, хоть вплоть до самой весны... Чѣмъ дольше, тѣмъ лучше!.. Феничка, займись-ка, матушка, вели прибрать зеленую да голубую комнаты!.. Да скажи Трифону, чтобъ онъ поторопился ужиномъ...

— Позвольте намъ не ужинать,—сказалъ Двинскій.

— Не ужинать! Что ты, мой другъ? Можетъ быть, у васъ въ Петербургѣ не ужинаютъ—по иностранному, а мы люди русскіе, мы всегда ужинаемъ.

— Да мы сейчасъ будемъ пить чай, тетушка.

— Чай чаемъ, батюшка, а ужинъ ужиномъ. Да что это мы стоимъ?.. Богданъ Ильичъ, прошу покорно! Садись, Ванечка!

Мы сѣли; и вотъ тетушка принялась разсказывать племяннику разныя семейныя и городскія новости: какъ двоюродный братецъ Степанъ Степановичъ женился на Аннѣ Дмитріевнѣ Фурсиковой; какъ дядюшка Иванъ Николаевичъ отказалъ полковнику Бирюлькину, который вздумалъ посвататься за его старшую дочь Агаточку, какъ двѣ недѣли тому назадъ въ маскарадѣ у Медокса одна тульская помѣщица разрѣшилась отъ бремени; какъ на послѣднемъ балѣ у графа О*** княжна Филанцета Димитріевна поссорилась съ княжной Ариной Михайловной за то, что та перебила у нея пару въ длинномъ польскомъ; какъ Аграфена Тихоновна подымала Иверскую Божію Матерь, по случаю тяжкой болѣзни своего мужа, которому, благодаря *Бога, теперь гораздо лучше; какъ Иванъ* Павловичъ третьяго дня завелъ ужасную исторію въ Благородномъ собраніи и вызвалъ на дуэль Алексѣя Степановича, который былъ во второй парѣ и, не спросясь у него, перемѣнилъ фигуру въ экосесѣ, и какъ Настасья Прохоровна отказала отъ дому князю Башлыкову за то, что онъ не пріѣхалъ самъ, а прислалъ человѣка поздравить ее со днемъ ангела. Этотъ длинный монологъ продолжался до самаго ужина, послѣ котораго мы отправились въ отведенныя намъ комнаты, раздѣлись и, утонувъ въ огромныхъ пуховикахъ, заснули какъ убитые.

На другой день по-утру Двинскій поѣхалъ дѣлать визиты, а я отправился смотрѣть Москву. Я воротился домой ровно въ два часа и, къ крайнему моему удивленію, узналъ, что меня давно уже дожидаются къ обѣду. За столомъ Двинскій объявилъ мнѣ, что я буду вечеромъ на двухъ балахъ: во-первыхъ, у Катерины Львовны Завулоновой, а потомъ у графа О***.

— У Катерины Львовны немножко тѣсненько,—сказалъ мой пріятель: — домикъ небольшой; но она такая милая, умная женщина! Вся Москва ее любитъ и уважаетъ. У нея чрезвычайно обширное знакомство, и хотя она сама принадлежитъ къ лучшему здѣшнему кругу, но ты встрѣтишь у нея образчики почти всѣхъ здѣшнихъ обществъ. Мы поѣдемъ къ ней часу въ восьмомъ, пробудемъ до девятаго и отправимся къ графу; тамъ ты увидишь всю московскую аристократію. Самъ хозяинъ въ мундирѣ и во всѣхъ орденахъ,— разумѣется, и всѣ гости также въ мундирахъ; однако-жъ это нимало не мѣшаетъ веселиться не только молодымъ, но даже и весьма пожилымъ людямъ, изъ которыхъ многіе такъ-то выплясываютъ матрадуры да экосесы, что любо-дорого посмотрѣть. Вотъ, припомни мои слова: когда станутъ танцовать алагрекъ, такъ въ первой парѣ непремѣнно будетъ кавалеръ въ лентѣ и звѣздѣ. Нѣтъ, мой другъ, у насъ въ Москвѣ не то, что у васъ: у насъ старики подаютъ примѣръ молодымъ, какъ веселиться. Да зато ужъ мы и веселимся не по-вашему.

— Правда, — промолвила тетушка. — Въ Москвѣ какъ начнутъ веселиться, такъ нѣкогда и лба перекрестить! А коли придетъ желаніе Богу помолиться, такъ наша матушка Москва и на это хороша. Святой городъ, батюшка!.. Была бы только охота, а то и въ Кіевъ не зачѣмъ ѣхать.

Мы отправились съ Двинскимъ ровно въ семь часовъ и пріѣхали почти въ половинѣ восьмого къ Катеринѣ Львовнѣ Завулоновой. Мы сбросили наши шинели въ передней и пробрались кой-какъ сквозь толпу лакеевъ, изъ которыхъ иные были навьючены, какъ верблюды, салопами и шубами своихъ господъ. Въ небольшой залѣ, освѣщенной сальными свѣчами, танцовали круглый польскій. Съ величайшимъ трудомъ пробираясь подлѣ самой

стѣнки, дошли мы, наконецъ, до хозяйки дома. Двинскій меня представилъ. Катерина Львовна наговорила мнѣ тьму пріятныхъ вещей и, надобно сказать правду, въ нѣсколько минутъ очаровала меня совершенно своей любезностью и милымъ обращеніемъ. Между тѣмъ польскій кончился и музыканты заиграли экосесъ; прежде чѣмъ мы съ Двинскимъ отыскали себѣ танцовщицъ, во всю длину залы вытянулись уже два фронта, одинъ изъ кавалеровъ, а другой изъ дамъ, и намъ рѣшительно негдѣ было пріютиться. Въ эту самую минуту подбѣжалъ къ хозяйкѣ довольно рослый горбунъ въ полосатомъ сюртукѣ.

— Катерина Лимоновна,—сказалъ онъ,— Катерина Лимоновна, посмотри, какъ я отхватываю лакесею!

И съ этимъ словомъ, припѣвая подъ музыку какія то не слишкомъ пристойныя рифмы, онъ ворвался въ средину экосеса и пустился догонять въ присядку первую пару, которая сходила внизъ.

— Что это, братецъ, такое?—сказалъ я, не вѣря глазамъ моимъ.

— Это Ѳедька Горбунъ,—отвѣчалъ весьма хладнокровно Двинскій.—Онъ одинъ изъ самыхъ знаменитыхъ московскихъ дураковъ— преумная бестія!.. Однако, здѣсь становится очень душно; пойдемъ въ другія комнаты.

Мы вошли въ первую гостиную, въ которой было также тѣсно, потому что столахъ на пяти играли въ бостонъ. Подлѣ одного изъ играющихъ, толстаго барина съ владимірскимъ крестомъ на шеѣ, стояла дама лѣтъ тридцати, одѣтая не только безъ всякихъ претензій, но даже съ какимъ-то неряшествомъ. Въ ея грубомъ и мужиковатомъ голосѣ не было ничего женскаго, точно такъ-же, какъ и въ продолговатомъ лицѣ, котораго рѣзкія черты выражали, однако-жъ, какое-то добродушіе. Въ ту минуту, какъ мы вошли въ гостиную, она говорила толстому барину:

— Врешь, врешь, князь, давай синенькую!

— Да у меня, кажется, нѣтъ мелкихъ,— проговорилъ толстый баринъ, раскрывая нехотя свой бумажникъ.

— Все равно, я сдамъ!.. Да вотъ синенькая, давай ее, давай!.. А, Иванъ Андреевичъ! — продолжала она, увидѣвъ Двинскаго.—Какими судьбами?

— Вчера пріѣхалъ изъ Петербурга,—отвѣчалъ мой пріятель, поцѣловавъ съ большимъ почтеніемъ ея, вовсе не прелестную, ручку.

— Полно, полно врать: чай, недѣли двѣ живешь въ Москвѣ, а ко мнѣ глазъ не покажешь! Хорошъ, батюшка, очень хорошъ!

— Право, я вчера только пріѣхалъ; спросите у тетушки.

— Ну, добро, добро! Богъ тебя проститъ!.. Давай синенькую!.. Для бѣдной вдовы... пятеро дѣтей... ѣсть нечего; жалость такая, что не приведи, Господи!

— Позвольте ужъ *мнѣ предложить* вамъ десять рублей,—сказалъ Двинскій, подавая ей красную ассигнацію.

— Спасибо, мой отецъ, спасибо!—проговорила барыня, поклонясь въ поясъ Двинскому.— Вотъ это Богъ тебѣ зачтетъ! Это ужъ, батюшка, истинно добровольное подаяніе!

— Да,—подумалъ я,—по русской пословицѣ: добровольно, наступя на горло.

— Э,—вскричала барыня,—да вонъ, кажется, Ведеркинъ!.. Съ него можно и бѣленькую слупить—откупщикъ! Чай, такъ-то разбавляетъ свое вино водицею!.. Прокофій Сергѣичъ!.. Прокофій Сергѣичъ...

Но догадливый откупщикъ какъ будто бы не слышалъ и спѣшилъ продраться въ залу, чтобъ какъ-нибудь улизнуть отъ этой сборщицы добровольныхъ подаяній. Она пустилась за нимъ въ погоню, а мы пошли далѣе.

— Что это за строгая барыня?—спросилъ я Двинскаго.

— Это очень извѣстная дама, Настасья Парменовна Нахрапкина; ее знаетъ вся Москва.

— Ну, мой другъ, если у васъ много такихъ дамъ...

— А что? Тебѣ не нравится ея слишкомъ простодушный тонъ?.. Да на это никто не обращаетъ вниманія; всѣ къ этому привыкли. Конечно, она походитъ нѣсколько на переодѣтаго мужчину, не слишкомъ вѣжлива и коли примется кого-нибудь отработывать, такъ я тебѣ скажу!.. Но, несмотря на это, женщина предобрая и, если надобно бѣдному помочь или оказать услугу кому бы то ни было, знакомому или незнакомому, всегда первая.

Пройдя вторую гостиную, мы остановились въ дверяхъ небольшого покоя, который, вѣроятно, по случаю бала, превратился изъ спальни въ пріемную комнату. Посреди этой комнаты стоялъ длинный столъ, покрытый разными галантерейными вещами. Золотыя колечки, сережки, запонки, цѣпочки, булавочки и всякія другія блестящія бездѣлушки разложены были весьма красиво во всю длину стола, покрытаго краснымъ сукномъ. За столомъ сидѣлъ старикъ съ напудренной головою, въ черномъ фракѣ и шитомъ разными шелками атласномъ камзолѣ. Наружность этого старика была весьма пріятная, и, судя по его благородной и даже нѣсколько аристократической физіономіи, трудно было отгадать, какимъ образомъ онъ могъ попасть за этотъ прилавокъ. Да, прилавокъ, — потому что онъ продалъ при насъ двумъ дамамъ, одной золотое колечко съ бирюзою, а другой—небольшое черепаховое опахало съ золотою насѣчкою; третья, барышня лѣтъ семнадцати, подошла къ этому прилавку, вынула изъ ушей свои сережки и сказала:

— Вотъ возьмите! Маменька позволила мнѣ промѣнять мои серьги. Только, вели

ваша, вы много взяли придачи;—право, десять рублей много!

— Ну, вотъ еще много! — прервалъ купецъ. — Да твои-то сережки и пяти рублей не стоятъ.

— Ахъ, что вы, князь! — возразила барышня.—Да я за нихъ двадцать-пять рублей заплатила.

— Князь!—повторилъ я шопотомъ.

— Да, Богданъ Ильичъ, — сказалъ мнѣ на-ухо Двинскій.—Это отставной бригадиръ, князь Н***. Онъ промоталъ четыре тысячи душъ наслѣдственнаго имѣнія и теперь, видишь, чѣмъ промышляетъ. Ты будешь часто встрѣчать его сіятельство съ этимъ же самымъ подвижнымъ магазиномъ; съ нѣкотораго времени онъ сдѣлался почти необходимою принадлежностью всѣхъ баловъ.

— Ну, какія я вижу у васъ чудеса!

— И, мой другъ, да это что еще! Посмотрѣлъ бы ты наши гулянья, а особливо лѣтъ десять тому назадъ. Этотъ бѣдный князь торгуетъ поневолѣ, а тамъ по собственной охотѣ выкидываютъ иногда такія балаганныя штуки, что глазамъ своимъ не вѣришь. Вотъ, напримѣръ, извѣстный богачъ Д*** выѣхалъ однажды въ такомъ экипажѣ, что ужъ подлинно ни перомъ описать, ни въ сказкѣ разсказать, — все наперекоръ симметріи и здравому смыслу: на запяткахъ трехъ-аршинный гайдукъ и карлица, на козлахъ кучеромъ мальчишка лѣтъ десяти, а форейторомъ старикъ съ сѣдой бородой; лѣвая коренная съ верблюда, правая съ мышь. Другой баринъ не покажется на гуляньѣ иначе, какъ верхомъ, съ огромной пѣнковой трубкой, а за нимъ цѣлый поѣздъ конюховъ съ заводскими лошадьми, покрытыми персидскими коврами и цвѣтными попонами. Третій не хочетъ ничего дѣлать, какъ люди, зимою ѣздитъ на колесахъ, а лѣтомъ на полозкахъ; четвертый... Да гдѣ перечесть всѣхъ нашихъ московскихъ затѣйниковъ! Воля, братецъ!.. Народъ богатый, отставной; что пришло въ голову, то и дѣлаетъ. Но вотъ, кажется, первый экосесъ кончился; пойдемъ скорѣй ангажировать дамъ на второй. Черезъ полчаса намъ должно ѣхать, такъ третьяго не дождемся; а вѣдь, право, неловко, если ты для перваго раза вовсе танцовать не станешь.

Мы пошли опять въ залу, протанцовали одинъ экосесъ, потомъ отправились втихомолку и черезъ четверть часа попали въ веревку, т.-е. въ длинный рядъ экипажей, который начинался за полверсты отъ дома графа О***. Вотъ, наконецъ, дошла и до насъ очередь. Я воображалъ, что увижу огромныя каменныя палаты, а вмѣсто этого мы подъѣхали къ большому деревянному дому, вовсе не красивой наружности. Внутренность его также не ослѣпила меня своимъ великолѣпіемъ. *Конечно, комнаты были* просты и отдѣланы богаче, чѣмъ въ домѣ Катерины Львовны Завулоновой; но зато они почти всѣ были обезображены огромными изразцовыми печами, самой старинной и неуклюжей формы. Безчисленное множество слугъ, и богато и бѣдно одѣтыхъ, разсыпано было по всему дому. Въ танцовальной залѣ, также не очень великолѣпной, но довольно обширной, гремѣла музыка. Мы нашли въ этой залѣ почти всѣхъ гостей и самого хозяина, который, въ полномъ мундирѣ и во всѣхъ орденахъ своихъ, сидѣлъ посреди первыхъ сановниковъ и почетныхъ московскихъ дамъ. Этотъ аристократическій кругъ, эти кавалерственныя дамы и сѣдые старики въ лентахъ и звѣздахъ, эта толпа молодыхъ людей, которые, всѣ безъ исключенія, были въ мундирахъ, все это вмѣстѣ придавало какой-то важный и торжественный видъ балу, который во всѣхъ другихъ отношеніяхъ, конечно, не могъ бы назваться блестящимъ. Двинскій подвелъ меня къ хозяину; онъ обошелся со мной очень просто, но съ большой лаской и радушіемъ; просилъ веселиться, танцовать и ѣздить къ нему безъ всякаго зова по всѣмъ понедѣльникамъ. Чтобы не ввести въ слово моего пріятеля, который рекомендовалъ меня отличнымъ дансеромъ всѣмъ своимъ кузинамъ, а ихъ было у него съ полсотни, я принялся прыгать съ такимъ усердіемъ, что подъ конецъ совсѣмъ выбился изъ силъ. Послѣ ужина, который, если сказать правду, отличался только великолѣпнымъ серебрянымъ сервизомъ, да полнотою и обиліемъ блюдъ, музыка опять заиграла и начался безконечный алагрекъ. Я не участвовалъ въ этомъ послѣднемъ танцѣ и присѣлъ отдохнуть недалеко отъ хозяина. Вотъ проходитъ полчаса, алагрекъ все продолжается; одна фигура смѣняетъ другую, и кавалеръ первой пары, несмотря на то, что ему гораздо за пятьдесятъ, кажется, рѣшительно не знаетъ усталости; вотъ онъ начинаетъ пространную фигуру, что-то похожее на хороводную потѣху «заплетися, плетень»,— всѣ пары перепутываются, подымаются суматоха, хохотъ, бѣготня и—чтожъ?.. Въ самую минуту этого танцовальнаго разгула вдругъ хозяинъ привсталъ и закричалъ громовымъ голосомъ: «гераусъ», то-есть «вонъ!» Музыка остановилась, кавалеры раскланялись съ дамами и въ двѣ минуты во всей залѣ не осталось ни одного гостя. Я до того былъ пораженъ такимъ неожиданнымъ заключеніемъ бала, что не вдругъ опомнился, вышелъ изъ залы послѣдній и съ трудомъ отыскалъ Двинскаго въ толпѣ гостей, которые тѣснились въ офиціантской комнатѣ и передней.

— Что это, братецъ? — сказалъ я.—Такъ этакъ-то у васъ провожаютъ гостей?.. Ну!!!

Двинскій улыбнулся.

— Надѣюсь,—продолжалъ я, — въ слѣдующій понедѣльникъ хозяину угощать будетъ некого.

— Право?—сказалъ Двинскій.—Не хочешь ли побиться объ закладъ, что всѣ гости, которыхъ ты видѣлъ сегодня, пріѣдутъ опять сюда на будущей недѣли?

— Какъ? Послѣ такой обиды?

Двинскій засмѣялся.

— Обиды! — повторилъ онъ. — Охъ, вы, петербургскіе! Да чѣмъ тутъ обижаться? Всѣ знаютъ, что добрый хозяинъ радъ своимъ гостямъ, а это ужъ у него такая привычка: у него почти всѣ балы такъ оканчиваются; иногда онъ закричитъ «гераусъ», а въ другое время протрубитъ на волторнѣ, что также значитъ: «ступайте вонъ». И увѣряю тебя, что за это на него никто не сердится.

— Не можетъ быть!

— Да посмотри вокругъ себя: ну, видишь ли ты хотя одно недовольное лицо?

Въ самомъ дѣлѣ, ни на одномъ лицѣ не замѣтно было не только досады, но даже удивленія; всѣ казались и веселы и спокойны, какъ будто бы не случилось ничего необыкновеннаго. Межъ-тѣмъ закричали нашу карету, мы сбѣжали съ лѣстницы, сѣли и отправились домой.

Вотъ, любезные читатели, самый вѣрный очеркъ двухъ московскихъ баловъ, на которыхъ я танцовалъ тому назадъ слишкомъ сорокъ лѣтъ. Хотя въ этомъ разсказѣ я не позволилъ себѣ ни малѣйшаго отступленія отъ истины, хотя въ немъ все отъ перваго до послѣдняго слова совершенная правда, но эта правда такъ походитъ на вымыселъ, что я вовсе не удивлюсь, если никто изъ новаго поколѣнія московскихъ жителей не дастъ вѣры моимъ словамъ. Не странно ли послѣ этого встрѣчать людей, которые воображаютъ, что Москва до сихъ поръ еще сохранила эти простодушные нравы, невѣжественныя причуды и безвкусную роскошь, которыя, съ примѣсью какого-то собственнаго московскаго европеизма, составляли нѣкогда отличительныя черты ея *прежней*, хотя не очень красивой, но зато рѣшительно самобытной физіономіи.

VII.

Московскіе балы нашего времени.

„Толпа мазуркой занята,
Кругомъ и шумъ и тѣснота;
Брянчатъ кавалергарда шпоры,
Летаютъ ножки милыхъ дамъ“...

Пушкинъ.

Ахъ, какой я былъ охотникъ въ старину до баловъ, какъ любилъ танцовать до упаду!.. Сначала для того только, чтобъ танцовать, а потомъ для того, чтобъ танцовать или, лучше сказать, *разговаривать свободно* съ той, съ которой я не могъ иначе говорить, какъ въ присутствіи строгой и подозрительной маменьки; а эти маменьки — избави, Господи!.. Онѣ взвѣшиваютъ каждое ваше слово, готовы ко всему придраться, перетолковать все по-своему и, смотря по обстоятельствамъ, или включить васъ въ число жениховъ своей дочери, или запереть отъ васъ двери своего дома. Я помню, бывало, какъ мнѣ не посидится на одномъ мѣстѣ, какъ бьетъ меня лихорадка, какъ нетерпѣніе мое превращается въ совершенную тоску, когда, окончивъ мой туалетъ, я ожидаю блаженной минуты, въ которую мнѣ можно будетъ отправиться на балъ. Часы нейдутъ, время не двигается. «Боже мой», думаю я бывало, «да чтожъ это за безконечный вечеръ?.. Вонъ уже фонари, кажется, тухнутъ по улицамъ, а все еще восьмой часъ въ началѣ!.. И вотъ, наконецъ, бьетъ половина девятаго. Я бросаюсь въ карету, скачу... Домъ освѣщенъ, по у подъѣзда всего-на-всего только два или три экипажа... Что за дѣло! Пусть зовутъ меня провинціаломъ... Вхожу... Хозяинъ разсыпается въ похвалахъ моей аккуратности: я пріѣхалъ ровно въ назначенный часъ. Вотъ начинаютъ съѣзжаться; въ гостиныхъ становится тѣсно... Вотъ гремитъ неизбѣжный на всѣхъ балахъ польскій: «громъ побѣды раздавайся!» Танцовальная зала наполняется гостями; старики *подымаютъ* почетныхъ дамъ, молодежь спѣшитъ вслѣдъ за ними; я одинъ не танцую... И до того ли мнѣ? Скоро десять часовъ, а ея нѣтъ какъ нѣтъ!.. Ужъ будетъ ли она?.. О, непремѣнно!.. А если не будетъ?.. Мнѣ кто-то сказывалъ, что маменька ея нездорова... сестра больна... старуха тетка пріѣхала изъ Калуги... Да, кажется, на послѣднемъ балѣ у Горемыкина она долго дожидалась кареты... а у этого глупаго полубоярина на лѣстницѣ холодъ, въ сѣняхъ дуетъ... Что, если она... Боже мой!.. Вотъ двери изъ передней настежъ... Сердце мое замираетъ?.. Она?. Нѣтъ, семейство Ковришкиныхъ; маменька чуть дышетъ, дочери съ огромными носами, у одной все лицо въ веснушкахъ... И охота же этимъ уродамъ ѣздить по баламъ... Чу!.. Одинъ, два... восемь... десять часовъ... а ея все нѣтъ!.. О, она вѣрно не будетъ!.. Вотъ опять отворяются двери... О, Боже мой, несносный Фуфлыгинъ съ своей сѣдой головой, красными раздутыми щеками и съ клеймомъ дурака на лбу!.. А вотъ и его супруга, эта полу-французская и полу-мордовская барыня, эта жеманная кривлянка въ пятьдесятъ лѣтъ!.. Ну, бѣда,—она меня увидѣла, идетъ ко мнѣ!.. Эта старая кокетка вопьется въ меня, какъ піявка, начнетъ интересничать, мучить, пытать, тянуть изъ меня жилы!.. Скорѣй куда-нибудь... въ дальнюю комнату!.. И вотъ я за полверсты отъ бальной залы, чуть слышу музыку, стою подлѣ ломбернаго стола, смотрю какъ играютъ въ

карты, не различаю мастей, ничего не вижу, ничего не слышу... Проходить нѣсколько минутъ, я иду назадъ, шатаюсь изъ комнаты въ комнату, нигдѣ не найду мѣста... О, Боже мой, какъ скучно, какъ темно на этомъ балѣ!.. Какія у всѣхъ длинныя лица!.. Какъ скверно играетъ музыка!.. Вдругъ позади меня шорохъ. Я обертываюсь—*она*!.. О, какъ одинъ этотъ взглядъ, одна эта милая улыбка измѣняетъ все въ глазахъ моихъ?.. Этотъ балъ прелесть!.. Какъ все вокругъ меня свѣтло, весело, живо!.. Я жму руку у Фуфлыгина, смѣюсь его тупымъ остротамъ, говорю вѣжливости его супругѣ; огромные носы дѣвицъ Ковришкиныхъ кажутся мнѣ цѣлымъ вершкомъ короче; однимъ словомъ, я всѣмъ доволенъ, все мнѣ нравится; я счастливъ—я блаженствую... О, молодость, молодость?.. Ты прошла, моя молодость, — да и Богъ съ тобою!.. Пусть жалѣютъ о тебѣ другіе, а я вовсе не жалѣю. Подумаешь, что осталось отъ этихъ бурныхъ дней моей юности, когда, томимый жаждою наслажденій, я искалъ ихъ вездѣ,—что осталось отъ нихъ? Одно воспоминаніе о какихъ-то неполныхъ, скоротечныхъ радостяхъ, о какомъ-то тревожномъ, лихорадочномъ состояніи души, что-то похожее на смутный сонъ, въ которомъ существенное было только одно—пресыщеніе и тоска. «О чемъ?»— спросите вы.—И самъ не знаю, по крайней мѣрѣ, не зналъ тогда. Я только чувствовалъ, что мнѣ чего-то не доставало, что вся эта суета, всѣ эти порывы страстей, эта минутная любовь, минутные друзья, минутныя радости... Да что говорить объ этомъ; я вижу, вы готовы ужъ перевернуть страницу, не читая. Не бойтесь, я не хочу васъ дѣлать участниками моихъ психологическихъ размышленій, а поговорю съ вами о балѣ, на которомъ, можетъ-быть, и вы были вмѣстѣ со мною, если только вы бываете на балахъ.

Кто изъ постоянныхъ московскихъ жителей не знаетъ или, по крайней мѣрѣ, не слыхалъ объ Андреѣ Николаевичѣ Радушинѣ, который такъ счастливо соединяетъ въ себѣ любезность и образованность нашего времени съ русскимъ хлѣбосольствомъ и добродушіемъ старинныхъ московскихъ бояръ? Во всякомъ другомъ городѣ, разумѣется, исключая Петербурга, его роскошные обѣды, блестящіе балы и барское житье вошли бы въ пословицу; но здѣсь, въ нашей гостепріимной Москвѣ, это вовсе не въ диковинку; мы точно такъ же привыкли къ великолѣпнымъ пирамъ, какъ приглядѣлись къ живописнымъ видамъ, которыми такъ богата наша Бѣлокаменная. Говорятъ, что у насъ въ старину живали еще веселѣе. Да, это правда! Мы всѣ, теперешніе старики, жили гораздо веселѣе прежняго, да полно, не оттого ли, что были молоды? Впрочемъ, если эта веселость измѣряется числомъ даваемыхъ праздниковъ и количествомъ тѣхъ, которые посѣщаютъ эти праздники, — то, конечно, въ старину или больше веселились, или меньше занимались дѣломъ; вы можете изъ этихъ двухъ заключеній выбрать любое.

Въ пригласительномъ билетѣ на балъ, который я получилъ отъ Андрея Николаевича Радушина, хозяинъ просилъ пожаловать къ нему на балъ и ужинъ въ восемь часовъ пополудни. Это показалось бы мнѣ довольно страннымъ, когда бы я не зналъ, что Радушинъ хотѣлъ испытать, не съѣдутся ли къ нему всѣ гости часу въ десятомъ, если онъ будетъ приглашать ихъ въ восемь. Я люблю самъ дѣлать разные опыты и, признаюсь, ожидалъ съ нетерпѣніемъ назначеннаго часа, чтобъ посмотрѣть, какъ приметъ это нововведеніе московская публика и захочетъ ли она веселиться, не вредя своему здоровью и не утомляя бѣднаго хозяина, которому, послѣ всѣхъ дневныхъ и ночныхъ хлопотъ, право не мѣшало бы прилечь отдохнуть хотя въ первомъ часу ночи. Я пріѣхалъ къ Радушину въ половинѣ девятаго часа. Прекрасный домъ его былъ освѣщенъ какъ фонарь, у подъѣзда стояли жандармы, у дверей швейцаръ, въ сѣняхъ и по лѣстницѣ лакеи въ богатыхъ ливреяхъ, по всѣмъ комнатамъ офиціанты, въ обширной, бѣло-мраморной залѣ музыканты настраивали свои инструменты, и во всемъ домѣ, кромѣ хозяина и его семейства, не было никого: я пріѣхалъ первый. «Что дѣлать»,—подумалъ я,—«времена переходчивы! Въ старину гости не только съѣзжались, но даже и уѣзжали по желанію хозяина, а теперь онъ просто не хозяинъ, а нижайшій слуга тѣхъ, которымъ угодно къ нему пожаловать, то-есть долженъ за свою хлѣбъ-соль покоряться безусловно ихъ причудливой волѣ и моднымъ капризамъ. Вотъ ровно въ десять часовъ раздался второй звонокъ (первый разъ прозвонили въ колокольчикъ для меня); черезъ нѣсколько минутъ въ пріемной комнатѣ, въ которой помѣщался буфетъ, прошептали тоненькимъ голоскомъ: «Ахъ, maman, я вамъ говорила, что рано!» И нѣсколько дамъ вошло въ первую гостиную. Черезъ четверть часа прозвенѣли въ третій разъ, вскорѣ за тѣмъ въ четвертый, потомъ чаще, чаще—и вотъ звонокъ забилъ тревогу; гости начали входить толпами, и, наконецъ, часу въ двѣнадцатомъ ночи загремѣла музыка. Люди не танцующіе составили партіи; нѣсколько стариковъ, по прежней привычкѣ, засѣли въ вистъ, а всѣ другіе принялись козырять въ преферансъ—эту безтолковую, но забавную игру, которая сбила съ поля и затѣйливый бостонъ и глубокомысленный вистъ и завладѣла, вѣроятно, надолго всѣми ломберными столами Россійской Имперіи. Звонокъ продолжалъ до самой полуночи возвѣщать изрѣдка о пріѣздѣ новыхъ гостей. Впрочемъ, по моему замѣчанію, эти запоздалые гости были почти всѣ молодые люди, ко-

торые надѣялись еще натанцоваться досыта. Одинъ только господинъ пожилыхъ лѣтъ пріѣхалъ въ двѣнадцать часовъ; но зато какъ же онъ былъ и наказанъ! Какъ непринятая Харономъ тѣнь на берегахъ Стикса, скитался онъ, бѣдняжка, изъ одной комнаты въ другую. Тутъ играютъ, тамъ играютъ, вездѣ играютъ, а онъ лишь только смотритъ!.. Долго слѣдилъ я за этимъ сиротою: то присядетъ онъ, сердечный, къ висту, то пріютится къ преферансу. Вотъ за однимъ столомъ партія кончилась, осталось разыграть пульку. Надежда ожила въ сердце безпріютнаго горемыки. Играли втроемъ, слѣдовательно, онъ могъ какъ-нибудь пристать четвертымъ—и вдругъ—о, небеса!.. на пульку ставятъ ремизъ, два ремиза... десять ремизовъ!.. Я взглянулъ на запоздалаго гостя и ужаснулся: лицо его осунулось, помертвѣло, не походило даже на человѣческое!.. Чтобъ разсѣять непріятное впечатлѣніе, произведенное во мнѣ отчаяніемъ этого господина, я отправился смотрѣть танцы. Залитая свѣтомъ огромная зала была наполнена гостьми. Двѣ французскія кадрили, обхваченныя со всѣхъ сторонъ толпами зрителей, помѣщались на такихъ малыхъ пространствахъ, что танцующіе едва могли шевелиться, а къ дамамъ, которыя сидѣли вдоль стѣнъ, не было никакой возможности подойти. Я замѣтилъ, наконецъ, въ одномъ углу порожній стулъ: не легко было до него добраться, но мнѣ какъ-то посчастливилось; я протѣснился вслѣдъ за двумя дамами сквозь толпу, нашелъ этотъ благодатный стулъ еще не занятымъ и сѣлъ. Моими сосѣдями были, съ правой стороны, одѣтая сильфидою толстая барыня лѣтъ тридцати, и съ лѣвой, какой-то господинъ, который, вѣроятно, такъ же, какъ я, пріѣхалъ на балъ вовсе не для того, чтобъ танцовать. Несмотря на его довольно свѣжее лицо и румяныя щеки, не трудно было отгадать, что онъ давно живетъ на свѣтѣ; на немъ былъ форменный комергерскій фракъ, сшитый не очень модно, однакожъ, и не по-стариковски. Мнѣ съ перваго взгляда понравилась его открытая и веселая физіономія.

— Фу, какая духота!—прошепталъ этотъ господинъ, протирая свои золотыя очки, которыя запотѣли отъ жару.

— Да, кажется, въ залѣ очень тѣсно,—сказалъ я.

— Ужасно! Впрочемъ, такъ и быть должно: что за балъ, на которомъ и прохладно и просторно.

Я что-то ему отвѣчалъ и вотъ мы, слово-за-слово, разговорились, наконецъ, какъ старинные знакомые.

— Позвольте васъ спросить,—сказалъ я,—кто это прекрасная брюнетка съ огненными черными глазами, которая, проходя мимо насъ, протянула вамъ свою руку?

— О,—отвѣчалъ *мой сосѣдъ*,—это одна изъ самыхъ блестящихъ созвѣздій нашего общества. Въ Лондонѣ ее непремѣнно назвали бы *львицею*, а мы, москвичи, просто зовемъ ее любезной, милой женщиной, которая умѣла безъ танцевъ и картъ привлечь въ свой домъ все то, чѣмъ можетъ похвастаться московское общество. Вы встрѣтите въ ея гостиной и нашихъ вельможъ, и литераторовъ, и художниковъ, и, конечно, по ея пріему не отличите дѣйствительнаго тайнаго совѣтника отъ какого-нибудь ученаго профессора или поэта.

— Да кто же она?—спросилъ я.

Мой сосѣдъ назвалъ ее по имени, и тутъ я узналъ, что эта блестящая дама—жена человѣка, котораго уважаетъ вся Москва и котораго нельзя не любить всякому, кто любитъ умъ, честь и истинное просвѣщеніе.

— Видите ли вы,—сказалъ мой сосѣдъ,—эту даму высокаго роста въ черномъ бархатномъ платьѣ, вотъ направо, противъ самой люстры?...

— Какая прекрасная женщина!—вскричалъ я невольно.

— Какой ангелъ доброты, сказали бы вы, еслибъ она была съ вами знакома. Знаете ли, почему я хотѣлъ обратить ваше вниманіе на эту даму? Она можетъ служить живымъ доказательствомъ, что изъ всѣхъ извѣстныхъ средствъ, сохраняющихъ нашу тѣлесную красоту, самое дѣйствительное и самое вѣрное заключается въ чистотѣ и спокойствіи души нашей. Знаете ли, что этой дамѣ, которая, вѣроятно, кажется вамъ моложе своей сосѣдки, хотя она пятнадцатью годами ее старѣе, знаете ли, что ей,—страшно вымолвить,—слишкомъ сорокъ лѣтъ.

— Нѣтъ, вы шутите!

— Увѣряю васъ! Прибавьте къ этому, что она въ жизни своей натерпѣлась много горя; но она не знала никогда ни злобы, ни зависти; сердце ея не волновали бурныя страсти; она умѣла только любить и прощать, и вотъ вы видите, какъ она до сихъ поръ еще прекрасна. Какъ жаль, что къ ней подсѣлъ этотъ господинъ, одѣтый по модному парижскому журналу. Бѣдненькая, онъ задушитъ ее своими пошлыми французскими фразами! Посмотрите, какъ онъ развалился, какъ всякое движеніе его, какъ этотъ надменный взглядъ, эта обидная улыбка, какъ все въ этомъ русскомъ *денди* напрашивается на дерзость и вызываетъ грубость на языкъ того, кто имѣетъ несчастіе съ нимъ разговаривать.

— А кто этотъ баринъ?

— Да какъ бы вамъ сказать?.. Вы знаете, какихъ людей называли нѣкогда на Руси баскаками?..

— Какъ же! Это были татарскіе сборщики податей.

— Ну, да! То-есть чиновные и знатные татары, которые пріѣзжали въ Россію, чтобъ сбирать оброки съ русскихъ крестьянъ, давить своею гордостію русскихъ бояръ, гово-

рить съ презрѣніемъ о землѣ Русской и потомъ, собравши, а иногда и награбивъ, кучу денегъ, отправляться съ ними обратно на житье въ свою орду. Ну, вотъ этотъ господинъ точно такой же баскакъ: онъ живетъ всегда за-границею, каждыя пять лѣтъ пріѣзжаетъ на короткое время въ Россію, чтобъ собрать всѣ недоимки со своихъ десяти тысячъ душъ, посмѣяться надъ русскими обычаями, поговорить о нашемъ варварствѣ и невѣжествѣ, изъявить свое душевное презрѣніе къ землѣ, которая его поитъ и кормитъ, и потомъ, накопивъ побольше денегъ, отправиться снова проживать ихъ въ свою орду— Парижъ.

— Да, вы правы! — сказалъ я. — Этотъ господинъ точно напоминаетъ татарскихъ баскаковъ, но, впрочемъ, онъ все-таки не татаринъ, и, вѣроятно, хотя изъ приличія, скрываетъ истинныя свои чувства.

— Скрываетъ?.. Что вы?.. Онъ хвастается ими. Конечно, ему не всегда проходитъ это даромъ. Вотъ на этихъ дняхъ, споря съ однимъ умнымъ и почтеннымъ старикомъ, который доказывалъ ему, что мы, русскіе, точно такъ же, какъ и всѣ другіе народы, созданы по образу и подобію Божьему, онъ вошелъ въ такой азартъ, что сказалъ при всѣхъ: «Вы можете защищать какъ хотите вашу Россію, а я вовсе не патріотъ и говорю рѣшительно: я жалѣю, что я русскій».—«И всѣ русскіе также объ этомъ жалѣютъ»,—сказалъ весьма хладнокровно старикъ, оборотясь къ нему спиною.

Тутъ двѣ дамы, проходя мимо моего сосѣда, кивнули ему ласково головами.

— Вотъ, — сказалъ онъ, — я желалъ бы, чтобъ этотъ полу-французъ, о которомъ мы сейчасъ говорили, показалъ мнѣ двухъ парижанокъ, которыя были бы милѣе, просвѣщеннѣе и любезнѣе этихъ двухъ русскихъ барынь. Какъ я люблю видѣть ихъ вмѣстѣ! Вотъ, эта, у которой бѣлоснѣжное лицо, округленное руками самихъ грацій, такъ привлекательно, такъ мило, у которой глаза не черные, не голубые, а просто прекрасные глаза, кипятъ такимъ чувствомъ и жизнію, — побесѣдуйте съ нею, поговорите о чемъ вамъ угодно, и я увѣренъ, что въ два или три часа, которые покажутся вамъ нѣсколькими минутами, она успѣетъ совершенно обворожить васъ своимъ умомъ, любезностію и заставитъ отъ души пожалѣть о томъ, что вы не были съ нею знакомы прежде. Другая дама, въ лицѣ которой вы можете замѣтить какую-то задумчивость, которая придаетъ такую необычайную прелесть ея очаровательной улыбкѣ, постарѣе годами, но она сохранила вполнѣ эту мечтательность, эту живость ума и милую простоту, которыя такъ часто гибнутъ вмѣстѣ съ нашей молодостію. Чтобъ получить ясное понятіе о тѣхъ женщинахъ, которыя царствовали въ *аристократическихъ гостиныхъ* Парижа, надобно видѣть эту русскую барыню, когда она принимаетъ гостей въ своемъ роскошномъ домѣ. Съ какимъ тактомъ или, говоря по-русски, съ какою сметливостію обходится она съ каждымъ изъ своихъ гостей; какъ умѣетъ самаго неловкаго и застѣнчиваго провинціала сдѣлать въ нѣсколько минутъ не только развязнымъ, но почти любезнымъ, и какъ черезъ-чуръ свободный щеголь становится въ ея домѣ приличнымъ, вѣжливымъ и скромнымъ. Она нѣсколько разъ была за-границею, объѣхала почти всю Европу и не вздыхаетъ о томъ, что живетъ въ Москвѣ. У ней друзей немного, но если кто имѣлъ счастіе попасть въ число этихъ избранныхъ, тотъ можетъ смѣло быть увѣренъ, что прекращеніе этой дружеской связи не зависитъ отъ какой-нибудь минутной прихоти или женскаго каприза; въ этомъ случаѣ она вовсе не женщина.

— А, здравствуй, mon cher! — сказалъ, подойдя къ моему сосѣду, смуглый мужчина, лѣтъ сорока-пяти, пріятной наружности и довольно видный собою.

— Ба, ба, ба,—вскричалъ мой словоохотливый камергеръ,—Разгуляевъ! Ты въ Москвѣ?

— Пятый день, мой другъ.

— Какъ это ты рѣшился пріѣхать на балъ?

— И самъ не знаю! Да зато сейчасъ ѣду; надобно выспаться; я завтра рано по-утру отправлюсь.

— Въ Петербургъ?

— Разумѣется!.. А, да кстати: на будущей недѣлѣ въ воскресенье я обѣдаю дома ровно въ три часа, — не забудь, мой другъ! Прощай!

— Что это за господинъ такой?—спросилъ я камергера.—Что, онъ служитъ при почтамтѣ что ль?

— Нѣтъ, онъ нигдѣ не служитъ. Славный малый, хорошій пріятель, человѣкъ умный, любезный и сверхъ того большой путешественникъ.

— Право?

— Преутомимый! Безпрерывно въ дорогѣ.

— Что, онъ путешествуетъ по одной Европѣ?

— Да, по одной Европѣ: изъ Москвы въ Петербургъ, а изъ Петербурга въ Москву, и надобно отдать ему справедливость, въ этомъ отношеніи онъ истинно русскій человѣкъ: ему семьсотъ верстъ ни почемъ. Сегодня онъ угощаетъ васъ обѣдомъ въ своемъ московскомъ домѣ, а черезъ три дня самъ обѣдаетъ въ Петербургѣ у кого-нибудь изъ своихъ пріятелей; потомъ черезъ недѣлю пріѣдетъ къ намъ въ Москву напиться чаю и дней черезъ пять послѣ этого вы легко можете его увидѣть въ петербургскомъ театрѣ, а особливо если даютъ въ первый разъ новую оперу или балетъ.

— Вотъ странная охота, — сказалъ я, —

ѣздить такъ часто по этой скучной петербургской дорогѣ!

— Страннаго тутъ ничего нѣтъ, — прервалъ съ улыбкою мой сосѣдъ. — Одинъ путешествуетъ для того, чтобъ видѣть новые предметы, другой потому только, что любитъ быть въ дорогѣ. Мой пріятель принадлежитъ къ этому послѣднему разряду путешественниковъ; а такъ какъ петербургское шоссе едва ли не лучше во всей Европѣ, такъ онъ круглый годъ по немъ и катается... Однакожъ,—продолжалъ мой сосѣдъ, обтирая платкомъ свой лобъ,—здѣсь становится ужъ слишкомъ жарко. Не знаю, какъ вы, а я выпилъ бы охотно скаканъ лимонаду.

— И я отъ этого не прочь!

— Такъ пойдемъ въ буфетъ, — сказалъ камергеръ, вставая.—Пойдемъ скорѣй,—повторилъ онъ, схвативъ меня за руку:—къ намъ идетъ одна дама, отъ которой я готовъ убѣжать на край свѣта,

— Чтожъ это за страшная барыня такая?

— Она очень добрая женщина, но такъ раздушена этимъ гнустнымъ *пачули*, что отъ нея пахнетъ за версту аптекою!.. И какъ могла быть мода на эти отвратительныя духи?.. Какой-то запахъ камфоры, проникнутый мускусомъ... Фуй, мерзость какая!

Я засмѣялся.

— Вамъ смѣшно, — продолжалъ камергеръ,—что я говорю съ такимъ жаромъ о какихъ-нибудь духахъ. Да, у меня личная къ нимъ ненависть; я не могу хладнокровно говорить объ этой заразѣ,—да, заразѣ! Человѣкъ, раздушенный этой гадостью, походитъ на чуму; онъ заражаетъ все своимъ прикосновеніемъ; ему стоитъ только пожать вашу руку и вы на цѣлый день получите запахъ египетской муміи.

Мы вошли въ буфетъ, то-есть въ столовую комнату, обставленную кругомъ прилавками, на которыхъ въ хрустальныхъ чашахъ лежали грудами плоды и конфекты; въ граненыхъ разноцвѣтныхъ графинахъ стояли освѣжительные напитки и кипѣла вода въ серебряномъ самоварѣ. Въ этой комнатѣ было также довольно тѣсно. Пока мы дожидались нашей очереди, чтобъ напиться лимонаду, одинъ приземистый баринъ успѣлъ пропустить въ себя пять чашекъ чаю и проглотить съ полдюжины сдобныхъ булочекъ, но, по крайней мѣрѣ, онъ ничѣмъ не запасался, а въ двухъ шагахъ отъ него, какая-то пожилая барыня преспокойно набивала конфектами свой огромный редикюль, который начиналъ уже принимать форму довольно увѣсистаго кулька. Признаюсь, я очень обрадовался, когда замѣтилъ по выговору этой запасливой дамы, что она хотя и барыня, да только не русская. Межъ тѣмъ камергеръ, напившись лимонаду, вступилъ въ разговоръ съ тремя господами, изъ которыхъ одинъ, судя по его *рѣчамъ*, *былъ* Петербургскій житель, а двое другихъ природные москвичи. Дѣло шло о балѣ, то-есть эти господа, наперерывъ одинъ передъ другимъ, критиковали все.

— Какой это балъ! — говорилъ одинъ изъ москвичей. — Это базаръ! Здѣсь не достаетъ только гостинодворцевъ съ бородами.

— Да! — подхватилъ другой москвичъ — Что за народъ! Съ какой площади хозяинъ нахваталъ этихъ гостей? Я, конечно, видѣлъ до пятидесяти лицъ, съ которыми встрѣчаюсь въ первый разъ отъ роду.

— Но, вѣроятно, вы также встрѣтили здѣсь и всѣхъ вашихъ знакомыхъ? — сказалъ камергеръ.

— Да, конечно; но я желалъ бы...

— Чтобъ хозяинъ пригласилъ къ себѣ на балъ только тѣхъ, которые имѣютъ честь быть съ вами знакомы?

— Я не говорю этого, но согласитесь, однакожъ, что еслибъ выборъ гостей былъ нѣсколько построже...

— Такъ ихъ было бы гораздо меньше, — прервалъ камергеръ; — и, можетъ-быть, вы первые тогда бы сказали, что балъ былъ скученъ, вовсе не оживленъ, что танцовать было некому, что въ залѣ мерзла вода, а въ гостиныхъ надобно было сидѣть въ шубахъ.

— Почему вы думаете, что я сказалъ бы это?

— Не вы, такъ другой. Что-жъ дѣлать: мы всѣ любимъ осуждать,—ужъ такова натура человѣческая вообще, а московская въ особенности.

— Я въ этомъ случаѣ,—сказалъ петербургскій житель, — вовсе не судья; я человѣкъ пріѣзжій и почти никого здѣсь не знаю, но если смѣю замѣтить, такъ мнѣ кажется—туалетъ московскихъ дамъ...

— Хуже петербургскаго?—прервалъ камергеръ. — Вотъ это я очень часто слышу и, признаюсь, никакъ не могу отгадать причины этой разницы. Кажется, моды здѣсь тѣ-же самыя, большая часть нашихъ московскихъ барынь бываютъ часто въ Петербургѣ и заграницею, модныя торговки у насъ также всѣ француженки, такъ отчего бы кажется?.. Ужъ не климатъ ли этому причиною?..

Петербургскій житель улыбнулся и хотѣлъ что-то сказать, какъ вдругъ подошелъ къ разговаривающимъ молодой человѣкъ, причесанный а-ля-мужикъ, въ широкополомъ фракѣ, который съ перваго взгляда походилъ на распахнутый сюртукъ, въ блѣдно-палевыхъ перчаткахъ и щегольскихъ сапогахъ изъ лакированной кожи.

— Знаете ли, господа,—сказалъ онъ,—что дѣлается на дворѣ?

— А что такое? — спросилъ одинъ изъ москвичей.—Ужъ не метель ли?

— Не можетъ быть,—сказалъ другой москвичъ:—теперь градусовъ двадцать мороза, а при такомъ холодѣ метели не бываетъ.

— Совсѣмъ не то!—продолжалъ щеголь.— Наши кучера точно такъ же пируютъ на дворѣ, какъ мы веселимся здѣсь.

— Наши кучера?

— Да! Ихъ поятъ сбитнемъ.

— Неужели?—вскричалъ одинъ москвичъ.

— Diable!—прошепталъ петербургскій житель.—Comme c'est Moscovite!

— Да нѣтъ, ты шутишь!—сказалъ другой москвичъ.

— Да, да! Увѣряю васъ, ихъ поятъ сбитнемъ и кормятъ калачами.

Москвичи и петербургскій житель засмѣялись.

— А позвольте васъ спросить, господа,— сказалъ камергеръ,—что тутъ смѣшного? Вмѣсто того, чтобъ смѣяться, вамъ бы должно было сказать спасибо доброму хозяину за то, что онъ, угощая васъ, позаботился и о томъ, чтобъ кучера ваши, которые дрогнутъ всю ночь на морозѣ, посогрѣлись и отвели чѣмъ-нибудь свою душу. Неужели просвѣщенье и хорошій тонъ требуютъ непремѣнно, чтобъ эти невольные участники вашихъ ночныхъ забавъ не имѣли никакой отрады? Неужели радушный хозяинъ, который хочетъ, чтобъ не только господа, но и слуги ихъ остались довольны его угощеньемъ, долженъ казаться вамъ смѣшнымъ потому только, что это не водится ни въ Парижѣ, ни въ Лондонѣ?.. Эхъ, господа, господа! Перенимайте себѣ что хотите у иностранцевъ, обѣдайте въ семь часовъ, пріѣзжайте на балы въ двѣнадцать, одѣвайте женъ и дочерей вашихъ въ газовыя платья, тогда какъ въ сѣняхъ, въ которыхъ онѣ дожидаются своихъ экипажей, бываетъ подчасъ десять градусовъ морозу; однимъ словомъ, дѣлайте все, что вамъ угодно, только оставьте въ покоѣ тѣхъ, которые не хотятъ еще, ради европейства, покинуть вовсе гостепріимные обычай своихъ предковъ. Вѣдь ужъ этихъ чудаковъ осталось немного,—подождите, они скоро всѣ переведутся. Еще годковъ десять или двадцать, и мы будемъ знать только по преданію, что русскіе были, когда-то, большими хлѣбосолами и славились своимъ роскошнымъ гостепріимствомъ.

— Ну, въ этомъ я съ вами не соглашусь,— сказалъ щеголь съ насмѣшливой улыбкой. — Я думаю, вы знаете, что гостепріимство есть добродѣтель всѣхъ непросвѣщенныхъ и варварскихъ народовъ; слѣдовательно, мы еще очень долго, а можетъ-быть, и навсегда, останемся гостепріимными.

Хотѣлъ бы я очень, — только никакъ не могу, — описать вамъ, хотя приблизительно, этотъ взглядъ, исполненный глубочайшаго презрѣнія, которымъ отвѣчалъ мой бывшій сосѣдъ на эту нелѣпую фразу московскаго европейца.

— А вотъ, кажется, и мазурка! — вскричалъ франтъ.

Онъ кинулся опрометью въ залу, москвичи и петербургскій житель отправились вслѣдъ за нимъ, и черезъ нѣсколько минутъ въ буфетѣ не осталось никого, кромѣ меня, камергера и той самой барыни, которая запасалась на всю зиму конфектами;—только, видно, она успѣла найти гдѣ-нибудь складочное мѣсто, потому что ридикюль ея показался мнѣ порожнимъ.

Часу во-второмъ ночи, гости стали понемногу разъѣзжаться, но большая часть, а въ томъ числѣ и я, остались ужинать. Столъ былъ прекрасный, вина также.—«Ну»,—думалъ я, отправляясь домой,—«не дешево сталъ этотъ праздникъ Радушину»! и если не всѣ довольны его баломъ, такъ ужъ вѣрно всѣ скажутъ ему спасибо за ужинъ». Размышляя такимъ образомъ, я сошелъ потихоньку съ лѣстницы, послалъ моего слугу отыскать карету, а самъ, накинувъ шубу, остался въ сѣняхъ. Передо мною стояли два господина: одинъ, человѣкъ нестарый, высокаго роста и очень толстый; другой—пожилыхъ лѣтъ, худощавый и весьма невзрачный собою. Они разговаривали вполголоса.

— Ну, что, mon chér,—говорилъ худощавый,—что ты скажешь объ ужинѣ?

— Да что, братецъ,—отвѣчалъ толстый,— такъ: маіонезы были порядочные, дичь плохо изжарена, а осетрина... избави Господи!

— Да, это правда: осетрина и дурно сварена и безъ толку приправлена. Впрочемъ, кушанье и туда и сюда, блюда два-три было порядочныхъ, но вино, mon cher, срамъ: плохонькое марго, дюжинный сотернъ, а шампанское... фу, дрянь какая—рублей по осьми бутылка!

Тутъ возгласъ жандарма, который прокричалъ мою фамилію, помѣшалъ мнѣ дослушать разговоръ этихъ господъ; я сѣлъ въ карету и отправился. Дорогою, размышляя о всемъ томъ, что видѣлъ и слышалъ на этомъ балѣ, я вспомнилъ мой разговоръ съ татарскимъ мурзою Алтынъ-беемъ, съ которымъ три года тому назадъ познакомился въ Касимовѣ. Этотъ татаринъ былъ родомъ изъ Самарканда, человѣкъ не глупый, и хотя онъ провелъ большую часть своей жизни на Востокѣ, однакожъ, понималъ и говорилъ весьма порядочно по-русски. Онъ очень любилъ со мною бесѣдовать о нашихъ столичныхъ обычаяхъ, и вотъ слово отъ слова одинъ изъ этихъ разговоровъ.

— А что, бачка, хочу я у тебя спрашивать, — сказалъ однажды Алтынъ-бей, поглаживая свою густую черную бороду,—что такая баламъ?

— Баламъ?.. То-есть балъ?—спросилъ я.

— Да, бачка,—баламъ.

— А вотъ что, Алтынъ-бей: какой-нибудь богатый баринъ или барыня выберетъ одинъ вечеръ, освѣтитъ свой домъ, наймetъ музыку, наготовитъ всякаго кушанья, различныхъ напитковъ и позоветъ своихъ знакомыхъ, —

обыкновенно въ девять или десять часовъ; они съѣдутся около полуночи...

— Ай, ай, ай, бачка! Зачѣмъ такъ поздна?

— Такъ ужъ водится. Одни гости сядутъ играть въ карты, другіе начнутъ танцовать, а третьи не дѣлаютъ ничего: ходятъ только взадъ и впередъ по комнатамъ, кушаютъ конфекты, всякіе плоды, пьютъ разные прохладительные напитки и разговариваютъ межъ собою.

— Такъ, бачка, такъ!.. Ну, а хозяина что?

— Хозяинъ всѣхъ принимаетъ хлопочетъ, о томъ, чтобъ всѣ были заняты, чтобъ всего было довольно...

— Такъ, бачка, такъ! Ну, хозяина много работа!

— Да, конечно, хозяину и хозяйкѣ хлопотъ довольно. Вотъ какъ натанцуются, наиграются и наговорятся до-сыта, сядутъ всѣ ужинать, а тамъ передъ разсвѣтомъ начнутъ разъѣзжаться, а какъ всѣ разъѣдутся, такъ хозяева лягутъ спать. Вотъ что, Алтынъ-бей, называется баломъ.

— Такъ, бачка, такъ! Ну, эта баламъ хорошъ!.. А что хозяина многа деньга тратилъ?

— Каковъ балъ,—иному хозяину балъ стоитъ нѣсколько тысячъ рублей...

— Ай, бачка, много денегъ!

— Зато ужъ балъ бываетъ хорошъ.

— Правда, бачка, правда!.. То-та, чай, вся гость даетъ большая поклонъ хозяину.

— Нѣтъ, любезный, плохо кланяются; напротивъ почти всегда осуждаютъ хозяина; на всѣхъ не угодишь: одному то не нравится, другому другое, а если въ самомъ дѣлѣ что-нибудь не такъ-то хорошо: музыка попадется дурная или домъ худо освѣщенъ, такъ распозорятъ хозяина на чемъ свѣтъ стоитъ.

— Ай, ай, ай!.. Да зачѣмъ же хозяина и баламъ даетъ? Да что имъ, бачка, за охота за свои деньги лиха покупать?

— Ну, ужъ на этотъ вопросъ, Алтынъ-бей, и я тебѣ отвѣта дать не могу; спроси у нихъ.

VIII.

СЦЕНЫ ИЗЪ ДОМАШНЕЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МОСКОВСКОЙ ЖИЗНИ.

СЦЕНА 2-я.

Живописецъ.

„О, женщины, могу признаться, что вы гораздо насъ хитрѣй".

И. И. Дмитріевъ.

Въ одномъ изъ кривыхъ переулковъ, выходящихъ на Басманную улицу, въ глубинѣ обширнаго двора, *подымается выше* всѣхъ сосѣднихъ деревянныхъ домиковъ двухъ-этажный каменный домъ, обставленный, какъ и всѣ барскіе дома, службами и флигелями. Басманная улица, нѣкогда знаменитая, а теперь покинутая всѣми московскими боярами, которыхъ огромныя палаты или стоятъ пустыя, или давно уже перешли въ руки богатыхъ купцовъ, можетъ быть причислена къ самымъ отдаленнымъ и спокойнымъ частямъ города; слѣдовательно, переулокъ, въ которомъ находится этотъ каменный домъ, принадлежащій дѣйствительной статской совѣтницѣ Аннѣ Ивановнѣ Чокиной, вовсе не можетъ назваться шумнымъ; изрѣдка только проѣдутъ по немъ, съ обычнымъ своимъ звономъ и дребезжаньемъ, ободранныя дрожки какого-нибудь *ваньки*, прокатятся тяжелые роспуски ломового извощика, пролетитъ на щеголеватомъ *калиберѣ* купеческій сынокъ и рѣдко, очень рѣдко, прогремитъ, по бойкой мостовой, карета. Кой-когда пронесется по воздуху однообразный напѣвъ: «А дыни, мелоны!.. Вотъ садовая вишенья!» Или раздастся грозный голосъ хожалаго, который щуняетъ дворника за то, что у него не подметенъ тротуаръ, или какой-нибудь замысловатый пьяница, котораго два будочника тащатъ подъ руки, затянетъ охриплымъ голосомъ: «Мчится тройка удалая!» Однимъ словомъ, кромѣ самыхъ рѣдкихъ и необычайныхъ случаевъ, спокойствіе и тишина, которыми наслаждаются жители этого переулка, не нарушаются ничѣмъ. Анна Ивановна Чокина—самая чиновная обывательница и почетная прихожанка въ своемъ кварталѣ и приходѣ. Она бездѣтная вдова; ей шестьдесятъ лѣтъ отъ роду; изъ этихъ шестидесяти лѣтъ, пятьдесятъ девять она прожила безвыѣздно въ Москвѣ, а одинъ годъ въ своей владимірской деревнѣ, да и то потому только, что въ тысяча восемьсотъ двѣнадцатомъ году ее выгнали изъ Москвы французы, которымъ она и до сихъ поръ этого простить не можетъ. Анна Ивановна занимаетъ верхній этажъ своего дома, а нижній, раздѣленный на двѣ половины, ходитъ въ наймахъ, такъ же, какъ и два флигеля, изъ которыхъ въ одномъ живетъ булочникъ и помѣщается мелочная лавочка, а къ другому, прибита вывѣска съ слѣдующее надписью: «Гребенное издѣліе и разныя другія токарныя производства». Не подумайте, однако-жъ, что Анна Ивановна пускаетъ въ свой домъ жильцовъ по необходимости. О, нѣтъ!.. У нея полторы тысячи душъ крестьянъ и тысячъ триста лежитъ въ Опекунскомъ Совѣтѣ; нельзя также сказать, чтобъ она была скупа или слишкомъ привязана къ интересу, а межъ тѣмъ, всякій разъ, когда жилыя комнаты въ ея домѣ или флигиляхъ стоятъ порожними, она очень сокрушается, и вы никакъ не отгадаете отчего. Анна Ивановна женщина властолюбивая: ей чрезвычайно пріятно окружать себя людьми, которыхъ благосостояніе болѣе

или менѣе зависитъ отъ ея воли, то-есть: которымъ она можетъ предписывать законы, оказывать милости. дѣлать при случаѣ выговоры, замѣчанія, однимъ словомъ, имѣть ихъ подъ своимъ домашнимъ полицейскимъ надзоромъ и управленіемъ. Анна Ивановна говоритъ точно съ такою же гордостію: *мои жильцы*, какъ говоритъ какой-нибудь нѣмецкій принцъ: *мои подданные*, но, безъ всякаго сомнѣнія, гораздо болѣе его занимается домашнимъ ихъ бытомъ, входитъ во всѣ мелкія подробности ихъ семейной жизни и наблюдаетъ за ихъ поведеніемъ. Конечно, эта управительная и полицейская власть хозяйки надо всѣми жильцами дома не имѣетъ никакого законнаго основанія, но Анна Ивановна властна отказать всякому непокорному жильцу отъ квартиры, а это весьма важная статья, потому что она отдаетъ покои въ своемъ домѣ по такимъ дешевымъ цѣнамъ, какихъ рѣшительно нѣтъ во всей Москвѣ. А чтобъ это обстоятельство имѣло болѣе вѣса и сильнѣе дѣйствовало на умы жильцовъ, Анна Ивановна отдаетъ предпочтительно квартиры въ своемъ домѣ мѣщанамъ, мастеровымъ, не слишкомъ извѣстнымъ художникамъ, или, по крайней мѣрѣ, весьма небогатымъ и нечиновнымъ дворянамъ. Эта неограниченная власть хозяйки была бы очень тягостна для жильцовъ, если-бъ правленіе ея было чисто деспотическое, но оно скорѣе можетъ назваться патріархальнымъ. Въ случаѣ несчастія или болѣзни кого-нибудь изъ жильцовъ, Анна Ивановна превращается изъ самовластной правительницы въ нѣжную и попечительную мать: лѣчитъ больныхъ, даетъ взаймы на безсрочное время тѣмъ, которые имѣютъ въ этомъ дѣйствительную надобность, а всего чаще миритъ женъ съ мужьями и возстановляетъ порядокъ и тишину въ семействахъ, въ которыхъ поселился раздоръ. Всѣ живущіе въ домѣ Анны Ивановны, и свои и постороннiе, никогда не называютъ ее по имени, а просто величаютъ *генеральшею*. Если иногда хозяинъ мелочной лавочки, человѣкъ не очень трезвый, слишкомъ порасшумится, жена скажетъ ему: «Что ты, Терентій, горланишь! Вонъ, посмотри, генеральша подошла къ окну». И какъ бы ни былъ хмеленъ Терентій, онъ тотчасъ притихнетъ или начнетъ ругаться шопотомъ. Точно также всѣ работники токарнаго производства дерутся межъ собой на дворѣ или поютъ заливныя пѣсни, только тогда, когда Чокиной не бываетъ дома, и лишь только раздается вѣстовой голосъ: «генеральша пріѣхала!»—пѣсни умолкаютъ; бойцы, которыхъ надобно уже было разливать водою, тотчасъ перестаютъ драться; побѣжденный съ подбитыми глазами и побѣдитель съ выщипанною бородою, оба весьма чинно кланяются ея превосходительству и отправляются выпить по чаркѣ на мировую или,—если вражда ихъ *еще не потухла,—идутъ додираться на* улицу.

Познакомивъ своихъ читателей съ ея превосходительствомъ, Анной Ивановной Чокиной, я прошу ихъ перенестись вмѣстѣ со мною въ большую комнату, обитую штофомъ, который я не смѣю назвать зеленымъ, потому что онъ былъ зеленымъ еще до французовъ, а теперь сдѣлался какого-то безыменнаго цвѣта, который всего скорѣе можно назвать радужнымъ, потому что онъ мѣстами походитъ еще на зеленый, мѣстами на фіолетовый, а кое-гдѣ напоминаетъ палевый. Въ глубинѣ комнаты, между двухъ дверей изъ краснаго дерева, которыя должны представлять два шкапа, тянется длинный диванъ; я также не могу вамъ сказать, чѣмъ обитъ этотъ диванъ, потому что онъ покрытъ бѣлымъ миткалевымъ чехломъ. Передъ диваномъ стоитъ круглый столъ, за столомъ раскладываетъ гранъ-пасіансъ пожилая барыня въ ситцевомъ капотѣ и тюлевомъ чепцѣ; подлѣ нея на диванѣ лежитъ толстая моська. Въ двухъ шагахъ отъ стола старушка лѣтъ семидесяти, также въ ситцевомъ капотѣ, но только не въ тюлевомъ, а кисейномъ чепцѣ, сидитъ на стулѣ и вяжетъ чулокъ. Поближе къ окну, за пяльцами вышиваютъ по канвѣ двѣ молодыя дѣвушки, толстыя, здоровыя и краснощекія. Старуха въ тюлевомъ чепцѣ, разумѣется,—Анна Ивановна Чокина; старуха въ кисейномъ чепцѣ — экономка ея, Степанида Ѳедоровна; обѣ швеи—горничныя дѣвушки: одна Матрена, другая Аксинья. Теперь не угодно ли вамъ, мои почтенные и любезные читатели, послушать разговоръ этихъ дѣйствующихъ лицъ.

Анна Ивановна (*бросая съ досадой карты*). Опять не вышелъ!.. Нѣтъ, этотъ гранъ-пасіансъ никуда не годится... Такая путаница?.. Аксютка, подыми карту!.. (*Ласкаетъ моську*). Что ты, мопсинька, мой другъ?.. Что ты такъ нахмурился... голубчикъ мой?.. Мопсу!.. Голубчикъ!.. Степанида Ѳедоровна, что это онъ сегодня такъ храпитъ?

Степанида Ѳедоровна. Жиренъ, матушка.

Анна Ивановна. А, что ты, помилуй, такой ли онъ былъ прежде... онъ исхудалъ; точно, исхудалъ!.. Мопсинька мой!.. Мопсурушка!.. Матрешка, открой табакерку!.. Что это она стала такъ туго запираться?.. Надобно отдать ее нашему токарю поправить... А что, Степанида Ѳедоровна, какъ онъ со своею женою?

Степанида Ѳедоровна. Да Богъ ихъ знаетъ, матушка АннаИвановна, всю прошлую недѣлю жили, кажется, ладно: въ воскресенье ѣздили вмѣстѣ въ Марьину рощу, пріѣхали назадъ такіе веселые, а сегодня поутру, говорятъ, опять была баталія.

Анна Ивановна. За что?

Степанида Ѳедоровна. А кто ихъ знаетъ,—чай, все за булочника.

Анна Ивановна. Да ты провѣдай какъ-

нибудь, Степанидушка; зайди къ намъ, узнай все толкомъ!.. Ахъ, батюшка, какой ревнивецъ этотъ Григорій Ивановъ!.. Матрешка, подыми платокъ!.. Кажется, человѣкъ онъ не глупый, трезвый...

Степанида Ѳедоровна. И самый смирный, матушка! Да сожительница-то его такая нравная!.. Онъ слово, она десять. Вотъ недѣли три тому назадъ, схватились они при мнѣ ругаться. Гдѣ мужу!.. Такъ и засыпала!.. Ужъ она причитала, причитала: и отецъ-то его былъ пьяница, и мать гуляка, и бабушка вѣдьма кіевская!—Я говорю: «Полно, Кондратьевна, перестань!.. Что ты этакъ позоришь мужа? Ну, какой-бы онъ ни былъ, хоть лыкомъ шитый, а все-таки онъ тебѣ мужъ». Куда?.. Моя баба такъ на стѣну и лѣзетъ!.. Да такія начала слова говорить, что я не знала, куда и дѣваться!.. Ну, нечего сказать—язычекъ!.. Вотъ ей бы мужемъ-то нашего лавочника,—у него бы она немного поговорила! Фу, какой крутой, матушка! Чуть жена не по немъ, тотчасъ и за косу!

Анна Ивановна. Скажите, пожалуйста, какая же притворщица эта Кондратьевна!.. Вотъ прошлый разъ, какъ я мирила ее съ мужемъ, жалко было видѣть: плачетъ, бѣдненькая, — ну, вотъ такъ и разливается! И житья-то ей вовсе нѣтъ, и мужъ бьетъ ее походя. Ревнуетъ ее къ булочнику, а она о булочникѣ вовсе и не думаетъ; да вѣдь божится, образъ со стѣны снимаетъ... Аксютка, что ты?.. Чему, дура, смѣешься?

Аксинья. Такъ-съ.

Анна Ивановна. Врешь, врешь!.. не такъ!—Чему ты смѣялась?

Аксинья. Да такъ-съ, ничему-съ.

Степанида Ѳедоровна. Эхъ, матушка, Анна Ивановна! Кондратьевна божится... Что эта божба? Коли наша сестра сама себя не бережетъ, такъ что ей образъ со стѣны снять? «Покаюсь, дескать, разомъ во всѣхъ грѣхахъ на исповѣди».

Анна Ивановна. Ахъ, батюшка!.. Да неужели въ самомъ дѣлѣ?.. Да если это правда, такъ я булочнику завтра же отъ квартиры откажу...

Степанида Ѳедоровна. И, ваше превосходительство, отъ этого не уйдешь! Мало ли есть такихъ же, какъ ваши, генеральныхъ домовъ, а, поглядишь, въ рѣдкомъ не живетъ какой-нибудь амурной дамы.

Анна Ивановна. Что мнѣ на другихъ смотрѣть: мнѣ никто не указъ, Степанида Ѳедоровна! Стану я въ моемъ домѣ такія безпорядки терпѣть!

Степанида Ѳедоровна. Да ужъ нынче такой свѣтъ, матушка! Бывало, дѣвушка лѣтъ двадцати-пяти не смѣетъ вонъ изъ дому выйти. Побываетъ разъ въ году, объ Святой, подъ Новинскимъ, да и дожидается другой Святой. А теперь какая-нибудь дѣвчонка, лѣтъ семнадцати, такъ-таки и норовитъ шмыгнуть каждое воскресенье въ Марьину рощу, на Ваганьково, въ Нескучное... Совсѣмъ избаловались!

Анна Ивановна. Я этого и знать не хочу! Тамъ что хочешь дѣлай, но у меня-то въ домѣ... Матрешка, вынеси моську!.. Нѣтъ, Степанида Ѳедоровна, не стану я смотрѣть сквозь пальцы. Хочешь жить въ моемъ дому, такъ живи честно! (*Входитъ управитель*). А, Прокофій!.. Ну, что, былъ у квартальнаго?

Прокофій. Былъ, ваше превосходительство; поручика не засталъ дома, такъ ходилъ къ самому надзирателю. Приказалъ вамъ доложить: «Я, дескать, для Анны Ивановны готовъ бы все сдѣлать; ея превосходительство первый человѣкъ въ моемъ кварталѣ, да только, дескать, никакъ нельзя жильца выгнать тотчасъ изъ дому; это, дескать, противно городовому положенію: всякому жильцу дается для пріисканія новой квартиры законный срокъ.

Анна Ивановна. Какъ? Такъ этотъ негодяй, который нанимаетъ у насъ внизу подъ самой моей спальней, не выѣдетъ сегодня?

Прокофій. Нѣтъ, сударыня, онъ еще съ недѣлю у насъ проживешь.

Анна Ивановна. Что ты говоришь?.. Цѣлую недѣлю!

Прокофій. А, можетъ-быть, и дольше; время-то пришло такое, сударыня. Вотъ зимою можно было бы какъ-нибудь понудить; вьюшки у печей обобрать, окна выставить, а теперь что станешь съ нимъ дѣлать?..

Анна Ивановна. Правда, правда!.. Нельзя ли какъ-нибудь хоть чрезъ недѣлю-то его выжить?

Прокофій. Да не прикажете ли сходить къ частному? Онъ, можетъ-быть, покруче повернетъ.

Анна Ивановна. Сходи, Прокофій, сходи!.. Вотъ навязали себѣ какого жильца на шею. Невѣжа, грубіянъ!.. На прошлой недѣлѣ я иду садиться въ карету, гляжу, этотъ пострѣлъ стоитъ въ сѣняхъ,—подбоченился такимъ фертикомъ! А вѣдь не на что взглянуть: плюгавецъ этакій, фрачишка истасканный, всѣ швы бѣлехоньки, жилетка замасленная, а туда-жъ одѣтъ по модѣ: въ перетяжку, волосы въ кружокъ, бородка, въ желтыхъ заштопанныхъ перчаткахъ, ну точь-въ-точь запачканная модная картинка! Вотъ я думаю: «поклонится!» Какъ бы не такъ!.. Вытащилъ изъ кармана роговую лорнетку, воткнулъ въ правый глазъ, да и смотритъ на меня, какъ будто бы въ стѣну! Головой не пошевелилъ, мужикъ этакій, неучъ! А вчера сажусь въ карету,—глядь: стоитъ, голубчикъ, у окна, въ изорванномъ халатишкѣ, въ какой-то жидовской ермолкѣ и такъ-то важно куритъ свою копѣечную сигарку! Ну, хоть бы видъ сдѣлалъ, что хочетъ спрятаться; нѣтъ,—такъ и лѣзетъ вонъ изъ окна!.. Наглецъ этакій, нахалъ!.. А все, Прокофій, твое не-

смотрѣнье!.. Ну, какъ не видѣть съ перваго взгляду!..

Прокофій. Помилуйте, ваше превосходительство,—вѣдь жильцы-то всякіе бываютъ— не узнаешь. Вотъ еслибъ намъ попался еще такой же жилецъ, какъ этотъ живописецъ, который нанимаетъ внизу другую половину.

Анна Ивановна. Да, нечего сказать, учтивый человѣкъ! Третьяго дня, какъ я пріѣхала отъ моей сватьи, онъ изъ кареты меня высадилъ... И видъ у него такой пріятный! Да чтобы ему вовсе не переѣхать къ нимъ жить? Вѣдь онъ здѣсь не ночуетъ, Прокофій!

Прокофій. Нѣтъ, сударыня, никогда не ночуетъ. Онъ живетъ у родного дяди на хлѣбахъ, а сюда приходитъ только рисовать. Дядя-то у него человѣкъ семейный, — тѣсненько, негдѣ ему со своимъ инструментомъ расположиться, такъ и нанимаетъ для этого квартиру. «Ко мнѣ же, говоритъ, господа пріѣзжаютъ списывать съ себя портреты, а иногда и барыни, такъ надобно же имѣть для этого особую квартиру. Вотъ, говоритъ, и теперь снимаю по секрету портретъ съ одной барыни; хочетъ, дескать, въ именины подарить своему мужу».

Анна Ивановна. Это не та-ли, Прокофій, что раза по два въ недѣлю пріѣзжаетъ?

Прокофій. Должно быть та, сударыня; она и теперь здѣсь.

Анна Ивановна. Чтожъ онъ такъ долго съ нея списываетъ?

Прокофій. Да, говоритъ, четыре портрета ужъ перепортилъ, не можетъ потрафить.

Анна Ивановна. А что, узналъ ли ты кто эта барыня?

Прокофій. Никакъ нѣтъ, ваше превосходительство.

Анна Ивановна. Какъ же, я тебѣ приказывала...

Прокофій. Да въ прошлый разъ, какъ она изволила пріѣзжать, меня не было дома.

Анна Ивановна. Смотри же, сегодня узнай непремѣнно.

Прокофій. Слушаю, сударыня. (*Входитъ слуга; Прокофій уходитъ*).

Анна Ивановна. Что ты?

Слуга. Андрей Сергѣевичъ Перебиваевъ. Прикажете принять?

Анна Ивановна. Проси!.. Давно онъ ко мнѣ не завертывалъ. То-то чай вѣстей-то привезъ!.. Все знаетъ, что дѣлается и въ своихъ и въ чужихъ краяхъ, а ужъ о Москвѣ и говорить нечего: всѣ дома ему приказаны. И какъ онъ успѣетъ вездѣ побывать, все вывѣдать...

Степанида Ѳедоровна. На томъ стоитъ, матушка! И люди-то у него всѣ такъ приметаны, шныряютъ вездѣ, да все пронюхиваютъ.

Анна Ивановна. Вотъ охота, подумаешь, мѣшаться въ чужіи дѣла; видно, своихъ то мало! (*Входитъ Перебиваевъ*). А, рѣдкій гость!.. Андрей Сергѣевичъ!.. Прошу покорно!,.

Перебиваевъ (*цѣлуя руку у Чокиной*). Здравствуйте, Анна Ивановна! Какъ ваше здоровье?

Анна Ивановна. Да такъ, батюшка! Богъ грѣхамъ терпитъ, живу понемногу. Забылъ ты меня, старуху! Легко ли — цѣлыхъ два мѣсяца!

Перебиваевъ. Да меня въ городѣ не было.

Анна Ивановна. А гдѣ-жъ ты былъ?

Перебиваевъ. Все разъѣзжалъ по разнымъ подмосковнымъ: былъ у графа Яворскаго, у княгини Луцкой, у Дедюнина, ѣздилъ къ Троицѣ...

Анна Ивановна. Одинъ?

Перебиваевъ. Нѣтъ, насъ ѣздило четырнадцать человѣкъ, цѣлое общество, — въ аерізнѣ...

Анна Ивановна. Въ чемъ, батюшка?

Перебиваевъ. Въ аерізнѣ—это родъ большой крытой линеи на лежачихъ рессорахъ. По гладкой дорогѣ спокойно, очень спокойно!.. Неловко только, что сидишь бокомъ и ногъ нельзя протянуть, да по сторонамъ ничего не видно и, если пойдетъ дождь, такъ я вамъ скажу, нитки живой не останется!.. А, впрочемъ, пріятно, очень пріятно! Прекрасная выдумка!.. О, французы на это мастера!

Анна Ивановна. Да полно, батюшка, хвалить этихъ французовъ!.. Меня выгнали изъ дому... Москву сожгли... разбойники этакіе!.. Скажи-ка лучше, что новенькаго?

Перебиваевъ. Не спрашивайте! Я ничего не знаю. Я все ѣздилъ по деревнямъ, иностранныхъ газетъ въ глаза не видѣлъ... Слышалъ я какъ-то мимоходомъ, что англичанъ поколотили въ Индіи, да въ Испаніи также дѣла плохо идутъ...

Анна Ивановна. И, батюшка, что намъ до чужихъ! Ты мнѣ скажи, что въ Москвѣ-то дѣлается?..

Перебиваевъ. Да ровно ничего. Москва пуста; въ театрѣ никого, въ Петровскомъ паркѣ очень мало, въ вокзалѣ бываетъ человѣкъ по двадцати, — тоска да и только!— А, кстати!.. Вы знаете Ивана Андреевича Хлынова?

Анна Ивановна. Какъ же, батюшка,— съ его покойной женой мы были большія пріятельницы.

Перебиваевъ. Женился.

Анна Ивановна. На комъ?

Перебиваевъ. На мадамѣ, которая была при его дочеряхъ.

Анна Ивановна. Какъ? На этой нѣмкѣ Шарлотѣ Карловнѣ?

Перебиваевъ. Да, да, я на свадьбѣ былъ. Вѣнчались у Николы въ Звонаряхъ.

Анна Ивановна. Скажите пожалуйста!..

Сынъ въ службѣ, дочери невѣсты!.. Ахъ, онъ старый дуракъ!..

Перебиваевъ. Посмотрите, они пріѣдутъ ка вамъ съ визитомъ.

Анна Ивановна. Не приму, батюшка, не приму! (*Входитъ Ольга Николаевна Влонская*).

Влонская. Здравствуйте, тетушка!

Анна Ивановна (*вставая съ дивана*). А, Ольга Николаевна!...Здравствуйте, матушка!.. Милости просимъ, прошу покорно садиться!

Влонская. Вы на меня сердитесь, тетушка?

Анна Ивановна. За что, Ольга Николаевна?.. Что вы у меня не были три недѣли?.. Помилуйте, да кто нынче за это сердится?.. Вы же, матушка, женщина модная, живете въ большомъ свѣтѣ... Стыдно, племянница, стыдно!.. Ну, да Богъ съ тобою!.. Здравствуй, мой другъ! (*Цѣлуется съ Влонской и сажаетъ ее подлѣ себя*).

Перебиваевъ. Какъ ваше здоровье, Ольга Николаевна?..

Влонская. Слава Богу, Андрей Сергѣевичъ! Да съ вами что дѣлается?.. Я васъ нигдѣ не встрѣчаю.

Перебиваевъ. Меня не было въ Москвѣ.

Влонская. Вѣдь это ваши дрожки стоятъ на дворѣ?

Перебиваевъ. Мои, Ольга Николаевна.

Влонская. А чья-жъ карета?

Анна Ивановна. Это, матушка, какая-то барыня пріѣхала къ моему жильцу!..

Влонская. Къ вашему жильцу?..

Анна Ивановна. Да, портретный живописецъ...

Влонская. Вотъ что! — Такъ у васъ въ дому atelier?.. А что, этотъ живописецъ старикъ?

Анна Ивановна. Нѣтъ, человѣкъ молодой.

Влонская. Хорошъ собою?

Анна Ивановна. Такъ себѣ!.. Однако жъ довольно пріятной наружности. Ну, что, племянница, что въ вашемъ свѣтѣ новенькаго?

Влонская. Ничего, ma tante; одно только, да, я думаю, вы слышали: Зоринскіе выдали старшую дочь свою за какого-то французскаго графа.

Перебиваевъ. А, кстати! Хотите ли, я разскажу вамъ объ этой свадьбѣ престранную исторію!

Влонская. Ахъ, сдѣлайте милость!

Анна Ивановна (*покачивая головой*). Выдали свою дочь за француза!.. Охъ, напрасно!

Перебиваевъ. Подлинно напрасно. Анна Ивановна! Да вотъ изволите видѣть; этотъ французъ обѣщался остаться навсегда въ Россіи; малый ловкій, прекрасный собою, — ослѣпилъ!.. Третьяго дня была свадьба а сегодня по-утру *я пріѣхалъ ихъ поздравить.* Вслѣдъ за мною пріѣзжаетъ Иванъ Ивановичъ Тумаковъ. Ну, вотъ этотъ старикъ, — вы знаете Анна Ивановна, у котораго жена такая вертлявая — хорошенькая!.. Онъ еще возилъ ее лѣчить прошлаго года въ Карлсбадъ, — ну, знаете!.. Зоринскій, какъ слѣдуетъ, подвелъ къ Ивану Ивановичу молодого — гляжу, мой Тумаковъ смѣшался, покраснѣлъ, а когда хозяинъ назвалъ своего зятя по имени, такъ онъ совсѣмъ растерялся: прошепталъ что-то сквозь зубы, присѣлъ на минуту, да и вонъ. Я думаю: «Что такое? Тутъ что-нибудь да есть!» Вотъ я вслѣдъ за Тумаковымъ; онъ домой, я къ нему. «Иванъ Иванычъ»,—спросилъ я, «что это вы были такъ сконфужены?.. Вы какъ будто бы испугались этого француза?»—«Охъ, батюшка»,—сказалъ Тумаковъ,—«бѣдные Зоринскіе! Вѣдь они дочь-то свою погубили!»—«Какъ такъ?»—«Да такъ: этотъ французъ воръ!» — «Воръ! что вы говорите, Иванъ Ивановичъ?»—«Да, батюшка, воръ! Вы знаете, мы прошлаго года ѣздили въ Карлсбадъ; на водахъ обыкновенно бываетъ всякій сбродъ. Вотъ и этотъ французъ тамъ былъ. Мнѣ онъ съ перваго взгляда показался что-то подозрительнымъ. Графъ!.. Какой графъ! Не графскія вовсе ухватки... А дѣлать нечего,—на водахъ зала общая. Вотъ этотъ французъ танцуетъ съ той, съ другой, танцуетъ и съ моей женой, и этакъ, знаете ли, куртизанитъ. Да это мнѣ ничего! Я знаю мою Катеньку: у нея, батюшка, не много выторгуешь! Вотъ однажды пригласилъ насъ къ себѣ на вечеръ князь Дунаевъ: онъ также со всѣмъ семействомъ пріѣхалъ на все лѣто въ Карлсбадъ; меня посадили играть въ вистъ, а Катенька, которая съ утра еще жаловалась на мигрень, отправилась домой; мы сѣли играть этакъ часу въ десятомъ. На второмъ роберѣ съ хозяиномъ сдѣлалось дурно; во всемъ домѣ поднялась такая суматоха: жена плачетъ, дѣти въ тревогѣ; послали за докторомъ. Ну, разумѣется, какой ужъ тутъ вистъ! Всѣ гости по домамъ, отправился и я. Мы нанимали домикъ у самаго выѣзда. Вотъ я подошелъ къ дверямъ, началъ звонить въ колокольчикъ; вдругъ вижу—прыгъ кто-то изъ окна! Я закричалъ: «воры, воры!».. Бросился за мошенникомъ, поймалъ его за фалду: онъ обернулся—глядь: французскій графъ!.. У меня такъ руки и опустились!.. Слышу, и въ домѣ кричитъ Катенька: «воры, воры!».. Я совсѣмъ потерялъ голову... Межъ тѣмъ этотъ самозванецъ-графъ вырвался, да и давай Богъ ноги!.. Я кричу: «держи, держи!» Кому держать: на улицѣ пусто. Вотъ наконецъ выбѣжали изъ моего дома люди, а я скорѣй къ женѣ; вхожу въ спальню—бѣдная Катенька лежитъ безъ чувствъ!.. Представьте себѣ: только что хотѣла она раздѣваться, вдругъ слышитъ, что окно потихоньку растворилось и какой-то человѣкъ шмыгъ прямо въ комна-

ту. Въ эту самую минуту я позвонилъ у дверей, а воръ и назадъ тою же дорогою. Катенька говоритъ, что видѣла у него въ рукѣ ножъ и такъ испугалась, что не могла никакъ разсмотрѣть его въ лицо. Видно, этотъ разбойникъ не успѣлъ путемъ оглядѣться: на бюро стоялъ ящикъ съ ея брилліантами, лежалъ кошелекъ съ деньгами — все осталось цѣло. Пропало только любимое ея колечко съ брилліантикомъ, которое она только-что сняла съ пальца и положила на туалетный столикъ... Разумѣется, батюшка, — прибавилъ Тумаковъ, — этотъ подложный графъ въ ту же ночь ускакалъ изъ Карлсбада. Только бѣдная моя жена такъ перепугалась, что послѣ этого недѣли три была въ безпрерывной истерикѣ съ утра до вечера,—плачетъ да и только!»

Анна Ивановна. Ну, батюшка, какая, въ самомъ дѣлѣ странная исторія!

Влонская *(смѣется)*. Да, очень странная!.. И Тумаковъ точно увѣренъ, что этотъ французъ воръ?

Перебиваевъ. Да хоть зарѣжь его: стоитъ въ томъ, да и только.

Влонская. Бѣдняжка!..

Перебиваевъ. А что всего-то забавнѣе: онъ это дѣло такъ не оставилъ и жаловался на другой день тамошнему правительству.

Влонская. Нѣтъ, шутите?

Перебиваевъ. Право!—«Представьте себѣ»,—говоритъ, — «судья не хотѣлъ меня и слушать!»—«Вы, дескать, какъ нибудь осмотрѣлись. Этотъ графъ человѣкъ извѣстный, ну, можетъ ли быть онъ воромъ?»—«Да помилуйте, — закричалъ я, — какъ же онъ не воръ? Катенька видѣла у него въ рукѣ ножъ? онъ вылѣзъ изъ окна ея спальни; я самъ это видѣлъ своими глазами!»—«И что жъ вы думаете? Судья такъ и померъ со смѣху! — Вотъ оно, батюшка,—прибавилъ Тумаковъ,— славны бубны за горами. Вотъ оно правосудіе-то въ чужихъ краяхъ,—ищи его!»

Анна Ивановна. Да, батюшка, да! Конечно, лучше бы сидѣть дома; и мужья-то бы меньше вѣтряничали и жены-то были бы вѣрнѣе.

Влонская. Ну, этого, тетушка не говорите! Кто не бережетъ своей репутаціи, тотъ будетъ вести себя дурно и въ Парижѣ, и въ Карлсбадѣ, и въ Москвѣ...

Анна Ивановна. Извините матушка, — мы еще, благодаря Господа, не дошли въ этомъ до иностранцевъ. У насъ есть и стыдъ и совѣсть. Не побоимся Бога, такъ добрыхъ людей постыдимся, а тамъ вѣдь это нипочемъ. У насъ въ Москвѣ барыня ѣздитъ въ экипажахъ съ лакеями; пѣшкомъ пойдетъ — слуга позади. А вѣдь это, матушка, почетная стража: иная бы и свихнулась, можетъ-быть, да вѣдь не легко, сударыня, взять себѣ *въ конфиденты какого-нибудь* Егорку или Андрюшку. А тамъ что!.. Воля! Надѣнетъ вуаль, да и пошла себѣ бродить по улицамъ.

Влонская. И. тетушка, женщина безъ правилъ найдетъ возможность и въ Москвѣ вести себя дурно

Анна Ивановна. Знаю, матушка, знаю! Бываютъ и услужливыя знакомыя — добрыя вдовушки, есть и модные магазины. Мужъ дожидается въ лавкѣ, а жена пойдетъ платье примѣривать,—все знаю! Да вѣдь не у всякой же есть такая сердобольная пріятельница и не всякая также захочетъ повѣрить свою честь какой-нибудь модной торговкѣ.

Влонская. Васъ, тетушка, не переспорить (*Вставая*). Однако жъ прощайте! Я вѣдь къ вамъ заѣхала на минутку; мнѣ до обѣда надобно еще сдѣлать нѣсколько визитовъ (*Анна Ивановна и Перебиваевъ встаютъ*).

Анна Ивановна. Такъ, такъ! Всегда на одну минуту.

Влонская. Я завтра къ вамъ пріѣду на на цѣлый вечеръ, тетушка.

Анна Ивановна. Спасибо, мой другъ, спасибо!—Смотри же, не забудь!

Влонская. Какъ это можно! (*Анна Ивановна провожаетъ Влонскую, которая взглянувъ мимоходомъ въ окно, останавливается*). А, вотъ уѣзжаетъ эта дама, что списываетъ съ себя портретъ.

Анна Ивановна. Постой-ка, матушка, и я взгляну,—что она, какова собою (*Всѣ подходятъ къ окну*).

Влонская. Вотъ она вышла садиться... Ахъ, да это Марья Васильевна!

Анна Ивановна. Какая Марья Васильевна?

Влонская. Чернозерская.

Анна Ивановна. Какая Чернозерская!

Влонская. Урожденная княжна Долина! Да вы, я думаю, были знакомы съ ея матерью.

Анна Ивановна. Давно, матушка, еще до французовъ. Такъ это ея дочь?.. Не дурна собою!

Влонская. Вотъ, тетушка, вы сейчасъ спорили... Да хоть эта Чернозерская,—что, какъ вы думаете, она списываетъ съ себя портретъ для кого?

Анна Ивановна. Для мужа, матушка, я это знаю.

Влонская. Вотъ то-то и есть, что не знаете! Они съ мужемъ никогда не были за границею, а посмотрите какъ живутъ! Мужъ разоряется на какую-то актрису, а жена влюблена въ графа Сицкаго. Я думаю, вы также слыхали объ этомъ? Человѣкъ холостой, ни отца, ни матери, семь тысячъ душъ...

Анна Ивановна. Скажите пожалуйста— этакій женихъ!.. Чѣмъ бы выбрать себѣ невѣсту, а онъ... то-то бы сѣчь да сѣчь!

Перебиваевъ. Всѣхъ не пересѣчете, Анна Ивановна.

Анна Ивановна. Да еще правда ли это?..

Я, матушка, не слишкомъ вѣрю этимъ сплетнямъ. Бабочка молоденькая, — можетъ-быть, немножко и вѣтряная... не остереглась, пококетничала а ужъ тутъ и пойдутъ!..

Влонская. Да объ этомъ вся Москва говоритъ.

Анна Ивановна. Москва говоритъ! Да о чемъ наша матушка Москва не болтаетъ? Пусти лишь только въ ходъ какую-нибудь злость, она, моя голубушка, и пойдетъ плести!.. Такая кружевница, что не приведи Господи!

Влонская. Ну, если вы, тетушка, этому не вѣрите...

Анна Ивановна. Не вѣрю, матушка! А еслибъ это была и правда, такъ вѣрно бы она не выбрала моего дома, чтобъ списывать съ себя портреты для любовниковъ... А вотъ и мой жилецъ идетъ!..

Влонская. Кто? Этотъ молодой человѣкъ съ портфелемъ?.. Такъ онъ-то списываетъ портретъ съ Чернозерской?

Анна Ивановна. Да, мой другъ! Онъ портретный живописецъ.

Влонская. Хорошъ живописецъ!.. Андрей Сергѣевичъ, посмотрите, посмотрите!..

Перебиваевъ. Что это?.. Графъ Сицкій...

Анна Ивановна. Кто, батюшка, кто?..

Перебиваевъ. Графъ Сицкій, Анна Ивановна.

Анна Ивановна. Какъ? Тотъ самый?..

Влонская. Да, тетушка, тотъ самый (*Смѣется*).

Перебиваевъ. Ну, какая исторія!.. Ужъ какъ же я распотѣшу князя Григорія и Марью Власьевну!.. Извините, Анна Ивановна, я вспомнилъ, мнѣ надобно ѣхать. Честь имѣю кланяться! (*Уходитъ*).

Влонская (*продолжая смѣяться*). Ну, тетушка, какіе у васъ живутъ въ домѣ художники!.. Прощайте!... До завтраго (*Уходитъ*). *Анна Ивановна въ совершенномъ оцѣпенѣніи падаетъ на кресла* (*Двери потихоньку растворяются и входитъ Прокофій*).

Прокофій. Узналъ, сударыня: эта барыня Марья Васильевна Чернозерская.

Анна Ивановна (*вскакиваетъ*). Пошелъ вонъ!.. Постой!.. Всѣ пожитки этого живописца выкинь на дворъ, дверь на замокъ и чтобъ съ этой минуты нога его въ моемъ домѣ не была!

Прокофій. Какъ, ваше превосходительство?.. Да помилуйте, срокъ еще не вышелъ!

Анна Ивановна. Срокъ!.. Какой тутъ срокъ?.. Вонъ его, вонъ! Самозванецъ мерзкій... Осмѣлиться... въ моемъ домѣ!.. Ахъ, смерть моя!.. Душно!.. Аксютка!.. Матрешка!.. Капель, капель!.. (*Опускается опять въ кресла. Дѣвушки около нея суетятся; экономка даетъ нюхать спиртъ, а Прокофій стоитъ какъ вкопанный у дверей и смотритъ съ удивленіемъ на эту картину*).

IX.

Марьина роща.

„Вы можете смѣяться, но утверждаю смѣло, что одно просвѣщеніе рождаетъ въ городахъ охоту къ народнымъ гульбищамъ, о которыхъ не думаютъ грубые азіатцы и которыми славились умные греки".

Карамзинъ.

Куда, подумаешь, какъ богата наша матушка Москва садами, бульварами и всякими другими частными и народными гульбищами. Чего другого, а ужъ въ этомъ мы вовсе не нуждаемся. Взойдите лѣтомъ на Ивана Великаго, взгляните кругомъ, и вы увидите передъ собою не городъ, а безпредѣльное зеленое море, усыпанное домами. Увѣряю васъ, это вовсе не піитическая выходка, а самое вѣрное выраженіе истины. Исключая средину города, гдѣ строеніе, по большей части, сплошное, вы рѣдко встрѣтите домъ, при которомъ не было бы хотя маленькаго садика, или, по крайней мѣрѣ, нѣсколькихъ кустовъ бузины и акаціи. Въ Москвѣ считается садовъ публичныхъ шесть, ботаническій одинъ, частныхъ *тысяча двадцатьчетыре* и пятнадцать бульваровъ, изъ которыхъ иные могутъ назваться садами. Изъ городскихъ садовъ, открытыхъ для публики, самые лучшіе: Дворцовый садъ за Москвою рѣкою, Нескучное, Лафертовскій или Слободской садъ и Прѣсненскіе пруды. Кремлевскіе сады прекрасны, но они болѣе походятъ на затѣйливые бульвары, чѣмъ на сады. Весною лучшее московское общество гуляетъ до обѣда на Тверскомъ бульварѣ, а купцы, послѣ обѣда, въ Кремлевскихъ садахъ. Въ этихъ же садахъ есть довольно обширный лугъ, который такъ же, какъ и Тверской бульваръ, можетъ назваться аристократическимъ гуляньемъ, но только не взрослыхъ, а дѣтей. Всякій разъ, когда мнѣ случается проходить кремлевскими садами, весной, часу въ двѣнадцатомъ утра, я останавливаюсь и смотрю иногда по цѣлому часу на веселыя игры и бѣготню этихъ милыхъ крошекъ; любуюсь ихъ прелестными нарядами и гляжу также съ нѣкоторымъ удовольствіемъ на этихъ, по большей части, молодыхъ и щеголевато одѣтыхъ нянюшекъ, которыя, играя въ горѣлки и мячики со своими малютками, посматриваютъ украдкою на проходящихъ и, обдергивая измятыя платьица дѣтей, не забываютъ приглаживать собственные свои волосы и оправлять свои газовыя косынки.

Не знаю, существуетъ ли еще въ Петербургѣ знаменитый садъ г-на Ганина; если ужъ онъ опустѣлъ и заросъ, если его досчатая башня *древлянка* развалилась и деревянный Вольтеръ пересталъ кланяться всѣмъ гуляющимъ, то я могу сказать его поклонни-

камъ: утѣшьтесь,—типъ этихъ садовъ не вовсе погибъ: у насъ въ Москвѣ есть также садъ, который едва ли еще не затѣйливѣе сада г-на Ганина. Онъ не великъ, это правда, но сколько въ немъ необычайныхъ и особеннаго рода красотъ! Какое дивное смѣшеніе истины съ обманомъ! Вы идете по крытой аллеѣ, въ концѣ ея стоитъ огромный солдатъ во всей формѣ. Не бойтесь,—онъ алебастровый. Вотъ на небольшой лужайкѣ, посреди оранжерейныхъ цвѣтовъ, лежитъ корова... Какая неосторожность!.. Успокойтесь,—она глиняная. Вотъ китайскій домикъ, греческій храмъ, готическая башня, крестьянская изба; вотъ гуси и павлины, вотъ живая горная коза, вотъ деревянный русскій баранъ, вотъ прудъ, мостики, плоты, шлюпки и даже военный корабль! Однимъ словомъ, вы на каждомъ шагу встрѣчаете что-нибудь неожиданное и новое, и все это, если не ошибаюсь, на одной десятинѣ земли. Этотъ садъ можно также причислить къ разряду публичныхъ садовъ, потому что онъ, благодаря радушному хозяину, открытъ для всѣхъ, желающихъ полюбоваться его затѣйливымъ разнообразіемъ.

Наши загородныя гульбища также очень многочисленны: у насъ есть свой *пратеръ*, свое *тиволи;* оба эти названія вы можете прочесть въ афишкахъ, въ которыхъ съ такимъ краснорѣчіемъ приглашаютъ васъ за тридцать копѣекъ серебромъ гулять, сколько вамъ угодно, по тѣнистымъ дорожкамъ, смотрѣть безденежно на чрезвычайныя представленія эквилибристовъ, быть зрителемъ морскихъ сраженій, происходящихъ на покрытыхъ зеленью прудахъ и узенькихъ канавахъ, восхищаться пятидесяти-рублевымъ фейерверкомъ, или дивиться изобрѣтательности ума человѣческаго, смотря на воздушный шаръ изъ китайской бумаги, который, какъ извѣщаютъ, обыкновенно, въ афишкахъ, *будетъ пущенъ при звукахъ военной музыки*. Петровскій паркъ, Останкино, Сокольники, Марьина роща и Петровское-Разумовское—вотъ загородныя гулянья, болѣе другихъ посѣщаемыя московскими жителями. Я не говорю уже о прогулкахъ въ Коломенское, Кусково, Кунцово, и еще нѣсколько далѣе отъ Москвы: въ Царицыно, Архангельское, Спасское, Братцово, Марѳино, Кузьминки—всѣ эти царскіе потѣшные дворцы и подмосковныя русскихъ бояръ, очаровательные или мѣстоположеніемъ своимъ или роскошью своихъ садовъ, открыты для всѣхъ посѣтителей.

Я люблю вообще противоположности: вѣчное лѣто мнѣ точно такъ же бы надоѣло и сдѣлалось несноснымъ, какъ и безпрерывная зима. Мнѣ пріятно иногда провести ночь на пышномъ балѣ, въ кругу лучшаго московскаго общества, полюбоваться великолѣпнымъ убранствомъ и освѣщеніемъ нашихъ аристократическихъ гостиныхъ, посмотрѣть на этотъ роскошный цвѣтникъ московскихъ красавицъ, на ихъ воздушные и легкіе наряды, подъ-часъ довольно тяжелые для мужей и отцовъ. Но я люблю также иногда просидѣть вечеромъ у какой-нибудь замоскворѣцкой барыни, у которой домъ освѣщенъ рублевыми кенкетами и сальными свѣчами, люблю попировать на свадьбѣ русскаго купца, у котораго каждаго гостя встрѣчаютъ молодые при звукѣ трубъ и литавръ, гдѣ, во время бала, васъ угощаютъ брусничною водою, чаемъ, виноградными виномъ, шоколадомъ, финиками, сладкою водкою и балыкомъ, и гдѣ за ужиномъ хозяинъ и хозяйка просятъ васъ кушать непремѣнно за четверыхъ, приговаривая: «да ужъ сдѣлайте милость, батюшка, поневольтесь!» Мнѣ случалось также, и право не безъ удовольствія, трапезничать у русскаго мужичка, когда онъ справляетъ храмовый праздникъ своего селенія, пить вмѣстѣ съ нимъ сыченую брагу, кушать вареную баранину или пирогъ съ капустою и лакомиться калеными орѣхами. Я люблю особенно эти противоположности тогда, когда между ними нѣтъ никакихъ постепенныхъ переходовъ, и онѣ, такъ сказать, встрѣчаются межъ собою, и вотъ почему рѣшился въ послѣднее воскресенье прошляго іюля мѣсяца, побывать въ одинъ и тотъ же день въ Марьиной рощѣ и въ Петровскомъ паркѣ. Эти два загородныя гулянья не въ дальнемъ разстояніи другъ отъ друга, но общества, ихъ посѣщающія, до такой степени различны межъ собою, что даже цыгане, которые поютъ въ Петровскомъ вокзалѣ, не хотятъ знаться и водить хлѣбъ-соль съ цыганами и цыганками, забавляющими посѣтителей Марьиной рощи. Время было прекрасное: тихо, нигдѣ ни облачка. Я велѣлъ заложить мою пролетку и отправился.

Отъ Прѣсненской заставы до Марьиной рощи я ѣхалъ Ходынскимъ полемъ, мимо лѣтняго бѣга и скачки; потомъ, оставивъ на лѣвой рукѣ Петровскій паркъ и Бутырки, доѣхалъ по дорогѣ, проложенной межъ огородовъ и луговъ до березовой рощи, перерѣзанной во всю ея длину широкою просѣкою.

Я приказалъ кучеру дожидаться меня у большой рощи, а самъ пошелъ пѣшкомъ. Эта роща отдѣляется отъ другой, не очень обширной, которая примыкаетъ къ Лазареву кладбищу широкимъ и продолговатымъ лугомъ. На немъ бываетъ въ Семикъ одно изъ лучшихъ годовыхъ московскихъ гуляній. Марьина роща или Марьины рощи, бывшія нѣкогда нѣмецкимъ кладбищемъ, принадлежатъ теперь графу Шереметеву. Олеарій, въ своемъ путешествіи по Россіи при царѣ Михаилѣ Ѳеодоровичѣ, упоминаетъ о нѣмецкомъ кладбищѣ за Покровскими воротами, слѣдовательно, должно было бы полагать, что въ Марьиной рощѣ погребали иновѣрцевъ еще при царѣ Борисѣ Ѳеодоровичѣ Годуновѣ, но надпись на одномъ могильномъ камнѣ, на которомъ вырѣзанъ

тысяча шестьсотъ шестьдесятъ осьмой годъ, противорѣчитъ этой догадкѣ; впрочемъ, можно сказать утвердительно, что въ царствованіе Петра Великаго это кладбище было вовсе оставлено и, судя по названію «Нѣмецкіе станы», которое и до-нынѣ еще старики даютъ Марьиной рощѣ, вѣроятно, превратилось въ загородное гулянье иноземцевъ, жившихъ тогда въ Нѣмецкой слободѣ... Въ большой рощѣ гуляющихъ было немного: кой-гдѣ сидѣли отдѣльными группами семейства купцовъ и ремесленниковъ. Одни пили чай на каменныхъ могильныхъ плитахъ, изъ которыхъ многія совсѣмъ уже вросли въ землю, другіе курили трубки и бесѣдовали за бутылкой кроновскаго пива. Эти мирныя наслажденія добрыхъ и трудолюбивыхъ людей были въ совершенной противоположности съ тѣмъ, что происходило въ двухъ трактирахъ, которые стоятъ на лугу, между большою и малою рощами. Въ наружной галлереѣ одного изъ этихъ трактировъ играла музыка, то-есть какой-то краснощекій артистъ, съ затекшими отъ перепоя глазами, заливался на кларнетѣ, безобразный старикъ съ небритою бородою колотилъ въ турецкій барабанъ, и полупьяная нѣмка, примаргивая правымъ глазомъ, отпускала удивительныя трели на скрипкѣ. Вокругъ этого оркестра толпились: цыганки въ запачканныхъ платьяхъ и красныхъ мериносовыхъ платкахъ, записные гуляки въ венгеркахъ, удалые купеческіе сынки въ щеголеватыхъ сибиркахъ и пьяные старики съ такими безпутными и развратными рожами, что гадко и страшно было на нихъ взглянуть. Въ другомъ трактирѣ, какъ цѣлая псарня голодныхъ собакъ, съ визгомъ и завываньемъ ревѣла толпа цыганъ, а передъ дверьми трактира, на песчаной площадкѣ, двое растрепанныхъ оборванцевъ отхватывали *трепака*, этотъ классическій танецъ всѣхъ загородныхъ питейныхъ домовъ и трактировъ самаго низшаго разряда. Я замѣтилъ, однако-жъ, что большая часть гуляющихъ по лугу или вовсе не обращала никакого вниманія на эти притоны разврата, или смотрѣла на нихъ съ явнымъ отвращеніемъ. Я пошелъ вслѣдъ за толпами, которыя спѣшили въ небольшую рощу, примыкающую къ Лазареву кладбищу. При самомъ входѣ въ это средоточіе народнаго воскреснаго гульнья, я былъ пораженъ звуками, которые сильно потрясли мою душу; они воскресили въ ней память о давно прошедшемъ, перенесли меня за семьсотъ верстъ, въ ту деревню, гдѣ я, будучи еще ребенкомъ, слышалъ такъ часто эту самую хороводную пѣсню, которая раздавалась теперь въ одномъ углу рощи. Разумѣется, я пошелъ прямо туда, протерся кой-какъ сквозь густую толпу народа и сталъ въ первомъ ряду зрителей. Почти весь хороводъ былъ составленъ изъ молодыхъ крестьянъ, и только двѣ или три сельскія дѣвушки *въ шелковыхъ повязкахъ* и ситцевыхъ сарафанахъ, вмѣшались, какъ будто бы нечаянно, въ этотъ мужской кругъ. Внутри хоровода ходила пара: краснощекая дѣвушка съ потупленными глазами и молодой, видный собою дѣтина, который отъ времени до времени отпускалъ разныя *колѣнца*, то-есть помахивалъ своимъ краснымъ платкомъ, подергивалъ лѣвымъ плечомъ и припадалъ бочкомъ къ своей дамѣ, которая продолжала ходить попрежнему, опустивъ книзу свои *ясныя очи* и не обращая никакого вниманія на пантомиму своего кавалера. Когда кончилась пѣсня, подъ которую происходилъ этотъ танецъ, *по образу пѣшаго хожденія*, танцовавшая пара облобызалась и уступила свое мѣсто другой парѣ. Я пошелъ далѣе. Влѣво, за деревьями, подымалось нѣсколько зданій, около которыхъ тѣснился народъ. Въ самомъ большомъ изъ нихъ помѣщается главный трактиръ или, если вамъ угодно, ресторація Марьиныхъ рощъ; на высокомъ ея крыльцѣ пѣли русскіе пѣсенники, а вокругъ ходили толпами цыганки и приставали къ каждому гуляющему, хотя нѣсколько похожему на такого человѣка, который можетъ для своей забавы бросить полтину серебра и даже, при случаѣ, не постоитъ за цѣловый. Одна изъ этихъ цыганокъ, безобразная, какъ смертный грѣхъ, подбѣжала ко мнѣ и проговорила сиповатымъ голосомъ:

— Баринъ, голубчикъ, прикажи спѣть пѣсенку!

— Спасибо, любезная!—отвѣчалъ я очень сухо, оборотясь къ ней спиною.

— Ахъ, ты, соколъ мой ясный!—продолжала цыганка, забѣжавъ съ другой стороны.— Да, прикажи: потѣшь, золотой, и себя и насъ.

— Я, душенька, не охотникъ до пѣсенъ, ступай къ другимъ.

Тутъ подлетѣла ко мнѣ еще цыганка, также очень смуглая, но довольно миловидная собою.

— Ахъ, сжальтесь надъ нами! — сказала она, устремивъ на меня свои сверкающіе черные глаза.—Прикажите намъ спѣть!

— Хочешь, красное солнышко,—прервала первая цыганка, — мы споемъ тебѣ: «Ты не повѣришь» или «Общество наше»! Ужъ распотѣшимъ,—прикажи!

Къ этимъ двумъ цыганкамъ присоединилось еще съ полдюжины другихъ. Не зная, куда мнѣ отъ нихъ дѣваться, я вошелъ въ трактиръ, взглянулъ мимоходомъ на буфетъ, въ которомъ человѣкъ десять прохлаждали себя ерофеичемъ, и остановился послушать разговоръ двухъ мастеровыхъ, изъ которыхъ одинъ былъ уже подъ хмелькомъ.

— То-то, братъ Иванъ, — говорилъ онъ другому мастеровому, — раненько ты сталъ погуливать! Тебѣ бы не слѣдъ сюда шататься.

— А почему жъ, Никита Степанычъ? Вѣдь ты пришелъ же сюда погулять?

— Я?.. Ахъ, ты, глупая голова! Да я-то развѣ, ты?

— Да что-жъ ты, Никита Степанычъ, такъ кочевряжишься? Ты подмастерье и я подмастерье...

— Экъ, разсудилъ!.. Дурачина ты этакій! Да вотъ, примѣромъ сказать, крестьянская кляча—лошадь и графскій рысакъ—лошадь, а развѣ, онѣ равны? Я былъ мастеръ и буду мастеромъ; я пріѣду домой размертвецки,—хозяинъ не посмѣетъ мнѣ слова сказать. А ты что Нахлюстаешься, а тебя завтра и по-шеямъ!.. Нѣтъ, Ванюха, выучись-ка прежде хорошенько своему мастерству, а тамъ и погуливай!

Тутъ подлѣ меня началась какая-то ссора; явился городовой, и я, какъ человѣкъ миролюбивый, поспѣшилъ выйти изъ трактира и пошелъ по дорожкѣ которая вела прямо къ Лазареву кладбищу. Эта усыпанная пескомъ дорожка можетъ назваться мѣстомъ гулянья самаго избраннаго общества Марьиной рощи: тутъ на скамейкахъ сидѣло нѣсколько купцовъ со своими женами, два или три пожилыхъ чиновника, въ форменныхъ фракахъ; по этой дорожкѣ ходили взадъ и впередъ какія-то дамы въ щеголеватыхъ бурнусахъ и даже одинъ франтъ, въ альмавивѣ и бѣлой соломенной шляпѣ. Онъ шелъ рука объ руку съ другимъ молодымъ человѣкомъ, который, вѣроятно, такъ же въ своемъ уголку считался записнымъ денди; его бакенбарды сходились на подбородкѣ, волосы были острижены въ кружокъ, на манишкѣ блистала стразовая булавочка, по бархатному жилету висѣла цѣпочка, вѣроятно, бронзовая, но что болѣе всего изобличало въ этихъ господахъ самыхъ отчаянныхъ львовъ своего квартала, такъ это было то, что отъ нихъ пахло за версту *пачули*, и что они говорили, во услышаніе всѣмъ, на французскомъ діалектѣ; по крайней мѣрѣ, одинъ изъ нихъ, проходя мимо меня, сказалъ другому: «комъ ву зетъ плезантъ, монъ шеръ!» Пройдя нѣсколько разъ по этой дорожкѣ, я вышелъ опять къ трактиру и остановился противъ досчатаго балагана, у котораго верхняя часть построена, въ видѣ сквозной галлереи; въ ней съ правой стороны двѣ женскія куклы, въ обыкновенный человѣческій ростъ, въ бѣлыхъ кисейныхъ платьяхъ и съ букетами въ рукахъ, кружились на одномъ мѣстѣ; съ лѣвой стороны другія двѣ куклы, небольшого размѣра, возбуждали безпрерывный смѣхъ въ толпѣ любопытныхъ зрителей; одна изъ нихъ, представляющая лысаго старика, съ краснымъ носомъ, закидывала назадъ голову и пила изъ деревяннаго стакана, а другая, которую почтенная публика называла экономкою, поминутно нюхала табакъ. Посреди галлереи вертѣлись на кругу небольшія лодочки, въ которыхъ сидѣли посѣтители этого, по словамъ вывѣски, *машиннаго парохода*. Я подошелъ къ дверямъ и прочелъ на нихъ надпись: *входъ въ ботаническую галлерею*.

— Ты, братецъ, хозяинъ этой комедіи?— спросилъ я русскаго мужичка, который сидѣлъ при входѣ, за небольшимъ прилавкомъ.

— Я, батюшка! — отвѣчалъ онъ, приподнявъ свою шляпу.

— А что за входъ?

— Пятакъ серебромъ.

— Вотъ тебѣ гривенникъ, любезный, только растолкуй мнѣ, почему у тебя написано: входъ въ ботаническую галлерею?

— А какъ же, сударь?.. Вѣдь, у меня тамъ вертятся машинные боты.

— А, вотъ что!.. Такъ, любезный, такъ!.. Ты самъ придумалъ эту надпись?

— Самъ, батюшка,—отвѣчалъ русскій механикъ, поглаживая свою бороду.—Мы ужъ давно въ этомъ упражняемся. Да, милости просимъ—пожалуйте, сударь!

Я не могъ воспользоваться этимъ приглашеніемъ, потому что торопился въ Петровскій паркъ.—«Какъ это странно», подумалъ я, идя къ моимъ дрожкамъ; «въ Москвѣ самыя любимыя гулянья простого народа: Ваганьково и Марьина роща; Ваганьково—кладбище за Пресненской заставой, Марьина роща—также старое кладбище, въ двухъ шагахъ отъ Сущевскаго кладбища; однимъ словомъ, это мѣсто, самыхъ буйныхъ забавъ, пьянства и цыганскихъ пѣсенъ, окружено со всѣхъ сторонъ кладбищами. Въ этой Марьиной рощѣ все кипитъ жизнію и все напоминаетъ о смерти. Тутъ, среди древнихъ могилъ, гремитъ разгульный хоръ цыганокъ; тамъ, на гробовой плитѣ, стоитъ самоваръ, бутылки съ ромомъ, и пируютъ русскіе купцы. Здѣсь, у самой насыпи, за которой подымаются могильные кресты Лазарева кладбища, раздается удалая хороводная пѣсня; кругомъ мертвые спятъ непробуднымъ сномъ, а толпа живыхъ, безпечно посматривая на эту юдоль плача, скорби и тлѣнія, гуляетъ, веселится и безумствуетъ, не думая нимало о смерти. Что за чудная страсть у нашего простого народа веселиться на кладбищахъ? Отчего происходитъ это совершенное равнодушіе къ мѣсту, которое должно бы возбуждать не веселье, не житейскіе помыслы, но чувство грусти и христіанскаго умиленія? Ужъ не остатокъ ли это нашихъ языческихъ обычаевъ? Въ древнія времена мы справляли *тризну* по усопшимъ; въ наше время простой народъ пьетъ вино и гуляетъ на *поминкахъ* почти такъ же, какъ на свадебномъ пиру; слѣдовательно, измѣнилось одно только названіе этого обычая. Быть-можетъ, встарину русскій народъ любилъ такъ же, какъ и теперь, сбираться въ извѣстные дни пировать на гробахъ своихъ предковъ и передалъ этотъ обычай своимъ потомкамъ. Я скорѣй хочу вѣрить этому, чѣмъ думать, что наши мужички и ремесленный народъ веселятся

среди могилъ, по какому-то грубому и безотчетному равнодушію къ смерти, свойственному однимъ безсловеснымъ животнымъ.

Разсуждая такимъ образомъ, я вовсе не думалъ встрѣтить въ этой же Марьиной рощѣ неоспоримое доказательство тому, что есть люди, которые, наблюдая обычаи просвѣщенной Европы, стоятъ еще ниже, въ моральномъ отношеніи, этихъ развратныхъ мѣщанъ, гулякъ-мастеровыхъ и безграмотныхъ мужиковъ. Пробираясь къ моимъ дрожкамъ, я остановился противъ одного изъ трактировъ, о которыхъ сказалъ уже нѣсколько словъ моимъ читателямъ. На крыльцѣ этого трактира, въ толпѣ цыганъ, которые пѣли плясовую пѣсню, стоялъ молодой человѣкъ лѣтъ тридцати; онъ присвистывалъ, приплясывалъ и, повидимому, былъ въ совершенномъ восторгѣ отъ пѣсни. Тутъ нѣтъ еще ничего страннаго, но вотъ что меня поразило: у этого молодого человѣка шляпа была обвернута крепомъ, а на обшлагахъ чернаго фрака нашиты широкія плерезы, слѣдовательно онъ недавно еще, быть можетъ нѣсколько дней тому назадъ, лишился отца, матери или жены, и, несмотря на это, не снимая даже своего глубокаго траура, пріѣхалъ слушать цыганъ въ Марьину рощу!.. Поглядѣвъ нѣсколько минутъ на этого чудака, я сѣлъ въ мою пролетку и велѣлъ кучеру ѣхать въ Петровскій паркъ, о которомъ поразскажу кой-что читателямъ не въ этой, а въ слѣдующей книжкѣ моихъ записокъ, если только эта слѣдующая книжка выйдетъ, что впрочемъ совершенно зависитъ отъ пріема, который сдѣлаютъ читатели этому первому опыту «Московскихъ очерковъ», можетъ-быть весьма неискусныхъ, но, если не ошибаюсь, довольно вѣрныхъ и чуждыхъ всякаго пристрастія.

X.

Смѣсь.

Визитныя карточки.—Московскія фабрики.—Дураки.—Большой колоколъ и царь-пушка.—Вульварный разговоръ.—Кремль при лунномъ свѣтѣ.—Воропы.

Откуда перешелъ въ Европу обычай посылать по праздникамъ другъ къ другу визитныя карточки? Ужъ не изъ Китая ли? Въ Китаѣ этотъ размѣнъ поздравительныхъ записокъ, на разныхъ узорчатыхъ и цвѣтныхъ бумажкахъ, принадлежитъ къ числу самыхъ древнихъ обычаевъ. Мы только упростили этотъ способъ поздравленія съ праздникомъ. Мы пишемъ или печатаемъ на карточкахъ одни имена наши, а все остальное подразумѣвается. Есть люди, которые никогда не посылаютъ карточекъ и даже находятъ этотъ обычай *невѣжливымъ; они обыкновенно* вмѣсто визитныхъ билетовъ, разсылаютъ слугъ съ изустными поздравленіями. Да полно, лучше ли это? Карточка можетъ затеряться—это правда, но слуга еще скорѣе забудетъ доложить своимъ господамъ, что такой-то или такая-то присылали ихъ поздравить съ праздникомъ, а вѣдь это не бездѣлица. Не даромъ говорится, что отъ копѣечной свѣчи Москва сгорѣла.—«Да помилуйте! на что это походитъ? Я самъ былъ у него съ визитомъ, а онъ даже не прислалъ меня и поздравить! Да съ чего онъ взялъ, что можетъ трактовать меня какимъ-нибудь Кондрашкою?.. Да чѣмъ я хуже его?.. Да я въ другой разъ ему и карточки не пошлю!».. И вотъ люди, которые были въ пріятельскихъ отношеніяхъ, начинаютъ ссориться между собою, разстаются домами и даже перестаютъ кланяться другъ другу.

Было время визитныхъ карточекъ цвѣтныхъ, тисненыхъ, съ гирляндами, коймами и разными другими затѣями; теперь мода на бѣлыя лакированныя карточки безъ всякихъ украшеній. Другихъ вы не увидите. Очень жаль, что мы, несмотря на нашу охоту подражать во всемъ иностранцамъ, не переймемъ у нихъ обычая печатать или писать свои адреса на визитныхъ карточкахъ. Какъ часто случается, что самаго строгаго исполнителя всѣхъ общественныхъ приличій и условій называютъ невѣжей и гордецомъ за то, что онъ, бѣдняжка, не знаетъ, куда ему ѣхать или куда отослать свою карточку. Мнѣ самому случилось однажды обѣгать всѣ гостиницы и перебывать почти во всѣхъ частныхъ домахъ, чтобъ узнать, гдѣ живетъ одинъ провинціалъ, который былъ у меня съ визитомъ. Межъ тѣмъ какъ я искалъ его по всей Москвѣ, онъ кончилъ дѣла, уѣхалъ въ свою губернію и теперь, какъ слышно, гнѣвается ужаснымъ образомъ, не только на меня, но даже на всю Москву.—«Хороша столица!»—говоритъ онъ при всякомъ удобномъ случаѣ.—«Вѣжливый народъ эти москвичи!.. Спесивцы этакіе... невѣжи! Имъ бы пріѣхать къ намъ въ Казань да поучиться общежитію!»..

Въ Новый годъ и на Святой недѣлѣ бываетъ самый большой расходъ визитнымъ карточкамъ. Лакеи на извозчикахъ, верхомъ и пѣшкомъ рыскаютъ по всему городу. Москва такъ велика, что эта развозка билетовъ бываетъ иногда весьма затруднительна и тягостна; напримѣръ, если вы живете у Калужской заставы и должны послать карточку къ Лафертовскому дворцу, то вашему человѣку придется сдѣлать въ два конца, то есть туда и назадъ, безъ малаго двадцатьпять верстъ. Впрочемъ, разносчики билетовъ находятъ средство облегчать свои труды; у нихъ есть сборныя мѣста,—главное изъ нихъ въ Охотномъ ряду; тамъ они сличаютъ свои списки и мѣняются визитными карточками. Разумѣется, это не всегда бы-

ваетъ безъ ошибокъ. Иногда вамъ отдадутъ карточку какого-нибудь барина, съ которымъ вы вовсе незнакомы, или заставятъ васъ самихъ поздравить съ праздникомъ человѣка, съ которымъ вы не хотѣли бы и встрѣтиться. Я помню одну изъ этихъ ошибокъ, которая имѣла весьма грустныя послѣдствія. Тому назадъ лѣтъ тридцать, жили въ Москвѣ двѣ сестры, одна замужняя, другая вдова. Вдова, которую я назову Анной Ивановной Смѣльской, занемогла на Святой недѣлѣ и умерла на Ѳоминой. Спустя почти годъ послѣ этого, въ первый день Свѣтлаго праздника, сестра ея отправила, по обыкновенію, лакея развозить визитные билетцы. По ошибкѣ горничной дѣвушки, слугѣ отданы были биteты, которые остались послѣ умершей сестры, то-есть Анны Ивановны Смѣльской. И вотъ покойница принялась разъѣзжать по Москвѣ и дѣлать визиты всѣмъ прежнимъ своимъ знакомымъ. Это бы еще ничего, подивилась бы этой ошибкѣ, да и только, но, къ несчастію, этимъ дѣло не кончилось: у покойной Смѣльской была задушевная пріятельница, княгиня Д***. Когда то во время дружескаго разговора, Смѣльская сказала княгинѣ, что если умретъ прежде ея, то непремѣнно къ ней явится за нѣсколько дней до собственной своей смерти. Представьте же себѣ ужасъ бѣдной княгини, когда ей, въ первый день праздника, подали билетъ съ именемъ умершей ея пріятельницы. Это до того поразило ея воображеніе, что она упала въ обморокъ, занемогла; съ ней сдѣлалась воспалительная горячка и она точно такъ же, какъ и Смѣльская, умерла на Ѳоминой недѣлѣ, повторяя безпрестанно: «Ахъ, Анета, зачѣмъ ты прислала такъ рано за мною? Вѣдь мнѣ еще хотѣлось пожить, мой другъ!»

* * *

Въ письмѣ моемъ къ издателю этихъ записокъ, я сказалъ, что въ Москвѣ процвѣтаетъ наша ремесленная промышленность; въ числѣ моихъ читателей найдутся, можетъ-быть, и такіе, для которыхъ одни слова безъ фактовъ и положительныхъ цифръ ничего не значатъ. Что бы удовлетворить вполнѣ ихъ требованіямъ, я помѣщаю здѣсь краткое, но самое вѣрное исчисленіе всѣхъ московскихъ фабрикъ, заводовъ и ремесленныхъ заведеній *). Въ Москвѣ различныхъ заводовъ 198, фабрикъ 884, ремесленныхъ заведеній 2.989, всего 4.071. При нихъ рабочихъ людей 70.209 человѣкъ, что составляетъ болѣе, чѣмъ *пятую долю* всего народонаселенія Москвы. Кажется, послѣ этого Москва, еслибъ она не была нашей древней столицей, могла бы назваться, по всей справедливости, русскимъ Манчестеромъ.

*) Это писано въ 1840-мъ году.

Нѣкоторыя изъ московскихъ фабрикъ (не во гнѣвъ будь сказано русскимъ европейцамъ) могутъ безъ стыда поставить свои произведенія рядомъ съ лучшими произведеніями иноземныхъ фабрикъ. Фарфоръ г-на Попова, хрусталь господъ Орлова и Мальцева, серебряныя издѣлія г-на Сазикова и нѣсколько фабрикъ, на которыхъ выдѣлываются шелковыя матеріи, штофы и парчи, конечно бы заняли почетное мѣсто вездѣ, не исключая ни Англіи, ни Франціи. Я не назвалъ въ этомъ числѣ фабрику бумажныхъ табакерокъ г-на Лукутина, потому что она, относительно, стоитъ выше всѣхъ другихъ. Табакерки, работанныя на этой фабрикѣ, по своей отличной отдѣлкѣ, изящной формѣ, живописи, а особенно по необычайной прочности своего лака, рѣшительно превосходятъ знаменитыя брауншвейгскія. Эти московскія табакерки расходятся не въ одной Россіи: г-нъ Лукутинъ отправляетъ ихъ въ большомъ количествѣ за границу. Многіе этому не вѣрятъ. Не вѣрилъ также этому и одинъ изъ моихъ знакомыхъ, пока не побывалъ въ Парижѣ. Отправляясь назадъ въ Россію, ему вздумалось купить въ Палероялѣ хорошую бумажную табакерку. Онъ выбралъ ту, которая ему понравилась, и, любуясь ею, вѣроятно пожалѣлъ въ душѣ, что у насъ въ Россіи не умѣютъ еще такъ работать. Представьте же себѣ его удивленіе, когда, желая обновить свою покупку, онъ увидѣлъ на внутренней сторонѣ крышки двуглаваго русскаго орла и подпись фабриканта Лукутина. Знакомый мой этому порадовался, а я знаю людей, которыхъ бы это весьма огорчило: купить русскую табакерку въ Парижѣ — да это такой стыдъ, что его пережить нельзя!

* * *

У меня былъ пріятель—дай Богъ ему царство небесное!—Ѳедосей Гавриловичъ Прутиковъ—истинно умный и добрый старикъ, но самый отчаянный и упрямый софистъ. Его любимый парадоксъ, который онъ защищалъ съ необыкновеннымъ искусствомъ, покажется для всякаго очень страннымъ. Онъ увѣрялъ, что дураковъ нѣтъ на свѣтѣ, что дуракъ есть существо миѳическое, небывалое, что это просто выдумка, клевета на природу. «Да съ чего взяли», — говорилъ онъ всегда, — «что есть на свѣтѣ дураки? Чистыхъ, безусловныхъ дураковъ нѣтъ въ натурѣ; все дѣло состоитъ въ томъ, чтобъ каждый былъ на своемъ мѣстѣ, и тогда, повѣрьте мнѣ, дуракъ будетъ такою рѣдкостью, что его станутъ за деньги показывать. Вотъ, напримѣръ, природа создала Степана хорошимъ пастухомъ, а случай и люди сдѣлали его судьею. Ну, разумѣется, Степанъ за своимъ присутственнымъ столомъ будетъ сидѣть дуракъ дуракомъ. Да развѣ онъ въ этомъ виноватъ? Дайте-ка ему подъ команду коровъ, да кнутъ въ руки, такъ вы посмотрите, откуда у него и умъ возьмется.

Или знаете ли что? Представьте себѣ, что въ каретѣ сидитъ баринъ, который охотникъ до рысаковъ и выѣзжаетъ ихъ самъ на бѣгу; а на козлахъ сидитъ кучеръ, который изъ отличныхъ старостъ попалъ въ прескверные кучера, потому только, что у него черная окладистая борода и плечи въ косую сажень. Баринъ, который сидитъ въ каретѣ, промоталъ глупымъ образомъ все наслѣдственное имѣніе: заводилъ конскіе заводы тамъ, гдѣ и солома въ чести; сажалъ на пашню безземельныхъ крестьянъ и строилъ фабрики именно въ тѣхъ деревняхъ, гдѣ много было земли, а мало рукъ; однимъ словомъ, во всю жизнь свою дѣлалъ глупости. Кучеръ, который сидитъ на козлахъ, вовсе не умѣетъ править лошадьми: одна у него везетъ, другая нѣтъ; ту затянетъ, этой дастъ волю, путается въ вожжахъ, то зацѣпитъ за фонарный столбъ, то наѣдетъ на надолбы, — ну, такое животное, что не приведи Господи! Чтожъ, батюшка? Вы вѣрно скажете: «и въ каретѣ сидитъ дуракъ и на козлахъ дуракъ»... Анъ нѣтъ, сударь: имъ стоитъ только помѣняться мѣстами и они будутъ люди преумные.

Я обыкновенно, слушая моего пріятеля, улыбался, не спорилъ съ нимъ, и дивился его краснорѣчію, но въ душѣ моей никогда не былъ съ нимъ согласенъ. Нѣтъ, есть на свѣтѣ природные дураки, которые во всякомъ состояніи и во всякомъ званіи останутся дураками, только ихъ не такъ много, какъ думаютъ иные. Совершенные умницы и совершенные дураки рѣдки, люди умные и люди простые встрѣчаются несравненно чаще. Есть также люди, которые кажутся глупыми, а межъ тѣмъ ведутъ себя и поступаютъ очень умно; есть и такіе, которые славятся своимъ умомъ, и подлинно, на словахъ города берутъ, а посмотришь—поминутно дѣлаютъ глупости. Послушайте иного! — Господи Боже мой!—начнетъ говорить о политической экономіи, объ умноженіи народнаго богатства, о государственномъ кредитѣ, о погашеніи всѣхъ внутреннихъ долговъ—министръ финансовъ да и только!.. А поговорите съ его прикащикомъ, такъ у васъ волосы дыбомъ станутъ! Другой начнетъ толковать о воспитаніи дѣтей—книга, — заслушаешься! А поглядишь: у кого дочка убѣжала съ какимъ-нибудь гусарскимъ корнетомъ? — у него; у кого сыновья всѣ до одного пострѣлы? — у него... Впрочемъ, все это одни исключенія. Самая большая часть людей, относительно ума... какъ бы вамъ сказать... ни то, ни се: въ нихъ есть довольно здраваго смысла, чтобъ не дѣлать пошлыхъ глупостей; но нѣтъ довольно ума, чтобъ по собственному побужденію рѣшиться на что-нибудь новое или необыкновенное. Они готовы идти всю жизнь свою по той-же самой битой тропинкѣ, по которой шли ихъ отцы и дѣды; собственно своего мнѣнія они почти никогда не имѣютъ: поживутъ съ глупцомъ, а особливо начитаннымъ, тотчасъ поглупѣютъ; поживутъ съ умнымъ человѣкомъ, какъ будто бы сдѣлаются умнѣе. Однимъ словомъ, эти господа походятъ на безчисленныя колеса какой-нибудь огромной и сложной машины; каждое изъ этихъ колесъ вертится очень хорошо на своей оси, но ужъ больше этого ничего и не требуйте; само собою оно не зацѣпитъ другого колеса, не приведетъ въ движеніе рычага, не заставитъ вертѣться шестерню: для этого нужна мысль и воля великаго художника, подъ творческой рукой котораго всѣ эти безчисленныя колеса будутъ дѣйствовать за-одно, станутъ подымать тяжести, чеканить монету, прясть бумагу, ткать узорчатые ковры; какъ птица, полетятъ по желѣзной дорогѣ и какъ рыба, безъ веселъ и парусовъ, вспашутъ волны безпредѣльнаго океана. Зато ужъ къ этой машинѣ какой-нибудь шарлатанъ или мастеръ-самозванецъ и не притрогивайся, все пойдетъ вверхъ дномъ! А, къ несчастію, это иногда бываетъ. Обыкновенно мнѣніемъ этихъ господъ *ни то, ни се*, то-есть мнѣніемъ толпы, управляютъ умные люди, но подъ-часъ удается забрать эту власть къ себѣ въ руки или бойкому шарлатану, или наглому глупцу, и вотъ почему *общее мнѣніе*, которое должно бы всегда оправдывать русскую пословицу: «гласъ народа — гласъ Божій», бываетъ нерѣдко ошибочнымъ, несправедливымъ и даже иногда совершенно нелѣпымъ.

Вообще дураковъ можно раздѣлить на три разряда: дураки—просто дураки, дураки съ претензіями и дураки ученые. Съ господами перваго разряда жить еще можно; съ тѣми, которые принадлежатъ ко второму разряду, можно только жить по крайней необходимости, однакожъ все-таки, хоть съ трудомъ, да можно; а не приведи васъ Господи не только жить, но имѣть какое-нибудь дѣло съ ученымъ глупцомъ Будьте ласковы съ простымъ дуракомъ, не смѣйтесь надъ нимъ въ глаза, погладьте иногда по головкѣ,—съ него и довольно. Глупецъ съ претензіями совсѣмъ другое дѣло: за нимъ надобенъ большой уходъ. Онъ чрезвычайно раздражителенъ, всѣмъ обижается, все охуждаетъ, во все мѣшается, хочетъ быть знатокомъ въ изящныхъ искусствахъ, оцѣнщикомъ талантовъ, и если, сверхъ того, онъ человѣкъ богатый или знатнаго рода, то любитъ окружать себя льстецами, которые кадятъ ему, обманываютъ, обираютъ, и которыхъ онъ обыкновенно называетъ людьми ему преданными. Съ глупцомъ этого разряда ужиться, конечно, не легко: тутъ надобенъ и умъ, и снаровка; напримѣръ: если онъ отпуститъ какую нибудь пошлую остроту, тотчасъ засмѣйтесь; а если обмолвится и скажетъ что-нибудь не вовсе глупое, такъ начните хохотать до того, чтобъ васъ водой отливали; если онъ похвалитъ какіе-нибудь плохіе стихи, ставьте ихъ тотчасъ рядомъ со стихами Жуковскаго

и Пушкина; если покажетъ вамъ дурную копію съ извѣстной картины, — восхищайтесь; если назоветъ ее оригиналомъ — вѣрьте! Однимъ словомъ, что-бы онъ ни сдѣлалъ, что-бы ни сказалъ, вы все это должны находить разумнымъ, прекраснымъ, и если вдобавокъ къ этому станете почаще и пониже ему кланяться, то ужъ вѣрно съ нимъ поладите. Но ученый дуракъ... нѣтъ, отъ него вы такъ дешево не отдѣлаетесь!.. Что ему ваши поклоны! Онъ требуетъ, чтобъ ему не кланялись, а *поклонялись*, какъ воплощенной наукѣ. Глупецъ съ обширной памятью, которая дается иногда и пошлымъ дуракамъ, можетъ быть отличною справочною книгою, хронологическою таблицею, энциклопедическимъ словаремъ и даже ординарнымъ профессоромъ любого нѣмецкаго университета, но истинно ученымъ человѣкомъ никогда не будетъ, а онъ-то именно и думаетъ, что онъ свѣтильникъ между людьми. Конечно, дураки этого разряда попадаются не часто; но если судьба сведетъ васъ съ однимъ изъ этихъ господъ, то ужъ вы, конечно, не скажете, что въ здѣшнемъ мірѣ глупцы созданы для забавы умныхъ людей,—а развѣ съ душевнымъ убѣжденіемъ повторите прекрасный стихъ князя Шаховского:

„Нѣтъ, глупость не порокъ, а всѣ пороки въ ней".

* * *

Кто изъ пріѣзжающихъ въ Москву, а особливо въ первый разъ, не спѣшитъ побывать въ Кремлѣ, поклониться московскимъ угодникамъ, взглянуть на царскіе терема, Красное крыльцо и Грановитую палату! Если Москва можетъ назваться сердцемъ Россіи, то и Кремль заслуживаетъ это названіе, относительно самой Москвы. Обыкновенно пріѣзжіе начинаютъ или оканчиваютъ свою прогулку въ Кремль поклоненіемъ Иверской Божіей Матери, вокругъ часовни которой всегда толпится народъ. Въ самомъ Кремлѣ болѣе всего, разумѣется послѣ святыни, обращаетъ на себя вниманіе простолюдиновъ большой колоколъ и царь-пушка. Я думаю, нѣтъ такого отдаленнаго уголка въ Россіи, гдѣ не знали бы, хотя по разсказамъ, что въ Москвѣ есть колоколъ, которымъ можно, какъ шапкою, накрыть порядочную избу, и толстая пушка, которая такъ велика, что въ ней солдаты въ карты играютъ и что изъ нея никогда не стрѣляли: «затѣмъ, дескать, что если изъ нея выпалить, такъ Иванъ Великій покачнется и стѣна кремлевская треснетъ».

Вотъ, разсказываютъ, однажды ночью большой колоколъ, который стоитъ на своемъ каменномъ подножіи, подъ самыми колоколами Ивана Великаго, заговорилъ человѣческимъ голосомъ:

— Куда, подумаешь, — сказалъ онъ, — я великъ и славенъ! Кто на святой Руси не знаетъ большого московскаго колокола, въ которомъ двѣнадцать тысячъ пудъ вѣсу. Нельзя только мнѣ удали-то своей показать: замолчали бы у меня всѣ эти валдайскіе колокольчики, которые величаютъ себя колоколами! Поубавилъ бы я въ нихъ спеси, а то туда-жъ звонятъ себѣ, какъ будто путные—бубенчики этакіе!.. Эхъ, кабы воля да воля, рявкнулъ бы я такъ, что у меня бы вся бѣлокаменная ходуномъ заходила, а Москва-рѣка изъ береговъ выплеснулась! Да что и говорить: много въ Кремлѣ всякихъ колоколовъ и пушекъ, а кто мнѣ пара?.. Всѣхъ я и больше, и тяжелѣе!

— Полно, сосѣдушка! — заговорила царь-пушка, разинувъ свою огромную пасть.—Не одинъ ты великъ и тяжелъ: въ тебѣ двѣнадцать тысячъ пудъ вѣсу,—ну, что-жъ,—передъ тобою! Зато, любезный, ты съ изъянцемъ: у тебя край вышибленъ; а во мнѣ хоть только двѣ тысячи четыреста пудъ, да я цѣлехонька. А годами-то со мной ужъ и не считайся! Тебя вылили на бѣлый свѣтъ при Императрицѣ Аннѣ Ивановнѣ, а меня русскій литецъ Андрей Чоховъ отлилъ при Царѣ и Великомъ Князѣ Ѳеодорѣ Ивановичѣ,—такъ я, голубчикъ, въ бабушки тебѣ гожусь. Гнѣваешься ты, что надъ тобою звонятъ такіе мелкіе колоколишки... ну, что говорить—обидно! Да мнѣ-то развѣ легче? Посмотри, какую наклали подлѣ меня мелюзгу, взглянуть не на что, — пистолетишки карманные! А еще зовутъ ихъ пушками!.. Хороши пушки!.. Да что, изъ нихъ горохомъ что-ль стрѣляли... Эхъ, сосѣдушка, кабы тебѣ зазвонить, а мнѣ выпалить, такъ ужъ подлинно Москва бы ходуномъ пошла!

— Да что вы такъ расхвастались? — сказалъ прохожій, который подслушалъ разговоръ.—Ты, колоколъ, великъ, да что въ тебѣ толку? Ты, пушка, толста, да на что ты годна? Ты, колоколъ, честишь другіе колокола бубенчиками, — да они звонятъ, а въ тебя звонить нельзя. Ты, пушка, называешь другія пушки пистолетишками,—да изъ нихъ стрѣляли, а изъ тебя стрѣлять не можно. Такъ стойте-ка себѣ оба смирнехонько на своихъ мѣстахъ, да не больно чваньтесь. Пусть простой народъ на васъ зѣваетъ и дивуется вашей толстотѣ и дородству, — а вы себѣ знайте и вѣдайте, что въ людяхъ не тому почетъ, кто великъ тѣломъ, да малъ дѣломъ, дюжъ и дороденъ, да ни на что не пригоденъ,—а тому, кто и малъ, да удалъ, и хоть собой невзраченъ, да на все удаченъ. Малъ золотникъ да дорогъ, велика Ѳедора да дура.

* * *

Третьяго дня, гуляя на Тверскомъ бульварѣ, я присѣлъ отдохнуть на скамьѣ противъ самой бесѣдки. Подлѣ меня сидѣли два господина среднихъ лѣтъ, одинъ очень толстый, другой отмѣнно худощавый. Мое сосѣдство не помѣшало имъ продолжать нача-

тый разговоръ, который я передаю своимъ читателямъ во всей его первобытной простотѣ и безъ всякихъ прикрасъ и замѣчаній съ моей стороны.

— Такъ ты, Иванъ Алексѣевичъ, былъ вчера на этомъ аукціонѣ?—говорилъ толстый.

— Былъ, Андрей Степановичъ,—отвѣчалъ худощавый.

— Купилъ что-нибудь?

— Какъ же! Купилъ картину.

— Что, дорого заплатилъ?

— Триста-двадцать-пять рублей ассигнаціями. Славная картина; огромная, братецъ,— во весь простѣнокъ... Одна рамка этихъ денегъ стоитъ.

— А что она представляетъ?

— Да какъ бы тебѣ сказать? Какое-то народное сходбище, — фигуръ до тридцати будетъ. Особенно, братецъ, понравилась мнѣ одна фигура: откуда ни зайди, она все на тебя смотритъ,—удивительно.

— Такъ это, Иванъ Алексѣевичъ, долженъ быть какой-нибудь оригиналъ?

— Да, я думаю! Знаешь ли, замѣтна этакъ фламандская замашка.

— Ну, любезный, поздравляю! Я самъ сегодня на этомъ аукціонѣ разорился: накупилъ книгъ.

— Какихъ?

— Французскихъ, братецъ. Диковинный переплетъ! И все такого большого формата, съ золотымъ обрѣзомъ: есть и съ картинками. Прекрасныя книги, любо посмотрѣть, братецъ! А въ шкапу за стекломъ еще будетъ виднѣе!.. Однакожъ, пора обѣдать. Пойдемъ, Иванъ Алексѣевичъ!

Мои сосѣди встали и пошли скорыми шагами къ Никитскому бульвару.

* * *

Какъ прекрасенъ, какъ великолѣпенъ нашъ Кремль въ тихую лѣтнюю ночь, когда вечерняя заря тухнетъ на западѣ и ночная красавица, полная луна, выплывая изъ облаковъ, обливаетъ своимъ кроткимъ свѣтомъ и небеса, и всю землю! Если вы хотите провести нѣсколько минутъ истинно блаженныхъ, если хотите испытать этотъ неизъяснимо-сладостный покой души, который выше всѣхъ земныхъ наслажденій, ступайте въ лунную лѣтнюю ночь полюбоваться нашимъ Кремлемъ, сядьте на одну изъ скамеекъ тротуара, который идетъ по самой закраинѣ холма, забудьте на нѣсколько времени и шумный свѣтъ съ его безумiемъ, и всѣ ваши житейскія заботы и дѣла, и дайте хоть разъ вздохнуть свободно бѣдной душѣ вашей, измученной и усталой отъ всѣхъ земныхъ тревогъ... Поздно вечеромъ вы никого не встрѣтите въ Кремлѣ; часу въ одиннадцатомъ ночи въ немъ раздаются одни только рѣдкіе оклики и мѣрные шаги часовыхъ. *Внизу, подъ вашими ногами*, гремятъ проѣзжающія кареты, кричатъ извозчики, раздаются громкія рѣчи гуляющихъ по набережной; съ противоположнаго берега долетаютъ до васъ веселыя пѣсни фабричныхъ, и глухой, невнятный говоръ всего Замоскворѣчья какъ будто шепчетъ вамъ наухо о радостяхъ, забавахъ и суетѣ земной жизни. Но все это отъ васъ далеко, — вы выше всего этого. Вотъ набѣжали тучки, свѣтлый мѣсяцъ прикрылся облакомъ; внизу густая тѣнь легла на все Замоскворѣчье, потухли сверкающія волны рѣки и всѣ дома подернулись туманомъ. Но здѣсь, на кремлевскомъ холмѣ, облитыя свѣтомъ главы соборовъ блестятъ попрежнему и позлащенный крестъ Ивана Великаго горитъ яркою звѣздою въ вышинѣ. Поглядите вокругъ себя, какъ стройно и величаво подымаются передъ вами эти древніе соборы, въ которыхъ почиваютъ нетлѣнныя тѣла святыхъ угодниковъ московскихъ. О, какъ эта торжественная тишина, это безмолвіе, это чувство близкой святыни, эти изукрашенные терема Царей Русскихъ и въ двухъ шагахъ ихъ скромныя гробницы,—какъ это отрываетъ васъ отъ земли, тушитъ ваши страсти, умиляетъ сердце и наполняетъ его какимъ-то неизъяснимымъ спокойствіемъ и миромъ! Внизу все еще движенье и суета: люди или хлопочутъ о дѣлахъ своихъ, или помогаютъ другъ другу убивать время; а здѣсь все тихо, все спокойно и все такъ же живетъ, — но только другою жизнію. Эти высокія стѣны, древнія башни и царскіе терема не безмолвны, — они говорятъ вамъ о быломъ; они воскрешаютъ въ душѣ вашей память о вѣкахъ давно прошедшихъ. Здѣсь все напоминаетъ вамъ: и бѣдствія и славу вашихъ предковъ, ихъ страданія, ихъ частныя смуты и всегдашнюю вѣру въ Провидѣніе, которое, такъ быстро и такъ дивно возвеличивъ Россію, хранитъ ее, какъ избранное орудіе для совершенія неисповѣдимыхъ судебъ своихъ. Здѣсь вы окружены древнею русскою святынею, вы бесѣдуете съ нею о небесной вашей родинѣ. Какъ прилипшій прахъ, душа ваша отрясаетъ съ себя всѣ земные помыслы. Мысль о безконечномъ даетъ ей крылья и она возносится туда, гдѣ не станутъ уже дѣлить людей на поколѣнія и народы; гдѣ не будетъ уже ни вѣковъ, ни времени, ни плача, ни страданій... Испытайте это сами, придите въ Кремль попозже вечеромъ, и если вы еще не вовсе отвыкли бесѣдовать съ самимъ собою, если можете нѣсколько минутъ прожить безъ людей, то вы вѣрно скажете мнѣ спасибо за этотъ совѣтъ. Впрочемъ, во всякомъ случаѣ, вы не станете досадовать, если послушаетесь меня и побываете въ Кремлѣ, потому что онъ при лунномъ свѣтѣ такъ прекрасенъ, что вы должны непремѣнно это сдѣлать,—хотя изъ любви къ прекрасному.

* * *

Проходя Петровскою площадью, я иногда останавливаюсь и смотрю съ любопытствомъ на стаи воронъ, которыя безпрестанно вьются надъ кровлею Большого театра; меня очень забавляютъ ихъ усилія посидѣть на остроконечной верхушкѣ громового отвода. Онѣ дерутся межъ собою, кричатъ, суетятся, и если одной изъ воронъ, побойчѣе другихъ, удастся на нѣсколько секундъ удержать себя въ равновѣсіи, то другія бросаются на нее цѣлою гурьбою, бьютъ ее крыльями, щиплютъ и тотчасъ сгоняютъ. «Вотъ животное-то, какъ ни говорите, все глупѣе человѣка!» — думаю я всякій разъ, смотря на эти воздушныя побоища.—«Ну, что за охота этимъ глупымъ воронамъ хлопотать, мучиться, терпѣть побои, держаться одной ногой на острому безпокойномъ шпицѣ, и все это для того только, чтобъ просидѣть четверть минуты повыше другихъ!»

ВЫХОДЪ ВТОРОЙ.

I.

Петровскій паркъ и вокзалъ.

„По моему сужденью,
Пожаръ способствовалъ ей много къ украшенью".

Грибоѣдовъ.

Вѣроятно, эти два стиха изъ комедіи «Горе отъ ума» заставляли васъ всегда смѣяться; и я также, слушая ихъ, смѣюсь, а вѣдь, если разсудить хорошенько, такъ Сергѣй Сергѣевичъ Скалозубъ говоритъ совершенную правду. Конечно, пожаръ двѣнадцатаго года весьма способствовалъ къ украшенію Москвы. Постепенное улучшеніе, не допускающее никакихъ насильственныхъ мѣръ, требуетъ много времени; нельзя заставить хозяина какого-нибудь безобразнаго и уродливаго дома сломать его и построить новый; если же этотъ домъ сгорѣлъ, то правительство въ правѣ требовать, чтобъ при постройкѣ новаго дома соблюдены были всѣ необходимыя условія, если не изящной, то, по крайней мѣрѣ, правильной архитектуры. Но это еще одинъ домъ, а что будете вы дѣлать съ цѣлыми улицами, кривыми, тѣсными, въ которыхъ одинъ домъ стоитъ вкось, другой бокомъ, третій прячется назадъ, а четвертый выходитъ впередъ и захватываетъ половину улицы, и безъ того похожей на узкій переулокъ; тутъ ужъ горю пособить нечѣмъ. «Слѣдовательно»,—скажетъ какой-нибудь насмѣшникъ,—«мы должны радоваться, что въ двѣнадцатомъ году Москва почти вся сгорѣла».—Избави, Господи! Я говорю только, что она не была бы такъ хороша, если-бъ ее не нужно было всю вновь перестраивать. Какъ жаль, что сравненіе съ фениксомъ, который возрождается изъ своего пепла прекраснѣе, чѣмъ былъ прежде, такъ часто употреблялось не кстати и сдѣлалось до того пошлымъ, что почти совѣстно употребить его говоря о Москвѣ. А вѣдь трудно найти сравненіе, которое было бы во всѣхъ отношеніяхъ вѣрнѣе этого, — начиная даже съ того, что Москва превратилась въ пепелъ не случайно, не по волѣ врага, но по собственному своему желанію. Нельзя довольно надивиться, когда посмотришь, что сдѣлано для Москвы въ теченіе послѣднихъ двадцати пяти лѣтъ, подъ управленіемъ того, который, облеченный довѣренностію Русскаго Царя, такъ долго и съ такимъ постояннымъ рвеніемъ заботится объ ея благосостояніи. Не говоря уже объ огромномъ Петровскомъ театрѣ, о великолѣпной набережной по той сторонѣ рѣки, между Каменнымъ и Москворѣцкимъ мостами, о бульварахъ и о множествѣ другихъ улучшеній, имѣющихъ цѣлью одну красоту и великолѣпіе города,—сколько сдѣлано въ теченіе этихъ двадцати пяти лѣтъ для существенной пользы и блага московскихъ жителей! — Крутые спуски, отъ которыхъ ѣзда по Москвѣ не всегда была безопасною, вездѣ срыты, и грязные, заплывшіе тиною пруды превратились въ свѣтлые бассейны, обсаженные тѣнистыми липами. Придетъ ли кому въ голову, что этотъ широкій бульваръ на *Трубѣ*, со своими зелеными полянами и гладкими дорожками, былъ не такъ еще давно почти непроходимымъ и зловоннымъ болотомъ? Кто повѣритъ, что нѣсколько лѣтъ тому назадъ, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ теперь красивые сады опоясываютъ западную часть кремлевской стѣны, былъ безобразный ровъ, заваленный всякою отвратительною нечистотою? Любуясь изящною и легкою архитектурою Москворѣцкаго моста, вспомните, что недавно еще одинъ только Каменный мостъ соединялъ весною все Замоскворѣчье съ остальною частью города. Сколько разъ, бывало, проѣздомъ въ Троицкую лавру, останавливался я въ Большихъ Мытищахъ, для того только, чтобъ напиться знаменитой мытищинской воды, которая издавна славится своею свѣжестію, чистотою и чрезвычайно пріятнымъ вкусомъ, или, лучше сказать, совершеннымъ отсутствіемъ всякаго вкуса, — главнымъ достоинствомъ хорошей прѣсной воды. Какъ часто жалѣлъ я, что предположеніе императрицы Екатерины II-й не было исполнено, и что эта превосходная вода не проведена въ Москву. И вотъ уже нѣсколько лѣтъ, какъ она, въ самой срединѣ города, на всѣхъ площадяхъ, окружающихъ Кремль, бьетъ изъ водометовъ, украшенныхъ прелестными группами московскаго художника Витали. И вотъ ужъ мы почти забыли,

что это величайшее благодѣяніе, оказанное московскимъ жителямъ, принадлежитъ нашему времени. Пройдетъ еще нѣсколько лѣтъ, и намъ будетъ казаться, что это всегда такъ было, и даже—я увѣренъ въ этомъ—мы станемъ гнѣваться за то, что у насъ нѣтъ фонтановъ во всѣхъ частяхъ города. Ужъ, видно, человѣкъ такъ созданъ: съ улучшеніемъ его положенія всегда умножаются его требованія, и то, что вчера казалось ему благодѣяніемъ, становится завтра естественною обязанностію, за выполненіе которой онъ даже и благодарить не долженъ.

Созданіе Петровскаго парка принадлежитъ также нашему времени. Если вы, любезные читатели, не забыли мою прогулку въ Марьину рощу, то, вѣроятно, вспомните также, что я намѣренъ былъ проѣхать изъ нея въ паркъ, для того, чтобъ въ одинъ и тотъ же день взглянуть на два общества, совершенно различныя между собою. «Давно ли», — думалъ я, подъѣзжая къ этому любимому гулянью московской аристократіи, — «давно ли было здѣсь чистое поле, на которомъ не росло ни одного деревца, не красовалось ни одного домика: направо однообразное и безконечное Ходынское поле, налѣво продолженіе того же поля, песчаная земля, глиняныя копи, кой-гдѣ гряды съ тощей зеленью и нѣсколько лачужекъ, въ которыхъ жили огородники,—вотъ все, что представлялось вашимъ взорамъ, когда вы, миновавъ Петровскій дворецъ, прекрасное зданіе мавританской архитектуры, *передѣланной на европейскіе нравы,* продолжали ѣхать къ Тверской заставѣ». А теперь!.. Посмотрите, какимъ роскошнымъ ковромъ раскинулся этотъ веселый паркъ, какъ разбѣгаются во всѣ стороны его широкія, укатанныя дороги; съ какимъ изящнымъ вкусомъ разбросаны его рощи, опушенныя цвѣтами и благовоннымъ кустарникомъ; какой свѣжей и яркой зеленью покрыты его обширныя поляны; какъ милъ и живописенъ этотъ небольшой прудъ со своими покатыми берегами и прелестными мостиками! А это тройное шоссе съ двумя бульварами, обставленное съ обѣихъ сторонъ загородными домами, которые, начинаясь отъ заставы, тянутся до самаго парка; эти дачи, которыя обхватили такою разнообразною и красивою цѣпью строеній большую часть парка; эти чистые и веселые домики, которые столпились кругомъ дворца; этотъ игрушка—лѣтній театръ со своимъ греческимъ портикомъ и огромный вокзалъ со всѣми своими затѣями,— лѣтъ десять тому назадъ обо всемъ этомъ и рѣчи не было.

При самомъ въѣздѣ въ паркъ я долженъ былъ сойти съ дрожекъ, потому что мимо вокзала было каретное гулянье, въ которомъ смиренному экипажу въ одну лошадь не дозволяется участвовать. Я пошелъ пѣшкомъ по широкому *тротуару, минуты черезъ три* попалъ въ толпу гуляющихъ и, пройдя нѣсколько шаговъ, остановился, чтобъ взглянуть сначала на горы, а потомъ на круглыя и висячія качели и разныя другія дѣтскія забавы, которыя подъ-часъ забавляютъ и людей пожилыхъ. Я удостовѣрился въ этомъ, глядя на одного человѣка, лѣтъ тридцати. Куря весьма важно свою сигару, онъ сидѣлъ на деревянномъ конѣ, который то опускался, то подымался на своей гибкой перекладинѣ. Признаюсь, я почти позавидовалъ стоическому спокойствію и совершенному равнодушію, съ которымъ этотъ пожилой дитя поглядывалъ на толпу любопытныхъ зрителей, несмотря на то, что многіе изъ нихъ указывали на него пальцами и смѣялись. Миновавъ вокзалъ, огромное и красивое зданіе, — право, не знаю какой архитектуры,—я дошелъ до небольшой рощи, въ которой играла музыка. Вдоль по опушкѣ этой рощи, въ открытыхъ бесѣдкахъ, построенныхъ простыми навѣсами, сидѣли по большей части дамы, только уже вовсе не похожія на тѣхъ, которыхъ я видѣлъ въ Марьиной рощѣ. Я нашелъ въ одной изъ этихъ бесѣдокъ порожній стулъ, сѣлъ на него и очень обрадовался, когда узналъ въ моемъ сосѣдѣ, съ лѣвой стороны, того самаго словоохотливаго камергера, съ которымъ я провелъ вечеръ на балѣ у Андрея Николаевича Радушина. Мы тотчасъ возобновили наше знакомство.

— Странная вещь,—сказалъ камергеръ,— у меня было предчувствіе, что мы сегодня опять съ вами встрѣтимся,—точно предчувствіе! Мнѣ кажется, что всякій разъ, когда я бываю на балѣ, на гуляньѣ, въ театрѣ— однимъ словомъ, въ большомъ обществѣ, я непремѣнно долженъ съ вами сойтись. Не знаю, почему, но только мнѣ съ вами такъ ловко, такъ свободно, какъ будто бы мы вѣкъ прожили вмѣстѣ. Ужъ не двойники ли мы?

— А почему знать,—сказалъ я съ улыбкою, — можетъ-быть, я и въ самомъ дѣлѣ вашъ двойникъ.

— Надѣюсь, по крайней мѣрѣ, на сегодняшній вечеръ,—прервалъ камергеръ...—Вы будете въ вокзалѣ?

— Какъ же? Я для этого и пріѣхалъ... А скажите мнѣ, отчего здѣсь такъ много народу? Что, сегодня праздникъ что-ль какой?

— Нѣтъ, просто воскресенье и хорошая погода.

— И все, что мы видимъ, будетъ въ вокзалѣ?

— О, это другое дѣло! За гулянье не берутъ ничего, а за входъ въ вокзалъ платятъ деньги. Однако-жъ, я думаю, сегодня и въ вокзалѣ не все будетъ пусто.

Тутъ подошелъ къ моему пріятелю, человѣкъ небольшого роста, въ сюртукѣ на-распашку, въ легкомъ суконномъ каскетѣ и съ толстою палкою въ рукѣ. Если-бъ сосѣдъ мой не сказалъ мнѣ послѣ, что этому господину

безъ малаго семьдесятъ лѣтъ, то я никакъ бы не отгадалъ этого. Всѣ движенія его были такъ свободны и такъ быстры; его румяныя щеки, веселый взглядъ, ласковыя рѣчи и привѣтливая улыбка исполнены были такого юношескаго простодушія и жизни, что я невольно вспомнилъ про нѣкоторыхъ извѣстныхъ мнѣ двадцатилѣтнихъ философовъ и отчаянныхъ гегелистовъ, которые показались бы старыми передъ этимъ семидесятилѣтнимъ старикомъ.

— О, премудрые юноши,—подумалъ я,—что-то съ вами будетъ, когда вы доживете до этихъ лѣтъ? «Мы, дескать, всѣ *мыслители*,—мы всѣ идемъ за нашимъ вѣкомъ».—Нѣтъ, господа, вы только заѣдаете вашъ собственный вѣкъ. Ну, что за жизнь, въ которой нѣтъ ни весны, ни лѣта, а только одна осень, да зима? Кто говоритъ: хорошо и молодому человѣку отрѣшать себя отъ этихъ ничтожныхъ забавъ свѣта и суеты мірской,—да только не ради Гегеля.

— Ну, что, моя душа,—сказалъ этотъ любезный старикъ, пожимая дружески руку у моего сосѣда,—будешь въ вокзалѣ?

— Буду.

— Такъ пора; чрезъ полчаса зажгутъ фейерверкъ. Э, да это, кажется, княгиня Вѣра Андреевна!—продолжалъ онъ, взглянувъ на пожилую даму, которая сидѣла въ одной съ нами бесѣдкѣ.—Да, такъ точно!.. И съ обѣими дочерьми!.. О, да ихъ надобно непремѣнно завербовать. Безъ нихъ балъ-не-балъ!.. А вотъ и Матрена Дмитріевна съ племянницей... Какой у нихъ щегольской экипажъ!.. Пора въ вокзалъ. Матрена Дмитріевна!.. Вы будете... Да!.. А, князь Иванъ!.. Постойте-ка, батюшка, ваше сіятельство,—одно слово!.. А ты, мой другъ, отправляйся въ вокзалъ. Я сейчасъ буду!..

— Пойдемте,—сказалъ мнѣ камергеръ.

Мы встали.

— Вотъ истинно счастливая старость!—продолжалъ онъ, идя вмѣстѣ со мною къ воротамъ вокзала.—Сколько еще жизни въ этомъ семидесятилѣтнемъ старикѣ! И какъ полна была его жизнь!.. Попробуйте, заведите съ нимъ разговоръ о старинѣ, такъ онъ поразскажетъ вамъ о такихъ диковинкахъ, что вы заслушаетесь! Онъ служилъ при дворѣ во времена Екатерины, имѣлъ счастіе бесѣдовать съ Суворовымъ и представлялся Наполеону, когда еще онъ былъ только первымъ консуломъ. Кого онъ не зналъ, чего онъ не видалъ и чего не испыталъ, не исключая горя,—да еще какого!.. О, въ жизни его были тяжкія минуты; но природная веселость одолѣла все. Подлинно, если можно чему позавидовать, такъ это счастливому характеру человѣка, сохранившаго и подъ старость всю безпечную веселость юноши, который горюетъ и смѣется почти въ одно и то-же время.

У воротъ вокзала мы взяли билеты и, пройдя нѣсколько шаговъ дворомъ, подошли къ крыльцу, на которомъ стояли жандармы и полицейскій чиновникъ. Въ самомъ вокзалѣ почти никого еще не было.

Надобно сказать правду, трудно было бы придумать что-нибудь лучше и пріятнѣе этого сборнаго мѣста посѣтителей Петровскаго парка. Крытыя широкія террасы, прекрасныя галлереи, чистыя, красивыя комнаты и огромная зала въ два свѣта, истинно изящной архитектуры; совершенная свобода: всѣ мужчины въ сюртукахъ, всѣ дамы въ шляпкахъ; хорошій ужинъ, музыка для желающихъ танцовать, отличный хоръ цыганъ для тѣхъ, которые любятъ цыганскія пѣсни,—а этихъ любителей въ Москвѣ очень много; полковая музыка и фейерверкъ для всѣхъ. Однимъ словомъ, вокзалъ Петровскаго парка могъ бы стать на-ряду съ лучшими европейскими заведеніями въ этомъ родѣ, если бы у насъ было побольше хорошихъ лѣтнихъ дней и поменьше людей, для которыхъ за-моремъ все мило, а дома все не по-душѣ. Исполненіе перваго условія зависитъ не отъ насъ, хотя и въ Москвѣ иногда лѣто бываетъ прекрасное; что-жъ касается до второго условія, то, Богъ милостивъ, авось и оно когда-нибудь сдѣлается для насъ возможнымъ: вѣдь не вѣкъ же намъ оставаться дѣтьми, для которыхъ чужая игрушка всегда кажется лучше своей.

Черезъ полчаса собралось въ вокзалъ человѣкъ полтораста. Вотъ первая ракета зашипѣла, взвилась подъ облака и разсыпалась огненнымъ дождемъ надъ кровлею вокзала. Въ одну минуту опустѣли всѣ залы: боковыя террассы и средній балконъ покрылись зрителями. Я также, вмѣстѣ съ моимъ неразлучнымъ товарищемъ, вышелъ на балконъ. Огненная потѣха продолжалась минутъ десять и окончилась, какъ слѣдуетъ, павильономъ или букетомъ, то-есть полсотнею ракетъ и двумя бураками, которые взлетѣли въ одно время на воздухъ. Мы возвратились въ большую залу, прошли по ней раза два и, когда музыка заиграла вальсъ, присѣли въ уголку подлѣ двухъ дамъ. Ихъ лица показались мнѣ знакомыми; но еслибъ мой товарищъ не назвалъ этихъ дамъ по имени, то я не скоро бы отгадалъ, что имѣю честь сидѣть подлѣ двухъ артистокъ французской труппы. Онѣ разговаривали между собою довольно громко и, разумѣется, дѣло шло о притѣсненіяхъ и обидахъ, — обыкновенный разговоръ всѣхъ актрисъ, изъ которыхъ я еще не встрѣчалъ ни одной, которая не была бы чѣмъ-нибудь обижена или притѣснена. Въ особенности одна изъ этихъ артистокъ, женщина лѣтъ за сорокъ, горько жаловалась на несправедливость начальства, не дозволяющаго ей играть *мо-*

лодыхъ любовницъ и отдающаго эти роли дѣвчонкѣ неопытной, бездарной, которая нравится публикѣ только потому, что всѣмъ дѣлаетъ глазки и перемигивается съ креслами.

— Представьте себѣ,—говорила она, разумѣется, по-французски, — эта мерзкая интригантка, которой бы слѣдовало занимать въ нашей труппѣ мѣсто *утилите* или даже *аксессуара*, лѣзетъ въ первыя *амплуа* и хочетъ играть всѣ роли г-жи Алэнъ! Надобно же имѣть мѣдный лобъ!.. А какъ дерзка, какъ нагла! Третьяго-дня она до того кривлялась и кокетничала съ какимъ-то господиномъ, который сидѣлъ въ первомъ ряду креселъ, что забыла свою *реплику*,—начала врать вздоръ, сбила совершенно съ толку суфлера, да его же, бѣднаго, толкъ ногою въ самый носъ!

— Что вы говорите?

— Да, да! Этого никто не замѣтилъ, а я видѣла,—точно видѣла!

— Такъ что-жъ онъ не пожалуется?

— И, ma chère! Да какъ онъ смѣетъ? Вѣдь у нея такъ много протекторовъ! весь городъ и всѣ предмѣстья.

— Какъ вы злы, ma chère!

Сначала я слушалъ съ нѣкоторымъ любопытствомъ эту закулисную болтовню; но подъ конецъ мнѣ сдѣлалось скучно и я обратилъ все вниманіе на французскую кадриль, въ которой кавалеры танцовали въ шляпахъ, а дамы въ шляпкахъ, въ мантильяхъ и даже одна въ своемъ бурнусѣ. Глядя на кадриль, я невольно вспомнилъ, какъ отличался тому лѣтъ сорокъ назадъ въ этомъ классическомъ танцѣ, съ какою отчетливостію выдѣлывалъ свои *балансе*, *па де-коте и шасе ан-аванъ*, съ какой легкостію выполнялъ я этотъ блестящій *па де-пигодонъ*, доступный только для первыхъ учениковъ незабвенной памяти знаменитаго московскаго танцмейстера Миранвиля.

«И эти пѣшеходы», — подумалъ я, поправивъ съ гордостію мой галстухъ, — «воображаютъ, что они танцуютъ французскую кадриль!.. Нѣтъ, господа, мы не такъ ее танцовали въ старину!.. Что это такое?.. Дамы еще какъ будто бы дѣлаютъ какія-то па, а эти жалкіе кавалеры... да они просто ходятъ и даже не въ тактъ... И это называютъ танцами!..

Первая кадриль кончилась; вслѣдъ за нею составилась другая.

— Кто эта молодая дѣвица? — спросилъ я у моего товарища.—Вотъ, что танцуетъ противъ насъ... въ розовой газовой шляпкѣ съ бѣлыми цвѣтами?.. Какъ она хороша собою!

— Да, это правда! Только она не дѣвица.

— Неужели замужемъ?

— И ужъ давно, то-есть нѣсколько лѣтъ.

— Вотъ этого бы я никакъ не подумалъ. Какъ она граціозна!

— Да!

— Какая *плѣнительная улыбка!*

— Да!

— Я думаю, она должна быть очень любезна и мила?

— Да, говорятъ, что она любезна и мила.

— Говорятъ? Такъ вы съ нею не знакомы?

— Нѣтъ, знакомъ; да мнѣ безъ малаго пятьдесятъ лѣтъ, а эта дама разговариваетъ и даже кланяется только съ тѣми, которымъ не болѣе тридцати. Ужъ, видно, у нея такая привычка.

— Однако-жъ она разговариваетъ со своимъ кавалеромъ, а онъ, кажется, человѣкъ пожилой.

— Кто? Этотъ господинъ съ рыжеватой бородкой?.. О, это другое дѣло. Онъ одинъ изъ *московскихъ львовъ*, а эти господа пользуются всѣми правами молодыхъ людей; да и кому придетъ въ голову, что человѣкъ пожилой рѣшится носить бороду, одѣваться по модной картинкѣ и танцовать до-упаду?

— Понять не могу, какъ есть люди, которые, проживъ полвѣка...

— Дурачатся наравнѣ съ молодыми повѣсами?.. Да, это, конечно, странно, а особливо когда между ними встрѣчаются, хотя и очень рѣдко, однако-жъ все-таки встрѣчаются, люди весьма пеглупые. То-то и есть,—видно, умъ и благоразуміе не всегда уживаются вмѣстѣ.

— Полно, такъ-ли? — сказалъ я.—Англія наполнена чудаками, которыхъ странные поступки и нелѣпыя причуды, не доказываютъ большого благоразумія, а вѣдь, право, англичане люди вовсе не глупые и весьма благоразумно обработываютъ свои дѣла; а если надобно подняться на хитрости, такъ проведутъ хоть кого и за поясъ заткнутъ своихъ вѣтренныхъ сосѣдей, несмотря на все ихъ остроуміе.

— Объ англичанахъ не говорите! Ихъ странности имѣютъ своимъ основаніемъ совсѣмъ другую причину. Англичанинъ одѣнется какимъ-нибудь шутомъ, или станетъ поступать вопреки всѣмъ принятымъ обычаямъ вовсе не для того, чтобъ обратить на себя вниманіе, или отличиться чѣмъ-нибудь отъ другихъ: онъ это дѣлаетъ по гордости. У себя дома онъ еще соблюдаетъ нѣкоторыя приличія; но внѣ своего отечества англичанинъ ставитъ себя выше всякаго общаго мнѣнія: онъ дѣлаетъ все, что ему придетъ въ голову и, выполняя свои причуды, не заботится нимало, что скажетъ объ этомъ общество, котораго мнѣніемъ онъ вовсе не дорожитъ. Да вотъ, кстати,—посмотрите на этого господина, у котораго сюртукъ опускается до самыхъ пятокъ... ну, вотъ, что танцуетъ съ дамою въ лиловой шляпѣ. Онъ путешественникъ, англичанинъ и, могу васъ увѣрить, человѣкъ очень умный.

Я взглянулъ и онѣмѣлъ отъ удивленія. Представьте себѣ господина пожилыхъ лѣтъ, высокаго и худощаваго, въ долгополомъ неуклюжемъ сюртукѣ, въ башмакахъ и штиб-

летахъ; представьте себѣ на длинной, безконечной шеѣ угрюмое и блѣдное лицо, осѣненное огромнымъ носомъ; гладко выбритый подбородокъ, обхваченный снизу тонкой каймой рыжихъ волосъ, и пару сѣрыхъ оловянныхъ глазъ, изъ которыхъ въ правый воткнута черепаховая лорнетка. Представьте себѣ, что это святочное пугало не танцуетъ французской кадрили,—хотя и это было бы довольно забавно, — но работаетъ, какъ лошадь, коверкается, изгибается, прыгаетъ, переплетаетъ ноги и выдѣлываетъ ими такіе узоры, что глазамъ не вѣришь. Его дама закрываетъ платкомъ ротъ; всѣ вокругъ его смѣются вслухъ, хохочутъ ему въ глаза. Что жъ онъ— сердится?—нѣтъ. Самъ смѣется?—нѣтъ. Онъ продолжаетъ съ тѣмъ же самымъ важнымъ и неподвижнымъ лицомъ вырабатывать съ механическою точностію разные танцовальные сальтоморталы, одинъ другого вычурнѣе и глупѣе. Ну, точь-въ-точь огромная выпускная кукла, которая двигается и прыгаетъ до тѣхъ поръ, пока въ ней не сойдетъ пружина.

— И вы говорите,—сказалъ я камергеру,— что этотъ нарядный шутъ умный человѣкъ?

— И умный, и разсудительный, и очень просвѣщенный.

— Да помилуйте: станетъ ли умный человѣкъ выкидывать такія балаганныя штуки въ присутствіи цѣлаго общества?

— Но если онъ совершенно равнодушенъ и къ похваламъ, и къ насмѣшкамъ этого общества, такъ оно какъ будто бы для него не существуетъ.

— Какъ не существуетъ, когда онъ изъ кожи лѣзетъ, чтобъ позабавить всю честную компанію?

— Да онъ вовсе никого не забавляетъ,— и не думаетъ объ этомъ.

— Такъ изъ чего же онъ трудится?.. Зачѣмъ дѣлаетъ такіе удивительные скачки?..

— Зачѣмъ?.. Чтобъ вспотѣть хорошенько. Онъ говоритъ, что это необходимо для его здоровья.

Кадриль кончилась; англичанинъ обтеръ платкомъ лицо, кивнулъ головою дамѣ, запустилъ обѣ руки въ карманы своего сюртука и пошелъ, переваливаясь съ ноги-на ногу, въ ту сторону, гдѣ раздавались пѣсни цыганъ. Мы отправились вслѣдъ за нимъ. Въ концѣ длинной галлереи сидѣли полукружіемъ смуглыя пѣвицы, не слишкомъ красивыя собою, но всѣ съ блестящими черными глазами. Трудно было бы отгадать по ихъ платью, что онѣ цыганки; ихъ прежній нарядъ, съ перекинутымъ черезъ одно плечо платкомъ, былъ гораздо живописнѣе. Теперь онѣ, какъ двѣ капли воды, походятъ на горничныхъ дѣвокъ самаго низшаго разряда, которыя принарядились, чтобъ идти подъ качели. Позади ихъ стояли рослые цыгане въ купеческихъ кафтанахъ и сибиркахъ. Насупротивъ, *также полукругомъ, поставлены были* въ нѣсколько рядовъ стулья; на нихъ сидѣли по большей части дамы, а мужчины толпились кругомъ, ходили взадъ и впередъ, или сидѣли вдоль стѣнъ залы, на обитыхъ ситцемъ скамьяхъ.

Цыгане пѣли, довольно дурно, какую-то протяжную пѣсню въ три голоса.

— Вотъ это вовсе не по ихъ части!—сказалъ я камергеру. — Мнѣ не очень нравятся ихъ дикіе, неистовые вопли, ихъ бѣшеныя выходки и визготня, составляющія отличительный характеръ цыганскихъ пѣсенъ; но, по крайней мѣрѣ, въ этомъ музыкальномъ бѣснованіи есть что-то оригинальное, поражающее васъ своею новостію, страннымъ смѣшеніемъ разладицы съ согласіемъ, неожиданными переходами изъ одного мотива въ другой и какою-то жизнію,—безумною, это правда, но исполненною силы и движенія; а это вялое пѣніе, на-манеръ французскихъ романсовъ, приправленное какими-то глупыми, не кстати приткнутыми руладами, эти черствые, полуосипшіе голоса, которые прикидываются нѣжными, — все это, по-моему, чрезвычайно дурно и, признаюсь, я не могу надивиться терпѣнью нашихъ дамъ... Посмотрите, съ какимъ вниманіемъ слушаютъ онѣ это дурацкое мяуканье... Нѣтъ, нѣтъ,—вотъ, кажется, одна начинаетъ ужъ понемножку морщиться.

— Кто?.. Вотъ та, что сидитъ крайняя въ первомъ ряду?.. Да, я думаю, что ей тошно. Это одна изъ нашихъ московскихъ барышенъ-пѣвицъ, которая стала бы на ряду первыхъ европейскихъ артистокъ, если-бъ родилась не дворянкою. Теперь только одни избранные могутъ восхищаться ея плѣнительнымъ голосомъ и жалѣть, что случай и общественныя условія заключили въ такія границы огромный талантъ, для жизни котораго всегда необходимы просторъ и рукоплесканія очарованной толпы.

— А кто эта дама, что сидитъ подлѣ нея.

— А!—сказалъ съ улыбкою камергеръ.— Вы замѣтили?.. Неправда ли, что хороша?

— Удивительно!.. Ее можно бы назвать совершенною красавицею, еслибъ она была немножко потоньше...

— И очень любезною женщиною, еслибъ она не такъ занималась своею красотою, поменьше рисовалась и не думала, что эта красота даетъ ей право самовластно царствовать даже и надъ тѣми, которые почли бы за счастіе быть ея друзьями, но вовсе не имѣютъ желанія умножать собою число ея подданныхъ. Ей не мѣшало бы иногда подумать, что власть красоты есть самая ненадежная изъ всѣхъ властей и что поклонники ея точно такъ же, какъ и поклонники богатства, ужасные эгоисты: и тѣ и другіе любятъ не васъ, а ваше богатство или красоту. Первое еще можно сохранить до самой смерти, а вѣдь красота дѣло скоропреходящее... Да чтожъ это такое?—прибавилъ ка-

мергеръ. — Ужъ я никакъ началъ говорить поучительныя рѣчи?.. Послушаемте-ка лучше цыганъ; вотъ они собираются пѣть что-то хоромъ.

Одинъ изъ цыганъ, дѣтина средняго роста, въ обшитомъ позументами казакинѣ, вышелъ впередъ; онъ держалъ въ рукахъ гитару.

— Это вѣрно ихъ запѣвало? — спросилъ я.

— Да! Онъ старшій въ ихъ таборѣ.

— Однакожъ не лѣтами. Какой бравый дѣтина! Какъ онъ ловокъ, развязенъ; сколько огня во всѣхъ его движеніяхъ. Ну, подлинно молодецъ!

— А знаете ли, сколько лѣтъ этому молодцу?

— Подъ сорокъ...

— Давнымъ давно за шестьдесятъ.

Тутъ этотъ, почти семидесятилѣтній бандуристъ, ударилъ по струнамъ своей гитары. Глаза его засверкали; всѣ смуглыя пѣвицы встрепенулись; одна старая, толстая и безобразная цыганка завертѣлась какъ бѣснующаяся на своемъ стулѣ. Цыганъ махнулъ отрывисто правою рукою, и вотъ грянулъ хоръ и разразился какимъ-то ураганомъ оглушающихъ, дикихъ и въ то-же время гармоническихъ звуковъ. Подлѣ насъ стояли два француза. Они, казалось, были въ восторгѣ отъ этого бѣшенаго хора.

— Comme c'est échevelé!—шепталъ одинъ изъ нихъ.

— C'est ravissant!—восклицалъ другой.

— Да, да!—проговорилъ позади ихъ искаверканнымъ французскимъ языкомъ тотъ самый англичанинъ, который такъ усердно танцовалъ французскую кадриль. — Годъ-демъ! Какъ эти голоса напоминаютъ мнѣ вой моихъ охотничьихъ собакъ, когда ихъ запрутъ на псарню!

Вотъ мотивъ пѣсни измѣнился. Голоса стихли; тоненькое, едва слышное сопрано пропѣло нѣсколько тактовъ, — и вотъ снова грянулъ хоръ и тихій голосъ утонулъ въ этомъ приливѣ звуковъ, какъ одинокая капля... чуть было не сказалъ въ бурномъ морѣ; да, къ счастію, вспомнилъ, что въ прозѣ дозволяется быть поэтомъ только до нѣкоторой степени. Въ двухъ шагахъ отъ меня сидѣлъ около стѣны человѣкъ пожилыхъ лѣтъ; взглянувъ на него нечаянно, я замѣтилъ, что онъ необыкновенно блѣденъ; это заставило меня еще разъ оглянуться. Въ эту самую минуту цыгане, кончивъ свой хоръ, запѣли плясовую пѣсню. Вдругъ пожилой господинъ, на котораго я смотрѣлъ, покачнулся и грянулся объ-полъ. Вслѣдъ за этимъ раздались пронзительные крики. Жена и двѣ дочери этого несчастнаго бросились къ нему на-помощь. Все засуетилось, пришло въ движеніе. Толпа, окружавшая цыганъ, стѣснилась вокругъ умирающаго.

— *Доктора, скорѣй доктора! Ему...* надобно пустить кровь!.. — кричали со всѣхъ сторонъ.

Англичанинъ схватилъ его за руку, засучилъ рукавъ и вынулъ изъ кармана перочинный ножикъ.

— Позвольте, позвольте! — раздался громкій голосъ.

Толпа разступилась и одинъ изъ нашихъ извѣстныхъ московскихъ медиковъ подошелъ торопливо къ лежащему безъ чувствъ господину, взялъ его за пульсъ; потомъ приложилъ руку къ сердцу и, помолчавъ нѣсколько времени, сказалъ вполголоса.

— Онъ умеръ!

О, какимъ ужасомъ поразили эти слова толпу, за минуту до того веселую и безпечную!.. Какъ измѣнились всѣ лица, когда на этотъ пиръ, кипящій жизнію, пожаловала нежданная, непрошенная гостья, — гостья неминучая и дорогая, но которую мы такъ рѣдко встрѣчаемъ съ радостію и веселіемъ. Въ полминуты во всѣхъ освященныхъ залахъ вокзала не осталось никого, кромѣ нѣсколькихъ полицейскихъ чиновниковъ и отчаянной семьи умершаго. Я вышелъ вслѣдъ за другими, отыскалъ мою пролетку и отправился домой.

Не стану разсказывать вамъ, что думалъ я дорогою; кажется, было о чемъ поразмыслить и повторить не разъ такъ часто повторяемый нами вопросъ: «Ну, скажите, что такое жизнь человѣческая?»...

Думалъ ли этотъ отецъ семейства, отправляясь въ вокзалъ, что дни его сочтены и что онъ,—страшно подумать, — умретъ подъ цыганскую пѣсню!.. Боже мой, Боже мой, какъ ничтожна эта земная жизнь, которую мы цѣнимъ такъ дорого! Мы станемъ смѣяться надъ тѣмъ, кто будетъ украшать и отдѣлывать съ большимъ стараніемъ постоялый дворъ, на которомъ сбирается прожить нѣсколько часовъ,—а сами... Да что говорить объ этомъ!.. Кто изъ насъ не разыгрываетъ въ лицахъ русскую пословицу: «громъ не грянетъ, мужикъ не перекрестится». Утихнетъ гроза, взойдетъ солнышко, и мы, какъ ни въ чемъ не бывало, опять затянемъ гулевую пѣсню до новой грозы и новаго удара!..

Разсуждая такимъ образомъ, я вспомнилъ объ одномъ давно уже забытомъ посланіи, изъ котораго очень кстати пришли мнѣ на память слѣдующіе, весьма посредственные, но совершенно справедливые четыре стиха:

„Сегодня я здоровъ, а завтра билъ мой часъ,
И часто, можетъ-быть, забывъ, о, другъ мой милый
Что жизнь зависитъ не отъ насъ,
Мы *пляшемъ* на своей могилѣ".

II.

Городскіе слухи.

„C'est une des plus bizarres et des plus générales dispositions de l'esprit humain, que cette sorte d'inquiétude d'où nait le besoin d'apprendre et de répandre des nouvelles".

Jouy.

Въ числѣ русскихъ старинныхъ повѣрій есть одно весьма странное: нашъ простой народъ увѣренъ, что когда льютъ необыкновенной величины колоколъ и хотятъ, чтобъ эта работа шла успѣшно, то непремѣнно пускаютъ въ ходъ какую-нибудь ложь и стараются распространять ее въ народѣ. Если это подлинно справедливо, то врядъ ли гдѣ-нибудь льютъ такъ много колоколовъ, какъ въ нашей матушкѣ Москвѣ-бѣлокаменной. Говорятъ, въ древнія времена, аѳинскіе жители славились не столько своей любовью къ изящнымъ художествамъ и философіи, какъ своею постоянною страстію, или, лучше сказать, жадностію ко всѣмъ новостямъ, ложнымъ или справедливымъ—объ этомъ они не заботились; главное дѣло состояло въ томъ, чтобъ услышать самому, или пересказать другимъ что-нибудь новенькое. Мы, москвичи, въ этомъ случаѣ очень походимъ на аѳинянъ; разница только въ томъ, что они мѣнялись своими новостями на городской площади, а мы развозимъ ихъ изъ дома въ домъ. Самыя свѣжія извѣстія о производствахъ и наградахъ играютъ въ этихъ новостяхъ главную роль. Сколько на моемъ вѣку было пережаловано въ генералы людей, которые и до сихъ поръ еще полковники; сколько статскихъ совѣтниковъ, произведенныхъ въ дѣйствительные статскіе, которые умерли высокородными. Едва ли на небѣ есть столько звѣздъ, сколько ихъ роздано чиновникамъ, отъ которыхъ, вѣроятно, многіе и теперь еще ничего не носятъ по мундиру. Въ иной годъ эта городская молва очень щедра на чины, въ другой на ленты, а иногда съ необыкновеннымъ усердіемъ раздаютъ графскія достоинства. Вслѣдъ за этими *офиціальными* новостями занимаютъ первое мѣсто новости о необыкновенныхъ случаяхъ; къ этому разряду принадлежатъ: неожиданныя свадьбы, похищенія, самоубійства и затѣйливыя воровства, въ которыхъ воръ играетъ обыкновенно самую интересную роль и проводитъ отличнымъ образомъ полицію. Въ Москвѣ также нерѣдко умираютъ внезапной смертью люди, которые въ день своихъ похоронъ, то-есть на третій день послѣ смерти, преспокойно играютъ въ вистъ или танцуютъ на какомъ-нибудь балѣ. Иногда появляется около Москвы невиданный и неслыханный звѣрь, *который таскаетъ изъ стада быковъ* и глотаетъ людей цѣликомъ, какъ мухъ. Разумѣется, на повѣрку выходитъ, что этотъ допотопный звѣрь—простой волкъ, котораго впослѣдствіи какой-нибудь мужикъ убьетъ дубинкою; но многіе этому не вѣрятъ и шопотомъ толкуютъ межъ собой, что это долженъ быть упущенный изъ клѣтки тигръ или, по крайней мѣрѣ, необычайной величины гіена. Вообще новости, самыя интересныя и болѣе другихъ возбуждающія всеобщее участіе, бываютъ трагическаго и даже мелодраматическаго содержанія. Я замѣтилъ также, что почти всегда одно истинное происшествіе, но вовсе обычайное, порождаетъ нѣсколько ложныхъ, разумѣется, въ томъ же самомъ родѣ. Вотъ, не очень еще давно ревнивый мужъ, въ припадкѣ безумія, умертвилъ ужаснымъ образомъ свою жену и малолѣтняго сына и убилъ самого себя. Въ Москвѣ не перестали еще разговаривать объ этомъ происшествіи, какъ вдругъ разнесся слухъ, что одинъ молодой человѣкъ извѣстной фамиліи, который только-что женился и, разумѣется, по любви, зарѣзалъ свою жену и, вѣроятно, убилъ бы и ребенка, если-бъ у нихъ былъ ребенокъ. Эта новость, въ достовѣрности которой никто не сомнѣвался, взволновала всѣ умы; одни принялись позорить отца и мать убитой женщины за то, что они выдали свою дочь за такого безпутнаго мальчишку; другіе, защищая его, говорили, что онъ сдѣлалъ это изъ ревности и что имѣлъ полное право ревновать свою жену. «Вотъ,—толковали старушки,—поѣхалъ разбойникъ въ подмосковную провести на иностранный манеръ какой-то *медовый* мѣсяцъ. Вотъ тебѣ и медовый мѣсяцъ!»—Мнѣ разсказывали, что этотъ злодѣй-мужъ приказалъ несчастной женѣ своей, какъ обреченной на смерть жертвѣ, нарядиться въ ея подвѣнечное платье; мнѣ описывали, какъ она, умирая подъ ножомъ убійцы, молила о пощадѣ, клялась въ своей невинности; какъ онъ таскалъ ее за волосы, топталъ ногами и, наконецъ, медленно и съ ужаснымъ варварствомъ перерѣзалъ ей горло. Были и такіе разсказчики, которые могли описать вамъ съ необычайною точностію не только всѣ страданія этой бѣдной женщины, но даже форму и величину ножа, которымъ она была зарѣзана. И вдругъ, представьте себѣ удивленіе этихъ господъ,—и убійца-мужъ и зарѣзанная жена явились оба на одномъ большомъ балу и, какъ нарочно, протанцовали вмѣстѣ первую французскую кадриль.

Я долженъ предувѣдомить моихъ читателей, что сцены, которыя они прочтутъ въ этой главѣ, основаны вовсе не на выдумкѣ. Лѣтъ двѣнадцать или пятнадцать тому назадъ,—не помню хорошенько,—вся Москва толковала объ этой необычайной и ужасной смерти одного чиновнаго человѣка, который впослѣдствіи оказался не только живымъ, но даже совершенно здоровымъ.

(*Гостиная комната, убранная опрятно, но безъ роскоши. Надежда Васильевна Влонская, барыня лѣтъ тридцати пяти, въ щегольватомъ шелковомъ капотѣ, сидитъ передъ пяльцами и вышиваетъ по канвѣ. Супругъ ея, Дмитрій Кондратичъ Влонскій, мужчина лѣтъ за сорокъ, развалясь въ большихъ креслахъ, читаетъ «Московскія Вѣдомости». Въ одномъ углу, на низенькомъ столикѣ, Ванюша, сынъ ихъ, мальчикъ лѣтъ семи, строитъ карточный домикъ; подлѣ него стоитъ нянюшка, женщина среднихъ лѣтъ, въ ситцевомъ платьѣ и черномъ коленкоровомъ передникѣ*).

Ванюша. Няня, няня, посмотри-ка,—еще сверху домъ построилъ.

Влонскій. Полно шумѣть, Ванюша! Не даешь дѣломъ заняться. (*Читая газету*). Гмъ... Гмъ... Да!.. «Изъ С.-Петербурга: генералъ-маіоръ Крикуновскій... дѣйствительный статскій совѣтникъ Мигунковъ... Надворный совѣтникъ Свибловъ... отставной маіоръ... Нѣтъ!.. Что-жъ это мнѣ говорилъ Иванъ Ивановичъ Сицкій, что дядя его, Алексѣй Тихоновичъ Волоколамскій, долженъ пріѣхать изъ С.-Петербурга непремѣнно къ третьему числу... а вѣдь сегодня, кажется, пятое?

Влонская. И, Дмитрій Кондратичъ, охота тебѣ вѣрить этому хвастуну!.. Что скажетъ, то солжетъ!

Влонскій. Да изъ чего тутъ лгать?

Влонская. Да такъ,—чтобъ солгать.

Влонскій. Полно жена, Ужъ ты больно на него нападаешь! Я, право, не замѣтилъ, чтобъ онъ лгалъ. Онъ человѣкъ порядочный...

Влонская. Ну, такъ хвали, хвали его!.. Да, пожалуйста, при Глашенькѣ,—это будетъ еще умнѣе.

Влонскій. Помилуй, матушка! Неужели ты въ самомъ дѣлѣ думаешь?..

Влонская. Я ничего не думаю, я знаю только, что этотъ Иванъ Ивановичъ, у котораго всего-на-всего пятьдесятъ душъ крестьянъ, ухаживаетъ за нашей дочерью.

Влонскій. Да съ чего ты это взяла?.. Развѣ онъ дѣлалъ намъ предложеніе?

Влонская. Вотъ то-то и худо, мой другъ!.. Если-бъ онъ сдѣлалъ намъ предложеніе, такъ мы бы ему отказали, и тогда онъ поневолѣ пересталъ бы къ намъ ѣздить... Эхъ, Дмитрій Кондратичъ, добьешься ты чего-нибудь съ твоею деликатностію!.. Кабы ты послушался меня, да не велѣлъ бы его принимать!..

Влонскій. Воля твоя, мой другъ,—я не могу этого сдѣлать. Онъ человѣкъ такой вѣжливый, хорошій... Ну, за что я его обижу? Можетъ-быть, онъ и не думаетъ свататься за Глашеньку.

Влонская. Право?.. А что значатъ эти частыя посѣщенія?.. Что, онъ въ меня что-ль влюбленъ?.. Конечно, онъ ничего лишняго не можетъ *сказать Глашенькѣ: она* всегда со мною, но зато какъ онъ на нее смотритъ!.. Ну, вѣришь ли, иногда возьметъ такое зло, что такъ бы ему глаза и выцарапала?.. Наглецъ этакій!.. Ни стыда, ни совѣсти!.. Ужъ я ли, кажется, не обхожусь съ нимъ холодно, только-что не говорю: «да уймитесь, батюшка, къ намъ ѣздить!» Нѣтъ, сударь, лѣзетъ, какъ лѣзетъ въ глаза! Ну, нечего сказать, истинно у этого Ивана Ивановича мѣдный лобъ! (*Ванюша вслушивается въ слова своей матери и смотритъ на нее съ удивленіемъ*).

Влонскій. Да полно, правда ли, мой другъ, что онъ такъ бѣденъ.

Влонская. Ну, вотъ еще!.. А не самъ ли онъ намъ разсказывалъ, что ему досталось только пятьдесятъ душъ послѣ покойнаго отца, который,—не тѣмъ будь помянутъ,—пропилъ на шампанскомъ, да проѣздилъ на рысакахъ и свое и женино имѣнье?

Влонскій. А дядя-то его, Алексѣй Тихоновичъ Волоколамскій?..

Влонская. Что дядя!.. Конечно, онъ богатъ, у него три тысячи душъ, и если бы онъ прошлаго года не женился... то-есть не сошелъ съ ума...

Влонскій. А почему такъ?.. Онъ человѣкъ не старый; ему нѣтъ и пятидесяти... Впрочемъ, если онъ умретъ бездѣтнымъ...

Влонская. Да, дожидайся!.. И не увидишь, какъ съ полдюжины дѣтей будетъ... А нѣтъ, какъ все имѣнье укрѣпитъ молодой женѣ...

Влонскій. Правда, правда!.. Нѣтъ, ужъ тутъ бѣдному Сицкому дожидаться нечего. Однакожъ, неужели онъ его ничѣмъ не наградитъ?

Влонская. Можетъ-быть, отсыплетъ ему тысячъ десятокъ на свадьбу—вотъ и все!

Влонскій. Только-то?

Влонская. А ты думаешь больше? Нѣтъ, душенька, не такой онъ человѣкъ—не расшибется!

Влонскій. А вѣдь жаль! Иванъ Ивановичъ, право, хорошій малый и собою такой видный мужчина.

Влонская. Ну, ужъ хорошъ!.. Да что въ немъ хорошаго! Блѣдный, худой!.. Глаза не дурны — это правда.

Влонскій. Такъ, по-твоему, Иванъ Ивановичъ не хорошъ собою?

Влонская. Нѣтъ, не хорошъ!

Ванюша. Иванъ Ивановичъ, маманъ?.. Ахъ, нѣтъ, онъ хорошенькій!

Влонская. Полно врать!.. Ты говоришь это потому, что онъ тебя конфектами кормитъ.

Ванюша. Нѣтъ, маманъ! Онъ Глашеньку конфектами не кормитъ, а вѣдь и она также говоритъ, что онъ прехорошенькій.

Влонская. Ну, батюшка, слышишь?.. Вотъ твое деликатство!—«Какъ отказать отъ дому! За что разобидѣть человѣка!»

Влонскій. Да я тутъ еще большой бѣды не вижу.

Влонская. Не видишь?.. Дочь называетъ его хорошенькимъ?..

Влонскій. Ахъ, матушка, — да если онъ въ самомъ дѣлѣ хорошъ.

Влонскій. Охъ, ужъ эти отцы никогда ничего не видятъ! Да помилуй, Дмитрій Кондратичъ, если дѣвица называетъ мужчину хорошенькимъ, такъ этотъ мужчина ей нравится... Нѣтъ, надобно непремѣнно отдѣлаться отъ этого Ивана Ивановича! Какъ хочешь, батюшка, а я прикажу, чтобъ ему всякій разъ отказывали.

Влонскій. Да какъ же это можно, Надежда Васильевна? Вѣдь у насъ по вторникамъ дни.

Влонская. Что-жъ дѣлать!.. Для всѣхъ дома, а для него нѣтъ. Кто виноватъ?.. Кажется, онъ могъ бы давно догадаться по моему пріему, что его посѣщенія для насъ непріятны. Въ послѣдній разъ я съ нимъ двухъ словъ не сказала, а онъ какъ ни въ чемъ не бывало!.. Ужъ я тебѣ говорила, что у этого Ивана Ивановича мѣдный лобъ...

Ваня (*переставая строить карточный домикъ*). Няня, слышишь, что говоритъ маманъ? У Ивана Ивановича мѣдный лобъ.

Няня. Стройте, сударь, стройте!.. Не ваше дѣло.

Влонскій. Ну, какъ хочешь, мой другъ, а мнѣ, право, совѣстно... Кто и говоритъ, конечно, онъ не пара нашей дочери... да мнѣ все кажется, что ты изъ мухи слона дѣлаешь.

Влонская. Да ужъ позволь мнѣ этимъ распорядиться—сдѣлай милость!.. Ужъ вѣрно же я знаю лучше тебя, что такое дѣвушка осьмнадцати лѣтъ... Ты мужчина, ты судишь по себѣ... (*Входитъ слуга*). Что ты?

Слуга. Василій Игнатичъ.

Влонская. Бураковскій?.. Проси!.. Иль нѣтъ—постой! Зажги двѣ свѣчи,—вонъ, что стоятъ на столѣ... да приди поправить лампы. Какъ онѣ у тебя всегда скверно горятъ!..

Слуга. Масло, сударыня...

Влонская. Врешь, врешь!.. Дурно чистишь, лѣнтяй этакій!.. Ступай, проси! (*Слуга уходитъ*).

Влонскій. Да гдѣ Глашенька?

Влонская. У себя на верху. У нея такъ разболѣлись зубы, что она головы поднять не можетъ.

Василій Игнатичъ Бураковскій (*входитъ спѣшно въ комнату*). Здравствуйте, Надежда Васильевна!.. Дмитрій Кондратичъ!

Влонская (*привставая*). Здравствуйте, Василій Игнатичъ!

Влонскій. Милости просимъ!

Бураковскій (*садясь*). Слышали вы?..

Влонская. А что такое?

Бураковскій (*съ радостію*). Такъ вы не *слышали?*

Влонскій. Ровно ничего.

Бураковскій. Какое ужасное приключеніе...

Влонская. Что такое?..

Бураковскій. Страшно подумать!..

Влонская. Эхъ, да говорите!.. Истомили!

Бураковскій. Вы знаете, что Алексѣй Тихоновичъ Волоколамскій былъ со своей женой въ Петербургѣ и что онъ долженъ былъ на этихъ дняхъ возвратиться сюда въ Москву?

Влонская. Ну, да! Такъ что-жъ?..

Бураковскій. Нѣтъ, ужъ не воротится!

Влонскій. Что вы говорите?

Бураковскій. На четвертой станціи отъ Москвы, по петербургской дорогѣ...

Влонская. Онъ скоропостижно умеръ?

Бураковскій. Нѣтъ, хуже!

Влонскій. Какъ хуже?..

Бураковскій. Да, хуже!.. Его заѣли собаки.

Влонская. Какъ заѣли собаки?.. До смерти?

Бураковскій. До смерти.

Влонскій. Не можетъ быть!

Бураковскій. Какъ не можетъ быть—помилуйте!.. Я удивляюсь, что вы до сихъ поръ этого не знаете; со вчерашняго дня вся Москва кричитъ объ этомъ.

Влонскій. Да это ни съ чѣмъ несообразно,—живого человѣка заѣли собаки!.. Это неслыханная вещь!

Бураковскій. Однакожъ, къ несчастію совершенная правда. Вотъ какъ это случилось: Алексѣй Тихоновичъ,—какъ я уже вамъ докладывалъ, — на четвертой станціи отсюда остановился перемѣнить лошадей. Пока закладывали карету, ему вздумалось пройти пѣшкомъ по шоссе. Вотъ онъ сказалъ женѣ чтобъ она, когда будутъ готовы лошади, догоняла его на большой дорогѣ. Лошадей не скоро запрягли, прошло этакъ съ полчаса. Вотъ, наконецъ, Волоколамская отправилась проѣхали версту, двѣ,—глядятъ на большой дорогѣ цѣлая стая собакъ. Какъ сталъ экипажъ подъѣзжать, онѣ разбѣжались. Ямщикъ остановилъ карету. Волоколамская высунулась въ окно,—глядь—Боже мой!.. ея мужъ, растерзанный, окровавленный, лежитъ посреди дороги!.. Она вскрикнула—и покатилась... Люди бросились къ Алексѣю Тихоновичу, думали что онъ еще живъ... Нѣтъ, и признаковъ жизни не осталось! Горничныя дѣвушки засуетились около своей барыни: спирту, того другого,—не приходитъ въ чувства. Вернулись назадъ на станцію. На ту пору ѣхалъ изъ Клина городской лѣкарь,—и фамилію его сказывали—позабылъ!.. Онъ употреблялъ всѣ возможныя средства, всякія медицинскія пособія—все напрасно!.. И мужъ и жена...

Влонская. Какъ, и она умерла?

Бураковскій. Скончалась! Оно, впрочемъ

весьма и натурально: такое внезапное пораженіе, такая ужасная картина!.. Она же, говорятъ, была беременна...

Влонская. Ахъ, Боже мой, какое несчастіе!

Бураковскій. Да, необыкновенный случай.

Влонскій. Воля ваша, а мнѣ что-то не вѣрится.

Бураковскій. Поневолѣ повѣришь, Дмитрій Кондратичъ, когда есть человѣкъ пятьдесятъ очевидныхъ свидѣтелей.. Мало ли по петербургской дорогѣ проѣзжихъ? Вѣдь это случилось не въ сторонѣ гдѣ-нибудь, а на большой дорогѣ, на станціи, гдѣ всѣ останавливаются. Вотъ я сейчасъ былъ въ клубѣ,—только и разговоровъ, что объ этомъ. За полчаса до меня одинъ пріѣзжій изъ Петербурга разсказывалъ въ клубѣ всѣ подробности этого несчастнаго приключенія. Онъ былъ на самомъ мѣстѣ—видѣлъ покойниковъ. Ну, помилуйте, — что можетъ быть достовѣрнѣе этого?..

Влонская. Да не видали ли вы его племянника?

Бураковскій. Ивана Ивановича Сицкаго?.. Я къ нему заѣзжалъ.

Влонскій. Ну, что онъ?

Бураковскій. Его нѣтъ въ Москвѣ. У слуги не добился. Дворникъ мнѣ сказывалъ, что Иванъ Ивановичъ уѣхалъ на два дня къ кому-то въ подмосковную, и врядъ ли будетъ назадъ прежде завтрашняго утра. Вотъ, Надежда Васильевна, подлинно правду говорятъ: «несчастье одного составляетъ счастье другого». Хоть Иванъ Ивановичъ Сицкій поѣхалъ изъ Москвы бѣднымъ человѣкомъ, а воротится богачомъ.

Влонскій. Да что, онъ точно единственный наслѣдникъ?..

Бураковскій. А какъ же! Родной племянникъ по сестрѣ покойному Волоколамскому.

Влонская. Но, можетъ быть, найдутся и другіе наслѣдники.

Бураковскій. Да ихъ нѣтъ. Вотъ извольте видѣть: у Тихона Степановича Волоколамскаго было только двое дѣтей: Алексѣй Тихоновичъ и Марья Тихоновна. Марья Тихоновна вышла замужъ за Сицкаго. У нихъ былъ одинъ сынъ — вотъ этотъ самый Иванъ Ивановичъ Сицкій. Алексѣй Тихоновичъ скончался бездѣтенъ, такъ, разумѣется, его имѣнье должно перейти къ сыну родной сестры. Конечно, еслибъ онъ умеръ прежде своей жены и не такъ скоропостижно, то, вѣроятно, отказалъ бы ей все свое имѣнье; а теперь и седьмой-то части брать некому.

Влонская. Скажите пожалуйста! Такъ поэтому у Сицкаго три тысячи душъ?

Бураковскій. Не прогнѣвайтесь.

Влонская. Жаль, очень жаль Алексѣя Тихоновича! Погибнуть такой ужасной смертію!.. А признаюсь, я рада за Сицкаго: онъ прекрасный молодой человѣкъ!.. Подумаешь, какой неожиданный переходъ!..

Влонскій. Да, конечно! Если все это не сказки...

Влонская. Помилуй, Дмитрій Кондратичъ! Чего жъ еще тебѣ?... Очевидные свидѣтели...

Влонскій. Очевидные свидѣтели... Ну, разумѣется, это доказательство; да вѣдь вы, Василій Игнатичъ, не говорили сами лично съ очевиднымъ свидѣтелемъ?

Бураковскій. Не говорилъ; но мнѣ двадцать человѣкъ повторяли его слова. Впрочемъ, если хотите, я сейчасъ поскачу къ клубъ, узнаю, гдѣ живетъ этотъ пріѣзжій изъ Петербурга, отправлюсь къ нему, разспрошу обо всемъ и пріѣду вамъ сказать.

Влонскій. Вотъ это будетъ повѣрнѣе.

Бураковскій (*вставая*). Такъ до свиданья.

Влонскій. Смотрите же пріѣзжайте!

Бураковскій. Непремѣнно пріѣду (*уходитъ*).

Влонская (*помолчавъ нѣсколько времени*). Ну, мой другъ, каковъ женишокъ?.. Три тысячи душъ!..

Влонскій. А ты хотѣла ему отказать отъ дому.

Влонская. Да можно ли было предвидѣть...

Влонскій (*улыбаясь*). Впрочемъ, вѣдь онъ тебѣ не нравится.

Влонская. Эхъ, мой другъ,—да развѣ я могла говорить иначе? Мы за дочерью многаго дать не можемъ, такъ женихъ ли ей человѣкъ, у котораго всего-на-всего пятьдесятъ душъ крестьянъ? А вѣдь Глашенька къ нему неравнодушна. Ты этого не замѣчалъ, а я давно ужъ вижу. Ну, конечно, Сицкій прекрасный молодой человѣкъ, да намъ-то не слѣдовало этого говорить. Теперь дѣло другое,—три тысячи душъ, мой другъ, да еще какихъ!.. Одно рязанское имѣнье... вотъ то, что рядомъ съ нашей деревней...

Влонскій. Село Хотиловка?

Влонская. Ну, да! Семьсотъ душъ. Одно оно даетъ слишкомъ тридцать пять тысячъ въ годъ дохода.

Влонскій. Кто и говоритъ — барское состояніе!.. И если только эти слухи справедливы...

Влонская. А ты все еще не вѣришь?

Влонскій. Случай-то, матушка, очень странный; такой необычайный, невѣроятный...

Влонская. Да это-то самое и доказываетъ, мой другъ, что говорятъ правду. Ну, кому придетъ въ голову сказать, что живого человѣка съѣли собаки?

Влонскій. Да, конечно, это была бы такая нелѣпая ложь...

Влонская. Подумай хорошенько: еслибъ это была выдумка, такъ ужъ выдумали бы что-нибудь поумнѣе: лошади разбили, карета

опрокинулась, ударъ сдѣлался. А то разсуди самъ: съѣли собаки! И гдѣ же? На большой, проѣзжей дорогѣ!

Влонскій. Правда, правда! Точно, это никому и въ голову не придетъ!

Слуга (*растворяя дверь*). Иванъ Ивановичъ Сицкій.

Влонская. Сицкій?.. Такъ онъ пріѣхалъ?.. Проси!.. Смотри, Дмитрій Кондратичъ, мы ничего не знаемъ.

Влонскій. Какъ ничего?

Влонская. Ну, да! Можетъ быть и онъ еще ничего не знаетъ.

Влонскій. Да зачѣмъ же намъ объ этомъ секретничать.

Влонская. Ахъ, какой ты безтолковый! Зачѣмъ, зачѣмъ! Да развѣ я такъ его приму, какъ принимала прежде! Чтожъ ты хочешь, чтобъ онъ подумалъ, что мы изъ интересу...

Влонскій. Охъ, жена, смотри, не перехитри!..

Влонская. Да ужъ не безпокойся!.. Тс!.. Идетъ!.. (*Встаетъ и дѣлаетъ нѣсколько шаговъ навстрѣчу Сицкому*)). А, Иванъ Ивановичъ! Какой пріятный сюрпризъ.

Влонскій. Намъ сказали, что васъ въ Москвѣ нѣтъ.

Сицкій. Сію минуту пріѣхалъ.

Влонская. Прошу покорно садиться! (*Сажаетъ его рядомъ съ собою на канапе. Влонскій садится подлѣ жены въ креслахъ*).

Влонскій. Такъ вы еще нигдѣ не были?

Сицкій. Нигдѣ. Я только-что успѣлъ сбросить съ себя дорожное платье — и ѣду теперь къ дядюшкѣ.

Влонскій. Къ Алексѣю Тихоновичу?.. А онъ ужъ пріѣхалъ изъ Петербурга?

Сицкій. Долженъ, кажется, пріѣхать.

Влонскій. Такъ вы не знаете... (*Влонская толкаетъ мужа локтемъ*).

Сицкій. А что?..

Влонскій. Такъ, ничего. Я хотѣлъ только спросить васъ, не знаете ли вы, пріѣхалъ онъ или нѣтъ?

Сицкій. Право не знаю. Дома у меня никого не оставалось. Я сейчасъ только пріѣхалъ, ни съ кѣмъ не встрѣчался и къ вамъ завернулъ потому, что не хотѣлъ проѣхать мимо, не узнавъ о вашемъ здоровьѣ.

Влонская. Какъ вы добры, Иванъ Ивановичъ!.. Впрочемъ, я васъ за это не благодарю: вы должны любить насъ, потому что мы сами любимъ васъ, какъ родного сына.

Сицкій. Какъ, Надежда Васильевна?.. Неужели въ самомъ дѣлѣ я такъ счастливъ... Ахъ, Боже мой!.. А я полагалъ...

Влонская. Что я васъ не люблю?.. Ну, такъ!.. Я вижу, по-вашему тѣ только насъ и любятъ, которые къ намъ ласковы?.. Да вотъ я, напримѣръ, готова за мою Глашеньку въ могилу лечь, а приласкать ее не могу: такой ужъ у меня характеръ.

Влонскій. Да, да, у нея такой характеръ. Я даже замѣтилъ, что она чѣмъ больше кого любитъ, тѣмъ холоднѣе съ нимъ обходится. А вѣдь это, мой другъ, не хорошо; воля твоя, не хорошо!

Влонская. И сама знаю, да что будешь дѣлать?. Видно ужъ такъ создана.

Влонскій. Нѣтъ, Иванъ Ивановичъ, напрасно вы это думали. Мы всѣ васъ любимъ; да вотъ даже Ванюша,—вы не повѣрите, какъ онъ къ вамъ привязанъ... Ваня, Ваня, чтожъ ты не подойдешь къ Ивану Ивановичу? (*Ваня подходитъ*).

Сицкій (*сажаетъ его къ себѣ на колѣни и ласкаетъ*). Здравствуй, миленькій!.. Здоровъ ли ты? (*Ваня щупаетъ у него лобъ*).

Влонскій. Ваня, что ты это?.. Шалишь!

Ваня. Маманъ, чтожъ ты говорила, что у Ивана Ивановича мѣдный лобъ. У него такой же, какъ у меня.

Сицкій (*съ удивленіемъ*). Какъ мѣдный лобъ?.. Что это онъ говоритъ?

Влонская. Ахъ, скверный мальчишка!.. Ну, скажите пожалуйста!.. Хорошо, что это съ вами!.. Пошелъ вонъ, негодный!.. Няня, отведи его на антресоли!

Ваня (*начинаетъ ревѣть*). Маманъ, да чтожъ я такое сдѣлалъ?

Влонская. Пошелъ, пошелъ!

Влонскій. Веди, Авдотья, веди!.. Дуракъ этакій! (*Ваню уводятъ*).

Влонская. Ну, вотъ говори при дѣтяхъ!.. Представьте себѣ: мы сейчасъ, передъ вашимъ пріѣздомъ, разговаривали про Ивана Ивановича Котомкина. Вы, я думаю, его знаете?.. Несносное созданіе: ни стыда, ни совѣсти!.. Я, между прочимъ, сказала, что у этого Ивана Ивановича мѣдный лобъ; онъ вслушался—и вотъ изволите видѣть!.. Ну, если бы онъ это Котомкину сказалъ, вѣдь съ ногъ бы насъ срѣзалъ!..

Влонскій. Бѣда съ этими дѣтьми!

Влонская. И, мой другъ, что это за бѣда! Вотъ горе и бѣда, если дѣтей нѣтъ.

Влонскій. Да, конечно! Не приведи Господи состарѣться одному.

Влонская. Признаюсь, я не могу видѣть безъ грусти стараго холостяка. Ну, что за жизнь?.. Въ настоящемъ скука, въ будущемъ никакой надежды!.. Мы какъ будто оживаемъ въ нашихъ дѣтяхъ, а онъ что?

Влонскій. Безплодная смоковница, сирота!

Влонская. Законъ бы надобно выдать, чтобъ всѣ молодые люди женились не позже тридцати лѣтъ.

Влонскій. А вамъ сколько лѣтъ, Иванъ Ивановичъ?

Сицкій. Двадцать-девять.

Влонская. Такъ вы бы подъ этотъ законъ подошли.

Сицкій. Да всегда ли это отъ насъ зависитъ, Надежда Васильевна? Та, которая за меня бы пошла, мнѣ не нравится; а ту, на

которой бы я хотѣлъ жениться, за меня не выдадутъ.

Влонскій. Почему-жъ вы это думаете?

Сицкій. Я бѣденъ.

Влонская. Нѣтъ, Иванъ Ивановичъ, вы богаты.

Сицкій. Помилуйте, у меня всего пятьдесятъ душъ!

Влонская. Да зато ваша-то собственная стоитъ тысячи.

Сицкій. Не всѣ такъ думаютъ, Надежда Васильевна.

Влонскій. По крайней мѣрѣ, мы съ женою такъ думаемъ.

Влонская. Разумѣется! Да вотъ, еслибъ за нашу Глашеньку посватался человѣкъ безъ всякаго состоянія, но честный, умный, благородный...

Сицкій (*съ живостію*). Такъ вы бы не стали надъ нимъ смѣяться?

Влонская. Смѣяться?.. Да развѣ предложеніе благороднаго человѣка, какъ бы онъ бѣденъ ни былъ, не дѣлаетъ чести родителямъ и дѣвицѣ, за которую онъ сватается?.. Нѣтъ, Иванъ Ивановичъ! Придись нашей Глашенькѣ по-сердцу человѣкъ добрый и съ умомъ, такъ мы на состояніе не посмотримъ. Я первая обѣими руками благословлю.

Влонскій. Почему-жъ и нѣтъ. Богатство дѣло наживное, а умъ и доброе сердце никто еще не наживалъ.

Влонская. Конечно, конечно! И если вы, Иванъ Ивановичъ, имѣете виды на какую-нибудь дѣвицу... А?.. Покраснѣли!.. Вотъ что!.. Такъ влюблены?..

Сицкій. Ахъ, Надежда Васильевна! До безумія!

Влонскій. Право?.. Такъ за чѣмъ же дѣло стало—посватайтесь.

Сицкій. Но я не смѣю и надѣяться...

Влонская. И, полноте, Иванъ Ивановичъ! Вы слишкомъ ужъ скромны... Послушайте: хотите ли, я за это возьмусь?.. Если люди знакомые, я завтра же къ нимъ поѣду; если незнакомые, такъ познакомлюсь.

Влонскій. Въ самомъ дѣлѣ, мой другъ! У Ивана Ивановича нѣтъ ни отца, ни матери...

Сицкій (*съ большимъ смущеніемъ*). Ахъ, Надежда Васильевна!.. Я никогда бы не осмѣлился... Но вы ко мнѣ такъ милостивы!.. Ваши слова... ваше почти родственное участіе...

Влонская. И, полноте, Иванъ Ивановичъ!.. Скажите только, куда мнѣ ѣхать?..

Влонскій. Да, да, скажите только намъ, кто эта дѣвица и отъ кого зависитъ...

Сицкій. Вы хотите знать, отъ кого это зависитъ?.. Это зависитъ единственно отъ васъ.

Влонская. Какъ отъ насъ?

Сицкій. Да, Надежда Васильевна,—моя участь въ вашихъ рукахъ.

Влонская. Ахъ, Боже мой! Такъ вы влюблены...

Сицкій. Въ Глафиру Дмитріевну.

Влонскій. Въ дочь нашу?..

Сицкій. О, повѣрьте мнѣ... я никогда бъ не рѣшился, еслибъ вы сами!.. Ахъ, Надежда Васильевна, скажите, скажите!.. Могу ли я надѣяться?..

Влонская. Извините, Иванъ Ивановичъ!.. Это такъ внезапно... такъ неожиданно... Мы очень васъ любимъ, уважаемъ... но, разсудите сами: рѣшиться вдругъ, не подумавши, на такое важное дѣло...

Влонскій. Дайте намъ хотя нѣсколько опомниться.

Влонская. Конечно, ваше предложеніе дѣлаетъ намъ честь: вы такой достойный молодой человѣкъ, что всякое семейство почтетъ за счастіе съ вами породниться...

Сицкій. Итакъ, я могу надѣяться?..

Влонскій. Иванъ Ивановичъ, я вамъ скажу прямо: мы всѣ васъ любимъ и вовсе не прочь отъ этого; но прежде всего намъ должно поговорить съ дочерью.

Сицкій. О, разумѣется!.. Но если только вы согласны...

Влонская. Такъ Глашенька противиться не станетъ, я это вижу по всему... Охъ, эти молодые люди!.. Ужъ я ли, кажется, съ дочери глазъ не спускала!..

Влонскій. Да, усмотришь за ними!.. И то сказать: чему быть, тому не миновать... Послушай, мой другъ, ну, что его томить: если въ самомъ дѣлѣ Глашенька согласна...

Влонская. Ахъ, Дмитрій Кондратичъ, да развѣ легко разставаться съ дочерью!.. Замужество... о, это ужасная вещь!.. Это такой шагъ!..

Сицкій. Повѣрьте, она будетъ счастлива!

Влонская. Такъ, Иванъ Ивановичъ, такъ!.. Но вѣдь сердце-то матери!.. (*Утираетъ платкомъ глаза*). Конечно, на все воля Божія!.. И если вы пришли по-сердцу нашей дочери...

Сицкій. Такъ вы согласны?.. (*Цѣлуетъ руку у Влонской*). Ахъ, Надежда Васильевна, я не нахожу словъ... я такъ счастливъ!..

Влонскій. Судьба-то, судьба, подумаешь!.. Могло ли намъ прійти въ голову, что сегодня...

Влонская. Ну, повѣрите ли, я и теперь еще не могу образумиться... Мнѣ все кажется, что это сонъ!..

Влонскій. Надежда Васильевна, да ужъ не позвать ли намъ сюда Глашеньку?..

Влонская (*съ живостью*). Нѣтъ, мой другъ, нѣтъ!.. Она цѣлыя сутки промучилась зубами и только теперь заснула.

Сицкій. Такъ, Бога ради, не безпокойте ее! А позвольте мнѣ, Надежда Васильевна, съѣздить къ дядюшкѣ. Онъ, вѣрно, ужъ пріѣхалъ. Я хочу, чтобъ онъ первый узналъ о моемъ счастіи.

Влонскій. Въ самомъ дѣлѣ... Ступайте, Иванъ Ивановичъ, ступайте!

Сицкій. Я только объявлю ему о моемъ благополучіи и тотчасъ возвращусь.

Влонская. Да, да, Иванъ Ивановичъ, пріѣзжайте скорѣе (*Сицкій цѣлуетъ руку у Влонской и уходитъ поспѣшно*).

Влонскій. Ну, вотъ, Надежда Васильевна, какъ все это хорошо обдѣлалось.

Влонская. Ну да, конечно... Но только ты очень скоръ, мой другъ.

Влонскій. Я?

Влонская. Да, ты! Къ чему эта поспѣшность?.. Можно было принять благосклонно его предложеніе, не сказать ему ни да, ни нѣтъ. А ты, мой другъ, тотчасъ!.. И Глашеньку хотѣлъ еще позвать...

Влонскій. Такъ чтожъ?

Влонская. Какъ что? А если Волоколамскій живъ?..

Влонскій (*испугавшись*). Живъ?.. Такъ ты думаешь, что это ложный слухъ?..

Влонская. Нѣтъ, я этого не думаю: слишкомъ много доказательствъ... Но благоразумный человѣкъ долженъ быть всегда остороженъ... Конечно, и теперь мы зашли такъ далеко, что трудно уже воротиться... По крайней мѣрѣ, Глашенька ничего не знаетъ, такъ мы все еще, хоть какъ-нибудь, а можемъ отдѣлаться... Но еслибъ мы ихъ свели вмѣстѣ, да сдѣлали формальную помолвку...

Влонскій. Да, это правда!.. Эхъ, поторопились мы!.. Что если въ самомъ дѣлѣ...

Влонская. Нѣтъ, быть не можетъ, мой другъ!.. Конечно, Бураковскій болтушка, любитъ развозить вѣсти; однакожъ, онъ не лгунъ и самъ ничего не выдумаетъ. Нѣтъ, на этотъ счетъ я совершенно спокойна.

Слуга (*растворивъ дверь*). Княгиня Варвара Кирилловна съ сестрицею.

Влонская. Проси!!.. Вотъ кстати!.. Она знаетъ всѣ московскія новости и вѣрно разскажетъ намъ объ этомъ подробнѣе и лучше Бураковскаго. (*Входитъ княгиня Варвара Кирилловна и княжна Ольга Кирилловна. Первая — женщина лѣтъ пятидесяти, не слишкомъ красивой наружности, толста, съ широкимъ раздутымъ лицомъ и отвислымъ подбородкомъ. Вторая—лѣтъ сорока, одѣта съ большими претензіями, высокаго роста, съ блѣднымъ лицомъ, краснымъ носомъ и томными глазами*).

Влонская (*идя къ нимъ навстрѣчу*). Ахъ, княгиня, здравствуйте!.. Княжна!.. (*Цѣлуются. Влонскій раскланивается*).

Княгиня. Ну, Надежда Васильевна, какъ я устала!

Влонская. А вы откуда?

Княгиня. Охъ, матушка!.. Дѣлала визиты. Сейчасъ съ Басманной!

Княжна. Ахъ, ma sœur, какая Басманная! Мы были за Разгуляемъ!

Влонская. Скажите пожалуйста! Да вѣдь это верстъ восемь! (*Садятся*).

Княгиня. Что, Надежда Васильевна, слышали ли вы?

Влонская. А что такое?

Княгиня. Вотъ, матушка, исторія-то!

Влонскій. Какой-нибудь вздоръ. Вѣдь у насъ въ Москвѣ безпрестанно сочиняютъ.

Княгиня. Нѣтъ, сударь, не вздоръ! Алексѣя Тихоновича Волоколамскаго на большой петербургской дорогѣ съѣли собаки.

Влонская. Помилуйте! Какъ съѣли собаки? Можетъ ли это быть?!

Княгиня. Видно можетъ, когда съѣли.

Влонскій. Развѣ искусали?

Княгиня. Съѣли, батюшка, съѣли!

Княжна. То-есть до смерти заѣли.

Влонская. Неужели въ самомъ дѣлѣ?.. Я что-то слышала, да такъ мимо ушей и пропустила. Думаю: не можетъ быть,—это кто-нибудь сочинилъ, а Москва и рада—подхватила, да и ну трезвонить въ колокола!

Княгиня. Нѣтъ, Надежда Васильевна, истинная правда; и слѣдствіе уже наряжено. Мнѣ называли по именамъ чиновниковъ, которыхъ послали на эту станцію: Ивана Яковлевича Сальянова—вотъ, что служитъ въ канцеляріи генералъ-губернатора, да какого-то частнаго пристава.—фамилію забыла.

Влонскій. Ахъ, Боже мой! Такъ это въ самомъ дѣлѣ справедливо?

Влонская. Да вѣдь съ нимъ, кажется, была жена?

Княгиня. Какъ же! Говорятъ, бѣдная не могла вынести этого удара...

Влонская. Неужели умерла?

Княгиня. Умерла.

Влонскій. Вотъ истинно трагическое приключеніе!

Княжна. О, не говорите!.. Ужасно!.. Боже мой, какая смерть!..

Влонская. Не знаете ли, кто первый привезъ объ этомъ извѣстіе въ Москву?

Княжна. Одни говорятъ — графъ Петръ Сергѣевичъ Сборскій, другіе — Ѳедоръ Николаевичъ Башлыковъ...

Княжна. Нѣтъ, ma soeur. Я слышала, что объ этомъ отправленъ былъ эстафетъ къ главнокомандующему. А такъ какъ онъ получилъ его въ пріемный день, такъ вовсе неудивительно, что вся Москва узнала...

Княгиня. Нѣтъ, ma chère! Первое извѣстіе получено отъ пріѣзжихъ. Я это навѣрно знаю. Да, впрочемъ, отъ кого бы ни получено, а только это правда. Вотъ, Надежда Васильевна, до чего мы дожили: на большихъ дорогахъ ѣдятъ живыхъ людей собаки! Видно, хороша земская полиція!..

Влонская. Ну, я думаю, исправнику за это достанется.

Княгиня. И, матушка! оправдается какъ-нибудь!.. Да что и говорить, все такъ распущено, что я удивляюсь, какъ до сихъ поръ волки не бѣгаютъ по московскимъ улицамъ, какъ насъ не грабятъ въ полдень на Красной площади.

Влонскій. Конечно, княгиня, это весьма

несчастный случай; но, вѣдь, всего и правительство предвидѣть не можетъ.

Княгиня. Должно, сударь, должно все предвидѣть! На то оно правительство... Нѣтъ, въ старину не такъ бывало!.. Когда покойный мой батюшка, князь Кириллъ Андреевичъ, былъ губернаторомъ, то у него дѣла шли другимъ образомъ. Случилось однажды, что какая-то дворняжка загрызла матушкину болонку, такъ онъ приказалъ и цѣпныхъ-то собакъ перебить во всемъ городѣ. (*Входитъ Мардарій Степановичъ Шараповъ — небольтого роста, пожилой человѣкъ съ рябымъ широкимъ лицомъ, въ зеленыхъ очкахъ и во фракѣ стариковскаго покроя*).

Влонскій. А, Мардарій Степановичъ!.. Здравствуйте!

Шараповъ. Какъ ваше здоровье?.. Надежда Васильевна!.. Ваше сіятельство! (*Раскланивается*).

Влонская. Прошу покорно садиться.

Шараповъ (*садясь*). Какъ я входилъ, мнѣ послышалось, что вы изволите говорить о собакахъ. Вѣрно, у васъ шла рѣчь объ этомъ удивительномъ происшествіи?..

Княгиня. Да, мы говорили о смерти Алексѣя Тихоновича.

Шараповъ. Чудный случай!.. Живого и здороваго человѣка заѣли собачонки!.. Вотъ если бы, я вамъ доложу, хоть у меня медѣлянскія собаки, такъ это другое дѣло: быка растянутъ; а то, помилуйте, дворняжки!

Влонскій. Ну, каковы дворняжки.

Шараповъ. Да вѣдь, я вамъ доложу, не то, что заѣли, а растерзали на части.

Княгиня. Какъ на части?

Шараповъ. Да-съ! Мнѣ это разсказывалъ вѣрный человѣкъ. Я вамъ доложу, такая жалость, что и сказать нельзя! Гдѣ рука, гдѣ нога...

Княгиня. Ахъ, ужасъ какой... Что-жъ, собрали какъ-нибудь?

Шараповъ. Да-съ, кой-какъ. А головы-то не нашли.

Княгиня. Что вы говорите?

Шараповъ. Истинно такъ! Приказано искать по всему уѣзду. Да-съ, ужасное происшествіе, ужасное! Говорятъ, высшее начальство очень горячо за это взялось!.. Я вамъ доложу, исправникъ человѣкъ мнѣ знакомый. Жаль мнѣ его, очень жаль! Погибъ!

Княгиня. Туда ему и дорога!

Шараповъ. Конечно, оплошность!.. А истинно жаль! Человѣкъ небогатый, жена, дѣти... Вѣдь, ужъ Алексѣя Тихоновича не воскресишь.

Княгиня. Ахъ, батюшка, такъ и смотрѣть сквозь пальцы? Сегодня собаки заѣли его, а завтра заѣдятъ меня!.. Покорнѣйше благодарю!

Влонская. Что слышно объ его женѣ?..

Шараповъ. Говорятъ, что она отъ испуга умерла. *Обоихъ вмѣстѣ хоронили.*

Княгиня. Бѣдный, бѣдный Алексѣй Тихоновичъ!.. Подумаешь, какая смерть!.. А пожилъ бы еще!.. Вѣдь, онъ былъ человѣкъ не старый.

Шараповъ. Да-съ! Ему было этакъ подъ шестьдесятъ.

Княгиня. Что вы, что вы!.. Много-много пятьдесятъ-два. Да онъ еще былъ молодецъ... Какъ теперь смотрю на него!.. (*Двери отворяются*). Господи!.. Что это?.. (*Входятъ Алексѣй Тихоновичъ Волоколамскій и Сицкій. Всѣ вскакиваютъ*).

Влонская. (*съ ужасомъ*). Алексѣй Тихоновичъ!..

Волоколамскій. (*улыбаясь*). Да, это я.

Княгиня. Вы живы, здоровы?..

Волоколамскій. Слава Богу!

Княгиня. Скажите пожалуйста?.. Что-жъ это вся Москва говорила...

Волоколамскій. Что меня заѣли собаки?

Княгиня. Такъ это выдумка?

Волоколамскій. Не совсѣмъ. Я точно, на четвертой станціи отсюда, пошелъ одинъ пѣшкомъ по шоссе, на меня точно напали собаки и точно загрызли до смерти, но только не меня, а моего пуделя.

Княгиня. Такъ изъ этого-то сочинили... Ну, ужъ нечего сказать, — ай, да матушка Москва!

Влонская. (*тихо мужу*). Ну, вотъ... что мы надѣлали!

Влонскій. (*также тихо*). Да ужъ молчи!— (*Громко*). Ну, слава Богу!.. А мы было такъ перепугались!.. Да что-жъ мы стоимъ?.. Прошу покорно (*Садятся*).

Волоколамскій. Я ѣхалъ къ вамъ, Надежда Васильевна, и повстрѣчался съ племянникомъ... Ну, что, здоровы ли вы?.. (*Влонская молчитъ*). Да вы что-то очень разстроены?

Влонская. Ахъ, Боже мой!.. Да какъ же не быть разстроенной, когда...

Волоколамскій. Такъ и вы также повѣрили?..

Влонская. Охъ, не говорите!.. Я и теперь еще не могу опомниться... И что за глупость на меня напала?.. Повѣрить такому вздору!..

Княгиня. Да, признаюсь!.. Нельзя надивиться, какъ могъ нелѣпый слухъ распространиться по всей Москвѣ?

Влонская. (*съ жаромъ*). И, помилуйте, княгиня, чему тутъ дивиться, когда есть люди, которые всю жизнь свою проводятъ въ томъ, что развозятъ по городу всякія глупыя новости; скачутъ отъ одного конца Москвы до другого для того только, чтобъ пересказать какой-нибудь вздоръ, перемутить, перетревожить, и для чего? Спросите!

Княжна (*тихо княгинѣ*). Ma soeur, да ужъ это, кажется, на нашъ счетъ?..

Княгиня. Что вы, что вы, Надежда Васильевна?.. Да развѣ всякій не воленъ разсказывать, что слышитъ?

Влонская. Я не о васъ говорю, княгиня, а объ этихъ вѣстовщикахъ, которые, по мнѣ, хуже всякой язвы и чумы, которые или переносятъ чужое лганье изъ дома въ домъ, или сами сочиняютъ, но только ужъ не могутъ жить безъ того, чтобъ не плести и не распускать всякіе нелѣпые слухи...

Княгиня (*вспыльчиво*). Да что вы, въ самомъ дѣлѣ, такъ разгнѣвались, Надежда Васильевна?

Влонская. Я говорю не на вашъ счетъ, княгиня! А есть люди, которыхъ бы надобно именнымъ указомъ засадить дома, чтобъ они не таскались по Москвѣ, да не развозили дурацкія вѣсти, въ которыхъ нѣтъ ни на волосъ здраваго смысла. Не мѣшало бы также пугнуть ихъ порядкомъ за то, что они лгутъ на правительство, выдумываютъ какія-то небывалыя слѣдствія...

Княгиня (*вставая*). О, это уже слишкомъ!.. Это личности!.. Поѣдемъ, ma soeur! (*Всѣ встаютъ*).

Влонская. Вы напрасно это берете на свой счетъ, княгиня. Я говорю вообще.

Княгиня. Нѣтъ, ужъ извините!..

Влонская. Впрочемъ, какъ угодно. Я не смѣю васъ удерживать.

Княгиня (*своей сестрѣ*). Partons, ma chère, partons! (*Уходятъ*).

Шараповъ. Я вамъ доложу, Надежда Васильевна, вы напрасно изволите гнѣваться.

Влонская. Хороши и вы, сударь.—«Отъ вѣрнаго человѣка слышалъ — растерзали на части! Головы не найдутъ»!.. Ну, не стыдно ли въ ваши лѣта?

Шараповъ. Позвольте, позвольте!.. Я вамъ доложу, я тутъ ни въ чемъ не виноватъ... Вся Москва говорила.

Влонская. Москва говорила!.. А кто это Москва... Это вы... вы сами сочинили!

Шараповъ. Кто? Я-съ?.. Да я вамъ доложу, что я отъ роду моего не сочинялъ.

Влонская. Вы?.. Да вы только этимъ и занимаетесь!

Шараповъ. Нѣтъ-съ, извините,—у меня есть и другія занятія.

Влонскій. Надежда Васильевна!..

Влонская. Ахъ, мой другъ!.. Да, что-жъ, въ самомъ дѣлѣ?.. Насъ огорчили, перепугали, а ты прикажешь за это благодарить?.. Я васъ прошу, Мардарій Степановичъ, и прошу серьезно, не пріѣзжать къ намъ впередъ съ такими новостями.

Шараповъ (*обидясь*). Какъ вамъ угодно-съ! Какъ вамъ угодно-съ!..

Влонскій. И, полноте, Мардарій Степановичъ!

Шараповъ. Да помилуйте! Что я, безсловесный что ль какой? Самъ слышишь, а другимъ не смѣй пересказывать.

Влонская. Никто васъ объ этомъ не проситъ.

Шараповъ. Какъ вамъ угодно-съ!.. Прощайте, Дмитрій Кондратичъ!.. Признаюсь, я никакъ не ожидалъ такихъ непріятностей!.. Никакъ не ожидалъ! (*Уходитъ*).

Волоколамскій. Что это, въ самомъ дѣлѣ, Надежда Васильевна, вы такъ разгнѣвались?.. Я этому смѣюсь, смѣйтесь и вы.

Влонская. Признаюсь, для меня очень странно, Алексѣй Тихоновичъ, что когда ваши друзья принимаютъ къ сердцу...

Волоколамскій. И, Надежда Васильевна! Да вѣдь, не смотря на это вранье, я живъ и здоровъ, жена моя также...

Влонская. Вамъ, конечно, это ничего. Васъ не могли увѣрить, что вы умерли; но я желала бы, чтобъ вы были на нашемъ мѣстѣ...

Волоколамскій. О, я никогда не сомнѣвался въ вашей дружбѣ! Я увѣренъ, вы очень испугались и огорчились; да вѣдь, слава Богу, все это вздоръ, такъ о чемъ же и говорить?.. Поговоримте-ка лучше о другомъ. Племянникъ объявилъ мнѣ, что вы приняли благосклонно его предложеніе...

Влонская. Да-съ!.. Иванъ Ивановичъ сдѣлалъ намъ честь... Мы, конечно, отдаемъ всю полную справедливость достоинствамъ Ивана Ивановича... Но вы сами знаете, Алексѣй Тихоновичъ, что это не такое дѣло, чтобъ можно было его кончить въ двухъ словахъ... Во-первыхъ, для этого необходимо согласіе нашей дочери...

Волоколамскій (*улыбаясь*). Да если вѣрить словамъ племянника, такъ, кажется, съ этой стороны большихъ затрудненій не будетъ.

Влонская (*вспыхнувъ*). А развѣ Иванъ Ивановичъ позволилъ себѣ сказать, что Глашенька къ нему неравнодушна?..

Волоколамскій. О, нѣтъ!.. Онъ думаетъ только... надѣется...

Влонская. Надежда насъ часто обманываетъ, Алексѣй Тихоновичъ!..

Сицкій (*тихо дядѣ*). Боже мой!.. Что-жъ это?

Волоколамскій (*также тихо*). Успокойся!.. (*Громко*). Конечно, ваша Глафира Дмитріевна такая милая, такая достойная дѣвица... Я не спорю, она имѣетъ полное право быть разборчивой невѣстой. Но я скажу при моемъ племянникѣ, что и онъ также отличный молодой человѣкъ, и хоть у него только семьсотъ душъ...

Влонскій и Влонская. Семьсотъ душъ!..

Волоколамскій. Да! Я продалъ ему мое рязанское имѣнье. Вотъ и купчая.

Сицкій. Ахъ, дядюшка!

Волоколамскій. И, полно, мой другъ, не благодари! (*Улыбаясь*). Я и такъ отнялъ у тебя слишкомъ двѣ тысячи душъ...

Сицкій. Можете ли вы думать, дядюшка!..

Волоколамскій. Нѣтъ, мой другъ, не думаю! (*Обнимаетъ его*).

Влонскій. Рязанское имѣнье?.. Такъ это Хотиловка?..

Волоколамскій. Ну, да! Онъ теперь нашъ сосѣдъ, и если Глафира Дмитріевна...

Влонская. Да, это рѣшительно отъ нея зависитъ. (*Въ сторону*). У!.. Слава Богу, полегче!..

Влонскій. Что-жъ касается до насъ...(*Глядитъ на свою жену*).

Влонская. Такъ я и мужъ мой — мы оба согласны... Ужъ одно то, что мы породнимся съ вами, Алексѣй Тихоновичъ...

Волоколамскій. Все это прекрасно, да если Глафира Дмитріевна.

Влонскій. Ахъ, Алексѣй Тихоновичъ, что вы слушаете жены?.. Вѣдь, эти барыни всегда такъ: надобно поломаться, потомить... А я такъ вамъ скажу напрямки...

Влонская. Дмитрій Кондратичъ!..

Влонскій. Да полно, матушка, что тутъ хитрить!.. Алексѣй Тихоновичъ, мы согласны и Глашенька будетъ согласна.

Волоколамскій. Такъ за чѣмъ же дѣло стало? Попросите Глафиру Дмитріевну сюда.

Влонская. А вотъ, позвольте... я сама... Надобно ее немного приготовить... Вы, мужчины, этого не понимаете: это такая страшная минута для дѣвицы... даже и тогда, когда она любитъ...

Влонскій. Ступай же, мой другъ! (*Влонская уходитъ*).

Волоколамскій. Ну, что, племянникъ?

Сицкій. Ахъ, дядюшка!

Волоколамскій. А что, сердце бьется?

Влонскій. Да ужъ, вѣрно, не отъ страха!.. Охъ, вы, молодые люди!.. И какъ успѣютъ все спроворить!..

Волоколамскій. Да такъ же, какъ мы въ старину проворили, Дмитрій Кондратичъ!

Влонскій. Правда, правда!..

Волоколамскій. Извините!.. Мнѣ нужно сказать слова два племяннику...

Влонскій. Сдѣлайте милость!.. (*Волоколамскій и Сицкій подходятъ къ окну и говорятъ межъ собою вполголоса, а Влонскій садится подлъ канапе: въ эту самую минуту двери растворяются и вбѣгаетъ Бураковскій.*

Бураковскій (*не замѣчая Волоколамскаго и Сицкаго*). Все узналъ, Дмитрій Кондратичъ!.. Все узналъ!.. Я отыскалъ этого пріѣзжаго изъ Петербурга, разспросилъ его, — все точно такъ. Алексѣя Тихоновича заѣли собаки, жена его умерла отъ испуга. Объ этомъ посланъ курьеръ въ Петербургъ, наряжено слѣдствіе...

Влонскій (*вставая*). Полно, такъ ли, Василій Игнатичъ?

Бураковскій. Помилуйте! Да ужъ это не пересказы какіе-нибудь — очевидный свидѣтель!.. При немъ хоронили и мужа и жену,—онъ былъ въ церкви, когда ихъ отпѣвали.

Волоколамскій (*подходя къ Бураковскому*). И очень усердно молился, — я самъ это видѣлъ.

Бураковскій (*съ ужасомъ*). Господи!.. Что это?.. Алексѣй Тихоновичъ! Это вы?..

Волоколамскій. Я.

Бураковскій. Вы живы?

Влонскій. А вотъ, какъ видите: живъ и здоровъ.

Волоколамскій (*улыбаясь*). А впредь уповаю на власть Божію.

Бураковскій. Что-жъ это такое?.. Да какъ же можно этакъ лгать и съ такими подробностями?

Волоколамскій. Въ нихъ-то, Василій Игнатичъ, вся и сила. Что-жъ это за лгунъ, который просто уморитъ живого человѣка, а не разскажетъ вамъ, какъ онъ умиралъ, что говорилъ передъ смертію, сколько было духовенства на его похоронахъ и въ какой именно церкви его отпѣвали? Да это, батюшка, не лгунъ, а лгунишка, самый пошлый, обыкновенный прозаистъ, а вы, видно, попали на поэта.

Бураковскій. Такъ это все выдумки?.. Ну, слава Богу!

Волоколамскій. Вы большой охотникъ до новостей, Василій Игнатичъ, такъ я васъ потѣшу, скажу вамъ такую новость, о которой вы можете смѣло всѣмъ разсказывать. Сейчасъ будетъ помолвка племянника моего Сицкаго съ Глафирою Дмитріевной.

Бураковскій. Что вы говорите?.. Какъ я радъ!.. Честь имѣю поздравить!

Горничная дѣвушка (*растворивъ двери*). Барыня приказала васъ просить къ себѣ въ диванную.

Бураковскій. Теперь вамъ, Дмитрій Кондратичъ, не до гостей. Итакъ, прощайте,—я ѣду...

Волоколамскій. И, вѣрно, домой?

Бураковскій. Нѣтъ. Надобно кой-куда заѣхать... Честь имѣю кланяться! (*Уходитъ*).

Влонскій. Что вы это надѣлали!..

Волоколамскій А что?

Влонскій. Да, вѣдь, это все равно, что объявить на площади...

Волоколамскій. Тѣмъ лучше! Не нужно будетъ карточекъ посылать... Пойдемъ. (*Уходятъ*).

III.

Англійскій клубъ.

„Ну, что, вашъ батюшка? Все англійскаго клоба
Старинный, вѣрный членъ до гроба?“

Грибоѣдовъ.

Въ Москвѣ четыре клуба: Англійскій, Дворянскій, Купеческій и Нѣмецкій. Довольно замѣчательно, что ни одинъ изъ этихъ клубовъ не оправдываетъ вполнѣ своего названія. Въ Дворянскомъ клубѣ многіе изъ чле-

новъ не дворяне, въ Купеческомъ не всѣ купцы, въ Нѣмецкомъ большая часть русскіе, въ Англійскомъ едва ли наберется человѣкъ десять англичанъ. Англійскій клубъ первый по старшинству своего основанія, рѣшительно также первый и во всѣхъ другихъ отношеніяхъ—это неоспоримая и ничѣмъ неопровержимая истина; противъ этой истины не осмѣлятся возстать даже и тѣ безсрочные кандидаты, которые, провисѣвъ на стѣнкѣ лѣтъ пятнадцать и не видя конца своему искусу, рѣшились завести свой собственный клубъ и назвать его Дворянскимъ. Попасть въ члены Англійскаго клуба довольно трудно; число членовъ, ограниченное уставомъ, почти впятеро менѣе числа кандидатовъ, изъ которыхъ многіе, какъ я уже имѣлъ честь докладывать, ждутъ лѣтъ по пятнадцати своей очереди. Не подумайте, однако-жъ, чтобъ эта трудность побѣждалась однимъ терпѣніемъ. О, нѣтъ!.. Дождавшійся своей очереди кандидатъ баллотируется, и если не будетъ избранъ, то долженъ навсегда отказаться отъ чести быть членомъ Англійскаго клуба, потому что вторичная баллотировка воспрещается уставомъ. Для многихъ этотъ день, страха и тревожныхъ ожиданій, остается на всю жизнь днемъ достопамятнымъ и незабвеннымъ. Я знаю одного члена, и надобно сказать, что онъ вовсе не одинъ въ своемъ родѣ, который раздѣляетъ свою жизнь на четыре главныя эпохи: рожденіе, производство въ первый офицерскій чинъ, женитьбу и поступленіе въ члены Англійскаго клуба. Чему же дивиться, что одинъ изъ этихъ господъ, въ минуту восторга, захотѣлъ сдѣлать всю Москву участницею своей радости и напечаталъ на визитныхъ карточкахъ: «Андрей Андреевичъ Мухоморовъ, членъ Англійскаго клуба». Говорятъ, будто бы какой-то насмѣшникъ прибавилъ: «и разныхъ другихъ ученыхъ обществъ». Но я рѣшительно этому не вѣрю,—это сказка. Каждый изъ членовъ Англійскаго клуба имѣетъ право записывать гостемъ всякаго иногороднаго и даже московскаго жителя, если только онъ не служитъ и не имѣетъ собственнаго дома; но этимъ правомъ должны пользоваться съ большою осторожностію. Вашъ гость можетъ требовать все, что ему угодно: кушать устрицы, разварныхъ стерлядей, пить шампанское и сверхъ того проиграть нѣсколько тысячъ рублей, не заплатя за все это ни копейки; отъ него ничего не потребуютъ, ему даже не намекнутъ, что въ Англійскомъ клубѣ ѣдятъ и пьютъ за деньги, а на мѣлокъ никогда не играютъ; онъ, какъ гость, не обязанъ этого знать: за все будетъ отвѣчать тотъ членъ, которымъ онъ записанъ. Если вы, опасаясь бѣды, не станете сами никого записывать, то васъ будутъ просить объ этомъ другіе, потому что каждый членъ имѣетъ право записать одного *только посѣтителя. Разумѣется,* въ этомъ случаѣ вашъ отказъ будетъ оскорбителенъ; это все равно, если-бъ вы сказали, что не полагаетесь на честь того, который проситъ васъ объ этомъ. Опытные члены изобрѣли весьма хорошее средство отстранять и это неудобство: они постоянно записываютъ въ книгу посѣтителей—разумѣется, по очереди,—имена двухъ или трехъ пріятелей, которые или вовсе не бываютъ въ клубѣ, или бываютъ очень рѣдко; ихъ личная безопасность ограждена и въ то же время они могутъ всегда отвѣчать, съ приличной вѣжливостію: «Ахъ, извините!.. Мнѣ очень жаль, но я ужъ записалъ одного изъ моихъ знакомыхъ».

Московскій Англійскій клубъ открытъ въ 1802 году на Петровкѣ, въ бывшемъ домѣ князя Гагарина; въ этомъ домѣ помѣщается теперь новая Екатерининская больница. Я былъ въ то время однимъ изъ самыхъ ревностныхъ членовъ клуба; но въ 1812 году, вступая снова въ службу, не возобновилъ моего билета и съ тѣхъ поръ ни разу не былъ въ клубѣ. Я зналъ только по разсказамъ, что онъ съ Петровки перешелъ на Дмитровку въ домъ Муравьева, а потомъ на Тверскую, въ великолѣпныя палаты графа Разумовскаго. Старики бываютъ иногда такъ же причудливы, какъ прекрасныя женщины и избалованы, какъ дѣти. Слишкомъ тридцать лѣтъ не думалъ я о клубѣ, и вдругъ, недѣли двѣ тому назадъ, пришла мнѣ смертная охота возобновить мой билетъ и снова начать ѣздить въ клубъ. Въ то время, какъ я придумывалъ, какъ бы поскорѣе приступить къ этому важному дѣлу, заѣхалъ ко мнѣ Захаръ Ивановичъ Илецкій, старый холостякъ, который лѣтъ сорокъ тому назадъ былъ блестящимъ молодымъ человѣкомъ, *царемъ паркета*, украшеніемъ московскихъ баловъ, любимцемъ всѣхъ женщинъ и предметомъ зависти всѣхъ мужчинъ. Преданіе гласитъ, что онъ, точно, былъ нѣкогда московскимъ ловеласомъ и что по милости его безчисленное множество влюбленныхъ дѣвицъ сошло съ ума, зачахло и умерло отъ любви, отчаянія, чахотки, воспаленія въ мозгу и разныхъ другихъ тѣлесныхъ и душевныхъ болѣзней. Разумѣется, Захаръ Ивановичъ, живя одними воспоминаніями, не могъ любить настоящаго времени; да и какъ любить его?.. Въ старину Захаръ Ивановичъ былъ молодъ и здоровъ; въ старину всѣ веселились,—то-есть онъ веселился; а теперь всѣ скучаютъ,—то-есть ему скучно. Бывало, ему не достаетъ времени на удовольствія, а теперь онъ не знаетъ, куда съ нимъ дѣваться. На балахъ онъ лишняя мебель, на званые обѣды докторъ запрещаетъ ѣздить; всѣ молодыя дамы смотрятъ на него такъ смѣло, всѣ мужья съ нимъ такъ ласковы!.. Тоска, да и только!.. Захаръ Ивановичъ Илецкій попалъ въ члены Англійскаго клуба въ тотъ самый годъ, когда пересталъ танцовать и получилъ отказъ

отъ третьей невѣсты, за которую сватался; ему было тогда ровно пятьдесятъ-пять лѣтъ. Теперь онъ рѣшительно покинулъ свѣтъ и бываетъ въ одномъ только клубѣ.

— Я заѣхалъ къ тебѣ на минуту,—сказалъ Илецкій.—Скоро семь часовъ, а мнѣ надобно непремѣнно побывать въ Англійскомъ клубѣ, чтобъ записать гостемъ одного изъ моихъ пріятелей.

— Ты въ чемъ пріѣхалъ?—спросилъ я.

— Въ моей кареткѣ. На дворѣ прескверная погода—дождь такъ и льетъ.

— Захвати и меня съ собою. Я хочу сегодня быть въ клубѣ.

— Нѣтъ, шутишь?..

— Право.

— Что это тебѣ вздумалось? Ужъ, кажется, лѣтъ двадцать какъ ты его покинулъ?

— Нѣтъ, мой другъ, слишкомъ тридцать...

— И ты хочешь возобновить свой билетъ?

— Хочу, только не знаю, какъ это дѣлается...

— Очень просто: ты заплатишь триста рублей штрафу за твою долговременную отлучку изъ клуба и станешь попрежнему въ него ѣздить.

— А что, мой другъ, встрѣчу ли я тамъ кого-нибудь изъ прежнихъ моихъ сотоварищей?.. По крайней мѣрѣ, я многихъ давно уже потерялъ изъ виду. Я думаю, почти всѣ перемерли.

— Почему знать? Можетъ-быть, и отыщутся. Вѣдь, у насъ есть старички, которые къ себѣ никого не принимаютъ, а сами ѣздятъ только въ клубъ, такъ не диво, что ты многихъ изъ нихъ потерялъ изъ виду... Однако-жъ, время, мой другъ,—поѣдемъ!

Мы отправились.

— Ты знаешь, кому принадлежалъ прежде домъ, который нанимаетъ Англійскій клубъ?— спросилъ меня Илецкій, когда мы поворотили съ бульвара на Тверскую.

— Его, кажется, построилъ графъ Разумовскій.

— Нѣтъ, мой другъ! Главный корпусъ, въ которомъ собственно помѣщается Англійскій клубъ, существовалъ гораздо прежде,—это былъ домъ знаменитаго русскаго писателя Хераскова. Графъ Разумовскій пристроилъ къ нему только деревянные флигеля, которые ты, вѣрно, до сихъ поръ принималъ за каменные.

— Да, это правда!.. Я даже никогда не подозрѣвалъ, что эти двухъ-этажные, огромные флигеля, придающіе такой величественный видъ всему зданію...

— Построены изъ деревянныхъ брусьевъ?.. Конечно, теперь это странно; но въ Москвѣ до двѣнадцатаго года много было огромныхъ деревянныхъ домовъ, которые ни въ чемъ не уступали каменнымъ палатамъ. Теперь осталось въ этомъ родѣ два образчика: домъ графа Шереметьева *и Останкинѣ и домъ* графа Разумовскаго на Гороховомъ полѣ. Когда подумаешь, какъ живали въ старину наши московскіе бояре!.. Хоть, напримѣръ, этотъ домъ графа Разумовскаго на Гороховомъ полѣ... Кому придетъ нынче въ голову построить въ срединѣ города не домъ, а дворецъ, не изъ кирпича, а изъ корабельнаго мачтоваго лѣса, что, конечно, стоитъ вдвое дороже, и развести позади этого дома на двадцати-пяти десятинахъ садъ, въ которомъ вы могли прокатиться на шлюпкѣ по свѣтлому озеру, купаться въ рѣкѣ Яузѣ и даже подумать, что вы за сто верстъ отъ Москвы. Все это въ наше время кажется сказкою. У насъ ужъ нѣтъ теперь десяти или пятнадцати барскихъ домовъ, которые наперерывъ угощали всю Москву; зато,—продолжалъ съ насмѣшливою улыбкою Илецкій, — у насъ есть клубы, въ которыхъ мы сами себя угощаемъ. Тамъ, бывало, одѣвайся, тянись, представляйся хозяину; а здѣсь то-ли дѣло: накинулъ на себя какой-то шушунъ, который французы называютъ *пальто*, закурилъ сигарку, да и знать никого не хочешь.

— Что-жъ это, Захаръ Иванычъ, ты это говоришь насмѣшку, что-ль?..

— Въ насмѣшку?.. Что ты, Богданъ Ильичъ! Гдѣ намъ, старымъ парикамъ, насмѣхаться надъ этимъ молодымъ поколѣніемъ, остриженнымъ а-ля-мужикъ, лишь только бы надъ нами-то не смѣялись...

— Такъ что-жъ, по-твоему...

— Извѣстное дѣло, все новое лучше стараго, братецъ.

— А вотъ и неправда,—сказалъ я шутя:— и старое вино лучше новаго, и старый другъ.

— Ну, ужъ о друзьяхъ-то не говори! Въ нашъ просвѣщенный и положительный вѣкъ смѣло можно повторить слово одного древняго мудреца: «Друзья, на свѣтѣ нѣтъ друзей!» Но вотъ мы и пріѣхали.

Намъ помогъ выйти изъ каретки рослый и дюжій швейцаръ. Видный унтеръ-офицеръ, обвѣшанный медалями, отворилъ двери стеклянной перегородки, которая отдѣляла сѣни отъ великолѣпной двойной лѣстницы. Когда мы взошли по ней въ прихожую, насъ встрѣтилъ другой швейцаръ; мы отдали ему шинели, шляпы и палки и вошли въ первую комнату, по стѣнамъ которой висѣли разныя объявленія отъ старшинъ клуба, отчетъ за протекшій мѣсяцъ и безконечный списокъ кандидатовъ, изъ которыхъ послѣднему надобно будетъ прожить лѣтъ сто, чтобъ дождаться своей очереди.

— Вотъ комната,—сказалъ Илецкій,—которую можно было бы назвать лобнымъ мѣстомъ Англійскаго клуба, потому что въ ней не только вывѣшиваются отчеты и разныя объявленія отъ старшинъ, но происходитъ также и моральная казнь недостойныхъ членовъ клуба, исключаемыхъ за разныя нарушенія устава и неприличные поступки. Ихъ

имена, съ подробнымъ описаніемъ преступленія, вывѣшиваются на черной доскѣ. Конечно, эта политическая смерть ограничивается одними предѣлами Англійскаго клуба и не лишаетъ виновнаго никакихъ гражданскихъ правъ; но, не менѣе того, попасть на черную доску вовсе не забавно. Разумѣется, хорошему человѣку бояться нечего: онъ ведетъ себя хорошо не изъ страха наказанія; но «въ семьѣ не безъ урода», гласитъ русская пословица, а шестьсотъ человѣкъ семейка порядочная. Слѣдовательно, можно сказать утвердительно, что, по милости этого спасительнаго страха, благочиніе, порядокъ и приличіе весьма рѣдко нарушаются въ клубѣ. Теперь завернемъ на минутку въ эти двѣ комнаты. Тутъ, — продолжалъ Илецкій, — играютъ въ лото. Посмотри, въ какомъ здѣсь все порядкѣ, съ какою роскошью устроены эти машины, посредствомъ которыхъ выходятъ номера; какъ все до послѣдней мелочи щеголевато, удобно и красиво!

— Да, конечно! Только это для меня совершенный сюрпризъ. Я никакъ не ожидалъ, чтобъ лото, эта старинная, давно забытая игра...

— Ну, да, вошла опять въ моду точно такъ-же, какъ старинная мебель а-ла-помпадуръ, рѣзьба на деревѣ, готическая архитектура, китайскія куклы, наклейные столы и множество другихъ вещей, на которыя разорялись наши предки и которыя нѣсколько лѣтъ тому назадъ казались намъ самыми вычурными и смѣшными образцами безвкусія. Повѣрь, мой другъ, ничто не ново подъ луною. Мы думаемъ, по нашей гордости, что все идетъ впередъ, а, въ самомъ-то дѣлѣ, мы лишь только крутимся на одномъ мѣстѣ.

— Что ты, Захаръ Ивановичъ. Да неужели художества и всѣ изящныя искусства не идутъ впередъ?

— А дошли ли они до той степени совершенства, на которой находились у древнихъ грековъ и римлянъ? А почему знать, мой другъ, можетъ быть, всѣ наши ученыя ничто иное, какъ школьники въ сравненіи съ учеными, которые жили до потопа?.. Да что толковать объ этомъ! Мы еще успѣемъ наговорится. Прежде всего надобно тебя провести по всѣмъ комнатамъ клуба.

Я пошелъ за Илецкимъ.

— Вотъ,—сказалъ онъ,—эта огромная гостиная, въ которой играютъ теперь на шести столахъ, извѣстна подъ названіемъ «дѣтской».

— Дѣтской?—повторилъ я.—Ужъ не потому ли, что здѣсь очень шумятъ?

Въ самомъ дѣлѣ, въ эту минуту за однимъ карточнымъ столомъ поднялся ужасный крикъ.

— Ого,—сказалъ я,—да тутъ никакъ ссорятся?

— О, нѣтъ,—прервалъ Илецкій, — здѣсь никогда не ссорятся.

— Да развѣ ты не слышишь, какъ эти *четыре господина кричатъ?*

— Это оттого, мой другъ, что они всѣ четверо немного крѣпки на-ухо. Вотъ,—продолжалъ Илецкій,—вторая гостиная, въ ней рѣдко играютъ въ карты. Тутъ, по бо́льшей части, какъ и теперь, сидятъ на диванѣ и бесѣдуютъ о всякой всячинѣ; всего чаще о политикѣ. Это столбовые члены клуба, о которыхъ Грибоѣдовъ говоритъ, что они вовсе новизны не вводятъ,—

. . . . . „А придерутся
Къ тому, къ сему, а чаще ни къ чему,
Поспорятъ, пошумятъ и... разойдутся".

Мы вышли изъ второй гостиной въ великолѣпную галлерею, въ которой столахъ на восьми играли въ вистъ.

— Въ первой гостиной,—сказалъ Илецкій,—играютъ такъ же, какъ и здѣсь; но тамъ еще забавляются, а здѣсь уже работаютъ. Тамъ обыкновенно играютъ въ вистъ по полтинѣ и никогда больше одного рубля, а здѣсь козыряютъ по два, по три и даже по пяти рублей. Тамъ, играя, разговариваютъ о постороннихъ вещахъ, шумятъ, смѣются,—а здѣсь всѣ заняты своимъ дѣломъ и посторонихъ рѣчей не услышишь; тамъ, пятьдесятъ рублей большой проигрышъ, а здѣсь почти всегда разсчитываются сотенными ассигнаціями. Вотъ,—продолжалъ Илецкій,—направо изъ этой галлереи выходъ на террасу; съ нея по отлогой дорожкѣ ты спустишься незамѣтно въ садъ; въ этомъ саду есть и тѣнь и прекрасныя деревья; разумѣется, онъ не огроменъ, однако-жъ, въ немъ можно досыта нагуляться, поиграть, если хочешь, въ кегли, и потомъ отдохнуть на красивой галлереѣ, на которой ты можешь, точно такъ же, какъ въ палерояльской ротондѣ, кушать мороженое, пить чай и даже ужинать. Ты, кажется, любилъ встарину играть на билліардѣ? Милости просимъ сюда, налѣво! Вотъ къ твоимъ услугамъ три билліарда, едва-ли не лучшіе во всей Москвѣ. Въ огромной залѣ, въ которой они поставлены, былъ нѣкогда зимній садъ. И я когда-то прогуливался въ этомъ саду,— промолвилъ со вздохомъ Илецкій.—Тогда объ Англійскомъ клубѣ и разговоровъ не было; тогда еще въ Москвѣ веселились.

— И ты еще танцовалъ и кружилъ головы московскимъ красавицамъ!—прервалъ я съ улыбкою.

— Да, все прошло.

— И не воротится, мой другъ.

— Такъ что-жъ?.. По крайней мѣрѣ, есть что вспомнить. А нынѣшніе-то молодые люди? Да они, братецъ, хуже прежнихъ стариковъ! Мы жили, а они что?

— И они живутъ, только по-своему. Если день-на-день не походитъ, такъ почему жъ настоящій вѣкъ долженъ непремѣнно походить на прошедшій?

— А если прошедшій-то былъ хорошъ?

— Для насъ, потому что мы были молоды. Я

помню, однако-жъ, стариковъ, которые не очень были имъ довольно, а ихъ дѣды и отцы, вѣроятно, стояли за свой вѣкъ,—это всегда такъ будетъ. Всѣ молодые любятъ настоящее, всѣ старики хвалятъ прошедшее, а на повѣрку-то выходитъ, что мы любимъ не вѣкъ, а то время собственной своей жизни, когда мы были молоды, здоровы, веселы и когда будущее, теперь весьма для насъ ограниченное, казалось намъ почти безконечнымъ.

— Ну, хорошо, хорошо! Вѣдь, тебя не переспоришь! Теперь прошу приготовиться и войти, если не съ трепетомъ, то, по крайней мѣрѣ, съ должнымъ уваженіемъ въ эту комнату.

— Что-жъ особеннаго въ этой комнатѣ?

— А то, что въ ней деньги, рѣшительно, теряютъ свою цѣну. Въ дѣтской комнатѣ, то-есть первой гостиной, двадцать-пять рублей больше значатъ, чѣмъ здѣсь тысяча. Не подумайте, однако-жъ, что въ этой комнатѣ играютъ въ азартныя игры. Боже сохрани! Здѣсь не играютъ даже въ экарте. Невинныя *палки*, классическій пикетъ—вотъ единственныя игры, извѣстныя въ этой комнатѣ. Играютъ также иногда и въ преферансъ, но это такъ— отъ нечего дѣлать. Мнѣ случилось однажды видѣть здѣсь партію въ преферансъ, которая заслуживала нѣкотораго вниманія: играли по десяти рублей серебромъ фишку.

— По десяти рублей серебромъ?.. Ну!!

— Да это еще что!—продолжалъ Илецкій.— Вотъ если-бъ ты поглядѣлъ, какъ здѣсь поигрываютъ въ пикетъ... Я думаю, ты знаешь, что въ эту игру можно легко проиграть болѣе пятисотъ призовъ. Ну, отгадай же, почемъ иногда играютъ здѣсь въ пикетъ?

— Неужели также по десяти рублей серебромъ?

— Побольше, мой другъ. Я однажды былъ свидѣтелемъ, какъ играли въ пикетъ по тридцати рублей серебромъ.

— О, Господи!—вскричалъ я невольно.

— Впрочемъ, не пугайся, — продолжалъ Илецкій — это не такъ страшно, какъ ты думаешь. Въ этихъ случаяхъ почти всегда играетъ не одинъ игрокъ противъ другого, а цѣлая партія противъ другой; слѣдовательно, и проигрышъ, и выигрышъ дѣлятся между многими. Правда, случаются иногда такіе неустрашимые и закаленные въ бояхъ герои, которые не хотятъ ни съ кѣмъ подѣлиться ни славою рѣшительной побѣды, ни стыдомъ совершеннаго разбитія. Но эти случаи бываютъ очень рѣдко; обыкновенно сражаются только двое, а въ самомъ-то дѣлѣ *стѣна идетъ на стѣну*, и смертельно раненыхъ съ обѣихъ сторонъ почти никогда не бываетъ.

— А это налѣво что за комната? — спросилъ я.

— Это комната отдохновенія. Посмотри, съ какой прихотливой точностью соблюдены въ ней всѣ условія этого утонченнаго англійскаго комфорта. Попробуй, *сядь противъ камелька* на эти кресла. Ну, что?.. Не правда ли, покой, нѣга; встать не хочется?.. Прилягъ на этотъ диванъ и скажи мнѣ, случалось ли тебѣ спать на постели, которая была бы такъ покойна и располагала бы тебя къ такой усладительной дремотѣ, какъ этотъ, зыблющійся подъ тобою, роскошный диванъ? Хочешь ли ты не спать, а только отдохнуть и понѣжиться въ этомъ бездѣйственномъ забытьи, этомъ итальянскомъ иль-дольче, фаръ-ниэнте, — садись сюда, на эти кресла съ высокою эластическою спинкою, и покачивайся въ нихъ какъ въ люлькѣ. Въ этой комнатѣ, послѣ упорнаго сраженія, какой-нибудь отчаянный боецъ можетъ отдохнуть и перечесть свои раны или полюбоваться своими трофеями, то-есть смекнуть на просторѣ, сколько прибыло или сколько убыло въ его бумажникѣ — разумѣется, ломбардныхъ билетовъ. Убыль и прибыль ассигнацій для первокласснаго игрока не значитъ ничего; это все то-же, что лихому партизану получить легкую контузію или взять въ плѣнъ какого-нибудь оберъ-офицера. Теперь пойдемъ, я покажу тебѣ нашу журнальную библіотеку.

Мы вышли опять въ ту комнату, гдѣ, по словамъ моего товарища, происходятъ такія знаменитыя побоища. На этотъ разъ поле сраженія было почти пусто, вѣроятно потому, что главныя войска еще не подошли. Я замѣтилъ только мимоходомъ небольшую схватку между двумя фланкерами, которые, отъ нечего дѣлать, перестрѣливались рублика по три въ палки. Пройдя небольшимъ коридоромъ, мы вошли въ прекрасную залу; по стѣнамъ ея стояли шкапы съ книгами, а посрединѣ одинъ длинный столъ и два другіе стола поменѣе, покрытые журналами и газетами. Нельзя не полюбоваться отличнымъ порядкомъ и чистотою, въ которой содержится эта журнальная комната. Особеннаго рода освѣщеніе, очень яркое, но не вредящее зрѣнію, спокойная мебель, строго наблюдаемая тишина, множество и разнообразіе періодическихъ изданій—однимъ словомъ, тутъ все придумано для удовольствія и удобства читающихъ.

— Не знаю, въ какомъ порядкѣ была эта часть въ твое время,— сказалъ Илецкій,—а теперь мы можемъ ею похвастаться: клубъ выписываетъ русскихъ двадцать-три журнала и двадцать газетъ, французскихъ журналовъ и газетъ пятнадцать, нѣмецкихъ четыре и одинъ англійскій «Revue», который, впрочемъ, кажется, никто не читаетъ, вѣроятно, потому, что клубъ называется Англійскимъ,— прибавилъ съ улыбкою Илецкій.

— А что,—спросилъ я, — у васъ тѣ комнаты, въ которыхъ играютъ въ карты, имѣютъ также каждая свое опредѣленное назначеніе, то-есть въ первой гостиной играютъ не больше рубля, въ третьей...

— И, нѣтъ, мой другъ! Каждый членъ волент играть гдѣ ему угодно и почемъ

угодно; но, вѣдь, ты знаешь, что привычка сильнѣе всякаго закона. Члены, играющіе по *маленькой*, привыкли собираться въ *дѣтской*, то-есть первой гостиной, и ты никакъ не найдешь себѣ партіи по полтинѣ въ вистъ въ третьей гостиной, гдѣ люди, ужъ *возмужалые*, играютъ, какъ слѣдуетъ, въ *серьезную* игру тихо, смирно и съ большимъ вниманіемъ. Въ свою очередь, тотъ, кто играетъ въ эту серьезную игру, въ которую можно проиграть рублей триста или четыреста, не найдетъ себѣ партіи въ комнатѣ, гдѣ сторублевая ассигнація не значитъ ровно ничего. И вотъ почему все играющее общество Англійскаго клуба раздѣляется на нѣсколько круговъ, которые сдѣлали уже привычку собираться каждый въ особенной комнатѣ. У насъ есть и такіе члены, для которыхъ весь клубъ ограничивается одною избранною ими комнатою и даже однимъ мѣстомъ въ этой комнатѣ. Иной будетъ вездѣ въ гостяхъ, исключая комнаты, въ которой онъ поселился. Тутъ онъ дома, эта комната его міръ, это мѣсто—его собственность. Тутъ онъ каждый день сидитъ, куритъ трубку, бесѣдуетъ съ пріятелями, пьетъ чай, ужинаетъ, дремлетъ послѣ обѣда и только не спитъ ночью, потому что можетъ за это, на равнѣ съ запоздалымъ игрокомъ, заплатить довольно значительный штрафъ. Изъ этой комнаты, по середамъ и субботамъ онъ отправляется въ гости въ столовую обѣдать и каждый день—въ журнальную комнату прочесть «Сѣверную Пчелу», «Инвалида» и «Московскія Вѣдомости». Эти послѣдніе выѣзды для него совершенно необходимы, потому что онъ любитъ извѣщать первый всѣхъ своихъ пріятелей объ испанскихъ дѣлахъ, о перемѣнѣ французскихъ министровъ, о продажѣ имѣній съ публичнаго торга, объ отъѣзжающихъ за границу, и въ особенности о наградахъ и производствахъ въ чины, потому что тутъ всегда представляется обширное поле для всякихъ разсужденій, замѣчаній и глубокомысленныхъ заключеній. Да вотъ, всего лучше, войдемъ, присядемъ гдѣ-нибудь и послушаемъ.

Мы отправились назадъ тою же самою дорогою и сѣли ва длинномъ диванѣ въ проходной комнатѣ, которая отдѣляетъ биллiардную отъ третьей гостиной. На другомъ концѣ дивана сидѣли четверо господъ, изъ которыхъ одинъ, человѣкъ очень пожилыхъ лѣтъ, но довольно еще свѣжій, что-то разсказывалъ.

— Да, батюшка,—говорилъ онъ,—чудное дѣло, истинно, чудное! Я зналъ Подольскаго еще ребенкомъ... такъ, мальчишка глупенькій, лѣтъ десяти, Сережа! Отецъ его былъ человѣкъ простой, нечиновный и связей никакихъ не имѣлъ. А сынокъ его... вотъ что мы Сережей-то называли, произведенъ, *сударь, въ дѣйствительные статскіе совѣтники!.. Ну, давно ли, кажется?.. Много, много лѣтъ тридцать-пять, въ курточкѣ ходилъ, а теперь ваше превосходительство!.. Бывало, въ старину, увидишь шляпу съ пухомъ, такъ ужъ знаешь впередъ: человѣкъ съ именемъ, почтенный!.. А теперь!.. Ну, нечего сказать, чудныя дѣла дѣлаются, чудныя!..*

— А правда ли,—сказалъ одинъ изъ слушателей,—говорятъ, будто бы Андрею Ивановичу Макшанову дали Анну черезъ плечо?

— И, нѣтъ, батюшка! Станислава.

— Какъ же мнѣ сказали...

— Да ужъ позвольте, я знаю навѣрно — Станислава. Вотъ также пожаловаться на службу не можетъ. Летитъ, сударь, летитъ!.. Ну, да этотъ другое дѣло—голова... и связи большія. Вѣдь, матушка его была урожденная княжна Красноярская, а, вы знаете, Красноярскіе въ свойствѣ со своею знатью, такъ тутъ дивиться нечему; а вотъ что любопытно, — продолжалъ разсказчикъ, понизивъ голосъ, — знаете ли вы, что Степанъ Ивановичъ Стародубскій уволенъ отъ службы?..

— Неужели?

— Да, да! Говорятъ, будто бы какой-то иностранный дворъ настоятельно требовалъ этой отставки.

— И, что вы, Алексѣй Дмитричъ, иностранный дворъ!.. Да какое право имѣетъ иностранный дворъ?..

— Ужъ тамъ говорите себѣ, а слетѣлъ, сударь! Политика, батюшка, политика!.. Знаете ли, бываютъ этакія разныя дипломатическія обстоятельста... Мы сдѣлаемъ, и для насъ сдѣлаютъ... понимаете?

— Конечно, конечно!.. Однако-жъ, это что-то странно?.. Какое бы, кажется, дѣло?..

Старикъ улыбнулся, понюхалъ табаку и сказалъ:

— Да, сударь, да!.. Кто не посвященъ въ таинства политики, тому многое должно казаться страннымъ!..

— Алексѣй Дмитричъ,—проговорилъ одинъ господинъ, идя скорыми шагами изъ биллiардной,—сейчасъ принесли въ журнальную послѣдній номеръ «Сѣверной Пчелы», меня тащутъ въ вистъ, такъ я не успѣлъ его пробѣжать... не хотите ли вы?..

Старикъ вскочилъ съ дивана, товарищи его также встали. Онъ отправился въ журнальную, они разошлись по разнымъ сторонамъ и я остался одинъ съ Илецкимъ.

— Пойдемъ и мы,— сказалъ Илецкій, — посмотримъ не найдешь ли ты въ первой гостиной кого-нибудь изъ прежнихъ твоихъ сотоварищей.

— Нѣтъ,—прошепталъ я съ недовольнымъ вздохомъ, когда мы вошли въ эту комнату,— я не вижу здѣсь ни одного знакомаго лица.

— Посмотри хорошенько.

— Чего смотрѣть! Я вижу только, что въ этой комнатѣ, которую вы называете дѣт-

ской, большая часть господъ вовсе не дѣти: одинъ другого старѣе!..

— Да, конечно, народъ пожилой.

— Вотъ, напримѣръ, что сидитъ у крайняго стола?..

— Этому еще только семьдесятъ-пять лѣтъ.

— А вотъ этотъ, что кушаетъ чай?

— Ну, этотъ немного постарѣе: ему за восемьдесятъ.

— И этотъ, я думаю, не моложе, — спросилъ я, указывая на дряхлаго старика, который шелъ, не подымая ногъ, шаркалъ ими по полу и двигался, какъ будто бы не своей, а какой-то посторонней силой. — Какъ его фамилія?

— Курильскій.

— Иванъ Андреевичъ?

— Да!

— Ахъ, Боже мой! Да я баллотировалъ его въ члены Англійскаго клуба... Онъ былъ еще такой молодецъ!

— А теперь...

— Да, это, братецъ, все ребятишки; вотъ посмотри на этого барина, который расхаживаетъ такъ бодро и съ такой странной припрыжкой по комнатѣ.

— А кто онъ такой?

— Иванъ Сергѣевичъ Саяновъ.

— Что ты? Въ умѣ ли?.. Иванъ Сергѣевичъ Саяновъ?.. Не можетъ быть! Да онъ ужъ лѣтъ двадцать какъ умеръ.

— Нѣтъ, Богданъ Ильичъ, не прогнѣвайся—живехонекъ; да еще, можетъ-быть, и насъ съ тобой похоронитъ.

— Да, помилуй, двадцать-семь лѣтъ тому назадъ я игралъ съ нимъ въ бостонъ; онъ и тогда говорилъ, что ему за семьдесятъ! Сколько же ему лѣтъ?

— Безъ малаго сто.

— А, почтеннѣйшій Захаръ Ивановичъ!— вскричалъ какой-то худощавый господинъ лѣтъ сорока-пяти, протягивая руку Илецкому.—Васъ вчера не было въ клубѣ,—вѣрно, изволили быть въ концертѣ?

— Нѣтъ, не былъ.

— Такъ поэтому вы Листа ужъ слышали?

— Нѣтъ, еще не слышалъ.

— Неужели?.. Ну, ужъ я вамъ скажу, что за диковина этотъ Листъ!.. Удивительный, сударь, человѣкъ, удивительный!.. Этакого проворства я никогда не видывалъ! Какъ онъ работаетъ пальцами, ахъ, Господи!.. Молнія, сударь, молнія!.. Дѣтина такой видный... остриженъ въ кружокъ... носъ большой... Необычайный артистъ, сударь, необычайный!.. Нѣтъ, Захаръ Ивановичъ, поѣзжайте, поѣзжайте! Право, стоитъ разъ послушать. А что, пойдете по рублику въ вистъ?

— Нѣтъ, я больше полтины не играю.

— Эхъ, Захаръ Ивановичъ, пуститесь!.. Партія пріятная: Иванъ Андреевичъ, Степанъ Трифонычъ, я... Ну, что за бѣда. Рискните разъ по рублику!

— Помилуйте!.. на что мнѣ мѣнять игру?

— Такъ не угодно ли вамъ?—продолжалъ этотъ вистный вербовщикъ, обращаясь ко мнѣ.

— Извините, — отвѣчалъ я, — я также не играю по рублю.

— Да вотъ вамъ четвертый, — прервалъ Илецкій, — Андрей Михайловичъ, четвертаго нѣтъ—по рублику! Хотите?

Андрей Михайловичъ, человѣкъ лѣтъ шестидесяти-пяти, толстый, осанистый, съ брюзглымъ лицомъ и важною выступью, остановился и, поглядѣвъ прямо въ глаза Илецкому, спросилъ.

— По рублю? Во что?

— Въ вистъ.

— Въ вистъ?—повторилъ толстый баринъ такимъ ужаснымъ голосомъ, что у меня волосы стали дыбомъ.—Кто, я въ вистъ?.. Ха, ха, ха!

— Охъ, Андрей Михайловичъ! — сказалъ Илецкій.—Что это вы такъ страшно смѣетесь?

— Мнѣ играть въ вистъ?.. Нѣтъ, батюшка, нѣтъ!.. Покорнѣйше благодарю!..

— Что это съ вами сдѣлалось? Вы, кажется, вистъ любите?

— Да онъ-то меня не любитъ. Два мѣсяца сряду проигрываю, — каждый день, каждый день!,. Нѣтъ, будетъ! Во что угодно: въ бостонъ, въ преферансъ, а въ вистъ — ни за что!.. Сейчасъ проигралъ четыре роббера, да еще какіе!.. И добро бы игралъ несчастливо,—нѣтъ, карты идутъ!

— Такъ отчего же вы проигрываете?

— Контры, Захаръ Ивановичъ, контры, какихъ я въ жизнь мою не видывалъ. Да вотъ хоть послѣдній робберъ представьте себѣ: я играю съ Ѳедоромъ Кирилловичемъ Граниковымъ, противъ насъ, подъ рукою у меня, Онисимъ Алексѣевичъ Туренинъ, за рукою Ѳедоръ Дмитричъ Шахонской. У нихъ партія двѣнадцать, у насъ четыре; у нихъ записано три, у насъ девять. Вскрываютъ козыря—пики. Я беру карты, у меня король самъ-шестъ съ маленькими козырей, четыре старшихъ трефы отъ короля, тузъ бубенъ и тузъ, король червей,—наша ли игра?

— Ну, конечно.

— Такъ слушайте! Мой ходъ; разумѣется, я козыряю съ маленькой, Туренинъ не даетъ козырей, мой товарищъ кладетъ даму, Шахонской бьетъ тузомъ и идетъ въ десятку бубенъ; я бью тузомъ и козыряю съ короля. Туренинъ сбрасываетъ какую-то фоску, мой товарищъ не даетъ козырей, Шахонской кидаетъ пятерку; у него остаются валетъ, десятка, девятка и осьмерка—всѣ четыре старшіе козыря! Теперь слушайте. Разумѣется, я иду въ короля трефъ, Шахонской хлопъ тузомъ—и пошелъ! Козырь, другой, третій, четвертый—да шесть старшихъ бубенъ! Три было записано, пять леве и два онера—вышли!.. Ну, батюшка, что скажете?

— Удивительно!

— Мой ходъ. У товарища козырная дама, а у меня король самъ-шестъ козырей, четыре старшихъ трефы отъ короля, тузъ, король масти и тузъ масти.

— Да, это странно!

— И съ этой игрой только двѣ взятки!..

— Подлинно, большое несчастіе! — замѣтилъ худощавый господинъ, который искалъ четвертаго въ вистъ.—Зачѣмъ вы козыряли?

— Какъ зачѣмъ!.. Король самъ-шестъ козырей, всѣ масти и я не стану козырять? Помилуйте?

— Воля ваша, а мнѣ кажется...

— Ну? ужъ позвольте мнѣ знать, что я дѣлаю!—прервалъ толстый баринъ.—Я могу играть несчастливо—это другое дѣло; но какъ разыграть игру — извините, —въ этомъ я ни у кого совѣта не попрошу!

Проговоривъ эти слова со всѣмъ достоинствомъ обиженнаго таланта, толстый господинъ отправился въ другую комнату.

— Ого, какой сердитый баринъ! — шепнулъ я.

— Нѣтъ, онъ человѣкъ смирный,—сказалъ Илецкій;—но это слабая его сторона; онъ увѣренъ, что лучше всѣхъ въ мірѣ играетъ въ коммерческія игры, а такъ какъ это одно, чѣмъ онъ можетъ гордиться, то и малѣйшія сомнѣнія въ его карточной непогрѣшимости приводятъ его въ совершенную ярость. Сказать ему, что онъ далъ выиграть игру или самъ проигралъ по ошибкѣ, это все равно, что назвать его негодяемъ или безчестнымъ человѣкомъ. Избави, Господи, если кто-нибудь докажетъ ему, что онъ плохо играетъ въ вистъ,—этотъ человѣкъ будетъ его убійцею.

— Да,—прервалъ худощавый баринъ,— Андрей Михайловичъ тяжелъ! Всѣ у него дурно играютъ, а ему не смѣй и слова сказать. То ли дѣло Тимоѳей Сергѣевичъ: крѣпонекъ на-ухо, это правда—кричать надобно, а какой пріятный игрокъ!.. А, да вотъ и онъ!—Здравствуйте, Тимоѳей Сергѣевичъ!..

— Слуга покорный?—сказалъ небольшого роста старичекъ съ плѣшивой головой и добрымъ простодушнымъ лицомъ.

— Ну, что, какъ ваше здоровье?

— Да, батюшка, поздненько сегодня пріѣхалъ.

— Ну, вотъ говори съ нимъ! Не хотите ли, Тимоѳей Сергѣевичъ, по рублику въ вистъ?

— Что, батюшка,—Листъ?.. Да, говорятъ, хорошо играетъ!.. Въ старые годы и я бы послушалъ, а теперь что будешь дѣлать!..

— Я вамъ говорю: не хотите ли по рублю въ вистъ?

— Слышу, батюшка: вы предлагаете мнѣ партію въ вистъ. Почемъ?..

— Если вамъ угодно, по рублю.

— Вы не играете по рублю?.. Извольте, я и по полтинкѣ сяду.

Худощавый господинъ понатужился и закричалъ во все горло:

— Васъ просятъ по рублю!

— Давайте, батюшка, давайте! Это обыкновенная моя игра.

— Человѣкъ, отборныя карты—вонъ туда, на крайній столъ!.. Пожалуйте, Тимоѳей Сергѣевичъ, пожалуйте!

Тутъ подошли къ Илецкому съ предложеніемъ составить вистъ; я попалъ въ четвертые. По всегдашнему моему обыкновенію, проигралъ три роббера сряду, потомъ поужиналъ, то-есть съѣлъ котлетку, и отправился съ Илецкимъ домой.

— Ну, что, — спросилъ онъ меня, когда мы усѣлись въ каретку,—теперь ты имѣешь понятіе о нынѣшнемъ Англійскомъ клубѣ? Какъ онъ тебѣ кажется?

— Въ старину онъ былъ не такъ роскошенъ.

— Не правда ли, что этотъ домъ?..

— Великолѣпенъ.

— А услуга?

— Прекрасная.

— А все то, что служитъ къ удовольствію, удобству и занятію членовъ?..

— Что и говорить, все придумано и устроено отличнымъ образомъ.

— И все это стоитъ каждому члену только семьдесять-пять рублей ассигнаціями въ годъ,

— Да, конечно, это не дорого.

— Не дорого! Скажи лучше дешево до невѣроятности. Представь себѣ, что ты человѣкъ очень бѣдный, не можешь почти ничего тратить на твои удовольствія; но тебѣ посчастливилось попасть въ члены Англійскаго клуба, и вотъ ты, каждый день, напившись у себя чайку, отправляешься въ клубъ провести вечеръ. Ты тамъ совершенно дома; ты можешь быть въ сюртукѣ, даже въ модномъ пальто-сакъ, то-есть почти въ халатѣ. Ты находишь здѣсь большую часть твоихъ знакомыхъ; хочешь бесѣдовать съ ними — бесѣдуй, не хочешь — займись чѣмъ-нибудь другимъ. Тебѣ нечего проигрывать, слѣдовательно, ты не играешь ни въ карты, ни въ лото; въ биліардъ также не станешь играть, потому что надобно платить за партіи; но никто не мѣшаетъ тебѣ играть въ шахматы, за которые ничего не платятъ, или читать журналы, на выписку которыхъ клубъ истрачиваетъ нѣсколько тысячъ рублей въ годъ. У себя дома ты провелъ бы вечеръ въ какой-нибудь низенькой комнаткѣ, плохо освѣщенной сальнымъ огаркомъ, плохо вытопленной, а здѣсь ты также дома, и всѣ эти огромныя, великолѣпныя комнаты, въ которыхъ и тепло, и свѣтло, и просторно, принадлежатъ тебѣ. Дома прислуга твоя состоитъ изъ какой-нибудь полусонной кухарки или оборваннаго полупьянаго лакея, а здѣсь сорокъ офиціантовъ, ловкихъ, вѣжливыхъ, проворныхъ, смотрятъ тебѣ въ глаза и предупреждаютъ всѣ твои желанія. Каждую среду и субботу въ клубѣ обѣдъ. Положимъ, что ты не можешь

платить и по три рубля, разумѣется, не серебромъ, за обѣдъ, который стоитъ клубу вдвое дороже; но если ты не очень совѣстливъ, то можешь каждую среду и субботу приходить въ клубъ не обѣдать, а завтракать. По уставу клуба, за завтракъ, и надобно замѣтить весьма сытный, не берутъ ничего. Конечно, немногіе пользуются этимъ правомъ, однако-жъ это право существуетъ для каждаго члена. Сверхъ того, въ извѣстное время года, каждый членъ можетъ присылать въ клубъ одного или многихъ бѣдныхъ со своей запиской, и имъ, по усмотрѣнію старшинъ, выдаютъ рѣдко менѣе десяти рублей, а иногда до пятидесяти. Я не говорю уже о разныхъ другихъ мелочныхъ правахъ и удобствахъ, которыми пользуются члены клуба. И за все это вы платите семьдесять-пять рублей ассигнаціями въ годъ, то-есть меньше двадцати-трехъ копѣекъ мѣдью въ день. Кажется, дешево?

— Да, это правда!—Если-бъ какому-нибудь бѣдняку сказали, что онъ можетъ за эту цѣну провести цѣлый вечеръ, какъ человѣкъ, получающій двѣсти тысячъ въ годъ доходу, то онъ, конечно, подумалъ бы, что ему разсказываютъ сказку изъ «Тысяча одной ночи». Ну, какъ же послѣ этого ты можешь предпочитать прошедшій вѣкъ настоящему? Лѣтъ пятьдесятъ тому назадъ, бѣдный человѣкъ зналъ только по наслышкѣ, какъ живутъ богатые...

— И былъ гораздо счастливѣе, чѣмъ теперь,—прервалъ съ жаромъ Илецкій. — Если онъ имѣлъ какое-нибудь образованіе, то всегда могъ попасть въ хорошее общество и, слѣдовательно, быть участникомъ тѣхъ наслажденій, которыми дарятъ насъ просвѣщеніе, богатство и роскошь. Если же онъ былъ человѣкомъ не очень грамотнымъ, то жилъ попросту въ своей семьѣ, не гнушался убогимъ домикомъ, игралъ при свѣтѣ сальнаго огарка съ пріятелями въ дурачки и свои козыри, читалъ съ наслажденіемъ письмовникъ Курганова и сочиненія Эмина, ѣлъ щи и гречневую кашу, а пилъ, вмѣсто шампанскаго и лафита, домашнюю наливку. Теперь, если онъ побываетъ въ Англійскомъ клубѣ, не покажется ли ему скверномъ чуланомъ та самая комната, которую онъ находилъ до того и чистой, и опрятной? Не захочетъ ли онъ, чтобъ въ этой комнатѣ было свѣтлѣе и чтобъ его простой кожаный диванъ былъ на пружинахъ?.. Въ старину европейская утонченная роскошь была запрещеннымъ плодомъ для всѣхъ бѣдныхъ людей, не имѣющихъ никакого права жить въ высшемъ обществѣ; теперь эта роскошь, по милости клубовъ, доступна для каждаго. Какъ же ты хочешь, чтобъ, вкусивъ разъ отъ этого запрещеннаго плода, какой-нибудь бѣднякъ не захотѣлъ, какъ можно чаще, пользоваться этимъ наслажденіемъ? И вотъ онъ изъ хорошаго семьянина мало-по-малу превращается *въ самаго* усерднаго члена Англійскаго или Дворянскаго клубовъ, и вмѣсто того, чтобъ позаботиться, какъ бы прокормить свое семейство и помочь женѣ хозяйничать, таскается каждый день въ клубъ и становится, наконецъ, человѣкомъ, совершенно чуждымъ для своего семейства.

— Да что съ тобою сдѣлалось?—прервалъ я. — Ты, кажется, сначала хвалилъ Англійскій клубъ, а теперь нападаешь на него съ такимъ ожесточеніемъ? Да неужели, по-твоему, человѣкъ семейный не можетъ никуда ѣздить въ гости? А мнѣ кажется,—ѣздить по вечерамъ въ гости или ѣздить въ Англійскій клубъ,—одно и то-же.

— Нѣтъ, извините! Вы ѣдете въ гости съ женою, съ вашимъ семействомъ. Да это еще ничего!—Ты вѣрно замѣтилъ, что въ Англійскомъ клубѣ бываютъ не одни только старики?.. А я спрашиваю тебя: что такое для молодого человѣка общество, изъ котораго исключены женщины?.. На что онъ сдѣлается похожимъ, если пристрастится къ этому обществу? Вѣчно съ сигаркою въ зубахъ, плохо выбритый, въ сюртукѣ или пальто, въ шароварахъ... Да что тутъ говорить! — продолжалъ Илецкій съ возрастающимъ жаромъ. — Посмотри на нынѣшнюю молодежь: что это такое? Какой тонъ, что за манера! На балѣ хозяйка дома не знаетъ, что дѣлать съ бѣдными дѣвицами: одинъ не танцуетъ, у другого нога болитъ, тотъ сѣлъ играть въ преферансъ, а этого не выгонишь изъ буфета—срамъ да и только!.. А начнутъ танцовать, такъ истинно гадко видѣть — насилу двигаются! Ни одинъ ноги поднять не хочетъ! Ходятъ взадъ и впередъ, разваливаясь, какъ разбитыя лошади!..

Я засмѣялся.

— Ну, чему ты смѣешься? — спросилъ Илецкій.

— Такъ, мой другъ! Я вспомнилъ, какъ ты танцовалъ въ старину, и очень понимаю теперешнее твое негодованіе. Общій нашъ учитель, танцмейстеръ Меранвиль, приходилъ въ восторгъ, смотря на твои чудесные ригодоны и отчетистые *шасе-анъ-аванъ*.

— Да, конечно, мы танцовали и разговаривали съ нашими дамами; а спроси, что теперешніе-то молодые люди говорятъ во время танцевъ?..

— Ну, это, любезный, не по нашей части. Что-бы они не говорило, а ужъ вѣрно ихъ слушаютъ охотнѣе, чѣмъ насъ съ тобою, Захаръ Ивановичъ!

— Такъ, такъ! Ты всегда горой стоишь за новое поколѣніе.

— Да, вѣдь, и мы были во время оно новымъ поколѣніемъ, мой другъ, и про насъ то-же говорили тогдашніе старики... Однако, что-жъ это значитъ: если ты до такой степени не жалуешь всѣ клубы, такъ зачѣмъ же ты самъ бываешь почти каждый день въ Англійскомъ клубѣ?

— Что я, братецъ?.. Я бобыль!

— Да еще вдобавокъ—старый.

— Старый, старый!.. Есть и старѣе меня.

— Ну, хороши и мы съ тобой!.. Да дѣло не о томъ: мнѣ кажется, что изо всего, что мы говорили и видѣли сегодня, можно съ довольной справедливостію заключить, что молодымъ людямъ и людямъ семейнымъ не мѣшало бы порѣже ѣздить въ Англійскій клубъ; но что для людей одинокихъ и пожилыхъ, которые не вовсе еще разстались съ обществомъ, а между тѣмъ, по своему плохому здоровью и привычкѣ къ спокойной домашней жизни, не могутъ выѣзжать въ свѣтъ, Англійскій клубъ, такъ какъ онъ есть теперь, можетъ назваться самымъ благодѣтельнымъ заведеніемъ. Конечно, и противъ этого найдется что сказать; да развѣ есть что-нибудь на свѣтѣ, что не имѣло бы своей дурной стороны?..

— О, конечно, есть,—прервалъ Илецкій.

— А что бы такое?

— Мало ли что. Да вотъ, напримѣръ, хоть выдумка крытыхъ экипажей. Посмотри, какой льетъ дождь, а мы это не замѣчаемъ: сидимъ преспокойно въ нашей каретѣ, бесѣдуемъ: намъ тепло, спокойно... Ну, найди въ этомъ какую-нибудь дурную сторону.

— Я совѣтую тебѣ обратиться съ этимъ вопросомъ къ твоему кучеру Ѳедоту.

— Да развѣ ему на дрожкахъ-то было бы лучше?

— Разумѣется, не лучше; но если-бъ крытые экипажи не были еще выдуманы, то, вѣроятно, ты сидѣлъ бы сегодня дома.

Карета остановилась у моихъ воротъ. Я простился съ Илецкимъ, поблагодарилъ его за компанію и далъ слово въ первую субботу отобѣдать съ нимъ въ клубѣ и составить его партію,—разумѣется, по полтинѣ въ вистъ.

IV.

Литературный вечеръ.

> . . . . „Мы никогда не будемъ умны чужимъ умомъ и славны чужою славою. Французскіе, англійскіе авторы могутъ обойтись безъ нашей похвалы; но русскимъ нужно, по крайней мѣрѣ, вниманіе русскихъ".
>
> *Карамзинъ.*

Я долженъ прежде всего познакомить своихъ читателей съ главнымъ дѣйствующимъ лицомъ этого драматическаго разсказа.

Авдотья Ивановна Сицкая прожила всю молодость свою въ одномъ не близкомъ отъ Москвы губернскомъ городѣ; этотъ губернскій городъ, не смотря на свое отдаленіе отъ *обѣихъ столицъ*, *щеголялъ* всегда своимъ европейскимъ просвѣщеніемъ, безусловной любовью къ *Западу* и, вѣроятно, былъ родиною знаменитой госпожи Курдюковой, потому что всѣ жители его чрезвычайно любили говорить разомъ на двухъ языкахъ: на плохомъ русскомъ и на дурномъ французскомъ. Пока мужъ госпожи Сицкой былъ живъ, она не могла никакъ вырваться изъ своего сѣверовосточнаго края и взглянуть на свѣтъ Божій, который, какъ извѣстно, свѣтитъ только на Западѣ. Этотъ камчадалъ, то-есть мужъ госпожи Сицкой, стоялъ на томъ, что русскій дворянинъ долженъ жить въ Россіи и ѣздить для своей потѣхи за границу только въ такомъ случаѣ, когда это не можетъ разстроить его домашнихъ дѣлъ. Какъ ни возставала бѣдная Сицкая противъ такой вопіющей несправедливости, какъ ни доказывала текстами изъ Бальзака и Жоржа Занда, что жена вовсе не обязана повиноваться мужу, но должна была покориться этой ненавистной *грубой силѣ* (Force brutale), потому что все имѣнье принадлежало мужу, а не ей. На сорокъ-восьмомъ году своей страдальческой жизни сдѣлалась она свободною: мужъ ея умеръ, оставивъ ей въ пожизненное владѣніе шестьсотъ душъ крестьянъ и тысячъ пятьдесятъ наличными деньгами. Неутѣшная вдова, которой на родинѣ все напоминало о потерѣ мужа, уничтожила пашню, посадила крестьянъ на оброкъ и отправилась за границу, сначала тосковать на берегахъ Рейна, а потомъ поразсѣять свою тоску въ Парижѣ. Она прожила въ немъ два года, и, дѣйствительно, тоска ея разсѣялась; но вмѣстѣ съ тоскою разсѣялись и всѣ наличныя ея деньги; такъ надобно было, хотя на время, возвратиться опять въ Россію. Вотъ она явилась въ Петербургъ. Эта пышная столица сѣвера, наполненная иностранцами, могла еще въ глазахъ ея выдерживать нѣкоторое сравненіе, если не съ Парижемъ, то, по крайней мѣрѣ, съ другими городами Европы. Но Петербургъ ей скоро наскучилъ. Она думала, что женщина, которая прожила два года безвыѣздно въ Парижѣ, должна обратить на себя вниманіе всей петербургской аристократіи, а вышло совсѣмъ напротивъ. Теперь, когда, благодаря пироскафамъ, путешествія изъ Петербурга за границу превратились въ самыя обыкновенныя и даже пошлыя прогулки, никто не прибавитъ себѣ ни на волосъ значенія тѣмъ, что былъ во Франціи, Англіи или Италіи; а тотъ, кто станетъ этимъ хвастаться, сдѣлается непремѣнно смѣшнымъ, какъ сдѣлалась смѣшною Сицкая, которая безпрестанно намекала о томъ, что была за границею. Тому, кто живетъ въ высшемъ обществѣ, не запрещается быть глупымъ; но онъ ни въ какомъ случаѣ не долженъ быть смѣшнымъ, вѣроятно, потому, что первое зависитъ не отъ насъ, а второе есть необходимое слѣдствіе дурного образованія, незнанія

общественныхъ приличій, и какая-то вывѣска, вовсе не аристократическаго происхожденія. Взгляните на знатнаго дурака: проговоря съ нимъ нѣсколько минутъ, вы, можетъ-быть, догадаетесь, что онъ дуракъ; а прошу сказать, что въ немъ смѣшного? У него нѣтъ двухъ собственныхъ идей въ головѣ — это правда, но зато посмотрите, какъ онъ ловокъ, послушайте, какія гладкія, вылощенныя французскія фразы! Какое—какъ бы это сказать?—врожденное чувство... нѣтъ,—я думаю, вѣрнѣе—инстинктъ приличія и хорошаго тона, которому онъ никогда не измѣняетъ, да и не можетъ измѣнить, потому что сроднился съ нимъ еще въ ребячествѣ. Вслѣдствіе всего вышесказаннаго, Сицкая, замѣтивъ, что она играетъ весьма жалкую роль въ этомъ блестящемъ кругу, который, надѣвъ однажды на кого-нибудь дурацкую шапку съ бубенчиками, никогда ужъ ея не снимаетъ, — рѣшилась уѣхать въ Москву. Здѣсь ей жить было гораздо легче: здѣсь она могла почваниться тѣмъ, что была въ Парижѣ, критиковать дамскіе наряды, посмѣяться надъ русскимъ театромъ и даже увѣрить какого-нибудь простодушнаго москвича, что въ Парижѣ всѣ поденщики люди съ образованіемъ, и всѣ рыбныя торговки чрезвычайно пріятны въ обращеніи и очень любезны. Въ Москвѣ ей гораздо легче было попасть въ высшій кругъ общества. Она бывала на балахъ у графини А***, на вечерахъ у княгини С***, и сама назначила у себя дни по вторникамъ, вѣроятно, для того, чтобъ всѣ знали, что она никогда не бываетъ въ Благородномъ собраніи *). На этихъ вечерахъ не танцовали, не играли въ карты,— а, вѣдь, надобно жъ чѣмъ-нибудь занимать гостей. Вотъ Авдотья Ивановна прикинулась страстной любительницей словесности, и поневолѣ—русской: въ Москвѣ нѣтъ французскихъ литераторовъ. Стала покровительствовать всѣмъ молодымъ писателямъ, отыскивать геніевъ и открывать *громадные* таланты. Въ Парижѣ была когда-то госпожа Графиньи,—почему жъ не быть ей и въ Москвѣ? Сицкая завела у себя литературныя бесѣды и чтенія. Ей какъ-то не удалось заманить на свои вечера ни извѣстныхъ литераторовъ, ни первоклассныхъ московскихъ львицъ и львовъ; но зато въ ея домѣ, вы могли бы всегда встрѣтить проникнутыхъ европеизмомъ русскихъ барынь, которыя или пріѣхали изъ-за границы, или сбирались ѣхать за границу; художниковъ, которыхъ замѣчательныя произведенія разбросаны по всѣмъ московскимъ альбомамъ; иностранцевъ, по большей части путешествующихъ для своей забавы и разныхъ торговыхъ оборотовъ; съ полдюжины писателей, которые ничего еще не написали; одного или двухъ геніевъ, не вовсе еще зрѣлыхъ, но готовыхъ при первомъ удобномъ случаѣ вспыхнуть и озарить новымъ свѣтомъ всю вселенную, и цѣлую толпу глубокихъ *мыслителей*, которые, доживъ до двадцати лѣтъ, успѣли все испытать, все перечувствовать и всѣмъ надоѣсть.

Теперь позвольте мнѣ для большей ясности представить вамъ именной списокъ всѣмъ лицамъ, дѣйствующимъ, говорящимъ и даже неговорящимъ въ этомъ драматическомъ разсказѣ, который, если вамъ угодно, вы можете назвать шуткою,—я за это досадовать не стану.

Дѣйствующія лица, говорящія:

Хозяйка дома *Авдотья Ивановна Сицкая*. Съ нею ужъ вы знакомы.

Ѳедоръ Ѳедоровичъ Гуськовъ, пріѣхавшій по дѣламъ въ Москву, деревенскій сосѣдъ Авдотьи Ивановны Сицкой. Ему лѣтъ за сорокъ; одѣтъ нѣсколько по-стариковски; въ бѣломъ галстукѣ, съ бронзовой медалью въ петличкѣ. Ѳедоръ Ѳедовичъ Гуськовъ принадлежитъ къ числу тѣхъ русскихъ помѣщиковъ, которые слывутъ въ своемъ уѣздѣ людьми просвященными и начитанными. Онъ выписываетъ журналы, разумѣется, тѣ, которые потолще другихъ, и умножаетъ ежегодно свою библіотеку, переплетая все,—даже «Московскія Вѣдомости» со всѣми прибавленіями, не исключая бенефисныхъ афишъ и особыхъ извѣщеній отъ старшинъ Нѣмецкаго клуба.

Неофитъ Платоновичъ Ералашный, геній двадцатипяти лѣтъ; въ черномъ фракѣ, съ распущенными по плечамъ волосами; блѣдное изможденное лицо его, по словамъ нѣкоторыхъ, изобличаетъ, какъ и всѣ лица геніевъ, неукротимыя страсти и сильную волю, а по словамъ другихъ—разгульную жизнь и не слишкомъ похвальное поведеніе, что, впрочемъ, по мнѣнію новѣйшихъ французскихъ писателей, составляетъ также необходимую принадлежность каждаго генія. Друзья называютъ его взглядъ *орлинымъ*, враги, то-есть люди, не знающіе толку въ геніальности, замѣчаютъ въ этомъ взглядѣ что-то полоумное и шальное. Онъ читаетъ свои стихи тѣмъ мощнымъ, вдохновеннымъ голосомъ, который люди обыкновенные и чуждые всякой поэзіи называютъ басомъ. Никто еще не знаетъ, какимъ *кипучимъ ключемъ* забьетъ вдохновеніе въ груди этого избранника небесъ; какимъ *міровымъ* созданіемъ разразится этотъ *громадный* талантъ, въ какую форму облечетъ онъ свои *вѣчныя* идеи. Это для всѣхъ тайна. До сихъ поръ онъ написалъ еще только четыре стиха къ портрету Бирона, неоконченное посланіе

*) Московское Благородное собраніе, безъ всякаго сомнѣнія, одно изъ великолѣпнѣйшихъ клубныхъ заведеній въ Европѣ; но хорошій тонъ требуетъ, чтобъ его посѣщали какъ можно рѣже. *(Замѣчаніе для иногородныхъ).*

къ морю и сочинилъ фантастическую повѣсть: «Душа въ хрустальномъ бокалѣ».

Варсонофій Николаевичъ Наяновъ, длинный, худой, косматый молодой человѣкъ лѣтъ двадцати-семи. Онъ пошелъ было сначала по ученой части, да что-то не посчастливилось: науки ему не дались, языки также, званіе дѣйствительнаго студента также; но онъ зналъ имена всѣхъ современныхъ писателей, затвердилъ нѣсколько латинскихъ словъ, выучилъ наизусть всю ученую нѣмецкую терминологію и сверхъ того обладалъ необычайнымъ даромъ болтать безъ устали по два часа сряду, не сказавъ рѣшительно ничего. Съ такимъ богатымъ запасомъ нельзя было ему оставаться въ числѣ простыхъ обыкновенныхъ мыслителей; вотъ онъ и рѣшился испытать свои силы на литературномъ поприщѣ. Читающая публика, которую онъ теперь называетъ всегда толпою, не умѣла оцѣнить его высокаго дарованія. Варсонофій Николаевичъ Наяновъ остервенился, окунулъ свое перо въ желчь и началъ свирѣпствовать, то-есть писать на всѣхъ рецензіи и ругательства. Все это въ порядкѣ вещей: бездарный писатель, который хочетъ, во чтобы-то ни стало, продолжать писать, всегда превращается въ неумолимаго критика; это плебей, который ненавидитъ всѣхъ патриціевъ; чѣмъ выше талантъ, тѣмъ съ большимъ ожесточеніемъ старается онъ забросать его грязью. Да и что за радость повторять слова толпы и хвалить вмѣстѣ съ нею писателей, именами которыхъ гордится Россія? То ли дѣло поднять свою святотатственную руку на Ломоносова, Державина, Карамзина, Дмитріева, и хоть не доказать, а сказать, по крайней мѣрѣ, что они были писатели вовсе бездарные, и что новое поколѣніе и знать ихъ не хочетъ! Конечно, люди умные, читая этотъ литературный пасквиль, станутъ пожимать плечами; но зато дураки,—а, вѣдь, ихъ очень много,—закричатъ въ одинъ голосъ:

„Ай, моська, знать она сильна,
Что лаетъ на слона!“

Андрей Степановичъ Лычкинъ, второклассный левъ; съ рыжею бородкою, въ модномъ полусюртукѣ; голова острижена подъ гребешокъ.

Артемій Захарьевичъ Рыльскій, человѣкъ сорока-пяти лѣтъ; одѣтъ просто, но очень опрятно и съ большимъ вкусомъ. Онъ много читалъ, много путешествовалъ и много видѣлъ. Онъ не кричитъ безпрестанно: «о Россія, мать героевъ!» но не говоритъ также кстати и не кстати: «гдѣ намъ! что мы!».. Артемій Захарьевичъ Рыльскій не стоитъ на колѣняхъ предъ Западомъ, однако-жъ, и спиною къ нему не оборачивается; онъ истинно любитъ науки, художества, словесность и вообще все прекрасное, какому бы народу оно не принадлежало.

Ольга Николаевна Букашкина, дородная, шарообразная русская барыня, съ большими претензіями. Хотя ей и не удалось побывать за границею, однако жъ, она поговариваетъ о Москвѣ съ большимъ пренебреженіемъ, потому что была когда-то въ Варшавѣ и собирается ѣхать въ Одессу.

Елена Дмитріевна Суховольская, молодая женщина, блѣдная, худая, съ прекрасными голубыми глазами, исполненными задумчивости и какой-то тихой... опять не знаю какъ выразиться... грусти... нѣтъ!.. ей не о чемъ грустить. Ну, такъ и быть, скажу: меланхоліи,—хотя это слово давно уже вышло изъ моды! Елена Дмитріевна очень любитъ погружаться въ *міръ фантазіи*, смотрѣть на луну, сидѣть подъ тѣнью плаксивой ивы и ронять свои слезы въ прозрачныя струи журчащаго ручейка; однимъ словомъ, госпожа Суховольская живой анахронизмъ. Вѣроятно, это произошло оттого, что она воспитывалась въ одномъ отдаленномъ уѣздномъ городѣ, и до сихъ поръ еще любитъ слезливыхъ писателей осьмнадцатаго столѣтія, восхищается путешествіемъ въ полуденную Россію Измайлова и проливаетъ горячія слезы, читая прекрасную повѣсть Клушина «Вертеровы чувствованія или несчастный Масловъ». Впрочемъ, госпожа Суховольская, руководимая своей наставницей, Авдотьей Ивановной Сицкой, начинаетъ понемногу привыкать къ современной словесности. Она уже рѣдко плачетъ, но зато часто содрогается, и хотя любитъ еще по старой привычкѣ кроткія и грустныя ощущенія души чувствительной, однако жъ, слушаетъ безъ отвращенія эти нѣсколько грязныя, но не мѣнѣе того геніальныя описанія житейскихъ мерзостей и, читая «Парижскія таинства Ежена-Сю», постигаетъ всю поэзію неистовыхъ страстей, буйнаго разврата и той разгульной жизни каторжныхъ, пьяницъ, разбойниковъ и знатныхъ людей, которые гуляютъ съ ними по кабакамъ и дерутся на кулачки.

Мадамъ Григри, француженка, лѣтъ сорока. Она живетъ у Сицкой для компаніи и въ то же время исполняетъ должность экономки.

Лица неговорящія.

Три мыслителя. Старшему не болѣе двадцати лѣтъ; одѣты не очень красиво и даже съ нѣкоторымъ неряшествомъ. У одного волосы обстрижены въ кружокъ, у другого подковкою, у третьяго вовсе не обстрижены; но у всѣхъ троихъ одинакимъ образомъ плохо расчесаны и висятъ какъ ни попало. Взоры ихъ важны, проницательны и мрачны.

Два генія въ зародышахъ. Также молодые люди, только еще неопрятнѣе, болѣе растрепаны и смотрятъ гораздо свирѣпѣе.

Двѣ барышни. Одна дочь Букашкиной,

другая меньшая сестра Суховольской; первая сочиняетъ по секрету французскіе стихи, вторая пишетъ втихомолку русскою прозою. Первая написала уже до половины стихотвореніе: «Mon rêve»; вторая начала повѣсть «Сердце женщины». Обѣ онѣ, какъ начинающія писательницы, довольно еще скромны и застѣнчивы.

Служанка госпожи Сицкой.

Слуги госпожи Сицкой.

(Утро. Дамская уборная комната. Передъ письменнымъ столикомъ, въ бѣлой кисейной блузѣ и спальномъ чепцѣ, сидитъ пожилая женщина; ей на лицо лѣтъ пятьдесятъ. Замѣтно, что нѣкогда она была хороша собою: всѣ черты лица ея правильны; но заклятый врагъ розъ и лилій, это неумолимое время покрыло желтоватой блѣдностью ея щеки, провелъ на лбу морщины, превратило гибкій станъ въ дородную талію, густые шелковые локоны въ жестокіе и рѣдкіе волосы и, что всего хуже, не оставило ей ни одного передняго зуба. Эта старая, увядшая и,—страшно вымолвить,—беззубая барыня—Авдотья Ивановна Сицкая. Передъ нею стоитъ мадамъ Григри, женщина среднихъ лѣтъ, въ бѣломъ платьѣ, голубомъ шелковомъ фартукѣ и бархатной черной кокеткѣ).

NB. Весь нижеслѣдующій разговоръ происходитъ, за небольшими исключеніями, на французскомъ языкѣ.

Авдотья Ивановна (*окончивъ записку и обращаясь къ мадамъ Григри*). Ma chère, какъ вы меня сегодня находите?

Мадамъ Григри. Вы очень хороши.

Авдотья Ивановна. Право? А я такъ дурно спала всю ночь! Вы знаете, что у меня сегодня литературный вечеръ?

Мадамъ Григри. Какъ же! Вы мнѣ еще вчера объ этомъ говорили.

Авдотья Ивановна. Я думала дать этотъ вечеръ на будущей недѣлѣ, но сегодня также чтеніе у княгини Долинской. Ей не угодно было пригласить меня... впрочемъ, я бы и не поѣхала... У нея всегда такая скука, такая тоска!.. Вотъ мы посмотримъ, чей вечеръ будетъ интереснѣе... (*Звонитъ въ колокольчикъ. Входитъ слуга*). Возьми эти двѣ записки: отнеси эту Неофиту Платоновичу Ералашнову, а это къ Варсонофію Николаевичу Наянову; да зайди къ Еленѣ Николаевнѣ Суховольской, къ Лычкину, къ Артемію Захарьевичу Рыльскому и скажи, что я прошу ихъ къ себѣ на вечеръ въ восьмомъ часу,—слышишь? Ну, ступай!

Мадамъ Григри. Что у васъ много будетъ гостей?

Авдотья Ивановна. Нѣтъ, не больше пятнадцати человѣкъ. Ко мнѣ стали бы многіе напрашиваться, да я терпѣть не могу толпы. Литературный вечеръ не раутъ. Вотъ, я думаю, у этой княгини Долинской сегодня будетъ человѣкъ сто. Она рада съ улицы нахватать. Ей все равно: карточный ли вечеръ или чтенье, было бы только тѣсно!.. Дура!.. Какъ я рада, что она меня не позвала.

Мадамъ Григри. Въ которомъ часу начнется чтеніе?

Авдотья Ивановна. Часу въ девятомъ... Ахъ, ma chère, не забудьте графинъ воды и мелкаго сахару!.. C'est de rigueur. Читать будутъ у меня въ кабинетѣ, за круглымъ столомъ.

Мадамъ Григри. Будьте спокойны, я все приготовлю.

Авдотья Ивановна. Чай можно подать, пока мы будемъ еще въ гостиной.

Мадамъ Григри. Очень хорошо.

Авдотья Ивановна. Между двухъ чтеній будетъ отдыхъ; въ это время можно подать мороженое.

Мадамъ Григри. А ужинъ надобно?..

Авдотья Ивановна. Какъ же, ma chère! Я не хочу, чтобъ мои гости поѣхали отъ меня ужинать въ ресторацію, какъ это всегда дѣлаютъ у Долинской. Литературный вечеръ!.. Желала бы я знать, что у нея станутъ читать и кто будетъ слушать?.. Я думаю, все дѣло кончится вистомъ и преферансомъ... Это чтенье только предлогъ. Вѣдь, ей необходимо, чтобъ у нея играли: она весь домъ содержитъ картами!.. Ахъ, какъ я рада, что она меня не пригласила! Ни за что бы не поѣхала!.. (*Входитъ слуга и подаетъ Сицкой записку*). Отъ кого?.. А, отъ Велькомірова! (*Читаетъ*). «Позвольте мнѣ поблагодарить васъ за вашу обязательную записку, которую я имѣлъ честь получить вчера вечеромъ. Мнѣ очень грустно, что я не могу исполнить вашего приказанія. Я читаю мои стихи только въ кругу самыхъ близкихъ мнѣ друзей, въ снисхожденіи которыхъ увѣренъ заранѣе; впрочемъ, если вамъ угодно слышать мои стихи, я за счастіе поставлю пріѣхать къ вамъ и прочесть ихъ, когда вы будете однѣ». Вотъ прекрасно!.. Очень мнѣ нужны его стихи, когда у меня никого не будетъ!

Мадамъ Григри. Кто этотъ Велькомірovъ? Онъ, кажется, никогда у васъ не бываетъ.

Авдотья Ивановна. Мы съ нимъ часто встрѣчаемся въ свѣтѣ.

Мадамъ Григри. И онъ обѣщалъ вамъ?..

Авдотья Ивановна. Какъ же! Я вчера по-утру видѣла его у Соликамскаго, просила, чтобъ онъ сегодня прочелъ у меня свои стихи, и онъ очень вѣжливо мнѣ поклонился... Да что онъ такъ о себѣ думаетъ?.. Ужъ не правду ли говоритъ Наяновъ, что въ немъ вовсе нѣтъ таланта?.. Признаюсь, мнѣ и самой то-же кажется... А я еще назвала его въ своей запискѣ русскимъ Ламартиномъ... Мужикъ!.. Ахъ, какъ это досадно: стиховъ

не будетъ... одна проза... Ну, дѣлать нечего!.. Вотъ, ma chère, что такое русскіе писатели!.. Въ Парижѣ мнѣ стоило бы сказать одно только слово, и самъ мосье Бальзакъ или Александръ Дюма за честь бы поставили... О, если-бъ не обстоятельства... конечно бы, нога моя не была въ Россіи!.. Парижъ!.. О, сколько въ немъ удовольствій, наслажденій.

Мадамъ Григри. Вы правду говорите: Парижъ рай женщинъ!

Авдотья Ивановна (*какъ будто что-то припоминая*). Ахъ!.. Да!.. (*Входитъ горничная*). Что ты?

Горничная. Вы приказали въ первомъ часу...

Авдотья Ивановна. Да развѣ ужъ первый?..

Горничная. Скоро часъ.

Авдотья Ивановна. Неужели?.. А я еще и не думала о моемъ туалетѣ. (*Вставая*). Пожалуйста, ma chère, не забудьте, что я вамъ приказывала.

Мадамъ Григри. Будьте спокойны.

(*Мадамъ Григри уходитъ. Двери уборной запираются на замокъ*).

Вечеръ. Гостиная комната въ домѣ Авдотьи Ивановны Сицкой. Бронзовая люстра и канделябры по угламъ съ зажженными свѣчами. На подстольникахъ бронзовые часы. Передъ диваномъ, на столѣ, фарфоровый карсель. На всѣхъ другихъ столахъ разбросаны альбомы, кипсеки и литографіи.

Слуга (*растворяя обѣ половинки дверей*). Пожалуйте! Барыня сейчасъ выйдетъ.

(*Входитъ Артемій Захарьевичъ Рыльскій и Ѳедоръ Ѳедоровичъ Гуськовъ*).

Гуськовъ (*оглядываясь назадъ*). Ну, какъ хорошо у Авдотьи Ивановны! Нечего сказать—барски живетъ!

Рыльскій. Да, она живетъ недурно.

Гуськовъ. А, что Артемій Захарьевичъ, я думаю, эта бронза вся заграничная?

Рыльскій. Я думаю.

Гуськовъ. У насъ этакъ не сдѣлаютъ. Да и мебель-то вѣрно парижская?

Рыльскій. Нѣтъ, мебель здѣшняя.

Гуськовъ. Отлично, хорошо!.. Такъ сегодня у Авдотьи Ивановны будетъ чтеніе?

Рыльскій. Кажется, что такъ.

Гуськовъ. Не извѣстно ли вамъ, что будутъ читать?

Рыльскій. Право не могу вамъ сказать.

Гуськовъ (*съ важностью*). Вѣроятно или прозу, или стихи.

Рыльскій. Вѣроятно.

Гуськовъ. Я вамъ доложу, я страстный охотникъ до чтенія. Много и денегъ на это трачу. Да что будешь дѣлать, жить не могу безъ книгъ... пища моя, сударь, пища!

Рыльскій. Я слышалъ, у васъ есть библіотека.

Гуськовъ. Какъ же! И смѣю доложить—библіотека порядочная! Много есть, знаете, такихъ книжекъ — весьма замѣчательныхъ... классическія... и разныя другія.

Рыльскій. Что жъ, это очень хорошо.

Гуськовъ. Да-съ, и всѣ въ переплетахъ. Нарочно отдавалъ мальчика учиться, хорошо переплетаетъ, очень хорошо! И въ кожу, и въ папку и въ корешокъ—какъ угодно.

Рыльскій. Такъ поэтому вы ссужаете всѣхъ вашихъ сосѣдей.

Гуськовъ. Да что будешь дѣлать? Вѣдь, я, Артемій Захарьевичъ, одинъ во всемъ уѣздѣ. Такое невѣжество, что и сказать нельзя! Не то, чтобы не хотѣли читать, да все норовятъ этакъ какъ-нибудь на даровщинку... «Московскія Вѣдомости» еще кой-кто выписываетъ, а купить что ни на есть посерьезнѣе... журналъ литературный какой-нибудь выписать—такъ нѣтъ!.. Правда, имъ иногда за это достается.

Рыльскій. Какъ достается?

Гуськовъ. Да такъ же! Нашъ дворянскій предводитель... человѣкъ просвѣщенный, батюшка!.. получилъ прошлаго года письмо отъ одного столичнаго журналиста, который просилъ его, какъ ревнителя отечественнаго просвѣщенія, раздать дворянамъ нѣсколько билетовъ на его журналъ. Нашъ предводитель разсердился. «Да долго ли, дескать, этому журналисту съ кружкой-то ходить? И къ губернатору пишетъ, и къ предводителямъ; ну, словно нищій какой,—отбою нѣтъ! И добро бы журналъ-то бы порядочный, а то врутъ какую-то чепуху, ругаются какъ пьяные фабричные и только хвалятъ себя да своихъ пріятелей». Вотъ, батюшка Андрей Захарьевичъ, онъ и отослалъ назадъ билеты. Что жъ вы думаете?.. Нашъ предводитель лѣтъ тридцать тому назадъ пописывалъ стишки—и то и другое печаталъ въ журналахъ; они и принялись выкапывать эти старые грѣхи, да нука его, ну-ка,—и такъ, и этакъ! Ужъ они имя-то его волочили, волочили по грязи!.. Имъ что, ихъ ужъ ничѣмъ не запачкаешь; а каково-то было нашему предводителю! То-то и есть, плетью обуха не перешибешь. Вотъ я ничего не выдавалъ въ печать, такъ никто не смѣй обо мнѣ и слова сказать; а ужъ если кто былъ въ печати, хоть сто лѣтъ назадъ, такъ держи ухо востро! Всякій лоскутникъ можетъ позорить его имя безданно, безпошлинно...

Рыльскій. И полноте!.. Да кто же станетъ смотрѣть на ругательство пьянаго мужика или на лай какой-нибудь дворняжки?

Гуськовъ. Такъ, Артемій Захарьевичъ, такъ-съ! Да, вѣдь, на пьянаго-то мужика есть полиція, на дворняжку палка, а на этихъ господъ...

Рыльскій. А вотъ, кажется, и хозяйка.

Входитъ женщина среднихъ лѣтъ, то-есть лѣтъ за тридцать. Немного полный, но чрезвычайно стройный станъ ея плѣнителенъ; ея густые темно-русые локоны роскошно опускаются на дивныя плечи ослѣпительной бѣлизны. Щеки нѣсколько впалыя; но онѣ горятъ яркимъ и живымъ румянцемъ. При малѣйшемъ движеніи ея пламенно-пунцовыхъ губокъ открываются не зубы, а два ряда жемчужинъ, бѣлыхъ, ровныхъ, — ну, какъ-будто нарочно подобранныхъ одна къ другой. Эта прекрасная женщина — Авдотья Ивановна Сицкая. Она одѣта вся въ бѣломъ; воздушный шарфъ изъ дазе illusion обвиваетъ прозрачнымъ туманомъ ея бѣлоснѣжную шею и небрежно падаетъ волнами вдоль очаровательнаго стана.

Авдотья Ивановна (*подавая руку Рыльскому*). Здравствуйте, Артемій Захарьевичъ! (*Обращаясь къ Гуськову*). Что я вижу!.. А, любезный сосѣдъ!..

Гуськовъ (*подходя къ рукѣ*). Я, Авдотья Ивановна, вчера только пріѣхалъ въ Москву, завернулъ нынче къ почтеннному Артемію Захарьевичу, узналъ отъ него, что вы сегодня вечеромъ дома, и за долгъ почелъ...

Авдотья Ивановна. Покорнѣйше васъ благодарю!.. Очень рада... Прошу покорно!.. (*Всѣ садятся*).

Рыльскій. Мы, кажется, немного рано къ вамъ забрались!

Авдотья Ивановна. Тѣмъ лучше: мы успѣемъ побесѣдовать, поговорить...

Гуськовъ. У васъ, сударыня, будетъ сегодня чтеніе?

Авдотья Ивановна. Да, у меня будутъ читать и, кажется, вещи интересныя. (*Съ улыбкою*). Можетъ-быть, вы до этого не охотники, Ѳедоръ Ѳедоровичъ?

Гуськовъ. Кто! Я-съ?.. Помилуйте! Да я умираю надъ книгами; это моя пища Авдотья Ивановна,—истинно пища!

Авдотья Ивановна. Право?

Рыльскій. А кто будетъ у васъ читать?

Авдотья Ивановна. Да, я думаю, все люди, которыхъ вы давно знаете. Вы человѣкъ просвѣщенный, Артемій Захарьевичъ, и любите заниматься литературою. У меня будетъ читать «Обзоръ русской словесности» Варсонофій Николаевичъ Наяновъ. Вы его знаете?

Рыльскій. Фамилія мнѣ что-то знакомая... Постойте!.. А!.. да!.. Вѣдь онъ журналистъ?

Авдотья Ивановна. Нѣтъ. Онъ былъ нѣсколько времени журналистомъ, да какъ-то не пошло... Теперь онъ печатаетъ свои сочиненія въ чужихъ журналахъ... Вы вѣрно ихъ читали?

Рыльскій. Нѣтъ, не читалъ.

Авдотья Ивановна. Какъ, вы не читали сочиненій Наянова—этого знаменитаго полемика?..

Рыльскій. Знаменитаго?.. Представьте себѣ, я до сегодняшняго утра и не подозрѣвалъ даже, что у насъ есть какой-то г-нъ Наяновъ и что этотъ Наяновъ — знаменитый полемикъ.

Гуськовъ. Наяновъ!.. Позвольте, позвольте!.. Такъ точно!.. Вѣдь онъ, кажется, пишетъ критики въ журналахъ?.. У, какой ученый человѣкъ!.. Вѣрите ль Богу, иногда втупикъ станешь... такія странныя слова! Я, признаюсь, хотѣлъ было ихъ позатвердить, да нѣтъ,—памяти не хватаетъ. Должно быть человѣкъ съ большими способностями.

Рыльскій. А почему вы это думаете?

Гуськовъ. Помилуйте!.. Да какъ же?.. И всѣхъ критикуетъ и пишетъ такимъ высокимъ слогомъ; все термины отборные!.. Нѣтъ, сударь, ученый мужъ, ученый!

Авдотья Ивановна (*обращаясь къ Рыльскому*). Ну, если вы не знаете Наянова, такъ, вѣроятно, имѣете понятіе о Неофитѣ Платоновичѣ Ералашиномъ.

Рыльскій. Извините, — и о немъ никогда не слыхалъ.

Авдотья Ивановна (*съ удивленіемъ*). Помилуйте!.. Не слыхали — вы, человѣкъ такой просвѣщенный,.. Да это одинъ изъ нашихъ геніевъ...

Рыльскій. Неужели?

Авдотья Ивановна. Кто-жъ этого не знаетъ?

Рыльскій. Виноватъ, я не зналъ.

Авдотья Ивановна. Онъ будетъ читать у меня свою фантастическую повѣсть: «Душа въ хрустальномъ бокалѣ».

Гуськовъ. Какъ-съ?

Авдотья Ивановна. «Душа въ хрустальномъ бокалѣ».

Гуськовъ. Скажите пожалуйста, какія странности! Мнѣ случалось видѣть въ петербургской кунсткамерѣ въ стеклянныхъ банкахъ и хрустальныхъ бокалахъ и голову красавицы, и разныхъ уродцевъ, и даже сердце человѣческое, но душа въ бокалѣ... Ну, это должно быть очень занимательно!

Авдотья Ивановна. У меня будетъ также читать свои русскіе афоризмы Иванъ Антоновичъ Дутиковъ. Ну, знаете ли вы хоть этого, Артемій Захарьевичъ?

Рыльскій. Что, Авдотья Ивановна, мнѣ стыдно на васъ смотрѣть: и этого не знаю.

Авдотья Ивановна (*съ умножающимся удивленіемъ*). Ахъ, Боже мой, да кого же вы знаете?.. Ну, видно вы давно перестали слѣдить за русскою словесностью?..

Рыльскій. Видно что такъ! Да что такое этотъ г-нъ Дутиковъ?

Авдотья Ивановна. Что такое? А вотъ спросите Варсонофія Николаевича Наянова, такъ онъ вамъ скажетъ, что такое Дутиковъ. Это самый глубокій моралистъ, это русскій Лабрюеръ, русскій Рошефуко и, безъ всякаго сомнѣнія, первый нашъ мыслитель.

Гуськовъ. Мыслитель?.. А, знаю-съ!.. Какже-съ! Объ этихъ господахъ часто упоминается въ журналахъ. (*Входитъ слуга*).

Авдотья Ивановна. Что ты?

Слуга. Вы изволили посылать меня къ Ивану Антоновичу Дутикову...

Авдотья Ивановна. Да, да!.. Чтобъ напомнить ему, что онъ сегодня у меня читаетъ. Онъ такой разсѣянный?.. Ну, что?

Слуга. Нездоровъ-съ.

Авдотья Ивановна. Такъ онъ не будетъ?

Слуга. Не будетъ-съ.

Авдотья Ивановна. Ахъ, какая досада! Да что съ нимъ сдѣлалось?

Слуга. Говоритъ, что угорѣлъ, сударыня.

Авдотья Ивановна. Такъ это, можетъ быть, черезъ часъ пройдетъ.

Слуга (*ухмыляясь*). Нѣтъ-съ, не пройдетъ.

Авдотья Ивановна. Почему ты это знаешь?

Слуга. Да я говорилъ съ его кухаркою: сегодня только началъ, такъ развѣ черезъ недѣлю...

Авдотья Ивановна. Началъ? Что началъ?.. (*Слуга поглядываетъ на гостей и переминается*). Да отвѣчай же, когда тебя спрашиваютъ.

Слуга (*вполголоса*). Запоемъ изволитъ пить. (*Рыльскій смѣется*).

Авдотья Ивановна. Фи, какая гадость!.. Пошелъ вонъ, дуракъ!

Рыльскій (*продолжая смѣяться*). И вы называете этого господина глубокимъ моралистомъ, Авдотья Ивановна?

Авдотья Ивановна. Ахъ, Артемій Захарьевичъ!.. Ну, конечно, это очень жаль; да развѣ вы не знаете, что всѣ великіе таланты...

Рыльскій. Пьютъ запоемъ?

Авдотья Ивановна. О, нѣтъ! Но, однакожъ, всегда имѣютъ большія слабости. Да вотъ, напримѣръ, хоть самъ великій, неподражаемый Бирономъ... Вы читали его біографію?

Рыльскій. Читалъ.

Авдотья Ивановна. Такъ вспомните, какую онъ велъ безпутную жизню, какъ пилъ со своими друзьями вино изъ человѣческаго черепа, какія оргіи бывали въ его наслѣдственномъ замкѣ. А Кинъ, этотъ геніальный артистъ, которому не было и не будетъ равнаго...

Рыльскій. Да, это правда, онъ былъ первымъ негодяемъ въ Англіи.

Авдотья Ивановна. Ну, вотъ видите!.. Чтожъ дѣлать, когда человѣкъ такъ созданъ? Чѣмъ выше его геній, тѣмъ сильнѣе его страсти. Знаете ли что? Я даже думаю, что добродѣтельный человѣкъ не можетъ быть геніальнымъ писателемъ.

Рыльскій. Ну, а человѣкъ, хоть не добродѣтельный, а порядочный?

Авдотья Ивановна. И того менѣе. Что такое человѣкъ порядочный? Вѣрно по-вашему это тотъ, у котораго въ головѣ пошлый разсудокъ, а въ сердцѣ вѣчный холодъ? Ну, скажите, что можетъ создать этотъ человѣкъ?

Рыльскій. Да то-же, что создавали весьма порядочные люди: Невтонъ, Мольеръ, Вальтеръ-Скоттъ, Шекспиръ...

Авдотья Ивановна. О, не говорите мнѣ о Шекспирѣ: онъ былъ актеромъ и вѣрно...

Рыльскій. Такъ же пилъ и буянилъ, какъ знаменитый Кинъ?..

Авдотья Ивановна (*почти съ досадою*). Да ужъ, конечно, не былъ вашимъ порядочнымъ человѣкомъ. Нѣтъ, Артемій Захарьевичъ, повѣрьте мнѣ, всѣ эти чинные и добропорядочные писатели были только таланты; но геній—о, геній стоитъ выше всего этого; для него нѣтъ законовъ!..

Гуськовъ. А что вы думаете, Авдотья Ивановна, вѣдь это правда. Вотъ у меня есть одинъ мужичекъ—природный механикъ; смѣю вамъ доложить, геніальный человѣкъ! Такъ, сударыня, строитъ самоучкой вѣтряныя мельницы, что и нѣмцу не удается; а вѣдь пребольшой пьяница и ужасный буянъ: каждое воскресенье напьется пьянъ, какъ стелька, и всегда съ подбитыми глазами.

Слуга (*растворяя обѣ половинки дверей*). Ольга Николаевна Букашкина.

Авдотья Ивановна (*идя навстрѣчу къ Букашкиной, которая входитъ вмѣстѣ съ дочерью*). А, chére amie! Какъ вы милы! On ne peut être plus exacte!.. (*Дочери*). Здравствуйте, мой ангелъ! (*Усаживается*).

Букашкина. Я, кажется, пріѣхала немножко рано?

Авдотья Ивановна. О нѣтъ, Ольга Николаевна! Ужъ давно девятый часъ.

Букашкина. Неужели? Такъ Наденька правду мнѣ говорила: «ахъ, маменька, поѣдемте, пора!» Она такъ много обѣщаетъ себѣ удовольствія отъ вашего чтенія, такъ боялась опоздать...

Авдотья Ивановна. А кстати, chére Nadine! Когда же вы прочтете у меня ваши французскіе стихи?.. Ну, вотъ и покраснѣла... Charmante enfant!

Букашкина. Нѣтъ, Авдотья Ивановна, какъ ей можно читать свои стихи на литературномъ вечерѣ? Дѣло другое вамъ однѣмъ,—вы вѣрно будете къ ней снисходительны. Правда, мосье Жобаръ говоритъ, что стихи очень хороши, что нельзя даже и подозрѣвать, что ихъ писала русская; но читать публично, въ кругу литераторовъ—о, это ужасно!

Слуга. Елена Дмитріевна Суховольская. (*Суховольская входитъ съ племянницей*).

Авдотья Ивановна (*встрѣчая ее*). Здравствуйте, ma bonne amie!

Суховольская. Честь имѣю представить вамъ мою племянницу.

Авдотья Ивановна (*подавая ей руку*).

Очень рада, что имѣю удовольствіе съ вами познакомиться.

Суховольская. Вы не можете себѣ представить, какъ ей хотѣлось быть у васъ сегодня на чтеніи.

Авдотья Ивановна. Чтожъ, это весьма натурально. Mademoiselle écrit elle-même... Прошу покорно!.. (*Суховольская садится на диванъ; съ правой стороны у нея Букашкина, съ лѣвой хозяйка. Ближе всѣхъ къ хозяйкѣ сидитъ на креслахъ Рыльской, подлѣ него Гуськовъ, напротивъ, также на креслахъ—дочь Букашкиной и племянница Суховольской*).

Букашкина (*Суховольской*). Я васъ цѣлый вѣкъ не видѣла... Кажется, въ послѣдній разъ во французскомъ театрѣ?

Суховольская. Кажется, такъ. Моя ложа была подлѣ вашей. Вы абонированы?

Букашкина. И, ma chère, что за охота абонироваться? Можно иногда, отъ нечего дѣлать, побывать въ театрѣ; но ѣздить каждый день... да это наказанье! Вотъ, еслибъ здѣсь была итальянская труппа, которую я надѣюсь скоро услышать...

Суховольская. Такъ вы ѣдете?..

Букашкина. На будущей недѣлѣ.

Суховольская. Въ Петербургъ?

Букашкина. О нѣтъ! Подите вы съ вашимъ сѣверомъ! Я ѣду на югъ—въ Одессу.

Суховольская. Въ Одессу? Какъ я вамъ завидую! Вѣдь это, кажется на берегу моря?

Букашкина. Какъ же—Черное море.

Суховольская. Ахъ, море, море!.. Я воображаю, какъ грустно шумятъ его волны; какъ тонетъ въ его водахъ заходящее солнце; какъ играютъ въ немъ дельфины!.. Ахъ, прелесть!.. Я думаю, и городъ очень хорошъ?

Букашкина. Разумѣется!.. Совершенно не русскій городъ. Мнѣ говорили, что онъ даже болѣе походитъ на Европу, чѣмъ Варшава. Какъ весело тамъ живутъ! Какая итальянская опера! А климатъ, климатъ!.. Вообразите себѣ: воздушные персики, виноградъ; ну просто—Италія!

Рыльскій (*улыбаясь*). Не совсѣмъ: немножко похолоднѣе.

Букашкина. Помилуйте! Да тамъ вовсе нѣтъ зимы.

Гуськовъ. Скажите, пожалуйста!

Авдотья Ивановна. Что вы это, ma chère, говорите! Какъ нѣтъ зимы? Вѣдь au bout du compte,—это все еще Россія. Вотъ еслибъ вы были на берегахъ Рейна или въ Парижѣ...

Букашкина. Да, можетъ-быть, и буду, Авдотья Ивановна. Вѣдь Франція не Богъ знаетъ гдѣ! (*Тихо Суховольской*). Какъ она скучна со своимъ Парижемъ! (*Громко*). Ахъ, какой у васъ прекрасный брошъ! Что это, антикъ или кокиль?

Суховольская. Антикъ.

Букашкина. Я слышала, что въ Одессѣ антики ни почемъ,—прямо изъ Италіи.

Авдотья Ивановна (*Тихо Рыльскому*). Да она, кажется, въ самомъ дѣлѣ думаетъ, что Одесса чужіе края,—бѣдняжка! (*Громко*). У васъ, Артемій Захарьевичъ, всегда такіе вѣрные часы,—который часъ?

Рыльскій (*Посмотрѣвъ на часы*). Скоро девять. (*Начинаютъ подавать чай. Входятъ нѣсколько молодыхъ людей*).

Авдотья Ивановна. А, вотъ мои литераторы!.. Здравствуйте, мосье Окуньковъ!.. Здоровы ли вы, мосье Голушенко?.. А, мосье Бѣлоносовъ! Я на васъ и не разсчитывала! Мнѣ сказали, что вы такъ заняты вашей драмой, заперлись кругомъ, никого къ себѣ не пускаете... Прошу покорно садиться!..

(*Молодые люди, поклонясь молча хозяйкѣ, разсаживаются по креслам. Въ комнатѣ начинаетъ пахнуть курительнымъ табакомъ*).

Авдотья Ивановна (*вполголоса Рыльскому*). Вы знаете этихъ молодыхъ людей?

Рыльскій. Нѣтъ, не знаю.

Авдотья Ивановна. Трудно отгадать, что изъ нихъ будетъ, но что они не дюжинные молодые люди, въ этомъ могу васъ увѣрить. Какой взглядъ на всѣ предметы, какая ученость!..

Рыльскій. Право? Что же, они получили свое образованіе въ здѣшнемъ университетѣ?

Авдотья Ивановна. Да, они такъ же, какъ и другіе, начали университетомъ.

Рыльскій. И, вѣроятно, выпущены дѣйствительными студентами, кандидатами?..

Авдотья Ивановна. Ахъ, Артемій Захарьевичъ, какой вы русскій человѣкъ! Вы помѣшаны на чинахъ.

Рыльскій. Да это не чины, а ученыя степени.

Авдотья Ивановна. Ахъ, Боже мой!.. Я ужъ вамъ сказала, что это недюжинные люди. На что имъ ваши ученыя степени? Помилуйте, да развѣ Шекспиръ, Бирон, Викторъ Гюго, Жоржъ Зандъ были когда-нибудь кандидатами? (*Входитъ Андрей Степановичъ Лычкинъ*).

Лычкинъ (*кланяясь хозяйкѣ*). Madame!

Авдотья Ивановна (*привставая*). Здравствуйте, Андрей Степановичъ! Я ждала васъ ранѣе.

Лычкинъ. Виноватъ, Авдотья Ивановна! Впрочемъ, я наказанъ за мою вину и очень жестоко: я былъ въ русскомъ театрѣ... Dieu, quelle misère!..

Авдотья Ивановна. Охота же вамъ ѣздить.

Лычкинъ. Мемя затащили насильно.

Авдотья Ивановна. Хотите чаю?

Лычкинъ. Сдѣлайте милость! (*Человѣкъ подходитъ съ подносомъ. Лычкинъ беретъ чашку и садится*).

Букашкина (*тихо Суховольской*). Это одинъ изъ московскихъ львовъ.

Суховольская. Въ самомъ дѣлѣ?.. Какая у него странная бородка!

Букашкина. Здѣсь, ma chère, это рѣдкость, но въ Одессѣ всѣ такъ ходятъ.

Авдотья Ивановна. Мосье Лычкинъ, не видѣлись ли вы съ Неофитомъ Платоновичемъ Ералашнымъ?..

Лычкинъ. Я сейчасъ обогналъ его. Онъ ѣдетъ къ вамъ вмѣстѣ съ Наяновымъ. Да вотъ они! (*Входятъ Ералашный и Наяновъ*).

Авдотья Ивановна (*идя къ нимъ навстрѣчу*). Неофитъ Платоновичъ!.. Варсонофій Николаевичъ!.. Мы всѣ ждали васъ съ петерпѣніемъ!.. Надѣюсь, вы привезли съ собою...

Наяновъ. Разумѣется!

Авдотья Ивановна. А вы?

Ералашный. Вы знаете, Авдотья Ивановна, я не очень охотно читаю, а особливо въ большомъ обществѣ. Но я не смѣлъ вамъ отказать... (*Окидываетъ быстрымъ взглядомъ всю комнату. Блѣдное и длинное лицо его становится еще длиннѣе и вѣжливая улыбка превращается въ какую-то весьма непріятную гримассу*). И у васъ больше никого не будетъ?

Авдотья Ивановна. Никого! Какъ видите, человѣкъ пятнадцать, не больше.

Ералашный (*сквозь зубы*). Только!

Наяновъ. Я слышалъ, что нашъ Дутиковъ боленъ?

Авдотья Ивановна. Да. Представьте себѣ, какая досада!

Наяновъ (*съ важностью*). Мы много потеряемъ. Его афоризмы носятъ на себѣ отпечатокъ геніальности. Какая глубина, какой взглядъ, какая энергія, какое безпрерывное проявленіе обособленныхъ идей, какъ развертываетъ онъ эту высокую идею Гегеля, что бытіе и небытіе одно и то же! О, конечно, появленіе его афоризмовъ сдѣлаетъ эпоху въ нашей словесности!

Авдотья Ивановна. Ну, вотъ, скажите пожалуйста'.. Ахъ, какъ я на него сердита!

Наяновъ. Помилуйте, за что?.. Развѣ отъ насъ зависитъ...

Авдотья Ивановна. Конечно, конечно!.. Но еслибъ онъ захотѣлъ!.. Да что объ этомъ говорить!. Messieurs et mesdames, милости прошу ко мнѣ въ кабинетъ. (*Всѣ встаютъ*).

Наяновъ. (*Сицкой*). Неофитъ Платоновичъ начнетъ своею повѣстью, а потомъ ужъ я прочту мой взглядъ на русскую словесность. Мы съ нимъ такъ согласились.

Авдотья Ивановна, Какъ вамъ угодно. (*Хозяйка, а за нею всѣ выходятъ изъ гостиной*).

(*Кабинетъ Авдотьи Ивановны Сицкой. За круглымъ столомъ сидитъ Неофитъ Платоновичъ Ералашный. Передъ нимъ стоитъ графинъ съ водою, сахарница съ мелкимъ сахаромъ и стаканъ. По правую его сторону Наяновъ, по лѣвую Букашкина, Суховольская, обѣ барышни-сочинительницы, хозяйка, Рыльскій и Гуськовъ. Остальные слушатели нѣсколько поодаль; а всѣхъ далѣе отъ стола, въ темномъ углу, сидитъ, развалившись на спокойныхъ креслахъ, Андрей Степановичъ Лычкинъ; онъ спитъ*).

Ералашный (*дочитывая свою повѣсть*)... «Ступай!—прогремѣлъ невидимый голосъ. — Ступай, гостья неземная; давно желанный часъ твоей свободы наступилъ! Ты, путемъ страданій, достигла до самопознанія; для тебя нѣтъ вещественныхъ преградъ!.. И вдругъ, съ громовымъ трескомъ, блестящей пылью разсыпался хрустальный бокалъ и обновленная душа, на радужныхъ своихъ крылахъ, взвилась огненной струею къ небесамъ. Какъ призраки замелькали вокругъ ея безчисленные міры; казалось, они тонули въ какой-то бездонной мрачной безднѣ, а душа парила все выше и выше! Она стремилась туда, гдѣ нѣтъ ни времени, ни пространства, — туда, гдѣ конечное сливаясь съ безконечнымъ, исчезаетъ и въ то-же время живетъ новой, непостижимой для насъ жизнью!» (*Манускриптъ выпадаетъ у него изъ рукъ и онъ, повидимому, въ совершенномъ изнеможеніи опускается на кресла*).

Авдотья Ивановна. Вы кончили? (*Ералатный отвѣчаетъ наклоненіемъ головы*).

Суховольская. Ахъ, какая прелесть!

Авдотья Ивановна. Какъ мы вамъ благодарны!

Наяновъ. Вотъ она—истинная-то поэзія!

Гуськовъ. Поэзія? Такъ это въ стихахъ?.. Скажите, пожалуйста,—не замѣтилъ!

Букашкина. Вы нашъ Гофманъ, Неофитъ Платоновичъ.

Наяновъ. Нѣтъ, извините,—я съ вами не согласенъ! Нашъ знаменитый другъ вовсе не походитъ на Гофмана: у него можно скорѣй найти сходство съ Жанъ-Поль Рихтеромъ; но и тотъ несравненно его ниже.

Суховольская. Какъ эта душа меня интересовала!

Гуськовъ. Да-съ, понатерпѣлась, горемычная! (*Общій невнятный шопотъ восторга между неговорящихъ лицъ*).

Лычкинъ (*проснувшись*). Браво, мосье, Ералашный, браво!.. C'est ravissant! (*Подаютъ мороженое*).

Авдотья Ивановна (*Рыльскому вполголоса*). Что вы скажете объ этой повѣсти?

Рыльскій (*также вполголоса*). Я не очень люблю этотъ родъ.

Авдотья Ивановна. И, Артемій Захарьевичъ!.. Всѣ роды хороши, исключая скучнаго.

Рыльскій. Да мнѣ было скучно.

Авдотья Ивановна. Тсъ!.. Тише!.. Что

вы!.. (*Громко*). Еще разъ покорнѣйше благодаримъ васъ, Неофитъ Платоновичъ! Мы слушали васъ съ истиннымъ наслажденіемъ.

Ералашный. Быть-можетъ, я напишу что-нибудь въ этомъ родѣ посерьезнѣе; а это такъ — небольшая попытка, и мнѣ должно благодарить васъ, что вы слушали съ такимъ вниманіемъ эту бездѣлку.

Букашкина (*Суховольской*). Какъ онъ скроменъ.

Суховольская. Это всегда признакъ истиннаго таланта.

Наяновъ. Вы называете это бездѣлкою, Неофитъ Платоновичъ! Дай то Богъ, чтобъ у насъ было побольше такихъ бездѣлокъ! Вѣдь это ужъ не «Мои бездѣлки» Карамзина, которыми такъ простодушно восхищались наши бабушки.

Гуськовъ (*тихо Рыльскому*). Ого, какъ онъ поговариваетъ о Карамзинѣ! Слышите, Артемій Захарьевичъ?

Рыльскій. Слышу.

Гуськовъ. Ну, вотъ видите ли? Я вамъ говорилъ, что онъ человѣкъ ученый.

Наяновъ. На безплодномъ полѣ нашей словесности много крапивы и репейнику. Давайте намъ почаще цвѣтовъ, Неофитъ Платоновичъ!

Ералашный. Мы всѣ должны *васъ* просить объ этомъ, Варсонофій Николаевичъ!

Наяновъ. Что я!.. Моя миссія тяжка и неблагодарна; я долженъ говорить горькія истины, преслѣдовать бездарность и, несмотря на дѣтскіе возгласы невѣжественной толпы, идти по тому тернистому пути, на которомъ растутъ розы для васъ однихъ, Неофитъ Платоновичъ!

Ералашный. Нѣтъ, Варсонофій Николаевичъ, не говорите! Высоко и ваше назначеніе: вы очищаете нашу словесность отъ плевелъ.

Наяновъ. А вы даете ей жизнь и самобытность.

Рыльскій (*про себя*). Ну, пошли кадить другъ другу!

Ералашный. Вы сокрушаете кумиры, которымъ до сихъ поръ поклоняется толпа.

Наяновъ. Стараюсь по крайней мѣрѣ; но вы не можете себѣ представить, какъ упряма эта грубая, невѣжественная толпа: если книга ей нравится, такъ вы ее никакъ не убѣдите, что эта книга дурна.

Ералашный. Что вамъ на это смотрѣть?

Наяновъ. Да я и не смотрю.

Авдотья Ивановна. Варсонофій Николаевичъ, теперь очередь за вами!

Наяновъ (*обращаясь съ вѣжливымъ поклономъ ко всѣмъ слушателямъ*). Я чувствую всю невыгоду моего положенія; послѣ такого увлекательнаго чтенія всякая ученая статья должна вамъ показаться и скучной и сухой. Къ тому-жъ и самый предметъ ея не заключаетъ въ себѣ почти ничего интереснаго. Я намѣренъ говорить съ вами о русской словесности, то-есть разсказывать исторію дитяти, которое еще въ пеленкахъ. Мы до сихъ поръ называли его дѣтскій, нескладный крикъ поэзіею, а безсмысленный лепетъ прозою. Мы и теперь еще толкуемъ о какой-то народной литературѣ, какъ будто бы у насъ есть какая-нибудь литература! Прошу сказать, что у насъ написано съ тѣхъ поръ, какъ мы выучились кой-какъ писать? Чѣмъ можемъ мы похвастаться передъ Западомъ? Чье имя назовемъ мы съ гордостію!..

Рыльскій (*улыбаясь*). Это, вѣроятно, риторическая фигура, а не вопросъ?

Наяновъ. Извините! Простой, обыкновенный вопросъ, на который отвѣчать очень легко: у насъ не было литературы и нѣтъ ея! Нѣсколько современныхъ намъ великихъ писателей, опередившихъ свой вѣкъ, не составляютъ еще народной словесности: она должна быть богата прошедшимъ. Конечно, есть люди, которые воображаютъ, что имъ удалось собрать русскую библіотеку, что у нихъ стоятъ на полкахъ русскіе знаменитые писатели... Эта дѣтская мечта забавляла и теперь еще забавляетъ многихъ.

Гуськовъ. Мечта-съ?.. Нѣтъ, ужъ это слишкомъ, воля ваша!.. Такъ поэтому и моя русская библіотека мечта?

Наяновъ. Разумѣется.

Гуськовъ. Нѣтъ, ужъ извините!.. Я за нее деньги платилъ!

Наяновъ. Очень жаль! Вы могли бы употребить ихъ лучше.

Авдотья Ивановна. Не угодно ли вамъ начать, Варсонофій Николаевичъ? (*Наяновъ вынимаетъ изъ кармана довольно толстую тетрадку, кладетъ ее на столъ, выпиваетъ стаканъ сахарной воды и начинаетъ читать*).

Я не стану пересказывать моимъ читателямъ то, что читалъ г. Наяновъ. Всѣ эти чтенія на литературныхъ вечерахъ имѣютъ большое преимущество передъ всякою книгою. Вѣжливость, приличіе, желаніе выказать при людяхъ любовь свою къ словесности, все заставляетъ васъ быть если не снисходительнымъ, то, по крайней мѣрѣ, терпѣливымъ; а при томъ хорошее угощеніе и ожиданіе вкуснаго ужина могутъ еще кой-какъ поддерживать вниманіе слушателей, готовыхъ заснуть. Всѣ эти побочныя средства не существуютъ для книги; если она васъ не забавляетъ, вы перестаете ее читать, а я желаю, чтобы вы дочли этотъ разсказъ до конца. Все, что говорилъ г. Наяновъ, собираясь читать, можетъ назваться сущностью и результатомъ прочтеннаго имъ *взгляда на русскую словесность*. Онъ доказывалъ въ немъ, что у насъ нѣтъ никакой литературы, что всѣ наши великіе писатели, начиная съ Ломоносова, не написали ничего путнаго, и что всѣ современные литераторы, разумѣется, за исключеніемъ писателей одного

съ нимъ прихода, люди бездарные, безграмотные, съ дѣтскими взглядами, съ пошлыми идеями и съ квасным патріотизмомъ. Теперь прошу васъ вообразить, что прошло часа полтора, какъ г. Наяновъ продолжаетъ читать, что Лычкинъ спитъ попрежнему, что у всѣхъ дамъ слипаются глаза, что многіе изъ мужчинъ зѣваютъ и что всѣ безъ исключенія сидятъ, какъ приговоренные къ смерти.

Наяновъ (*дочитывая послѣднюю страничку*). «И вотъ я провелъ васъ по этой песчаной, безплодной степи, которую мы назовемъ нашей словесностію. Вы видѣли, что вмѣсто пышныхъ розъ, о которыхъ вамъ натолковали ваши нянюшки, растетъ на этой степи одинъ колючій шиповникъ, безъ всякаго аромата и красоты. При концѣ нашего путешествія, я указалъ вамъ на нѣсколько красивыхъ цвѣтковъ и двѣ или три роскошныя пальмы, которыми оканчивается эта обширная пустыня. Но развѣ эти счастливыя исключенія даютъ намъ право думать, что у насъ есть словесность? О, конечно, нѣтъ! И у персіянъ есть свой Фердуси, свой Сади, а, не смотря на это, не только всѣ народы Европы, но даже мы, въ дѣтской нашей гордости, называемъ персіянъ народомъ варварскимъ и непросвѣщеннымъ. Что-жъ должны мы заключить изо всего этого?.. Грустно, а надобно высказать горькую истину: мы всѣ геніи-самоучки и таланты-скороспѣлки; мы толкуемъ объ учености и знаемъ только одни имена наукъ; мы ничему не учились, а говоримъ о просвѣщеніи; мы холодны ко всему прекрасному и восхищаемся пошлостями и, что всего забавнѣе, мы плохо знаемъ грамоту и разсуждаемъ о литературѣ; едва, едва читаемъ по складамъ, а хотимъ назваться писателями». (*Наяновъ перестаетъ читать. Минутное молчаніе*).

Гуськовъ (*тихо Рыльскому*). Что, сударь, каково?

Рыльскій. Хорошо!

Ералашный. Превосходно!.. Какіе новые взгляды, какая энергія!..

Суховольская. Ахъ, какіе вы строгіе, Варсонофій Николаевичъ!

Наяновъ. Я только что справедливъ, сударыня.

Букашкина. Я совершенно съ вами согласна. Какая у насъ литература? Да и на что она? Развѣ нѣтъ французскихъ писателей?

Авдотья Ивановна. Какъ прекрасно вы оканчиваете этотъ взглядъ на русскую словесность! Не правда ли, Артемій Захарьевичъ?

Рыльскій. О, конечно!.. Впрочемъ, я не знаю, что сказалъ бы г. Наяновъ, еслибъ кто-нибудь сдѣлалъ небольшую поправку въ этомъ окончаніи.

Наяновъ (*вслушавшись въ слова Рыльскаго*). Что вы изволите говорить? Сдѣлать поправку?.. *Какую поправку?*

Рыльскій. Самую ничтожную, — замѣнить множественное число единственнымъ,

Наяновъ. Я васъ не понимаю.

Рыльскій. А, кажется, это ясно. Употребляя мѣстоимѣніе «мы», вы, разумѣется, говорите и о самомъ себѣ. Но «мы» слово неопредѣленное; гораздо лучше, еслибъ вы говорили просто «я», то-есть «я толкую объ учености и знаю только одни имена наукъ; я ничему не учился, а говорю о просвѣщеніи»...

Наяновъ (*вспыльчиво*), Милостивый государь!..

Рыльскій (*продолжая весьма хладнокровно*). «И что всего забавнѣе: я плохо знаю грамоту и разсуждаю о литературѣ; едва, едва читаю по складамъ, а хочу называться писателемъ».

Наяновъ. Да кто вамъ далъ право, сударь?

Рыльскій. Ну, вотъ я зналъ, что это вамъ не понравится.

Ералашный. Позвольте вамъ сказать: это личность!

Рыльскій. Личность?.. Какая личность?.. Я повторяю только собственныя слова господина Наянова: вѣдь онъ говоритъ «мы»; еслибъ онъ не полагалъ себя въ общемъ числѣ безграмотныхъ, то вѣрно бы, вмѣсто этого слова, употребилъ мѣстоименіе второго лица во множественномъ числѣ, то-есть «вы». Нѣтъ, сударь, извините,—я грамматику-то знаю!

Ералашный, Да это, сударь, принятая, условная форма,

Рыльскій. А, вотъ что!.. Понимаю! Подъ словомъ «мы» господинъ Наяновъ разумѣетъ всѣхъ, выключая самого себя?.. Ну, такъ бы и говорили! Вы, дескать, всѣ люди безграмотные, ничему не учились, ничего не знаете; а я, дескать, всему учился, все знаю и одинъ имѣю право производить рядового писателя въ геніи и разжаловать генія въ рядовые писатели.

Наяновъ. Вы, милостивый государь, такъ странно толкуете мои слова...

Рыльскій. Да, мнѣ кажется, ихъ иначе и растолковать не можно...

Наяновъ (*Ералашному*). Ну, вотъ, Неофитъ Платоновичъ, не говорилъ ли я вамъ, что моя миссія тяжка и неблагодарна?.,

Рыльскій. А, кстати! Позвольте мнѣ еще одинъ вопросъ: вотъ ужъ второй разъ вы изволите повторять, что у васъ есть какая-то миссія. Мы знаемъ теперь, что эта миссія состоитъ въ томъ, чтобъ доказать намъ, что мы люди безграмотные и что у насъ нѣтъ никакой словесности, но, извините моему любопытству, я желалъ бы знать, кто возложилъ на васъ эту миссію?..

Наяновъ. Мое собственное, твердое убѣжденіе...

Рыльскій. Что вы къ этому призваны— очень хорошо; но, вѣроятно, Ломоносовъ, Державинъ, Карамзинъ и всѣ тѣ, которыхъ вы называете бездарными, думали то же самое

Наяновъ. И очень ошиблась.

Рыльскій. А вы не ошибаетесь?

Наяновъ. Не знаю, ошибаюсь ли я, но только во всякомъ случаѣ могу васъ увѣрить, что никогда не кривлю моею душою и ни за что въ мірѣ не назову дурного хорошимъ, а хорошаго дурнымъ.

Рыльскій. Полно, такъ ли?.. Вотъ, напримѣръ: за что вы такъ жестоко нападаете на Луцкаго, говорите съ такимъ презрѣніемъ о его прекрасномъ талантѣ?..

Наяновъ. Помилуйте, и вы это называете талантомъ! Ничтожный подбиратель риѳмъ, пошлый и водяной до невѣроятности!.. Да онъ не годится даже въ альбомные стихотворцы; его настоящее назначеніе писать конфектныя билетцы.

Рыльскій. Однакожъ, его читаютъ.

Наяновъ, Да, можетъ-быть, и у него есть читатели—въ фризовыхъ шинеляхъ.

Рыльскій. Извините,—я ношу суконную, а читаю его съ паслажденіемъ и, право, знаю много людей, которые раздѣляютъ это мнѣніе.

Наяновъ. Чтожъ? И это быть можетъ: у кого нѣтъ пріятелей.

Рыльскій. Ну, воля ваша, а вы къ нему несправедливы. Сегодня еще онъ читалъ мнѣ новые свои стихи—прелесть!

Наяновъ (*съ нѣкоторымъ безпокойствомъ*). Сегодня?.. Да развѣ онъ здѣсь?

Рыльскій. Проѣздомъ изъ Тифлиса. Онъ препоручилъ мнѣ напечатать здѣсь и въ Москвѣ собраніе своихъ стихотвореній, отдалъ мнѣ свой портфель, и я, перебирая въ немъ бумаги, нашелъ одно распечатанное письмо на его имя, которое совершенно противорѣчитъ вашимъ словамъ, господинъ Наяновъ. Я взялъ это письмо съ собою, чтобъ отдать его Луцкому, да какъ-то не успѣлъ сегодня съ нимъ повидаться.

Наяновъ (*смотритъ на свои часы*). Скажите, какъ поздно! Двѣнадцатый часъ!

Рыльскій. Это письмо со мною. Позвольте мнѣ его прочесть, Авдотья Ивановна. Оно очень коротко и, увѣряю васъ, чрезвычайно любопытно.

Авдотья Ивановна. Въ самомъ дѣлѣ?.. Прочтите, Артемій Захарьевичъ, прочтите! (*Рыльскій вынимаетъ изъ боковою кармана письмо*).

Наяновъ (*тихо Ералашному*). Я не хочу здѣсь ни минуты оставаться. Поѣдемте!

Ералашный. Извольте!

Рыльскій (*читая письмо*). «Милостивый государь, Андрей Михайловичъ» — это имя Луцкаго...

Наяновъ (*вставая въ одно время съ Ералашнымъ*). Извините,—мнѣ и Неофиту Платоновичу нужно ѣхать.

Авдотья Ивановна. Помилуйте, куда такъ поздно?.. Мы будемъ сейчасъ ужинать.

Наяновъ (*раскланиваясь*). Право нельзя!.. Мы дали слово!.. (*Уходитъ вмѣстѣ съ Ералашнымъ*).

Авдотья Ивановна (*вставая*). Позвольте васъ поблагодарить... Ушли!.. Что это сдѣлалось съ Наяновымъ?.. Ужъ не разсердили ли вы его, Артемій Захарьевичъ? Отчего онъ вдругъ такъ заторопился?

Рыльскій. А вотъ вы сейчасъ увидите отчего... Не угодно ли вамъ выслушать это письмо?.. (*Читаетъ*). «Милостивый государь, Андрей Михайловичъ! Совершенное отсутствіе всякаго достоинства, дѣтскіе взгляды и невыносимая пошлость всѣхъ нашихъ періодическихъ изданій побудили меня принять на себя редакцію журнала, хотя нѣсколько похожаго на журналы европейскіе. Мой «*Вѣстникъ Запада*» будетъ выходить книжками по декадамъ, т.-е. черезъ каждые десять дней. Въ обширномъ его объемѣ будутъ заключаться: словесность, науки, искусство, политика, статистика, исторія, археологія, критика, юмористика; однимъ словомъ—все. Для приведенія въ исполненіе этого истинно европейскаго предпріятія мнѣ необходимы пособіе и соучастіе нашихъ первыхъ отечественныхъ писателей. Вотъ почему, милостивый государь, я обращаюсь къ вамъ со всепокорнѣйшею моею просьбою, не откажитесь украсить вашимъ знаменитымъ именемъ первую книжку моего журнала. Я многаго не смѣю отъ васъ требовать: самыя мелкія произведенія вашего очаровательнаго пера носятъ на себѣ отпечатокъ геніальности; я буду доволенъ всѣмъ. Во всякомъ случаѣ не откажите мнѣ хотя въ одномъ: позвольте, въ объявленіи о моемъ журналѣ, поставить имя Луцкаго первымъ въ спискѣ всѣхъ моихъ сотрудниковъ. Съ чувствомъ глубочайшаго уваженія къ самобытному и прекрасному таланту вашему, честь имѣю навсегда остаться вашимъ покорнѣйшимъ слугою—Варсонофій Наяновъ». (*Общее удивленіе*).

Авдотья Ивановна. Какъ, это письмо писано Наяновымъ къ Луцкому?

Рыльскій. Ну, да! Вы знаете руку Наянова, посмотрите сами.

Авдотья Ивановна, Да, точно, это его рука!.. Такъ за что-жъ онъ теперь...

Рыльскій. За то, что Луцкій отказался отъ предложенной чести и не прислалъ ему стиховъ.

Суховольская. Ну, это не очень благородно!

(*Голосъ изъ толпы мыслителей*). Это даже подло!

Букашкина. Comme c'est ignoble!

Гуськовъ. Прошу покорно!.. Ну, хватъ!

Рыльскій. Вотъ вамъ этотъ добросовѣстный критикъ, который ни за что въ мірѣ не назоветъ дурное хорошимъ, а хорошее дурнымъ, который, не имѣя никакихъ правъ на ува-

женіе и довѣренность своихъ читателей, ругаетъ все.

Авдотья Ивановна. Да, конечно, и я скажу: онъ слишкомъ желченъ. Приговоры его такъ рѣзки!.. А впрочемъ, что-жъ такое?.. Ну, если въ самомъ дѣлѣ это его миссія.

Рыльскій. И, полноте, Авдотья Ивановна! Да этакъ, пожалуй, каждый задорный бурлакъ вообразитъ, что у него есть миссія обижать всякаго, кто не поднесъ ему вина.

Гуськовъ. Все такъ, Артемій Захарьевичъ, а воля ваша—бойкое перо, сударь, бойкое!

Рыльскій. Послушайте, Ѳедоръ Ѳедоровичъ, если-бъ это говорили одни вы, такъ я бы только засмѣялся; но, къ несчастію, много есть людей, которые повторяютъ вмѣстѣ съ вами: «Ну, какъ онъ отдѣлалъ! Бойкое, сударь, перо, бойкое!» А эти журнальные кулачные бойцы того только и добиваются. Право, грустно, когда подумаешь! Посмотрите, напримѣръ, какъ сосѣди наши, нѣмцы, любятъ и уважаютъ своихъ родныхъ писателей. А мы... Да что и говорить объ этомъ! Каждый литературный торгашъ, желающій забросить своей природной грязью твореніе истиннаго таланта, менѣе или болѣе, а непремѣнно найдетъ отголосокъ въ нашихъ обществахъ; какъ же ему не подумать, что онъ подлинно великій критикъ и непогрѣшающій судія нашей словесности, когда, вмѣсто общаго презрѣнія, онъ часто встрѣчаетъ одобрительную улыбку и слышитъ похвалы въ родѣ той, которою вы сейчасъ почтили господина Наянова.

Гуськовъ. Однако-жъ, Артемій Захарьевичъ, если какой-нибудь, по словамъ вашимъ, литературный торгашъ на всѣхъ нападаетъ, а никто не защищается и всѣ молчатъ, такъ, извините,—и я подумаю, что этотъ торгашъ правъ и что всѣ люди просвѣщенные уважаютъ его мнѣніе.

Рыльскій. Въ самомъ дѣлѣ?.. А если, напримѣръ, въ публичный садъ, заведенный для хорошаго общества, ворвется какой-нибудь трубочистъ, и всѣ опрятно одѣтые люди будутъ сторониться, давать ему дорогу и никто не рѣшится вытолкать его вонъ изъ саду, такъ вы скажете, что эти люди его уважаютъ?...

Гуськовъ. Ну, если не уважаютъ, такъ боятся.

Рыльскій. Не его, Ѳедоръ Ѳедоровичъ, а сажи, которою онъ запачканъ.

Гуськовъ. Ого, какъ вы поговариваете! Да позвольте спросить, Артемій Захарьевичъ, на кого вы это намекаете и какихъ людей изволите называть литературными торгашами?

Рыльскій. Да тѣхъ, которые торгуютъ и совѣстью и своимъ перомъ.

Гуськовъ. Ну, то-то-же, смотрите!.. Вы сами когда-то сочиняли и печатали. Помните, *что я вамъ разсказывалъ о нашемъ предводителѣ?*.. Какъ узнаютъ про ваши рѣчи, да примутъ на свой счетъ...

Рыльскій. А кто можетъ принять на свой счетъ то, что я говорю?.. Я ни на кого не указываю, не называю никого по имени.

Гуськовъ. Охъ, батюшка, Артемій Захарьевичъ! Не поможетъ вамъ это, — право, бѣду наживете! Или вы не знаете русской поговорки: «Зачѣмъ звать вора по имени, закричи: «мошенникъ», разомъ откликнется».

Слуга (*растворяя обѣ половинки дверей*). Кушанье готово.

Авдотья Ивановна. Милости прошу! (*Всѣ встаютъ*).

Лычкинъ (*просыпаясь отъ шума*). Браво, мосье Наяновъ,—браво! C'est charmant! (*Всѣ смѣются и уходятъ*).

V.

Ванька.

„На лихомъ извозчикѣ не далеко уѣдешь, а на Ванькѣ хоть въ Питеръ ступай".

Народная поговорка.

Почему всѣ дешевые извозчики, которые, появляются въ Москвѣ зимою, а исчезаютъ лѣтомъ, называются Ваньками? Неужели потому, что первый крестьянинъ, который задумалъ покинуть зимою свою деревню и пріѣхать въ Москву извозничать, назывался Иваномъ?.. Или не потому ли, что крестьяне вообще любятъ это имя, и что почти всегда изъ трехъ мужиковъ, взятыхъ на удачу, одинъ называется Иваномъ?—Впрочемъ, какъ бы то ни было, а мы привыкли уже называть Ванькою каждаго крестьянина, который зимою пріѣзжаетъ изъ деревни извозничать въ Москвѣ. Не такъ еще давно водились у насъ и лѣтніе Ваньки, ихъ экипажи были довольно уютные телѣжки и волочки, т. е. небольшіе роспуски, весьма похожіе на роспуски ломовыхъ извозчиковъ, только несравненно менѣе. Теперь они исчезли совершенно, и рессорныя дрожки, начиная отъ смиреннаго *калибера* до роскошныхъ *пролетокъ*, остались единственнымъ экипажемъ всѣхъ лѣтнихъ московскихъ извозчиковъ, изъ которыхъ самый оборванный и запачканный не откликнется вамъ, если вы назовете его Ванькою; точно такъ же, какъ и всякій городской сторожъ, хотя нѣсколько уважающій самого себя, не станетъ отвѣчать, когда вы осмѣлитесь назвать его не часовымъ, а будочникомъ... Всѣхъ московскихъ извозчиковъ можно раздѣлить на два разряда: на Ванекъ, пріѣзжающихъ изъ деревень зимою, и постоянныхъ извозчиковъ, которые занимаются этимъ промысломъ круглый годъ. Ваньки почти всѣ походятъ другъ на друга: у каждаго лубочныя пошевенки,

плохая упряжь и безобразная, но не знающая устали, крестьянская лошаденка. О постоянныхъ извозчикахъ нельзя этого сказать; они вовсе не одинаковаго достоинства. У однихъ дрожки отличаются отъ прежнихъ волочковъ только тѣмъ, что къ нимъ придѣланы крылья и четыре куска желѣза, довольно похожіе на низенькія рессоры; у другихъ лѣтній экипажъ, дѣйствительно, походитъ на дрожки, не слишкомъ красивыя—это правда, но, по крайней мѣрѣ, сидя на нихъ, вы чувствуете, что ѣдете не въ телѣгѣ. Извозчики-аристократы, извѣстные подъ названіемъ *лихихъ*, составляютъ совершенно отдѣльную касту. Ихъ гордость и презрѣніе ко всѣмъ другимъ извозчикамъ не имѣютъ никакихъ границъ. По ихъ мнѣнію, тотъ, кто не можетъ выѣхать на рысакѣ, иноходцѣ или, по крайней мѣрѣ, на красивой заводской лошади—не извозчикъ, а Ванька, хотя бы выѣзжалъ лѣтомъ на рессорныхъ дрожкахъ, а зимою въ городскихъ санкахъ, обитыхъ бронзою и выкрашенныхъ подъ орѣхъ. Впрочемъ, такъ и быть должно: Ваньки, проживающіе по зимамъ въ Москвѣ, не слишкомъ уважаютъ своихъ земляковъ, которые никогда не видали Бѣлокаменной; съ Ваньками не любятъ знаться городскіе ихъ товарищи, которыхъ, въ свою очередь, презираютъ лихіе извозчики; а съ лихимъ извозчикомъ и говорить не захочетъ какой-нибудь кучеръ-наѣздникъ, который славится на бѣгу, править знаменитымъ рысакомъ и не боится соперничать съ Бычкомъ, Похвальнымъ, Барсомъ и Могучимъ *). На свѣтѣ все круговая порука.

Однажды,—это было зимою,—я собрался ѣхать съ визитомъ къ одному пріѣзжему, который остановился на постояломъ дворѣ у самой Преображенской заставы. Дорого бы я далъ, чтобъ избавиться отъ этого путешествія! Да, путешествія: отъ Прѣсненскихъ прудовъ до Преображенской заставы мѣрныхъ восемь верстъ. Но дѣлать было нечего: этотъ господинъ, которому я долженъ былъ визитомъ, пріѣхалъ изъ провинціи, а я ужъ извѣдалъ на опытѣ, какъ строго наблюдается въ губернскихъ городахъ этотъ обычай и какъ позорятъ и казнятъ тѣхъ, которые не платятъ *счетомъ* визитъ за визитъ. Вотъ я распрощался со всѣми домашними, надѣлъ теплые сапоги, шапку, закутался въ енотовую шубу и, перекрестясь, отправился въ дорогу. Только-что я сталъ выѣзжать на Кудринскую площадь, наскакалъ на меня тройкою въ саняхъ какой-то удалой баринъ въ длинныхъ усахъ и отчаянной эриванкѣ, сбилъ съ ногъ мою пристяжную, исковеркалъ сани и помчался, какъ ни въ чемъ не бывало, вдоль по Садовой; къ счастію, я и кучеръ мой остались цѣлы. Надобно признаться, что я, по своему характеру, или темпераменту, или, лучше сказать, по моей русской натурѣ, человѣкъ довольно лѣнивый и чрезвычайно тяжелый на подъемъ; но если подымусь, такъ ничто на свѣтѣ меня не удержитъ. Вотъ я приказалъ кучеру воротиться домой, а самъ рѣшился нанять извозчика и ѣхать къ Преображенской заставѣ. Нельзя не подивиться смѣтливости и догадкѣ нашихъ извозчиковъ: я не сказалъ ни слова, не сдѣлалъ ни одного движенія, по которому можно было бы отгадать во мнѣ *съдока*, а ужъ на ближайшей биржѣ все пришло въ движеніе и не прошло нѣсколькихъ секундъ, какъ со всѣхъ сторонъ обсыпали меня извозчики и принялись кричать:

— Куда прикажете, батюшка?..

— Садитесь, баринъ, садитесь!..

— Пожалуйте, пожалуйте!..

— Тише, ребята, тише! — сказалъ я. — Дайте выговорить; къ Преображенской заставѣ и назадъ.

— Садитесь безъ ряды, сударь! Прокачу! — закричалъ ловкій дѣтина въ синемъ кафтанѣ и шелковомъ кушакѣ. Графскій рысакъ, батюшка!.. Утѣшу...

— Эхъ, баринъ, — прервалъ рыжебородый извозчикъ въ щегольской шапкѣ съ бобровымъ околышемъ,—садитесь ко мнѣ — лихой иноходецъ!.. Плетеныя саночки. Въ пять минутъ доставлю!

— Что больно скоро?—подхватилъ рослый извозчикъ въ обыкновенной кучерской шапкѣ.—Вишь, лихачъ какой!.. Въ пять минутъ!.. Задохнешься!.. Пожалуйте, батюшка, лучше ко мнѣ! городскія сани съ полостью.

— Сюда, баринъ, сюда; вотъ санки!.. Садитесь!..

Тутъ снова поднялся такой шумъ, что я вышелъ изъ терпѣнія.

— Да полноте, пострѣлы!—закричалъ я.— Дайте порядиться!.. Къ Преображенской заставѣ и назадъ сюда, къ Прѣсненскимъ прудамъ. Ну, что?..

— Извольте, сударь, — сказалъ извозчикъ въ шелковомъ кушакѣ. — Что торговаться: красненькую!

— Везу за два цѣлковыхъ! — закричалъ извозчикъ съ рыжею бородою.

— Синенькую!..

— Три полтинничка!.. Цѣлковый!—загремѣли вокругъ меня голоса.

Въ эту минуту проѣзжалъ мимо въ новенькихъ пошевенькахъ, запряженныхъ небольшой, но плотной лошадью, Ванька, въ сѣромъ зипунѣ и красной поношенной шапкѣ. Я махнулъ ему рукою.

— Что вы, батюшка? — сказалъ извозчикъ въ шелковомъ кушакѣ.—Да вамъ стыдно будетъ сѣсть на этого Ваньку. Помилуйте, — дерюга этакая!

— Доѣду и на немъ, братецъ.

— Такъ вы бы, сударь, къ биржѣ-то и не подходили!—промолвилъ рыжебородый извозчикъ, надѣвая свою бобровую шапку.—Смо-

*) Первые рысаки на московскомъ бѣгу.

три, Андрюха,—продолжалъ онъ, обращаясь къ извозчику въ шелковомъ кушакѣ, — экій конь—добра лошадь!.. А сбруя-то, сбруя!

— Да, братъ, упряжь мочальная, конь богатырскій!..

— По Сенькѣ шапка, по сѣдоку извозчикъ.

Всѣ эти насмѣшки на меня не подѣйствовали: я сторговался съ Ванькой за полтинникъ.

— Смотрите, баринъ, чтобъ вамъ не пришлось покормить!—закричалъ рыжебородый.— Не довезетъ до Преображенскаго.

— Ахъ, ты, щеголекъ этакій!—возразилъ Ванька, прибирая возжи. — Садись и ты, такъ я и тебя свезу. Видали мы вашу братью, лихачей: версту вскачь, а тамъ и плачь!.. Ну, ты!

И мой Ванька, вѣроятно, желая доказать на самомъ дѣлѣ, что его лошадка не безъ удали, пустился вскачь по Арбату.

— Держи, держи! — раздался за нами крикъ, прерываемый громкимъ хохотомъ. — Батюшки, бьетъ!.. Держи, держи!

— Охъ, вы, скалозубы этакіе, каторжные!—бормоталъ Ванька, сдерживая свою лошадку. — Вамъ бы только пьяницъ да буяновъ возить!.. Сами житьмя живутъ по трактирамъ да со всякой дрянью знаются... У самого шапка съ бобровымъ околышемъ, а женѣ перекусить нечего!..

— Что это, братъ, ты такъ ихъ позоришь?—спросилъ я.

— Да какъ же, батюшка! Вотъ этотъ, съ рыжею-то бородою, — вѣдь я его знаю: онъ изъ нашего села,—четыре года извозничаетъ, а домой гроша не прислалъ: все на чаю пропиваетъ. Ребятишки въ людяхъ живутъ; жена милостинку проситъ, а онъ въ синихъ кафтанахъ ходитъ; катаетъ на своемъ иноходцѣ купеческихъ сынковъ, да вмѣстѣ съ ними погуливаетъ... Чай и Бога-то забылъ!.. И то сказать: съ кѣмъ поведешься, такимъ и будешь.

Я очень люблю разговаривать съ русскими мужичками, а особливо съ тѣми, которые пріѣзжаютъ изъ дальнихъ деревень. Постоянно живущіе въ Москвѣ крестьяне и даже крестьяне изъ самыхъ близкихъ подмосковныхъ теряютъ почти всегда свой природный характеръ, эту смѣсь простодушія и лукавства, невѣжества и ума, суевѣрія и набожности; они превращаются въ какихъ-то полумѣщанъ и, по большей части, утрачивая всѣ хорошія свои качества, остаются при однихъ дурныхъ. Судя по нѣкоторымъ словамъ моего Ваньки, я тотчасъ догадался, что постоянное его жилище не близко отъ Москвы.

— Откуда ты родомъ, любезный? — спросилъ я.

— Владимірскій, батюшка.

— Господскій или экономическій?

— *Господскій. Можетъ статься слыхали* объ Алексѣѣ Андреевичѣ Черноярскомъ? Мы его. Село Завалихино, Шуйскаго уѣзда.

— Такъ это не близко отъ Москвы?

— Да верстъ около трехсотъ будетъ.

— Что, у тебя есть хозяйка?

— Какъ же сударь! Безъ хозяйки и домъ не стоитъ.

— Баба еще молодая?..

— Въ порѣ, батюшка. Баба такая знатная, повадливая, работящая; Ѳеклой зовутъ.

— И дѣтки есть?

— Были, батюшка, да Богъ взялъ. Одна дочка осталась.

— Ну, что, баринъ у васъ каковъ?

— Грѣшно пожаловаться: человѣкъ добрый, ничѣмъ насъ не обижаетъ. Покойный его батюшка, старый нашъ баринъ, такъ тотъ былъ,—не тѣмъ помянуть,—крутенекъ! Вотъ теперь, коли два мужика повздорятъ да придутъ къ барину на судъ, такъ онъ выслушаетъ и разсудитъ: ты, дескать, правъ, а ты, дескать, виноватъ; а бывало къ старому барину и не ходи: изъ своихъ рукъ замаетъ!

— Какъ: и праваго и виноватаго?

— Обоихъ, батюшка. Ты, дескать, не художествуй, а ты не жалобись.

— Такъ поэтому при немъ мужички-то не часто ссорились?

— Все такъ же, батюшка, и судиться такъ же ходили. Вѣдь нашъ братъ, мужикъ, упрямъ! Я и самъ къ нему на судъ ходилъ съ моимъ шабромъ, Ѳедькой рыжимъ; думаю, что за бѣда, что баринъ поколотитъ? Да пусть себѣ потѣшится! Лишь только бы Ѳедьку-то буяна порядкомъ отвалялъ.

— Э, братъ, да какой же ты злой!

— Что-жъ дѣлать, сударь, — и въ курицѣ есть сердце. Да этотъ же рыжій такой озорникъ, что и сказать нельзя! Вотъ ужъ подлинно, кабы на эту крапиву да не морозъ, такъ изъ деревни вонъ бѣги. Теперь онъ вовсе отъ насъ отшатнулся: извозничаетъ здѣсь въ Москвѣ.

— Здѣсь? Не онъ ли это въ Кудринѣ лихой извозчикъ на иноходцѣ?

— Онъ самый, батюшка!.. Ну, ты, сердечная...

— А что,—сказалъ я, помолчавъ нѣсколько времени,—ты каждую зиму сюда пріѣзжаешь?

— Да, сударь! Вотъ ужъ четвертый годъ, какъ я въ Москвѣ извозничаю.

— Такъ поэтому тебѣ выгодно?

— А какъ же, батюшка! Да что бы я добылъ зимою-то лежа на печи? Вѣдь подъ лежачій камень и вода не течетъ. Конечно, годъ-на-годъ не приходитъ, а все-таки сотни полторы, а иногда и двѣ свезешь домой; и оброкъ заплатишь, и подушное, и рекрутское, и всякія другія подати, а все копѣйка заляжетъ. Привезешь женѣ кумачу на сарафанъ, фату шелковую; дѣвчонкамъ—кому колечко, кому сережки.

— Дѣвчонкамъ? Да какъ же ты говорилъ, что у тебя одна только дочь?

— Одна, батюшка, да двѣ... какъ бы такъ сказать? — Сиротки, не сиротки, а хуже сиротъ.

— Родныя что ль тебѣ?

— Нѣтъ. Вотъ, дочки шабра-то моего, Ѳедьки рыжаго.

— Какъ, этого лихого извозчика?

— Его, батюшка.

— Да вѣдь онъ тебя обижалъ? Ты ходилъ съ нимъ судиться къ барину?

— Такъ что-жъ? Баринъ насъ разсудилъ: поколотилъ обоихъ—вотъ и все! А дѣтки его чѣмъ виноваты?.. Сердечныя! Родная мать покинула, пошла въ какія-то странницы, отецъ съ ними не живетъ, кровныхъ никого нѣтъ... Вотъ мы съ хозяйкой и подумали: у насъ всего довольно, Господь Богъ насъ не покидаетъ, такъ и намъ не слѣдъ ихъ покинуть... Дѣло сосѣдское... Да и то сказать: у насъ всего-на-всего одна дочка, — такъ не съѣдятъ же насъ двѣ сироты.

— И вы ихъ любите?

— Какъ родныхъ дочерей, батюшка, — видитъ Богъ, какъ родныхъ! Коли Танѣ пряникъ, такъ и всѣмъ по прянику. Да еще, батюшка, онѣ-то намъ какъ-то жалчѣе. Свою иногда потеребишь за волосы, а на нихъ и рука не подымается. Горемыки этакія!.. При живомъ отцѣ и матери круглыя сироты!..

— Ну, братъ... Какъ тебя зовутъ!

— Иваномъ, батюшка.

— Ну, братъ Иванъ, добрый ты человѣкъ!

— И, сударь, кинь хлѣбъ-соль назадъ, будетъ впереди! Не узнаешь, можетъ статься, и наша Танюша останется сиротою, такъ и ее Господь помилуетъ; мы призрѣли сиротъ, и ее добрые люди не покинутъ... Ну, ты, сивка! Иль кнута захотѣла?

Въ продолженіе этого разговора мы выѣхали на Срѣтенку. Не доѣзжая до конца улицы, мой Ванька повернулъ направо въ переулокъ.

— Куда ты, братецъ?—спросилъ я.

— А вотъ, батюшка, мы тутъ выѣдемъ какъ-разъ на валъ, а тамъ ужъ прямо Дербенскимъ переулкомъ до самаго Каланчевскаго поля.

— Да вѣдь все равно и по Срѣтенкѣ.

— Нѣтъ, сударь, все-таки выкинемъ уголочекъ; да и дорога-то поглаже.

— Ну, какъ хочешь; ступай!

Я замѣтилъ, что мой Иванъ, проѣзжая этимъ переулкомъ, безпрестанно и съ особымъ вниманіемъ посматривалъ впередъ на небольшую площадку, или, лучше сказать, перекрестокъ, на которомъ, у плохой и до половины развалившейся биржи, стоялъ одинъ извозчикъ въ синей плисовой шапкѣ и кормилъ сѣномъ своего пѣгаго коня.

— Ну, такъ и есть! — прошепталъ мой Иванъ.—*Батюшка баринъ,*— *продолжалъ* онъ вполголоса, останавливая лошадь,—подержите на минутку!

И, не дожидаясь моего отвѣта, бросилъ мнѣ возжи, спрыгнулъ съ саней, подбѣжалъ къ извозчику, который стоялъ у биржи, и принялся, не говоря ни слова, пороть его своимъ кнутомъ. Извозчикъ, дѣтина дюжій и рослый, вмѣсто того, чтобъ обороняться, засуетился, кой-какъ заворотилъ свою разнузданную лошадь, упалъ въ санки и поскакалъ, сломя голову, прочь отъ биржи. Вся эта экспедиція продолжась не болѣе полуминуты. Мой Иванъ воротился, сѣлъ преспокойно на свое мѣсто и повезъ меня далѣе.

— Что это, братецъ? — спросилъ я. — За что ты его билъ?

— Какъ за что, сударь? Вѣдь эта биржа-то наша. Мы деньги за нее платимъ, а этотъ колотырникъ, прахъ его знаетъ, кто такой... вишь для него припасли... мошенникъ этакій!.. Вздумалъ у чужой биржи лошадь кормить. Иногда случится въ тороняхъ и сѣнца оставишь, а эти чужехваты тутъ и есть. Вѣдь въ Москвѣ, батюшка, много этакихъ шишиморъ; не хочетъ за мѣсто платить, да по чужимъ биржамъ и таскается. А проворенъ, разбойникъ: не успѣлъ его десяти разъ хлестнуть.

— Да какъ же это, братецъ, ты такъ на него кинулся? Ты мужикъ небольшой, а онъ, кажется, дѣтина такой ражій: ну, еслибъ онъ сталъ обороняться?..

— Обороняться?.. Да какъ онъ смѣетъ!.. Каковъ бы онъ ни былъ человѣкъ, а все-таки знаетъ, что я не напрасно перепоясалъ его кнутомъ.

«Вотъ оно, естественное-то право, —подумалъ я,—этотъ законъ совѣсти».

— Ужъ коли захватили вора въ горохѣ,— продолжалъ мой Ванька,—такъ гдѣ ему обороняться: малый ребенокъ прибьетъ.

— Нѣтъ, любезный,—сказалъ я,— у насъ не по-вашему: у насъ иногда и поймаешь вора въ горохѣ, да не смѣй ему сказать, что онъ воръ,

— Вотъ еще!.. Что вы, батюшка?.. Да неужели вору-то кланяться?

— Пожалуй себѣ не кланяйся, да честито его не смѣй порочить.

— Да что, сударь, за честь у мошенника?

— Эхъ, братецъ! Вы народъ необразованный, вы этого не понимаете...

— Конечно, батюшка, гдѣ намъ! Мы люди темные; по нашему глупому разуму: кто плутъ, такъ плутъ, кто честный человѣкъ, тотъ честный.

— Вотъ то-то и есть! Это по вашему, а у насъ не такъ; у насъ двѣ чести, братецъ: одна честь та-же, что у васъ...

— А другая-то, батюшка, какая?

— А вотъ какая. Если тебя поймаютъ въ плутовствѣ, да назовутъ въ глаза мошенникомъ, такъ ты не покорйся.— «Я, дескать,

самъ знаю, что я мошенникъ, да не люблю, чтобъ мнѣ это говорили; такъ не угодно ли со мною за это раздѣлаться».

— Раздѣлаться?.. Какъ раздѣлаться?..

— Да какъ хочешь: или на саблях рубиться, или на пистолетахъ стрѣляться.

— Ахъ, Господи!—вскричалъ мой Ванька.— Да за что-жъ это?.. Меня же обидѣли, да я же и живота лишайся!

— А не захочешь отвѣтить, такъ не прогнѣвайся: честнымъ-то человѣкомъ останется онъ, а безчестнымъ будешь ты.

Эти послѣднія слова до того поразили моего Ивана, который, вѣроятно, никогда не слыхивалъ о дуэляхъ, что онъ рѣшительно онѣмѣлъ отъ удивленія. Желая удостовѣриться, точно ли я говорю не шутя или смѣюсь надъ нимъ, онъ опустилъ возжи и обернулся ко мнѣ лицомъ. Лошадка воспользовалась этою оплошностію, повернула въ сторону, зацѣпила за надолбы, пошевеньки упали на-бокъ, а вмѣстѣ съ ними, разумѣется, и мы.

— Ахъ, батюшки!—вскричалъ Иванъ, вскочивъ на ноги.—Виновать, сударь, зазѣвался!

— Ничего, братецъ,—сказалъ я, отряхая мою шубу, покрытую снѣгомъ. — Ты только впередъ, разговаривая со мной, не оглядывайся.

— Ахти! — сказалъ Иванъ, подымая свои пошевеньки. — Да вѣдь лошадка-то распряглась!.. Батюшка-баринъ, ужъ не прогнѣвайтесь, повремените немного,—сейчасъ запрягу; а вы извольте въ санки-то сѣсть. Эка проклятая, — ну, лишь только возжи опусти, тотчасъ повернетъ направо или налѣво!

Я сѣлъ въ сани, а Иванъ принялся вправлять дугу, которая выскочила изъ гужей. Въ эту самую минуту поровнялись со мною парныя сани: въ нихъ сидѣлъ баринъ лѣтъ тридцати, мужчина видный и красивый собою. Онъ приказалъ кучеру остановиться и закричалъ:

— Здравствуйте, Богданъ Ильичъ!

Признаюсь, я не очень обрадовался этой встрѣчѣ. Оедоръ Андреевичъ... ну, все равно —назовемъ его хоть Мишурскимъ... Оедоръ Андреевичъ Мишурскій принадлежитъ къ числу тѣхъ выглаженныхъ, ошлифованныхъ и натертыхъ чужимъ умомъ, или, лучше сказать, чужими фразами, глупцовъ, которые, по милости этихъ готовыхъ фразъ, слывутъ людьми просвѣщенными, остроумными и живутъ иногда полвѣка на счетъ какого-нибудь остраго французскаго словца, удачно передѣланнаго на русскіе нравы. Мишурскій получилъ, какъ обыкновенно выражаются, хорошее образованіе, то-есть говоритъ иностранными языками, толкуетъ о живописи и музыкѣ, разсуждаетъ о политикѣ и литературѣ, безпрестанно говоритъ о Западѣ и вретъ такую чепуху, что всѣ второклассные дураки смотрятъ на него, какъ на чудо; а родной его дядя, Иванъ *Михайловичъ Сурскій, человѣкъ* очень умный, слушая его, приходитъ въ отчаяніе. «Какое несчастіе!»—сказалъ онъ мнѣ однажды почти сквозь слезы.—«И нужно было моего племянника учить языкамъ! Ну, былъ бы просто дуракъ на русскомъ языкѣ, а то дуракъ на французскомъ, дуракъ на нѣмецкомъ, дуракъ на итальянскомъ; легко вымолвить: «дуракъ на четырехъ діалектахъ!» Этотъ Мишурскій женился на одной московской красавицѣ, которая, несмотря на то, что ея голова была набита идеалами и французскими романами, могла бы сдѣлаться препорядочною женою, если-бъ мужъ ея былъ только-что глупъ; но онъ былъ и глупъ и развратенъ и, что всего хуже, вовсе не стыдился, а щеголялъ своимъ дурнымъ поведеніемъ.

— Здравствуйте, Богданъ Ильичъ!—повторилъ Мишурскій, выпрыгнувъ изъ своихъ саней.—Здоровы ли вы?

Не видя никакой возможности отдѣлаться отъ этого барина, я принялъ очень ласковый видъ и, съ этой офиціальной улыбкой, которая, какъ извѣстно, ровно ничего не значитъ, отвѣчалъ:

— Слава Богу! Покорнѣйше васъ благодарю! А вы?

— Голова болитъ. Не выспался: вчера ужиналъ у Шевалье *).

— А ваша Марья Александровна?

— Кажется, здорова. Я съ нею со вчерашняго утра не видался.

— Ай, ай, ай, Оедоръ Андреевичъ! Давно ли вы женаты?

— Право, не помню. Да что это вы такъ строго поговариваете?.. А сами втихомолочку... на извозчикѣ... Богданъ Ильичъ... Куда это изволите ѣхать?

— Къ знакомому.

— Ужъ не къ знакомой ли?.. Только я, право, не понимаю, къ чему эти предосторожности? Вы человѣкъ свободный. Ну, дѣло другое, нашъ братъ, женатый. On a des procédés avec sa femme... Вотъ и я пробираюсь иногда на извозчикѣ къ какой-нибудь закулисной сильфидѣ. А, кстати! Вы были вчера въ театрѣ?

— Нѣтъ, не былъ.

— Какую я видѣлъ тамъ фигурантку!.. Въ первый разъ показалась на сценѣ. Прелесть!.. Что? Улыбаетесь, Богданъ Ильичъ?.. Чай, думаете: «какой онъ вѣтренникъ!» Вотъ то-то и дѣло, что пѣтъ!.. Je suis inconstant par principes. Жизнь коротка — надобно ею наслаждаться.

— Ну, ты!—крикнулъ мой Ванька, прибирая возжи.

— До свиданья! — сказалъ Мишурскій, садясь въ свои сани.—Bonne chance!

Проѣхавъ нѣсколько минутъ молча, я завелъ опять рѣчь съ Иваномъ объ его промыслѣ.

*) Извѣстный московскій ресторатеръ.

— А что, — спросилъ я, — что этакъ ты можешь выѣздить въ цѣлый день?

— Неровенъ день, батюшка, — отвѣчалъ Иванъ, пошевеливая возжами.—Иногда промерзнешь на биржѣ до полудня, — нѣтъ сѣдоковъ, да и только! Выѣдешь куда-нибудь на бойкое мѣсто—стоишь, стоишь!.. Къ другимъ садятся, къ тебѣ нѣтъ. Ну, вѣрите ль, батюшка, для почину за грошъ бы куда-нибудь поѣхалъ; такъ нѣтъ—словно заколдовано! Да это еще ничего: не привезъ денегъ домой, зато лошадка отдохнула, а какъ иногда наймешь какой-нибудь щеголекъ—катаетъ, катаетъ по городу, да гдѣ-нибудь въ проходномъ домѣ велитъ дожидаться у калитки, а самъ нырнетъ въ заднія ворота, и поминай какъ звали. Зато случится въ другой разъ такая задача, что денегъ брать не успѣваешь—такъ сѣдоки и валятъ! Да еще какіе! Вотъ хоть вчера, — ну, ужъ вышелъ денекъ!

— А что, много возилъ что ль?..

— Сѣдоковъ было немного, да выручка-то была знатная. Я ѣхалъ вчера съ фатеры не такъ чтобъ рано,—вотъ этакъ въ обѣдни, не доѣхалъ еще до биржи, слышу, кричатъ: «извозчикъ!» Гляжу, идетъ ко мнѣ молодой купчикъ, не великонекъ ростомъ, а такой бравый, въ лисьей шубѣ, въ шапкѣ съ собольимъ околышемъ. «Куда, хозяинъ?» — «Давай санки, а я ужъ скажу, куда ѣхать!» — «Ого»,—подумалъ я,—«безъ ряды! Ну, тутъ, можетъ статься, перепадетъ!» Купецъ сѣлъ въ санки и говоритъ: «Ступай къ Покровской заставѣ». Пріѣхали.—«Пошелъ за заставу по большой дорогѣ!»—«Въ Андроньевку что ль, хозяинъ?» — «Нѣтъ подальше: въ Перовскій трактиръ».—«Вотъ оно что!»—подумалъ я:— «гульнуть, видно, захотѣлось!» Вы, батюшка, чай, знаете, что отъ Покровской заставы до Перовскаго трактира версты двѣ съ походцемъ будетъ? А дѣлать-то нечего: везъ четыре версты, такъ поневолѣ еще двѣ повезешь,— авось, не обидитъ! Вотъ какъ мы пріѣхали къ Перовскому трактиру, гляжу—стоятъ трое саней, одни тройкою—упряжь такая знатная, съ мѣдными бляхами да побрякушками «Что, батюшка, назадъ поѣдете?»—спросилъ я. «Нѣтъ, братецъ!» —сказалъ мой сѣдокъ.—«Меня пріятель довезетъ. Вотъ тебѣ!» Да и швыркъ мнѣ двугривенный. А я меньше бы полтинника ни за что не поѣхалъ. Я туда, сюда!.. «Помилуйте, да какъ, да что?»... А мой купчикъ махнулъ рукой, да и въ двери. Я было за нимъ... Куда! Выскочили двое такихъ дюжихъ ребятъ, да ну-ка меня по затылку!.. Что будешь дѣлать? Не городъ: хоть ты себѣ до завтра кричи караулъ, никто не придетъ на выручку, и еще такъ тебѣ бока отломаютъ, что вовсе зачахнешь. Вотъ я сталъ за уголокъ, чтобъ дать лошадкѣ вздохнуть, а не равно и попутчикъ набѣжитъ. Прошло этакъ немного времени—слышу, поднялся такой шумъ и гамъ въ трактирѣ!.. *Драка. Кричатъ:* «Бей его, бей въ мою голову!» Гляжу, бѣжитъ мой купчикъ, растрепанный такой, вся шуба въ лоскутахъ, одна пола оторвана, а за нимъ двое молодцовъ съ кулаками... Не знаю кто, товарищи что ль позадержали ихъ немножко, а мой сѣдокъ прямо ко мнѣ въ санки, да и кричитъ: «Вези скорѣй въ Москву!»... «Нѣтъ, хозяинъ, — сказалъ я,—«постой, безъ ряды не поѣду».— Ну, ну, хорошо! Къ Сухаревой башнѣ». — «Давай синенькую».—«Какъ синенькую?» — «Да такъ, меньше не везу». Купчикъ было заломался; да какъ глядь назадъ—охъ, худо: два молодца такъ къ нему и рвутся. Сробѣлъ мой дѣтина, — кричитъ: «даю!» Я ударилъ по лошади, отъѣхалъ этакъ саженей двадцать и остановился. — «Что ты?» — «Да вотъ что, хозяинъ: давай-ка синенькую-то впередъ. Вѣдь ты, пожалуй, опять отвалишь двугривенный».—«Эхъ, братецъ, со мною денегъ нѣтъ».—«Эва—на! Вотъ дурака нашелъ! Пріѣхалъ въ трактиръ гулять, да денегъ нѣтъ! Да что калякать-то: или деньги давай. или съ санокъ долой! Дойдешь и пѣшкомъ до заставы». А на дворѣ-то, батюшка, поднялась погода, закрутило такъ, что и, Господи! Шубенка-то у него вся въ лоскутахъ, такъ стало морозцемъ прохватывать. Ну, нечего дѣлать, помялся, да вынулъ изъ бумажника синенькую. Зато ужъ во всю дорогу онъ меня позорилъ на чемъ свѣтъ стоитъ. А мнѣ и горюшка мало, — пожалуй себѣ, лайся сколько хочешь, а синяя-то бумага у меня въ мошнѣ!.. Эй, ты!..

— Ну, а послѣ кого ты возилъ? — спросилъ я.

— Отъ Сухаревой башни, — отвѣчалъ Иванъ,—подрядили меня за пятиалтынный на Мясницкую купецъ съ женою — такіе оба толстые, насилу въ санки-то усѣлись. Видно, они за что-нибудь повздорили: всю дорогу прогрызлись. Хозяинъ-то, кажись, мужикъ смирный и трезвый, а хозяйка подъ-хмелькомъ и такая злющая—избави, Господи! Онъ скажетъ слово, другое, а она такъ и засыпитъ. «Я, дескать, дура этакая, вышла замужъ за нищаго; такіе ли у меня женихи были! Кабы не я, такъ тебѣ бы вѣкъ оставаться въ подносчикахъ, голь этакая!.. Ты по мнѣ и въ люди-то пошелъ! Жить съ тобой не хочу. Отдай мое добро, лапотникъ этакій!..» Ну, вотъ такъ его поѣдомъ и ѣстъ! «Слава тебѣ, Господи!»—подумалъ я,— «что моя Ѳекла изъ бѣднаго дома: вотъ она— богатая-то жена!»

— Эхъ, братъ Иванъ!—прервалъ я,—по-мужичьи ты судишь!

— А по вашему какъ же, батюшка?

— По нашему первое дѣло, чтобъ за невѣстою было большое приданое.

— Конечно, батюшка, что и говорить: лишняя деньга не бѣда; да и съ богатой-то женой ладить трудновато; чуть не по ней — и пошла хлестать тебя по глазамъ своимъ

богатствомъ. Ты хочешь быть хозяиномъ въ дому, а она норовитъ упрятать тебя въ батраки.

— Да это, братецъ, у васъ.

— А въ вашемъ господскомъ быту не бываетъ?

— Никогда.

— Вотъ что!.. Ну, конечно, ваше дѣло господское.. А мнѣ, покойникъ батюшка, — дай Богъ ему царство небесное! — всегда говаривалъ: «Ванюха, не зарься на богатую невѣсту: у богатой жены и родня богатая,— какъ разъ попадешь въ кабалу, да и честнѣе, коли мужъ кормитъ жену, а не жена мужа...—Эй, ты!..

— Ну, что-жъ, Иванъ, — сказалъ я, — какъ ты отвезъ своихъ сѣдоковъ на Мясницкую?

— Такъ поѣхалъ, батюшка, шажкомъ вдоль по улицѣ. Вдругъ изъ одного большого каменнаго дома выбѣжалъ баринъ, махнулъ мнѣ рукой и говоритъ: «На Никольскую и назадъ, — да только смотри, живо! Хорошо поѣдешь, полтинникъ дамъ!» Я припугнулъ сивку, гдѣ вскачь, гдѣ рысью — мигомъ пріѣхали на Никольскую. Баринъ велѣлъ остановиться подлѣ одной... какъ онѣ: лавки не лавки? Ну, вотъ еще надъ ними надписи съ орлами...

— А!.. У маклера.

— Не знаю, батюшка! Пождалъ я маленько—гляжу, бѣжитъ назадъ мой сѣдокъ, а съ нимъ какой-то приказный, подъ мышкою большая книга. Сѣли въ санки. «Ступай проворнѣй»,—закричалъ баринъ;—«еще полтинникъ прибавлю!» Я ударился вскачь и слышу, что они межъ собой разговариваютъ. «Боюсь»,—говоритъ баринъ,—«не застанемъ: больно плохъ». — Вотъ то-то и есть», — молвилъ приказный,—«поздненько хватились!»— «Что-жъ дѣлать?»—сказалъ баринъ:—«и слышать не хотѣлъ: насилу уломали»,—Ну, да все равно», — шепнулъ приказный, — «лишь бы только подмахнулъ какъ-нибудь...» — «Вотъ и пріѣхали!»—закричалъ баринъ, кинулъ мнѣ цѣлковый, да и шмыгъ въ домъ вмѣстѣ съ приказнымъ; а я поѣхалъ на фатеру. Будетъ покамѣстъ: зашибъ въ полдня почти десять рубликовъ... Ну, ты, сивка!

— Такъ ты этимъ и покончилъ вчерашній день? — спросилъ я, помолчавъ нѣсколько времени.

— Нѣтъ, сударь! День былъ хорошъ, а вечеръ и того лучше. Я задалъ моей лошадкѣ корму, а самъ пообѣдалъ, да отдохнулъ вдоволь и выѣхалъ опять съ фатеры гораздо послѣ вечеренъ. Противъ Николы въ Грачахъ подрядили меня за гривенникъ до театру двѣ барыни съ узелками; одна помоложе, въ знатномъ лисьемъ салопѣ, а другая постарѣе и одѣта похуже. Дорогой онѣ все толковали, что опоздаютъ пріѣхать, что какой-то Иванъ *Николаевичъ обѣщался прислать* санки, да обманулъ. Та, что постарѣе, журила все ту, что помоложе. «Вотъ то-то и есть, Машенька, — говорила она, — вы всегда такъ!—Зачѣмъ вы отпустили карету?» Какъ мы стали подъѣзжать къ театру, барыни приказали мнѣ остановиться у заднихъ дверей — тамъ, гдѣ стоятъ театральныя кареты. Гляжу, у самыхъ дверей прижался къ стѣнкѣ баринъ, — молодецъ такой, съ усами. Какъ увидѣла его молодая-то въ лисьемъ салопѣ, такъ на него и вскинулась, да не успѣла порядкомъ поругать: выбѣжалъ какой-то господинъ, такой сердитый, да какъ закричитъ: «Что вы тутъ болтаете, ступайте проворнѣй, — дилекторъ сердится!» Онѣ было въ двери, а я молоденькую-то за салопъ, «А деньги-то что-жъ, барыня?»—«Молчи, дуракъ!»—шепнулъ господинъ съ усами.—«На вотъ тебѣ! Пошелъ!» Онъ далъ мнѣ полтинникъ, я снялъ шапку, поклонился и поѣхалъ шажкомъ отъ театра, по Трубѣ. Вотъ, я ѣду себѣ, да мурлыкаю пѣсенку: сталъ ужъ подъѣзжать къ Самотекѣ, слышу — кличутъ меня изъ одного домика. Подъѣхалъ. Гляжу — въ сѣняхъ стоитъ со свѣчею старуха, провожаетъ какую-то барыню въ малиновой бархатной шубѣ, а на головѣ у нея покрывало. Вотъ, эта барыня сѣла ко мнѣ въ санки и шепнула такимъ тоненькимъ голоскомъ: «На Кузнецкій мостъ!» Дорогой она все охала; видно, о чемъ-нибудь тосковала, сердечная! И однажды такъ громко сказала: «Ахъ, Боже мой, Боже мой, вѣрно онъ боленъ!» Какъ мы выѣхали на Кузнецкій мостъ, она указала мнѣ домъ и велѣла остановиться у воротъ, подальше отъ фонаря, спрыгнула съ санокъ, развязала узелокъ у своего платочка, пошарила, пошарила, да и сунула мнѣ въ руку бумажку. «Матушка»,— сказалъ я, — «у меня мелкихъ нѣтъ; повремените немного, сейчасъ размѣняю въ лавочкѣ».—«Не надо!» — шепнула барыня да бѣгомъ въ ворота. Я къ фонарю... глядь на бумажку — красненькая!.. Экій выдался денекъ! Я повернулъ назадъ, и какъ заѣхалъ съ другой стороны дома... что за диковинка такая?.. Противъ магазеи стоитъ четверкою карета и лакей сажаетъ въ нее—ну, точь-въ-точь такую же барыню, какую я привезъ съ Трубы.

— Неужели?—вскричалъ я.

— А можетъ статься и не та, батюшка,— проговорилъ Иванъ, почесывая затылокъ,— темненько было.

— Что-жъ, послѣ этого ты поѣхалъ домой?

— Нѣтъ, сударь! Подождалъ у театра разъѣзду, да какъ-то попутчиковъ не случилось, а вдаль ѣхать не хотѣлъ, такъ и отправился порожнякомъ на фатеру. И какъ сталъ распрягать лошадь, глядь, въ санкахъ лежитъ мѣшечекъ. Видно обронила барыня, что я возилъ съ Трубы на Кузнецкій мостъ; другому некому.

— Что-жъ, этотъ мѣшечекъ пустой?

— Почитай, пустой. Ключикъ маленькій, да какія-то записочки. Я было взялъ его сегодня съ собою, чтобъ свезти въ часть, да раздумалъ.

— А что?

— Такъ, батюшка, чтобъ не вышло чего-нибудь. Неравно еще въ полиціи доищутся, чей мѣшечекъ. Ну, что хорошаго!.. Коли, въ самомъ дѣлѣ, у этой барыни своя карета, такъ зачѣмъ ей на извозчикахъ таскаться. Анъ и выходитъ дѣло то неладное. Она такая добрая, пожаловала мнѣ десять рублей, а я стану на нее выводить... Да Богъ съ ней! Не наше дѣло, батюшка.

— Ты могъ бы сказать, что нашелъ его на улицѣ.

— И это думалъ, да страшно: пожалуй скажутъ, что въ мѣшечкѣ деньги были. Вотъ онъ, — продолжалъ Иванъ, вынимая изъ-за пазухи щеголеватый ридикюль.—Бархатный, батюшка! Купите, за полтинникъ уступлю.

Мнѣ давно хотѣлось подарить что-нибудь моей экономкѣ: ридикюль показался мнѣ совершенно новымъ. Я положилъ его въ карманъ и отдалъ полтинникъ извозчику. Минутъ черезъ десять мы доѣхали до Покровской заставы.

— Куда прикажете?—спросилъ Ванька.

— Налѣво во дворъ!

Сойдя съ санокъ, я отыскалъ дворника, и хотя съ трудомъ, а добился, наконецъ, гдѣ живетъ мой знакомый. Его слуга объявилъ мнѣ, что барина нѣтъ дома, но что онъ сейчасъ за нимъ сбѣгаетъ.

— Они, сударь, у своего пріятеля, черезъ улицу, — сказалъ мнѣ этотъ деревенскій личарда во фризовой шинели, съ небритою бородою и, если не ошибаюсь, немного подъ хмелькомъ. — Извольте пообождать полминутки... Пожалуйте въ комнату.

Я вошелъ въ горницу, не очень опрятную, или, вѣрнѣй сказать, очень неопрятную. Въ ней лежали чемоданы, стояло нѣсколько стульевъ топорной работы и канапэ, обитое черною кожею, которая отъ старости вся сморщилась и порыжѣла. Слуга пошелъ за барином, а я, оставшись одинъ, началъ, отъ нечего дѣлать, разсматривать мою покупку. Въ ридикюлѣ, точно, не было ничего, кромѣ одного ключика и двухъ записокъ. Первая, которая попалась мнѣ въ руки, была безъ надписи и на французскомъ языкѣ отъ какой-то Алины—вѣроятно, Алены. Она увѣдомляла свою Софи, что на балѣ у князя Вельскаго танцовала три раза сряду съ какимъ-то Вольдемаромъ, то-есть Владиміромъ; что рѣченный Вольдемаръ былъ не только любезенъ, но даже очарователенъ, и что она, нижеподписавшаяся Алина, совершенно отъ него безъ ума. Вторая записочка была на русскомъ языкѣ и съ надписью. Я взглянулъ на адресъ и прочелъ,—не скажу съ удивленіемъ, однако-жъ, *и не вовсе* равнодушно,—написанныя четкими буквами имя и фамилію супруги Ѳеодора Андреевича Мишурскаго.

СЦЕНЫ ИЗЪ МОСКОВСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ И ДОМАШНЕЙ ЖИЗНИ.

СЦЕНА 3-я.

Новорожденный.

„Мнѣ завѣщалъ отецъ,
Во-первыхъ, угождать всѣмъ людямъ безъ изъятья:
Хозяину, гдѣ доведется жить,
Начальнику, съ кѣмъ буду я служить,
Слугѣ его, который чиститъ платье,
Швейцару, дворнику для избѣжанья зла,
Собакѣ дворника, чтобъ ласкова была".

Грибоѣдовъ.

(*Небольшая комната съ однимъ окномъ. Не модная, но довольно опрятная мебель. На окнѣ стоятъ ширмочки съ разноцвѣтными стеклами. По стѣнамъ литографированные портреты разныхъ знаменитыхъ или, лучше сказать, знатныхъ особъ. Столъ, покрытый краснымъ набивнымъ ковромъ. На столѣ небольшое зеркальце и полный бритвенный приборъ. Передъ столомъ, въ бухарскомъ халатѣ сидитъ Алексѣй Алексѣевичъ Ползковъ, Онъ только-что обрился и стрижетъ у себя ногти. Подлѣ него стоитъ женщина лѣтъ сорока, въ ситцевомъ капотѣ, измятомъ кисейномъ чепцѣ и небрежно накинутомъ купавинскомъ платкѣ).*

Ползковъ (*съ досадою*). Эхъ, полноте, Марья Григорьевна. Не ваше дѣло! Вы просто бабушка, а это можетъ только рѣшить акушеръ или докторъ.

Бабушка. Воля ваша, Алексѣй Алексѣевичъ, а я этого грѣха на душу не возьму. Мое дѣло вамъ доложить: извольте послать за священникомъ! Супруга ваша слава Богу, а младенецъ очень слабъ.

Ползковъ. Окрестить-то недолго, матушка Марья Григорьевна.

Бабушка. Да и умереть-то недолго, батюшка Алексѣй Алексѣевичъ! Эй, сударь, поторопитесь!

Ползковъ. Хорошо вамъ говорить: поторопитесь!.. Вамъ что!.. А мнѣ это не бездѣлица... Вѣдь двухъ разовъ не крестятъ!.. И если я не попрошу теперь въ крестные отцы...

Бабушка. Кого теперь просить! Прикажите кого-нибудь изъ домашнихъ.

Ползковъ. Что вы это, Марья Григорьевна! Захочу я покумиться съ моимъ лакеемъ!

Бабушка. Такъ отца дьякона попросите!

Ползковъ. Ну, вотъ еще!

Бабушка. Да, помилуйте, гдѣ ужъ тутъ

разбирать чины, — лишь только бы успѣть окрестить!

Ползковъ. Да вы все не то говорите, Марья Григорьевна!.. Не можетъ быть, чтобы ребенокъ былъ такъ слабъ!..

Бабушка (*глядя въ окно*). Вотъ, слава Богу, и докторъ пріѣхалъ!... Посмотрите, Алексѣй Алексѣевичъ: онъ также скажетъ, что откладывать нечего. (*Уходитъ*).

Ползковъ. Какое несчастіе! И надобно жъ было этому случиться!.. Варвара Юрьевна обѣщалась быть крестной матерью, если у меня родится сынъ... Она близкая родственница графу, такъ ужъ, вѣрно бы, и его Превосходительство Андрей Никифоровичъ не отказался пойти въ крестные отцы. Я покумился бы съ моимъ начальникомъ; а это не шутка— это весьма важный шагъ по службѣ!.. Ну, если ужъ нельзя, такъ надобно, по крайней мѣрѣ, хоть имя дать новорожденному такое, чтобъ можно было этимъ польстить кому-нибудь, доказать мою преданность... У Варвары Юрьевны старшаго сына зовутъ Иваномъ... Да кто жъ еще Иванъ?.. Нѣтъ, можно придумать что-нибудь получше!.. Начальника моего зовутъ Андреемъ... Прекрасно!.. Его сіятельство графа Куродавлева также Андреемъ... Очень хорошо!.. Э, да какъ это мнѣ въ голову не пришло. Вѣдь и князь Знатовъ также Андрей!.. Нѣтъ ли еще кого-нибудь?.. Постой!.. Ну, такъ и есть!.. У, славно!.. Чего жъ лучше, назову его Андреемъ... рѣшительно Андреемъ. (*Входитъ бабушка*). Ну, что?

Бабушка. Вотъ я вамъ говорила!.. Докторъ сейчасъ послалъ за священникомъ.

Ползковъ. Да это все вы, Марья Григорьевна!.. А я, право, думаю...

Бабушка. Ну, ужъ воля ваша, думайте что хотите, а мы безъ васъ окрестимъ. Иванъ Ивановичъ будетъ воспріемникомъ.

Ползковъ. Докторъ?

Бабушка. Ну, да, сударь!.. А я крестной матерью... Какое прикажете дать имя новорожденному? Супруга ваша желаетъ назвать его, въ честь своего батюшки, Александромъ.

Ползковъ. Нѣтъ, нѣтъ! Я хочу, чтобъ онъ назывался Андреемъ!.. Слышите ли, Андреемъ!

Бабушка. Софья Александровна велѣла васъ просить...

Ползковъ. И, полноте! Она не знаетъ сама, чего просить... Это дѣло отцовское... Извольте окрестить моего сына во имя Андрея Первозваннаго... Слышите ли? Я хочу этого, я требую... Ну, однимъ словомъ, я обѣщался, Марья Григорьевна!

Бабушка. О, если обѣщались, такъ это другое дѣло. Вотъ и я также по обѣщанію назвала старшую мою дочь Матреною, хотя у меня въ родствѣ нѣтъ ни одной Матрены.

Ползковъ. Ну, вотъ видите!.. Какъ же послѣ этого...

Бабушка. Кто и говоритъ, Алексѣй Алексѣевичъ! Ужъ коли обѣщались,—дѣлать нечего... Я такъ и доложу Софьѣ Александровнѣ (*Уходитъ*).

Ползковъ. Ну, теперь скорѣй къ Андрею Никифоровичу: онъ мой начальникъ, да и живетъ поближе другихъ... Эй, малый! (*Входитъ слуга*). Готовы ли дрожки?

Слуга. Готовы, сударь.

Ползковъ. Фракъ!.. (*Одѣвается*). Шинель и шляпу!.. Если неравно завернетъ ко мнѣ дядюшка Максимъ Петровичъ, — скажи ему, что я поѣхалъ по дѣламъ службы. (*Уходитъ*).

(*Просто, но со вкусомъ убранный кабинетъ дѣловаго человѣка. Большой шкапъ съ книгами. Въ одномъ углу конторка для письма. Посреди комнаты длинный столъ, заваленный бумагами. Два или три тома Свода Законовъ, съ загнутыми листами и закладками, лежатъ на томъ же столѣ. Андрей Никифоровичъ Гореславскій, въ шелковомъ ваточномъ сюртукѣ и красныхъ сапогахъ, сидитъ передъ конторкою. Подлѣ него стоитъ секретарь съ бумагами. Андрей Никифоровичъ Гореславскій человѣкъ лѣтъ пятидесяти, небольшого роста, худощавый, съ лицомъ весьма благороднымъ, пріятнымъ и добрымъ, даже слишкомъ добрымъ. Хорошій физіономистъ тотчасъ бы замѣтилъ въ этомъ простодушномъ лицѣ какое-то отсутствіе—не ума, нѣтъ, Андрей Никифоровичъ человѣкъ вовсе не глупый, но этой твердости, этой собственной воли, безъ которой всякій начальникъ, рано или поздно, а непремѣнно попадетъ подъ команду своему секретарю. Андрей Никифоровичъ очень любимъ своими подчиненными; чиновники усердные, смирные и честные любятъ его за то, что онъ ласково съ ними обходится; а наглецы, плуты и лѣнтяи—за то, что имъ все сходитъ съ рукъ; однимъ словомъ, онъ принадлежитъ къ числу тѣхъ людей, про которыхъ обыкновенно говорятъ: «что за добрѣйшій человѣкъ: во всю свою службу не сдѣлалъ никого несчастнымъ!» Андрей Никифоровичъ, какъ человѣкъ честный и благородный, не очень уважаетъ льстецовъ. Ему даже отвратительны ихъ грубая лесть, низкія угожденія, лакейская преданность, а между тѣмъ эти господа дѣлаютъ изъ него все, что имъ вздумается, и хотя онъ чувствуетъ самъ, что это не доброта, а слабость характера, но никакъ не можетъ устоять противъ ихъ нападеній, потому что ему какъ-то совѣстно отказать въ чемъ-нибудь человѣку, который валяется у него въ ногахъ. Секретарь его... но объ немъ распространяться нечего. Онъ человѣкъ хитрый, ловкій, досужій и, какъ всѣ умные секретари, знаетъ своего начальника, какъ свои пять пальцевъ.*)

Гореславскій (*отдавая секретарю бумаги*). Да я въ томъ спискѣ не вижу столоначальника Чистякова, а, кажется, я своей рукой отмѣтилъ!

Секретарь. Виноватъ, ваше превосходительство! Видно, какъ-нибудь въ перепискѣ ошиблись; а я поторопился, не досмотрѣлъ.

Гореславскій. Вотъ то-то, Павелъ Васильевичъ, вы все торопитесь! Ну, если-бъ представленіе пошло безъ него?..

Секретарь. Конечно, ваше превосходительство, когда ужъ вамъ такъ угодно... А если осмѣлюсь доложить, такъ Чистяковъ могъ бы и пообождать...

Гореславскій. Да развѣ онъ не заслуживаетъ?.. Онъ хорошо занимается дѣломъ, малый честный...

Секретарь. Да, точно такъ, ваше превосходительство,—отличный чиновникъ.

Гореславскій. Такъ почему-жъ его не представить?

Секретарь. Конечно, ваше превосходительство, почему и не представить; а, впрочемъ, у насъ въ канцеляріи есть чиновники постарѣе его... Вотъ, напримѣръ, Алексѣй Алексѣевичъ Ползковъ...

Гореславскій. Да онъ почти каждый годъ получаетъ награды.

Секретарь. Человѣкъ-то прекрасный, ваше превосходительство! Съ большими способностями...

Гореславскій. А развѣ Чистяковъ...

Секретарь. Помилуйте, гдѣ ему равняться съ Ползковымъ! У того дѣятельность необычайная и такія соображенія, что истинно надобно удивляться... А какъ преданъ вашему превосходительству...

Гореславскій. Преданъ!.. Да кому онъ не преданъ?,. Эхъ, Павелъ Васильевичъ: не люблю я этихъ низкопоклонныхъ людей!

Секретарь. Да это ужъ у него такъ, ваше превосходительство,—манера такая... А низости въ немъ ни на волосъ нѣтъ. Онъ человѣкъ преблагородный!

Гореславскій. Все это хорошо; но почему же мнѣ не представить Чистякова? Если я не ошибаюсь, такъ многіе изъ его товарищей, моложе его, носятъ Станислава на шеѣ, а у него еще нѣтъ и Владиміра въ петлицѣ.

Секретарь. Да вѣдь онъ какой-то философъ: онъ вовсе и не думаетъ объ этомъ.

Гореславскій. Неужели?

Секретарь. Точно такъ, ваше превосходительство. Да если-бъ это его занимало, такъ онъ сталъ бы просить васъ или самъ, или черезъ другихъ...

Гореславскій. Да, это правда: за него никто никогда не просилъ.

Секретарь. А самъ онъ объ этомъ и не заикнется. Вотъ если бы Ползковъ удостоился быть представленнымъ отъ вашего превосходительства къ Аннѣ на шею, такъ онъ съ ума бы сошелъ *отъ радости*.

Гореславскій. Эхъ, Павелъ Васильевичъ!.. Да за что?.. Конечно, меня ужъ объ этомъ просили Варвара Юрьевна Бѣлоухова и княгиня Авдотья Кирилловна Перекопская, да я не знаю, какъ это сдѣлать: я и такъ представляю десять человѣкъ... Много, Павелъ Васильевичъ, право, много!

Секретарь. Да вотъ, ваше превосходительство: въ спискѣ одного не достаетъ... Чистякова можно въ будущемъ году, а теперь, если-бъ вы сдѣлали эту милость Ползкову...

Гореславскій. Конечно, дѣло возможное... Но за что же бѣдный Чистяковъ... И вы думаете, онъ не огорчится?

Секретарь. Да отчего же ему огорчаться? Не въ нынѣшнемъ, такъ въ будущемъ году... Вы извольте ему сказать слова два ласковыхъ, такъ на этотъ разъ онъ и этимъ будетъ доволенъ.

Гореславскій. Но я такъ часто награждаю Ползкова, что это должно, наконецъ, показаться какимъ то пристрастіемъ.

Секретарь. Помилуйте, ваше превосходительство! Да кто можетъ помѣшать начальнику отдавать справедливость подчиненному, если онъ этого заслуживаетъ?..

Слуга (*входя въ кабинетъ*). Алексѣй Алексѣевичъ Ползковъ.

Гореславскій. Зови сюда!

Слуга (*обращаясь къ дверямъ*). Пожалуйте. (*Ползковъ входитъ и низко кланяется сначала Гореславскому, а потомъ секретарю*).

Гореславскій. Здравствуйте, Алексѣй Алексѣевичъ! Что скажете?

Ползковъ (*кланяясь*). Ваше превосходительство!.. Богъ даровалъ мнѣ сына.

Гореславскій. Право?.. Поздравляю, поздравляю!

Ползковъ (*нагнувшись нѣсколько впередъ и глядя съ умиленіемъ на Гореславскаго*). Служа подъ благодѣтельнымъ начальствомъ вашего превосходительства, взысканный и, такъ-сказать, осыпанный милостями вашими, я осмѣлился, въ знакъ моей душевной и всенижайшей благодарности, назвать новорожденнаго моего сына Андреемъ, въ честь вашего превосходительства.

Гореславскій. Очень вамъ благодаренъ.

Ползковъ. Мнѣ бы должно было сначала испросить на это соизволеніе вашего превосходительства, но въ ту минуту, когда я сдѣлался отцомъ, я до того обезумѣлъ отъ радости, что забылъ мой долгъ и осмѣлился безъ вашего согласія... Конечно, дерзость эта велика...

Гореславскій. И, полноте, Алексѣй Алексѣевичъ! Какая тутъ дерзость!

Ползковъ. Нѣтъ, ваше превосходительство! Вы это по добротѣ вашей изволите говорить, а я, конечно, поступилъ опрометчиво. Увлеченный чувствами моей неизъяснимой благодарности, я не подумалъ, что, можетъ-быть, вамъ не угодно будетъ...

ство съ такимъ знаменитымъ вельможею, такимъ истиннымъ русскимъ бояриномъ? Нѣтъ, ваше сіятельство, я желалъ бы только, чтобы онъ душою-то на васъ походилъ; чтобы онъ былъ точно такъ же, какъ вы, неутомимъ на поприщѣ службы; такъ же, какъ вы, посвятилъ всю жизнь свою для общаго блага,— разумѣется, вы въ большомъ и огромномъ размѣрѣ, а онъ въ маленькомъ; но чтобы дѣйствія-то его были такъ же чисты и такъ же исполнены самоотверженія, какъ всѣ дѣйствія ваши... Вѣдь вы,—извините, ваше сіятельство, — несмотря на вашу знатность и богатство, вы труженикъ!.. Другой бы на вашемъ мѣстѣ бросилъ все, сталъ бы жить для себя; а вы, нѣтъ! У васъ одна только цѣль: быть полезнымъ отечеству.

Графъ. Однакожъ, любезный Алексѣй Алексѣевичъ, и я ужъ начинаю уставать; хочется отдохнуть, пожить за границею...

Ползковъ. Конечно, ваше сіятельство, кто другой, а вы и въ службѣ и въ отставкѣ—все будете бариномъ. Вамъ же тихая и спокойная жизнь не надоѣстъ; вѣдь вы отличный семьянинъ, примѣрный супругъ. (*Изъ-за дверей библіотеки выглядываетъ Груша. Ползковъ встаетъ*). Но я не хочу во зло употреблять вашего снисхожденія... Вы заняты...

Графъ. Куда торопишься?..

Ползковъ (*поглядывая на двери библіотеки*). Мнѣ нужно еще побывать за Красными воротами... Сейчасъ вспомнилъ... Крайняя нужда... Честь имѣю кланяться вашему сіятельству!..

Графъ. Ну, прощай, любезный! Не забывай.

Ползковъ (*кланяясь*). Помилуйте-съ!.. Какъ это можно!.. (*Уходитъ*).

Груша (*изъ-за дверей кабинета*). Графиня проситъ васъ къ себѣ, ваше сіятельство.

(*Обитая малиновымъ штофомъ гостиная княгини Авдотьи Кирилловны Перекопской; старинная раззолоченная мебель въ бѣлыхъ чехлахъ. Въ простѣнкахъ узенькія составныя трюмо. На подстольникахъ японскія вазы съ цвѣтами. Люстра съ хрустальными подвѣсками. Дорогой паркетъ изъ разноцвѣтнаго дерева. Въ одномъ углу, на пьедесталѣ, мраморный бюстъ Екатерины Второй. Передъ канапе или софою—большой наклейной столъ съ изображеніемъ вида царскосельскаго дворца; съ одной стороны дивана, на низенькой скамеечкѣ, пріютилась, съ чулкомъ въ рукахъ, фаворитка княгини, Мимиша, хорошенькая собою дѣвочка лѣтъ десяти; съ другой, на вышитой по канвѣ подушкѣ, лежитъ половопятая англійская собачка въ красномъ сафьяновомъ ошейникѣ. На диванѣ, въ бѣломъ кисейномъ капотѣ и кружевномъ чепцѣ, сидитъ весьма еще бодрая и благообразная старушка лѣтъ шестидесяти-пяти. На бѣломъ и румяномъ лицѣ ея замѣтны слѣды прежней красоты. Рядомъ съ нею, также на канапе, но только немного бокомъ, сидитъ молодая женщина, одѣтая по послѣдней модѣ; эта дама — правнучатая племянница княгини. Подлѣ окна, за маленькимъ столикомъ, занимается рукодѣльемъ Ольга Николаевна, — воспитанница ея сіятельства, дѣвица лѣтъ тридцати. У дверей стоитъ карликъ въ гродетуровомъ голубомъ французскомъ кафтанѣ и розовомъ атласномъ камзолѣ*).

Княгиня (*продолжая разговаривать съ молодою дамою*). Да, мой другъ, мнѣ очень грустно, что ты разошлась съ мужемъ; въ нашъ вѣкъ это не дѣлалось такъ легко.

Молодая дама. Да вы не можете себѣ представить, ma tante, что я должна была терпѣть! Еслибъ вы только знали, то вѣрно бы пожалѣли обо мнѣ: вы такъ ко мнѣ милостивы! (*Цѣлуетъ ее въ плечо*).

Княгиня. О, конечно, ma chère, я очень тебя люблю! (*Молодая дама цѣлуетъ у нея руку*). Но неужели въ самомъ дѣлѣ твой мужъ такой дурной человѣкъ?..

Молодая дама. Чудовище, ma tante, совершенное чудовище!

Княгиня. Право, это для меня удивительно! Я знала его мать—прекрасная была женщина! Мы были съ нею обѣ фрейлинами. И съ мужемъ ея была знакома, на всѣхъ придворныхъ балахъ и куртагахъ онъ всегда былъ моимъ кавалеромъ. Прелюбезный человѣкъ! А какой тонъ, какая манера. Его многіе принимали за эмигранта! Право, за эмигранта!.. Неужели сынъ до такой степени на нихъ не похожъ?.. Онъ мнѣ казался всегда такимъ порядочнымъ...

Молодая дама. Одна наружность, ma tante!.. Человѣкъ самый безнравственный!.. Faisant la cour à tout le monde...

Княгиня. Право?..

Молодая дама. Повѣрите ли, ma tante,— я иногда съ нимъ по нѣскольку дней сряду не видалась...

Княгиня. А, вотъ что! Ты ревнива.

Молодая дама. Кто? Я, ma tante? Помилуйте! Напротивъ, онъ ревнивъ какъ Отелло.

Княгиня. Это ужъ что-то слишкомъ странно, мой другъ. Ревнивъ, а оставлялъ тебя одну. Добро бы онъ держалъ тебя взаперти...

Молодая дама. Взаперти! Нѣтъ, ma tante, ужъ этого бы я ему не позволила! Довольно и того, что я, по милости его, не была досихъ-поръ за границею.

Княгиня. Ну, это еще не большая бѣда, мой другъ.

Молодая дама. Помилуйте! Да мнѣ два раза предписывали карлсбадскія воды.

Княгиня. Отъ чего?

Молодая дама. Нервы, ma tante, нер-

вы!.. Мнѣ кажется, здоровье жены должно же что-нибудь значить для мужа. Я просилась даже въ Ревель, а онъ и туда меня не пустилъ!.. Тиранъ!..

Княгиня. И онъ просто, безъ всякой причины, не хотѣлъ тебѣ этого позволить?

Молодая дама. Все пустыя отговорки—глупости! То денегъ нѣтъ, то долженъ на все лѣто ѣхать въ деревню.

Княгиня (*качая головою*). Охъ, мой другъ, ужъ полно,—такъ ли онъ виноватъ, какъ ты говоришь? Мнѣ что-то кажется, что и ты не вовсе права.

Молодая дама. Я, ma tante? Да я на всѣхъ пошлюсь... Я просто была несчастная жертва. Если-бъ вы знали, какія онъ мнѣ дѣлалъ сцены, непріятности... Да и теперь еще дѣлаетъ. Представьте себѣ: мы разошлись, а онъ не хочетъ ничего давать на мое содержаніе.

Княгиня. Да вѣдь у тебя, кажется, есть свое состояніе...

Молодая дама. Такъ, ma tante; но онъ, какъ мужъ, обязанъ... Ахъ, если-бъ вы за меня вступились! (*Цѣлуетъ у княгини руку*). Вамъ стоитъ только написать въ Петербургъ.

Княгиня. Я думаю, ma chère, всего лучше,—если-бъ вы помирились...

Молодая дама. О, ни за что на свѣтѣ!.. Да онъ совершенный злодѣй. Онъ ненавидитъ всѣхъ родныхъ моихъ!..

Княгиня. Неужели?

Молодая дама. Дядюшку Степана Степановича пересталъ принимать, бабушку Маргариту Дмитріевну называетъ сплетницей, кузину Глашеньку — кокеткой, Леопу, моему двоюродному брату, этому доброму, милому ребенку, отказалъ отъ дому, и даже васъ, тетушка...

Княгиня (*съ удивленіемъ*). Меня? Что меня?

Молодая дама. Ахъ, ma tante! Мнѣ не отѣлось бы вамъ говорить...

Княгиня (*съ жаромъ*). Нѣтъ, скажи, скажи, ma chère! Я хочу знать...

Молодая дама! Ну, если вамъ угодно... (*посмотрѣвъ кругомъ и вполголоса*). Но мы здѣсь не однѣ, ma tante...

Княгиня. Ты меня пугаешь, мой другъ!.. Такъ это что-нибудь важное?.. Оленька, который часъ?

Ольга Николаевна. Половина перваго, ваше сіятельство.

Княгиня. Такъ время завтракать. Поди, душенька, похлопочи! (*Ольга Николаевна уходитъ*). Мимиша, тебѣ пора учить урокъ; а ты, Кондратьичъ, ступай въ переднюю (*Дѣвочка и карликъ уходятъ*). Ну, вотъ теперь мы однѣ. Скажи, что говоритъ обо мнѣ твой мужъ?..

Молодая дама. Ахъ, тетушка, мнѣ, право, тяжело повторять его низкія и скверныя клеветы... Во-первыхъ, *онъ иначе* васъ не называетъ, какъ вдовушкой-Минервой, фрейлиной Екатерины Первой...

Княгиня. Фи, какъ это глупо!.. Да это изъ какой-то русской комедіи...

Молодая дама. Говоритъ, что вы бѣлитесь и румянитесь...

Княгиня. Кто, я?.. Скажите, какой клеветникъ!

Молодая дама. Да то-ли еще онъ говоритъ, ma tante!..

Княгиня. Ахъ, батюшки!.. Ужъ не говоритъ ли онъ, что я людей рѣжу?

Молодая дама. О, нѣтъ, совсѣмъ не то!.. Онъ увѣряетъ всѣхъ, что будто бы вы любите вашу воспитанницу Ольгу Николаевну потому... Ахъ, ma tante! Я, право, не знаю, какъ вамъ это и сказать... Ну, потому, что у васъ одно съ нею лицо.

Княгиня (*съ ужасомъ*). Что, что?..

Молодая дама. А вашу фаворитку Мимишу любите за то, что она, какъ двѣ капли воды, походитъ на Ольгу Николаевну.

Княгиня. Dieu, quelle horreur!

Молодая дама. Да это еще ничего. Онъ говоритъ, что и прежнія ваши воспитанницы, которыхъ вы выдали замужъ...

Княгиня. Молчи, мой другъ, молчи!.. Ахъ, онъ, чудовище!

Молодая дама. Извергъ, ma tante, извергъ! И вы хотите, чтобъ я помирилась съ этимъ человѣкомъ!

Княгиня. Нѣтъ, мой другъ, нѣтъ! Теперь ничего не хочу... Ахъ, Боже мой! — И какъ могло прійти въ голову... Ну, признаюсь,—этого я не ожидала!!..

Молодая дама. Теперь видите, ma tante, какъ мнѣ нужна ваша помощь?

Княгиня. Вижу, мой другъ, вижу! Этотъ злодѣй способенъ на все.

Молодая дама (*цѣлуя у княгини руку*). Такъ вы похлопочете, чтобъ его заставили дать мнѣ приличное содержаніе?.. Онъ такъ скупъ, ma tante, что это будетъ для него ужаснѣйшимъ наказаніемъ...

Княгиня. Ты думаешь?

Молодая дама. Увѣряю васъ!

Княгиня. Ну, если такъ, хорошо, мой другъ, хорошо! Тебѣ должно будетъ подать просьбу, а я ужъ напишу куда слѣдуетъ... Я докажу этому гнусному клеветнику, что фрейлина Екатерины Первой имѣетъ еще кое-какія связи!.. Ахъ, какой злодѣй!.. Подумать не могу!

Слуга (*входя въ гостиную*). Алексѣй Алексѣевичъ Ползковъ, ваше сіятельство.

Княгиня. Скажи, что я нездорова, не принимаю!.. Или нѣтъ, постой, постой!.. Ты знаешь, ma chère, Ползкова?

Молодая дама. Знаю, ma tante: онъ человѣкъ очень неглупый.

Княгиня. И большой дѣлецъ. Чего же лучше? Онъ напишетъ тебѣ просьбу. (*Слугѣ*).— Проси сюда! Этотъ Ползковъ, ma chère,

мнѣ очень преданъ. Мой князь Алексѣй Петровичъ въ послѣдній годъ своей жизни, то-есть тридцать-три года тому назадъ, доставилъ его отцу офицерскій чинъ и вывелъ въ люди все ихъ семейство. (*Ползковъ входитъ*).—А, здравствуйте, Алексѣй Алексѣевичъ!

Ползковъ (*кланяясь*). Ваше сіятельство!.. (*молодой дамѣ*). Честь имѣю кланяться, вашему превосходительству!

Молодая дама (*слегка кивает головой*). Здравствуйте-съ!

Княгиня. Садитесь, Алексѣй Алексѣевичъ! Прошу покорно!.. Вы очень кстати меня навѣстили: у племянницы есть до васъ просьба.

Ползковъ. Я почту себя очень счастливымъ... Позвольте узнать...

Молодая дама. Мнѣ нужно съ вами посовѣтоваться... Да вотъ всего лучше: пожалуйте ко мнѣ завтра часу въ первомъ, такъ мы объ этомъ поговоримъ.

Ползковъ. Съ моимъ удовольствіемъ!.. Мнѣ очень пріятно, что я...

Княгиня. Ну, что ваша Софья... Извините!.. Кажется... Софья Алексѣевна?..

Ползковъ. Точно такъ-съ.

Княгиня. Ахъ, нѣтъ, нѣтъ!.. Софья Александровна!..

Ползковъ. Помилуйте! Все равно-съ.

Княгиня. Ну, что, здорова ли она?..

Ползковъ. Богъ даровалъ мнѣ сына, ваше сіятельство.

Княгиня. Очень рада, Алексѣй Алексѣевичъ! Очень рада!

Ползковъ (*вставая*). Ваше сіятельство, все семейство наше, а въ особенности я, такъ давно пользуемся вашими милостями и высокимъ покровительствомъ, что я былъ бы самымъ неблагодарнымъ человѣкомъ, если бы не искалъ случая хотя чѣмъ-нибудь доказать вамъ мою безпредѣльную преданность. Позвольте же, ваше сіятельство, въ ознаменованіе душевной моей предапности, назвать моего новорожденнаго Андреемъ, въ честь его сіятельства князя Андрея Алексѣвича.

Княгиня. Въ честь моего сына?.. Очень вамъ благодарна, Алексѣй Алексѣевичъ!.. Я напишу ему объ этомъ.

Ползковъ. Въ такомъ случаѣ потрудитесь, ваше сіятельство, прибавить, что я почелъ бы себя истинно счастливымъ, еслибъ его сіятельство принялъ благосклонно эту скудную лепту моей, хотя безплодной, но искренней благодарности за всѣ милости, изливаемыя на меня вашимъ знаменитымъ домомъ.

Княгиня. И, полноте, Алексѣй Алексѣевичъ! Да что-жъ мы такое для васъ сдѣлали? Мы любимъ васъ какъ человѣка намъ преданнаго.

Ползковъ (*прижимая руки къ груди*). О, совершенно преданнаго!.. Да позвольте спросить: я не вижу Ольги Николаевны; ужъ здорова ли она?

Княгиня. Слава Богу.

Ползковъ. А ваша прелесть — Минодора Назарьевна?

Княгиня. Мимиша?.. Также здорова.

Ползковъ. Голубушка моя!.. Вѣрите ли Богу, ваше сіятельство,—не видывалъ такихъ дѣтей!.. Что это мнѣ кажется, ваша Леди какъ будто бы потолстѣла... Леди, Леди! (*Англійская собачка подбѣгаетъ къ Ползкову, виляетъ хвостомъ и начинаетъ къ нему ласкаться. Ползковъ вынимаетъ изъ жилетнаго кармана кусочекъ сахару и даетъ ей*). А, догадалась! Знаешь, плутовка, что у меня всегда для тебя гостинецъ есть!.. Что это, какая красавица!—Удивительно!..

Слуга (*входя въ гостиную*). Завтракъ готовъ, ваше сіятельство!

Княгиня. Не хотите ли съ нами позавтракать, Алексѣй Алексѣевичъ!

Ползковъ. Покорнѣйше васъ благодарю! Мнѣ еще надобно далеко ѣхать.

Молодая дама. Не забудьте: завтра, въ первомъ часу.

Ползковъ. Какъ забыть, помилуйте! (*раскланиваясь*). Ваше сіятельство!.. Ваше превосходительство!..

(*Уходитъ*).

(*Большая комната. Стѣны, выкрашенныя голубою краскою, окаймлены гирляндою пунцовыхъ и желтыхъ цвѣтовъ. На потолкѣ нарисованы по угламъ, въ свѣтло-голубыхъ кружкахъ, розовые купидоны; надъ стекляннымъ фонаремъ, замѣняющимъ люстру, въ большомъ кругу, среди фіолетовыхъ облаковъ, изображено что-то похожее на колесницу, въ которой сидитъ что-то похожее на человѣка и правитъ двумя дельфинами. Въ одномъ изъ угловъ—кивотъ изъ краснаго дерева, съ иконами въ богатыхъ окладахъ; передъ ними висятъ три стеклянныя разноцвѣтныя лампады. Въ простѣнкахъ маленькія зеркала въ огромныхъ рамахъ, покрытыхъ рѣзьбою. Всѣ окна съ бѣлыми миткалевыми занавѣсками. Мебель корельской березы, обшитая пестрымъ ситцемъ съ большими разводами. Поставецъ съ серебромъ и фарфоромъ. По боковымъ стѣнамъ висятъ литографированные портреты графа Платова, Кульнева и другихъ русскихъ генераловъ. На средней стѣнѣ, съ одной стороны—эстампъ, изображающій вшествіе въ Парижъ союзныхъ войскъ, съ другой—взятіе Варны, а посреди, въ раззолоченныхъ рамахъ, написанный масляными красками портретъ хозяина дома, Андрея Трифоновича Цибикова. Оригиналъ этого портрета, дородный купецъ лѣтъ пятидесяти, съ полнымъ, краснощекимъ лицомъ и красивою окладистою бородою, сидитъ на диванѣ; передъ нимъ, на*

кругломъ столѣ, лежитъ раскрытая шнуровая книга, стоятъ большіе счеты, графинъ горечи и тарелка съ хлѣбомъ и паюсной икрой. По лѣвой сторонѣ, опираясь на спинку кресла, стоитъ его приказчикъ, дѣтина лѣтъ тридцати, въ полу-европейскомъ нарядѣ, то-есть въ галстухѣ, жилеткѣ и купеческомъ долгополомъ кафтанѣ.)

Андрей Трифоновичъ (*выкладывая на счетахъ*). Четыреста-семьдесятъ-семь рублей ассигнаціями... Нѣтъ, Лукьянычъ, что-нибудь да не такъ!

Приказчикъ. Я два раза, Андрей Трифоновичъ, прикидывалъ на счетахъ: аккуратъ четыреста семьдесятъ семь рублей.

Андрей Трифоновичъ. А вотъ посмотримъ!.. Сорокъ цѣлковыхъ, — сто сорокъ рублей... Двѣнадцать золотыхъ, по осьмнадцати рублей по двѣ копѣйки съ денежкою,— двѣсти шестнадцать рублей тридцать копѣекъ... Семь лобанчиковъ, по семнадцати рублей двадцати пяти копѣекъ каждый,— сто-двадцать рублей семьдесятъ пять копѣекъ. Итого четыреста семьдесятъ семь рублей пять копѣекъ... Ну, что, Лукьянычъ?

Приказчикъ. Ахъ, батюшки!.. Какъ эти пять копѣекъ у меня ускользнули?.. Оно, конечно, сумма не важная...

Андрей Трифоновичъ. Не важная!.. Экъ, ты, Лукьянычъ, какъ поговариваешь! Видишь, капиталистъ какой!.. Да вѣдь двадцать-то пятаковъ — рубль, а рублями милліоны считаютъ! Вотъ то-то и есть; всѣ вы франтики, купеческіе сынки, умѣете только чужую копѣйку проживать; а приберечь свою родную, да присовокупить, да гривной рубль зашибить—такъ нѣтъ! Это, дескать, что за коммерція! Мы хотимъ тысячами ворочать! Нѣтъ, братъ, поучись-ка прежде на грошахъ, а тамъ что Богъ дастъ! Для вашего братащеголька пять копѣекъ что?.. Тьфу!! А покойный мой батюшка, царство ему небесное, отъ пятака жить пошелъ. Былъ онъ простымъ подносчикомъ и терпѣлъ такую крайнюю нужду, что подъ часъ сапоговъ не на что было купить. Вотъ завелся у него лишній пятакъ, — онъ булавочекъ купилъ; продалъ ихъ по розницѣ хозяйскимъ дочкамъ за гривенку,—купилъ иголочекъ, и тѣ съ рукъ сошли съ барышомъ Вотъ этакъ помаленьку, то тѣмъ, то другимъ, наколотилъ онъ рублишковъ пятокъ, да накупилъ сережекъ, перстеньковъ, запонокъ; выпросился у хозяина въ побывку къ себѣ на село и вернулся назадъ ужъ съ красной бумагой. Прошло еще годика два, батюшка началъ распространять свою коммерцію: сталъ торговать на Смоленскомъ рынкѣ желѣзною посудою, замками, гвоздями,—всякимъ старьемъ; со Смоленскаго рынка перешелъ въ желѣзный рядъ на Неглинную; а тамъ посчастливилось ему взянь казенную поставку на кровельное желѣзо. Вотъ батюшка поопрился; на ту пору досталась по наслѣдству одному купеческому сынку мѣняльная лавка на Моховой. Купчикъ-то былъ парень мотоватый; батюшка подвернулся какъ-то кстати, да и купилъ оптомъ всю лавку за полцѣны; а тамъ, года черезъ три, лавка-то стала магазиномъ. Богъ послалъ покойнику двухъ-трехъ господъ, которые сбирали рѣдкости, покупали картины, любили мѣняться. Вотъ онъ и пошелъ въ гору: продастъ вещи за тысячу рублей, а она придетъ опять къ нему въ трехстахъ; а тамъ, глядишь, набѣжитъ охотникъ, да купитъ ее же опять за тысячу. Я помню, этакъ у него одна золотая табакерка оборотовъ десять сдѣлала, да принесла ему тысячъ до пяти чистаго барыша. Вотъ, любезный, такими-то судьбами и вышло, что какъ батюшка скончался, такъ мнѣ досталось восемьсотъ тысячъ рублей чистоганомъ, да вещей на столько же. А вѣдь все пятакъ!

Приказчикъ. Конечно, такъ, Андрей Трифоновичъ! Да вѣдь на все счастье надобно.

Андрей Трифоновичъ. Дураку и счастье не помога, Лукьянычъ! Глупый человѣкъ словно карманъ съ дырою: что въ него ни клади, все вывалится. (*Женскій голосъ за дверьми*). Дома, сударь! Пожалуйте въ гостиную. (*Входитъ молодой человѣкъ, весьма щеголевато одѣтый. Андрей Трифоновичъ встаетъ*).

Молодой человѣкъ (*вѣжливо кланяясь*). Я имѣю честь говорить съ Андреемъ Трифоновичемъ?

Андрей Трифоновичъ. Точно такъ, батюшка!.. Прошу покорно садиться!—Лукьянычъ, поди покамѣстъ въ контору; если понадобишься, такъ я тебя кликну.

Молодой человѣкъ (*подавая Андрею Трифоновичу письмо*). Отъ Степана Ѳомича Скоробогатаго.

Андрей Трифоновичъ. А, отъ почтеннѣйшаго моего куманька? Позвольте-съ, позвольте-съ!

Молодой человѣкъ. Сдѣлайте милость!

Андрей Трифоновичъ (*читая письмо и поглядывая на молодого человѣка*). Гмъ!.. Вотъ что!.. Да-съ!.. Осмѣлюсь спросить, вы коротко знакомы со Степаномъ Ѳомичемъ?

Молодой человѣкъ. Мой покойный батюшка былъ его искреннимъ пріятелемъ.

Андрей Трифоновичъ. Такъ-съ!.. А батюшка вашъ давно скончался?

Молодой человѣкъ. Года три будетъ.

Андрей Трифоновичъ. Такъ-съ!.. Ну, конечно, въ три года много воды утечетъ!.. Кумъ пишетъ ко мнѣ, что вы имѣете надобность въ деньгахъ.

Молодой человѣкъ. Да-съ! Мнѣ нужно на короткое время перехватить — такъ, бездѣлку!

Андрей Трифоновичъ. Нѣтъ, батюшка, семь тысячъ рублей сумма значительная.

Молодой человѣкъ. Помилуйте, Андрей Трифоновичъ! Что для васъ семь тысячъ рублей ассигнаціями?

Андрей Трифоновичъ. Да то-же, батюшка, что и для всякаго: двѣ тысячи цѣлковыхъ. У васъ есть какое-нибудь обезпеченіе?

Молодой человѣкъ. У меня тысяча душъ, но онѣ всѣ заложены въ Опекунскомъ Совѣтѣ.

Андрей Трифоновичъ. Такъ-съ!

Молодой человѣкъ. Впрочемъ, не безпокойтесь,—заемное письмо написано на полгода, но, можетъ-быть, я черезъ четыре мѣсяца съ вами расплачусь: у меня торгуютъ триста душъ.

Андрей Трифоновичъ. Вотъ изволите видѣть, батюшка: я вѣдь этимъ не занимаюсь!.. Другіе берутъ большіе проценты, а я по десяти. Я даю только такъ, ради пріязни... И, признаюсь, если бы не просилъ меня объ этомъ Степанъ Ѳомичъ, такъ, не прогнѣвайтесь, я не могъ бы васъ ссудить... Заемное письмо съ вами?..

Молодой человѣкъ (*подавая бумагу Андрею Трифоновичу*). Вотъ оно.

Андрей Трифоновичъ (*читая*). «Я, нижеподписавшійся... двѣ тысячи рублей государственною серебряною монетою... срокомъ на шесть мѣсяцевъ»... Такъ-съ!.. Ну, дѣлать нечего! Степанъ Ѳомичъ такъ усердно о васъ проситъ... Извольте, сударь, извольте!.. Только ужъ сдѣлайте милость, въ срокъ...

Молодой человѣкъ. Будьте спокойны!

Андрей Трифоновичъ (*вынимая изъ бумажника нѣсколько пачекъ ассигнацій и подавая ихъ молодому человѣку*). Вотъ шесть тысячъ рублей; остальные, за вычетомъ процентовъ, шестьсотъ-шестьдесятъ пять, сейчасъ вамъ додамъ. Потрудитесь перечесть.

Молодой человѣкъ (*положивъ деньги въ карманъ*). Помилуйте! Зачѣмъ?

Андрей Трифоновичъ (*съ удивленіемъ*). Какъ зачѣмъ?

Молодой человѣкъ. Я и такъ вамъ вѣрю.

Андрей Трифоновичъ. Вотъ что?.. (*Смотритъ въ бумажникъ*). Позвольте, позвольте!.. Да вѣдь я ошибся, я вамъ не то отдалъ... Пожалуйте-ка назадъ деньги!

Молодой человѣкъ. Извольте! (*Андрей Трифоновичъ беретъ назадъ свои деньги и молча подаетъ молодому человѣку заемное письмо*). Что это значитъ?

Андрей Трифоновичъ. А то, сударь, что я никогда не даю денегъ взаймы тѣмъ, которые принимаютъ ихъ безъ счету.

Молодой человѣкъ (*вставая*). Позвольте вамъ сказать...

Андрей Трифоновичъ. Да что тутъ говорить! У всякаго свой обычай, батюшка; не прогнѣвайтесь.

Молодой человѣкъ (*съ досадою*). Такъ поэтому вы сомнѣваетесь?..

Андрей Трифоновичъ. Шесть тысячъ—деньги, батюшка, и кто беретъ ихъ съ тѣмъ, чтобы отдать, такъ ужъ, вѣрно, перечтетъ. Вѣдь только даровому коню въ зубы-то не смотрятъ.

Молодой человѣкъ. Такъ вы думаете, что я...

Андрей Трифоновичъ. Я ничего не думаю. Деньги мои, заемное письмо ваше, такъ каждый при своемъ...

Молодой человѣкъ (*вспыльчиво*). А позвольте васъ спросить, какъ вы смѣете?

Андрей Трифоновичъ. И, батюшка, не горячитесь! Я у себя въ дому, а вотъ напротивъ живетъ частный приставъ. Ну, что хорошаго?.. Счастливо оставаться! Кланяйтесь Степану Ѳомичу!..

Молодой человѣкъ. Да, я поблагодарю его!.. Заставить меня пріѣхать Богъ знаетъ къ кому!.. (*Уходя*). Купчишка этакій!

Андрей Трифоновичъ. Добро, добро, дворянчикъ!.. Знаемъ мы васъ!.. Тысяча душъ, а перекусить нечего!.. Ну, хорошо, что я спохватился!.. И какъ не стыдно куму рекомендовать мнѣ такихъ людей!.. Шесть тысячъ рублей безъ счету беретъ!.. Хорошъ гусь!.. (*Входитъ Ползковъ*). А, батюшка Алексѣй Алексѣевичъ!..

Ползковъ. Здравствуйте, мой почтеннѣйшій. (*Цѣлуются*).

Андрей Трифоновичъ. Милости просимъ! Вотъ здѣсь на канапе: тутъ вамъ будетъ покойнѣе!

Ползковъ (*садясь*). Ну, что, мой любезнѣйшій Андрей Трифоновичъ, что подѣлываете, какъ вамъ можется?..

Андрей Трифоновичъ. Благодарю моего Создателя: и дѣлишки идутъ порядочно, и здоровье бредетъ. А васъ, кажется, о здоровьѣ и спрашивать нечего!..

Ползковъ. Эхъ, Андрей Трифоновичъ! Что наше здоровье? Какъ цвѣтъ сельный: сегодня цвѣтетъ, а завтра...

Андрей Трифоновичъ. И, что вы, Алексѣй Алексѣевичъ!.. Вы еще человѣкъ молодой!.. А что супруга ваша?

Ползковъ. Сынка мнѣ родила.

Андрей Трифоновичъ. Право? Ну, слава Богу!.. Честь имѣю поздравить.

Ползковъ. Да что, Андрей Трифоновичъ, все не такъ вышло, какъ мнѣ хотѣлось: младенецъ родился такимъ слабымъ, что должно было сейчасъ его окрестить, а мы было съ женою хотѣли просить васъ быть воспріемникомъ нашего перваго сына.

Андрей Трифоновичъ. Ахъ, батюшка Алексѣй Алексѣевичъ!.. Да чѣмъ я могъ заслужить такую честь?..

Ползковъ. Чѣмъ?.. Андрей Трифоновичъ!

Да, вѣдь, это смиреніе паче гордости... Что вы это?..

Андрей Трифоновичъ. Истинно такъ, Алексѣй Алексѣевичъ!... Ну, что я за важное лицо такое? Мало ли есть у васъ пріятелей: и чиновныхъ, и знатныхъ, и князей, и графовъ...

Ползковъ. И, почтеннѣйшій! А много ли на Руси такихъ именитыхъ гражданъ, какъ вы? Кто не знаетъ въ Москвѣ Андрея Трифоновича Цыбикова?

Андрей Трифоновичъ (*поглаживая бороду*). Что правда, то правда!.. Касательно извѣстности, я пожаловаться не могу. Меня и въ Кяхтѣ знаютъ.

Ползковъ. Вотъ изволите видѣть!.. А на Нижегородской ярмаркѣ я самъ слышалъ своими ушами: «Ну, плохо торговля идетъ! Да чему и быть? Поджидаютъ всѣ Андрея Трифоновича Цыбикова: подъѣдетъ, такъ все закипитъ».

Андрей Трифоновичъ (*улыбаясь*). Это ужъ, батюшка, напрасно говорятъ... Конечно, и мы отъ другихъ не отстаемъ...

Ползковъ (*шутя*). А что, почтеннѣйшій, еслибъ, этакъ, подъ васъ огоньку подложить, вѣдь, милліончикахъ въ десяти покаетесь?

Андрей Трифоновичъ. Ужъ и въ десяти! Что вы это, Алексѣй Алексѣевичъ!

Ползковъ. Да кредиту на столько же. Ну-ка теперь, сударь, скажите мнѣ, не важенъ ли тотъ, который ворочаетъ милліонами, да даетъ ходъ торговлѣ и русской промышленности? Нѣтъ, Андрей Трифоновичъ, вы, въ моихъ глазахъ, уважительнѣе всякаго знатнаго барина, и я конечно бы за счастье почелъ съ вами покумиться... Ну, да видно Богу такъ угодно!.. По крайней мѣрѣ я все-таки, въ честь вашу, назвалъ моего новорожденнаго Андреемъ.

Андрей Трифоновичъ (*обнимая Ползкова*). Покорнѣйше васъ благодарю!.. Да что-жъ мы въ самомъ дѣлѣ... Позвольте, батюшка Алексѣй Алексѣевичъ, выпить за здоровье новорожденнаго! (*Подходитъ къ дверямъ и кричитъ*). Эй, Маланья! Бутылку полыннаго!

Ползковъ. Не пью, почтеннѣйшій! Да мнѣ же и пора домой. Я только за тѣмъ къ вамъ и заѣхалъ, чтобъ сказать, что Богъ даровалъ мнѣ сына и что я, въ честь вашу, назвалъ его Андреемъ.

Андрей Трифоновичъ. Да выкушайте хоть рюмочку!

Ползковъ. Право, не пью.

Андрей Трифоновичъ. Ну, какъ вамъ угодно,—я не держусь нашего, купеческаго, обычая, не люблю моихъ гостей неволить.

(*Изъ боковыхъ дверей входитъ Анисья Максимовна, сожительница Андрея Трифоновича, толстая женщина, лѣтъ сороки-пяти, въ ситцевомъ затасканномъ капотѣ; на ногахъ у нея надѣты красныя туфельки, на плечи наброшенъ заштопанный платокъ буръде-суа; голова ея ничѣмъ не покрыта и растрепанные волосы торчатъ во всѣ стороны*).

Анисья Максимовна (*не видя Ползкова*). Батюшка, Андрей Трифоновичъ, забыла тебя спросить: какъ прикажешь подать поросенка: жаренаго или подъ хрѣномъ?

Андрей Трифоновичъ. Подъ хрѣномъ, матушка, подъ хрѣномъ! Да что ты, Анисья Максимовна, ослѣпла что ли? Взгляни!.. (*Анисья Максимовна, увидѣвъ Ползкова, вскрикиваетъ и хватается объими руками за голову*).

Ползковъ. Здравствуйте, матушка Анисья Максимовна!

Анисья Максимовна. Ахъ, батюшка, Алексѣй Алексѣичъ!.. Не знала я совсѣмъ!.. А я, просто, по-домашнему, такой растрепой!..

Ползковъ (*подходя къ ней*). Позвольте ручку поцѣловать!

Анисья Максимовна (*махая руками*). Нѣтъ, извините, извините!.. Мнѣ, право, стыдно! Ахъ, срамъ какой!.. (*уходитъ*).

Ползковъ. Ну, прощайте, мой любезный, мой почтеннѣйшій Андрей Трифоновичъ!..

Андрей Трифоновичъ. Прощайте, Алексѣй Алексѣевичъ! Дай Богъ вамъ добраго здоровья! И если вамъ когда-нибудь Андрей Цыбиковъ на что ни есть понадобится, такъ вотъ вамъ рука моя!.!

Ползковъ (*съ чувствомъ*). Дружбы, дружбы вашей, вотъ чего я желаю. Все прочее — дѣло постороннее; но дружба такого человѣка какъ вы,—о, это такая драгоцѣнность, которую я ставлю выше всего на свѣтѣ!

Андрей Трифоновичъ (*обнимая Ползкова*). Ахъ, мой безцѣнный Алексѣй Алексѣевичъ! Да чѣмъ я заслужилъ?..

Ползковъ. Ну, что объ этомъ говорить!.. Прощайте! Дай Богъ вамъ всякаго благополучія. До свиданія, почтеннѣйшій! (*Уходитъ*).

(*Прежняя комната въ домѣ Ползкова. Алексѣй Алексѣевичъ входитъ поспѣшно; за нимъ идетъ слуга.*)

Алексѣй Алексѣевичъ. Ну, что жена?

Слуга. Слава Богу-съ.

Алексѣй Алексѣевичъ. А младенецъ?

Слуга. Говорятъ-съ, очень труденъ.

Алексѣй Алексѣевичъ. Который часъ?

Слуга. Второй въ началѣ.

Алексѣй Алексѣевичъ. Такъ можно еще успѣть... Будь готовъ идти на почту... Или нѣтъ, пайми извозчика. Ступай! (*садится за столъ и пишетъ*)... Ну, вотъ и кончилъ! Кажется, не дурно... (*Читаетъ*). «Ваша свѣтлость! Богъ даровалъ мнѣ сына. Я осмѣлился назвать его въ честь вашей

свѣтлости Андреемъ. Это имя, принадлежащее знаменитому вельможѣ и мудрому сановнику, на котораго обращены взоры всей Россіи, да послужитъ ему путеводительной звѣздой на поприщѣ жизни. Пусть это имя напоминаетъ ему безпрестанно имя того, кто, не столько по рожденію, сколько по своимъ личнымъ доблестямъ, сталъ на ряду первыхъ государственныхъ мужей нашего времени!»

«Съ чувствомъ наиглубочайшаго почтенія и совершенной преданности за счастіе почитаю называться вашей свѣтлости всепокорнѣйшимъ и преданнѣйшимъ слугою»... Теперь скорѣй въ пакетъ да и на почту... (*Кладетъ письмо въ пакетъ и надписываетъ*). «Его свѣтлости князю Андрею Сергѣевичу Знатову».

— Эй, Ванька! (*Съ одной стороны входитъ слуга, съ другой бабушка*). Ступай проворнѣй... А, Марья Григорьевна! Что вы?

Бабушка. Да что, Алексѣй Алексѣевичъ, дѣлать нечего... воля Божія!..

Алексѣй Алексѣевичъ. Что такое?..

Бабушка. Младенецъ скончался.

Алексѣй Алексѣевичъ. Что вы говорите?.. Ахъ, Боже мой, какое несчастіе!.. (*Закрываетъ руками лицо*). Андрюша, другъ мой!..

Бабушка. И, Алексѣй Алексѣевичъ! Слава Богу, что онъ скончался теперь... Ангелъ Божій! Да и вамъ некогда было къ нему привыкнуть...

Алексѣй Алексѣевичъ. Эхъ, Марья Григорьевна! Вы человѣкъ посторонній, а каково сердцу родителя.

Бабушка. Да полноте, Алексѣй Алексѣевичъ! Подите-ка лучше къ Софьѣ Александровнѣ да постарайтесь ее утѣшить: она очень огорчена.

Алексѣй Алексѣевичъ. Утѣшить!.. А кто утѣшитъ меня?.. Боже мой, Боже мой, вотъ жизнь человѣческая!.. (*Проходя мимо слуги*). Возьми это письмо, ступай сейчасъ на почту. Да, смотри, не опоздай! Пойдемте, Марья Григорьевна, пойдемте!

СМѢСЬ.

Братъ и сестра.

ЗАГАДКА *).

Если вы ихъ не знаете лично, то ужъ вѣрно знакомы съ ними по наслышкѣ: безъ этой увѣренности я не сталъ бы вамъ описывать два характера, въ которыхъ нѣтъ ничего особенно замѣчательнаго, кромѣ какой-то странной противуположности между собою, несмотря на то, что эти братъ и сестра—не сводные, не двоюродные, а единокровные, то-есть родились отъ одной и той же матери. Воспитаніе получили они также одинаковое,—по крайней мѣрѣ учитель былъ у нихъ одинъ, человѣкъ очень умный, немного крутой — это правда, но зато совершенно безпристрастный и истинный ихъ другъ. Когда онъ взялъ ихъ на выучку, братъ былъ ребенкомъ, а сестра ужъ дѣвица взрослая; братъ жилъ съ нимъ въ одной комнатѣ, а сестра на своей половинѣ,—такъ, разумѣется, онъ былъ чаще со своимъ ученикомъ, чѣмъ со своей ученицей; а изъ этого и заключили, что онъ больше любитъ брата, чѣмъ сестру, — только это совершенная клевета. Да дѣло не о томъ.

Я ужъ сказалъ вамъ, что сестра гораздо старѣе годами своего брата; слѣдовательно, вовсе не удивительно, что по наружности они не походятъ другъ на друга: онъ малый молодой, она пожилая барыня, у него нѣтъ ни одной морщины на лицѣ, а у нея, бѣдняжки,—какъ она ни бѣлится, ни румянится, какъ ни краситъ волосы, — а все сѣдые локоны такъ изъ-подъ модной шляпки и выглядываютъ. Братецъ смотритъ молодцомъ, выправленъ, всегда на вытяжкѣ, строенъ, подбористъ, затянутъ въ рюмочку и застегнутъ на всѣ пуговицы: сестра, напротивъ, плотная, дородная барыня, держитъ себя весьма нерадиво, любитъ покривляться, не терпитъ никакого принужденія, ходитъ нараспашку и, какъ избалованная красавица гарема, нѣжится съ утра до вечера на своихъ пуховыхъ подушкахъ. Нельзя, однакожъ, не отдать ей справедливости: она большая мастерица выбирать свои положенія и придавать имъ какую-то особенную граціозность. Я знаю многихъ, которымъ правильныя движенія и эстетическія позы брата гораздо менѣе нравятся, чѣмъ небрежная манера и вовсе не европейскія ухватки сестры.

Братъ много ходитъ пѣшкомъ, не боится тѣсноты и любитъ жить высоко; его не испугаетъ лѣстница и въ двѣсти ступеней. Трудно найти человѣка, который уважалъ бы болѣе его чистоту и опрятность. Онъ также чрезвычайно любитъ однообразіе и симметрію: если одинъ воротничекъ его рубашки выпущенъ изъ-подъ галстуха на полвершка, такъ ужъ будьте увѣрены, что другой ни на волосокъ не выставится ни больше, ни меньше этого. Когда старая мода — носить по двое часовъ—вернется къ намъ вслѣдъ за вычурной мебелью «рококо», то, безъ всякаго сомнѣнія, онъ первый явится съ двумя часами, для того, чтобъ на лѣвой сторонѣ его жилета висѣла цѣпочка съ ключикомъ, такъ-же, какъ и на правой. Вообще, онъ большой щеголь, и зимой одѣвается отлично легко, вѣроятно, потому, что въ Италіи и Франціи никто не носитъ медвѣжьихъ шубъ. Въ самый сильный

*) Эта шутка была напечатана въ первой книжкѣ Москвитянина 1841 года.

холодъ онъ скорѣе рѣшится отморозить себѣ уши, чѣмъ надѣть, вмѣсто своей круглой европейской шляпы, нашу теплую русскую шапку.

Сестра ходить пѣшкомъ не охотница и до того не любитъ ѣздить парою въ каретѣ, что даже къ обѣднѣ въ свой приходъ не поѣдетъ иначе, какъ четверней. Жить въ тѣснотѣ она рѣшительно не можетъ: ей надобенъ просторъ, то-есть особый домъ, высокія, большія комнаты, обширныя службы, а пуще всего, хотя грязный, да просторный дворъ съ небольшимъ садикомъ, въ которомъ должны расти непремѣнно: бузина, сирень и акація; точно такъ-же, какъ ея братъ любитъ гранитные тротуары, великолѣпныя набережныя и чугунные мосты, она любитъ берега рѣки, обросшіе травою, сады, рощи и даже огороды съ капустою и картофелемъ. Стоитъ только на нее взглянуть, чтобъ увѣриться въ совершенной ея ненависти ко всякому однообразію и симметріи. Посмотрите на ея головной уборъ — какая пестрота, какое смѣшеніе яркихъ цвѣтовъ, не имѣющихъ межъ собой никакой гармоніи; какое странное сближеніе стараго съ новымъ. Надъ жемчужной поднизью старинной русской боярыни прикололы цвѣты изъ французскаго магазина; посреди тяжелыхъ ожерельевъ и монистъ блеститъ новомодное севинье; на рукахъ длинныя лайковыя перчатки, на ногахъ черные коты съ красною оторочкою; на одной рукѣ парижскій браслетъ, на другой запястье, осыпанное драгоцѣнными каменьями,—ну, точно мѣняльная лавка! И чтожъ вы думаете?.. Несмотря на эту пестроту и безвкусіе, у васъ языкъ не повернется сказать, что этотъ нарядъ дуренъ; можетъ быть, онъ вамъ даже и понравится. Впрочемъ, надобно вамъ сказать, что этотъ нарядъ домашній, а когда она выѣзжаетъ, такъ, увѣряю васъ, вы не распознаете ее отъ француженки; только не требуйте отъ нея, чтобъ она, ради европейства, отморозила себѣ носъ или уши: этого она ни за что не сдѣлаетъ, и, если холодно, такъ надѣнетъ непремѣнно, сверхъ тюлеваго чепца, теплую шапочку, и вовсе не постыдится, даже въ апрѣлѣ мѣсяцѣ, выйти погулять въ салопѣ на лисьемъ мѣху, несмотря на то, что въ ея гардеробѣ есть и клоки, и манто, и даже бурнусъ, который она выписала прямехонько изъ Парижа.

Братъ недавно завелся домомъ, а несравненно богаче сестры; онъ не скупъ, однакожъ, разсчетливъ; она большая экономка, и вѣчно безъ денегъ. Братъ не часто даетъ пиры, а ужъ если дастъ, такъ истинно на славу, съ большимъ вкусомъ, съ роскошью, однимъ словомъ—все прекрасно. Сестра большая хлѣбосолка; конечно, она не всегда хорошо накормитъ, и вино у нея подчасъ бываетъ съ грѣхомъ пополамъ; но зато братъ дастъ обѣдъ, да тотчасъ и ворота на запоръ,—какъ ни звони въ колокольчикъ, а все дома нѣтъ да нѣтъ; а къ сестрѣ каждый день милости просимъ! У нея двери безъ колокольчика и ворота всегда настежъ. Братъ очень уменъ, а сестра чрезвычайно простодушна; онъ разсудителенъ, холоденъ и съ утра до вечера занятъ дѣломъ; она добра, привѣтлива и день цѣлый ничего не дѣлаетъ. Онъ охотно любуется всѣмъ прекраснымъ и не жалѣетъ на это денегъ; она въ восторгѣ отъ всего необыкновеннаго и хочетъ все имѣть, но только какъ можно подешевле. За послѣднее осуждать ее нельзя: гдѣ ей тягаться за братомъ! Да вотъ что странно: ужъ если она сама чувствуетъ, что не можетъ сорить деньгами, какъ ея братецъ, такъ зачѣмъ-же требуетъ, чтобъ ее забавляли точно такъ-же, какъ забавляютъ ея брата? Вѣдь она русская барыня, и должна бы, кажется, знать старинную пословицу: «по одежкѣ тяни ножки». Братъ, какъ и всѣ богатые люди, любитъ, чтобъ его тѣшили новостями; однакожъ, не пренебрегаетъ старымъ, когда оно хорошо. Сестра не можетъ терпѣть ничего стараго; давай ей каждый день что-нибудь новенькое,—такая вѣтреница, что и сказать нельзя! Сегодня ей нравится одно, завтра другое; да вотъ хоть напримѣръ пришло ей однажды въ голову, что она до смерти любитъ французскій театръ,—ну, просто помѣшалась на этомъ пунктѣ. «Хочу французскій театръ! Не могу жить безъ французскаго театра!» Шумитъ да и только! «Я, дескать, за казной не постою, ничего не пожалѣю, послѣднее имѣнье въ ломбардъ заложу,—давайте мнѣ только французскій театръ!» Вотъ, откуда ни возьмись, явился французскій театръ — сестрица въ восторгѣ! «Что за совершенство! Какіе таланты! Какъ сладко поютъ!.. Ну, чудо, да и только!» Вотъ ѣдетъ она во французскій театръ: разъ, другой, третій, а тамъ—глядь-поглядь, и слѣдъ простылъ! Конечно, это можно было предвидѣть, потому что моя барыня въ душѣ русская, и только такъ, ради хвастовства, прикидывается француженкой; но вотъ что трудно изъяснить: по ея словамъ, русскій театръ очень плохъ, а французскій чудо, имъ только она душу себѣ и отводитъ,—и что-жъ вы думаете? Съ ногъ сбила своихъ лакеевъ, посылая ихъ каждый день за билетами въ русскій театръ, а во французскій и заглянуть не хочетъ; да еще такая проказница, увѣряетъ всѣхъ, будто бы не ѣздитъ во французскій театръ оттого, что нельзя достать ложи,—а ихъ бери сколько хочешь; я это знаю навѣрно отъ самого директора.

Братъ—человѣкъ молчаливый, слова не скажетъ даромъ; сестра такая болтунья, что не приведи, Господи! А ужъ если дѣло пойдетъ на новости, такъ что твое «не-любо не слушай»: того женили, другого уморили, третьяго произвели въ чинъ; а ничего не

бывало—все вздоръ! Ну, какъ послѣ этого не извинить брата, что онъ иногда надъ своей старшей сестрой подшучиваетъ? Хоть, впрочемъ, я увѣренъ, что онъ ее истинно любитъ и уважаетъ, и еще бы любилъ и уважалъ больше, еслибы зналъ ее покороче. Я забылъ вамъ сказать, что они всегда живутъ розно. Сестра, конечно, имѣетъ свои недостатки; но зато такая радушная, гостепріимная и добросердечная женщина, что, несмотря на всѣ ея странности и причуды, ее нельзя не полюбить Я знаю это по себѣ: стоитъ только разъ съ нею познакомиться, а тамъ ужъ ни за что не захочешь разстаться.

Съ братомъ и сестрой, во время ихъ жизни, случались также большія несчастія; только и въ этомъ нѣтъ у нихъ никакого сходства. Братъ всегда страдалъ отъ воды, а сестра отъ огня. Онъ однажды совсѣмъ было утонулъ, а ее раза четыре чуть живую изъ полымя выхватывали; правда, въ послѣдній разъ, она сама зажгла свой домъ, и вотъ по какому случаю. Я могу вамъ разсказать объ этомъ какъ очевидецъ.

Вы ужъ знаете, что она большая вѣтреница и очень легковѣрна; вотъ какіе-то хвастунишки наговорили ей и Богъ знаетъ что объ одномъ мусье, отъявленномъ сорванцѣ и буянѣ: и милъ-то онъ, и хорошъ, и любезенъ! Моя барыня съ ума сошла: бредитъ имъ и день и ночь. Дошли и до него объ этомъ слухи. Надобно вамъ сказать, что этотъ мусье человѣкъ пресамолюбивый, и считаетъ себя лучше всѣхъ на свѣтѣ. Вотъ онъ и вообразилъ, что наша барыня влюбилась въ него по-уши; ему же сказали, что она женщина богатая, что у нея всего много; такъ не диво, что у этого мусье глаза разторѣлись на ея богатство. «Постой»,—сказалъ онъ,—«отправлюсь къ ней въ гости; оно не близко, да у меня лихой ямщикъ, разомъ доставитъ. Она, разумѣется, выбѣжитъ навстрѣчу, кинется мнѣ на шею; я наговорю ей съ три короба всякихъ комплиментовъ, облуплю какъ липку, и скажу ей на прощанье: «Барыня я доволенъ тобою! Ты оправдала мое ожиданіе—я люблю тебя!»—и прочее и прочее. Да, какъ бы не такъ! Вотъ мусье въ самомъ дѣлѣ шасть къ ней на дворъ; подождалъ, подождалъ—встрѣчи нѣтъ; онъ безъ доклада въ компату. Батюшки, какъ взбѣленилась моя барыня!—«Да какъ ты смѣлъ? Да кто тебѣ позволилъ? Да развѣ я звала тебя въ гости?.. Ахъ, ты, наглецъ!.. Сейчасъ со двора долой!» Другому стало бы совѣстно, а у этого мусье мѣдный лобъ; да онъ же и привыкъ по чужимъ дворамъ шататься. Хоть и досадно было, что его припяли такъ неласково, а онъ все-таки рѣшился у нея погостить: надѣлъ халатъ, натянулъ колпакъ и расположился у нея какъ въ своемъ домѣ. «Такъ-то!»—сказала барыня.—«*Такъ я же тебя, дружокъ, выкурю!*» Она призвала старостиху Василису, приказала ей снарядить всѣхъ дворовыхъ дѣвокъ чѣмъ ни попало: кого метлой, кого кочергой, а сама подсунула въ домъ огоньку и притаилась за угломъ. Мусье очень не жалуетъ нашего русскаго мороза, да вѣдь и огонь-то не свой братъ. Вотъ, какъ онъ догадался, что его хотятъ живого изжарить,—скорѣе вонъ! А тутъ изъ засады на него и высыпали, да ну-ка его отрабатывать! Онъ было отгрызаться—куда! не дали молодцу образумиться. Мусье давай Богъ ноги, а его вдогонку-то, вдогонку,—только одна голова и уцѣлѣла, а бока такъ отломали, что онъ, сердечный, никакъ бы до дому не дотащился, еслибъ добрые люди его на салазкахъ не довезли. Разумѣется, этотъ геройскій поступокъ и самоотверженіе нашей барыни расхвалили въ газетахъ, описали и въ прозѣ и въ стихахъ; но она, моя голубушка, вовсе этимъ не возгордилась, и даже такъ была незлопамятна, что очень скоро послѣ обиды, которую ей сдѣлалъ этотъ мусье, отправила къ нему визитную карточку и велѣла спросить о здоровьѣ. Все это весьма похвально; а вотъ за что нельзя ее хвалить: давно ли, кажется, она, по милости этого буяна, въ конецъ было разорилась, а повѣрите ли?.. опять ужъ въ него влюблена или прикидывается что-ль влюбленною—Богъ ее знаетъ! Только какъ она теперь ни кокетничай, а ужъ мусье въ другой разъ на бобахъ не проведешь. Чай, онъ думаетъ про себя: «Нѣтъ, madame, шутишь! Полно глазки-то дѣлать: знаемъ мы тебя! Что, попрежнему сталъ миленькимъ? И человѣкъ-то я образованный, и самъ-то я просвѣщенъ, и другихъ всѣхъ просвѣщаю—и то и се; а попробуй, сунься,—такъ ты опять ухватомъ или кочергою!»

Я могъ бы еще продолжить это сравненіе брата съ сестрою, да вѣрно ужъ вы знаете, о комъ рѣчь идетъ, такъ можете и сами это сдѣлать. А если вы еще не отгадали, кто этотъ братъ и кто эта сестра, такъ пожалуй я вамъ скажу, кто они... Да нѣтъ... боюсь! Они люди умные, добрые и, кажется, за шутку гнѣваться не станутъ, а вѣдь, Богъ знаетъ, можетъ-быть и разсердятся, если я назову ихъ по имени.

Дешевые товары.

Слыхали ли вы когда-нибудь (прошу замѣтить, что я дѣлаю этотъ вопросъ иногороднымъ), слыхали ли вы объ одной московской ярмаркѣ, которую никто не называетъ ярмаркой и о которой не упоминается ни въ одной статистикѣ, несмотря на то, что на ней сбытъ товаровъ бываетъ иногда весьма значителенъ, а стеченіе народа всегда неимовѣрное, и особенно замѣчательное тѣмъ, что вы непремѣнно на одного мужчину насчитаете, по крайней мѣрѣ, десять женщинъ. Эта ярмарка бываетъ

на Ѳоминой недѣлѣ, отъ понедѣльника до четверга, и происходитъ въ *городѣ*, то-есть въ городскихъ рядахъ, предпочтительно въ Панскомъ ряду, и вообще во всѣхъ магазинахъ, гдѣ торгуютъ шелковыми, шерстяными, льняными и бумажными издѣліями. На этомъ торгу продаются только одни остатки, начиная отъ дорогого бархата до самыхъ дешевыхъ тафтяныхъ лентъ, отъ воздушныхъ газовъ и индійской кисеи до толстаго миткаля и тридцатикопѣечныхъ ситцевъ, отъ мягкаго, шелковистаго терно, до грубаго фриза, и отъ бѣлоснѣжнаго батиста до простой, посконной холстины. Этотъ торгъ остатками получилъ свое начало отъ стариннаго обычая московскихъ купцовъ, которые предоставляли въ пользу своихъ сидѣльцевъ всѣ мелкіе остатки отъ товаровъ, скопившіеся въ лавкѣ въ теченіе цѣлаго года. Разумѣется, эта лоскутная продажа давно уже измѣнила своему первобытному назначенію. Теперь пользуются выгодами этой торговли не сидѣльцы, а сами купцы. Главное стеченіе покупщиковъ бываетъ обыкновенно на Ильинкѣ, по которой въ эти дни рѣшительно нѣтъ проѣзду. Если вы захотите когда-нибудь взглянуть на этотъ временной толкучій рынокъ московскихъ барынь, то я совѣтую вамъ пробраться сквозь пеструю ихъ толпу внизъ по Ильинкѣ до магазина гг. Матьясовъ и посмотрѣть, какъ безчисленныя покупщицы выходятъ изъ него по довольно крутой лѣстницѣ. Издали это должно вамъ показаться какимъ-то разноцвѣтнымъ водопадомъ, котораго голубыя, желтыя, бѣлыя, розовыя и всѣхъ возможныхъ цвѣтовъ волны льются безпрерывно на улицу. Вблизи вы разсмотрите, что это не волны, а женскія шляпки, и даже съ прискорбіемъ замѣтите, что многія изъ нихъ сдернуты на сторону, оборваны, исковерканы и превращены въ такіе странные головные уборы, что имъ нельзя пріискать никакого приличнаго названія. Если вы человѣкъ смѣлый и рѣшительный, то-есть не боитесь ни тѣсноты; ни толчковъ, ни этихъ острыхъ локтей, которые будутъ впиваться въ ваши бока, то присоединитесь къ какой-нибудь отдѣльной дамской толпѣ, которая сбирается взять приступомъ эту лѣстницу. Ступайте смѣло впередъ, толкайте направо и налѣво, и не теряйте времени на вѣжливыя извиненія: въ этой давкѣ никто и ни въ чемъ не извиняется. Послѣ нѣкоторыхъ неудачныхъ попытокъ, вы успѣете, наконецъ, вмѣстѣ съ вашей толпой, ворваться въ сіе хранилище всевозможныхъ остатковъ. Не думайте, однакожъ, чтобъ вамъ удалось подойти къ прилавку; а и того менѣе — купить что-нибудь. Нѣтъ, это дѣло невозможное! Вы все-таки мужчина, и хотя рѣшились толкать женщинъ, однакожъ, драться съ ними вѣрно не захотите. Разумѣется, вы прижметесь къ стѣнѣ, и если останетесь тутъ на нѣсколько минутъ, то вѣрно будете *свидѣтелемъ* многихъ сценъ смѣшныхъ, забавныхъ, а иногда даже и немножко отвратительныхъ. Вы увидите, какъ женщины, повидимому, довольно порядочныя, вырываютъ другъ у друга какой-нибудь лоскутъ гривенной тафты; вы услышите, какъ онѣ *перерушиваются* межъ собою. Извините,—это выраженіе не слишкомъ благородно, но другого я никакъ придумать не могу. Впрочемъ, не пугайтесь: вы на этомъ базарѣ рѣдко встрѣтите извѣстное вамъ лицо и очень часто узнаете подъ красивою шляпкою какую-нибудь горничную дѣвушку, или барскую барышню знакомой вамъ дамы.

Этотъ годовой торгъ извѣстенъ подъ названіемъ «остатки, или дешевые товары». И, подлинно, вы можете иногда купить очень дешево, но только почти всегда то, за что въ другое время вы не захотѣли бы заплатить ни копѣйки. Надобно вамъ сказать, что, въ числѣ остатковъ *дѣйствительныхъ*, есть очень много остатковъ *искусственныхъ;* обыкновенно, шелковыя и всякія другія матеріи, вышедшія совершенно изъ моды, разрѣзываются на куски различныхъ мѣръ и продаются подъ названіемъ *остатковъ*. Купить себѣ на платье матеріи, которую давно уже перестали носить, никто не захочетъ, но какъ не соблазниться, не купить остатокъ, который вамъ отдаютъ за полцѣны? Вѣдь это бываетъ только одинъ разъ въ году; послѣ вамъ и понадобится, да вы ужъ нигдѣ не найдете. Такъ или почти такъ разсуждаютъ всѣ тѣ изъ московскихъ барынь, которыя любятъ покупать дешево и набивать всякой всячиной свои кладовыя, а такихъ барынь въ Москвѣ очень много. Этотъ легкій способъ сбывать въ нѣсколько дней весь хламъ, накопившійся въ лавкѣ въ теченіе цѣлаго года, изобрѣтенъ московскими купцами и, кажется, до сихъ поръ не имѣетъ еще подражателей. Ну, какъ же послѣ этого не подивиться сметливости и догадкѣ нашихъ гостинодворцевъ, какъ не сказать, что они знаютъ прекрасно свое дѣло и вполнѣ постигли характеръ своихъ русскихъ покупщицъ?

Первыя театральныя представленія въ Москвѣ.

Можно полагать съ достовѣрностію, что театральныя представленія не были извѣстны русскимъ до второй половины XVII-го столѣтія. Въ 1659 году россійскій посолъ Лихачевъ видѣлъ во Флоренціи въ первый разъ театральное представленіе; ему болѣе всего понравилась скорая перемѣна декорацій и деревянныя лошади, которыя двигались, какъ живыя. Вѣроятно, возвратясь въ Россію, онъ подалъ мысль Царю Алексѣю Михайловичу завести нѣчто похожее на театръ въ домѣ боярина Матвѣева; потомъ въ 1676 году, подъ надзоромъ того же боярина, были представленія въ кремлевскомъ

дворцѣ, Преображенскомъ селѣ и Потѣшномъ дворѣ. Отъ Царя Алексѣя Михайловича до Императрицы Елизаветы, то-есть до того времени, какъ начались театральныя представленія въ кадетскомъ корпусѣ, были частные театры въ Кіевѣ, въ Москвѣ, въ Заиконоспасскомъ монастырѣ, въ Новгородской семинаріи и въ Ростовѣ въ домѣ архіерейскомъ: играли обыкновенно семинаристы. Всѣ драматическія сочиненія того времени могли, по содержанію своему, называться духовными представленіями. Вотъ названія нѣкоторыхъ: «Грѣшникъ», «Есфирь и Агасферъ», «Рождество Христово и Воскресеніе» — сочинены св. Дмитріемъ Ростовскимъ; «Олоферъ и Іудиѳь», «Іосифъ съ братьями и Навуходоносоръ» — сочинены іеромонахомъ Семіономъ Полоцкимъ; «Владиміръ» — сочиненіе Ѳеофана Прокоповича; Ѳеофанъ, игуменъ Батуринскаго монастыря, сочинилъ нѣсколько комедій стихами; Царевна Софія Алексѣевна написала также трагедію «Екатерина мученица», въ которой лицо Екатерины представляла Татьяна Ивановна Арсеньева; сверхъ того, разными лицами сочинены: «Св. мученица Евдокія», «Пиролюбецъ и Лазарь», «Второе пришествіе Господне» и многія другія. Наконецъ, въ 1748 году основался въ Ярославлѣ первый постоянный театръ, актеры котораго въ 1756 году, по Высочайшему повелѣнію, переведены въ С.-Петербургъ. Дмитревскій, два брата Волковыхъ, Шумскій и Поповъ были лучшими актерами этой труппы. Вскорѣ послѣ этого, благодаря фонъ-Визину и Княжнину, русскіе увидѣли на своемъ національномъ театрѣ прекрасныя комедіи, разыгранныя хорошими актерами.

Большая часть нашихъ русскихъ духовныхъ представленій, или мистерій, писана прозою, а нѣкоторыя весьма простыми силлабическими стихами съ риѳмами; въ томъ числѣ комедіи: *Притча о блудномъ сынѣ*, въ которой сѣкуть этого расточителя нещадно плетьми, и *комедія о Навуходоносорѣ Царѣ, о телѣ златѣ и трехъ отроцехъ, въ пещи сожженныхъ*. Вотъ образецъ тогдашнихъ драматическихъ стиховъ. Царь Навуходоносоръ, замысливъ выставить передъ народомъ собственное свое изображеніе, вылитое изъ золота, съ тѣмъ, чтобъ ему поклонялись, какъ Богу, говоритъ:

„Тѣмъ-же умыслихъ образъ сотворити
Лица нашего и всѣмъ представити
На полѣ Дейрѣ, да всѣ почитаютъ
Образъ нашъ, и насъ Богомъ наричаютъ,
Слыши, Казначей! Се велимъ мы тебѣ:
Даждь чиста злата, елико есть требѣ,
Абіе вели нашъ образъ творити
На высоцѣ столбѣ поставити".

Вы видите, что наши древніе поэты вовсе не щеголяли ни богатствомъ риѳмъ, ни гладкостію стиховъ, ни даже правильностію удареній, которыя въ ихъ стихахъ всегда подчиняются необходимому созвучію риѳмъ.

Другая комедія, названная также *Навуходоносоромъ*, но въ которой изображена въ дѣйствіи исторія Олоферна и Іудиѳи, писана прозою. Эта комедія едва ли не болѣе безконечной трагедіи Шиллера *Донъ Карлосъ*. Дѣйствіе начинается въ Вавилонѣ и потомъ переходитъ въ Іудею, гдѣ безпрестанно переносится изъ Іерусалима въ ассирійскій лагерь и обратно. Интрига этой мистеріи до того перепутана, что нѣтъ никакой возможности слѣдовать за дѣйствіемъ, и даже часто нельзя понять, гдѣ оно происходитъ. Пустословіе и многоглаголаніе дѣйствующихъ лицъ не имѣютъ никакихъ границъ, и всѣ они говорятъ языкомъ надутымъ, высокопарнымъ и чрезвычайно тяжелымъ. Самые нелѣпые анахронизмы встрѣчаются на каждой страницѣ. Древніе ассиріяне и евреи говорятъ о рубляхъ, алтынахъ и ефимкахъ, о блинахъ и калачахъ; разсуждаютъ о кислой капустѣ и нѣмецкихъ колбасахъ; упоминаютъ о рейтарахъ, огнестрѣльномъ оружіи, барабанщикахъ, войсковыхъ маршалахъ и называютъ Олоферна гетманомъ. Въ этой мистеріи есть комическое лицо, довольно замѣчательное по нѣкоторому сходству съ знаменитымъ Фальстафомъ Шекспира. Это какой-то ассирійскій воинъ, по имени Сусакимъ: онъ большой балагуръ и точно такой же обжора, хвастунишка и трусъ, какъ Фальстафъ: точно такъ же, какъ онъ, попавшись въ бѣду, старается отдѣлаться шуточками, по большей части весьма пошлыми, но иногда довольно замысловатыми. Іудеи дѣлаютъ вылазку и захватываютъ его въ плѣнъ. Вотъ Сусакимъ начинаетъ ихъ увѣрять, что онъ человѣкъ не военный и во всю жизнь свою не убилъ ни одного жида; а когда его спрашиваютъ, зачѣмъ же при немъ ружье и сабля, то онъ отвѣчаетъ, что изъ ружья бьетъ свиней, а саблею крошитъ начинку для колбасъ. Іудейскіе воины, замѣтивъ изъ его рѣчей, что онъ шутъ, начинаютъ надъ нимъ забавляться и объявляютъ, что имъ приказано сначала его повѣсить, потомъ допросить, а послѣ отрубить голову. «Какъ отрубить голову!»—кричитъ Сусакимъ.—«Помилуйте, да развѣ это можно?.. Да на чемъ же я стану шапку носить?» Вмѣсто отвѣта, ему приказываютъ стать на колѣни, чтобъ въ силу даннаго указа отрубить ему голову, то-есть укоротить его на цѣлую четверть. Сусакимъ бросается на колѣни и говоритъ, что указъ исполненъ, и что онъ теперь сталъ не только одною, но и двумя четвертями короче. Но такъ какъ воины не принимаютъ этой отговорки, то онъ проситъ дозволенія проститься съ бѣлымъ свѣтомъ. Ему позволяютъ. И вотъ онъ начинаетъ прощаться со всѣми родственниками, а въ особенности со старшей сестрой своей, которая, по его словамъ, торгуетъ въ Ниневіи трескою, веревками и сапожными колодками. «Прощайте, мои благородные

братья»,—говоритъ онъ. — «земскіе ярыжки, трубочисты и вы, о, высокіе чины, питающіеся мірскимъ подаяніемъ!» Потомъ прощается съ жареными телятами, баранами, гусями, цыплятами, крупичатыми калачами, пшеничными блинами и всѣми другими радостями земными, а въ заключеніе приглашаетъ воронъ попировать надъ его трупомъ.

— «Ну»,—говоритъ одинъ изъ воиновъ,— «коли ужъ ты гостей назвалъ, такъ время на столъ накрывать!» Тутъ схватываютъ его, кладутъ на землю, вмѣсто меча бьютъ по шеѣ лисьимъ хвостомъ и уходятъ. Сусакимъ, оставшись одинъ, не вѣритъ, что онъ живъ и, конечно, отъ испуга, начинаетъ врать такой вздоръ, что ужъ ни на что не походитъ. Онъ говоритъ, что душа его перешла въ ногу, потомъ кинулась въ горло и вылетѣла въ правое ухо, что онъ не можетъ никакъ ощупать своей головы и что ея рѣшительно нѣтъ у него на плечахъ. Этотъ длинный монологъ оканчивается точно такъ же, какъ извѣстный монологъ Мольерова скупого. Гарпагонъ обращается къ зрителямъ и спрашиваетъ, не укралъ ли кто-нибудь изъ нихъ шкатулку съ деньгами? Сусакимъ также относится къ публикѣ и спрашиваетъ: не вздумалъ ли кто-нибудь, ради шутки, спрятать его голову? Этимъ шутовствомъ оканчивается шестой актъ комедіи «Навуходоносоръ». Въ ней всего семь дѣйствій, раздѣленныхъ на явленія, которыя въ оригиналѣ называются *сценами*.

Русскій магазинъ.

Мы всѣ болѣе или менѣе любимъ мечтать, всѣ строимъ воздушные замки: но врядъ ли вы найдете, въ этомъ отношеніи, такого неутомимаго архитектора, какъ я. Сколько въ жизнь мою перестроилъ я этихъ замковъ! Чего не приходило мнѣ въ голову во время безсонницы! Какъ много сооружалъ я колоссальныхъ зданій, передъ которыми ничто и Альгамбра, и Версальскій дворецъ, и древніе златые чертоги Нерона, и новѣйшій Ватиканъ! Сколько создавалъ великолѣпныхъ мѣстоположеній, какой придумалъ климатъ, въ какой земной рай превращалъ я всю Россію! Въ этихъ случаяхъ я обыкновенно не скуплюсь, и, чтобъ украсить и обогатить мою родину, забираю все, что ни есть лучшаго во всей Европѣ. Изъ Швейцаріи перетаскиваю горы, изъ Англіи—феодальные замки съ ихъ живописными парками, изъ Сѣверной Франціи—виноградники, изъ Южной—оливковые лѣса, изъ Италіи—безоблачное небо и развалины древняго Рима, изъ Испаніи—померанцовыя и апельсинныя рощи, а изъ Германіи—Рейнъ, разумѣется, съ его берегами. Иногда спускаюсь я пониже, и мечты мои становятся хотя также довольно несбыточными, однакожъ, все-таки, по человѣчески, возможными. Я строю великолѣпные *города по всей Волгѣ*, соединяю Каспійское море съ Чернымъ, возстановляю древнюю столицу Россіи, первопрестольный градъ Кіевъ, сооружаю вновь Десятинную церковь, перекидываю черезъ Днѣпръ чугунные мосты, соединяю судоходныя рѣки каналами, перекрещиваю всю Россію желѣзными дорогами, провожу ихъ отъ Петербурга до Одессы, отъ Нижняго-Новгорода до Варшавы и, по милости этихъ быстрыхъ сообщеній, превращаю южный берегъ Крыма въ предмѣстіе Москвы. Все это прекрасно и даже возможно, были бы только деньги. Правда, ихъ бы понадобилось такъ много, что, для исполненія половины этихъ патріотическихъ замысловъ, не достало бы всѣхъ сокровищъ не только великаго Могола, который, говорятъ, встарину былъ очень богатъ, но даже и всѣхъ наличныхъ денегъ Англіи, съ прибавкою ея долговъ, а это, кажется, не бездѣлица! Случается также, что я, утомясь отъ этого піитическаго бреда, перехожу къ мечтамъ и желаніямъ, самымъ умѣреннымъ и самымъ прозаическимъ. Вотъ, напримѣръ, сколько разъ бывало, читая на раззолоченныхъ вывѣскахъ: «англійскій магазинъ, французскій магазинъ, голландскій магазинъ», я думаю: «да почему же у васъ въ Москвѣ нѣтъ русскаго магазина?..» Лѣтъ сорокъ тому назадъ, на этотъ вопросъ можно было бы отвѣчать также вопросомъ: «А что же вы будете продавать въ этомъ магазинѣ? Линючія выбойки, солдатское сукно, сало, кожу и паюсную икру?» Но теперь, когда развитіе нашей мануфактурной промышленности становится съ каждымъ годомъ блистательнѣе; когда наши публичныя выставки начинаютъ соперничать съ выставками почти всѣхъ европейскихъ государствъ; когда вы платите два рубля за фарфоровую чашку, за которую не такъ еще давно брали съ васъ рублей десять; когда хрустальный графинъ сдѣлался для насъ также обыкновененъ, какъ простая стеклянная бутылка; когда мы носимъ фраки изъ русскаго сукна, а наши барыни одѣваются, конечно, большая часть по невѣдѣнію, въ шелковыя матеріи, вытканныя русскими людьми на русскихъ фабрикахъ,—когда все это дѣлается передъ нашими глазами, такъ почему бы, кажется, не завести русскій магазинъ или, если хотите, складочное мѣсто русскихъ мануфактурныхъ издѣлій? Таскаться по рядамъ, а особливо зимою, не всѣ любятъ; да тамъ же обыкновенно и запрашиваютъ: надобно торговаться, а и того хуже,—чуть товаръ получше, такъ его тотчасъ вамъ назовутъ нѣмецкимъ или французскимъ. Думая такимъ образомъ, я обыкновенно начиналъ мечтать и, разумѣется, сыпалъ деньгами, потому что въ этихъ случаяхъ я всегда бываю милліонщикомъ. Я покупалъ большой домъ на Кузнецкомъ мосту, превращалъ его въ огромный магазинъ, забиралъ у русскихъ фабрикантовъ весь лучшій ихъ товаръ, дѣлалъ за-

казы первымъ московскимъ и петербургскимъ ремесленникамъ, и вотъ изъ моего русскаго магазина выходитъ постоянная выставка отечественныхъ издѣлій во всѣхъ возможныхъ родахъ. Въ огромныхъ его залахъ, такъ же, какъ въ Петербургѣ въ англійскомъ магазинѣ, всегда толпятся покупщики и покупщицы; а чтобъ московскимъ дамамъ не стыдно было покупать и употреблять для своего туалета издѣлія русскихъ фабрикантовъ, то я постарался бы, чтобъ всѣ мои приказчики были люди ловкіе и любезные и всѣ непремѣнно говорили по-французски,—на первый разъ это необходимо: звуки милаго языка невольнымъ образомъ примирили бы нашихъ барынь съ непріятною мыслію, что онѣ въ русскомъ магазинѣ, покупаютъ русскіе товары, и что эти товары показываютъ имъ не французскіе commis, а русскіе приказчики.

Я вовсе не думалъ, чтобъ эта мечта, которая забавляла меня тому назадъ нѣсколько лѣтъ, осуществилась въ нынѣшнемъ году, не скажу вполнѣ, однакожъ, для первой попытки, весьма удовлетворительнымъ образомъ. Подъ руководствомъ предсѣдателя московскаго отдѣленія мануфактурнаго совѣта, барона Мейендорфа, составилось общество русскихъ фабрикантовъ, которые, напявъ на Кузнецкомъ мосту прежде бывшій домъ г. Волынскаго, а нынѣ княжны Долгорукой, открыли въ немъ магазинъ русскихъ мануфактурныхъ издѣлій. Изящная архитектура этого дома, его щеголеватая наружность, аристократическое положеніе, посреди краснваго двора, отдѣленнаго отъ улицы прекрасною чугунною рѣшеткою,—все это съ перваго взгляда заставитъ васъ подумать, что въ этомъ домѣ живетъ богатый московскій баринъ; и вы не ошибаетесь: конечно, въ сравненіи съ другими магазинами, этотъ первый русскій магазинъ можетъ, по своему удобству, красотѣ и роскоши, назваться барином. Разумѣется, его прежніе заморскіе дядьки и пяпюшки станутъ долго кричать: «Помилуйте, что это: называть безграмотнаго ребенка бариномъ! Да у насъ послѣдній мальчишка умнѣе его. Ходилъ бы себѣ да ходилъ на нашихъ помочахъ, а то туда же въ люди нарохтится!.. Эка важность, что онъ живетъ въ великолѣпныхъ палатахъ! Да развѣ отъ этого въ немъ ума прибудетъ?»... Легко быть можетъ, что найдутся и домашніе, которые, по старой привычкѣ, будутъ говорить то же самое... Такъ чтожъ?.. Пускай себѣ кричатъ, пусть называютъ его безграмотнымъ ребенкомъ; а онъ, подъ шумокъ, растетъ себѣ да растетъ!.. Кто и говоритъ, теперь этотъ баринъ еще молодъ, мало извѣстенъ, не оперился; но подождите немного, дайте ему возмужать, познакомиться съ добрыми людьми и доказать имъ на самомъ дѣлѣ, что онъ уже вовсе не дитя, и тогда вы увидите, какимъ онъ сдѣлается вельможею.

Если вы пріѣдете зимою въ этотъ магазинъ, то можете въ теплыхъ сѣняхъ отдать вашу шубу не швейцару, а заслуженному унтеръ-офицеру, у котораго грудь закрыта не шутовскою перевязью, а цѣлымъ рядомъ почетныхъ медалей. По мраморной красивой лѣстницѣ, уставленной цвѣтами, которые также продаются, вы взойдете въ верхнія сѣни, съ большимъ вкусомъ украшенныя зеркалами и колоннами подъ бѣлый мраморъ. Изъ этихъ сѣней вы входите въ небольшую проходную комнату; въ ней продаются косметическіе товары братьевъ Шевелкиныхъ, стальныя вещи Завьялова и табакерки, подносы, ящики и разныя другія издѣлія фабрики г. Лукутина. Объ этой послѣдней фабрикѣ я уже говорилъ въ первомъ выходѣ «Москвы и Москвичей» и могу прибавить только одно, что г. Лукутинъ продолжаетъ съ прежнимъ постоянствомъ улучшать произведенія своей фабрики, и что вообще его бумажно-лаковыя вещи становятся съ каждымъ годомъ отчетливѣе красивѣе и прочнѣе. Придуманные имъ лѣпные барельефы на табакеркахъ, и бумажные шарньеры истинно могутъ назваться образцовыми. Стальныя издѣлія Завьялова, которыя, если не ошибаюсь, продаются въ одномъ только русскомъ магазинѣ, заслуживаютъ также особеннаго вниманія. Попробуйте, хотя изъ любопытства, купить любой перочинный ножикъ его работы, и вы увѣритесь на самомъ опытѣ, что этотъ ножикъ, ни по наружной отдѣлкѣ, ни по внутреннему своему достоинству, не уступитъ ни нѣмецкому, ни французскому, ни даже... страшно вымолвить!.. Ну, да и то сказать: «волка бояться, въ лѣсъ не ходить». Если ужъ я, отъявленный патріотъ, изъ уваженія къ нашимъ европейцамъ, не осмѣлюсь вымолвить правды, такъ кто же рѣшится ее сказать? Да, стальныя издѣлія Завьялова не уступаютъ *ни въ чемъ* того же рода издѣліямъ иностраннымъ, не исключая даже англійскихъ, и продаются несравненно ихъ дешевле. Впрочемъ, несмотря на мой патріотизмъ, я долженъ признаться, что до сихъ поръ это можно сказать объ однѣхъ только стальныхъ вещахъ Завьялова; въ особенности же ружья дѣлаются несравненно лучше, прочнѣе и *добросовѣстнѣе* прежняго.

Во второй комнатѣ продается писчая бумага фабрики г. Усачева. Тутъ найдете вы всѣ возможные сорта бумаги, отъ самой дешевой до самой дорогой. Если вы замѣтите, что бумага англійская, голландская и французская, разумѣется, самаго высшаго достоинства, превосходнѣе той, которую вамъ здѣсь покажутъ, то я попрошу васъ вспомнить только о томъ, въ какомъ положеніи была у насъ эта мануфактурная промышленность лѣтъ пятнадцать тому назадъ, и вы тогда поневолѣ удивитесь ея быстрымъ успѣхамъ. Я увѣренъ даже, что вы не станете спорить со мною, когда я скажу, что мы хотя и от-

стали въ этомъ случаѣ отъ англичанъ, голландцевъ и французовъ, однако-жъ, гонимся за ними и, конечно, рано или поздно, а непремѣнно догонимъ.

Вся третья комната занята хлопчато-бумажными издѣліями фабрикъ гг. Прохоровыхъ, Титова, Битепажа, Матвѣева и нѣкоторыхъ другихъ. Не говоря уже о коленкорѣ, ситцахъ, холстинкѣ, кашемирѣ и полубархатѣ, которые, конечно, ни въ чемъ не уступаютъ иностраннымъ, вы найдете тутъ и самые модные товары, напримѣръ: крепъ-шине, крепъ-рашель и, можетъ-быть, узнаете въ нихъ вашихъ знакомыхъ, которые не такъ еще давно прикидывались французами.

То же самое можно сказать и о шелковыхъ издѣліяхъ, которыя продаются въ четвертой комнатѣ. Особенно замѣчательны великолѣпныя парчи фабрики гг. Сапожниковыхъ. По сознанію самихъ иностранцевъ, московскія парчи безспорно самыя лучшія въ Европѣ, и если нужно подтвердить это какимъ нибудь фактомъ, то я могу удостовѣрить моихъ читателей, что извѣстный пэръ Англіи, маркизъ Лондондери, котораго я имѣлъ удовольствіе знать лично, уѣзжая изъ Москвы въ свое отечество, купилъ на десять тысячъ рублей парчи въ здѣшнихъ городскихъ рядахъ. Отдавая полную справедливость шелковымъ дамскимъ матеріямъ фабрики г-дъ Сапожниковыхъ, нельзя, однако-же не пожалѣть, что въ русскомъ магазинѣ вы не найдете шелковыхъ матерій г. Кондрашова, которыя доведены у него до такого совершенства, что почти вездѣ продаются за французскія. Въ этой же самой комнатѣ вы можете покупать русскія сукна фабрикъ гг. Невиля, Новикова, Тугариновыхъ, Четверикова и разныхъ другихъ. Это мануфактурное издѣліе, которое стоитъ наряду съ первыми и необходимыми потребностями каждаго европейскаго государства, идетъ быстрыми шагами къ совершенству. Давно ли никто изъ насъ не смѣлъ даже и мечтать, что русское сукно, въ которое мы, съ грѣхомъ пополамъ, одѣвали нашихъ кучеровъ, замѣнитъ намъ большую часть иностранныхъ суконъ? Сначала попытки нашихъ суконныхъ фабрикантовъ не имѣли большого успѣха; русскія сукна были, вообще, грубы, ворсисты, непрочны и весьма скоро бѣлѣли по швамъ. Эти неудачные опыты имѣли весьма непріятныя послѣдствія. Мы забыли русскую пословицу: «первую пѣсенку зардѣвшись спѣть», и рѣшили почти единогласно, что у насъ не можетъ быть хорошихъ суконъ. Къ счастію, этотъ слишкомъ поспѣшный приговоръ не расхолодилъ нашихъ фабрикантовъ: они продолжали съ необыкновеннымъ постоянствомъ улучшать свои издѣлія; выписывали изъ-за границы мастеровъ, выучились красить шерсть, не жалѣли ни трудовъ, ни денегъ, и вотъ, наконецъ, мы посимъ наше собственное сукно и можемъ *безъ стыда* называть его нашимъ. Конечно, есть люди, которые и теперь еще увѣрены, что русское сукно, хотя по наружности и довольно красиво, однако-жъ, непрочно и чрезвычайно скоро бѣлѣетъ по швамъ. Я могу увѣрить этихъ господъ, что они ошибаются; хорошее русское сукно ни въ чемъ не уступаетъ *равноцѣнному* съ нимъ сукну иностранному. Я знаю это по опыту, потому что ношу всегда русское сукно, не очень часто дарю себя обновками, а, несмотря на это, никогда не хожу въ платьяхъ, у которыхъ швы побѣлѣли. Впрочемъ, изъ этого не должно заключить, что наши фабриканты достигли вполнѣ своей цѣли,—нѣтъ, русскія сукна (я говорю о самыхъ лучшихъ) требуютъ еще большихъ улучшеній. Я желалъ бы,—и почему не желать этого?—чтобъ наше сукно перваго сорта ни въ чемъ не уступало французскому сукну Лувье и англійскому Регенту.

Въ пятой комнатѣ продаются шерстяныя и полушерстяныя издѣлія, шали, платки, полутерно, мебельная матерія и шерстяная кисея (mousseline de laine) фабрики братьевъ Тучковыхъ; жилетныя матеріи и платки фабрики г. Локтева; шерстяныя и полушелковыя матеріи фабрики Рошефора. Всѣ эти издѣлія болѣе или менѣе могутъ замѣнять намъ привозные товары того же рода, а особливо шерстяная кисея братьевъ Тучковыхъ и жилетныя матеріи г. Локтева; эти издѣлія рѣшительно ничѣмъ не хуже иностранныхъ. Въ той же комнатѣ помѣщаются серебряныя и золотыя вещи фабрики г. Губкина, который можетъ назваться единственнымъ соперникомъ г. Сазикова, пріобрѣтшаго такую большую извѣстность своими серебряными издѣліями.

Вся шестая комната занята зеркалами завода г. Мелешкина. Тутъ нѣтъ колоссальныхъ зеркалъ, которыя отливаются на петербургской казенной фабрикѣ, но вообще всѣ зеркала очень чисты, правильны и продаются за весьма умѣренную цѣну.

Въ седьмой комнатѣ вы можете покупать прекрасные ковры фабрики г. Епанечникова; льняныя и пеньковыя издѣлія, накладное серебро и лакированныя вещи фабрикъ гг. Козмина, Эмме и Кондратьева. Средину комнаты занимаетъ огромная горка съ фарфоровыми и фаянсовыми вещами братьевъ Гернеръ и хрусталемъ заводовъ гг. Бахметьева и Мальцова. Превосходныя хрустальныя издѣлія сихъ заводовъ всѣмъ извѣстны. Можетъ-быть, они нѣсколько уступаютъ въ достоинствѣ богемскимъ хрустальнымъ издѣліямъ; но не должно забывать, что богемскіе хрустальные заводы признаны первыми во всей Европѣ. Съ насъ будетъ покамѣстъ и того, что мы въ этой мануфактурной промышленности, если не опередили, то ужъ, конечно, не отстали отъ англичанъ и французовъ; тѣ, которые никакъ не хотятъ съ этимъ согласиться, говорятъ, между прочимъ, что англійскій хрусталь та-

желѣе, какъ будто бы не чистота и совершенство отдѣлки, а тягость составляютъ достоинство хорошаго хрусталя. Будь англійскій хрусталь легче, тогда бы эти господа стали говорить: «Ну, конечно, русскій хрусталь недуренъ, но онъ несравненно тяжеле англійскаго». Фарфоровыя и фаянсовыя издѣлія братьевъ Гарднеръ, кромѣ существенной своей доброты и отчетливой отдѣлки, отличаются особенно своей неимовѣрной дешевизной. Мнѣ захотѣлось однажды купить себѣ чайную фарфоровую чашку, которая, своей прекрасной формой и простымъ, чрезвычайно милымъ узоромъ, очень мнѣ понравилась. Я спросилъ о цѣнѣ; мнѣ отвѣчали, что одну чашку купить нельзя, а должно взять, по крайней мѣрѣ, полдюжины Полагая, что чашка не можетъ стоить менѣе полутора рубля серебромъ, я рѣшился не покупать, а спросить изъ одного любопытства, что стоитъ полдюжины, — и, представьте мое удивленіе, когда мнѣ объявили, что я могу купить не одну, а шесть чашекъ, какъ вы думаете, за что? — Съ небольшимъ за два рубля серебромъ!.. Въ числѣ фарфоровыхъ и хрустальныхъ издѣлій вы едва замѣтите нѣсколько бронзовыхъ вещей, которыя служатъ доказательствомъ, какъ мы отстали въ этой мануфактурной промышленности отъ французовъ. Мнѣ скажутъ, можетъ-быть, что въ Петербургѣ дѣлаютъ прекрасныя бронзовыя вещи,—не спорю; но неугодно ли вамъ узнать, почемъ онѣ продаются? А это весьма важное обстоятельство. Мнѣ кажется, что намъ тогда только позволительно думать, что мы не отстали отъ другихъ, когда какое-нибудь русское художественное или ремесленное издѣліе, совершенно одинаковаго достоинства съ привознымъ, продается у насъ дешевле или, по крайней мѣрѣ, не дороже того, какъ оно продается за границею.

Ну, вотъ, любезные читатели, вы прошлись со мною по всему русскому магазину. Не правда ли, что мечта моя осуществилась на первый случай весьма удовлетворительнымъ образомъ? Мнѣ помнится, я хотѣлъ, между прочимъ, чтобъ всѣ приказчики *моего* русскаго магазина были люди ловкіе, любезные и всѣ, безъ исключенія, говорили по-французски. Кажется, и это желаніе не вовсе осталось безъ исполненія. Управляющій конторою магазина, г. Быковскій, умный, просвѣщенный и любезный молодой человѣкъ, знаетъ иностранные языки; всѣ приказчики весьма вѣжливые молодые люди, ловкіе, предупредительные; не знаю, говорятъ ли они по-французски, но могу васъ увѣрить, что по-русски они изъясняются какъ люди образованные и вовсе не походятъ на прежнихъ нашихъ гостиподворцевъ, изъ которыхъ иному и теперь еще можно сказать: «конечно, любезный, ты носишь фракъ, повязался галстухомъ и бороду себѣ выбрилъ, а все бы не *мѣшало тебѣ умыться*».

Карты.

Изобрѣтеніе картъ приписывали попеременно итальянцамъ, нѣмцамъ и французамъ. У послѣднихъ онѣ появились при королѣ Карлѣ VI, то-есть въ концѣ XIV столѣтія. Сначала, вмѣсто нынѣшнихъ фигуръ, были на нихъ слѣдующія изображенія: императоръ, отшельникъ, шутъ, висѣльникъ, луна, астрологъ, солнце, правосудіе, фортуна, воздержность, сила, смерть, страшный судъ и домъ Божій. Впослѣдствіи карты совершенно измѣнились: ихъ раздѣлили на масти. Трефы представляли рукоятки мечей, бубны — четвероугольное лезвее стрѣлы, пики—наконечникъ копья, а черви—наконечникъ стрѣлы, которая пускалась изъ самопала. Фигуры были тѣ же самыя, что и теперь: четыре короля, четыре дамы и четыре валета. Короли изображали: французскаго короля Карла VII, царя Давида, Александра Македонскаго и Юлія Кесаря; дамы: Іудиѳь, Палладу, Рахиль и Аржину — псевдонимъ Маріи Анжуйской. Валеты представляли дворянство и назывались: одинъ Гекторомъ; другой Ожіе, третій Лагиръ; трефовый валетъ былъ безъ имени.

Сколько было говорено и писано и прозой и стихами противъ этой общей и повсемѣстной забавы, или, если хотите, занятія, а подчасъ и ремесла, которое мы называемъ карточной игрой; но ничто не могло поколебать владычества картъ, которыя продолжаютъ спокойно царствовать вездѣ, начиная отъ самой запачканной и скверной лакейской, до самой великолѣпной и роскошной гостиной. Не знаю, найдется ли во всей Европѣ городъ, въ которомъ выходило бы такъ много картъ, какъ у насъ въ Москвѣ. Карты! Да безъ нихъ ступить нельзя; онѣ такъ же необходимы для жизни нашего общества, какъ воздухъ необходимъ для жизни человѣка. Во всѣхъ клубахъ играютъ, на всѣхъ вечерахъ играютъ, на всѣхъ балахъ играютъ и даже почти на всѣхъ обѣдахъ играютъ въ карты, то-есть начинаютъ свои партіи до обѣда и оканчиваютъ ихъ послѣ. Конечно, бываютъ изрѣдка вечера, на которыхъ стараются замѣнить карты разговоромъ, чтеніемъ, ученою бесѣдою; но на этихъ вечерахъ, обыкновенно, бываетъ не очень тѣсно и гости рѣдко сидятъ до полуночи.

У меня есть два пріятеля: Степанъ Степановичъ Ладогинъ и Андрей Ивановичъ Привольскій; оба они люди умные, честные, добрые, живутъ очень дружно; ихъ характеры и образъ мыслей имѣютъ межъ собою много общаго, а несмотря на это они безпрестанно спорятъ другъ съ другомъ, и почти всегда предметомъ этихъ споровъ бываютъ карты. Андрей Ивановичъ ихъ ненавидитъ. Степанъ Степановичъ не можетъ безъ нихъ жить. Вотъ одинъ изъ этихъ *диспутовъ*, который про-

исходилъ у меня вчера вечеромъ. Я предоставляю моимъ читателямъ рѣшить, чья сторона съ большимъ искусствомъ защищала свое мнѣніе.

Степанъ Степановичъ (*смотря на часы*). Ого! Скоро семь.

Я. Что это вы посматриваете на часы?

Степанъ Степановичъ. Да пора ѣхать.

Андрей Ивановичъ. Эхъ, полно, Степанъ Степановичъ! Куда? Что это тебѣ нигдѣ не посидится?

Степанъ Степановичъ. Нельзя, надобно къ Ухабину.

Андрей Ивановичъ. А что, у него большой вечеръ?

Степанъ Степановичъ. Нѣтъ; звалъ на преферансъ.

Андрей Ивановичъ. Ну, такъ,—на преферансъ!.. Вотъ, истинно, понять не могу!.. Человѣкъ, кажется, умный, просвѣщенный... До скажи мнѣ, пожалуйста, неужели ты не можешь прожить дня безъ картъ?..

Степанъ Степановичъ. Какъ не прожить!.. Да зачѣмъ?.. Я люблю играть, и если есть партія...

Андрей Ивановичъ. Непостижимое дѣло!.. Ну, пускай бы ужъ ты игралъ въ большую игру — это еще понятно: есть много людей, которые любятъ сильныя ощущенія. Разумѣется, для этихъ людей тихія и спокойныя наслажденія не имѣютъ никакой прелести, имъ нужно совсѣмъ не то; они любятъ замираніе сердца, томительныя ожиданія, рѣзкіе переходы отъ счастія къ несчастію. Проигрывая и выигрывая десятки тысячъ, они пользуются вполнѣ этими тревожными наслажденіями; но вѣдь ты, кажется, никогда не играешь больше четверти въ преферансъ?

Степанъ Степановичъ. Нѣтъ, иногда пускаюсь и по гривенкѣ серебромъ.

Андрей Ивановичъ. То-есть можешь проиграть и выиграть рублей пятьдесятъ ассигнаціями?

Степанъ Степановичъ. Случается.

Андрей Ивановичъ. Вѣроятно, это не слишкомъ волнуетъ твою кровь?

Степанъ Степановичъ. Ни мало.

Андрей Ивановичъ. Такъ какое же ты находишь удовольствіе сидѣть каждый день по нѣсколько часовъ сряду за картами?

Степанъ Степановичъ. А что-бы я сталъ дѣлать по вечерамъ?.. Читать при свѣчахъ я не могу, писать и подавно; а нашимъ осеннимъ и зимнимъ вечерамъ конца нѣтъ.

Андрей Ивановичъ. Да развѣ ученая бесѣда и умные разговоры не могутъ тебѣ замѣнить карты?

Степанъ Степановичъ. Эхъ, мой другъ! Да вѣдь умъ такъ-же устаетъ, какъ и тѣло, и ему надобно отдохнуть. Когда мы разговариваемъ о чемъ-нибудь серьезномъ, тогда умственныя наши *способности* бываютъ въ напряженномъ положеніи, а за картами онѣ отдыхаютъ. Я обыкновенно по-утру занимаюсь дѣломъ, а вечеромъ, признаюсь, люблю поиграть въ преферансъ.

Андрей Ивановичъ (*передразнивая*). «Люблю поиграть въ преферансъ!» Ну, какъ же послѣ этого не сказать, что карты язва общества?... Вотъ человѣкъ образованный, умный, любезный...

Степанъ Степановичъ. Покорнѣйше благодарю!

Андрей Ивановичъ. Не за-что! Я говорю только о томъ, какъ создалъ тебя Богъ, а теперь послушай, что ты самъ-то изъ себя дѣлаешь: ты пріѣзжаешь куда-нибудь провести вечеръ, встрѣчаешься съ людьми образованными, съ любезными женщинами; ты могъ бы поговорить съ ними о наукахъ, художествахъ, литературѣ — о томъ, о другомъ... Взаимная передача мыслей и понятій — вотъ истинное наслажденіе людей просвѣщенныхъ, а ты, человѣкъ просвѣщенный, что ты дѣлаешь?.. Тебѣ даютъ карточку, ты садишься за свой преферансъ и ну козырять до самаго ужина!.. Изъ существа разумнаго и мыслящаго ты превращается въ карточную машину, или, по крайней мѣрѣ, въ безграмотнаго игрока, которому, впрочемъ, и не нужно знать грамоту: зналъ бы онъ, какъ провести масть, заручить того, кто играетъ, да снести туза, чтобъ спасти своего товарища, такъ онъ человѣкъ переученый. Правда, въ этой премудрости не уступитъ ему, можетъ-быть, собственный его слуга, да вѣдь тотъ играетъ въ засаленныя карты, а баринъ въ атласныя. Того иногда за это и поколотятъ,—разумѣется, если онъ играетъ въ деньги, — а барина бить некому. Конечно, другой разницы я между ними не вижу, и имъ стоитъ только помѣняться платьями да перейти — одному изъ гостиной въ лакейскую, а другому изъ лакейской въ гостиную, такъ ужъ, вѣрно, не узнаешь, кто изъ нихъ баринъ, кто слуга.

Степанъ Степановичъ. Хорошо. Андрей Ивановичъ, хорошо, — я не буду играть въ карты; что-жъ я стану дѣлать?.. Разговаривать?.. О чемъ?.. Ты знаешь изъ чего состоятъ наши разговоры: насмѣшки, злословіе, пересуды. Ну, извѣстное дѣло, говоря въ обществѣ, а особливо съ дамами, хочешь пощеголять своимъ умомъ, потѣшиться, посмѣяться, поострить, разумѣется, не на свой счетъ, а на счетъ ближняго. Чтобъ сорвать улыбку съ какихъ-нибудь розовыхъ губокъ, ты рѣшишься отпустить эпиграмму насчетъ человѣка, достойнаго уваженія, но въ которомъ есть что-нибудь смѣшное; ты не остановишься даже принести въ жертву своему мелкому и ничтожному самолюбію доброе имя женщины. Разумѣется, начнешь тѣмъ, что скажешь: «Представьте себѣ, что я слышалъ! Это вздоръ—я этому не вѣрю»... И примешься

разсказывать объ этой женщинѣ какой-нибудь забавный анекдотъ, то-есть милую, затѣйливую клевету, отъ которой всѣ помрутъ со смѣху. Ну, конечно, весело! Всѣ тебѣ улыбаются, слушаютъ тебя съ удовольствіемъ; ты любезенъ, остеръ, ты душа общества. — «Comme vous êtes méchant!»—говорятъ тебѣ милыя и прекрасныя женщины, а тебѣ это какъ масломъ по сердцу!.. Надобно-же поддержать эту репутацію! И вотъ ты, по природѣ добрый человѣкъ, становишься злоязычникомъ; ты радуешься, когда тебя называютъ въ глаза «злымъ»; глядя на твое завидное торжество, и другіе начнутъ добиваться этого почетнаго названія, и ты, какъ воротишься домой, останешься одинъ съ самимъ собою, да оглянешься назадъ, такъ горе и возьметъ!.. Кажется весь вечеръ пробесѣдовалъ съ людьми хорошими и самъ человѣкъ не вовсе дурной, а грѣха-то, грѣха... не оберешься!.. Нѣтъ, Андрей Ивановичъ, воля твоя, а я ужъ лучше буду играть по четверти въ преферансъ!

Андрей Ивановичъ. Да развѣ нѣтъ другихъ разговоровъ? Вотъ, напримѣръ, ты любишь словесность...

Степанъ Степановичъ. Люблю, мой другъ, да только не всякую; та, которая теперь въ ходу, мнѣ вовсе не по-душѣ. Эта западная литература, которая въ восемнадцатомъ вѣкѣ съ такимъ ожесточеніемъ воевала противъ всего, что должно быть священнымъ для человѣка, опять пожаловала къ намъ въ гости, только въ другомъ нарядѣ. Тогда она была щеголихою, надушена, распудрена, въ фижмахъ; а теперь просто въ посконной блузѣ, съ красными отъ перепоя глазами, съ косматой головой и козлиной бородкой; тогда она шутила, насмѣхалась, отпускала остроты, а теперь бѣснуется, валяется въ грязи, да тащитъ туда же и своихъ читателей, или съ важнымъ и глубокомысленнымъ видомъ поретъ такую богохульную дичь, что уши вянутъ...

Андрей Ивановичъ. Вотъ ужъ это неправда, Степанъ Степановичъ! Когда ты услышишь въ нашихъ ученыхъ и литературныхъ бесѣдахъ что-нибудь противное религіи или нравственности?

Степанъ Степановичъ. Такъ, мой другъ, такъ!.. Да вѣдь есть два способа выражать свои мысли: одинъ изъ нихъ и проще и яснѣе, зато другой гораздо безопаснѣе, а межъ-тѣмъ точно доведетъ тебя до твоей цѣли. Не пускаютъ по столбовой дорогѣ, такъ ты доѣдешь проселкомъ. Ты не станешь самъ проповѣдывать безнравственность, а будешь говорить съ восторгомъ о тѣхъ, которые ее проповѣдываютъ; не будешь возставать противъ религіи, но станешь насмѣхаться надъ тѣми, которые ее уважаютъ. Оно кажется и не то, а выходитъ то же самое.

Андрей Ивановичъ. Какъ то же самое?

Степанъ Степановичъ. Разумѣется. Вотъ если-бъ, напримѣръ, и принялся хвалить философію осьмнадцатаго столѣтія и, не говоря ни слова о цѣли этой философіи, которая изложена весьма подробно въ книгахъ, сталъ бы только называть Вольтера, Гельвеція, Дидеро, Даламберта свѣтильниками міра и благодѣтелями человѣчества, такъ развѣ это будетъ не все то же, что проповѣдывать вмѣстѣ съ ними невѣріе?

Андрей Ивановичъ. И, Степанъ Степановичъ. Кто нынче говоритъ о Вольтерѣ, Даламбергѣ, Дидеро?..

Степанъ Степановичъ. Да, это, правда, у насъ теперь найдутся почище ихъ; посмотри только, что проповѣдуютъ съ каѳедръ и печатаютъ въ этой, нѣкогда благочестивой Германіи.

Андрей Ивановичъ. Да это Степанъ Степановичъ, философія, а я тебѣ говорю о литературѣ.

Степанъ Степановичъ. И, вѣроятно, французской?.. хороша, мой другъ, и она?

Андрей Ивановичъ. Да ужъ какъ хочешь, а получше прежней!.. Не то время, мой другъ! Теперь я не совѣтую потчевать насъ розовою водицею.

Степанъ Степановичъ. Конечно, конечно!.. Зачѣмъ намъ свѣтлый ручеекъ, — это приторно! Подавай намъ помойную яму. Вотъ, напримѣръ, «Таинства Парижа...»

Андрей Ивановичъ. А что, чай, скажешь—дурная книга? Нѣтъ, любезный,—это геніальное произведеніе. Какая глубина!.. Сколько истины! А какіе эффекты!.. Вздохнуть некогда!

Степанъ Степановичъ. Подлинно, вздохнуть некогда!.. Не успѣешь полюбоваться однимъ кабакомъ, а тебя ведутъ въ другой; то посидишь въ острогѣ, то попируешь въ грязной харчевнѣ съ каторжниками, то побесѣдуешь съ распутными женщинами; что глава, то новый эффектъ! Жаль только, что всѣ эти эффекты отзываются торговой площадью, на которой у насъ сѣкутъ кнутомъ, а у французовъ рубятъ головы. Почти въ каждой главѣ или идутъ кого-нибудь рѣзать, или зарѣзали. А какое разнообразіе мученій и смертей!.. Одну топятъ въ рѣкѣ, посредствомъ клапана, придѣланнаго къ лодкѣ, ей же хотятъ стравить все лицо купоросным масломъ; другой ломаютъ всѣ кости и разбиваютъ голову о каменную стѣну; третьяго душатъ, четвертый захлебывается въ погребѣ, въ которомъ вода потихоньку прибываетъ; пятаго травятъ крысами; шестого... и замѣтьте, родная мать закладываетъ въ комнатѣ, гдѣ онъ долженъ задохнуться отъ недостатка воздуха; седьмой умираетъ такой позорной и отвратительной смертью, что нельзя безъ тошноты объ этомъ и подумать; осьмой... Да гдѣ перечесть всѣ эти піитическіе вымыслы, отъ которыхъ любой палачъ станетъ втупикъ!

Андрей Ивановичъ. Да это что, Сте-

панъ Степановичъ,—мелочи! Ты мнѣ скажи, каковы характеры?..

Степанъ Степановичъ. Ну, характеры дѣйствующихъ лицъ далеко не такъ разнообразны! Большую часть изъ нихъ можно раздѣлить на два только рода: злодѣи возможные и злодѣи невозможные; но этотъ недостатокъ съ избыткомъ выкупается разнообразіемъ именъ, которыя поражаютъ своею новостію. Красная рука, Скелетъ, Горлопанка—иначе перевести нельзя: la goualeuse, производное реченіе отъ слова: gueule. Тыква, Волчица... Прелесть!.. Ну, вотъ такъ и пышетъ на васъ смирительнымъ домомъ!.. Главное дѣйствующее лицо романа какой-то владѣтельный нѣмецкій принцъ, который для какой-то высокой цѣли, вѣроятно извѣстной однимъ избраннымъ читателямъ этого романа, таскается по кабакамъ, дерется и бражничаетъ съ заклейменными разбойниками; однихъ жалуетъ, другихъ наказываетъ; одному каторжному, который, хотя человѣкъ очень честный, но любитъ проливать кровь, даритъ бойню; другому, который ужъ вовсе никуда не годится, выкалываетъ глаза и даетъ пенсіонъ, что, впрочемъ, не мѣшаетъ ему продолжать разбойничать. Второе лицо, на которомъ основывается весь интересъ повѣсти, молоденькая дѣвочка, истинно странное и необычайное созданіе... Эта дѣвочка, пріученная съ ребячества къ распутству, не принадлежитъ даже къ числу развратныхъ женщинъ, которыя служатъ забавою для пьяныхъ фабричныхъ. Нѣтъ, она еще ниже! Она живетъ съ каторжными, гуляетъ съ ними по кабакамъ, пьетъ водку; они ее и ласкаютъ и бьютъ, говорятъ съ нею своимъ условнымъ мошенническимъ языкомъ,—однимъ словомъ, нѣтъ уже ничего въ человѣчествѣ презрительнѣе и гнуснѣе класса женщинъ, къ которому принадлежитъ эта несчастная.... И что-жъ вы думаете, что такое эта дѣвочка? Наружностію она совершенство, прелесть, идеалъ красоты! Душою—ангелъ чистоты и непорочности!.. Нѣтъ, батюшка, Андрей Ивановичъ, тутъ ужъ поневолѣ вспомнишь стишокъ Гробоѣдова:

. . . „ври, да знай-же мѣру!“

Андрей Ивановичъ. Да ты что хочешь говори, а не даромъ же эта книга заслужила такой колоссальный успѣхъ. Повѣрь мнѣ, если-бъ сочинитель не имѣлъ высокой нравственной цѣли, если-бъ онъ не раскрывалъ намъ всю глубину порока и разврата, до которыхъ можетъ достигнуть человѣкъ съ необузданными страстями...

Степанъ Степановичъ (*улыбаясь*). И которыя можетъ только обуздать не Провидѣніе, не вѣра,—объ этомъ и рѣчи нѣтъ, — а какой-то нѣмецкій принцъ Родольфъ, человѣкъ, впрочемъ, весьма замѣчательный, какъ отличный полицейскій сыщикъ и первой силы кулачный *боецъ*...

Андрей Ивановичъ. Шути себѣ, шути! А все-таки эта книга нравственная...

Степанъ Степановичъ. Да, точно такъ-же, какъ записки знаменитаго парижскаго мошенника Видока, или жизнь московскаго сыщика, извѣстнаго плута Ваньки Каина. Конечно, этого рода сочиненія только-что гадки: а вотъ, напримѣръ, на этихъ дняхъ мнѣ случилось быть въ обществѣ литераторовъ, и одинъ изъ нихъ, говоря объ извѣстной сочинительницѣ соблазнительныхъ романовъ, г-жѣ Жоржъ-Зандъ, не постыдился назвать ее великой женой и честью нашего вѣка.

Андрей Ивановичъ. Такъ что-жъ... Развѣ Жоржъ-Зандъ явленіе обыкновенное? Развѣ талантъ ея не великъ и не самобытенъ?.. Неужели ты будешь спорить противъ этого?

Степанъ Степановичъ. Нѣтъ, не буду. Эта женщина дѣйствительно одарена большимъ и, къ несчастію, необычайно увлекательнымъ талантомъ. Но ужъ, конечно, она не великая жена и не честь нашего вѣка. Великая жена!.. Эта проповѣдница разврата, которая, прославивъ себя безпутнымъ поведеніемъ, старается во всѣхъ сочиненіяхъ своихъ доказать, что законное супружество — постановленіе безнравственное и унижающее достоинство женщины!

Андрей Ивановичъ. Да гдѣ она это говоритъ?

Степанъ Степановичъ. Вездѣ, гдѣ только можетъ. Это господствующая мысль во всѣхъ ея сочиненіяхъ. Въ одномъ мѣстѣ она говоритъ даже просто «cette infâme institution de mariage». Кажется, это ясно.

Андрей Ивановичъ. Да, это ужъ слишкомъ рѣзко!.. Ну, конечно, и я не стану спорить съ тобою: сочинитель «Парижскихъ Таинствъ» немножко грязненекъ, а Жоржъ-Зандъ неслишкомъ нравственная писательница, но зато какіе таланты!.. Какъ они оба владѣютъ перомъ! Сколько красотъ разсыпано въ ихъ сочиненіяхъ!..

Степанъ Степановичъ. Какъ владѣютъ перомъ!.. Вотъ то-то наша и бѣда! — Мы станемъ восхищаться всякою мерзостію, лишь только бы эта мерзость была облечена въ изящную форму...

Я. Однакожъ, позвольте вамъ, господа, замѣтить: вы, кажется, стали говорить о картахъ?..

Степанъ Степановичъ. А вотъ сейчасъ къ нимъ вернемся. Я хотѣлъ только доказать, что въ обыкновенной общественной болтовнѣ мало добраго, а разговаривая о словесности услышишь такія вещи, что у тебя вся желчь придетъ въ движеніе, начнешь спорить, разгорячишься, выйдешь изъ себя...

Андрей Ивановичъ. Зачѣмъ горячиться?

Степанъ Степановичъ. Зачѣмъ?.. Не могу же я слышать равнодушно, когда хва-

лять съ восторгомъ ядъ, потому только, что этотъ ядъ подслащенъ...

Андрей Ивановичъ. Эхъ, мой другъ, да мы должны отдѣлять искусство исполненія отъ самой цѣли!

Степанъ Степановичъ. Вотъ ужъ этого я никакъ не умѣю. По-моему, какъ бы ни было вкусно отравленное питье, а все-таки оно ядъ. Какъ ни усыпай цвѣтами грязь, а все-таки эта грязь останется грязью.

Андрей Ивановичъ. Ну, въ этомъ съ тобою не всѣ будутъ согласны.

Степанъ Степановичъ. Оттого-то, мой другъ, я и не люблю этихъ литературныхъ и ученыхъ бесѣдъ. Зачѣмъ безъ всякой пользы разстраивать себя, надсаживать свою грудь!.. То ли дѣло въ преферансъ, разумѣется, по маленькой: твой проигрышъ для тебя нечувствителенъ, выигрышъ никого не разоряетъ. Шутишь, забавляешься; заставишь поставить ремизъ — смѣешься; тебя обремизятъ — также смѣешься. Ничто не тревожитъ твоей желчи, кровь не волнуется, а время идетъ да идетъ!..

Андрей Ивановичъ. Да, конечно, время проходитъ и съ большою пользою.

Степанъ Степановичъ. По крайней мѣрѣ, безъ большого зла, мой другъ; а въ нашемъ грѣшномъ быту и то слава Богу.

Андрей Ивановичъ. Да ты себѣ что хочешь говори, а я все-таки стою въ томъ, что эти карты чума и язва нашего общества... Да, да!.. Я ненавижу ихъ! И еслибъ только могъ, то собралъ бы карты со всего свѣта, сложилъ бы изъ нихъ огромный костеръ и зажегъ бы его собственною моею рукою! *(Степанъ Степановичъ смѣется).*

Я. Ну, Степанъ Степановичъ, что бы вы тогда сдѣлали?

Степанъ Степановичъ *(продолжая смѣяться)*. Чтобы сдѣлалъ?.. Я бросился бы на этотъ костеръ, сложенный изъ картъ, и сгорѣлъ бы вмѣстѣ съ ними!

ВЫХОДЪ ТРЕТІЙ.

Нѣсколько словъ о нашихъ провинціалахъ.

„Ну, что за общество! То харя, то уродъ!
Здѣсь вся кунсткамера . . . . . .
. . . . . .
Какая вѣжливость, какія обращенья!
Всѣ эти чучелы похожи-ль на людей?..
Безъ вкусу, безъ ума, совсѣмъ безъ просвѣщенья".

Князь Шаховской.

Давно уже я не бесѣдовалъ съ вами, любезные читатели, не потому, чтобъ я боялся надоѣсть вамъ моею болтовнею, мнѣ это и въ *голову не приходило: вѣдь дѣти* и старики (что, по мнѣнію нѣкоторыхъ, одно и то же) никогда объ этомъ не заботятся, — имъ бы только болтать. Вы также ошибетесь, если подумаете, что я такъ долго молчалъ потому, что мнѣ нечего было вамъ разсказывать,— помилуйте!.. Ужъ я вамъ докладывалъ, что Москва не городъ, не столица, а цѣлый русскій міръ; что въ ней собраны вмѣстѣ оба образчика главныхъ началъ, составляющихъ то огромное тѣло, которому Петербургъ служитъ головою, а Москва — сердцемъ. Такъ неужели я могъ въ двухъ небольшихъ книжкахъ высказать вамъ все то, что можно сказать о нашей матушкѣ-Москвѣ православной?.. О, нѣтъ!.. Была бы только охота, а поговорить есть о чемъ; и я вѣрно бы продолжалъ забавлять или усыплять васъ моими разсказами, если-бъ не былъ занятъ другимъ. Вотъ ужъ около года мой домикъ на Прѣсненскихъ Прудахъ стоитъ, какъ сиротинка, съ запертыми воротами и затворенными ставнями; мой широкій дворъ заросъ крапивою; мои акаціи, бузина и сирени заглохли травою; моя дерновая скамья, съ которой я такъ часто любовался изгибистымъ бѣгомъ Москвы-рѣки, развалилась и стала похожа на небрежно засыпанную могилу. Послѣ этого вамъ не трудно будетъ отгадать, что меня не было въ Москвѣ. Я ѣздилъ по домашнимъ дѣламъ верстъ за тысячу; прожилъ долго въ Калужской губерніи, потрудился, поработалъ, нагулялся до-сыта по этимъ, нѣкогда дремучимъ Брынскимъ лѣсамъ; погостилъ нѣсколько дней въ селѣ Толстошеинѣ, въ которомъ, говорятъ, жилъ въ старину какой-то бояринъ, въ великолѣпныхъ хоромахъ, съ вышками и теремами. Теперь на мѣстѣ этихъ хоромъ выстроенъ обширный желѣзный заводъ. Видно, вездѣ промышленность и общеполезныя заведенія вытѣсняютъ понемногу русскихъ бояръ изъ ихъ наслѣдственныхъ, дѣдовскихъ палатъ. Вотъ, посмотришь, у насъ въ Москвѣ: въ этомъ старинномъ боярскомъ домѣ фабрика, въ томъ училище, въ одномъ больница, въ другомъ трактиръ; да такъ и быть должно. У насъ не было ни маіоратовъ, ни наслѣдственной аристократіи, такъ диво ли, что дѣдушка давалъ роскошные пиры и жилъ въ огромныхъ палатахъ, а внукъ сзываетъ гостей на чашку чаю и живетъ скромнехонько въ деревянномъ домикѣ. «Оно, дескать, и пріютнѣе и *комфортабельнѣе*, и опрятнѣе, да и печей-то поменьше надобно топить».

Вы уже знаете, любезные читатели, что я, какъ истинный москвичъ, немножечко лѣнивъ, тяжелъ на подъемъ и безъ крайней надобности ни за что бы не рѣшился уѣхать надолго изъ Москвы. Обыкновенно всѣ мои поѣздки ограничивались посѣщеніемъ нѣкоторыхъ подмосковныхъ, рѣдкими прогулками въ Новый Іерусалимъ и довольно частыми путешествіями въ Троицкую Лавру,—то-есть въ теченіе тридцати лѣтъ я ни одного разу не былъ за

границею Московской губерніи. Разныя домашнія обстоятельства, о которыхъ разсказывать я полагаю излишнимъ, вынудили меня разстаться на цѣлый годъ съ моимъ уютнымъ домикомъ, со старинными друзьями, со всѣми удобствами столичной жизни и ѣхать, добро бы еще за границу, а то, страшно вымолвить,—въ самую глубь Россіи!.. Не подумайте, любезные читатели, что это иронія или шутка,—нѣтъ? Я струсилъ, не шутя, отправляясь въ дорогу; и, правду сказать, было отъ чего призадуматься!.. Тому, кто живетъ постоянно въ столицѣ, трудно слѣдить за измѣненіемъ нравовъ и обычаевъ нашихъ провинціальныхъ жителей; бывая по своимъ дѣламъ въ Москвѣ, они не всегда появляются въ обществѣ, а сверхъ того, человѣкъ заѣзжій обыкновенно старается принаровиться къ обычаямъ и принятымъ условіямъ города или общества, въ которое онъ попалъ случайнымъ образомъ. Чтобы изучить нравы, узнать обычаи и получить понятіе о степени просвѣщенія не только цѣлаго общества, но одного человѣка, надобно застать его, такъ-сказать, врасплохъ, подсмотрѣть его домашній бытъ, пожить съ нимъ вмѣстѣ. Въ противномъ случаѣ, понятія ваши объ этомъ человѣкѣ будутъ всегда поверхностны и не вѣрны. Строго придерживаясь этого правила, я не дозволялъ себѣ никакого собственнаго сужденія о нашихъ провинціалахъ; но зато слѣпо вѣрилъ, что они съ необычайной точностію и глубокимъ познаніемъ дѣла описаны, изображены и выведены на сцену въ нѣкоторыхъ современныхъ повѣстяхъ, романахъ и комедіяхъ.—«Не можетъ быть»,—думалъ я,—«чтобъ эти господа сочинители писали наобумъ... А жаль, истинно жаль!.. Ну, не грустно ли подумать, что всѣ наши провинціи заселены помѣщиками, которые вполнѣ оправдываютъ обидное названіе *сѣверныхъ варваровъ*; названіе, данное намъ французами, вѣроятно, потому, что мы за пожаръ Москвы не отомстили разореніемъ Парижа. Волосы становятся дыбомъ, когда видишь въ какой-нибудь комедіи или читаешь въ какомъ-нибудь романѣ, что за народъ эти русскіе провинціалы!.. Всѣ, отъ перваго до послѣдняго, такіе уроды, что не дай Господи не только съ ними жить, да и на улицѣ-то повстрѣчаться. И всѣ какъ будто бы въ одну форму вылиты; только и есть между ними разницы: одинъ невѣжда-глупецъ, другой невѣжда-мошенникъ; тотъ пошлый дуракъ и, разумѣется, невѣжда, а этотъ естественный плутъ—а все-таки невѣжда!.. Ну, истинно, не на комъ душѣ отдохнуть!.. Инымъ это очень нравится:—«смѣшно!»... А я такъ, бывало, чуть не плачу... Ахъ, матушка наша, святая Русь!.. Да что же это съ тобою дѣлается?.. Въ столицахъ народъ становится просвѣщеннѣе,—конечно, и мы идемъ пога-за-ногу, а все-таки *подвигаемся впередъ*, такъ отчего же провинціалы-то наши все пятятся назадъ? Вотъ уже шестьдесятъ-четыре года, какъ Фонъ-Визинъ вывелъ на сцену русскихъ провинціаловъ: Скотинина, Простаковыхъ, Митрофанушку, да зато рядомъ съ ними поставилъ милую и любезную дѣвицу, благороднаго и добросовѣстнаго чиновника, исполненнаго чести, умнаго старика и скромнаго, образованнаго молодого человѣка. А теперь заѣзжай въ какой-нибудь губернскій городъ—варварство, невѣжество!.. Ни одного человѣческаго чувства, ни одной благородной мысли,—ну, хуже всякой Лапландіи!.. А туда-жъ ѣздятъ на лошадяхъ и въ каретахъ, словно европейцы какіе!.. И съ этими-то людьми я долженъ буду жить не мѣсяцъ, не два, а, можетъ-быть, слишкомъ годъ! Говорятъ, что всѣ невѣжды, по какому-то врожденному инстинкту, ненавидятъ человѣка просвѣщеннаго, и если онъ хочетъ жить съ ними въ ладу, то долженъ непремѣнно придерживаться русской пословицы: «съ волками жить, по волчьи выть», — то-есть гулять вмѣстѣ съ ними да похваливать ихъ домашнюю наливочку и *полынковое* винцо, ѣсть медовое варенье, играть по пятаку въ преферансъ, соглашаться съ ними, что просвѣщенье—чума, а книга—сущій ядъ; что тотъ помѣщикъ, который болѣе думаетъ о благосостояніи своихъ крестьянъ, чѣмъ о своихъ доходахъ,—пустой и даже опасный человѣкъ, потому, дескать, что онъ этимъ примѣромъ развращаетъ и чужихъ крестьянъ; что всякая ученость и философія не стоютъ одной русской пословицы. «Сухая ложка ротъ деретъ», и что судья, который служилъ въ тепломъ мѣстечкѣ и не умѣлъ порядкомъ руки нагрѣть—простофиля и дуракъ; что умъ данъ человѣку не на то, чтобъ тратить его на безполезное ученье, да на разные финты-фанты, нѣмецкіе куранты, а на то, чтобъ домикъ нажить, дорого продать, дешево купить, съ умнымъ человѣкомъ держать ухо остро, глупаго на бобахъ провести; однимъ словомъ, чтобъ не быть въ глазахъ провинціаловъ какимъ-нибудь выскочкой, гордецомъ и даже вольнодумцемъ, должно непремѣнно скрывать свое презрѣніе къ этому варварскому образу мыслей; слушая какое-нибудь нелѣпое сужденіе, кивать въ знакъ согласія головою; одобрительно улыбаться и, хотя изрѣдка, проклинать вмѣстѣ съ ними это демонское навожденіе, которое называютъ образованностію, просвѣщеніемъ и наукою. Теперь вы видите, любезные читатели, что мнѣ было отъ чего сокрушаться сердцемъ и горевать, разставаясь на цѣлый годъ съ Москвою.—«Боже мой»,—думалъ я,—«ну, если эта отвратительная картина общаго невѣжества и нравственнаго разврата до того подѣйствуютъ на мою душу, что я стану меньше прежняго любить свое отечество?»... А вѣдь это дѣло возможное. Хотя, по мѣ-

лости нѣкоторыхъ писателей, я давно уже имѣлъ весьма выгодное понятіе о нашихъ провинціалахъ; но вѣдь большая разница, — читать о чемъ-нибудь, или видѣть то же самое собственными глазами. Вы прочтете безъ особеннаго отвращенія полный курсъ анатоміи; но не угодно ли вамъ пожаловать туда, гдѣ эта наука преподается практически: посмотрите, какъ рѣжутъ и вскрываютъ полусгнившій трупъ человѣка, въ которомъ нѣтъ уже ничего человѣческаго; полюбуйтесь его растерзанными членами, подышите этимъ заразительнымъ воздухомъ, и тогда вы поймете, что между описаніемъ какого-нибудь предмета и самимъ предметомъ бываетъ иногда неизъяснимая разница.

Выѣхавъ съ этими грустными мыслями изъ Москвы, я не слишкомъ торопился доѣхать до перваго губернскаго города, въ которомъ мнѣ надобно было пожить нѣсколько времени. Вотъ, наконецъ, я пріѣхалъ—и, представьте себѣ мое удивленіе!.. Гляжу, прислушиваюсь—люди какъ люди. Есть помѣщики дурные, да много также и добрыхъ. Есть невѣжды, но только большая часть изъ нихъ вовсе не щеголяютъ своимъ невѣжествомъ; напротивъ, они прикидываются людьми начитанными, выписываютъ журналы, толкуютъ о политикѣ и врутъ точно такъ же, какъ невѣжды московскіе, петербургскіе, французскіе и даже нѣмецкіе. Впрочемъ, я встрѣчалъ нерѣдко и мужчинъ, и замужнихъ женщинъ, и дѣвицъ, которые любили побесѣдовать со мною о словесности, наукахъ, объ изящныхъ искусствахъ, и, что всего лучше, имѣли полное право разсуждать объ этихъ предметахъ. Мнѣ попадались и добросовѣстные судьи, и честные, благородные чиновники, которыхъ, однакожъ, никто не называлъ глупцами, потому, дескать, «что умный человѣкъ не можетъ быть не плутомъ». Конечно, и мнѣ также случалось имѣть дѣло съ дураками, не слишкомъ честными людями, не очень грамотными дворянами; да гдѣ же вы съ ними не встрѣтитесь?.. Это неизбѣжная участь всего человѣчества, это смѣшеніе благородства и подлости, добра и зла, свѣта и тьмы—вездѣ одинаково, разумѣется, съ нѣкоторыми измѣненіями; въ одномъ народѣ невѣжество, подлость и плутовство прикрыты какими-то формами, какою-то блестящею позолотой, въ другомъ они являются безъ всякаго покрова; и только тамъ, гдѣ истинное, то-есть основанное на религіозныхъ началахъ, просвѣщеніе, достигло высокой степени, эта темная сторона нравственной жизни общества становится немного посвѣтлѣе, но и тамъ не ищите безусловнаго добра,—и тамъ также, хотя не такъ часто, а все-таки будутъ встрѣчаться съ вами и глупцы, и невѣжды, и негодяи: отъ нихъ вы никуда не уйдете. Я долженъ, однакожъ, вамъ сказать, что въ *Москвѣ очень рѣдко со мною* встрѣчались такіе совершенно уже закоренѣлые невѣжды, какіе попадались мнѣ довольно часто въ провинціальныхъ обществахъ; но на это весьма естественная причина: въ огромномъ городѣ, грубый, неотесанный невѣжда исчезаетъ въ толпѣ; онъ живетъ въ своемъ маленькомъ кружкѣ, не знается съ порядочными людьми и вы почти никогда не увидите его въ хорошемъ обществѣ,—не потому, чтобъ въ этомъ хорошемъ обществѣ не было ни глупцовъ, ни невѣждъ, но эти глупцы и невѣжды совсѣмъ другого рода: они вымыты, выглажены, покрыты политурою и, по наружности, точно такъ же опрятны и красивы, какъ искусно сдѣланная подъ красное дерево мебель, которую непремѣнно надобно поскоблить, чтобъ увидѣть, что она сосновая. Въ небольшомъ губернскомъ городѣ совсѣмъ другое дѣло. Тамъ необразованному глупцу и безграмотному невѣждѣ спрятаться некуда: тамъ всѣ на виду, всѣ на перечетѣ, всѣ знаютъ другъ друга, и тотъ, съ кѣмъ бы вы никогда не встрѣтились въ Москвѣ или въ Петербургѣ, непремѣнно познакомится съ вами въ губернскомъ городѣ.

Я не стану васъ увѣрять, что всѣ провинціальныя барыни походятъ на столичныхъ. Въ нашемъ высшемъ обществѣ много есть дамъ, которыя, владѣя свободно двумя, а часто и тремя иноземными языками, не стыдятся говорить, и говорить прекрасно, на четвертомъ, то-есть на своемъ собственномъ. А въ провинціи найдутся такія барыни, которыя въ присутствіи столичнаго жителя скорѣе рѣшатся говорить по чухонски, чѣмъ вымолвить два слова на своемъ природномъ языкѣ. Впрочемъ, это происходитъ по той же самой причинѣ, по которой наши провинціальныя барыни, а особливо въ отдаленныхъ губерніяхъ, носятъ платья и матеріи, вышедшія изъ моды. До нихъ еще не дошло, что въ нашихъ столицахъ давно уже перестали щеголять незнаніемъ русскаго языка. Вообще отличительная черта въ характерѣ провинціаловъ есть какое-то почти дѣтское легковѣріе относительно всего печатнаго, и въ особенности журналовъ. Разумѣется, что каждый изъ нихъ слѣпо вѣритъ только тому журналу, который выписываетъ,—въ противномъ случаѣ, онъ не зналъ бы чему и вѣрить; но зато избранный имъ журналъ становится для него совершеннымъ оракуломъ. Одна очень любезная женщина говорила со мною всегда по-русски, безъ всякаго смѣшенія «французскаго языка съ нижегородскимъ». Вдругъ она начала отпускать, ни къ селу, ни къ городу, цѣлыя фразы на французскомъ языкѣ.

Я удивился.

— Чтожъ тутъ страннаго?—сказала она.— Посмотрите, что напечатано въ *моемъ* журналѣ! Въ немъ доказываютъ, что намъ говорить иначе невозможно, и даже называютъ *мѣщанами* тѣхъ, которые желаютъ чтобъ

мы изъяснялись по-русски, не примѣшивая къ нашему разговору французскихъ фразъ.

Мужъ этой госпожи, баринъ очень добрый, также на основаніи какого-то журнала, вообразилъ себѣ, что человѣкъ просвѣщенный долженъ говорить такимъ страннымъ языкомъ, чтобъ его не понимали ни иностранцы, ни русскіе. Я принялся было доказывать женѣ, что мнѣніе одного журналиста не можетъ быть закономъ для всѣхъ; что если въ цѣломъ мірѣ каждый народъ говоритъ своимъ роднымъ нарѣчіемъ безъ примѣси французскихъ фразъ, то, вѣроятно, и мы можемъ обойтись безъ этого. Барыня не стала меня и слушать. Я обратился къ мужу и началъ ему доказывать, что иностранныя слова съ русскимъ окончаніемъ можно употреблять только въ такомъ случаѣ, когда въ нашемъ языкѣ не найдется равносильнаго слова, которое выражало бы ту же самую мысль.

— Вотъ,—говорилъ я ему,—французы взяли у насъ слово *степь*, да это потому, что изъ prairie и désert вовсе не даютъ вѣрнаго понятія о томъ безлѣсномъ, но не песчаномъ, а поросшемъ травою, огромномъ пространствѣ земли, которое мы называемъ степью. И мы также должны усвоивать нашему языку только тѣ слова, безъ которыхъ рѣшительно не можемъ обойтись. Къ чему, напримѣръ, вы называете гостиную—*салономъ*; говорите, вмѣсто всеобщаго—*универсальный*, вмѣсто преувеличенія—*экзажерація*, вмѣсто понятія—*консепція*, вмѣсто обезпеченія—*гарантія*, вмѣсто раздраженія—*ирритація*, вмѣсто посвященія—*инисіація*, вмѣсто принадлежности—*атрибутъ*, вмѣсто отвлеченный—*абстрактный*, вмѣсто поразительно—*франпонтно* и прочее. Повѣрьте мнѣ,—продолжалъ я,—что, употребляя безъ всякой нужды сотни подобныхъ словъ, вы вовсе не доказываете этимъ вашего просвѣщенія; напротивъ, вмѣсто того, чтобъ идти впередъ, вы двигаетесь назадъ. Въ старину, то-есть во времена Петра Великаго и вскорѣ послѣ него, получше вашего умѣли коверкать русскій языкъ. Теперь, благодаря успѣхамъ просвѣщенія и развитію нашей словесности, всѣ эти чужеземныя слова, за исключеніемъ немногихъ, исчезли изъ русскаго языка; нынче никто не скажетъ, что онъ ходилъ стрѣлять изъ *фузеи*, или что мы подъ Малымъ Ярославцемъ одержали надъ французами знаменитую *викторію*. Кто нынче будетъ увѣрять кого-нибудь въ своемъ *респектѣ* и *венераціи*. Кому придетъ въ голову *эстимовать* отличный *меритъ* своего друга, хвастаться своимъ *рангомъ*, или сдѣлать *презентъ* своей *аманты*? Кто въ наше время назоветъ заставу—*барьеромъ*, штыкъ—*байонетомъ* и предвѣщанье—*пронностикомъ*? А все это, однакожъ, было, и, слава Богу, прошло. Такъ изъ чего же вы бьетесь?..

Мой ученый баринъ *разгнѣвался* и назвалъ меня *ограниченнымъ* пуристомъ. Вѣроятно, онъ занялъ это вѣжливое выраженіе изъ того же самаго журнала, изъ котораго почерпалъ всю свою премудрость. Я было сначала и самъ разсердился, да тотчасъ присмирѣлъ потому, что вспомнилъ о собственномъ своемъ грѣхѣ. Вѣдь и я также имѣлъ глупость слѣпо вѣрить печатнымъ разсказамъ, и я также думалъ, что наши провинціалы только-что не ходятъ на четырехъ ногахъ. Тутъ вся моя досада обрушилась на этихъ разсказчиковъ, которые описываютъ то, чего не видали, и говорятъ о томъ, чего не знаютъ. Защитники этихъ господъ оправдываютъ ихъ тѣмъ, что они описывали одну только сторону нашихъ провинціальныхъ нравовъ, сирѣчь—дурную. Эхъ, господа, господа! Да вѣдь односторонность никуда не годится, а особливо когда мы говоримъ о нравственномъ достоинствѣ цѣлаго народа! Ужъ тутъ всегда эта односторонность превращается или въ нелѣпое похвальное слово или, не прогнѣвайтесь, въ совершенную клевету.—«Позвольте», — скажутъ мнѣ!—«да развѣ Гогартъ былъ человѣкъ не геніальный, а вѣдь въ его карикатурахъ вы найдете не много утѣшительнаго». —Гогартъ! Да это совсѣмъ другое дѣло: карикатура вовсе не имѣетъ притязанія на истину; она представляетъ дѣйствительную жизнь всегда въ преувеличенно-искаженномъ и даже иногда совершенно искаженномъ видѣ. Самое названіе «карикатура» предохраняетъ уже васъ отъ всякаго обмана. Назовите ваши очерки, вашъ романъ или комедію карикатурою и пишите, что вамъ угодно. Будьте только остроумны и забавны, всякій скажетъ вамъ—«спасибо»—и тотъ, кто станетъ кричать, что описанія ваши не вѣрны, что вы клевещете, того, пожалуй, и я назову *ограниченнымъ пуристомъ*. Да и кому придетъ въ голову требовать отъ васъ правды, когда вы предлагаете ему карикатуру!

Теперь, любезные читатели, сообщивъ вамъ сдѣланное мною открытіе, что русскіе провинціалы точно такъ же, какъ и всѣ люди, созданы по образу и подобію Божію, я снова поведу съ вами рѣчь о нашей матушкѣ-Москвѣ. Прошу васъ выслушать попрежнему благосклонно мою стариковскую болтовню, а пуще всего не думать, что я мѣчу на когонибудь *одного*, когда пишу *обо всѣхъ*. Я желалъ бы очень походить на хорошаго живописца, но только не портретнаго. И всякому, кто, читая мои записки, скажетъ: «Э, да я знаю, на кого мѣтитъ сочинитель! Это вотъ такой-то!»—я напомню, разумѣется, со всей должной вѣжливостью, слѣдующіе три стиха покойнаго Крылова:

„Что Климычъ на руку не чистъ—всѣ это знаютъ:
Про взятки Климычу читаютъ.
А онъ украдкою киваетъ на Петра!“

II.

Четыре визита.

„Да, матушка, ты, точно, права:
Въ Москвѣ визиты не забава;
Вотъ, я на Шабловкѣ живу,—а ты-то гдѣ?
Ну, страшно вымолвить!... Въ Нѣмецкой слободѣ!
Вѣдь это десять верстъ!"...

Изъ рукописной комедіи.

Изъ предыдущей главы вы можете заключить, любезные читатели, что я, живя въ провинціи, не всегда умиралъ отъ скуки и даже нерѣдко проводилъ время довольно пріятнымъ образомъ; но, несмотря на это, къ концу года я началъ призадумываться и грустить по Москвѣ. Нѣтъ, что ни говори: въ гостяхъ хорошо, а дома лучше. Вотъ грусть моя превратилась, наконецъ, въ эту «тоску по родинѣ», ужасную болѣзнь, отъ которой, говорятъ, горные швейцарцы какъ мухи умираютъ. А какъ мнѣ умирать вовсе не хотѣлось, такъ я поторопился привести въ порядокъ свои дѣла, взялъ почтовыхъ, посулилъ на водку, и вихремъ помчался

„По дорогѣ столбовой,
Въ нашу матушку-Москву
Бѣлокаменную".

Съ какою радостію возвратился я опять на свое старое пепелище! Когда я въѣхалъ въ Калужскую заставу, Москва показалась мнѣ обѣтованною страной, земнымъ раемъ и самымъ прекраснѣйшимъ городомъ въ мірѣ. — «Прекраснѣйшимъ»,—повторитъ какой-нибудь пріѣзжій, ну, положимъ, изъ Одессы. — «Да что-жъ въ немъ прекраснаго? А особливо, если вы ѣдете отъ Калужской заставы къ Прѣсненскимъ Прудамъ. Сначала безконечная Калужская улица, то-есть длинное песчаное поле, по одной сторонкѣ котораго разбросаны огромныя каменныя зданія, а по другой тянется длинный рядъ плохихъ деревянныхъ домовъ; потомъ неопрятный рынокъ съ запачканными лавками, а тамъ Крымскій Бродъ со своими грязными огородами и безобразнымъ деревяннымъ мостомъ. Дальше Зубовскій бульваръ съ тощими липками; рядомъ съ каменными палатами, домики, конечно, довольно красивые, но все-таки деревянные. Вездѣ какое-то странное смѣшеніе городской роскоши съ сельской простотою. Вездѣ сады, огороды, овраги, горы, цѣлыя поля»... Да это-то мнѣ и по душѣ! Это-то именно и дѣлаетъ Москву вѣрною представительницей всей Россіи, которая точно такъ же не походитъ на всѣ западныя государства, какъ Москва не походитъ на всѣ европейскіе города. Русскій человѣкъ задохнется въ какомъ-нибудь нѣмецкомъ городѣ. Тамъ вездѣ тѣснота, люди давятъ *другъ друга, а онъ любитъ* свое родное привольное житье, свое русское раздолье и просторъ. Въ Россіи шестьдесятъ милліоновъ жителей, а вѣдь грѣшно сказать, чтобъ имъ было тѣсно. И въ Москвѣ то же самое; въ ней слишкомъ триста тысячъ обывателей, а посмотрите, какъ они живутъ просторно. У иного не домъ, а избушка, да на дворѣто можно построить двадцать нѣмецкихъ домовъ, а если захотите, такъ найдется мѣсто и для площади, разумѣется, также германской. Эти огромные пустыри и разбросанныя по всей Москвѣ поля не представляютъ ли вамъ, въ уменьшенномъ видѣ, безпредѣльныя степи нашихъ восточныхъ и южныхъ губерній? Эти безпрерывные сады не напоминаютъ ли вамъ о дремучихъ лѣсахъ нашей родины? Эти многочисленныя церкви, эти древнія обители иноковъ не возвѣщаютъ ли всякому святую, православную Русь? Не говорятъ ли онѣ вамъ о благочестивомъ обычаѣ нашихъ предковъ, которые не оставили намъ ни развалинъ феодальныхъ замковъ, ни древнихъ дворцовъ, ни другихъ общественныхъ зданій; но зато всегда въ память великихъ событій воздвигали храмы Божіи, строили монастыри, и если многіе говорятъ, что у насъ нѣтъ вовсе историческихъ памятниковъ, такъ это потому, что они ищутъ ихъ вовсе не тамъ, гдѣ ихъ должны искать.

У меня есть старинный пріятель, котораго я очень люблю. Онъ человѣкъ честный, благородный, необычайнаго ума, съ обширными познаніями, но, къ сожалѣнію, или, лучше сказать, прискорбію его пріятелей, величайшій въ мірѣ *непосѣдъ*. Онъ безпрестанно говоритъ о своемъ желаніи найти гдѣ-нибудь постоянное для себя жилище, завестись домомъ, а между тѣмъ вся жизнь его проходитъ въ безпрерывной ѣздѣ и перевозкѣ его домашней утвари и библіотеки изъ одного конца Россіи въ другой. Ну, право, кажется иногда, что про него-то именно и сложена русская пѣсня:

„Мнѣ моркотно молоденькѣ,
Нигдѣ мѣста не найду".

Этотъ пріятель, который, надѣюсь, не навсегда еще оставилъ Москву, прожилъ въ ней хотя не долго, однакожъ, очень вѣрно изобразилъ ее въ одномъ изъ своихъ писемъ. Онъ говоритъ, между прочимъ, что Москва не городъ, а собранье городовъ; что вся ея средина, то-есть Кремль, Китай и Бѣлый-городъ, заслуживаютъ вполнѣ названія столицы; потомъ, весь обширный Земляной-городъ какъ-будто бы составленъ изъ нѣсколькихъ губернскихъ городовъ, окружающихъ со всѣхъ сторонъ эту древнюю столицу царства Русскаго, и, наконецъ, все то, что называлось встарину *скородомомъ*, то-есть части города, лежащія за валомъ, походятъ на великое множество уѣздныхъ городовъ, которые, въ свою очередь, обхватываютъ весь Земляной-

городъ этой огромной цѣпью прежде бывшихъ слободъ, посадовъ и селъ. Я прибавлю къ этому, что самый образъ жизни, домашній бытъ и даже степень просвѣщенія различныхъ обывателей московскихъ вполнѣ отвѣчаютъ этому топографическому подраздѣленію Москвы на столицу, губернскіе города и мелкіе уѣздные городишки. Вы все найдете въ Москвѣ: и столицу съ европейскимъ просвѣщеніемъ, и губернскіе города, съ ихъ русской физіономіей и французскими замашками, и уѣздные городишки, съ ихъ радушнымъ хлѣбосольствомъ и дѣдовскими обычаями. Да что я говорю — города! Вы найдете въ Москвѣ самые вѣрные образчики нашего простого сельскаго быта, вы отыщете въ ней цѣлыя усадьбы деревенскихъ помѣщиковъ, съ выгонами для скота, фруктовыми садами, огородами и другими принадлежностями сельскаго хозяйства. Одинъ изъ моихъ пріятелей, П. Н. Ф... въ нанималъ по контракту въ Басманной улицѣ домъ господина К...го. Я самъ читалъ этотъ контрактъ. Въ немъ, между прочимъ, сказано, что постоялецъ имѣетъ въ полномъ своемъ распоряженіи весь садъ, принадлежащій къ дому, за исключеніемъ, однако жъ, *сѣнокоса и рыбной ловли*. Живя въ иномъ городѣ, разумѣется, за границею, вы можете совершенно забыть, что есть на свѣтѣ деревни, въ Москвѣ съ вами этого никогда не случится. Положимъ, что вы теперь на Кузнецкомъ мосту,—ужъ тутъ, конечно, ничто не напомнитъ вамъ о деревнѣ; но сверните немного въ сторону, ступайте по широкой улицѣ, которая называется *Трубою*, и вы тотчасъ перенесетесь въ другой міръ. Позади, шагахъ въ пятидесяти отъ васъ, кипитъ столичная жизнь въ полномъ своемъ разгулѣ: одна карета скачетъ за другою, толпы пѣшеходцевъ тѣснятся на *асфальтовыхъ* тротуарахъ, всѣ дома унизаны великолѣпными французскими вывѣсками, шумъ, гамъ, толкотня, а впереди и кругомъ васъ тихо и спокойно. Изрѣдка проѣдетъ извозчикъ, протащится мужичекъ съ возомъ, остановятся поболтать межъ собою двѣ сосѣдки, въ допотопныхъ кацавейкахъ. Пройдите еще нѣсколько шаговъ, и вотъ работницы въ простыхъ сарафанахъ и шушунахъ идутъ съ ведрами за водой. Вотъ расхаживаютъ по улицѣ куры съ цыплятами, индѣйки, гуси, а иногда вамъ случится увидѣть жирную свинку, которая прогуливается со своими поросятами. Я, по крайней мѣрѣ, не разъ встрѣчался съ этимъ интереснымъ животнымъ, не только на Трубѣ, но даже и на Рождественскомъ бульварѣ. Вѣроятно, во всѣхъ столицахъ послѣ проливного дождя бываютъ лужи по улицамъ; но врядъ ли въ какой-нибудь столицѣ плаваютъ утки по этимъ лужамъ, а мнѣ случалось часто любоваться въ Москвѣ этой сельской картиной. Впрочемъ, надобно сказать правду, послѣ *нѣкотораго приключенія* я сталъ гораздо менѣе любить эту простоту нравовъ, эту патріархальную жизнь *на распашку*, которая мнѣ прежде очень нравилась. Я разскажу вамъ всѣ подробности этого истиннаго, хотя и не слишкомъ правдоподобнаго приключенія, по милости котораго я, вмѣсто десяти предполагаемыхъ визитовъ, успѣлъ только сдѣлать четыре.

Мнѣ помнится, я ужъ говорилъ гдѣ-то, какъ затруднительно московскимъ жителямъ выполнять эту общественную обязанность, названіе которой не переведено еще на русскій языкъ... Посѣщать и *дѣлать визиты* вовсе не одно и то-же: посѣщаютъ обыкновенно своихъ родныхъ, друзей и пріятелей, а визиты дѣлаютъ всѣмъ знакомымъ; въ первомъ случаѣ намъ всегда пріятно заставать хозяина дома, во второмъ — мы желаемъ совершенно противнаго. Мы посѣщаемъ людей, которыхъ любимъ, для того, чтобъ съ ними повидаться, и дѣлаемъ иногда визиты такимъ знакомымъ, съ которыми не желали бы часто встрѣчаться и на улицѣ. Въ Москвѣ дѣлать сразу всѣ визиты нельзя иначе, какъ на перемѣнныхъ лошадяхъ, разумѣется, если ваши знакомые живутъ въ разныхъ частяхъ города. Напримѣръ, вашъ домъ въ Садовой у Тріумфальныхъ воротъ: не угодно ли вамъ съѣздить подъ Донской и завернуть оттуда въ Лефортовскую часть—всего два визита, а врядъ ли вы успѣете ихъ сдѣлать въ одно утро и на однѣхъ лошадяхъ. Когда я собираюсь ѣздить съ визитами, то составляю заранѣе подробный маршрутъ. Сначала пошатаюсь день-другой по своей Прѣснѣ, Грузинамъ, по Садовой, по всѣмъ переулкамъ, которые соединяютъ межъ собой Никитскую, Арбатъ и Поварскую, а тамъ роздыхъ; дамъ лошадямъ вздохнуть, да примусь объѣзжать Замоскворѣчье и ближайшія къ нему улицы; потомъ опять отдохну и отправлюсь, наконецъ, странствовать по всѣмъ окрестностямъ Нѣмецкой слободы, побываю на Ольховцахъ, на Покровкѣ, на Мясницкой, заверну на Чистые Пруды, къ Меньшиковой башнѣ, на Срѣтенку, за Сухареву башню, мимоѣздомъ на Петровку, Дмитровку, Тверскую — и такимъ образомъ, не уморивъ ни одной лошади, кончу дней въ шесть всѣ мои визиты.

Возвратясь въ Москву, я долженъ былъ, какъ водится, развезти визитныя карточки по всѣмъ знакомымъ. И вотъ, на прошлой недѣлѣ, завернувъ сначала къ ближайшимъ моимъ сосѣдямъ, я располагался въ одно утро объѣздить Хамовники, Пречистенку, Остоженку и побывать за Москвой-рѣкой. И началъ съ Хамовниковъ. Это одна изъ тѣхъ частей Москвы, которыя пріятель мой сравниваетъ съ уѣздными городками, окружающими со всѣхъ сторонъ Земляной-городъ. Въ двухъ шагахъ отъ нея начинается красивая Пречистенская улица, въ которой нѣсколько огромныхъ каменныхъ домовъ не испортили

бы и Дворцовой набережной Петербурга; но, несмотря на это аристократическое сосѣдство, Хамовники, во всѣхъ отношеніяхъ, походятъ на самый дюжинный уѣздный городишко. Мѣстами только вымощенныя узенькія улицы, низенькіе деревянные дома, пустыри, огороды, пять-шесть небольшихъ каменныхъ домовъ, столько же дворянскихъ хоромъ съ обширными садами, сальный заводъ стеариновыхъ свѣчей, съ вѣчной своей вонью, непроходимая грязь весной и осенью, и одна только церковь, впрочемъ, довольно замѣчательная по своей древней архитектурѣ, — вотъ все, что составляетъ эту прежде бывшую слободу, прозванную Хамовниками, вѣроятно, потому, что въ ней жили нѣкогда крѣпостные дворовые люди, которыхъ и теперь еще величаютъ въ простонародьи *хамами* и *хамовымъ отродьемъ*.

Въ одномъ изъ хамовническихъ переулковъ гордо возвышается, окруженный со всѣхъ сторонъ пустырями и заборами, деревянный домикъ съ высокимъ теремомъ, то-есть, попынѣшнему, *мезониномъ*; домикъ весьма порядочный, яркаго желтовато-канареечнаго цвѣта, съ зелеными ставнями, красною кровлею и присадникомъ, у котораго рѣшетка выкрашена также зеленою, а всѣ столбики той же самой краскою канареечнаго цвѣта. Впрочемъ, вѣроятно, не самъ хозяинъ придумалъ раскрасить такимъ великолѣпнымъ образомъ свой домъ, а эта мысль родилась въ головѣ его, при видѣ алебастровыхъ расписныхъ попугаевъ, которыхъ, лѣтъ пять тому назадъ, оборванные итальянцы носили на лоткахъ по всѣмъ улицамъ. Что-жъ дѣлать? Мы, русскіе, сами ничего не выдумаемъ; но зато какъ разъ перейдемъ у иностранцевъ все хорошее. Въ этомъ домикѣ живетъ Степанъ Савельевичъ Бобриковъ со своей женой Марьей Никитишной, двумя малолѣтними сыновьями и дочерью, которая почти уже невѣста. Мнѣ долго было бы разсказывать, по какому случаю я познакомился съ Степаномъ Савельевичемъ Бобриковымъ, и потому скажу вамъ только одно, что я знакомъ съ нимъ болѣе двадцати лѣтъ и даже былъ его посаженымъ отцомъ, не смотря на то, что, по русскому обычаю, холостые люди весьма рѣдко бываютъ посажеными отцами.

Подъѣхавъ къ запертымъ воротамъ этого цвѣтистаго домика, я вылѣзъ изъ коляски, отворилъ калитку, и лишь только вошелъ во дворъ, какъ вдругъ двѣ злыя шафки кинулись на меня, какъ на дикаго звѣря. Прежде чѣмъ я успѣлъ опомниться, эти проклятыя дворняжки прокусили у меня въ двухъ мѣстахъ шинель и до того испугали своимъ нечаяннымъ нападеніемъ, что я непремѣнно выскочилъ бы опять на улицу и закричалъ караулъ, если-бъ не явилась ко мнѣ на выручку, съ мочалкою въ рукѣ, запачканная и *растрепанная баба, которая, вѣроятно*, въ эту минуту занималась мытьемъ барской посуды. Не помню, кто изъ моихъ знакомыхъ, говоря о какомъ-то зломъ и недобросовѣстномъ критикѣ, сказалъ: «Если ты хочешь имѣть понятіе объ этомъ журнальномъ пачкунѣ, такъ представь себѣ спущенную съ цѣпи бѣшеную шафку, косматую и запачканную въ грязи. Эта шафка кидается на всѣхъ людей, порядочно одѣтыхъ, и лижетъ ноги только у тѣхъ, которые точно также растрепаны и запачканы, какъ она». Я невольно вспомнилъ объ этомъ, увидѣвъ, что злыя собаки, которыя напали на меня съ такимъ ожесточеніемъ, присмирѣли и кинулись лизать сальныя руки этой грязной и косматой бабы.

— Пожалуйте, сударь,—сказала моя избавительница,—пожалуйте: баринъ дома! Пошли вы, проклятыя, — продолжала она, замахиваясь своей мочалкой:—я васъ!.. Пожалуйте, батюшка, вотъ сюда на крылечко.

Я вошелъ, вслѣдъ за бабою, въ темныя сѣни, по которымъ надобно было идти ощупью.

— Нѣтъ, батюшка, не сюда,—это чуланъ; вотъ здѣсь!—заговорила опять моя провожатая, растворяя обитую войлокомъ дверь. — Терентій! — промолвила она вполголоса, просунувъ голову въ переднюю.—Вставай: гость!

Терентій, пожилой слуга, небритый, нечесаный, въ поношеномъ сюртукѣ съ протертыми локтями, вскочилъ съ коника, снялъ съ меня шинель и растворилъ обѣ половинки дверей въ столовую. Въ этой комнатѣ все напоминало о томъ времени, когда у насъ на Руси была еще въ ходу пословица: «не красна изба углами, а красна пирогами». Въ ней пахло какимъ-то сдобнымъ кушаньемъ, а по угламъ тянулась паутина и мотались клочки изодранныхъ обоевъ. Вдоль стѣнъ стояло нѣсколько тростниковыхъ стульевъ, по окнамъ горшки съ геранью, резедою и бальзаминомъ; у самыхъ дверей висѣли деревянные часы съ узорчатымъ циферблатомъ; въ одномъ простѣнкѣ помѣщался ломберный столъ съ покоробленной верхней доской, въ другомъ — расписанный подъ красное дерево высокій шкапъ, на которомъ, между двумя гипсовыми зайчиками съ красными ушами, стояла модель хозяйскаго дома, то-есть алебастровый попугай съ красною головою, желтымъ зобомъ и зелеными крыльями.

Хозяинъ, человѣкъ лѣтъ сорока-пяти, съ добрымъ, простодушнымъ лицомъ, вышелъ ко мнѣ навстрѣчу изъ гостиной. Несмотря на то, что на дворѣ было градусовъ семнадцать тепла, на немъ былъ калмыцкій тулупъ, правда, нараспашку, и сверхъ платья, или, лучше сказать, одежды, чрезвычайно легкой.

— Богданъ Ильичъ!—вскричалъ онъ, запахивая свой тулупъ.—Извините!.. Какъ вы изволили меня застать!.. Не прогнѣвайтесь, батюшка... по-домашнему! Да позвольте, я сейчасъ...

— И, полноте! — сказалъ я. — Что мнѣ

до вашего наряда. Я радъ, что засталъ васъ дома.

— Такъ, почтеннѣйшій, такъ!.. Да все-таки...

— Сдѣлайте милость, не безпокойтесь!

— Нѣтъ, воля ваша!.. Позвольте мнѣ...

— Послушайте, Степанъ Савельичъ,—прервалъ я, — если вы станете церемониться, такъ въ первый разъ, какъ вы ко мнѣ пожалуете, я приму васъ въ мундирѣ.

— Ну, какъ вамъ угодно!.. Только, право, мнѣ совѣстно!.. Прошу покорно!.. Марья Никитишна!—продолжалъ Бобриковъ, входя вмѣстѣ со мною въ гостиную—свѣтлую комнату о трехъ окнахъ, убранную нѣсколько пощеголеватѣе столовой. — Марья Никитишна!.. Дорогой гость!

— Господи, Боже мой! — воскликнула хозяйка, женщина довольно еще свѣжая, дородная, краснощекая, въ холстинковой блузѣ и поношенномъ тюлевомъ чепцѣ.—Васъ ли я вижу?.. Батюшка, Богданъ Ильичъ!.. Сколько лѣтъ, сколько зимъ!.. Прошу покорно садиться... Когда изволили пріѣхать?

— На этихъ дняхъ.

— А мы было совсѣмъ ужъ отчаялись; думаемъ: видно, Богданъ Ильичъ разлюбилъ Москву... Легко сказать—слишкомъ годъ! А сколько безъ васъ дѣлъ-то попадѣлалось!.. Матрена Степановна выдала свою дочь замужъ, — превыгодная партія: полковникъ, триста душъ и человѣкъ не старый, лѣтъ этакъ, за пятьдесятъ... Андрей Михайловичъ скончался... Ѳедосья Дмитріевна разъѣхалась съ мужемъ... Сердечная!.. Терпѣла, терпѣла—да нѣтъ, видно, ужъ силъ не стало... человѣкъ пьяный, развратный, картежникъ... ну, да Богъ съ нимъ!.. А вотъ я васъ удивлю... Знаете ли что?—Вѣдь Ѳедоръ Григорьевичъ—какъ это вамъ покажется?.. женился на второй женѣ! Ну, кто бы подумалъ... въ его лѣта, съ его здоровьемъ!..

— Да о комъ вы говорите?

— О Ѳедорѣ Григорьевичѣ Фурсиковѣ.

— Я его не знаю.

— Право?.. Скажите пожалуйста!.. Да нѣтъ, вы вѣрно его знаете!.. Человѣкъ свѣтскій, извѣстный, членъ Англійскаго клуба... Что вы!.. Не можетъ быть, чтобъ вы его не знали!.. Такой маленькій, тщедушный старичекъ... въ зеленыхъ очкахъ... Ѳедоръ Григорьевичъ — его всѣ здѣсь знаютъ... Э, да что-жъ я?.. Дѣвка, дѣвка! Ступай, скажи Таничкѣ: «пріѣхалъ, дескать, крестный вашъ батюшка—пожалуйте скорѣе!»... Ну, Богданъ Ильичъ, какъ выросла ваша крестница,—почти съ меня ростомъ! Алеша и Николинька также подросли... они теперь учатся русскому языку и ариѳметикѣ... готовимъ, батюшка, въ гимназію... вѣдь ужъ старшему-то десять лѣтъ... Да не угодно ли вамъ, Богданъ Ильичъ, позавтракать?.. Мы сейчасъ ѣли пирогъ съ *курицею... Не прикажете ли?*

— Нѣтъ, Марья Никитишна, я ужъ завтракалъ.

— Такъ чашечку кофею?

— Не безпокойтесь: я ѣсть не хочу.

— И, Богданъ Ильичъ! Да развѣ кофей ѣда?.. Сдѣлайте милость!

— А не хотите кофею, — прервалъ хозяинъ, — такъ не прикажете ли винца? У меня есть донское,—да какое еще, батюшка, — монастырское, цѣльное!.. Эй, человѣкъ!

— Нѣтъ, Степанъ Савельичъ, напрасно раскупорите бутылку! Я пью вино только за обѣдомъ.

— Такъ чѣмъ же васъ потчевать?

— Да ничѣмъ.

— Какъ ничѣмъ? Что вы, Богданъ Ильичъ,—подхватила хозяйка:— ужъ коли вамъ не угодно ни пирога, ни кофею, ни вина, такъ, воля ваша,—извольте отвѣдать моихъ трудовъ... Эй, дѣвка, клубничнаго варенья!.. Да нѣтъ, я лучше сама...—промолвила Марья Никитишна, выходя изъ комнаты.

— Ну, что, Степанъ Савельичъ,—сказалъ я, оставшись одинъ съ хозяиномъ:— что вы подѣлываете, какъ идетъ ваше хозяйство?

— Слава Богу, батюшка, слава Богу! На этихъ дняхъ продалъ лѣску; да пишутъ мнѣ изъ моей рязанской деревнишки, что хлѣба очень хороши—изъ годовъ вонъ!.. Сбираюсь туда ѣхать; нельзя, батюшка: хозяйскій глазъ всего важнѣе.

— А здѣсь-то, въ Москвѣ, какъ вы поживаете?

— Да такъ себѣ! Живемъ, по милости Божіей, не хуже людей. Въ театрѣ иногда бываемъ, на гуляньяхъ—въ Петровскомъ, въ Сокольникахъ,—туда, сюда... Конечно, знакомства у меня большого нѣтъ. Да вѣдь двати добрыхъ пріятеля лучше цѣлой сотни шапочныхъ знакомыхъ. Прошлаго года меня очень подбивали записаться въ Нѣмецкій клубъ. «Туда, дескать, сбираются все люди порядочные. Это, дескать, не трактиръ какой, тамъ и балы даютъ и все такъ чинно и строго! Танцуй и веселись, сколько хочешь, а рукамъ воли не давай! Чуть кто полѣзетъ на драку, такъ сохрани, Господи: какъ-разъ выведутъ вонъ, да еще подъ музыку!.. А ужъ есть чѣмъ позабавиться: читать захотѣлъ — милости просимъ, все есть: и «Пчела» и «Московскія Вѣдомости». Охота пришла поиграть—играй себѣ сколько душѣ угодно: и карты, и лото, и билліардъ... Истинно весело!..» Весело!.. Да мнѣ и дома не скучно: человѣкъ я семейный, жена, взрослая дочь, два мальчика; нечего сказать, шалуны, а ребятишки добрые!.. Есть чѣмъ заняться: одного похлещешь, другого приласкаешь... Къ сосѣду зайдешь, или онъ къ тебѣ завернетъ, сядемъ по копѣечкѣ въ преферансъ, да такъ-то распотѣшимся, что и сонъ на умъ нейдетъ! Ужъ бьемся, бьемся... иногда до

первыхъ пѣтуховъ! Вотъ такъ же недавно, пріятель мой, Иванъ Иванычъ Щелочкинъ, уговорилъ меня вступить въ Дворянскій клубъ.—«Ужъ это, говоритъ, не Нѣмецкому чета: общество прекрасное, все люди чиновные»...—Нѣтъ, молъ, куманекъ, спасибо! Я до большого свѣта не охотникъ.—«А столъто у насъ какой отличный. Лучшій поваръ въ Москвѣ, Власъ!»—Отличный столъ,—такъ что-жъ! Я, слава Богу, и дома не голоденъ; стану я по пустякамъ деньги тратить! — «Какія деньги!.. Вѣдь у насъ обѣдъ-то барскій, а платимъ мы за него бездѣлицу». — Можетъ статься; да на что мнѣ всѣ эти деликатесы?.. Еще, пожалуй, избалуешься... Какъ больно сладко поѣшь раза два въ недѣлю, такъ, чего добраго, домашній-то обѣдъ вовсе тебѣ опротивѣетъ. Я теперь и то, по праздникамъ, выпью бокальчикъ-другой донского, а въ вашемъ-то клубѣ, говорятъ, шампанское такъ и льется. Нѣтъ, Богъ съ вами!.. Да и за что я буду одинъ кушать, какъ большой баринъ, а жена и дѣти станутъ ѣсть то, что Богъ послалъ? Нѣтъ, любезный, по мнѣ коли нельзя сладкаго куска съ женою и дѣтьми раздѣлить, такъ мнѣ его и даромъ не надобно!

— Что-жъ вамъ отвѣчалъ на это Иванъ Иванычъ?

— Да что, батюшка: началъ смѣяться, трунить надо мною. Ты, дескать, братецъ, старовѣръ, женинъ прихвостникъ, не смѣешь безъ ея воли изъ дому отлучиться...

— А кто этотъ Иванъ Иванычъ?

— Лѣкарь, батюшка, человѣкъ съ большими познаніями. У него много было мѣстъ и въ казенныхъ заведеніяхъ, и разной практики было довольно,—да все растерялъ. Ему надо ѣхать въ больницу, а онъ наровитъ въ клубъ. Ну, извѣстное дѣло, коли не станешь являться къ должности, такъ за это по головкѣ не погладятъ; смолчатъ разъ, другой, третій, а тамъ и скажутъ: «Ужъ вы, батюшка, не извольте безпокоиться: на ваше мѣсто поступилъ другой!» Говорятъ, у него прежде и денежки важивались, да, видно, всѣ проигралъ въ лото. Вчера его жена приходила занять у моей Марьи Никитишны цѣлковый,—ѣсть нечего!

Нашъ разговоръ былъ прерванъ возвращеніемъ хозяйки; она вошла въ гостиную, держа въ одной рукѣ блюдечко съ вареньемъ и ведя другою молодую дѣвушку, лѣтъ пятнадцати, съ кудрявой головкой, бѣлымъ, румянымъ лицомъ и свѣтлыми, голубыми глазками.

— Честь имѣю представить, Богданъ Ильичъ,—сказала Марья Никитишна.—Ну, что-жъ ты, Танечка, цѣлуй ручку у крестнаго!

— Нѣтъ, ужъ позвольте мнѣ просто поцѣловать ее,—прервалъ я.

— Какъ вамъ угодно, Богданъ Ильичъ; *вѣдь она ваша дочка. На-ка, Танечка,*—сказала Марья Никитишна, передавая дочери блюдечко:—попотчевай своего крестнаго.

Я вовсе не охотникъ до варенья, а особенно когда мнѣ надобно имъ лакомиться до обѣда,—но дѣлать было нечего. Я чуть не подавился, однако-жъ, съѣлъ цѣлую ложку, потомъ, по усиленной просьбѣ хозяевъ, еще другую, и никакъ не могъ отдѣлаться отъ третьей, о которой, по приказанію отца и матери, неотступно просила меня Танечка.

— Ну, Богданъ Ильичъ,— сказала хозяйка, когда я проглотилъ послѣдній пріемъ варенья,—не правду ли я говорила, что крестница ваша выросла?

— И выросла и похорошѣла!

— Благодари, мой другъ.

Танечка очень мило присѣла и поцѣловала меня въ плечо.

— Вы еще не знаете, почтеннѣйшій, — промолвилъ Степанъ Савельичъ, — вѣдь въ дочкѣ-то вашей открылся талантъ: она музыкантша.

— Право?

— Да, батюшка! Намъ послалъ Богъ одного сосѣда, старичка-нѣмца; говорятъ, отлично прежде игралъ на фортепьянахъ, концерты давалъ. Теперь ужъ онъ самъ не играетъ; въ обѣихъ рукахъ хиragra, такъ пальчики-то плохо шевелятся, а учить мастеръ! Онъ, по сосѣдству, не сталъ дорожиться, мы его взяли, и Танечка въ одинъ годъ сдѣлала такіе успѣхи, что самъ Ѳома Ѳомичъ, первый, батюшка, гобоистъ въ Императорскомъ театрѣ, не можетъ надивиться ея таланту. И вѣдь мы играемъ не то, что-бъ маленькія какія штучки, вальсики да польки. Нѣтъ, батюшка Богданъ Ильичъ, какъ примемся — такъ всего Плевеля отъ доски до-доски, только-что слушай!..

— Да вотъ, всего лучше, — подхватила хозяйка:—Танечка, садись-ка за фортепьяны, да потѣшь крестнаго.

— Извините,—сказалъ я, вставая: — теперь мнѣ, право, некогда, а если позволите, такъ я къ вамъ нарочно для этого пріѣду.

— Милости просимъ! Да что-жъ вы такъ изволите торопиться? Посидите, сдѣлайте милость!

— Нельзя: мнѣ надобно много дѣлать визитовъ.

— Хоть еще съ полчасика! — промолвилъ хозяинъ.—Вѣдь рано,—успѣете вездѣ побывать. Танечка, проси!

Несмотря на всѣ просьбы этихъ добрыхъ людей, я не могъ пробыть у нихъ долѣе. Мнѣ непремѣнно хотѣлось въ это утро сдѣлать, по крайней мѣрѣ, десять визитовъ; а сверхъ того, они очень напугали меня своимъ *Плевелемъ*, сирѣчь, Плейелемъ, къ которому я питаю личную вражду; и теперь вспомнить не могу безъ ужаса о томъ, что мнѣ доставалось во-время-оно за этого господина Плейеля, котораго безконечные кон-

церты я долженъ былъ вытверживать наизустъ.

Выѣхавъ изъ Хамовниковъ на Дѣвичье поле, я хотѣлъ было сначала объѣздить всѣхъ знакомыхъ, живущихъ на Пречистенкѣ, а потомъ отправиться за Москву-рѣку, но когда посмотрѣлъ на часы, то увидѣлъ, что я рѣшительно не успѣю побывать у Луцкихъ. Надобно вамъ сказать, что эти Луцкіе вовсе не принадлежатъ къ числу тѣхъ знакомыхъ, которымъ я дѣлаю только визиты. Хотя у нихъ есть уже замужнія дочери, но Луцкій и жена его,—люди еще не старые. Ихъ образъ мыслей, ласковое, привѣтливое обращеніе, неизмѣнное постоянство въ дружбѣ и этотъ, рѣдкій въ наше время, патріархальный, семейный бытъ, до того пришлись мнѣ по-сердцу, что я съ перваго дня нашего знакомства полюбилъ ихъ, какъ близкихъ родныхъ. Луцкіе очень богаты, и дай Богъ, чтобъ у насъ было побольше такихъ богатыхъ дворянъ. Ихъ роскошное и въ то же время радушное гостепріимство не имѣетъ ничего общаго съ тѣмъ хвастливымъ мотовствомъ и чванствомъ, которыя побуждаютъ людей жить выше своего состоянія и разориться для того только, чтобъ про нихъ сказали, что они живутъ по-барски. Нѣтъ, Луцкіе любятъ принимать и угощать своихъ многочисленныхъ знакомыхъ безъ всякой обдуманной цѣли, а, просто, по какой-то врожденной любви къ этой завѣтной русской добродѣтели, которую мы называемъ «хлѣбосольствомъ». Кто разъ познакомился съ Луцкими и узналъ поближе все это любезное семейство, для того, конечно, будетъ величайшимъ лишеніемъ ихъ отсутствіе изъ Москвы. Я испыталъ это на себѣ, потому что они каждое лѣто уѣзжаютъ въ свои рязанскія помѣстья. Луцкіе путешествовали по Европѣ и очень долго жили въ Парижѣ. Разумѣется, тому, кто получаетъ нѣсколько сотъ тысячъ въ годъ доходу, можно очень весело провести время вездѣ, а особенно въ Парижѣ—въ этомъ средоточіи всѣхъ земныхъ наслажденій, въ этомъ, не прогнѣвайтесь, обширномъ омутѣ всѣхъ грѣховныхъ житейскихъ утѣхъ, облеченныхъ въ плѣнительныя формы изящнаго вкуса, всѣхъ неистовыхъ страстей, буйной гордости и своеволія, всѣхъ ложныхъ проповѣдниковъ свободы и равенства, которые стараются возмущать легковѣрный народъ для того только, чтобъ, по русской пословицѣ, «въ мутной водѣ рыбу ловить». Въ Парижѣ деньги—божество, которому всѣ поклоняются,—не жалѣйте ихъ, и вы будете видѣть все въ розовомъ цвѣтѣ. Все пракрасное явится къ вашимъ услугамъ, и все гнусное и отвратительное усыплютъ для васъ цвѣтами. Надобно сказать правду, этотъ оптическій обманъ до того соблазнителенъ, что многіе изъ русскихъ путешественниковъ совершенно превратились... Вы думаете, въ французовъ? О, нѣтъ! Это бы еще не бѣда; тогда они были бы чѣмъ-нибудь, а то они, бѣдные, превратились ровно въ ничто, то-есть, не смотря на всѣ свои старанія, не сдѣлались французами, а перестали быть русскими. Луцкіе жили въ Парижѣ на барскую ногу, не жалѣли денегъ, слѣдовательно, видѣли одну только хорошую сторону великолѣпнаго города, въ которомъ процвѣтаютъ науки, художества, всѣ изящныя искусства и въ полномъ смыслѣ царствуетъ это глубокое умѣнье—не жить, а убивать время, которое, однакожъ, всегда насъ переживаетъ. Несмотря на это обольщеніе, Луцкіе возвратились въ свое отечество точно такими же русскими, какими изъ него выѣхали. Они съ удовольствіемъ вспоминаютъ о Франціи и обо всемъ, что видѣли въ ней прекраснаго; но не захлебываются отъ восторга, говоря о грязныхъ парижскихъ улицахъ; не дѣлаютъ обидныхъ сравненій одного народа съ другимъ и не плачутъ о томъ, что городъ, въ которомъ они живутъ, теперь называется Москвою а не Парижемъ.

— Пошелъ на Вздвиженку, къ Луцкимъ,— сказалъ я кучеру.

И вотъ минутъ черезъ десять я въѣхалъ во дворъ и остановился у подъѣзда каменнаго дома.

— Что, баринъ у себя? — спросилъ я швейцара.

— Никакъ нѣтъ, сударь! — отвѣчалъ онъ съ вѣжливымъ поклономъ.

— А барыня?

— Также изволили уѣхать.

«Ну, такъ и есть,—подумалъ я,—со мною это вѣчно бываетъ: кого хочешь застать, того не застанешь, а вотъ теперь поѣду къ этимъ Лыковымъ — и ужъ вѣрно меня примутъ!.. Дѣлать нечего!»

— Ступай къ Пречистенскимъ воротамъ.

Выѣхавъ на Арбатскую площадь, я повернулъ налѣво, низменной стороной Пречистенскаго бульвара, и взглянулъ мимоѣздомъ на скромный деревянный домикъ, въ которомъ живетъ одинъ изъ тѣхъ могучихъ русскихъ витязей, которые въ двѣнадцатомъ году стояли грудью за нашу святую родину. Онъ ужъ въ преклонныхъ лѣтахъ, но все еще смотритъ богатыремъ и вовсе не походитъ на старика; впрочемъ, можетъ быть потому, что его сѣдые волосы не видны изъподъ лавровъ, которыми украшено его задумчивое и величавое чело.

Не доѣзжая Пречистенскихъ воротъ, я повернулъ въ переулокъ и остановился у большого деревяннаго дома. Предчувствіе меня не обмануло: высокій лакей въ штиблетахъ и модной ливреѣ съ огромными пуговицами объявилъ мнѣ, что его господа принимаютъ. Въ столовой, мальчикъ, одѣтый жокеемъ, спросилъ мое имя и, войдя въ гостиную, громко прокричалъ:

— Богданъ Ильичъ Бѣльскій!

— «Ого! Да это точь-въ-точь какъ въ Парижѣ»,—подумалъ я, входя въ гостиную. Въ ней не было никого, кромѣ хозяина и хозяйки.

— Ah, monsieur Belsky! — закричалъ хозяинъ, идя ко мнѣ навстрѣчу.

Хозяйка привстала и отвѣчала на мой поклонъ слѣдующей казенной французской фразой:

— Charmée de vous voir, monsieur. Voules-vous bien prendre la peine de vous asseoir!

— Васъ долго не было въ Москвѣ,—сказалъ хозяинъ.

— Да, я слишкомъ годъ прожилъ въ провинціи.

— Слишкомъ годъ!.. Mais c'est une éternité!.. И вы не умерли съ тоски?

— А вотъ, какъ видите.

— Слишкомъ годъ! — повторила хозяйка.—Я воображаю, какъ вамъ было весело... А мы только-что возвратились изъ чужихъ краевъ.

— Право?.. Куда же вы изволили ѣздить?

— Сначала на воды... а тамъ въ Парижъ; мы прожили въ немъ мѣсяца три.

— Только?

— Ахъ, не говорите... Вѣдь у насъ все дѣлается Богъ знаетъ какъ!.. Мы взяли съ собою только двадцать тысячъ и приказали нашему управляющему, когда онъ продастъ хлѣбъ и сберетъ оброкъ, выслать всѣ деньги въ Парижъ. Что-жъ вы думаете?.. Этотъ негодяй не прислалъ намъ ни одной копѣйки!

— Да, да, — прервалъ хозяинъ, — мошенникъ управитель полагалъ, что мы проживемъ года три за-границею, хотѣлъ этимъ воспользоваться и ограбилъ насъ самымъ безстыднымъ образомъ.

— Скажите, пожалуйста! Да какъ это вамъ попался такой разбойникъ управитель?.. Что онъ, русскій, что ли?

— Вотъ то-то и дѣло, что нѣтъ!—вскричалъ хозяинъ.—Представьте себѣ—нѣмецъ!

— Что вы говорите?

— Увѣряю васъ. Я подалъ просьбу, да Богъ знаетъ, когда все это кончится, между тѣмъ намъ пора ѣхать опять за границу. Да ужъ на этотъ разъ мы будемъ поумнѣе. Я нанялъ новаго управляющаго: этотъ будетъ надежнѣе — французъ. А чтобъ совершенно себя обезпечить, заложилъ пятьсотъ душъ въ опекунскій совѣтъ, и мы теперь повеземъ съ собою чистыми деньгами слишкомъ сто тысячъ.

— Конечно, это гораздо будетъ вѣрнѣе. А скоро вы отправляетесь?

— Чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше; меня давитъ здѣшній воздухъ.

— Да, кто привыкъ жить въ тепломъ *климатѣ...*

— И, monsieur Belsky... Помилуйте, одинъ ли климатъ! Признаюсь, для мени удивительно, какъ можете вы, человѣкъ просвѣщенный и свободный, жить въ этомъ мертвомъ, несносномъ городѣ.

Вы знаете, любезные читатели, мою слабость въ Москвѣ, слѣдовательно, можете понять, до какой степени этотъ вопросъ показался мнѣ обиднымъ.

— Вы, вѣроятно, не были никогда за границею?—продолжалъ хозяинъ.

— Извините, — отвѣчалъ я, съ трудомъ скрывая досаду, — я въ молодости моей пошатался довольно по Европѣ.

— Въ самомъ дѣлѣ?.. Такъ что-жъ мнѣ вамъ и говорить? Когда подумаешь, что мы передъ этимъ Западомъ!.. А вѣдь туда же гнѣваемся, когда французы называютъ насъ татарами!

— Нѣтъ, ужъ не гнѣваемся, — прервалъ я,—и не смѣемся. Одна и та-же глупость, повторенная тысячу разъ, не можетъ ни забавлять, ни сердить.

— А! Да вы патріотъ! — сказала хозяйка точно такимъ же голосомъ, какимъ вѣроятно бы заговорилъ индійскій браминъ, узнавъ въ своемъ собесѣдникѣ какого-нибудь презрѣннаго парія.

— И, что ты, ma chère!—подхватилъ хозяинъ.—Богданъ Ильичъ человѣкъ умный и образованный,—онъ путешествовалъ и вѣрно согласится со мною, что, въ смыслѣ просвѣщенія, мы почти еще татары. Кто ничего не видѣлъ, ничего не знаетъ, тому простительно думать, что мы европейская нація; но, тотъ, кто былъ въ Парижѣ—этой столицѣ роскоши и просвѣщенія, тотъ ужъ, конечно, этого не скажетъ. Когда подумаешь, что такое эта парижская жизнь! Какая цивилизація!.. утонченный вкусъ!.. Какое разнообразіе забавъ! Не успѣваешь наслаждаться... Ну, точно ходишь въ чаду, — очнуться некогда!.. Вотъ, напримѣръ, въ Парижѣ, я гулялъ каждый день по бульварамъ, — а здѣсь куда я пойду?..

— Куда вамъ угодно. Мало ли у насъ гуляній? Не говоря объ окрестностяхъ, въ самой Москвѣ: бульвары, Кремлевскіе сады, Прѣсненскіе пруды, Нескучное.

— И вы это называете гуляньями?

— А какихъ же вамъ еще надобно? Всѣ эти бульвары и сады содержатся въ отличномъ порядкѣ...

— Боже мой?.. Да кто вамъ говоритъ о порядкѣ? Вы мнѣ скажите, кого я встрѣчу на этихъ гуляньяхъ?

— Вѣроятно, всѣхъ тѣхъ, которые любятъ гулять.

— То-есть двухъ-трехъ порядочныхъ людей и цѣлую толпу оборванныхъ мужиковъ, запачканныхъ прачекъ...

— Такъ что-жъ? Я думаю, эти особы

встрѣчались съ вами и на парижскихъ бульварахъ?

— Да развѣ парижская blanchisseuse— прачка тоже, что наша московская прачка? Развѣ французскій крестьянинъ имѣетъ что-нибудь общее съ русскимъ мужикомъ? Русскій мужикъ!.. Ну, походитъ ли на человѣка этотъ медвѣдь въ своей дурацкой шапкѣ, въ своемъ отвратительномъ овчинномъ тулупѣ?..

— Да, это правда! — прервалъ я, вспомнивъ стихи одного изъ искреннихъ моихъ пріятелей:

„Вѣдъ русскій мужичекъ, конечно, такъ и глупъ,
Что носитъ шапку и тулупъ;
Ему бы надобно, какъ умному французу,
Въ холстинную одѣться блузу
И выйти этакъ на морозъ"...

— Какое ослѣпленіе! — воскликнулъ хозяинъ.—Да вы, пожалуй, станете сравнивать нашихъ горничныхъ дѣвокъ съ парижскими гризетками, этими плѣнительными, милыми созданіями.

Тутъ я замѣтилъ, что хозяйка поморщилась. Казалось, какъ будто бы слово «гризетка» напомнило ей о чемъ-то очень непріятномъ, но господинъ Лыковъ, не обращая вниманія на пасмурное чело своей супруги, продолжалъ съ возрастающимъ жаромъ:

— О, эти парижскія гризетки - прелесть! Какая ловкость, какая острота, сколько ума въ этихъ бойкихъ, рѣзкихъ отвѣтахъ, за которыми онѣ ужъ никогда въ карманъ не пойдутъ... А какія таліи!.. Какія ножки!.. Да что гризетки! Я вамъ скажу, monsieur Belsky, что мнѣ случалось иногда, перемѣняя лошадей, слушать по цѣлымъ часамъ, и слушать съ наслажденіемъ, разговоры французскихъ почтарей,—то-есть простыхъ ямщиковъ!

Представьте себѣ положеніе человѣка, при которомъ говорятъ такія нелѣпости и который не можетъ ни смѣяться въ глаза тому, кто ихъ говоритъ, ни заставить его молчать, ни даже напомнить ему извѣстный стихъ Грибоѣдова:

„Послушай: ври, да знай же мѣру!"

Я васъ спрашиваю, что прикажете дѣлать этому несчастному человѣку?.. Уйти скорѣе прочь, скажете вы. Это-то именно я и сдѣлалъ. Всталъ, раскланялся и ушелъ. Не подумайте, однакожъ, любезные читатели, что я для вашей потѣхи разсказываю вамъ небылицы,—честью васъ увѣряю, что все это правда! Если мои записки имѣютъ какое-нибудь достоинство, такъ это потому, что я ничего не сочиняю, а разсказываю только то, что слышалъ самъ и видѣлъ собственными глазами. Впрочемъ, то, что я скажу въ заключеніе, покажется вамъ еще невѣроятнѣе. Этотъ господинъ, который слушаетъ съ наслажденіемъ разговоры французскихъ ямщиковъ, слыветъ въ своемъ кругу преумнымъ человѣкомъ.

«Куда же я теперь пойду?»—подумалъ я, садясь въ мою пролетку... — Да чего же лучше?.. Чтобъ отдохнуть душою, послѣ такой непріятной бесѣды, поѣду къ тому, кого давно уже привыкла звать *своимъ* православная Москва, кто остался теперь едва ли не однимъ изъ числа тѣхъ гостепріимныхъ бояръ, которыми нѣкогда была красна и славилась наша Бѣлокаменная. Всегдашній житель Москвы, онъ такъ сроднился съ нею, что кажется совершенно невозможнымъ ни ему покинуть Москву, ни Москвѣ остаться безъ него. Вельможа въ полномъ смыслѣ этого слова, онъ въ то-же время самый привѣтливый хозяинъ. Его пріемъ всегда одинаковъ; онъ съ равной лаской встрѣчаетъ въ великолѣпныхъ своихъ палатахъ и печниковаго человѣка и первостепеннаго сановника царскаго. Въ этомъ отношеніи, какъ истинный русскій баринъ, онъ не знаетъ никакихъ различій, и всякій гость, имъ приглашенный, становится для него *дорогимъ гостемъ*. Если я прибавлю къ этому, что ни одинъ бѣдный не отходитъ отъ него безъ подаянія, и, конечно, не было еще ни одного несчастливца, которому онъ отказалъ бы въ своемъ покровительствѣ и пособіи, то ужъ вѣрно вы, любезные читатели, догадаетесь, о комъ я говорю и назовете по имени того, кого я здѣсь назвать не смѣю.

— Ступай къ Пречистенскимъ воротамъ!— сказалъ я кучеру.

— Къ Пречистенскимъ воротамъ?—повторилъ мой Петръ. — Ужъ не къ его ли сіятельству?..

— Ну, да!..

— А зачѣмъ мы къ нему поѣдемъ, батюшка? Вѣдь онъ лѣтомъ всегда изволитъ жить въ своей подмосковной.

— Въ самомъ дѣлѣ!.. Совсѣмъ изъ ума вонъ!.. Такъ ступай на Каменный мостъ, за Москву-рѣку.

— Да не прикажете ли, Богданъ Ильичъ, заѣхать прежде къ Буркину?.. Онъ близехонько отсюда, изъ Замоскворѣчья намъ будетъ не по дорогѣ: вѣдь намъ придется ѣхать на Крымскій бродъ.

— И то дѣло! Поѣдемъ къ Буркину.

Матвѣй Юрьевичъ Буркинъ, — давнишній мой знакомый; мы вмѣстѣ съ нимъ служили въ двѣнадцатомъ году. Онъ старый холостякъ, богатый, умный и честный, но нѣсколько странный, впрочемъ, эти странности не мѣшаютъ ему быть очень любезнымъ человѣкомъ. Матвѣй Юрьевичъ принадлежитъ къ числу тѣхъ москвичей, которые, живя въ столицѣ, любятъ въ то же время пользоваться всѣми удобствами и просторомъ деревенскаго быта. Его деревянный, обшитый тесомъ домъ окруженъ со всѣхъ сторонъ службами и всякаго рода надворнымъ строеніемъ Тутъ все есть: и баня, и сушильня, и амбары, и голубятня, и застольная изба, въ которой каж-

дый день по колокольчику сбираются обѣдать человѣкъ тридцать дворовыхъ людей. Разумѣется, позади дома разведенъ садъ съ тепличкою, парниками, грунтовыми сараями и затѣйливой бесѣдкой, которая немного пошатнулась набокъ, но все еще красива и очень походитъ издали на развалины греческаго храма. Поросшій густой травой обширный дворъ Буркина служитъ довольно сытнымъ пастбищемъ для разныхъ домашнихъ животныхъ, изъ числа которыхъ,—какъ вы сейчасъ увидите,—одна презадорная скотина обошлась со мною самымъ невѣжливымъ образомъ.

Когда я въѣхалъ во дворъ къ Буркину и сошелъ съ дрожекъ, мой Петръ отправился съ ними на другой конецъ двора и остановился подлѣ конюшни,—то-есть, по крайней мѣрѣ, шаговъ сто отъ дому. Я вошелъ въ сѣни, — гляжу: у самыхъ дверей передней комнаты лежитъ врастяжку преогромный козелъ. Надобно вамъ сказать, что для меня нѣтъ ничего отвратительнѣе этого безобразнаго и зловреднаго животнаго, которое, по какому-то старому предразсудку, держатъ иногда вмѣстѣ съ лошадьми на конюшнѣ, но мнѣ и въ голову не приходило, что съ нимъ можно повстрѣчаться въ домѣ.

— Вотъ нашли швейцара,—сказалъ я.—Эй, ты, Васька, пошелъ прочь!

Козелъ, не трогаясь съ мѣста, приподнялъ голову, мотнулъ рогами и взглянулъ на меня такимъ равнодушнымъ и нахальнымъ образомъ, что мнѣ стало почти обидно.

— Ахъ, ты, скверная скотина!—закричалъ я.—Ты не хочешь встать? Такъ постой же,—продолжалъ я, толкнувъ его ногою,—вотъ я тебя потревожу! Пошелъ, пошелъ!

Козелъ вскочилъ, отошелъ отъ дверей, а я протянулъ руку, и только-что хотѣлъ позвонить въ колокольчикъ, какъ вдругъ, отъ сильнаго удара въ правый бокъ, повернулся назадъ и увидѣлъ передъ собой проклятаго козла, который, нагнувъ голову, готовился повторить свое нападеніе. Чтобъ предупредить этотъ злой умыселъ, я схватилъ задорнаго Ваську за рога, но вѣдь этимъ не могло все кончиться: мнѣ нельзя было позвонить, не выпустивъ изъ рукъ моего злодѣя,—а онъ того только и дожидался. Этотъ забіяка стоялъ очень смирно, не порывался, помахивалъ только бородкою, но я безъ труда могъ прочесть въ его лукавыхъ глазахъ преступное намѣреніе воспользоваться первой моей оплошностью и забодать меня до полу-смерти. Не видя никакой возможности избавиться безъ посторонней помощи отъ угрожающей мнѣ опасности, я рѣшился прибѣгнуть къ послѣднему средству, то-есть вытащить козла во дворъ и довести его какъ-нибудь до моего кучера, но для этого мнѣ надо было пятиться задомъ и тащить за рога этого дюжаго козла, который, какъ будто бы отгадывая мое намѣреніе, началъ упираться, мотать головою и порываться во всѣ стороны. Пока я съ нимъ возился, во дворѣ, у отворенныхъ воротъ, собралась цѣлая толпа мужиковъ, ребятишекъ и всякаго рода прохожихъ; весь этотъ народъ, глядя на мою борьбу съ козломъ, помиралъ со смѣху.

— Смотри-ка, смотри, — кричалъ одинъ мужикъ,—какъ Васька-то порывается!.. Экій чортъ здоровенный... баринъ-то не сдержитъ—право-слово, не сдержитъ...

— Погоди, погоди!..—прервалъ какой-то оборванный мѣщанинъ. — Козелъ-то себѣ на умѣ!.. Вотъ какъ вырвется, такъ онъ его милость потѣшитъ!.. Ай да Васька!.. Молодецъ!.. Смотри, братъ, хорошенько барина-то!.. Не поддавайся!..

Разумѣется, всѣ эти остроты возбуждали общій смѣхъ; да это еще ничего, и я бы на ихъ вмѣстѣ посмѣялся надъ пожилымъ человѣкомъ, который вздумалъ играть съ козломъ и таскать его за рога по двору. Но вотъ что было для меня досадно: всѣ эти уличные зѣваки явнымъ образомъ были на сторонѣ козла и, повидимому, очень желали посмотрѣть, какъ онъ станетъ меня бить рогами. Вѣроятно, они бы и насладились этимъ потѣшнымъ зрѣлищемъ, еслибъ мой Петръ не бросилъ лошадей и не прибѣжалъ ко мнѣ на выручку. Въ то же время выскочилъ изъ передней слуга, а вслѣдъ за нимъ высыпали изъ застольной кухни и людскихъ человѣкъ двадцать всякаго народа. Разумѣется, козла схватили, поколотили и увели на конюшню.

— Помилуй, братецъ, — сказалъ я слугѣ, который объявилъ мнѣ, что барина нѣтъ дома,—какъ это можно пускать по волѣ такого злого козла?

— Помилуйте, сударь,—отвѣчалъ слуга,—да нашъ Васька такой смиренникъ...

— Хорошъ смиренникъ!.. Совсѣмъ было меня изувѣчилъ.

— Скажите, пожалуйста! Ахъ онъ, проклятый!.. Да что это съ нимъ сдѣлалось?.. ужъ не вы ли сами изволили его ударить или ногой толкнуть?.. Ну, этого онъ не любитъ!.. А все мальчишки избаловали.

— Куда прикажете ѣхать? — спросилъ Петръ.

— Куда?.. Разумѣется, домой: мнѣ такъ заложило бокъ, что я вздохнуть не могу.

Въ самомъ дѣлѣ, бокъ у меня такъ разболѣлся, что я, пріѣхавъ домой, послалъ за докторомъ и цѣлую недѣлю просидѣлъ дома.

Теперь вы знаете, любезные читатели, почему я, вмѣсто десяти предполагаемыхъ визитовъ, сдѣлалъ только четыре, и отчего сталъ менѣе любить эту простоту нравовъ и сельскій бытъ многихъ москвичей, которые живутъ въ Москвѣ точно такъ же привольно и нараспашку, какъ привыкли жить у себя въ деревняхъ.

III.

Первое мая.

„Сокольники, хоть васъ поэты не поютъ,
Не хвалятъ васъ и вашу жизнь простую,—
Но я люблю и вашъ пріютъ,
И вашихъ сосенъ тѣнь густую".

— Отвори окно, Никифоръ!.. — сказалъ я.—Кажется, дождикъ пересталъ.

— Нѣтъ еще, сударь,—мороситъ немножко, словно ситомъ сѣетъ; да скоро пройдетъ: мозади все прочистилось.

— Въ самомъ дѣлѣ?

— Ни единой тучки, сударь; знатный будетъ день.

— И подлинно, какой пріятный, благораствореннный воздухъ, — сказалъ я, садясь подлѣ окна. — Я думаю, будетъ градусовъ шестнадцать тепла?

— Нѣтъ, сударь, въ столовой на градусникѣ дошло до осьмнадцати.

— Въ шестомъ часу послѣ обѣда!.. Да это почти лѣтній день... Что это на улицѣ такъ пусто? — продолжалъ я, помолчавъ нѣсколько времени.—Хоть по нашему переулку ни ходьбы, ни ѣзды большой нѣтъ, однако-жъ все-таки изрѣдка и пройдетъ и проѣдетъ кто-нибудь, а вотъ съ полчаса, какъ живой души не видно на улицѣ.

— Да кому быть, сударь, — вся Москва въ Сокольникахъ.

— Въ Сокольникахъ? Да развѣ сегодня первое мая?..

— А какъ же, сударь!

— Скажи пожалуйста! Чуть было не пропустилъ любимаго гулянья!.. Ступай, вели скорѣй закладывать дрожки!.. Да я бы себѣ никогда этого не простилъ... Ну, что-жъ ты стоишь?

— Батюшка, Богдавъ Ильичъ!..—сказалъ Никифоръ, почесывая въ головѣ.—Прикажите заложить коляску, да и меня возьмите на запяткахъ съ собою: хочется взглянуть на гулянье.

— Ну, хорошо! Да только вели закладывать проворнѣй!

— Разомъ будетъ готово, сударь!

Не побывать перваго мая въ Сокольникахъ, а особливо въ такую прекрасную погоду, не полюбоваться этимъ первымъ весеннимъ праздникомъ, — да это бы значило лишить себя одного изъ величайшихъ наслажденій въ жизни! Забыть, что сегодня первое число мая!.. Что за странная вещь паша память! Я помню все, что читалъ тому лѣтъ тридцать и болѣе назадъ; помню малѣйшія подробности моей дѣтской жизни; помню даже иные сны, которые видѣлъ въ ребячествѣ,—но имена и числа, какъ заколдованный кладъ, мнѣ *не даются. Изъ всѣхъ* наукъ одна хронологія была для меня рѣшительно недоступной наукой; я никогда не помню ничьихъ имянинъ и очень часто забываю имена моихъ пріятелей. Хорошо еще, что у насъ на Руси такъ много сіятельныхъ, которыхъ вмѣсто того, чтобъ называть по именамъ, можно величать графами и князьями. Безъ этого счастливаго обстоятельства, я былъ бы иногда человѣкомъ совершенно погибшимъ.

Черезъ нѣсколько минутъ вошелъ ко мнѣ Никифоръ и доложилъ, что коляска готова. Мѣшкать было нечего: отъ Прѣсненскихъ Прудовъ до Сокольниковъ будетъ верстъ восемь, если не болѣе; я отправился и проѣхалъ, не встрѣтивъ почти никого, до самой Сухаревой башни. Тутъ стали показываться экипажи; пѣшеходовъ было мало; они обыкновенно отправляются на гулянье, какъ и вездѣ, гораздо ранѣе. Повернувъ мимо Спасскихъ казармъ, я выѣхалъ къ Красному пруду, изъ котораго вытекаетъ рѣчка Чечора.

Я думаю, большая часть московскихъ жителей и не подозрѣваетъ существованіе этого ручья, впадающаго въ Яузу, которая столь же мало имѣетъ права называться рѣкою, какъ этотъ протокъ—рѣчкою. Впрочемъ, это общая привычка русскаго народа: онъ любитъ называть рѣчками не только едва замѣтные ручьи, но даже стоячіе, грязные пруды, — и крестьянка, отправляясь мыть бѣлье на свою запруженную лужу, всегда скажетъ: «я иду на рѣчку». Когда я миновалъ Красный прудъ, сцена совершенно перемѣнилась: передо-мною открылось большое плоское пространство, усѣянное экипажами и безчисленными толпами запоздалыхъ пѣшеходовъ. Кареты, коляски, дрожки и щеголеватыя купеческія телѣжки неслись шибкой рысью, вразсыпную, по обширному Сокольничьему полю; большая часть изъ нихъ съѣзжались на деревянномъ мосту, перекинутомъ черезъ другой ручей, который, также не знаю почему, называютъ рѣчкой Рыбенкой. Вотъ вдали, на темнозеленомъ полѣ сосновой рощи, окаймленой красивыми дачами, обрисовались бѣлые столбы Сокольничьей заставы. Вотъ налѣво замелькали разноцвѣтныя кровли Краснаго села,—села, въ которомъ нѣтъ ни приходской церкви и ни одной крестьянской избы... Это собраніе, не дачъ, а загородныхъ домиковъ, составляющихъ нѣсколько улицъ и переулковъ,—походитъ на красивый уѣздный городокъ, въ которомъ не построены еще соборный храмъ, гостиный дворъ и не устроена базарная площадь съ присутственными мѣстами. На лѣвой рукѣ, въ близкомъ разстояніи отъ заставы, была нѣкогда знаменитая дача графа Растопчина. Теперь остались однѣ развалины дома и запустѣлый садъ, по дорожкамъ котораго растетъ трава и ѣздятъ иногда, для сокращенія пути, мужички въ своихъ телѣгахъ. Тутъ же проходитъ и водопроводный каналъ «мытищинской» воды, подымаемой посред-

ствомъ паровой машины въ резервуаръ Сухаревой башни. Отъ самой заставы начинается сосновая роща или, лучше сказать, боръ, который примыкаетъ къ огромной лѣсной дачѣ, извѣстной подъ названіемъ *Лосинаго острова*. До заставы я ѣхалъ свободно и попалъ въ веревку или рядъ экипажей, тогда только, когда въѣхалъ въ широкую просѣку, ведущую къ обширному лугу. По обѣимъ сторонамъ этой просѣки толпился народъ, а посреди двухъ рядовъ экипажей разъѣзжали разныхъ родовъ кавалеристы: въ мундирахъ, фракахъ, сюртукахъ и венгеркахъ. Одни галопировали съ большою ловкостью между каретными колесами и, вѣроятно, ради удальства, горцовали и рисовались въ самыхъ тѣсныхъ мѣстахъ, заставляя прыгать своихъ борзыхъ коней, покрытыхъ пѣною. Другіе вели себя гораздо степеннѣе, ѣздили шажкомъ, не вдавались ни въ какія опасности и не тиранили своихъ лошадей, они, конечно, не обращали на себя вниманія публики, но зато и не были смѣшны, какъ иные изъ этихъ лихихъ наѣздниковъ, изъ которыхъ одинъ, при каждомъ прыжкѣ своей лошади, блѣднѣлъ какъ смерть и почти вслухъ творилъ молитву, а другой, вслѣдствіе неудачной лансады, перекувырнулся на воздухѣ и упалъ,—къ счастію, не подъ колесо, а подлѣ колеса проѣзжающей кареты. Я послѣ встрѣтилъ его въ рощѣ и слышалъ, какъ онъ разсказывалъ какой-то дамѣ, что лошадь его опрокинулась, и хотя упала съ нимъ вмѣстѣ, однако-жъ, никакъ не могла выбить его изъ сѣдла. Болѣе всѣхъ забавлялъ меня одинъ щеголь—настоящая карикатура англійскаго денди. Длинный, худой, съ маленькой бородкой, въ короткомъ сюртукѣ и цвѣтномъ галстухѣ, онъ сидѣлъ на какомъ-то лошадиномъ привидѣніи, и ростомъ и статьями похожемъ на чахлаго верблюда: эта скаковая, кровная кляча, съ отрубленнымъ хвостомъ, удивительно жеманилась: то пятилась бокомъ, то прыгала, то скребла ногою землю, шла задними ногами въ галопъ, а передними рысью, и при каждомъ ударѣ хлыста лягалась и перебрасывала своего ѣздока съ сѣдла къ себѣ на шею. Онъ, впрочемъ, не терялъ никакъ отъ этого своей увѣренности, сидѣлъ подбоченясь и сквозь стекло своей лорнетки, воткнутой въ правый глазъ, глядѣлъ на всѣхъ съ такимъ величіемъ и гордостью, что невозможно было отъ смѣху удержаться.

— Экій уродина! — шепталъ позади меня Никифоръ.—Да гдѣ это онъ досталъ такого аргамака? Чай такихъ и на живодернѣ мало. Вонъ подошелъ къ нему такой же долговязый мусью, въ суконномъ балахонѣ...

— То есть, въ пальто, — сказалъ я.—Да почему же ты называешь его мусью?

— Да долженъ быть какой-нибудь иностранецъ, батюшка. Посмотрите-ка: засунулъ *обѣ руки въ карманы.*

— Такъ что-жъ?

— Какъ что, Богданъ Ильичъ? У русскаго человѣка руки всегда на свободѣ: перевенъ часъ, — поди ихъ вытаскивай изъ кармановъ!

— Что это у тебя Никифоръ, всегда драка на умѣ!

— Какая драка, помилуйте! А все-таки, сударь, знаете ли этакъ, на сторожѣ не мѣшаетъ быть. «Ѣду не свищу, а наѣду не спущу!»

— Ну, полно, полно, заврался!

— Слушаю, сударь!

Я не доѣхалъ еще и до середины гулянья, а началъ уже скучать и посматривать съ завистью на свободныхъ пѣшеходовъ, которые шли куда хотѣли и дѣлали все, что имъ было угодно. Кто выѣзжаетъ на гулянье не верхомъ, а въ какомъ-нибудь экипажѣ, тотъ долженъ отказаться на нѣсколько часовъ отъ величайшаго изъ благъ земныхъ, отъ своей нравственной свободы. Онъ уже не *лицо*, а *вещь*, онъ не гуляетъ, а его возятъ, подъ арестомъ, въ каретѣ или коляскѣ. Онъ желалъ бы ѣхать и стоитъ, не двигаясь на одномъ мѣстѣ, хотѣлъ бы остановиться, а его везутъ впередъ. Задумаетъ ѣхать домой, а ему, ради соблюденія порядка, говорятъ: «Не угодно ли вамъ еще прокатиться», т. е. проѣхать версты четыре шагомъ. Конечно, тотъ, кто является на гулянье въ щегольскомъ экипажѣ, имѣетъ еще кой-какія вознагражденія за потерю своей свободы: для него гулянье то-же, что выставка для фабриканта, сцена для актера и концертная зала для музыканта. Развалясь въ своей откидной каретѣ или коляскѣ, онъ смотритъ съ наслажденіемъ и гордостію на толпу, которая повторяетъ его имя и ахаетъ отъ удивленія, смотря на десятитысячную четверню. Мои весьма обыкновенныя лошади не могли доставить мнѣ этого «высокаго» наслажденія, и какъ бы я ни разваливался въ моей старой коляскѣ, никто не обратилъ бы на нее вниманія, и потому я рѣшился, при первомъ удобномъ случаѣ, свернуть въ рощу и отправиться гулять пѣшкомъ. Благодаря искусству моего кучера, Петра, это желаніе черезъ минуту исполнилось, и я снова вступилъ въ права человѣка, то-есть могъ, какъ существо разумное и одаренное свободной волей, располагать моими дѣйствіями. Время было истинно прекрасное: теплый, влажный воздухъ, напитанный ароматическимъ испареніемъ сосенъ, весеннія голубыя небеса, кой-гдѣ подернутыя прозрачными облачками: эта жизнь и всеобщее движеніе, эти, то близкіе, то отдаленные звуки полковыхъ оркестровъ, разставленныхъ по лѣсу, этотъ безконечный рядъ экипажей, посреди которыхъ безпрестанно мелькали бѣлые султаны и кивера лихихъ кавалеристовъ, эти балаганы, биткомъ набитые людьми всякаго званія и аристократическія палатки,

наполненныя прекрасными женщинами, эти веселыя лица и веселый говоръ безчисленной толпы народа, — все это вмѣстѣ составляло такую великолѣпную картину, такой роскошный *пиръ весны*, что, глядя на него, сердце невольно радовалось и забывало всякое горе. Я прошелъ во всю длину гулянья, до обширной поляны, окруженной съ трехъ сторонъ густымъ боромъ; на ней, вокругъ шатра, увѣнчаннаго елкою, и досчатаго балагана, въ которомъ показывали свое искусство канатные балансеры, толпился простой народъ. Въ числѣ разносчиковъ, предлагавшихъ свой клюквенный квасъ, каленые орѣхи, пряники, сайки и калачи, двое подчевали мужичковъ мороженымъ и нѣсколько мальчиковъ занималось продажею сигаръ. Кто бы могъ подумать, что заморская выдумка — мороженое и это табачное зелье, которое еще такъ недавно русскій народъ называлъ *чертовой травой*, найдутъ покупщиковъ у самыхъ дверей питейнаго дома? Однако-жъ, я видѣлъ своими глазами, какъ одинъ мужичекъ съ бородою курилъ сигару, а другой изволилъ кушать сливочное мороженое, но, къ сожалѣнію, это европейское наслажденіе просвѣщенныхъ народовъ не помѣшало имъ, спустя нѣсколько минутъ, отправиться подъ елку. Возвращаясь къ моей коляскѣ, я присѣлъ отдохнуть на скамьѣ, подлѣ одной палатки, которая, судя по выставленному у ея дверей самовару, величиною съ порядочную бочку, была однимъ изъ временныхъ трактировъ, разбросанныхъ по всему гулянью. Я сталъ смотрѣть на проѣзжающіе экипажи. Изъ числа ихъ, одна откидная карета, которая отличалась богатою англійскою упряжью, двѣ щеголеватыя кабріолетки и красивый штуль-вагенъ, запряженный парою англизированныхъ лошадей, обратили на себя мое вниманіе Какъ страстный охотникъ до всѣхъ противоположностей, я полюбовался также патріархальною наружностью нѣкоторыхъ каретъ и долго смотрѣлъ на одинъ дормезъ, весьма пожилыхъ лѣтъ, на козлахъ котораго, рядомъ съ кучеромъ, сидѣла лягавая собака. Вдругъ кто-то звучнымъ, тоненькимъ голоскомъ произнесъ мое имя... Я обернулся: мимо меня проѣзжало цѣлое дамское общество въ огромной линейкѣ. Этотъ простой экипажъ показался мнѣ красивѣе всѣхъ другихъ, и подлинно: въ ясный лѣтній день что можетъ быть прекраснѣе линейки,— разумѣется, если она, такъ же, какъ въ этотъ разъ, служитъ для прогулки десяти или двѣнадцати красавицъ, на которыхъ вы можете любоваться, не подымая кверху головы и не заглядывая въ узкія окна кареты... Въ то самое время, какъ этотъ подвижной цвѣтникъ проѣзжалъ мимо, кто-то взялъ меня за руку; я оглянулся и увидѣлъ подлѣ себя моего бальнаго знакомца, камергера, который сказалъ мнѣ съ улыбкою:

— Здравствуйте, *любезный двойникъ*! Вотъ мы опять съ вами встрѣтились; только сегодня это вовсе не случай: я искалъ васъ по всему гулянью. Подвиньтесь-ка немного, я присяду подлѣ васъ и отдохну. Вотъ, — продолжалъ онъ, помѣстясь рядомъ со мною на скамью,— вотъ это можно назвать гуляньемъ! И просторно и тепло, народу бездна, вокругъ зелень, пыли нѣтъ...

— Такъ вы довольны сегодняшнимъ гуляньемъ?

— Очень! Мнѣ такъ весело, что я даже безъ досады смотрю на эти уродливыя шляпы, которыя въ нынѣшнее лѣто надѣли на себя всѣ москвичи.

— Да, модныя шляпы некрасивы: аршинная тулья, сплющенныя крылья.

— Знаете ли что,—прервалъ камергеръ,— мнѣ, право, кажется, что парижане придумали носить на своихъ головахъ эти глупыя башни для того только, чтобъ испытать, до какой степени простирается наше рабское, безотчетное подражаніе всѣмъ ихъ дурачествамъ. Я помню исковерканныя шляпы à la Cendrillon, помню мягкія шляпы, которыя походили на измятые колпаки, и остроконечныя шляпы съ едва замѣтными крыльями, напоминавшія формой цвѣточные горшки; всѣ эти моды были очень безобразны, но ихъ безобразіе можно назвать красотою, въ сравненіи съ этимъ вавилонскимъ столпотвореніемъ, которое мы должны носить вмѣсто шляпъ, потому что такъ угодно Парижу. И добро бы еще дурачились одни молодые люди, а то посмотрите: вонъ идетъ старикъ, онъ едва передвигаетъ ноги, а на головѣ у него не шляпа, а калачъ! Боже мой, да что-жъ это такое? Да будетъ ли когда-нибудь конецъ этому непонятному ослѣпленію? Перестанемъ ли мы когда-нибудь одѣваться не только—

„Разсудку вопреки, наперекоръ стихіямъ",

но даже вопреки вкусу и красотѣ, изъ угожденія къ прихоти чуждаго намъ по всему народа. Придетъ ли когда-нибудь время, что одни только молодые, очень молодые люди и женщины, которыя никогда не старѣются, станутъ повиноваться законамъ моды, не размышляя о томъ, прилична ли эта мода нашему климату и служитъ ли эта мода, если не къ удобству и спокойствію, то, по крайней мѣрѣ, къ украшенію нашей наружности.

Этотъ длинный монологъ моего сосѣда былъ прерванъ какимъ-то невнятнымъ шопотомъ: одинъ щеголеватый экипажъ обратилъ на себя всеобщее вниманіе. Прекраснѣйшая коляска, четверня великолѣпныхъ лошадей, богатая упряжь, все въ этомъ экипажѣ должно было возбуждать удивленіе и похвалу, а вмѣсто этого, я слышалъ вокругъ себя какой-то насмѣшливый хохотъ и восклицанія, изъ которыхъ нѣкоторыя были даже не очень вѣжливы.

Что-жъ это значитъ? — спросилъ я.—Чему смѣются эти господа? Да это самый лучшій

экипажъ изо всего гулянья. Лакей и кучеръ одѣты прекрасно и въ коляскѣ сидитъ человѣкъ вовсе не смѣшной наружности... Мнѣ кажется... да, такъ точно... онъ долженъ быть иностранецъ?

— Вы не ошиблись! — отвѣчалъ камергеръ.

— Вѣрно, какой-нибудь чиновникъ посольства.

— Не отгадали.

— Такъ, вѣроятно, знаменитый путешественникъ.

Камергеръ покачалъ отрицательно головою.

— А, понимаю! Мотоватый сынокъ богатаго банкира?

— Совсѣмъ не то.

— Да кто-жъ онъ такой?

— Артистъ и даже не первоклассный.

— Нѣтъ, шутите?

— Право не шучу. Эта четверня представляетъ сборъ двухъ концертовъ, а коляска, вѣроятно, куплена цѣною нѣсколькихъ музыкальныхъ вечеровъ.

— Такъ онъ музыкантъ? Бѣдняжка! Ну, если онъ какъ-нибудь вывихнетъ палецъ?

— Да, это будетъ грустно; вѣдь вовсе не весело, при свистѣ и хохотѣ толпы, пересаживаться изъ этой великолѣпной коляски на какія-нибудь оборванныя дрожки плохого извозчика. Ну, теперь понимаете ли, чему смѣются?

— Да, это и смѣшно, и жалко.

— Нѣтъ, покамѣстъ только смѣшно. Вы знаете басню о лягушкѣ, которая хотѣла сравняться съ быкомъ. О ней можно было пожалѣть, когда она лопнула, но пока она хвасталась и надувалась — такъ, вѣроятно, всѣ, глядя на нее, смѣялись, а не плакали.

— Вотъ лошади! — вскричалъ я невольно, взглянувъ на красивую пролетку, заложенную парой вороныхъ коней необычайной красоты.

— И вѣрно пришлись очень дешево хозяину, — прервалъ камергеръ.

— А кто онъ такой?

— Также артистъ, но только совсѣмъ другого рода.

— Кто жъ онъ такой? Скульпторъ, живописецъ?..

— Нѣтъ, механикъ,—да еще какой! Передъ нимъ и знаменитый Боско ничего не значитъ.

— А, такъ онъ фокусникъ?

— Преудивительный! Еслибъ вы знали, какія чудеса онъ дѣлаетъ картами! Попробуйте сто разъ сряду, изъ цѣлой колоды картъ, поставить какую вамъ угодно *ва банкъ*— всегда ляжетъ направо. Необычайное искусство!

— Вотъ что! И вѣрно онъ называетъ это искусство удачею и случаемъ?

— Разумѣется,—истинный талантъ всегда скроменъ.

— *Однакожъ, посмотрите, сколько* у него знакомыхъ! Онъ безпрестанно раскланивается направо и налѣво; неужели это все такіе же, какъ и онъ, артисты?

— Избави Господи! Да тогда бы надобно было бы бѣжать вонъ изъ Москвы.

— Такъ поэтому не всѣмъ знакомымъ его извѣстно...

— Чѣмъ онъ промышляетъ? Да это знаютъ даже и тѣ, которые съ нимъ вовсе не знакомы.

— И несмотря на это...

— Да, несмотря на это, съ нимъ кланяются, ему жмутъ руку, и люди очень честные не стыдятся водить съ нимъ хлѣбъ и соль.

— Скажите пожалуйста!.. Что же значитъ послѣ этого общее мнѣніе?

— Да ровно ничего! Оно страшно только для бѣдняковъ, а тотъ, кто можетъ сыпать деньгами, смѣется надъ этимъ «общимъ мнѣніемъ». Всѣ станутъ ругать какого-нибудь милліонщика-негодяя и всѣ къ нему поѣдутъ обѣдать, лишь только бы у него была уха изъ аршинныхъ стерлядей, да шампанскаго вдоволь. Прочтите басню «Судъ звѣрей», вотъ вамъ «общее мнѣніе». Кто слабъ, того оно задушитъ, кто силенъ, тому оно повалится въ ноги.

— Да, конечно, Грибоѣдовъ правъ:

«Кому въ Москвѣ не зажимали рты
Обѣды, ужины и танцы!»

Но кто же въ этомъ виноватъ? Все-таки не общее мнѣніе; оно дѣлаетъ свое дѣло, да мы-то своего не дѣлаемъ. Оно клеймитъ безъ пощады порокъ, прославляетъ добродѣтель, уважаетъ умъ, смѣется надъ глупостью...

— И, конечно,—скажете,—всегда бываетъ справедливо?—прервалъ съ живостью камергеръ.—Вотъ то-то и бѣда, что нѣтъ! Сколько разъ на моей памяти это «общее мнѣніе» поддерживало ничѣмъ не заслуженную славу бездарнаго писателя, губило возникающій талантъ и помогало распространяться гнусной клеветѣ; сколько глупцовъ, по милости того же «общаго мнѣнія», слывутъ во всю жизнь свою людьми умными и сколько истинно умныхъ людей разжаловано имъ, если не въ глупцы, то, по крайней мѣрѣ, въ совершенно пустые и ни на что не способные люди. Общее мнѣніе!.. Да ужъ не говорите мнѣ объ этомъ общемъ мнѣніи!...

— Однакоже, не даромъ же есть пословица: «Гласъ народа,—гласъ Божій».

— Да! Еслибъ этотъ гласъ народа былъ всегда справедливъ, или, по крайней мѣрѣ, выражалъ общее мнѣніе, а то ступайте, покатайтесь по Москвѣ, послушайте!.. Вотъ какая-нибудь сіятельная или превосходительная дама, которая въ своемъ углу разыгрываетъ большую барыню, примется все осуждать, всѣхъ казнить, позорить,—и тотъ дуренъ, и этотъ не хорошъ. «Помилуйте, батюшка, на что это походитъ? Кого намъ дали?—Что это

а человѣкъ?.. Его «Москва» не любитъ!»... То-есть я—Матрена Власьевна—его терпѣть не могу. А тамъ, глядишь, другой баринъ начнетъ вамъ разсказывать такія нелѣпыя новости, что у васъ волосы дыбомъ станутъ; вы посомнитесь и онъ тотчасъ вамъ скажетъ:— «Да, сударь, да, это вѣрно, — Москва говоритъ!» А кто это Москва?.. Какой-нибудь отставной бригадиръ Панкратій Ильичъ со своею супругою, да кумушка изъ сосѣдняго прихода... Да что объ этомъ говорить,—продолжалъ мой собесѣдникъ, вставая,—вы вѣрно пріѣхали сюда не философствовать, а подышать весеннимъ воздухомъ, погулять, позѣвать на толпу,—такъ пойдемте лучше въ лѣсъ да посмотримъ, какъ веселятся, тѣ, которые пріѣхали сюда не въ щегольскихъ экипажахъ, а въ плохихъ коляскахъ, телѣжкахъ, на извозчикахъ и, какъ обыкновенно выражаются господа пѣшеходы, на «парѣ вороныхъ», то-есть просто пѣшкомъ.

Оставивъ въ сторонѣ большую дорогу, по которой тянулись длинные ряды нарядныхъ экипажей, мы повернули въ лѣсъ и не успѣли сдѣлать двадцати шаговъ, какъ сцена совершенно перемѣнилась. Вмѣсто роскошнаго столичнаго гулянья, мы увидѣли передъ собой сельскій праздникъ во всей незатѣйливой красотѣ его, но въ такихъ колоссальныхъ размѣрахъ, что вовсе не трудно было догадаться, изъ какой деревеньки пришелъ весь этотъ православный народъ потѣшиться, погулять и напиться чайку подъ тѣнью зеленѣющихъ сосенъ, которыя, недѣли четыре тому назадъ, занесенныя снѣгомъ и покрытыя инеемъ, стояли, какъ мертвецы, въ своихъ бѣлыхъ саванахъ. Все пространство, какое только можно окинуть взоромъ, усѣяно было пестрыми толпами горожанъ, которые сидѣли на землѣ отдѣльными кружками. Въ одномъ мѣстѣ курили молча трубки и сигары, въ другомъ разговаривали, въ третьемъ слушали заливныя пѣсни цыганокъ, въ четвертомъ потѣшалъ честную компанію удалой дѣтина, играя на берестовомъ рожкѣ. Вездѣ забавлялись и вездѣ пили чай. Эта необходимая потребность нашего купечества, эта единственная роскошь нашихъ небогатыхъ мѣщанъ, это праздничное, высочайшее наслажденіе всѣхъ трезвыхъ разночинцевъ, фабричныхъ мастеровыхъ и даже мужичковъ,—нашъ русскій кипучій самоваръ дымился на каждомъ шагу. Мы подошли къ одному изъ этихъ самоваровъ, вокругъ котораго сидѣло на травѣ человѣкъ пять рабочихъ людей изъ крестьянъ и двѣ молодицы въ нарядныхъ тѣлогрѣяхъ. Всѣ они сидѣли чинно, попивали чаекъ, и не стаканами, а изъ фарфоровыхъ чашекъ.

— Ну, вотъ это хорошо, ребята,—сказалъ мой собесѣдникъ: — вы вмѣсто вина, пьете чай. Оно дешевле и здоровѣе...

— Да и батюшка не заказываетъ, — сказалъ одинъ молодой *парень, кладя* въ ротъ кусочекъ леденца. который служилъ имъ вмѣсто сахару.

— Знаете ли, — продолжалъ камергеръ, обращаясь ко мнѣ, — вѣдь это уже не въ первый разъ, что я встрѣчаю простыхъ крестьянъ, которые, желая повеселиться, пьютъ чай, а не вино—этотъ медленный ядъ, который хуже всякаго другого, потому что онъ въ одно время убиваетъ и тѣло и душу.

— Почему же ядъ?—сказалъ я.—Въ нашемъ климатѣ умѣренное употребленіе вина не только не вредно, но даже полезно.

— Умѣренное, — да вотъ то-то и бѣда, что умѣренность рѣдко бываетъ добродѣтелью русскаго человѣка. Въ нуждѣ нашъ мужичекъ будетъ сытъ кускомъ черствaго хлѣба, но если онъ расположится погулять, то-есть попить и поѣсть сколько душѣ угодно, то ужъ, конечно, съѣстъ за троихъ нѣмцевъ, а выпьетъ за пятерыхъ. Нѣмцу что надобно?—бутылку пива, много двѣ. А видали ли вы, какъ наши мужички пьютъ брагу? Иной столько нальетъ въ себя этого хмѣльного питья, что весь растечетъ и сдѣлается почти прозрачнымъ. Нѣмецъ выпьетъ съ разстановкою небольшую рюмочку шнапсу, да и довольно, а русскій человѣкъ, коли ужъ выпилъ одинъ стаканчикъ «казеннаго», такъ и подавай ему цѣлый штофъ! Нѣтъ, конечно, можно будетъ порадоваться, если у насъ, такъ-же какъ и въ Соединенныхъ Штатахъ, простой народъ станетъ понемногу привыкать пить, вмѣсто вина, чай.

— Да почему же не сбитень?—прервалъ я.

— Сбитень?—повторилъ камергеръ.—Конечно, зимой русскому мужичку, когда онъ продрогнетъ на морозѣ, хорошо выпить стаканъ сбитню съ перцемъ или имбиремъ,—да это наслажденіе совсѣмъ другого рода. Притомъ же съ этимъ сбитнемъ много хлопотъ, его надо варить умѣючи, и для этого есть даже особенные мастера, и обойдется-то онъ гораздо дороже чаю.

— Неужели дороже?

— Разумѣется. Попытайтесь-ка напоить сбитнемъ русскаго мужичка, да напоить, какъ говорится, до отвалу, такъ онъ у васъ на полтину выпьетъ. А чай что такое? Былъ бы только самоваръ, вода непокупная, чаю для троихъ довольно на двадцать копѣекъ, на десять леденцу и вотъ нашъ мужичекъ примется пить, не торопясь, съ прохладою: выпьетъ чашекъ десять горячей воды, которая пахнетъ немного чаемъ, и протѣшится часа два за мѣдную гривну. Оно и дешево, и безвредно, а между тѣмъ есть чѣмъ и похвастаться. «Были, дескать, въ Сокольникахъ, на баръ посмотрѣли, чаю пили вдоволь... Неча сказать—потѣшились, погуляли досыта!» Однакожъ,—промолвилъ мой собесѣдникъ,—вотъ моя пролетка пора домой!

— И мнѣ также пора,—сказалъ я,—теперь еще ѣхать можно свободно, а какъ всѣ

разомъ хлынутъ съ гулянья, такъ и на Сокольничьемъ полѣ будетъ тѣсно. Здѣсь же всѣ ѣздятъ шагомъ, а тамъ начнется такая скачка, что упаси Господи! Всѣ кучера съ ума сойдутъ, кинутся во всѣ стороны, начнутъ перегонять другъ друга, благо жандармовъ нѣтъ,—воля, гони себѣ и въ хвостъ, и въ голову!.. Бѣда да и только!

— И это также,—сказалъ камергеръ, садясь въ свою пролетку,—характеристическая черта русскаго народа. Заставили его поѣздить часика четыре тихо, чинно, по-нѣмецки, а тамъ, какъ дали волю русской удали, такъ ужъ только держись!

Я простился съ камергеромъ, отыскалъ свою коляску и отправился домой. Когда я сталъ подъѣзжать къ Красному пруду, то оглянулся назадъ,—все Сокольничье поле было усыпано экипажами: нѣмецкое гулянье кончилось и началась русская скачка.

IV.

Поѣздка за границу.

„Княгиня Дымова уѣхала съ сестрицей,
Степанъ Степановичъ отправился съ женой,
Всѣ ѣдутъ на воды: зачѣмъ же мнѣ одной
Нельзя пожить хоть годикъ за границей,
Чѣмъ хуже я другихъ . . . . . .

Изъ рукописной комедіи.

1. СБОРЫ.

Дѣйствіе происходитъ за Москвой-рѣкой, на Ордынкѣ, въ домѣ Андрея Тихоновича Оборкина. Гостиная, выкрашенная малиновою краскою, мебель орѣховаго дерева, обитая желтымъ полуштофомъ съ голубыми разводами. На стѣнѣ, противъ оконъ, большая фамильная картина, представляющая все семейство Оборкиныхъ, то-есть: Андрея Тихоновича въ лѣтнемъ сюртукѣ, супругу его Марью Алексѣевну въ бѣлой кисейной блузѣ, племянника Андрюшу въ синей курточкѣ и толстаго мопса Шери въ розовомъ атласномъ ошейникѣ,—все это прекрасно сгруппировано: кругомъ деревья, зелень, цвѣты, *прозрачный* ручеекъ; Андрюша ловитъ бабочку, Марья Алексѣевна сидитъ на дерновой скамьѣ, мопсъ Шери лежитъ у ней на колѣняхъ, Андрей Тихоновичъ стоитъ позади; у мопса глаза до половины закрыты,—онъ дремлетъ; мужъ смотритъ съ умильной улыбкой на жену, она глядитъ задумчиво на ручей и держитъ въ рукѣ раскрытую книгу, въ которой написано крупными буквами: «Такъ мирно и спокойно течетъ жизнь наша!» Подъ этой картиной стоитъ диванъ, передъ диваномъ круглый столъ, на которомъ разбросаны французскіе альманахи, нѣсколько томовъ «*Странствующаго жида*», *первый* томъ «Леліи» Жоржъ Занда, подробная карта Европы и толстый Guide des Voyageurs. На диванѣ сидитъ Марья Алексѣевна и читаетъ «Московскія Вѣдомости». Съ боку, за тѣмъ же столомъ, Андрей Тихоновичъ выкладываетъ что-то на счетахъ, передъ нимъ лежитъ кипа бумагъ. Марья Алексѣевна—женщина лѣтъ двадцати-пяти; ее нельзя назвать идеаломъ женской красоты, которая, по мнѣнію знатоковъ, должна заключать въ себѣ что-то воздушное, неземное. Въ Маріѣ Алексѣевнѣ нѣтъ ничего воздушнаго: ея бѣлыя широкія плечи, полное румяное лицо, сѣрые свѣтлые глаза, въ которыхъ не замѣтно ни малѣйшей томности, все изобличаетъ въ ней самое пошлое, прозаическое здоровье и эту грубую тѣлесную силу, которая вовсе не къ лицу какой-нибудь *дѣвѣ неземной*. Андрей Тихоновичъ—мужчина лѣтъ пятидесяти, довольно пріятной наружности: его спокойное и кроткое лицо выражаетъ совершенную доброту и простосердечіе. Въ своемъ кругу онъ слыветъ за человѣка *недальняго*, иные называютъ его даже просто дуракомъ, но это несправедливо: въ немъ есть и здравый смыслъ, и логика, которая никогда не дается дуракамъ, даже самымъ ученымъ. Андрею Тихоновичу недостаетъ только твердой воли и той силы характера, безъ которыхъ и умъ и логика рѣшительно ни къ чему не служатъ. Андрей Тихоновичъ, по большей части, разсуждаетъ весьма умно, а поступаетъ очень глупо, потому что всегда дѣлаетъ не то, что хочетъ, а то, что желаютъ другіе. Въ числѣ этихъ другихъ, разумѣется, первое мѣсто занимаетъ его молодая жена, а второе всѣ тѣ, которые держатъ ея сторону. Изъ этого вы можете заключить, что Андрей Тихоновичъ *мужъ, какихъ мало*... Нѣтъ, любезныя читательницы, не прогнѣвайтесь: гораздо вѣрнѣе будетъ сказать, что Андрей Тихоновичъ *мужъ какихъ много*.

Андрей Тихоновичъ (*продолжая выкладывать на счетахъ*). Съ кулябкинскихъ оброчныхъ три тысячи семьсотъ тридцать рублей ассигнаціями... Съ вихляевскихъ пять тысячъ триста двадцать рублей... Да съ мельницы пятьсотъ... Въ Воропановкѣ прошлогодничной ржи намолочено двѣ тысячи триста четвертей, полагая среднимъ числомъ по шести рублей за четверть—тринадцать тысячъ восемьсотъ рублей; овса, гречи, ячменю запродано на три тысячи рублей, итого ассигнаціями двадцать шесть тысячъ пятьдесятъ рублей... на серебро...

Марья Алексѣевна (*перелистывая газеты*). А, вотъ, наконецъ!.. «Отъѣзжающіе за границу». Какое множество!.. И это еще только изъ Москвы, что жъ должно быть изъ Петербурга!.. (*Читаетъ*). «Въ Германію, Италію, Францію, Бельгію, Голландію и Англію: титулярный совѣтникъ князь Павелъ Николаевичъ Насѣдкинъ, съ супругою кня-

гинею Еленою Дмитріевною, съ малолѣтнею дочерью Екатериною, съ находящимися при нихъ австрійскимъ подданнымъ Готлибомъ Вурманомъ, московскою мѣщанкою Аксиньею Ивановою Подкипкиной и дворовою дѣвушкою Матреною Филипповою Сыромятниковою... Въ Италію, надворный совѣтникъ Иванъ Ивановичъ Россомахинъ... Во Францію... полковница Ѳедосья Антоновна Скалозубова съ двумя дочерьми»... Боже мой!.. Что это?.. Андрей Тохоновичъ!.. Посмотри!

Андрей Тихоновичъ. Что такое матушка?

Марья Алексѣевна. Нѣтъ, ужъ это, право, досадно!.. Послушай!.. «Въ Карлсбадъ, коллежскій асессоръ Артемій Никитичъ Суслиновъ, съ женою Авдотьей Никифоровною и двумя малолѣтними дочерьми, Софьей и Надеждой».

Андрей Тихоновичъ. Такъ что-жъ, мой другъ?

Марья Алексѣевна. Какъ что?.. Всего заложенныхъ триста душъ,—въ Москвѣ жить нечѣмъ, а ѣдутъ за границу! .

Андрей Тихоновичъ. И, матушка, какое намъ до этого дѣло? У всякаго свой умъ въ головѣ.

Марья Алексѣевна. Нѣтъ, ужъ это ни на что не походитъ!.. Горины уѣхали за границу. Шестуновы другой годъ въ Италіи, Запѣваловы отправились въ Парижъ и даже Суслиновы, которымъ перекусить нечего, и тѣ ѣдутъ въ Карлсбадъ, а мы живемъ себѣ да живемъ въ Москвѣ!.. У насъ состояніе прекрасное, восемьсотъ душъ... дѣтей нѣтъ...

Андрей Тихоновичъ. Да есть племянникъ, мой другъ,—надобно также и о немъ подумать. Онъ круглый сирота, и вся будущность его зависитъ отъ насъ.

Марья Алексѣевна. Ахъ, Боже мой! Да развѣ мы о немъ не печемся? Кажется, мы ничего не жалѣемъ для его воспитанія. Прежде онъ былъ на нашихъ рукахъ, а теперь мы его пристроили; онъ учится въ дворянскомъ институтѣ...

Андрей Тихоновичъ. Не о томъ рѣчь, матушка! Воспитаньс-то мы ему дадимъ, да вѣдь надобно же и кусокъ хлѣба оставить.

Марья Алексѣевна. Ахъ, Андрей Тихоновичъ, какъ вы страшны!.. Да неужели нельзя побывать заграницею, не разстроивъ своего состоянія?

Андрей Тихоновичъ. Конечно, можно, да вѣдь затѣи-то у тебя больно велики!.. Дѣло другое съѣздить за границу на нѣсколько мѣсяцевъ, а ты все норовишь прожить тамъ года два или три.

Марья Алексѣевна. Другіе живутъ и дольше. Ну, что за радость отправиться въ чужіе края на нѣсколько мѣсяцевъ? Не успѣемъ пріѣхать, и ступай назадъ. Да, по моему, лучше вовсе не ѣздить!

Андрей Тихоновичъ. *А вотъ, послушай, Марья Алексѣевна!* Я считалъ сейчасъ всѣ наши доходы: въ нынѣшнемъ году у насъ будетъ всего на всего съ небольшимъ двадцать шесть тысячъ ассигнаціями; изъ нихъ должно внести въ опекунскій совѣтъ шесть тысь рублей, слѣдовательно, чистаго дохода останется у насъ только двадцать тысячъ ассигнаціями, да и то если намъ заплятятъ сполна весь оброкъ и мы продадимъ рожь не дешевле шести рублей за четверть.

Марья Алексѣевна. По шести рублей. Помилуй, Андрей Тихоновичъ! Ужъ на что было хуже прошлаго года, не знали, куда съ хлѣбомъ дѣваться и все-таки продали по пяти рублей четверть. А теперь слухи хорошіе: говорятъ, что во всѣхъ степныхъ губерніяхъ неурожай.

Андрей Тихоновичъ. Нѣтъ, Марья Алексѣевна, въ Тамбовской только всходы были плохіе, да и то Богъ милостивъ,—поправятся.

Марья Алексѣевна. Ну, очень хорошо. Положимте, что у насъ будетъ всего двадцать тысячъ въ годъ дохода,—такъ что-жъ?.. Развѣ этимъ нельзя прожить цѣлый годъ за границею?.. Вѣдь тамъ все гораздо дешевле здѣшняго.

Андрей Тихоновичъ. Дешевле не дешевле, матушка, а говорятъ, что тамъ живутъ-то посмирнѣе нашего! Да это еще ничего, первый годъ мы проживемъ кое-какъ, а второй-то?

Марья Алексѣевна. Второй будемъ жить новыми доходами.

Андрей Тихоновичъ. Новыми! А если новыхъ-то не будетъ?

Марья Алексѣевна. Это почему?

Андрей Тихоновичъ. Эхъ, Марья Алексѣевна! Да развѣ ты не знаешь, заглазное дѣло—бѣда! Коли помѣщикъ самъ не станетъ заниматься хозяйствомъ и не будетъ за всѣмъ присматривать, такъ его какъ липку облупятъ. Приказчикъ и старосты начнутъ воровать, уборка хлѣба будетъ плохая, умолотъ бѣдный, продажа дешевая. Оброчные также станутъ утягивать, не доплачивать: «до барина, дескать, далеко, онъ за-моремъ!» А баринъ-то и сиди себѣ на чужой сторонѣ, да въ кулакъ посвистывай!

Марья Алексѣевна. Все это, мой другъ, одни предположенія,—а я увѣрена, что хозяйство и безъ насъ пойдетъ прекрасно. Нашъ приказчикъ, Терентій, человѣкъ усердный, честный,—мы, конечно, во всемъ можемъ на него положиться... Душенька Андрюша!.. Да полно, мой другъ, перестань упрямиться, поѣдемъ... Неужели ты меньше любишь свою жену, чѣмъ этотъ Суслиновъ? И добро бы у него жена-то была добрая, а то вѣтреница, капризная, а онъ все-таки везетъ ее за границу!.. И ужъ подлинно съ грѣхомъ пополамъ: чай, душъ сто продали? Ну, подумай, Андрей Тихоновичъ, за что-жъ ты хочешь, чтобъ я—

добрая, вѣрная жена твоя — краснѣла даже передъ этой кокеткой Сусликовой?.. Ты знаешь, я съ ума схожу на чужихъ краяхъ... Эта мысль преслѣдуетъ меня и днемъ и ночью... Другъ мой, жизненочекъ, душечка... Ну, докажи передъ цѣлымъ свѣтомъ, что ты меня любишь!.. Поѣдемъ!..

Андрей Тихоновичъ. Что будешь съ тобою дѣлать!.. Я вижу, тебя ничѣмъ не урезонишь.

Марья Алексѣевна. Такъ мы ѣдемъ! (*Бросается на шею къ мужу*). Андрюшенька, голубчикъ мой! Ахъ, какъ я рада!.. Ну, что-жъ, мой другъ, ужъ если ты рѣшился и мы ѣдемъ за границу, такъ зачѣмъ откладывать. Сегодня же можно послать и въ газеты.

Андрей Тихоновичъ. Успѣемъ, матушка!

Марья Алексѣевна. Нѣтъ, мой другъ, чѣмъ скорѣй, тѣмъ лучше. Я до тѣхъ поръ не буду спокойна, пока не прочту сама въ газетахъ, что мы ѣдемъ за границу.

Андрей Тихоновичъ. Ну, пожалуй! Вотъ я напишу сейчасъ; только надобно также написать, кого мы съ собою беремъ.

Марья Алексѣевна. Чего жъ лучше Артемки, онъ малый проворный, а я возьму Матрену и Шарлотту Карловну.

Андрей Тихоновичъ. Твою прежнюю нянюшку... Такъ она ужъ не живетъ у Вельскихъ?

Марья Алексѣевна. Нѣтъ, живетъ; да тамъ ей даютъ всего четыреста рублей, а мы дадимъ шестьсотъ и она охотно съ нами поѣдетъ. Я ужъ къ ней посылала.

Андрей Тихоновичъ. Да на что она тебѣ?

Марья Алексѣевна. Какъ на что?... Я говорю по-нѣмецки плохо; ты вовсе не говоришь... такъ Шарлотта Карловна очень пригодится.

Андрей Тихоновичъ. Да, конечно... Только, воля твоя, надоѣстъ намъ эта нѣмка. Она съ такими причудами.

Марья Алексѣевна. Что, ты, мой другъ! Шарлотта Карловна предобрая!

Андрей Тихоновичъ. Добра-то добра, да только не укладиста. Посадишь въ карету напередъ, такъ ей дурно дѣлается; ямщикъ затянетъ пѣсню — у нея тоска; трубку закуришь — ей тошно; остановишься въ трактирѣ—народу много; къ крестьянской избѣ—тараканы съѣли. Помнишь, матушка, какъ мы съ нею маялись, когда ѣздили въ Воронежъ?

Марья Алексѣевна. И, мой другъ, да вѣдь теперь мы не въ Воронежъ ѣдемъ. За границею совсѣмъ не то—тамъ всѣ удобства: тамъ Шарлоттѣ Карловнѣ не на что будетъ жаловаться. А какъ мы поѣдемъ, Андрей Тихоновичъ: водою или сухимъ путемъ?

Андрей Тихоновичъ. Нѣтъ, ужъ сдѣлай милость, не водою! Я до морскихъ путешествій *не охотникъ, матушка.*

Марья Алексѣевна. Да чего жъ ты боишься? Мы поѣдемъ изъ Петербурга на пироскафѣ.

Андрей Тихоновичъ. Сирѣчь на пароходѣ,—покорнѣйше благодарю! Не утонешь, такъ тебя на воздухъ взорветъ. Нѣтъ, мой другъ, поѣдемъ сухимъ путемъ.

Марья Алексѣевна. То-есть на Петербургъ, а тамъ на Ригу?

Андрей Тихоновичъ. Да, матушка.

Марья Алексѣевна. Въ чемъ же мы поѣдемъ? Въ нашей дорожной четверомѣстной каретѣ?

Андрей Тихоновичъ. Разумѣется,—она легка и помѣстительна,

Марья Алексѣевна. Только сдѣлай милость, Андрюша, не бери ничего съ собою. Лишь бы доѣхать до границы, а тамъ у насъ все будетъ!

Андрей Тихоновичъ. Нельзя же, матушка, не взять шкатулку, погребецъ, платье, бѣлье...

Марья Алексѣевна. Ну, пожалуй себѣ, бери! А я все здѣсь брошу.

Андрей Тихоновичъ. Да вѣдь это, мой другъ, лишній расходъ.

Марья Алексѣевна. Ужъ какъ хочешь, а я нашего русскаго тряпья и дряни за границу не повезу.

Слуга (*входя въ гостиную*). Авдотья Никифоровна Сусликова.

Андрей Тихоновичъ. Я думаю отказать, мой другъ.

Марья Алексѣевна. Нѣтъ, нѣтъ!.. Проси!.. (*слуга уходитъ*). Знаешь ли, зачѣмъ пожаловала къ намъ Сусликова.

Андрей Тихоновичъ. Съ визитомъ, матушка.

Марья Алексѣевна. Нѣтъ! Она ѣдетъ за границу, такъ хочетъ почваниться надо мною, подразнить меня!

Андрей Тихоновичъ. И, что ты, Марья Алексѣевна.

Марья Алексѣевна. Увѣряю тебя! Она теперь начнетъ разъѣзжать по всей Москвѣ, станетъ всѣмъ колоть глаза своимъ Карлсбадомъ. Да вотъ, погоди, — я спеси-то ея поубавлю!

(*Входитъ Сусликова, молодая женщина, довольно пріятной наружности. На лицѣ ея выражается та торжественность, то внутреннее сознаніе своего достоинства, которыми вообще отличаются и правовѣрные, и мусульмане, отправляющіеся на поклоненіе въ Мекку и большая часть русскихъ, отъѣзжающихъ за границу*).

Марья Алексѣевна (*идя навстрѣчу къ Сусликовой*). Авдотья Никифоровна!..

Сусликова. Здравствуйте, Марья Алексѣевна! (*Цѣлуются*). Андрей Тихоновичъ, какъ вамъ здоровье?

Андрей Тихоновичъ. Слава Богу, ма-

тушка... Слава Богу! Прошу покорно садиться! (*Сусликова и хозяйка садятся на диванъ*).

Сусликова. А я пріѣхала съ вами проститься, Марья Алексѣевна.

Марья Алексѣевна. Проститься?.. Куда жъ вы ѣдете? Вѣрно, въ вашу тамбовскую деревню?

Сусликова. Нѣтъ, Марья Алексѣевна,— за границу!

Марья Алексѣевна (*очень холодно*). Право?.. А куда жъ вы ѣдете за границу?

Сусликова. Въ Карлсбадъ.

Марья Алексѣевна. Что жъ, это хорошо. Вы будете пить воды?

Сусликова. Да, можетъ-быть, — одинъ курсъ.

Марья Алексѣевна. А потомъ?

Сусликова. Потомъ заѣдемъ на нѣсколько дней въ Дрезденъ; если успѣемъ, посмотримъ Саксонскую Швейцарію, а тамъ назадъ въ Москву.

Марья Алексѣевна. Такъ вы пробудете за границею...

Сусликова. Мѣсяца три или четыре.

Марья Алексѣевна. Только-то!.. Конечно, для того, чтобъ побывать въ Карлсбадѣ да проѣздомъ взглянуть на Дрезденъ больше времени и не надобно... Знаете ли что, Авдотья Никифоровна?.. Вѣдь мы можемъ съ вами повстрѣчаться за границей.

Сусликова. Какъ?.. Такъ и вы ѣдете въ Карлсбадъ?

Марья Алексѣевна. Нѣтъ, въ Карлсбадѣ мы будемъ только проѣздомъ. Да, если правду сказать, что тамъ и дѣлать?.. Эти карлсбадскія воды сдѣлались такъ пошлы! Ну, право, по мнѣ все равно, что нашъ Липецкъ, что этотъ Карлсбадъ, и если-бъ мнѣ нужно было лѣчиться водами, такъ ужъ, конечно, я охотнѣе поѣхала бы на Кавказъ.

Сусликова. Ахъ, что вы, Марья Алексѣевна,—помилуйте!

Марья Алексѣевна. Право!.. Тамъ, по крайней мѣрѣ, другая природа, другой міръ, а что такое Карлсбадъ? Ну, скажите сами: кто не былъ въ этомъ Карлсбадѣ?.. Да знаете ли, что въ Петербургѣ поѣздка въ Карлсбадъ не считается даже путешествіемъ за границу.

Сусликова. (*съ примѣтной досадой*). Ну, нѣтъ, Марья Алексѣевна, извините! Вѣдь съѣздить въ Карлсбадъ не то, что съѣздить въ Воронежъ или Пензу.

Марья Алексѣевна. Почти тоже.

Сусликова (*вспыхнувъ*). Да позвольте спросить, вы-то куда изволите ѣхать?

Марья Алексѣевна. Разумѣется, сначала въ Германію, на берега Рейна; тамъ въ Швейцарію, оттуда въ Верхнюю Италію— на Лаго-Маджіоре, въ Венецію... о, тамъ мы непремѣнно будемъ! Потомъ на зиму въ Римъ, а будущей весной...

Сусликова. Назадъ въ Россію?

Марья Алексѣевна. *О, нѣтъ!..* Стоитъ ли того, чтобъ ѣхать на одинъ годъ за границу. Изъ Италіи мы проѣдемъ въ Парижъ...

Сусликова (*у которой начинается истерика*). Вотъ что!.. И долго тамъ проживете?

Марья Алексѣевна. До самой зимы.

Сусликова. А потомъ?

Марья Алексѣевна. Опять въ Италію; сначала въ Неаполь, а тамъ, можетъ-быть, проѣдемъ въ Палермо... Представьте себѣ, Авдотья Никифоровна, въ то время, какъ вы будете здѣсь жить по-уши въ снѣгу, — мы станемъ прогуливаться подъ тѣнью померанцевыхъ деревьевъ... Ахъ, ma chère amie!.. Ужъ то-то я вамъ поразскажу, когда мы воротимся...

Сусликова (*съ злобной усмѣшкой*). Покорнѣйше васъ благодарю!.. А мы послушаемъ, если доживемъ до этого.

Марья Алексѣевна. И, полноте, что вы?.. Мы года черезъ три непремѣнно вернемся.

Сусликова. Черезъ три года!.. Ну, помогай вамъ Богъ, Марья Алексѣевна!.. Прожить три года за границей—не бездѣлица!

Марья Алексѣевна. Да, конечно, инымъ нельзя и года прожить за границей, но съ такимъ состояніемъ какъ наше...

Сусликова. Разумѣется... Вамъ бросить пятьдесятъ и даже сто тысячъ — ничего не значитъ.

Марья Алексѣевна. Ну, этого сказать нельзя... Впрочемъ, конечно, пятьдесятъ и даже сто тысячъ насъ не разорятъ...

Минутное молчаніе. И хозяйка и гостья не говорятъ ни слова, но въ ихъ глазахъ можно легко прочесть, что онѣ думаютъ слѣдующее:

Сусликова. Какъ эта дура чванится!.. Хваступья этакая.

Марья Алексѣевна. Что, голубушка,— много взяла со своимъ Карлсбадомъ?..

Сусликова (*вставая*). Прощайте, Марья Алексѣевна!

Марья Алексѣевна (*также вставая*). Что это вы, Авдотья Никифоровна, — куда такъ торопитесь?

Сусликова. Извините,—мнѣ много еще надобно ѣздить. Хоть мы отправляемся и не въ Италію и не на три года, а нельзя же не проститься со всѣми знакомыми... Да не безпокойтесь, сдѣлайте милость!

Марья Алексѣевна (*провожая*). Sans adieu, madame!.. Мы увидимся съ вами въ Карлсбадѣ.

Сусликова. Почему знать,—можетъ быть, вы тамъ и дня и не пробудете.

Марья Алексѣевна. Все равно,—ужъ я васъ отыщу!

Сусликова [illegible] êtes bonne, madame!.. [illegible]

Ан[illegible] [illegible]ушка,

М[illegible] [illegible]-то

Марья Алексѣевна. А ты замѣтилъ?

Андрей Тихоновичъ. Какъ же!.. Ее начинало уже подергивать... Я того и глядѣлъ, что съ ней дурно сдѣлается.

Марья Алексѣевна. Пускай себѣ!.. Видишь, шиканерка какая!.. Прискакала объявлять, что ѣдетъ за-границу!.. Думала, что я такъ и ахну... что у меня желчь разольется!

Андрей Тихоновичъ. И, нѣтъ, матушка! Чай, хотѣлось просто такъ—похвастаться...

Марья Алексѣевна. Да, просто!.. Ты ее не знаешь, мой другъ: повѣрь мнѣ, она, отправляясь къ намъ, думала: «Ужъ какъ же я этимъ разогорчу Марью Алексѣевну!.. Она начнетъ приставать къ мужу, чтобъ онъ везъ ее также въ чужіе края, — онъ не согласится, они поссорятся»...

Андрей Тихоновичъ. Да что-жъ ей отъ этого за радость?

Марья Алексѣевна. Такой ужъ скверный характеръ!

Андрей Тихоновичъ. А что, Марья Алексѣевна, скажи правду: вѣдь ты въ самомъ дѣлѣ поссорилась бы со мною, если-бъ я сталъ упираться.

Марья Алексѣевна. Ахъ, Андрюша!.. И тебѣ не стыдно говорить такія слова?.. Да развѣ есть что-нибудь въ мірѣ, за что бы я могла съ тобой поссориться?.. Развѣ я не дѣлаю всегда, что тебѣ угодно... (*Входитъ слуга*).

Андрей Тихоновичъ. Что ты?

Слуга. Письмо съ почты.

Андрей Тихоновичъ. Подай!.. Изъ Воронановки, отъ приказчика... А повѣстки нѣтъ?

Слуга. Нѣтъ, сударь. (*Уходитъ*).

Андрей Тихоновичъ (*распечатывая письмо*). Что-жъ это значитъ?.. (*Читаетъ письмо*). Что это?.. Господи!..

Марья Алексѣевна. Что такое, мой другъ?

Андрей Тихоновичъ. Гнѣвъ Божій, матушка!.. Несчастье... Вся Воронановка выгорѣла—десяти дворовъ не осталось!

Марья Алексѣевна. Что ты говоришь?!

Андрей Тихоновичъ. Посмотри-ка, что Терентій пишетъ... Все до тла сгорѣло; весь хлѣбъ и нашъ и крестьянскій.

Марья Алексѣевна. А развѣ нашъ хлѣбъ не былъ еще проданъ?

Андрей Тихоновичъ. Видно, что нѣтъ... Вотъ тебѣ поѣздка за-границу!

Марья Алексѣевна. Какъ, мой другъ, такъ мы не поѣдемъ?

Андрей Тихоновичъ. Помилуй, Марья Алексѣевна, какъ теперь намъ уѣхать? Я завтра же поскачу въ Воронановку... Надобно взглянуть самому, пособить мужичкамъ, обстроить ихъ...

Марья Алексѣевна. Да это все можетъ *сдѣлать безъ тебя* Терентій. Послушай, мой другъ, ужъ безъ этого мы теперь не обойдемся... Надобно занять въ опекунскомъ совѣтѣ. Да вотъ всего лучше ты сбирался купить подмосковную и взялъ свидѣтельство на Вихляевку; въ ней безъ малаго триста душъ, такъ намъ выдадутъ изъ опекунскаго совѣта слишкомъ шестьдесятъ тысячъ: ты пошлешь тысячъ пять Терентію, а съ остальными намъ, кажется, можно будетъ ѣхать за-границу.

Андрей Тихоновичъ. Эхъ, Марья Алексѣевна, занять легко, а прожить и того легче; да платить-то чѣмъ мы станемъ?

Марья Алексѣевна. Какъ чѣмъ?.. Если мы будемъ жить за границею занятыми деньгами, такъ всѣ здѣшніе доходы пойдутъ на уплату долга.

Андрей Тихоновичъ. А если безъ насъ доходы-то будутъ плохіе или ихъ вовсе не будетъ—тогда что? Нѣтъ, мой другъ, — что Богъ дастъ впередъ, а въ нынѣшнемъ году намъ никакъ нельзя ѣхать за границу.

Марья Алексѣевна. Нельзя?.. Ну, дѣлать нечего, Андрей Тихоновичъ!.. Я до сихъ поръ скрывала отъ тебя — не хотѣла тебя огорчить, но теперь должна сказать всю правду. Неужели ты думаешь, что я хотѣла прожить за границею три года для одной только забавы?

Андрей Тихоновичъ. А для чего же, матушка?..

Марья Алексѣевна. Для моего здоровья, Андрей Тихоновичъ!.. Оно совершенно разстроено...

Андрей Тихоновичъ. Разстроено?.. Твое здоровье разстроено?

Марья Алексѣевна. Ужасно!.. Я совѣтовалась съ медиками, и они полагаютъ, что меня можетъ спасти одинъ теплый климатъ.

Андрей Тихоновичъ (*остолбенѣвъ отъ удивленія*). Спасти?.. Какъ спасти?..

Марья Алексѣевна. Да, мой другъ!.. И что для этого мнѣ непремѣнно надобно провести двѣ или три зимы въ Неаполѣ, Римѣ или, по крайней мѣрѣ, въ Парижѣ.

Андрей Тихоновичъ. Да что у тебя за болѣзнь такая, мой другъ? Понять не могу!.. Ты, благодаря Бога, кушаешь хорошо, почиваешь спокойно, румянецъ во всю щеку...

Марья Алексѣевна. Румянецъ во всю щеку!.. Да развѣ ты не знаешь, Андрей Тихоновичъ, что у чахоточныхъ людей всегда румянецъ...

Андрей Тихоновичъ. Что ты!.. что ты!.. Христосъ съ тобою!.. Ну, походишь ли ты на чахоточную?..

Марья Алексѣевна. Вы все судите по наружности, — а если бы вы знали, какъ я страдаю, какія у меня боли въ груди!.. Да вамъ какое до этого дѣло... Я худѣю, чахну...

Андрей Тихоновичъ. Худѣешь? Эхъ, матушка Марья Алексѣевна, охота тебѣ гнѣвить Бога! Да съ тѣхъ поръ, какъ я на тебѣ женился, ты такъ подобрѣла, что и сказать нельзя! Попробуй-ка, мой другъ, надѣнь теперь свое подвѣнечное платье...

Марья Алексѣевна. Я буду въ немъ, какъ въ мѣшкѣ, сударь. Да что объ этомъ говорить! Если вамъ легче видѣть меня въ гробу, чѣмъ ѣхать за границу, такъ дѣлать нечего. Мы, бѣдныя женщины, рождены для того, чтобъ быть невольницами, и если мужъ, — то-есть господинъ, скажетъ своей женѣ. «Я хочу, я приказываю!»—такъ она должна повиноваться и умирать.

Андрей Тихоновичъ. Марья Алексѣевна!.. Ну тебѣ ли это говорить?

Марья Алексѣевна (*не слушая*). Боже мой, да когда же наступитъ часъ нашего освобожденія!.. Неужели это рабское состояніе женщины будетъ продолжаться вѣчно?..

Андрей Тихоновичъ. Марья Алексѣевна!..

Марья Алексѣевна. Неужели мы должны всѣ, отъ рожденья нашего до самой смерти, носить эти позорныя кандалы?

Андрей Тихоновичъ. Марья Алексѣевна, побойся Бога!

Марья Алексѣевна. Когда подумаешь: что такое жизнь бѣдной женщины?.. Никакія жертвы, никакое самоотверженіе не избавляютъ ее отъ этого унизительнаго рабства! Ей только и твердятъ: «Терпи,—ты на это рождена!».. О, лучше бы намъ вовсе не родиться! (*закрываетъ глаза платкомъ*).

(*Входитъ двоюродная сестра Марьи Алексѣевны, Анна Михайловна Хопрова, женщина лѣтъ подъ сорокъ. Замѣтно, что она была недурна собою. Черные, быстрые глаза ея все еще прекрасны. Хопрова была два раза замужемъ и, вѣроятно, не отказалась бы отъ третьяго мужа, если бы онъ рѣшился идти по стопамъ обоихъ покойниковъ, то-есть любить свою жену со страхомъ и повиноваться ей съ трепетомъ. Она слыветъ въ своемъ кругу женщиной отличнаго ума; впрочемъ, можетъ-быть, потому, что мужья ея были люди очень простые,—а вѣдь, извѣстное дѣло, — если мужъ глупъ, а жена не полная дура, такъ она ужъ, вѣрно, прослыветъ умницей*).

Хопрова. Bon jour, cousine!.. Что это?.. Ты плачешь? Что съ тобой, мой другъ?

Марья Алексѣевна. Ахъ, Анета! Я самая несчастная женщина!

Хопрова. Что ты говоришь!

Марья Алексѣевна. Ахъ!

Хопрова. Да что такое у васъ сдѣлалось, Андрей Тихоновичъ?

Андрей Тихоновичъ. Анна Михайловна! Вы женщина умная, — ну, разсудите насъ, Бога ради! Вотъ *изволите видѣть*...

Марья Алексѣевна. (*прерывая*). Ты знаешь, мой другъ, какъ я нездорова!

Хопрова. Да, да, Магіе! Ты такъ же, какъ я, очень страдаешь нервами.

Марья Алексѣевна. Что нервы!.. Объ этомъ я не стала бы и думать! А грудь, мой другъ, грудь!..

Хопрова (*съ невольнымъ удивленіемъ*). Грудь?

Марья Алексѣевна. Теперь скрывать ужъ нечего; ты знаешь...

Хопрова. Что у тебя разстроена грудь?.. Какъ же, какъ же—знаю!.. Ты давно уже на нее жалуешься.

Марья Алексѣевна. Слышите, сударь!.. Ты знаешь также, что я потихоньку отъ мужа совѣтовалась съ медиками...

Хопрова. Знаю, знаю!

Марья Алексѣевна. Слышите сударь!.. Не правда ли: я говорила тебѣ, что всѣ доктора совѣтуютъ мнѣ ѣхать за границу?..

Хопрова. Говорила, мой другъ, говорила:

Марья Алексѣевна. Слышите, сударь!.. И что мнѣ непремѣнно должно прожить года два или три въ теплomъ климатѣ,—что это одно можетъ спасти меня отъ смерти?..

Хопрова. Да, да, Магіе! Ты мнѣ это говорила.

Марья Алексѣевна. И чтожъ ты думаешь, мой другъ? Андрей Тихоновичъ не хочетъ везти меня за границу, — ему жаль денегъ...

Хопрова. Андрей Тихоновичъ, вы ли это?

Андрей Тихоновичъ. Матушка, выслушайте, меня!..

Хопрова. Помилуйте!.. У вашей жены смертельная болѣзнь,—вы можете спасти ее, и жалѣете денегъ!

Андрей Тихоновичъ. Позвольте вамъ только сказать.

Хопрова. Что вы, что вы!.. Да это неслыханное дѣло!.. Это ни на что не походитъ!..

Андрей Тихоновичъ. Дайте же мнѣ вымолвить слово: вѣдь я за пять минутъ до вашего пріѣзда былъ согласенъ ѣхать на два года за границу...

Хопрова. Такъ отчего жъ теперь?..

Андрей Тихоновичъ. Вотъ прочтите письмо отъ приказчика! Лучшее наше имѣніе выгорѣло до тла, сгорѣлъ весь хлѣбъ, доходовъ никакихъ не будетъ, и, чтобы ѣхать за границу, намъ придется заложить послѣднее имѣніе въ опекунскій совѣтъ... Ну, разсудите сами...

Хопрова. Фи!.. Мнѣ стыдно за васъ, Андрей Тихоновичъ! Ну, что такое заложить имѣніе?... Всякій порядочный мужъ себя заложитъ, когда дѣло идетъ о здоровьѣ его жены...

Андрей Тихоновичъ. Такъ, матушка, такъ!.. Да вѣдь, воля ваша, я не думаю, чтобъ она была такъ опасно больна... Право, можно повременить!.. Зимой, въ большіе хо-

лода мы не станемъ выѣзжать, а Богъ дастъ будущею весною...

Марья Алексѣевна. Ну!.. Слышишь, кузина?.. Вотъ моя участь!..

Хопрова. Признаюсь!.. Нѣтъ, Андрей Тихоновичъ, этого я отъ васъ не ожидала!..

Марья Алексѣевна. А я то развѣ ожидала, мой другъ?.. Глупая, неопытная дѣвочка, я думала: выйду замужъ за человѣка, который вдвое меня старѣе; ужъ если всѣ мужья тираны, такъ, по крайней мѣрѣ, этотъ, хотя изъ благодарности, станетъ меня баловать, любить, какъ дочь родную. И что-жъ? Этотъ мужъ, чтобъ сберечь нѣсколько тысячъ рублей, говоритъ своей умирающей женѣ: «Нѣтъ, матушка, зачѣмъ тебѣ ѣхать въ теплый климатъ,—ты можешь сидѣть дома: въ натопленной комнатѣ такъ-же тепло, какъ и въ Италіи. Да и чахотка-то у тебя только начинается. Къ чему торопиться: можетъ-быть, и такъ пройдетъ».

Андрей Тихоновичъ. Эхъ, Марья Алексѣевна, боишься ли ты Бога? За что ты меня обижаешь?.. Ну, если ты ужъ непремѣнно хочешь, такъ поѣдемъ за границу,—только не на два года.

Марья Алексѣевна. А на сколько-же, сударь?

Андрей Тихоновичъ. Да этакъ мѣсяца на три... Ну, пожалуй, — такъ и быть: на четыре.

Хопрова (*тихо Марьѣ Алексѣевнѣ*). А, торгуется!.. Не уступай!

Марья Алексѣевна. Нѣтъ, Андрей Тихоновичъ, зачѣмъ, вѣдь это не сдѣлаетъ мнѣ никакой пользы, а только больше меня разстроитъ.

Андрей Тихоновичъ (*собравшись съ духомъ*). Такъ ты не хочешь ѣхать...

Марья Алексѣевна (*рѣшительно*). На четыре мѣсяца?.. Не хочу!

Андрей Тихоновичъ. Ну, какъ хочешь, матушка!

Марья Алексѣевна. Что-жъ дѣлать,— видно, ужъ Богу угодно, чтобъ я умерла въ молодости.

Хопрова. Это ужасно!.. Андрей Тихоновичъ!..

Андрей Тихоновичъ. И, полноте, матушка!.. Что въ самомъ дѣлѣ, дуракъ что ли я вамъ достался! Все была здорова, а тутъ вдругъ...

Марья Алексѣевна. Такъ вы думаете, что я васъ обманывала?.. Что я здорова?

Андрей Тихоновичъ. Я думаю, матушка, что болѣзнь твоя вовсе не такъ опасна, какъ тебѣ кажется, и что я очень глупо сдѣлаю, если совершенно разорюсь и останусь, можетъ-быть, безъ куска хлѣба, потому только...

Марья Алексѣевна. Ну, сударь, договаривайте!

Андрей Тихоновичъ. Потому только, что тебѣ вообразилось, что у тебя чахотка.

Марья Алексѣевна. (*Хопровой*). Слышишь, мой другъ? Ну, не правду ли я говорила?

Хопрова. Нѣтъ, это выходитъ изъ всѣхъ границъ!.. Вы, сударь, не человѣкъ, а чудовище!

Андрей Тихоновичъ. Покорнѣйше благодарю!

Хопрова. Въ васъ нѣтъ ни сердца, ни души!

Андрей Тихоновичъ. Знаю, сударыня, знаю! Не по вашему дѣлаютъ, такъ и души нѣтъ! Да вѣдь съ вами не переговоришь! (*Обращаясь къ женѣ*). Хочешь, Марья Алексѣевна, ѣхать на четыре мѣсяца за границу?

Марья Алексѣевна. Нѣтъ, сударь, не хочу!

Андрей Тихоновичъ. Рѣшительно?

Марья Алексѣевна. Рѣшительно.

Андрей Тихоновичъ. Такъ мы послѣзавтра поѣдемъ въ Воропановку. Прощай! (*Уходитъ*).

Хопрова. О, да какъ ты избаловала своего мужа!.. Онъ приказываетъ, повелѣваетъ!.. Seigneur et maitre!

Марья Алексѣевна. Ахъ, кузина!.. Я въ самомъ ужасномъ положеніи!.. Вообрази, мой другъ: въ то самое время, какъ Андрей Тихоновичъ согласился ѣхать на два года за границу, пожаловала къ намъ Сусликова— и знаешь ли зачѣмъ? Чтобъ сказать мнѣ, что она ѣдетъ въ Карлсбадъ. Сусликовой хотѣлось почваниться передо мной, унизить меня. Разумѣется, ей не удалось: я совершенно ее уничтожила, когда сказала, что ѣду за границу не на четыре мѣсяца, а на нѣсколько лѣтъ, и не въ этотъ пошлый Карлсбадъ, а на берега Рейна, въ Римъ, Неаполь и Парижъ. Представь же себѣ, какое будетъ торжество для этой Сусликовой,—она поѣдетъ за границу, а я въ Воропановку!

Хопрова. Да, это досадно!

Марья Алексѣевна. Досадно!.. Нѣтъ, не досадно, а убійственно, мой другъ? Когда я подумаю, какую роль станетъ играть въ Москвѣ эта Сусликова!.. Да мнѣ просто отъ нея житья не будетъ!.. Она начнетъ при мнѣ разсказывать о чужихъ краяхъ,—какъ тамъ все прекрасно, удивительно, безподобно!.. А я слушай, да молчи!.. Еще, пожалуй...— да, кузина, отъ нея станется—она привезетъ мнѣ гостинецъ изъ Карлсбада. О, я всего ожидаю отъ этой негодной женщины!

Хопрова. Что-жъ ты намѣрена дѣлать?

Марья Алексѣевна. Да что, мой другъ: ужъ не поѣхать ли также въ Карлсбадъ мѣсяца на четыре?

Хопрова. Что ты, что ты!.. Ты могла это сдѣлать прежде; но теперь, когда мужъ твой осмѣлился предписывать тебѣ законы... О, нѣтъ, Marie!—Il faut montrer du caractère.

Марья Алексѣевна. А если Андрей Тихоновичъ...

Хопрова. И, полно, мой другъ!.. Что Андрей Тихоновичъ! Андрей Тихоновичъ мужъ, какъ и всѣ другіе. Онъ не вѣритъ, что ты больна... Посмотримъ, какъ онъ не повѣритъ, если услышитъ то-же самое отъ доктора.

Марья Алексѣевна. Да, можетъ-быть, онъ и доктору не повѣрятъ...

Хопрова. Такъ мы сдѣлаемъ консиліумъ... Да я надѣюсь, что до этого не дойдетъ. Кто вашъ докторъ?

Марья Алексѣевна. Теперь у насъ никого нѣтъ.

Хопрова. Такъ я привезу къ тебѣ моего доктора; Ѳома Ѳомичъ Дупельшнепъ—прекрасный человѣкъ: всѣхъ отправляетъ за границу.

Марья Алексѣевна. А если онъ, такъ-же, какъ мужъ, станетъ судить по наружности и найдетъ, что я...

Хопрова. Что ты здорова? Сохрани, Господи!.. Не такой человѣкъ, мой другъ!. Какъ бы ты ни казалась здоровою, а ужъ онъ непремѣнно отыщетъ въ тебѣ зародышъ какой-нибудь болѣзни,—отличный докторъ!

Марья Алексѣевна. Но все, я думаю, лучше, если ты скажешь ему...

Хопрова. Не безпокойся!.. Да что-жъ мы сидимъ здѣсь, въ проходной комнатѣ? Пойдемъ лучше въ твой кабинетъ: мнѣ еще надобно о многомъ поговорить съ тобою...

Марья Алексѣевна. Allons, ma cousine. (*Уходятъ*).

---

2. ОТЪѢЗДЪ.

(*Спустя три недѣли*).

(*Село Всесвятское. У самаго выѣзда, на большой петербургской дорогѣ стоитъ запряженная шестерикомъ четверомѣстная карета. Извозчикъ перекладываетъ одну изъ отлетныхъ лошадей въ корень; ему помогаетъ слуга въ дорожной курткѣ. На козлахъ сидитъ Андрей Тихоновичъ Оборкинъ въ сѣромъ пальто и кожаномъ картузѣ; онъ куритъ трубку. Въ каретѣ, разумѣется, на первомъ мѣстѣ, Марья Алексѣевна, въ шляпкѣ съ зеленымъ вуалемъ; рядомъ съ ней старая нѣмка Шарлотта Карловна, въ кисейномъ чепцѣ; впереди сидитъ повязанная краснымъ платкомъ горничная дѣвушка. Навстрѣчу къ каретѣ, съ петербургской стороны, шибкой рысью несется открытая коляска. Въ ней сидитъ человѣкъ лѣтъ сорока, въ плащѣ и бѣлой шляпѣ, съ широкими полями.*)

Проѣзжій въ бѣлой шляпѣ. Что это?.. Да это, никакъ?.. Ну, такъ и есть!.. Стой!.. (*Коляска поровнявшись съ каретой, останавливается*). Андрей Тихоновичъ!..

Андрей Тихоновичъ. Что я вижу?.. Сурскій!..

Сурскій (*выходя изъ коляски*). Я, мой другъ, я!

Андрей Тихоновичъ (*спускаясь съ козелъ*). Какая встрѣча!.. Здравствуй, дружище! (*Обнимаются*). Откуда Богъ несетъ?

Сурскій. Изъ Питера.

Андрей Тихоновичъ. Куда?

Сурскій. Въ Москву.

Андрей Тихоновичъ. Проѣздомъ?

Сурскій. Нѣтъ, на житье.

Андрей Тихоновичъ. Что ты говоришь?.. Ахъ, Господи, вотъ досада-то, подумаешь! Какъ нарочно: ты въ Москву, а я изъ Москвы!

Сурскій. Да ты куда ѣдешь? Въ Петербургъ?

Андрей Тихоновичъ. Охъ, нѣтъ, мой другъ!.. За границу.

Сурскій. Вотъ что!.. Да, что это братецъ, иль тебѣ въ каретѣ-то мѣста нѣтъ?

Андрей Тихоновичъ. Какъ не быть.

Сурскій. Такъ зачѣмъ же ты на козлахъ сидѣлъ?

Андрей Тихоновичъ. Да вотъ, какъ видишь, трубочку покуриваю.

Сурскій. А, видно, въ каретѣ-то...

Андрей Тихоновичъ. Не любятъ!

Сурскій. Ага, любезный. Вотъ то-то!.. Жениться захотѣлъ.

Марья Алексѣевна (*выглянувъ въ окно*). Эй, голубчикъ!.. Ямщикъ!.. Да скоро ли ты кончишь?

Ямщикъ. Мигомъ, матушка, мигомъ!

Сурскій (*вполголоса*). Андрей Тихоновичъ, это твоя барыня?

Андрей Тихоновичъ. Д-да, мой другъ!

Сурскій. Ну, братъ, поздравляю!.. Ты человѣкъ со вкусомъ!.. Да жена-то у тебя красавица!.. Любо посмотрѣть!.. Вотъ ужъ подлинно кровь съ молокомъ... Такъ ты ѣдешь въ чужіе края, чтобъ потѣшить молодую жену?..

Андрей Тихоновичъ. Охъ, братъ'.. Чего мнѣ будетъ стоить эта поѣздка!.. Вѣдь мы ѣдемъ на два года.

Сурскій. На два года? Да, любезный, это станетъ тебѣ въ копѣйку.

Андрей Тихоновичъ. Къ тому жъ и дѣла-то мои не больно хороши: лучшая деревня сгорѣла.

Сурскій. Такъ что жъ тебѣ за охота?..

Андрей Тихоновичъ. А что будешь дѣлать!.. Моя Марья Алексѣевна...

Сурскій (*прерывая*). Отдала приказъ, такъ ты ослушаться не смѣешь?.. Эге, любезный!.. Да ты, я вижу, вовсе подъ каблучкомъ у твоей законной половины!

Андрей Тихоновичъ (*обидясь*). Нѣтъ, Степанъ Ивановичъ, ошибаешься любезный! Я не такой мужъ, чтобъ сталъ передъ моей женой по струнке ходить; я на ней женился, а не въ крѣпость пошелъ.

Сурскій. Однако-жъ все-таки въ угоду молодой женѣ ѣдешь за границу.

Андрей Тихоновичъ. Въ какую угоду!.. Поѣдешь, братъ, и за тридесять земель, когда дѣло идетъ о здоровьѣ.

Сурскій. О здоровьѣ? Ну, это другая рѣчь... Да чѣмъ же ты боленъ, Андрей Тихоновичъ?

Андрей Тихоновичъ. Не я!

Сурскій. А кто жъ? Вѣдь, кажется, у тебя дѣтей нѣтъ?

Андрей Тихоновичъ. Жена больна, мой другъ.

Сурскій. Жена?.. Вотъ эта дородная барыня, которую я сейчасъ видѣлъ?

Андрей Тихоновичъ. Да.

Сурскій. Ахъ, батюшки! Ну, кто бы могъ подумать?..

Андрей Тихоновичъ. Послушай, мой другъ: ты теперь ѣдешь на житье въ Москву,—сдѣлай милость: я напишу изъ Петербурга къ моему приказчику, чтобъ онъ во всемъ къ тебѣ относился... Я было просилъ объ этомъ кой-кого изъ моихъ московскихъ пріятелей, да все люди ненадежные.

Сурскій. Очень радъ, мой другъ!

Андрей Тихоновичъ. Я и прежде былъ долженъ въ опекунскій совѣтъ, а теперь еще заложилъ деревню, — такъ ужъ сдѣлай милость — потрудись изъ моихъ доходовъ вносить проценты, и если будущей зимой встрѣтится что-нибудь неожиданное, напиши ко мнѣ въ Римъ, на имя банкира... эхъ, забылъ!.. Ну, да все равно: адресуй просто въ Римъ, съ удержаніемъ на почтѣ.

Сурскій (*заглядывая въ карету*). Хорошо, мой другъ, хорошо!

Ардрей Тихоновичъ. Ты гдѣ будешь жить въ Москвѣ?

Сурскій. Въ домѣ моей тетки, на Никитской.

Андрей Тихоновичъ. А, знаю, знаю!

Сурскій. Такъ твоя жена больна?

Андрей Тихоновичъ. И очень не хорошо, мой другъ... Ее можетъ только спасти теплый климатъ.

Сурскій. Да чѣмъ же она нездорова?

Андрей Тихоновичъ. Мнѣ докторъ объявилъ рѣшительно, что у нея начинается чахотка.

Сурскій. Что ты, Андрей Тихоновичъ?.. Перекрестись!

Андрей Тихоновичъ. И я также, братецъ, этому не вѣрилъ, да Ѳома Ѳомичъ мнѣ доказалъ, какъ дважды два четыре, что у ней всѣ признаки этой ужасной болѣзни,— только она еще не развилась, и для нашей братьи, темныхъ людей, вовсе не замѣтна, но что внутренній организмъ рѣшительно пораженъ.

Марья Алексѣевна (*выглянувъ въ окно кареты*). Андрей Тихоновичъ, ну, что-жъ *ты не* садишься? Тебя дожидаются.

Андрей Тихоновичъ. Прощай, Степанъ Ивановичъ! Теперь у меня на душѣ будетъ полегче: есть кому позаботиться о моихъ дѣлахъ. До свиданія, мой другъ.

Сурскій (*который во все это время смотритъ внимательно на Марью Алексѣевну*). Постой, постой!.. Одно только слово. Какъ зовутъ вашего доктора?

Андрей Тихоновичъ. Ѳома Ѳомичъ Дупельшнепъ. А на что тебѣ?

Сурскій. Какъ на что, любезный: я теперь московскій житель и могу попасть къ нему на руки...

Андрей Тихоновичъ. Такъ что-жъ?

Сурскій. А вотъ что, мой другъ: если онъ мнѣ скажетъ, что у меня чахотка, такъ я вмѣсто козлинаго молока, буду пить шампанское.

Андрей Тихоновичъ. Ты все, братъ, такой же балагуръ, какъ и прежде...

Марья Алексѣевна. Андрей Тихоновичъ, да что-жъ вы не садитесь?

Андрей Тихоновичъ (*влѣзая на козлы*). Сейчасъ, сейчасъ!

Ямщикъ (*расправивъ вожжи*). Эй, вы, соколики!

Сурскій (*садясь въ коляску*). Прощай, Андрей Тихоновичъ!.. Пошелъ!

---

3. ВОЗВРАЩЕНІЕ.

(*Спустя два года*).

(*Тверская застава. Шагахъ въ двухстахъ отъ нея, по одному изъ бульваровъ, между которыми проложено петербургское шоссе, идутъ двое мужчинъ; одинъ изъ нихъ Степанъ Ивановичъ Сурскій, другой—пріятель его Ѳедоръ Никитичъ Климовъ. По шоссе ѣдутъ шагомъ коляска и парная пролетка*).

Сурскій (*продолжая разговоръ*). Да, Ѳедоръ Никитичъ, какъ я ни хлопоталъ, а успѣха никакого не было. Я сдѣлалъ все, что отъ меня зависѣло; вчера былъ на послѣдней переторжкѣ; самъ я надавать не могъ, ты знаешь, я человѣкъ небогатый, — но уговорилъ Сундукова идти до двухсотъ рублей серебромъ за душу.

Климовъ. Ну, что-жъ, — это цѣна не дурная.

Сурскій. Имѣнье-то богатое! Не продавайся оно съ публичнаго торга, такъ охотно бы триста цѣлковыхъ за душу дали. Одна деревня въ двухъ верстахъ отъ Рыбинска, другая на Окѣ; строевой лѣсъ, поемные луга... Эхъ, жаль, мнѣ бѣднаго Андрея Тихоновича!.. Если-бъ онъ былъ самъ на-лицо, такъ авось бы какъ-нибудь извернулся... Лѣсъ могъ бы продать тысячъ на сто—охотники были, а безъ него что будешь дѣлать?

Климовъ. Да гдѣ онъ теперь!

Сурскій. Богъ знаетъ! Жена безпре-

станно таскаетъ его изъ одного мѣста въ другое. Въ концѣ прошлой зимы я написалъ къ нему въ Римъ, что его дѣла въ весьма худомъ положеніи. Въ одной деревнѣ крестьяне, у которыхъ все сгорѣло, вовсе обнищали, не пашутъ ни своей, ни барской земли, шатаются по большимъ дорогамъ да милостыню просятъ; въ другой — оброчные совсѣмъ отъ рукъ отбились, не платятъ, да и только! Въ третьей—хлѣбъ не уродился; доходовъ никакихъ нѣтъ, а между тѣмъ надобно вносить проценты въ опекунскій совѣтъ. На это письмо отвѣта не было; да и быть не могло, потому что я черезъ недѣлю получилъ отъ него письмо изъ Парижа. Спустя нѣсколько мѣсяцевъ, я отправилъ къ нему письмо въ Парижъ, и совѣтовалъ какъ можно скорѣе воротиться въ Россію, потому что чрезъ шесть мѣсяцевъ объ его оброчныя деревни, за просрочку въ опекунскій совѣтъ, будутъ продаваться съ публичнаго торга и что онъ можетъ остаться при одной орловской деревнѣ, которая, послѣ пожара, гроша не стоитъ. Жду пожду, брякъ отъ него письмо изъ Венеціи, жалуется, что я къ нему не пишу, что Венеція городъ прескучный: земли вовсе нѣтъ, каменные пустые дома; вмѣсто улицъ каналы съ вонючей водой, а вмѣсто экипажей черныя лодки, которыя, дескать, называются здѣсь гондолами. Я написалъ къ нему въ Венецію, послалъ на почту, а мнѣ несутъ съ почты отъ него письмо изъ Неаполя. Вотъ и третье мое письмо въ воду кануло. «Мы съ женою,—пишетъ онъ, — другой мѣсяцъ живемъ на берегу моря, въ загородномъ домѣ, которые называютъ здѣсь виллами. Жара смертная... денегъ выходитъ пропасть... Впрочемъ, благодаря Бога, женѣ лучше, грудью перестала жаловаться и очень раздобрѣла; только одно меня безпокоитъ: у ней сдѣлалась одышка; я думалъ сначала, что это просто отъ толстоты, но Марья Алексѣевна говоритъ, что здѣшніе доктора приписываютъ это слабости легкихъ, и что ей должно еще непремѣнно около года прожить въ тепломъ климатѣ». Потомъ Андрей Тихоновичъ разсказываетъ мнѣ, какъ жена таскала его на Везувій; что ее несли на носилкахъ, а онъ сначала ѣхалъ на ослѣ, а тамъ шелъ пѣшкомъ и такъ умаялся, что, пріѣхавши домой, слегъ въ постель, да три недѣли былъ боленъ. Онъ оканчиваетъ свое письмо тѣмъ, что проситъ переслать къ нему въ Неаполь все, что получено съ его деревень въ теченіе осьмнадцати мѣсяцевъ. Разумѣется, я отвѣчалъ ему, то-есть повторилъ все то, что писалъ въ письмѣ моемъ, адресованномъ въ Венецію. Не знаю, получилъ ли его Андрей Тихоновичъ, только съ тѣхъ поръ я не имѣю о немъ никакого извѣстія.

Климовъ. Бѣдный старикъ! И что это пошло на нашихъ московскихъ барынь, словно новѣтріе какое: всѣ такъ и рвутся за границу. Вотъ у меня есть родственникъ, Сергѣй Александровичъ Сусликовъ, человѣкъ небогатый, всего тысячъ десять въ годъ доходу, однако-жъ, жилъ кое-какъ въ Москвѣ. Жена уговорила его съѣздить за границу; съѣздили, да вотъ теперь третій годъ и живутъ въ калужской деревнѣ: справиться не могутъ. Видно, что надъ нами сбывается русская пословица: «куда конь съ копытомъ, туда и ракъ съ клешней». Люди богатые, образованные, стали ѣздить за границу, вотъ и всѣ наши полуграмотные, мелкопомѣстные дворянчики туда же поднялись!.. Говорятъ, что извѣстная русская путешественница, госпожа Курдюкова, совершенно невѣроподобное созданіе, каррикатура!.. Неправда! Я на свою долю знаю одну и даже двухъ Курдюковыхъ, которыя ѣздили *а летранже*, срамились, убили послѣднее свое имѣньишко, и, что всего хуже, назывались за границею русскими барынями.

Сурскій. Что-жъ дѣлать, Ѳедоръ Никитичъ, какъ бы человѣкъ ни былъ плохъ, а все вѣдь онъ не запрещенный товаръ: нельзя не пропустить за границу.

Климовъ. Да пусть бы себѣ пропускали, только не подъ русскимъ клеймомъ. (*Въ продолженіе этого разговора они подходятъ къ заставѣ и останавливаются подлѣ двухъ мужиковъ, которые смотрятъ на тріумфальныя ворота; рядомъ съ мужиками стоитъ ямщикъ, держа въ поводу тройку почтовыхъ лошадей*).

Первый мужикъ. Андрюша!.. Что это, братъ, за ворота такія?

Второй мужикъ. Застава.

Первый мужикъ. Застава-то—вотъ!.. Я те говорю про ворота.

Второй мужикъ. Да это все едино.

Первый мужикъ. Нѣтъ, не едино! Я заставы-то видывалъ: и Рогожскую, и Серпуховскую, и Калужскую, а это ворота,—такъ они, какъ ни на есть, да прозываются, вотъ, примѣромъ, Спасскія ворота, Иверскія ворота, Красныя ворота...

Ямщикъ. А это, братъ, Трухмальныя ворота.

Первый мужикъ. Трухмальныя?.. Вишь какія!.. Да что это на верху-то за баба съ крыльями ѣдетъ шестерикомъ.

Ямщикъ. Шестерикомъ?.. И впрямь шестерикомъ? Какъ же такъ?.. Вѣдь шестерикомъ-то въ рядъ ѣздить заказано.

Второй мужикъ. Да эти, братъ, лошадки смирныя; не разобьютъ. (*Мужики смѣются*).

Климовъ. А вотъ, кажется, ѣдетъ дилижансъ изъ Петербурга... Ну, такъ и есть! (*Дилижансъ останавливается у шлагбаума. Кондукторъ слѣзаетъ съ козелъ и идетъ въ караульню*).

Сурскій. Биткомъ набитъ! Вонъ, позади и въ кабріолетѣ трое сидятъ.

Одинъ изъ проѣзжихъ въ кабріолетѣ.

Охъ, какъ у меня ноги-то затекли!.. Проклятая ѣзда! Вотъ пытка-то, подумаешь!.. Что это? Степанъ Ивановичъ!

Сурскій. Андрей Тихоновичъ!..

Андрей Тихоновичъ (*Выпрыгая изъ кабріолета*). Ну, слава Богу!.. Хоть первая-то встрѣча хороша! Здравствуй, мой другъ сердечный! (*Обнимаются*).

Сурскій. Скажи, пожалуйста,—опять мы встрѣтились съ тобой на большой дорогѣ! И оба раза ты такимъ молодцомъ!.. Тогда ѣхалъ на козлахъ, теперь въ кабріолетѣ...

Андрей Тихоновичъ. Эхъ, братъ!.. И то Божья милость, что какъ-нибудь да доѣхалъ до Москвы!.. Ну, Степанъ Ивановичъ, я послѣднее твое письмо получилъ!.. Что, братъ, и спрашивать нечего... Кулябкино и Вихляевка...

Сурскій. Да, мой другъ!.. Вчера была послѣдняя переторжка...

Андрей Тихоновичъ. Такъ проданы!.. И, чай, за бездѣлицу!..

Сурскій. Нѣтъ, порядочно: по двѣсти цѣлковыхъ за душу.

Андрей Тихоновичъ (*перекрестясь*) Слава Богу!.. Такъ я еще не совсѣмъ нищій.

Сурскій. Нѣтъ, мой другъ, — тебѣ причитается много денегъ получить изъ опекунскаго совѣта.

Андрей Тихоновичъ. Охъ, братъ... Да, чай, и много ихъ понадобится, чтобъ поправить Воропановку? Ты пишешь, что она помиру ходитъ...

Сурскій. Да, Андрей Тихоновичъ... Ну, дорого тебѣ стоитъ эта прогулка за границу!

Андрей Тихоновичъ. Что-жъ дѣлать!.. Понатерпѣлся я горя, а особливо послѣднее время. Денегъ оставалось только что на проѣздъ до Петербурга, и то водою; думаю, какъ занемогу—бѣда!.. Придется умереть на чужой сторонѣ, да еще какъ: безъ покаянія... Повѣришь ли,—и теперь, какъ подумаю объ этомъ, такъ волосы дыбомъ становятся.

Сурскій. По крайней мѣрѣ, здоровье твоей жены...

Андрей Тихоновичъ. По мнѣ бы, кажется, слава Богу... Она и прежде была женщина дородная, а теперь вдвое стала толще.

Сурскій. Такъ въ другой разъ за границу ѣхать не зачѣмъ?

Андрей Тихоновичъ. А Богъ знаетъ!

Сурскій. Какъ такъ?..

Андрей Тихоновичъ. Да вотъ, изволишь видѣть: прежніе припадки всѣ миновались, а на мѣсто ихъ появились другіе. Жена говоритъ, что она чувствуетъ себя хуже прежняго и, по совѣту докторовъ, должна непремѣнно ѣхать на пирмонтскія воды...

Сурскій. Лѣчиться отъ чахотки?

Андрей Тихоновичъ. Нѣтъ, Степанъ Ивановичъ,—*страшно вымолвить*: отъ водяной. (*Въ продолженіе этого разговора кондукторъ вышелъ изъ караульни и сѣлъ на козлы*).

Караульный унтеръ-офицеръ. Подвысь!.. (*Часовой поднимаетъ шлагбаумъ. Дилижансъ ѣдетъ*).

Андрей Тихоновичъ. Постой, постой!..

Сурскій. Оставь ихъ, братецъ! Я довезу тебя въ моей коляскѣ. Садись!

Андрей Тихоновичъ. Въ самомъ дѣлѣ, довези, любезный! Да только ужъ, пожалуйста, поскорѣе; вѣдь моя барыня-то одна-одинехонька.

Сурскій. Какъ такъ?

Андрей Тихоновичъ! Да, любезный: нѣмка Шарлотта Карловна осталась въ Пруссіи, Артемка убѣжалъ отъ насъ въ Италію, а Матрешку сманили въ Парижѣ. (*Садятся в коляску и ѣдутъ*).

Климовъ (*глядя вслѣдъ за ними*). Бѣдняжка!.. Чай, поѣхалъ бариномъ въ своей каретѣ, съ людьми... А назадъ-то какъ вернулся!.. И то сказать, конечно, и онъ самъ разорился, крестьянъ пустилъ по-міру, да зато женѣ есть чѣмъ похвастаться: «была за границею».

V.

Письмо изъ Арзамаса.

„Воскреснемъ ли когда отъ чужевласты модъ?..
Чтобъ умный, добрый нашъ народъ
Хотя по языку насъ не считалъ за нѣмцевъ“...

Грибоѣдовъ.

Мнѣ случилось однажды быть въ обществѣ, гдѣ чрезвычайно много толковали о разныхъ европейскихъ вопросахъ, о требованіяхъ вѣка и, въ особенности, о народномъ просвѣщеніи или, по нынѣшнему, *цивилизаціи*. Болѣе всѣхъ разглагольствовалъ одинъ баринъ съ рыжей бородкой и длинными волосами «а-ля мужикъ». Онъ съ удивительнымъ жаромъ доказывалъ необходимость заведенія повсемѣстныхъ школъ въ Россіи, называлъ эти школы *нормальными;* говорилъ такъ краснорѣчиво и такимъ непонятно ученымъ языкомъ, что всѣ слушали его въ почтительномъ молчаніи. Въ числѣ этихъ слушателей нашелся, однако-жъ, такой безсовѣстный человѣкъ, который, вмѣсто того, чтобъ скрывать свое невѣжество, не постыдился спросить у этого барина—что такое *нормальная* школа. Вы не можете себѣ представить, до какой степени этотъ неожиданный вопросъ смутилъ моего краснорѣчиваго мудреца: онъ вспыхнулъ, замялся, пробормоталъ что-то сквозь зубы и тотчасъ перемѣнилъ разговоръ,— однимъ словомъ, нельзя было не замѣтить,

что онъ и самъ не зналъ порядкомъ, что такое *нормальная* школа, и, говоря вообще о первоначальныхъ учебныхъ заведеніяхъ, называлъ ихъ нормальными ради того только, чтобъ придать болѣе важности рѣчамъ. Впрочемъ, подобные случаи бываютъ у насъ нерѣдко, и вы можете встрѣтить на каждомъ шагу людей, которые, какъ ученые попугаи, повторяютъ натолкованныя имъ слова, не понимая сами настоящаго ихъ смысла.

Нѣтъ, вовсе не таковъ старинный мой пріятель Андрей Яковлевичъ Мироновъ. Прослуживъ съ честью лѣтъ сорокъ, онъ живетъ теперь на покоѣ въ уѣздномъ городѣ Арзамасѣ. Андрей Яковлевичъ не можетъ похвастаться ученостью: не знаетъ иностранныхъ языковъ, не имѣетъ никакого понятія о нѣмецкой философіи; однако-жъ, старикъ неглупый, большой охотникъ до чтенія и, въ нѣкоторомъ отношеніи, человѣкъ очень любознательный. Напримѣръ, если онъ встрѣтитъ въ книгѣ какое-нибудь новое для него слово, то не успокоится до тѣхъ поръ, пока не доберется до настоящаго смысла этого слова. Онъ пересмотритъ всѣ словари, переговоритъ со всѣми учителями уѣзднаго училища, и если найдетъ ихъ толкованія неудовлетворительными, то, при первомъ случаѣ, поѣдетъ въ губернскій городъ и отнесется прямо къ господину директору гимназіи, но, видно, и это послѣднее средство не всегда удается моему пріятелю, потому что я, надняхъ, получилъ отъ него преогромное письмо, которое почти все составлено изъ однихъ вопросовъ.—«Я, батюшка, человѣкъ не многоязычный,—говоритъ онъ въ началѣ письма,—я знаю только свой родной языкъ и, кажется, знаю его порядочно, а вотъ съ нѣкотораго времени стали мнѣ попадаться, особенно въ одномъ журналѣ, такія странныя слова, какихъ я въ жизнь свою не слыхивалъ. Конечно, Богданъ Ильичъ, въ ученомъ свѣтѣ часто создаются новыя науки и дѣлаются важныя открытія, которымъ надобно-же давать какія-нибудь названія,—да неужели ихъ нельзя найти въ нашемъ собственномъ языкѣ... Вотъ, напримѣръ, искусство посредствомъ солнечнаго свѣта дѣлать вѣрные снимки съ лицъ человѣческихъ и съ разныхъ другихъ предметовъ французы называютъ дагерротипомъ (фу, батюшки, насилу выговорилъ!); а вѣдь мы умѣли же это новое изобрѣтеніе назвать по-русски—и, воля ваша, слово «свѣтопись» понятнѣе и вѣрнѣе французскаго слова «дагерротипъ», которое, какъ я слышалъ, ровно ничего не значитъ. Да что объ этомъ толковать! Я человѣкъ простой и гдѣ мнѣ состязаться съ людьми учеными: мнѣ бы только понимать то, что они пишутъ; и вотъ почему, Богданъ Ильичъ, я покорнѣйше прошу васъ истолковать мнѣ, хотя приблизительно, значеніе нижеслѣдующихъ словъ».

Тутъ начинался предлинный списокъ словамъ, изъ которыхъ многія, дѣйствительно, могли бы сбить съ толку не только человѣка неученаго, но даже знаменитаго кардинала Меццофанти, который говоритъ и пишетъ свободно на семидесяти двухъ различныхъ языкахъ и нарѣчіяхъ. Я рѣшился отвѣчать Андрею Яковлевичу не письменно, а печатно,—во-первыхъ, потому, что, можетъ-быть, въ этомъ отвѣтѣ и читатели моихъ записокъ найдутъ что-нибудь дѣльное, а во-вторыхъ, для того, что это небольшое разсужденіе о словесномъ нашествіи иноплеменныхъ будетъ, кажется, совершенно у мѣста въ запискахъ стараго москвича, который любитъ свой родной языкъ не потому только, что этотъ языкъ называется русскимъ, а потому, что онъ истинно прекрасенъ; потому, что въ его могучихъ и роскошныхъ звукахъ отражается вся юношеская сила и вся мощь народа русскаго; потому, что этотъ языкъ такъ же самобытенъ, такъ же неистребимъ, такъ же великъ, какъ наша родина святая, которую не могли сокрушить ни татарскіе погромы, ни завоеванія поляковъ, ни нашествіе французовъ, ни даже собственныя смуты и междоусобія. Теперь объ этихъ народныхъ смутахъ и рѣчи нѣтъ, но въ словесности нашей онѣ еще водятся. Одни хотятъ передѣлать нашъ языкъ на французскій образецъ, нарядить этого русскаго великана въ какой-то пестрый шутовскій нарядъ; другимъ это вовсе не по-сердцу. Одни увѣряютъ, что по-русски нельзя и простого письма написать порядочно, а другіе убѣждены, что русскій, который не напишетъ порядочнаго письма по-русски, не напишетъ его ни на какомъ языкѣ. Одни ругаются именами Ломоносова, Державина и Карамзина, другіе гордятся этими великими именами. Одни увѣряютъ, что «Исторія Русскаго народа» все то же, что исторія грудного ребенка, а другіе говорятъ, что Русь и при Владимірѣ Святославичѣ не походила уже на малое дитя. Теперь вы видите, что въ нашей словесности дѣйствительно есть смуты и *усобицы*; не льется только кровь христіанская, не гибнетъ народъ православный, но зато чернила льются рѣкою и писчая бумага гибнетъ цѣлыми стопами.

Отвѣтное письмо Андрею Яковлевичу Миронову.

«Любезнѣйшій Андрей Яковлевичъ!

«Я получилъ ваше дружеское письмо и, надобно сказать правду, оно заставило меня призадуматься. Ну, задали вы мнѣ порядочную задачу! Я ужаснулся, когда окинулъ взглядомъ безконечный списокъ этихъ исковерканныхъ и перекроенныхъ на русскій ладъ иностранныхъ словъ; они, конечно, были для меня не новостью, но прежде эти изу-

вѣченные пришлецы встрѣчались со мною поодиночкѣ, а теперь, когда я увидѣлъ передъ собою это безобразное полчище *тенденцій, консеквенцій, субстанцій, абстракцій, эксплуатацій*, то, признаюсь, волосы стали у меня дыбомъ. Господи, Боже мой!.. Да это второе нашествіе галловъ и съ ними двадесяти языкъ! И добро бы еще всѣ эти уродливыя слова были для насъ необходимы, но когда подумаешь, что почти каждое изъ нихъ можно перевести буквально на русскій языкъ или, по крайней мѣрѣ, замѣнить русскимъ словомъ, заключающимъ въ себѣ тотъ же самый смыслъ, то поневолѣ скажешь: «Ну, господа преобразователи, много надобно имѣть вамъ гордости, упрямства и ненависти ко всему отечественному, чтобъ рѣшиться на такое нелѣпое искаженіе своего родного языка! Какъ бы порадовался знаменитый профессоръ *элоквенціи*, Тредьяковскій, если бы могъ провидѣть, какіе у него будутъ достойные послѣдователи! Вѣдь и онъ также, не тѣмъ будь помянутъ, любилъ употреблять безъ всякой нужды исковерканныя иностранныя слова, и онъ также называлъ достоинство *меритомъ* и говорилъ вмѣсто принадлежности—*атрибутъ*, а вмѣсто послѣдовательности — *консеквенція*. Бѣдный Тредьяковскій, жаль, что ты не дожилъ до нашего времени!»

«Несмотря на все мое желаніе угодить вамъ, почтеннѣйшій Андрей Яковлевичъ, я никакъ не могу отвѣчать на всѣ ваши вопросы: для этого мнѣ пришлось бы составить цѣлый пояснительный словарь. Позвольте мнѣ, на первый случай, истолковать вамъ значеніе только тѣхъ словъ, которыя, какъ вы сами говорите, болѣе другихъ тревожатъ вашъ любознательный и пытливый умъ. Вотъ эти слова: «*Тенденція, субстанція, цивилизація, гуманность, юмористика, меркантильная индустрія, ирритація и беллетристика*».

«*Тенденція* (tendance), по-русски *наклонность*, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ *направленіе*. Преемники Тредьяковскаго, вѣроятно, написали бы: «Тенденція умовъ совершенно гармонировала съ дѣйствіями правительства», или «Жители Океаніи имѣютъ пропонсированную тенденцію къ воровству». А русскій человѣкъ скажетъ: «*Направленіе* умовъ совершенно *согласовалося* съ дѣйствіями правительства». «Жители Океаніи имѣютъ явную *наклонность* къ воровству». Лѣтъ около ста тому назадъ, когда несчастный русскій языкъ напоминалъ вавилонское столпотвореніе, слово *тенденція* было неизвѣстно, но вмѣсто него часто употреблялось слово: *пропензія* (propention), которое значитъ почти то же самое.

«*Субстанція* (substance), слово отъ слова по русски: *сущность*. Даже въ обѣихъ грамматикахъ, русской и французской, часть рѣчи, называемая по-русски имя *существительное*, а по-французски le nom substantif, происходитъ *отъ одного и того же корня*. Теперь я спрашиваю: что за необходимость, изъ этихъ двухъ совершенно тожественныхъ словъ, употреблять непремѣнно французское слово, понятное только для тѣхъ, которые знаютъ этотъ языкъ? Вѣроятно, господа возстановители школы Тредьяковскаго скажутъ мнѣ:— «Да какой же порядочный человѣкъ не знаетъ по французски?» А я такъ думаю, что въ Англіи, Германіи и въ разныхъ другихъ государствахъ много есть порядочныхъ людей, которые не знаютъ французскаго языка, и что за странный выводъ такой, что за *курьезная консеквенція:* «Если хочешь понимать русскій языкъ, учись французскому?

«*Цивилизація* (civilisation),—производное реченіе отъ слова «civil», то-есть вѣжливый, общежительный; слѣдовательно, «civilisation» или цивилизація значитъ одно и то же, что наша *образованность*, а въ смыслѣ болѣе обширнѣйшемъ—*просвѣщеніе*. Спросите у любого грамотнаго француза, что онъ понимаетъ подъ словомъ «civilisation», и вы увидите, что онъ разумѣетъ подъ нимъ именно то-же, что мы разумѣемъ подъ словами просвѣщеніе и образованность, то-есть—общежительность, вѣжливость, науки, художества, изящныя искусства и образъ мыслей, сходный съ понятіями нашего вѣка; слѣдовательно, мы могли бы прожить и безъ этого новенькаго словца, которое не обогатило ни на волосъ ни нашъ языкъ, ни наши понятія. У французовъ есть еще слово «les lumiéres», которое, въ смыслѣ нашего «просвѣщенія», замѣняетъ иногда слово «civilisation». Ужъ намъ бы взять и его; ну, чѣмъ слово «люміеры» хуже цивилизаціи? Оно такъ же непонятно для русскаго человѣка и точно такъ же придаетъ какой-то ученый видъ разговору, а вѣдь мы изъ этого только и бьемся.

«Просвѣщеніе!.. Подумаешь, какое это чудное слово!.. Мы всѣ имъ очарованы, всѣ плѣняемся, а, между тѣмъ, никто еще не взялъ на себя труда опредѣлить настоящій смыслъ этого слова. Каждый толкуетъ его по-своему: для одного просвѣщеніе — даръ Божій, для другого—наказаніе небесное, и, какъ послушаешь, такъ они оба правы, а, кажется, истина должна быть одна? Ужъ не оттого ли это, что въ здѣшнемъ мірѣ все имѣетъ свою дурную и хорошую сторону? Вѣдь самое благодѣтельное цѣлебное лѣкарство можетъ превратиться въ ядъ, если мы станемъ употреблять его не такъ, какъ должно.

Вообще, наши понятія о просвѣщеніи бываютъ до того различны, что одни часто находятъ его въ полномъ развитіи тамъ, гдѣ другіе не замѣчаютъ и малѣйшихъ его признаковъ. Одни говорятъ, что просвѣщеніе начинаетъ уже проникать во всѣ слои нашего общества, другіе, и въ особенности усердные поклонники Запада, увѣряютъ, что оно не дѣлаетъ почти никакихъ успѣховъ въ нашемъ.

отечествѣ, что мы стоимъ все на одномъ мѣстѣ и отличаемся отъ своихъ предковъ только платьемъ и обритой бородой. Однимъ словомъ, что мы точно такіе же неучи, какими были лѣтъ за сто назадъ. Я желалъ бы спросить этихъ страстныхъ обожателей Запада: «Да что-жъ такое, господа, по-вашему—просвѣщеніе?.. Если вы разумѣете подъ этимъ распространеніе полезныхъ знаній, художествъ и наукъ, смягченіе нравовъ, повсемѣстное учрежденіе учебныхъ заведеній, умноженіе всѣхъ житейскихъ удобствъ, улучшеніе мануфактурныхъ издѣлій, усовершенствованіе ремесленной промышленности и устроеніе удобныхъ путей сообщенія, дающихъ новую жизнь внутренней торговлѣ государства,—такъ это все у насъ дѣлается; быть-можетъ, по-вашему, слишкомъ медленно, да вѣдь вы знаете, господа, что въ дѣлѣ просвѣщенія поспѣшность и скачки никуда не годятся. Ну, что бы вы сами сказали о человѣкѣ, который, не сдѣлавъ еще потолковъ и не сведя кровли надъ своимъ домомъ, началъ бы штукатурить и расписывать въ немъ стѣны, потому только, что сосѣди его, у которыхъ давно уже дома построены, принялись за эту окончательную работу. Вѣроятно, и вы нашли бы этотъ поступокъ необдуманнымъ... Такъ чего же вы хотите?.. Ужъ, полно, то ли вы разумѣете, господа, подъ вашею *цивилизаціею и прогрессомъ*? Не полагаете ли вы, что русскіе тогда только сдѣлаются просвѣщеннымъ народомъ, котда совершенно превратятся во французовъ, нѣмцевъ или англичанъ,—то-есть, станутъ жить какъ они, переймутъ всѣ ихъ обычаи, будутъ смотрѣть ихъ глазами, мыслить ихъ головой, закидаютъ грязью все родное и заговорятъ всѣ вашимъ исковерканнымъ полурусскимъ языкомъ? Да развѣ это просвѣщеніе? О, конечно, нѣтъ! Это не просвѣщеніе, а самое жалкое и презрительное обезьянство. Если образованные нѣмцы, англичане, голландцы, шведы и даже итальянцы, вовсе не походя на французовъ, имѣютъ право называться просвѣщенными людьми, такъ почему же русскій не можетъ заслужить этого названія, не утративъ своей народной самобытности. Нѣтъ, господа, въ наше время безусловное подражаніе всему иноземному есть чистый анахронизмъ. Одни только дѣти подражаютъ всему, не разсуждая, а намъ ужъ пора выйти изъ пеленокъ.

«*Гуманность*. Я думаю, что въ этомъ словѣ не всякій французъ узнаетъ свое «humanité», тѣмъ болѣе, что при передѣлкѣ «на русскіе нравы» оно получило смыслъ гораздо обширнѣйшій. Гуманность можно перевести русскимъ словомъ *человѣчность*, то есть способность сочувствовать всему, что составляетъ истинное достоинство человѣка, или вообще любовь ко всему человѣчеству и, разумѣется, въ самомъ высокомъ значеніи этого слова. Гуманность замѣнила у насъ другое выраженіе, которое уже нѣсколько поизносилось, а именно *космополитизмъ*. Вѣроятно, господа космополиты, сирѣчь—*граждане вселенной*, оправдываютъ это странное гражданство своей любовью ко всему человѣчеству; слѣдовательно, *гуманный* человѣкъ и космополитъ почти одно и то-же; надобно только сказать, что есть два рода космополитизма или *гуманности*: одинъ выражается не словами, а дѣломъ; другой по большей части ограничивается однимъ краснорѣчивымъ пустословіемъ; первый имѣетъ своимъ основаніемъ Законъ Божій, второй опирается на просвѣщеніе и философію, а самый опытъ не разъ намъ доказывалъ, какъ хрупки и ненадежны эти опоры. Любовь ко всему человѣчеству—какое прекрасное, высокое чувство! Въ духовномъ смыслѣ это едва ли не первая христіанская добродѣтель, но посмотримъ, то ли оно будетъ въ своемъ приложеніи къ нашему мірскому, грѣховному быту. Космополитъ, сирѣчь—человѣкъ гуманный, не хочетъ знать никакой исключительной любви; онъ любитъ всѣхъ одинаковымъ образомъ и заботится не о частномъ благѣ одного поколѣнія или одного народа, но о всемірномъ, общемъ благѣ всего рода человѣческаго; для него мало быть хорошимъ отцомъ семейства, полезнымъ членомъ общества, вѣрнымъ сыномъ своей родины,—онъ выше всего этого: онъ гражданинъ вселенной. Все это прекрасно, звучно и великолѣпно на бумагѣ, а въ самомъ то дѣлѣ почти всегда служитъ благовиднымъ предлогомъ, чтобъ не думать ни о чьемъ благѣ, кромѣ своего собственнаго. Другъ человѣчества, гражданинъ вселенной!.. Какія очаровательныя слова, и, въ то же время, какой вѣрный расчетъ! Эта многолюдная семья, которую мы называемъ отечествомъ, требуетъ отъ насъ иногда большого самоотверженія, великихъ жертвъ, а что можетъ требовать отъ одного человѣка вся вселенная?.. Будетъ и того, что онъ ее любитъ.

«Здѣсь кстати упомянуть о *филантропіи*, близкой родственницѣ этой модной *гуманности* и заштатнаго *космополитизма*. Филантропія—греческое составное слово, которое, Богъ знаетъ почему, попало, въ нашъ языкъ. Французы начали употреблять его потому, что въ ихъ языкѣ нѣтъ рѣшительно выраженія, которое заключало бы въ себѣ точный и полный смыслъ этого слова, а мы зачѣмъ взяли его у французовъ? У насъ есть звучное прекрасное слово: «человѣколюбіе», которое и по смыслу и по составу своему совершенно одно съ греческимъ словомъ филантропія, составленнымъ такъ же, какъ русское, изъ двухъ словъ: любовь и человѣкъ. И есть же люди, которые называютъ это обогащеніемъ языка! Я согласенъ, что языкъ обогащается, когда мы переносимъ въ него слова, заключающія въ себѣ новую мысль или понятіе, для которыхъ въ нашемъ языкѣ нѣтъ вѣрнаго и при-

личнаго выраженія, но если мы свое коренное слово замѣняемъ, безъ всякой нужды, совершенно тождественнымъ иностраннымъ словомъ, то, конечно, вовсе не обогащаемъ, а развѣ истощаемъ и портимъ свой собственный языкъ.

«*Юмористика*—производное рѣченіе отъ англійскаго слова «*юморъ*», которое, въ свою очередь, происходитъ отъ французскаго: «humeur». Слово «юморъ» даетъ понятіе о какой-то особенаго рода веселости, свойственной англичанамъ или, вѣрнѣе сказать, нѣкоторымъ англійскимъ писателямъ, во главѣ которыхъ стоитъ имя извѣстнаго юмориста Стерна, написавшаго романъ «Жизнь и мнѣнія Тристрама Шанди». Если вы спросите меня, можно ли слово «юмористика» перевести, хотя приблизительно, на русскій языкъ, то можетъ-быть я отвѣчалъ бы вамъ утвердительно, еслибъ не боялся, что меня закидаютъ камнями. Мнѣ кажется, лучше будетъ, когда я предоставляю вамъ самимъ разрѣшеніе этого вопроса. Вотъ, что понимаютъ англичане подъ словомъ «юморъ», разумѣется, въ томъ значеніи, о которомъ идетъ рѣчь. Англійскій словарь Royal Dictionary english and french опредѣляетъ смыслъ этого слова слѣдующимъ образомъ: «Юморъ — свойство воображенія, дающее всему оборотъ забавный, оригинальный и фантастическій; особенная способность ума показывать все въ *потѣшномъ*, *смѣшномъ и шутовскомъ* видѣ (grotesque)». Ну, теперь я спрошу васъ, какъ назовете вы русскаго человѣка, обладающаго этой способностью?.. Я вижу отсюда, что вы боитесь только вымолвить, а названіе этого человѣка вертится у васъ на языкѣ. Неправда ли, что этихъ людей зовутъ у васъ *балагурами*?.. Да, не пугайтесь! Во всякомъ случаѣ, камнями станутъ бросать не въ васъ, а въ меня, потому что я скажу, не запинаясь, что англійскій юморъ и русское балагурство или веселость въ существѣ своемъ одно и то же, и если они выражаются различнымъ образомъ, такъ это оттого, что каждый народъ имѣетъ свою собственную народную физіопомію. Англійская веселость, которую мы называемъ «юморомъ», рѣзка, карикатурна и въ то же время не чужда какого-то простодушія, глубокаго чувства и даже грусти. Французская веселость жива, остра, легка и насмѣшлива. Нѣмецкая тяжела, натянута и почти всегда походитъ на какую-то заказную веселость, которая не просто выливается изъ души, а преподается съ каѳедры по всѣмъ правиламъ науки. Этотъ нѣмецкій юморъ менѣе всѣхъ другихъ походитъ на разгульную и удалую веселость нашего народа, на это затѣйливое балагурство, исполненное насмѣшки и ироніи. Русскій человѣкъ почти всегда назоветъ какого-нибудь урода красавцемъ, недоростка—великаномъ, дурачка—умницей, и если вы *услышите на улицѣ*, что народъ хохочетъ и кричитъ: «Держи, держи!.. Батюшки, разбила!»... то будьте увѣрены, что дѣло идетъ о какомъ-нибудь лошадиномъ остовѣ, который едва передвигаетъ ноги.—«Да помилуйте»,—скажутъ мнѣ,—«что общаго между благороднымъ англійскимъ юморомъ и нашимъ площаднымъ балагурствомъ?» Площаднымъ?.. А развѣ, вы думаете, англійскій юморъ никогда не бываетъ площаднымъ? Все зависитъ отъ того, кто обладаетъ этой врожденной способностью. Онъ можетъ быть и человѣкомъ образованнымъ и какимъ-нибудь трактирнымъ балясникомъ. Вѣдь и русскіе балагуры бываютъ разныхъ родовъ. Вы можете повстрѣчаться въ гостиныхъ нашего лучшаго общества съ какимъ-нибудь милымъ, любезнымъ и весьма остроумнымъ балагуромъ; вы найдете балагура также и въ кабакѣ; только въ этомъ случаѣ его любезность и остроуміе будутъ совершенно другого рода. Посмотрите, какъ шутитъ Грибоѣдовъ, какъ потѣшается Пушкинъ, какъ балагуритъ иногда Гоголь и взгляните потомъ на иную статью журнальнаго балагура, который воображаетъ, что его пошлыя, отвратительныя шуточки, площадная брань и литературное кощунство исполнены самочистѣйшаго юморизма.

«Впрочемъ, я вовсе не предлагаю замѣнить русскимъ словомъ «балагурство» англійское слово «юморъ». Пусть оно останется въ нашемъ языкѣ для названія веселости, собственно принадлежащей англичанамъ. Я замѣчу только, что производное отъ него слово «юмористика» составлено весьма неудачно. Юморъ есть не что иное, какъ отдѣльное достоинство всякаго сочиненія, принадлежащаго къ изящной словесности, какого бы содержанія и рода оно ни было. Говоря о книгѣ, написанной съ умомъ и веселостію, вы скажете, что въ ней много юмору. Но развѣ вы не говорите также, что въ такомъ-то сочиненіи много занимательности, ясности, живости, силы, однакожъ, никому еще не приходило въ голову составлять изъ этихъ частныхъ достоинствъ всякаго хорошаго сочиненія какія-нибудь особенныя отрасли словесности. Мнѣ возразятъ, можетъ-быть, что ясность, занимательность, живость и сила не имѣютъ въ себѣ ничего исключительнаго и принадлежатъ равно всѣмъ, а «юморъ» есть особеннаго рода веселость, по преимуществу принадлежащая англичанамъ. Согласенъ!.. Позвольте только спросить васъ, чѣмъ отличаются вообще наши волжскія пѣсни?.. Не этимъ ли русскимъ *удальствомъ*, по преимуществу свойственнымъ нашему народу? Слѣдовательно, еслибъ кто написалъ что-нибудь въ духѣ этихъ разгульныхъ пѣсенъ, то могъ бы назвать свое сочиненіе *удалистикой?* Разумѣется, это было бы смѣшно и даже нелѣпо, а между тѣмъ, онъ имѣлъ бы на это полное право. Если изъ юмора, этой народной веселости англійскихъ писателей, можно было составить

юмористику, такъ почему жъ изъ русской удали, этой отличительной черты нашихъ народныхъ пѣсенъ, нельзя сдѣлать *удалистики?*

«*Ирритація*, по-русски слово отъ слова: раздраженіе.

«*Меркантильная индустрія* также слово отъ слова: мелочная промышленность.

«*Беллетристика*. Вы спрашиваете меня, Андрей Яковлевичъ, что это за наука такая и для чего ей дали такое неблагозвучное названіе? Что грѣхъ таить,—увидѣвъ въ первый разъ слово *беллетристика*, я и самъ подумалъ, что это какая-нибудь новая наука, и очень жалѣлъ, что для этой науки, — можетъ-быть, весьма полезной,—придумали названіе, которое такъ странно и такъ непріятно звучитъ для русскаго уха. Разумѣется, я не могъ долго ошибаться и, поразсмотрѣвъ внимательно эту незваную гостью, тотчасъ узналъ въ ней нашу старую знакомую, которую до сихъ поръ звали «изящной словесностью». Неужели,—спросите вы, — эта безстыдница, мадамъ беллетристика, то же самое, что наша чинная барыня, изящная словесность? Жаль, Андрей Яковлевичъ, что вы не знаете иностранныхъ языковъ, а то бы я попросилъ васъ заглянуть во французскій академическій словарь и вы увидѣли бы тогда, что слово belles lettres, изъ котораго состряпали беллетристику, значитъ все то же, что наше слово «изящная словесность». Преобразователи русскаго языка не ограничились, однакожъ, этой передѣлкой, они сочинили еще слово *беллетристъ*, которое не можетъ даже похвастаться и своимъ иноземнымъ происхожденіемъ, потому что у французовъ нѣтъ слова un homme de belles lettres, а есть только un homme de lettres—по-русски *словесникъ*, да еще только un homme lettré, то-есть человѣкъ умный.

«Вотъ вамъ, любевный Андрей Яковлевичъ, довольно подробное истолкованіе этимъ модньмъ словамъ, которыя я выбралъ изъ вашего огромнаго списка. Не правда ли, что эти иностранныя слова съ русскимъ окончаніемъ походятъ на какихъ-то одѣтыхъ въ шитые кафтаны французовъ, которые воображаютъ, что мы ихъ примемъ какъ нашихъ кровныхъ и родныхъ, потому что они надѣли на свои пудреныя головы русскія шапки съ заломомъ. Нѣтъ, почтенные иноземцы, этотъ святочный, шутовской нарядъ не обманетъ никого! Надѣвайте-ка опять ваши треугольныя шляпы съ плюмажемъ; вѣдь наша русская шапка вамъ вовсе не къ лицу.

«Теперь вы спросите меня, Андрей Яковлевичъ, изъ чего хлопочутъ эти господа преобразователи и что имъ за радость увѣчить безъ всякой нужды свой родной языкъ? Что за радость? Да развѣ вы не знаете, что они давно уже объявили войну нашему богатому, роскошному, звучному языку, которымъ мы въ правѣ гордиться передъ всѣми, потому что изъ всѣхъ новѣйшихъ языковъ онъ одинъ заключаетъ въ себѣ почти всѣ достоинства древняго греческаго языка, едва ли не перваго изъ всѣхъ языковъ человѣческихъ. Записные враги русскаго языка называютъ его грубымъ, бѣднымъ, неуклюжимъ и, чтобъ доказать это на самомъ дѣлѣ, пишутъ такимъ уродливымъ языкомъ, который равно непонятенъ и для безграмотнаго мужика и для просвѣщеннаго человѣка. Но это бы еще ничего: пусть себѣ какой нибудь удалой скоморохъ коверкается и корчитъ рожи, чтобъ потѣшить толпу зѣвакъ, но что вы скажете, если этотъ гаеръ потребуетъ, чтобъ и всѣ такъ же ломались и искажали свое человѣческое обличье? Что скажете вы, если онъ будетъ ругать невѣждами, ограниченными *пуристами* и старовѣрами всѣхъ тѣхъ, которые не желаютъ ему подражать? Что скажете вы, если онъ начнетъ кричать: «Чему вы смѣетесь, неучи? Ужъ не думаете ли, что я какой-нибудь площадной шутъ и кривляюсь ради вашей потѣхи? Да знаешь ли ты, неспособная ни къ какому процессу мышленія, невѣжественная толпа, что это все юмористика и беллетристика! Я хотѣлъ было инисiировать тебя во всѣ таинства гуманности, эксплуатировать твой грубый интеллектъ, приготовить тебя къ цивилизаціи, но я вижу, что въ тебѣ нѣтъ ни малѣйшей тенденціи къ прогрессу, потому что ты, стюпидная толпа, составлена вся изъ дѣтей съ отсталымъ понятіемъ и ребяческими взглядами». Разумѣется, вы скажете ему:— «Нѣтъ, господинъ паяцъ! Дѣти, можетъ быть, и станутъ тебя передразнивать: они, по легкомыслію, свойственному ихъ лѣтамъ, любятъ и сами покувыркаться, попрыгать на одной ногѣ, подразниться языкомъ, а мы, люди взрослые, мы можемъ забавляться твоимъ гаерствомъ и даже платить за это деньги, но ужъ вѣрно сами не пойдемъ къ тебѣ въ ученики». Конечно, это не уйметъ скомороха; напротивъ, онъ начнетъ кричать и дразниться языкомъ пуще прежняго, надоѣстъ всѣмъ порядочнымъ людямъ, — они разойдутся, а все-таки этотъ отчаянный фигляръ не останется безъ публики. Что-жъ дѣлать: вѣдь у насъ такъ же, какъ и вездѣ, много есть простодушныхъ и не слишкомъ грамотныхъ людей, которые до смерти любятъ площадныхъ шарлатановъ и вѣрятъ имъ во всемъ на честное слово.

Можетъ быть, вы мнѣ сдѣлаете еще вопросъ: «Почему же есть люди умные, даровитые, владѣющіе прекрасно русскимъ языкомъ, которые, однако-жъ, замѣняютъ иногда безъ всякой нужды русское слово иностраннымъ?» Почему?.. Да такъ,—по какому-то необдуманному подражанію, по любви къ новости, а чаще всего по лѣни. Зачѣмъ переводить иностранное слово, если добрые люди успѣли къ нему придѣлать русское окончаніе и употребляютъ его безъ малѣйшихъ огово-

рокъ, какъ-будто оно давно уже усвоено нашему языку. Иногда не вдругъ придетъ на память русское слово, выражающее ту же самую мысль, а это передѣланное словцо ужъ совсѣмъ готово, подъ руками! Конечно, не всѣ грѣшатъ противъ русскаго языка по этой причинѣ. Есть люди, которые коверкаютъ его потому только, чтобъ подражать во всемъ какимъ-нибудь знаменитымъ *беллетристамъ*, къ которымъ они питаютъ безпредѣльное уваженіе. «Да за что-жъ они такъ уважаютъ этихъ отъявленныхъ враговъ русскаго языка?»—спросите вы. Ну, ужъ на это я вамъ отвѣчать не стану, а если-бъ вы знали французскій языкъ, я бы вамъ посовѣтовалъ прочесть до конца первую пѣснь изъ поэмы Боало: «L'art poétique», вы нашли бы въ ней самое удовлетворительное разрѣшеніе этому вопросу.

«Прощайте, любезнѣйшій Андрей Яковлевичъ! Будьте здоровы и любите попрежнему вашего искренняго пріятеля Богдана Бѣльскаго».

VI.

Прогулка въ Симоновъ монастырь.

. . . „Всего пріятнѣе для меня то мѣсто, на которомъ возвышаются мрачныя готическія башни Симонова монастыря".

Карамзинъ.

Кто изъ пріѣзжающихъ въ Москву, особенно лѣтомъ, не побывалъ на Воробьевыхъ горахъ и у Симонова монастыря, чтобъ взглянуть съ двухъ сторонъ на нашу златоглавую красавицу Москву! Я не говорю уже о постоянныхъ жителяхъ московскихъ; конечно, многіе изъ нихъ очень рѣдко бываютъ на Воробьевыхъ горахъ, но зато почти всѣ ѣздятъ лѣтомъ въ Симоновъ монастырь: одни, чтобъ помолиться Богу и послушать благолѣпное пѣніе монастырскихъ иноковъ, умиляющее душу своимъ неизъяснимо-благозвучнымъ согласіемъ; другіе для того, чтобъ полюбоваться колоссальной панорамой одного изъ самыхъ живописныхъ городовъ въ мірѣ. Разумѣется, зимою бываютъ въ Симоновомъ монастырѣ одни богомольцы. Изрѣдка только посѣтитъ его или иностранный путешественникъ, которому не удалось побывать у насъ лѣтомъ, или какой-нибудь любитель зимнихъ прогулокъ. Я однажды ѣздилъ нарочно въ Симоновъ монастырь, чтобъ посмотрѣть оттуда, какова наша матушка Бѣлокаменная въ своемъ зимнемъ нарядѣ. День былъ свѣтлый, вдали всѣ кровли безчисленныхъ домовъ сливались въ одну снѣжную, волнистую равнину, надъ которой подымались главы церквей и пирамидальныя вершины колоколенъ. Все это горѣло и сверкало въ солнечныхъ лучахъ, которые разстилались по снѣгу золотомъ и самоцвѣтными каменьями. Да, хороша Москва и подъ этимъ пушистымъ бѣлымъ покрываломъ, но она во сто разъ лучше въ своей лѣтней зеленой мантіи, сотканной изъ тысячи садовъ!

Не знаю, помните ли вы, любезные читатели, пріятеля моего, Николая Степановича Соликамскаго, большого знатока и страстнаго любителя русской старины. Въ первомъ выходѣ моихъ записокъ я познакомилъ васъ съ этимъ чудакомъ, который проститъ вамъ отъ души всякую личную обиду и возненавидитъ какъ врага, если вы посомнитесь въ подлинности «Несторовой Лѣтописи» или,—отъ чего да сохранитъ васъ Боже,—скажете при немъ, что мы, русскіе, происходимъ не отъ славянъ. На прошлой недѣлѣ онъ явился ко мнѣ, часовъ въ шесть послѣ обѣда, въ ту самую минуту, когда я садился въ коляску, чтобъ ѣхать за городъ.

— Куда ты отправляешься?—спросилъ онъ.

— Да такъ,—отвѣчалъ я,—куда глаза глядятъ. Въ такую хорошую погоду грѣшно сидѣть дома. Не хочешь ли со мной?

— Нельзя, мой другъ: я ѣду пить чай въ рощѣ Симонова монастыря.

— Одинъ?

— Нѣтъ, съ княгиней Зориной, дочерью ея, княжной Ольгой, племянникомъ Александромъ Васильевичемъ Прилуцкимъ и Богданомъ Ильичемъ Бѣльскимъ.

— Сирѣчь со мной? Пожалуй,—для меня все равно, куда ни ѣхать.

— Такъ поѣдемъ-же! Княгиня тебя только и дожидается.

Соликамскій сѣлъ ко мнѣ въ коляску, и мы отправились. Вы знаете, любезные читатели, что я, начиная какой-нибудь разсказъ, имѣю привычку всегда знакомить съ вами тѣхъ новыхъ лицъ, о которыхъ я не упоминалъ еще въ моихъ «Запискахъ». Чтобъ не отступить отъ этого правила,, я скажу вамъ нѣсколько словъ о княгинѣ Зориной, ея дочери, княжнѣ Ольгѣ, и родномъ племянникѣ Александрѣ Васильевичѣ Прилуцкомъ.

Княгиня Зорина родилась и воспитывалась въ Москвѣ, на двадцатомъ году она вышла замужъ, уѣхала въ Петербургъ и, проживъ тамъ почти сорокъ лѣтъ, рѣшилась, послѣ смерти своего мужа, возвратиться на старое свое пепелище, то-есть въ Москву, на Покровскій бульваръ, въ каменный домъ о двухъ жильяхъ, построенный ея дѣдушкою, заслуженнымъ бригадиромъ Андреемъ Никитичемъ Прилуцкимъ. Я былъ знакомъ съ нею, когда она была еще дѣвицею и занимала первое мѣсто въ числѣ московскихъ красавицъ. Съ тѣхъ поръ, до самаго возвращенія ея въ Москву, мнѣ не удалось ни разу съ нею повстрѣчаться, слѣдовательно, ничто не могло

изгладить прежнихъ моихъ впечатлѣній, и когда я вспоминалъ о княгинѣ Софьѣ Николаевнѣ Зориной, урожденной Прилуцкой, то предо мною являлась всегда дивная красавица, съ томными глазами, черными рѣсницами, прелестнымъ станомъ и обворожительною улыбкою. Разумѣется, первое наше свиданіе могло показаться очень забавнымъ для другихъ, но ужъ, конечно, не для насъ: мы ахнули, ужаснулись и принялись было, какъ слѣдуетъ, лгать безъ всякаго стыда и зазрѣнія совѣсти, но, видно, мы съ княгиней плохіе артисты; я говорилъ, заикаясь, что узналъ ее съ перваго взгляда, она увѣряла меня сквозь слезы, что я почти совсѣмъ не перемѣнился, — однимъ словомъ, мы очень дурно разыграли эту трудную сцену перваго свиданія; къ счастію, что все это происходило съ глазу на глазъ, и надъ нами некому было посмѣяться. Княгиня Зорина была нѣкогда самой усердной поклонницей одного русскаго молодого поэта. Этотъ сочинитель гладенькихъ стишковъ, чувствительныхъ повѣстей и небольшихъ журнальныхъ статеекъ, сдѣлался впослѣдствіи однимъ изъ тѣхъ великихъ писателей, которые составляютъ эпохи въ словесности каждаго народа, но княгиня не хотѣла и знать объ этомъ; для нея онъ остался попрежнему очаровательнымъ поэтомъ, пѣвцомъ любви и всѣхъ ея страданій, милымъ разсказчикомъ и любимымъ сыномъ русскихъ Аонидъ. Ей и въ голову не приходило прочесть его «Исторію Государства Россійскаго», но зато она знала наизусть: «Бѣдную Лизу», «Наталью Боярскую дочь», «Островъ Борнгольмъ», и говорила съ душевнымъ убѣжденіемъ.

— Нѣтъ, ужъ теперь не умѣютъ писать такихъ стиховъ, какими написаны посланія: «Къ невѣрной», «Къ Филидѣ», «Къ женщинамъ». Нѣтъ, ужъ нынче никто не скажетъ:

„Возьмите лавръ, а мнѣ въ награду... поцѣлуй!“

Дочь ея, княжна Ольга Дмитріевна, принадлежитъ къ числу тѣхъ умныхъ, просвѣщенныхъ русскихъ барышенъ, которыя, благодаря Бога, начинаютъ нерѣдко появляться въ нашихъ обществахъ. Она получила самое блестящее воспитаніе: отличная музыкантша, изъясняется прекрасно по французски, говоритъ свободно по англійски и читаетъ въ подлинникѣ Шиллера, но все это не мѣшаетъ ей знать свой собственный языкъ, если не лучше, такъ, по крайней мѣрѣ, не хуже всѣхъ этихъ иностранныхъ языковъ. Она любитъ русскую словесность, радуется успѣхамъ нашихъ художниковъ и увѣрена, что мы, русскіе, вовсе не лишены способности идти впередъ, просвѣщаться и сохранять въ то же время нашу народную самобытность. Княжна не менѣе своей матери уважаетъ ея милаго поэта, она съ любовью и благоговѣніемъ произноситъ имя этого знаменитаго историка и безсмертнаго преобразователя русскаго слога, но рѣшительно предпочитаетъ его стихамъ стихи Жуковскаго, Пушкина и даже другихъ второстепенныхъ нашихъ поэтовъ. Когда ей случается говорить объ этомъ, княгиня обыкновенно пожимаетъ съ презрѣніемъ плечами и, вмѣсто отвѣта, шепчетъ про себя:

„Ручей два древа раздѣляетъ,
Но вѣтви ихъ, сплетаясь, растутъ;
Судьба два сердца разлучаетъ,
Но вмѣстѣ чувства ихъ живутъ!“

Племянникъ Зориной, Александръ Васильевичъ Прилуцкій, красивый мужчина лѣтъ тридцатипяти, по рожденью — москвичъ; по воспитанію—западный европеецъ; по образу жизни — англичанинъ; по своимъ поверхностнымъ познаніямъ, свѣтской любезности и легкомыслію—французъ; по любви къ праздности, по лѣни, безпечности, мотовству, хлѣбосольству, благородному образу мыслей и врожденной чести—настоящій русскій столбовой дворянинъ; по душѣ добрый малый; по уму человѣкъ очень дюжинный, на словахъ любитель всего изящнаго, на самомъ дѣлѣ, любитель хорошихъ обѣдовъ, цѣльнаго шампанскаго и скаковыхъ лошадей. Княгиня давно хочетъ женить своего племянника, и онъ бы не прочь отъ этого, да боится, что жена помѣшаетъ ему ѣздить каждый день въ Англійскій клубъ,—конечно, ему такъ скучно, въ этомъ Прилуцкій самъ сознается, да ужъ онъ сдѣлалъ привычку, а для русскаго человѣка, какъ бы онъ ни прикидывался иностранцемъ, привычка всегда будетъ второй натурой. Разумѣется, Александръ Васильевичъ, какъ человѣкъ богатый и свободный, объѣздилъ почти всю Европу, задолжалъ, поразстроилъ свое имѣнье и воротился назадъ, чтобы заняться хозяйствомъ и накопить денегъ или, какъ онъ самъ выражается: «пожить въ деревнѣ годика два на подножномъ корму». Теперь Прилуцкій сбирается опять за границу, только еще не рѣшился куда ѣхать, потому что онъ одинаковымъ образомъ любитъ и англійскій комфортъ и парижскую уличную жизнь и итальянское far niente... Я думаю, однакожъ, что Прилуцкій отправится въ Лондонъ, потому что съ нѣкотораго времени онъ очень пристрастился къ англійскимъ пуддингамъ и началъ ихъ запивать, вмѣсто шампанскаго, портеромъ. Александръ Васильевичъ отъявленный поклонникъ Запада; онъ очень забавно насмѣхается надъ варварствомъ и невѣжествомъ своихъ соотечественниковъ и поговариваетъ иногда весьма непочтительно про нашу матушку святую Русь. А между тѣмъ за границею два раза стрѣлялся съ людьми, которые, не будучи русскими, говорили о Россіи точно то-же, что онъ говорилъ о ней, живя въ Москвѣ. Впрочемъ, въ этомъ нѣтъ ничего особеннаго; мы, русскіе, вообще любимъ побранить самихъ себя, да это тогда только, когда мы дома, а на чужой сторонѣ нашихъ

не тронь! «Свой своему поневолѣ братъ!»— говоритъ русская пословица. Конечно, бывали русскіе, которые и дома, и въ гостяхъ злословили свою родину, да вѣдь это случаи необыкновенные. Нравственные уроды точно то-же, что уроды физическіе: они такъ же рѣдки и такъ же ничего не доказываютъ; разница только въ томъ, что однихъ показываютъ за деньги, а другихъ можно видѣть даромъ, вѣроятно потому, что они уже слишкомъ отвратительны.

Отъ Прѣсненскихъ Прудовъ до Покровскаго бульвара съ небольшимъ четыре версты, разумѣется, самой ближайшей дорогой, то-есть, по большой Никитской въ Кремль, потомъ Спасскими воротами на Ильинку, а тамъ, выѣхавъ изъ Китай-города прямо Покровкою, на бульваръ. Проѣзжая Спасскими воротами, я и Соликамскій, по двевнему обычаю всѣхъ москвичей, сняли наши шляпы.

— А знаешь ли ты, любезный другъ,— спросилъ меня Соликамскій, — почему, проѣзжая этими воротами, мы сняли шляпы?

— Да если вѣрить преданію, — отвѣчалъ я,—такъ это въ память того, что въ тысячашестьсотъ двѣнадцатомъ году князь Пожарскій, побѣдя поляковъ, вошелъ съ православнымъ русскимъ войскомъ этими воротами въ освобожденный Кремль.

Соликамскій улыбнулся.

— Охъ, вы, романисты!—сказалъ онъ. — Такъ по вашему до тысячи шестьсотъ двѣнадцатаго года, проходя этими воротами, русскій человѣкъ и шапки не ломалъ. Нѣтъ, любезный, лѣтъ за сто еще до Пожарскаго, всѣ православные проходили сквозь эти ворота съ непокрытыми головами и вѣроятно потому, что, по ихъ понятію, эти ворота были святыя.

— Да почему же они считали ихъ святыми?—прервалъ я.

— А вотъ почему, Богданъ Ильичъ: въ Спасскихъ воротахъ благовѣрные Цари Русскіе, святители московскіе и бояре торжественно встрѣчали слѣдующія святыя иконы: Владимірскую Божію Матерь изъ Владиміра, Всемилостиваго Спаса и Спаса Вседержителя изъ Новгорода, Благовѣщенье Пресвятой Богородицы изъ Устюга, Спаса Нерукотворнаго изъ Хлынова и Святого Николая Великорѣцкаго изъ Вятки, а сверхъ того, въ старину, изъ двѣнадцати ежегодныхъ крестныхъ ходовъ, девять проходили Спасскими воротами. Теперь понимаешь ли, почему всѣ москвичи и до сихъ поръ еще снимаютъ шляпы, проѣзжая и проходя этими воротами?

— Понимаю, любезный, но признаюсь, что это поэтическое преданіе, о которомъ я тебѣ говорилъ...

— Больше тебѣ нравится, чѣмъ простая истина?.. Вотъ то-то и есть; вы, господа поэты, только что сказочки разсказываете; вамъ жить легко, а мы, труженики, изъ одной любви къ истинѣ разбираемъ рукописи, копаемся въ старыхъ архивахъ, перечитываемъ столбцы.

— И все это для того,—прервалъ я,—чтобъ доказать, что Адамъ былъ Славянинъ и говорилъ сербскимъ нарѣчіемъ?

— Шути себѣ, шути,—прошепталъ Соликамскій, взглянувъ на меня почти съ презрѣніемъ:—я за это не разсержусь; вѣдь безграмотные всегда смѣются надъ тѣми, которымъ грамота далась!

Соликамскій замолчалъ. Черезъ нѣсколько минутъ мы выѣхали на Покровскій бульваръ и остановились у подъѣзда большого дома, не очень затѣйливой, однакожъ, вовсе не безобразной архитектуры. Соликамскій сказалъ правду: княгиня Зорина меня только и дожидалась. Мы помѣстились всѣ, то-есть хозяйка съ дочерью, Прилуцкій, Соликамскій и я, въ большой линейкѣ, заложенной шестерикомъ. Красивыя заводскія лошади тронулись съ мѣста крупной рысью и мы, переѣхавъ Яузу, стали подниматься въ гору. Полюбовавшись мимоѣздомъ на великолѣпный домъ Шепелева, мы повернули мимо Таганскаго рынка, оставили въ правой рукѣ Ново-Спасскій монастырь и доѣхали, наконецъ, до Крутицъ.

— Постой!—закричалъ Соликамскій, въ ту минуту, какъ кучеръ повернулъ налѣво, чтобъ выѣхать къ городскому валу.

Мы остановились.

— Не угодно ли вамъ, княгиня,—продолжалъ Соликамскій,— взглянуть на этотъ клочекъ стѣны и ворота, принадлежавшія нѣкогда знаменитому Крутицкому монастырю, которымъ управляли епархіальные епископы крутицкіе и можайскіе. Эта уничтоженная епархія была учреждена княземъ Александромъ Ярославичемъ Невскимъ и называлась при немъ Сарскою и Подонскою. Разсмотрите хорошенько эти ворота, не правда ли, что они прекрасны?

— Въ самомъ дѣлѣ,—сказала княгиня, — это что-то очень недурно. C'est tout à fait gososo.

— Ахъ, какъ они хороши! — вскричала княжна.—Вотъ истинно русская архитектура!.. Ее нельзя никакъ назвать ни готической, ни византійской. Нѣтъ!.. Въ ней есть свой собственный, особый характеръ... Какъ хороши эти окна... А эти покрытые рѣзьбою столбики, какъ они легки и красивы!.. Посмотрите, Богданъ Ильичъ, на эти карнизы и простѣнки, выложенные изразцами; можетъ-быть, я ошибаюсь, но мнѣ кажется, что въ древней архитектурѣ Мавровъ есть что-то похожее на этотъ изразцовый мозаикъ?

— Да, вы точно правы,—сказалъ я.— Такъ вамъ нравятся эти ворота?

— Очень! Все это вмѣстѣ и странно и пестро, а прелесть какъ хорошо. Да чтожъ ты, Александръ, не смотришь?—продолжала княжна,

обращаясь къ своему двоюродному брату.— Посмотри!

Прилуцкій вынулъ изъ жилетнаго кармана лорнетку, воткнулъ ее въ правый глазъ, взглянулъ на ворота и сказалъ съ улыбкою:

— Подлинно прелесть: тяжело, уродливо и безвкусно! Ты правду говоришь, кузина: это истинно русская архитектура!

— Уродливо!—повторилъ Соликамскій.

— Знаете ли, — продолжалъ Александръ Васильевичъ,—что мнѣ напоминаетъ этотъ закопченый домишко съ воротами, изразцовыми стѣнами и столбиками? Не правда ли, ma tante, что онъ очень походитъ на эти безобразныя кафельныя печи, которыя казались такъ красивы нашимъ почтеннымъ предкамъ.

— Ахъ, въ самомъ дѣлѣ!—вскричала княгиня.—Я помню за Москвой-рѣкой, въ одномъ барскомъ домѣ, гдѣ мы такъ часто съ вами встрѣчались, Богданъ Ильичъ, во многихъ комнатахъ были огромныя печи и съ такими же столбиками... Что этотъ домъ существуетъ, или нѣтъ?

— Нѣтъ, онъ давно уже сломанъ,—отвѣчалъ я.

— И слава Богу!—сказалъ Прилуцкій.— Я всегда радуюсь, когда истребляютъ эти памятняки варварства и невѣжества нашихъ предковъ.

— Есть чему радоваться,—подхватилъ Соликамскій.—Ахъ, вы, господа русскіе чужестранцы!.. Да если не изъ любви къ своему родному, такъ покрайней мѣрѣ, изъ подражанія вашему Западу, передъ которымъ вы стоите на колѣняхъ, — не разрушайте древнихъ памятниковъ а берегите ихъ такъ же какъ ихъ берегутъ и поддерживаютъ нѣмцы, англичане, итальянцы...

Да это совсѣмъ другое дѣло! — прервалъ Прилуцкій.—Имъ какъ не беречь своихъ памятниковъ: у нихъ есть развалины римскихъ зданій, феодальные замки, старинныя аббатства...

— Да чѣмъ же наши церкви и монастыри уступаютъ вашимъ западнымъ аббатствамъ? — вскричалъ Соликамскій, задыхаясь отъ негодованія.

— И, полноте спорить, — сказала княгиня:—мы этакъ вѣкъ не доѣдемъ до Симонова монастыря!.. Ступай, Никифоръ!

Проѣхавъ версты полторы вдоль городского вала, потомъ мимо пороховыхъ магазиновъ, мы подъѣхали, наконецъ, къ Симонову монастырю, оставили за оградою нашу линейку и вошли главными воротами въ монастырь. Сначала мы осмотрѣли соборную церковь, а потомъ огромную колокольню, построенную по плану архитектора Тона. Эта монастырская *звонница*, не говоря уже о ея прекрасной архитектурѣ, замѣчательна тѣмъ, что она выше всѣхъ московскихъ колоколенъ. Въ ней, не полагая въ счетъ основанія или фундаментъ, слишкомъ сорокъ *семь* саженъ, слѣдовательно, она гораздо выше Ивана Великаго, въ которомъ съ небольшимъ тридцать восемь саженъ вышины. Разумѣется, мы зашли также посмотрѣть палату, въ которой живалъ по постамъ царь Ѳеодоръ Алексѣевичъ, особенно любившій Симоновъ монастырь. Эта палата обращена теперь въ братскую зимнюю трапезу. Надъ папертью или сѣнями этой трапезы, возвышается красивая четвероугольная башня съ открытой площадкой или терасой. Послушникъ, который показывалъ намъ монастырскія зданія, предложилъ княгинѣ взойти на башню, чтобъ взглянуть оттуда на окрестности монастыря.

— Не ходите, ma tante!—шепнулъ Прилуцкій.

— Отчего же мнѣ не идти?—спросила княгиня.—Я хочу сверху полюбоваться на Москву.

— Ну, смотрите,чтобъ у васъ голова не закружилась!

— Въ самомъ дѣлѣ,—промолвила княгиня, остановясь на первой ступени:—какая крутая лѣстница!

— Лѣстница! И это называютъ у васъ лѣстницей?

— А что,—прервалъ Соликамскій, — чай въ вашихъ-то западныхъ аббатствахъ все лѣстницы парадныя, мраморныя...

— По крайней мѣрѣ, такія, — возразилъ Прилуцкій,—по которымъ можно ходить и молодымъ и старымъ людямъ, а по этой стремянкѣ...

Такимъ старухамъ, какъ я, ходить не можно?—подхватила княгиня. — А вотъ я тебѣ докажу, Александръ, что я вовсе не такъ стара, какъ ты думаешь?

Княгиня начала довольно бодро подниматься по узенькой лѣстницѣ, а вслѣдъ за нею и мы всѣ, исключая Прилуцкаго: онъ остался внизу. Взойдя на площадку башни, мы долго не могли налюбоваться разнообразіемъ и красотою монастырскихъ окрестностей. Прямо по рѣкѣ, отъ самой подошвы Симоновской горы, начинается обширный зеленый лугъ съ небольшими прудами; посреди его, въ песчаныхъ берегахъ, извивается Москва-рѣка; за нею тянется, вплоть до Данилова монастыря, Серпуховская часть Замоскворѣчья, со своими садами и огромными фабриками. Направо поднимается амфитеатромъ вся Заяузская сторона Москвы, со своими каменными палатами и великолѣпными церквами. Вы обернетесь назадъ, и вотъ передъ вами, вмѣсто высокихъ холмовъ, усыпанныхъ домами, широкіе луга, темный сосновый лѣсъ, засѣянныя поля, живописные перелѣски, рощи, нѣсколько деревень, Перервинскій монастырь и вдали, на самомъ краю небосклона, знаменитое село Коломенское.

Сойдя съ башни, мы не нашли въ сѣняхъ Прилуцкаго: онъ дожидался насъ за оградою, въ монастырской рощѣ, подлѣ самовара,

около котораго хлопотала Аксинья Ѳедоровна, ближняя барская-барыня княгини Зориной. Мы сѣли всѣ на разостланномъ коврѣ; княгиня начала разливать чай. Прилуцкій закурилъ сигару, а княжна обратилась къ Соликамскому съ вопросомъ: не знаетъ ли онъ, когда и кѣмъ основанъ Симоновъ монастырь.

— Какъ не знать, — сказалъ Соликамскій,—Симоновъ монастырь принадлежитъ къ числу историческихъ монастырей нашей родины. Его основалъ, при князѣ Дмитріѣ Іоанновичѣ Донскомъ, инокъ Ѳедоръ, племянникъ преподобнаго Сергія Радонежскаго, но только не здѣсь, а шагахъ въ двухстахъ отсюда. Вонъ, видите, близехонько отъ заставы, на правой рукѣ, нѣсколько избъ и домиковъ?

— Кругомъ небольшой каменной церкви?

— Да. Это слободка и до сихъ поръ называется—Старымъ Симоновымъ.

— Такъ вотъ, гдѣ былъ сначала Симоновъ монастырь!.. А почему онъ называется Симоновымъ?

— Потому что это урочище принадлежало нѣкогда одному именитому человѣку изъ рода Головиныхъ, по имени Симону. Когда перенесли монастырь на теперешнее его мѣсто, святой Ѳеодоръ заложилъ во имя Успенія Божіей Матери соборную церковь, ту самую, которую мы съ вами осматривали.

— Такъ она должна быть очень стара?

— Да. Она строилась двадцать шесть лѣтъ и освящена въ тысяча четыреста пятомъ году, слѣдовательно, отъ основанія ея прошло четыреста шестьдесятъ семь лѣтъ.

— То есть, безъ малаго пять вѣковъ? Ну, это древняя церковь.

— Древняя.—прервалъ Прилуцкій. — Конечно, для русскихъ очень древняя, — ребенку и тридцатилѣтній человѣкъ кажется старикомъ. Большая древность пятьсотъ лѣтъ! На Западѣ объ этомъ и говорить бы не стали.

— Какъ-же!—подхватилъ Соликамскій.— Вѣдь тамъ есть зданія, построенныя тотчасъ послѣ потопа.

— Не слушайте его, Николай Степановичъ,—шепнула княжна;—онъ и мнѣ надоѣлъ до смерти своимъ Западомъ. Скажите лучше, что эта церковь въ Старомъ Симоновѣ также древняя?

— Да, она давно уже построена. Ей почти триста шестьдесятъ пять лѣтъ. Впрочемъ, это уже вторая: первая была десятью годами старѣе Симоновскаго собора. А знаете ли, княжна, чѣмъ особенно замѣчательна эта церковь. Вы русскую исторію читали, такъ, вѣроятно, помните, что въ Куликовскую битву, которую простой народъ называетъ «Мамаевымъ побоищемъ», сражались съ *татарами и положили* свои головы за святую Русь два чернеца изъ обители святого Сергія.

— Какъ же, помню: одинъ изъ нихъ назывался Пересвѣтъ, а другой... странное такое имя...

— Ослябя. Эти сподвижники Димитрія Донского, эти иноки-богатыри, погребены...

— Неужели въ этой церкви? — прервала княжна.

— Да, въ ней.

— О, такъ намъ должно сходить поклониться ихъ могиламъ.

— Въ самомъ дѣлѣ, господа,—сказала княгиня, вставая,—пойдемте въ эту церковь!

Все наше общество поднялось. Прилуцкій также всталъ, но, казалось, онъ вовсе неохотно покидалъ мягкій коверъ, на которомъ ему было такъ спокойно лежать и курить сигару.

— Я долженъ васъ предувѣдомить,—сказалъ Соликамскій, идя подлѣ княгини,—что гробницы Пересвѣта и Ослябя, вовсе не древнія, онѣ поставлены на могилахъ этихъ иноковъ по приказанію Екатерины Второй.

— Да это все равно!—отвѣчала княгиня.— Главное, что они тутъ похоронены. Признаюсь, я очень люблю эти грустные перелинажи! Для души чувствительной, для сердца нѣжнаго, всѣ эти меланхолическія воспоминанія чрезвычайно пріятны!.. Знаете ли что, Николай Степановичъ, теперь вы насъ ведете на могилы этихъ монаховъ, а послѣ я васъ поведу взглянуть на прудъ, въ которомъ утопилась бѣдная Лиза.

— Какая Лиза?—спросилъ Прилуцкій.

— Какая Лиза? Ну, та самая, которую погубилъ злодѣй Эрастъ. Да неужели ты не знаешь, кто была бѣдная Лиза?

— Нѣтъ, тетушка. Я много знавалъ и бѣдныхъ и богатыхъ Лизъ, только изъ моихъ знакомыхъ ни одна не утопилась.

— Такъ ты не читалъ этой прелестной повѣсти?

— Повѣсти?.. Постойте?.. А, точно... теперь вспомнилъ!.. Я читалъ ее, когда еще былъ мальчикомъ лѣтъ десяти; тогда эта повѣсть мнѣ очень понравилась.

— А теперь?

— И, ma tante, вѣдь я ужъ не ребенокъ!

— Кажется, и я не дитя, Александръ,— возразила съ примѣтною досадою княгиня,— однакожъ, я и теперь восхищаюсь этимъ образцовымъ произведеніемъ... Можетъ-быть оттого, что не похожу на этихъ бездушныхъ людей...

— Которые не имѣютъ голоса на дворянскихъ выборахъ, — подхватилъ Прилуцкій.— Кузина, каковъ каламбуръ?

— Я каламбуровъ не люблю, а особливо, когда ихъ не понимаю,—сказала очень сухо княжна.

— Такъ ты не знаешь,—продолжалъ Прилуцкій,—что на дворянскихъ выборахъ всѣ

помѣщики, у которыхъ нѣтъ ста душъ, не имѣютъ голосовъ и называются, смотря по ихъ состоянію, малодушными или даже вовсе бездушными?

— А я,—сказала княгиня,—называю бездушными тѣхъ, которые надъ всѣми смѣются, всѣми пренебрегаютъ, ничего не любятъ, для которыхъ хорошій страсбургскій пирогъ, пріятнѣе всякаго сердечнаго наслажденія...

— Ну, нѣтъ ma tante!—прервалъ Прилуцкій.—Вотъ еслибъ вы сказали *сытные*, такъ я не сталъ бы съ вами спорить.

— Да что съ тобою говорить, Александръ: мы другъ друга никогда не поймемъ!

Прилуцкій улыбнулся и не отвѣчалъ ни слова. Въ продолженіе этого разговора мы дошли до Стараго Симонова. Услужливый пономарь отперъ намъ церковь, показалъ надгробные камни Пересвѣта и Ослябя, нѣсколько древнихъ иконъ и остался очень доволенъ двугривеннымъ, который далъ ему за труды Николай Степановичъ Соликамскій.

— Ну,—сказала княгиня, когда мы сошли съ церковнаго погоста,—теперь моя очередь быть вашимъ чичероне.

— Видите ли вы вонъ тамъ, за городскимъ валомъ, эту семью унылыхъ березъ: онѣ растутъ на берегу пруда, въ которомъ утонула бѣдная Лиза.

— Я вижу два дуба,—сказалъ Прилуцкій,—изъ которыхъ одинъ высохъ, да нѣсколько березъ, если не унылыхъ, такъ, по крайней мѣрѣ, очень жалкихъ.

— Въ самомъ дѣлѣ,—прервала княгиня,—куда дѣвались эти огромныя, развѣсистыя березы, которыя склонялись такъ живописно надъ водою? Я помню, онѣ были всѣ покрыты надписями.

— Да можетъ-быть мы и теперь найдемъ какія-нибудь надписи,—сказалъ я.

— Но ужъ вѣрно не такія, — подхватила княгиня, — какія сочиняли въ старину московскіе поэты. О, сколько въ этихъ стихахъ было истиннаго чувства. Нѣтъ, нынче не умѣютъ такъ писать. Я помню, одинъ изъ московскихъ поэтовъ, князь Платочникъ, написалъ при мнѣ карандашомъ на березѣ четыре стиха; я ихъ не забыла:

„Я здѣсь люблю мечтать,
Подъ тѣнью березы,
О бѣдной Лизѣ вспоминать
И лить сердечны слезы".

— Не правда ли, Оленька, что эти стихи очень милы?

— Можетъ-быть, маменька, только мнѣ кажется, что и я бы могла написать такіе стихи.

— То-то и есть, что кажется; попробуй, такъ и не напишешь. Нѣтъ, мой другъ, князь Платочкинъ былъ въ свое время извѣстнымъ поэтомъ. Я помню, какъ мы всѣ гонялись за нимъ въ Слободскомъ саду, а онъ этого какъ будто и не замѣчаетъ, идетъ себѣ задумавшись, остановится, вынетъ карандашъ, попишетъ у себя въ книжкѣ и пойдетъ опять. Конечно, Платочкинъ далеко не былъ такимъ поэтомъ, какъ авторъ бѣдной Лизы, но какіе онъ писалъ мадригалы, тріолеты, такъ я тебѣ скажу, прелесть!.. Ну, вотъ мы и пришли!

Я помогъ княгинѣ взойти на земляную насыпь, которая окружаетъ со всѣхъ сторонъ небольшой прудикъ, болѣе похожій на дождевую лужу, чѣмъ на прудъ,

— Посмотрите, тетушка, — сказалъ Прилуцкій, указывая на одну березу, — не при васъ ли были писаны эти стихи?

— Гдѣ, мой другъ? Гдѣ?

— А вотъ здѣсь! Видите?.. Карандашомъ.

— Да, точно! Только я никакъ не могу разобрать. У тебя, Александръ, глаза помоложе моихъ,—прочти ка, мой другъ!

Прилуцкій не вдругъ разобралъ надпись, однакожъ прочелъ, наконецъ, кое-какъ слѣдующіе стихи:

„Созданье легкое минутнаго каприза,
Пустая выдумка и дичь!
Ну, что за Сафо эта Лиза?
И что за ловеласъ какой-нибудь москвичъ?"

— Ахъ, Боже мой! Да это, кажется, эпиграмма.

— Да, тетушка, и мнѣ кажется, что это не мадригалъ.

— Хороши же ваши теперешніе стихотворцы!.. Бездушники! Да что и говорить, для нихъ нѣтъ ничего святого!

— Постойте, тетушка! Вотъ еще другіе стихи,—можетъ-быть эти лучше.

— Не вѣрю: если они писаны недавно, такъ вѣрно какая-нибудь гадость, однакожъ, такъ и быть, прочти!

Прилуцкій прочелъ довольно бѣгло слѣдующее двустишіе:

„Ну, можно ль поступить безумнѣе и хуже:
Влюбиться въ сорванца и утопиться въ лужѣ".

— Фи, какая глупость!—вскричала княгиня. — Да ужъ не ты ли намъ все это сочиняешь, Александръ?

— Я, ma tante? Что вы! Да я и прозой-то по-русски плохо пишу

— Ну, не правду ли я говорила, что въ наше время поэты были не то, что теперь: тогда умѣли чувствовать и выражали это въ прекрасныхъ стихахъ... А нынѣшніе писатели что такое?.. Грязная проза, дурные стихи... Неправда ли, Богданъ Ильичъ?

— Извините, княгиня, — отвѣчалъ я: стихи нынче пишутъ вообще гораздо лучше прежняго,— въ нихъ больше мысли, но зато въ нихъ часто выражаются какія-то неистовыя, буйныя страсти. Эта модная поэзія, которую французы называютъ *растрепанной* (echevelée) въ отношеніи къ прежней нашей поэзіи, скромной, опрятной, но нѣсколько безцвѣтной, то же самое, что исполненная огня и силы безумная цыганская пляска въ

сравненіи съ чиннымъ, благопристойнымъ, но почти безжизненнымъ менуэтомъ. Что-жъ дѣлать,—вѣкъ на вѣкъ не приходитъ. Въ наше время поэты ворковали какъ голубки, а теперь они ревутъ, подчасъ, какъ дикіе звѣри. Бывало, нѣжная мать, убаюкивая свое дитя, поетъ:

„Спи мой ангелъ, успокойся!
Баюшки-баю!“

А теперь въ какой-нибудь колыбельной пѣснѣ, та же маменька поетъ.

„Спи, пострѣлъ, пока невинный!
Баюшки-баю!“

— Ахъ, что вы, что вы!—вскричала княгиня.—Да неужели въ самомъ дѣлѣ пишутъ такіе ужасы?

— И пишутъ, княгиня, и печатаютъ!

— А что-жъ по-вашему,—сказалъ Прилуцкій, — лучше что ли это прежнее голубиное воркованье?

— Нѣтъ, Александръ Васильевичъ, но мнѣ и то и другое не хорошо: можно и не ворковать и не бѣсноваться. А что можно, такъ это намъ доказывали и теперь доказываютъ писатели съ истиннымъ дарованіемъ, которые никогда не гоняются за минутнымъ успѣхомъ.

— Пойдемъ, Оленька, прервала княгиня:— я не хочу здѣсь дольше оставаться. Богданъ Ильичъ, дайте мнѣ вашу руку. Ну, скажите мнѣ,—продолжала она, идя со мною къ монастырю,—не правда ли, что въ старину все было лучше нынѣшняго? не правда ли, что наше новое поколѣніе, наши молодые люди...

— Гораздо насъ помоложе, княгиня? Да, правда. И признаюсь, я за это на нихъ очень золъ.

— Вы все шутите, а я васъ спрашиваю не шутя. Ну, скажите, на что они похожи?

— Я думаю, что они очень похожи на то, чѣмъ мы были съ вами лѣтъ тридцать пять тому назадъ. А если многое, что казалось намъ прекраснымъ, кажется имъ смѣшнымъ, такъ это весьма естественно. Вспомните, какъ мы смѣялись надъ пудреными париками и робронами нашихъ дѣдовъ и бабушекъ, а вѣдь они были увѣрены, что лучше наряда придумать не можно. Что-жъ дѣлать, я ужъ вамъ сказалъ, что вѣкъ на вѣкъ не приходитъ; одни только страсти наши остаются неизмѣнными, а нравы, обычаи, понятія и общественныя условія не могутъ не измѣняться. Чтобъ оградить ихъ отъ этого измѣненія, мы должны бы были, какъ наши сосѣди китайцы, никого къ себѣ не пускать и сами никуда не ѣздить. Всегда ли эти измѣненія бываютъ къ лучшему, это другой вопросъ, но что они сдѣлались для насъ неизбѣжными, объ этомъ, кажется, и говорить нечего.

— Неизбѣжными!.. — повторилъ Соликамскій, *который шелъ позади* насъ вмѣстѣ съ Прилуцкимъ. — Неизбѣжными!.. Да этакъ, пожалуй, кончится тѣмъ, что мы сдѣлаемся французами или нѣмцами.

— О, нѣтъ, любезный, — сказалъ я,— это совсѣмъ другое дѣло. Намъ точно такъ же нельзя сдѣлаться французами, какъ французамъ русскими. Всѣ эти измѣненія въ нравахъ и обычаяхъ, какъ необходимыя слѣдствія просвѣщенія, опыта и частыхъ сношеній съ сосѣдними народами, могутъ современемъ сблизить всѣ поколѣнія, но эти, такъ сказать, кровныя, родовыя свойства каждаго народа, его недостатки и достоинства, хорошія и дурныя склонности, быть-можетъ, облекутся въ лучшія формы, получатъ другія названія, но въ существѣ своемъ останутся все тѣ-же. Напримѣръ, какое найдете вы сходство у нынѣшнихъ парижанъ съ тѣми, которые жили въ Парижѣ, когда еще онъ назывался *Лютеціею?* А несмотря на это совершенное измѣненіе въ понятіяхъ и образѣ жизни, французы остались все тѣми же французами. Они, конечно, очень много переняли у своихъ завоевателей, однако-жъ, не сдѣлались римлянами и даже вовсе не походятъ на итальянцевъ, которые ведутъ свой родъ прямехонько отъ римлянъ.

— Точно такъ же, какъ и мы не сдѣлались татарами,—промолвила княжна.

— Да, Ольга Дмитріевна! Самобытность— эта жизнь народная, имѣетъ большое сходство съ отдѣльнымъ существованіемъ каждаго человѣка. Всякій изъ насъ былъ нѣкогда ребенкомъ, перенималъ все у тѣхъ, которые его постарше, учился, потомъ выросъ, возмужалъ и сдѣлался совершенно не похожимъ на то, чѣмъ былъ прежде, а между тѣмъ все-таки не сталъ другимъ человѣкомъ, потому что для этого надобно переродиться.

Мы подошли опять къ монастырскимъ воротамъ.

— Александръ,—сказала княжна,—ты не хотѣлъ взойти съ нами на башню, такъ погляди хоть отсюда на Москву.

— И, кузина! — отвѣчалъ Прилуцкій. — Какъ тебѣ не надоѣло восхищаться все однимъ и тѣмъ же; ну, право, я начинаю думать, что ты приходишь въ восторгъ для того только, что это тебѣ къ лицу.

— А почему ты это думаешь? — спросила княжна съ примѣтной досадой.

— Да, да! Я увѣренъ, это все комедія, и надобно тебѣ отдать справедливость, ты мастерски разыгрываешь свою роль.

— Знаешь ли, Александръ, что это становится несноснымъ! Такъ по твоему, нельзя любоваться этимъ прелестнымъ видомъ?

— Да чѣмъ тутъ любоваться, а особливо мнѣ? Я былъ въ Римѣ, въ Неаполѣ, смотрѣлъ съ колокольни Notre-dame на Парижъ; все это мнѣ прискучило, надоѣло, que voulez vous, ma chère, je suis blasé sur tout!

— Blasé!..—повторила княжна.—Это но-

бимое словечко людей безъ всякой поэзіи, безъ чувства, воображенія... Вѣдь имъ надобно же оправдать чѣмъ-нибудь свое равнодушіе ко всему прекрасному.

Прилуцкій вспыхнулъ, но не отвѣчалъ ни слова. Мы усѣлись попрежнему въ линейку и поѣхали. Наша прогулка началась довольно весело, а кончилась очень скучно. Во всю дорогу никто не вымолвилъ ни слова. Прилуцкій дулся на свою кузину, княгиня гнѣвалась на стихотворцевъ, которые насмѣхались надъ бѣдною Лизой, Соликамскій досадовалъ на Прилуцкаго за его неуваженіе къ русской старинѣ. Одинъ я ни на кого не сердился, но отъ этого мнѣ легче не было: вѣдь вовсе не весело ѣхать цѣлый часъ, бокомъ, въ тряской линейкѣ съ людьми, которые молчатъ и дуются другъ на друга. Когда мы доѣхали до Яузы, я сказалъ что мнѣ нужно завернуть въ Воспитательный Домъ, простился съ княгинею, пересѣлъ въ коляску и отправился на свои Прѣсненскіе Пруды.

СМѢСЬ.

1.

Логическій выводъ.

Кому случалось испытать на самомъ себѣ, что часто «услужливый дуракъ опаснѣе врагѣ»? Мнѣ, по крайней мѣрѣ, не разъ напоминали этотъ стихъ Крылова: услужливые глупцы, непрошенные покровители, а пуще всего безграмотные защитники моего мнѣнія, которое въ ихъ устахъ почти всегда становилось смѣшнымъ и даже нелѣпымъ. Вотъ одинъ изъ этихъ случаевъ.

Однажды,—помнится, мѣсяца два тому назадъ,—собралось ко мнѣ вечеркомъ человѣкъ десять хорошихъ пріятелей; въ числѣ ихъ былъ Захаръ Никитичъ Пеньковъ, орловскій помѣщикъ, старикъ добрый, весьма простой, не очень грамотный и большой патріотъ, но, къ сожалѣнію, въ самомъ невыгодномъ смыслѣ этого слова, то-есть, совершенный гражданскій старовѣръ, для котораго все новое ненавистно, потому что оно ново, и все старое мило, потому только, что оно старо. Разговоръ зашелъ у насъ о тѣхъ иностранцахъ, которые пріѣзжаютъ въ Россію воспитывать дворянскихъ дѣтей.

— Знаете ли,—сказалъ одинъ изъ моихъ гостей,—что у Никитскихъ воротъ былъ нѣкогда трактиръ, извѣстный подъ названіемъ города *Керхсберга*, вѣроятно,—Кенигсберга. Этотъ трактиръ служилъ притономъ для всѣхъ иностранныхъ учителей, гувернеровъ и дядекъ, которыхъ не успѣли еще разобрать по рукамъ наши добрые степные помѣщики. Тому лѣтъ двадцать назадъ, мнѣ вздумалось однажды взглянуть изъ любопытства на этихъ *ежедневныхъ посѣтителей* трактира *Керхсберга*. Боже мой, что за рожи!.. На одного порядочной наружности человѣка, конечно съ полдюжины такихъ безобразныхъ лоскутниковъ, что истинно страшно было на нихъ и взглянуть. Вообще, нѣмцы показались мнѣ сноснѣе, можетъ-быть потому, что они сидѣли спокойно за своимъ полпивомъ и молча курили трубки. Но французы!.. О, я никогда не забуду, какъ ворвалась при мнѣ въ трактирную залу цѣлая ватага этихъ наставниковъ русскаго юношества, pour prendre un petit verre—то-есть, для того, чтобъ хлебнуть водки. Вся эта честная компанія усѣлась за однимъ столомъ, пошла громкая болтовня, розсказни. Одинъ общипаный французъ, съ обрюзглымъ отъ пьянства лицомъ, началъ разсказывать, что его подговариваютъ ѣхать учителемъ французскаго языка, исторіи и географіи къ богатому помѣщику, живущему dans le Gouvernement de Sibérie, сирѣчь въ Симбирской губерніи. Другой французъ, съ растрепанной головой и краснымъ носомъ, принялся хвастаться своими побѣдами надъ прекраснымъ поломъ и объявилъ товарищамъ, что онъ нашелъ для себя теплое мѣстечко у одной русской барыни—une grosse réjouie encore très fraiche, которая принимаетъ его къ себѣ въ домъ soit disant pour ses enfants. Разумѣется, я не могъ долго пробыть въ этомъ кабакѣ и ушелъ, признаюсь съ большою грустью въ душѣ. Боже мой,—думалъ я,—вотъ кому довѣряютъ воспитывать своихъ дѣтей наши дворяне! И эти безграмотные развратные выходцы, быть-можетъ выгнанные изъ своей родины, будутъ наставниками русскаго юношества и будутъ непремѣнно!.. Вы знаете, что не такъ давно наши провинціальные помѣщики пріѣзжали сами въ Москву или присылали досужаго человѣка, чтобъ запастись на цѣлый годъ разной провизіей и, смотря по надобности, пріискать подешевле иностраннаго «мосье» или какую-нибудь заморскую «мадаму», которые могли бы выучить всякимъ наукамъ и образовать на европейскій манеръ ихъ милыхъ дѣточекъ. То-то житье было тогда всѣмъ нѣмецкимъ геррамъ Вральманамъ и французскимъ мосье Трише.

— Да нынче ужъ не то,—прервалъ другой изъ моихъ гостей.—Теперь, чтобъ имѣть право называться учителемъ, надобно прежде побывать въ университетѣ и выдержать экзаменъ, а вѣдь это не бездѣлица; тутъ ужъ не помогутъ ни наглость, ни болтовня, ни хвастовство, и тотъ, кто былъ у себя дома кучеромъ или цырюльникомъ, можетъ и здѣсь также сѣсть на козлы или стричь волосы, но ужъ вѣрно учителемъ не будетъ.

— Конечно,—сказалъ я, — это большое улучшеніе, но я желалъ бы дожить до того времени, когда всѣ эти иностранные гувернеры, учителя и дядьки замѣнятся русскими.

— Ну, этого вы не скоро дождетесь,— подхватилъ другой изъ моихъ гостей.—Французскіе гувернеры, которые пріучаютъ насъ съ ребячества къ чистому парижскому выговору, до тѣхъ поръ не могутъ быть замѣнены русскими, пока мы не рѣшимся говорить по-французски, какъ говорятъ этимъ языкомъ нѣмцы, англичане, итальянцы и вообще всѣ народы Европы, которые вовсе не хлопочутъ о томъ, чтобъ ихъ принимали за природныхъ французовъ. Впрочемъ я не знаю, для чего вы желаете, чтобъ у насъ не было иностранныхъ учителей; развѣ не все равно, кто учитъ ребенка: нѣмецъ ли, французъ ли, англичанинъ ли, или швейцарецъ, лишь бы только онъ хорошо училъ.

— Разумѣется,—отвѣчалъ я,—если этотъ учитель преподаетъ науку въ какомъ-нибудь публичномъ заведеніи, съ каѳедры;—но я говорю объ учителяхъ, которые живутъ по домамъ, которымъ ввѣряется воспитаніе ребенка. Тутъ ужъ дѣло идетъ не объ одной наукѣ. Ну, скажите сами: какой иностранецъ станетъ заботиться о томъ, что его воспитанникъ любилъ свое отечество и не руководствовался *во всемъ* образомъ мыслей и понятіями иностранцевъ, потому что будущія его обязанности, какъ русскаго дворянина, во многомъ не сходны съ обязанностями какого-нибудь англійскаго лорда, нѣмецкаго барона или французскаго гражданина. Какой иностранецъ будетъ говорить своему воспитаннику, что безусловная любовь ко всему иноземному такъ-же неблагоразумна и едва ли не вреднѣе этой исключительной, безотчетной любви ко всему отечественному. Можете ли вы требовать отъ иностранца, даже самаго добросовѣстнаго, чтобъ онъ не предпочиталъ законы и обычаи своей земли обычаямъ и законамъ нашей родины и чтобъ, вслѣдствіе этого предпочтенія, онъ не старался поселять въ своемъ воспитанникѣ преувеличенное понятіе о Западѣ и рабское уваженіе ко всему иноземному. Я знаю это по себѣ,—и у меня былъ также учителемъ французъ, человѣкъ, впрочемъ, весьма порядочный. Когда онъ бывалъ мною доволенъ, то всегда, поглаживая меня по головѣ, говорилъ: «Bravo, monsieur Bogdann, bravo! Vous mériteriez d'être français, mon cher!» Мы видимъ на каждомъ шагу горькіе плоды этого ошибочнаго воспитанія. Привыкая съ ребячества къ мысли, что у насъ все дурно, а за границей все прекрасно, мы стараемся во всемъ подражать Западу. Кто говоритъ,—хорошему подражать всегда должно; да только вотъ бѣда, что дурному подражать гораздо легче, чѣмъ хорошему, а дурного-то найдется много и на Западѣ.

Нѣкоторые изъ моихъ гостей стали со мною спорить, другіе приняли мою сторону, и послѣднихъ было гораздо болѣе. Какъ *вдругъ, на мое горе, орловскій* помѣщикъ Захаръ Никитичъ Пеньковъ, который до того все молчалъ, рѣшился заговорить.

— Позвольте,—молвилъ онъ,—позвольте! Я вамъ доложу, истинно, какъ передъ Богомъ доложу!.. Богданъ Ильичъ изволитъ говорить совершенную правду, знаемъ мы это французское воспитаніе!.. Бѣдовое дѣло, сударь, истинно бѣдовое—чума, сударь!.. Вотъ я вамъ доложу: у меня есть сосѣдъ по имѣнію, вдовецъ, Иванъ Алексѣевичъ Холмскій, человѣкъ богатый и съ вѣсомъ; всего дѣтей у него было одинъ сынокъ да одна дочка. Вотъ, сударь, занялся онъ очень ихъ воспитаніемъ, нахваталъ всякихъ учителей и мадамовъ; пошли ихъ учить съ утра до вечера разнымъ наукамъ, языкамъ, всякой мудрости, а пуще всего по французскому. Ну, вѣрите ль Богу, сударь: дѣло сосѣдское, пріѣдешь иногда въ гости,—не знаешь, съ кѣмъ словечко вымолвить: не токма господа, да и люди-то всѣ французами смотрятъ! Денегъ онъ потратилъ бездну, убилъ половину имѣнія, а все пошло прахомъ! Сынъ подросъ и вступилъ въ военную службу, дочка также выросла и пошла замужъ,—хорошо!.. Да позвольте спросить, конецъ-то какой былъ?.. Сына, сударь, убили на Кавказѣ черкесы, а дочь умерла первыми родами,—вотъ тебѣ и французское воспитаніе!

Разумѣется, это неожиданное заключеніе сгубило все мое краснорѣчіе; гости мои расхохотались, никто не сталъ меня слушать. Да я готовъ былъ и самъ отказаться отъ моего мнѣнія, для того только, чтобъ не имѣть своимъ защитникомъ Захара Никитича Пенькова.

2.

Московскія гостинницы.

Конечно, во всей Россіи, не исключая и роскошнаго Петербурга, нѣтъ такихъ удобныхъ и превосходныхъ гостиницъ, какія съ нѣкотораго времени завелись у насъ въ Москвѣ. Я не смѣю повторять то, что говорятъ о нихъ всѣ иностранные путешественники, потому что иногда и правда покажется невѣроятнѣе всякой лжи, но скажу только, что въ этомъ отношеніи Москва можетъ смѣло состязаться съ какимъ угодно европейскимъ городомъ. Давно ли, кажется, *Лондонъ*, извѣстная гостиница въ Охотномъ ряду, казалась намъ почти великолѣпною, а что она въ сравненіи съ гостиницею *Шевалдышева*, которая въ свою очередь отстала такъ далеко отъ *Дрездена*, и что, наконецъ, этотъ аристократическій, щеголеватый Дрезденъ въ сравненіи съ роскошнымъ, изящнымъ, исполненнымъ всѣхъ возможныхъ удобствъ, *каменнымъ домомъ* господина Варгина? Не видавъ внутренняго устройства этого дома, нельзя никакъ представить себѣ, до какой степени совершенства доведено это истинно европейское

заведеніе. Конечно, въ немъ не всѣ отдѣленія убраны съ одинаковымъ богатствомъ; но нѣтъ ни одного, въ которомъ бы вы не забыли, что живете въ наемныхъ комнатахъ, которыя отдаются по-суточно. Вездѣ необыкновенная чистота, удобство, прекраснѣйшая мебель, паркеты, бронза, ковры и, сверхъ того, все то, о чемъ встарину и рѣчи не бывало—то-есть: спокойныя постели, чистое бѣлье, столовая посуда, — однимъ словомъ, всѣ домашнія необходимости, удобства и даже прихоти. Вы любите цвѣты, намекните только объ этомъ — и ваша комната превратится въ оранжерею; вы музыкантъ, скажите одно слово—и прекрасный рояль явится къ вашимъ услугамъ. Мнѣ скажутъ, можетъ-быть, что все это стоитъ довольно дорого, — да развѣ можно гдѣ-нибудь жить бариномъ и не тратить денегъ? А если у васъ ихъ немного, такъ и это не бѣда,—въ Москвѣ около шестидесяти гостиницъ и подворьевъ. Выборъ зависитъ совершенно отъ васъ. Вы можете платить по-суточно за вашу квартиру, начиная отъ полтины, до пятнадцати рублей серебромъ. Разумѣется, въ первомъ случаѣ отведутъ для васъ комнату не очень красивую, и лѣстница, по которой вамъ придется ходить, будетъ, можетъ статься, и крута и грязненька,—да это ужъ ваше дѣло. Вотъ худо, если вы ни за какія деньги не найдете для себя удобнаго помѣщенія, или не отыщете квартиры сообразной съ вашими способами, а это, говорятъ, нерѣдко случается не только у насъ на святой Руси, но даже и за границей, гдѣ по всѣмъ городамъ и дорогамъ ѣзды побольше нашего.

3.

Андрей Евстафьевичъ Дыбковъ.

Кажется, въ первомъ выходѣ моихъ записокъ я говорилъ уже, что многіе изъ петербургскихъ старожиловъ имѣютъ весьма ошибочное понятіе о Москвѣ и вообще о всей Россіи. Эти господа полагаютъ, что все наше просвѣщеніе сосредоточилось въ одномъ Петербургѣ; что Москва, хотя называется столицею, однакожъ, въ существѣ своемъ ничто иное, какъ огромный губернскій городъ, и точно такъ-же, какъ всѣ губернскіе города, отстала цѣлымъ вѣкомъ отъ Петербурга. Конечно, съ нѣкотораго времени, это ложное понятіе начинаетъ понемногу истребляться, и почти всѣ истинно просвѣщенные петербургскіе жители говорятъ съ большимъ уваженіемъ, а иные даже и съ любовью о первопрестольномъ градѣ Царей русскихъ, объ этой православной Москвѣ, которую вся Россія или, по крайней мѣрѣ, вся древняя Россія называетъ своею матерью. Но, несмотря на это, найдутся еще люди, совершено убѣжденные въ справедливости прежняго мнѣнія. Я имѣлъ случай увѣриться въ томъ по собственному моему опыту. Въ концѣ нынѣшняго лѣта получилъ я письмо отъ одного изъ моихъ петербургскихъ пріятелей; это письмо принесъ мнѣ не почталіонъ, а трактирный слуга, вмѣстѣ съ карточкою, на которой было напечатано: «Статскій совѣтникъ Андрей Евстафьевичъ Дыбковъ». Вотъ письмо моего пріятеля:

«Любезный другъ, Богданъ Ильичъ! Я посылаю къ тебѣ это письмо съ Андреемъ Евстафьевичемъ Дыбковымъ, чиновникомъ одного изъ здѣшнихъ министерскихъ департаментовъ. Ему досталось наслѣдство, не помню, въ какой-то изъ нашихъ степныхъ губерній, и онъ въ первый разъ отъ роду оставилъ Петербургъ, въ которомъ родился, выросъ, началъ служить и дослужилъ до чина статскаго совѣтника. Вѣроятно, онъ пробудетъ у васъ дня два, или три; пожалуйста, мой другъ, познакомься съ нимъ и угости его Москвою,— ты этого дѣла мастеръ. Я искренно уважаю Андрея Евстафьевича, онъ человѣкъ прекрасный, честный, благородный и доказалъ мнѣ на самомъ дѣлѣ свое истинно рѣдкое безкорыстіе. Но я долженъ тебя предувѣдомить, что у него есть кой-какіе предразсудки и ложныя понятія, которыя могутъ тебѣ показаться смѣшными. Во-первыхъ, онъ убѣжденъ въ душѣ своей, что уроженецъ и постоянный житель Петербурга есть существо какого-то особеннаго рода, на которое всѣ провинціалы должны смотрѣть съ невольнымъ чувствомъ уваженія. Во-вторыхъ,—не прогнѣвайся, мой другъ, — Андрей Евстафьевичъ не слишкомъ высокаго мнѣнія о вашей Москвѣ и, вѣроятно, не перемѣнитъ этого мнѣнія, когда увидитъ, что она вовсе не походитъ на Петербургъ. Я боюсь также, чтобъ онъ не показался тебѣ спесивымъ; нѣтъ, мой другъ, увѣряю тебя, онъ вовсе не гордъ... Это только какое-то невольное чувство собственнаго своего достоинства, или, лучше сказать, слѣдствіе преувеличеннаго понятія, которое онъ имѣетъ о званіи чиновника одного изъ министерскихъ департаментовъ... Не смѣйся, мой другъ, — это чувство весьма естественное! Представь себѣ человѣка, который очень часто сносится съ важными особами и пишетъ предписанія, а иногда и замѣчанія начальникамъ губерній,— можетъ ли этотъ человѣкъ не имѣть весьма высокаго понятія о своемъ бюрократическомъ назначеніи?.. Ты скажешь, можетъ-быть, что не онъ подписываетъ эти отношенія, предписанія и замѣчанія,—правда, мой другъ... Но знаешь ли ты, что Вольтеровъ переписчикъ говаривалъ иногда, и вовсе не шутя: «Да, конечно, *мы*-таки порядкомъ потрудились надъ «Заирою», но еслибъ вы знали, какого труда намъ стоилъ «Магометъ!» Ну, разсуди же самъ, если это могъ сказать простой переписчикъ, то чего не можетъ подумать о себѣ тотъ, кто не переписываетъ, а сочиняетъ всѣ эти дѣловыя бумаги. Конечно, Андрей Ев-

стафьевичъ понимаетъ, что въ Петербургѣ онъ исчезаетъ въ этой толпѣ равныхъ съ нимъ званіемъ чиновниковъ; но зато онъ не сомнѣвается, что въ каждомъ провинціальномъ городѣ онъ долженъ казаться всѣмъ мѣстнымъ властямъ лицомъ, не только замѣчательнымъ и важнымъ, но даже государственнымъ; — однимъ словомъ, я увѣренъ, что Андрей Евстафьевичъ не принялъ бы за насмѣшку, еслибъ въ какой-нибудь губерніи исправникъ встрѣтилъ его на границѣ своего уѣзда, а городничій подалъ рапортъ о благосостояніи города».

Не желая выводить изъ этого пріятнаго заблужденія господина Дыбкова, я не помѣнялся съ нимъ карточками, а поѣхалъ къ нему самъ. Андрей Евстафьевичъ показался мнѣ дѣйствительно человѣкомъ очень добрымъ; онъ принялъ меня весьма ласково. Поздравивъ его съ пріѣздомъ въ Москву, я спросилъ его, былъ ли онъ въ Кремлѣ?

— Какъ же!—отвѣчалъ Дыбковъ.—Я видѣлъ вашъ большой колоколъ, толстую пушку, соборы, Ивана Великаго — все видѣлъ. Конечно, для художника тутъ не много пищи; но для любителя русской старины должно-быть очень любопытно... Древность, большая древность!..

— А по Москвѣ вы покатались?

— Да!.. Я вчера цѣлый день ѣздилъ. Скажите мнѣ, что это за странная мысль была основать Москву на такомъ невыгодномъ мѣстѣ? Вѣдь она была нѣкогда первымъ городомъ въ Россіи; неужели нельзя было выбрать для нея получше мѣстоположеніе?

— Да развѣ здѣшнее мѣстоположеніе?..

— Помилуйте!.. Для большого города необходимо ровное, гладкое мѣсто... Посмотрите нашъ Петербургъ... А это что такое?.. Горы да буераки!.. То спускаешься внизъ, то подымаешься вверхъ...

— Зато на каждомъ шагу какіе виды,— прервалъ я.

— Да что хорошаго въ этихъ видахъ? Никакой симетріи, никакого единообразія, такая пестрота, все какъ-то разбросано. Церквей очень много, да всѣ онѣ такой безобразной старинной архитектуры!.. Узенькія улицы... Нѣтъ, воля ваша, я ожидалъ увидѣть что-нибудь получше этого!.. Конечно, мы, петербургскіе жители, избалованы,—насъ трудно чѣмъ-нибудь удивить; дя я вовсе и не думалъ удивляться, а полагалъ, что увижу хоть что-нибудь похожее на столицу... Ну, двѣ, три широкія, прямыя улицы съ трехъэтажными домами подъ одну кровлю, судоходную рѣку съ гранитной набережной...

— Да,—сказалъ я, — намъ этимъ похвастаться нельзя: наша Москва-рѣка...

— Не прогнѣвайтесь, — прервалъ Дыбковъ, — мы не промѣняли бы на нее нашу Черную рѣчку или Карповку,—по нимъ все-*таки въ лодкахъ ѣздятъ;* а черезъ вашу Москву-рѣку, говорятъ, куры въ бродъ ходятъ... Да скажите, пожалуйста, какую же вы пьете воду?

— Можно пить и москворѣцкую, — она весьма недурна; а сверхъ того у насъ во многихъ мѣстахъ есть фонтаны съ отличной водой.

— А!.. Видѣлъ, видѣлъ!.. То-есть не фонтаны, а источники; вотъ какъ у насъ по Царскосельской дорогѣ... Фонтаны дѣло другое,—и еслибъ вы побывали у насъ въ Петергофѣ... Да что объ этомъ... Скажите-ка мнѣ лучше, почтеннѣйшій Богданъ Ильичъ, могу-ли я здѣсь кое-чѣмъ позапастись?

— А что вамъ надобно?

— Мнѣ нужно купить французскаго табаку, да нѣсколько бутылокъ вина... Я ужъ не требую, чтобъ это было отлично хорошо...

— А почему же вамъ этого не требовать?

— Самъ виноватъ, Богданъ Ильичъ: забылъ всѣмъ нужнымъ запастись въ Петербургѣ.

— Не безпокойтесь,—вы найдете здѣсь и цѣльное вино и хорошій французскій табакъ.

Дыбковъ улыбнулся.

— Хорошій?—повторилъ онъ. — Извините, Богданъ Ильичъ,—еслибъ дѣло шло о калачахъ, такъ въ этомъ и спору нѣтъ: Москва ими славилась; но всѣ предметы роскоши и все то, что идетъ изъ чужихъ краевъ... Впрочемъ, у меня большихъ претензій нѣтъ, я всѣмъ буду доволенъ. Кто ѣдетъ за двѣ тысячи верстъ отъ Петербурга, въ самую глубь Россіи, тотъ долженъ всего ожидать. Что дѣлать, Богданъ Ильичъ, — придется мѣсяца два потерпѣть,—зато я познакомлюсь съ нашими провинціями; а, признаюсь, — я давно желаю на нихъ посмотрѣть. Жаль только, что не увижу ихъ, такъ-сказать, нараспашку, не застану врасплохъ. Мнѣ очень бы хотѣлось взглянуть на ихъ будничный, простой бытъ; а какъ это сдѣлаешь?.. Во всякомъ городѣ узнаютъ сейчасъ, что я занимаю такой видный постъ въ Петербургѣ,— пойдутъ церемонные визиты, офиціальныя приглашенія, званые обѣды... Ну, что тутъ увидишь и что узнаешь?.. Вотъ, Богданъ Ильичъ, — промолвилъ Дыбковъ съ такимъ дѣтскимъ простодушіемъ, что мнѣ стало его жаль, — вотъ, сударь, случаи, въ которыхъ инкогнито должно быть очень пріятно!

Несмотря на мою страсть угощать всѣхъ пріѣзжихъ Москвою, я не предложилъ моихъ услугъ Андрею Евстафьевичу, который отзывался такъ холодно о нашемъ Кремлѣ и не постигалъ, что главная прелесть Москвы состоитъ именно въ томъ, что она вовсе не походитъ на великолѣпный Петербургъ, на щеголеватый Берлинъ, на Парижъ, на Вѣну, и вообще на всѣ города Европы. Она прекрасна не заимствованной, а собственной своей

красотой. Мы приглядѣлись къ нашей Москвѣ, а послушайте, что говорятъ о ней иностранные путешественники. Недавно я спросилъ одного изъ нихъ, какъ ему показался нашъ первопрестольный городъ.—«Ваша Москва»,—отвѣчалъ онъ,—«вовсе не походитъ на то, что мы привыкли называть правильнымъ, великолѣпнымъ, изящнымъ, а между тѣмъ я не могу ею налюбоваться. Все, что я до сихъ поръ видѣлъ, такъ огромно, чудно, пестро, такъ противорѣчитъ нашимъ западнымъ понятіямъ и въ то же время такъ прекрасно, что я рѣшительно очнуться не могу. Однимъ словомъ, ваша Москва не городъ, а «Тысяча и одна ночь», или, лучше сказать, очаровательный, волшебный сонъ, въ которомъ все для меня ново».

Я распрощался съ господиномъ Дыбковымъ, пожелалъ ему счастливаго пути и отправился домой. Спустя мѣсяца полтора послѣ этого, явился ко мнѣ по-утру господинъ Дыбковъ. Онъ сказалъ мнѣ, что, возвращаясь въ Петербургъ, хотѣлъ узнать, не имѣю ли я какихъ-нибудь препорученій къ моему пріятелю. Я поблагодарилъ его и спросилъ, какъ онъ провелъ свое время въ губерніи, понравился ли ему образъ жизни нашихъ провинціаловъ, повеселился ли онъ?.. При этомъ послѣднемъ вопросѣ господинъ Дыбковъ покраснѣлъ.

—Повеселился?—повторилъ онъ.—Гдѣ-съ?.. Въ этой трущобѣ? Въ этихъ губернскихъ городахъ, въ которыхъ не имѣютъ никакого уваженія ни къ званію, ни къ лицамъ?.. Помилуйте!.. Да можно ли веселиться тамъ, гдѣ живутъ какіе-то мужики, варвары, которые засѣли въ своихъ коноплянникахъ да никого и знать не хотятъ!.. Представьте себѣ,—продолжалъ господинъ Дыбковъ съ возрастающимъ жаромъ,—петербургскій житель, человѣкъ, занимающій такой видный постъ... долженъ былъ... Вы не повѣрите!.. Да, сударь, долженъ былъ во всѣхъ губернскихъ городахъ обѣдать, гдѣ?.. Въ трактирахъ, сударь! Въ трактирахъ!.. Да еще въ какихъ!.. Харчевни мерзкія!.. А туда-жъ: реторація... нумера!.. Хлѣва, сударь... хлѣва!..

— Это странно,—сказалъ я,—у насъ въ провинціяхъ вообще очень гостепріимны, и если пріѣзжій желаетъ со всѣми познакомиться, ему стоитъ только сдѣлать нѣсколько визитовъ или привезти съ собой хоть одно рекомендательное письмо...

— Рекомендательное письмо? — повторилъ съ живостью Андрей Евстафьевичъ. — Мое рекомендательное письмо, сударь,—подорожная!.. Такой чиновникъ, какъ я, въ какомъ-нибудь провинціальномъ городишкѣ... Да это, сударь, эпоха... Нѣтъ, признаюсь, я не ожидалъ такого разврата въ нашихъ провинціяхъ... Все, сударь, потеряно, все!.. Полковой батюшка служилъ въ канцеляріи генералъ-прокурора,— *бывало, поѣдемъ* не по службѣ, а по собственнымъ дѣламъ въ какой-нибудь губернскій городъ... Господи, Боже мой?.. Все встрепенется!.. Исправникъ, засѣдатели въ мундирахъ... Обывательскихъ лошадей бери безденежно сколько хочешь!.. Что лошади!.. По дорогамъ лагуны горятъ!.. А теперь!.. Скверный духъ, батюшка, скверный!.. Представьте себѣ: вздумалось мнѣ проѣздомъ остановиться отдохнуть въ одномъ уѣздномъ городѣ. Привезли меня въ гостиницу — гадость такая, что не приведи Господи, — хуже всякой конюшни. Вотъ я посылаю сказать городничему, что такой-то проѣзжій петербургскій чиновникъ желаетъ переночевать въ городѣ; но такъ какъ городская гостиница не представляетъ къ сему никакихъ удобствъ, то онъ покорнѣйше проситъ господина городничаго приказать отвести ему квартиру въ какомъ-нибудь обывательскомъ домѣ. Вотъ жду—явится ко мнѣ самъ городничій, вѣроятно, предложитъ свой домъ... И чтожъ, сударь? Человѣкъ мой возвращается съ отвѣтомъ: «Скажи, дескать, твоему барину, что квартиры отводятъ только для проходящихъ войскъ, а если, дескать, его высокородію не нравится наша гостиница, такъ онъ можетъ самъ нанять квартиру у любого обывателя». Разумѣется, послѣ такого дерзкаго отвѣта я не могъ остаться ни минуты въ этомъ скверномъ городишкѣ. Добрался я, наконецъ, до перваго губернскаго города,—живу въ немъ сутки, двое... Повѣрите ли?... Никому до меня и дѣла нѣтъ!.. Пріѣзжаю въ другой губернскій городъ, останавливаюсь въ гостиницѣ... Порядочная!.. Довольно чисто, не пахнетъ ни кислой капустой, ни рыбой... Входитъ трактирщикъ:—«Позвольте узнать чинъ, имя и фамилію».—«Статскій совѣтникъ, братецъ. Андрей Евстафьевичъ Дыбковъ, чиновникъ, служащій въ такомъ то министерствѣ». Трактирщикъ въ поясъ поклонъ, да и вонъ! Гляжу въ окно: бѣжитъ онъ сломя голову по улицѣ... повстрѣчался съ человѣкомъ въ треугольной шляпѣ, по всему видно—квартальный... пошептались; квартальный сѣлъ на извозчика и поскакалъ.—«А-га»,—подумалъ я,—«проснулись!» Этакъ черезъ полчаса входитъ мой Алексѣй и докладываетъ, что ему на почтовомъ дворѣ сказали, будто бы всѣ лошади въ разгонѣ и только развѣ къ ночи вернутся назадъ. — «Я было поспорилъ со смотрителемъ»,—промолвилъ Алексѣй,—«да онъ божится, что лошадей нѣтъ, а ямщики говорятъ не то; да и самъ-то онъ, проклятый, ухмыляется». — «Ухмыляется», — подумалъ я,—«вотъ что!.. Понимаю!.. Ему не приказано давать мнѣ лошадей: это деликатная манера позадержать меня въ городѣ... Понимаю!».—«Не прикажете ли»,—спросилъ Алексѣй,—«сказать трактирщику, что вы изволите здѣсь кушать?»—«Нѣтъ, братецъ, погоди! Мнѣ кажется, я буду обѣдать не здѣсь...

Ступай себѣ, поѣшь; да вынь изъ чемодана шкатулку, мундирный фракъ и прочее». Вотъ, сударь, я выбрился, одѣлся, сижу себѣ часъ, сижу два, сижу три... Что такое? И скучно, и ѣсть хочется,—а гонца ко мнѣ отъ губернатора нѣтъ какъ нѣтъ!.. Видно приготовляется,—не хочетъ принять меня по-будничному... Проходитъ еще часъ, другой... Слышу—бьетъ семь часовъ! Да этакъ поздно и у насъ въ Петербургѣ не обѣдаютъ!.. Я кликнулъ трактирщика.—«Что, братъ, губернаторъ въ городѣ?»—«Въ городѣ, сударь. Сейчасъ изволилъ проѣхать». —«Проѣхать? Куда?—«Да, я думаю, никуда, ваше высокородіе; онъ всегда изволитъ кататься послѣ обѣда».—«Вотъ тебѣ разъ!.. Что это все значитъ?.. Послушай, любезный,—сказалъ я хозяину,—мнѣ показалось, что ты говорилъ на улицѣ съ какимъ-то квартальнымъ?»—«Говорилъ, сударь».—«И этотъ квартальный сѣлъ на извозчика и поскакалъ».—«Точно такъ-съ?.. Этотъ квартальный надзиратель мой куманекъ. Я думалъ, что вы будете здѣсь кушать, такъ просилъ его взять въ погребкѣ бутылочку хорошаго сотернова. Ординарное-то у меня есть, да не отличное: здѣшніе посѣтители имъ не брезгуютъ, а ваше высокородіе дѣло другое—вы человѣкъ петербургскій!..»—Прошу покорно, а дѣлать-то нечего: принимайся за трактирный обѣдъ. —«Да ничего, дескать, нѣтъ».—«Какъ такъ?»—«Вашъ человѣкъ сказалъ, что вы кушать не будете, такъ для васъ ничего не готовлено». Поздравляю: безъ обѣда!.. Признаюсь, Богданъ Ильичъ, въ жизнь мою я не сердился такъ на самого себя, какъ въ этотъ разъ... Дуракъ этакій!.. Ужъ я видѣлъ, какой народъ эти провинціалы,—чего тутъ ожидать? Да развѣ есть что-нибудь для нихъ святое?.. Что имъ такое петербургскій сановникъ? Они сами господа!... Вы скажете, что губернаторъ не зналъ о моемъ пріѣздѣ въ городъ... Да какъ ему, сударь, не знать объ этомъ?.. Ужъ коли ему не донесли о пріѣздѣ такого чиновника, какъ я, такъ о чемъ же ему и доносятъ?.. Нѣтъ, Богданъ Ильичъ,—худо, очень худо!.. Все потеряно, батюшка, все!..

Какъ я ни желалъ примирить моего гостя съ нашими провинціалами, но онъ остался непоколебимъ и, прощаясь со мною, повторилъ еще разъ, что въ нашихъ губерніяхъ и дворянство, и мѣстное начальство, и вообще всѣ сословія потеряли всякое уваженіе къ заслуженнымъ лицамъ, совершенно развратились, и что это пагубное вольнодумство дошло до высочайшей своей степени; однимъ словомъ, добрый и простодушный Андрей Евстафьевичъ, вовсе не думая, повторилъ въ прозѣ то, что сказалъ нѣкогда въ стихахъ Буало:

Qui méprise Cotin, n'estime point son roi,
Et n'a, selon Cotin, ni Dieu, ni foi, ni loi.

4.

Москва-рѣка.

Я люблю прогуливаться по берегу Москвы-рѣки, когда она весною затопляетъ пологіе берега Замоскворѣчья, ревѣтъ и крутится подъ сводами Каменнаго моста, и не течетъ, а мчится быстрымъ потокомъ, сгибая крутые берега кремлевскаго холма. Но не долго живетъ наша Москва-рѣка этой чужой, заимствованной жизнью; какъ величавая красавица, пораженная внезапнымъ недугомъ, она начинаетъ чахнуть, худѣть и въ нѣсколько дней превращается изъ судоходной рѣки въ мелководную, ничтожную рѣку, которую во многихъ мѣстахъ, а особливо у Крымскаго брода, вовсе не грѣшно назвать рѣчкою. Тамъ, гдѣ прежде едва доставали дно длинными баграми, купаются или, лучше сказать, играютъ по колѣно въ водѣ пятилѣтніе ребятишки; а гдѣ проходили огромныя суда съ тяжелымъ грузомъ, тамъ на широкихъ отмеляхъ расхаживаютъ галки и вороны.

Въ концѣ прошедшаго іюля мѣсяца мнѣ пришлось ѣхать черезъ Крымскій бродъ. Вы помните, я думаю, любезные читатели, что въ іюлѣ стояли постоянныя жары; слѣдовательно, я долженъ былъ полагать, что у Крымскаго брода Москва-рѣка почти пересохла и что чрезъ нее не только не переѣзжаютъ, но даже ходятъ въ бродъ. Представьте же мое удивленіе, когда, подъѣхавъ къ мосту, я увидѣлъ передъ собой, вмѣсто тощей рѣчонки, которая, за мѣсяцъ до того, походила на какую-то проточную лужу, широкую, многоводную рѣку: ни одной песчаной косы, ни одной отмели,—ну, точно какъ весною.

— Что это, батюшка, съ рѣкою-то сдѣлалось?—сказалъ мой Петръ, пріостановивъ лошадей.—Изволите видѣть?

— Вижу, братецъ.

— Вотъ диковинка-то!.. Добро бы дождливое лѣто, а то сушь и жарынь такая, что старики не запомнятъ.

— Въ самомъ дѣлѣ, отчего такая прибыль воды?

— Вотъ то-то и есть, сударь! Чѣмъ бы Москвѣ-то рѣкѣ еще обмелѣть, а смотрите, какъ она разгулялась: ни дать ни взять какъ въ полую воду.

— Постой-ка, братецъ!—прервалъ я.—Что это тамъ?.. Вонъ налѣво-то!

— Гдѣ, сударь?

— Къ Каменному мосту, противъ Берсеневки.

— Ахъ, батюшки!.. Да вѣдь это плотина, сударь!.. Видитъ Богъ, плотина!..

— И мнѣ кажется... Да, точно такъ!

— Ступай на Берсеневку.

Черезъ нѣсколько минутъ я остановился въ десяти шагахъ отъ плотины и вышелъ изъ

коляски. Въ томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ начинается отводный каналъ, то-есть противъ Берсеневки и Бабьяго города, высокая плотина перерѣзываетъ во всю ширину Москву-рѣку; одна часть скопившейся воды выливается двадцатью двумя каскадами сквозь отверстія, сдѣланныя въ плотинѣ, другая наполняетъ отводный каналъ, который изъ грязнаго рва превратился также въ глубокую и судоходную рѣку. На берегу рѣки встрѣтилъ я знакомаго мнѣ офицера путей сообщенія, который разсказалъ мнѣ слѣдующія подробности о сооруженіи и устройствѣ этой плотины.

Въ 1883 году Государь Императоръ Высочайше повелѣть соизволилъ улучшить судоходство по Москвѣ-рѣкѣ и устроить для складки и выгрузки товаровъ пристань обширнѣе и удобнѣе прежней. Для этого составленъ былъ проектъ обхода Москвы-рѣки особеннымъ каналомъ. Въ 1835 году всѣ работы по сему предмету приведены къ окончанію и судоходство по каналу тогда же было открыто. Но въ октябрѣ мѣсяцѣ плотина, не выдержавъ напора воды, лопнула, и отводный каналъ остался снова безъ воды и употребленія.

Съ того времени на возобновленіе плотины составлялись различные проекты, и, наконецъ, въ 1843 году утвержденъ проектъ по системѣ совершенно новой. Нынѣ по этому проекту, подъ главнымъ надзоромъ начальника четвертаго округа, генералъ-маіора Трофимовича, устроена окончательно подполковникомъ Бобрищевымъ-Пушкинымъ разборчатая плотина, названная Бабье-городскою, и судоходство по московскому отводному каналу снова открыто. Плотина будетъ устанавливаться каждую весну, по спадѣ воды, и разбираться осенью, по закрытіи судоходства; она запирается вертикальными брусками и, останавливая теченіе рѣки, наполняетъ водою каналъ до шестифутовой глубины, вполнѣ достаточной для судоходства, пропуская затѣмъ всю излишнюю воду въ нижнюю часть рѣки. Прежде, приходящія въ Москву суда, круглымъ числомъ до четырехъ тысячъ, терпѣли большія затрудненія отъ недостатка мѣста для выгрузки товаровъ; теперь они найдутъ въ отводномъ каналѣ, на пространствѣ трехъ верстъ съ половиною, удобную и обширную пристань, въ которой могутъ разгружаться вдругъ до пятисотъ судовъ, а сверхъ того, будутъ имѣть возможность приставать къ берегамъ рѣки выше вновь устроенной плотины, то-есть отъ Крымскаго брода до самыхъ Воробьевыхъ горъ.

Не говоря уже о величайшей пользѣ, которую принесетъ московскому судоходству эта превосходно устроенная плотина, нельзя не порадоваться, когда посмотришь, до какой степени это роскошное изобиліе воды украсило всю набережную часть Замоскворѣчья, между Крымскимъ бродомъ и Каменнымъ мостомъ. Теперь вся часть набережной отводнаго канала, называемая Бабьимъ городкомъ, и вообще всѣ его берега совершенно измѣнились. Прежде обывательскіе дома тянулись вдоль грязнаго канала, на днѣ котораго во все лѣто не пересыхала зловонная тина и покрытая зеленью стоячая вода; теперь эти же самые дома перенесены какъ будто бы волшебствомъ на красивые берега наполненнаго чистой водой проточнаго рукава Москвы-рѣки. Теперь обыватели не должны ходить далеко за водою: она у нихъ подъ руками,—словомъ, всѣ удобства, которыми они пользовались въ теченіе нѣсколькихъ только дней въ году, то-есть во время весенняго разлива, упрочены для нихъ почти на цѣлый годъ.

5.

Бабій городокъ.

Я упомянулъ въ предыдущемъ разсказѣ объ одномъ замоскворѣцкомъ урочищѣ, которое называется Бабьимъ городкомъ; если вы хотите знать, любезные читатели, почему это урочище получило такое странное названіе, такъ я могу сообщить вамъ объ этомъ не историческое изъясненіе,—вы не найдете его въ лѣтописяхъ, — но изустное народное преданіе, которое вѣроятно имѣетъ, однакожъ, какое-нибудь основаніе. Вотъ что слышалъ я отъ одного почти столѣтняго мѣщанина. Несмотря на свою глубокую старость, онъ сохранилъ всю свѣжесть памяти и очень любитъ бесѣдовать о московской старинѣ.

— Ты хочешь знать, батюшка,—сказалъ онъ мнѣ однажды,—почему замоскворѣцкое урочище позади Берсеневки прозывается Бабьимъ городомъ, — пожалуй, я разскажу тебѣ, что слышалъ отъ моего дѣдушки. Вотъ изволишь видѣть: давнымъ-давно, а при какомъ благовѣрномъ Князѣ, того не зналъ доподлинно и мой дѣдушка, — дошелъ слухъ до Москвы, что идетъ на нее войною татарскій ханъ съ несмѣтнымъ войскомъ. На ту пору почти всю московскую рать угнали въ походъ противъ Литвы, такъ некому было выйти въ поле чистое встрѣтить незваныхъ гостей, по русскому обычаю, не съ хлѣбомъ и съ солью, а съ чугуннымъ свистуномъ, кистенемъ и булатной саблею. Вотъ православный Государь Великій Князь призадумался и бояре его головушку повѣсили. Вѣстимо дѣло: пришлось затвориться въ Кремлѣ да отсиживаться; только вотъ бѣда: велика матушка Москва—всю ее въ Кремль не упрячешь. Что дѣлать? Думали, думали, да и выдумали: сидѣть въ Кремлѣ однимъ мужьямъ, а женъ и малыхъ дѣтей услать куда ни есть подальше. Какъ сказано, такъ и сдѣлано. Всѣ московскія барыни разъѣхались по дальнимъ отчинамъ; помаленьку уплелись и жены купеческія со своими пожитками,—кто въ Ростовъ, кто въ

Новгородъ: у купцовъ вездѣ пріятели; а посадскимъ бабамъ куда бѣжать? Хорошо пѣшкомъ на богомолье ходить: кошель за плечами, да и съ Богомъ! А тутъ не то: на себѣ всего добра не унесешь, а коли дома оставишь, такъ и поминай какъ звали! Вотъ посадскія бабы собрались, помолились Богу, выбрали мѣстечко за Москвой-рѣкой, обвели его тыномъ, окопались, снесли туда всѣ свои пожитки, запаслись ѣдою, всякимъ оружіемъ, и, какъ басурманы пришли, такъ онѣ заперлись въ своемъ городѣ, да ну-ка отсиживаться! Татары пытались было вломиться къ нимъ силою—да нѣтъ!.. Посадскія бабы такой дали имъ отпоръ, что они свѣту Божьяго не взвидѣли!.. Не вѣдаю, батюшка, долго ли, коротко ли держали ихъ въ осадѣ супостаты,—только московскія горожанки не хуже мужьевъ своихъ отсидѣлись въ городкѣ отъ этого татарскаго погрома, и вотъ почему урочище за Берсеневкой слыветъ и понынѣ еще Бабынъ городомъ. Такъ ли это все было, или нѣтъ — Господь вѣдаетъ: мы люди недавніе, молодые; а наши дѣды и прадѣды такъ разсказывали. Видно, батюшка, въ старину,—промолвилъ разскащикъ,—и жены-то русскихъ молодцовъ были поудалѣе нынѣшнихъ: наши бы не отсидѣлись.

6.

Два слова о нашей древней и современной одеждѣ.

Трудно опредѣлить яснымъ и положительнымъ образомъ, что такое этотъ временный обычай, или, лучше сказать, минутная прихоть, которую мы называемъ *модою* и которая, почти всегда появляясь въ Парижѣ, какъ заразительная болѣзнь, разливается по всей Европѣ. Какъ отгадать причину слѣпой и рабской покорности, съ которою мы повинуемся прихотливымъ законамъ этой моды, всегда непостоянной и очень часто совершенно безсмысленной. Почему я, живя въ Москвѣ, гдѣ нерѣдко бываетъ холодно въ маѣ мѣсяцѣ, долженъ одѣваться точно такъ же, какъ одѣваются люди, которые и въ апрѣлѣ задыхаются отъ жару? Почему мое платье должно непремѣнно походить на платье какого-нибудь француза, даже и тогда, когда бы онъ вздумалъ одѣться уродомъ? Если всѣ дѣйствія человѣка, одареннаго разумомъ, должны менѣе или болѣе основываться на здравомъ смыслѣ, такъ почему же этотъ благоразумный человѣкъ, на ряду съ легкомысленной толпой, которая увлекается всякой новостью, надѣваетъ на себя или уродливый фракъ, или короткій сюртучокъ въ обтяжку, или безобразное пальто — мѣшокъ, который волочится по землѣ, — и все это не потому, чтобъ ему было спокойно въ этомъ узенькомъ *сюртукѣ, чтобъ онъ находилъ* красивымъ этотъ шутовскій балахонъ—пальто, но потому только, что такъ начали одѣваться въ Парижѣ. Конечно трудно отгадать, почему все это дѣлается, но еще труднѣе изъяснить—почему это олицетворенное непостоянство, эта мода продолжаетъ съ такимъ постоянствомъ наряжать насъ въ уродливое платье, которое мы называемъ фракомъ. Грибоѣдовъ, упомянувъ мимоходомъ о нашемъ современномъ платьѣ, говоритъ, что мы всѣ одѣты по какому-то шутовскому образцу:

„Хвостъ сзади, спереди какой-то чудный выемъ,
Разсудка вопреки, на перекоръ стихіямъ".

И подлинно: нашъ сюртукъ, разумѣется, если онъ сшитъ не слишкомъ по модному, походитъ еще на человѣческое платье; но въ немъ-то мы именно и не можемъ показаться нигдѣ вечеромъ. А что такое фракъ?.. Тотъ же самый сюртукъ, съ тою только разницею, что у него вырѣзанъ весь передъ. Ну, можетъ ли быть что-нибудь смѣшнѣе и безобразнѣе этого? Попытайтесь въ воображеніи вашемъ нарядить кого-нибудь изъ древнихъ, напримѣръ, хотя Сократа, въ какой вамъ угодно фракъ,—а это вы можете себѣ легко представить: нынче и съ фракомъ носятъ бороду; попробуйте это сдѣлать и скажите мнѣ по чистой совѣсти, на кого будетъ походить тогда бѣдный философъ — на мудреца, или на шута? Впрочемъ, красота и величавость одежды дѣло еще второстепенное: въ суровыхъ кламатахъ ея главное назначеніе состоитъ въ томъ, чтобъ укрывать насъ отъ холода и непогоды. Кажется, и въ этомъ отношеніи наша современная одежда не выполняетъ своего назначенія: мы въ двадцать градусовъ мороза носимъ узенькіе фраки, которые не застегиваются на груди, и шляпы, которыя не закрываютъ ушей. На это есть шубы и теплыя фуражки, скажутъ мнѣ. Да, конечно; но въ какую гостиную я могу появиться съ фуражкою въ рукѣ, и не во столи разъ лучше надѣвать распашную шубу сверхъ платья, которое уже само-по-себѣ защищаетъ меня отъ холода?

Я никогда не бывалъ безусловнымъ почитателемъ нашихъ древнихъ обычаевъ и, признаюсь, вовсе не жалѣю, что родился въ девятнадцатомъ, а не въ семнадцатомъ столѣтіи; но, признаюсь также, отъ всей души желаю, чтобъ мы нарядились снова въ наши спокойные, величавые и красивые шубы, кафтаны, ферязи, терлики, однорядки и щеголеватые зипуны, и чтобъ вмѣсто этого неуклюжаго лукошка, которое мы называемъ шляпою и которое зимой не грѣетъ, а лѣтомъ не защищаетъ отъ солнца, начали носить попрежнему мѣховыя шапки-мурмолки и пуховыя шляпы съ широкими полями.—«Такъ поэтому и русскія женщины должны надѣть сарафаны, кофты и тѣлогрѣи?»—О, нѣтъ, женщины совсѣмъ не то: для нихъ туалетъ дѣло

очень важное, это одно изъ самыхъ существенныхъ наслажденій въ ихъ жизни, онѣ могутъ и должны наряжаться, какъ имъ угодно. Пускай разнообразятъ онѣ до безконечности свой нарядъ, подражаютъ чужимъ модамъ, выдумываютъ свои собственныя, и если даже онѣ примутся снова носить огромныя фижмы, пудренные шиньоны и трехъэтажные головные уборы, то мы можемъ пожалѣть, что онѣ себя такъ уродуютъ, а должны смотрѣть снисходительно на это ребячество. Пусть ихъ себѣ тѣшутся, если это ихъ забавляетъ; но намъ, мужчинамъ, пора бы перестать состязаться съ женщинами на этомъ туалетномъ поприщѣ и подражать вмѣстѣ съ ними всѣмъ дурачествамъ вѣтряныхъ французовъ.

Многіе полагаютъ, что наша современная одежда, которая не кажется намъ безобразною потому только, что мы приглядѣлись къ ея безобразію, служитъ для насъ какою-то вывѣскою европейскаго просвѣщенія и образованности; да неужели и то и другое зависятъ отъ покроя моего платья? Если самый модный парижскій фракъ не сдѣлаетъ безграмотнаго дурака ни на волосъ умнѣе, такъ почему же спокойное, красивое и сообразное съ климатомъ русское платье превратитъ меня изъ человѣка образованнаго въ запоздалаго невѣжду и записного врага просвѣщенія? Давно ли всѣмъ западнымъ народамъ Европы, а въ томъ числѣ и намъ, образованнымъ русскимъ, отпущенная борода казалась явнымъ признакомъ варварства и невѣжества. Вдругъ французамъ вздумалось не брить свои бороды, и хотя эта мода не сдѣлалась общею, однако-жъ, никому не пришло въ голову заключить изъ этого, что просвѣщенные парижане хотятъ возвратиться къ прежнимъ нравамъ, то-есть сдѣлаться опять полудикими франками, отъ которыхъ они происходятъ, или, по крайней мѣрѣ, французами временъ Генриха Четвертаго. Почему же, по мнѣнію нѣкоторыхъ, мы, русскіе, потеряемъ все право называться европейцами, если станемъ одѣваться, какъ одѣвались наши предки? Что, если-бъ русское полукафтанье, на которое очень походятъ мундиры нынѣшней алжирской арміи, сдѣлалось модянымъ парижскимъ платьемъ?.. Желалъ бы я знать, рѣшились ли бы тогда эти проповѣдники *цивилизаціи*, основанной на покроѣ платья, позволить намъ перенять у французовъ то, что они у насъ переняли?

Вѣроятно, многіе изъ моихъ читателей не имѣютъ яснаго понятія о томъ, какъ одѣвались въ старину наши русскіе бояре и вообще всѣ люди высшаго состоянія. Мы какъ-то привыкли подъ словами: кафтанъ, зипунъ, кожухъ—разумѣть грубое сермяжное платье и нагольный тулупъ нашихъ крестьянъ, — это совершенно ошибочное понятіе. Въ старину кафтаны русскихъ бояръ вовсе не походили на наши кучерскіе и даже купеческіе, а великолѣпныя шубы и ферязи съ золотыми петлицами—на овчинные тулупы и сѣрые зипуны нашихъ крестьянъ. Конечно, въ старину русскіе баричи носили платья, которыя назывались *зипунами*, но эти зипуны были такъ прекрасны, что трудно придумать что-нибудь красивѣе и граціознѣе этого мужского наряда. Если вы не вѣрите моимъ словамъ, такъ потрудитесь заглянуть въ собраніе литографированныхъ рисунковъ съ объяснительнымъ текстомъ господина Висковатаго. Это превосходное и совершенно новое въ своемъ родѣ изданіе вышло въ свѣтъ подъ названіемъ: «Рисунки одежды и вооруженія россійскихъ войскъ».

Не такъ еще давно одинъ изъ русскихъ журналистовъ нападалъ съ необычайнымъ ожесточеніемъ на нашу древнюю одежду. Это бы еще не бѣда: мнѣ не нравится парижскій фракъ, вамъ русскій кафтанъ, это дѣло вкуса, такъ тутъ и спорить нечего. Но вотъ что дурно: этотъ неумолимый гонитель русскихъ кафтановъ, желая убѣдить читателей въ справедливости своего мнѣнія, спрашиваетъ ихъ, что лучше и красивѣе: сѣрый сермяжный зипунъ или фракъ, сшитый изъ тонкаго сукна; безобразные бахилы, подбитые гвоздями, или красивые лакированные сапоги? Да развѣ можно сравнивать крестьянскій нарядъ какого бы то ни было народа съ платьемъ людей высшаго состоянія?.. Еслибъ этотъ журналистъ спросилъ, какъ и слѣдовало спросить, что лучше: сѣрый зипунъ и подбитые гвоздями сапоги русскаго мужика, или толстая холстинная блуза и неуклюжіе деревянные башмаки французскаго крестьянина, суконный фракъ и лакированные полу-сапожки парижскаго щеголя, или шелковый кафтанъ и сафьяновые сапоги стариннаго русскаго барина? Тогда бы этотъ журналистъ поступилъ добросовѣстно, но, вѣроятно, не достигъ бы своей цѣли, то-есть не увѣрилъ бы читателей, что онъ совершенно правъ. Конечно, есть люди, которые станутъ оправдывать эту недобросовѣстность; они скажутъ, что этого требуетъ избранное журналомъ *направленіе*, что всякій журналъ, имѣющій свою собственную *физіономію*, свой отличительный *характеръ*, долженъ непремѣнно поддерживать принятый имъ образъ мыслей не только одними позволенными, но всѣми *возможными* способами; словомъ, чтобъ склонить читателей на свою сторону, онъ можетъ и долженъ кривить душою, лгать, обманывать и даже клеветать: «Ужъ это, дескать, принято всѣми просвѣщенными народами: французы называютъ его *цвѣтомъ*, а мы *направленіемъ* или духомъ журнала. Загляните въ извѣстный своимъ остроуміемъ парижскій журналъ La Mode: онъ весь составленъ изъ обидныхъ насмѣшекъ, несправедливыхъ обвиненій, превратныхъ толковъ и постоянной клеветы на суще-

ствующее во Франціи правительство, а между тѣмъ всѣ находятъ это весьма естественнымъ. Что-жъ дѣлать, таковъ духъ времени, и только люди устарѣлые и *неподвижные* могутъ возставать противъ этого современнаго направленія, принятаго всѣмъ Западомъ». Всѣмъ Западомъ!.. Да развѣ это что-нибудь доказываетъ? Это подтверждаетъ только мое мнѣніе, что мы не должны ни въ чемъ подражать *безусловно* Западу. И зачѣмъ ссылаться на Западъ? Спросите у собственной вашей совѣсти, можетъ ли она оправдать недобросовѣстность, криводушіе, ложь, злобу и клевету, оттого, что на Западѣ всѣ эти основныя стихіи современной журналистики названы направленіемъ, духомъ и цвѣтомъ журнала? Нѣтъ, пусть величаютъ меня старовѣромъ, врагомъ всякой современности, запоздалымъ, отсталымъ—чѣмъ угодно, а я не перестану называть зло зломъ, хотя бы оно сто разъ пришло къ намъ съ Запада! И эта современность, о которой такъ много нынче толкуютъ, не заставитъ меня уважать ни развратныхъ стиховъ, какъ бы хорошо они ни были написаны; ни разсказовъ, въ которыхъ прославляются буйныя страсти; ни безсмысленнаго пустословія, облеченнаго въ ученыя фразы; ни этихъ европейскихъ условій, на основаніи которыхъ журналистъ можетъ поступать недобросовѣстно, тогда какъ безпристрастіе и добросовѣстность составляютъ необходимое условіе всякаго журнала. Конечно, это весьма старая и пошлая истина, но, несмотря на это, ее признаютъ даже и самые недобросовѣстные журналисты. Толкуя безпрестанно о современности, о направленіи своего журнала, они не забываютъ, однако-жъ, говорить о своемъ безпристрастіи, разумѣется, точно такъ же, какъ говорятъ о благородной и честной игрѣ своей всѣ картежные шуллера, играющіе навѣрное. «Авось, дескать, попадется новичокъ, повѣритъ, а мы его надуемъ!»

ВЫХОДЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

Къ читателямъ.

Выдавая четвертую книжку моихъ записокъ, я рѣшился отступить нѣсколько отъ принятаго мною плана по нижеслѣдующимъ причинамъ.

Многіе изъ моихъ читателей полагаютъ, что въ книгѣ, которая называется «Москва и Москвичи», должно говорить объ одной Москвѣ и ея жителяхъ. Основываясь на этомъ, довольно логическомъ, выводѣ, они осуждаютъ меня за то, что я нерѣдко, вопреки названію моей книги, говорю обо всемъ, что мнѣ придетъ въ голову. Другіе замѣчаютъ и, можетъ-быть, также справедливо, что мои *записки, какъ произведеніе чисто* литературное, не должны походить на статистическое или топографическое описаніе Москвы, что москвичи вовсе не составляютъ какой-нибудь отдѣльной касты, что они точно такіе же русскіе, какъ и всѣ, которые живутъ на святой Руси, и что, ограничиваясь описаніемъ этихъ едва замѣтныхъ особенностей, которыми Москва отличается отъ другихъ русскихъ городовъ, я непремѣнно сдѣлаюсь однообразнымъ, мелочнымъ, или, что хуже и того, буду не описывать, а сочинять, то есть взводить на бѣдныхъ москвичей тяжкіе грѣхи, которымъ они вовсе не причастны, выдумывать небывалые обычаи, нелѣпыя повѣрья и разныя другія, болѣе или менѣе забавныя, клеветы, вродѣ тѣхъ, которыми такъ щедро осыпаютъ насъ иностранные туристы.

Эти два совершенно противуположныя мнѣнія привели меня въ большое затрудненіе. Конечно, я могъ бы отвѣчать на замѣчанія моихъ критиковъ извѣстными стихами Сумарокова:

„Коль слушать всѣ людскія рѣчи,
Придется намъ осла взвалить на плечи".

Но я желалъ бы, по-возможности, угодить моимъ читателямъ,—да какъ это сдѣлать?... Я думалъ, думалъ и вотъ что, наконецъ, пришло мнѣ въ голову: покойный мой пріятель, Иванъ Андреевичъ Барсуковъ, любилъ очень рукописи всякаго рода; у него было большое собраніе анфологіоновъ, октаиковъ, синаксаровъ, діоптръ, космографій, лѣтописей и сборниковъ. Не подумайте, однако-жъ, что Иванъ Андреевичъ былъ ученый антикварій,—о, нѣтъ, его археологическія познанія были весьма ограничены, онъ любилъ свои рукописи потому только, что онѣ рукописи, точно такъ же, какъ всѣ скупые любятъ деньги не за то, что на нихъ можно все пріобрѣсти, но за то, что онѣ — деньги. Я знаю одного скупого, который съ утра до вечера пересчитываетъ свою огромную казну, разглаживаетъ утюгомъ ассигнаціи, чиститъ мѣломъ серебряные рублевики, а межъ тѣмъ, несмотря на свое богатство, питается круглый годъ однимъ варенымъ картофелемъ и начинаетъ топить свои печи только тогда, когда у него въ комнатѣ замерзаетъ вода. Покойный мой пріятель точь-въ-точь, какъ этотъ скупой, любовался своими рукописями, обметалъ съ нихъ пыль, переставлялъ съ полки на полку, а самъ ихъ не читалъ и не давалъ читать никому. Хотя Иванъ Андреевичъ любилъ особенно древнія рукописи, однако-жъ не пренебрегалъ и новѣйшими. У него были цѣлыя тетради, исписанныя стихами Ломоносова, Сумарокова, Державина и даже многихъ современныхъ намъ писателей; зато печатныхъ книгъ было у него не много; кажется, полное собраніе «Московскихъ Вѣдомостей», большая коллекція «Академическихъ Кален-

дарей», Требникъ Петра Могилы и древній, изданный въ Стрѣтинѣ, Псалтырь Франциска Скорины. Эту печатную книгу, по ея необычайной рѣдкости, покойный мой пріятель уважалъ не меньше рукописи и она стояла у него на почетной полочкѣ, рядомъ съ рукописною комедіею, глаголемою: «Актъ комедіальный о Калеандрѣ, Цесаревичѣ Греческомъ, и о мужественной Неонильдѣ, Цесаревнѣ Трапезондской, скомпанованный въ Москвѣ».—Иванъ Андревичъ, зная мою любовь къ русской старинѣ, отказалъ мнѣ по духовной свою библіотеку. Не раздѣляя съ покойнымъ моимъ пріятелемъ этой исключительной страсти ко всему писанному, я занялся разборомъ, или, лучше сказать, браковкою всѣхъ новѣйшихъ рукописей; отобралъ дюжины двѣ плохихъ списковъ съ печатныхъ книгъ, отдалъ на обвертки цѣлую связку учебныхъ тетрадей какого-то семинариста, огромную кипу расходныхъ книгъ, писанныхъ рукою Феодосіи Никитишны, бабушки покойнаго моего пріятеля, и изъ всего собранія новѣйшихъ рукописей оставилъ только у себя красиво переписанную Телемахиду Тредьяковскаго, его же поѣздку на островъ Любви и одну толстую тетрадь, которая обратила на себя мое вниманіе по слѣдующей отмѣткѣ, написанной рукою покойника:

«Сей сборникъ, именуемый «Разсказы о быломъ» или «Осенніе вечера моего дѣдушки», составленъ изъ достовѣрныхъ разсказовъ нѣкоторыхъ особъ, изъ коихъ многіе и по-днесь находятся въ живыхъ, самъ же собиратель оныхъ давно уже кончилъ свое земное поприще. Рукопись сія тѣмъ драгоцѣннѣе, что она никогда не подвергалась печати и можетъ назваться единственною въ своемъ родѣ». Это собраніе разсказовъ, перемѣшанныхъ съ разговорами бывалыхъ людей, показалось мнѣ довольно занимательнымъ по своему разнообразію и какой-то простодушной веселости, которую я не смѣю назвать болтовнею, потому что неизвѣстный сочинитель «Осеннихъ вечеровъ», кажется, человѣкъ съ большими претензіями; я это думаю потому, что на заглавномъ листѣ этого сборника написана, въ видѣ эпиграфа, русская пословица, или народная поговорка: «Не раскуся орѣха, о зернѣ не толкуй». Только, воля его, это просто хвастовство: авторъ хочетъ пустить пыль въ глаза своимъ читателямъ. — «Вы, дескать, думаете, что я такъ балагурю, шучу... Нѣтъ, разберите-ка хорошенько, такъ вы увидите, что въ этой болтовнѣ много дѣла, сирѣчь, всякой глубины и философіи». Не знаю, какъ посудятъ другіе, я, по крайней мѣрѣ, не замѣтилъ ничего особеннаго, а нахожу, что эта бездѣлка написана довольно хорошо, читается безъ скуки и, можетъ-быть, выведетъ меня изъ затруднительнаго положенія, о которомъ я имѣлъ уже честь докладывать вамъ, любезные читатели.

Въ моихъ запискахъ я говорю,—или долженъ говорить,—объ одной только Москвѣ и москвичахъ; а въ этихъ «Осенникъ вечерахъ» говорятъ обо всемъ. Дѣйствіе происходитъ не въ одной Москвѣ, а во всей Россіи, и даже въ нѣкоторыхъ разсказахъ переносится за границу, слѣдовательно въ нихъ гораздо болѣе разнообразія; и вотъ почему я рѣшился печатать ихъ отдѣльной статьей въ каждомъ выходѣ моихъ записокъ. Я очень бы желалъ угодить этою перемѣною моимъ читателямъ, — разумѣется, благосклоннымъ; тѣмъ, которые меня не жалуютъ, я ужъ, конечно, ничѣмъ не угожу, потому что, ради ихъ потѣхи, не намѣренъ измѣнять мой образъ мыслей, то-есть прославлять людскія страсти, поклоняться, какъ божеству, нашему земному разуму, валяться въ ногахъ у Запада и идти *непремѣнно* за вѣкомъ, куда бы этотъ вѣкъ ни шелъ.

I.

Купеческая свадьба.

„Признательно скажу:
Я этотъ пиръ отличнымъ нахожу;
Шампанское лилось—да только не простое:
Отъ Крича, батюшка!.. А общество какое—
Первостатейное!.. Ну, истинно, банкетъ!
Мы этакъ межъ собой, а генералитетъ
Сидѣлъ особенно“...

Изъ рукописной комедіи.

Вопреки мнѣнію нѣкоторыхъ... какъ бы сказать повѣжливѣе?.. ну, положимъ, мудрецовъ, которые, безъ всякаго права и призванія, хотятъ быть нашими наставниками, эта европейская образованность, о которой они безпрестанно толкуютъ, начинаетъ примѣтнымъ образомъ проникать во всѣ слои нашего общества. Я говорю «образованность», а не просвѣщеніе, потому что подъ словомъ *просвѣщеніе* разумѣю не однѣ наружныя формы, домашній бытъ и эти общія, поверхностныя познанія, которыми такъ гордятся наши западные сосѣди; гдѣ рѣчь идетъ о свѣтѣ, тамъ, конечно, всѣ эти житейскія удобства—покрой платья, художества, ремесла и даже, исполненная глубины и мрака, нѣмецкая философія, становятся весьма мелкими. Впрочемъ, это дѣло условное. Если французы подъ благовидными словами «демонстрація и манифестація», т.-е. изъявленіе, разумѣютъ буйные крики мятежной черни, а разрушеніе всѣхъ семейныхъ связей и систематическій грабежъ называютъ «соціализмомъ», то-есть общежительствомъ, такъ почему же и намъ не называть европейскую образованность и улучшеніе житейскаго быта — просвѣщеніемъ? Конечно, это выраженіе не такъ еще противорѣчитъ настоящему своему смыслу, какъ тѣ, о которыхъ я сейчасъ говорилъ; да вѣдь

мы не французы, — гдѣ намъ за ними угоняться!..

Я сказалъ, что образованность дѣлаетъ весьма быстрые успѣхи въ Россіи и, чтобъ увѣриться въ этомъ, надобно только взглянуть на наше купечество. Лѣтъ тридцать тому назадъ, русскій купецъ, говорившій иностранными языками, довольно ловкій и образованный, обратилъ бы на себя всеобщее вниманіе. Я помню время, когда сочинитель не дворянинъ, не чиновникъ, а простой купецъ, показался бы для всѣхъ самымъ страшнымъ и необычайнымъ явленіемъ. Не такъ еще давно купеческіе обычаи, ихъ образъ жизни и понятія такъ рѣзко отличались отъ дворянскихъ, что при встрѣчѣ съ купцомъ, одѣтымъ по-нашему, вовсе не нужно было спрашивать, что за человѣкъ этотъ господинъ? Его рѣчь, пріемы, поступь, все изобличало въ немъ сословіе, къ которому онъ принадлежалъ. Теперь не угодно ли пожаловать въ купеческое собраніе и поглядѣть, какъ веселится по-дворянски наше московское купечество; посмотрите, какъ любезничаютъ кавалеры, какой изящный туалетъ у дамъ; танцуя съ незнакомой вамъ дѣвицею, вы разговариваете съ нею по-французски о театрѣ, объ иностранной словесности; она знаетъ и «Парижскія Таинства» и «Вѣчнаго Жида»; она вамъ признается, что, потихоньку отъ отца и матери, куритъ папиросы, читаетъ Жоржъ-Занда и умираетъ отъ скуки, живя въ Москвѣ; однимъ словомъ, вамъ и въ голову не придетъ, что батюшка этой *образованной* дѣвицы торгуетъ въ какомъ-нибудь москательномъ или панскомъ ряду. Разумѣется, эта образованность ограничивается иногда одной только наружностью; случается, что ваша дама промолвится, говоря объ одномъ человѣкѣ, употребитъ множественное число «они», или назоветъ своего отца «тятинькой»; отъ иной вы слова не добьетесь, а другая такъ развернется, что вы отъ ея удальства втупикъ станете. Конечно, въ этомъ послѣднемъ отношеніи, и въ нашемъ дворянскомъ быту не безъ грѣха, и у насъ бываютъ барышни, которыя отличаются отъ этихъ удалыхъ купеческихъ дочекъ только тѣмъ, что вообще развязнѣе и гораздо лучше ихъ передразниваютъ парижскихъ гризетокъ; впрочемъ, такъ и быть должно: купеческія дочки почти никогда не бываютъ за границею, такъ могутъ только по-наслышкѣ подражать этимъ очаровательнымъ созданіямъ, безъ которыхъ и знаменитая «grande chaumière» и блестящій «bal mabil» потеряли бы всю свою прелесть.

Послѣ того, что я вамъ сказалъ, вы, вѣрно, отгадаете, что свадьба, которую я хочу вамъ описать, была не вчера. Гдѣ нравы и обычаи различныхъ сословій начинаютъ сливаться въ одну общую физіономію, тамъ исчезаютъ всѣ эти рѣзкія черты, всѣ эти особенности, составляющія главное достоинство всякой отдѣльной физіономіи. Купеческія свадьбы вродѣ той, о которой я хочу теперь съ вами говорить, бывали тому назадъ лѣтъ тридцать. Можетъ-быть, гдѣ-нибудь въ глубинѣ Замоскворѣчья или за Таганскимъ рынкомъ бываютъ и въ наше время свадьбы, напоминающія эту старину, но, говоря вообще, московское купечество, изъ всѣхъ прежнихъ свадебныхъ обычаевъ, сохранило только позолоченную карету, запряженную цугомъ вороныхъ или сѣрыхъ коней, и двухъ рослыхъ лакеевъ въ парадныхъ ливреяхъ, съ фантастическими гербами, которые называются «общими»; все остальное на купеческой свадьбѣ происходитъ точно тѣмъ же порядкомъ, какъ и во всѣхъ дворянскихъ семействахъ.

Я прошу моихъ читателей перенестись вмѣстѣ со мною въ домъ московскаго первой гильдіи купца Харлампія Никитича Цыбикова. Его каменный трехъ-этажный домъ, нѣкогда принадлежавшій знатному барину, сохранилъ еще свою аристократическую наружность, но зато внутренность его совершенно измѣнилась. Цѣльныя стекла въ окнахъ, огромныя зеркала, мраморные камины и даже рѣзныя двери изъ краснаго дерева, все было распродано поодиночкѣ. Въ гостиной комнатѣ, на канапе, обитомъ полинялымъ штофомъ, сидитъ дородный владѣлецъ этихъ прежнихъ барскихъ палатъ; передъ нимъ, на столѣ, бутылка меду; противъ него лѣпится на кончикѣ стула человѣкъ небольшого роста, въ поношенномъ фракѣ; этотъ господинъ по званію своему мѣщанинъ изъ отпущенниковъ, по имени Козьма Прохорычъ Лошкомоевъ, а по ремеслу кондитеръ, то-есть подрядчикъ всякихъ свадебныхъ и бальныхъ угощеній. Теперь не угодно ли вамъ послушать ихъ разговоръ.

Цыбиковъ (*наливъ себѣ кружку меду и прихлебывая*). Ну, любезный, взялся за гужъ, не говори что не дюжъ!.. Ты берешь на себя...Фу, знатный медъ, такъ въ носъ и ударяетъ!.. Ты берешь на себя все — сирѣчь оптомъ, и пѣвчихъ, и музыку, и экипажъ, и ужинъ, а также напитки и всякое другое угощеніе: сахарныя заѣдки, варенье, шоколадъ, семга, икра,—все отъ тебя...

Кондитеръ. Все, Харлампій Никитичъ!.. Ужъ будьте спокойны!..

Цыбиковъ. Будьте спокойны!.. Знаемъ мы васъ: на словахъ-то вы города берете!..

Кондитеръ. Да ужъ не извольте безпокоиться, все будетъ отличное...

Цыбиковъ. То-то отличное! Сумму ты хочешь съ меня слупить порядочную, такъ смотри же, братецъ, не крохоборь!..

Кондитеръ. Помилуйте, — вѣдь вы не кто другой, Харлампій Никитичъ: у васъ все должно быть на барскую ногу.

Цыбиковъ. Смотри, чтобъ пѣвчіе были съ голосами, не такъ, какъ на свадьбѣ моей ку-

ы, Аграфены Степановны! Такъ пропѣли «Гряди, голубица моя», что весь народъ разсмѣялся, а они-то себѣ орутъ, кто въ лѣсъ, кто по дрова!

Кондитеръ. Нѣтъ, Харлампій Никитичъ, за этотъ счетъ я вамъ доложу: пѣвчіе отличные, регентъ получаетъ до шестисотъ рублей жалованья; такое сладкозвучіе, что и сказать нельзя. Я уговаривался, чтобъ пѣвчіе изъ церкви пришли къ вамъ на домъ.

Цыбиковъ. Дѣло, братецъ, дѣло: пусть себѣ пропоютъ многія лѣта молодымъ и меня, старика, повеличаютъ. Ну, а кто-жъ за вѣнчаньемъ-то Апостола будетъ читать? Приходскій дьячекъ?

Кондитеръ. Нѣтъ, Харлампій Никитичъ,— не приходскій дьячекъ, а извѣстный въ Москвѣ псаломщикъ. Вы изволили его слышать?

Цыбиковъ. Слышалъ, любезный, на свадьбѣ у Ѳаддея Карповича Мурлыкина,—славно читаетъ, славно: голосъ какъ изъ бочки! Послушай, Прохорычъ: я первую дочь выдаю замужъ, да и зятекъ-то у меня будетъ, прошу не осудить, почитай высокоблагородный,— десятый годъ титулярнымъ, къ ордену представленъ; родня у него все также чиновная, такъ я не хочу лицомъ въ грязь ударить. Смотри, чтобъ во всемъ было разливанное море!

Кондитеръ. Будетъ, Харлампій Никитичъ.

Цыбиковъ. Ужинъ на славу!

Кондитеръ. Да ужъ, я вамъ доложу, пальчики всѣ оближутъ! Десять блюдъ, не считая пирожковъ и дессерта.

Цыбиковъ. Десять блюдъ? Только-то?

Кондитеръ. Больше нельзя, Харлампій Никитичъ: ужъ нынче такая мода.

Цибиковъ. Право? Нѣтъ, братъ, шутишь: себѣ норовишь въ карманъ, а на моду сваливаешь! Да ужъ такъ и быть... Зато смотри, побольше всякихъ потѣшекъ: фруктовъ, конфектъ...

Кондитеръ. А, кстати! Въ разсужденіи конфектъ, я вамъ доложу, какъ прикажете? Если всѣ съ Кузнецкаго моста, такъ, воля ваша,—несходно будетъ.

Цибиковъ. Ужъ это не мое дѣло; было бы всего довольно, а тамъ гдѣ хочешь бери. Да послушай, любезный,—не вздумай насъ, вмѣсто шампанскаго, отпотчевать горскимъ, или вотъ, знаешь, этимъ, что называютъ шампанея...

Кондитеръ. Помилуйте, какъ это можно! Вѣдь мнѣ не въ первый разъ... Да вотъ, на прошлой недѣлѣ, у его превосходительства, Захара Дмитріевича Волгина, я также свадебный ужинъ справлялъ, такъ я подалъ такое шампанское, что всѣ гости ахнули.

Цибиковъ. Ну, а музыка полковая?

Кондитеръ. Если прикажете, можно и бальную.

Цибиковъ. Нѣтъ, Прохорычъ, что толку въ этихъ скрыпунахъ; пиликаютъ себѣ подъ носъ,—тюли, тюли!.. То ли дѣло полковая: какъ грянетъ, такъ за двѣ версты слышно!

Кондитеръ. Какъ вамъ угодно.

Цибиковъ. А экипажъ какой?

Кондитеръ. Отъ Зарайскаго, Харлампій Никитичъ; отличный цугъ вороныхъ — все графскіе рысаки, лакеи рослые — вершковъ по десяти, въ новыхъ ливреяхъ...

Цибиковъ. А карета?

Кондитеръ. Также съ иголочки, какъ жаръ горитъ.

Цибиковъ. Эхъ, жаль—приходъ-то нашъ близко!

Кондитеръ. Такъ чтожъ? Вы невѣсту не извольте отпускать изъ дому прямо въ церковь; женихъ подождетъ, а ее межъ тѣмъ повозятъ по вашему кварталу.

Цибиковъ. А что ты думаешь?.. Да, чай, можно и чужого захватить?

Кондитеръ. Можно, Харлампій Никитичъ.

Цибиковъ. Да почему же и всю часть не объѣхать? Что съ тебя за экипажъ-то возьмутъ?

Кондитеръ. Рублей полтораста, а можетъ-быть и больше.

Цибиковъ. Ну, вотъ, изволишь видѣть!.. Полтораста рублей за два часа... мошенники этакіе!..

Кондитеръ. Да-съ, эти лошадки-то кусаются!

Цибиковъ. Такъ чего же ихъ жалѣть?.. По всей Нузской части катай да и только!

Кондитеръ. А что, молодые изъ церкви въ вѣнцахъ поѣдутъ и за ужиномъ такъ будутъ сидѣть?

Цибиковъ. Я ужъ заводилъ объ этомъ рѣчь, да родные будущаго моего зятя упираются: «Нельзя, дескать: женихъ будетъ въ мундирѣ, такъ какой складъ сидѣть ему за ужиномъ въ вѣнцѣ, — вся форма будетъ нарушена?»

Кондитеръ. Оно и справедливо, Харлампій Никитичъ, чиновнику неприлично.

Цибиковъ. Послушай, Кузьма Прохорычъ, коли ты за все берешься, такъ не забудь ужъ и домъ освѣтить.

Кондитеръ. Снаружи?

Цибиковъ. Разумѣется! Внутри мое дѣло.

Кондитеръ. Слушаю-съ! По тротуару мы плошки поставимъ, а подъѣздъ можно убрать шкаликами.

Цибиковъ. Ну, тамъ ужъ какъ знаешь. Теперь, кажется, все?.. Смотри же, голубчикъ, не осрами!

Кондитеръ. Да ужъ будьте спокойны, Харлампій Никитичъ! Вы изволите знать, какъ я васъ уважаю, да мы же и не чужіе другъ другу: покойная моя матушка и ваша родительница были въ свойствѣ.

Цибиковъ. Что ты, что ты, Прохорычъ?.. Ужъ не въ родню ли ко мнѣ нарохтишься?

Кондитеръ. Да какъ же? Вѣдь ваша ма-

тушка и моя были внучатыя сестры, отпущенницы его сіятельства, графа...

Цибиковъ. Экъ хватилъ! Ты бы еще съ праотца Адама началъ!.. Вишь что затѣялъ!.. Нѣтъ, любезный, не по Сенькѣ будетъ шапка!—Наживи-ка порядочный капиталъ, да запишись въ первую гильдію, такъ, можетъ-быть, тогда мы въ родство тебя и включимъ. А покамѣстъ, не прогнѣвайся, — знай сверчокъ свой шестокъ!

Кондитеръ. Да это такъ-съ, Харлампій Никитичъ, къ слову пришло; не подумайте, чтобъ я возымѣлъ такую дерзость...

Цибиковъ. То-то и есть! Все это гордость, братецъ, тщеславіе...

Кондитеръ. Помилуйте, мы люди маленькіе, гдѣ намъ считаться съ вами! Вы изволите милліонами ворочать, такъ вашимъ родствомъ и генералъ не побрезгуетъ.

Цибиковъ. А кстати, Прохорычъ!.. Да чтожъ мы съ тобою о генералѣ-то не поговоримъ? Чѣмъ я хуже Ѳаддея Карповича Мурлыкина, а у него на свадьбѣ было двое статскихъ совѣтниковъ и одинъ дѣйствительный, да еще со звѣздою.

Кондитеръ. Такъ и вамъ угодно, чтобъ ваша свадьба была съ генераломъ?

Цибиковъ. А что, можно?

Кондитеръ. Извольте, Харлампій Никитичъ; навѣрное обѣщать не могу, а постараюсь.

Цибиковъ. Постарайся, любезный, постарайся! Да ужъ, пожалуйста, чтобъ генералъ-то былъ не вовсе ординарный, а знаешь, вотъ этакъ... (*Проводитъ рукою по груди*).

Кондитеръ. А если, Харлампій Никитичъ, и такъ и этакъ. (*Проводитъ крестъ-на-крестъ по груди*).

Цибиковъ. Что ты говоришь? Ахъ, ты, мой другъ сердечный!.. Вотъ ужъ бы удружилъ!

Кондитеръ. Всемѣрно постараюсь!.. (*Встаетъ*). Прощайте покамѣстъ, мнѣ теперь зѣвать нечего. Вѣдь свадьба послѣзавтра, въ пятницу?

Цибиковъ. А то когда же? На воскресенье не вѣнчаютъ. Прощай, любезный! Надѣюсь на тебя, какъ на кремлевскую стѣну.

Кондитеръ. А вотъ что Богъ дастъ, буду стараться, Харлампій Никитичъ. (*Уходитъ*).

Теперь не угодно ли моимъ читателямъ завернуть вмѣстѣ со мною на Солянку, въ домъ тайнаго совѣтника Захара Дмитріевича Волгина. — Вотъ мы въ его передней; она довольно нечиста, да иначе и быть не можетъ: у Захара Дмитріевича, не считая двухъ или трехъ подростковъ, всего только человѣкъ десять лакеевъ; слѣдовательно, если этимъ господамъ запачкать и загрязнить лакейскую не трудно, такъ зато ужъ вымести ее некому. Перейдемте въ столовую; она почище; въ ней стоитъ круглый столъ и мебель изъ орѣхового дерева, которая была бы очень красива, если-бъ ее почаще обтирали, но такъ какъ эта многотрудная обязанность возложена не на одного только человѣка, а на Ваньку, Петрушку и Степана, то я не совѣтую вамъ садиться на стулъ, не смахнувъ съ него предварительно пыль вашимъ платкомъ. Не подумайте, однакожъ, что самъ хозяинъ любитъ жить нечисто,—о, нѣтъ, онъ человѣкъ очень опрятный; но жена его женщина больная, сидитъ всегда у себя въ спальной, а онъ служитъ, занятъ дѣломъ, и только изрѣдка кричитъ на людей, потому что ему сердиться нездорово, они же всегда оправдываются тѣмъ, что у нихъ дѣла много, а рукъ мало. Въ этой столовой, или пріемной комнатѣ, стоитъ у окна кондитеръ Кузьма Петровичъ Лошкомоевъ; онъ пристально глядитъ на двери, которыми входятъ въ кабинетъ его превосходительства. Вотъ эти завѣтныя двери распахнулись. Кондитеръ оправился, вытянулся въ нитку и отвѣсилъ низкій поклонъ Антону, камердинеру Захара Дмитріевича.

Камердинеръ (*очень холодно*). А, Кузьма Прохорычъ!.. Что вамъ надобно?

Кондитеръ. Я желаю поговорить съ его превосходительствомъ.

Камердинеръ. Теперь нельзя: генералъ сейчасъ изволитъ ѣхать.

Кондитеръ. Сдѣлайте милость!

Камердинеръ. Никакъ нельзя.

Кондитеръ (*беретъ камердинера за руку*). Прошу васъ покорнѣйше!

Камердинеръ (*опускаетъ свою руку въ жилетный карманъ и съ пріятной улыбкой*). Эхъ, Кузьма Прохорычъ, не въ пору вы пожаловали! Ну, да такъ ужъ и быть, пообождите немножко, сейчасъ доложу. (*Уходитъ въ кабинетъ*).

Кондитеръ. Что, братъ, видно полтиннички-то любишь? Охъ, эти хамы хуже подьячихъ: не дашь на водку, такъ и рожи не воротитъ! (*Камердинеръ выходитъ изъ кабинета, вслѣдъ за нимъ Волгинъ*).

Камердинеръ (*вполголоса*). Генералъ!..

Волгинъ (*кондитеру*). Здравствуй, голубчикъ!.. Зачѣмъ Богъ принесъ?

Кондитеръ (*кланяясь*). Ваше превосходительство, я на прошлой недѣлѣ имѣлъ счастіе приготовлять угощеніе....

Волгинъ. На свадьбѣ моего сына? Спасибо, братецъ, спасибо: угощенье было не дурное!

Кондитеръ. Такъ я угодилъ вашему превосходительству?

Волгинъ. Да, я на тебя не жалуюсь. Кажется, только шампанское-то было...

Кондитеръ. Самое лучшее, ваше превосходительство,—отъ Депре. Можетъ-быть, посогрѣлось въ комнатѣ.

Волгинъ. Можетъ-быть. Вѣдь тебѣ, любезный, все заплачено?

Кондитеръ. Все заплачено,—покорнѣйше благодарю.

Волгинъ. Такъ что-жъ тебѣ надобно?

Кондитеръ. Ваше превосходительство, не прогнѣвайтесь на мою дерзость!.. Явите ваше милосердіе!..

Волгинъ. Что такое, братецъ?

Кондитеръ. Всенижайшая просьба: моя родная племянница выходитъ замужъ...

Волгинъ. Поздравляю, любезный!

Кондитеръ. За чиновника, ваше превосходительство...

Волгинъ. Вотъ какъ!.. Такъ племянница твоя будетъ благородная?

Кондитеръ. Титулярная совѣтница.

Волгинъ. Ого! .

Кондитеръ. Удостойте, ваше превосходительство... (*Кланяется*).

Волгинъ. Да что, ты меня на свадьбу что-ль зовешь?

Кондитеръ. Если милость ваша будетъ...

Волгинъ. Эхъ, любезный, я еще и отъ своего-то пированья не отдохнулъ порядкомъ!..

Кондитеръ. Заставьте за себя Бога молить!..

Волгинъ. Да помилуй, братецъ, на что я тебѣ?

Кондитеръ. Какъ на что, ваше превосходительство? Такое лицо, какъ вы... да это на вѣки вѣковъ останется въ нашей памяти; не токмо дѣти моей племянницы, да и внучата-то ея будутъ своимъ дѣтямъ объ этомъ разсказывать...

Волгинъ. И полно, любезный!

Кондитеръ. Видитъ Богъ такъ, ваше превосходительство! Я же слышалъ, что гдѣ вы ни изволите на свадьбѣ побывать, тамъ ужъ всегда надъ молодыми благословеніе Божіе.

Волгинъ. Кто это тебѣ сказалъ?

Кондитеръ. Слухомъ земля полнится, ваше превосходительство.

Волгинъ. А когда свадьба?

Кондитеръ. Завтра, въ семь часовъ послѣ обѣда.

Волгинъ. У тебя въ домѣ?

Кондитеръ. Никакъ нѣтъ, ваше превосходительство. Племянница живетъ въ домѣ своего отца, тамъ и свадьба будетъ.

Волгинъ. А кто ея батюшка?

Кондитеръ. Извѣстный капиталистъ, первой гильдіи купецъ, Харлампій Никитичъ Цыбиковъ.

Волгинъ. Да какъ же, братецъ, ты зовешь меня на свадьбу, а въ гостяхъ я буду у этого господина Цыбикова, котораго вовсе не знаю.

Кондитеръ. Онъ самъ бы, ваше превосходительство, явился къ вамъ вмѣстѣ со мною, да что будешь дѣлать, — такой грѣхъ случился: съ самаго *утра въ растяжку* лежитъ.

Волгинъ. Лежитъ? А завтра дочь выходитъ замужъ?

Кондитеръ. Да завтра онъ будетъ какъ встрепаный.

Волгинъ. Что-жъ это за болѣзнь такая?

Кондитеръ. Угорѣлъ, ваше превосходительство.

Волгинъ. Какъ угорѣлъ? Лѣтомъ?

Кондитеръ. А вотъ изволите видѣть: онъ приказалъ поставить самоваръ; работница пошла, дура такая, всыпала безъ мѣры угольевъ, поставила самоваръ въ комнатѣ, сама ушла, а Харлампій Никитичъ на ту пору вздремнулъ... Повѣрите-ль, ваше превосходительство, насилу въ чувство привели: и соленые огурцы къ вискамъ прикладывали, и хрѣномъ, и уксусомъ; ужъ мы съ нимъ маялись, маялись...

Волгинъ. Какая неосторожность!

Кондитеръ. Да это что, ваше превосходительство!.. Угаръ для нашего брата ничего, мы на этомъ выросли. Осчастливьте, ваше превосходительство!

Волгинъ. Хорошо, хорошо, любезный. Только ужъ не прогнѣвайся: мундира я ненадѣну.

Кондитеръ. Помилуйте,—кому другому, а вамъ мундиръ на что? Всякій видитъ, какая вы особа. Слава тебѣ Господи, у вашего превосходительства отличій довольно, и здѣсь, и тутъ...

Волгинъ. Да не осуди, любезный, и въ церковь также не поѣду...

Кондитеръ. Такъ пожалуйте въ восемь часовъ прямо въ домъ къ молодымъ. Я вашимъ людямъ растолкую, куда ѣхать.

Волгинъ. Ужъ вѣрно за Москву-рѣку?

Кондитеръ. И, нѣтъ, ваше превосходительство,—рукой подать: тотчасъ за Яузскимъ мостомъ.

Волгинъ. Эге!

Кондитеръ. Близехонько, ваше превосходительство, прикажите только ѣхать городомъ... пять минутъ ѣзды.

Слуга (*входитъ въ столовую*). Карета готова...

Волгинъ. Ну, прощай, любезный, мнѣ некогда!

Кондитеръ. Такъ мы можемъ надѣяться?

Волгинъ. Ужъ коли далъ слово, такъ буду. (*Уходитъ*).

Кондитеръ (*подходя къ камердинеру*). А вы ужъ, батюшка Антонъ Сидорычъ, позаботьтесь о томъ, чтобъ его превосходительство не запамятовалъ.

Камердинеръ. Извольте. Въ восемь часовъ?..

Кондитеръ. Или въ началѣ девятаго. Да ужъ сдѣлайте милость: какъ станете одѣвать генерала, такъ нельзя ли этакъ ленту-то...

Камердинеръ. По камзолу? Можно, Кузьма Прохорычъ, можно!..

Кондитеръ. А если его превосходительство не захочетъ?

Камердинеръ. Кто? Баринъ?.. Помилуйте, не такой человѣкъ: ему что подашь, то и надѣнетъ...

Кондитеръ. Такъ вы не забудете?

Камердинеръ. Будьте спокойны!

Кондитеръ. Покорнѣйше благодарю!.. Отъ свадебнаго ужина будутъ остаточки, Антонъ Сидорычъ, такъ позвольте вамъ прислать бутылочку винца, фруктовъ, того, другого...

Камердинеръ. Сдѣлайте милость!

Кондитеръ. А что, его превосходительство всегда объ звѣзды изволитъ носить?

Камердинеръ. Всегда.

Кондитеръ. Очень хорошо!.. Прощайте, почтеннѣйшій! Счастливо оставаться! (*Уходитъ*).

На другой день, то-есть въ пятницу, въ восемь часовъ вечера, вокругъ дома Харлампія Никитича Цыбикова вовсе не было проѣзду: кареты, коляски, фаэтоны, по большей части не очень красивые, но почти всѣ запряженные прекрасными лошадьми, стояли у подъѣзда, освѣщеннаго шкаликами. Разумѣется, на самомъ видномъ мѣстѣ красовалось раззолоченное ландо, въ которомъ молодые только-что возвратились изъ церкви. По всей парадной лѣстницѣ толкались незванные гости, то-есть всѣ уличные зѣваки, всѣ челядинцы сосѣднихъ домовъ, кухарки, работницы и даже супруги и дочери мелкихъ продавцовъ, которыя, впрочемъ, пользовались явнымъ покровительствомъ двухъ хожалыхъ, откомандированныхъ изъ Частнаго дома для соблюденія должной тишины и порядка при разъѣздѣ экипажей. Въ передней комнатѣ стояли полковые музыканты; при появленіи каждаго новаго гостя, они играли тушъ. Всѣ приглашенные на свадьбу были уже въ полномъ собраніи; въ столовой толпились мужчины; въ гостиной, по обѣимъ сторонамъ молодыхъ супруговъ, которые сидѣли рядомъ на диванѣ, расположились огромнымъ полукругомъ всѣ гости. Нельзя было смотрѣть безъ удивленія на великолѣпные наряды этихъ чинно и безмолвно сидящихъ барынь. Вотъ, ужъ подлинно, чего хочешь, того просишь! Если вы заглядывали когда-нибудь на толкучій рынокъ, то ужъ вѣрно любовались на этихъ обвѣшанныхъ всякимъ тряпьемъ торговокъ, которыя, какъ подвижныя лавочки, расхаживаютъ по рынку. Замѣните эти исковерканныя женскія шляпки, полинялые купавинскіе платки, измятыя бусы, бронзовыя сережки, изорванныя букмусиновыя платья — бархатными токами, блондовыми чепцами, турецкими шалями, жемчужными ожерельями, брилліантовыми серьгами, изумрудными фермуарами, и вы будете имѣть весьма приблизительное понятіе о туалетѣ *этихъ дамъ, которыя нацѣпляли* и навѣшивали на себя все свое наслѣдственное и благопріобрѣтенное приданое. Нельзя было также не подивиться этому чудному сближенію яркихъ цвѣтовъ, которые такъ рѣдко сходятся другъ съ другомъ. Вы увидѣли бы тутъ и пунцовые токи съ лиловыми перьями, и голубыя платья съ желтыми воланами, и даже желтыя шали на оранжевыхъ платьяхъ, изъ-подъ которыхъ выглядывали пунцовые башмачки, или, говоря по совѣсти, башмаки, отдѣланные зелеными лентами. Харлампій Никитичъ принималъ поздравленія и любызался со всѣми гостями; но, вмѣсто обыкновенной въ этихъ случаяхъ веселости, на лицѣ его изображалось какое-то тревожное безпокойство. Онъ подошелъ къ кондитеру и сказалъ ему вполголоса:

— Чтожъ это, Прохорычъ? Да ужъ будетъ ли онъ?

— Не безпокойтесь, Харлампій Никитичъ,— отвѣчалъ кондитеръ:—что-нибудь задержало.

— Охъ, боюсь, любезный! — прошепталъ Цыбиковъ.—Я кой кому сказалъ, что у меня на свадьбѣ будутъ люди генеральные, въ кавалеріяхъ, а какъ выйдетъ болтунъ, такъ, пожалуй, скажутъ: «вотъ, дескать, летѣла синица море зажигать!»... Стыдно будетъ, Прохорычъ!

— Да ужъ будьте покойны, безпремѣнно будетъ. Онъ обѣщался пріѣхать ровно въ восемь часовъ.

— А теперь уже девятый.

— Что вы говорите?.. Такъ, позвольте, я пойду внизъ принять его превосходительство на крыльцѣ, онъ долженъ сію минуту пріѣхать; а вы ужъ извольте, Харлампій Никитичъ, подождать его въ передней.

— Зачѣмъ? Успѣю и тогда, какъ онъ подъѣдетъ.

— Нѣтъ, Харлампій Никитичъ, неравно какъ-нибудь прозѣваете, неловко будетъ! Вѣдь я это говорю для васъ: чѣмъ почетнѣе вы примете его превосходительство, тѣмъ и для васъ больше чести будетъ. Если вы встрѣтите его въ столовой, такъ всѣ станутъ говорить: «Э, да видно этотъ генералъ-то ни то, ни се, такъ — изъ дюжинныхъ... Вѣрно ужъ не важная персона, коли хозяинъ не облегчился встрѣтить его въ передней!»

— Правда, правда!.. Ступай, голубчикъ, внизъ, да лишь только онъ подъѣдетъ, сейчасъ давай знать... А что, Прохорычъ, для него, чай, можно музыкантамъ и маршъ проиграть?

— Можно, Харлампій Никитичъ.

— Знаешь, этакъ съ трубами и литаврами?..

— Разумѣется.

— Ну, съ Богомъ! Ступай, любезный!

Харлампій Никитичъ поговорилъ съ музыкантами. Прошло еще нѣсколько минутъ, которыя показались ему часами; вотъ, наконецъ, подъѣхала къ крыльцу карета.

— Генералъ!—раздался голосъ на крыльцѣ.

— Генералъ!—повторили въ сѣняхъ.

— Генералъ!—заговорили въ передней.

— Ухъ, батюшки!—промолвилъ Харлампій Никитичъ, обтирая платкомъ свою лысину.— Насилу!.. Ну, ребята, валяй!

Полковые музыканты грянули маршъ, и Захаръ Дмитріевичъ Волгинъ, въ двухъ звѣздахъ и въ лентѣ по камзолу, вошелъ въ переднюю.

— Ваше превосходительство, — сказалъ Цыбиковъ,—всенижайше благодарю за честь!

— Отецъ молодой, — шепнулъ кондитеръ Волгину.

— Ну, что,—спросилъ Волгинъ,—прошелъ ли вашъ угаръ?..

— Угаръ?—повторилъ Цыбиковъ.—А, понимаю, ваше превосходительство, о какомъ вы изволите говорить угарѣ! Куда пройти! Развѣ этакъ денька черезъ два или три, а теперь все еще голова кругомъ идетъ. Не шуточное дѣло, ваше превосходительство!

— Какая шутка, отъ этого иногда люди умираютъ!

— Какъ-съ? Что вы изволите говорить?

— Я говорю, что отъ этого иногда умираютъ.

— Не могу сказать,— можетъ-быть, и бывали такія оказіи. Оно таки и тяжело, ваше превосходительство, очень тяжело! Кажется, дѣло обыкновенное, а повѣрите ли, точно душа съ тѣломъ разстается... Да милости прошу!

Раскланиваясь направо и налѣво, Волгинъ прошелъ черезъ столовую. Въ гостиной представили ему молодыхъ, усадили подлѣ нихъ на канапе и угощеніе началось. Стали подавать чай, выпили по бокалу шампанскаго, потомъ подали шоколаду, а вслѣдъ за нимъ водки, икры, семги, сельдей, и всѣ гости, по приглашенію хозяина, отправились въ залу и сѣли за столъ. Разумѣется, Волгинъ занялъ почетное мѣсто, то-есть — съ правой стороны подлѣ молодыхъ. Самъ Харлампій Никитичъ не ужиналъ; онъ ходилъ вокругъ стола и потчевалъ гостей.

— Батюшка, ваше превосходительство, — говорилъ онъ Волгину, когда стали подавать двухъ-аршиннаго осетра, — еще кусочекъ!.. Вотъ этотъ, прошу покорнѣйше!

— Я и такъ взялъ довольно, — отвѣчалъ Волгинъ.

— И, помилуйте, что за довольно! Кушайте во славу Божію!.. Да вы не извольте опасаться! Вотъ бѣлужина — дѣло другое, а свѣжая осетрина не вредитъ... Пожалуйте, ваше превосходительство, уважьте меня, старика, поневольтесь! Варвара Харлампьевна, проси!.. А, матушка Мавра Тихоновна, и вы также?.. Нѣтъ, ужъ не обижайте! Я осетра-то самъ покупалъ. Варвара Харлампьевна, проси!.. Спиридонъ Ивановичъ, что это съ вами сдѣлалось? — продолжалъ Цыбиковъ, обращаясь къ посаженому отцу своей дочери, который ѣлъ за троихъ. — Вы, бывало, отъ хлѣба-соли не отказывались.

— Да, батюшка, — отвѣчалъ Спиридонъ Ивановичъ, поглаживая свою козлиную бороду,—мы въ старину отъ добрыхъ людей не отставали. Да не тѣ ужъ времена, Харлампій Никитичъ: жернова-то стали плохо молоть!

— Нѣтъ, батюшка, кушайте, кушайте! Вѣдь наши старики говаривали: «Кто хозяина не слушаетъ да его хлѣба-соли не кушаетъ, того и въ гости не зовутъ».

Вотъ послѣ третьяго блюда захлопали пробки и шампанское запѣнилось въ бокалахъ.

— Здоровье его превосходительства Захара Дмитріевича!—возгласилъ кондитеръ.

Волгинъ откланялся.

— Здоровье Харлампія Никитича!

Всѣ гости осушили свои бокалы, одинъ только Спиридонъ Ивановичъ прихлебнулъ, пощелкалъ языкомъ, наморщился и поставилъ свой бокалъ на столъ.

— Харлампій Никитичъ,—сказалъ онъ, — не прогнѣвайтесь,— я на правду чортъ. Что это у васъ за вино такое? Да это не шампанское, сударь, а полынковое, ей-же-ей, полынковое!

— Полынковое? — повторилъ съ ужасомъ хозяинъ.

— Да, батюшка! Коли оно отъ кондитера, такъ не извольте ему денегъ платить: горечь такая, что и сказать нельзя!..

— А, понимаю!—вскричалъ Цыбиковъ. — Слышишь, Варвара Харлампьевна: шампанское-то горьковато, надо подсластить.

Молодые встали и поцѣловались.

— Извольте-ка отвѣдать теперь,—продолжалъ Цыбиковъ.—Ну, что, каково?—Фу, батюшки, сластынь какая!.. — промолвилъ Цыбиковъ, осушивъ до дна свой бокалъ.—Словно сахарная патока!.. Языкъ проглотилъ!

Если-бъ Волгинъ не подливалъ воды въ свое шампанское, то ужъ, конечно, возвратился бы домой очень навеселѣ: заздравные бокалы слѣдовали безпрерывно одинъ за другимъ. Пили здоровье отцовъ и матерей посаженыхъ, здоровье родныхъ и почти всѣхъ гостей поодиночкѣ, общее здоровье всѣхъ присутствующихъ, общее здоровье всѣхъ отсутствующихъ и, наконецъ, здоровье дружекъ, то-есть шаферовъ, изъ которыхъ одинъ давно ужъ не могъ вымолвить ни слова и только-что улыбался. Когда встали изъ-за стола, Волгинъ распрощался съ хозяиномъ, пожелалъ счастья молодымъ и отправился домой; вслѣдъ за нимъ стали разъѣзжаться всѣ гости, а чрезъ нѣсколько минутъ въ домѣ Харлампія Никитича, кромѣ самыхъ близкихъ родныхъ и посаженой матери молодой, не осталось никого.

Межъ тѣмъ у подъѣзда, несмотря на присутствіе хожалыхъ, происходила большая безпорядица: почти всѣ кучера, которыхъ, разумѣется, угостили порядкомъ, едва сидѣли на козлахъ; каждый хотѣлъ прежде другого

подъѣхать къ крыльцу; двѣ кареты сцѣпились такъ плотно колесами, что не могли двинуться ни взадъ, ни впередъ; одинъ фаэтонъ лежалъ на-боку; три кучера таскали другъ друга за волоса, а четвертый поролъ ихъ всѣхъ нещадно кнутомъ. По временамъ раздавались возгласы хожалыхъ, но только трудно было разобрать, на какомъ они изъясняются языкѣ, я думаю, потому, что и ихъ также не обнесли чарочкой; къ счастію, квартальный надзиратель, который, вѣроятно, предчувствовалъ, что безъ него дѣло не обойдется, явился въ пору, взглянулъ, увидѣлъ, наказалъ и привелъ все въ порядокъ.

Ожидая конца этой суматохи, три или четыре гостьи стояли на крыльцѣ.

— Ну, нечего сказать, — говорила одна изъ нихъ, толстая пожилая женщина: — дай Богъ здоровья Харлампію Никитичу, угостилъ онъ насъ!.. Перепоилъ всѣхъ кучеровъ!..

— И, Мавра Ефимовна!..—отвѣчала другая купчиха, нѣсколько моложе первой. — Да вѣдь нельзя же, — такъ ужъ водится, дѣло свадебное—какъ не поднести гостинымъ кучерамъ!

— Да вѣдь кучера-то править лошадьми, Аксинья Тимоѳеевна.

— Довезутъ, матушка!

— Довезутъ!.. Покорнѣйше благодарю! Не знаю, какъ у васъ, сударыня, а у меня одна только голова; какъ сломятъ, такъ другой не приставишь. Нѣтъ, матушка, вотъ на свадьбѣ у Ѳаддея Карповича Мурлыкина не такой былъ порядокъ: людей не поили, да зато и гостей не обижали.

— Помилуйте, да кого-жъ Харлампій Никитичъ обидѣлъ?

— Не васъ, Аксинья Тимоѳеевна; я и про себя не говорю, — что мнѣ въ этихъ почетахъ! Мы же съ Харлампіемъ Никитичемъ вовсе люди не свои — да и слава Богу! Конечно, ему не мѣшало бы помнить себя и знать другихъ; кажется, роду не знаменитаго, на нашей памяти былъ сидѣльцемъ, — да я этому смѣюсь и больше ничего; а скажите, матушка, что ему сдѣлала эта бѣдная Ѳедосья Марковна?

— Что такое?

— Вѣдь вы знаете, что Ѳедосья Марковна по мужу внучатная тетка Харлампію Никитичу, да она же и сама по себѣ роду хорошаго! У нея два каменные дома,—одинъ на Смоленскомъ рынкѣ, другой у Серпуховскихъ воротъ, и сверхъ того три лавки въ бакалейномъ ряду, такъ ее обижать бы не слѣдовало.

— Да чѣмъ же ее обидѣли?

— Какъ чѣмъ? Такъ вы, матушка, не замѣтили? Вѣдь ея здоровье-то не пили?

— Что вы говорите?

— Право такъ!... Гляжу на нее,—Господи, Боже мой,—жалость какая: кровинки нѣтъ *въ лицѣ!... «Здоровье* такого-то! Здоровье такой-то!» а она, голубушка моя, сидитъ, какъ оглашенная какая!

— Ну, это нехорошо!

— А угощенье-то, Аксинья Тимоѳеевна!..

— Что-жъ, Мавра Ефимовна, кажется, всего было довольно, всякіе напитки, фрукты...

— Да, хорошо! Я хотѣла попробовать грушу, да чуть было себѣ зубъ не сломила.

— Конфектовъ было очень много...

— Ну, ужъ конфекты — эка диковинка: леденцы да патрончики! Стыдно домой привезти!.. Нѣтъ, сударыня, у Ѳаддея Карповича не то было, а публика-то какая была, публика!..

— Ну, вотъ ужъ касательно этого, Мавра Ефимовна, такъ воля ваша,—кажется, и здѣсь публичность была не дурная.

— И, полноте, матушка! Всего-то-на-всего одинъ только генералъ, да и тотъ, чай, отъ кондитера... А, вотъ мой фаэтонъ? Прощайте, Аксинья Тимоѳеевна!

II.

Нескучное *).

„Несносенъ мнѣ зимой суровый нашъ климатъ,
Глубокіе снѣга, трескучіе морозы;
Но лѣтомъ я люблю и русскія березы
И нашихъ липъ душистый ароматъ.
Какъ часто въ знойный день подъ ихъ густою тѣнью
Въ Нескучномъ я душою отдыхалъ"...

В—ичъ.

Много есть садовъ лучше нашего *Нескучнаго*, которое скорѣе можно назвать рощею, чѣмъ садомъ; но едва ли можно найти во всей Москвѣ и даже въ ея окрестностяхъ такое очаровательное мѣсто для прогулки, а особливо если вы идете гулять не для того только, чтобъ людей посмотрѣть и себя показать. Это Нескучное, поступившее нынѣ въ вѣдомство московской Придворной конторы, принадлежало нѣкогда К. Ш., человѣку доброму, радушному и большому хлѣбосолу. Я не знаю, кому принадлежалъ этотъ садъ прежде, но только помню, что когда онъ не былъ еще собственностію К. Ш., то порядочные люди боялись въ немъ прогуливаться и посѣщали его очень рѣдко. Тогда этотъ садъ былъ сборнымъ мѣстомъ цыганъ самаго низкаго разряда, отчаянныхъ гулякъ въ полуформѣ, бездомныхъ мѣщанъ, ремесленниковъ и лихихъ гостинодворцевъ, которые по воскреснымъ днямъ пріѣзжали въ Нескучное пропивать на шампанскомъ или полушампанскомъ барыши всей недѣли, гулять, буянить, придираться къ нѣмцамъ, ссориться съ полуформенными удальцами и любезни-

*) Написано въ 1840 году.

чать съ *дамами*, которыя, по изгнаніи ихъ изъ Нескучнаго, сдѣлались впослѣдствіи украшеніемъ Ваганькова *) и Марьиной рощи. На каждомъ шагу встрѣчались съ вами купеческіе сынки въ длинныхъ сюртукахъ и шалевыхъ жилетахъ, замоскворѣцкіе франты въ венгеркахъ; не очень ловкія, но зато чрезвычайно развязныя барышни въ купавинскихъ шаляхъ, накинутыхъ на одно плечо, въ родѣ греческихъ мантій. Вокругъ трактировъ пахло пуншемъ, по аллеямъ раздавалось щелканье каленыхъ орѣховъ, хохотъ, громкіе разговоры, разумѣется, на русскомъ языкѣ, иногда съ примѣсью французскихъ словъ нижегородскаго парѣчія, «команъ ву партеву», «требьянъ», «бонъ журъ, монъ шеръ». Изрѣдка вырывались фразы на нѣмецкомъ языкѣ, и можно было подслушать разговоръ какого-нибудь сѣдельнаго мастера съ подмастерьемъ булочника, которые, озираясь робко кругомъ, толковали межъ собою о дѣйствіяхъ своего квартальнаго надзирателя, о достовѣрныхъ слухахъ, что ихъ частный приставъ будетъ скоро смѣненъ, и о разныхъ другихъ политическихъ предметахъ своего квартала. Съ изгнанія цыганскихъ таборовъ изъ Нескучнаго и уничтоженія распивочной продажи, все это воскресное общество переселилось въ разныя загородныя мѣста и въ особенности въ Марьину рощу. Когда я познакомился съ новымъ владѣльцемъ Нескучнаго, этотъ садъ принялъ уже совершенно другой видъ: дорожки были вычищены, знаменитый мостъ, соединяющій обѣ части сада, мостъ, который, къ сожалѣнію, теперь ужъ не существуетъ, исправленъ, укрѣпленъ и сдѣланъ безопаснымъ; домики украшены и къ воротамъ сада подъѣзжали не однѣ ужъ рессорныя телѣжки и ухорскія пары, но очень часто четверомѣстныя кареты, а по тѣнистымъ аллеямъ бѣгали миловидныя дѣти и мелькали соломенныя шляпки московскихъ дамъ высшаго общества. Потомъ выстроили въ Нескучномъ воздушный театръ, то-есть театръ безъ кровли, на которомъ давали не только водевили и дивертисементы, но даже большія комедіи, трагедіи и балеты **). Эта новость понравилась, и Нескучное сдѣлалось любимымъ гуляньемъ московской публики.

Но знаменитость и слава земная — прахъ! Когда Нескучное было въ ходу и жители большого Калужскаго проспекта начинали ужъ поговаривать безъ всякаго уваженія о Тверской улицѣ и при всякомъ удобномъ случаѣ разсказывать съ гордостью, что ихъ дома въ двухъ шагахъ отъ Нескучнаго, — за Петербургской заставой, тихо и безмолвно, выросталъ опасный его соперникъ. Петровскій паркъ былъ еще въ младенчествѣ, но онъ мужалъ не по днямъ, а по часамъ, и вдругъ, какъ будто бы волшебствомъ, возникли на чистомъ полѣ прекрасныя дачи, разостлались широкія дороги, зазеленѣли бархатные луга, усыпанные куртинами, поднялся красивый портикъ театра, прекраснаго какъ игрушка, на которую нельзя было не полюбоваться, и выросло изъ земли огромное зданіе вокзала со всѣми своими принадлежностями. Вся Москва хлынула за Тверскую заставу; Нескучное опустѣло, его воздушный театръ превратился въ пепелъ, то-есть онъ былъ проданъ на дрова; диковинный мостъ обвалился и обыватели большой Калужской улицы стали обращать вниманіе на каждую проѣзжающую карету, сбавили половину цѣны съ найма своихъ домовъ и не хвастались уже своимъ сосѣдствомъ съ Нескучнымъ садомъ, въ которомъ стало очень скучно, по крайней мѣрѣ, для любителей многолюдной толпы, то-есть для девяноста-девяти-сотыхъ частей гуляющей публики.

Вотъ краткая современная исторія Нескучнаго. Теперь позвольте мнѣ сказать о немъ нѣсколько словъ въ топографическомъ отношеніи и описать его такъ, какъ оно было въ счастливыя времена своей мимолетной славы и минутнаго величія.

Этотъ садъ, начинаясь отъ рощи, принадлежавшей князю Д. В. Голицыну, оканчивался за Калужскою заставой. Одной стороной онъ обращенъ къ Донскому монастырю, другая тянется по крутымъ и гористымъ берегамъ Москвы-рѣки. Войдя главными воротами въ широкую аллею, ровную и гладкую какъ Тверской бульваръ, вы никакъ не отгадаете, что васъ окружаютъ, если не пропасти, то, по крайней мѣрѣ, такіе буераки, что я не совѣтую никому ходить вечеромъ по лѣвой сторонѣ аллеи, между деревьями, которыя растутъ на самыхъ закраинахъ обрывистыхъ и глубокихъ овраговъ. Когда вы доходили до конца аллеи, вамъ открывался на правой сторонѣ, окруженный цвѣтниками, господскій домъ со всѣми своими принадлежностями. Этотъ домъ исчезъ также съ лица земли, но онъ отжилъ свой вѣкъ. И тогда уже страшно было смотрѣть на этого маститаго старца; сквозь тесовую обшивку, покрытую желтой краской, проглядывали его трещины, точно такъ же, какъ, несмотря на толстые слои бѣлилъ и румянъ, прорѣзываются глубокія морщины на лицѣ какой-нибудь допотопной красавицы, которая хочетъ остаться вѣчно молодою. Отъ дома начиналась прямая дорожка, ведущая на длинный мостъ. Не бойтесь, ступайте смѣло за мною: этотъ мостъ поставленъ на деревянныхъ срубахъ, и хотя на взглядъ очень подозрителенъ, но гораздо прочнѣе и надежнѣе господскаго дома. Вотъ мы дошли до его средины. Теперь остановимся, обопремся на перила и поглядимъ, что

*) Кладбище за Пресненской заставой, любимое гулянье простого народа.

**) Я очень помню, какъ однажды въ проливной дождь дотанцовали послѣднее дѣйствіе „Венгерской хижины“ почти *по колѣно въ водѣ*.

у насъ подъ ногами. Если и это нельзя назвать пропастью, такъ что-жъ это такое? Оврагъ? Нѣтъ, воля ваша, у меня языкъ не повернется назвать такимъ пошлымъ именемъ первую диковину Нескучнаго. Представьте себѣ поросшее сплошнымъ лѣсомъ ущелье, мрачное и глубокое для всякаго человѣка съ хорошими глазами и почти бездонное для того, кто имѣетъ несчастіе быть близорукимъ. Столѣтнія деревья, растущія на днѣ его, кажутся вамъ деревцами, потому что вы видите только однѣ ихъ вершины. Ихъ корни омываетъ едва замѣтный протокъ, составляющій по ту сторону моста небольшой прудъ. Если вы сойдете по извилистой тропинкѣ на дно этой... ну, да, этой пропасти, то вамъ надобно будетъ лечь на спину, чтобъ, не свихнувъ себѣ шеи, посмотрѣть на многолюдную толпу гуляющихъ по мосту, который какъ будто бы виситъ на воздухѣ. Но я не совѣтую вамъ сходить въ эту преисподнюю, если вы не любите ужей: это ихъ подземное царство, изъ котораго они выползаютъ иногда въ аллеи сада, вѣроятно, для того, чтобъ полюбоваться на свѣтъ Божій и погрѣться на красномъ солнышкѣ.

Сколько разъ встрѣчалъ я полночь на этомъ мосту. Я жилъ тогда въ Нескучномъ. Однажды,—никогда не забуду этой ночи!— мнѣ что-то не спалось; я всталъ, одѣлся на скорую руку и пошелъ бродить по саду. Ночь была лунная, воздухъ теплый, влажный, напитанный ароматомъ. Дойдя до средины моста, я остановился; мертвое молчаніе, густая тѣнь деревьевъ и подъ ногами эта пропасть— жилище пресмыкающихся и пріютъ летучихъ мышей, все располагало мою душу къ какимъ-то таинственнымъ ощущеніямъ, все переносило ее въ міръ чудесъ и очарованій. Мнѣ казалось, что я стою у входа въ знаменитую «волчью долину», что на днѣ ея льютъ роковыя пули и *черный стрѣлокъ* выглядываетъ изъ-за толстаго пня сухой березы, которая, какъ мертвецъ въ бѣломъ сананѣ, отдѣляется отъ темной зелени живыхъ деревьевъ. Вотъ яркій лучъ мѣсяца прокрался между листьями и заблестѣлъ на чешуйчатой спинѣ красноголового ужа; вотъ что-то зашелестѣло надъ моей головой, и летучая мышь, крутясь по воздуху, исчезла въ глубинѣ ущелья. Вотъ набѣжала черная туча, луна скрылась за нею, мракъ сгустился и сотни *свѣтляковъ*, какъ звѣздочки, затеплились на кустахъ и высокой травѣ, которая растетъ привольно на днѣ этихъ неприступныхъ стремнинъ и буераковъ, и въ то же самое время на вершинѣ высокой сосны *заохалъ* вѣщій филинъ. Я не могу разсказать вамъ, что за странныя ощущенія, похожія на тихую грусть, не чуждыя какого-то страха, но вмѣстѣ съ этимъ чрезвычайно пріятныя, овладѣли моею душою. Страхъ—чувство болѣзненное; но эта *безотчетная робость*, отъ которой замираетъ слегка наше сердце, имѣетъ въ себѣ какую-то неизъяснимую прелесть. Болѣе часу простоялъ я какъ прикованный къ одному мѣсту; я не замѣчалъ, какъ звѣзды исчезали одна за другою, какъ скрылся мѣсяцъ, какъ запылали облака и море свѣта разлилось на востокѣ. Веселое чиликанье пробудившихся птицъ заставило меня очнуться. Неугомонный филинъ давно уже убрался въ свое дупло, летучія мыши также попрятались, и сквозь просвѣтъ частыхъ деревьевъ засверкалъ позлащенный крестъ высокой колокольни Новодѣвичьяго монастыря.

Вы очень ошибетесь, если подумаете, что эта піитическая ночь создалась въ моемъ воображеніи. Всякій, кто живалъ въ Нескучномъ, подтвердитъ мои слова. Въ этомъ саду попадаются очень часто ужи, водятся летучія мыши, блестятъ по ночамъ свѣтляки, и когда я жилъ въ Нескучномъ, каждую ночь, передъ разсвѣтомъ, раздавались отвратительные крики совъ и стоналъ зловѣщій филинъ.

За этимъ мостомъ, котораго теперь и слѣдовъ не осталось, начинается и другая часть сада. Прямая дорожка, проложенная между густыми куртинами березовыхъ и липовыхъ деревьевъ, приводила васъ къ одноэтажному домику, въ которомъ нѣкогда помѣщалась ресторація; въ двухъ шагахъ отъ него, на небольшомъ возвышеніи, стояла бесѣдка; она соединялась подземнымъ ходомъ съ нижнимъ этажомъ другого домика, котораго существованія нельзя было и подозрѣвать, потому что онъ выстроенъ былъ на скатѣ глубокаго оврага; изъ верхняго его жилья можно было пройти въ бесѣдку крытымъ переходомъ, или какою-то висячей галлереей, не очень благонадежною, но зато очень живописною. Все это было въ совершенномъ запустѣніи; кругомъ дичь, высокая трава, огромныя деревья и немного пониже—источникъ прекрасной и чистой, какъ хрусталь, воды. Позади бесѣдки небольшой мостъ соединялъ съ садомъ что-то похожее на островъ, который, вмѣсто воды, окруженъ былъ со всѣхъ сторонъ обрывистыми оврагами. Теперь мы воротимся съ вами назадъ и взглянемъ на великолѣпную липовую аллею, гдѣ вы можете и въ самый полдень найти прохладную тѣнь и укрыться отъ палящаго солнца. Подлѣ, на пространномъ лугу, возвышался нѣкогда деревянный колизей, подъ скромнымъ названіемъ воздушнаго театра. Не знаю теперь, а тогда было тутъ прекрасное эхо, которое повторяло съ удивительною точностью двусложныя слова.

Сколько разъ, бывало, я приходилъ одинъ или вмѣстѣ съ любезнымъ семействомъ Ге...выхъ пробуждать этотъ чудный отголосокъ. Однажды, подъ вечеръ, я стоялъ ужъ съ полчаса противъ театра и радовался, какъ дитя, когда эхо повторяло какимъ-то насмѣшливымъ голосомъ: «дѣвка!... кошка!.. слушай!.. молчи!..»

— Не прогнѣвайтесь, сударь, — сказалъ мнѣ одинъ изъ садовыхъ сторожей, который ужъ нѣсколько минутъ стоялъ подлѣ меня и покачивалъ головой:—напрасно вы изволите этимъ забавляться.

— А что, любезный?

— Да такъ-съ,—не хорошо.

— Почему жъ не хорошо?

— Вѣдь онъ не любитъ, сударь, чтобъ его тревожили.

— Его? Да о комъ ты говоришь?

— Ну, вотъ, что васъ передразниваетъ.

— А что жъ ты думаешь, кто это?

— Извѣстное дѣло—хозяинъ.

— Какой хозяинъ?

— Ну, иль домовой, сударь. Его трогать не надобно: вѣдь неровенъ часъ, какъ пристанетъ, такъ не отвяжется.

— Ахъ ты, дуракъ, дуракъ!—сказалъ я съ громкимъ смѣхомъ.

«Дуракъ, дуракъ!»—повторило эхо и захохотало такъ натурально, что бѣдный сторожъ вздрогнулъ, пробормоталъ что-то подъ носъ и плюнулъ, вѣроятно, на лукаваго, а можетъ-быть и на меня, какъ на совершеннаго безбожника.

Въ концѣ липовой аллеи сходились двѣ дорожки, одна шла направо, къ Москвѣ-рѣкѣ, другая вела къ самому живописному мѣсту Нескучнаго. Мы зайдемъ туда послѣ, а теперь я попрошу васъ со мною на берегъ рѣки. Вотъ мы спускаемся впизъ по изгибистой тропинкѣ, прерываемой, въ нѣсколькихъ мѣстахъ, деревянными лѣстницами, и сходимъ, наконецъ, на песчаный берегъ Москвы-рѣки. Позади насъ прудъ, за нимъ вдали, какъ-будто опираясь на вершины деревьевъ, тянется длинный мостъ. Передъ нами нѣсколько красивыхъ домиковъ, колодецъ и красивая галлерея для ходьбы въ ненастную погоду. Это заведеніе искусственныхъ минеральныхъ водъ.—«Какія минеральныя воды?»—спросите вы.—«Да вѣдь онѣ на Остоженкѣ». Да, теперешнія на Остоженкѣ, а первыя искусственныя воды—воды, которыми никто не лѣчился, несмотря на то, что онѣ стоили очень дорого хозяину,—были въ Нескучномъ. Вотъ краткая исторія ихъ начала, бытія и кончины. Одинъ глубокомысленный испытатель естества, досужій и оборотливый нѣмецъ, замѣтилъ хозяину, что въ его колодцѣ вода минеральная, потому, дескать, что въ ней есть частицы известковыя, желѣзныя и разныя другія, и что хотя и въ обыкновенной водѣ бываетъ не безъ примѣси, но его колодезная вода имѣетъ особенную цѣлебную силу; но такъ какъ эта сила не то, чтобъ отличная какая сила, а только сила укрѣпляющая и утоляющая жажду, то не мѣшало бы завести около колодца и другія разныя воды, имѣющія разнородныя силы, и что онъ берется сдѣлать все это самымъ легкимъ, вновь изобрѣтеннымъ способомъ, не требуя *ничего, кромѣ* посильнаго денежнаго вспоможенія, необходимаго для устроенія сего филантропическаго и чисто европейскаго заведенія. Добрый и благородный К. Ш., обрадованный мыслію, что онъ можетъ положить основаніе такому благодѣтельному и общеполезному заведенію, приступилъ немедленно къ дѣлу. Сначала, пока строили домики для ваннъ, залу для питья водъ и галлерею для прогулки больныхъ, можно было видѣть, по крайней мѣрѣ, на что выходятъ деньги; но какъ дошло дѣло до химической части, то добрый К. Ш. призадумался.—«Охъ ужъ мнѣ эти машины!»—говаривалъ онъ довольно часто.—«Не успѣешь сдѣлать одну, подавай другую! Да вѣдь какъ дороги, проклятыя! Расходы ужасные' а взглянуть не на что. Ну, видно, плакали мои денежки!» И дѣйствительно, первая попытка завести въ Москвѣ искусственныя минеральныя воды не имѣла никакого успѣха. Вотъ рѣшились, наконецъ, прибѣгнуть къ самому сильному и послѣднему средству: воды составлялъ и всѣмъ распоряжался все тотъ же глубокомысленный испытатель естества, а смотрителемъ при нихъ, то-есть сторожемъ. былъ простой русскій человѣкъ; на мѣсто его сдѣлали смотрителемъ какого-то физиканта съ толстымъ чревомъ и важнымъ лицомъ; у этого мусью была преудивительная фамилія, и онъ ни слова не говорилъ по-русски. Кажется, что-бъ еще?—Нѣтъ, и это не помогло! Въ ванны никто не садился, воды не пили, въ галлереѣ не гуляли, а физикантъ бралъ по пятисотъ рублей въ мѣсяцъ жалованья, а испытатель естества придумывалъ все новыя машины и самъ назначалъ имъ цѣну. Тяжко пришло хозяину! Конечно, онъ имѣлъ удовольствіе пить свою собственную зельтерскую воду и потчевать ею своихъ пріятелей, но если бъ счесть, во что обошлась ему эта забава, то для него гораздо бы выгоднѣе было, вмѣсто домашней зельтерской воды, пить старый рейнвейнъ и потчевать своихъ гостей столѣтнимъ венгерскимъ виномъ. Между тѣмъ, подъ руководствомъ знаменитаго профессора Лодера, положено основаніе нынѣшнему заведенію искусственныхъ водъ на Остоженкѣ; ихъ скоро открыли, онѣ вошли въ моду и участь первоначальнаго заведенія была рѣшена: Теперь не только не осталось слѣдовъ ваннъ и галлереи, но даже засыпанъ и колодецъ. Долго я добивался, но никакъ не могъ узнать, кому вошла въ голову странная мысль вырыть этотъ колодецъ? Онъ уже давно существовалъ, а никто не подозрѣвалъ въ немъ никакой цѣлебной силы; слѣдовательно, нашелся же человѣкъ, который задумалъ выкопать колодецъ съ обыкновенной, но только дурной водой, на самомъ берегу рѣки, въ которой вода весьма пріятнаго вкуса.

Однажды,—это было въ маѣ мѣсяцѣ,—я встрѣтился въ Москвѣ со старинымъ моимъ пріятелемъ Б****. Онъ жилъ безвыѣздно въ

Петербургѣ и въ первый еще разъ въ жизни пріѣхалъ взглянуть на Бѣлокаменную и поклониться ея святымъ угодникамъ. Еслибъ я родился въ Италіи, то ужъ, вѣрно, бы попалъ въ цехъ записныхъ *чичероне*. Одно изъ величайшихъ моихъ наслажденій состоитъ въ томъ, чтобъ показывать пріѣзжимъ всѣ диковинки и рѣдкости города, въ которомъ я живу. Четыре дня сряду я угощалъ моего пріятеля Москвою, возилъ его изъ одного конца города въ другой, ѣздилъ съ нимъ въ Коломенское, Царицыно, Кунцово, къ Симонову монастырю; сходилъ вмѣстѣ съ нимъ подъ большой колоколъ, взлѣзалъ на Сухареву башню и смотрѣлъ съ Ивана Великаго на матушку Москву, православную; наконецъ дѣло дошло и до Нескучнаго. Я началъ съ того, что познакомилъ моего пріятеля съ хозяиномъ; онъ обласкалъ пріѣзжаго гостя, показалъ ему свое цѣлебное заведеніе и напоилъ насъ зельтерской водой домашняго издѣлія. Мы оставили хозяина на берегу Москвы-рѣки, а сами пустились въ гору; устали до-смерти; наконецъ, пройдя мимо липовой аллеи, повернули направо, вышли на самое живописное мѣсто Нескучнаго и сѣли на скамьѣ, чтобъ отдохнуть и полюбоваться очаровательнымъ видомъ, который вдругъ развернулся подъ нашими ногами. Внизу излучистая рѣка, за нею обширные луга и Новодѣвичій монастырь; правѣе, по берегу рѣки, длинный рядъ красивыхъ Хамовническихъ казармъ, а за ними сады и безчисленныя кровли домовъ; еще правѣе, внизъ по теченію рѣки, огромный амфитеатръ, составленный изъ бѣлокаменныхъ зданій и разноцвѣтныхъ церквей; подымаясь все выше, онъ оканчивается усыпаннымъ позлащенными главами державнымъ Кремлемъ. При первомъ взглядѣ, казалось, на его высокихъ башняхъ покоились небеса, посреди которыхъ выше всего блисталъ на главѣ Ивана Великаго Животворящій Крестъ, осѣняя своею благодатью священные гроба угодниковъ Божіихъ, святые соборы и древнее жилище православныхъ Царей русскихъ. Налѣво, вверхъ противъ теченія рѣки, возвышаются, на полугорѣ, большое каменное зданіе и церковь,— это Андреевская богадѣльня; выше начинается садъ или роща, примыкающая къ Васильевскому, великолѣпному загородному дому, который принадлежитъ теперь графу Мамонову. За Васильевскимъ подымаются Воробьевы горы; онѣ тянутся по берегу Москвы-рѣки, къ Смоленской заставѣ, и оканчиваются тамъ, гдѣ рѣчка Сѣтунь впадаетъ въ Москву-рѣку. Все это можно окинуть однимъ взглядомъ и, не перемѣняя положенія, сидя спокойно на скамьѣ, любоваться въ одно время и Москвою и ея прелестными окрестностями. Мой пріятель былъ въ совершенномъ упоеніи. Великолѣпная Нева со своими островами, и море, на которое москвичи смотрятъ съ такимъ восторгомъ, давно уже ему приглядѣлись, а то, что было теперь у него передъ глазами, онъ видѣлъ въ первый разъ.

— Боже мой,—сказалъ онъ,—какой очаровательный видъ! У насъ все такъ гладко, однообразно, за сто шаговъ ничего не видно, а здѣсь—мы гуляемъ въ саду и вся Москва у нашихъ ногъ!.. Вотъ одно изъ всѣхъ земныхъ наслажденій,—продолжалъ онъ, — которое не оставляетъ пустоты въ сердцѣ, и одно только, которое доступно и понятно для всякаго.

— *Доступно*—это правда,—отвѣчалъ я,— но *понятно ли* для всякаго — не знаю. И нищій можетъ войти на гору и у него будутъ передъ глазами прелестные виды; но станетъ ли онъ ими любоваться—это другая рѣчь.

— Какъ? — вскричалъ мой пріятель.—Да неужели ты думаешь, что необразованный простолюдинъ совершенно равнодушенъ къ прекрасному и что одинъ только просвѣщенный человѣкъ смотритъ съ удовольствіемъ на живописное мѣстоположеніе? — Нѣтъ, мой другъ, я увѣренъ, что самый простой и безграмотный мужикъ пойметъ всю прелесть того, что теперь у насъ передъ глазами. Вѣдь это не картина, которую должно разбирать по правиламъ искусства; прекрасное въ природѣ не подчинено никакимъ законамъ; оно плѣняетъ насъ безъ всякаго предварительнаго разбора и нравится безотчетно, слѣдовательно, дѣйствуетъ одинакимъ образомъ и на того, кто проходилъ эстетику, и на того, кто не знаетъ грамоты.

— Полно, такъ ли, мой другъ? Я увѣренъ, что и въ высшемъ сословіи есть люди, для которыхъ существуютъ *прекрасныя* поля, а вовсе нѣтъ прекрасныхъ видовъ. Я знаю одного довольно образованнаго человѣка, который, сидя теперь съ нами, не замѣтилъ бы, что отсюда вся Москва какъ на блюдечкѣ, а не спустилъ бы глазъ съ Лужниковъ, и, вѣроятно, сказалъ бы съ восторгомъ: «Вотъ, батюшка, мѣсто-то!.. Что еслибъ всѣ эти луга засѣять клеверомъ, или завести трехпольное хозяйство!» А попытайся обратить его вниманіе на эту роскошную панораму, такъ онъ тебѣ скажетъ: «И, сударь, что такое видъ! Была бы только почва хороша, а дальновидное мѣсто ничего!.. Вотъ моя деревня въ лощинѣ, да зато голый черноземъ, а хочешь вдаль посмотрѣть, ступай на колокольню; съ нея за пять верстъ кругомъ видно!»

— Да это, мой другъ, выродки: о нихъ и говорить нечего. Въ ихъ глазахъ только то и хорошо, что можетъ приносить выгоду. Разумѣется, тотъ, кто думаетъ объ однихъ доходахъ, не станетъ любоваться красотами природы, и я увѣренъ даже, что бѣдный безграмотный человѣкъ пойметъ это высокое наслажденіе лучше всякаго богача, который заводитъ обширные сады и создаетъ въ нихъ

свою собственную природу, вытянутую въ струнку, жалкую, изувѣченную, или, не видавъ никогда солнечнаго восхода, приходитъ въ восторгъ, когда на сценѣ театра подымается кисейный туманъ и всходитъ хрустальное солнце. Да вотъ, напримѣръ,—продолжалъ мой пріятель,—видишь ли ты вонъ тамъ, за оврагомъ, на высокомъ холмѣ будку?

— Вижу.

— Оттуда видъ долженъ быть еще прекраснѣе здѣшняго. Не хочешь ли биться объ закладъ, что будочникъ, у котораго этотъ видъ съ утра до вечера передъ глазами, понимаетъ всю красоту его и, можетъ быть, не менѣе нашего имъ наслаждается?

— Зачѣмъ биться объ закладъ, — сказалъ я, вставая,—пойдемъ и спросимъ его самого.

— Пойдемъ, пойдемъ! — вскричалъ мой пріятель.—Только не вздумай требовать отъ него краснорѣчивыхъ фразъ и піитическихъ восторговъ; не забывай, что онъ будочникъ и восхищается по-своему.

— Не безпокойся.

Мы вышли задними воротами сада и черезъ нѣсколько минутъ подошли къ будкѣ. Въ самомъ дѣлѣ, отъ нея видъ былъ еще живописнѣе. У будки стоялъ городовой стражъ пожилыхъ лѣтъ. Этотъ хранитель общественнаго покоя былъ очень не красивъ собою. На груди у него висѣли двѣ медали, слѣдовательно, онъ служилъ прежде въ арміи и дрался съ непріятелемъ; но, вѣроятно, это было очень давно, потому что въ немъ вовсе ужъ не было замѣтно этой молодецкой выправки, которою отличается нашъ фронтовой солдатъ. Все лицо его было въ морщинахъ и красный носъ съ синимъ отливомъ почти касался подбородка, покрытаго сѣдою щетиною. Положивъ на-руку свой грозный бердышъ и прищуривъ лѣвый глазъ, онъ нюхалъ съ разстановкою табакъ изъ берестовой тавлинки; казалось, онъ былъ совершенно погруженъ въ это чувственное наслажденіе и не замѣчалъ нашего присутствія.

— Эй, будочникъ, послушай, — сказалъ мой пріятель.

Старый воинъ не пошевелился и даже не удостоилъ насъ взглядомъ.

— Будочникъ! — повторилъ мой пріятель. Городской стражъ взглянулъ на него исподлобья, втянулъ въ свой огромный носъ послѣднюю напойку табаку и отвернулся.

— Да онъ никакъ глухъ? — молвилъ мой товарищъ.

— Помилуй,—шепнулъ я, — гдѣ слыхано, чтобъ кто-нибудь называлъ будочника—будочникомъ? Вѣдь это смертная обида.

— Какъ обида?

— Ну, да! Ты этакъ отъ него и полслова не добьешься. Ты бы еще назвалъ его костыльникомъ или куроцапомъ. Эхъ, другъ сердечный, какъ ты плохо знаешь наши простонародные обычаи вообще и нравы будочниковъ въ особенности! Посмотри, какъ онъ у меня заговоритъ.—Эй, часовой!

Будочникъ выпрямился и опустилъ правую руку по шву.

— Послушай-ка, служба!..

— Чего изволите, ваше благородіе? — вскрикнулъ бодрымъ голосомъ старый воинъ, отдавъ мнѣ честь, то-есть вытянулъ горизонтально лѣвую руку, въ которой держалъ свою сѣкиру.

— Какая здѣсь часть?

— Хамовническая, ваше благородіе.

— А что, любезный, — сказалъ мой пріятель,—у тебя нѣтъ никакого другого оружія, кромѣ этого топора?

Будочникъ нахмурился и взглянулъ почти съ презрѣніемъ на моего товарища.

— Да чѣмъ же эта *алебарда* дурное оружіе?—прервалъ я, стараясь поправить ошибку моего пріятеля.

— Да, конечно, ваше благородіе, — отвѣчалъ будочникъ, — и алебардой оборониться можно, а то ли дѣло нашъ батюшка штыкъ молодецъ!

— Ты въ какомъ полку служилъ, любезный?

— Въ двадцать-третьемъ егерьскомъ.

— А давно ли служишь въ городской стражѣ?

— Пятый годъ.

— И все стоишь здѣсь?

— Никакъ нѣтъ, сударь. Я прежде былъ въ Пятницкой части и стоялъ на Болотѣ.

— На Болотѣ!—повторилъ мой пріятель.— Я думаю, ты очень обрадовался, когда тебя перевели сюда?

Старый воинъ посмотрѣлъ съ удивленіемъ на г. Б**** и пробормоталъ сквозь зубы:

— Да, есть чему радоваться!

— Помилуй, любезный, — вскричалъ мой пріятель, — да что хорошаго на Болотѣ? Скверныя лавки, грязь, вонь!..

— Что грязь! — возразилъ будочникъ. — Грязь ничего, зато мѣсто людное, три раза въ недѣлю базаръ. Тутъ полѣнце упадетъ съ возу, тамъ клокъ другой сѣна,—только подбирай!.. Иной разъ мужичокъ, какъ сбудетъ свой товаръ съ барышомъ, самъ на радости въ кабакъ, а служивому грошъ на табакъ. Такъ, глядишь, калачникъ уважитъ калачникомъ, или квасникъ почествуетъ станканчикомъ медоваго; а въ этомъ захолустьѣ вѣкъ стой, ничего не выстоишь... И хоть бы пріютили гдѣ-нибудь въ лощинкѣ, — такъ нѣтъ: поставили будку на самомъ юру!.. Какъ осенью потянетъ вѣтерокъ съ полуночи, или зимою начнетъ мести сверху и съ низу, такъ, Господи помилуй!.. Да что и говорить — поганое мѣсто!

— Да неужели, любезный,—прервалъ мой пріятель,—ты никогда не любуешься этимъ прекраснымъ видомъ?

— Видомъ! Какимъ видомъ?

— Да вотъ что у тебя передъ глазами.

— А что у меня передъ глазами-то?

— Какъ что?.. Посмотри кругомъ!

Будочникъ посмотрѣлъ на-право и на-лѣво, потомъ повернулся опять къ моему пріятелю и сказалъ:

— Да что вы тутъ видите, сударь?

— Экій ты, братецъ, какой! Да неужели ты можешь смотрѣть безъ восторга на это очаровательное мѣстоположеніе?

Будочникъ выпучилъ глаза.

— Вотъ изволишь видѣть, любезный,—сказалъ я спѣша на выручку къ моему пріятелю,—онъ спрашиваетъ: любо ли тебѣ смотрѣть на эти горы, овраги, буераки?

— Да что въ нихъ хорошаго?

— На Москву-рѣку, на эти луга...

— Эка невидаль!

— А Новодѣвичій монастырь? А Кремль?

— Да что мнѣ впервые, что-ль? Иль я Кремля-то не видывалъ?

— Ну, все-таки, братецъ, мѣсто дальновидное, веселое; куда ни обернись, любо-дорого посмотрѣть.

— Да, нечего сказать!.. Эхъ, сударь, помилуйте, то ли дѣло стоять на Болотѣ! Вотъ тамъ есть чѣмъ полюбоваться: каменные дома, лавки, харчевни, лабазы, а въ базарный день народу-то, народу, — не отолченная труба!. Мужички гуляютъ, шумятъ, дерутся; ихъ разбираешь—любо!.. А здѣсь что?—Пустырь!

Какъ ни старался мой пріятель доказать этому невѣждѣ, что онъ ошибается, но все было напрасно. Мы дали ему по двугривенному и пошли назадъ въ Нескучное.

— Ну, что, мой другъ?—спросилъ я.

— Что? — повторилъ г. Б****. — Ну, да, этотъ будочникъ настоящій варваръ; но развѣ это что-нибудь доказываетъ? Ты самъ говорилъ, что и въ нашемъ быту есть люди, для которыхъ изящная природа не существуетъ.

— То-есть, по твоему, этотъ будочникъ выродокъ?

— Безъ всякаго сомнѣнія.

— Охъ, ужъ вы мнѣ, господа теоретисты, съ вашими высшими взглядами! Что и говорить, вы смотрите высоко, да подъ носомъ-то у себя ничего не видите! Уймитесь ли когда-нибудь судить о людяхъ и вещахъ не такъ, какъ они есть въ самомъ дѣлѣ, но такъ, какъ бы вамъ хотѣлось, чтобъ они были. Конечно, и у простого крестьянина есть свои наслажденія, но они не имѣютъ ничего общаго съ твоими; ихъ понятія о красотѣ, о чести и даже о самомъ счастіи совершенно различны съ нашими. Попытайся увѣрить какого-нибудь крестьянина, что женщина съ воздушнымъ станомъ и блѣднымъ лицомъ можетъ быть прекрасна. Тебѣ также вѣрно случалось видѣть, что два мужика поссорятся, дадутъ другъ другу по оплеухѣ—и преспокойно разойдутся въ разныя стороны; а человѣкъ образованный идетъ стрѣляться на-смерть за *одно обидное слово*. Крестьянинъ счастливъ, когда у него теплая изба, новый овчинный тулупъ, вдоволь хлѣба, три-четыре лошади, дойная корова, корчага браги и лишній рубль, чтобъ въ день своихъ именинъ или въ храмовый праздникъ выставить штофъ пѣнника и угостить пирогомъ своихъ деревенскихъ сосѣдей; то ли намъ съ тобой надобно,—не для того, чтобъ быть счастливыми: въ нашемъ быту эта вещь едва ли возможная,—но чтобъ другіе могли сказать о насъ, что мы счастливы? Эхъ, мой другъ, оставь мужичка мыслить, чувствовать и понимать по-своему!

— То-есть,—прервалъ мой товарищъ,—не мѣшай ему тонуть по-уши въ невѣжествѣ и стоять только на одинъ волосокъ повыше безсловесныхъ животныхъ; не старайся образовать его умъ, не просвѣщай его...

— Сохрани Господи! — Нѣтъ, мой другъ, есть просвѣщеніе, которое необходимо для всякаго; это просвѣщеніе кидается въ глаза, оно не имѣетъ надобности ни въ латинскомъ языкѣ, ни въ ученыхъ фразахъ, но зато оно проникаетъ, и гораздо легче, подъ соломенную кровлю безграмотнаго бѣдняка, чѣмъ въ мраморныя палаты ученаго-переученаго богача. Это просвѣщеніе премудрые философы восемнадцатаго столѣтія величали фанатизмомъ, а мы, русскіе варвары, благодаря Бога, называемъ еще вѣрою; и вотъ это-то просвѣщеніе, по милости котораго злой человѣкъ становится добрымъ, скупой — милосердымъ, пьяница — трезвымъ, лѣнивый — трудолюбивымъ, а строптивый — покорнымъ и смиреннымъ,—оно-то одно и необходимо для крестьянина. Безъ этого просвѣщенія и образованный человѣкъ бываетъ иногда хуже дикаго звѣря. Такъ чѣмъ же долженъ сдѣлаться тотъ, для котораго не существуютъ ни наши условныя приличія, ни строгія понятія о чести, ни это уваженіе къ общему мнѣнію, которое всетаки можетъ удержать насъ иногда, если не отъ тайныхъ, то, по крайней, мѣрѣ, отъ явныхъ нарушеній нравственности и законовъ общежитія.

— Я въ этомъ совершенно съ тобою согласенъ,—сказалъ мой пріятель,—а не менѣе того желалъ бы отъ всей души, чтобъ русскій народъ полюбилъ и земное просвѣщеніе.

— И я этого желаю, но только съ небольшимъ условіемъ. Просвѣщая нашъ простой народъ, я хотѣлъ бы, чтобъ мы почаще вспоминали одну басню Крылова:

— Какую басню?

— Да вотъ ту, которая начинается слѣдующими стихами:

„Полезно ль просвѣщенье?
Полезно, слова нѣтъ о томъ,
Но просвѣщеніемъ зовемъ
Мы часто роскоши прельщенье
И даже нравовъ развращенье“...

— Я что-то ее не помню.

— Вотъ въ чемъ дѣло: одинъ простоватый человѣкъ, думая придать болѣе цѣны золо-

тому червонцу, принялся его чистить пескомъ, толченымъ кирпичомъ и, наконецъ, дочистился до того, что:

„Подлинно какъ жаръ червонецъ заигралъ:
Да только стало
Въ немъ вѣсу мало,
И цѣну прежнюю червонецъ потерялъ".

А я прибавлю къ этому, что и штемпель-то съ него стерся совсѣмъ, такъ что нельзя было отгадать, какая это монета: французская, татарская, нѣмецкая или русская, что, вѣроятно, также ему цѣны не прибавило.

— Такъ что-жъ по-твоему надобно дѣлать?—прервалъ почти съ досадой мой пріятель.

— Не мѣшать и даже помогать тѣмъ, у которыхъ есть врожденная любовь къ просвѣщенію, потомъ предоставить все времени—этому неторопливому, но лучшему учителю народовъ.—«Не скоро, да здорово»,—говоритъ русская пословица,—и въ этомъ случаѣ она совершенно справедлива. А межъ тѣмъ не мѣшало бы намъ поменѣе говорить о просвѣщеніи нашихъ крестьянъ, а поболѣе заботиться о ихъ благосостояніи.

— Въ томъ-то и дѣло, — прервалъ мой пріятель, — вѣдь просвѣщеніе-то и дѣлаетъ человѣка счастливымъ.

— Да,—то, о которомъ я говорилъ тебѣ прежде, а то, о которомъ ты говоришь теперь, тогда только для насъ полезно, когда придетъ намъ по плечу. Хорошо идти за вѣкомъ тому, кому нѣтъ надобности ходить за сохою. Да и съ чего ты взялъ, что ты счастливѣе безграмотнаго человѣка? потому что знаешь больше его?.. Нѣтъ, мой другъ, исправный, то-есть зажиточный крестьянинъ несравненно благополучнѣе насъ съ тобою: его не безпокоитъ наша житейская суета, не тревожитъ честолюбіе. Онъ, человѣкъ безграмотный, знаетъ, что вѣкъ останется крестьяниномъ и спитъ себѣ преспокойно; а посмотри, какъ иногда какой-нибудь коллежскій секретарь, который занесся въ чины, сохнетъ отъ того, что его долго не производятъ въ титулярные совѣтники!

— Толкуй себѣ, какъ хочешь, а я все-таки желаю, чтобъ нашъ простой народъ...

— Эхъ, мой другъ, оставь его въ покоѣ! А если хочешь чего-нибудь желать, такъ пожелай лучше общаго просвѣщенія для тѣхъ людей, которые могутъ и *должны* быть просвѣщены. Безграмотный мужикъ не бѣда, а вотъ худо то, когда самъ помѣщикъ читаетъ по складамъ.

— Да этакихъ ужъ мало, мой другъ.

— Несравненно меньше прежняго,—кто и говоритъ, а не мѣшало бы, чтобъ ихъ и вовсе не было.

Нашъ разговоръ былъ прерванъ нечаяннымъ появленіемъ хозяина Нескучнаго.

— Насилу-то я васъ нашелъ, господа! — сказалъ онъ, идя къ намъ навстрѣчу.—Ужъ я ходилъ, ходилъ по саду!.. Представьте, какая случилась со мною непріятность: я остался безъ васъ на минеральныхъ водахъ, чтобъ осмотрѣть, въ порядкѣ ли ванны, — вотъ слышу шумятъ подлѣ цѣлебнаго колодца. Что такое? Гляжу: какой-то баринъ, совсѣмъ раздѣтый, чуть не бьетъ моего смотрителя-нѣмца. Я подбѣжалъ къ нимъ. Въ чемъ же дѣло? Представьте себѣ, этотъ господинъ лѣзетъ купаться въ колодецъ!.. — «Помилуйте, батюшка, что вы?»—«Какъ что? Вѣдь это вода цѣлебная?»—«Ну да, цѣлебная!.. Да вѣдь ее пьютъ, а не купаются въ ней».—«Вотъ вздоръ какой! Я слыхалъ, что на Кавказѣ и пьютъ, и купаются».—«То на Кавказѣ, а здѣсь совсѣмъ другое дѣло». — «Почему-жъ другое? Вода все вода!» — Я, чтобъ урезонить—куда,—такъ и рвется!.. А колодецъ глубокій, вода почти вровень съ краями, — юркнетъ, проклятый, и поминай какъ звали!.. Я ухватился за него и кричу нѣмцу: «держи, держи!».. Насилу-то вдвоемъ оттащили его прочь! Такой здоровый—и въ головѣ-то порядкомъ закачено. Что будешь дѣлать — привязался ко мнѣ, шумитъ, кричитъ!.. Я такъ, я этакъ, и лаской и всячески—не отстаетъ! Ужъ я поилъ, поилъ его сельтерской водой; насилу, разбойникъ, провалился, — усталъ съ нимъ до смерти... Теперь прошу ко мнѣ, господа! — продолжалъ хозяинъ, вытирая платкомъ свое лицо. Милости просимъ позавтракать чѣмъ Богъ послалъ. Не взыщите, если мой пирогъ простылъ; что дѣлать: цѣлый часъ провозился съ этимъ пьяницей.

Мы отправились вмѣстѣ съ хозяиномъ и, къ совершенному удовольствію этого гостепріимнаго и радушнаго человѣка, нашли, что его отлично-вкусный пирогъ не совсѣмъ еще остылъ.

III.

Московскіе сводчики.

„Сводчикъ, а. с. м. посредникъ при покупкахъ, продажахъ и разныхъ сдѣлкахъ".

Академическій словарь, изд. въ 1847 году.

Въ Москвѣ не много справочныхъ конторъ, но зато вовсе нѣтъ недостатка въ этихъ *волнопрактикующихъ* посредникахъ, извѣстныхъ подъ названіемъ «сводчиковъ». Это почтенное сословіе рѣзко отличается отъ всѣхъ другихъ тѣмъ, что не составляетъ никакого отдѣльнаго общества. Когда мы говоримъ: «дворянское сословіе», «купеческое сословіе», «мѣщанское общество», «ремесленный цехъ», то разумѣемъ подъ этимъ отдѣльныя общества, составленныя изъ однихъ дворянъ, купцовъ, мѣщанъ и ремесленниковъ; а между сводчиками вы найдете людей всѣхъ состоя-

ній, и хотя ихъ занятія совершенно одинаковы, но каждый изъ нихъ заботится только о себѣ и старается всячески вредить своимъ товарищамъ. Есть сводчики, которые одѣваются по послѣдней модѣ, носятъ бѣлыя лайковыя перчатки и разъѣзжаютъ въ своихъ собственныхъ экипажахъ; есть и такіе, которые очень напоминаютъ оборванныхъ польскихъ факторовъ: та же неутомимая дѣятельность, то же краснорѣчіе и почти та же самая добросовѣстность, однимъ словомъ, имъ недостаетъ только длинныхъ пейсиковъ и засаленныхъ ермолокъ, чтобъ совершенно походить на этихъ *честныхъ* евреевъ, отъ которыхъ нѣтъ отбоя во всѣхъ мѣстечкахъ и городахъ Западной Россіи. Я всегда дивился необычайному краснорѣчію нашихъ московскихъ сводчиковъ; каждое имѣнье, которое они предлагаютъ вамъ купить, бываетъ обыкновенно или настоящимъ земнымъ раемъ, по своему чудному мѣстоположенію, или *золотымъ дномъ* по своему неслыханному плодородію, или истиннымъ кладомъ по своимъ береженымъ лѣсамъ, сѣнокосамъ и разнымъ водянымъ угодьямъ. Для нихъ рѣшительно ничего не значитъ назвать дровяной лѣсъ строевымъ, едва замѣтный протокъ рѣчкою, грязный прудъ озеромъ и ни на что негодныя болота поемными лугами. «Но для чего же они это дѣлаютъ?»—спросите вы.— «Вѣдь заочно имѣнье никто не покупаетъ, всякій поѣдетъ прежде посмотрѣть». Да этого то они добиваются! Неужели вы никогда не слыхали о заграничныхъ вывѣскахъ, которыя такъ обольстительны для всѣхъ новичковъ? На одной вы прочтете, что тутъ не продаютъ, а почти даромъ отдаютъ разные товары; другая приглашаетъ васъ войти въ лавку, — какъ вы думаете для чего? Единственно для того, чтобъ вы обогатились — «Faites vorte fortune, messieurs!»—Разумѣется, это ложь; однако-жъ, вы зайдете въ лавку и, можетъ-быть, купите что-нибудь. Говорятъ, что эти торговыя приманки, извѣстныя подъ названіемъ *пуфовъ*, доведены до совершенства англичанами; можетъ-быть, только врядъ ли имъ уступятъ въ этомъ наши московскіе сводчики. Мнѣ самому случилось однажды попасть въ ловушку къ этимъ господамъ; впрочемъ, я отдѣлался такъ дешево, что вовсе объ этомъ не жалѣю. Я разскажу вамъ это происшествіе, совершенно справедливое во всѣхъ его подробностяхъ, за это я ручаюсь вамъ своею честію.

Года четыре тому назадъ, пришла мнѣ охота купить небольшую подмосковную. Я напечаталъ объ этомъ въ газетахъ, и на другой день явились ко мнѣ два сводчика. Первый, котораго я принялъ къ себѣ въ кабинетъ, былъ человѣкъ пожилой, одѣтый довольно опрятно, съ большими сѣдыми бакенбардами и съ важнымъ, даже нѣсколько угрюмымъ лицомъ.

— Вы изволили объявить въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ», — сказалъ онъ, — что желаете купить имѣнье?

— Да, — отвѣчалъ я. — Мнѣ хотѣлось бы найти небольшую деревеньку, но только непремѣнно въ близкомъ разстояніи отъ Москвы.

— Такъ-съ! А позвольте узнать, въ какую цѣну?

— Отъ сорока до пятидесяти тысячъ ассигнаціями.

— Такъ-съ!.. Прежде всего я долженъ вамъ доложить, что никогда не беру менѣе двухъ процентовъ за комиссію.

— Съ того, кто продаетъ?

— И съ того, кто покупаетъ.

— То-есть, четыре процента? Ну, это довольно! Впрочемъ, если вы найдете мнѣ выгодное имѣніе...

— Выгодное? То-есть доходное?

— Ну, хоть и не очень доходное, но я желалъ бы, чтобъ оно давало мнѣ хотя пять процентовъ.

— Такъ-съ!.. А мѣстоположеніе?..

— Непремѣнно красивое: безъ этого я не куплю; чистенькій домикъ, роща, рѣчка.

— И рѣчка-съ?.. Это, сударь, найти не легко!.. Подмосковныя имѣнья на видныхъ мѣстахъ и съ живыми урочищами не дешево стоятъ, — заплатите тысячи по двѣ за душу.

— Ну, если у васъ нѣтъ такого имѣнья...

— Позвольте, позвольте!.. Я могу вамъ рекомендовать имѣнье—не то что подмосковное, а близко, очень близко отъ Москвы... Просятъ за него пятьдесятъ-пять тысячъ ассигнаціями, а, можетъ-быть, и за пятьдесятъ уступятъ. Имѣнье отличное, устроенное самымъ хозяйственнымъ образомъ; стоитъ только руки приложить, такъ оно дастъ вамъ процентовъ до десяти. Земля самая плодородная... не то что черноземъ, а, знаете ли, этакая сѣрая... чудная земля!.. И мѣсто красивое, передъ барскимъ домомъ рѣчка... можно мельницу построить: воды весьма достаточно, — будетъ за-глаза на три постава.

— А по какой дорогѣ это имѣнье?

— По Можайкѣ.

— То-есть по Смоленской? Ну, это хорошо: застава отъ меня близехонько.

— А это, сударь, не бездѣлица. Иное имѣнье, кажется, и близко отъ Москвы, а какъ придется ѣхать городомъ версть двадцать...

— Ужъ и двадцать!.. Что вы!

— Да немного поменьше.

— Что жъ, это имѣнье не далеко отъ города?

— И десяти верстъ не будетъ.

— Отъ Москвы?

— Нѣтъ, сударь, отъ города Вязьмы.

— Такъ это въ Смоленской губерніи?

— Такъ что же, сударь? Вѣдь Смоленская-то губернія граничитъ съ Московскою.

— Покорнѣйше васъ благодарю! Я ищу имѣнье не далѣе тридцати верстъ отъ Москвы.

— Позвольте вамъ доложить: да что толку-то въ этихъ близкихъ имѣньяхъ? Вѣдь, извѣстное дѣло, подмосковные крестьяне или плуты, или нищіе, безпрестанно въ Москву таскаются, всѣ пьяницы; да вы, сударь, съ ними наплачетесь!

— Это ужъ мое дѣло.

— И что за даль такая: съ небольшимъ двѣсти верстъ! Дорога какъ скатерть, лучше всякаго шоссе, и гладко и мягко. Ѣдешь въ телѣгѣ, а точно какъ на лежачихъ рессорахъ. А имѣнье-то какое! Отъ нужды, сударь, продаютъ... Вотъ кабы вы сами изволили взглянуть... Да, не угодно ли, со мною есть опись и приказъ?..

— Нѣтъ, ужъ увольте!

— Такъ позвольте вамъ предложить другое имѣнье, поближе этого...

— Также въ Смоленской губерніи?

— Нѣтъ, сударь, въ Рязанской, на самой московской границѣ.

— Я ужъ вамъ сказалъ, что хочу купить подмосковную.

— Въ такую цѣну у меня подмосковныхъ нѣтъ. Вотъ тысячъ во сто...

— Такъ намъ и говорить нечего. Прощайте, батюшка, — тамъ у меня дожидается другой сводчикъ.

— Видѣлъ, сударь, видѣлъ!.. Я совѣтовать вамъ не смѣю, а грѣшно не сказать: поберегитесь, батюшка. Я этого молодца знаю: Григорій Кулаковъ; два раза, сударь, изъ Москвы выгоняли, всю прошлую зиму въ тюрьмѣ просидѣлъ... И какой онъ сводчикъ? Такъ... шмольникъ—дрянь! Изъ полтины пробѣгаетъ цѣлый день, а за цѣлковый дастъ себя выпороть... А ужъ краснобай какой!.. Наговоритъ вамъ съ три короба; да вы не извольте ему вѣрить: мошенникъ преестественный! Прощайте, сударь!.. Рекомендую себя на будущее время: Степанъ Прокофьевичъ Кривоплясовъ, собственный домъ въ Садовой на Живодеркѣ, второй отъ угла.

— Хорошо, хорошо! Если вы мнѣ понадобитесь, я за вами пришлю.

Когда первый сводчикъ вышелъ, я приказалъ позвать второго. Наружность его мнѣ очень не понравилась. На немъ былъ долгополый сюртукъ, довольно уже поношеный; самъ онъ былъ росту небольшого, худощавъ, съ продолговатой жиденькой бородкой и сѣрыми плутовскими глазами, которые не обѣщали ничего добраго.

— Что, сударь,—сказалъ онъ,—вы не изволили ничѣмъ порѣшить съ господиномъ Кривоплясовымъ?

— Нѣтъ!—отвѣчалъ я. — Мнѣ не то надобно, что у него есть.

— Чай, навязывалъ вамъ смоленское или рязанское имѣнье! Вотъ уже третій мѣсяцъ, какъ онъ съ ними нянчится.

— А что, это хорошія имѣнья?

— Помилуйте! Да еслибъ мнѣ стали эти деревнишки даромъ отдавать, такъ я бы придачи попросилъ!.. А туда жъ два процента!.. Вотъ я, сударь, изъ одного процентика готовъ вамъ послужить. Да вѣдь мы люди простые, а онъ большой баринъ, офицію носитъ!

— Такъ онъ чиновникъ?

— Да, сударь,—служилъ въ надворномъ, да, видно, не выслужился... попросили вонъ! Небось, тогда не чванился; стоитъ, бывало, цѣлое утро съ перышкомъ у присутственныхъ мѣстъ, не наймете ли кто въ свидѣтели, а теперь, какъ удалось ему двухъ-трехъ господъ обмануть, такъ и въ люди пошелъ! Чего добраго—контору заведетъ!

— Ну,—подумалъ я, — какъ эти господа другъ друга рекомендуютъ!

— Вамъ, сударь,—продолжалъ сводчикъ,—желательно купить подмосковную?

— Да!—отвѣчалъ я.—Только поближе къ Москвѣ.

— Найдемъ, сударь! Кабы вотъ этакъ недѣльки три тому назадъ, такъ я бы вамъ рекомендовалъ съ полдюжины подмосковныхъ; а теперь одна только и есть въ виду, да зато ужъ и подмосковная! Какъ посмотрите, такъ не разстанетесь! Душъ немного—всего пятьдесятъ, а земли четыреста десятинъ: триста въ окружной межѣ, да въ двухъ верстахъ отхожая пустошь. Лѣсу было слишкомъ сто десятинъ отличнаго! Теперь, конечно, лѣсокъ не крупный, однако-жъ, и не заросъ: въ оглоблю будетъ. Барскій домикъ игрушка, и не то что старый домъ: послѣ французовъ строенъ; а что за крылечко такое: съ выступомъ, на подобіе террасы — удивительно!.. Садъ на пяти десятинахъ, оранжерея, грунтовый сарай, службы... оно, конечно, немного позапущено: господа давно не живутъ, присмотрѣть некому, и, если правду сказать, такъ на взглядъ строеніе покажется вамъ ветхимъ, а въ самомъ-то дѣлѣ вѣку не будетъ! Стоитъ только кой гдѣ подкрасить, кой что перетряхнуть,—тутъ тесницу-другую перемѣнить, тамъ новое звено подвести, такъ усадьба будетъ-щегольская!

— А рѣчка есть?

— Есть, сударь, этакъ съ полверсты отъ дома, и рѣчка-то какая: веселенькая, игривая, словно змѣйка, такъ и вьется по лугу!

— Можно въ ней купаться?

— Можно, сударь. Крестьянскіе ребятишки все лѣто изъ нея не выходятъ. Въ иномъ мѣстѣ по поясъ будетъ...

— То-есть ребятишкамъ, а большимъ по колѣно?

— Да вы объ этомъ не извольте безпокоиться, за купаньемъ дѣло не станетъ: передъ домомъ преогромный прудъ, не грѣшно озеромъ назвать.

— И, вѣрно, въ немъ водятся лягушки?

— Какъ же, сударь: привозныя, съ отличными голосами?

Я засмѣялся.

— Чему же вы изволите смѣяться?—сказалъ сводчикъ. — Можетъ статься, теперь этимъ не занимаются, а прежде всѣ подмосковные бояре любили, чтобъ у нихъ въ прудахъ были лягушки голосистыя. Они этимъ щеголяли, сударь.

— Правда, правда, любезный! Теперь и я вспомнилъ: была такая мода; только я до этой музыки не охотникъ, а люблю, чтобъ пруды были съ рыбою.

— И этого довольно, сударь; въ саду есть два пруда съ карасями, да караси-то какіе— аршинные!

— Ужъ и аршинные!

— Доподлинно сказать вамъ не могу, я не мѣрилъ, а только прекрупные.

— Что-жъ, эта деревня по какой дорогѣ?

— По Звенигородкѣ.

— По Звенигородской дорогѣ? Мѣста знакомыя А на какой верстѣ?

— На двадцать-шестой.

— На двадцать-шестой?.. Поворотъ налѣво? Мимо вѣтряной мельницы?

— Точно такъ-съ.

— А тамъ двѣ версты лѣсомъ?

— Не будетъ, сударь; версты полторы не больше.

— Такъ это деревня Андрея Степановича Вязникова?

— Да-съ, его высокородія Андрея Степановича Вязникова.

— Спасибо, любезный!

— А что, сударь?

— Да я ужъ хуже ничего не знаю: мужики бѣдные, избенки всѣ на-боку, а барскій домъ и на дрова никто не купитъ.

— Помилуйте, сударь! Конечно, домъ покривился, да это оттого, что его мезонинъ давитъ; прикажите его снять...

— Да новый домъ поставить, службы перестроить, всѣ избы новыя срубить? Покорнѣйше благодарю!..

— Какъ вамъ угодно, а, право, имѣньице хорошее и за безцѣнокъ отдаютъ.

— Нѣтъ, ужъ я лучше поищу другую подмосковную.

— Позвольте! У меня есть въ виду еще одно имѣнье—чудо!.. За отъѣздомъ продаютъ, завтра опись получу. Ну, ужъ это подмосковная! На Клязмѣ, все мѣста гористыя, березовый лѣсъ, липовая роща... пообождите только до завтрашняго дня.

— Хорошо, хорошо, любезный! Прощай!

— Счастливо оставаться!.. Сейчасъ побѣгу къ господамъ за описью и приказомъ.

— Не прошло получаса, какъ мнѣ доложили, что пришелъ еще сводчикъ. Я велѣлъ его позвать... Ну, этотъ вовсе не походилъ на прежнихъ! Это былъ пожилой человѣкъ, лѣтъ шестидесяти, въ сѣромъ опрятномъ пальто, съ лысой головой, краснощекимъ благообразнымъ лицомъ и свѣтлыми голубыми *глазами, исполненными* такого простодушія и такой доброты, какихъ я давно не видывалъ. Вся наружность его напоминала этихъ патріархальныхъ старинныхъ слугъ, не всегда трезвыхъ, но честныхъ, вѣрныхъ и всегда готовыхъ не только подраться, но даже умереть за каждую барскую копѣйку. Войдя въ кабинетъ, онъ помолился на образъ, потомъ, обратясь ко мнѣ, поклонился по старому русскому обычаю въ поясъ.

— Что скажешь, любезный!—спросилъ я.

— Вы ли, батюшка, Богданъ Ильичъ Бѣльскій?

— Я, мой другъ.

— Ну, слава тебѣ, Господи! Ужъ я васъ искалъ, искалъ!.. Не угодно ли вамъ, батюшка, купить подмосковное имѣнье въ двадцати верстахъ отъ города?

— Почему не купить, если имѣнье хорошее и будетъ мнѣ по деньгамъ.

— Будетъ, сударь, будетъ! Да вотъ извольте потрудиться—прочтите опись.

Сводчикъ подалъ мнѣ исписанный листъ бумаги, и я прочелъ слѣдующее.

«Сельцо Былино въ двадцати верстахъ отъ Москвы, по Серпуховской дорогѣ, на рѣчкѣ Афанасьевкѣ. Крестьянъ, по ревизскимъ сказкамъ, семьдесятъ одна душа, а съ прибылыми послѣ ревизіи восемьдесять-пять душъ. Изъ крестьянъ многіе занимаются столярнымъ ремесломъ и платятъ оброку съ тягла по сту рублей ассигнаціями, остальные крестьяне на пашнѣ. Земля вся особнякъ, восемьсотъ-шестьдесятъ десятинъ, изъ которыхъ сорокъ-пять подъ господской усадьбой и крестьянскими избами. Барскій домъ каменный о двухъ жильяхъ; въ немъ вся мебель краснаго дерева, три каменные флигеля, баня, сушильня, конюшни, сараи, погреба деревянные, не требующіе никакой починки; все господское строеніе крыто желѣзомъ. Видъ изъ дома наиотличнѣйшій; одинъ садъ фруктовый, другой для гулянья, съ разными потѣшными строеніями; двѣ оранжереи: одна персиковая, другая виноградная; грунтовой сарай преобширнѣйшій»...

— Э, любезный, — сказалъ я, остановясь читать,—да это имѣнье и за сто тысячъ не купишь.

— Извольте читать, сударь! — прервалъ сводчикъ.

Я началъ опять читать опись.

«По рѣчкѣ Афанасьевкѣ заливныхъ луговъ до шестидесяти десятинъ. Противъ барскаго дома каменная плотина съ мельницей о двухъ поставахъ. Прошлогодняшняго необмолоченнаго хлѣба на барскомъ гумнѣ семь большихъ одоньевъ. Лѣсу крупнаго, береженаго, по большей части березоваго, четыреста-тридцать-шесть десятинъ. Послѣдняя цѣна имѣнію девяносто тысячъ ассигнаціями».

— Что-жъ это за вздоръ! — сказалъ я.— Да тутъ одного лѣсу слишкомъ на двѣсти тысячъ рублей.

— Будетъ, сударь.

— Такъ, воля твоя, любезный: или ты меня обманываешь, или тутъ есть какая-нибудь ошибка.

— Нѣтъ, сударь, я васъ не обманываю и ошибки тутъ никакой нѣтъ. Извольте только меня выслушать. Прежній помѣщикъ сельца Былина, Антонъ Ѳедоровичъ Вертлюгинъ, скончался прошлой зимою и все имѣнье покойнаго перешло по наслѣдству къ племяннику его, Ивану Тихоновичу Башлыкову; а онъ въ этой деревнѣ никогда не бывалъ и служитъ въ какомъ-то гусарскомъ полку, который стоитъ въ Польшѣ. Говорятъ, что этотъ Иванъ Тихоновичъ Башлыковъ такой гуляка и картежникъ, что ужъ два наслѣдства спустилъ. Видно, ему и теперь не посчастливилось, такъ онъ и написалъ къ былинскимъ крестьянамъ, что продаетъ ихъ за девяносто тысячъ ассигнаціями, и чтобъ они искали себѣ покупщика. Я, сударь, самъ родомъ изъ Былина, отпущенникъ стараго барина. Вотъ мужички и попросили меня пріискать имъ хорошаго помѣщика. Дѣло, сударь, не шуточное, тутъ спѣшить нечего, и я ужъ недѣли двѣ по Москвѣ шатаюсь. Спрошу объ одномъ: «Хорошъ, дескать, баринъ, только барыня-то у него такая нравная, что не приведи, Господи!» Спрошу о другомъ: «И этотъ также человѣкъ добрый, да все пашню заводитъ на нѣмецкій манеръ... Тотъ крутенекъ, этотъ съ придурью, а вотъ, дескать, есть баринъ, Богданъ Ильичъ Бѣльскій, такъ ужъ нечего сказать — отецъ! У него и дворовымъ и крестьянамъ такое житье, что и волюшки не надо!» Я поѣхалъ, да былинскимъ это и пересказалъ, а они, сударь, прислали меня къ вамъ. Ужъ сдѣлайте милость, батюшка, заставьте за себя Бога молить—купите ихъ!

— Какъ не купить, любезный! Да гдѣ-жъ я возьму девяносто тысячъ?

— Деньги готовы, сударь.

— Какъ готовы?

— А вотъ изволите видѣть: не слыхали ли вы когда-нибудь объ Иванѣ Ѳедоровичѣ Выхинѣ?

— Не помню, любезный; кажется не слыхалъ.

— Здѣшній купецъ первой гильдіи; торгуетъ лѣсомъ. Онъ ѣздилъ со мною на прошлой недѣлѣ въ Былино; и мы съ нимъ порѣшили: господинъ Выхинъ покупаетъ двѣсти десятинъ лѣсу по пятисотъ рублей ассигнаціями за десятину. Оно, конечно, дешево, сударь; коли онъ и рубить лѣсу не станетъ, а на корнѣ продастъ, такъ все возьметъ рубль на рубль барыша... Ну, да Богъ съ нимъ! Зато человѣкъ-то вѣрный и всѣ деньги впередъ даетъ.

Признаюсь, я сначала обрадовался, а потомъ мнѣ стало какъ будто бы совѣстно.

— Послушай, любезный,—сказалъ я,—да что-жъ это въ самомъ дѣлѣ, крестьяне-то: имъ бы написать барину, что у него одного лѣсу больше, чѣмъ на двѣсти тысячъ, а онъ все имѣніе продаетъ за девяносто?

— Что вы, сударь, сохрани, Господи! Если баринъ объ этомъ узнаетъ, да онъ тогда вовсе своихъ мужичковъ обездолитъ: продастъ весь лѣсъ за безцѣнокъ, денежки спуститъ, а тамъ опять деревню-то по-боку! Только ужъ тогда, батюшка, покупщиковъ не много будетъ. Да вы первые не купите безлѣсное имѣніе,— что въ немъ толку? Анъ и выйдетъ, что мужички-то достанутся Богъ вѣсть кому.

«А что, — подумалъ я, — вѣдь онъ дѣло говоритъ».

— Эхъ, батюшка, ваше высокоблагородіе,— продолжалъ сводчикъ,—ну, что вы изволите заботиться объ этомъ мотыгѣ? Вѣдь глупому сыну не въ помощь богатство. Вы подумайте-ка лучше о бѣдныхъ мужичкахъ; чѣмъ они, сердечные, виноваты, что у нихъ баринъ картежникъ?

— Правда, правда, любезный!—сказалъ я.

— Ну, что, сударь, ваши ли они?

— Если ты говоришь правду...

— Да изъ чего жъ мнѣ лгать, сударь? Помилуйте!

— До сихъ поръ, кажется, не изъ чего.

— Такъ вы покупаете?

— Покупаю.

— Батюшка, Богданъ Ильичъ, — сказалъ сводчикъ, повалясь мнѣ въ ноги, — коли это дѣло кончено, такъ дозвольте мнѣ и за себя слово вымолвить!

— Что такое?

— Въ Былинѣ есть у меня родной братъ краснодеревецъ,—за всѣ мои хлопоты и труды отпустите его на волю! Я ничего больше не прошу.

— Съ большимъ удовольствіемъ...

— Да вы не извольте о немъ жалѣть, батюшка: у васъ еще останутся трое краснодеревцевъ.

— А нѣтъ ли у тебя въ Былинѣ еще родныхъ?

— Есть, батюшка, племянникъ; да я ужъ не смѣю о немъ говорить...

— Изволь, любезный, я и племянника твоего отпущу на волю.

Сводчикъ заплакалъ.

— Покорнѣйше васъ благодарю, батюшка,—сказалъ онъ.—Пожалуйте ручку... Дай Богъ вамъ много лѣтъ здравствовать!

— Да это что... Если только ты меня не обманываешь!..

— Ахъ, Господи, Боже мой!.. Вы все изволите сомнѣваться!.. Ну, жаль, что Ивана Ѳедоровича здѣсь нѣтъ!..

— Какого Ивана Ѳедоровича?

— Да вотъ лѣсника, что былинскій лѣсъ покупаетъ. Я бы вмѣстѣ съ нимъ къ вамъ пришелъ, авось-ли-бы вы тогда повѣрили.

— Гдѣ жъ онъ теперь?

— Уѣхалъ въ рощу. Деньжонокъ-то со мною мало, а то бы я за нимъ скаталъ...

— А далеко ли?

— Да не близко: верстъ за тридцать. Меньше трехъ цѣлковыхъ не возьмутъ.

— Вотъ тебѣ пять рублей серебромъ, — сказалъ я, подавая ему ассигнацію,—съѣзди за лѣсникомъ.

— Слушаю, сударь. Оно и лучше, батюшка! Извольте сами съ нимъ переговорить.

— Вѣдь завтра ты вернешься?

— Какъ же, сударь. Если ему завтра нельзя будетъ къ вамъ пріѣхать, такъ я письмо отъ него привезу. Да онъ вѣрно самъ прискачетъ. Вѣдь дѣло-то не бездѣличное: рубль на рубль барыша. Прощайте, батюшка! Сейчасъ на постоялый дворъ, найму лошадей, да и въ путь.

Сводчикъ вышелъ изъ комнаты, потомъ черезъ полминуты воротился назадъ.

— Что ты, любезный?—спросилъ я.

— Виноватъ, сударь,— забылъ вамъ сказать,—Иванъ Ѳедоровичъ Выхинъ очень зарится на березову рощу, которая подошла къ самому саду, да вы не извольте ее продавать: березы-то сажены еще дѣдушкой покойнаго барина,—каждая обхвата въ два будетъ.

— А если онъ заупрямится?

— Такъ извольте ему сказать, что вы и деревню-то за тѣмъ покупаете, что вамъ эта роща нравится. Въ ней же всего-на-всего десятинъ пять или шесть, — не потянется, сударь.

— Ну, хорошо... А, кстати, — какъ тебя зовутъ, любезный?

— Савелій Прокофьевичъ. Прощайте, батюшка!

Разумѣется, я провелъ весь этотъ день въ самыхъ пріятныхъ мечтахъ: то мысленно удилъ рыбу въ моей рѣчкѣ Афанасьевкѣ, то гулялъ въ столѣтней березовой рощѣ, или ѣлъ собственный свой виноградъ, свои домороценные персики — венусы!.. Доходное имѣнье въ двадцати верстахъ отъ Москвы, прекрасная усадьба, съ такими барскими затѣями, и все это достается мнѣ не только даромъ, но даже съ придачею!.. «Не можетъ быть»,—думалъ я,—«Что-бъ этотъ старикъ меня обманывалъ: онъ вовсе не похожъ на обманщика. Да изъ чего бы онъ сталъ это дѣлать? Если онъ хлопоталъ изъ того только, чтобъ выманить у меня нѣсколько рублей серебромъ, такъ зачѣмъ же, получивъ деньги, воротился говорить со мною о березовой рощѣ? Это уже было бы слишкомъ хитро, да и вовсе для него безполезно... Нѣтъ, видно на этотъ разъ мнѣ посчастливилось!»..

Часу въ девятомъ вечера пріѣхалъ ко мнѣ старинный мой пріятель, Андрей Даниловичъ Ерусланов. Въ первомъ выходѣ моихъ записокъ *я познакомилъ* васъ съ этимъ ненавистникомъ дилижансовъ и страстнымъ любителемъ нашей русской телѣжной ѣзды.

— Здравствуй, Богданъ Ильичъ!—сказалъ онъ.—Я пріѣхалъ съ тобой повидаться и поговорить кой о чемъ. А, нечего сказать, далеконько ты живешь!

— Да, любезный другъ! Я живу на Пресненскихъ прудахъ, а ты на Чистыхъ... версты четыре будетъ.

— Тебя, кажется, о здоровьѣ спрашивать нечего,—продолжалъ Ерусланов, опускаясь въ кресла,—ты смотришь такъ весело...

— Да и ты, кажется, вовсе не хмуришься.

— Нѣтъ, другъ сердечный, я веселъ, очень веселъ! Богъ милость мнѣ даетъ.

— Право! Что-жъ такое?

— Да такъ!.. Вотъ, братецъ, говорятъ, что добрымъ людямъ не житье на этомъ свѣтѣ — неправда!.. Хорошо быть добрымъ человѣкомъ! Добрая слава лучше всякаго богатства, любезный!

— Конечно, лучше; да къ чему ты это говоришь?

— А вотъ къ чему. Я, Богданъ Ильичъ, покупаю отличное имѣнье, или, лучше сказать, мнѣ дарятъ это имѣнье за то, что я добрый человѣкъ.

— Какъ такъ?

— Да имѣнье-то какое! Барское, сударь!.. Въ двадцати верстахъ отъ Москвы.

— Въ двадцати верстахъ?..

— Да, Богданъ Ильичъ, по Серпуховской дорогѣ.

«Ой, ой, ой!»—подумалъ я,—«это что-то не хорошо».

— Помѣщикъ этого имѣнья,—продолжалъ Ерусланов,— не бывалъ въ немъ никогда. Оно, изволишь видѣть, досталось ему по наслѣдству. Видно, ему денежки понадобились, такъ онъ и написалъ крестьянамъ, чтобъ они искали себѣ покупщика, а мужички-то, — голучики мои,—знать ужъ обо мнѣ понаслышались, любезный,—и просятъ, чтобъ я ихъ купилъ; да вѣдь даромъ, братецъ, даромъ!

— Ой, худо!—прошепталъ я.

— Представь себѣ, Богданъ Ильичъ, за имѣнье просятъ девяносто тысячъ ассигнаціями, а одного лѣсу на двѣсти! Каменный домъ, оранжереи, мукомольная мельница...

— На рѣчкѣ Афанасьевкѣ?— прервалъ я.

— Да, да, на рѣчкѣ Афанасьевкѣ!

— Сельцо Былино?

— Точно такъ! А ты его знаешь?

— Какъ не знать! А что къ тебѣ сами крестьяне приходили?

— Нѣтъ, они прислали ко мнѣ отъ всего міру...

— И вѣрно лысаго старика, въ сѣромъ пальто, съ такимъ честнымъ, добрымъ лицомъ?..

— Э, любезный, такъ ты и его знаешь?

— Какъ же! Прокофій Савельевъ...

— Нѣтъ, кажется, Савелій Прокофьевъ.

— Все равно, любезный другъ! Ты вѣрно далъ ему что-нибудь?

— Бездѣлицу: десять рублей серебромъ.

— А когда онъ у тебя былъ?

— Сегодня, часу во второмъ.

— Во второмъ? Экій проворный, подумаешь! Такъ онъ прямо отъ меня прошелъ къ тебѣ.

— Отъ тебя?

— Да, онъ былъ у меня ровно въ двѣнадцать часовъ. Ну, другъ сердечный, не прогнѣвайся,—своя рубашка къ тѣлу ближе: вѣдь я ужъ это имѣнье купилъ.

— Какъ купилъ?—сказалъ Андрей Даниловичъ, вскочивъ съ креселъ.

— Да, мой другъ, купилъ и гораздо дешевле твоего: ты заплатилъ за него десять рублей серебромъ, а я только пять.

— Что-жъ это значитъ?

— А это значитъ, Андрей Даниловичъ, что на то и щука въ морѣ, чтобъ карась не дремалъ.

— Что ты говоришь? Да неужели этотъ старикъ...

— Отличный плутъ, а ужъ актеръ такой, какихъ я не видывалъ.

— Да нѣтъ, этого не можетъ быть!

— Не просилъ ли онъ тебя отпустить на волю его родного брата, краснодеревца?

— Просилъ.

— Что-жъ, ты обѣщался отпустить?

— Разумѣется.

— И онъ заплакалъ?

— Такъ и заревѣлъ, братецъ.

— Фу, какой артистъ!.. Жаль только, что онъ немножко однообразенъ. Не взялъ ли онъ у тебя денегъ, чтобъ нанять лошадей и ѣхать за лѣсникомъ?..

— Какъ же, Богданъ Ильичъ! Онъ просилъ у меня пять рублей, а я далъ ему десять.

— Ну, вотъ видишь ли! Отъ меня онъ зашелъ къ тебѣ на перепутьи, а, можетъ быть, отъ тебя завернетъ еще къ кому-нибудь, — такъ этакъ, глядишь, въ иной день перепадетъ ему рубликовъ двадцать пять серебромъ. Ремесло хорошее!

— Вотъ тебѣ и рѣчка Афанасьевка!— вскричалъ Ерусланов. — А я ужъ сбирался на ней купальню поставить... Ахъ, онъ мошенникъ, разбойникъ этакій!

— Да что-жъ ты на него такъ гнѣваешься?—сказалъ я.—Развѣ я сержусь? А вѣдь онъ и меня такъ же обманулъ, — вѣдь и я такъ же, какъ ты, думалъ про себя: хорошо быть добрымъ человѣкомъ!

Ерусланов засмѣялся.

— Ну,—молвилъ онъ, — много я видѣлъ плутовъ на моемъ вѣку, а ужъ такого мастера не встрѣчалъ!.. Да нѣтъ, Богданъ Ильичъ, ты какъ хочешь, а я этого такъ не оставлю!

— А что-жъ ты сдѣлаешь?

— Я отыщу его.

— Въ самомъ дѣлѣ: съѣзди-ка въ сельцо Былино, авось онъ тамъ.

— Нѣтъ, любезный, этотъ Ванька Каинъ долженъ быть здѣсь въ Москвѣ. Я по всѣмъ съѣзжимъ буду справляться, гдѣ живетъ мѣщанинъ Прокофій Савельевъ, или Савелій Прокофьевъ—найду его...

— А тамъ что?

— А тамъ что?.. Да дамъ ему еще цѣлковый за то, что онъ молодецки насъ обманулъ.

— Такъ ужъ дай и отъ меня,—сказалъ я,— но только не за это.

— За что же?

— За то, что я по милости его былъ цѣлый день доволенъ, веселъ и даже счастливъ.

— А что, вѣдь ты правду говоришь!— прервалъ Андрей Даниловичъ.—Купить себѣ на цѣлый день счастья за пять рублей серебромъ, — да развѣ это не дешево? Эхъ, жаль, что я къ тебѣ заѣхалъ! Сиди я дома, такъ мы бы съ тобой за наши денежки вдоволь понатѣшились!

ОСЕННІЕ ВЕЧЕРА.

Вступленіе.

Дѣдушка мой, Лаврентій Алексѣевичъ Закамскій, вступилъ въ службу еще въ началѣ царствованія Екатерины Второй. Въ старину весьма немногіе изъ родовыхъ дворянъ начинали свое служебное поприще въ званіи канцеляристовъ и губернскихъ регистраторовъ; обыкновенно всѣ дворянскія дѣти поступали почти со дня своего рожденія на службу въ царскую гвардію, то-есть они записывались въ полки солдатами и, разумѣется, считались въ отпуску; но ихъ служба шла своимъ чередомъ. Этихъ заочныхъ солдатъ производили въ ефрейторы, ефрейтъ-капралы, каптенармусы и даже сержанты. По милости этого обычая, Лаврентій Алексѣевичъ явился также на службу лейбъ-гвардіи въ конный полкъ не солдатомъ, а старымъ ефрейтъ-капраломъ. Прослуживъ слишкомъ двадцать лѣтъ офицеромъ, дѣдушка мой вышелъ, наконецъ, въ отставку полковникомъ и отправился на житье въ свою наслѣдственную пензенскую отчину. Лаврентій Алексѣевичъ нашелъ въ ней развалины господскаго дома, обширный фруктовый садъ, который служилъ выгономъ для дворового скота, сотни двѣ крестьянскихъ избъ, ветхую деревянную церковь и царское кружало, то-есть кабакъ. Вокругъ этого питейнаго дома, всегда по праздникамъ и очень часто по будиямъ, толпились православные, вѣроятно, потому, что тутъ бывали мірскія сходки, на которыхъ въ старину всѣ дѣла оканчивались обыкновенно общей попойкой. Разумѣется, Лаврентій Алексѣевичъ отвелъ другое мѣсто для народныхъ совѣщаній, выгналъ изъ сада коровъ, началъ стро-

ить высокія хоромы съ бельведеромъ и заложилъ каменную церковь. Потомъ принялся хозяйничать: выстроилъ винокуренный заводъ для дохода, завелъ псовую охоту ради потѣхи и музыку, я думаю, для того, чтобъ не даромъ кормить своихъ дворовыхъ людей, которыхъ значилось у него, по ревизскимъ сказкамъ, безъ малаго двѣсти душъ; однимъ словомъ, мой дѣдушка исполнилъ въ точности всю обязанность богатаго помѣщика тогдашняго времени, то-есть покутилъ порядкомъ съ молоду, послужилъ вѣрой и правдою Матушкѣ Царицѣ, прожилъ на службѣ третью часть отцовскаго имѣнья и пріѣхалъ, наконецъ, доживать свой вѣкъ бариномъ въ то самое наслѣдственное село, гдѣ онъ родился, провелъ свои дѣтскіе годы и пѣвалъ нѣкогда по воскреснымъ днямъ на клиросѣ, вмѣстѣ съ дьячкомъ, у котораго учился грамотѣ. Въ одномъ только дѣдушка не послѣдовалъ примѣру большей части помѣщиковъ, живущихъ на покоѣ: онъ завелся всѣмъ дворянскимъ хозяйствомъ, только не выбралъ себѣ по сердцу хозяюшки. Впрочемъ, Лаврентій Алексѣевичъ вовсе не жалѣлъ объ этомъ. Онъ любилъ дочь своего брата, то-есть мою покойную мать, какъ не всякій отецъ любитъ свое родное дитя.—«Да на что бы я женился?» — говаривалъ онъ всегда, обнимая племянницу.—«Что, у меня семьи что ль нѣтъ? Пусть себѣ говорятъ, что я старый холостякъ, безплодная смоковница,—вздоръ, матушка! По милости Божьей, у меня есть и дочь, и сынъ, и даже внучекъ!»—прибавлялъ онъ всегда, цѣлуя меня въ маковку.

Мнѣ не было еще и десяти лѣтъ, какъ я остался круглымъ сиротою на рукахъ моего дѣдушки. Онъ съ такой нѣжной заботливостію пекся о моемъ воспитаніи, такъ нянчился со мною, что его не грѣшно было назвать не только вторымъ отцомъ моимъ, но даже моей второй матерью. Когда я подросъ, онъ отвезъ меня въ Петербургъ и записалъ въ одномъ изъ гвардейскихъ полковъ юнкеромъ. Сдавъ меня съ рукъ-на-руки полковому командиру, который былъ нѣкогда его сослуживцемъ, Лаврентій Алексѣевичъ отправился назадъ въ свою пензенскую отчину. Меня произвели въ офицеры за нѣсколько дней до выступленія гвардіи въ походъ противъ всей Западной Европы, которая въ 1812 году, какъ необъятная громовая туча, налегла на святую Русь. Мнѣ очень хотѣлось показаться дѣдушкѣ во всей красотѣ моего оберъ-офицерскаго званія; но это желаніе не могло исполниться прежде окончанія войны. Вотъ, наконецъ, увѣнчанные лаврами храбрые гвардейскіе полки возвратились въ Петербургъ, я взялъ отпускъ и поскакалъ на перекладныхъ въ Тужиловку,—такъ называлось село, въ которомъ жилъ мой дѣдушка. Это было въ глубокую осень, въ самую ужасную *слякоть и распутицу. И зимою* деревенскій бытъ не много имѣетъ пріятностей; но въ дурную дождливую осень, эта однообразная жизнь превращается въ какое-то тюремное заключеніе, которое становится подъ конецъ совершенно несноснымъ. Прогуливаться по колѣно въ грязи вовсе не весело, прокатиться подъ дождемъ также большой забавы нѣтъ. А эти туманныя небеса, этотъ лѣнивый осенній дождь, который не идетъ, а капаетъ съ утра до вечера, эти ранніе вечера, безконечныя темныя ночи—все это наведетъ на васъ такую тоску, что вы поневолѣ станете завидовать суркамъ, которые спятъ по нѣскольку мѣсяцевъ сряду. Конечно, для псовыхъ охотниковъ и эта глухая пора имѣетъ свою прелесть. Сначала они охотятся *въ узерку*, а тамъ, при первомъ снѣгѣ, тѣшутся по порошѣ, и время проходитъ для нихъ, если не всегда пріятнымъ, то, по крайней мѣрѣ, совершенно незамѣтнымъ образомъ. Мой дѣдушка держалъ псовую охоту; но по своимъ лѣтамъ и хворости не могъ уже выѣзжать въ поле иначе, какъ въ хорошую погоду. Къ счастію, у него было много добрыхъ сосѣдей, которые посѣщали его ежедневно и даже гостили по нѣскольку дней сряду.

Мой пріѣздъ очень обрадовалъ дѣдушку; онъ нѣсколько разъ принимался обнимать меня, называлъ своимъ красавцемъ, молодцомъ, и когда налюбовался мною до-сыта, то представилъ меня своимъ гостямъ, изъ которыхъ многіе знали меня еще ребенкомъ.

— Вотъ, господа, — сказалъ Лаврентій Алексѣевичъ, — нашего полку прибыло. Мы, Володя,—продолжалъ, онъ обращаясь ко мнѣ,—разсказываемъ по вечерамъ другъ другу сказки, то-есть не Бову-Королевича, а вотъ, знаешь, этакъ разныя исторіи, всякія были; ну, конечно, иногда и небылицы. Да вѣдь дѣлать-то нечего, — осенніе вечера долговаты, и коли станешь все на одной правдѣ выѣзжать, такъ далеко не уѣдешь. Вотъ сегодня вечеромъ, какъ ты поотдохнешь, мы посмотримъ и твоей удали.

Я отвѣчалъ дѣдушкѣ, что я весьма плохой разсказчикъ и едва ли буду въ состояніи отправить мою очередь.

— Да кто тебѣ говоритъ объ очереди? — прервалъ Лаврентій Алексѣевичъ. — Мы всѣ послѣ чаю, вплоть до самаго ужина, сидимъ вмѣстѣ, бесѣдуемъ, болтаемъ кой о чемъ... придетъ что-нибудь къ слову, милости просимъ—разсказывай: не придетъ—такъ молчи и слушай другихъ. У насъ неволи нѣтъ.

Прежде чѣмъ я начну пересказывать вамъ, любезные читатели, о томъ, что слышалъ на этихъ вечернихъ бесѣдахъ, мнѣ должно васъ познакомить съ обществомъ, которое я нашелъ въ домѣ моего дѣдушки. У него на этотъ разъ гостили слѣдующіе сосѣди: Игнатій Оедоровичъ Кучумовъ, Сергѣй Михайловичъ Онѣгинъ со своей женой, Максимъ Степановичъ Засѣкинъ, Александръ Дмитріевичъ

Кудринскій, Богданъ Ѳомичъ Бирманъ и княжна Пелагея Степановна Задольская. Я начну по-порядку.

Отставной секундъ-маіоръ Игнатій Ѳедоровичъ Кучумовъ, старинный пріятель и сослуживецъ моего дѣдушки, былъ самымъ близкимъ его сосѣдомъ; онъ очень походилъ на Лаврентія Алексѣевича своимъ образованіемъ, простодушіемъ и веселымъ нравомъ. Игнатій Ѳедоровичъ былъ нѣкогда женатъ на окрещенной турчанкѣ, которую ему удалось спасти отъ смерти при взятіи Измаила. Проживъ съ нею лѣтъ десять, онъ овдовѣлъ и остался совершеннымъ сиротою. Дѣтей у него не было, близкихъ родныхъ также, а былъ какой-то внучатный племянникъ, который жилъ въ Москвѣ; онъ навѣщалъ только изрѣдка своего дядю — и, вѣроятно, какъ единственный его наслѣдникъ, возвращался всегда въ Москву съ душой, исполненной прискорбія: Кучумовъ былъ человѣкъ приземистый, плотный, краснощекій и, несмотря на свои сѣдые волосы, такой здоровый старикъ, что, глядя на него, всякій наслѣдникъ пришелъ бы въ отчаяніе. Такіе люди, какъ онъ, живутъ обыкновенно за сто лѣтъ, а ему было только съ небольшимъ семьдесятъ.

Сергѣй Михайловичъ Онѣгинъ былъ изъ числа новыхъ сосѣдей моего дѣдушки. Онъ не болѣе пяти лѣтъ какъ переселился изъ Москвы въ свою Засурскую деревню—и, говорятъ, будто бы у него были на это весьма уважительныя причины. Онѣгину досталось послѣ отца очень хорошее дворянское состояніе; но, къ несчастію, ему вздумалось побывать за границею, а потомъ прожить нѣсколько лѣтъ въ Москвѣ истинно по-барски. Три зимы сряду онъ давалъ роскошные пиры, дивные балы и чудесные маскарады, однимъ словомъ, веселилъ всю Москву, которая, какъ водится, и спасибо ему за это не сказала. Вотъ, наконецъ, пришла четвертая зима, но она ужъ не застала Онѣгина въ Москвѣ. Несмотря на свое необдуманное мотовство и неумѣстную тароватость, эту довольно общую слабость всѣхъ русскихъ дворянъ, Сергѣй Михайловичъ былъ человѣкъ вовсе не глупый, наружность онъ имѣлъ весьма пріятную, и хотя ему было, конечно, лѣтъ за сорокъ, однако-жъ, онъ вовсе не казался пожилымъ. Супруга его, Наталья Кирилловна, была также очень пріятная женщина: стройная, прекрасная собою и, разумѣется, большая щеголиха; въ этомъ отношеніи она была для всѣхъ молодыхъ барынь нашего Городищенскаго уѣзда настоящей модной картинкой. Мы всѣ любили Онѣгиныхъ за ихъ ласковый и привѣтливый обычай; конечно, и они имѣли свои слабости: мужъ при всякомъ удобномъ случаѣ и даже иногда вовсе не кстати разсказывалъ о своихъ московскихъ балахъ; а жена очень часто говорила о томъ, что они прожили шесть мѣсяцевъ въ Парижѣ. Впрочемъ, это простодушное хвастовство Сергѣя Михайловича не обижало никого, а маленькое чванство Натальи Кирилловны казалось даже всѣмъ очень естественнымъ. Разумѣется, теперь, когда путешествіе за границу сдѣлалось совершенною пошлостью, никто не станетъ этимъ хвастаться; но лѣтъ тридцать тому назадъ какъ-то нельзя было взглянуть безъ особеннаго уваженія на человѣка, который побывалъ въ Парижѣ. Да если сказать правду, такъ я самъ, въ старину, не упускалъ случая намекнуть, что для меня Парижъ не диковинка, что я часто посѣщалъ большую оперу, ходилъ каждый день въ café de mille colonnes и знаю палероялъ, какъ свои пять пальцевъ.

Максимъ Степановичъ Засѣкинъ чаще всѣхъ посѣщалъ дѣдушку, и хотя деревня, въ которой онъ жилъ, была только въ десяти верстахъ отъ нашего села, однакожъ, онъ нерѣдко гостилъ недѣли по двѣ сряду у Лаврентія Алексѣевича. Засѣкинъ былъ человѣкъ пожилой, дородный, неуклюжій, съ полнымъ, широкимъ лицомъ, на которомъ изображалось всегдашнее спокойствіе, безпечность и даже лѣнь; но когда онъ начиналъ говорить о чемъ-нибудь съ одушевленіемъ, то это полусонное лицо становилось очень выразительнымъ. Увидя въ первый разъ Максима Степановича, вы вѣрно бы подумали, что онъ человѣкъ угрюмый; а онъ былъ превеселаго характера, только эта веселость выражалась совершенно особеннымъ образомъ: онъ почти всегда съ преважнымъ видомъ разсказывалъ пресмѣшныя вещи и очень часто разсуждалъ шутя о вещахъ вовсе не шуточныхъ. Засѣкинъ служилъ два трехлѣтія нашимъ уѣзднымъ предводителемъ; его любили всѣ дворяне, какъ отлично добраго и честнаго человѣка; но весьма немногіе изъ нихъ догадывались, что подъ этой тяжелой и неуклюжей оболочкой простодушнаго *добряка* скрывался умъ истинно свѣтлый и вовсе не дюжинный. Можетъ-быть, въ наше время, ясный и положительный умъ Максима Степановича показался бы мелочнымъ и неспособнымъ ни къ чему высокому и прекрасному; но лѣтъ тридцать тому назадъ мы были до того отсталыми, что уважали этотъ пошлый здравый смыслъ. Теперь мы не то,—теперь намъ давай поэзію. Мы ищемъ ее вездѣ: въ острогѣ, въ кабакахъ, во всякой грязной лужѣ; а такъ какъ этотъ грубый здравый смыслъ не усыпаетъ никогда зловонной грязи цвѣтами и называетъ все по имени и стоитъ на томъ, что отвратительное не можетъ быть прекраснымъ, такъ мы его, голубчика, и знать не хотимъ.

Александръ Дмитріевичъ Кудринскій принадлежалъ также къ числу новыхъ сосѣдей моего дѣдушки. Онъ служилъ нѣсколько времени по ученой части, и чтобъ получить дипломъ на званіе доктора философіи, ѣздилъ въ Германію. Александръ Дмитріевичъ былъ одинъ изъ самыхъ усердныхъ слушателей

извѣстнаго профессора Окена, весьма прилежно изучалъ нѣмецкую философію и, по особенной милости Божіей, возвратился въ Россію не вовсе полоумнымъ. Въ Германіи онъ женился на дочери какого-то профессора всеобщей европейской статистики, наукѣ также чрезвычайно любопытной, но ужъ, конечно, вовсе не положительной. Кудринскій, прощаясь со своимъ тестемъ, обѣщалъ ему доставить самыя подробныя статистическія свѣдѣнія о Россіи вообще и о Пензенской губерніи въ особенности. И надобно отдать справедливость Александру Дмитріевичу: онъ нѣсколько лѣтъ очень усердно занимался этимъ дѣломъ. Его статистическія таблицы Городищенскаго уѣзда были уже совершенно окончены; но по случаю всеобщаго ополченія, скотскихъ падежей и пожаровъ, которые истребили двѣ фабрики и нѣсколько винныхъ заводовъ, эти таблицы сдѣлались до того невѣрными, что онъ, какъ человѣкъ добросовѣстный, рѣшился оставить ихъ безъ всякаго употребленія, тѣмъ болѣе, что, по послѣднимъ извѣстіямъ, его тесть отдалъ въ приданое за второй дочерью свою каѳедру всеобщей европейской статистики, а самъ началъ преподавать теорію эстетики, основанной на однихъ началахъ чистой психологіи.

Я ужъ имѣлъ честь вамъ докладывать, что Кудринскій, изучая нѣмецкую философію, не вполнѣ утратилъ свой рускій толкъ, то-есть не превратился въ какого-нибудь глубокомысленнаго *гелертера*, въ устахъ котораго самая простая и доступная истина, бывшая до того «*свѣтлѣе дня*», становится непремѣнно «темнѣе ночи»; но я долженъ вамъ сказать, что Александръ Дмитріевичъ вывезъ кой-что изъ этой романтической и сантиментальной Германіи. Онъ любилъ мечтать, страдалъ иногда припадками необычайной чувствительности, часто говорилъ о мірѣ невещественномъ и вообще весьма охотно облекалъ въ піитическіе образы и людей и предметы, вовсе недостойные этой чести. Въ его глазахъ *энергическій* разбойникъ никогда не былъ отвратительнымъ душегубцемъ. Конечно, онъ не во всякомъ уличномъ воришкѣ видѣлъ драматическаго Обелино, или благороднаго Карла Мора, однако-же говорилъ съ чувствомъ состраданія объ этихъ несчастныхъ жертвахъ сильныхъ страстей. Чтобъ познакомить васъ вполнѣ съ Александромъ Дмитріевичемъ Кудринскимъ, я скажу вамъ нѣсколько словъ о его наружности. Онъ былъ роста средняго, худощавъ, блѣденъ, примаргивалъ немного лѣвымъ глазомъ и имѣлъ привычку поправлять безпрестанно свой огромный галстухъ, который спереди закрывалъ у него весь подбородокъ, а съ боковъ подымался до самыхъ ушей.

Богданъ Ѳомичъ Бирманъ былъ нѣкогда *штатнымъ медикомъ нашего* Городищенскаго уѣзда. Дослужась до чина надворнаго совѣтника, онъ вышелъ въ отставку, купилъ себѣ маленькую деревеньку въ двадцати верстахъ отъ нашей Тужиловки и зажилъ помѣщикомъ. Богданъ Ѳомичъ былъ родомъ изъ нѣмецкаго города Швейнфурта; онъ выѣхалъ оттуда съ лѣкарскимъ дипломомъ, прожилъ у насъ въ губерніи безъ малаго сорокъ лѣтъ, совсѣмъ обрусѣлъ, сталъ называться, вмѣсто Готлиба, Богданомъ и научился говорить по-русски такъ правильно и хорошо, что его почти грѣшно было назвать нѣмцемъ. Не знаю, потому ли, что Богданъ Ѳомичъ не могъ съ перваго раза примѣниться къ русской натурѣ, или по другой какой причинѣ, но только сначала онъ былъ какъ-то несчастливъ на руку; потомъ сталъ лѣчить удачнѣе, понаторѣлъ и, наконецъ, сдѣлался весьма искуснымъ практикомъ. Старикъ Бирманъ былъ человѣкъ очень добрый, и если иногда лѣчилъ неудачно, такъ, по крайней мѣрѣ, всегда самымъ добросовѣстнымъ и безкорыстнымъ образомъ; бѣдныхъ людей онъ пользовалъ даромъ, а богатыхъ лѣчилъ тогда только, когда находилъ это совершенно необходимымъ. Богданъ Ѳомичъ былъ небольшого роста, лысый старичекъ, лѣтъ шестидесяти пяти, довольно толстый, съ коротенькими ножками, длиннымъ носомъ и вѣчно улыбающимся лицомъ, которое я назову просто краснымъ, потому, что не могу употребить грамматической превосходной степени и назвать его прекраснымъ, не введя въ заблужденіе моихъ читателей. Богданъ Ѳомичъ любилъ выпить рюмочки двѣ-три добраго рейнвейна, не чуждался также хорошей русской настойки, и хотя называлъ діэту лучшимъ лекарствомъ отъ всѣхъ болѣзней, однако-жъ, самъ кушалъ весьма исправно. Онъ былъ очень разговорчивъ, часто вспоминалъ о своей родинѣ и въ особенности любилъ разсказывать о гражданскихъ подвигахъ своего дяди, почетнаго бюргера и члена магистрата, Генриха Блюдвурста, котораго, по словамъ Богдана Ѳомича, всѣ жители благополучнаго города Швейнфурта называли премудрымъ Соломономъ.

Княжна Пелагея Степановна Задольская славилась нѣкогда своею красотою; приданаго было за нею около тысячи душъ; все родство состояло изъ людей чиновныхъ, знатныхъ и богатыхъ. Какъ бы, кажется, послѣ этого не найти себѣ мужа? — Найти! Да я думаю, что, при всѣхъ вышесказанныхъ обстоятельствахъ, ей вовсе не нужно было искать себѣ жениха, они отъ нея не прятались, и она смѣло могла бросить платокъ первому молодцу, который пришелъ бы ей по сердцу, тѣмъ болѣе,

„Что женихи, какъ на отборъ,
Презнатные катили къ ней на дворъ“

Вы, вѣрно, знаете разборчивую невѣсту Крылова, такъ мнѣ нечего вамъ разсказывать, по какому случаю эта знатная и богатая красавица не вышла ни за кого замужъ. У Крылова разборчивая невѣста кончила тѣмъ, что обвѣнчалась съ какимъ-то уродомъ; но наша княжна, которая также распугала всѣхъ своихъ жениховъ, не рѣшилась, однакожъ, выйти замужъ за одного кривого и лысаго камергера, который посватался за нее, когда ей стукнуло ровно сорокъ лѣтъ. Княжна Пелагея Степановна принадлежала ко Двору Императрицы Екатерины Второй и до самой ея кончины жила въ Петербургѣ. Сначала она переѣхала было на житье въ Москву; но эта древняя столица, со своимъ простодушнымъ русскимъ гостепріимствомъ и старыми обычаями, могла ли понравиться женщинѣ, которая въ послѣднее время жила постоянно въ кругу французскихъ эмигрантовъ, лично была знакома съ Дидеротомъ и привыкла къ самой утонченной европейской роскоши. Въ наше время княжна Пелагея Степановна не стала бы долго думать, — сейчасъ въ Петербургъ, на пироскапъ и поминай, какъ звали! Но тогда поѣздка въ чужіе края называлась путешествіемъ, а не прогулкой; да и что бы стала дѣлать наша княжна за границею? Въ Италію еще никто не ѣздилъ, въ Германіи она умерла бы со скуки, а во Францію вовсе не было ѣзды: тамъ бушевала первая революція, и вмѣсто плѣнительныхъ дюшессъ, очаровательныхъ дюковъ и милыхъ маркизовъ, которые всѣ разлетѣлись по Европѣ, какъ пестрыя бабочки, княжна Пелагея Степановна нашла бы въ Парижѣ однихъ какихъ звѣрей въ человѣческомъ образѣ— неистовыхъ трибуновъ черни и этихъ буйныхъ, отвратительныхъ рыбныхъ торговокъ, которыхъ, Богъ знаетъ почему, называютъ женщинами. Княжна Задольская пріѣхала въ Москву къ концу лѣта, то-есть въ самую глухую пору. Она промаялась въ совершенномъ одиночествѣ всю осень; вотъ наступила зима, московскіе бояре прибыли изъ своихъ деревень, и первый балъ, на который была приглашена наша княжна, сдѣлалъ ее навсегда сосѣдкою моего дѣдушки. На этомъ балѣ она увидѣла въ первый разъ всю московскую знать; самъ хозяинъ и всѣ мужчины были въ мундирахъ, дамы разряжены въ пухъ, и тутъ же вмѣстѣ съ ними толкались дураки въ оборванныхъ французскихъ кафтанахъ и шутихи въ запачканныхъ робронтахъ; въ комнатахъ стояла позолоченная мебель и въ то же время во всѣхъ люстрахъ горѣли сальныя свѣчи. Княжна ахнула отъ ужаса! Но это было еще начало сюрпризовъ. Въ бальной залѣ, довольно тѣсной, принялись танцовать; хозяинъ, поглядѣвъ нѣсколько времени на танцы, велѣлъ себѣ подать небольшіе клавикорды и заигралъ на нихъ:

„Заря утренняя взошла,
Ко мнѣ Машенька пришла“.

Княжнѣ сдѣлалось дурно. Въ одиннадцатомъ часу подали ужинъ; послѣ ужина принялись опять танцовать. Въ половинѣ двѣнадцатаго хозяинъ взялъ у одного изъ музыкантовъ волторнъ и затрубилъ такимъ нелѣпымъ образомъ, что княжна чуть не умерла отъ испуга; впрочемъ, эта повѣстка убираться во-свояси испугала только нашу петербургскую барышню. Всѣ гости преспокойно раскланялись съ хозяиномъ и отправились по домамъ. Возвратясь съ бала, княжна Пелагея Степановна надѣла свой пудремантъ и стала разсуждать слѣдующимъ образомъ, — по крайней мѣрѣ, она сама такъ разсказывала.—«Да съ чего я взяла, что живу въ столицѣ? Да эта столица хуже всякой мордовской деревни! Нѣтъ, завтра же вонъ изъ этой фатальной Москвы! Уѣду въ мое Краснополье; тамъ, по крайней мѣрѣ, я не обязана буду сидѣть съ сальными свѣчами, и ужъ, вѣрно, никакой сосѣдъ не осмѣлится выгнать меня такимъ брютальнымъ образомъ изъ своего дома»... Сказано и сдѣлано. На другой же день княжна Задольская сѣла въ дорожную карету и отправилась въ Пензенскую губернію. Не знаю, полюбилась ли Пелагеѣ Степановнѣ эта однообразная, но тихая и спокойная деревенская жизнь или по какимъ-нибудь другимъ причинамъ, только она жила уже осмнадцатый годъ безвыѣздно въ своемъ Краснопольѣ,— прекрасномъ и богатомъ селѣ, верстахъ въ тридцати отъ нашей Тужиловки. Княжна Пелагея Степановна очень любила Лаврентія Алексѣевича, который былъ съ нею знакомъ тогда еще, когда она кружила всѣмъ головы; я не поручусь даже, что въ числѣ этихъ пострадавшихъ головъ не досталось слегка и головѣ моего дѣдушки, по крайней мѣрѣ Лаврентій Алексѣевичъ былъ всегда необычайно любезенъ со своей сіятельной сосѣдкой. Я не смѣю сказать утвердительно, что дѣдушка за нею волочился, а ухаживать очень ухаживалъ, и когда принимался намъ разсказывать о ея дивной красотѣ, то приходилъ въ такой восторгъ, что глаза у него блистали, какъ у молодого человѣка. Хотя княжна Задольская рѣшилась подъ конецъ сдѣлать нѣкоторыя измѣненія въ своемъ туалетѣ, то-есть перестала наклеивать себѣ на лицо бархатныя и тафтяныя мушки, вмѣсто фижмъ стала употреблять маленькіе *бочки*, однако-жъ, носила еще длинный шиньонъ, пудрила свои сѣдые волосы, и каждый день... ну, право, совѣстно сказать, а дѣлать нечего,—«шила въ мѣшкѣ не утаишь»,—говоритъ русская пословица,— Пелагея Степановна, не смотря на то, что ей было лѣтъ семьдесятъ, каждый день румянилась. Она любила также иногда пожеманиться и, чтобъ казаться интересною, ужасно коверкала русскій языкъ. Хвалила *траждіи* го-

сподина Вольтера или разсказывала, что ее укусила муха, которая медъ дѣлаетъ. Конечно, это было довольно смѣшно; но кто бы не простилъ доброй княжнѣ этихъ маленькихъ странностей: она была такая милая, гостепріимная старушка, такъ умѣла обходиться съ людьми и обласкать всякаго человѣка, что всѣ дворяне Городищенскаго уѣзда, начиная отъ самыхъ богатыхъ до самыхъ мелкопомѣстныхъ, были отъ нея совершенно безъ ума.

Теперь, когда я познакомилъ васъ, любезные читатели, съ моимъ дѣдушкою и со всѣмъ его обществомъ, мнѣ слѣдовало бы описать вамъ самого себя; но какъ же это сдѣлать? Во мнѣ много слабостей, недостатковъ, быть-можетъ, много и смѣшного—лгать я не хочу, а на самого себя подымать руки мнѣ и подавно не хочется. Нѣтъ, ужъ лучше помолчать объ этомъ! Впрочемъ, любезные читатели, вы можете думать, что я очень умный, чрезвычайно образованный, прекрасный собою и предобродѣтельный молодой человѣкъ,—я за это на васъ гнѣваться не стану.

Вечеръ первый.

Мы всѣ сидѣли вокругъ стола, посреди котораго кипѣлъ гостепріимный русскій самоваръ. Наталья Кирилловна Онѣгина разливала чай, а мужъ разговаривалъ о чемъ-то вполголоса съ Максимомъ Степановичемъ Засѣкинымъ; Александръ Дмитріевичъ Кудринскій казался погруженнымъ въ глубокія размышленія, Игнатій Ѳедоровичъ Кучумовъ допивалъ свою огромную чайную чашку, княжна Задольская кушала чай изъ своей миніатюрной саксонской чашечки; я, какъ человѣкъ походный, пилъ чай изъ стакана, а Богданъ Ѳомичъ Бирманъ и дѣдушка курили трубку. Я долженъ вамъ сказать мимоходомъ, что они не всегда пользовались этимъ правомъ; сначала княжна Пелагея Степановна не могла выносить табачнаго запаха; но, видно, подъ конецъ обоняніе ея нѣсколько притупилось, и она разрѣшила Лаврентію Алексѣевичу и Бирману курить при ней табакъ, но только непремѣнно съ серальскими благовонными лепешечками, которыхъ запахъ былъ для нея не противенъ.

Пересказывая чей-нибудь разговоръ, а особливо если въ немъ участвуетъ цѣлое общество, мы поневолѣ должны очень часто называть по именамъ разговаривающихъ и, сверхъ того, повторять безпрестанно: такой-то сказалъ, такая-то отвѣчала, онъ возразилъ, она подхватила; чтобъ избѣжать этихъ вовсе ненужныхъ повтореній, я рѣшился, за исключеніемъ отдѣльныхъ разсказовъ, облечь въ драматическую форму всѣ остальные разговоры нашего общества.

Лаврентій Алексѣевичъ (*вытряхивая свою трубку*). У, батюшки!.. Слышишь, *Игнатій Ѳедоровичъ*?

Кучумовъ. Да, это ужъ не осенній дробный дождичекъ,—такъ и льетъ, какъ изъ ведра.

Лаврентій Алексѣевичъ. Ну, завтра, чай, и проѣзду не будетъ!.. Эхъ, подумаешь: то ли дѣло нашъ батюшка русскій морозъ!

Онѣгина. Ахъ, Лаврентій Алексѣевичъ, да что хорошаго въ нашемъ морозѣ?

Лавр. Алекс. Нѣтъ, матушка,—хорошо!

Онѣгина. Вы это говорите потому, что никогда не бывали за границею.

Кучумовъ. Какъ не бывать! Мы съ Лаврентіемъ Алексѣевичемъ и въ Польшѣ были, и подъ Шведа ходили...

Онѣгина. Да что такое Польша и Швеція? Вотъ еслибъ вы знали, какой климатъ въ Парижѣ...

Я. Извините, Наталья Кирилловна, я самъ былъ въ Парижѣ: тамъ почти всю зиму точно такая же погода, какъ у насъ теперь; такъ, воля ваша, и по-моему морозъ гораздо лучше.

Онѣгинъ. А я, признаюсь, люблю подчасъ дурную погоду: она возбуждаетъ во мнѣ, разумѣется, при нѣкоторыхъ условіяхъ, всегда пріятное чувство; да вотъ хоть теперь: на дворѣ свѣта Божьяго не видно, холодъ, непогодица, слякоть, а я и знать этого не хочу, сижу себѣ въ теплой комнатѣ, въ пріятномъ обществѣ, мнѣ и свѣтло, и спокойно...

Кудринскій. Фуй, какое эгоистическое чувство! И вы можете имъ наслаждаться?

Онѣгинъ. Да почему же нѣтъ?

Кудринскій. Вамъ спокойно и тепло, такъ вы, ничего и знать не хотите; а каково тѣмъ, которые теперь на открытомъ воздухѣ?

Онѣгинъ. Ну, разумѣется, хуже моего; да развѣ я въ этомъ виноватъ?

Кудринскій (*съ горькой улыбкой*). О, конечно, нѣтъ! Вы даже и въ томъ не виноваты, что живете въ чистомъ и опрятномъ домѣ, а ваши крестьяне въ грязныхъ лачужкахъ.

Засѣкинъ. Да, кажется, Александръ Дмитріевичъ, и ваши мужички-то живутъ не въ хоромахъ.

Кудринскій. Ахъ, не говорите! Какъ подумаю объ этомъ, такъ у меня сердце вотъ такъ и разрывается!

Засѣкинъ. То-есть вамъ совѣстно? Вѣрю, батюшка, вѣрю!—Эхъ Александръ Дмитріевичъ, вотъ то-то и есть: зачѣмъ вы построили себѣ такія барскія хоромы?

Кудринскій. Какъ зачѣмъ?

Засѣкинъ. Разумѣется! Ужъ если вамъ не подъ силу выстроить для каждаго крестьянина хорошенькій домикъ, такъ вамъ бы, сударь, и самимъ жить въ такой-же курной избѣ, въ какихъ живутъ ваши мужички. А то, помилуйте, вы живете по-дворянски, они по-крестьянски,—ну, на что это походитъ?

Лаврентій Алексѣевичъ. Да что вы, господа, о курныхъ-то избахъ говорите; потолкуйте-ка объ этомъ съ мужичками! Вотъ я хотѣлъ было завести у себя на селѣ побольше бѣлыхъ избъ съ трубами, такъ мои

крестьяне такъ и завопили! Въ бѣлыхъ, дескать, избахъ и угару не оберешься, и тепло не держится, и то и се...

Кудринскій. Да отчего они это говорятъ?

Лаврентій Алексѣевичъ. Это ужъ, батюшка, другое дѣло. У насъ рѣчь идетъ о томъ, что коли наши мужички сами любятъ жить въ курныхъ избахъ, такъ отчего жъ вашему сердцу разрываться?

Кудринскій. Да если русскіе крестьяне возстаютъ противъ всякаго улучшенія, такъ не должны ли мы стараться...

Засѣкинъ. Чтобъ наши мужички жили не хуже нѣмцевъ? Конечно, какъ объ этомъ не стараться. Да только, не прогнѣвайтесь, батюшка, и это также другая рѣчь. Что будетъ впереди, про то знаетъ Господь, а покамѣстъ нашъ крестьянинъ потягиваетъ съ наслажденіемъ свою русскую брагу, такъ что-жъ намъ плакать о томъ, что онъ не пьетъ англійскаго портеру? Вотъ, примѣромъ сказать, еслибъ человѣка образованнаго, который привыкъ ко всѣмъ удобствамъ жизни, заставили насильно жить въ какой-нибудь курной хатѣ, такъ, конечно, о немъ можно было бы пожалѣть.

Онѣгинъ (*вздыхая*). Ахъ, да, это правда! Кто жилъ нѣкогда съ большой роскошью и умѣлъ пользоваться своимъ богатствомъ, для того бѣдность ужаснѣе всего на свѣтѣ.

Княжна Задольская. Конечно, конечно! Для этого нужна большая резиньяція. Ахъ, какъ подумаю, сколько я видѣла такихъ несчастныхъ!

Лавр. Алекс. Гдѣ, Пелагея Степановна?

Княжна Задольская. Въ Петербургѣ, во время французской эмиграціи. Представьте себѣ, какой-нибудь шевалье, графъ, маркизъ, у котораго въ Парижѣ была прекрасный отель, нѣсколько наслѣдственныхъ замковъ, долженъ былъ, чтобъ не умереть съ голоду, идти въ гувернеры, то-есть учители!—Впрочемъ, надобно сказать правду, эти благородные иностранцы не могли пожаловаться на Россію: ихъ тотчасъ разбирали по рукамъ.

Засѣкинъ. Вотъ что! Такъ, видно, эти эмигранты были все люди ученые?

Княжна Задольская. Ну, этого сказать нельзя. Французскіе дворяне были вообще очень вѣжливы, милы, любезны; но что касается до учености, такъ я слышала, что самъ знаменитый дюкъ де-Ришелье, который переписывался съ Вольтеромъ, былъ человѣкъ вовсе не ученый и даже худо зналъ французскую орѳографію.

Засѣкинъ. Такъ почему жъ ихъ такъ охотно брали въ учители?

Княжна Задольская. Ахъ, Максимъ Степановичъ, да какъ-же можно было поступать иначе? Во-первыхъ, этого требовало гостепріимство, а межъ тѣмъ имѣть при своемъ сынѣ гувернеромъ графа или маркиза... Помилуйте, да развѣ это *бездѣлица*?

Засѣкинъ. Правда, правда, сударыня. Виноватъ, я объ этомъ и не подумалъ.

Кучумовъ. А что, матушка княжна,— я чаю, между этими знатными выходцами попадались иногда претеплые ребята?

Княжна Задольская. Теплые? Я васъ не разумѣю.

Кучумовъ. То-есть этакіе, знаете ли, продувные мошенники, самозванцы; вѣдь, тогда въ Парижѣ времена-то были смутныя! Теперь попытайся какой-нибудь французъ назваться графомъ, такъ ему всякій исправникъ скажетъ: «Пожалуйте-ка, ваше сіятельство, паспортъ, да пѣтъ ли у васъ и другихъ законныхъ документовъ?» —А тогда дѣло другое: «Ушелъ, дескать, изъ тюрьмы въ чемъ мать родила! До паспорта ли, когда мнѣ хотѣли голову отляпать?.. Унеси только, Господи!»

Княжна Задольская. Вы, Игнатій Ѳедоровичъ, напомнили мнѣ престранный случай.

Лаврентій Алексѣевичъ. А что такое, Пелагея Степановна?

Княжна Задольская. Такъ, одно приключеніе, въ которомъ я играла не очень авантажную роль. Въ то время я объ этомъ прималчивала, а теперь ужъ прошло безъ малаго тридцать лѣтъ, такъ сказать можно.

Лавр. Алекс. Сдѣлайте милость!

Княжна Задольская вынула изъ кармана свою круглую золотую табакерку съ эмалью, понюхала табаку и начала слѣдующимъ образомъ.

Эмигрантъ.

— Я вамъ сейчасъ говорила, что положеніе французскихъ эмигрантовъ было истинно ужасно: изъ нихъ многіе не имѣли ни пристанища, ни куска хлѣба; но были, однако-жъ, и такіе, которые могли назваться богатыми: одни привезли съ собою значительные капиталы; другіе, разумѣется, люди знатные и чиновные, вступили въ русскую службу и, по милости Императрицы, жили сообразно своему званію. Дюкъ де-Монсо, одинъ изъ этихъ знатныхъ эмигрантовъ, былъ очень коротко знакомъ со мною. Ему было шестьдесятъ-два года, но вы никакъ бы не дали ему этихъ лѣтъ, и надобно сказать правду: я мало встрѣчала такихъ очаровательныхъ людей, какъ этотъ милый дюкъ. Что за тонъ, какая манера!.. Ну, точно какъ теперь смотрю: шитый французскій кафтанъ, стальная шпага, парикъ а-лель-де нижонъ, распудренный о фрима, брилліантовые перстни на пальцахъ, золотые брелоки у часовъ и пуанъ-далансоновыя манжеты! А что за ловкость!.. Бывало, закинетъ ногу на ногу, развалится въ креслахъ, почти лежитъ! — Сдѣлай это другой, такъ будетъ невѣжливо и даже неблагопристойно, а къ нему все шло. Начнетъ ли онъ играть своей золотой табакеркой или обсыплетъ табакомъ жабо, отряхнетъ пальцами манжеты... Вѣдь, кажется, ничего, что

за важность такая? А посмотрѣли бы вы, какъ онъ это дѣлалъ! Въ каждомъ его движеніи были такія грасы, такая прелесть!.. О, конечно, въ этомъ отношеніи прежніе французы были неподражаемы!.. Зато ужъ нынѣшніе,—надо отдать имъ справедливость,—хороши голубчики!.. Я бы именнымъ указомъ запретила имъ говорить по-французски!.. Какіе они французы, бонапартисты проклятые... Мужики, грубіяны!.. Ну, да что объ нихъ!

Однажды, по-утру заѣхала ко мнѣ пріятельница моя, графиня Прилуцкая, и говоритъ мнѣ: «Ахъ, ma chère, какая жалость! У меня былъ вчера эмигрантъ, шевалье д'Естеньвиль, что за прекрасный молодой человѣкъ!.. И какой интересный! Представь себѣ, mon ange: въ Парижѣ его везли ужъ на эшафотъ; вдругъ сдѣлалось на улицѣ какое-то возмущеніе, народъ сталъ драться съ войскомъ; шевалье воспользовался этой минутой, выскочилъ изъ экипажа, въ которомъ его везли, и спрятался въ лавочкѣ у одного хлѣбника. Къ счастію, этотъ хлѣбникъ былъ тотъ самый, у котораго онъ покупалъ всегда крендели и булки; этотъ добрый человѣкъ изъ благодарности продержалъ его нѣсколько дней въ своемъ домѣ, а послѣ помогъ выѣхать изъ Парижа. Пока онъ пробирался до границы, съ нимъ было множество всякихъ приключеній, и какъ онъ объ этомъ разсказываетъ, ma chère! Теперь онъ здѣсь, разумѣется, безъ куска хлѣба, и хочетъ войти куда-нибудь въ домъ учителемъ... Подумаешь: шевалье д'Естеньвиль, потомокъ знаменитой фамиліи, человѣкъ богатый!.. Да, мой другъ, у него недавно былъ великолѣпный замокъ въ Лангедокѣ и огромное помѣстье въ Провансѣ, которое давало ему на одномъ прованскомъ маслѣ слишкомъ сто тысячъ франковъ доходу! И вотъ онъ теперь ищетъ мѣста гувернера и готовъ ѣхать изъ-за куска хлѣба въ Кострому, въ Саратовъ, въ Вятку—куда хочешь!»—«Вотъ кстати,—сказала я,—мнѣ пишетъ изъ Костромы моя кузина, что ей очень нуженъ французскій учитель; такъ ты попроси своего шевалье д'Естеньвиль, чтобы онъ завернулъ ко мнѣ сегодня вечеромъ; мы съ нимъ объ этомъ поговоримъ».

Надобно вамъ сказать, что я тогда жила еще во дворцѣ, слѣдовательно, занимала не очень обширную квартиру, и обыкновенно принимала гостей въ небольшой диванной, за которой была моя спальня. Часовъ въ восемь послѣ обѣда, когда я была совершенно одна, доложили мнѣ, что какой-то французъ желаетъ меня видѣть. Натурально, я догадалась, что это долженъ быть шевалье д'Естеньвиль, и велѣла просить его къ себѣ въ диванную. Гляжу, входитъ ко мнѣ молодой человѣкъ лѣтъ тридцати, весьма пріятной наружности: лицо блѣдное, худое, черные глаза такіе быстрые и собой довольно видный мужчина; *кафтанчикъ на немъ* весьма поношенный, впрочемъ, хорошаго покроя и бархатный; изъ камзольныхъ кармановъ висятъ двѣ золотыя цѣпочки, а подъ мышкою совсѣмъ истертая шляпа, однако-жъ, съ плюмажемъ. Я прошу его садиться — онъ кланяется; я повторяю свое приглашеніе—онъ продолжаетъ кланяться и даже не очень ловко.

— Я, кажется, имѣю честь говорить съ шевалье д'Естеньвилемъ?—спросила я.

— Oui, madame! — отвѣчалъ французъ.— Графиня Прилуцкая...

— Да, я просила ее пригласить васъ ко мнѣ. Да садитесь, сдѣлайте милость!

Французъ еще разъ поклонился, окинувъ робкимъ взглядомъ всю комнату, и сѣлъ на кончикъ табурета, на которомъ лежала моя болонка.

— Вамъ здѣсь неловко,—сказала я.

— О, напротивъ, мадамъ, очень ловко!— промолвилъ французъ, продолжая сидѣть на хвостѣ моей Амишки.

Я взяла ее на колѣни и, повѣрите ль, — глядя на этого жалкаго молодого человѣка, едва могла удержаться отъ слезъ. «Бѣдняжка!» — подумала я, — «онъ такъ смущенъ, что чуть было второпяхъ не раздавилъ моей Амишки; не знаетъ, куда дѣваться съ руками, смотритъ такимъ страннымъ образомъ... Боже мой!.. Ну, походитъ ли этотъ робкій, неразвязный мужчина на какого-нибудь ловкаго французскаго шевалье?.. Вотъ какъ бѣдность и несчастье убиваетъ человѣка».

— Мнѣ говорила графиня Прилуцкая, — сказала я, не смѣя взглянуть на моего гостя,— что несчастныя обстоятельства вынуждаютъ васъ искать мѣста гувернера...

— Да, княжна,—отвѣчалъ французъ, — я хочу посвятить себя образованію русскихъ дворянъ.

— И рѣшаетесь ѣхать для этого въ провинцію?

— Съ большимъ удовольствіемъ, и чѣмъ дальше, тѣмъ лучше.

— Я васъ понимаю,—сказала я, взглянувъ съ участіемъ на бѣднаго шевалье.— Если бъ мнѣ пришлось быть гувернанткою во Франціи, то и я также не захотѣла бы жить въ Парижѣ. Я вполнѣ чувствую, какъ должна быть тяжела для васъ эта ужасная деградація; но для чего же вы идете въ учители? Почему вамъ не вступить въ нашу службу? Вы еще молоды, происходите отъ знатнаго рода, — теперь же въ Петербургѣ много вашихъ [illegible] патріотовъ, нѣкоторые изъ нихъ довольно близки ко Двору... Почему знать, — можетъ быть, въ числѣ ихъ вы встрѣтите ваших знакомыхъ, пріятелей, родныхъ...

— Родныхъ?.. О, нѣтъ, княжна, — всѣ погибли на эшафотѣ! Конечно, у меня были очень знатные родственники; вотъ, напримѣръ, родной мой дядя, дюкъ де-Монсо

— Что вы говорите?—вскричала я.—Какъ это счастливо! Вѣдь, дюкъ де-Монсо здѣсь!

— Здѣсь? — повторилъ съ ужасомъ шевалье.—Казиміръ Эдуардъ, дюкъ де-Монсо?

— Да, да! Казиміръ Эдуардъ, дюкъ де-Монсо,—сказала я, глядя съ удивленіемъ на моего гостя.—Чего жъ вы испугались, шевалье? Это вашъ дядя...

— И величайшій мой врагъ, княжна! Онъ убьетъ меня при первой встрѣчѣ.

— Убьетъ своего племянника!..—Что вы, шевалье!

— Непремѣнно убьетъ!.. Честь французскаго дворянина—о, мадамъ, вы не знаете, какъ это важно.

— Да что-жъ вы такое сдѣлали?

— Не спрашивайте меня! Но знаете, княжна, что если онъ кинется на меня съ обнаженной шпагой, я не стану защищаться, а скажу ему: «вотъ грудь моя!»..

Тутъ шевалье размахнулъ такъ неосторожно руками, что зацѣпилъ за мой тамбурный столикъ и опрокинулъ его ко мнѣ на колѣни; Амишка завизжала, спрыгнула на полъ, а шевалье бросился поднимать столикъ, запутался въ коврѣ и повалился мнѣ прямо въ ноги. Признаюсь, я немного испугалась.

— Что-жъ это значитъ?—сказала я, ко[illegible]няла французъ всталъ и усѣлся опять на [illegible]мой, [illegible] табуретѣ.—Да развѣ вы, шевалье, [illegible]роятно[illegible]да никъ?

[illegible]акъ чело[illegible]воемъ

— О, княжна, — отвѣчалъ [illegible], сказалъ преступесли страстная, пламенная [illegible], княжн[illegible] ніе, то, конечно, вы в[illegible] [illegible]улъ: онъ [illegible]мой гость, — преступника! [illegible] даже н[illegible]любовь преступле-

Эти слова поразили [illegible]кому с[illegible]дите передъ собой ихъ съ такимъ чувс[illegible]ницей? ступникъ отъ любр[illegible]ла все д[illegible] меня, онъ же сказалъ объ этихъ прес[illegible] объ это[illegible] [illegible]вомъ... Боже мой, превидала, и вотъ [illegible]лчала, н[illegible] Я такъ много читала мною!.. Надоб[illegible]ать лѣтъ [illegible]и!.. Я такъ много читала всѣ неловкос[illegible]ншую ист[illegible]упникахъ, никогда ихъ не для меня во[illegible]осье Фра[illegible]одинъ изъ нихъ стоитъ передо господа, в[illegible]ристронт[illegible]но сказать правду: я забыла мнѣ совер[illegible] что, ско[illegible]и моего гостя, и онъ сдѣлался

— Та[illegible]воръ был[illegible] сто разъ интереснѣе... Да, да, стій?—[illegible]авр. А [illegible] эту минуту шевалье показался мени. — молодецъ[illegible]пенно Сенъ-Пре!

та дѣ[illegible]зы-то! С[illegible]ъ любовь причиною вашихъ несчапочла[illegible] [illegible] карман[illegible]казала я, помолчавъ нѣсколько вре-

— Кучум[illegible] Бѣдный молодой человѣкъ!.. Вѣрно, был[illegible] родъ! На[illegible]ица, которую любилъ вашъ дядя, предприметс[illegible] васъ?..

въ Онѣ[illegible] О,—прошепталъ французъ,—еслибъ она чалось [illegible] дѣвица!

ч нибудь [illegible] — Какъ, шевалье, такъ вы были влюблены комъ,[illegible] замужнюю женщину?..

в фразы[illegible] — О, мадамъ, еслибъ она была только-

Он[illegible] го замужняя женщина!

к жилъ [illegible] — Ахъ, Боже мой, да въ кого же вы были бы бывал[illegible] влюблены?

ва[illegible] фы, [illegible] — Вы хотите знать объ этомъ — извольте влю такіе [illegible] княжна!.. Красота и чувствительность всегда

— [illegible]наетъ! [illegible]ваютъ неразлучны!.. Я не боюсь открыть

[illegible]ъ эту ужасную тайну: я былъ страстно [illegible]бленъ... въ жену дюка де-Монсо!..

— Въ вашу родную тетку?

— Да, княжна!.. Теперь вы знаете все!

Презирайте меня, выгоните меня изъ своего дома, но пожалѣйте обо мнѣ.

— Тутъ шевалье хотѣлъ броситься передо мной на колѣни; но, къ счастію, я его удержала; онъ былъ въ такой пассіи, что непремѣнно задавилъ бы Амишку, которая лежала у моихъ ногъ.—«Ну»,—подумала я, — «конечно, это интересно, очень интересно, только ужъ слишкомъ по-французски... Родной племянникъ!.. И что ему сдѣлала моя Амишка? Онъ рѣшительно хочетъ умертвить ее!»

Я взяла опять на колѣни мою собачку и сказала:

— Успокойтесь, шевалье: кто умѣетъ такъ чувствовать свою вину, того презирать не можно. Но какъ же узналъ объ этомъ вашъ дядюшка?

— Ему попалась въ руки моя записка. «Охъ, эти записочки!»—подумала я.—«Отъ нихъ всегда бѣда!»

— Я долго не рѣшался писать къ дюшессѣ,—продолжалъ [illegible]французъ, — наконецъ рѣшился — посла[illegible]ъ письмо съ моимъ камердинеромъ Фр[illegible]нсуа. Это письмо перехватили. [illegible] онъ [illegible] Дюкъ вышелъ изъ себя, хотѣлъ со мною рѣзаться, но тутъ подоспѣла революція и насъ разлучили. Дюкъ де-Монсо эмигрировалъ, мнѣ также удалось уйти изъ Парижа, и я конечно бы не пріѣхалъ въ Россію, еслибъ зналъ, что могу здѣсь встрѣтиться съ моимъ дядею.

Шевалье договаривалъ еще эти слова, какъ вдругъ дверь отворилась, вошелъ слуга и доложилъ мнѣ, что пріѣхалъ дюкъ де-Монсо. Мой гость поблѣднѣлъ, какъ полотно.

— Я погибъ!—вскричалъ онъ.

Въ гостиной послышались шаги.

— Спасите меня!—шепталъ французъ, бѣгая по комнатѣ, какъ сумасшедшій.—Спрячьте меня куда-нибудь!

И прежде, чѣмъ я успѣла на что-нибудь рѣшиться, онъ кинулся ко мнѣ въ спальню и прихлопнулъ за собою дверь. Признаюсь, мое положеніе было довольно критическое. Конечно, я была ужъ не первой молодости, однако-жъ, не дожила еще до тѣхъ лѣтъ, передъ которыми молчитъ злословіе. Боже мой, какія бываютъ странныя обстоятельства въ жизни!.. Что бы стали обо мнѣ говорить если-бъ узнали, что я спрятала къ себѣ в[illegible] спальню молодого человѣка, а межъ тѣмъ не могла себя ни въ чемъ упрекнуть! Дю[illegible] де-Монсо вошелъ ко мнѣ, по обыкновені[illegible] съ улыбающимся лицомъ, но, кажется, м[illegible] показалось ему вовсе не веселымъ.

— Что вы, княжна?—спросилъ онъ, о[illegible] каясь въ кресла.—Здоровы ли вы?..

— Да, мнѣ что-то нездоровится,—проше[illegible] лая, поглядывая невольно на двери моей спал[illegible]

— Что съ вами? Вы такъ блѣдны...

— Да, дюкъ, мнѣ что-то не по себѣ.

— Да, дюкъ, мнѣ что-то не по себѣ[illegible] вдругъ покраснѣ[illegible]

— А вотъ теперь вдругъ покраснѣ[illegible] точно, лихора[illegible]

Да у васъ лихорадка... точно, лихора[illegible]

Лихорадки у меня не было, но я чувствовала, что вся горю, какъ на огнѣ. Да и было отъ чего: эта скверная треугольная шляпа съ плюмажемъ лежала на полу: вѣроятно, шевалье обронилъ ее второпяхъ. «Ну»,—подумала я, — «теперь надобно на все рѣшиться. Мосье де-Монсо непремѣнно увидитъ эту шляпу и, разумѣется, не скажетъ ни слова; но что онъ будетъ обо мнѣ думать!» — Межъ тѣмъ дюкъ окинулъ взглядомъ всю комнату и вдругъ взоръ его остановился—вы отгадываете на чемъ?

— О! да вы въ самомъ дѣлѣ нездоровы!— проговорилъ онъ, вставая.—Прощайте, княжна! Я не хочу васъ безпокоить, тѣмъ болѣе, что болѣзнь ваша очевидна: она въ глаза бросается...

— Останьтесь, мосье де-Монсо, — сказала я твердымъ голосомъ. — Мнѣ нужно поговорить съ вами.

— Если вамъ это угодно,— шепнулъ дюкъ, опускаясь снова въ кресла; — но я, право, думаю, что вамъ лучше остаться одной.

— Позвольте васъ спросить,— сказала я, стараясь смотрѣть ему прямо въ глаза:—вы не оставили во Франціи никого изъ вашихъ родныхъ?

— Живыхъ никого,— отвѣчалъ грустнымъ голосомъ дюкъ.—Я выѣхалъ изъ Франціи съ моей женой, но имѣлъ несчастіе потерять и ее: она умерла въ Берлинѣ.

— Какъ же я слышала, что у васъ есть родной племянникъ?

— Извините, княжна, у меня нѣтъ племянника.

— А шевалье д'Естеньвиль?

— Шевалье д'Естеньвиль? — повторилъ дюкъ. Онъ замолчалъ, понюхалъ табаку и, отряхивая свои манжеты, сказалъ очень сухо:—Да, у меня былъ племянникъ, шевалье д'Естеньвиль, но онъ умеръ на гильотинѣ.

— Правда ли также,—спросила я, — что вы ненавидите этого племянника?

— Кто это могъ вамъ сказать?—прервалъ дюкъ, посмотрѣвъ на меня съ удивленіемъ.

— Мосье де-Монсо,—продолжала я, — вы называетесь моимъ другомъ, такъ позвольте же говорить съ вами по-дружески. Какъ бы ни былъ виноватъ передъ вами шевалье д'Естеньвиль, но онъ вашъ племянникъ. И то-ли теперь время, чтобъ вамъ питать ненависть къ роднымъ? Неужели вы не протянули бы ему руки, даже и тогда, если-бъ встрѣтили его на чужой сторонѣ, брошеннаго на произволъ судьбы, въ бѣдности, нищетѣ, безъ всякаго покровительства?.. Конечно, поступокъ вашего племянника неизвинителенъ; но вспомните, дюкъ, что и вы также были молоды, что и въ вашей жизни были также эти безумные годы, когда разсудокъ молчитъ, а говорятъ однѣ страсти... Позвольте, позвольте!—продолжала я, замѣтивъ, что дюкъ сбирается меня прервать.— Я знаю, что вы хотите сказать: онъ могъ влюбиться въ дюшессу, но долженъ былъ скрывать эту страсть!

— Что вы говорите?—вскричалъ дюкъ.— Я васъ не понимаю, княжна!

— О, вы очень меня понимаете! — сказала я.—Конечно, вы должны находить страннымъ, что я стала съ вами говорить о такомъ деликатномъ предметѣ; но когда дѣло идетъ о томъ, чтобъ примирить васъ съ преступнымъ, но истинно несчастнымъ племянникомъ...

— Съ какимъ преступнымъ племянникомъ?— прервалъ дюкъ.—Позвольте вамъ сказать, княжна, это ужъ начинаетъ походить на какую-то мистификацію. Да съ чего вы взяли, что шевелье д'Естеньвиль, этотъ честный и разсудительный малый, былъ влюбленъ въ свою родную тетку?

— Къ чему эта скрытность, мосье де-Монсо?—возразила я.—Вы видите, я знаю все. Будьте же великодушны—сжальтесь надъ вашимъ племянникомъ, простите его!

— Помилуйте, княжна!—сказалъ дюкъ.— Да что мнѣ ему простить, и на что ему мое прощенье, если-бъ онъ и въ самомъ дѣлѣ былъ виноватъ передо мною? Я ужъ имѣлъ честь вамъ докладывать, что моему племяннику отрубили въ Парижѣ голову.

— А если вы ошибаетесь?

— Нѣтъ, княжна, я не могу въ этомъ сомнѣваться: я былъ свидѣтелемъ его казни.

— То-есть вы видѣли, какъ его везли на эшафотъ?

— И видѣлъ и слышалъ, какъ эта подлая чернь ругались надъ бѣднымъ шевалье д'Естеньвилемъ, называла его чудовищемъ, уродомъ... Конечно, мой покойный племянникъ былъ необычайно дуренъ собою...

— Что вы говорите!—сказала я съ ужасомъ.

— Да, княжна, природа была для него совершенно мачихой: онъ былъ горбатъ, кривъ, небольшого роста.

— Боже мой!—вскричала я невольно.— Такъ кто-же теперь сидитъ въ моей спальнѣ?

— Извините, княжна,—промолвилъ, улыбаясь, дюкъ,—на этотъ вопросъ я отвѣчать вамъ не могу; вы это должны знать лучше моего.

— Да этотъ человѣкъ называетъ себя шевалье д'Естеньвилемъ и говоритъ, что онъ вашъ племянникъ; онъ вовсе не кривъ, не горбатъ и даже весьма пріятной наружности...

— Въ самомъ дѣлѣ?.. Такъ, видно, онъ похорошѣлъ послѣ смерти... Это очень любопытно... позвольте, княжна!

Дюкъ всталъ, подошелъ къ дверямъ моей спальни и сказалъ громкимъ голосомъ:

— Милостивый государь, не угодно ли вамъ пожаловать сюда, къ намъ.

Отвѣта не было.

— Господинъ шевалье д'Естеньвиль,—

продолжалъ дюкъ,—если вы не хотите сдѣлать намъ эту честь, такъ мы должны будемъ позвать людей... Да полноте манериться, любезный племянникъ,—выходите!—продолжалъ дюкъ,—отворяя обѣ половинки дверей.—Прошу сюда, поближе къ свѣту!—промолвилъ онъ, схватя за руку и таща за собой моего гостя.

Признаюсь, мнѣ стало жалко, когда я взглянула на этого бѣднаго француза; во всю жизнь мою я не видывала такого испуганнаго и несчастнаго лица.

— Что я вижу!—вскричалъ дюкъ.—Франсуа!.. Это ты, бездѣльникъ?

Вмѣсто того, чтобъ отвѣчать на этотъ ласковый вопросъ, французъ освободилъ свою руку, кинулся опрометью вонъ изъ комнаты и выбѣжалъ изъ лакейской такъ проворно, что мои люди не успѣли оглянуться.

— Да кто-жъ этотъ господинъ? — спросила я.

— Слуга или,—если вамъ угодно,—камердинеръ моего покойнаго племянника,—отвѣчалъ спокойно дюкъ, открывая свою табакерку.

У меня руки такъ и опустились. Камердинеръ, слуга!.. И я позволила себя обмануть такимъ грубымъ образомъ... Приняла лакея за знатнаго барина!.. Боже мой, что подумаетъ обо мнѣ дюкъ?.. Вѣроятно, онъ замѣтилъ мое смущеніе и, какъ человѣкъ отлично вѣжливый и умный, сказалъ мнѣ!

— Я не удивляюсь, княжна, что этотъ негодяй васъ обманулъ: онъ очень неглупый малый и получилъ даже нѣкоторое образованіе... Но по какому случаю вы сдѣлались его покровительницей?

Я разсказала все дюку; онъ обѣщалъ мнѣ не говорить объ этомъ никому; разумѣется, я также молчала, и вотъ только теперь, спустя тридцать лѣтъ, рѣшилась разсказать вамъ эту странную исторію. Я не знаю, куда дѣвался мосье Франсуа; но ужъ, вѣрно, онъ успѣлъ пристроиться къ хорошему мѣсту, потому что, сколько я помню, у этого негодяя выговоръ былъ самый чистый парижскій.

Лавр. Алекс. (*набивая свою трубку*). Ай да молодецъ мусью! Вотъ они каковы французы-то! Совѣсти ни на денежку, да зато и въ карманъ за словомъ не полѣзутъ.

Кучумовъ. Что и говорить—лихой народъ! На иного взглянуть не на что, а какъ примется врать, такъ только слушай!

Онѣгина. О, конечно! Мнѣ иногда случалось въ Парижѣ разговориться съ какимъ-нибудь портье или оборваннымъ разносчикомъ,—удивительно!.. Такіе начнетъ отпускать фразы, что поневолѣ скажешь ему: «мосье».

Онѣгинъ. Да, это правда. Когда я жилъ въ Москвѣ, такъ у меня очень часто бывали на балахъ французскіе вояжеры, графы, бароны, маркизы, а можетъ статься, и такіе же шевалье д'Естенвили, — кто ихъ знаетъ! У насъ дѣло другое. Вотъ, напримѣръ, вашъ Пахомъ, Лаврентій Алексѣевичъ, или мой Терентій, да одѣнься они хоть по модной картинкѣ, кто ихъ за господъ приметъ?

Кучумовъ. Это оттого, Сергѣй Михайловичъ, что во Франціи народъ ужъ такой. Тамъ, говорятъ, всѣ подъ одну масть. Вѣдь, свѣтъ-то великъ, батюшка! Въ одномъ мѣстѣ такъ, въ другомъ этакъ. Поговорили бы вы съ моимъ сосѣдомъ, Иваномъ Евстафьевичемъ Курильскимъ; вы знаете, служилъ онъ во флотѣ и ѣздилъ по разнымъ морямъ. Послушаешь его, — Господи Боже мой, — чего-то нѣтъ на бѣломъ свѣтѣ, какихъ обычаевъ, повѣрьевъ! И все это онъ видѣлъ своими глазами.

Онѣгинъ. Ну, хоть и не все, Игнатій Ѳедоровичъ! Я этому Курильскому плохо вѣрю. Удалось ему какъ-то обойти кругомъ свѣта, такъ онъ ужъ и думаетъ, что можетъ лгать, сколько душѣ его угодно.

Лаврентій Алексѣевичъ. Да, у него за краснымъ словцомъ дѣло не станетъ.

Засѣкинъ. А Богъ знаетъ, можетъ-быть, иногда и правду говоритъ! Мало ли что намъ кажется невѣроятнымъ потому только, что мы объ этомъ никогда не слыхали. Конечно, онъ иногда разсказываетъ такія диковинныя вещи, что поневолѣ вспомнишь книжку: «Не любо не слушай, а лгать не мѣшай». Да вотъ на прошлой недѣлѣ онъ былъ у меня и разсказывалъ, между прочимъ, объ одномъ странномъ обычаѣ, который свято соблюдаютъ на островѣ Борнео.

Кучумовъ. А что это за островъ?

Засѣкинъ. Самый большой изо всѣхъ острововъ Китайскаго моря. Представьте себѣ: если на этомъ островѣ какой-нибудь небогатый человѣкъ живетъ честно и трудится въ потѣ лица своего, то обыкновенно питается круглый годъ однимъ рисомъ, маньономъ, бананами и развѣ только изрѣдка можетъ полакомиться мясцомъ. Но лишь только этотъ честный, работающій человѣкъ избалуется, сдѣлается мошенникомъ, воромъ, разбойникомъ, то его тотчасъ схватятъ, запрутъ въ тюрьму и начнутъ кормить каждый день мясомъ.

Онѣгинъ. Какой вздоръ!

Княжна Задольская. И надобно же имѣть мѣдный лобъ, чтобъ выдумывать такія вещи!

Лаврентій Алексѣевичъ. Да, нечего сказать,—пересолилъ!

Кудринскій. Помилуйте, да что-жъ тутъ страннаго, что добрые люди стараются облегчить судьбу несчастнаго преступника? Я, по крайней мѣрѣ, удивляюсь только тому, что такая, истинно, филантропическая идея могла развиться въ Азіи, на какомъ-нибудь островѣ Борнео, который вовсе не славится своимъ просвѣщеніемъ. Да, господа, по мнѣ всякій уличный разбойникъ, какъ человѣкъ совершенно погибшій, достоинъ всякаго сожалѣнія.

Засѣкинъ. Такъ, батюшка, такъ! Истинно, всякій душегубецъ достоинъ сожалѣнія;

дѣло другое человѣкъ невинный, котораго онъ уходилъ; о томъ чего жалѣть: вѣдь, ужъ его нѣтъ на свѣтѣ.

Кудринскій. Вы шутите, Максимъ Степановичъ, а я говорю не шутя. Разбойникъ потому уже достоинъ сожалѣнія, что онъ разбойникъ; всѣ смотрятъ на него съ ненавистью и презрѣніемъ, онъ долженъ вѣчно томиться въ цѣпяхъ, лишенъ навсегда свободы, а виноватъ ли онъ, бѣдняжка, что природа дала ему такія неукротимыя страсти?..

Засѣкинъ. Да, батюшка, да, вы, точно, правы. Ну, виноватъ ли бѣдняжка тигръ, что природа дала ему такіе острые зубы и длинные когти? Зачѣмъ держать его въ клѣткѣ? Пусть онъ себѣ ходитъ по волѣ да кушаетъ на здоровье добрыхъ людей.

Кудринскій. Ваше сравненіе ровно ничего не доказываетъ, Максимъ Степановичъ. Дикій звѣрь всегда останется звѣремъ: это его природа, его назначеніе; а человѣкъ существо мыслящее: онъ дѣйствуетъ не по животному инстинкту, но по своей свободной волѣ. Вы съ ужасомъ смотрите на осужденнаго преступника, но, вѣдь, этотъ закованный въ желѣзо преступникъ былъ точно такимъ же человѣкомъ, какъ вы, а извѣстно ли вамъ, отчего сталъ разбойникомъ?.. И знаете ли вы, къ чему способенъ этотъ убійца, если въ немъ проснется, наконецъ, человѣческое чувство? Знаете ли вы, что этотъ же самый разбойникъ, котораго такъ немилосердно вы называете тигромъ, рѣшится, можетъ-быть, умереть за своего благодѣтеля?

Онѣгина. Да, Максимъ Петровичъ, и я то же скажу. За границею очень часто бываютъ такіе разбойники.

Засѣкинъ. Какъ же, сударыня, а особливо въ нѣмецкихъ драмахъ; тамъ сплошь да рядомъ всѣ воры и разбойники пречестные люди.

Онѣгина. Я не говорю вамъ о театральныхъ піесахъ, Максимъ Степановичъ, а о томъ, что слышала отъ людей достовѣрныхъ; вотъ, напримѣръ, итальянскіе бандиты...

Засѣкинъ. Да-съ, въ стихахъ они должны быть очень хороши.

Онѣгина. Мнѣ разсказывали о нихъ такія удивительныя черты великодушія и благодарности.

Засѣкинъ. Да, вѣдь, это за границею, Наталья Кирилловна; видно тамъ и разбойники-то почище нашихъ. Впрочемъ, и со мною былъ одинъ случай, котораго я никогда не забуду, и, если угодно, разскажу вамъ это приключеніе.

Лаврентій Алексѣевичъ. Просимъ покорно, батюшка!

Благодарный воръ.

— Это было лѣтъ двадцать тому назадъ,— сказалъ Максимъ Степановичъ Засѣкинъ, придвигаясь поближе къ столу. Я еще жилъ *тогда въ Москвѣ* и бывалъ очень часто у княгини Варвары Алексѣевны Линской, которая, проживъ лѣтъ десять за границею, пріѣхала въ Москву повидаться съ родными и заложить остальное имѣнье въ опекунскій совѣтъ. Княгиня Варвара Алексѣевна была женщина весьма пріятная, страстно любила всѣ изящныя художества, слыла большою музыкантшею, говорила отлично по-итальянски, превосходно по-французски и даже очень недурно по-русски; однимъ словомъ, она была въ полномъ смыслѣ женщина замѣчательная. Разумѣется, ея общество состояло также изъ людей недюжинныхъ. Къ ней ѣзжали всѣ современныя знаменитости, артисты, музыканты, писатели, иностранцы, особенно по вторникамъ—это былъ ея день. Княгиня жила въ огромныхъ палатахъ, на Тверской; ея небольшая прислуга состояла почти исключительно изъ однихъ французовъ, кромѣ швейцара и метръ-д'отеля, то-есть дворецкаго. Первый былъ толстый, тяжелый нѣмецъ; второй, который, повидимому, пользовался всей довѣренностью княгини и держалъ себя очень благородно, былъ какой-то кривой итальянецъ, впрочемъ, человѣкъ не старый и вовсе не безобразный собою. Изъ этого описанія вы видите, что княгиня Линская жила совершенно на иностранную ногу. Обѣдать она у себя никого не оставляла; объ ужинѣ и рѣчи не было, чаю также не подавали, но зато по вечерамъ потчивали всѣхъ гостей мороженымъ, и хотя это было зимою, а въ обширныхъ комнатахъ ея сіятельства большого тепла не было, однако жъ, я помню, что многимъ очень нравилось это итальянское угощеніе, тѣмъ болѣе, что оно вовсе не походило на наше пошлое русское хлѣбосольство.

Однажды, вечеромъ я заѣхалъ довольно поздно къ княгинѣ; такъ какъ это было не во вторникъ, то я засталъ у нея всего человѣкъ двухъ или трехъ гостей, и въ томъ числѣ одного знаменитаго московскаго философа и поэта, котораго я не назову по имени, потому что вы едва ли когда-нибудь о немъ слыхали: онъ трудился вовсе не для потомства, а для однихъ только дамскихъ альбомовъ, и, надобно сказать правду, въ свое время его мадригалы и тріолеты были въ большомъ ходу. Когда я вошелъ въ гостиную княгини, этотъ поэтъ говорилъ съ величайшимъ восторгомъ о знаменитой Шиллеровой трагедіи «Разбойники». Надобно вамъ сказать, что эта трагедія, переведенная на русскій языкъ господиномъ Сандуновымъ, имѣла необычайный успѣхъ на московскомъ театрѣ; объ ней только и говорили. Я самъ не пропускалъ ни одного представленія, и, какъ теперь помню, когда Карлъ Моро, получивъ письмо отъ брата, вбѣгаетъ на сцену и говоритъ съ изступленіемъ: «О, люди, люди, порожденіе крокодила»!.. или когда онъ клянется надъ трупомъ своего

отца отомстить его убійцѣ и восклицаетъ: «О ты, возжигающій огнь твой превыше нощи!»— у меня всякій разъ такъ волосы дыбомъ и становились. Конечно, я и тогда не очень понималъ, что такое «возжигать свой огнь превыше нощи», но самый звукъ этихъ словъ мнѣ такъ нравился, что я вовсе не заботился о смыслѣ. Одно только мнѣ было не по сердцу: всякій разъ, когда я смотрѣлъ эту трагедію, преступленіе и порокъ переставали мнѣ казаться отвратительными; были даже минуты, что я видѣлъ въ этихъ разбойникахъ какихъ-то притѣсненныхъ героевъ, несчастныхъ жертвъ людской несправедливости и, признаюсь, мнѣ до смерти хотѣлось, чтобъ не ихъ перехватало правительство, а чтобъ они разбили на-голову посланное противъ нихъ войско. «Нѣтъ», — думалъ я, когда этотъ драматическій чадъ выходилъ изъ моей головы,—«лучше, еслибъ Шиллеръ не сочинялъ этой трагедіи! Ну,—что хорошаго?.. Я человѣкъ тихій, смирный, а вотъ два часа сряду смотрѣлъ съ любовью на разбойниковъ, и, коли правду сказать, во все это время жилъ съ ними душа въ душу».

— Вы видѣли новую трагедію Шиллера? — спросила меня хозяйка, когда я раскланялся и сѣлъ.

— Нѣсколько разъ, княгиня, — отвѣчалъ я.

— Какъ она переведена?

— Очень хорошо.

— А что вы о ней думаете?

— Я думаю, что она съ большими достоинствами и что ее могъ написать только человѣкъ геніальный; но я очень жалѣю, что Шиллеръ выбралъ такой безнравственный и неблагодарный предметъ для своей трагедіи.

Поэтъ кинулъ на меня презрительный взглядъ и улыбнулся самымъ обиднымъ образомъ.

— Неблагодарный!—повторилъ онъ вполголоса.—А почему, сударь, этотъ сюжетъ кажется вамъ неблагодарнымъ?

— Потому, — отвѣчалъ я, — что Шиллеру нельзя было представить разбойниковъ въ настоящемъ ихъ видѣ; они были бы тогда слишкомъ отвратительны и возбудили бы въ зрителяхъ одно чувство омерзѣнія; слѣдовательно, онъ долженъ былъ, чтобъ облагородить своихъ героевъ, наклепать на нихъ добродѣтели, которыя вовсе имъ не свойственны; а, воля ваша, представлять въ плѣнительномъ видѣ злодѣевъ, усыпать цвѣтами гнусный порокъ...

— А что-жъ по вашему,—прервалъ стихотворецъ,—цвѣтами должно усыпать добродѣтель что-ль? Вѣдь, вы сами, господа моралисты, говорите, что она въ этомъ не нуждается; и что можно сдѣлать изъ этой безконечной до...бро...дѣ...тели, которую нельзя даже и въ порядочный стихъ упрятать! Нѣтъ, сударь, нашъ вѣкъ идетъ впередъ, его требованія гораздо выше этого. Давайте намъ сильныя, необузданныя страсти, неистовую любовь и даже порокъ, лишь только умѣйте облекать его въ піитическую форму.

— Помилуйте,—сказалъ я,—да что-жъ хорошаго, если, благодаря этой піитической формѣ, порокъ будетъ мнѣ казаться прекраснымъ?

— Такъ что-жъ?—возразилъ поэтъ.—Въ этомъ-то и заключается великая тайна геніальнаго писателя. Онъ возьметъ кусокъ скверной грязи и она въ рукахъ его превратится въ чистое зотото. Возбудитъ въ толпѣ участіе къ страждущей невинности, къ великодушному человѣку, къ добродѣтельной женщинѣ — большая диковинка! Но заставить меня любить злодѣя, смотрѣть безъ отвращенія на убійство, грабежъ, преступную любовь, однимъ словомъ, поэтизировать все то, что мы называемъ порокомъ — вотъ истинное торжество геніальнаго писателя, этого чародѣя, который, вопреки нашему разсудку, увлекаетъ насъ за собой неизъяснимой прелестью своего таланта!

Я доложилъ этому восторженному поэту, что совершенно съ нимъ согласенъ, что представлять въ очаровательномъ видѣ самыя отвратительныя людскія страсти можетъ только человѣкъ геніальный, и что морочить до такой степени добрыхъ людей, конечно, дѣло нешуточное и требующее необычайнаго таланта; но что намъ, то-есть людямъ, стыдно бы, кажется, отбивать лавочку у бѣднаго чорта, который также не безъ дарованія и, какъ всѣмъ извѣстно, давно ужъ занимается этимъ же самымъ дѣломъ. Хозяйка и другіе гости улыбнулись; но, вѣроятно, моя шутка не очень понравилась господину поэту: онъ посмотрѣлъ на меня ни дать, ни взять, какъ грозный Карлъ Моро на своего окаяннаго брата, то-есть съ глубочайшимъ презрѣніемъ, и повернулся ко мнѣ спиною.

— Ваше замѣчаніе совершенно справедливо,—сказала княгиня, обращаясь ко мнѣ;— но я, однако-жъ, не во всемъ согласна съ вами: я не нахожу, чтобъ Шиллеръ ошибся въ выборѣ своего сюжета. Во-первыхъ, Карлъ Моро не простой разбойникъ; при другихъ условіяхъ онъ могъ бы сдѣлаться великимъ человѣкомъ, героемъ, и если несчастныя обстоятельства и людская злоба превратили его въ разбойника...

— Нѣтъ, княгиня, — прервалъ я, — не обстоятельства и не людская злоба, а Шиллеру угодно было сдѣлать изъ него разбойника. Я, по крайней мѣрѣ, думаю, что такіе благородные душегубцы могутъ только существовать на сценѣ.

— Извините меня,—сказала княгиня,— это оттого, что вы не имѣете понятія о піитическихъ разбойникахъ Италіи; знаете ли, что эти калабрійскіе бандиты очень часто напоминаютъ Карла Моро? Да вотъ хоть извѣстный Фра-Діаволо,—слыхали ли вы о немъ?

Я признался въ моемъ невѣжествѣ.

— Такъ я вамъ разскажу, что сдѣлалъ однажды этотъ знаменитый разбойникъ,—продолжала княгиня.—Одна богатая и не молодая уже вдова, графиня Дольчини, жила въ своей загородной виллѣ, недалеко отъ Портичи. Ей такъ много разсказывали объ этомъ Фра-Діаволо, который однихъ грабилъ, другимъ самъ давалъ деньги; то показывался подъ именемъ знатнаго путешественника въ лучшихъ обществахъ Неаполя, то въ монашеской рясѣ ходилъ по деревнямъ и говорилъ проповѣди на площадяхъ, и даже, по разсказамъ весьма достовѣрныхъ людей, явился въ одинъ и тотъ же день въ Терачино, въ Калабріи и Солерно. Всѣ эти разсказы возбудили, наконецъ, въ величайшей степени любопытство графини и она часто говорила, что дорого бы дала, чтобъ взглянуть хоть разъ на этого Фра-Діаволо.

Однажды, послѣ обѣда, графиня прогуливалась въ своемъ саду; она шла по дорожкѣ, проложенной вдоль стѣны, которая отдѣляла ея садъ отъ небольшой оливковой рощи. Вдругъ шагахъ въ десяти отъ нея раздался шумъ: казалось, что-то тяжелое упало со стѣны, и почти въ ту же минуту вышелъ изъ-за кустовъ, прямо къ ней навстрѣчу, молодой человѣкъ, высокаго роста, очень складный собою, съ прекраснымъ лицомъ и черными блестящими глазами. Судя по его національной калабрійской одеждѣ, онъ принадлежалъ не къ высшему классу общества; впрочемъ, этотъ незнакомецъ былъ одѣтъ не только щеголевато, но даже съ нѣкоторой роскошью. За поясомъ у него заткнуты были пара пистолетовъ въ богатой оправѣ и короткій итальянскій стилетъ, то-есть трехгранный кинжалъ. Разумѣется, графиня испугалась.

— Что вамъ угодно? — вскричала она. — Зачѣмъ вы здѣсь?

— Я здѣсь по вашему желанію, экселенца,—отвѣчалъ незнакомецъ, снимая вѣжливо свою шляпу.

— По моему желанію? — Да позвольте узнать, кто вы?

— Меня прежде звали Доминикомъ Ламіери, а теперь зовутъ Фра-Діаволо.

У бѣдной графини ноги подкосились отъ ужаса.

— Успокойтесь, синьора—продолжалъ разбойникъ.—Чего же вы испугались? Вѣдь, вы сами много разъ говорили, что желали бы меня видѣть,—не правда ли?

— Да, — прошептала графиня, — я точно говорила...

— И даже прибавляли къ этому, что дорого бы заплатили за то, чтобъ взглянуть на этого разбойника Фра-Діаволо. Вотъ я теперь передъ вами,—извольте смотрѣть.

Графиня сняла молча съ руки золотой браслетъ, осыпанный брилліантами.

— Не трудитесь, синьора, — сказалъ разбойникъ,—я не возьму вашего браслета; вы можете мнѣ гораздо дороже заплатить за то, что я исполнилъ вашу волю.

— Чего-жъ вы отъ меня хотите?—промолвила графиня дрожащимъ голосомъ.

— Позвольте мнѣ поцѣловать вашу прекрасную ручку,—сказалъ Фра-Діаволо.—Больше этого я ничего не хочу.

Графиня поглядѣла сначала съ удивленіемъ, а потомъ съ примѣрнымъ участіемъ на этого милаго разбойника, который предпочиталъ ея сорокалѣтнюю ручку золотому браслету, осыпанному брилліантами.

— Ахъ, синьоръ Фра-Діаволо, — сказала она, протягивая ему свою руку,—какъ жаль, что вы разбойникъ!

Вдругъ за стѣною сада раздался свистъ.

— Какъ?!—вскричалъ Фра-Діаволо. — Неужели это Антоніо?..

Вслѣдъ за свистомъ послышался близкій конскій топотъ.

— Маледето!—прошепталъ разбойникъ. — Проклятый зѣвака! Чего-жъ онъ думалъ?.. Графиня, — продолжалъ онъ, — ваша вилла должна быть окружена жандармами; меня предостерегали... но мнѣ такъ давно хотѣлось исполнить ваше желаніе... Впрочемъ, чтобы ни случилось, а меня не возьмутъ живого... Прощайте, синьора! И когда бѣднаго Фра-Діаволо не будетъ на свѣтѣ, такъ пожалѣйте о немъ и помолитесь о его душѣ!

— Нѣтъ,—сказала графиня рѣшительнымъ голосомъ,—я васъ не выдамъ. Вы гость мой. Пойдемте со мною, синьоръ Фра-Діаволо, и будьте спокойны: эти сбиры не найдутъ васъ.

Въ самомъ дѣлѣ, полицейскій чиновникъ, съ цѣлымъ отрядомъ жандармовъ, обыскивалъ всю виллу, обшарилъ весь садъ, и нигдѣ не нашелъ Фра-Діаволо.

Спустя годъ послѣ этого происшествія, графиня Дольчини ѣхала изъ Терачино въ Портъ-Корво со своимъ двоюроднымъ братомъ, синьоромъ Ташинарди. Проѣзжая однимъ узкимъ и чрезвычайно дикимъ ущельемъ, графиня съ примѣтной робостью посматривала во всѣ стороны.

— Ужъ не боитесь ли вы разбойниковъ, сестрица? — спросилъ Ташинарди. — Не безпокойтесь,—съ тѣхъ поръ, какъ я занимаю мѣсто уголовнаго судьи въ Терачино, здѣсь все тихо. Мѣсяцевъ шесть тому назадъ перехватали всю шайку Фра-Діаволо; онъ самъ какъ-то ускользнулъ, но жена его попалась къ намъ въ руки.

— Его жена?—повторила графиня.—Бѣдная женщина!.. Что-жъ вы съ ней сдѣлали?

— Да то же, что и съ другими разбойниками: ее повѣсили. Конечно, у нея нашлись защитники, но я настоялъ на этомъ. Женщина, которая ходила вмѣстѣ съ мужчинами на разбой, не женщина.

Синьоръ Ташинарди не успѣлъ еще договорить этихъ словъ, какъ вдругъ лошади остановились, раздались выстрѣлы, кучеръ

слетѣлъ съ козелъ и цѣлая шайка разбойниковъ окружила карету. Разумѣется, нашихъ путешественниковъ заставили изъ нея выдти.

— Графиня Дольчини! — вскричалъ одинъ высокій и статный мужчина, закутанный въ широкій плащъ.—Стойте, товарищи!.. Прочь, говорятъ вамъ!

Разбойники, которые принялись было обирать графиню, выпустили ее изъ рукъ. Фра-Діаволо,—это былъ онъ, — подошелъ къ ней и сказалъ:

— Я очень радъ, экселенца, что съ вами не случилось никакого несчастія. Извольте ѣхать — вы свободны! Что-жъ касается до тебя, господинъ уголовный судья, — продолжалъ онъ, устремивъ сверкающій вздоръ на синьора Ташинарди, — такъ тебѣ торопиться нечего; мы еще съ тобой поговоримъ, проклятые убійца моей доброй Лауреты!..

Синьоръ Ташинарди хотѣлъ что-то сказать, но Фра-Діаволо не далъ выговорить ему ни слова.

— Молчи, кровопійца! — сказалъ онъ. — Теперь моя очередь быть твоимъ судьею!. Извольте ѣхать, графиня!

— Синьоръ Фра-Діаволо— вскричала графиня:—онъ братъ мой!

— Вашъ братъ? — повторилъ разбойникъ Этотъ злодѣй?..

— Да, онъ братъ мой!

Фра-Діаволо задумался; нѣсколько минутъ продолжалось это ужасное молчаніе.

— Графиня,—промолвилъ, наконецъ, разбойникъ,—вашъ кучеръ и слуга убиты, прикажите этому палачу, котораго вы называете своимъ братомъ, сѣсть на козлы и везти васъ въ Понте-Корво; да посовѣтуйте ему сходить на поклоненіе къ Лоретской Божіей Матери за то, что ему не пришлось на этотъ разъ умирать безъ покаянія. Прощайте, графиня!—промолвилъ онъ, когда синьоръ Ташинарди, взобравшись на козлы, погналъ безъ ума лошадей. — Кажется, теперь я вполнѣ расквитался съ вами.

— Вотъ, Максимъ Степановичъ,— сказала княгиня Варвара Алексѣевна, окончивъ свой разсказъ,—видите ли, что и разбойники умѣютъ быть благородными?

— Вижу, княгиня.—отвѣчалъ я,—вижу!

— Много ли вы найдете добрыхъ людей, которые поступили бы такъ великодушно, какъ этотъ Фра-Діаволо? Ну, что вы о немъ скажете?

— Я скажу, княгиня, что въ немъ очень много театральнаго. Прекрасный разбойникъ!.. А позвольте спросить: вамъ разсказывала объ этомъ сама графиня Дольчини?

— Нѣтъ, я слышала это отъ хозяина гостиницы, въ которой останавливалась, проѣзжая Терачино.

«Вотъ,—подумалъ я,—иностранцы-то каковы! У нихъ не по-нашему: трактирщики настоящіе поэты; разбойники такіе приличные—цѣлуютъ у графинь ручки!.. Нѣтъ, гдѣ намъ до нихъ!»

Межъ тѣмъ разговоръ перемѣнился: стали говорить объ итальянской музыкѣ. Вотъ ужъ тутъ я сдѣлался совершенно лишнимъ человѣкомъ. Я имѣю несчастіе не любить итальянской музыки и глупость признаваться въ этомъ публично; конечно, глупость, потому что я сумѣлъ бы не хуже всякаго прикинуться самымъ отчаяннымъ дилетанте, то-есть кричать—«браво, браво, брависсимо!» и корчить превосторженныя и преудивительныя рожи. Что дѣлать, видно, я такъ ужъ созданъ! и могъ бы, кажется, да ни за что не стану удерживаться отъ зѣвоты, когда мнѣ хочется зѣвать. Сначала я слушалъ довольно спокойно умныя рѣчи хозяйки: она только-что жалѣла о тѣхъ, которые не понимаютъ всю прелесть итальянской музыки: но когда господинъ поэтъ заговорилъ, что этихъ негодяевъ нельзя даже называть и людьми, что они бездушные болваны, деревяшки, неспособные ни къ чему прекрасному, то, признаюсь, я не вытерпѣлъ: схватилъ мою шапку, раскланялся и отправился домой. Я сказалъ вамъ: «мою шапку», потому что тогда еще не въ однѣхъ деревняхъ, а и въ столицахъ носили по зимамъ теплыя собольи и бобровыя шапки. Теперь эта ни съ чѣмъ несообразная и глупая мода прошла. Когда я сѣлъ въ мои сани, мнѣ вздумалось погулять. На дворѣ было свѣтло, какъ днемъ; ночь была морозная, лунная, а вы знаете, господа, какъ весело прокатиться въ свѣтлую лунную ночь по нашей матушкѣ Москвѣ бѣлокаменной и посмотрѣть, какъ эта русская красавица засыпаетъ понемногу своимъ богатырскимъ сномъ. Я приказалъ моему Ивану ѣхать за Москву-рѣку, чтобъ посмотрѣть на Кремль. Покатавшись съ полчаса, я отправился домой, то есть на Знаменку. Когда переѣхалъ Каменный мостъ и поровнялся съ Кривымъ переулкомъ, который выходитъ на Неглинную, мнѣ послышались громкіе голоса; кричали:

— Караулъ! Держи, держи!—и въ ту же самую минуту, какой-то запыхавшійся человѣкъ вскочилъ на запятки моихъ саней.

— Что ты? — вскричалъ я.—Пошелъ, пошелъ!

— Батюшка, спасите,—прошепталъ этотъ человѣкъ, съ трудомъ переводя дыханіе,—за мной гонятся!

Въ самомъ дѣлѣ, изъ переулка начали выбѣгать люди.

— Гонятся?—повторилъ я.— Такъ поэтому ты воръ?

— Батюшка, я бѣдный человѣкъ, жена, дѣти: спасите, Бога ради!

— Вотъ онъ! Вотъ онъ! — раздались въ близкомъ разстояніи голоса.—Вотъ стоитъ за санями!.. Держите его, держите!.. Воръ!..

Тутъ пришелъ мнѣ въ голову разсказъ княгини Лиской. «Дай, спасу и я также

этого бѣднаго вора»,—подумалъ я.—«Почему знать, можетъ-быть, онъ станетъ обо мнѣ вѣкъ Бога молить? Ужъ если этотъ несчастный отецъ семейства попадѣялся на мое великодушіе, такъ не грѣшно ли мнѣ выдать его руками?»...

— Пошелъ!—сказалъ я.

Иванъ ударилъ по лошадямъ, и не прошло полминуты, какъ мы, поворотивъ направо по Лѣнивкѣ, выѣхали на Знаменку. Когда мы поровнялись съ переулкомъ, который идетъ позади Пашкова дома, воръ соскочилъ съ запятокъ, сорвалъ у меня съ головы бобровую шапку и кинулся бѣжать. Вотъ и я также закричалъ: «Караулъ! Держи, держи!» — но держать было некому, да и некого: этотъ бѣдный отецъ семейства шмыгнулъ на какой-то дворъ—и поминай какъ звали!

Максимъ Степановичъ замолчалъ.

Онѣгина. Вотъ ужъ этого я никакъ не ожидалъ! Неужели тѣмъ и кончилось?

Засѣкинъ. Нѣтъ, Наталья Кирилловна, этимъ не кончилось. Я простудилъ голову, занемогъ и цѣлыхъ два мѣсяца былъ боленъ.

Лаврентій Алексѣевичъ. Ништо тебѣ, Максимъ Степановичъ. Кабы ты помнилъ русскую пословицу: «вора помиловать, добраго погубить», такъ тебѣ бы не пришлось покупать новой шапки.

Засѣкинъ. Что-жъ дѣлать, Лаврентій Алексѣевичъ, я и самъ послѣ догадался, что больно сплоховалъ. Вѣдь, княгиня разсказывала мнѣ о разбойникѣ, а это что?.. Такъ, шишимора, уличный воришка!

Кучумовъ. И, что вы, батюшка! Да, по-моему, разбойникъ во сто разъ хуже всякаго вора.

Лаврентій Алексѣевичъ. Эхъ, любезный, да развѣ ты не видишь, что Максимъ Степановичъ изволитъ балагурить?

Кудринскій. Я не знаю, шутитъ онъ, или нѣтъ; но и мнѣ также кажется, что отъявленный разбойникъ гораздо способнѣе ко всякому великодушному поступку, чѣмъ какой-нибудь мелочной, ничтожный мошенникъ.

Княжна Задольская. Да что это, господа, вамъ за охота говорить о разбойникахъ? Они надоѣли мнѣ и въ романахъ госпожи Радклифъ. Ну, скажите сами, что въ нихъ интереснаго, и можно ли принимать участіе въ судьбѣ какого-нибудь убійцы,—разбойникъ ли онъ, или нѣтъ?..

Онѣгинъ. Нѣтъ, княжна, не говорите! Разбойникъ и убійца,—двѣ вещи совершенно различныя. Убійца бываетъ всякаго рода — напримѣръ, убійца отъ любви..,

Княжна Задольская. Охъ, и это ужасно!

Кудринскій. А преступленіе, сдѣланное въ минуту бѣшенства, когда оскорбленный не помнитъ самого себя?

Онѣгинъ. А обиженный человѣкъ, который убьетъ своего противника на дуэли?

Кучумовъ. Или какъ мой Гриша, который однажды на кулачномъ бою одного убилъ, а трехъ изувѣчилъ?

Онѣгинъ. Или какъ покойный мой братъ, который на охотѣ застрѣлилъ нечаянно своего пріятеля?

Засѣкинъ. Или докторъ, который дастъ невпопадъ лѣкарство? Вѣдь, умирать-то все равно, отъ пули или отъ пилюль?

Лаврентій Алексѣевичъ. Слышишь, Богданъ Ѳомичъ? Ну, что ты на это скажешь?

Бирманъ. Да что, Лаврентій Алексѣевичъ, на насъ, бѣдныхъ врачей, всегда нападаютъ. А виноваты ли мы, что люди не безсмертны? Вѣдь, мы не боги, и кому опредѣлено умирать, того не вылѣчишь.

Кучумовъ. Правда, правда! Всякому есть предѣлъ, коего не прейдеши.

Засѣкинъ. Конечно, на иного Господь пошлетъ смертельную болѣзнь, на другого искуснаго медика...

Бирманъ. Смѣйтесь, Максимъ Степановичъ, смѣйтесь! Теперь вы, слава Богу, здоровы, а случись вамъ занемочь, такъ безъ нашего брата не обойдетесь. Кто говоритъ, и мы также иногда въ жмурки играемъ и ходимъ ощупью, а все-таки кой-что знаемъ, чему-нибудь да учились...

Лаврентій Алексѣевичъ. Кстати, любезный! Мнѣ давно хотѣлось у тебя спросить, что это значитъ: на моемъ вѣку я много знавалъ докторовъ,—русскихъ очень мало, француз овъ также; куда ни посмотришь, всѣ доктора нѣмцы. Что-жъ это, у васъ, въ нѣмецкой-то землѣ всѣхъ, что-ль этой наукѣ учатъ?

Бирманъ. Это оттого, Лаврентій Алексѣевичъ, что въ Германіи много университетовъ и что въ каждомъ университетѣ есть медицинскій факультетъ, то-есть классъ, въ которомъ преподаютъ медицину, и въ немъ обыкновенно слушателей бываетъ несравненно болѣе, чѣмъ въ другихъ факультетахъ.

Лаврентій Алексѣевичъ. Отчего же это, батюшка?

Бирманъ. Да оттого, Лаврентій Алексѣевичъ, что до сихъ поръ не было еще примѣра, чтобъ докторъ медицины умеръ съ голоду, а докторъ правъ, философіи, математики и разныхъ другихъ наукъ частехонько сидятъ безъ куска хлѣба.

Онѣгинъ. А что, Богданъ Ѳомичъ, правда ли, говорятъ, что въ Германіи получить лѣкарскій дипломъ вовсе не трудно?

Бирманъ. Нѣтъ, Сергѣй Михайловичъ, столько хлопотъ, что не приведи Господи! У меня былъ пріятель, который слушалъ курсъ медицины въ Геттингенскомъ университетѣ, кажется, онъ не хуже былъ другихъ, а насилу добился, чтобъ ему позволили практиковать, да еще съ какимъ условіемъ!.. Правда, тутъ было особенное обстоятельство... Да вотъ, если угодно, я вамъ разскажу исторію моего пріятеля.

Лаврентій Алексѣевичъ. Разскажи, любезный, а мы послушаемъ.

Богданъ Ѳомичъ положилъ къ сторонѣ трубку, откашлялся и началъ свой разсказъ слѣдующимъ образомъ.

Лѣкарскій дипломъ.

Мой пріятель, котораго называли Готлибомъ, былъ такъ же, какъ я, родомъ изъ города Швейнфурта. Готлибъ ходилъ еще въ школу, когда умеръ его отецъ; вскорѣ потомъ онъ лишился матери, и то, что досталось ему послѣ ихъ смерти, ужъ, конечно, нельзя было назвать состояніемъ. Проживши кое-какъ до двадцати лѣтъ, Готлибъ смекнулъ, наконецъ, что ему скоро придется умирать голодной смертью. Вотъ онъ пошелъ къ члену швейнфуртскаго магистрата, достопочтенному г-ну Блюдвурсту, и сталъ просить у него совѣта, что ему дѣлать: заняться ли какимъ-нибудь ремесломъ или идти по ученой части?—«Я присовѣтовалъ бы тебѣ», — сказалъ господинъ Блюдвурстъ, — «заняться какимъ-нибудь ремесломъ: ученыхъ въ Германіи и безъ тебя много; да ты поздно хватился: тебѣ ужъ двадцать лѣтъ, а скоро ли ты попадешь, не только въ мастера, но даже въ подмастерья? Дѣлать нечего, ступай въ университетъ, да только вотъ мой совѣтъ: учись тамъ чему-нибудь дѣльному, а пуще всего не плѣняйся философіею; я замѣтилъ, что эта наука идетъ въ прокъ только тѣмъ, которые обладаютъ природнымъ даромъ говорить очень много, и говорить такъ, что ихъ самъ чортъ не пойметъ. Ты человѣкъ неглупый, въ тебѣ есть толкъ, да рѣчь-то у тебя простая; парень ты вовсе не затѣйливый и, вѣрно, не сумѣешь доказать, что дважды два пять, или что бытіе и небытіе одно и то же, такъ ужъ, вѣрно, никогда не добьешься каѳедры; а безъ каѳедры профессоръ все то же, что графъ безъ графства: чести много, а ѣсть нечего. Ступай-ка лучше по медицинскому факультету; будешь лѣкаремъ, а можетъ статься и докторомъ. Не дадутъ тебѣ мѣста въ университетѣ, такъ что-жъ: у тебя больные останутся, и коли Богъ поможетъ тебѣ вылѣчить какого-нибудь извѣстнаго человѣка, такъ ты и пошелъ навсегда въ люди».

Разумѣется, Готлибъ поблагодарилъ за благой совѣтъ господина Блюдвурста, простился съ нимъ и отправился пѣшкомъ въ Геттингенъ. По милости декана медицинскаго факультета, г-на Гешволенгена, къ которому Готлибъ имѣлъ рекомендательное письмо, пріятель мой безъ всякихъ затрудненій поступилъ въ число своекоштныхъ студентовъ университета. Сначала все шло наилучшимъ образомъ: Готлибъ учился прилежно, жилъ смирно, не обижалъ филистимлянъ,— такъ называютъ нѣмецкіе студенты всѣхъ гражданъ, не имѣющихъ ничего общаго съ университетомъ, — не буянилъ, не выходилъ ни съ кѣмъ на дуэль и по воскреснымъ днямъ выпивалъ только по одной кружкѣ пива. Все это весьма не нравилось его товарищамъ, но зато профессора были имъ очень довольны, и даже самъ ректоръ университета, Бухфресеръ, рѣшился, наконецъ, не въ примѣръ другимъ, пригласить его къ своему обѣденному столу. Кому пришло бы въ голову, что эта высокая честь будетъ причиною всѣхъ неудачъ и бѣдствій моего злосчастнаго пріятеля? Когда онъ вошелъ въ гостиную комнату господина ректора, его глазамъ представилось такое поразительное зрѣлище, что онъ, конечно, и до сихъ поръ не можетъ вспомнить объ этомъ безъ сердечнаго трепета. Въ широкихъ кожаныхъ креслахъ покоился отъ своихъ ученыхъ трудовъ высокоименитый господинъ Бухфресеръ, безъ парика, въ ситцевомъ халатѣ и шерстяныхъ вязаныхъ туфляхъ. Въ одной рукѣ держалъ онъ огромную пѣнковую трубку, другая была вооружена кожаной хлопушкой, которою онъ билъ нещадно мухъ. Съ правой его стороны, въ домашней кофточкѣ и зеленомъ наглазникѣ, сидѣла достопочтенная госпожа Бухфресеръ и вязала бумажный колпакъ, вѣроятно, для своего мужа. Вы скажете, можетъ быть, что въ этой семейной картинѣ не было еще ничего особенно поразительнаго—о, конечно; но на первомъ планѣ этой картины стояла дочь г. Бухфресера, дѣвица Шарлота. — Господи Боже мой!.. Какъ подумаешь, родятся же такія красавицы! Представьте себѣ томные голубые глаза, длинныя рѣсницы, розовыя щечки, пунцовый ротикъ и мягкіе, какъ шелкъ, съ золотистымъ отливомъ локоны, которыми, однако-жъ, мой пріятель любовался ужъ впослѣдствіи, потому что на этотъ разъ Шарлота была въ кисейномъ чепцѣ. Эта дивная красавица стояла у окна; на лѣвомъ плечѣ ея сидѣла ручная канарейка, а въ правой рукѣ держала она розанъ. Готлибъ взглянулъ на нее, онѣмѣлъ, растерялся и вмѣсто того, чтобъ отвѣчать какимъ-нибудь умнымъ комплиментомъ на привѣтствіе хозяина, заикнулся, пробормоталъ нѣсколько невнятныхъ словъ и вспыхнулъ, какъ красная дѣвушка. Эта неловкость очень понравилась господину ректору. Вѣроятно, онъ принялъ ее за робость, весьма приличную бѣдному студенту, который въ первый разъ имѣлъ счастіе находиться въ такой высокопочтенной компаніи.—«Не робѣйте, молодой человѣкъ»,— сказалъ онъ. «Вы здѣсь не студентъ, а гость мой. Прошу садиться!» Разумѣется, во время обѣда Готлибъ смотрѣлъ все на Шарлоту, не ѣлъ почти ничего и вѣрно бы отказался даже отъ любимаго своего кушанья, говядины съ черносливомъ, если бъ госпожа ректорша не сказала, что это блюдо готовила сама Шарлота,—сама Шарлота, своими пухленькими ручками!.. О, магическія слова, вы подѣй-

ствовали на моего пріятеля сильнѣе всякихъ желудочныхъ капель. Онъ положилъ на свою тарелку двойную порцію, съѣлъ или, лучше сказать, проглотилъ ее въ одну минуту, и, конечно, облизалъ бы у себя пальчики, если бъ это не было противно всякому приличію. Словомъ, бѣдный мой пріятель влюбился по уши въ дочь г. Бухфресера. Несчастный, онъ забылъ, что между ректоромъ университета и бѣднымъ студентомъ такое неизмѣримое пространство, что страшно и подумать! Но кто бы не забылъ объ этомъ? Кто не захотѣлъ бы на его мѣстѣ сдѣлаться Вертеромъ этой прелестной Шарлоты? Да, надобно правду сказать: Шарлота была необыкновенная дѣвица: хороша какъ ангелъ, умна, чувствительна до высочайшей степени и въ то же время такая хозяйка, какихъ немного найдете и въ самомъ Швейнфуртѣ, который всегда славился своими патріархальными нравами. Сколько разъ случалось, что она читаетъ вмѣстѣ съ моимъ пріятелемъ трагедіи Гете, Шиллера; потомъ вдругъ, не докончивъ какой-нибудь интересной сцены, побѣжитъ на кухню жарить картофель и вернется назадъ во сто разъ милѣе и прекраснѣе!.. Вы улыбаетесь, Наталья Кирилловна? И вы также, княжна?.. Я знаю, что у васъ теперь въ головѣ, только вы ошибаетесь! Шарлота очень часто помогала кухаркѣ готовить кушанье; но, увѣрю васъ честію, отъ нея никогда не пахло кухней.

Господинъ Бухфресеръ полюбилъ моего пріятеля и позволилъ ему приходить къ себѣ, не обѣдать, — этого рода приглашенія дѣлаются у насъ довольно рѣдко,—а такъ, побесѣдовать, поговорить кой о чемъ. Въ Германіи образъ жизни вовсе не походитъ на здѣшній: тамъ живутъ очень скромно. Знакомые посѣщаютъ другъ друга, особенно въ праздничные дни, для того только, чтобы выкурить вмѣстѣ нѣсколько трубокъ, смотря по состоянію: или добраго кнастера, или дешевенькаго дрейкенихъ, который дѣлается изъ картофельныхъ листьевъ; сыграть партію въ шахматы, потолковать о политикѣ и даже выпить иногда по рюмкѣ стараго рейнвейна. Нѣмцы вообще очень любятъ эти мирныя бесѣды, которыя вовсе не убыточны для хозяина и весьма пріятны для гостей, разумѣется, если они сыты. Въ первый разъ Готлибъ почти ничего не говорилилъ съ Шарлотою, во второй зашла у нихъ рѣчь о лунѣ, въ третій о симпатіи и сродствѣ душъ; потомъ случилось имъ танцовать на одномъ свадебномъ балѣ, и вотъ, этакъ мѣсяца черезъ два, на завѣтной страничкѣ Шарлотина альбома появились два сердца, проткнутыя насквозь стрѣлою, съ надписью: «страдаютъ, но счастливы». Потомъ двѣ буквы, увѣнчанныя миртами, также съ надписью: «ихъ уста молчатъ, но ихъ души понимаютъ другъ друга». Объ учебныхъ тетрадяхъ Готлиба и говорить нечего: онѣ всѣ *были исписаны стихами, изъ* которыхъ многіе, право, были недурны, особливо одни; помнится, они начинались вотъ такъ:

„Шарлотхенъ, Шарлотхенъ!
Ди либе истъ ди зеле"...

Да что объ этомъ говорить! Это дѣло давно прошедшее.

Готлибъ и Шарлота любили другъ друга, но эта любовь выражалась не словами, они ни разу еще не сказали другъ другу: «я люблю тебя». Такъ прошло болѣе полугода. И вотъ, наконецъ, наступилъ день вѣчнопамятный для моего пріятеля, день неизъяснимыхъ восторговъ и невыразимыхъ мукъ. Однажды,—это было лѣтомъ въ жаркій ясный день, — Готлибъ пришелъ послѣ обѣда къ г. Бухфресеру. Онъ отдыхалъ. Госпожа ректорша, занятая какимъ-то домашнимъ дѣломъ, предложила моему пріятелю погулять въ ихъ саду. Надобно вамъ сказать, что садъ господина Бухфресера славился во всемъ городѣ. Подъ нимъ было, конечно, не менѣе доброй русской полудесятины, и все это пространство, за исключеніемъ небольшого цвѣтника, было засажено деревьями, по большей части фруктовыми; но были, однако-же, и цѣлыя куртины сплошныхъ акацій, сиреней и воздушныхъ жасминовъ, среди которыхъ узенькія, усыпанныя пескомъ, дорожки разбѣгались во всѣ стороны, и такъ искусно были перепутаны между собою, что этотъ, по здѣшнему небольшой, садикъ показался бы вамъ, если не паркомъ, такъ ужъ, конечно, большимъ и чрезвычайно тѣнистымъ садомъ. Готлибу онъ показался на этотъ разъ краше земного рая, и не удивительно: вдали, сквозь густую зелень кустовъ, мелькало повременамъ что-то похожее на бѣлое платьице. Готлибъ едва могъ переводить духъ, ноги его съ трудомъ двигались, и вотъ, наконецъ, дорожка, по которой онъ шелъ, вывела его на небольшой лужокъ, посреди котораго стояла рѣшетчатая бесѣдка, обросшая кругомъ виноградными лозами. Въ этой бесѣдкѣ сидѣла на скамьѣ дочь господина Бухфресера и читала какую-то книгу.

— Ахъ,—вскричала она,—это вы, господинъ Готлибъ?

Мой пріятель отступилъ назадъ, поклонился и сказалъ заикаясь:

— Да, мамзель Шарлота, это я!

Надобно думать, что въ эту минуту лицо моего друга было пресмѣшное, потому что Шарлота улыбнулась и сказала своимъ тоненькимъ, очаровательнымъ голоскомъ:

— Куда же вы бѣжите?—Отдохните!—Садитесь подлѣ меня!

У бѣднаго Готлиба подкосились ноги, захватило духъ, въ глазахъ потемнѣло,—ну, просто, онъ захлебнулся отъ восторга; однако-жъ, вошелъ въ бесѣдку и сѣлъ подлѣ Шарлоты. Прошло нѣсколько минутъ, а Готлибъ

все еще не могъ выговорить ни слова. Шарлота также молчала.

— Что вы это читаете?—спросилъ, наконецъ, мой пріятель, не смѣя, однакожъ, прикоснуться къ книгѣ, которая лежала на колѣняхъ Шарлоты.

— Идилліи Соломона Геснера,—отвѣчала она.

— Геснера, — повторилъ Готлибъ, — этого пѣвца природы и любви; этого очарователя, который переноситъ насъ въ блаженный вѣкъ аркадскихъ пастуховъ? О, какъ люди были тогда счастливы! Неправда ли, мамзель Шарлота?

— Да!—прошептала со вздохомъ дѣвушка.

— Тогда любовь не считалась преступленіемъ, — сказалъ Готлибъ; — люди не знали этихъ тягостныхъ условій общества, этихъ глупыхъ приличій, этого неравенства состояній...

— Ахъ, да! прошептала опять Шарлота...

— Тогда, — продолжалъ съ жаромъ мой пріятель,—какой-нибудь пастушокъ спрашивалъ пастушку: «любишь ли ты меня, Хлоя?» А пастушка отвѣчала, вовсе не краснѣя: «да, я люблю тебя, Дафнисъ!» Ну, вотъ точно такъ, какъ бы я теперь спросилъ васъ: «здоровы ли вы, мамзель Шарлота?» А вы бы мнѣ отвѣчали: «слава Богу, господинъ Готлибъ!..» Счастливыя времена! Не даромъ васъ называютъ золотымъ вѣкомъ!

— О, конечно,—промолвила Шарлота.

Вдругъ что-то зашумѣло между кустами. Готлибъ вскочилъ.

— Ничего, — сказала Шарлота,—это моя собачка Мими, поди сюда!.. Садитесь, мой милый Готлибъ, не бойтесь: мы здѣсь совершенно одни.

«Мой милый Готлибъ!.. Мы здѣсь совершенно одни!..» Фу, какая тревога поднялась въ груди моего пріятеля! Онъ слушалъ послѣдній курсъ медицины, но если-бъ его спросили въ эту минуту: «Готлибъ, гдѣ у тебя пульсъ?»—то онъ, вѣрно, бы отвѣчалъ: «не знаю!» Вся кровь закипѣла въ его жилахъ... Вотъ она, блаженная, счастливѣйшая минута въ жизни!..

— Шарлота,—сказалъ онъ, задыхаясь отъ избытка чувствъ.

— Готлибъ!—прошептала дѣвушка, покраснѣвъ, какъ роза.

— Шарлота,—повторилъ онъ, — ты любишь меня?

— О, твоя, на-вѣкъ!—вскричала Шарлота, бросаясь въ объятія моего друга.

— Врешь, негодная!—раздался изъ-за кустовъ голосъ, и господинъ Бухфресеръ, съ хлопушкою въ рукѣ, явился передъ глазами онѣмѣвшихъ отъ ужаса любовниковъ. Я никогда не назову сыномъ этого ничтожнаго!—продолжалъ онъ. — Твоимъ мужемъ будетъ мой другъ, почтенный профессоръ, господинъ Гешволенгенъ! А ты, подлый обольститель,— прибавилъ господинъ Бухфресеръ дрожащимъ отъ бѣшенства голосомъ, — вонъ изъ моего дома!

Дѣлать было нечего, Готлибъ долженъ былъ повиноваться; но я могу васъ увѣрить, что онъ не побѣжалъ вонъ изъ сада, какъ подлый трусъ, а вышелъ потихоньку; и хотя разгнѣванный отецъ забылся до того, что ударилъ его вдогонку хлопушкою, но онъ не прибавилъ шагу и сохранилъ до конца все достоинство, приличное благородному нѣмцу, для котораго честь дороже всего на свѣтѣ.

Съ тѣхъ поръ Готлибъ не видалъ ужъ болѣе Шарлоты. Съ нею поступили самымъ варварскимъ образомъ. Жестокая мать надавала ей пощечинъ и заперла въ темный чуланъ. Но эта безчеловѣчная мѣра не послужила ни къ чему: Шарлота была дѣвица съ необычайнымъ, высокимъ характеромъ. Она сказала отцу и матери, что «будетъ любить Готлиба вѣчно». Бездушные родители не сжалились надъ бѣдною дочерью; напротивъ, они увеличили свои гоненія, терзали ее, мучили, морили голодомъ, цѣлый мѣсяцъ продержали на одномъ васерь-супѣ; но ничто не помогло: Шарлота продолжала говорить, что рѣшительно пойдетъ замужъ за этого стараго чорта Гешволенгена, что она принадлежитъ Готлибу, что души ихъ обвѣнчаны и что никакія истязанія не заставятъ ее отказаться отъ этого священнаго союза. Мой пріятель узналъ всѣ эти подробности отъ ихъ кухарки, очень доброй женщины, которая горько плакала, разсказывая ему о страданіяхъ своей несчастной барышни. Разумѣется, эта плачевная исторія не могла долго оставаться тайною для городскихъ жителей. Университетскіе товарищи Готлиба обрадовались этому случаю: со всѣхъ сторонъ посыпались на него насмѣшки. Мамзель Бухфресеръ называли нѣжной Шарлотою, а его— несчастнымъ Вертеромъ. Онъ долго отмалчивался; но когда одинъ наглецъ осмѣлился послать къ нему, при самой язвительной запискѣ, огромный пистолетъ, заряженный горохомъ, то онъ вышелъ, наконецъ, изъ себя, вызвалъ этого негодяя на поединокъ и, не смотря на то, что его, какъ водится, защищали съ двухъ сторонъ секунданты, обрубилъ ему уши. Это нѣсколько поумирило господъ студентовъ, но въ то-же время возстановило противъ него всѣхъ прежнихъ покровителей. Этотъ дерзкій насмѣшникъ, котораго онъ окорналъ, какъ моську, былъ сынъ ординарнаго профессора медицины, племянникъ прозектора, читавшаго курсъ патологической анатоміи, и будущій зять проректора университета, господина Штокфиша, который преподавалъ патологію, симіотику и всеобщую терапію. О деканѣ медицинскаго факультета, господинѣ Гешволенгенѣ, и говорить нечего: Готлибъ, какъ вы ужъ знаете, былъ его соперникомъ. Бывало, на всѣхъ экзаменахъ

пріятеля моего осыпали похвалами, а теперь, лишь только онъ разинетъ ротъ, кругомъ его поднимается непріязненный шопотъ и по всѣмъ угламъ аудиторіи начнутъ повторяться, сперва потихоньку, а потомъ во весь голосъ, чрезвычайно обидныя восклицанія «Азофусъ! Игнарусъ! Индоктусъ! Инептусъ!» и даже «Азинусъ!!» Другимъ, которые не стоятъ его и мизинца, даютъ баллы, а ему пишутъ нули— горе, да и только! Вотъ наступилъ послѣдній и окончательный экзаменъ; почти всѣ товарищи Готлиба получили лѣкарскіе дипломы, и даже одинъ глупецъ, которому вы бы не позволили лѣчить вашей кошки, удостоился званія доктора медицины, вѣроятно, потому, что матушка его очень часто угощала господъ профессоровъ, а прилежный и знающій свое дѣло Готлибъ остался не при чемъ. Вы можете себѣ представить, отчаяніе этого бѣднаго сироты; онъ не зналъ, куда ему дѣваться, не зналъ, что дѣлать съ собою!.. Какъ вдругъ, вовсе неожиданно, его пригласили въ университетское присутствіе, и господинъ проректоръ Штокфишъ, который, по болѣзни ректора, занималъ предсѣдательское мѣсто, объявилъ ему, что изъ уваженія къ его недостаточному состоянію, и ради того, что онъ природный нѣмецъ, ему не откажутъ въ лѣкарскомъ званіи, если только онъ дастъ письменное обязательство не лѣчить никого во всей Германіи.

— Помилуйте,—завопилъ Готлибъ,—да къ чему же мнѣ послужитъ лѣкарскій дипломъ?

— А вотъ къ чему,—отвѣчалъ господинъ Штокфишъ:—по милости этого диплома, всѣ будутъ обязаны признавать васъ за медика, такъ какъ вы не имѣете достаточныхъ познаній, чтобы быть врачемъ...

Мой пріятель хотѣлъ что-то возразить, но проректоръ не далъ выговорить ему ни слова.

— Да, господинъ Готлибъ, — продолжалъ онъ,—вы не имѣете для того достаточныхъ свѣдѣній—это рѣшено; а что рѣшитъ нѣмецкій университетъ, то свято и ненарушимо, и мы, оберегая честь нашего ученаго сословія, не можемъ дозволить вамъ заниматься практикою въ такомъ просвѣщенномъ государствѣ, какова Германія. Но мы не запрещаемъ вамъ ѣхать за границу. Ступайте съ Богомъ, и всего лучше на Востокъ, то-есть въ Турцію, Персію или Россію: тамъ и плохой цирюльникъ найдетъ себѣ практику. Подписку вы дадите теперь, а завтра ступайте къ господину письмоводителю университетскаго правленія, вы получите отъ него дипломъ. Но знайте, господинъ Готлибъ, если вы осмѣлитесь употребить во зло нашу довѣренность, то университетъ, въ силу данной вами подписки, отберетъ обратно свой дипломъ, который вы получите не по достоинству, а по снисхожденію и великодушію вашихъ прежнихъ наставниковъ. Во всякомъ *случаѣ, я совѣтую* вамъ отправиться какъ можно скорѣе изъ нашего города; здѣсь вамъ нечего дѣлать; здѣсь ни въ одной аптекѣ не отпустятъ по вашему рецепту лѣкарства и тотчасъ донесутъ университету, что вы, не смотря на сдѣланное съ вами условіе, пишете рецепты и беретесь лѣчить больныхъ.

Мой пріятель былъ человѣкъ не глупый и тотчасъ смекнулъ въ чемъ дѣло. Онъ понялъ, что въ этой рѣчи господина проректора милосердіе и великодушіе были одни только громкія слова. Университетъ могъ признать его недостойнымъ лѣкарскаго званія, но не имѣлъ никакого права выгнать его изъ города, а господину ректору и будущему его зятю очень было нужно услать бѣднаго Готлиба куда-нибудь подальше отъ мамзель Шарлоты. Конечно, мой пріятель страстно любилъ дочь господина Бухфресера и вовсе не желалъ ѣхать на востокъ; но ему не хотѣлось также умирать и голодной смертью; вотъ онъ подумалъ, подумалъ, да и рѣшился, наконецъ, покинуть навсегда свое отечество... Ну, вотъ, Сергѣй Михайловичъ, теперь вы видите, что и въ Германіи не такъ-то легко достаются лѣкарскіе дипломы, и что мой пріятель дорого заплатилъ за то, чтобъ имѣть право называться медикомъ.

Онѣгинъ. Да, кончено! Да, вѣдь, это случай необыкновенный; при другихъ обстоятельствахъ вашъ пріятель получилъ бы свой дипломъ даромъ.

Бирманъ. Извините, Сергѣй Михайловичъ, вы ошибаетесь. По милости этихъ обстоятельствъ, съ моимъ пріятелемъ поступили несправедливо въ университетѣ, это само по себѣ, но сверхъ того онъ долженъ былъ порядкомъ поплатиться, да еще вдобавокъ его обругали самымъ обиднымъ образомъ. Письмоводитель, отъ котораго ему слѣдовало получить лѣкарскій дипломъ, жилъ на дачѣ. Готлибъ выпросилъ у одного пріятеля лошадь и отправился къ нему верхомъ. Пріѣхавъ къ крыльцу загороднаго домика письмоводителя, онъ спѣшился и постучался въ дверь.

— Войди!—закричалъ кто-то грубымъ голосомъ.

Готлибъ вошелъ и, вмѣсто письмоводителя, увидѣлъ передъ собой его супругу, самую толстую, безобразную и злую женщину изъ всего Геттингена.

— Что вамъ надобно?—спросила она такъ ласково, какъ будто бы хотѣла сказать: зачѣмъ пришелъ, бездѣльникъ!—Что тебѣ надобно?—повторила она еще вѣжливѣе, догадываясь по смиренному виду и поношенному платью Готлиба, что передъ нею стоитъ человѣкъ бѣдный и вовсе нечиновный.

— Я пріѣхалъ къ господину письмоводителю за моимъ лѣкарскимъ дипломомъ,—отвѣчалъ Готлибъ, смотря съ удивленіемъ и ужасомъ на огромный красный носъ и рыжіе усы этой отвратительной женщины.

— Моего мужа нѣтъ дома, — проворчала

она.—Впрочемъ, все равно. Вѣдь тебя зовутъ Готлибомъ?

— Точно такъ.

— Такъ подожди, дружокъ, я схожу за твоимъ дипломомъ.

Черезъ полминуты госпожа письмоводительша воротилась.

—Вотъ твой дипломъ,—сказала она.

Я протянулъ руку.

— Постой, постой!.. Видишь какой проворный! Отдай прежде деньги.

— Деньги?—вскричалъ Готлибъ. — Какія деньги?

— Извѣстно какія: за пергаментъ, за печать, за то, за другое... Всего пятьдесятъ гульденовъ.

Пятьдесятъ гульденовъ! А у бѣднаго Готлиба только и было сто гульденовъ за душою.

— Помилуйте,—сказалъ онъ,—ужъ если я непремѣнно долженъ платить, хотя мнѣ объ этомъ и не говорили, такъ нельзя ли взять поменьше: я человѣкъ бѣдный.

— Да оттого-то съ тебя и берутъ только пятьдесятъ гульденовъ,—прервала эта вѣдьма, — съ порядочныхъ людей мы беремъ гораздо больше. Да что съ тобою говорить: давай деньги или убирайся вонъ!

Готлибъ хотѣлъ было еще поторговаться, но госпожа письмоводительша и слушать его не стала. Дѣлать было нечего: онъ отсчиталъ ей пятьдесятъ гульденовъ, взялъ дипломъ и отправился. Готлибъ садился уже на лошадь, какъ вдругъ пришла ему въ голову несчастная мысль посмѣяться надъ этой грубой бабой. Онъ воротился назадъ.

— Что тамъ еще? Зачѣмъ?—спросила ласковая хозяюшка.

— Извините, сударыня!—сказалъ Готлибъ самымъ вѣжливымъ голосомъ.—Вы такія милостивыя и добрыя, довершите ваши благодѣянія: ужъ если вы изволили мнѣ пожаловать за пятьдесятъ гульденовъ одинъ лѣкарскій дипломъ, такъ не можете ли уступить за ту же цѣну и другой?

— Другой?—подхватила хозяйка.—Кому?

— Моей лошади, — отвѣчалъ Готлибъ съ низкимъ поклономъ.

Отпустивъ эту шуточку, онъ думалъ, что разобидитъ до смерти гордую письмоводительшу, что она взбѣсится, начнетъ его позорить, — не тутъ-то было: эта спесивая барыня поглядѣла на него весьма равнодушно и сказала прехладнокровнымъ образомъ:

— Твоей лошади, голубчикъ? Пожалуй!... Ужъ если я выдала лѣкарскій дипломъ ослу, такъ почему же его не дать лошади?

Лаврентій Алексѣевичъ (*смѣясь*). Айда хватъ баба!.. Вотъ какъ огорошила!

Бирманъ. Да, Лаврентій Алексѣевичъ, повѣрите-ль, и теперь вспомнить не могу: такъ меня съ ногъ и срѣзала.

Кучумовъ. Тебя, Богданъ Ѳомичъ? Такъ это былъ ты?

Бирманъ. Ахъ, нѣтъ, извините! Я хотѣлъ сказать: моего пріятеля.

Лаврентій Алексѣевичъ. Полно, полно, Богданъ Ѳомичъ!.. Ужъ коли сболтнулъ, такъ признавайся!

Бирманъ. Ну, дѣлать нечего,—пришлось каяться. Да, Лаврентій Алексѣевичъ, я разсказалъ вамъ собственную исторію.

Княжна Задольская. Такъ это были вы, Богданъ Ѳомичъ! Какъ это интересно! Ну, что, вы не знаете, что сдѣлалось съ дочерью этого господина, Бух... какъ бишь его?.. ну, съ вашей мамзель Шарлотою?

Бирманъ. Я лѣтъ двадцать не имѣлъ объ ней никакого извѣстія, а потомъ узналъ и совершенно неожиданнымъ образомъ, что она жива и здорова.

Онѣгина. Какъ же вы это узнали?

Бирманъ. Отъ одного университетскаго товарища, который переселился изъ Германіи въ Саратовскую губернію и живетъ теперь въ Сарептѣ. Онъ видѣлъ ее наканунѣ своего отъѣзда въ Россію.

Онѣгина. Ну, что жъ онъ вамъ разсказывалъ? Что ваша Шарлота?

Бирманъ. Ничего, все слава Богу! Живетъ по-прежнему въ Геттингенѣ, похоронила двухъ мужей и сбиралась выйти за третьяго.

Онѣгина. За третьяго мужа?

Бирманъ. Вы, сударыня, этому удивляетесь, а я вовсе не дивился. Мамзель Шарлота должна была похоронить двухъ мужей и выйти за третьяго, я зналъ это напередъ.

Онѣгина. Почему жъ вы это знали?

Бирманъ. А вотъ почему, Наталья Кирилловна. Когда я увидѣлъ, что мнѣ не остается никакой надежды и что я долженъ навсегда разстаться съ Шарлотою, то горесть моя превратилась въ совершенное отчаяніе; я вовсе обезумѣлъ: метался изъ стороны въ сторону и рвалъ на себѣ волосы. Къ счастію, на ту пору завернула ко мнѣ кухарка господина Бухфресера. Эта добрая женщина стала утѣшать меня, и сказала между прочимъ: «Послушайтесь меня, господинъ Бирманъ, не горюйте, а благодарите Бога, что вамъ нельзя жениться на мамзель Шарлотѣ. Теперь я могу открыть вамъ преважную тайну; вы отъ насъ уѣзжаете, такъ объ этомъ никто не узнаетъ. Одна знаменитая ворожея, которая никогда еще не ошибалась, предсказала мамзель Шарлотѣ, что она будетъ жить очень долго, горя натерпится вдоволь, похоронитъ двухъ мужей и выйдетъ за третьяго. Теперь подумайте, господинъ Бирманъ: вѣдь вы были бы у нея первымъ мужемъ, такъ какая же тутъ для васъ пріятность? Ну, разсудите сами!» Признаюсь, Наталья Кирилловна, эти слова очень на меня подѣйствовали, не то чтобъ я совсѣмъ утѣшился, а все какъ будто бы полегче стало.

Онѣгинъ. Ахъ, Богданъ Ѳомичъ!.. Вы человѣкъ ученый, а вѣрите такимъ вздорамъ!

Бирманъ. Да вѣдь это предсказаніе сбылось.

Онѣгинъ. Такъ что жъ. Одинъ случай ничего не доказываетъ.

Кудринскій. Вы называете это случаемъ, Сергѣй Михайловичъ? Нѣтъ, я убѣжденъ, что предсказанія, явленія духовъ, таинственные сны, предчувствія, однимъ словомъ, всѣ эти отголоски міра невещественнаго, вовсе не вздоръ, а совершенная истина. Эти минутные проблески безсмертной души, заключенной въ своемъ земномъ тѣлѣ, бываютъ очень рѣдко, и только при извѣстныхъ условіяхъ; но что они возможны, въ этомъ нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія.

Кучумовъ. Да, батюшка, и я скажу, что ворожеи и колдуны есть, это такъ вѣрно, какъ то, что меня зовутъ Игнатіемъ Ѳедоровичемъ Кучумовымъ.

Княжна Задольская. А я такъ рѣшительно согласна съ Сергѣемъ Михайловичемъ: все это совершенный вздоръ, дѣтскія сказки и больше ничего. Когда я была еще при Дворѣ, мнѣ нѣсколько разъ случалось встрѣчаться въ обществахъ съ знаменитымъ французскимъ философомъ мосье Дидеро, который былъ тогда въ Петербургѣ. Однажды зашелъ при немъ разговоръ о предчувствіяхъ и о предсказаніяхъ,—Боже мой, какъ онъ сталъ надъ этимъ смѣяться! Да съ какой остротой, съ какимъ умомъ!..

Кудринскій. Ну, вотъ еще, княжна, нашли человѣка!.. Да развѣ этотъ мосье Дидеро чему-нибудь вѣрилъ?

Засѣкинъ. Извините, Александръ Дмитріевичъ,—этотъ господинъ Дидеро многому вѣрилъ. Вотъ, напримѣръ, онъ вѣрилъ, что часы могутъ составиться случайно, сами собою, что для этого вовсе не нужно часовщика, и даже называлъ ханжою, кажется, вовсе не набожнаго человѣка, а именно Вольтера, за то, что онъ былъ противнаго мнѣнія и находилъ весьма естественнымъ, при видѣ часовъ, предполагать часовщика, который ихъ устроилъ. Господинъ Дидеро вѣрилъ и свято вѣрилъ, что только то существуетъ въ природѣ, что можно видѣть глазами, ощупать руками, постигнуть умомъ, доказать правильнымъ силлогизмомъ и объяснить наукою. Онъ не сомнѣвался также, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ никакъ не должно вѣрить не только милліонамъ очевидныхъ свидѣтелей, но даже собственнымъ своимъ чувствамъ.

Лаврентій Алексѣевичъ. Ахъ, батюшка, да кому же прикажете вѣрить?

Засѣкинъ. Разумѣется тому, который никогда не ошибался и не можетъ ошибиться, который все знаетъ, все отгадалъ, для котораго нѣтъ никакой тайны въ природѣ, однимъ словомъ: нашему земному разуму.

Кучумовъ. Нашему разуму? Помилуй, Максимъ Степановичъ! Да вѣдь у всякаго свой разумъ въ головѣ; ты думаешь такъ, я этакъ, а кто изъ насъ правъ?..

Засѣкинъ. Ну, разумѣется, тотъ, кто ничему не вѣритъ, по крайней мѣрѣ, такъ говоритъ господинъ Дидеро.

Лаврентій Алексѣевичъ. Ахъ, матушка княжна, и вы были знакомы съ такимъ человѣкомъ!.. Ну, что за диво, что онъ смѣялся, когда при немъ стали говорить о предчувствіяхъ и предсказаніяхъ. Вотъ Сергѣй Михайловичъ вовсе не вольнодумецъ, а называетъ это вздоромъ. Да и ты, Володя, что-то ухмыляешься: видно также не слишкомъ этому вѣришь?

Я. Да, дѣдушка, прежде я этому не вѣрилъ, но послѣ одного случая...

Лаврентій Алексѣевичъ. Вотъ что! Такъ и съ тобою ужъ бывали случаи?

Кучумовъ. Еще бы! Вѣдь Владиміръ Николаевичъ не дома сидѣлъ. Мы съ тобой были въ Швеціи и въ Польшѣ, а онъ до самаго Парижа доходилъ. И помоложе насъ, да больше видѣлъ.

Онѣгина. Что жъ это былъ за случай такой?

Я. Съ однимъ сослуживцемъ моимъ и пріятелемъ, котораго я очень любилъ. Престранный случай!

Онѣгина. Такъ разскажите намъ.

Лаврентій Алексѣевичъ. Въ самомъ дѣлѣ, Володя, потѣшь честную компанію—разскажи!

Я. Извольте, дѣдушка, только не прогнѣвайтесь,—разсказчикъ-то я плохой.

Лаврентій Алексѣевичъ. Ничего, любезный! Мы всѣ люди добрые, не взыщемъ.

Предсказаніе.

— Вы знаете, дѣдушка,—такъ началъ я, обращаясь къ Лаврентію Алексѣевичу,—что въ двѣнадцатомъ году меня не было при главной арміи; я находился тогда въ отдѣльномъ корпусѣ графа Витгенштейна и служилъ въ сводномъ кираспрскомъ полку, сформированномъ изъ запасныхъ эскадроновъ кавалергардскаго и конногвардейскаго полковъ. Со мною служилъ въ одномъ эскадронѣ поручикъ Порфирій Ивановичъ Лидинъ. Мы шли весь походъ вмѣстѣ, на бивакахъ спали въ одномъ шалашѣ, на переходахъ всегда ѣхали рядомъ, однимъ словомъ, почти никогда не разставались. Лидинъ былъ нѣсколькими годами постарѣе меня, собой прекрасный мужчина, отлично храбрый офицеръ, но тихій и скромный, какъ красная дѣвушка. Я рѣдко видалъ его веселымъ даже и тогда, когда ему случалось, ради компаніи, покутить со своими товарищами, то есть выпить лишній бокалъ шампанскаго. Другіе офицеры, чѣмъ больше пили, тѣмъ громче разговаривали, шумѣли и веселились, какъ говорится, на распашку, а онъ съ каждымъ новымъ стаканомъ вина или пунша становился все тише и молчаливѣе. Лидинъ очень любилъ музыку,

и самъ игралъ прекрасно на флажолетѣ, который всегда носилъ съ собою.

Вотъ, если не ошибаюсь, пятаго октября, то есть наканунѣ полоцкаго сраженія, мы расположились биваками верстахъ въ пятнадцати отъ Полоцка, изъ котораго должны были, на другой день, во чтобъ ни стало, выжить французовъ. Зная, что намъ придется вставать чѣмъ свѣтъ, мы съ Лидинымъ поторопились напиться чайку и залегли въ своемъ шалашѣ, чтобъ выспаться порядкомъ до утра; но сонъ дѣло невольное, прошло часа два, а намъ не спалось. Лидинъ, который казался задумчивѣе обыкновеннаго, вынулъ изъ кармана свой флажолетъ и заигралъ на немъ похоронный маршъ.

— Да, полно, Лидинъ!—сказалъ я.—Что ты отпѣвать что ль насъ собрался? Чѣмъ бы тебѣ радоваться, что у насъ завтра пиръ на весь міръ...

— У насъ! — повторилъ Лидинъ. — Нѣтъ, Владиміръ, развѣ у васъ, а мнѣ на этомъ пиру не пировать!

— Это почему?

— Потому, что мертвые не пируютъ.

— Да вѣдь ты, кажется, живъ?

— Не надолго.

— А почему ты это думаешь?—спросилъя.

— Да какъ тебѣ сказать,—промолвилъ Лидинъ, помолчавъ нѣсколько времени.—Я бы самъ ничего не думалъ, да вотъ тутъ кто-то надъ моимъ ухомъ шепчетъ: «Порфирій, насмотрись вдоволь на эти чистыя, ясныя небеса, полюбуйся этими яркими звѣздами, да и простись съ ними навсегда: другой уже ночи для тебя не будетъ!»

— Какъ тебѣ не стыдно, Порфирій!—сказалъ я.—Неужели ты вѣришь предчувствіямъ? Да это совершенная глупость, суевѣріе!..

— Нѣтъ, Владиміръ,—отвѣчалъ Лидинъ,— еслибъ я былъ суевѣренъ, такъ мнѣ бы и въ голову не пришло, что меня завтра убьютъ. Ты не вѣришь предчувствіямъ, а вѣришь ли ты предсказаніямъ?

— Да это одно и тоже, Порфирій; разница только въ томъ, что если мы вѣримъ предчувствіямъ, такъ сами себя обманываемъ, а если вѣримъ предсказаніямъ, такъ насъ обманываютъ другіе. Да что, развѣ тебѣ было что-нибудь предсказано?

Лидинъ не отвѣчалъ ни слова. Я повторилъ мой вопросъ.

— Да!—проговорилъ, наконецъ, мой товарищъ.—Мнѣ предсказано, что я умру не прежде, какъ увижу то, чего до сихъ поръ, кажется, никто еще не видалъ, такъ вѣроятно, и я не увижу.

— Что-жъ это такое?

— А вотъ послушай. Ты помнишь, что у насъ былъ растахъ въ уѣздномъ городѣ Невелѣ. Тебя послали впередъ заготовлять фуражъ, а мнѣ, вмѣстѣ съ артиллерійскимъ капитаномъ Прилуцкимъ, отвели квартиру у одного богатаго купца. Послѣ сытнаго обѣда, которымъ угостилъ насъ хозяинъ, мы хотѣли было отдохнуть, какъ вдругъ въ сѣняхъ нашей квартиры поднялся шумъ.

— Эй, вы!—закричалъ Прилуцкій.—Что у васъ тамъ?

— Да вотъ, ваше благородіе,—сказалъ денщикъ Прилуцкаго, входя въ нашу комнату,— какая-то полоумная лѣзетъ сюда безъ доклада.

— Да кто она такая?

— А шутъ ее знаетъ! Кажись, цыганка.

— Молоденькая?—спросилъ Прилуцкій.

— И, нѣтъ, ваше благородіе! Старая корга; да рожа-то какая—взглянуть страшно.

— Что жъ, она милостинку что ль проситъ?—сказалъ я.

— Никакъ нѣтъ, ваше благородіе; хочетъ вамъ поворожить.

— Вотъ что!—молвилъ Прилуцкій.—Ну, хорошо, пусти ее!

Денщикъ сказалъ правду: во всю жизнь мою я не видалъ ничего безобразнѣе этой старой цыганки, и, судя по ея дикимъ, безсмысленнымъ глазамъ, ее точно можно было назвать полоумною.

— Послушай, голубушка, сказалъ Прилуцкій, мы люди военные, такъ намъ не худо знать, вернемся ли мы живы и здоровы домой. Вотъ тебѣ на ладонку,—промолвилъ онъ, подавая ей двугривенный,—поворожи! Да прежде всего скажи, здорова ли моя жена и дѣти?

— Изволь, молодецъ,—проворчала цыганка.—Подай-ка мнѣ свою ручку... Шутишь, баринъ,—продолжала она:—у тебя нѣтъ ни жены, ни дѣтей, да и слава Богу!

— А что?—спросилъ Прилуцкій.

— Да такъ!..

— А что, голубушка, что жъ меня французы убьютъ что ль?

— Умирать-то всѣмъ надобно,—промолвила цыганка:—да только ты, молодецъ, умрешь не такъ, какъ другіе.

— А какъ же онъ умретъ?—прервалъ я.

— Да нечего сказать, не по-людски: онъ умретъ, сидя верхомъ на мѣдномъ конѣ.

Мы оба засмѣялись.

— А мой товарищъ?—спросилъ Прилуцкій.

Цыганка посмотрѣла мнѣ на руку и сказала:

— И тебѣ, молодецъ, не сдобровать; ты умрешь въ ту самую минуту, когда увидишь церковь Божію на облакахъ.

Разумѣется, мы засмѣялись громче прежняго.

— А если не увижу?—спросилъ я.

— Коли не увидишь, такъ тебѣ и смерти не видать.

— Вотъ что, Владиміръ, было мнѣ предсказано,—промолвилъ Лидинъ, оканчивая свой разсказъ.

— Какой вздоръ!—сказалъ я.—И ты называешь эти безсмысленныя слова полоумной бабы предсказаніемъ?

— Ужъ тамъ какъ хочешь, Владиміръ,—

отвѣчалъ Лидинъ,—да вѣдь Прилуцкаго-то убили подъ Клястицами.

— Ну, что жъ?

— Такъ ты не слыхалъ, какъ его убили? Въ ту самую минуту, какъ открылся огонь съ одной маскированной непріятельской батареи и ему первымъ ядромъ оторвало голову, знаешь ли, что онъ сидѣлъ верхомъ?

— На мѣдномъ конѣ?—прервалъ я.

— Да, почти: онъ сидѣлъ верхомъ на своей пушкѣ, а вѣдь ты знаешь, у насъ въ артиллеріи чугунныхъ пушекъ нѣтъ.

— Ну, конечно, случай довольно странный... Впрочемъ, если эта цыганка дѣйствительно предсказываетъ будущее, такъ тѣмъ лучше для тебя. Верхомъ на пушку сѣсть можно, можно даже по нуждѣ назвать эту пушку мѣднымъ конемъ, а построить церковь на облакахъ, воля твоя, ужъ этого никакъ нельзя.

— А вотъ увидимъ,—промолвилъ Лидинъ,— принимаясь опять за свой похоронный маршъ.

Я повернулся на бокъ, закутался въ шинель, заснулъ и, вѣроятно, по милости этой плачевной музыки, видѣлъ во всю ночь пренепріятные сны, особенно одинъ, который я и до сихъ поръ забыть не могу. Мнѣ казалось, что я точно такъ же убитъ, какъ Прилуцкій, что меня хоронятъ со всѣми военными почестями и, вмѣсто орденовъ, несутъ передъ гробомъ на бархатной подушкѣ мою оторванную голову.

Нашъ полкъ выступилъ въ походъ до разсвѣта. Часа три мы шли лѣсомъ по такой адской дорогѣ, что я и теперь не могу вспомнить о ней безъ ужаса. Грязь по колѣно, кочки, пни, валежникъ, и на каждой верстѣ два или три болота, въ которыхъ лошади вязли по самую грудь. Солнце взошло, а мы все еще не могли выбраться изъ этой трущобы, то есть пройти съ небольшимъ верстъ десять. Мы всѣ умирали отъ нетерпѣнія, потому что нашъ авангардъ давно ужъ былъ въ дѣлѣ и мы слышали передъ собой не только пушечную пальбу и ружейную перестрѣлку, но подъ конецъ, несмотря на безпрерывный гулъ, могли даже различать человѣческіе голоса и это родное громогласное «ура», съ которымъ русскіе солдаты всегда бросаются въ штыки. Вы можете себѣ представить, какъ весело было намъ все это слышать и ничего не видѣть!.. Вотъ нашему полку велѣли остановиться и дать вздохнуть лошадямъ. Потомъ мы прошли еще съ полверсты; этотъ безконечный боръ сталъ рѣдѣть, запахло порохомъ и мы выѣхали на опушку лѣса. Сначала мы ничего не видѣли передъ собою, кромѣ обширной равнины и густого дыма, который стлался по землѣ, клубился въ воздухѣ и волновался вдали, какъ необозримое море, но когда насъ подвинули впередъ, то мы стали различать движеніе колоннъ, атаки конницы и безпрерывную бѣготню нашихъ и непріятельскихъ застрѣльщиковъ, которые то подавались впередъ, то отступали назадъ, въ одномъ мѣстѣ собирались въ отдѣльныя толпы, а въ другомъ дрались въ разсыпную. Когда мы стояли на опушкѣ лѣса, то видѣли только издали, какъ непріятельскіе ядра ломали деревья, или, бороздя и взрывая землю, съ визгомъ взмывали опять на воздухъ, а теперь ужъ они ложились позади насъ. Я еще никогда не бывалъ въ дѣлѣ и поэтому, какъ вовсе неопытный новичокъ, былъ чрезвычайно вѣжливъ, то есть встрѣчалъ всякое непріятельское ядро пренизкимъ поклономъ. Товарищи надо мной подшучивали, да я и самъ послѣ каждаго поклона смѣялся отъ всей души. Лидинъ, казалось, вовсе не думалъ о томъ, что смерть летала надъ нашими головами. На грустномъ лицѣ его не замѣтно было ни малѣйшей тревоги; онъ былъ только блѣднѣе и задумчивѣе обыкновеннаго. Съ правой стороны, шагахъ въ пятнадцати отъ нашего полка, начиналась мелкая, но занимающая большое пространство и очень густая зарость. Лидинъ смотрѣлъ ужъ нѣсколько минутъ, не сводя глазъ, на этотъ кустарникъ.

— Владиміръ, — сказалъ онъ, — погляди, вотъ прямо, сюда... Что это?.. Показалось что ль мнѣ? Ты ничего не видишь?

— Ничего,—отвѣчалъ я.

— Вотъ опять, продолжалъ Лидинъ. Вотъ за березовымъ кустомъ... Ты не замѣтилъ?

— Да что такое?

— Въ этомъ кустарникѣ кто-нибудь да есть.

— Вѣроятно, наши егеря.

— Такъ зачѣмъ же на нихъ синіе мундиры?

— И, что ты?—сказалъ я.—Да какъ попасть сюда французамъ?.. Помилуй, позади нашихъ колоннъ!

— Егеря! — проговорилъ вполголоса Лидинъ.—Ну, можетъ-быть, да только не наши. Мнѣ показалось, что и кивера-то этихъ русскихъ егерей очень походятъ на французскіе.

— Ну, вотъ еще!—прервалъ я.— Да какъ можно отсюда отличить русскій киверъ отъ французскаго?.. Полно, Порфирій... Конечно, и я слышалъ, что эти наполеоновскіе волтижеры большіе проказники, но уйти за двѣ версты отъ своей передовой линіи, — нѣтъ, воля твоя, ужъ это было бы слишкомъ дерзко!

Лидинъ не отвѣчалъ ни слова и продолжалъ смотрѣть на кусты.

Ты бывалъ когда-нибудь въ Полоцкѣ?— спросилъ я, помолчавъ нѣсколько времени.

— Бывалъ,—отвѣчалъ Порфирій.

— Вѣдь онъ долженъ быть близко отсюда?

— Да, недалеко.

— Что-жъ мы его не видимъ?

— Его не видно за дымомъ.

— За дымомъ? Такъ онъ долженъ быть вонъ тамъ,—сказалъ я, указывая на дымныя облака, которыя, сливаясь въ одну огромную черную тучу, закрывали передъ нами всю нижнюю часть небосклона.

Лидинъ кивнулъ головой.

— Постой, постой!—продолжалъ я.—Вотъ, кажется, поднялся вѣтерокъ, такъ, можетъ-быть, этотъ невидимка, Полоцкъ, выглянетъ изъ своей засады.

Въ самомъ дѣлѣ, облака стали расходиться, въ вышинѣ засверкали золотые кресты, дымная туча разсѣялась на-двое и посреди ея разрыва обрисовался, облитый солнечными лучами, бѣлый іезуитскій костелъ со своимъ высокимъ куполомъ.

— Ахъ, какая прелесть! — вскричалъ я невольно.—Посмотри, точно театральная декорація!.. Не правда ли, что этотъ костелъ стоитъ какъ будто бы на облакахъ?

Лединъ вздрогнулъ, протянулъ мнѣ руку и сказалъ твердымъ голосомъ:

Прощай, Владиміръ!

Въ въ эту самую минуту по опушкѣ кустарника пробѣжалъ дымокъ, замелькали огоньки и пули посыпались на насъ градомъ. Лединъ тяжело вздохнулъ и упалъ съ лошади. Это былъ послѣдній его вздохъ: пуля попала ему прямо въ сердце.

Кучумовъ. Вотъ изволите видѣть!.. Такъ и выходитъ, что цыганка-то отгадала. Ну, что вы на это скажете, Сергѣй Михайловичъ?

Онѣгинъ. Да то же, что говорилъ прежде: случай и больше ничего.

Лаврентій Алексѣевичъ. Случай! У васъ, господа, все случай. А вотъ если я разскажу вамъ, что было со мной, такъ ужъ этого никакъ нельзя назвать случаемъ. Ты помнишь, Игнатій Ѳедоровичъ,—это, кажется, было въ апрѣлѣ мѣсяцѣ, послѣ взятія краковскаго замка, который захватили обманомъ конфедераты?

Кучумовъ. Какъ не помнить! Мало ли тогда объ этомъ толковъ было. Одни говорили, что ты, отправляясь за приказаніями, слишкомъ понагрузился, сирѣчь хлебнулъ черезъ край; другіе вовсе вѣрить не хотѣли, а нашъ полковой лѣкарь, Адамъ Карлычъ, стоялъ на томъ, что у тебя на тотъ разъ была бѣлая горячка.

Лаврентій Алексѣевичъ. Да я развѣ былъ одинъ? А вахмистръ Бубликовъ, а фурманъ?..

Кучумовъ. Адамъ Карлычъ говорилъ, что у васъ у всѣхъ троихъ была бѣлая горячка.

Лаврентій Алексѣевичъ. У всѣхъ троихъ въ одно время?.. И намъ троимъ все одно и то же мерещилось?.. Да это было бы еще чуднѣе того, что мы видѣли.

Кучумовъ. А что вы такое видѣли?

Лаврентій Алексѣевичъ. Если хотите, такъ я завтра вамъ разскажу, а теперь ужъ поздно, пора ужинать. Да вотъ и Кузьма пришелъ доложить, что кушанье готово. Милости просимъ, гости дорогіе!

Лаврентій Алексѣевичъ подалъ руку княжнѣ Пелагеѣ Степановнѣ; *я, какъ ловкій* петербургскій кавалеръ, подвернулся къ Натальѣ Кирилловнѣ Онѣгиной, и мы всѣ отправились въ столовую.

Канцелярист *).

...Ну, вотъ какой былъ со мною случай,— сказалъ Игнатій Ѳедоровичъ Кучумовъ, кладя на столъ свою трубку. — Это, помнится, было въ тысяча семьсотъ девяносто четвертомъ году. Я жилъ тогда въ моемъ селѣ, верстахъ въ десяти отъ Курска. Вотъ слышу, что въ губернскомъ городѣ хотятъ строить новыя присутственныя мѣста и вызываютъ на торги желающихъ взять на себя поставку кирпича. У меня на ту пору былъ изрядный кирпичный заводишка... Чего же лучше? Въ нашей сторонѣ не скоро дождешься такого сбыта,—поѣду торговаться! И ужъ вѣрно, поставка останется за мною,—вѣдь я большихъ барышей не хочу: нашему брату, дворянину, стыдно казну грабить. Сосѣдъ мой, Сергѣй Кондратьевичъ Барсуковъ, крѣпко мнѣ отсовѣтовалъ брать на себя эту поставку. Да я и слушать его не сталъ.

— Эхъ, Игнатій Ѳедоровичъ, говорилъ онъ мнѣ, не за дворянское ты дѣло берешься! Какой ты подрядчикъ? Ты любишь жить бариномъ: лѣтомъ и осенью гуляешь по отъѣзжимъ полямъ, а зимою задаешь банкеты въ губернскомъ городѣ. Нѣтъ, другъ сердечный, коли хочешь быть подрядчикомъ, такъ не прогнѣвайся: надѣвай-ка самъ армякъ, да ступай къ себѣ въ приказчики, дворянскую-то спесь подъ лавку: тому поклонись, тутъ подмажь...

Я не далъ ему договорить.

— Господи, Боже мой! Чтобъ я пустился на такія воровскія дѣла!.. И ради чего я стану это дѣлать? Хорошій кирпичъ и безъ этого примутъ, а дурной пускай себѣ бракуютъ. Вотъ нашелъ человѣка! Стану я подкупать пріемщиковъ и обманывать нашу матушку Царицу!..

Сергѣй Кондратьевичъ покачалъ головой и, прощаясь со мной, сказалъ:

— Эй, Игнатій Ѳедоровичъ, припомни мое слово: наплачешься ты съ этой поставкой; конечно, честь твоя при тебѣ останется, да останутся ли за тобой твои деревеньки?..

Нечего сказать: умный былъ старикъ, дай Богъ ему царство небесное! Не хотѣлъ я, глупый сынъ, слушать его разумныхъ рѣчей,—да зато послѣ и каялся.

Я поѣхалъ въ Курскъ, явился въ губернское правленіе, — торги еще не начинались.

---

*) Этотъ разсказъ не былъ напечатанъ при жизни М. Н. Загоскина и появился въ печати только въ 1865 г., въ „Русскомъ Архивѣ“. Онъ, очевидно, входитъ въ составъ „Москвы и Москвичей“, именно въ отдѣлъ „Весеннихъ Вечеровъ“, гдѣ въ числѣ разсказчиковъ выведенъ между прочимъ, И. Ѳ. Кучумовъ.

Гляжу, стоятъ четверо подрядчиковъ, что не первые мошенники въ городѣ. Какъ я вошелъ въ канцелярію, они межъ собой перемигнулись, а я думаю про себя: «Что, ребята,—видно, я для васъ не гостинецъ?.. Небось, теперь стачки не будетъ,—не станете вы, плуты, казну-то обирать!» Вотъ они межъ собой пошептались, и одинъ изъ нихъ, купецъ третьей гильдіи, Парамоновъ, такой осанистый, съ толстымъ брюхомъ и окладистой сѣдой бородой, подошелъ ко мнѣ, поклонился низехонько и говоритъ: «Ваше высокоблагородіе, вы также изволите нашимъ дѣломъ заниматься — сирѣчь касательно сегодняшней поставки?»

— Да, любезный, — отвѣчалъ я,—мы съ вами поторгуемся.

Купецъ поглядѣлъ вокругъ себя, подошелъ ко мнѣ поближе и сказалъ вполголоса:

— А что, батюшка, ваше высокоблагородіе! Не лучше ли, знаете ли,—этакъ на мировую?.. Вы, сударь, богатый помѣщикъ, что вамъ въ наши торговыя дѣлишки мѣшаться? Что толку-то, батюшка, коли вы цѣну собьете,—казну не удивишь; у нея шея-то потолще нашей. Не торгуйтесь, ваше высокоблагородіе, а мы бы вамъ отсталаго дали...

Я вспыхнулъ и, помнится, ругнулъ порядкомъ этого краснобая, а онъ, какъ ни въ чемъ не бывало, погладилъ свою бороду, поклонился мнѣ въ поясъ и пошелъ опять толковать со своими товарищами. Вотъ пріѣхалъ губернаторъ, и торги начались... Батюшки, какая пошла рѣзня! Купцы спускаютъ по гривнѣ, а мое дѣло дворянское, — дойдетъ очередь до меня, кричу: «рубль!» Вотъ они стали спускать по копѣечкѣ — и я съѣхалъ на полтину... Глядь-поглядь, а ужъ цѣна-то больно мелка становится. Мои купчики начали переминаться: у одного въ горлѣ пересохло, съ другимъ перхота сдѣлалась, а я себѣ и въ усъ не дую. Повѣрите-ль,—въ такой пришелъ азартъ, что свѣта Божія не вижу; ну, точно какъ будто бы опять на штурмѣ Измаила,—выпучилъ глаза, да такъ и лѣзу.—«За вами, Игнатій Ѳедоровичъ!»—сказалъ губернаторъ. «Честь имѣю поздравить!» Я посмотрѣлъ на торговый листъ... Фу, батюшки,—разбойники-то меня всѣе въ нитку вытянули! А дѣлать нечего, поставка за мной... Отправился я въ свое село, построилъ еще два кирпичныхъ сарая, нанялъ работниковъ, приставилъ къ нимъ приказчика; казалось, человѣкъ хорошій, а вышелъ пьяница и сущій негодяй. Сначала все шло порядкомъ; вотъ и думаю: приказчикъ у меня малый честный, дѣсужій, пойдетъ и безъ меня!..» Далъ ему на расходъ денегъ, а самъ поѣхалъ въ мою здѣшнюю вотчину, да все лѣто и всю осень проохотился. По первому пути я отправился опять въ Курскую губернію, пріѣхалъ въ мое село,—*приказчикъ сейчасъ ко мнѣ явился.*

— Ну, что, братецъ, поставка? — спросилъ я.

— Кончено, сударь.

— Совсѣмъ?

— Совсѣмъ, Игнатій Ѳедоровичъ.

— Ну, слава Богу!—Такъ браковка была небольшая?

— Да, почитай, на половину.

— На половину?—Какъ же ты говоришь, что поставка кончена?

— Кончена, сударь; только половина-то кирпичей куплена на вашъ счетъ и съ васъ взыщутъ двадцать-пять тысячъ рублей.

— Помилуй, — да вся поставка была въ тридцать тысячъ!..

— То съ подряду, сударь, а вѣдь на нашъ счетъ покупали кирпичъ по вольнымъ цѣнамъ.

Двадцать-пять тысячъ! Господи Боже мой!.. Да гдѣ ихъ возьмешь?.. Вотъ тебѣ и кирпичики.

— Что-жъ ты мнѣ объ этомъ не писалъ, разбойникъ?—сказалъ я приказчику.

— Писалъ, сударь, да отъ васъ никакой отповѣди не было: видно, мои письма до васъ не доходили.

Мошенникъ этакій!.. Я узналъ послѣ, что онъ ни одного письма ко мнѣ не писалъ и что всѣмъ дѣломъ заправлялъ безграмотный староста Никита, а онъ погуливалъ на мои денежки, да съ утра до вечера изъ кабака не выходилъ.

На другой день я отправился въ городъ и заѣхалъ по дорогѣ къ сосѣду моему Барсукову.

— Ну, вотъ, Игнатій Ѳедоровичъ, — сказалъ мнѣ Барсуковъ,—не говорилъ ли я тебѣ, что ты наплачешься съ этой поставкой? Мнѣ третьяго дня губернаторъ самъ изволилъ говорить, что если ты не внесешь двадцатипяти тысячъ, такъ твое имѣнье продадутъ съ публичнаго торгу. Коли можешь внести, такъ поторопись, любезный, а не можешь, такъ десять тысячъ я тебѣ дамъ, а ужъ остальныя пятнадцать попытайся гдѣ-нибудь занять въ городѣ; авось найдешь!

Я поблагодарилъ Сергѣя Кондратьевича, отправился въ Курскъ, объѣздилъ всѣхъ знакомыхъ,—всѣ обо мнѣ сожалѣютъ, а денегъ никто не даетъ.

На другой день, по-утру, поѣхалъ я къ губернатору; гляжу, въ пріемной стоитъ купецъ Парамоновъ—тотъ самый, что на торгахъ давалъ мнѣ отступного.

— Что, ваше высокоблагородіе,—сказалъ онъ, — не угодно ли вамъ будетъ продать мнѣ кирпичиковъ? Мнѣ сказывали, что казна у васъ забраковала безъ малаго половину всей пропорціи; такъ остаточекъ долженъ быть не малый... Я вамъ, сударь, заплачу по вашей же подрядной цѣнѣ.

— А на что тебѣ, любезный,—мои кирпичики?—спросилъ я.

— Есть казенная поставочка, ваше высо-

коблагородіе! Чай, и вы изволили слышать: у насъ собираются строить новую соборную колокольню.

— И ты хочешь купить у меня бракованный кирпичъ?

— Ничего, сударь! Наше дѣло торговое,— сойдетъ! Я возьму у васъ изрядное количество, — хоть на пятнадцать тысячъ, только деньги заплачу не прежде двухъ мѣсяцевъ, а теперь угодно вамъ получить тысячу рублей задатку?—продолжалъ купецъ, вынимая изъ-за пазухи огромный бумажникъ, набитый ассигнаціями.

Разумѣется, я согласился на его предложеніе. Вотъ меня позвали къ губернатору: онъ повторилъ мнѣ то же, что я слышалъ отъ моего сосѣда Барсукова.

— Ваше превосходительство, — сказалъ я, — теперь у меня и половины этой суммы нѣтъ, и прежде двухъ мѣсяцевъ я не могу никакъ внести всѣ эти деньги сполна; такъ нельзя ли какъ-нибудь отсрочить?

— Я ужъ объ этомъ вчера писалъ къ моему начальству,—отвѣчалъ губернаторъ.—А всего лучше поѣзжайте ка сами въ Петербургъ, да похлопочите; и коли отвѣтъ на мое представленье долженъ быть неблагопріятный, такъ ужъ это ваше дѣло, постарайтесь, чтобъ его тамъ позадержали. До полученія указа мы здѣсь ни къ чему не приступимъ, — станемъ дожидаться, а время-то идетъ да идетъ.

Что будешь дѣлать! Хоть мнѣ вовсе не хотѣлось ѣхать такую даль и, можетъ статься, по-пустому, а думать-то нечего: скорѣй въ походъ! Я взялъ подорожную, пріѣхалъ черезъ недѣлю въ Петербургъ и остановился тамъ у одного пріятеля, который былъ знакомъ съ секретаремъ того присутственнаго мѣста, гдѣ производилось мое дѣло. Онъ далъ мнѣ записочку къ этому чиновнику. Вотъ, на другой день я надѣлъ мой штабъ-офицерскій мундиръ и явился въ присутственное мѣсто; скинулъ въ прихожей мою шубу, отдалъ ее Ванькѣ и вошелъ въ канцелярію. Гляжу, за столами сидятъ разныя лица,—одни пишутъ, другія бесѣдуютъ межъ собою; я всѣмъ поклонъ, а мнѣ никто. Спрашиваю у одного изъ тихъ неучей, гдѣ господинъ секретарь?—молчитъ.—Я къ другому— и тотъ поглядѣлъ на меня, протеръ свои очки, пробормоталъ что-то подъ носъ и отвернулся въ другую сторону... Экій народецъ, подумаешь, и слова-то даромъ не хотятъ сказать! Гляжу, за однимъ столомъ сидитъ молодой парень, собою больно некрасивъ, — такой черномазый; кафтанишка на немъ затасканный, рукава коротенькіе, рожа небритая, ну точь-въ-точь какъ всѣ наши курскіе подъячіе. — «Авось», — думаю, — «добьюсь отъ него толку; кажись, баринъ небольшой». Я подошелъ къ нему и спросилъ, гдѣ мнѣ найти секретаря.

— Онъ теперь *въ присутствіи*,—отвѣчалъ очень вѣжливо этотъ чиновникъ. — Сейчасъ выйдетъ! Да не угодно ли вамъ отдохнуть?— продолжалъ онъ, подвигая ко мнѣ порожній стулъ. Я присѣлъ, мы съ нимъ поразговорились; я разсказалъ ему мое дѣло, а отъ него узналъ, что онъ служитъ пятый годъ канцеляристомъ и надѣется скоро быть сенатскимъ регистраторомъ.

— Вотъ и его высокоблагородіе г. секретарь,—сказалъ канцеляристъ, указывая мнѣ на пожилого человѣка, который вышелъ изъ присутствія. Секретарь принялъ отъ меня записку, прочелъ и, пожавъ плечами, объявилъ мнѣ, что не можетъ ничего для меня сдѣлать.

— Это ужъ дѣло рѣшеное,—сказалъ онъ,— указъ подписанъ, сегодня сойдетъ въ регистратуру, а завтра имѣетъ быть отправленъ въ курское губернское правленіе, которому строго предписывается приступить немедленно къ продажѣ вашего имѣнія.

— Нельзя ли какъ-нибудь пріостановить ходъ этого дѣла?— промолвилъ я.

— Невозможно. Начальникъ у насъ человѣкъ строгій, исполнительный и если что заберетъ себѣ въ голову,—такъ не прогнѣвайтесь!

— Да неужели этого дѣла нельзя ничѣмъ поправить?

— Я думаю, что такъ. Оно, конечно, если бъ его превосходительство захотѣлъ, такъ можно бы... Да человѣкъ-то онъ не такой,— баринъ знатный, богатъ, съ нимъ, сударь, не сговоришь.

— Нельзя ли мнѣ самому дойти до его превосходительства?

— Доложить о васъ можно, я сейчасъ прикажу. Только изъ этого ничего не выйдетъ.

— Ужъ такъ и быть,—позвольте!.. Попытка не шутка...

— Какъ вамъ угодно.

Обо мнѣ доложили и этакъ черезъ полчаса пригласили въ присутствіе. Фу, батюшки!.. Что за великолѣпіе такое!.. Ну, это ужъ не наше курское правленіе!.. Стѣны расписаны сусальнымъ золотомъ, всѣ кресла обиты бархатомъ, зеркала въ узорчатыхъ рамахъ... За краснымъ сукномъ сидятъ, не нашимъ совѣтникамъ чета, особы важныя,—у кого въ петлицѣ, у кого на шеѣ... А главный-то начальникъ—такъ ужъ подлинно баринъ, вельможа истинный! Человѣкъ рослый, дородный, лицо полное, съ подбородкомъ; высокія, черныя брови дугою,—въ кавалеріи!. Сидитъ такъ важно, — одна нога закинута на другую; въ правой рукѣ золотая табакерка съ камнями, лѣвая заткнута за камзолъ... Что грѣха таить, — на первыхъ порахъ я сробѣлъ немножко, да скоро оправился... Что въ самомъ дѣлѣ,—мы и на штурмы ходили!.. Я поклонился всѣмъ присутствующимъ, подошелъ къ начальнику и сказалъ:

— Честь имѣю явиться, ваше превосходительство, секундъ-маіоръ Кучумовъ.

— Что вамъ угодно, государь мой?—спросилъ начальникъ, ударивъ двумя пальцами по своей табакеркѣ.

— Да милости пріѣхалъ просить, ваше превосходительство,—и если вамъ угодно будетъ меня выслушать...

— Прошу покорно!

Вотъ я пошелъ,—и такъ, и такъ, и такъ... Гляжу, его превосходительство то губы надуетъ, то брови подыметъ кверху, то опуститъ ихъ внизъ, а слушаетъ внимательно.

— Очень сожалѣю, государь мой, промолвилъ онъ, когда я кончилъ мой разсказъ, но но отсрочки самъ дать нельзя: это дѣло рѣшеное.

— Да извѣстно ли вашему превосходительству, что я потерпѣлъ всѣ эти убытки отъ моего усердія къ казнѣ?

Его превосходительство улыбнулся.

— Убытки! — повторилъ онъ. — То-есть вмѣсто рубля на рубль вы нажили только полтину? Нѣтъ, государь мой,—извольте это говорить другимъ, а я знаю, какъ у насъ подрядчики-то разоряются и съ какимъ усердіемъ они обираютъ казну...

— Позвольте доложить, ваше превосходительство...

— Извините, я очень занятъ... не угодно ли!—промолвилъ онъ, кивнувъ головою и указывая рукою на дверь, сирѣчь: милости просимъ вонъ!.. Признаюсь, у меня краска выступила на лицѣ!—Обидно!.. Вѣдь я хоть лыкомъ шитъ, а все-таки камзолъ-то у меня въ позументахъ. Онъ генералъ!.. Да и я не оберъ-офицерикъ какой-нибудь... А дѣлать нечего, — вѣдь это не у насъ въ губерніи, заѣдаться не станешь. Я вышелъ изъ присутствія, только никому не поклонился,—видитъ Богъ, никому! Прошелъ, не останавливаясь, всю канцелярію; гляжу, въ прихожей разговариваетъ съ моимъ человѣкомъ тотъ самый канцеляристъ, который такъ ласково со мной обошелся.

— Что съ тобой говорилъ этотъ черномазый? — спросилъ я Ваньку, когда мы вышли въ сѣни.

— Да все выпытывалъ, сударь, гдѣ вы изволите жить.

— На что ему?

— А кто его знаетъ?

Я пріѣхалъ домой, спросилъ себѣ позавтракать; вдругъ шасть ко мнѣ въ комнату— все тотъ же канцеляристъ.

— Не прогнѣвайтесь, Игнатій Ѳедоровичъ,— сказалъ онъ, что я незванный къ вамъ пріѣхалъ.

— Ничего батюшка! Милости просимъ! Садись-ка, любезный, да не прикажешь ли чего-нибудь?..

Канцеляристъ присѣлъ, выпилъ рюмку водки, закусилъ, и говоритъ мнѣ:

— Я пріѣхалъ, Игнатій Ѳедоровичъ, потолковать о вашемъ дѣлѣ.

— Да что о немъ говорить?—сказалъ я.— Напрасно только я исхарчился и къ вамъ въ Питеръ пріѣзжалъ.

— Почему знать, Игнатій Ѳедоровичъ!.. Вѣдь вы деньги внести можете, только не прежде двухъ мѣсяцевъ?

— На шесть бы недѣль помирился,—да и того не даютъ.

— Богъ милостивъ, сударь! По мнѣ такъ дѣло-то ваше поправное.

— Поправное?—Ужъ не ты ли его, голубчикъ, поправишь?

— А почему же нѣтъ, Игнатій Ѳедоровичъ?

— Что ты, что ты, любезный, перекрестись! Секретарь ничего не могъ сдѣлать,— вашъ генералъ наотрѣзъ отказалъ, а ты, простой писецъ и канцеляристъ...

— И, сударь, да какое вамъ дѣло до моихъ чиновъ, лишь только бы отсрочку-то вы получили, — а вы ее навѣрно получите. Да что изъ пустого въ порожнее переливать!.. Давайте-ка лучше на чистоту... Что, Игнатій Ѳедоровичъ, дадите ли пятьсотъ рублей?..

Я такъ и померъ со смѣху.

— Вотъ съ чѣмъ подъѣхалъ!.. Да что я за дуракъ такой? Дамъ я тебѣ пятьсотъ рублей,—за что?

— Ужъ я вамъ докладывалъ: за то, чтобъ имѣть два мѣсяца отсрочки!

— Да, да, какъ же,—подставляй карманъ! За пятьсотъ рублей ты мнѣ, пожалуй, золотыя горы посулишь, а какъ приберешь денежки къ рукамъ, такъ тебя и поминай какъ звали!

— А вотъ позвольте: вы мнѣ пожалуйте пятьсотъ рублей, а я вамъ расписку дамъ, въ которой будетъ сказано, что эти деньги я обязанъ вамъ возвратить по первому востребованію. Если я ваше дѣльце обработаю, такъ вы мнѣ расписку отдадите, а если нѣтъ, то вамъ все-таки опасаться нечего, вѣдь я у васъ въ рукахъ.

Что за пропасть такая!.. Говоритъ такъ утвердительно... Неужели въ самомъ дѣлѣ?.. Да нѣтъ, быть не можетъ!..

— Послушай, любезный,—сказалъ я,—если хочешь, чтобъ я тебѣ повѣрилъ, такъ объясни мнѣ прежде, какъ ты это сдѣлаешь?

— Нельзя, Игнатій Ѳедоровичъ! Штука-то больно простая: коли я скажу, такъ вы, можетъ-быть, пятьсотъ рублей пожалѣете. Да извольте быть благонадежны, — что Господь дастъ больше, а ужъ на два-то мѣсяца я вамъ головой ручаюсь.

Вотъ я подумалъ, подумалъ, что въ самомъ дѣлѣ, — вѣдь не разорятъ же меня пятьсотъ рублей?.. Была не была,—пущусь на удалую! Я отсчиталъ ему сполна всѣ деньги, а онъ далъ мнѣ расписку и отправился. Моего хозяина цѣлый день не было дома; когда онъ пріѣхалъ, я разсказалъ ему обо всемъ.

— Что это, Игнатій Ѳедоровичъ, закричалъ мой пріятель, тебѣ еще нѣтъ пятидесяти лѣтъ, а ты ужъ совсѣмъ изъ ума вы-

жилъ! Кому ты далъ пятьсотъ рублей?.. Эка важность—канцеляристъ, послѣдняя спица въ колесницѣ!.. Ну, что онъ можетъ для тебя сдѣлать? Эхъ, любезный,—плакали твои денежки!

— Да у меня есть расписка.

— Куда ты съ нею сунешься? Почему ты знаешь, свое ли онъ и имя-то подписалъ?

— Да развѣ я не знаю, гдѣ онъ служитъ.

— Да, ищи его теперь въ присутствіи! И что ты объявишь? — «Я, дескать, далъ ему пятьсотъ рублей».—За что?—Ну-ка скажи!.. Развѣ ты не знаешь, что взяточникъ и тотъ, кто взятку далъ, подъ однимъ состоятъ указомъ? Его обвинятъ, да и тебя не помилуютъ.

Я всю ночь не могъ заснуть: и денегъ жаль, и досадно, что далъ себя такъ обмануть. На другой день, часу въ десятомъ, я отправился опять въ присутствіе; вошелъ въ канцелярію—такъ и есть, — злодѣя моего нѣтъ, а прямо ко мнѣ идетъ навстрѣчу секретарь.

— Вы, сударь,—спросилъ онъ,—опять пріѣхали по вашему дѣлу?

— Да-съ,—отвѣчалъ я,—мнѣ нужно кой о чемъ справиться.

— Напрасно безпокоились: указъ о продажѣ находящагося въ залогѣ села вашего посланъ сегодня въ курское губернское правленіе, и я совѣтовалъ бы вамъ отправиться скорѣе въ Курскъ. Если ужъ нельзя никакъ спасти ваше имѣнье, такъ постарайтесь, по крайней мѣрѣ, чтобъ оно за безцѣнокъ не пошло.

Меня такъ въ жаръ и бросило... Проклятый канцеляристъ!.. Ну, Игнатій Ѳедоровичъ!. Какъ это ты до штабъ-офицеровъ дослужился?.. Дуракъ набитый!.. За что бросилъ пятьсотъ рублей?.. А туда жъ въ подряды лѣзетъ!.. По дѣламъ хлопочетъ!.. Сидѣлъ бы у себя дома, да зайцевъ травилъ, простофиля этакій!.. Я велѣлъ ѣхать къ себѣ на квартиру. Вхожу въ комнату—ба, ба, ба!.. Мой канцеляристъ тутъ!..

— Что, голубчикъ, — сказалъ я, — деньги принесъ?

— Никакъ нѣтъ, Игнатій Ѳедоровичъ,—я пріѣхалъ за распиской.

— За распиской?

— Да, сударь. Ваше дѣло кончено.

— Знаю, батюшка, что кончено; указъ о продажѣ моего села отосланъ сегодня напочту!

— Отосланъ, Игнатій Ѳедоровичъ: вѣдь всѣ казенные пакеты надписываю и отправляю на почту я,—это по моей части.

— Да вѣдь въ этомъ указѣ отсрочки мнѣ не даютъ?

— Не даютъ, Игнатій Ѳедоровичъ.

— Такъ за коимъ же чортомъ ты изволилъ ко мнѣ пожаловать?

— А вотъ позвольте! — сказалъ канцеляристъ, вынимая изъ кармана какую-то книжку въ бумажной изорванной оберткѣ.

— Это что?—спросилъ я.

— Документъ, сударь.

— Документъ? Какой документъ?

— А вотъ сейчасъ увидите,—сказалъ канцеляристъ, перелистывая книжку.

— Постой-ка, любезный,— прервалъ я, — вѣдь это кажется... ну, такъ и есть... старый календарь!

— Это такъ, сударь.

— Да что жъ ты, господинъ канцеляристъ, иль смѣешься надо мной?

— Сохрани Господи! Что вы это, Игнатій Ѳеодоровичъ!.. Не угодно ли вамъ прочесть вотъ тутъ, гдѣ подчеркнуто карандашомъ.

Я взялъ календарь и прочелъ:

«Иркутскъ — областной городъ, разстояніемъ отъ Санктъ-Петербурга шесть тысячъ двадцать-пять верстъ»...

— То-есть,— прервалъ канцеляристъ, — туда мѣсяцъ ѣзды, да назадъ столько же.

— Ну, такъ что жъ? —спросилъ я, глядя съ удивленіемъ на канцеляриста.

— А вотъ что, сударь: когда я надписывалъ пакетъ о вашемъ дѣлѣ, такъ, видно второпяхъ, ошибся и надписалъ, вмѣсто Курска, въ Иркутскъ.

У меня руки такъ и опустились... Ну!! Подлинно штука простая, а поди-ка выдумай!

— Однако жъ, любезный,—сказалъ я, — меня ты изъ петли вынулъ, да не попадись самъ въ бѣду; какъ этотъ пакетъ пришлютъ обратно изъ Иркутска, такъ, я думаю, тебя по головкѣ не погладятъ!

— Да и казнить, Игнатій Ѳедоровичъ, не станутъ; посадятъ недѣльки на двѣ подъ арестъ—вотъ и все.

— Ну то-то, братъ,—смотри!

— Помилуйте,—ошибка въ фальшъ не ставится... И что за важность такая?.. Курскъ—Иркутскъ,—да тутъ какъ-разъ ошибешься.

— Вотъ твоя росписка,—молвилъ я, прощаясь съ канцеляристомъ,—Ну, нечего сказать: уменъ ты, любезный!

— И, сударь,—проговорилъ съ большимъ смиреніемъ канцеляристъ,—такіе ли бываютъ умные люди! Я что: пятый годъ служу, а еще лошаденки не завелъ.

— А, чай, теперь,—промолвилъ Игнатій Ѳедоровичъ, принимаясь опять за свою трубку,—давнымъ-давно въ каретѣ разъѣзжаетъ.

ИСКУСИТЕЛЬ.

C'est un tableau de fantaisie dont tous les détails sont peints d'après nature.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

1.

Семейство Бѣлозерскихъ.

Сегодня день моего рожденія; мнѣ минуло шестьдесятъ лѣтъ; мои мягкіе темнорусые волосы, которымъ нѣкогда завидовали красныя дѣвушки, сдѣлались жесткими и посѣдѣли; вмѣсто тонкихъ бровей дугою, нависли надъ моими глазами густыя брови въ палецъ шириною, рѣсницъ какъ не бывало, а полныя румяныя щеки впали и пожелтѣли, какъ осенній листъ на деревьяхъ. Говорятъ, будто бы глаза мои не совсѣмъ еще утратили свою прежнюю выразительность, а зубы (которыхъ, впрочемъ, немного осталось) свою первобытную бѣлизну. Можетъ быть. Но я ношу очки и давно уже пересталъ лакомиться орѣхами, до которыхъ въ старину былъ страстный охотникъ,—все это очень грустно! Правда, когда я взгляну на мою Марью Ивановну, то мнѣ становится не до себя... Господи, Боже мой! подумаешь, какъ года-то мѣняютъ человѣка! Та ли это Машенька, свѣжая, какъ весенній цвѣтокъ послѣ утренней росы, прекрасная, какъ модель живописца, который хочетъ создать свою *Мадонну*? Ну, кто повѣритъ, что эта пожилая барыня, которая въ ситцевомъ капотѣ и въ своемъ чепцѣ-*разлетаѣ* сидитъ за пяльцами или вяжетъ для меня бумажный колпакъ, была нѣкогда съ гибкимъ станомъ, съ волнистыми свѣтлорусыми волосами, что у нея былъ прелестный ротикъ и два ряда зубовъ, которые я не называю перлами потому только, что это сравненіе сдѣлалось слишкомъ уже обыкновеннымъ. Конечно, это никому не придетъ въ голову, никому, кромѣ мужа, для котораго милы ея морщины: она нажила ихъ, проведя всю жизнь со мною. Почти тридцать лѣтъ постояннаго счастія, тридцать лѣтъ сряду, какъ въ первый день свадьбы, всѣ тѣ-же *совѣты* и *любовь*, два сына и три дочери, изъ которыхъ меньшая, какъ двѣ капли воды, походитъ на мать свою. О! эти прелести стоятъ, безъ сомнѣнія, тѣхъ, отъ которыхъ мы сходимъ съ ума въ наши молодые годы. Вѣрная подруга въ жизни, добрая жена никогда не состарѣется для своего мужа, и всякій разъ, когда я подумаю, что этотъ злой духъ, этотъ сатана, котораго я самъ вызвалъ изъ преисподней, могъ навсегда разлучить меня съ нею, то вся кровь застываетъ въ моихъ жилахъ. Такъ, онъ, точно, былъ демонъ, но, разумѣется, нашего вѣка: не съ хвостомъ и рогами, а одѣтый по послѣдней модѣ, остроумный, насмѣшливый, точь въ точь такой, какого навязалъ себѣ на шею чернокнижникъ Фаустъ. Вы думаете, что я шучу, или, можетъ-быть, величаю демономъ какого-нибудь злодѣя? О, нѣтъ! я говорю безъ всякихъ риторическихъ фигуръ и называю злымъ духомъ не человѣка, а того, котораго имя не выговоритъ ни одна набожная старушка, не перекрестясь и не примолвивъ: «наше мѣсто свято!» Смѣйтесь надо мной, если хотите, но я въ этомъ увѣренъ и, быть-можетъ, увѣрю и васъ, когда разскажу вамъ кой-что про первые годы моей молодости.

Мнѣ не было еще трехъ мѣсяцевъ, когда покойная матушка скончалась, отецъ мой скоро послѣдовалъ за нею, и я на четвертомъ году остался круглымъ сиротою: даже близкихъ родственниковъ у меня не было. Исполняя послѣднюю волю умирающаго отца моего, опредѣлили ко мнѣ опекуномъ внучатнаго его брата, Ивана Степановича Бѣлозерскаго. Сиротство мое прекратилось съ той самой минуты, какъ я вступилъ въ домъ этого почтеннаго человѣка, но прежде, чѣмъ я стану говорить о самомъ себѣ, мнѣ должно познакомить васъ покороче съ семействомъ Бѣлозерскихъ и съ уединенной деревнею, въ

которой я взросъ, образовался и провелъ бо́льшую часть моей молодости, — теперь я далеко отъ нея; но, быть-можетъ, мнѣ удастся еще разъ взглянуть на это мирное убѣжище моего дѣтства, и тогда—если Господь будетъ до конца ко мнѣ милостивъ, я весело засну, спокойнымъ, но не вѣчнымъ сномъ, безъ скорби и отчаянія, а съ теплой вѣрой, что минута пробужденія будетъ для меня и для всѣхъ моихъ минутой радости и неизъяснимаго блаженства.

Иванъ Степановичъ Бѣлозерскій вступилъ въ службу въ достопамятный годъ Чесменской битвы и знаменитой побѣды подъ Кагуломъ. Онъ служилъ въ гвардіи. На двадцать девятомъ году влюбился въ сестру своего начальника, милую, добрую и прекрасную дѣвушку; на тридцать второмъ обвѣнчался съ нею, черезъ годъ она родила ему дочь; потомъ, въ 1790-мъ году, дѣлалъ шведскую кампанію; дрался, какъ левъ, въ сраженіи подъ Абесферсомъ, и за отличіе произведенъ въ капитаны. Вскорѣ затѣмъ вышелъ за ранами въ отставку съ чиномъ бригадира и отправился съ женою и дочерью на житье въ свое наслѣдственное помѣстье, но не для того, чтобъ рыскать за зайцами. Онъ занялся благосостояніемъ своихъ поселянъ, и хотя сосѣдніе дворяне называли его плохимъ экономомъ, потому что онъ думалъ о выгодахъ своихъ крестьянъ столько же, сколько о своихъ собственныхъ, но, несмотря на это, доходы его съ каждымъ годомъ умножались, мужички богатѣли, и, начиная отъ барскаго двора до послѣдней избы, отъ помѣщика до крестьянина, вездѣ благодарили Господа и всѣ жили припѣваючи.—Чудное дѣло,—толковали межъ собой сосѣди,—этотъ Бѣлозерскій вовсе не радѣетъ о своей пользѣ, а все такъ-то ему въ руку идетъ!

Прогуливаясь по селу съ женой и дочерью, Иванъ Степановичъ встрѣчалъ вездѣ одни привѣтливыя и веселыя лица; ребятишки отъ нихъ не прятались, не выглядывали украдкою изъ подворотней, а выбѣгали всѣ на улицу, и часто какой-нибудь почти столѣтній старикъ кряхтѣлъ, а слѣзалъ съ полатей, чтобъ выйти за ворота и взглянуть на добрыхъ господъ своихъ.—Дай Богъ имъ много лѣтъ здравствовать! — говорили межъ собой мужички. — Неча сказать, знатные господа! Бога помнятъ, крестьянъ своихъ жалуютъ.—А наша барышня,—болтали старухи,—родная-то наша матушка, Марья Ивановна! эка лебедь бѣлая! всѣмъ взяла! тоненька только, сердечная! Да Богъ милостивъ, войдетъ въ года, будетъ подороднѣе!

Когда мнѣ минулъ восемнадцатый годъ, и я сбирался уже въ Москву, Ивану Степановичу было лѣтъ подъ шестьдесятъ. Онъ очень часто прихварывалъ, прострѣленная нога и разрубленное плечо мучили его передъ каждой перемѣною погоды. Лицо его, съ котораго еще не совсѣмъ исчезъ румянецъ молодости, не имѣло въ себѣ ничего особеннаго, ничего такого, что поражаетъ насъ съ перваго взгляда, но когда онъ говорилъ, когда пожималъ съ лаской вашу руку, когда глаза его оживлялись простодушіемъ и добротою, то всѣ черты этой спокойной и свѣтлой физіономіи навсегда врѣзывались въ вашу память. Не много есть художниковъ, которые умѣютъ разливать жизнь и, такъ сказать, влагать душу въ свои произведенія, и вотъ почему изъ всѣхъ портретовъ Ивана Степановича не было ни одного сходнаго: всѣ они изображали лицо простого человѣка съ самой обыкновенной, незначущей физіономіею. Въ этомъ *дюжинномъ* лицѣ не было ничего ни противнаго, ни привлекательнаго, но это потому, что оно точно такъ же походило на свой подлинникъ, какъ походитъ неподвижный водопадъ въ картинѣ на паденіе Рейна или Ніагары. Вода, пѣна, брызги, все списано вѣрно съ натуры, но гдѣ жизнь и движеніе бурной рѣки, которая ежеминутно, измѣняя свой образъ, стремится, летитъ и съ грохотомъ исчезаетъ среди кипящей пучины?

Хотя въ то время женѣ Ивана Степановича было уже гораздо лѣтъ за сорокъ, но, взглянувъ на нее, нельзя было не подивиться, что у нея дочь невѣста. Есть старая французская пословица: c'est la lame qui use le fourreau. И подлинно: злоба, отчаяніе, порывы гнѣва, точно такъ же, какъ безмѣрная радость, сумасшедшая любовь и вообще всѣ необузданныя страсти, истребляя здоровье, почти всегда бываютъ причиною нашей преждевременной старости. Мы обольщаемся краснорѣчивымъ описаніемъ всѣхъ сильныхъ страстей; любовь, не доходящую до безумія, мы не хотимъ называть любовью, забывая о томъ, что всякое неистовое чувство унижаетъ достоинство человѣка, и какое бы названіе ни дали страсти, которая превращаетъ васъ или въ дикаго звѣря, или въ малодушное существо, не имѣющее собственной воли,—эта страсть всегда останется чувствомъ противнымъ Богу и нашей совѣсти, потому что она, затмевая разсудокъ; сближаетъ насъ съ животными и, такъ сказать, *оземленяетъ* наше небесное начало. Кроткая душа Авдотьи Михайловны,—такъ звали жену Бѣлозерскаго, — не знала ненависти, а теплая вѣра укрощала чрезмѣрную чувствительность, къ которой она была способна. Когда Господь посѣщалъ ее горестію, она молилась, и скорбь ея никогда не переходила въ отчаяніе; ощущая необычайную радость, она спѣшила благодарить Бога, и сердце ея облегчалось. Конечно, и она была не всегда одинаково весела и довольна, но ее никогда не покидали этотъ душевный міръ и спокойствіе, столь же мало похожіе на холодный

эгоизмъ, сколь мало походятъ стоячія воды грязнаго пруда на свѣтлыя струи ручья, который хотя и не вырываетъ съ корнемъ деревья, какъ живописный гордый потокъ, но зато тихо и стройно течетъ въ берегахъ своихъ, разливая вокругъ себя жизнь и прохладу.

Я сказалъ уже слова два объ ихъ дочери. Представьте себѣ... или нѣтъ!.. дайте полную волю вашему воображенію и будьте увѣрены, что оно не создастъ ничего лучше и миловиднѣе Машеньки Бѣлозерской, когда ей минуло шестнадцать лѣтъ. Чтобъ окончить описаніе этого семейства, мнѣ должно упомянуть еще объ одномъ служителѣ или, лучше сказать, *домочадцѣ* Ивана Степановича. Я не могъ пріискать ничего приличнѣе и вѣрнѣе этого стариннаго русскаго названія, чтобъ опредѣлить однимъ словомъ, къ какому разряду домашнихъ принадлежалъ дядька мой, Кондратій Бобылевъ, нѣкогда заслуженный гвардейскій сержантъ, а потомъ дворецкій и приказчикъ въ домѣ бывшаго своего капитана. Бобылевъ былъ былъ роста высокаго, худощавъ и, несмотря на то, что доживалъ шестой десятокъ и предузнавалъ не хуже Ивана Степановича всякую ненастную погоду, онъ могъ бы еще лихо выбѣжать передъ фронтъ за флигельмана и вскинуть кверху тяжелое солдатское ружье, какъ перышко. Передъ своимъ бывшимъ командиромъ онъ всегда держалъ себя на вытяжку и не могъ смотрѣть безъ досады на ровесниковъ своихъ, старосту Парфена и и бурмистра Никитича, когда они шли, сгорбившись, по улицѣ или стояли, опираясь на свои *подожки*. — И что вы за народъ такой? — говаривалъ онъ всегда, закручивая свои огромные сѣдые усы. — Кряхтятъ да гнутся, словно старики! Да что наши за года? Вѣдь мы еще въ самой порѣ и силѣ. Эхъ, поломалъ бы вамъ бока, да выправилъ по-нашенски, такъ, небось, стали-бы держать себя въ стрѣлѣ!—Бобылевъ, такъ же, какъ и бывшій капитанъ его, носилъ по буднямъ военный сюртукъ, а по праздникамъ наряжался въ полный мундиръ и сверхъ того, по старой привычкѣ, пудрилъ свои сѣдые волосы пшеничною мукою и подфабривалъ усы. Его любили всѣ: взрослые—за простодушіе, доброту и привѣтливый нравъ, а дѣти—за его розсказни о войнѣ съ туркомъ, о походахъ подъ шведа, о храбромъ и удаломъ фельдмаршалѣ Румянцевѣ, о батюшкѣ графѣ Суворовѣ, о томъ, какъ басурманы пьютъ зелье, отъ котораго, какъ шальные, лѣзутъ на штыки православнаго войска, и о разныхъ другихъ некрещеныхъ народахъ, которые пугаютъ своихъ дѣтей, вмѣсто буки, русскимъ солдатомъ.

Я долженъ также упомянуть объ иностранцахъ, которые жили въ домѣ Бѣлозерскихъ; ихъ было двое: *нянюшка* нѣмка и учитель французъ. Нѣмку называли Луизой Карловной, а француза мусье Месмежанъ, то-есть онъ назывался нѣкогда Monsieur Jean, но впослѣдствіи эти два слова слились въ одно: его стали величать Иваномъ Антоновичемъ Месмежаномъ,—и подъ конецъ онъ такъ привыкъ къ этому прозванію, что вѣрно бы не откликнулся, если-бъ кто-нибудь назвалъ его по имени.

Хотя деревня, въ которой жили Бѣлозерскіе, не далѣе двадцати пяти верстъ отъ губернскаго города, но я до шестнадцатилѣтняго возраста зналъ его по одной наслышкѣ; самъ Иванъ Степановичъ бывалъ въ немъ очень рѣдко, и только по самой крайней надобности. Господскій домъ со всей усадьбою былъ расположенъ въ близкомъ разстояніи отъ большой дороги; съ трехъ сторонъ окружали его дубовыя рощи. Я населилъ бы ихъ соловьями, если бъ писалъ романъ, но истина прикрасъ не требуетъ. Съ наступленіемъ весны, налетало въ нихъ безчисленное множество грачей, которыхъ громкій и безпрерывный крикъ такъ сроднился съ первыми и пріятнѣйшими впечатлѣніями моей молодости, что и теперь дубовая роща безъ грачей кажется для меня пустынею и возбуждаетъ точно такое же грустное чувство, какъ безлюдный городъ, или давно покинутый домъ, въ которомъ не замѣтно никакихъ признаковъ жизни.

Когда приближались къ деревнѣ по большой дорогѣ со стороны города, то сначала видны были однѣ рощи, потомъ какъ будто бы всплывала красная кровля господскаго дома, а тамъ подымались крыши флигелей и службъ, и вся усадьба открывалась только тогда, какъ подъѣзжали къ самымъ воротамъ обширнаго двора, обнесеннаго частоколомъ, но съ противоположной стороны господскій домъ видѣнъ былъ версты за двѣ. По всему было замѣтно, что отецъ Ивана Степановича, который построилъ эти барскія хоромы, не охотникъ былъ до хорошихъ видовъ. Онъ поставилъ ихъ на полугорѣ, такимъ невыгоднымъ образомъ, что изъ оконъ главнаго фасада, обращеннаго къ городской сторонѣ, видны были однѣ только рощи и часть поля, которое, подымаясь все выше и выше, заслоняло отъ глазъ всѣ отдаленные предметы. Иванъ Степановичъ, чтобъ вознаградить чѣмъ нибудь этотъ недостатокъ, развелъ передъ домомъ цвѣтникъ, въ который сходили по низкой лѣстницѣ прямо изъ гостиной, и помѣстилъ свой кабинетъ и небольшую столовую въ противоположной сторонѣ дома, между лакейской и дѣвичьей. Изъ этихъ комнатъ видъ былъ прекрасный: остальная часть горы опускалась пологимъ скатомъ до самаго пруда, который нѣкогда казался мнѣ огромнымъ озеромъ, хотя вокругъ едва ли было и двѣсти саженъ. По сторонамъ обширнаго луга, отдѣлявшаго прудъ отъ барскаго двора, раз-

бросаны были житницы, каретный сарай, избы дворовыхъ людей, ихъ клѣти, а посреди стояла крытая соломою небольшая лачужка, съ высокимъ шестомъ, на которомъ вертѣлся флюгеръ; это было сборное мѣсто ночныхъ караульныхъ. Съ лѣвой стороны, въ шагахъ десяти отъ двора, начинался большой плодовый садъ, въ которомъ были, однако же, дорожки, обсаженныя липами; онъ примыкалъ къ одной изъ дубовыхъ рощъ. Прямо передъ заднимъ фасадомъ дома, по ту сторону пруда, подымалась амфитеатромъ густая дубрава; направо,по берегу оврага, который начинался за плотиною, тянулось огромное гумно, за нимъ видѣлись холмистыя и открытыя мѣста, перерѣзанныя довольно высокимъ валомъ; онъ отдѣлялъ Тужиловку, — такъ называлась деревня Бѣлозерскаго — отъ большого экономическаго села; этотъ валъ, идущій верстъ на двѣсти, служилъ нѣкогда оплотомъ и обороною отъ татарскихъ погромовъ или, по крайней мѣрѣ, затруднялъ внезапные набѣги этихъ разбойниковъ. За валомъ, у самаго въѣзда въ экономическое селеніе, возвышалась деревянная церковь съ небольшой колокольнею, а за ней сливались съ отдаленными небесами необозримыя поля, на которыхъ осенью, какъ золотое море, волновалась почти сплошная нива, кой-гдѣ пересѣкаемая проселочными дорогами. Я жилъ въ антресоляхъ надъ самымъ кабинетомъ Ивана Степановича, и видъ изъ моей комнаты былъ еще обширнѣе. Очень странно, что въ тѣ года, когда мы еще не имѣемъ никакого понятія объ изящномъ, прекрасный видъ возбуждалъ во мнѣ всегда неизъяснимое чувство удовольствія. Бывало я по цѣлымъ часамъ не отходилъ отъ окна и не могъ налюбоваться обширными полями, которыя то разстилались гладкими зелеными коврами, то холмились и пестрѣли въ причудливомъ разливѣ свѣта и тѣней. Сколько разъ въ дѣтской головѣ моей рождалась мысль уйти потихоньку изъ дома и, во что-бы ни стало, добраться до того мѣста, гдѣ небеса сходятся съ землею, чтобъ взглянуть поближе на красное солнышко, когда оно прячется за темнымъ лѣсомъ. Болѣе всего возбуждалъ мое любопытство и тревожилъ меня этотъ безконечный, темный лѣсъ; онъ видѣнъ былъ изъ моей комнаты, вдали за дубравою, которая росла по ту сторону пруда. Чего не приходило мнѣ иногда въ голову.—Ужъ вѣрно,—думалъ я,—за этимъ лѣсомъ должны быть большія диковинки? И что за люди тамъ живутъ? Тамъ и солнышко ночуетъ — куда должно быть имъ весело! — Однажды — мнѣ было тогда не болѣе пяти лѣтъ—я рѣшился завести объ этомъ разговоръ съ Бобылевымъ.—Что это за длинный лѣсъ?—сказалъ я.—А что, Кондратій, чай, ему конца нѣтъ?

— Какъ не быть, сударь.

— А гдѣ жъ ему конецъ?

— Да верстъ пять или шесть отсюда.

— А что за этимъ лѣсомъ?

— Выглядовка.

— Что это, Кондратій? Городъ что ль какой?

— И, нѣтъ, сударь! Такъ, небольшая деревнишка, гораздо менѣе нашей Тужиловки.

— И люди тамъ такіе же?

— Такіе же, батюшка.

Это меня немного успокоило; однако жъ я не покинулъ намѣренія побывать когда-нибудь за лѣсомъ и посмотрѣть вблизи, какъ солнышко ложится спать.

Мы такъ привыкли, я—называть Машеньку сестрою, а она меня братомъ, что даже и тогда, когда подросли, намъ ни разу не приходило въ голову, что дѣти внучатныхъ братьевъ почти вовсе не родня межъ собою. Мы были неразлучны, и учились и играли вмѣстѣ, повѣряли другъ другу свои дѣтскія тайны; я разсказывалъ ей всѣ подробности своего путешествія за *дремучій* лѣсъ вмѣстѣ съ Бобылевымъ, который согласился, наконецъ, меня потѣшить, и ходилъ со мною до самой Выглядовки. Машенька блѣднѣла отъ страха, когда я описывалъ ей, какъ мы переправлялись черезъ топкое болото, какъ зашли въ такую дичь, что и свѣта Божьяго не видно, какъ мимо насъ пробѣжалъ огромный волкъ, и хотя,—прибавлялъ я съ важнымъ видомъ,—Бобылевъ увѣряетъ, что это дворная собака, а не волкъ, но я точно видѣлъ, какъ глаза у него свѣтились, и какъ онъ щелкалъ зубами, а если мы остались цѣлы, такъ это потому, что насъ было двое. Машенька также, въ свою очередь, призналась мнѣ, что хочетъ непремѣнно сходить когда-нибудь ночью въ ближнюю рощу, которая была въ двухъ шагахъ отъ дома, и посмотрѣть, какъ теплится огонекъ въ старой часовнѣ. Надобно вамъ сказать, что въ этой рощѣ похороненъ былъ приказчикъ Ивана Степановича, который погибъ насильственной смертью во время Пугачева, а такъ какъ онъ былъ человѣкъ очень добрый и набожный, то всѣ почитали его невинно пострадавшимъ мученикомъ и увѣряли, что будто бы въ поставленной надъ его могилою часовнѣ теплится по ночамъ огонекъ. Это повѣрье, подкрѣпляемое божбою *очевидцевъ*, получило наконецъ всю достовѣрность несомнѣнной были не только для жителей Тужиловки, но даже и для всего сосѣдняго экономическаго села.

Разумѣется, смѣлое предпріятіе Машеньки мнѣ очень понравилось; я предложилъ ей раздѣлить со мною всѣ опасности этого ночного подвига. Вотъ однажды, послѣ ужина мы вышли погулять по двору, начали гоняться другъ за другомъ и, выждавъ минуту, въ которую нѣмка Луиза Карловна позаболталась съ моимъ учителемъ, мосье Месмежаномъ, выбѣжали въ растворенную калитку; держа другъ друга за руку, мы пробѣжали шаговъ пятьдесятъ, не оглядываясь. Сначала

намъ можно было безъ труда различать тропинку, которая вела мимо часовни: ночь была лунная и деревья росли весьма просторно по опушкѣ рощи, но чѣмъ далѣе мы бѣжали, тѣмъ становилось темнѣе; мы пошли шагомъ. Вотъ я почувствовалъ, что рука Машеньки начинаетъ дрожать въ моей рукѣ; она стала останавливаться и, наконецъ, сказала превышающимся голосомъ:—Братецъ, я боюсь!—Чего же ты боишься? вѣдь я съ тобою,—прошепталъ я, стараясь казаться равнодушнымъ, несмотря на то, что и меня давно уже морозъ подиралъ по кожѣ. Вдругъ—и теперь не могу вспомнить безъ ужаса — въ десяти шагахъ отъ насъ раздался такой отвратительный и нелѣпый крикъ, что Машенька присѣла отъ страха, да и у меня ноги подкосились. Этотъ крикъ, похожій на безумный хохотъ, разлился по всей рощѣ, и въ то же время что-то сѣрое мелькнуло изъ-за куста; кровь застыла въ моихъ жилахъ, а Машенка совсѣмъ обезпамятѣла.—Не бойтесь, матушка Луиза Карловна,—раздался позади насъ голосъ Бобылева.—Это заяцъ: они всегда такъ перекликиваются весною. — Здѣсь, здѣсь!—вскричала нѣмка, увидѣвъ насъ подъ деревомъ. Мой учитель протянулъ уже руку, чтобъ схватить меня за ухо, но положеніе, въ которомъ мы находились, перепугало и строгихъ нашихъ наставниковъ: насъ подняли, отвели домой, уложили спать и на другой день, давъ препорядочную нотацію, оставили безъ обѣда.

— Къ чему эти ничтожныя подробности?—скажутъ, можетъ быть, мои читатели. — О! если бъ вы знали, какъ эти мелочи для меня драгоцѣнны! съ какимъ наслажденіемъ, описывая первыя впечатлѣнія дѣтскихъ лѣтъ, я переношусь мыслію въ этотъ *золотой вѣкъ* моей жизни! Не мѣшайте мнѣ помолодѣть хотя на нѣсколько минутъ и не гнѣвайтесь на меня, добрые мои читатели! Еще нѣсколько страницъ, посвященныхъ воспоминанію, и я поведу васъ вмѣстѣ со мною въ этотъ премудрый свѣтъ, въ которомъ знаютъ, что солнце не ложится спать, что оно почти въ полтора милліона разъ болѣе земли, а не знаютъ того, что изъ всѣхъ людей, имъ освѣщаемыхъ, одни только дѣти или тѣ, которые *походятъ* на дѣтей, могутъ называться счастливыми.—Слѣдовательно, глупцы счастливѣе умныхъ?—спроситъ какой-нибудь обросшій бородою *европеецъ*. — Слѣдовательно, невѣжество мы должны предпочитать просвѣщенію?—Чтобы отвѣчать на этотъ вопросъ, надобно прежде знать, какихъ людей эти господа называютъ глупцами и что величаютъ просвѣщеніемъ и невѣжествомъ? Слова мѣняютъ часто свое значеніе. Было время (но, благодаря Бога, не у насъ), что кровожадный фанатизмъ именовали вѣрою, а исполненіе кроткихъ Евангельскихъ добродѣтелей,—равнодушіемъ къ вѣрѣ *и вольнодумствомъ*. Давно ли французы называли прихотливую волю нѣсколькихъ палачей — закономъ; право осуждать безъ суда—свободою, и каждое христіанское чувство — фанатизмомъ? Давно ли?.. Но объ этомъ поговоримъ послѣ.

II.

Губернскій городъ.

Я уже сказалъ, что мы оба съ Машенькой вовсе не думали о нашемъ дальнемъ родствѣ, слѣдовательно, и мысль, что она можетъ быть современемъ моей женою, не приходила мнѣ никогда въ голову. Однажды нянюшка ея, выговаривая ей за какую-то рѣзвость, сказала:—Не стыдно ли вамъ, сударыня, вы ужъ невѣста!—Невѣста!—повторилъ я про себя.—Невѣста! да неужели Машенька выйдетъ когда нибудь замужъ, будетъ любить другого больше, чѣмъ меня? О, нѣтъ, это невозможно!—Спустя мѣсяца два послѣ этого, намъ случилось быть на свадьбѣ у одного деревенскаго сосѣда, бѣднаго помѣщика, который выдавалъ сестру свою за нашего уѣзднаго засѣдателя. Я не могъ безъ досады смотрѣть на веселый видъ брата, который не скрывалъ своей радости. — Ахъ, какой злодѣй!—думалъ я,— сестра его выходитъ замужъ, а онъ еще радуется! — Когда въ церкви, при началѣ вѣнчанья, женихъ взялъ изъ рукъ брата свою невѣсту, сердце у меня замерло, и я невольно схватилъ Машеньку такъ крѣпко за руку, что она чуть-было не закричала.—Ахъ, сестрица!—шепнулъ я ей на-ухо,—что, если когда нибудь... Да нѣтъ! Тебя-то ужъ у меня никто не отыметъ!—Все это нимало не удивляло Машеньку: ей казалось только, что я люблю ее гораздо болѣе, чѣмъ другіе братья любятъ своихъ сестеръ. Я и самъ не сомнѣвался въ этомъ до тѣхъ поръ, пока одинъ случай не открылъ мнѣ глазъ и не развилъ вполнѣ чувства, которое таилось въ душѣ моей. Вотъ какъ это было.

Наканунѣ праздника Петра и Павла, въ тотъ самый день, какъ мнѣ минуло шестнадцать лѣтъ, вошелъ ко мнѣ по утру Кондратій Бобылевъ. Честь имѣю поздравить со днемъ вашего рожденія,—сказалъ онъ.—Извольте-ка вставать да одѣваться, пора къ обѣднѣ.—Я вскочилъ съ постели.—Мусью французъ захворалъ, — продолжалъ Бобылевъ, — такъ мнѣ приказано быть при васъ. Послѣ обѣдни господа ѣдутъ въ городъ.

— Такъ мы съ Машенькой останемся одни?

— Никакъ нѣтъ, сударь! Ихъ высокородія берутъ васъ и барышню вмѣстѣ съ собою.

— Какъ? Мы поѣдемъ въ городъ?

— Точно такъ-съ, въ городъ, на ярмарку.

— Возможно ли?.. Мы будемъ на ярмаркѣ!

— Какъ тутъ, сударь, поспѣемъ къ са-

мому развалу. Извольте же одѣваться! Вонъ ужъ трезвонить начали.

Я почти обезумѣлъ отъ радости.—Увидѣть городъ! Быть на ярмаркѣ!—Господи, Боже мой!.. Второпяхъ я раскидалъ все мое платье, надѣлъ на изнанку жилетъ, повязалъ на шею вмѣсто галстуха носовой платокъ, наконецъ, при помощи Бобылева, кой-какъ одѣлся и отправился къ обѣднѣ. Надобно сказать правду, на этотъ разъ молитва моя была самая грѣшная, потому что я безпрестанно думалъ о городѣ и съ нетерпѣніемъ дожидался конца службы.—Ну, если уѣдутъ безъ меня?—думалъ я, стоя, какъ на огнѣ, и поглядывая безпрестанно на двери. Когда, отслушавъ обѣдню, я воротился домой, завтракъ былъ уже готовъ, и шестимѣстная линея, заложенная въ восемь лошадей, стояла у крыльца.

Мы отправились. Я сидѣлъ подлѣ Машеньки. Какъ она была хороша въ своемъ бѣломъ платьицѣ, съ распущенными по плечамъ волнистыми кудрями! Какъ блистали удовольствіемъ ея любопытные взоры, какъ всякій неожиданный предметъ возбуждалъ ея простодушную, дѣтскую радость! Сначала мы оба были въ восторгѣ: передъ нами раскрывался новый, безвѣстный для насъ міръ. Вотъ мы проѣхали мимо этого глубокаго оврага, на днѣ котораго въ тѣни густыхъ деревьевъ скрывалось нѣсколько крестьянскихъ избъ. Преданіе гласило, что тутъ былъ нѣкогда разбойничій притонъ. Въ самомъ дѣлѣ, странное положеніе этой деревушки, существованіе которой и подозрѣвать было невозможно, несмотря на то, что она была близехонько отъ большой дороги, оправдывало это народное повѣрье. Мы спустились въ лощину и оставили позади себя деревянный крестъ, врытый въ самомъ томъ мѣстѣ, гдѣ лѣтъ двадцать тому назадъ убило громомъ тужиловскаго старосту. Это былъ крайній предѣлъ нашихъ лѣтнихъ прогулокъ. Разумѣется, вниманіе наше удвоилось и, несмотря на единообразный видъ полей, намъ казалось, что все то, что мы видимъ, несравненно лучше того, къ чему приглядѣлись мы съ нашего дѣтства. Вотъ забѣлѣлась вдали частая березовая роща.—Посмотри, посмотри, братецъ!—сказала Машенька.—Ахъ, какъ хорошо! точно бѣлый дождь!—Около двухъ часовъ любопытство наше поддерживалось, но подъ конецъ намъ стало скучно; одни поля смѣнялись другими, за однимъ холмомъ подымался другой, все тѣ-же рощи, перелѣски, лощины, и только изрѣдка кой-гдѣ, вдали отъ большой дороги, проглядывали окруженныя огородами деревни. — Скоро ли мы пріѣдемъ? — спросила Машенька, зѣвая.—Что это, маменька, какъ городъ-то далеко отъ насъ; ѣдешь, ѣдешь, а все конца нѣтъ!—Авдотья Михайловна улыбнулась и молча указала впередъ.—Что это, что это? — закричала Машенька. — Посмотри-ка, братецъ, звѣздочка!—Это блистала въ лучахъ полуденнаго солнца глава соборной церкви нашего губернскаго города.

Подъѣхавъ къ крутому спуску, мы вышли всѣ изъ линеи и прошли нѣсколько времени пѣшкомъ. Когда мы взобрались на противоположный скатъ, то высокій холмъ, усыпанный домами, посреди которыхъ подымались кой-гдѣ выкрашенныя кровли каменныхъ палатъ, представился нашимъ взорамъ.—Такъ это-то городъ?—закричала Машенька.—Какъ онъ великъ! Сколько въ немъ домовъ!.. И въ нихъ во всѣхъ живутъ?.. Ахъ, Боже мой!—Я самъ обезумѣлъ отъ удивленія, смотря на длинную, обставленную высокими домами улицу, которая шла въ гору и оканчивалась на вершинѣ холма площадью. — Фу, батюшки!—шепнулъ я вполголоса,—какая громада домовъ!.. Какія огромныя палаты!

— И, сударь,—сказалъ Бобылевъ, который шелъ позади меня;—да что это за городъ—такъ, городишка! Такіе ли бываютъ города. Да и то сказать: одинъ побольше, другой поменьше, а всѣ они на одну стать: налѣво дома, направо дома, а посередкѣ улица—вотъ и все тутъ.

Восторгъ мой очень уменьшился, когда мы въѣхали въ городъ. Начиная отъ самой заставы, тянулись два ряда лачужекъ, одна другой безобразнѣе.—Что это?—вскричалъ я невольнымъ образомъ.—Да неужели это городъ!

— Городъ, душенька! — сказала Авдотья Михайловна. — Эта улица называется Мѣщанской слободою.

— Городъ!—повторила Машенька.—Да у нашего старосты Парфена новая изба гораздо лучше этихъ домовъ. Ну, ужъ городъ!

— А вотъ погодите, милые! выѣдемъ на нижній базаръ, такъ дома пойдутъ красивѣе.

Черезъ нѣсколько минутъ мы доѣхали до конца слободы, и передъ нами разостлалась огромная базарная площадь или, лучше сказать, обширный лугъ, застроенный со всѣхъ сторонъ деревянными домиками, довольно ветхими, но которые имѣли уже городскую физіономію и, если не величиною, то, по крайней мѣрѣ, своей наружной формою отличались отъ деревенскихъ избъ. Почти треть этой площади была покрыта табунами малорослыхъ и некрасивыхъ собою лошадей; посреди нихъ рыскало человѣкъ тридцать всадниковъ въ безобразныхъ ушастыхъ шапкахъ. Эти наѣздники махали своими толстыми нагайками, скакали взадъ и впередъ и перекликивались межъ собой на какомъ-то странномъ языкѣ. Одинъ изъ нихъ, съ отвратительной широкой рожею, погнался при насъ за лошадью, которая отдѣлилась отъ табуна, накинулъ на шею веревку и, несмотря на то, что она становилась на дыбы, била задомъ и металась во всѣ стороны, черезъ минуту протащилъ ее мимо насъ, какъ борзую собаку на сворѣ.

— Ай, да молодецъ!—сказалъ Иванъ Степановичъ.—Лихо съарканилъ.

— Что это за люди такіе?—спросила Машенька.—Ахъ, папенька, какіе они страшные!

— Это калмыки, душенька, они всегда пригоняютъ къ намъ на ярмарку цѣлые косяки лошадей. Ихъ что то очень много—ну, видно, этотъ разъ степныя лошади ни по чемъ будутъ.

Подвигаясь медленно впередъ, мы поровнялись съ другою частію площади, установленной телѣгами: сотни возовъ, нагруженныхъ дугами, цыновками, лаптями, деревянной посудою и всякими другими сельскими издѣліями, стояли въ самомъ живописномъ безпорядкѣ. Тутъ простой народъ кишѣлъ какъ въ муравейникѣ: невнятный говоръ, гамъ и радостныя восклицанія сливались съ громкими возгласами продавцовъ и покупателей, которые съ ужаснымъ крикомъ торговались межъ собою: то били по рукамъ, то спорили, покупщики *корили* товаръ, продавцы отвѣчали имъ бранью. Въ одномъ мѣстѣ, собравшись въ кружокъ, пировали и веселились крестьяне, сбывшіе выгодно свой товаръ; въ другомъ, посадскія разряженныя дѣвушки лакомились орѣхами, покупали пряники и пѣли пѣсни; тутъ оборванный мальчишка дулъ изо всей силы въ хвостъ глиняной уточкѣ и налаживалъ плясовую; тамъ мѣщанскій сынокъ испытывалъ свое искуство на варганѣ; въ другомъ углу, четверо видныхъ дѣтинъ играли на дудкахъ, а пятый, закрывъ лѣвою рукою ухо и, потряхивая своей кудрявой головою, заливался въ удалой пѣснѣ. Вся атмосфера была напитана испареніями свѣжаго сѣна, полевыхъ цвѣтовъ, огородныхъ душистыхъ травъ и овощей, все было кругомъ жизнь, движеніе и праздникъ.

— Ахъ, какъ здѣсь весело!—закричали мы въ одинъ голосъ съ Машенькой.—Такъ это-то ярмарка?

— Да, милые!—сказала Авдотья Михайловна.—А вонъ видите—тамъ, гдѣ стоитъ много экипажей—это ряды.

Черезъ нѣсколько минутъ мы проѣхали мимо обширнаго лубочнаго зданія или, лучше сказать, нѣсколькихъ огромныхъ балагановъ, выстроенныхъ подъ одну кровлю. Кто видѣлъ московскіе большіе ряды, которые называются *городомъ*, тотъ можетъ имѣть нѣкоторое понятіе объ этомъ временномъ гостиномъ дворѣ. Онъ также состоялъ изъ крытыхъ улицъ и переулковъ, также раздѣлялся по качеству продаваемыхъ товаровъ на ряды: суконный, москательный, панскій и суровскій; точно также толпился народъ по этимъ крытымъ улицамъ, въ которыхъ дома замѣнялись лавками, точно также вокругъ этихъ рядовъ не было проѣзда отъ тѣсноты и множества экипажей. Разница состояла только въ одной величинѣ и въ томъ, что въ Москвѣ ряды не лубочные, а каменные, что свѣтъ проникаетъ въ нихъ посредствомъ стеклянныхъ сводовъ, а не сквозь натянутую парусину, и что вмѣсто щегольскихъ столичныхъ каретъ и колясокъ, которыми бываетъ уставлена всякій день Ильинка и Никольская,—кругомъ лубочныхъ рядовъ стояли по большей части такіе экипажи, какихъ не встрѣтишь даже и въ Москвѣ на гуляньѣ въ Марьиной рощѣ, экипажи домашней работы, крѣпкіе, *вальяжные*, долговѣчные и переходящіе по прямой наслѣдственной линіи отъ отца къ сыну, вмѣстѣ съ дворянской грамотою и родовымъ имѣньемъ.

Миновавъ ряды, на которые я не успѣлъ порядкомъ насмотрѣться, мы повернули направо въ гору, и тутъ явился передъ нами губернскій городъ въ полномъ величіи своемъ и блескѣ. Мы ѣхали по Московской улицѣ. Боже мой, что за дома! Каменные, раскрашенные разными красками, съ лавками, балконами съ итальянскими окнами, въ два и даже три этажа! Что шагъ, то новое удивленіе: вотъ зеленый домъ съ красной кровлею и огромными бѣлыми столбами; вотъ розовыя палаты съ палевыми обводами около оконъ; вотъ домъ совершенно пестрый, на воротахъ голубые львы съ золотою гривою—какое великолѣпіе!!—Я молча удивлялся, а Машенька осыпала вопросами Авдотью Михайловну.—Вѣрно, это губернаторскій домъ?—спросила она, смотря на зеленыя палаты съ красной кровлею.

— Нѣтъ, душенька! Это домъ купца Вертлюгина.

— А этотъ?—продолжала Машенька, указывая на голубыхъ львовъ съ золотыми гривами.

— Купца Лоскутникова.

— А вотъ этотъ, который всѣхъ выше?

— Купца Грошевникова.

— Купеческіе — все купеческіе! — вскричалъ я съ удивленіемъ. — Боже мой! Какіе же должны быть дома у дворянъ?

— Деревянные, мой другъ!—отвѣчалъ съ улыбкою Иванъ Степановичъ.

— Странно!—подумалъ я.—Здѣсь все не такъ, какъ у насъ въ Тужиловкѣ.

Мы въѣхали, наконецъ, на главную городскую площадь. Я не вѣрилъ глазамъ своимъ, смотря на присутственныя мѣста, запачканныя, съ обитой штукатуркою, съ выбитыми стеклами и съ почернѣвшей отъ времени деревянной крышею, но болѣе всего сразилъ и зарѣзалъ меня губернаторскій домъ. Я воображалъ его мраморнымъ съ золоченою кровлею и, по крайней мѣрѣ, въ пять или шесть этажей, а онъ былъ только въ два этажа и выкрашенъ просто—желтой краской! Нѣтъ! этого уже я никакъ не ожидалъ.

Надобно вамъ сказать, что преувеличенныя понятія мои о званіи гражданскаго губернатора основывались не на однихъ предположеніяхъ; мой опекунъ былъ изъ числа людей,

которые строго держатся правила: чинъ чина да почитаетъ. Онъ всегда упоминалъ съ особеннымъ уваженіемъ о тѣхъ, коимъ русскій царь ввѣряетъ управленіе цѣлой губерніи и, слѣдовательно, благосостояніе нѣсколькихъ сотъ тысячъ человѣкъ. — Начальникъ губерніи—великое дѣло!—говаривалъ часто Иванъ Степановичъ.—Онъ глазъ царя и представитель его власти. — Однажды,—я былъ тогда еще ребенкомъ, — губернаторъ, на знаю по какому случаю, обѣдалъ въ деревнѣ у моего опекуна; это посѣщеніе, о которомъ много было толковъ и разговоровъ во всемъ нашемъ уѣздѣ, никогда не выйдетъ изъ моей памяти. Какъ теперь гляжу на эту суматоху, на эти приготовленія и хлопоты, которыя начались въ нашемъ домѣ съ ранняго утра. Я былъ не очень здоровъ и сидѣлъ одинъ въ своей комнатѣ на антресоляхъ. За воротами, въ мундирѣ и при шпагѣ, стоялъ уѣздный засѣдатель, плѣшивый старичекъ, котораго я очень любилъ за его ласковый и веселый нравъ; но на этотъ разъ онъ показался мнѣ совсѣмъ другимъ человѣкомъ: онъ былъ и суетливъ, и очень важенъ, держалъ себя на вытяжку, поминутно поправлялъ мундиръ, снималъ шляпу и вытиралъ платкомъ свою лысину; впрочемъ, замѣтно было, что онъ храбрился такъ для виду, а въ самомъ дѣлѣ робѣлъ не шутя. Подлѣ него толпились старики и выборные экономическаго селенія. Эти сѣдые грѣшники всѣ были въ трезвомъ видѣ и стояли съ поникнутыми головами, какъ преступники: видно, громъ грянулъ, такъ пришло перекреститься. Они слыхали не разъ, что губернаторъ

Правдивъ, какъ страшный судъ!

а цѣлый свѣтъ зналъ, то-есть все экономическое село и наша Тужиловка, что эти старые грѣховодники опивали порядкомъ бѣдныхъ крестьянъ и не давали никому суда и расправы иначе, какъ въ кабакѣ за ведромъ вина, за которое, разумѣется, не они платили деньги цѣловальнику. Вотъ, этакъ около полудня, зазвенѣлъ вдали колокольчикъ; черезъ минуту, забрызганный грязью капитанъ-исправникъ примчался на тройкѣ обывательскихъ къ нашему крыльцу. Выборные отвѣсили ему вдогонку по низкому поклону, а засѣдатель кинулся, чтобъ помочь своему начальнику выпрыгнуть изъ телѣги, но не поспѣлъ; исправникъ, вылѣзая, зацѣпилъ второпяхъ за колесо ногою, грянулся о-земь и, лежа еще на-боку, прокричалъ: его превосходительство изволитъ ѣхать! — Все пришло въ движеніе: слуги бросились толпою къ воротамъ, — опекунъ мой вышелъ на крыльцо, и вся наша дворня,—женщины, дѣвки и даже малые ребятишки, высыпали изъ застольной и людскихъ, чтобъ взглянуть хотя мелькомъ на губернатора. Вотъ показалась его карета; помнится, позади ея стояли гусары, а впереди скакали двое казаковъ. Когда губернаторскій экипажъ приблизился къ воротамъ, плѣшивый засѣдатель до того вытянулся, что вдругъ сталъ цѣлой головой выше обыкновеннаго; старики и выборные преклонили свои грѣшныя головы ниже пояса, а самый-то главный изъ нихъ, беззаконникъ и пьяница, сотникъ Вавила, *палъ* на колѣни и прослезился отъ умиленія. Капитанъ-исправникъ отворилъ дверцы кареты; я высунулся до половины изъ моего окна, но никакъ не могъ разсмотрѣть хорошенько губернатора, а замѣтилъ только, что у него преогромный носъ. Этотъ торжественный пріемъ, подобострастіе и почетъ, который оказывали губернатору, любопытство, съ которымъ всѣ желали его видѣть, а болѣе всего необычайный страхъ и трепетъ засѣдателя и выборныхъ сильно подѣйствовали на мое дѣтское воображеніе; мнѣ казалось, что начальникъ губерніи долженъ быть существомъ совершенно особеннаго рода, и хотя я не могъ въ умѣ своемъ облекать всѣхъ знаменитыхъ людей въ образъ нашего губернатора, потому что разсмотрѣлъ только его носъ, но зато во мнѣ укоренилась и долго не могла истребиться мысль, что каждый важный сановникъ долженъ быть непремѣнно съ большимъ носомъ.

Объяснивъ читателямъ причину моего удивленія при видѣ двухъ-этажнаго губернаторскаго дома, я возвращаюсь снова къ начатому разсказу.

Выѣхавъ на городскую площадь, мы тотчасъ повернули направо, и наша линея остановилась у крыльца большого деревяннаго дома, выкрашеннаго сѣрой краскою. Тутъ жилъ пріятель Ивана Степановича, нашъ губернскій предводитель, Алексѣй Андреевичъ Двинскій. Мой опекунъ всегда у него останавливался, когда пріѣзжалъ въ городъ. Этотъ Двинскій стоитъ того, чтобъ я сказалъ о немъ нѣсколько словъ. Онъ былъ видный собою и бодрый старикъ, лѣтъ шестидесяти пяти; человѣкъ справедливый, исполненный чести и готовый всегда и во всякомъ случаѣ стать грудью за послѣдняго дворянина своей губерніи. Отличительной чертою его характера было необычайное добродушіе, съ нѣкоторой примѣсью спеси, или, лучше сказать, чванства родового дворянина, у котораго двѣ тысячи душъ крестьянъ, псовая охота, хоръ пѣвчихъ и огромная роговая музыка; но эта слабость была въ немъ извинительна: онъ съ такимъ простосердечіемъ хвастался своимъ древнимъ родомъ и богатыми помѣстьями, что, право, грѣшно бы было не только на него досадовать, но даже посмѣяться надъ его невиннымъ чванствомъ. Во всемъ городѣ одинъ только Григорій Ивановичъ Рукавицынъ, самый богатый помѣщикъ нашей губерніи, не любилъ Двинскаго; вѣроятно, потому, что видѣлъ въ немъ своего единственнаго соперника по богатству и откры-

тому образу жизни. Этотъ Григорій Ивановичъ Рукавицынъ не щадилъ ничего, чтобы уронить Двинскаго въ общемъ мнѣніи: давалъ чаще его обѣды, вечера, и наконецъ завелъ даже домашній театръ, на которомъ играли,—вы вѣрно думаете: «Недоросля» или «Бобыля?» — Извините! «Діанино древо» и «Рѣдкую вещь». Къ нему ѣздилъ весь городъ, всѣ дивились его Илюшкѣ, который пѣлъ фистулою, и отдавали полную справедливость Дуняшѣ, которая заливалась соловьемъ въ бравурныхъ аріяхъ; но, несмотря на то, когда наступили дворянскіе выборы, Рукавицыну наклали черныхъ шаровъ, а Двинскаго избрали единогласно губернскимъ предводителемъ.

До открытія губерній Алексѣй Андреевичъ Двинскій былъ воеводою въ одномъ небольшомъ городкѣ; потомъ, во время Пугачева, котораго отдѣльныя шайки возмущали народъ и долго злодѣйствовали въ нашей губерніи, онъ командовалъ небольшимъ отрядомъ уланъ. Чтобъ это не сочли анахронизмомъ, я долженъ сказать, что такъ назывались въ то время летучіе конные отряды, составленные по большей части изъ дворовыхъ людей. Такъ какъ въ нашей сторонѣ вовсе не было тогда регулярнаго войска, то нѣкоторые изъ богатыхъ помѣщиковъ должны были прибѣгнуть къ этому средству, чтобъ пріостановить хотя на время успѣхи пугачевской сволочи и держать въ повиновеніи крестьянъ. Двинскій оправдалъ вполнѣ довѣренность своихъ товарищей: онъ сдѣлался въ короткое время грозою мятежниковъ, его строгая справедливость и удальство вошли въ пословицу, и одно имя наводило робость не только на бунтующихъ крестьянъ, но даже и на самихъ казаковъ шайки Пугачева. Не разъ случалось, что появленіе его съ нѣсколькими уланами усмиряло цѣлыя селенія. Я очень любилъ слушать, когда онъ разсказывалъ о своихъ партизанскихъ подвигахъ; помню, однажды при мнѣ, говоря, по своему обыкновенію, протяжно и выговаривая всѣ слова на о, Двинскій разсказалъ одинъ случай, который доказываетъ, какъ сильно дѣйствуетъ на нашъ простой народъ имя человѣка, извѣстнаго своимъ удальствомъ и справедливостію.—Это было такъ подъ вечеръ,—говорилъ онъ;—я стоялъ по сю-сторону Суры, а на той высыпало изъ села сотни двѣ бунтовщиковъ. Вотъ кричатъ изъ-за рѣки: —Алексѣй Андреичъ, покорись!— Не покорюсь вамъ, злодѣи! —Ой, Алексѣй, сдайся! худо будетъ!—Не сдамся вамъ, разбойники! Постойте, постойте—вотъ я васъ!— Со мной было всего-на-всего человѣкъ пять уланъ. Да что тутъ думать—смѣлымъ Богъ владѣетъ—бухъ прямо въ рѣку, вплавь. Лишь только я выбрался съ моими уланами на берегъ, да пафъ изъ пистолета. Эге! глядь, мужички-то мои и сробѣли. — Кто противъ нашей матушки Царицы? говори! — зыкнулъ я во все горло—они всѣмъ міромъ и брякъ на колѣни.

— Виноваты, батюшка Алексѣй Андреевичъ! Глупость наша такая—помилуй!

— Вотъ я васъ помилую!.. Постойте-ка, постойте! Есть ли у васъ большой сарай на господскомъ дворѣ?

— Есть, кормилецъ.

— Такъ сберитесь же туда всѣ отъ мала до велика, и держите себя подъ карауломъ—слышите?

— Слышимъ, батюшка.

— Мнѣ некогда съ вами возиться; надобно еще у сосѣдей вашихъ побывать. Завтра опять къ вамъ буду.

— Слышимъ-ста, батюшка! только помилуй!

— А вотъ посмотрю, утро вечера мудренѣе. Кого надо повѣсить—повѣшу; кого помиловать—помилую.—Ну, что-жъ стали! Ступай говорятъ,—да у меня смотри, караулить себя хорошенько.

— Станемъ караулить, родимый!

— Ну, то-то же! Ждите меня завтра чѣмъ свѣтъ.

— Будемъ-ста ждать, батюшка, только помилуй!

Я воротился къ нимъ на другой день,—продолжалъ Алексѣй Андреевичъ.—Смотрю, у сарая стоитъ часовой съ дубиной. Я подъѣхалъ; караульный снялъ шапку, поклонился въ поясъ и сказалъ мнѣ:—Здравствуй, батюшка Алексѣй Андреевичъ!—А тамъ вдругъ какъ крикнетъ: «кто идетъ?» «командиръ!»— Вотъ онъ вытащилъ запоръ, отворилъ ворота, я вошелъ, и что-жъ вы думаете? Гляжу, вся вотчина поголовно сидитъ въ сараѣ.

Алексѣй Андреевичъ Двинскій былъ въ свое время человѣкъ довольно ученый, то есть онъ любилъ читать, зналъ почти наизусть Ролленя, Іосифа Флавія и Квинта Курція, имѣлъ нѣкоторыя понятія о наукѣ такъ, какъ понимали ее у насъ лѣтъ семьдесятъ тому назадъ. Надобно сказать правду, онъ употреблялъ иногда во зло свою ученость, и подчасъ слишкомъ щеголялъ ею. Имена знаменитыхъ людей, а въ особенности древнихъ философовъ, поминутно были у него на языкѣ. Разумѣется, почти всѣ дворяне нашей губерніи преклоняли съ благоговѣніемъ свои главы предъ его глубокой ученостью, выключая однако-жъ губернатора, который, несмотря на близкое свое родство съ Алексѣемъ Андреевичемъ, безпрестанно спорилъ и часто сбивалъ всѣ своими простодушными вопросами. Нашъ губернаторъ былъ человѣкъ неученый, всю жизнь служилъ въ военной службѣ и, какъ говорится, былъ честенъ *по булату*. Конечно, и его иногда обманывалъ секретарь; но зато если онъ замѣчалъ гдѣ-нибудь упущенія по службѣ или-открывалъ нечаянно какое-нибудь злоупотребленіе, то подымалъ такой штурмъ, что не только присутствующіе въ нижнихъ ин-

станціяхъ, но и въ высшихъ мѣстахъ, мѣсяца по два сряду дрожкой дрожали и ходили всѣ по стрункѣ. Доступъ къ нему былъ вовсе не тяжелъ; онъ принималъ просьбы ото всѣхъ, говорилъ самъ съ послѣднимъ мѣщаниномъ; да только вотъ что было худо: если проситель изъяснялся це толковито, или говорилъ слишкомъ протяжно, то онъ отсылалъ его къ секретарю или просто выталкивалъ вонъ изъ своего кабинета. Сестра его, Марья Степановна, жена Алексѣя Андреевича Двинскаго, слыла предоброю старушкою, не пропускала ни одной службы, помогала бѣднымъ, любила знать все, что дѣлается въ городѣ, и сверхъ того была большая мастерица раскладывать гран-пасіансъ и считать года всѣхъ невѣстъ, которыя позасидѣлись въ дѣвкахъ.

Алексѣй Андреевичъ Двинскій встрѣтилъ насъ въ гостиной; эта комната поразила меня своимъ роскошнымъ убранствомъ. Огромная хрустальная люстра, подъ зеркалами на подстольникахъ жирандоли, убранные также граненымъ хрусталемъ; по стѣнамъ *масляныя* картины въ золоченыхъ рамахъ, наклейные столы, кресла и канапе, обитыя полосатымъ штофомъ, все это показалось мнѣ чрезвычайно великолѣпнымъ. Хозяинъ обнялъ съ искреннею радостію моего опекуна и потрепалъ меня ласково по щекѣ, а супруга его расцѣловалась съ Авдотьей Михайловной и Машенькой. На канапе сидѣлъ какой-то гость съ большимъ носомъ, въ широкомъ сюртукѣ съ звѣздою. Онъ также встрѣтилъ ласковымъ словомъ Ивана Степановича, который поклонился ему весьма почтительно и сталъ величать превосходительствомъ; по всѣмъ этимъ примѣтамъ мнѣ не трудно было узнать въ немъ губернатора. Признаюсь, я очень оробѣлъ сначала; но какъ поосмотрѣлся и замѣтилъ, что онъ точно такой же человѣкъ, какъ и всѣ другіе, то сдѣлался посмѣлѣе, придвинулся поближе къ хозяину, который о чемъ-то съ нимъ спорилъ, и сталъ вслушиваться въ ихъ разговоръ.

— Да полно, братецъ, изъ пустого въ порожнее переливать,—говорилъ губернаторъ, набивая свой огромный носъ табакомъ.—Зналъ бы я наказъ нашей матушки Екатерины Алексѣевны, регламентъ Петра Перваго, отчасти уложенье Царя Алексѣя Михайловича, да правилъ бы губерніею честно, добросовѣстно и со всякимъ опасеніемъ,—такъ вотъ тебѣ и вся наука!—На что мнѣ ваши финты-фанты, да всякія ученыя премудрости!—Я, братъ, за нихъ и гроша не дамъ.

— И не давай, любезный! — сказалъ съ усмѣшкою Двинскій. — Вѣдь наука не что другое, она не всякому впрокъ идетъ; и премудрый Сократъ говорилъ однажды своему ученику Платону...

— Ужъ какъ ты мнѣ надоѣлъ съ этимъ Сократомъ,— прервалъ губернаторъ. — Наладилъ одно: Сократъ да Сократъ!—И что онъ былъ за человѣкъ такой?

— Аѳинскій гражданинъ, любезный!

— Только-то? Гражданинъ, то-есть по-нашему мѣщанинъ? Не велика птица!—Посмотрѣли бы мы его премудрости, если-бъ онъ былъ гражданскимъ губернаторомъ! Тутъ, братъ, и не мѣщанинъ затылокъ у себя зачешетъ. Эка важность: — премудрый Сократъ!.. Видали мы этихъ Сократовъ!

— Едва ли, любезный! Ты книгъ не читаешь, такъ врядъ ли когда-нибудь съ нимъ встрѣтишься—хе, хе, хе!

— Да что въ книгахъ-то проку? Вотъ ты третьяго дня втеръ насильно мнѣ въ руки эту—какъ, бишь, ее зовутъ?.. прахъ ее возьми!..

— «Граціанъ—придворный человѣкъ».

— Да, да! Ну, ужъ книга! Чортъ знаетъ, что въ ней напечатано!—Въ толкъ не возьмешь!

— Хе, хе, хе! Что, любезный, не про насъ видно писано? А не худо бы тебѣ прочесть со вниманіемъ регулу шестьдесятъ-первую о томъ, такъ мы должны преуспѣвать въ изрядствахъ.

— Читай, братъ, самъ по субботамъ.

— Ну, а прочелъ ли ты мою книгу о семи мірахъ?

— Чортъ ее возьми! — И какое мнѣ до нихъ дѣло?

— Какое? — Эхъ, ваше превосходительство!—Плохъ тотъ человѣкъ,— говоритъ Маркъ Аврелій, — который не знаетъ, почему онъ ходитъ и что его покрываетъ.

— Да кто-жъ этого не знаетъ? Извѣстное дѣло, мы всѣ ходимъ по землѣ, а надъ нами небо.

— Да на небѣ-то что?

— Мало ли что: солнце, мѣсяцъ, звѣзды.

— А звѣзды-то что такое?

— Какъ что такое?.. Ну, звѣзды, да и все тутъ.

— Нѣтъ не все!—Не знаешь, такъ я тебѣ скажу. Звѣзды небесныя такіе же міры, какъ и нашъ.

— Смотри, пожалуй! — Ахъ ты, мудрецъ, мудрецъ! видишь, что выдумалъ! Полно, братъ, разсказывай другимъ!

— Я тебѣ говорю.

— Да что, ты тамъ былъ, что-ль?

— Не былъ, да знаю.

— Міры! Хороши міры по маковому зернышку!

— Такъ намъ отсюда кажется, а въ самомъ дѣлѣ они болѣе нашей земли и, вѣроятно, служатъ жилищемъ для разумныхъ тварей. Статься можетъ, тамъ есть такіе же умные губернаторы, какъ ты, и такіе же глупые коллежскіе совѣтники, какъ я, — хе, хе, хе!

— Эку дичь поретъ! — Да развѣ тебѣ не случалось видѣть, что звѣзды-то съ неба падаютъ?

— Случалось, любезный!

— Такъ отчего же до сихъ поръ ни одного губернатора или коллежскаго совѣтника оттуда не свалилось, и ни одна звѣзда никакихъ бѣдъ не надѣлала? Да если-бъ онѣ были не только съ нашу землю, а вотъ хоть съ нашъ губернскій городъ, такъ ужъ вѣрно-бъ много народу передавили.

— То-то и есть, любезный! ученье свѣтъ, а неученье тьма. Ты, сердечный, и этого не знаешь, что звѣзды, которыя падаютъ на землю, не тѣ, которыхъ мы видимъ на тверди небесной.

— Такъ что-жъ это за звѣзды такія?

Этотъ вопросъ, и въ наше время не вовсе еще рѣшенный, казалось, очень затруднялъ Двинскаго. Онъ наморщилъ лобъ, понюхалъ медленно табаку и сказалъ: — Ты хочешь знать, что это за звѣзды такія?

— Ну, да!

— Вотъ, изволишь видѣть, любезный!—Эти падающія звѣзды не то, что звѣзды неподвижныя.

— А какія же?

— Какія! Ну, разумѣется, особыя, отличныя, то-есть—пойми меня хорошенько—онѣ, сирѣчь звѣзды, не то что звѣзды, а такъ сказать, подобіе звѣздъ.

— Да что-жъ онѣ такое?

— Экій ты, братецъ, какой! Вѣдь я тебѣ толкомъ говорю, тѣ звѣзды сами по себѣ, и эти сами по себѣ. Звѣзда звѣздѣ не указъ, любезный!

— Да не о томъ рѣчь! — Ты мнѣ скажи, что это за звѣзды, которыя падаютъ?.. А?.. что?.. видно, ученость-то твоя втуникъ стала?

— Да что съ тобой говорить!—сказалъ съ примѣтной досадой Двинскій.—Вѣдь это для тебя халдейская грамота, любезный! Не даромъ сказано: не разсыпайте бисера...

— Спасибо, другъ сердечный! вотъ къ кому примѣнилъ!

— Не погнѣвайся! Такъ, къ слову пришлось.

п Я не могъ дослушать этотъ ученый дисгутъ, потому что меня отвели во флигель, гдѣ я скинулъ дорожное платье и нарядился въ свой коричневый фракъ. Потомъ, часу въ шестомъ послѣ обѣда, заложили опять нашу линею, и мы всѣ вмѣстѣ отправились на сборное мѣсто цѣлаго города, то-есть въ лубочные ряды на ярмарку.

III.

Ярмарка.

Вѣрно, вамъ случалось не разъ слушать съ досадою, повидимому, совершенно несправедливыя жалобы стариковъ на все то, что мы *называемъ улучшеніемъ;* не смѣйтесь надъ ними, не осуждайте ихъ! Неужели въ самомъ дѣлѣ вы думаете, что старикъ, — если онъ не совсѣмъ еще выжилъ изъ ума,— не понимаетъ, что каменный, удобный и красивый домъ лучше какихъ-нибудь деревянныхъ неуклюжихъ хоромъ; что хорошо вымощенная и опрятная площадь несравненно приличнѣе для всякаго города, чѣмъ грязный лугъ, по которому и весной и осенью вовсе нѣтъ проѣзда; что ѣхать въ почтовой, спокойной каретѣ по гладкому шоссе во сто разъ пріятнѣе, чѣмъ скакать въ тряской кибиткѣ по бревенчатой мостовой, или изрытой колеями дорогѣ; повѣрьте, онъ это все и видитъ, и чувствуетъ, и понимаетъ; почему же онъ почти всегда предпочитаетъ дурное старое хорошему новому?—почему? На это отвѣчать не трудно—послушайте!

Одинъ изъ моихъ столичныхъ знакомыхъ, который былъ съ ребячества искреннимъ пріятелемъ и воспитывался вмѣстѣ съ деревенскимъ моимъ сосѣдомъ Волгинымъ, прошлаго года пріѣхалъ изъ Петербурга нарочно для того, чтобъ съ нимъ повидаться. Онъ заѣхалъ по дорогѣ ко мнѣ; на ту пору былъ у меня въ гостяхъ сынъ Волгина, молодецъ лѣтъ двадцати, писаный красавецъ. Я тотчасъ ихъ познакомилъ, и когда этотъ молодой человѣкъ объявилъ пріѣзжему, что онъ мѣсяцъ тому назадъ похоронилъ своего отца, мой столичный пріятель залился слезами.

— Вотъ былъ человѣкъ! — говорилъ онъ всхлипывая.—Перевелись такіе люди! А молодецъ-то былъ какой!

— Полно, такъ ли, любезный?—сказалъ я, когда молодой Волгинъ вышелъ изъ комнаты. — Покойникъ былъ некрасивъ собою; — вотъ сынъ его, такъ нечего сказать...

— Да, да! Конечно, сынъ хорошъ, а отецъ былъ еще лучше.

— Что ты, помилуй! У него все лицо было изрыто оспою.

— Да, это правда: мы съ нимъ занемогли въ одно время; меня Богъ помиловалъ, а его, бѣдняжку, больно злодѣйка изуродовала. Боже мой! какъ мы съ нимъ обрадовались, когда, продержавъ насъ мѣсяца два взаперти, выпустили въ первый разъ изъ комнаты. Ужъ то-то мы набѣгались до-сыта! съ ногъ сбили нашего дядьку Прохора, а пуще Волгинъ—куда легокъ былъ на ногу!

— Неужели? Да вѣдь онъ всю жизнь свою хромалъ!

— Да, да, прихрамывалъ! Ему не было еще и шести лѣтъ, какъ онъ переломилъ себѣ ногу; мы лѣзли съ нимъ черезъ заборъ, онъ какъ то сорвался, упалъ неловко, и съ тѣхъ поръ... Ахъ ты, Господи, Боже мой! какъ вспомню: какіе мы были проказники! Бывало, я на любое дерево взбѣгу, какъ по лѣстницѣ; няня меня ищетъ, а я-то сижу себѣ на суку, да кричу кукушкою. Преживой былъ ребенокъ!

— Мнѣ помнится также,—продолжалъ я,—у покойнаго былъ носъ на сторону?

— Правда, правда! Да вѣдь это къ нему очень шло! Бывало, онъ станетъ намъ корчить гримасы: ротъ на одну сторону, носъ на другую, такъ мы всѣ и помремъ со смѣху! Линскій начнетъ его передразнивать, Мурашкинъ также... Боже мой!.. всѣ померли! А люди-то какіе были—люди!

— Не спорю, любезный! Только какъ же твой другъ Волгинъ, съ рябымъ лицомъ, хромой ногою и кривымъ носомъ былъ лучше своего сына, перваго молодца и красавца во всей нашей губерніи?

Пріятель мой задумался, покачалъ печально головою и, пожавъ мнѣ крѣпко руку, сказалъ:—Да, мой другъ! Волгинъ на мои глаза былъ лучше всѣхъ нынѣшнихъ красавцевъ; его лицо напоминало бы мнѣ самые блаженные годы моей жизни. Ты—дѣло другое: ты не выросъ съ нимъ вмѣстѣ; при встрѣчѣ съ нимъ не оживились бы въ твоей памяти всѣ дѣтскія радости, все счастіе юношескихъ лѣтъ, когда свѣтъ намъ кажется прекраснымъ, надежда вѣрнымъ, неизмѣннымъ другомъ, а всѣ люди братьями. Если бы я его увидѣлъ, то помолодѣлъ бы тридцатью годами, пустился бы бѣжать съ тобою взапуски! Вмѣсто его я увидѣлъ сына, и меня опять пригнуло къ землѣ, все прошедшее какъ будто бы не бывало, а безъ него худо нашему брату, старику. Настоящее хоть брось, а будущее... Ахъ, мой другъ, мой другъ! Ты еще не старъ, а мнѣ скоро восемьдесятъ стукнетъ. Нѣтъ! воля твоя, хорошъ сынъ, а отецъ былъ гораздо лучше!

Я думалъ почти то же самое, когда, спустя лѣтъ тридцать, попалъ нечаянно на эту годовую ярмарку нашего губернскаго города. Съ какою дѣтскою радостью торопился я воскресить въ душѣ своей всѣ прежнія впечатлѣнія, какъ встрепенулось мое сердце отъ удовольствія, когда лакей, притворивъ дверцы кареты, закричалъ: пошелъ на ярмарку! Подъѣзжаю — и что же?.. Боже мой! какое превращеніе! Вмѣсто лубочныхъ балагановъ и лавокъ, драпированныхъ рогожами, у которыхъ была такая праздничная, веселая наружность,—пречопорный гостиный дворъ, раскрашенный, обитый тесомъ и даже,—о, Господи! ожидалъ ли я такого несчастія! — выстроенный по плану и съ наблюденіемъ всѣхъ правилъ изящной архитектуры! Куда дѣвался этотъ упоительный запахъ сырыхъ лубковъ и свѣжихъ цыновокъ? Гдѣ эти дождевыя лужи, около которыхъ такъ осторожно и подбирая свои платьица обходили наши городскія барыни? На каждомъ шагу такія улучшенія, вездѣ такая чистота и опрятность, такое благочиніе! Нѣтъ ни суматохи, ни тѣсноты; ну, словомъ, все такъ чинно, такъ прекрасно и такъ скучно, что я чуть-чуть не заплакалъ съ горя!—Хорошо,—думалъ я, прохаживаясь по широкимъ рядамъ.—Что и говорить—хорошо! Да эти щеголеватые ряды мнѣ ничего не напоминаютъ. Это ужъ не та ярмарка, на которой я такъ веселился; та сгибла и пропала вмѣстѣ съ моею молодостію! Та была просто годовой праздникъ, на которомъ въ лубочныхъ временныхъ балаганахъ веселились безъ причудъ, на распашку; а теперь, Боже мой! изящное зданіе съ колоннами! Ну, что тутъ будешь дѣлать? Хочешь—не хочешь, а надѣвай, вмѣсто полевого кафтана, фракъ или модный сюртукъ! Нѣтъ, прежняя ярмарка была гораздо лучше!

Попытаюсь описать ее.

Я ужъ сказалъ моимъ читателямъ, что мы, отобѣдавъ у Алексѣя Андреевича Двинскаго, отправились всей семьей на ярмарку. И теперь еще не могу вспомнить безъ восторга и радостнаго замиранія сердца о томъ, какъ мы подъѣхали къ рядамъ, какъ вышли изъ нашей линеи, какъ глазамъ моимъ представилась эта безконечная перспектива слабо освѣщенныхъ лавокъ, которыя, вмѣстѣ съ многолюдной толпой народа, терялись вдали въ какомъ-то заманчивомъ сумракѣ. Когда мы вошли въ одну изъ главныхъ улицъ этихъ ярмарочныхъ бивуковъ, голова моя закружилась и стало рябить въ глазахъ. Я не зналъ на что смотрѣть: тутъ, лавочки наполнены серебряною посудою и образами, въ золоченыхъ окладахъ; тамъ, тульскій магазинъ съ блестящими стальными издѣліями; подлѣ, цѣлыя горы граненаго хрусталя; вотъ люстра огромнѣе и лучше той, которая поразила меня въ домѣ Алексѣя Андреевича Двинскаго. — Боже мой, Боже мой! — шепталъ я, протирая глаза.—Нѣтъ! такого богатства и роскоши я въ жизни своей не видывалъ!.. Да это все стоитъ милліоновъ! Боже мой, Боже мой! — Пройдя шаговъ сто, мы остановились подлѣ одной угольной лавки съ дамскими товарами. Авдотья Михайловна и Машенька стали торговать разныя шелковыя матеріи; Иванъ Степановичъ отправился покупать себѣ енотовую шубу; а я, оправясь немного отъ перваго изумленія, началъ расхаживать взадъ и впередъ по рядамъ, чтобъ людей посмотрѣть и себя показать. На мнѣ была пуховая круглая шляпа, которую, съ мѣсяцъ тому назадъ, братъ моего опекуна, проѣзжая изъ Москвы въ Саратовъ, подарилъ мнѣ на память. Эта шляпа съ высокой тульей и тремя ленточками, изъ которыхъ каждая застегивалась особой серебряной пряжкою, была, по словамъ его, самой послѣдней моды. Я обновилъ ее для ярмарки и, признаюсь, думалъ, что народъ будетъ останавливаться и смотрѣть на эту щегольскую шляпу, что, можетъ-быть, многіе станутъ говорить: Посмотрите, какая шляпа! сколько пряжекъ!.. Кто этотъ молодой человѣкъ въ такой модной шляпѣ? Вотъ я себѣ хожу, да посматриваю: не взглянетъ ли кто-нибудь? Никто! Какъ я

ни старался выказать свою шляпу: то падѣмалъ ее на-бекрень, то закидывалъ назадъ— все напрасно! никто не удостоилъ ее ни однимъ взглядомъ; и когда я встрѣтилъ человѣкъ десять точно въ такихъ же шляпахъ, и даже одного, у котораго вся тулья снизу до верху была опутана ленточками и унизана пряжками, то поневолѣ смирился и почувствовалъ всю ничтожность суеты и гордости мірской. Видя, что нѣтъ никакой пользы себя показывать, я рѣшился смотрѣть на другихъ. Прислонясь къ одной лавкѣ, я стоялъ съ полчаса, не мѣняя мѣста, и глядѣлъ съ удивленіемъ на эту пеструю и многолюдную толпу гуляющихъ. — Откуда набралось столько народа?—думалъ я —Господи, Боже мой! и это все господа!—Они встрѣчались, здоровались, обнимались, хвастались своими покупками и разсказывали другъ другу всякія новости. Нѣсколько расфранченныхъ молодыхъ людей, въ сюртукахъ съ петлицами, въ венгеркахъ, въ модныхъ фракахъ съ узенькими фалдочками и высокими лифами, увивались около дамъ; они такими молодцами подходили къ барышнямъ, такъ ловко потчевали ихъ шепталою, финиками и разными другими сластями, отпускали такіе замысловатые комплименты съ примѣсью французскихъ словъ, что я не могъ смотрѣть на нихъ безъ зависти. Почти всѣ молодыя барыни и барышни сидѣли рядышкомъ по прилавкамъ, къ явному прискорбію купцовъ, которымъ не оставалось мѣста, гдѣ бы они могли показывать покупщикамъ свои товары. Я узналъ впослѣдствіи, что этотъ обычай пріѣзжать въ ряды для того только, чтобъ сидѣть по нѣскольку часовъ сряду на прилавкахъ, не всегда имѣетъ своей цѣлію одно препровожденіе времени; для иныхъ зрѣлыхъ дѣвушекъ онъ служитъ—какъ бы это сказать повѣжливѣе? — онъ служитъ какимъ-то иносказательнымъ возвѣщеніемъ, что и онѣ, наравнѣ съ другими товарами, ожидаютъ покупщиковъ. Эта выставка невѣстъ, въ прежнихъ лубочныхъ рядахъ, была очень выгодна для дѣвицъ, которыя имѣютъ причины показывать себя въ полусвѣтѣ. Я замѣтилъ также, что чѣмъ дурнѣе была какая-нибудь барышня, тѣмъ болѣе отыскивалось у нея пріятельницъ, которыя старались наперерывъ сидѣть съ нею рядомъ. Слабый свѣтъ и безобразная сосѣдка удивительно какъ помогаютъ очарованію туалета; при этихъ двухъ средствахъ обольщенія, пріятная наружность становится плѣнительною, а тридцатилѣтняя красавица превращается въ ребенка.

Я забылъ сказать, что мой опекунъ, отправляясь вмѣстѣ съ нами на ярмарку, отдалъ въ полное мое распоряженіе синенькую ассигнацію и рубля два мелкимъ серебромъ. Сначала, развлеченный новостію предметовъ, которые на каждомъ шагу возбуждали мое удивленіе и любопытство, я совершенно позабылъ *этомъ важномъ обстоятельствѣ*. Наглядѣвшись до-сыта на толпы гуляющихъ и лавки, наполненныя дорогими товарами, я обратилъ, наконецъ, вниманіе на разбросанныя посреди рядовъ небольшія лавочки, или шкапы съ разными мелочными товарами. Я остановился подлѣ одного изъ нихъ: перочинные ножички различныхъ формъ, красные туалетцы съ зеркалами, точеные игольники, рулетки, сафьяновые бумажники съ приборомъ, готовальни, духи и сотни другихъ бездѣлушекъ, обворожили меня своимъ разнообразіемъ и привлекательною наружностію; я пожиралъ ихъ глазами.—Боже мой!—прошепталъ я невольнымъ образомъ, — что, если-бъ у меня было шереметьевское богатство! Я купилъ бы всѣ эти вещи разомъ, разложилъ бы у себя на столѣ и любовался бы ими съ утра до вечера. Э! да что-жъ я въ самомъ дѣлѣ? Вѣдь у меня есть деньги—куплю хоть что-нибудь! — Вотъ, собравшись съ духомъ, я рѣшился, наконецъ, спросить купца о цѣнѣ нѣкоторыхъ изъ его товаровъ. Мы скоро поладили, и надобно было видѣть, какъ важно и съ какою гордостію я вынулъ мою казну и отсчиталъ деньги, когда въ первый разъ въ жизни, самъ, лично своей особою, торговалъ и купилъ костяной волчокъ, роговой тупейный гребешокъ и банку московской жасминной помады; — не правда ли—васъ это удивляетъ? *Молодой человѣкъ*, которому минуло *уже* шестнадцать лѣтъ, покупаетъ для своей забавы волчокъ! Да! теперь это было бы очень удивительно; но лѣтъ сорокъ тому назадъ, шестнадцатилѣтняго мальчика называли еще ребенкомъ, а молодой восемнадцатилѣтній человѣкъ не считалъ себя ни законодателемъ вкуса, ни публицистомъ, ни глубокимъ *мыслителемъ*, не старялся, безъ всякаго призванія, разыгрывать роли русскаго Канта, Окена или Шлегеля, и ни въ какомъ случаѣ не стыдился быть молодымъ и уважать заслуги старыхъ людей. Кто не знаетъ наизусть нашего русскаго роднаго поэта, который сказалъ:

Все идетъ чредой опредѣленной:
Смѣшонъ и вѣтренный старикъ,
Смѣшонъ и юноша степенный...

и кто не согласится со мною, что послѣдній стихъ, къ несчастію, вовсе не выражаетъ духъ нашего времени. Молодые люди—юноши девятнадцатаго столѣтія! Повѣрьте старику, который, несмотря на то, что принадлежитъ къ прошедшему вѣку, не менѣе вашего ненавидитъ невѣжество и радуется успѣхамъ просвѣщенія,—не торопитесь жить, оставайтесь подолѣе дѣтьми! Зачѣмъ весною украшать ваше юное чело поблекшими цвѣтами осени? Она придетъ, злодѣйка зима! не бойтесь—придетъ! засыплетъ васъ своимъ холоднымъ снѣгомъ, заморозитъ ваше воображеніе, убьетъ всю силу души, и прежде, чѣмъ вы успѣете оглянуться съ горемъ на прошедшее, покроетъ васъ на вѣки своимъ бѣлымъ саваномъ.

Истративъ на эту покупку не болѣе половины моей казны, я рѣшился на остальныя деньги купить знаменитый романъ Дюкредюмениля — «Яшенька и Жоржета», о которомъ слышалъ чудеса отъ одного изъ нашихъ сосѣдей. Книжная лавка была въ двухъ шагахъ; но около нея толпилось такъ много покупщиковъ, что я долженъ былъ минутъ десять дожидаться моей очереди. Въ то самое время, какъ я подошелъ къ прилавку, передо мною раздался голосъ дядьки моего Бобылева.—Хозяинъ!—проревѣлъ онъ своимъ густымъ басомъ,—есть у тебя арихметика съ числами? — Купецъ подалъ ему небольшую книжку. — Это не та! — сказалъ Бобылевъ, взглянувъ на заглавный листъ. Книгопродавецъ подалъ ему другую.—И это не та! Ты дай мнѣ настоящую!

— Да какую же тебѣ надобно ариѳметику,—спросилъ съ петерпѣніемъ книгопродавецъ.

— Вѣстимо, какую! Дай мнѣ арихметику, которая начинается вотъ такъ: «Въ началѣ Богъ сотворилъ небо и землю».

— Такой нѣтъ.

— Какъ нѣтъ! Я самъ видѣлъ у нашего попа Егора, въ красной оберткѣ, первая страничка позамарана.

— Добро, добро! Пошелъ прочь отъ лавки, не до тебя!

— Тише, тише, баринъ! что ты?

— Говорятъ тебѣ, пошелъ прочь!

— Эй, любезный!—закричалъ громкимъ голосомъ дюжій помѣщикъ въ нѣмецкомъ однобортномъ кафтанѣ и плисовыхъ сапогахъ:— есть у тебя Радклифъ?

— Есть сударь! Какой романъ прикажете?

— Какой? Вѣдь я тебѣ сказалъ, Радклифъ.

— Да что, сударь? «Лѣсъ» или «Сенклерское Аббатство»?

— Лѣсъ? какой лѣсъ? Нѣтъ, кажется жена не такъ говорила.

— «Итальянецъ», «Грасвильское Аббатство».

— Нѣтъ, любезный, нѣтъ!?. Что-то не такъ.

— «Удольфскія таинства?»

— Та, та, та! ихъ-то и надобно! Давай сюда!

— Есть у васъ—«Дѣти Аббатства?»—пропищалъ тоненькій голосокъ.

— Послушайте!—сказала молодая дама съ томными голубыми глазами:—пожалуйте мнѣ «Мальчика у ручья» Г. Коцебу и «Біанку Капеллу» Мейснера.

— Что послѣдняя цѣна «Моимъ бездѣлкамъ»?—спросилъ пришептывая растрепанный франтъ, у котораго виднѣлась только верхушка головы, а остальная часть лица утопала въ толстомъ галстухѣ.

— Позвольте, позвольте!—прохрипѣлъ, расталкивая направо и налѣво толпу покупщиковъ, небольшого роста краснолицый и круглый, какъ шаръ, весельчакъ, въ плисовомъ полевомъ чекменѣ и кожаномъ картузѣ.— Здорово, пріятель! — продолжалъ онъ, продравшись къ прилавку.—Ну, что? какъ торгъ идетъ?

— Слава Богу, сударь!

— А знаешь ли, братецъ? Вѣдь я хочу съ тобой ругаться.

— За что-съ?

— Что ты мнѣ третьяго дня продалъ за книги такія? «Житіе Клевеланда»; я думалъ и Богъ знаетъ что, анъ вышло дрянь, скука смертная: какіе-то острова да пещеры; гиль да и только! Вотъ вчера, спасибо, другъ, потѣшилъ, продалъ книжку! Сегодня я читалъ ее вмѣстѣ съ женою—такъ и помирали со смѣху; ну, ужъ этотъ Совѣстдралъ-большой носъ! Ахъ, чортъ возьми—какія бадяги корчитъ! Продувной малый!

— Да-съ, книга веселая-съ!

— Дай-ка мнѣ, братецъ! Говорятъ также больно хороша «Странныя приключенія русскаго дворянина Димитрія Мангушкина».

Наконецъ, пришелъ и мой чередъ. — Пожалуйте мнѣ романъ Дюкредюмениля «Яшенька и Жоржета»,—сказалъ я робкимъ голосомъ книгопродавцу. Онъ снялъ съ полки нѣсколько книгъ и подалъ мнѣ. — Ай, ай! четыре тома! ужъ, вѣрно, они стоятъ, по крайней мѣрѣ, рублей восемь, а у меня не осталось и четырехъ рублей въ карманѣ: я спросилъ о цѣнѣ.—Десять рублей! —Можно ихъ немножко просмотрѣть?—сказалъ я заикаясь.— Сколько вамъ угодно! — отвѣчалъ вѣжливый книгопродавецъ. Я взялъ первый томъ, усѣлся на прилавкѣ подлѣ большой связки книгъ и началъ читать. Черезъ нѣсколько минутъ пять или шесть барынь расположились на томъ же прилавкѣ подлѣ меня. Я могъ слышать ихъ разговоръ; но огромная кипа книгъ, которая насъ раздѣляла, мѣшала имъ меня видѣть; углубясь въ чтеніе моей книги, я не обращалъ сначала никакого вниманія на ихъ болтовню; но подъ конецъ имена Авдотьи Михайловны и Машеньки такъ часто стали повторяться, что я нехотя началъ прислушиваться къ рѣчамъ моихъ сосѣдокъ.

— Да! — говорила одна изъ дамъ, — эта Машенька Бѣлозерская—дѣвочка хорошенькая, — неловка — это правда; но она еще дитя.

— Дитя! — подхватила другая барыня. — Помилуйте! она съ меня ростомъ! Я думаю, ей, по крайней мѣрѣ, пятнадцать лѣтъ.

— Нѣтъ! не болѣе тринадцати.

— Такъ зачѣмъ же ее такъ одѣваютъ? Какъ смѣшна эта Авдотья Михайловна! Навѣшала на свою дочку золотыхъ цѣпочекъ, распустила ей по плечамъ репантиры и таскается за ней сама въ ситцевомъ платьѣ; ну, точно гувернантка! Да что она? не ищетъ ли ужъ ей жениха?

— Какъ это можно! ребенокъ! да, кажется, имъ это и не нужно.

— А что?

— Такъ! Авдотья Михайловна смотритъ смиренницей, а хитра, Богъ съ нею.

— Да что такое?

— А вотъ изволите видѣть: у нихъ воспитывается сирота!..

— Ужъ не этотъ ли мальчикъ, лѣтъ шестнадцати, который ходилъ съ ними сейчасъ по рядамъ?

— Да, тотъ самый.

— У него пріятная наружность.

— И восемьсотъ душъ.

— Вотъ что!

— Они живутъ безвыѣздно въ деревнѣ — сосѣдей почти нѣтъ... Всегда одна да одна въ глазахъ... Теперь понемножку свыкнутся, а тамъ, какъ подростутъ...

— Понимаю!.. Ай да Авдотья Михайловна!.. восемьсотъ душъ!.. ни отца, ни матери!.. Да это такая партія, что я лучшей бы не желала и для моей Катеньки.

— Что эти барыни?—подумалъ я,—съ ума что ль сошли? Да развѣ я могу жениться на Машенькѣ?

— Постойте-ка, постойте!—заговорила барыня, которая не принимала еще участія въ разговорѣ. — Что вы больно проворны! тотчасъ и помолвили и обвѣнчали — погодите! Вѣдь этотъ сирота, кажется, близкій родственникъ Бѣлозерскимъ.

— Кто это вамъ сказалъ?—возразила одна изъ прежнихъ дамъ.—Да знаете ли вы, какъ они родня! Дѣдушка этого сироты былъ внучатнымъ братомъ отцу Ивана Степановича Бѣлозерскаго.

— Вотъ что! такъ они въ самомъ дальнемъ родствѣ?

— Да! немного подалѣе, чѣмъ ваша племянница, Марья Алексѣевна, была до свадьбы съ теперешнимъ своимъ мужемъ, Андреемъ Ѳедоровичемъ Ижорскимъ; а если не ошибаюсь, такъ для этой свадьбы вамъ не нужно было просить архіерейскаго разрѣшенія.

— Смотри, пожалуй! Ну, Бѣлозерскіе! какъ ловко они умѣли все это смаскировать. — Сиротка! племянникъ, матушка! А у сиротки-то восемьсотъ душъ; а племянникъ-то въ двѣнадцатомъ колѣнѣ! Умны, что и говорить—умны!

— Да ну ихъ совсѣмъ! какое намъ до нихъ дѣло?

— Какое дѣло? Помилуйте! да это сущій развратъ: мальчикъ взрослый, дѣвочка также почти невѣста; чужіе межъ собой — и допустить такое обращеніе!.. а все интересъ! Посмотришь на нихъ: точно родные братъ и сестра. Я сама видѣла—цѣлуются... фуй какая гадость!

— И, матушка Анна Лукьяновна! вѣнецъ все прикроетъ!.. Да что мы здѣсь усѣлись? Пойдемте-ка лучше въ галантерейный рядъ: здѣсь, Богъ знаетъ, что за народъ ходитъ.

Сосѣдки мои, продолжая межъ собой разговаривать, *пошли прочь* отъ книжной лавки, и я остался одинъ. Какъ теперь помню, какое странное впечатлѣніе произвело на меня это неожиданное открытіе: первое ощущеніе вовсе не походило на радость, я испугался, сердце мое сжалось, слезы готовы были брызнуть изъ глазъ.—Я не братъ Машенькѣ, мы почти не родня! Боже мой!.. Но я могу на ней жениться, мы вѣчно будемъ вмѣстѣ, она не выйдетъ замужъ за какого-нибудь чужого человѣка — этотъ злодѣй не увезетъ ее за тридевять земель... не станетъ требовать, чтобъ она любила его болѣе меня... Нѣтъ! тогда ужъ никто насъ не разлучитъ!..—Всѣ эти мысли закипѣли въ головѣ моей, заволновали кровь въ жилахъ, овладѣли душою, всѣ понятія мои перемѣшались; прошедшее, настоящее, будущее—все слилось въ какую-то неясную идею о неизъяснимомъ счастіи, о возможности этого счастія, и въ то же время, страхъ, котораго я описать не могу, это безотчетное чувство боязни, при видѣ благополучія, которое превосходитъ всѣ наши ожиданія, которому и вѣрить мы не смѣемъ, обдало меня съ ногъ до головы холодомъ. Я держалъ книгу попрежнему передъ собою, перевертывалъ листы, глаза мои перебѣгали отъ одной строчки къ другой, но я ничего не понималъ, ничего не видѣлъ, всѣ слова казались мнѣ навыворотъ, и, чтобъ найти смыслъ въ самой обыкновенной фразѣ, я перечитывалъ ее по нѣскольку разъ сряду.

— Ну, что, сударь? — спросилъ меня купецъ.—Нравятся ли вамъ эти книжки?

— Очень,—отвѣчалъ я, не смѣя поднять кверху глаза.

— Прикажете завернуть?

— Нѣтъ-съ! теперь не надо. Возьмите ее. Боже мой! какъ жарко!

— Нѣтъ, кажется, здѣсь довольно прохладно!

— Не знаю, а мнѣ что-то очень душно.

— Здравствуй, братецъ!—раздался подлѣ меня плѣнительный голосъ Машеньки. — А мы ужъ тебя искали, искали!

Я спрыгнулъ съ прилавка; Машенька взяла меня за руку и наклонилась, чтобъ поцѣловать въ щеку. Я вспыхнулъ и отскочилъ назадъ.

— Что это такое?—вскричала съ удивленіемъ Машенька.—Что ты, братецъ?

— Ничего, Машенька, ничего!

— Да чтожъ это значитъ?

— Молчи, пожалуйста! — сказалъ я вполголоса.—Я все тебѣ разскажу.

— Что вы это? Ужъ не ссоритесь ли?— спросила Авдотья Михайловна, разсматривая полный мѣсяцесловъ, который лежалъ на прилавкѣ.

— Не знаю, маменька, братецъ что-то...

— Замолчи, Бога ради!—шепнулъ я, дернувъ за руку Машеньку.

— А! вы всѣ здѣсь?—сказалъ Иванъ Степановичъ, подойдя къ намъ съ двумя помѣ-

щиками, изъ которыхъ одинъ былъ близкимъ нашимъ сосѣдомъ. — Вы, барыни, ступайте домой въ линеѣ, а мы пойдемъ теперь на конную; ты, Саша,—продолжалъ онъ, обращаясь ко мнѣ,—охотникъ до лошадей, пойдемъ вмѣстѣ съ нами.

— А какъ же вы домой? — спросила Авдотья Михайловна.

— Пѣшкомъ, матушка!

— Такую даль!

— Охъ, вы барыни, барыни! Вамъ все страшно. Эка даль: версты полторы! Добро, добро! ступайте съ Богомъ, а мы ужъ дойдемъ какъ-нибудь. Да гдѣ ваши люди? Егоръ—здѣсь, а Филька гдѣ?

— Ушелъ куда-то.

— Ну, такъ и есть! вѣрно въ кабакѣ.

— Нѣтъ, Иванъ Степановичъ! онъ нынче не пьетъ, а такъ, зазѣвался гдѣ-нибудь; да мы доѣдемъ и съ однимъ человѣкомъ.

— Хорошо, хорошо! Ступайте же!

Иванъ Степановичъ посадилъ въ линею жену и дочь, а самъ, вмѣстѣ со мною и съ двумя своими пріятелями, отправился пѣшкомъ на конную. Мы ходили уже около часу по площади, пересмотрѣли лошадей пятьдесятъ, и мнѣ подъ-конецъ сдѣлалось бы очень скучно, тѣмъ болѣе, что я горѣлъ нетерпѣніемъ переговорить съ Машенькой, если-бъ меня не забавляли отъ времени до времени разныя ярмарочныя сцены, въ которыхъ особенно отличались цыгане. Надобно было видѣть, съ какимъ искусствомъ эти природные барышники надували русскихъ мужичковъ, несмотря на ихъ сметливость и догадку. При мнѣ одинъ цыганъ продалъ крестьянину кривую лошадь; онъ такъ проворно повертывалъ ее здоровымъ глазомъ къ мужику, такъ кстати подхлестывалъ кнутомъ и заставлялъ становиться на дыбы, когда покупщикъ заходилъ съ слабой стороны, что ему не удалось ни разу взглянуть на дурной глазъ. Другіе цыгане стояли кругомъ и кричали во все горло: — экій конь, экій конь! эва грудь-то какая! вали смѣло сто пудовъ на телѣгу! А ноги-то, ноги! вовсе бабокъ нѣтъ!.. Всѣмъ взяла!.. Богатый конь!.. рѣдкостная лошадь... Мужичекъ вытащилъ изъ-за пазухи свою мошну, да на его счастье какой-то мѣщанинъ вклепался въ эту лошадь, привелъ полицейскаго, и цыганъ вынужденъ былъ, въ доказательство своей невинности, объявить, что у его клячи на правомъ глазу бѣльмо, тогда какъ, по словамъ мѣщанина, украденная лошадь была съ здоровыми глазами.

Иванъ Степановичъ, не найдя себѣ по нраву коня, сбирался ужъ домой, какъ вдругъ подошелъ къ намъ Александръ Андреевичъ Двинскій.

— Здравствуйте господа!—сказалъ онъ.— Пойдемте-ка, я васъ потѣшу русской забавою. Вотъ тутъ на площади кулачный бой, стѣна на стѣну, здѣшніе посадскіе—противъ фабричныхъ и дворовыхъ.

— Не люблю я этой забавы!—сказалъ мой опекунъ.—Ну, что хорошаго? Стравятъ людей какъ собакъ; тотъ безъ глазъ, у того рыло на сторону—за что?

— Экій ты, братецъ, какой! Да въ томъ-то и есть наше русское удальство: самъ безъ ребра, да зато и у другого зубовъ во рту не осталось. Нѣтъ! люблю эту потѣху; и у древнихъ римлянъ были подобныя забавы, да еще почище нашего: ихъ гладіаторы бились не на животъ а на смерть.

— Да что въ этомъ хорошаго?

— А вотъ попробуй, посмотри, такъ, можетъ статься, у самого разыграется кровь молодецкая. Пойдемъ-ка, пойдемъ!

Мы вышли на просторъ, и передъ нами открылась часть площади, на которой стояли одна противъ другой двѣ густыя толпы народа; въ каждой было человѣкъ по пятидесяти, съ открытыми головами и въ большихъ кожаныхъ рукавицахъ. Посреди этихъ двухъ противныхъ сторонъ, дюжины двѣ мальчишекъ, какъ застрѣльщики передъ колоннами, дрались въ разсыпную, таскали себя за волосы и тузили другъ друга безъ всякаго милосердія; многіе изъ нихъ были ужъ съ разбитыми носами и ревѣли въ источный голосъ. Понемногу отъ каждой стѣны стали отдѣляться бойцы покрупнѣе; въ разныхъ мѣстахъ завязались отдѣльныя единоборства, мальчишки разсыпались врозь, и черезъ нѣсколько минутъ началась общая свалка.

— Ай да фабричные! — вскричалъ Двинскій.—Ай да дворовые! какъ они душатъ посадскихъ! Смотри-ка, смотри! кто это впереди?.. Такъ варомъ всѣхъ и варитъ!.. Ну, молодецъ!.. Эге! какъ онъ ихъ лущитъ началъ!.. Экій чудо-богатырь! смотри, смотри!.. словно снопы, такъ и валятся!

— Что это? — сказалъ Иванъ Степановичъ.—Да это никакъ Филька?

Въ самомъ дѣлѣ, этотъ отличный боецъ былъ тотъ самый слуга, котораго отсутствіе замѣтилъ мой опекунъ, отправляя Авдотью Михайловну домой.

— Ну, такъ и есть!—продолжалъ Иванъ Степановичъ.—Точно Филька! Эка бестія!.. опять мѣсяцъ проходитъ съ подбитыми глазами! Вотъ я его, каналью!

— Что ты, любезный?—вскричалъ Алексѣй Андреевичъ Двинскій.—Да этотъ Филька у тебя хватъ дѣтина! Гляди, какой соколъ—такъ и бьетъ съ налету!.. Ну!!! сломили, погнали посадскихъ!.. Конецъ! не долго же они держались, видно, калачника Бычурина съ ними нѣтъ: тотъ постоялъ бы за себя.

Алексѣй Андреевичъ сѣлъ на свои бѣговыя дрожки, а мы отправились пѣшкомъ; завернули по дорогѣ напиться чаю къ од-

ному старинному пріятелю моего опекуна, и когда пришли, наконецъ, домой, то первый предметъ, который кинулся намъ въ глаза въ передней, былъ изорванный, избитый и растерзанный Филька. Онъ стоялъ, однакоже, довольно бодро передъ хозяиномъ дома, который разспрашивалъ его о всѣхъ подробностяхъ кулачнаго боя.

— Какъ ты смѣлъ, негодяй!..— сказалъ мой опекунъ, бросивъ грозный взглядъ на знаменитаго бойца, у котораго все лицо было на сторону.

— Полно, братецъ!—прервалъ Двинскій.— Не тронь его! Ну!—продолжалъ онъ, обращаясь къ Филькѣ:—такъ ты съ перваго разу сбилъ съ ногъ Антона кузнеца?.. Молодецъ! Эй, дайте-ка ему чарку вина!

— Пошелъ, дуракъ! — закричалъ Иванъ Степановичъ, — примочи чѣмъ-нибудь свою рожу! На что похожъ? образа нѣтъ человѣческаго! животное!

— Пойдемъ, пойдемъ! — сказалъ Двинскій.—Я велю отпустить ему стклянку живой воды: помочитъ денька два-три, такъ все затянетъ.

— Что это, Филиппъ, какъ тебя разбили?— сказалъ я, пріостановясь на минуту и смотря съ ужасомъ на изуродованное лицо Фильки.

— Эхъ, сударь, не удалось бы этимъ посадскимъ заглянуть мнѣ въ харю, кабы самъ не сплоховалъ.

— Да что-жъ ты сдѣлалъ?

— Куражился больно, сударь! Какъ посадскіе побѣжали, такъ я вошелъ въ такой азартъ, что свѣту Божьяго не взвидѣлъ. Наша стѣна давно-давнымъ остановилась, а я вдогонку, одинъ, ну-ка подбирать остальныхъ, благо руки расходились — щолкъ да щолкъ! то того, то другого—любо да и только! Глядь назадъ, ахти! одинъ, какъ перстъ! Смотрю— всѣ ко мнѣ! Ну, бѣда! Вотъ я, не будучи глупъ, и брякъ о-земь, да и кричу: — Шабашъ, ребята! лежачаго не бьютъ! — Да мы лежачаго бить не станемъ!—сказалъ какой-то мужчина аршинъ трехъ росту, которому я вдогонку шею-то путемъ накостылялъ. — Эй, ребята, сюда! — Вотъ человѣкъ пять уцѣпились за меня, подняли молодца на ноги, приставили къ забору, да ну-ка обрабатывать! Ахъ ты, Господи! небо съ овчинку показалось! Катали, катали! насилу вырвался!

— Бѣдняжка! какъ они тебѣ лицо-то избили.

— И, сударь, рожа ничего, заживетъ! А вотъ подъ бока-то они мнѣ насовали—черти! вздохнуть нельзя!

Я вошелъ въ гостиную, Авдотья Михайловна играла съ хозяйкою въ пикетъ, Двинскій схватился съ моихъ опекуномъ въ шахматы, а Машенька сидѣла, надувшись, поодаль отъ всѣхъ. Когда глаза ея встрѣтились съ моими, она отворотилась и взяла въ руки *книгу*, которая лежала на окнѣ.

IV.

Домашній театръ Григорья Ивановича Рукавицына.

Я думаю, ни о чемъ не было такъ много писано и говорено, какъ объ этомъ чувствѣ, которое мы называемъ любовью;—а что такое любовь? Всѣ прочія душевныя свойства: дружба, милосердіе, благодарность, состраданіе,— имѣютъ какой-то опредѣлительный смыслъ, но любовь? Любитъ ли мать своихъ дѣтей, когда готова броситься за нихъ въ огонь и въ воду? Любитъ ли жена мужа, когда, потерявъ его, зачахнетъ съ горя и сойдетъ вслѣдъ за нимъ въ могилу? Любитъ ли братъ сестру, когда идетъ стрѣляться въ трехъ шагахъ съ человѣкомъ, который осмѣлился оскорбить ее? Любили ли свое отечество Мининъ и Пожарскій, готовясь съ радостію положить за него свои головы? Любилъ ли свое созданіе, теперешнюю Россію, великій Петръ, этотъ гигантъ и тѣломъ и душою, когда подъ Прутомъ, окруженный со всѣхъ сторонъ въ нѣсколько разъ сильнѣйшимъ врагомъ, онъ написалъ сенату, не признавать его Царемъ и Государемъ и не исполнять его собственноручныхъ указовъ, если онъ попадется въ плѣнъ къ непріятелю? Всякій согласится, что всѣ эти различные *виды* любви, доведенной до высочайшей степени, любовь къ отечеству, любовь матери къ дѣтямъ, брата къ сестрѣ и, наконецъ, тревожная, пламенная страсть любовника къ той, которую выбрало его сердце, выражаются всегда однимъ и тѣмъ же: безпредѣльнымъ и безусловнымъ самоотверженіемъ и, несмотря на это сходство, не имѣютъ ничего общаго между собою. Лишать себя всѣхъ удовольствій для минутной прихоти другого, жертвовать для благополучія его всѣмъ благомъ собственной своей жизни и не видѣть въ этомъ никакой жертвы, однимъ словомъ: быть совершенно счастливымъ не своимъ, а его счастіемъ,—мнѣ кажется, больше этого любить не можно? Я точно такъ любилъ Машеньку, называя ее сестрою; теперь, когда узналъ, что мы почти чужіе, что она можетъ выйти за меня замужъ, я не сталъ любить ее болѣе прежняго — это было невозможно, но чувствовалъ, что люблю ее совсѣмъ иначе. За нѣсколько часовъ я почти не замѣчалъ, что Машенька прекрасна, а теперь не могъ смотрѣть на нее безъ восторга. Бывало я обращался съ нею такъ свободно, повѣрялъ ей все, что приходило мнѣ въ голову, или, лучше сказать, не говорилъ съ нею, а мыслилъ вслухъ; теперь я вдругъ сталъ застѣнчивъ и робѣлъ передъ нею, ну, право, болѣе, чѣмъ передъ самимъ губернаторомъ! Минутъ десять собирался я съ духомъ и не могъ рѣшиться заговорить съ нею,

наконецъ, подошелъ и спросилъ робкимъ голосомъ, что она читаетъ?

— Календарь,—отвѣчала Машенька, продолжая перебирать листы.

— Пріятное занятіе.

— Что-жъ дѣлать, когда другого нѣтъ.

Мы оба замолчали.

— Машенька! — шепнулъ я, взявъ ее за руку,—ты на меня сердишься?

— Конечно, сержусь. Зачѣмъ въ рядахъ вы не хотѣли меня поцѣловать?

Вы! странное дѣло, до моей прогулки на ярмарку, это *вы* разогорчило и разобидѣло бы меня до смерти, а теперь — не знаю почему—это церемонное словцо *вы* показалось мнѣ даже пріятнымъ. — Послушай, Машенька,—сказалъ я,—ты напрасно на меня сердишься; какъ можно намъ цѣловать другъ друга: мы ужъ не дѣти.

— Такъ что-жъ?

— Это неприлично.

— Неприлично!.. Да развѣ я тебѣ не сестра?

— Нѣтъ, Машенька.

— Ну, конечно, не родная: но, мнѣ кажется, двоюродныя сестры цѣлуютъ своихъ братьевъ.

— Да кто тебѣ сказалъ, что мы двоюродные?

— Ахъ, Боже мой! Да какіе же?

— Мы почти совсѣмъ не родня съ тобою.

— Не родня!—повторила Машенька; и я чуть не вскричалъ отъ ужаса: въ ея розовыхъ щекахъ не осталось ни кровинки, губы посинѣли; а рука, которую я держалъ въ моей рукѣ, вдругъ сдѣлалась холодна, какъ ледъ. — Не родня! — продолжала она едва слышнымъ голосомъ.—Ахъ, братецъ, какъ ты испугалъ меня! Ну, можно ли такъ глупо шутить!

— Успокойся, Машенька! — сказалъ я. — Да и чего ты испугалась? Ну, да, конечно, мы не родня, я могу на тебѣ жениться, а ты можешь выйти за меня замужъ.

Машенька вздрогнула; ея блѣдныя щеки запылали; она вырвала изъ моей руки свою руку и почти въ то же самое время, протянувъ ее опять, сказала съ улыбкою:—Теперь я вижу, братецъ, ты шутишь.

— Право, не шучу.

— Да полно, перестань.

— Клянусь тебѣ, это правда.

— Какой вздоръ, и какъ тебѣ пришло въ голову...

— Не мнѣ, Машенька; я объ этомъ никогда не думалъ.

— Такъ съ чего же ты взялъ?..

— А вотъ послушай!

Тутъ я пересказалъ ей слово отъ слова разговоръ, который такъ нечаянно подслушалъ на ярмаркѣ. Машенька задумалась. — Нѣтъ!—сказала она послѣ минутнаго молчанія,—это быть не можетъ, ты, вѣрно, ошибся. Послушай, братецъ, хочешь ли, я спрошу объ этомъ у маменьки?

— И ты думаешь, она скажетъ тебѣ правду?

— А почему же нѣтъ?

— Да если намъ до сихъ поръ никогда не говорили объ этомъ, такъ, вѣрно, и теперь не скажутъ. Можетъ быть, на это есть причины, которыхъ мы не знаемъ.

— Да, да, въ самомъ дѣлѣ!.. А кто были эти дамы?

— Я ужъ говорилъ тебѣ, что когда онѣ сидѣли на прилавкѣ, такъ мнѣ за кучею книгъ нельзя было ихъ видѣть.

— Знаешь ли что? Мнѣ кажется, онѣ тебя замѣтили и хотѣли посмѣяться надъ тобою.

— Да если я ихъ не видѣлъ, такъ и онѣ не могли меня видѣть.

— Не примѣтилъ ли ты, по крайней мѣрѣ, какъ онѣ были одѣты?

— Да!... я очень объ этомъ думалъ!.. Однако-жъ, постой! такъ точно!.. на одной изъ нихъ былъ чепчикъ съ розовыми лентами и голубыми цвѣтами.

— Это Анна Саввична Лядина! — вскричала Машенька.—Я познакомилась и очень подружилась съ ея дочерью... О! Феничка мнѣ все скажетъ! Я попрошу ее, чтобъ она спросила свою маменьку, правда ли, что мы не родня, и ты увидишь, братецъ... Погоди, погоди!.. Ахъ, какъ легко тебя одурачить!

Машенька очень развеселилась, безпрестанно говорила мнѣ:—Такъ вы, сударь, хотите на мнѣ жениться?—и умирала со смѣху.

— Тьфу ты, благодарствуй! и вторую проигралъ!—вскричалъ Двинскій, оттолкнувъ съ досадою шахматную доску. — Ну! или ты, Иванъ Степановичъ, понаторѣлъ у себя въ деревнѣ, или я больно плохо сталъ играть. Однако-жъ, не пора ли вамъ, барыни, одѣваться?—продолжалъ онъ, взглянувъ на своего эликота.—Безъ пяти минутъ семь! Авдотья Михайловна! вѣдь вы, кажется, также со всѣмъ семействомъ приглашены сегодня въ театръ къ Григорію Ивановичу Рукавицыну?

— Да, онъ просилъ насъ—и въ театръ, и въ вокзалъ!—отвѣчала Авдотья Михайловна.

— Такъ ступайте же, наряжайтесь! Въ семь часовъ къ нему весь городъ съѣдется.

— Мы послѣдніе два короля доиграемъ завтра,—сказала хозяйка, вставая.

Черезъ полчаса мы отправились къ Григорію Ивановичу Рукавицыну. Его деревянный домъ, одинъ изъ лучшихъ въ Дворянской улицѣ, занималъ съ своимъ садомъ, дворомъ и всѣми принадлежностями почти цѣлый кварталъ. Когда мы вошли, то передъ нами открылась безконечная амфилада низкихъ комнатъ, не убранныхъ, а, лучше сказать, заваленныхъ различной мебелью. Народу было множество, и мы едва могли добраться до хозяина, который въ угольной, обитой китайскими обоями, комнатѣ принималъ гостей.

Мы только-что успѣли съ нимъ раскланяться, какъ онъ, подавъ съ низкимъ поклономъ руку губернаторшѣ, пригласилъ всѣхъ идти за собою въ мезонинъ, въ которомъ устроенъ былъ театръ. Господи! какая началась давка, а особливо по узкой лѣстницѣ, когда всѣ гости бросились толпою вслѣдъ за хозяиномъ. Губернаторшу и дамъ пустили впередъ; но зато мужчины стѣснились такъ въ дверяхъ театра, что у предсѣдателя уголовной палаты оборвали на фракѣ всѣ пуговицы, а одного совѣтника губернскаго правленія совсѣмъ сбили съ ногъ и до того растрепали, что онъ долженъ былъ уѣхать домой. Наконецъ, кой-какъ всѣ гости вошли въ театръ и размѣстились по лавочкамъ. Разумѣется, я попалъ на самую заднюю. Съ одной стороны подлѣ меня пыхтѣлъ толстый помѣщикъ въ замасленомъ кафтанѣ, съ отвислымъ подбородкомъ, раздутыми щеками и преогромной лысиною. Онъ безпрестанно протягивалъ чрезъ меня свою толстую лапу и нюхалъ табакъ у другого моего сосѣда, маленькаго человѣчка, тщедушнаго, съ длиннымъ острымъ носомъ и лицомъ, которое съ профиля походило почти на равносторонній треугольникъ. Если вамъ случалось видѣть ученыхъ чижей или канареекъ, одѣтыхъ по-человѣчески, то вы можете себѣ составить довольно вѣрную идею объ этомъ господинѣ, который, къ довершенію сходства, пряталъ въ толстый галстухъ свою бороду и, выставляя наружу одинъ носъ, не говорилъ, а пищалъ какимъ-то птичьимъ голосомъ.

Не имѣя никакого понятія о театрѣ, я смотрѣлъ съ большимъ любопытствомъ на сцену и на опущенный занавѣсъ, на которомъ написано было что-то похожее на облака или горы; посреди нихъ стоялъ, помнится, на одной ногѣ, но только не журавль, однако-жъ, и не человѣкъ, а, вѣроятно, Аполлонъ, потому что у него въ рукѣ была лира. Пока музыканты играли увертюру, между моими сосѣдями завязался разговоръ. — Осмѣлюсь спросить, — сказалъ съ разстановкою плѣшивый толстякъ, — какую комедію будутъ представлять сегодня?

— Оперу «Свадьба Волдырева», — отвѣчалъ почти съ присвистомъ мой чижикъ-сосѣдъ.

— Такъ-съ!.. Позвольте понюхать табачку... А послѣ ничего ужъ не будетъ?

— Какъ же! Дуняша будетъ пѣть арію изъ оперы: «Прекрасная Арсена».

— Такъ-съ!.. Смѣю спросить: скоро начнутъ?

— А вотъ, какъ перестанутъ играть музыканты.

— Такъ-съ!.. «Свадьба Волдырева»... говорятъ, что это шутка очень забавная?

— Да!

— Это «да!» сказано было немного въ носъ и такимъ важнымъ голосомъ, что, несмотря на мою неопытность, я тотчасъ догадался, что сосѣдъ мой изъ ученыхъ.

— Если хотите, — продолжалъ онъ, повертывая свою золотую табакерку между среднимъ и большимъ пальцами лѣвой руки, — это такъ — бездѣлка! Впрочемъ, она написана изрядно, очень изрядно, авторъ ея — господинъ Левшинъ, человѣкъ съ талантомъ.

— Господинъ Левшинъ?.. Смѣю спросить: не тотъ ли это Левшинъ, который сочинилъ книгу о поваренномъ искусствѣ и выдалъ въ печать полнаго винокура?

— Тотъ самый. Человѣкъ извѣстный, съ дарованіемъ.

— Да-съ! Умный человѣкъ, съ большимъ разсужденіемъ. Весьма занимательна его книга подъ названіемъ: «Календарь повареннаго огорода» — очень занимательна!.. Позвольте табачку!.. А смѣю спросить...

— Постойте — начинаютъ.

Занавѣсъ поднялся. Въ продолженіе всей оперы я не сводилъ глазъ съ актеровъ, а особливо съ того, который представлялъ Волдырева. Я былъ очарованъ его игрою, — и подлинно, онъ, по выраженію толстаго моего сосѣда, отпускалъ такія отличныя *колѣнцы*, что всѣ зрители помирали со смѣху. Когда въ пятомъ явленіи Волдыревъ, воображая, что госпожа Прельщалова въ него влюблена, запѣлъ:

Пущу къ ней ласки,
Прищуру глазки
И бровью поведу...

то поднялъ правую бровь на цѣлый вершокъ выше лѣвой и началъ ею пошевеливать съ такимъ неописаннымъ искусствомъ и быстротою, что вся публика ахнула отъ удивленія. Но все это не могло сравниться съ той сценою, въ которой Волдыревъ изъясняется въ любви своей. Я не могъ понять, да и теперь еще не понимаю, — какъ можетъ человѣкъ искривить до такой степени лицо. Боже мой! Какой поднялся хохотъ, когда онъ, въ пылу своей страсти, закричалъ какъ бѣшеный: «О, сладчайшій сахаръ! отложи стыденіе, не лишай меня своего снисходительства! я возгорѣлся, аки смоленая свѣща, и вся утроба моя подвиглася!» — При этихъ словахъ толстая утроба моего сосѣда, который давно уже крѣпился, вдругъ заколебалась, онъ прыснулъ, поперхнулся и, вмѣсто того, чтобъ засмѣяться по человѣчески, принялся визжать, какъ собаченка, которую сѣкутъ розгами; и что жъ вы думаете?—Даже этотъ странный хохотъ не обратилъ на себя вниманія публики, — такъ всѣ были увлечены прекрасной игрою Волдырева.

Впрочемъ, надобно сказать правду, сначала подгадилъ немного актеръ, представлявшій роль Лоботряса. Онъ, какъ видно, хлебнулъ черезъ край и не успѣлъ еще порядкомъ выспаться. Въ первой сценѣ этотъ пьяница совсѣмъ забылъ свою роль, началъ кривляться, занесъ околесную и перепуталъ всѣхъ осталь-

ныхъ актеровъ; потомъ, вмѣсто того, чтобъ запѣть свою арію, затянулъ что-то изъ другой оперы; разумѣется, отъ этого вышла маленькая разноголосица: онъ пѣлъ одно, оркестръ игралъ другое, и хотя многіе изъ гостей этого не замѣтили, но хозяинъ тотчасъ догадался, что дѣло идетъ не ладно; вскочилъ съ своего мѣста и побѣжалъ вонъ. Лишь только пьяненькій артистъ сошелъ со сцены, раздалось громкое рукоплесканіе, но только не въ залѣ театра, а за кулисами; минуты двѣ продолжалось безпрерывное: хлопъ, хлопъ, хлопъ! И когда Лоботрясъ явился опять на сцену, то, несмотря на то, что щеки его были еще краснѣе прежняго, онъ сталъ, къ удивленію всѣхъ зрителей, говорить, какъ человѣкъ совершенно трезвый, и запѣлъ отлично-хорошо. Послѣ этой небольшой *оказіи* опера пошла какъ по маслу; съ каждымъ явленіемъ увеличивался общій восторгъ публики, и когда въ концѣ пьесы всѣ актеры, обращаясь къ Волдыреву, запѣли въ одинъ голосъ:

Увѣнчалися желанья,
Прекратилися вздыханья,
И не даромъ былъ здѣсь ревъ—
Обвѣнчался Волдыревъ,

во всемъ театрѣ поднялся дѣйствительно ревъ: «браво!.. отлично, хорошо!.. чудесно»—Я не смѣлъ кричать вмѣстѣ съ другими, но зато отбилъ себѣ ладони и подъ шумокъ стучалъ ногами изо всей мочи. Занавѣсъ опустился!—Уфъ, батюшки, охъ, смерть моя!—бормоталъ мой толстый сосѣдъ, придерживая руками свое чрево, которое все еще продолжало колыхаться. — Ну, комедія!.. животики надорвалъ!.. А ужъ этотъ Волдыревъ — ахъ, онъ проклятый!.. какъ его коробило! какія шутки выкидывалъ!.. Ну, актеръ! славно играетъ!

— Да!—пропищалъ мой другой сосѣдъ,—Ванька Щелкуновъ былъ весьма хорошъ въ роли Волдырева; съ талантомъ, точно, съ талантомъ!.. и мимикъ хорошій!.. Замѣтили ли вы, какая у него игра въ бровяхъ!..

— Да-съ, да-съ!.. большая игра въ бровяхъ!..Одолжите табаку!

— Прошу покорно!.. Да, сударь, малый съ талантомъ и декламировка весьма хорошая,—каждую запятую слышно.

— Такъ-съ, такъ-съ! — дѣйствительно отличныя замашки!

— Да и Матреша въ роли Прельщаловой себя не уронила,—какъ вы думаете?

— Да-съ — нечего сказать, поддержала себя.

— Играетъ съ чувствомъ.

— Съ большимъ чувствомъ, и всѣ ухватки самыя деликатныя!.. А что, осмѣлюсь спросить—вы изволили быть и въ Петербургѣ и въ Москвѣ,—что, какъ тамошніе актеры противъ здѣшнихъ?

Тщедушный мой сосѣдъ поправилъ галстухъ, то есть дотянулъ его почти до самаго носа, и, повертѣвъ нѣсколько времени между пальцевъ свою табакерку, сказалъ:

— Вы хотите знать?.. да!.. Конечно, актеры столичные... кто и говоритъ!—Однакожъ, если взять въ разсужденіе, то признаться должно, и какъ станешь разбирать строго,—такъ Богъ знаетъ!.. Не то, чтобъ я хотѣлъ сказать... о, нѣтъ! напротивъ, въ столицахъ актеры отличные...

— Такъ-съ!

— И если говорить правду, такъ я вамъ доложу, что, конечно, съ одной стороны такъ!—Да зато съ другой—нѣтъ!—далеко!.. То-есть не въ разсужденіи чего другого—а какъ бы вамъ сказать?.. есть что-то такое... оно, если хотите, вздоръ, мелочь—а важно, очень важно!

— Такъ-съ! такъ-съ!

— Я не выдаю себя знатокомъ; но, по крайней мѣрѣ, это мое мнѣніе... Прикажете табачку?

— Благодарю покорно!

— А! вотъ ужъ и занавѣсъ подымаютъ!.. Послушаемте Дупяшу!.. Пѣвица отличная—съ большой методою!

Я слышалъ въ мой вѣкъ много европейскихъ пѣвицъ; было время, что я съ ангельскимъ терпѣніемъ высиживалъ цѣлыя итальянскія оперы, кричалъ вмѣстѣ съ другими «браво!..» и не зѣвалъ даже во время речитативовъ, отъ которыхъ да избавитъ Господь Богъ всякаго честнаго человѣка; но сколько я ни старался увѣрить и себя и другихъ, что мнѣ очень весело, что я наслаждаюсь, — а дожилъ до старости, сохранивъ въ душѣ моей непреодолимое отвращеніе ко всякой италіанской музыкѣ. Веберъ, Мейерберъ, Герольдъ, Оберъ для меня понятны; они постигли этотъ неземной языкъ, этотъ языкъ звуковъ, который выражаетъ и буйную страсть и кроткое спокойствіе души, и горе и радость, и усладительное пѣніе жителей небесныхъ, и стоны падшихъ ангеловъ: я слушаю ихъ съ восторгомъ; но лишь только услышу звуки италіанской музыки, лишь только эти оперные салтомортали, эти бездушныя подражанія инструментамъ, эти безконечныя рулады раздадутся въ ушахъ моихъ, со мной дѣлается тоска, меня клонитъ сонъ, и я готовъ бѣжать на край свѣта, чтобъ только не слышать классическаго мяуканья музыкальныхъ машинъ, которыя, Богъ знаетъ почему, называютъ себя актерами. Если господа дилетанты, сирѣчь записные любители италіанскаго пѣнія, прогнѣваются на меня за такое неуваженіе къ *искусству*, то я попрошу ихъ излить всю желчь свою не на меня, а на Дупяшу, примадонну домашняго театра господина Рукавицына. Всѣмъ извѣстно, что первыя впечатлѣнія несравненно сильнѣе дѣйствуютъ на насъ, чѣмъ послѣдующія, а я въ первый разъ въ жизни слышалъ италіанскую бравурную арію въ домѣ Григорія Ивановича, и увѣренъ, что эта арія была основной при-

чиною моей вѣчной и непримиримой ненависти къ италіанской музыкѣ. Негодная дѣвчонка такъ визжала, дѣлала такія дурацкія трели, такъ глупо подлаживала подъ флейту, однимъ словомъ, такъ трудилась и работала, что мнѣ сдѣлалось тошно, и я, глядя на нее, измучился и усталъ до смерти. Съ тѣхъ поръ эта окаянная пѣвица преслѣдуетъ меня, какъ призракъ. Я помню, когда слушалъ въ первый разъ знаменитую Каталани, и начиналъ уже понемногу приходить въ восторгъ, вдругъ, вмѣстѣ съ одной руладою—мерзкая Дуняшка оживилась въ моемъ воображеніи, стала передо мною, какъ тѣнь отца передъ Гамлетомъ, затянула свою бравурную арію, и все очарованіе мое исчезло.

Когда занавѣсъ опять опустился и гости стали выбираться изъ театра, мой тщедушный сосѣдъ, оборотясь къ толстому, спросилъ:

— Ну, что, сударь, каково?

— Кажется, хорошо; хитро только больно!

— Хитро! — да вѣдь это не что другое: не «при долинушкѣ стояла», — не «выйду я на рѣченьку»,—арія, сударь, арія!

— Такъ-съ, такъ-съ! Одолжите табачку!

— А каково спѣла?

— Что и говорить—соловьиный голосъ!

— Не о голосѣ рѣчь—метода, сударь, метода! Италіянская манера, чортъ возьми.

— Такъ-съ, такъ-съ!

Я вышелъ съ остальными гостями изъ театра, спустился по крутой лѣстницѣ внизъ, и вслѣдъ за толпою очутился на дворѣ. Вдали, за рѣшетчатымъ заборомъ, мелькали огоньки; весь обширный садъ Григорія Ивановича Рукавицына былъ освѣщенъ. Прямая дорожка, обсаженная съ обѣихъ сторонъ подстриженными деревьями, вела къ большой яркоосвѣщенной бесѣдкѣ, за которой чернѣлась густая березовая роща. Сначала всѣ гости разсыпались по саду, а потомъ, когда загремѣла большая музыка, собрались въ бесѣдку. Не видавъ никогда регулярныхъ садовъ, я не могъ довольно налюбоваться на эти зеленыя стѣны изъ живыхъ деревьевъ, на эти обдѣланныя пирамидами елки и обстриженныя липы, которыя стояли какъ будто бы въ шагахъ,—все это казалось мнѣ прекраснымъ; но болѣе всего мнѣ нравились крытыя аллеи, слабо освѣщенныя разноцвѣтными фонарями,—ихъ таинственный сумракъ, эта длинная перспектива зеленыхъ и красныхъ фонарей, которые походили на огромные изумруды и яхонты, эта свѣжесть и прохлада подъ зелеными сводами сросшихся деревьевъ, — все приводило меня въ восторгъ. Обойдя весь садъ, я вошелъ, наконецъ, въ бесѣдку. Тутъ ожидало меня новое и никогда не виданное мною зрѣлище: пышный балъ во всемъ своемъ губернскомъ блескѣ, во всей провинціальной роскоши, со всѣми претензіями, чинопочитаніемъ, чванствомъ, *злословіемъ и сплетнями*, безъ которыхъ въ нашемъ губернскомъ городѣ, не знаю теперь, а въ старину и праздникъ былъ не въ праздникъ, и балъ не въ балъ. Когда я вошелъ въ бесѣдку, круглый польскій уже кончился, и начался длинный. Въ первой парѣ Рукавицынъ, по праву хозяина, танцовалъ съ губернаторшею, во второй губернаторъ съ вице-губернаторшею, въ третьей вице-губернаторъ съ женою губернскаго предводителя, и такъ далѣе, сохраняя съ величайшей точностью постепенность, основанную на табели о рангахъ. Замѣтьте также, что я не говорю: — такой-то *велъ* такую-то въ длинно-польскомъ, а употребляю слово: «танцовалъ», потому что хозяинъ, губернаторъ и почти всѣ первыя пары шли не просто, а выступали мѣрно, въ тактъ, и выдѣлывали ногами особенное *ма*, которое походило нѣсколько на минутное. Въ заднихъ парахъ молодые люди не придерживались этой старины и такъ же, какъ теперь, не танцовали, а шли обыкновеннымъ шагомъ. Когда польскій кончился, всѣ почетныя дамы, старушки и пожилыя барыни усѣлись рядомъ вдоль стѣны, хозяинъ захлопалъ въ ладоши, и музыканты грянули матрадуръ. Такъ какъ мужчинъ было гораздо менѣе, чѣмъ дамъ, то многія изъ нихъ, въ томъ числѣ и Машенька съ своей пріятельницей Феничкой Лидиной, не участвовали въ первомъ матрадурѣ. Не смѣя пускаться въ танцы, я пріютился подлѣ двухъ пожилыхъ дамъ, которыя сидѣли поодаль отъ другихъ; одна изъ нихъ, закутанная въ черную турецкую шаль, не спускала глазъ съ танцующихъ и только изрѣдка обращалась къ своей сосѣдкѣ, коротенькой, краснощекой и отмѣнно живой барынѣ, въ гродетуровомъ платьѣ съ отливомъ и лиловомъ дымковомъ чепцѣ. Эта барыня была въ безпрерывномъ движеніи, вертѣлась во всѣ стороны на своемъ стулѣ и болтала безъ умолку.— Посмотрите, Елена Власьевна,—говорила она, указывая на одну дѣвицу, которая танцовала съ драгунскимъ офицеромъ.—Опять съ нимъ!.. Третьяго дня на балѣ у губернатора онъ танцовалъ съ ней два раза сряду... Срамъ, да и только? И чего смотритъ дура мать?.. Вчера въ рядахъ ужъ онъ съ ней перебивалъ, перебивалъ! И все вполголоса, шу-шу да шу-шу!.. А она-то, моя голубушка, кобенится, ломается!.. ну, такъ и вѣшается къ нему на шею! Помилуйте, что это? Я запретила моей Варенькѣ и близко къ ней подходить... Батюшки!.. Антонъ Антоновичъ танцуетъ!.. Не прошло шести недѣль, какъ умерла его внучатная тетка, а онъ пускается въ танцы! - Хорошъ молодецъ!.. А еще человѣкъ эстимованный!—Что это?.. Никакъ Феничка Лидина осталась безъ кавалера?—Ну! видно всѣ узнали, что ея дядюшка, этотъ жидоморъ-Сундуковъ, женился на своей крѣпостной дѣвкѣ и отдалъ ей все свое имѣнье. Бывало, около этой Фенички проходу нѣтъ отъ кавалеровъ, а теперь... То-то же! смек-

нули, что родового не много!.. Батюшки мои!.. что это за фигура? въ бѣломъ платьѣ съ розовой отдѣлкой... не знаете ли, Елена Власьевна?.. вотъ, что теперь танцуетъ вмѣстѣ съ вашею дочерью?..

— Не знаю, матушка.

— Видно, пріѣзжая... Отцы вы мои!.. Что за прыгунья такая?.. Да она какая-то шальная!.. Смотрите, смотрите, какъ подняла ногу!.. ахъ, мой Создатель!.. Ну, вотъ прошу возить дочерей по баламъ!.. Насмотрятся!.. Слава Богу, что моей Вареньки здѣсь нѣтъ!

— Въ самомъ дѣлѣ! Зачѣмъ вы не привезли ее съ собою?

— Занемогла, матушка; простудилась на балѣ у губернатора; да какъ и не простудиться въ этомъ проклятомъ домѣ? вездѣ сквозной вѣтеръ, ни одно окно не притворяется— хуже всякаго хлѣва... а ужъ угощеніе-то было какое мизерное! Что за лимонадъ, что за оршадъ!.. «Батюшки, дайте квасу!..» И того нѣтъ!.. За ужиномъ подали намъ стерлядку четверти въ двѣ... да, да! не больше; у меня глазъ вѣренъ—не ошибусь! а тамъ галантиръ изъ баранины; хоть ничего въ ротъ не бери!.. Ну, ужъ скряга! въ кой-то вѣкъ дастъ балъ, а ни пить, ни ѣсть нечего.

Злословіе производило на меня всегда одинаковое дѣйствіе съ италіянскою музыкою: со мною сдѣлалась тоска; я ушелъ на другой конецъ залы, забился въ уголъ и началъ смотрѣть оттуда то на Машеньку, которая перешептывалась съ своей пріятельницей Фенічкой Лидиной, то на ловкихъ кавалеровъ, которые рисовались предо мною въ блестящемъ матрадурѣ; изъ числа послѣднихъ отличался одинъ молодой человѣкъ, лѣтъ двадцатипяти, въ вишневомъ фракѣ, у котораго талія была почти подъ самымъ воротникомъ. Онъ выворачивалъ такъ мудрено свои руки и выдѣлывалъ такія важныя штуки ногами, что нельзя было смотрѣть на него безъ удивленія. Мой тщедушный театральный сосѣдъ прыгалъ также изо всей мочи, и всѣ остальные кавалеры—надобно сказать правду—танцовали весьма усердно и добросовѣстно, выключая одного франта, лѣтъ тридцати. Это былъ пріѣзжій изъ Москвы. Я замѣтилъ, что почти всѣ танцующіе смотрѣли на него съ какою-то завистью и недоброжелательствомъ, что, впрочемъ, было весьма и натурально: этотъ пріѣзжій явнымъ образомъ оскорблялъ ихъ самолюбіе: онъ имѣлъ видъ разсѣянный, едва отвѣчалъ на вопросы, танцовалъ какъ будто нехотя и съ какимъ-то пренебреженіемъ; а сверхъ того былъ въ очкахъ и въ такомъ модномъ фракѣ, что совершенно уничтожалъ всѣхъ нашихъ губернскихъ фашіонабелей. Представьте себѣ: спинка его свѣтлосиняго фрака была вся цѣльная — въ ней не было ни одного шва! И этотъ наглецъ какъ будто-бы нарочно повертывался ко всѣмъ спиною. Вотъ, какъ кончился матрадуръ, около вишневаго фрака столпилось человѣкъ десять молодежи; онъ разсказывалъ имъ что-то съ большимъ жаромъ и потомъ, замѣтивъ, что пріѣзжій въ очкахъ вышелъ изъ бесѣдки, побѣжалъ вслѣдъ за нимъ; я также отправился въ садъ подышать свѣжимъ воздухомъ и выждать, какъ Машенька пойдетъ гулять, чтобъ спросить ее, узнала-ли она отъ своей пріятельницы Лидиной всю правду о нашемъ дальнемъ родствѣ. Судьбѣ не угодно было разрѣшить на этотъ вечеръ мое сомнѣніе; совершенно неожиданный случай заставилъ насъ уѣхать изъ вокзала гораздо прежде, чѣмъ мы думали, и сдѣлалъ меня свидѣтелемъ одной изъ тѣхъ бальныхъ *исторій*, которыя такъ часто начинаются и почти всегда такъ миролюбиво оканчиваются въ нашихъ благословенныхъ провинціяхъ.

Пройдя раза два по средней аллеѣ, я присѣлъ на дерновую скамью, за большимъ кустомъ сирени, почти у самаго входа въ бесѣдку. Не прошло пяти минутъ, какъ вдругъ двое мужчинъ подошли къ тому мѣсту, гдѣ я сидѣлъ. Одинъ изъ нихъ былъ вишневый фракъ, а другой пріѣзжій въ очкахъ; послѣдній остановился и, обращаясь къ вишневому фраку, сказалъ: — Позвольте васъ спросить, чего вы отъ меня хотите?.. Вотъ ужъ четверть часа, какъ вы все ходите за мною.

Вишневый фракъ поправилъ жабо, застегнулся на всѣ пуговицы и отвѣчалъ толстымъ голосомъ, который, впрочемъ, казался вовсе ненатуральнымъ: — Милостивый государь!.. Государь мой!.. Я долженъ... мы должны...

— Ну, сударь!

— Намъ должно объясниться.

— Объясниться?—Въ чемъ?

— Вы меня обидѣли.

— Я васъ обидѣлъ? — Чѣмъ, если смѣю спросить?

— Вы танцовали матрадуръ.

— Да, танцовалъ;—такъ что-жъ?

— И два раза сряду не вертѣлись съ моей дамою.

— Неужели?

— Да, сударь, да!—два раза сряду!

— Если я это сдѣлалъ, такъ ужъ, вѣрно, нечаянно.

— Это, сударь, такъ не пройдетъ.

— Увѣряю васъ, я не имѣлъ никакого намѣренія, — и прошу васъ извинить меня передъ вашей дамою.

— Извинить! — Да что мнѣ изъ вашего извиненія шубу что ль шить?

— Помилуйте, зачѣмъ? Теперь жарко.

— Да вы еще, кажется, шутите?

— Смѣю ли я!

— Я, сударь, не позволю никому играть у себя на носу. Вы пріѣхали изъ столицы, такъ думаете, что можете манкировать нашимъ дамамъ.

— Я уже вамъ сказалъ... впрочемъ, если вы считаете себя обиженнымъ...

— Да, сударь! — Я этого такъ не оставлю... я съ вами раздѣлаюсь!..

— Какъ вамъ угодно! — Пожалуйте ко мнѣ завтра, часу въ седьмомъ по-утру.

— Къ вамъ?.. ни за что не поѣду.

— Такъ скажите мнѣ, гдѣ вы сами живете.

— Гдѣ я живу?—Вотъ еще!— Ни за что не скажу.

— Ахъ, батюшки!—вскричалъ пріѣзжій,— вотъ забавно! — Такъ чего же вы отъ меня хотите?

— Чего? — я вамъ покажу, сударь, чего!

— Такъ показывайте скорѣе: мнѣ, право, становится скучно.

— Я еще поговорю съ вами!

— Очень хорошо; только прошу васъ теперь оставить меня въ покоѣ.

— Ни за что не оставлю.

— Тьфу, чортъ возьми! да что-жъ это значитъ?.. Послушайте, сударь, вы мнѣ надоѣли!

— Эка важность!—надоѣлъ!

— Вы, сударь, глупы!

— Что, что?..

— Я по-русски тебѣ говорю: ты глупъ!

— Какъ! ругаться?.. да какъ смѣешь? — Ну-ка, попробуй еще!

— Животное!

— Ну-ка еще!

— Дуракъ, съ которымъ я и словъ терять не хочу! — сказалъ пріѣзжій, повернувъ въ боковую аллею.

— Ага!—закричалъ ему вдогонку вишневый фракъ, — то-то же!.. видишь, прыткій какой! Надѣлъ очки да фракъ съ цѣльной спинкой, такъ и думаетъ... Нѣтъ, братъ, у насъ немного выторгуешь!

Изъ бесѣдки выбѣжалъ молодой человѣкъ, въ бѣлыхъ лайковыхъ перчаткахъ и, какъ теперь помню, въ атласной жилеткѣ gris de lin amour sans fin, съ розовой шалью и перламутровыми пуговками; онъ подошелъ къ вишневому фраку и спросилъ вполголоса: — ну, что?

— Да такъ, ничего! отдѣлалъ порядкомъ!

— Въ самомъ дѣлѣ? — Какъ же ты это?..

— А такъ! догналъ его, остановилъ...

— Ну!

— Да вдругъ, не съ того слова: — Государь мой, вы меня обидѣли!

— Нѣтъ?..

— Видитъ Богъ, такъ!— Онъ извиняться: я,—говоритъ,— нечаянно,— а я говорю: знать этого не хочу! — Вотъ онъ было и расхорохорился— да нѣтъ! шутишь! не на того напалъ!—Онъ слово, а я два!

— Неужели?

— Какъ Богъ святъ!... Чего же вы хотите? — Что вамъ угодно? — А я ему тотчасъ:—не позволю у себя на носу играть!— да и пошелъ—и пошелъ!

— *А онъ-то что?*

— Да что, зафинтилъ, заегозилъ, и туда и сюда, а я-то себѣ такъ и рѣжу!

— Ай-да молодецъ!

— Ужъ онъ вертѣлся, вертѣлся!—видитъ, что дѣло-то плохо, ругнулъ меня, да и давай Богъ ноги!

— Подлецъ!.. Послушай! ты сдѣлалъ свое дѣло, а мы сдѣлаемъ свое. Я ужъ со всѣми переговорилъ: Пыхтѣевъ, Бурсаковъ, Антонъ Антонычъ, Алексѣй Фурсиковъ, Гриша, всѣ согласились, когда этотъ московскій франтъ станетъ танцовать, не вертѣться съ его дамою.

— Славно, братецъ, славно!

— Мы поубавимъ его спеси!

— Да, да! прошколимъ его порядкомъ!

— Пойдемъ же скорѣе!.. Надобно подговорить Егора Семеновича,—онъ на это молодецъ: первый начнетъ!

Эти господа пошли въ бесѣдку, и я также изъ любопытства отправился вслѣдъ за ними. Въ полминуты вѣсть объ этомъ бальномъ заговорѣ разлилась по всему обществу. Барыня въ лиловомъ чепцѣ такъ и бѣгала изъ одного конца залы въ другой.—Слышали ли вы, матушка Марья Тихоновна,—сказала она пожилой дамѣ, которая сидѣла у самыхъ дверей бесѣдки:—знаете ли, что затѣяла наша молодежь?

— А что такое, мать моя?

— Сговорились осрамить этого пріѣзжаго московскаго кавалера и сдѣлать ему публичный афронтъ.

— Что ты, мать моя?

— Да, Марья Тихоновна! Хотятъ совсѣмъ его оконфузить: какъ онъ станетъ танцовать, никто не будетъ вертѣться съ его дамою.

— Что ты говоришь? Ахъ, батюшки мои! Ну, да если онъ подыметъ мою Сонюшку? За что-жъ ей такая обида?

— Не велите ей ходить съ нимъ.

— Эхъ, мать моя, что ты? Долго ли до исторіи?— Онъ же, проклятый, смотритъ такимъ сорванцомъ... Охъ этотъ Григорій Ивановичъ! назоветъ Богъ знаетъ кого!..

Тутъ подошло еще нѣсколько маменекъ и тетушекъ.—Изволили слышать?..—Да, да, слышала!.. Скажите пожалуйста!.. И охота имъ!.. Да что онъ такое сдѣлалъ?.. Два раза обошелъ въ танцахъ Прасковью Минишну Костоломову... Ахъ Боже мой!.. Какая дерзость... Ужъ эти пріѣзжіе!.. вѣчно отъ нихъ исторія! такіе наглецы!.. Не всѣ, Мавра Степановна... Ну, хороши всѣ, матушка!.. хоть этотъ: я уронила платокъ—мимо прошелъ, а нѣтъ чтобъ поднять—мужикъ!.. Ко мнѣ чуть-чуть не сѣлъ на колѣни—грубіянъ!.. На всѣхъ смотритъ въ очки—невѣжа!.. Вотъ онъ!.. вотъ онъ!.. Каковъ?.. Посмотрите, расхаживаетъ, какъ ни въ чемъ не бывало! Да, да, какъ будто бы не его дѣло!.. Какой наглецъ!.. Ништо ему!.. Пускай проучатъ!..

Авдотья Михайловна, которая ужасно

боялась всякихъ исторій, очень перетревожилась, когда до нея дошла вѣсть объ этомъ заговорѣ; она шепнула слова два Ивану Степановичу на-ухо, и мы тотчасъ отправились потихоньку домой. Я думалъ, что успѣю въ тотъ же вечеръ переговорить съ Машенькою, не тутъ то было! Намъ объявили, что мы чѣмъ свѣтъ отправляемся назадъ въ деревню, и приказали ложиться спать. На другой день, когда мы катились ужъ въ нашей линеѣ по большой дорогѣ, какъ я ни заговаривалъ съ Машенькой, но не могъ никакъ добиться отъ нея толку: она дремала, притворялась спящею, а межъ тѣмъ—я очень это замѣтилъ — безпрестанно поглядывала на меня украдкою. По возвращеніи нашемъ въ деревню, Машенька какъ будто бы нарочно не отходила ни на минуту отъ Авдотьи Михайловны, и только къ вечеру, когда мы, прогуливаясь вокругъ нашей усадьбы, вышли на обширный лугъ передъ рощею, мнѣ удалось остаться съ нею нѣсколько времени наединѣ.—Ну, что, сестрица,—сказалъ я,—теперь ты знаешь навѣрное?..

Машенька какъ будто бы не слышала, что я говорю съ нею, и, вмѣсто отвѣта, наклонилась и начала рвать полевые цвѣты, которыми весь лугъ былъ усѣянъ.

— Ты говорила съ Феничкой Лидиной? — продолжалъ я.

— Какже — отвѣчала Машенька, не перемѣняя положенія, — я много съ ней говорила; она премилая!

— Что? Она узнала отъ своей маменьки?..

— О чемъ?

— Разумѣется о томъ, родня ли мы, или нѣтъ.

— Ахъ, да!.. Что это за травка такая? Посмотри, посмотри, братецъ.

— Не знаю! Ну, что-жъ она тебѣ сказала?

— Кто?

— Феничка.

— Что сказала?—Ничего!.. А это что за цвѣтокъ?—Кажется, Иванъ-да-Марья?.. Да, да!.. Какой миленькій!.. Да какой же онъ душистый!..

— Что ты, сестрица, онъ ничѣмъ не пахнетъ!.. Такъ Феничка тебѣ ничего не сказала?

— Ничего! Мы объ этомъ и не говорили.

— Какъ? Ни одного слова?

— Ахъ, вотъ и маменька! — вскричала Машенька, увидѣвъ вдали Авдотью Михайловну.

— Сестрица!—сказалъ я, взявъ ее за руку,—это нехорошо: ты говоришь неправду.

Машенька вспыхнула и бросилась отъ меня бѣжать, какъ сумасшедшая. Бѣдняжечка! она еще въ первый разъ въ жизни рѣшилась солгать, говоря со мною.

V.

Отъѣздъ.

Прошло два года послѣ этой поѣздки въ городъ—два года, самые счастливѣйшіе въ моей жизни; они пролетѣли какъ два часа. Моя любовь къ Машенькѣ давно уже не была тайною; мы были помолвлены. По просьбѣ Ивана Степановича, губернаторъ записалъ меня въ службу, то-есть я считался въ его канцеляріи, и успѣлъ уже получить первый офицерскій чинъ. Когда мнѣ минуло восемнадцать лѣтъ, мой опекунъ объявилъ рѣшительно, что откладываетъ нашу свадьбу еще на три года и что я долженъ прослужить это время въ Петербургѣ или въ Москвѣ, а не въ нашемъ губернскомъ городѣ, чтобъ хотя нѣсколько познакомиться со свѣтомъ и сдѣлаться человѣкомъ.—Да, Сашенька!—сказалъ онъ мнѣ, когда, за нѣсколько дней до моего отъѣзда, зашла у насъ объ этомъ рѣчь:—да, мой другъ! Ты еще совсѣмъ ребенокъ, и долго имъ останешься, если все будешь жить у насъ подъ крылышкомъ. Эхъ, досадно! Зачѣмъ я послушался жены и сжалился надъ слезами этой дѣвчонки. То ли бы дѣло!.. хотѣлъ я записать тебя въ военную службу, такъ нѣтъ! подняли такой вой, что хоть святыхъ вонъ понеси! Ну, дѣлать нечего, а жаль, право жаль! Военная служба лучшая школа для молодого человѣка, не правда ли, старый товарищъ?—продолжалъ мой опекунъ, обращаясь къ Бобылеву, который стоялъ, вытянувшись молодцомъ, у дверей гостиной.

— Не могу знать, ваше высокородіе!— отвѣчалъ заслуженный воинъ съ примѣтнымъ замѣшательствомъ.

— Я спрашиваю тебя, гдѣ лучше служить: въ какомъ-нибудь приказѣ, или въ лихомъ драгунскомъ полку?

— Не могу знать, ваше высокородіе. Наше дѣло темное: гдѣ прикажутъ, тамъ и служишь!

— Эге!—вскричалъ Иванъ Степановичъ,— Бобылевъ, да ты никакъ сталъ хитрить? Я спрашиваю: какая служба больше тебѣ по сердцу? Ну, чѣмъ бы ты хотѣлъ быть, подъячимъ или вахмистромъ? Ну, что переминаешься!—Говори!

— Не могу знать, ваше высокородіе!

— Тьфу ты, братецъ, какой! Я толкомъ говорю: ну, послушай, въ какой службѣ молодой парень сдѣлается скорѣе человѣкомъ— въ статской, или въ военной?

— Гдѣ въ статской, ваше высокородіе!— промолвилъ, переминаясь, Бобылевъ:—тамъ выправка совсѣмъ не та; вотъ въ нашей фронтовой, не то что господинъ, а какой-нибудь зипунникъ, вахлакъ, и тотъ какъ разъ молодцомъ будетъ... Оно, конечно,—продолжалъ Бобылевъ, посматривая на Авдотью Михай-

съ моими воспоминаніями о прошедшемъ; а сверхъ того я чувствовалъ, что не могу уже вполнѣ предаваться моимъ мечтаніямъ: я очень проголодался, и тощій желудокъ убѣждалъ меня, гораздо краснорѣчивѣе Егора, перейти скорѣе изъ очаровательнаго міра мечтаній къ жизни дѣйствительной; эта физическая потребность взяла, наконецъ, такой верхъ надъ моими моральными ощущеніями, что я вышелъ на первой станціи изъ кибитки, и весьма обрадовался, когда смотритель поставилъ передо мною чашку сытныхъ щей и горшокъ гречневой каши.—Ну, что? далеко ли осталось до Москвы? — спросилъ я станціоннаго смотрителя.

— Шестьсотъ двадцать верстъ, сударь.

— Возможно ли?.. Такъ мы въ цѣлыя сутки и ста верстъ не отъѣхали?

— И то слава Богу! — сказалъ Егоръ: — вѣдь на двухъ станціяхъ лошадей не было. Вы изволили дремать, сударь, такъ и не замѣтили, что мы часовъ по пяти дожидались.

— Для чего же ты не нанималъ вольныхъ?

— Вольныхъ? Нѣтъ, сударь! вольныя-то кусаются! Тройные прогоны заплатишь!

— Такъ чтожъ?

— Помилуйте! Да этакъ мы переплатимъ и Богъ вѣсть что.

— Дѣлать нечего; не вѣкъ же намъ ѣхать до Москвы.

— И, сударь!—прервалъ Егоръ,—доѣдемъ когда-нибудь; вѣдь этихъ ямщиковъ не удивишь. Что, въ самомъ дѣлѣ, поломаются часокъ, другой, а тамъ дадутъ и почтовыхъ.

— Вотъ вздоръ, стану я дожидаться!

— По мнѣ, все равно, какъ прикажете, только воля ваша, эти разбойники такъ деруть...

— Ужъ нечего сказать, точно, разбойники!—прервалъ почтальонъ. — Вотъ и теперь, посмотрите, что они съ васъ заломятъ.

— Да на что намъ вольныхъ? — закричалъ Егоръ:—вѣдь ты сказалъ мнѣ, что лошади черезъ часъ придутъ?

— Нѣтъ, батюшка! и часика два потерпите! Кто ихъ знаетъ? Будутъ дожидаться на той станціи попутчика, а тамъ часа три, четыре надо лошадямъ дать выстояться.

— Такъ сыщи мнѣ вольныхъ, — прервалъ я,—дожидаться пять часовъ я не намѣренъ.

— Слушаю, сударь!—отвѣчалъ смотритель, выходя вонъ.

— Эхъ, батюшка Александръ Михайловичъ! — шепнулъ мнѣ Егоръ, — догадки въ васъ вовсе нѣтъ: ужъ я вамъ мигалъ, мигалъ! Сказали бы, что будете дожидаться, такъ и за двойные прогоны поѣдутъ, а теперь, посмотрите, слупятъ вчетверо!

Егоръ не ошибся: мы поѣхали на тройкѣ, а съ насъ взяли за двѣнадцать лошадей.

Я давно не ѣздилъ на почтовыхъ; говорятъ, что нынче станціонные смотрители, съ *тѣхъ поръ какъ пользуются* офицерскими чинами, стали вести себя благороднѣе и не прижимаютъ проѣзжающихъ; о большой петербургской дорогѣ и говорить нечего: такъ ходятъ теперь дилижансы; но въ старину!.. Боже мой! чего бывало не натерпится бѣдный проѣзжающій!..Замѣтьте однако-жъ: «бѣдный». Люди богатые или чиновные не знаютъ этихъ мытарствъ, и подчасъ не хотятъ даже вѣрить, что они существуютъ на бѣломъ свѣтѣ. Знатный человѣкъ могъ, въ старину, однимъ словомъ погубить станціоннаго смотрителя, а богатый и прежде сыпалъ деньгами, и теперь бросаетъ ихъ для своей потѣхи, такъ для нихъ всегда бывали лошади; но если у проѣзжающаго въ подорожной *имѣлось*: такому-то коллежскому регистратору, или губернскому секретарю, давать изъ почтовыхъ»,—а межъ тѣмъ въ его карманѣ, сверхъ прогонныхъ денегъ, было только нѣсколько рублей на харчи, то онъ могъ заранѣе быть увѣренъ, что изъ трехъ станцій, ужъ вѣрно, на одной всѣ лошади будутъ въ разгонѣ.—Конечно, былъ способъ и въ старину бѣдному человѣку добиваться почтовыхъ лошадей,— сказалъ мнѣ однажды пріятель, теперь человѣкъ богатый, а нѣкогда весьма недостаточный:—но чего это стоило! Сколько надобно хитрости и терпѣнія, чтобъ расшевелить самолюбіе станціоннаго смотрителя и замѣнить подленькой лестію благородную синюю ассигнацію богатаго человѣка.—Что, батюшка, лошадей нѣтъ?—Нѣтъ!—Нельзя ли какъ-нибудь, почтеннѣйшій!—А почтеннѣйшій стоитъ въ изорванномъ тулупѣ и съ подбитымъ глазомъ.— Мнѣ, право, крайняя нужда, пожалуйста, любезнѣйшій!—А любезнѣйшій едва шевелитъ языкомъ съ перепою.—Э! пріятель, да ты какъ покуриваешь? Дай-ка, я набью тебѣ трубочку, у меня славный вакштабъ; да ужъ сдѣлай милость, другъ сердечный, дай лошадокъ! Что обижать своего брата чиновника!— И вотъ, иногда сердечный другъ смягчится, и за то, что я произвелъ его въ чиновники, отпуститъ меня часомъ прежде. Повѣришь ли, — продолжалъ мой пріятель, — и теперь еще не могу хладнокровно объ этомъ вспомнить-—Да, да!.. бывало, въ старые годы, нечиновному и бѣдному человѣку не приведи Господи ѣздить на почтовыхъ.

Я былъ человѣкъ нечиновный, но не жалѣлъ денегъ и потому на пятый день по-утру перемѣнилъ въ послѣдній разъ лошадей въ двадцати-двухъ верстахъ отъ Москвы. Садясь въ мою повозку, я съ ужасомъ посмотрѣлъ на тройку чахлыхъ, измученныхъ клячъ, на которыхъ долженъ былъ ѣхать послѣднюю станцію.

— Что это за лошади? — сказалъ я:—да мы на нихъ и въ сутки не доѣдемъ.

— Доѣдемъ, сударь!— отвѣчалъ ямщикъ, садясь на козлы.

— Нѣтъ, братъ!—замѣтилъ мой Егоръ,—

развѣ дойдемъ. Экъ коренная-то у тебя, хоть сейчасъ на живодерню.

— Эй, вы, соколики!—гаркнулъ ямщикъ, не обращая вниманія на обидное замѣчаніе Егора.

Соколики захлопали ушами, какъ лягавыя собаки, рванулись впередъ и стали.

— Ну, вотъ, не говорилъ ли я! — вскричалъ Егоръ.—Ахъ, ты, горе-ямщикъ, капусту бы тебѣ возить!

— Да вотъ, постойте!—сказалъ ямщикъ,— только бы съ мѣста-то взяли, а тамъ разойдутся: лошади битыя!

— Не бойтесь, пойдутъ!—прервалъ ямской староста, мужикъ съ рыжею бородою и косыми глазами.—Кони знатные!—продолжалъ онъ съ такою анаѳемскою улыбкою, что всѣ другіе ямщики лопнули со смѣху.—Эхъ, баринъ, дайте-ка парню на водку, такъ даромъ что они на взглядъ одры, а ужъ онъ васъ потѣшитъ.

— Пять рублей на водку!—закричалъ я,— только поставь меня черезъ два часа въ Москву.

— Слышишь, Ванька!—сказалъ староста:— вишь, баринъ-то какой. Ну, смотри же — прокати!

Ванька выхватилъ изъ-за пояса кнутъ и началъ имъ работать съ такимъ усердіемъ, что три лошадиные остова, послѣ минутнаго размышленія, рѣшились двинуться впередъ и побѣжали рысью. Мы проѣхали довольно скоро первые десять верстъ; до Москвы оставалось только двѣнадцать; и хотя лошади все еще бѣжали рысцою, но я видѣлъ уже, и сердце мое замирало отъ ужаса, я видѣлъ, что скоро наступитъ роковая минута, въ которую ямщикъ отмотаетъ себѣ вовсе правую руку, спадетъ съ голоса и мы остановимся полдничать на большой дорогѣ. Вотъ пришла небольшая горка; я былъ увѣренъ, что если лошади остановятся на полугоркѣ, то ужъ ничто въ мірѣ не заставитъ ихъ двинуться съ мѣста, и потому вылѣзъ изъ повозки и пошелъ пѣшкомъ. Москвы еще не было видно, но въ полуверстѣ отъ большой дороги возвышался красивый господскій домъ, окруженный обширными садами. Я остановился, чтобъ полюбоваться его живописнымъ мѣстоположеніемъ; вдругъ изъ ближайшей рощи выѣхали верховые. Тотъ, который ѣхалъ впереди, возбудилъ въ высочайшей степени мое любопытство.—Какъ странно сидитъ на лошади этотъ господинъ,—подумалъ я.—Ахъ, батюшки!.. что это?—да это никакъ женщина?—Черезъ нѣсколько минутъ я могъ увѣриться, что бойкій кавалеристъ въ круглой шляпѣ и полумужскомъ нарядѣ была точно прекрасная женщина лѣтъ двадцати. Какъ теперь гляжу на ея черный бархатный спенсеръ, украшенный золотыми шнурками, какъ гусарскій доломанъ. У насъ въ провинціи я и не слыхивалъ о дамскихъ сѣдлахъ, на которыхъ сидятъ бокомъ *), слѣдовательно весьма было естественно, что смотрѣлъ съ большимъ любопытствомъ и даже удивленіемъ на эту амазонку. Когда она, переѣзжая черезъ дорогу, поровнялась со мною, то взоры ея встрѣтились съ моими, и я прочелъ въ нихъ какое-то удивленіе; на мой вѣжливый поклонъ прекрасная наѣздница кивнула головою, вся вспыхнула, поѣхала тише, и до тѣхъ поръ, пока не скрылась за густымъ березовымъ лѣсомъ, безпрестанно оглядывалась назадъ. Я все это замѣтилъ, хотя рѣшительно не понималъ, чѣмъ могъ обратить на себя ея вниманіе.—Ахъ, какъ она хороша!—прошепталъ я невольно.—Вотъ глаза!.. жаль только, что черные; мнѣ кажется, если-бъ они были голубые... да нѣтъ, нѣтъ!.. у Машеньки глаза несравненно лучше!.. Что это она на меня такъ часто поглядываетъ?.. Вѣрно, въ моемъ дорожномъ платьѣ есть что-нибудь странное, смѣшное... Ну, точно, она замѣтила, что я провинціалъ!—Теперь вы можете судить, до какой степени я былъ простодушенъ; мнѣ даже и въ голову не пришло то, о чемъ я имѣлъ уже честь намекать вамъ, любезные читатели, а именно, что съ молоду я былъ очень хорошъ собою, высокъ и строенъ, какъ Аполлонъ Бельведерскій... Да не смѣйтесь! Про покойниковъ можно говорить, не краснѣя, правду; а моя красота и молодечество давнымъ-давно скончались.

Мы проѣхали или, лучше сказать, протащились еще верстъ восемь; нетерпѣніе мое возрастало съ каждымъ шагомъ усталыхъ лошадей, которыя, хотя медленно, а все-таки подавались впередъ.—Да гдѣ же Москва?— спросилъ я, наконецъ, ямщика.

— Близехонько, сударь!

— Такъ что-жъ ея не видно?

— Да ужъ дорога такая, баринъ; вотъ по Смоленской, такъ мы бы ужъ давно поклонились матушкѣ Москвѣ золотымъ маковкамъ: за семь верстъ вся какъ на ладонькѣ.

— А это что за лѣсъ такой? — спросилъ я,—вотъ направо-то? Зачѣмъ онъ обнесенъ заборомъ?

— Это звѣринецъ, сударь!

— Звѣринецъ!.. столичный звѣринецъ! — подумалъ я.—О, да тутъ ужъ, вѣрно, должны быть всѣ дикіе звѣри, и львы, и тигры, и барсы, а можетъ-быть, и слоны!.. А что, братецъ!—продолжалъ я,—чай, этотъ звѣринецъ очень великъ?

— Да, сударь! не скоро кругомъ объѣдешь.

— И много въ немъ звѣрей?

— Вѣстимо дѣло, какъ не быть! лѣсъ заповѣдный.

— А какіе же въ немъ звѣри?

---

*) Я долженъ однажды навсегда попросить моихъ читателей не забывать, что разсказываю имъ о приключеніяхъ моей молодости, и что съ тѣхъ поръ прошло уже слишкомъ сорокъ лѣтъ.

— Да мало ли какихъ! вотъ и зайцевъ много.

— Какъ! только зайцы?

— А Богъ вѣсть! Говорятъ есть и лисицы, только наврядъ!

— Зайцы, лисицы!.. Боже мой, какое разочарованіе.

Вотъ, наконецъ, этотъ длинный звѣринецъ безъ звѣрей остался у насъ позади. Холмистыя окрестности дороги, по которой мы ѣхали, продолжали заслонять отъ насъ Москву; изрѣдка проглядывали кой-гдѣ кровли домовъ, высокія колокольни приходскихъ церквей; потомъ все исчезло снова, и голубыя небеса сливались по-прежнему съ густыми рощами, которыя, не знаю теперь, а лѣтъ сорокъ тому назадъ, какъ зеленымъ лавровымъ вѣнкомъ, опоясывали всю нашу древнюю столицу. Мы проѣхали еще съ полверсты; вдали забѣлѣлась церковь святого Сергія; гораздо ближе поднялась передъ нами красивая колокольня Андроньевскаго монастыря, направо отъ дороги выглянулъ изъ-за рощи Головинскій дворецъ, одно изъ тѣхъ великолѣпныхъ зданій, которыми вправѣ гордиться наше отечество; налѣво показалось старообрядское кладбище, слобода, нѣсколько отдѣльныхъ домовъ и вдругъ безпредѣльная Москва всплыла и обрисовалась на обширномъ горизонтѣ. Вотъ она—Москва бѣлокаменная, вотъ она—родная мать и кормилица всей святой Руси!—Колыбель православныхъ царей русскихъ, родина великаго Петра, престольный градъ единодержавія, источника всей славы и могущества Россіи. Вотъ онъ, этотъ живущій собственной своей жизнью, самобытный городъ, столько разъ разрушенный до основанія и всегда возникавшій изъ пепла въ новой красотѣ и въ новой славѣ нашей родины! Мой ямщикъ снялъ шляпу и набожно перекрестился; я невольно послѣдовалъ его примѣру.—Вотъ, сударь,—сказалъ онъ, указывая на группу церквей и башенъ, которыя подымались вдали изъ средины безчисленныхъ кровель,—вонъ, сударь, Кремль, Иванъ-Великій, святые соборы, терема царскіе!..

Правду сказалъ Пушкинъ:

„Москва... Какъ много въ этомъ звукѣ
Для сердца русскаго слилось!..“.

Да, Москва, Кремль, Иванъ Великій — волшебныя слова! Какъ сильно потрясаютъ они душу каждаго русскаго...—Каждаго?.. Полно, такъ ли?—О, безъ всякаго сомнѣнія: вѣдь я называю русскимъ не того только, кто носитъ русское имя, родился въ Россіи и по ея милости имѣетъ хлѣбъ насущный—нѣтъ! для этого необходимо еще небольшое условіе...—У меня очень много родственниковъ,—сказалъ однажды пріятель мой Зарѣцкій,—да не всѣ они мои *родные*. Тотъ мнѣ вовсе чужой, кто зоветъ меня роднею потому только, *что носитъ* одну со мною фамилію; а кто *истинно меня любитъ*, тому не нужно быть моимъ однофамильцемъ: я и безъ этого готовъ назвать его роднымъ братомъ.

Я не долго могъ любоваться великолѣпной панорамою Москвы; вмѣстѣ съ приближеніемъ къ заставѣ она спряталась опять за домами весьма некрасиваго предмѣстья. Измученныя лошади давно уже тащились шагомъ, а я шелъ пѣшкомъ подлѣ моей повозки; почти у самаго въѣзда въ Новую деревню, слободу, идущую отъ Рогожской заставы, я поровнялся съ человѣкомъ пожилыхъ лѣтъ, въ сѣромъ опрятномъ сюртукѣ и круглой шляпѣ съ большими полями. Опираясь на трость и волоча съ усиліемъ правую ногу, онъ едва подвигался впередъ.

— Вы, кажется, съ трудомъ идете?—сказалъ я, подойдя къ этому господину.

— Да, батюшка!—отвѣчалъ онъ, приподнимая вѣжливо свою шляпу.—Вотъ четверть часа назадъ, я шелъ почти такъ же бодро, какъ вы.

— Что-жъ съ вами случилось?

— Самъ виноватъ: хотѣлъ перепрыгнуть черезъ канаву, оступился и теперь вовсе не могу стать на правую ногу.

— Вы, можетъ-быть, ее вывихнули?

— Авось нѣтъ, батюшка; а, кажется, жилу потянулъ.

— Какъ же вы дойдете до дому?

— Дотащусь какъ-нибудь. Я живу близехонько отсюда, въ Рогожской, противъ самаго Андроньевскаго монастыря.

— Да не угодно ли, я васъ подвезу.

— Сдѣлайте милость, батюшка! Ужъ въ самомъ дѣлѣ не повредилъ ли я ноги: что-то больно расходилась!

При помощи Егора и моей, старикъ сѣлъ въ повозку; я помѣстился подлѣ него.—Дай Богъ вамъ здоровья! — сказалъ онъ.—Вотъ, теперь мнѣ какъ будто бы полегче; а если бы пришлось тащиться до дому пѣшкомъ, такъ я очень бы натрудилъ больную ногу; и какъ мнѣ пришло въ голову, что я могу еще прыгать? Пора бы, кажется, перестать рѣзвиться: седьмой десятокъ доживаю.

— Неужели?—сказалъ я съ удивленіемъ:—да вамъ на лицо и шестидесяти нѣтъ.

— Да, да, сударь! безъ году семьдесятъ,—продолжалъ старикъ.—Я въ Прусскую войну служилъ ужъ офицеромъ и находился при взятіи Мемеля; а это давно, батюшка, больно давно!

— Безъ году семьдесятъ! — повторилъ я, смотря съ удивленіемъ на моложавое лицо незнакомца. Въ первый разъ еще въ моей жизни я видѣлъ, да и послѣ никогда не встрѣчалъ семидесятилѣтняго старика съ такой миловидной наружностью; ну, право, можно было влюбиться въ его бѣлые, какъ снѣгъ, волнистые волосы; его кроткая простодушная улыбка была такъ очаровательна, голубые глаза, исполненные ума и добросердечія, вы-

ражали такое душевное, неподдѣльное спокойствіе; даже тихіе звуки его голоса имѣли въ себѣ что-то неизъяснимо пріятное.

— Издалека ли вы изволите ѣхать?—спросилъ онъ меня въ то время, какъ повозка остановилась у заставы и Егоръ пошелъ прописать подорожную.

Я назвалъ ему нашъ губернскій городъ.

— Да, это не близко, — продолжалъ старикъ:—слишкомъ семьсотъ верстъ! Что, батюшка, вы къ намъ на житье въ Москву, или только проѣздомъ?

— Нѣтъ, я пріѣхалъ сюда для того, чтобъ служить.

— Доброе дѣло! Такому молодцу, какъ вы, служить надобно; и, вѣрно, вы остановитесь гдѣ-нибудь у знакомаго или родственника?

— У меня есть письмо къ господину Днѣпровскому.

— Алексѣю Семеновичу?

— Точно такъ! Вы его знаете?

— И очень давно. Онъ живетъ на Арбатѣ, верстъ пять отсюда; а, кажется, лошади-то у васъ вовсе смучились, врядъ ли дотащутъ... Да постойте!.. Вѣдь Алексѣя Семеновича нѣтъ въ городѣ: онъ ужъ около мѣсяца живетъ въ своей подмосковной и, если не ошибаюсь, на этихъ дняхъ отправится прямо изъ деревни за-границу, кажется, въ Германію къ минеральнымъ водамъ.

— А развѣ онъ боленъ?

— Не онъ, а жена его.

— Какая досада! Ну, дѣлать нечего, я остановлюсь въ трактирѣ.

— Да нѣтъ ли у васъ кого-нибудь еще знакомыхъ?

— Со мною есть рекомендательныя письма; но я не знаю, могу ли?

— Такъ наймите лучше квартиру: въ этихъ трактирахъ можно подчасъ сдѣлать весьма дурное знакомство... Извините! вы еще такъ молоды, такъ неопытны. Право, батюшка, послушайтесь меня, не живите долго въ трактирѣ, и если вамъ нельзя будетъ пристать къ кому-нибудь изъ знакомыхъ вашего батюшки...

— У меня нѣтъ ни отца, ни матери,— сказалъ я.

— Ни отца, ни матери!—повторилъ старикъ.—А сколько вамъ лѣтъ?

— Восемнадцать.

— Бѣдняжка!—прошепталъ онъ, поглядѣвъ не меня съ состраданіемъ.

— Пошелъ! — закричалъ караульный унтеръ-офицеръ. Часовой поотпустилъ цѣпь тяжелаго шлагбаума, и мы въѣхали въ Москву.

VI.

Москва.

— Куда прикажете ѣхать?—спросилъ ямщикъ, когда колеса моей повозки застучали по мостовой.—Куда?—вопросъ былъ затруднительный.—Ступай,— сказалъ я,—въ трактиръ, гдѣ останавливаются пріѣзжающіе.

— Да въ какой, сударь? Вѣдь этихъ постоялыхъ дворовъ здѣсь много; вотъ, пожалуй, на Тверской Царьградскій трактиръ— знатный!.. И въ Зарядьѣ много всякихъ подворьевъ—куда хотите.

— Ступай куда-нибудь, мнѣ все равно.

Мы поѣхали. Не доѣзжая шаговъ пятидесяти до Андроньевскаго монастыря, лошади стали и, несмотря на крикъ и удары ямщика, рѣшительно не хотѣли двинуться съ мѣста.

— Эхъ, другъ любезный! — сказалъ старикъ.—Господь Богъ велѣлъ и скотовъ митовать! Ну, что ты лошадей-то понапрасну лиранишь? Видишь, онѣ, сердечныя, вовсе изъ силъ выбились. Да полно, братъ! Что толку-то? Вѣдь на одномъ кнутѣ не уѣдешь!

— И впрямь дѣлать-то нечего!—проговорилъ ямщикъ, слѣзая съ козелъ.—Ужъ такъ и быть, сударь, повремените, я сбѣгаю на ямской дворъ и приведу другихъ лошадокъ; это близехонько, разомъ вернусь.

— А я ужъ какъ-нибудь добреду до дому,— сказалъ старикъ, вылѣзая изъ кибитки.— Вотъ моя квартира, недалеко. Да чѣмъ вамъ на улицѣ дожидаться,—продолжалъ онъ, обращаясь ко мнѣ,—милости прошу, зайдите хоть на минуту въ мой домишко.

Я принялъ охотно его предложеніе и, оставивъ при повозкѣ Егора, пошелъ съ нимъ по лѣвой сторонѣ улицы. Старикъ все еще прихрамывалъ, однако-жъ, шелъ несравненно бодрѣе прежняго. — Мнѣ кажется,— сказалъ онъ,—я только-что зашибъ ногу и, можетъ-быть, завтра совсѣмъ буду здоровъ. Дай-то, Господи!—Мы подошли къ деревянному домику съ зелеными ставнями; старикъ постучалъ въ ворота; человѣкъ пожилыхъ лѣтъ, въ поношенномъ сюртукѣ, отперъ намъ калитку, и мы вошли на чистый дворикъ, въ глубинѣ котораго посажено было съ полдюжины яблонь, нѣсколько липъ и два или три куста сирени. Прямо изъ сѣней мы вошли въ комнату, убранную вовсе не роскошно, но свѣтлую и весьма опрятную; всѣ ея стѣны были въ полкахъ, уставленныхъ книгами. Не трудно было по величинѣ и переплету отгадать, что большая часть этой библіотеки состояла изъ книгъ духовныхъ; въ одномъ углу помѣщался отличной работы токарный станокъ, въ другомъ кивотъ изъ дубоваго дерева, съ иконами, передъ которыми теплилась лампада, а въ простѣнкѣ, между двухъ оконъ, висѣлъ портретъ русскаго генерала въ голубой лентѣ; налѣво, въ растворенныя двери видна была угольная комната. Въ ней не было ничего, кромѣ деревянной скамьи съ кожаною подушкою и налоя, который стоялъ передъ большимъ распятіемъ.

— Какъ много у васъ книгъ!—сказалъ я, когда мы сѣли съ хозяиномъ на канапе, обитое простымъ затрапезомъ.

— Я собираю ихъ тридцать лѣтъ,—отвѣчалъ старикъ, — такъ мало-по-малу и накопилось книгъ до тысячи.

— Пріятно имѣть такую большую библіотеку.

— Да! если она составлена изъ книгъ полезныхъ и служитъ не для одного украшенія и хвастовства. Есть люди, которые называютъ библіотеку мертвымъ капиталомъ. Они ошибаются: этотъ капиталъ можетъ давать большіе проценты. И деньги становятся мертвымъ капиталомъ, когда ихъ зарываютъ въ землю... Вы любите чтеніе?

— До безумія!

Старикъ улыбнулся.—До безумія!—повторилъ онъ. — Я думаю, что мы не должны ничего любить до безумія, а всего менѣе книги. Конечно, онѣ самые лучшіе друзья, но зато подчасъ и самые злѣйшіе враги наши; а сверхъ того, такіе хитрые, что иногда не только безъ ума, да и съ умомъ не вдругъ разберешь, на кого напалъ, на друга или на своего злодѣя.

— Позвольте спросить,—сказалъ я,—чей это портретъ?

— Это портретъ моего бывшаго начальника и благодѣтеля, фельдмаршала Румянцева.

— Великій человѣкъ!

— Да, батюшка, точно, великій! Онъ умѣлъ съ горстью войска разбить стотысячныя арміи; однимъ взглядомъ, однимъ словомъ воспламенялъ душу каждаго солдата, и безъ всякой строгости, шутя, превращалъ какого-нибудь шалуна въ хорошаго и полезнаго офицера. Чтобъ доказать истину моихъ словъ, я разскажу вамъ, какъ онъ исправилъ одного молодого человѣка, который имѣлъ нѣкогда счастіе служить подъ его начальствомъ.

Это было въ 1760 году. Русскія и союзныя войска занимали тогда большую часть Сѣверной Пруссіи; наша дивизія, подъ командою графа Румянцева, расположена была близъ города Кросена на Одерѣ. Война кипѣла въ Померапіи и Польшѣ; но около насъ все было такъ тихо и спокойно, какъ будто мы стояли на контонирь-квартирахъ; однако-жъ, несмотря на это, отданы были приказанія, чтобъ въ лагерѣ наблюдался самый строгій порядокъ, и войска были во всякое время готовы къ бою. Графъ Румянцевъ постигалъ вполнѣ необыкновенный геній великаго Фридриха, который почти всегда являлся тамъ, гдѣ его никакъ не ожидали, и часто, быстрымъ движеніемъ войскъ и внезапнымъ натискомъ всѣхъ силъ своихъ, совершенно уничтожалъ предположенія самыхъ опытныхъ генераловъ. Изъ отдаваемыхъ ежедневно приказовъ по дивизіи, болѣе всѣхъ не понравился многимъ офицерамъ приказъ не отлучаться безъ позволенія изъ лагеря и наблюдать строго военнопоходную форму. Молодой человѣкъ, о которомъ теперь идетъ рѣчь, былъ также изъ числа недовольныхъ. Надобно вамъ сказать, что этотъ офицеръ имѣлъ нѣкоторыя похвальныя качества; но одинъ недостатокъ или, лучше сказать, порокъ губилъ въ немъ все хорошее, переданное ему отъ добрыхъ и благочестивыхъ родителей. Онъ былъ лихой малый, славный товарищъ, какъ говорили его пріятели, то-есть въ немъ вовсе не было этой постоянной твердости характера, безъ которой и доброе сердце ни къ чему не служитъ. Безпрерывно увлекаясь примѣромъ другихъ, онъ никогда не имѣлъ собственной своей воли; съ добрыми былъ добръ, съ повѣсами повѣса, а что всего хуже—старался всегда въ дурномъ перещеголять своихъ товарищей. Несмотря на природное отвращеніе отъ пьянства, онъ готовъ былъ для компаніи выпить одинъ за другимъ дюжину стакановъ пунша; ненавидѣлъ карты, и понтировалъ, какъ сумасшедшій, для того, чтобъ не отставать отъ другихъ; имѣя довольно кроткій и тихій нравъ, всегда первый вызывался на какую-нибудь шалость и, чтобъ потѣшить пріятелей и похвастаться своимъ удальствомъ, смѣло пускался на самый дерзкій поступокъ, а особливо, когда дѣло шло за споромъ, и у него была въ головѣ лишняя рюмка вина.

Вотъ, однажды по-утру собралось у него въ палаткѣ человѣкъ пять или шесть молодыхъ офицеровъ, отъявленныхъ повѣсъ и шалуновъ; начали завтракать; разумѣется, стали пить, подгуляли и принялись, по обыкновенію, осуждать распоряженія своихъ начальниковъ. Одинъ сердился, что его, за ошибку во фронтѣ, нарядили безъ очереди въ караулъ; другой гнѣвался на своего полковника за то, что онъ не позволилъ ему отлучиться въ городъ, третій доказывалъ, что его ротный начальникъ не умѣетъ обходиться съ офицерами, четвертый называлъ своего баталіоннаго командира педантомъ потому, что онъ требовалъ во всемъ точнаго исполненія службы, и всѣ эти различныя жалобы слились, наконецъ, въ одну общую—на послѣдній приказъ, которымъ предписывалось офицерамъ не отступать ни въ какомъ случаѣ отъ походной формы.—Ну, помилуйте, къ чему это?—вскричалъ поручикъ Зноевъ, допивая третій стаканъ пуншу: — добро бы непріятель былъ близко, или бы мы стояли въ городѣ; а то драться не деремся, щеголять не передъ кѣмъ. такъ на что же это?

— Да такъ!—прервалъ одинъ прапорщикъ, —видно, нечего приказывать.

— Что въ самомъ дѣлѣ!—продолжалъ поручикъ,—засадили насъ, какъ колодниковъ въ лагерѣ, да и отдохнуть-то порядкомъ не дадутъ; жара смертная, а не смѣй безъ галстуха выйти изъ палатки.

— Да! вчера за это арестовали подпоручика Бушуева,—сказалъ одинъ изъ офицеровъ.

Неужели?

— На цѣлую надѣлю.

— Такъ пусть же меня арестуютъ на двѣ!—закричалъ поручикъ:—я сегодня цѣлый день галстуха не надѣну.

— Эка важность!—прервалъ хозяинъ, у котораго въ головѣ давно уже шумѣло:—безъ галстуха!.. Да если на то пошло, такъ я надѣну халатъ и сяду передъ палаткою.

— Ужъ и халатъ!—повторилъ одинъ изъ гостей,—да развѣ ты не знаешь, что графъ безпрестанно ходитъ по лагерю?

— Такъ что-жъ? У меня халатъ славный, пусть онъ имъ полюбуется.

— А что вы думаете, товарищи?—подхватилъ поручикъ,—вѣдь онъ въ самомъ дѣлѣ это сдѣлаетъ: онъ молодецъ!

— Да, да!—продолжалъ хозяинъ, у котораго отъ этой похвалы вовсе голова закружилась:—я сяду передъ палаткой и выкурю цѣлую трубку табаку въ халатѣ... въ желтыхъ сапожкахъ... съ открытой грудью!

— Ну, полно!—сказалъ прапорщикъ,—что ты больно расхрабрился? шутишь братъ!

— Право? Такъ вы сейчасъ увидите!.. Гей, Ванька! халатъ, туфли, трубку!

Во всей этой буйной компаніи не нашлось ни одного добраго пріятеля, который удержалъ бы его отъ такого безумнаго поступка. Онъ надѣлъ свой красный халатъ, желтые сапожки, и съ раскрытой грудью, растрепанный, въ самомъ безобразномъ видѣ, вышелъ изъ палатки, расположился передъ нею на скамьѣ и закурилъ трубку! Несмотря на свою опьянѣлость, онъ чувствовалъ, однако-жъ, что дѣлаетъ очень дурно, и посматривалъ съ безпокойствомъ въ ту сторону, гдѣ стояла палатка его батальоннаго командира; но громъ ударилъ не съ той стороны: въ близкомъ разстояніи послышался шумъ, онъ обернулся — передъ нимъ стоялъ графъ Румянцевъ, а въ десяти шагахъ весь штабъ и нѣсколько казаковъ. Вся храбрость полупьянаго офицера исчезла; онъ мигомъ протрезвился, хотѣлъ спрятаться въ палатку, но графъ остановилъ его, закричавъ грознымъ голосомъ: «Ни съ мѣста, господинъ офицеръ!»—Потомъ отдалъ потихоньку какія-то приказанія. Черезъ минуту во всей линіи раздался барабанный бой, солдаты высыпали изъ палатокъ, построились, офицеры заняли свои мѣста, и графъ, подойдя къ злосчастному повѣсѣ, сказалъ очень ласково: «Вы такъ легко одѣты, господинъ офицеръ, что вѣрно вамъ не тяжело будетъ пройтись со мною по лагерю? Прошу покорно сдѣлать мнѣ эту честь!» — продолжалъ онъ, взявъ его за руку. Офицеръ обмеръ, но долженъ былъ повиноваться. Вы можете себѣ представить удивленіе и потомъ общій хохотъ всего войска. Если бы этотъ молодой человѣкъ могъ умереть или провалиться сквозь землю, то почелъ бы себя совершенно счастливымъ; но онъ остался живъ и, какъ преступникъ, привязанный къ позорному столбу, рука объ руку съ графомъ прошелъ въ своемъ шутовскомъ красномъ халатѣ и желтыхъ сапожкахъ отъ одного конца лагеря до другого. Графъ безпрестанно останавливался, говорилъ съ полковыми командирами, дѣлалъ свои замѣчанія, и когда всѣ наглядѣлись до сыта на этого чуднаго адъютанта, котораго онъ такъ вѣжливо водилъ подъ руку, графъ сказалъ ему: «Господинъ офицеръ, извольте сейчасъ отправиться къ авангардному начальнику, полковнику Велину, и скажете ему, что я сегодня въ три часа буду смотрѣть его полкъ. Казачью лошадь!» — продолжалъ графъ, обращаясь къ своей свитѣ,—«и двухъ конвойныхъ казаковъ».

— Ваше сіятельство!—проговорилъ, наконецъ, молодой человѣкъ:—я чувствую вполнѣ мою вину и не смѣю себя оправдывать... Но, будьте милостивы, позвольте мнѣ переодѣться...

— Переодѣться?—повторилъ графъ,—зачѣмъ?.. Я нашелъ васъ передъ палаткою, слѣдовательно, вы должны быть во всей формѣ. Въ военное время нѣтъ минуты, въ которую бы исправный офицеръ не былъ готовъ исполнять приказаній начальника. Извольте ѣхать!—прибавилъ онъ, когда подвели казачью лошадь.—Исполнивъ мое порученіе, вы можете снова сѣсть подлѣ палатки и докурить вашу трубку.

Я не стану вамъ разсказывать, что чувствовалъ несчастный шалунъ, когда долженъ былъ въ своемъ дурацкомъ нарядѣ скакать, въ сопровожденіи двухъ казаковъ, по большой дорогѣ, усыпанной народомъ. День былъ праздничный, погода прекрасная и почти всѣ жители Кросена гуляли за городомъ; но это еще было ничто въ сравненіи съ тѣмъ, что ожидало его впослѣдствіи: онъ сталъ предметомъ насмѣшекъ всѣхъ своихъ товарищей, сказкою и забавой ихъ пирушекъ; на него указывали пальцами, прозвали краснымъ халатомъ, однимъ словомъ, онъ сдѣлался шутомъ и посмѣшищемъ для всей дивизіи. Вы не можете себѣ представить, какъ это подѣйствовало не только на душу, но даже на здоровье бѣднаго молодого человѣка. Вся веселость его исчезла, онъ прятался отъ товарищей, не смѣлъ глядѣть на начальниковъ, и въ двѣ недѣли такъ исхудалъ, какъ будто бы пролежалъ нѣсколько мѣсяцевъ въ сильной горячкѣ; наконецъ, это сдѣлалось для него совершенно несноснымъ: обиженное самолюбіе, какъ демонъ искуситель, не давало ему покоя ни днемъ, ни ночью; къ несчастію, давно уже буйное общество и дурные примѣры поколебали христіанскія правила, посѣянныя въ душѣ его добрыми родителями; онъ забылъ, что отчаяніе есть смертный грѣхъ, въ головѣ его начали бродить дурные помыслы: онъ сталъ свыкаться съ ужасною мыслію самоубійства, и однажды, говоря съ родственни-

комъ своимъ, адъютантомъ графа Румянцева, сказалъ, что если черезъ недѣлю не откроются военныя дѣйствія и ему нельзя будетъ умереть на непріятельской батареѣ, то онъ самъ размозжитъ себѣ голову. На другой день онъ получилъ приказаніе явиться къ дивизіонному командиру. Графъ былъ одинъ, когда офицеръ вошелъ къ нему въ палатку.

— Живы ли твои отецъ и мать? — спросилъ Румянцевъ, кинувъ строгій взглядъ на молодого человѣка.

— Живы, ваше сіятельство!

— Жаль, очень жаль! А есть ли у нихъ еще дѣти?

— Нѣтъ, ваше сіятельство, я у нихъ одинъ.

— Одинъ!.. Тяжко же ихъ наказалъ Господь!.. Послушай, молодой человѣкъ! До меня дошло, что ты хочешь самъ поднять на себя руки. Если преступная мысль сдѣлаться самоубійцею и навѣки погубить свою душу не пугаетъ тебя, если ты не жалѣешь своихъ стариковъ, то и тебя жалѣть нечего: дурная трава изъ поля вонъ! Только скажи мнѣ, что ты хочешь этимъ доказать? Ужъ не благородный ли образъ твоихъ мыслей? Не величіе ли и твердость души человѣка, презирающаго смерть? Ошибаешься, братецъ!.. Ты докажешь только, что можно быть въ одно и то-же время и дурнымъ офицеромъ, и дурнымъ христіаниномъ, и дурнымъ сыномъ; а стоитъ ли такая пошлая истина, чтобъ ее доказывали? Неужели ты думаешь, что негодяй, который убьетъ того, кто назвалъ его негодяемъ, сдѣлается, по милости этого новаго преступленія, честнымъ человѣкомъ? Неужели ты думаешь, что тотъ, кто изъ пустого и буйнаго хвастовства не станетъ исполнять своихъ обязанностей, и потомъ, чтобъ избѣжать заслуженнаго наказанія, пострѣлитъ себѣ голову, загладитъ этимъ безумнымъ поступкомъ свою вину? Нѣтъ, любезный! безчестный человѣкъ останется безчестнымъ, хотя бы онъ каждый день стрѣлялся; а повѣса не докажетъ, что онъ былъ порядочнымъ человѣкомъ, если, къ довершенію своихъ дурачествъ, умретъ какъ богоотступникъ и бездушный сынъ. Хорошій солдатъ не боится смерти: онъ долженъ быть неустрашимъ, но одно это еще не дѣлаетъ его достойнымъ уваженія: и разбойникъ Стенька Разинъ былъ храбрый человѣкъ, и ты, я думаю, видалъ совершенныхъ негодяевъ и подлецовъ, для которыхъ жизнь копѣйка. Впрочемъ,—продолжалъ графъ гораздо ласковѣе,— я знаю, ты не рожденъ, чтобъ быть какимъ-нибудь безпутнымъ сорванцомъ, ты могъ бы сдѣлаться полезнымъ и достойнымъ уваженія офицеромъ, если бы тебѣ не вздумалось прослыть первымъ шалуномъ во всей дивизіи; да знаешь ли, что ты къ этому рѣшительно не способенъ! Тебя слишкомъ пугаетъ презрѣніе *людей порядочныхъ;* чтобъ сдѣлаться образцовымъ повѣсою, не надобно имѣть ни стыда, ни совѣсти, а въ тебѣ есть и то и другое. Записной негодяй сталъ бы хвастаться, что онъ прогуливался въ халатѣ, рука-объ-руку съ своимъ начальникомъ, а ты не хочешь пережить этого срама: нѣтъ! ты напрасно хлопочешь,—ты никогда не будешь первостатейнымъ негодяемъ. Послушайся меня, молодой человѣкъ, выкинь этотъ вздоръ изъ головы, веди себя лучше прежняго, не увлекайся дурными примѣрами; однимъ словомъ, будь тѣмъ, чѣмъ ты можешь и долженъ быть: этимъ только средствомъ ты загладишь вину свою и заслужишь мое уваженіе, котораго ты до сихъ поръ вовсе не заслуживалъ. Не забывай никогда, что первый долгъ военнаго человѣка—свято и не разсуждая исполнять приказанія своихъ начальниковъ. Вы, молодые люди, рѣдко понимаете всю важность этой обязанности или, лучше сказать, христіанской добродѣтели, которую мы называемъ повиновеніемъ. Если бъ вы поболѣе разсуждали, то тотчасъ-бы увидѣли, что это круговая порука, на которой основано благосостояніе всякаго общества; что мы всѣ болѣе или менѣе должны однихъ слушаться, а другимъ приказывать, и что тотъ, кто не умѣлъ повиноваться, не будетъ умѣть и повелѣвать. Прощай!

Тронутый до глубины сердца родительскимъ увѣщаніемъ и добротою своего начальника, молодой офицеръ вышелъ отъ него совсѣмъ инымъ человѣкомъ. Онъ далъ себѣ честное слово исправиться и, при помощи Божіей, сдержалъ его: пересталъ пить, играть въ карты и вести развратную жизнь; но онъ не могъ воротить прошедшаго, а быть-можетъ, примѣръ его былъ пагубенъ для многихъ. О! какъ эта мысль сокрушала его впослѣдствіи! Да, да! онъ не могъ ничѣмъ смыть этого чернаго пятна, которое осталось во всю жизнь на его совѣсти!.. Этотъ молодой офицеръ былъ я. Теперь вы видите, что я не даромъ называю моимъ благодѣтелемъ фельдмаршала графа Румянцева: по милости его я не погубилъ навѣки своей души, не уморилъ съ горя моихъ стариковъ, и даже, говоря мірскимъ языкомъ, сдѣлался изъ негоднаго повѣсы человѣкомъ порядочнымъ.

Я пробесѣдовалъ съ этимъ почтеннымъ старикомъ болѣе часу; его милое, простодушное обращеніе совершенно меня обворожило. Я также, въ свою очередь, сталъ ему разсказывать о себѣ, о моемъ настоящемъ положеніи, о моихъ надеждахъ, о Машенькѣ, однимъ словомъ, обо всемъ; не утерпѣлъ, чтобъ не похвастаться передъ нимъ моимъ богатствомъ, и даже вовсе не кстати, а такъ, какъ говорится ни къ селу, ни къ городу, объявилъ ему, что у меня въ карманѣ три тысячи рублей ассигнаціями, и что я совершенно воленъ располагать этими деньгами.

— Ну! — сказалъ старикъ, покачавъ голо-

вою,—не легко вамъ будетъ избѣжать дурныхъ знакомствъ. У васъ много простодушія, откровенности, а что всего опаснѣе, много лишнихъ денегъ и, если не ошибаюсь, охота смертная всѣмъ объ этомъ разсказывать. Теперь я вижу, вамъ рѣшительно не должно останавливаться въ трактирѣ: въ этихъ гостинницахъ живутъ иногда не одни проѣзжіе. У насъ въ Москвѣ, какъ и во всѣхъ большихъ городахъ, есть разбойники, которыхъ изъ вѣжливости называютъ другимъ именемъ; они не живописцы, не скульпторы, не музыканты, а большіе художники, и живутъ рукодѣльемъ. Сохрани васъ Господи, попасться къ нимъ въ передѣлъ! Деньги ничего, если только вы отдадите ихъ даромъ; а вотъ, бѣда, когда вы промѣняете ваши тысячи на шампанское, къ которому васъ пріучатъ, на развратныя забавы, которыми станутъ разсѣивать ваше горе, и этотъ пагубный образъ мыслей, которымъ они постараются заглушить голосъ вашей дѣвственной совѣсти. Знаете ли что?.. Если вы хотите, я познакомлю васъ съ однимъ добрымъ моимъ пріятелемъ; у него отдаются въ наемъ три комнаты; кажется, онѣ теперь свободны. Домъ его у самыхъ Арбатскихъ воротъ, на веселомъ мѣстѣ и, я думаю, очень вамъ понравится. Этотъ старикъ и его жена люди набожные, смирные и такіе радушные, что, проживя у нихъ нѣсколько дней, вы вѣрно ихъ полюбите какъ родныхъ. Позвольте я сейчасъ напишу къ нимъ записку.

Пока мой хозяинъ писалъ, я развернулъ большую рукописную книгу, которая лежала на столѣ: это было собраніе разныхъ изреченій и выписокъ изъ духовныхъ и философическихъ сочиненій.

— Вы смотрѣли мой сборникъ, — сказалъ старикъ, подавая мнѣ запечатанное письмо.— Въ немъ много есть хорошаго, и если вы дадите мнѣ слово хотя изрѣдка посѣщать меня, — прибавилъ онъ съ улыбкою, — то я оставлю вамъ въ наслѣдство эту рукопись, только съ уговоромъ: не дѣлайте изъ нея мертваго капитала, а берите проценты, хоть самые маленькіе, по страничкѣ въ недѣлю;— право слюбится!

Мой Егоръ пришелъ доложить, что лошади готовы; я простился съ хозяиномъ, далъ слово навѣщать его и отправился къ Арбатскимъ воротамъ. Дорогою Егоръ сказалъ мнѣ, что онъ разспросилъ у стараго слуги обо всемъ. Этотъ почтенный человѣкъ, мой первый московскій знакомецъ, назывался Яковомъ Сергѣевичемъ Луцкимъ, имѣлъ полковничій чинъ и жилъ небольшимъ пенсіономъ, который получилъ при отставкѣ.—Баринъ-то, говоритъ, очень добрый,—продолжалъ Егоръ, — только глуповатъ немного.

— Вотъ вздоръ какой!—прервалъ я.

— Нѣтъ, сударь, не вздоръ! — Его старикъ-слуга поразсказалъ мнѣ такія диковинки, что и, Господи!.. Вѣдь ему досталось отъ отца и матери душъ двѣсти крестьянъ, да вотчины-то какія знатныя!.. Такъ что жъ? отдалъ ихъ своей двоюродной сестрѣ да внучатному брату. — У нихъ, дескать, дѣтей много, а я одинъ-одинехонекъ, какъ перстъ! они, дескать, меня на старости не покинутъ.— Да! подставляй карманъ! И сестрица и братецъ живутъ теперь припѣваючи, а ему подчасъ перекусить нечего. Сначала присылали ему хлѣбца, крупъ, того-другого, да какъ узнали, что онъ все чужимъ людямъ раздаетъ, такъ и полно! — Что, дескать, ему давать, коли въ прокъ пойдетъ? глупому сыну не въ помощь богатство. А вѣдь какой мотоватый! Чуть завелась лишняя копѣйка, такъ онъ ее и по-боку! Кто ни попроси, всякому дастъ. То-то и есть, сударь! Дожилъ до сѣдыхъ волосъ, а ума-то, видно, не нажилъ.

Напрасно мой Егоръ истощалъ свое краснорѣчіе: я даже не потрудился сказать ему, что онъ вретъ; все вниманіе мое было обращено на великолѣпную панораму, которая постепенно развертывалась передъ моими глазами. Вотъ *городъ* съ своими безконечными рядами, вотъ знаменитая Красная площадь съ своимъ лобнымъ мѣстомъ и дивнымъ храмомъ Василія Блаженнаго, этимъ архитектурнымъ капризомъ, въ которомъ попраны всѣ правила искусства, въ которомъ все дико, тяжело и даже безобразно; но который, несмотря на это, поражаетъ васъ невольнымъ удивленіемъ. Вотъ безмолвные свидѣтели и славы и бѣдствій нашей родины, высокія стѣны Кремля, огромныя башни, соборы, Иванъ-Великій и древніе чертоги царей русскихъ. Мы въѣхали въ Кремль Спасскими воротами. Восторгъ мой удвоился, когда, поровнявшись съ Архангельскимъ соборомъ, я взглянулъ прямо внизъ по скату Кремлевской горы: передо мной тихо струилась свѣтлая рѣка; направо она бушевала и пѣнилась подъ тяжелыми сводами *Каменнаго* моста, вдали за нимъ сверкали позлащенныя главы Донской обители, еще далѣе подымались увѣнчанныя рощами Воробьевы горы. Прямо, за рѣкою, разстилалось покрытое церквами обширное Замоскворѣчье; налѣво, по изгибистому берегу рѣки, тянулись: стѣна Китай-города, огромный Воспитательный домъ, и взоръ упирался въ высокій унизанный домами холмъ, у подошвы котораго рѣчка Яуза впадаетъ въ Москву-рѣку. Я недолго любовался этимъ очаровательнымъ видомъ: мы спустились Боровицкими воротами на Неглинную. Боже мой! Какой переполохъ!.. Я заткнулъ носъ, зажмурилъ глаза!.. Говорятъ, теперь это одна изъ лучшихъ частей города. Тамъ, гдѣ прежде мутный и зловонный ручей пробирался медленно по грязному дну заваленнаго нечистотою оврага, теперь цвѣтутъ роскошные сады; вмѣсто запачканныхъ безобразныхъ лавокъ, возвышаются красивые дома, выстроенный подъ одну кровлю желѣзный рядъ и огром-

нѣйшій въ мірѣ манежъ, или экзерциръ-гаузъ, который, по необъятной величинѣ своей, можетъ назваться крытой площадью, а по изящной наружности, прекраснымъ и великолѣпнымъ зданіемъ.

Построенный на высокомъ мѣстѣ противъ самаго Кремля трехъ-этажный домъ съ бельведеромъ помирилъ меня опять съ Москвою. Я думаю, знаменитый петергофскій водометъ Самсона не столько бы удивилъ меня теперь, какъ удивлялся я тщедушнымъ фонтанчикамъ, которые били изъ бассейновъ, украшавшихъ садъ этого дома. Толпы зѣвакъ стояли у желѣзной рѣшетки и съ нѣмымъ восторгомъ любовались на эти трехъ-аршинные фонтаны колодезной воды и на бѣлоснѣжныхъ лебедей, которые плавали или, лучше сказать, кружились на одномъ мѣстѣ въ небольшихъ бассейнахъ изъ дикаго камня. Черезъ нѣсколько минутъ мы доѣхали до Арбатскихъ воротъ, то-есть до того мѣста, гдѣ нѣкогда въ стѣнѣ, окружавшей Бѣлый городъ, были Арбатскія ворота. Мнѣ не трудно было отыскать домъ купца Правикова. Онъ принялъ меня очень ласково и, прочитавъ письмо своего пріятеля, тотчасъ отвелъ мнѣ три чистенькія комнаты, убранныя весьма опрятно и снабженныя всѣмъ нужнымъ для холостого хозяйства. Яковъ Сергѣевичъ Луцкій сказалъ правду: хозяева мои были люди истинно добрые, и я, проживъ въ ихъ домѣ нѣсколько мѣсяцевъ, такъ съ ними свыкся и такъ полюбилъ ихъ, что мнѣ и въ голову не приходило искать себѣ другой квартиры, до тѣхъ поръ, пока я не встрѣтился съ этимъ... Ну, воля ваша, и теперь не знаю, какъ *его* назвать! — Мнѣ не хочется, чтобъ вы смѣялись надо мною, любезные читатели, а назвать его человѣческимъ именемъ я, право, не могу.

Здѣсь долженъ я предувѣдомить читателей, что первые два года и шесть мѣсяцевъ, проведенныхъ мною въ Москвѣ, не заключаютъ въ себѣ ничего любопытнаго, слѣдовательно, о нихъ и говорить нечего. Конечно, описанія и самыхъ обыкновенныхъ приключеній человѣка знаменитаго имѣютъ въ себѣ какую-то неизъяснимую прелесть и возбуждаютъ въ высочайшей степени наше любопытство; мы съ удовольствіемъ читаемъ, что Фридрихъ Великій нюхалъ испанскій табакъ, а Наполеонъ любилъ носить бѣлое исподнее платье и не терпѣлъ духовъ; что лордъ Байронъ возилъ съ собою пѣтуха и обезьяну, а Вольтеръ принималъ своихъ гостей въ халатѣ,—все это чрезвычайно такъ занимательно; но я человѣкъ самый обыкновенный, и подробное описаніе моего домашняго быта, образъ мыслей и занятій, вѣроятно, не будетъ забавно даже и для самыхъ снисходительныхъ читателей; и потому, для соблюденія необходимой связи между происшествіями, я полагаю достаточнымъ сказать только нѣсколько словъ объ этихъ двухъ съ половиною годахъ, проведенныхъ мною въ Москвѣ. Я не успѣлъ познакомиться съ Алексѣемъ Семеновичемъ Днѣпровскимъ, который вмѣстѣ съ женою отправился прямо изъ своей подмосковной за границу. По милости рекомендательныхъ писемъ моего опекуна, я очень скоро былъ помѣщенъ въ число чиновниковъ, служащихъ въ канцеляріи московскаго главнокомандующаго. Около года я жилъ весьма уединенно: бывалъ каждый день въ должности, почти всегда обѣдалъ дома и очень любилъ ѣздить въ театръ, а особливо, когда давали «Отца семейства», «Графа Вальтрона», «Эмилію Галотти» и другія чувствительныя драмы, въ которыхъ Плавильщиковъ приводилъ меня въ ужасъ, а Померанцевъ заставлялъ плакать, какъ ребенка. Сначала знакомыхъ было у меня очень мало, потомъ число ихъ стало умножаться примѣтнымъ образомъ, и я къ концу второго года попалъ въ кругъ молодыхъ людей, хотя принадлежащихъ къ самому лучшему обществу, но которыхъ правила и образъ мыслей перепугали бы до смерти моего добраго опекуна. Ихъ веселая и разгульная жизнь, ихъ забавы, удовольствія и даже самые пороки были такъ плѣнительны, такъ любезны!..

Буйная компанія распутной и необразованной молодежи никогда не была для меня опасною: порокъ въ безобразной наготѣ своей казался для меня всегда отвратительнымъ, но, прикрытый блестящимъ покровомъ всѣхъ свѣтскихъ приличій, остроумный и раздушенный, усыпанный цвѣтами, онъ незамѣтнымъ образомъ вкрадывался въ мою душу. Я не имѣлъ понятія о какомъ-нибудь *полыньковомъ* винѣ, и вѣрно бы не отличилъ хорошаго рома отъ скверной французской водки; но зато очень любилъ шампанское и никогда не смѣшивалъ шатомарго съ лафитомъ, не сталъ бы ни за что проигрывать деньги на трактирномъ биліардѣ, но зналъ однако-жъ, сколько надобно загнуть угловъ, чтобъ поставить на десять кушей съ транспортомъ; не гонялся подъ вечеръ на Тверскомъ бульварѣ за каждымъ хорошенькимъ личикомъ, не заглядывалъ подъ шляпки; но, несмотря на мою любовь къ Машенькѣ, начиналъ понемногу убѣждаться, что вѣрность вовсе не мужская добродѣтель и что для мужчины довольно и того, когда онъ *постоянень*; однимъ словомъ, если я не привыкъ пить шампанское какъ воду, не сталъ игрокомъ и не сдѣлался вовсе недостойнымъ любви моей невѣсты, то, конечно, былъ обязанъ за это не столько прежнему моему воспитанію, сколько дружескимъ совѣтамъ и наставленіямъ Луцкаго, котораго, несмотря на мою разсѣянную жизнь, я посѣщалъ довольно часто.

Теперь я долженъ сообщить моимъ читателямъ одно письмо, которое, по содержанію своему, принадлежитъ къ этой первой поло-

винѣ моего разсказа. Какимъ образомъ это письмо, писанное къ женщинѣ совершенно мнѣ незнакомой, попалось мнѣ въ руки, за нѣсколько мѣсяцевъ до моего отъѣзда изъ Москвы, на это отвѣчать можетъ только тотъ, кто мнѣ его отдалъ. Конечно, я догадываюсь, что *ему* вовсе не трудно было достать его изъ шифоньерки, или бюро, въ которомъ оно хранилось — *онъ* подчасъ и не такія чудеса дѣлаетъ, — да знаю напередъ, что мои догадки покажутся невѣроподобными, и потому совѣтую вамъ, любезные читатели, потрудиться самимъ придумать что-нибудь и, если можно, изъяснить это естественнымъ образомъ; а лучше всего вовсе объ этомъ не думать.

Вотъ это письмо:

«Ахъ, Лиза, Лиза! Ахъ, другъ мой!.. что ты сдѣлала со мною?.. Ты не хотѣла вѣрить моимъ предчувствіямъ—ты называла ихъ дурачествомъ, сумасшествіемъ... Послушай! Помнишь ли ты, когда два года тому назадъ, гуляя съ тобою въ слободскомъ саду, я разсказала тебѣ мой сонъ?—Ты улыбалась, когда я говорила тебѣ, что этотъ идеалъ красоты, созданный моею душою, существуетъ, что онъ являлся мнѣ во снѣ и неизъяснимо пріятнымъ голосомъ шепталъ: Надина, мы встрѣтимъ другъ друга! — Ты умирала со смѣха, когда я описывала тебѣ его голубые, блестящіе глаза, его темнорусыя шелковыя кудри, этотъ мужественный, исполненный задумчивости взоръ;—ты называла меня мечтательницою, и когда Днѣпровскій предложилъ мнѣ свою руку, ты первая была за него. Ни воля отца моего, ни желаніе всѣхъ родныхъ, ничто не заставило бы меня согласиться быть его женою; я не могла только устоять противъ тебя. Что ты дѣлаешь, Надина? — говорила ты мнѣ:—отказать человѣку умному, любезному и богатому, который истинно тебя любитъ, и отказать ему для того только, чтобъ не измѣнить какому-то мечтательному существу, которое ты видѣла во снѣ и съ которымъ, безъ всякаго сомнѣнія, ты никогда не встрѣтишься. Никогда — Боже мой!.. Лиза, другъ мой, я его видѣла! — Да! я его видѣла!.. Кто онъ?—Куда ѣхалъ?—Увижу ли его опять? — не знаю; но онъ существуетъ, этотъ идеалъ, который ты называла мечтою!— Мы встрѣтились, мы нашли другъ друга!

Я часто говорила тебѣ, что сердце мое спокойно,—ты этому радовалась. Ахъ, Лиза, Лиза! спокойно! — и мертвые спокойны, мой другъ! Вчера оно въ первый разъ забилось снова въ груди моей. Мой мужъ, отправляясь съ визитомъ къ одному изъ сосѣдей, уговорилъ меня ѣхать верхомъ. Утро было прекрасное, но, несмотря на это, я съ трудомъ согласилась исполнить его желаніе; не знаю, какое-то темное предчувствіе опасности, какая-то грусть наполняла мое сердце. Вотъ я выѣхала изъ рощи, гляжу — на большой дорогѣ ѣдетъ шагомъ откидная кибитка, передъ нею идетъ какой-то мужчина высокаго роста, въ дорожномъ платьѣ... Увидѣвъ меня, онъ остановился; я стала переѣзжать черезъ дорогу—взоры наши встрѣтились... Праведный Боже!—это онъ!.. Вотъ эти давно знакомыя черты, этотъ задумчивый взглядъ, эта плѣнительная улыбка!.. Я прочла въ глазахъ его и удивленіе и радость... Казалось, онъ хотѣлъ что-то сказать мнѣ... но я не остановилась, проѣхала мимо, и этотъ второй сонъ исчезъ какъ первый... О, Лиза, Лиза! я не сомнѣваюсь: онъ также искалъ меня, — онъ вѣрно свободенъ... а я!..

Прощай, мой другъ!—Мы послѣзавтра отправляемся за границу: — третьяго дня эта мысль приводила меня въ восторгъ, а теперь... О, нѣтъ! не вѣрь мнѣ!.. я и теперь радуюсь этому. Думать, мечтать о немъ я могу вездѣ; но быть съ нимъ вмѣстѣ, видѣть его, слышать его голосъ и не забыть, что я принадлежу другому,—о, это невозможно?.. Нѣтъ, Лиза, нѣтъ!.. твоя Надина можетъ быть несчастлива, но преступною никогда не будетъ.

NB. Ахъ, мой другъ! какъ хорошо написанъ «*Островъ Борнгольмъ!*»—Какой слогъ!.. Какая истина!.. Прочти эту повѣсть: она разогрѣетъ и твое холодное сердце...

Законы осуждаютъ
Предметъ моей любви;
Но кто, о сердце! можетъ
Противиться тебѣ!

О, какъ это справедливо!—Милый Карамзинъ!»

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

I.

Коломенское.

Насъ было пятеро. Обо мнѣ говорить нечего; но я долженъ сказать нѣсколько словъ о моихъ товарищахъ. Первый: сіятельный сослуживецъ мой, Григорій Владиміровичъ Двинскій, московскій природный князь; русскій—не русскій, французъ—не французъ, а такъ, существо какого-то средняго рода, впрочемъ, острый малый, избалованный женщинами повѣса, большой шалунъ, но только самаго хорошаго тона. Второй: Антонъ Антонычъ фонъ-Нейгофъ, магистръ Дерпт-

скаго университета, ипохондрикъ, ужасный чудакъ, послѣдователь мистической школы Сведенборга, фанатикъ, мечтатель, всегда живущій въ какомъ-то невещественномъ мірѣ, отъявленный защитникъ всѣхъ алхимиковъ, астрологовъ, духовидцевъ, и даже извѣстнаго обманщика, итальянца Каліостро. Третій: капитанъ Архаровскаго полка, Андрей Андреевичъ Возницынъ, человѣкъ не больно грамотный, но честный, простодушный и веселый малый; и, наконецъ, четвертый: Василій Дмитричъ Закамскій, очень умный и замѣчательный молодой человѣкъ. Онъ много путешествовалъ и только-что воротился изъ чужихъ краевъ; но это вовсе не расхолодило его чистую и просвѣщенную любовь къ отечеству. Встрѣчая дурное на своей родинѣ, онъ горевалъ, а не радовался, не спѣшилъ указывать пальцемъ на каждое черное пятно и не щеголялъ передъ иностранцами своимъ презрѣніемъ къ Россіи. Совершенно чуждый этой исключительной и хвастливой любви къ отечеству, которою гордились нѣкогда наши предки, онъ любилъ все прекрасное, какому бы народу оно ни принадлежало; но только прекрасное *свое* радовало еще болѣе его сердце, а онъ находилъ это прекрасное и въ своемъ отечествѣ, потому что не искалъ въ немъ одного дурного. Однимъ словомъ, этотъ молодой человѣкъ, несмотря на свое европейское просвѣщеніе, вовсе не походилъ на этихъ жалкихъ проповѣдниковъ европеизма, для которыхъ все сряду хорошо чужое и все безъ исключенія дурно свое. Онъ живетъ теперь въ моемъ сосѣдствѣ. Сколько разъ, читая вмѣстѣ со мною какую-нибудь новую выходку противъ русскихъ художниковъ и писателей, онъ смѣялся отъ всей души надъ пустословіемъ и безсильной злобою этихъ грозныхъ судей, которые стараются изъ-за угла забросать всѣхъ своей природной грязью. Бѣдные мученики!—говоритъ онъ всегда,—ну изъ-за чего они хлопочутъ? Ихъ имена или исчезнутъ вмѣстѣ съ ними, или передадутся потомству какъ условныя названія скупыхъ и лицемѣровъ, оставленныя въ наслѣдство нашему вѣку безсмертнымъ Мольеромъ, который, къ сожалѣнію, не успѣлъ заклеймить никакимъ общимъ и позорнымъ названіемъ этихъ литературныхъ трутней, оскверняющихъ все своимъ прикосновеніемъ.

Время было прекрасное; несмотря на то, что дѣло шло ужъ къ осени и что у насъ сентябрь мѣсяцъ почти всегда *смотритъ сентябремъ*, день былъ жаркій, на небѣ ни одного облачка, и самый пріятный, лѣтній вѣтерокъ чуть-чуть колебалъ осенній листъ на деревьяхъ; мы всѣ согласились ѣхать въ Коломенское; хотя это историческое село, которое долго почиталось колыбелью Петра Великаго, не далѣе пяти верстъ отъ заставы, но мнѣ не удалось еще побывать *въ немъ ни разу*. Сначала древняя церковь Вознесенья и разбросанные кой-гдѣ остатки знаменитыхъ Коломенскихъ чертоговъ, которымъ нѣкогда дивились послы и гости иноземные, обратили на себя все мое вниманіе; но когда мы обошли временныя палаты, построенныя Екатериной Второй, на самомъ томъ мѣстѣ, гдѣ въ старину возвышались шести-ярусные терема и красивыя вышки любимаго потѣшнаго дворца царя Алексѣя Михайловича, то очаровательный видъ окрестностей села Коломенскаго заставилъ меня забыть все. Внизу, у самой подошвы горы, на которой мы стояли, изгибалась Москва-рѣка; за нею, среди роскошныхъ поемныхъ луговъ, подымались стѣны и высокая колокольня Перервинской обители; далѣе обширныя поля, покрытыя нивою, усѣянныя селами, рощами и небольшими деревушками. Верстъ на десять кругомъ взоръ не встрѣчалъ никакой преграды: онъ обѣгалъ свободно этотъ обширный, ни чѣмъ не заслоняемый горизонтъ, который, казалось, не имѣлъ никакихъ предѣловъ.

— Какой очаровательный видъ! — вскричалъ я,—да это прелесть! И я живу третій годъ въ Москвѣ, а не бывалъ здѣсь ни разу?

— То-то и есть,—подхватилъ Возницынъ,—мы, видно, всѣ на одинъ покрой: ѣздимъ за тридевять земель, чтобъ посмотрѣть на что-нибудь хорошее, а не видимъ его, когда оно близехонько у насъ подъ носомъ.

— Да неужели ты думаешь,— сказалъ съ улыбкою князь Двинскій, — что этотъ обыкновенный и пошлый видъ въ самомъ дѣлѣ очарователенъ? Небольшая горка, ничтожная рѣка, монастырь, въ которомъ строеніе не греческое, не готическое, не азіатское, а Богъ знаетъ какое, нѣсколько десятинъ луговъ и сотни двѣ разбросанныхъ по полю безобразныхъ избъ—ну, есть чѣмъ любоваться!.. Охъ, вы, господа русскіе!.. Вамъ все въ диковинку!

— Русскіе! — повторилъ Возницынъ. — А ваше сіятельство французъ, что ль?

— Не французъ, а побольше вашего видѣлъ. Посмотрѣли бы вы Швейцарію...

— Да къ чему тутъ Швейцарія?—сказалъ Закамскій,—и что общаго между альпійскими горами и берегомъ Москвы-рѣки? Конечно, и въ Саксоніи множество видовъ лучше этого...

— Ну, вотъ слышите!—закричалъ князь.

— Да только это ничего не доказываетъ,— продолжалъ Закамскій,—и въ чужихъ краяхъ, и въ самой Россіи есть мѣстоположенія гораздо красивѣе; но и этотъ веселый сельскій видъ весьма пріятенъ и я всякій разъ имъ любуюсь.

— Изъ патріотизма!—сказалъ Двинскій съ насмѣшливой улыбкою.

— Да погляди кругомъ, князь! Развѣ это дурно?

— Конечно не дурно, потому что у насъ нѣтъ ничего лучше...

— Вокругъ Москвы? Быть-можетъ! Но поѣзди по Россіи...

— Нѣтъ, ужъ я лучше останусь въ Москвѣ. Послушай, фонъ-Нейгофъ, — вѣдь ты философъ,—скажи: не правда ли, что изъ двухъ золъ надобно выбирать то, которое полегче?

— Неправда! — отвѣчалъ магистръ.—Гдѣ болѣе зла, тамъ болѣе и борьбы; а гдѣ борьба, тамъ есть и побѣда.

— Вотъ еще что выдумалъ! — вскричалъ Возницынъ, —а если я не хочу бороться?

— Не хочешь! да вся наша жизнь есть не что иное, какъ продолжительная борьба, и чѣмъ геніальнѣе человѣкъ, тѣмъ эта борьба для него блистательнѣе. Развитіе душевныхъ силъ есть необходимое слѣдствіе...

— Бога ради!—прервалъ князь,—не давайте ему говорить, а не то онъ перескажетъ намъ Эккартсгаузена отъ доски до доски.

— Не смѣйся, князь!—сказалъ Закамскій,— нашъ пріятель Нейгофъ говоритъ дѣло; да вотъ, напримѣръ, не всю ли жизнь свою боролся съ невѣжествомъ этотъ необычайный геній, который родился здѣсь въ селѣ Коломенскомъ?

— Неправда!—прервалъ Нейгофъ.—Историкъ Миллеръ доказалъ неоспоримыми доводами, что Петръ Великій родился въ Кремлѣ.

— Быть-можетъ,—продолжалъ Закамскій,— только здѣсь, въ Коломенскомъ, онъ провелъ почти все свое дѣтство. Здѣшній садовникъ, Осипъ Семеновъ, разсказывалъ мнѣ, что онъ самъ частехонько игралъ и бѣгалъ съ нимъ по саду.

— Какой вздоръ!—подхватилъ Возницынъ. —Сколько же лѣтъ этому садовнику?

— Да только сто двадцать четыре года *).

— Miséricorde! — закричалъ князь, — сто двадцать четыре года!.. Да развѣ можно прожить сто двадцать четыре года?

— Видно, что можно.

— Ахъ, батюшки!.. Сто двадцать четыре года!.. Ну, если мой дядя... Да нѣтъ, нынче не живутъ такъ долго.

— А ты вѣрно наслѣдникъ? — спросилъ Возницынъ.

— Единственный и законный,—отвѣчалъ князь, вынимая свои золотые часы съ репетиціею.—Господа!—продолжалъ онъ, — половина второго; теперь порядочные люди въ городѣ завтракаютъ, а мы въ деревнѣ, такъ не пора ли намъ обѣдать?

— А гдѣ мы обѣдаемъ?—спросилъ Закамскій.

— Разумѣется здѣсь, на открытомъ воздухѣ!—отвѣчалъ Возницынъ.—Я велѣлъ моему слугѣ приготовить все—вонъ тамъ внизу, въ рощѣ.

— Какъ! въ этомъ оврагѣ?—сказалъ князь.

— Такъ чтожъ? тамъ гораздо лучше; здѣсь печетъ солнцемъ, а тамъ, посмотрите, какая прохлада; что дерево, то шатеръ,—вѣкъ солнышко не заглядывало.

Мы всѣ отправились за Возницынымъ, прошли шаговъ сто по узенькой тропинкѣ, которая вилась между кустовъ, и непримѣтнымъ образомъ очутились на днѣ поросшаго лѣсомъ оврага, или, лучше сказать, узкой долины, которая опускалась пологимъ скатомъ до самаго берега Москвы-рѣки. Колоссальные кедры, пихты, вязы и липы покрыли насъ своей непроницаемой тѣнью; кругомъ все дышало прохладою, и приготовленный на крестьянскомъ столѣ обѣдъ ожидалъ насъ подъ навѣсомъ огромной липы, въ дуплѣ которой можно было въ случаѣ нужды спрятаться отъ дождя.—Въ самомъ дѣлѣ, какъ здѣсь хорошо!—сказалъ Двинскій, садясь за столъ:— совсѣмъ другой воздухъ; жаль только, что эту рощу не держатъ въ порядкѣ: она вовсе запущена.

— А мнѣ это-то и нравится, — прервалъ Нейгофъ. — Неужели вамъ еще не надоѣли эти чистыя, укатанныя дорожки и гладкій дернъ, на которомъ ни одна травка не смѣетъ расти выше другой? Признаюсь, господа, эта нарумяненная, затянутая въ шнуровку природа, которую мы, какъ модную красавицу, одѣваемъ по картинѣ, — мнѣ вовсе не по сердцу; я люблю дичь, просторъ, раздолье...

— А эти полусгнившія, уродливыя деревья также тебѣ нравятся?—спросилъ князь.

— Прошу говорить о нихъ съ почтеніемъ!— прервалъ Закамскій,—они живые памятники прошедшаго. Быть-можетъ, подъ самой этой липой отдыхали въ знойный день цари: Алексѣй Михайловичъ и отецъ его, Михаилъ Ѳеодоровичъ; быть можетъ, подъ тѣнью этого вяза Іоаннъ Васильевичъ Грозный бесѣдовалъ съ любимцемъ своимъ, Малютою Скуратовымъ, и пилъ холодный медъ изъ золотой стопы, которую подносилъ ему съ низкимъ поклономъ будущій правитель, а потомъ и царь Русскій, Борисъ Годуновъ.

— Все это хорошо,—сказалъ князь, принимаясь за ѣду: — а попробуйте-ка этотъ паштетъ: онъ, право, еще лучше.

Когда мы наѣлись до-сыта и выпили рюмки по двѣ шампанскаго, фонъ-Нейгофъ закурилъ свою трубку, а мы всѣ улеглись на травѣ и начали разговаривать между собою.

— Закамскій!—сказалъ князь,—знаешь ли, кого я вчера видѣлъ—отгадай!

— Почему мнѣ знать? ты знакомъ со всей Москвою.

— Какъ она похорошѣла, какъ мила! Она спрашивала о тебѣ, и даже очень тобою интересовалась. Ты вѣрно къ ней поѣдешь?

— Непремѣнно, если ты скажешь, кто она.

— Отгадай; ты видѣлся съ нею въ послѣдній разъ два года тому назадъ... Мы оба познакомились съ нею въ Вѣнѣ... Ее зовутъ Надиною... Ну, отгадалъ?

— Неужели?.. Днѣпровская?..

*) Этотъ старикъ умеръ въ 1801 году.

— Она.

— Такъ она пріѣхала изъ чужихъ краевъ? Давно ли?

— Около мѣсяца. Помнишь въ Карлсбадѣ этого англичанина, который влюбился въ нее по-уши?

— Какъ не помнить.

— Помнишь, какъ онъ каждое утро являлся къ ней съ букетомъ цвѣтовъ?

— Который она всякій разъ при немъ же отдавала мужу.

— Бѣдный Джонъ-Буль чуть-чуть не умеръ съ горя.

— Мнѣ помнится, князь, и ты былъ немножко влюбленъ въ эту красавицу.

— Да, сначала! Но это скоро прошло. Цѣлыхъ двѣ недѣли я ухаживалъ за нею, потомъ мы изъяснились, и она...

— Признала тебя своимъ побѣдителемъ?

— Нѣтъ, Закамскій, предложила мнѣ свою дружбу.

— Бѣдненькій!

— Да! это была довольно грустная минута.

— И ты не взбѣсился, не сошелъ съ ума, не заговорилъ какъ отчаянный любовникъ?

— Pas si bête, mon cher! я не привыкъ хлопотать изъ пустого.

— Ага, князь! такъ ты встрѣтилъ, наконецъ, женщину, которая умѣла вскружить тебѣ голову и остаться вѣрною своему мужу.

— Своему мужу! Вотъ вздоръ какой! Да кто тебѣ говорилъ о мужѣ?

— Право! Такъ это еще досаднѣе. И ты знаешь твоего соперника?

— О, нѣтъ! я знаю только, что она скрываетъ въ душѣ своей какую-то тайную страсть; но кого она любитъ, кто этотъ счастливый смертный, этого я никакъ не могъ добиться. А надобно сказать правду, что за милая женщина! Какое живое, шипучее воображеніе! Какая пламенная голова! Какой умъ, любезность!.. въ Карлсбадѣ никто не хотѣлъ вѣрить, что она русская?

— Постойте-ка! — сказалъ я, — Днѣпровская?.. Не жена ли она Алексѣя Семеновича Днѣпровскаго?

— Да! А развѣ ты его знаешь?

— У меня есть къ нему письмо отъ моего опекуна.

— Теперь ты можешь отдать его по адресу.

— Не поздно ли? Оно писано слишкомъ два года назадъ. Да и къ чему мнѣ заводить новыя знакомства? я и такъ не успѣваю визиты дѣлать.

— Что, Нейгофъ, молчишь?—сказалъ Закамскій.—Я вижу, ты любуешься этими деревьями?

— Да! — отвѣчалъ магистръ, вытряхивая свою трубку,—я люблю смотрѣть на этихъ маститыхъ старцевъ природы: безмолвные свидѣтели *давно прошедшаго*, они оживляютъ въ моей памяти минувшіе вѣка; глядя на нихъ, я невольно переношусь изъ нашего прозаическаго вѣка, въ которомъ безвѣріе и положительная жизнь убиваютъ все, въ эти счастливые вѣка чудесъ, очарованій—плѣнительной поэзіи...

— И немытыхъ рожъ, — подхватилъ князь,—небритыхъ бородъ, варварства, невѣжества и скверныхъ лачугъ, въ которыхъ всѣ первобытные народы отдыхали по-уши въ грязи, если не дрались другъ съ другомъ за кусокъ хлѣба.

— Не правда ли, Закамскій,—продолжалъ Нейгофъ, не обращая никакого вниманія на слова Двинскаго,—здѣсь можно совершенно забыть, что мы такъ близко отъ Москвы?— Какая дичь! Какой сумракъ подъ тѣнью этихъ вѣтвистыхъ деревъ! Я думаю, что заповѣдные лѣса друидовъ, ихъ священныя дубравы, не могли быть ни таинственнѣе, ни мрачнѣе этой рощи.

— Я видѣлъ въ Богеміи,—сказалъ Закамскій,—одну глубокую долину, которая чрезвычайно походитъ на этотъ оврагъ; она только несравненно болѣе и оканчивается не рѣкою, а небольшимъ озеромъ. Тамошніе жители разсказывали мнѣ про эту долину такія чудеса, что у меня отъ страха и теперь еще волосы на головѣ дыбомъ становятся. Говорятъ, въ этой долинѣ живетъ какой-то лѣсной духъ, котораго всѣ записные стрѣлки и охотники признаютъ своимъ покровителемъ. Онъ одѣтъ егеремъ, и когда ходитъ по лѣсу, то ровенъ съ лѣсомъ.

— Эка диковинка!—прервалъ Возницынъ;— это просто лѣшій.

— Они, кажется, называютъ его вольнымъ стрѣлкомъ и говорятъ, что будто-бы онъ умѣетъ лить пули, изъ которыхъ шестьдесятъ попадаютъ въ цѣль, а четыре бьютъ въ сторону.

— Надобно сказать правду, — подхватилъ князь,—Германія классическая земля всѣхъ нелѣпыхъ сказокъ.

— Не всѣ народныя преданія можно называть сказками, — прошепталъ сквозь зубы магистръ.

— Бьюсь объ закладъ, — продолжалъ князь,—нашъ премудрый магистръ былъ вѣрно въ этой долинѣ.

— Да, точно былъ. Такъ что-жъ?

— И, безъ всякаго сомнѣнія, познакомился съ этимъ лѣснымъ духомъ?

— Почему ты это думаешь?

— А потому, что ты большой мастеръ лить пули.

— Славный каламбуръ! Ну, что-жъ вы, господа, не смѣетесь? Потѣшьте князя!

— Послушай, Нейгофъ,—сказалъ князь,— я давно собираюсь поговорить съ тобою не шутя. Скажи мнѣ пожалуйста, неужели ты въ самомъ дѣлѣ вѣришь этимъ народнымъ преданіямъ?

— Не всѣмъ.

— Не всѣмъ! Такъ поэтому нѣкоторыя изъ нихъ кажутся тебѣ возможными?

— Да.

— Помилуй, мой другъ! ну, можно ли въ нашъ вѣкъ вѣрить чѣму-нибудь сверхъестественному?

— Кто ничему не вѣритъ,—сказалъ важнымъ голосомъ магистръ, — тотъ поступаетъ также неблагоразумно, какъ и тотъ, кто вѣритъ всему.

— Полно дурачиться, братецъ! Ну, можетъ ли быть, чтобъ ты, человѣкъ образованный, ученый, почти профессоръ философіи, вѣрилъ такимъ вздорамъ?

Нейгофъ затянулся; дымъ повалилъ столбомъ изъ его краснорѣчивыхъ устъ, и онъ, взглянувъ почти съ презрѣніемъ на князя, сказалъ:—Видѣлъ ли ты, Двинскій, прекрасную комедію фонъ-Визина «Недоросль»?

— Не только видѣлъ, мой другъ, но даже читалъ, и сердцемъ сокрушался, что я читать учился: площадная комедія!

— Не объ этомъ рѣчь: тамъ, между прочимъ, сказано: «въ человѣческомъ невѣжествѣ весьма утѣшительно считать все то за вздоръ, что не знаешь».

— Фу, какая сентенція! Ужъ не на мой ли счетъ?

— Не прогнѣвайся.

— Такъ по-твоему, любезный другъ, тотъ невѣжда, кто не вѣритъ, что есть вѣдьмы, черти, домовые, колдуны...

— Не знаю, есть ли вѣдьмы, — прервалъ Возницинъ; — это что-то невѣроподобно, и домовымъ я не больно вѣрю; а колдуны есть, точно есть.

— Такъ ужъ позволь быть и вѣдьмамъ,— сказалъ съ усмѣшкою князь; — за что ихъ бѣдныхъ обижать.

— Смѣйся, смѣйся, братецъ! а колдуны точно есть; въ этомъ меня никто не переувѣритъ: я видѣлъ самъ своими глазами...

— Неужели? — спросилъ я съ любопытствомъ.

— Да, любезный! Это было лѣтъ десять тому назадъ; я служилъ тогда въ Нашембургскомъ полку, который стоялъ въ Рязанской губерніи. Вы, я думаю, слыхали о полутатарскомъ городѣ Касимовѣ? Въ этомъ-то городѣ я видѣлъ одного татарина, который слылъ по всему уѣзду престрашнымъ колдуномъ и знахаремъ; про него и Богъ вѣсть что разсказывали. Вотъ, однажды, я согласился съ товарищами испытать его удаль. Позвали татарина, поставили ему штофъ вина; проклятый басурманъ въ два глотка его опорожнилъ и пошелъ на штуки. Подали ему рѣдьку; онъ пошепталъ надъ нею, — рѣдька почернѣла какъ уголь. Я спросилъ его, отгадаетъ ли онъ, что дѣлается теперь съ моимъ братомъ, отставнымъ полковникомъ, который жилъ у себя въ деревнѣ. Я только-что получилъ отъ него извѣстіе, что онъ помолвленъ на дочери своего сосѣда. Колдунъ сказалъ, чтобъ ему подали мое полотенце, сталъ на него смотрѣть, пошепталъ что-то, да и говоритъ, что братъ мой подрался въ кабакѣ и сидитъ теперь въ острогѣ. Вотъ мы всѣ такъ и лопнули со смѣху; да не долго посмѣялись: на повѣрку вышло, что мой денщикъ, Антонъ, подалъ ошибкою вмѣсто моего полотенца свое; а у него, дѣйствительно, родной братъ за драку въ питейномъ домѣ попалъ въ острогъ, и Антонъ получилъ объ этомъ на другой день письмо отъ своей матери. Но послѣдняя-то штука этого колдуна болѣе всего насъ удивила; у меня была лягавая собака, такая злая, что всѣ ее прозвали недотрогою; кромѣ меня никто не смѣлъ не только ее погладить, да и близко-то подойти. Что-жъ вы думаете сдѣлалъ татаринъ? Онъ поднялъ соломинку и уставилъ ее противъ моего Трувеля. Батюшки мои, какъ стало его коверкать! Онъ началъ вертѣться на одномъ мѣстѣ, визжать, грянулся о земь и поднялъ такой ревъ, какъ будто бы его въ три кнута жарили; а какъ татаринъ бросилъ соломинку, такъ онъ, поджавши хвостъ, кинулся благимъ матомъ вонъ, забился подъ крыльцо, и я насилу-насилу, часа черезъ два, его оттуда выманилъ. Ну, что, господа, чай, это все было спроста? Небось, скажете — фортель?

— Да, это странно! прошепталъ Закамскій.

— Обманъ!—закричалъ князь.

— Нѣтъ, не обманъ,—прервалъ Нейгофъ,— а просто магнетизмъ.

— А что такое магнетизмъ? — спросилъ Двинскій.

— Что такое магнетизмъ? Да развѣ ты никогда не слыхалъ о Месмерѣ?

— Постой, постой!.. Месмеръ... да, да, знаю! Это такой же шарлатанъ и обманщикъ, какъ графъ Сентъ-Жерменъ, Каліостро, Пинетти...

— Фуй!..—сказалъ магистръ,—какъ тебѣ не стыдно, князь!.. Пинетти!.. фокусникъ, который показываетъ свои штуки за деньги...

— А, чай, эти господа показывали ихъ даромъ?

— Они были люди необыкновенные, князь, а особливо графъ Сентъ-Жерменъ...

— Хорошъ голубчикъ! — прервалъ Двинскій;—онъ былъ еще безстыднѣе Каліостро: тотъ намекалъ только о своей древности, а этотъ говорилъ не шутя, что онъ былъ коротко знакомъ съ Юліемъ Цезаремъ, что, не смотря на свою пріязнь къ Антонію, волочился за Клеопатрою и имѣлъ честь знать лично Александра Македонскаго.

— Я этого не знаю,—сказалъ Нейгофъ;— но всѣмъ извѣстно, что графъ Сентъ-Жерменъ появлялся въ разныя эпохи, то во Франціи, то въ Германіи, и что тѣ, которые были съ нимъ знакомы лѣтъ за пятьдесятъ, не находили въ немъ никакой перемѣны; почти

столѣтніе старики узнавали въ немъ своего современника, не смотря на то, что онъ казался на лицо не старѣе тридцати лѣтъ.

— Сказки!

— Да на это есть неоспоримыя доказательства; прочти, что говорятъ о немъ современные писатели, и ты увидишь.

— Ровно ничего, мой другъ! Никто не увѣритъ меня, чтобъ дважды два было пять. По-моему все то, чего нельзя объяснить извѣстными законами природы, вздоръ, выдумки, басни...

— А ты увѣренъ, что всѣ законы природы тебѣ извѣстны? Полно, князь! Мы еще не приподняли и уголка этой завѣсы, которая скрываетъ отъ насъ истину, и не смотря на успѣхи просвѣщенія и безпрерывныя открытія, все еще играемъ въ жмурки и ходимъ ощупью. Намъ удалось подмѣтить нѣсколько неизмѣнныхъ законовъ природы, мы отгадали главныя свойства воды, огня, воздуха, магнита и умѣли ими воспользоваться; у насъ есть фонтаны, насосы, водяные прессы; мы выдумали дуловыя ружья, паровыя машины, компасъ, но все-таки не знаемъ, что такое огонь; почему воздухъ имѣетъ упругость, а вода нѣтъ, и отчего намагниченная стрѣлка указываетъ всегда на сѣверъ. Мы любимъ дѣлать опредѣленія и говоримъ очень важно: «темнота есть ничто иное, какъ недостатокъ свѣта, а холодъ отсутствіе теплоты».—Большое открытіе! А знаемъ ли мы, что такое свѣтъ и теплота? Конечно, опытъ вѣковъ познакомилъ насъ нѣсколько съ міромъ вещественнымъ; но міръ духовный остается и теперь еще для насъ загадкою; мы постигаемъ нашей душою, что этотъ міръ существуетъ; но что такое жизнь безъ тѣла, пространство безъ границъ, время безъ конца и начала?.. Что такое душа? Существо безтѣлесное, слѣдовательно, неимѣющее никакихъ видимыхъ и осязаемыхъ формъ, никакого образа, а межъ тѣмъ есть случаи, которые доказываютъ, что сообщеніе міра земного съ міромъ духовнымъ возможно; что мы видимъ иногда этихъ жителей другой страны, слышимъ ихъ голосъ, узнаемъ въ нихъ родныхъ, друзей нашихъ...

— Вотъ то-то и есть,—прервалъ князь,— что не видимъ, не слышимъ и не узнаемъ, а только повторяемъ то, что говорятъ другіе. Одинъ плутъ солжетъ, сто легковѣрныхъ невѣждъ повѣрятъ; тысяча добрыхъ старушекъ начнутъ пересказывать, и безчисленное множество глупцовъ, вся безграмотная толпа народа закричитъ въ одинъ голосъ: «чудо»!—А тамъ, какой-нибудь грамотный мечтатель построитъ на этомъ чудѣ цѣлую систему, напишетъ толстую книгу и, по любви къ собственному своему творенію, будетъ, вопреки здравому смыслу и логикѣ, защищать эту ложь до послѣдней капли своихъ чернилъ.

— Такъ по-твоему, князь, всѣ тѣ, которые писали объ этомъ предметѣ, или обманщики, или мечтатели?

— Непремѣнно одно изъ двухъ.

— Скажи мнѣ, князь, случалось ли тебѣ читать демономанію Будена?

— Нѣтъ, Богъ помиловалъ!

— Но, вѣроятно, ты имѣешь нѣкоторое понятіе о Штиллингѣ, Эккартсгаузенѣ, Бемѣ...

— Нѣтъ, душенька, я нѣмцевъ не люблю.

— Такъ прочти, по крайней мѣрѣ, Калмета: онъ французъ, и самъ Вольтеръ отдавалъ справедливость его учености и обширнымъ познаніямъ.

— А что разсказываетъ этотъ господинъ Калметъ?

— Въ своей книгѣ о «Привидѣніяхъ и Вампирахъ» онъ приводитъ различные случаи, которые доказываютъ, что умершіе могутъ имѣть сообщеніе съ живыми, что явленія духовъ не всегда бываютъ слѣдствіемъ разстроеннаго воображенія, болѣзни или какого-нибудь обмана, и что они рѣшительно возможны, хотя противорѣчатъ нашему здравому смыслу или, вѣрнѣй сказать, нашимъ ограниченнымъ понятіямъ о мірѣ духовномъ и сокровенныхъ силахъ видимой природы. Я совѣтую тебѣ, князь, хотя изъ любопытства, пробѣжать эту книгу.

— Да знаешь ли, Нейгофъ, что я читалъ книги еще любопытнѣе этой, и если ужъ пошло на чудеса, такъ прочти это таинственное, исполненное глубокой мудрости твореніе, которое мы, Богъ знаетъ почему, называемъ «Тысяча одною ночью или Арабскими сказками».

— Ты не хочешь никому вѣрить, князь, ни нѣмцамъ, ни французамъ, такъ слушай! Сочинитель книги подъ названіемъ «Чудеса небесныя, адскія и земель планетныхъ, описанныя сходно съ свидѣтельствомъ монхъ глазъ и ушей»—этотъ ученый мужъ, который говоритъ, начиная свою книгу: «Богъ далъ мнѣ возможность бесѣдовать съ духами, и эти бесѣды продолжались иногда по цѣлымъ суткамъ»—былъ не сумасшедшій, не обманщикъ, а любимецъ Карла XII, знаменитый и всѣми уважаемый Сведенборгъ.

— Мало ли кого уважали въ старину: въ царствѣ слѣпыхъ и кривой будетъ въ чести.

— Нѣтъ, князь, ошибаешься; его станутъ всѣ называть обманщикомъ или безумнымъ за то, что онъ хотя и плохо, а все-таки видитъ своимъ глазомъ то, чего не видятъ слѣпые, которые готовы божиться, что солнца нѣтъ, потому что они не могутъ его ощупать руками. Признаюсь всякій разъ, когда я говорю съ такимъ моральнымъ слѣпцомъ, мнѣ хочется сказать: «procul, o procul este profani!»

— Ай, ай! Латынь!—закричалъ князь.— Ну, бѣда теперь—его не уймешь.

— Да, да!—продолжалъ Нейгофъ,—эти полуученые, которые все знаютъ и ничему

не вѣрять, вреднѣе для науки, чѣмъ безграмотные невѣжды, и я не могу удержаться при встрѣчѣ съ ними, чтобъ не шептать про себя:—отъ этихъ мудрецовъ спаси насъ, Господи! Libera nos Domine!

— Опять! Да полно, братецъ, не ругайся,—говори по-русски. Послушай, Закамскій, ты также проходилъ ученыя степени и можешь съ нимъ перебраниваться латинскими текстами; ну-ка, вступись за меня и докажи аргументальнымъ образомъ этому мистику, что человѣкъ просвѣщенный ни въ какомъ случаѣ не долженъ вѣрить тому, что противорѣчитъ здравому смыслу и очевидности... Ну, что-жъ ты молчишь?

— Да раздумье беретъ, любезный; я самъ бы хотѣлъ назвать вздоромъ все то, что несходно съ нашимъ понятіемъ о вещахъ, но только вотъ бѣда: мнѣ всякій разъ придетъ въ голову, что если-бъ мы съ тобою были, напримѣръ, древніе греки, современники Сократа, Перикла, Алкивіада, то вѣроятно думали бы о себѣ, что мы люди просвѣщенные; и если-бъ тогда какой-нибудь мудрецъ сказалъ намъ, что по его догадкамъ земля вертится и ходитъ кругомъ солнца, а солнце стоитъ неподвижно на одномъ мѣстѣ, какъ ты думаешь, князь, вѣдь, мы назвали бы этого мудреца или обманщикомъ, или мечтателемъ потому, что сказанное имъ было бы вовсе несходно съ тогдашнимъ понятіемъ о вещахъ и явно бы противорѣчило и здравому смыслу, и очевидности.

— Софизмъ, mon cher, софизмъ!—Неподвижность солнца и движеніе земли доказаны математическимъ образомъ,—и всѣ эти бредни мистиковъ и духовидцевъ...

— До сихъ поръ еще однѣ догадки,—прервалъ Закамскій;—а почему ты думаешь, что эти догадки не превратятся современемъ, также какъ и понятія наши о солнечной системѣ, въ математическую истину? Почему ты знаешь, что этотъ міръ духовный не будетъ для насъ такъ же доступенъ, какъ звѣздный міръ, въ которомъ мы дѣлаемъ безпрерывно новыя открытія? Почему ты знаешь, гдѣ остановятся эти открытія и человѣкъ скажетъ: я не могу идти далѣе? Наша жизнь коротка, умственныя способности развиваются медленно; сначала жизнь растительная, потомъ нѣсколько лѣтъ жизни дѣятельной, а тамъ старость и смерть,—слѣдовательно, для ума одного человѣка есть границы; но умъ всего человѣчества, этотъ опытъ вѣковъ, который одно поколѣніе передаетъ другому, кто, кромѣ Бога, положитъ ему границы? Онъ не умиралъ, но дряхлѣетъ отъ годовъ, но растетъ, мужаетъ и съ каждымъ новымъ столѣтіемъ становится могучѣе.

— Все это, Закамскій, прекрасно, да напрасно; ты не только не заставишь меня вѣрить глупымъ сказкамъ, но даже не убѣдишь и въ томъ, что самъ находишь ихъ вѣроподобными. Ну, можетъ ли быть, чтобъ ты повѣрилъ, если я скажу, что мой покойный отецъ приходилъ съ того свѣта со мною побесѣдовать,

— Да, князь, ты правъ: я этому не повѣрю, а подумаю, что ты шутишь и смѣешься надо мною; однако-жъ, не скажу, что это рѣшительно невозможно, потому что не знаю, возможно ли это или нѣтъ. Вотъ если бы я самъ что нибудь увидѣлъ...

— Не безпокойся! Мы не мистики и люди грамотные, такъ ничего не увидимъ.

— Послушай, князь,—сказалъ Нейгофъ,—ты самолюбивъ; слѣдовательно, не хочешь быть въ дуракахъ, это весьма натурально; ты не повѣришь ни мнѣ, ни Закамскому, однимъ словомъ, никому, и это также естественно. Мы могли принять пустой сонъ за истину, могли быть обмануты, или, можетъ-быть, желаемъ сами обманывать другихъ; но если бы ты—не во снѣ, а на яву—увидѣлъ какое-нибудь чудо, если-бъ въ самомъ дѣлѣ твой покойный отецъ пришелъ съ тобою повидаться, чтобы ты сказалъ тогда?

— Я сказалъ бы тогда моему слугѣ: Иванъ, приведи цырюльника и вели мнѣ пустить кровь: у меня бѣлая горячка.

— Слѣдовательно, нѣтъ никакого способа увѣрить тебя, что явленія духовъ возможны—ты не повѣришь самому себѣ?

— Нѣтъ, мой другъ, не повѣрю.

— О, если такъ, то и говорить нечего; и хоть бы я могъ легко доказать тебѣ не словами, а самымъ дѣломъ...

— Что, что?—вскричалъ князь.

— Ничего, — сказалъ Нейгофъ, набивая свою трубку.

— Нѣтъ, нѣтъ, постой! Ты этакъ не отдѣлаешься, и если можешь что-нибудь доказать не словами, а дѣломъ, такъ доказывай!

Нейгофъ посмотрѣлъ пристально на князя и не отвѣчалъ ни слова.

— Что, братъ,—продолжалъ князь,—похвастался, да и самъ не радъ? Я давно замѣчаю, что тебѣ страхъ хочется прослыть колдуномъ; да нѣтъ, душенька, напрасно! Vous n'êtes pas sorcier, mon ami!

— Въ самомъ дѣлѣ, Нейгофъ, — подхватилъ Возницынъ, — не знаешь ли ты какихъ штукъ? Покажи, братъ, потѣшь!

— Этимъ не забавляются,—промолвилъ магистръ, нахмуривъ свои густыя брови.

— Да разскажи намъ, по крайней мѣрѣ, что ты знаешь?—сказалъ Закамскій.

— Это цѣлая исторія,—отвѣчалъ Нейгофъ.

— Тѣмъ лучше? — подхватилъ князь; — я очень люблю исторію, а особливо, когда она походитъ на сказку.

— Что это не сказки, въ этомъ вы можете быть увѣрены,—прервалъ Нейгофъ.

— Такъ разскажи, братъ,—вскричалъ Возницынъ,—а мы послушаемъ!

— Разскажи, Нейгофъ!—повторяли мы всѣ въ одинъ голосъ.

Магистръ долго упрямился; но подъ-конецъ, докуривъ свою трубку, согласился исполнить наше желаніе.

II.

Графъ Каліостро.

— Я также, какъ и ты, много путешествовалъ и объѣхалъ почти всю Европу,— началъ говорить Нейгофъ, обращаясь къ Закамскому. — Въ 1789 году я прожилъ всю осень въ Римѣ. У меня было нѣсколько рекомендательныхъ писемъ и въ томъ числѣ одно къ графу Ланцелоти; но я слишкомъ мѣсяцъ не былъ ни съ кѣмъ знакомъ, кромѣ услужливыхъ цицероніевъ и моего хозяина, претолстаго и преглупаго макаронщика, который ревновалъ свою жену къ цѣлому міру, несмотря на то, что она была стара и дурна, какъ смертный грѣхъ. Съ утра до вечера я бѣгалъ по городу, и каждый разъ возвращался домой съ новымъ запасомъ для моихъ путевыхъ записокъ. Я не намѣренъ вамъ разсказывать обо всѣхъ прогулкахъ по римскимъ улицамъ, не стану описывать мой восторгъ при видѣ Колизея, Пантеона и другихъ остатковъ древняго Рима; не скажу даже ни слова о томъ, какъ я былъ пораженъ огромностію и величіемъ храма святого Петра; какія воспоминанія пробудились въ душѣ моей при видѣ Капитолія и съ какимъ наслажденіемъ я смотрѣлъ на произведенія великихъ художниковъ Италіи; все это тысячу разъ повторялось каждымъ путешественникомъ, и этотъ неизбѣжный заказной восторгъ, эти приторныя фразы а-ла-Дюпати и казенныя восклицанія давно ужъ опротивили и надоѣли всѣмъ до смерти.

Однажды—это было мѣсяца два по пріѣздѣ моемъ въ Римъ — я отправился безъ всякой цѣли шататься по городу. Пойдя нѣсколько времени берегомъ Тибра, я повернулъ на мостъ, весьма красивой наружности, но, къ сожалѣнію, обезображенный статуями, которыя не только въ Римѣ, но и во всякомъ порядочномъ городѣ были бы не у мѣста. Я остановился по срединѣ моста, чтобъ полюбоваться видомъ замка святого Ангела; онъ подымался передо мною по ту сторону Тибра, какъ угрюмый исполинъ, посѣдѣвшій на стражѣ священнаго Рима. Эта городская тюрьма походитъ издали на огромную круглую башню съ плоской кровлею, на которой выстроенъ цѣлый замокъ. Несмотря на свою строгую и даже нѣсколько тяжелую архитектуру, замокъ святого Ангела мнѣ очень понравился, и я глядѣлъ на него съ такимъ вниманіемъ, что не замѣтилъ сначала какого-то прохожаго, закутаннаго въ широкій плащъ, который, *прислонясь къ мостовымъ перилamъ*, казалось, еще внимательнѣе меня разсматривалъ это зданіе. Онъ былъ росту средняго, не дуренъ и не хорошъ собою, но глаза его... въ самой Италіи, классической землѣ пламенныхъ, одушевленныхъ взоровъ, я не видывалъ ничего подобнаго; казалось, искры сыпались изъ этихъ глазъ, не очень большихъ, но быстрыхъ, исполненныхъ огня и черныхъ какъ смоль. Не знаю, почему, но я не могъ удержаться, чтобъ съ нимъ не заговорить. — Вы вѣрно такъ же, какъ и я, любуетесь этимъ чуднымъ зданіемъ?—сказалъ я по-итальянски, указывая на замокъ святого Ангела. Незнакомый бросилъ на меня такой недовѣрчивый и въ то-же время проницательный взглядъ, что я совершенно смутился. Повторяя мой вопросъ, я сбился съ толку, загорилъ вздоръ и сдѣлалъ непростительную ошибку. Незнакомый улыбнулся, поглядѣлъ на меня довѣрчивѣе и сказалъ вполголоса:—Вы иностранецъ?

— Да,—отвѣчалъ я.

— Вы, вѣрно, путешественникъ и, если не ошибаюсь, родина ваша далеко отсюда?

— Вы отгадали, я русскій.

— Русскій,—повторилъ незнакомый, взглянувъ еще веселѣе.—Вамъ должно быть здѣсь очень жарко; я знаю вашу холодную Россію; нѣсколько лѣтъ тому назадъ я былъ въ Петербургѣ; у меня есть тамъ пріятели; я имѣлъ честь знать лично князя Потемкина; но мы, кажется, не понравились другъ другу. Я также очень часто бывалъ...

Тутъ назвалъ онъ мнѣ пять или шесть извѣстныхъ именъ и, поговоривъ еще нѣсколько времени о Петербургѣ, вдругъ остановился и сказалъ мнѣ: — Вы, кажется, спрашивали меня, нравится ли мнѣ этотъ замокъ? Не знаю какъ вамъ, а мнѣ онъ вовсе не нравится.

— Однако-жъ вы очень пристально на него глядѣли.

— И очень часто это дѣлаю. Если зло неизбѣжно, то надобно стараться заранѣе къ нему привыкнуть.

— Привыкнуть! — прервалъ я съ удивленіемъ.—Да на что вамъ къ нему привыкать— вѣдь, этотъ замокъ тюрьма...

— Хуже, — прервалъ незнакомый: — это римская Бастилія; а кто знаетъ парижскую... Но вы меня не поняли: это зданіе не всегда было тюрьмою. Знаете ли вы, для чего оно было построено?

Я почти обидѣлся этимъ вопросомъ. Спросить у магистра Дерптскаго университета, знаетъ ли онъ, что замокъ святого Ангела былъ нѣкогда мавзолеемъ императора Адріана! Да этотъ вопросъ стыдно даже сдѣлать и студенту. Я закидалъ незнакомца историческими фактами, прочелъ ему наизусть сказаніе знаменитаго Прокопія о томъ, какъ Велизарій, осажденный въ Римѣ Готами, защищался, бросая въ нихъ мраморныя статуи, которыми этотъ мавзолей былъ украшенъ, какъ въ средніе вѣка папа Бонифацій IX-й

превратилъ его въ крѣпостной замокъ, какъ герцогъ Бурбонскій, осаждая въ немъ папу Климента VII, былъ убитъ на приступѣ.— Послѣ этого...—продолжалъ я.

— Хорошо, хорошо,—закричалъ незнакомый, стараясь прервать потокъ моего краснорѣчія. — Я вижу, вы человѣкъ ученый; но дѣло не въ томъ: если вы знаете первобытное назначеніе замка святого Ангела, то поймете, для чего я прихожу смотрѣть на это роскошное кладбище, построенное для одного покойника. Смерть—зло неизбѣжное!— продолжалъ незнакомецъ съ глубокимъ вздохомъ. — Да, неизбѣжное! — прибавилъ онъ почти шопотомъ, — даже и для того, кто измѣряетъ свою жизнь не годами, а столѣтіями.

— Какъ столѣтіями!—повторилъ я. — Да неужели есть такіе люди?

Незнакомый вздрогнулъ и, какъ будто бы спохватясь, сказалъ съ улыбкою:—Вы опять меня не поняли. Развѣ жизнь цѣлой націи не походитъ на жизнь одного человѣка? Развѣ повелитель безчисленныхъ народовъ, владыка міра, древній Римъ, не умеръ, какъ умеръ вотъ этотъ, быть-можетъ, безвѣстный гражданинъ,—продолжалъ незнакомый, указывая на похоронную процессію братьевъ кающихся, которая въ эту минуту показалась на берегу Тибра.—Не думаете ли, что обширная могила, которую мы называемъ Римомъ, хотя нѣсколько походитъ на этотъ гордый, могучій, кипящій жизнію Римъ? О, если-бъ вы его видѣли!—прибавилъ незнакомецъ и черные глаза его засверкали;— еслибъ вы видѣли этотъ живой Римъ, эту родину всего высокаго и прекраснаго, вы не стали бы тогда называть римлянами народъ, который выдумалъ арлекина, создалъ паяца и славится своими макаронами, а Римомъ, этотъ жалкій городъ, напоминающій мнѣ цыганскій таборъ, расположенный на развалинахъ Пальмиры. И вы разсуждаете о высокомъ и прекрасномъ! Перестаньте! Вы не знаете ни того, ни другого. Вы называете изящнымъ и великолѣпнымъ зрѣлищемъ ваши кукольныя комедіи! Горсть людей сберется въ какой-нибудь каменный балаганъ, его назоветъ Санъ-Карло, или Ла-Скала, а себя публикою, и думаетъ, что видитъ передъ собою высокое и прекрасное зрѣлище!.. Жалкіе пигмеи!.. Да если вы не вѣрите преданіямъ, такъ посмотрите на развалины Колизея: не говорятъ ли онѣ вамъ, что всѣ ваши дѣтскія затѣи суть не что иное, какъ жалкія пародіи забавъ великаго Рима. Вы плачете, когда въ вашемъ балаганѣ, на этихъ презрѣнныхъ подмосткахъ, какой-нибудь паяцъ-трагикъ заколетъ себя деревяннымъ кинжаломъ; а въ Колизеѣ сотни людей умирали не-шутя, чтобъ заслужить рукоплесканія восьмидесяти тысячъ зрителей. Вы удивляетесь вашимъ холстиннымъ морямъ и трехъ-аршиннымъ кораблямъ изъ картузной бумаги, а Колизей, по мановенію кесаря, превращался въ обширное озеро, и настоящія военныя галеры не представляли морское сраженіе, но дрались въ самомъ дѣлѣ, для забавы гордыхъ римлянъ. Да! все это было,—промолвилъ незнакомый грустнымъ голосомъ, — давно, очень давно!.. Вѣка прошли, настанутъ другіе; но Римъ не воскреснетъ...

Незнакомый замолчалъ; потомъ, какъ будто бы говоря съ самимъ собою, продолжалъ: — Давно ли, кажется?.. Да! такъ точно, это было восемьдесятъ лѣтъ до Рождества Христова... Какой волшебный праздникъ!.. Императоръ торжествовалъ открытіе Колизея... Съ восходомъ солнечнымъ началъ волноваться и шумѣть вѣнчанный Римъ, какъ море хлынулъ онъ съ своихъ семи холмовъ, и высокія стѣны Колизея унизались народомъ... Раздался громъ рукоплесканій; онъ вошелъ, царь вселенной, радость міра, кроткій, богоподобный Титъ! О, какъ онъ былъ прекрасенъ!.. Какъ шли къ нему эти шелковыя кудри, эта томная блѣдность лица, эти усталые глаза, и даже этотъ прыщикъ на лѣвой щекѣ...

— Прочь съ дороги! — раздался грубый голосъ, и кто-то толкнулъ меня очень невѣжливо въ спину.—Шляпу долой! — закричали изъ-подъ своихъ бѣлыхъ колпаковъ нѣсколько братьевъ кающихся; я повиновался. Мимо меня тянулась похоронная процессія; за нею несли гробъ, а позади человѣкъ триста всякаго рода людей и нищихъ, подвигаясь медленно впередъ, заняли почти всю ширину моста. Когда этотъ нечаянный приливъ народа схлынулъ, я остался опять на просторѣ; но незнакомца уже не было. Вы можете судить, какое впечатлѣніе произвели на меня странныя слова этого чудака, который разсказывалъ о праздникѣ, данномъ за восемьдесятъ лѣтъ до Рождества Христова, какъ о балѣ, на которомъ онъ танцовалъ недѣлю тому назадъ.— Если это не сумасшедшій,—подумалъ я,—такъ ужъ вѣрно какой-нибудь балагуръ, который хотѣлъ надо мною позабавиться. — На этотъ разъ тѣмъ дѣло и кончилось.

Дня черезъ три, прогуливаясь по знаменитой улицѣ Корсо, которая служитъ въ обыкновенные дни гуляньемъ, а на масленицѣ маскарадною залою для цѣлаго Рима, я сошелъ съ тротуара, чтобъ перейти на противоположную сторону. На самой срединѣ улицы стоялъ человѣкъ въ большой бѣлой шляпѣ съ широкими полями; казалось, онъ вовсе забылъ, что вокругъ него ѣздятъ безпрестанно экипажи. Въ ту самую минуту, какъ я дѣлалъ это замѣчаніе, щеголеватая коляска, заложенная парою великолѣпныхъ лошадей, мчалась во всю рысь по самой срединѣ улицы; кучеръ зазѣвался, коляска была уже въ десяти шагахъ отъ человѣка въ бѣлой шля-

пѣ, и этотъ бѣднякъ былъ бы непремѣнно задавленъ, если-бъ я не успѣлъ схватить его за руку и оттащить въ сторону. Когда опасность миновала и незнакомый сталъ благодарить меня, я узналъ въ немъ чудака, съ которымъ повстрѣчался на мосту святого Ангела.

— Если не ошибаюсь,—сказалъ онъ,—мы ужъ съ вами знакомы: вы тотъ русскій путешественникъ, съ которымъ я имѣлъ удовольствіе разговаривать дня три тому назадъ.

— Да,—отвѣчалъ я,— помнится, вы мнѣ разсказывали о какомъ-то праздникѣ, который давался въ Колизеѣ восемьдесятъ лѣтъ до Рождества Христова, и на которомъ вы любовались императоромъ Титомъ.

Незнакомый улыбнулся.— Вы, господа сѣверные жители,—сказалъ онъ, — никогда не поймете насъ, живыхъ, пламенныхъ дѣтей юга; то, что представляется вашему воображенію, мы видимъ въ самомъ дѣлѣ; вы переноситесь иногда мыслію въ прошедшее, вспоминаете о немъ; а для насъ оно становится настоящимъ. Когда я говорилъ съ вами о древнемъ Римѣ, вѣка исчезали и *вѣчный городъ* подымался изъ своихъ развалинъ; я видѣлъ его—я жилъ въ немъ... Смѣйтесь, господинъ русскій, смѣйтесь! Наши итальянскія вулканическія головы кажутся вамъ полуумными—пусть такъ! Но мы живемъ двойною жизнію; для насъ и среди русскихъ снѣговъ будутъ цвѣсти розы; наше южное воображеніе украситъ померанцевыми цвѣтами, усыплетъ золотыми апельсинами и ваши гробовыя сосны, и эти мертвыя однообразныя березы; оно растопитъ вѣчные льды Сибири и разрисуетъ прозрачной лазурью туманныя небеса вашей родины. Что нужды, если обманъ не истина, когда этотъ обманъ дѣлаетъ насъ счастливыми.

— Посмотрите, посмотрите! — прервалъ я; — вотъ ѣдетъ назадъ та самая коляска, которая чуть-чуть васъ не задавила.

Незнакомый поднялъ глаза. Въ колескѣ сидѣлъ развалясь какой-то франтъ; онъ посматривалъ гордо на проходящихъ; инымъ кланялся по римскому обыкновенію рукою, другимъ отвѣчалъ на низкіе поклоны едва замѣтной улыбкою, и такъ явно чванился и важничалъ своимъ нарядным экипажемъ, съ такимъ пренебреженіемъ смотрѣлъ на всѣхъ бѣдныхъ пѣшеходцевъ, что вотъ такъ и хотѣлось плюнуть ему въ лицо.

— А!—вскричалъ незнакомый, — да это кавалеръ Габріелли! такъ онъ-то хотѣлъ задавить меня?—Бѣдняжка!

— Однако-жъ, у этого бѣдняжки славный экипажъ,—сказалъ я шутя.

— Да не долго онъ имъ провладѣетъ.

— А что, видно изъ послѣднихъ денегъ?.. Тьфу, батюшки! какія лошади, какая упряжь!

— Да, это правда, — сказалъ незнакомый, *—все хорошо, кромѣ* кучера.

— Помилуйте! чѣмъ же онъ дуренъ? Посмотрите, какой молодецъ!

— Ну, нѣтъ, не очень красивъ собою.

— Что вы?.. славный кучеръ!— А какая богатая ливрея!

— Да я вамъ говорю не объ этомъ ливрейномъ кучерѣ, а вотъ, что сидитъ подлѣ него.

— Подлѣ него!—Да гдѣ же?

— Съ лѣвой стороны.

— Я никого не вижу!

— Видно я позорчѣе васъ. Этотъ ливрейный кучеръ для одного парада. Бѣдненькій! Онъ только что держитъ вожжи, а въ самомъ-то дѣлѣ править лошадьми не онъ, а пріятельница, которая сидитъ съ нимъ рядомъ на козлахъ.

— Пріятельница! Что за пріятельница?

— Смерть!—шепнулъ отрывисто незнакомый, и прежде чѣмъ я опомнился отъ удивленія, коляска помчалась какъ вихрь, зацѣпила за каменный столбъ, опрокинулась и понеслась далѣе. Почти у самыхъ воротъ Дель-Пополо остановили лошадей; мы подошли; вокругъ изломанной коляски стояла толпа народа. Мы съ трудомъ продрались впередъ: на мостовой лежали кавалеръ Габріелли и кучеръ его, оба мертвые.

— Ну!—сказалъ незнакомый, посмотрѣвъ на меня пристально,—вы, вѣрно, ужъ не думаете, что я сумасшедшій?

Я такъ былъ пораженъ, что не могъ выговорить ни слова.

— Послушайте! — продолжалъ незнакомый. — Кажется, мы не даромъ такъ часто встрѣчаемся другъ съ другомъ; а сверхъ того,—прибавилъ онъ съ улыбкою, — вы сегодня спасли меня отъ смерти или хотѣли спасти, а это одно и тоже; мы должны познакомиться короче. Какъ васъ зовутъ?

— Фонъ-Нейгофъ.

— Фонъ-Нейгофъ! Это не русская фамилія.

— Мой дѣдушка былъ нѣмецъ.

— Тѣмъ лучше! Я очень люблю нѣмцевъ; ихъ называютъ мечтателями, идеалистами — да это правда! Они не французы и не русскіе, которые стараются подражать французамъ; они не смѣются надъ тѣмъ, чего не понимаютъ, и не смотря на свою ученость, не называютъ обманомъ и заблужденіемъ все то, чего нельзя объяснить разсудкомъ и доказать какъ дважды два четыре. Вы каждый день въ первомъ часу можете застать меня дома, я нанимаю квартиру въ улицѣ Дель-Пелигрино, почти напротивъ палатъ кардинала вице-канцлера; входъ съ улицы; спросите графа Александра Каліостро.

— То-есть, — прервалъ князь Двинскій, который давно уже вертѣлся отъ нетерпѣнія, — не графъ, не Александръ и не Каліостро, а просто сынъ бѣднаго ремесленника, Іосифа Бальзамо.

— Это еще не доказано, — сказалъ магистръ;—да прошу ваше сіятельство не прерывать меня, а не то я замолчу.

— Вотъ и разсердился! А за что? Ну, подумай самъ, когда колдуны бываютъ графами? Сенъ-Жерменъ былъ такой же точно графъ, какъ и этотъ Бальзамо; Нострадамусъ и Фаустъ были ученые; Твардовскій—также; Фламель — Богъ знаетъ кто; Сведенборгъ — также; Брюсъ... Ахъ, да бишь—виноватъ!— онъ былъ графъ—совсѣмъ забылъ!

— Да перестань, князь!..—закричалъ я;— что ты мѣшаешь ему разсказывать. Ну, что, Нейгофъ, ты очень удивился, когда онъ сказалъ тебѣ свое имя?

— И удивился и обрадовался. Мнѣ давно хотѣлось познакомиться съ этимъ знаменитымъ человѣкомъ, и я на другой же день явился къ нему въ двѣнадцатомъ часу утра. Онъ только-что всталъ съ постели и едва успѣлъ накинуть на себя халатъ изъ богатой турецкой матеріи. Комната, въ которой онъ меня принялъ, была убрана очень просто: на полкахъ стояли книги, а на большомъ столѣ лежали бумаги и толстые свитки пергамента; на окнѣ стояла раскрытая аптечка съ стеклянными пузырьками и баночками; въ одномъ углу на бронзовомъ треугольникѣ лежала мертвая голова, а у самыхъ дверей сидѣла черная огромная кошка; когда я вошелъ, она ощетинилась и глаза ея засверкали. — Біондетта!—закричалъ Каліостро, — пошла вонъ!

Кошка, какъ умная лягавая собака, тотчасъ отправилась въ другую комнату; но, проходя мимо, очень на меня косилась. Графъ сѣлъ подлѣ меня на канапе и началъ разговаривать со мною о Россіи. Все, что онъ говорилъ, было такъ умно, всѣ замѣчанія его были такъ справедливы, что я слушалъ его съ истиннымъ наслажденіемъ. Отъ-времени-до-времени вырывались однако-жъ у него какіе-то странныя фразы; напримѣръ, онъ спросилъ меня, часто ли бываютъ наводненія въ Петербургѣ, и когда я отвѣчалъ ему, что это бываетъ очень рѣдко, то онъ значительно улыбнулся и сказалъ: «Я былъ увѣренъ въ этомъ—я знаю, *онъ* теперь ужъ не такъ злится на русскихъ: они ему угодили, украсили любимую дочь его, великолѣпную Неву, одѣли ее гранитомъ». И когда я спросилъ, о комъ онъ говоритъ, Каліостро тотчасъ перемѣнилъ рѣчь и началъ разспрашивать меня о другомъ. Во время нашего разговора я замѣтилъ на столѣ, между различныхъ бумагъ, манускриптъ на папирусѣ. Вы знаете мою страсть ко всѣмъ древнимъ рукописямъ. Я не могъ скрыть моего любопытства. — Этотъ манускриптъ привезенъ мною изъ Египта, — сказалъ Каліостро,—и вы можете его видѣть только въ такомъ случаѣ, если вы... Дайте мнѣ вашу руку.

Я повиновался. Графъ пожалъ ее какимъ-то особеннымъ образомъ и какъ будто бы ждалъ отвѣта. Я молчалъ.—О!—сказалъ онъ,—да вы еще не родились, такъ о годахъ васъ спрашивать нечего. А для того, чтобъ разобрать что-нибудь въ этомъ манускриптѣ, надобно имѣть по крайней мѣрѣ семь лѣтъ. Оставьте его.

Въ эту минуту вошелъ въ комнату старикъ лѣтъ шестидесяти; голова его была повязана пестрымъ платкомъ, а блѣдное лицо выражало нетерпимое страданіе.

— Что тебѣ надобно?—спросилъ Каліостро.

— Извините, синьоръ!—сказалъ старикъ;— я живу подлѣ васъ; мнѣ сказали, что вы докторъ.

— А ты боленъ?

— Вотъ третьи сутки глазъ не смыкаю — такая головная боль, что не приведи Господи! Ни днемъ, ни ночью нѣтъ покою! Если это продолжится, то я брошусь въ Тибръ или размозжу себѣ голову.

— Поверето!..—шепнулъ Каліостро, — постой на минутку!—Онъ вынулъ изъ аптечки небольшой пузырекъ и, подавая его старику, сказалъ:—На, любезный, понюхай изъ этой стклянки въ три пріема; при каждомъ разѣ говори про себя...—Тутъ прошепталъ онъ какое-то слова, котораго я не могъ разслышать. Едва старикъ исполнилъ его приказаніе, какъ схватилъ себя обѣими руками за голову и закричалъ:—Боже мой!.. Что это?.. Не сонъ ли?.. Моя голова такъ свѣжа, такъ здорова!.. Ахъ, синьоръ, позвольте мнѣ взять съ собою это лѣкарство!

— Не нужно, мой другъ! — сказалъ Каліостро:—теперь ужъ у тебя голова болѣть не станетъ. Ступай съ Богомъ!

Старикъ началъ было говорить о своей благодарности, но графъ разсердился и почти вытолкалъ его за двери.—Благодарность!— повторилъ онъ, ходя скорыми шагами по комнатѣ;—я знаю эту людскую благодарность!.. Нѣтъ, старикъ, меня не обманешь!.. Если когда-нибудь невѣжды приговорятъ сжечь на кострѣ бѣднаго Каліостро, какъ злодѣя и чернокнижника, то, можетъ-быть, первую вязанку дровъ принесешь ты, чтобъ угодить палачамъ твоего благодѣтеля!

Двери опять отворились; молодая женщина въ рубищѣ, съ двумя оборванными ребятишками, вошла въ комнату и бросилась въ ноги къ Каліостро.

— Что ты, милая? Что ты?—спросилъ графъ.

— Вы нашъ спаситель!—проговорила женщина, всхлипывая: вы дали мнѣ лѣкарство, отъ котораго мой мужъ въ одни сутки почти совсѣмъ выздоровѣлъ. Онъ еще слабъ и не можетъ самъ придти изъявить вамъ свою благодарность...

— Опять благодарность!—прервалъ Каліостро, нахмуривъ брови.—Хорошо, хорошо, голубушка! Я знаю, чего ты хочешь; на возьми

и ступай вонъ!—Онъ сунулъ ей въ руку кошелекъ, набитый деньгами, и прежде чѣмъ она успѣла опомниться, выпроводилъ ее вонъ и захлопнулъ двери.

— Ну, князь, теперь я спрошу тебя: неужели эти дѣла и поступки, которыхъ я былъ очевиднымъ свидѣтелямъ, доказываютъ, что Каліостро былъ шарлатанъ и безстыдный обманщикъ?

— А по-твоему они доказываютъ противное?—сказалъ съ усмѣшкою князь.

— Какъ, Двинскій!.. А старикъ, котораго при мнѣ вылѣчилъ?..

— Мастерски притворился больнымъ,— прервалъ князь.

— А это бѣдное семейство?..

— Славно сыграло свою роль.

— А кавалеръ Габріелли?..

— Котораго убили лошади?

— Ну, да! Ты, вѣрно, скажешь, что и онъ былъ въ заговорѣ, потому что Каліостро предузналъ его смерть?

— Случай, мой другъ, и больше ни чего. Развѣ нельзя было лошадямъ понести, изломать коляску, убить кучера и сѣдока? Все это могло случится самымъ естественнымъ образомъ, и надобно признаться, случилось очень кстати, чтобъ оправдать дичь, которую поролъ тебѣ этотъ архишарлатанъ Каліостро. Да чтожъ ты, любезный другъ, вѣдь, ты обѣщался доказать не словами, а самымъ дѣломъ, что я напрасно не вѣрю твоимъ мистическимъ бреднямъ, а вмѣсто этого вотъ ужъ цѣлый часъ ты разсказываешь намъ сказки.

— Хочешь, князь, слушать, такъ слушай! а не хочешь!..

— Хочу, хочу!..

— Эхъ, братецъ,—сказалъ я,—не мѣшай ему! Ну, Нейгофъ, разсказывай!

— Недѣли двѣ сряду,—продолжалъ Нейгофъ,—я почти не разлучался съ графомъ Каліостро; бесѣды наши становились съ каждымъ днемъ интереснѣе; казалось, онъ полюбилъ меня, но, не-смотря на это, всякій разъ заминалъ рѣчь, когда я просилъ его сдѣлать меня если не участникомъ, то, по крайней мѣрѣ, свидѣтелемъ одного изъ тѣхъ необычайныхъ явленій, о которыхъ онъ такъ много мнѣ разсказывалъ. Ужъ не воображаете ли вы, что это сущая бездѣлка?—говорилъ всегда Коліостро.—Что этимъ можно забавляться, какъ какимъ-нибудь физическимъ опытомъ? Не думаете ли вы, что сблизить васъ съ существами не здѣшняго міра также для меня легко, какъ свести съ какимъ-нибудь изъ моихъ знакомыхъ? Вы очень ошибаетесь. Для моихъ глазъ эти существа видимы и въ особенномъ ихъ образѣ; но, чтобъ сдѣлать ихъ доступными для вашихъ земныхъ чувствъ, я долженъ ихъ облекать въ формы вещественныя, а этого они очень не любятъ.

Однажды онъ спросилъ меня, знакомъ ли *со мною графъ Ланцелоти*, и когда я отвѣчалъ, что у меня есть къ нему рекомендательное письмо, Каліостро сказалъ:—Ступайте къ нему сегодня, познакомьтесь съ нимъ, а послѣзавтра, часу въ восьмомъ вечера, отправьтесь въ Тиволи; тамъ не далеко отъ малыхъ каскадовъ, вы встрѣтите человѣка въ бѣлой шляпѣ и черномъ плащѣ съ краснымъ подбоемъ; скажите ему ваше имя и ступайте за нимъ. Быть-можетъ, вы знаете виллу, которую нанимаетъ графъ Ланцелоти; но вамъ все-таки нуженъ проводникъ; если вы пріѣдете одни, васъ не примутъ, да и ворота будутъ заперты; вамъ надобно будетъ пройти садомъ.

— Ого!—сказалъ я шутя,—да это походитъ на какое-то любовное приключеніе! Такая таинственность...

— Необходима, — прервалъ Каліостро.— То, что вы увидите у графа Ланцелоти, не должно имѣть много свидѣтелей.

— А что-жъ такое я увижу?

— То, что вы хотѣли давно уже видѣть. Вотъ въ чемъ дѣло: у графа Ланцелоти умеръ на этихъ дняхъ скоропостижно богатый родственникъ; онъ сдѣлалъ еще при жизни духовное завѣщаніе, которымъ отказываетъ по смерти все свое имѣніе графу. Что духовная существуетъ, въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія; но ее не могли никакъ отыскать въ бумагахъ покойника, и все это огромное имѣніе можетъ достаться, вмѣсто графа Ланцелоти, одному ближайшему родственнику, который теперь въ Неаполѣ. Я обязанъ семейству графа единственнымъ благомъ, испытаннымъ мною въ теченіе всей бѣдственной и бурной моей жизни: мой другъ, моя милая жена Лоренца, была воспитана въ ихъ домѣ, и вотъ почему, не смотря на опасность, которая мнѣ угрожаетъ, я рѣшился... Да!—продолжалъ Каліостро, поглядѣвъ съ робостію вокругъ себя,—я рѣшился вызвать покойника съ того свѣта и заставить его сказать, гдѣ спрятана духовная, безъ которой его послѣдняя воля не можетъ быть исполнена.

— Какъ!—вскричалъ я, почти обезумѣвъ отъ радости,—вы хотите сдѣлать меня свидѣтелемъ...

— Да! и если предчувствіе меня не обманываетъ,—продолжалъ Каліостро, взглянувъ печально на замокъ святого Ангела, который виденъ былъ изъ окна, вдали за Тибромъ,—если меня погребутъ заживо въ этой обширной могилѣ, если ничто не спасетъ меня отъ злобы и невѣжества людей, то я сдѣлаю васъ моимъ наслѣдникомъ. Да!.. Я не хочу, чтобъ вмѣстѣ со мною погибло то, что стоило мнѣ такъ дорого. Моя Лоренца не переживетъ меня... и ее также ждутъ высокія стѣны, тѣсная келья и медленная смерть!.. О! если бы я могъ возвратиться, забыть все!..— Каліостро закрылъ руками лицо и, помолчавъ нѣсколько времени, продолжалъ: — Нѣтъ!.. нѣтъ!.. Кто разъ поднесъ эту чашу къ устамъ своимъ, тотъ будетъ пить ее до конца, и

какая бы горечь ни была на днѣ, онъ не долженъ и не можетъ остановиться!.. Теперь ступайте!—прибавилъ онъ, пожавъ мою руку.—Не забудьте! послѣзавтра, въ восемь часовъ, въ Тиволи. Мы до тѣхъ поръ не увидимся: я хочу эти два дня провести съ моей Лоренцою. Прощайте!

На другой день я познакомился съ графомъ Ланцелоти; а на третій, часу въ восьмомъ послѣ обѣда, былъ уже въ Тиволи. На дворѣ было душно. Хотя солнце начинало садиться, но жаръ все еще былъ нестерпимъ и я не встрѣтилъ почти никого изъ гуляющихъ даже подлѣ самыхъ каскадовъ, гдѣ было нѣсколько посвѣжѣе. Прошло болѣе часа. Я умиралъ отъ нетерпѣнія. Вмѣсто того, чтобъ любоваться великолѣпною картиною Тивольскихъ водопадовъ, я смотрѣлъ по сторонамъ, не могъ стоять спокойно на одномъ мѣстѣ и ходилъ взадъ и впередъ какъ часовой, который ждетъ не дождется, чтобъ его смѣнили. Наконецъ, вдали, между миртовыми деревьями, мелькнула бѣлая шляпа и черезъ нѣсколько минутъ человѣкъ въ черномъ плащѣ съ краснымъ подбоемъ сошелъ подъ гору. Я поспѣшилъ къ нему навстрѣчу, сказалъ мое имя, и черный плащъ, поклонясь мнѣ очень вѣжливо, попросилъ за собою слѣдовать. Съ полчаса мы шли молча по тропинкѣ, которая изгибалась по скату горы. Вилла Адріана осталась у насъ по лѣвой рукѣ. Пройдя поперекъ густую оливковую рощу, мы повернули по широкому проспекту, обсаженному тополями, и подошли къ запертымъ воротамъ довольно большого дома, у котораго на лицевой сторонѣ всѣ окна были закрыты ставнями. Пройдя нѣсколько сотъ шаговъ вдоль каменной стѣны, мы вошли узкой калиткою въ обширный садъ; я увидѣлъ въ концѣ длинной аллеи красивый портикъ, у котораго всѣ колонны были обвиты виноградными лозами; передъ нимъ на широкой, уставленной цвѣтами террасѣ, встрѣтилъ меня графъ Ланцелоти. Онъ подалъ мнѣ руку и сказалъ ласковымъ голосомъ:—Я давно васъ ожидаю, господинъ Нейгофъ. Каліостро хотѣлъ, чтобъ вы были свидѣтелемъ того, что будетъ у меня происходить сегодня. Вы другъ его, слѣдовательно, я могу положиться на вашу скромность. Прошу покорно войти, я представлю васъ всему обществу.

Мы вошли въ круглую залу, которая освѣщалась сверху стеклянным куполомъ. Жена хозяина и еще какая-то пожилая дама сидѣли на канапе; подлѣ нихъ стоялъ высокій мужчина, меньшой братъ графа Ланцелоти, а поодаль, въ темномъ углу, сидѣлъ человѣкъ лѣтъ пятидесяти, въ черномъ платьѣ. Признаюсь, я очень удивился, когда, разсмотрѣвъ хорошенько этого господина, замѣтилъ на головѣ его скуфью римскаго аббата.—Что-жъ это значитъ?—подумалъ я:—неужели въ присутствіи духовной особы Каліостро рѣшится вызывать съ того свѣта покойника? Это что-то больно неловко!—Вѣроятно, хозяинъ замѣтилъ мое удивленіе: онъ подвелъ меня къ аббату и сказалъ:—Вотъ искренній другъ нашего семейства, синьоръ Казоти... Не безпокойтесь, онъ только по своему платью принадлежитъ къ здѣшнему духовенству, а не раздѣляетъ его ненависти въ графу Каліостро, котораго любитъ и уважаетъ отъ всей души.—Поговоривъ еще нѣсколько минутъ со мною, хозяинъ скрылся. Въ залѣ царствовала такая глубокая тишина, какъ будто бы въ ней никого не было. Я замѣчалъ, что всѣ посматривали на меня весьма недовѣрчиво; изрѣдка хозяйка шептала что-то на-ухо своей сосѣдкѣ и покачивала головою. Аббатъ также молчалъ, какъ убитый. Я нѣсколько разъ начиналъ съ нимъ говорить; но онъ всякій разъ отвѣчалъ мнѣ однимъ наклоненіемъ головы и улыбкою, которая походила на самую отвратительную гримасу.

Болѣе двухъ часовъ продолжалась эта молчаливая бесѣда. Хозяинъ не возвращался; братъ его ходилъ взадъ и впередъ по залѣ; графиня продолжала перешептываться со своею сосѣдкою, а господинъ аббатъ отправился гулять по саду. Сначала этотъ таинственный шопотъ и тишина возбуждали во мнѣ не вовсе непріятное ощущеніе; это торжественное и продолжительное молчаніе казалось мнѣ необходимымъ приготовленіемъ къ тѣмъ чудесамъ, которыя я долженъ былъ видѣть; оно располагало мою душу къ принятію необычайныхъ впечатлѣній и даже наводило на меня какой-то невольный трепетъ. Сердце мое рвалось вонъ изъ груди отъ нетерпѣнія; при каждомъ шорохѣ я вздрагивалъ и робко озирался кругомъ; но когда прошло часа полтора безъ всякой перемѣны, то это однообразное молчаніе, прерываемое едва слышнымъ шопотомъ, начало казаться незабавнымъ. Хозяинъ не возвращался, и я рѣшился, наконецъ, послѣдовать примѣру синьора Казоти, то-есть отправился гулять по саду. На темно-синихъ небесахъ, вовсе не похожихъ на наше сѣверное блѣдное небо, сіяла полная луна, и въ саду было гораздо свѣтлѣе, чѣмъ въ залѣ. Я пошелъ по первой попавшейся мнѣ дорожкѣ; она привела меня къ небольшой померанцевой рощѣ, посаженной вдоль садовой стѣны. Прохладный вѣтерокъ доносилъ до меня шумъ Тивольскихъ водопадовъ; я остановился, чтобъ прислушаться къ этимъ отдаленнымъ звукамъ, въ которыхъ было что-то гармоническое и музыкальное. Не прошло двухъ минутъ, какъ у садовой стѣны за померанцевыми деревьями кто-то сказалъ вполголоса:—Спрячьтесь здѣсь въ кустахъ, чтобъ васъ не замѣтили; когда будетъ надобно, я самъ приду за вами.—Вслѣдъ за этимъ раздался шорохъ, и все умолкло. — Чтобъ это значило?—подумалъ я:—неужели здѣсь, какъ

въ Террачинѣ, разбойники грабятъ у самыхъ городскихъ воротъ? Быть не можетъ! Я давно бы объ этомъ слышалъ. Но кто-жъ эти люди, которые должны прятаться въ кустахъ, чтобъ ихъ не замѣтили?—Теряясь въ догадкахъ, я рѣшился, наконецъ, возвратиться въ залу и объявить графу Ланцелоти или женѣ его, что подлѣ ихъ дома есть какая-то засада. На террасѣ встрѣтилъ меня аббатъ Казоти.—Скорѣе, скорѣе,—сказалъ онъ,—васъ только однихъ и дожидаются.—Въ круглой залѣ никого ужъ не было; аббатъ взялъ меня за руку и, пройдя со мною нѣсколько темныхъ комнатъ, повелъ длиннымъ коридоромъ. Онъ остановился въ концѣ его, постучалъ въ запертую дверь; она растворилась и мы вошли въ обширную комнату, которая слабо освѣщалась повѣшенною сверху лампадою о трехъ рожкахъ. Графъ Ланцелоти и все остальное общество сидѣли на поставленныхъ рядомъ креслахъ; я помѣстился въ самыхъ крайнихъ, а Казоти сталъ позади меня. Занавѣсъ, повѣшенный во всю ширину комнаты, раздѣляетъ ее на двѣ части. Я поглядѣлъ вокругъ себя; ни на одномъ изъ присутствующихъ лица не было; мужчины старались, по крайней мѣрѣ, казаться спокойными, но женщины не скрывали своего страха и дрожали какъ въ сильной лихорадкѣ. Признаюсь, и мое сердце замерло отъ ужаса, но вскорѣ любопытство и нетерпѣніе совершенно подавили во мнѣ всякое чувство боязни. Прошло нѣсколько минутъ въ глубокомъ молчаніи. Вдругъ ароматическое куреніе наполнило всю комнату; тихо отдернулся занавѣсъ, и мы увидѣли графа Каліостро передъ небольшимъ жертвенникомъ, на которомъ стояла жаровня и лежала толстая книга въ черномъ бархатномъ переплетѣ. Вся эта часть комнаты освѣщалась огромнымъ серебрянымъ подсвѣчникомъ о семи свѣчахъ. Каліостро былъ въ черномъ платьѣ безъ галстука и съ распущенными по плечамъ волосами; лицо его было блѣдно, черные глаза блистали вдохновеніемъ, а изъ полуоткрытыхъ устъ вылетали какія-то невнятныя слова. Онъ держалъ въ рукахъ золотую коробочку, изъ которой продолжалъ сыпать порошокъ въ жаровню; изъ нея подымались облака зеленоватаго дыма, и сильный ароматическій запахъ распространялся болѣе и болѣе по всей комнатѣ. Позади меня раздался громкій вздохъ; всѣ вздрогнули.—Я задыхаюсь!—проговорилъ болѣзненнымъ голосомъ синьоръ Казоти: — мнѣ дурно! — Ступайте вонъ!—шепнулъ графъ Ланцелоти, и аббатъ, шатаясь какъ пьяный, вышелъ изъ комнаты. Никогда не забуду взгляда, который бросилъ вслѣдъ за нимъ Каліостро—казалось, онъ хотѣлъ имъ превратить въ пепелъ бѣднаго Казоти. Когда все пришло опять въ прежній порядокъ, Каліостро взялъ съ жертвенника книгу, отошелъ къ сторонѣ и началъ читать вполголоса. Какъ я ни напрягалъ мой слухъ, но не могъ ничего разобрать; зато ни одно движеніе Каліостро не укрылось отъ моихъ глазъ. Онъ часъ отъ часу становился тревожнѣе, грудь его волновалась, посинѣвшія губы дрожали, волосы примѣтнымъ образомъ становились дыбомъ, крупныя капли пота текли по лицу, и онъ, какъ будто бы изнемогая отъ сильнаго напряженія, отъ времени до времени переставалъ читать и, казалось, съ трудомъ переводилъ дыханіе. Вдругъ вся наружность его измѣнилась; глаза запылали, яркій румянецъ разлился по блѣдымъ щекамъ: замѣтно было, что послѣ тяжкой борьбы наступила минута одолѣнія и торжества. Каліостро закрылъ книгу и мощнымъ голосомъ, который и теперь еще раздается въ ушахъ моихъ, повторилъ трижды какое-то таинственное слово; при третьемъ разѣ, что-то, похожее на электрическое потрясеніе, пробѣжало по всѣмъ моимъ нервамъ; стоящій передъ жертвенникомъ семисвѣтильникъ погасъ, и на насъ повѣяло могильнымъ холодомъ. Не знаю, что происходило съ другими, я могу говорить вамъ только о моихъ собственныхъ ощущеніяхъ,—мнѣ было страшно; но этотъ страхъ вовсе не походилъ на тотъ, который при видѣ опасности стѣсняетъ наше сердце; онъ скорѣй напоминалъ это страданіе, эту неизъяснимую тоску, которая въ смертный часъ, какъ жадный коршунъ, падаетъ на грудь умирающаго грѣшника. Я ничего не видѣлъ, ничего не слышалъ, никто ко мнѣ не прикасался; но, не смотря на это, *отгадывалъ* чье-то невидимое присутствіе. За минуту насъ было только шестеро, а теперь я чувствовалъ, — да, господа! смѣйтесь надо мною,—а я точно не видѣлъ, не слышалъ, а *чувствовалъ*, что кто-то седьмой былъ вмѣстѣ съ нами. Межъ тѣмъ Каліостро бросилъ еще въ жаровню нѣсколько щепотей порошка; дымъ заклубился, поднялся аршина на три кверху и, вмѣсто того, чтобъ разойтись по всей комнатѣ, остановился неподвижно надъ жертвенникомъ; мало-по-малу оконечности его стали принимать опредѣленную форму; верхняя часть этого дымнаго облака округлилась, что-то похожее на сложенныя крестомъ руки обрисовалось на его серединѣ, которая начала бѣлѣть, и черезъ нѣсколько минутъ представилось намъ, хотя еще тусклое, но уже совершенно правильное изображеніе человѣка въ бѣломъ саванѣ. Съ каждымъ мгновеніемъ это явленіе дѣлалось яснѣе и вещественнѣе, формы округлялись, черты лица стали отдѣляться одна отъ другой, и вдругъ полупрозрачный образъ блѣднаго, изможденнаго болѣзнію старика, съ лицомъ грустнымъ, но спокойнымъ, тихо опустился на полъ и сталъ передъ жертвенникомъ.

— Праведный Боже!—вскричалъ графъ Ланцелоти,—это онъ!

Двери съ шумомъ распахнулись и нѣсколько слугъ вбѣжало торопливо въ комнату. Привидѣніе исчезло.

— Экселенце—проговорилъ одинъ изъ людей,—домъ окруженъ солдатами!

Всѣ вскочили съ своихъ мѣстъ.

— Намъ измѣнили!—вскричалъ хозяинъ.

— Кажется, ищутъ графа Каліостро,—продолжалъ слуга.—Самъ синьоръ баржелло *) ведетъ сюда своихъ сбировъ.

— Спасайтесь, Каліостро!—сказала торопливо графиня.—Вы можете задними дверьми выйти въ садъ.

— Тамъ стоятъ двое часовыхъ,—шепнулъ слуга.

Каліостро не трогался съ мѣста.

— Спасайтесь! Бога ради, спасайтесь!—закричалъ графъ Ланцелоти.—Вы и насъ погубите вмѣстѣ съ собою!

— Нѣтъ,— сказалъ Каліостро,—всѣ ваши усилія спасти меня будутъ напрасны: мой часъ наступилъ!

Въ корридорѣ раздались шаги поспѣшно идущихъ людей. Каліостро подошелъ ко мнѣ.— Я обѣщалъ сдѣлать васъ моимъ наслѣдникомъ, и долженъ сдержать мое слово,—сказалъ онъ вполголоса, подавая мнѣ запечатанный пакетъ.—Тутъ не болѣе десяти словъ; но этого довольно, чтобъ сблизить васъ съ тѣмъ, отъ кого вы узнаете все.

Я взялъ пакетъ и спряталъ его поспѣшно въ мой карманъ.

— Еще одно слово,—продолжалъ Каліостро—я былъ обязанъ клятвою передать кому-нибудь мою тайну, но ничто не обязываетъ васъ воспользоваться этимъ пагубнымъ наслѣдствомъ. Не забывайте этого!

Тутъ полицейскій начальникъ съ толпою сбировъ вошелъ въ комнату.

— Кто здѣсь Каліостро?—спросилъ онъ повелительнымъ голосомъ.

— Я!—отвѣчалъ графъ Каліостро.

— Именемъ правительства,—продолжалъ полицейскій начальникъ,—я беру васъ подъ стражу.

— Позвольте спросить...—сказалъ графъ Ланцелоти.

— И вы также, графъ,—прервалъ полицейскій,—должны явиться со мною въ Дель-Говерно **). Ваша связь съ этимъ негодяемъ—все что я вижу въ этой комнатѣ... Но вы могли быть обмануты, и я надѣюсь... Гости ваши свободны; я запишу ихъ имена. Этого самозванца!—продолжалъ чиновникъ, указывая на Каліостро,—въ замокъ святого Ангела, а вы, графъ, извольте ѣхать со мною.

На другой день меня попросили выѣхать изъ Рима. Спустя шесть лѣтъ послѣ этого приключенія, я узналъ, что Каліостро умеръ въ замкѣ святого Ангела, а жена его пропала безъ вѣсти. Говорятъ, что она также кончила жизнь въ заключеніи. Бѣдная Лоренца, какъ она была прекрасна!

*) Баржелло—названіе главнаго начальника полицейской команды въ Римѣ.

**) Дель-Говерно—римскій уголовный судъ.

III.

Незнакомый.

Нейгофъ замолчалъ.

— Ну, что,—спросилъ князь Двинскій,—только-то?

— А чего жъ тебѣ еще больше? — отвѣчалъ равнодушно магистръ, принимаясь снова за свою трубку.

— Да что-жъ ты намъ доказалъ этимъ разсказомъ?

— Какъ что?—вскричалъ Возницынъ:—да развѣ ты не слышалъ? Нѣтъ, любезный! если онъ не лжетъ...

— Я никогда не лгу,—прервалъ магистръ.

— Такъ этотъ колдунъ,—продолжалъ Возницынъ,—заткнулъ бы за поясъ и моего Касимовскаго знахаря... Экій дока, подумаешь! тотъ еще мертвецовъ-то съ того свѣта не выкликалъ, а этотъ чортовъ сынъ, Каліостро...

— Мастеръ былъ показывать китайскія тѣни!—подхватилъ князь.

— А что такое было въ запечатанномъ пакетѣ, который онъ тебѣ отдалъ?—спросилъ Закамскій.

— Нѣсколько словъ о томъ...

— Какъ дѣлать золото? — сказалъ князь.

— Нѣтъ,—продолжалъ магистръ;—тайна, которую повѣрилъ мнѣ Каліостро, была гораздо важнѣе: онъ открылъ мнѣ способъ, посредствомъ котораго я могу призывать духовъ...

— И ты, вѣрно, испыталъ его?

— Нѣтъ.

— Почему же ты не хотѣлъ этого сдѣлать?—спросилъ я съ удивленіемъ.

— Потому, что я не забылъ послѣднихъ словъ и бѣдственной участи графа Каліостро.

— Ахъ, душенька Нейгофъ! — вскричалъ князь,—сдѣлай милость, покажи мнѣ чорта!

— Что ты, что ты, князь! перекрестись!—сказалъ Возницынъ:—иль ты не боишься...

— Кого? Чорта? Ни крошечки.

— Шути, братъ, шути! а какъ попадешься въ лапы къ сатанѣ и сдѣлаешься его батракомъ...

— Чего князю бояться сатаны, — пробормоталъ магистръ: — тотъ, кто ничему не вѣритъ, и безъ этого принадлежитъ ему.

— А если такъ, — продолжалъ князь, — такъ почему жъ ты не хочешь меня потѣшить?

Нейгофъ закурилъ трубку и, не отвѣчая ни слова, пошелъ бродить по рощѣ.

— Какой чудакъ!—сказалъ Закамскій.

— Что за чудакъ! — вскричалъ князь:— онъ просто сумасшедшій.

Я не слышалъ, что отвѣчалъ на это Закамскій, потому что пошелъ вслѣдъ за магистромъ.—Послушай, Антонъ Антонычъ,— сказалъ я, когда мы, отойдя шаговъ пятьдесятъ отъ нашихъ товарищей, потеряли ихъ вовсе изъ виду,—ты нѣсколько разъ увѣрялъ меня въ своей дружбѣ; докажи мнѣ ее на самомъ дѣлѣ.

Нейгофъ взглянулъ на меня исподлобья и покачалъ головою.

— Ты догадался, о чемъ я хочу просить тебя?—продолжалъ я.

— Можетъ-быть. Говори, говори!

— Сдѣлай милость, открой мнѣ свой секретъ.

— Какой?

— Ну, тотъ, которымъ ты не хотѣлъ воспользоваться.

Магистръ нахмурилъ брови и, помолчавъ нѣсколько времени, сказалъ:—На что тебѣ это?

— На то, чтобъ узнать, наконецъ, кто изъ насъ правъ: ты или Двинскій!

— И ты точно рѣшился испытать это на самомъ дѣлѣ?

— А почему нѣтъ? На твоемъ мѣстѣ я давно бы ужъ это сдѣлалъ.

— Право?

— Увѣряю тебя.

Нейгофъ задумался. — Послушай, Александръ,—сказалъ онъ,— я не хочу тебя обманывать; я могу тебѣ передать это незавидное наслѣдство, и признаюсь, давно ищу человѣка, который могъ бы снять съ меня это тяжкое бремя; но знаешь ли, что тебя ожидаетъ, если ты, подобно мнѣ, не рѣшишься имъ воспользоваться?

— А что такое?—спросилъ я съ любопытствомъ.

— Я еще молодъ,—продолжалъ магистръ,— а посмотри на эти сѣдые волосы, на это увядшее лицо; не года, не болѣзни, а страданія душевныя провели на лбу моемъ эти глубокія морщины. Видалъ ли ты когда-нибудь, чтобъ я улыбался? Ты, вѣрно, думалъ, что этотъ вѣчно пасмурный и мрачный видъ есть только наружное выраженіе моего природнаго характера?.. Природнаго! Нѣтъ, Александръ! я нѣкогда былъ также какъ и ты, воплощенной веселостію; было время, когда меня все радовало, все забавляло; было время, когда мой сонъ былъ покоенъ; но съ тѣхъ поръ, какъ эта пагубная тайна сдѣлалась моей собственностію, я сталъ совсѣмъ другимъ человѣкомъ; ужасные сны, какое-то безпрерывное безпокойство, а пуще всего,— промолвилъ Нейгофъ вполголоса и оглядываясь съ робостію кругомъ,—этотъ неотвязный, сиповатый голосъ, который и теперь... да и теперь!.. Чу!.. слышишь, какъ онъ раздается надъ моимъ ухомъ!.. О, какъ этотъ адскій шопотъ отвратителенъ! Каждый день и каждую ночь... и всегда одно и то-же: «Зачѣмъ ты похитилъ наслѣдство, которымъ не хочешь *пользоваться? Я не отстану* отъ тебя до тѣхъ поръ, пока ты не передашь его другому. Передай его... передай!»

Магистръ остановился; мрачное, но почти всегда спокойное лицо его совершенно измѣнилось; отчаяніе, страхъ и неизъяснимое отвращеніе попеременно изображались во всѣхъ чертахъ лица его.—Ну, Александръ!—сказалъ онъ, помолчавъ нѣсколько времени,—хочешь ли ты и послѣ этого узнать мою тайну? Если ты поступишь какъ я, то тебя ожидаютъ тѣ же самыя мученія; а если будешь сильнѣй меня, то, можетъ-быть... Нѣтъ, нѣтъ!.. Прочь, искуситель, прочь!.. Я не хочу быть причиною его погибели!

Странное дѣло! мнѣ не приходило въ голову, что Нейгофъ сумасшедшій; я видѣлъ, что онъ не шутитъ, вѣрилъ его словамъ, и, вмѣсто того, чтобъ отказаться отъ своего требованія, еще настоятельнѣе принялся просить его. Говорятъ, есть люди, которые не могутъ смотрѣть на гладкую поверхность глубокой рѣки или озера, не чувствуя неодолимаго желанія броситься въ воду; точно такое же *обаяніе* свершалось и надо мною: я видѣлъ всю опасность, которой подвергался, а хотѣлъ непремѣнно испытать ее. Магистръ оставался долго непреклоннымъ, но, подъ конецъ, убѣжденный моими просьбами и обѣщаніемъ, что я не употреблю во зло его тайны, онъ рѣшился мнѣ передать ее. Вынувъ изъ бокового кармана лоскутокъ бумаги и карандашъ, Нейгофъ написалъ на немъ нѣсколько словъ. Отдавая мнѣ эту бумажку, онъ сказалъ: — Ты долженъ рано по-утру придти на покинутое кладбище, на которомъ давно ужъ не совершалось никакой церковной службы; тамъ, оборотясь на западъ, очерти два круга: въ одномъ сожги эту записку, а въ другомъ дожидайся появленія духа; но только не забывай, что если ты не хочешь сдѣлаться рабомъ его, то не долженъ выходить изъ круга, пока на ближайшей колокольнѣ не начнется благовѣстъ къ обѣднѣ; остальное зависитъ отъ тебя. Смотри, Александръ: не заплати дорого за свое любопытство; не засыпай безпечно на краю бездонной пропасти, а лучше всего... Но я не могу ничего сказать тебѣ болѣе... онъ не дозволяетъ... онъ снова начинаетъ шептать мнѣ на-ухо... Прощай!

Нейгофъ пустился почти бѣгомъ въ гору, и черезъ нѣсколько минутъ его дрожки застучали по дорогѣ, ведущей вонъ изъ села Коломенскаго. Я возвратился къ моимъ товарищамъ.

— Куда ты пропадалъ? — спросилъ меня Возницынъ.

— Я прошелся немного по рощѣ.

— Вмѣстѣ съ Нейгофомъ? — подхватилъ князь:—и, вѣрно, выпытывалъ изъ него тайну, какъ познакомиться съ чортомъ?

— Вотъ вздоръ какой! Да развѣ вы не замѣтили, что онъ смѣялся надъ нами?

— Кто? Антонъ Антонычъ? О, нѣтъ! Онъ

говорилъ пресерьезно! Не правда ли, Закамскій?

— Я то же думаю,—отвѣчалъ Закамскій.— Мистическіе писатели вскружили ему немного голову.

— Немного? Помилуй! Онъ вовсе съ ума сошелъ.

— Да, подчасъ онъ походитъ на сумасшедшаго,—прервалъ Возницынъ.—Замѣчали ли вы, господа, что Нейгофъ иногда смотритъ совершенно помѣшаннымъ, озирается, вздрагиваетъ, трясетъ головою и какъ будто бы съ кѣмъ-нибудь разговариваетъ?

— Конечно,—продолжалъ Закамскій,—онъ большой чудакъ, и даже если хотите, ипохондрикъ, но вовсе не сумасшедшій; онъ разсуждаетъ обо всемъ такъ умно и становится страннымъ только тогда, когда рѣчь дойдетъ до чертовщины.

— Ну, да!—вскричалъ князь:—на этомъ то пунктѣ онъ и помѣшанъ; у него именно то, что французы называютъ: une idée fixe. Слыхали ли вы про одного сумасшедшаго, который исправлялъ въ Бедламѣ должность чичероне, водилъ по всему дому посѣтителей, разсказывалъ имъ исторіи всѣхъ больныхъ, которые въ немъ содержались, и говорилъ такъ умно, что посѣтители почти всегда принимали его за одного изъ начальниковъ дома сумасшедшихъ до тѣхъ поръ, пока не подходилъ къ одному изъ больныхъ, который почиталъ себя Юпитеромъ; тутъ ихъ провожатый всегда останавливался и говорилъ имъ вполголоса:—Я долженъ васъ предувѣдомить, что этотъ господинъ называетъ себя Юпитеромъ и хочетъ попалить огнемъ всю землю. Да не бойтесь! Онъ точно Юпитеръ — это правда; но, вѣдь, и я не дюжинный богъ; я— Нептунъ и подпущу такую воду, что мигомъ потушу этотъ пожаръ.

— Куда ты дѣвалъ нашего колдуна? — спросилъ Возницынъ.

— Онъ уѣхалъ.

— Да не пора ли и намъ ѣхать?—сказалъ Закамскій.—Мы, помнится, князь, съ тобою сегодня въ театрѣ?

— Какъ же! Сегодня играетъ Воробьева, а ты знаешь, я ей протежирую. Пожалуй, безъ меня никто не хлопнетъ, когда она выйдетъ на сцену.

— Да, знатная актриса!—сказалъ Возницынъ, вставая: — а пострѣлъ Ожогинъ еще лучше!

Мы поѣхали; у заставы распрощались другъ съ другомъ. Возницынъ отправился куда-то въ гости на Зацѣпу, Закамскій и князь въ Петровскій театръ, а я домой. Мнѣ было вовсе не до театра и до визитовъ.

Я провелъ этотъ вечеръ въ раздумьѣ, и всю ночь не могъ заснуть. Меня вовсе не пугала мысль, что я пускаюсь на опытъ, который можетъ имѣть весьма дурныя для меня послѣдствія. Желаніе увѣриться въ истинѣ и любопытство, которое доходило до какого-то безумія, не допускали меня и думать объ опасности; а сверхъ того эта опасность могла быть мечтательная; быть-можетъ, Каліостро хотѣлъ только до конца играть роль обманщика и шарлатана, а Нейгофъ былъ просто ипохондрикъ и полуумный; меня мучило одно только условіе, которое я не зналъ какъ выполнить: гдѣ найти покинутое кладбище, на которомъ давно уже не раздавались христіанскія молитвы? На дворѣ разсвѣтало, а я все еще не спалъ. Желая чѣмъ-нибудь усыпить себя, я взялъ въ руки двѣнадцатый томъ историческаго словаря, который, не знаю почему, валялся на столѣ подлѣ моей кровати; развернулъ наудачу, попалъ на біографію знаменитаго Таверніе и прочелъ слѣдующія слова: «онъ (то-есть Таверніе) отправился въ Москву, и лишь только въ оную пріѣхалъ, то и окончилъ бродящую жизнь свою въ іюлѣ 1680 года». Тутъ я вспомнилъ, что Закамскій, говоря однажды со мною объ этомъ неутомимомъ путешественникѣ, сказалъ:—онъ, вѣрно, похороненъ въ теперешней Марьиной рощѣ, гдѣ въ его время было нѣмецкое кладбище. Чего жъ лучше,—подумалъ я.—Вотъ не только оставленное, но вовсе забытое кладбище; на этомъ народномъ гуляньѣ давно уже заросшіе травою могильные камни превратились въ столы, за которыми раздаются веселыя пѣсни цыганъ и пируютъ въ семикъ разгульныя толпы московскихъ жителей.

Я вскочилъ съ постели, велѣлъ заложить мои дрожки, и черезъ часъ былъ уже за Троицкой заставой. У самаго поворота съ большой дороги въ Марьину рощу, я приказалъ кучеру остановиться и ожидать меня подлѣ аллеи, ведущей въ село Останкино. Солнце еще не показывалось на небѣ, на которомъ не было ни одного облачка. Не знаю, оттого ли, что легкій плащъ плохо защищалъ меня отъ утренняго холоднаго воздуха или отчего другого, но я помню, что у меня была лихорадка: я дрожалъ. Пройдя съ четверть версты скорымъ шагомъ, я посогрѣлся. Разумѣется, ни одной живой души не было въ рощѣ. Вдали, въ концѣ широкой просѣки, бѣлѣлись стѣны трактира и нѣсколько разбросанныхъ между кустовъ палатокъ; далѣе, къ Сущовской заставѣ, выли собаки на медвѣжьей травлѣ, и только вдоль опушки ближайшей Останкинской рощи раздавалась по зарѣ протяжная пѣсня одного крестьянина, который выѣхалъ чѣмъ свѣтъ въ поле, чтобъ спахать свой осминникъ. У Рождества Божіей Матери, на Бутыркахъ, заблаговѣстили къ заутрени. Я невольно снялъ шляпу, перекрестился, и мысль воротиться назадъ, какъ молнія, мелькнула въ головѣ моей.—Не искушай твоего Господа! — раздалось въ душѣ моей; но этотъ благой помыслъ былъ непродолжителенъ; проклятое любопытство и желаніе, какъ говорится, выдержавъ характеръ,

то-есть во что бы ни стало поставить на своемъ, заглушили во мнѣ этотъ слабый отголосокъ дѣтскихъ чувствъ и моихъ первыхъ христіанскихъ впечатлѣній. Я вошелъ въ рощу.

Пройдя шаговъ сто по широкой просѣкѣ, я повернулъ направо между деревьевъ; тутъ было разбросано, въ близкомъ разстояніи одинъ отъ другого, нѣсколько надгробныхъ камней. Я остановился, поглядѣлъ кругомъ себя: все было пусто и тихо какъ въ полночь, и слабый свѣтъ, который проникалъ сквозь вѣтки деревьевъ, походилъ болѣе на лунное сіяніе, чѣмъ на блескъ утренняго солнца. Я сыскалъ толстый сукъ, очертилъ имъ два круга; въ одномъ сдѣлалъ небольшой костеръ изъ сухихъ спичекъ, которыя привезъ съ собою, бросилъ на него таинственную записку, высѣкъ огня, подложилъ и, войдя въ другой кругъ, сталъ дожидаться, чѣмъ все это кончится. Съ той самой минуты, какъ я занялся этими приготовленіями, робость моя исчезла и я сдѣлался такъ спокоенъ, какъ будто бы занимался какимъ-нибудь физическимъ опытомъ. Въ минуту огонь обхватилъ записку, она запылала; въ то же самое время стая птицъ поднялась со всѣхъ окружныхъ деревьевъ и съ громкимъ крикомъ понеслась вонъ изъ рощи. Съ одной только березы, подлѣ которой я стоялъ, не слетѣлъ огромный воронъ и принялся каркать такимъ зловѣщимъ голосомъ, что я снова почувствовалъ въ себѣ какую-то робость. Вотъ прошло полчаса — все та же тишина; еще прошло столько же — все смирно вокругъ, никто не является, не слышно никакого шороха, даже вѣтерокъ не колышетъ листьевъ на деревьяхъ, а солнце ужъ высоко. — Что-жъ это?—подумалъ я:—въ самомъ дѣлѣ, не повѣрилъ ли я сумасшедшему? или, что еще хуже, не дурачитъ ли меня этотъ магистръ?.. Ахъ, чортъ возьми! — Вотъ гляжу, ѣдетъ мимо меня крестьянинъ въ телѣгѣ, черезъ минуту другой, вонъ мелькнулъ красный сарафанъ; вотъ зашевелились кругомъ трактира; еще полчаса и вся роща оживится, а я буду стоять въ кругу и дожидаться какого-то чуда... Онъ совѣтывалъ мнѣ не выходить изъ него, пока не заблаговѣстятъ къ обѣднѣ... Слуга покорный!.. Три часа сряду быть пошлымъ дуракомъ!..—Ахъ, ты, проклятый нѣмецъ!—вскричалъ я, выходя изъ круга.—Нѣтъ, голубчикъ, будетъ съ тебя и того, что я битый часъ простоялъ здѣсь на караулѣ!

— Позвольте узнать, гдѣ большая дорога?—сказалъ кто-то позади меня на чистомъ французскомъ языкѣ. Я вздрогнулъ, обернулся: въ двухъ шагахъ отъ меня стоялъ человѣкъ, лѣтъ тридцати-пяти, въ модномъ гороховомъ сюртукѣ съ длиннымъ висячимъ воротникомъ, въ круглой шляпѣ и щегольскихъ сапогахъ съ бѣлыми кожаными отворотами. Нечаянное появленіе этого незнакомца такъ меня испугало, что я съ полминуты не могъ оправиться и понять, чего онъ отъ меня хочетъ. Онъ повторилъ свой вопросъ на самомъ чистомъ русскомъ языкѣ.

— Большая дорога отсюда въ двухъ шагахъ, — сказалъ я, наконецъ. — Я самъ пробираюсь къ заставѣ, и если вамъ угодно идти со мною...

— Съ большимъ удовольствіемъ!

Мы прошли нѣсколько шаговъ молча. Я поглядывалъ украдкою на этого господина, сначала съ какимъ-то страхомъ: мнѣ все казалось, что у него подъ шляпою припрятаны рога, а щегольскіе сапоги надѣты на козлиныя ноги. Съ перваго взгляда наружность его мнѣ вовсе не понравилась; смуглое продолговатое лицо, орлиный носъ, ротъ до ушей и свѣтлосѣрые блестящіе глаза, на которые тяжело было смотрѣть; но голосъ такой пріятный, такой гармоническій, что когда онъ начиналъ говорить, то мой слухъ, рѣшительно, былъ очарованъ.

— Я, кажется, нигдѣ не имѣлъ удовольствія съ вами встрѣчаться? — сказалъ я для того, чтобъ что-нибудь сказать.

— Я не болѣе трехъ дней, какъ пріѣхалъ въ Москву,—отвѣчалъ незнакомый,—и почти никого здѣсь не знаю. Мнѣ расхвалили московскія окрестности, такъ я хотѣлъ ими полюбоваться. У всякаго свои причуды: я люблю бродить по полямъ, шататься по лѣсу; но только не въ то время, когда гуляютъ другіе. Сегодня, вмѣстѣ съ утренней зарею, я выѣхалъ за заставу и, признаюсь, удивился, когда встрѣтилъ васъ въ этой рощѣ

Незнакомый сказалъ послѣднія слова съ какой-то сатанинской улыбкою, отъ которой меня бросило въ жаръ,—Боже мой! — подумалъ я, — ну, если онъ подсмотрѣлъ, что я здѣсь дѣлалъ!

— Мнѣ показалось,—продолжалъ незнакомый,—что вы были чѣмъ-то заняты; вы, вѣрно, разсматривали древніе надгробные камни, которые въ этой рощѣ на каждомъ шагу попадаются.

— Да, я разбиралъ надписи.

— И, вѣрно, не позавидовали краснорѣчію тѣхъ, которые ихъ сочиняли? Я также прочелъ надписи двѣ — одна другой глупѣе. Надобно сказать правду, древніе заставляли говорить умнѣе своихъ покойниковъ. Но вотъ, кажется, и большая дорога, — продолжалъ незнакомый. — Моя коляска стоитъ у самой заставы, и если вамъ не наскучило еще идти пѣшкомъ...

— Извините! — прервалъ я, чувствуя въ себѣ какое-то неизъяснимое желаніе поскорѣй отдѣлаться отъ этого товарища. — Мнѣ некогда... я тороплюсь въ городъ.

Незнакомый улыбнулся и замолчалъ, а я махнулъ моему кучеру; но лишь только онъ принялся за возжи, чтобъ ѣхать ко мнѣ навстрѣчу, лошади начали храпѣть, становить-

ся на дыбы, вдругъ бросились въ сторону, понесли цѣликомъ, по пенькамъ, черезъ канавки, и менѣе чѣмъ въ полминуты пристяжная лежала на боку, а изъ дрожекъ остались цѣлыми только одно колесо и оглобли. Къ счастію, мой кучеръ также уцѣлѣлъ. Надобно было непремѣнно отпречь лошадей и отвезти изломанныя дрожки на извозчикѣ. При помощи проходящихъ мы скоро все уладили; одинъ крестьянинъ взялся сбѣгать за извозчикомъ, а я никакъ не могъ отговориться отъ незнакомаго, который хотѣлъ непремѣнно довезти меня до дому. Мы подошли къ заставѣ. Красивая вѣнская коляска, заложенная парою отличныхъ вороныхъ коней, стояла у самаго шлагбаума. Мальчикъ, одѣтый англійскимъ жокеемъ, отворилъ дверцы; мы сѣли и шибкой рысью помчались по улицѣ.

Отъ Троицкой заставы до Арбатскихъ воротъ, гдѣ я жилъ, будетъ, по крайней мѣрѣ, версты четыре; однако-жъ мы ѣхали не болѣе четверти часа. Дорогою я узналъ, что мой новый знакомецъ называется баронъ Брокенъ, что онъ два раза объѣхалъ кругомъ свѣта и теперь отдыхаетъ, гуляя по Европѣ; что онъ, имѣя непреодолимую страсть къ путешествіямъ, выучился говорить почти на всѣхъ извѣстныхъ языкахъ, и что русскій нравится ему всѣхъ болѣе. Не знаю оттого ли что онъ потѣшилъ мое національное самолюбіе, похваливъ нашъ родной языкъ, или потому, что этотъ баронъ говоритъ отмѣнно умно и пріятно, но только онъ успѣлъ совершенно помирить меня съ собою; его блестящіе лукавствомъ глаза, насмѣшливое выраженіе лица, и даже эта почти безпрерывная сардоническая улыбка, которая показалась мнѣ сначала такой отвратительною, не возбуждала уже во мнѣ никакого непріятнаго чувства. Когда мы подъѣхали къ воротамъ моей квартиры, я пригласилъ его войти и выпить со мною чашку чая.

— Скажите мнѣ,—спросилъ я своего новаго знакомца, усадивъ его на канапе, — долго ли вы у насъ въ Москвѣ прогостите?

— Право, не знаю, какъ вамъ отвѣтить, — сказалъ баронъ. — Если ваша Москва мнѣ понравится, то я проживу здѣсь нѣсколько мѣсяцевъ, цѣлый годъ—даже два; а, можетъ-быть, не погнѣвайтесь, уѣду и черезъ недѣлю. Я шатаюсь по свѣту безъ всякаго плана, безъ всякой цѣли—просто для своей забавы. До сихъ поръ я могъ прожить два года сряду только въ одномъ Парижѣ и, вѣроятно, остался бы еще долѣе; но этотъ первый консулъ съ своимъ порядкомъ, съ своими законами до смерти мнѣ надоѣлъ. Народъ пересталъ мѣшаться въ дѣла правительства, по улицамъ тихо, тюрьмы опустѣли, нѣтъ жизни, нѣтъ движенія; опять зазвонили на всѣхъ колокольняхъ—тоска да и только! Я вижу, слова мои васъ удивляютъ, — промолвилъ баронъ, взглянувъ на меня съ улыбкою;—да и можетъ ли быть иначе: вы русскій, живете въ православной Москвѣ, такъ, конечно, этотъ образъ мыслей долженъ казаться вамъ...

— Нѣсколько страннымъ—это правда, — сказалъ я. — Говорятъ, теперь можно жить въ Парижѣ; но когда онъ тонулъ въ крови...

— Тонулъ!.. И полно! Это риторическая фигура. И что такое нѣсколько тысячъ людей менѣе или болѣе для Парижа? Развѣ не бываютъ въ большихъ городахъ повальныя болѣзни? А какъ зовутъ болѣзнь: повѣтріемъ, тифомъ, чумою, гильотиною — не все ли это равно?

— Но что за радость жить въ чужомъ городѣ? И позвольте вамъ сказать: когда Маратъ, Робеспіеръ, Дантонъ и сотни другихъ злодѣевъ управляли Франціею...

— Тогда въ тысячу разъ было веселѣе, чѣмъ теперь,—прервалъ съ живостію баронъ.— Все дѣло зависитъ отъ взгляда. Какая-нибудь слезная нѣмецкая драма, отъ которой плачетъ глупецъ, заставитъ васъ смѣяться. При Робеспіерѣ давались точно такія же представленія въ Парижѣ и во всей Франціи, какъ нѣкогда въ древнемъ Римѣ; только число актеровъ, которые умирали для потѣхи зрителей, было поболѣе. А какая кипучая жизнь!.. Какъ проявлялась *) она во всей своей силѣ и энергіи!.. Представьте себѣ: въ одномъ углу Парижа рѣзали, рубили головы, въ другомъ плясали, пѣли, бѣсновались. Сегодня одно правительство, завтра другое, послѣзавтра третье, ну, точно китайскія тѣни. Сегодня Дантонъ выше всѣхъ цѣлой головою, а завтра онъ безъ головы; сегодня Робеспіеръ приказываетъ и Франція повинуется, а завтра его волочатъ по грязи. На улицахъ вѣчный базаръ, всѣ въ какомъ-то опьяненіи, въ чаду. Жизнь текла такъ быстро, опомниться было некогда, всякій спѣшилъ наслаждаться, потому что не зналъ, будетъ ли живъ завтра. А эти публичныя вакханаліи, эти языческіе праздники, эти братскіе ужины, на манеръ спартанскихъ обѣдовъ, эти Бруты въ толстыхъ галстукахъ и Горація въ красныхъ колпакахъ, эти французскія гречанки, которыя въ газовыхъ тюникахъ, съ босыми ногами, вальсировали какъ безумныя на балахъ, даваемыхъ въ память ихъ отцовъ, мужей и братьевъ, погибшихъ на эшафотѣ *). Все это было такъ пестро, такъ необыкновенно! Вся Франція походила въ это время...

— На обширный домъ сумасшедшихъ! — сказалъ я.

— Не спорю! — продолжалъ баронъ; — но это безуміе, эта общая и безпрерывная оргія цѣлой націи имѣла въ себѣ тьму поэзіи, передъ которой наша блѣдная общественная

*) Это слово вошло недавно въ употребленіе; но могу васъ увѣрить, что я точно въ первый разъ услышалъ его отъ барона Брокена.

**) Les bals de victimes.

[illegible] очень забав- [illegible] Вы, ка- [illegible] ни философ- [illegible] не могу. Мы жи- [illegible] человѣка такъ [illegible] что, право,

[illegible]

[illegible] Днѣпровская

[illegible] Мы [illegible] по два [illegible] шампанскаго [illegible] показалось мнѣ [illegible]. Баронъ [illegible] мнѣ, что [illegible] Днѣпровскихъ, что [illegible] очень ему обрадовались и весьма [illegible]

---

*) Въ этомъ [illegible] гостинница [illegible].

со мною познакомиться.—Мы поѣдемъ къ нимъ сегодня вечеромъ,—продолжалъ онъ.—Знайте напередъ, что хозяинъ замучитъ васъ своими вѣжливыми фразами и, вѣрно, полюбитъ до смерти, если вы станете любезничать съ его женою. Не знаю, будете ли вы довольны пріемомъ хозяйки; на нее находитъ иногда какая-то задумчивость и грусть. Если вы нападете на одну изъ этихъ минутъ, то, быть-можетъ, эта любезная женщина покажется вамъ вовсе нелюбезною. Изо всѣхъ ея знакомыхъ, одинъ только мужъ не отгадываетъ причины этихъ меланхолическихъ припадковъ, и когда бъ ему сказали: «твоя жена тоскуетъ вѣроятно оттого, что влюблена», такъ онъ вѣрно бы отвѣчалъ: «да отчего же ей тосковать, вѣдь я ее люблю?» А еслибъ нашелся добрый человѣкъ, который сказалъ бы ему: «дуракъ! да она любитъ не тебя!» то этотъ образцовый мужъ умеръ бы со смѣха.

— Да почему же вы думаете, — спросилъ я,—что Днѣпровская влюблена?

— Потому, что женщина съ такой романической головою и чувствительнымъ сердцемъ должна непремѣнно любить, а такъ какъ мужъ ея вовсе не любезенъ, то, безъ всякаго сомнѣнія, она любитъ кого-нибудь другого и, вѣроятно, тоскуетъ о томъ, что не можетъ принадлежать тому, кого любитъ. Это такъ просто, такъ натурально!.. А, впрочемъ, статься можетъ, что Днѣпровская никого еще не любила; быть-можетъ, ее тревожитъ это безотчетное желаніе любви, эта потребность упиться страстью, слить свою душу съ душою другого; и почему знать, — прибавилъ съ улыбкою баронъ, — можетъ-быть, вы тотъ счастливецъ, на груди котораго это бѣдное сердце забьется новой жизнію и перестанетъ тосковать.

Я покраснѣлъ.—Ого!—вскричалъ баронъ,— да вы въ самомъ дѣлѣ человѣкъ опасный! Знаете ли, какъ эта дѣвственная стыдливость нравится женщинамъ? Вы прекрасный мужчина, живете въ большомъ свѣтѣ, вамъ за двадцать лѣтъ, и вы умѣете краснѣть!.. Ну, Днѣпровскій, держись!

— Ему нечего бояться,—сказалъ я, шутя,— Нѣтъ человѣка, который менѣе моего опасенъ для женщинъ: у меня есть невѣста, баронъ.

— Такъ чтожъ!

— Какъ что? Я люблю мою невѣсту, и хотя мы живемъ далеко другъ отъ друга...

Громкій хохотъ барона прервалъ мои слова. — И такъ, вы любите ее заочно? — проговорилъ онъ, задыхаясь отъ смѣха.— Заочно!.. Ахъ, сдѣлайте милость, скажите мнѣ, въ какой части свѣта этотъ счастливый уголокъ земли, гдѣ вы набрались такихъ патріархальныхъ правилъ? Вы живете розно съ вашей невѣстою и не смѣете... О! да вы прекрасный Іосифъ, воплощенная добродѣтель.

— Но развѣ я могу принадлежать другой женщинѣ?

— Принадлежать и любить, двѣ вещи совершенно разныя. Кто вамъ мѣшаетъ принадлежать одной, а любить всѣхъ?

— И дѣлиться со всѣми моимъ сердцемъ?

— Сердцемъ! Да кто вамъ говоритъ о сердцѣ? И что такое сердце? Сердце принадлежность женщинъ, у мужчинъ должна быть только голова.

— Такъ по-вашему, баронъ, постоянство...

— Постоянство! И, полноте! Что за рыцарскія правила! Вѣкъ Амадисовъ прошелъ. Помилуйте! Кто нынче говоритъ объ этихъ допотопныхъ добродѣтеляхъ? Да знаете ли, что, несмотря на вашу прекрасную наружность, вы вовсе пропадете во мнѣніи у женщинъ; онѣ станутъ вслухъ хвалить васъ, а потихоньку надъ вами смѣяться, и, воля ваша, женщины будутъ правы. Пусть хвастается своимъ постоянствомъ тотъ, который и хотѣлъ бы, да не можетъ быть непостояннымъ; но вы!.. Неужели вы думаете, что природа создала васъ красавцемъ для того, чтобъ вы любили одну только женщину! Какой вздоръ! Одну! когда вы можете свободно выбирать изъ этого прелестнаго цвѣтника, отъ пышной розы переходить къ скромной незабудкѣ, любоваться какимъ-нибудь пестрымъ, махровымъ цвѣткомъ, и бросать его при видѣ чистой и бѣлой, какъ снѣгъ лиліи. Вы созданы для наслажденій, такъ наслаждайтесь! Можетъ-быть, вы скажете: женщины не цвѣтки: онѣ могутъ страдать, умирать съ тоски, гибнуть отъ вашего непостоянства. Не бойтесь! эти женскія горести, какъ весеннія тучи: лишь только начнутъ сбираться, анъ, глядишь, солнышко и проглянуло. Умираютъ съ тоски только тѣ, которыя не находятъ утѣшителей. Послушайтесь меня: любите однѣхъ хорошенькихъ и почивайте спокойно: никто не умретъ отъ вашего непостоянства.

Ничто не дѣйствуетъ такъ сильно на воображеніе молодого человѣка, какъ эти блестящіе софизмы, разбросанные въ простомъ, дружескомъ разговорѣ, высказанные шутя и представленные въ видѣ давно принятыхъ истинъ. Это ядъ, который подносятъ ему въ прекрасномъ сосудѣ, и даютъ выпить не разомъ, а понемногу, каплю по каплѣ, чтобъ онъ не чувствовалъ всей его горечи, не догадался, что въ этомъ сосудѣ ядъ и не помѣшалъ отравить себя навѣрное. Еслибъ новый мой знакомецъ, сталъ преподавать мнѣ свои правила систематически, какъ науку общежитія, то они показались бы мнѣ отвратительными; но этотъ веселый, шутливый тонъ, эти піитическія сравненія, эти насмѣшливыя фразы плѣняли меня своимъ остроуміемъ; въ нихъ развратная мысль таилась какъ змѣя подъ цвѣтами. Я былъ молодъ, вѣтренъ, но сердце мое было еще невинно, порокъ не овладѣлъ имъ: слѣдовательно, я уважалъ женщинъ и не вѣрилъ словамъ ба-

рона; а, несмотря на это, не смѣлъ ему противорѣчить, и даже, чтобъ не показаться смѣшнымъ педантомъ, или, какъ говорятъ нынче, *отсталымъ*, слушалъ его иногда съ одобрительной улыбкою.

Я пробылъ у барона часовъ до двухъ. Во все это время онъ говорилъ безпрестанно; переходя отъ одного предмета къ другому, онъ все болѣе и болѣе раскрывалъ мнѣ свою философію; нечувствительно становился смѣлѣе въ своихъ сужденіяхъ, осыпалъ эпиграммами старый образъ мыслей, говорилъ то шутя, то съ восторгомъ о новыхъ идеяхъ, о требованіяхъ вѣка, смѣялся надъ предразсудками и называлъ предразсудкомъ все, что я привыкъ съ дѣтства почитать святымъ. Сначала, когда змѣя стала приподымать изъ-за цвѣтовъ свою голову, я испугался; но баронъ говорилъ такъ мило, во всѣхъ словахъ его замѣтно было такое отличное образованіе, такой прекрасный тонъ, что подъ конецъ я рѣшительно увлекся, началъ слушать его не только безъ досады, но даже съ удовольствіемъ, и если не совсѣмъ сошелъ съ ума, то, по крайней мѣрѣ, опьянѣлъ совершенно. Возвратясь домой, я не вспомнилъ даже, что пропустилъ почтовый день и не писалъ къ Машенькѣ.

Въ восемь часовъ вечера баронъ заѣхалъ за мною, и мы отправились къ Днѣпровскимъ. Хозяинъ встрѣтилъ насъ въ гостиной. Когда баронъ назвалъ меня по имени, Днѣпровскій, пожавъ мою руку, сказалъ: — Очень радъ, Александръ Михайловичъ, что могу съ вами познакомиться; надѣюсь, мы часто будемъ видѣться. Я васъ сейчасъ представлю моей Надеждѣ Васильевнѣ. Я иногда обѣдаю въ англійскомъ клубѣ, но она всегда дома; милости просимъ къ намъ каждый день.

Радушный пріемъ Днѣпровскаго мнѣ очень понравился; онъ показался мнѣ человѣкомъ лѣтъ пятидесяти, но довольно пріятной наружности, и хотя я былъ предубѣжденъ на счетъ его ума, однако-жъ не замѣтилъ ничего ни въ его словахъ, ни въ поступкахъ, что могло бы оправдать мнѣнія барона. Минутъ черезъ пять вошла въ гостиную молодая женщина, одѣтая просто, но съ большимъ вкусомъ. — Вотъ жена моя! — сказалъ Днѣпровскій. Я хотѣлъ подойти и поцѣловать ея руку (не смѣйтесь, это было лѣтъ сорокъ тому назадъ), но Днѣпровскій предупредилъ меня: онъ бросился съ испуганнымъ видомъ къ своей женѣ и вскричалъ: — Что ты, Надина, что съ тобою? Сядь, мой другъ, сядь!

— Ничего! — прошептала Днѣпровская, стараясь улыбаться.

— Ты совсѣмъ въ лицѣ перемѣнилась. Тебѣ дурно?

Въ самомъ дѣлѣ, она была блѣдна, какъ смерть.

— Ничего! — повторила Днѣпровская, *садясь на кресла, которыя подалъ ей мужъ.* — Это пройдетъ... Вчерашній балъ... Я такъ устала!.. Не безпокойтесь! — продолжала она, обращаясь ко мнѣ, — вотъ ужъ мнѣ и лучше.

— Да, да! — вскричалъ хозяинъ, — у тебя опять показался румянецъ... Какъ ты меня испугала, Надина!

— Знаете ли, Надежда Васильевна, — сказалъ баронъ, взглянувъ на меня съ улыбкою, — если бъ мой пріятель былъ такъ же дуренъ, какъ я, то можно было бы подумать, что вы его испугались.

— О, нѣтъ! — прервалъ шутя хозяинъ: — Александръ Михайловичъ страшенъ, да только не для женъ. Не правда ли, ma chère?

Надежда Васильевна, не отвѣчая на вопросъ мужа, пригласила меня сѣсть возлѣ себя. Разговоры людей, которые въ первый разъ видятъ другъ друга, почти всегда бываютъ одинаковы: двѣ, три фразы о томъ, что погода дурна или хороша, нѣсколько словъ о городскихъ новостяхъ, о балахъ; а иногда, если одинъ изъ разговаривающихъ бывалъ въ чужихъ краяхъ, рѣчь пойдетъ о томъ, что въ Россіи отмѣнно скучно, а за границей очень весело, что у насъ холодно зимою, а въ Италіи жарко лѣтомъ, или о томъ, какъ живописны берега Рейна, какъ высоки горы въ Швейцаріи и какъ много въ Парижѣ театровъ. Все это очень ново, занимательно и отмѣнно забавно, а особливо для того, кто учился не у приходскаго дьячка и получилъ какое-нибудь образованіе. Мой первый разговоръ съ Надеждой Васильевной былъ именно въ этомъ родѣ; но она говорила такъ мило, голосъ ея былъ такъ пріятенъ, улыбка такъ очаровательна, что мнѣ показалось, будто я слышу въ первый разъ отъ роду, что въ Парижѣ есть театры, а въ Швейцаріи высокія горы и обширныя озера. Впрочемъ, надобно сказать правду, я гораздо внимательнѣе смотрѣлъ на мою прелестную собесѣдницу, чѣмъ слушалъ ея разсказы о *прекрасной* Франціи и благословенныхъ берегахъ Женевскаго озера; мнѣ все казалось, что мы не въ первый разъ въ жизни встрѣтились другъ съ другомъ; я гдѣ-то видѣлъ эти великолѣпные черные глаза, эти длинныя рѣсницы, этотъ унылый, но полный жизни взглядъ былъ точно мнѣ знакомъ... Вдругъ что-то прошедшее оживилось въ моей памяти, и я совсѣмъ некстати, даже очень невѣжливо, прервалъ ея рѣчь вопросомъ, который не имѣлъ ничего общаго съ нашимъ разговоромъ. — У васъ, кажется, есть подмосковная? — спросилъ я.

— Да, — отвѣчала Днѣпровская, — на двѣнадцатой верстѣ отъ Москвы, по Владимірской дорогѣ.

— И вы любите ѣздить верхомъ?

Этотъ второй вопросъ, который также довольно плохо клеился къ первому, заставилъ покраснѣть Надежду Васильевну. Я повторилъ его.

— Третьяго года я очень часто ѣздила верхомъ,—прошептала она тихимъ голосомъ.

— И такъ, это были вы!

Днѣпровская не отвѣчала, но покраснѣла еще болѣе; томные глаза ея заблистали радостію, и если бы я былъ хотя нѣсколько поопытнѣе, то прочелъ бы въ нихъ: какъ я счастлива—онъ узналъ меня!

— Ma chère amie! — закричалъ Днѣпровскій:—графиня Марья Сергѣевна!

Надежда Васильевна вскочила съ своего мѣста и побѣжала навстрѣчу къ дамѣ, лѣтъ сорока, которая входила въ гостиную. Эта барыня была виднаго роста, но такъ желта и худа, такъ пряма, плоска и опутана золотыми цѣпочками, что, глядя на нее, я невольно вспомнилъ эти пряничныя, размалеванныя сусальнымъ золотомъ, человѣческія фигурки, до которыхъ былъ въ старину большой охотникъ. Я узналъ послѣ, что графиня великая музыкантша, то-есть она говорила съ восторгомъ объ итальянской музыкѣ, знала всѣ техническія музыкальныя названія, и сама, какъ разсказывали ея пріятели, пѣла бы прекрасно, если бъ у нея былъ голосъ.— Поздравь меня, Надина! — вскричала она, расцѣловавъ хозяйку, — я слышала сегодня Манжолети, и на этой недѣлѣ буду пѣть съ нею тотъ самый дуэтъ, который пѣла третьяго года съ Марою... Ахъ, мой другъ! какой голосъ! какая метода!.. Въ жизнь мою я не слыхала ничего подобнаго!.. Она пѣла... ты знаешь эту арію Чимарозы... эту прелесть... Ахъ, вспомнить не могу!..

Я объявилъ ужъ моимъ читателямъ, со всѣмъ простодушіемъ музыкальнаго невѣжды, что не люблю итальянской музыки, слѣдовательно, неохотно слушаю, когда о ней говорятъ, а особливо съ этимъ безпредѣльнымъ восторгомъ, который допускаетъ однѣ только восклицанія; мнѣ все кажется, что передо мною играютъ комедію и сговорились меня дурачить *). Чтобъ не слышать возгласовъ этой *музыкальной* графини, я подошелъ къ барону. — Сегодня поутру, — сказалъ онъ вполголоса,—я говорилъ вамъ, что, можетъ-быть, вы тотъ счастливецъ, на груди котораго бѣдное сердце Надины забьется новой жизнію; это было одно предположеніе, а теперь!.. О! да вы человѣкъ ужасный!.. При первомъ свиданіи, съ перваго взгляда... ну!!'

— Что вы, баронъ!.. Перестаньте!

— Виноватъ! Я стоялъ позади васъ и слышалъ все: это не первое, а второе свиданіе. Теперь я не скажу:—ну, Днѣпровскій держись!—а подумаю про себя: бѣдный Днѣпровскій,—терпи!

— Да полноте! Какъ вамъ не стыдно!

— Впрочемъ, оно такъ и быть должно: мужья прекрасныхъ женъ созданы для этого.

— Вы, вѣрно, забыли, баронъ...—сказалъ я шутя.

— Что вы помолвлены?.. О, нѣтъ! Но прежде, чѣмъ вы сдѣлаетесь похожимъ на Днѣпровскаго, ваша будущая супруга успѣетъ постарѣть, а это совсѣмъ дурное дѣло. Конечно, и тутъ есть монополія,—прибавилъ баронъ съ улыбкою,—по всей справедливости, все прекрасное, — а что можетъ быть прекраснѣе милой женщины? — не должно принадлежать исключительно одному; но, по крайней мѣрѣ, тутъ будутъ счастливы двое, такъ это еще сносно; а здѣсь, посмотрите: ну, не грустно ли видѣть такое уродливое сочетаніе весны съ глубокой осенью? Черезъ десять лѣтъ Надина все еще будетъ прекрасна, а этотъ Днѣпровскій... Представьте себѣ, что онъ будетъ черезъ десять лѣтъ? Старый изношенный колпакъ, нестерпимый брюзга, крапотунъ, въ подагрѣ, въ хирагрѣ и въ разныхъ другихъ лихихъ болѣстяхъ!.. Когда въ супружествѣ тысячи молодыхъ людей пьютъ горькую чашу, вы думаете, что этотъ старый вампиръ, который заѣлъ вѣкъ прекрасной дѣвушки, останется безъ наказанія?.. Не бойтесь!.. Найдется утѣшитель— не вы, такъ другой... А, право, будетъ жаль!.. Посмотрите, какъ она мила!

Съ Днѣпровской говорили въ эту минуту пріятели мои, князь Двинскій и Закамскій; они только-что вошли въ комнату. Надежда Васильевна очень холодно отвѣчала на вѣжливыя фразы князя; но, казалось, весьма обрадовалась, увидя Закамскаго.

— Я сейчасъ отъ моей кузины,—сказалъ князь.—Знаете ли что, Надежда Васильевна: вѣдь я уговорилъ ее будущей весною ѣхать на воды. Она никакъ не хотѣла послушаться своего доктора; но я увѣрилъ ее, что Карлсбадскія воды дѣлаютъ чудеса, и въ доказательство привелъ васъ.

— Меня? Да какое чудо сдѣлали со мною Карлсбадскія воды?

— Вы пріѣхали съ нихъ еще прекраснѣе, чѣмъ были прежде; если это не чудо...

Надежда Васильевна улыбнулась.

Знаете ли вы эту женскую улыбку, которая страшнѣе всякой злой эпиграммы, эту улыбку, за которую мы стали бы стрѣляться на двухъ шагахъ съ мужчиною, и которая на розовыхъ губкахъ красавицы въ тысячу разъ еще обиднѣе? Вызвать эту улыбку на уста любимой женщины—такое несчастіе, съ которымъ ничего въ свѣтѣ сравняться не можетъ. Если она предпочитаетъ другого, не обращаетъ на васъ никакого вниманія и даже ненавидитъ васъ, вы все еще можете

*) Вотъ ужъ второй разъ сочинитель этой книги говоритъ съ неуваженіемъ объ итальянской музыкѣ. Я не хочу отвѣчать за чужіе грѣхи: у меня и своихъ довольно. Александръ Михайловичъ можетъ думать и говорить все, что ему угодно; что же касается до меня, то я объявлю здѣсь торжественно, что вовсе не раздѣляю его мнѣнія, и слушаю всегда съ восторгомъ итальянскую музыку даже и тогда, когда ее поютъ аматеры. *М. З.*

надѣяться; но когда, говоря съ вами, она улыбнется, какъ улыбнулась Надежда Васильевна въ отвѣтъ на пошлую вѣжливость бѣднаго Двинскаго, то вы рѣшительно человѣкъ погибшій: вы должны непремѣнно или зачахнуть съ горя, или перестать любить ее.

— Клянусь честію, — продолжалъ Двинскій,—это совершенная правда! Вы сдѣлались еще прекраснѣе; и если вы мнѣ не вѣрите...

— Какъ не вѣрить, князь,—прервала Днѣпровская: — вотъ ужъ третій разъ, какъ вы мнѣ это говорите.

— Il y a des choses qu'on ne peut assez répéter, madame!—пробормоталъ Двинскій, не зная, какъ скрыть свое смущеніе. Къ счастію, ему попался на глаза баронъ: онъ узналъ въ немъ своего парижскаго знакомца, и съ радостнымъ восклицаніемъ бросился къ нему навстрѣчу.

— Вы ли это, Брокенъ?—вскричалъ онъ.— Возможно ли?..

— Да, князь, это я.

— Представьте себѣ: меня увѣрилъ пріятель мой, Вельскій, который вовсе не лгунъ, что вы умерли въ Парижѣ...

— На эшафотѣ? — прервалъ баронъ съ улыбкою.

— Да, да! Онъ божился, что видѣлъ самъ своими глазами...

— Какъ мнѣ отрубили голову?

— Да! Онъ разсказывалъ, что васъ казнили въ одинъ день съ Сенъ-Жюстомъ и Робеспіеромъ.

— Скажите пожалуйста!

— И что, взойдя на эшафотъ, вы очень долго разговаривали съ народомъ.

— Вотъ ужъ этого я не помню.

— Ну, можно ли такъ сочинять?

— Почему жъ сочинять? Это правда.

— Какъ правда?

— Да, мнѣ точно отрубити голову, но, къ счастію, я попалъ на руки къ хорошему доктору: онъ меня вылѣчилъ.

— Что за вздоръ!

— Право, такъ.

— Вы вовсе не перемѣнились, баронъ.

— Да, князь, я люблю попрежнему быть вѣжливымъ, и скорѣе солгу самъ, чѣмъ скажу о другомъ что онъ лжетъ, а особливо, если говорю съ его пріятелемъ.

— Какой оригиналъ этотъ баронъ, — сказалъ хозяинъ. — Не угодно ли вамъ въ бостонъ съ дамами?—продолжалъ онъ, подавая мнѣ карту.

Я отказался. Черезъ полчаса въ гостиной стало тѣсно; но скоро все пришло въ надлежащій порядокъ: партіи составились, по всѣмъ угламъ гостиной начали козырять, и самъ хозяинъ сѣлъ играть въ пикетъ съ однимъ напудреннымъ эмигрантомъ, у котораго въ петличкѣ висѣлъ орденъ святого Людовика. *Надежда Васильевна* пригласила въ диванную остальныхъ гостей, то-есть меня, Закамскаго, барона, князя и двухъ молодыхъ дамъ, изъ которыхъ одна была мнѣ знакома. Я хотѣлъ сѣсть подлѣ нея на диванѣ, но хозяйка предупредила меня. — Садитесь здѣсь, противъ насъ, — сказала она, показывая на большія вольтеровскія кресла.— Баронъ расположился подлѣ меня, а князь и Закамскій на другомъ концѣ дивана.

— Я надѣюсь, Александръ Михайловичъ,— сказала Днѣпровская,—мы часто будемъ васъ видѣть. Я почти всегда дома, мое здоровье такъ разстроено, и если васъ не пугаетъ общество больной женщины...

— Которая однимъ взглядомъ можетъ дать жизнь и отнять ее,—прервалъ князь.

— Охъ!—шепнулъ Закамскій.

Обѣ гостьи взглянули другъ на друга и улыбнулись.

— Скажите мнѣ, Александръ Михайловичъ,—продолжала хозяйка, не обращая никакого вниманія на Двинскаго,—вы постоянный здѣшній житель?

— Я былъ имъ до сихъ поръ, Надежда Васильевна; но, можетъ-быть, скоро мнѣ должно будетъ ѣхать въ деревню, на свою родину...

— Такъ вы насъ покидаете?..

— Что-жъ дѣлать! у меня есть обязанности.

— Обязанности?..

— Не вѣрьте ему! — прервалъ баронъ:— это совершенно зависитъ отъ него.

— Вы ошибаетесь, баронъ, — подхватилъ князь,—это могло зависѣть отъ него прежде: онъ еще не былъ знакомъ съ Надеждою Васильевною; но теперь...

Днѣпровская взглянула такъ ласково на князя, что вѣрно онъ подумалъ про себя: что это какъ женщины капризны! Ну, чѣмъ этотъ комплиментъ лучше прежнихъ?

— Ахъ, здравствуйте, Андрей Семеновичъ!—сказала хозяйка, привставая— Давно ли пріѣхали въ Москву, на долго ли?

Этотъ вопросъ былъ сдѣланъ худощавому старику, который вошелъ въ диванную. Несмотря на большой красный носъ, черты лица его были довольно пріятны, а въ веселой и даже нѣсколько насмѣшливой улыбкѣ замѣтенъ былъ умъ и природная острота. Онъ былъ въ нѣмецкомъ кафтанѣ стараго покроя, въ шелковыхъ чулкахъ, въ башмакахъ съ пряжками, въ рыжеватомъ парикѣ съ длиннымъ пучкомъ, и держалъ въ рукѣ толстую камышевую трость съ золотымъ набалдашникомъ.

— Здравствуйте, матушка, Надежда Васильевна!—сказалъ этотъ гость, цѣлуя руку хозяйки.—Вчера только пріѣхалъ изъ Калуги, и за первый долгъ поставилъ явиться къ вамъ. Здравствуйте, сударь, Василій Дмитріевичъ!—продолжалъ онъ, кланяясь Закамскому. — Сердечно радуюсь, что вижу васъ въ добромъ здоровьѣ.

Хозяйка сѣла подлѣ новаго гостя и стала съ нимъ разговаривать; а князь, наклонясь къ Закамскому, спросилъ его вполголоса:— Изъ какой кунсткамеры вырвался этотъ антикъ съ краснымъ носомъ и длиннымъ пучкомъ?

— Это деревенскій сосѣдъ мой, Лугинъ,— отвѣчалъ Закамскій,—весьма хорошій и, не прогнѣвайся, очень умный и просвѣщенный человѣкъ.

— Ужъ и просвѣщенный!

— Можетъ-быть не по-твоему, князь; но вѣдь это еще вопросъ нерѣшенный: въ томъ ли состоитъ просвѣщеніе, чтобъ безпрестанно кричать о немъ, или молча любить его. Знать наизусть имена всѣхъ хорошихъ и дурныхъ французскихъ писателей, умѣть при случаѣ говорить обо всемъ и носить костюмъ своего времени, конечно, все это самые вѣрные признаки просвѣщенія; однакожъ, повѣрь, мой другъ, можно и донашивая платье своего отца и не зная, что Дора̀тъ писалъ плохіе стихи, а Прудонъ дурныя трагедіи, быть очень почтеннымъ дворяниномъ, хорошимъ помѣщикомъ, и даже, какъ я имѣлъ уже честь докладывать вашему сіятельству, весьма просвѣщеннымъ человѣкомъ.

— Что, Василій Дмитричъ,—сказалъ Лугинъ, обращаясь къ Закамскому,—вы совсѣмъ сдѣлались москвичемъ, вовсе насъ забыли и заглянуть въ Калугу не хотите.

— Все не сберусь, Андрей Семеновичъ.

— Скажите лучше, охоты нѣтъ. Видно Москва то вамъ больно приглянулась.

— Поживите съ нами годикъ-другой, Андрей Семенычъ, такъ она, можетъ-быть, и вамъ полюбится. Право, Москва старушка добрая; немножко сплетница, любитъ иногда красное словцо отпустить, прикинуться француженкой, позлословить — все такъ! Но гдѣ найдете вы болѣе гостепріимства, ласки, радушія?..

— Да, батюшка, что правда, то правда— гостепріимный городъ! Да вотъ хоть сегодня, заѣхалъ я поутру къ Брянскимъ;—Господи, какой поднялся крикъ! И матушка, и дочка, и отецъ... «Андрей Семенычъ, вы ли это?.. Сколько зимъ, сколько лѣтъ!.. Какое для насъ удовольствіе!.. Какъ мы рады!.. Ахъ, Боже мой!..» Я и словъ не нашелъ, какъ благодарить за такой пріемъ; думаю только про себя: «фу, батюшки, какъ они меня любятъ!.. А за что бы, кажется?.. Ну, дай Богъ имъ добраго здоровья!» Не прошло пяти минутъ, вдругъ поднялся радостный крикъ громче прежняго; гляжу, что такое?.. пришелъ тиролецъ съ коврижками.

— Андрей Семеновичъ!—сказала съ улыбкою хозяйка,—вы вѣчно нападаете на Москву.

— Помилуйте, сударыня! я только-что разсказываю.

— Разскажите-ка намъ что-нибудь,—продолжала Днѣпровская,—объ Алексѣѣ Ивановичѣ Хопровѣ; мы познакомились съ нимъ въ Парижѣ. Я слышала, онъ живетъ теперь въ вашей губерніи.

— Въ пяти верстахъ отъ меня, Надежда Васильевна.

— Ну, что, здоровъ ли онъ?

— Да какъ бы вамъ сказать? Не то что боленъ, однакожъ, не вовсе здоровъ, матушка; не худо бы его полѣчить.

— Что съ нимъ такое?

— Да такъ, что-то вовсе одурѣлъ. Онъ былъ прежде человѣкъ хоть и не больно грамотный, а все-таки брело кой-какъ: нашлось бы въ нашемъ уѣздѣ два-три дворянина не умнѣй его; а вотъ съ тѣхъ поръ, какъ побывалъ въ Парижѣ, такъ Богъ знаетъ, что съ нимъ сдѣлалось! Крестьянъ разорилъ, а толкуетъ все о правахъ человѣка; себя называетъ философомъ, а насъ всѣхъ варварами и кричитъ въ источный голосъ: «ну, скажите, Бога ради, какая разница между мной и мужикомъ?» Я ему сказалъ однажды, что никакой—такъ разсердился. Помилуйте, какъ же онъ не сумасшедшій?

— Извините!—прервалъ князь, — можетъ-быть, я ошибаюсь, но мнѣ кажется, что этотъ господинъ Хопровъ прослылъ у васъ въ Калугѣ сумасшедшимъ по той же самой причинѣ, по какой называли Абдериты глупцомъ своего соотечественника Демокрита.

— То-есть, вы изволите думать, что въ нашей губерніи дворяне всѣ дураки, а уменъ одинъ Хопровъ? Быть можетъ, батюшка.

— Я не говорю этого; но скажите мнѣ, что находите вы смѣшного въ этой философической идеѣ вашего сосѣда объ естественныхъ правахъ человѣка? Я самъ дворянинъ и даже князь, слѣдовательно, могу разсуждать безпристрастно объ этомъ предметѣ. У насъ нѣтъ наслѣдственной аристократіи; но тамъ, гдѣ она есть, скажите, за что одинъ классъ людей пользуется исключительно правами, и справедливо ли, что эти права переходятъ отъ отца къ сыну? За что я долженъ уважать и кланяться какимъ-нибудь лордамъ, герцогамъ или испанскимъ грандамъ? Ужъ не за то ли, что они, говоря словами Бомарше, взяли на себя трудъ родиться?

— Оно, кажется, какъ будто бы и такъ, ваше сіятельство,—сказалъ Лугинъ, понюхавъ табаку изъ своей серебряной табакерки;—да только вотъ бѣда, что тамъ, гдѣ нѣтъ аристократіи, чиновъ и званій, такъ ужъ, навѣрное, есть аристократія богатства. Посмотрите, батюшка, хоть на Соединенные Американскіе Штаты: тамъ не станутъ кланяться герцогу, а также гнутъ шеи передъ богатымъ капиталистомъ, то-есть уважаютъ въ немъ не доблести и великія дѣла его предковъ, но милліоны, полученные имъ въ наслѣдство отъ отца и нажитые, можетъ-быть, самымъ низкимъ и подлымъ образомъ. Позвольте спросить, ваше сіятельство, неужели

это уваженіе къ богатству менѣе оскорбительно для нашего самолюбія, чѣмъ уваженіе къ знаменитому имени? Вы скажете, можетъ-быть: ну, пусть отецъ заслужилъ званіе князя, графа, герцога и, за свои труды или подвиги, сдѣлался изъ простого человѣка вельможею; да за что же сынъ его, который ничего еще не сдѣлалъ для общества, получитъ въ наслѣдство это званіе и, слѣдовательно, нѣкоторую часть почестей, съ нимъ соединенныхъ?

— Какъ за что, батюшка? гдѣ же будетъ справедливость? Богачъ можетъ передать сыну свои милліоны и вмѣстѣ съ ними уваженіе, которое мы всѣ, грѣшные, имѣемъ къ богатству; и вѣрный слуга царскій, добросовѣстный, неутомимый судья, ученый мужъ, геній, просвѣтившій свою родину, и великій полководецъ, которому она обязана своимъ спасеніемъ, не будутъ имѣть права передать, съ знаменитыми своими именами, хоть часть этого невещественнаго богатства, этой святой и не подлежащей никакому спору собственности? Въ такомъ случаѣ, не долженъ ли каждый добрый отецъ, изъ любви къ дѣтямъ, избрать лучше званіе ростовщика, чѣмъ служить вѣрой и правдою своему государю и отечеству?

— Да развѣ всѣ служатъ вѣрой и правдою?— прервалъ князь. — Развѣ не было вельможъ, которые сдѣлались вельможами, поступая всю жизнь вопреки чести и совѣсти?

— Правда, сударь, правда! Но вѣдь и богатство-то не всегда наживается честнымъ образомъ, а все-таки переходитъ въ наслѣдство къ дѣтямъ. Сынъ богача можетъ промотать свое наслѣдіе, сынъ знаменитаго человѣка можетъ обезчестить свое имя; слѣдовательно, и въ этомъ отношеніи они подвергаются равной участи; такъ позвольте же имъ, батюшка, и пользоваться равными выгодами, или скажите рѣшительно, что здравый смыслъ и логика—вздоръ, а правосудіе—старый предразсудокъ, потому что ваше мнѣніе о справедливости и равныхъ гражданскихъ правахъ совершенно имъ противорѣчатъ.

Лугинъ замолчалъ и преспокойно открылъ опять свою табакерку.

— Здравый смыслъ! здравый смыслъ! — шепталъ сквозь зубы князь, покачиваясь на своемъ стулѣ.—Эти господа вѣчно опираются на здравый смыслъ.

— Да на что же и опираться-то, ваше сіятельство?—прервалъ Лугинъ. — Опора хорошая,—не подломится.

— Да что такое здравый смыслъ? Вещь совершенно арбитрерная...

— То-есть условная, хотите вы сказать? Не думаю. Хоть и есть русская пословица: «что головъ, то умовъ», а я все-таки увѣренъ, что умъ одинъ.

— И я то же думаю,—сказалъ съ насмѣшливой улыбкою баронъ; — но, къ сожалѣнію, мы часто называемъ умомъ и здравымъ смысломъ то, что вовсе не умъ и не здравый смыслъ, а одинъ отголосокъ закоренѣлаго невѣжества и старыхъ предразсудковъ. Я увѣренъ, что если бы князь взялъ на себя трудъ поразвернуть эту идею, которая, по вашему мнѣнію, совершенно противорѣчитъ здравому смыслу, то, можетъ-быть, большинство голосовъ осталось бы не на вашей сторонѣ; еслибъ онъ сказалъ...

Тутъ баронъ началъ говорить съ такимъ увлекающимъ краснорѣчіемъ; исполненныя силы филантропическія выходки, пересыпанныя остротами фразы такъ быстро слѣдовали однѣ за другими, что не было никакой возможности отдѣлить ложь отъ истины. Все, что ни говорилъ баронъ, казалось, носило на себѣ отпечатокъ неподдѣльнаго чувства справедливости и душевнаго убѣжденія. Онъ обладалъ вполнѣ великой наукою, посредствомъ звучныхъ словъ и блестящихъ софизмовъ смѣшивать всѣ понятія, замѣнять идеи фразами, употреблять кстати слова: *человѣчество, просвѣщеніе, европеизмъ, требованія вѣка;* однихъ плѣнять этими модными словцами, другихъ удивлять новостью своихъ ученыхъ выраженій и вообще всѣхъ, если не убѣждать, то, по крайней мѣрѣ, сбивать съ толку. Говорятъ, что будто бы эта наука и теперь еще въ большомъ ходу. Быть-можетъ, только пора бы похоронить ее вмѣстѣ съ площадными шарлатанами, которые изъ *любви къ человѣчеству* лѣчатъ за деньги отъ всѣхъ болѣзней хлѣбными пилюлями и подкрашеной водою.

Я не стану повторять вамъ слова барона. Если вы читали французскихъ философовъ восемнадцатаго столѣтія, то не скажу вамъ ничего новаго; если жъ вы ихъ не читали, съ чѣмъ отъ всего сердца васъ поздравляю, то къ чему *засаривать* ваше воображеніе, зачѣмъ охлаждать душу софизмами этихъ мудрецовъ, которые, не умѣя создавать ничего, старались только разрушать и, отнимая у человѣка все — даже надежду — называли себя благодѣтелями и просвѣтителями рода человѣческаго... Шарлатаны! если бы, по крайней мѣрѣ, они продавали хлѣбныя пилюли и безвредную подкрашеную воду... Нѣтъ! они торговали ядомъ.

Закамскій слушалъ съ примѣтнымъ неудовольствіемъ барона; старикъ Лугинъ улыбался и покачивалъ головою; а я совершенно бы увлекся его краснорѣчіемъ, если бы по временамъ какое-то внутреннее чувство не убѣждало меня, что онъ говоритъ хотя и очень красно, но вовсе не добросовѣстно. Зато князь Двинскій и дамы были въ восторгѣ; первый потому, что баронъ взялъ его сторону, а другія по чувству, которое сродно всѣмъ женщинамъ—чувству благородному, но, къ несчастію, почти всегда безотчетному. Все, что съ перваго взгляда кажется высокимъ и прекраснымъ, найдетъ всегда отголосокъ въ ихъ сердцѣ. Онѣ не станутъ разби-

рать, можетъ ли общество существовать безъ власти и закона, могутъ ли быть всѣ люди съ равными правами и равнымъ богатствомъ; имъ какое дѣло до разстоянія, которое существуетъ и будетъ всегда существовать между человѣкомъ образованнымъ и невѣждою, между умнымъ и глупцомъ, дѣятельнымъ и лѣнивцемъ, сильнымъ и слабымъ: имъ скажутъ, что всѣ люди могутъ быть счастливы, что богатые и сильные не станутъ угнетать бѣдныхъ и слабыхъ, что всѣ будутъ равны, что это возможно, что для этого надобно только искоренить всѣ предразсудки, усыпить всѣ страсти, сравнять всѣ состоянія, измѣнить нравы, обычаи, законы, а остальное придетъ само собою. Имъ скажутъ это, и добрыя, чувствительныя женщины будутъ слушать съ восторгомъ этотъ философическій бредъ, потому что онъ обѣщаетъ блаженство всей вселенной, и, можетъ-быть, многимъ изъ нихъ не придетъ даже въ голову, что этотъ новый порядокъ вещей помѣшаетъ имъ ѣздить въ каретахъ и носить блондовыя платья.

— Да! — продолжалъ баронъ, оканчивая однимъ изъ своихъ краснорѣчивыхъ періодовъ. — Жанъ-Жакъ Руссо говоритъ то же самое въ своемъ безсмертномъ «Contrat social»: онъ сравниваетъ власть...

Тутъ баронъ вдругъ остановился, робко посмотрѣлъ вокругъ себя и всталъ.

— Что вы, баронъ?—вскричала хозяйка.

— Мнѣ что-то дурно... Извините, я не могу долѣе у васъ оставаться.

Въ самомъ дѣлѣ, на поблѣднѣвшемъ лицѣ барона замѣтно было какое-то болѣзненное ощущеніе; встревоженный взоръ его выражалъ испугъ. Онъ схватилъ торопливо свою шляпу.

— Не хотите ли одеколона? спирта?..— сказала заботливо Днѣпровская.

— Благодарю васъ!—прошепталъ баронъ, спѣша уйти изъ комнаны.—Это такъ! приливъ крови къ головѣ... Я чувствую, что мнѣ нуженъ свѣжій воздухъ... — Онъ прошелъ черезъ гостиную мимо хозяина такъ скоро, что тотъ не успѣлъ даже этого и замѣтить.

— Что это съ нимъ сдѣлалось?—сказалъ князь Двинскій:—ужъ не оттого ли, что онъ говорилъ съ такимъ жаромъ?..

— А что вы думаете?—прервалъ Лугинъ,— вѣдь можетъ быть. Я только слушалъ этого барона, а у меня голова закружилась.

— Какъ онъ уменъ! — сказала одна изъ гостей.

— Какой прекрасный тонъ! — прибавила другая.

— Какая начитанность, какое просвѣщеніе!—воскликнулъ князь.

— Да! онъ чрезвычайно какъ милъ!—присовокупила хозяйка.

— И, кажется, очень добрый человѣкъ,— сказалъ Лугинъ.—Какъ онъ хлопочетъ о томъ, чтобъ всѣ люди были счастливы. Дай Богъ ему здоровья!

— Онъ истинный космополитъ!—произнесъ торжественнымъ голосомъ князь.

— То-есть, гражданинъ вселенной!—прервалъ Закамскій.—Да этакъ жить-то ему очень легко: отечество требуетъ иногда большихъ жертвъ, а вся вселенная можетъ ли чего-нибудь требовать отъ одного человѣка?

— Какъ, Закамскій!—вскричалъ князь,— неужели по-твоему космополитизмъ...

— Ихъ два рода, мой другъ! — прервалъ Закамскій.—Одинъ духовный, другой земной. Первый ведетъ ко всему прекрасному; но эта чистая, безкорыстная любовь къ человѣчеству доступна только для сердца истиннаго христіанина, а, кажется, этимъ поклепать барона грѣшно. Другой, то-есть земной, общественный космополитизмъ есть не что иное, какъ холодный эгоизмъ, прикрытый сентиментальными фразами, и, воля твоя, князь, по моему мнѣнію, тотъ, кто говоритъ не въ смыслѣ религіозномъ, а философическомъ, что любитъ не человѣка, а *все человѣчество*, просто не любитъ никого.

Князь принялся было спорить съ Закамскимъ, но гость, который вошелъ въ диванную, помѣшалъ ихъ разговору. Я очень обрадовался, когда узналъ въ немъ перваго московскаго знакомца, Якова Сергѣевича Луцкаго.

— Здравствуйте, Надежда Васильевна! — сказалъ онъ хозяйкѣ. — Поздравляю васъ съ пріѣздомъ! Я сейчасъ проходилъ мимо вашего дома, увидѣлъ огни, и по этому только узналъ, что вы возвратились изъ чужихъ краевъ. Ну, что жъ, поправилось ли ваше здоровье?

— Да, я чувствую себя лучше,—отвѣчала вѣжливо, но очень холодно, Днѣпровская.

— Слава Богу! Здравствуй, Александръ Михайловичъ! — продолжалъ Луцкій, взявъ меня за руку. — Ты совсѣмъ меня забылъ.

Я извинился недосугомъ. Князь Двинскій кинулъ любопытный взоръ на Луцкаго и, вѣроятно, не найдя ничего смѣшного ни въ его наружности, ни въ платьѣ, весьма простомъ, но очень чистомъ и опрятномъ, не удостоилъ его дальнѣйшаго вниманія. Закамскій и Лугинъ оба были знакомы съ Яковомъ Сергѣевичемъ; первый видалъ его у меня, а второй служилъ съ нимъ нѣкогда въ одномъ полку. Они стали разговаривать, а я сѣлъ подлѣ хозяйки.

— Вы давно знакомы съ Луцкимъ?—спросила она вполголоса.

— Слишкомъ два года,—отвѣчалъ я.

— Онъ весьма хорошій человѣкъ; мой мужъ безъ памяти его любитъ... я и сама очень уважаю Якова Сергѣевича; но онъ такъ строгъ въ своихъ сужденіяхъ, такъ неумолимъ, когда онъ говоритъ о нашихъ страстяхъ и порокахъ; а порокомъ онъ называетъ все, даже

самыя извинительныя слабости, и сверхъ того требуетъ отъ насъ, бѣдныхъ женщинъ, такого невозможнаго совершенства, что — признаться ль вамъ? я не люблю, а боюсь его.

— Вы меня удивляете! Онъ самый снисходительный и кроткій человѣкъ.

— Ну, нѣтъ, не всегда. Впрочемъ, я не обвиняю его. Когда подъ старость человѣкъ перестанетъ жить сердцемъ, когда всѣ страсти его умираютъ, весьма натурально, что онъ становится строже, если не къ себѣ, то, по крайней мѣрѣ, къ другимъ. Онъ думаетъ, что можно подчинить сердце разсудку, потому что его собственное сердце давно уже перестало биться для любви. Если бъ всѣ старые люди почаще вспоминали про свою молодость, то были бъ къ намъ гораздо снисходительнѣе; но эти строгіе моралисты такъ безпамятливы... А, кстати о памяти! — прибавила Надина, опустивъ книзу свои длинныя рѣсницы;—вы, кажется, не можете на нее пожаловаться: вы вспомнили, что тому назадъ почти три года...

— Мы встрѣтились съ вами около Москвы на большой дорогѣ? Да развѣ я могъ это забыть, Надежда Васильевна?

Днѣпровская взглянула на меня такъ мило, что показалась мнѣ еще во сто разъ лучше прежняго.

— Я узнала васъ съ перваго взгляда, — шепнула она вполголоса;—но, кажется, вы...

— О, повѣрьте, и я также!

Я солгалъ, и, конечно, эта ложь была не *во спасеніе*; но мнѣ было двадцать лѣтъ, а Надина была такъ прекрасна! Ея черные, пламенные глаза смотрѣли на меня такъ ласково, съ такимъ робкимъ ожиданіемъ... Ну, воля ваша! а эта первая ложь, право, была извинительна.

— Что, Александръ Михайловичъ,— сказалъ Луцкій, подойдя ко мнѣ,—что пишутъ тебѣ изъ деревни? Здорова ли твоя невѣста?

— Невѣста!—подхватила Днѣпровская.

— А вы этого не знали, Надежда Васильевна? Александръ Михайловичъ помолвленъ.

— Здравствуй, Яковъ Сергѣевичъ! — закричалъ хозяинъ, входя въ диванную:—здравствуй, другъ сердечный! — продолжалъ онъ, обнимая Луцкаго. — Извини, что я не прислалъ сказать тебѣ,—самъ хотѣлъ пріѣхать. Ну, что, какъ ты находишь Надину? Ей воды, кажется, помогли? — Да что это, Наденька, тебѣ опять дурно? Ты такъ блѣдна, мой другъ!.. Что это такое?.. Въ другой разъ сегодня.

— Нѣтъ, я чувствую себя хорошо,—сказала Днѣпровская.

— То-то хорошо! Охъ, эти балы!.. Ну, Яковъ Сергѣевичъ, разскажи-ка мнѣ, что ты безъ насъ дѣлалъ? Какъ поживаешь? Да пойдемъ въ гостиную: здѣсь тѣсно.

Хозяинъ увелъ съ собою Луцкаго.

— Вы помолвлены, Александръ Михайловичъ? — сказала Днѣпровская. — Можно ли спросить, на комъ?

— На Марьѣ Михайловнѣ Бѣлозерской.

— Дочери вашего опекуна? Я думала, что она еще ребенокъ.

— Да! она очень молода.

— А, понимаю! эта свадьба по расчету?

— И по любви,—хотѣлъ я сказать громко, во услышаніе всѣмъ; но проклятый языкъ мой какъ будто бы не хотѣлъ повернуться.

— Да это такъ и быть должно,—продолжала Днѣпровская: — въ ваши года можно жениться только по какимъ-нибудь семейнымъ причинамъ... Впрочемъ, это можетъ-быть и по страсти... Вы, вѣрно, влюблены?

— Мы росли и воспитывались вмѣстѣ.

— Я не о томъ васъ спрашиваю... Вы очень любите вашу невѣсту?

— Какъ родную сестру,—отвѣчалъ я, стараясь не покраснѣть.

Вотъ ужъ эта вторая ложь была гораздо хуже первой; она, какъ тяжелый камень, легла мнѣ на душу.—Такъ зачѣмъ же вы солгали?—спросятъ меня читатели.—Зачѣмъ? Вотъ то-то и дѣло, что мы, господа мужчины, почти всѣ такія же кокетки, какъ и женщины. Мы часто желаемъ нравиться не потому, что любимъ сами, а изъ одного ничтожнаго самолюбія. Въ женщинахъ мы называемъ это самолюбіе кокетствомъ и ужасно на него нападаемъ, а сами... Да что и говорить! мы и въ этомъ отношеніи ничѣмъ ихъ не лучше. Конечно, не всякій изъ насъ, любя искренно одну, увѣрять въ томъ же станетъ другую; но также и не всякій рѣшится сказать прекрасной женщинѣ, а особливо, если она смотритъ на него ласково:—да, точно! я люблю, но только не васъ!

Мой разговоръ съ Днѣпровскою не долго продолжался: къ намъ въ диванную пришла музыкантша-графиня, которая кончила свою партію въ рокамболь. Она завладѣла хозяйкою; потомъ разговоръ сдѣлался общимъ, и когда всѣ пошли ужинать, я уѣхалъ потихоньку домой.

V.

Вечеръ у барона Брокена.

На другой день, вспоминая объ этомъ вечерѣ, я рѣшительно былъ недоволенъ самимъ собою. Что за вздоръ! — думалъ я, стараясь какъ-нибудь себя оправдать: — неужели мнѣ должно объявлять всякому, что я влюбленъ въ Машеньку? Пусть думаютъ себѣ, что я люблю ее просто какъ родственницу; что нужды до этого, когда въ самомъ-то дѣлѣ я не промѣняю ее на тысячу Днѣпровскихъ... Однако жъ какіе прекрасные глаза у этой Надины!.. Какая очаровательная улыбка!.. Ахъ, Машенька, Машенька! какъ я люблю тебя!..

Да! эта Днѣпровская очень мила... чрезвычайно мила!.. Она вовсе не пара своему мужу... Неужели въ самомъ дѣлѣ баронъ правъ?.. Не можетъ быть!.. Нельзя жъ съ перваго раза... нѣтъ, нѣтъ... я даже и нравиться не хочу никому, кромѣ Машеньки... Ну, а если это правда?.. Боже сохрани!.. Конечно, я могу предложить ей мою дружбу... дружбу!.. ну, да... какъ будто бы нельзя быть другомъ женщины, потому что она хороша собою?.. А если эту дружбу назовутъ другимъ именемъ? Если вздумаютъ сказать... Нѣтъ, нѣтъ... всего лучше, не стану къ нимъ часто ѣздить... вотъ такъ, одинъ или много два раза въ мѣсяцъ; буду обращаться съ ней очень вѣжливо, очень холодно... А надобно сказать правду, она необыкновенно любезна!.. Эхъ, Боже мой! зачѣмъ баронъ познакомилъ меня съ этимъ Днѣпровскимъ!

Баронъ, какъ видно, былъ очень легокъ на поминѣ: онъ вошелъ въ мою комнату.— Что съ вами сдѣлалось вчера? — спросилъ я моего гостя.

— Такъ, кровь бросилась въ голову: это часто со мной случается. Ну, что? какъ вы провели ночь? Я не спрашиваю, что вы видѣли во снѣ...

— Право, ничего.

— Неужели? И вамъ ни разу не приснилась Днѣпровская?

— Ни разу.

— Жестокій человѣкъ!

— Эхъ, полноте, баронъ!

— Какъ полноте? Что вы? Да это ни на что не походитъ! Вотъ мѣсяца черезъ два я позволяю вамъ не видѣть ее во снѣ; но теперь, при самомъ началѣ романа...

— Да съ чего вы взяли?..

— Съ чего? Спросите объ этомъ у Двинскаго. Бѣдный малый въ отчаяніи; вы его совсѣмъ раздавили, уничтожили... Однако жъ, послушайте: если вы не видѣли Днѣпровской во снѣ, такъ не хотите ли съ нею на яву сегодня отобѣдать?

— Нѣтъ, баронъ; я, не могу сегодня.

— Такъ завтра?

— И завтра нельзя.

— Когда же вамъ будетъ можно?

— Право, не знаю. Можетъ-быть, недѣли черезъ двѣ.

— Черезъ двѣ недѣли?.. Скажите мнѣ, Александръ Михайловичъ, что это ужъ такъ водится у васъ въ Россіи?

— Что такое?

— Да то, что если молодой человѣкъ понравится прекрасной и милой женщинѣ, то не онъ, а она должна искать случая съ нимъ видѣться.

— Вы шутите, баронъ!

— Право? А если я докажу вамъ! — продолжалъ баронъ, подавая мнѣ письмо, которое я сообщилъ уже моимъ читателямъ въ концѣ первой части моего разсказа. — Вы знаете этотъ почеркъ?

— Нѣтъ.

— Такъ я вамъ скажу: это писано рукою Днѣпровской, и чтобъ вы не могли сомнѣваться въ истинѣ моихъ словъ, прочтите его. Ну,—прибавилъ баронъ, давъ мнѣ время прочесть письмо,—что вы скажете теперь?

— Ничего. Если это письмо точно писано Днѣпровскою, то почему жъ вы думаете, что я тотъ идеалъ...

— Съ которымъ она третьяго года встрѣтилась на большой дорогѣ?—подхватилъ баронъ. — Кажется, Днѣпровская говорила съ вами вчера при мнѣ объ этой встрѣчѣ?

— Все это быть можетъ,—прервалъ я; — но это было давно; она была тогда почти ребенкомъ и, вѣроятно, теперь думаетъ не то, что думала прежде.

— Да, это замѣтно, — сказалъ баронъ съ насмѣшливою улыбкою:—она почти упала въ обморокъ, когда васъ увидѣла, конечно, оттого, что ваша наружность не сдѣлала на нее никакого впечатлѣнія. Она во весь вечеръ смотрѣла только на васъ и говорила только съ вами, вѣроятно, потому, что вы вовсе ей не понравились...

— Все это ничего не доказываетъ, баронъ; но если бъ въ самомъ дѣлѣ я имѣлъ несчастіе понравиться Днѣпровской...

— Несчастіе!..

— То ужъ, конечно, не я сталъ бы искать случая съ нею встрѣтиться.

— Ну, — прервалъ баронъ, — на вашемъ мѣстѣ французъ былъ бы гораздо вѣжливѣе. Теперь я вижу, вы настоящій русскій.

— И вовсе не жалѣю объ этомъ.

— Какъ жалѣть! Вы, я думаю, этимъ гордитесь!—Насмѣшливый тонъ барона зацѣпилъ за живое мое національное самолюбіе.

— Да, баронъ, горжусь! — сказалъ я:—и что тутъ страннаго? Я увѣренъ, вы также любите свое отечество.

— Отечество? Какое?

— А развѣ у васъ ихъ два?

— Можетъ быть и больше. Да что такое отечество? Отечество умнаго человѣка тамъ, гдѣ ему хорошо.

Я покраснѣлъ отъ досады.

— Если это справедливо, баронъ, — сказалъ я, помолчавъ нѣсколько времени, — то вы заставите меня ненавидѣть умъ.

— Полноте, что вы! ему, бѣдному, и отъ глупцовъ порядкомъ достается! Да скажите мнѣ, что такое отечество? Ваши пріятели, друзья? Вы ихъ можете имѣть вездѣ. Родные? Да отъ нихъ иногда не знаешь куда дѣваться. Вотъ, напримѣръ, князь Двинскій хочетъ уѣхать изъ Москвы отъ того, что у него здѣсь двое дядей, три тетки и пятнадцать кузинъ. Итакъ ваше отечество—земля, на которой вы живете? Поздравляю! Слѣдовательно вы должны любить голыя степи,

всегда непостоянную погоду, вьюги, снѣжные бугры, морозъ въ тридцать градусовъ. Вѣдь все это ваше отечество? Конечно, о вкусахъ спорить нечего; быть-можетъ, вамъ очень пріятно зимою отмораживать носъ, не смѣть лѣтомъ выѣхать въ дорогу безъ шубы, въ маѣ мѣсяцѣ любоваться на голыя деревья, а въ августѣ на желтые листья—все это прекрасно; но за что жъ вы *обязаны* любить это даже и тогда, когда вамъ это не нравится? Ужъ не потому ли, что вы имѣли несчастіе родиться въ Россіи, а не въ Италіи? Такъ не смѣйтесь надъ камчадаломъ, если онъ предпочитаетъ всѣмъ ароматамъ востока запахъ вонючей рыбы и не хочетъ никакъ промѣнять свою землянку на ваши мраморныя палаты.

На этотъ разъ краснорѣчивые софизмы барона не сдѣлали на меня никакого впечатлѣнія.—Ваше опредѣленіе совершенно несправедливо,—сказалъ я.—Перенесите всѣхъ русскихъ съ ихъ нравами, языкомъ, обычаями и вѣрою въ другую часть свѣта, и она сдѣлается моей родиною. Слѣдовательно, я признаю отечествомъ не землю, не поля, не лѣса, не рѣки, а это собраніе людей, которое мы называемъ народомъ, и который я люблю потому, что онъ исповѣдуетъ одну со мной вѣру, говоритъ однимъ языкомъ, повинуется одной власти, потому что его слава и могущество веселятъ, а бѣдствія и униженіе сокрушаютъ мое сердце. Пріятелей и друзей можно найти вездѣ—это правда; но найду ли я на чужой сторонѣ людей, съ которыми провелъ всю жизнь мою, которыхъ дружба ко мнѣ началась съ самаго ребячества, съ которыми я могу и на краю гроба вспоминать о своей молодости. Не всѣ дяди и тетки надѣдаютъ своимъ племянникамъ. Князь Двинскій хочетъ бѣжать изъ Москвы отъ своихъ родныхъ, а я убѣжалъ бы для того, чтобъ навсегда остаться жить вмѣстѣ съ моими. Вы всѣ, господа иностранцы, говорите только о нашихъ *ледяныхъ степяхъ*, какъ будто бы у насъ, кромѣ льда и степей, ничего нѣтъ; вы думаете, что мы круглый годъ живемъ по уши въ снѣгу. Конечно, большая часть Россіи не можетъ похвалиться своимъ климатомъ; однако жъ, и у насъ солнышко иногда проглядываетъ и розаны цвѣтутъ не въ однѣхъ оранжереяхъ. Отморозить носъ точно такъ же непріятно, какъ и задохнуться отъ жара; но я думаю, никто не обязанъ находить это хорошимъ, никто не заставляетъ англичанъ любить ихъ вѣчные туманы, римлянъ заразительный воздухъ ихъ окрестностей, неаполитанцевъ разрушительныя изверженія Везувія, испанцевъ нестерпимый лѣтній зной, а жителей Перувіи безпрерывныя землетрясенія и ураганы. Они точно такъ же на это жалуются, какъ мы жалуемся на свои вьюги и морозы.

— Съ тою только разницею, — прервалъ баронъ,—что у нихъ есть вознагражденія: у однихъ роскошная природа, у другихъ науки, художества, просвѣщеніе; но тамъ, гдѣ все сряду дурно...

— То-есть у насъ?

— Я не виноватъ, Александръ Михайловичъ, вы сами откликнулись. Да къ тому жъ я повторяю только слова вашихъ единоземцевъ. Я тысячу разъ слышалъ это не только за границею, но даже здѣсь, въ Москвѣ, и могу васъ увѣрить, что это говорятъ не мужики, не безграмотные, а люди воспитанные...

— Иностранцами! Да, баронъ, къ несчастію, это правда; я самъ встрѣчалъ людей, изъ которыхъ одни не хотятъ, а другіе не смѣютъ сказать добраго слова о своемъ отечествѣ; ихъ такъ запугали, бѣдняжекъ, что они не вѣрятъ собственнымъ своимъ чувствамъ и даже не смѣютъ наслаждаться, если предметъ или причина этого наслажденія не привезена изъ чужихъ краевъ, а родилась и образовалась въ ихъ отечествѣ.

— Такъ что жъ?—сказалъ съ насмѣшливою улыбкою баронъ:—вы, русскіе, народъ набожный и, можетъ-быть, дѣлаете это по чувству смиренія.

— Нѣтъ, баронъ! Чувство, которое мертвитъ и убиваетъ возникающій талантъ, обдаетъ холодомъ пламенную душу художника и поэта, это чувство не можетъ проистекать изъ чистаго источника. Безотчетное пристрастіе ко всему иноземному, желаніе не быть, а казаться только просвѣщеннымъ, глупость и невѣжество, вотъ основныя причины этой явной несправедливости, не всѣхъ—Боже сохрани отъ этого!—но, къ сожалѣнію весьма многихъ, ко всему тому, что принадлежитъ намъ — намъ однимъ — безъ всякаго раздѣла съ другими народами.

— Послушайте, Александръ Михайловичъ,—сказалъ баронъ.—Вы человѣкъ умный, образованный, такъ съ вами говорить можно. Ну, будьте справедливы, скажите, что жъ такое принадлежитъ вамъ однимъ?.. Старые предразсудки, ненависть къ просвѣщенію, фанатизмъ, суевѣріе..

Эти слова возмутили мою русскую душу: въ ней пробудились чувства справедливости и негодованія, усыпленныя сладкими рѣчами барона.—Вы ошибаетесь, — сказалъ я;—мы ненавидимъ не просвѣщеніе, а то, что вы называете просвѣщеніемъ; мы не возстанемъ противъ законной власти, не превращаемъ публичныхъ танцовщицъ въ богинь разума, церквей въ конюшни и театры: не хвастаемъ своимъ безвѣріемъ, не стараемся закидать грязью небеса—нѣтъ, баронъ! благодаря Бога, народъ русскій вѣруетъ, народъ русскій любитъ царей своихъ! Онъ вѣритъ, что всякая власть отъ Господа, потому что вѣрить словамъ Спасителя.

Лицо моего гостя вытянулось на цѣлый аршинъ. Я продолжалъ.

— Да, баронъ! Мы не покинули еще ста-

рой привычки, въ радости благодарить Бога, въ горѣ прибѣгать къ Нему съ молитвою; мы думаемъ, что безъ религіи нѣтъ просвѣщенія и, несмотря на примѣръ вашей просвѣщенной Франціи, увѣрены, что не палачи, а одно время и общее мнѣніе могутъ искоренять предразсудки. Если все это, баронъ, по вашему невѣжество, такъ дай Богъ, чтобъ мы его никогда не промѣняли на ваше просвѣщеніе.

Въ жару разговора я не замѣчалъ, что баронъ совсѣмъ измѣнился въ лицѣ: глаза его сверкали, но щеки были такъ блѣдны и всѣ черты выражали такое тревожное, болѣзненное состояніе, что я испугался.—Вы, кажется, нездоровы?— вскричалъ я.—Что съ вами?

— Ничего!—прошепталъ баронъ, закрывая платкомъ лицо.—Пройдетъ!.. Я вижу, мнѣ должно непремѣнно пустить кровь... Вотъ и прошло! Знаете что, Александръ Михайловичъ? Будемте впередъ говорить о чемъ-нибудь другомъ: отъ этихъ философическихъ диспутовъ у меня всегда кровь бросается въ голову. Да и къ чему намъ спорить? У каждаго свой взглядъ: вы видите вещи однимъ образомъ; я другимъ. Ну, что? скажите мнѣ: вы рѣшительно не ѣдете со мною къ Днѣпровской?

— Право, не могу.

— Такъ пріѣзжайте сегодня вечеромъ ко мнѣ. Я встрѣтилъ здѣсь много карлсбадскихъ знакомыхъ; они почти всѣ иностранцы, и я хочу дать имъ послушать вашихъ московскихъ цыганъ. Мы поужинаемъ, выпьемъ шампанскаго, не станемъ говорить о политикѣ и, право, проведемъ время очень весело.

Я далъ слово барону. Онъ пробылъ со мною около часа, разсказывалъ мнѣ о своихъ путешествіяхъ, и между прочимъ весьма много объ Испаніи, въ которой, по его словамъ, онъ прожилъ болѣе двухъ лѣтъ. Говоря объ окрестностяхъ Гранады, онъ плѣнилъ меня своимъ піитическимъ воображеніемъ. И подлинно, нельзя было не дивиться жизни, съ которою баронъ описывалъ этотъ земной рай, эти вѣчно голубыя небеса счастливой Андалузіи. Слушая его мнѣ казалось, что я гуляю вмѣстѣ съ нимъ по очаровательнымъ садамъ Хенералифа и любуюсь великолѣпными остатками роскошной Альгамбры. Баронъ простился со мною, заставивъ меня повторить снова обѣщаніе пріѣхать къ нему вечеромъ.

Я отправился къ нему часу въ восьмомъ. Въ прежнихъ комнатахъ барона дожидался меня жокей, съ которымъ я былъ уже знакомъ. Онъ попросилъ меня на дурномъ французскомъ языкѣ идти вслѣдъ за нимъ, и сказалъ мнѣ дорогою, что его господинъ перемѣнилъ квартиру и занимаетъ теперь почти весь бельэтажъ венеціанскаго дома. Въ передней встрѣтили меня двое слугъ въ богатыхъ ливреяхъ, а въ залѣ и у дверей всѣхъ гостиныхъ стояли офиціанты... Меня поразило великолѣпное убранство комнатъ. Бронзы, зеркала, картины, мраморныя статуи, все было очаровательно. Я не могъ также не замѣтить, что сюжеты картинъ и мраморныхъ группъ были всѣ безъ исключенія *болѣе* чѣмъ анакреонтическіе. Баронъ ожидалъ меня въ угольной комнатѣ; онъ сидѣлъ на турецкомъ отоманѣ, обитомъ какой-то восточной тканью; подлѣ него, на малахитовомъ столикѣ, изъ серебряной жаровни, клубился благовонный дымъ, а въ широкомъ зеркалѣ, которое занимало почти всю стѣну надъ диваномъ, отражался тусклый хрустальный шаръ, который, опускаясь съ потолка, отдѣленнаго палаткою, освѣщалъ всю комнату.

— Что это, баронъ!—сказалъ я.—Какое великолѣпіе! Какая роскошь!

— Да, эти комнаты довольно опрятны,— отвѣчалъ баронъ, пожимая мою руку.—Садитесь, Александръ Михаиловичъ, вотъ здѣсь, подлѣ меня.

— Неужели онѣ были всегда такъ убраны?—спросилъ я.

— О, нѣтъ! я отдѣлалъ ихъ на мой счетъ.

— Да когда же? помилуйте!.. Когда же вы успѣли?.. Ну, право, это волшебство!

— А что вы думаете?—прервалъ съ улыбкою баронъ,—быть-можетъ.

— Откуда взялись эти картины, мраморы?..

— Изъ вашихъ мѣняльныхъ лавокъ, а остальное изъ магазиновъ. Я не зналъ прежде, долго ли проживу въ Москвѣ, и для того не хотѣлъ заводиться домомъ; но теперь это дѣло рѣшенное: я остаюсь у васъ, по крайней мѣрѣ, на годъ. Сегодня назвались ко мнѣ гости, а въ томъ числѣ и дамы...

— Какъ дамы?—вскричалъ я.—Что жъ вы не сказали? Я въ сюртукѣ.

— Ничего! Вѣдь это не ваши чопорныя русскія барыни. Я не хотѣлъ принять ихъ въ старой моей квартирѣ, и вотъ, какъ видите, въ два дня довольно порядочно отдѣлалъ эти комнаты. Надобно сказать правду, у васъ въ Москвѣ можно найти все, конечно вчетверо дороже, чѣмъ гдѣ-нибудь; но я не слишкомъ хлопочу о деньгахъ. Меня гораздо болѣе пугала мысль, что въ Россіи мнѣ не на что будетъ ихъ тратить.

Нашему разговору помѣшалъ пріѣздъ гостей. Черезъ четверть часа, когда ихъ собралось человѣкъ десять, мы перешли въ гостиную. Сначала хозяинъ знакомилъ меня съ своими пріятелями; но подъ конецъ онъ едва успѣвалъ самъ сказать по нѣсколько словъ, съ каждымъ вновь пріѣзжающимъ гостемъ. Въ числѣ ихъ было пять итальянцевъ, почти столько же англичанъ, два или три нѣмца и, кажется, двое русскихъ, а остальные все французы. Всѣ они, казалось, принадлежали къ хорошему обществу, всѣ, даже англичане, говорили самымъ чистымъ французскимъ языкомъ; но изъ всѣхъ этихъ различныхъ физіо-

номій, не было ни одной, которая пришлась бы мнѣ по-сердцу. Многіе изъ гостей были весьма замѣчательной наружности; нѣкоторые могли даже назваться красавцами, и у всѣхъ глаза блистали умомъ; но что-то лукавое и предательское проглядывало почти на всѣхъ лицахъ. Меня особенно поразила физіономія одного молодого человѣка: вдохновенный и вмѣстѣ мрачный взглядъ, исполненная презрѣнія улыбка, и спокойствіе, похожее на ту минутную тишину, которая такъ страшна для мореходца, которая, какъ предтеча бури, возвѣщаетъ гибель и смерть—все выражалось съ такою силою на его блѣдно-мраморномъ челѣ, въ его мощныхъ огненныхъ взорахъ что я не могъ скрыть моего любопытства и спросилъ о немъ у хозяина.

— Ага!—сказалъ баронъ,—вы замѣтили, необычайную физіономію этого поэта?

— Такъ онъ стихотворецъ?

— Да, стихотворецъ; но только не приторный Расинъ, не щеголеватый Вольтеръ, не жеманный Попе, не правовѣрный Клопштокъ, и, конечно, не вашъ физикъ-поэтъ или поэтъ-физикъ Ломоносовъ; вдохновенный пѣвецъ, грозный какъ бурное море, неумолимый врагъ всѣхъ предразсудковъ и дѣтскихъ надеждъ человѣка, пѣвецъ неукротимыхъ страстей и буйнаго отчаянія, готовый на развалинахъ міра пропѣть послѣднее проклятіе тому, что мы называемъ жизнію. О, если бы вы знали, сколько энергіи въ этой необычайной душѣ, съ какой силою срываетъ онъ покровъ съ горькой истины, какъ убиваетъ все счастье, всю надежду въ сердцѣ человѣка...

— Что вы, что вы, баронъ?—прервалъ я почти съ ужасомъ;—да вы описали мнѣ падшаго ангеля, Мильтонова сатану...

— И, полноте! Сатана Мильтона почти набожная старушка предъ этимъ гигантомъ. Я вамъ предсказываю: онъ создастъ новый міръ поэзіи, и когда мощный голосъ его раздастся по всей Европѣ...

— А онъ еще не раздавался?

— О, нѣтъ еще! Никто, кромѣ меня, не знаетъ его стиховъ; этотъ секретъ между имъ и мною. Ему торопиться нечего. Теперь, быть можетъ, его поймутъ въ одной Франціи; а для его генія нуженъ просторъ.

— Дай Богъ, чтобъ ему не было никогда просторно. А какъ зовутъ его?

— Его зовутъ,—сказалъ баронъ вполголоса,—или, лучше сказать, его будутъ звать... Но, извините!.. я вижу, пріѣхали дамы...

VI.

Московскіе цыгане.

Баронъ побѣжалъ навстрѣчу къ двумъ молодымъ женщинамъ. Одна изъ нихъ была виднаго роста, другая цѣлой головою ниже; одна высока и стройна, какъ пальма, другая воздушна и легка, какъ бабочка. Правильныя и даже нѣсколько рѣзкія черты лица первой, черные какъ смоль локоны, которые падали на ея атласныя плечи, глаза томные и какъ будто бы усталые, но которые при встрѣчѣ съ вашими готовы были вспыхнуть и прожечь ваше сердце,—все изобличало въ ней пламенную итальянку; можно было побиться объ закладъ, что въ порывѣ страсти она не остановится и умереть за своего любовника, и зарѣзать его собственною рукою. Вторая—прелестная блондинка съ голубыми глазами, которые блистали веселостію и умомъ; она была такъ граціозна, такъ плѣнительно улыбалась и такъ ловко показывала свою ножку, обутую почти въ дѣтскій башмачекъ, что не было никакой возможности ошибиться и не узнать въ этой милой шалуньѣ очаровательную парижанку. Обѣ онѣ одѣты были по послѣдней тогдашней модѣ, то-есть *раздѣты* немного поболѣе нынѣшнихъ балетныхъ танцовщицъ. Когда эти дамы вошли въ гостиную, почти всѣ мужчины окружили ихъ; каждый торопился сказать имъ что-нибудь пріятное, кромѣ поэта и одного рослаго итальянца, который, сидя за огромнымъ круглымъ столомъ, строилъ пирамиды изъ имперіаловъ. Не прошло пяти минутъ, какъ вся эта толпа любезниковъ отхлынула отъ красавицъ и помѣстилась вокругъ стола: итальянецъ началъ метать банкъ. Хозяинъ подвелъ меня къ дамамъ, которыя вдругъ осиротѣли, какъ оставленныя Дидоны.

— Рекомендую вамъ моего пріятеля,—сказалъ баронъ, — онъ не играетъ въ карты и будетъ вашимъ кавалеромъ. Синьора Карини! — продолжалъ онъ, обращаясь къ итальянкѣ, — мой пріятель не любитъ или, лучше сказать, не понимаетъ итальянской музыки: обратите его на путь истинный; а вы, мамзель Виржини, постарайтесь ему вскружить голову, только я говорю впередъ, это не легко: онъ помолвленъ и влюбленъ до безумія въ свою невѣсту.

Синьора Карини взглянула на меня такъ быстро, что, казалось, хотѣла опалить своимъ взглядомъ; а мамзель Виржини захохотала, какъ рѣзвое дитя, и, указывая на канапе, сказала:—Садитесь здѣсь! Вотъ такъ—между нами.

— Какъ вы хорошо дѣлаете, что не играете въ карты,—шепнула итальянка.—Посмотрите на этихъ игроковъ: походятъ ли они на людей? Съ какою жадностью смотрятъ они на эти кучи золота! Это ихъ божество, ихъ идолъ!

— Не правда ли, — прервала съ улыбкою Виржини,—есть идолы, которымъ поклонятся гораздо пріятнѣе?

— Не поклоняться, а любить, какъ любятъ въ Италіи,—сказала синьора Карини.

— Да! по вашему, — подхватила француженка,—съ кинжаломъ въ рукахъ? Фи! я ненавижу эту африканскую любовь. Французы боготворятъ женщинъ, а мы дѣлаемъ ихъ счастливыми и всегда разстаемся друзьями. Будетъ съ насъ и того, что мы твердили безпрестанно: «свобода или смерть»; если-бъ вмѣсто этого стали говорить: «вѣчная любовь или смерть», то я ушла-бъ на край свѣта, въ Америку, въ Сибирь!.. Да, да въ Сибирь; и хоть это снѣжное царство должно быть настоящимъ адомъ...

— Оно превратится въ рай, когда вы будете въ немъ жить.—Эта пошлая вѣжливость невольно сорвалась у меня съ языка.

— Вы очень любезны! Но, что я говорю? Я совсѣмъ забыла, что вы любите свою невѣсту и вѣрно хотите любить ее вѣчно?

Не знаю почему, но мнѣ вовсе не хотѣлось говорить о Машенькѣ съ этими бойкими красавицами; вмѣсто отвѣта я улыбнулся.

— О, я вижу, баронъ хотѣлъ пошутить надъ нами!—продолжала француженка.

— Я была въ этомъ увѣрена, — прервала синьора Карини. — Невѣста почти жена; а жена и любовь, какъ я ее понимаю, могутъ ли имѣть что-нибудь общаго между собою? Любить болѣе своей жизни, любить на краю могилы, и до послѣдняго вздоха не признавать ничего, кромѣ любви, мбжно только тогда, когда и насъ точно такъ же любятъ. А что такое женитьба? Какую жертву приноситъ дѣвушка, выходя за васъ замужъ? Вы прекрасный мужчина и будете вѣчно принадлежать ей; она отнимаетъ васъ у всѣхъ женщинъ и пристроитъ себя къ мѣсту—прекрасное доказательство любви! Да почему вы знаете, быть-можетъ, и малѣйшая жертва показалась бы ей непреодолимымъ препятствіемъ; быть-можетъ, она отдаетъ вамъ свою руку потому только, что вы прежде другихъ за нее посватались? Она будетъ вамъ вѣрна—да это ея обязанность; она станетъ любить васъ—да за это превознесутъ ее похвалами, какъ добродѣтельную женщину. Нѣтъ! пусть она не измѣняетъ вамъ, несмотря на убѣжденія родныхъ, на слезы отца и матери, пусть любитъ даже и тогда, когда весь міръ назоветъ эту любовь преступленіемъ... О, тогда и я позволю вамъ любить ее вѣчно и не замѣчать, что есть другія женщины на свѣтѣ!

— Ахъ, ma chère! вы меня пугаете!— вскричала Виржини.—Не слушайте ее,—продолжала она, обращаясь ко мнѣ; — эта бѣшеная любовь хороша только въ трагедіяхъ. Усыпать свой путь цвѣтами, ни на чемъ не останавливаться, а *скользить* по жизни и стараться, срывая розу, не уколоть себя шипами—вотъ философія французовъ, и, повѣрьте, она, право, лучше всякой другой.

Официантъ подалъ намъ на золоченомъ подносѣ въ хрустальныхъ бокалахъ ароматическій ананасный пуншъ. Дамы отказались; я послѣдовалъ ихъ примѣру.

— Что это вы не пьете? — вскричала Виржини.

— Боюсь опьянѣть еще болѣе,—отвѣчалъ я съ улыбкою.

— Такъ что-жъ? Тѣмъ лучше: вы будете откровеннѣе. Возьмите.

— Я никогда не пью пунша.

— Такъ начните.

— Хоть вмѣстѣ съ нами, — сказала итальянка.

Обѣ дамы взяли по бокалу.

— Попробуйте теперь спросить стаканъ воды, — шепнула Виржини, погрозивъ мнѣ своимъ розовымъ пальчикомъ.

Я выпилъ мой стаканъ пунша и долженъ былъ выпить еще другой, чтобъ помочь моимъ сосѣдкамъ, которыя подѣлились межъ собой однимъ бокаломъ. Мы не опьянѣли, но я сдѣлался гораздо развязнѣе и смѣлѣе, а мои дамы несравненно ласковѣе. Виржини задирала свою пріятельницу, шутила со мною и безпрестанно смѣялась, чтобъ показать свои жемчужные зубы. Огненные взоры итальянки становились часъ-отъ-часу нѣжнѣе. Сначала она призналась, что ревность чувство непріятное, что можно разстаться съ своимъ любовникомъ, не зарѣзавъ ни его, ни себя; а подъ конецъ согласилась съ француженкою, что любовь становится блаженствомъ и счастьемъ нашей жизни тогда только, когда она свободна, какъ воздухъ, и прихотлива, какъ дитя. Нашъ разговоръ дѣлался ежеминутно живѣе; обѣ мои сосѣдки старались очаровать меня, обѣ онѣ были очень милы, и, признаюсь, если я не пускался еще въ любовныя объясненія, то это потому, что не могъ рѣшить, которая изъ нихъ мнѣ болѣе нравится.

Межъ тѣмъ игра кончилась; хозяинъ подошелъ къ намъ.—Вы много выиграли?—спросила его Виржини?

— О, конечно, много! — отвѣчалъ баронъ.—Всѣ понтеры остались безъ копѣйки, а я ничего не проигралъ.

— Да кто же выигралъ?

— Разумѣется, кавалеръ Казанова. Развѣ онъ умѣетъ проигрывать?

— Всегда, когда играю съ милыми женщинами,—сказалъ, подойдя къ намъ, высокій итальянецъ.

— Право?—вскричала француженка,—вы до такой степени любезны?..

— Вольно жъ вамъ было не понтировать, мамзель Виржини? Вы испытали бы это на самомъ дѣлѣ.

— Какъ мнѣ жаль, Казанова, что вы игрокъ! — сказала синьора Карини. — Эта страсть когда-нибудь васъ погубитъ.

— Что-жъ дѣлать! — отвѣчалъ итальянецъ. — Я люблю всѣ сильныя ощущенія, люблю, чтобъ сердце мое замирало, и одна

азартная игра, эта адская забава, производитъ еще какое-то впечатлѣніе на мои чувства. Ахъ, синьорина! они вовсѣ притупились подъ свинцовой кровлею венеціанской тюрьмы.

Мнѣ давно хотѣлось взглянуть на этого Казанову, который пожаловалъ самъ себя въ кавалеры, вѣроятно потому, что вѣжливые французы зовутъ отъявленныхъ плутовъ «кавалерами промышленности» (chevaliers d'industrie)! Этотъ картежный шулеръ и патентованный воръ, всегда готовый стрѣляться на двухъ шагахъ за *честь свою*, былъ очень видный мужчина; но въ жизнь мою я не видалъ лица наглѣе и безстыднѣе. Онъ не только у насъ въ Россіи, гдѣ ужъ привыкли баловать иностранцевъ, но вездѣ умѣлъ втираться въ хорошее общество, всѣхъ обыгрывать, сыпалъ деньгами, и о дружескихъ связяхъ своихъ съ знатными людьми и королями говорилъ съ такой неподражаемой простотою, что добрые москвичи не смѣли даже и усомниться въ истинѣ его словъ. По желанію дамъ, этотъ знаменитый шарлатанъ принялся было намъ разсказывать, какъ онъ вырвался изъ рукъ венеціанскихъ инквизиторовъ; но хозяинъ не далъ ему кончить и попросилъ всѣхъ въ столовую.

Въ прекрасно освѣщенной залѣ приготовленъ былъ роскошный ужинъ; померанцевыя деревья, фарфоровыя вазы съ цвѣтами, серебряныя корзины съ бархатными персиками, душистыми ананасами и янтарнымъ виноградомъ отражались въ великолѣпномъ зеркальномъ плато. На хорахъ загремѣла музыка, и всѣ гости усѣлись за столъ. Баронъ помѣстилъ меня попрежнему, между двухъ красавицъ. Мы сидѣли очень тѣсно; при малѣйшемъ движеніи руки мои невольно прикасались къ рукамъ моихъ сосѣдокъ. Когда рѣзвая Виржини наклонилась ко мнѣ, ея дыханіе сливалось съ моимъ, и въ то же время я чувствовалъ съ другой стороны, какъ шелковыя кудри итальянки скользили по моей щекѣ. Въ такомъ близкомъ разстояніи другъ отъ друга не нужно говорить громко: обѣ онѣ перешептывались со мною; а кто изъ насъ въ цвѣтѣ молодости не испыталъ, какъ очаровательенъ этотъ женскій шопотъ, какъ соблазнительны эти привѣтливыя рѣчи, когда онѣ говорятся вполголоса, тайкомъ отъ другихъ, какъ тревожатъ онѣ наше сердце и волнуютъ кровь. Я почти ничего не ѣлъ, но зато пилъ очень много. Сколько я ни отговаривался, все было напрасно: мои сосѣдки не хотѣли ничего слышать.—Я буду пить съ вами изъ одной рюмки,—шептала мнѣ на-ухо итальянка, пожимая мою руку.

— Oh, il faut vous griser, vous serez charmant!—повторяла безпрестанно Виржини, умирая со смѣху. Межъ тѣмъ общій разговоръ становился часъ-отъ-часу шумнѣе; по временамъ онъ совсѣмъ заглушалъ музыку. Вотъ пробка первой бутылки шампанскаго полетѣла въ потолокъ.

— Отъ этого вина вы, вѣрно, не откажетесь?—шепнула синьора Карини:—его пьютъ за здоровье друзей своихъ.

— Такъ онъ выпьетъ два бокала, — сказала француженка; — только не забудьте,— прибавила она такъ тихо, что я съ трудомъ могъ разобрать, несмотря на то, что розовыя ея губки почти касались моей щеки,—не забудьте: первый за мое здоровье! Слышите ли, за мое!—повторила Виржини, и ея прелестная, обутая въ атласный башмачекъ, ножка прижалась къ моей. Я не совсѣмъ еще потерялъ разсудокъ, но всѣ чувства мои были въ какомъ-то упоеніи, а голова начинала порядкомъ кружиться. Вдругъ музыка замолкла; хозяинъ всталъ съ своего мѣста и, держа въ рукѣ бокалъ шампанскаго, сказалъ:—Господа! я предлагаю тостъ; мы пьемъ за вѣчную славу просвѣтителей человѣчества, знаменитыхъ французскихъ философовъ и главы ихъ, безсмертнаго Вольтера.

— Вивать!—закричали почти всѣ гости.

— Честь и слава истребителю предразсудковъ! — проревѣлъ одинъ толстый англичанинъ, выливая за галстухъ свой бокалъ шампанскаго.

— Да здравствуетъ Вольтеръ! — пропищалъ какой-то напудренный маркизъ. — Я знаю наизустъ его Орлеанскую дѣву — великій человѣкъ!

— Долой Вольтера! — прошепталъ одинъ растрепанный французъ, который сидѣлъ подлѣ поэта.—Не надобно Вольтера! Онъ былъ аристократъ!... Да здравствуетъ Жанъ-Жакъ Руссо!

— Пріятель принца Конде и герцога Люксембургскаго! — прервалъ съ улыбкою хозяинъ.

— Онъ не былъ съ ними знакомъ — не былъ! — закричалъ французъ; — и если кто осмѣлится говорить противное...

— Тише, господа, тише!—сказалъ итальянецъ Казанова.—Я предложу вамъ тостъ, который вѣрно понравится. Да здравствуютъ богатые дураки, оброчные крестьяне всѣхъ умныхъ людей!

— Да, да! честь и слава дуракамъ: они созданы для нашей потѣхи!—закричалъ толстый англичанинъ, выливая за галстухъ второй бокалъ шампанскаго.—Годдемъ!—прибавилъ онъ, пощелкивая языкомъ. — Что за дьявольщина? Въ этомъ проклятомъ винѣ нѣтъ никакого вкуса!

— Не надо дураковъ!—сказалъ маркизъ, стараясь выговаривать каждое слово и едва шевеля языкомъ; — я не люблю дураковъ: они слишкомъ глупы.

— Да здравствуютъ прекрасныя женщины!—закричалъ одинъ изъ гостей.

— Я пью охотно!—подхватилъ другой.— Моя жена дурна собою.

— Да здравствуетъ вино!

— Только хорошее.

— Вивать!.. Гопъ, гопъ!.. Гура!—Шумъ становился часъ-отъ-часу сильнѣе; поминутно летали пробки и шампанское лилось рѣкою.

— Къ чорту бокалы! — закричалъ хозяинъ.—Въ стаканы, господа, въ стаканы!

— Браво!.. Долой бокалы!.. A bas!..

— Тише, тише!..—сказалъ Казанова;—нашъ поэтъ встаетъ: онъ хочетъ говорить. Слушайте!.. Слушайте!

— Господа!—сказалъ поэтъ,—вы пили въ честь французскихъ философовъ, которые писали; я предлагаю тостъ за вѣчную славу ихъ учениковъ, знаменитыхъ философовъ, которые дѣйствовали. Первый бокалъ въ честь главы ихъ, въ честь того, кто не зналъ сожалѣнія къ другимъ и не требовалъ его для себя; который игралъ жизнію людей, потому что презиралъ и жизнь, и человѣка; который былъ неумолимъ, какъ смерть, грозенъ и великъ, какъ морская язва; который...

— Фи!.. что это? не надо!—раздалось со всѣхъ сторонъ.—Мы не хотимъ пить за эту воплощенную чуму—не хотимъ!.. Да здравствуютъ женщины, вино и веселье!.. Вивать!.. Семперъ—вивать!

Поэтъ взглянулъ съ презрѣніемъ на всѣхъ гостей.—Такъ! я опередилъ мой вѣкъ!—прошепталъ онъ мрачнымъ голосомъ.—Веселись, глупая толпа, веселись! Ты не можешь понимать меня!

— Вы ошибаетесь, милордъ! — закричалъ косматый французъ;—я понялъ васъ, и пью вмѣстѣ съ вами.

Я не принималъ участія въ этихъ тостахъ, но никакъ не могъ отдѣлаться отъ моихъ сосѣдокъ, и долженъ былъ выпить за ихъ здоровье по бокалу шампанскаго. За десертомъ онѣ уговорили меня попробовать столѣтняго венгерскаго, и когда ужинъ кончился, я съ трудомъ могъ приподняться со стула. Чувствуя, что мнѣ нужно было освѣжиться, я подошелъ къ открытому окну. Все было пусто на улицѣ. Ночь была темная, небеса покрыты тучами; но, несмотря на это, мнѣ показалось, что я вижу безчисленное множество звѣздъ; нѣкоторыя изъ нихъ падали на землю; одна ярче всѣхъ другихъ разсыпалась надъ самой улицею и освѣтила человѣка въ сѣромъ платьѣ, который стоялъ, прижавшись къ стѣнѣ противоположнаго дома. Казалось, онъ дѣлалъ мнѣ какіе то знаки. Вдругъ изъ ближайшаго переулка потянулся длинный рядъ людей, одѣтыхъ въ траурные плащи; каждый изъ нихъ несъ въ рукѣ зажженный факелъ; за ними везли подъ балдахиномъ черный гробъ. Черезъ минуту вся погребальная процессія выбралась на большую улицу. При яркомъ свѣтѣ факеловъ, я безъ труда могъ разсматривать, что человѣкъ въ сѣромъ платьѣ протягивалъ ко мнѣ съ умоляющимъ видомъ свои руки, и когда свѣтъ отъ одного факела отразился на лицѣ его, я невольно воскликнулъ:

— Что это?.. Это Яковъ Сергѣевичъ Луцкій?.. Зачѣмъ онъ здѣсь?.. на улицѣ?.. такъ поздно?..

— Что-жъ вы насъ оставили, вѣжливый кавалеръ?—раздался позади меня голосъ Виржини. Вдругъ все исчезло: и похороны и Луцкій, все покрылось непроницаемымъ мракомъ; вдоль по улицѣ загулялъ сильный вѣтеръ, вдали послышался какой-то жалобный крикъ, кто-то промчался верхомъ, и изъ окна сосѣдняго дома сказали вполголоса:—скорѣй, скорѣй! она умираетъ!

— Да что вы смотрите на улицу? — сказала итальянка.—Пойдемте съ нами!

Я молча подалъ ей руку, и мы вмѣстѣ съ прочими гостями вошли въ другую залу. Она была такъ ярко освѣщена, что сначала глазамъ моимъ сдѣлалось больно; мнѣ казалось, что всѣ окна, картины и даже стѣны были усыпаны огнями. На одномъ концѣ ея стояло человѣкъ десять цыганъ и почти столько же цыганокъ сидѣло на стульяхъ. Мои дамы, помѣстясь какъ можно ближе къ послѣднимъ, посадили и меня вмѣстѣ съ собою. Одна изъ цыганокъ, съ блѣднымъ, истомленнымъ лицомъ и большими черными глазами, запѣла тихимъ, но весьма пріятнымъ голосомъ какую-то цыганскую пѣсню. Сначала протяжные и унылые звуки ея голоса раздавались одни по залѣ; вдругъ, какъ внезапный ударъ грома, грянулъ хоръ; мотивъ перемѣнился, темпъ изъ протяжнаго превратился въ быстрый, съ каждой нотой усиливалось кресчендо, все живѣй, быстрѣй, и вдругъ опять прежняя тишина, опять одинъ тихій, заунывный голосъ, и вотъ снова бѣшеный хоръ, и снова онъ замираетъ посреди неоконченнаго аккорда.

— C'est ravissant!—закричалъ растрепанный французъ.

— То ли еще вы услышите!—промолвилъ, кажется, въ первый разъ одинъ русскій баринъ. — Таничка! — продолжалъ онъ, обращаясь къ цыганкѣ, которая, окончивъ пѣсню, сидѣла, задумавшись, на стулѣ, — хватите-ка удалую! Да знаете, по-вашему, чтобъ потолокъ затрещалъ.

Всѣ цыгане столпились въ кружокъ позади своихъ женщинъ. Видный собою, кудрявый, съ черными усами бандуристъ вышелъ впередъ. Онъ ударилъ по струнамъ; смуглыя, но чрезвычайно выразительныя лица цыганокъ оживились, глаза ихъ засверкали, и оглушающій хоръ, въ которомъ, казалось, ни одна нота не клеилась съ другой, загремѣлъ и разразился, какъ ураганъ, въ самыхъ чудныхъ и неожиданныхъ перекатахъ. Безпрестанно одинъ голосъ покрывалъ другой, рѣзкая рулада заглушалась громкимъ визгомъ, безсмысленный вопль и буйный свистъ мѣшались съ гармоническими голосами женщинъ.

Все въ этомъ хаосѣ звуковъ было безуміемъ и въ то-же время все кипѣло какой-то исполненной силы неистовой жизнью. Надобно сказать правду: кто, не оглохнувъ, можетъ слушать это пѣніе и безъ отвращенія смотрѣть на судорожное кривлянье цыганокъ, на ихъ нахальныя движенія и бѣснующіяся лица, тотъ, безъ всякаго сомнѣнія, будетъ увлеченъ этимъ музыкальнымъ бѣшенствомъ и врядъ ли усидитъ спокойно на мѣстѣ. Почти всѣ гости плясали на своихъ стульяхъ; косматый французъ задыхался отъ восторга, и даже мрачный поэтъ улыбнулся съ удовольствіемъ и сказалъ:

— Прекрасно, прекрасно!.. Это настоящій хоръ демоновъ!

Не помню, сколько времени продолжалось это пѣніе, только подъ-конецъ отуманенная виномъ голова моя совершенно отяжелѣла; всѣ предметы начали двоиться въ глазахъ, лица гостей казались мнѣ попеременно то черными, то бѣлыми; однимъ словомъ, я находился въ какомъ-то полусонномъ состояніи, въ которомъ ложь и истина поминутно смѣняютъ другъ друга: то вмѣсто потолка я видѣлъ надъ собою чистое, покрытое звѣздами небо, то люстра превращалась въ огромную человѣческую голову, усыпанную сверкающими глазами; я чувствовалъ, однако жъ, и это былъ не обманъ, что Виржини держала въ своей рукѣ мою руку, а итальянка шептала мнѣ на-ухо слова любви, которыя, несмотря на мою опьянѣлость, казались для меня весьма понятными. Вдругъ кто-то закричалъ:—да, да! пора плясать! — Плясать, плясать!—повторили всѣ гости. Цыгане собрались въ кучу, пошептали межъ собою и почти насильно вытолкнули впередъ плясуна въ бархатномъ черномъ полукафтанѣ. Лицо его показалось мнѣ знакомымъ. Вотъ одна молодая цыганка затянула плясовую пѣсню, хоръ подхватилъ, она притопнула ногою, задрожала, закинула назадъ голову и съ визгомъ вылетѣла изъ толпы.

— Ну!.. пошла писать! — закричалъ русскій баринъ, припрыгивая на своемъ стулѣ.

И подлинно *пошла писать!* Если есть что-нибудь безумнѣе разгульной цыганской пѣсни, такъ это ихъ пляска. Представьте себѣ сумасшедшихъ или укушенныхъ тарантуломъ, которые подъ звуки самой буйной, заливной пѣсни не пляшутъ, а бѣснуются; представьте себѣ женщину, забывшую весь стыдъ, упившуюся виномъ и сладострастіемъ вакханку; въ ней — по выраженію простого народа—всѣ косточки пляшутъ. Она визжитъ, трясется всѣмъ тѣломъ и пожираетъ глазами своего плясуна, который подлетаетъ къ ней съ неистовымъ воплемъ, коверкается и, какъ одержимый злымъ духомъ, дѣлаетъ такіе прыжки и повороты, что глазъ не успѣваетъ за ними слѣдовать.

Всѣ гости были въ восторгѣ; растрепанный французъ аплодировалъ, стучалъ ногами, поэтъ улыбался, а русскій баринъ, посматривая съ неизъяснимымъ наслажденіемъ на цыганъ, кричалъ: — Живѣй, живѣй, ребята!.. Подымайте выше... Славно, Дуняша!.. Ай да колѣнцо!.. Славно!.. Ходи браво! эй вы!.. жги!— Все вниманіе мое было обращено на плясуна. Я уже сказалъ, что лицо его казалось мнѣ знакомымъ, и сверхъ того оно представляло совершенную противоположность съ его удалою пляскою. Онъ извивался какъ змѣй, выдѣлывалъ ногами пречудныя вещи, и въ то-же время во всѣхъ чертахъ лица его выражалась такая грусть, такое страданіе, что, глядя на него, мнѣ и самому сдѣлалось грустно. Вдругъ этотъ плясунъ, который держался все поодаль, подлетѣлъ къ моимъ сосѣдкамъ, и растилаясь мимо ихъ въ присядку, кивнулъ мнѣ головою. Если бъ я могъ вскочить со стула, то ужъ, вѣрно, бы вскочилъ. Представьте себѣ: я узналъ въ этомъ плясунѣ пріятеля моего, магистра Дерптскаго университета, фонъ-Нейгофа. Я хотѣлъ спросить, какъ онъ попалъ въ цыгане; но языкъ мой не шевелился, глаза начали смыкаться, все потемнѣло, подлѣ меня раздался громкій женскій хохотъ, потомъ какъ будто бы меня облили холодной водою. Я сдѣлалъ еще одно усиліе, хотѣлъ приподняться; но мои ноги подкосились, голова скатилась на грудь, и я совершенно обезпамятѣлъ.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

I.

Маскарадъ.

На другой день я проснулся или, лучше сказать, очнулся часу въ двѣнадцатомъ. Голова моя была тяжела какъ свинецъ. Сначала я не могъ ничего порядкомъ припомнить: мнѣ все казалось, что я видѣлъ какой-то безпутный сонъ, въ которомъ не было никакой связи, но мой слуга, котораго я кликнулъ, вывелъ меня тотчасъ изъ заблужденія.

— Гдѣ это, сударь,—спросилъ Егоръ,— вы изволили такъ подгулять?

— Гдѣ? Какъ гдѣ? Да развѣ я гдѣ нибудь былъ?

— Эге, баринъ, какъ память-то вамъ отши-

бло! Да васъ вчера гораздо за полночь привезли откудова-то въ каретѣ. Ну, Александръ Михайловичъ, вы, видно, изволили хлебнуть по-нашему!

— Что ты врешь, дуракъ!.. Однако-жъ, постой!.. въ самомъ дѣлѣ... вѣдь я былъ вчера у барона?.. Такъ точно!.. я пилъ шампанское...

— Ну, вотъ, изволите видѣть!

— Постой, постой!.. Мамзель Виржини... синьора Карини...

— Что такое, сударь?..

— Луцкій... похороны... фонъ-Нейгофъ въ цыганскомъ платьѣ... что это такое?..

— Не выпить-ли вамъ водицы?—шепнулъ Егоръ, покачивая головою.

— Здравствуй, Александръ!—сказалъ Закамскій, входя въ комнату. — Что это?.. въ постели?.. Ты боленъ?..

— Да! у меня очень болитъ голова,—отвѣчалъ я, надѣвая мой халатъ и туфли. — Я вчера поздно пріѣхалъ домой; за ужиномъ пилъ это проклятое шампанское...

— Гдѣ?

— У барона Брокена.

— Скажи пожалуйста, откуда выкопалъ ты этого барона?

— Я съ нимъ познакомился нѣсколько дней тому назадъ.

— Кто онъ такой?

— Кажется, богатый человѣкъ; онъ путешествуетъ по всей Европѣ и, можетъ-быть, долго проживетъ у насъ въ Москвѣ.

— А что у него вчера былъ за праздникъ?

— Такъ, вечеръ. Пѣли цыгане, играли въ карты, ужинали...

— Да кто-жъ у него былъ?

— Почти все иностранцы.

— А иностранокъ не было?—спросилъ съ улыбкою Закамскій.

— Какъ же! Двѣ дамы: одна итальянка, другая француженка, и обѣ прелесть!

— Право! Такъ тебѣ было весело?

— Да, конечно, сначала; но подъ-конецъ я былъ въ какомъ-то чаду, бредилъ, какъ въ горячкѣ, и видѣлъ такія странныя вещи...

— Что такое?

— Да какъ бы тебѣ сказать? Въ комнатѣ хохотъ, пѣсни, цыгане, а на улицѣ похороны, на небѣ какой-то фейерверкъ... Въ комнатѣ за мной ухаживали двѣ прекрасныя женщины, а на улицѣ, противъ окна, стоялъ Яковъ Сергѣевичъ Луцкій, дѣлалъ мнѣ знаки, манилъ къ себѣ... И все это я видѣлъ—точно видѣлъ.

— А много ли ты выпилъ рюмокъ вина?

— Право, не помню.

— Вотъ то-то и есть! Кто пьетъ безъ счету, такъ тому и, Богъ вѣсть, что покажется.

— Да это еще не все. Представь себѣ: вѣдь нашъ пріятель, Нейгофъ, мастерски пляшетъ по-цыгански.

— Что, что?

— Да! онъ вчера и пѣлъ и плясалъ вмѣстѣ съ цыганами.

— Вчера? въ которомъ часу?

— Часу въ первомъ ночи.

— Ну, Александръ, видно же ты порядкомъ нарѣзался! Да знаешь ли, что бѣдняжка Нейгофъ очень боленъ? Я вчера просидѣлъ у него большую часть ночи и съ нимъ, именно въ первомъ часу, сдѣлался такой сильный и продолжительный обморокъ, что я ужасно испугался,—ну, точно мертвый! Теперь, слава Богу, ему лучше. Да что это, Александръ? Ты, кажется, вовсе пить не охотникъ, а такія диковинки мерещутся только записнымъ пьяницамъ съ перепою. Нашъ важный и ученый магистръ плясалъ по-цыгански!.. Ну, душенька, ты рѣшительно былъ пьянъ.

— Я и самъ начинаю то-же думать,—сказалъ я, потирая себѣ голову, — и могу тебя увѣрить, что это въ первый и послѣдній разъ.

— Послушай, Александръ, — сказалъ Закамскій, помолчавъ нѣсколько времени,—ты не ребенокъ, а я не старикъ, такъ мнѣ читать тебѣ мораль вовсе не кстати; а воля твоя, этотъ баронъ мнѣ что-то больно не нравится. Онъ уменъ, очень уменъ, но его образъ мыслей, его правила...

— Не безпокойся, мой другъ, онъ не развратитъ меня.

— Дай то Богъ!

— Скажи мнѣ, Василій Дмитричъ, давно ли ты видѣлъ Днѣпровскихъ?

— А, кстати! Алексѣй Семеновичъ о тебѣ спрашивалъ, а жена его препоручила мнѣ просить тебя сегодня на вечеръ.

— Сегодня я никуда не поѣду: я нездоровъ.

— Полно нѣжиться, Александръ! Ну, что за важность — голова болитъ! Пріѣзжай сегодня къ Днѣпровскимъ. Знаешь ли что? Ты очень понравился и мужу и женѣ, а особливо женѣ... Да не краснѣй: тутъ нѣтъ еще ничего дурного. Она поговоритъ съ тобой о лунѣ, о милой природѣ; ты прочтешь ей «Бѣдную Лизу», «Наталью, боярскую дочь»; быть-можетъ, поплачете вмѣстѣ, да тѣмъ дѣло и кончится. Я хорошо знаю Днѣпровскую: она немного вѣтрена, любитъ помечтать, слетать воображеніемъ въ *туманную область небытія*, посентиментальничать, поговорить о какой-то неземной любви; но ужъ, конечно, никто на свѣтѣ, даже любая московская старушка, не найдетъ ничего сказать дурного объ ея поведеніи, и повѣрь мнѣ, если ты желаешь сохранить дружбу Надины, то совѣтую тебѣ не пускаться съ нею въ любовныя изъясненія.—Тутъ я вспомнилъ о письмѣ, которое показывалъ мнѣ баронъ, и невольно улыбнулся.

— Ого!—сказалъ Закамскій,—какая самодовольная улыбка! Да ты рѣшительно смотришь побѣдителемъ. Видишь, какой Закама-

ліонъ!.. Сколько людей старались напрасно оживить эту прекрасную статую, а онъ, какъ Цезарь, пришелъ, увидѣлъ, побѣдилъ!.. Ну, братъ, Александръ, заранѣе поздравляю тебя съ носомъ!

Я любилъ Машеньку, а Днѣпровская мнѣ только нравилась; но самолюбіе... охъ, это самолюбіе!.. Посмотришь: человѣкъ сходитъ съ ума отъ женщины, забываетъ всѣ приличія, дѣлаетъ тысячу дурачествъ, губитъ свою будущность, теряетъ друзей, идетъ стрѣляться за эту женщину на двухъ шагахъ, однимъ словомъ, все приноситъ ей въ жертву; и вы думаете, что онъ страстно ее любитъ?.. О, нѣтъ! онъ не хочетъ только, чтобъ *она* любила другого; для него нестерпима мысль, что этотъ *другой* можетъ сказать: «она оставила его для меня». Если бъ эта женщина умерла, то, быть-можетъ, онъ не вздохнулъ бы о ней ни разу; но она измѣнила, то-есть *предпочла* ему другого, и онъ, въ минуту бѣшенства, готовъ рѣшиться на все. Насмѣшки Закамскаго расшевелили во мнѣ это демонское самолюбіе. Остаться съ носомъ — мнѣ!.. Когда изъ одного великодушія я отвергаю любовь, которую мнѣ такъ явно предлагаютъ... Ахъ, чортъ возьми!.. это обидно!.. Такъ я же докажу Закамскому, что, если многіе изъ его пріятелей и, можетъ-быть, онъ самъ, остались съ носомъ, то ужъ, конечно, я не прибавлю числа этихъ забракованныхъ волокитъ... Сначала докажу ему это, а послѣ... ну, разумѣется, уѣду изъ Москвы, женюсь на моей невѣстѣ... Да, да!.. нѣсколько мѣсяцевъ Надинѣ, а потомъ всю жизнь Машенькѣ, всю до самой смерти!

Прощаясь съ моимъ пріятелемъ, я почти далъ слово, что мы вечеромъ увидимся у Днѣпровскихъ.

Весь этотъ день я пробылъ дома. Часу въ седьмомъ вечера, въ то время какъ я собирался уже ѣхать, мой слуга подалъ мнѣ письмо: оно было отъ Машеньки. Когда я увидѣлъ почеркъ этой милой руки, сердце мое забилось отъ радости; я забылъ все — и плѣнительную улыбку Надины и ея черные пламенные глаза; встревоженное самолюбіе замолкло въ душѣ моей; въ ней воскресло и оживилось все прошедшее. Въ этомъ почти дѣтскомъ письмѣ не было ни сентиментальныхъ фразъ, ни *проникнутыхъ* сильнымъ чувствомъ словъ, которыя *жгутъ* бумагу. Съ первыхъ строкъ можно было отгадать, что моя невѣста не читала «Новой Элоизы»; она не описывала мнѣ любви своей, но зато каждое слово въ письмѣ ея дышало любовью, въ каждомъ словѣ, какъ въ зеркалѣ, отражалась ея чистая, небесная душа. Машенька разсказывала мнѣ о своихъ занятіяхъ, о томъ, какъ они праздновали день моего рожденія, какъ служили молебенъ.—Ахъ, братецъ!—говорила она,—какъ мнѣ было тяжело не плакать во время молебна! Но я боялась огорчить маменьку, и молилась за тебя Богу, какъ за чужого, но зато ужъ послѣ!..

Я прочелъ нѣсколько разъ сряду это письмо; я цѣловалъ его, прижималъ къ сердцу и кончилъ тѣмъ, что отправился, но только не къ Днѣпровскимъ, а къ Якову Сергѣевичу Луцкому, у котораго я давно уже не былъ. Онъ принялъ меня съ обыкновеннымъ своимъ радушіемъ, и хотя бесѣды его вовсе не походили на забавную болтовню князя Двинскаго, а и того менѣе на философическіе разговоры и рѣзкія сужденія барона Брокена, но я не видѣлъ, какъ прошелъ весь вечеръ. Его свѣтлая, исполненная библейской просторы рѣчь, его кротость, ласковый пріемъ и даже этотъ смиренный пріютъ—простой, но чистый и веселый его домикъ, все вливало какую-то неизъяснимую отраду въ мою душу. Казалось, она отдыхала отъ всѣхъ житейскихъ суетъ и утомительныхъ забавъ свѣта — ей было такъ легко! О, какъ свободно дышешь подъ кровлей истиннаго христіанина! Кажется, будто бъ цѣлая атмосфера мира и спокойствія тебя окружаетъ. Порокъ прилипчивъ, но и добродѣтель передается душѣ человѣка, когда онъ не бѣжитъ отъ нея, какъ отъ заразы. Всякій разъ, послѣ бесѣды моей съ Луцкимъ, я чувствовалъ себя добрѣе и моя привязанность къ невѣстѣ увеличивалась; его дружба и любовь къ Машенькѣ, эти два ангела-хранителя моей юности, спасли меня отъ гибели.

Я пріѣхалъ домой часу въ одиннадцатомъ ночи, прочелъ еще разъ письмо Машеньки и заснулъ самымъ тихимъ и спокойнымъ сномъ.

Прошло недѣли двѣ, въ которыя я ни разу не былъ у Днѣпровскихъ. Баронъ заѣзжалъ ко мнѣ почти каждый день; онъ звалъ меня опять на вечеръ, но я отдѣлывался вѣжливымъ образомъ, несмотря на то, что мнѣ иногда очень хотѣлось увидѣть и мамзель Виржини и синьору Карини, съ которыми я нигдѣ не могъ повстрѣчаться. Казалось, баронъ далъ себѣ слово очаровать меня своей любезностью и умомъ; каждый день я открывалъ въ немъ новыя достоинства. Этотъ чудный человѣкъ былъ въ одно и то же время поэтъ и ученый, какіе встрѣчаются очень рѣдко; игралъ съ неподражаемымъ искусствомъ на скрипкѣ и рисовалъ, какъ отличный художникъ. Въ теченіе этихъ двухъ недѣль онъ успѣлъ такъ со мною сблизиться, что мы ужъ говорили другъ другу *ты*, и какъ будто бы вѣкъ были знакомы. Нѣсколько разъ онъ заговаривалъ со мною о Днѣпровской, смѣялся надъ моей жестокостью и спрашивалъ шутя: скоро ли проглянетъ на небѣ звѣзда бѣдной Надины? Наконецъ, самъ Днѣпровскій заѣхалъ ко мнѣ, чтобъ узнать, для чего я ихъ покинулъ. Я оправдывалъ себя нездоровьемъ, службою, обѣщалъ загладить свою вину, и продолжалъ попрежнему къ нимъ не ѣздить. Однажды барону совсѣмъ было удалось свести меня съ Надиною. Мы

гуляли съ нимъ по Тверскому бульвару; день вышелъ ясный, и хотя мы дышали вовсе не лѣтнимъ воздухомъ, и солнце ужъ плохо грѣло, но весь бульваръ былъ усыпанъ народомъ; передъ ними шли двѣ дамы въ бѣлыхъ атласныхъ *дульетахъ*.

— Ну, что?—шепнулъ мнѣ баронъ,—твое гранитное сердце молчитъ?

— А что такое?—спросилъ я.

— Такъ ты не узнаешь? Видишь эту стройную даму—вотъ та, что идетъ съ лѣвой стороны?.. Вѣдь это Днѣпровская.

— Право?

— Послушай! Если мы къ ней не подойдемъ, такъ это будетъ очень невѣжливо.

— Я тебѣ не мѣшаю.

— Да подойди и ты. Полно, полно!—продолжалъ онъ таща меня за руку: — что за ребячество! Это ужъ ни на что не походитъ!

Надобно сказать правду, я и сначала не очень упирался, а подъ конецъ пошелъ едва ли не скорѣе моего товарища. Вдругъ онъ вырвалъ изъ моей руки свою руку, бросился въ сторону и исчезъ въ толпѣ гуляющихъ. Почти въ ту же самую минуту повстрѣчался со мною старикъ Луцкій; онъ сказалъ мнѣ, что, пробираясь къ себѣ домой, попалъ нечаянно на это гулянье. Я прошелъ съ нимъ до конца бульвара, и потомъ отправился домой. На другой день баронъ сказалъ мнѣ, что увидѣлъ въ толпѣ одного знакомаго, котораго никакъ не ожидалъ найти въ Москвѣ, и что, покинувъ меня на нѣсколько минутъ, не могъ ужъ послѣ никакъ со мною повстрѣчаться.

Вотъ однажды, спустя мѣсяца полтора, вечеромъ, часу въ десятомъ, я сидѣлъ дома одинъ. На улицѣ былъ вѣтеръ, мелкій снѣгъ пополамъ съ крупою стучалъ въ окна моей комнаты; ложиться спать было еще рано, а ѣхать куда-нибудь въ гости поздно, такъ я, отъ нечего-дѣлать, читалъ одинъ современный журналъ, котораго названіе показалось бы въ наше время вовсе не забавной шуткою. Помнится, его называли: «Прохладные часы, или аптека, врачующая отъ уныніи разными медикаментами, составленными изъ старины и новизны». — И надобно признаться, эти «Прохладные часы» были самыми скучными часами въ моей жизни. Я переставалъ читать, зѣвалъ; потомъ, для разнообразія, дремалъ, а тамъ опять зѣвалъ; однимъ словомъ, не зналъ, что дѣлать и куда дѣваться отъ скуки. Вдругъ кто-то подъѣхалъ къ крыльцу; я обрадовался и побѣжалъ навстрѣчу къ моему гостю. Это былъ баронъ.

— Здравствуй, Александръ Михайловичъ!—закричалъ онъ.—Какъ я радъ, что засталъ тебя дома! Хочешь ли потѣшить меня и очень весело провести сегодняшній вечеръ?

— Какъ не хотѣть! Я умираю отъ скуки.

— Поѣдемъ въ маскарадъ къ графинѣ Дулиной.

— Я ее не знак

— Ну, вотъ эта страстная музыкантша, которую ты видѣлъ у Днѣпровскихъ.

— Да я съ нею не знакомъ.

— Нѣтъ нужды! У меня есть лишній билетъ. Я привезъ съ собою два домино, мы замаскируемся, насъ никто не узнаетъ, а мы будемъ интриговать цѣлый міръ. Ты найдешь тамъ много знакомыхъ, станешь говорить только съ тѣмъ, съ кѣмъ самъ захочешь, и уѣдешь тогда, когда тебѣ вздумается. Ну, что—ѣдемъ?

Разумѣется я согласился, бросилъ подъ столъ «Прохладные часы» и, черезъ нѣсколько минутъ, закутанный съ головы до ногъ въ широкое домино, отправился вмѣстѣ съ барономъ.

Подъѣзжая къ огромному дому графини Дулиной, мы попали въ рядъ и, по крайней мѣрѣ, съ четверть часа дожидались нашей очереди. Не знаю, какъ это сдѣлалось, но только два или три нищенскихъ цуга, которые тащились позади нашей лихой четверни, подъѣхали первые къ подъѣзду; наконецъ, дошло дѣло и до насъ. Вотъ мы въ сѣняхъ низкихъ, плохо освѣщенныхъ, запачканныхъ, но очень обширныхъ; по обѣимъ сторонамъ толпы слугъ: одни залиты золотомъ, другіе оборваны; одни держатъ въ рукахъ салопы, шали, шубы; другіе, набивъ ими огромные мѣшки, располагаются преспокойно вздремнуть на этихъ временныхъ пуховикахъ, въ то время какъ ихъ господа станутъ веселиться на балѣ. Русскій слуга вообще любитъ соснуть; это весьма и натурально: онъ ничѣмъ не занятъ, ему не о чемъ думать; слѣдовательно, если онъ не пьяница, то дремлетъ оттого, что ему скучно; а если любитъ выпить, такъ спитъ для того, чтобъ выспаться и явиться въ трезвомъ видѣ къ столу, во время котораго обыкновенно вся *услуга* должна быть на лицо.

Мы взошли во второй этажъ дома по парадной лѣстницѣ, уставленной лакеями, въ богатыхъ ливреяхъ и засаленныхъ гастухахъ. Отъ небольшой прихожей, гдѣ мы отдали швейцару свои билеты, начинался цѣлый рядъ ярко освѣщенныхъ, обитыхъ штофомъ и роскошно убранныхъ гостиныхъ. Повернувъ направо, мы прошли черезъ длинную столовую, въ огромную танцовальную залу. Въ ней гремѣла музыка и человѣкъ триста давили другъ друга, чтобъ дать мѣсто длинному польскому, паръ въ тридцать, который разгуливалъ по залѣ. Почти всѣ гости были въ маскарадныхъ платьяхъ, но по большей части безъ масокъ; мужчины въ простыхъ венеціанахъ и трехугольныхъ шляпахъ, а женщины въ разныхъ характерныхъ костюмахъ. Сначала я вовсе растерялся; яркій свѣтъ, пестрота, безпрерывное движеніе, шопотъ частыхъ разговоровъ, пронзительный визгъ и хохотъ масокъ, оглушающій польскій съ трубами и литаврами, жаръ, духота—все это вмѣстѣ подѣйствовало

на меня, какъ сильный пріемъ опіума: я совершенно одурѣлъ, но это продолжалось недолго. Минутъ черезъ пять, когда я совсѣмъ ужъ оглядѣлся, повстрѣчалась со мною хозяйка дома; она, вмѣстѣ съ Надиною Днѣпровскою, пробиралась сквозь толпу вонъ изъ залы. На Днѣпровской былъ костюмъ швейцарской пастушки. Она была такъ мила въ этомъ живописномъ нарядѣ, эта круглая соломенная шляпка, изъ-подъ которой лились волною ея черныя кудри, этотъ пестрый корсетъ, который обхватывалъ ея прелестную грудь и гибкій станъ, все было въ ней такъ очаровательно, что я, желая еще разъ на нее полюбоваться, вышелъ вслѣдъ за ними въ столовую.—Ахъ, ma chère! Какъ некстати разболѣлась у тебя голова! — говорила графиня, прощаясь съ Днѣпровскою.

— Мнѣ и самой очень грустно, — сказала томнымъ голосомъ Надина: — но еслибъ вы знали, что я чувствую!.. Только, Бога ради, не говорите ничего Алексѣю Семеновичу: онъ испугается, не кончитъ своей партіи... а мои головныя боли, право, ничего: онѣ всегда проходятъ сномъ. Прощайте, графиня!..

Днѣпровская уѣхала, а я воротился опять въ танцовальную залу. Около часу ходилъ я изъ комнаты въ комнату, зѣвалъ, смотрѣлъ, какъ играли въ бостонъ, выпилъ стакана два лимонаду, и не могъ надивиться на эту разноцвѣтную толпу, которая, казалось, очень веселилась, тогда какъ я чувствовалъ одну усталость и скуку. Со мною встрѣчалось много знакомыхъ, но я не смѣлъ никого задирать; мнѣ все казалось, что меня съ перваго слова назовутъ по имени. Наконецъ, увлекаясь общимъ примѣромъ, я рѣшился пуститься въ разговоры, и подлетѣлъ къ тремъ дамамъ, которыя сидѣли рядомъ въ одномъ углу залы. Это были, какъ я узналъ послѣ, родныя сестры Л***; всѣ три дѣвицы зрѣлыя, то-есть самой меньшой изъ нихъ было лѣтъ шестьдесятъ. Эти добрыя старушки имѣли слабость бѣлиться, румяниться и сурмить брови; а такъ какъ онѣ въ тоже время не могли вытянуть и разгладить всѣхъ морщинъ, то ихъ лица совершенно походили на восковыя, дурно сдѣланныя маски. Эти три дѣвицы были въ какихъ-то греческихъ хитонахъ, и я вообразилъ, что онѣ одѣты Парками. — Почтенныя сестрицы,—сказалъ я:—куда вы дѣвали ваше веретено, прялку и ножницы? Безъ этихъ принадлежностей никто не отгадаетъ, что вы Парки.—Представьте мое удивленіе! Вдругъ эти неподвижныя, окрашенныя карминомъ губы зашевелились, глянцевитые лбы наморщились, три пары бездушныхъ глазъ засверкали гнѣвомъ, а позади меня раздался шопотъ негодованія и громкій смѣхъ веселыхъ масокъ. Многіе изъ гостей, находя мою шутку слишкомъ дерзкою, стали добиваться, кто я такой; въ одну минуту составился около насъ кружокъ. Я вовсе потерялъ голову, не зналъ, куда дѣваться, и съ радостью провалился бы сквозь землю; къ счастію необычайный шумъ въ другомъ углу залы разогналъ эту тучу. Всѣ бросились туда толпою. Тамъ происходила сцена гораздо интереснѣе той, въ которой я былъ дѣйствующимъ лицомъ; она также была слѣдствіемъ совершенно невинной ошибки. Когда я вмѣстѣ съ другими подошелъ къ тому мѣсту, гдѣ шумѣли, одинъ молодой человѣкъ, блѣдный, растрепанный, пробивался, какъ безумный, сквозь толпу; за нимъ гналось человѣкъ пять; они успѣли остановить его; въ тоже время выносили на рукахъ изъ залы женщину среднихъ лѣтъ, въ сильномъ обморокѣ. Чрезъ нѣсколько минутъ все объяснилось. Этотъ молодой человѣкъ, только-что пріѣхавшій изъ провинціи, пострадалъ ужаснымъ образомъ за свою вѣжливость. Противъ него сидѣла дама, закутанная съ головы до ногъ въ черный венеціанъ. Она была въ бѣломъ платьѣ, и на бѣду, клочекъ этого платья выглядывалъ у самыхъ ея ногъ изъ-подъ венеціана, который въ этомъ мѣстѣ распахнулся. Молодой человѣкъ былъ очень близорукъ и не носилъ очковъ, потому что тогда это было еще вовсе не въ модѣ. Вотъ, ему показалось, что дама въ черномъ платьѣ уронила бѣлый платокъ. Какой удобный случай доказать столичной публикѣ, что у насъ и въ провинціяхъ молодые люди отмѣнно вѣжливы и чрезвычайно ловки! Благовоспитанный юноша не долго колебался, боясь, чтобъ его не предупредили: онъ бросился, какъ полоумный, проломилъ локтемъ картонное брюхо какого-то турецкаго паши, сбилъ съ ногъ арлекина, подбѣжалъ къ бѣдной барынѣ, и вдругъ, сразмаху, поднялъ платокъ.

Въ ту самую минуту, какъ я слушалъ одного изъ гостей, который разсказывалъ другому объ этотъ приключеніи, подошла ко мнѣ маска, въ голубомъ домино и круглой мужской шляпѣ. «Здравствуйте, Александръ Михайловичъ!»—пропищала она, протягивая мнѣ свою руку. Мнѣ нетрудно было отгадать, что, несмотря на круглую мужскую шляпу, со мною говорила женщина. Маленькій шелковый башмачекъ и крошечная ручка въ лайковой перчаткѣ, разумѣется, не могли принадлежать мужчинѣ; но я не могъ понять, какъ она могла узнать меня, когда я во все время не снималъ ни разу моей маски, и промолвилъ только нѣсколько словъ, да и то не своимъ голосомъ.

— Скажите мнѣ,—продолжало голубое домино,—что вамъ за охота душиться въ этой залѣ? Посмотрите, свѣчи тухнутъ отъ жара. Пойдемте въ другія комнаты, тамъ гораздо свѣжѣй.

— Куда вамъ угодно, прекрасная маска!— сказалъ я.—Съ вами я готовъ идти на край свѣта.

— О, я поведу васъ не такъ далеко! Пойдемте, пойдемте!

Мы прошли нѣсколько гостиныхъ, диванную и остановились въ роскошномъ будуарѣ, которымъ оканчивалась вся амфилада парадныхъ комнатъ.

— Отдохнемте здѣсь, — шепнула маска, садясь на покойную, обставленную цвѣтами *козетку*. Я сѣлъ подлѣ нея.—Ну, что, Александръ Михайловичъ, не правда ли, что здѣсь гораздо прохладнѣе?

— И несравненно пріятнѣй. Но, скажите, почему вы меня узнали?

— Я колдунья.

— Не можетъ быть: всѣ колдуньи старухи.

— Да кто вамъ сказалъ, что я молода?

— Кто? Вы сами. Я увѣренъ, что этой маской прикрыты и розовыя губки, и жемчужные зубы, и тысяча другихъ прелестей; да, къ счастію, глаза-то вамъ спрятать не можно.

— Вы худой отгадчикъ. Впрочемъ, такъ и быть должно: вы ничего не отгадываете.

— Неужели?

— Ну трудно ли, напримѣръ, отгадать, что тѣмъ, которые васъ любятъ, очень грустно не видѣться съ вами по цѣлымъ мѣсяцамъ; а вы, кажется, этого не отгадываете.

— Я васъ не понимаю.

— Скажите: хорошо ли забывать старыхъ знакомыхъ? Разрывать пріятельскія связи безъ всякой причины и платить за искреннюю дружбу какимъ-то холоднымъ, ледянымъ равнодушіемъ, которое во сто разъ несноснѣе всякой вражды и ненависти? Ну! теперь вы отгадали, кто я?

— Виноватъ! и теперь не отгадалъ.

— Такъ вы рѣшительно не хотите меня узнать?—сказала маска своимъ голосомъ.

— Что-жъ это?—подумалъ я.—Мнѣ кажется, этотъ голосъ... да нѣтъ, она сейчасъ уѣхала домой.

— Ну, что-жъ вы молчите? — продолжало голубое домино.—Понимаете ли, Александръ Михайловичъ, какъ это обидно для моего самолюбія? Вы не узнаете меня даже и по голосу! Но истинная дружба снисходительна: я васъ прощаю. Впрочемъ, можетъ-быть, вы полагаете себя обязаннымъ отвергать дружбу, которую предлагаетъ вамъ женщина: у васъ есть невѣста...

— О, мнѣ нечего бояться! — сказалъ я веселымъ голосомъ: — моя невѣста далеко отсюда.

— Вы шутите,—прервало съ живостію голубое домино,—а я вовсе не шучу. Неужели и вы также раздѣляете почти со всѣми это унизительное мнѣніе о нашемъ полѣ, неужели вы думаете, что молодая женщина не можетъ быть другомъ мужчины безъ того, чтобъ не измѣнить своимъ обязанностямъ? Нѣтъ, Александръ Михайловичъ, не обижайте женщинъ! Я чувствую по себѣ: я могу любить, быть другомъ мужчины и, не краснѣя, смотрѣть въ глаза своему мужу. Но «злословіе» скажете вы; «но этотъ бездушный тиранъ, чудовище, прозванное *общимъ мнѣніемъ*, этотъ ханжа и лицемѣръ, котораго мы называемъ свѣтомъ и для котораго всего важнѣй наружность, онъ возстанетъ противъ самой чистой, святой дружбы, придумаетъ, прибавитъ, растолкуетъ по своему каждый поступокъ, отравитъ своей ядовитой желчью каждое слово, каждое движеніе»..» Быть-можетъ! Но чего люди не перетолкуютъ въ дурную сторону? Они живутъ злословіемъ и клеветою. Мы привыкли уважать мнѣніе свѣта, а, посмотрите, до какой степени оно и ничтожно и несправедливо. Когда молодая дѣвушка имѣла несчастіе выдти замужъ за человѣка, который почти втрое ее старѣе, и если замѣтятъ, что въ груди этой женщины бьется сердце, то ничто уже не спасетъ ее. Лишнее слово, сказанное мужчинѣ не вовсе старому и безобразному, неосторожный поступокъ, небольшая вѣтренность, однимъ словомъ, все послужитъ къ ея обвиненію. Если она молчалива и задумчива, то скрываетъ въ душѣ своей тайную страсть; если весела и разговорчива со всѣми, она кокетка; если любезна только съ нѣкоторыми, то ужъ вѣрно любитъ того изъ нихъ, кто чаще съ ней танцуетъ и дружнѣе съ ея мужемъ. Если жъ она, чтобъ заставить молчать злословіе, рѣшится не выѣзжать... о, тогда клевета становится еще ужаснѣе! Тогда ужъ не догадываются, а просто утверждаютъ: она не смѣетъ показаться въ свѣтъ! Мужъ увезъ ее въ деревню, засадилъ дома, и очень, очень умно сдѣлалъ!—Будутъ шептать добрыя старушки: какой ужасный деспотизмъ! ахъ, какъ она несчастлива!—Бѣдный, какъ онъ жалокъ!—заговорятъ молодыя женщины, посматривая на какого-нибудь ловеласа, который надоѣдалъ ей своимъ волокитствомъ. Поздненько за умъ хватился,—скажутъ пожилые мужчины,—давно бы пора!—Какъ глупъ этотъ мужъ,—начнутъ кричать молодые люди:—да неужели онъ думаетъ, что его двадцатилѣтняя жена вовсе безъ сердца? Онъ долженъ былъ ожидать этого. Ну, возможно ли?.. И какъ требовать, чтобъ она была вѣрна своему мужу, когда онъ годится ей въ дѣдушки!—И эти же самые люди, которые не хотятъ вѣрить, что любить мужа старика и быть ему вѣрною возможно, безъ всякаго сожалѣнія закидаютъ грязью бѣдную женщину, если она, по несчастію, оправдаетъ ихъ мнѣнія. Теперь я спрашиваю васъ: стоитъ ли эта безсмысленная, злая толпа, чтобъ, въ угоду ея прихоти, мы подавляли въ душѣ нашей самое чистое и благородное чувство? И какую пользу принесетъ намъ эта жертва? Никакой! Нѣтъ, Александръ Михайловичъ! Пусть боятся злословія и предразсудковъ тѣ, которымъ нужна модная по-

хвала, чтобъ прикрыть ею отвратительную истину; но, повѣрьте мнѣ, въ комъ совѣсть чиста, тотъ можетъ и долженъ презирать мнѣніе свѣта.

Одинъ русскій поэтъ, теперь уже почти забытый, но нѣкогда весьма любимый, а особливо тѣми, которые имѣли счастіе знать его лично, сказалъ:

„Что всякой логики сильнѣе:
Прекрасной женщины слова".

Я испыталъ эту истину на себѣ. Я могъ бы сказать этой замаскированной красавицѣ, что дружба и любовь родныя сестры, и что, при старомъ мужѣ, молодой другъ опаснѣе врага; что жить въ свѣтѣ и презирать мнѣніемъ свѣта не можетъ никто, потому что общее мнѣніе почти всегда, или, по крайней мѣрѣ, очень часто имѣетъ своимъ основаніемъ истину; что сплетни злыхъ старухъ, вздорная болтовня молодыхъ барынь и вранье пустоголовыхъ вѣтрогоновъ никогда не повредятъ репутаціи женщины, если она желаетъ искренно исполнять свои обязанности; что, жалуясь на злословіе людей, мы почти всегда болѣе или менѣе даемъ поводъ къ этому злословію, и что народная пословица: «дымъ безъ огня никогда не бываетъ»—хотя и не русская, а часто сбывается на святой Руси. Теперь все бы это пришло мнѣ въ голову, но тогда я думалъ совсѣмъ не о томъ; прислушиваясь съ большимъ вниманіемъ къ голосу голубого домино, я увѣрился, подъ конецъ, что со мною разговариваетъ Днѣпровская.—Боже мой, какъ она мила!—думалъ я.—Какъ все то, что она говоритъ, справедливо! Сколько ума, сколько прелестей!.. Но неужели она притворилась больной для того только, чтобъ съѣздить домой и переодѣться?.. Ужъ не ошибаюсь ли я?..

— Мнѣ кажется, прекрасная маска,—сказалъ я,—мы недавно съ вами познакомились—мѣсяца два или три, не болѣе? Не такъ ли?

— О, нѣтъ! мы давно знаемъ другъ друга; и если вы не отречетесь отъ вашихъ собственныхъ словъ...

— Отъ моихъ словъ?

— Да! или, что почти одно и тоже, если вы всегда говорите правду...

— Я никогда не лгу.

— Это испытать не трудно,—сказала маска, распахнувъ свое домино.—Смотрите.

Черный бархатный спенсеръ, отдѣланный, какъ гусарскій доломанъ, золотыми шнурками, напоминалъ мнѣ тотчасъ мою первую встрѣчу съ Днѣпровскою.—Такъ это вы?—вскричалъ я.

— Вы узнали это платье?

— Съ перваго взгляда. Да неужели это то самое?

— Да!—отвѣчала Днѣпровская вполголоса:—я берегла его. Оно было на мнѣ, когда мы встрѣтились съ вами въ первый разъ.

— Ну,—подумалъ я,—какому другу-мужчинѣ пришло бы это въ голову? То ли дѣло другъ-женщина!

— Скажите мнѣ,—продолжала Днѣпровская,—за что вы насъ покинули?

— Я такъ занятъ службою...

— Александръ Михайловичъ! я вижу сквозь вашу маску, что вы покраснѣли. Зачѣмъ говорить неправду! Признайтесь, мой ласковый пріемъ, моя откровенность до смерти васъ перепугали? Что-жъ дѣлать! Притворство мнѣ вовсе несродно: съ перваго взгляда я почувствовала къ вамъ дружбу и не хотѣла скрывать этого чувства. Если бъ вы не были женихомъ, то, быть-можетъ, и я не была бы такъ откровенна; но вы почти женаты, я замужемъ, такъ для чего же было мнѣ хитрить и прикидываться равнодушною, когда я отъ всей души обрадовалась, увидя васъ въ моемъ домѣ. Вы не умѣли понять меня, Александръ Михайловичъ, и, какъ честный человѣкъ, рѣшились не ѣздить къ женщинѣ, которой вы *имѣли несчастіе* понравиться—неправда ли?

— Проклятый баронъ!—подумалъ я,—онъ все ей пересказалъ.

— Теперь я, кажется, увѣрила васъ,—продолжала Надина,—что дружба—не любовь. Хотите ли быть моимъ другомъ?—прибавила она такимъ робкимъ голосомъ, съ такимъ обворожительнымъ чувствомъ боязни и любви, что я, увлеченный минутнымъ порывомъ, сказалъ съ восторгомъ:—Хочу ли я быть вашимъ другомъ?.. О, съ радостію, съ блаженствомъ!..

Днѣпровская молча протянула ко мнѣ руку и отвернулась: она хотѣла скрыть отъ меня свои слезы, но я видѣлъ, точно видѣлъ, какъ онѣ капали изъ-подъ маски на ея бѣлый батистовый платокъ. Я покрывалъ поцѣлуями эту прелестную ручку, которую держалъ въ своей рукѣ, и чувствовалъ сквозь перчатку, что она холодна какъ ледъ. Нѣсколько минутъ мы не говорили ни слова.—Вы будете къ намъ ѣздить?—шепнула, наконецъ, прерывающимся голосомъ Надина.

— Какой вопросъ!

— Честное слово?

— Клянусь вамъ...

— Не клянитесь, а пріѣзжайте завтра вечеромъ. Но тише! кажется, сюда идутъ.

Князь Двинскій и пріятель мой Закамскій, оба безъ масокъ, подошли къ дверямъ комнаты, въ которой мы сидѣли.—Полно, князь, перестань!—говорилъ Закамскій,—какъ тебѣ не стыдно!

— Напротивъ, мой другъ! очень стыдно. Ребенокъ свелъ ее съ ума, а я... ахъ, чортъ возьми!..

— Да съ чего ты взялъ?

— Съ чего?.. Послушай, Закамскій! Еслибъ дѣло шло о Горацiѣ, или Виргилiѣ, даже о французской словесности, то я бы не пикнулъ передъ тобою: ты человѣкъ ученый—тебѣ и книги въ руки. Но дѣло идетъ о жен-

щинѣ, такъ теперь твоя очередь; извольте, сударь, молчать: эта грамота вамъ не далась! Да помилуй, развѣ ты слѣпъ? Съ тѣхъ поръ, какъ твой благочестивый Грандисонъ побывалъ у нея въ домѣ и вдругъ пересталъ ѣздить, что съ ней сдѣлалось? Куда дѣвалась ея любезность и эти розовыя щечки, которыми ты такъ любовался?

— Да, это правда, она похудѣла; но развѣ это что-нибудь доказываетъ?

— Конечно, ничего; да почему же всякій разъ, какъ назовутъ при ней по имени твоего пріятеля, эти блѣдныя щеки становятся опять розовыми?.. И бываетъ же счастье людямъ, которые не умѣютъ имъ пользоваться.

— Все это вздоръ, князь! Правда только, что она съ нѣкотораго времени почти всегда нездорова. Вотъ, хоть сегодня, полчаса не могла пробыть въ маскарадѣ.

— А что? Ты думаешь она уѣхала домой?

— Я самъ видѣлъ.

— И я видѣлъ, да не вѣрю. Тутъ есть какая-нибудь хитрость. Хочешь ли въ закладъ?.. Она опять здѣсь, только въ маскѣ.

— Почему ты это думаешь?

— Такъ; мнѣ кинулся въ глаза одинъ розовый башмачекъ... Или я вовсе въ этомъ толку не знаю, или эта ножка... Да погоди, дай мнѣ только еще разъ повстрѣчаться...

— Злой человѣкъ! — шепнула Надина.— Они идутъ сюда... Пойдемте въ залу.

Мы сошлись въ дверяхъ съ княземъ; онъ вѣжливо посторонился, взглянулъ съ улыбкою на голубое домино Днѣпровской, потомъ на меня, и шепнулъ что-то моему товарищу.— И, нѣтъ!—сказалъ громко Закамскій, — онъ незнакомъ съ графинею.

Мы поспѣшно прошли черезъ всѣ гостиныя и смѣшались съ толпою, которая попрежнему тѣснилась въ залѣ. «Оставьте меня!» — сказала Днѣпровская. Я не успѣлъ еще отойти въ сторону, какъ Двинскій подошелъ къ Надинѣ и сказалъ вполголоса: «Какъ я радъ, beau masque, что вы такъ скоро выздоровѣли».

— Вы ошиблись: я васъ не знаю,—отвѣчала Надина, разумѣется не своимъ голосомъ. Она хотѣла отъ него уйти; но не было никакой возможности пробраться сквозь толпу.

— Скажите,—продолжалъ Двинскій,—здоровъ ли monsieur votre époux? Онъ вѣрно играетъ въ вистъ?

Днѣпровская молчала.

— Не бойтесь!—шепнулъ князь,—я не назову ни васъ, ни его по имени. Да что съ вами такое было? Вѣрно отъ духоты? Напрасно вы опять сюда пришли. Вотъ въ этой угольной комнатѣ, гдѣ вы сейчасъ были, гораздо прохладнѣе. А, кстати! У васъ, кажется, была тамъ консультація съ вашимъ докторомъ? Я тотчасъ узналъ его. Искусный медикъ! Онъ васъ непремѣнно вылѣчитъ.

Я вышелъ изъ терпѣнія.—Милостивый государь! — вскричалъ я, схвативъ за руку князя,—чего хотите вы отъ этой дамы?

— Чего? Какой нескромный вопросъ!— сказалъ князь, взглянувъ на меня съ насмѣшливой улыбкою.

— Вы съ нею вовсе незнакомы.

— Неужели? Позвольте, хоть немножко! Не такъ коротко, какъ вы—о, это другое дѣло!... Но я бы вамъ совѣтовалъ получше перемѣнять вашъ голосъ, а то—знаете ли что? Вотъ хоть Днѣпровскій ужъ очень недогадливый человѣкъ, а тотчасъ васъ узнаетъ и, право, догадается, что вы только *къ нему* не хотите ѣздить въ гости.

Я совсѣмъ растерялся и не зналъ, что отвѣчать; къ счастію, Надина, пока я говорилъ съ княземъ, успѣла перейти въ другую сторону залы и скрыться въ толпѣ. Съ четверть часа я искалъ ее по всѣмъ комнатамъ. Со мною повстрѣчался баронъ:—Помилуй!— сказалъ онъ,—что ты такъ бѣгаешь?—Я насилу могъ тебя догнать.

— Не видѣлъ ли ты,—спросилъ я,—маску въ голубомъ домино и мужской круглой шляпѣ?

— Не безпокойся, — отвѣчалъ баронъ:—я проводилъ ее до кареты. Ну, что, мой другъ, мы завтра вечеромъ вмѣстѣ?

— Да!

— Какое счастіе! Наконецъ, вы умилостивились! Знаешь ли, мой другъ, у меня гора съ плечъ свалилась? я люблю тебя, а ты былъ такъ смѣшонъ, такъ смѣшонъ!.. Двинскій прозвалъ тебя Грандисономъ, а ее Кларисою...

— Двинскій!.. Если-бъ ты зналъ, какой негодяй этотъ Двинскій!

— Не сердись на него, мой другъ: его роль также не очень забавна! Онъ безъ ума влюбленъ въ Днѣпровскую, а она его терпѣть не можетъ.

— Да развѣ это ему даетъ право быть дерзкимъ!

— И, душенька! Да кого бьютъ, тотъ всегда кричитъ: вѣдь ему больно! Этотъ избалованный женщинами повѣса можетъ ли спокойно видѣть торжество соперника, который не хочетъ даже воспользоваться своею побѣдою?

— Какой я соперникъ? Что за побѣда? Я обѣщалъ Днѣпровской быть ея другомъ и больше ничего. Да повѣрь, баронъ, она и сама не думаетъ о любви. О, мой другъ! еслибъ ты зналъ, какая эта чистая, неземная душа!..

— Ого! — вскричалъ баронъ, — *неземная душа*!.. Да это, кажется, любимое ея словцо?.. Ну, я вижу, въ ученикѣ прокъ будетъ: онъ переимчивъ. Однакожъ, скоро два часа. Что, тебѣ надоѣло шататься?

— Очень.

— Такъ поѣдемъ. Забрось меня домой и ступай въ моей каретѣ. Тебѣ надобно выспаться. Днѣпровскій ужинаетъ очень поздно.

а завтра онъ тебя безъ ужина не отпуститъ— предобрый человѣкъ!

Когда я пріѣхалъ домой, Егоръ подалъ мнѣ письмо: его привезъ дворецкій Ивана Степановича Бѣлозерскаго, присланный въ Москву закупить годовую провизію. Я взглянулъ на адресъ и покраснѣлъ: онъ былъ написанъ рукою Машеньки. Я могъ обманывать другихъ, называть любовь дружбою, увѣрять всѣхъ, что Надина въ меня влюблена; но во мнѣ была еще совѣсть, а она говорила совсѣмъ не то.

II.

Платоническая любовь.

Я сталъ ѣздить къ Днѣпровскимъ, сначала раза два въ недѣлю, а потомъ почти каждый день. Съ пріятелемъ моимъ, Закамскимъ, я встрѣчался очень рѣдко, и въ продолженіе четырехъ мѣсяцевъ заѣзжалъ только два раза къ Якову Сергѣевичу Луцкому. Бывало каждую недѣлю я писалъ къ моей невѣстѣ, а теперь иногда забывалъ почтовый день, и, чтобъ оправдать себя, лгалъ безъ всякаго стыда и зазрѣнія совѣсти: то письмо пропадало, то Егоръ забывалъ отдать его, или опаздывалъ отнести на почту.

Днѣпровская вела себя очень осторожно. Мы рѣдко оставались наединѣ; а когда это случалось, то говорили о нашей дружбѣ, о счастіи двухъ душъ, которыя понимаютъ другъ друга, читали вмѣстѣ «Новую Элоизу», «Вертера», «Августа Лафонтеня». Закамскій отгадалъ: мы трогались, плакали, раза три принимались перечитывать «Бѣдную Лизу», «Наталью, Боярскую дочь» и «Островъ Борнгольмъ», но что болѣе всего нравилось Надинѣ, что мы знали оба почти наизусть, такъ это небольшой драматическій отрывокъ «Софья», особенно замѣчательный по своему необычайному сходству съ сочиненіями французскихъ романистовъ нашего времени. Читая его, мы, такъ сказать, *предвкушали* наслажденіе, которое доставляетъ намъ теперь молодая французская словесность. Этотъ литературный грѣхъ великаго писателя, едва начавшаго свое блестящее поприще, не помѣщенъ въ полномъ собраніи его сочиненій и, быть-можетъ, многіе изъ моихъ читателей не имѣютъ о немъ никакого понятія. Вотъ въ чемъ дѣло: Софья, молодая и прекрасная женщина, точь-въ-точь одна изъ героинь Бальзака, или Евгенія Сю, вышла замужъ, по собственной своей волѣ, за г-на Доброва, шестидесятилѣтняго старика, такого же снисходительнаго и услужливаго мужа, каковъ мосье Жакъ, въ романѣ извѣстнаго Жоржъ-Занда, или лучше сказать, благочестивой г-жи Дюдеванъ. У этого Доброва, Богъ вѣсть почему, живетъ какой-то французъ Латьень; онъ соблазняетъ Софью. *Софья рѣшается* сказать объ этомъ своему мужу и проситъ у него позволенія уѣхать съ своимъ любовникомъ въ Брянскіе лѣса. Старый мужъ удивляется, не вѣритъ; но Софья объявляетъ ему, что она уже три года въ интригѣ съ французомъ, и что сынъ, котораго Добровъ называетъ своимъ, не его, а *ея* сынъ. Старикъ начинаетъ кричать, шумѣть, предаетъ ее проклятію; съ нимъ дѣлается дурно; потомъ онъ приходитъ въ себя, плачетъ, импровизируетъ ужасные монологи, проситъ у жены прощенья, становится передъ ней на колѣни. Но Софья женщина съ характеромъ; она говоритъ пречувствительныя рѣчи, а все-таки не хочетъ съ нимъ остаться, и проситъ позволенія уѣхать съ французомъ. Наконецъ, великодушный мужъ соглашается, закладываетъ карету, и добродѣтельная супруга отправляется съ мосье Латьень въ Брянскіе лѣса. Все это, какъ изволите видѣть, очень натурально, но конецъ еще лучше. Жить вѣчно въ лѣсу вовсе не забавно: французъ начинаетъ скучать и, отъ нечего дѣлать, волочится за Парашею, горничной дѣвушкою Софьи. Барыня замѣчаетъ, ревнуетъ, французъ крадетъ у нея десять тысячъ рублей и уговариваетъ Парашу бѣжать съ нимъ въ Москву. Софья ихъ подслушиваетъ, кидается на француза, рѣжетъ его ножомъ, потомъ сходитъ съ ума, бѣгаетъ по лѣсу, разговариваетъ съ *бурными вѣтрами*, и кричитъ: «моря пролейтесь!»— Подлинно сумасшедшая! Ну, какія моря въ Брянскихъ лѣсахъ? Къ концу довольно длиннаго монолога, который напоминаетъ сначала Шекспирова «Царя Лира», а подъ-конецъ его-же «Макбета», Софья подбѣгаетъ къ рѣкѣ, кричитъ: «вода, вода!» бросается съ берега и тонетъ.

Однажды, это ужъ было зимою, часу въ девятомъ вечера, я заѣхалъ къ Днѣпровскимъ. Мужа не было дома; несмотря на ужасную вьюгу и морозъ, онъ отправился въ англійскій клубъ. Надина была одна. Она сидѣла задумавшись передъ столикомъ, на которомъ лежала разогнутая книга; мнѣ показалось, что глаза у нея заплаканы.

— Что съ вами?—спросилъ я.—Вы что-то разстроены?

— Такъ, ничего! — отвѣчала Надина,—я читала...

— Софью? — сказалъ я, заглянувъ въ книгу.

— Да. Странное дѣло, я знаю наизусть эти прелестныя сцены и всякій разъ читаю ихъ съ новымъ наслажденіемъ.

— Чему жъ вы удивляетесь? Одно посредственное теряетъ вмѣстѣ съ новостію свое главное достоинство; но то, что истинно, превосходно...

— Повѣрите ли?—продолжала Надина,— мой мужъ, котораго я уговорила прочесть этотъ драматическій отрывокъ, говоритъ, что въ немъ нѣтъ ничего драматическаго; что пошлый злодѣй Латьень походитъ на самаго обыкно-

веннаго французскаго парикмахера; что Софья гадка; что мужъ ея вовсе не жалокъ, а смѣшонъ и очень глупъ. Боже мой! до какой степени можетъ человѣкъ изсушить свое сердце! То, что извлекаетъ невольныя слезы, потрясаетъ нашу душу, кажется ему и пошлымъ и смѣшнымъ? Я уважаю Александра Семеновича: онъ очень добрый человѣкъ и любитъ меня столько, сколько можетъ любить; но, согласитесь, Александръ Михайловичъ, такое отсутствіе всякой чувствительности въ человѣкѣ, съ которымъ я должна провести всю жизнь мою, ужасно! На этихъ дняхъ мы смотрѣли съ нимъ драму: «Ненависть къ людямъ и раскаяніе»: я обливалась слезами, въ креслахъ всѣ плакали; а мой Алексѣй Семеновичъ...

— Неужели зѣвалъ?

— Хуже! Вздумалъ утѣшать меня, и сказалъ почти вслухъ:—Да полно, другъ мой, не плачь! вѣдь это все выдумка!—Къ счастію, въ ложѣ подлѣ насъ сидѣла княгиня Вельская,—вотъ та, что въ разводѣ съ мужемъ,—она зарыдала такъ громко, что никто не разслышалъ его словъ. Бѣдная Вельская! для нея горесть и отчаяніе Эйлаліи были вовсе не выдумкою. Подъ-конецъ ей сдѣлалось дурно; ее вынесли изъ театра. Ахъ, какъ жалка эта женщина! Вы ее знаете?

— Да, я что-то слышалъ; кажется, она убѣжала отъ своего мужа.

— Но вы не знаете всѣхъ обстоятельствъ: это цѣлый романъ. Жертва обольщенія и непреодолимой страсти, она сохнетъ, страдаетъ здѣсь въ Москвѣ, въ то время какъ ея бездушный мужъ живетъ преспокойно въ Костромѣ и не хочетъ никакъ съ нею помириться! Чудовище!..

— Мнѣ кажется,—сказалъ я шутя,—этотъ мужъ до нѣкоторой степени извинителенъ.

— И, полноте! — вскричала Надина, — я еще поняла бы это, если-бъ онъ, какъ Мейнау, возненавидѣлъ людей, скрылся въ какую-нибудь пустыню; а то нѣтъ! онъ служитъ губернскимъ предводителемъ, даетъ пиры и растолстѣлъ такъ, что гадко смотрѣть!

— Скажите, пожалуйста!

— Вы смѣетесь, Александръ Михайловичъ? Вамъ вовсе не жаль этой бѣдной Вельской? Вотъ участь всѣхъ женщинъ, которыя умѣютъ сильно чувствовать и любить! Ну, пусть ханжи и лицемѣрки преслѣдуютъ ихъ своимъ злословіемъ; но мужчины?.. Да знаютъ ли эти строгіе судьи, что такое жить въ вѣчной борьбѣ съ самой собою?.. Знаете ли вы, что любовь для женщины все? Эта любовь замѣняетъ для нея всѣ сильныя ощущенія, всѣ страсти, которыя поперемѣнно владѣютъ душою мужчинъ. Для васъ есть слава, знаменитость, безсмертіе; для васъ открытъ весь свѣтъ—служба, разсѣяніе, свобода, все можетъ вамъ исцѣлиться отъ любви; но это еще ничего, когда мужчина хочетъ побѣдить страсть свою, то долженъ бороться съ однимъ собою; онъ можетъ убѣгать случая быть вмѣстѣ съ той, которую любитъ, и если захочетъ, то никогда не встрѣтится съ нею; а бѣдная женщина!.. Мы съ вами только друзья, Александръ Михайловичъ; но представьте себѣ, — это одно предположеніе, — вообразите, что мы страстно любимъ другъ друга; и тогда скажите мнѣ: гдѣ найду я защиту отъ васъ и отъ самой себя? Я не стану принимать васъ; но могу ли я запретить вамъ казаться мнѣ на глаза? Кто помѣшаетъ вамъ преслѣдовать меня вездѣ, встрѣчаться со мною на каждомъ шагу? Васъ не связываютъ ни строгія обязанности, ни приличія свѣта; вы не стыдитесь, вы даже не скрываете любви своей — вы мужчина. Когда въ тишинѣ ночи, тайкомъ отъ всѣхъ, я буду стараться залить горькими слезами этотъ огонь, который пожираетъ мою душу; когда послѣ необычайныхъ усилій мнѣ удастся забыть на минуту вашъ милый образъ, который не покидаетъ меня ни днемъ, ни ночью; когда я начинаю уже благодарить Бога за то, что Онъ возвратилъ мнѣ спокойствіе,—вы снова являетесь передо мною, и снова этотъ адъ—нѣтъ! этотъ рай, но недоступный, но созданный не для меня, — представится моему воображенію, воскреснетъ въ моемъ сердцѣ, и все это для того, чтобъ снова растерзать его на части! Я женщина, Александръ Михайловичъ! я не приду говорить вамъ первая о любви своей; вамъ только стоитъ быть недогадливымъ, и эта страсть навсегда останется для васъ тайною; но вы... вамъ это позволено, вы можете даже притворяться, играть комедію, всклепать на себя любовь, которую вовсе не чувствуете—вы мужчина. Обвиняйте же послѣ этого бѣдную Вельскую, клянитe ее за то, что она видѣла отчаяніе того, кто былъ мечтою всей ея жизни, и не могла сказать ему: я не люблю тебя?

Никогда еще Надина не была такъ прелестна! Я слушалъ ее съ восторгомъ.

— Скажите мнѣ, Надежда Васильевна,— спросилъ я, — какъ съ такой пламенной душою, съ такой способностію любить страстно, вы могли...

Я остановился.

— Договаривайте!—сказала Надина.—Вы хотите сказать, какъ я могла выдти замужъ за Алексѣя Семеновича?

— Признаюсь, это для меня совершенная загадка. Наши бабушки не смѣли, да и не могли выбирать себѣ жениховъ. Живя всегда взаперти, онѣ должны были поневолѣ вѣрить на-слово какой-нибудь подкупленной свахѣ и во всякомъ случаѣ повиноваться безпрекословно волѣ родителей; но теперь...

— Теперь? — прервала съ жаромъ Надина. — Да развѣ убѣжденія и просьбы отца и матери не тѣ же приказанія? Развѣ

мнѣніе свѣта, семейственныя обязанности и приличія не тѣ же четыре стѣны, которыми ограничивалась свобода нашихъ бабушекъ? Для васъ это непонятно, Александръ Михайловичъ; да и какъ понять мужчинѣ эту женскую неволю, которую всѣ согласились называть свободою? Не правда ли, мы царствуемъ въ обществѣ? мы приказываемъ, а вы повинуетесь? Но вы, покорные рабы, дѣлаете все, что вамъ угодно; а мы, самовластныя царицы, должны всегда дѣлать то, чего хотятъ другіе. Зачѣмъ я вышла за Днѣпровскаго?.. Меня хотѣли пристроить, Александръ Михайловичъ! Понимаете ли, пристроить, то-есть дать право жить своимъ домомъ: принимать у себя гостей, дѣлать визиты одной, носить чепчикъ и называться дамою. Вы видите, во всѣхъ этихъ причинахъ моего замужества и рѣчи нѣтъ о томъ, буду ли я счастлива съ тѣмъ, кто назоветъ меня своей женою.

— Но, по крайней мѣрѣ, сердце ваше было свободно? Когда вы вышли замужъ, вы не любили никого?.. Вы молчите, — продолжалъ я,—быть-можетъ, вопросъ мой слишкомъ нескроменъ?..

— О, нѣтъ, сказала Надина, — но я не знаю, какъ вамъ отвѣчать. Да, я была равнодушна ко всѣмъ мужчинамъ, и если предпочитала тѣхъ, съ которыми была знакома, такъ это потому, что они чаще другихъ танцовали со мною, и я могла разговаривать съ ними свободнѣе, чѣмъ съ какимъ-нибудь незнакомымъ кавалеромъ, которому подчасъ бѣдная дѣвушка не знаетъ, что и отвѣчать. Конечно, въ числѣ моихъ знакомыхъ были и такіе, которые нравились мнѣ своей наружностью, умомъ; но я любила ихъ точно такъ же, какъ мы любимъ хорошія картины и умныя книги, съ тою только разницею, что изъ этихъ красавцевъ и умниковъ мнѣ нельзя было составить для себя ни картинной галлереи, ни библіотеки; слѣдовательно, я ихъ любила даже менѣе, чѣмъ книги и картины, которыя принадлежали мнѣ. Однимъ словомъ, рѣшительно всѣ мужчины, которыхъ я видѣла, не оставляли никакого впечатлѣнія въ душѣ моей.

— И такъ вы никого не любили до вашего замужества?

— Нѣтъ, Александръ Михайловичъ, я не хочу васъ обманывать. Смѣйтесь надо мною, если хотите, а я скажу вамъ всю правду: я любила существо, созданное моимъ воображеніемъ. Сердце мое говорило, что этотъ идеалъ не мечта, что онъ существуетъ; я не знала, встрѣтимся ли мы когда-нибудь въ этой жизни, но не сомнѣвалась, что и онъ тоже тоскуетъ обо мнѣ.—Какое ребячество!— подумаете вы, — да, Александръ Михайловичъ! я точно была ребенкомъ, жалкимъ, смѣшнымъ ребенкомъ, я не могла создать наружнаго образа, который не существовалъ бы въ природѣ, слѣдовательно, могла и встрѣтиться съ моимъ идеаломъ. Но какъ смѣла я надѣяться, что онъ также мечтаетъ обо мнѣ, также ждетъ съ нетерпѣніемъ этой встрѣчи, и будетъ смотрѣть равнодушно на всѣхъ женщинъ до тѣхъ поръ, пока не встрѣтится со мною? Одна изъ моихъ пріятельницъ такъ ясно доказала мнѣ безуміе этой надежды, что я рѣшилась исполнить волю моихъ родныхъ, вышла замужъ, и даже предпочла всѣмъ женихамъ Алексѣя Семеновича. Мнѣ не нужно было его обманывать: онъ почти втрое меня старѣе; слѣдовательно, не могъ и требовать отъ меня ничего, кромѣ дружбы.

— А вашъ идеалъ, Надежда Васильевна? Вы никогда съ нимъ не встрѣчались?

— Къ чему желать мнѣ этой встрѣчи? Я принадлежу другому.

— Это вовсе не отвѣтъ на мой вопросъ, Надежда Васильевна.

— Ахъ, Александръ Михайловичъ! было время, когда я каждую ночь засыпала съ утѣшительной мыслію: быть можетъ, завтра мы встрѣтимъ другъ друга. Но теперь!.. Конечно, я могла бы еще быть счастлива, совершенно счастлива, еслибъ *онъ*, встрѣтясь со мною, захотѣлъ понять любовь мою! если-бъ онъ постигъ вполнѣ это чувство, въ которомъ нѣтъ ничего земного. Днѣпровскому я отдала мою руку, я клялась быть вѣрной женою, и сдержу свое обѣщаніе; но *ему*—о, съ какимъ бы наслажденіемъ я отдала ему свое сердце, свою душу, всѣ помышленія свои?.. Я жила бы его жизнью, онъ былъ бы моей судьбою, его ласковый взглядъ—моимъ блаженствомъ, его улыбка — моимъ земнымъ раемъ! Здѣсь мы были бы счастливы, а тамъ — вѣчно неразлучны.

Днѣпровская замолчала. Всѣ мои чувства были очарованы, все прошедшее изгладилось изъ моей памяти; да, я долженъ признаться, въ эту минуту я принадлежалъ совершенно Надинѣ.

— Но зачѣмъ себя обманывать? — продолжала она, не отнимая руки, которую я прижималъ къ груди моей.—Оно прошло, это время дѣтскихъ надеждъ и заблужденій! Мужчина съ непорочнымъ сердцемъ, мужчина, способный понять эту пламенную страсть души, это чувство, въ которомъ все чисто, какъ чисты ясныя небеса... Нѣтъ, нѣтъ! этотъ идеалъ еще менѣе возможенъ, чѣмъ тотъ, о которомъ я нѣкогда мечтала!..

— Надина!..—вскричалъ я.

— Жена въ диванной? — раздался за дверьми голосъ хозяина.

Надина вскричала и побѣжала навстрѣчу къ своему мужу.

— Здравствуй, мой другъ, здравствуй!— сказалъ Днѣпровскій, входя въ диванную.— Здравствуйте, Александръ Михайловичъ! Бога ради, Наденька, чаю скорѣй, чаю! Я совсѣмъ замерзъ!

Днѣпровская позвонила въ колокольчикъ.

— Еслибъ ты знала, — продолжалъ Алексѣй Семеновичъ, повалясь въ вольтеровскія кресла, — какія были со мною приключенія! Представь себѣ: только я пріѣхалъ въ клубъ, сталъ скидать шубу, хвать — поздравляю! и кошелекъ и книжку съ деньгами, все забылъ дома! Что будешь дѣлать? Скорѣй назадъ!.. Откуда ни возьмись пріятель нашъ баронъ Брокенъ. — Куда!.. Зачѣмъ? Помилуйте! да на что вамъ деньги? Берите у меня сколько вамъ угодно. Ты знаешь, мой другъ, что я этого терпѣть не могу. Я отказался; баронъ сталъ меня уговаривать; а тамъ заговорилъ о томъ, о семъ; слово-за слово, да продержалъ меня съ полчаса въ передней. Умный человѣкъ этотъ баронъ—очень умный, а такой болтунъ, что не приведи Господи! Ужъ онъ меня маялъ, маялъ, насилу вырвался! Лишь только я выѣхалъ на улицу, вдругъ изъ переулка какой-то сорванецъ на лихой тройкѣ шмыгъ прямо на возокъ! Его пристяжная попала между моихъ коренныхъ; мои лошади начали бить, его также, а тамъ уже я ничего и не взвидѣлъ; знаю только, что очутился на Дмитровкѣ, и что мой возокъ лежитъ на-боку. Я кой-какъ изъ него выползъ... глядь: Господи Боже мой! упряжь перепутана, дышло пополамъ, человѣка нѣтъ, кучеръ бѣжитъ позади, одинъ форейторъ усидѣлъ на лошади! Что дѣлать? Дожидаться долго, дай возьму извозчика. Какъ на смѣхъ— ни одного! Авось встрѣчу какого-нибудь Ваньку... Иду—нѣтъ какъ нѣтъ! ну, словно сговорились! Повѣришь ли, вплоть до дому все шелъ пѣшкомъ; да ужъ зато какъ и передрогъ! Холодъ, вѣтеръ, эта дурацкая медвѣжья шуба запахнуться не хочетъ, топырится въ стороны—смерть да и только! Ахъ, матушка, скорѣй чаю! Бога ради, скорѣй! дай душу отвести!

— Сейчасъ подадутъ,—сказала Надина,— а ты межъ тѣмъ сядь поближе къ камину— вотъ такъ! Бѣдняжка! въ самомъ дѣлѣ, какъ онъ озябъ!..

Черезъ нѣсколько минутъ подали чай, и когда Днѣпровскій совсѣмъ обогрѣлся, Надина спросила,—не прикажетъ ли онъ заложить сани или другую карету?

— Нѣтъ, моя душа!—вскричалъ хозяинъ,— теперь ни за что не поѣду. Ты не можешь вообразить, какая погода. Пусть себѣ князь Андрей Ильичъ играетъ съ кѣмъ хочетъ, а я слуга покорный!.. Постой!.. Мнѣ кажется, я слышу голосъ барона?.. Что это ему вздумалось?

Днѣпровскій не ошибся: это точно былъ баронъ.

— Что съ вами сдѣлалось, Алексѣй Семеновичъ,—сказалъ онъ, войдя въ комнату: — поѣхали на минуту и вовсе пропали. Ужъ не вы ли, Надежда Васильевна?

— Нѣтъ, баронъ,—прервалъ хозяинъ,— я самъ не хочу ѣхать: меня разбили лошади.

— Что вы говорите?.. Однакожъ вы не ушиблись.

— Слава Богу, нѣтъ; но такъ прозябъ, такъ усталъ, идучи пѣшкомъ домой, что теперь ни за какія блага въ мірѣ не тронусь изъ комнаты.

— А вѣдь я къ вамъ посломъ: князь Андрей Ильичъ...

— Безъ меня не можетъ составить своей партіи въ три и три? Да воля его, а я сегодня съ нимъ не игрокъ.

— Сжальтесь надъ бѣднымъ княземъ! Вы знаете, онъ ни въ бостонъ, ни въ рокамболь не играетъ.

— Ужъ это не мое дѣло.

— Сдѣлайте милость, поѣдемте! Я въ четырехмѣстной каретѣ: вамъ будетъ и тепло и спокойно. Вы не можете вообразить, какъ тоскуетъ бѣдный князь, на мѣстѣ не посидитъ, ходитъ изъ комнаты въ комнату, и отъ нечего дѣлать выпилъ двѣ кружки сельтерской воды, того и гляди примется за третью. Что вы уморить что ль его хотите?

— Нѣтъ, баронъ, ни за что не поѣду.

— Рѣшительно?

— Рѣшительно.

— Ну, если такъ, позвольте же и мнѣ у васъ остаться.

— Милости просимъ.

— Не хотите ли, Алексѣй Семеновичъ, въ пикетъ?

— Очень радъ! Эй, малый! Столъ, карты.

— Да не лучше ли намъ сѣсть въ гостиной.

— И здѣсь хорошо.

— Тамъ лучше: пикетная игра требуетъ большого вниманія; а здѣсь Надежда Васильевна начнетъ разговаривать съ Александромъ Михайловичемъ о своемъ Карамзинѣ, пойдутъ споры, заслушаешься, снесешь четырнадцать, пропустишь картъ-бланшъ... Нѣтъ, право, Алексѣй Семеновичъ, сядемте лучше тамъ!

— Пожалуй! по мнѣ все равно.

Баронъ и Днѣпровскій сѣли играть въ гостиной, а я остался опять вдвоемъ съ Надиной; но минута очарованія прошла, я совершенно опомнился. Напрасно Днѣпровская старалась примѣтнымъ образомъ начать снова прежній разговоръ,—я какъ будто бы не понималъ, чего она хочетъ. Сталъ говорить о французской словесности, о драмахъ Коцебу, о новомъ романѣ Августа Лафонтена. Надина слушала меня съ задумчивымъ и разсѣяннымъ видомъ; потомъ стала жаловаться на головную боль, и часу въ одиннадцатомъ ушла на свою половину, оставивъ меня, барона и Днѣпровскаго ужинать втроемъ.

Я пріѣхалъ домой гораздо за-полночь. Мой слуга спалъ крѣпкимъ сномъ въ передней и не вышелъ меня встрѣтить со свѣчою. Ха

ощупью по лѣстницѣ, я какъ-то оступился и зашибъ правую ногу. Сгоряча мнѣ показалось, что это ничего; но часа черезъ два боль до такой степени усилилась, что я долженъ былъ послать за докторомъ.

Ш.

Дружеская переписка.

Во всю ночь я не могъ заснуть ни на минуту, и на другой день, несмотря на скорое пособіе врача, мнѣ не только нельзя было встать съ постели, но я даже не могъ притронуться къ больной ногѣ. Я не чувствовалъ никакихъ лихорадочныхъ припадковъ, голова моя была свѣжа, и когда я лежалъ спокойно, то и нога не очень меня тревожила; слѣдовательно, я могъ свободно думать, размышлять, вспоминать о прошедшемъ и повѣрять на просторѣ собственныя мои чувства. Я не могъ въ нихъ ошибаться. Днѣпровская плѣняла меня своимъ умомъ и красотою, любовь ея льстила моему самолюбію, но я любилъ одну Машеньку, и каждый разъ, когда оставался наединѣ съ собою, эта любовь съ новой силою оживала въ душѣ моей. Когда я былъ розно съ Надиною, то постигалъ возможность и разстаться съ нею, и забыть ее навсегда; но разстаться съ Машенькою, истребить эту первую любовь изъ моего сердца, забыть ее—о, нѣтъ, я чувствовалъ, что это совершенно невозможно. Послѣдній разговоръ мой съ Надиною не выходилъ у меня изъ головы. Она любила меня, въ этомъ я давно уже не сомнѣвался; но я надѣялся, что у насъ никогда не дойдетъ до объясненія, а вчера она почти призналась мнѣ въ любви своей, и я самъ—что грѣхъ таить! — готовъ былъ поклясться у ногъ ея, что люблю ее страстно... Да, я точно это чувствовалъ, по крайней мѣрѣ въ ту минуту, когда прижималъ ея руку къ моей груди, и она шептала своимъ очаровательнымъ голосомъ: здѣсь мы были-бъ счастливы, а тамъ вѣчно неразлучны! Что еслибъ Днѣпровскій нѣсколькими минутами позже воротился домой?.. Отъ одной этой мысли меня обдавало холодомъ. Конечно, князь Двинскій сталъ бы смѣяться надо мною, баронъ постарался бы доказать, что всѣ эти клятвы въ вѣчной любви, какъ слѣдствіе минутнаго восторга и какого-то моральнаго опьяненія, ничѣмъ насъ не обязываютъ, но я думалъ совсѣмъ иначе. Отецъ моей невѣсты, прощаясь со мною, сказалъ, что тотъ, кто обольститъ невинную дѣвушку или разведетъ мужа съ женою, никогда не будетъ его сыномъ. Эти слова врѣзались въ мою память. Я зналъ, что мой опекунъ сдержитъ свое слово, что онъ будетъ неумолимъ, и, признаюсь, начиналъ чувствовать вполнѣ всю опасность моего положенія.

Прошло дней десять, а я все еще не могъ каждый день, сидѣлъ со мною часовъ по пяти сряду, и сдѣлался подъ-конецъ совершенно необходимымъ для меня человѣкомъ. Мало по малу я началъ свыкаться съ его образомъ мыслей, раздѣлять его понятіи о разныхъ предметахъ и пересталъ пугаться его философіи. Хотя баронъ не успѣлъ сдѣлать изъ меня рѣшительнаго вольнодумца, но сильно поколебалъ всѣ прежнія мои вѣрованія, и я нечувствительно дошелъ до того, что иногда умничалъ и философствовалъ не хуже его, то-есть поролъ такую дичь, что и теперь, какъ вспомню объ этомъ, такъ мнѣ становится и совѣстно и стыдно.

Однажды баронъ пріѣхалъ ко мнѣ часу въ десятомъ вечера. — Ну, что? — сказалъ онъ, садясь подлѣ моей постели, — какъ ты себя чувствовалъ?

— Я совершенно здоровъ, и еслибъ только могъ ступать на ногу...

— А ты все еще не можешь?

— Не могу.

— Прошу покорно!.. Ну, если это продолжится еще мѣсяца два?..

— Два мѣсяца? Что ты! Я съ тоски умру.

— И полно, не умрешь? Ты очень великодушно переносишь это несчастіе, но бѣдная Надина!.. начинаю за нее бояться: она такъ исхудала, что на себя не походитъ. Какъ эта женщина тебя любитъ!

— Послушай, баронъ!—прервалъ я,— что тебѣ за охота говорить безпрестанно объ этой любви, которую я не долженъ, да и не могу раздѣлять, не потому, чтобъ я считалъ это за какое-нибудь ужасное преступленіе, — прибавилъ я, замѣтивъ насмѣшливую улыбку барона, — о, нѣтъ! но ты знаешь, чего я боюсь.

— Ты боишься пустяковъ, мой другъ. Да неужели ты въ самомъ дѣлѣ думаешь, что разведешь Днѣпровскаго съ женою? Какой вздоръ! Надина женщина умная; она знаетъ, чего требуетъ отъ насъ общество. Обманывай мужа сколько хочешь, только живи съ нимъ вмѣстѣ.

— А если, наконецъ, этотъ мужъ догадается...

— Что жена его любитъ другого? Да, это можетъ случиться, если ты долго не будешь видѣться съ Надиною.

— Помилуй, баронъ! Мнѣ кажется, это лучшее средство...

— Заставить влюбленную женщину надѣлать тысячу глупостей? Да, мой другъ! Помнишь ли ты, что было въ маскарадѣ?..

— Какъ не помнить! Я никогда не забуду, съ какой наглостью и безстыдствомъ этотъ князь Двинскій...

— Ну, такъ подумай хорошенько! Что, если бы ты некстати погорячился да наговорилъ дерзостей князю...

— Такъ чтожъ?

скверная исторія, дуэль. Что, ты думаешь, Двинскій сталъ бы молчать? Нѣтъ, душенька! На другой же день вся Москва заговорила бы, что ты въ интригѣ съ Днѣпровской: вѣдь ты дрался за нее съ княземъ. Нашлись бы добрые люди, написали бы къ вамъ въ губернію, и тогда ступай, увѣряй своего опекуна, что ты ни въ чемъ не виноватъ, что ты не хотѣлъ, и даже не думалъ встрѣтиться съ Днѣпровскою въ маскарадѣ,— повѣритъ онъ тебѣ! Теперь скажи мнѣ: неужели Надина, эта умная, знающая всѣ приличія женщина, рѣшилась бы переодѣваться, бѣгать за тобою въ маскарадѣ и подвергать себя явной опасности, когда могла бы преспокойно видѣться съ тобою у себя дома?

— Да, это правда.

— Вотъ то-то и есть, любезный другъ! Ну, не лучше ли для тебя быть въ самомъ дѣлѣ виноватымъ, но такъ, чтобъ никто не зналъ объ этомъ, чѣмъ безъ всякой вины прослыть любовникомъ Днѣпровской? Повѣрь моей опытности, Александръ Михайловичъ: если ты хочешь, чтобъ эта страсть оставалась для всѣхъ тайною, по крайней мѣрѣ до твоей свадьбы, такъ не приводи въ отчаяніе эту бѣдную Надину. Ты не можешь себѣ представить, какихъ дурачествъ готова надѣлать самая умная женщина, когда вовсе потеряетъ голову; а это съ ней непремѣнно случится: она привыкла тебя видѣть каждый день, и вотъ уже скоро двѣ недѣли...

— Но чтожъ мнѣ дѣлать? Ты видишь, я не могу къ ней ѣхать.

— А кто мѣшаетъ тебѣ съ нею переписываться?

— Переписываться? Что ты, баронъ?

— А что? Страшно? Ахъ, ты, ребенокъ, ребенокъ? Да и чего ты боишься? Развѣ я говорю тебѣ, чтобъ ты писалъ къ ней любовныя письма? Пиши, что хочешь, только пиши; а если бъ тебѣ и случилось иногда обмолвиться ласковымъ словцомъ, такъ чтожъ? большая бѣда!

— Нѣтъ, воля твоя, баронъ! я никогда не рѣшусь начать этой переписки.

— Право? Такъ ты и отвѣчать не будешь?

— Отвѣчать? На что?

— А вотъ прочти, такъ узнаешь, — сказалъ баронъ, подавая мнѣ запечатанное письмо безъ надписи.

Я развернулъ его; оно было отъ Надины.

Не знаю, отчего замирало мое сердце, когда я читалъ это письмо: въ немъ не было и слова о любви. Надина говорила только о дружбѣ, о нетерпѣливомъ желаніи скорѣй со мною увидѣться, о своей скукѣ, и объ этихъ *тиранскихъ* условіяхъ свѣта, которыя мѣшаютъ бѣдной женщинѣ навѣстить больного друга; однимъ словомъ, это письмо вовсе не походило на любовное, и я чувствовалъ, что не отвѣчать на него было бы не только невѣжливо, но даже глупо.

— Прикажете мнѣ быть вашимъ почтальономъ?—спросилъ баронъ.

— Сегодня ужъ поздно.

— Такъ я заверну къ тебѣ завтра по-утру. А что, можно мнѣ, какъ общему вашему другу и довѣренной особѣ, взглянуть.

— Пожалуй! тутъ вовсе нѣтъ секретовъ.

— Бѣдняжка! — сказалъ баронъ, пробѣжавъ письмо,—какъ она старается упрятать въ тѣсную раму дружбы это чувство, которое не имѣетъ никакихъ предѣловъ. Напрасный трудъ: злодѣйка любовь такъ и рвется наружу! Ну, я на твоемъ мѣстѣ не сталъ бы ее такъ мучить! Да скажи ей хоть шутя, что ты ее любишь, выговори первый это слово! Вѣдь она женщина! Послушай, Александръ: когда въ тебѣ есть хоть искра милосердія, то ты долженъ непремѣнно это сдѣлать.

— А что будетъ послѣ?

— То-же, что и теперь, только ей будетъ легче, а тебѣ веселѣе.

— Но все это должно скоро кончиться: я черезъ нѣсколько мѣсяцевъ уѣду въ деревню.

— Такъ чтожъ? Развѣ ей отъ этого будетъ легче, что ты разстанешься съ нею навсегда, не сказавъ ей ласковаго слова? Повѣрь, мой другъ, тебѣ самому будетъ пріятно вспомнить, что ты подарилъ нѣсколько счастливыхъ минутъ женщинѣ, которая безъ памяти тебя любила. Однакожъ, прощай! Мнѣ пора ѣхать: надобно сказать Днѣпровской, что я исполнилъ ея порученіе, что ты въ восторгѣ отъ ея письма... Это не вовсе правда, но, воля твоя, я солгу, чтобъ потѣшить эту бѣдную Надину. Не мѣшаетъ также ее предувѣдомить, что она получитъ завтра отвѣтъ; это даже необходимо: Днѣпровская такъ тебя любитъ, что ее должно *приготовить* къ этой радости.

На другой день по-утру баронъ отвезъ мое первое письмо къ Надинѣ; въ тотъ же день вечеромъ я получилъ отъ нея другое и, разумѣется, отвѣчалъ. Баронъ пріѣзжалъ каждый день мѣняться со мною письмами, говорилъ мнѣ безпрестанно о Днѣпровской; то воспламенялъ мое воображеніе описаніемъ ея прелестей, то возбуждалъ во мнѣ ревность, тревожилъ самолюбіе; однимъ словомъ, не давалъ мнѣ очнуться ни на минуту.

Не помню, въ которомъ—кажется, въ пятомъ или шестомъ письмѣ, Надина, возставая противъ предразсудковъ и мелочныхъ условій общества, говорила мнѣ: «Согласитесь, Александръ Михайловичъ, что мы сами стараемся сдѣлать нашу жизнь, и безъ того вовсе незавидную, еще тошнѣе и несноснѣе. Эти законы общества, эти приличія, которыя мѣшаютъ намъ предаваться вполнѣ самымъ невиннымъ наслажденіямъ, — кто создалъ, кто придумалъ ихъ? Мы сами. Какъ часто, напримѣръ, я говорю *ты*—это милое дружеское *ты*, человѣку, къ которому совершенно

подушна, и не смѣю его сказать вамъ: вы также... *вы!.. вамъ!..* Боже мой!.. Чувствуешь ли ты... чувствуете ли вы, Александръ Михайловичъ, какъ обдаетъ холодомъ это ледяное, бездушное *вы*, которое такъ и отталкиваетъ насъ другъ отъ друга? Я еще не испытала, но я понимаю, какое блаженство слышать это *ты* изъ устъ того... кого мы называемъ своимъ другомъ! Я думаю, Александръ Михайловичъ, вы, который не смѣете нарушать законъ общества, вы вѣрно слыхали, что они дозволяютъ стихотворцамъ говорить *ты* всѣмъ безъ исключенія? Знаете ли что? Попробуйте, напишите ко мнѣ письмо въ стихахъ».

Ну, какъ было не потѣшить бѣдной Надины! Я не умѣлъ писать стиховъ и потому отвѣчалъ прозою; но письмо мое начиналось этимъ привѣтливымъ *ты*, которое такъ сближаетъ двухъ друзей, и которое нельзя сказать прекрасной женщинѣ безъ того, чтобъ сердце ваше не забилось быстрѣй обыкновеннаго.—Что ты такое написалъ Днѣпровской?—спросилъ меня на другой день баронъ.—Она вчера была такъ счастлива! Я не могъ наглядѣться на нее, когда она читала твое письмо: глаза ея блистали радостью, и въ то-же время она плакала; но какъ завидны были эти слезы! Счастливецъ! ему стоитъ сказать одно привѣтливое слово, и прелестная женщина, у ногъ которой лежитъ вся Москва, готова сама умереть у ногъ его отъ восторга и радости!

Прошло мѣсяца полтора, я все еще не могъ выѣзжать. Переписка моя съ Днѣпровской продолжалась попрежнему, съ тою только разницею, что о дружбѣ не было и въ поминѣ. Не знаю, кто первый изъ насъ промолвился, но мы уже говорили о любви, разумѣется, о любви чистой, возвышенной, небесной, но которая, однакожъ, примѣтнымъ образомъ начинала мириться съ землею и становилась съ каждымъ днемъ вещественнѣе. Надина тосковала о томъ, что не видитъ меня, не слышитъ моего голоса, а мнѣ было досадно, что я не могу прижать ея руку къ моему *чистому* сердцу и покрыть эту милую ручку *невинными* поцѣлуями.

Однажды по-утру баронъ не привезъ ко мнѣ письма отъ Надины.—Прошу на меня не гнѣваться!—сказалъ онъ:—я былъ у Днѣпровской, засталъ ее одну, мы говорили о тебѣ; но когда, прощаясь съ нею, я замѣтилъ, что уѣзжаю съ пустыми руками, то она покраснѣла, хотѣла что-то сказать, однакожъ ничего не сказала.

— И не отдала тебѣ письма?

— Нѣтъ.

— Чтожъ это значитъ?

— Право не знаю. Можетъ-быть, такъ — женскій капризъ! Вѣдь я думаю, ей не за что на тебя сердиться?

— Кажется, нѣтъ.

— Ужъ не хочетъ ли она!.. А что въ самомъ дѣлѣ, отъ нея это станется.

— Что такое?

— Да такъ! она давно уже тоскуетъ о томъ, что тебя не видитъ.

— Какъ, баронъ! ты думаешь?..

— Да, я думаю, что вмѣсто письма она сама къ тебѣ пріѣдетъ.

— Ко мнѣ?..

— Ну!! поблѣднѣлъ: испугался!.. Дитя!.. Счастливъ ты, что я твой пріятель: ужъ какъ бы я надъ тобой посмѣялся!

— Но разсуди самъ, баронъ, какъ это можно?

— Конечно, конечно! Забыть до такой степени всѣ приличія!..

— Ну, если кто-нибудь узнаетъ...

— Что она была у тебя въ гостяхъ?.. Въ самомъ дѣлѣ, что скажутъ тогда о тебѣ?

— Эхъ, баронъ! не обо мнѣ рѣчь!..

— Какъ не о тебѣ? Ну, долго ли молодому человѣку замарать свою репутацію. Конечно, ты не можешь помѣшать Днѣпровской войти въ твою переднюю, и не увѣришь никого, что она приходила въ гости къ Егору; но, по крайней мѣрѣ, совѣсть твоя будетъ чиста. Да, да, мой другъ, не принимай ее!

— Ты шутишь, баронъ.

— Какія шутки! Вѣдь дѣло идетъ о твоей репутаціи. Знаешь ли что? всего лучше, прикажи запереть ворота: постучится, постучится, да пойдетъ прочь.

— Какой ты несносный человѣкъ! Развѣ я боюсь за себя? Бога ради! ступай, уговори ее...

— Чтобъ она къ тебѣ не ѣздила? А если Днѣпровская скажетъ:—Съ чего, сударь, вы взяли, что я хочу сдѣлать это дурачество? Развѣ я вамъ говорила объ этомъ?

— Въ самомъ дѣлѣ, баронъ, съ чего ты взялъ?.. Ну, можетъ ли быть, чтобъ она рѣшилась?..

— Не ручайся, любезный! Когда женщина влюблена, то готова на все рѣшиться. Да о чемъ ты хлопочешь? Ужъ я тебѣ сказалъ: ворота на запоръ, такъ и дѣло съ концомъ.

Насмѣшки барона произвели обыкновенное свое дѣйствіе: онѣ заглушили во мнѣ голосъ разсудка, заставили молчать совѣсть, и подъконецъ нашего разговора я самъ началъ смѣяться надъ этимъ дѣтскимъ малодушіемъ, остаткомъ моего деревенскаго воспитанія, по милости котораго самый обыкновенный поступокъ казался для меня ужаснымъ.

Когда баронъ уѣхалъ, всѣ опасенія мои возобновились. Весь этотъ день я провелъ въ безпрерывной тревогѣ; при одной мысли о томъ, что я увижу Надину, сердце мое замирало... но отъ чего? отъ удовольствія или боязни? право не знаю! Мнѣ было страшно подумать, что Надина ко мнѣ пріѣдетъ, и въ то же время я боялся до смерти, что она не рѣшится на этотъ смѣлый поступокъ. Вотъ

наступилъ вечеръ, нетерпѣніе мое возрастало съ каждой минутою. Проѣдетъ ли карета, залаетъ ли собака, скрипнетъ ли дверь, меня отъ всего бросало въ лихорадку; при малѣйшемъ шорохѣ въ передней у меня захватывало дыханіе. Однимъ словомъ, еслибъ въ это время докторъ пощупалъ мой пульсъ, то сказалъ бы навѣрное, что у меня горячка съ пятнами. Часу въ девятомъ вечера, когда я начиналъ уже думать, что баронъ ошибся въ своихъ догадкахъ, мой Егоръ растворилъ потихоньку дверь и, просунувъ ко мнѣ свою заспанную рожу, шепнулъ?—Къ вамъ, сударь, пришла какая-то барыня!

— Сюртукъ, скорѣй сюртукъ! — проговорилъ я, задыхаясь. — Ну, ну!.. хорошо!.. Ступай, проси! А самъ пошелъ вонъ!

— Куда-съ?

— Куда хочешь? Въ лавочку! въ кабакъ, къ чорту! только чтобъ здѣсь тебя не было.

— Слушаю-съ! — сказалъ Егоръ съ такой значительной и вмѣстѣ обидной улыбкою, что я непремѣнно вцѣпился бы ему въ волосы, еслибъ имѣлъ время его поколотить.—Пошелъ вонъ, дуракъ!— закричалъ я. Егоръ исчезъ. Дверь снова отворилась. Женщина, закутанная въ широкій салопъ и повязанная турецкимъ платкомъ, который закрывалъ до половины ея лицо, вбѣжала въ комнату. Она протянула ко мнѣ руки, хотѣла что-то проговорить, но не могла, и почти безъ чувствъ упала на кресла, которыя стояли подлѣ самыхъ дверей. Это была Надина. Несмотря на мою больную ногу, я кой-какъ подошелъ къ ней.

— Вы ли это, Надежда Васильевна?— сказалъ я трепещущимъ голосомъ.—О, какъ я вамъ благодаренъ! Вы рѣшились посѣтить меня.

— Вы!.. опять это несносное *вы*! — прошептала Днѣпровская.

— Надина! другъ мой!

Днѣпровская подала мнѣ руку.—Ахъ, какъ бьется мое сердце!—сказала она, — что я сдѣлала!.. Что подумаютъ обо мнѣ, если узнаютъ?..

— Не бойтесь... не бойся ничего, Надина!—прервалъ я, отогрѣвая моими поцѣлуями ея оледенѣвшія руки.—Мы одни, совершенно одни, и никто въ цѣломъ мірѣ не узнаетъ...

— Но ты, Александръ, что можешь ты подумать о женщинѣ, которая рѣшилась на такой безумный поступокъ? О, мой другъ, не обвиняй меня!

— Что ты говоришь, Надина, мнѣ обвинять тебя!

— Ахъ, Александръ! ты мужчина, ты не поймешь меня! Быть такъ близко отъ тебя, знать, что ты боленъ и не видѣться съ тобою, не слышать твоего голоса, — нѣтъ! это было выше всѣхъ силъ моихъ! Еслибъ ты зналъ, что я вытерпѣла! Сколько разъ въ эти безконечныя ночи тоски и страданій я думала: онъ здѣсь одинъ, онъ боленъ, и никто не позаботится о его покоѣ! Бѣдный другъ мой! Ахъ, я отдала бы полжизни, чтобъ въ эту минуту быть твоей сестрою, чтобъ имѣть право провести всю ночь безъ сна у твоего изголовья, усыпить тебя въ моихъ объятіяхъ, перекрестить съ любовью, когда ты заснешь...

Вдругъ послышался стукъ кареты; она остановилась у моего крыльца.—Эй, кто тутъ? Человѣкъ! — сказалъ кто-то громко въ передней.

— Боже мой!—шепнула Надина,—это голосъ моего мужа!

Лишь только она успѣла спрятаться въ мой кабинетъ и захлопнуть двери, вошелъ ко мнѣ Алексѣй Семеновичъ Днѣпровскій.

— Здравствуйте, Александръ Михайловичъ!—сказалъ онъ.—Вотъ холостая-то жизнь: ни одной души въ прихожей! Ну, что, какъ ваша нога?

— Немного получше,—отвѣчалъ я такимъ страннымъ голосомъ, что Днѣпровскій испугался.

— Что это,—вскричалъ онъ, — да у васъ никакъ лихорадка? Вы такъ блѣдны, голосъ дрожитъ... Не послать ли за докторомъ...

— Нѣтъ, не безпокойтесь! Это ничего. Прошу покорно садиться!

Днѣпровскій сѣлъ противъ меня.—Я очень передъ вами виноватъ, Александръ Михайловичъ,—сказалъ онъ.—Вотъ уже двѣ недѣли собираюсь васъ провѣдать, да все какъ-то было недосужно. Сегодня моя Надежда Васильевна не велѣла никого принимать; я было хотѣлъ остаться съ нею, да она меня протурила. Чѣмъ, дескать, ты будешь заниматься весь вечеръ? тебѣ будетъ скучно. Ступай, мой другъ, въ англійскій клубъ. Нечего дѣлать, поѣхалъ! Завернулъ съ визитомъ къ графу Ильменеву; отъ него отправился въ клубъ; да вдругъ дорогою-то мнѣ и пришло въ голову: чего жъ лучше? заѣду навѣстить Александра Михайловича.

— Покорнѣйше васъ благодарю!

— Да что это, въ самомъ дѣлѣ, вы такъ захилѣли? Вотъ скоро третій мѣсяцъ. Ужъ какъ тужитъ о васъ моя Надежда Васильевна! Она было хотѣла сама васъ навѣстить, да вышло маленькое обстоятельство...

— Что такое?

— Такъ! глупости, сплетни! Охъ, ужъ эта Москва! никого не оставитъ въ покоѣ.

— Вы меня пугаете!

— Оно, конечно, вздоръ, да непріятно. Представьте себѣ, оттого, что вы часто у насъ бывали, что мы васъ любимъ, что жена къ вамъ ласкова, стали дѣлать такія странныя заключенія. Разумѣется, я этимъ презираю, я знаю мою Надежду Васильевну: это ангелъ и тѣломъ и душою. Можетъ-быть, она немного вѣтрена, неосторожна, но сохра-

ни Боже, чтобъ я дозволилъ себѣ и малѣйшее подозрѣніе. Вы также, Александръ Михайловичъ, рѣдкій молодой человѣкъ. Еслибъ я не зналъ, что вы скоро женитесь и что вы любите вашу невѣсту, то и тогда бы не повѣрилъ этой гнусной клеветѣ.

— Какой клеветѣ?

— Да вотъ недѣли двѣ тому назадъ я получилъ безымянное письмо, въ которомъ меня увѣряютъ, будто бы вы страстно влюблены въ мою жену и что она вамъ отвѣчаетъ.

— Какая безстыдная ложь!—вскричалъ я, чувствуя, что вся кровь бросилась ко мнѣ въ лицо. — И вы не знаете, кто этотъ подлый клеветникъ?

— Почему мнѣ знать? Да не сердитесь, Александръ Михайловичъ! Клянусь вамъ честью, я этому не вѣрю. Это какой-нибудь жалкій волокита, который хотѣлъ отомстить моей женѣ за то, что она, можетъ-быть, порядкомъ его отдѣлала. Вѣдь есть такіе негодяи, право есть! Вы молодой человѣкъ, исполненный чести, благородный, вы не только не рѣшитесь оклеветать невинную женщину, вамъ не придетъ даже въ голову, что можно быть пріятелемъ съ мужемъ и стараться развратить его жену; а то ли еще бываетъ на бѣломъ свѣтѣ! Васъ, Александръ Михайловичъ, я истинно уважаю, и вѣрно бы не помѣшалъ моей женѣ навѣстить васъ въ болѣзни; но вы знаете наше московское общество: стоитъ только одному мерзавцу пустить въ ходъ какую-нибудь клевету, а тамъ ужъ только держись—переиначутъ каждое слово, перетолкуютъ каждый поступокъ въ дурную сторону... Конечно, можно бы этимъ пренебречь; есть пословица: «волка бояться, въ лѣсъ не ходить», да вѣдь есть также и другая: «съ волками жить, по волчьи выть».

— Но я желалъ бы знать, кто этотъ безымянный...

— И, Александръ Михайловичъ, на что? Не удалось укусить, такъ чортъ съ ней!

— Здорово, Александръ, — сказалъ князь Двинскій, входя въ комнату. — А! Алексѣй Семеновичъ! и вы также навѣстили больного.

Я принялъ очень холодно князя; но, казалось, онъ не хотѣлъ этого замѣтить и усѣлся преспокойно подлѣ Днѣпровскаго.

— Что ваша Надежда Васильевна?—спросилъ онъ. — Я давно не имѣлъ удовольствія ее видѣть. Правда ли, что она все нездорова?

— Нѣтъ, слава Богу! Отъ кого это вы слышали?

— Такъ неправда? Скажите пожалуйста! А меня увѣряли, что она такъ похудѣла, что на себя не походитъ.

— Какой вздоръ!

— Вотъ ты, Александръ, такъ точно похудѣлъ,—продолжалъ Двинскій.—Бѣдняжка! третій мѣсяцъ!.. Ну, надѣлалъ же ты горя!.. То-то, я думаю, слезъ-то, слезъ!

— Помилуй, князь!—сказалъ я, стараясь улыбнуться,—кому обо мнѣ плакать? Невѣста моя не знаетъ, что я боленъ.

— Какая невѣста!—прервалъ князь:—эта рѣчь впереди. Я говорю тебѣ о здѣшнихъ красавицахъ.

— Охота тебѣ говорить вздоръ.

— Да, да, конечно! ну, что ты прикидываешься такимъ смиренникомъ?.. Не вѣрьте ему, Алексѣй Семеновичъ! онъ настоящая женская чума: та исхудала, другая зачахла, та съ ума сошла, эта на стѣну лѣзетъ! Такой ловеласъ, что не приведи Господи!

— Послушай, Двинскій! — прервалъ я съ досадою,—мнѣ становится скучно слышать...

— Правду!—подхватилъ князь. — Кто до нея охотникъ, мой другъ? Вотъ если-бъ я сказалъ, что ты воплощенная добродѣтель...

— Да полно, князь!..

— Извольте видѣть, Алексѣй Степановичъ, мы, грѣшные люди, живемъ по-просту, на распашку. Вотъ я, напримѣръ, не скрываю: отъявленный повѣса, подчасъ самъ на себя набалтываю; а этотъ святой мужъ все исподтишка!.. Ну, братъ Александръ, счастливъ ты, что наши барыни боятся пересудовъ. Что еслибъ онѣ были посмѣлѣе? Вѣдь проѣзда бы не было на твоей улицѣ! Впрочемъ,— прибавилъ князь, смотря пристально на кресла, которыя стояли у дверей,—почему знать, можетъ-быть, втихомолку и теперь навѣщаютъ нашего больного, я даже готовъ биться объ закладъ... Э!.. Александръ Михайловичъ! что это у тебя здѣсь на креслахъ?.. Постой-ка!.. Ого! давно ли ты завелся такими щеголеватыми платочками?.. Батистовый... съ розовыми каемочками... Ну!!!

Я обмеръ. Днѣпровская второпяхъ забыла этотъ платокъ на креслахъ.

— Что, господинъ больной, попались! — закричалъ съ громкимъ смѣхомъ Алексѣй Семеновичъ.

— Что это такое?—сказалъ Двинскій, разсматривая платокъ: — мнѣ кажется, я знаю эту каемочку... Да! точно такъ! Алагрекъ... розетки по угламъ... Гдѣ-бишь я ее видѣлъ?

Я взглянулъ украдкою на Днѣпровскаго; онъ ужъ не смѣялся.

— Никакъ не могу вспомнить!—продолжалъ князь.—А! да вотъ, кажется, замѣтка!.. Это должны быть начальныя буквы...

— Позвольте!—вскричалъ торопливо Днѣпровскій, — позвольте!.. Кажется, это мой платокъ...

— Постойте, постойте!. Да!.. точно! Вторая буква та самая, которой начинается ваша фамилія; да первая-то... Нѣтъ, Алексѣй Степановичъ, платокъ не вашъ.

— Такъ чей же? — прервалъ запальчиво Днѣпровскій.

— Про то знаетъ хозяинъ.

— Право не знаю,—сказалъ я,—у меня былъ баронъ, такъ, можетъ-быть...

— Баронъ или баронеса, — подхватилъ князь,—какое намъ до этого дѣло. Эхъ, Алексѣй Семеновичъ! не въ пору мы съ вами пріѣхали.

Вдругъ двери распахнулись и баронъ Брокенъ вошелъ въ комнату.

— Я опять къ тебѣ, — сказалъ онъ, кланяясь Днѣпровскому и князю.—Здравствуйте, господа! Послушай, Александръ, не оставилъ ли я у тебя бѣлый батистовый платокъ съ розовыми каемочками?

— Вотъ онъ!—сказалъ князь.—Это вашъ платокъ?

— Нѣтъ. Это платокъ Надежды Васильевны?

— Жены моей?—вскричалъ Днѣпровскій.

— Да! Я обѣщалъ ей сегодня по-утру пріискать двѣ дюжины точно такихъ же платковъ, и взялъ одинъ на образецъ. Когда я былъ у тебя, Александръ, такъ видно какъ-нибудь вытащилъ его изъ кармана вмѣстѣ съ моимъ. Представь себѣ: вхожу въ магазинъ, хватился—нѣтъ! На бѣду, я заѣзжалъ сегодня домовъ въ десять — какъ отгадать, гдѣ оставилъ! Такая досада! А дѣлать нечего, пришлось опять у всѣхъ побывать. Ужъ я ѣздилъ, ѣздилъ...

— Ну, что? — спросилъ Днѣпровскій, у котораго лицо снова просіяло,—есть ли такіе платки въ здѣшнихъ магазинахъ?

— Точно такихъ кажется нѣтъ.

— И я тоже думаю, — продолжалъ Алексѣй Семеновичъ, постукивая съ важностію двумя пальцами по своей золотой табакеркѣ.— Я купилъ эти платки въ Парижѣ, да нелегко было и тамъ ихъ достать: насилу захватилъ одну дюжину.

Я вздохнулъ свободно. Князь Двинскій молчалъ и посматривалъ недовѣрчиво то на меня, то на барона, который продолжалъ разговаривать съ Днѣпровскимъ; потомъ подошелъ ко мнѣ и сказалъ вполголоса: — Ну, Александръ Михайловичъ, поздравляю тебя: ты нажилъ себѣ препроворнаго и преуслужливаго друга! Ахъ, чортъ возьми! да эта развязка годится въ любую комедію!

— Послушай, князь!—сказалъ я, пожавъ крѣпко его руку.

— Тише, тише! — прервалъ Двинскій,—у меня болитъ палецъ. Да не горячись, мой другъ: кто правъ, тотъ никогда не сердится. Куда вы отсюда? — продолжалъ онъ, обращаясь къ Днѣпровскому.

— Въ англійскій клубъ.

— А я сбирался къ вамъ.

— Неужели?.. Ахъ, какъ жаль.

— Но, можетъ-быть, я застану Надежду Васильевну?

— Она дома, только не очень здорова и никого сегодня не принимаетъ.

— Право? Такъ знаете ли что? Я сейчасъ изъ клуба: тамъ всего человѣкъ десять, — скука смертная! и если вы хотите непремѣнно сдѣлать партію, такъ поѣдемте къ вамъ. Вы зайдете взглянуть на вашу больную, а я васъ подожду въ кабинетѣ, велю приготовить столъ, карты, да такъ-то наиграемся въ пикетъ, что вы и завтра въ клубъ не поѣдете.

— А что вы думаете?.. Мнѣ и самому хотѣлось быть сегодня дома: жена больна...

— Вотъ то-то и есть! Можетъ-быть, ей сдѣлалось хуже. Вамъ должно непремѣнно ее провѣдать. Поѣдемте! Прощай, Александръ!— прибавилъ князь съ насмѣшливой улыбкой.— Ты останешься не одинъ, тебѣ будетъ весело.

У меня кровь застыла въ жилахъ. Бѣдная Надина! Боже мой! мужъ не найдетъ ее дома, всѣ подозрѣнія его возобновятся! Проклятый Двинскій!

— Прощайте, Александръ Михайловичъ!— сказалъ Днѣпровскій. — Что прикажете сказать моей Надеждѣ Васильевнѣ? Я думаю, можно ее порадовать: вамъ, кажется, лучше.

Днѣпровскій и князь вышли, баронъ заговорилъ со мною не помню о чемъ; но когда снѣгъ заскрипѣлъ подъ полозьями тяжелаго возка и вслѣдъ за нимъ съѣхали со двора парныя сани князя Двинскаго, баронъ подбѣжалъ къ дверямъ моего кабинета, растворилъ ихъ и сказалъ торопливо: — Скорѣй, Надежда Васильевна, скорѣй!.. Не надобно мѣшкать ни минуты!

Едва живая, блѣдная, какъ мертвецъ, Надина вышла изъ кабинета.—Я догадываюсь,— продолжалъ баронъ,—вы пришли сюда пѣшкомъ, Надежда Васильевна. Ступайте въ моихъ саняхъ, и я вамъ ручаюсь, что вы будете въ вашей спальнѣ, раздѣнетесь и успѣете лечь въ постель прежде, чѣмъ Алексѣй Семеновичъ пріѣдетъ домой.

— Ахъ, баронъ!—прошептала Надина, — вы избавитель мой!..

— Послѣ, послѣ!..

Черезъ нѣсколько секундъ сани барона Брокена промчались по улицѣ и онъ вошелъ опять ко мнѣ въ комнату.

— Ну, счастливо мы отдѣлались! — сказалъ баронъ, садясь на мою постель.

— Ахъ, какъ я тебѣ благодаренъ, мой другъ!—вскричалъ я.—Еслибъ не ты...

— Да, я пріѣхалъ въ пору.

— Но скажи, какъ ты могъ такъ скоро найтись?..

— А вотъ какъ. Я заѣхалъ къ тебѣ изъ любопытства: мнѣ хотѣлось узнать, ошибся ли я въ моихъ догадкахъ или нѣтъ. Вдругъ вижу, у тебя на дворѣ экипажъ Днѣпровскаго и князя.—Вотъ бѣда!—подумалъ я.— Ну, если Надежда Васильевна у него? — Я вошелъ потихоньку въ твою гостиную, подслушалъ вашъ разговоръ и, кажется, явился очень кстати, чтобъ выручить тебя изъ бѣды. Ну, Александръ, надобно сказать правду, ты вовсе не умѣешь владѣть собою: на тебѣ и до сихъ поръ лица нѣтъ. А какое лицо было

у бѣднаго Алексѣя Семеновича, когда я вошелъ въ комнату! И теперь не могу вспомнить безъ смѣха!.. Волосы дыбомъ, глаза выкатились вонъ, вся рожа на сторону!.. Ахъ, батюшки! Вотъ ужъ никакъ не ожидалъ! Я думалъ, что онъ самый добрый и смирный мужъ. Прошу покорно! Да, этотъ Днѣпровскій настоящій Отелло!.. Ну, Александръ, надобно быть осторожнымъ. Умный человѣкъ не такъ опасенъ: онъ шумѣть не станетъ; но ревнивый дуракъ—бѣда! Съ нимъ никакъ не уладишь; пойдетъ кричать на всѣхъ перекресткахъ, что его жена измѣнница, что у нея есть любовникъ, надъ нимъ станутъ смѣяться, это правда, да будетъ ли забавно Надеждѣ Васильевнѣ и весело тебѣ?.. А все этотъ Двинскій!.. Что онъ помучилъ васъ въ маскарадѣ, это еще извинительно; но ссорить жену съ мужемъ, стараться ему открыть глаза—фи, какая гадость! Это низко, подло!.. Послушай, Александръ, надобно порядкомъ проучить этого князя.

— Проучить! да какъ? Не самъ ли ты, баронъ, говорилъ мнѣ, что если я буду имѣть какую-нибудь исторію съ княземъ, то вся Москва закричитъ...

— Да, правда! тебѣ нельзя, а должно непремѣнно зажать ротъ этому негодяю. Знаешь ли что? если хочешь, я возьму на себя этотъ трудъ.

— Ты?

— Да! я заставлю его молчать.

— Смотри, баронъ, не ошибись: Двинскій не трусъ.

— Такъ чтожъ? можно заставить и храбраго человѣка быть скромнымъ: мертвые молчатъ, мой другъ.

— Что ты говоришь, баронъ,—вскричалъ я съ ужасомъ.

— Что, опять испугался? Да не бойся, Александръ, я не убью его изъ-за угла камнемъ, не зарѣжу на улицѣ, не задушу соннаго! Зачѣмъ? когда можно достигнуть той же самой цѣли, не нарушая условій общества. Я застрѣлю его при свидѣтеляхъ, съ соблюденіемъ всѣхъ формъ, всѣхъ приличій, безъ которыхъ, разумѣется, благовоспитанному человѣку нельзя никакъ убить своего противника.

— Ты хочешь его вызвать на дуэль?

— Да.

— Но къ чему ты придерешься?

— Къ чему? Вотъ о чемъ хлопочетъ! Трудно найти причину для дуэли! Не такъ взглянулъ, вотъ и все тутъ!

— Да почему ты думаешь, что не онъ тебя убьетъ?

— Меня,—повторилъ съ улыбкою баронъ.— Не безпокойся; я совершенно увѣренъ въ противномъ. Скажи только мнѣ, что *ты* этого хочешь, а тамъ ужъ мое дѣло.

— Но князь тебя ничѣмъ не обидѣлъ, за чтожъ ты сдѣлаешься его убійцею?

— Не я, мой другъ! Я просто орудіе, которымъ ты можешь располагать по своей волѣ. Прикажи—и завтра же князь уймется врать; да и пора: повралъ довольно.

— Нѣтъ, баронъ, во всякомъ случаѣ, убить человѣка ужасно; но употребить для этого своего пріятеля, а не самому стать противъ него грудью, убить его хладнокровно, не подвергая себя никакой опасности—нѣтъ, нѣтъ! это дѣло разбойника, а я никогда не рѣшусь на такой гнусный поступокъ.

— То-есть, — прервалъ баронъ, — еслибъ ты, такъ же какъ я, въ тридцати шагахъ попадалъ безъ промаха въ туза, и долженъ былъ бы стрѣлять первый, то не сталъ бы драться на пистолетахъ?

— Нѣтъ!

— О, великодушный юноша! Жаль! опоздалъ ты родиться. Въ старину тебя поставили бы рядышкомъ съ Баярдомъ, а теперь, не прогнѣвайся, любезный другъ, мы всѣ народъ грамотный, всѣ читали донъ-Кихота... Впрочемъ, это твое дѣло; хочешь, чтобъ я избавилъ тебя отъ этого князя — изволь! не хочешь—воля твоя! только смотри, онъ надѣлаетъ вамъ хлопотъ. Чу!.. вотъ, кажется, воротились мои сани... да, точно! Теперь отправлюсь къ Днѣпровскимъ. Я увѣренъ, что Алексѣй Семеновичъ нашелъ свою Надежду Васильевну въ постели, однако жъ все-таки лучше взгляну самъ. Прощай.

IV.

Философическій разговоръ въ харчевнѣ.

Недѣли черезъ двѣ послѣ описаннаго въ предыдущей главѣ приключенія, я совсѣмъ выздоровѣлъ и началъ по прежнему ѣздить къ Днѣпровскимъ. Алексѣй Семеновичъ принималъ меня довольно ласково, но я не замѣтилъ уже въ его обхожденіи со мною этого радушія и простоты, которыя составляли отличительную черту его характера. Несмотря на собственныя слова Днѣпровскаго, мнѣ не трудно было догадаться, что безымянное письмо произвело сильное впечатлѣніе на его душу. Нельзя было сказать рѣшительно, что онъ ревнуетъ меня къ своей женѣ, — постороннему человѣку это не пришло бы и въ голову, но я самъ не могъ въ этомъ сомнѣваться. Если я заставалъ его одного съ Надиною, то онъ ни за что уже не выходилъ изъ комнаты, по крайней мѣрѣ, до тѣхъ поръ, пока мы оставались втроемъ. Днѣпровскій пересталъ ѣздить въ англійскій клубъ, обѣдалъ каждый день дома и выѣзжалъ только тогда, когда у жены были гости, или она сама дѣлала визиты; однимъ словомъ, я могъ видѣться съ Надиною очень часто, но только почти всегда при людяхъ. Разумѣется, переписка продолжалась; баронъ попрежнему былъ нашимъ повѣреннымъ. Хотя онъ пользовался всей моей довѣренностью, однакожъ я не былъ въ полномъ смыслѣ его Сеидомъ, но Днѣпровская,—о, баронъ совершенно завла-

дѣлъ ея разсудкомъ! Она видѣла его глазами, мыслила его головою, и, конечно, не было сумасшедшаго поступка, на который бы не рѣшилась, еслибъ баронъ сказалъ, что она должна это сдѣлать.

Такъ прошла вся зима. Несмотря на мою любовь къ Машенькѣ, я не могъ безъ горя подумать, что должно мѣсяца черезъ два уѣхать изъ Москвы и разстаться навсегда съ Надиною. Когда я представлялъ себѣ ея отчаяніе, то сердце мое обливалось кровью.— Бѣдная Надина!—думалъ я иногда,—нѣтъ, она не перенесетъ вѣчной разлуки со мной! Ахъ, почему я не могу отдалить еще на нѣсколько мѣсяцевъ эту ужасную минуту!.. Но чего ты хочешь, безумный? Еслибъ Надина была свободна, рѣшился ли бы ты покинуть для нея свою невѣсту?.. О, конечно, нѣтъ!.. Такъ зачѣмъ же откладывать то, что необходимо?.. зачѣмъ? Но я буду навсегда принадлежать Машенькѣ, мы будемъ неразлучны до самой смерти; а что остается Надинѣ?.. Одно грустное воспоминаніе; нѣсколько, можетъ-быть, счастливыхъ минутъ въ прошедшемъ и цѣлый вѣкъ горя въ будущемъ. Жить безъ надежды, безъ ожиданій, жить для того только, чтобъ чувствовать свои страданія,— да развѣ это жизнь?.. Бѣдная, бѣдная Надина! Ты желаешь еще болѣе моего отдалить неизбѣжный часъ нашей разлуки; но кто можетъ тебя обвинить въ этомъ? Неужели путешественникъ, передъ которымъ раскрывается безпредѣльная пустыня, не долженъ смѣть отдохнуть нѣсколько минутъ на берегу прохладнаго источника и утолить свою жажду, потому что за этимъ источникомъ ждетъ его неминуемая смерть?

Вы видите, любезные читатели, что я, по милости барона, сдѣлался въ короткое время весьма порядочнымъ софистомъ. Въ самомъ дѣлѣ, ну, какъ не выпить водицы тому, кого томитъ жажда? Конечно, лучше бы было этому страннику вовсе не ходить туда, гдѣ ожидаетъ его вѣрная гибель, или, по крайней мѣрѣ, не терять по-пустому время и, пока еще возможно, вернуться скорѣй домой; но тогда бы онъ поступилъ благоразумно, а софисты этого терпѣть не могутъ; да и какъ имъ любить здравый смыслъ и благоразуміе? Какая отъ нихъ прибыль? Ну, что за радость, напримѣръ, доказывать, что солнце грѣетъ? Кто этого не знаетъ? Нѣтъ, попытайтесь, докажите, что отъ него холодно—это будетъ совершенный вздоръ, не спорю, да зато ужъ есть гдѣ уму-разуму расходиться; ни съ кѣмъ не столкнешься, никого не встрѣтишь, будешь одинъ въ своемъ родѣ, и непремѣнно украсишь чело свое или лавровымъ вѣнкомъ генія, или, можетъ-быть, дурацкимъ колпакомъ; но, по крайней мѣрѣ, ни въ какомъ случаѣ не станешь на ряду людей обыкновенныхъ. О, какъ постигли эту истину наши современные французскіе писатели! Посмотрите, какъ скучна, какъ безцвѣтна добродѣтель, и какъ обольстителенъ и любезенъ порокъ въ ихъ сочиненіяхъ? Прочтите ихъ модные романы, трагедіи Виктора Гюго, драмы Александра Дюма —быть-можетъ, вамъ сдѣлается гадко; но уже, конечно, вы не скажете: фу, какъ это пошло!—Правда, съ нѣкотораго времени и эти геніальныя мерзости начинаютъ казаться пошлыми; но что-жъ дѣлать: такова участь всего земного.

. . . . Все въ мірѣ суета,
А болѣе всего стремленье къ славѣ...

И это также очень пошло, однако-жъ правда. Если въ числѣ пріятелей вашихъ есть какой-нибудь знаменитый дипломатъ, великій полководецъ, геніальный поэтъ, или ученый мужъ вродѣ барона Гумбольдта, то потрудитесь спросить его объ этомъ за нѣсколько часовъ до его смерти.

Послѣ всего сказаннаго мною, читатели, вѣроятно, не удивятся, когда узнаютъ, что я прочелъ безъ большого горя письмо отъ моего опекуна, въ которомъ онъ предлагалъ мнѣ прожить еще годъ въ Москвѣ. «Я не сомнѣваюсь, мой другъ,—говорилъ онъ,— что ты любишь попрежнему свою невѣсту; но вы оба такъ молоды, время не ушло; къ тому же мнѣ что-то сдается, что московское житье не очень тебѣ надоѣло; поживи еще годикъ въ бѣлокаменной, повеселись, мой другъ, и пріѣзжай къ намъ тогда, когда ты увѣришься на самомъ дѣлѣ, что мирный деревенскій пріютъ и тихая семейная жизнь во сто разъ предпочтительнѣе всѣхъ шумныхъ и блестящихъ забавъ свѣта. Разставаясь съ нами, ты плакалъ; а теперь я хочу, чтобъ, выѣхавъ за городскую заставу, ты ни разу не вздохнулъ о Москвѣ». Разумѣется, я отвѣчалъ на это письмо, что не принимаю предложенія моего опекуна, и жду съ нетерпѣніемъ минуты, когда мнѣ можно будетъ отправиться въ деревню; но что, можетъ-быть, *дѣла по службѣ* задержатъ меня долѣе, чѣмъя желаю.

Вотъ наступилъ май мѣсяцъ. Вся Москва экипажная, конная и пѣшая побывала въ Сокольникахъ. Стали разъѣзжаться по деревнямъ; подмосковныя оживились; помѣщики отдаленныхъ губерній давно уже отправились по домамъ въ своихъ укладистыхъ дормезахъ и рогожныхъ кибиткахъ, нагруженныхъ нѣмецкими мадамами, французскими мусье и разноцвѣтными картонами съ Кузнецкаго моста. Число каретъ на городскихъ гуляньяхъ уменьшилось примѣтнымъ образомъ, Петровскій театръ опустѣлъ и суетливая Москва затихла, присмирѣла, какъ богачъ, который промотался на праздникахъ и переѣхалъ жить съ Тверской къ Ильѣ Пророку, или за Крымскій бродъ къ Серпуховскимъ воротамъ. Днѣпровскіе уѣхали въ подмосковную. Въ первый разъ Алексѣй Семеновичъ не послушался своей жены, которая хотѣла остаться

въ городѣ: и когда она сказала, что здоровье не позволяетъ ей жить такъ далеко отъ Москвы, то онъ объявилъ ей, что ихъ врачъ, Густавъ Ѳедоровичъ фонъ-Гиль, согласился за три тысячи рублей прожить съ ними все лѣто въ подмосковной. Графиня Дулина взяла сторону мужа и Надина должна была, наконецъ, отправиться въ деревню. Я такъ привыкъ почти каждый день видѣться съ Днѣпровскою, что первое время нашей разлуки показалось мнѣ безконечнымъ. На пятый день—это было въ субботу—баронъ отдалъ мнѣ отъ нея письмо, въ которомъ она просила меня пріѣхать на другой день въ ихъ подмосковную.

— Мнѣ очень жаль, — сказалъ баронъ, — что я не могу ѣхать вмѣстѣ съ тобою: у меня завтра обѣдаетъ человѣкъ десять пріятелей, а тебѣ я не совѣтую ѣздить одному. Ты знаешь Алексѣя Семеновича: онъ, какъ хозяинъ, сочтетъ обязанностью занимать своего гостя, то-есть уморить тебя на ногахъ. Сначала примется показывать свои оранжереи, конюшни, хлѣвы, пильную мельницу, образцовую ферму, потомъ или запряжетъ въ билліардъ, или засадитъ въ пикетъ, или начнетъ разсказывать про свои путешествія; только ужъ ты отъ него никакъ не отвяжешься, онъ вопьется въ тебя, прирастетъ къ тебѣ, и бѣдной Надинѣ не удастся сказать съ тобою двухъ словъ. Поѣзжай съ кѣмъ-нибудь изъ твоихъ знакомыхъ, такъ авось не всѣ эти бѣдствія рушатся на твою голову, и тебѣ можно будетъ хоть на минутку перевести духъ.

Въ этотъ же самый день я повстрѣчался на Тверскомъ бульварѣ съ пріятелемъ моимъ, Закамскимъ, предложилъ ему ѣхать вмѣстѣ со мною въ подмосковную къ Алексѣю Семеновичу. Онъ охотно согласился, и мы, чтобъ сдѣлать эту поѣздку еще пріятнѣе, условились ѣхать изъ дома верхами вплоть до самой деревни Днѣпровскаго.

На другой день, послѣ обѣдни, я пріѣхалъ къ Закамскому; мы позавтракали, сѣли на коней, и ровно въ двѣнадцать часовъ отправились въ путь. День былъ теплый, но по временамъ легкія облака застилали весеннее солнышко; оно, какъ прихотливая красавица, то пряталось за нихъ, то появлялось снова, чтобъ черезъ минуту опять исчезнуть. По улицамъ раздавались пѣсни: фабричные, мѣщане и мужики, съ праздничными, то-есть пьяными рожами, толпились у питейныхъ домовъ. [illegible]: то московскіе щеголи и красавицы мчались въ вѣнскихъ колясках по улицѣ, то медленно тащился цугомъ какой-нибудь огромный рыдванъ, въ которомъ почтенный бригадиръ съ своей бригадиршею, съ дѣтьми и внучатами ѣхалъ въ Останкино или Кусково подышать чистымъ воздухомъ. Кой-гдѣ [illegible] фигуры на вербахъ, разрумяненныя и набѣленныя купчихи, вмѣстѣ съ своими дородными супругами, [illegible] мимо насъ на [illegible] коняхъ; красивыя телѣжки и широкія рессорныя дрожки стонали подъ тягостію этихъ полновѣсныхъ паръ. Кой-гдѣ встрѣчались съ нами молодые франты на англійскихъ *клеперахъ*, лихіе наѣздники на бѣговыхъ дрожкахъ и вовсе не удалые кавалеристы на водовозныхъ клячахъ съ отрубленными хвостами. Всѣ торопились ѣхать за городъ: охотники до прекрасныхъ видовъ пробирались къ Симонову монастырю, въ Коломенское, на Воробьевы горы; а тѣ, для которыхъ самый лучшій видъ не стоитъ рюмки шампанскаго, спѣшили въ Тюфели и въ знаменитыя Марьины рощи, гдѣ съ утра до вечера разгульный народъ пьетъ, веселится и слушаетъ цыганскія пѣсни.

Мы ѣхали шагомъ.—Кажется, день будетъ хорошъ,—сказалъ я.—впереди все небо очистилось.

— Да, впереди чисто, — отвѣчалъ Закамскій,—а взгляни-ка назадъ!

— И, мой другъ, ничего! эти облачка пройдутъ стороною.

— Ты это зовешь облачками? Посмотри, какой тамъ проливной дождь!

— Мы отъ него уйдемъ.

— Да! если воротимся домой.

— Да что за бѣда! Ну, помочитъ дождемъ, такъ что-жъ? большая важность!

— По мнѣ, какъ хочешь, только, если онъ захватитъ въ полѣ, такъ нитки сухой на насъ не оставитъ.

У самой заставы дождь сталъ накрапывать. Мы не доѣхали еще до конца слободы, какъ онъ загудѣлъ и хлынулъ какъ изъ ведра. — Пожалуйте сюда, господа! Сюда, подъ навѣсъ!—закричалъ видный дѣтина, въ красной рубашкѣ и бѣломъ фартукѣ. Этотъ парень стоялъ у воротъ невысокаго, но довольно длиннаго дома съ выбитыми стеклами, запачканными стѣнами и низкой дверью, надъ которой прибита была вывѣска съ изображеніемъ зажареннаго поросенка и надписью:—Не прогнѣвайтесь! — тогда еще не знали моднаго французскаго словца, не писали на вывѣскахъ: *ресторація* или *растирація*, а просто: *харчевня*. Мы отдали подержать нашихъ лошадей молодому парню въ красной рубашкѣ и вошли въ домъ. Лишь только мы переступили черезъ порогъ, насъ обдало густымъ спиртнымъ воздухомъ, напитаннымъ испареніями хлѣбнаго вина и крестьянской хмѣльной браги. Въ одномъ углу обширной комнаты, за прилавкомъ или стойкою, сидѣлъ краснощекій хозяинъ харчевни; кругомъ его, на полочкахъ, разставлены были чайныя чашки, штофы, рюмки и стаканы; на прилавкѣ лежали калачи, каравай паюсной икры, два окорока ветчины, счеты и нѣсколько рублей мѣдными грошами. У самыхъ дверей два старика, одинъ въ изорванной шинелишкѣ, другой въ долгополомъ сюртукѣ, играли въ шашки; подлѣ нихъ стоялъ въ замасленной ливреѣ, съ не-

выбритой бородою и повязанный, вмѣсто галстуха, какой-то черной ветошкою, полупьяный лакей. Въ другомъ углу за большимъ столомъ гуляло человѣкъ десять мужиковъ. Передъ ними, въ огромной яндовѣ, стояла хмѣльная брага, которую хозяинъ, вѣроятно, величалъ полпивомъ. За отдѣльнымъ столомъ, уставленнымъ бутылками съ пивомъ и полуштофами ерофеича, сидѣло четверо гулякъ, которые, казалось, только-что ушли изъ острога. Одинъ изъ нихъ, въ плисовомъ полукафтаньѣ, растрепанный, съ подбитымъ глазомъ и выщипанной бородою, двое съ усами въ оборванныхъ венгеркахъ, а четвертый какое-то двуногое животное, съ краснымъ носомъ и отвратительной рожею, что-то похожее на отставтого подъячаго, или выкинутаго изъ службы квартальнаго офицера. Они забавлялись, слушая горбатаго старика, который, потряхивая своей взъерошенной бородою, бвисталъ соловьемъ, кривлялся и корчилъ преудивительныя хари.

Нашъ приходъ не произвелъ никакого впечатлѣнія на пирующихъ; одинъ только лакей, увидѣвъ входящихъ господъ, поправилъ галстухъ и застегнулъ на двѣ остальныя пуговицы свою ливрею. Работникъ въ бѣломъ, довольно чистомъ, фартукѣ, предложилъ намъ занять порожній столъ, который стоялъ поодаль отъ другихъ. Мы усѣлись.

— Ну,—сказалъ Закамскій,—нравится ли тебѣ эта фламандская картина?

— Нѣтъ, любезный другъ! Она вовсе не привлекательна. Что за рожи...

— Да ты смотришь на этихъ мерзавцевъ въ изорванныхъ венгеркахъ и сюртукахъ: это записные пьяницы, бездомные мѣщане, отъявленные негодяи, которые по шести мѣсяцевъ въ году гостятъ на съѣзжихъ; это тотъ самый презрительный классъ людей, которыхъ и въ Германіи, и во Франціи, и вездѣ называютъ подлой чернью и которая водится только по большимъ городамъ. Нѣтъ, мой другъ! ты погляди на этихъ мужичковъ, вотъ что сидятъ за большимъ столомъ. Признаюсь, я очень люблю смотрѣть на этотъ добрый работящій народъ, когда онъ въ воскресный день поразгуляется, распотѣшится и за ковшомъ браги забудетъ свою бѣдность и тяжкій трудъ цѣлой недѣли. Какія добрыя, веселыя лица! Видишь этого пьянаго старика, вотъ что стоитъ посреди комнаты,—посмотри! онъ, вѣроятно, размышляетъ и не можетъ понять, куда дѣвалась дверь, въ которую онъ вошелъ.

Закамскій не успѣлъ договорить, какъ этотъ пьяный мужикъ подошелъ къ нашему столу и упалъ передъ нами на колѣни.

— Что ты, братецъ?—спросилъ я.

— Виноватъ, батюшка! — завопилъ мужикъ,—я пьянъ!

— Вижу, любезный!

— Прости, Бога ради! хмѣленъ — больно хмѣленъ!

— Вотъ то-то же, старичекъ! — сказалъ важнымъ голосомъ Закамскій, — не годится пить черезъ край. Ну, что хорошаго? Пріѣдешь домой, стыдно передъ дѣтьми будетъ.

— Стыдно, батюшка!—повторилъ старикъ, заливаясь слезами: — видитъ Богъ, стыдно!.. виноватъ!

— Добро, Богъ тебя проститъ; ступай, ступай!

Мужикъ всталъ, утеръ рукавомъ глаза и, расправляя усы, сказалъ Закамскому: — Ну, поцѣлуемся!

— Не надобно, любезный, не надобно!—закричалъ мой пріятель, отодвигая свой стулъ.

— Хочешь—поднесу!

— Не хочу, братецъ, не хочу!

— Ой-ли? Такъ поднеси ты... Поцѣлуемся!

— Эй, дядя Филиппъ? — закричали мужики,—полно, не балуй!.. Что ты тамъ озорничаешь?.. Не тронь господъ!

— Дядя Филиппъ!—сказалъ видный дѣтина, подойдя къ старику, — подь-ка сюда, подь!

— Пошелъ прочь!

— Да ты послушай!

— Эй, Ванька, отцѣпись!

— Пора домой, дядя; а не то вѣдь тетка Матрена забранитъ.

— Ой-ли?

— Ужъ я-те говорю! Вишь ты какъ грузенъ!.. Выпьемъ еще бражки, да и съ Богомъ.

— Еще?.. Пойдемъ, Ванюха, пойдемъ!

Они подошли къ большому столу.

— Ну, братъ Иванъ,—сказалъ одинъ изъ мужиковъ, поглаживая свою бороду, — вотъ полпиво, такъ полпиво! не брагѣ чета! На-ка, Ваня, посмакуй! — прибавилъ онъ, подавая молодому дѣтинѣ жестяной стаканъ.

Иванъ хлебнулъ, зажмурилъ глаза, облизнулся, потомъ осушилъ разомъ весь стаканъ, крякнулъ и, проведя рукой отъ шеи до пояса, промолвилъ:—Спасибо, Кондратьичъ!.. Ай-да пиво!.. Неча сказать, не пожалѣли хмѣльку!.. Вотъ такъ масломъ по сердцу!.. Ну, парень, знатно!.. Лучше сыченой браги!

— Слышишь, Закамскій, — сказалъ я, — какъ они расхваливаютъ свое пиво? Неужели оно въ самомъ дѣлѣ не дурно?

— А вотъ попробуемъ,—отвѣчалъ Закамскій.—Эй, молодецъ! бутылку полпива! вотъ того самаго, что пьютъ мужички.

Намъ подали бутылку. Я налилъ себѣ стаканъ, хлебнулъ и чуть-чуть не подавился.— Фуй, какая гадость! — сказалъ я, — и это пьютъ люди!

— Да еще похваливаютъ, мой другъ.

— Бѣдные! Вотъ слѣдствіе ужаснаго неравенства состояній: мы тѣшимъ свой прихотливый вкусъ шампанскимъ, а этотъ добрый, рабочій народъ долженъ пить такую мерзость!

— Но развѣ ты не видишь, Александръ, что эту мерзость крестьянинъ пьетъ съ истиннымъ наслажденіемъ?

— Что-жъ это доказываетъ? Что бѣдность убиваетъ не только моральныя, но даже и

физическія способности: притупляетъ вкусъ и превращаетъ человѣка почти въ животное.

— Браво! Ну, Александръ! видно баронъ нашелъ въ тебѣ понятливаго ученика. Прошу покорно, какимъ ты сталъ философомъ!

— Кажется, не нужно много философіи, чтобъ убѣдиться въ этой истинѣ. Неужели ты въ самомъ дѣлѣ думаешь, что крестьянинъ лишенъ отъ природы способности различать дурное отъ хорошаго? Попробуй дать ему шампанскаго.

— А если оно вовсе ему не понравится?

— Заставь его выпить въ другой, въ третій разъ, и не безпокойся: онъ его полюбитъ.

— Тѣмъ хуже, мой другъ! У него будетъ однимъ наслажденіемъ менѣе и однимъ горемъ болѣе.

— Какъ такъ?

— Разумѣется. Брага ему опротивѣетъ, а шампанскаго купить будетъ не на что. Правда, онъ можетъ сдѣлаться плутомъ, мошенникомъ, воромъ, и тогда если не шампанское, такъ донское вино — по крайней мѣрѣ, до тѣхъ поръ, пока не попадетъ въ острогъ. Какъ ты думаешь, Александръ, не лучше ли, чтобъ ему нравилась дешевая прѣсная брага, чѣмъ дорогое шампанское вино? Да и къ чему? Вѣдь удовольствіе въ наслажденіи, а не въ цѣнѣ, за которую онъ покупаетъ это наслажденіе.

— Но я увѣренъ, что онъ тогда бы наслаждался еще болѣе.

— Едва ли, мой другъ. Впрочемъ, во всякомъ случаѣ лучше, чтобъ онъ не желалъ того, что для него невозможно.

— Да какъ ты хочешь, чтобъ онъ не желалъ этого?

— Какъ?.. А вотъ послушай. Вольтеръ въ одной изъ своихъ трагедій, вовсе не думая, сказалъ великую политическую истину и разрѣшилъ этотъ вопросъ. Помнишь ли, что отвѣчаетъ Заира наперсницѣ своей Фатимѣ, которая удивляется, что ее подруга, заключенная въ четырехъ стѣнахъ сераля, не вздыхаетъ о свободѣ и наслажденіяхъ образованныхъ народовъ.

— Какъ не помнить: On ne peut désirer ce qu'on ne connaît pas.

— Нельзя желать того, чего мы не знаемъ.

— Я понимаю, что ты хочешь сказать. Конечно, [illegible] лучше остаться вѣчно слѣпымъ, лучше не знать, что есть на свѣтѣ солнце, но за что же [illegible] должно быть [illegible] неравенство состояній?

— Затѣмъ, что это неравенство состояній такъ же неизбѣжно, какъ и многое другое. Возьми трехъ человѣкъ: одного [illegible] умомъ и дѣятельностью, другого [illegible] разумомъ [illegible], и, наконецъ, [illegible], и ты увидишь, что черезъ нѣсколько лѣтъ первый разбогатѣетъ, второй будетъ жить безъ нужды, а третій сдѣлается нищимъ, и, чтобъ не умереть съ голоду, пойдетъ въ нахлѣбники къ богачу, или въ работники къ тому, который пользуется умѣреннымъ состояніемъ. Ты скажешь, можетъ-быть, что много есть богатыхъ глупцовъ и лѣнтяевъ, въ то время какъ есть умные и дѣятельные люди, которые терпятъ во всемъ недостатокъ; но это уже слѣдствіе не первобытной причины, а наслѣдственнаго права и права собственности: а ты, вѣроятно, согласишься со мною, что эти права, на которыхъ основано благосостояніе всякаго общества, принадлежатъ къ самымъ необходимымъ и священнымъ правамъ человѣка.

— Конечно, — сказалъ я, досадуя на логику моего пріятеля, — съ перваго взгляда ты какъ будто говоришь дѣло; но я все-таки не могу быть одного съ тобою мнѣнія, потому что тогда надобно будетъ мнѣ согласиться на другое предложеніе, которое совершенно противно моему образу мыслей. Если бѣдный не долженъ желать того, чего имѣть не можетъ, то, слѣдовательно, его не должно и просвѣщать, потому что просвѣщеніе, умножая его потребности и желанія, которыхъ онъ удовлетворить не можетъ, сдѣлаетъ его еще несчастнѣе, чѣмъ онъ былъ прежде.

— Разумѣется.

— Вотъ ужъ въ этомъ-то, Закамскій, никогда съ тобою не соглашусь.

— Я это знаю. Величайшій изъ софистовъ восемнадцатаго столѣтія, Жанъ-Жакъ Руссо, [illegible], что [illegible] просвѣщеніе дѣлаетъ человѣка несчастнѣе, и эту неоспоримую истину, [illegible], которую онъ сказалъ въ простотѣ души своей, [illegible], для которой ему не нужно было прибѣгать къ краснорѣчивымъ софизмамъ, — называютъ всѣ заблужденіемъ великаго таланта и увлекательнымъ парадоксомъ.

— Такъ ты думаешь, Закамскій...

— Да, я думаю, и даже увѣренъ, что это богатство [illegible], которое мы называемъ просвѣщеніемъ, точно такъ же, какъ и богатство вещественное, не можетъ быть въ равной степени удѣломъ всѣхъ людей.

— Что это, Закамскій! — вскричалъ я. — Да неужели ты въ самомъ дѣлѣ ненавидишь просвѣщеніе?

— Нѣтъ, мой другъ: истинное просвѣщеніе [illegible] даръ Божій [illegible] прекрасенъ. Но если ты говоришь о просвѣщеніи, основанномъ на [illegible] мудрости нашей, то это [illegible] просвѣщеніе какъ огонь, а съ [illegible] обращаться умѣючи; онъ грѣетъ [illegible], освѣщаетъ ночью, [illegible] Хорошо жить въ домѣ безъ огня, [illegible] и еще будетъ холоднѣе, если домъ-то сгоритъ и придется жить на улицѣ.

— Такъ, по-твоему, [illegible] лучше не [illegible]?

— Какъ не [illegible], да только [illegible] выбирать [illegible]

истопниковъ. Впрочемъ, что объ этомъ говорить? Слова не помогутъ. Все, мой другъ, идетъ къ опредѣленной цѣли. Беззаботное дитя счастливѣе взрослаго человѣка, но развѣ ты можешь сказать ребенку: оставайся вѣчно ребенкомъ! Нѣтъ, мой другъ! онъ сдѣлается юношей, узнаетъ страсти, познакомится съ горемъ; опытъ разочаруетъ всѣ его мечты, онъ утратитъ свою веселость, и хотя поздно, но отгадаетъ, наконецъ, что счастье не для насъ; а тамъ начнетъ старѣть, дряхлѣть, и умретъ, какъ все умираетъ на этомъ свѣтѣ.

— Неужели ты хочешь мнѣ доказать, что просвѣщеніе есть только необходимое зло?

— Просвѣщеніе! Да прежде надобно еще знать, что мы называемъ просвѣщеніемъ? Если, напримѣръ, у тебя есть пріятель, человѣкъ образованный, ученый, душою привязанный къ наукамъ, исполненный любви къ изящнымъ художествамъ, то, вѣроятно, ты назовешь его человѣкомъ просвѣщеннымъ?

— Разумѣется.

— Ну, поди-же, спроси у своего барона и у этой толпы глупцовъ, которые удивляются его премудрости, и ты увидишь, что этого недостаточно. Если твой пріятель не сходитъ съ ума отъ каждой новой идеи; если онъ не преклоняетъ безусловно колѣнъ передъ тѣми, которые, разрушая все, не могутъ создать ничего; если онъ безъ разбора не топчетъ въ грязь все то, что имъ угодно называть предразсудкомъ, и если, сверхъ того, онъ вѣруетъ по убѣжденію своего сердца и не требуетъ математическихъ доказательствъ тому, что можно постигнуть одной только душою, то они рѣшительно назовутъ его невѣждою, или, по крайней мѣрѣ, отсталымъ и закоснѣлымъ старовѣромъ, и самый безграмотный, изъ этой толпы двуногихъ животныхъ, умретъ со смѣха, когда ты станешь доказывать, что твой пріятель человѣкъ просвѣщенный. Не умѣй подписать своего имени, но только раздѣляй ихъ образъ мыслей, нападай на то, на что они нападаютъ, кричи вмѣстѣ съ ними, и они скажутъ, что ты *идешь за впкомъ* и даже опередилъ его. Впрочемъ и я увѣренъ, Александръ, что просвѣщеніе не одно,—ихъ два, мой другъ.

— Вотъ ужъ этого я рѣшительно не понимаю! Мнѣ кажется, просвѣщеніе, какъ противоположность невѣжества, должно быть вездѣ одно и то же.

— Полно, такъ ли, Александръ? И Божье солнце освѣщаетъ землю, и кровавое зарево пожара прогоняетъ тьму; но развѣ между ними есть какое-нибудь сходство? Одно разливаетъ жизнь, другое влечетъ за собою гибель и смерть, одно точно даръ Божій, а другое... Да, Александръ, просвѣщеніе, основанное на религіи, есть величайшій даръ Творца; но просвѣщеніе безъ всякой вѣры — о, мой другъ! объ этомъ страшно и подумать!.. Кто вѣруетъ, для того оно не опасно; богатый—онъ не употребитъ во зло своего богатства; бѣдный—онъ будетъ сносить съ терпѣніемъ свою нищету; кто вѣруетъ, тотъ видитъ во всемъ промыслъ Всевышняго, и смиренно покоряется Его волѣ; но если онъ вкусилъ отъ земного просвѣщенія,—отъ этого древа познанія добра и зла,—и если въ то же время всѣ его желанія, всѣ надежды, его рай и адъ — если все заключено для него въ тѣсные предѣлы здѣшней жизни, если онъ ничего не ожидаетъ въ будущемъ, то что удержитъ его въ минуту искушенія? Вспомни только, что было недавно въ просвѣщенномъ Парижѣ, когда онъ возсталъ противъ небесъ и отрекся отъ своего Господа?

— Правда, мой другъ! — прервалъ я,— правда! Безвѣріе принесло ужасные плоды во Франціи; но если я напомню тебѣ, что дѣлалось въ старину, когда о философіи восемнадцатаго столѣтія и рѣчи не было, если я намекну тебѣ объ испанской инквизиціи, о ночи святого Варѳоломея, о покореніи Америки...

— Эхъ, Александръ Михайловичъ!—прервалъ Закамскій!—Не хорошо... ты споришь недобросовѣстно! Да развѣ тотъ христіанинъ, кто, называя себя христіаниномъ, поступаетъ хуже всякаго язычника? развѣ тотъ христіанинъ, кто проповѣдуетъ слово Божіе съ мечомъ въ рукахъ? Развѣ тотъ христіанинъ, кто, подъ предлогомъ вѣры, старается удовлетворить своему корыстолюбію, насытить свою месть, ожесточить сердца своихъ заблудшихъ братьевъ, и, какъ голодный тигръ, упиться ихъ кровью? Нѣтъ, мой другъ, не перенимай у своего барона—не хитри! Ты понимаешь, что я говорю не объ этихъ христіанахъ.

Закамскій какъ будто бы прочелъ въ душѣ моей; но самолюбіе помѣшало мнѣ въ этомъ сознаться.

— Я вовсе не хитрю,—сказалъ я,—но мы, кажется, совершенно отбились отъ нашей матеріи. Я говорилъ только, что очень грустно смотрѣть на этотъ неравный жребій людей! Ну, скажи самъ, не прискорбно ли видѣть, что одинъ не знаетъ куда дѣваться съ своимъ богатствомъ, а у другого нѣтъ куска хлѣба; одинъ созданъ для всѣхъ земныхъ наслажденій, а другой какъ будто бы обреченъ со дня своего рожденія на всегдашнюю бѣдность и нищету. Боже мой, Боже мой! да неужели нѣтъ никакого средства уменьшить это ужасное неравенство состояній?

— Нѣтъ, мой другъ, если мы станемъ прибѣгать къ однимъ средствамъ человѣческимъ. Послушай, Александръ! вчера я былъ у Якова Сергѣевича Луцкаго, который, мимоходомъ сказать, очень жалѣетъ, что давно съ тобою не видѣлся. У насъ зашла рѣчь о французской революціи. Надобно было видѣть, съ какимъ душевнымъ сокрушеніемъ онъ говорилъ объ этомъ ужасномъ событіи, превратившемъ цѣлое государство въ одно обширное лобное мѣсто, на которомъ, для потѣхи бѣснующейся толпы, лилась безпрерывно кровь

человѣческая.—И вотъ слѣдствіе,—говорилъ Луцкій,—этихъ философическихъ теорій, этой краснорѣчивой болтовни новѣйшихъ софистовъ, которые такъ явно подтвердили своимъ примѣромъ, что мудрость человѣческая есть безуміе передъ Господомъ.—«Бумага все терпитъ» — есть русская пословица. — Пишите что хотите, и будьте увѣрены, что нѣтъ такой безумной мысли, такой нелѣпой выдумки, которая не нашла бы покровителей и защитниковъ; умѣйте только льстить страстямъ легковѣрной толпы, и она тотчасъ повѣритъ, что вы дѣйствуете въ ея пользу. Вотъ, напримѣръ, кто болѣе французскихъ писателей XVIII столѣтія толковалъ о томъ, чтобъ улучшить положеніе человѣка, и что было послѣдствіемъ ихъ безпрерывныхъ выходокъ противъ духовной и гражданской власти, неравенства состояній и наслѣдственныхъ правъ? Всеобщее волненіе умовъ, безвѣріе, междуусобная война и смѣсь буйнаго безначалія съ кровавымъ деспотизмомъ диктаторовъ, изъ которыхъ каждый годился бы въ наставники Нерону. Кто болѣе французскихъ философовъ писалъ объ этомъ равенствѣ состояній, о которомъ они и до сихъ поръ еще хлопочутъ, и къ чему ведутъ всѣ ихъ теоріи? Думая посредствомъ одной земной мудрости достигнуть до этой утопіи, они отстраняютъ религію. Безумцы! да развѣ они не видятъ, что безъ вѣры въ Спасителя это невозможно; что одна только она можетъ усмирять наши страсти, и дѣлаетъ насъ способными ко всѣмъ пожертвованіямъ. Какой законъ заставитъ скупого разстаться добровольно съ его богатствомъ? И тотъ же самый скупецъ, когда перстъ Божій коснется души его, разсыплетъ свое золото, раздастъ его съ радостью бѣднымъ, и пойдетъ во слѣдъ Христу, поправъ ногами своего земного идола. Всеобщій миръ, братство народовъ, истребленіе нищеты—да! всѣ эти мечты могутъ осуществиться только тогда, когда наступитъ на землѣ Царство Божіе, когда будетъ «Единый пастырь и единое стадо». И такъ, господа преобразователи, сдѣлайтесь прежде христіанами, проповѣдуйте не возмутительныя правила, не позорный бунтъ, не возстаніе противъ законныхъ властей, поставленныхъ самимъ Господомъ, не насильственныя мѣры, которыя влекутъ за собою однѣ бѣдствія—нѣтъ! старайтесь разливать основанное на истинной вѣрѣ просвѣщеніе, проповѣдуйте слово Божіе, и если не вы, такъ потомки ваши достигнутъ до этой высокой цѣли, до этого всемірнаго просвѣщенія, которое тогда будетъ не бѣдствіемъ, а величайшимъ благомъ для всѣхъ людей. Но вотъ, кажется, совсѣмъ прочистилось, — продолжалъ Закамскій, вынимая свои часы:— ого! ровно часъ. Ну, Александръ, намъ придется ѣхать рысью, а не то мы къ обѣду не поспѣемъ.

Мы встали и подошли къ прилавку, чтобъ расплатиться. Пока харчевникъ преважно выкладывалъ на счетахъ, сколько слѣдуетъ намъ сдачи съ серебрянаго рубля, я вслушался въ разговоръ пьяныхъ разночинцевъ, сидѣвшихъ за особымъ столомъ. Тотъ, который походилъ на подъячаго, разсуждалъ о чемъ-то вполголоса съ своимъ сосѣдомъ, краснорожимъ мѣщаниномъ въ изорванной венгеркѣ.—Да будь покоенъ, Иванъ Потапычъ!—говорилъ онъ,—мы твое дѣлишко свахляемъ. Вѣдь ты не далъ росписки въ полученіи—такъ поплатится и въ другой разъ! Въ совѣстный судъ не пойдемъ,—нѣтъ, шутишь! формой суда, любезный, формой суда!.. Не бойсь! ужъ я тебѣ настрочу просьбишку! Такой вверну крючокъ, что вышереченная вдовица заплатитъ проценты и рекамбіи; а какъ подмажемъ, такъ однихъ проторей и убытковъ начтемъ больше капитальной суммы. Ну, что, такъ ли, любезнѣйшій!

— Ай да Архипъ Ѳедотычъ! что и говорить, заноза! дѣлецъ!

— То-то же!.. Да что ты, Иванъ Потапычъ, скупишься? Полпива да полпива! эка невидаль! Ты, любезный, уважь бутылочкой донского!

— Да донское-то кусается, Архипъ Ѳедотычъ! я ужъ и такъ полтинникъ прогулялъ!

— Такъ что-жъ? добей до цѣлковаго, да и концы въ воду!

— Ну, такъ и быть; была не была!.. Гей! бутылку цымлянскаго!

— Что братъ, Александръ! — сказалъ Закамскій, выходя вмѣстѣ со мною изъ харчевни,—что ты скажешь объ этихъ гулякахъ? Вѣдь они гораздо просвѣщеннѣе мужиковъ и грамоту знаютъ, и бороды брѣютъ, и пьютъ виноградное вино...

— Да развѣ это просвѣщенье?

— А ты думаешь, что парижская чернь знаетъ математику и читаетъ Гомера? — сказалъ Закамскій, садясь на лошадь. — Что, готовъ?—продолжалъ онъ, подбирая поводья.— Ну, Александръ, смотри, не отставай; слушай команды: съ мѣста—рысью!

V.

Весьма обыкновенный случай или слѣдствія платонической любви.

Мы проѣхали верстъ семь, менѣе чѣмъ въ полчаса. Мнѣ рѣдко случалось ѣздить верхомъ, а безъ большой привычки далеко рысью не уѣдешь. На восьмой верстѣ я началъ осаживать мою лошадь и отсталъ отъ Закамскаго, который былъ отличный ѣздокъ и не зналъ устали.

— Эге! Александръ, ты сталъ оттягивать!— закричалъ Закамскій.—Плохой же, братъ, ты кавалеристъ!

— Погоди,—сказалъ я,—дай духъ перевести!

— Что, любезный, задохся на восьмой верстѣ!

— Да помилуй, Закамскій, если ты это называешь прогулкою...

— Ну, ну! хорошо! поѣдемъ маленькой рысцою.

— Эхъ, братецъ, все рысью, да рысью! Посмотри, какъ погода разгулялась, какой пріятный воздухъ, какія прелестныя мѣста! Да позволь мнѣ ими полюбоваться: поѣдемъ шагомъ.

— Пожалуй! только мы опоздаемъ къ обѣду.

— Успѣемъ: вѣдь всего осталось версты четыре.

Мы взъѣхали на небольшой пригорокъ.— Посмотри, Александръ,—сказалъ Закамскій,— кто это несется къ намъ навстрѣчу—видишь? осмерикомъ въ каретѣ?.. Фу, батюшки! ужъ не бьютъ ли лошади?

— Нѣтъ, нѣтъ!.. Вонъ спускаютъ потихоньку на мостикъ... Ну!.. какъ опять погнали!

— Постой-ка, постой! — прервалъ Закамскій,—да это, кажется, экипажъ Днѣпровскаго?

— Неужели?

— Да, да! мнѣ помнится, у него есть точно такая карета.

— А вотъ увидимъ.

Мы поровнялись съ экипажемъ: въ немъ сидѣлъ закутанный въ широкій плащъ мужчина, который, увидѣвъ насъ, прижался въ уголъ кареты и надернулъ на глаза свою шляпу. Онъ сдѣлалъ это такъ скоро, что мы не успѣли разсмотрѣть его въ лицо; межъ тѣмъ карета промчалась мимо.

— Ну, какъ хочешь, Александръ, а это точно Алексѣй Семеновичъ, — сказалъ Закамскій.

— Не можетъ быть.

— Какъ не можетъ быть? Голубая карета, гнѣдыя лошади, да и лицо кучера мнѣ что-то знакомо.

— Воля твоя, а это не Днѣпровскій. Зачѣмъ ему отъ насъ прятаться?

— Да, странно! Впрочемъ, мы сейчасъ узнаемъ. Вонъ видишь вдали красную кровлю?.. Это его подмосковный домъ. Поѣдемъ поскорѣе.

Черезъ нѣсколько минутъ мы своротили съ большой дороги, проѣхали съ полверсты опушкою березовой рощи; потомъ, оставивъ въ правой рукѣ огромный прудъ, повернули длиннымъ липовымъ проспектомъ къ барскому дому, окруженному со всѣхъ сторонъ рощами и садами. На обширномъ дворѣ не видно было ни души, и даже ворота были заперты.

— Что это значитъ?—сказалъ я,—неужели никого нѣтъ дома?

— А вотъ погоди, спросимъ,—прервалъ Закамскій, посматривая кругомъ.—Въ самомъ дѣлѣ, ни одной души! Постой! вотъ кто-то идетъ... Это, кажется, садовникъ Фома... Эй, любезный, поди-ка сюда!

Садовникъ Фома, сѣдой старикъ въ синемъ суконномъ камзолѣ, подошелъ къ намъ съ низкимъ поклономъ.

— Что, братецъ,—спросилъ Закамскій,— Алексѣй Семеновичъ дома?

— Сейчасъ изволилъ уѣхать въ Москву.

— А Надежда Васильевна у себя?—спросилъ я.

— Никакъ нѣтъ, сударь.

— И она также уѣхала?

— Вотъ ужъ часа три будетъ, какъ изволила уѣхать!

— Однако-жъ не въ Москву?

— Не могу знать,—отвѣчалъ Фома, переминаясь и почесывая въ головѣ.

— Натурально не въ Москву, — подхватилъ Закамскій: — они отправились бы вмѣстѣ. Въ чемъ поѣхала ваша барыня?

— Она изволила уѣхать верхомъ.

— Ну, вотъ, слышишь, Александръ? Надежда Васильевна поѣхала прогуляться. А что, не знаешь, братецъ, скоро она воротится?

— Не могу знать.

— Такъ не знаешь ли, по крайней мѣрѣ, куда она поѣхала?

— Вотъ изволите видѣть: Алешка ткачъ былъ сегодня на базарѣ; онъ говоритъ, что встрѣтилъ барыню на столбовой дорогѣ, близехонько отъ Москвы.

— Чтожъ это такое?— сказалъ Закамскій, взглянувъ на меня съ удивленіемъ: — вѣдь тебя приглашали?.. Послушай-ка, братецъ,— продолжалъ онъ, обращаясь къ садовнику,— что, у васъ сегодня на барской кухнѣ обѣдъ готовятъ?

— И огня не разводили, сударь.

— Ну, это кажется рѣшительно!.. Дѣлать нечего, Александръ, поѣдемъ назадъ.

— Что это значитъ! — сказалъ я, когда мы выѣхали опять на большую дорогу.

— Это значитъ, что ты ошибся днемъ.

— О, нѣтъ! меня точно звали сегодня.

— Странно!.. Ты приглашенъ, а никого нѣтъ дома; мужъ уѣхалъ въ каретѣ, жена ускакала верхомъ... Что это все значитъ? Ужъ не случилось ли какого-нибудь несчастія?

— А что ты думаешь?.. И я начинаю опасаться.

— Кажется, Алексѣй Семеновичъ не ревнивъ? — сказалъ Закамскій, помолчавъ нѣсколько времени.

— Не знаю, — отвѣчалъ я, стараясь казаться равнодушнымъ:—да и почему мнѣ это знать?

— Полно, такъ ли, Александръ?—продолжалъ Закамскій, глядя на меня пристально.— Если вѣрить городскимъ слухамъ, то Днѣпровскій имѣетъ полное право ревновать свою жену...

— Что ты говоришь!—вскричалъ я, — ты думаешь, что они поссорились?

— Да, мой другъ, и, можетъ-быть, за тебя.

— За меня!

— Эхъ, Александръ! жаль, если это останется у тебя на душѣ!

— Какой вздоръ!..

— Не спорю, мой другъ; но вся Москва говоритъ...

— Это просто одно злословіе, городскія сплетни!..

— Я и самъ то же думаю; однакожъ согласись, мой другъ: если эти слухи дошли до мужа... Впрочемъ, вся эта болтовня должна скоро кончиться: вѣдь ты черезъ нѣсколько дней ѣдешь въ деревню?

— Не знаю.

— Какъ не знаешь? Да если не ошибаюсь, въ нынѣшнемъ мѣсяцѣ будетъ ровно три года, какъ ты разстался съ твоей невѣстой; а сколько разъ я слышалъ отъ тебя, что ты ждешь-не-дождешься минуты, когда тебѣ можно будетъ покинуть навсегда Москву?

— Моя свадьба отсрочена еще на цѣлый годъ.

— Право? Однакожъ, надѣюсь, не ты просилъ отсрочки?

— Разумѣется.

— То-то, мой другъ, смотри, не промѣняй счастья всей своей жизни на какую-нибудь минутную прихоть.

— Да помилуй, Закамскій! — прервалъ я съ досадою,—съ чего ты взялъ?..

— Ну, полно, не сердись, Александръ! Я вѣрю, что это все вздоръ; но, право, не мѣшало бы тебѣ хоть на время уѣхать изъ Москвы. Перестать ѣздить къ Днѣпровскимъ ты не можешь: это дастъ новую пищу злословію; а воля твоя, если ты будешь у нихъ попрежнему ежедневнымъ гостемъ, такъ всѣ московскія старушки пойдутъ къ присягѣ, что ты любовникъ Днѣпровской. Однакожъ,— продолжалъ Закамскій, — не прибавить ли намъ ходу?.. Я что-то очень проголодался, а до Москвы еще далеко.

Мы пустились скорой рысью, и до самой заставы не говорили ни слова. Закамскій вѣроятно думалъ, какъ бы скорѣй добраться до Москвы и пообѣдать; а мнѣ, признаюсь, вовсе было не до ѣды. У кого совѣсть не чиста, тотъ всего на свѣтѣ боится, а тутъ и невинному человѣку Богъ знаетъ что пришло бы въ голову. Такой поспѣшный отъѣздъ Днѣпровскихъ изъ ихъ деревни, странная мысль Надины уѣхать въ Москву верхомъ, Алексѣй Семеновичъ, который, встрѣтясь съ нами на большой дорогѣ, не остановился, а, казалось, хотѣлъ отъ насъ прятаться, — все оправдывало догадки Закамскаго.—Ну, если въ самомъ дѣлѣ Днѣпровскій узналъ, что я въ перепискѣ съ его женою, что она меня любитъ, что она потихоньку ко мнѣ пріѣзжала... Избави Господи!..

Когда мы въѣхали въ заставу, Закамскій спросилъ меня, куда я намѣренъ отправиться, и не хочу ли вмѣстѣ съ нимъ отобѣдать въ какомъ-нибудь трактирѣ; я отказался и мы разстались: онъ поѣхалъ искать обѣда, а я поскакалъ домой. Егоръ встрѣтилъ меня у воротъ моей квартиры.—Васъ, сударь, дожидается вотъ этотъ баринъ,—сказалъ онъ, помогая мнѣ слѣзть съ лошади.

— Какой баринъ?

— Ну, вотъ этотъ-съ!.. какъ его?.. Барапоброкинъ что-ль?

— А! баронъ Брокенъ?

— Точно такъ-съ.

Я вбѣжалъ въ комнату.

— Здравствуй, Александръ Михайловичъ!— сказалъ баронъ, идя ко мнѣ пастрѣчу.—Насилу я тебя дождался.

Я вошелъ вмѣстѣ съ нимъ въ мой кабинетъ. — Притвори хорошенько дверь, — продолжалъ баронъ,—и садись: я хочу говорить съ тобой о важномъ дѣлѣ.

— Ты пугаешь меня!

— Пугаться нечего, а надобно будетъ взять рѣшительныя мѣры. Ты былъ сейчасъ въ подмосковной Днѣпровскаго.

— Да.

— И, вѣрно, никого не засталъ?

— Никого.

— Ну, мой другъ, наши дѣла идутъ худо!

— Что ты говоришь?

— Сегодня по-утру Надежда Васильевна пріѣхала изъ своей подмосковной, послала за мной; я засталъ ее въ ужасномъ отчаяніи. Представь себѣ, какой несчастный случай... Да иначе не могло и кончиться. Сколько разъ я говорилъ ей жечь твои письма, такъ нѣтъ! Охъ, эти женщины! не могутъ жить безъ уликъ! Письма, колечки, портреты!.. А на что всѣ эти глупые сувениры?.. Къ чему вся эта дрянь?.. Попадется на глаза мужу, вотъ и бѣда!

— Да что такое, скажи Бога ради?

— А то, что твои письма, которыя Надежда Васильевна всегда таскала въ своемъ ридикюлѣ, попались въ руки Днѣпровскому.

— Возможно ли?

— Да! она сегодня по-утру отправилась гулять верхомъ, и какъ-то второпяхъ, вмѣсто того, чтобъ спрятать свой ридикюль, забыла его въ кабинетѣ у мужа. Она вспомнила объ этомъ, да ужъ поздно. Алексѣй Семеновичъ, который, вѣроятно, давно ее подозрѣвалъ, прибралъ къ рукамъ этотъ проклятый ридикюль. Разумѣется, бѣдняжка потеряла совершенно голову; опасаясь въ первую минуту встрѣтиться съ мужемъ, она сѣла на лошадь и ускакала въ Москву. Здѣсь, по крайней мѣрѣ, она не одна и можетъ, въ случаѣ надобности, переѣхать въ домъ къ своей теткѣ, графинѣ Дулиной. Впрочемъ, это не спасетъ ее отъ большихъ непріятностей, а, можетъ-быть, отъ совершенной погибели. Днѣпровскій хочетъ требовать формальнаго развода; говоритъ, что представитъ въ судъ ея письма, что запретъ ее въ монастырь...

— Какъ! Ты думаешь, что онъ рѣшится...

— И, мой другъ! отъ этого дурака все станется.

— Бѣдная Надина!

— Да, точно, бѣдная! и если ты ее покинешь...

— Можешь ли ты это думать? Я готовъ на все, чтобъ спасти ее. Я поѣду къ Днѣпровскому, скажу ему, что я одинъ во всемъ виноватъ, что она никогда не отвѣчала на мои письма....

— И ты думаешь, онъ тебѣ повѣритъ?

— Я дамъ ему всякое удовлетвореніе.

— Ужъ не воображаешь ли ты, что онъ станетъ съ тобой стрѣляться? Вотъ нашелъ человѣка! Теперь онъ кричитъ, что ты обольстилъ его жену; а если ты намекнешь о дуэли, то онъ станетъ кричать, что ты хочешь убить его, чтобъ на ней жениться.

— Боже мой, Боже мой! Да неужели нѣтъ никакой возможности спасти ее?

— То-есть помирить съ мужемъ и помѣшать этой исторіи сдѣлаться гласною? Ну, разумѣется, это невозможно.

— Невозможно? — повторилъ я съ отчаяніемъ, и, надобно сказать правду, въ эту минуту я вовсе не думалъ о собственномъ моемъ положеніи; я видѣлъ только бѣдную Надину, всѣми покинутую, умирающую съ тоски и горя въ четырехъ стѣнахъ какого-нибудь отдаленнаго монастыря. Да, въ эту минуту я пожертвовалъ бы всѣмъ на свѣтѣ, чтобъ спасти ее.

— Послушай, Александръ, — сказалъ баронъ,—я не стану тебя обманывать; да и къ чему? Ты долженъ лучше меня знать законы своего отечества. Твои письма въ рукахъ у Днѣпровскаго, а отъ него уже не жди милосердія: дуракъ умѣетъ ли быть великодушнымъ; слѣдовательно, здѣсь все кончено для Надины. Но неужели ты думаешь, что она можетъ быть счастлива только въ Россіи, и что для этого счастья ей необходимы старый и несносный мужъ, общество, составленное изъ чопорныхъ барынь и глупыхъ модниковъ, которые воображаютъ, что они перестали быть мордвой и татарами оттого, что болтаютъ по-французски; неужели ты думаешь, что она умретъ со скуки безъ московскихъ сплетней, шушуканья, злословія и клеветы, въ которыхъ даже нѣтъ ничего забавнаго? Помилуй, Александръ, свѣтъ великъ. Конечно, не вездѣ найдешь такое красивое сѣрое небо, такія разнообразныя степи, такой прекрасный зимній путь и такіе трескучіе морозы, какъ у васъ въ Россіи; но вѣдь привыкнуть можно ко всему, даже къ этимъ вѣчно голубымъ небесамъ и всегдашней веснѣ южной Италіи. И, мой другъ! не съ морозомъ жить, а съ добрыми людьми; а добрые люди вездѣ найдутся.

— Такъ ты думаешь, баронъ, что она должна уѣхать за границу?

— Она! помилуй! да развѣ эта бѣдная Надина имѣетъ на это какіе-нибудь способы? Ее должно увезти, мой другъ.

— Увезти? Кому?

— Кому?—повторилъ баронъ съ дьявольской улыбкою: — вотъ забавный вопросъ! кому? Да неужели мнѣ? Случалось и мнѣ увозить женщинъ, но только тѣхъ, которыя меня любили.

— Такъ поэтому я долженъ увезти ее?

— Ты употребилъ настоящее слово,— прервалъ баронъ.—Это одно средство спасти Днѣпровскую — и ты *долженъ* спасти ее. Какъ благородный человѣкъ, ты не можешь поступить иначе. Ты знаешь, я не большой защитникъ постоянства, вѣрности и всѣхъ этихъ рыцарскихъ добродѣтелей, которыя мѣшаютъ намъ вполнѣ наслаждаться жизнью. Женщины насъ обманываютъ, мы ихъ обманываемъ: это круговая порука; но есть случаи, есть обстоятельства, въ которыхъ всякій порядочный человѣкъ долженъ хотя на время забыть о себѣ. Если-бъ ты вчера просто по одному капризу бросилъ Надину и предпочелъ бы ей другую женщину, я не сказалъ бы ни слова: это было бы въ порядкѣ; но покинуть ее теперь, когда у ней не осталось никого въ цѣломъ мірѣ, кромѣ тебя, когда она стоитъ на краю пропасти, когда ты одинъ можешь быть ея избавителемъ,—да, ты одинъ! безъ тебя она не сдѣлаетъ шагу для своего спасенія. Оставить ее въ эту ужасную минуту, выдать руками озлобленному мужу, который, какъ вампиръ, высосетъ изъ нея по каплѣ всю кровь, будетъ наслаждаться ея отчаяніемъ и слезами, живую зароетъ въ могилу... О, нѣтъ, нѣтъ, мой другъ! лучше возьми ножъ и зарѣжь ее; это будетъ и скорѣе и милосерднѣе!

— Боже мой, Боже мой! — сказалъ я;— итакъ, все погибло! всѣ мои надежды, вся будущность моя!

— Есть о чемъ горевать!—прибавилъ баронъ.—Помилуй, Александръ, да что тебя ожидало въ будущемъ? Жениться въ твои годы, покинуть свѣтъ и всѣ его наслажденія, жить и умереть въ глуши, и гдѣ же въ глуши? въ Россіи, въ этой безжизненной Россіи, средоточіи скуки, невѣжества и вѣчныхъ снѣговъ? Въ лучшіе года твоей жизни, въ то время какъ вся просвѣщенная Европа приглашаетъ тебя на свой роскошный пиръ, закопаться въ какую-нибудь мордовскую деревню или полутатарскій провинціальный городокъ! Да, мой другъ, нечего сказать: завидная будущность!

— Но моя невѣста, баронъ?

— Быть можетъ, погорюетъ, поплачетъ, а тамъ утѣшится и выйдетъ замужъ за другого.

— За другого? — вскричалъ я. — Какъ за другого?

— Да такъ, какъ всѣ выходятъ.

Мнѣ это казалось всегда до такой степени

невозможнымъ, что я не вдругъ понялъ барона. Иногда приходило мнѣ въ голову, что я могу по какому-нибудь несчастному случаю лишиться моей невѣсты; но чтобъ она вышла замужъ за кого-нибудь другого, кромѣ меня, да этого я не могъ себѣ и представить.

— Чему жъ ты удивляешься? — продолжалъ баронъ.—Ну, да! она утѣшится и выйдетъ замужъ за другого.

— Утѣшится!—повторилъ я. — Нѣтъ, баронъ, она не переживетъ моей измѣны; это убьетъ ее!

— И, полно ребячиться, Александръ! Я тебѣ говорилъ однажды, что отъ любви умираютъ только тѣ женщины, которыя не находятъ утѣшителей: а если твоя невѣста такъ хороша, какъ ты ее описывалъ...

— О, во сто разъ лучше!

— Такъ почивай, мой другъ, спокойно: ты ее не убьешь, она не умретъ, и, почему знать, можетъ-быть, лѣтъ черезъ двадцать ты встрѣтишь чопорную деревенскую барыню, которая, указывая на толстаго помѣщика въ полевомъ кафтанѣ и кожаномъ картузѣ, скажетъ: «Какъ я вамъ благодарна, Александръ Михайловичъ! Я такъ счастлива съ моимъ Кузьмою Фомичемъ! У насъ пятнадцать человѣкъ дѣтей, семьсотъ душъ и триста десятинъ господской запашки!..»

— Эхъ, перестань, баронъ,—прервалъ я,— твои шутки несносны. Да знаешь ли ты, холодная душа, какъ я люблю мою невѣсту? Знаешь ли ты, что эта любовь жизнь моя? Отъ одной мысли, что Машенька можетъ принадлежать другому, кровь леденѣетъ въ моихъ жилахъ! Нѣтъ, нѣтъ! называй меня жестокимъ, неблагодарнымъ, бездушнымъ, чѣмъ хочешь, а я не покину моей невѣсты. Пусть Надина требуетъ отъ меня возможнаго: я готовъ умереть, чтобъ спасти ее: но остаться жить безъ Машеньки, отказаться навсегда отъ этого ангела... Нѣтъ, нѣтъ! это невозможно!

— Послушай, Александръ, — сказалъ баронъ,—ты мнѣ жалокъ и смѣшонъ. Да развѣ ты не видишь, что для тебя нѣтъ средины? Исполнишь ли ты долгъ честнаго человѣка, или оставишь бѣдную Надину на произволъ судьбы, во всякомъ случаѣ тебѣ должно навсегда отказаться отъ твоей невѣсты. Неужели ты думаешь, что тебѣ можно будетъ жениться на Машенькѣ, когда Днѣпровская подастъ просьбу о разводѣ, когда этотъ постыдный процессъ сдѣлается извѣстнымъ всей Россіи, когда [illegible] и твоя невѣста прочтутъ рѣшеніе суда, въ которомъ, со всей безпощадною [illegible] судейскаго приговора, будетъ сказано, что, по просьбѣ мужа, статская совѣтница Надежда Днѣпровская, за непозволительную [illegible] съ таковымъ-то...

— Перестань... Бога ради, перестань! — вскричалъ я съ ужасомъ.—И это будетъ напечатано?

— Разумѣется.

— И мой опекунъ прочтетъ это?.. О, ты говоришь правду, баронъ! Все для меня кончено! Машенька, Машенька!

Я упалъ почти безъ чувствъ на канапе; грудь моя разрывалась отъ рыданій; слезы текли рѣкою. Мнѣ все представилось въ эту ужасную минуту: презрѣнье старика, котораго я привыкъ любить какъ отца родного; горесть жены его, моей второй матери; а Машенька, подруга моего дѣтства, моя первая любовь, невѣста, сестра моя!.. Боже мой, Боже мой!..

Баронъ вынулъ свои часы и, смотря на нихъ съ насмѣшливой улыбкою, не говорилъ ни слова.—Ну!—сказалъ онъ наконецъ, — вотъ ровно четверть часа, какъ ты каешься въ своихъ тяжкихъ прегрѣшеніяхъ. Да полно, уймись, Александръ! и женщины за одинъ пріемъ не плачутъ долѣе этого. Бѣдная Надина! еслибъ она знала, на кого полагаетъ всю свою надежду! Хорошъ покровитель! Да неужели ты хочешь, чтобъ я поѣхалъ сказать Днѣпровской, что ея прелестный идеалъ, вмѣсто того, чтобъ летѣть къ ней на помощь, валяется на канапе и реветъ какъ школьникъ, котораго сбираются высѣчь? Стыдись, Александръ! Ну, какой ты мужчина? Я не вѣрю, чтобъ ты не могъ стать выше этой смѣшной дѣтской привязанности къ какой-то деревенской барышнѣ: но если въ самомъ дѣлѣ ты до такой степени малодушенъ, такъ будь, по крайней мѣрѣ, мужчиною: раздроби себѣ черепъ, а не плачь какъ женщина или пятилѣтній ребенокъ.

— Да, ты правъ, мой другъ!—вскричалъ я съ отчаяніемъ.—Я долженъ быть мужчиною, я спасу Надину, а тамъ—а тамъ я знаю, что дѣлать!

— Насилу-то мы рѣшились,—сказалъ баронъ.—а я ужъ думалъ, что этому и конца не будетъ. Ну, если бы я былъ на твоемъ мѣстѣ, еслибъ это прелестное созданіе... Да что тутъ говорить!

— Но почему ты думаешь,—прервалъ я,— что Надина рѣшится бѣжать со мною за границу?

— Потому что ей не осталось ничего другого дѣлать, потому что она гораздо рѣшительнѣе тебя, и, наконецъ, потому, что съ тобой она готова на край свѣта. Но мы такъ далеко не поѣдемъ.

— Все это одни предположенія.

— Потрудись прочесть эту записку, и ты увидишь, что за Надиной дѣло не станетъ.

Баронъ подалъ мнѣ клочокъ бумаги, на которомъ было написано нѣсколько строкъ карандашемъ. Я узналъ руку Днѣпровской, но съ трудомъ могъ разобрать слѣдующія слова:

«Мы погибли, Александръ!.. Мужъ мой все знаетъ... Я не думаю, что ты остался у меня одинъ въ цѣломъ мірѣ, — нѣтъ! у насъ есть

истинный, безцѣнный другъ. Слѣдуй во всемъ его совѣтамъ: онъ одинъ можетъ спасти насъ!.. О, Александръ! сердце мое перестаетъ биться, когда я думаю... но нѣтъ, нѣтъ! ты не покинешь своей Надины!»

— Ну!—сказалъ баронъ шутя,—кажется, на основаніи этого вѣрющаго письма я имѣю полное право отвѣчать за Надину?

Я долженъ былъ еще разъ прочесть эту записку, чтобъ понять ее. Голова моя кружилась; въ ней не было ни одной ясной мысли. Эта внезапная перемѣна моего положенія, побѣгъ за границу, вѣчная разлука съ Машенькою, все это походило на какой-то тяжкій, зловѣщій сонъ. — Но когда же мы должны бѣжать?—спросилъ я, наконецъ, робкимъ голосомъ, барона.

— Чѣмъ скорѣй, тѣмъ лучше.

— Да неужели сегодня?

— И почему нѣтъ?

Сегодня! Меня обдало съ головы до ногъ морозомъ. Представьте себѣ человѣка, который надѣялся прожить еще нѣсколько дней, и которому скажутъ, что онъ долженъ умереть черезъ минуту.—Сегодня! — вскричалъ я,—да развѣ это возможно?

— А почему же нѣтъ?—повторилъ баронъ.

— Я совсѣмъ безъ денегъ.

— Сколько тебѣ надобно?

— По крайней мѣрѣ, десять тысячъ.

— Я привезу тебѣ двадцать.

— Но мнѣ нужна подорожная.

— На что? Плати вездѣ двойные прогоны и тебя повезутъ лучше всякаго курьера.

— Но развѣ я могу отправиться въ чужіе края, не имѣя заграничнаго паспорта? Меня могутъ вездѣ остановить.

— Да, это правда, паспортъ тебѣ необходимъ.

— Ну, вотъ видишь! А можно ли его получить прежде двухъ недѣль?

— Нѣтъ, не можно.

Я вздохнулъ свободно.

— А межъ тѣмъ Днѣпровскій подастъ просьбу,—продолжалъ баронъ,—тебя потребуютъ къ суду, и тогда, разумѣется, полиція не выпуститъ тебя изъ города. Впрочемъ, не только черезъ двѣ недѣли, это можетъ случиться завтра, и потому-то именно вамъ должно сегодня же отправиться за границу.

— Какъ сегодня?

— Да, мой другъ! Вотъ изволишь видѣть: князь Двинскій хотѣлъ ѣхать во Францію; я взялъ для него паспортъ, но, кажется, онъ раздумалъ; онъ сбирается въ дальнюю дорогу, да только не туда... Постой!..

Въ эту минуту на моихъ стѣнныхъ часахъ пробило пять часовъ; баронъ какъ будто бы къ чему-то прислушивался; вдругъ глаза его засверкали, какая-то неистовая радость разлилась по всему лицу, онъ захохоталъ... Боже мой!.. я вскрикнулъ отъ ужаса; я до сихъ поръ не могу вспомнить безъ замиранія сердца объ этомъ отвратительномъ хохотѣ, въ которомъ не было ничего человѣческаго.

— Какъ можно такъ страшно смѣяться,— сказалъ я.—Да и чему ты смѣешься?

— Отправился! — прошепталъ баронъ. — Счастливый путь!

— О комъ ты говоришь?

— О моемъ пріятелѣ Двинскомъ. Онъ сказалъ мнѣ, что если въ пять часовъ я не буду у него, такъ непремѣнно уѣдетъ.

— Что жъ тутъ смѣшного?

— Долго разсказывать.

— Да куда онъ поѣхалъ?

— Я знаю куда, только не скажу: это наша тайна. Теперь ему заграничный паспортъ не нуженъ. Вотъ онъ, возьми, Александръ. Ты можешь съ нимъ доѣхать до самаго Парижа.

— Какъ, баронъ? подъ чужимъ именемъ?

— А развѣ лучше, если бъ паспортъ былъ на твое имя? Я думаю, нетрудно будетъ догадаться, что Днѣпровская убѣжала съ тобою; тебя могутъ догнать, остановить на своей границѣ, а теперь кому придетъ въ голову гнаться за княземъ Двинскимъ. Я черезъ недѣлю отправлюсь за вами, вы можете подождать меня въ Варшавѣ. Вотъ адресъ гостиницы, въ которой совѣтую вамъ остановиться; хозяинъ ея французъ, прелюбезный и преумный человѣкъ. Прошлаго года онъ щеголялъ въ красномъ колпакѣ, а теперь надѣлъ опять пудреный парикъ и называетъ себя эмигрантомъ. Вели межъ тѣмъ приготовить твою коляску, а я заѣду къ Днѣпровской, потомъ найму лошадей; въ десять часовъ онѣ непремѣнно будутъ у тебя на дворѣ. Прощай!

Есть пословица, что утопающій хватается за соломинку...—Постой, баронъ!—закричалъ я,—мы одно совершенно забыли: вѣдь я въ службѣ.

— Такъ что жъ?

— Мнѣ должно имѣть отпускъ.

— Ты съ ума сошелъ, Александръ!—прервалъ баронъ. — Ты рѣшился увезти чужую жену, а не хочешь ѣхать безъ отпуска... А, впрочемъ, что ты думаешь? въ самомъ дѣлѣ! тебя хватятся, это надѣлаетъ шуму... Садись и пиши просьбу. Когда будутъ думать, что ты поѣхалъ въ деревню къ своей невѣстѣ, такъ это всѣхъ собьетъ съ толку.

— Но помилуй, баронъ! теперь ужъ поздно.

— Это не твое дѣло, садись и пиши!.. Да полно же, рѣшайся на что-нибудь!—продолжалъ баронъ, замѣчая, что я не слишкомъ тороплюсь исполнить его приказаніе.

— О, мой другъ! я не могу подумать о Машенькѣ! Она всю жизнь будетъ несчастлива.

— Положимъ, что такъ; да развѣ тебѣ будетъ легче, когда ты сдѣлаешь несчастіе не одной, а двухъ женщинъ разомъ? Ужъ я, кажется, доказалъ тебѣ, что Машенька не мо-

жетъ быть твоей женою, что же ты хочешь?

— Ахъ, я и самъ не знаю! Я потерялъ весь разсудокъ. Бѣдная голова моя!

— И, полно! — прервалъ баронъ съ улыбкою. — Оставь свою голову въ покоѣ: она тутъ ни при чемъ. Садись и пиши.

Я машинально повиновался. Баронъ взялъ мою просьбу, призвалъ Егора, велѣлъ ему укладываться и уѣхалъ.

— Да развѣ мы, сударь, ѣдемъ, — спросилъ Егоръ, глядя на меня съ удивленіемъ.

— Да!

— Въ деревню?

— Нѣтъ.

— Куда же, Александръ Михайловичъ?

— Пошелъ вонъ, и дѣлай, что тебѣ приказано!

Егоръ покачалъ головою и вышелъ вонъ.

Не могу описать, что я чувствовалъ въ продолженіе цѣлаго вечера. Я не могъ присѣсть ни на минуту, нигдѣ не находилъ мѣста; мнѣ было душно: потолокъ давилъ меня; кровь то кипѣла, то застывала въ моихъ жилахъ. Иногда казалось мнѣ, что я въ горячкѣ, что все это одинъ только бредъ; и въ самомъ дѣлѣ, мнѣ промѣнять Машеньку на женщину прелестную, это правда, но къ которой я чувствовалъ одно только сожалѣніе! Бѣжать съ этой женщиной за границу, быть-можетъ, отказаться навсегда отъ моего отечества, и все это сегодня!.. Пробило десять часовъ, ворота заскрипѣли и на дворѣ раздался звонъ колокольчика.

— Лошадей привели,—сказалъ Егоръ, войдя въ комнату. — Прикажете закладывать коляску?

— Да, закладывать!.. Скорѣй, скорѣй!..

И такъ, черезъ часъ все будетъ кончено!.. Черезъ часъ!.. Но что думать о томъ, что неизбѣжно? Я махнулъ рукой и сдѣлалъ то, что дѣлаетъ робкій путешественникъ, когда проводникъ тащитъ его за собою по дощечкѣ, перекинутой черезъ глубокую пропасть: я зажмурилъ глаза и рѣшился предаться совершенно въ волю барона.

Онъ пріѣхалъ ко мнѣ ровно въ одиннадцать часовъ. — Вотъ твой отпускъ,—сказалъ баронъ, подавая мнѣ бумагу, подписанную моимъ начальникомъ. — Ну, видишь, Александръ, я все уладилъ; черезъ полчаса мы отправимся. Ты знаешь переулокъ позади дома Алексѣя Семеновича, по обѣимъ сторонамъ заборы? Тутъ и днемъ почти никто не ходитъ. Въ этотъ переулокъ есть калитка изъ сада Днѣпровскихъ; мы остановимся отъ нея шагахъ въ десяти; Надина къ намъ выйдетъ, и я увѣренъ, что прежде, чѣмъ ее хватятся, вы будете ужъ на первой станціи. Ахъ, мой другъ!—продолжалъ баронъ,—какъ ты счастливъ! Ты не можешь себѣ представить, какъ любитъ тебя эта женщина! Это не любовь, а какое-то безуміе, сумасшествіе. Когда она о тебѣ говоритъ, то я желалъ бы срисовать ее: это просто олицетворенная страсть; она мыслитъ, живетъ, дышетъ тобою. Если-бъ меня такъ любила женщина самая обыкновенная, то, клянусь честію, я сошелъ бы отъ нея съ ума, а твоя Надина... Да знаешь ли, что я въ жизнь мою не видывалъ ничего прелестнѣе. Это какое-то чудное собраніе всего, чѣмъ плѣняютъ насъ женщины цѣлаго міра: умна, ловка и любезна, какъ француженка, прекрасна, какъ англичанка, стройна, какъ юная дѣва Андалузіи, и точно такъ же безпредѣльно любитъ. Нѣтъ, мой другъ, воля твоя, а ты не стоишь этой женщины.

— О, конечно, она очаровательна, прелестна! — сказалъ я, увлекаясь словами барона:—но мои прежнія обязанности...

— Долой эти кандалы, Александръ! Что за обязанности! Я знаю только одну обязанность: стараться быть счастливымъ и, если можно, наслаждаться жизнію до послѣдней минуты. Все остальное пустяки, мой другъ! Поживи нѣсколько времени въ Парижѣ и ты поймешь меня. Здѣсь въ Россіи вы не имѣете никакого понятія о томъ, что мы называемъ наслажденіемъ: это несносное однообразіе, эта безжизненность преслѣдуетъ васъ повсюду; вамъ скучно въ Петербургѣ, скучно въ Москвѣ, скучно въ деревнѣ; вы женитесь для того, чтобъ скучать вдвоемъ; ищете общества для того, чтобъ, умирая со скуки, вамъ можно было сказать: «на людяхъ и смерть красна». Такъ чему же дивиться, если вы только уважаете всѣ эти обязанности? Исполняя ихъ, вы только разнообразите вашу скуку. Погоди, Алексадръ, ты скоро узнаешь, что такое жизнь, когда мы живемъ, а не *прозябаемъ*. У Надины тысячъ на двѣсти брилліантовъ, твое имѣнье стоитъ вдвое: слѣдовательно, у васъ будетъ почти тридцать тысячъ въ годъ доходу... Тридцать тысячъ! да съ этимъ въ Италіи вы будете жить въ мраморныхъ палатахъ; а мы начнемъ съ Италіи — не правда ли?

— Для меня все равно, Италія, Швейцарія, Франція...

— О, нѣтъ, Александръ! Если ты прямо изъ Москвы попадешь въ Парижъ, то быть-можетъ, онъ тебѣ не понравится, — этотъ быстрый переходъ отъ мертваго сна къ кипучей жизни; нѣтъ, нѣтъ! тебя надобно будить понемногу, а то ты испугаешься. Мы проживемъ сначала недѣли три въ Вѣнѣ, а тамъ отправимся въ Венецію. Она еще прекрасна, эта падшая царица Адріатическаго моря: ея патриціи ходятъ, повѣсивъ головы; но веселые гондольеры все еще поютъ свою biondina in gondoletta, и черные глаза венеціанскихъ женщинъ, такъ же какъ и прежде, горятъ любовью и сладострастіемъ. Въ Римѣ мы пробудемъ только нѣсколько дней. Тамъ скучно, мой другъ! Это развалины великолѣпнаго зданія, въ которомъ нѣкогда живали владыки міра и давались дивные пиры, а те-

перь живутъ нищіе, воетъ вѣтеръ и все заглохло травою. Въ Неаполѣ проведемъ мы осень и всю зиму. Тамъ, подъ этимъ прозрачнымъ небомъ, на этой огненной землѣ, ты познакомишься съ благословеннымъ югомъ. О, мой другъ! сколько новыхъ для тебя наслажденій! Вообрази, Александръ! въ то время, какъ здѣсь, въ Москвѣ, трещатъ стѣны отъ мороза, ты будешь искать прохлады въ какой-нибудь померанцевой рощѣ, или нѣжиться подъ тѣнью миртовыхъ деревьевъ. Мы наймемъ роскошную виллу у подошвы Везувія. Представь себѣ, вдали передъ нами огромный голубой коверъ, по которому разбросаны корзины съ яркой зеленью и цвѣтами: это Неаполитанскій заливъ съ своими островами. У нашихъ ногъ великолѣпный городъ, который, опускаясь амфитеатромъ къ морю, какъ будто бы тонетъ въ его голубыхъ волнахъ. Представь себѣ, что ты безъ шляпы и галстуха сидишь подъ тѣнью зеленаго лавра, прислушиваешься къ отдаленному говору безчисленной толпы, дышешь этимъ благовоннымъ воздухомъ, о которомъ ваши оранжереи не могутъ дать никакого понятія, что подлѣ тебя, рука съ рукою, сидитъ твоя Надина, что ея прелестныя черныя кудри тихо взвѣваетъ теплый осенній вѣтерокъ; и все это, мой другъ, въ январѣ мѣсяцѣ, все это въ то время, какъ у насъ въ Россіи дыханье замерзаетъ въ воздухѣ.

— Да, это земной рай!—вскричалъ я невольно.

Баронъ нахмурился. — Что за рай!—сказалъ онъ. — Это просто земля, въ которой живутъ люди, а не бѣлые медвѣди. Но вотъ конецъ и вашей русской зимѣ!—продолжалъ баронъ. — Апрѣль мѣсяцъ. Мы скачемъ въ Парижъ — въ Парижъ, это средоточіе всѣхъ земныхъ наслажденій, эту столицу наукъ, ума и просвѣщенія. Парижъ описывать нельзя: его надобно видѣть. Можетъ-быть, тебѣ сначала не очень понравится нечистота, грязь и вонь парижскихъ улицъ; но ты скоро къ этому привыкнешь, ты даже полюбишь эту парижскую грязь, точно также какъ мы любимъ какой-нибудь физическій недостатокъ въ женщинѣ, которую боготворимъ. Я завидую тебѣ, Александръ! Ты еще подносишь только къ устамъ своимъ эту чашу, которую я давно осушилъ до дна. Сколько новыхъ ощущеній, какой разнообразный міръ забавъ, радостей, удовольствій ожидаютъ тебя въ этомъ роскошномъ, обольстительномъ Парижѣ! Представь себѣ...

Вдругъ баронъ замолчалъ; онъ поглядѣлъ робко вокругъ себя и, схвативъ меня за руку, проговорилъ торопливо: — Ѣдемъ, мой другъ! ѣдемъ! пора!

— Егоръ!—закричалъ я, — шляпу и шинель! Мы ѣдемъ.

— Извозники перепрягаютъ коренныхъ лошадей, сударь!—сказалъ Егоръ, высунувъ къ намъ свою голову.

— Пошелъ, торопи!

— Скорѣй, скорѣй! — повторялъ баронъ, бѣгая по комнатѣ.

— Что ты вдругъ такъ заторопился?— спросилъ я съ удивленіемъ.—Посмотри, еще нѣтъ одиннадцати часовъ.

— Все равно! — вскричалъ баронъ, таща меня за руку, — пойдемъ пѣшкомъ, коляска насъ догонитъ.

— Погоди, дай хоть шинель надѣть. Да что съ тобой сдѣлалось?

Въ самомъ дѣлѣ, съ барономъ происходило что-то чудное: глаза его помутились, посинѣвшія губы дрожали, и онъ въ ужасной тоскѣ метался изъ стороны въ сторону, повторяя какимъ-то страннымъ голосомъ:—Чу!.. слышишь?.. онъ идетъ.

— Да кто? о комъ ты говоришь? — спросилъ я съ нетерпѣніемъ.

— Дома, сударь!—раздался въ передней голосъ моего слуги. Баронъ бросился къ дверямъ, хотѣлъ ихъ притворить, но вдругъ отскочилъ и прижался къ стѣнѣ въ самомъ темномъ углу комнаты.

— Пожалуйте сюда!—сказалъ Егоръ. Двери растворились и къ намъ вошелъ Яковъ Сергѣевичъ Луцкій.

VI.

Развязка.

— Не грѣхъ ли тебѣ, Александръ Михайловичъ?—сказалъ Луцкій, протягивая ко мнѣ руку: — совсѣмъ было уѣхалъ, не простясь со мною! У тебя ужъ и лошади готовы?

— Да, Яковъ Сергѣевичъ, я сейчасъ ѣду.

— Въ деревню, къ своей невѣстѣ, объ этомъ и спрашивать нечего. Кажется, сегодня минетъ ровно три года... Но мнѣ сказали, что ты не одинъ,—продолжалъ Луцкій, осматриваясь кругомъ.

— Позвольте мнѣ рекомендовать вамъ,— сказалъ я, указывая на барона,—это пріятель мой, баронъ Брокенъ.

— Твой пріятель! — повторилъ Луцкій, устремивъ испытующій взглядъ на барона, который какъ прикованный стоялъ неподвижно въ своемъ темномъ углу.

— Извините, Яковъ Сергѣевичъ, — продолжалъ я,—намъ некогда: мы ѣдемъ.

— Ты поѣдешь, Александръ Михайловичъ,—сказалъ твердымъ голосомъ Луцкій,— но только не съ нимъ.

Я посмотрѣлъ съ удивленіемъ на Якова Сергѣевича; въ первый еще разъ я видѣлъ на этомъ кроткомъ и спокойномъ лицѣ выраженіе душевной непріязни; блестящій, но неподвижный взоръ его былъ устремленъ на барона, который дрожалъ какъ преступникъ, подавленный строгимъ взглядомъ своего

— И вотъ тотъ, кто былъ съ тобою неразлучно! — проговорилъ Луцкій, не спуская глазъ съ барона: — и съ этимъ клеймомъ на челѣ, съ этимъ ядомъ на устахъ, онъ явился передъ тобою, и ты назвалъ его своимъ пріятелемъ!.. Ахъ, Александръ Михайловичъ! ты не отгадалъ его подъ этой полупрозрачной маскою!.. Такъ взгляни же на него теперь!..

Я окаменѣлъ отъ ужаса. Боже мой! что сдѣлалось съ барономъ?.. Страшно было смотрѣть на помертвѣвшее лицо его. Все, что порокъ имѣетъ въ себѣ отвратительнаго, всѣ гнусныя страсти, убивающія душу: гордость, злоба, ненависть, развратъ — все отражалось какъ въ зеркалѣ на этомъ безобразномъ, едва человѣческомъ лицѣ.

— Въ его присутствіи и воздухъ заразителенъ,—продолжалъ Луцкій, взявъ меня за руку.—Ты стоишь на краю пропасти, мой другъ; но безъ собственной твоей воли я не могу спасти тебя, и горе тебѣ, если этотъ искуситель до того завладѣлъ тобою, что ты не желаешь съ ними разстаться! Смотри, Александръ Михайловичъ! Вотъ онъ, во всей отвратительной наготѣ своей; говори теперь: желаешь ли ты попрежнему остаться его другомъ?

— О, нѣтъ, нѣтъ!—вскричалъ я съ неописаннымъ ужасомъ.

Лицо Луцкаго просвѣтлѣло радостію.—Ты слышалъ свой приговоръ?—сказалъ онъ, обращаясь къ барону.—Кто видитъ твое безобразіе и гнушается имъ, тотъ не можетъ тебѣ принадлежать.

Баронъ молчалъ. Замѣтно было, что онъ напрягалъ всю свою волю, чтобъ побѣдить это неизъяснимое чувство боязни, которое овладѣло имъ при появленіи Луцкаго; нѣсколько разъ на посинѣвшихъ губахъ его появлялась какъ будто бы насмѣшливая улыбка, и вдругъ блѣдное лицо его вспыхнуло, глаза налились кровью и засверкали, какъ у тигра; онъ устремилъ ихъ на Луцкаго; но лишь только этотъ бѣшеный взоръ встрѣтился съ кроткимъ и спокойнымъ взоромъ старика, баронъ заскрежеталъ зубами, закрылъ рукою глаза и съ воплемъ отчаянія бросился вонъ изъ комнаты. Во всемъ домѣ двери распахнулись сами собою, на дворѣ шарахнулись лошади, завыла цѣпная собака и мимо оконъ дома что-то похожее на вихрь съ визгомъ промчалось по улицѣ.

Прошло нѣсколько минутъ, прежде чѣмъ я опомнился отъ удивленія. — Что-жъ это все значитъ?—спросилъ я у Якова Сергѣевича.

— Если ты не понимаешь, Александръ Михайловичъ,—отвѣчалъ Луцкій,—такъ мнѣ и толковать нечего.

— Но кто далъ вамъ такую неограниченную власть надъ этимъ человѣкомъ? И отчего баронъ, который вовсе не трусъ, до такой степени васъ боится? Вѣрно, вы знаете о немъ *что-нибудь* ужасное?

— Да, мой другъ! я знаю, кто онъ; но оставимъ его. Я надѣюсь, что при помощи Божіей ты никогда ужъ съ нимъ не встрѣтишься. Теперь сядемъ, Александръ Михайловичъ, мнѣ нужно поговорить съ тобою—да не безпокойся,—продолжалъ Луцкій,—время еще не ушло: тебя никто не дожидается и ты ѣдешь не за границу.

— За границу! — повторилъ я съ удивленіемъ.—Да кто вамъ сказалъ...

— Я знаю все,—прервалъ Луцкій.

— Все? но какимъ образомъ...

— Я разскажу тебѣ. Сегодня Днѣпровскій пріѣхалъ ко мнѣ часу въ двѣнадцатомъ утра; я испугался, когда взглянулъ на этого несчастнаго мужа, убитаго горестію. Не говоря ни слова, онъ подалъ мнѣ твои письма. Ахъ, Александръ Михайловичъ! я не хотѣлъ вѣрить, что они писаны тобою; но, къ сожалѣнію, долженъ былъ, наконецъ, убѣдиться въ этой горькой истинѣ.—Боже мой,—думалъ я,—къ чему же служатъ намъ доброе сердце, хорошія правила и то, что въ свѣтѣ называютъ честію? Да развѣ тотъ не злодѣй, кто рѣшится уморить съ горя свою невѣсту, обезчестить пріятеля, заплатить ему величайшимъ зломъ и погубить навсегда легкомысленную женщину, которую онъ даже не любитъ?.. Да, Александръ Михайловичъ! любовь тутъ дѣло вовсе постороннее; одно мелкое самолюбіе, минутная прихоть... И вотъ, какъ отъ ничтожной искры бываютъ часто гибельные пожары. Правда, раздуть эту искру и подложить огоньку было кому: я видѣлъ твоего наставника.

— Думайте, что угодно, обо мнѣ, Яковъ Сергѣевичъ,—прервалъ я,—но клянусь вамъ честію, Днѣпровская невинна!

— То-есть ваша связь могла бы быть еще преступнѣе? О, въ этомъ я увѣренъ! И если бъ я однимъ часомъ пріѣхалъ позже къ Надеждѣ Васильевнѣ...

— А вы у нея были?

— Да, я пріѣзжалъ къ ней отъ мужа, и въ какомъ положеніи нашелъ я эту бѣдную женщину! Она рѣшилась бѣжать съ тобою за границу; но я убѣжденъ теперь въ душѣ моей, что Днѣпровская не пережила бы своего стыда... да, Александръ Михайловичъ, ты былъ бы убійцею этой женщины!

— Но что оставалось мнѣ дѣлать, Яковъ Сергѣевичъ?—вскричалъ я.—Чтобъ спасти ее, я готовъ былъ на все рѣшиться.

— Спасти?..

— Да развѣ вы не знаете, что Днѣпровскій будетъ требовать развода, представитъ въ судъ мои письма...

— Твои письма? Вотъ они, Александръ Михайловичъ!

— Возможно ли! Такъ онъ не хочетъ обезславить и запереть въ монастырь свою жену?

— Обезславить!.. Такъ и тебѣ то-же го-

ворилъ этотъ... прости, Господи!.. чуть-чуть не назвалъ его человѣкомъ, этотъ баронъ? И ты ему повѣрилъ, Александръ Михайловичъ?.. Да знаешь ли, что Днѣпровскій умеръ бы съ радостію, если бъ могъ думать, что составитъ этимъ счастіе своей Надежды Васильевны? Знаешь ли, что его письмо, которое я отдалъ Днѣпровской, до того ее растрогало, что она поклялась забыть тебя и прилѣпиться всей душой къ этому доброму и благородному человѣку? Онъ отдавалъ ей все свое имѣнье и не ее хотѣлъ запереть въ монастырь, а самъ рѣшился покинуть свѣтъ, чтобъ сдѣлать ее свободною; и это были не однѣ фразы—нѣтъ, мой другъ, онъ точно бы это сдѣлалъ, потому что истинно ее любитъ, потому что для него видѣть Надину счастливой все то же, что быть счастливу самому. Что если бъ эта бѣдная женщина не поняла какое неоцѣненное сокровище такая чистая, безкорыстная любовь; если бъ она промѣняла ее на эту безумную, неистовую страсть, въ которой все противно Богу и нашей совѣсти—о, мой другъ! какъ жестоко вы были бы наказаны оба! Но, къ счастью, искуситель былъ далеко, и Господь Богъ далъ силу убѣжденія простымъ словамъ моимъ. Днѣпровская очнулась, она увидѣла эту бездонную пропасть, прикрытую цвѣтами, и, чтобъ спасти себя, бросилась въ объятія къ своему мужу. Теперь ты знаешь все. Лошади готовы,—ступай съ Богомъ! Тебя ждетъ твоя невѣста, меня также кой-кто поджидаетъ. Да, Александръ Михайловичъ! и мнѣ придется скоро ѣхать въ дальній путь...

— Что вы хотите сказать?. —прервалъ я.

— Эхъ, мой другъ!—продолжалъ Луцкій,—плохъ становлюсь, дряхлѣю!.. Да Господь Богъ милостивъ: не встрѣтимся здѣсь, такъ авось свидимся въ другомъ мѣстѣ. Прощай, Александръ Михайловичъ! Какъ женишься, такъ не забудь написать ко мнѣ: я порадуюсь твоему счастію, помолюсь за васъ Богу и, можетъ быть, пришлю къ вамъ свадебный подарокъ.

Луцкій обнялъ меня. Я сѣлъ въ коляску и закричалъ ямщику:—Пошелъ въ Владимірскую заставу.

— Какъ, сударь,—сказалъ Егоръ,—да куда же мы ѣдемъ?

— Въ Тужиловку.

— Въ Тужиловку?—повторилъ Егоръ, перекрестясь.—Слава тебѣ, Господи! Ну, братъ, смотри!—продолжалъ онъ, обращаясь къ ямщику,—чуръ, не дремать! Баринъ добрый—прокати, такъ на водку будетъ.

— Да насъ нанимали по Смоленской дорогѣ, сударь,—сказалъ ямщикъ, приподнимая шляпу.

— Я заплачу вдвое—ступай!

— Вдвое,—повторилъ ямщикъ, почесывая затылокъ.—Маленько, сударь, будетъ.

— Да развѣ станція-то больше?—прервалъ Егоръ.

— Больше не больше, а, власть, ваша, за двойные не поѣдемъ.

— Такъ отпрягай лошадей! — закричалъ Егоръ, слѣзая съ козелъ.

— Да ужъ прибавьте полтинничекъ, сударь!

— Хорошо,—ступай!

— Въ Рогожскую!—крикнулъ ямщикъ форейтору.—Ну! трогай! съ Богомъ!

Мы выѣхали въ заставу. Я все еще былъ въ какомъ-то чаду. Этотъ быстрый переходъ отъ одного положенія къ другому смѣшалъ совершенно всѣ мои понятія. Я походилъ на человѣка, который только-что избавился отъ величайшей опасности; въ первую минуту онъ не можетъ дать себѣ отчета, какъ это случилось, и даже не чувствуетъ—*съ горяча*,—что онъ былъ на одинъ волосокъ отъ смерти. Мало-по-малу мысли, которыя безъ всякой связи и порядка роились въ головѣ моей, начали получать свою послѣдственность, стали яснѣе, опредѣленнѣе, и вдругъ все прошедшее, въ цѣломъ, представилось моему воображенію. Боже мой, какъ я испугался!.. Что, если бъ въ самомъ дѣлѣ Луцкій однимъ часомъ позже пріѣхалъ къ Надинѣ?.. Вѣдь я скакалъ бы теперь по Смоленской дорогѣ, подъ чужимъ именемъ, съ женою другого и завтра же объ этомъ

Ордынка, Поварская,
Никитская, Тверская,
Пречистенка, Арбатъ

И, словомъ, вся Москва ударила бъ въ набатъ!

Черезъ нѣсколько дней извѣстіе объ этомъ побѣгѣ дошло бы до Бѣлозерскихъ и Машеньки, которую я люблю болѣе моей жизни... Какой ужасъ!.. Вся кровь застыла въ моихъ жилахъ; мнѣ казалось, что я никогда не уѣду изъ этой Москвы, что за мною гонятся, что меня хотятъ остановить, разлучить навсегда съ Машенькою... — Пошелъ!—закричалъ я, какъ бѣшеный.—Пошелъ!—Егоръ обернулся и поглядѣлъ на меня съ удивленіемъ.—Пошелъ!—повторилъ я, толкая въ спину ямщика.

— Что вы, сударь?—закричалъ Егоръ.—Развѣ не видите, какая круть? Да тутъ дай Богъ и шагомъ спустить благополучно,—извольте-ка взглянуть!

Въ самомъ дѣлѣ, мы съѣзжали съ крутой горы, и ямщикъ едва могъ сдерживать лошадей.

Я нигдѣ не торговался, сыпалъ деньгами, слѣдовательно, ѣхалъ очень скоро, но если бъ меня везли съ такою же точною быстротою, съ какою возятъ теперь по чугуннымъ дорогамъ, то и тогда я сталъ бы жаловаться на медленность. Мнѣ все казалось, что Москва у меня за плечами. Я считалъ версты, присчитывалъ, старался самъ себя обманывать и не видѣлъ конца моему путешествію. Но вотъ ужъ мы отъѣхали четыреста верстъ—Москва далеко. Еще однѣ сутки и я дома,

подлѣ моей Машеньки... Она, вѣрно, выросла, похорошѣла!.. Ахъ, какъ стало мнѣ легко!.. Какъ свободно дышу я этимъ лѣтнимъ воздухомъ!.. Какъ весело разстилаются передо мною эти безпредѣльныя поля нашихъ низовыхъ губерній... Послѣдніе три года моей жизни какъ будто бы не бывали; я опять живу въ деревнѣ, я снова тотъ же веселый, добродушный малый, который, бывало, не пропуститъ воскреснаго дня, чтобъ не побывать у обѣдни, и готовъ послѣ цѣлый день проказить и рѣзвиться какъ дитя—лѣтомъ бродить съ ружьемъ по лѣсу, бѣгать въ горѣлки; зимой ходить за тенетами, кататься съ горъ, а въ метель сидѣть дома, читать вслухъ «Всемірнаго путешественника» или играть по гривнѣ въ лото. Шумная столица, блестящіе праздники, гулянья, минутные друзья, бальныя связи, и даже Надина Днѣпровская—все это какой-то смутный сонъ, неясный разсказъ. Москва!.. Да, полно, былъ ли я въ Москвѣ? Не сплю ли я и теперь?.. Я былъ знакомъ съ какимъ-то демономъ, насмѣхался, злословилъ, любезничалъ съ женщинами, забывалъ по цѣлымъ днямъ мою Машеньку и даже готовъ былъ навсегда съ нею разстаться... Да какъ же это можно?.. Нѣтъ, нѣтъ!.. Это, точно, былъ сонъ!.. И какой скверный сонъ!

На четвертый день рано поутру я остановился перемѣнить лошадей въ С....кѣ, уѣздномъ городѣ нашей губерніи. Мнѣ оставалось еще ѣхать съ небольшимъ сто верстъ. С....къ уѣздный городъ съ большими претензіями; въ немъ есть нѣсколько каменныхъ домовъ, красивый соборъ, ряды, гостинница, и даже бываетъ годовая ярмарка, на которую съѣзжались встарину карточные игроки изъ всѣхъ окружныхъ губерній; однимъ словомъ, въ этомъ знаменитомъ уѣздномъ городѣ я могъ найти все, кромѣ того, что было для меня необходимо: мнѣ нужны были лошади, а ихъ-то именно и не было.—Да поищи гдѣ-нибудь!—сказалъ я моему слугѣ.—Ну, можетъ ли быть, чтобъ въ цѣломъ городѣ не было лошадей, ни почтовыхъ, ни вольныхъ?

— Ни одной тройки, сударь.

— Да отчего жъ?

— Оттого, что губернаторъ уѣзды объѣзжаетъ: онъ передъ нами только изволилъ выѣхать изъ города, а за нимъ всѣ здѣшніе такъ гурьбой и повалили! Самъ капитанъ-исправникъ насилу отыскалъ три клячонки; сейчасъ продралъ по улицѣ. Жаритъ сердечныхъ такъ, что и, Господи!

— Да этакъ, пожалуй, мы прождемъ здѣсь часовъ шесть?

— Почтовыя лошади и прежде воротятся, Александръ Михайловичъ, да врядъ ли намъ дадутъ: къ ночи ждутъ губернаторшу; а, говорятъ, она ѣдетъ на двухъ осьмерикахъ, да подъ кухнею тройка. Вотъ если бъ вернулись вольныя, такъ можетъ-быть...

— Эхъ, братецъ, да поищи гдѣ-нибудь!

— Пыталъ ужъ искать, сударь, весь городъ обѣгалъ—нѣтъ какъ нѣтъ!

— Ты, вѣрно, торгуешься? Заплати все, что попросятъ.

— Да хоть что хочешь давай! Вотъ, развѣ, сударь, знаете ли что? я сейчасъ видѣлъ Сидорыча, приказчика нашего сосѣда, Ивана Ѳедоровича Мутовкина...

— Ну, что, здоровы ли всѣ наши?

— Всѣ, слава Богу! Сидорычъ ихъ третьяго дня видѣлъ. Онъ здѣсь на парѣ и, пожалуй, довезетъ васъ до Тужиловки, а я останусь съ коляскою да подожду лошадей.

— А какъ онъ думаетъ пріѣхать?..

— Онъ поѣдетъ проселкомъ: верстъ сорокъ выкинетъ. Кони добрые, такъ авось завтра доставитъ васъ къ обѣду.

— Завтра къ обѣду! — вскричалъ я съ ужасомъ.

— Да вѣдь у него не перемѣнныя, сударь; все раза три придется покормить.

Завтра къ обѣду! Когда я надѣялся, что сегодня вечеромъ...

— Еще хорошо, что проселкомъ, сударь, а по столбовой-то дорогѣ и къ вечернямъ не поспѣешь. Вѣдь отсюда до Тужиловки мѣрныхъ сто двадцать верстъ.

— Нѣтъ, я лучше подожду здѣсь лошадей.

— Власть ваша, а смотрите, если Сидорычъ не прежде нашего будетъ въ Тужиловкѣ.

Егоръ отгадалъ; мы выѣхали изъ С....ка ночью. Что я вытерпѣлъ въ продолженіе пятнадцати часовъ, которые долженъ былъ просидѣть въ гостинницѣ, этого разсказать не можно. Не помню, въ какомъ русскомъ романѣ я читалъ:—«Что для влюбленнаго жениха, который спѣшитъ увидѣться съ своей невѣстою, всякая остановка есть истинно наказаніе небесное. Ничто не можетъ сравниться съ этою пыткою: онъ нигдѣ не найдетъ мѣста, горитъ, какъ на огнѣ; ему вездѣ душно: ему кажется, что каждая пролетѣвшая минута уноситъ съ собою цѣлый вѣкъ блаженства, что онъ состарѣлся въ два часа и не доживетъ до конца своего путешествія». — Хотя я и не думалъ, что успѣю въ нѣсколько часовъ посидѣть, но, право, сошелъ бы съума, если бъ мнѣ пришлось пробыть еще сутокъ двое въ этой проклятой гостинницѣ. Когда лошадей привели, я до того обрадовался, что обнялъ и расцѣловалъ трактирщика, который пришелъ ко мнѣ съ этимъ извѣстіемъ. Это такъ растрогало хозяина гостинницы, что онъ попросилъ съ меня за то, что я съѣлъ кусокъ говядины и выпилъ стаканъ квасу, только рубль серебромъ. Я далъ ему синенькую и побѣжалъ торопить ямщиковъ. Наконецъ, мы отправились.

Разумѣется, я во всю ночь не могъ заснуть ни на минуту. Мы ѣхали на передаточныхъ, слѣдовательно, остановокъ нигдѣ не было. Вотъ солнце взошло и наступилъ лучшій день

въ моей жизни. Утро было прекрасное, мѣста очаровательныя. Подлѣ дороги разстилались луга, усыпанные цвѣтами; обработанныя поля, которыя начинали понемногу холмиться, пестрѣлись разноцвѣтными полосами. Мы проѣзжали безпрестанно мимо липовыхъ и дубовыхъ рощъ; иногда сквозь утренній туманъ блистали кресты сельскихъ церквей и виднѣлись господскіе дома, съ ихъ обширными усадьбами и зеркальными прудами. Во всякое другое время я не усталъ бы любоваться этими сельскими видами, но теперь мнѣ было не до того; я все смотрѣлъ передъ собою, чтобъ увидѣть скорѣй дорожный столбъ и причесть эту новую версту къ тѣмъ верстамъ, которыя мы уже проѣхали. Ровно въ двѣнадцать часовъ я перемѣнилъ въ послѣдній разъ лошадей въ нашемъ губернскомъ городѣ. И вотъ ужъ мы скакали по этой давно знакомой для меня дорогѣ; вотъ съ этого пригорка мы вмѣстѣ съ Машенькой въ первый разъ увидѣли городъ; вотъ березовая роща, которая ей такъ понравилась... Еще полчаса, и я дома!.. Боже мой, какъ я счастливъ!.. Какъ мнѣ весело и какъ тяжело!.. Я съ трудомъ могу дышать... Сердце мое хочетъ выпрыгнуть... Я чувствую... да, я чувствую, что можно сойти съ ума отъ нетерпѣнія!.. Вотъ, наконецъ, и мой Егоръ порасшевелился и сталъ торопить ямщика.— Видите, сударь! — закричалъ онъ, указывая на поле, покрытое мелкими кустами, — вотъ Саланцы!.. А вотъ правѣе круглый лѣсъ!.. Всего пять верстъ осталось!.. Пошелъ, любезный, пошелъ!

— Постой! дай подняться на горку,—сказалъ ямщикъ, слѣзая съ козелъ, — вишь, лошадки-то какъ умаялись!

— А что, тезка,—продолжалъ Егоръ,—ты бывалъ въ Тужиловкѣ?

— Какъ не бывать! Я тамъ съ Парфеномъ старостою давно хлѣбъ-соль вожу, десятка два есть годовъ, какъ мы съ нимъ покумились.

— Ой-ли? А давно ли ты у него былъ?

— Да вотъ намнясь, о вешнемъ Николѣ мы съ нимъ бражки посмаковали; полкорчаги вдвомъ выпили.

— Скажи-ка, любезный, не въ примѣту ли тебѣ у Парфена рыжая корова съ бѣлой лысиной, лѣвое ухо распороно?

— Какъ-же! я ее торговалъ у кума, да, вишь, упирается; баетъ, что не его.

— Ну, такъ и есть, это мой теленокъ. Спасибо дядѣ Парфену—выкормилъ! А что-то мой барбосъ? Живъ ли онъ голубчикъ?.. А тетка Ѳедосья, чай, все хвораетъ?

— Кто? Ѳедосья Микитишна! Что ты! Раздобрѣла такъ, что рычагомъ не подымешь— печь печью!

— Смотри пожалуй!.. Ахъ, ты! Господи!.. Ну-ка, братъ, садись! Теперь дорога пойдетъ скатертью—качни на послѣдяхъ!

Мы помчались.—Видите, сударь!—сказалъ Егоръ, указывая на дубовыя рощи, которыя какъ будто бы выбѣгали къ намъ навстрѣчу; — вотъ онѣ, родныя-то наши! — Черезъ нѣсколько минутъ начали показываться вдали экономическое село, наша приходская церковь; вотъ выглянулъ изъ-за полугоры высокій шестъ съ флюгеромъ, зажелтѣлись огромныя скирды барскаго гумна.—Видите, сударь, видите? — вскричалъ Егоръ, прыгая на козлахъ; но я ничего не видѣлъ: я не спускалъ глазъ съ одного предмета, къ которому мы быстро приближались. Еще за версту отъ барской усадьбы я замѣтилъ, что шагахъ въ двухстахъ передъ нами что-то забѣлѣлось на большой дорогѣ... «Сердце въ насъ вѣщунъ»—говаривали старики; не даромъ оно замерло въ груди моей... О, это, вѣрно, она!.. Я не взвидѣлъ ничего: поля, роши, село— все исчезло!.. Вотъ опять, какъ три года тому назадъ, обрисовался вдали тонкій, прелестный станъ... такъ, это Машенька!.. Она такъ-же, какъ и прежде, стояла посреди большой дороги—точно такъ-же вѣтеръ игралъ ея бѣлымъ платьемъ и разбрасывалъ по плечамъ ея густые локоны; но тогда мы разставались, а теперь... Боже мой!.. Лишь только бы прожить еще полминуты!.. Вотъ ужъ мы въ десяти шагахъ другъ отъ друга... Стой!— закричалъ я, выпрыгнулъ изъ коляски, и Машенька упала въ мои объятія. Она здѣсь, подруга моего дѣтства, моя невѣста, мой ангелъ!.. здѣсь, на груди моей!.. Я чувствую, какъ бьется ея сердце, какъ ея горячія слезы льются на грудь мою!.. О, каждый разъ, когда я вспоминаю объ этомъ, я падаю предъ Тобой во прахѣ, милосердный Господи, и со слезами благодарю Тебя за эту благополучнѣйшую минуту въ моей жизни! Совершенный міръ, спокойствіе въ душѣ и какая-то безпредѣльная, святая, чистая радость! Такъ! я не сомнѣваюсь, это точно, быть-можетъ, слабый, но вѣрный отблескъ того неизъяснимаго блаженства, которое ожидаетъ праведныхъ! — Другъ мой, Сашенька! — раздался подлѣ насъ трепещущій голосъ—и Авдотья Михайловна бросилась ко мнѣ на шею: она опередила своего мужа, который кричалъ мнѣ издалека:—Здорово, братъ Александръ, здорово!.. Экій молодецъ сталъ!—Здравія желаю, ваше благородіе! — ревѣлъ басомъ старикъ Бобылевъ, тащась за своимъ прежнимъ командиромъ; вдали бѣжала, прихрамывая, Аксинья, нянюшка моей невѣсты, а за нею всѣ барскія барыни, люди, дѣвушки, вся дворня; одни плакали отъ удовольствія, другіе смѣялись, но всѣ равно были счастливы; а я... Говорятъ, можно умереть отъ радости; неправда! Я остался живъ. Въ домѣ встрѣтилъ меня съ крестомъ нашъ деревенскій священникъ, отслужилъ молебенъ и сказалъ мнѣ привѣтственную рѣчь, въ которой сравнилъ меня, вѣрно, безъ всякаго намѣренія,

съ блуднымъ сыномъ, возвратившимся въ домъ отца своего. Этотъ добрый старикъ, не думая, попалъ на истину.

Черезъ мѣсяцъ я обвѣнчался на Машенькѣ и увѣдомилъ объ этомъ Луцкаго и пріятеля моего Закамскаго. Недѣли черезъ три я получилъ отъ послѣдняго письмо и при немъ посылку.—«Мнѣ очень грустно»,—писалъ ко мнѣ Закамскій,—«что я, поздравляя тебя съ женитьбою, долженъ въ то-же время увѣдомить о смерти двухъ знакомыхъ тебѣ людей; но если ты пожалѣешь объ одномъ, такъ, вѣрно, будешь завидовать другому. Общій нашъ знакомецъ, князь Двинскій, въ самый день твоего отъѣзда, ровно въ пять часовъ вечеромъ, застрѣлился у себя въ комнатѣ. Наканунѣ этого несчастнаго дня Двинскій проигралъ четыреста тысячъ рублей, которые получилъ изъ опекунскаго совѣта, по довѣренности, данной ему отъ родного дяди. Его обыгралъ баронъ Брокенъ. На другой день полиція стала отыскивать этого негодяя, но онъ сгибъ да пропалъ. Какъ этотъ баронъ уѣхалъ изъ Москвы и куда онъ уѣхалъ, до сихъ поръ никто еще не знаетъ. Богатая мебель на его квартирѣ, картины, бронза, однимъ словомъ, все, до послѣдней бездѣлки, было имъ взято на прокатъ изъ магазиновъ и мѣняльныхъ лавокъ. Съ нимъ вмѣстѣ пропали безъ вѣсти его кучеръ и жокей. Отъ наемныхъ людей не могли добиться толку; они объявили только, что баронъ выѣхалъ въ воскресенье часу въ третьемъ изъ дома и ужъ болѣе не возвращался на свою квартиру. Дней пять тому назадъ скончался нашъ общій пріятель Яковъ Сергѣевичъ Луцкій. Онъ умеръ или, лучше сказать, заснулъ на моихъ рукахъ. Да, мой другъ, Господь удостоилъ меня видѣть кончину праведника. Его послѣднія минуты были торжествомъ, котораго я никогда не забуду. За четверть часа до смерти лицо его просіяло.. о, мой другъ,. какъ онъ былъ прекрасенъ, какъ этотъ кроткій, потухающій взоръ вспыхивалъ по временамъ любовью и несписаннымъ веселіемъ! Не помню, кто сказалъ при видѣ новорожденнаго младенца: «*Когда ты родился, мы всѣ радовались, а ты одинъ плакалъ: живи же такъ, дитя мое, чтобъ тогда, какъ ты станешь умирать, всѣ вокругъ тебя плакали, а ты одинъ бы радовался*». Я видѣлъ это на самомъ дѣлѣ, мой другъ: мы плакали, а Луцкій улыбался, разставаясь съ жизнію, и когда свѣтлая душа христіанина отдѣлилась отъ земного тлѣнія, эта улыбка замерла на устахъ его.

«Днѣпровскіе ѣдутъ черезъ недѣлю за границу; графиня Дулина отправляется вмѣстѣ съ ними. Вчера я навѣщалъ нашего пріятеля фонъ-Нейгофа. Пожалѣй о немъ, мой другъ! Онъ сидитъ въ сумасшедшемъ домѣ и говоритъ такую дичь, что грустно слышать: онъ называетъ себя графомъ Каліостро, и увѣрялъ меня по секрету, что познакомилъ тебя съ чортомъ. Бѣдный Нейгофъ! Поменѣе мечтательности, и онъ могъ бы быть необычайнымъ явленіемъ въ ученомъ мірѣ. При письмѣ моемъ ты получишь посылку: это свадебный подарокъ покойнаго Луцкаго; онъ отдалъ мнѣ его за нѣсколько часовъ до своей смерти и просилъ доставить къ тебѣ».

Я распоролъ клеенку: въ ней зашита была довольно толстая книга, исписанная рукою Луцкаго. Это былъ тотъ самый сборникъ, который я пересматривалъ въ первый день моего знакомства съ Яковомъ Сергѣевичемъ. Въ одномъ мѣстѣ листъ былъ загнутъ: я развернулъ, увидѣлъ двѣ строки, подчеркнутыя карандашемъ, и прочелъ слѣдующее:

„Ищущій зла обрѣтаетъ зло, а призывающій духа тьмы становится рабомъ его".

— Чтожъ это, Александръ Михайловичъ?— сказала... нѣтъ, ужъ не Машенька, а добрая, милая жена моя, Марья Ивановна, покинувъ на минуту свое рукодѣлье,—неужели ты хочешь этимъ кончить?

— Да, мой другъ!

— А я думала, что ты опишешь всю нашу жизнь.

— И у меня это было въ головѣ, да раздумалъ.

— Отчего жо?

— Послушай, мой другъ: не правда ли, что жизнеописаніе или исторія одного семейства имѣетъ большое сходство съ исторіею цѣлаго народа? Тѣ-же эпохи жизни, тѣ-же переходы отъ счастья къ бѣдствіямъ, отъ горя къ радости, отъ бѣдности къ богатству, отъ славы къ ничтожеству — разница только въ объемѣ.

— Я не совсѣмъ съ тобой согласна; но пусть будетъ по-твоему. Положимъ, что біографія одного человѣка или одного семейства точно то-же, что исторія цѣлаго народа; что-же изъ этого слѣдуетъ?

— А вотъ что, Марья Ивановна: одинъ умный человѣкъ сказалъ, и я съ нимъ совершенно согласенъ, что исторія народа *постоянно счастливаго* была бы самой скучной исторіею въ мірѣ. Ну, видишь ли теперь, мой другъ, что я уморилъ бы съ тоски моихъ читателей.

Марья Ивановна улыбнулась, поцѣловала меня въ лобъ и, не отвѣчая ни слова, принялась опять за свое рукодѣлье.

ОФИЦІАЛЬНЫЙ ОБѢДЪ.

БЫЛЬ.

I.

Городъ Бабковъ.

Вотъ ужъ почти цѣлый часъ, какъ я сижу съ перомъ въ рукѣ, гляжу на тетрадь бѣлой бумаги, которая лежитъ передъ мною,—и не пишу ничего. Не знаю, какъ вамъ, любезные читатели, а мнѣ ужасно надоѣло начинать мои разсказы всегда однимъ образомъ: «*Нѣсколько лѣтъ* тому назадъ, въ *одной* изъ нашихъ южныхъ или сѣверныхъ провинцій—въ *одномъ* губернскомъ или уѣздномъ городѣ...» Эта неопредѣленность такъ несносна! Она совершенно охлаждаетъ воображеніе читателя, потому что отнимаетъ всю достовѣрность у разсказа. Прошу кого-нибудь увѣрить, что онъ слушаетъ не сказку, когда не знаетъ даже, гдѣ и когда случилось то, о чемъ ему разсказываютъ! Вотъ теперь, напримѣръ, я хочу говорить съ вами о происшествіи истинномъ, не подлежащемъ никакому сомнѣнію; а между тѣмъ долженъ начать, какъ начинаются всѣ сказки: «Въ *нѣкоторомъ* царствѣ, въ *нѣкоторомъ* государствѣ...» и все это потому, чтобъ меня не упрекнули въ личности, чтобъ не сказали, что я пальцемъ указываю на дѣйствующія лица моей строго-исторической повѣсти. Впрочемъ... Почему же нѣтъ?.. Если у насъ писатели-псевдонимы не вышли еще изъ моды, такъ попытаюсь вывести на сцену городъ-псевдонимъ. Во всякомъ случаѣ, я буду тогда гораздо свободнѣе въ остальномъ, и, по крайней мѣрѣ, скажу положительно, что ровно двадцать.три года тому назадъ случилось то, о чемъ вы сейчасъ узнаете, если возьмете на себя трудъ прочесть мою повѣсть.

Въ С.....ой губерніи есть уѣздный городокъ *Бабковъ* (не хлопочите напрасно: вы не найдете его въ календарѣ). Когда и кѣмъ онъ былъ основанъ, я не знаю; но только этотъ городъ не дюжинный; я назвалъ его городкомъ потому только, что имѣю престранную привычку сравнивать всѣ города съ Москвою, и вслѣдствіе *сего*, или *этою* сравненія, почти всегда употребляю уменьшительную степень даже и тогда, когда говорю о губернскихъ городахъ. Однажды како-то сердитый баринъ совсѣмъ было вызвалъ меня на дуэль, за то, что я назвалъ его родину, знаменитую Казань, хорошенькимъ городкомъ; въ другой разъ—одинъ постоянный житель Одессы, который говорилъ, вовсе не шутя, что *рѣдко бываетъ въ Россіи*, ужасно на меня разгнѣвался за то-же самое... Что дѣлать? Не могу никакъ отстать отъ этой дурной привычки. И такъ, да будетъ вамъ извѣстно, любезные читатели, что уѣздный городъ Бабковъ, по своему многолюдству, по множеству церквей своихъ, а въ особенности по красотѣ своихъ кирпичныхъ присутственныхъ мѣстъ, могъ бы быть за-урядъ и губернскимъ городомъ. Въ немъ есть даже бульваръ, обсаженный липками, и публичный садъ, разбитый на трехъ съ половиною десятинахъ земли; есть гостинный дворъ съ тридцатью лавками, съѣзжій домъ съ высокою каланчей, погребъ съ заморскими винами, три мелочныя лавки, одинъ гербергъ, четыре харчевни, десять постоялыхъ дворовъ и двѣ гостинницы, немного запачканныя, но снабженныя всѣмъ нужнымъ для нашихъ русскихъ путешественниковъ, которые обыкновенно возятъ съ собою подушки, перины, постельное бѣлье, погребцы съ столовою посудой, а иногда и собственныхъ поваровъ; при этихъ небольшихъ пособіяхъ можно было смѣло останавливаться въ любой изъ двухъ гостинницъ города Бабкова. Однакожъ, несмотря на всѣ эти роскоши, большая часть проѣзжающихъ увозила съ собою весьма поверхностное и даже ложное понятіе объ этомъ городѣ. Чтобъ увидѣть разницу между имъ и другими уѣздными городами, которые по наружности кажутся ничѣмъ его не хуже, надобно было пожить въ немъ недѣли двѣ или три, и сблизиться съ его высшимъ обществомъ, что, впрочемъ, было не такъ-то легко. Кромѣ должностныхъ людей въ Бабковѣ жило безвыѣздно до десяти дворянскихъ фамилій—да и какихъ еще!.. Чернобылины, Мутовкины, Опенковы, князь Чухаловъ, княгиня Хайбазова, статскій совѣтникъ Осипъ Андреевичъ Кочька и отставной бригадиръ Пахомъ Пахомычъ Мурашкинъ. Вы можете себѣ пред-

ставить, что общество, составленное изъ такихъ лицъ, имѣло полное право держать себя въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ людей неизвѣстныхъ и не кидаться на шею каждому проѣзжающему, какого бы званія и ранга онъ ни былъ.

Мѣсто градоначальника, или по-просту Бабковскаго городничаго, занималъ съ честію нѣкогда бывшій гусарскій полковникъ Касьянъ Гурьевичъ Костоломовъ, человѣкъ вовсе не ученый, однако же неглупый, добрый, прямой, веселаго нрава и, что всего лучше, совершенный безсребренникъ. Говорятъ, будто бы онъ, начальникъ богатаго и торговаго города, покупалъ на чистыя деньги все — все безъ исключенія, даже чай и сахаръ, даже пѣнное вино, которое пилъ передъ обѣдомъ, вмѣсто сладкой водки! Я слышалъ также, будто бы онъ вовсе не горевалъ, что называется Касьяномъ и, слѣдовательно, бываетъ именинникомъ только одинъ разъ въ три года *). Диковинное дѣло! И признаюсь, я бы посомнился въ справедливости этихъ слуховъ, если бъ не зналъ, что въ тысяча восемьсотъ двѣнадцатомъ году онъ былъ уже гдѣ-то городничимъ, но не утерпѣлъ — пошелъ опять въ гусары, дрался, какъ левъ, и съ боя взялъ георгіевскій крестъ, вскакавъ первый на непріятельскую батарею. Воля ваша, взяточникъ на пушку не полѣзетъ; чтобъ идти на явную смерть, надобно быть въ ладу съ своей совѣстью, или ничему не вѣрить, и ничего не ждать въ будущемъ; а Костоломовъ былъ человѣкъ набожный и боялся суда Божія.

Касьянъ Гурьевичъ былъ женатъ; супруга его, Марья Никитишна, была бы женщина отличная, если бы поменѣе говорила о чужихъ грѣхахъ и поболѣе думала о своихъ собственныхъ, и нравъ ея былъ бы недуренъ, когда-бъ она была не такъ упряма, порѣже гнѣвалась и почаще уступала своему мужу. Впрочемъ, нельзя было сказать, что она не покоряется своему законному супругу; напротивъ, Марья Никитишна почти никогда съ нимъ не спорила; мужъ скажетъ: «не хочу!» — она ни слова; но черезъ нѣсколько минутъ у нея начнетъ кружиться голова, потомъ сдѣлается біенье сердца, а тамъ расходятся нервы, и тогда хоть изъ дому вонъ бѣги. Эта странная болѣзнь появилась постепенно. Сначала, когда она была молода и хороша, съ ней дѣлалось только дурно, потомъ стали показываться судороги: на тридцатомъ году въ одпѣхъ рукахъ, на тридцать-пятомъ — ей стало сводить и ноги, а какъ стукнуло сорокъ, такъ ее начало такъ коверкать, что бѣдный мужъ не зналъ подчасъ куда и дѣваться. «Что это за болѣзнь такая» — говаривалъ онъ часто, вздыхая отъ глубины сердца, «что годъ, то хуже? Вотъ, если бы попрежнему съ ней дѣлались однѣ дурноты, такъ это бы еще ничего; а то, начнетъ ее коробить, сердечную... Ахъ, Ты, Господи! Страшно и подумать. Поневолѣ закричишь: Матушка! Марья Никитишна! уймись только — все будетъ по твоему!.. Эко горе послалъ Господь — эко горе! Что будешь дѣлать?.. А вѣдь жена-то какая?.. Смиренница, золото — словечка никогда вопреки не скажетъ!»

У Касьяна Гурьевича и Марьи Никитишны сыновей не было, а была только одна дочь, лицомъ прелесть, душой ангелъ, умница, музыкантша, ну, словомъ, украшенье и честь всего города Бабкова. Отецъ любилъ ее безъ памяти, мать также любила, но только по-своему, то-есть Марья Никитишна хотѣла непремѣнно, чтобъ Варенька думала ея головою, видѣла ея глазами и находила хорошимъ только то, что казалось хорошимъ ея матери. Почему бы и не такъ? Мать не злодѣйка дочери. Да у Марьи Никитишны былъ такой странный вкусъ, такія чудныя понятія о мужской красотѣ и супружескомъ счастіи, что бѣдная Варенька, не смотря на свою покорность и почтеніе къ матери, не могла никакъ быть одного съ нею мнѣнія. Напримѣръ: Марьѣ Никитишнѣ очень не нравился отставной поручикъ Иванъ Алексѣевичъ Холминъ, молодой человѣкъ, лѣтъ двадцати-пяти, который вышелъ въ отставку для того только, чтобъ успокоить свою старую мать и управлять небольшимъ ея имѣніемъ. Марья Никитишна не любила его, во-первыхъ, потому, что у него было только сто душъ; во-вторыхъ, потому, что онъ былъ человѣкъ нечиновный; въ-третьихъ, потому, что у него были большіе черные глаза, смуглое, мужественное лицо, милая, добродушная улыбка, прекрасный ростъ, любезность, умъ — и что все это, по ея замѣчанію, очень правилось ея Варенькѣ.

Въ то же время Марьѣ Никитишнѣ очень былъ по-сердцу статскій совѣтникъ Осипъ Андреевичъ Кочька, который показывалъ явное предпочтеніе Варенькѣ передо всѣми невѣстами города Бабкова, не смотря на то, что она обращалась съ нимъ очень холодно и почти всякій разъ уходила къ себѣ въ комнату, когда онъ пріѣзжалъ къ нимъ въ гости.

Хотите ли узнать, что такое этотъ статскій совѣтникъ Осипъ Андреевичъ Кочька? Ему безъ малаго сорокъ-пять лѣтъ, у него семьсотъ душъ, въ городѣ каменный двухъ-этажный домъ, въ деревнѣ огромныя хоромы, регулярный садъ, оранжереи, музыка, пѣвчіе... Собой онъ не очень красивъ: у него блѣдное, круглое лицо, бѣлое, какъ снѣгъ; волосы и брови также почти бѣлые, глаза свѣтлосѣрые, носъ плоскій, въ лицѣ никакого выраженія: оно какъ будто бы вылито изъ бѣлаго воска въ какую-то засоренную форму и потомъ оставлено такъ, безъ всякой отдѣлки. Онъ

*) Православная греческая церковь чтитъ память сего святого каждый високосный годъ, 29-го Февраля.

худъ, высокъ, прямъ, неподвиженъ, повертывается всѣмъ корпусомъ, накрахмаленъ съ ногъ до головы, и весь въ черномъ, выключая галстухъ, который онъ всегда носитъ бѣлый. Съ перваго взгляда Осипъ Андреевичъ чрезвычайно походитъ на длинную трость изъ чернаго дерева, съ бѣлымъ костянымъ набалдашникомъ. Вмѣсто ремешка, у него всегда мотается на шеѣ лорнетъ, прицѣпленный къ толстому шнурку изъ чернаго бисера.

Теперь, когда ужъ вы познакомились съ главными дѣйствующими лицами моего драматическаго разсказа, я на нѣсколько времени спрячусь за кулисы и выпущу на сцену ихъ самихъ. Я не хочу описывать поодиночкѣ всѣ второстепенные персонажи — это очень растянуло бы экспозицію моей были; а я, какъ искусившійся драматическій писатель, до смерти этого боюсь. Да и зачѣмъ? Если вы станете слушать ихъ разговоры, то, вѣроятно, и безъ меня тотчасъ съ ними познакомитесь.

II.

Семейный разговоръ.

Кабинетъ Касьяна Гурьевича — небольшая комната о двухъ окнахъ; стѣны оклеены зелеными гладкими обоями; обитое ситцемъ канапе; надъ нимъ висятъ гравированные портреты: Петра I-го, Екатерины II-й, Суворова, Потемкина, и большой эстампъ, представляющій Полтавскую битву. Между окнами, на полкахъ, изъ простого дерева, нѣсколько толстыхъ томовъ, переплетенныхъ въ корешокъ, «Московскихъ Вѣдомостей», второй и третій томъ русскихъ сказокъ, «Зубоскалъ», шесть томовъ журнала: «Ипокрена, или утѣхи любословія» — книга: «Воинскія правила, како непріятельскія крѣпости силою брати». Брюссовъ календарь; путешествіе ко Святымъ мѣстамъ пѣшехода Василія Григорьевича Барскаго; Россъ въ Италіи; Дѣянія Петра Великаго и полное собраніе сочиненій Сумарокова. По стѣнамъ висятъ ружья и пистолеты, арапникъ, охотничій ножъ, черкесская шашка, ятаганъ и нѣсколько кинжаловъ. Касьянъ Гурьевичъ, въ мундирномъ сюртукѣ, сидитъ за письменнымъ столомъ; передъ нимъ стоитъ частный приставъ, въ полной формѣ

Касьянъ Гурьевичъ (*читая бумагу*). Вышереченный купеческій сынъ Иванъ Подшибаевъ, несмотря на увѣщанія товарища своего, лабазника Никиты Горечихина, вошелъ въ такой азартъ, что, къ явному нарушенію всякаго благочинія и оскорбленію моей личности, началъ ударять меня нещадно кіемъ, оборотя оный толстымъ концомъ; потомъ, въ присутствіи самого трактиросодержателя, ухвативъ меня за бороду и извергая всякія хульныя слова, таскалъ меня столько, сколько душѣ его было угодно: въ доказательсто чего прилагаю у сего завернутый въ особой бумажкѣ цѣлый клокъ волосъ, выдернутый имъ изъ собственной моей бороды... Къ сему прошенію...» Ба, ба, ба! мѣщанинъ Андрей Пироговъ — человѣкъ смирный, не пьющій!.. Что-жъ въ самомъ дѣлѣ!—Да долго ли этому купчишкѣ буянить? Не пройдетъ недѣли, чтобъ онъ съ кѣмъ-нибудь не подрался... Въ сибирку его! Пусть посидитъ тамъ недѣльки двѣ, такъ, авось, будетъ умнѣй!.. Слышишь, Артемій Михайловичъ!

Частный приставъ. Слушаю-съ, Касьянъ Гурьичъ! Только осмѣлюсь доложить: отецъ Подшибаева, какъ вамъ самимъ извѣстно, первый купецъ здѣшняго города.

Касьянъ Гурьевичъ. Такъ что-жъ?

Приставъ. Онъ пользуется уваженіемъ всего купеческаго общества.

Касьянъ Гурьевичъ. Да худо смотритъ за сыномъ.

Приставъ. Не прикажите ли ужъ просто на съѣзжій дворъ?

Касьянъ Гурьевичъ. Нѣтъ!.. Этого озорника отецъ мало учитъ, такъ я проучу его порядкомъ. Онъ богатъ, такъ думаетъ, что ему все съ рукъ сойдетъ. Нѣтъ, голубчикъ! Вѣдь я денегъ-то у отца твоего не занимаю, да и занимать не стану — въ сибирку его! (*Беретъ другую бумагу*). А это что такое?— (*Читаетъ*). «Вчерашняго числа, въ часъ пополуночи, крѣпостной слуга его сіятельства князя Чухалова, Антонъ Прокофьевъ, будучи въ нетрезвомъ видѣ, на окликъ будочника второй части, перваго квартала: «кто идетъ?» отвѣтствовалъ: «чортъ!» А когда будочникъ хотѣлъ остановить его, онъ, Прокофьевъ, обругалъ его костыльникомъ, міроѣдомъ и разными другими поносными словами, учинилъ ему удареніе въ лѣвую щеку, съ поврежденіемъ одного коренного зуба и разбитіемъ губъ...» Ба, ба, ба! Ударить часового!.. Ахъ, онъ, разбойникъ!.. Отодрать его!

Приставъ. Вы, можетъ-быть, не изволите знать, Касьянъ Гурьичъ, вѣдь Прокофій любимый слуга его сіятельства князя Чухалова: такъ не лучше ли отослать его къ барину?

Касьянъ Гурьевичъ. Чтобъ онъ далъ ему потачку? Нѣтъ, братецъ! Мы съ княземъ въ ладахъ. Да это само по себѣ — дружба дружбой, а служба службой... Ну, что у тебя еще?

Приставъ. Такъ-съ, ничего-съ! Понужденіе градскому главѣ о скорѣйшемъ вымощеніи площади на нижнемъ базарѣ.

Касьянъ Гурьевичъ. Давай! (*Подписываетъ*).

Приставъ. А это ежедневный рапортъ о состояніи острога и о числѣ колодниковъ. Да еще просьба мѣщанки вдовы Пентюхиной на ея брата, харчевника Власа Котомкина.

Касьянъ Гурьевичъ. Эка ябедница!

Вотъ ужъ на третьяго брата просьбу подаетъ!..

Приставъ. Что-жъ дѣлать, Касьянъ Гурьевичъ? Ея дѣло вдовье — заступиться некому.

Касьянъ Гурьевичъ. Некому? Полно, такъ ли? Да вотъ и ты за нее всегда заступаешься—только рѣчей: «беззащитная вдова! въ разоръ разорили братья!» А сама ходитъ въ атласныхъ шляпкахъ!—Эхъ, Артемій Михайловичъ! не хорошо! Воля твоя—не хорошо! Ты человѣкъ должностной, семейный...

Приставъ. Кто? Я-съ? Помилуйте-съ!.. Я ничего-съ, точно, ничего-съ!.. Это все злые люди говорятъ, Касьянъ Гурьичъ... Эй, эй, такъ-съ!

Касьянъ Гурьевичъ. То-то, братецъ!

Приставъ. Да я, что хотите, Касьянъ Гурьичъ... Да чтобъ мнѣ дѣтей моихъ не видать... чтобъ мнѣ...

Касьянъ Гурьевичъ. Полно, полно! Не божись, а скажи ей, чтобъ она унялась на братьевъ-то просьбы подавать, да порѣже ѣздила на лихихъ извозчикахъ... Ну, теперь все?

Приставъ. (*Вполголоса*). Я слышалъ еще, Касьянъ Гурьичъ, что этотъ генералъ, котораго прислали ревизовать нашу губернію, дня черезъ три выѣзжаетъ обратно въ Петербургъ и заѣдетъ сюда...

Касьянъ Гурьевичъ. Ну, что-жъ? Милости просимъ.

Приставъ. Его превосходительство изволитъ остановиться въ домѣ князя Чухалова, съ которымъ онъ въ родствѣ.

Касьянъ Гурьевичъ. Право?

Приставъ. Говорятъ, что такъ-съ. Ужъ позвольте, Касьянъ Гурьичъ, отослать къ его сіятельству этого пьяницу, Прокофья?

Касьянъ Гурьевичъ. Нѣтъ, братецъ, нельзя! Ну, пусть бы что-нибудь другое, а то ударить часового! Да этакъ такую дашь повадку, что изъ города вонъ бѣги!

Приставъ. Да вы извольте только отпустить теперь; а ужъ послѣ-то мы какъ-нибудь придеремся.

Касьянъ Гурьевичъ. Полно, Артемій Михайлычъ! Мужикъ ты умный, а какую дичь порешь! Ужъ если наказывать человѣка, такъ надобно, чтобъ онъ зналъ, и всѣ знали, за что его наказываютъ. Конечно, полиція не что другое, какъ разъ можетъ придраться—да что-жъ въ этомъ хорошаго?.. Нѣтъ, любезный! Дѣлай все на чистоту, такъ—глядишь: одинъ посердится, а десятеро скажутъ спасибо. Ну, теперь ступай, Артемій Михайлычъ! Да, смотри, чтобъ все было исправно. Пожарную команду я самъ сегодня осмотрю, а, можетъ статься, и въ острогъ заѣду... Прощай, любезный! (*Частный приставъ кланяется и, уходя, встрѣчается въ дверяхъ съ Марьею Никитишной*).

Марья Никитишна. А, здравствуйте, Артемій Михайлычъ! Здорова ли ваша Ольга Ѳедоровна?

Приставъ (*кланяясь*). Слава Богу-съ!

Марья Никитишна. Поклонитесь ей отъ меня!

Приставъ. Буду кланяться! (*Уходитъ*).

Марья Никитишна (*цѣлуя мужа*). Ну, что, мой другъ, Касьянушка, какъ ты почивалъ эту ночь?

Касьянъ Гурьевичъ. Что, матушка, мухи замучили.

Марья Никитишна. Проклятыя!

Касьянъ Гурьевичъ. И откуда ихъ набралось? Видимо-невидимо!.. Да вѣдь какъ кусаются!..

Марья Никитишна. Негодныя!

Касьянъ Гурьевичъ. Ужъ я вертѣлся, вертѣлся! И такъ, и этакъ! Нѣтъ! лѣзутъ въ глаза—да и только!

Марья Никитишна. Ахъ, онѣ мерзкія! Вотъ подумаешь, на что эта тварь создана!

Касьянъ Гурьевичъ. Э, матушка, не наше дѣло! А ты, мой другъ, что?

Марья Никитишна. Да такъ, что-то не по себѣ; мнѣ также всю ночь не спалось, только отъ другого — все думала о Варенькѣ.

Касьянъ Гурьевичъ. А что такое?

Марья Никитишна. Какъ что? — Да вѣдь черезъ три недѣли ея рожденье.

Касьянъ Гурьевичъ. Ну, да! Я знаю.

Марья Никитишна. Ей минетъ двадцать лѣтъ.

Касьянъ Гурьевичъ. Такъ что-жъ?

Марья Никитишна. Ахъ, Касьянъ Гурьичъ! Да вѣдь еще годокъ, другой, такъ начнутъ говорить, что она въ дѣвкахъ засидѣлась.

Касьянъ Гурьевичъ. Начнутъ говорить—кто? Дураки да старыя сплетницы? Двадцать лѣтъ!.. Да что это за года?

Марья Никитишна. Года не года... Однако-жъ, дѣвушка въ двадцать лѣтъ...

Касьянъ Гурьевичъ. Что? Чай, перестарокъ?.. Да ты сама, Марья Никитишна, на которомъ году вышла за меня замужъ?

Марья Никитишна. Я, батюшка, дѣло другое: у меня была не мать, а мачиха—кому было обо мнѣ подумать? А мы вѣдь у ней родные. Ну, что хорошаго, если станутъ говорить, что мы заѣли вѣкъ у нашей дочери, не хотѣли ее пристроить, засадили ее вѣчно въ дѣвкахъ..

Касьянъ Гурьевичъ. Да пусть себѣ говорятъ! Отъ злыхъ людей не уйдешь, и всѣхъ рѣчей не переслушаешь. По мнѣ, что хочетъ болтай — «собака лаетъ, вѣтеръ, носитъ!»

Марья Никитишна. Ахъ, другъ мой, что у тебя за пословицы такія!

Касьянъ Гурьевичъ. На всякое чиханье не наздравствуешься.

Марья Никитишна. Ну!!!—Пошелъ!..

Касьянъ Гурьевичъ. Да, если слушать всѣ людскія рѣчи...

Марья Никитишна. Знаю, батюшка, знаю! Придется намъ осла взвалить на плечи. Ты мнѣ сто разъ читалъ эту глупую басню.

Касьянъ Гурьевичъ. Нѣтъ, Марья Никитишна, эта басня не глупа, и Сумароковъ не дуракъ. А, впрочемъ, зачѣмъ дѣло стало? У Вареньки женихи есть; да только вотъ бѣда: за одного она сама нейдетъ, а за другого ты не хочешь ее выдать.

Марья Никитишна. За другого? А кто этотъ другой?

Касьянъ Гурьевичъ. Иванъ Алексѣичъ Холминъ, малый славный!

Марья Никитишна. Да! Ужъ нечего сказать!.. Ну, помилуй, Касьянъ Гурьичъ, что хорошаго въ этомъ цыганѣ? И что онъ такое? Офицерикъ, бѣднякъ! Физіономія самая обыкновенная—улыбается точно какъ простой мужикъ: нѣтъ никакого благородства въ чертахъ. Сейчасъ видно мелкаго дворянчика. Мать настоящая ключница; отецъ былъ какой-то армейщина—вѣрно, изъ сдаточныхъ... Ну, право, не понимаю, какъ онъ могъ попасть въ нашъ кругъ? А все эта княгиня Хайбазова! Понравилось, что у него смуглое лицо и носъ съ горбомъ. Вотъ, изволите видѣть: «походитъ на Малекъ-Аделя». Ну, пусть онъ Малекъ-Адель, да только Варенька-то моя не Матильда! Прошу не прогнѣваться!— То ли дѣло Осипъ Андреичъ Кочька? Вотъ, отличный молодой человѣкъ!..

Касьянъ Гурьевичъ. Ну, что за молодой—помилуй! Ему за сорокъ лѣтъ.

Марья Никитишна. Что ты? Что ты? Ни одного сѣдого волоска!.. А какая наружность! Что за благородное лицо — ужъ тутъ не ошибешься—баринъ! А какое образованіе! Говоритъ, какъ книга!..

Касьянъ Гурьевичъ. Эхъ, матушка! Да вѣдь книги-то есть преглупыя.

Марья Никитишна. Классный чинъ, состояніе прекрасное... Вотъ женихъ! А эта дура не хочетъ на него и смотрѣть!..

Касьянъ Гурьевичъ. Что-жъ дѣлать, мой другъ? Видно, не пришелъ ей по-сердцу

Марья Никитишна. По-сердцу? Да ея ли дѣло выбирать себѣ мужа? Да мы-то что такое? Что, ты ей вотчимъ что ль, а я мачиха?

Касьянъ Гурьевичъ. Послушай, Марья Никитишна, я тебѣ ужъ говорилъ, и теперь еще скажу: не позволю я дочери выйти замужъ ни за кого безъ твоего согласія, да не хочу также Вареньку и неволить. Конечно, я ничего не могу сказать дурного о твоемъ Осипѣ Андреичѣ Кочькѣ—человѣкъ онъ смирный, поведенія хорошаго, и если бъ только понравился Варенькѣ, такъ и съ Богомъ...

Марья Никитишна. Да почему жъ онъ ей не нравится?

Касьянъ Гурьевичъ. Почему? Ну, видно, потому, что собой-то онъ не очень красивъ, да и забавы отъ него большой нѣтъ. Вотъ, я, напримѣръ, лишь только съ нимъ сойдусь—да онъ примется говорить... что ты будешь дѣлать—тоска! Кажется, рѣчь ведетъ разумную, все отборными словами, свысока, а скука смертная!

Марья Никитишна. Это оттого, мой другъ, что онъ человѣкъ ученый.

Касьянъ Гурьевичъ. Можетъ-быть! Да зачѣмъ же онъ державъ себя такимъ рожномъ? Когда стоитъ на одномъ мѣстѣ, точно какъ будто бы желѣзный аршинъ проглотилъ; а какъ начнетъ ходить, такъ словно весь на винтахъ, и не самъ вертится, а поворачиваютъ его рычагомъ.

Марья Никитишна. А ты хотѣлъ бы, чтобъ человѣкъ ученый и степенный вертѣлся на одной ножкѣ?

Касьянъ Гурьевичъ. Да можно и ученому человѣку сказать иногда словечко въ простотѣ и держать себя посвободнѣе. Ну, повѣришь ли, каждый разъ, когда я съ нимъ вмѣстѣ, мнѣ все хочется скомандовать: «съ плеча!—вольно!» Впрочемъ, я опять тебѣ говорю, человѣкъ онъ смирный, ведетъ себя благородно, и когда бъ Варенька была согласна...

Марья Никитишна. Да ты поговори съ нею объ этомъ.

Касьянъ Гурьевичъ. Что тутъ говорить? Ужъ если онъ ей не любъ...

Марья Никитишна. Да ты скажи ей: «Варенька! Я хочу, чтобъ ты вышла замужъ за Осипа Андреича».

Касьянъ Гурьевичъ. Эхъ, матушка, да вѣдь отцовское-то «хочу» почти все то-же, что командирское: «приказываю».

Марья Никитишна. Такъ что жъ? Кому и приказывать дѣтямъ, какъ не отцу.

Касьянъ Гурьевичъ. Да только не въ такомъ дѣлѣ.

Марья Никитишна (*лаская своего мужа*). Душенька!.. Касьянушка!.. жизненочекъ мой! Поговори ей, пожалуйста! Я не требую, чтобъ ты ей приказывалъ; да пускай же она знаетъ, что ты желалъ бы выдать ее замужъ за Осипа Андреича, что она этимъ успокоитъ твою старость...

Касьянъ Гурьевичъ. Нѣтъ, жена! Ни за что не скажу. Вотъ, если бъ она сама хотѣла выйти за него замужъ, ну, такъ и быть, согрѣшилъ бы, окаянный — сказалъ бы, что мнѣ это пріятно; а то изъ чего?.. Давай-ка правду говорить: что, онъ ей пара, что ль? Не бѣда, если мужъ лѣтъ десять постарше жены, — ну, куда ни шло и пятнадцать! а какъ всѣ двадцать-пять наберутся, такъ— ой, ой, ой! Нѣтъ, Марья Никитишна, тутъ

не только приказывать, да и совѣтовать-то страшно...

Марья Никитишна. Такъ ты, мой другъ, не хочешь съ нею поговорить?

Касьянъ Гурьевичъ. Не хочу.

Марья Никитишна. Ну, воля твоя! Ты знаешь, Касьянъ Гурьичъ, я никогда не смѣю съ тобою спорить—и какъ мнѣ ни прискорбно... Охъ!.. (*Берется руками за голову*).

Касьянъ Гурьевичъ. Что ты?..

Марья Никитишна. Ничего, мой другъ, ничего!—Голова что-то кружится...

Касьянъ Гурьевичъ. Вѣрно, не выспалась?

Марья Никитишна. Я думаю. Конечно, я очень бы желала устроить счастіе нашей дочери; но если тебѣ не угодно... Охъ!.. (*Прикладываетъ руку къ сердцу*).

Касьянъ Гурьевичъ. Что ты? Что ты?

Марья Никитишна. Такъ, ничего! Обыкновенная моя болѣзнь—біенье сердца.

Касьянъ Гурьевичъ. Не послать ли за докторомъ!

Марья Никитишна. Пройдетъ, мой другъ, пройдетъ!.. Какъ жаль, что Осипъ Андреичъ тебѣ не нравится!

Касьянъ Гурьевичъ. Да не обо мнѣ рѣчь, Марья Никитишна.

Марья Никитишна. А какъ онъ тебя уважаетъ! Какъ любитъ все наше семейство!.. Охъ!..

Касьянъ Гурьевичъ. Что, матушка, біенье-то сердца не перестаетъ?

Марья Никитишна. Нѣтъ, все сильнѣе... Я не смѣю тебѣ противорѣчить; ты знаешь, твоя воля для меня законъ... Но отказать такому жениху... Ой, ой, ой!!! (*У ней начинаетъ подергивать лѣвое плечо*).

Касьянъ Гурьевичъ (*съ большимъ испугомъ*). Матушка! матушка!..

Марья Никитишна. Ничего, пройдетъ!.. Охъ!.. Разстроилъ ты меня, мой другъ!.. Охъ, батюшки!.. Сводитъ ногу... Ой, ой, ой!..

Касьянъ Гурьевичъ. Марья Никитишна! Марья Никитишна!.. Да успокойся!.. Я, право, не думалъ тебя огорчать.

Марья Никитишна (*валяется на канапе и мечется во всѣ стороны*). Охъ, душно! Смерть моя, душно!

Касьянъ Гурьевичъ (*подаетъ ей стаканъ воды*). Вотъ вода—выкушай, мой ангелъ, выкушай!..

Марья Никитишна. Нѣтъ, мой другъ, это не поможетъ... Охъ!.. Что дѣлать, ты не хочешь поговорить съ Варенькой... Охъ!.. Такъ и я ужъ говорить ничего не буду... Охъ, батюшки!.. охъ!..

Касьянъ Гурьевичъ. Другъ мой сердечный, Матушка, Марья Никитишна! Вѣдь я это такъ сказалъ—право, такъ!.. Если хочешь, я сейчасъ же съ ней поговорю...

Марья Никитишна. Да, голубчикъ мой, Касьянушка, поговори!.. Охъ!.. Дай-ка водицы! (*Пьетъ*).

Касьянъ Гурьевичъ. Ну, что?

Марья Никитишна. Ухъ!.. Постой, постой, дай отдохнуть! Кажется, крошечку полегче.

Касьянъ Гурьевичъ. Слава Богу!

Марья Никитишна. Охъ, ужъ мнѣ это біенье сердца — замучило!.. Такъ ты, мой другъ, скажешь Варенькѣ?

Касьянъ Гурьевичъ. Скажу, мой ангелъ, скажу!

Марья Никитишна. Она сейчасъ придетъ сюда... Что это за тяжкая у меня болѣзнь!.. Ты не можешь себѣ представить, что я чувствую!.. Охъ!.. Ужъ какъ бы я хотѣла скрыть отъ тебя — да не могу, никакъ не могу!.. Охъ, батюшки! Дай-ка еще воды! (*Пьетъ*).

Касьянъ Гурьевичъ. Что, легче тебѣ?

Марья Никитишна. Теперь гораздо легче; сегодняшній припадокъ не очень былъ силенъ... Смотри-жъ, душенька, поговори хорошенько съ Варенькою; вразуми эту глупую дѣвочку. Вѣдь ты, если захочешь, такъ говоришь очень краснорѣчиво.

Касьянъ Гурьевичъ. Эхъ, Марья Никитишна, кабы ты знала, какъ мнѣ тяжело!

Марья Никитишна (*хватаясь за голову*). Охъ!..

Касьянъ, Гурьевичъ. Ну, хорошо, хорошо, матушка!.. Поговорю, поговорю!.. Да вотъ, кажется, и Варенька! (*Входитъ Варенька*).

Варенька (*цѣлуя руку у Касьяна Гурьевича*). Здравствуйте, папенька!

Касьянъ Гурьевичъ. Здравствуй, мой другъ! Здравствуй! Ну, что, Варенька, тебѣ, весело было вчера на балѣ у Чернобыльевыхъ?

Варенька. Нѣтъ-съ!

Касьянъ Гурьевичъ. Какъ нѣтъ? Помилуй, душенька! Чего жъ лучше этого бала? Угощеніе прекрасное, музыка Осипа Андреича Кочьки—отличная музыка. Все наше лучшее общество...

Марья Никитишна. Конечно, общество было прекрасное — первый здѣшній кругъ; смѣси никакой не было — не такъ, какъ у этой княгини Хайбазовой, которая назоветъ всякой дряни, какихъ-то гостей съ того свѣта—отставныхъ офицеровъ, однодворцевъ... Пойдешь польскій съ человѣкомъ порядочнымъ, вдругъ отхлопнетъ тебѣ Богъ знаетъ кто! — Ну, ужъ нечего сказать, не мастерица давать балы.

Касьянъ Гурьевичъ. Однако жъ ты, Варенька, вчера много танцовала?

Варенька. Мнѣ приказала маменька.

Касьянъ Гурьевичъ. И все, кажется, съ Осипомъ Андреичемъ Кочькою?

Варенька (*печальнымъ голосомъ*). Да-съ!

Касьянъ Гурьевичъ. А что, мой другъ, вѣдь онъ очень любезный человѣкъ?

Варенька. Кто? Осипъ Андреевичъ?

Касьянъ Гурьевичъ. Ну, да!

Варенька. Да-съ, онъ очень вѣжливъ и, кажется, добрый человѣкъ; только мнѣ съ нимъ скучно.

Марья Никитишна. Оттого что ты глупа.

Касьянъ Гурьевичъ. Марья Никитишна!.. Да отчего же, Варенька, тебѣ съ нимъ скучно?

Варенька. Я и сама не знаю, папенька; онъ такой странный—говоритъ такъ протяжно...

Марья Никитишна. Зато умно, сударыня.

Варенька. А ужъ какъ танцовать съ нимъ неловко! Какой онъ неповоротливый!..

Марья Никитишна. Да, это правда; онъ вовсе не походитъ на какого-нибудь армейскаго поручика, который привыкъ маршировать подъ барабанъ...

Касьянъ Гурьевичъ. Марья Никитишна!!!.. Я замѣтилъ, что онъ много говорилъ съ тобою, Варенька.

Варенька. Да-съ, онъ все говорилъ со мною о музыкѣ, да такъ странно, что я ничего понять не могла. Онъ увѣрялъ меня, что я смотрю на музыку не съ той точки зрѣнія, что музыка не то, что музыка, а звуки не то, что звуки; что пѣть или играть на какомъ-нибудь инструментѣ не значитъ ни пѣть, ни играть, а только различнымъ образомъ потрясать воздухъ, и что я потрясаю воздухъ очень хорошо, а особливо, когда пою итальянскія аріи...

Касьянъ Гурьевичъ. А по мнѣ, такъ вѣкъ бы ихъ не слышать. То ли дѣло, когда ты поешь русскія пѣсни!..

Марья Никитишна. Ахъ, Касьянъ Гурьичъ! Что у тебя за вкусъ такой.

Касьянъ Гурьевичъ. Да, воля твоя, матушка! Когда Варенька запоетъ: «Душа ль ты моя, душенька, милъ сердечный другъ!» такъ у меня сердце такъ выскочить и хочетъ!

Марья Никитишна (*тихо мужу*). Да что же ты, Касьянъ Гурьичъ?

Касьянъ Гурьевичъ. Сейчасъ, сейчасъ! Ну, что, мой другъ Варенька, Осипъ Анреевичъ ничего другого съ тобой не говорилъ?.. (*Варенька молчитъ*). Что же ты молчишь?.. Эге!.. Да ты покраснѣла! Видно, онъ съ тобой не объ одной музыкѣ разговаривалъ? Ну, о чемъ же онъ еще говорилъ?

Варенька. Я, право, забыла, папенька.

Марья Никитишна. Такъ я за тебя вспомню. Онъ говорилъ тебѣ о любви своей и просилъ позволенія искать твоей руки; я знаю также, что ты ему на это отвѣчала.

Варенька. Да почему жъ вы это знаете, маменька?

Марья Никитишна. Потому, сударыня, что Осипъ Андреичъ человѣкъ благородный, что намѣренія его честны, и что онъ не станетъ скрывать отъ матери то, что говоритъ съ дочерью; вѣдь это дѣлаютъ одни только негодяи, сорванцы и развратники, которые, зная напередъ, что имъ будетъ отказано, стараются, втихомолку, кружить головы неопытнымъ дѣвочкамъ и пріучать ихъ понемногу къ мысли, что можно выходить замужъ противъ воли отца и матери, что для этого не нужно родительскаго благословенія, что любовь извиняетъ все, и прочее, и прочее... Нѣтъ, мой другъ! Осипъ Андреичъ не таковъ: онъ человѣкъ нравственный, онъ не станетъ изъясняться въ любви ни одной дѣвушкѣ, не испрося прежде позволенія у ея родителей—и тогда, если понравится...

Варенька. А если не понравится, маменька?

Марья Никитишна. Какъ не понравится?.. Да развѣ такой отличный человѣкъ можетъ не нравиться какой бы то ни было дѣвушкѣ, если только въ ней есть хоть на волосъ здраваго смысла? Одна только пошлая дура откажетъ такому жениху.

Варенька. Такъ я очень глупа.

Марья Никитишна. Вздоръ, вздоръ, сударыня, ты не глупа! Нѣтъ, матушка, тутъ есть что-нибудь другое!.. Да растолкуй ей, Касьянъ Гурьичъ, что она должна съ благодарностью принять предложеніе Осипа Андреича.

Касьянъ Гурьевичъ. Въ самомъ дѣлѣ, Варенька. Да что жъ тебѣ не нравится въ Осипѣ Андреичѣ? Человѣкъ онъ смирный, добрый; говорятъ, ученъ такъ, что и сказать нельзя! Конечно, онъ могъ бы быть помоложе, да вѣдь молодость, мой другъ, проходитъ; и ты будешь стара.

Марья Никитишна. Разумѣется! Что такое молодость? Вздоръ!

Касьянъ Гурьевичъ. Онъ не красавецъ, однако жъ, и уродомъ его назвать нельзя; а вѣдь мужъ не что другое—къ нему какъ разъ приглядишься; хорошъ ли онъ собою, дуренъ ли—все мужъ.

Марья Никитишна. Конечно, конечно! Красота послѣднее дѣло. Да если правду сказать, такъ сохрани, Господи, имѣть мужемъ красавца, да это наказаніе небесное! На красавца-то всѣ засматриваться станутъ, а эти мужчины... Избави, Господи!.. Повѣрь, мой другъ, чѣмъ мужъ дурнѣй собою, тѣмъ жена счастливѣй...

Касьянъ Гурьевичъ. Да что жъ ты въ самомъ дѣлѣ, Марья Никитишна,—иль я съ молоду-то...

Марья Никитишна. Ну, полно, полно! Тебя только одни усы и красили! Ужъ, конечно, ты никогда не былъ лучше Осипа Андреича. Одѣнь-ка его въ гусарскій мундиръ...

Касьянъ Гурьевичъ. Да! хорошъ будетъ!..

Варенька. Ахъ, маменька, да я объ этомъ

совсѣмъ не думаю. Я ни за кого не пойду замужъ—я хочу жить вмѣстѣ съ вами.

Касьянъ Гурьевичъ. Ну, вотъ слышишь, Марья Никитишна? Что жъ, въ самомъ дѣлѣ, если она такъ насъ любитъ...

Марья Никитишна. Пустое, батюшка! Ты мужчина, ты этого не знаешь. Мы всѣ этакъ говоримъ, а дай-ка намъ волю выбирать мужей, такъ завтра же ни въ одной семьѣ взрослой дѣвицы не останется.

Касьянъ Гурьевичъ. Выбирать мужей! Да это отчасти и резонно, Марья Никитишна! Тутъ нельзя безъ выбора—вѣдь женитьба не танцы: кто первый позвалъ, съ тѣмъ и ступай. Нѣтъ, матушка! «Замужъ выходи, а въ оба гляди!»

Марья Никитишна. Откуда берутся у тебя эти пословицы?

Касьянъ Гурьевичъ. А по-твоему что? «Была подъ вѣнцомъ, такъ и дѣло съ концомъ»... Нѣтъ, Марья Никитишна, поживика цѣлый вѣкъ съ мужемъ; а «вѣкъ прожить, не поле перейти»... Что ты, мой другъ, что ты?

Марья Никитишна. Ничего!—Варенька! Тамъ, въ спальной, на столикѣ, мой флакончикъ со спиртомъ.

Варенька. Сейчасъ, маменька. (*Уходитъ*).

Марья Никитишна. Помилуй, Касьянъ Гурьичъ, что ты дѣлаешь?

Касьянъ Гурьевичъ. Какъ что?

Марья Никитишна. Ну, то ли ты мнѣ обѣщалъ? Да ты не уговаривалъ, а отговаривалъ ее идти замужъ! Чѣмъ бы тебѣ сказать, что ты этого желаешь, что отъ этого зависитъ твое спокойствіе...

Касьянъ Гурьевичъ. Эхъ, матушка! Да развѣ насильно ее тащить подъ вѣнецъ! Вѣдь ты слышала, что она ни за кого идти замужъ не хочетъ.

Марья Никитишна. И ты этому вѣришь? Охъ, вы, мужчины, мужчины! Ну, какъ послѣ этого васъ не обманывать? Да дура та женщина, которая васъ за носъ не водитъ. Видно, ужъ вы на это и Богомъ созданы.

Касьянъ Гурьевичъ. Да почему-жъ мнѣ этому не вѣрить?

Марья Никитишна. Почему?.. А вотъ погоди немного!

Касьянъ Гурьевичъ. Воля твоя, матушка, а я думаю...

Марья Никитишна. Тише, тише!.. Она идетъ.

Варенька (*входитъ и подаетъ флакончикъ Марьѣ Никитишнѣ*). Вотъ вашъ спиртъ, маменька!

Марья Никитишна. Спасибо, мой другъ. (*Нюхаетъ*). Охъ!.. Какъ мнѣ сегодня тяжело!.. До смерти боюсь... Какъ расходятся нервы—бѣда!.. Мы сейчасъ, Варенька, о тебѣ съ мужемъ говорили. Пріятно намъ видѣть, что ты такъ искренно къ намъ привязана. Касьянъ Гурьичъ убѣдилъ меня, что ты точно изъ любви къ намъ не хочешь ни за кого замужъ — и признаюсь, это меня до души тронуло! Но неужели ты думаешь, что мы согласимся на такое пожертвованіе Да развѣ мы должны любить дѣтей своихъ для себя? Нѣтъ, Варенька, не такіе мы родители—лишь только бы устроить твое счастіе, а объ насъ, мой другъ, не думай!

Варенька. Но я увѣряю васъ, маменька...

Марья Никитишна. Полно, полно! и слышать не хочу! Да если-бъ мы были такъ безсовѣстны, что ради своего собственнаго удовольствія засадили бы тебя въ дѣвкахъ, такъ что будутъ говорить добрые люди? Не станетъ ли весь городъ осуждать насъ? Пожалуй скажутъ, что мы не выдаемъ тебя замужъ, потому что намъ жаль приданаго.

Касьянъ Гурьевичъ. И, матушка! кому въ голову придетъ...

Марья Никитишна. Кому? Всѣмъ, батюшка! Да оно весьма и натурально... Что, въ самомъ дѣлѣ? Всѣ выходятъ замужъ, а лучшая невѣста въ городѣ...

Варенька. Да если, маменька, я сама этого хочу...

Марья Никитишна. Сама! сама!.. Ахъ, матушка, вѣдь не публиковать же намъ въ газетахъ, что ты сама хочешь оставаться въ дѣвкахъ! А если-бъ мы и публиковали, такъ намъ никто не повѣритъ. Что у насъ жениховъ что-ль нѣтъ? Вотъ, напримѣръ: дочери княгини Хайбазовой—ужъ что и говорить! Наказалъ Господь эту гордую женщину: одна дочь кривая, другая кривобокая, третья совсѣмъ уродецъ—а всѣ три вышли замужъ. Да вотъ хоть Машенька, дочь нашего казначея Ивана Ѳедоровича Мушкина, Ну, что она такое? Дѣвочка глупенькая, необразованная, корсета не умѣетъ надѣть порядкомъ, и до сихъ поръ еще не выходила изъ ситцевыхъ платьевъ — и та вчера помолвлена!

Касьянъ Гурьевичъ. Право!.. за кого, матушка?

Марья Никитишна. За сына вотъ этой старушки Холминой.

Касьянъ Гурьевичъ. Неужели? (*Варенька блѣднѣетъ; Марья Никитишна продолжаетъ, какъ будто бы не примѣчая ничего*).

Марья Никитишна. Конечно, не блестящая партія, да и она-то что такое?—Мнѣ сказывала объ этомъ вчера Матрена Карповна Мутовкина, и ужъ какъ мы хохотали! Представь себѣ, мой другъ: люди, кажется, неважные, а вѣдь что затѣяли?.. И сватовство, и помолвка, все дѣлалось секретно: видно, боялись, что такое необычайное происшествіе взволнуетъ городъ, что во всѣхъ церквахъ начнутъ въ колокола звонить. Шутка ли, подумаешь: Марья Ивановна

Мушкина выходитъ замужъ!.. Да вѣдь какую важность-то изъ этого дѣлаютъ — государственный секретъ, да и только! Маргарита Саввишна Апенкова ѣздила нарочно спрашивать объ этомъ Ивана Ѳедоровича: такъ онъ и руками, и ногами! Да Матрена Карповна, кажется, будетъ у нихъ посаженою матерью, такъ знаетъ навѣрно. Не правда-ли, мой другъ, что это очень походитъ, помнишь, прошлаго года, проѣзжій-то?..

Касьянъ Гурьевичъ. Да, да! Это петербургскій фертикъ, какой-то помощникъ столоначальника, который, чтобъ не потревожить своимъ присутствіемъ мѣстнаго начальства, хотѣлъ непремѣнно проѣхать инкогнито нашъ городъ?.. Какъ не помнить! Да, что ты, Варенька! Отчего ты такъ блѣдна?

Варенька. Ничего, папенька.

Касьянъ Гурьевичъ. А теперь въ краску бросило.

Марья Никитишна (*подавая ей флакончикъ*). Понюхай, мой другъ, понюхай!.. Это такъ! Вчера, видно, туго была зашнурована, много танцовала. Вотъ выйдешь замужъ, такъ станешь больше себя беречь, не для кого будетъ затягиваться, да и танцовать-то не всегда можно будетъ. Послушай, Варенька, другъ мой! Согласись выдти замужъ за Осипа Андреича: ты будешь счастлива, вы станете жить по-барски. Эта гордяшка княгиня Хайбазова, которая теперь трактуетъ тебя, какъ дѣвочку, за счастье почтетъ называться твоею пріятельницей, ты будешь первая дама въ нашемъ городѣ, да не только въ нашемъ, ты и въ губерніи-то станешь играть почти первую роль... Статская совѣтница! Мужъ съ плюмажемъ!.. Карета цугомъ!.. (*Тихо мужу*). Да что жъ ты молчишь?

Касьянъ Гурьевичъ. Да, мой другъ!.. Что, въ самомъ дѣлѣ, вѣдь нельзя же вѣчно въ дѣвкахъ оставаться... Конечно, если онъ тебѣ противенъ...

Марья Никитишна. И, что ты, Касьянъ Гурьевичъ! Да можетъ ли это быть? Варенька, подумай хорошенько! Ты этимъ успокоишь нашу старость. Посуди сама: каково намъ видѣть, что даже Машенька Мушкина— и та будетъ пристроена, а ты станешь сидѣть все въ дѣвкахъ, и, можетъ статься, досидишь до того, что тебѣ на балахъ будутъ карточки подавать... Если ты выйдешь за Осипа Андреича, то никогда не разстанешься съ нами; вѣдь онъ здѣшній житель; а какъ выйдешь за другого, такъ еще Богъ вѣсть! Умчитъ тебя за тридевять земель, и мы, на старости, останемся одни-одинехоньки... Варенька! ангелъ мой! утѣшенье наше! согласись! Успокой насъ! (*Варенька плачетъ*). Да, полно, не плачь, мой другъ! Вѣдь мы не требуемъ, чтобъ ты сейчасъ рѣшилась!

Варенька. Да, маменька!.. Позвольте мнѣ подумать.

Марья Никитишна. Подумай, мой другъ, подумай! Ступай теперь къ себѣ; пора одѣваться. Мы поѣдемъ сегодня съ визитомъ къ Мурашкинымъ, а оттуда надобно будетъ проѣхать къ Пѣшехонцевой...

Касьянъ Гурьевичъ. Да заверните хоть на минуту къ Марьѣ Филипповнѣ Ериковой. Вѣдь она ужъ разъ десять у насъ была.

Марья Никитишна. Такъ что жъ?.. Ахъ, батюшки! Да неужели ей считаться съ нами визитами?.. Вотъ забавно!

Касьянъ Гурьевичъ. Жена! Гордымъ Богъ противится...

Марья Никитишна. Знаю, батюшка, знаю!.. Только, воля твоя, ужъ если всякая губернская секретарша будетъ требовать...

Касьянъ Гурьевичъ. Да закинь ей хоть карточку!

Марья Никитишна. Ну, хорошо! Если успѣю. Пойдемъ, Варенька!

III.

Необыкновенное происшествіе.

Касьянъ Гурьевичъ остался одинъ; онъ велѣлъ закладывать дрожки, чтобъ отправиться осмотрѣть пожарную команду, и закурилъ свою пѣнковую трубку. Кто коротко зналъ всѣ привычки этого добраго старика, тотъ могъ легко отгадать, смотря на его пріемы при куреніи табаку, въ хорошемъ ли онъ, или дурномъ расположеніи духа. Когда Касьянъ Гурьевичъ бывалъ всѣмъ доволенъ, и душа его была спокойна, то обыкновенно курилъ свой кнастеръ съ прохладой и разстановкою, затягивался, глоталъ съ наслажденіемъ табачный дымъ и выпускалъ его ртомъ и носомъ, тихо, ровно и безъ всякихъ порывовъ; когда же Касьяна Гурьевича тревожила какая-нибудь непріятная мысль, то онъ вовсе не упивался ароматическимъ дымомъ порторико, а просто дулъ изо всей силы въ чубукъ и поминутно... Какъ бы мнѣ описать вамъ это дѣйствіе?.. Это особеннаго рода прищелкиванье губами, которому нѣтъ названья на нашемъ языкѣ? Впрочемъ, я думаю, можно по звукоподражанію назвать это дѣйствіе: *пуханьемъ*. Итакъ, всякій разъ, когда Касьянъ Гурьевичъ былъ чѣмъ-нибудь недоволенъ и курилъ, то жегъ безъ милосердія свой кнастеръ, и пухалъ безпрестанно. На этотъ разъ пѣнковая трубка Касьяна Гурьевича походила на огнедышащую гору: изъ нея летѣли искры, сыпался пепелъ, и въ полминуты горница наполнилась такимъ густымъ дымомъ, что съ трудомъ можно было различать предметы.

Что-жъ это, въ самомъ дѣлѣ?—шепталъ онъ себѣ подъ носъ:—да мы почти насильно выдаемъ ее замужъ... пухъ!!. Пристали съ ножомъ къ горлу!.. пухъ, пухъ!!.. Конечно, онъ малый добрый... пухъ!.. смиренный, съ

хорошимъ состояніемъ... а все онъ ей неровня!.. Сорокъ-пять лѣтъ!.. пухъ, пухъ!.. Она дѣвочка веселая, живая, а онъ тяжелъ, мямля... пухъ, пухъ, пухъ, пухъ!.. Охъ, жена, жена! Кабы не ты, ни за чтобы на свѣтѣ... пухъ, пухъ!.. Ну, что, если мы погубимъ Вареньку?.. Ну, какъ она не станетъ любить своего мужа?.. Зачахнетъ съ горя... умретъ прежде насъ... пухъ, пухъ, пухъ, пухъ, пухъ!..

— Алексѣй Андреевичъ Чернобылинъ,— сказалъ слуга, растворивъ двери кабинета.

— Проси!

Вотъ, черезъ минуту подъѣхала къ крыльцу четырехъ-мѣстная карета, брякнули подножкою, зашумѣли въ передней; вотъ раздалось ужасное пыхтѣнье въ столовой, затрещали половыя доски и какое-то существо, среднее между человѣкомъ и годовалымъ быкомъ, ввалилось въ кабинетъ Касьяна Гурьевича. Представьте себѣ мужчину лѣтъ сорока, почти круглаго, несмотря на то, что онъ по росту годился бы въ гренадерскую роту любого гвардейскаго полка. Конечно, въ нашей сытной и хлѣбной Россіи каждый помѣщикъ, живущій въ отставкѣ, имѣетъ полное право быть толще и здоровѣе того, кто ѣстъ въ день только по два раза и чѣмъ-нибудь занимается; нельзя также сказать, чтобъ наше почтенное дворянство не пользовалось этимъ правомъ; но Алексѣй Андреевичъ Чернобылинъ перешелъ всѣ возможныя границы. Говорятъ, будто бы въ его застегнутый жилетъ свободно помѣщалось человѣкъ до трехъ. Это необъятное туловище оканчивалось небольшою круглою головой съ раздутыми щеками, маленькими глазами, вздернутымъ кверху носомъ и огромнымъ ртомъ. Сдѣлавъ нѣсколько шаговъ, онъ задыхался, и никогда не могъ смѣяться безъ того, чтобъ не поперхнуться и не захрипѣть, какъ будто бы у него въ горлѣ остановилась кость. Онъ очень любилъ говорить о политикѣ; выписывалъ всѣ русскіе журналы и гамбургскія газеты; игралъ недурно въ шахматы и отлично хорошо въ бостонъ. Это были его любимыя занятія. Иногда, для разнообразія, господинъ Чернобылинъ присоединялъ къ этимъ занятіямъ еще одно весьма пріятное времяпровожденіе: онъ билъ хлопушкою мухъ и кормилъ изъ своихъ рукъ грецкими орѣхами индѣйскихъ пѣтуховъ. Говоря объ особенностяхъ, которыми отличался Чернобылинъ отъ другихъ дворянъ города Бабкова, нельзя не упомянуть объ его щегольствѣ: онъ одѣвался съ большою роскошью, выписывалъ свои фраки изъ Москвы, ходилъ всегда въ башмакахъ и шелковыхъ чулкахъ; на его толстыхъ пальцахъ блистали драгоцѣнные перстни, часы висѣли на жемчужномъ шнуркѣ съ брильянтовою застежкой; въ манишку онъ втыкалъ всегда булавку, украшенную прекраснымъ изумрудомъ, который нѣкогда въ видѣ фермуара, составлялъ часть приданаго жены его, урожденной княжны Чухаловой; онъ славился особенно своими дорогими жилетами изъ турецкихъ шалей, разнообразіемъ своихъ золотыхъ табакерокъ, великимъ множествомъ янтарныхъ мундштуковъ и огромностію своихъ пѣнковыхъ трубокъ. Вообще, всѣ жители города Бабкова, за исключеніемъ двухъ или трехъ вольнодумцевъ, имѣли высокое понятіе объ умственныхъ способностяхъ Алексѣя Андреевича и весьма уважали его мнѣніе.

Когда Чернобылинъ, войдя въ кабинетъ Костоломова, пропыхтѣлъ: «Здравствуйте, батюшка Касьянъ Гурьевичъ!» и хозяинъ усадилъ его на канапе, то между нами начался слѣдующій разговоръ:

Чернобылинъ (*задыхаясь*). Уфъ, батюшки!.. Смерть моя!.. Уфъ!.. Ну, что, Касьянъ Гурьичъ, какъ ваше здоровье?.. Уфъ!

Касьянъ Гурьевичъ. Слава Богу! А ваше, Алексѣй Андреичъ?

Чернобылинъ. Да, такъ! ни то, ни се... Уфъ, батюшки! совсѣмъ задохся!.. Ну, высоконька у васъ лѣстница... уфъ!

Касьянъ Гурьевичъ. Помилуйте! всего пять ступеней.

Чернобылинъ. Такъ, видно, крута очень... на силу, на силу одолѣлъ... Уфъ, батюшки!.. уфъ!

Касьянъ Гурьевичъ. Что это, Алексѣй Андреичъ, ужъ не одышка ли у васъ?

Чернобылинъ. Я ужъ и самъ не знаю; точно, иногда вотъ такъ духъ и захватитъ!.. уфъ!.. Что за диковинка такая!.. Чувствую самъ, батюшка, каждый день становлюсь тяжеле, а кажется отчего бы?.. Человѣкъ я не старый, болѣзни никакой нѣтъ, желудокъ дѣйствуетъ исправно; вотъ хоть сегодня, напримѣръ, подали мнѣ на завтракъ пирогъ съ курицей... ну, ужъ пирогъ!.. Изъ слоенаго тѣста, съ начинкою изъ сарацинскаго пшена!.. Я отрѣзалъ ломтикъ—съѣлъ... другой, третій—думаю себѣ: да «отстань ты, проклятый!»— Нѣтъ? такъ въ ротъ самъ и лѣзетъ!.. Вотъ пришелъ приказчикъ; я съ нимъ о томъ, о семъ, а самъ межъ тѣтъ ломтикъ за ломтикомъ, глядь-поглядь—анъ одна исподняя корочка осталась! Вотъ подали мнѣ заливной осетрины, да еще кой-чего другого: чтожъ вы думаете, сударь?.. все до тла съѣлъ?—И теперь хоть за то-же!

Касьянъ Гурьевичъ. Въ самомъ дѣлѣ?.. Такъ не прикажите ли? У меня есть свиная головка...

Чернобылинъ. Съ фаршемъ?.. Прошу покорно!.. Съ моимъ удовольствіемъ.

Касьянъ Гурьевичъ. Эй малый (*входитъ человѣкъ*). Завтракать!..

Чернобылинъ. Да, сударь, да! Благодарю моего Создателя—желудокъ у меня хорошо дѣйствуетъ, очень хорошо! И еслибъ не тя-

гость и не эта окаянная одышка, то я былъ бы еще молодецъ-молодцомъ.

Касьянъ Гурьевичъ. Ну, что, Алексѣй Андревичъ, сегодня, кажется, газетный день: что новенькаго?

Чернобылинъ. Охъ, Касьянъ Гурьичъ, не говорите! Плохо, очень плохо!

Касьянъ Гурьевичъ. Что такое?

Чернобылинъ. Да такъ! Не хорошо, сударь,—больно не хорошо!

Касьянъ Гурьевичъ. Ахъ, батюшки! да что такое?

Чернобылинъ (*поглядѣвъ вокругъ себя и вполголоса*). Во Франціи не спокойно!

Касьянъ Гурьевичъ. Во Франціи?

Чернобылинъ. Да, сударь, да! Такая идетъ свалка, что упаси, Господи!.. Партія противъ партіи! Вольтеріанцы противъ якобинцевъ, военные противъ статскихъ—одинъ кричитъ: «Давай намъ то», другой кричитъ: «Давай намъ это!» — Кто за Бонапарта, кто за короля — а ужъ пуще-то всѣхъ кричатъ какіе-то ултры...

Касьянъ Гурьевичъ. Ултры? Что это за люди такіе?

Чернобылинъ. Должно-быть, какіе-нибудь республиканцы—кто ихъ знаетъ! Только больно шумятъ.

Касьянъ Гурьевичъ. Прошу покорно!.. Да что, иль имъ война-то не надоѣла?

Чернобылинъ. Видно, что нѣтъ.

Касьянъ Гурьевичъ. Экій безпокойный народъ, подумаешь! Съ ними никто не дерется—такъ они другъ друга въ ножи!

Чернобылинъ. Да, сударь, да! Ну, что ты будешь дѣлать? Повѣрите ль, батюшка, Касьянъ Гурьичъ, ужъ я ломаю, ломаю себѣ голову—Господи Боже мой!—да чего же они, проклятые, хотятъ?

Касьянъ Гурьевичъ. И, Алексѣй Андреичъ, видно, ужъ натура такая!

Чернобылинъ. Да почему жъ у нихъ такая натура?

Касьянъ Гурьевичъ. Почему? Народъ народу не указъ, Алексѣй Андреичъ! Вотъ, напримѣръ: медокъ — вино и шампанское — вино, да медокъ-то вино смирное, а шампанское бурлитъ: чуть посогрѣлось — и пробка вонъ: ужъ такая у него натура!..

Чернобылинъ. Понимаю, батюшка, понимаю!

Касьянъ Гурьевичъ. Вотъ такъ-то и французы: пока были на морозѣ, такъ ни гугу; а лишь только поотогрѣлись, такъ и ну бурлить! Да провались они ставши! Какое намъ до нихъ дѣло?

Чернобылинъ. Какъ, батюшка, какое? Конечно, вы политикой не занимаетесь, а меня, такъ, признаюсь, это чрезвычайно безпокоитъ.

Касьянъ Гурьевичъ. Охота вамъ, Алексѣй Андреичъ! Да пусть себѣ на чужомъ дворѣ собаки грызутся — свои бы только не дрались! Скажите-ка лучше, что у васъ новенькаго? Нѣтъ ли производства или перемѣны какой?

Чернобылинъ. Какъ же! Очень много! Нашему губернскому полиціймейстеру — Владиміра въ петлицу.

Касьянъ Гурьевичъ. Право?

Чернобылинъ. Губернатору — Анну черезъ плечо.

Касьянъ Гурьевичъ. Слава Богу!.. Добрый человѣкъ нашъ губернаторъ—добрый.

Чернобылинъ. Новый гражданскій предсѣдатель...

Касьянъ Гурьевичъ. Что вы говорите?.. Такъ старого-то такъ же, какъ и предсѣдателя уголовной палаты...

Чернобылинъ. Да! милости просимъ—въ чистую.

Касьянъ Гурьевичъ. Вотъ что! И то сказать, покутили порядкомъ.

Чернобылинъ. Говорятъ, такой былъ переборъ въ губерніи, что и старики не запомнятъ. Его превосходительство Максимъ Петровичъ Зоринъ, этотъ генералъ, что прислали изъ Петербурга, шутить не любитъ; началъ во все входить, узналъ все въ тонкость, да и пошелъ коверкать: того подъ судъ, другого въ отставку.

Касьянъ Гурьевичъ. Такъ онъ человѣкъ строгій?

Чернобылинъ. У! Избави, Господи! А, говорятъ, справедливъ. Чуть кто этакъ не чистенекъ на руку — хоть будь статскій совѣтникъ, на ногахъ уморитъ, а какой-нибудь оберъ-офицеръ — только честный человѣкъ, такъ не знаетъ, куда посадить!

Касьянъ Гурьевичъ. Дай Богъ ему здоровья!

Чернобылинъ. Вамъ ужъ вѣрно извѣстно, Касьянъ Гурьичъ, что его превосходительство завернетъ проѣздомъ въ нашъ городъ?

Касьянъ Гурьевичъ. Какъ же, знаю.

Чернобылинъ. Вы слышали также, что онъ остановится у моего тестя, князя Чухалова.

Касьянъ Гурьевичъ. Слышалъ.

Чернобылинъ. Они свои межъ собою—и я заранѣе могу васъ увѣрить, что все, что будетъ зависѣть отъ моего тестя...

Касьянъ Гурьевичъ. Покорнѣйше васъ благодарю; впрочемъ, я надѣюсь, его превосходительству не за что будетъ гнѣваться.

Чернобылинъ. Такъ, конечно! Но вы знаете: у кого нѣтъ злодѣевъ? Онъ же человѣкъ новый... захочетъ узнать, довольны ли всѣ градоначальникомъ?.. Въ какомъ онъ отношеніи съ здѣшнимъ дворянствомъ?.. Это же будетъ, такъ сказать, въ семейномъ кругу... за чашкой чаю.... Эхъ, Касьянъ Гурьичъ! вѣдь первое-то впечатлѣніе очень важно!.. А, кстати, какъ вы располагаете?.. Его превосходитеьство Максимъ Петровичъ Зоринъ пробудетъ здѣсь, вѣроятно, не болѣе

двухъ дней: первый день онъ кушаетъ у тестя моего, а на другой не мѣшало бы дать обѣдъ отъ всего дворянства.

Касьянъ Гурьевичъ. Почему же нѣтъ.

Чернобылинъ. Съ музыкой, съ пѣвчими. Столъ можетъ быть у васъ въ домѣ.

Касьянъ Гурьевичъ. Очень радъ.

Чернобылинъ. Я думаю, не лишнее будетъ, если мы сегодня вечеромъ соберемся къ вамъ для совѣщанія.

Касьянъ Гурьевичъ. Прошу покорно.

Марья Никитишна (*въ шали и шляпкѣ съ перьями входитъ поспѣшно въ кабинетъ*). Не стыдно ли тебѣ, мой другъ!.. Ахъ, Алексѣй Андреевичъ!

Чернобылинъ (*приподымаясь съ канапе*). Честь имѣю кланяться!.. уфъ!

Марья Никитишна. Здоровы ли вы?

Чернобылинъ. Слава Богу!.. Жена моя просила вамъ сказать... (*Двое слугъ вносятъ завтракъ; одинъ изъ нихъ несетъ на блюдѣ огромную свиную голову; глаза у Чернобылина начинаютъ блистать*)!.. Батюшки, какой зубъ *)! Да это кабанъ, точно, кабанъ!.. И съ фаршемъ?

Касьянъ Гурьевичъ. А вотъ попробуйте!

Чернобылинъ. Позвольте, позвольте. (*Садится къ завтраку и впивается въ свиную голову*).

Марья Никитишна. (*Касьяну Гурьевичу*). Ну, боишься ли ты Бога, мой другъ?.. Я ужъ узнала отъ постороннихъ, что, можетъ-быть, завтра пріѣдетъ къ намъ этотъ генералъ, котораго прислали изъ Петербурга.

Касьянъ Гурьевичъ. Да я самъ только сейчасъ узналъ объ этомъ.

Марья Никитишна. И тебѣ не стыдно?.. Начальникъ города!.. Ахъ, Касьянъ Гурьичъ, какъ ты безпеченъ!.. Что еслибъ я за тебя обо всемъ не думала!.. Да знаешь ли ты, по крайней мѣрѣ, что онъ остановится у князя Петра Ильича?

Касьянъ Гурьевичъ. Знаю, матушка.

Марья Никитишна. Чтожъ ты сидишь дома? Ступай скорѣй къ князю!

Касьянъ Гурьевичъ. Зачѣмъ мой другъ?

Марья Никитишна. Зачѣмъ?.. Ахъ, Боже мой, Боже мой! Ну, Касьянъ Гурьичъ, какъ это могъ ты дослужиться до полковниковъ?..

Касьянъ Гурьевичъ. Такъ же, какъ и всѣ добрые люди, матушка: служилъ вѣрою и правдою царю земному, молился Царю небесному, да по милости Божіей никогда не кривилъ душою.

Марья Никитишна (*почти съ презрѣніемъ*). И ты называешь это службою?.. Бѣдненькій! Ну, нечего дѣлать, сиди дома; я поѣду одна къ князю Петру Ильичу. Видно, ужъ такая моя участь—все я, да я!

*) *Охотничье* названіе приготовленной извѣстнымъ образомъ свиной головы.

Слуга (*растворивъ обѣ половинки дверей*). Его сіятельство князь Петръ Ильичъ.

Марья Никитишна. Проси скорѣй, проси! (*Мужу*). Да извинись хоть передъ нимъ!

Я перерву на нѣсколько минутъ общій разговоръ, чтобъ познакомить васъ съ княземъ Чухаловымъ. Этотъ представитель Бабковской аристократіи былъ худощавый, небольшого роста старикъ, лѣтъ шестидесяти. Самою рѣзкою чертою его физіономіи былъ огромный грузинскій носъ, который онъ набивалъ безпрестанно французскимъ табакомъ. Подъ тѣнью этого носа улыбались уста, исполненныя спеси и какого-то душевнаго самодовольствія. Князь Петръ Ильичъ чувствовалъ, что онъ первый человѣкъ въ городѣ, и что въ этомъ отношеніи онъ рѣшительно не имѣетъ соперника; даже Осипъ Андреевичъ Кочька, несмотря на свой чинъ и богатство, садился ниже его за столомъ, и первый снималъ шляпу, когда встрѣчался съ нимъ на улицѣ. Князь Чухаловъ увѣрялъ всѣхъ, что нѣкогда онъ былъ совершеннымъ красавцемъ; что его южные глаза, его жемчужные зубы и волнистые черные волосы были предметомъ удивленія и зависти всѣхъ мужчинъ, гибелью и бѣдствіемъ всѣхъ женщинъ. И подлинно, глаза его были еще исполнены жизни; но о зубахъ и волосахъ нельзя было сказать ничего достовѣрнаго, потому что у него не было вовсе переднихъ зубовъ, а на затылкѣ мотался, въ видѣ пучка, одинъ только клочекъ сѣдыхъ волосъ, остальная же часть головы была гладка и чиста какъ биллiардный шаръ. Въ одеждѣ своей князь Петръ Ильичъ придерживался нѣсколько старины: онъ не надѣвалъ уже французскихъ шитыхъ кафтановъ, но никакъ не хотѣлъ промѣнять своего камзола на модный жилетъ; носилъ кружевныя манжеты и пудрилъ свою косичку.

Князь Чухаловъ входитъ скорыми шагами въ комнату; огромный носъ его пылаетъ какъ раскаленная головня, изъ-подъ сѣдыхъ бровей сверкаютъ гнѣвные глаза, а напудренная косичка стоитъ дыбомъ.

Касьянъ Гурьевичъ (*идя къ нему навстрѣчу*). Ахъ, ваше сіятельство! Милости просимъ!

Чухаловъ (*отрывисто*). Слуга покорный, слуга покорный!..

Марья Никитишна. А мы сейчасъ собирались къ вамъ ѣхать.

Чухаловъ (*не обращая вниманія на слова Марьи Никитишны*). Позвольте узнать, Касьянъ Гурьичъ: по вашему ли приказанію взятъ на съѣзжую мой человѣкъ?

Касьянъ Гурьевичъ. Нѣтъ, князь, Его взяли потому, что онъ прибилъ часового.

Чухаловъ. Часового? То-есть будочника?..

Но дѣло не въ томъ: до меня дошелъ слухъ, что вы хотите наказать его.

Касьянъ Гурьевичъ. Да, князь.

Марья Никитишна (*тихо мужу*). Что ты! Что ты, мой другъ!

Чухаловъ. Такъ это правда!.. Такъ вамъ не угодно было уважить даже и того, что этотъ человѣкъ мой камердинеръ?

Касьянъ Гурьевичъ. Я очень жалѣю объ этомъ; но обязанность моя по службѣ...

Чухаловъ (*вспыльчиво*). Ваша обязанность, сударь, успокоивать здѣшнее дворянство.

Касьянъ Гурьевичъ (*начиная терять терпѣніе*). Позвольте ужъ, ваше сіятельство, знать мнѣ самому, въ чемъ состоятъ мои обязанности.

Марья Никитишна (*мужу*). Касьянъ Гурьичъ!.. Послушайте, князь!..

Чухаловъ (*съ возрастающимъ гнѣвомъ*). Помилуйте! Что это? Такое самоуправство!.. Безъ всякаго уваженія къ лицамъ... къ званію!.. Да этакъ лучше жить въ Муромскомъ лѣсу...

Касьянъ Гурьевичъ. Что вы это, князь, что вы?

Чухаловъ. Въ послѣдній разъ, Касьянъ Гурьичъ, я прошу васъ—сію же минуту отпустить моего человѣка.

Касьянъ Гурьевичъ. Не отпущу, князь!

Чухаловъ. Такъ я требую этого!

Касьянъ Гурьевичъ (*разсердясь*). Да что-жъ вы, въ самомъ дѣлѣ, ваше сіятельство...

Марья Никитишна. Полно, мой другъ, полно! Не безпокойтесь, князь! Вашего человѣка сейчасъ отпустятъ... Это ошибка, недоразумѣніе!.. Всѣ эти глупости надѣлалъ частный приставъ... Эй! кто-нибудь! (*Входитъ слуга*). Бѣги скорѣе на съѣзжій дворъ; скажи, чтобъ сію минуту выпустили человѣка князя Петра Ильича! (*Слуга уходитъ*).

Касьянъ Гурьевичъ. Помилуй, матушка! Этого нельзя сдѣлать.

Марья Никитишна (*мужу*). Перестань, Бога ради!.. Прошу покорно садиться, князь! Да полноте! Не гнѣвайтесь на моего мужа!.. Если бъ вы знали, какъ онъ васъ уважаетъ...

Чухаловъ (*смягчаясь*). Я самъ также очень уважаю Касьяна Гурьича... и, признаюсь, для меня было такъ странно...

Касьянъ Гурьевичъ. Помилуйте, да что тутъ страннаго? Вашъ человѣкъ буянилъ: его взяли въ полицію, накажутъ...

Чухаловъ. Какъ, сударь? Такъ вы еще думаете!..

Марья Никитишна (*тихо мужу*). Да что-жъ ты? Уморить, что-ль, меня хочешь?..

Касьянъ Гурьевичъ. Эхъ, матушка!..

Марья Никитишна (*хватаясь за голову*). Боже мой!.. Опять голова!..

Касьянъ Гурьевичъ (*испугавшись*). Ну, ну, хорошо! Только сдѣлайте милость, князь, унимайте этого разбойника!

Марья Никитишна. Полно, мой другъ! Что объ этомъ говорить! Скажите, князь: вашъ родственникъ, генералъ Зоринъ, непремѣнно будетъ завтра?

Чухаловъ. Безъ всякаго сомнѣнія. Я каждую минуту жду передовыхъ. (*Нюхаетъ табакъ*). Не прикажете ли? Отличный... Настоящій Раппе!..

Марья Никитишна. Скажите, вы ужъ, кажется, видѣлись съ вашимъ родственникомъ въ губернскомъ городѣ?

Чухаловъ. Какъ-же! Мы съ нимъ свои по женѣ... (*Нюхаетъ табакъ*).

Марья Никитишна. Вѣдь, она, кажется, ему двоюродная сестрица?

Чухаловъ. Да!.. почти!.. (*Опускаетъ два пальца въ табакерку и, переминая ими табакъ, говоритъ протяжно*). Надобно вамъ доложить, когда я былъ въ губерніи, и его превосходительство изволилъ объявить мнѣ, что осчастливитъ своимъ пріѣздомъ нашъ городъ, то я сказалъ ему: «Батюшка-братецъ! Надѣюсь, что вы нигдѣ не остановитесь, кромѣ моего дома». Онъ улыбнулся и отвѣчалъ: «Да, да! Я знаю, у кого остановиться!» Я сталъ благодарить; тутъ онъ опять изволилъ улыбаться, и заговорилъ съ губернаторомъ о разныхъ государственныхъ дѣлахъ... Ахъ, Марья Никитишна!.. Что за умный человѣкъ Максимъ Петровичъ!.. Ну, ужъ голова!.. диковинная!

Чернобылинъ (*утираясь салфеткою*). Подлинно, диковинная; я этакихъ свиныхъ головъ въ жизнь мою не видывалъ!

Чухаловъ. Здравствуй, Алексѣй Андреичъ!

Чернобылинъ. А, батюшка! Вы здѣсь? Пожалуйте-ка сюда!—Отвѣдайте этой свиной головки! Ну, Касьянъ Гурьичъ: вамъ честь и слава!

Касьянъ Гурьевичъ. Очень радъ! Кушайте на здоровье!

Чернобылинъ. Потрудился бы еще, батюшка, да нѣтъ!—душа не принимаетъ—не могу!.. Вотъ развѣ кусочекъ паюсной икорки: она смотритъ что-то больно хорошо.

Въ эту самую минуту появился новый гость. Осипъ Андреевичъ Кочька вошелъ поспѣшно въ комнату; по всему было замѣтно, что онъ прискакалъ съ важными вѣстями. Вмѣсто того, чтобъ поклониться каждому поодиночкѣ и сказать какое-нибудь привѣтствіе, онъ не кивнулъ даже никому головою. Бантикъ его бѣлаго галстука былъ на сторонѣ; фракъ, который онъ застегивалъ обыкновенно на четыре пуговицы, былъ застегнутъ только на двѣ, и что всего страннѣе, половина головы его была напомажена, а другая нѣтъ. Однимъ словомъ, все доказывало, что онъ торопился сообщить Касьяну Гурьевичу о какомъ-то необычайномъ происшествіи, и отправился изъ дому, не кончивъ порядкомъ

своего туалета. Осипъ Андреевичъ Кочька остановился посреди комнаты и, молча, поглядѣлъ вокругъ себя. Это неслыханное нарушеніе неизмѣнныхъ его правилъ, это таинственное молчаніе поразило всѣхъ присутствующихъ. Чернобылинъ чуть-чуть не подавился кускомъ паюсной икры; князь не донесъ до своего носа полновѣсную щепоть табаку, Марья Никитишна поблѣднѣла, а Касьянъ Гурьевичъ вскричалъ съ ужасомъ: «Боже мой! Что такое случилось?»

Осипъ Андреевичъ (*значительнымъ голосомъ*). Касьянъ Гурьичъ!.. Касьянъ Гурьичъ!.. Странныя вещи бываютъ на свѣтѣ!

Марья Никитишна. Да что такое сдѣлалось?

Осипъ Андреевичъ. Что такое? А вотъ что, Марья Никитишна! Я думаю, что такого рода встрѣча, случай или обстоятельство заставитъ, то-есть приневолитъ, или лучше сказать, вынудитъ всякаго...

Марья Никитишна. Ахъ, Боже мой! Да говорите скорѣе.

Осипъ Андреевичъ. Приготовьтесь! Это извѣстіе поразитъ васъ удивленіемъ, срѣжетъ съ ногъ, перемѣшаетъ всѣ ваши понятія—и, такъ сказать...

Касьянъ Гурьевичъ. Тьфу пропасть!.. Да что вы душу-то тянете?—Говорите проворнѣй!

Осипъ Андреевичъ. Вы, вѣрно, ожидаете завтра Максима Петровича Зорина?..

Чухаловъ. Ахъ, батюшки! Неужели онъ пріѣхалъ?

Осипъ Андреевичъ. Нѣтъ.

Касьянъ Гурьевичъ. Такъ отмѣнилъ свое намѣреніе побывать въ нашемъ городѣ?

Осипъ Андреевичъ. Нѣтъ.

Марья Никитишна. Такъ что жъ такое?

Осипъ Андреевичъ. Это такъ странно, такъ чуждо всѣхъ приличій; я вижу въ этомъ такое отсутствіе или, лучше сказать, нарушеніе всѣхъ общественныхъ условій...

Марья Никитишна. Да это несносно!.. Осипъ Андреичъ!..

Осипъ Андреевичъ. Повѣрите ли, Марья Никитишна, я совершенно теряюсь въ моихъ соображеніяхъ, не понимаю, постичь не могу...

Касьянъ Гурьевичъ (*съ укоризною*). Ну, что, жена?.. Да будетъ ли, сударь, конецъ? Скажете ли вы?

Осипъ Андреевичъ. Позвольте, позвольте! Сейчасъ скажу! Передовые Максима Петровича Зорина пріѣхали.

Чухаловъ. Что вы говорите?.. А меня нѣтъ дома! (*Хватаетъ свою шляпу*).

Осипъ Андреевичъ (*останавливая его*). Не безпокойтесь! Его превосходительство остановится не у васъ.

Чухаловъ (*съ ужасомъ*). Не у меня!..

Чернобылинъ (*вставая*). Вотъ тебѣ разъ!..

Касьянъ Гурьевичъ. Да гдѣ же онъ остановится?..

Осипъ Андреевичъ. Отгадайте!

Касьянъ Гурьевичъ. Эхъ, полноте! Говорите скорѣе!

Осипъ Андреевичъ. Попробуйте, отгадайте.

Марья Никитишна (*съ досадою*). Это ужасно!.. Да вы мучитель, Осипъ Андреичъ, да скажете ли вы?..

Осипъ Андреевичъ. Его превосходительство остановится... у Холмина!!!

Марья Никитишна. Что вы говорите?

Чухаловъ. Возможно ли? У этого отставного поручика?

Осипъ Андреевичъ. Да.

Касьянъ Гурьевичъ. Почти за заставою?

Осипъ Андреевичъ. Да.

Чернобылинъ. Въ этой избушкѣ на курьихъ ножкахъ?

Осипъ Андреевичъ. Да.

Марья Никитишна (*вскрикиваетъ*). Не можетъ быть!..

Чухаловъ. Да, да! Не можетъ быть? Это ошибка, недоразумѣніе!..

Частный приставъ (*входитъ торопливо въ комнату*). Касьянъ Гурьичъ! Честь имѣю донести: передовые его превосходительства, генерала Зорина, прибыли въ городъ.

Касьянъ Гурьевичъ. Гдѣ они остановились?..

Приставъ. У Ивана Алексѣича Холмина. (*Торжественное молчаніе*).

Чернобылинъ (*утирая платкомъ лобъ*). Уфъ, батюшки!.. Ну!!!

Чухаловъ. Да почему жъ онъ остановился у этого офицерика?

Приставъ. Я узналъ стороною, что Иванъ Алексѣичъ былъ при немъ адъютантомъ.

Касьянъ Гурьевичъ. Вотъ что?.. Такъ это вещь очень натуральная... Куда вы, князь?..

Чухаловъ. Извините! Это до такой степени странно, что я хочу самъ увѣриться. (*Кланяется и поспѣшно уходитъ*).

Марья Никитишна. Очнуться не могу! Такая честь! и кому?

Касьянъ Гурьевичъ. И, матушка! Да чѣмъ же Холминъ хуже людей? Малый добрый, служилъ прекрасно...

Осипъ Андреевичъ. И образованъ порядочно—поотсталъ немного отъ вѣка, не имѣетъ глубокой учености, однако-же читалъ.

Марья Никитишна. Эхъ, полноте, Осипъ Андреичъ!.. Конечно, старушка-мать его женщина добрая... Я давно уже хотѣла ее провѣдать; кажется, она нездорова?

Чернобылинъ. Вѣрно, поѣла грибковъ? Вѣдь, она большая постница.

Марья Никитишна (*мужу*). Какъ ты думаешь, мой другъ: она женщина бѣдная, недужная, а навѣстить бѣднаго все то же, что

милостыню подать. Заверну я къ ней на минуточку?

Касьянъ Гурьевичъ. Съ Варенькой?

Марья Никитишна. Нѣтъ, нѣтъ! Одна.

Осипъ Андреевичъ. Позвольте мнѣ быть вашимъ провожатымъ?

Марья Никитишна. Сдѣлайте милость!

Чернобылинъ. Заѣхать и мнѣ къ этой старушкѣ: я ужъ давно сбираюсь попросить у нея записки, какъ солить огурцы: говорятъ, будто бы она этого дѣла мастерица... Прощайте, батюшка Касьянъ Гурьичъ! Не забудьте, вечеромъ мы все-таки къ вамъ сберемся потолковать о дворянскомъ обѣдѣ.

Касьянъ Гурьевичъ. Прошу покорно! (*Чернобылинъ, Марья Никитишна и Осипъ Андреевичъ уходятъ*).

Касьянъ Гурьевичъ (*частному приставу*). А я съ тобой отправлюсь осмотрѣть пожарную команду.

Приставъ. Слушаю-съ! Да позвольте доложить: я не выпускалъ еще человѣка князя Петра Ильича, и если вы прикажете, такъ теперь можно...

Касьянъ Гурьевичъ. Нѣтъ, братецъ! На этотъ разъ такъ и быть: только ужъ если попадется въ другой разъ...

Приставъ (*кланяясь*). Слушаю-съ! (*Отворяетъ двери и уходитъ вслѣдъ за Касьяномъ Гурьевичемъ*).

IV.

Совѣщаніе.

Если бъ вамъ случилось, въ 1816 году, мая 23 числа, проѣзжать черезъ городъ Бабковъ, то вы могли бы подумать, что въ немъ жители—природные голландцы, которые, какъ извѣстно, сдуваютъ съ улицъ и домовъ каждую пылинку, и съ утра до вечера моютъ все, исключая своихъ рукъ. Нельзя было пройти двухъ шаговъ, не задохнувшись отъ пыли: она валила столбомъ изъ-подъ сотни метелъ и вѣниковъ, которыми не подмегали, а почти полировали мостовую главной улицы города Бабкова. Въ одномъ мѣстѣ вырывали тощую траву, которая пробивалась кой-гдѣ между голышей; въ другомъ, подкрашивали подъ-дубъ дубовыя ворота; на одномъ домѣ бѣлили мѣломъ закопченыя трубы, на другомъ подновляли почернѣвшую кровлю; вездѣ вставлялись разбитыя стекла, и на всемъ протяженіи Дворянской улицы не осталось ни одного окна съ бумажною заплатой. Всѣ эти приготовительныя работы производились подъ надзоромъ второго частнаго пристава, Кондратья Ѳомича Дергунова, человѣка весьма аккуратнаго и неутомимаго блюстителя уличной чистоты и наружнаго благообразія обывательскихъ домовъ. Сверхъ того, по домашнему распоряженію городового брантмейстера, въ нѣсколькихъ мѣщанскихъ домахъ, въ которыхъ печи оказались неблагонадежными, запрещено было, впредь до приказанія, готовить кушанье. Это необычайное движеніе, эта жизнь на Бабковскихъ улицахъ усиливалась безпрестанными разъѣздами каретъ, дрожекъ и колясокъ, которыя сновали отъ одного конца города до другого; большая часть изъ нихъ останавливалась подлѣ свѣтлаго и чистаго домика, съ зелеными ставнями. У воротъ его стоялъ полицейскій чиновникъ, и трое пожарныхъ солдатъ поливали изъ трубы песчаную площадку, которая тянулась отъ дома до самой заставы. Я думаю, читатели сейчасъ отгадаютъ, что въ этомъ домѣ жилъ Холминъ съ своею старушкою-матерью. Квартальный офицеръ, приставленный *ради почета* и порядка, не дозволялъ ни одному крестьянину съ возомъ останавливаться вблизи отъ будущей квартиры его превосходительства, и безпрестанно разгонялъ зѣвакъ, которые, съ непокрытыми головами и открытыми ртами, толпились кругомъ дома и заглядывали въ открытыя окна.

Касьянъ Гурьевичъ былъ человѣкъ прямодушный, любилъ все дѣлать на чистоту и ни за что бы не сталъ пускать пыль въ глаза и продавать свой товаръ лицомъ, для того только, чтобъ выслужиться передъ высшимъ начальствомъ; но онъ любилъ какъ душу свой городъ Бабковъ, и не ради чего другого, а просто изъ любви къ нему, хотѣлъ имъ же похвастаться передъ Максимомъ Петровичемъ Зоринымъ. Онъ рядилъ и одѣвалъ его точь-въ-точь, какъ добрый отецъ рядитъ и охорашиваетъ свою дочь, готовясь показать ее въ первый разъ жениху. Касьянъ Гурьевичъ вовсе не хлопоталъ о томъ, чтобъ ему сказали спасибо; лишь только-бъ городъ-то похвалили, лишь только-бъ генералъ Зоринъ ахнулъ и проговорилъ съ удивленіемъ: «Въ жизнь мою я не видывалъ такого уѣзднаго города!» Впрочемъ, надобно сказать правду, ему и въ голову не приходило выщипывать траву на улицахъ и красить подъ-дубъ дубовыя ворота. Это было сдѣлано такъ же, какъ и многое другое, по распоряженію Марьи Никитишны, которая въ теченіе дня нѣсколько разъ отдавала изустныя приказанія обоимъ частнымъ приставамъ.

Вся эта уличная хлопотня и движеніе не значили ничего передъ суматохою, которая началась въ присутственныхъ мѣстахъ; вотъ тамъ-то ужъ подлинно было свѣту представленіе! Чиновники земскаго суда, уѣзднаго суда и казначейства города Бабкова были люди довольно порядочные; взяточниками ихъ назвать было не можно, потому что если они брали, такъ брали очень умно и осторожно; никто на нихъ не жаловался, всѣ ихъ любили, и только иногда люди злорѣчивые, которые терпѣть не могутъ заведеннаго порядка, поговаривали межъ собой: «Экое, дескать, имъ счастье валитъ! Уѣздный судья

завелъ себѣ деревеньку, лѣсничій выстроилъ три домика, казначей купилъ тысячу десятинокъ земли съ разными угодьями, а капитанъ-исправникъ—вотъ экономъ-то подумаешь! скопилъ отъ жалованья тысячъ пятьдесятъ, да за дочерью далъ въ приданое тридцать». Охъ, эти злые языки! Ну, чему тутъ дивиться? Извѣстное дѣло: людямъ должностнымъ все въ прокъ идетъ. Конечно, есть исключенія, но они довольно рѣдки. «Кто Богу не грѣшенъ!»—говорилъ покойный нашъ земскій засѣдатель, Ома Ѳедоровичъ Куроцаповъ;—«да и то сказать», прибавлялъ онъ всегда:—«мірская-то шея толста; вали на нее что хочешь! Съ брата по копѣйкѣ, анъ глядишь, сотня набѣжитъ, и себя не забудешь, и ихъ не раззоришь». Кажется, послѣ этого, чего было бояться чиновникамъ города Бабкова; а, вѣдь, ни на одномъ изъ нихъ лица не было. Во всѣхъ присутственныхъ мѣстахъ замѣтна была необычайная дѣятельность. Одни поскабливали нумерацію въ настольныхъ реестрахъ, другіе вписывали въ протоколъ заднимъ числомъ судейскія опредѣленія; нескрѣпленныя книги скрѣплялись; присутственные столы покрывались новымъ сукномъ; вмѣсто помадныхъ банокъ, явились на всѣхъ столахъ стеклянныя чернильницы; бутылки съ сальными свѣчами замѣнялись мѣдными чистыми подсвѣчниками; отъ подъячихъ перестало пахнуть виномъ; повытчики выбрили свои головы, а у секретарей лица сдѣлались совершенно человѣческими.

Больше всего хлопоталъ бабковскій казначей Иванъ Ѳедоровичъ Мушкинъ; ему должно было пополнить наличную сумму казначейства, изъ котораго онъ позаимствовался недѣльки на двѣ тремя тысячами рублей. Иванъ Ѳедоровичъ рѣдко дозволялъ себѣ подобные займы, но на этотъ разъ былъ вынужденъ крайнею необходимостью: онъ выдавалъ замужъ старшую дочь Машеньку. «Такъ поэтому Марья Никитишна сказала правду? Холминъ, точно, былъ помолвленъ на казначейской дочери?»—Нѣтъ!—«Такъ Марья Никитишна солгала?»—Нѣтъ!—«Да какъ же это можетъ быть?» — А вотъ увидите! Конечно, другому бы это и въ голову не вошло, но, вѣдь, Марья Никитишна была женщина необыкновенная, и такая тонкая дипломатка, что—упаси, Господи! Напримѣръ, она терпѣть не могла княгиню Хайбазову, а посмотрѣли бы вы ее вмѣстѣ съ княгинею — ну, просто другъ задушевный. Такъ въ душу и вьется!.. Да что и говорить! Умна была покойница.

Наконецъ, прошелъ этотъ суматошный день. Передовые объявили, что его превосходительство Максимъ Петровичъ Зоринъ прибудетъ въ городъ не прежде, какъ на другой день, часу въ шестомъ утра. Разумѣется, исправникъ поскакалъ на границу уѣзда, чтобъ встрѣтить его превосходительство; а Касьянъ Гурьевичъ на всякій случай надѣлъ мундиръ и выслалъ верхомъ одного пожарнаго урядника на большую дорогу, верстъ за пять отъ городской заставы. Часу въ седьмомъ вечера стало сбираться въ домѣ градоначальника все лучшее дворянство города Бабкова. Одинъ князь Чухаловъ не захотѣлъ присутствовать на этомъ чрезвычайномъ собраніи: онъ такъ разгнѣвался на своего *батюшку братца*, что рѣшился сказаться больнымъ и уговаривалъ своего зятя сдѣлать то-же; но тотъ, какъ человѣкъ должностной, не могъ его послушаться. Я забылъ вамъ сказать, что Алексѣй Андреевичъ Чернобылинъ исправлялъ должность бабковскаго уѣзднаго предводителя.

Теперь я прошу моихъ читателей перенестить вмѣстѣ со мною въ столовую комнату Касьяна Гурьевича Костоломова: въ нее собрались уже для совѣщанія всѣ первые дворяне города Бабкова. Хозяина вы знаете, Чернобылина и Осипа Андреевича Кочьку также; но мнѣ должно васъ познакомить съ тремя остальными бабковскими дворянами, а именно: съ Пахомомъ Пахомовичемъ Мурашкинымъ, Яковомъ Ѳедоровичемъ Апенковымъ и Сергѣемъ Степановичемъ Мутовкинымъ. Я люблю во всемъ наблюдать чинопочитаніе, и потому начну съ перваго.

Отставной бригадиръ Пахомъ Пахомовичъ Мурашкинъ, пожилой человѣкъ, лѣтъ шестидесяти, болѣе плотный, чѣмъ дородный, въ военномъ мундирѣ и красномъ камзолѣ съ золотымъ шитьемъ, въ петлицѣ золотой крестикъ на георгіевской лентѣ. Лицо довольно добродушное, отвислый подбородокъ, прищуренные глаза, круглый, толстый носъ и длинная коса. Пахомъ Пахомовичъ очень любилъ старину, ненавидѣлъ все новое, и твердо стоялъ въ томъ, что лучшее произведеніе иностранныхъ писателей. «Маркизъ Глаголь», а русской словесности: «Арфаксадъ, халдейская повѣсть».

Коллежскій совѣтникъ Яковъ Ѳедоровичъ Апенковъ, мужчина среднихъ лѣтъ, небольшого роста, круглолицый, рябой, въ широкомъ фракѣ и плисовыхъ сапогахъ. Онъ слылъ весьма добрымъ человѣкомъ и, подлинно, Яковъ Ѳедоровичъ не дѣлалъ никому зла, ни съ кѣмъ не ссорился, на дворянскихъ выборахъ клалъ всѣмъ, безъ исключенія, бѣлые шары, и всегда соглашался съ мнѣніемъ всѣхъ вообще и каждаго по одиночкѣ. Яковъ Ѳедоровичъ говорилъ очень протяжно, особенно потому, что у него была болѣзнь, что ль, какая или привычка, право, не знаю, только онъ не могъ никогда говорить безъ того, чтобъ поминутно не прерывать самого себя; сказавъ словъ пять сряду, онъ всегда кашлялъ или чихалъ, или плевалъ, или захлебывался.

Надворный совѣтникъ Сергѣй Степановичъ Мутовкинъ человѣкъ не старый, но необычайно худой и тщедушный. На тонкой и

длинной его шеѣ, какъ на шпилѣ, вертится маленькая, всегда улыбающаяся головка съ красноватыми глазами, надъ которыми вовсе нѣтъ бровей. Говорятъ, будто бы онъ обладаетъ въ высокой степени даромъ слова, и что его краснорѣчіе было бы увлекательно, если-бъ онъ могъ сдерживать порывы своей необычайной чувствительности; но, къ несчастію, онъ до того трогается собственными своими словами, что никогда не можетъ кончить начатой рѣчи. Сергѣй Степановичъ написалъ когда-то похвальное слово русскому дворянству, съ тѣмъ, чтобъ произнести его публично. Нельзя не упомянуть о странной судьбѣ этого сочиненія, которое, вопреки желанію автора, осталось навсегда неизвѣстнымъ для его современниковъ. Каждое трехлѣтіе, по окончаніи выборовъ, Сергѣй Степановичъ вставалъ съ своего мѣста, кланялся на всѣ четыре стороны и начиналъ:

«Да позволено будетъ мнѣ предъ лицомъ почтеннѣйшаго собранія всей нашей губерніи излить мою душу!..»

Тутъ обыкновенно голосъ его начиналъ прерываться; глаза наполнялись слезами, и онъ продолжалъ:

«О, благородное русское дворянство! О, почтеннѣйшее сословіе мужей знаменитыхъ!..»

Больше этого онъ никогда не говорилъ, потому что начиналъ рыдать, и объявлялъ, всхлипывая, всему благородному дворянству, что онъ отъ избытка чувствъ продолжать не можетъ.

Познакомивъ васъ съ дѣйствующими лицами, я снова уступаю имъ сцену. Ахъ, извините! чуть было не забылъ сказать, что они сидятъ вокругъ большого стола, на которомъ стоитъ чернильница и лежитъ нѣсколько листовъ бумаги, и что въ двухъ шагахъ отъ нихъ сидитъ, за рабочимъ столикомъ, какъ прокуроръ за отдѣльнымъ столомъ своимъ, Марья Никитишна Костоломова.

Чернобылинъ. Милостивые государи! Всѣмъ извѣстно, что завтрашняго числа прибудетъ въ нашъ городъ его превосходительство Максимъ Петровичъ Зоринъ.

Мурашкинъ. Ну, да! Мы всѣ это знаемъ.

Чернобылинъ. Намъ извѣстно также, что онъ проживетъ здѣсь три дня...

Мурашкинъ. Четыре.

Осипъ Андреевичъ Кочька. Извините! Я могу, то-есть имѣю право сказать съ нѣкоторою достовѣрностію, что онъ пробудетъ здѣсь пять дней.

Чернобылинъ. А я вамъ говорю: три!

Апенковъ. И я тоже слышалъ, что онъ пробудетъ у насъ дня три или четыре, а можетъ-быть... (*Чихаетъ*).

Чернобылинъ. Отъ кого вы это слышали?

Апенковъ. Отъ кого-съ?.. Право, не могу вамъ доложить, а кажется... (*Захлебывается и кашляетъ*).

Осипъ Андреевичъ Кочька. Вы это слышали отъ меня.

Чернобылинъ. Это неправда.

Мутовкинъ (*привставая*). Да позволено мнѣ будетъ...

Касьянъ Гурьевичъ. Э, полноте, господа! Рѣчь не о томъ, долго ли у насъ проживетъ его превосходительство...

Мурашкинъ. Конечно! Дѣло идетъ о томъ, чтобъ угостить его порядкомъ.

Чернобылинъ. Да, милостивые государи, не прилично будетъ, если здѣшнее дворянство не дастъ ему обѣда.

Мутовкинъ. Конечно, конечно! Пріѣздъ такой важной особы долженъ быть ознаменованъ какимъ-нибудь торжествомъ и потому (*привстивая*) да позволено мнѣ будетъ...

Чернобылинъ. Позвольте, позвольте! Итакъ, рѣшено: мы даемъ обѣдъ?

Осипъ Андреевичъ Кочька. Я беру смѣлость замѣтить вамъ слѣдующее: такъ какъ этотъ обѣдъ будетъ офиціальный, то-есть торжественный, и даже нѣкоторымъ образомъ дипломатическій, то намъ слѣдовало бы пригласить на совѣщаніе всѣхъ здѣшнихъ дворянъ, имѣющихъ голоса.

Чернобылинъ. Да, мнѣ кажется, что выключая моего тестя, который нездоровъ, да Ивана Алексѣевича Холмина, которому теперь не до насъ...

Осипъ Андреевичъ Кочька. Помилуте! А Ѳома Прохоровичъ Телушкинъ.

Чернобылинъ. И, что вы, Осипъ Андреичъ! Телушкинъ!.. Телушкинъ дворянинъ малодушный; всего тридцать душъ по послѣдней ревизіи.

Осипъ Андреевичъ Кочька. А Филиппъ Кондратьевичъ Ериковъ?

Мурашкинъ. Вотъ еще! Да Ериковъ-то дворянинъ вовсе бездушный: три дворовыя души, да и тѣ женины.

Осипъ Андреевичъ Кочька. Такъ знаете ли что?.. Для приглашенія къ обѣденному столу намъ должно будетъ нарядить депутацію къ его превосходительству...

Чернобылинъ. Такъ неужели послать этихъ однодворцевъ?

Осипъ Андреевичъ Кочька. О, нѣтъ! Они могутъ быть ассистентами.

Чернобылинъ. Мы это увидимъ. Итакъ, послѣ завтра обѣдъ—разумѣется, парадный, въ мундирахъ, и если господамъ дворянамъ угодно будетъ довѣрить мнѣ...

Касьянъ Гурьевичъ. Вамъ, батюшка! Вамъ и книги въ руки — накормить ваше дѣло—не правда ли, господа?

Всѣ. Совершенная правда!

Мутовкинъ (*вставия*). Да позволено мнѣ будетъ отъ лица всего нашего собранія (*всѣ встаютъ*) просить васъ, Алексѣй Андреевичъ, принять на себя эту обязанность. (*Прерывающимся голосомъ*). Смѣю васъ увѣрить, что чувства благодарности... душевно-искренней

благодарности... (*всхлипываетъ*) призна...тельныхъ сер...децъ, всего благороднаго... Баб... ковскаго... дво...рянства... (*Плачетъ*).

Апенковъ (*утирая платкомъ глаза*). Чувствительно!.. очень чувствительно! (*Сморкается носъ*).

Чернобылинъ (*кланяясь*). Милостивые государи! Я чувствую всю честь... Такая лестная довѣренность!.. Прошу покорно садиться! (*всѣ садятся*). Господа дворяне! я вамъ ручаюсь за всѣ блюда; но объ одномъ мы должны потолковать. Извѣстно всѣмъ и каждому, что хорошій столъ, то-есть столъ на славу, долженъ заключать, въ числѣ своихъ блюдъ, хотя одно рыбное людо. Прошу обратить ваше вниманіе на это важное обстоятельство— что будетъ приличнѣе: разварныя стерляди или осетрина подъ галантиромъ?

Мурашкинъ. Позвольте, позвольте! Мы, конечно, желаемъ употчивать пріѣзжаго гостя, но всему есть мѣра — вѣдь, мы живемъ не на Волгѣ! Свѣжая осетрина, стерляди!.. Да вы этакъ вкатите въ такую сумму, что придется по всему уѣзду раскладку дѣлать!

Апенковъ. Да-съ, это затруднительно... (*Плюетъ*) очень затруднительно.

Чернобылинъ (*съ досадою*). Но я ужъ имѣлъ честь вамъ докладывать, что это блюдо необходимо.

Апенковъ. Конечно, если необходимо, такъ мнѣ кажется... (*Чихаетъ*).

Мурашкинъ. Нѣтъ, батюшка! осетрина у насъ кусается—да и къ стерлядямъ приступу нѣтъ.

Чернобылинъ. Такъ изъ чего же прикажете сдѣлать рыбное блюдо?

Мурашкинъ. Какъ изъ чего? Вотъ, напримѣръ, судакъ, свѣжая сазанина...

Чернобылинъ (*съ ужасомъ*). Сазанина?.. Боже мой! Сазанина!!! Пахомъ Пахомычъ!.. Что вы?.. Отпотчевать его превосходительство сазаниной!.

Апенковъ (*испугавшись*). Да-съ, неловко! Осмѣлюсь доложить... сазанина—рыба ординарная... (*кашляетъ*) точно, неловко.

Касьянъ Гурьевичъ. Эхъ, господа! есть о чемъ спорить! Извольте: я жертвую вамъ двухъ стерлядей!

Чернобылинъ. Живыхъ?

Касьянъ Гурьевичъ. Животрепящихъ! Изъ моего садка.

Чернобылинъ. Трехъ-четвертныхъ!

Касьянъ Гурьевичъ. Аршинныхъ!

Чернобылинъ (*вскакивая со стула*)! Господа! принесемте нашу благодарность почтенному Касьяну Гурьичу! (*Всѣ встаютъ и кланяются*).

Касьянъ Гурьевичъ (*откланиваясь*). Помилуйте, господа!.. очень радъ!..

Чернобылинъ. Итакъ, теперь все улажено; остается поговорить о музыкѣ и пѣвчихъ, которые будутъ играть и пѣть во время обѣденнаго стола. Осипъ Андреичъ, конечно, не откажетъ намъ въ своемъ пособіи?

Осипъ Андреевичъ Кочька. Вся моя капель, то-есть инструментальная и вокальная музыка, къ вашимъ услугамъ.

Чернобылинъ. Какъ вы думаете, Осипъ Андреичъ, не мѣшало бы спѣть что-нибудь такое?.. Знаете, вотъ этакъ приличное обстоятельствамъ и собственно особѣ его превосходительства...

Осипъ Андреевичъ Кочька. Понимаю, понимаю! Вотъ, напримѣръ, польскій: «Хвала, хвала тебѣ, герой, что градъ Петровъ спасенъ тобой!» Тутъ можно сдѣлать нѣкоторыя измѣненія, то-есть поправки, — пропѣть, напримѣръ: «Хвала, хвала тебѣ, герой, что градъ Бабковъ спасенъ тобой!»

Мутовкинъ. Прекрасно, прекрасно!.. (*Чихаетъ*).

Апенковъ. Да позволено мнѣ будетъ сказать: я нахожу это весьма приличнымъ.

Мурашкинъ. Извините, батюшка, а по мнѣ такъ вовсе неприлично.

Осипъ Андреевичъ Кочька. Почему жъ неприлично?

Мурашкинъ. Да такъ, сударь! Вѣдь, я старый служивый, и эту азбуку-то знаю! Неловко, батюшка, право, неловко!

Осипъ Андреевичъ Кочька. Да почему?

Мурашкинъ. А вотъ изволите видѣть: вопервыхъ, герои обыкновенно бываютъ фельдмаршалы или, по крайней мѣрѣ, полные генералы, а Максимъ Петровичъ.

Осипъ Андреевичъ Кочька. Помилуйте, Пахомъ Пахомычъ! Да герой—все герой, какого бы онъ класса ни былъ.

Мурашкинъ. Вотъ извольте нынче поговорить! Вотъ они молодые-то люди! Ну, что вы это забили себѣ въ голову — а? — Эхъ, Осипъ Андреичъ! Нехорошо, право, нехорошо!

Осипъ Андреевичъ Кочька. Да позвольте! Героизмъ достоинство или лучше сказать, чувство индивидуальное, которое въ отношеніи своемъ къ общимъ понятіямъ о храбрости не зависитъ отъ внѣшнихъ обстоятельствъ, коихъ соприкосновеніе развиваетъ внезапно всю энергію человѣческой воли, слѣдовательно, и не подходитъ подъ условныя выраженія силы, власти и могущества—и есть, такъ сказать, чувство чисто-объективное, доступное для всякаго.

Апенковъ (*тихо Мутовкину*). Умень, очень умень!

Мутовкинъ (*также тихо*). Да, и сладко говоритъ!

Мурашкинъ. Да что-жъ вы, въ самомъ дѣлѣ? Такъ по-вашему и будочникъ можетъ быть героемъ?

Осипъ Андреевичъ Кочька. Я не отвергаю этого.

Мурашкинъ. Извольте прислушать! Вотъ какова нынѣшняя молодежь!.. Имъ все трынъ-трава!

Касьянъ Гурьевичъ. Это бы ничего, а вотъ что не годится: «Хвала тебѣ, герой, что градъ Бабковъ спасенъ тобой». Да отъ чегоже онъ спасалъ нашъ городъ?

Осипъ Андреевичъ Кочька. Это ужъ такъ говорится.

Касьянъ Гурьевичъ. Что говорится — помилуйте! Французы у насъ не были. Бабковъ городъ благополучный, повальныхъ болѣзней никакихъ нѣтъ...

Апенковъ. Да-съ! (*Кашляетъ*): Не выходитъ!

Мурашкинъ. Да и музыка-то пополамъ съ грѣхомъ, ну что хорошаго: «Хвала да хвала», и больше ничего! Нѣтъ, господа! Не лучше ли придержаться старины, вотъ, напримѣръ: «Громъ побѣды раздавайся» — съ припѣвомъ: «Славься симъ, Екатерина! Славься, нѣжная къ намъ мать!»

Чернобылинъ. А что вы думаете?

Мурашкинъ. Да ужъ повѣрьте мнѣ, нынѣшняя-то музыка дрянь!.. А бывало, какъ хватятъ этотъ польскій съ трубами да литаврами... о, Господи!.. свѣту Божьяго не взвидишь.

Осипъ Андреевичъ Кочька. Да стихи-то какъ вы передѣлаете?

Мурашкинъ. Эка важность! Вѣдь, можно же было градъ Петровъ назвать градомъ Бабковымъ? А тутъ вмѣсто: «Славься симъ, Екатерина! Славься, нѣжная къ намъ мать» — можно пропѣть: «Славься симъ, Максимъ Петровичъ».

Осипъ Андреевичъ Кочька. Такъ!.. Да второй-то стихъ?

Мурашкинъ. Ну, что-жъ? Развѣ нельзя какъ-нибудь перевернуть? Вотъ, напримѣръ: «Славься, благодѣтельный начальникъ... Славься, знаменитый мужъ» — и, да мало ли чего нельзя придумать! Была бы только охота!

Осипъ Андреевичъ Кочька. Конечно, и если мнѣ этимъ заняться.

Чернобылинъ. Такъ займитесь, Осипъ Андреичъ! Музыка ваша, пѣвчіе ваши, возьмите ужъ и это на себя!

Осипъ Андреевичъ Кочька. Извольте! Я это все сдѣлаю съ моимъ капельмейстеромъ.

Чернобылинъ. Ну, господа дворяне! Теперь, кажется, почти все кончено. Завтра я самъ депутатомъ отъ всего дворянскаго сословія; Телушкинъ и Ериковъ ассистентами; обѣдъ послѣзавтра въ три часа, въ мундирахъ; музыка, пѣвчіе — «Громъ побѣды раздавайся» и разварныя стерляди. Теперь надобно рѣшить: гдѣ долженъ быть обѣденный столъ? (*Марья Никитишна встаетъ съ своего мѣста и подходитъ*).

Касьянъ Гурьевичъ. Да объ этомъ, кажется, ужъ говорено.

Марья Никитишна. Разумѣется, у насъ.

Мурашкинъ. Позвольте, я нахожу это не вовсе приличнымъ?

Касьянъ Гурьевичъ. Неприличнымъ? Почему неприличнымъ?

Мурашкинъ. Во-первыхъ, потому, что этотъ обѣдъ даетъ генералу Зорину не мѣстное начальство, а здѣшнее дворянское сословіе; слѣдовательно, и обѣдъ долженъ быть данъ въ частномъ дворянскомъ домѣ...

Марья Никитишна. Что вы, Пахомъ Пахомычъ! Да развѣ мой мужъ не дворянинъ?

Мурашкинъ. Я не говорю этого, помилуйте!.. Но онъ человѣкъ должностной, служитъ отъ короны и живетъ въ казенномъ домѣ. Вотъ Осипъ Андреичъ того же мнѣнія.

Марья Никитишна (*Кочькѣ*). Какъ, сударь? Такъ и вы?..

Осипъ Андреевичъ Кочька. Да, да, Марья Никитишна, — я думаю... полагаю... мнѣ кажется... что тутъ больше будетъ аналогія... то-есть приличія; къ тому же мой домъ просторнѣе вашего — зала несравненно болѣе—въ два свѣта, съ хорами...

Марья Аикитишна. Вашъ домъ! Такъ въ вашемъ домѣ...

Чернобылинъ. Да, Марья Никитишна! Осипъ Андреичъ самъ вызвался, и если вамъ сказать правду — такъ и мнѣ кажется, что это будетъ лучше.

Марья Никитишна (*Кочькѣ*). Прекрасно! Ну, Осипъ Андреичъ,—не ожидала я...

Касьянъ Гурьевичъ. По мнѣ, господа, все равно, какъ хотите.

Чернобылинъ. Да вотъ всего лучше, пойдемте на голоса. Я и Пахомъ Пахомычъ избираемъ для обѣда домъ Осипа Андреича! (*Мутовкину*). Теперь не угодно ли вамъ?

Мутовкинъ. Я также нахожу домъ Осипа Андреича удобнѣе; но... (*Встаетъ*). Да позволено мнѣ будетъ при семъ случаѣ объявить торжественно почтеннѣйшему Касьяну Гурьичу, что если-бъ не польза общественная... для которой я готовъ пожертвовать не только внутреннимъ моимъ желаніемъ, но даже... но даже... да, господа... жизни моей не пощажу! *Всхлипывая*). Все принесу въ даръ ей—все... (*Плачетъ*).

Чернобылинъ (*Апенкову*). Ну, что скажете вы, Яковъ Федорычъ?

Апенковъ. Кто? Я-съ?.. (*Кашляетъ*). Осмѣлюсь доложить... мнѣ кажется... конечно, въ разсужденіи обширности... и по уваженію двухъ свѣтовъ... и относительно хоръ... впрочемъ, и здѣсь отличный домъ-съ... Конечно... зала безъ кумпала,—зато и полы крашеные-съ, и плафонъ росписной... и все-съ!.

Мурашкинъ. Да полноте мямлить, батюшка! Говорите на чистоту: гдѣ быть обѣду? Здѣсь или у Осипа Андреича?

Апенковъ. Гдѣ-съ?.. По...озво...льте! (*Сбирается чихнуть*).

Мурашкинъ. Да говорите! (*Апенковъ махаетъ рукой. и начинаетъ чихать, плевать, кашлять и сморкать носъ*).

Касьянъ Гурьевичъ. Да изъ чего вы

хлопочете, господа? Конечно, у Осипа Андреича просторнѣе, и я очень радъ.

Марья Никитишна (*тихо мужу*). Что ты, мой другъ, что ты?

Чернобылинъ. Итакъ, единогласно—обѣденный столъ назначается въ домѣ Осипа Андреича Кочьки. (*Встаетъ*). Господа, засѣданіе кончено! Теперь за дѣло... (*Кочькѣ*). Не угодно ли вамъ со мною, Осипъ Андреичъ? Мы заѣдемъ къ вамъ, взглянемъ на кухню, а тамъ ко мнѣ потолковать кой о чемъ.

Осипъ Андреевичъ Кочька. Очень хорошо.

Мурашкинъ (*Апенкову и Мутовкину*). Вы, кажется, хотѣли сегодня, господа, ко мнѣ на бостончикъ?

Апенковъ и Мутовкинъ. Съ большимъ удовольствіемъ.

Мурашкинъ. Такъ что-жъ терять золотое времячко? Не угодно ли со мной—я въ четверомѣстной. (*Всѣ гости цѣлуютъ одинъ за другимъ руку у Марьи Никитишны, откланиваются и уходятъ*).

Марья Никитишна. Ну!!! Хорошъ будущій зятекъ!.. Съинтриговалъ противъ насъ!.. Эхъ, если-бъ не семьсотъ душъ!.. Ну, дѣлать нечего!.. А ты, мой другъ, беззавѣтный, тебѣ все равно!..

Касьянъ Гурьевичъ. И, матушка! «Кума съ воза, возу легче!» Ну, что за бѣда!..

Марья Никитишна. Какъ что за бѣда? Да я ужъ всему городу сказала, что генералъ Зоринъ будетъ обѣдать у насъ въ домѣ.

Касьянъ Гурьевичъ. А теперь скажи, что онъ будетъ обѣдать у Осипа Андреича.

Марья Никитишна. Мнѣ ничего, совершенно, ничего! Но мнѣ обидно за тебя, мой другъ. И этотъ дуракъ Кочька! Да чего онъ хочетъ? Къ чему онъ подличаетъ? Что онъ въ службѣ, что-ль?

Касьянъ Гурьевичъ. Полно, матушка Марья Никитишна! Ты знаешь; я за него не заступа, а тутъ онъ вовсе не виноватъ: это общее желаніе всѣхъ дворянъ.

Марья Никитишна (*размышляя*). Впрочемъ... да, да!.. Мы еще увидимъ!.. Такъ и быть! Унижу себя!.. Но только во что бы ни стало, а ужъ эти господа дворяне будутъ съ носомъ!.. Эй! человѣкъ! (*Входитъ слуга*). Готова ли карета?

Слуга. Готова, сударыня.

Марья Никитишна. Прощай, мой другъ!

Касьянъ Гурьевичъ. Да куда ты ѣдешь, Машенька?

Марья Никитишна. Къ Холминой. (*Уходитъ*).

V.

Максимъ Петровичъ Зоринъ.

Двадцать четвертаго мая 1816 года, часу въ восьмомъ утра, надъ городомъ Бабковымъ блистало весеннее солнце во всей красотѣ своей. Окружныя рощи и поля оглашались пѣньемъ беззаботныхъ птичекъ; онѣ купались и ныряли въ тепловато-влажномъ воздухѣ, напитанномъ жизнію, вились надъ вершинами зеленѣющихъ деревьевъ или гонялись за пестрыми бабочками, которыя перепархивали съ травки на травку и прятались между цвѣтовъ. Казалось, все въ природѣ наслаждалось самымъ очаровательнымъ майскимъ утромъ. Одни жители города Бабкова не замѣчали, какъ ясны голубыя небеса, какъ чистъ и животворенъ воздухъ, которымъ они дышатъ. Не видѣли, какой радостью и веселъемъ преисполнено все созданіе Божіе: какъ все, отъ полевого цвѣтка до столѣтняго дуба, отъ незамѣтной букашки до ширококрылаго орла, празднуетъ на прощальномъ пиру красавицы-весны и готовится встрѣчать даровитое лѣто, съ его знойными небесами и громовыми тучами. Бабковскимъ жителямъ было не до того: его превосходительство Максимъ Петровичъ Зоринъ изволилъ прибыть въ городъ и принималъ всѣхъ чиновниковъ, дворянъ и первостатейное купечество въ небольшой столовой комнатѣ, въ которой нельзя было пошевелиться отъ ужасной тѣсноты.

Максимъ Петровичъ Зоринъ, съ которымъ вы еще не знакомы, былъ человѣкъ истинно достойный уваженія, честный, справедливый, готовый на всякое доброе дѣло и въ то же время понимающій, что доброе дѣло, тогда только бываетъ добрымъ, когда оно основано на справедливости; что помиловать закоренѣлаго взяточника потому только, что онъ посѣдѣлъ не на службѣ, а на разбоѣ, который онъ называетъ службою, то же самое, что оставить волка въ овчарнѣ или позволить ему выйти вонъ съ честію потому только, что этотъ волкъ давно уже душитъ овецъ. Максимъ Петровичъ всегда жалѣлъ, что нѣтъ закона, которымъ бы предписывалось, для поясненія послужныхъ списковъ, отдавать каждому ясный и подробный отчетъ, на какія деньги куплено имъ благопріобрѣтенное имѣніе, выстроенъ домъ, или изъ чего составился капиталъ, который у него въ оборотѣ. — Во-первыхъ,—говорилъ Максимъ Петровичъ,—любопытно и полезно было бы знать, какіе способы употреблялъ такой-то предсѣдатель, совѣтникъ, городничій или секретарь, чтобъ удесятерить въ нѣсколько лѣтъ свое имѣніе; а во-вторыхъ, и наука бы отъ этого много выиграла: собраніе послужныхъ списковъ составило бы самый полный курсъ политической и частной экономіи. Максимъ Петровичъ, не-

смотря на свою ненависть ко всѣмъ злоупотребленіямъ, былъ иногда очень снисходителенъ къ *маленькимъ* воришкамъ, но зато ужъ *большимъ* не было отъ него никакой пощады: въ этомъ случаѣ онъ придерживался русской пословицы: «не гонись за простымъ воромъ, а лови атамана». Максимъ Петровичъ былъ очень простъ въ обращеніи, и терпѣть не могъ торжественныхъ встрѣчъ, торжественныхъ обѣдовъ, а пуще всего торжественныхъ рѣчей.

Я описалъ вамъ всѣ хорошія качества Зорина; теперь надобно сказать нѣсколько словъ объ его недостаткахъ: онъ былъ вспыльчивъ и чрезвычайно недовѣрчиваго характера. Иногда самое обыкновенное слово казалось ему двусмысленнымъ, и, можетъ-быть отъ излишней неувѣренности въ самомъ себѣ, онъ готовъ былъ видѣть насмѣшку тамъ, гдѣ ея вовсе не было. Эта раздражительность характера и совершенная неспособность отшучиваться надѣлали ему много хлопотъ и непріятностей, когда онъ служилъ еще гусарскимъ корнетомъ и стоялъ въ Виленской губерніи. Надобно вамъ сказать, что Максимъ Петровичъ, какъ и всѣ добродушные люди, чрезвычайно любилъ дѣтей; случилось ему однажды взять на руки трехлѣтняго сына своей хозяйки; онъ такъ долго нянчился съ нимъ по комнатѣ, что одинъ изъ офицеровъ назвалъ его шутя: «нѣжною матерью». Эта нѣжная мать, съ огромнѣйшими черными усами, показалась очень забавною другимъ офицерамъ: они стали смѣяться, Максимъ Петровичъ началъ сердиться; они, какъ водится, принялись смѣяться еще болѣе; Максимъ Петровичъ взбѣленился — и дѣло окончилось тѣмъ, что весь полкъ сталъ называть его «нѣжною матерью». Бывало, только и слышно: «кому идти завтра въ караулъ?»—Нѣжной матери! — «Кого распекъ сегодня полковой командиръ!»—Нѣжную мать!.. Максимъ Петровичъ выходилъ изъ себя, ссорился и даже стрѣлялся — все было напрасно. Нигдѣ эти прозванія не прививаются такъ легко къ собственнымъ именамъ, какъ у насъ въ Россіи; въ старину это бывало сплошь — загляните только въ родословную книгу, и вы сейчасъ увидите сотни прозваній, одно другого глупѣе: вотъ, напримѣръ, хоть въ родѣ Засѣкиныхъ: «Князь Юрій Сорока - Хромой, князь Михайло Черный Совка»—или въ родѣ Шаховскихъ: «Князь Василій Хапала, князь Семенъ Харя, князь Матвѣй Бабушка». Зоринъ рѣшился, наконецъ, отправиться на Кавказъ, служилъ отлично и возвратился назадъ въ Россію генераломъ. Разумѣется, когда онъ сталъ занимать важныя мѣста, его ужъ никто не смѣлъ называть въ глаза «нѣжною матерью», но заочно ему давали еще это прозваніе, болѣе для того, чтобъ отличать его отъ другихъ Зориныхъ, которые также служили генералами.

Теперь я снова прошу васъ, любезные читатели, послѣдовать за мною въ домъ Касьяна Гурьевича Костоломова. Хозяина не было дома, онъ показывалъ генералу Зорину всѣ городскія заведенія и дѣлалъ вмѣстѣ съ нимъ визиты дворянамъ, которыхъ Максимъ Петровичъ принималъ у себя рано по-утру. Въ числѣ ихъ былъ также и князь Чухаловъ; бѣдняжка выѣхалъ черезъ силу, но когда Максимъ Петровичъ назвалъ его при всѣхъ «mon cher cousin», то онъ въ ту же минуту выздоровѣлъ. Марья Никитишна одѣвалась у себя въ уборной, а Варенька сидѣла за пяльцами въ гостиной и вышивала по кисеѣ охотника съ ружьемъ и лягавою собакой. Вдругъ двери отворились, и молодой человѣкъ высокаго роста, съ прекраснымъ смуглымъ лицомъ, вошелъ въ комнату. Варенька вспыхнула.— Извините! — сказалъ молодой человѣкъ, у котораго также заигралъ на щекахъ румянецъ: — мнѣ нужно поговорить съ Марьей Никитишною.

— Она сейчасъ выйдетъ,—прошептала Варенька, опустивъ голову почти до самыхъ пялецъ.

Холминъ—это былъ онъ—остановился какъ вкопанный на одномъ мѣстѣ, взялъ свою шляпу изъ лѣвой руки въ правую, потомъ изъ правой въ лѣвую, сдѣлалъ нѣсколько шаговъ впередъ, вынулъ платокъ, положилъ его опять въ карманъ и, наконецъ, подошелъ къ пяльцамъ.

Между тѣмъ Варенька продолжала работать чрезвычайно прилежно, но, кажется, безъ большого вниманія, потому что вышивала незабудку на самомъ носу у лягавой собаки.

— Что вы это изволите дѣлать?—спросилъ Холминъ.

— Кисетъ для папеньки!

— Какъ давно я не имѣлъ удовольствія васъ видѣть!

— Да-съ!

— Вы были на балѣ у Алексѣя Андреевича Чернобылина?

— Да-съ!

— А мнѣ никакъ нельзя было пріѣхать; я долженъ былъ провести этотъ вечеръ у Ивана Ѳедоровича...

— Мушкина? И, вѣрно, вамъ было очень весело?

— О, нѣтъ!.. Мнѣ такъ хотѣлось быть на этомъ балѣ!

Варенька взглянула съ удивленіемъ на Холмина и сказала вполголоса:

— На этомъ балѣ? Но, вѣдь, ея тамъ не было.

— Ея?.. О комъ вы говорите?

— О вашей невѣстѣ?

— О моей невѣстѣ?

— Вы напрасно скрываете, Иванъ Алексѣевичъ; вѣдь, это всѣ знаютъ. Вы помолвены съ Марьей Ивановною Мушкиной.

— Кто?.. Я?.. Помилуйте!.. Да она выходитъ замужъ за крестнаго сына моей матушки.

Розовыя щеки Варенькн сдѣлались бѣлѣе кисеи, по которой она вышивала.

Вы видите теперь, любезные читатели, что Марья Никитишна не солгала. Говоря о помолвкѣ казначейской дочери, она не назвала жениха ея по имени, а только къ словамъ: «сынъ старушки Холминой» забыла прибавить «крестный».

— И вы могли подумать! — продолжалъ Холминъ, — вы повѣрили!.. Мнѣ жениться— мнѣ?.. Никогда! О, если-бъ могло сбыться то, о чемъ я и мечтать безъ трепета не смѣю... если-бъ когда-нибудь...

— Вотъ и маменька!—вскричала Варенька, отталкивая пяльцы. Она побѣжала навстрѣчу къ матери.

— Что это значитъ, сударыня?—шепнула Марья Никитишна:—давно ли вы начали принимать гостей? Ступайте въ свою горницу! Здравствуйте Иванъ Алексѣичъ!—продолжала она, обращаясь съ вѣжливой улыбкою къ Холмину.—Прошу покорно садиться!

Холминъ сѣлъ на канапэ подлѣ хозяйкѣ, и между ними начался слѣдующій разговоръ.

Холминъ. Я пріѣхалъ вамъ сказать только два слова, Марья Никитишна. Вы вчера изволили говорить матушкѣ...

Марья Никитишна. Объ этомъ обѣдѣ? Признайтесь сами, вѣдь, очень будетъ странно, если его превосходительство...

Холминъ. Разумѣется! Я изъяснилъ это Максиму Петровичу — и онъ ужъ сказалъ дворянскому предводителю, что гораздо приличнѣе дать этотъ обѣдъ въ домѣ начальника города, чѣмъ у частнаго человѣка, съ которымъ онъ не имѣетъ даже удовольствія быть знакомымъ.

Марья Никитишна. Покорнѣйше благодарю, Иванъ Алексѣевичъ! Вы очень насъ одолжили.

Холминъ. Помилуйте! да это было-бы ни на что непохоже.

Марья Никитишна. Не правда-ли?

Холминъ. Касьянъ Гурьевичъ первое лицо въ нашемъ городѣ; Осипъ Андреичъ чиновнѣе его—это правда, но онъ человѣкъ отставной, и я удивляюсь, какъ пришло въ голову дворянамъ...

Марья Никитишна. Ну, вотъ скажите!..

Холминъ. Кто представитель высшей гражданской власти въ нашемъ городѣ? Надѣюсь— Касьянъ Гурьичъ?..

Марья Никитишна. Разумѣется?

Холминъ. Слѣдовательно, въ его лицѣ было-бы унижено все мѣстное начальство.

Марья Никитишна. Натурально!

Холминъ. Повѣрьте, Марья Никитишна, я почти столько же изъ преданности моей къ Максиму Петровичу, сколько же изъ уваженія къ вамъ, старался предупредить эту неловкость.

Марья Никитишна. Какъ вы добры!

Холминъ. Я только исполнилъ долгъ мой. (*Встаетъ*).

Марья Никитишна. Я не смѣю васъ удерживать! Мое почтеніе вашей матушкѣ.

Холминъ. Покорнѣйше васъ благодарю! (*Цѣлуетъ руку у Марьи Никитишны, раскланивается и уходитъ*).

Марья Никитишна (*глядя вслѣдъ за Холминымъ*). Да онъ препорядочный молодой человѣкъ! Скажите, пожалуйста, почти однодворецъ, а разсуждаетъ такъ солидно и хорошо, какъ будто-бы у него тысяча душъ!.. Вотъ, кажется, и бѣдный человѣкъ, а, вѣдь, умѣлъ же себя образовать!

Чернобылинъ (*входитъ запыхавшись въ комнату*). Здравствуйте, Марья Никитишна! (*подходитъ къ рукѣ*). Здравствуйте! (*Бросается въ кресла*). Уфъ, батюшки!.. Задохся!.. Ну, вотъ, матушка Марья Никитишна! Вышло же по-нашему: обѣдъ у васъ въ домѣ.

Марья Никитишна. Какъ по-нашему? Да, мнѣ кажется, вы были противъ этого?

Чернобылинъ. Помилуйте! Это все напутали дворяне. Очень радъ, очень радъ!.. Такъ вы ужъ позвольте мнѣ у васъ хозяйничать!

Марья Никитишна. Сдѣлайте милость!

Чернобылинъ. Мои повара готовы, а за поваромъ княгини Хайбазовой я послалъ: чудно дѣлаетъ телятину подъ бешамелемъ!.. Ну, Марья Никитишна, что за человѣкъ этотъ Максимъ Петровичъ! Онъ сейчасъ изволилъ быть у меня съ визитомъ,—да, сударыня, да,—вельможа! Истинный вельможа!.. Представьте, какой вышелъ случай: его превосходительство попросилъ чего-нибудь напиться; вы знаете, Марья Никитишна, у меня водицы отличныя—вотъ я и велѣлъ подать брусничной, малиновой, вишневой и смородиной; несутъ на большомъ подносѣ, а жена толкъ меня подъ-бокъ, да и шепчетъ: «Что ты надѣлалъ? Вѣдь, всѣ водицы дрянь, одна вишневая хороша». Такъ меня какъ громомъ и сшибло! Батюшки!.. Ну!!! Осрамлюсь совсѣмъ! Вотъ его превосходительство глядь прямо на брусничную—у меня въ глазахъ потемнѣло!.. Максимъ Петровичъ протянулъ руку—я ни живъ, ни мертвъ!.. А онъ хвать за бутылку... вишневая!!!—Ухъ, такъ и отлегло отъ сердца! Экое счастье, подумаешь— ухватись онъ за другую—ну, матушка, бѣда! Безъ ножа зарѣзалъ!

Марья Никитишна (*улыбаясь*). Скажите, пожалуйста! Подлинно, счастливо! Ну, что, похвалилъ?

Чернобылинъ. Какъ же?—«Что это»,— говоритъ,—«у васъ за водица? Удивительная!..» Потомъ началъ говорить о другомъ... Ну, голова!.. Фу!!!

Марья Никитишна. Такъ онъ въ самомъ дѣлѣ очень уменъ?

Чернобылинъ. Уменъ? Помилуйте! Госу-

дарственный человѣкъ! (*Входитъ Мурашкинъ и Мутовкинъ*).

Марья Никитишна. А, господа! (*Мурашкинъ и Мутовкинъ раскланиваются и, разумѣется, подходятъ къ рукѣ*).

Мутовкинъ. Осипъ Андреевичъ просилъ меня извинить его, что не можетъ у васъ быть сегодня по-утру: онъ очень занятъ съ своимъ капельмейстеромъ.

Муришкинъ. Да! улаживаетъ музыку и передѣлываетъ слова. Ну, Марья Никитишна, обѣдъ у васъ въ домѣ, а воля ваша! гнѣвайтесь или нѣтъ, только въ домѣ Осипа Андреевича было бы гораздо лучше.

Марья Никитишна. Это вы говорите, Пахомъ Пахомычъ, а другіе думаютъ иначе.

Мурашкинъ. Да чего тутъ иначе? Куда вы поставите музыку и пѣвчихъ.

Марья Никитишна. Все будетъ сдѣлано, не безпокойтесь! Во время обѣда музыка и пѣвчіе будутъ въ гостиной.

Мурашкинъ. А гостей-то гдѣ вы будете принимать: въ буфетѣ что ль?

Марья Никитишна. Позвольте ужъ мнѣ, Пахомъ Пахомычъ, знать, что я дѣлаю... Да что объ этомъ говорить, когда Максимъ Петровичъ рѣшилъ самъ!..

Мурашкинъ. Самъ! Да что, Марья Никитишна, вѣдь, я на правду чортъ! Кабы вы вчера не изволили ѣздить къ Матренѣ Савишнѣ Холминой, да не хлопотали объ этомъ...

Марья Никитишна. Кто это вамъ сказалъ?

Мурашкинъ. Яковъ Ѳедоровичъ Апенковъ.

Марья Никитишна. Онъ лжетъ!.. Мы съ нимъ встрѣтились у Матрены Саввишны, но я пріѣзжала только для того, чтобъ узнать о здоровьѣ этой почтенной старушки. Конечно, есть люди, которые не могутъ жить безъ происковъ и сплетенъ; а я не такова, Пахомъ Пахомычъ!.. Я вѣжлива, Пахомъ Пахомычъ, не говорю никому дерзостей; но, вѣдь, это ничего не значитъ: можно быть и мужикомъ, и грубіяномъ, и въ то же время...

Мурашкинъ. Ну, вотъ и прогнѣвались! Я, право, не съ тѣмъ сказалъ—ей-ей не съ тѣмъ!.. А все-таки—воля ваша! Здѣсь нѣтъ никакого простора! Эй, вспомните меня—будетъ катавасія!

Мутовкинъ. (*взглянувъ въ окно*). А вотъ и Касьянъ Гурьичъ пріѣхалъ.

Чернобылинъ. Такъ пойдемте же къ нему въ кабинетъ! (*Мутовкинъ, Чернобылинъ, и Мурашкинъ уходятъ*).

Марья Никитишна. А, господа! Вамъ досадно — не по-вашему сдѣлалось!.. Когда подумаю: что, если-бъ не я?.. Да они моего Касьяна Гурьича въ грязь бы затоптали!.. Ну, вотъ честный человѣкъ, добрая душа, а что толку?.. Эхъ, кабы я была на его мѣстѣ, не то съ было! У меня бы эти дворяне по стрункѣ ходили! (*Входитъ слуга*). Что ты?

Слуга. Касьянъ Гурьичъ приказалъ доложить, что генералъ Зоринъ сейчасъ будетъ.

Марья Никитишна. Генералъ Зоринъ?.. Ахъ, Боже мой! а я еще по-домашнему?.. Эй, дѣвка! Дашка, Дашка!.. (*Убѣгаетъ*).

VI.

Обѣдъ.

Половина третьяго. На крыльцѣ двухъэтажнаго дома Бабковскаго градоначальника стоитъ второй частный приставъ Дергуновъ и двое квартальныхъ надзирателей. Въ сѣняхъ депутаты отъ дворянства, Телушкинъ и Ериковъ; наверху лѣстницы, у самыхъ дверей передней комнаты, Чернобылинъ и Касьянъ Гурьевичъ, прочіе дворяне въ гостиной и столовой; всѣ въ мундирахъ. На площади, передъ домомъ, толпа народа. Цѣпь изъ десяти будочниковъ протянута во всю ширину площади; два городовые сержанта ходятъ взадъ и впередъ вдоль цѣпи и осаживаютъ народъ.

Фабричный (*въ синемъ полукафтанѣ*). Эхъ, народу-то какъ прибываетъ! (*Другому парню въ сѣромъ армякѣ*). Ванюха.

Сѣрый армякъ. Что?

Синій кафтанъ. Глядь-ко! Вонъ и Палата здѣсь!

Сѣрый армякъ. Ой-ли?

Синій кафтанъ. Право такъ! И дядя Филиппъ!.. Вотъ и тетка Аксинья!.. Да что это, братъ Ванюха?.. Что будетъ?

Сѣрый армякъ. А Богъ вѣсть что!

Синій кафтанъ. Да что-жъ народъ-то валитъ?

Сѣрый армякъ. А кто его знаетъ... Чу!.. Вонъ тамъ что-то зашумѣли!

1-й городовой сержантъ (*толкая переднихъ*). Назадъ!

Посадская баба. Ахъ, батюшки!.. Что жъ ты толкаешься?

1-й городовой сержантъ. Ну, ну! Еще заговорила!.. Назадъ!

2-й городовой сержантъ (*подходитъ*). не тронь ея, Архипычъ: кума!.. Стой, небось, Кондратьевна, — стой здѣсь! (*Мѣщанинъ въ фризовой оборванной шинелишкѣ выдается впередъ*). А ты куда лѣзешь?.. Назадъ!

Мѣщанинъ (*указывая на посадскую бабу*). Да коли ей можно, такъ почему-жъ и намъ?..

2-й городовой сержантъ. Вотъ еще сталъ разговаривать? Говорятъ тебѣ — назадъ!.. А ты куда лапотникъ?.. Я тебя, я тебя! (*Подымаетъ палку*).

Мужикъ (*пятясь назадъ*) Батюшка!.. Батюшка!..

1-й городовой сержантъ. То-то батюшка!.. Пошелъ, пошелъ!

Посадская баба (*2-му городовому сер-*

жанту). Сидоръ Ивановичъ! Зачѣмъ это народъ-то все назадъ гонятъ?

2-й городовой сержантъ. Экая ты какая! енералъ поѣдетъ.

Мѣщанинъ. Эва! енералъ! Да развѣ проѣзду-то мало?

1-й городовой сержантъ. Не твое дѣло!

Мѣщанинъ. Ногдась и губернаторъ проѣзжалъ, да еще въ базарный день, а народъ-то не пятили.

Лабазникъ (*пробираясь сквозь толпу*). Пустите-ка ребята!

2-й городовой сержантъ. Куда ты? рожа немытая, а туда же нарохтится впередъ!,. Ну, ну! проваливай! (*Мѣщанинъ высовывается*). Ты опять полѣзъ! Говорятъ тебѣ, назадъ!

Мѣщанинъ (*указывая на посадскую бабу*). Да что-жъ ты ее то не гонишь?.. А?

2-й городовой сержантъ. Ну, поговори еще, поговори!.. Экій неугомонный.

1-й городовой сержантъ. А вотъ, постой! Вотъ, я ему дамъ угомона два, три, такъ онъ у меня... (*Мѣщанинъ прячется за народъ*).

Старикъ (*въ долгополомъ сюртукѣ, оборачиваясь назадъ*). Тише, тише! Что вы прете?.. Фу, ты, батюшки, куда народъ-то глупъ!.. Ну, чего пришли глазѣть?.. Дурачье!

Молодой купчикъ (*обращаясь къ старику*). Осмѣлюсь спросить, батюшка, что это за оказія такая?

Старикъ. Бабковское дворянство даетъ обѣдъ проѣзжему генералу.

Молодой купчикъ. Вотъ что-съ!.. То-есть этому генералу Зоринову?.. Слышали-съ!—А что онъ этакій, съ позволенія сказать, отличительный генералъ... въ кавалеріяхъ?

Старикъ. Да! Есть и кавалеріи.

Молодой купчикъ. Такъ-съ!.. А что, батюшка-съ, по какимъ случаямъ этотъ генералъ пожаловалъ въ нашъ городъ — по командѣ, что-ль, или такъ-съ?

Старикъ (*вполголоса*). Ревизоръ.

Молодой купчикъ. Вотъ что-съ!.. Ревизоръ!.. Что-жъ это, батюшка-съ, относительно коронныхъ мѣстъ?

Старикъ. Да, онъ былъ у насъ сегодня въ уѣздномъ судѣ.

Молодой купчикъ. Въ уѣздномъ судѣ-съ!.. Ну, я думаю, судьи-то и секретарь таво-съ!..

Старикъ. Видали мы!

Молодой купчикъ. Однако жъ, все-таки, батюшка-съ, я думаю, у нихъ на умѣ-то и пять и шесть...

Старикъ. И! Страшенъ гнѣвъ, да милостивъ Богъ! Вѣдь, намъ не впервые!.. (*Позади раздается крикъ: «пади, пади!»*)...

1-й и 2-й городовые сержанты. Посторонись!.. Разступись!.. Посторонись! (*Народъ разступается; 1-й частный приставъ подскакиваетъ на парныхъ дрожкахъ къ крыльцу дома городничаго*).

1-й частный приставъ (*спрыгивая съ дрожекъ*). Его превосходительство изволитъ ѣхать!

Все закипѣло въ домѣ; отъ сѣней до гостиной пробѣжалъ какой-то невнятный ропотъ; онъ проникъ даже до диванной, гдѣ Марья Никитишна суетилась вокругъ стола, уставленнаго вареньемъ и бутылками съ виномъ. Дворяне ухватились за шляпы, начали поправлять галстуки и одергивать мундиры. Второпяхъ много надѣлано было бѣдъ: Чернобылинъ сталъ затягиваться на всѣ пуговицы—двѣ отлетѣли прочь и одна петля лопнула; князь Чухаловъ позабылъ выправить свою косичку, которая исчезла за стоячимъ воротникомъ мундира; у Апенкова распустился галстукъ и поднялся выше ушей, а бѣдный Мутовкинъ совсѣмъ растерялся: ему замѣтилъ исправникъ, что его шпага прицѣплена къ правому боку. Вотъ подъѣхала коляска; въ ней сидѣли Максимъ Петровичъ и Холминъ, оба во фракахъ. Частный приставъ Дергуновъ бросился, смялъ лакея, отворилъ дверцы и хотѣлъ принять Максима Петровича; но его превосходительство выпрыгнулъ изъ коляски и, оборотясь, сказалъ съ примѣтнымъ неудовольствіемъ:—Вы, батюшка, не лакей!—Въ сѣняхъ Телушкинъ и Ериковъ расположились было ввести подъ руки Зорина на лѣстницу, но онъ сказалъ имъ очень сухо:—Позвольте, господа, позвольте! У меня еще ноги ходятъ. И когда у дверей его встрѣтили Касьянъ Гурьевичъ съ Чернобылинымъ, то онъ, поклонясь имъ, проговорилъ почти съ досадою:—Эхъ, господа, къ чему такой парадъ? Помилуйте!—При входѣ Максима Петровича въ гостиную, эта коллекція губернскихъ мундировъ и оффиціально-важныхъ рожъ совсѣмъ его смутила. Что это, господа,—сказалъ онъ,—что вамъ за охота была надѣвать мундиры? Я надѣялся пообѣдать запросто, подружески съ здѣшними дворянами, а вы нарядились, какъ будто бы сегодня табельный день. Тутъ забормотали съ разныхъ сторонъ:—Помилуйте, ваше превосходительство!.. Нашъ долгъ, ваше превосходительство!..обязанность по службѣ... честь, которую вы намъ дѣлаете!..—Одинъ Апенковъ не говорилъ ничего, но зато расчихался такъ, что его вывели вонъ изъ гостиной.

— Здравствуйте, mon cousin! — сказалъ Максимъ Петровичъ, протягивая руку князю Чухалову.—И вы также одѣлись въ мундиръ?

— Батюшка-братецъ!—отвѣчалъ Чухаловъ, наклонивъ такъ низко свою голову, что его косичка выскочила изъ-подъ воротника и стала дыбомъ. — Батюшка-братецъ! Я не менѣе другихъ дворянъ счелъ моей обязанностію...

— Я доложу вашему превосходительству,— подхватилъ Чернобылинъ, закрывая шляпою свою прорванную петлицу, — что здѣшнее дворянство,—если смѣю такъ выразиться— дворянство образованное, и понимаетъ всю важность этого дня...

— Да позволено мнѣ будетъ,—воскликнулъ Мутовкинъ,—сказать вашему превосходительству, чтобы мы такое были, если бъ не умѣли оцѣнить...

— Не угодно ли вашему превосходительству, — прервалъ Чернобылинъ, — закусить чего-нибудь?

Его превосходительство наложилъ руку на завтракъ, и въ нѣсколько минутъ не стало ни сельдей, ни икры, ни балыка, ни вяленыхъ лещей, ни копченаго гуся. Надобно отдать справедливость нашимъ помѣщикамъ: хорошо они ѣдятъ—весьма хорошо! то-есть не то чтобъ чрезвычайно вкусно, но очень плотно и съ большимъ постоянствомъ. Въ деревнѣ частехонько весь день проходитъ въ ѣдѣ, съ маленькими промежутками, которые едва замѣтны—чай, завтракъ, обѣдъ, послѣ обѣда десертъ, то-есть разныя варенья, моченыя и свѣжія яблоки, дыни, арбузы, заливныя, вишни и разныя другія потѣшки, которыя мѣшаютъ желудку дремать и поддерживаютъ его дѣятельность; потомъ опять чай со сливкамн и домашнимъ *папушникомъ*, а тамъ ужинъ, который отличается отъ обѣда только тѣмъ, что послѣ него перестаютъ ѣсть нѣсколько часовъ сряду. Вообще русскій человѣкъ поѣсть любитъ—въ этомъ онъ никакъ не уступитъ англичанину, а французъ съ нимъ не схватывайся.

Эту несомнѣнную истину доказали господа дворяне, когда сѣли за столъ. Они починились немного за супомъ, поманерились за телятиной; но какъ дошло дѣло до аршинныхъ стерлядей, то все вниманіе къ знаменитому гостю исчезло: это лакомое блюдо овладѣло умами всѣхъ пирующихъ; разговоры прекратились, многіе изъ дворянъ совершенно онѣмѣли, а Чернобылинъ погрузился до того въ созерцаніе самой большой стерляди, что отвѣчалъ на вопросы Максима Петровича однѣми вѣжливыми улыбками и почтительнымъ наклоненіемъ головы. Межъ тѣмъ музыка грянула въ гостиной, пѣвчіе завыли какой-то гимнъ, и Осипъ Андреевичъ Кочька расцвѣлъ. Максимъ Петровичъ любилъ музыку, и самъ игралъ недурно на скрипкѣ; но этотъ оркестръ былъ такъ близко, и—вѣроятно, желая отличиться — ревѣлъ съ такимъ ожесточеніемъ, что его превосходительство началъ пожиматься. Пѣвчіе также не жалѣли себя, а особливо дисканты, составленные изъ дворовыхъ дѣвокъ Осипа Андреевича. Эти домашнія примадонны визжали и выводили *верхнія ноты* какими-то отчаянными и голодными голосами, отъ которыхъ волосы дыбомъ становились на головѣ Максима Петровича. Надобно вамъ сказать, что, по распоряженію Осипа Андреевича Кочьки, всѣмъ дискантамъ два дня сряду не давали ѣсть ничего, кромѣ яицъ въ смятку, полагая на каждаго дисканта по два яйца въ сутки. Разумѣется, это дѣлалось для того, чтобъ ихъ голоса были чище; но вы можете себѣ представить какъ имъ весело было пѣть на тощій желудокъ, въ то время, какъ у нихъ подъ носомъ господа трудились около жирной телятины и пожирали аршинныхъ стерлядей.

Когда эта музыкальная буря затихла, Максимъ Петровичъ спросилъ Касьяна Гурьевича, чей оркестръ и пѣвчіе?

— Мои, ваше превосходительство!—сказалъ Кочька, привставая со стула.

— Мнѣ кажется, ваши мѣдные инструменты...

— Слабеньки, ваше превосходительство,— это правда! Сильныхъ амбушуровъ нѣтъ.

— Напротивъ, если бъ они играли не такъ громко...

— Это изъ усердія, ваше превосходительство,—прервалъ Чернобылинъ,—изъ усердія! Такой дорогой и знаменитый гость...

— Покорнѣйше благодарю! Но, право, лучше бы, если бъ они играли потише!

Осипъ Андреевичъ послалъ сказать капельмейстеру, чтобъ оркестръ игралъ *пьяниссимо;* но, видно, слуга перевралъ, потому что музыканты принялись отработывать увертюру изъ *рѣдкой вещи*, форто-фортиссимо. Максимъ Петровичъ началъ хмуриться. Вотъ обѣдъ сталъ приближаться къ концу; розлили шампанское по бокаламъ; всѣ встали—и Мутовкинъ, проговоря: «Да позволено мнѣ будетъ» началъ привѣтственную рѣчь знаменитому гостю. Вся эта торжественность чрезвычайно не нравилась Максиму Петровичу; но когда Мутовкинъ разнѣжился, сталъ хныкать, зарыдалъ, и, наконецъ, горько заплакалъ, то Зоринъ почти вышелъ изъ себя. «Что это за комедія?..»—думалъ онъ.—«Ужъ не хотятъ ли меня дурачить?.. Отчего этотъ господинъ расплакался? Мы другъ друга не знавали... Что за чувствительность такая?.. Это ни на что не походитъ!..» Вотъ Максимъ Петровичъ надулся не на шутку. Бокалы опорожнили, раздался троекратный тушъ и загремѣлъ польскій: «Громъ побѣды раздавайся!»

Какія бываютъ странныя стеченія обстоятельствъ! Пустая, незначащая ошибка, которая бы во всякое другое время насмѣшила и болѣе ничего, получаетъ иногда какую-то необычайную важность отъ постороннихъ обстоятельствъ и сближеній, не имѣющихъ съ нею ничего общаго. Думалъ ли, напримѣръ, Осипъ Андреевичъ Кочька, что поспѣшность, съ которою онъ принаровлялъ къ обстоятельствамъ стихи польскаго: «Громъ побѣды раздавайся», будетъ имѣть такія гибельныя послѣдствія; что одинъ неисправленный стихъ оживитъ въ памяти Максима Петровича са-

мый непріятный случай въ его жизни—и, что всего хуже, покажется ему явной насмѣшкой бабковскихъ дворянъ, которые и безъ того ужъ начинали казаться ему подозрительными. Осипъ Андреевичъ Кочька или самъ не досмотрѣлъ, или переписчики ошиблись, только въ припѣвѣ польскаго второй стихъ остался безъ всякой поправки—и пѣвчіе, по писанному, какъ по сказанному, проревѣли во весь голосъ:

„Славься симъ, Максимъ Петровичъ!
Славься, нѣжная къ намъ мать!“

Зоринъ поблѣднѣлъ: онъ не вѣрилъ ушамъ своимъ; и вотъ опять тотъ же припѣвъ Максима Петровича называютъ *нѣжной матерью*. Изъ блѣднаго онъ сдѣлался пунцовымъ. Никто изъ пирующихъ не замѣтилъ этого несчастнаго стиха, но всѣ видѣли, что съ Зоринымъ дѣлается что-то странное.

— Выкушайте воды, ваше превосходительство!—шепнулъ Касьянъ Гурьевичъ.

— Что вы, батюшка братецъ? — сказалъ Чухаловъ съ испуганнымъ видомъ, — что съ вами?

Зоринъ не могъ выговорить ни слова; губы его дрожали, глаза налились кровью. Въ третій разъ принимались пѣть:

„Славься симъ, Максимъ Петровичъ!
Славься, нѣжная къ намъ мать!“

— Боже мой!—вскричалъ Чернобылинъ,—онъ подавился костью! Доктора! доктора!

Максимъ Петровичъ вскочилъ, оттолкнулъ стулъ и проговорилъ прерывающимся голосомъ! «Господа! Если это шутка, то она очень глупа».

У всѣхъ дворянъ кровь застыла въ жилахъ.

Максимъ Петровичъ схватилъ шляпу, какъ полуумный бросился изъ столовой и сбѣжалъ съ лѣстницы; все это произошло съ такою быстротой, что никто изъ дворянъ не успѣлъ очнуться. Одинъ Касьянъ Гурьевичъ побѣжалъ вслѣдъ за Максимомъ Петровичемъ, повторяя безпрестанно: «Ваше превосходительство, ваше превосходительство!.. Да что такое? Помилуйте!»

Зоринъ не отвѣчалъ ни слова, прыгнулъ въ свою коляску и ускакалъ.

Когда Касьянъ Гурьевичъ воротился въ столовую, то нашелъ всѣхъ дворянъ въ ужасномъ смятеніи: они повыскакали изъ-за стола и шумѣли межъ собой, точь въ точь какъ шумятъ они на губернскихъ съѣздахъ, когда дѣло идетъ о какой-нибудь новой земской повинности, или о дворянской суммѣ, требующей пополненія. Каждый *обсуживалъ* посвоему странный поступокъ Максима Петровича; Чернобылинъ стоялъ въ томъ, что онъ подавился костью.

— Помилуйте, — возражалъ Мутовкинъ,— да что-жъ онъ это называлъ шуткою? Какая чортъ шутка—подавиться костью!

— Эхъ, господа!—кричалъ Пахомъ Пахомычъ, — да развѣ вы не замѣтили, что на него находитъ? Видно, у его превосходительства въ головѣ-то подчасъ и такъ и этакъ!

— Видно что такъ!—шепталъ покашливая Апенковъ.

Вдругъ двери изъ гостиной съ шумомъ растворились, и Марья Никитишна, съ отчаяннымъ лицомъ и растрепанными волосами, вошла въ столовую.

— Покорнѣйше васъ благодарю, Осипъ Андреичъ,—проговорила она, задыхаясь отъ гнѣва, — покорнѣйше благодарю! Да и всѣ дворяне должны благодарить васъ!.. Что вы съ нами сдѣлали?..

Всѣ взоры устремились на Кочьку, который стоялъ какъ вкопанный на одномъ мѣстѣ.

— Вы злой, ехидный человѣкъ!

— Я? — пробормоталъ Кочька, глядя съ удивленіемъ на Марью Никитишну.

— Да, вы! Вамъ не удалось поставить на своемъ, такъ вы хотѣли отомстить намъ — и какимъ низкимъ образомъ!

— Помилуйте! Я васъ не понимаю, то-есть не могу постигнуть...

— Да не вы ли взялись передѣлать стихи въ польскомъ?

— И сошлюсь на всѣхъ: они передѣланы прекрасно.

— Прекрасно! А что пѣли сейчасъ?

— Да, да!—закричалъ Чернобылинъ,—что пѣли?

— Помилуйте! Я была въ диванной, а все слышала,—со мной сдѣлалось дурно,—я чуть не умерла отъ стыда!

— Да что-жъ такое пѣли? — спросилъ Касьянъ Гурьевичъ.

— Такъ, ничего!

„Славься симъ, Максимъ Петровичъ!
Славься, нѣжная къ намъ мать!“

— Что вы говорите,—прервалъ Чернобылинъ, всплеснувъ руками.

— Ай-да Осипъ Андреичъ!—заревѣлъ Пахомъ Пахомычъ. — Ну, батюшка, послужили дворянамъ! Вотъ, Марья Никитишна, не говорилъ ли я вамъ, что будетъ катавасія!

— Ахъ, Боже мой! да могла ли я подумать!.. Такое подлое мщеніе!

— Да, это подло! низко!.. скверный поступокъ!..—заговорили всѣ дворяне.

— Клянусь вамъ честью, господа!..—воскликнулъ Кочька.

— Что это за честь!—зашумѣли со всѣхъ сторонъ.—Неблагородный поступокъ!.. Окончфузить все общество!.. Осрамить свою братію, дворянъ!..

— Что мы будемъ теперь дѣлать? — сказала сквозь слезы Костоломова.

— Не безпокойтесь, Марья Никитишна!— прервалъ Холминъ. — Я поѣду къ Максиму Петровичу и изъясню ему, отчего произошла эта ошибка. Онъ вспыльчивъ, но добръ, и

сейчасъ пойметъ, что съ вашей стороны не было тутъ никакого намѣренія.

— О, ужъ конечно нѣтъ! Но Осипъ Андреевичъ, котораго я прошу оставить нашъ домъ...

— Марья Никитишна! — прервалъ Кочька,—повѣрьте мнѣ...

— Увольте отъ объясненій! Я знаю: если бъ обѣдъ былъ въ вашемъ домѣ, то этого бы не случилось.

— И я той же вѣры!—подхватилъ Пахомъ Пахомычъ.—Да что нынѣшніе молодые люди! Отъ нихъ всего жди!

— Сдѣлайте милость, Иванъ Алексѣичъ,— сказалъ Чернобылинъ, — оправдайте насъ передъ его превосходительствомъ.

— Будьте спокойны! Я васъ увѣряю, что все кончится смѣхомъ.

Холминъ уѣхалъ; всѣ дворяне стали разъѣзжаться; Осипъ Андреичъ также долженъ былъ уѣхать. Марья Никитишна не хотѣла слышать никакихъ оправданій и велѣла прогнать его артистовъ. Дисканты очень этому обрадовались; они надѣялись, что имъ, вмѣсто яицъ, дадутъ, наконецъ, покушать щей и гречневой каши; но бѣдные ошиблись: разгнѣванный баринъ велѣлъ ихъ выдержать еще цѣлыя сутки на строгой діетѣ за то, что они пѣли такъ, какъ было у нихъ написано подъ нотами. Вотъ этакъ-то частенько бываетъ на бѣломъ свѣтѣ: большой баринъ сдѣлаетъ глупость, а маленькому человѣку за нее достанется. Послушаешься — бѣда, не послушаешься — другая. Правду говорятъ малороссіяне: «И. перевернишься бьютъ, и не довернишься—бьютъ». Ну, да что объ этомъ толковать—не нами свѣтъ начался, не нами и кончится.

Заключеніе.

Вечеромъ Холминъ пріѣхалъ успокоить Костоломовыхъ; онъ сказалъ имъ, что Максимъ Петровичъ будетъ у нихъ самъ, на другой день по-утру, поблагодарить за угощеніе и увѣрить, что онъ нимало на нихъ не досадуетъ. Иванъ Алексѣевичъ изъяснилъ имъ также, почему Зоринъ такъ обидѣлся названіемъ «нѣжной матери» и принялъ за насмѣшку совершенно неумышленную ошибку пѣвчихъ. На этотъ разъ Холминъ понравился еще болѣе Марьѣ Никитишнѣ; говоря съ нимъ, она почти забыла, что онъ отставной поручикъ и человѣкъ небогатый. Осипъ Андреевичъ Кочька пріѣзжалъ также къ Костоломовымъ, но Марья Никитишна велѣла ему отказать. Да что жъ ты въ самомъ дѣлѣ,— сказалъ Касьянъ Гурьевичъ,—не хочешь выслушать его оправданія. Вѣдь, безъ суда никого не наказываютъ.

— Я видѣть его не могу,—отвѣчала Марья Никитишна.—Интриганъ!.. Рѣшиться на такой скверный поступокъ!

— Эхъ, матушка! Да развѣ онъ не могъ просмотрѣть и ошибиться безъ всякаго намѣренія...

— Онъ? Да я готова голову прозакладывать — все это было обдумано; онъ хотѣлъ непремѣнно осрамить насъ!.. И этотъ человѣкъ чуть-было не попалъ въ наше семейство!

— Такъ ты ужъ не хочешь выдать за него Вареньку?

— Помилуй, Касьянушка!.. Да пара ли онъ нашей дочери!.. Я не знаю, что у меня было за ослѣпленіе такое!.. а все ты, мой другъ!

— Какъ, я!..

— Ну, конечно! Только, бывало, и твердишь: смирный человѣкъ, хорошій человѣкъ!..

— Да развѣ я не говорилъ тебѣ...

— Полно, полно, Касьянушка! Ты совсѣмъ было меня сбилъ!

— Марья Никитишна, побойся Бога!

— Ну, что, не правда, что ль! Ты мнѣ уши прожужжалъ о его добродѣтеляхъ; и человѣкъ-то онъ аккуратный, и поведенія прекраснаго. Прекраснаго!.. Поди-ка спроси у Маргариты Саввишны, да у Матрены Карповны, такъ онѣ тебѣ поразскажутъ.

— Да когда же я хотѣлъ, чтобъ онъ...

— Ужъ нечего, нечего! Признайся, мой другъ: ты въ этомъ много виноватъ!

— Ну, матушка, пожалуй, быть по-твоему; безъ вины виноватъ!

— Да, да, безъ вины! Охъ, ужъ эти мужья—вѣчно правы!

На другой день, часу въ одиннадцатомъ утра, Максимъ Петровичъ пріѣхалъ къ Костоломовымъ.

— Мнѣ очень передъ вами совѣстно,— сказалъ онъ, садясь на канапе подлѣ хозяйки,—и очень досадно на самого себя; но что прикажете дѣлать? У меня ужъ такой несчастный характеръ! Богъ знаетъ, что иногда придетъ мнѣ въ голову. Впрочемъ, согласитесь, Марья Никитишна, что если мнѣ не за что было сердиться, то, по крайней мѣрѣ, хохотать я имѣлъ полное право. Скажите, пожалуйста, кому пришла въ голову эта несчастная мысль?

— Ужъ, конечно, не намъ, — прервала Марья Никитишна.—Это все надѣлалъ Осипъ Андреевичъ Кочька—это такой скверный человѣкъ, такой интриганъ...

— А я такъ думаю, ваше превосходительство,—сказалъ Касьянъ Гурьевичъ,—что это просто ошибка, и если вы не изволите на насъ гнѣваться...

— И, полноте,—подхватилъ Максимъ Петровичъ,—я не могу простить себѣ вчерашней глупости, а сверхъ того, мнѣ вовсе теперь не къ лицу сердиться: вѣдь, я пріѣхалъ къ вамъ просителемъ.

— Просителемъ! — повторила съ удивленіемъ Марья Никитишна.

— Да!—продолжалъ Максимъ Петровичъ:— я пріѣхалъ просить васъ за одного молодого человѣка, котораго люблю какъ роднаго

сына, и котораго отецъ былъ нѣкогда моимъ начальникомъ, другомъ и благодѣтелемъ. Драгунскимъ полкомъ, въ которомъ я служилъ на Кавказѣ, командовалъ Алексѣй Дмитріевичъ Холминъ; его сынъ влюбленъ въ вашу дочь—и если вы согласитесь принять его въ ваше семейство, то я ручаюсь, что дочь ваша будетъ счастлива.

Это неожиданное предложеніе до того изумило Марью Никитишну и Касьяна Гурьевича, что они оба не отвѣчали ни слова.

— Я сдѣлался сватомъ моего бывшаго адъютанта, — продолжалъ Максимъ Петровичъ, — а теперь позвольте узнать: могу ли я надѣяться, что буду на его помолвкѣ посаженымъ отцомъ?

— Что касается до меня,—сказалъ Касьянъ Гурьевичъ, — такъ я не прочь: онъ малый хорошій.

— Итакъ, Марья Никитишна, все зависитъ отъ васъ.

— И отъ Вареньки, Максимъ Петровичъ.

— Ее-то мы какъ-нибудь умилостивимъ: было бы только ваше согласіе.

— Я, конечно, ничего не могу сказать противъ Ивана Алексѣича, — проговорила Марья Никитишна;—онъ очень умный и любезный молодой человѣкъ, прекрасный сынъ, и, вѣроятно, будетъ хорошимъ мужемъ, но мы не въ состояніи дать много за Варенькой, онъ также человѣкъ небогатый...

— Небогатый, — повторилъ Максимъ Петровичъ:—полно, такъ ли?

— Помилуйте! Да какъ же намъ не знать!

— Такъ вы никогда не слыхали, что у него есть въ Петербургѣ родной дядя.

— Никогда.

— Слѣдовательно, не знаете, что у этого дяди восемьсотъ душъ.

— Въ самомъ дѣлѣ!.. И наслѣдникомъ его...

— Иванъ Алексѣевичъ Холминъ.

— Такъ поэтому онъ богаче Осипа Андреича Кочьки? — вскричалъ невольно Касьянъ Гурьевичъ.

— Да, конечно, — прервала Марья Никитишна:—дядюшка его богаче Осипа Андреевича; но, вѣдь, иногда дяди бываютъ почти не старѣе своихъ племянниковъ.

— Этотъ, однако-жъ, гораздо старѣе: ему восемьдесятъ четыре года.

Марья Никитишна улыбнулась очень весело.

— Ну, что,—продолжалъ Максимъ Петровичъ:—не ударить ли по рукамъ?

— Я, право, не знаю, что вамъ отвѣчать,—шепнула Костоломова. — Если бы вы дали намъ время подумать...

— Охотно бы, но, право, не могу: я долженъ послѣ завтра ѣхать.

— А безъ вашего превосходительства,— сказалъ Костоломовъ,—и помолвка будетъ не въ помолвку.

— Разумѣется! По крайней мѣрѣ, мнѣ очень будетъ грустно, если не я благословлю образомъ моего добраго Холмина.

— Но такая поспѣшность! и въ такомъ важномъ дѣлѣ...

— Да полно, жена, манериться! — закричалъ Костоломовъ: — что, въ самомъ дѣлѣ! Какого еще намъ жениха! Да если пошло на то, такъ я все выскажу: вѣдь, Варенька-то его любитъ.

— Что ты, что ты, мой другъ!

— Ну, да!.. Вотъ, вѣдь, отчего мнѣ и не хотѣлось...

— Касьянъ Гурьичъ, что вы!

— Марья Никитишна!—шепнулъ Зоринъ,— неужели и послѣ этого...

— Дѣлать нечего, — сказала съ улыбкою Костоломова: — когда мужъ приказываетъ, жена должна повиноваться.

На другой день былъ опять обѣдъ у Касьяна Гурьевича, но только безъ музыки и пѣвчихъ. Холминъ и Варенька сидѣли рядомъ; всѣ дворяне съ своими супругами пили за здоровье помолвленныхъ. Зоринъ былъ чрезвычайно веселъ; князь Чухаловъ также, потому что *батюшка братецъ* расхвалилъ его французскій табакъ. Чернобылинъ ѣлъ за троихъ. Мутовкинъ сбирался сказать за десертомъ поздравительную рѣчь жениху и невѣстѣ. Къ концу обѣда всѣ порядкомъ развеселились, начали пить здоровье присутствующихъ и отсутствующихъ, и пробки летали поминутно въ потолокъ.

— А что?—сказалъ Чернобылинъ Якову Ѳедоровичу Апенкову: — вѣдь, точно, парочка! Женихъ молодецъ, невѣста красавица... То-то будутъ жить да поживать припѣваючи!

Апенковъ вмѣсто отвѣта чихнулъ.

— Вотъ спасибо, Яковъ Ѳедорычъ!—заревѣлъ Пахомъ Пахомычъ, подымая кверху свой бокалъ:—въ первый разъ чихнулъ кстати! Славная примѣта!.. За здоровье жениха и невѣсты—ура!

ТОСКА ПО РОДИНѢ.

Что-бъ ни сулило вамъ воображенье ваше,
Не вѣрьте, той земли не сыщете вы краше,
Гдѣ ваша мила, иль гдѣ живетъ вашъ другъ.

Крыловъ.

I.

Петербургъ не избалованъ хорошею погодою, но на этотъ разъ время было прекрасное: чистое небо; теплый воздухъ и свѣтлое солнце, которое пекло точно такъ же, какъ оно печетъ и жаритъ народъ Божій и въ Римѣ, и въ Неаполѣ, и въ Тегеранѣ, и даже на *благословенныхъ* берегахъ Гангеса, гдѣ подлинно былъ бы рай земной, еслибъ днемъ можно было не задыхаться отъ жару, а ночью спать не опасаясь, что какой-нибудь стоножникъ, скорпіонъ или ядовитый клопъ помѣшаютъ вамъ на другой день проснуться. Это было въ маѣ мѣсяцѣ, въ тысяча... въ тысяча... Нѣтъ! рѣшительно не помню, въ которомъ году; но если скажу, что тогда существовала еще деревянная церковь Казанской Божіей Матери, и красноватыя стѣны Адмиралтейства до половины были закрыты земляным валомъ, то, вѣроятно, мои читатели догадаются, что это было не вчера.

Вотъ этакъ, часу въ шестомъ послѣ обѣда, когда сильный зной сталъ примѣтнымъ образомъ уменьшаться, отъ Гагаринской пристани отчалилъ шестивесельный катеръ. Въ катерѣ сидѣло двое молодыхъ людей: одинъ въ синемъ однобортномъ сюртукѣ, другой въ морскомъ вицъ-мундирѣ; первый—вашъ покорнѣйшій слуга, а второй—пріятель мой, балтійскаго флота лейтенантъ Иванъ Алексѣевичъ Бурминъ. Если вы рѣшились прочесть до конца этотъ истинный разсказъ, то вамъ непремѣнно надобно познакомиться короче съ молодымъ человѣкомъ въ синемъ сюртукѣ, то-есть со мною.

Меня зовутъ Владиміромъ Сергѣевичемъ Завольскимъ; я отставной гвардіи штабсъ-капитанъ; мнѣ двадцать восемь лѣтъ; у меня ужъ давно нѣтъ ни отца, ни матери; полторы тысячи душъ, которыя мнѣ послѣ нихъ достались, я продалъ для того, чтобъ получать безъ всякихъ хлопотъ тридцать тысячъ въ годъ вѣрнаго дохода, то-есть у меня шестьсотъ тысячъ рублей лежитъ въ Опекунскомъ Совѣтѣ. Говорятъ, будто бы я не дуракъ; есть даже люди, которые увѣряютъ, что я уменъ; но я плохо имъ вѣрю; я такъ много дѣлалъ глупостей въ жизни! — Наружность моя... вотъ тутъ я ужъ не знаю, что и сказать! Самому себя хвалить стыдно, а не похвалить—нельзя. Представьте себѣ... ильнѣтъ! позвольте лучше повторить слова двухъ дамъ, изъ которыхъ первая, говоря обо мнѣ съ пріятелемъ моимъ Бурминымъ, сказала: «Надобно признаться, этотъ Завольскій весьма красивый и видный мужчина; у него такой благородный видъ, такая прекрасная манера! Жаль только, что этотъ молодой человѣкъ такъ задумчивъ и разсѣянъ. Ну, повѣрите ли? онъ никогда не помнитъ козырей, когда играетъ со мною въ бостонъ!»—Другая барыня, помоложе первой, также при Бурминѣ, говорила вполголоса своей пріятельницѣ: «Какъ хорошъ этотъ Завольскій! Какое выразительное лицо, какіе огненные голубые глаза, какая милая улыбка! Какъ жаль, что онъ не любитъ танцовать; а если танцуетъ, то ужъ вѣрно перепутаетъ всѣ фигуры».

Одна чистая похвала, безъ всякой примѣси злословія, всегда намъ кажется подозрительною; но я надѣюсь, что читатели не назовутъ этихъ похвалъ безусловными; и слѣдовательно повѣрятъ, что я, точно, молодой человѣкъ весьма пріятной наружности. Главною чертою моего характера была какая-то мечтательность, которая всегда мѣшала мнѣ наслаждаться спокойно настоящимъ; я строилъ безпрестанно воздушные замки, одинъ другого прекраснѣе; я видѣлъ себя счастливымъ только въ будущемъ; мнѣ было весело только тамъ, гдѣ я еще не былъ; однимъ словомъ, никто не напоминалъ такъ часто, какъ я, русскую пословицу: «тамъ хорошо, гдѣ насъ нѣтъ». Однажды, смотря оперу «Князь Невидимка», я до того плѣнился декораціей, которая представляетъ

замокъ черныхъ рыцарей, что началъ бредить средними вѣками.—Боже мой!..—думалъ я,—какъ прекрасны эти огромныя башни съ узенькими окнами, эти подъемные мосты, опускныя желѣзныя рѣшетки! Сколько поэзіи въ этой полуразбойничьей жизни феодальныхъ бароновъ Германіи! Ѣду на Рейнъ! Поживу хоть нѣсколько мѣсяцевъ въ одномъ изъ рыцарскихъ замковъ, которыми унизаны его берега!—Съ деньгами все возможно: я отправился, пріѣхалъ, разочаровался, и чрезъ мѣсяцъ поскакалъ назадъ въ Петербургъ съ твердымъ намѣреніемъ ѣхать на востокъ, чтобъ полюбоваться этимъ роскошнымъ Кашемиромъ, въ которомъ круглый годъ цвѣтутъ розы и царствуетъ вѣчная весна.

Ну, вотъ мы съ вами и познакомились, любезные читатели; только не забудьте, что вы знаете не теперешняго Владиміра Завольскаго, который носитъ парикъ, фланелевую фуфайку и плисовые сапоги... нѣтъ! этотъ старикъ ужъ не мечтаетъ, не строитъ воздушныхъ замковъ, а любитъ поговорить, поразсказать о быломъ и очень будетъ радъ, если не усыпитъ васъ своей болтовнею. Теперь, кажется, мы можемъ выѣхать изъ Гагаринской пристани.

— Куда прикажете, ваше благородіе?— спросилъ рулевой, обращаясь къ Бурмину.

— На Крестовскій! Да смотри, держись фарватера: я берегомъ плыть не люблю.

Всѣ шесть гребцовъ, разомъ какъ одинъ, припали впередъ, понатужились, зачерпнули, вода хлынула съ веселъ, закипѣла подъ катеромъ, и онъ вылетѣлъ на средину рѣки. Если вы бывали лѣтомъ въ Петербургѣ, то, безъ всякаго сомнѣнія, переѣзжали черезъ Неву, и слѣдовательно любовались, дивились и даже приходили въ восторгъ, смотря на эту огромную панораму широкой Невы, съ ея гранитными берегами и великолѣпными палатами.

— Каковъ, братецъ, видъ?—сказалъ Бурминъ, когда мы выѣхали на средину рѣки.— Фу ты, батюшки! Куда ни обернись, вотъ такъ глаза и разбѣгаются... — Тише, ребята!..—Тише, не торопись! — Вотъ, говорятъ, можно ко всему приглядѣться — неправда! — Мнѣ кажется, я въ сотый разъ любуюсь этимъ видомъ.

— Полно, Бурминъ!—сказалъ я,—ну что тутъ диковиннаго?—Вотъ еслибъ мы были въ Венеціи...

— Я знаю Венецію, мой другъ! и могу тебя увѣрить, ты не увидишь тамъ ничего, что было бы такъ живописно и такъ грандіозно, какъ то, что теперь у насъ передъ глазами.

— Да что у насъ передъ глазами? Рѣка какъ рѣка, дома какъ дома; все это пошло, обыкновенно и все мнѣ до смерти надоѣло. Какъ я радъ, что скоро отсюда уѣду!

— А ты рѣшительно ѣдешь?

— Завтра, чѣмъ свѣтъ. Да, мой другъ! скорѣй, скорѣй изъ этого чопорнаго, холоднаго Петербурга! Я увѣренъ, старушка Москва будетъ для меня гораздо сноснѣе.

— А ты ѣдешь на житье въ Москву?

— О нѣтъ, мой другъ! Она будетъ для меня только перепутьемъ.

— Да, бишь! Совсѣмъ забылъ: ты отправляешься на востокъ.

— Нѣтъ, мой другъ, на западъ.

— Какъ такъ! Давно ли? А Кашемиръ?

— Я передумалъ.

— Куда же ты ѣдешь?

— Въ Испанію. Я не знаю ни одного восточнаго языка, а вѣчно таскать съ собою переводчика — скучно. Чтобъ прочесть въ подлинникѣ Донъ-Кихота, я выучился испанскому языку, и могу безъ труда на немъ изъясниться. Къ тому-жъ, Испанія будетъ для меня точно такой же новой землею, какъ Персія, Индія, Китай, и я, не выѣзжая изъ Европы, увижу тьму вещей, о которыхъ не имѣю понятія. А какой климатъ, мой другъ! Какія женщины!.. А эти развалины мавританскихъ замковъ! Эти померанцевыя рощи! Эта Сіерра-Морена, увѣнчанная розмариномъ!.. О, я увѣренъ, Испанія будетъ для меня обѣтованной землею; и почему знать? быть можетъ, я навсегда тамъ останусь.

— Что ты говоришь, Владиміръ? — вскричалъ Бурминъ. — Ты хочешь навсегда покинуть свою родину?

— Я не говорю этого утвердительно; но, впрочемъ, почему же и не такъ? И что можетъ меня удержать въ Россіи? Я сирота, близкихъ родныхъ у меня нѣтъ; есть нѣсколько добрыхъ пріятелей — да развѣ я живу вмѣстѣ съ ними? Вотъ ты, напримѣръ, когда я жилъ безвыѣздно въ Петербургѣ, ты служилъ въ черноморскомъ флотѣ, теперь ты здѣсь—такъ я отсюда уѣзжаю, и Богъ вѣсть, когда мы опять съ тобою встрѣтимся! Я продалъ все мое наслѣдственное имѣнье; заботиться мнѣ не о чемъ: у меня тридцать тысячъ въ годъ вѣрнаго дохода. Съ этимъ жить можно вездѣ хорошо,—исключая Англіи, въ которой платятъ за скуку въ десять разъ дороже, чѣмъ у насъ въ Россіи, гдѣ она ни почемъ. Да кто велитъ мнѣ ѣхать въ Англію? По моему, если тратить деньги, такъ ужъ тамъ, гдѣ мнѣ будетъ весело или, по крайней мѣрѣ, тепло.

— Гдѣ жъ ты будешь жить? въ Мадридѣ?

— Избави, Господи! Мнѣ всѣ большіе города до того надоѣли, что я скорѣй согласишусь жить въ какой-нибудь Барабинской степи, чѣмъ въ столичномъ городѣ. Нѣтъ, мой другъ! я проберусь въ Андалузію.

— Вотъ что? — Ты будешь жить въ Севильѣ или Гренадѣ?

— Помилуй, что за радость!.. Севилья—

столица Андалузіи, Гренада была также когда-то столицею мавровъ; и я ужъ тебѣ сказалъ, что терпѣть не могу большихъ городовъ.

— Да неужели ты ѣдешь въ чужіе края для того, чтобъ жить въ деревнѣ?

— А вотъ послушай, Бурминъ: на этихъ дняхъ я обѣдалъ съ однимъ англичаниномъ, который объѣздилъ всю Испанію; вотъ что онъ мнѣ разсказывалъ: недалеко отъ Гренады, на самомъ берегу моря, есть небольшой городокъ Алмерія. Ты, конечно, знаешь, что, по мнѣнію древнихъ поэтовъ, знаменитые сады Гесперидскіе были въ нынѣшней Андалузіи. Если вѣрить англичанину, то эти сады, съ своими золотыми яблоками и вѣчной зеленью, до сихъ поръ еще окружаютъ счастливую Алмерію. Никакая волшебная сказка изъ «Тысяча одной ночи» не можетъ дать понятія объ этой роскошной природѣ, объ этомъ ароматическомъ, благорастворенномъ воздухѣ и неизъяснимой красотѣ этихъ вѣчно-цвѣтущихъ померанцевыхъ рощей. Когда подъѣзжаешь къ Алмеріи, то кажется, какъ будто бы она тонетъ посреди зелени своихъ обширныхъ садовъ. Каждую ночь морской вѣтеръ освѣжаетъ воздухъ. Въ каникулы, когда въ Гренадѣ задыхаются отъ жару и днемъ не смѣютъ выходить на улицу, въ Алмеріи дышатъ прохладою и сидятъ на открытомъ воздухѣ. Небольшая, но красивая рѣка течетъ городомъ, и нѣсколько ручьевъ, чистыхъ, какъ хрусталь, холодныхъ, какъ ледъ, вьются по лугамъ и рощамъ; потомъ, прокрадываясь садами, вливаются шумными каскадами въ рѣку, и даже во многихъ мѣстахъ журчатъ подъ окнами домовъ. Джонъ-Буль, который мнѣ все это разсказывалъ, не могъ нахвалиться ласковымъ обхожденіемъ жителей Алмеріи, въ которой онъ пробылъ недѣли три. Онъ говоритъ, что въ жизнь свою не встрѣчалъ нигдѣ такихъ радушныхъ и гостепріимныхъ людей; а женщины... О, мой другъ! о нихъ англичанинъ и теперь не можетъ вспомнить безъ восторга! Черные, пламенные глаза, отъ которыхъ сошелъ бы съ ума весь Петербургъ, встрѣчаются на каждомъ шагу. Шнуровокъ тамъ не знаютъ, потому что каждая женщина создана такъ, что ужъ тутъ нечего дѣлать никакой корсетницѣ. А какія ножки!.. Какъ эти воздушныя испанки танцуютъ фанданго и болеро!.. Мой разсказчикъ хотѣлъ было мнѣ описать эти танцы, да, видно, словъ не достало; я же съ нимъ говорилъ по-французски,—ужъ онъ коверкалъ, коверкалъ языкъ, шипѣлъ, свисталъ, кричалъ безпрестанно *годдемъ*—и такъ часто подливалъ себѣ въ стаканъ рому, что, не окончивъ своего разсказа, свалился подъ столъ и захрапѣлъ какъ удавленный.

— Вотъ то-то и есть, мой другъ!—Не валялся ли онъ подъ столомъ и тогда, какъ жилъ въ Алмеріи? Вѣдь старое испанское вино стоитъ рома. Если въ самомъ дѣлѣ онъ каждый день былъ пьянъ, такъ диво ли, что этотъ городишка показался ему земнымъ раемъ?

— Городишка!.. Да почему же городишка?

— Потому, что я видѣлъ эту знаменитую Алмерію.

— Неужели?

— Да, мой другъ! Я былъ тогда еще мичманомъ; мы крейсировали въ Средиземномъ морѣ и заходили въ Алмерію налиться водою. Такъ! небольшой городокъ; много садовъ — это правда. Я не съѣзжалъ на берегъ, и потому не могу тебѣ сказать, у всѣхъ ли тамошнихъ женщинъ большіе глаза и маленькія ножки; но очень помню, что въ этой Алмеріи ключевая вода совсѣмъ не походитъ на хрусталь, и что мы вовсе не дышали прохладою, хотя это было не въ Петровки, а въ первыхъ числахъ апрѣля, слѣдовательно, въ самомъ началѣ весны.

— Полно, Бурминъ! Ты готовъ изъ своего смѣшного патріотизма спорить, что у насъ въ Россіи климатъ лучше, чѣмъ въ Испаніи.

— А что ты думаешь? У всякаго свой вкусъ. Вотъ я, напримѣръ: для меня нашъ русскій холодъ несравненно сноснѣй африканскаго жару; а вѣдь твоя хваленая Алмерія почти въ Африкѣ.

— Что за дѣло! Избытокъ тепла то же, что избытокъ жизни; объ этомъ еще горевать нечего. Спроси у старика, гдѣ ему привольнѣе, на солнышкѣ или въ тѣни? Нѣтъ, мой другъ! жаръ не бѣда; вотъ худо, когда солнце-то не грѣетъ, а у насъ это бываетъ частенько не только весною, но даже лѣтомъ.

— Однако-жъ, надѣюсь, не сегодня?

— Одинъ день не въ счетъ. Да я еще не поручусь за сегодняшній вечеръ: вдругъ потянетъ съ Выборгской стороны, и мы, прежде чѣмъ выйдемъ на Крестовскій островъ, успѣемъ продрогнуть до костей.

— Да ты ужъ не колдунъ ли, братецъ?— прервалъ Бурминъ.—Въ самомъ дѣлѣ что-то становится гораздо свѣжѣе.

— Вѣтеръ перемѣнился, ваше благородіе,—сказалъ рулевой матросъ.

Свѣтлая Нева нахмурилась, потемнѣла, и съ Ладожскаго озера пахнулъ такой прохладный вѣтерокъ, что мы съ Бурминымъ тотчасъ застегнулись на всѣ пуговицы.

— Вотъ онъ! — вскричалъ я, пожимаясь невольно.—О, милый зефиръ моей родины, я чувствую тебя!

— И я начинаю его чувствовать,—сказалъ Бурминъ.—Эхъ, досадно! шинелей-то мы съ собою не взяли.

— Да! Вотъ этотъ офицеръ догадливѣе насъ,—прервалъ я, указывая на яликъ, который плылъ шагахъ въ десяти за нашимъ катеромъ. Въ немъ сидѣлъ молодой человѣкъ

въ треугольной шляпѣ и въ форменной шинели съ зеленымъ воротникомъ.

— Э!—вскричалъ Бурминъ,—да это, кажется, капитанъ-лейтенантъ Красноярскій!.. Да, точно, онъ!.. Вотъ, братецъ, чудакъ!

— А что?

— Престранный человѣкъ! Честный, благородный малый, отличный офицеръ; но такой нелюдимъ, что и сказать нельзя — подчасъ отъ него двухъ словъ не добьешься. Онъ и прежде былъ не слишкомъ веселаго характера, а какъ съѣздилъ въ Москву, такъ теперь къ нему вовсе приступу нѣтъ. Я слышалъ мимоходомъ, что онъ тамъ влюбился, посватался, что ему отказали...

— Бѣдняжка! Со мной такой бѣды не случалось; а думаю, что это должно быть вовсе незабавно.

— Да такъ-то незабавно, Владиміръ, что не приведи, Господи! Мнѣ также года два тому назадъ забрили затылокъ, такъ я чуть было съ ума не сошелъ; и грустно, и стыдно, и обидно — вовсе рехнулся: на стѣну лѣзу! Насилу, насилу мѣсяца черезъ три опять кой-какъ наладилъ—и то, дай Богъ здоровье роднымъ, ужъ какъ за мной ухаживали — и батюшка, и матушка и братья!.. А этотъ горемыка Красноярскій — и побаловать-то его некому: круглый сирота.

— Такъ же какъ я?

— Ну, нѣтъ! у тебя шестьсотъ тысячъ въ ломбардѣ, такъ родные будутъ; а Красноярскій человѣкъ небогатый.

— Такъ что-жъ?

— Какъ что? Я увѣренъ, что у тебя есть кузины въ шестомъ колѣнѣ, которыя называютъ тебя братцемъ, ухаживаютъ за тобою, балуютъ...

— Есть, мой другъ, есть!

— Вотъ то-то же! А у Красноярскаго есть и родная сестра, да я побьюсь объ закладъ, что она его знать не хочетъ.

— Почему ты это думаешь?

— Во-первыхъ, потому, что у этой сестрицы, которая ни отъ кого не зависитъ, слишкомъ тысяча душъ; а Красноярскому подчасъ нечѣмъ за мундиръ заплатить. Правда, онъ такой чудакъ, что, пожалуй, и отъ родной сестры подарка не возьметъ; да врядъ ли и она захочетъ его дарить. Они отъ разныхъ отцовъ, воспитывались не вмѣстѣ, живутъ розно, такъ какой тутъ ждать любви. Вотъ еслибъ ему досталось въ наслѣдство тысяча душъ, а этой барышнѣ одно отцовское благословеніе, такъ ужъ вѣрно она была бы пренѣжной сестрою. Экое житье богатымъ-то людямъ, подумаешь! Всѣ тебя уважаютъ, всѣ любятъ, всѣ молятся за твое здоровье—только вѣрь!

— Постой, постой, мой другъ!—прервалъ я:—посмотри-ка, что это плыветъ?

— Гдѣ?

— Вотъ направо, шагахъ въ пяти отъ насъ... что-то круглое, зеленое... Да это, кажется, дамскій ридикюль?

— Точно, дамскій ридикюль...

— Я первый увидѣлъ, такъ находка моя!— сказалъ я, нагибаясь, черезъ бортъ, чтобъ схватить ридикюль, который въ эту минуту плылъ подлѣ самаго катера. Я поймалъ его; но въ то же самое время, не знаю какъ-то, поскользнулся, потерялъ равновѣсіе и упалъ въ воду. Я думаю, что и тотъ, кто мастеръ держаться на водѣ, не скоро справится, если упадетъ нечаянно въ глубокую и быструю рѣку; а я вовсе не умѣлъ плавать, и тотчасъ пошелъ какъ ключъ ко дну. Я такъ скоро захлебнулся и совершенно обезпамятѣлъ, что не могу даже разсказать вамъ, что чувствовалъ, когда началъ тонуть; помню только, что надъ моей головою раздался громкій крикъ, и вслѣдъ за этимъ что-то тяжелое упало въ воду. Когда я пришелъ въ себя, то увидѣлъ, что лежу на катерѣ, что подлѣ меня суетится Бурминъ, и стоитъ тотъ самый морской офицеръ, который ѣхалъ позади насъ на яликѣ; на немъ не было ни шляпы, ни шинели, и съ него, точно такъ же какъ съ меня, вода текла ручьемъ.

— Ну, слава Богу, ничего! — вскричалъ Бурминъ, когда я открылъ глаза.—Вотъ онъ и очнулся!

Морской офицеръ, не говоря ни слова, подошелъ къ борту катера и перепрыгнулъ на свою лодку; двое дюжихъ гребцовъ принялись за весла; черезъ нѣсколько минутъ яликъ обогнулъ берегъ Васильевскаго острова, и прежде чѣмъ я успѣлъ совсѣмъ образумиться, его и слѣдъ простылъ.

— Ну что, Владиміръ?—сказалъ Бурминъ,— мы, чай, ужъ на Крестовскій не поѣдемъ?

— Помилуй—какой Крестовскій! Развѣ ты не видишь, что у меня лихорадка?

— Назадъ,—закричалъ Бурминъ,—къ Гагаринской пристани!—Да живѣй, ребята! — Ну, братъ Владиміръ, какъ ты меня перепугалъ! Да что ты свинцовый что-ль? Ахъ, батюшки! словно стопудовый якорь: не успѣлъ свалиться съ катера, да ужъ и на днѣ!

— Что-жъ дѣлать! я не умѣю плавать.

— Стыдно, братецъ! Какъ порядочному человѣку не умѣть плавать! Ну, долго ли до бѣды! Вотъ хоть теперь: когда ты упалъ съ катера, онъ былъ на всемъ ходу. Здѣсь очень быстро, и я не успѣлъ еще опомниться, какъ насъ пронесло шаговъ на двадцать впередъ. Не случись тутъ Красноярскаго, такъ тебя и поминай какъ звали.

— Такъ это онъ вытащилъ меня изъ воды?

— А кто-жъ? Мы были отъ тебя далеко. Ну, нечего сказать, молодецъ! Какъ онъ живо тебя выхватилъ! Нѣтъ, онъ лучше моего плаваетъ.

— Ахъ, Боже мой! а я не успѣлъ и поблагодарить его.

— Да! очень нужна ему твоя благодар-

ность! Лишь только онъ замѣтилъ, что ты сталъ приходить въ себя, такъ и тягу! Какъ будто бы боялся, что ты дашь ему на водку. Экій чудакъ!

— Да, мой другъ! Только такіе чудаки отмѣнно рѣдки. Спросилъ ли онъ, по крайней мѣрѣ, кто я?

— Нѣтъ.

— Подлинно, чудный человѣкъ!

— Я готовъ биться объ закладъ, что онъ встрѣтится съ тобой и не узнаетъ.

— Быть можетъ; но зато ужъ я тотчасъ его узнаю: у него такая замѣчательная наружность.

— Да, онъ не дуренъ собою и очень видный мужчина... Э! посмотри, Владиміръ: вѣдь находка-то твоя не пропала: вотъ этотъ проклятый ридикюль.

— Въ самомъ дѣлѣ?

— Какъ онъ уцѣлѣлъ?.. А, вотъ что! Онъ снурками зацѣпился за пуговицу... Ну, братецъ, ты можешь владѣть имъ по всей справедливости. Дорого онъ тебѣ достался.

— Въ немъ, кажется, ничего нѣтъ, кромѣ платка, — сказалъ я, взявъ въ руки ридикюль.—Дома я посмотрю хорошенько, а межъ тѣмъ вели скорѣй грести: я что-то очень прозябъ.

— Да, этотъ родимый вѣтерокъ начинаетъ порядкомъ свѣжѣть. Сильнѣй, ребята!

Мы причалили къ Гагаринской пристани. Я жилъ въ двухъ шагахъ отъ набережной; но, несмотря на это, едва могъ, при помощи Бурмина, дотащиться до моей квартиры. Черезъ полчаса я лежалъ ужъ безъ памяти; у меня сдѣлалась сильная горячка.

Прошло болѣе трехъ недѣль, я сталъ понемногу оправляться. Бурминъ навѣщалъ меня каждый день; я узналъ отъ него, что Красноярскій отправился въ Любекъ на своемъ шлюпѣ, и не прежде мѣсяца воротится назадъ въ Кронштадтъ. Мнѣ очень хотѣлось съ нимъ познакомиться и лично поблагодарить за мое спасеніе; но я не могъ дожидаться его цѣлый мѣсяцъ въ Петербургѣ; это совершенно бы разстроило всѣ мои планы. Я располагался, проживъ нѣсколько времени въ Москвѣ, отправиться черезъ наши бѣлорусскія губерніи въ Австрію, изъ Австріи въ Сардинію, въ Южную Францію, а тамъ черезъ Пиринеи въ Испанію. Въ Гренадѣ я хотѣлъ пробыть только нѣсколько дней, напиться водицы изъ знаменитаго фонтана львовъ очаровательной Альгамбры, погулять въ тѣнистыхъ садахъ волшебнаго Хенералифа и прямо на житье въ Алмерію. По моимъ разсчетамъ, я долженъ былъ сдѣлать все это въ теченіе трехъ мѣсяцевъ; слѣдовательно, не могъ никакъ откладывать моей поѣздки въ Москву. Въ началѣ іюня мѣсяца я былъ еще нѣсколько слабъ, но уже совершенно здоровъ, и когда мой докторъ позволилъ мнѣ отправиться въ дорогу, я тотчасъ послалъ за подорожною и приказалъ Никанору укладываться. Да, кстати! Теперь вы меня знаете, любезные читатели. Такъ ужъ позвольте мнѣ познакомить васъ и съ моимъ слугою Никаномъ.

Если вамъ удавалось читать русскія сказки, то вы, безъ сомнѣнія, помните, какіе вѣрные слуги были удалой Торопъ и досужій Ничарда,—такъ смѣю васъ увѣрить, что моему Никанору эти оба молодца и въ подметки бы не годились. Не осудите за это лакейское выраженіе. Чтобъ познакомить съ вами хорошенько Никанора Ѳедотыча, я невольно долженъ перенести васъ въ переднюю. Представьте себѣ свѣтлорусаго дѣтину, лѣтъ подъ-тридцать, воршковъ десяти росту, плечистаго, съ кудрявой головою, румянымъ лицомъ и сѣрыми глазами, которыя вполнѣ выражали, если не умъ, то, по крайней мѣрѣ, русскую смѣтливость и досужество, которыя подчасъ бываютъ нужнѣй всякой премудрости. Изъ всѣхъ слугъ, которые перешли ко мнѣ по наслѣдству отъ отца и матери, одинъ Никаноръ Ѳедотычъ сохранилъ еще вполнѣ этотъ первобытный типъ старинныхъ русскихъ холопей. Онъ въ настоящемъ смыслѣ готовъ былъ за меня и въ огонь и въ воду; ему казалось, что онъ родился для того, чтобъ быть моимъ слугою, и, конечно, послѣ хорошаго пѣннаго вина любилъ меня болѣе всего на свѣтѣ; но эта любовь вовсе не походила на привязанность, впрочемъ, довольно рѣдкую, нынѣшнихъ слугъ къ своимъ господамъ. Онъ не могъ бы не любить меня даже и тогда, еслибъ я былъ дурнымъ господиномъ, потому что эта любовь къ барину, котораго отцу и дѣду служилъ его отецъ и дѣдъ, обратилась въ немъ въ какую то необходимость или, лучше сказать, инстинктъ, который не могъ быть истребленъ ничѣмъ. Впрочемъ, несмотря на свою привязанность и слѣпое повиновеніе, онъ любилъ иногда поспорить со мною; а особливо если мнѣ приходило въ голову толковать ему, напримѣръ, что есть государства, въ которыхъ нѣтъ вовсе зимы, или что земля вертится, а солнце стоитъ. Онъ обыкновенно, слушая меня, сначала улыбался, а потомъ говорилъ: — Помилуйте, сударь! Какъ это можно, да еслибъ земля вертѣлась, такъ какъ бы мы устояли на ногахъ?

— Да это ужъ, братецъ, дѣло извѣстное. Вотъ изволишь видѣть: былъ одинъ умный человѣкъ, по имени Коперникъ,—онъ первый доказалъ это...

— Каперникъ?.. что за Каперникъ такой?.. Чай, нѣмецъ?.. Да не подъ хмѣлемъ ли ему казалось, сударь, что земля-то вертится? Вотъ и у меня, какъ выпью лишнюю чарку, такъ все начнетъ въ глазахъ ходуномъ ходить! Эхъ, сударь! что вы имъ вѣрите, проклятымъ! Всѣ эти нѣмцы да Каперники народъ продувной, только людей морочатъ.

— Экій ты, братецъ, дуракъ. Да отчего же бываетъ попеременно: то день, то ночь?

— Оттого, сударь, что по утру солнышко взойдетъ, а къ ночи закатится.

— Да солнце-то стоитъ на одномъ мѣстѣ.

— Кто это вамъ сказалъ, сударь?.. Ахъ ты Господи! Чему, подумаешь, господа-то вѣрятъ!

— Поди сюда, болванъ! Я тебѣ начерчу на бумагѣ, какъ это дѣлается.

И, бывало, я примусь ему чертить небесную сферу, толкую, изъясняю, а мой Никаноръ стоитъ и ухмыляется.—Ну что?—спрошу я наконецъ:—понимаешь ли?

— Да чего тутъ понимать, сударь? Помилуйте! все это такъ,—пустыя выдумки: финты-фанты, нѣмецкіе куранты.

— Пошелъ вонъ, дурачина!

— Слушаю-съ!

Такъ обыкновенно кончались всѣ наши ученые диспуты. Я намекнулъ мимоходомъ, что Никаноръ Ѳедотычъ придерживался чарочки; однакожъ, его нельзя было назвать пьяницею въ обширномъ смыслѣ этого слова. Конечно, часто случалось, что отъ него и въ будни пахло виномъ, но подъ хмѣлькомъ онъ бывалъ по однимъ двунадесятымъ праздникамъ, а рѣшительно пьянъ однажды только въ году: въ день моихъ именинъ. Тутъ ужъ не помогали ни просьбы, ни угрозы. Бывало, начнешь ему говорить, а онъ все несетъ: «Помилуйте, Владиміръ Сергѣевичъ? Чтобъ я въ день вашего ангела не выпилъ лишній стаканчикъ! Да зачто-жъ меня и хлѣбомъ кормить! Господи Боже мой!.. Нѣтъ, сударь, за ваше здоровье послѣднюю рубашку пропью!» Впрочемъ, надобно сказать въ его оправданіе, онъ напивался всегда послѣ обѣдни; и когда постился, то въ ротъ не бралъ хмѣльного. Никаноръ Ѳедотычъ былъ очень веселаго нрава, дѣтина ловкій, проворный, однимъ словомъ, какъ говорится, на все удача; любилъ спѣть пѣсенку, поиграть на балалайкѣ, и въ кругу деревенскихъ красавицъ, городскихъ прачекъ и даже горничныхъ дѣвушекъ слылъ ужаснымъ потрѣломъ.

Извините, что я такъ долго продержалъ васъ въ передней, теперь милости прошу ко мнѣ.

— Что, сударь,—спросилъ Никаноръ,—вы возьмете съ собой въ коляску этотъ кожаный мѣшочекъ, или прикажете уложить его въ чемоданъ?

— Какой мѣшочекъ?

— Да вотъ, сударь! Посмотрите, въ немъ что-то есть.

— А!.. Да это ридикюль, по милости котораго я чуть было не утонулъ. Совсѣмъ о немъ забылъ! Подай сюда!.. Да изъ него выйдетъ славный кисетъ!.. Оставь его у меня и ступай—укладывайся.

— Посмотримъ, что въ этомъ ридикюлѣ... Во-первыхъ, бѣлый батистовый платокъ; на одномъ углу вышиты красной шерстью французскія буквы: S и L; слѣдовательно, если его потеряла не иностранка, то ужъ вѣрно *воспитанная* русская барыня. Простая купчиха или *необразованная* дворяночка не посовѣстилась бы вышить на своемъ платкѣ наше русское С и Л. Что далѣе?.. Желтая атласная ленточка... черепаховая бонбоньерка съ мятными лепешечками... хрустальный флаконъ со спиртомъ... уксусъ четырехъ разбойниковъ... Ого!.. c'est du bon genre!.. Слабые нервы, плохой желудокъ—всѣ признаки женщины хорошаго общества... А это что такое?.. Записочка... на русскомъ языкѣ!.. Итакъ я не ошибся: этотъ ридикюль потеряла русская барыня... Посмотримъ, можетъ быть, и узнаю, кому принадлежитъ моя находка. Ожиданіе мое не сбылось: на запискѣ, сложенной уголкомъ, не было никакой надписи, и она была такъ размыта водою, что я могъ только разобрать слѣдующее:

«Ты мнѣ сказала вчера, мой милый другъ, что будешь сегодня послѣ обѣда на Крестовскомъ, и что . . . . . какое счастье! . . . . . я не могу описать тебѣ любви моей . . . . . но мы должны . . . . . охъ, эта тетушка! . . . . . Ты говоришь правду, мой другъ . . . . . Боже сохрани, если она догадается . . . . . да, мой другъ . . . . . пусть думаютъ . . . . . какое дѣло . . . . . я увѣренъ въ любви . . . . . еще нѣсколько мѣсяцевъ . . . . . моею . . . . . твой . . . . . .

Что это любовная записочка, въ этомъ нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія; что та, которая потеряла ридикюль, назначила свиданіе тому, кто писалъ эту записку, и это также очевидно. Онъ называетъ ее *милымъ другомъ*, говоритъ ей *ты*; слѣдовательно, это не первое свиданіе... Они любятъ другъ друга, и должны скрывать любовь свою отъ какой-то тетки; судя по нѣкоторымъ отдѣльнымъ фразамъ, мнѣ даже сдается, что этотъ страстный любовникъ совѣтуетъ своей возлюбленной, вѣроятно для того, чтобъ лучше обмануть тетушку, любезничать со всѣми мужчинами или, можетъ быть, кокетничать съ однимъ. Кажется, такъ! «Пусть думаютъ... какое дѣло... я увѣренъ въ любви...» Это, безъ сомнѣнія, значитъ: пусть думаю, что ты меня забыла, что ты кокетка—какое дѣло! Я увѣренъ въ любви твоей. Да, точно такъ! Итакъ, я знаю теперь: этотъ ридикюль принадлежитъ женщинѣ хорошаго общества, эта женщина должна быть непремѣнно молодая дѣвушка. Еслибъ она была вдова, замужняя, или даже старая дѣвица, то не стала бы такъ бояться своей тетки. Я думаю, что она должна быть хороша, и даже могу сказать утвердительно, что у нея черныя волосы: ленточка, которую я нашелъ на днѣ ридикюля, разду-

шена помадою, слѣдовательно, она снята съ головы; а можетъ-ли быть, чтобъ блондинка, у которой платокъ помѣченъ французскими буквами, повязала себѣ на голову желтую ленту? О, конечно, нѣтъ! Такое безвкусіе можно только допустить въ какомъ-нибудь уѣздномъ городкѣ, гдѣ барышни учатся русской грамотѣ по часослову и называютъ гроде-туръ — гарнитуромъ, а купеческія дочки отвѣчаютъ на самую обыкновенную вѣжливость: «Помилуйте, что вы-съ!.. Мы этого не понимаемъ-съ. Вѣдь мы не московскія-съ; мы не имѣемъ такихъ прочихъ случаевъ въ этакіе реванжи предаваться». Нѣтъ! рѣшительно, у моей незнакомки черные волосы. Но, вѣроятно, въ Петербургѣ очень много брюнетокъ, у которыхъ есть и строгіе и страстные любовники, такъ, несмотря на мою проницательность, я ровно ничего не знаю, а долженъ поневолѣ владѣть чужимъ добромъ; только ужъ теперь не сдѣлаю никакого употребленія изъ этого ридикюля: онъ принадлежалъ молодой и, безъ сомнѣнія, прекрасной женщинѣ; она прятала въ немъ свои любовныя записки, а я стану набивать его турецкимъ табакомъ... Фи, нѣтъ, пусть онъ до времени лежитъ у меня въ чемоданѣ; а если уѣдетъ со мною въ Андалузію, то я подарю его какой-нибудь черноглазой испанкѣ,—разумѣется, хорошенькой. Она станетъ класть въ него также любовныя записочки, мои или чужія, все равно; по крайней мѣрѣ этотъ бѣдный ридикюль не будетъ уничтоженъ до степени табачнаго кисета.

На другой день, рано по утру, Бурминъ и еще человѣкъ пять или шесть прежнихъ моихъ сослуживцевъ, проводили меня до средней рогатки, выпили бокала по два шампанскаго, и я отправился въ Москву.

Всякій разъ, когда я слышу теперь, то-есть въ 1839 г., что какой-нибудь молодой человѣкъ, пріѣхавъ изъ Петербурга въ Москву, жалуется на усталость, говоритъ, что его разбило, что у него бока болятъ, то повѣрите-ли, вотъ такъ злость и беретъ.—Прокатилъ-бы тебя, голубчикъ,—думаю я,—на перекладныхъ лѣтъ двадцать пять тому назадъ по этой дорожкѣ! Теперь ѣдешь по Валдайскимъ горамъ, а спрашиваешь, скоро-ли придутъ горы? Везутъ тебя ровной рысью по гладкому шоссе, какъ по скатерти; вплоть до Москвы не тряхнетъ ни разу; а бывало— душа съ тѣломъ разстается: что шагъ, то толчекъ; что станція, то хуже. Ѣдешь по каменной мостовой, молишь Бога, чтобъ скорѣе пришла деревянная; добрался до деревянной—Господи! ждешь не дождешься, когда опять начнется каменная! А тамъ пески сыпучіе: то скачешь сломя голову по самой гнуснѣйшей дорогѣ въ мірѣ, то шагомъ тащишься. Ѣдешь на перекладныхъ—бѣда, въ своемъ экипажѣ—другая: глядишь, ось пополамъ, а тамъ колесо вдребезги; на одной станціи кой-какъ починятъ, возьмутъ вдесятеро, а на другой опять чини. Вотъ, то-то и есть! не даромъ говоритъ русская пословица: «Не узнавъ горя, не узнаешь и радости». Кто не ѣзжалъ по прежней Петербургской дорогѣ, тотъ и спасибо не скажетъ за нынѣшнюю, а еще начнетъ говорить: «Стыдно, дескать, намъ, что мы до сихъ поръ изъ Москвы въ Петербургъ не ѣздимъ въ одни сутки по желѣзной дорогѣ! Все это оттого, что мы не двигаемся впередъ, а стоимъ на одномъ мѣстѣ». Охъ, ужъ мнѣ эти двигатели, эти юные европейцы съ бородами и безъ бородъ!.. Воля ваша, не могу вытерпѣть! Покамѣстъ мы ѣдемъ до Москвы, позвольте мнѣ словечка два перемолвить съ этими господами.

Милостивые государи! Скажите мнѣ, что вамъ за радость быть отголосками иностранныхъ журналистовъ, романистовъ, публицистовъ и всякихъ другихъ *истовъ*, которыхъ расплодилось несмѣтное число? Они называютъ насъ татарами, калмыками, варварами, и изъ всѣхъ силъ стараются забросать грязью. Я понимаю ихъ ожесточеніе: кто кого боится, тотъ почти всегда того не любитъ; а кого не любишь, того, разумѣется, хвалить не станешь. Но вы-то, мои почтенные соотечественники, за что изволите гнѣваться на матушку святую Русь? Что она вамъ сдѣлала? «Она отстала отъ Европы». — Да это и не могло быть иначе.—«Она коснѣетъ въ своемъ невѣжествѣ. Посмотрите, какое разстояніе отдѣляетъ насъ отъ всѣхъ просвѣщенныхъ народовъ! Они идутъ впередъ, а мы стоимъ на одномъ мѣстѣ». — Полно, такъ ли? Послушайте?

Нѣсколько человѣкъ отправилось изъ общаго ихъ жилища въ дальній путь; имъ всѣмъ предстояла одна и та же цѣль. Одинъ вышелъ чѣмъ свѣтъ, другой какъ солнышко взошло, третій немного попозже; но всѣ ранехонько поутру были уже на пути къ своей цѣли, исключая одного, который хотѣлъ было итти съ ними вмѣстѣ, да его захватили незванные гости. Въ одной русской пословицѣ— извините, я охотникъ до пословицъ—говорится, что «незванные гости хуже татаръ»; такъ положимъ, что это были татары. Вотъ спустя часа четыре отдѣлался онъ отъ своихъ гостей и отправился вслѣдъ за товарищами; глядитъ—ихъ уже не видно. Куда итти? Дорогъ много; надобно отыскать настоящую. Тѣ, которые вышли прежде, имѣли для этого довольно времени, а нашему отсталому мѣшкать было некогда. Что дѣлать?.. Къ счастію, откуда ни возьмись на встрѣчу къ нему сильный могучій богатырь; видно самъ Богъ послалъ.—«Послушай, братъ!»—сказалъ онъ запоздалому путешественнику,—«жаль мнѣ тебя; ты одинъ не догонишь своихъ товарищей: они ужъ далеко; дай я тебѣ помогу». Потомъ схватилъ отсталаго подъ мышку и помчался съ нимъ какъ

изъ лука стрѣла. Сильный, могучій богатырь шагалъ по одному разу тамъ, гдѣ первые путешественники дѣлали шаговъ по двадцати; правда, идя потихоньку, они хорошо познакомились съ дорогою, а нашъ отсталый видѣлъ все мелькомъ; да малый-то былъ онъ смѣтливый и досужій, такъ это еще не бѣда. Вотъ какъ богатырь завидѣлъ вдали тѣхъ, за которыми гнался, то опустилъ на землю отсталаго и сказалъ ему: «Прощай, любезный! Радъ бы тебѣ еще послужить, да некогда; пора домой. Ну, вотъ видишь своихъ товарищей? Смотри-же, не отставай отъ нихъ, однако-жъ не спѣши; теперь ужъ это не нужно, не собьешься съ дороги; а какъ побѣжишь, такъ неравно задохнешься, упадешь, и они, пожалуй, опять уйдутъ у тебя изъ виду. Если на дорогѣ встрѣтятся съ тобой зѣваки, которые начнутъ надъ тобой смѣяться и говорить межъ собою: «Смотрите, господа! какъ онъ отсталъ отъ своихъ товарищей!» такъ ты скажи имъ, что твои товарищи ранѣе тебя отправились въ дорогу; а если найдутся такіе зубоскалы,—по большимъ дорогамъ всякаго народу много,—которые начнутъ тебя дразнить, и заговорятъ, что ты вовсе нейдешь впередъ, что у тебя ноги не двигаются, такъ ты обернись, да попроси ихъ, чтобъ они показали тебѣ домъ, изъ котораго ты вышелъ; а лучше всего не слушай этихъ пустозвоновъ: они подъ носомъ у себя ничего не видятъ, и повторяютъ только то, что имъ натвердили въ ребячествѣ ихъ мамушки, да нянюшки. Иди себѣ да иди, сойдешься когда-нибудь съ своими товарищами: да и лучше, что ты идешь теперь позади. Видишь, тамъ одинъ изъ нихъ,—вотъ что кричитъ, что всѣхъ обогналъ—такой вертлявый, Богъ съ нимъ! Посмотри, какъ онъ коверкается, вертится колесомъ, ходитъ вверхъ ногами, прыгаетъ черезъ канавы! Шелъ бы ты рядышкомъ съ этимъ фигляромъ, такъ долго-ль до бѣды? Малый ты добрый, да натура-то въ тебѣ больно переимчивая: пожалуй, ты сталъ бы его передразнивать; да. можетъ быть, вмѣстѣ съ нимъ и сломилъ бы себѣ шею; а теперь онъ попадетъ въ оврагъ. или увязнетъ въ болотѣ, а ты обойдешь сторонкою: вѣдь заднему-то виднѣе».

Вотъ вамъ, милостивый государь, вмѣсто отвѣта, аллегорія, басня, апологъ—все, что вамъ угодно. Поговорилъ бы я съ вами и подолѣе, да некогда. Мы пріѣхали въ Москву.

Это было еще до пожара. Никому и въ голову не приходило, что Москва разыграетъ въ лицахъ баснословное сказаніе о безсмертномъ фениксѣ, то есть, превратится въ пепелъ для того, чтобъ воскреснуть и сдѣлаться еще прекраснѣе. Въ ней было всего довольно: и огромныхъ каменныхъ палатъ, и скверныхъ лачугъ, и кипящихъ народомъ площадей, и пустопорожнихъ мѣстъ, на которыхъ пасли коровъ; подлѣ великолѣпныхъ садовъ грязные овраги, и рядомъ съ вымощенными улицами сыпучіе пески, по которымъ не было проѣзду. Теперешняя Москва во многомъ не походитъ на прежнюю; но, благодаря Бога, она сохранила вполнѣ свою русскую физіономію: это та-же православная боярыня, въ той же парчевой ферязи, только безъ заплатъ; въ той же жемчужной повязкѣ, только бурмицкія зерна ея роскошнаго головного убора не перемѣшаны съ корольками и стеклянными бусами. Правда, и теперь еще встрѣтишь кой-гдѣ флигилекъ, выкрашенный зеленой краскою, затѣйливый домъ съ *бельведеромъ* въ родѣ дурацкаго колпака, а иногда огромныя запачканныя хоромы, на кровляхъ которыхъ бываютъ ежегодные покосы и ростутъ преспокойно грибы; но эти образчики изящнаго вкуса *нашихъ* среднихъ вѣковъ и памятники давно минувшаго становятся довольно рѣдкими; ученый антикварій долженъ ихъ отыскивать на краю свѣта, то есть у Лефортова, на Міусахъ, у Николы въ Хамовникахъ, за Сухаревой башней. въ Сущевѣ, или за Москвой-рѣкой на Зацѣпѣ. Я никогда еще не былъ въ нашей древней столицѣ, никогда еще не любовался ея живописнымъ мѣстоположеніемъ, ея древними соборами, высокими башнями и царскими теремами. Она съ перваго взгляда мнѣ чрезвычайно понравилась. Чтобъ разсмотрѣть ее хорошенько, я первые дни ходилъ съ утра до вечера по улицамъ, и не былъ ни у кого изъ моихъ знакомыхъ. Мнѣ хотѣлось пожить нѣсколько времени точно такъ, какъ живутъ обыкновенно путешественники, пріѣзжающіе въ большой городъ, гдѣ у нихъ вовсе нѣтъ никакихъ связей. На второй день нашего пріѣзда въ Москву, мой Никаноръ отпросился у меня походить по городу. Онъ пришелъ подъ вечеръ домой немного на веселѣ и рѣшительно безъ ума отъ Москвы. «Ахъ, сударь, что за городъ такой!—говорилъ онъ съ восторгомъ.—Ну, ужъ подлинно матушка Москва, золотыя маковки!.. Церквей-то, церквей; видимо-невидимо! Ходилъ по соборамъ, сударь, былъ у Иверской. А большой-то колоколъ и толстую пушку изволили видѣть!.. Ну, ужъ диковинки! Былъ я также и въ гостиномъ дворѣ,—по здѣшнему городъ—не петербургскому чета! Ужъ я плуталъ, плуталъ! улицы, переулки, закоулки! Купечество такое авантажное, народъ разбитной, всѣ говорятъ свысока: «Что вамъ, баринъ, сударь, угодно-съ?.. Пожалуйте сюда-съ, пожалуйте-съ!» Такъ за руки и хватаютъ. А зашелъ я въ Сундучный рядъ, да выпилъ тамъ кваску... ну!!! и клюквенный, и яблочный, и малиновый! Да прямо съ ледку! пей сколько душѣ угодно. А калачи-то какіе! а растегайчики!.. Фу ты, Господи, что за городъ такой!.. Эхъ, сударь, хотите

вы ѣхать въ какую-то Гишпанію — помилуйте, да на что вамъ лучше Москвы?

— Я хочу, братецъ, путешествовать, поѣздить по свѣту.

— Да мало ли мы ужъ съ вами ѣздили, сударь, по этой Нѣметчинѣ! Въ городѣ Берлинѣ были, въ Керехсдергѣ и въ разныхъ другихъ мѣстечкахъ. Ну, что хорошаго? По улицамъ два воза не разъѣдутся, дома какъ голубятни; народъ неповадливый; ты съ нимъ говоришь только, а онъ наладитъ себѣ: «нихъ ферштантъ» да и только. Вина хоть въ ротъ не бери—вода водою; церквей нѣтъ, все какія-то кирки... Воля ваша, Владиміръ Сергѣевичъ! Если ужъ вы такъ жалуете все новые города смотрѣть, такъ мало ли ихъ на Руси! Вотъ, давно ли мы выѣхали изъ Питера, а ужъ городовъ-то не перечтешь: Новгородъ, Тверь, Торжокъ, Волочекъ... И, сударь, сударь! Не даромъ старики говорятъ: «Донъ, Донъ, а все лучше домъ».

— Послушай, Никаноръ!—прервалъ я,— если ты въ самомъ дѣлѣ не желаешь ѣхать со мною заграницу, такъ Богъ съ тобой; я принуждать тебя не намѣренъ; я дамъ тебѣ хоть завтра же отпускную.

Никаноръ поблѣднѣлъ. — Отпускную, повторилъ онъ.—Какъ, сударь, отпускную?.. Да на что мнѣ отпускная?..

— На то, чтобъ остаться въ Москвѣ.

— Да куда я безъ васъ дѣнусь? Что вы!.. Нѣтъ, сударь, и не затѣвайте! Да я за вами пѣшкомъ уйду! Сохрани, Господи! Мнѣ васъ покинуть? Да я безъ васъ съ кругу сопьюсь, съ тоски самъ руки на себя подыму... Что вы, что вы!.. Богъ съ вами!

— Но вѣдь ты не хочешь ѣхать за границу?

— Эхъ, сударь, это только такъ говорится. Помилуйте, да мнѣ и Москва-то безъ васъ опустылитъ хуже Нѣметчины. Нѣтъ, сударь, куда вы, туда и я.

— Смотри же, Никаноръ Федотычъ, чуръ, послѣ не каяться.

— Ужъ я вамъ, сударь, докладываю, извольте ѣхать куда вамъ угодно; по мнѣ, хоть въ Туречину, лишь только-бъ быть при вашемъ лицѣ.

Не знаю, испугался ли бы нынѣшній слуга моей угрозы, а Никаноръ не на шутку струсилъ, и долго послѣ этого не намекалъ мнѣ. что дома жить лучше, чѣмъ шататься по бѣлу свѣту.

Вотъ, черезъ нѣсколько дней, нагулявшись до сыта по улицамъ, я отправился любоваться московскими окрестностями. Я началъ съ Воробьевыхъ горъ. Когда, оставивъ позади себя рощи, которыя опушаютъ вершину этихъ горъ, я подошелъ къ обрывистому скату, составляющему крутой берегъ Москвы-рѣки, то не могъ удержаться отъ невольнаго восклицанія: огромность и великолѣпіе панорамы, которая развилась передо мною, превосходитъ всякое описаніе. У самыхъ ногъ вашихъ, посреди обширныхъ поемныхъ луговъ, сверкаетъ излучистая рѣка. Направо, какъ на зеленыхъ облакахъ, подымается надъ вершинами деревьевъ бѣлое, стройное зданіе—это *Васильевское* съ своей обширною колонадою и широкими террасами; рядомъ съ нимъ *Нескучное* — чудный, диковинный садъ, перерѣзанный глубокими оврагами, на днѣ которыхъ растетъ дремучій лѣсъ; еще нѣсколько садовъ и безконечное Замоскворѣчье, усыпанное красивыми церквами. Прямо передъ вами зубчатыя стѣны и круглыя башни Новодѣвичьяго монастыря; за нимъ, на необъятной, волнистой равнинѣ тысяча разноцвѣтныхъ кровель, безчисленное множество блестящихъ главъ, позлащенныхъ крестовъ и высокихъ колоколенъ; вездѣ зелень, сады и отдѣляющіяся отъ темной массы деревянныхъ зданій бѣлокаменныя палаты русскихъ бояръ и именитыхъ гостей московскихъ; вдали, какъ на амфитеатрѣ, весь Кремль, соборы, царскій дворецъ, Иванъ Великій; а за ними, въ туманѣ, опять безчисленныя главы церквей и остроконечные верхи колоколенъ.

Я до того былъ восхищенъ этой неизъяснимо-великолѣпной панорамою, что не находилъ словъ для выраженія моего восторга.— Боже мой!—сказалъ я, наконецъ, вполголоса,—какой очаровательный видъ!—Что, сударь, нравится вамъ?—раздался позади привѣтливый голосъ. Я обернулся: въ пяти шагахъ отъ меня, подъ тѣнью толстаго дуба, сидѣли: пожилой, почтеннаго вида, купецъ съ своей дородной сожительницею, двое молодыхъ гостинодворцевъ и три купеческія дочки. На разостланномъ коврѣ стоялъ огромный самоваръ и полный чайный приборъ. Старикъ-купецъ, вѣжливо приподнявъ шляпу, повторилъ свой вопросъ.

— Да кому не понравится этотъ очаровательный видъ?—сказалъ я.—Вся Москва, какъ на ладони?

— Куда вся! Помилуйте! Вѣдь нашу матушку Москву въ два дня кругомъ не объѣдешь.

Не прогнѣвайтесь, любезные читатели, это такъ — небольшое московское хвастовство. Когда у васъ рѣчь зайдетъ съ москвичемъ средняго состоянія объ огромности нашей древней столицы, то знайте напередъ, онъ непремѣнно отпуститъ красное словцо: сорокъ сороковъ церквей и два сорока верстъ кругомъ, это ужъ дѣло извѣстное. Начните увѣрять московскаго мѣщанина, что, напримѣръ, Лондонъ болѣе Москвы, онъ покачаетъ головою и скажетъ съ насмѣшливой улыбкою:— Помилуйте, батюшка, славны бубны за горами! Гдѣ быть городу больше Москвы? Да наша бѣлокаменная и Царьграду не уступитъ, такъ другимъ бы прочимъ городишкамъ и соваться нечего.

— Осмѣлюсь спросить, батюшка,—продолжалъ купецъ,—вы здѣшній обыватель?

— Нѣтъ, я недавно пріѣхалъ изъ Петербурга.

— Такъ, сударь, такъ-съ! И мы бывали въ Питерѣ. Конечно, до Москвы ему далеко, однако жъ, знаменитый городъ; церквей только маленько, да и всѣ онѣ не походятъ какъ-то на здѣшнія.

— Это правда. Здѣсь все напоминаетъ старину; да такъ и быть должно: Москва старинный русскій городъ.

— Что русскій, то русскій, батюшка, кромѣ одного Кузнецкаго моста; да вѣдь онъ не великъ.

— А Нѣмецкая-то слобода, любезный?

— И, сударь, давнымъ давно обрусѣла.

— Скажите мнѣ, — продолжалъ я, — какъ называется этотъ монастырь, вотъ что противъ насъ за рѣкою?

— Новодѣвичьимъ, батюшка.

— А эта площадь, или большой лугъ, что передъ нимъ?

— Дѣвичьимъ полемъ, сударь.

— Желалъ бы я знать, монастырь ли получилъ названіе отъ поля, или поле названо Дѣвичьимъ по монастырю?

— Монастырь, батюшка.

— Почему же вы это думаете?

— А вотъ извольте видѣть... Да не угодно-ли вамъ... Имя и отчества вашего не знаю...

— Владиміръ Сергѣевичъ.

— Такъ милости просимъ, Владиміръ Сергѣевичъ! Не погнушайтесь, присядьте вмѣстѣ съ нами, выкушайте нашего чайку.

— Милости просимъ, — повторила дискантомъ толстая купчиха; купеческія дочки взглянули на меня исподлобья, улыбнулись и опустили книзу свои длинныя рѣсницы; молодые гостинодворцы пораздвинулись, и меня, какъ почетнаго гостя, посадили рядомъ съ старымъ купцомъ. Вотъ началось потчеванье; я выпилъ чашку, другую, третью.

— Еще чашечку, Владиміръ Сергѣевичъ!— сказалъ купецъ.—Наливай, жена!

— Покорнѣйше васъ благодарю!

— Выкушайте, батюшка! Чаекъ *ей-же-ей* хорошій! Изъ пробнаго цыбика! Одну только чашечку... сдѣлайте милость.

Чтобъ не огорчить добраго старика, я выпилъ четвертую чашку.

— Вотъ, батюшка, Владиміръ Сергѣевичъ, одолжили, такъ одолжили!.. Ужъ сдѣлайте милость, выкушайте еще!

— Право не могу!

— Ну, хоть полчашечки!

— Помилуйте! я и такъ выпилъ четыре чашки!

— Такъ ужъ куда пойдетъ пятая. Сдѣлайте милость!.. *Да кланяйся жена*!..

Въ эту самую минуту раздался позади меня шорохъ; я оглянулся: въ двухъ шагахъ отъ насъ стоялъ мужчина довольно высокаго роста, въ сюртукѣ, кожаномъ картузѣ, худощавый, немного растрепанный, худо выбритый, но съ такимъ замѣчательнымъ лицомъ, что оно и до сихъ поръ еще не вышло изъ моей памяти; такой веселой, умной, и въ то же время добросердечной улыбки я никогда не видывалъ; во всѣхъ чертахъ лица его изображалось какое-то безпечное спокойствіе и даже лѣнь, но въ этихъ глазахъ, какъ будто бы немного заспанныхъ, сверкалъ такой самобытный умъ, такой русскій толкъ, что, спустя много лѣтъ послѣ, я тотчасъ вспомнилъ объ этомъ незнакомцѣ, когда прочелъ въ одной прелестной баснѣ два стиха:

„Не движась, я смотрю на суету мірскую
И философствую сквозь сонъ".

Поглядѣвъ на насъ еще съ полминуты, онъ вынулъ записную книжку, черкнулъ въ ней карандашомъ и повернулъ прямо въ рощу. Если одинъ изъ нашихъ величайшихъ писателей могъ нѣкогда похвастаться стройнымъ станомъ, то я готовъ биться объ закладъ, что это былъ онъ. Да! я увѣренъ, что Иванъ Андреевичъ Крыловъ живалъ съ молоду въ Бѣлокаменной, и что въ ней-то именно подсмотрѣлъ нашъ русскій простой бытъ и подслушалъ этотъ народный языкъ, которымъ плѣняетъ насъ въ своихъ неподражаемыхъ басняхъ.

Я не могъ отдѣлаться, и выпилъ пятую чашку чаю; но рѣшительно отказался отъ шестой и попросилъ купца изъяснить мнѣ, почему онъ полагаетъ, что Дѣвичье поле имѣло это названіе прежде, чѣмъ построенъ былъ на немъ Новодѣвичій монастырь?

— А вотъ, изволите видѣть,—сказалъ купецъ, поглаживая свою сѣдую бороду.—Жена, поставь-ка чайникъ на канфорку. Вотъ что, батюшка, Владиміръ Сергѣевичъ, нашимъ прадурамъ разсказывали ихъ дѣды и прадѣды. Не безъизвѣстно вамъ, что Божіимъ попущеніемъ поганая нехристь, татары окаянные, владѣли нѣкогда не только первопрестольнымъ градомъ Москвою, но и всѣмъ нашимъ православнымъ царствомъ. То-то былъ срамъ для всей земли русской! Наши великіе князья ѣздили на поклонъ въ Орду и встрѣчали баскаковъ, сирѣчь татарскихъ пословъ, не у себя въ дому, а, по тогдашнему, за городомъ, на нынѣшней *Болвановкѣ*, которую прозвали Болвановкой потому, что татарскіе послы заставляли тутъ князей русскихъ кланяться деревянному болвану, изображающему ихъ верховнаго богдыхана. Эти нечестивые агаряне въ грошъ не ставили нашихъ князей, обижали бояръ, грабили народъ, и даже, входя въ храмы Божіи, не ломали шапокъ передъ святыми иконами. Много было всякихъ денежныхъ поборовъ съ Москвы; но самая-то тяжкая дань была натурою: ежегодно отправляли въ Орду по пятидесяти что не лучшихъ

московскихъ дѣвицъ. Когда приходило время, со всѣхъ концовъ Москвы сгоняли ихъ, сердечныхъ, словно беззащитныхъ овечекъ, на большое поле передъ Лужниками; тутъ татарскіе браковщики выбирали изъ нихъ самыхъ лучшихъ красавицъ и отправляли на свое подворье за Москву-рѣку. Это урочище и теперь еще прозывается по-татарски Берсень, а все это мѣсто за Москвой-рѣкой слыветъ Бабьимъ городомъ. Вотъ, батюшка, Владиміръ Сергѣевичъ, почему Дѣвичье поле называется Дѣвичьемъ. Теперь, изволите видѣть, что не оно отъ монастыря, а монастырь отъ него получилъ свое названіе.

Вы, вѣрно, догадаетесь, любезные читатели, что я вовсе не выдаю этого народнаго преданія за какой-нибудь историческій фактъ: я повторяю только то, что слышалъ отъ купца, который, окончивъ свой разсказъ, принялся снова потчевать меня чаемъ. Видя бѣду неминучую, я, какъ догадливый Фока въ баснѣ «Демьянова уха»,

„Схватя въ охапку
Кушакъ и шапку",

ударился бѣжать, но только не домой, а внизъ подъ гору. Извилистая тропинка довела меня до самой рѣки; я переѣхалъ въ лодкѣ на другой берегъ, и черезъ нѣсколько минутъ былъ уже подъ стѣнами Новодѣвичьяго монастыря. Тутъ нѣкогда, снѣдаемая жаждой властолюбія, вздыхала о свободѣ надменная сестра Петра Великаго. Изъ этого же самаго монастыря московскіе жители долго не могли вызвать Бориса Годунова, чтобъ вручить ему скипетръ и державу царства русскаго. Вопреки мнѣнію почти всѣхъ историковъ, я увѣренъ, что въ этомъ продолжительномъ упорствѣ Годунова, не соглашаться на желаніе всей Москвы, не было ничего притворнаго. Онъ давно уже былъ правителемъ Россіи, но боялся назваться царемъ ея. Я понимаю это чувство: надобно родиться въ порфирѣ, чтобъ безтрепетно возложить на главу свою эту завѣтную шапку Мономаха. Не даромъ всѣ короны бываютъ усыпаны драгоцѣнными каменьями. Нѣтъ! эта царственная роскошь заключаетъ въ себѣ глубокую мысль. Да! блестящъ и свѣтелъ царскій вѣнецъ, но зато какъ тяжело носить его!

Трудно найти такого неутомимаго пешеходца, какимъ я бывалъ встарину; но день былъ жаркій, меня пекло солнцемъ, и я почувствовалъ наконецъ необходимость отдохнуть гдѣ-нибудь въ тѣни. Шагахъ въ пятидесяти отъ монастыря, передъ двухъ-этажнымъ каменнымъ домомъ спускался по отлогому скату въ Москвѣ-рѣкѣ небольшой, но очень густой и тѣнистый садъ. Я прошелъ къ отпертой калиткѣ; прибитая подлѣ нея дощечка съ надписью возвѣщала всѣмъ и каждому, что гулять по саду можно, но только съ тѣмъ, чтобъ не рвать цвѣтовъ, не ломать деревьевъ и не ходить по травѣ. Въ полной увѣренности, что не нарушу ни одного изъ этихъ условій, я пошелъ по липовой аллеѣ; она привела меня къ зеленому лугу, на которомъ передъ самымъ домомъ разбросаны были клумбы цвѣтовъ. Этотъ лугъ былъ окруженъ съ двухъ сторонъ прелестными рощицами изъ густыхъ кустовъ сирени, бузины и акацій. На противуположной сторонѣ дома, высокія подстриженныя шпалеры, какъ зеленой стѣною, перерѣзывали поперекъ весь садъ. У единственнаго входа за эту живую ограду прибита была на столбѣ еще дощечка, а на ней написано: «входъ въ лабиринтъ». Я невольно улыбнулся, прочтя эту надпись. Лабиринтъ!.. прошу покорно, какія претензіи! Я увѣренъ, подъ всѣмъ садомъ пѣтъ и четырехъ десятинъ земли, а нашлось мѣсто для лабиринта. Ну, такъ и быть, пущусь безъ проводника; авось, не пропаду безъ вѣсти! Пройдя нѣсколько шаговъ по узенькой дорожкѣ, я долженъ былъ поворотить направо, потомъ повернулъ налѣво, а тамъ опять направо; дорожки поминутно пересѣкались, путались, и я черезъ нѣсколько минутъ рѣшительно не зналъ, въ которой сторонѣ былъ выходъ. Прокруживъ съ четверть часа почти на одномъ мѣстѣ, я попалъ наконецъ на тропинку, которая свела меня въ узкую, поросшую кустарникомъ лощину; въ глубинѣ ея, изъ небольшого, отдѣланнаго дикимъ камнемъ, грота, струился ручей; подлѣ него на деревянной скамьѣ лежалъ желѣзный ковшъ. Я присѣлъ, выпилъ водицы, отдохнулъ съ полчаса и отправился опять по той же самой тропинкѣ, которая привела меня къ гроту. Шелъ, шелъ и наконецъ уперся въ каменную стѣну, вдоль которой не было никакого хода. Я повернулъ назадъ, выбралъ наудачу другую дорожку; она извивалась, кружилась, переплеталась съ другими и вывела меня, наконецъ, на деревянный красивый мостикъ; глядь внизъ—лощина, гротъ и ручей... Что за вздоръ?.. Нельзя же мнѣ заплутаться въ этомъ кукольномъ лабиринтѣ! Это все равно, что утонуть въ стаканѣ воды!.. Я пошелъ по новой дорожкѣ; казалось, она вела прямо къ дому. Вотъ я иду себѣ, да иду, а дорожка непримѣтно все поворачиваетъ въ сторону, и вдругъ оканчивается лѣстницей. Попытаюсь сойти... Ахъ, батюшки! Опять лощина, гротъ и ручей!.. Ужъ не правду ли говоритъ мой Никаноръ Федотычъ, что когда обойдетъ лѣшій, такъ въ коноплянникѣ заплутаешься... Что за дремучій лѣсъ, въ самомъ дѣлѣ! Я отправился скорымъ шагомъ назадъ. А! вотъ наконецъ дорожка гораздо шире другихъ; она вѣрно выведетъ меня изъ этого проклятаго лабиринта. И подлинно: я начинаю слышать голоса; кажется, идутъ ко мнѣ навстрѣчу; я прибавляю шагу, почти бѣгу... голоса отдаляются, дорожка становится все уже, уже и наконецъ приводитъ

меня на берегъ небольшого пруда; направо тростникъ и болото, налѣво, за кустомъ бузины журчитъ ручей... Что это?.. Ну, такъ и есть! Опять эта несносная лощина съ своимъ дурацкимъ гротомъ и глупымъ мостикомъ... Ахъ, чортъ возьми! Ужъ это становится скучно! Я усталъ до смерти, проголодался, да и пора домой: солнце начинаетъ садиться. Пойду прямо на проломъ! Я этимъ нарушу одно изъ условій, объявленныхъ мнѣ при входѣ въ садъ; но дѣлать нечего: не ночевать же мнѣ здѣсь на берегу *прозрачнаго ручейка!* Что я за аркадскій пастушокъ, въ самомъ дѣлѣ! При первой попыткѣ я удостовѣрился, что это насильственное средство никуда не годится: по сторонамъ дорожекъ, густо обсаженныхъ деревьями, тянулись такіе плотные шпалерники изъ колючихъ кустовъ, что мнѣ пришлось бы прорубать себѣ дорогу, если бъ я захотѣлъ пройти цѣликомъ. Ходя взадъ и впередъ по дорожкамъ, я нашелъ на одной изъ нихъ бѣлыя женскія перчатки. Въ то время, какъ я разсматривалъ мою находку, за частымъ шпалерникомъ въ двухъ шагахъ отъ меня послышались женскіе голоса.—Да куда же ты ихъ дѣвала, Сонюшка?—говорилъ кто-то протяжнымъ голосомъ. — Ужъ не забыла ли ты ихъ въ лавкѣ? — Нѣтъ, тетушка! Я очень помню, что держала ихъ въ рукѣ, когда мы ѣхали,—отвѣчалъ другой голосъ, такой благозвучный, исполненный такой необычайной прелести, что я весь превратился въ слухъ и притаилъ дыханіе, боясь проронить хоть одно слово.

— Да развѣ ты ихъ не надѣвала, мой другъ?—продолжалъ первый голосъ.

— Нѣтъ, тетушка! — вы видите, на мнѣ старыя... Любовь! не тебѣ ли я отдала мои перчатки?

— Нѣтъ, ma chère! — раздался третій голосъ, также очень пріятный, но котораго звуки не потревожили моего сердца и не заставили его биться сильнѣй обыкновеннаго.

— Такъ я вѣрно ихъ оставила въ каретѣ. Иванъ! пойди, посмотри тамъ...

— Не безпокойтесь!—прервалъ я громкимъ голосомъ.—Я нашелъ ваши перчатки.

Вдругъ все замолкло.

— Только не знаю, какъ ихъ отдать, — продолжалъ я.—Мы близко другъ отъ друга, но мнѣ нельзя къ вамъ подойти. Постойте... Насъ раздѣляютъ одинъ шпалеры: если угодно, я перекину перчатки на вашу сторону.

— Сдѣлайте милость!

Я бережно свернулъ перчатки мячикомъ и перекинулъ ихъ черезъ деревья.

— Покорнѣйше васъ благодарю!—сказали мнѣ этимъ плѣнительнымъ голосомъ, отъ котораго вся кровь моя бросилась къ сердцу.

— Извините—одно слово! — закричалъ я, услышавъ, что мои сосѣдки идутъ прочь.—Не можете ли вы мнѣ сказать, какъ выйти изъ этого лабиринта? Я заплутался.

Мнѣ послышалось, что мои дамы-невидимки потихоньку смѣются.

— Я чувствую самъ, что это очень забавно,—сказалъ я,—но признаюсь, мнѣ вовсе не до смѣху: вотъ ужъ два часа, какъ я ищу и не могу найти выхода. Сжальтесь надо мною! Я, право, начинаю бояться, что умру здѣсь голодной смертью.

За шпалерами громкій хохотъ, и послѣ минутнаго молчанія тѣмъ же очаровательнымъ голосомъ проговорили:—Теперь извольте итти налѣво, держитесь все правой стороны, покуда не дойдете до высокой черемухи; позади ея, за большимъ кустомъ сирени, начнется тропинка, которая выведетъ васъ изъ лабиринта.—Представьте себѣ: — я двадцать разъ проходилъ мимо этой черемухи! На этотъ разъ, благодаря данному мнѣ наставленію, я отыскалъ тропинку и черезъ нѣсколько минутъ вышелъ, наконецъ, изъ этой проклятой западни. Вдали, у воротъ дома, стояла карета, къ ней подходили дамы, вѣроятно, тѣ самыя, съ которыми я разговаривалъ. Мнѣ чрезвычайно хотѣлось увидѣть ихъ въ лицо или, лучше сказать, посмотрѣть на ту, которая очаровала меня своимъ ангельскимъ голосомъ; но прежде, чѣмъ я успѣлъ подойти, дамы сѣли въ карету, кучеръ погналъ лошадей, и онѣ рысью помчались вдоль Дѣвичьяго поля.

Когда я пришелъ домой, Никаноръ подалъ мнѣ визитную карточку, на которой было написано прескверными почеркомъ: «Дѣйствительный статскій совѣтникъ Кузьма Петровичъ Кукушкинъ».

— Что это значитъ? — сказалъ я. — Почему узнали, что я въ Москвѣ, и кто это Кукушкинъ?

— Его люди говорятъ, сударь, что онъ генералъ и баринъ добрый,—отвѣчалъ Никаноръ.—Я по вашему приказу отвозилъ къ его сожительницѣ посылку.

— А, да, да! Мнѣ эту посылочку въ два пуда навязала въ Петербургѣ княгиня Любская. Что, этотъ Кукушкинъ самъ пріѣзжалъ?

— Никакъ нѣтъ, сударь. Присылалъ человѣка и проситъ васъ завтра къ себѣ кушать.

— Хорошо.

Я сталъ раздѣваться.—Ну, сударь!—сказалъ Никаноръ, развязывая мнѣ галстухъ,—какія знатныя палаты у этого Кукушкина! А дворня-то какая! Въ передней проходу нѣтъ: биткомъ набита; и народъ все такой проворный, наметанный; одеженка на людяхъ плохая—это правда, да зато кормятъ хорошо, передъ обѣдомъ каждому чарка вина. Я поразговорился съ однимъ парнемъ—такой ласковый! Ну, сударь, видно, этотъ генералъ Кукушкинъ не изъ простыхъ, живетъ бариномъ: и пѣвчіе, и музыка такая, и музыка

роговая! Они совсѣмъ было собрались ѣхать въ свою подмосковную, верстъ восемьдесятъ отсюда, да старая барыня что-то прихворнула. Теперь ей получше, слава Богу, дня черезъ три ѣдутъ.

Никаноръ Федотычъ долго еще болталъ и разсказывалъ мнѣ разныя подробности о домѣ Кукушкиныхъ; но я давно уже его не слушалъ: въ ушахъ моихъ безпрестанно раздавался плѣнительный голосъ незнакомки. — Боже мой! — думалъ я, — какъ она должна быть прекрасна! Какъ бы я желалъ взглянуть на нее, или, по крайней мѣрѣ, хотя еще одинъ разъ послушать, какъ она говоритъ!.. Однако, что жъ это значитъ?.. Я безпрестанно о ней думаю... Ужъ не влюбился ли я?.. Какой вздоръ! Я ее не видѣлъ, не имѣю никакого понятія о ея наружности, не знаю, что она: глупа или умна, любезна или нѣтъ... Все такъ! А межъ тѣмъ этотъ голосъ не выходитъ у меня изъ головы.—Послушай, Никаноръ, — сказалъ я громко, — какъ ты думаешь? можно ли влюбиться въ одинъ голосъ?

— Каковъ голосъ, сударь; отъ иного голоса вотъ такъ и растаешь! Изволите помнить, еще при вашемъ покойномъ батюшкѣ, былъ безсмѣнный фолеторъ Митька — такъ, недоростокъ и лицомъ-то не ахти мнѣ; а что за голосъ былъ такой—фу, ты, батюшки! Бывало, какъ затянетъ бестія:

„Ты, дѣтинушка, сиротинушка,
Безпріютная твоя головушка!“

такъ вѣрите-ль Богу, Владиміръ Сергѣевичъ, слеза пробьетъ! Федосья ключница, — вы знаете, дѣвка была немолодая, степенная, а какъ послушала Митькиныхъ пѣсенокъ, такъ вовсе по немъ зачахла. Ужъ чего она, сердечная, не дѣлала! и по ворожеямъ-то бѣгала, и какой-то приворотный корешокъ доставала. Въ одинъ годъ высохла, какъ соломинка, да такъ и въ могилу пошла. Бывало, глядитъ на него, не наглядится; а чего было смотрѣть? Чай, изволите помнить? Голова съ пивной котелъ, кривоногій, черномазый, рябой, вся рожа въ узорахъ! Такъ что жъ, сударь? Чѣмъ онъ сокрушилъ Федосью-то? Вѣстимо, голосомъ.

— Въ самомъ дѣлѣ,—подумалъ я,—развѣ нельзя имѣть прекрасный голосъ и преотвратительную наружность? Можетъ быть, моя незнакомка дурна, какъ смертный грѣхъ! Коса, кривобока; можетъ быть, у нея красный носъ, ротъ до ушей... Нѣтъ, нѣтъ! Такіе очаровательные, гармоническіе звуки могутъ ли выходить изъ безобразнаго и огромнаго рта? Она, можетъ быть, нехороша собою; но я увѣренъ, что ротикъ у нея прекрасный.

На другой день, послѣ довольно продолжительной утренней прогулки, я принарядился, велѣлъ Никанору надѣть ливрею и отправился въ наемной каретѣ къ Кузьмѣ Петровичу Кукушкину. Его каменный двухъэтажный домъ былъ подлинно очень великъ; но не всякій согласился бы назвать домомъ эту огромную кучу кирпича, несмотря на то, что въ ней были пробиты окна, сдѣланы двери, что надъ нею была желѣзная кровля, а на воротахъ висѣла дощечка съ надписью: «свободенъ отъ постоя». Представьте себѣ... Да нѣтъ, я личностей терпѣть не могу! Этотъ уродливый домъ давно уже перестроенъ, но живъ еще въ памяти всѣхъ московскихъ обывателей; слѣдовательно, описать его или даже намекнуть только, на какой онъ улицѣ, будетъ то-же самое, что указать на него пальцемъ. Зачѣмъ тревожить прахъ добраго Кукушкина? Онъ выстроилъ этотъ огромный кирпичный балаганъ не столько для собственной своей потѣхи, сколько изъ благороднаго патріотизма: онъ хотѣлъ украсить имъ одну изъ лучшихъ улицъ первопрестольнаго града Москвы. На одрѣ болѣзни, въ послѣднюю минуту своей жизни, онъ утѣшался мыслію, что благодарное потомство будетъ благословлять его имя и повторять вмѣстѣ съ Фамусовымъ:

„Кузьма Петровичъ, миръ ему!“

Выходя изъ кареты, я началъ съ того, что у самаго подъѣзда попалъ въ лужу и забрызгалъ грязью сапоги; потомъ, идя по узкой и крутой лѣстницѣ, чуть было не сломилъ себѣ шеи. Въ передней, на деревянныхъ скамьяхъ, сидѣло человѣкъ двадцать слугъ: одни дремали, другіе вполголоса разговаривали межъ собою. Въ одномъ углу играли въ шашки, въ другомъ двое слугъ лупили третьяго немилосердно по носу засаленными картами. Мой приходъ прервалъ эти мирныя занятія; всѣ вскочили съ своихъ мѣстъ... Господи!.. Гдѣ я? Не въ Муромскомъ лѣсу?.. Что за пьяныя, небритыя рожи! У этого подбитые глаза вовсе заплыли отъ перепоя, у другого изорванный сюртучишка надѣтъ безъ жалета, у третьяго волосы торчатъ на головѣ какъ щетина, у четвертаго все лицо на сторону... На стѣнахъ висятъ ружья, пистолеты, охотничьи ножи... Ахъ! батюшки! да это, ни дать ни взять, разбойничья пристань! Я не совсѣмъ еще опомнился отъ удивленія, какъ вдругъ изъ этой толпы одинъ оборванный парень бросился мнѣ прямо подъ ноги, а двое другихъ кинулись на меня съ такимъ остервенѣніемъ, что сердце мое замерло отъ ужаса; я хотѣлъ закричать караулъ, но не успѣлъ: въ одну секунду съ меня сорвали шинель и вычистили мнѣ сапоги. — Дома ли Кузьма Петровичъ?—спросилъ я трепещущимъ голосомъ.

— Ступай, Фомка, доложи! — прошепталъ одинъ слуга другому.

— Ступай самъ!

— Да пошелъ же, тебѣ говорятъ!

— Вотъ я васъ!—закричалъ старикъ лѣтъ шестидесяти съ толстымъ брюхомъ, въ нѣмецкомъ поношенномъ кафтанѣ и въ бумаж-

пыхъ, заштопанныхъ чулкахъ. — Что вы копаться чтоль хотите? Бѣги доложить хоть ты, Андрюшка... Ну, что сталъ? Пошелъ!—Эти послѣднія слова были произнесены такимъ строгимъ голосомъ, что Андрюшка бросился какъ бѣшеный, столкнулся со мною въ дверяхъ и сшибъ меня съ ногъ. Въ лакейской раздался громкій крикъ, и почти всѣ остальные слуги кинулись на меня, какъ разъяренные львы.—«Ну»!—подумалъ я, — «пришелъ мой послѣдній часъ! Не вставать мнѣ живому!» Однакожъ, слава Богу, всѣ ребра мои остались цѣлы. Меня схватили, подбросили кверху, поймали на воздухѣ и поставили на ноги благополучно; только одинъ изъ слугъ, вѣроятно портной, оцарапалъ мнѣ щеку иглою, которая была у него заткнута въ рукавѣ. — Пожалуйте-съ! — закричалъ Андрюшка, распахнувъ настежъ двери столовой. Выходя изъ этого разбойничьяго вертепа, я оглянулся назадъ; въ толпѣ слугъ стоялъ мой вѣрный Никаноръ съ своимъ беззаботнымъ и добродушнымъ лицомъ.—Боже мой!—прошепталъ я невольно: — что-то съ нимъ будетъ? Убьютъ они его до смерти!

Хозяинъ встрѣтилъ меня въ гостиной. Онъ показался мнѣ съ перваго взгляда человѣкомъ ласковымъ, добродушнымъ—въ этомъ я не ошибся — и весьма простымъ, что также черезъ нѣсколько минутъ оказалось совершенно справедливымъ. Впослѣдствіи я познакомился очень коротко съ Кузьмой Петровичемъ: онъ принадлежалъ къ этому довольно многочисленному разряду полу-богатыхъ, полупросвѣщенныхъ и полу-знатныхъ русскихъ дворянъ, которые, чтобъ не отставать отъ своей *братіи*, вельможъ, *топорщатся*, *пыжатъ и надуваются* точь въ точь, какъ въ баснѣ Крылова лягушка, желающая сравниться съ быкомъ, и точно такъ же, какъ она, всегда кончаютъ тѣмъ, что лопаются съ натуги. Ему по наслѣдству досталось чистыхъ полторы тысячи душъ и полмилліона наличными деньгами. Деньги онъ убилъ какъ разъ, а души заложилъ въ Опекунскій Совѣтъ, вовсе не думая о томъ, что, не заплатя долга, ему нельзя будетъ снова заложить свое имѣнье. Весьма натурально, что человѣкъ просвѣщенный и богатый заводитъ большую библіотеку, картинную галлерею и, если можетъ, содержитъ свой собственный оркестръ; вѣроятно, онъ это дѣлаетъ потому, что любитъ словесность и всѣ изящныя художества. Кузьма Петровичъ, совершенно наоборотъ, полагалъ себя обязаннымъ покровительствовать всѣмъ талантамъ, любить музыку, живопись, заниматься словесностію и даже писать стихи, потому что у него была большая библіотека, картинная галлерея и свой собственный оркестръ. По женѣ своей онъ былъ въ дальнемъ родствѣ съ двумя-тремя вельможами; они смѣялись надъ нимъ, говорили ему: «mon cousin» и изрѣдка у него обѣдали, такъ диво ли, что Кузьма Петровичъ помѣшался на знатности? Люди и поумнѣй его сходятъ отъ этого съ ума. Когда онъ читалъ какого-нибудь французскаго философа, возстающаго противъ аристократовъ, то говорилъ всегда: «толкуйте себѣ, господа, толкуйте! а *мы* необходимы». Его страсть называть себя вельможею дошла, наконецъ, до того, что всѣ слуги затвердили наизусть это слово и употребляли его иногда весьма забавнымъ образомъ. Однажды очень умный человѣкъ, отъ котораго я самъ это слышалъ, пріѣхалъ къ нему съ визитомъ. «Дома ли баринъ?»—спросилъ онъ въ передней у дворецкаго.

— Никакъ нѣтъ, сударь: *она* изволила уѣхать въ деревню.

— Она?.. Да ты, вѣрно, не слышалъ, о комъ я тебя спрашиваю?

— Слышалъ, сударь! О его превосходительствѣ Кузьмѣ Петровичѣ.

— Такъ что жъ ты говоришь: *она изволила* уѣхать?

— Да какъ же-съ? Вѣдь *она* вельможа.

— Se non è vero, ben trovato!—скажутъ мои читатели. Клянусь честію, это истинная правда, такъ же какъ и то, что я буду имѣть честь разсказать вамъ сію минуту.

— Очень радъ, Владиміръ Сергѣевичъ, что имѣю удовольствіе съ вами познакомиться!—сказалъ Кузьма Петровичъ, протягивая ко мнѣ руку.—Моя свояченица, княгиня Любская, пишетъ, что вы пробудете въ Москвѣ около мѣсяца.

— Едва ли.

— И, полноте! Поживите у насъ подолѣе. Да прошу покорно садиться! Я сейчасъ буду имѣть честь представить васъ моимъ дамамъ,— продолжалъ Кузьма Петровичъ, когда мы усѣлись на диванъ.—Онѣ еще не кончили своего туалета. Мы обыкновенно обѣдаемъ часу въ пятомъ, такъ теперь еще у насъ утро.

Я невольно взглянулъ на бронзовые часы, которые стояли надъ каминомъ; стрѣлка показывала три часа съ половиною.

— Вы, вѣрно, смотрите на эту картину, что виситъ подлѣ камина?—сказалъ хозяинъ.

Чтобъ не вовсе солгать, я только что кивнулъ головою.

— Хорошая картина,—продолжалъ Кузьма Петровичъ.—Мнѣ она досталась въ мѣняльной лавкѣ за бездѣлицу: я далъ за нее двѣ золотыя табакерки, рублей въ шестьсотъ, да старыя бриллiантовыя серьги. Я думаю, вы съ перваго взгляда узнали, что это Ванъ-Дикъ? Посмотрите, какая жизнь въ лицѣ! Не правда ли? Выньте эту картину изъ рамы— и вы съ нею заговорите.

Я опять и по той же самой причинѣ кивнулъ только головою.

— Вы, вѣрно, знатокъ, Владиміръ Сергѣевичъ?

— Извините! Я только что люблю хорошія картины.

— А если любите, такъ не угодно ли взглянуть на мою галлерею!.. Милости прошу!

Я пошелъ вслѣдъ за хозяиномъ. Изъ столовой мы вошли въ узкую и продолговатую залу. Въ ней на запачканныхъ стѣнахъ висѣло картинъ пятьдесятъ, подлинно диковинныхъ! Изъ числа ихъ было, однако жъ, нѣсколько картинъ недурныхъ. Я остановился противъ одного пейзажа: вода, воздухъ, зелень—все было въ немъ изображено и вѣрно, и хорошо.

— Эта картина не стоитъ вашего вниманія,—сказалъ хозяинъ.—Я, право, не знаю, какъ она сюда попала. Это копія.

— Можетъ быть, только весьма недурная. Посмотрите, какъ хороша эта даль, какъ вѣренъ этотъ воздухъ, какъ свѣжа эта зелень...

— Ну, да, конечно — свѣтло, зелено, un plat d'ėpinards! Самая ученическая работа!.. Не угодно ли вамъ сюда? У меня, батюшка, Владиміръ Сергѣевичъ, надписей на рамахъ нѣтъ: мои картины сами за себя говорятъ... Вотъ настоящій Корреджій; я купилъ его въ Римѣ... Подлѣ него Андрей дель-Сарто; а объ этой картинѣ, кажется, и говорить нечего—манера Гвидо-Рени такъ всѣмъ извѣстна. Вотъ чудный Басано! Посмотрите, какъ онъ сохранился!... Вы вѣрно думаете, что это Вуверманъ? Нѣтъ, это Рубенсъ. Онъ во всю жизнь свою написалъ только одну картину въ этомъ родѣ. А это, какъ вы полагаете, что такое?

— Право, не знаю.

— Настоящій, подлинный Эспаньолетъ. Вамъ извѣстно, какъ рѣдки картины испанской школы. Ужъ я за ней волочился, волочился!.. Что вы скажете объ этомъ Теньерѣ?.. А этотъ Вандервервъ? Я купилъ ихъ обоихъ въ Амстердамѣ за пятьсотъ червонныхъ—даромъ!

У меня заболѣла шея отъ безпрестаннаго киванья головою. Съ полчаса хозяинъ гонялъ меня сквозь строй по своей картинной галлереѣ; наконецъ, когда мы пересмотрѣли поодиночкѣ всѣхъ этихъ самозванцевъ, Кузьма Петровичъ сѣлъ на стулъ, посадилъ меня возлѣ себя и сказалъ торжественнымъ голосомъ: — «Теперь я покажу вамъ послѣднюю мою покупку. Эй, Ванька!».

У дверей появился плѣшивый старикъ съ заспанными глазами и длиннымъ носомъ, на которомъ замѣтны были слѣды весьма упругихъ очковъ; его коричневый сюртукъ, замаранный во многихъ мѣстахъ разноцвѣтной краскою, ясно гласилъ, что я вижу передъ собой одного изъ домашнихъ артистовъ Кузьмы Петровича Кукушкина.

— Принеси-ка, братецъ, сюда, да, смотри, бережненько, — сказалъ хозяинъ, — эти двѣ картины, что я купилъ на аукціонѣ.

Доморощенный артистъ поклонился и вышелъ вонъ.

— Надобно вамъ разсказать,—продолжалъ Кукушкинъ,—какъ это случилось. Подлинно правда: на ловца и звѣрь бѣжитъ. Представьте себѣ: третьяго дня я заѣхалъ на публичный аукціонъ — такъ, отъ нечего дѣлать; гляжу, продаютъ картины. Ну, это по нашей части; посмотримъ, что такое.—Плохія копіи, нѣсколько оригиналовъ, писанныхъ Богъ знаетъ кѣмъ, однимъ словомъ — дрянь. Только что я хотѣлъ отправиться домой, выносятъ двѣ картины; глядь на ту, которая побольше... Ба, ба, ба!.. Кисть знакомая... Что за вздоръ! Протираю глаза... Смотрю... да! такъ точно! Одинъ изъ лучшихъ пейзажей Пуссеня!.. Другая картина также оригиналъ необычайнаго достоинства. Вотъ я, батюшка, себѣ на умѣ, притаился — молчу, какъ будто бы ничего; посматриваю по сторонамъ, а самого вотъ такъ варомъ и обдаетъ!.. Послушаемъ оцѣнку: за обѣ картины сто рублей! А, сударь? Каково вамъ покажется? — Сто рублей! Посмотримъ, что будетъ... Всѣ молчатъ, и я молчу. Вотъ кто-то позади закричалъ «рубль»! а я пятьдесятъ; онъ опять рубль, а я сто; онъ опять рубль, а я двѣсти! Не отстаетъ ,проклятый! И добро бы знатокъ какой-нибудь, а то, чортъ знаетъ, кто такой! Какой-то лоскутникъ, аферистъ... Видно, догадался, что я недаромъ набиваю цѣну, или хозяинъ аукціона растолковалъ ему достоинство этихъ картинъ: я самъ видѣлъ, какъ они послѣ перешептывались. Вотъ, сударь, пошло за тысячу, — тысяча двѣсти,— тысяча триста,—не за мной! Я наддаю вдругъ пять сотъ: разъ, два — стукъ!.. мои!.. Фу, батюшки! такъ и отлегло отъ сердца! Повѣрите ли, Владиміръ Сергѣевичъ, я вошелъ въ такой азартъ, что хоть до ножей; и если бъ этотъ аферистъ былъ понастойчивѣе, у насъ пошла бы такая рѣзня, что Боже упаси!.. А! вотъ онѣ!.. несутъ!.. Тише, Ванька, тише! Не зацѣпи въ дверяхъ.

Лысый Ванька придвинулъ къ намъ два стула, поставилъ на каждый по картинѣ, задернутой зеленой тафтою, и съ низкимъ поклономъ подалъ своему барину метелку изъ перьевъ. Кузьма Петровичъ началъ съ той картины, которая была гораздо болѣе; онъ отдернулъ занавѣску, махнулъ по картинѣ своей метелкою и, взглянувъ на меня съ гордостію, сказалъ:—Что сударь?.. а?.. Есть ли этакій Пуссень въ Эрмитажѣ.

Господи, Боже мой, что это!.. Вода молочнаго цвѣта, зеленоватое небо, черныя листья на деревьяхъ; сатиръ, который потому только не вовсе походитъ на пенекъ, что у него козлиныя ноги; и вмѣсто нимфъ какіе-то тараканы. Что жъ это, въ самомъ дѣлѣ? Ужъ не дурачитъ ли меня господинъ Кукушкинъ? Нѣтъ! добродушное лицо Кузьмы Петровича сіяетъ такою радостью, онъ такъ счастливъ, такъ доволенъ своей покупкою!..

— Теперь извольте взглянуть на эту! —

сказалъ хозяинъ, отдернувъ занавѣску другой картины и обмахнувъ ее метелкою.—Что, сударь? Я вижу, вы поражены необычайнымъ достоинствомъ этого геніальнаго произведенія, — продолжалъ Кукушкинъ, замѣтивъ мое удивленіе.—Посмотрите, какъ группированы эти музы около Апполона! Какая широкая кисть! Какой колоритъ!.. Чудо! Что это оригинальная картина лучшаго времени италіанской школы, въ этомъ нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія; да только чья? Вотъ тутъ-то и запятая! Утвердительно и я сказать не могу, а крѣпко подозрѣваю, что она должна быть Аннибала Караччіо.

— Позвольте!—прервалъ я, взявъ въ руки эту картину, которая возбуждала и во мнѣ сильное подозрѣніе. Я повернулъ ее къ себѣ изнанкою.

— Не смотрите! — сказалъ Кукушкинъ,— надписи никакой нѣтъ. Но я искалъ не надписи: мнѣ показалось, что въ одномъ мѣстѣ какъ будто бы бумага чуть-чуть поотстала отъ холстины... Ну, такъ и есть! я не ошибся. Это гравированный эстампъ, наклеенный на холстину, размалеванный масляной краской и покрытый лакомъ!!! Вы не вѣрите? Эхъ, любезные читатели! да еслибъ дѣло пошло на выдумки, такъ я придумалъ бы что-нибудь и забавнѣе и вѣроподобнѣе этого. Повѣрьте мнѣ, нѣтъ такого сумасбродства, такой очевидной глупости, къ которой не былъ бы способенъ человѣкъ недальняго ума, если онъ прикидывается знатокомъ. Слушая безцвѣтную, ледяную музыку, онъ будетъ таять отъ восторга, заплатитъ тысячу рублей за грошевую картину и станетъ плакать отъ умиленія, повторяя какой-нибудь пошлый стихъ моднаго поэта. Онъ думаетъ этимъ доказать, что вполнѣ постигаетъ непостижимое для невѣжественной толпы; что онъ открываетъ небесныя красоты тамъ, гдѣ люди обыкновенные видятъ одну нескладицу, безобразіе и пустой наборъ словъ; что онъ, однимъ словомъ, записной, отъявленный знатокъ. Просвѣщенные и безпристрастные цѣнители дарованій находка для художника-писателя; но они очень рѣдки. Зато ужъ сколько почтенныхъ Кукушкиныхъ, отъ которыхъ да избавитъ васъ Господь Богъ, любезные читатели, какъ отъ нашествія иноплеменныхъ, язвы, огня и потопа.

Разумѣется, я не сообщилъ моего открытія Кузьмѣ Петровичу, который, посмотрѣвъ нѣсколько минутъ на эту картину, воскликнулъ:— Да, да! это точно долженъ быть Аннибалъ Караччіо! Рисунокъ, манера, драпировка — все его! Я подозрѣваю только, что деревья писаны не имъ, а ученикомъ его, Албаномъ. Не правда ли?

Я кивнулъ головою, которая отъ безпрестаннаго движенія насилу держалась у меня на плечахъ.

— Марья Ивановна проситъ васъ въ гостиную,—проговорилъ довольно опрятно одѣтый мальчикъ, войдя въ галлерею.

— Пойдемте, Владиміръ Сергѣевичъ, — сказалъ Кукушкинъ, вставая.—Жена и племянница нетерпѣливо желаютъ съ вами познакомиться. Княгиня, моя свояченица, такъ много объ васъ пишетъ. Пойдемте, пойдемте!

Кузьма Петровичъ представилъ меня сначала женѣ, женщинѣ пожилой, но довольно еще свѣжей.—А вотъ моя племянница или, лучше сказать, дочь, — сказалъ онъ, подводя меня къ дѣвицѣ лѣтъ девятнадцати. Когда я поцѣловалъ ея бѣлую, прелестную ручку (тогда было еще въ обычаѣ *подходить къ рукѣ*), то, Богъ знаетъ отчего, вовсе растерялся, съ трудомъ могъ выговорить два-три слова, и сказалъ совсѣмъ не то, что хотѣлъ сказать. Вы, вѣрно, подумаете, что она поразила меня своей красотою? Нимало! Я видалъ женщинъ несравненно ея лучше, по крайней мѣрѣ, такъ показалось мнѣ съ перваго взгляда; сначала я не замѣтилъ даже, что у нея прекрасные голубые глаза съ черными рѣсницами, прелестный ротикъ, жемчужные зубы, — все это я разсмотрѣлъ уже послѣ.

— Да, Владиміръ Сергѣевичъ, — продолжалъ Кукушкинъ,—ее зовутъ Софьей Николаевной Ладогиной, а меня Кузьмой Петровичемъ Кукушкинымъ; и она все-таки мнѣ не племянница, а дочь. Я думаю, вы часто объ ней слыхали отъ свояченицы моей, княгини Любской?

— Какъ же! — прошепталъ я, а въ самомъ-то дѣлѣ эта Любская, у которой я бывалъ изъ году въ годъ, никогда мнѣ объ ней не говорила.

— Если вы слышали отъ моей свояченицы, что Сонюшка круглая сирота, что у ней нѣтъ ни отца, ни матери, такъ не вѣрьте этому. Не правда ли, мой другъ?

Софья Николаевна улыбнулась. Боже мой! ну, можно ли этакъ улыбаться!.. Отъ этой улыбки сошли бы съ ума всѣ греческіе софисты, стоики и мудрецы; а тотъ изъ нихъ, который осмѣлился назвать человѣка, слѣдовательно и женщину, двуногимъ животнымъ безъ перьевъ, непремѣнно бы удавился отъ отчаянія, что сказалъ такую нелѣпость.

Хозяйка посадила меня подлѣ себя на диванѣ. Марья Ивановна Кукушкина, — дай Богъ ей царство небесное! — была женщина добрая, привѣтливая, но такая говорунья, что упаси, Господи! Она болтала безпрерывно днемъ, бредила безпрестанно ночью, и каждый день давилась за обѣдомъ, потому что хотѣла и ѣсть и говорить въ одно время. Я всегда любилъ наблюдать, съ какимъ неподражаемымъ искусствомъ она переходила отъ одного предмета къ другому, съ какой необычайной ловкостію пользовалась всѣмъ, чтобъ сбить васъ съ поля, завладѣть мѣстомъ сраженія и уничтожить всякую попытку съ

вашей стороны сдѣлать изъ ея безконечнаго *монолога* хотя что-нибудь похожее на разговоръ. Если вы чихнете или остановитесь, чтобъ перевести духъ, она уже и тутъ; а если закашляетесь, такъ дѣло и съ концомъ. Слушайте себѣ или не слушайте, все равно, а ваша рѣчь впереди. Съ своими домашними она была нѣсколько великодушнѣе и дозволяла имъ иногда говорить съ собою, вѣроятно, потому, что ужъ все съ ними переговорила; а я былъ для нея человѣкъ совершенно свѣжій, непочатый, такъ вы можете себѣ представить, какая разразилась надо мной словесная буря. Съ полчаса уже продолжался ея монологъ. Кузьма Петровичъ зѣвалъ, нюхалъ табакъ и посматривалъ съ умиленіемъ на своего Вандика; Софья Николаевна молча перебирала шнурки своего ридикюля, а я во все это время изъ вѣжливости глядѣлъ прямо въ глаза Марьѣ Ивановнѣ; потомъ сталъ понемногу коситься и посматривать исподлобья на племянницу, сначала украдкою, а тамъ безъ всякаго зазрѣнья совѣсти. Вдругъ ужасный визгъ и фырканье раздались въ сосѣдней комнатѣ.—Что это?—вскричала Марья Ивановна, вскочивъ съ дивана.—Вѣрно, опять Азоръ подрался съ Алиною!.. Негодная, вотъ я ее!..

Лишь только Марья Ивановна вышла изъ гостиной, собачій визгъ прекратился; но вмѣсто него началось такое отвратительное мяуканье, такой отчаянный кошачій вопль, что мы всѣ должны были заткнуть себѣ уши. Пока продолжалась эта экзекуція, я успѣлъ собраться съ духомъ и рѣшился заговорить съ Софьей Николаевной.

— Позвольте васъ спросить,—сказалъ я,—вы бывали когда-нибудь въ Петербургѣ?

— Нѣсколько разъ. Мы съ тетушкой были тамъ прошлаго мѣсяца.

— Боже мой!—подумалъ я,—этотъ голосъ...

— А вы, вѣрно,—продолжала Софья Николаевна,—всегдашній петербургскій житель? Ахъ, какъ забилось мое сердце!.. Такъ точно, это она!.. Она—и прекрасна какъ ангелъ! Софья Николаевна повторила свой вопросъ.

— Да-съ!—прошепталъ я, какъ школьникъ, который не знаетъ своего урока.—Прежде-съ я былъ петербургскимъ жителемъ, а теперь...

— А теперь сдѣлайтесь-ка нашимъ братомъ москвичемъ,—прервалъ Кузьма Петровичъ.—Право, такъ, Владиміръ Сергѣевичъ! Вѣдь, у насъ здѣсь рай земной!

— О, вы совершенно правы—здѣсь, точно, рай земной!—сказалъ я съ такимъ восторгомъ, что Софья Николаевна вдругъ вспыхнула и стала еще прекраснѣе. Въ эту минуту я отдалъ бы все на свѣтѣ,—за что вы думаете?.. за одно позволеніе сказать ей, что я во всю жизнь не видалъ ничего небеснѣе, ничего обворожительнѣе ея темно-голубыхъ глазъ, алыхъ щечекъ и опущенныхъ книзу черныхъ рѣсницъ.

Марья Ивановна вошла опять въ гостиную. Она держала въ своихъ объятіяхъ какое-то безобразное, толстое чудовище, похожее на моську.—Представьте себѣ!—сказала она,—какъ эта скверная кошка изувѣчила Азора! Посмотри, Кузьма Петровичъ!

— Бѣдный Азоръ!—вскричалъ Кукушкинъ.—Онъ весь исцарапанъ! Голубчикъ ты мой!.. Да и ты, Марья Ивановна, хочешь, чтобъ кошка съ собакою жили дружно!

— Какой прекрасный мопсъ!—сказалъ я.

— Не правда-ли, Владиміръ Сергѣевичъ?—подхватила Марья Ивановна.—Я вамъ разскажу, какимъ страннымъ случаемъ онъ ко мнѣ попался. Княгиня Анна Петровна Зарѣцкая... Вы знаете ее?.. Да, вѣрно, знаете, хоть по наслышкѣ: ея жизнь настоящій романъ. Она по третьему году осталась сиротой. Отецъ ея, Петръ Ивановичъ Выдыбаевъ... Слыхали вы о немъ?.. Вотъ былъ странный человѣкъ!.. Представьте себѣ, однажды, онъ былъ еще тогда холостымъ...

Къ счастію, моська, которая до того только что хрипѣла, вдругъ начала снова визжать; тетушка занялась ею, и я могъ опять заговорить съ племянницею.

— Я совершенно очарованъ вашей Москвою,—сказалъ я.—Какой оригинальный городъ! Какіе прелестные виды! И сколько прекрасныхъ садовъ! А чей это садъ на Дѣвичьемъ полѣ, въ которомъ вы вчера гуляли?

Софья Николаевна посмотрѣла на меня съ удивленіемъ.

— Онъ не великъ,—продолжалъ я,—но очень милъ! Вы, вѣрно, тамъ часто бываете?

— Да-съ, это правда; но почему вы знаете?..

— Я колдунъ. Вы были тамъ вмѣстѣ съ вашей тетушкой и одной изъ вашихъ пріятельницъ: ее зовутъ Любовью.

— Это правда! Да почему же вы знаете?

— Я вамъ говорю, что я колдунъ. Вы гуляли не долго, а успѣли потерять ваши перчатки.

— И это правда! Да, точно! Я потеряла мои перчатки...

— А я нашелъ ихъ.

— Ахъ, Боже мой! Такъ это были вы? Тетушка, слышите?

— Слышу, матушка, слышу!.. Такъ это мы васъ, Владиміръ Сергѣевичъ, спасли отъ голодной смерти?..

И тетка и племянница обѣ засмѣялись.

— Такъ это вы?—закричалъ Кукушкинъ.—Да какъ вы ухитрились заплутаться въ этомъ лабиринтишкѣ?.. Прошу покорно! А я не хотѣлъ имъ вѣрить.

— Скажите, какой странный случай!—прервала Марья Ивановна.—Вотъ точно также прошлаго года...

— Но почему же вы меня узнали?—спросила Софья Николаевна.—Вѣдь, вы насъ не видѣли.

— Я слышалъ вашъ голосъ.

— Да развѣ можно узнать по голосу?

— Почему же нѣтъ, мой другъ?—подхватила тетка.—Я помню, лѣтъ тридцать тому назадъ,—это было на масленицѣ въ маскарадѣ у графини Знатовой...

— Ѳедосья Юрьевна Костоломова съ сестрицею! — прокричалъ слуга, войдя въ гостиную.

— Проси!—сказалъ Кукушкинъ.—Да кушать давать!

Черезъ минуту вошли двѣ пожилыя барыни, и лишь только хозяйка усадила ихъ возлѣ себя на диванѣ, то я сейчасъ увидѣлъ, что ей придется худо. Ну, язычки! Онѣ не дали опомниться Марьѣ Ивановнѣ, пристали къ ней, впились въ нее, начали передавать ее другъ другу, хватали налету каждое слово и, наконецъ, до того ее затрепали, что она и руки опустила. Черезъ нѣсколько минутъ тотъ же слуга доложилъ, что пріѣхала Агриппина Карповна Морганцева съ племянницею. Наружность этой Морганцевой мнѣ очень не понравилась. Я видѣлъ ее въ первый разъ, но готовъ былъ побиться объ закладъ, что она зла, глупа, упряма, что она таскаетъ за волосы своихъ дѣвокъ, бьетъ по щекамъ слугъ и круглый годъ сокрушаетъ ихъ плоть строгимъ постомъ и воздержаніемъ. Зато племянница, стройная барышня, лѣтъ восемнадцати, несмотря на грустное выраженіе лица своего, показалась мнѣ очень миловидною. Софья Николаевна встрѣтила ее съ большимъ изъявленіемъ дружбы; онѣ начали шептаться межъ собою. Кажется, рѣчь шла обо мнѣ, по крайней мѣрѣ вновь пріѣхавшая гостья безпрестанно поглядывала на меня украдкою; и когда Софья Николаевна назвала ее Любовью, то мнѣ не трудно было догадаться, что это та самая пріятельница, которая гуляла съ нею наканунѣ. Межъ тѣмъ тетка ея сдѣлала сильную диверсію въ пользу хозяйки: она заняла разговоромъ старшую сестрицу Костоломову, другая, оставшись одна противъ хозяйки, не могла долго выдерживать ея сильныхъ натисковъ. Раза два пыталась она возстановить равновѣсіе, но напрасно: бой былъ неровный, къ тому-жъ она имѣла несчастіе поперхнуться. Опытная Марья Ивановна тотчасъ этимъ воспользовалась и напала съ такимъ ожесточеніемъ на свою соперницу, что въ одну минуту смяла, втоптала ее въ грязь и заговорила до смерти.

Когда насъ позвали обѣдать, я увидѣлъ въ столовой еще новое лицо. Кузьма Петровичъ, указывая мнѣ на худощаваго старика, который поклонился ему съ большимъ подобострастіемъ, сказалъ: — Рекомендую вамъ Алексѣя Андреевича Мордоченко; это мой капельмейстеръ. Мастеръ своего дѣла! дайте ему, сударь, мужика изъ-подъ сохи, черезъ два мѣсяца онъ у него заиграетъ на чемъ угодно: а черезъ годъ кладите передъ нимъ Бетховена и Моцарта: начнетъ такъ помахивать, что только держись! Что и говорить! золотой человѣкъ Акексѣй Андреевичъ Мордоченко!.. золотой!

Я смотрѣлъ съ любопытствомъ на этого золотого человѣка, по милости котораго наши русскіе мужички такъ легко знакомились съ Бетховеномъ и Моцартомъ. Представьте себѣ олицетворенное смиреніе и кротость въ видѣ худощаваго старичка въ рыжеватомъ парикѣ и вишневомъ нѣмецкомъ кафтанѣ; онъ держалъ себя въ струнѣ передъ Кузьмою Петровичемъ и, помѣстясь съ нами за столъ, не сѣлъ, а какъ-то прилѣпился къ кончику стула. Хозяинъ посадилъ меня подлѣ себя и такъ далеко отъ своей племянницы, что я во весь обѣдъ не могъ перемолвить съ ней ни слова.—Какъ жаль, Владиміръ Сергѣевичъ,—сказалъ Кукушкинъ, продолжая говорить о своей музыкѣ,—что я не могу васъ подчевать моимъ оркестромъ: я отправилъ всѣхъ музыкантовъ въ подмосковную; мы сами скоро ѣдемъ, да и къ тому же—что грѣхъ таить! моя первая скрипка, фаготистъ, второй кларнетъ и одна волторна зашалились! Что будешь дѣлать? Москва не деревня: на каждой улицѣ трактиръ, такъ, какъ за этими пострѣлами усмотришь? А жаль, право жаль, что они въ подмосковной!.. Впрочемъ, что жъ такое? Вѣдь, она не за горами: восемь часовъ ѣзды—прогулка; вы же человѣкъ совершенно свободный. Милости просимъ! Да этакъ, знаете, недѣльки на двѣ, на три. Что вамъ за радость теперь въ Москвѣ-то пыль глотать? Конечно, вамъ, столичному жителю, ѣхать недѣли на двѣ въ деревню къ какому-нибудь мелкому дворянчику, страшно! Я испыталъ это на себѣ: накормятъ васъ чортъ знаетъ чѣмъ, напоятъ жиденькимъ чайкомъ съ домашнимъ *папушникомъ*, положатъ спать въ какой-нибудь бесѣдкѣ или передбанникѣ... А претензій-то сколько! Господи, Боже мой! Ты желаешь остаться одинъ, уйдешь себѣ въ комнату, а хозяинъ тутъ какъ тутъ! Какъ же! вѣдь, надобно занимать гостя. Хочешь выкурить трубку табаку—нельзя! барыня встала и проситъ къ себѣ въ гостиную. Погода прекрасная, сбираешься итти гулять—какъ бы не такъ! Прошу сидѣть въ душной комнатѣ, да не угодно ли по грошу въ лото! Нѣтъ, сударь, у меня не такъ! Свобода полная во всемъ: дѣлайте, что вамъ угодно, занимайтесь, чѣмъ хотите: вы не въ гостяхъ, вы у себя дома. Вамъ скучно—мы пожалѣемъ, а удерживать не станемъ; полюбится—живите все лѣто. А мѣсто-то какое, батюшки, мѣсто! На Клязьмѣ, за двадцать верстъ кругомъ видно! Ну, что, Владиміръ Сергѣевичъ, такъ ли? Не рукамъ!

Разумѣется, я принялъ съ благодарностію предложеніе добраго Кукушкина. Въ деревнѣ всѣ барыни любятъ хозяйничать, такъ

вѣрно, ужъ тетушка примется варенье варить, заготовлять брусничную и смородинную воду, дѣлать различныя наливки, слѣдовательно, не станетъ меня мучить съ утра до вечера своей болтовнею и не помѣшаетъ мнѣ познакомиться короче съ ея племянницею. Жить подъ одной кровлей съ Софьей Николаевной, каждый день, по крайней мѣрѣ, каждый день, гулять по лѣсу, ходить по полямъ, въ лунную ночь, кататься на шлюпкѣ по рѣкѣ, изрѣдка любоваться солнечнымъ восходомъ, и все это вмѣстѣ съ нею!.. Да это не жизнь, а рай земной!.. Рѣшено—ѣду! Непремѣнно ѣду!.. Не тотчасъ вслѣдъ за ними — это можетъ показаться нѣсколько страннымъ, а такъ, черезъ недѣлю; и проживу у нихъ... ну, что жъ?.. двѣ... три недѣли... цѣлый мѣсяцъ... А моя поѣздка въ Андалузію?.. Э, Боже мой, успѣю! Теперь хорошо и здѣсь, даже лучше, чѣмъ въ южной Испаніи. Тамъ пріятно жить только зимою, а лѣтомъ... Не вѣрю этому англичанину. Не можетъ быть, чтобъ тамъ не задыхались отъ жары?

Все это я думалъ, слушая или, лучше сказать, не слушая предлинную диссертацію Кузьмы Петровича о достоинствѣ вообще всѣхъ рейнскихъ винъ, а въ особенности знаменитаго *штейнъ-вейна*, которое подали намъ передъ десертомъ. — Да-съ!—продолжалъ онъ, наливая мнѣ вторую рюмку. — Да-съ! Про это винцо потолковать можно: оно досталось мнѣ отъ дѣдушки. Каковъ, сударь, букетъ?.. а?.. Истинно бальзамъ небесный?.. Мой родственникъ, князь Иванъ Залуцкій, умиралъ отъ разслабленія желудка; послалъ я къ нему полдюжины бутылочекъ; что-жъ вы думаете?.. Ожилъ, сударь, ожилъ! Съ недѣлю тому назадъ, онъ у меня обѣдалъ, да такъ ѣлъ, что дай Богъ всякому: цѣлое баранье плечо съ начинкою одинъ изволилъ скушать!

Мы отобѣдали ровно въ шесть часовъ. Марья Ивановна велѣла подать карты и предложила мнѣ сѣсть въ бостонъ съ нею, съ Агриппиной Карловной Морганцевой и съ одной изъ Костоломовыхъ, которыя никогда не играли вмѣстѣ. Я отказался, надѣясь, что хозяинъ сядетъ вмѣсто меня и мнѣ можно будетъ поговорить съ Софьей Николаевной; но я ошибся въ расчетѣ: Кузьма Петровичъ не сѣлъ, а подалъ карточку своему капельмейстеру.

— Нѣтъ ужъ, ваше превосходительство, увольте!—сказалъ Мордоченко съ низкимъ поклономъ.

— Что ты, батюшка, Алексѣй Андреевичъ!—вскричала Марья Ивановна.—Помилуй! что съ тобою сдѣлалось?..

— Не могу, ваше превосходительство! Право, не могу!

— Да, вѣдь, ты всегда играешь съ нами, когда нѣтъ четвертаго?

— Я всѣ эти дни игралъ такъ несчастливо.

— Отыграешься, любезный!—прервалъ хозяинъ.

— Нѣтъ ужъ, Кузьма Петровичъ, сдѣлайте милость!

— Экій ты, братецъ, какой? Ну, такъ садись за меня.

— Воля ваша, не могу.

— Да что ты, любезный, рехнулся, что-ль, въ самомъ дѣлѣ?

— Почти, ваше превосходительство.

— Что ты, братецъ, что ты!

— Осмѣлюсь доложить,—продолжалъ Мордоченко съ такой несчастной миною, что жалко было на него смотрѣть,—со мною что-то дѣлается неловкое; вотъ ужъ пятый вечеръ я играю пули по три сряду въ бостонъ—совсѣмъ ошалѣлъ! Въ головѣ такая безпорядица: взятки, увертюры, ремизы, симфоніи, все такъ перемѣшалось!.. Возьму въ руки партицію—вмѣсто нотъ двойки да тройки... По ночамъ сна вовсе нѣтъ; а лишь только вздремну, такъ мнѣ чудится, что я пиковый валетъ: такъ сердце и замретъ! Ужъ я жмусь, жмусь!.. Мечусь во всѣ стороны, того и гляжу, что меня тузомъ покроютъ!.. Нѣтъ, ваше превосходительство, увольте! Бога ради, увольте!..

Всѣ засмѣялись, и также я вмѣстѣ съ другими; но только смѣхъ мой скоро прошелъ: Кузьма Петровичъ, уволивъ отъ бостона своего капельмейстера, приказалъ племянницѣ взять карточку. — Садись, мой другъ, за меня,—сказалъ онъ.—Проиграешь—я плачу; а выиграешь—все твое. Вы себѣ здѣсь козыряйте, а мы съ Владиміромъ Сергѣевичемъ пойдемъ въ кабинетъ. Я хочу передъ нимъ похвастаться моей библіотекою. Милости прошу! Да не прикажете ли трубочку табаку?

— Я не курю.

— Такъ позвольте мнѣ выкурить. Пойдемте, Владиміръ Сергѣевичъ.

Дѣлать было нечего; я не-хотя, а пошелъ за Кузьмой Петровичемъ. Его кабинетъ, въ самомъ дѣлѣ, заслуживалъ вниманія: большая коллекція медалей, минералогическій кабинетъ, собраніе рѣдкостей во всѣхъ родахъ, огромная библіотека занимала пять обширныхъ комнатъ. Кузьма Петровичъ, закуривъ щегольскую пѣнковую трубку, началъ мнѣ показывать рѣдкія книги, изъ которыхъ нѣкоторыя были, дѣйствительно, весьма замѣчательны по своей древности.

— Вотъ, сударь,—сказалъ онъ, развертывая передо мною одно in folio, напечатанное готическими буквами,—это латинская библія, изданная въ 1460-мъ году подъ руководствомъ Гутенберга. Посмотрите! всѣ заглавныя буквы дѣланы отъ руки. За эту книгу дали бы въ Англіи тысячу гиней, да я то съ нею ни за что не разстанусь. Вотъ эта псалтирь, хотя моложе цѣлымъ вѣкомъ, а едва ли еще не драгоцѣннѣе. Заглавныя ма-

ста нѣтъ, но, по всѣмъ примѣтамъ, надобно полагать, что она печатана знаменитымъ Фаустомъ.

— Полно, такъ ли, Кузьма Петровичъ? Фаустъ и Гутенбергъ были современники.

— Что вы, что вы, Владиміръ Сергѣевичъ! Да ужъ позвольте намъ знать: мы на этомъ стоимъ. Здѣсь, сударь, хранятся у меня древнія книги и манускрипты,—продолжалъ Кукушкинъ, подводя меня къ небольшому шкапу. — Вотъ часословъ Франциска Скорины, печатанный въ Стрѣтинѣ. Рѣдкая книга! Требникъ Петра Могилы... Ариѳметика, изданная при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ... А вотъ, Владиміръ Сергѣевичъ, преинтересная книжка! Въ ней нѣтъ ни начала, ни конца, и въ серединѣ много листовъ вырвано, а, не-смотря на это, она чрезвычайно любопытна! Посмотрите, какія неуклюжія, безобразныя буквы!.. Удивительно!—Дошло дѣло до рукописей. Взглянувъ мимоходомъ на полдюжины восточныхъ манускриптовъ, одинъ еврейскій талмудъ, писанный на кожѣ, и два алкорана, мы добрались, наконецъ, до русскихъ лѣтописей и духовныхъ книгъ. Тутъ Кузьма Петровичъ совершенно погрязъ въ своей заемной учености: онъ забросалъ меня техническими терминами, засыпалъ исковерканными греческими словами: Анфологіонъ, Ирмологій, Октоихъ, Типиконъ, Хронографы, Сказанія, Временники, Космографіи. Меня начала одолѣвать дремота, и я заснулъ бы непремѣнно, еслибъ для сохраненія должнаго приличія не кивалъ въ знакъ согласія головою всякій разъ, когда Кукушкинъ восклицалъ: —Ну, сударь, что скажете? Каковъ почеркъ? Печать двѣнадцатаго столѣтія—печать! А этотъ полууставъ, какъ вамъ нравится? Не правда ли: картина, бисеръ, прелесть!.. а это скоропись... Посмотрите: вѣдь, настоящій узоръ! каждая буква въ завитушкахъ... двухъ словъ не разберешь сряду... Истинные *характеры* шестнадцатаго столѣтія!

Наконецъ, Кузьма Петровичъ умилосердился, позвалъ человѣка, велѣлъ разставить по мѣстамъ всѣ вынутые фоліанты и повелъ меня назадъ въ гостиную. Бостонъ кончился; но Софья Николаевна, вѣроятно, опасаясь, чтобъ ее не заставляли играть другую пулю, ушла съ своей пріятельницей къ себѣ въ комнату. Посидѣвъ еще съ полчаса, я раскланялся и поѣхалъ домой, давъ слово Кукушкину бывать у нихъ какъ можно чаще.

Кажется, не нужно говорить, что я сдержалъ мое обѣщаніе. Кукушкины прожили еще дней пять въ Москвѣ: я проводилъ у нихъ всѣ вечера, слушалъ разсказы Марьи Ивановны, любовался картинами Кузьмы Петровича, игралъ въ бостонъ съ Морганцевой, которая крала у меня фишки, и вистовалъ Костоломовой, не-смотря на то, что она всегда меня топила; однимъ словомъ, чтобъ видѣть каждый день племянницу, я угождалъ не только дядюшкѣ и тетушкѣ, но даже всему ихъ обществу. Очень часто я умиралъ съ тоски; но иногда мнѣ удавалось говорить по цѣлому часу съ Софьей Николаевной. Когда игралъ въ бостонъ, она садилась подлѣ меня: разумѣется, я дѣлалъ ренонсы, пропускалъ игры, забывалъ брать къ своему ремизу, и всегда оставался въ проигрышѣ. Все это очень нравилось моимъ старушкамъ. Однажды, кажется, наканунѣ отъѣзда Кукушкиныхъ въ деревню, Софья Николаевна, желая разсмотрѣть хорошенько мою игру, наклонилась ко мнѣ такъ близко, что черный локонъ ея распущенныхъ по плечамъ волосъ коснулся моей щеки. Боже мой, какое странное чувство! Ну, что такое локонъ волосъ?.. А если бъ я не сидѣлъ—бѣда! У меня ноги подкосились.—Вамъ говорить, Владиміръ Сергѣевичъ!—сказала Марья Ивановна. Я прошепталъ, заикаясь, восемь въ сюрахъ, и взялъ только двѣ взятки. Старушки умерли со смѣху, обобрали у меня всѣ марки и очень долго толковали о томъ, что я играю горячо, что у меня не было даже и бостона. Одна Софья Николаевна догадалась, кажется, отчего я съ двумя взятками сказалъ на восемь: во весь тотъ вечеръ она ужъ ни разу не заглядывала ко мнѣ въ карты.

Кузьма Петровичъ отправился, наконецъ, со всѣми домашними въ свою подмосковную, взявъ съ меня честное слово, что пріѣду къ нему погостить на цѣлый мѣсяцъ. Вотъ прошли однѣ сутки. Ну, право, въ нихъ было, по крайней мѣрѣ, сорокъ восемь часовъ! Чтобъ хотя немного себя разсѣять, я поѣхалъ на другой день съ визитами. Меня принимали вездѣ очень ласково, приглашали обѣдать и вездѣ мнѣ было скучно, всѣ мнѣ надоѣдали—отцы и матери своею чопорностію и претензіями, а ихъ дочери, эти парижанки московскаго издѣлья, своей французской болтовнею. Все мнѣ было не по сердцу, вездѣ такая пустота; въ домахъ скука, на улицахъ и душно, и пыльно... Поѣду за городъ... къ Симонову монастырю. Я очень часто слышалъ, что отъ него видъ еще лучше, чѣмъ съ Воробьевыхъ горъ... Какой вздоръ! Ну, что въ немъ хорошаго? Небольшая гора, скверная лужа, въ которой Карамзинъ утопилъ свою бѣдную Лизу, куча карточныхъ домиковъ, низенькія церкви, неуклюжія колокольни... и это называютъ прекраснымъ видомъ!.. Нѣтъ, попытаюсь лучше возобновить мои прежнія впечатлѣнія: поѣду на Воробьевы горы... Что это? Неужели московскія окрестности мѣняются какъ декораціи?.. Да это вовсе не то, что я видѣлъ прежде; это все такъ обыкновенно, такъ пошло, такъ мелко!.. Вотъ, кажется, тотъ садъ, въ которомъ я услышалъ въ первый разъ этотъ очаровательный, небесный голосъ!.. Такъ и быть! Не хотѣлось, а дѣлать нечего: поѣду съ визитомъ къ Агриппинѣ Карповнѣ Морганцевой;

по крайней мѣрѣ съ ея племянницей мнѣ можно будетъ поговорить о Софьѣ Николаевнѣ.

Я засталъ Агриппину Карповну въ передней: она, вѣроятно, для маціона, изволила трудиться надъ щеками какого-то засаленнаго поваренка, который ради вящаго удобства, стоялъ передъ нею на колѣняхъ. Отвѣсивъ ему окончательную оплеуху, она пригласила меня къ себѣ въ гостиную. Тутъ я узналъ, что ея племянница уѣхала на нѣсколько дней въ подмосковную къ Кукушкинымъ.—Я, батюшка, и сама бы съ ней поѣхала,—продолжала Агриппина Карповна,—да, право, некогда: жду съ часу на часъ Любинькина жениха: черезъ мѣсяцъ свадьба, такъ, знаете, то надобно приготовить, о томъ должно позаботиться; а положиться на людей—помилуйте, какъ можно! Охъ, батюшки, наказалъ насъ Господь этимъ родомъ—воры, пьяницы, лѣнтяи! То и дѣло что колотишь съ утра до вечера: тѣмъ только и домъ держится! То-то, подумаешь, вдовье дѣло! При покойникѣ все-таки было полегче. Мы, батюшка, съ нимъ очередовались: бывало, то онъ держитъ въ порядкѣ людей, то я; а теперь, вѣрите-ль Богу, Владиміръ Сергѣевичъ, рукъ не покладываю!

Около часу пробылъ я у этой смиренной вдовицы. Не-смотря на то, что уже было поздно, она хотѣла непремѣнно играть со мною въ пикетъ; но я кой-какъ отдѣлался и поскакалъ домой, чтобъ приготовить все къ моему отъѣзду, только не въ Италію. Какое мнѣ дѣлъ до роскошной Андалузіи: *ея* тамъ нѣтъ; пусть тамъ растетъ зеленый лавръ и спѣетъ на пламенномъ солнцѣ золотой апельсинъ — все это прекрасно и въ прозѣ и въ стихахъ, а можетъ быть и на самомъ дѣлѣ; но я чувствую, что умеръ бы тамъ съ тоски. Тихій и спокойный берегъ Клязьмы, на которомъ *она* живетъ, зеленый лугъ, по которому гуляетъ, березовая роща, въ которой отдыхаетъ послѣ своей прогулки: вотъ мои сады Гесперидскіе, моя Альмерія, мой рай земной!.. Да! я люблю ее, люблю до безумія. Если она также меня полюбитъ, то къ чорту всѣ померанцевыя и апельсинныя деревья! Я пойду любоваться на нихъ въ оранжерею, а ужъ, конечно, не поѣду туда, гдѣ они растутъ на открытомъ воздухѣ... Развѣ съ нею вмѣстѣ—о, это другое дѣло!

Я воротился домой часовъ въ одиннадцать. Трактирный слуга отперъ мнѣ двери моего номера.

— А гдѣ Никаноръ?—спросилъ я.

— Онъ еще не приходилъ.

— Какъ не приходилъ? Въ десять часовъ ночи?..

— Онъ мнѣ говорилъ, что вы изволили его отпустить въ театръ.

— Совсѣмъ забылъ! Подай же мнѣ огня, да принеси отъ хозяина счетъ за все время.

Черезъ полчаса явился мой Никаноръ Федотычъ.

— Насилу!—сказалъ я.—Гдѣ ты до сихъ поръ шатался? Неужели театръ...

— Только что кончился, сударь.

— Укладывайся! Мы завтра поутру ѣдемъ... Ну, что ты выпучилъ глаза?

— Завтра поутру!—повторилъ Никаноръ, почесывая въ головѣ. — Ахъ ты, батюшки!.. Ну, воля ваша!.. Да куда же мы поѣдемъ?

— Въ подмосковную къ Кузьмѣ Петровичу Кукушкину.

— Вотъ что!—вскричалъ Никаноръ.—Ну, слава Богу! А я было, сударь, испугался.

— Чего?

— Да такъ-съ! сегодня на театрѣ представляли какой-то некрещенный народъ — людоѣды что-ль какіе? Такъ мнѣ и пришло въ голову: ну, если барину-то вздумается поѣхать въ ихъ землю? Избави, Господи!

— А что такое давали въ театрѣ?

— Не могу знать, сударь; только больно хорошо. Всѣ въ перьяхъ, съ дубинами; а самый-то главный такой молодчина, что и сказать нельзя!.. Какъ, бишь, его зовутъ?.. дай Богъ память... Имя такое чудное... Рыла не Рыла...

— А, понимаю! Ролла? Такъ сегодня давали трагедію «Смерть Роллы?»

— Да, точно такъ-съ! трагедію. Другіе-прочіе играли и туда и сюда, а ужъ этотъ Ролла—ну, сударь, у насъ въ Питерѣ нѣтъ такого актера.

— Право?

— Ужъ я вамъ доложу! Дѣтина ражій, проворный; а голосина-то какой!.. И все съ перемѣнами: сначала примется шептать—шепчетъ, шепчетъ, да какъ вдругъ рявкнетъ! Фу, ты, батюшки, словно изъ бочки! А тамъ начнетъ дрожать, да поскрипывать зубами... Отлично, хорошо! А руками-то, руками, вотъ такъ и хлещетъ! Предъ концомъ онъ сталъ потише. Вотъ я думаю себѣ: «ну, братъ, видно, умаялся». Куда умаялся! Передъ самымъ-то послѣднимъ концомъ, какъ будто его бѣшеная собака укусила — какъ завопитъ! батюшки свѣты! и въ грудь-то себя кулаками и по бокамъ. Внизу молчатъ, а у насъ вверху стонъ стономъ. Вотъ онъ ревѣлъ, ревѣлъ, да какъ хлобыснется о-земь, да лежа-то и ну говорить и то и се, — «и я тебя люблю, и ты меня любишь»...—Славно!.. Эка диковинка, подумаешь! Какъ онъ, бестія, впрахъ не расшибся? Вѣдь, такъ со всѣхъ ногъ и грянулся! Ну, знатный актеръ! Вотъ вы изволите смѣяться, Владиміръ Сергѣевичъ, а въ театрѣ я самъ видѣлъ: барыни, да какія еще барыни— въ чепцахъ, въ шелковыхъ платьяхъ, такъ и разливаются! Глядя на нихъ, и мнѣ стало грустно; сначала я крѣпился, да какъ онъ затылкомъ-то свистнулся о-полъ, такъ и меня слеза прошибла. Жалко!

— Хорошо, хорошо!—прервалъ я.—Укладывайся.

— Не извольте безпокоиться: все будетъ готово!

— Да смотри, не проспи, завтра чѣмъ свѣтъ ступай за лошадями.

— Слушаю, сударь, будутъ готовы.

На другой день, часу въ восьмомъ утра, мы отправились.

II.

Перемѣнивъ лошадей въ Новой Деревнѣ, мы пріѣхали въ уѣздный городъ Богородскъ, отъ котораго оставалось до села Кузьмы Петровича съ небольшимъ тридцать верстъ. Мы выѣхали изъ Богородска родно въ двѣнадцать часовъ и, отъѣхавъ верстъ пять, повернули въ сторону по проселочной дорогѣ. Направо и налѣво мимо насъ мелькали веселые перелѣски, холмистыя поля и небольшія деревеньки, изрѣдка виднѣлись по сторонамъ господскія усадьбы и подымались колокольни деревенскихъ церквей. Вотъ вдали, по опушкѣ сосновой рощи, сверкнула изгибистая Клязьма; черезъ нѣсколько минутъ она спряталась въ глубинѣ бора, потомъ показалась опять и снова исчезла за березовой рощею.

— Ну, что,—спросилъ я у ямщика,—далеко ли еще до села Кохмы?

— Да не такъ чтобъ очень, сударь. Вотъ отъ этого липняка считается до Бунькова двѣ версты, отъ Бунькова до Коврижкиной верстъ восемь, а тамъ не то пять, не то шесть до самой Кохмы. Знатное село! Да и баринъ-то, Кузьма Петровичъ, дай Богъ ему здоровье, генералъ, а такой повадный и ласковый, что и, Господи! Привезешь къ нему гостей, велитъ накормить, напоить; а поклонишься, такъ и овсеца отпустятъ изъ господскаго амбара... Важный баринъ!.. Эй, вы, соколики!

Прошло еще около часу, вдали на горѣ забѣлѣлась каменная церковь, потомъ изъ-за густой рощи сталъ показываться выкрашенный свѣтлосѣрой краскою домъ съ высокимъ бельведеромъ.

— Вотъ, сударь, видите? — сказалъ ямщикъ.—Это село Кохма.

— Ступай же проворнѣе, любезный; на водку дамъ.

Мы помчались. Не доѣзжая полверсты до села, ямщикъ сталъ сдерживать лошадей.

— Ну, что ты?—спросилъ я.

— Да вотъ сейчасъ будетъ спускъ на Клязьму. Крутенько немного, да и дорога-то пойдетъ косорогомъ.

— Постой! я выйду.

Я выпрыгнулъ изъ коляски, а Никаноръ слѣзъ съ козелъ и пошелъ вслѣдъ за мною. Сдѣлавъ нѣсколько шаговъ, мы очутились на крутомъ берегу Клязьмы. Чрезъ нее былъ переброшенъ широкій и красивый мостъ, а на другой сторонѣ начинался длинный порядокъ избъ; онъ огибалъ подошву довольно высокаго холма, на которомъ помѣщались господская усадьба и церковь.

— Ну, ужъ, подлинно, барскій домъ!—сказалъ Никаноръ. — Смотрите-ка, сударь, смотрите! Экъ настроено. Словно городъ какой! И село-то знатное! Избы все бѣлыя, крыты драньемъ... Славное село!

— Какое прекрасное мѣстоположеніе,—сказалъ я.

— Да-съ, да-съ, прекрасное! — повторилъ Никаноръ съ необычайнымъ восторгомъ. — Что за диковинка! Давно ли мой вѣрный Личарда сталъ восхищаться природою?.. Я невольно взглянулъ въ ту сторону, куда устремлены были его жадные взоры... Ага! вотъ что!.. Налѣво, подлѣ одной избы, толпится народъ, надъ дверьми всероссійскій гербъ и елка... Понимаю! — Но вотъ дорога поворачиваетъ направо. Никаноръ остановился, вздохнулъ отъ глубины души и, бросивъ послѣдній взглядъ на свое *прекрасное мѣстоположеніе*, пошелъ вслѣдъ за мною.—Знаете ли что, Владиміръ Сергѣевичъ?—сказалъ онъ послѣ минутнаго молчанія. — Вѣдь, это село достанется Софьѣ Николаевнѣ, племянницѣ Кузьмы Петровича.

— Такъ что-жъ?

— Какъ, сударь, что? Да, вѣдь, она и сама по себѣ богатая невѣста.

— Тѣмъ лучше для нея.

— Да не худо, Владиміръ Сергѣевичъ, будетъ и тому, кто на ней женится.

— Женится?—повторилъ я почти съ испугомъ.—А развѣ ты что-нибудь слышалъ?

— Слышать не слышалъ: да, вѣдь, извѣстное дѣло, богатыя невѣсты въ дѣвкахъ не засиживаются. Эхъ, сударь! что бы вамъ...

— Что такое?

— Да чѣмъ вы не женихъ?

— Вотъ вздоръ какой!

— Что за вздоръ, сударь? Не даромъ люди-то меня разспрашивали: — Что, братъ, твой баринъ сердитъ или нѣтъ? Много ли у васъ душъ? Въ какой губерніи?..—Какъ же! подпоить хотѣли; да нѣтъ, шутишь! Выпить-то я выпилъ, а нагородилъ имъ такихъ турусовъ на колесахъ...

— Глупецъ! зачѣмъ ты это дѣлалъ?

— Помилуйте, Владиміръ Сергѣевичъ! да что я, въ самомъ дѣлѣ, за дуракъ такой, чтобъ сказать всю правду? И они говорили мнѣ, что у барыни слишкомъ двѣ тысячи душъ; а какъ пойдетъ на чистоту, такъ дай Богъ, чтобъ тысяча нашлась. Ужъ это такъ заведено, обычай такой. Вотъ вы, сударь, человѣкъ съ достаткомъ, а скажи-ка я всю правду, такъ подумаютъ, что вамъ перекусить нечего. Э, Владиміръ Сергѣевичъ!.. Посмотрите-ка! Никакъ самъ генералъ идетъ навстрѣчу?.. Ну, такъ и есть—онъ!

Кузьма Петровичъ встрѣтилъ меня съ отверстыми объятіями. Шаговъ за двадцать онъ принялся кричать: — Милости просимъ, Вла-

диміръ Сергѣевичъ, милости просимъ! Вотъ ужъ одолжили, такъ одолжили!

— Мнѣ хотѣлось скорѣй воспользоваться вашимъ обязательнымъ приглашеніемъ,—сказалъ я, расцѣловавшись съ добрымъ Кукушкинымъ,—и если позволите, пробуду у васъ нѣсколько дней?

— Какъ нѣсколько дней! что вы?.. Да развѣ можно за восемьдесятъ верстъ ѣздить въ гости на нѣсколько дней? Нѣтъ, батюшка, Владиміръ Сергѣевичъ! пріѣхали, такъ поживите. Черезъ двѣ недѣли мои именины; мы попируемъ вмѣстѣ; а тамъ, недѣли черезъ три, рожденье Маріи Ивановны...

— Да это будетъ болѣе мѣсяца.

— А почему-жъ вамъ не прожить у насъ и все лѣто? Разумѣется, если вамъ будетъ весело.

— О, въ этомъ я увѣренъ!

— А если увѣрены, такъ о чемъ говорить? Да пойдемте скорѣй къ нашимъ дамамъ, а не то онѣ перессорятся: у нихъ идетъ такой споръ, что святыхъ вонъ понеси! Жена бьется объ закладъ, что къ намъ пріѣхалъ ея двоюродный братецъ, князь Иванъ; Любовь Дмитріевна Хапрова, которая у насъ гоститъ, увѣряетъ, что вы сосѣдъ нашъ, Ѳедоръ Николаевичъ Недочетовъ; и я то же думалъ; одна племянница,—этакіе зоркіе глаза!—вѣдь, тотчасъ узнала, что это вы.

Мы нашли Марью Ивановну, Софью Николаевну и ея пріятельницу Любовь на обширной террасѣ дома, съ которой видны были всѣ окрестности. Ласковая хозяйка осыпала меня привѣтствіями и, не давъ мнѣ опомниться, принялась разсказывать о своихъ сосѣдяхъ, о ихъ житьѣ-бытьѣ, о томъ, что какой-то Егоръ Андреевичъ Фурсиковъ развелся съ своей женою, что какая-то Аграфена Минишна Вопіюхина подала жалобу на своего родного брата, Сергѣя Минича Мухоморкина, за то, что онъ затравилъ у нея борзыми собаками двухъ свиней. Вы можете себѣ представить, какъ мнѣ было весело слушать эту болтовню въ то время, какъ я горѣлъ нетерпѣніемъ подойти къ Софьѣ Николаевнѣ, съ которой не успѣлъ еще перемолвить ни словечка. Кузьма Петровичъ, сдавъ меня съ рукъ на руки своей барынѣ, ушелъ о чемъ-то хлопотать; наконецъ, онъ возвратился къ намъ на террасу и пригласилъ идти обѣдать. Столъ былъ накрытъ въ огромной залѣ въ два свѣта. Лишь только мы сѣли, на хорахъ грянула музыка. Кажется, играли какую-то увертюру, симфонію или даже ораторію, право, не помню; я не забылъ только одного, что надобно было во все горло кричать, чтобъ слышать другъ друга. Господинъ капельмейстеръ Мордоченко стоялъ впереди всѣхъ музыкантовъ, передъ пюпитромъ, и, конечно, ни одинъ крестьянинъ не работаетъ такъ усердно цѣпомъ, какъ онъ помахивалъ своей дирижерской палочкою. Сначала все шло изрядно; но подъ конецъ флейты стали оттягивать, кларнетъ запищалъ, волторны заревѣли нелѣпымъ голосомъ, а фаготъ началъ шипѣть такъ отвратительно, что меня морозъ подралъ по кожѣ. Эй, Филька, шалишь! — закричалъ Кузьма Петровичъ. — Алеша, Фомка!.. вотъ я васъ!.. Фаготъ! фаготъ! опять закутилъ!

Капельмейстеръ шикалъ, махалъ своей палочкой, топалъ ногою, подымалъ обѣ руки вверхъ и, наконецъ, началъ бить тактъ по головамъ своихъ духовыхъ инструментовъ, которые вышли рѣшительно изъ всякаго порядку.

— Стой!—закричалъ Кузьма Петровичъ.—Музыканты перестали играть.—Что это, батюшка, Алексѣй Андреичъ,—продолжалъ онъ, обращаясь къ капельмейстеру,—что это у тебя духовая-то музыка?

— Помилуйте, ваше превосходительство!—завопилъ несчастный Мордоченко,—что мнѣ дѣлать съ этими разбойниками? Фаготистъ Антонъ лыкомъ не вяжетъ, Фомка чуть живъ съ похмѣлья; а Филькѣ какъ можно играть на волторнѣ: онъ сегодня подрался въ кабакѣ. Извольте посмотрѣть, какъ у него разбиты губы! Ну, какому тутъ быть амбушуру?

— Негодяи! Гони ихъ вонъ! Ужъ я съ ними перевѣдаюсь! Да нельзя-ли безъ нихъ хоть польскій какой?

— Сейчасъ, ваше превосходительство.

— Ну, вотъ, Владиміръ Сергѣевичъ,—продолжалъ хозяинъ,—заводи оркестръ! Скоты!.. Никакого самолюбія, никакой амбиціи!.. Каналья!.. Посмотришь, въ чужихъ краяхъ, любо-дорого! Музыкантъ, такъ ужъ музыкантъ! А здѣсь... Экій народецъ!.. Сранники!..

Я не сказалъ, а подумалъ про себя:—Правда! Въ Германіи, напримѣръ, кто музыкантъ, тотъ ужъ, точно, музыкантъ; да за то, вѣдь, тамъ какой-нибудь Кукушкинъ не возьметъ крестьянина отъ сохи и не скажетъ ему: Ты мужикъ высокій, катай на контрабасѣ! Ты плечистъ—дуй въ волторну! У тебя передніе зубы цѣлы—играй на фаготѣ! А есть ли у тебя охота или нѣтъ, объ этомъ тебя и спрашивать не станутъ.

— Ну, что жъ вы? — закричалъ Кукушкинъ.—Играйте что нибудь!

Музыка грянула какой-то польскій, и хозяинъ успокоился.

Послѣ обѣда, Кузьма Петровичъ повелъ меня по своимъ заведеніямъ. Во всякое другое время я сталъ-бы любоваться его оранжереями, коннымъ заводомъ, скотнымъ дворомъ: все это было прекрасно; но на этотъ разъ очень былъ-бы ему благодаренъ, если бъ онъ уволилъ меня отъ этого инспекторскаго смотра, который продолжался часа три сряду. Потомъ я попалъ опять въ руки къ Марьѣ Ивановнѣ: она принялась мнѣ доказывать, какимъ образомъ началась и продолжается ссора сестрицы Вопіюхиной съ братцемъ Мухомор-

кинымъ. Вплоть до ужина я не могъ оторваться отъ нея ни на минуту, и пошелъ спать въ приготовленную для меня комнату, почти не сказавъ двухъ словъ съ Софьей Николаевной; но я цѣлый день пробылъ съ нею вмѣстѣ, глядѣлъ на нее и, прощаясь, поцѣловалъ ея руку. Сколько я могъ замѣтить, Софья Николаевна была обрадована моимъ пріѣздомъ. Каждый разъ, когда наши взоры встрѣчались, она краснѣла и опускала книзу свои прелестные глаза. Обыкновенно краснѣютъ отъ трехъ причинъ: отъ гнѣва, стыда и удовольствія. Если взоръ, въ которомъ она могла прочесть всю любовь мою, заслуживалъ ея гнѣвъ или, по крайней мѣрѣ, досаду, то зачѣмъ было ей сидѣть по цѣлымъ часамъ противъ меня? Если онъ возбуждалъ въ душѣ ея чувство стыда, то ужъ, вѣрно-бы, она не мѣнялась такъ часто со мною взглядами; слѣдовательно, глядя на меня, она краснѣла отъ удовольствія. Отъ удовольствія!.. Боже мой?.. Что, еслибъ въ самомъ дѣлѣ... Нѣтъ... Я даже и вѣрить не смѣю такому счастію!..

Однако жъ, я увѣрился, что Софья Николаевна смотритъ на меня точно съ удовольствіемъ. Дня черезъ три, когда Кузьма Петровичъ мнѣ все показалъ, а Марья Ивановна все высказала, я сдѣлался свободнѣе. Хозяинъ пересталъ со мной церемониться: ложился послѣ обѣда отдыхать, потомъ ходилъ по своимъ заведеніямъ и не таскалъ меня вмѣстѣ съ собою. Марья Ивановна обратилась также къ обыкновеннымъ своимъ занятіямъ: по нѣсколько разъ въ день заходила въ ткацкую, кормила своихъ заморскихъ куръ, павлиновъ, выводила канареекъ и разбирала ссоры своихъ барскихъ барынь и горничныхъ дѣвушекъ. Я замѣтилъ также, что дядюшка и тетушка любили соснуть порядкомъ, то-есть до десяти часовъ утра; а Софья Николаевна вставала очень рано. Я этимъ воспользовался, и каждый день часу въ седьмомъ утра встрѣчалъ ее, вмѣстѣ съ Любовью Дмитріевною Хопровой, или въ саду, или въ дубовой рощѣ, которая окружала съ трехъ сторонъ господскую усадьбу. Эта Хопрова была премилая дѣвушка, такая добродушная, привѣтливая! Мнѣ одно только въ ней не нравилось: она почти всегда казалась грустною. Конечно, ей, бѣдняжкѣ, радоваться было нечему: она совершенно зависѣла отъ своей тетки, и какой тетки!. Агриппины Карповны Морганцевой! Но дѣвушка въ восемнадцать лѣтъ часто улыбается и сквозь слезы, а Любовь Дмитріевна никогда не улыбалась. Несмотря на это, я скоро съ нею сблизился, гораздо скорѣе, чѣмъ съ Софьей Николаевной, которая сначала примѣтнымъ образомъ меня дичилась; да и я—что грѣхъ таить! въ первые дни до того былъ съ нею робокъ и ненаходчивъ, что очень часто, встрѣчая ее по утрамъ въ саду, не зналъ, что ей сказать, и раза по три спрашивалъ объ ея здоровьѣ. Впрочемъ, это продолжалось недолго. Мало-по-малу, Софья Николаевна стала обращаться со мною свободнѣе, я сдѣлался смѣлѣе, и недѣли черезъ полторы мы какъ будто бы вѣкъ жили вмѣстѣ.

Съ каждымъ днемъ открывалъ я новыя достоинства въ Софьѣ Николаевнѣ и, разумѣется, съ каждымъ днемъ любовь моя увеличивалась: она росла не по днямъ, а по часамъ. Мнѣ казалось каждое утро, что я люблю ее столько, сколько можно любить человѣку. День проходилъ, наступалъ вечеръ, и я, ложась спать, чувствовалъ, что люблю еще болѣе прежняго; но, не-смотря на это, я боялся не только говорить, но даже намекнуть ей о любви моей. Конечно, она обращалась со мною такъ просто, такъ мило; и хотя истинная любовь всегда труслива и недовѣрчива, однако-жъ, я не могъ не видѣть, что при встрѣчѣ со мною, глаза ея оживлялись радостію, что, слушая меня, она улыбалась, и что эта улыбка такъ ласкова, такъ привѣтлива! Но развѣ дружба, и даже самая обыкновенная пріязнь, не выражаются точно также? Если-бъ она была постоянно ласкова со мною въ городѣ, окруженная толпою своихъ обожателей, то я могъ бы по крайней мѣрѣ видѣть въ этомъ какое-то предпочтеніе; но въ деревнѣ, гдѣ нѣтъ вовсе общества, гдѣ подчасъ радехонекъ, что какой-нибудь безграмотный сосѣдъ заѣдетъ въ гости, что значитъ эта ласка? Ровно ничего. Если Софья Николаевна не раздѣляетъ моихъ чувствъ, то ужъ, вѣрно, при первомъ словѣ любви перемѣнить со мною свое обращеніе, станетъ убѣгать меня, мнѣ должно будетъ уѣхать... Уѣхать! Боже мой!.. О нѣтъ, нѣтъ! Быть неразлучно вмѣстѣ съ нею, слышать ея очаровательный голосъ, гулять съ нею рука съ рукою, упиваться воздухомъ, который вылетаетъ изъ ея прелестныхъ устъ, все это было такимъ неизъяснимымъ для меня блаженствомъ, что я не смѣлъ и даже не хотѣлъ желать ничего болѣе.

Однажды, рано по-утру, Софья Николаевна гуляла со мною по берегу Клязьмы. Любови Дмитріевны съ нами не было; она читала до трехъ часовъ ночи новый романъ Кюцебу «Мальчикъ у ручья» и, натурально, не могла встать въ шестомъ часу утра. Мы подошли къ мосту.

— Посмотрите,—сказалъ я, — какъ вашъ домъ красивъ, когда на него смотришь съ этой стороны.

— Да, это правда. Отсюда онъ кажется гораздо болѣе.

— Какъ вы думаете, Софья Николаевна, можно ли отсюда узнать въ лицо, если кто-нибудь выйдетъ на террасу?

— Не думаю: по крайней мѣрѣ я ужъ, вѣрно, не узнаю.

— Право? Однако-жъ, вы не всегда бы-

ваете такъ близоруки. Помните ли, какъ я пріѣхалъ къ вамъ въ деревню, я былъ здѣсь на мосту, а вы на террасѣ? Однако-жъ, вы меня узнали.

— Кто это вамъ сказалъ.

— Вашъ дядюшка.

Софья Николаевна покраснѣла. — Да, это правда, — прошептала она; — но вѣроятно я узнала васъ оттого...

— Оттого,—прервалъ я, шутя, — что, можетъ быть, сверху внизъ виднѣе, чѣмъ снизу вверхъ.

Софья Николаевна покраснѣла еще болѣе.—Послушайте, Владиміръ Сергѣевичъ,—сказала она, помолчавъ нѣсколько времени,—я вамъ скажу всю правду. Я не могла разсмотрѣть ваше лицо, а назвала васъ потому... Ну да! потому, что мнѣ хотѣлось, чтобъ это были вы.

Она желала меня видѣть!.. И это говоритъ она сама!.. Не знаю, можно ли умереть отъ радости; но задохнуться, онѣмѣть и сойти съ ума очень можно: я это испыталъ на себѣ. Я чувствовалъ, вся кровь бросилась къ моему сердцу, въ глазахъ потемнѣло, я не могъ дышать, не могъ говорить, и слава Богу! въ эту минуту былъ я точно сумасшедшій, и заговорилъ бы такой вздоръ, что испугалъ бы до смерти Софью Николаевну. — Скажите, Владиміръ Сергѣевичъ, — продолжала она, пройдя со мною молча нѣсколько шаговъ,—вы еще не скоро поѣдете назадъ въ Москву.

— Въ Москву? — повторилъ я съ невольнымъ содроганіемъ;—да что я тамъ буду дѣлать? умирать съ тоски?

— А здѣсь вамъ не скучно?

— Здѣсь, Софья Николаевна? Да еслибъ отъ меня зависѣло...

— Такъ вы бы навсегда здѣсь остались?

— О, съ радостію!.. Когда-бъ вы знали, какъ я здѣсь счастливъ!..

— Право? Такъ вы очень любите деревенскую жизнь?

Этотъ вопросъ былъ сдѣланъ такимъ простымъ и натуральнымъ голосомъ. — Что-жъ это значитъ,—подумалъ я.—Да неужели она меня не понимаетъ? Не можетъ быть!

— Вы любите деревню! — продолжала Софья Николаевна.—Да это оттого, что вы всегда жили въ городѣ. Въ деревнѣ бываетъ иногда очень скучно. Вы хорошо сдѣлали, что къ намъ пріѣхали, Владиміръ Сергѣевичъ! Ужъ если пошло на откровенность, такъ я вамъ скажу всю правду: мы съ Любинькой ждали васъ съ большимъ нетерпѣніемъ. Вы такъ любезны! Съ вами весело!.. А здѣшніе сосѣди... Ахъ, еслибъ вы знали, какіе они несносные! Да вотъ, постойте, завтра дядюшкины именины: гостей наѣдетъ къ намъ множество, и увидите, что за лица!.. что за обхожденье!..

Уфъ! какимъ обдало меня холодомъ!.. Такъ вотъ за что меня ласкаютъ!.. Вотъ почему желали, чтобъ я пріѣхалъ!.. Глупецъ! я это отгадывалъ, я зналъ напередъ, что меня любятъ просто какъ забаву, какъ развлеченіе, и, не-смотря на это, готовъ былъ вѣрить... О, женщины, женщины! самая лучшая изъ васъ не стоитъ ничего! Она рада одурачить бѣднаго мужчину, свести его съ ума, погубить его будущность, и все это для того, чтобъ ей не было скучно!.. Какой отвратительный эгоизмъ!.. Уѣду — непремѣнно уѣду!..—Вы такъ любезны, съ вами весело; забавляйте меня до тѣхъ поръ, пока не явится другой, съ которымъ мнѣ будетъ веселѣе, чѣмъ съ вами. Кокетка!.. Уѣду —завтра же уѣду!

Разумѣется, я не говорилъ, а думалъ все это, идя подлѣ Софьи Николаевны. Она молчала, я также; мы смотрѣли въ разныя стороны. Не знаю, что дѣлалось съ моимъ лицомъ; но когда я взглянулъ украдкою на Софью Николаевну, то замѣтилъ, что щеки ея пылали.—Посмотрите,—сказала она, стараясь примѣтнымъ образомъ избѣгать моихъ взоровъ, — вѣдь, это нашъ капельмейстеръ— вонъ тамъ, на берегу.

— Да, кажется, это онъ, — отвѣчалъ я, вѣроятно, очень смѣшнымъ и страннымъ голосомъ, потому что Софья Николаевна улыбнулась...

— Онъ удитъ рыбу,—продолжала она.— Вы, Владиміръ Сергѣевичъ, кажется, не любите этой забавы?

— Нѣтъ, сударыня.

— Почему-жъ?

— Потому что я не люблю забавляться страданіемъ даже какого-нибудъ карася или окуня.

— Что это, Владиміръ Сергѣевичъ? Ужъ не вѣрите ли вы переселенію душъ?

— Нѣтъ, Софья Николаевна, я только не понимаю, что за утѣха подцѣпить на желѣзный крючекъ и вытащить на берегъ бѣдную рыбу, которая можетъ страдать физически точно такъ же, какъ и мы страдаемъ. Къ тому-жъ въ этой жестокой забавѣ есть что-то лукавое, предательское: этотъ поплавокъ, который, какъ шпіонъ, слѣдитъ и высказываетъ мнѣ всѣ движенія моей жертвы; эта приманка, подъ которой скрывается смерть... Знаете ли, что она мнѣ напоминаетъ? Улыбку коварной женщины, когда она хочетъ, для своей забавы, вскружить голову, то есть погубить какого-нибудь глупца, который думаетъ, что его любятъ, потому что онъ самъ имѣетъ дурачество любить.

— Да развѣ есть такія женщины?

— Помилуйте!.. Всѣ женщины менѣе или болѣе любятъ кружить головы легковѣрнымъ мужчинамъ. Вѣдь, мы созданы для вашей забавы— не правда-ли?

— И вы это думаете обо всѣхъ?.. — сказала Софья Николаевна, взглянувъ мнѣ пря-

мо въ глаза.—Въ этомъ взглядѣ было что-то похоже на упрекъ! Я смутился.

— Позвольте, позвольте!—продолжалъ я;—дайте мнѣ изъяснить вамъ хорошенько мою мысль. Я вовсе не думаю, что всѣ женщины холодныя, бездушныя кокетки—избави, Господи! Большая часть изъ нихъ стараются нравиться мужчинамъ—такъ безъ всякой цѣли, и сводятъ ихъ съ ума самымъ невиннымъ образомъ. Вотъ вы, напримѣръ, когда глядите на кого-нибудь съ этой очаровательной улыбкой, говорите съ нимъ этимъ плѣнительнымъ голосомъ, вы, вѣрно, не желаете свести его съ ума, обмануть, сдѣлать на вѣкъ несчастливымъ,—о нѣтъ! вамъ это и въ голову не приходитъ! Вы это дѣлаете не по разсчету, безъ всякаго намѣренія: вамъ не въ чемъ упрекать себя; но развѣ отъ этого легче тому, кто сойдетъ съ ума по вашей милости? А можете ли вы поручиться, что никого съ ума не сводили?

— О, конечно, могу!

— Полно, такъ-ли? Послушайте. Если до сихъ поръ сердце ваше было спокойно, то по крайней мѣрѣ вамъ случалось оказывать кому-нибудь хотя небольшое предпочтеніе, то есть быть съ нимъ любезнѣе и ласковѣе, чѣмъ съ другими?

— Право, не знаю! Кажется, я стараюсь одинакимъ образомъ быть ласкова со всѣми.

— Извините! Я не очень вѣрю этому равенству. Вотъ, напримѣръ, вы признались, что мой пріѣздъ сдѣлалъ вамъ удовольствіе, а почему знать,—продолжалъ я робкимъ голосомъ, — можетъ быть, есть кто-нибудь, который своимъ пріѣздомъ обрадовалъ-бы васъ еще болѣе?

— О, нѣтъ!

Боже мой!.. Не ошибаюсь-ли я?.. Такъ точно: это невольное восклицаніе вырвалось изъ души ея!..

— Возможно-ли?—вскричалъ я.—Такъ вы желали меня видѣть не потому только, что у васъ нѣтъ никакого общества, и стали-бы желать этого даже и тогда, еслибъ всѣ ваши знакомые были здѣсь, вмѣстѣ съ вами?.. Ахъ, отвѣчайте! Прошу васъ, отвѣчайте!..

Софья Николаевна задумалась, яркій румянецъ исчезъ съ ея поблѣднѣвшихъ щекъ, грудь волновалась; она хотѣла что-то промолвить, но вдругъ остановилась и сказала вполголоса:—Посмотрите, вотъ идетъ Любовь Дмитріевна. Пойдемте къ ней навстрѣчу.

— Но вы не отвѣчали на мой вопросъ.

— Да что-жъ мнѣ вамъ отвѣчать?..

— Скажите только одно слово...

— Одно слово, — повторила Софья Николаевна. — Ну если вы хотите... Да, нѣтъ! вѣдь, вы мнѣ не повѣрите: всѣ женщины кокетки! — прибавила она съ такой обворожительной улыбкою, что я непремѣнно упалъ-бы передъ нею на колѣни (тогда еще на колѣни становились), еслибъ къ намъ не подошла Любовь Дмитріевна. Софья Николаевна бросилась къ ней на шею и начала ее цѣловать, какъ будто-бы цѣлый вѣкъ съ нею не видѣлась.

— Что ты, Софи? Что съ тобою сдѣлалось?— сказала съ удивленіемъ Хопрова.

— Ничего, мой ангелъ, ничего! Ахъ, какъ я люблю тебя, Эме!

— Въ самомъ дѣлѣ?

— До безумія!..

Вотъ я опять на небесахъ — надолго-ли? Странное дѣло! Давно-ли я говорилъ самому себѣ: быть вмѣстѣ съ нею, видѣть ее, слышать ея голосъ есть ужъ такое неизъяснимое блаженство, что я не смѣю и даже не хочу желать ничего болѣе; а теперь, когда я увѣрился, что она не вовсе ко мнѣ равнодушна, мнѣ ужъ этого было мало.—Она меня предпочитаетъ другимъ,—думалъ я. Да развѣ это что-нибудь значитъ? Развѣ предпочтенье любовь? Любовь!.. Да, да! я хочу, я долженъ, я не могу жить безъ того, чтобъ не узнать рѣшительно, любитъ-ли она меня или нѣтъ. И что это за жизнь? Это не жизнь, а безпрерывная пытка! Я чувствую, мнѣ душно подъ открытымъ небомъ, меня давитъ воздухъ, земля горитъ подо мною... О, неизвѣстность хуже всего на свѣтѣ! Да не лучше-ли во сто разъ тому, кто долженъ разстаться съ жизнію, умереть вдругъ, чѣмъ томиться медленной смертію, умирать понемногу, по частямъ, умирать каждую минуту!.. Нѣтъ, нѣтъ! одинъ громовой ударъ, и все кончено!

Такъ думалъ я всякій разъ, когда оставался одинъ; но лишь только появлялась Софья Николаевна, вся храбрость моя исчезала. Какое презрѣнное созданіе былъ бы военный человѣкъ, еслибъ онъ трусилъ на полѣ сраженія, точно такъ же, какъ я робѣлъ всякій разъ, когда случайно оставался съ нею на нѣсколько минутъ безъ свидѣтелей! Сколько разъ признанье въ любви, такъ сказать, вертѣлось у меня на языкѣ; но этотъ проклятый языкъ меня не слушался, и я, заикаясь отъ избытка чувствъ, говорилъ съ нею о хорошей погодѣ, или самымъ нѣжнымъ, прерывающимся голосомъ разсказывалъ, что капельмейстеръ Мордоченко подцѣпилъ на уду двухъ ершей и одного окуня. Въ одну изъ этихъ минутъ я увидѣлъ себя нечаянно въ зеркало. Боже мой! что за смѣшная фигура у человѣка, который влюбленъ и не смѣетъ въ этомъ признаться! Глаза у него вертятся какимъ-то страннымъ образомъ, онъ весь исковерканъ, говоритъ такой вздоръ... Ну, нечего сказать! Не приведи Господи влюбиться въ женщину, которая насъ не любитъ! Мы въ это время играемъ такую жалкую роль, что должны быть ей вѣчно благодарны, если она, глядя на насъ, не умираетъ со смѣху.

Такъ прошелъ весь этотъ день. Вечеромъ Кузьма Петровичъ, который все утро занимался у себя въ кабинетѣ, какъ нарочно не

отходилъ отъ меня ни на минуту и вплоть до самаго ужина проговорилъ со мною, какъ вы думаете, о чемъ? О нашей лирической поэзіи! Впрочемъ, надобно сказать правду, тогда было о чемъ поговорить. Какъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ, послѣ «Людмилы» и «Свѣтланы», а потомъ послѣ «Кавказскаго плѣнника» и «Бахчисарайскаго фонтана», баллады и повѣсти въ стихахъ затопили нашу словесность, точно такъ же въ то время всѣ русскіе поэты, стихотворцы и рифмачи, увлеченные примѣромъ вдохновеннаго пѣвца «Фелицы», пустилась писать оды торжественныя, философическія, дидактическія. Смирновъ выдалъ русскую Мессіяду, въ которой сатана ходитъ пѣшкомъ по небесамъ и шагаетъ черезъ тысячи планетъ; Бобровъ напечаталъ свою «Тавриду», гдѣ нѣсколько счастливыхъ стиховъ утопало въ безднѣ описательной и звукоподражательной премудрости. Вслѣдъ за этой «Тавридою» появились сотни стиховъ, въ которыхъ то:

„На сизо-голубомъ эфирѣ
Плыветъ янтарно-блѣдная луна".

То:

„Средь бурныхъ тучъ грохочутъ громы
И съ визгомъ вихрь въ ущеліяхъ свиститъ".

Или:

„Тамъ слышенъ шелестъ шумныхъ водопадовъ,
Тамъ съ ропотомъ ручей по камушкамъ журчитъ".

Всѣ эти звукоподражательныя штуки весьма нравились Кузьмѣ Петровичу. Съ какимъ восторгомъ повторялъ онъ извѣстный стихъ:

„Отъ топота копытъ пыль по полю несется".

— Вотъ это, батюшка Владиміръ Сергѣевичъ, поэзія!—говорилъ онъ. — Слышите ли, сударь, какъ лошадь скачетъ, какъ она бьетъ копытомъ въ землю? «Отъ топота копытъ...» Удивительно! Сказать вамъ по секрету, Владиміръ Сергѣевичъ, я и самъ кой-что началъ, не оду—нѣтъ! Куда намъ такъ высоко! Съ насъ довольно и басенки; а, кажется, будетъ не дурна: мысль новая и стишки есть изрядные; особливо одинъ звукоподражательный стишокъ—ну, я вамъ скажу, хорошъ! Удачно вылился, отмѣнно удачно! Теперь поздно, а завтра, если позволите, я вамъ кой-что изъ нея прочту и съ вами посовѣтуюсь. Вотъ изволите видѣть: я набросалъ нѣсколько стиховъ; конецъ у меня готовъ, начало почти придумано; да главное-то, сударь, главное—идея, цѣль этой басни не совсѣмъ еще обрисована, и мнѣ бы очень хотѣлось...

— Я небольшой въ этомъ знатокъ, Кузьма Петровичъ.

— Полноте скромничать!

— Увѣряю васъ.

— Добро, добро! Пойдемте ужинать, а тамъ увидимъ: утро вечера мудренѣе.

Софья Николаевна тотчасъ послѣ ужина ушла на свою половину, и я также отправился, но только не спать: я зналъ напередъ, что у меня сна вовсе не будетъ. И подлинно, во всю ночь я не могъ сомкнуть глазъ. Я проклиналъ мое дѣтское малодушіе, доказывалъ самому себѣ, что долженъ для собственнаго спокойствія какъ можно скорѣе узнать свою участь; и, наконецъ, далъ себѣ честное слово побѣдить эту смѣшную робость и, во чтобы ни стало, изъясниться съ Софьей Николаевной. Я заснулъ часу въ пятомъ утра и проспалъ до десяти. Когда я вышелъ изъ моей комнаты, со мною повстрѣчалась Любовь Дмитріевна.

— Что это, Владиміръ Сергѣевичъ,—сказала она,—ужъ не у меня-ли вы переняли? Мы часа три гуляли въ саду, обошли всю рощу, а вы изволили почивать.

— Гдѣ Софья Николаевна?—спросилъ я.

— Она ужъ кончила свой туалетъ и, кажется, теперь на террасѣ. Ступайте къ ней, а я пойду одѣваться. Часа черезъ два начнутъ пріѣзжать гости. Вѣдь, вы знаете, я думаю, что сегодня именины Кузьмы Петровича?

— Какъ же!

Я вышелъ на террасу. Софья Николаевна читала съ такимъ вниманіемъ какую-то книгу, что сначала меня не замѣтила. Я сѣлъ подлѣ нея. Она была вся въ бѣломъ, одѣта просто; но такъ мила, такъ прекрасна, что я минуты двѣ молча на нее любовался.

— Ахъ, это вы, Владиміръ Сергѣевичъ!— вскричала она, увидѣвъ, наконецъ, что я сижу подлѣ нея.

— Что это вы читаете съ такимъ вниманіемъ?—спросилъ я.

— «Матильду».

— Прекрасный романъ!

— Да онъ очень интересъ, и если-бъ въ немъ было поболѣе правдоподсбія...

— А что-жъ вамъ кажется въ немъ неестественнымъ?

— Характеръ Малекъ-Аделя.

— Почему же?

— Почему? Да развѣ можетъ любить такъ безпредѣльно и съ такимъ самоотверженіемъ...

— Какой-нибудь турокъ или мавръ?— прервалъ я.

— Нѣтъ, Владиміръ Сергѣевичъ, просто какой-нибудь мужчина.

— Право? Такъ вы думаете, что однѣ женщины умѣютъ любить?

— О, нѣтъ! Но любовь мужчины никогда не можетъ быть такъ постоянна и такъ безкорыстна, какъ любовь женщины. Вы безпрестанно заняты, васъ все развлекаетъ, вамъ некогда любить. Эта неограниченная свобода, этотъ холодный здравый разсудокъ, которымъ вы такъ гордитесь, все мѣшаетъ вамъ предаваться вполнѣ чувству, почти всегда безотчетному; вы любите такъ, мимоходомъ,—

это ваше отдохновеніе. А женщины? Онѣ живутъ этимъ чувствомъ. Я не стану говорить о мужьяхъ; но скажите, много ли найдете вы отцовъ, которые точно такъ же любили своихъ дѣтей, какъ любятъ ихъ матери? Да, Владиміръ Сергѣевичемъ! Мы родимся для того, чтобъ любить: это наше назначеніе. Женщина, которая ничего не любитъ— чудовище; а сколько есть мужчинъ любезныхъ, милыхъ и даже добрыхъ...

— Какая несправедливость! — вскричалъ я.—И вы думаете...

— Не только думаю, но увѣрена, что слово *эгоизмъ* должно быть на всѣхъ языкахъ мужескаго рода; да и можетъ ли быть иначе? Этотъ порокъ есть необходимое слѣдствіе вашего образа жизни, вашей мужской опытности и холоднаго математическаго разсчета. Мужчины зовутъ его благоразуміемъ, разсудкомъ, и этимъ здравымъ смысломъ, въ которомъ они, и весьма справедливо, отказываютъ женщинамъ, потому что мы слабыя, легкомысленныя женщины, всегда любимъ, не разсуждая, и почти всегда предпочитаемъ счастіе того, кого любимъ, своему собственному.

— Позвольте же мнѣ,—сказалъ я,—повторить вопросъ, который вы мнѣ сдѣлали сегодня поутру. И вы это думаете обо всѣхъ мужчинахъ?

— О, нѣтъ! Конечно, есть исключенія, но они такъ рѣдки...

— Да неужели, Софья Николаевна, вы полагаете, что женщины, способныя любить, какъ любила Матильда, встрѣчаются на каждомъ шагу? Послушайте: я сирота, у меня никого нѣтъ въ цѣломъ мірѣ, и, чтобъ не чувствовать весь ужасъ этого одиночества, я не жилъ никогда на одномъ мѣстѣ, бѣгалъ изъ дому въ домъ, и вездѣ неразлучныя мои подруги, тоска и скука, встрѣчали меня на порогѣ. Ничто не привязываетъ меня къ отечеству: я рѣшился путешествовать; но лишь только переступилъ границу, мнѣ стало грустно по моей родинѣ. О чемъ я грустилъ, по комъ тосковалъ и самъ не знаю; но я воротился опять въ Россію для того, чтобы снова умирать со скуки и жалѣть о томъ, что я торопился пріѣхать назадъ Неужели вы думаете, что я не понимаю, чего требуетъ моя душа, о чемъ она тоскуетъ? Неужели вы думаете, что, встрѣтивъ женщину, которую я могъ бы навсегда назвать моимъ другомъ, я сталъ бы искать счастія далеко отъ своей родины?.. Ахъ, Софья Николаевна! сколько разъ я былъ обманутъ! Сколько разъ подъ обольстительнымъ покровомъ любви я открывалъ одно холодное кокетство или одно только желаніе выйти замужъ за кого-бы то ни было. Я не любилъ еще никого, и не могъ любить: до сихъ поръ меня обманывали такъ явно, такъ неискусно! Но если бъ та, которую выбрало мое сердце и которая неспособна ни къ какому обману, если бъ она намекнула мнѣ только, что моя любовь ей не противна—о! съ какимъ бы восторгомъ я ей повѣрилъ, съ какою-бъ радостію,—прибавилъ я, взявъ за руку Софью Николаевну,—назвалъ бы я ее моей женою, моимъ другомъ, посвятилъ бы ей всю жизнь мою!..

Софья Николаевна поблѣднѣла, рука ея дрожала въ моей рукѣ, но она ее не отнимала.

— Если бъ она,—продолжалъ я,—забывъ всѣ эти приличія, которыя такъ смѣшны, когда дѣло идетъ о счастіи всей жизни, шепнула мнѣ: и я также люблю тебя!..

Не отвѣчая ни слова, Софья Николаевна подняла свои опущенные книзу глаза; взоры наши встрѣтились, и я, внѣ себя отъ восторга, готовъ уже былъ упасть къ ногамъ ея, какъ вдругъ раздался въ гостиной голосъ Кукушкина:—А, вы здѣсь, Владиміръ Сергѣевичъ! Ужъ я искалъ,—искалъ васъ! Софья Николаевна вскочила, сбѣжала съ террасы; я хотѣлъ идти за нею, но Кузьма Петровичъ схватилъ меня за руку и закричалъ:—Нѣтъ, батюшка! теперь я отъ васъ не отстану! Того и гляди, нагрянутъ гости и мнѣ некогда будетъ съ вами посовѣтоваться. Садитесь-ка, Владиміръ Сергѣевичъ, садитесь!

— Да о чемъ вы хотите со мной совѣтоваться?—спросилъ я, почти не скрывая моей досады.

— Какъ о чемъ? А басня-то, о которой я вамъ вчера говорилъ?

— Да ужъ я вамъ сказалъ, что вовсе толку въ этомъ не знаю... Позвольте мнѣ...

— Куда? Въ садъ? Не пущу! Вонъ видите, Сонюшка и Марья Ивановна показываютъ, гдѣ разставлять шкалики и плошки. Если вы къ нимъ пойдете, жена начнетъ съ вами говорить, племянница также: люди надѣлаютъ глупостей. Нѣтъ, не мѣшайте имъ!

Нечего дѣлать! Софья Николаевна теперь не одна; намъ нельзя продолжать начатаго разговора; я же отъ этихъ проклятыхъ стиховъ, какъ больной отъ лѣкарства, никакъ не отдѣлаюсь. Ну, такъ и быть, *приму* эту басню! Мы сѣли.—Изволите видѣть,—сказалъ Кузьма Петровичъ, вынувъ изъ кармана исписанный листъ бумаги,—я набросалъ нѣсколько отдѣльныхъ стиховъ, а басня еще не кончена. Вотъ ея содержаніе: утка и курица стоятъ на берегу рѣки; курица хочетъ переправиться на другую сторону; утка остерегаетъ ее и грозитъ ей вѣрной погибелью, но надменная курица ничего не слушаетъ и говоритъ ей:

„Послушай-ка, сестрица,
Чѣмъ хуже я тебя? Такая же я птица.
О, ты вѣдь плавать мастерица!
Такъ почему-жъ и намъ
Нельзя носится по волнамъ?“

Вотъ утка начинаетъ ей доказывать, что она не создана для воды; но курица думаетъ:

„Все это прибаутки:
Не хуже проплывемъ мы утки!“

— Эй, остерегись,—говоритъ подруга:

„Пускай бы, мой дружочекъ,
Былъ этотъ ручеекъ;
А то смотри, кума: ну видишь ли, рѣка
Широка
Какъ Ока.
Какъ, какъ Ока?..“

— Что, сударь?.. Каковъ звукоподражательный стишокъ?.. «Какъ, какъ Ока?..» А?

— Да, точно удивительно!

— Призовите, батюшка, кого хотите: француза, нѣмца, татарина, японца, и каждый изъ нихъ отгадаетъ, что это говоритъ не человѣкъ, а насѣдка.

— Да, точно, насѣдка!

— А есть ли тутъ какой-нибудь подборъ, какая-нибудь натяжка?.. «Какъ, какъ Ока»... Я прошу васъ сказать иначе.

— Это правда.

— Да нѣтъ, вы мнѣ скажите, можно ли выразиться другимъ образомъ? Вамъ говорятъ, что эта рѣка широка, какъ Ока, вы удивляетесь и восклицаете: «какъ, какъ Ока?» Что можетъ быть натуральнѣе? Да просто: нельзя сказать иначе, а межъ тѣмъ это кудахчетъ курица!

— Да, точно курица; но чѣмъ же кончится ваша басня?

— А вотъ чѣмъ: хвастливая курица бросилась съ берега въ рѣку:

„Одно крыло какъ парусъ распустила,
Другимъ старалася грести;
Не вдругъ ее волною поглотило,
И не могло ее ничто спасти“.

Она погибла въ виду своей пріятельницы, благоразумной утки. Теперь вотъ о чемъ я хочу съ вами посовѣтоваться: изъ этой басни можно извлечь два смысла; во-первыхъ, нравоученіе для тѣхъ, которые поступаютъ опрометчиво; во-вторыхъ, урокъ тѣмъ, которые, подобно уткѣ, не скупятся на пріятельскіе совѣты, но, если надобно помочь, преспокойно остаются на берегу и смотрятъ, не двигаясь съ мѣста, какъ ихъ друзья погибаютъ. Въ первомъ случаѣ я сказалъ бы въ заключеніе:

„Сей басни вотъ мораль:
Пусть скажутъ всѣ, что я педантъ и враль,
Но вѣрю я россійскому народу:
Попробуй прежде броду,
А тамъ ступай ужъ въ воду“.

Во второмъ случаѣ я могъ бы кончить басню слѣдующимъ образомъ:

„Теперь скажу безъ шутокъ:
На свѣтѣ много утокъ;
Но много есть и куръ,
Такихъ же дуръ“.

Какъ вы думаете, Владиміръ Сергѣевичъ, который изъ этихъ двухъ смысловъ вѣрнѣе и приличнѣе для моей басни?

— Который? Да какъ бы вамъ сказать?.. Первый очень хорошъ.

— Въ самомъ дѣлѣ?

— Не дуренъ и второй, а сверхъ того, мнѣ кажется, онъ нѣсколько поновѣе.

— Право?

— И если нѣтъ третьяго, то я совѣтовалъ бы вамъ придержаться второго.

„Теперь скажу безъ шутокъ:
На свѣтѣ много утокъ;
Но много есть и куръ,
Такихъ же дуръ“.

И сильно, и коротко, и ясно. Да, кажется, и рифмы-то бредутъ! «Шутокъ, утокъ». Конечно, недурно также: «враль, моралъ». Да послѣдніе-то три стиха какъ будто бы тянутся—не правда ли?

— Да, да! Есть немножко.

— Итакъ, рѣшено: я оставлю второе окончаніе. Покорнѣйше васъ благодарю, Владиміръ Сергѣевичъ!

— Помилуйте! за что?

— Какъ за что? Безъ васъ я не зналъ бы, на что рѣшиться... Э, посмотрите-ка! что это? Никакъ ужъ гости ѣдутъ.

За Клязьмою тянулось по дорогѣ нѣсколько экипажей, а за ними вдали замѣтны были цѣлыя облака пыли.

— Ну!—сказалъ Кузьма Петровичъ, потирая руки,—мы, кажется, изрядно попируемъ! Прошлаго года у меня сегодня обѣдало человѣкъ полтораста, да ночевало человѣкъ семьдесятъ; авось, и въ нынѣшнемъ году также будетъ людно. Вѣдь, ко мнѣ, батюшка, Владиміръ Сергѣевичъ, съѣзжаются въ этотъ день всѣ окольные помѣщики, все Покровское и Богородское дворянство. Конечно, народъ, по большей части, мелкій, нечиновный, да, вѣдь, не все же водить хлѣбъ-соль съ своею братьею: деревня не городъ. Однако-жъ, не прогнѣвайтесь, Владиміръ Сергѣевичъ, пойду принарядиться. Всѣ городскіе чиновники пріѣдутъ въ мундирахъ,—такъ знаете, неловко остаться въ сюртукѣ; я же именинникъ...

— Конечно, Кузьма Петровичъ, это такой день...

— Вотъ то-то и есть! Я черезъ пять минутъ буду готовъ.

Кукушкинъ пошелъ одѣваться, а я побѣжалъ въ садъ, но ужъ тамъ никого не было. Тетушка и племянница дожидались гостей въ диванной. Сколько я могъ замѣтить, приготовленія къ празднику были вовсе не шуточныя: тысячи шкаликовъ, плошекъ и цвѣтныхъ фонарей были разставлены и развѣшаны по саду; напудренные лакеи въ богатыхъ ливреяхъ, офиціанты въ щегольскихъ фракахъ и шелковыхъ чулкахъ толпились въ передней и стояли по комнатамъ: все было на барскую стать; а что и того лучше, все было чисто, опрятно и хорошо. Тутъ я въ первый разъ понялъ, что одинъ и тотъ же человѣкъ можетъ быть въ Москвѣ смѣшнымъ полубариномъ и настоящимъ вельможею у себя въ деревнѣ. Въ Москвѣ Кузьма Петровичъ встрѣчалъ на каждомъ шагу людей знатнѣй и богаче себя; а здѣсь онъ давилъ всѣхъ и сво-

имъ генеральскимъ чиномъ и своей столичной роскошью; ему не нужно было *прикидываться знатнымъ;* онъ и безъ этого былъ цѣлой головою всѣхъ выше.

Однако-жъ, не-смотря на это выгодное положеніе, Кузьма Петровичъ не разсудилъ остаться тѣмъ, чѣмъ создалъ его Господь. Я ахнулъ отъ удивленія, когда передо мною, минутъ черезъ пять, онъ явился во всемъ своемъ аристократическомъ блескѣ. Какъ теперь гляжу на его свѣтлоголубой фракъ съ золотыми пуговицами и пестрый жилетъ изъ дорогой турецкой шали. Съ какою важностію сыпалъ онъ на свои кружевные манжеты французскій табакъ, нюхая его безпрестанно изъ золотой табакерки, въ которой было, по крайней мѣрѣ, фунта два вѣсу. На одномъ изъ пальцевъ правой руки его блисталъ огромный солитеръ; на часовой украшенной эмалью цѣпочкѣ висѣлъ цѣлый пукъ дорогихъ печатей, перстней и разныхъ золотыхъ штучекъ. Онъ выступалъ мѣрными шагами, закидывалъ назадъ голову, отдувалъ губы и какая-то надменная, но въ то же время благосклонная, улыбка поминутно являлась на устахъ его; однимъ словомъ, онъ показался мнѣ чрезвычайно смѣшнымъ: слѣдовательно, былъ прекрасенъ для своего уѣзднаго общества. Простотой не много возьмешь у провинціаловъ *); нѣтъ! имъ дай такого знатнаго, чтобъ онъ былъ *важенъ въ сорокъ пудъ!*

„Серьезный взглядъ, надменный нравъ".

вотъ это вельможа! А то въ самомъ дѣлѣ, что за знатный человѣкъ, который и ходитъ, и говоритъ, и смотритъ, какъ всѣ прочіе люди!

Черезъ полчаса весь домъ Кукушкиныхъ наполнился гостями; Кузьма Петровичъ встрѣчалъ ихъ въ столовой. Дамы, поздравивъ его съ именинами, проходили въ диванную къ Марьѣ Ивановнѣ, а мужчины оставались въ первой гостиной, гдѣ на большомъ кругломъ столѣ приготовленъ былъ сытный завтракъ. Не-смотря на часто повторяемыя приглашенія Кузьмы Петровича закусить «чѣмъ Богъ послалъ», гости церемонились; наконецъ, одинъ молодой помѣщикъ, побойчѣе другихъ, налилъ себѣ рюмку мадеры и отрѣзалъ пирога. Этотъ примѣръ подѣйствовалъ: въ одну минуту завтракъ былъ атакованъ со всѣхъ сторонъ. Изъ двухъ бутылокъ мадеры одна осталась неприкосновенною: но зато съ полдюжины графиновъ настойки и золотой *іданской* водки изсушились въ одно мгновеніе ока. При семъ случаѣ особенно отличили себя чиновники уѣзднаго и земскаго судовъ. Проворство и ловкость, съ которыми они истребляли завтракъ, истинно заслуживаютъ удивленія. Я не успѣлъ еще допить одной рюмки бѣлаго вина и съѣсть кусочекъ сыру, а мой сосѣдъ, толстый капитанъ-исправникъ, проглотилъ уже двѣ селедки и, какъ грецкая губка, втянулъ въ себя полъ графина ерофеича. Въ числѣ гостей было нѣсколько дворянъ весьма порядочныхъ; но за то были и такіе, что не приведи, Господи! Вотъ этакъ за часъ до обѣда, двери диванной отворились настежь, и Марья Ивановна съ толпою барынь вошла къ намъ въ гостиную. Надобно сказать правду: она умѣла лучше своего мужа представлять роль знатной барыни. Сначала все шло очень хорошо; Марья Ивановна подходила ко всѣмъ поочереди: однимъ говорила привѣтствія, другихъ разспрашивала о семействѣ; но подъ конецъ трое помѣщиковъ совершенно сбили ее съ толку своими отвѣтами. Эти господа стояли рядомъ. Первый, лысый старичекъ съ небольшимъ двухъ аршинъ росту, худой, измозженный, запуганный, однимъ словомъ, настоящій Простаковъ фонъ-Визина; второй мужчина лѣтъ сорока, видный, дородный, неопрятно одѣтый, плохо выбритый, съ красными отъ переноя глазами и огромнымъ багровымъ носомъ; третій, также баринъ лѣтъ пожилыхъ, съ простодушнымъ и даже добрымъ лицомъ, но съ такими бездушными глазами, что съ перваго взгляда они казались оловянными.

— Что это, Яковъ Петровичъ, — сказала Марья Ивановна первому изъ этихъ гостей,— отчего это ваша Ольга Филипповна сегодня къ намъ не пожаловала?

— Не очень здорова, ваше превосходительство.

— Что съ нею сдѣлалось?

— Да такъ-съ! Вчера поразстроилась, сердилась очень. Сама виновата, матушка, ваше превосходительство: завела кружевницъ, а съ ними только безпокойство да досада; уроковъ не выплетаютъ, она гнѣвается, колотитъ ихъ по щекамъ, а что проку? Лишь только всякій разъ ручки отобьетъ! Ужъ я говорилъ, говорилъ: эхъ, матушка! да послушайся! заведи ты, пожалуйста, деревянныя лопаточки...

Марья Ивановна закрыла лицо платкомъ и обернулась ко второму гостю.—Ну, что, Лаврентій Пахомычъ,—сказала она,—погода у насъ стоитъ прекрасная; вы, вѣрно, ею пользуетесь?

— Какъ же, сударыня. У меня сѣнокосъ давно конченъ; о житвѣ поговариваю.

— Я не о томъ хотѣла васъ спросить. Ну, что, гуляете вы?

— Плохо, матушка, ваше превосходительство! Какое гулянье! Правда, третьяго дня были мы съ братомъ Степаномъ у сосѣда нашего Егора Андреевича Фурсикова, кой что

*) Однако-жъ не теперь. Въ наше время и въ провинціи уже увѣрились, что истинный вельможа всегда привѣтливъ, ласковъ и простъ въ обращеніи. Благодаря успѣхамъ просвѣщенія, нынче каждый русскій баринъ знаетъ, что если гордая лошадь прекрасна, то зато гордый человѣкъ и смѣшонъ и жалокъ. При семъ случаѣ я нужнымъ полагаю однажды навсегда попросить моихъ читателей перенестись за полвѣка назадъ. Въ послѣднія сорокъ лѣтъ мы такъ подвинулись впередъ, что теперь списанный съ натуры „Недоросль" фонъ-Визина кажется намъ карикатурою.

выпили—вотъ этакъ бутылочки по двѣ на брата досталось—а настоящей гульбы не было.

Марья Ивановна, видя, что ея не понимаютъ, обратилась къ третьему гостю и спросила его съ улыбкою: — Ну что, Парменъ Ѳедоровичъ, здорова ли ваша Аграфена Минишна?

— Слава Богу, сударыня!

— Вѣрно, занимается садомъ?

— Какъ-же-съ.

— И все гуляетъ попрежнему?

— Эхъ, матушка, ваше превосходительство! вѣдь, это говорятъ напрасно.

— Какъ напрасно.

— Видитъ Богъ, напрасно! Отъ злыхъ людей не уйдешь. Ну, право, матушка, Марья Ивановна, и въ старину-то ничего не было, а теперь ей подъ сорокъ—помилуйте!

— Да что-жъ тутъ дурного?

— Какъ что дурного? Позвольте, ваше превосходительство! Да я-то на что? Да если-бъ она смѣла!.. Да я бы ей и руки и ноги переломалъ! Нѣтъ, матушка, вышла замужъ, такъ живи честно?

Бѣдная Марья Ивановна совершенно смутилась и кончила свой обходъ, чтобъ не попасть въ пущую бѣду.

Обѣдъ былъ великолѣпный: шампанское лилось рѣкою во всѣ мужскіе желудки; конфекты сыпались во всѣ дамскіе ридикюли; музыка гремѣла; крестьяне, которымъ выкатили цѣлую бочку пива, гуляли на барскомъ дворѣ; пьяные кучера пѣли пѣсни и дрались на конюшнѣ; словомъ, все было въ порядкѣ. Разумѣется, во весь этотъ суматошный день мнѣ не удалось ни разу остаться одному съ Софьей Николаевной. Вотъ наступилъ вечеръ, и огромное зарево разлилось по всей окрестности; обширный садъ Кузьмы Петровича, вплоть до самой Клязьмы, усыпался огнями, деревья унизались разноцвѣтными фонариками; въ одной куртинѣ раздались плѣнительные звуки роговой музыки; на рѣкѣ, въ нарядной шлюпкѣ, гаркнулъ хоръ удалыхъ пѣсельниковъ, и въ тоже время на противоположномъ берегу загремѣли хороводныя пѣсни. Всѣ гости разбрелись по саду. Я встрѣтилъ Софью Николаевну съ пріятельницей ея Хопровой и двумя другими дѣвицами въ одной широкой сосновой аллеѣ, которая, начинаясь отъ средины сада, тянулась до самаго берега Клязьмы.

— Какъ эта сосновая аллея, — сказала Софья Николаевна,—напоминаетъ мнѣ одно мѣсто на Крестовскомъ островѣ.

— А вы часто на немъ бывали? — спросилъ я.

— Нѣтъ, я была на немъ только два раза, но эти обѣ прогулки для меня очень памятны. Въ первый разъ я познакомилась тамъ съ Любовью, которая только что вышла изъ института; а во второй—потеряла мой ридикюль.

— Ридикюль! — повторилъ я, и мысль о находкѣ, которая такъ дорого мнѣ стоила, какъ молнія сверкнула у меня въ головѣ.— Вы, вѣрно, потеряли его,—проговорилъ я робкимъ голосомъ, — гуляя по сосновой рощѣ, или катаясь съ горъ?..

— Нѣтъ! Мы поѣхали на Крестовскій островъ въ шлюпкѣ; я положила ридикюль подлѣ себя на лавочкѣ и, видно, какъ-нибудь нечаянно столкнула его въ воду.

— Въ воду!... Ай, ай!... Худо, очень худо!..

— Правда, въ немъ почти ничего не было,—прибавила Софья Николаевна: — одинъ платокъ.

— И больше ничего? — спросилъ я, заикаясь.

— Кажется, ничего... Ахъ, что я говорю! Въ немъ былъ хрустальный флакончикъ со спиртомъ.

Хрустальный флакончикъ!.. Ну!!! у меня сердце такъ и замерло!

— Да, помнится... — продолжала Софья Николаевна. — Да, да!.. Точно! Тетушкина черепаховая бомбоньерка съ мятными лепешечками. Ужъ досталось мнѣ за нее!

— А записочка-то — подумалъ я;—о ней ты не говоришь ни слова! Такъ вотъ эта скромная дѣвушка, которая до сихъ поръ никого не любила, никого не предпочитала! А ей пишутъ любовныя записки, говорятъ «ты», называютъ «милымъ другомъ». О, женщины, женщины!

Въ эту самую минуту крестьянская дѣвочка подошла къ Софьѣ Николаевнѣ и подала ей перегнутый на двое клочекъ бумаги. Лишь только Софья Николаевна взглянула на эту записку, то вдругъ измѣнилась въ лицѣ.— Что это?—подумалъ я.—Отъ кого эта записка? И почему она такъ тревожитъ Софью Николаевну? Тутъ что-нибудь да есть!

— А, Сонюшка? ты здѣсь? — раздался подлѣ насъ голосъ Кукушкина.

Софья Николаевна вздрогнула и второпяхъ бросила въ кусты записку, которую держала въ рукѣ.

— А я тебя искалъ по всему саду,—продолжалъ Кузьма Петровичъ, взявъ подъ руку свою племянницу.—Сейчасъ зажгутъ фейерверкъ—пойдемъ! Mesdames! прошу покорно за мною!

— Ахъ, дядюшка! вы знаете, я боюсь смотрѣть на эти фейерверки.

— Полно, мой другъ! шалишь!—прервалъ Кузьма Петровичъ и, не слушая ничего, потащилъ насильно за собою Софью Николаевну. И остался одинъ. Въ двухъ шагахъ отъ меня бѣлѣлась подъ кустомъ брошенная бумажка. Пользоваться неосторожностію другихъ, читать потихоньку чужія письма — не хорошо, даже очень дурно, кто этого не знаетъ? Но прельщенье было такъ сильно,

что я не утерпѣлъ, поднялъ записку и прочелъ слѣдующее:

«Я здѣсь, мой милый другъ! Черезъ полчаса я буду тебя дожидаться въ дубовой рощѣ подлѣ швейцарской хижины».

— Что-жъ это такое? Неужели и это любовная записка?.. Какъ! въ тотъ самый день, когда она почти призналась мнѣ въ любви своей... Нѣтъ, нѣтъ! это невозможно! Но, кажется, рука мнѣ знакома?.. Да. Не помню, гдѣ и когда, но только я точно видѣлъ этотъ почеркъ... Боже мой!.. Боже мой!.. Не ошибаюсь ли я?.. Я бросился какъ безумный вонъ изъ сада, прибѣжалъ къ себѣ въ комнату, спросилъ огня и досталъ изъ моего чемодана ридикюль, по милости котораго я чуть-было не утонулъ въ Невѣ. Вотъ этотъ хрустальный флакончикъ, эта бомбоньерка, этотъ платокъ! на немъ вышиты буквы S. и L. Такъ точно: Софья Ладогина!.. А! вотъ, наконецъ, и эта, до половины смытая водою записка... Боже мой! Итакъ, я не ошибся: одна и таже рука!.. Нѣтъ! такое предательство, такое гнусное кокетство превосходитъ всякое вѣроятіе... Она любитъ этого незнакомца... она... Да! она его любовница! Теперь я всему вѣрю! Но для чего же и за что, Боже мой, обманывать и дурачить меня? За что?.. Глупецъ! Да развѣ ты не видишь, что ей нуженъ кто-нибудь, чтобъ отстранить всякое подозрѣніе. Когда всѣ будутъ думать, что она къ тебѣ неравнодушна, то кому придетъ въ голову, что ея петербургскій любовникъ здѣсь, что она имѣетъ съ нимъ свиданія по ночамъ въ лѣсу... О, это уже слишкомъ!.. Вся кровь кипѣла въ моихъ жилахъ! Обманутая любовь, оскорбленное самолюбіе, ревность, досада, всѣ эти адскія чувства, какъ ядовитыя змѣи, зашипѣли въ груди моей и впились въ мое сердце. — Въ дубовой рощѣ, — шепталъ я, стиснувъ зубы, подлѣ швейцарской хижины. — Эта самая уединенная и глухая часть сада.... Тѣмъ лучше!... Нѣтъ, почтенная Софья Николаевна! я помѣшаю вашему свиданію! Съ вами мнѣ дѣлать нечего: вы женщина; но если вашъ любовникъ не подлецъ, то онъ ужъ вѣрно, по крайней мѣрѣ, здѣсь не назначитъ вамъ другого свиданія.

Я осмотрѣлъ мои дорожные пистолеты, зарядилъ ихъ и, положивъ къ сторонѣ, отправился въ садъ. Въ дубовой рощѣ не было ни одного шкалика и я не встрѣтилъ никого: всѣ гости собрались вокругъ террасы, чтобъ смотрѣть фейерверкъ. Дойдя почти ощупью до небольшого луга, на которомъ выстроена была швейцарская хижина, я спрятался за густой рябиновый кустъ. Черезъ нѣсколько минутъ послышался шорохъ и закутанный въ широкій плащъ мужчина вышелъ на поляну. На ней было свѣтлѣе, чѣмъ въ рощѣ, но я не могъ никакъ разсмотрѣть его въ лицо. Прошло еще нѣсколько минутъ, и снова раздался шорохъ; между деревьевъ мелькнуло бѣлое платье... Это она!..—«Ты здѣсь, Александръ?» — раздался тихій голосъ. О! я узналъ бы его изъ тысячи голосовъ! Да! это былъ ея голосъ! Незнакомый сдѣлалъ нѣсколько шаговъ впередъ и Софья Николаевна съ радостнымъ крикомъ бросилась ему на шею. Не могу описать вамъ, что происходило со мною въ эту минуту; сердце мое не билось, кровь застыла въ жилахъ, я ухватился за сучья куста, чтобъ не упасть на землю. Я видѣлъ, какъ этотъ незнакомый прижималъ ее къ груди своей, я слышалъ его ласковый голосъ; но сначала чувства мои были въ такомъ одеревенѣніи, что я не могъ разобрать ни одного слова, и всѣ ихъ рѣчи сливались для меня въ какой-то невнятный шопотъ. Вотъ, наконецъ, я сталъ понемногу слышать и понимать то, что они говорили межъ собою.

— Ахъ, Александръ! какая неосторожность! — шептала Софья Николаевна. — Что если узнаютъ...

— Что-жъ дѣлать, мой другъ!—прервалъ незнакомый.—Я рѣшился на все... Меня увѣдомили... — Тутъ онъ такъ понизилъ голосъ, что я не могъ ничего разобрать.

— И ты этому повѣрилъ, Александръ? — сказала довольно громко Софья Николаевна.— Да развѣ есть на свѣтѣ мужчина, который могъ бы быть для тебя опасенъ?

— Но это мучительное состояніе должно когда-нибудь кончиться! — вскричалъ незнакомый.—Мнѣ жизнь становится несносною!

— Да что-жъ дѣлать, мой другъ?

— Что дѣлать? Рѣшиться на все.

— Какъ! ты хочешь?..

— Да! мы должны убѣжать; другого средства я не вижу.

Вдругъ раздался громкій трескъ, и сотни ракетъ взлетѣли на воздухъ.

— Ахъ, Боже мой!—вскричала Софья Николаевна, — фейерверкъ начался! Меня начнутъ искать по всему саду; быть можетъ, придутъ сюда... Послушай, Александръ! Подожди здѣсь: я черезъ полчаса опять сюда приду.

— Софья Николаевна!—раздался въ близкомъ разстояніи громкій голосъ.

— Я здѣсь! — вскричала она, бросившись навстрѣчу къ слугѣ, который искалъ ее по рощѣ.

Незнакомый и я остались одни. Въ душѣ моей происходила ужасная борьба; я чувствовалъ, что не имѣю никакой причины досадовать на этого незнакомца: Софья Николаевна любила его тогда еще, когда я не имѣлъ о ней никакого понятія. Виноватъ ли онъ, что эта бездушная женщина хотѣла, для своей забавы, вскружить мнѣ голову, и потому что она женщина, потому что я не могу или не хочу сказать ей въ глаза, что она гнусная, презрѣнная кокетка, онъ долженъ стрѣляться

со мною?.. Какая несправедливость!.. Несправедливость!.. Да почему я знаю, что они оба не смѣются надо мною?.. Почему я знаю, что этотъ незнакомецъ не совѣтовалъ Софьѣ Николаевнѣ кокетничать со мною для того, чтобъ вѣрнѣе обмануть и тетушку и дядюшку, которыхъ и безъ того обмануть вовсе не трудно... И я буду терпѣть это?.. И я позволю себя дурачить... Нѣтъ, нѣтъ!.. Ни за что на свѣтѣ!..

Лишь только я хотѣлъ выйти изъ-за куста, вдругъ, вмѣстѣ съ оглушающимъ взрывомъ, тысячи ослѣпительныхъ звѣздъ взлетѣли на воздухъ, разсыпались по небу, и яркій, дневной свѣтъ озарилъ всѣ предметы. Въ это самое мгновеніе незнакомый повернулся ко мнѣ лицомъ... Праведный Боже!.. это онъ, это Красноярскій, тотъ самый морской офицеръ, который нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ спасъ меня отъ неизбѣжной смерти!.. И я хотѣлъ... Боже мой, Боже мой!

— Это ты, Софья?— спросилъ Красноярскій, подходя къ рябиновому кусту, за которымъ раздался шелестъ моихъ шаговъ.— Кто здѣсь?—вскричалъ онъ; но я ужъ былъ далеко. Проходя мимо того мѣста, гдѣ горѣлъ фейерверкъ, я увидѣлъ въ толпѣ крестьянъ моего Никанора Федотыча. — Ступай за мною!—шепнулъ я.

— Эхъ, батюшка, Владиміръ Сергѣевичъ!— сказалъ онъ. — Позвольте! Сейчасъ станутъ бураки пускать.

— Мы ѣдемъ! Ступай, укладывайся.

— Какъ такъ? — проговорилъ Никаноръ, остолбенѣвъ отъ удивленія.

— Идешь ли ты!

— Слушаю, сударь.

Войдя въ мою комнату, я повторилъ это приказаніе Никанору, а самъ схватилъ листъ бумаги, и вотъ что написалъ Софьѣ Николаевнѣ:

«Я возвращаю потерянный вами ридикюль. Вы найдете въ немъ все, даже любовную записку отъ этого господина, который такъ нечаянно обрадовалъ васъ своимъ пріѣздомъ. Я видѣлъ и слышалъ все, однако жъ будьте спокойны: я не помѣшаю вамъ убѣжать съ Красноярскимъ. Скажите ему, что я тотъ самый Завольскій, котораго онъ нынѣшней весною спасъ отъ смерти. Теперь мы, кажется, поквитались. Прощайте, Софья Николаевна! Въ здѣшнемъ мірѣ мы никогда ужъ съ вами не встрѣтимся».

Я положилъ эту записку въ ридикюль.— Никаноръ!—сказалъ я,—возьми, заверни, да попроси кого-нибудь повѣрнѣе, чтобъ онъ завтра поутру отдалъ это Софьѣ Николаевнѣ.

— Слушаю, сударь.

— Мы сейчасъ отправляемся.

— Сейчасъ! Такъ надобно привезти вашу коляску: она въ кузницѣ.

— Тѣмъ лучше! Отнеси туда чемоданъ и найми лошадей. Завтра поутру мы должны быть въ Москвѣ.

— Слушаю, сударь.

Я началъ ходить скорыми шагами по комнатѣ, а Никаноръ сталъ укладываться.

— Что, сударь, — сказалъ онъ послѣ нѣкотораго молчанія, — мы скоро вернемся назадъ?

— Никогда.

— Никогда? Помилуйте! да какъ это можно.

— А почему же нельзя, болванъ?

— Какъ почему? Вѣдь вы изволите жениться на Софьѣ Николаевнѣ.

— Съ чего ты это взялъ?

— Помилуйте, сударь! Да вся дворня на васъ любуется; всѣ говорятъ, что вы женихъ и невѣста. Вотъ вчера еще, при мнѣ, мамушка Федосья говорила Матренѣ ключницѣ: «Эхъ, дѣвка! Маленько у насъ голландскаго-то полотна, не достанетъ на наволоки! А надо скоро за работу приниматься. Дай Господи всякаго счастія,—промолвила она,— матушкѣ нашей барышнѣ—ангелъ небесный!» А Матрена-то искривила рожу, да мнѣ изъподтишка и подмигиваетъ. Ну вотъ извольте видѣть!

— Я вижу только, что онѣ такъ же врутъ, какъ и ты. Когда пріѣдемъ въ Москву, тотчасъ ступай за подорожной и нанимай лошадей.

— Какъ, Владиміръ Сергѣевичъ. Такъ вы и въ Москвѣ-то не хотите пожить?

— Нѣтъ!

— Да куда же мы поѣдемъ?

— Все равно! Лишь только-бы скорѣй изъ Москвы.

— Равно, да не одно, сударь. Вѣдь подорожной-то не дадутъ на всѣ четыре стороны.

— Ну, возьми подорожную до Кіева.

— Слушаю, сударь!

— Мы тамъ пробудемъ нѣсколько дней и отправимся за-границу.

— Ужъ не опять-ли къ нѣмцамъ?

— Нѣтъ! Мы поѣдемъ въ Андалузію.

— Куда-съ?

— Въ Андалузію.

— А что это за земля такая? Гдѣ она, сударь?

— Въ Испаніи.

— Вотъ тебѣ разъ! Ахъ, ты, Господи! Да что вамъ далась эта Гишпанія?

— Молчи, дуракъ!

— Слушаю, сударь.

Никаноръ сталъ затягивать ремни чемодана и ворчалъ про себя:—Эка невидаль—Гишпанія!.. Чай хуже Нѣметчины. Вотъ не было печали, да черти накачали!

— Что ты тамъ бормочешь?—закричалъ я.

— Ничего, сударь... Воля ваша.

— Да что жъ ты ворочаешься? Укладывайся проворнѣй.

— Сейчасъ, сударь! А что, Владиміръ Сергѣевичъ,—прибавилъ Никаноръ, почесы-

вая въ головѣ,—въ этой Гишпаніи Христа знаютъ, или нѣтъ?

— Полно врать, дуракъ! Бери чемоданъ и ступай.

— Чай, порядкомъ и лба-то перекрестить не умѣютъ, проклятые басурманы!—сказалъ Никаноръ, выходя изъ комнаты.

Часа черезъ два мы скакали уже по московской дорогѣ.

III.

Подлинно правду говоритъ русская пословица: «скоро сказка сказывается, да не скоро дѣло дѣлается». Давно-ли я пировалъ вмѣстѣ съ вами на имянинахъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника Кукушкина. Съ тѣхъ поръ вы успѣли только, вмѣсто перваго тома, взять въ руки второй, а межъ тѣмъ прошло уже около двѣнадцати мѣсяцевъ, и я живу теперь въ Альмеріи, въ этомъ небольшомъ, но прелестномъ городкѣ Южной Испаніи. Да, любезные читатели, чрезъ шесть недѣль будетъ ровно годъ, какъ вашъ бѣдный, обманутый мечтатель ускакалъ изъ подмосковной Кузьмы Петровича Кукушкина. Вы, вѣрно, думаете, что я прожилъ все это время въ Андалузіи, что подъ ея благодатными небесами жизнь моя текла спокойно и счастливо? Ахъ, нѣтъ? Я не скоро добрался до этой хваленой Альмеріи; со мною было много тревогъ и много горя. Если позволите, я разскажу вамъ все по порядку.

Я намѣренъ былъ сначала отправиться въ Испанію сухимъ путемъ; но когда пріѣхалъ въ Москву, то вдругъ овладѣло мною непреодолимое желаніе ѣхать моремъ. — Быть можетъ,—думалъ я,—опасности и тревоги морского путешествія будутъ лучшимъ лѣкарствомъ для моего растерзаннаго сердца. Двѣ, три бури, и эта постыдная любовь къ недостойной женщинѣ, любовь, которая и теперь еще наполняетъ мою душу, пройдетъ, исчезнетъ какъ минутное безуміе; сильныя потрясенія почти всегда возвращаютъ разсудокъ сумасшедшимъ. Но если буря не кончится одной тревогою? Если намъ встрѣтится подводный камень? Такъ что-жъ? Тѣмъ лучше: всему конецъ. Грустно разставаться съ жизнію тому, кто счастливъ, кого любятъ; а вѣдь обо мнѣ и плакать-то будетъ некому!

Я поскакалъ въ Петербургъ, пробылъ тамъ однѣ сутки и отправился въ Кронштадтъ. Мнѣ не удалось даже повидаться съ Бурминымъ: фрегатъ, на которомъ онъ служилъ, вышелъ въ море. Въ Кронштадтѣ я познакомился съ капитаномъ англійскаго военнаго шлюпа, который отправлялся обратно въ свое отечество. Этотъ морякъ полюбилъ меня, вѣроятно за то, что я говорилъ съ нимъ по-англійски, и точно такъ же, какъ онъ, никогда не улыбался. Господинъ Томсонъ (такъ называли капитана англійскаго шлюпа) взялся довезти меня до Портсмута. — Если вы, мистеръ Завольскій,—говорилъ онъ,—не захотите побывать въ Лондонѣ, чему, однако-жъ, я не вѣрю, то можете прямо изъ Портсмута отправиться въ Лиссабонъ, или даже въ одинъ изъ испанскихъ портовъ Средиземнаго моря; впрочемъ, я не сомнѣваюсь, что когда вы взглянете на берега нашей древней Англіи, то ужъ вѣрно захотите посмотрѣть эту столицу всей Европы, этотъ Лондонъ, въ которомъ вы будете на каждомъ шагу дивиться чудесамъ просвѣщенія и благоговѣть передъ колоссальнымъ могуществомъ свободной Британіи.

Я не хотѣлъ спорить съ господиномъ Томсономъ, но думалъ про себя, что всѣ эти столицы *всей Европы*, которыхъ, вѣроятно, начтется порядочное число, не стоятъ моей скромной, неизвѣстной, но счастливой Альмеріи: она не велика, ее можно выстроить на ладони—это правда; да зато въ ней круглый годъ точно такъ же свѣтло, тепло и привольно, какъ сумрачно, холодно и тѣсно въ какомъ-нибудь закопченномъ Лондонѣ, или грязномъ Парижѣ.

Вотъ мы вышли изъ Кронштадтскаго порта и пролетѣли на всѣхъ парусахъ мимо угрюмыхъ береговъ русской Финляндіи. Сначала я чувствовалъ себя довольно хорошо, но это продолжалось не долго; во второй день нашего путешествія подулъ сильный вѣтеръ, взрылъ гладкую поверхность моря, шлюпъ запрыгалъ по волнамъ, и къ вечеру меня совершенно укачало. Я слегъ въ постель и не вставалъ съ нея до самаго пріѣзда въ Портсмутъ. Кто не испытывалъ на самомъ себѣ этой морской болѣзни, тотъ не можетъ вообразить, до какой степени она мучительна. Она совершенно убиваетъ въ больномъ не только тѣлесныя, но и душевныя силы: все становится для него несноснымъ; сначала мучительная боль, потомъ неизъяснимая тоска, а тамъ какое-то безчувственное одеревенѣніе, которое превращается подъ конецъ въ совершенное равнодушіе и даже отвращеніе къ самой жизни. Мой вѣрный слуга, Никаноръ Федотычъ, былъ въ отчаяніи. На всемъ шлюпѣ я одинъ только говорилъ по-русски: но я не могъ его успокоить, потому что подъ конецъ пересталъ отвѣчать на его безпрерывные вопросы: — Что, батюшка, Владиміръ Сергѣевичъ, полегче ли вамъ? — Несмотря на увѣреніе господина Томсона, что болѣзнь моя вовсе не опасна, я и самъ начиналъ уже сомнѣваться въ моемъ выздоровленіи.—Ахъ, ты, Господи, Боже мой!—говорилъ Никаноръ, смотря на меня и обливаясь горькими слезами.—Эхъ, батюшка, Владиміръ Сергѣевичъ! Не сидѣлось вамъ дома! Вотъ тебѣ и поѣхали моремъ!.. А эти басурманы-то, разбойники, имъ какое дѣло, что вы умрете безъ покаянія. Этакіе звѣри, подумаешь!.. Вотъ хоть этотъ матросъ съ красной рожей, что убираетъ вашу комнату: я ему сталъ толко-

вать, что вы умираете, а онъ смѣется!—Что ты зубы-то скалишь, проклятый!—закричалъ я.—Развѣ баринъ у меня собака? Да и собака умираетъ, такъ жаль; пострѣлъ этакой! Чтобъ тебѣ самому издохнуть, нехристь поганая!— А онъ пуще смѣется! Ну, нечего сказать— народецъ!.. Недаромъ же ихъ командиръ строгъ; а ужъ строгъ, Владиміръ Сергѣевичъ! Каждый день жаритъ, жаритъ ихъ плетьми!.. Ахъ, ты, Господи!.. А послушаешь этихъ всякихъ мусьёвъ, что изъ чужихъ краевъ пріѣзжаютъ къ намъ наживаться, такъ у насъ только на Руси служивыхъ наказываютъ за вину палками, а у нихъ все гладятъ по головкѣ! Да подѣломъ этимъ буянамъ! Если-бъ ихъ каждый день не пороли, такъ съ ними и ладу бы вовсе не было *).

Какъ страшна эта морская болѣзнь! Я казался умирающимъ, никакія лѣкарства не приносили мнѣ облегченія, и лишь только по прибытіи нашемъ въ Портсмутъ вышелъ на берегъ, то сталъ не постепенно, а вдругъ совершенно здоровымъ. Разумѣется, этотъ внезапный переходъ отъ болѣзненнаго состоянія къ здоровью очень меня обрадовалъ, а когда мы радуемся, то бываемъ ко всему снисходительны: все порядочное кажется намъ хорошимъ, хорошее превосходнымъ, а дурного мы даже и замѣчать не хотимъ. Портсмутъ городъ весьма обыкновенный, а мнѣ онъ показался великолѣпнѣе Петербурга. Улицы, дома, площади и даже туманно-сѣрыя небеса его, все меня восхищало, потому что я дышалъ свободно и чувствовалъ себя совершенно здоровымъ. Эта морская болѣзнь такъ меня напугала, что я рѣшился продолжать мое путешествіе сухимъ путемъ, то-есть заѣхать на нѣсколько дней въ Лондонъ, потомъ отправиться общей дорогою всѣхъ путешественниковъ въ Дувръ, изъ Дувра переѣхать моремъ въ Кале, пожить недѣли двѣ въ Парижѣ, а тамъ черезъ Южную Францію и Пиренейскія горы добраться потихоньку до Испаніи.

На другой день моего прибытія въ Портсмутъ, я послалъ трактирнаго слугу за почтовыми лошадями, а самъ пошелъ вмѣстѣ съ Никаноромъ въ таможню за моимъ чемоданомъ, который для осмотра былъ туда отосланъ прямо съ корабля. Надобно сказать правду, трудно найти грубѣе и непріятнѣе англійскихъ таможенныхъ смотрителей. Чтобъ какъ-нибудь скорѣе съ ними развязаться, я далъ имъ гинею, за которую, впрочемъ, не сказали мнѣ даже и спасибо. Это бы еще не бѣда; но вотъ что показалось мнѣ рѣшительно нестерпимымъ: въ моей дорожной шкатулкѣ, между прочихъ вещей, былъ серебряный чайный приборъ; небольшой, но такой уютный и такъ хорошо сдѣланный, что всѣ имъ любовались. Представьте себѣ мое удивленіе: мнѣ возвратили его въ кускахъ! — Что-жъ это значитъ?—вскричалъ я.—Зачѣмъ вы изломали мой чайный приборъ?

— Такъ должно,—проговорилъ нехотя толстый начальникъ таможни, не обращая на меня никакого вниманія.

— По нашимъ законамъ, всѣ серебряныя вещи иностраннаго издѣлія — запрещенный товаръ, — сказалъ другой чиновникъ таможни,—а какъ въ то-же время ввозъ собственно металла не запрещенъ, такъ мы конфисковали только фасонъ вашего чайнаго прибора; а серебро отдаемъ вамъ обратно *).

Разумѣется, послѣ этого говорить было нечего: я успокоился; но мой Никаноръ Федотычъ не скоро уходился.—Ну, сударь!—сказалъ онъ, когда мы вышли изъ таможни,— каковъ народецъ? Что-жъ это такое? Да это дневной грабежъ!

— Дѣлать нечего, братецъ: такой законъ.

— Помилуйте, сударь, какой это законъ! Гдѣ видано ломать чужое серебро?

— Да развѣ, Никаноръ, ты не слыхалъ русской пословицы: «что городъ, то норовъ»...

— Конечно, сударь, такъ! Да только вотъ что: когда они сами-то ѣздятъ по другимъ землямъ, ломаютъ ли у нихъ серебряные чайники и молочники?

— Кажется, нѣтъ.

— Ну, вотъ изволите видѣть! Такъ за что жъ они-то другихъ обижаютъ?

— Да развѣ ты, Никаноръ, не знаешь, что у себя въ дому всякій господинъ и воленъ дѣлать что хочетъ.

— Какъ не знать, сударь.

— Такъ о чемъ же и толковать.

— А что, Владиміръ Сергѣевичъ!—сказалъ Никаноръ, помолчавъ нѣсколько времени, — вы помните, какъ мы еще жили при покойномъ нашемъ батюшкѣ въ Закамской его вотчинѣ, селѣ Турухтановѣ?

— Какъ не помнить.

— Вѣдь вы изволите знать, что это село было разнопомѣстное?

— Ну да, знаю.

— Вотъ, сударь, лѣтъ двадцать тому назадъ, пріѣхалъ жить въ Турухтаново новый

*) Чтобъ имѣть понятіе, съ какою строгостію или, лучше сказать, жестокостью обращаются въ Англіи съ матросами и вообще нижними морскими чинами, должно прочесть сочиненіе нашего современнаго писателя, капитана Marrit'a. Баронъ Д'Оса (d'Haussez), говоря о дисциплинѣ сухопутнаго войска Великобританіи, разсказываетъ, что въ Англіи сто, двѣсти и даже триста ударовъ кнутомъ есть самое обыкновенное наказаніе солдату за вину, которая достаточно была бы наказана мѣсячнымъ или двухъ-мѣсячнымъ арестомъ (La Grande Bretagne en mil huit-cent trentetrois, par M-r le Baron d'Haussez. Bruxelles, tom. I, pag. 134).

*) Не знаю теперь, а лѣтъ двадцать пять тому назадъ этотъ законъ строго наблюдался во всѣхъ англійскихъ таможняхъ.

баринъ, не такъ чтобы очень богатый, а ужъ такой буянъ и обидчикъ, что не приведи Господи. На выгонѣ чуть только чужая скотина перейдетъ на его сторону, тотчасъ и загонитъ: плати ему за потраву, за потопку, за то, за се... Ему начнутъ говорить: — Помилуйте, батюшка! ну, какъ усмотрѣть —дѣло сосѣдское, земля черезполосная! А онъ себѣ оретъ свое:—Я, дескать, господинъ на своей землѣ, и что хочу, то и дѣлаю.—Этакъ-то?— сказалъ покойный вашъ батюшка, дай Богъ ему царство небесное! — Такъ постой же!.. Онъ загонитъ курицу, а у него барана; онъ корову, а у него лошадь! Что жъ сударь? Покуражился, покуражился, да дѣлать нечего: присмирѣлъ, полно буянить!

— Прошу покорно:—подумалъ я про себя.— Ай-да Никаноръ Федотычъ! какія онъ изволитъ отпускать аллегоріи!

Я засталъ у себя на квартирѣ господина Томсона, который пришелъ со мною проститься. Онъ совѣтовалъ мнѣ переѣхать въ ту самую гостиницу, въ которой жилъ одинъ изъ его сослуживцевъ,—Джонъ Шмитъ, искренній мой пріятель,—сказалъ Томсонъ,—и когда вы отдадите ему это рекомендательное письмо, то онъ совершенно будетъ въ вашемъ распоряженіи. Вы еще не знаете, что такое Лондонъ. Въ немъ пріѣзжему человѣку безъ товарища и путеводителя—бѣда! Это не городъ, а цѣлый міръ! — Я поблагодарилъ Томсона, простился съ нимъ и сѣлъ вмѣстѣ съ Никаноромъ въ почтовую коляску, въ которой, надобно сказать правду, можно бы было безъ стыда показаться на любомъ московскомъ или петербургскомъ гуляньѣ.

Мнѣ должно вамъ сказать, любезные читатели, что въ Портсмутѣ я рѣшился вести ежедневныя записки моего путешествія по Европѣ. Я кончилъ ихъ въ Гренадѣ. Быть можетъ, я ошибаюсь, но мнѣ кажется, что для васъ будетъ пріятнѣе пробѣжать мимоходомъ отрывистыя записки молодого человѣка, чѣмъ слушать безконечные разсказы старика, который живетъ одними воспоминаніями, слѣдовательно, бываетъ всегда многорѣчивъ, когда разсказываетъ о приключеніяхъ своей молодости. Вотъ эти записки, не всѣ — большая часть изъ нихъ растеряна во время моего путешествія по Испаніи; но такъ какъ это не разсказъ, который требуетъ нѣкоторой полноты и цѣлости, а просто отдѣльныя замѣчанія и отрывки, то я надѣюсь, что эта потеря будетъ вовсе для васъ не замѣтна.

Журналъ русскаго путешественника.

Лондонъ.

...Весело ѣздить въ Англіи на почтовыхъ; берутъ дорого — это правда, но зато васъ везутъ отлично-хорошо. Большая дорога гладка и ровна, какъ скатерть, виды очаровательные; готическіе замки англійскихъ лордовъ, прелестныя дачи, бархатные луга—все веселитъ взоры путешественниковъ. Напрасно только говорятъ, что въ Англіи нѣтъ нищихъ; конечно ихъ менѣе, чѣмъ у насъ въ Россіи; разница только въ томъ, что наши нищіе просятъ, а англійскіе требуютъ. На каждой станціи, когда я сажусь въ коляску, цѣлая толпа оборванныхъ бродягъ приступаетъ ко мнѣ со всѣхъ сторонъ.—Прошу мнѣ дать на водку,—шепчетъ одинъ. — Вы чихнули, а я вамъ сказалъ: здравствуй!—Дайте мнѣ крону,— говоритъ другой: — я отпиралъ и запиралъ дверцы вашей коляски.—Пожалуйте мнѣ шиллингъ!—кричитъ третій:—я снялъ у васъ съ плеча соломенку!—И что всего досаднѣе, имъ дашь, а они и шляпы не приподымутъ. Лондонъ сдѣлалъ на меня большое впечатлѣніе, но только не совсѣмъ пріятное. Это необычайное многолюдство, это безчисленное множество кирпичныхъ домовъ, какъ двѣ капли воды другъ на друга похожихъ, невольнымъ образомъ пугаютъ воображеніе путешественника; ему кажется, что онъ пропадетъ безъ вѣсти, вовсе исчезнетъ посреди этого необъятнаго людского муравейника. Правду сказалъ Томсонъ, что Лондонъ не городъ, а цѣлый міръ; но только міръ самый пасмурный, самый однообразный и, несмотря на свое многолюдство, едва ли не самый скучный изъ всѣхъ міровъ нашей солнечной системы. Безконечныя улицы, закопченые кирпичные дома, площади правильныя, но дурно обстроенныя, и цѣлыя облака угольнаго дыму, который, какъ густой туманъ, лежитъ на черныхъ кровляхъ; все это вмѣстѣ придаетъ городу видъ отмѣнно мрачный. Чтобъ добраться до трактира, который мнѣ рекомендовалъ господинъ Томсонъ, я долженъ былъ ѣхать почти всѣмъ городомъ. На одной изъ площадей, по большому стеченію народа, коляскѣ моей нельзя было проѣхать; мы остановились. Посреди многолюдной толпы на деревянныхъ подмосткахъ стоялъ какой-то ораторъ; онъ говорилъ съ большимъ жаромъ, размахивалъ руками какъ сумасшедшій и билъ себя въ грудь кулакомъ; отъ времени до времени народъ принимался кричать съ такимъ отвратительнымъ визгомъ, что я заткнулъ себѣ уши. Ко мнѣ безпрестанно заглядывали въ коляску звѣрскія пьяныя рожи и растрепанныя безобразныя твари, которыхъ по одному только платью можно было назвать женщинами. Чрезъ полчаса народъ сталъ расходиться и я, наконецъ, доѣхалъ до моей квартиры.

. . . . .

...Я очень доволенъ моими комнатами: красивая и спокойная мебель; полы обиты коврами, прекрасныя зеркала, мраморный каминъ, нигдѣ ни пылинки, все чисто, свѣжо и опрятно. Я плачу за нихъ рублей тридцать въ сутки— это дорого, но въ Лондонѣ дешевы только деньги. Вчера я не успѣлъ познакомиться съ господиномъ Шмитомъ; сегодня по утру я

отнесъ къ нему письмо пріятеля моего Томсона. Этотъ Шмитъ очень добрый и любезный малый; мы живемъ съ нимъ въ одномъ корридорѣ и, вѣроятно, будемъ часто видѣться. Я спросилъ его, между прочимъ, что значитъ это сходбище, которое мнѣ удалось вчера видѣть на площади.

— Это одно изъ частныхъ народныхъ совѣщаній,—сказалъ Шмитъ.—Они называются у насъ: Meeting.

— Да о чемъ же говорятъ въ этихъ совѣщаніяхъ?

— По большей части о реформѣ, объ искорененіи разныхъ злоупотребленій.

— Вотъ что! Такъ они толкуютъ о важныхъ предметахъ?

— Да, по своему.

— Какъ же это мнѣ показалось, что не только ораторъ, но и большая часть слушателей были не въ трезвомъ видѣ?

— Разумѣется, вѣдь порядочные люди никогда не бываютъ на этихъ сходбищахъ.

— Такъ какая же можетъ быть польза отъ этихъ совѣщаній?

— Никакой. Но это одно изъ священныхъ правъ свободнаго англійскаго народа.

— И эти совѣщанія всегда оканчиваются спокойно?

— Почти всегда. Изрѣдка случаются небольшіе безпорядки, а особливо въ Манчестерѣ: тамъ эти совѣщанія бываютъ довольны шумны. Человѣкъ пять-шесть изувѣчатъ, перебьютъ нѣсколько стеколъ; но объ этихъ мелочахъ и журналисты не пишутъ.

Господинъ Шмитъ хотѣлъ было идти вмѣстѣ со мною въ церковь святаго Павла, но его захватили гости. Я надѣлъ фракъ, повѣсилъ въ петличку мой орденъ и сейчасъ отправляюсь одинъ осматривать этотъ великолѣпный храмъ, который, по своей огромности, считается первымъ послѣ римскаго Петра и Павла.

Худо не знать обычаевъ города, въ которомъ живешь. Я воротился домой, не видавъ церкви святаго Павла. Вотъ какъ это случилось. Я шелъ весьма спокойно по тротуару, и хотя замѣчалъ, что почти всѣ проходящіе заглядывали мнѣ въ лицо и косились, но я не обращалъ на это большого вниманія; наконецъ, необычайный шумъ заставилъ меня оглянуться: толпа оборванныхъ мальчишекъ бѣжала вслѣдъ за мною; многіе изъ нихъ указывали на меня пальцами и кричали: French dog! french dog! Я не могъ понять, что это значило. Къ счастью, одинъ англичанинъ сжалился надо мною.

— Снимите вашъ орденъ,—сказалъ онъ мнѣ.

— Для чего?—спросилъ я.

— А для того, чтобъ васъ не закидали грязью.

— Грязью? Помилуйте! за что?

— За то, что вы хотите отличаться отъ другихъ. Въ лондонскихъ улицахъ всѣ должны казаться равными.

Я снялъ мой крестъ, но негодные мальчишки не хотѣли отъ меня отстать и заставили поневолѣ воротиться домой.

Лондонъ.

Мнѣ хотѣлось прожить въ Лондонѣ съ полмѣсяца; но едва ли проживу и недѣлю. Я очень понимаю, что человѣкъ, который ѣдетъ въ Англію для того, чтобъ видѣть своими глазами, до какой высокой степени можетъ достигнуть народная промышленность, найдетъ безпрерывную пищу для своего любопытства; для него мало и полжизни, чтобъ пересмотрѣть всѣ фабрики, заведенія и надивиться до-сыта этимъ чудесамъ ремесленной механики, по милости которой Англія безпрестанно умножаетъ свои производящія силы и поддерживаетъ всемірную свою торговлю. Но я совсѣмъ не для этого оставилъ мое отечество: я искалъ свѣтлыхъ небесъ, тихой, спокойной жизни, простодушныхъ нравовъ и гостепріимнаго уголка, куда еще не достигало это европейское просвѣщеніе, съ его лицемѣрной любовью ко всему человѣчеству, условными фразами, ложной чувствительностію, дѣйствительнымъ эгоизмомъ, холоднымъ безвѣріемъ и этими новыми идеями, въ которыхъ выворочены на-изнанку всѣ прежнія понятія и даже слова, для того только, чтобъ онѣ не казались старыми. Напримѣръ, здѣшняя вольность — ее, безъ всякаго сомнѣнія, назвали бы въ старину своевольствомъ. Презрѣніе свое ко всѣмъ иностранцамъ англичане величаютъ благородной гордостію; а было время, что эту смѣшную спесь называли варварствомъ. Нельзя себѣ представить, до какой степени эта *благородная гордость* наполняетъ душу каждаго англичанина: самый послѣдній ремесленникъ, нищій, считаетъ себя важнѣе всякаго иностранца, и при первомъ удобномъ случаѣ старается ему объ этомъ напомнить. Я сдѣлалъ довольно странное замѣчаніе: мнѣ здѣсь каждый день становится скучнѣе, а мой Никаноръ примѣтнымъ образомъ начинаетъ мириться съ англичанами и даже иногда ихъ похваливаетъ. Отчего такая перемѣна?

Лондонъ.

Сегодня послѣ обѣда мой Никаноръ Федотычъ вошелъ ко мнѣ съ подбитымъ глазомъ.

— Что это у тебя правый глазъ?—вскричалъ я.

— Такъ-съ, ничего; не извольте безпокоиться.

— Да ты, мнѣ кажется, пьянъ?

— Есть немного, Владиміръ Сергѣевичъ! Воля ваша, не могъ отговориться.

— Да гдѣ ты былъ?

— Вонъ тамъ, сударь, на площади, въ

харчевнѣ. Я пошелъ туда пообѣдать; гляжу, народу много. Въ одномъ углу стоитъ порожній столикъ; я сѣлъ, стукнулъ ножомъ и мнѣ тотчасъ подали каравай хлѣба, часть говядины, да кружку пива. Вотъ я сижу себѣ, да ѣмъ; вдругъ, откуда ни возьмись, какой-то приземистый и толстый мусью въ синемъ сюртукѣ сталъ противъ меня, да и ну зубы скалить, да говорить: «Френчъ-догъ, Френчъ-догъ!»—Что такое?—подумалъ я.—Ужъ не хозяинъ-ли это? Видно спрашиваетъ, хорошъ-ли столъ? Я кивнулъ ему головою и говорю:—славная, хозяинъ, говядина, славная! А онъ такъ и умираетъ со смѣху. Вотъ подсѣлъ ко мнѣ матросъ и началъ говорить со мной по-русски—плохо, а разобрать можно. Онъ, изволите видѣть, долго жилъ въ Петербургѣ.—Послушай, камрадъ,—молвилъ я,—что этотъ краснорожій-то все ухмыляется, да говоритъ мнѣ: френчъ-догъ? Что это по вашему?—Да не хорошо, — сказалъ матросъ. — Онъ называетъ тебя французской собакою. — Какъ такъ? За что? Ахъ онъ, толстый чортъ! Скажи-ка, братъ, ему, чтобы онъ отваливалъ, а не то вѣдь я какъ-разъ зубы пересчитаю!—Матросъ пробормоталъ что-то по своему; гляжу, этотъ буянъ сюртукъ долой, да и ну рукава засучивать.—Э, братъ! такъ ты хочешь развѣдаться по нашему! Изволь, я не прочь!—И я долой мою куртку. Вотъ всѣ сбѣжались и стали около насъ кружкомъ. Мы вышли другъ противъ друга; толстякъ наклонилъ голову словно быкъ, началъ вертѣть кулаками, дѣлать разныя штуки, да вдругъ какъ свиснетъ меня подъ салазки... Хорошо! Я хотѣлъ обезпокоить его по становой жилѣ, да нѣтъ—увертливъ! Я разъ, я два—все мимо, а онъ щолкъ да щолкъ! Ахъ, чортъ возьми, досадно! Постой же, проклятый басурманъ! Вотъ вижу, что онъ нарохтится съѣздить меня по рожѣ; я какъ будто оплошалъ, а онъ размахался, размахался, да какъ хлыстъ! Я въ сторону, да на отмашь-то его царапъ подъ самое дыханье! Онъ и захлебнулся, глаза посоловѣли, руки опустились, а стоитъ! А я думаю про себя:—врешь, нѣмецъ, упадешь! Такъ и есть: покачался, покачался, да и грохъ о-земь. Вотъ тутъ, Владиміръ Сергѣевичъ, я немного струхнулъ. Ну какъ изъ него душа вонъ? Вѣдь уголовщина: возьмутъ тебя на съѣзжую... Какая съѣзжая! У нихъ объ этомъ и слуху нѣтъ! Гляжу, всѣ меня обступили, начали жать руку, посадили за столъ, да ну-ка потчевать пивомъ, виномъ... А вино-то, Владиміръ Сергѣевичъ, лучше нашего: такое забористое! Я пью, а они кричатъ по своему: ура! стучатъ ногами; шумъ, гамъ... Ну, нечего сказать, честно поступили! Эхъ, сударь, жаль, что они по нашему-то не разумѣютъ; а вѣдь что ни говори — бравый народъ!

Теперь я понимаю, отчего Никаноръ Федотычъ сталъ похваливать англичанъ. Ихъ простой народъ любитъ подраться въ кулачки, уважаетъ тѣлесную силу, не боится съѣзжей и пьетъ джинъ, который ничѣмъ не хуже нашего пѣннаго вина.

Я сейчасъ ложусь въ постель; голова у меня проломлена, а лицо такъ обезображено, что я не похожу на самого себя; и все это потому, что живу въ землѣ свободной, подъ защитою премудрыхъ законовъ. Вотъ какъ это случилось. Я обѣдалъ сегодня у одного изъ чиновниковъ русскаго посольства. Возвращаясь домой въ наемной каретѣ, я былъ остановленъ недалеко отъ парламента цѣлой толпою народа; въ одну минуту человѣкъ десять пьяныхъ англичанъ окружили мою карету! одни осыпали меня проклятіями и ругательствами, другіе, крича во все горло: hear! hear! дразнили языкомъ. Мой кучеръ ударилъ по лошадямъ, толпа разступилась, я думалъ, что этимъ отдѣлался; не тутъ-то было! Въ меня начали кидать грязью. Я поднялъ стекла и, вмѣсто грязи, каменный градъ посыпался на мою карету; куски стеколъ полетѣли мнѣ прямо въ лицо, и одинъ камень попалъ въ голову. Пріѣхавъ на квартиру, я тотчасъ послалъ за докторомъ. Черезъ полчаса явился ко мнѣ мой сосѣдъ, господинъ Шмитъ.

— Я пришелъ васъ утѣшить,—сказалъ онъ.—Мнѣ извѣстно теперь все. Успокойтесь! Народъ изувѣчилъ васъ ошибкою.

— Вотъ забавно! Да развѣ мнѣ отъ этого легче?

— Васъ приняли за одного парламентскаго члена, котораго партія *радикальныхъ* терпѣть не можетъ.

— Вѣроятно за то, что онъ мыслитъ съ ними различно?

— Разумѣется!

— Такъ какой же вы хвалитесь свободою, когда у васъ и представители народа не имѣютъ свободы ни говорить, ни дѣйствовать по своей волѣ.

— Съ чего вы это взяли?

— Да какъ же? Вѣдь они должны выбирать одно изъ двухъ: или кривить душою для того, чтобъ во всемъ угождать вашей лондоской черни, или говорить только то, что имъ внушаетъ совѣсть, и ожидать всякій день, что имъ распроломаютъ головы? Прекрасная свобода! Парламентскій членъ лицо неприкосновенное для правительства, а какой-нибудь лоскутникъ-журналистъ имѣетъ право осыпать его ругательствами, а какіе-нибудь пьяные поденщики и фабричные могутъ его бить сколько ихъ душѣ угодно.

— Почему-жъ вы это думаете?

— Потому, что читаю англійскіе журналы, и узналъ теперь на опытѣ, что вашъ народъ имѣетъ право кидать грязью и каменьями въ того, кто ему не нравится.

— Вы ошибаетесь. Кидать грязью онъ можетъ: по крайней мѣрѣ правительство не обращаетъ на это никакого вниманія; да и стоитъ ли эта бездѣлка того, чтобъ стѣснять для нее права свободнаго народа? Но кидать каменьями у насъ запрещено.

— Поэтому, если бы я зналъ, кто проломилъ мнѣ голову, то могъ бы на него пожаловаться?

— Конечно могли бы.

— И онъ былъ бы наказанъ?

— Безъ всякаго сомнѣнія; разумѣется, еслибъ вы доказали, что онъ точно хотѣлъ бросить въ васъ камнемъ, а не захватилъ его нечаянно вмѣстѣ съ грязью.

— И послѣ этого вы смѣете хвалиться вашими законами?

— Да что жъ въ нихъ страшнаго? Они даютъ только возможность обвиненному оправдаться; впрочемъ, ни у кого не отнята свобода: въ васъ кидаютъ грязью, кидайте сами.

— Да, конечно, это большое утѣшеніе.

— Я согласенъ съ вами, — прибавилъ Шмитъ, помолчавъ нѣсколько времени,—излишняя свобода нашего народа имѣетъ свою невыгодную сторону; но еслибъ вы знали, какимъ добромъ выкупается это ничтожное зло...

— Можетъ быть, для васъ, господа англичане,—прервалъ я съ досадою,—но ужъ конечно не для тѣхъ, которые пріѣзжаютъ любоваться вашимъ закопченымъ Лондономъ.

— Вы сердитесь, мистеръ Завольскій,— сказалъ съ улыбкою Шмитъ.—Въ вашемъ положеніи это извинительно. Но вотъ пріѣхалъ докторъ; я не хочу мѣшать вамъ. Прощайте!

. . . . . .

. . . . . Мнѣ пустили кровь... я чувствую, что мнѣ становится все хуже и хуже...

Лондонъ.

Сегодня въ первый разъ, послѣ тяжкой трехмѣсячной болѣзни, я принялся снова за перо, я былъ отчаянно боленъ. Несмотря на то, что мнѣ пустили кровь, у меня сдѣлалось сначала воспаленіе въ мозгу, потомъ изнурительная нервная горячка, а, наконецъ, такая слабость, что я нѣсколько недѣль сряду былъ каждый день на волоскѣ отъ смерти. Теперь, слава Богу! я начинаю оправляться; но врядъ-ли прежде мѣсяца мнѣ можно будетъ вырваться изъ Лондона. Господинъ Шмитъ навѣщаетъ меня каждый день; ко мнѣ также часто заходитъ хозяинъ гостинницы, добрый и ласковый старикъ, но такой фанатикъ-патріотъ, что съ нимъ нѣтъ никакой возможности говорить объ англичанахъ, которые, по его мнѣнію, изъ всѣхъ народовъ Европы одни только и созданы по образу и подобію Божію. Во время тяжкой моей болѣзни Никаноръ Федотычъ не покидалъ меня ни на минуту и не былъ ни разу пьянъ; но зато ужъ послѣ, дней пять сряду праздновалъ мое выздоровленіе. — Ахъ, ты, Господи!—говоритъ онъ очень часто,—какой я дурачина-то, подумаешь! Вѣдь я, батюшка Владиміръ Сергѣевичъ, по глупости моей, завидовалъ здѣшней волѣ. То-то, думалъ я, разгульное житье! Никто никому и въ усъ не дуетъ! Анъ вотъ тебѣ и воля! За что они, разбойники, чуть-чуть не убили васъ до смерти? Нѣтъ, сударь, толкуй что хочешь, а нашему брату жить безъ грозы нельзя. Да вотъ хоть я—вы изволите знать, я парень бодрый, а бывало въ Питерѣ, на Гутуевомъ острову или въ Катерингофѣ, лишь только выпьемъ лишнюю чарку, то и пошелъ бы всѣхъ нѣмцевъ лущить; а за что? и самъ не знаешь. Да какъ вспомнишь, что тебя возьмутъ на съѣзжую, посадятъ въ сибирку, да частный-то на другой день съ тобою словечка два перемолвитъ, такъ, небось, никого пальцемъ не тронешь. То-то и есть! Вѣдь простой народъ безъ управы, что дикій звѣрь въ лѣсу. И добро бы ужъ я не зналъ, до чего это разгульное житье доводитъ; а то не разъ случалось видѣть: иной зарится, зарится на эту волю, а тамъ, глядишь, и запоетъ пѣсенку:

„Ахъ ты воля моя, волюшка,
Ты сгубила добра молодца!“

Я часто, слушая простыя рѣчи моего Никанора, думаю: «завидуемъ мы французской веселости, уважаемъ нѣмецкую аккуратность удивляемся англійскому глубокомыслію; но про свой *русскій толкъ* и добраго слова не хотимъ сказать, а, право, онъ стоитъ того, чтобъ о немъ говорили».

Сегодня поутру вошелъ ко мнѣ хозяинъ гостиницы съ такимъ грустнымъ лицомъ, что я испугался. — Что съ вами сдѣлалось?— спросилъ я.

— Ахъ, мистеръ Завольскій! — вскричалъ трактирщикъ, — попросите вашего пріятеля Шмита: онъ капитанъ фрегата, у него дядя адмиралъ, и если онъ только захочетъ, то можетъ спасти моего бѣднаго Жака.

— Да кто это Жакъ? И что съ нимъ сдѣлалось?

— Это мой сынъ, единственный мой сынъ!.. Проклятый прессъ! По милости его мой Жакъ теперь матросомъ!

— Я васъ не понимаю. По милости какого пресса? Что это, рекрутскій наборъ, что-ль?

— Что вы, мистеръ Завольскій! Англія свободное государство: у насъ нѣтъ рекрутскаго набора.

— А, вотъ что: вы называете прессомъ вербовку? Вашего сына уговаривали вступить въ морскую службу?

— Помилуйте! Да кто бы ему велѣлъ итти на службу охотою? Онъ долженъ былъ черезъ мѣсяцъ жениться.

— Такъ видно у васъ это дѣлается по жеребью?

— Какой жеребій! Ужъ я вамъ сказалъ, что онъ попался въ прессъ.

— Да что это значитъ?

— Такъ вы въ самомъ дѣлѣ не знаете, что такое прессъ?

— Нѣтъ, не знаю.

Трактирщикъ посмотрѣлъ на меня съ примѣтнымъ состраданіемъ и, казалось, хотѣлъ сказать: какъ жалки эти иностранцы! они ни о чемъ не имѣютъ понятія! — Если вы не знаете, что такое прессъ,—продолжалъ онъ,— такъ слушайте. Когда вооружаютъ флотъ или эскадру, король дозволяетъ всѣмъ начальникамъ военныхъ кораблей забирать силою нужное число людей для укомплектованія своихъ экипажей. Для этого посылаются вооруженныя команды по деревнямъ, трактирамъ, во всѣ публичныя мѣста; ночью врасплохъ пріѣзжаютъ эти команды на купеческіе корабли, хватаютъ всякаго, кто имъ приглянется, отвозятъ его на военный корабль и насильно заставляютъ служить матросомъ неопредѣленное число лѣтъ. Вотъ что называется у насъ прессомъ.

— И вы это предпочитаете рекрутскому набору? Поздравляю!.. Да не лучше ли въ тысячу разъ дѣлать правильную раскладку, наблюдать очередь, не брать одного сына отъ отца и матери, чѣмъ безъ всякаго разбора хватать насильно въ матросы людей, изъ которыхъ, вѣроятно, многіе или вовсе не способны къ морской службѣ, или, по образованію своему, не могутъ и не должны служить простыми матросами? Ну, скажите сами, есть ли какой-нибудь здравый смыслъ въ этомъ законѣ?

— Да кто вамъ говоритъ, что это законъ? Мы никогда бы не допустили такого унизительнаго для нашей свободы закона; это только освященное временемъ злоупотребленіе силой, на которое мы смотримъ сквозь пальцы, потому что оно необходимо. Наши законы не могутъ стѣснять народной свободы; а поступая въ морскую службу, свободный англичанинъ становится рабомъ, слѣдовательно, онъ долженъ или добровольно отказаться отъ своихъ гражданскихъ правъ, или его надобно брать съ бою; и вотъ почему тотъ, кто попался въ прессъ, имѣетъ полное право до тѣхъ поръ, пока еще не привезенъ на свой корабль, и бѣжать и защищаться. Конечно, и то и другое почти невозможно. Мой бѣдный Жакъ испыталъ это на себѣ: его схватили за городомъ въ трактирѣ. Сначала онъ сталъ защищаться — его прибили до полусмерти; потомъ онъ хотѣлъ бѣжать—ему связали ноги, а теперь, когда ужъ онъ записанъ въ число матросовъ линейнаго корабля Нептуна, если онъ задумаетъ бѣжать, то его засѣкутъ плетьми какъ дезертира; а если станетъ сопротивляться, такъ повѣсятъ какъ бунтовщика на большой мачтѣ.

— Все это прекрасно,—сказалъ я,—только мнѣ кажется, что ваша англійская свобода бываетъ иногда не лучше турецкаго деспотизма.

— Вы ошибаетесь, мистеръ Завольскій Но дѣло не о томъ: уговорите господина Шмита похлопотать въ адмиралтействѣ за моего сына... Бѣдный Жакъ!.. Онъ такъ любилъ свою невѣсту!.. Повѣрите ли, мистеръ Завольскій, когда я подумаю только, что моего Жака, который учился въ Оксфордскомъ университетѣ, будутъ за каждую бездѣлку бить линьками и сѣчь кошкою *), то у меня сердце такъ кровью и обливается!

Говоря это, бѣдный старикъ плакалъ какъ ребенокъ.

— — —

Жаль мнѣ моего хозяина, а нельзя никакъ пособить его горю: господинъ Шмитъ увѣдомилъ меня, что вчера вечеромъ стопушечный корабль Нептунъ отправился въ Калькуту. Бѣдный Жакъ! Не скоро же онъ обвѣнчается съ своей невѣстою!—Сегодня я чувствую себя несравненно лучше и, можетъ быть, послѣзавтра... Ахъ, дай-то Господи!

Лондонъ.

Черезъ полчаса я сажусь въ дилижансъ, который отвезетъ меня въ Дувръ. Слава Богу! наконецъ, я разстаюсь и, надѣюсь, навсегда съ туманными небесами, дымнымъ воздухомъ и неизъяснимой скукою этой обширной паровой машины, которую мы называемъ Англіею. Пусть чванится она своей колоссальной торговлею, своими флотами, чугунными дорогами и нѣсколькими милліонами *лошадиныхъ силъ*, посредствомъ которыхъ она варитъ лучшее пиво, прядетъ лучшую бумагу и выдѣлываетъ лучшее сукно въ цѣломъ мірѣ; передъ ней ея натяжное богатство, за которымъ таится ужасная нищета; пускай себѣ думаетъ она, что располагаетъ участью всей Европы, что при имени ея трепещутъ всѣ народы; потому что это говорятъ ей члены парламента для того, чтобъ въ нихъ не бросали грязью, а журналисты для того, чтобъ ихъ журналы раскупались. Пусть гордые британцы остаются въ этомъ пріятномъ заблужденіи; ихъ это утѣшаетъ, а насъ смѣшитъ, слѣдовательно всѣ въ выигрышѣ. Но я совѣтывалъ бы знатнымъ и богатымъ англичанамъ, ради здраваго смысла, выбрать одно изъ двухъ: или говорить, что у нихъ рай земной и сидѣть дома, или дѣлать то, что они дѣлаютъ, то-есть почти всегда жить внѣ своего отечества; но зато ужъ не хвастаться и не увѣрять простодушныхъ зѣвакъ, которыхъ вездѣ много, а особливо на матушкѣ святой Руси, что порядочному человѣку можно жить въ одной только Англіи.

*) Такъ называютъ англичане плеть о семи концахъ, которою наказываютъ матросовъ, служащихъ въ королевскомъ флотѣ.

Я сейчасъ заходилъ къ господину Шмиту, чтобъ проститься и поблагодарить его за ласку. — Не забудьте,—сказалъ я, — напомнить обо мнѣ вашему пріятелю Томсону.

— Ахъ, бѣдный Томсонъ! — вскричалъ Шмитъ.—Вы ничего о немъ не слышали?

— Ничего

— Представьте себѣ, онъ вышелъ въ отставку и сидитъ теперь въ тюрьмѣ.

— Въ тюрьмѣ? За что?

— За то, что женился.

— Ужъ не отъ живой ли жены?

— О, нѣтъ! Томсонъ никогда не былъ женатъ.

— Такъ, можетъ быть, съ нимъ обвѣнчалась замужняя женщина, или онъ увезъ дѣвицу и женился на ней противъ воли ея отца и матери?

— Ни то, ни другое. Томсонъ женился на вдовѣ. Онъ по уши былъ въ нее влюбленъ; казалось, и она ему тѣмъ же отвѣчала; все было сдѣлано законнымъ порядкомъ: никто не протестовалъ противъ ихъ свадьбы; а несмотря на это, бѣднаго Томсона на другой день посадили въ тюрьму.

— Да за что же?

— А за то, что какой-то Виліамъ Клифоръ представилъ ко взысканію векселя, подписанные его женою.

— Да ему-то какое до этого дѣло?

— Пребольшое! По нашимъ законамъ, мужъ отвѣчаетъ за всѣ долги своей жены.

— Даже и за тѣ, которые она сдѣлала до своего замужества?

— Даже и за тѣ.

— Вотъ прекрасно? Такъ поэтому у васъ должно для собственной безопасности вызывать передъ свадьбою кредиторовъ будущей своей жены.

— Да, это было бы гораздо вѣрнѣе; но тогда никто не пойдетъ за васъ замужъ.

— Какой странный законъ! А великъ ли долгъ, по которому Томсонъ содержится въ тюрьмѣ?

— Кажется, двѣ или три тысячи фунтовъ стерлинговъ.

— Бѣдняжка! Да гдѣ онъ?

— Въ Портсмутѣ.

— А его жена?

— Здѣсь, въ Лондонѣ. Ее вчера видѣли въ итальянской оперѣ съ этимъ Клифоромъ, который засадилъ въ тюрьму ея мужа.

— Фуй какая мерзость!

— Да, это очень нехорошо.

— Но за что же бѣдный мужъ обманутъ и сидитъ въ тюрьмѣ?..

— Что-жъ дѣлать! Всякій законъ имѣетъ свою невыгодную сторону. Напримѣръ, что можетъ быть святѣе нашего закона о долгахъ, которые не обезпечены никакимъ письменнымъ актомъ; а межъ тѣмъ по милости этого же самаго закона ни вы, ни я не можемъ сказать утвердительно, что не будемъ ночевать сегодня въ тюрьмѣ.

— Это какимъ образомъ?

— А вотъ какимъ. Представьте себѣ, что какой нибудь негодяй захочетъ васъ упрятать въ тюрьму: онъ явится въ судъ и объявитъ, что вы ему должны, на слово, извѣстную сумму денегъ; его приведутъ къ присягѣ, а васъ объ этомъ и спрашивать не станутъ; но просто потребуютъ, чтобъ вы сейчасъ заплатили этотъ долгъ. Разумѣется, не будучи должны, вы платить не захотите и васъ, безъ дальнихъ церемоній, посадятъ въ тюрьму.

— Ахъ, Боже мой! Да за что же? Если я не долженъ, то могу и самъ присягнуть.

— Васъ къ этому не допустятъ: присягать можетъ только проситель, а не отвѣтчикъ.

— Все это очень хорошо, только позвольте, господинъ Шмитъ, сказать вамъ на прощанье всю правду. Что въ Англіи есть много прекраснаго, полезнаго и достойнаго уваженія, объ этомъ никто съ вами спорить не станетъ; но, несмотря на это, едва ли можно назвать то государство благоустроеннымъ, въ которомъ порядочный человѣкъ никогда не можетъ быть увѣренъ въ своей безопасности; гдѣ вамъ говорятъ безпрестанно о свободѣ и поминутно сажаютъ въ тюрьму, гдѣ простой народъ величаетъ себя вольнымъ, потому что имѣетъ право ругать правительство, сходиться толковать о государственныхъ дѣлахъ, которыхъ не понимаетъ, бросать грязью въ своихъ правителей и называть всякаго иностранца французской собакою. Я не спорю, все это должно быть чрезвычайно пріятнымъ для народнаго самолюбія, потому что эта свобода врать вздоръ и буянить заставляетъ англичанъ забывать даже, что ни одинъ народъ въ мірѣ не отягченъ такими налогами, что они платятъ за все, за все безъ исключенія; даже за солнечный свѣтъ и воздухъ, которымъ дышутъ.

— Это, вѣроятно, риторическая фигура, мистеръ Завольскій,—прервалъ съ досадою Шмитъ.

— Вовсе нѣтъ. Развѣ вы не платите подать съ каждаго окна? А мнѣ кажется, окна прорубаютъ въ домѣ для того, чтобъ пользоваться воздухомъ и солнечнымъ свѣтомъ.

— Да какое вамъ дѣло, — вскричалъ Шмитъ,—много ли, мало ли мы платимъ, если, несмотря на эти подати, мы все-таки въ десять разъ богаче всякаго европейскаго государства, не исключая и вашей безконечной Россіи?

— Полно, такъ ли? Подать, которую вы называете *таксою бѣдныхъ*, составляетъ одинъ изъ самыхъ тяжкихъ налоговъ, которыми обремененно ваше отечество. Въ Лондонѣ деньги нипочемъ, но зато въ Ирландіи онѣ отмѣнно дороги. Вотъ почему у васъ полагается круглымъ числомъ съ небольшимъ по четыре фунта стерлинговъ на прокормленіе одного

человѣка *). Англія расходуетъ ежегодно на своихъ бѣдныхъ слишкомъ *восемь милліоновъ* фунтовъ стерлинговъ **), то есть на всю эту необъятную сумму содержитъ *два милліона* неимущихъ. Въ трехъ соединенныхъ королевствахъ Великобританіи считается около восемнадцати милліоновъ жителей, слѣдовательно въ Англіи изъ *девяти* человѣкъ *одинъ* долженъ быть непремѣнно нищій.

— Да чтожъ это доказываетъ?—прервалъ Шмитъ.

— А то, что нигдѣ нѣтъ столько бѣдныхъ людей, какъ въ Англіи.

— Положимъ, что такъ. Мы точно даемъ ежегодно на содержаніе бѣдныхъ восемь милліоновъ фунтовъ стерлинговъ, и это-то самое должно васъ заставить молчать. Если милостыня, подаваемая нами ежегодно нищимъ, такъ велика, что немного есть государствъ, которыхъ весь годовой доходъ могъ бы съ нею сравниться, такъ какъ же послѣ этого Англія не богатѣйшее государство во всей Европѣ?

— Я не знаю, господинъ Шмитъ, — сказалъ я,—какъ разрѣшаетъ этотъ вопросъ политическая экономія; но по моему, чѣмъ болѣе бѣдныхъ въ государствѣ, тѣмъ менѣе оно имѣетъ права называть себя богатымъ.

— А деньги?—прервалъ съ насмѣшливой улыбкою Шмитъ.—По вашему онѣ ничего не значатъ?

— По крайней мѣрѣ гораздо менѣе, чѣмъ вы думаете.

— Право? Да развѣ мы не деньгами опредѣляемъ мѣру нашего богатства? Если, напримѣръ, у меня сто гиней ежегоднаго дохода, а у васъ только двадцать, такъ какъ же я не впятеро васъ богаче?

— Не всегда.

— Не всегда? то есть, по вашему, пять бываютъ иногда менѣе одного? Послушайте, мистеръ Завольскій, я не смѣю думать, чтобъ вы не знали ариѳметики...

— Знаю, господинъ Шмитъ, а все-таки не соглашусь съ вами. Если, напримѣръ, въ Лондонѣ вы почти умираете съ голоду съ вашими ста гинеями годового дохода, а я у себя съ моими двадцатью живу безъ всякой нужды, то, позвольте спросить, кто изъ насъ богаче?

Шмитъ покраснѣлъ отъ досады и не отвѣчалъ ни слова. Мы разстались очень холодно, мнѣ послышались даже, когда я вышелъ изъ комнаты, слова: *татаринъ, сьверный варваръ, калмыкъ;* но я не обратилъ на это никакого вниманія: я такъ спѣшилъ уѣхать какъ можно скорѣе изъ просвѣщенной Англіи.

—

*) Baron d'Haussez. Часть I, стр. 277.

**) Двѣсти милліоновъ франковъ, или нынѣшнихъ рублей.

Кале.

Еслибъ изъ Англіи можно было проѣхать сухимъ путемъ во Францію, то, можетъ быть, эта рѣзкая противоположность двухъ сосѣднихъ народовъ была бы не такъ поразительна. На сухомъ пути есть всегда какой-то постепенный переходъ отъ одной націи къ другой. Напримѣръ, если вы ѣдете изъ Франціи въ Испанію, то начинаете уже во французскомъ городѣ Баіоннѣ имѣть нѣкоторое понятіе объ испанскихъ обычаяхъ; или когда вы отправляетесь изъ Голландіи во Францію, то нечувствительно привыкаете къ французскимъ правамъ и образу жизни, проѣзжая черезъ Бельгію; но, переѣхавъ морской рукавъ, отдѣляющій Дувръ отъ Кале, вы попадаете вдругъ, безъ всякаго приготовленія, изъ одного міра въ другой. Языкъ, обращеніе, внутреннее устройство домовъ, нравы, обычаи, народный характеръ, все не походитъ на то, что вы покинули тому назадъ нѣсколько часовъ. Куда дѣвалась эта англійская чистота и опрятность? Смрадные ручьи по улицамъ, грязныя лѣстницы, кирпичные полы, гадость, вонь и кухни, въ которыя не совѣтую вамъ заглядывать, если вы хотите покушать съ удовольствіемъ; но зато, вмѣсто угрюмыхъ рожъ, отрывистыхъ рѣчей и грубаго обращенія, вы видите на каждомъ шагу веселыя лица, слышите безпрестанныя привѣтствія; съ вами говорятъ такъ вѣжливо, такъ ласково! Простой народъ только жалѣетъ, да и то про себя, что вы не имѣли счастія родиться французомъ; но никто не называетъ васъ за это собакою! Напротивъ, васъ величаютъ разными почетными именами, и если вы англичанинъ и хотя вы нѣсколько походите на порядочнаго человѣка, то васъ непремѣнно назовутъ милордомъ. Хозяинъ гостиницы, узнавъ, что я русскій путешественникъ, тотчасъ началъ меня величать графомъ. — Кто вамъ сказалъ, что я графъ?— спросилъ я, наконецъ, трактирщика.

— Но, если не ошибаюсь, — сказалъ онъ съ вѣжливою уклонкою,—я имѣю честь говорить съ русскимъ дворяниномъ.

— Да, я русскій дворянинъ.

— Такъ какъ же я могу васъ называть иначе! Въ Россіи всѣ дворяне графы—c'est connu.

Я засмѣялся. Мой Никаноръ Федотычъ полюбопытствовалъ узнать причину моего смѣха.—Эхъ, сударь!—сказалъ онъ,—да что вамъ за дѣло? Пускай васъ называютъ графомъ; вѣдь это—не что другое, не бранное слово. Вотъ и меня всѣ здѣсь величаютъ мусьемъ! а мнѣ и горюшки мало; да пожалуй себѣ, хоть мадамой называй!

Сейчасъ отправляюсь далѣе.

Парижъ.

Парижъ описывать не можно: его надобно видѣть. Пантеонъ, Лувръ, Тюльери, Палероялъ, Тиволи, запачканные дома, пяти-этажныя лачуги, прекрасныя гулянья, роскошные сады, грязь, мерзость, нечистота, все это такъ перемѣшалось въ моемъ воображеніи, что я не могу отдать самому себѣ отчета, нравится ли мнѣ Парижъ, или нѣтъ. Шумъ, многолюдство, и безпрерывное движеніе до того меня развлекаютъ, что я до сихъ поръ хожу какъ будто бы въ чаду. Представьте себѣ большую аллею Лѣтняго сада въ Духовъ день: точно также толпится народъ на бульварѣ не по праздникамъ, а каждый день. Вотъ уже трое сутокъ, какъ я живу въ Парижѣ, бѣгаю по улицамъ, смотрю на все, однимъ восхищаюсь, отъ другого мнѣ становится тошно, на каждомъ шагу встрѣчаю предметы достойные моего вниманія и почти вездѣ зажимаю себѣ носъ.

Какъ я служилъ еще въ Петербургѣ, мнѣ попалась однажды весьма любопытная рукопись, составленная изъ писемъ или, лучше сказать, путевыхъ записокъ нашего знаменитаго фонъ-Визина; онъ велъ ихъ во время путешествія своего по Европѣ. Его замѣчанія о Франціи показались мнѣ до того странными, что я переписалъ ихъ для себя. Я не смѣлъ подозрѣвать въ пристрастіи просвѣщеннаго фонъ-Визина, а и того менѣе думать, что авторъ «Недоросля» и «Бригадира» станетъ изъ какого-нибудь невѣжественнаго патріотизма унижать иностранцевъ тогда, какъ онъ такъ ясно видѣлъ и такъ вѣрно описывалъ закоснѣлое варварство и безграмотность нѣкоторыхъ русскихъ дворянъ своего времени; но, признаюсь, я обвинялъ его въ излишней строгости и полагалъ, что болѣзнь или какія-нибудь личныя непріятности были единственной причиною, что все казалось ему въ дурномъ видѣ.—Не можетъ быть,—думалъ я,—чтобъ французы, этотъ щеголеватый народъ, который прославился своимъ вкусомъ, сыплетъ себѣ на голову душистую пудру, затопилъ всю Европу своими благовонными эссенціями и дѣлаетъ лучшую въ свѣтѣ жасминную помаду, былъ до такой степени равнодушенъ къ нечистотѣ и зловонію своихъ улицъ? Вотъ что пишетъ объ этомъ авторъ «Недоросля»:

«Въ Парижѣ всѣ столько любятъ забавы, сколько труды ненавидятъ; а особливо черной работы народъ терпѣть не можетъ. Зато нечистота въ городѣ такая, которую людямъ, не вовсе оскотинившимся, переносить весьма трудно. Почти нигдѣ нельзя отворить окошка лѣтомъ отъ зараженнаго воздуха. Чтобъ имѣть все подъ руками и ни за чѣмъ далеко не ходить, подъ всякимъ домомъ подѣланы лавки: въ одной блистаетъ золото и наряды, и подлѣ нея въ другой вывѣшена битая скотина съ текущей кровью. Есть улицы, гдѣ въ сдѣланныхъ по бокамъ стокахъ течетъ кровь, потому что не отведено для бойни особливаго мѣста. Такую же мерзость нашелъ я и въ прочихъ французскихъ городахъ, которые такъ всѣ однообразны, что кто былъ въ одной улицѣ, тотъ былъ въ цѣломъ городѣ; а кто былъ въ одномъ городѣ, тотъ всѣ города видѣлъ. Парижъ передъ прочими имѣетъ только то преимущество, что наружность его несказанно величественнѣе, а внутренность скверпѣе. Напрасно говорятъ, что причиною нечистоты многолюдство. Во Франціи множество маленькихъ деревень, но ни въ одну нельзя въѣзжать, не зажавъ носа. Со всѣмъ тѣмъ привычка отъ самаго младенчества жить въ грязи по уши, дѣлаетъ, что обоняніе французовъ нимало отъ того не страждетъ».

Благодаря Бога, я здоровъ, желчь моя покойна; я не имѣю никакой причины досадовать на французовъ и, кажется, вижу всѣ вещи въ настоящемъ ихъ видѣ, а, несмотря на это, долженъ признаться, что фонъ-Визинъ говоритъ совершенную правду.

Что за чудный городъ Парижъ! Какая смѣсь красоты и безобразія, остроумія и невѣжества, доброты и звѣрства, наружной роскоши и совершенной нищеты, безумной любви ко всѣмъ житейскимъ наслажденіямъ и презрѣнія къ самой жизни, и все это такъ слито, такъ перемѣшано. Рядомъ съ великолѣпными палероялъскими лавками *татарскій лагерь* (Camp des tartares), то-есть деревянные запачканные ряды *), въ которыхъ продается подлѣ бриллiантовыхъ вещей и модныхъ шляпокъ сырая говядина и сосиски. Краснорѣчивый, всезнающій французъ удивляетъ васъ природнымъ своимъ остроуміемъ и тотъ же самый французъ будетъ васъ увѣрять, что китайцы исповѣдаютъ магометанскую религію. Я самъ видѣлъ, съ какимъ усердіемъ и примѣрной добротою рыбныя торговки (les poissardes) ухаживали за какимъ-то старикомъ, которому сдѣлалось дурно на улицѣ: онѣ внесли его на рукахъ въ ближайшую лавку, оттирали, нашли сейчасъ доктора; однимъ словомъ, заботились о немъ, словомъ, какъ истинно сострадательныя сестры милосердія; и эти же самыя *рыночныя барыни* (les dames de la halle), во время Робеспьера, не отходили отъ эшафота, пили кровь несчастныхъ жертвъ революціи и ругались надъ ихъ обезображенными трупами. Вы видите двухъ франтовъ: одинъ изъ нихъ получаетъ тысячъ двадцать пять, или тридцать годового дохода; другой живетъ, вѣроятно, воздухомъ, да и то развѣ потому, что въ Парижѣ не такъ, какъ въ Лондонѣ, за солнечный свѣтъ и воздухъ ничего не платятъ. Съ перваго взгляда вы никакъ не замѣтите этого различія, потому что оба франта одѣты

*) Прошу не забывать, что вы читаете не современныя записки.

одинакимъ образомъ, на обоихъ фраки изъ тонкаго, дорогого сукна; но только у богатаго фракъ нараспашку, а у бѣднаго онъ застегнутъ до самого галстуха. Бейтесь смѣло объ загладъ, что подъ этимъ щегольскимъ фракомъ нѣтъ рубашки или, по крайней мѣрѣ, жилета. Еслибъ онъ сдѣлалъ себѣ платье изъ ровнаго сукна, то ему осталось бы и на бѣлье; но тогда онъ не могъ бы кричать, что итальянская опера шла прекрасно, что сегодня онъ завтракалъ au Rocher de Cancale, что завтра обѣдаетъ у Тортони; а теперь ему стоитъ только застегнуться на всѣ пуговицы и онъ идетъ рядомъ съ богачемъ, смотритъ на всѣхъ съ гордостію и можетъ лгать сколько душѣ его угодно. Казаться не тѣмъ, что мы есть въ самомъ дѣлѣ, стараться всегда стать выше своего состоянія, вотъ общая страсть французовъ средняго класса; но зато ужъ я нигдѣ не выдывалъ такого безобразнаго смѣшенія глупой роскоши съ отвратительной нищетою: измятыя газовыя шляпки на косматыхъ головахъ и немытыхъ рожахъ, шали, сквозь которыя можно просѣвать горохъ, тюлевыя платья въ лохмотьяхъ и атласные башмаки, запачканные грязью, все это встрѣчается вамъ на каждомъ шагу. Въ самый разгулъ французской революціи, въ эту кровавую эпоху, которую французы такъ вѣрно называютъ la terreur (ужасъ), почти каждый день былъ ознаменованъ примѣрами необычайнаго самоотверженія, христіанской любви и совершеннаго презрѣнія къ жизни. Дочери и жены шли безтрепетно на явную смерть для того только, чтобъ раздѣлять во всемъ участь своихъ отцовъ и матерей; и едва окончилось это царство *ужаса*, тѣ-же самыя женщины сбросили съ себя траурныя платья, надѣли прозрачныя греческія тюники, учредили еженедѣльные балы въ память несчастныхъ жертвъ революціи и пустились танцовать какъ бѣшеныя. Я говорю, *тѣ же самыя женщины* потому, что первое условіе для принятія въ члены этихъ танцовальныхъ обществъ состояло въ близкомъ родствѣ, по крайней мѣрѣ, съ однимъ или съ одной изъ погибшихъ на эшафотѣ. Самое названіе этихъ баловъ, сближающее два слова, которыя не должны имѣть ничего общаго, могло только родиться въ головѣ француза; ихъ называли: les bals des victimes, «балы жертвъ». Балъ и жертва!.. Прошу соединить въ одно эти два понятія!..

Я не былъ еще ни разу ни въ одномъ изъ парижскихъ театровъ! ихъ такъ много, что я затруднялся въ выборѣ и не зналъ, съ котораго начать. Сегодня однакожъ ѣду въ Одеонъ: тамъ даютъ въ первый разъ комедію «Ложный стыдъ» (La fausse honte)! Билетъ мнѣ прислалъ хозяинъ дома, въ которомъ я стою. Признаюсь, я восхищенъ французской вѣжливостью: они такъ услужливы, такъ добры! Мнѣ скажутъ, что это одна только наружность; быть можетъ, но какое до этого дѣло? Они ласковы, пріятны въ обращеніи, а что у нихъ на сердцѣ, того я и знать не хочу. Седьмой часъ—пора въ театръ.

Я сейчасъ изъ театра и, признаюсь, не очень доволенъ. Французы не всегда бываютъ вѣжливы. Мой хозяинъ прислалъ мнѣ билетъ въ балконъ; онъ увѣрялъ, это что лучшее мѣсто въ театрѣ, и что я буду сидѣть очень спокойно. Не знаю, какимъ образомъ, только, идя въ театръ, я потерялъ билетъ; я хотѣлъ взять другой, но всѣ мѣста были разобраны, и продажа заперта. Оборванный мальчишка предложилъ мнѣ купить у него за двойную цѣну партерную контрамарку. Въ Петербургѣ и Москвѣ я не пошелъ бы ни за что въ партеръ: тамъ сидятъ Богъ знаетъ какіе люди; затолкаютъ тебя до смерти, оттопчутъ ноги, какой-нибудь пьяный сядетъ тебѣ на колѣни, начнетъ придираться; правда, его тотчасъ выведутъ, но межъ тѣмъ все это чрезвычайно непріятно. Въ Парижѣ совсѣмъ другое дѣло; я такъ много слышалъ хорошаго о здѣшнемъ партерѣ. У насъ обыкновенно первые ряды креселъ рѣшаютъ судьбу піесы; но здѣсь это право предоставлено партеру, который славится своимъ вѣрнымъ вкусомъ: слѣдовательно, онъ составленъ изъ людей просвѣщенныхъ, образованныхъ, а что можетъ быть вѣжливѣе просвѣщеннаго француза? Я рѣшился — купилъ билетъ и отправился въ партеръ. — Ай, ай! — подумалъ я, входя въ залу театра. — Тѣсненько! Чего другого, а у насъ по крайней мѣрѣ, въ партерѣ бываетъ просторнѣе. Въ самомъ дѣлѣ, изъ головъ зрителей составленъ былъ такой плотный паркетъ, что по немъ можно было прохаживаться. Я замѣтилъ однако-жъ, одинъ уголокъ подлѣ бенуаровъ, гдѣ было нѣсколько просторнѣе. Вотъ я сталъ пробираться бочкомъ, просилъ, кланялся, извинялся и почти не двигался съ мѣста. Вдругъ какой-то косматый мужчина, въ поношенномъ сюртукѣ, оттолкнулъ меня плечомъ и полѣзъ впередъ; я кинулся вслѣдъ за нимъ. Несмотря на толчки и восклицанія, изъ которыхъ нѣкоторые были очень выразительны, я продрался, наконецъ, до благословеннаго уголка, куда стремились всѣ мои желанія, и прижался къ стѣнѣ промежду двухъ французовъ. Одинъ изъ нихъ былъ въ шелковомъ кафтанѣ и напудренномъ парикѣ aux ailes de pigeon; а другой, остриженный à la Titus, въ гороховомъ сюртукѣ, съ петлицами и длиннымъ висячимъ воротникомъ. Гороховый сюртукъ нахмурился, поглядѣлъ на меня исподлобья и уперся локтемъ въ мой правый бокъ. Шелковый кафтанъ поступилъ гораздо снисходительнѣе; и онъ сдѣлалъ также гримасу, когда я втиснулся между имъ и его сосѣдомъ; но, по крайней мѣрѣ, посгодвинулся и отвѣчалъ на мое вѣжливое: «Pardon,

messieurs, si je vous dérange, довольно ласковымъ голосомъ: «Pas du tout, monsieur, pas du tout» *). Мнѣ не трудно было отгадать, что случай привелъ меня стоять между представителями старой и новой Франціи. Нѣсколько минутъ *дитя революціи*, то-есть гороховый сюртукъ, старался и зо всѣхъ силъ выпрямить мои ребра; но я побѣдилъ его, наконецъ, моимъ терпѣніемъ: онъ пересталъ тѣснить меня локтемъ и, для перемѣны, воткнулъ свои кулаки въ спину какого-то толстаго господина, который стоялъ къ намъ задомъ. Не имѣя возможности обернуться, толстякъ лягнулъ его ногою. Началась перебранка, которая кончилась въ пользу гороховаго сюртука: толстый баринъ провалился, и намъ стало просторнѣе.

— Позвольте узнать,—спросилъ я у шелковаго кафтана,—что даютъ передъ новой піесою?

— «Модный балъ», комедію въ одномъ дѣйствіи.

— Что она забавна?

— Очень! Да неужели вы ее видите въ первый разъ?

— Я недавно сюда пріѣхалъ.

— Право, такъ вы иностранецъ?

— Я русскій.

— Русскій!.. не можетъ быть!..

— Почему же вы это думаете?

— Вы такъ хорошо говорите по-французски.

— Eh, hah! — прервалъ гороховый сюртукъ, — чему тутъ удивляться? Если мы такъ добры, что позволяемъ *этимъ* иностранцамъ пріѣзжать забавляться въ нашемъ Парижѣ, такъ какъ имъ не знать по-французски? Да и кто не знаетъ языка великой націи?

— Parbleu! — промолвилъ стоящій подлѣ гороховаго сюртука маленькій французикъ, на журавлиныхъ ножкахъ, съ длинными напомаженными висками, которые висѣли у него до плечей, какъ уши болонской собачки.

— Великой націи! великой націи! — пробормоталъ сквозь зубы шелковый кафтанъ.— Въ старину мы не называли себя великой націею; но, по крайней мѣрѣ, были вѣжливы съ иностранцами...

— То есть валялись у нихъ въ ногахъ,— прервалъ гороховый сюртукъ.—Да! мы нынче этого не дѣлаемъ.

Шелковый кафтанъ пожалъ плечами и продолжалъ, обращаясь ко мнѣ:

— Удивительно, какъ вы чисто говорите нашимъ языкомъ, а сверхъ того и наружность ваша... je vous fais mon compliment! Отъ всей души васъ поздравляю. По чести, вы настоящій французъ. Vous n'avez pas l'air d'un russ, mais du tout—du tout! Вы вовсе не походите на русскаго.

— Хорошъ и этотъ!—подумалъ я.—Поздравляетъ русскаго съ тѣмъ, что онъ не походитъ на русскаго.

— Monsieur est moscovite? Вы москвитянинъ?—Этотъ вопросъ сдѣлалъ мнѣ дородный и краснощекій мужчина лѣтъ сорока; онъ стоялъ рядомъ съ шелковымъ кафтаномъ.

— Да!—отвѣчалъ я.

— Какъ я радъ! Въ маленькой комедіи, которую даютъ передъ новой піесою, выведенъ русскій офицеръ. Надѣюсь, вы не откажетесь перевести на французскій языкъ то, что онъ говоритъ?

— Съ большимъ удовольствіемъ!

— Вы въ первый разъ у насъ въ Парижѣ?—продолжалъ краснощекій господинъ.

— Да, я никогда еще здѣсь не былъ.

— Никогда? Такъ я вамъ завидую! Сколько наслажденій у васъ впереди!.. Парижъ!.. Да это, сударь, такой городъ, съ которымъ ничто въ мірѣ сравниться не можетъ. Я таки въ мой вѣкъ поѣздилъ по свѣту: былъ въ Раунѣ, въ Гаврѣ, и даже въ Страсбургѣ; но увѣряю васъ, что все это ничто въ сравненіи съ Парижемъ. Повѣрьте мнѣ, кто не видѣлъ Парижа, столицы вселенной!

— Вотъ новости!—закричалъ французъ на журавлиныхъ ножкахъ.—Да кто-жъ этого не знаетъ? C'est connu!

Тутъ я невольно вспомнилъ купца, съ которымъ пилъ чай на Воробьевыхъ горахъ. Ему казалось, что никакой городъ не можетъ сравниться съ Москвою. Ну, чѣмъ же умнѣе,—подумалъ я,—моего русскаго бородача этотъ краснощекій французъ? Развѣ только тѣмъ, что онъ брѣетъ бороду и говоритъ по-французски?

— Вы опоздали пріѣхать въ Парижъ,— шепнулъ мнѣ шелковый кафтанъ.—Теперь онъ не что иное, какъ обширная казарма, кабакъ... О, еслибъ вы знали его прежде, при Бурбонахъ... Но, кажется, начинаютъ...

Музыка заиграла, и черезъ нѣсколько минутъ занавѣсъ поднялся. Въ самомъ концѣ піесы появился на сцену какой-то затянутый какъ куколка офицеръ въ синемъ мундирѣ и рыжемъ парикѣ.

— Вотъ русскій офицеръ! — сказалъ краснощекій французъ.—Постойте! онъ сейчасъ заговоритъ... Слушайте! Ніема глебовишъ, попойско рюскофъ.—Какой странный языкъ! Подлинно странный!.

Комедія кончилась.—Ніема глебовишъ, попойско рюскофъ! — повторялъ краснощекій французъ.—Позвольте, спросить, что это значитъ по-французски?

— Право, не знаю.

— Какъ не знаете? Да вѣдь это по-русски?

— Что не по-русски, въ этомъ могу васъ увѣрить; можетъ быть, по-татарски...

*) Извините, господа, если я васъ обезпокоилъ.—Ничего, сударь, ничего!

— Ну да, по-татарски или по-русски, вѣдь это одно и то же. C'est absolûment la même chose.

— Нѣтъ, сударь! совсѣмъ не одно и то-же. Мнѣ кажется, сочинитель смѣется надъ вами: онъ выдумалъ свой собственный языкъ и хочетъ васъ увѣрить, что говоритъ по-русски.

— О чемъ тутъ спорить!—сказалъ тонконогій французъ, приглаживая свои длинные виски. — Русскій, нѣмецкій, татарскій — всѣ эти варварскіе языки одинакимъ образомъ дерутъ уши.

— А я утверждаю,—прервалъ гороховый сюртукъ,—что «попойско глебовишъ» настоящія русскія слова. Я знакомъ съ сочинителемъ комедіи; онъ долженъ знать это не хуже всякаго; онъ провожалъ цѣлую колонну плѣнныхъ казаковъ послѣ сраженія подъ Нови, гдѣ мы такъ хорошо поколотили русскихъ.

— Ай да молодецъ!—подумалъ я, — какъ онъ твердо знаетъ военную исторію своего отечества!—Не ошибаетесь ли вы?—сказалъ я гороховому сюртуку: — мнѣ кажется, сраженіе подъ Нови, гдѣ нашъ Суворовъ дрался съ вашимъ Жубертомъ, рѣшительно выиграно русскими.

— И я того же мнѣнія,—подхватилъ шелковый кафтанъ. —Мнѣ помнится даже, что на этотъ счетъ сочинена довольно забавная пѣсня...

— Эта пѣсня вретъ!—подхватилъ гороховый сюртукъ.—Да, сударь, она вретъ точно такъ же, какъ врутъ всѣ аристократы въ дурацкихъ шелковыхъ кафтанахъ, глупыхъ камзолахъ и напудренныхъ парикахъ, которыми они прикрываютъ свои пустыя головы.

— Monsieur! — закричалъ шелковый кафтанъ.

— Silence! Тише! Молчите! — загремѣли сотни голосовъ. Занавѣсъ поднялся.

Первое дѣйствіе новой піесы прослушали довольно спокойно. Въ половинѣ второго начался глухой ропотъ, и вдругъ, при одномъ остромъ словцѣ разразилась ужасная буря: въ партерѣ загремѣли рукоплесканія и въ то же время раздался громкій свистъ. Признаюсь, я слушалъ его съ какимъ-то удовольствіемъ.— Наконецъ, — думалъ я, — удалось мнѣ побывать въ театрѣ, гдѣ зритель есть верховный судья актеровъ и сочинителей; у насъ не позволяютъ даже громко шикать, а здѣсь— какая разница! Я могу свистать, кричать, дѣлать все, что мнѣ угодно. Межъ тѣмъ зрители шумѣли часъ отъ часу болѣе. «A bas le rideau! à bas la cabale!» раздавалось по всѣмъ угламъ залы. Съ правой стороны подлѣ меня человѣкъ пять свистали какъ бѣшеные. Что грѣхъ таить! Смерть захотѣлось и мнѣ посвистать въ первый разъ отъ роду; но лишь только было я собрался помогать моимъ сосѣдямъ, какъ вдругъ закипѣла кругомъ меня ужасная битва: гороховый сюртукъ засучилъ рукава и началъ дѣйствовать съ необычайнымъ мужествомъ. Въ одну минуту онъ оторвалъ длинные виски у бѣднаго мусье на журавлиныхъ ножкахъ, который кричалъ, чтобы опустили занавѣсъ; потомъ, какъ разъяренный левъ, бросился на моихъ сосѣдей, притузилъ краснощекаго француза и сшибъ съ ногъ, но не побѣдилъ шелковаго кафтана, потому что онъ, лежа подъ лавкою, продолжалъ свистать, какъ человѣкъ совершенно отчаянный. Толпа свистуновъ бросилась на этого свирѣпаго бойца; его схватили за галстухъ, вцѣпились въ бакенбарды: онъ исчезъ среди своихъ враговъ; но черезъ минуту появился снова, только ужъ не въ сюртукѣ, а въ гороховой куртцѣ. Остальное я не видѣлъ, потому что успѣлъ добраться до дверей. Въ сѣняхъ я встрѣтилъ нѣсколько жандармовъ и взводъ солдатъ, которые спокойно ожидали приказанія штурмовать партеръ, то-есть, для возстановленія должной тишины и порядка, попотчевать ружейными прикладами и правыхъ и виноватыхъ. Я добѣжалъ, не оглядываясь, до перваго фіакра и отправился домой. Вскорѣ за мной возвратился мой хозяинъ съ разбитымъ носомъ: онъ былъ въ партерѣ и храбро сражался за піесу.

— Скажите, — спросилъ я, — часто ли у васъ бываютъ такіе безпорядки въ театрѣ?

— Помилуйте!—сказалъ мой хозяинъ,—что это за безпорядки? То ли еще бываетъ! Я былъ самъ свидѣтелемъ одного перваго представленія, при которомъ была такая схватка, что, кромѣ изувѣченныхъ и раненыхъ, одинъ остался убитымъ на мѣстѣ *).

— Да растолкуйте мнѣ, за что такъ жестоко прогнѣвались на бѣдную комедію? Она, право, этого не заслуживаетъ.

— Самъ авторъ виноватъ. Прекрасный человѣкъ, а такъ упрямъ, какъ лошадь: забралъ себѣ въ голову, что истинному таланту не нужны никакія посторонія пособія. Что-жъ изъ этого вышло? Піесы не дали кончить, и всѣ станутъ говорить, что она упала. Господинъ Шарль сегодня поутру приходилъ къ нему самъ, просилъ только двѣсти билетовъ, а онъ наговорилъ ему грубостей, выгналъ вонъ...

— А кто этотъ господинъ Шарль?

— Это одинъ извѣстный подрядчикъ успѣховъ (l'entre-preneur de succés).

— Что-жъ это значитъ?—сказалъ я.—Да развѣ у васъ въ театрахъ и свистятъ и хлопаютъ по подряду?

— А вы этого не знали? C'est connu! Въ Парижѣ есть организованное общество *хлопальщиковъ* (les claqueurs); имъ обыкновенно платятъ билетами, или нанимаютъ за деньги. Да неужели вы никогда не слыхали, что такое кабала (la cabale)?

— Какъ не слыхать; но я думалъ...

*) При первомъ представленіи трагедіи „*Германикъ*“ случилось тоже самое.

— Вы думали, что это дѣлается такъ нечаянно, или по какимъ-нибудь личнымъ неудовольствіямъ, по зависти?.. Нѣтъ, сударь, у насъ въ Парижѣ это приведено въ систему. *Хлопальщики* живутъ своими ладонями и свистками; это точно такое же ремесло, какъ и всякое другое. Успѣхъ піесы можетъ обогатить или прославить автора, слѣдовательно весьма натурально, что онъ тратитъ на это деньги.

— Да неужели ваши хлопальщики могутъ спасти дурную піесу отъ паденія?

— Не всегда; но зато они могутъ почти всегда уронить хорошую, или по крайней мѣрѣ сравнять заслуженный успѣхъ хорошей піесы съ натяжнымъ успѣхомъ дурной, которую они поддерживаютъ.

— Я васъ не понимаю.

— А вотъ послушайте. Въ первое представленіе, напримѣръ, какой-нибудь дурной комедіи, подкупленные хлопальщики аплодируютъ, а безпристрастные зрители свищутъ; журналисты, которые всѣ также на откупу, отдавая отчетъ публикѣ о первомъ представленіи этой піесы, могутъ-ли сказать, что, *несмотря* на ужасную *кабалу и подкупленные* свистки, новая комедія имѣла блестящій успѣхъ и была *осыпана рукоплесканіями*?

— Конечно могутъ, если въ нихъ нѣтъ ни совѣсти, ни чести.

— Вотъ еще чего захотѣли! Теперь наоборотъ: если піеса дѣйствительно съ достоинствомъ, могутъ-ли тѣ-же самые журналисты сказать, что такая-то комедія или трагедія, *несмотря на подсаженныхъ* хлопальщиковъ и друзей автора, была освистана и рѣшительно упала?

— Да чтожъ изъ этого выйдетъ? Рано или поздно истина должна открыться.

— А до тѣхъ поръ,—прервалъ мой хозяинъ,—слова парижскихъ журналистовъ повторятся въ провинціальныхъ журналахъ, перейдутъ за границу, перепечатаются даже въ вашихъ русскихъ газетахъ. Вы прочтете безъ вниманія имя автора хорошей піесы и выучите наизустъ имя бездарнаго писателя, потому что его комедія, по словамъ журналистовъ, имѣла блестящій успѣхъ, и все это оттого, что при первомъ представленіи этой піесы и хлопали и свистали, и этимъ самымъ дали возможность журналисту назвать черное бѣлымъ, а бѣлое чернымъ. Ну, теперь понимаете-ли, какъ необходимо для автора имѣть на своей сторонѣ этотъ цѣхъ парижскихъ хлопальщиковъ.

— Да чтожъ отъ этого прибыли? Если піеса дурна, то она не будетъ привлекать зрителей, не станетъ давать сборовъ...

— Это правда!—прервалъ мой хозяинъ,— авторъ получитъ за нее мало денегъ, да за то вдоволь славы, а тотъ, кто не хочетъ подкупать ни хлопальщиковъ, ни журналистовъ, можетъ легко остаться и безъ того, и безъ другого. Вотъ, напримѣръ, авторъ комедіи: «Ложный стыдъ», піесы, которая сегодня при насъ такъ безстыдно была освистана, истинно человѣкъ съ отличнымъ талантомъ. Я читалъ его комедію, и могу васъ увѣрить, что она сдѣлала-бы честь французской словесности: планъ, интрига, характеры, слогъ, въ ней все прекрасно; а межъ тѣмъ она погибла для нашей сцены. Авторъ человѣкъ съ душою, и я почти увѣренъ, что онъ не только не позволитъ ее играть во второй разъ, но даже не захочетъ ее напечатать *).

— Все это доказываетъ,—сказалъ я,—что очень было-бы хорошо, еслибъ здѣсь, такъ же какъ въ Россіи, не позволяли свистать въ театрахъ.

— Тогда нашли бы какое-нибудь другое средство вредить успѣху новой піесы.

— Чтожъ, вы подкупили-бы весь партеръ, чтобъ онъ заснулъ?

— Помилуйте, зачѣмъ весь партеръ? Довольно и пятидесяти человѣкъ съ хорошимъ насморкомъ, чтобъ замѣнить полсотни свистковъ. Нѣтъ закона въ мірѣ, который запрещалъ бы зрителямъ чихать, сморкаться, кашлять; и если только это хорошо организовано и будетъ дѣлаться порядкомъ въ одно время и, такъ сказать, по командѣ, то, смѣю васъ спросить, какая піеса устоитъ противъ этого? Однакожъ, прощайте! Я чувствую, что мнѣ надобно заняться моимъ носомъ: онъ начинаетъ пухнуть наимовѣрнымъ образомъ!

Мой хозяинъ ушелъ. И мнѣ также надобно отдохнуть. Здоровье мое не совсѣмъ еще поправилось, и это театральное побоище сильно подѣйствовало на мои нервы: голова у меня вертится, въ ушахъ шумитъ. Нѣтъ! право хорошо, что у насъ не свистятъ въ театрахъ!

Я такъ былъ занятъ всю прошедшую недѣлю, что ни разу не принимался за перо.— Если Лондонъ и почти вся Англія могутъ быть неисчерпаемымъ источникомъ наслажденій для человѣка, который влюбленъ въ механику, то, конечно, тому, кто сдѣлалъ своимъ идоломъ всѣ чувственныя наслажденія и не просто любитъ, а *боготворитъ* изящныя художества, Парижъ долженъ казаться первымъ городомъ въ мірѣ. Всѣ первоклассныя произведенія скульптуры и живописи, которыми гордилась Италія, собраны теперь въ Парижѣ. Я былъ уже нѣсколько разъ въ Наполеоновскомъ музеѣ и все еще не пересмотрѣлъ и половины сокровищъ, которыми онъ наполненъ. Я перебывалъ во всѣхъ театрахъ: вездѣ толпы празднаго народа, который думаетъ только о томъ, какъ убить время. Одинъ остроумный писатель говоритъ, что для фран-

*) Если вы желаете знать, какъ поступилъ авторъ этой комедіи то, потрудитесь прочесть во 2-мъ томѣ „L'hermite de la chaussée d'Antin", статью подъ названіемъ: „Les cabales"

цуза совершенный возрастъ не существуетъ; онъ или молодъ, или дряхлый старикъ. Представьте же себѣ это безчисленное множество *молодежи* отъ пятнадцатилѣтняго до семидесятилѣтняго возраста, живущее въ такомъ городѣ, гдѣ собраны всѣ возможныя наслажденія обдуманной роскоши, гдѣ, на каждомъ шагу, вы встрѣчаете соблазнительный порокъ, всегда прикрытый свѣжими цвѣтами. Одна цѣль этихъ милыхъ вѣтренниковъ безъ бородъ и съ сѣдыми бородами — *забавляться* съ утра до вечера. Какое имъ дѣло до того, что большая часть ихъ наслажденій основана на самомъ низкомъ и грязномъ развратѣ. Будьте увѣрены, что нѣтъ мерзости, которая не оправдалась бы въ глазахъ француза, если онъ только можетъ сказать про нее: c'est gracieux! c'est élégant.

—

Способы промышлять, не работая, деньги и жить на счетъ парижскихъ зѣвакъ (badauds) доведены здѣсь до высочайшей степени совершенства. Вы видите толпу народа; посреди этой толпы стоитъ человѣкъ опрятно одѣтый; онъ корчитъ преудивительныя рожи: носъ его скривился на сторону, ротъ на боку, одинъ глазъ смотритъ направо, другой налѣво. Вы думаете, что это какой-нибудь сумасшедшій, или одержимый падучею болѣзнію—ничуть не бывало! Это его ремесло: c'est un grimacier (кривляка, гримасникъ). Здѣсь, на разостланномъ посреди улицы коврѣ, оборванные мальчишки кувыркаются и ходятъ вверхъ ногами; тутъ показываютъ дикаго человѣка изъ Зеландіи, который родился въ Парижѣ. Вотъ диковинка! читайте!—«Желающіе видѣть лошадь, у которой голова тамъ, гдѣ обыкновенно бываетъ хвостъ, могутъ удовлетворить своему любопытству, заплатя одну копѣйку». — Что-жъ это такое? — это просто лошадь, поставленная задомъ къ яслямъ. Не угодно ли взглянуть за пять копѣекъ на чудовище, рожденное отъ щуки и борова? Какъ не посмотрѣть! Этотъ балаганъ набитъ народомъ; двѣ скрипки и одинъ турецкій барабанъ играютъ увертюру. Подымается небольшой занавѣсъ, хозяинъ является передъ публикою, кланяется на всѣ стороны и преважно начинаетъ говорить:

«Милостивые государи и милостивыя государыни! Я хотѣлъ показать вамъ эту необычайную игру природы, которая, смѣю сказать, въ своемъ родѣ единственна. Да, милостивые государи и милостивыя государыни! не только новѣйшіе, но даже и древніе писатели не упоминали никогда о чудовищѣ, рожденномъ отъ щуки и борова. Старшій Плиній говоритъ утвердительно, что это невозможно; знаменитый Линней одного съ нимъ мнѣнія; нашъ безсмертный Бюффонъ и не менѣе безсмертный Лесепедъ объявляютъ рѣшительно, что это противно всѣмъ законамъ природы. Одинъ Геродотъ упоминаетъ въ своей лѣтописи о кентаврахъ, представляющихъ нѣчто похожее на удивительное животное, которое, по стеченію необычайныхъ обстоятельствъ, сдѣлалось моею собственностью. Но вамъ всѣмъ извѣстно, милостивые государи и милостивыя государыни, что за это-то именно славный историкъ Геродотъ заслужилъ названіе лжеца, и что французскій глаголъ radoter (врать вздоръ) есть ни что иное, какъ производное слово отъ собственнаго греческаго имени Геродотъ».

Нѣкоторые изъ зрителей смѣются. Ораторъ кланяется и продолжаетъ.

«Нашему вѣку было предоставлено оправдать возможность такихъ неизъяснимыхъ капризовъ натуры, и стереть позорное клеймо лжеца съ увѣнчаннаго лаврами чела навсегда знаменитаго историка Геродота. Теперь, милостивые государи и милостивыя государыни, я съ прискорбіемъ долженъ объявить вамъ, что необычайное чудовище, рожденное отъ щуки и борова, по распоряженію высшаго начальства, отослано для изслѣдованія въ здѣшнюю академію наукъ».

Общій ропотъ. Ораторъ кланяется и, возвысивъ голосъ, продолжаетъ:

«Прошу почтеннѣйшую публику успокоиться! Если я не имѣю возможности представить ей дитя, то могу показать отца и мать. Вотъ щука, вотъ боровъ!»

Общій смѣхъ. Ораторъ кланяется и занавѣсъ опускается.

Теперь взгляните на красивую вывѣску и прочтите эту чудную надпись: «Здѣсь желанія свободны; за входъ платятъ по копѣйкѣ». Вы входите. Щеголевато одѣтый господинъ стоитъ передъ жаровнею и держитъ въ рукахъ до половины раскаленную желѣзную кочергу. «Милостивый государь!» говоритъ онъ.—«не угодно ли вамъ высунуть языкъ...»

— Языкъ! Для чего?

— Для того, чтобъ я погладилъ его этой раскаленной кочергою.

— Что вы, что вы? Я не хочу!

— Какъ вамъ угодно: *здѣсь желанія свободны*. Passez, monsieur! — и васъ просятъ выйти задними дверьми. Нѣмецъ, англичанинъ, русскій вѣроятно бы разсердились, а французъ смѣется и спѣшитъ заплатить пять копѣекъ, чтобъ въ ближайшемъ балаганѣ посмотрѣть индюшечій балетъ и кошачій концертъ. Въ первомъ индюшки прыгаютъ на желѣзной плитѣ, которую снизу нагрѣваютъ постепенно огнемъ; во второмъ дюжины двѣ кошачьихъ головъ продѣто сквозь круглыя отверстія доски, составляющей верхнюю часть инструмента, похожаго на фортепьяно; хвостъ каждой кошки ущемленъ въ особыя клещи, которыя сжимаются отъ движенія клавишъ. Должность басовъ отправляютъ огромные коты, за теноровъ и альтовъ служатъ кошки, а дискантомъ мяукаютъ котята. Вы смотрите съ

отвращеніемъ на эту жестокую забаву, а парижанинъ смѣется; онъ и знать не хочетъ, какъ это дѣлается. Кошки кричатъ престранными голосами, индѣйки дѣлаютъ преуморительные скачки: это его забавляетъ, и онъ доволенъ.

— Здѣсь много русскихъ. Вчера я былъ съ визитомъ у моихъ петербургскихъ знакомыхъ, князя М*** и графини Д***. Они обошлись со мною очень ласково и сами вызывались сблизить меня съ лучшимъ здѣшнимъ обществомъ. Въ первые дни моего пріѣзда въ Парижъ я вовсе не имѣлъ намѣренія заводиться знакомыми, но недѣли черезъ три эта уличная жизнь мнѣ такъ надоѣла, что я принялъ съ благодарностію предложеніе моихъ единоземцевъ. Сегодня я ѣздилъ за городъ не для того, что бъ любоваться парижскими окрестностями, но чтобъ посмотрѣть, какъ веселится здѣшній простой народъ по воскреснымъ днямъ. Въ Лондонѣ седьмой день самый тихій и смирный во всей недѣлѣ; въ Парижѣ, напротивъ, каждое воскресенье народъ гуляетъ круглый день и почти всегда за городомъ, гдѣ въ безчисленныхъ трактирахъ и харчевняхъ ѣдятъ пьютъ, шумятъ и пляшутъ съ утра до вечера. Одна только жестокая и продолжительная буря помѣшаетъ ремесленнику, швеѣ, лакею, служанкѣ и даже парижскому мѣщанину средняго состоянія отправиться въ воскресный день за городъ. На это есть весьма важная причина: за вино, которое привозятъ въ Парижъ, платятъ большую пошлину, слѣдовательно за городомъ, гдѣ допускается вольная продажа, оно несравненно дешевле.

Одно изъ этихъ загородныхъ мѣстъ, гдѣ народъ веселится по праздникамъ, называется la Courtille. Я отъ природы очень любопытенъ и люблю все разсматривать вблизи, а особливо простой народный бытъ во всѣхъ его измѣненіяхъ. Я бывалъ на свадьбахъ у купцовъ, ремесленниковъ и крестьянъ, бывалъ въ русскихъ трактирахъ, обѣдалъ за *кухмистерскими столами*, ѣдалъ блины въ харчевняхъ и однажды въ Москвѣ, изъ одного любопытства, просидѣлъ полчаса въ самомъ скверномъ и разгульномъ кабакѣ. Помнится, этотъ питейный домъ называется *Адашкою*. По одному этому названію вы можете судить объ обществѣ, которое въ немъ сбиралось по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ. Я думалъ, что въ жизнь мою не увижу ничего отвратительнѣе, и вѣроятно бы не увидѣлъ, еслибъ не побывалъ въ одномъ изъ трактировъ знаменитой la Courtille. Я ужаснулся, когда вошелъ въ огромную залу, гдѣ пировало человѣкъ двѣсти народа. Нѣтъ! я еще не зналъ, до какого скотскаго униженія можетъ дойти человѣкъ, созданный по образу и подобію Божію! Развратъ и наглое, безстыдное распутство, которыхъ я былъ очевиднымъ свидѣтелемъ, превосходятъ всякое описаніе *). Я увѣренъ, что вѣдьмы, которыя, по старинным русскимъ преданіямъ, сбираются на *Лысой* горѣ, близъ Кіева, ведутъ себя несравненно приличнѣе и скромнѣе *дамъ*, которыя плясали при мнѣ какой-то безчинный танецъ, до того развратный, что я не вѣрилъ собственнымъ глазамъ своимъ. Въ этой пляскѣ порокъ не прикрывался уже цвѣтами, а просто, съ какимъ-то демонскимъ бестыдствомъ, является во всей отвратительной наготѣ своей **). Вдоль стѣнъ за огромными столами ѣли, пили, кричали, дрались; пьяныя испачканныя бабы пѣли охриплыми голосами, валялись по полу; кругомъ обглоданныя кости, остатки кушанья, мерзость, нечистота; весь полъ превращенъ въ какое-то грязное болото, а посреди залы не танцовала, а бѣсновалась безумная толпа подъ неистовую музыку мѣдныхъ инструментовъ и турецкихъ барабановъ. Я пробылъ не болѣе пяти минутъ въ этомъ вертепѣ разврата, а едва не оглохъ отъ шума и не задохся отъ ужасной вони. Боже мой! до чего можетъ дойти человѣкъ, и безъ того наклонный къ пороку, если ни вѣра ни законъ не обуздываютъ его страстей, если развратники, которые называютъ себя друзьями народа, твердятъ ему безпрестанно, что, кромѣ физическихъ наслажденій, все прочее мечта, что вѣра есть невѣжество, а любовь къ порядку и уваженіе къ правительству низкое рабство; что человѣкъ просвѣщенный не можетъ вѣровать, а человѣкъ свободный не долженъ признавать надъ собою никакой власти или, по крайней мѣрѣ, быть всегда въ открытой враждѣ съ тою, которая существуетъ.

Наконецъ, я попалъ въ здѣшній хорошій свѣтъ, то-есть познакомился съ обществомъ, которое образовалось изъ остатковъ прежней французской аристократіи. Какъ ни желаетъ Наполеонъ сблизить свое новое дворянство съ этими господами les ci-devant, но едва ли онъ успѣетъ въ своемъ намѣреніи. Нынѣшніе бароны, графы и герцоги почти всѣ или хорошіе военачальники, или отличаются своей личной храбростію. Конечно, нельзя смотрѣть безъ уваженія на этихъ маршаловъ и генераловъ, которые, начиная съ солдатскаго званія, брали всѣ чины свои съ бою, но если они прекрасны передъ фронтомъ и на полѣ сраженія, за то въ гостиныхъ играютъ не слишкомъ блестящія роли. Мнѣ рѣдко удавалось встрѣчаться съ ними у графини Л***, у маркиза С*** и даже у прекрасной банкирши Р***, которая, несмотря на то, что не имѣетъ права прибавлять къ своему имени частичку «де», попала какъ-то въ число избранныхъ жителей Сентъ-Жерменскаго пред-

*) Потрудитесь прочесть въ одиннадцатомъ томѣ „Paris, ou le livre des Cent et un“ статью подъ названіемъ: „la descente de Courtille“.

**) Этотъ гнусный танецъ называется: „la chahut“.

мѣстія. Надобно сказать правду: хорошій тонъ и любезность высшаго парижскаго общества очаровательны; это чувство приличій, которое французы называютъ тактомъ (le tact), доведено въ немъ до высочайшей степени совершенства. Свобода, не выходящая изъ границъ, веселость живая остроумная, но всегда вѣжливая, непринужденная ласка хозяина и хозяйки, прекрасное угощеніе, немноголюдная, но ловкая и проворная услуга, вы все это найдете въ гостиныхъ хорошаго парижскаго общества. Одно только всегда меня удивляло и это одно... ну, право, не знаю какъ бы назвать повѣжливѣе: это невѣроятное отсутствіе самыхъ обыкновенныхъ познаній, эта чудная смѣсь утонченнаго просвѣщенія съ необычайнымъ невѣжествомъ, особливо во всемъ томъ, что касается до нашего отечества и вообще до всѣхъ иностранцевъ. Еслибъ я сталъ записывать всѣ странные вопросы, которыми ежедневно меня осыпаютъ блестящіе маркизы и очаровательныя виконтесы, то, конечно, исписалъ бы цѣлую стопу бумаги. Вчера у госпожи Р*** одинъ *шевалье* спросилъ меня, во сколько дней можно пріѣхать изъ Петербурга въ Москву на собакахъ? Другой господинъ, который отъ всей души жалѣлъ, что мы, русскіе, не имѣемъ понятія о виноградѣ, не хотѣлъ никакъ вѣрить, что у насъ есть провинціи, въ которыхъ онъ родится, то есть не сказалъ мнѣ, что я лгу, но проговорилъ съ улыбкою: «Я не смѣю съ вами спорить, но, извините, въ Парижѣ этого не знаютъ». А это значило въ переводѣ на простонародный языкъ: «вы, сударь, лжете: я вамъ не вѣрю, потому что все то, о чемъ не знаютъ въ Парижѣ, есть выдумки и вздоръ». Знаменитый французскій мореходецъ Бугенвиль (Bougainville) горько жалуется на это невѣжество своихъ соотечественниковъ, изъ которыхъ одни не хотѣли вѣрить, что на островѣ Таити не умѣютъ говорить ни по французски, ни по испански, ни по англійски; а другіе, люди извѣстные даже своей ученостью, утверждали, что онъ, господинъ Бугенвиль, не объѣхалъ около свѣта, потому что не былъ въ Китаѣ *).

Впрочемъ, не подумайте, чтобъ это французское невѣжество походило на то, къ которому мы привыкли въ нашемъ отечествѣ; о, нѣтъ! Русскіе невѣжды, то-есть чисто русскіе, народъ пресмирный: они не прикидываются учеными, не толкуютъ о просвѣщеніи, и если иногда придетъ имъ въ голову такая блажь, то это развѣ подъ веселую руку, да и то между собой, въ своемъ кругу, но лишь только завернется въ ихъ компанію кандидатъ или даже дѣйствительный студентъ, то они всѣ начнутъ его слушать какъ оракула, а сами не смѣютъ и рта раскрыть. Нѣтъ, любезные читатели, французское невѣжество совсѣмъ другого рода: это невѣжество смѣлое, бойкое, усыпанное блестками и нашпигованное учеными выраженіями; оно не прячется въ уголъ, а выходитъ въ каѳедру; не прималчиваетъ, а мелетъ вздоръ безъ умолку съ утра до вечера. У насъ безграмотность и просвѣщеніе раздѣлены такой рѣзкой чертою, что никакъ нельзя ошибиться и принять невѣжду за человѣка образованнаго, но въ Парижѣ не вдругъ отличишь позолоту отъ настоящаго золота. Самый безграмотный парижанинъ будетъ съ вами разсуждать обо всемъ; онъ все знаетъ, для него нѣтъ ничего новаго; разумѣется, онъ станетъ врать: техническія слова, собственныя имена, названія наукъ — все это будетъ исковеркано и перемѣшано самымъ забавнымъ образомъ, но чтобъ видѣть, до какой степени простирается наглость и невѣжество этого болтуна, надобно быть самому съ нѣкоторымъ образованіемъ. Представьте же себѣ, напримѣръ, какого-нибудь русскаго невѣжду, который пріѣхалъ учиться уму-разуму въ Парижѣ: вѣдь ему этотъ болтунъ покажется мудрецомъ, а такихъ мудрецовъ онъ встрѣтитъ на каждомъ шагу. «Фу ты, батюшки!» подумаетъ онъ, «что это за городъ такой! Куда ни оберись, все люди ученые!» Чему же дивиться послѣ этого, если онъ, возвратясь на свою родину, будетъ говорить съ восторгомъ о *всеобщемъ* просвѣщеніи Франціи *).

*) Вы можете это прочесть въ 19-мъ томѣ *Всеобщей исторіи путешествій*, на страницѣ 195-й и послѣдующихъ. — „Да это было такъ давно!“ скажете вы. „съ тѣхъ поръ общее просвѣщеніе Франціи подвинулось впередъ“. Быть можетъ, но вотъ одинъ любопытный фактъ, который не слишкомъ оправдываетъ это мнѣніе. Въ 1831 году, представитель народа, ораторъ лѣвой стороны французской палаты депутатовъ, знаменитый публицистъ, господинъ Могень, (Maugin), при полномъ собраніи всѣхъ депутатовъ, упрекаетъ французское министерство въ томъ, что оно *не отправило военныхъ кораблей въ Польшу*! И когда господину Могею дали почувствовать, что нѣсколько трудно пріѣхать на стопушечномъ кораблѣ въ Варшаву, то онъ началъ увѣрять, будто бы Польша имѣетъ свои порты на Балтійскомъ морѣ и въ доказательство этого назвалъ находящуюся нынѣ въ Курляндіи *Палангенскую таможенную заставу* морскимъ портомъ, принадлежащимъ Польшѣ. Все это и еще много кой-чего другого вы найдете въ парижской газетѣ „Journal des Débats“ 1831 года: потрудитесь только прочесть листокъ, который вышелъ 20-го сентября во вторникъ.

*) Я вамъ надоѣлъ выносками, любезные читатели, но, воля ваша, не могу *при сей вѣрной оказіи* не разсказать вамъ одинъ случай, который подтверждаетъ это мнѣніе. Въ 1812 году я снова пошелъ служить и въ сраженіи подъ Чашниками былъ раненъ въ ногу. Полковникъ К***, точно такъ же раненый какъ я, отправляясь назадъ въ Полоцкъ, предложилъ мнѣ мѣсто въ своей коляскѣ. Не доѣзжая верстъ двадцать до Полоцка, догнали мы партію французскихъ плѣнныхъ. Я поразговорился съ нѣкоторыми изъ нихъ, знаютъ ли они, что Мадритъ взятъ англичанами. „Мадридъ?“ закричалъ французъ.—Je n'en crois rien! Я этому не вѣрю! Мадридъ взять нелегко: „это крѣпость перваго разряда“.—C'est une forteresse

Черезъ три дня я оставляю этотъ городъ противоположностей, гдѣ хорошее такъ перемѣшано съ дурнымъ, что нѣтъ никакой возможности отдѣлить одного отъ другого. Я думалъ сначала, что этотъ perpetuum mobile парижской жизни, этотъ вѣчный шумъ, эта безпрерывная бѣготня угорѣлой толпы, которая съ утра до вечера и съ вечера до утра гоняется за удовольствіями, разсѣетъ мое горе и, можетъ быть, изгладитъ въ душѣ моей всѣ грустныя воспоминанія: я ошибся. Когда первый чадъ прошелъ, я почувствовалъ такую пустоту въ сердцѣ, такую тоску, что не зналъ, куда дѣваться. Подъ аркадами вѣчно шумнаго Палерояля, въ тѣни молчаливыхъ аллей Люксембургскаго сада, въ театрахъ, въ обществахъ, вездѣ, повсюду преслѣдуетъ меня образъ той, которая сгубила все счастіе моей жизни. Я чувствую, мнѣ нуженъ просторъ; мнѣ тѣсно, мнѣ душно въ Парижѣ. Можетъ быть тамъ, за Пиринейскими горами, на берегу Средиземнаго моря, въ двухъ шагахъ отъ знойной Африки, душа моя отдохнетъ и успокоится.

Погода здѣсь стоитъ несносная: дождь, слякоть; за городомъ голыя деревья, пожелтѣлыя поля, въ городѣ непроходимая грязь; однимъ словомъ, ни дать ни взять русская глубокая осень. Нѣтъ, воля ваша! Русская зима лучше здѣшней. Вспомните, какъ вамъ надоѣдаетъ эта осенняя изморозь, эти сѣрыя небеса, эта грязная земля; съ какимъ нетерпѣніемъ вы ожидаете перваго снѣга. Зимній путь, сани, ясное солнышко, которое осыпаетъ алмазами наши русскія поля, покрытыя пушистымъ снѣгомъ; лунная, морозная ночь, въ которую вы на тройкѣ удалыхъ летите по гладкой, скатертной дорогѣ; чистый, сухой воздухъ—все это не во сто ли разъ лучше мокрой и сырой осени, которую французы называютъ своей зимою. Дѣло другое зима въ южной Испаніи: это наша весна, нашъ благословенный май мѣсяцъ! Скорѣй, скорѣй въ Андалузію! скорѣй туда,

Гдѣ солнце грѣетъ и зимою,
Гдѣ миртъ растетъ и спѣетъ апельсинъ.

Я простился съ моими парижскими знакомыми. Завтра поутру отправлюсь въ Бордо. Мой Никаноръ Федотычъ укладывается, а я, отъ нечего дѣлать, вздумалъ сравнить мнѣнія двухъ русскихъ путешественниковъ о характерѣ французской націи: одинъ изъ нихъ Николай Михайловичъ Карамзинъ, а другой Денисъ Ивановичъ фонъ-Визинъ. Вотъ что говоритъ первый о французахъ, съ которыми онъ имѣлъ время познакомиться.

«Скажу: *умъ, воздухъ*—и характеръ французовъ описанъ. Я не знаю народа умнѣе, пламеннѣе и вѣтреннѣе. Кажется, будто онъ выдумалъ, или для него выдумано *общежитіе:* столь мила его обходительность и столь удивительны его тонкія соображенія въ искусствѣ жить съ людьми! Сіе искусство кажется въ немъ любезною природою. Никто, кромѣ его, не умѣетъ приласкать человѣка однимъ видомъ, одной вѣжливой улыбкою. Напрасно англичанинъ или нѣмецъ захотѣлъ бы учиться ей передъ зеркаломъ; на лицѣ ихъ она чужая, принужденная... Говорятъ, что здѣсь трудно найти искренняго, вѣрнаго друга... Ахъ! друзья вездѣ рѣдки! И чужеземцу ли искать ихъ, тому, кто подобно кометѣ, *являясь исчезаетъ*. Дружба есть потребность жизни; всякій хочетъ для нее предмета надежнаго. Но все, чего по справедливости могу требовать отъ чужихъ людей, французъ предлагаетъ мнѣ съ ласкою, *съ букетомъ цвѣтовъ*. Вѣтренность, непостоянство, которыя составляютъ порокъ его характера, соединяются въ немъ съ любезными свойствами души, происходящими нѣкоторымъ образомъ отъ сего самого порока! Французъ непостояненъ и незлопамятенъ; удивленіе, похвала можетъ скоро ему наскучить, ненависть также. По вѣтренности оставляетъ онъ доброе, избираетъ, вредное, зато самъ первый смѣется надъ своей ошибкою и даже плачетъ, если надобно. Веселая безразсудность есть милая подруга жизни его. Какъ англичанинъ радуется открытію новаго острова, такъ французъ радуется острому слову. Чувствителенъ до крайности, страстно влюбляется въ истину, въ славу, въ великія предпріятія; но любовники непостоянны! Минуты его жара, изступленія, ненависти могутъ имѣть страшныя послѣдствія, чему примѣромъ служитъ революція. Жаль, если эта ужасная политическая перемѣна должна перемѣнить и характеръ народа, столь веселаго, остроумнаго, любезнаго!»

Въ заключеніе Карамзинъ говоритъ, что это писано для дамы и для француженки, которая ахнула бы отъ ужаса и закричала бы «*Сѣверный варваръ!*» если-бъ онъ сказалъ ей, что французы не остроумнѣе и не любезнѣе другихъ. Фонъ-Визинъ не имѣлъ этой *уважительной* причины разсыпаться въ вѣжливостяхъ, и въ письмѣ своемъ къ графу Петру Ивановичу Панину изъясняется гораздо откровеннѣе на счетъ французовъ. «Достойные люди», говоритъ онъ, «какой бы націи ни были, составляютъ между собой

---

de premier ordre. Мой добрый полковникъ такъ и всплеснулъ руками. „Ну вотъ, братецъ!“ сказалъ онъ, „видишь, каковы они? Гдѣ намъ съ ними тягаться? Солдатишка, рядовой, а начнетъ говорить, такъ только слушай! Поди-ка спроси у нашего солдата, что такое Мадридъ, такъ онъ тебѣ и скажетъ: „не могимъ знать, ваше благородіе!“ А эти французы!—эки бестіи, подумаешь!—все знаютъ! Что и говорить: просвѣщеніе, братецъ, просвѣщеніе! Не знаю, какъ по вашему, а по моему, полно, не лучше ли сказать съ простодушіемъ: „не могимъ знать, ваше благородіе!“, чѣмъ съ наглой увѣренностію врать вздоръ и называть крѣпостью столичный городъ Испаніи“.

одну націю. Выключа ихъ изъ французской, примѣчалъ и вообще ея свойство. Надлежитъ отдать справедливость, что при неизъяснимомъ развращеніи нравовъ, есть во французахъ доброта сердечная. Весьма рѣдкій изъ нихъ злопамятенъ; добродѣтель, конечно, не прочная, и полагаться на нее нельзя, но, покрайней мѣрѣ, и пороки въ нихъ не глубоко вкоренены. Непостоянство и вѣтренность не допускаютъ ни пороку, ни добродѣтели въ сердцѣ ихъ поселиться. Къ нимъ совершенно приличенъ стихъ Кребильоновъ:

Criminel sans penchant, vertueux sans dessein.

Разсудка французъ не имѣетъ и имѣть его почелъ бы несчастіемъ своей жизни, ибо оный заставилъ бы его размышлять, когда онъ можетъ веселиться. Забава есть одинъ предметъ его желаній, А какъ на забавы потребны деньги, то для пріобрѣтенія ихъ употребляетъ всю остроту, которую его природа одарила. Острота, не управляемая разсудкомъ, не можетъ быть способна ни на что, кромѣ мелочей, въ которыхъ и дѣйствительно французы берутъ верхъ предъ цѣлымъ свѣтомъ...»

Тутъ помѣшалъ мнѣ Никоноръ Федотычъ. — Что вы скоро, сударь, перестанете писать?—спросилъ онъ.

— На что тебѣ?

— Да вотъ книги-то надобно уложить въ чемоданъ, да чернильницу поставить въ шкатулку.

— Успѣемъ и завтра.

— Да что это вы писать изволите?

— Описываю французовъ.

— То есть: ихъ житье-бытье, сударь, поведенцію, обычай?

— Ну, да!

— Помилуйте! да какъ это можно?

— Почему же нѣтъ?

— А потому, сударь, что у нихъ на недѣлѣ семь пятницъ. Шутъ ихъ знаетъ, что за народъ такой! Сегодня такъ, завтра этакъ. Да хоть вотъ этотъ Жанъ, здѣшній трактирный слуга, третьяго дня кричалъ: виватъ Наполеонъ! А сегодня ужъ позорилъ, позорилъ его! Вы изволите знать: этотъ Жанъ маракуетъ немного по-русски, говоритъ, будто былъ у насъ въ Костромѣ учителемъ: да вретъ! Какой онъ мусье! Они всѣ у насъ наживаются, а у этого пострѣла копѣйки нѣтъ за душею. А ужъ какой хвастунишка! Слышь-ты, совсѣмъ было женился въ Костромѣ на какой то княгинѣ!.. Видишь, куда смотритъ!— Родня, дескать, не захотѣла: да я же, говоритъ, поссорился съ ея братомъ, дуэль съ нимъ имѣлъ... Дуэль! Чай, бока отломали — вотъ-те дуэль!.. Да что и говорить, Владиміръ Сергѣевичъ, всѣ они на одинъ покрой: хвастунишки да мотыги такіе, что и сказать нельзя!

— Ужъ и всѣ! Что ты, Никаноръ?

— Право такъ, сударь. Не всѣ богаты, да всѣ тароваты. Конечно, грѣхъ сказать, фра цузъ не нѣмецъ, народъ ласковый, веселы разгульный, да только больно чванливы, с дарь. Всякій чумичка въ бары лѣзетъ. В изволите знать нашего дворника, вотъ ч подметаетъ лѣстницу?.. Вѣдь ужъ взгляну не на что: рожа немытая, сюртучишко в дырахъ, оборванъ, общипанъ, ну вотъ, к жись, сейчасъ пойдетъ на перекрестокъ, д запоетъ Лазаря, а посмотрите-ка его въ в скресенье—разфуфонится такъ, что-на под Кафтанъ не кафтанъ, жилетъ не жилетъ, сапоги безъ подошвъ. Сберутся этакихъ м лодцовъ десять, да и начнутъ погуливат И чуть этакъ, знаете-ль, поссорятся меж собою, тотчасъ и дуэль! Примутся кричат «я франсе, я франсе!», а тамъ, глядиш дадутъ другъ другу по плюхѣ, да и пом рятся. Тѣмъ хороши, что недолго сердятс

— Что, Никаноръ, умны французы?

— Умны? Что вы? Да я глупѣй наро не видывалъ.

— Вотъ вздоръ какой!

— Помилуйте, Владиміръ Сергѣевичъ! насъ на Руси и въ Пошехоньѣ нѣтъ этаки ротозѣевъ. Что хочешь имъ говори, все вѣрятъ. Посмотрѣлъ я, какъ эти фокусни всякіе да фигляры простой народъ надувают Добро-бы еще какъ у насъ, по деревням колдуны глаза отводили, а то нѣтъ! Вотъ в прошлое воскресенье пошелъ я съ Жано на рынокъ; глядимъ, стоитъ на подмостка какой-то мусье разодѣтый, весь въ проз ментахъ и кричитъ что-то во все горло.— Что это, братъ, онъ оретъ? — спросилъ я Жана.—Онъ, дескать, продаетъ разныя сн добья отъ всѣхъ болѣзней, а вотъ теперь п казываетъ пузырекъ съ такимъ зельемъ, ч если его станешь пить, то сто лѣтъ прож вешь, и морщинки ни одной на лицѣ не б деть.—Эка бестія, подумаешь! ни одной мо щинки на лицѣ не будетъ!.. А самъ то он сударь, весь въ морщинахъ, словно сморчек какой! Чѣмъ бы его спросить: — Да чтож ты, братъ мусье, самого-то себя не пол зуешь, а?—Куда! народъ такъ и валитъ! Т то простофили! Поди-ка у нашего мужич зашиби даромъ копѣйку, да, какъ бы в такъ: своихъ приплатишь! Что я ни говори Жану, не послушался: купилъ себѣ какое- снадобье, чтобъ у него лысина волосами з росла. Дожидайся—зарастетъ! Вотъ онъ м и говоритъ: хочешь ли, я покажу тебѣ т кой курьезъ, какого ты вѣкъ не видывалъ?— А что такое? — Да вотъ что: хочешь ли в дѣть такихъ блохъ, которыя всякія штук на подобіе человѣка, дѣлаютъ?—Какъ такъ?— А вотъ посмотри!—Пошли. Приходимъ въ к кой-то домъ: у дверей взяли съ насъ по пя копѣекъ. Горница большая, за прилавко стоитъ худой французъ, весь въ черномъ, всякаго народу довольно — вотъ этакъ чел вѣкъ двадцать или тридцать. Хозяинъ покл

нился на всѣ стороны и началъ точить балы. Мой товарищъ толковалъ мнѣ, что этотъ штукарь говорилъ о блохахъ. — Вотъ, дескать, французская блоха — нечего сказать! умна, проворна, понятлива, все на лету хватаетъ. Англійская не такъ; бредетъ и нѣмецкая, только на ногу тяжела, а вотъ русская такъ ужъ глупа, ничему не выучишь. Я думаю про себя:—Врешь, мусье, не глупѣе вашихъ! Ты намъ штуки-то свои показывай! Вотъ онъ положилъ листъ бумаги и началъ на него выпускать своихъ блохъ! Вотъ шестерня вороныхъ карету везетъ—хорошо, а не стоитъ пяти копѣекъ. А это что такое? Двѣ блохи привязаны стойкомъ къ тонкой булавочкѣ, а снизу булавочку повертываютъ.—Это, дескать, двѣ итальянскія блохи танцуютъ нѣмецкій вальсъ.—Подлѣ нихъ также двѣ блохи, только порознь, привязаны къ спичкамъ. Дали имъ въ лапки пробочные шарики, а къ шарикамъ придѣланы тоненькія иголочки. Вотъ онѣ шариками-то шевелятъ, а иголочками помахиваютъ.—Это, дескать, гишпанская блоха съ англійской блохою на дуэль выходятъ.—Тьфу ты, пропасть! Что-жъ это въ самомъ дѣлѣ? Да развѣ можно этакъ людей морочить? Эхъ, кабы воля, да воля! Еще бы далъ пятакъ, да ужъ понатѣшился бы надъ этимъ краснобаемъ! А дурачье-то французы разинули рты, да такъ и дивятся! Нѣтъ, сударь, воля ваша—глупый народъ!

Не знаю, которая изъ этихъ трехъ характеристикъ вѣрнѣе, но мнѣ кажется, что всѣ онѣ имѣютъ между собою большое сходство, и, не смотря на нѣкоторое различіе въ выраженіяхъ, общій результатъ будетъ слѣдующій: изъ всѣхъ европейскихъ народовъ самый непостоянный, вѣтренный, хвастливый и легковѣрный народъ есть, безъ всякаго сомнѣнія, народъ французскій.

Бордо.

> Adieu donc, Paris, ville cèlebre, ville de bruit, de fumèe et de boue où les femmes ne croient plus à l'honneur, ni les hommes à la vertu.—Adieu, Paris, nous cherchons l'amour, le bonhèur et l'innocence; nous ne serons jamais assez loin de toi.
>
> *J. J. Rousseau.*

Выѣзжая изъ Парижа, я могъ бы отъ души повторить эти слова, замѣнивъ слово *любовь* словомъ спокойствіе и говоря отъ единственнаго лица, потому что мой Никаноръ Федотычъ не искалъ ничего и съ радостію отправился бы назадъ въ Москву бѣлокаменную, повторяя русскую пословицу: «Отъ добра добра не ищутъ». — Я не скажу ни слова о моемъ путешествіи отъ Парижа до Бордо. Я нигдѣ не останавливался, ѣхалъ очень скоро и рѣшился пробыть здѣсь сутки для того только, чтобъ отдохнуть. Я успѣлъ, однакоже, замѣтить мимоходомъ, чѣмъ дальше ѣдешь отъ Парижа, тѣмъ лучше и добрѣе становится французскій народъ. Какъ я ни боюсь оскорбить разборчивый вкусъ моихъ читателей и разгнѣвать тѣхъ, для которыхъ Парижъ то-же самое, что Мекка для правовѣрныхъ мусульманъ, но никакъ не могу удержаться, чтобъ не сравнить эту *столицу европейскаго просвѣщенія* съ великолѣпнымъ мраморнымъ резервуаромъ, который превратился въ помойную яму оттого, что въ него стекаетъ грязь и нечистота со всѣхъ концовъ Франціи.

Не смотря на мою любовь къ путешествіямъ, я начинаю скучать этой страннической жизнію; да такъ и быть должно: наши мечты всегда пріятнѣе дѣйствительности, и до сихъ поръ одно разочарованіе быстро слѣдовало за другимъ. Что-то будетъ въ Андалузіи?.. Впрочемъ, и то хорошо, если я когда-нибудь повторю слова автора «Недоросля», который въ одномъ изъ писемъ говоритъ: «Я очень радъ, что видѣлъ чужія края. По крайней мѣрѣ, не могутъ мнѣ иппозировать наши gens de France. Много пріобрѣлъ я пользы отъ путешествія. Кромѣ поправленія здоровья, научился я быть снисходительнѣе къ тѣмъ недостаткамъ, которые оскорбляли меня въ моемъ отечествѣ. Я увидѣлъ, что во всякой землѣ худого гораздо больше, нежели добраго, что люди вездѣ люди, что умные люди вездѣ рѣдки, что дураковъ вездѣ изобильно и, словомъ, что наша нація не хуже ни которой и что мы дома можемъ наслаждаться истиннымъ счастіемъ, за которымъ нѣтъ нужды шататься въ чужихъ краяхъ».

Баіонна.

Вотъ и конецъ Франціи. Баіонна городъ почти испанскій: вы на каждомъ шагу встрѣчаете смуглыя южныя физіономіи, слышите звуки испанскаго языка; передъ вами рѣка, которую называютъ *Адуромъ*. Одежда *басковъ*, этихъ полу-испанскихъ французовъ, ихъ пѣсни, обычаи, забавы—все напоминаетъ вамъ испанцевъ: всѣ пьютъ шоколадъ, играютъ на гитарѣ и знаютъ что такое фанданго и волеро.

Я очень радъ познакомиться съ южными провинціями Франціи; теперь я люблю французовъ, несравненно болѣе, чѣмъ тогда, когда жилъ въ Парижѣ. Мы напрасно смѣшиваемъ *парижанъ* съ *французами*: это два народа, которые во многомъ не походятъ другъ на друга. Во французскихъ провинціяхъ вы встрѣтите очень часто людей набожныхъ, благочестивыхъ, простодушныхъ и безкорыстныхъ. Но хотите ли ихъ поискать въ Парижѣ? Въ южныхъ провинціяхъ Франціи сохранилась еще эта добрая, простодушная веселость, которая въ Парижѣ превратилась въ какой-то буйный цинизмъ и совершенное развращеніе нравовъ. Парижане называютъ это просвѣщеніемъ и смѣются надъ провинціалами, которые ходятъ въ церковь для того, чтобъ

молиться, толкуютъ о чистотѣ нравовъ, женятся и выходятъ замужъ для того, чтобъ любить другъ друга, и стыдятся своихъ слабостей, а не щеголяютъ ими. Французскій крестьянинъ, если только онъ живетъ не близко отъ Парижа, добръ, услужливъ и отмѣнно простосердеченъ; въ послѣднемъ онъ даже беретъ преимущество надъ нашимъ русскимъ мужичкомъ, но за то уступаетъ ему и въ умѣ, и въ смѣтливости, и въ этомъ природномъ досужествѣ, которымъ отличается крестьянинъ нашихъ великороссійскихъ губерній. Возьмите, напримѣръ, какого-нибудь владимірца, ярославца—что за молодецъ такой! Проворенъ, ловокъ, толковитъ; вы ему намекнули, онъ понялъ,—взглянулъ и перенялъ. Да что и говорить — на все гораздъ! А если дѣло пойдетъ на *проводы*, такъ проведетъ кого хотите. Французскій крестьянинъ тяжелъ, простоватъ и чрезвычайно легковѣренъ; для него нѣкоторое образованіе гораздо необходимѣе, чѣмъ для нашего мужичка, который, съ своимъ простымъ русскимъ толкомъ и деревянными счетами, безъ всякой бухгалтеріи становится частехонько милліонщикомъ.

Многіе думаютъ, что одежда нашихъ крестьянъ несравненно хуже французской; да это оттого, что мы видимъ только на сценѣ французскихъ крестьянъ, а посмотрите-ка ихъ поближе, такъ вы увидите, что женскій ихъ нарядъ ничѣмъ не лучше русскаго сарафана, а головной уборъ *Кошуазокъ* даже безобразнѣе нашихъ кичекъ. Ихъ уродливые деревянные башмаки (sabots), въ которыхъ онѣ ходятъ и стучатъ какъ подкованныя лошади, право, не красивѣе русскихъ лаптей, а похожая на саванъ французская блуза, изъ посконной небѣленой холстины, рѣшительно хуже нашей крестьянской съ косымъ воротомъ рубашки, которая своимъ покроемъ напоминаетъ греческій тюникъ. Издали все кажется хорошимъ, а особливо если то, что мы видимъ вдали, не наше, а чужое.

Я нанялъ сегодня испанскаго аріеро (извозчика). Онъ впрягаетъ шесть муловъ въ дорожную коляску, которую я купилъ у проѣзжаго англичанина. Сейчасъ входилъ ко мнѣ Никаноръ Федотычъ объявить, что черезъ четверть часа все будетъ къ нашему отъѣзду.—Ну, сударь,—сказалъ онъ,—не скоро мы поѣдемъ! Посмотрите, какихъ одровъ намъ заложили: лошади не лошади, ослы не ослы—чортъ знаетъ что такое! А извозчикъ безъ кнута! Вотъ я ему началъ толковать руками и такъ и этакъ. Какъ, дескать, тебѣ, братецъ, безъ погонялки быть! Есть-ли у тебя кнутъ или бичъ? Тебѣ надо что-нибудь! Чтожъ, Владиміръ Сергѣевичъ? вѣдь онъ отвѣчалъ мнѣ по-русски.

— Неужели?

— Да вѣдь какъ чисто, сударь! Замоталъ головою, да и сказалъ: «нада».— Ну, а если надо, — закричалъ я, — такъ чтожъ у тебя кнута нѣтъ? — Онъ посмотрѣлъ на меня изъ подъ своей дурацкой шляпы, а шляпа-то съ добрый жерновъ будетъ, да и повернулся ко мнѣ спиною.

— Ты его не понялъ, Никаноръ. По-испански «нада» значитъ ничего.

— Какъ ничего? Такъ что-жъ онъ кулаками что-ль лошадей погонять будетъ?

— Нѣтъ, онъ станетъ въ нихъ бросать камешками.

— Вотъ что! Такъ этакъ-то у нихъ лошадей понукаютъ? То-то онъ все по двору камешки и набираетъ. Эка диковинка, подумаешь! А воля ваша, сударь, хоть это и по-гишпански, только, право, хуже нашего. Тоже дѣло нашъ ременный кнутикъ — помахивай себѣ да и только!

Я расплатился съ хозяиномъ гостинницы и сажусь въ коляску. Черезъ нѣсколько часовъ я буду у подошвы Пиринеи. Я не хочу заѣзжать въ Мадридъ; поѣду на Бургосъ, на Саламанку, потомъ черезъ Эстрамадуру въ Севилью; тамъ я отдохну дня два или три. Я такъ много читалъ объ этой столицѣ Андалузіи, о ея дивномъ соборѣ, о красивыхъ садахъ ея, разбросанныхъ по берегамъ великолѣпнаго Гвадалквивира. Посмотримъ, справедлива ли испанская народная пословица:

Quien non ha visto Sevilla,
Non ha visto maravilla.

то есть: «кто не видѣлъ Севильи, тотъ не видѣлъ чуда».

Вента близъ Гренады *).

До Гренады осталось шесть *лигъ* (тридцать верстъ). Я не говорилъ еще ни разу объ испанскихъ постоялыхъ дворахъ; тѣ, которыя выстроены на большихъ дорогахъ, называваются *вентами*, деревенскіе трактиры зовутъ *посадами*, а городскія гостинницы *фондами*, и въ этихъ фондахъ не найдете вы большого покоя, но, по крайней мѣрѣ, вамъ отведутъ особую комнату и подадутъ кушанье, приправленное не вонючимъ лампаднымъ, а довольно сноснымъ оливковымъ масломъ. Я думалъ прежде, что нѣтъ ничего безпокойнѣе и непріятнѣе жидовской корчмы, но, кажется, постоялые дворы въ Испаніи еще хуже. Вента, въ которой я сегодня ночую, одна изъ лучшихъ въ Андалузіи. Въ ней даже нашелся отдѣльный чуланчикъ, гдѣ я теперь пишу при свѣтѣ лампады. Въ этой темной конурѣ прорублено небольшое окно,

*) Я предувѣдомилъ уже читателей, что большая часть моихъ путевыхъ записокъ потеряна. Вотъ, почему я не говорю ни слова объ ученой Саламанкѣ и знаменитой Севильѣ, которая, несмотря на свои узкія и кривыя улицы, вполнѣ оправдываетъ народную испанскую пословицу. Мои записки начинаются снова спустя пять недѣль послѣ отъѣзда моего изъ Баіонны.

сквозь которое я могу видѣть въ полной красотѣ всю внутренность испанской венты. Представьте себѣ обширную комнату или, лучше сказать, сарай, у котораго не потолокъ, а кровля поддерживается четыреугольными каменными столбами; нѣсколько узенькихъ оконъ какъ будто нехотя пропускаютъ свѣтъ во внутренность этого сарая; вдоль стѣнъ привязаны къ яслямъ мулы и лошади извозчиковъ, которыхъ шумная ватага ѣстъ и прохлаждается за двумя столами. Прямо противъ входа, на широкомъ очагѣ трещитъ и вспыхиваетъ тощій огонекъ, обхватывая густымъ дымомъ вязанку сырой соломы, перемѣшанной съ хворостомъ. Около очага стоятъ глиняные кувшины почти въ ростъ человѣческій; въ нихъ налита колодезная вода для муловъ и лошадей. Подлѣ одного изъ столовъ сидитъ на деревянномъ чурбанѣ слѣпой старикъ; онъ бренчитъ на разстроенной *вигуели*. Мой Никаноръ слушаетъ старика съ большимъ вниманіемъ, вѣроятно, потому, что инструментъ его весьма походитъ на нашу русскую балалайку. За другимъ столомъ ужасно шумятъ и ругаются съ хозяиномъ постоялаго двора два пьяные погонщика изъ Аррагоніи; они кричатъ, что ихъ ужинъ не стоитъ и одного мараведиса *), клянутся святымъ Фабріціемъ, что хозяинъ постоялаго двора *амбустеро*, то-есть плутъ, что во всей Андалузіи нѣтъ ни одного трактирщика *стараго христіанина*, что въ Аррагоніи послѣдній *хитано* (цыганъ) честнѣе любого гранадскаго *гидальго* (дворянина). Хозяинъ вступается за честь своей родины, кричитъ какъ безумный, машетъ поварскимъ ножемъ и называетъ аррагонцевъ жидами; другіе извозчики берутъ сторону своихъ товарищей; къ хозяину присоединяется толстая служанка: она покрываетъ своимъ визгливымъ крикомъ возгласы пьяныхъ извозчиковъ. Эта запачканная и растепанная баба такъ уродлива и безобразна, что, глядя на нее, я невольно вспоминаю знаменитую *Маритторну*. Вы вѣрно ее знаете, любезные читатели, потому что безъ всякаго сомнѣнія читали диковинныя приключенія рыцаря *Донъ Кихота* Ламанчскаго, съ которымъ мы, русскіе, познакомились тогда еще, когда его звали Донъ Кишотомъ. Все, что происходитъ передо мною, какъ живо напоминаетъ мнѣ нѣкоторыя главы изъ этого безсмертнаго романа; что я безпрестанно поглядываю на дверь; мнѣ все кажется, что она сейчасъ растворится, и войдетъ длинный рыцарь *Плачевнаго образа* вмѣстѣ съ своимъ приземистымъ оруженосцемъ. Вотъ, въ самомъ дѣлѣ, кто-то отворяетъ дверь и, съ надворья, высовывается голова, но только покрытая не мѣднымъ тазомъ, а шерстянымъ капишономъ. Это монахъ капуцинскаго ордена. При появленіи его, шумъ прерывается; онъ входитъ въ венту и, сложивъ руки крестъ-на-крестъ, говоритъ: «Ave Maria purissima!» Всѣ присутствующіе встаютъ и отвѣчаютъ въ одинъ голосъ: «Sine peccado concediba!». Брань утихаетъ; Маритorна хлопочетъ около очага, чтобъ накормить скорѣе капуцина; хозяинъ затыкаетъ за поясъ свой поваренный ножъ и перестаетъ перебраниваться съ пьяными аррагонцами Мало-по-малу все приходитъ въ порядокъ; извозчики ложатся спать, кто на полу, кто на скамьѣ; аррагонцы, выпивъ еще по кружкѣ вина, располагаются преспокойно подъ столомъ; хозяинъ уступаетъ свою собственную постель монаху, и черезъ нѣсколько минутъ въ этой шумной вентѣ, исключая меня, все спитъ мертвымъ сномъ.

*) Мараведисъ почти то-же, что наша денежка.

Гренада.

Какъ живописно положеніе Гренады! Я не могъ налюбоваться имъ, когда мы спустились съ восточнаго ската *Сіерра-Невады* (снѣжной горы) въ долину, по которой текутъ Дарро и Хениль. Эти двѣ рѣчки огибаютъ подошву *Сіерра де-Санта Елена* (такъ называютъ испанцы одну изъ отраслей Сіерра-Невады), которая вдается мысомъ въ Гренадскую долину. Начиная отъ самой ея подошвы до того мѣста, гдѣ Хениль и Дарро сливаютъ свои воды, по обоимъ берегамъ этой послѣдней рѣки возвышается амфитеатромъ великолѣпная Гренада этотъ драгоцѣнный перлъ древняго мавританскаго царства въ Испаніи. Близъ самой оконечности горнаго мыса, на полугорѣ, подымаются башни волшебной Альгамбры, еще выше красуются и зеленѣютъ тѣнистые сады Хенералифа. Еслибъ мавры не оставили, кромѣ этихъ двухъ зданій, никакихъ другихъ слѣдовъ своего владычества въ Испаніи, то и тогда бы мы имѣли высокое понятіе объ изящномъ вкусѣ, просвѣщеніи и могуществѣ ихъ царей. Когда подумаешь, сколько народовъ исчезло совершенно съ лица земли, и какъ измѣнились тѣ, которые еще хотя по имени существуютъ! Прошу отгадать въ кочующихъ по африканскимъ берегамъ Средиземнаго моря дикихъ, необразованныхъ бедуинахъ этихъ поэтическихъ мавровъ съ ихъ просвѣщеніемъ, роскошью и рыцарскими нравами; или не угодно ли вамъ открыть какое-нибудь сходство у нынѣшняго грека, который торгуетъ финиками, съ какимъ-нибудь ученикомъ Сократа или собесѣдникомъ Перикла и Алкивіада.

Я занимаю нѣсколько комнатъ въ лучшей гренадской фондѣ; она у самыхъ воротъ, которыми выѣзжаютъ на площадь *Виварамбла*. Содержатель этой гостиницы, Франциско Гонзалецъ, умный и весьма услужливый эстрамадурецъ; она взялся быть моимъ путеводителемъ во все время пребыванія моего

въ Гренадѣ, которое, впрочемъ, будетъ непродолжительно: я проживу здѣсь не болѣе недѣли. Въ Севильѣ нашъ русскій консулъ далъ мнѣ рекомендательное письмо къ одной изъ первыхъ здѣшнихъ *донасъ*, графинѣ Біанкѣ Аладерра. Я отослалъ его вчера съ трактирнымъ слугою и сегодня приглашенъ къ этой графинѣ на рефреско *).

Я сижу за письменнымъ столомъ противъ открытаго окна; передо мною вся площадь. Наши понятія о городскихъ домахъ не имѣютъ ничего общаго съ тѣмъ, что теперь у меня передъ глазами. Представьте себѣ высокіе не кирпичные, а каменные дома, у которыхъ черепичныя кровли опускаются навѣсомъ; у многихъ домовъ онѣ такъ далеко выдаются впередъ, что ихъ поддерживаютъ желѣзныя, а иногда простыя деревянныя подпорки. Я не умѣю вамъ сказать, какой архитектуры эти дома; во всякомъ случаѣ, въ нихъ вовсе не замѣтна *симметрія*, такъ строго наблюдаемая въ нашихъ городскихъ зданіяхъ. Подлѣ большого окна маленькое, въ одномъ и томъ же этажѣ одинъ балконъ выше другого, рядомъ съ обыкновеннымъ входомъ, готическая, украшенная рѣзьбою дверь. Вотъ домъ, у котораго одна часть нижняго этажа обложена въ ростъ человѣческій расписными изразцами, а другая даже не выкрашена; подлѣ него зданіе, которое напоминаетъ итальянскую виллу съ плоскою кровлею, но къ нему пристроены какія-то башеньки и странные мезонины въ мавританскомъ вкусѣ; нѣсколько подалѣе пятиэтажный, похожій на башню домъ; у него, вмѣсто балкона, прилѣплена къ стѣнѣ каменная избушка съ тремя окнами и черепичной кровлей. Подъ этимъ висячимъ домикомъ, между шоколадной фабрикой и лавкой съ съѣстными припасами, часовня, которой вся внутренность украшена цвѣтами. Почти подъ каждымъ окномъ балконъ. У насъ наружныя занавѣски, которыя мы называемъ *маркизами*, очень красивы, а здѣсь, напротивъ, онѣ безобразятъ лицевую сторону дома. Если эта занавѣска опущена, то мотается просто какъ скатерть или простыня, которую просушиваютъ на солнышкѣ, если же она подобрана, то вы подумаете, что это небрежно скатанный кусокъ холста, который, неизвѣстно для чего, прихватили ремнями къ стѣнѣ и повѣсили надъ окномъ. Вся эта пестрота и, если такъ можно выразиться, архитектурная разноголосица, имѣетъ, однако жъ, свою прелесть. Классическая стройность нашихъ петербургскихъ зданій такъ однообразна! При первомъ взглядѣ, ихъ изящная архитектура поражаетъ насъ удивленіемъ, но мы скоро привыкаемъ къ этимъ величественнымъ портикамъ, безпорожнымъ фронтонамъ, симметрическимъ противуположностямъ и широкимъ, прямымъ улицамъ. Мы желали-бы иногда зайти въ узенькій переулокъ, который извивается какъ дорожка въ англійскомъ саду; желали бы встрѣтить рядомъ съ греческимъ храмомъ какой-нибудь архитектурный капризъ. Наше любопытство и вниманіе поддерживается разнообразіемъ, а все одно да одно, какъ-бы оно ни было прекрасно, сначала приглядится, а тамъ надоѣстъ...

Вотъ уже около часу, какъ я не могу оторваться отъ окна. Какая жизнь на этой площади! У дверей каждаго дома сидятъ отдѣльными группами мужчины и женщины. Въ одномъ мѣстѣ поютъ, въ другомъ раздаются тихіе аккорды благозвучной испанской гитары. Здѣсь площадный музыкантъ забавляетъ толпу своимъ искусствомъ: онъ бьетъ правой рукой въ барабанъ, а лѣвою играетъ на какой-то дудкѣ. Вонъ тамъ вдали, за большой толпою народа, кажется, пляшутъ... да! такъ точно! до меня долетаютъ рѣзкіе звуки андалузскихъ кастаньетовъ. Вся площадь кипитъ народомъ. Какая пестрота! Вотъ алжирскій мавръ въ щеголеватой одеждѣ мамелюка; онъ разговариваетъ съ туниссскимъ бедуиномъ, закутаннымъ въ свой бѣлый плащъ; тутъ босой кармелитскій монахъ толкуетъ съ чернобородымъ *хитано*, у котораго на ногахъ что-то похожее на древнія котурны. Подъ моимъ окномъ сидитъ длинный, худощавый и прегордый испанецъ съ огромными усами, въ изломанной шляпѣ съ высокой тульею; изношенная капа, то-есть епанча, въ которую онъ закутанъ, вся въ дырахъ и заплатахъ: это нищій. Вотъ онъ останавливаетъ одного полупьянаго крестьянина. Не угодно ли вамъ послушать, какъ онъ проситъ у него милостыню? «Сеноръ гидальго—то-есть господинъ дворянинъ,—извините! у меня нѣтъ мелкихъ денегъ». Крестьянинъ даетъ ему мараведисъ, нищій приподымаетъ свою шляпу и говоритъ преважно! «Сеноръ кабалеро! я вашъ должникъ». Подлѣ этого церемоннаго нищаго два пастуха съ Сіерра-Морены, въ овчинныхъ *чупахъ*, напоминающихъ черкесскія бурки, говоря межъ собою, величаютъ другъ друга кавалерами. Недалеко отъ нихъ монахъ доминиканскаго ордена продаетъ чотки старой дуэньѣ *). Вотъ идетъ стройная какъ пальма и, кажется, молоденькая *донасъ*; ея дѣтскія ножки обуты въ черные атласные башмаки; она завернулась въ свою баскинью **); на головѣ ея развивается, закинутая назадъ, бѣлая *мантилья* ***). Вотъ она проходитъ мимо моего окна. Я не ошибся: она молода и прекрасна. Черные, огненные глаза ея устремлены съ любовью на молодого человѣка въ зеленомъ фракѣ и трехугольной шляпѣ; одной рукой онъ поправляетъ накинутый на лѣвое плечо

*) *Званый вечеръ.*

*) Старуха, нянюшка.

**) *Баскинья*—широкое верхнее платье.

***) Мантилья—головной уборъ, родъ покрывала.

щеголеватый *табарро* *), въ другой держитъ опахало своей дамы; она называетъ его вполголоса: «mi amigo»! Теперь понимаю: этотъ молодой человѣкъ ея кортехо **). Позади ихъ, шагахъ въ десяти, идетъ мужчина, закутанный въ черную капу; шляпа его надвинута на глаза, одна рука прижата къ груди. Если не ошибаюсь, онъ держится ею за рукоятку своего кинжала... Такъ точно! Это не мужъ хорошенькой донасъ, а ревнивый соперникъ, который ожидаетъ удобнаго случая, чтобы отправить на тотъ свѣтъ счастливаго кортехо. Я говорю *счастливаго*, потому что этотъ кажется мнѣ такимъ, а по большей части участь этихъ *официальныхъ* обожателей вовсе незавидна. Кортехо прекрасной и даже непрекрасной женщины отправляетъ должность безсмѣннаго ординарца, и находится при ней для однихъ посылокъ. Онъ можетъ только вздыхать, жаловаться на свою судьбу и любить жестокую точно такъ же, какъ любилъ Донъ-Кихотъ свою дульцинею, то-есть самымъ рыцарскимъ и безкорыстнымъ образомъ. Но вотъ толпа, посреди которой слышенъ былъ звукъ кастаньетъ, разступилась; танцовщикъ и танцовщица выходятъ на середину площади. Не знаю, что они танцовали, веселое *фанданго* или разгульное *болеро*, но ужъ вѣрно не плавную *сардану* и не тяжелую *капону*: они такъ устали! такъ раскраснѣлись! Вотъ они подходятъ ближе къ моему окну... А! да эта парочка одѣта въ щегольское національное платье; это молодецъ вѣрно одинъ изъ первыхъ андалузскихъ *махо* ***), да и подруга его настоящая *маха*. У мужчины на головѣ длинная шелковая *резедилья* (сѣтка); онъ одѣтъ въ свѣтлосинюю бархатную куртку, обшитую золотой бахрамою, съ богатыми парчевыми наплечниками; подъ нею жилетъ песочнаго цвѣта, выложенный золотыми шнурками; онъ подпоясанъ пунцовымъ кушакомъ; на лѣвомъ плечѣ мастерски драпирована темнозеленая капа. На головѣ у дѣвушки ярко вызолоченный гребень съ коронкою; изъ-подъ него опускается бѣлая кисейная мантилья; голубой корсетъ не стягиваетъ, а только обрисовываетъ ея прелестный станъ; на рукавахъ ея оплечья или береты изъ золотой матеріи; коротенькая розовая юбочка, обшитая въ нѣсколько рядовъ черной шелковой бахромою, бѣлые чулки съ цвѣтными стрѣлками, желтые башмаки, и въ рукѣ не опахало, а чотки. Вотъ день начинаетъ вечерять; число гуляющихъ примѣтно умножается; площадь становится шумнѣе; пронзительные крики разносчиковъ покрываютъ глухой говоръ толпы; въ двадцати различныхъ мѣстахъ раздаются осиплые голоса старухъ; онѣ кричатъ: «Аква фреска! аква фрескита! (свѣжая вода). Вотъ послышался вдали звонъ колокольчика. Вдругъ, какъ по мановенію волшебнаго жезла, по всей площади разливается мертвая тишина: изъ переулка показалось нѣсколько священниковъ въ полномъ облаченіи: они несутъ святые дары къ умирающему. Когда процессія вышла на площадь, тысячи головъ склонились долу, многіе падаютъ на колѣни и повергаются во прахъ передъ несомымъ въ торжествѣ святымъ потиромъ. Я не могу описать впечатлѣнія, которое производитъ на душу это внезапное молчаніе; изрѣдка прерываемое вздохами и тихой молитвою многолюдной толпы, за минуту до того шумной и веселой; невольно преклоняются конѣни и сладостное умиленіе проникаетъ въ сердце. Боже мой! какого высокаго наслажденія лишенъ тотъ, кто не вѣруетъ; никогда въ этой земной жизни душа его, подавленная страстями, побѣжденная тѣломъ, не воспрянетъ отъ своего мертваго сна; никогда не почувствуетъ она того, что чувствуетъ грѣшникъ христіанинъ, когда раскаяніе, а вмѣстѣ съ нимъ и любовь коснутся безсмертной души его, когда онъ въ восторгѣ неизъяснимой радости воскликнетъ: «Живъ Богъ, жива душа моя!»

Я ѣздилъ сейчасъ въ наемной каретѣ (caleseros) къ графинѣ Біанкѣ Аладерра, но, къ сожалѣнію, мнѣ не удалось посмотрѣть, что такое испанское *рефреско*. Графиня получила извѣстіе, что одинъ изъ дальнихъ ея родственниковъ скончался. Хотя она вовсе не была огорчена этой смертію, но должна была отмѣнить свой бальный вечеръ. Вѣроятно, я, какъ иностранецъ, какъ *сеньоръ русіано*, не попалъ въ число тѣхъ гостей, которымъ велѣно было отказывать. У дверей дома встрѣтилъ меня дворецкій ея сіятельства, одѣтый съ головы до ногъ въ черное. Я прошелъ вслѣдъ за нимъ узкимъ корридоромъ, въ концѣ котораго двое слугъ, въ богатыхъ ливреяхъ, растворили широкую дверь, и я увидѣлъ передъ собою четырехсторонній дворъ, вымощенный каменными плитами; посреди его, въ мраморномъ бассейнѣ билъ фонтанъ. Три стороны этого двора, который испанцы называютъ patio, составлялись изъ внутреннихъ стѣнъ дома, прорѣзанныхъ двухэтажными аркадами; четвертая, обращенная ко входу, имѣла во второмъ этажѣ одно только большое окно съ балкономъ. Подъ нижними арками были стеклянныя двери; онѣ служили въ одно время и входомъ и освѣщеніемъ для отдѣльныхъ комнатъ, изъ которыхъ составлялся весь первый этажъ дома. Въ ненастную погоду и полуденный жаръ, этотъ дворъ, служащій обыкновенно пріемной залою для хозяина,

*) Табарро—короткій плащъ.

**) Кортехо тоже самое, что чичизбей въ Италіи.

***) Махо и маха, простонародные щеголь и щеголиха.

накрывается холстиннымъ потолкомъ, и тогда онъ очень походитъ на огромную палатку. Вдоль стѣнъ этой полувоздушной гостиной разбросаны были клумбы цвѣтовъ и благовонныхъ кустарниковъ. Хозяйка дома и нѣсколько другихъ дамъ сидѣли противъ самаго входа, на низкомъ диванѣ или, лучше сказать, на простой скамьѣ, обитой шерстяной матеріею; съ правой стороны, въ широкихъ креслахъ, покоилась какая-то духовная особа. Я тотчасъ догадался, что это долженъ быть гренадскій епископъ, потому что его безпрестанно величали: *Усія илюстриссима*. По лѣвой сторонѣ стояло нѣсколько порожнихъ стульевъ, и сидѣлъ важный испанскій грандъ, первой или второй степени, право, не знаю. Я отгадалъ его званіе потому, что графиня Аладерра и старая *дукеса* (герцогиня), которая сидѣла съ ней рядомъ, говорили ему *ты*, и онъ отвѣчалъ имъ тѣмъ-же*). Хозяйка сдѣлала нѣсколько шаговъ мнѣ навстрѣчу и проговорила съ ласковой улыбкою: «Senor caballero, me alegro di ver que su merced estra bueno!» то есть: «Господинъ кавалеръ! я радуюсь, что вижу васъ въ добромъ здоровьѣ!» Я отвѣчалъ ей на это: «Viva su exellenza mille anos!—Да живетъ ваше превосходительство тысячу лѣтъ!»—Потомъ графиня сѣла на прежнее мѣсто, а я занялъ одинъ изъ порожнихъ стульевъ. Послѣ нѣсколькихъ вопросовъ, сдѣланныхъ хозяйкою о томъ, нравится ли мнѣ Гренада, и долго ли я въ ней пробуду, старая дукеса спросила меня, какую исповѣдуютъ вѣру въ Россіи? Разумѣется, я отвѣчалъ, что мы христіане. Усія илюстриссима, то есть епископъ, улыбнулся, а испанскій грандъ повторилъ сквозь зубы: «Христіане! то есть лютеране?»

— Извините, экселенція! мы греческаго исповѣданія.

— Да это все одно и то-же! Во всякомъ случаѣ, сеноръ кабалеро, я васъ поздравляю, что вы не французъ. Русскій чему-нибудь да вѣритъ, а французъ!.. Этотъ пагано, магометано, демоніо!..

— Ah! Maria santissima!—вскричала хозяйка,—какъ можно такъ ругать французовъ? Они католики.

— Да, конечно,—прервалъ съ улыбкою епископъ,—и Вольтеръ былъ католикъ.

— Вольтеръ!—воскликнулъ экселенція;—этотъ богоотступникъ, для котораго не было ничего святого? Онъ католикъ?.. Vulgame Dios!

— Скажите, сеноръ русіано,—продолжала хозяйка, обращаясь ко мнѣ,—ваша свита скоро сюда будетъ?

— Моя свита, графиня?.. У меня нѣтъ никакой свиты. Со мною одинъ слуга.

— Возможно ли? Такой богатый и знатный гидальго, какъ вы?.. Но, можетъ быть, вы любите путешествовать инкогнито?..

— Ай, ай!—подумалъ я,—видно, нашъ консулъ не поскупился надѣлить меня въ своемъ рекомендательномъ письмѣ и знатностью и богатствомъ!—Старая *дукеса* принялась разспрашивать меня о Россіи, и когда я сказалъ ей, что у насъ теперь, то есть въ январѣ мѣсяцѣ, всѣ рѣки покрыты толстымъ льдомъ, а на улицу нельзя выйти безъ шубы, то она всплеснула руками и закричала: «О, buenna santa Barbara!.. Да что жъ это за земля такая?» Чтобъ разсѣять непріятное впечатлѣніе, произведенное моимъ разсказомъ, я сталъ ей говорить о петербургскихъ зимнихъ забавахъ, театрахъ, великолѣпныхъ балахъ, концертахъ, а когда дѣло дошло до санной ѣзды и нашихъ зимнихъ катаній, то я сдѣлался настоящимъ восточнымъ поэтомъ. Я разсказывалъ ей, какъ у насъ зимою лунныя ночи свѣтлѣе лѣтняго дня, какъ всѣ деревья, вмѣсто увядшихъ, запыленныхъ листьевъ, осыпаны лебяжьимъ пухомъ, поля и горы покрыты не пожелтѣлой травою, а усѣяны толченными алмазами, изумрудами и мелкимъ жемчугомъ, какъ наши барыни, закутанныя въ собольи шубы, летаютъ по гладкой, какъ мраморъ, дорогѣ, въ раззолоченныхъ саняхъ, и какъ всѣ онѣ кажутся прекрасными, когда ихъ лилейныя щеки горятъ и пылаютъ отъ нашего русскаго мороза. Всѣ слушали меня съ большимъ вниманіемъ, а особливо одна разрумяненная донасъ, помоложе другихъ, которую хозяйка называла Серафимою. Она не скрывала своего восторга и безпрестанно прерывала мой разсказъ восклицаніями: «О, santa Maria! Какъ хороша русская зима! Famoso! Dilicioso!» Я давно уже замѣтилъ, что эта донна Серафима очень ласково на меня посматриваетъ... Она не дурна собою: у нея большіе, прекрасные глаза, но они уже слишкомъ напоминаютъ *пламенный югъ*. Какъ она на меня смотрѣла!.. Съ какимъ простодушіемъ эти черные блестящіе глаза высказывали мнѣ, что мои свѣтлорусые волосы и сѣверная моя физіономія ей очень нравятся. Въ первый еще разъ, разумѣется, съ тѣхъ поръ, какъ вышелъ изъ дѣтства, я не могъ выдержать взгляда женщины, вовсе для меня неинтересной, и покраснѣлъ какъ восьмилѣтній ребенокъ. Я пробылъ у графини Аладерра часа полтора и, выпивъ чашку шоколада, отправился домой.

Сегодня я смотрѣлъ здѣшнюю каѳедральную церковь; вѣроятно, она показалась бы мнѣ великолѣпною, если-бъ я не видѣлъ Севильскій соборный храмъ, который можетъ по справедливости назваться чудомъ готической архитектуры и, конечно, не имѣетъ себѣ равнаго, потому что соборная церковь въ Кельнѣ не достроена; она одна могла бы,

*) *Испанскіе гранды и вообще* всѣ знатные говорятъ *другъ другу: ты.*

по своему колоссальному объему, стать рядомъ съ этимъ необъятнымъ зданіемъ, посвященнымъ истинному Богу. Изъ собора я отправился гулять въ *Paseo*—такъ называется гренадская *Аламеда* или публичное гулянье. Оно расположено по правому берегу Хениля. Представьте себѣ длинную, усыпанную пескомъ площадь шаговъ въ пятьдесятъ шириною; по обѣимъ сторонамъ ея тянутся густыя аллеи изъ вязовъ и пахучихъ акацій, опушенныя сплошными кустами розановъ, жасминовъ и другихъ благовонныхъ растеній. На одномъ концѣ этой площади вы видите великолѣпный водометъ, за которымъ начинаются гористыя мѣста, покрытыя густымъ лѣсомъ. На противоположной сторонѣ гулянья возвышаются уступами городскія зданія, виноградники и окруженный со всѣхъ сторонъ рощами обширный монастырь, закрывающій собою Альямбру и часть Хинералифа, а надъ всѣмъ этимъ изгибистая и зубчатая вершина подоблачной *Сіерры Невады*. Гуляющихъ было очень много. Въ нашихъ и вообще во всѣхъ европейскихъ публичныхъ мѣстахъ, мужчины составляютъ темную и однообразную часть гуляющей толпы; вся пестрота, всѣ яркіе цвѣта принадлежатъ женщинамъ: ихъ разноцвѣтныя шляпки, шали, косыньки и платья рѣзко отдѣляются отъ мужскихъ черныхъ шляпъ и платьевъ, обыкновенно самыхъ темныхъ цвѣтовъ. Въ Испаніи, напротивъ, женщины, по большей части, одѣты въ черномъ, и почти всѣ въ своихъ боскиньяхъ одинаковаго покроя, въ то время, какъ вы встрѣчаете на каждомъ шагу монаховъ въ сѣрыхъ и бѣлыхъ рясахъ, офицеровъ въ щеголеватыхъ разноцвѣтныхъ мундирахъ, молодыхъ людей, одѣтыхъ по послѣдней парижской модѣ и патріотовъ въ національной, блестящей золотомъ одеждѣ.

Возвращаясь домой, я услышалъ, что изъ второго этажа одного дома, мимо котораго я проходилъ, прошептали вполголоса: «Сеноръ кабалеро!» Я поднялъ голову: на балконѣ стояла женщина въ покрывалѣ; она сдѣлала мнѣ знакъ рукою, бросила что-то къ моимъ ногамъ и скрылась. Признаюсь, я очень удивился, когда поднялъ брошенную вещь, и увидѣлъ, что это четки. Странный подарокъ!—Ужъ не приняла ли меня эта донасъ за какого нибудь другого!—подумалъ я и хотѣлъ было войти въ домъ, чтобъ узнать отъ нея самой, нѣтъ ли тутъ какой-нибудь ошибки, но мнѣ пришло въ голову, что я могу встрѣтиться съ ревнивымъ мужемъ или строгимъ отцомъ, и я, постоявъ нѣсколько минутъ на улицѣ, рѣшился, наконецъ, идти домой.

—

Вчера я заѣзжалъ опять къ графинѣ Аладерра. Она разспрашивала меня о будущихъ моихъ путешествіяхъ и, казалось, очень обрадовалась, когда я сказалъ, что можетъ быть останусь навсегда жить въ Андалузіи. Не знаю, къ чему завела она рѣчь о своей пріятельницѣ, доннѣ Серафимѣ, только цѣлый часъ читала мнѣ похвальное слово этой зрѣлой дѣвицѣ и всему ея родству. Просидѣвъ часа два у графини, я отправился домой, гдѣ хозяинъ фонды, Франциско Гонзалецъ, дожидался меня, чтобъ идти смотрѣть вмѣстѣ со мною Альямбру и Хенералифъ. Пообѣдавъ на скорую руку, мы отправились пѣшкомъ и прямо съ площади стали подыматься въ гору по узкой улицѣ, называемой Zacatin, знаменитой во время мавровъ своими богатыми лавками, въ которыхъ продавались драгоцѣнные каменья, восточный жемчугъ и золотыя вещи. Менѣе чѣмъ въ полчаса мы дошли до *воротъ суда*, главнаго входа въ отдѣльную часть города, окруженную до половины разрушенными стѣнами. Пройдя нѣсколько сотъ шаговъ, мы вышли другими воротами на большую площадь и увидѣли передъ собою высокую стѣну, посреди которой возвышалась необъятной величины четырехсторонняя башня, съ небольшими и очень низкими воротами: это была Альямбра. Признаюсь, я ожидалъ совсѣмъ другого Мой товарищъ поглядѣлъ на меня съ улыбкою и сказалъ:—Не торопитесь судить о нашей красавицѣ. Альямбра стыдливая восточная дѣвушка; эта стѣна служитъ ей покрываломъ, но загляните только за него, и вы увидите, что она, несмотря на свою древность, прекрасна, какъ безсмертная гурія Магометова рая.

Онъ сказалъ правду. Пройдя первый дворъ, вымощенный бѣлыми мраморными плитами, мы вошли воротами, также изъ бѣлаго мрамора, на другой дворъ, называемый Patio de la Alberca. Всю его середину занимаетъ огромный бассейнъ; въ прозрачной водѣ его, какъ въ опрокинутомъ зеркалѣ, отражаются куртины пахучихъ кустарниковъ и цвѣтовъ, два красивыхъ водомета, узорчатыя стѣны зданія и легкія, воздушныя аркады внутренняго портика. Подлѣ одного изъ фонтановъ, на разостланномъ коврѣ, сидѣло нѣсколько дѣвушекъ; онѣ слушали молодого человѣка, который игралъ на гитарѣ какую-то заунывную пѣсенку. Все это вмѣстѣ было такъ живописно, такъ прекрасно! и все это было только преддверіемъ чудесъ восточнаго зодчества, поразившихъ меня удивленіемъ, когда мы пошли далѣе. Есть предметы, которыхъ описаніе недоступно не только для прозаиста, но даже для самаго вдохновеннаго поэта. Къ числу ихъ принадлежитъ изящная, но въ тоже время капризная архитектура древнихъ мавровъ. Какъ могу я передать впечатлѣніе, произведенное на меня залою Абенсераговъ, судебной палатою или знаменитымъ дворомъ Львовъ? Что поймете вы изъ моихъ словъ, если я стану вамъ разсказывать, что видѣлъ безчисленное множество двойныхъ колоннъ

изъ бѣлаго мрамора, который такъ стройны и такъ легки, что, кажется, вовсе не поддерживаютъ своды, а какъ будто бы висятъ на воздухѣ; какъ опишу я вамъ эти готическія зубчатыя арки, обложенныя мраморною бахромою, эту яркую пестроту, эти безконечно разнообразные узоры, которыми покрыты всѣ стѣны и это, — извините смѣлость выраженія, — это каменное кружево, которое изгибается сводомъ или виситъ фестонами надъ вашей головою? Всѣ мои слова будутъ для васъ одними звуками, не выражающими никакой мысли, и безъ помощи живописи не дадутъ вамъ ни малѣйшаго понятія объ этой диковинной Альямбрѣ, въ которой все прекрасно, и ничто не походитъ на то, что мы привыкли называть прекраснымъ.

Изъ Альямбры мы отправились въ Хенералифъ. Этотъ *потѣшный* дворецъ древнихъ царей мавританскихъ почти то-же самое, что Альямбра, только въ гораздо меньшемъ размѣрѣ. Онъ славится своими садами, которые расположены позади него уступами до самой вершины горы. Видъ съ верхней террасы на обширную Гренадскую долину прекрасенъ, но собственно сады показались мнѣ весьма обыкновенными. Эти крытыя аллеи изъ рѣдко посаженныхъ кипарисовъ, эти узенькія прямыя канавки, симметрически расположенные фонтаны и обдѣланныя камнемъ террасы, все напоминаетъ наши регулярные сады, которые такъ несносны своимъ однообразіемъ и математическою правильностію. Возвращаясь назадъ, я разстался съ моимъ хозяиномъ у самыхъ Гренадскихъ воротъ; онъ зашелъ къ какому-то знакомому, а я отправился домой. Я шелъ, задумавшись, по улицѣ, пробираясь сторонкою подлѣ домовъ; вдругъ мнѣ послышалось, что кто-то кашляетъ; я взглянулъ кверху... А! это тотъ самый домъ, изъ котораго вчера мнѣ бросили чотки, и, кажется, на балконѣ стоитъ та-же самая донасъ, которой угодно было сдѣлать мнѣ этотъ чудный подарокъ. Такъ точно! Она дѣлаетъ мнѣ какіе-то знаки руками; къ сожалѣнію, я вовсе не знаю этого нѣмого языка, которымъ въ Испаніи любовники разговариваютъ межъ собою и понимаютъ другъ друга какъ нельзя лучше. Впрочемъ, вѣжливость не бѣда: на всякій случай, я снимаю шляпу и кланяюсь. Сеньорита бросаетъ что-то къ моимъ ногамъ. Не опять ли чотки?.. Нѣтъ! букетъ цвѣтовъ. Въ то время, какъ я нагибался, чтобъ поднять этотъ второй подарокъ, она исчезла съ балкона. Посмотримъ, нѣтъ ли чего-нибудь въ этомъ букетѣ?—Ну! такъ и есть: записка! Я съ трудомъ разобралъ нѣсколько словъ, написанныхъ весьма дурнымъ почеркомъ. Вотъ содержаніе этой странной записки:

«Сеноръ кабалеро! Отдайте мнѣ золотое колечко, которое вы носите на правой рукѣ. *Вы согласны* сдѣлать мнѣ этотъ подарокъ, *пришлите завтра поутру* въ Кармелитскій монастырь; у дверей церкви будетъ васъ дожидаться женщина въ темнозеленой баскиньѣ; она подойдетъ къ вамъ и скажетъ: «Viva usted mil anos» — Вы можете смѣло отдать ей ваше кольцо».

Если бъ я не былъ въ Андалузіи, то подумалъ бы, что-какая-нибудь проказница хочетъ надо мною позабавиться, но я такъ много читалъ объ испанскихъ любовныхъ приключеніяхъ, которыя вовсе не походятъ на наши, что рѣшился посмотрѣть, чѣмъ все это кончится. Мнѣ совсѣмъ не трудно было разстаться съ этимъ колечкомъ; его подарила мнѣ одна изъ моихъ правнучатныхъ тетушекъ, которая лѣтъ пять тому назадъ заняла у меня на три дня двѣ тысячи рублей и съ тѣхъ поръ платитъ мнѣ проценты своей родственной любовью. На другой день, то есть сегодня я написалъ записку, въ которой увѣдомлялъ мою незнакомку, что посылаю къ ней кольцо, и въ то-же время прощаюсь съ нею, потому что черезъ два дня уѣзжаю изъ города, въ которомъ она живетъ, но что я никогда не разстанусь съ ея чотками, которыя будутъ мнѣ напоминать, какъ привѣтливы и любезны гренадскія красавицы. Завернувъ въ эту записку мое кольцо, я отправился часу въ десятомъ въ Кармелитскій монастырь. На церковной паперти встрѣтила меня старушка, въ темнозеленомъ верхнемъ платьѣ и черной мантильѣ, которая, къ несчастію, была закинута назадъ и вовсе не закрывала самаго безобразнаго и отвратительнаго лица испанской дуэньи, которыя вообще не очень красивы собою. Она пробормотала мнѣ на ухо: «Viva usted mil anos!», взяла записку и бросилась отъ меня опрометью, какъ будто бы боялась, чтобъ я не передумалъ и не отнялъ у нея назадъ моего подарка.—Что жъ это значитъ?.. Ужъ не показалось ли моей незнакомкѣ... Ахъ! въ самомъ дѣлѣ!.. Несчастная донасъ! какой будетъ для тебя непріятный сюпризъ!.. Въ моемъ кольцѣ вставленъ довольно большой сибирскій *тяжеловѣсъ:* вѣрно, ты приняла его за дорогой солитеръ?.. Бѣдняжечка!.. Думала ли ты, моя почтенная тетушка, что изъ-за твоего тридцатирублеваго колечка будетъ такъ хлопотать какая-нибудь черноглазая донасъ, у которой отецъ, быть можетъ, благороднѣе самого короля *)!

Изъ монастыря я отправился полюбоваться еще разъ Альямброю и, возвращаясь назадъ, прошелъ мимо дома, въ которомъ жила моя незнакомая красавица. Видно, она цѣлый день не сходитъ съ балкона! Лишь только я показался на концѣ улицы, она сняла тотчасъ перчатку съ правой руки, и на ея пальцѣ заблисталъ мой сибирскій тяжеловѣсъ. Въ ту самую минуту, какъ я взялся за

*) Многіе изъ испанскихъ дворянъ совершенно увѣрены въ этомъ.

шляпу, что бъ ей поклониться, она приподняла свое покрывало.—Ба, ба, ба!.. да это пріятельница графини Аладерра, это донна Серафима!.. Такъ вотъ почему мнѣ такъ ее расхваливали и такъ много говорили о ея благородномъ родствѣ! Вотъ что! Я вижу, тутъ дѣло идетъ о женитьбѣ. Слуга покорный! Я отвѣсилъ ей пренизкій поклонъ и скорымъ шагомъ прошелъ мимо дома. Нѣтъ, почтенная донасъ! У васъ хорошенькіе глазки, не спорю! Вы дочь дона Педра де Кухельеро и Гарція де Ласо и Конде де Монтиго, и прочая, и прочая, вы племянница его преосвященства, епископа Гренадскаго, внучатная сестрица Севильскаго корехидора: все это прекрасно, и вы себѣ можете на здоровье владѣть моимъ колечкомъ, но ужъ обручальными кольцами мы, вѣрно, съ вами не помѣняемся!

Что это знаичитъ? Понять не могу! Я сижу въ тюрьмѣ; за что? Вѣрно, меня взяли по какой-нибудь ошибкѣ? Сбиры, которые остановили меня сегодня на улицѣ и привели сюда, не знаютъ ничего, они получили только приказаніе отъ Алькадъ-маіора схватить меня, и, надобно сказать правду, исполнили это довольно вѣжливо. Я не могу также пожаловаться на мою комнату; если бъ окна были безъ желѣзныхъ рѣшетокъ, то я, право, не догадался бы, что сижу въ тюрьмѣ. Но вотъ, кажется, кто-то идетъ; авось узнаю, за что отвели казенную квартиру. . . . .

. . . . . .

. . . . Ну! признаюсь, этого ужъ я никакъ не ожидалъ! Вотъ подлинно вѣкъ живи, вѣкъ учись! У меня былъ сейчасъ викарій здѣшняго епископа.

— Сеноръ кабалеро!—сказалъ онъ, садясь подлѣ меня на стулѣ,—позвольте васъ спросить: вы не женаты?

— Нѣтъ, сеноръ викаріо!

— Я былъ въ этомъ увѣренъ. Истинный гидальго, какой бы онъ націи ни былъ, всегда честенъ и благороденъ.

— Покорнѣйше Васъ благодарю! Но я, право, не понимаю, почему я честенъ и благороденъ, потому только, что не женатъ?

— Вы сейчасъ это узнаете: я присланъ къ вамъ отъ донны Серафимы де-Кухельеро, законной вашей супруги.

Я остолбенѣлъ отъ удивленія.

— Да!—повторилъ викарій, — отъ вашей законной супруги, ожидающей съ нетерпѣніемъ, чтобъ церковъ освятила этотъ бракъ, который обѣщаетъ вамъ такъ много счастія въ будущемъ.

— Помилуйте!—вскричалъ я,—да за кого вы меня принимаете?

— Вы русскій путешественникъ, съ которымъ Уссія иллюстриссима, нашъ гренадскій архипастырь, имѣлъ удовольствіе познакомиться у родственницы своей графини Аладерра.

— Такъ почему же вы называете донну Серафиму моей женою?

— Потому что вы обручены.

— Помилуйте, что вы?.. какъ обученъ?

— Вы искали ея руки.

— Никогда!

— Позвольте! Вы ли писали эту записку?

— Да! это моя записка.

— Говорила ли вамъ графиня Аладерра, что донна Серафима дѣвица?

— Говорила; и я отъ всей души жалѣлъ, что она до сихъ поръ не нашла себѣ мужа.

— И, вѣроятно, для этого подарили ей кольцо? Подумайте хорошенько: кольцо! священный залогъ супружества!

— Да я подарилъ бы его и вамъ, если бъ вы стали меня объ этомъ просить

— Донна Серифима въ отчаяніи, что должна была прибѣгнуть къ правосудію и потребовать, чтобъ васъ задержали въ Гренадѣ; но вы хотѣли уѣхать, покинуть навсегда эту благородную дѣвицу, такъ жестоко вами обольщенную!

— Обольщенную! Да помилуйте! кто ее обольщалъ? Я и въ лицо-то ее хорошенько не знаю.

— Вы писали къ ней письмо, подарили ей кольцо, а по нашимъ духовнымъ и гражданскимъ законамъ это все то же, если бъ вы обѣщали на ней жениться.

— Что вы, сеноръ викаріо! Да если бъ я женился на всѣхъ тѣхъ, которымъ дарилъ колечки и писалъ письма, то мнѣ пришлось бы сдѣлаться магометаниномъ.

— Ah san Fabrizio! Прилично ли христіанину говорить такія рѣчи? Перестаньте, сеноръ кабалеро, перестаньте, а отвѣчайте мнѣ лучше рѣшительно, согласны ли вы освятить таинствомъ брака вашъ союзъ съ донной Серафимою де-Кухельеро?

— Да какой у меня союзъ съ вашей донной Серафимой де-Кухельеро?—вскричалъ я съ досадою; — я ее не знаю, да и знать не хочу.

— Не сердитесь! — продолжалъ спокойно викарій,—я дамъ вамъ нѣсколько времени на размышленіе.

— Помилуйте! да о чемъ мнѣ думать!

— Такъ отвѣчайте на мой вопросъ: согласны ли вы жениться на доннѣ Серафимѣ или нѣтъ?

— Нѣтъ!

— Слѣдовательно,—сказалъ викарій, вставая,—духовная власть должна васъ передать въ руки власти гражданской. Прощайте, сеноръ русіано! Viva usted con Dios!

Я снова остался одинъ. Черезъ нѣсколько минутъ двери опять отворились, и вошелъ Никаноръ Федотычъ, за которымъ мнѣ позволили послать въ мою гостиницу.

— Что это, сударь?—вскричалъ онъ;—за что это васъ въ тюрьму засадили?

— За то, что я не хочу жениться.

— Какъ такъ?

— Да вотъ какъ видишь.

— Ахъ, батюшки! Да развѣ вы за когонибудь сватались?

— Нѣтъ! Я подарилъ одной барышнѣ золотое колечко или, лучше сказать, она у меня выпросила.

— Такъ что жъ?

— А то, что по здѣшнимъ обычаямъ я долженъ теперь на ней жениться.

— Женится? За то, что вы подарили ей колечко? Что за диковинка такая? Вотъ въ какую землю заѣхали!.. И вы женитесь?

— Ни за что на свѣтѣ.

— Ну, а если васъ изъ тюрьмы то безъ этого не выпустятъ?

— Нельзя же когда-нибудь не выпустить.

— А кто ихъ знаетъ! Вѣдь вы на чужой сторонѣ, вступиться за васъ некому. Э, сударь, знаете ли что? Вы человѣкъ заѣзжій, справляться негдѣ. Скажите, что вы женаты, такъ и всѣ концы въ воду.

— Я лгать не хочу.

— И, Владиміръ Сергѣевичъ! Что съ ними совѣститься, помилуйте! Кабы въ нихъ самихъ была какая ни есть совѣсть, такъ, чай-бы, подумали: «Онъ, дескать, человѣкъ чужеземный, небывалый, гдѣ ему знать всѣ всѣ наши повѣрья; вѣдь этакъ всякій проѣзжій дастъ маху, и его тотчасъ и въ тюрьму?» То-то и есть, сударь! Вы больно совѣстливы. Вотъ я не въ васъ: въ нашемъ трактирѣ у дворника есть дочка—воструха!.. да какая проворная! такъ у нея въ рукахъ все и горитъ! Вотъ ужъ подлинно на обухѣ рожь молотитъ! И собой недурна: чернѣнькая немного, да за то дѣвка ладная, аккуратная! Она, сударь, меня учитъ на гитарѣ, да какими-то щелкушками постукивать; и я также подарилъ ей вчера томпаковое колечко: дѣвка-то больно на него зарилась, а попытайся-ка она сунуться за меня замужъ, такъ я сейчасъ скажу:—Нѣтъ голубушка отваливай!.. У меня въ Москвѣ жена, да семеро дѣтей, малъ мала меньше! Вѣдь я не кто другой, съ меня взятки-то гладки! Хочешь любишь, хочешь нѣтъ, а ужъ на двухъ женахъ не женюсь.

— И тебѣ не совѣстно такъ безстыдно лгать?

— А имъ, сударь, не совѣтно хватать обманомъ въ мужья, какъ у насъ подчасъ хватаютъ въ рекруты? Что въ самомъ дѣлѣ? Взяла колечко, такъ мало? Давай еще и мужа въ придачу! Нѣтъ, жирно будетъ!

Я насилу могъ успокоить Никанора Федотыча, который такъ разгнѣвался на всѣхъ испанокъ, что, перестилая мою постель, продолжалъ ворчать про себя:—Видишь какія!.. Да и что онѣ такъ о себѣ думаютъ? Ужъ добро бы онѣ были какъ наши русскія красавицы: бѣлы, румяны, кровь съ молокомъ, а то вѣдь, правду-то сказать, и взглянуть не на что—цыганки проклятыя! Посмотришь, у иной рожа-то не бѣлѣй сапожнаго голенища, а туда-жъ манерится!.. Глаза, дескать, у нихъ хороши. Что глаза! глаза сами по себѣ! На однихъ глазахъ далеко не уѣдешь!

— Ну, вотъ прошу загадывать, думалъ ли я сегодня ночевать въ тюрьмѣ?.. Посмотримъ, что будетъ завтра.

Сегодня поутру меня водили къ гренадскому коррехидору; онъ принялъ меня со всею важностію испанскаго гранда и строгаго судьи, то-есть не снимая шляпы и не сдѣлавъ мнѣ ни малѣйшаго привѣтствія. Со стороны можно было бы подумать, что дѣло идетъ о какомъ-нибудь уголовномъ преступленіи и что я, по крайней мѣрѣ, смертоубійца.

— Сеноръ кабалеро! — сказалъ онъ, нахмуривъ свои черныя брови,—вы признались нашему великому викарію, что писали къ доннѣ Серафимѣ де-Кухельеро и подарили ей золотое кольцо?

— Я и не думалъ никогда въ этомъ запираться.

— Такъ для чего же вы хотѣли уѣхать изъ Гренады?

— Потому что не желаю оставаться здѣсь долѣе.

— Но вы могли бы это сдѣлать и послѣ вашей свадьбы съ донной Серафимою.

— Да я вовсе не намѣренъ на ней жениться.

— Мы это увидимъ! Быть можетъ, сеноръ русіано, въ вашемъ отечествѣ доброе имя благородной дѣвицы считаютъ за ничто, но вы теперь не въ Россіи, а въ Испаніи.

— И это очень замѣтно, экселенція! Въ Россіи ни одна благородная дѣвица не стала бы выпрашивать колечко у незнакомаго мужчины, а и того менѣе требовать, что бъ онъ на ней женился, потому что былъ вѣжливъ и не хотѣлъ огорчить ее отказомъ.

— Вы призваны сюда, — прервалъ коррехидоръ, — не для того, чтобъ осуждать поступки другихъ, но что бъ исполнить то, чего требуетъ отъ васъ справедливость и наши законы.

Тутъ неумолимый судья повторилъ мнѣ все то, что я уже слышалъ отъ викарія.

— Я долженъ вамъ сказать, — прибавилъ коррехидоръ, — что до тѣхъ поръ, пока вы не согласитесь итти къ вѣнцу съ донной Серафимою, вы будете сидѣть въ тюрьмѣ.

— Помилуйте, экселенція!—вскричалъ я,—заслуживаетъ ли мой совершенно неумышленный проступокъ вѣчнаго заключенія?

— Такъ вы не хотите жениться на доннѣ Серафимѣ?

— Нѣтъ!

— Мнѣ очень васъ жалъ, сеноръ русіано, но я просто исполнитель закона и ничего не могу для васъ сдѣлать; теперь ваша свобода зависитъ отъ васъ самихъ. Viva usted mil anos.

Коррехидоръ кивнулъ головою, и меня повели назадъ въ тюрьму. Я очень обрадовался, когда тюремщикъ сказалъ мнѣ, что въ моей комнатѣ дожидается хозяинъ фонды Франциско Гонзалецъ.

— Я только сегодня поутру узналъ, что съ вами случилось,—сказалъ онъ, когда мы остались одни. — Эхъ, сеноръ кабалеро, въ какую вы попали непріятную исторію!

— Растолкуйте мнѣ пожалуйста, — прервалъ я, — что это у васъ за обычай такой? Гдѣ видано хватать на улицѣ людей и заставлять ихъ насильно вѣнчаться съ дѣвицами, которыхъ они почти въ глаза не знаютъ?

— Этого рода женитьбы,—отвѣчалъ Франциско Гонзалецъ,—называется у насъ: «Sacar per el vicario». Всякая дѣвица, не моложе двѣнадцати лѣтъ, имѣетъ право требовать, чтобъ холостой мужчина, которому болѣе четырнадцати, на ней женился, если она получила отъ него кольцо и записку, хотя бы въ этой запискѣ не было и рѣчи о любви. Просьба дѣвицы поступаетъ обыкновенно къ великому викарію, и по требованію его, молодого человѣка сажаютъ въ тюрьму, въ которой онъ сидитъ до тѣхъ поръ, пока не женится на просительницѣ или она сама откажется отъ своего требованія *). Вашъ случай совершенно новый, вы иностранецъ; вѣроятно большая часть здѣшняго общества возьметъ вашу сторону, и донна Серафима де-Кухельеро, стыда ради, должна будетъ отказаться отъ своей просьбы.

— Да если она рѣшится на это не прежде двухъ или трехъ мѣсяцевъ?

— Вотъ уже за это я вамъ не ручаюсь. Во всякомъ случаѣ я совѣтую вамъ написать въ Севилью къ русскому консулу; онъ вѣрно за васъ похлопочетъ, и, можетъ быть, недѣли черезъ двѣ вы будете свободны. Да скажите мнѣ, что вамъ вздумалось ухаживать за донной Серафимою? Развѣ вы не знаете, что у насъ приволокнуться за дѣвицей бѣда! Вотъ дѣло другое замужняя женщина: тутъ вамъ опасаться нечего; развѣ только какой-нибудь безпокойный мужъ застрѣлитъ васъ изъ-за угла, но это бываетъ чрезвычайно рѣдко; или сама донасъ, въ припадкѣ ревности, отравитъ васъ ядомъ, что также случается изъ году въ годъ. Правда, прежній ея любовникъ можетъ васъ пырнуть ножемъ, да на это смотрѣть нечего.

— Въ самомъ дѣлѣ?

*) Этотъ страшный законъ не существуетъ уже въ Испаніи.

— Разумѣется! Тѣмъ болѣе, что съ нѣкотораго времени и это начинаетъ выходить изъ обычая. Но, извините, сеноръ кабалеро, мнѣ должно васъ оставить: мой двоюродный братъ отправляется въ Севилью, и я еще съ нимъ не прощался... Да, кстати!.. Чего же лучше! Напишите письмо къ вашему консулу, я отдамъ его брату. Мой Діего малый проворный и, конечно, вѣрнѣй всякой почты доставитъ ваше письмо по адресу.

Я написалъ письмо и отдалъ его доброму Гонзалецу, который, уходя, далъ слово навѣщать меня каждый день.

. . . . . .

Слава Богу! Мнѣ возвратили, наконецъ, свободу. Цѣлыхъ три недѣли просидѣлъ я въ тюрьмѣ. Ну, донна Серафима! Дорого я заплатилъ за ваши чотки и букетъ увядшихъ цвѣтовъ, который вы кинули мнѣ въ лицо съ вашего балкона! Разумѣется, я не поѣду съ прощальнымъ визитомъ къ графинѣ Аладерра. Не трудно догадаться, что она была заодно съ этой мамзель Кухельеро и что, можетъ быть, по просьбѣ ея сіятельства я просидѣлъ лишнюю недѣлю подъ карауломъ. Мой добрый Гонзалецъ очень обрадовался, когда я возвратился опять въ его гостинницу.

— Я сейчасъ пошлю,—сказалъ онъ, — за однимъ знакомымъ аріеро; у него всегда есть готовые мулы, и вы сегодня же можете отправиться въ дорогу.

— Сегодня, зачѣмъ? Я хочу еще прожить здѣсь нѣсколько дней, а то, пожалуй, станутъ говорить, что меня выслали изъ города.

— Да пускай себѣ говорятъ что угодно, только уѣзжайте скорѣй отсюда. Донна Серафима сдѣлалась теперь сказкою и посмѣшищемъ всей Гренады.

— Кто-жъ въ этомъ виноватъ?

— Разумѣется не вы: она сама напросилась на этотъ срамъ; да вѣдь, отомстить-то ей некому, кромѣ васъ.

— Что-жъ она можетъ мнѣ сдѣлать? Я ужъ къ ней писать не стану и другого колечка не подарю.

— Не объ этомъ рѣчь: у донны Серафимы есть братъ.

— Такъ что-жъ!

— Какъ что? Помилуйте! онъ человѣкъ пребѣшеный.

— Да это, любезный Гонзалецъ, еще новая для меня причина не спѣшить моимъ отъѣздомъ.

— Эхъ, сеноръ кабалеро! Я не сомнѣваюсь въ вашей храбрости: вы благородный гидальго и, конечно, не побоитесь стать лицомъ къ лицу противъ вашего непріятеля; да этотъ братецъ донны Серафимы сущій негодяй; онъ не пойдетъ съ вами драться, какъ честный и храбрый испанецъ, а какъ разбойникъ под-

крадется къ вамъ сзади и убьетъ втихомолку.

— Ну, это не такъ легко: вѣдь человѣка нельзя же убить какъ муху! Днемъ этого сдѣлать нельзя, а ночью я выходить не стану.

— Все такъ, кабалеро! Но, право, лучше будетъ, если вы уѣдете сегодня. Вамъ нельзя жить въ одномъ городѣ съ донной Серафимою.

Хозяинъ фонды такъ убѣдительно просилъ меня послушаться его совѣта, что я согласился, наконецъ, уѣхать изъ Гренады и велѣлъ Никанору укладываться, а самъ иду сейчасъ полюбоваться въ послѣдній разъ Альямброю и, можетъ быть, навсегда проститься съ нею.

. . . . . .

Ну!.. близко я былъ отъ смерти!.. Правду говорилъ хозяинъ фонды: мнѣ, точно, надобно скорѣй уѣхать изъ Гренады. Кто-бы могъ подумать,—среди бѣлаго дня!.. Да у насъ въ Муромскомъ лѣсу безопаснѣе ночью, чѣмъ здѣсь днемъ посреди города.

Я былъ въ Альямбрѣ. Около двухъ часовъ ходилъ по великолѣпнымъ ея заламъ и любовался ея диковинными дворами; вотъ, наконецъ, я расположился отдохнуть подлѣ фонтана Львовъ. Не прошло пяти минутъ, какъ подсѣлъ ко мнѣ и заговорилъ со мною какой-то господинъ, закутанный въ черную капу. Съ перваго взгляда физіономія этого незнакомца мнѣ очень не понравилась, и, признаюсь, вечеромъ я не хотѣлъ-бы съ нимъ встрѣтиться въ глухомъ переулкѣ, но это было днемъ. По всей Альямбрѣ разсѣяны были многолюдныя толпы посѣтителей, такъ могъ-ли я чего-нибудь опасаться? Его вѣжливость и занимательный разговоръ скоро истребили во мнѣ это первое впечатлѣніе. Онъ разсказывалъ мнѣ чрезвычайно любопытныя подробности о разныхъ отдѣленіяхъ Альямбры, о садѣ Абенсераговъ, гдѣ въ лунныя ночи сбираются тѣни убитыхъ воиновъ и раздаются жалобные вопли.

— А были-ли вы,—спросилъ онъ меня,— на балконѣ такъ называемой «Пѣвческой залы», недалеко отъ бѣлой башни?

— Нѣтъ! Я тамъ никогда не былъ,—отвѣчалъ я.

— Такъ пойдемте же! Я васъ провожу. Вы не можете себѣ представить, какой очаровательный видъ съ этого балкона.

Я принялъ съ благодарностью его предложеніе. Вотъ мы пришли въ одну залу, довольно обширную, но которая, впрочемъ, не имѣла въ себѣ ничего замѣчательнаго. Она освѣщалась тремя окнами: къ среднему былъ придѣланъ крытый балконъ,—и подлинно видъ съ этого балкона былъ очарователенъ! Направо весь Хенералифъ съ своими зеленѣющими уступами, а налѣво и прямо противъ меня красивая часть Гренады, называемая *Альбазиномъ*. Узкій, но глубокій оврагъ отдѣляетъ Альямбру отъ этой части города. Въ двадцати шагахъ отъ меня, по ту сторону оврага, котораго крутые скаты и дно поросли густымъ кустарникомъ, гуляло множество народа. Мнѣ казалось, что всѣ эти гуляющіе были такъ близко подлѣ меня, что я могъ каждому изъ нихъ подать руку. Я обернулся, чтобъ спросить о чемъ-то моего услужливаго незнакомца, но его уже не было со мною. Вдругъ изъ глубины оврага раздался выстрѣлъ, и пуля сорвала съ головы моей шляпу. Казалось, это не произвело никакого впечатлѣнія на гуляющихъ: человѣка два-три остановились, покачали головами и пошли далѣе; одна старушка, которая сидѣла подъ балкономъ,—воскликнула: «Ah! Maria Santissima!» Потомъ перекрестилась и начала снова перебирать свои чотки, а я, разумѣется, отправился какъ можно скорѣй домой. Дѣлать нечего! Завтра чѣмъ свѣтъ уѣзжаю изъ Гренады. Ну, донна Серафима! вы видно съ вашимъ братцемъ не въ первый разъ пускаетесь на такія шутки! Какъ все было хорошо придумано! Меня привели и поставили какъ мишень подъ самую пулю. Нѣтъ, слуга покорный! Тутъ храбростію ничего не возьмешь. Скорѣй въ Алмерію. Не знаю почему, а я увѣренъ, что тамъ только найду опять потерянное спокойствіе и буду совершенно счастливъ.

Здѣсь оканчиваются мои путевыя записки. Вы знаете теперь, любезные читатели, что я живу въ Алмеріи, но вамъ не мѣшаетъ также знать, что разсказъ, который вы будете читать, начинается не съ первыхъ дней пріѣзда моего въ этотъ благословенный уголокъ Испаніи. Сначала я провелъ въ немъ цѣлый годъ въ совершенномъ уединеніи, нанялъ домъ за городомъ, ни съ кѣмъ ни знакомился, однимъ словомъ, жилъ настоящимъ отшельникомъ; потомъ дни стали мнѣ казаться отмѣнно длинными, ночи также, а что всего хуже, ко мнѣ въ душу запала какая-то неизъяснимая тоска, о которой я до тѣхъ поръ не имѣлъ никакого понятія; наконецъ эта грусть до того усилилась, что я рѣшился перемѣнить образъ жизни: началъ понемногу знакомиться съ жителями Алмеріи и подружился съ ея коррехидоромъ, домомъ Эстебаномъ де-Миранда, человѣкомъ очень добрымъ, но такимъ равнодушнымъ и беззаботнымъ мужемъ, какихъ я въ жизнь не видывалъ. У него была молодая жена, а у этой жены прелестная наружность и, на бѣду, такое нѣжное сердце, такая южная воспламенительная голова... Но если вамъ угодно что-нибудь знать о ней поболѣе, то потрудитесь прочесть мой разсказъ и не гнѣвайтесь на меня, если я иногда позаболтаюсь. Вѣдь я ужъ имѣлъ честь вамъ докладывать, что всѣ старики болтливы, когда говорятъ о своей молодости, и что вашъ

покорнѣйшій слуга давнымъ давно ужъ ходитъ въ фланелевой фуфайкѣ и носитъ плисовые сапоги.

IV.

Какъ часто драматическій писатель завидуетъ свободѣ романиста, который не знаетъ этихъ стѣснительныхъ правилъ, не подчиненъ никакимъ условіямъ, говоритъ что хочетъ и не долженъ обрѣзывать своего разсказа для того только, что бъ втиснуть его какъ-нибудь въ опредѣленныя рамы, которыя мы называемъ дѣйствіями, но за то сколько у драматическаго писателя выгодъ и преимуществъ, не существующихъ для простого разсказчика; напримѣръ: ему нѣтъ никакой надобности говорить объ одеждѣ своихъ дѣйствующихъ лицъ: на это есть костюмеръ; по милости декоратора онъ вовсе не заботится описывать то мѣсто, на которомъ происходитъ дѣйствіе, а это чрезвычайно важное обстоятельство. Если бъ вы знали, любезные читатели, какъ стало трудно описывать природу, разумѣется не сѣверную: о ней еще можно сказать много кой-чего новаго, но этотъ югъ!.. Избави Господи! Съ нѣкотораго времени онъ вовсе отъ рукъ отбился. Я вызываю всякаго отыскать хотя одно восклицаніе, одно піитическое выраженіе восторга, возможное на нашемъ языкѣ, которое не нашлось бы въ кавказскихъ очеркахъ Марлинскаго и въ безчисленномъ множествѣ повѣстей и стиховъ, въ которыхъ описывается *роскошная* природа этого *благословеннаю*, *пламеннаю* юга, да еще какого юга! Вотъ что говоритъ одинъ изъ лучшихъ современныхъ писателей о нашей степной, однообразной Малороссіи, гдѣ, конечно, бываетъ потеплѣе, чѣмъ въ матушкѣ Москвѣ православной, но гдѣ однако жъ точно также и мерзнутъ зимою и зябнутъ подъ-часъ лѣтомъ. Послушайте его:

«Знаете-ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи. Всмотритесь въ нее: съ середины неба глядитъ мѣсяцъ! Необъятный небесный сводъ раздался, раздвинулся еще необъятнѣе. Горитъ и дышетъ онъ. Земля вся въ серебряномъ свѣтѣ; и чудный воздухъ, и прохладнодушенъ, и полонъ нѣги, и движетъ океанъ благоуханій. Божественная ночь! очаровательная ночь!»

Это ночь, а вотъ вамъ и день:

«Какъ упоителенъ, какъ роскошенъ лѣтній день въ Малороссіи! Какъ томительно жарки тѣ часы, когда полдень блещетъ въ тишинѣ и зноѣ, и голубой неизмѣримый океанъ, куполомъ нагнувшійся надъ землею, кажется, заснулъ, весь потонувши въ нѣгѣ, обнимая и сжимая прекрасную въ воздушныхъ объятіяхъ своихъ».

Ну, милостивые государи, не угодно-ли попытаться послѣ этого піитическаго описанія блѣдно-голубыхъ небесъ нашей Харьковской или Полтавской губерніи сказать что-нибудь новое о прозрачно-синихъ небесахъ южной Испаніи. Нѣтъ, ужъ лучше не стану ихъ описывать; неравно повторишь чужія слова и, чего добраго, вы еще подумаете, что я васъ перенесъ, вмѣсто Андалузіи, подъ счастливыя небеса *упоительной* и *роскошной* Малороссіи. Я разскажу вамъ просто, гдѣ я, что меня окружаетъ, и опишу мѣсто дѣйствія точно такъ же, какъ оно описывается въ драматическихъ сочиненіяхъ въ началѣ каждаго акта, то есть безъ всякихъ піитическихъ прикрасъ и восторговъ.

Представьте себѣ во-первыхъ: открытое море, потомъ небольшой заливъ, обставленный съ трехъ сторонъ каменными домами, посреди которыхъ подымается нѣсколько церквей готической архитектуры. Южная часть залива соединяется съ моремъ, въ сѣверную впадаетъ рѣчка Альмерія, по имени которой называется этотъ приморскій городокъ южной Испаніи. Теперь извольте обратить ваше вниманіе на западный берегъ залива: тутъ, посреди померанцевыхъ, оливковыхъ и миндальныхъ деревьевъ, бѣлѣется двухэтажный домъ съ плоскою кровлею; на лицевой сторонѣ обоихъ этажей этого дома по четыре окна, подъ каждымъ окномъ балконъ съ желѣзной рѣшеткою. Къ одному изъ переднихъ угловъ дома пристроена круглая башенка, съ остроконечною, конической формы, кровлею. Назначеніе этой воздушной будки отгадать не трудно: вокругъ ея вьются голуби. У этого дома нѣтъ никакихъ принадлежностей, которыя у насъ въ Россіи называются службами; его лицевая сторона обращена къ морю, а три остальныя окружены цвѣтникомъ, гдѣ необычайной величины тюльпаны, олеандры, гіацинты, жонкили и нарцисы красуются и благоухаютъ подъ тѣнью зеленыхъ альгаборовъ и развисистыхъ чинаровъ. Этотъ цвѣтникъ обнесенъ, вмѣсто забора, плотно сросшимися кустами алоэ и колючихъ индѣйскихъ фигъ. У самыхъ дверей дома, на каменной скамьѣ, осѣненной густымъ каштановымъ деревомъ, сидитъ молодой человѣкъ лѣтъ тридцати. Съ перваго взгляда лицо его кажется смуглымъ, но оно только загорѣло; верхняя часть его лба, почти всегда закрытая отъ солнца широкими шляпными полями, обличаетъ своей рѣзкой бѣлизною уроженца отдаленнаго сѣвера. На немъ сюртукъ изъ легкой шерстяной матеріи, на шеѣ нѣтъ галстуха, бѣлый жилетъ его разстегнутъ. Задумчиво смотритъ онъ по направленію дороги, ведущей къ Мотрилю. Тамъ, вдали, на высокомъ холмѣ, который опускается крутымъ скатомъ до самаго моря, разбросаны живописныя развалины мавританскаго замка. Если вы спросите меня, что обращаетъ на себя его вниманіе — эти развалины или бѣлый парусъ, который чуть-чуть видѣется за ними въ открытомъ морѣ, то вмѣсто отвѣта я прошу васъ читать далѣе. Шагахъ въ де-

сяти отъ этого молодого человѣка, съ задумчивымъ и даже грустнымъ лицомъ, сидитъ подъ тѣнью розмариноваго куста видный дѣтина въ синей курткѣ и широкихъ полосатыхъ шароварахъ. Онъ также безъ галстуха, но на шеѣ у него накинутъ голубой шелковый платокъ, слабо повязанный; концы его падаютъ на суконный красный жилетъ, обсаженный въ четыре ряда свѣтлыми пуговицами. Этотъ молодецъ держитъ въ рукахъ гитару и небрежно наигрываетъ на ней, припѣвая вполголоса—вы вѣрно думаете какую-нибудь испанскую *Сегедилью* или *Кантилену*?.. Нѣтъ! онъ мурлычитъ про себя русскую пѣсенку: «Ахъ, на что-жъ было огородъ городить!»

Я думаю, читатели давно уже отгадали, что задумчивый молодой человѣкъ—я, и видный дѣтина въ синей курткѣ — мой вѣрный слуга Никаноръ Федотычъ, который рѣшился, наконецъ, промѣнять свою русскую балалайку на испанскую гитару.

— Никаноръ!

— Чего изволите?

— Поди-ка сюда на минуту.

Никаноръ положилъ гитару подлѣ куста и подошелъ ко мнѣ.

— Посмотри, — продолжалъ я, — у тебя глаза лучше моихъ: видишь ты вдали этотъ парусъ?

— Вижу, сударь.

— Вѣдь это, кажется, не купеческій корабль?

— А кто его знаетъ.

— Чу!.. слышишь? Пушечный выстрѣлъ!..

— Слышу, Владиміръ Сергѣевичъ! Видно, просятъ лоцмана.

— Ты думаешь?

— А можетъ быть такъ, только потѣшаются. Вѣдь здѣсь, сударь не Кронштадтъ: почитай, всѣ корабли мимо плывутъ; кому охота заглянуть въ это захолустье! Ну, ужъ, батюшка Владиміръ Сергѣевичъ, выбрали городокъ!

— Да развѣ здѣшнее житье тебѣ не нравится?

— Какъ бы вамъ сказать, сударь? Житье не то чтобы плохое: по милости вашей, я сытъ, одѣтъ и деньжонки водятся; выучился кой-какъ болтать по здѣшнему, такъ чего бы кажется? А нѣтъ—скучно!

— Да о чемъ же ты скучаешь? Вѣдь ты сирота?

— Сирота, сударь.

— Родныхъ у тебя нѣтъ?

— Есть одна тетка, да я сроду ее не видалъ.

— Такъ не все ли тебѣ равно, жить здѣсь или въ Россіи?

— Оно такъ, сударь, да что это за сторона такая? Вотъ ужъ скоро два года, какъ *мы здѣсь живемъ*, все лѣто да лѣто! Господи, *Боже мой! да когда же зима* придетъ? «Вотъ», думаю, «выпадетъ родимый снѣжокъ, прохватитъ морозцемъ, позаколодитъ!.. Да, какъ бы не такъ! Объ Рождествѣ Петровки!.. Тьфу ты пропасть! что за окаянная земля такая!»

Я невольно усмѣхнулся.

— Конечно, — продолжалъ Никаноръ, — здѣсь не то, что у насъ: всякихъ земныхъ плодовъ довольно; апельсинами свиней кормятъ, а виноградъ дешевле нашей рѣпы, да что мнѣ отъ этого? Эка важность! Груши, дули, персики, винныя ягоды и всякіе другіе прочіе фрукты; да чортъ ли въ нихъ? Ну, поѣлъ разъ-другой, а тамъ и въ горло не пойдетъ! Нѣтъ, сударь! Дайте-ка мнѣ соленыхъ огурцовъ, да кислой капустки, такъ это дѣло другое! А коли прикините фунтика два каленыхъ орѣховъ, такъ я на все здѣшнее деликатство и взглянуть не захочу!.. А вино-то, сударь, вино, брр, дрянь такая!.. Хуже нашей крестьянской браги!

Я засмѣялся.

— Вотъ вы смѣетесь, Владиміръ Сергѣевичъ,—сказалъ Никаноръ, поглядѣвъ на меня пристально,—а вѣдь на сердцѣ-то у васъ не то.

— Почему ты это думаешь?

— Да такъ! Помните ли, сударь, мѣсяца два тому назадъ, я такъ же, какъ сегодня, сижу себѣ подъ кустомъ, да наигрываю плясовую. Вотъ вы мнѣ и говорите: «Никаноръ, что ты этакъ разыгрался? Знаешь ли ты, какой нынче великій день? Вѣдь завтра Свѣтлое Воскресенье». Такъ у меня руки и опустились!.. Господи Боже мой!—подумалъ я,—теперь на святой Руси всѣ православные радуются: Христовъ день пришелъ, праздникамъ праздникъ!.. Кто пасху готовитъ, кто краситъ яичко... А мы, съ бариномъ!.. Эхъ, грустно!.. Да такъ-то грустно, сударь, что живой бы въ могилу легъ!.. Вы пошли почивать, и я также хотѣлъ прикурнуть — не спится! — все жду: вотъ въ колоколъ ударятъ... вотъ начнется звонъ по всѣмъ церквамъ!.. Ужъ я вертѣлся, вертѣлся! И такъ, и этакъ—нѣтъ! Лишь только чуточку вздремну, вдругъ сердце такъ и екнетъ!.. Благовѣстъ—точно, благовѣстъ!.. Что будешь дѣлать! Вотъ я всталъ, вышелъ на дворъ; у васъ въ спальнѣ огонекъ; я глядь въ окно: вы Богу молитесь, а слезы-то, слезы въ три ручья!.. «Ну»! подумалъ я, «видно, и барину подчасъ тяжко приходитъ, только сказать онъ не хочетъ».

Никаноръ замолчалъ, а я... Нѣтъ, я ужъ не смѣялся!

— Эхъ, сударь, сударь! — началъ опять Никаноръ,—какое житье на чужой сторонѣ? Вотъ, бывало, на Руси придешь къ заутренѣ объ Рождествѣ или въ Свѣтлый праздникъ, да подумаешь: «нѣтъ у тебя, сиротинки, ни отца, ни матери! Согрустнется, анъ, глядишь, тотъ подойдетъ: «Федотычъ! зайди, братъ, разговѣться!» другой шепнетъ:

«Никанорушка! милости просимъ! закуси, чѣмъ Богъ послалъ!» Такъ знаете ли, сударь, на сердцѣ-то и полегче. А здѣсь!.. Вотъ ужъ здѣсь-то, Владиміръ Сергѣевичъ, мы съ вами подлинно круглые сироты. Живемъ, никто насъ не любитъ; умремъ, никто не помянетъ; кому какое дѣло? Что мы? Пришлецы!..

— Послушай, Никаноръ! — сказалъ я,— если ты въ самомъ дѣлѣ такъ привязанъ къ своей родинѣ, то я удерживать тебя не стану. Я дамъ тебѣ денегъ, садись на корабль и ступай съ Богомъ.

— Что вы, сударь, помилуйте! Что бъ я васъ оставилъ однихъ на чужой сторонѣ?.. Да какъ это можно! И я по васъ съ тоски умру!.. Да воля ваша, и вы безъ меня пропадете!

— Конечно, мнѣ грустно будетъ съ тобою разстаться, Никаноръ, но вѣдь привыкнуть можно ко всему.

— Да къ этому-то, сударь, вы не привыкните. Каковъ я ни есть, Владиміръ Сергѣевичъ, а все-таки вы со мной говорите по нашему; иногда рѣчь заведете про матушку святую Русь, про Москву бѣлокаменную— такъ отъ души-то у васъ немного и поотляжетъ, а какъ останетесь одни, да въ круглый годъ ни одного русскаго словечка не услышите... такъ, ой, ой, ой! Нѣтъ, сударь, власть ваша, съ ума сойдете! Вотъ если-бъ вы сами, Владиміръ Сергѣевичъ, сѣли на корабликъ, да съ Богомъ во-свояси!

— Въ Россію, туда, гдѣ живетъ она? Ни за что на свѣтѣ.

— Да о комъ вы изволите говорить? О Софьѣ Николаевнѣ что-ль?

— Молчи!

— Слушаю, сударь.

— Сеноръ кабалеро! — раздался въ близкомъ разстояніи звонкій голосъ, и смуглое веселое личико выглянуло изъ-за куста.

— Да это никакъ вострука Пакита? — шепнулъ Никаноръ. — Такъ и есть! Козырь дѣвка! Вѣрно, къ вамъ за чѣмъ-нибудь отъ своей барыни.

— Здравствуй, Пакита,—сказалъ я.—Да что ты тамъ стоишь? Подойди поближе.

Дѣвушка вышла изъ-за куста и остановилась.

— Видишь, какъ прикинулась!—проговорилъ сквозь зубы Никаноръ. — Робка, не смѣетъ подойти! Эко зелье, подумаешь! Полно манериться-то! Пакитушка—*корозана міа!* Подходи небойсь, не съѣдимъ.

— Что тебѣ надобно, мой другъ? — спросилъ я.

— Сеноръ коррехидоръ, мой господинъ,— сказала Пакита, подойдя ко мнѣ,—прислалъ меня узнать, здоровы ли вы.

— Слава Богу!

— Вы три дня сряду у него не были!— продолжала дѣвушка, опустивъ книзу свои плутовскіе глаза.—Это его очень безпокоитъ.

— Я зайду къ нему сегодня.

— Что ты, Пакита, говоришь? — сказалъ Никаноръ. — Вѣдь твой господинъ сегодня по утру уѣхалъ изъ города?.: Ай!.. Полно! что ты щиплешься? Ну, да! я самъ видѣлъ, какъ онъ въ своемъ калесеро на шести лошакахъ тащился по большой дорогѣ.

— Неправда! ты врешь! — прервала Пакита, взглянувъ исподлобья на Никанора.— И какое тебѣ дѣло, дома ли мой господинъ или нѣтъ? Донна Розалія, моя госпожа,— продолжала дѣвушка, обращаясь ко мнѣ,— очень желаетъ васъ видѣть, сеноръ кабалеро. Ну, если бъ я была на ея мѣстѣ!—прибавила Пакита съ лукавой улыбкою.—Цѣлыхъ три дня!.. И вамъ не стыдно, фулано *)? Вѣдь вы ея кортехо.

— Вотъ еще что выдумала! — подхватилъ Никаноръ.—А этотъ длинный-то съ черными усами... какъ бишь его? Вы знаете, сударь?.. Имя такое тарабарское.

— Донъ Педро де-Геррера,—сказалъ я.

— Такъ что жъ? — прервала Пакита.— Прежде онъ былъ кортехо моей донасъ, а теперь вы, сеноръ русіано.

— А прежде дона Педро,—спросилъ я,— никого не было?

— Какъ никого? Что вы, фулано!—отвѣчала почти съ досадою дѣвушка. — Донна Розалія ужъ три года замужемъ, а сеноръ Геррера только прошлаго года пріѣхалъ къ намъ въ Алмерію. Да развѣ знатная донасъ, жена коррехидора и такая сенора гермоза **) можетъ быть безъ кортехо?

— А кто былъ у нея прежде дона Педро?

— Маркизъ Галвецъ.

— Куда же онъ дѣвался?

— Его донъ Педро вызвалъ на дуэль, а онъ разгнѣвался, да уѣхалъ въ Мадридъ.

— Видишь, какой сердитый! А что, очень твоя госпожа о немъ жалѣла?

— Нѣтъ! Вѣдь она его не любила и дона Педро также и самаго перваго своего кортехо также.

— И меня также?

Дѣвушка улыбнулась, сунула мнѣ въ руку записочку, ущипнула еще разъ Никанора и пустилась бѣгомъ къ городскимъ воротамъ.

— Постой, постой! Вотъ я тебя, бѣсенокъ,—закричалъ Никаноръ, стараясь догнать Пакиту.

Письмо! Да это ужъ не шутка. Посмотримъ, чего хочетъ отъ меня прекрасная Розалія. Она жалуется на мое равнодушіе... приглашаетъ меня къ себѣ на сегодняшній вечеръ... А это что такое?.. Возможно ли? Изъясненіе въ любви! И въ какихъ пламенныхъ, безумныхъ выраженіяхъ!.. Вотъ уже

*) Фулано почти то-же самое, что сеноръ, то-есть господинъ.

**) Прекрасная женщина.

четыре мѣсяца, какъ я разыгрываю роль самаго недогадливаго и безтолковаго человѣка: мнѣ предлагаютъ любовь, а я съ благодарностію принимаю *дружбу*; эти пламенные глаза жгутъ меня своими взглядами, а я ви: жу въ нихъ одно выраженіе тихой и спокойной пріязни, но теперь, послѣ это записки, для меня нѣтъ уже никакой возможности быть недогадливымъ... Конечно, донна Розалія замужемъ, въ тюрьму меня не посадятъ, не потребуютъ, чтобъ я на ней женился, но я не хочу ее обманывать и въ то же время отплатить такой гнусной неблагодарностію за ласку и привѣтъ ея мужа, дона Эстебана де-Миранда, который самъ съ дѣтской довѣренностію предлагалъ мнѣ занять вакантное мѣсто кортехо при законной его супругѣ!.. Вакантное! Да развѣ донъ Педро де-Геррера отказался отъ своихъ правъ? Я вовсе не боюсь этого святочнаго пугала, который думаетъ, что его огромные усы отмѣнно страшны, но не желалъ бы и съ нимъ ссориться. И на своей сторонѣ враговъ имѣть не весело, а на чужой — избави Господи! Нѣтъ, рѣшено! Я не пойду къ доннѣ Розаліи, по крайней мѣрѣ, во время отсутствія ея мужа.

Я думалъ все это, не замѣчая, что шагахъ въ десяти отъ меня стоитъ отставной кортехо донны Розаліи. Представьте себѣ тирана или разбойника изъ любой французской мелодрамы, то-есть худощаваго, почти трехаршиннаго мужчину съ блѣднымъ лицомъ и сверкающими глазами; дайте этому театральному злодѣю неслыханной величины орлиный носъ, необычайнаго размѣра черные усы, закутайте его въ длинную эпанчу, надѣньте ему на голову сѣрую шляпу съ широкими полями, и вы будете имѣть передъ собою вѣрное изображеніе дона Педро де-Геррера, извѣстнаго во всей Андалузіи Valiente, то-есть храбреца и дуэлиста.

— Сеноръ русіано!—проговорилъ онъ, едва шевеля своими безконечными усами. — Viva usted mil anos!

— А, сеноръ донъ Педро!—сказалъ я,— идя къ нему навстрѣчу.—Какъ я радъ, что имѣю удовольствіе васъ видѣть у себя! Угодно вамъ взойти въ домъ?

— Это не нужно; я хочу вамъ сказать только нѣсколько словъ, сеноръ русіано!— продолжалъ донъ Педро, закинувъ на плечо одинъ конецъ свой капы и выставивъ впередъ правую ногу.—Знаете ли вы, кто я?

— Какъ же! Вы донъ Педро де-Геррера, Конте де-Херальда, Кабалеро...

— Я спрашиваю не объ этомъ. Знаете ли вы, какъ опасно быть моимъ соперникомъ?

— Нѣтъ, сеноръ кабалеро, не знаю.

— Знаете ли вы, что я кортехо донны Розаліи?

— *Это дѣлаетъ* честь вашему вкусу.

— *Не о томъ рѣчь! Вы* хотите занять это мѣсто, которое по всѣмъ правамъ принадлежитъ мнѣ.

— О, на этотъ счетъ вы можете быть спокойны! Я человѣкъ смирный и не люблю ссориться ни съ кѣмъ.

Вѣроятно эти кроткія слова показались моему сопернику явнымъ признакомъ робкой и трусливой души: онъ началъ крутить свои усы и выросъ, конечно, вершка на два.

— Позвольте же васъ спросить,—продолжалъ онъ, бросивъ на меня надменный взглядъ, — для чего вы такъ часто бываете въ домѣ нашего коррехидора?

— Для того, что мнѣ тамъ весело.

— Право? А если бъ кто-нибудь сказалъ вамъ, что когда увидитъ васъ опять въ этомъ домѣ, то обрубитъ вамъ уши?

Я вспыхнулъ, но одинъ взглядъ на эту длинную фигуру съ безконечнымъ носомъ тотчасъ меня успокоилъ: сердиться и смѣяться въ одно и тоже время не можно.

— Ну, сеноръ русіано,—продолжадъ донъ Педро,—что сказали бы вы тогда?

— Я посовѣтовалъ бы этому рубакѣ,—отвѣчалъ я очень хладнокровно,—оставить въ покоѣ мои уши и поберечь свой носъ.

Донъ Педро пришелъ опять въ прежнюю мѣру.

— Можетъ быть, меня обманули, сеноръ кабалеро, — сказалъ, помолчавъ нѣсколько времени, мой соперникъ, — но я слышалъ, что донна Розалія, въ то время, какъ ея мужа нѣтъ въ городѣ, приглашаетъ васъ къ себѣ.

— Да, сеноръ Геррера.

— Al infierno!.. И вы, сеноръ русіано...

— Успокойтесь! Я къ ней не пойду.

Донъ Педро сдѣлался опять на полвершка повыше.

— Благодарите Бога, — сказалъ онъ,—и Пресвятую Дѣву за эту счастливую мысль. Вы не должны къ ней идти.

— Почему вы это думаете? — спросилъ я самымъ кроткимъ голосомъ.

— Потому, Vulgame Dios! Потому, что я отъ васъ этого требую.

— Вы этого требуете,—повторилъ я, начиная терять все терпѣніе.

— Да! Mil demonio! Я запрещаю вамъ идти къ доннѣ Розаліи.

Русская кровь бурлива; при этихъ дерзкихъ словахъ она закипѣла въ моихъ жилахъ. Запрещаетъ! этотъ нарядный шутъ мнѣ запрещаетъ!.. Посмотримъ, какъ онъ мнѣ запретитъ! — Благодарю васъ, сеноръ кабалеро!—сказалъ я;—вы помѣшали мнѣ сдѣлать поступокъ грубый и неприличный для благовоспитаннаго человѣка.

— Что вы хотите сказать?

— А то, что, несмотря на честь и удовольствіе, которое вы сдѣлали мнѣ вашимъ посѣщеніемъ, я не смѣю васъ удерживать

долѣе, потому что иду сейчасъ къ доннѣ Розаліи. Viva usted mil anos!

— Вы не пойдете къ доннѣ Розаліи!— сказалъ грознымъ голосомъ донъ Педро.

— Извините!.. Эй, Никаноръ! шляпу!

— Сеноръ русіано!—вскричалъ мой соперникъ. — Если вы дворянинъ, то должны со мною драться. У васъ есть шпага?

— Нѣтъ.

— Такъ я вамъ принесу двѣ: вы можете выбрать любую.

— Не безпокойтесь, донъ Педро, я съ вами на шпагахъ драться не стану.

— Не станете?..

— Да! Вы отличный боецъ, а я никогда не учился фехтовать; слѣдовательно, этотъ бой будетъ неравенъ.

Фу, какъ началъ расти донъ Педро!—Вы правы!—сказалъ онъ, взглянувъ на меня съ презрѣніемъ:—между храбрымъ человѣкомъ и трусомъ бой всегда неравенъ.

— Потише, сеноръ Геррера! — прервалъ я. — Потише! Я не отказываюсь съ вами драться.

— Право? Да на чемъ же? Можетъ быть у васъ въ Россіи дерутся на кулакахъ?

— Нѣтъ, сеноръ кабалеро, мы будемъ съ вами драться на пистолетахъ.

— На пистолетахъ! — повторилъ донъ Педро.—Какъ на пистолетахъ?

— Мы зарядимъ ихъ пулями, станемъ другъ противъ друга и будемъ стрѣляться.

Блѣдное лицо испанца позеленѣло, а усы стали шевелиться такимъ страннымъ образомъ, что я, несмотря на мою досаду, чуть-зуть не захохоталъ во все горло.

— Но я не умѣю драться на пистолетахъ,—проговорилъ наконецъ, донъ Педро,— а вы, можетъ быть, хорошій стрѣлокъ.

— Да, я стрѣляю недурно, но этому неравенству пособить легко; пистолетъ не шпага: мы будемъ съ вами стрѣляться на трехъ шагахъ.

— На трехъ шагахъ!

— Или на двухъ, если хотите. Одинъ пистолетъ будетъ заряженъ, а другой нѣтъ, и вы сами выберете тотъ, который вамъ приглянется.

Донъ Педро сдѣлался вдругъ цѣлой четвертью ниже обыкновеннаго, вѣроятно оттого, что у него подкосились ноги.

— Вотъ этотъ поединокъ будетъ совершенно равный,—продолжалъ я, — не правда ли, сеноръ Геррера? Да знаете ли что? Благо ужъ мы согласились, такъ кончимте сейчасъ. Эй, Никаноръ! Подай мои пистолеты!

Донъ Педро вросъ въ землю, и всѣ волосы въ его огромныхъ усахъ стали дыбомъ.

— Угодно вамъ будетъ зарядить пистолетъ или позволите мнѣ?—сказалъ я.

— Я не хочу стрѣляться на пистолетахъ—не хочу!—закричалъ донъ Педро, отступивъ отъ меня на нѣсколько шаговъ.

— Да почему жъ не хотите, сеноръ Геррера?

— Потому... потому что пистолетъ оружіе разбойника...

— Неправда, донъ Педро! Разбойникъ тотъ, кто убиваетъ своего соперника изъ-за угла или нападаетъ на него, будучи увѣренъ заранѣе, что онъ не можетъ защищаться. Впрочемъ, если вы не хотите...

— Да, сеноръ русіано! Клянусь святымъ Фабриціемъ, я не унижу себя для того, что бъ драться на пистолетахъ.

— Какъ вамъ угодно. Извините, сеноръ кабалеро! Мнѣ пора идти къ доннѣ Розаліи.

— Veremos, veremos! Мы это увидимъ!— пробормоталъ донъ Педро. — Не забудьте, однако жъ,—прибавилъ онъ, — что я, какъ честный испанецъ и храбрый гидальго, предлагалъ вамъ дворянскій поединокъ, отъ котораго вы сами отказались.

— То-есть,—прервалъ я,—вы предлагали мнѣ идти на вѣрную смерть. Не прогнѣвайтесь, донъ Педро! Я не люблю, чтобъ меня и въ карты обыгрывали навѣрное. Voya usted con Dios!

— A Dios, Dios,—прошепталъ сквозь зубы сеноръ Геррера, бросивъ на меня взглядъ, въ которомъ кипѣла такая злоба, что я невольно содрогнулся.

Ну, не досадно ли? Я рѣшился поступить какъ человѣкъ благоразумный, не хотѣлъ идти къ доннѣ Розаліи, и надобно же было этому паяцу, донъ Педро, придти ко мнѣ, вывести меня изъ терпѣнія своимъ чванствомъ и заставить противъ воли идти на свиданіе, отъ котораго я такъ великодушно отказывался. Впрочемъ, что за бѣда? Быть можетъ, это любовное свиданіе будетъ первымъ и послѣднимъ. Гордыя испанки не терпятъ никакого раздѣла. Когда я разскажу доннѣ Розаліи все то, можетъ быть, ея любовь охладѣетъ; да, она перестанетъ любить меня, когда узнаетъ, что мое сердце и до сихъ поръ еще принадлежитъ той, которая поступила со мной такъ жестоко, такъ предательски!

Я отправился въ домъ коррехидора. У самыхъ городскихъ воротъ увидѣлъ я, что донъ Педро, котораго не трудно было узнать издалека по его огромному росту, стоитъ за угломъ, прижавшись къ стѣнѣ. Я притворился, что его не замѣчаю, и пошелъ по улицѣ, которая вела на городскую площадь, прямо къ дому коррехидора. День былъ праздничный, и жители всей Алмеріи толпились на площади. Чѣмъ ближе подходилъ я къ дому, тѣмъ сильнѣе чувствовалъ я всю опасность, которой подвергался. «Не лучше ли», думалъ я, «написать къ доннѣ Розаліи все то, что я хочу сказать ей при свиданіи? Она такъ обольстительно мила, такъ прекрасна! Ну, что значитъ нашъ премудрый разсудокъ и наша мужская логика передъ краснорѣчіемъ двухъ черныхъ глазъ, пылающихъ любовью?

И почему я передумалъ? Почему иду теперь къ доннѣ Розаліи? Потому, что мнѣ сказали: «ты не пойдешь къ ней!» О, самолюбіе, самолюбіе! подлинно, ты первый врагъ человѣка!»

Размышляя такимъ образомъ, я рѣшился, наконецъ, воротиться домой, но когда оглянулся назадъ и увидѣлъ шагахъ въ десяти отъ себя надъ толпою народа сѣрую шляпу, изъ-подъ которой высовывался длинный носъ и торчали огромные усы, то это демонское самолюбіе завладѣло снова моей душою. «Каковъ же сеноръ донъ де-Геррера!» подумалъ я. «Онъ хочетъ видѣть собственными глазами, осмѣлюсь ли я, несмотря на его грозное присутствіе, взойти въ домъ, гдѣ ожидаетъ меня донна Розалія. Да если я этого не сдѣлаю, такъ онъ такъ расхвастается, что съ нимъ послѣ и не сладишь. Я чужестранецъ, меня оклеветать не трудно. Чего добраго, этотъ нахалъ увѣритъ всю Алмерію, что онъ запугалъ меня, что я трусъ, подлецъ!.. Ну, прошу покорно, какъ мнѣ послѣ этого воротиться назадъ?.. Нельзя! Не прогнѣвайтесь, сеноръ Геррера, я вовсе не хотѣлъ быть вашимъ соперникомъ, а если буду, такъ вы сами въ этомъ виноваты... Вѣдь есть же, подумаешь, такіе безталантные любовники, которые, какъ на смѣхъ, всегда дѣйствуютъ противъ самихъ себя!»

У дверей коррехидорова дома стояла Пакита; она шепнула мнѣ, что донна Розалія дожидается меня въ *patio*. Я думаю, читатели не забыли, что такъ называютъ въ Испаніи внутренніе дворы домовъ, которые въ этомъ благословенномъ климатѣ замѣняютъ собой наши душныя гостиныя. Въ одномъ углу этого двора, на роскошномъ, почти утонувшемъ въ цвѣтахъ мавританскомъ диванѣ сидѣла подъ тѣнью благовонныхъ акацій донна Розалія. О, какъ она была прекрасна! Какъ это черное бархатное платье облегало ея гибкій станъ, какъ отдѣлялось оно отъ ея бѣлоснѣжныхъ плечъ, едва прикрытыхъ прозрачнымъ покрываломъ! Да, бѣлоснѣжныхъ; несмотря на свою южную физіономію, на свои черные, какъ смоль, глаза и волосы, донна Розалія не уступила бы въ этомъ никакой сѣверной красавицѣ. Увидѣвъ меня, она вскрикнула и закрыла руками лицо. «Что съ вами сдѣлалось?» спросилъ я, подойдя къ доннѣ Розаліи.

На этотъ вопросъ, конечно, довольно странный для человѣка, который получилъ отъ нея любовное письмо, донна Розалія не отвѣчала ни слова. Я сѣлъ подлѣ нея.

— Сеноръ кабалеро!—прошептала она, не смѣя на меня взглянуть,—вы пришли смѣяться надо мною.

— Смѣяться надъ вами?.. И вы можете это думать!

— Но если вы прочли мое письмо,—продолжала Розалія,—и не пожалѣли о томъ, *что оно писано мною, а не* вами; если то, что я говорю въ немъ, непонятно для вашего сердца; если вы и теперь станете предлагать мнѣ вашу дружбу... о, сеноръ русіано!.. возьмите лучше ножъ и зарѣжьте меня!..

— Успокойтесь, донна Розалія—сказалъ я, взявъ ея руку,—я васъ люблю...

— Santa Barbara!—прервала съ живостію Розалія,—онъ меня любитъ!.. О, amigo de mi alma! о другъ души моей!.. Повтори, повтори это слово!

— Да, Розалія,—продолжалъ я, начиная понимать всю опасность моего положенія,—я люблю васъ столько, сколько можетъ любить человѣкъ, который давно уже не располагаетъ своимъ сердцемъ.

Лицо донны Розаліи покрылось смертной блѣдностію, глаза заблистали, и она сказала прерывающимся голосомъ:—Такъ вы, сеноръ кабалеро, влюблены?

— Да, Розалія.

— Кто же эта женщина?.. О, скажите, скажите, кто она?

— Она такъ же, какъ и вы, принадлежитъ другому.

— Она замужемъ!.. Но гдѣ вы видитесь съ нею?.. Гдѣ она живетъ?..

— О, далеко отсюда! Тамъ, гдѣ я родился, гдѣ думалъ умереть и куда никогда не возвращусь для того только, что бъ не дышать однимъ воздухомъ, не жить съ нею подъ одними небесами.

— Ея здѣсь нѣтъ?.. Вы никогда не встрѣтитесь другъ съ другомъ? — вскричала Розалія, и яркій румянецъ вспыхнулъ снова на ея щекахъ.—Ахъ, какъ вы меня испугали,—продолжала она, приложивъ мою руку къ своему сердцу.—Посмотрите, какъ оно бьется!.. Оно готово было застыть навсегда, а теперь живетъ опять, что бъ вѣчно принадлежать тебѣ—о, mi amado! mi carazon, mi querido!.. О, мой возлюбленный, мое сердце, мой милый!

Эти нѣжныя слова, этотъ очаровательный голосъ потрясли всю мою душу!.. Глупецъ донъ Педро! И нужно тебѣ было храбриться передо мною!.. Я съ ужасомъ видѣлъ, что мой разсудокъ, мои благія намѣренія, мои честныя правила, все начинало покоряться этому чувству, которое переливалось изъ пламенныхъ глазъ Розаліи въ бѣдное мое сердце, и, какъ вы думаете, что возвратило мнѣ всю мою твердость? Нѣтъ! этого никто не отгадаетъ! Такого рода странныя сближенія бываютъ только въ одной Испаніи, гдѣ самыя священныя дѣйствія сливаются иногда съ земными и даже преступными помыслами, гдѣ при звукѣ вечерняго колокола молодой человѣкъ перестаетъ шептать о любви своей, читаетъ молитву и, кончивъ ее, начинаетъ снова изъясняться въ любви. Въ ту самую минуту, когда я готовился обмануть донну Розалію, то есть признаться въ любви, въ которой сердце мое вовсе не участвовало, я

взглянулъ нечаянно на золотой медальонъ, который висѣлъ у нея на шеѣ. Ну, придетъ ли кому въ голову, что это былъ... портретъ дона Эстебана де-Миранда! Назначить любовное свиданіе и надѣть портретъ своего мужа!.. Нѣтъ, ужъ это слишкомъ по-испански!.. И какой портретъ! Какъ двѣ капли воды сходный съ подлинникомъ! Вотъ этотъ добрый, честный Эстебанъ де-Миранда, вотъ его благородныя черты, его простодушная, исполненная привѣта улыбка! Обмануть этого гостепріимнаго человѣка, который обласкалъ меня, какъ родного; посѣять раздоръ въ его семействѣ—о, это было бы низко, подло!.. Одинъ взглядъ на его портретъ обдалъ холодомъ мое воображеніе, пробудилъ въ душѣ моей заснувшую совѣсть; я очнулся.

— Выслушайте меня, донна Розалія,—сказалъ я спокойнымъ голосомъ.—Во всю жизнъ мою я любилъ одну только женщину, но эта любовь была безпредѣльна; она сдѣлалась моей жизнью. Перестать любить Софью или умереть было для меня одно и то-же. Эта женщина насмѣялась надо мною, заставила меня возненавидѣть отечество. Я покинулъ его, но унесъ въ моемъ сердцѣ образъ той, которая, какъ убійца, зарѣзала мою молодость, сгубила всѣ мои земныя радости и сдѣлала меня на всю жизнь изгнанникомъ и безпріютнымъ сиротою. Но это еще ничего: она отняла у меня даже надежду быть когда-нибудь счастливымъ съ другою. Я вырвался изъ моего постыднаго плѣна, я убѣжалъ, но ношу еще цѣпи, въ которыя былъ закованъ и, что всего хуже, чувствую, какъ позорно для мужчины таскать эти кандалы, но я не могу и не хочу ихъ сбросить: я люблю мое безнадежное рабство!

— Софья!..—повторила Розалія едва слышнымъ голосомъ. — О! я никогда не забуду этого ужаснаго имени!

— Теперь скажите, донна Розалія,—продолжалъ я, — захотите ли вы принадлежать человѣку, который въ то самое время, когда вы станете говорить ему о любви вашей, будетъ думать о другой женщинѣ? Я не хочу васъ обманывать, если я, увлеченный порывомъ минутной страсти, скажу вамъ: «Розалія, я люблю одну тебя!» не вѣрьте мнѣ; если даже вы прочтете въ глазахъ моихъ, не вѣрьте моимъ глазамъ; въ эту минуту они будутъ одушевлены однимъ воспоминаніемъ!

— О, перестаньте, перестаньте!—прервала Розалія такимъ раздирающимъ голосомъ, что сердце мое облилось кровію. Она опустила голову, и слезы ручьями потекли по ея блѣднымъ щекамъ. Зачѣмъ говорить о томъ, что происходило тогда въ душѣ моей? Эта минутная борьба была ужасна, но я устоялъ и рѣшился идти до конца.

— Подумайте хорошенько, донна Розалія, — сказалъ я, посматривая безпрестанно на портретъ ея мужа,—что будетъ съ вами, если я, обманутый моимъ собственнымъ воображеніемъ, перенесясь въ прошедшее, быть можетъ, стану покрывать пламенными поцѣлуями ваши руки и говорить: «о, милый другъ! о, моя Софья!»

— Нѣтъ, это ужаснѣе самой смерти!—вскричала Розалія, всплеснувъ руками.—Сеноръ русіано! — продолжала она, устремивъ на меня свои черные пылающіе глаза,—человѣкъ ли вы?

— И самый слабый, донна Розалія,—прервалъ я. — Теперь вы все знаете: я былъ обманутъ, осмѣянъ и не имѣю довольно твердости, чтобъ забыть ту, которая достойна всего моего презрѣнія.

— Такъ вы ее не уважаете?—спросила съ живостью Розалія.

— Нѣтъ!

— И никогда не воротитесь въ Россію?

— Никогда!

— Останетесь жить вѣчно въ Испаніи!

— Быть можетъ.

Розалія задумалась; вдругъ глаза ея оживились.—Вы ее забудете!—вскричала она.—Да, amigo de mi alma, ты забудешь эту неблагодарную! Позволь мнѣ только любить тебя! Я ничего отъ тебя не требую, я все буду сносить... Говоря со мною, ты можешь воображать, что говоришь съ этой Софьею; я даже позволю — да! я позволю тебѣ называть меня этимъ ненавистнымъ именемъ!.. О, быть не можетъ, что бъ ты не тронулся моей любовью! Да развѣ, русскій, у тебя нѣтъ сердца? Развѣ оно охладѣло на вѣкъ отъ ядовитаго дыханья этой измѣнницы? О, повѣрь, мой милый другъ, повѣрь, оно снова начнетъ биться на груди моей... Не правда ли, mi amado, mi cagazon,—не правда ли, душа моя, ты забудешь эту Софью?

— Никогда! — сказалъ я, вставая. — Она была демономъ, который отравилъ все счастье моей жизни, а теперь можетъ быть моимъ ангеломъ-хранителемъ. Розалія, я не говорилъ вамъ еще о другомъ: вашъ мужъ, донъ Эстебанъ де-Миранда—мой другъ!

Розалія вскочила, въ одно мгновенье слезы высохли на глазахъ ея; они засверкали гнѣвомъ и неизъяснимымъ презрѣніемъ. — Кабалеро, — проговорила она дрожащимъ голосомъ, — я ошиблась! Я думала, что вы дворянинъ. Послѣ того, что вы сказали, я могу только презирать васъ: ненависти моей вы не стоите! Благородная испанка предлагаетъ вамъ любовь свою, вы ее отвергаете—въ ту самую минуту, когда она забываетъ для васъ всѣ свои обязанности, вы напоминаете ей о мужѣ... Нѣтъ, нѣтъ! вы не гидальго, не дворянинъ!.. Оставьте меня! Adios senor Russiano!

Я молча поклонился и вышелъ вонъ. У дверей дома встрѣтилъ меня трехаршин-

ный донъ Педро.— Кабалеро! — сказалъ онъ такимъ театрально-гробовымъ голосомъ, что я невольно улыбнулся,—вы очень долго сидѣли у донны Розаліи.

— Столько, сколько мнѣ хотѣлось,—отвѣчалъ я.

— И, кажется, у нея, кромѣ васъ, никого не было?

— Да, мы были одни.

— И вы признаетесь въ этомъ? И вы смѣете говорить мнѣ это въ глаза?

— Я всегда отвѣчаю, когда меня спрашиваютъ.

— Сеноръ русіано! Я не желаю ничего оставлять на моей совѣсти, и потому слушайте: я грандъ второй степени, донъ Педро де Геррера Конте де Херальда и кавалеръ святого Іакова, — еще разъ предлагаю вамъ дворянскій поединокъ на шпагахъ.

— А я, донъ Владиміръ сеноръ де Завольскій, дворянинъ и капитанъ гвардіи императора русскаго, вторично отвѣчаю вамъ, сеноръ Геррера, что не дерусь съ вами иначе, какъ на пистолетахъ. Viva usted muchos anos.

— Demonio!—пробормоталъ мнѣ вдогонку донъ Педро, заскрипѣвъ зубами.

Итакъ, жертва принесена! Я исполнилъ долгъ честнаго человѣка, но мнѣ нельзя будетъ остаться въ Алмеріи. Что скажу я доброму Эстебану де Миранда, когда онъ спроситъ, почему я покинулъ его домъ?.. Да! я долженъ уѣхать отсюда... уѣхать!.. Но куда? Если эта дивная природа, если этотъ благовонный воздухъ, это южное море, эти роскошныя небеса не могутъ разсѣять тоски моей; когда здѣсь, въ этомъ земномъ раю, сердце мое изныло грустію, то гдѣ найду я миръ и спокойствіе, которыхъ жаждетъ душа моя? Гдѣ?.. Въ могилѣ—или, можетъ быть... Нѣтъ, нѣтъ! тамъ, гдѣ живетъ *она*, тамъ, гдѣ я могу о ней слышать, могу встрѣтиться съ нею, тамъ жизнь будетъ для меня небеснымъ наказаніемъ, безпрерывной, адской пыткою!.. Уѣду въ другую часть свѣта... Корабль, который вошелъ сегодня въ здѣшнюю гавань, можетъ быть, идетъ въ Атлантическій океанъ, а если нѣтъ, такъ онъ довезетъ меня до какого-нибудь портоваго города, изъ котораго мнѣ можно будетъ отправиться прямо въ Америку.

Я провелъ всю ночь безъ сна. Никогда еще не было мнѣ такъ грустно; казалось, мое сердце предчувствовало какую-то бѣду. Лишь только солнце взошло, я всталъ, одѣлся и вышелъ на крыльцо, что бъ подышать свѣжимъ утреннимъ воздухомъ.

— Раненько вы сегодня встали, сударь,— сказалъ Никаноръ, который всталъ еще ранѣе меня и поливалъ цвѣты въ моемъ палисадникѣ.—Да ужъ здоровы ли вы?

— А что?

— Да такъ! Лицо у васъ что-то не хорошо. *Ба, ба, ба!.. Посмотрите*-ка, сударь, не мы одни встаемъ чѣмъ свѣтъ... Здравствуй, Пакитушка! милости просимъ!

— Да сохранитъ васъ Пречистая Дѣва отъ всякаго зла, сеноръ кабалеро!—сказала Пакита, поклонясь мнѣ и кивнувъ головою Никанору.

— Что ты такъ рано поднялась, каразона міа! — сказалъ Никаноръ, поставивъ на-земь свою лейку.

— Да, какъ же не рано! Ты, я думаю, выспался, а я со вчерашняго дня не раздѣвалась.

— Что такъ?—спросилъ я.

— А все вы, сеноръ кабалеро, — продолжала Пакита.—Моя донасъ не почивала всю ночь. Да что вы такое съ ней вчера говорили?

— Ничего, мой другъ.

— Какъ ничего! Да она совсѣмъ помѣшалась. Сначала, какъ вы ушли, все говорила, что не хочетъ васъ знать, что вы бездушный человѣкъ, варваръ, медвѣдь и Богъ знаетъ что! А тамъ ей сдѣлалось дурно;- а какъ очнулась, такъ сказала мнѣ: Ахъ, Пакита, какъ я рада! Я ужъ его не люблю, я терпѣть его не могу! Теперь я такъ счастлива, такъ спокойна! Да вдругъ и начала рыдать. Ужъ она плакала, плакала!.. Ахъ, Господи! откуда слезы брались! Потомъ сдѣлалась какъ будто повеселѣе, да и спрашиваетъ меня: «отчего донъ Геррера не зайдетъ ее провѣдать?» Начала хвалить его: «Вотъ ужъ подлинно благородный испанецъ! Вотъ истинный гидальго! Какъ онъ любитъ, какъ съ нимъ весело, какой онъ молодецъ!» А какъ сеноръ Геррера пришелъ, такъ она не велѣла его къ себѣ пускать. Да этакъ-то всю ночь: то давай ей донъ Педро, то его не надо, то плачетъ, то радуется; только радость-то ея вовсе на радость не походитъ, а какъ начнетъ плакать, то ужъ плачетъ, не шутя. Знаете ли, сеноръ кабалеро? Зайдите вы къ ней хоть на минутку. Если она велитъ вамъ отказать, такъ я ее не послушаюсь.

— Какъ же это можно, Пакита! Вѣдь она на тебя разсердится.

— Такъ что жъ, фулано! Посердится, да перестанетъ, а, можетъ быть, и вовсе сердиться не будетъ,—прибавила Пакита съ лукавою улыбкою.

— Сегодня я никакъ не могу у нея быть.

— Ахъ, что вы? Приходите сегодня. Она, право, не разсердится.

— Хорошо, хорошо! Прощай, мой другъ!

— Я буду васъ дожидаться у дверей; всѣмъ стану говорить, что моя донасъ нездорова и никого не принимаетъ, а если придетъ донъ Педро, то скажу ему, что его не велѣно и къ дому близко подпускать. Adios, сеноръ кабалеро! А ты, негодный русіано!— промолвила Пакита, погрозивъ пальцемъ Никанору,—приди только вмѣстѣ съ твоимъ господиномъ, приди!.. Дѣдушка Пакомо мнѣ

все пересказалъ. Что ты вчера говорилъ съ Фанетою?.. А Баутистѣ кто сережки подарилъ?.. Хорошо. хорошо! Приходи только!

— Что ты, Пакита, перекрестись!—закричалъ Никаноръ.—Стану я дарить сережки,—вотъ еще! Это ей Хорде подарилъ... Да послушай!..

— Нечего слушать! Теперь я знаю, ты негодяй, обманщикъ, абмустеро!.. Прощай!

— Экая разбойница!—прошепталъ Никаноръ.—Вотъ этакъ-то всякій разъ распозоритъ, да и поминай какъ звали!

— Я пойду гулять, Никаноръ,—сказалъ я,—а ты побудь дома, и если придетъ ко мнѣ донъ Педро...

— Вотъ этотъ, сударь, долговязый-то баринъ, что все ухаживаетъ за здѣшней губернаторшей?..

— Ну, да!

— Эхъ, сударь! вчера я не успѣлъ вамъ сказать. Вы никакъ съ нимъ поссорились? Смотрите, баринъ, берегитесь! У него что-то дурное на умѣ.

— Да что онъ можетъ мнѣ сдѣлать?

— Какъ что, сударь? Вѣдь здѣсь не то, что у насъ: брякни только деньгами, тотчасъ явятся удальцы, для которыхъ зарѣзать человѣка плевое дѣло.

— Да неужели ты думаешь, что донъ Педро рѣшится...

— Нанять этихъ мастеровъ, которые васъ мигомъ на тотъ свѣтъ отправятъ? Да, станетъ онъ церемониться! Вотъ изволите видѣть: вчера вы очень рано легли почивать, а мнѣ что-то не спалось, я пошелъ въ трактиръ, что подлѣ самыхъ городскихъ воротъ. Гляжу—за столомъ сидитъ человѣкъ пять, все ребята дюжіе, въ росхмѣль, попѣваютъ пѣсенки. Ну это еще не бѣда, да рожи-то у нихъ больно нехороши. Вотъ я сѣлъ въ темный уголокъ, спросилъ себѣ кружку вина, да и помалчиваю. Пока я тянулъ изъ кружки, эти гуляки порядкомъ нарѣзались, да и начали другъ передъ другомъ похваляться. Ну, нечего сказать, у меня, сударь, волосы стали дыбомъ! Видно, они съ пьяну-то не замѣтили посторонняго человѣка. Одинъ хвастался, что ограбилъ проѣзжаго купца, другой, что задушилъ свою любовницу, третій разсказывалъ, что въ какомъ-то городѣ ревнивый мужъ нанялъ его зарѣзать жену, а любовникъ подкупилъ убить мужа, и что онъ честно заработалъ свои деньги: мужа убилъ поутру, а жену уходилъ вечеромъ. Пуще всѣхъ похвалялся одинъ широкоплечій дѣтина, котораго всѣ звали Филиппомъ; этотъ разбойникъ говорилъ, что онъ на своемъ вѣку душъ тридцать потерялъ. Ну, сударь, меня такой взялъ страхъ, что я не допилъ вина, да скорѣй бочкомъ вдоль стѣнки шмыгъ за дверь! Фу ты, Господи!.. И теперь, какъ вспомню, такъ морозъ по кожѣ подираетъ! Не отошелъ я шаговъ двадцати отъ трактира, вдругъ слышу—ахти бѣда! — никакъ за мной бѣгутъ!.. Въ рукахъ у меня ничего нѣтъ, обороняться нечѣмъ; вотъ я бросился въ сторону и прилегъ за кустъ. Прошло этакъ минутки двѣ, слышу—кто-то проходитъ мимо самаго куста... Глядь! Ну, такъ и есть — разбойникъ Филиппъ, а къ нему навстрѣчу какой-то высокій мужичина. Въ лицо разсмотрѣть не могъ, а власть ваша, это точно тотъ баринъ, съ которымъ вы вчера поутру поссорились. Вотъ они сошлись, потолковали межъ собой, пошептались, да и пошли въ разныя стороны: разбойникъ назадъ въ трактиръ, тотъ прямехонько въ городъ. Ну, сударь, теперь изволите видѣть?.. Вѣдь дѣло-то больно плохо-вато.

— Я этого не вижу: ты могъ ошибиться, а если и въ самомъ дѣлѣ противъ меня есть заговоръ, такъ что жъ мнѣ прикажешь дѣлать? Запереться и сидѣть дома?

— Нѣтъ, Владиміръ Сергѣевичъ! На вашемъ мѣстѣ я переѣхалъ бы жить въ городъ, да пересталъ бы ходить каждое утро вонъ къ этому пустырю, какъ вы его называете, сударь, замокъ что-ль? И что тамъ хорошаго? Старыя башни, погреба, да кучи камня, мусору, всякой дряни, а ужъ мѣсто-то какое опасное! Чай, никто, кромѣ васъ, туда не заглядываетъ; надъ самымъ моремъ, кругомъ лѣсъ; зарѣжутъ тебя, да кинутъ въ воду, такъ вовсе безъ вѣсти пропадешь.

— Ахъ, какой ты трусъ, Никаноръ!

— Да воля ваша, сударь, тутъ храбриться нечего. Гдѣ надобно, такъ мы за себя постоимъ, а должно оберегаться: береженаго и Богъ бережетъ. Вы же всегда ходите съ пустыми руками, а ужъ я вамъ докладывалъ: здѣсь не то, что у насъ, здѣсь ухо держи востро.

— Ну, хорошо, хорошо! Подай мои карманные пистолеты! Они заряжены?

— Заряжены, сударь.. Постойте! Я только на полку подсыплю.

Я положилъ пистолеты въ карманъ моего сюртука и отправился. Отъ дома, въ которомъ я жилъ, до развалинъ мавританскаго замка было около двухъ верстъ. Едва замѣтная тропинка, то опускаясь до самаго моря, то перегибаясь черезъ песчаные холмы, которыми весь берегъ былъ усыпанъ, вела къ полуразрушенной круглой башнѣ и развалинамъ длинной стѣны. Эта стѣна опоясывала нѣкогда подошву довольно высокаго утеса. Со стороны моря онъ казался совершенно неприступнымъ. При первомъ взглядѣ на его изрытое основаніе, вокругъ котораго, отъ сильнаго морского прибоя, день и ночь кипѣли волны, можно было подумать, что онъ каждую минуту готовъ рухнуться въ море. Издали этотъ утесъ походилъ на какого-то угрюмаго великана, который съ поникнутой главою, казалось, стоялъ задумчиво на морскомъ берегу и прислушивался, какъ у ногъ

его крутились съ воплемъ и стонами безсильныя волны. Съ открытаго моря живописный видъ этой прибрежной скалы былъ еще прекраснѣе: съ правой ея стороны начиналась цѣпь песчаныхъ холмовъ, съ лѣвой чернѣлась густая дубовая роща, а прямо на ея выдавшейся впередъ вершинѣ, какъ орлиное гнѣздо, висѣлъ надъ самымъ моремъ опустѣлый замокъ съ своими тяжелыми башнями, зубчатыми стѣнами и воздушными бойницами.

Если вы подумаете, любезные читатели, что я ходилъ каждое утро любоваться этимъ прелестнымъ видомъ, то вы очень ошибаетесь. Вмѣсто того, чтобъ идти по тропинкѣ, которая вбѣгала въ самую вершину утеса, я обошелъ его кругомъ и очутился въ дубовой рощѣ, единственной цѣли ежедневныхъ моихъ прогулокъ.—Да что жъ такое дубовая роща?—скажете вы.—Что за диковинка? и гдѣ же? въ Андалузіи, гдѣ растутъ цѣлые лѣса померанцевыхъ деревьевъ! Да, точно, цѣлые лѣса! Но я предпочиталъ имъ эту простую дубовую рощу. Можетъ быть, вы захотите знать, почему она была мнѣ такъ мила? Какъ бы вамъ сказать?.. Во-первыхъ, я думаю, по той же самой причинѣ, по которой Никаноръ Федотычъ смотрѣлъ съ отвращеніемъ на апельсины, гранаты, виноградъ и тосковалъ о томъ, что не можетъ поѣсть соленыхъ огурцовъ и кислой капусты, а во-вторыхъ потому, что эта дубовая роща, какъ двѣ капли воды, походитъ на ту, въ которой я такъ часто гулялъ съ Софьей Николаевной. Что жъ это такое?.. Чтобъ забыть ее навсегда, я покинулъ мое отечество, умираю съ тоски на чужой сторонѣ и не ѣду назадъ въ Россію для того только, что тамъ живетъ она, а между тѣмъ люблю эту рощу, потому что въ ней все напоминаетъ мнѣ объ измѣнницѣ... Что жъ дѣлать, любезные читатели! Тутъ нѣтъ ни на волосъ здраваго смысла, не спорю, однако жъ, это правда. Да это еще не все: я выпросилъ позволенія у коррехидора и построилъ въ рощѣ китайскую бесѣдку, точь въ точь такую, какъ та, подлѣ которой Софья Николаевна назначила свиданіе Красноярскому и при мнѣ, въ моихъ глазахъ, бросилась къ нему на шею!.. Ну, вотъ прошу послѣ этого разгадать сердце человѣческое! Я каждое утро гулялъ въ этой рощѣ, отдыхалъ въ этой бесѣдкѣ, плакалъ, тосковалъ, молился Богу о милой родинѣ, о друзьяхъ и даже о той, которая изгнала меня изъ моего отечества.

На этотъ разъ прогулка моя была грустнѣе обыкновеннаго; я пришелъ проститься съ этой рощею. «Быть можетъ», думалъ я, садясь на скамью подлѣ бесѣдки, «быть можетъ, завтра взойду я на корабль, который умчитъ меня за тридевять земель, въ другую часть свѣта; быть можетъ, я навсегда разстанусь съ Европою и забуду даже, что на ея сѣверѣ есть могучее царство, которое я *называлъ нѣкогда моимъ* отечествомъ... Забуду!.. Да развѣ это возможно? Да развѣ кровь, которая течетъ въ моихъ жилахъ—не русская кровь?.. О, нѣтъ, нѣтъ! Никогда не перестану я любить тебя, мое отечество! Мысль о твоемъ могуществѣ и величіи будетъ всегда наполнять радостію мою душу. Гдѣ бы я ни былъ, хотя на краю свѣта, но пока живъ, я стану за одно и горевать и радоваться вмѣстѣ съ тобою; твоя честь — моя честь, твоя слава — моя слава. Гдѣ бъ я ни былъ, вездѣ злодѣй и хулитель моей родины найдетъ во мнѣ врага, вездѣ протяну я братскую руку тому, кто скажетъ доброе слово о святой Руси. Да, да! При ея священномъ имени, въ минуту смерти воспрянетъ и взыграетъ новой жизнію душа моя! О, милая моя родина! На поляхъ твоихъ, обширныхъ какъ цѣлыя царства, не растутъ померанцевыя деревья, небеса твои часто покрываются тучами, но ты гостепріимна, спокойна и счастлива; ты не гордишься своимъ земнымъ просвѣщеніемъ, но ты любишь Бога и Помазанниковъ Его, Православныхъ Царей Русскихъ. Тебя упрекаютъ, что ты отстала отъ дряхлѣющаго запада—тѣмъ лучше: онъ отживаетъ свой вѣкъ, а ты начинаешь только чувствовать всю твою силу, юная царица сѣвера, благочестивая, самобытная Русь!.. И я, одинъ изъ сыновъ твоихъ, добровольный изгнанникъ, живу на чужбинѣ и могу только издалека смотрѣть на тебя, родимая, любоваться, какъ ты растешь не по днямъ, а по часамъ, какъ двуглавый орелъ твой собираетъ подъ свои мощныя крылья единокровныя племена и народы, отторгнутые отъ тебя въ годину бѣдствій. Нѣтъ, я не разстанусь навсегда съ тобою, моя родина! Когда время и отсутствіе излѣчатъ меня отъ этой постыдной страсти, когда мнѣ можно будетъ встрѣтиться съ Софьей Николаевной и равнодушно спросить ее о здоровьѣ мужа, тогда я возвращусь опять въ мое отечество... Но когда это будетъ?.. Развѣ тогда, когда сердце мое перестанетъ биться!.. Зачѣмъ себя обманывать?! Я не хочу забыть *ее*—не хочу!.. И если жизнь не совсѣмъ еще мнѣ опротивѣла, если я не молю Бога о смерти, такъ это потому только, что могу думать объ этой измѣнницѣ, могу представлять себѣ ея плѣнительную улыбку, въ которой я видѣлъ мой рай земной, вспоминать ея очаровательный голосъ, который и теперь еще раздается въ ушахъ моихъ! Да, и теперь еще я слышу этотъ голосъ... я вижу передъ собою эту Клязьму, этотъ зеленый лугъ, эту березовую рощу... Нѣтъ!.. Видно, мнѣ суждено умереть на чужой сторонѣ!.. Никогда еще душа моя не была преисполнена такою скорбію; все прошедшее оживилось въ моей памяти, въ ней воскресли даже первые года моей жизни. Вотъ тихій пріютъ моего дѣтства—это село на высокомъ берегу Оки; вотъ луговая сторона, на которую я, бывало, гляжу и не нагляжусь весною,

когда полноводная рѣка заливаетъ своими волнами поемные луга, лѣса и степи; вотъ эта смиренная сельская церковь, въ которой добрая мать моя учила меня молиться Господу; вотъ ея древній иконостасъ съ чудотворнымъ образомъ Божіей Матери; вотъ домъ нашъ и обширный дворъ, на которомъ я такъ часто игралъ въ горѣлки, а вотъ крутая тропинка, по которой мы сходили на берегъ Оки, гдѣ ожидала насъ большая лодка съ зеленымъ наметомъ. Какъ теперь гляжу, бывало, покойный мой батюшка сядетъ самъ править рулемъ; мы выѣдемъ на середину рѣки, и хоръ лихихъ пѣсенниковъ грянетъ любимую его пѣсню: «Какъ по матушкѣ по Волгѣ»... Все это прошло и никогда не воротится!.. Неужели я не услышу болѣе этотъ милый родной языкъ, эти родные напѣвы: то грустные, то удалые, не увижу этотъ умный, добрый и веселый русскій народъ?.. Ахъ, Софья, Софья! для чего ты меня обманула?.. Я и такъ былъ сиротою, такъ зачѣмъ же ты отняла у меня послѣднюю отраду сироты—надежду умереть на своей родимой сторонѣ и лечь костьми подлѣ отца своего и матери!

Мнѣ часъ отъ часу становилось грустнѣе, и эта грусть готова была превратиться въ отчаяніе; душа моя разрывалась, но я не могъ плакать. Вдругъ отдаленные звуки пролетѣли мимо ушей моихъ, я вздрогнулъ; въ этихъ звукахъ было что-то знакомое; отъ нихъ какъ будто бы повѣяло на меня какой-то родной прохладою. Я сталъ прислушиваться. Такъ точно! Вдали поютъ цѣлымъ хоромъ... Но въ этомъ напѣвѣ нѣтъ ничего испанскаго; это не андалузская пѣсня... Нѣтъ! — Я вскочилъ и пошелъ въ ту сторону, гдѣ раздавались голоса... Они начинаютъ приближаться... Боже мой!.. Нѣтъ, я ошибаюсь—это невозможно!.. Но отчего же сердце мое такъ сильно бьется? Отчего оно рвется изъ груди?.. Вотъ пахнулъ вѣтерокъ съ моря... Пѣнье становится слышнѣе... Это не сонъ, не мечта!.. Вотъ тотъ знакомый напѣвъ, съ которымъ я свыкся еще въ ребячествѣ... Это цѣлый хоръ пѣсенниковъ... И они... Боже мой, Боже мой!.. они поютъ: «Внизъ по матушкѣ по Волгѣ»!.. Русскіе, русскіе!.. Здѣсь, подлѣ меня!

Очнувшись отъ перваго восторга, я побѣжалъ, какъ сумасшедшій, прямо туда, гдѣ слышно было пѣніе. Когда я вышелъ изъ рощи, хоръ змолкъ. Передо мной разстилалось открытое море, песчанный берегъ, усѣянный мелкими кустами; налѣво, до самаго утеса и далѣе вдоль берега, никого не было видно, кругомъ все тихо... На морѣ ни одной лодки... Что-жъ это значитъ?.. Я, кажется, здоровъ: у меня нѣтъ ни бреду, ни горячки!.. А! вотъ что! Направо поросшій густымъ лѣсомъ клочекъ земли вдается остроконечнымъ мысомъ въ море и, вѣроятно, закрываетъ собою тѣхъ, которые пѣли... Въ ту самую минуту, какъ я готовился увѣриться въ моея догадкѣ, позади меня раздался тихій шелестъ; шагахъ въ десяти изъза куста выглянуло отвратительное лицо, сверкнули звѣрскіе глаза, и рослый дѣтина, съ ножомъ въ рукахъ, бросился на меня, какъ голодный тигръ. Я отскочилъ въ сторону, вынулъ одинъ изъ моихъ пистолетовъ и прицѣлился въ разбойника; онъ остановился. «Если ты сдѣлаешь еще одинъ шагъ», — сказалъ я, — «то раздроблю тебѣ черепъ». Нечаянное появленіе пистолета, казалось, разстроило всѣ умственныя способности этого негодяя: вмѣсто того, чтобъ броситься отъ меня бѣжать, онъ припросъ къ землѣ, разинулъ ротъ и выпучилъ на меня глаза. Я сдѣлалъ шагъ впередъ и онъ также попятился назадъ, но такъ неловко, на безобразномъ лицѣ его выражался такой подлый испугъ, онъ глядѣлъ съ такимъ глупымъ ужасомъ и почтеніемъ на дуло моего пистолета, что во всякое другое время я рѣшился бы, для одной забавы, гнать передъ собой этого мерзавца и заставить его пятиться задомъ до самыхъ городскихъ воротъ. Но мнѣ было вовсе не до того: шагахъ въ тридцати отъ этого перваго разбойника доказался изъ рощи другой, также съ ножемъ въ рукѣ. Не помню, кто сказалъ, что всѣ люди, безъ исключенія, боятся смерти, съ тою только разницею, что человѣкъ не совсѣмъ боязливый робѣетъ передъ наступленіемъ опасности, трусъ во время оной, а храбрый тогда, когда опасность совсѣмъ уже миновала. Не знаю, храбрый ли я человѣкъ, но только рѣшительно принадлежу къ этому третьему разряду. Во всю жизнь мою я сохранялъ въ минуту опасности совершенное хладнокровіе; страхъ приходилъ послѣ. Когда я увидѣлъ, что мнѣ должно защищаться отъ двухъ убійцъ, то въ ту же секунду рѣшился сдѣлать бой равнымъ. Съ одного скачка я очутился подлѣ перваго разбойника, прицѣлился ему прямо въ лобъ и спустилъ курокъ моего пистолета; онъ осѣкся, и я, въ то-же самое мгновеніе отъ сильнаго удара противъ сердца упалъ на землю. Ударъ былъ нанесенъ ножемъ, но, къ счастію, его лезвіе попало мнѣ подъ плечо и только слегка оцарапало грудь. Разбойникъ съ размаха упалъ на меня; я успѣлъ схватить его за ту руку, въ которой былъ ножъ; но свободной рукой онъ сжалъ мнѣ горло и придавилъ колѣномъ грудь. Несмотря на всѣ усилія, я не могъ изъ подъ него освободиться. Межъ тѣмъ товарищъ его былъ уже въ пяти шагахъ; смерть моя была неизбѣжна. Не могу описать, что чувствовалъ я въ эту ужасную минуту: это былъ не страхъ, а какое-то одеревѣненіе, совершенно чуждое всякой мысли, что-то похожее на то, что французы называютъ: le cauchemar, то есть тяжкій сонъ, за который наши крестьяне такъ несправедливо бранятъ бѣднаго домового. Я не вовсе былъ безъ чувствъ, но все представлялось мнѣ въ какомъ-то превратномъ

видѣ: мнѣ казалось, какъ будто бы сквозь сонъ, что небо надо мной кроваваго цвѣта, что на мнѣ лежитъ свинцовая гора, что въ груди у меня нѣтъ сердца, что я уже умеръ, вдругъ надъ моей головой сверкнулъ широкій ножъ, въ то же время раздался выстрѣлъ и я совершенно обезпамятѣлъ. Когда я пришелъ въ себя, то долго не могъ понять, гдѣ я и что со мною дѣлается. Вокругъ меня говорили по-русски; Никаноръ перевязывалъ мою легкую рану; въ двухъ шагахъ лежалъ съ простръленною головою второй разбойникъ; вокругъ его толпились матросы и стоялъ какой-то флотскій офицеръ; онъ держалъ въ рукѣ пистолетъ, который еще дымился.

— Ну, слава Богу! очнулся!—вскричалъ Никаноръ.

Я приподнялся и при помощи моего слуги, сталъ на ноги.

— Что это за люди?—сказалъ я.

— Наши, сударь, наши! все русскіе.

— Русскіе? Но гдѣ же я, и отчего ты здѣсь, Никаноръ?

— А вотъ изволите видѣть, сударь: какъ вы пошли гулять, я подумалъ про себя: баринъ взялъ съ собой пистолеты, да вѣдь какая-нибудь шельма подкрадется сзади, да пырнетъ ножемъ, такъ тутъ пистолеты не помогутъ. Дай пойду за нимъ, назеркомъ! Вотъ и пошелъ и вплоть до самой рощи не терялъ васъ изъ виду; да какъ услышалъ, что за этимъ лѣскомъ поютъ русскую пѣсню, такъ—виноватъ, батюшка Владиміръ Сергѣевичъ—все забылъ: бросился какъ шальной на взморье... Такъ и есть—наши!.. Вѣдь это съ того корабля, сударь, что вы изволили вчера видѣть. Какъ его благородіе узналъ, что я русскій и что мой баринъ здѣсь, въ рощѣ, такъ и пошелъ сейчасъ со мною, что бъ съ вами познакомиться. Лишь только мы вышли изъ лѣса, глядь поглядь—что такое?.. Ахъ, Господи! васъ рѣжутъ!.. Я обмеръ, а офицеръ выхватилъ изъ кармана пистолетъ, да какъ шарахнетъ въ одного разбойника; тотъ и капыльями кверху. А другой вскочилъ, да тягу. Ну, сударь, если бъ не его милость, не быть бы вамъ въ живыхъ.

Офицеръ подошелъ ко мнѣ. «Какъ вы себя чувствуете?» сказалъ онъ. Я хотѣлъ что-то отвѣчать, но языкъ мой онѣмѣлъ: передо мной стоялъ Красноярскій.

— Впрочемъ, вы можете быть спокойны,— прибавилъ офицеръ, — ваша рана вовсе неопасна.

Боже мой! И такъ мнѣ суждено въ другой разъ благодарить за жизнь человѣка, который сгубилъ все мое счастіе!.. Но, можетъ быть, это одно только сходство...

— Если не ошибаюсь, — спросилъ я робкимъ голосомъ,—вы Александръ Михайловичъ Красноярскій?

— *Да, точно!* — *отвѣчалъ* офицеръ. — Но почему вы это знаете? Мнѣ кажется, я въ первый разъ имѣю удовольствіе васъ видѣть.

— Вы забыли мое лицо, но я никогда не забуду вашего.

Офицеръ посмотрѣлъ на меня съ удивленіемъ.

— Скажите, — продолжалъ я, — вы ужъ давно изъ Россіи?

— Шестой мѣсяцъ; теперь я на возвратномъ пути.

— Я думаю, эта мысль должна васъ очень радовать; можетъ быть, вы давно не получали никакого извѣстія, не знаете ничего... о вашихъ домашнихъ?

— Я получилъ въ Неаполѣ послѣднее письмо отъ моей жены.

Отъ его жены!!!.. Глупецъ! И вѣдь нужно разспрашивать.

— Мѣсяца черезъ три:—продолжалъ Красноярскій,—я надѣюсь быть въ Кронштадтѣ, и вѣроятно это будетъ послѣдняя моя кампанія. Семейному человѣку служить трудно, а особливо во флотѣ.

— Да, это правда,—прошепталъ я. — А давно ли вы были въ Неаполѣ.

— Недѣли двѣ тому назадъ.

— Слѣдовательно, извѣстія о вашемъ семействѣ довольно новы?

— Жена пишетъ ко мнѣ отъ перваго числа прошедшаго мѣсяца.

— Ну что, — промолвилъ я, запинаясь, — здорова ли Софья Николаевна?

— Сестра моя?

Если бъ земля заколебалась подо мной и небеса на меня обрушились, то и тогда-бы я не обезумѣлъ такъ, какъ отъ этихъ двухъ словъ.—Какъ, сестра? Чья сестра? — вскричалъ я, вѣроятно очень страннымъ голосомъ, потому что Красноярскій вздрогнулъ и отступилъ отъ меня на цѣлый шагъ,

— Чья сестра? — повторилъ онъ. — Моя. Вѣдь вы говорите о Софьѣ Николаевнѣ Ладогиной?

Едва прошло нѣсколько минутъ, какъ я былъ подъ ножомъ разбойника; я не успѣлъ еще порядкомъ очнуться и вдругъ вижу передъ собой Красноярскаго; слышу, что Софья ему сестра: все это такъ сильно потрясло мой разсудокъ, что я совершенно одурѣлъ. Я все видѣлъ и ничего не различалъ; все слышалъ и ничего не могъ понять: слова сдѣлались для меня простыми звуками, въ которыхъ не было никакого смысла. Да, въ эту минуту я былъ на одинъ волосъ отъ сумасшедствія. «Сестра, сестра!..» шепталъ я, смотря пристально на Красноярскаго.— Да что такое сестра?.. Я не понимаю васъ!.. Сестра! Вѣдь это значитъ, что вы ея мужъ?.. Вѣдь вы съ нею видѣлись ночью подлѣ китайской бесѣдки?..

— Подлѣ китайской бесѣдки!— вскричалъ Красноярскій. — Такъ это вы?., Боже мой,

Боже мой!.. Сколько напраснаго горя!.. Вѣдь вы Владиміръ Сергѣевичъ Завольскій?

— Завольскій?..—Да! я Завольскій...

— Ахъ, Владиміръ Сергѣевичъ, какихъ бѣдъ надѣлала ваша поспѣшность!.. Бѣдная сестра моя чуть не умерла съ горя, когда она получила письмо ваше...

— Письмо?.. Постойте!.. Да! я точно къ ней писалъ: я уступалъ ее вамъ.

— Мнѣ! Да развѣ вы не слышите? Она сестра моя. Поймите хорошенько — родная сестра.

— Родная сестра?.. Да вѣдь вы...

— Ну да! Я Александръ Михайловичъ Красноярскій, а она Софья Николаевна Ладогина: мы братъ и сестра отъ разныхъ отцовъ.

— Отъ разныхъ отцовъ? Такъ вы не родня.

— Да войдите въ себя, Владиміръ Сергѣевичъ! Софья не замужемъ; она васъ любитъ, она ждетъ васъ! Слышите ли: она васъ любитъ!

Вдругъ въ головѣ моей какъ будто бы прояснилось; я понялъ. — Возможно ли! — вскричалъ я, бросившись на шею къ Красноярскому;—Софья меня любитъ! Она не замужемъ! Вы братъ ея!

— Ну, да!—Сказалъ Красноярскій, обнимая меня. — Я былъ влюбленъ въ пріятельницу сестры моей, Любовь Дмитріевну Хопрову, и теперь на ней женатъ. Въ письмѣ, которое вы нашли въ ридикюлѣ моей сестры, я говорилъ ей о Любинькѣ, которую тетка хотѣла выдать замужъ за какого-то богатаго старика. Въ эту несчастную ночь, когда вы увидѣли меня вмѣстѣ съ Софьей у китайской бесѣдки, я прискакалъ изъ Петербурга для того только, чтобъ увезти Любовь и обвѣнчаться съ нею. Можетъ быть, вамъ покажется страннымъ, что вы до сихъ поръ ничего обо мнѣ не слышали и не знали даже, что у Софьи есть родной братъ! Вотъ отчего это сдѣлалось. Дядя сестры моей, Кузьма Петровичъ, и жена его были въ явной враждѣ съ моимъ покойнымъ отцомъ; я наслѣдовалъ ихъ немилость, которая простиралась до того, что во всемъ ихъ домѣ не смѣли произнести моего имени, и даже Софья, не желая огорчать своихъ стариковъ и заводить съ ними безполезные споры, никогда обо мнѣ не говорила. Ну, теперь все ли для васъ ясно?

— О, да, да! Она меня любитъ! Она ждетъ меня!

— И не перестала бы ждать до самой смерти! Ну, что, Владиміръ Сергѣевичъ, теперь въ Россію?

— Сегодня же—сію минуту!

— И радъ бы радостію, да нельзя. Вотъ денька черезъ два пальемся водою, да и съ Богомъ!

— Нѣтъ, нѣтъ! Я не останусь ни минуты на чужой сторонѣ! Я переѣду къ вамъ на корабль; тамъ мнѣ будетъ казаться, что я уже въ Россіи; тамъ всѣ станутъ говорить со мной по-русски. О, Бога ради! возьмите меня къ себѣ!

— Съ большимъ удовольствіемъ; весь мой фрегатъ къ вашимъ услугамъ.

— Никаноръ!—закричалъ я,—ступай на квартиру, расплатись съ хозяиномъ, забери всѣ наши пожитки и пріѣзжай на фрегатъ: мы послѣзавтра ѣдемъ въ Россію.

— Ну, слава Тебѣ, Господи! — сказалъ Никаноръ, который слушалъ со вниманіемъ весь разговоръ мой съ Красноярскимъ.—Слава Богу, — повторилъ онъ, перекрестясь. — То ли дѣло родимая сторона!.. Жаль только Пакиточки—знатная дѣвка! Да провались и она! Что, въ самомъ дѣлѣ, иль у насъ нѣтъ красавицъ?.. Вы женитесь на Софьѣ Николаевнѣ, а у ней была Дуняша, такая полная, круглолицая, бровь дугою... Ахъ, батюшки, подумаешь! Вотъ, отчего вы ускакали тогда изъ подмосковной; вы подозрили Софью Николаевну, да и давай Богъ ноги за тридевять земель въ тридесятое государство! Эхъ, господа, господа! Вотъ то-то и есть, сударь, не взглянувъ въ святцы, да и бухъ въ колоколъ! Нѣтъ, по нашему не такъ: подозрилъ, такъ тутъ же на свѣжую воду.— Что такъ? Для чего? И почему? Давай все на чистоту? Анъ глядишь и вышли пустяки. Ну, конечно, можетъ статься сгоряча и поколотишь; да вѣдь это все не то — помилуйте!

— Полно врать, Никаноръ! — закричалъ я.—Ступай проворнѣй!

— Иду сударь, иду! А что, ребята,— сказалъ онъ вполголоса, идя мимо матросовъ,—водится у васъ на кораблѣ-то наше родное, сирѣчь хлѣбное?

— Какъ не быть,—отрѣчалъ одинъ изъ матросовъ.

— Ой-ли и пѣнное есть?

— Найдется.

— Право? Ну, отведу же я себѣ душеньку! Не извольте безпокоиться, сударь, — прибавилъ Никаноръ, уходя,—нынче же все перевеземъ!

— Что, Владиміръ Сергѣевичъ, — сказалъ Красноярскій,—вы сейчасъ хотите ѣхать на фрегатъ?

— Сію минуту.

— Такъ отправляйтесь на моемъ катерѣ, а мнѣ должно повидаться съ здѣшнимъ начальникомъ по моимъ дѣламъ, а потомъ надобно изъяснить ему, какъ я убилъ этого разбойника. Эй! Гавриловъ! Ты отвезешь барина на фрегатъ, а тамъ пріѣзжай въ пристань, гдѣ вчера были. До свиданія, Владиміръ Сергѣевичъ!

Красноярскій отправился въ городъ, а я сѣлъ на катеръ. Гребцы размѣстились, вода закипѣла подъ ихъ веслами, и я простился

навсегда съ берегомъ Испаніи.—Спойте что-нибудь, ребята!—сказалъ я матросамъ. Одинъ изъ нихъ вынулъ изъ-за пазухи рожокъ, приладилъ, сдѣлалъ колѣнцо, залился и удалая волжская пѣсня: «Не шуми, мати зеленая дубравушка!» быть можетъ, въ первый разъ загремѣла и прокатилась по волнамъ Африканскаго моря. Вплоть до самаго фрегата не умолкали пѣсни веселыхъ гребцовъ, а я слушалъ ихъ и плакалъ какъ дитя.

Красноярскій не обманулъ меня: ровно черезъ три дня...

— Что тамъ еще? кто тутъ?—закричалъ я, положивъ съ досадою перо, которое только что хотѣлъ обмакнуть въ чернильницу.

Двери моего кабинета тихонько растворились: сначала показался багровый носъ, за нимъ появились полныя, румяныя щеки, а тамъ засіяла огромная лысина, и мой старый слуга, мой вѣрный *мичарда* сталъ передо мной, какъ листъ передъ травой.

— А, это ты, Никаноръ? Зачѣмъ пришелъ?

— Софья Николаевна совсѣмъ готова,—отвѣчалъ Никаноръ Федотычъ.—Она изволитъ васъ дожидаться въ гостиной.

— Зачѣмъ?

— Да развѣ, сударь, забыли? Вѣдь вы сегодня изволите кушать за Москвой-рѣкой у Александра Михайловича Красноярскаго.

— Ахъ, да! Вѣдь сегодня рожденья его жены, хорошо, хорошо, сейчасъ!

— Ну, вотъ, прошу писать! Ты за перо, а тутъ барыня дожидается. Я далъ себѣ честное слово кончить сегодня поутру мой разсказъ, а вѣдь вы знаете, что я человѣкъ упрямый, и если разъ заберу себѣ что-нибудь въ голову, такъ ужъ непремѣнно поставлю на своемъ. Я хотѣлъ было разсказать вамъ, какъ мы доѣхали до Россіи, какъ я свидѣлся съ Софьей Николаевной, какъ тетушка ея при первомъ свиданіи заговорила меня до обморока, какъ Максимъ Петровичъ развернулся и задалъ великолѣпный свадебный пиръ, какъ знакомый нашъ капельмейстеръ Мордоченко посвятилъ мнѣ сочиненный по случаю моей свадьбы, польскій, въ которомъ пѣли:

„Веселись и радуйся, Владиміръ,
Ты красуйся, Софья имъ!“.

какъ мой Никаноръ Федотычъ Подшибаевъ сочетался законнымъ бракомъ съ Авдотьей Никитишной Снѣтковой, какъ мнѣ удалось помирить Красноярскаго съ Кукушкиными и какъ тетка жены его, Аграфена Карповна Морганцова, не успѣла лишить наслѣдства свою племянницу, потому что въ тотъ самый день, какъ она хотѣла подписать духовную, поваръ приготовилъ къ обѣду такіе скверные левашники, что она чуть ими не подавилась. Къ несчастію, этотъ поваръ былъ наемный, и она имѣла только право согнать его со двора. Это до того разгорячило бѣдную вдовицу, что вся кровь бросилась ей въ голову, и она въ тотъ-же самый вечеръ умерла ударомъ. Я хотѣлъ также разсказать вамъ... Да мало-ли о чемъ мнѣ еще нужно было поговорить съ вами, любезные читатели, и если-бъ не этотъ званный обѣдъ... Но вотъ, кажется, опять бѣгутъ за мною!.. Такъ и есть!

„Въ каретѣ барыня и гнѣваться изволитъ!“.

прокричалъ торопливо Никаноръ, отворивъ настежъ двери. Ай, ай, худо! Федотычъ заговорилъ ужъ стихами. Ну, дѣлать нечего: прощайте, любезные читатели! Не знаю, удастся-ли мнѣ опять съ вами побесѣдовать, но, на всякій случай, я прошу васъ не поминать меня лихомъ, если моя стариковская болтовня хоть изрѣдка казалась вамъ забавною, такъ скажите обо мнѣ при случаѣ ласковое слово: я изъ этого только и бьюсь. Вѣдь сочинитель ни дать, ни взять, какъ русскій солдатъ, котораго ласковымъ словомъ напоишь, накормишь и спать положишь.

ВЕЧЕРЪ НА ХОПРѢ.*)

Вступленіе.

Дѣдушка моего пріятеля Заруцкаго, Иванъ Алексѣевичъ Асановъ,—дай Богъ ему царство небесное,—былъ старикъ предобрый. Никогда не забуду я нѣсколькихъ дней, проведенныхъ мною, подъ конецъ осени, помнится, въ 1806 г., въ его Саратовской деревушкѣ, на Хопрѣ. Какъ теперь гляжу на десятка два крестьянскихъ избъ, разбросанныхъ по высокому берегу рѣки, на его огромныя кирпичныя палаты, построенныя на диво всему Сердобскому уѣзду, въ два этажа, со сводами и съ такими же толстыми стѣнами, что отъ нихъ, какъ мячикъ, отскочило бы сорока восьми фунтовое ядро.

Я не былъ еще знакомъ съ Иваномъ Алексѣевичемъ, когда пріѣхалъ по дѣламъ въ Сердобскъ. Имѣя рекомендательное письмо къ городничему, я остановился у него въ домѣ и тутъ-то въ первый разъ услышалъ о богатомъ помѣщикѣ, отставномъ секундъ-маіорѣ Асановѣ. Не проходило дня, что бъ въ Сердобскомъ высшемъ обществѣ не толковали о его странностяхъ и причудахъ. Городничій, уѣздный судья, стряпчій, словомъ, всѣ власти и первостатейные сановники города Сердобска относились объ немъ съ весьма дурной стороны: одни говорили, что онъ нелюдимъ и гордецъ, другіе называли его полоумнымъ; были даже добрые люди, которые увѣряли, что будто бы онъ никогда не ходитъ къ обѣднѣ и что въ его домѣ нѣтъ ни одного образа. Правда, капитанъ-исправникъ всегда возставалъ противъ этой клеветы, но такъ какъ онъ одинъ изо всего Сердобска возилъ хлѣбъ-соль съ Иваномъ Алексѣевичемъ, то никто и не давалъ вѣры его словамъ.—«Воля твоя, Дмитрій Ивановичъ»,—говаривалъ ему часто городничій. — «воля твоя, а это что-нибудь не даромъ: кто не хочетъ жить съ людьми, у того совѣсть не чиста. Добро-бъ онъ былъ человѣкъ скупой—такъ нѣтъ! Посмотри, какъ соритъ деньгами! Когда прошлаго года былъ пожаръ въ слободѣ и открыли подписку на погорѣвшихъ мѣщанъ, такъ онъ одинъ далъ больше, чѣмъ все наше дворянское сословіе. Ну, разсудите милостиво, господа, что онъ для экономіи что-ль живетъ въ этой Хоперской деревнѣ, въ которой, чай, нѣтъ господской запашки и двадцати десятинъ во всѣхъ поляхъ? Человѣкъ онъ богатый: за нимъ въ одной Пензенской губерніи слишкомъ тысяча душъ. Вотъ хоть его Засурская волость: есть къ чему руки приложить, десятинъ по пятнадцати на душу—а угодьевъ-то сколько: поемные луга по Сурѣ, строевой лѣсъ, мельница о восьми поставахъ—подлинно золотое дно! Не хотѣлось жить въ деревнѣ, Пенза подъ бокомъ».—Конечно,—прибавлялъ обыкновенно городничій, поправляя съ важностію свой галстухъ,—у насъ и въ Сердобскѣ общество дворянъ прекрасное, но вѣдь Пенза губернскій городъ, да еще какой!.. Одна Петровская ярмарка чего стоитъ! Публика отличная, просвѣщенная, благородныя собранія, театръ, вокзалы, англійскій клубъ,—говорятъ однако же, что онъ рушился,—балы;—словомъ, чего хочешь, того просишь. А что всего-то лучше, губернаторъ съ вице-губернаторомъ живутъ всегда въ ладу, сплетней никакихъ нѣтъ, барыни межъ собой никогда не ссорятся, и куда не сунься, вездѣ такъ и рѣжутъ по-французски. Что и говорить—Пенза городокъ Москвы уголокъ!

Хотя сіи блестящія похвалы губернскому городу Пензѣ казались мнѣ всегда нѣсколько преувеличенными, но, несмотря на это, я раздѣлалъ сначала безусловно мнѣніе городничнаго. Въ самомъ дѣлѣ, что за охота богатому человѣку жить затворникомъ въ бѣдной деревушкѣ, верстахъ въ тридцати отъ уѣзднаго города, и по крайней мѣрѣ въ двадцати отъ самаго ближайшаго сосѣда, и жить въ какомъ-то заколдованномъ домѣ,—такъ прозвала каменныя палаты Ивана Алексѣевича сестра городничаго, дѣвица зрѣлыхъ лѣтъ, съ лицомъ нѣсколько уже поблекшимъ, но съ юной душою и сердцемъ отмѣнно романтическимъ: одна она выписывала изъ Москвы всѣ романы знаменитой Радклифъ и первая извѣстила Сердобскихъ жителей о существованіи госпожи Жанлисъ. — Вы не мо-

*) Отрывокъ изъ манускрипта подъ названіемъ: „Мое отдохновеніе или современные разсказы и были прошедшихъ двухъ столѣтій“.

жете себѣ представить, — говорила она мнѣ однажды,—какой ужасъ наводитъ на всѣхъ этотъ старый домъ, которому не достаетъ только башенъ и подъемнаго моста, что бъ походить совершенно на Удольфскій замокъ, или Грасфильское аббатство. Если бъ вы знали, сколько разсказываютъ о немъ чудныхъ и страшныхъ повѣстей. Говорятъ, что лѣтъ сто тому назадъ, прежній помѣщикъ держалъ въ немъ разбойничью пристань, что глубокіе погреба подъ этимъ домомъ завалены человѣческими костями, что по ночамъ происходятъ въ немъ необычайныя явленія: слышенъ громкій стонъ, и хотя капитанъ-исправникъ увѣряетъ, что будто бы это воетъ вѣтеръ по узкимъ корридорамъ и переходамъ, которыхъ понадѣлано въ домѣ великое множество, но онъ говоритъ это потому, что живетъ въ ладу съ Асановымъ. Покойная моя мамушка разсказывала мнѣ преужасную исторію объ этомъ домѣ; странно только, что я почти совсѣмъ ее забыла, а, кажется, это не такъ давно; правда, я была тогда еще совершеннымъ ребенкомъ, и какъ помню, такъ перепугалась, что не могла заснуть всю ночь. Въ этомъ разсказѣ есть разбойники, мертвецы и какой-то ночной поѣздъ; мамушка божилась мнѣ, что это не сказка, а быль, и что во всемъ здѣшнемъ уѣздѣ нѣтъ ни одного старика, который не зналъ бы эту повѣсть со всѣми ея подробностями. Говорятъ также, что будто бы отъ времени до времени то-же самое, что случилось нѣкогда ночью въ этомъ нечистомъ и заколдованномъ домѣ, повторяется и теперь, а особливо съ тѣхъ поръ, какъ нынѣшній помѣщикъ переѣхалъ въ него жить.

— А развѣ до Ивана Алексѣевича Асанова никто въ немъ не жилъ? — спросилъ я сорокалѣтнюю сестрицу городничаго, которая такъ еще недавно была ребенкомъ.

— Да, никто. Лѣтъ двадцать сряду всѣ двери и окна наглухо въ немъ были заколочены.

— Ну, жаль, что Иванъ Алексѣевичъ незнакомъ со мною, — думалъ я, очень часто слушая всѣ эти разсказы и толки.—Стыдно признаться, а грѣхъ утаить, я всегда былъ смертельный охотникъ до страшныхъ исторій, и не только вѣрю, но даже не сомнѣваюсь въ существованіе колдуновъ, привидѣній и мертвецовъ, которые покидаютъ свои могилы, такъ же какъ и огненныхъ змѣевъ, которые летаютъ къ деревенскимъ вдовушкамъ и, разсыпаясь надъ кровлями избъ, являются къ нимъ въ видѣ покойниковъ, о коихъ онѣ тоскуютъ. Я скорѣе посумнюсь, что Кіевъ былъ столицею великаго князя Владиміра, чѣмъ повѣрю, что въ немъ никогда не живали вѣдьмы, и признаюсь, піитическій Днѣпръ потерялъ бы для меня большую часть своей *прелести, если бъ я не* вѣрилъ, что русалки и *до сихъ поръ выходятъ* изъ лѣсовъ своихъ поплескаться и поиграть, при свѣтѣ луны, въ его чистыхъ струяхъ, что онѣ какъ разсказываетъ одинъ изъ нашихъ поэтовъ:

То въ восторгѣ юной радости
Будятъ пѣснями брега;
Иль съ безпечнымъ смѣхомъ младости
Ловятъ мѣсяца рога
На пучинѣ серебристые.
Или плескомъ быстрыхъ рукъ
Брызжутъ радуги огнистыя,
Рѣзвятся въ волнахъ—и вдругъ
Утопаютъ, погружаются
Въ свой невидимый чертогъ...

Не могу описать, какое неизъяснимое наслажденіе чувствую я всякій разъ, когда слушаю повѣсть, отъ которой волосы на головѣ моей становятся дыбомъ, сердце захираетъ и морозъ подираетъ по кожѣ. Пусть себѣ господа ученые, эти холодные розыскатели истины, эти Ѳомы невѣрные, которые сомнѣваются даже въ томъ, что лѣшіе обходятъ прохожихъ и что можно однимъ словомъ изурочить человѣка, смѣются надъ моимъ легковѣріемъ; — я не промѣняю на ихъ сухіе математическіе выводы, на ихъ замороженный здравый смыслъ, мои дѣтскія, но игривыя и теплыя мечты. Одно только меня всегда огорчало: несмотря на русскую пословицу, что на охотника звѣрь бѣжитъ, во всю жизнь мою не удавалось мнѣ видѣть ничего чудеснаго, и даже всѣ колдуны, съ которыми я встрѣчался, какъ будто на смѣхъ, были самые обыкновенные обманщики и плуты. Я навѣрное знаю, что многіе, смотря въ два зеркала, поставленныя одно противъ другого, видятъ и Богъ вѣсть что, а я смотрѣлъ однажды до тѣхъ поръ, пока мнѣ сдѣлалось дурно и въ глазахъ позеленѣло, а не видѣлъ ничего, кромѣ безконечной перспективы и какого-то туманнаго пятна, которое, какъ открылось послѣ, было ничто иное, какъ простое черное пятно на зеркалѣ. Ужъ, я ли, кажется, не старался все испытать! Года два тому назадъ, ходилъ въ Ивановъ день ночью въ лѣсъ подкараулить, какъ цвѣтетъ папоротникъ, но когда время стало подвигаться къ полуночи, на меня напалъ такой страхъ, что я пустился бѣжать безъ оглядки, и хотя слышалъ позади себя необычайный шумъ и свистъ, но не могу сказать навѣрное, нечистая ли сила это проказила или просто гудѣлъ вѣтеръ по лѣсу. Въ другой разъ, когда я жилъ еще въ степной моей деревнѣ, я рѣшился идти въ полночь на кладбищѣ. Авось,—думалъ я,—хоть одинъ мертвецъ вылѣзетъ изъ своей могилы прогуляться по церковному погосту—и въ самомъ дѣлѣ, когда я подошелъ къ кладбищу, то увидѣлъ между могилъ что-то похожее на мертвеца въ бѣломъ саванѣ. Ахъ, какъ забилось мое сердце отъ страха и удовольствія! Какимъ пріятнымъ холодомъ обдало меня съ головы до ногъ, какъ подкосились подо мною колѣни! И теперь вспомнить не могу безъ восторга объ

этой ужасной и восхитительной минутѣ. Крестясь и творя молитву, я пустился бѣжать домой, бросился на мою постель, и всю ночь то бредилъ какъ въ горячкѣ, то дрожалъ какъ въ лихорадкѣ.—И такъ,—думалъ я, задыхаясь отъ радости,—этотъ безвѣстный міръ существуетъ въ самомъ дѣлѣ; мертвецы бродятъ по ночамъ около могилъ; души усопшихъ посѣщаютъ землю, и все то, что господа педанты называютъ суевѣріемъ, обманомъ, бѣлой горячкою—есть истина. И чтожъ, любезные читатели, какъ вы думаете, чѣмъ все это кончилось? На другой день я сталъ разсказывать о семъ приключеніи бурмистру моему Федоту; этотъ негодяй засмѣялся и сказалъ мнѣ: «вы напрасно изволили перепугаться, сударь; вѣдь это шатался по кладбищу староста Тихонъ; онъ боленъ горячкою и прошлую ночь выбѣжалъ изъ избы въ то время, какъ всѣ спали».—Какъ!—вскричалъ я,—такъ это былъ не мертвецъ? — «И, батюшка баринъ»,—отвѣчалъ Федотъ, скривя свою безобразную харю,—«какіе нынче мертвецы! Вѣдь въ старину народъ былъ глупъ: всему вѣрили, а теперь и малаго ребенка не испугаешь этими бабьими сказками».—Бабьими сказками!!. Вся кровь моя взволновалась, я затопалъ ногами, закричалъ—и еслибъ этотъ вольнодумецъ Федотъ не ушелъ изъ моего кабинета, то непремѣнно вцѣпился бы ему въ бороду. Да и какъ было не взбѣситься? подумаешь: Господи Боже мой! Добро бы въ Петербургѣ или въ Москвѣ, а то и въ деревняхъ ужъ стали умничать!

Послѣ всего сказаннаго мною, читатель можетъ себѣ представить, желалъ ли я познакомиться съ Иваномъ Алексѣевичемъ Асановымъ; но никто, даже самъ капитанъ-исправникъ, не брался привезти меня къ нему въ деревню, и я начиналъ терять ужъ всю надежду, какъ вдругъ однимъ утромъ, проходя базарную площадь, увидѣлъ, что кто-то ѣдетъ въ дорожной коляскѣ; глядь поближе — старинный мой пріятель и сослуживецъ, Заруцкій. Мы вскрикнули оба въ одинъ голосъ, экипажъ остановился, Заруцкій изъ него выскочилъ, и пошли разспросы:—«откуда Богъ несетъ?»

— Въ деревню, къ дядѣ. А ты какъ здѣсь?

— По дѣламъ.

— Поѣдемъ вмѣстѣ со мною. Я познакомлю тебя съ дядюшкою: онъ старикъ предобрый.

— Нѣтъ, милый, не могу; мнѣ надобно много еще хлопотать по моему дѣлу.

— Поѣдемъ, братецъ, вѣдь это близехонько: верстахъ въ двадцати отсюда, на Хопрѣ...

— Верстахъ въ двадцати!.. На Хопрѣ?.. А какъ зовутъ твоего дядю?

— Иваномъ Алексѣевичемъ...

— Асановымъ?

— Да.

— О! если такъ... ѣдемъ мой другъ!

— Ты знакомъ съ нимъ?

— Нѣтъ, но я такъ много о немъ наслышался... Подожди! я сейчасъ заверну домой, возьму съ собой узелокъ, прибѣгу назадъ, и катаемъ!

Какъ сказано, такъ и сдѣлано — черезъ четверть часа я сидѣлъ ужъ подлѣ Заруцкаго въ вѣнской его колоскѣ, которая, покачиваясь на гибкихъ рессорахъ, понеслась, какъ изъ лука стрѣла, по кочкамъ и колеямъ проселочной дороги. Сначала ретивые кони рвались одинъ передъ другимъ; но, пробѣжавъ верстъ двадцать, стали призадумываться; и наконецъ, поднявшись съ трудомъ на крутую гору, пошли смиреннымъ шагомъ. Вокругъ насъ виды были довольно пріятные: съ лѣвой стороны разстилались золотистыя поля, на которыхъ кое-гдѣ разбросаны были запоздалыя копны сжатаго хлѣба; съ правой тянулся густой лѣсъ, и отъ времени до времени вдали, сквозь широкія просѣки, свѣтлѣлись голубоватыя воды живописнаго Хопра. Пока усталые кони, идя шагомъ отдыхали, Заруцкій разсказывалъ мнѣ про настоящее свое житье-бытье; про сельскія хлопоты, хозяйство и, наконецъ, про пламенную любовь свою къ какой-то деревенской сосѣдкѣ, молодой вдовушкѣ, «которая», — говорилъ мой пріятель, вздыхая и закуривая четвертую трубку, — «поклялась уморить меня съ тоски, и до тѣхъ поръ не давать рѣшительнаго отвѣта, пока она не износитъ полдюжины черныхъ платьевъ изъ какой-то фланели, видно казенной, потому что они другой годъ не могутъ износиться, и вѣрно въ огнѣ не горятъ и въ водѣ не тонутъ. — Чтобъ поразмыкать мое горе, — продолжалъ Заруцкій,—я вздумалъ съѣздить недѣльки на двѣ погостить у моего дяди, и очень радъ, что встрѣтился съ тобою.

— Да радъ-ли будетъ этому твой дядя?— прервалъ я. — Мнѣ весьма пріятно съ нимъ познакомиться, но, говорятъ, онъ такъ нелюдимъ...

— Да, онъ не охотно заводитъ новыя знакомства, а особливо съ нашими уѣздными дворянами. Они такіе чопорные, считаются визитами, а онъ человѣкъ старый, любитъ покой, и больно тяжелъ на подъемъ. Ты — дѣло другое, ты человѣкъ заѣзжій, а сверхъ того старинный пріятель и сослуживецъ его племянника, котораго онъ любитъ, какъ сына родного; да правда, и я его очень люблю.

— Скажи пожалуйста, что ему за радость жить въ этой глуши?

— У него есть на то свои причины.

— А напримѣръ?

— Это цѣлый романъ, мой другъ. Прежде всего надобно тебѣ сказать, что, во время оно, дядя мой, Иванъ Алексѣевичъ Асановъ, былъ человѣкъ бѣдный; онъ не могъ даже и мечтать о наслѣдствѣ, которое досталось ему послѣ; и въ самомъ дѣлѣ, могъ-ли онъ думать, что четверо двоюродныхъ его братьевъ, два племянника и три племянницы у-

рутъ въ одну недѣлю отъ чумы, которая въ 1771 году пожаловала въ Москву. Деревня, въ которой живетъ теперь Иванъ Алексѣевичъ, принадлежала нѣкогда помѣщику Глинскому, скупому, злому и, если вѣрить изустнымъ преданіямъ, настоящему разбойнику. У этого Глинскаго была дочь прекрасная лицомъ, еще прекраснѣе душою. Не знаю, гдѣ и когда мой дядя съ нею встрѣтился, какъ познакомился съ ея отцомъ, только дѣло въ томъ, что онъ влюбился по уши въ Софью Павловну—такъ звали дочь Глинскаго—а на бѣду и она его полюбила. Однажды на отъѣзжемъ полѣ, рыская вмѣстѣ съ отцемъ своей любезной за зайцами, дядя мой рѣшился открыть ему свою душу. Глинскій взбѣленился, осыпалъ его ругательствами, назвалъ ницимъ, и объявилъ, что если онъ когда-нибудь близко подъѣдетъ къ его деревнѣ, то онъ выпуститъ на него цѣлую стаю гончихъ и затравитъ, какъ краснаго звѣря. Дядя мой уѣхалъ въ армію, дрался такъ, что Суворовъ прозвалъ его чудо-богатыремъ, и проколотый на вылетъ штыкомъ въ сраженіи съ Огинскимъ при Сталовичахъ, на диво всей арміи, остался живъ, выздоровѣлъ, узналъ, что ему упало съ неба богатое наслѣдство, поскакалъ въ Сердобскъ, но было уже поздно. Софья Павловна, зачахнувъ съ горя, давно покоилась на деревенскомъ кладбищѣ, а отецъ ея, спустя два мѣсяца послѣ ея смерти, сломилъ себѣ шею, травя волка. Дядя мой вышелъ въ отставку, поклялся никогда не жениться; добился, наконецъ, что ему продали эту деревню, и поселился въ домѣ, гдѣ нѣкогда жила его любезная. «Господь не допустилъ меня быть мужемъ Софьи Павловны,—Его святая воля! Но если мнѣ не суждено было жить съ нею на землѣ, такъ по крайней мѣрѣ въ землѣ-то я буду лежать вмѣстѣ съ нею». Такъ говорилъ всегда мой дядя, и вотъ уже скоро десять лѣтъ, какъ онъ живетъ безвыѣздно въ этой деревнѣ.

— О! да твой дядя человѣкъ преинтересный!—сказалъ я.—Знаешь-ли, мой другъ, что еслибъ онъ былъ помоложе, то я бы не совѣтовалъ тебѣ разсказывать всѣмъ эту исторію... въ ней столько романическаго, что долго ли до бѣды: какъ разъ найдется новая Софья Павловна, и если ты единственный его наслѣдникъ...

— Да, мой другъ! Но дай Богъ, чтобъ я во всю жизнь мою не вступалъ въ это наслѣдство! И одинъ разъ похоронить отца родного тяжело, а дважды на вѣку остаться сиротою, не приведи Господи! Но вотъ, кажется... такъ точно! версты три, не больше осталось. Видишь-ли тамъ вдали дубовую рощу!.. За нею тотчасъ господская усадьба; а вонъ выглядываетъ изъ-за вершинъ деревьевъ золоченый крестъ: это каменная церковь, построенная моимъ дядей надъ могилою Софьи Павловны.

— Ахъ, Боже мой! — прервалъ я, поглядѣвъ съ ужасомъ впередъ. — Неужели мы спустимся въ эту пропасть?

— Постой!—закричалъ мой пріятель.—Въ самомъ дѣлѣ, лучше мы выйдемъ.

Коляска остановилась, и пока ямщикъ съ слугою Заруцкаго тормозили заднія колеса, мы отправились потихоньку впередъ. Поросшій частымъ кустарникомъ оврагъ, черезъ который шла дорога, дѣйствительно походилъ на какую-то пропасть или ущелье, на днѣ котораго журчалъ мутный потокъ. Чѣмъ ниже мы сходили, тѣмъ выше и утесистѣе становились его песчаные скаты; изрытая глубокими водопромоинами дорога, идя сначала прямо, вдругъ круто поворачивала налѣво и, огибая небольшой бугоръ, опускалась къ мосту, перекинутому черезъ протокъ. Когда я взглянулъ назадъ, то мнѣ показалось, что коляска, которая полегоньку стала съѣзжать внизъ, висѣла надъ нашими головами.

— Знаешь ли мой другъ! — сказалъ Заруцкій, указывая на бугоръ, — что этотъ холмъ, хотя и не насыпной, а можетъ назваться курганомъ: онъ весь составленъ изъ могилъ.

И подлинно, большая часть его была покрыта возвышеніями, и кой-гдѣ видны еще были полусгнившіе деревянные кресты.

— Неужели это деревенское кладбище твоего дяди?—спросилъ я.

— Нѣтъ, мой другъ! здѣсь похоронены убитые разбойниками.

— Разбойниками?—повторилъ я, невольно поглядѣвъ вокругъ себя.

— Не пугайся, — продолжалъ мой пріятель,—это было уже давно. Въ наше время и слуху нѣтъ о разбойникахъ точно такъ же, какъ о вѣдьмахъ, колдунахъ, мертвецахъ, домовыхъ, и всей этой адской сволочи, отъ которой въ старину нашимъ предкамъ житья не было.

— Ну, это еще Богъ знаетъ!—сказалъ я сквозь зубы.—На разбойниковъ есть земская полиція...

— А на колдуновъ и мертвецовъ,—возразилъ мой пріятель, — есть управа, которую зовутъ просвѣщеніемъ.

— Охъ ужъ мнѣ это просвѣщеніе!—прервалъ я почти съ досадою; — но дѣло не о томъ: какъ могли здѣсь придерживаться разбойники? Развѣ тутъ была когда-нибудь большая дорога? Вѣдь по проселочнымъ грабить некого.

— Большая дорога отсюда въ двухъ верстахъ. И вотъ что разсказываютъ старики объ этомъ оврагѣ: дѣдушка бывшаго помѣщика деревни, въ которую мы ѣдемъ, держалъ у себя въ дому разбойничью пристань. Это бы еще ничего: было время, что разбои, а особливо въ нашихъ пограничныхъ губерніяхъ, назывались удальствомъ и молодечествомъ; но вотъ что было худо въ дѣдушкѣ

покойнаго Глинскаго: говорятъ, что онъ былъ въ дружбѣ съ самимъ сатаною, и, какъ знаменитый польскій панъ Твардовскій, закабалилъ ему навѣки вѣковъ свою душу. Разумѣется, ему не было никакой нужды въ деньгахъ: чортъ помогалъ ему находить клады, и даже иногда шутки-ради превращалъ для него кружки изъ рѣпы и моркови въ серебряные рублевики и золотые ефимки; но онъ любилъ, для забавы, какъ на охоту, ѣздить на грабежъ. Спуску никому не было: дворянъ и богатыхъ купцовъ онъ залучалъ насильно къ себѣ въ гости, поилъ, кормилъ по цѣлымъ суткамъ, а тамъ Богъ вѣсть что съ ними было; только говорятъ, что кто изъ этихъ невольныхъ гостей проѣзжалъ въ одну околицу, тотъ ужъ никогда не выѣзжалъ въ другую. Съ простыми людьми не церемонились: ихъ рѣзали на большой дорогѣ и бросали въ этотъ оврагъ. Впослѣдствіи добрые люди, собравъ ихъ кости, похоронили на этомъ бугрѣ. А такъ какъ прошелъ слухъ, будто-бы каждый годъ ночью, на родительскую субботу, всѣ эти покойники встаютъ изъ могилъ и справляютъ сами по себѣ поминки, то это мѣсто, которое слыло прежде *Волчьимъ Оврагомъ*, прозвано теперь *Чертовымъ Беремищемъ*. Все это я разсказалъ тебѣ кой-какъ, а надобно послушать моего дядюшку: вотъ ужъ если онъ примется разсказывать эти народныя сказки и преданія, такъ есть чего послушать.

— Сказки! — повторилъ я съ нетерпѣніемъ.—Почему-же сказки? Охъ, вы умницы! Слушай васъ, такъ ничему вѣрить не станешь.

— Да неужели ты въ самомъ дѣлѣ вѣришь этимъ бреднямъ?

— Эхъ, братецъ! Да что мы знаемъ? Мы не видимъ далѣе своего носа, цѣлый вѣкъ играемъ въ жмурки, а говоримъ утвердительно: «это вздоръ! это быть не можетъ! это противно здравому смыслу!» А что такое нашъ здравый смыслъ? Сбивчивыя соображенія, темныя догадки, какой-то слабый свѣтъ, который иногда блеснетъ въ потемкахъ какъ будто-бы нарочно для того, чтобъ послѣ намъ еще сдѣлалось темнѣе. Не трудно говорить: «я не вѣрю этому!»—а прошу мнѣ доказать, почему и я не долженъ вѣрить тому, что кажется тебѣ невѣроятнымъ? Нѣтъ, Заруцкій, я еще не знаю, кто болѣе ошибается, тотъ-ли, кто вѣритъ всему безъ разбора, или тотъ, для котораго все то вздоръ, чего нельзя изъяснить одними физическими законами природы.

— Знаешь-ли, мой другъ,—прервалъ Заруцкій,—что ты непремѣнно понравишься моему дядѣ. Онъ, такъ же какъ ты, готовъ разсердиться, если его станутъ увѣрять, что души умершихъ не являются никогда живымъ, и разскажетъ тебѣ сейчасъ двадцать случаевъ, доказывающихъ противное. Но вотъ ужъ коляска наша взъѣхала на гору. Не знаю какъ ты, а я очень усталъ. Сядемъ!

Когда мы проѣхали дубовую рощу, то каменныя палаты Ивана Алексѣевича Асанова открылись намъ во всемъ своемъ угрюмомъ величіи. Они стояли посреди большого двора, заросшаго крапивою. Главный ихъ фасадъ, въ тридцать узкихъ оконъ, съ широкими простѣнками, тянулся поперекъ всего двора; парадный подъѣздъ съ тяжелымъ навѣсомъ, на четырехъ деревянныхъ столбахъ, былъ пристроенъ къ срединѣ дома, позади котораго большой плодовый садъ спускался по отлогому скату до самаго Хопра; противъ самыхъ воротъ, на широкомъ лугу, стояла высокая каланча съ выкинутымъ флагомъ и огромными часами.

— Ого!—сказалъ Заруцкій, когда мы подъ громкій лай полдюжины датскихъ и легавыхъ собакъ въѣхали на дворъ, — да у дядюшки, видно, гости; дормезъ, бричка и, кажется— такъ точно! щегольская телѣжка Сердобскаго исправника. Тѣмъ лучше—намъ будетъ весело.

Двое дюжихъ лакеевъ не роскошно, но опрятно одѣтыхъ, приняли насъ изъ коляски. Мы вошли въ обширныя сѣни. Налѣво однѣ двери вели въ переднюю, направо, другими, вѣроятно, входили нѣкогда въ дѣвичью; но онѣ были заколочены и закладены кирпичами. (Прошу моихъ читателей замѣтить это обстоятельство). Пройдя бильярдную, столовую и двѣ гостиныя комнаты, изъ коихъ одна была оклеена китайскими обоями, мы встрѣтили въ дверяхъ росписанной боскетомъ диванной хозяина дома. — Здравствуй, Алексѣй, здравствуй, мой другъ!—закричалъ онъ, обнимая нѣсколько разъ сряду своего племянника.—Спасибо, что навѣстилъ старика, а я такъ-было по тебѣ встосковался, что хоть нарочнаго отправлять.

— Рекомендую вамъ, дядюшка,—сказалъ Заруцкій, подводя меня къ Ивану Алексѣевичу, — искренняго пріятеля. Мы съ нимъ давно уже не видались, хотя были нѣкогда неразлучными товарищами и въ Москвѣ въ пансіонѣ, и въ Петербургѣ въ казармахъ, и въ танцовальномъ классѣ Меранвиля, и въ походномъ балаганѣ подъ непріятелемъ, словомъ — вездѣ. Я давно съ нимъ не видался и, повстрѣчавъ его въ Сердобскѣ, рѣшился захватить съ собою и привезти къ вамъ.

— Милости просимъ!—сказалъ Иванъ Алексѣевичъ, протянувъ ласково ко мнѣ свою руку.—Кто съ моимъ Алексѣемъ побратался на ратномъ полѣ, тотъ всегда будетъ у меня дорогимъ гостемъ. Милости просимъ!

— Не помню, что я отвѣчалъ хозяину, а, кажется, ничего. Я такъ былъ пораженъ его почтенною наружностію, что позабылъ совершенно всѣ употребляемыя въ сихъ случаяхъ условныя фразы и вѣжливыя увѣренія, въ которыхъ почти всегда ни на волосъ нѣтъ правды. Представьте себѣ человѣка высокаго роста, лѣтъ шестидесяти пяти, въ форменномъ военномъ сюртукѣ временъ Екатерины II;

вообразите румяное лицо и черные съ просѣдью волосы, высокій, покрытый морщинами лобъ и ясные, исполненные веселости и радушія глаза; величественную осанку лихого полкового командира, котораго самъ Суворовъ прозвалъ чудо-богатыремъ, и кроткую простодушную улыбку, не сходящую съ привѣтливыхъ устъ, осѣненныхъ парою густыхъ усовъ, о которыхъ, вѣроятно, въ старину не разъ толковали межъ собой миловидныя полячки. Въ жизнь мою я не видывалъ старика съ такой привлекательной наружностію и, признаюсь, ни мало бы не удивился, еслибъ какая-нибудь красавица призадумалась, когда-бъ ей дали на выборъ: или быть его женою, или назвать его своимъ отцомъ.

— Не угодно ли ко мнѣ въ кабинетъ? — сказалъ онъ,—ты найдешь тамъ старыхъ знакомыхъ, Алексѣй. Да прошу покорно не отставать, — продолжалъ онъ, обращаясь ко мнѣ, — а не то какъ разъ заплутаетесь. У меня въ саду нѣтъ лабиринта; но за то въ домѣ, какъ въ траншеяхъ, такіе зигзаги и апроши, что и толку не доберешься.

— Въ самомъ дѣлѣ, мы выходили изъ комнаты въ комнату, прошли двумя темными корридорами, то подымались нѣсколько ступеней кверху, то спускались внизъ, и, наконецъ, пройдя мимо желѣзныхъ дверей кладовой, помѣщенной въ круглой башнѣ,—которая, какъ говорится, ни къ селу, ни къ городу, была прилѣплена къ лѣвому углу дома,—вошли еще въ одинъ корридоръ, въ концѣ котораго слышны были голоса разговаривающихъ. — Тутъ была въ старину дѣвичья,—сказалъ Иванъ Алексѣевичъ, подходя къ полураствореннымъ дверямъ: — но такъ какъ я человѣкъ холостой, то и разсудилъ закласть въ ней однѣ двери и сдѣлать изъ нея мой кабинетъ: зимою эта комната всѣхъ теплѣе и суше. Милости просимъ!

Судя по величинѣ и первобытному значенію покоя, въ который мы вошли, не трудно было отгадать, что у прежняго помѣщика была большая дворня, и что, вѣроятно, въ ней женскихъ душъ было болѣе мужскихъ. Четыре окна, обращенныя на задній дворъ, занимали одну изъ стѣнъ ея; на остальныхъ были нарисованы сцены изъ жизни Суворова. Правду сказать, живопись была не отличная, и, взглянувъ на нее, я невольно вспомнилъ *маляра Ѣфрема*, о которомъ безсмертный пѣвецъ Ермака сказалъ когда-то, что онъ имѣлъ чудесный даръ, и что кисть его:

„ . . . . всегда надъ смертными играла:
Архипа Сидоромъ, Кузьму Лукой писала“.

На одной стѣнѣ Суворовъ представленъ былъ въ лѣсу спящимъ на соломѣ, посреди казачьихъ биваковъ: у него вовсе не было шеи, но за то такія длинныя ноги, что если *бы онъ проснулся и всталъ*, то, конечно, *могъ бы облокотиться на вершину* толстаго дуба, подъ тѣнью котораго покоился. На противоположной стѣнѣ тотъ же самый Суворовъ представленъ былъ въ минуту сдачи Краковскаго замка. Онъ стоялъ, вытянувшись какъ струнка и оборотясь лицомъ къ толпѣ поляковъ съ преогромными усами. Нѣсколько французскихъ офицеровъ, поджарыхъ и тщедушныхъ, изображены были съ проникнутыми главами, а передъ всей толпою, комендантъ замка, щеголеватый Шуазье, распудренный и выгнутый зеломъ, отдавалъ побѣдителю свою шпагу, съ такимъ же точно сентиментальнымъ видомъ, съ какимъ театральный пастушокъ, ставъ въ четвертую позицію, подаетъ букетъ розановъ своей размалеванной пастушкѣ. На третьей стѣнѣ изображено было взятіе Измаила; разумѣется, всѣ убитые были турки, а поле сраженія усыпано чалмами, между которыми не валялось ни одной гренадерской шапки. Въ томъ мѣстѣ, гдѣ была задѣлана дверь, ведущая въ сѣни, стоялъ шкапъ съ библіотекою хозяина. Въ простѣнкахъ межъ окнами висѣли турецкіе пистолеты, ятаганы, польскія сабли и прочіе домашніе трофеи военныхъ подвиговъ Ивана Алексѣевича Асапова. Въ одномъ углу стоялъ пукъ черешневыхъ чубуковъ съ глиняными раззолоченными трубками и янтарными мундштуками; въ другомъ, по обѣимъ сторонамъ широкаго камина, висѣло нѣсколько охотничьихъ одинакихъ и двухствольныхъ ружей, ягташей, пороховыхъ рожковъ и патронницъ, а кругомъ всѣхъ стѣнъ устроены были спокойные диваны, обитые шерстяной турецкой матеріею.

— Когда мы вошли въ кабинетъ, четверо гостей, въ числѣ которыхъ былъ и Сердобскій исправникъ, трудились, въ потѣ лица и наблюдая торжественное молчаніе, вокругъ стола, на которомъ поставленъ былъ сытный завтракъ. Послѣ первыхъ привѣтствій и дружескихъ восклицаній, Заруцкій сталъ знакомить меня съ гостями своего дяди. Первый, къ которому онъ меня подвелъ, Антонъ Ѳедоровичъ Кольчугинъ, показался мнѣ съ перваго взгляда старикомъ лѣтъ семидесяти; но когда я поразглядѣлъ его хорошенько, то увѣрился, что, несмотря на впалыя его щеки, выдавшійся впередъ подбородокъ и сѣдые, какъ снѣгъ, усы, онъ моложе хозяина. Прагскій золотой крестъ въ петлицѣ ясно доказывалъ, что онъ былъ нѣкогда, если не сослуживцемъ, то по крайней мѣрѣ современникомъ Ивана Алексѣевича. Второй, Прохоръ Кондратьичъ Черемухинъ, человѣкъ лѣтъ сорока пяти, толстый, рябой, съ широкими свѣтлорусыми бакенбардами, съ маленькими блестящими глазами и съ такой смѣющейся и веселой физіономіею, что, глядя на него, и плакса Гераклитъ (если онъ только существовалъ въ самомъ дѣлѣ, а не былъ выдуманъ для антитезы и риѳмы къ Демокриту) едва ли бы удержался отъ смѣха. Съ третьимъ гостемъ, исправникомъ Сердобскимъ, я былъ уже зна-

комъ; но его не знаютъ мои читатели, а посему я не излишнимъ полагаю сказать и о немъ нѣсколько словъ. Онъ былъ малый образованный, служилъ штабсъ-ротмистромъ въ одномъ армейскомъ гусарскомъ полку, вышелъ за ранами въ отставку и, выбранный дворянами, изъ отличнаго эскадроннаго командира сдѣлался, какъ говорится, лихимъ капитанъ-исправникомъ. Всѣ помѣщики его любили, казенные крестьяне молились за него Богу, а воры, плуты и пьяницы боялись, какъ огня. Говорятъ (я повторяю то, что слышалъ), что будто бы онъ не бралъ даромъ и клока сѣна и не съѣдалъ курицы у мужика, не заплатя за нее по справочной цѣнѣ; что засѣдатели его не таскали за бороду для своей забавы выборныхъ, и даже канцелярскіе служители нижне-земскаго суда пили на слѣдствіяхъ вино только тогда, когда имъ подносили его добровольно.

Познакомивъ моихъ читателей съ обществомъ, въ которомъ я провелъ нѣсколько дней самымъ пріятнымъ образомъ, я долженъ сказать, что въ первый день моего пріѣзда въ деревню Ивана Алексѣевича, погода начала портиться; къ вечеру небеса нахмурились и полился не лѣтній, крупный и спорный дождь, но мелкій и дробный; онъ вскорѣ превратился въ безконечную осеннюю изморозь, отъ которой и васъ, любезные читатели, подчасъ брала тоска, а особливо если она захватывала васъ среди полей, когда желтый листъ валится съ деревьевъ, а порывистый вѣтеръ гудитъ по лѣсу и завываетъ, какъ зловѣщій филинъ, въ трубахъ вашего деревенскаго дома. Дѣлать было нечего; нельзя было ни ходить съ ружьемъ на охоту, ни кататься въ лодкѣ по Хопру; конечно, можно было ѣздить по *черностопу* за зайцами; но для этого надобно было страстно любить псовую охоту, а изъ всего нашего общества одинъ Заруцкій ѣзжалъ иногда съ борзыми, но и тотъ любилъ охотиться или по первозимью въ хорошую порошу, или въ ясный осенній день, въ *узеру*; а ѣздить съ утра до вечера съ гончими, въ дождь и слякоть для того, что затравить какого-нибудь несчастнаго *бѣляка*, казалось ему вовсе не забавнымъ. Впрочемъ, нельзя сказать, чтобъ мы были безъ всякаго занятія: днемъ мы пили чай, завтракали, обѣдали, играли на бильярдѣ и читали журналы. Иванъ Алексѣевичъ выписывалъ не только «Петербургскія Вѣдомости», но почти всѣ періодическія изданія, которыя въ то время выходили въ обѣихъ столицахъ. Разумѣется, мы охотнѣе всего читали «Московскій Вѣстникъ», прославленный первымъ своимъ издателемъ, но отъ нечего дѣлать перелистывали и «Московскаго Курьера», зѣвали надъ «Петербургскимъ Любителемъ Словесности», трогались чувствительнымъ слогомъ «Московскаго Зрителя» и удивлялись разнообразію «Собесѣдника», который только званіемъ: «Повѣствователя мыслей, въ вечернее время упражняющихся въ своемъ кабинетѣ писателей, разсказывающаго повѣсти, анекдоты, стихотворенія, а *временемъ и критику*».—Часу въ седьмомъ послѣ обѣда мы обыкновенно сбирались всѣ въ кабинетъ къ хозяину, садились кругомъ пылающаго камина и вплоть до самаго ужина проводили время, разговаривая межъ собою. Такъ какъ Иванъ Алексѣевичъ почти всегда управлялъ общимъ разговоромъ, то предметомъ онаго были по большей части разсказы о необыкновенныхъ случаяхъ въ жизни, о привидѣніяхъ, дьявольскомъ навожденіи; словомъ, обо всемъ томъ, что не могло быть истолковано естественнымъ образомъ. Вниманіе, съ которымъ слушали всѣ эти разсказы, ясно доказывало, что никто не сомнѣвался въ ихъ истинѣ. Одинъ только Заруцкій улыбался иногда вовсе не впопадъ; но никто не замѣчалъ этого, и даже весельчакъ Черемухинъ, хотя потихоньку съ нимъ перемигивался и шепталъ ему что-то на ухо, вслухъ божился, что вѣритъ безъ разбору всѣмъ страшнымъ исторіямъ, потому, дескать, что его самого однажды давилъ цѣлую ночь домовой.

Разсказы и повѣсти, которые я слышалъ въ послѣдній вечеръ, проведенный мною у Ивана Алексѣевича, показались мнѣ столь любопытными, что я съ величайшей точностію записалъ ихъ въ моемъ дорожномъ журналѣ. Боясь прослыть суевѣромъ, невѣждою и человѣкомъ *отсталымъ*, я до сихъ поръ не смѣлъ напечатать моихъ записокъ; но когда увидѣлъ, что съ нѣкотораго времени исторіи о колдунахъ и похожденія мертвецовъ сдѣлались любимымъ чтеніемъ нашей публики, то рѣшился, наконецъ, выдать ихъ въ свѣтъ. Не смѣю обѣщать моимъ читателямъ, что они прочтутъ ихъ съ удовольствіемъ, или хотя безъ скуки, но твердо и непоколебимо стою за истину моихъ разсказовъ.—Да, почтенные читатели! рѣшительно повторяю: что есть *Русскія Исторіи*, которыя несравненно болѣе походятъ на сказки, чѣмъ эти были и преданія, основанныя на вѣрныхъ и неподлежащихъ никакому сомнѣнію *фактахъ*.

Вѣтеръ бушевалъ по лѣсу,—мелкій дождь, какъ сквозь частое сито, лился на размокшую землю. Еще на деревянной каланчѣ не пробило и шести часовъ, а на дворѣ ужъ было такъ темно, что хоть глазъ выколи. Мы всѣ собрались въ кабинетъ. Хозяинъ, Кольчугинъ, исправникъ и я сидѣли вокругъ пылающаго комелька, а Заруцкій и Черемухинъ расположились преспокойно на широкомъ диванѣ и, куря молча свои трубки, наслаждались въ полномъ смыслѣ симъ моральнымъ и физическимъ бездѣйствіемъ, которое итальянцы называютъ: Far niente.

чугинъ, прислушиваясь къ вою вѣтра.—Хоть кого тоска возьметъ.

— И, полно, братецъ!—прервалъ Иванъ Алексѣевичъ.—Да это-то и весело. Что можетъ быть пріятнѣе, какъ сидѣть въ ненастный осенній вечеръ съ хорошими пріятелями противъ комелька, курить спокойно свою трубку и, поглядывая на плотно затворенныя окна, думать: «вой себѣ, вѣтеръ, лейся, дождь! бушуй, непогода! а мнѣ и горюшки мало!»— Что и говорить! уменъ тотъ былъ, кто первый вздумалъ строить дома,

— И дѣлать въ нихъ камины,—прибавилъ исправникъ, подвигаясь къ комельку.

— Не равенъ домъ, господа,—сказалъ Кольчугинъ, вытряхивая свою пѣнковую трубку,— и не въ такую погоду не усидишь въ иномъ домѣ. Я самъ однажды въ сильную грозу и проливной дождикъ рѣшился лучше провести ночь подъ открытомъ небомъ, чѣмъ въ комнатѣ, въ которой было такъ же тепло и просторно, какъ въ этомъ покоѣ.

— А что?—спросилъ исправникъ,—видно, хозяева были тебѣ не очень рады?

— Ну, нѣтъ! Одинъ хозяинъ обошелся со мною довольно ласково, да отъ другого-то мнѣ туго пришлось; хоть и онъ также хотѣлъ меня угощать, только угощенье то его было мнѣ вовсе не по-сердцу.

— Вотъ что!—сказалъ Иванъ Алексѣевичъ; — да это, видно, братъ, цѣлая исторія.

— Да, любезный, такая исторія,—продолжалъ Кольчугинъ, набивая снова свою трубку,—что у меня и теперь, лишь только вспомню объ этомъ, такъ волосъ дыбомъ и становится.

— Что вы это говорите!—вскричалъ Заруцкій,—Антонъ Ѳедоровичъ! Помилуйте! Вы человѣкъ военный, служили съ Суворовымъ, а признаетесь, что чего-то струсили.

— Да, батюшка, не прогнѣвайтесь! Посмотрѣли бы мы вашей удали. Нѣтъ, Алексѣй Михайловичъ, вѣдь это не что другое; поставь меня хоть теперь противъ непріятельской батареи, видитъ Богъ, не струшу!— а вотъ какъ гдѣ замѣшается нечистая сила, такъ ужъ тутъ, воля ваша, и вы, батюшка, немного нахрабритесь; сатана не пушка, на него не полѣзешь.

— Ого!—сказалъ Черемухинъ, поремигнувшись съ Заруцкимъ, — такъ въ вашей исторіи и черти водятся?

— Смѣйтесь, батюшка, смѣйтесь!—продолжалъ Кольчугинъ. — Я знаю, вы человѣкъ начитанный, ничему не вѣрите...

— Кто? Я?—прервалъ Черемухинъ.—Что вы, батюшка, Антонъ Ѳедоровичъ, перекреститесь!

— Добро, добро! прикидывайтесь! — Вотъ мы, такъ люди неученые; чему вѣрили отцы наши и дѣды, тому и мы вѣримъ.

— Да какъ же, братецъ,—сказалъ хозяинъ, — ты мнѣ никогда объ этомъ не разсказывалъ?

— А такъ, къ слову не пришлось. Пожалуй, теперь разскажу. Дай-ка, батюшка Иванъ Алексѣевичъ, огоньку!.. Спасибо, любезный!

Всѣ придвинулись поближе къ разсказчику, и даже Заруцкій съ Черемухинымъ встали съ дивана и усѣлись подлѣ на стульяхъ. Антонъ Ѳедоровичъ Кольчугинъ раскурилъ трубку, затянулся, выпустилъ изъ-подъ своихъ сѣдыхъ усовъ цѣлую тучу табачнаго дыму и началъ:

Панъ Твардовскій.

Это было въ 1772 году, вскорѣ по взятіи Краковскаго замка, который, сказать мимоходомъ, вовсе не такъ здѣсь намалеванъ,— промолвилъ разсказчикъ, указывая на одну изъ стѣнъ кабинета. — Ну, да дѣло не о томъ. Хотя Суворовъ не былъ еще тогда ни графомъ, ни княземъ, но объ немъ ужъ начинали шибко поговаривать во всей арміи. Онъ стоялъ съ своимъ небольшимъ корпусомъ лагеремъ близъ Кракова, наблюдая издали за Тиницемъ и Ландскрономъ. Астраханскій гренадерскій полкъ, въ которомъ я имѣлъ честь служить полковымъ адъютантомъ, принадлежалъ къ этому обсерваціонному корпусу. Нашъ полковой командиръ былъ человѣкъ добрый, отлично храбрый и настоящій русскій хлѣбосолъ. Почти всѣ штабъ и оберъ-офицеры каждый день у него обѣдали, и кому надобны были деньги, тотъ шелъ къ нему прямо, какъ въ Опекунскій Совѣтъ. Но вотъ что было худо: нашъ полковой командиръ былъ женатъ, и это бы еще не бѣда, да жена-то у него была такая нравная, что и Боже упаси!

— Такъ что-жъ? — прервалъ Заруцкій;— тѣмъ хуже для мужа; а офицерамъ-то какое до этого дѣло?

— Какое дѣло!—повторилъ Кольчугинъ.— Эхъ, сударь! время на время не приходитъ. Нынче послѣ полкового начальника первый въ полку человѣкъ старшій баталіонный командиръ; а у насъ бывало, коли полковникъ женатъ, такъ второй человѣкъ въ полку полковница; а если она бойка, да хоть маломальски маракуетъ въ военномъ дѣлѣ, такъ и всѣмъ полкомъ заправляетъ. То-то и есть, батюшка! нынче вѣкъ, а то былъ другой. Я ужъ вамъ докладывалъ, что нашъ полковникъ былъ человѣкъ храбрый, не боялся ни пуль, ни ядеръ, а передъ женой своей трусилъ. Она была женщина дородная, видная, бѣлолицая, румяная... а удаль-то какая... голосина какой!.. ахъ, ты Господи Боже мой!.. что и говорить: городъ барыня! Не знаю, потому-ли, что она любила своего мужа, или потому, что была очень ревнива, только никогда отъ него не отставала: мы въ походъ— и она въ походъ. Въ то время, какъ нашъ полкъ стоялъ лагеремъ, она жила въ Кра-

ковѣ, и хоть могла часто видѣться съ своимъ мужемъ, но рѣшилась, наконецъ, совсѣмъ къ нему переѣхать. Нашему полковому командиру это не вовсе было по-сердцу,— да вѣдь дѣлать-то нечего — хоть не радъ, да будь готовъ. Палатку перегородили, надѣлали въ ней клѣтушекъ, а изъ самого-то большого отдѣленія, гдѣ бывало мы всѣ бражничали съ нашимъ командиромъ, сдѣлали спальню и поставили широкую кровать съ розовымъ атласнымъ пологомъ. Я думаю, господа, вы всѣ знаете, что Суворовъ не очень жаловалъ барынь, а особливо, когда онѣ жили въ лагерѣ и мѣшались не въ свои дѣла; да онъ былъ еще тогда только что генералъ-маіоромъ, связей никакихъ не имѣлъ; а наша полковница происходила изъ знатной фамиліи и родные ея были въ большомъ ходу при дворѣ. Другой бы на его мѣстѣ похмурился, похмурился, да на томъ бы и съѣхалъ; а нашъ батюшка, Александръ Васильевичъ, и не хмурился, а выжилъ полковницу изъ лагеря. И теперь безъ смѣха вспомнить не могу. Экій проказникъ подумаешь! Уменъ былъ, дай Богъ ему царство небесное! Когда мы вышли въ лагерь, онъ отдалъ приказъ по всему корпусу, что если пустятъ одну сигнальную ракету, то войскамъ готовиться къ походу; по второй — строиться передъ лагеремъ; по третьей — снимать палатки, а по четвертой—выступать. Онъ не любилъ, чтобъ солдаты у него дремали, и потому частехонько дѣлалъ фальшивыя тревоги то днемъ, то ночью. Бывало пустятъ ракету, тамъ другую; Суворовъ объѣдетъ весь лагерь, поговоритъ съ полковниками, пошутитъ съ офицерами, побалагуритъ съ солдатами, да тѣмъ дѣло и кончится. Вотъ, этакъ съ недѣлю, погода стояла все ясная; вдругъ, однажды, послѣ знойнаго дня, ночью, часу въ одиннадцатомъ, заволокло все небо тучами, хлынулъ проливной дождь, застучалъ громъ и пошла такая потѣха, что мы свѣта Божьяго не взвидѣли. Я на ту пору былъ за приказаніями у полковника. Жена его боялась грома, и чтобъ не такъ была видна ей молнія, забралась на постель и задернулась пологомъ, однако-жъ не спала. Лишь только я вышелъ изъ палатки, чтобъ идти домой — глядь!.. эге! сигнальная ракета. Я назадъ, докладываю полковнику.—Какъ?—закричала барыня, которая сквозь холстинную перегородку вслушалась въ мои слова; — да что вашъ полоумный генералъ вовсе что-ль рехнулся? Въ такую бурю тревожить весь лагерь!—Успокойся, Варенька! — сказалъ полковникъ: — вѣдь это фальшивая тревога; можетъ статься, и второго сигнала не будетъ. А межъ тѣмъ, вели сѣдлать мою лошадь, — прибавилъ онъ шепотомъ, обращаясь ко мнѣ.— Кто его знаетъ! Да чтобъ люди были готовы. — Я побѣжалъ исполнять его приказанія и вотъ гляжу, минутъ черезъ десять, зашипѣла вторая ракета; люди въ полной аммуниціи высыпали изъ палатокъ и начали строиться, прошло еще минутъ пять. Чу! третья! Вотъ-те разъ... Суворовъ шутить любилъ, да только не службою, да и народъ-то былъ у насъ такой наметанный, что и сказать нельзя! Закипѣло все по лагерю, въ полмига веревки прочь, колья вонъ и по всѣмъ линіямъ ни одной палатки не осталось. Взвилась четвертая ракета, авангардъ выступилъ, за нимъ тронулся весь корпусъ, и мы потянулись по дорогѣ къ Ландскрону. Ну, господа! не всякому удастся видѣть такую диковинку. Пока бѣгали въ обозъ, пока заложили коляску, прошло съ полчаса, и во все это время... вспомнить не могу!.. то-то было смѣху-то!.. Представьте себѣ, ночью въ чистомъ полѣ, подъ открытымъ небомъ — двуспальная кровать съ розовымъ атласнымъ пологомъ. А дождь-то, дождь—такъ ливмя и льетъ! — Ну! присмирѣла наша строгая командирша! Господи, Боже мой!.. Растрепало ее, сердечную, дождемъ, намокла она, матушка наша, словно грецкая губка! Куда вся удаль дѣвалась! Вотъ отвезли ее кой-какъ назадъ въ Краковъ, а корпусъ, отойдя версты двѣ, остановился опять лагеремъ; и я въ жизнь мою никогда не видывалъ, чтобъ кто-нибудь бѣсился такъ, какъ взбѣленилась полковница, когда на другой день проказникъ Суворовъ прислалъ къ ней своего адъютанта узнать о здоровьи.

— Ай, да батюшка, Александръ Васильевичъ!—вскричалъ съ громкимъ хохотомъ хозяинъ,—что и говорить, молодецъ!

— Да, это очень забавно,—сказалъ Черемухинъ, — только позвольте, Антонъ Ѳедоровичъ, рѣчь, кажется, была о сатанѣ...

— А жена-то полковника?—прервалъ Заруцкій.

— Да это другое дѣло; я говорю о нечистой силѣ.

— Постойте, батюшка,—продолжалъ Кольчугинъ,—дойдетъ и до этого дѣло. Дня черезъ два, какъ полковница совсѣмъ ужъ обсохла, пошли у нея новыя затѣи. Жить опять въ лагерѣ она боялась, а въ Краковѣ остаться не хотѣла. Толковали, толковали и рѣшили на томъ, чтобъ сыскать для нея какой-нибудь загородный панскій домъ или мызу поближе къ лагерю. Вѣстимо дѣло, кому хлопотать, какъ не адъютанту; вотъ я и отправился съ утра осматривать всѣ дачи по дорогѣ къ Ландскрону и Типицѣ. Выбрать было не легко: наша причудливая командирша хотѣла и большой домъ, и обширный садъ, и чтобъ никого не было живущихъ, и то и се. Цѣлый день я проѣздилъ по дачамъ; измучилъ своего куцаго коня, да и горскій жеребецъ подъ казакомъ, который ѣздилъ за мною, насилу ужъ ноги волочилъ. Мы на одной мызѣ позавтраками, на другой, пообѣдали, и когда стали [illegible]

задъ въ лагерь, то ужъ день клонился къ вечеру; пока еще заря не вовсе потухла, мы проѣхали верстъ пять. На дворѣ становилось все темнѣе и темнѣе, вдали сверкала молнія, а надъ нами такъ затучило, что, когда мы поѣхали лѣсомъ, такъ въ двухъ шагахъ ничего не было видно. Сначала мы кое-какъ потащились впередъ, но вдругъ дорога по лѣсу какъ будто бъ сдвинулась, начало насъ похлестывать сучьями, и лошади, наѣзжая на колоды и пеньки, то и дѣло что спотыкались. — Охъ, плохо, ваше благородіе!— пробормоталъ мой казакъ; — никакъ мы заплутались.

— Видно, что такъ, Ермиловъ, — сказалъ я, — приподымая на поводу моего куцаго, который въ третій уже разъ падалъ на оба колѣна.

— Вотъ и дождикъ накрапываетъ,—продолжалъ казакъ: — кабы Богъ помогъ намъ до грозы наткнуться на какое-нибудь жилье... Постойте-ка, ваше благородіе! кажись, вонъ тамъ направо лаетъ собака.

Въ самомъ дѣлѣ, недалеко отъ насъ послышался громкій лай; мы поѣхали прямо на него и черезъ нѣсколько минутъ выбрались на широкую, обсаженную березами дорогу, въ концѣ которой что-то бѣлѣлось и мелькалъ огонекъ.

— Кажись, это панская мыза, — прошепталъ Ермиловъ, — ну, слава Тебѣ, Господи! нашли пріютъ.

— Постой-ка, братецъ, — сказалъ я,— чтобъ намъ не заплатить дорого за ночлегъ: вѣдь мы не у себя, не на святой Руси. Чай, польскіе-то паны не больно насъ жалуютъ; хорошо у нихъ останавливаться съ командой или днемъ на большой дорогѣ; а ночью и въ такомъ захолустьи... долго-ли до грѣха! Уходятъ насъ, да и концы въ воду.

— А что? чего добраго, ваше благородіе!— прервалъ казакъ, почесывая въ головѣ; вѣдь насъ только двое... Да куда-же намъ дѣваться?

— Погоди, Ермиловъ, — сказалъ я,—надобно подняться на штуки. Я скажу хозяевамъ, что присланъ квартиръеромъ занять эту мызу для полковой квартиры, и что завтра чѣмъ-свѣтъ придетъ сюда первая рота нашего полка.

— И впрямь, ваше благородіе!—подхватилъ казакъ:—пугнемъ-ка ихъ постоемъ, такъ дѣло будетъ лучше. Коли они станутъ думать, что мы нарочно къ нимъ пріѣхали, и что завтра нагрянетъ къ нимъ цѣлая рота гренадеръ, такъ ужъ, вѣрно, никто не посмѣетъ и волосомъ насъ обидѣть.

Разговаривая такимъ образомъ, мы подъѣхали къ высокому забору, позади котораго, среди широкаго двора, стоялъ каменный домъ въ два этажа, съ круглыми башнями по *углямъ. Въ одномъ углу* свѣтился огонекъ: *ой души не было видно* ни на дворѣ, ни въ домѣ; все было тихо, такъ въ глубокую полночь, и только лаяла одна цѣпная собака. Ворота были не заперты; мы подъѣхали къ дому; я слѣзъ съ коня, вошелъ въ сѣни... никого. Прямо передо мной лѣстница вверхъ. Я началъ по ней взбираться; сабля моя такъ стучала по каменнымъ ступенькамъ, что, казалось, можно-бы было за версту меня слышать. Взойдя на лѣстницу, я пріостановился—все тихо. Кой чортъ!—подумалъ я:— неужели въ этомъ домѣ нѣтъ никого, кромѣ цѣпной собаки? Проведя рукою по стѣнѣ, я ощупалъ дверь, толкнулъ, она растворилась; вхожу—опять никого. Холодно, сыро, вѣтеръ воетъ, въ окнахъ нѣтъ рамъ. Вотъ что! Эта часть дома не достроена; но гдѣ-же свѣтился огонекъ? Кажется, лѣвѣе. Я вышелъ опять къ лѣстницѣ, прошелъ вдоль стѣны — еще двери; отворилъ. Ну! попалъ, наконецъ, на жилые покои! Въ небольшой комнаткѣ, слабо освѣщенной сальнымъ огаркомъ, двое слугъ играли въ карты, а третій спалъ на скамьѣ. Въ ту самую минуту, какъ я вошелъ въ этотъ покой, мнѣ послышался вдали довольно внятный говоръ, какъ будто-бы отъ многихъ людей, съ жаромъ между собой разговаривающихъ. Но лишь только одинъ изъ игравшихъ въ карты слугъ, увидя меня, ушелъ во внутреннія комнаты, то вдругъ все утихло.—Какъ зовутъ эту мызу?—спросилъ я у слуги, который остался въ передней.

— Эту мызу? — сказалъ — онъ, глядя на меня такъ нахально, что я невольно смутился и не вдругъ повторилъ мой вопросъ.

— Ее зовутъ Бьялый Фолваркъ, — отвѣчалъ, наконецъ, слуга, продолжая смотрѣть мнѣ прямо въ глаза.

— А какъ зовутъ хозяина?.. Да отвѣчай-же, животное, когда тебя спрашиваютъ!—продолжалъ я, возвысивъ голосъ и подойдя къ нему поближе.

Слуга попятился назадъ, я, взглянувъ на своего спящаго товарища, пробормоталъ:— Моего пана зовутъ — Янъ Дубицкій... Гей, Казиміръ!

— Ну, такъ и есть! — сказалъ я, — насилу-же мы отыскали вашу мызу. Веди меня къ хозяину.

— Почекай панъ! Гей, Казиміръ!

Третій слуга, который спалъ на скамьѣ, вскочилъ и, увидя передъ собой русскаго офицера, закричалъ: «цо то есть?.. Москаль!»

— Сойди-ка, братъ, внизъ,—сказалъ я,— стараясь казаться спокойнымъ,—тамъ стоитъ казакъ...

— Казакъ? — вскричалъ полусонный лакей:—одинъ казакъ?

— Покамѣстъ одинъ, а скоро будетъ много. Возьми у него лошадей, отведи ихъ въ конюшню, а ему вели взойти сюда.

Слуга не торопился исполнить мое приказаніе; онъ поглядывалъ, какъ шальной, то

на меня, то на своего товарища, а не трогался съ мѣста.

— Ну, что жъ ты глаза-то выпучилъ, дурень? — закричалъ я повелительнымъ голосомъ:—иль не слышишь? Пошелъ! да смотри, чтобъ лошади были сыты!

Слуга, пробормотавъ себѣ что-то подъ-носъ, вышелъ вонъ, и въ то-же время лакей, который ходилъ обо мнѣ докладывать, растворивъ дверь, пригласилъ меня въ гостиную. Пройдя небольшую столовую, я вошелъ въ комнату, довольно опрятно убранную и освѣщенную двумя восковыми свѣчами. Въ одномъ углу приставлено было къ стѣнѣ нѣсколько сабель и съ полдюжины *конфедератокъ* валялось по стульямъ и окнамъ комнаты. Хозяинъ, человѣкъ лѣтъ пятидесяти, съ предлинными усами, съ подбритой головой, въ синемъ контушѣ и желтыхъ сапожкахъ, принялъ меня со всею важностію польскаго магната. Развалясь небрежно на канапе, онъ едва кивнулъ мнѣ головою и показалъ молча на табуретку, которая стояла отъ него шагахъ въ пяти.—Ахъ, чортъ возьми! вся кровь во мнѣ закипѣла; я позабылъ, что положеніе мое было вовсе незавидное; въ эту минуту я думалъ только о томъ, что имѣю честь носить русскій мундиръ и служить въ Астраханскомъ гренадерскомъ полку капитаномъ. Не отвѣчая на его обидный поклонъ, я оттолкнулъ ногою табуретку, усѣлся подлѣ него на канапе и, вытащивъ изъ кармана кисетъ съ табакомъ, принялся, не говоря ни слова, набивать мою трубку. Казалось, это нецеремонное обращеніе смутило нѣсколько хозяина; помолчавъ нѣсколько времени, онъ спросилъ довольно вѣжливо, откуда я ѣду.

— Изъ лагеря,—отвѣчалъ—я, продолжая набивать мою трубку.

— И вѣрно панъ... панъ поручикъ...

— Капитанъ,—прервалъ я,—кинувъ гордый взглядъ на хозяина.

— Препрошу!.. вѣрно панъ капитанъ заплутался въ этомъ лѣсу?

— Нѣтъ! я прямо сюда ѣхалъ.

— Сюда?—повторилъ хозяинъ съ примѣтнымъ безпокойствомъ.

— Да, — продолжалъ я, раскуривая спокойно мою трубку; — вѣдь эту мызу зовутъ Бьялый Фолваркъ?

— Такъ.

— А васъ паномъ Дубицкимъ?

— Такъ есть.

— Я присланъ сюда квартиръеромъ; у васъ назначена полковая квартира Астраханскаго гренадерскаго полка.

— Полковая квартира!—вскричалъ панъ, спрыгнувъ съ канапе.

— Да; завтра чѣмъ свѣтъ, а можетъ быть и сегодня ночью, придетъ сюда первая рота нашего полка. Да садитесь, панъ Дубицкій... прошу покорно!

Тутъ взглянулъ я на моего хозяина: вытянувшись въ струнку, онъ стоялъ передо мной, какъ листъ передъ травой, и на лицѣ его происходили такія эволюціи, что я чуть было не лопнулъ со смѣху; огромные усы шевелились, глаза прыгали изъ стороны въ сторону, а хохолъ на головѣ стоялъ почти дыбомъ.

— Да взмилуйся, панъ капитанъ,—завопилъ онъ, наконецъ,—куда дѣвать мнѣ цѣлую роту?

— Найдемъ для всѣхъ мѣсто.

— Но разсудите сами...

— Эхъ, панъ Дубицкій!—прервалъ я, развязывая шарфъ и снимая мою саблю,—военные люди не разсуждаютъ; дѣлай то, что приказано, вотъ и все тутъ.

— Іезусъ-Марія! —продолжалъ хозяинъ;— помѣстить цѣлую роту!.. Да якимъ же способомъ?.. Я самъ съ больной моей женой живу только въ трехъ комнатахъ.

— Полно, такъ ли?—сказалъ я,—домъ-то, кажется, у васъ великъ.

— Якъ пана Бога кохамъ! ну мало ли мызъ и лучше и просторнѣе моей? и кому въ голову пришло...

— А вотъ,—прервалъ я,—панъ Дубицкій, какъ мы выпьемъ съ вами по рюмкѣ венгерскаго, такъ я скажу, кому пришло въ голову занять вашу мызу.

— За-разъ, панъ, за-разъ!—Эй, хлопецъ!

— Не безпокойтесь!—сказалъ я, подходя къ столу, на которомъ стояли двѣ бутылки вина и нѣсколько порожнихъ и налитыхъ рюмокъ,—съ насъ будетъ и этого. До васъ— пана!

Хозяинъ примѣтнымъ образомъ смѣшался, и когда вошелъ слуга, то онъ, пошептавъ ему что-то на ухо, сказалъ, обращаясь ко мнѣ: — Въ самомъ дѣлѣ, а я было совсѣмъ забылъ, что пробовалъ сейчасъ съ моимъ экономомъ это вино, которое вчера купилъ въ Краковѣ. Ну, что вы о немъ скажете?

— Славное вино! Настоящее венгерское! Ну, панъ Дубицкій,—продолжалъ я, выпивъ еще рюмку, — теперь я вамъ скажу, кому пришло въ голову занять вашу мызу. Полковая квартира простоитъ у васъ день, много два; но наша полковница останется у васъ жить, и надолго-ли — этого сказать вамъ не могу. Ей въ Краковѣ такъ много наговорили хорошаго объ этой мызѣ, что она хочетъ непремѣнно у васъ погостить.

— Барзо дзинкую за гоноръ!—сказалъ хозяинъ;—но я желалъ бы знать, кто расхвалилъ вашей полковницѣ Бьялый Фолваркъ? Ужъ вѣрно злодѣи мои: панъ Маршалокъ, панъ Замборскій, панъ Клановичъ... Нѣхъ ихъ вшисцы, дьябли везмо!

— А что жъ? мнѣ кажется, они говорили правду.

— Да будь же ласковъ! взмилуйся, панъ капитанъ!—вскричалъ отчаяннымъ голосомъ хозяинъ.—Гдѣ будетъ жить ваша полковница? Во всемъ верхнемъ этажѣ отдѣланы только

три комнаты, въ которыхъ я самъ кое-какъ помѣщаюсь. Конечно, внизу покоевъ довольно, но я не знаю, можно ли будетъ и вамъ въ нихъ ночевать.

— А почему же нѣтъ?

— Эхъ, мось пане добродзѣю! То карабоска есть; дали Букъ, такъ! Я и самъ, лишь только женѣ моей будетъ получше, переѣду въ Краковъ, и ужъ вѣрно этотъ домъ никогда не будетъ достроенъ.

— Но отчего же?—спросилъ я съ невольнымъ любопытствомъ.

— О, панъ капитанъ! вы человѣкъ военный, такъ, можетъ статься, мнѣ не повѣрите.

— Да что такое?

— Слыхали ли вы когда-нибудь о панѣ Твардовскомъ?

— О панѣ Твардовскомъ?—повторилъ я,— и только что хотѣлъ было сказать, что нѣтъ, какъ вспомнилъ, что читалъ однажды русскую сказку, о храбромъ витязѣ, Алешѣ Поповичѣ, гдѣ, между прочимъ говорится и о польскомъ колдунѣ панѣ Твардовскомъ, съ которымъ русскій богатырь провозился цѣлую ночь, «А, знаю, знаю!» — сказалъ я.— «Этого пана Твердовскаго, или Твардовскаго, утащили черти?

— Не только утащили, — прервалъ хозяинъ,—а даже протащили сквозь каменную стѣну, на которой, какъ разсказываютъ старики, долго еще послѣ этого видны были кровавыя пятна.

— Собакѣ, собачья и смерть, — сказалъ я;—да что жъ общаго между вашимъ домомъ и этимъ проклятымъ колдуномъ?

— А вотъ что, мось пане добродзѣю, мой домъ построенъ на самомъ томъ мѣстѣ, гдѣ нѣкогда стоялъ замокъ Твардовскаго.

— Неужали, — вскричалъ я, — поглядѣвъ невольно вокругъ себя.

— Дали Букъ, такъ! — продолжалъ хозяинъ;—а что всего хуже, такъ это то, что весь нижній этажъ моего дома построенъ изъ развалинъ стараго замка.

— Вотъ что!—прошепталъ я сквозь зубы;— да вѣдь впрочемъ,—прибавилъ я,—это было уже давно?

— Конечно давно,—панъ-капитанъ, да отъ этого мнѣ не легче. Каждую пятницу, около полуночи, въ нижнемъ этажѣ моего дома подымается такая возня, что стѣны трясутся...

— Каждую пятницу?

— Да. Говорятъ, что въ этотъ самый день черти продернули пана Твардовскаго сквозь стѣну и утащили къ себѣ въ преисподнюю. Эта стукотня продолжается иногда цѣлую ночь. Всѣ окна освѣтятся, начнется ужасный вой, потомъ сдѣлается опять темно, а тамъ снова разольется по всему нижнему этажу такой свѣтъ, что можно снаружи видѣть все, что дѣлается внутри.

— А что жъ тамъ дѣлается? — спросилъ я, стараясь казаться равнодушнымъ.

— Однажды только,—отвѣчалъ хозяинъ,— мой прежній экономъ рѣшился заглянуть туда съ надворья, да видно увидѣлъ такія страсти, что у него языкъ отнялся; а когда онъ сталъ опять говорить, такъ ничего нельзя было понять изъ его словъ.

— Отчего же?

— Оттого, что онъ былъ въ жестокой горячкѣ.

— Ну, а когда выздоровѣлъ?

— Да онъ не выздоровѣлъ, а на третій день умеръ.

— Вотъ что! — повторилъ я опять сквозь зубы, — и что-то похожее на лихорадочную дрожь пробѣжало по моимъ членамъ. — Но вѣдь вы говорите, — промолвилъ я, промолчавъ нѣсколько времени, — что это бываетъ только по пятницамъ.

— Такъ, мось пане добродзѣю! Да вѣдь сегодня пятница!

— Въ самомъ дѣлѣ!.. и у васъ въ верхнемъ этажѣ нѣтъ ни одной свободной комнаты?

— Дали Букъ, нѣтъ! кромѣ спальни моей жены, этой гостиной, гдѣ живутъ ея резидентки, и столовой, гдѣ сплю я, нѣтъ ни одного жилого покоя Но если, — прибавилъ съ насмѣшливой улыбкой полякъ,—панъ капитанъ не боится...

— Если я боюсь?.. боюсь!.. И это говоритъ польскій панъ русскому офицеру!.. Ухъ, батюшки! такъ меня варомъ и обдало! Мнѣ, капитану Астраханскаго гренадерскаго полка, испугаться колдуна, и добро-бы еще русскаго!.. Ахъ, чортъ возьми! Да если бъ самъ сатана въ польскомъ контушѣ явился предо мною, такъ я и тогда бы скорѣе умеръ, чѣмъ на вершокъ отъ него попятился.—Извините, панъ Дубицкій,—сказалъ я, вставая,—я не боюсь ни пана Твардовскаго, ни пана чорта, ни живыхъ, ни мертвыхъ, и ночую сегодня въ вашемъ нижнемъ этажѣ.

— Какъ угодно! По крайней мѣрѣ, я васъ предупредилъ,—и если что-нибудь случится...

— Не безпокойтесь! И у меня, и у моего казака есть по парѣ пистолетовъ и по саблѣ; такъ живыхъ мертвецовъ мы не боимся, а съ нечистой силой справиться не трудно. Не погнѣвайтесь! вѣдь мы не полатыни читаемъ наши молитвы. Прикажите мнѣ показать мою комнату.

— Заразъ, панъ! Да не угодно-ли вамъ чего покушать?

— Благодарю! я не ужинаю, а, если позволите, возьму съ собою эту бутылку венгерскаго и разопью ее за упокой души вашего Твардовскаго; только не совѣтую ему мѣшать мнѣ спать: мы, русскіе, незваныхъ гостей не любимъ.

Хозяинъ проводилъ меня до передней, въ которой, къ удивленію моему, я нашелъ казака въ большомъ ладу съ людьми Дубицкаго: онъ потягивалъ съ ними предружески горѣлку,

и, судя по двумъ полуштофамъ, изъ которыхъ одинъ ужъ былъ пустъ, а въ другомъ осталось вино только на донышкѣ, не трудно было догадаться, что они порядкомъ угостили Ермилова; я еще болѣе увѣрился въ этомъ, когда онъ, вскочивъ со скамьи, началъ хвататься за стѣну, чтобъ не повалиться мнѣ въ ноги. — Ну, плохой-же будетъ у меня товарищъ!—подумалъ я; но дѣлать было нечего. Одинъ слуга пошелъ впередъ со свѣчей, а двое повели съ лѣстницы казака, который, несмотря на мое присутствіе, безпрестанно лобызался съ своими провожатыми, благодаря ихъ за дружбу и угощеніе.

Когда мы спустились съ лѣстницы, слуга, который шелъ впереди, отперъ огромнымъ ключомъ толстыя двери, и мы вошли въ большую комнату со сводами. Я нехотя замѣтилъ, что провожатые мои робко посматривали во всѣ стороны и съ примѣтнымъ безпокойствомъ прислушивались къ шелесту собственныхъ шаговъ своихъ; онъ раздавался подъ сводами обширныхъ комнатъ, сырыхъ и мрачныхъ, какъ церковные подземные склепы; недоставало только однихъ гробовъ, чтобъ довершить это сходство. Мы вошли, наконецъ, въ одну угольную комнату, которая болѣе другихъ походила на жилой покой. Множество фамильныхъ портретовъ по стѣнамъ, дюжины двѣ стульевъ, обитыхъ черной кожею, канапе, кровать съ шелковымъ пологомъ, большіе стѣнные часы и дубовый столъ, на который слуга поставилъ свѣчу, а я бутылку венгерскаго, составляли все убранство моей опочивальни. Слуги, пожелавъ мнѣ спокойной ночи, вышли вонъ.—Не стыдно-ли тебѣ, Ермиловъ!— сказалъ я казаку, который, прислонясь къ стѣнѣ, старался какъ можно бодрѣе стоять передо мною.—Ну, выпилъ-бы стаканъ-другой, а то посмотри, какъ натянулся!

— Никакъ нѣтъ, ваше благородіе! — пробормоталъ казакъ;—прикажете, по одной дощечкѣ пройду.

— Молчи, скотина!

— Слушаю, ваше благородіе!

— Гдѣ мои пистолеты?

— Въ чушкахъ, ваше благородіе.

— И ты оставилъ ихъ тамъ, на конюшнѣ?

— Ничего, ваше благородіе! Народъ здѣсь честный: все будетъ цѣло.

— Подай мнѣ свои!

Казакъ вынулъ изъ-за пояса свои пистолеты и, подавая мнѣ, сказалъ:—Да извольте осторожнѣе: они заряжены пулями. Знатные пистолеты! Ужъ здѣшніе люди ими любовались, любовались!..

— Хороши! пошелъ, ложись вонъ на это канапе! Да постарайся выспаться проворнѣе, пьяница!

Казакъ, пробираясь вдоль стѣны, дотащился до канапе, прилегъ и въ ту-же минуту захрапѣлъ; а я взялъ свѣчу и прежде всего осмотрѣлъ двери моей комнаты: онѣ запирались снаружи, а внутри не было ни крючка, ни задвижки. Это обстоятельство мнѣ очень не понравилось, но дѣлать было нечего. Притворивъ какъ можно плотнѣе двери, я взглянулъ мимоходомъ на почернѣвшіе отъ времени портреты, которыми увѣшаны были всѣ стѣны. Во всю жизнь мою я не видывалъ такого подбора звѣрскихъ и отвратительныхъ лицъ. Бритыя головы съ хохлами, отвислые подбородки, нахмуренныя брови, усы какъ у сибирскихъ котовъ, — ну, словомъ, что портретъ, то рожа, и одна другой отвратительнѣе.—Ай да красавцы! — подумалъ я:—ну, если домовые, которые изволятъ здѣсь пошаливать, не красивѣе ихъ, такъ признаюсь!.. Болѣе всѣхъ поразилъ меня портретъ какого-то святочнаго пугала, съ золотой цѣпью на шеѣ, въ черномъ балахонѣ и въ высокой четырехсторонней шапкѣ. Его сухое и блѣдное лицо, зачесанные книзу усы и выглядывающіе изъ-подъ навислыхъ бровей косые глаза были такъ безобразны, что я въ жизнь мою ничего гаже не видывалъ. Внизу на золоченой рамѣ было написано имя пана Твардовскаго. «Такъ вотъ онъ!» — вскричалъ я невольно;—«ну, хорошъ, голубчикъ! и онъ-же приходитъ съ того свѣта живыхъ людей пугать! Ахъ ты, чортова чучела!»—промолвилъ я, плюнувъ на портретъ;—да «небось, меня не испугаешь, еретикъ проклятый!» — Не знаю почему, но я не чувствовалъ въ себѣ никакой робости; мнѣ казалось, что въ Польшѣ и черти должны бояться русскаго офицера. А притомъ разсказъ моего хозяина хотя и произвелъ на меня нѣкоторое впечатлѣніе, но я зналъ, что поляки любятъ при случаѣ отпустить красное словцо и сдѣлать изъ мухи слона. — Впрочемъ, — подумалъ я, принимаясь за бутылку венгерскаго,—если и въ самомъ дѣлѣ нечистая сила проказитъ въ этомъ домѣ, такъ чтожъ? Пошумятъ, пошумятъ, да тѣмъ дѣло и кончится. Хорошо демону шутить съ еретикомъ, а вѣдь я православный! — Разсуждая такимъ образомъ, я скинулъ верхнее платье, положилъ подлѣ себя саблю и пистолеты, сотворилъ молитву, перекрестился и, хлебнувъ еще токайскаго, улегся на постель. Свѣтъ отъ воскового огарка, который я не погасилъ, падалъ прямо на противоположную стѣну и хотя слабо, но вполнѣ освѣщалъ нѣсколько портретовъ. Несмотря на то, что я вовсе не трусилъ, ожиданіе чего-то необыкновеннаго не давало мнѣ сомкнуть глазъ. По временамъ мнѣ казалось, что всѣ эти портреты какъ будто бы одушевлялись, что одинъ моргалъ глазами, у другого шевелился усъ, третій кивалъ мнѣ головою; и хотя я понималъ, что это происходило оттого, что у меня начало уже рябить въ глазахъ, а, несмотря на это, заснуть не могъ. На дворѣ бушевала погода, вылъ вѣтеръ, дождь лилъ какъ изъ ведра; но подлѣ меня и по комнатамъ все было тихо и спо-

койно. — Ужъ не подшутилъ-ли надо мною хозяинъ, — подумалъ я. — Чего добраго! эти поляки любятъ позабавиться надъ нашимъ братомъ, русскимъ офицеромъ. Вѣстимо дѣло! когда сила не беретъ, такъ хоть чѣмъ-нибудь душу отвести. Чай, теперь думаетъ: «какъ не поспитъ всю ночь поклятый москаль, такъ мое венгерское-то выйдетъ ему сокомъ!» — Анъ нѣтъ: брешешь, мось пане добродзѣю — засну! Я опустилъ закинутый пологъ и принялся думать о старинѣ, о матушкѣ Москвѣ бѣлокаменной, о Прѣсненскихъ прудахъ, о красномъ домикѣ съ зелеными ставнями, о моей Авдотьѣ Михайловнѣ, съ которою я былъ тогда помолвенъ, о томъ, о семъ—и вотъ мало-по-малу меня стало затуманивать, одолѣла дремота и я заснулъ. Въ то самое время, какъ мнѣ снилось, что я прогуливаюсь съ моей невѣстою по Дѣвичьему полю, какъ будто бы толкнули меня подъ бокъ — я проснулся. Ба, ба, ба! что такое? Кажется, въ сосѣднемъ покоѣ свѣтло? Отдернулъ пологъ, гляжу—точно!.. Не размышляя долго, я вскочилъ съ постели, взялъ въ руку пистолетъ и, подойдя на цыпочкахъ къ дверямъ, порастворилъ одну половинку. Ну, это еще не очень страшно: посреди комнаты стоитъ большой столъ, на столѣ огромное блюдо, накрытое чѣмъ-то бѣлымъ, а кругомъ тридцать стульевъ.—Посмотримъ,—подумалъ я, — кто это здѣсь собрался ужинать? — Не прошло пяти минутъ, какъ вдругъ вдали, какъ будто-бы за версту, послышалось заунывное пѣніе. Вотъ ближе, ближе — эге! да это никакъ поютъ за упокой: напѣвъ точно погребальный, только словъ не слышно.—Чу! все замолкло и вотъ опять, да ужъ близехонько, какъ заревутъ!.. Господи, Боже мой! кто въ лѣсъ, кто по дрова! и вопятъ какъ надъ могилою, и насвистываютъ плясовыя пѣсни — а содомъ-то какой? — шумъ, гамъ!.. Вдругъ двери въ комнату, въ которой стоялъ накрытый столъ, какъ будто бы отъ сильнаго вихря распахнулись настежъ, и полѣзли въ нихъ... да все-то въ саванахъ и въ бѣлыхъ колпакахъ съ наличниками, ну, ни дать, ни взять какъ висѣльники! Они входили попарно, а позади всѣхъ четверо такихъ же пугалъ несли на носилкахъ мертвеца; и лишь только эти послѣдніе перешагнули черезъ порогъ, какъ вдругъ всѣ опять завыли, а мертвецъ приподнялся и сбросилъ съ себя бѣлую пелену, которой былъ покрытъ. Глядь:—точь-въ-точь, какъ этотъ портретъ въ черномъ платьѣ: въ такой же четырехсторонней шапкѣ, на шеѣ золотая цѣпь, лицо блѣдное, усы по двѣ четверти. Ахти!—такъ и есть!.. это колдунъ—панъ Твардовскій!.. Ну, господа, что грѣхъ таить!—дрогнуло во мнѣ ретивое! Межъ тѣмъ вся эта сволочь размѣстилась по комнатѣ: одни стали рядышкомъ вдоль стѣны, другіе усѣлись за столомъ, самъ мертвецъ расположился на первомъ мѣстѣ, только противъ него одинъ стулъ остался порожній: — и вотъ, гляжу, колдунъ манитъ меня пальцемъ.—Что дѣлать?—подумалъ я;—идти—худо; не идти — стыдно; не равно еще эти польскіе черти подумаютъ, что я ихъ трушу; такъ и быть! смѣлымъ Богъ владѣетъ—пойду!

Не выпуская изъ рукъ пистолета, я подошелъ къ столу; колдунъ указалъ мнѣ, молча, на порожній стулъ. «Вотъ что! Такъ, видно, я былъ въ счету!—Добро, добро! посмотримъ, что будетъ». Я сѣлъ. Хотя отъ времени до времени меня подиралъ морозъ по кожѣ, но я все еще не терялъ духа; къ тому жъ всѣ эти святочныя пугала сидѣли и стояли очень смирно; можно было услышать, какъ муха пролетитъ, и даже самъ колдунъ, выпучивъ свои оловянные глаза, сидѣлъ такъ чинно и неподвижно, какъ набитая чучела. Прошло минутъ десять: все тихо; черти молчатъ, колдунъ таращитъ глаза, а я посматриваю на всю честную компанію и жду, чѣмъ дѣло кончится. Вотъ стѣнные часы въ моей спальнѣ зашипѣли; съ трескомъ завертѣлись колеса и колокольчикъ зазвенѣлъ: разъ, два, три... Чу! полночь. Еще двѣнадцатый звонокъ не отгудѣлъ, какъ вдругъ колдунъ зашевелилъ усами и кивнулъ головой; одинъ изъ его собесѣдниковъ всталъ, протянулъ длинную костяную руку, скорчилъ свои крючковатые пальцы и, ухвативъ за самую середину бѣлую ширинку, которою покрыто было блюдо, поднялъ ее кверху... Ухъ, батюшки!—и теперь не могу безъ страха вспомнить. Гляжу: на блюдѣ лежитъ человѣческая голова—да еще какая!.. Ахъ, ты, Господи, Боже мой!.. Раздутыя щеки, носъ два мои кулака, ротъ до ушей, глаза по ложкѣ... ну!!! екнуло во мнѣ сердечко. Эко блюдо изготовили! «Ѣшь!» — заревѣлъ охриплымъ голосомъ колдунъ; «ѣшь!»—повторила хоромъ вся нечистая сила. Ой, ой, ой! плохо дѣло! Хочу встать, ноги подгибаются; хочу творить молитву, языкъ не шевелится. А черти и колдунъ вотъ такъ и палятъ меня глазами! Наконецъ, я кое-какъ промолвилъ: «чуръ меня, чуръ! Да воскреснетъ Богъ!».. и чтожъ! голова зашевелилась и начала дразнить меня языкомъ и защелкала зубами. Ахти, и молитва не беретъ!—худо!— Не помню самъ, какъ мнѣ пришло въ голову, отъ страху что-ль, только я поднялъ руку съ пистолетомъ, почти уперъ въ эту чертову башку, взвелъ курокъ... бацъ!.. Не тутъ-то было!.. Всѣ черти захохотали, а голова раскрыла огромную пасть, и, словно изъ бочки, какъ грянетъ басомъ польскую мазурку. Ну!.. руки у меня опустились, въ глазахъ запестрѣло, все вокругъ пошло ходуномъ, въ углахъ поднялся звонъ, столъ запрыгалъ, черти завертѣлись какъ волки, и я упалъ безъ памяти на полъ.

Не знаю, долго ли я пролежалъ безъ чувствъ, но какъ очнулся, такъ еще было темно. На дворѣ ревѣла гроза, но въ комна-

тахъ опять все затихло. Стола нѣтъ, свѣчей также, только въ спальнѣ чуть-чуть теплился догорающій огарокъ. Не скоро я образумился; да ужъ за то, лишь только вспомнилъ, что со мною было, то откуда прыть взялась: мигомъ одѣлся, растолкалъ Ермилова, потащилъ его за собою въ конюшню, разбудилъ панскихъ конюховъ и черезъ полчаса ѣхалъ ужъ опять по лѣсу. Къ свѣту мы добрались до лагеря, и, явясь къ моему полковнику, я такъ его перепугалъ, что онъ тотъ же часъ послалъ за полковымъ лѣкаремъ; на мнѣ лица не было! Мартынъ Адамычъ, пощупалъ мой пульсъ, объявилъ, что у меня жестокая горячка, прописалъ лѣкарство; я его не принялъ, проспалъ цѣлыя сутки, и черезъ два дня отправился опять искать дачи для нашей полковницы.

— И съ тѣхъ поръ вы никогда не встрѣчались съ паномъ Дубицкимъ? — спросилъ Заруцкій.

— Нѣтъ, Алексѣй Михайлычъ, а слышалъ только, что у него на дачѣ, передъ самымъ концомъ кампаніи, захватили цѣлую компанію конфедератовъ, и что послѣ небольшой драки этихъ господъ съ однимъ изъ нашихъ летучихъ отрядовъ, казаки, взявъ хозяина и многихъ изъ его товарищей въ плѣнъ, сожгли и разорили до основанія Бьялый Фолваркъ.

— Такъ вы думаете, Антонъ Ѳедоровичъ,— прервалъ съ улыбкою Черемухинъ, — ужъ вѣрно въ числѣ этихъ, плѣнныхъ конфедератовъ было нѣсколько бѣсовъ, а можетъ быть и самъ колдунъ Твардовскій попался въ руки къ казакамъ?

— Вотъ ужъ этого, батюшка, не знаю!— отвѣчалъ хладнокровно Кольчугинъ, набивая свою трубку.

— То есть, Прохоръ Кондратьичъ,—сказалъ хозяинъ,—ты хочешь намекнуть, что эту ночную комедію сыграли съ нашимъ пріятелемъ панъ Дубицкій и его гости для того, чтобы отдѣлаться отъ постоя,—не правда ли?

— Что вы, что вы!—вскричалъ Черемухинъ;—да это мнѣ и въ голову не приходило. Ужъ я вамъ докладывалъ, что я всему на свѣтѣ вѣрю. Еслибъ это проказили поляки, такъ голова бы не запѣла басомъ, когда въ нее выстрѣлилъ Антонъ Ѳедоровичъ изъ пистолета. Правда, у пьянаго казака не трудно было разрядить пистолеты; но вѣдь одна догадка не доказательство, и по-моему всего вѣрнѣе, что тутъ замѣшалась нечистая сила.

— Ты забавляешься, любезный,—прервалъ Заруцкій;—а я такъ скажу вамъ, почтенный Антонъ Ѳедоровичъ, безъ всякихъ обиняковъ, что васъ одурачили поляки: имъ нужно было какъ-нибудь избавиться отъ постоя. А чтобъ одѣться въ маскарадныя платья, просунуть голову сквозь прорѣзанные столъ и блюдо, и разрядить пистолеты пьянаго казака, такъ— воля ваша—на это не много надобно хитрости. Знаете ли что? Я, на вашемъ мѣстѣ, самъ бы порядкомъ надъ ними позабавился. Вамъ стоило только притвориться, что вы хотите отвѣдать блюда, которымъ васъ потчуютъ, и еслибъ вы одной рукой схватили за носъ эту жареную голову, а въ другую взяли бы столовый ножъ, такъ, я васъ увѣряю, она не запѣла бы басомъ мазурку, а развѣ протанцовала бы ее на своемъ блюдѣ. Эхъ, Антонъ Ѳедоровичъ! такъ ли еще обманываютъ честныхъ людей, когда это надобно. Вотъ и со мною былъ однажды случай, который хотького бы свелъ съ ума...

— Съ тобою?—прервалъ съ любопытствомъ хозяинъ.—Когда это?

— Лѣтъ семь тому назадъ, когда я носилъ еще гусарскій мундиръ, и былъ съ моимъ полкомъ въ Италіи.

— Съ Суворовымъ?

— Да, дядюшка. Если хотите, я разскажу вамъ объ этомъ. Слушайте!

Бѣлое привидѣніе.

Въ сраженіи при Нови, гдѣ русскія и австрійскія войска, подъ начальствомъ Суворова, разбили на голову французовъ, я находился съ моимъ эскадрономъ при отрядѣ, которымъ командовалъ любимецъ Суворова, генералъ Милорадовичъ. Въ ту самую минуту, какъ онъ повелъ впередъ свою колонну, чтобъ атаковать центръ непріятельской арміи, убило подо мною ядромъ лошадь, и я получилъ такую сильную контузію, что нѣсколько часовъ сряду пролежалъ, безъ памяти. Послѣ сраженія меня отправили сначала въ небольшой городокъ Акви, а потомъ перевезли въ Туринъ, гдѣ я пролежалъ болѣе двухъ недѣль въ постели. Я довольно хорошо говорю по-итальянски, и могъ изрѣдка бесѣдовать съ моимъ хозяиномъ; но, не смотря на это, умиралъ отъ скуки и тоски. Когда мнѣ сдѣлалось легче, и я сталъ прохаживаться по моей комнатѣ, то мнѣ посовѣтовали лѣчиться за городомъ. Это было въ концѣ августа мѣсяца, жары стояли несносныя, и я самъ чувствовалъ, что свѣжій деревенскій воздухъ необходимъ для возстановленія моего здоровья. Австрійскій комендантъ отвелъ мнѣ прекрасную квартиру верстахъ въ десяти отъ города, на дачѣ сеньора Леонардо Фразелани, богатаго туринскаго купца. Я послалъ туда передовымъ моего денщика, съ квартирнымъ билетомъ, а самъ на другой день ранехонько по-утру отправился въ наемной каретѣ и, остановясь на минуту полюбоваться великолѣпной площадью Св. Карла, выѣхалъ черезъ предмѣстье Борго-ди-По, за городъ.

Я никогда не бывалъ въ южной Италіи; но если въ ней климатъ и природа лучше, чѣмъ въ Піемонтѣ, такъ ужъ, подлинно, можно ее назвать земнымъ раемъ и цвѣтникомъ всей Европы. Трудно и живописцу дать намъ ясное понятіе объ этой яркой зелени

полей, усыпанныхъ благовонными цвѣтами, объ этихъ темносинихъ и въ то-же время прозрачныхъ небесахъ Италіи, такъ мнѣ нечего и говорить съ вами объ этомъ. Вы, дядюшка, бывали на Кавказѣ и въ Крыму; слѣдовательно, лучше другого поймете, съ какимъ восторгомъ смотрѣлъ я на это безоблачное южное небо и цвѣтущія окрестности города, усѣянныя рощами шелковичныхъ деревьевъ. Мы, дѣти сѣвера, воспитанныя среди обширныхъ полей и дремучихъ лѣсовъ нашей родины, привыкли съ ребячества любить раздолье и просторъ; такъ вы можете себѣ представить, какъ я обрадовался, когда выѣхалъ за городъ и могъ свободно дышать этимъ животворнымъ деревенскимъ воздухомъ, напитаннымъ ароматами цвѣтовъ. Я не успѣлъ отъѣхать двухъ верстъ отъ заставы, какъ почувствовалъ въ себѣ такую перемѣну, что готовъ былъ хоть сейчасъ на коня, саблю вонъ и въ атаку. Мнѣ было такъ легко, такъ весело... О! безъ всякаго сомнѣнія, противоположности необходимы для нашего земного счастія! Еслибы я не просидѣлъ нѣсколько недѣль въ тѣсной комнатѣ, въ которой, какъ въ аптекѣ, все пропахло лѣкарствомъ; еслибъ мрачный и узкій переулокъ, въ который никогда не заглядывало солнышко, не былъ единственнымъ видомъ, коимъ я любовался изъ моихъ оконъ, то врядъ-ли бы въ жизни моей нашлось нѣсколько часовъ сряду совершеннаго, не отравленнаго ничѣмъ благополучія. Миновавъ потѣшный дворецъ, называемый *Королевскимъ Виноградникомъ*, я выпрыгнулъ изъ кареты и пошелъ пѣшкомъ. Мой жадный взоръ обѣгалъ свободно и унизанные загородными домами холмистые берега рѣки По, и обширную равнину, которая оканчивалась къ сѣверу высокими Піемонтскими горами. Вблизи, съ правой стороны, на Капуцинской горѣ возвышалась готическая церковь монастыря; позади, еще выше, сквозь темную зелень оливковыхъ деревьевъ, бѣлѣлись зубчатыя стѣны Камальдульской пустыни; а прямо передо мною, вдали, прорѣзывая утренній туманъ, плавалъ какъ на облакахъ огромный куполъ *Сюперги*—сей знаменитой соперницы колоссальнаго Петра и Павла въ Римѣ. Съ каждымъ шагомъ впередъ горизонтъ расширялся, и я, очарованный живописными видами, которые слѣдовали безпрерывно одинъ за другимъ, не замѣтилъ, какъ прошелъ верстъ пять передъ моей каретою: она тащилась за мною шагомъ по большой дорогѣ. «Э, гей! синьоръ офиціале, синьоръ офиціале!» — закричалъ мой кучеръ.—«Маледетто!—синьоръ офиціале!» — Я обернулся: карета стояла у самаго въѣзда въ тѣнистую аллею изъ пирамидальныхъ тополей: шагахъ въ двухстахъ отъ большой дороги, она примыкала къ густой каштановой рощѣ. Я воротился и, продолжая идти пѣшкомъ впереди моей кареты, въ нѣсколько минутъ достигъ до рощи и потомъ прямой просѣкою вышелъ опять на открытое мѣсто, котораго сельскій и спокойный видъ такъ мнѣ понравился, что я остановился на минутку имъ полюбоваться. Представьте себѣ широкую долину, посреди которой змѣилась излучистая рѣчка, огибая въ своемъ теченіи нѣсколько высокихъ холмовъ, поросшихъ сплошнымъ кустарникомъ; она вливалась въ свѣтлое озеро съ покатыми берегами, которые, безъ всякаго преувеличенія, можно было назвать персидскими коврами: такъ они были испещрены безчисленнымъ множествомъ самыхъ яркихъ и разнообразныхъ цвѣтовъ! Прямо противъ каштановой рощи, изъ которой я вышелъ, на самомъ берегу озера, проглядывалъ, сквозь померанцевыхъ деревьевъ и густыхъ кустовъ благовонной акаціи, одноэтажный домъ съ плоскою кровлею и красивымъ портикомъ; гибкія виноградныя лозы обвивались около колоннъ, которыя поддерживали мраморный фронтонъ, и на всѣхъ окнахъ стояли фарфоровыя вазы съ цвѣтами. Позади дома, во всю ширину двора, тянулся длинный флигель съ широкими итальянскими окнами. Лицевой его фасадъ былъ обращенъ на дворъ, а противоположная сторона выходила въ садъ, который окружалъ съ трехъ сторонъ и домъ и всѣ принадлежащія къ нему строенія. Отъ самой каштановой рощи начинался обширный лугъ, по которому извивалась рѣчка, впадающая въ озеро. Пять-шесть крестьянскихъ избъ, разбросанныхъ въ живописномъ безпорядкѣ, красивая мельница на ручьѣ, нѣсколько коровъ и рѣзвыхъ козъ, разсыпанныхъ по лугу, и миловидная дѣвушка, которая, зачерпнувъ воды, несла ее на ту пору въ глиняномъ кувшинѣ на своей головѣ, оживляли эту сельскую, исполненную прелести, картину.—Да это настоящая идиллія въ лицахъ! — вскричалъ я, невольно посмотрѣвъ вокругъ себя.—Жаль только, что недостаетъ пастуха и пастушки. Ага! Да вонъ и они! — продолжалъ я, увидѣвъ подъ однимъ кустомъ молодого человѣка, который сидѣлъ на травѣ рядомъ съ дѣвушкою лѣтъ шестнадцати. Они оба были одѣты просто, по-деревенскому, но отмѣнно щеголевато; и если бы соломенная шляпа, въ которой была дѣвушка, попалась въ Москву на Кузнецкій мостъ, такъ увѣряю васъ, она не долго бы залежалась въ модномъ магазинѣ. Молодой человѣкъ былъ недуренъ собою, а его подруга... о, такое миловидное, выразительное лицо, такіе черные, пламенные глаза можно только встрѣтить въ одной Италіи!—Позвольте спросить, — сказалъ я, подойдя къ этимъ нѣжнымъ голубкамъ, которые о чемъ-то вполголоса ворковали межъ собою,—это дача синьора Фразелини? — Дѣвушка вскрикнула, ударилась бѣжать, и прежде чѣмъ я успѣлъ окончить мой вопросъ, ея и слѣдъ простылъ. Молодой человѣкъ также смутился, но отвѣчалъ очень вѣжливо:—Точно

такъ, синьоръ офиціале! это помѣстье принадлежитъ Леонарду Фразелини; если угодно, я васъ провожу до дому.—Я пошелъ вслѣдъ за нимъ по берегу рѣчки, а карета поѣхала по дорогѣ, которая шла прямо черезъ лугъ на широкую плотину, устроенную повыше мельницы. Когда мы перешли черезъ ручей по красивому китайскому мостику, я спросилъ молодого человѣка, не сынъ ли онъ помѣщика?—Извините, синьоръ офиціале!—отвѣчалъ онъ:—я Корнеліо Аничети, родной его племянникъ.

— А красавица, съ которой вы сидѣли подъ кустомъ, вѣрно, сестра ваша?

Смуглыя щеки Корнеліо вспыхнули.

— Нѣтъ!—сказалъ онъ отрывисто, — это камеріора моей тетки.

— Неужели? Она такъ хорошо одѣта, что я подумалъ... А какъ зовутъ эту прекрасную служаночку?

— Челестиною.

— Она очень мила.

Корнеліо посмотрѣлъ на меня пристально и признаюсь, для моего самолюбія пріятно было замѣтить, что этотъ инспекторскій смотръ не очень его успокоилъ. — Да!—сказалъ онъ, наконецъ—это правда, Челестина мила, но она очень дика, и сверхъ того, извините, синьоръ офиціале, терпѣть не можетъ иностранцевъ. Но вотъ и дядюшка идетъ къ намъ навстрѣчу, — прибавилъ онъ, указывая на человѣка пожилыхъ лѣтъ съ пріятной и почтенной наружностью.

Хозяинъ принялъ и обласкалъ меня, какъ родного, а жена его, синьора Аурелія, долго не могла опомниться отъ удивленія при видѣ варвара-русскаго, который отпустилъ ей съ полдюжины комплиментовъ на самомъ чистомъ тосканскомъ нарѣчіи. Въ продолженіе всего дня, я не видѣлъ никого, кромѣ моихъ хозяевъ, ихъ племянника, проворнаго слуги Убальдо и безобразной старухи, которую называли Петронеллою. Подъ вечеръ, когда мы всѣ сидѣли въ одной комнатѣ, которой окна были обращены на дворъ, появилась, наконецъ, Челестина. Она усѣлась смирнехонько въ одномъ углу, на низенькой скамейкѣ, и такъ занялась какимъ-то рукодѣльемъ, что я не могъ даже полюбоваться ея черными глазами—она ни разу не подняла ихъ кверху. Разговаривая со мною, синьора Аурелія сказала, между прочимъ, что она не знаетъ, понравится-ли мнѣ приготовленная для меня комната.—Вамъ надобенъ покой, — говорила она, — а ваша горница рядомъ съ нашею спальнею: мы встаемъ очень рано и можемъ васъ потревожить. — О, что касается до меня, — отвѣчалъ я, — обо мнѣ не хлопочите! Я боюсь только, чтобъ мнѣ васъ не безпокоить. Да нѣтъ-ли въ этомъ флигелѣ лишней комнаты?—продолжалъ я, указывая на длинное строеніе съ итальянскими окнами.

— Въ немъ всѣ комнаты свободны,—сказалъ хозяинъ: — да онъ и выстроенъ для моихъ гостей; но съ нѣкотораго времени...— Тутъ синьоръ Фразелини остановился и, взглянувъ значительно на жену свою, замолчалъ.

— Съ нѣкотораго времени?—прервалъ я.—А что такое?..

— Въ немъ никто не живетъ.

— А для чего?

— Да какъ-бы вамъ сказать? Вѣдь вы, господа военные, ничему не вѣрите. Въ этомъ флигелѣ поселились нечистые духи.

Я засмѣялся.

— Смѣйтесь, синьоръ офиціале, смѣйтесь! а это точно такъ же правда, какъ то, что я имѣю честь говорить съ вами объ этомъ. Мѣсяца два тому назадъ замѣтили, что во флигелѣ бываетъ по ночамъ какой-то странный шумъ и раздаются жалобные стоны; но это-бы еще ничего: почти каждую ночь, часу въ двѣнадцатомъ, иногда ранѣе, иногда позднѣе, по всему флигелю ходитъ высокое бѣлое привидѣніе съ фонаремъ въ рукахъ. Я самъ нѣсколько разъ видѣлъ—вотъ изъ этой комнаты, какъ оно прогуливается взадъ и впередъ мимо всѣхъ оконъ.

— И вамъ ни разу не приходило въ голову,—прервалъ я,—что это проказитъ какой-нибудь шалунъ?

— Какъ не приходить; но тутъ есть одно обстоятельство, которое разрушаетъ всѣ мои догадки. Надобно вамъ сказать, что комнаты въ этомъ флигелѣ расположены точно такъ же, какъ кельи въ монастырѣ. Во всю его длину устроенъ длинный корридоръ, изъ котораго десятью дверьми входятъ въ столько-же особыхъ комнатъ, отдѣленныхъ одна отъ другой капитальными стѣнами, и чтобъ перейти изъ одной комнаты въ другую, необходимо надобно выйти прежде въ корридоръ. Вы завтра можете во всемъ этомъ увѣриться сами. Теперь прошу васъ растолковать мнѣ, какимъ образомъ обыкновенный человѣкъ, а не духъ или привидѣніе, будетъ расхаживать во всю длину флигеля, мимо окопъ, не останавливаясь ни на минуту, идя ровнымъ шагомъ; словомъ, прогуливаясь свободно взадъ и впередъ, какъ по одной длинной галлереѣ, въ которой нѣтъ никакихъ перегородокъ? Тутъ, кажется, долго ризсуждать нечего: или между комнатъ есть прямое сообщеніе, или никакія преграды для него не существуютъ, и онъ проходитъ сквозь капитальную стѣну точно такъ, какъ мы въ растворенныя двери. Никакихъ сообщеній и дверей между комнатъ нѣтъ; въ этомъ повторяю еще разъ, вы сами можете завтра увѣриться: слѣдовательно, этотъ ночной посѣтитель не проказникъ, не шалунъ, а просто или нечистый духъ, или неотпѣтый мертвецъ, или, что всего вѣрнѣе, какая-нибудь христіанская душа, которая страдаетъ въ чистилищѣ и нуждается въ нашихъ молитвахъ. Здѣсь всѣ увѣрены, что

это душа бѣднаго, Паоло, бывшаго моего садовника, который прошлую зиму удавился въ этомъ флигелѣ. Сначала насъ очень это тревожило; но теперь мы уже привыкли; впрочемъ, до сихъ поръ, кромѣ племянника, никто не вызывался переночевать въ этомъ флигелѣ. Правда, и ему это даромъ не прошло: привидѣніе точно такъ же, какъ и всегда, прогуливалось по комнатамъ, а онъ до того напугался, что всю ночь пролежалъ безъ памяти.

Въ продолженіе сего разсказа, я замѣтилъ двѣ вещи: во-первыхъ то, что племянникъ хозяина вспыхнулъ, когда рѣчь дошла до него, а во-вторыхъ, что хотя синьоръ Фразелини и синьора Аурелія твердо были увѣрены, что въ ихъ флигелѣ поселились жители не нашего міра, но что, несмотря на это, въ одной съ нами комнатѣ, кромѣ меня, были еще люди, которые не очень этому вѣрили. Я сидѣлъ противъ большого зеркала; въ немъ отражалось все, что было у меня за спиною, то есть и вся противоположная стѣна и двери, подлѣ которыхъ стоялъ слуга Убальдо, и уголокъ, въ которомъ сидѣла красавица Челестина. Раза два я подмѣтилъ, что ихъ взгляды встрѣчались межъ собою, и что слѣдствіемъ этой встрѣчи была, всегда какая-то значительная улыбка, которую разгадать было вовсе не трудно. Ну!—подумалъ я,—побьюсь объ заклалъ, что эта плутовка Челестина знаетъ лучше своихъ господъ, какъ мертвецы проходятъ сквозь капитальныя стѣны. Поговоривъ еще нѣсколько времени объ этомъ странномъ случаѣ, я простился съ моими хозяевами и отправился въ мою комнату. Отъ перемѣны мѣста, или отъ чего другого, только мнѣ вовсе не спалось. Изъ комнаты моей можно было видѣть весь флигель. Вотъ этакъ немного за полночь, одно окно во флигелѣ освѣтилось; я вскочилъ съ постели и точно видѣлъ своими глазами, что какое-то привидѣніе, въ бѣломъ саванѣ, съ фонаремъ въ рукахъ, прошло раза три вдоль всего флигеля мимо самыхъ оконъ и не останавливаясь ни на одну минуту. Что это былъ обманъ, я не сомнѣвался; что причины этого обмана были самыя земныя, и въ этомъ я былъ также увѣренъ; но какъ это происходило и въ чемъ состоялъ сей оптическій обманъ,—вотъ ужъ этого я не могъ никакъ постигнуть. Я думалъ, думалъ, и если привидѣніе не напугало меня, то все-таки по милости его я не могъ заснуть во всю ночь. Не видя никакой пользы вертѣться съ боку на бокъ, я съ первымъ свѣтомъ всталъ съ постели, одѣлся и пошелъ гулять по саду. Утренняя заря начинала только заниматься; всѣ спали въ домѣ, кромѣ вашего покорнаго слуги и какой-то ранней пташечки, которая пропорхнула мимо меня въ ту самую минуту, какъ я сталъ подходить къ садовой сторонѣ флигеля.—Ага!—подумалъ я,—вотъ что! Если-бъ въ этихъ комнатахъ не поселились нечистые духи, такъ жили бы люди,—понимаю! Ну, господинъ Корнеліо, порядкомъ же вы морочите вашего дядюшку!

Весь этотъ день провелъ я попрежнему съ моими дорогими хозяевами: думалъ о моей утренней встрѣчѣ, о бѣломъ привидѣніи, и, наконецъ, какъ будто бы попалъ на истинный путь. Мнѣ оставалось увѣриться, справедливы ли мои догадки, и въ то же время, не дѣлая вреда никому, избавить, если можно, моего гостепріимнаго хозяина отъ этихъ ночныхъ посѣщеній. Послѣ ужина я заперся въ свою комнату, и часу въ двѣнадцатомъ ночи, обернувшись съ головы до ногъ въ бѣлую простыню, прокрался потихоньку въ садъ и подошелъ къ флигелю. Представленіе уже началось: хотя я зашелъ не съ той стороны, но отгадалъ это потому, что двери были отперты, и что на дворѣ полусонный сторожъ началъ громкимъ голосомъ творить молитву. Я потихоньку взобрался на лѣстницу и спрятался въ темномъ углу въ корридорѣ. Черезъ минуту всѣ догадки мои оправдались.—Постойте-же господа артисты!—сказалъ я про себя; — васъ надобно такъ пугнуть, чтобъ вамъ и въ голову не пришло играть въ другой разъ эту комедію. Въ корридорѣ стоялъ деревянный стулъ; я взмостился на него, опустилъ вплоть до полу мою простыню и заохалъ такимъ нечеловѣческимъ образомъ, что почти самъ испугался. Вдругъ изъ двухъ комнатъ выскочили два бѣлыя привидѣнія... О, ужасъ! Точно такое же третье привидѣніе, только гораздо огромнѣе стоитъ передъ ними неподвижно, испуская тяжкіе, могильные стоны. «Кто ты?»—раздался трепещущій и весьма знакомый мнѣ голосъ.—«Молитесь за меня!»—проговорилъ я протяжно;—«я самоубійца, я грѣшникъ Паоло!» — Батюшки мои! какъ бросились отъ меня эти два несчастныя привидѣнія! Они кубаремъ скатились съ лѣстницы, растеряли свои бѣлыя мантіи, и я вовсе не удивился, когда хозяинъ сказалъ мнѣ на другой день, что слуга его Убальдо и племянникъ Корнеліо занемогли оба ночью и лежатъ въ постели. Я перешелъ во флигель, прожилъ въ немъ преспокойно два мѣсяца, и увѣряю васъ, дядюшка, что во все это время бѣлое привидѣніе ни разу не приходило ко мнѣ въ гости.

— Ну, братъ, молодецъ же ты!—сказалъ Иванъ Алексѣевичъ. — Только воля твоя, я все порядкомъ въ толкъ не возьму... Ты говоришь, что ихъ было двое... такъ чтожъ?..

— А вотъ что, дядюшка. Они оба были одѣты одинакимъ образомъ и оба съ потайными фонарями. Когда одинъ изъ нихъ, начавъ итти вдоль первой комнаты, доходилъ до стѣны, которая отдѣляла его отъ второго покоя, то въ ту же минуту прятался огонь и, ударивъ кулакомъ въ стѣну, выбѣгалъ въ

корридоръ; потомъ, войдя въ третью комнату, прижимался къ стѣнѣ. Второе привидѣніе, услышавъ сигналъ, открывало свой фонарь и начинало итти мимо оконъ до самой стѣны третьяго покоя, изъ котораго продолжало эту прогулку опять первое привидѣніе, и такъ далѣе, до конца флигеля. Все это было у нихъ такъ улажено, что всякій подумалъ бы, что мимо оконъ проходитъ одна и та же фигура, и со двора рѣшительно невозможно было замѣтить этого обмана.

— Ну, хитро придумано!.. Что и говорить, на свѣтѣ много обману! Конечно, какъ иногда не посомниться, не поразмыслить—у каждаго свой царь въ головѣ, но не вѣрить ничему и во всемъ сомнѣваться...

— Видитъ Богъ, грѣшно!—прервалъ Кольчугинъ, раскрывъ снова свои молчаливыя уста.—Покойный мой батюшка, дай Богъ ему царство небесное, вздумалъ также однажды поумничать, да такъ-то невпопадъ, что послѣ далъ зарокъ ни въ чемъ не сомнѣваться и всему на свѣтѣ вѣрить.

— А что такое съ нимъ сдѣлалось?—спросилъ хозяинъ.

— Да такъ, батюшка, былъ случай такой! Онъ не одинъ разъ мнѣ самъ изволилъ объ этомъ разсказывать.

— А ты, любезный, разскажи намъ.

— Разсказать не фигура, только дѣло-то такое курьезное, что, того и гляди, эти господа на зубки меня подымутъ,—промолвилъ Кольчугинъ, указывая на Заруцкаго и Черемухина:—да пожалуй, чего добраго, и покойнику батюшкѣ достанется.

— И, сударь! — прервалъ я, подвигаясь къ Кольчугину,—какое вамъ до нихъ дѣло! Разсказывайте.

— Да, да! — подхватилъ хозяинъ, — что тебѣ на нихъ смотрѣть!—Разсказывай!

— Ну, если вамъ угодно, такъ слушайте

Нежданные гости.

Отецъ мой былъ человѣкъ стараго вѣка,— началъ такъ Антонъ Ѳедоровичъ Кольчугинъ,—хотя, благодаря во-первыхъ Бога, а во-вторыхъ родителей, достатокъ у него былъ дворянскій, и онъ могъ бы жить не хуже своихъ сосѣдей, то-есть выстроить хоромы саженяхъ на пятнадцати, завести псовую охоту, роговую музыку, оранжереи и всякія другія барскія затѣи; но онъ во всю жизнь свою ни разу и не подумалъ объ этомъ, жилъ себѣ въ маленькомъ домикѣ, держалъ не больше десяти слугъ, охотился иногда съ ястребами, и подъ веселый часъ такъ-то, бывало, тѣшится, слушая Ваньку гусляста, который,—не тѣмъ будь помянутъ, — попивалъ, а лихо, разбойникъ, игралъ на гусляхъ; бывало, какъ хватитъ — «Заря утренния взошла» или «На бережку у ставки», такъ заслушаешься! Но если батюшка мой не щеголялъ ни домомъ, ни услугою, то зато крѣпко держался пословицы: «не красна изба углами, а красна пирогами».—И въ старину, чай, такіе хлѣбосолы бывали въ диковинку! Домъ покойнаго батюшки выстроенъ былъ на самой большой дорогѣ; вотъ если кто-нибудь днемъ или вечеромъ остановится кормить на селѣ, то и бѣгутъ ему сказать; и коли проѣзжіе, хоть мало-мальски не совсѣмъ простые люди, дворяне, купцы, или даже мѣщане, такъ милости просимъ на барскій дворъ; закобенились—такъ околицу на запоръ, и хоть себѣ голосомъ вой, а ни на одномъ дворѣ ни клока сѣна, ни зерна овса не продадутъ. Что и говорить: любилъ пображничать покойникъ! Бывало, какъ залучитъ себѣ гостей, такъ пойдетъ такая попойка, что лишь только держись, море разливанное: чего хочешь, того спросишь. Всякихъ чужеземныхъ напитковъ, сортовъ до десяти, въ подвалѣ не переводилось, а ужъ объ наливкахъ и говорить нечего!

Однажды зимою, ровно черезъ шесть мѣсяцевъ послѣ кончины моей матушки, сидѣлъ онъ одинъ-одинехонекъ въ своемъ любимомъ покоѣ съ лежанкою. Меня съ нимъ не было; я ужъ третій годъ былъ на службѣ царской и дрался въ то время со шведами. Дѣло шло къ ночи; на дворѣ была мятелица, холодъ страшный, и часу въ десятомъ такъ заколодило, что отъ мороза всѣ стѣны въ домѣ трещали. Въ такую погоду гостей не дождаться. Что дѣлать? Покойный батюшка, чтобъ провести время до ужина,—а онъ никогда не изволилъ ужинать прежде одиннадцатаго часу, принялся за Четьи-Минею. Развернулъ на удачу,—и попалъ на житіе преподобнаго Исаакія, затворника печерскаго. Когда онъ дошелъ до того мѣста, гдѣ сказано, что бѣсы, явившись къ святому угоднику подъ видомъ ангеловъ, обманули его и, восклицая: нашъ еси, Исаакій, заставили его насильно плясать вмѣстѣ съ собою, то покойный батюшка почувствовалъ въ душѣ своей сомнѣніе, соблазнился и, закрывъ книгу, началъ умствовать и разсуждать съ самимъ собою. Но чѣмъ болѣе онъ думалъ, тѣмъ болѣе казалось ему не вѣроподобнымъ таковое попущеніе Божіе. Вотъ въ самое-то его раздумье нашла на него дремота, глаза стали слипаться, голова отяжелѣла, и онъ мнѣ сказывалъ, что не помнитъ самъ, какъ прилегъ на канапе и заснулъ крѣпкимъ сномъ. Вдругъ въ ушахъ у него что-то зазвенѣло, онъ очнулся: слышитъ— бьютъ часы въ его спальнѣ ровно десять часовъ. Лишь только онъ было приподнялся, чтобъ велѣть подавать себѣ ужинать, какъ вошелъ въ компату любимый его слуга Андрей и поставилъ на столъ двѣ зажженныя свѣчи.—Что ты, братецъ?—спросилъ батюшка.—Пришелъ, сударь, доложить вамъ,—отвѣчалъ слуга, — что на селѣ остановились

приказный изъ города да казаки, которые ѣдутъ съ Дону. — Ну такъ что-жъ? — прервалъ батюшка.—Бѣги скорѣй на село, проси ихъ ко мнѣ, да не слушай никакихъ отговорокъ. — Я ужъ ихъ звалъ, сударь, и они сейчасъ будутъ,—пробормоталъ сквозь зубы Андрей.—Такъ скажи, чтобъ прибавили что-нибудь къ ужину,—продолжалъ батюшка,— и вели принесть изъ подвала штофъ запеканки, двѣ бутылки вишневки, двѣ рябиновки и полдюжины виноградnаго. Ступай!

Слуга отправился. Минутъ черезъ пять вошли въ комнату три казака и одинъ пожилой человѣкъ въ долгополомъ сюртукѣ. — Милости просимъ, дорогіе гости! — сказалъ батюшка, идя къ нимъ на встрѣчу. Зная, что набожные казаки всегда помолятся прежде святымъ иконамъ, а потомъ ужъ кланяются хозяину, онъ промолвилъ, указывая на образъ Спасителя, который трудно было разсмотрѣть въ темномъ углу: — Вотъ здѣсь!— но, къ удивленію его, казаки не только не перекрестились, но даже и не поглядѣли на образъ. Приказный сдѣлалъ то же самое.— Не фигура, — подумалъ батюшка, — что это крапивное сѣмя не знаетъ Бога, но вѣдь казаки — народъ благочестивый!.. Видно, они съ дороги-то вовсе ошалѣли! Межъ тѣмъ нежданные гости раскланялись съ хозяиномъ; казаки очень вѣжливо поблагодарили его за гостепріимство, а приказный, сгибаясь передъ нимъ въ кольцо, отпустилъ такую рацею, что покойный батюшка, хотя былъ человѣкъ рѣчистый и за словомъ въ карманъ не ходилъ, а вовсе сталъ втупикъ, и, вмѣсто отвѣта на его кудрявое привѣтствіе, закричалъ:—Гэй, малый, запеканки!

Вошелъ опять Андрей, поставилъ на столъ тарелку закуски, штофъ водки и дѣдовскія серебряныя чары по доброму стакану.—Нука, любезные! — сказалъ батюшка, наливая ихъ вровень съ краями, — поотогрѣйте свои душеньки; чай, вы порядкомъ надроглись. Прошу покорно!—Гости чинъ-чиномъ поклонились хозяину, выпили по чаркѣ и, не дожидаясь вторичнаго приглашенія, хватили по другой, хлебнули по третьей,—глядь-поглядь, анъ въ штофѣ хоть прогуливайся — ни капельки!—Ай-да питухи! — подумалъ батюшка. — Ну!!! нечего сказать, молодцы! Да и рожи-то у нихъ какія! — Въ самомъ дѣлѣ, нельзя было назвать этихъ нечаянныхъ гостей красавцами. У одного казака голова была больше туловища; у другого толстое брюхо почти волочилось по землѣ; у третьяго глаза были зеленые, а носъ крючкомъ, какъ у филина, и у всѣхъ волосы рыжіе, а щеки какъ раскаленные кирпичи, когда ихъ обжигаютъ на заводѣ. Но всѣхъ курьезнѣе показался ему приказный въ долгополомъ сюртукѣ: такой исковеркапный и срамной рожи онъ сродясь не видывалъ! Его лысая и круглая, какъ бильярдный шаръ, голова втиснута была промежду двухъ узкихъ плечъ, изъ которыхъ одно было выше другого; широкій подбородокъ, какъ набитый пухомъ ошейникъ, обхватывалъ нижнюю часть его лица; давно не бритая борода торчала щетиною вокругъ синеватыхъ губъ, которыя чуть-чуть не сходились на затылкѣ; толстый вздернутый кверху носъ былъ такъ красенъ, что въ потемкахъ можно было принять его за головню; а маленькіе, прищуренные глаза вертѣлись и сверкали, какъ глаза дикой кошки, когда она подкрадывается ночью къ какому-нибудь звѣрьку или къ сонной пташечкѣ. Онъ безпрестанно ухмылялся;—но эта улыбка, — говаривалъ не разъ покойный мой батюшка,—ни дать, ни взять, походила на то, какъ собака оскаливаетъ зубы, когда увидитъ чужого или захочетъ у другой собаки отнять кость.

Вотъ, какъ гости, опорожнивъ штофъ запеканки, остались безъ дѣла, то батюшка, желая занять ихъ чѣмъ-нибудь до ужина, началъ съ ними разговаривать.—Ну, что, пріятели,—спросилъ онъ казаковъ, — что у васъ на Дону подѣлывается.

— Да ничего! — отвѣчалъ казакъ съ толстымъ брюхомъ:—все попрежнему: пьемъ, гуляемъ, веселимся, пѣсенки попѣваемъ...

— Попѣвайте, любезные,—продолжалъ батюшка, — попѣвайте, только Бога не забывайте!

Казаки захохотали, а приказный оскалилъ зубы, какъ голодный волкъ, и сказалъ:—Что объ этомъ говорить, сударь! Вѣдь это круговая порука: мы Его не помнимъ, такъ пускай и Онъ насъ забудетъ; было бы винцо да денежки а все остальное трынъ трава!

Батюшка нахмурился: онъ любилъ пожить, попить, пображничать, но былъ человѣкъ благочестивый и Бога помнилъ. Помолчавъ нѣсколько времени, батюшка спросилъ подъячаго, изъ какого онъ суда.

— Изъ уголовной палаты, сударь,—отвѣчалъ съ низкимъ поклономъ приказный.

— Ну что подѣлываетъ вашъ предсѣдатель?—продолжалъ батюшка.

А надобно вамъ сказать, господа, что этотъ предсѣдатель уголовной палаты былъ сущій разбойникъ.

— Что подѣлываетъ? — продолжалъ приказный,—да то же, что и прежде, сударь, служитъ вѣрой и правдою...

— Да, да, вѣрой и правдою!—подхватили въ одинъ голосъ всѣ казаки.

— А развѣ вы его знаете?—спросилъ батюшка.

— Какъ же! — отвѣчалъ казакъ съ совинымъ носомъ:—мы всѣ его пріятели, и ждемъ не дождемся радости, когда его высокородіе къ намъ въ гости пожалуетъ.

— Да развѣ онъ хотѣлъ у васъ побывать?

— И не хочетъ, да будетъ, — прервалъ

казакъ съ большой головою. — Не такъ ли, товарищи?

Всѣ гости опять засмѣялись, а подъячій, прищуривъ свои кошачьи глаза, прибавилъ съ лукавой усмѣшкою:—Конечно, пріѣхать-то пріѣдетъ, а нечего сказать, тяжелъ на подъемъ! Мѣсяцъ тому назадъ совсѣмъ было ужъ въ повозку садился, да раздумалъ.

— Какъ такъ?—вскричалъ батюшка: — да мѣсяцъ тому назадъ онъ при смерти былъ боленъ.

— Вотъ то-то и есть, сударь! По этому-то самому резонту онъ было совсѣмъ и собрался въ дорогу.

— А, понимаю! — прервалъ батюшка: — вѣрно доктора совѣтовали ему ѣхать туда, гдѣ потеплѣе?

— Разумѣется! — подхватили съ громкимъ хохотомъ казаки: — вѣдь у насъ за тепломъ дѣло не станетъ: грѣйся, сколько хочешь.

Этотъ безпрестанный и безпутный хохотъ гостей, ихъ отвратительныя хари, а пуще всего двусмысленныя рѣчи, въ которыхъ было что-то нечистое и лукавое, весьма не понравились батюшкѣ, но дѣлать было нечего: зазвалъ гостей, такъ угощай! Желая какъ можно скорѣе отвязаться отъ такихъ собесѣдниковъ, онъ закричалъ, чтобъ подавали ужинать. Не прошло получаса, какъ столъ уже былъ накрытъ, кушанье поставлено и бутылки съ наливкою и виноградным виномъ внесены въ комнату, а все хлопоталъ и суетился одинъ Андрей. Нѣсколько разъ батюшка хотѣлъ спросить его, куда подѣвались другіе люди; но всякій разъ, какъ нарочно, кто-нибудь изъ гостей развлекалъ его своими разговорами, которые часъ-отъ-часу становились забавнѣе. Казаки разсказывали ему про свое удальство и молодечество, а приказный про плутни своихъ товарищей и казусныя дѣла уголовной палаты. Мало-по-малу они успѣли такъ занять батюшку, что онъ, садясь съ ними за столъ, позабылъ даже помолиться Богу. За ужиномъ батюшка ничего не кушалъ; но, не желая отставать отъ гостей, онъ выпилъ четыре бутылки вина и двѣ бутылки наливки — это не диковинка; покойный мой батюшка пить былъ здоровъ, и отъ полудюжины бутылокъ не свалился-бы со стула! Да только вотъ что было чудно: казалось, гости пили вдвое противъ него, а изъ приготовленныхъ шести бутылокъ вина и четырехъ наливки только шесть стояло пустыхъ на столѣ, то есть именно то самое число бутылокъ, которое выпилъ одинъ покойникъ батюшка; онъ видѣлъ, что гости наливали себѣ полные стаканы, а бутылка всегда доходила до него почти непочатая. Кажется, было чему подивиться; и онъ, точно, этому удивлялся—только на другой день, а за ужиномъ все это казалось ему весьма обыкновеннымъ. Я ужъ вамъ докладывалъ, что мой батюшка здоровъ былъ пить; по четыре бутылки сантуринскаго и почти штофъ крѣпкой наливки хоть кого подрумянятъ. Вотъ къ концу ужина онъ такъ распотѣшился, что даже безобразныя лица гостей стали казаться ему миловидными, и онъ раза два принимался обнимать приказнаго и перецѣловалъ всѣхъ казаковъ. Часъ-отъ-часу рѣчи ихъ становились безпутнѣе и наглѣе: они разсказывали про разныя любовныя похожденія, подшучивали надъ духовными людьми, и даже — страшно вымолвить!—забывъ, что они сидятъ за столомъ, какъ сущіе еретики и богоотступники принялись попѣвать срамныя пѣсни и приплясывать, сидя на своихъ стульяхъ. Во всякое другое время батюшка не потерпѣлъ бы такого безчинства въ своемъ домѣ; а тутъ, словно обмороченный, началъ самъ имъ подлаживать, затянулъ: *удалая голова, не ходи мимо сада*, и вошелъ въ такой задоръ, что хоть сейчасъ въ присядку. Межъ тѣмъ казаки, наскучивъ орать во все горло, принялись дѣлать разныя штуки: одинъ заговорилъ брюхомъ, другой проглотилъ большое блюдо съ хлѣбеннымъ, а третій ухватилъ себя за носъ, сорвалъ голову съ плечъ и началъ ею играть какъ мячикомъ. Что-жъ вы думаете, батюшка испугался? Нѣтъ! все это казалось ему очень забавнымъ, и онъ такъ и валялся со смѣху.— Эге!—вскричалъ подъячій,—да вонъ тамъ на послѣднемъ окнѣ стоитъ никакъ запасная бутылочка съ наливкою: нельзя-ли ее прикомандировать сюда? Да не вставай, хозяинъ; я и такъ ее достану,—промолвилъ онъ, вытягивая руку черезъ всю комнату.

— Ого! какая у тебя ручища-то, пріятель! — закричалъ съ громкимъ хохотомъ батюшка:—аршинъ въ пять! Недаромъ же говорятъ, что у приказныхъ руки длинны...

— Да зато память коротка, — прервалъ одинъ изъ казаковъ.

— Вотъ увидите! — продолжалъ подъячій, поставивъ бутылку посреди стола. — Небойсь вы забыли, чье надо пить здоровье, а я такъ помню: начнемъ съ младшихъ! Ну-ка, братцы, хватимъ по чаркѣ за всѣхъ приказныхъ пройдохъ, за канцелярскихъ молодцовъ, за удалыхъ подъячихъ съ приписью, чтобъ имъ весь вѣкъ чернила пить, а бумагой закусывать; чтобъ они почаще умирали, да порѣже каялись!

— Что ты, что ты?—проговорилъ батюшка, задыхаясь со смѣху: — да этакъ у насъ всѣ суды опустѣютъ.

— И, хозяинъ, о чемъ хлопочешь! — продолжалъ приказный, наливая стаканы:—было бы только болото, а черти заведутся. Ну-ка, за мной—ура!

— Выпили?—закричалъ казакъ съ крючковатымъ носомъ, — такъ хлебнемъ же теперь по одной за здоровье нашего старшаго. Кто станетъ съ нами пить, тотъ нашъ, а кто нашъ, тотъ его.

— А какъ зовутъ вашего старшину? — спросилъ батюшка, принимаясь за стаканъ.

— Что тебѣ до его имени! — сказалъ казакъ съ большой головою.—Говори только за нами: да здравствуетъ тотъ, кто изъ рабовъ хотѣлъ сдѣлаться господиномъ, и хоть сидѣлъ высоко, а упалъ глубоко, да не тужитъ.

— Но кто же онъ такой?

— Кто нашъ отецъ и командиръ?—продолжалъ казакъ.—Мало ли что о немъ толкуютъ! Говорятъ, что онъ любитъ мракъ и называетъ его свѣтомъ, такъ что-жъ? Для умнаго человѣка и потемки свѣтъ. Разсказываютъ также, будто бы онъ жалуетъ Содомъ, Гоморъ и всякую безпорядицу для того, дескать, чтобъ въ мутной водѣ рыбу ловить; да это все бабьи сплетни. Нашъ господинъ—баринъ предобрый; ему служить легко: садись за столъ не крестясь, ложись спать не помолясь; пей, веселись, забавляйся, да не вѣрь тому, что печатаютъ подъ титлами — вотъ и вся служба. Ну что? вѣдь не житье, а масленица, — не правда-ли?

Какъ ни былъ хмѣленъ батюшка, однакожъ призадумался.—Я что-то въ толкъ не беру,— сказалъ онъ.

— А вотъ какъ выпьешь, такъ поймешь,— прервалъ подъячій. — Ну, братцы, разомъ! Да здравствуетъ нашъ отецъ и командиръ!..

Всѣ гости, кромѣ батюшки, осушили стаканы.

— Ба, ба, ба, хозяинъ!—закричалъ подъячій,—да что-жъ ты не пьешь?

— Нѣтъ, любезный,—отвѣчалъ батюшка,— я и такъ ужъ пилъ довольно. Не хочу!

— Да что съ тобой сдѣлалось?—спросилъ толстый казакъ,—о чемъ ты задумался? Эй, товарищи! надо развеселить хозяина. Не поплясать ли намъ?

— А что, въ самомъ дѣлѣ, — подхватилъ приказный:—мы посидѣли довольно,—не худо промяться, а то вѣдь пожалуй и ноги затекутъ.

— Плясать, такъ плясать!—закричали всѣ гости.

— Такъ постойте-же, любезные!—сказалъ батюшка, вставая, — я велю позвать моего гусляста.

— Зачѣмъ?—прервалъ подъячій, — у насъ и своя музыка найдется. Гей, вы—начинай!

Вдругъ за печкою поднялась ужасная возня, запищали гудки, рожки и всякіе другіе инструменты; загремѣли бубны и тарелки; потомъ послышались человѣческіе голоса; цѣлый хоръ пѣсенниковъ засвисталъ, загаркалъ, да какъ хватитъ плясовую—и пошла потѣха.

— Ну-ка, хозяинъ, — проговорилъ казакъ съ красноватымъ носомъ, уставивъ на батюшку свои зеленые глаза, — посмотримъ твоей удали!

— Нѣтъ!—сказалъ батюшка, начиная понимать, какъ будто бы сквозь сонъ, что дѣло становится не ладно. — Забавляйтесь себѣ сколько угодно, а я плясать не стану.

— Не станешь? — заревѣлъ толстый казакъ.—А вотъ увидимъ! Всѣ гости вскочили съ своихъ мѣстъ.

Покойнаго батюшку начала бить лихорадка, — да и было отчего: вмѣсто четырехъ, хотя и не красивыхъ, но обыкновенныхъ людей, стояли вокругъ него четыре пугала такого огромнаго роста, что когда они вытягивались, то отъ ихъ головъ трещалъ потолокъ въ комнатѣ. Лица ихъ не перемѣнились, но только сдѣлались еще безобразнѣе.

— Не станешь! — повторилъ ухмыляясь насмѣшливо подъячій. — Полно ломаться-то, пріятель!—И почище тебя съ нами плясывали, да еще посторонніе, а вѣдь ты нашъ!

— Какъ вашъ?—сказалъ батюшка.

— А чей же? Ты человѣкъ грамотный, такъ вѣрно читалъ, что двумъ господамъ служить не можно; а вѣдь ты служишь нашему.

— Да о какомъ ты говоришь господинѣ?— спросилъ батюшка, дрожа какъ осиновый листъ.

— О какомъ? — прервалъ большеголовый казакъ:—вѣстимо, о томъ, о которомъ я тебѣ говорилъ за ужиномъ. Ну вотъ тотъ, котораго слуги ложатся спать не молясь, садятся за столъ не перекрестясь, пьютъ, веселятся, да не вѣрятъ тому, что печатаютъ подъ титлами.

— Да что-жъ онъ мнѣ за господинъ? — промолвилъ батюшка, все еще не понимая порядкомъ, о чемъ идетъ дѣло.

— Эге, пріятель!—подхватилъ подъячій,— да ты никакъ сталъ отнѣкиваться и чинить запирательство? Нѣтъ, любезнѣйшій, отъ насъ не отвертишься! Коли ты исполняешь волю нашего господина, такъ какъ же ты ему не слуга? А вспомни-ка ты хорошенько: молился ли ты сегодня, когда прилегъ соснуть? Перекрестился ли, садясь ужинать? Не пилъ ли ты, не веселился ли съ нами вдоволь? А часа полтора тому назадъ, когда ты прочелъ вонъ въ этой книгѣ слово: «нашъ еси, Исаакій, да воспляшетъ съ нами!» Что? развѣ ты этому повѣрилъ?

Вся кровь застыла въ жилахъ у батюшки. Вдругъ какъ будто бы сняли съ глазъ его повязку, хмѣль соскочилъ и все сдѣлалось для него яснымъ. — Господи Боже мой!.. — проговорилъ онъ, стараясь оградить себя крестнымъ знаменіемъ, да не тутъ-то было! Рука не подымалась, пальцы не складывались, но зато ужъ ноги такъ и пошли писать! Сначала онъ одинъ отхваталъ голубца съ вывертами и вычурами такими, что и сказать нельзя; а тамъ гости подцѣпили его, да и ну надъ нимъ потѣшаться. Покойникъ, разсказывая мнѣ объ этомъ, всегда дивился, какъ у него душа въ тѣлѣ осталась. Онъ помнилъ только одно, какъ комната наполнилась огнемъ

и дымомъ, какъ его перебрасывали изъ рукъ въ руки, играли имъ въ свайку, спускали какъ волчекъ, какъ онъ кувыркался по воздуху, бился о потолокъ, вертѣлся юлою на маковкѣ, и какъ, наконецъ, протанцовавъ на головѣ казачка, онъ совсѣмъ обезпамятѣлъ.

Когда батюшка очнулся, то увидѣлъ, что лежитъ на канапе, и что вокругъ его стоятъ и суетятся его слуги.—Ну что?—прошепталъ онъ торопливо и поглядывая вокругъ себя какъ полоумный,—ушли ли они?

— Кто, сударь?—спросилъ одинъ изъ лакеевъ.

— Кто! — повторилъ батюшка съ невольнымъ содроганіемъ,—кто!.. Ну, вотъ эти казаки и приказный...

— Какіе, сударь, казаки и приказный?— прервалъ буфетчикъ Ѳома. — Да сегодня никакихъ гостей не было, и вы не изволили ужинать. Ужъ я дожидался, дожидался, и какъ вошелъ къ вамъ въ комнату, такъ увидѣлъ, что вы лежите на полу, всѣ въ поту, изорванные, растрепанные и такіе блѣдные, какъ будто бы,—не при васъ будь слово сказано,—коверкала васъ какая-нибудь черная немочь.

— Такъ у меня сегодня гостей не было?— сказалъ батюшка, приподымаясь съ трудомъ на ноги.

— Не было, сударь.

— Да неужели я видѣлъ все это во снѣ?.. Да нѣтъ! быть не можетъ!—продолжалъ батюшка, охая и подхватывая себя за бока:— а кости-то почему у меня всѣ такъ перемяты?.. А эти двѣ свѣчи, кто ихъ на столъ поставилъ?

— Не знаю,—отвѣчалъ буфетчикъ,—видно вы сами изволили ихъ зажечь, да не помните съ просонья.

— Ты врешь!—закричалъ батюшка: — я помню, ихъ принесъ Андрей; онъ и на столъ накрывалъ и кушанье подавалъ.

Всѣ люди посмотрѣли другъ на друга съ примѣтнымъ ужасомъ. Ванька гуслистъ хотѣлъ было что-то сказать, но заикнулся и не выговорилъ ни слова.

— Ну что-жъ вы, дурачье, рты-то разинули?—продолжалъ батюшка.—Говорятъ вамъ, что у меня были гости, и что Андрей служилъ за столомъ.

— Помилуйте, сударь!—сказалъ буфетчикъ Ѳома,—иль вы изволили забыть, что Андрей около недѣли лежитъ больной въ горячкѣ.

— Такъ видно ему сдѣлалось лучше. Онъ ровно въ десять часовъ былъ здѣсь. Да что тутъ толковать! Позовите ко мнѣ Андрея! Гдѣ онъ?

— Вы изволите спрашивать, гдѣ Андрей?— проговорилъ, наконецъ, Ванька гуслистъ.

— Ну да! гдѣ онъ?

— Въ избѣ, сударь, лежитъ на столѣ.

— Что ты говоришь? — вскричалъ батюшка.—Андрей Степановъ?..

— Приказалъ вамъ долго жить,—прервалъ дворецкій, входя въ комнату.

— Онъ умеръ!..

— Да, сударь! Ровно въ десять часовъ.

Кольчугинъ замолчалъ.—Ну, подлинно диковинный случай!—сказалъ Алексѣй Ивановичъ Асановъ: — и если твой отецъ не любилъ краснаго словца прибавить...

— Терпѣть не могъ, батюшка! Онъ во всемъ уѣздѣ слылъ такимъ правдухою, что псовые охотники не смѣли при немъ о своихъ отъѣзжихъ поляхъ и борзыхъ собакахъ и словечка вымолвить.

— Да что-жъ тутъ страннаго! — прервалъ пріятель мой Заруцкій: — вашъ батюшка заспался, не помнилъ, что зажегъ двѣ свѣчи и видѣлъ просто во снѣ то, что за нѣсколько минутъ читалъ наяву.

— Такъ, сударь, такъ!—продолжалъ Кольчугинъ. — Да только вотъ что: спустя нѣсколько времени узнали, что дѣйствительно въ эту самую ночь три казака съ Дону и приказный изъ города проѣзжали черезъ село, только нигдѣ не останавливались; и въ томъ же году, когда стали повѣрять бутылки въ погребѣ, такъ четырехъ бутылокъ винограднаго вина и двухъ бутылокъ наливки нигдѣ не оказалось.

— Да, это довольно странное стеченіе обстоятельствъ,—сказалъ исправникъ.

— И всѣ этому дивились, батюшка! — промолвилъ Кольчугинъ.

— То есть проѣзду казаковъ и подъячаго,—прервалъ Заруцкій, — а что въ погребѣ не нашлось нѣсколькихъ бутылокъ, такъ это доказываетъ только одно, что ключникъ покойнаго вашего батюшки любилъ отвѣдать барскаго винца и наливки, и при семъ удобномъ случаѣ свалилъ всю бѣду на безотвѣтнаго чорта.

— Вотъ о чемъ хлопочетъ! — сказалъ Черемухинъ, взглянувъ исподлобья на моего пріятеля,—ты настоящій Ѳома невѣрный! Да что тутъ удивительнаго? Такіе ли бываютъ случаи въ жизни? Ну, еслибъ я разсказалъ вамъ то, что слышалъ самъ своими ушами отъ одного изъ моихъ знакомыхъ...

— Который узналъ объ этомъ, — подхватилъ съ улыбкою исправникъ, — отъ своего пріятеля, а этому пріятелю разсказывала кума, а кума слышала отъ своего дѣдушки, а дѣдушка...

— Нѣтъ, сударь, извините! — прервалъ Черемухинъ: — тотъ, кто мнѣ это разсказывалъ, не только былъ очевидцемъ, но даже дѣйствующимъ лицомъ въ семъ необычайномъ приключеніи.

— Необычайномъ! — повторилъ съ любопытствомъ хозяинъ.

— Да, Алексѣй Ивановичъ! подлинно, чудный случай! Да и такой-то чудный, что мнѣ совѣстно вамъ разсказывать, тѣмъ болѣе

что я не могу никакъ сомнѣваться въ истинѣ сего происшествія.

— Ахъ, батюшки! — вскричалъ исправникъ,—да это становится весьма интереснымъ. Сдѣлай милость, Прохоръ Кондратьичъ, не томи, разсказывай скорѣе.

— Проказитъ онъ, господа! — сказалъ хозяинъ, покачивая головою.

— Такъ я же вамъ докажу, что нѣтъ, — прервалъ Черемухинъ. — Прошу послушать. Да слушай и ты,—продолжалъ онъ, подмигнувъ Заруцкому: — ты все подводишь подъ общіе законы природы; посмотримъ, какъ ты изъяснишь мнѣ естественнымъ образомъ то, что случилось съ моимъ пріятелемъ!

Концертъ бѣсовъ.

Если кто-нибудь изъ васъ, господа, живалъ постоянно въ Москвѣ, — началъ такъ разсказывать Черемухинъ, положа къ сторонѣ свою трубку,—то вѣрно замѣтилъ, что періодическія нашествія нашей братьи, провинціаловъ, на матушку Москву бѣлокаменную начинаются по-большей части передъ Рождествомъ. Почти въ одно время съ появленіемъ мерзлыхъ тушъ и индюшекъ въ Охотномъ ряду, потянутся черезъ всѣ заставы безконечные караваны кибитокъ, возковъ и всякихъ другихъ зимнихъ повозокъ, съ цѣлыми семействами деревенскихъ помѣщиковъ, которые спѣшатъ повеселиться въ столицѣ, жениховъ посмотрѣть, дочерей показать, и прожить въ нѣсколько недѣль все то, что они накопили въ теченіе цѣлаго года. Но въ 1796 году, этотъ приливъ временныхъ жителей Москвы начался съ первымъ снѣгомъ и, по увѣренію старожиловъ, давно уже наша древняя столица не была такъ полна, или, лучше сказать, биткомъ набита пріѣзжими изъ провинцій. Старшины благороднаго собранія пожимали плечами, когда на ихъ балахъ не насчитывали болѣе двухъ тысячъ посѣтителей и громогласно упрекали въ этомъ италіанца Медокса, который безпрестанно давалъ маскарады въ залахъ и ротондѣ Петровскаго театра. Дѣйствительно, публичные маскарады, въ которыхъ не танцовали, а душились и давили другъ друга, были въ эту зиму любимой забавою всей московской публики. Въ числѣ самыхъ неизмѣнныхъ посѣтителей сихъ маскарадовъ былъ одинъ молодой, человѣкъ также пріѣзжій, но только не изъ провинціи. Иванъ Николаевичъ Зоринъ,— такъ звали этого молодого человѣка,—только что возвратился изъ чужихъ краевъ. Онъ долго жилъ въ Италіи, любилъ страстно музыку, и всегда говорилъ объ италіанской оперѣ съ восторгомъ, который превращался почти въ безуміе, когда рѣчь доходила до оперной примадоны Неаполитанскаго театра. Онъ называлъ ее въ разговорахъ Лауретою, но не хотѣлъ открыть никому изъ своихъ знакомыхъ имя, подъ которымъ она была извѣстна въ музыкальномъ мірѣ. По всему было замѣтно, что не одна страсть къ искусству была причиною сего энтузіазма, и хотя Зоринъ никому не повѣрялъ своей сердечной тайны, но всѣ его пріятели, а въ томъ числѣ и я, отгадывали, почему онъ казался всегда печальнымъ, скучнымъ и оживалъ тогда только, когда начинали съ нимъ говорить объ италіанской оперѣ. Его вѣчную задумчивость, тоску и какое-то мрачное уныніе, которое въ Англіи назвали бы сплиномъ, мы называли просто хандрою, и всякій разъ смѣялись надъ его докторомъ, когда онъ, разсуждая о душевной болѣзни нашего пріятеля, покачивалъ сомнительно головою. — Полноте, Ѳома Ѳомичъ!— говорили мы ему,— что вамъ за охота набивать его желудокъ пилюлями? Пропишите-ка ему бутылки по двѣ шампанскаго въ день, да пріемовъ пять или шесть въ недѣлю баловъ, театровъ и маскарадовъ, такъ это будетъ лучше вашихъ разводящихъ и возбуждающихъ лѣкарствъ.—Какъ ни упирался Ѳома Ѳомичъ, а подъ конецъ рѣшился послушаться нашего совѣта, и предписалъ Зорину ѣздить по всѣмъ баламъ и не пропускать ни одного маскарада. Въ самомъ дѣлѣ, принимая участіе во всѣхъ городскихъ веселостяхъ, нашъ больной сталъ и самъ какъ будто бы спокойнѣе и веселѣе. Случалось однако-же, что онъ не бывалъ въ театрѣ и отказывался отъ званнаго вечера; но зато постоянно каждый маскарадъ являлся первый и уѣзжалъ послѣдній.

Я служилъ еще тогда въ гвардіи. Срокъ моего отпуска оканчивался на первой недѣлѣ великаго поста, и чтобы не попасть въ бѣду, я долженъ былъ непремѣнно въ чистый понедѣльникъ отправиться обратно въ Петербургъ. Желая воспользоваться послѣдними днями моего отпуска и повеселиться до сыта, я провелъ всю масляницу самымъ безпутнымъ образомъ! Днемъ — блины, катанья, званые обѣды; вечеромъ—театры, а ночью до самаго утра балы и домашніе маскарады не дали мнѣ во всю недѣлю ни разу образумиться. Я былъ безпрестанно въ какомъ-то чаду, и совершенно потерялъ изъ виду пріятеля моего Зорина. Въ воскресенье, то есть въ послѣдній день масляницы, я пріѣхалъ ранѣе обыкновеннаго въ публичный маскарадъ. Народу была бездна; каждыя двери приходилось брать приступомъ, и я насилу въ четверть часа могъ добраться до ротонды. Музыка, шумные разговоры, пискотня масокъ, которыя, не смотря на то, что задыхались отъ жара, не переставали любезничать и болтать вздоръ; ослѣпительный свѣтъ отъ хрустальныхъ люстръ, пестрота нарядовъ, и этотъ невнятный, но оглушающій гулъ многолюдной толпы, составленной изъ людей, которые хотятъ, во чтобъ ни стало, веселиться, все это сначала такъ меня отуманило, что я нѣсколько минутъ не слышалъ

и не видѣлъ ничего. Желая перевести духъ, я сталъ искать мѣстечка, гдѣ бы могъ присѣсть и немного поогляднться. Пробираясь вдоль стѣны, вдругъ услышалъ я, что кто-то называетъ меня по имени; обернулся, гляжу—высокій мужчина, въ красномъ домино и маскѣ, манитъ меня къ себѣ рукою. Въ ту самую минуту, какъ я къ нему подошелъ, сосѣдъ его всталъ съ своего мѣста.

— Садись подлѣ меня,—сказалъ онъ.— На-силу-то мы съ тобою повстрѣчались! Да что жъ ты на меня смотришь!—продолжалъ замаскированный: — неужели ты не узналъ меня по голосу?

— Да! — подумалъ я, — въ этомъ голосѣ есть что-то знакомое; но онъ такъ дикъ, такъ страненъ...

— Ну, если ты меня не узнаешь, такъ смотри!—сказалъ человѣкъ въ красномъ домино, приподымая свою маску.

Я невольно отскочилъ назадъ,—сердце мое замерло отъ ужаса... Боже мой! такъ точно, это Зоринъ! это его черты!.. О, конечно!.. это онъ, точно онъ!.. когда будетъ лежать на столѣ, когда станутъ отпѣвать его... Но теперь... Нѣтъ, нѣтъ!.. живой человѣкъ не можетъ имѣть такого лица!

— Что ты?—спросилъ онъ съ какою-то странною улыбкою. — Ужъ не находишь-ли ты, что я перемѣнился?

— О, чрезвычайно!

— Такъ зачѣмъ-же говорятъ, что печаль мѣняетъ человѣка... Неправда! не печаль, а развѣ радость.

— Радость?

— Да, мой другъ! О, если бъ ты зналъ, какъ я счастливъ! Послушай!—продолжалъ мой пріятель вполголоса, и поглядывая съ робостью вокругъ себя,—только, Бога ради, чтобъ никто не зналъ объ этомъ! Она здѣсь!

— Она?.. Кто она?

— Лауретта.

— Неужели?

— Да, мой другъ, она здѣсь. О, какъ она меня любитъ! Она покинула свою милую родину, промѣняла свои вѣчно голубыя небеса на наше облачное угрюмое небо; тамъ, въ кругу родныхъ своихъ, пригрѣтая солнышкомъ благословенной Италіи, она цвѣла, какъ пышная роза; а здѣсь одна, посреди людей мертвыхъ и холодныхъ, какъ наши вѣчные снѣга, она если не завянетъ сама, то погубитъ навсегда свой даръ, переживетъ свою славу, и все это для меня!.. Она, привыкшая дышать пламеннымъ воздухомъ Италіи, не побоялась нашихъ трескучихъ морозовъ, нашихъ зимнихъ вьюгъ, забыла все, покинула все,—живая легла въ эту обширную, холодную могилу, которую мы называемъ нашимъ отечествомъ,—и все это для меня!.. И все это для того, чтобъ увидѣться опять со мною!

— Ужъ не слишкомъ-ли ты прославляешь этотъ подвигъ!—прервалъ я моего пріятеля.— У насъ не такъ тепло, какъ въ Италіи, но также бываетъ и весна и лѣто. Быть можетъ въ Неаполѣ веселѣе, чѣмъ здѣсь? однако-жъ, воля твоя, и Москва не походитъ на могилу; да и твоя Лауретта, не погнѣвайся, не первая италіанская пѣвица, которую мы здѣсь видимъ; и если она будетъ давать концертъ...

— Да! одинъ и послѣдній. Я согласился на это; пусть она обворожитъ всю Москву, поразогрѣетъ хотя на минуту наши ледяныя души, а потомъ умретъ для всѣхъ, кромѣ меня.

— Такъ она хочетъ навсегда здѣсь остаться?

— Да, навсегда. Ну, видишь-ли, какъ она меня любитъ? Но зато и я... О! любовь моя не чувство, не страсть... нѣтъ, мой другъ, нѣтъ!.. Не знаю, постигнешь-ли ты мое блаженство? Поймешь-ли ты меня?.. Я принадлежу ей весь... Она просила меня—да! она хотѣла этого...—Тутъ Зоринъ наклонился и прошепталъ мнѣ на ухо:—Я отдалъ ей мою душу,—теперь я весь ея... Понимаешь-ли, мой другъ?.. весь.

Мнѣ случалось много разъ самому отдавать на словахъ мою душу; да и кто изъ молодыхъ людей остановится сказать любезной женщинѣ, что его душа принадлежитъ ей, что она владѣетъ ею; это пошлая, истертая во всѣхъ любовныхъ изъясненіяхъ фраза не значитъ ничего. Но, несмотря на это, не могу вамъ изъяснить, съ какимъ чувствомъ ужаса и отвращенія я слушалъ исповѣдь моего пріятеля. Таинственный голосъ, которымъ онъ говорилъ, дикій огонь его сверкающихъ глазъ, этотъ неистовый, безумный восторгъ, эти слова радости и блѣдное, изсохшее лицо мертвеца!..— «Эхъ, братецъ!» — сказалъ я съ досадою, — «какъ можно говорить такой вздоръ? Душа принадлежитъ не намъ; ее отдавать никому не должно. Люби свою итальянскую пѣвицу, женись на ней, если хочешь, пусть владѣетъ твоимъ сердцемъ»...

— Сердцемъ! — повторилъ насмѣшливымъ голосомъ мой пріятель.—Да что такое сердце? Развѣ оно безсмертно какъ душа, развѣ оно не истлѣетъ когда-нибудь въ могилѣ? Прекрасный подарокъ: горсть пыли! Кто даритъ свое сердце, тотъ обѣщаетъ любить только до тѣхъ поръ, пока оно бьется, а оно можетъ застыть и сегодня, и завтра; — но кто отступается отъ души своей, тотъ отдаетъ не жизнь, не тысячу жизней, а всю свою безконечную вѣчность. Да, мой другъ! дарить такъ дарить! Теперь Лауреттѣ бояться нечего; душа не сердце—ее не закопаютъ въ могилу.

— Да сдѣлай милость,—прервалъ я,—покажи мнѣ эту волшебницу, эту Армиду, которая, какъ демонъ-соблазнитель, добирается до твоей души; повези меня къ ней.

— Я не знаю самъ, гдѣ она живетъ.

— Нѣтъ, шутишь?

— Да, мой другъ; я видаюсь съ ней толь-

ко здѣсь. Она не хочетъ до времени никому показываться; но все это скоро кончится: послѣ ея концерта мы обвѣнчаемся и уѣдемъ жить въ деревню.

— А когда будетъ ея концертъ?

— На будущей недѣлѣ, въ пятницу.

— На будущей недѣлѣ?.. Быть не можетъ! Ты вѣрно позабылъ, что на первой недѣлѣ великаго поста не даютъ никакихъ концертовъ.

— Полно, такъ-ли? Кажется, Лауретта должна это знать; она даже говорила, что дастъ свой концертъ здѣсь, въ этой ротондѣ.

— Такъ она вѣрно сама ошибается. Видѣлъ ли ты ее сегодня?

— Нѣтъ еще. Она не пріѣзжаетъ никогда ранѣе двѣнадцати часовъ; но зато ровно въ полночь, какъ бы ни было тѣсно въ маскарадѣ и гдѣ-бъ я ни сидѣлъ, она всегда меня отыщетъ.

— Ровно въ полночь! — сказалъ я, взглянувъ на мои часы.—То есть черезъ двѣ минуты. Посмотримъ, такъ ли она аккуратна, какъ ты говоришь.

Если вамъ не случалось самимъ, господа, вертѣчать великій постъ въ маскарадѣ, то по крайней мѣрѣ вы слыхали, что, по принятому обычаю, ровно въ двѣнадцать часовъ затрубятъ на хорахъ, и музыка перестаетъ: это значитъ, что наступилъ великій постъ, и что всѣ публичныя удовольствія прекращаются. Въ ту минуту, какъ я смотрѣлъ на часы, которые, вѣроятно, поотстали, надъ самой моей головою раздался пронзительный звукъ трубъ, и такъ нечаянно, что я невольно вздрогнулъ и поднялъ глаза кверху.—«Тьфу пропасть! какъ они испугали меня!» — проговорилъ я, обращаясь къ моему пріятелю; но подлѣ меня стоялъ уже порожній стулъ. Я поглядѣлъ вокругъ себя: вдали, посреди толпы людей, мелькало красное домино; мнѣ казалось, что съ нимъ идетъ высокаго роста стройная женщина, въ черномъ венеціанѣ. Я вскочилъ, побѣжалъ вслѣдъ за ними; но въ то-же самое время поровнялись со мною три маски, около которыхъ такая была давка, что я никакъ не могъ пробраться, и потерялъ изъ виду красное домино моего пріятеля. Эти маски только что появились въ ротонду: одна изъ нихъ была наряжена какимъ-то длиннымъ и тощимъ привидѣніемъ, въ большой бумажной шапкѣ, на которой было написано крупными словами: «сухояденіе». По обѣимъ сторонамъ ея шли другія двѣ маски, изъ которыхъ одна одѣта была грибомъ, а другая капустою. Длинное пугало поздравляло всѣхъ съ великимъ постомъ, прибавляя къ этому шуточки и поговорки, отъ которыхъ всѣ кругомъ такъ и помирали со смѣху. Одинъ я не смѣялся, а работалъ усердно и руками и ногами, чтобъ пробраться сквозь толпу. Наконецъ, мнѣ удалось вырваться на просторъ: я обшарилъ всю ротонду, обѣжалъ боковыя галлереи, но не встрѣтилъ нигдѣ ни краснаго домино, ни чернаго венеціана. На другой день поутру я заѣзжалъ проститься съ Зоринымъ, не засталъ его дома, а вечеромъ скакалъ уже по большой Петербургской дорогѣ.

Прошло болѣе трехъ мѣсяцевъ съ тѣхъ поръ, какъ я оставилъ Москву. Занимаясь безпрерывно службою и процессомъ, который начался при моемъ дѣдушкѣ и, вѣроятно, кончится при моихъ внучатахъ, я совсѣмъ забылъ о послѣднемъ моемъ свиданіи и разговорѣ съ Зоринымъ. Однажды въ Англійскомъ клубѣ, пробѣгая, не помню какой-то иностранный журналъ, я попалъ нечаянно на статью, въ которой извѣщали, что примадонна Неаполитанскаго театра, Лауретта Бальдуси, къ прискорбію всѣхъ любителей музыки, умерла въ послѣднихъ числахъ февраля мѣсяца, въ собственной своей виллѣ, близъ Портичи.—Лауретта!—повторилъ я невольно. — Примадонна Неаполитанскаго театра!.. Ахъ, Боже мой! да это та самая итальянская пѣвица, въ которую влюбленъ до безумія бѣдняжка Зоринъ! Но какъ же она могла умереть въ послѣднихъ числахъ февраля близъ Неаполя, когда почти въ тоже самое время она была у насъ въ Москвѣ, въ маскарадѣ у Медокса?.. Что за вздоръ!.. Въ тотъ же самый вечеръ я написалъ къ одному изъ московскихъ пріятелей, чтобъ онъ увѣдомилъ меня, здоровъ ли Зоринъ, гдѣ онъ и не слышно-ли чего-нибудь о женитьбѣ его съ одной иностранкою. Въ отвѣтѣ на письмо мое увѣдомляли меня, что на первой недѣлѣ великаго поста, поутру въ субботу, нашли Зорина безъ чувствъ на Петровской площади близъ театра; что онъ былъ при смерти боленъ, и что ужъ недѣли двѣ, какъ его отвезли лѣчиться въ Петербургъ. Я сталъ искать его вездѣ, обѣгалъ весь городъ, но всѣ старанія мои были напрасны. Наконецъ, совершенно неожиданнымъ образомъ, я увидѣлся съ нимъ въ одномъ домѣ, гдѣ никакъ не предполагалъ и вовсе не желалъ его найти. Онъ очень мнѣ обрадовался и, не дожидаясь моей просьбы, разсказалъ свое чудное приключеніе, которое началось въ ротондѣ Петровскаго театра и кончилось тамъ же. Вотъ слово отъ слова весь этотъ разсказъ, такъ, какъ я слышалъ его отъ бѣднаго моего пріятеля.

«Ты вѣрно не забылъ»,—сказалъ онъ мнѣ,—«что я въ послѣдній разъ видѣлся съ тобою наканунѣ великаго поста, въ маскарадѣ Медокса. Въ ту самую минуту, какъ на хорахъ протрубили полночь, я замѣтилъ посреди толпы масокъ Лауретту, которая, проходя мимо, манила меня къ себѣ рукою. Ты былъ чѣмъ-то занятъ другимъ и, кажется, не замѣтилъ, какъ я вскочилъ со стула и побѣжалъ вслѣдъ за нею. «Ступай сейчасъ домой», — сказала она мнѣ, когда я взялъ ее за руку: — «я требую также, чтобъ ты че-

тыре дня сряду никуда не выѣзжалъ и не принималъ къ себѣ никого. Во все это время мы ни разу съ тобой не увидимся. Въ пятницу приходи сюда пѣшкомъ одинъ, часу въ двѣнадцатомъ ночи. Здѣсь въ ротондѣ будетъ репетиція концерта, который я даю въ субботу».—Но къ чему такъ поздно?—спросилъ я,—и пустятъ ли меня?—«Не безпокойся!»—отвѣчала Лауретта:—«для тебя двери будутъ отперты; я репетицію назначила въ полночь для того, чтобъ никто не зналъ объ этомъ, кромѣ нѣкоторыхъ артистовъ и любителей музыки, которыхъ я сама пригласила. Теперь отправляйся скорѣе, и если ты исполнишь все, что я отъ тебя требую, то я навѣки буду принадлежать тебѣ; если же ты меня не послушаешься, а особливо когда пустишь къ себѣ пріятеля, съ которымъ сидѣлъ сейчасъ вмѣстѣ и которому разсказалъ то, о чемъ бы долженъ былъ молчать, то мы никогда не увидимся ни въ здѣшнемъ, ни въ другомъ мірѣ; — и хотя, мой милый другъ, всѣмъ мірамъ и счету нѣтъ,—промолвила она тихимъ голосомъ,—но мы ужъ ни въ одномъ изъ нихъ не встрѣтимся съ тобою».

«Въ теченіе двухъ лѣтъ, проведенныхъ мною въ Неаполѣ, я успѣлъ привыкнуть къ странностямъ и необычайнымъ капризамъ Лауретты. Эта плѣнительная и чудная женщина, то тихая и покорная, какъ робкое дитя, то неукротимая и гордая, какъ падшій ангелъ, соединяла въ себѣ всевозможныя крайности. Иногда она готова была враждовать противъ самихъ небесъ, не вѣрила ничему, смѣялась надъ всѣмъ, и вдругъ безъ всякой причины становилась суевѣрною до высочайшей степени; видѣла вездѣ злыхъ духовъ, совѣтовалась съ ворожеями, и если не любила, то по крайней мѣрѣ боялась Бога. По временамъ она называла себя моей рабою, и была ею дѣйствительно; но когда эта минута смиренія проходила, то она превращалась въ такую властолюбивую женщину, что не выносила ни малѣйшаго противорѣчія; а посему, какъ ни странны казались мнѣ ея требованія, я не дозволилъ себѣ никакого замѣчанія, и безусловно обѣщался исполнить ея волю, тѣмъ болѣе, что она дала мнѣ слово, что это будетъ послѣднимъ и окончательнымъ испытаніемъ моей любви».

«Ты можешь себѣ представить»,—продолжалъ Зоринъ,—«съ какимъ нетерпѣніемъ дожидался я пятницы. Я приказалъ всѣмъ отказывать, и даже не принялъ тебя, когда ты по-утру пріѣхалъ со мною проститься. Днемъ ходилъ я взадъ и впередъ по моимъ комнатамъ, не могъ ни за что приняться, горѣлъ какъ на огнѣ, а ночью,—о, мой другъ! такихъ адскихъ ночей не проводятъ и преступники наканунѣ своей жизни! Такъ не мучили людей даже и тогда, когда пытка была обдуманнымъ искусствомъ и наукою! Не знаю, какъ дожилъ я до пятницы; помню только, что въ послѣдній день моего испытанія мнѣ не только не шла ѣда на умъ, но я не могъ даже выпить чашку чаю. Голова моя пылала, кровь не текла, а кипѣла въ моихъ жилахъ. Помнится также, день былъ не праздничный; а мнѣ казалось, что въ Москвѣ съ утра до самой ночи не переставали звонить въ колокола. Передо мною лежали часы; когда стрѣлка стала подвигаться къ полуночи, нетерпѣніе мое превратилось въ какое-то бѣшенство; я задыхался, меня била злая лихорадка, и холодный потъ выступалъ на лицѣ моемъ. Въ половинѣ двѣнадцатаго часа я накинулъ на себя шинель и отправился. Всѣ улицы были пусты. Хотя моя квартира была версты двѣ отъ театра, но не прошло и четверти часа, какъ я пробѣжалъ всю Пречистенку, Моховую и вышелъ на площадь Охотнаго ряда. Въ двухстахъ шагахъ отъ меня подымалась колоссальная кровля Петровскаго театра. Ночь была безлунная, но зато звѣзды казались мнѣ и болѣе и свѣтлѣе обыкновеннаго; многія изъ нихъ падали прямо на кровлю театра и, разсыпаясь искрами, потухали. Я подошелъ къ главному подъѣзду. Однѣ двери были немного поратворены: подлѣ нихъ стоялъ съ фонаремъ какой-то дряхлый сторожъ; онъ махнулъ мнѣ рукою и пошелъ впередъ по темнымъ корридорамъ. Не знаю, оттого-ли, что я пришелъ уже въ назначенное мѣсто, или отчего другого, только я примѣтнымъ образомъ сталъ спокойнѣе, и помню даже, что, разсмотрѣвъ хорошенько моего проводника, замѣтилъ, что онъ подается впередъ, не переставляя ногъ, и что глаза его точно такъ же тусклы и неподвижны, какъ стеклянные глаза, которые вставляютъ въ лица восковыхъ фигуръ. Пройдя длинную галлерею, мы вошли, наконецъ, въ ротонду. Она была освѣщена, во всѣхъ люстрахъ и канделябрахъ горѣли свѣчи; но, несмотря на это, въ ней было темно; всѣ эти огоньки, какъ будто бы нарисованные, не разливали вокругъ себя никакого свѣта, и только поставленныя рядомъ четыре толстыя свѣчи въ высокихъ погребальныхъ подсвѣчникахъ бросали слабый свѣтъ на первые ряды креселъ и устроенное передъ ними возвышеніе. Этотъ деревянный помостъ былъ уставленъ пюпитрами; ноты, инструменты, свѣчи, однимъ словомъ; все было приготовлено для концерта, но музыкантовъ еще не было».

«Въ первыхъ рядахъ креселъ сидѣло человѣкъ тридцать или сорокъ, изъ которыхъ нѣкоторые были въ шитыхъ французскихъ кафтанахъ съ напудренными головами, а другіе въ простыхъ фракахъ и сюртукахъ. Я сѣлъ подлѣ одного изъ сихъ послѣднихъ. «Позвольте васъ спросить»,—сказалъ я моему сосѣду, — «вѣдь это все любители музыки и артисты, которыхъ пригласила сюда госпожа Бальдуси?»

— Точно такъ.

— Отчего вамъ спросить, кто этотъ молодой человѣкъ въ простомъ нѣмецкомъ кафтанѣ и съ такой выразительной физіономіей: вонъ тотъ, что сидитъ въ первомъ ряду, съ краю?

— Это Моцартъ.

— Моцартъ! — повторилъ я. — Какой Моцартъ?

— Какой! вотъ странный вопросъ! Ну, разумѣется сочинитель «Донъ-Жуана», «Волшебной флейты»...

— Что вы, что вы!—прервалъ я,—да онъ годовъ четыре какъ умеръ.

— Извините! онъ умеръ въ 1791 году въ сентябрѣ мѣсяцѣ, то есть пять лѣтъ тому назадъ. Рядомъ съ нимъ сидитъ Чимароза и Гендель, а позади Рамо и Глукъ.

— Рамо и Глукъ?..

— А вотъ налѣво отъ насъ стоитъ капельмейстеръ Арая, котораго опера «Беллерофонтъ» была дана въ Петербургѣ...

— Въ 1750 году, при императрицѣ Елисаветѣ Петровнѣ?..

— Точно такъ! Съ нимъ разговариваетъ теперь Люлли.

— Капельмейстеръ Людовика XIV?

— Онъ самый. А вонъ, видите, въ темномъ уголку? Да вы не разсмотрите его отсюда: это сидитъ Жанъ-Жакъ Руссо. Онъ приглашенъ сюда не такъ какъ артистъ, но какъ знатокъ и любитель музыки. Конечно, его «Деревенскій Колдунъ» хорошенькая опера; но вы согласитесь сами...

— Да что жъ это значитъ?—прервалъ я, взглянувъ пристально на моего сосѣда, и лишь только было хотѣлъ спросить его, какъ онъ смѣетъ такъ дерзко шутить надо мною, какъ вдругъ увидѣлъ, что это давнишній мой знакомый, старикъ Волгинъ, страшный любитель музыки и большой весельчакъ.—Ба, ба, ба! — вскричалъ я,—такъ это вы изволили забавляться надо мною? Возможно ли! Вы ли это, Степанъ Алексѣевичъ?

— Да, это я! —отвѣчалъ онъ очень хладнокровно.

— Вы пріѣхали сюда также послушать репетицію завтрашняго концерта?

Сосѣдъ мой кивнулъ головою.

— Однако жъ, позвольте!—продолжалъ я, чувствуя, что волосы на головѣ моей становятся дыбомъ, — чтожъ это значитъ?.. Да вѣдь вы, кажется, лѣтъ шесть тому назадъ умерли?

— Извините! — отвѣчалъ мой сосѣдъ:—не шесть, а ровно семь.

Да мнѣ помнится, я былъ у васъ и на похоронахъ.

— Статься можетъ. А вы когда изволили скончаться?

— Кто? Я?.. Помилуйте! да я живъ.

— Вы живы?.. Ну это странно, очень странно! — сказалъ я тихонько, пожимая плечами.

«Я хотѣлъ вскочить, хотѣлъ бѣжать вонъ: но мои ноги подкосились, и я, какъ приключенный гвоздями, остался неподвижнымъ на прежнемъ мѣстѣ. Вдругъ по всей залѣ раздались громкія рукоплесканія и Лауретта въ маскѣ и черномъ венеціанѣ появилась на концертной сценѣ. Вслѣдъ за ней тянулся длинный рядъ музыкантовъ. — и какихъ, мой другъ!.. Господи Боже мой!—что за фигуры! Журавлиныя шеи съ собачьими мордами: туловища быковъ съ воробьиными ногами; пѣтухи съ козлиными ногами; козлы съ человѣческими руками, — однимъ словомъ, никакое безпутное воображеніе, никакая сумасшедшая фантазія не только не создастъ, но даже не представитъ себѣ по описанію такихъ гнусныхъ и безобразныхъ чудовищъ. Особенно же казались мнѣ отвратительными тѣ, у которыхъ были человѣческія лица, если можно такъ назвать хари, въ которыхъ всѣ черты были такъ исковерканы, что, кромѣ главныхъ признаковъ человѣческаго лица, все прочее ни на что не походило. Когда вся эта ватага уродовъ высыпала, вслѣдъ за Лауреттою, на возвышеніе и капельмейстеръ съ совиной головою въ бѣлонапудренномъ парикѣ сѣлъ на приготовленное для него мѣсто, то началось настраиванье инструментовъ; большая часть музыкантовъ была недовольна своими, но болѣе всѣхъ шумѣлъ контрабасистъ съ медвѣжьимъ рыломъ.—«Что это за лубочный сундукъ!»— ревѣлъ онъ, повертывая свой инструментъ во всѣ стороны.—«Помилуйте, синьора Бальдуси, неужели я буду играть на этомъ гудкѣ?»—Лауретта молча указала на моего сосѣда; контрабасистъ соскочилъ съ кресла, взялъ бѣднаго Волгина за шею и втащилъ на помостъ; потомъ поставилъ его головою внизъ, одной рукой обхватилъ обѣ его ноги, а другой началъ водить по немъ смычкомъ, и самые полные, густые звуки контрабаса загремѣли подъ сводомъ ротонды. Вотъ, наконецъ, сладили межъ собой всѣ инструменты; капельмейстеръ поднялъ кверху оглоданную бычачью кость, которая служила ему палочкою, махнулъ, и весь оркестръ грянулъ увертюру изъ «Волшебной флейты». Надобно сказать правду, были мѣстами нескладныя и дикія выходки, а особливо кларнетистъ, который надувалъ свой инструментъ носомъ, часто фальшивилъ; но, несмотря на это, увертюра была сыграна не дурно. Послѣ довольно усиленнаго аплодисмента вышла впередъ Лауретта и, не снимая маски, запѣла совершенно незнакомую для меня арію. Слова были престранны: умирающая богоотступница прощалась со своимъ любовникомъ; она пѣла, что въ безпредѣльномъ пространствѣ и навсегда, съ каждой протекшей минутою станетъ увеличиваться разстояніе, ихъ раз-

дѣляющее; какъ вѣчность будутъ безконечны ея страданія, и ихъ души, какъ свѣтъ и тьма, никогда не сольются другъ съ другомъ. Все это выражено было въ превосходныхъ стихахъ; а музыка!.. О, мой другъ, гдѣ я найду словъ, чтобъ описать тебѣ ту неизъяснимую тоску, которая сжала мое бѣдное сердце, когда эти восхитительные и адскіе звуки заколебали воздухъ? Въ нихъ не было ничего земного; но и небеса также не отражались въ этомъ голосѣ, исполненномъ слезъ и рыданій. Я слышалъ и стоны осужденныхъ на вѣчныя мученія, и скрежетъ зубовъ, и вопли безнадежнаго отчаянія, и эти тяжкіе вздохи, вырывающіеся изъ груди, истомленной страданіями. Когда посреди гремящаго кресчендо, составленнаго изъ самыхъ дикихъ и противоположныхъ звуковъ, Лауретта вдругъ остановилась, общее громогласное браво раздалось по залѣ, и нѣсколько голосомъ закричали:—«синьора Бальдуси, синьора Бальдуси, покажитесь намъ; снимите вашу маску!»—Лауретта повиновалась; маска упала къ ея ногамъ... и что-жъ я увидѣлъ?.. Милосердый Боже!.. Вмѣсто юнаго, цвѣтущаго лица моей Лауретты, изсохшую мертвую голову!!! Я онѣмѣлъ отъ удивленія и ужаса; но зато остальные зрители заговорили всѣ разомъ и подняли страшный шумъ. «Ахъ, какія прелести!»—кричали они съ восторгомъ: — «посмотрите, какой черепъ—точно изъ слоновой кости!.. А ротикъ, ротикъ! Чудо! до самыхъ ушей!.. Какое совершенство!.. Ахъ, какъ мило она оскалила на насъ свои зубы!.. Какія кругленькія ямочки вмѣсто глазъ!.. Ну, красавица!»

— Синьора Бальдуси!—сказалъ Моцартъ, вставая съ своего мѣста, — потѣшьте насъ: спойте намъ Biondina in gondoletta.

— Да это невозможно, сеньоръ Моцарти!—прервалъ капельмейстеръ:—каватину Biondina in gondoletta синьора Бальдуси поетъ съ гитарою; а здѣсь нѣтъ этого инструмента.

— Вы ошибаетесь, maestro di capella!—прошептала Лауретта, указывая на меня.—Гитара передъ вами.

Капельмейстеръ бросилъ на меня быстрый взглядъ, разинулъ свой совиный клювъ, и захохоталъ такимъ злобнымъ образомъ, что кровь застыла въ моихъ жилахъ. «А что въ самомъ дѣлѣ!»—сказалъ онъ. — «Подайте-ка мнѣ его сюда! Кажется... да, точно такъ!.. изъ него выйдетъ порядочная гитара».

Трое зрителей схватили меня и передали изъ рукъ въ руки капельмейстеру. Въ полминуты онъ оторвалъ у меня правую ногу, ободралъ ее со всѣхъ сторонъ, и оставя одну кость и сухія жилы, началъ ихъ натягивать какъ струны. Не могу описать тебѣ той нестерпимой боли, которую произвела во мнѣ эта предварительная операція; и хотя правая нога моя была уже оторвана, а, несмотря на это, въ ту минуту, какъ злодѣй капельмейстеръ сталъ ее настраивать, я чувствовалъ, что всѣ нервы въ моемъ тѣлѣ вытягивались и готовы были лопнуть. Но когда Лауретта взяла изъ рукъ его мою бѣдную ногу и костяные ея пальцы пробѣжали по натянутымъ жиламъ, я позабылъ всю боль: такъ прекрасенъ и благозвученъ былъ тонъ этой необычайной гитары. Послѣ небольшого ритурнеля, Лауретта запѣла вполголоса свою каватину. Я много разъ ее слышалъ, но никогда не производила она на меня такого чуднаго дѣйствія: мнѣ казалось, что я весь превратился въ слухъ, и что всего страннѣе, не только душа моя, но даже всѣ части моего тѣла наслаждались, отдѣльно одна отъ другой, этой обворожительной музыкою. Но болѣе всѣхъ блаженствовала остальная нога моя: восторгъ ея доходилъ до какого-то изступленія; каждый звукъ гитары производилъ въ ней столь неизъяснимо-пріятныя ощущенія, что она ни на одну секунду не могла остаться спокойною. Впрочемъ, всѣ движенія ея соотвѣтствовали совершенно темпу музыки: она поперемѣнно то съ важностію кивала носкомъ, то быстро припрыгивала, то медленно шевелилась. Вдругъ Лауретта взяла фальшивый аккордъ... Ахъ, мой другъ, вся прежняя боль была ничто въ сравненіи съ тѣмъ, что я почувствовалъ. Мнѣ показалось, что черепъ мой разсѣкся на части, что изъ меня потянули разомъ всѣ жилы, что меня начали пилить по частямъ тупымъ ножемъ... Эта адская мука не могла долго продолжаться; я потерялъ всѣ чувства, и только помню, какъ сквозь сонъ, что въ ту самую минуту, какъ все начало темнѣть въ глазахъ моихъ, кто-то закричалъ! «выкиньте на улицу этотъ изломанный инструментъ»!—Вслѣдъ за симъ раздался хохотъ и громкія рукоплесканія. Я очнулся уже на другой день. Говорятъ, будто бы меня нашли на площади подлѣ театра; впрочемъ, ты, я думаю, давно уже знаешь остальное: въ Москвѣ цѣлый мѣсяцъ объ этомъ толковали. Теперь все для меня ясно. Лауретта являлась мнѣ послѣ своей смерти: она умерла въ Неаполѣ; а я, какъ видишь, мой другъ, я живъ еще», — промолвилъ съ глубокимъ вздохомъ мой бѣдный пріятель, оканчивая свой разсказъ.

— Какова исторія?—спросилъ хозяинъ, поглядѣвъ съ улыбкою вокругъ себя. — Ай да батюшка, Александръ Иванычъ, исполать тебѣ! Мастеръ сказки разсказывать!

— Помилуйте, Иванъ Алексѣичъ, какія сказки? Это настоящая истина.

— Въ самомъ дѣлѣ?

— Увѣряю васъ, что пріятель мой вовсе не думалъ лгать, разсказывая мнѣ это странное приключеніе.

— Полно, братецъ! да это курамъ на

смѣхъ! Воля твоя, какой чортъ не хитеръ, а вѣрно и ему не придетъ въ голову сдѣлать изъ одного человѣка контрабасъ, а изъ другого гитару.

— Если вы не вѣрите мнѣ, такъ я могу сослаться на самого Зорина. Онъ, благодаря Бога, еще не умеръ и живетъ попрежнему въ Петербургѣ, подлѣ Обухова моста...

— Въ желтомъ домѣ?— прервалъ исправникъ.

— Вотъ этого не могу вамъ сказать!— продолжалъ спокойно Черемухинъ,— можетъ быть, его давно уже и перекрасили.

— Ахъ ты, проказникъ!—подхватилъ хозяинъ. — Такъ ты разсказалъ намъ то, что слышалъ отъ сумасшедшаго?

— Отъ сумасшедшаго?.. Ну, этого я еще не знаю! Зоринъ никогда мнѣ не признавался, что онъ сошелъ съ ума; а, напротивъ, увѣрялъ меня, что если доктора и смотрители желтаго дома не безумные, такъ по одному упрямству и злобѣ не хотятъ видѣть, что у него вмѣсто правой ноги отличная гитара.

— Смотри пожалуй!—вскричалъ хозяинъ,— какую дичь поретъ! А вѣдь самъ какъ дѣло говоритъ—не улыбнется! Впрочемъ и то сказать,—прибавилъ онъ, помолчавъ нѣсколько времени,—пріятель твой Зоринъ сошелъ же отъ чего-нибудь съ ума! Ну, если въ самомъ дѣлѣ эта басурманка приходила съ того свѣта, чтобъ его помучить?..

— А что вы думаете?—сказалъ я. — Не знаю, какъ другіе, а я не сомнѣваюсь, что мы можемъ иногда послѣ смерти показываться тѣмъ, которыхъ любили на землѣ.

— И, полно, братецъ!—прервалъ съ улыбкою Заруцкій:—да этакъ бы и числа не было выходцамъ съ того свѣта!

— Напротивъ,—продолжалъ я,— эти случаи должны быть очень рѣдки. Я увѣренъ, что мы, послѣ нашей смерти, можемъ показываться только тѣмъ изъ друзей или родныхъ нашихъ, къ которымъ были привязаны не по одной привычкѣ, любили не по разсудку, не по обязанности, не потому только, что намъ съ ними было весело, но по какой-то неизъяснимой симпатіи, по какому-то сродству душъ...

— Сродству душъ?—прервалъ Заруцкій,— а что ты разумѣешь подъ этимъ!

— Что я разумѣю? Не знаю, удастся-ли мнѣ изъяснить тебѣ примѣромъ. Послушай! Всякій музыкальный инструментъ заключаетъ въ себѣ способность издавать звуки, точно такъ же, какъ тѣло наше—способность жить и дѣйствовать; и точно такъ же, какъ тѣло безъ души, всякій инструментъ, безъ содѣйствія художника, который влагаетъ въ него душу, мертвъ и не можетъ, или, по крайней мѣрѣ, не долженъ самъ собою обнаруживать этой способности. Теперь не хочешь ли сдѣлать опытъ? Положи на фортепіано какой-нибудь другой инструментъ, напримѣръ, хоть гитару, а на одну изъ струнъ ея небольшой клочокъ бумаги; потомъ начни перебирать на фортепіано всѣ клавиши одну послѣ другой: бумажка будетъ спокойно лежать до тѣхъ поръ, пока ты не заставишь прозвучать ноту, одинакую съ той, которую издаетъ струна гитары; но, тогда, лишь только ты дотронешься до клавиши, то въ то-же самое мгновеніе струна зазвучитъ и бумажка слетитъ долой; слѣдовательно, по какому-то непонятному сочувствію, мертвый инструментъ отзовется на голосъ живого. Попытайся, мой другъ, изъяснить мнѣ это весьма обыкновенное и повидимому физическое явленіе, тогда, быть можетъ, и я растолкую тебѣ, что понимаю подъ словами: *симпатія и сродство душъ*.

— Ба, ба, ба! любезный другъ!—сказалъ Заруцкій улыбаясь, — да ты ужасный метафизикъ и психологъ; я этого не зналъ за тобою. Вотъ что! Теперь понимаю: душа умершаго человѣка съ душой живого могутъ сообщаться межъ собою только въ такомъ случаѣ, когда онѣ обѣ настроены по одному камертону.

— Ты шутишь, Заруцкій,—прервалъ исправникъ,—а мнѣ кажется, что Михайла Николаичъ говоритъ дѣло. Я самъ знаю одинъ случай, который рѣшительно оправдываетъ его догадки; и такъ какъ у насъ пошло на разсказы, такъ, пожалуй, и я разскажу вамъ не сказку, а истинное происшествіе. Быть можетъ, вы мнѣ не повѣрите, но я клянусь вамъ честью, что это правда.

Двѣ невѣстки.

Въ началѣ 1792 года, гусарскій полкъ, въ которомъ я служилъ корнетомъ, стоялъ въ Бѣлоруссіи, и мой эскадронъ занималъ квартиры въ мѣстечкѣ, принадлежащемъ двумъ братьямъ, князьямъ Лю.....кимъ. Они жили вмѣстѣ съ своими женами въ ихъ наслѣдственномъ и великолѣпномъ замкѣ. Радушное ихъ обращеніе съ русскими офицерами, а болѣе всего веселый образъ жизни, напоминающій роскошное хлѣбосольство древнихъ магнатовъ Польши, вошли въ пословицу между нашими офицерами. «Хоть-бы князьямъ Лю.....кимъ задать такой праздникъ!»—говаривали мы всегда, когда хотѣли похвалить чье-нибудь угощеніе.

Изо всѣхъ офицеровъ моего эскадрона, я болѣе другихъ былъ ими обласканъ, и въ теченіе двухъ или трехъ недѣль сдѣлался въ ихъ семьѣ совершенно домашнимъ человѣкомъ. Обѣ княгини были женщины отмѣнно любезныя и могли назваться красавицами. Если бъ онѣ были родныя сестры, то и тогда-бы нельзя было не подивиться ихъ необычайной дружбѣ; но двѣ невѣстки, двѣ хозяйки въ одномъ домѣ, которыя живутъ душа въ душу, такая диковинка, какой не всякому удастся

на роду своемъ увидѣть. Нельзя было сказать, чтобъ ихъ нравы были совершенно сходны межъ собою; напротивъ, одна изъ нихъ, жена старшаго брата, которая называлась Жозефиною, была самаго кроткаго характера, и даже нѣсколько холодна, а другая отмѣнно жива и вспыльчива; но, несмотря на это различіе, которое, впрочемъ, замѣтно было только въ отношеніи къ другимъ, никогда ни малѣйшая досада не нарушала ихъ семейственнаго согласія. Жозефина очень часто разговаривала со мною объ этой дружбѣ. «Вы не можете себѣ представить»,—сказала она мнѣ однажды,—«какое странное и даже непонятное для насъ самихъ чувство мы питаемъ другъ къ другу. Говорятъ, что мы живемъ какъ родныя сестры, да это вовсе не то. У меня были три сестры, я любила ихъ, но совсѣмъ другимъ образомъ. Когда я въ первый разъ увидѣла Казиміру—такъ называли меньшую невѣстку,—то мнѣ показалось, что ея-то именно и не доставало для моего благополучія; что иногда въ грустныя минуты я тосковала о ней, и хотя рѣшительно увидѣла ее тогда въ первый разъ, но готова была побожиться, что и черты лица ея, и звукъ ея голоса, и даже нѣкоторыя, собственно ей принадлежащія, выраженія и привычки давно уже мнѣ знакомы; что мы, не знаю, гдѣ и когда, но только непремѣнно и любили другъ друга и жили вмѣстѣ. Не правда-ли, что это очень странно? А вѣдь еще страннѣе, что Казиміра, при первой встрѣчѣ со мною, почувствовала то же самое! Ну, вотъ послѣ этого не вѣрьте симпатіямъ! Сколько разъ случалось, я задумаю какую-нибудь новую забаву, хочу сдѣлать ей сюрпризъ, и что-жъ?.. Ей именно то же самое придетъ въ голову. Она затѣетъ потихоньку отъ меня какое-нибудь веселье, секретничаетъ, хлопочетъ—и вдругъ я начну съ нею совѣтываться, какимъ образомъ уладить точно такой-же праздникъ, какой она хотѣла дать мнѣ нечаянно. Мы никогда еще не разставались, и я думаю, что разлука будетъ для насъ большимъ несчастіемъ. Мало-ли что случается? Одна изъ насъ можетъ умереть; намъ не удастся проститься другъ съ другомъ... О, вы не можете представить, какъ эта мысль насъ пугаетъ! Правда, мы на этотъ счетъ взяли нѣкоторыя предосторожности,—продолжала Жозефина, улыбаясь однако-жъ вовсе не шутя:—мы связали себя клятвою».

— Клятвою?

— Да. Мы поклялись другъ другу, что если судьба приведетъ одну изъ насъ умереть прежде, и мы въ эту минуту не будемъ вмѣстѣ, то умершая должна непремѣнно, не покидая еще земли, явиться къ той, которая останется въ живыхъ.

— Но подумали ли вы, — сказалъ я также не шутя,—что исполненіе этой клятвы зависитъ не отъ васъ.

— О, какъ же! Мы на этотъ счетъ взяли свои предосторожности. Говорятъ, что всякая клятва, данная и не исполненная въздѣшнемъ мірѣ, станетъ въ будущемъ тяготить нашу душу, то есть мѣшать ей наслаждаться вполнѣ блаженствомъ, если она его заслужитъ; и для того мы поклялись съ условіемъ.

— Съ условіемъ?

— Да, съ условіемъ. Наша клятва должна только имѣть силу въ предѣлахъ возможнаго. Nous avous juré jusqu, aux bornes de possible.

Когда она выговорила эту французскую фразу, которую повторяю вамъ отъ слова до слова, то я не могъ удержаться отъ смѣха,—такъ показалось мнѣ забавнымъ это дѣтское простодушіе милой Жозефины.

— Ого, княгиня!—сказалъ я,—да вы знаете приказный порядокъ, и взяли всѣ законныя предосторожности; теперь, если одна изъ васъ выполнитъ свое обѣщаніе, такъ это будетъ даже не чудно, потому что свершится въ предѣлахъ возможнаго.

— Смѣйтесь, смѣйтесь!—прервала Жозефина,—а я увѣрена, что если одна изъ насъ кончитъ жизнь не на рукахъ у другой, то или мы умремъ въ одно время, то есть въ одинъ часъ, въ одну минуту, или непремѣнно повидаемся другъ съ другомъ передъ нашей земной разлукою.

Мужъ княгини Казиміры страдалъ уже нѣсколько лѣтъ отъ одной хронической болѣзни, которая, несмотря на стараніе лучшихъ медиковъ тамошняго края, очевидно усиливалась и могла превратиться въ неизлѣчимый недугъ. По общему совѣту докторовъ, ему оставалось испытать послѣднее средство, то есть ѣхать заграницу и полѣчиться у иностранныхъ врачей, а въ особенности у знаменитаго доктора Франка, который въ то время былъ въ Парижѣ. Какъ ни тяжело было для княгини разстаться на долгое время, но необходимость требовала этой жертвы. На прощаньи онѣ еще разъ повторили свою клятву и обѣщались, не пропуская ни одной почты, писать другъ другу обо всемъ.

Прошло мѣсяца два; вотъ въ одномъ изъ своихъ писемъ Казиміра увѣдомила свою невѣстку, что она отправляется съ больнымъ своимъ мужемъ въ Парижъ. Это извѣстіе очень обезпокоило Жозефину: французская революція становилась часъ отъ часу грознѣе, и хотя кровь не лилась еще рѣками, но все заставляло думать, что предсказанія и догадки европейскихъ журналистовъ, какъ крики зловѣщихъ птицъ, не предвѣщаютъ ничего добраго. Напрасно Казиміра успокоивала своего друга. «Ты не должна за насъ бояться»,—писала она:—«мы, иностранцы, будемъ жить тихо, не станемъ мѣшаться въ политическія дѣла, такъ насъ и не замѣтятъ въ Парижѣ». Все это казалось Жозефинѣ недостаточной порукою за ихъ безопасность.

Межъ тѣмъ время шло да шло. Робеспьеръ, Мартъ, Дантонъ и сотни другихъ тигровъ, представлявшихъ въ лицѣ своемъ *великую* націю, начинали понемногу пріучать вѣтренныхъ французовъ къ кровавымъ пиршествамъ, на которыхъ деспотизмъ палачей величали свободою; судомъ называли человѣческую бойню, а народомъ французскимъ—шайку разбойниковъ и убійцъ; и чтобъ равенство, это слово, не имѣющее никакого моральнаго смысла, сдѣлать хоть физически возможнымъ, предлагали, для уравненія всей націи, подрубливать головы тѣмъ, которые имѣли несчастіе родиться повыше другихъ. Но въ то же время, какъ истинные отцы отечества, извѣщали своихъ согражданъ, что они съ родительскимъ сердолюбіемъ пріискивали всѣ средства, какъ бы облегчить страданія умирающихъ на эшафотѣ, и посему, дабы рубить головы и скорѣе и опрятнѣе, изобрѣли *филантропическую* машину, которую называли гильотиною. Жозефина все это читала въ журналахъ, слѣдовательно не могла оставаться спокойною. Замѣчая тоску своей жены, князь Лю.....кій давалъ безпрестанно праздники, балы, концерты, однимъ словомъ, употреблялъ всѣ средства, чтобъ разсѣять ея горесть. На одномъ изъ этихъ баловъ, на который съѣхалось къ нимъ человѣкъ двѣсти гостей, я замѣтилъ, что Жозефина была скучнѣе обыкновеннаго.

— Здоровы ли вы? — спросилъ я, садясь подлѣ нея въ танцовальной залѣ.

— А что?—шепнула княгиня, — развѣ я кажусь больною?

— А если вы здоровы, такъ позвольте вамъ сказать, что вы вовсе не походите на хозяйку, которая даетъ такой блестящій балъ. Взгляните, какъ все оживлено въ этой залѣ: три мазурки въ одно время!.. Даже старики поднялись, а вы не танцуете! Да будьте повеселѣе; вѣдь этакъ подумаютъ, что вы не рады вашимъ гостямъ.

— Такъ что жъ? Пускай себѣ думаютъ что хотятъ, а мнѣ право не до танцевъ.

— Вы меня пугаете, княгиня! Ужъ не имѣете ли вы какого-нибудь непріятнаго извѣстія изъ Парижа или давно не получали оттуда писемъ?

— Напротивъ. Я получила сегодня письмо отъ Казиміры и весьма пріятное. Она пишетъ, что въ Парижѣ очень весело, что журналисты все увеличиваютъ, что, несмотря на угрозы республиканской партіи, король любимъ, и еслибъ захотѣлъ только унять этихъ крикуновъ, такъ все пошло бы по прежнему; но онъ слишкомъ добръ и не хочетъ прибѣгать къ силѣ; тѣмъ болѣе, что это волненіе умовъ не можетъ долго продолжаться: такое постоянство было бы не въ характерѣ французской націи. А сверхъ того, королева французская, которая очень милостива къ Казимірѣ и приглашаетъ ее на всѣ свои маленькіе вечера, открыла ей по секрету, что глава, или, лучше сказать, душа революціи, этотъ графъ Мирабо, перешелъ на сторону правительства. Что-жъ касается до прочихъ зачинщиковъ, то они не только ничтожны, но даже отвратительны и гадки въ глазахъ цѣлаго Парижа. Все это должно бы, кажется, меня успокоить, а, напротивъ, я никогда еще не была такъ растревожена, какъ сегодня.

— Да что-жъ вы чувствуете?

— И сама не знаю. Вотъ тутъ на сердцѣ у меня такъ тяжело!.. Мнѣ такъ грустно!.. Вы скажете, что это малодушіе, ребячество—быть можетъ! Да что же дѣлать, когда въ насъ есть что-то такое, что несравненно сильнѣе всякаго разсудка. Конечно, и я могу притвориться веселою; но это будетъ одно притворство.

— А вы его ненавидите, княгиня. Однако-жъ такъ и быть, притворитесь! Я слыхалъ, что иногда актеры увлекаются своими ролями; почему знать, можетъ быть и вы забудете ваше горе; протанцуйте первую мазурку нехотя, а вторая будетъ забавлять. Пойдемте!

Княгиня молча подала мнѣ руку, и мы, составивъ четвертую мазурку, пустились танцовать наперерывъ съ другими. Въ самомъ дѣлѣ, Жозефина поразвеселилась, и къ концу бала на прекрасномъ лицѣ ея не оставалось даже и слѣдовъ прежняго безпокойства и горести.

Вотъ, послѣ ужина гости стали расходиться; ближайшіе сосѣди разъѣхались по своимъ деревнямъ, а тѣ, которые жили подалѣе, остались ночевать въ замкѣ; въ числѣ послѣднихъ было нѣсколько молодыхъ барынь. Хозяйка, уложивъ ихъ спать въ одной большой горницѣ, расположилась и сама ночевать вмѣстѣ съ ними. Я отправился также въ свою комнату, и вѣрно бы проспалъ крѣпкимъ сномъ до самаго обѣда, когда бы рано поутру не разбудила меня какая-то необычайная тревога въ цѣломъ домѣ: вездѣ хлопали дверьми, и по всѣмъ корридорамъ поднялась такая бѣготня, что еслибъ хотя немного пахло дымомъ, такъ я подумалъ бы, что мы горимъ. Я вскочилъ съ постели, одѣлся на скорую руку и побѣжалъ узнать причину этой суматохи. Любимица панны Жозефины, черноглазая Юлія, на которую я давно уже засматривался, первая повстрѣчалась со мною въ корридорѣ и сказала мнѣ мимоходомъ, что княгиня занемогла; что ей сдѣлалось ночью очень дурно; что она во снѣ или наяву, навѣрное не знаютъ, но только видѣла что-то страшное, и лежитъ теперь безъ памяти. Не прошло и двухъ часовъ, какъ всѣ остальные гости разъѣхались, и этакъ часу въ десятомъ, пришли мнѣ сказать, что княгиня проситъ меня къ себѣ.

Я нашелъ ее въ совершенной памяти; она

сидѣла совсѣмъ одѣтая на канапе, и на вопросъ мой о внезапной ея болѣзни—отвѣчала, что чувствуетъ себя совершенно здоровою. Въ самомъ дѣлѣ, кромѣ необычайной блѣдности, на лицѣ ея не замѣтно было никакихъ признаковъ болѣзни; но съ перваго взгляда на ея мутные и распухшіе глаза не трудно было догадаться, что она очень много плакала.

— Садитесь вотъ здѣсь, подлѣ меня!— шепнула Жозефина тихимъ голосомъ.

— Что съ вами сдѣлалось, княгиня? — сказалъ я, садясь на канапе.

— Ничего. Я знала это напередъ. О! сердце мое предчувствовало; оно меня никогда не обманываетъ:

— Да что такое?

— Я ее видѣла.

— Видѣли?.. Кого?

— Ее. Она приходила со мною проститься.

— Да о комъ вы говорите?

— О моемъ другѣ.

— О вашей невѣсткѣ?

— Да.

— Что вы, княгиня, помилуйте! Это такъ— разстроенное воображеніе. Вы много танцовали, кровь ваша была въ волненіи, и какой-нибудь сонъ...

— Сонъ!—повторила Жозефина съ грустной улыбкою!—Сонъ! Нѣтъ, я не спала... Послушайте, я разскажу вамъ все.

Въ продолженіе сего чуднаго разсказа я безпрестанно смотрѣлъ на нее, надѣясь подглядѣть въ глазахъ ея признаки бреда или горячки; но, кромѣ тихой и спокойной грусти, я не могъ замѣтить ничего на ея блѣдномъ и усталомъ лицѣ. То, что она мнѣ разсказала, было такъ странно и въ то же время носило на себѣ такой отпечатокъ истины, что всѣ слова ея врѣзались въ мою память; и я могу вамъ повторить ея разсказъ безъ всякой ошибки и перемѣны, точно такъ, какъ будто бы слышалъ его вчера.

Жозефина, уложивъ спать своихъ гостей, заснула сама крѣпкимъ сномъ часу во второмъ утра. Засыпая, она даже сверхъ обыкновенія ни разу не подумала о Казимірѣ. По ея догадкамъ, она спала уже болѣе часу, какъ вдругъ ей послышался тихій шелестъ, и на нее повѣяло какою-то пріятной весенней прохладою. Она проснулась. У самаго ея изголовья стояла женщина въ бѣломъ платьѣ съ остриженными волосами; на ней не было никакихъ украшеній, кромѣ краснаго ожерелья на шеѣ и чернаго пояса съ стальной пряжкою. Не смотря на то, что въ комнатѣ горѣла одна ночная лампада, Жозефина разсмотрѣла все это съ перваго взгляда. Лицо этой женщины было покрыто, или, лучше сказать, на него было наброшено короткое бѣлое покрывало; она стояла неподвижно и держала руки, сложивъ крестомъ на груди. Въ первую минуту испуга Жозефина не могла выговорить ни слова, а потомъ, когда хотѣла позвать своихъ дѣвушекъ и разбудить гостей, бѣлая женщина подняла покрывало и сказала тихимъ голосомъ: «не пугайся, мой другъ, это я!»

— Боже мой! — вскричала Жозефина. — Это ты, Казиміра?.. Возможно ли? Когда же ты пріѣхала?—Она приподнялась, чтобъ обнять свою невѣстку; но Казиміра отступила шагъ назадъ и прошептала едва слышнымъ голосомъ:

— Не прикасайся ко мнѣ, Жозефина! Еще не пришло время, когда тебѣ можно будетъ обнять меня и чувствовать, что ты меня обнимаешь. Я пришла проститься съ тобою.

— Проститься?

— Да! развѣ ты забыла нашу клятву?

Тутъ Жозефина вспомнила все, и какъ вы думаете: испугалась, или, по крайней мѣрѣ, пришла въ отчаяніе? Залилась слезами?.. Нѣтъ! она не чувствовала ни страху, ни горести; и то и другое овладѣло ея душою послѣ, но въ эту минуту она была совершенно спокойна.

— И такъ, мой другъ, ты умерла?—спросила она Казиміру.

— Да, умерла въ Парижѣ. Мнѣ отрубили голову.

— За что?

— За мою привязанность къ французской королевѣ.

— Злодѣи!..

— Не кляни, а благословляй ихъ, Жозефина! Они отперли двери моей темницы.

— Твоей темницы?.. Какой темницы?

Привидѣніе кротко улыбнулось и не отвѣчало ничего.

— Скажи мнѣ, мой другъ, — продолжала Жозефина,—страшно ли умирать?

— Да; точно такъ же, какъ страшно слѣпому отъ рожденія взглянуть въ первый разъ на свѣтлое солнце и ясныя небеса.

— Ахъ! послѣдняя минута должна быть ужасна!

— Да, мой другъ! послѣдняя минута ужасна; но, зато первая!..

Неподвижные взоры привидѣнія одушевились.

— И что я прочла въ нихъ! — говорила Жозефина, рыдая. — О! какъ ничтожно это чувство, которое мы всѣ, минутные гости земли, называемъ нашей радостью и блаженствомъ!

— Но, мы должны разстаться, — сказало привидѣніе. — Прощай, Жозефина! до свиданья... тамъ—въ нашей родинѣ!..

— Постой, мой другъ! — вскричала Жозефина.—Скажи, увѣрена ли ты, что мы опять увидимся?

— О, я не сомнѣваюсь въ этомъ! Я вижу твою душу: она рвется изъ оковъ своихъ; она не любитъ своей неволи. Послушай...

Тутъ тѣнь Казиміры наклонилась и про-

шептала нѣсколько словъ на ухо своему другу.

— Потомъ,—продолжала Жозефина,—глаза мои сомкнулись, мнѣ послышалось, что въ вышинѣ надо мною раздаются какіе-то неизъяснимо-пріятные звуки, и я или заснула опять, или лишилась чувствъ,—не знаю сама; но только все исчезло.

— А что такое шепнула она вамъ на ухо?—спросилъ я съ любопытствомъ.

— Не спрашивайте меня объ этомъ,—прервала Жозефина.—Эти слова умрутъ—да!.. они должны умереть вмѣстѣ со мною.

Какъ я ни убѣждалъ ее открыть мнѣ эту тайну, все было напрасно. Я замѣтилъ только одно, что всякій разъ, когда говорилъ съ ней объ этомъ, она начинала плакать: но эти слезы не были слезами горести.

Черезъ три недѣли мы прочли въ парижскомъ журналѣ «*Другъ народа*», что, вскорѣ послѣ убійства графини Ламбаль, казнена была одна иностранка, и какъ, по обыкновенію французскихъ писателей, ни исковеркано было имя этой несчастной, но, къ сожалѣнію, намъ не трудно было отгадать въ немъ фамильное прозваніе князей Лю..... кихъ.

Исправникъ замолчалъ. Я слушалъ съ большимъ вниманіемъ его разсказъ, но это не помѣшало мнѣ замѣтить, что Заруцкій и Черемухинъ толковали о чемъ-то межъ собою вполголоса, этотъ послѣдній поглядѣлъ на свои часы, и въ то самое время, какъ вниманіе наше было обращено на разсказчика, вышелъ потихоньку изъ кабинета.

— Ну, племянникъ, — промолвилъ, улыбаясь, хозяинъ,—что ты скажешь на это?

— Если бъ Алексѣй Дмитричъ не былъ самъ очевиднымъ свидѣтелемъ этого происшествія,—отвѣчалъ Заруцкій,—то я сказалъ бы вамъ, что это просто сказки.

— Ну, а теперь что скажешь?

— Теперь скажу, что это странное стеченіе обстоятельствъ не совсѣмъ обыкновенный случай—и больше ничего.

— Какъ ничего?

— Разумѣется. Сонъ, который видѣла Жозефина, есть ничто иное, какъ повтореніе того, о чемъ она безпрестанно думала наяву; и если бъ Казиміра возвратилась благополучно изъ своего путешествія, то этотъ сонъ былъ бы забытъ точно такъ, какъ тысячи подобныхъ сновъ, которые не сбываются, и о которыхъ никто не говоритъ ни слова.

— Экій ты, братецъ, какой! Да вѣдь ты слышалъ, что это сбылось.

— Да что жъ удивительнаго, когда изъ милліона вздорныхъ сновъ какой-нибудь одинъ нечаянно сбудется! Напримѣръ, если бъ жена морского офицера, который отправился кругомъ свѣта, стала бы очень тосковать о своемъ мужѣ, то, вѣроятно, часто бы видѣла во снѣ, что онъ утонулъ. И если въ самомъ дѣлѣ онъ погибнетъ на морѣ, такъ вы скажете, что ей было это предсказано во снѣ?

— Да что ты наладилъ, племянникъ, во снѣ, да во-снѣ! Вѣдь ты слышалъ, что она видѣла это наяву.

— То есть ей казалось, что она не спала. Но, такъ и быть, согласенъ! Она видѣла это не во снѣ; такъ что жъ? Развѣ не случается видѣть наяву предметы, которые существуютъ только въ одномъ разстроенномъ воображеніи нашемъ? Испытайте не поспать нѣсколько ночей сряду, и вы увидите наяву такія диковинки, какія не пригрезятся вамъ никогда и во снѣ. Поговорите объ этомъ съ курьерами, которые скачутъ день и ночь, не имѣя времени соснуть ни на минуту. Я самъ однажды видѣлъ на большой дорогѣ, обсаженной одпѣми липками, цѣлыя улицы огромныхъ палатъ и дворцовъ; а, кажется, не спалъ и даже, чтобъ не задремать и не свалиться съ телѣжки, пѣлъ пѣсни и разговаривалъ безпрестанно съ ямщикомъ. Знаете ли, до какой степени можетъ иногда приготовленное къ чудесамъ воображеніе обманывать всѣ наши чувства? Вотъ, напримѣръ, теперь темная осенняя ночь, вѣтеръ воетъ, близко полуночи, и мы уже часа три сряду разсказываемъ другъ другу страшныя повѣсти. Я увѣренъ, что теперь каждый изъ насъ, не исключая меня, гораздо болѣе обыкновеннаго расположенъ къ испугу и несравненно легковѣрнѣе, чѣмъ во всякое другое время. Нечаянный стукъ, неожиданное появленіе какого-нибудь новаго гостя, скрипъ двери, порывъ вѣтра,— однимъ словомъ, все можетъ насъ потревожить и показаться намъ неестественнымъ; и если бъ въ эту самую минуту, какъ я съ вами говорю, кто-нибудь, подмостясь съ надворья, заглянулъ къ намъ въ окно, то, безъ всякаго сомнѣнія, самое обыкновенное лицо показалось бы намъ нечеловѣческимъ.

— Вотъ еще вздумалъ чѣмъ пугать—прервалъ хозяинъ, посматривая робко вокругъ себя.

— Какой вздоръ!—сказалъ я, взглянувъ невольно на окно.

— Нѣтъ, не вздоръ! — продолжалъ Заруцкій.—Мы всѣ имѣемъ какую-то врожденную наклонность вѣрить чудесному; и хотя страхъ—чувство вовсе не пріятное, но мы любимъ это судорожное сжиманіе сердца, этотъ холодъ, которымъ обдаетъ насъ съ ногъ до головы, когда намъ кажется, что мы видимъ что-нибудь неестественное и коль скоро мы дадимъ волю нашему воображенію, лишь только оно возьметъ верхъ надъ разсудкомъ, то мы готовы вѣрить всему, пугаться всего, и точно такъ же, какъ въ сильной горячкѣ, хотя и сохраняемъ физическія наши способности, а, несмотря на это, и видимъ и слышимъ, и даже чувствуемъ все навыворотъ. Но вотъ, кажется, и полночь... чу!

На дворѣ стали бить часы.

— Какъ страшно завываетъ этотъ колоколъ,—продолжалъ Заруцкій, считая вполголоса удары!—Пять... шесть... Не правда ли, что въ этомъ звукѣ есть что-то могильное, зловѣщее? — Восемь... девять... Какъ заунывно и протяжно раздается этотъ

„Глаголъ временъ—металла звонъ!..“

Одиннадцать... двѣнадцать!.. Боже мой!.. Смотрите, смотрите!.. Что это?

Я вскрикнулъ, Кольчугинъ уронилъ на полъ свою трубку, исправникъ и хозяинъ вскочили съ своихъ мѣстъ, и всѣ взоры, по направленію руки Заруцкаго, обратились на одно изъ оконъ кабинета.

— Кой чортъ!—вскричалъ хозяинъ.— Да что жъ онъ видитъ? Не знаю, вы, господа, а я не вижу ничего.

— И я также,—сказалъ Кольчугинъ, подымая свою трубку.

— Ахъ, онъ проказникъ!—прервалъ исправникъ съ громкимъ хохотомъ.—Смотри, пожалуй, какъ онъ всѣхъ насъ переполошилъ! Ого! да ты, братъ, славный актеръ, — продолжалъ исправникъ, обращаясь къ Заруцкому.—Полно, полно, любезный! не кобенься—никого не обманешь.

Я взглянулъ на моего пріятеля—нѣтъ, это не комедія! Его почти безумный и неподвижный взоръ былъ устремленъ на среднее окно кабинета; всѣ члены его дрожали, волосы стояли дыбомъ, а на помертвѣвшемъ лицѣ изображался неизъяснимый ужасъ.

— Что ты, что ты, мой другъ? — спросилъ я, подходя къ нему. — Что съ тобою сдѣлалось?

Заруцкій не отвѣчалъ ни слова.

— Не трогайте его! — сказалъ исправникъ.—Онъ теперь на сценѣ и такъ сроднился съ своею ролью, что не хочетъ съ нею разстаться.

Вдругъ послышались въ корридорѣ скорые шаги, дверь отворилась, и вошелъ Черемухинъ.

— Фу, братецъ, какъ ты меня напугалъ!— проговорилъ Заруцкій, садясь на канапе. — Насилу могу отдохнуть!

— Я тебя напугалъ? — повторилъ Черемухинъ.

— Да, ты.

— Чѣмъ, если смѣю спросить?

— Какъ чѣмъ? Я говорилъ тебѣ, когда часы на дворѣ будутъ бить полночь, чтобъ ты, при послѣднемъ ударѣ колокола, заглянулъ къ намъ въ окно; а никто не просилъ тебя закутаться въ какой-то бѣлый саванъ и надѣть на голову женскій чепецъ.

— Женскій чепецъ?.. Что ты, въ умѣ ли?

— Ну, вотъ еще!.. Запирайся!

— Помилуй, братецъ! Да я и съ крыльца не сходилъ.

— Что ты говоришь?

— Ну, да! Когда я вышелъ на крыльцо и увидѣлъ, что дождь льетъ, какъ изъ ведра, такъ не погнѣвайся, — не заблагоразсудилъ промокнуть до костей, чтобъ для твоей забавы выкинуть проказу, за которую и маленькихъ дѣтей сѣкутъ.

— И ты не смотрѣлъ къ намъ въ окно?

— Нѣтъ.

— Послушай, Александръ! — вскричалъ Заруцкій, поблѣднѣвъ снова,—эта шутка никуда не годится.

— Какая шутка?.. Ахъ, батюшки! да что съ тобою сдѣлалось.

— Говори правду, я это требую.

— Тьфу пропасть! Да если ты мнѣ не вѣришь, такъ ступай въ переднюю и спроси у людей. Я тебѣ говорю, что я не только не заглядывалъ къ вамъ въ окно, но даже и съ крыльца не сходилъ. Слышишь, какой идетъ дождь?.. Если бъ я былъ на дворѣ, то на мнѣ бы сухой нитки не осталось; а вотъ, посмотри!.. На, пощупай мое платье!.. Ну, что, былъ ли я подъ дождемъ?

Пріятель мой замолчалъ.

— Да развѣ ты въ самомъ дѣлѣ что-нибудь видѣлъ?—спросилъ я его вполголоса.

Онъ сжалъ крѣпко мою руку и прошепталъ прерывающимся голосомъ:

— Да, мой другъ!.. я видѣлъ... О, что я видѣлъ!..

— Да что такое?

Заруцкій, не отвѣчая на мой вопросъ и какъ будто бы говоря съ самимъ собою, сказалъ:

— Кажется, сегодня суббота... Да! точно, суббота...

— А если хочешь, такъ и воскресенье: двѣнадцать часовъ ужъ било. Да скажи мнѣ...

— Нѣтъ, мой другъ! Быть можетъ, это одинъ обманъ моихъ чувствъ... Мнѣ могло показаться!.. Но я видѣлъ это такъ ясно,— промолвилъ онъ, поглядѣвъ съ невольнымъ содроганіемъ на среднее окно кабинета, — вотъ тутъ!.. противъ меня!..

— О чемъ вы, господа, тамъ перешептываетесь?

— Такъ, дядюшка, ничего!—сказалъ Заруцкій, стараясь улыбнуться.

— Опять какой-нибудь заговоръ, чтобъ перепугать насъ,—подхватилъ исправникъ.— Да не трудитесь, господа! Не знаю, какъ другіе, а я за себя отвѣчаю: два раза сряду не испугаете.

— Ну, не ручайся, любезный!— прервалъ хозяинъ. — Если бъ ты зналъ исторію моего дома и то, что нѣкогда случилось въ этой самой комнатѣ, гдѣ мы теперь бесѣдуемъ, то не сталъ бы такъ храбриться. Я давно уже здѣсь живу и, благодаря Бога, никакихъ страстей не видывалъ; а какъ вспомню про эту ужасную исторію, такъ, признаюсь, меня и въ Петровки морозъ по кожѣ подираетъ.

— А, кстати, Иванъ Алексѣичъ!—подхватилъ исправникъ,—разскажите-ка намъ это преданіе. Мнѣ давно уже хотѣлось узнать подробнѣе объ этомъ *ночномъ поѣздѣ*, о которомъ такъ много толкуютъ во всемъ нашемъ уѣздѣ.

— И, вѣрно, всякій по своему,— замѣтилъ хозяинъ.

— Да, каждый по своему: въ одномъ только всѣ согласны, что эта сказка имѣетъ какое то истинное происшествіе.

— А почему вы называете это преданіе сказкою?—спросилъ я исправника.

— Потому, что оно съ начала до конца походитъ на сказку.

— А то, что ты намъ сейчасъ разсказывалъ—прервалъ съ улыбкою Черемухинъ,— чай, по твоему, исторія?

— О, это другое дѣло!—сказалъ я.—Появленіе умершей, это сообщеніе міра невещественнаго съ міромъ земнымъ; это гармоническое сочувствіе душъ, доказывающее небесное наше начало, и способность проявленія въ видимыхъ формахъ существъ, не подчиненныхъ никакимъ физическимъ законамъ,—можетъ менѣе или болѣе оправдаться понятіемъ нашимъ объ организаціи... то есть о внутренней способности существа безтѣлеснаго, которое въ отношеніи своемъ къ внѣшнимъ предметамъ... то есть къ видимому или, лучше сказать, къ вещественному міру... Но, можетъ быть, вы меня не понимаете?

— Помилуйте!—вскричалъ преважно Черемухинъ,—какъ не понять: это ясно!

— Смѣйся, смѣйся! — прервалъ исправникъ.—О, человѣкъ совершенно земной! ты понимаешь и вѣришь только тому, что дважды два—четыре.

— А тебѣ бы хотѣлось, чтобъ дважды два было пять?

— Да что съ тобой говорить!—продолжалъ исправникъ. — Разскажите-ка намъ лучше, Иванъ Алексѣевичъ, эту страшную исторію, отъ которой, какъ вы сами говорите, и васъ иногда морозомъ по кожѣ подираетъ.

— Да ужъ не поздно-ли, господа? — сказалъ хозяинъ.

— Ахъ, сдѣлайте милость! — вскричалъ я:—мнѣ завтра поутру должно съ вами проститься; такъ я, можетъ быть, никогда ее не услышу.

— Ну, такъ и быть! — продолжалъ хозяинъ.—Только если вы станете зѣвать, такъ прошу припомнить, что теперь уже за-полночь, и что, благодаря Бога, мы всѣ, кажется, безсонницей не страдаемъ. Ну, слушайте, господа!

Ночной поѣздъ.

Давнымъ-давно, то есть при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ... или нѣтъ! при батюшкѣ его, *государѣ Михаилѣ* Оеодоровичѣ, это Хоперское помѣстье принадлежало стольнику Варнавѣ Глинскому, пращуру отца покойной Софьи Павловны, по смерти которыхъ я купилъ его,—говорятъ дорого, а по мнѣ такъ задаромъ,—промолвилъ Иванъ Алексѣевичъ, взглянувъ на окно, изъ котораго днемъ видны были церковь и приходское кладбище.— Этотъ Глинскій,—продолжалъ онъ,—славился въ свое время не хлѣбосольствомъ и разумомъ, не удальствомъ и молодечествомъ, которыя въ крови у всякаго русскаго, но буйствомъ, развратомъ, грабежомъ и дневными разбоями: а что всего хуже, онъ былъ отъявленный чернокнижникъ и жилъ въ ладу съ самимъ сатаною. Десять лѣтъ сряду сидѣлъ онъ на Хопрѣ, какъ дикій звѣрь на перепутьи. Когда онъ выѣзжалъ съ своею челядью и холопями позабавиться охотою или спускался внизъ по рѣкѣ на косной лодкѣ съ бѣлымъ парусомъ, то всѣ сосѣдніе мужички и бѣдные помѣщики дрожкой дрожали, и словно отъ татарскаго погрома прятались по лѣсамъ и угоняли скотъ верстъ за двадцать. Ну, что ты на меня такъ посматриваешь, Алексѣй Дмитричъ? Чай, думаешь про себя: вотъ какую околесную несетъ! А наша братья, исправники-то на что?.. А земская полиція?.. Эхъ, любезный! Тогда было не то, что теперь; времена смутныя:—то поляки приступятъ къ Москвѣ, то Лисовскій съ своими налетами начнетъ разгуливать по матушкѣ святой Руси; и ляхи, и татары, и ереси всякія, и бунты стрѣлецкіе... Да что говорить! Было времячко для разбойниковъ: погуляли, потѣшились и кто Бога не боялся, на того и суда не было. Такъ дивиться нечему, что этотъ богоотступникъ Глинскій дѣлалъ, что хотѣлъ: грабилъ на большихъ дорогахъ, вѣшалъ и топилъ въ Хопрѣ земскихъ ярыжекъ, сбиралъ оброкъ съ своихъ сосѣдей и держалъ въ ежовыхъ рукавицахъ сердобскаго воеводу, который не смѣлъ и носу показать изъ города. На мѣсто старыхъ деревянныхъ хоромъ онъ выстроилъ эти каменныя палаты, обнесъ ихъ толстымъ дубовымъ тыномъ, наставилъ бѣлыхъ избъ и клѣтей для своей дворни,—словомъ, сдѣлалъ изъ господской усадьбы такой красивый посадъ, что и самъ бы городъ Сердобскъ и ему въ пригородье не годился. Но зато большая половина его крестьянъ жила въ землянкахъ, приходская церковь совсѣмъ обвалилась, а колокольня въ сильный вѣтеръ, словно ветхая голубятня, скрипѣла и покачивалась изъ стороны въ сторону.

У этого Глинскаго была одна только дочь: бѣдняжка осталась еще въ ребячествѣ сиротою. Глинскій возненавидѣлъ свою жену за то, что она родила ему дочь, а не сына: осыпалъ ее безпрестанно ругательствами и, подъ пьяную руку, бивалъ чѣмъ ни попало. А такъ какъ онъ и въ страстную пятницу разрѣшалъ на вино и елей, то не проходило почти дня, чтобъ его женѣ не доставалось,

и она, горемычная, мѣсяцевъ черезъ шесть, послѣ первыхъ родовъ, зачахла и умерла отъ побоевъ своего мужа. Съ тѣхъ поръ прошло годовъ пятнадцать; бѣдная сиротинка росла да росла, и хоть ея житье было плохое и за ней почти никакого ухода не было, но она, какъ полевой цвѣтокъ, который бережетъ и лелѣетъ одинъ Богъ небесный, такъ выровнялась и похорошѣла, что даже батюшка ея, какой ни былъ звѣрь, а не могъ подчасъ на нее налюбоваться.

Нѣсколько разъ пытались окружные дворяне и сердобскій воевода поунять разбой Глинскаго; но онъ всякій разъ давалъ такой отпоръ, что надолго отбивалъ у нихъ охоту съ нимъ схватываться. Вотъ однажды удалось имъ собрать человѣкъ до пятисотъ стрѣльцовъ и вооруженныхъ холопей; они думали, что съ такой силою имъ не трудно будетъ не только захватить живьемъ Глинскаго и всю его шайку, но даже и каменныя его палаты разметать по кирпичику: анъ вышло совсѣмъ не то. Глинскій встрѣтилъ ихъ на большой дорогѣ съ своими молодцами, которыхъ и полсотни не было, а земскому войску показалось, что на него идетъ несмѣтная рать. Холопи дрогнули и пустились на утекъ; стрѣльцы сначала подержались, да какъ увидѣли, что отъ Глинскаго пули отскакиваютъ и бердыши объ него ломаются, такъ на нихъ нашелъ такой страхъ, что и они также ударились бѣжать безъ оглядки. Глинскій съ своей шайкою гналъ ихъ вплоть до городской заставы, втопталъ въ грязь и перерѣзалъ болѣе половины, а самъ воротился въ свой разбойничій вертепъ, не потерявъ ни одного человѣка. Послѣ такой острастки не только всѣ окружные дворяне, да и сердобскій воевода носъ повѣсилъ. Дѣлать было нечего: пришлось на время покориться и, сидя у моря, ждать погоды. Въ Москвѣ было не до нихъ: къ ней подступали поляки, а гнѣва царскаго и опальныхъ грамотъ Глинскій не боялся. Одно только наводило на него страхъ и ужасъ: этотъ разбойникъ, котораго ничѣмъ испугать было неможно, этотъ злодѣй и чернокнижникъ Глинскій трусилъ,—какъ вы думаете,— чего?.. Смѣшно сказать!.. Онъ до смерти боялся коршуновъ. Съ утра до вечера вокругъ дома и села ходили люди съ заряженными ружьями, и тотъ, кому, бывало, посчастливится застрѣлить коршуна, несъ его прямо къ дворецкому и получалъ отъ него два алтына денегъ и штофъ романеи...

— Романеи!—прервалъ Заруцкій. — Извините, дядюшка: я не думаю, чтобъ въ старину простые люди пили штофами бургонское вино.

— Да кто тебѣ говоритъ о бургонскомъ винѣ? У нашихъ стариковъ важивалась настойка, которую звали романеею.

— Однако-жъ, извѣстное бургонское вино...

— Зовутъ точно такъ же?.. Такъ что-жъ?.. Вотъ то-то, племянникъ, если-бъ ты поменьше зналъ французскихъ, а побольше русскихъ словъ, такъ не попадался бы въ просакъ, какъ безграмотный, и не мѣшалъ бы мнѣ разсказывать...

— Виноватъ, дядюшка! Но я читалъ въ одной критикѣ...

— Эхъ, братецъ, охота тебѣ читать всякій вздоръ!.. Постойте-ка! на чемъ-бишь я остановился?.. Да! на томъ, что Глинскій боялся до смерти коршуновъ. Причина этого непонятнаго страха долго была для всѣхъ загадкою; но такъ какъ подъ конецъ все на свѣтѣ открывается, такъ вотъ что дошло до насъ объ этомъ по изустному преданію. Глинскій точно былъ чернокнижникъ и помыкалъ сатаною, какъ своимъ крѣпостнымъ холопомъ. Да, вѣдь, лукавый даромъ ничего не дѣлаетъ: онъ пошелъ къ Глинскому въ кабалу, но только съ тѣмъ условіемъ, чтобъ онъ также далъ ему на свою душу рукописаніе, въ которомъ было сказано, что на этомъ свѣтѣ демонъ повинуется ему во всемъ, охраняетъ его отъ огня, воды, меча и всякаго другого оружія, и не имѣетъ самъ надъ нимъ никакой власти до тѣхъ поръ, пока черный коршунъ не пріютится подъ его кровлею и не совьетъ гнѣзда, чтобъ жить вмѣстѣ съ бѣлой горлинкой. Теперь и вамъ не трудно будетъ догадаться, почему Глинскій коршуновъ не жаловалъ, и отчего блѣднѣлъ и дрожалъ всякій разъ, когда эта хищная птица появлялась надъ кровлею его дома.

Изо всѣхъ своихъ челядинцевъ Глинскій особенно любилъ одного молодого парня, который прозывался Соколомъ. И подлинно, онъ былъ дѣтина удалой и годился бы въ есаулы знаменитому Стенькѣ Разину. И его обычай, и черный съ лоскомъ усъ, и окладистая борода, и ростъ, и сила богатырскіе, — все въ немъ было по сердцу Глинскому. Никто не зналъ, откуда онъ былъ родомъ. Однажды, въ бурную осеннюю ночь, пріѣхалъ этотъ Соколъ одинъ-одинехонекъ на борзомъ персидскомъ конѣ, вошелъ безъ доклада къ Глинскому и объявилъ ему, что его зовутъ Андреемъ, по прозванью Соколомъ; что онъ изъ московскихъ жильцовъ; что ему наскучило служить царю-государю и кланяться въ поясъ думнымъ боярамъ, и что, узнавъ о привольномъ житьѣ Глинскаго, онъ пріѣхалъ къ нему нарочно за тѣмъ, чтобъ предложить свои услуги. Глинскій принялъ его въ число своихъ приближенныхъ челядинцевъ, и черезъ нѣсколько мѣсяцевъ до того къ нему привыкъ, что рѣшился выдать за него свою единородную дочь.

Вотъ этакъ, недѣли за три до свадьбы, на отъѣзжемъ полѣ загорѣлось вдругъ Глинскому повидаться со старинным своимъ пріятелемъ, за-Сурскимъ помѣщикомъ, Сицкимъ, такимъ же, какъ и онъ, буяномъ и разбойникомъ.

Этотъ Сицкій лѣтъ десять сряду шатался по бѣлу свѣту, приставалъ ко всѣмъ крамольникамъ, былъ года два лисовчикомъ, и только что мѣсяца три какъ воротился въ свою наслѣдственную вотчину. Глинскій не любилъ ничего вдаль откладывать: онъ послалъ сказать Андрею Соколу, который на охоту не выѣхалъ, что препоручаетъ ему на время свой домъ, и, не сказавъ никому, куда ѣдетъ, отправился прямо съ поля, въ сопровожденіи двухъ или трехъ слугъ, въ за-Сурскую волость своего пріятеля. Это неожиданное посѣщеніе очень обрадовало Сицкаго; пошла гульба и пированье: господа съ утра до вечера пили, ѣли, прохлаждались, пѣсельники орали во все горло, крестьянки и дворовыя дѣвки играли въ хороводы передъ окнами, и во весь тотъ день на барскомъ дворѣ былъ такой содомъ и гоморъ, что когда ударили въ колоколъ къ вечернѣ, то никому въ голову не пришло и лба перекрестить. За ужиномъ Сицкій сталъ похваляться своимъ удальствомъ и разсказывалъ, какъ онъ остановилъ на большой дорогѣ цѣлый обозъ и выпрягъ для себя изъ возовъ что ни лучшихъ шесть коней; какъ онъ среди бѣла дня сдѣлалъ порубку въ заповѣдномъ лѣсу у сосѣда и во все лѣто кормилъ свои табуны подножнымъ кормомъ на чужихъ поляхъ.

— Ну, есть чѣмъ похвастаться!—сказалъ Глинскій подбоченясь. — Ахъ ты, горе-богатырь! Видно, у васъ по Сурѣ-та всѣ молодцы перевелись. Удалось тебѣ выпрячь шесть клячъ изъ возовъ, нарубить дровецъ въ чужомъ лѣсу, да пощипать у сосѣда травки, такъ ты и лба не уставишь — и это по-вашему удальство? Охъ, вы, щепетильники, щепетильники!.. Нѣтъ, любезный! мы на Хопрѣ не такъ потѣшаемся: выѣдемъ погулять, да какъ разыграется кровь молодецкая и расходятся руки богатырскія, такъ послѣ насъ шаромъ покати, — чистехонько, какъ у тебя на ладони! Бери все, что ни попалось! Мы, вѣдь, не по вашему: на большой дорогѣ съ подъячимъ тягаться не станемъ, съ купцомъ не торгуемся, а коли захватили цѣлую семью горожанъ, такъ мигомъ судъ и расправа: старуху-мать въ Хоперъ, братца кистенемъ по лбу, отца на осину, а дочка на барскій дворъ—вотъ это удальство!.. Да постой-ка, любезный, у меня будетъ въ Ѳоминъ день, ровно черезъ двѣ недѣли, большое веселье,—пиръ на весь міръ:—дочь выдаю замужъ. Милости просимъ на свадьбу въ посаженные отцы къ моей Варварѣ; а тамъ выѣдемъ поохотиться на большую дорогу, и ты посмотришь самъ и разскажешь своимъ засурскимъ пріятелямъ, какъ на Хопрѣ веселятся добрые молодцы.

Хозяинъ обѣщался пріѣхать, а Глинскій, погостивъ у него денька три, отправился въ обратный путь и доѣхалъ благополучно *домой.*

Вотъ ужъ остался одинъ день до свадьбы; вотъ и дѣвичникъ справили. Беззащитная дочь Глинскаго заливалась горькими слезами: она была дѣвица кроткая, благочестивая и не могла подумать безъ ужаса, что будетъ женою этого разбойника Сокола. Три ночи ужъ сряду бѣдная сиротинка рыдала и молилась передъ святыми иконами; днемъ она не смѣла ни плакать, ни молиться: злодѣй Глинскій грозилъ убить ее изъ своихъ рукъ, если она станетъ грустить или хоть наморщится, когда священникъ поведетъ ее вокругъ налоя. Вотъ наступилъ и Ѳоминъ день; отпѣли заутреню, ударили къ часамъ, а Сицкій все не ѣдетъ. Вотъ и обѣдня отошла, а посаженнаго отца нѣтъ какъ нѣтъ. Я вамъ ужъ сказывалъ, что Глинскій не любилъ ничего откладывать, и когда заблаговѣстили къ вечернѣ, то онъ закричалъ какъ бѣшеный: «Не хочу я дожидаться посаженнаго отца! Ступайте подъ вѣнецъ!»— И вотъ длинный поѣздъ потянулся отъ барскаго двора до церковной паперти. Вечерня кончилась, и началась вѣнчальная служба. Стоя передъ налоемъ подлѣ будущаго супруга и повелителя, полумертвая сирота глотала свои слезы, стараясь улыбаться, и тихо, но твердымъ голосомъ, отвѣчала на вопросы священника; словомъ, все было въ порядкѣ, а, не смотря на это, старики покачивали головами. «Эхъ, не ладно! Эхъ, не къ добру!»— шептали межъ собою всѣ барскія барыни и сѣнныя дѣвушки. И подлинно, было чего испугаться: свѣча, которую держала молодая, пылала яснымъ и чистымъ огнемъ; но та, съ которою стоялъ Соколъ, горѣла тускло, дымилась, какъ погребальный свѣточъ, и безъ всякой причины три раза сряду гаснула.

Когда вѣнчанье кончилось, то Глинскій, какъ сущій богоотступникъ, не давъ молодымъ приложиться къ мѣстнымъ иконамъ, повелъ ихъ вонъ изъ церкви, и поѣздъ двинулся обратно на барскій дворъ.

— Что это шумитъ, тамъ, вдали? — спросилъ Глинскій, садясь на коня. — Ужъ не ѣдетъ ли нашъ запоздалый гость?

— Никакъ нѣтъ, бояринъ!—отвѣчалъ одинъ изъ слугъ.—Намъ гостей надо ждать не съ этой стороны. Вѣдь, это что-то гудитъ тамъ, за Волчьимъ оврагомъ

— Вы, господа, всѣ хорошо знаете этотъ оврагъ, — продолжалъ Иванъ Алексѣевичъ, обращаясь къ своимъ собесѣдникамъ:—теперь зовутъ его Чортовымъ Беремищемъ. Онъ былъ въ старину сборнымъ мѣстомъ шайки Глинскаго и кладбищемъ всѣхъ проѣзжихъ, зарѣзанныхъ разбойниками на большой дорогѣ.

— Это верстахъ въ двухъ отъ вашего дома?—сказалъ я.

— Нѣтъ, версты полторы, больше не будетъ, — отвѣчалъ хозяинъ. — Ну вотъ!—продолжалъ онъ,—молодые усѣлись за свадебный столъ; пошло пированье,—заздравный кубокъ началъ переходить изъ рукъ въ руки, всѣ

начали пить и веселиться; одинъ только Глинскій сидѣлъ, нахмуривъ брови, и прислушивался съ безпокойствомъ къ отдаленному гулу, который часъ-отъ-часу становился сильнѣе. Вотъ ужъ дѣло пошло за полночь; вдругъ двери настежь отворились, и давно жданный гость, пріятель Сицкій, вошелъ въ столовую.

— Хорошъ посаженный отецъ,—вскричалъ хозяинъ, вскочивъ изъ-за стола и идя къ нему навстрѣчу.—Ужъ мы тебя ждали-ждали, да и ждать-то перестали.

— Виноватъ, любезный! — отвѣчалъ Сицкій. — Позамѣшался выѣхать изъ дому; да вотъ у твоей околицы близко часу провозились. Что за диковинка такая?.. И подо мной и подъ моими холопами кони словно бѣлены объѣлись: храпятъ да упираются! Ужъ мы бились-бились, ну, хоть зарѣжь — ни съ мѣста! Я оставилъ моихъ ребятъ въ полѣ, а самъ дошелъ пѣшкомъ до твоего дома. Да что? Иль къ тебѣ еще гости ѣдутъ?.. Вонъ тамъ, правѣе, за лѣсомъ такой шумъ, гамъ и свистъ, что и сказать нельзя. Ну вотъ, слышишь?

— Слышу!—отвѣчалъ Глинскій, посматривая робко вокругъ себя. — Но только я никакихъ гостей не жду.

—

— Постойте-ка, дядюшка!— прервалъ Заруцкій,—никакъ вашъ разсказъ на дѣлѣ свершается? Слышите-ли, какой гулъ идетъ за дубовою рощею?

— Видно, вѣтерокъ разыгрался, — сказалъ Иванъ Алексѣевичъ, взглянувъ на окно. — Вѣдь, здѣсь какъ подымется погода, такъ по оврагамъ и перелѣскамъ пойдетъ такой вой, что и... Боже упаси!.. Да не перерывай меня, племянникъ!.. Ну вотъ, опять сбилъ!.. Да!..

— Но что-жъ мы стоимъ у дверей? — продолжалъ Сицкій.—Подведи меня къ молодымъ.

— Вотъ они! Прошу любить и жаловать,— сказалъ хозяинъ, подходя съ своимъ гостемъ къ столу, за которымъ сидѣли новобрачные.

— Ба, ба, ба!—вскричалъ Сицкій, отступя съ удивленіемъ назадъ, — что это?.. Ужъ не мерещится ли мнѣ?.. Нѣтъ!.. Такъ вотъ твой зять!—промолвилъ онъ, указывая на Сокола, который вдругъ поблѣднѣлъ какъ мертвецъ.

— Ну, да! Чему-жъ ты дивишься?

— И ты выдалъ за него свою дочь?

— Такъ что-жъ? Онъ дворянскаго отродья, служилъ жильцомъ въ Москвѣ, и хоть роду не знаменитаго...

— Да, братецъ, да! Онъ точно роду не знаменитаго,—подхватилъ съ громкимъ хохотомъ Сицкій. — Его мать была цыганка, а отецъ татаринъ.

— Ты лжешь!—закричалъ Глинскій.

— Да если я лгу, такъ что-жъ твой дорогой зять не вымолвитъ ни словечка? Иль у него языкъ отнялся?

Въ самомъ дѣлѣ, Соколъ сидѣлъ какъ приговоренный къ смерти, и не только не могъ выговорить ни слова, но не смѣлъ поднять глазъ и взглянуть на своего тестя.

— Не вѣдаю, служилъ онъ жильцомъ въ Москвѣ, — продолжалъ насмѣшливо Сицкій; — а знаю навѣрно, что во всей лагерной челяди пановъ Лисовскаго и Сапѣги не было ни одного коновала досужѣе и конокрада удалѣе твоего любезнаго зятюшки.

Около минуты просмотрѣлъ Глинскій молча на своего зятя; вдругъ глаза его засверкали, и онъ сказалъ грознымъ голосомъ:

— Все равно! Теперь онъ зять мой; и если кто-нибудь дерзнетъ порочить Андрея Сокола...

— Да развѣ его зовутъ Соколомъ?—спросилъ Сицкій.

— А почему-же и не такъ? Онъ молодецъ изъ молодцовъ, и подѣломъ прозывается яснымъ Соколомъ.

— О, если такъ, то прошу прощенья!— подхватилъ Сицкій. — Коли онъ заѣлся въ чины, такъ, видно, въ самомъ дѣлѣ былъ на службѣ царской. Шутка ли, подумаешь: изъ коршуновъ махнулъ прямо въ соколы.

— Изъ коршуновъ?—вскричалъ Глинскій.

— Ну, да! Его теперь прозываютъ Соколомъ, а въ наше время онъ звался просто Чернымъ коршуномъ.

— Чернымъ коршуномъ!—повторилъ страшнымъ голосомъ хозяинъ.

Взоры всѣхъ присутствующихъ невольно устремились на Глинскаго: всѣ съ трепетомъ ожидали чего-то ужаснаго. Вдругъ завылъ буйный вѣтеръ, погасли свѣчи передъ святыми иконами, а надъ трубою дома закаркалъ воронъ и прокричалъ человѣческимъ голосомъ: «Глинскій! Черный коршунъ пріютился подъ твоею кровлею!»

— И свилъ гнѣздо, чтобъ жить вмѣстѣ съ бѣлой горлинкой, — промяукалъ мохнатый котъ, выглядывая изъ-за печки.

— Стукъ! стукъ!—раздалось подъ окномъ, и отвратительный сиповатый голосъ прохрипѣлъ: «Глинскій, выходи на крыльцо, принимай гостей!»

Вдругъ сверкнулъ въ рукѣ Глинскаго широкій ножъ, и Соколъ повалился мертвый на землю. Какъ безумный бросился убійца вонъ изъ столовой и прибѣжалъ въ эту самую комнату, гдѣ мы теперь сидимъ и въ которую кромѣ его никто не хаживалъ. Онъ схватилъ большую книгу въ черномъ переплетѣ, хотѣлъ ее раскрыть, — да не тутъ-то было! Желѣзныя застежки какъ-будто бы спаялись, книга не развертывалась, а за лежанкою и по всѣмъ угламъ поднялся такой нелѣпый хохотъ, что чародѣйная книга выпала изъ онѣмѣвшихъ рукъ его. Межъ тѣмъ все небо вспыхнуло и зардѣлось какъ отъ сильнаго пожара, и тутъ-то начался этотъ *ночной поѣздъ*, который, по словамъ стариковъ, каждыя двадцать пять лѣтъ, въ тотъ же самый

день и часъ повторяется и понынѣ въ этомъ домѣ. По дорогѣ отъ Волчьяго оврага показались незваные гости; вокругъ ихъ ревѣла буря и отъ конскаго топота широкія поля тряслись какъ зыбкое болото. Впереди всѣхъ ѣхалъ на лошадиномъ остовѣ удавленный наканунѣ свадьбы купецъ въ бѣломъ саванѣ; за нимъ тянулся длинный рядъ мертвецовъ: кто съ перерѣзаннымъ горломъ, кто съ размозженной головой, и при свѣтѣ кроваваго зарева не видно было и конца этому ужасному поѣзду. Они подъѣхали къ барскому двору; съ громкимъ скрипомъ распахнулись ворота...

Иванъ Алексѣевичъ замолчалъ.

— Ну что жъ вы, дядюшка, остановились?—спросилъ Заруцкій.

— Постой-ка, братъ Алексѣй! — шепнулъ хозяинъ,—что это такое?.. Слышите?

— Да!—сказалъ Кольчугинъ,—это ужъ не вѣтеръ воетъ.

Мы всѣ стали прислушиваться: въ самомъ дѣлѣ, что-то похожее на свистъ, пѣсни и громкій человѣческій говоръ сливались съ воемъ вѣтра. По временамъ можно было даже различить стукъ колесъ по неровной дорогѣ и сильный конскій топотъ.

— Кому бы, кажется, ѣхать такъ поздно?— промолвилъ почти съ робостью хозяинъ.—Большая дорога отсюда далеко, а къ себѣ я никого не жду. Ужъ не подгулялъ ли мой приказчикъ? Чего добраго, пожалуй, вздумаетъ прокатить гостей по селу: вѣдь, онъ сегодня справляетъ свои именины.

— А какъ его зовутъ?—спросилъ я.

— Его зовутъ Ѳомою.

— Ѳомою! — повторили мы всѣ въ одинъ голосъ и взглянувъ невольно другъ на друга.

— Итакъ, сегодня Ѳоминъ день?—сказалъ я,—тотъ самый, въ который...

— Чу!—вскричалъ исправникъ. — Слышите-ль?.. Отпираютъ ворота!

Вдругъ какъ будто бы цѣлая ватага пьяныхъ, съ неистовымъ крикомъ, хлынула на барскій дворъ; какъ бѣшеные подскакали къ подъѣзду, и шумъ отъ скорыхъ шаговъ, повидимому, многолюдной и буйной толпы людей раздался на крыльцѣ. У насъ въ комнатѣ было тихо какъ на кладбищѣ: мы всѣ едва смѣли дышать; одинъ Кольчугинъ казался поспокойнѣе другихъ, но зато на хозяинѣ и на остальныхъ гостяхъ лица не было.

— Господи, Боже мой!—прошепталъ, заикаясь, Черемухинъ.—Да что жъ это такое?.. Слышите-ли?—они въ сѣняхъ... Если это гости, такъ зачѣмъ они пойдутъ налѣво, въ переднюю? Они подходятъ къ нашей стѣнѣ... Чу!.. что это?

Вотъ съ трескомъ и громомъ посыпались кирпичи и отбитая штукатурка на каменный *полъ* сѣней.

— *Господи, помилуй* насъ грѣшныхъ! — вскричалъ хозяинъ.—Слышите-ль? Они проламываютъ закладенныя двери!.. Они хотятъ ворваться въ эту комнату!.. Такъ точно!.. Господа, это *ночной поѣздъ!*

Мы всѣ повскакали съ нашихъ мѣстъ. Стукъ безпрестанно увеличивался. Вотъ ужъ въ стѣнѣ остается одинъ только рядъ кирпичей... Мы ясно слышимъ какой-то странный говоръ, крикъ, дикій хохотъ... Вотъ падаютъ послѣдніе кирпичи... Одинъ только коверъ, которымъ прикрыты были закладенныя двери, отдѣляетъ насъ еще отъ сѣней. Вдругъ свѣжій, холодный воздухъ врывается въ нашъ теплый покой, коверъ начинаетъ колебаться, и мы всѣ бросаемся стремглавъ вонъ изъ комнаты.

— Тише, господа, тише!—закричалъ Кольчугинъ. — Вы перебьетесь до смерти: здѣсь такъ темно, что зги не видать!

И подлинно, мы всѣ, какъ полоумные, бѣжали по корридору, спотыкались, падали и давили другъ друга. Вотъ кой-какъ мы выбрались на просторъ, но все еще въ потемкахъ. Парадныя комнаты не освѣщены; только въ одной столовой свѣтится огонекъ: мы бросились туда. Всѣ люди Ивана Алексѣевича, робко прижавшись одинъ къ другому, стоятъ въ кучѣ посреди комнаты; въ передней никого, а въ сѣняхъ ужасная возня, которая вовсе не утихаетъ, а становится часъ-отъ-часу сильнѣе.

— Да что жъ мы въ самомъ дѣлѣ такъ опѣшили? — проговорилъ, наконецъ, Кольчугинъ.—Насъ человѣкъ двадцать: чего намъ бояться? Я одинъ-одинехонекъ ужиналъ съ цѣлой дюжиной чертей, да, вѣдь, ничего же со мной не было. Эхъ, господа! что робѣть, то хуже! Дайте-ка мнѣ свѣчу?.. Ну-ка, ребятишки, перекреститесь, да съ молитвою за мной!

Мы всѣ толпою двинулись за нашимъ предводителемъ. Почти рядомъ съ нимъ шелъ хозяинъ, а позади всѣхъ, едва переставляя ноги, тащился насмѣшникъ Черемухинъ. Вотъ мы вошли въ переднюю. Кольчугинъ пріостановился у сѣнныхъ дверей, оградилъ себя крестнымъ знаменіемъ; мы всѣ — и слуги и господа,—кто про себя, кто вслухъ, творили молитвы, и хотя трепещущимъ голосомъ, но громче всѣхъ восклицалъ: «Да воскреснетъ Богъ!» нашъ полумертвый отъ страха аріергардъ. Кольчугинъ, держа въ одной рукѣ свѣчу, толкнулъ другою въ двери: онѣ распахнулись. Все наше христолюбивое воинство заколебалось, попятилось назадъ и примкнуло къ аріергарду, который сдѣлалъ уже налѣво кругомъ и приготовился къ ретирадѣ.

— Смѣлымъ Богъ владѣетъ! — закричалъ Кольчугинъ, переступая черезъ порогъ.

И что жъ?.. О, чудо!.. Вдругъ все замолкло: и стукотня, и шумъ, и крикъ. За Кольчугинымъ вошелъ хозяинъ, за нимъ исправникъ, я и Заруцкій; за нами вся толпа слугъ,

а часть аріергарда, то есть Черемухинъ остался въ лакейской и высунулъ только изъ дверей свою голову. Нашъ храбрый предводитель поднялъ кверху свѣчу: въ сѣняхъ никого. Мы кинулись къ закладеннымъ дверямъ: ни одинъ кирпичъ не выломанъ, штукатурка не обита; кругомъ все смирно, тихо; половая щетка, приставленная къ стѣнѣ, и нѣсколько изломанныхъ стульевъ стоятъ преспокойно на своихъ мѣстахъ; дверь на крыльцо заперта, и даже крючокъ не вынутъ изъ пробоя...

На другой день рано по-утру я простился, и, къ несчастію, навсегда съ добрымъ и почтеннымъ Иваномъ Алексѣевичемъ. Я думалъ прожить нѣсколько дней въ Сердобскѣ, чтобъ похлопотать о своемъ дѣлѣ; но вмѣсто того долженъ былъ провести цѣлый мѣсяцъ въ деревнѣ Заруцкаго. Бѣдный мой пріятель едва не умеръ отъ отчаянія: онъ оставилъ свою невѣсту совершенно здоровою, и нашелъ ее въ гробу. Она занемогла по-утру въ субботу, а ночью, на воскресенье, *ровно въ двѣнадцать часовъ* скончалась, назвавъ его въ послѣдній разъ по имени.

ТРИ ЖЕНИХА.

Провинціальные очерки.

I.

Тому назадъ, — такъ точно, — не болѣе двухъ или трехъ лѣтъ... Но прежде, чѣмъ я разскажу вамъ эту повѣсть, мнѣ хочется спросить васъ: живали ли вы когда-нибудь въ провинціи? Не въ деревнѣ, не въ маленькомъ уѣздномъ городкѣ, но въ губернскомъ городѣ,—среди людей, которые говорятъ съ гордостью, и почти всегда на французскомъ языкѣ, о *своемъ* большомъ свѣтѣ, о своемъ хорошемъ и дурномъ тонѣ, даже о разныхъ кругахъ, на которые раздѣляется ихъ общество? Если вы никогда не живали въ этихъ, подчасъ довольно забавныхъ, образчикахъ нашей матушки Москвы бѣлокаменной, и желаете знать хоть поверхностнымъ образомъ, что такое провинціальный городъ, не двадцать лѣтъ тому назадъ, но теперь, въ наше время,—такъ слушайте.

Далеко отсюда, въ низовомъ губернскомъ городѣ; въ Дворянской улицѣ, — почти въ каждомъ губернскомъ городѣ есть улица, которую зовутъ «Дворянскою», — возвышается крытый желѣзомъ, двухъ-этажный кирпичный домъ, на самомъ томъ мѣстѣ, гдѣ года два тому назадъ вростали въ землю деревянныя хоромы, выстроенныя, какъ говорятъ старики, еще до Пугачева. Онѣ тянулись въ длину саженей на шестнадцать, не считая двухъ подъѣздовъ съ холодными сѣнями и небольшой пристройки, въ которой помѣщалась русская баня съ двумя предбанниками. Этотъ домъ занималъ всю глубину обширнаго двора, который съ двухъ сторонъ былъ застроенъ развалившимися службами, а съ третьей отдѣлялся отъ улицы почернѣвшимъ отъ времени рѣшетчатымъ заборомъ. Сзади къ самому дому примыкалъ большой плодовитый садъ, поросшій высокою травою и почти непроходимый отъ безчисленнаго множества кустовъ колючаго крыжовника, барбариса и смородины. Разумѣется, эти хоромы не были ни окрашены, ни обшиты тесомъ, и на дощатой ихъ кровлѣ росла преспокойно мурава шелковая и пробивались кой-гдѣ украдкою цвѣты лазоревые.

Однажды вечеромъ, въ началѣ мая мѣсяца, который, не смотря на восторги нашихъ поэтовъ, почти всегда хуже апрѣля, погода стояла самая осенняя, дождь лилъ какъ изъ ведра, и хотя еще не было восьми часовъ, однако, на дворѣ сдѣлалось такъ сумрачно, что въ одномъ изъ оконъ описанныхъ мною развалинъ замелькалъ огонекъ. Онъ свѣтился въ диванной, въ которой хозяйка, пожилая вдова, статская совѣтница Анна Степановна Слукина, сидѣла за ломбернымъ столомъ и раскладывала гранъ-пасьансъ; насупротивъ ея, расположась спокойно въ широкихъ креслахъ и понюхивая табакъ изъ огромной серебряной табакерки, сидѣлъ человѣкъ лѣтъ шестидесяти, въ коричневомъ долгополомъ кафтанѣ, съ бронзовою медалью въ петлицѣ и въ черныхъ плисовыхъ сапогахъ. Къ нимъ спиною, подлѣ растворенаго окна, стояла миловид-

ная дѣвушка лѣтъ семнадцати, въ простомъ бѣломъ платьѣ. Широкій поясъ со стальною пряжкою обхватывалъ гибкій станъ ея; свѣтло-русые волосы, завитые и убранные à l'enfant, разсыпались густыми кудрями по ея плечамъ, полнымъ и бѣлымъ, какъ пушистый снѣгъ въ первозимье. Попытаюсь, удастся ли мнѣ описать вамъ наружность хозяйки. Не совсѣмъ еще увядшее лицо ея высказывало не болѣе сорока-пяти лѣтъ. Большіе черные глаза, довольно правильныя черты, прекрасный цвѣтъ лица,—все это заставило бы подумать каждаго, что она была нѣкогда очень хороша собою; но вотъ бѣда,—эти большіе черные глаза походили на красивые фонари безъ свѣчъ, а румяное, ничего не выражающее лицо ея было просто

Бѣло и красно, —
И точно херувимъ на вербѣ восковой!

Впрочемъ, я ошибся, сказавъ, что лицо ея ничего не выражало: нѣтъ, въ немъ замѣтно было безпрестанное усиліе казаться «горькой, беззащитной вдовой», какое-то подленькое притворное смиреніе, едва прикрывающее невѣжественную спесь и чванство провинціальной барыни пятаго класса. Эта беззащитная вдова успѣла, по собственнымъ словамъ ея,—при помощи Господа Бога и добрыхъ людей, — укрѣпить за собою двѣ тысячи душъ покойнаго своего супруга, выиграть три процесса, пустить по міру нѣсколько сиротъ, разорить въ конецъ родного брата и выплакать себѣ шестьсотъ рублей пожизненнаго пенсіона.

Самый пошлый мадригалъ щеголя Демутье, столкнувшись нечаянно съ самою высокою, творческою мыслью великаго Ньютона или Гердера, не представилъ бы такой рѣзкой противоположности, какую представляло почти безобразное лицо пожилого господина въ коричневомъ кафтанѣ, съ румянымъ и правильнымъ лицомъ хозяйки: огромный носъ Николая Ивановича Холмина, — такъ звали этого гостя, — его изрытыя оспой багровыя щеки, его узкіе калмыцкіе глаза, крутой лобъ, покрытый морщинами, и въ то же время умъ и веселость, которые блистали въ его маленькихъ сѣрыхъ глазахъ, улыбка по временамъ насмѣшливая, но всегда добродушная, пріятный звукъ голоса, и то, чему нѣтъ названія,—это неизъяснимое *что-то такое*, что плѣняетъ насъ съ перваго взгляда,—все это вмѣстѣ составляло одну изъ тѣхъ загадочныхъ физіономій, которыя нравятся, не спросясь у эстетики и вопреки всѣмъ условнымъ понятіямъ о красотѣ и безобразіи человѣческомъ.

— Опять не вышло! — сказала Анна Степановна, бросивъ съ досадою карты, которыя остались у нея на рукахъ. — А все этотъ проклятый валетъ! Нейдетъ, какъ нейдетъ!.. *Эй, дѣвка!.. Дашка, поди сюда*, подыми платокъ! Возьми, положи карты въ комодъ, въ третій ящикъ!.. Да что это, мать моя,—никакъ въ корсетѣ? Смотри, пожалуй, ужъ и онѣ стали затягиваться!.. Эй, мальчикъ, сними со свѣчи... Дуракъ, чуть не погасилъ!.. Варенька!

Дѣвушка въ бѣломъ платьѣ вздрогнула и обернулась торопливо къ своей мачихѣ.

— Ну что, мой другъ,—продолжала Анна Степановна,—дождикъ пересталъ?

— Пересталъ, маменька!

— Такъ на дворѣ прочистилось?

— Прочистилось, маменька!

Въ эту самую минуту проливной дождь загудѣлъ сильнѣе прежняго, и въ сосѣднемъ покоѣ вода, пробивъ оштукатуренный потолокъ, съ шумомъ полилась на полъ.

— Помилуй, матушка, — вскричала Анна Степановна, — дождь ливмя льетъ, а ты говоришь!.. Да что ты, ослѣпла что-ль? Эй, мальчикъ, Андрюшка!.. Ну что стоишь? Ведро въ гостиную! Подставить тамъ, гдѣ протекло. Да, вѣрно, на чердакѣ нѣтъ ушатовъ? Вотъ я васъ, разбойники!.. То-то вдовье дѣло! Обо всемъ изволь сама думать... Смотри, пожалуй, — прочистилось, дождь нейдетъ! Да чего-жъ ты въ окно-то смотрѣла, сударыня?

Варенька вспыхнула и не отвѣчала ни слова, а гость, какъ будто бы не нарочно, повернулся и взглянулъ на окно, подлѣ котораго она стояла. Прямо черезъ улицу въ небольшомъ домикѣ мелькалъ огонекъ и хотя слабо, но вполнѣ освѣщалъ гусарскій киверъ, небрежно кинутый на окно. Николай Ивановичъ улыбнулся.

— Что это, Анна Степановна, — сказалъ онъ, обращаясь къ хозяйкѣ, — никакъ противъ вашего дома военный постой?

— Да, Николай Ивановичъ! Вонъ въ томъ домикѣ дней пять тому назадъ отвели квартиру гусарскому офицеру... какъ бишь его?.. Дай Богъ память?.. Да! Тонскому.

— Александру Михайловичу? Отличный молодой человѣкъ!

— И, батюшка! Да что жъ въ немъ отличнаго? Конечно, собой онъ молодецъ изрядный; говорятъ, не пьетъ, въ карты не играетъ; да и то сказать, что ему, сердечному, проигрывать? Вѣдь, чай, за нимъ души нѣтъ христіанской: голъ, какъ соколъ, а какъ поглядишь иногда, такъ, Господи Боже мой, весь облитъ золотомъ! Ну, право, фунта три выжиги будетъ! А, небось, дома перекусить нечего. Вотъ то-то и есть! Служилъ бы себѣ да служилъ въ пѣхотѣ. Такъ нѣтъ, всѣ въ гусары лѣзутъ!

— Онъ не такъ бѣденъ, какъ вы думаете. Его дядя Александръ Алексѣевичъ Тонскій оставилъ ему небольшое, но прекрасно устроенное имѣнье.

— Право? А сколько душъ, батюшка?

— Конечно, не много. Душъ тридцать...

— Тридцать душъ! И ты, Николай Ивановичъ, называешь это имѣньемъ?

— Да онѣ даютъ безъ малаго двѣ тысячи рублей въ годъ доходу.

— Двѣ тысячи? Ну, батюшка, подлинно несмѣтное богатство!

— Нельзя же всякому, какъ вамъ, Анна Степановна, имѣть тысячъ пятьдесятъ въ годъ доходу. Разумѣется, въ сравненіи съ вами, Тонскій бѣденъ, но зато какой образованный, воспитанный малый...

— Да, Николай Ивановичъ, что правда, то правда: воспитанъ хорошо, знаетъ себя и разумѣетъ другихъ. Вотъ хоть со мной: всегда обходится весьма политично,—и, нечего сказать, услужливъ! Прошлое воскресенье, кабы не онъ, такъ не знаю, что было бы со мною: на рукахъ вынесъ изъ собора.

— А что такое съ вами было?

— Вотъ что, батюшка, Николай Ивановичъ. Я прошлое воскресенье была, какъ слѣдуетъ всякой христіанкѣ, у обѣдни въ соборѣ: самъ преосвященный изволилъ служить, и хоть въ трапезѣ было довольно просторно, но зато въ настоящей, а особливо кругомъ амвона, и сказать нельзя, что за давка была. Ну, нельзя же, мой отецъ, статской совѣтницѣ стоять позади Богъ вѣсть кого. Вотъ я, гдѣ бочкомъ, гдѣ локотками, продралась и стала впереди. Тѣсно, батюшка, душно, а дѣлать нечего, — стою! Вотъ, подъ конецъ голова стала у меня кружиться, и начало въ глазахъ зеленѣть,—а я все-таки стою! Когда преосвященный вышелъ съ крестомъ, я, пропустя мимо себя губернаторшу, хотѣла было по моему чину вслѣдъ за нею, какъ вдругъ откуда ни возьмись дворянская предводительница,—шмыгъ изъ-подъ меня, да шасть первая ко кресту! Коллежская ассесорша!.. Ну, батюшка, хоть я и беззащитная вдова, хоть за меня, круглую сироту, вступиться некому, а ужъ не стерпѣла бы я ни отъ кого такого афронта, и если-бъ это было не въ соборѣ, такъ подняла бы такую аларму, что и, Боже, упаси! А тутъ,—дѣлать нечего, — смолчала; да ужъ каково-то было моей душенькѣ! Начало меня подергивать, подкатилось къ сердцу, схватило удушье, и если-бъ не подвернулся этотъ Тонскій, дай Богъ ему здоровье, такъ я бы со всѣхъ ногъ грянулась о полъ.

— Знаете ли, Анна Степановна,—сказалъ Холминъ, помолчавъ нѣсколько времени, — что если-бъ Александръ Ивановичъ Тонскій былъ побогаче, такъ этакаго жениха поискать!

— Да, если-бъ у него было тысячъ тридцать въ годъ доходу.

— Погодите, будетъ и больше. Онъ отличный офицеръ, служить охотникъ и пойдетъ далеко.

— Статься можетъ, батюшка! Да, вѣдь, это еще буки.

— Я увѣренъ, что и теперь любая невѣста въ нашемъ городѣ за него пойдетъ.

— Любая, не любая, а, можетъ быть, и найдутся охотницы. Вѣдь, дураковъ и дуръ вездѣ много, Николай Ивановичъ! Ихъ не орутъ, не сѣютъ,—сами родятся.

— Знаете ли что, — продолжалъ Холминъ вполголоса, — я иногда думаю: что, если бъ вышла за него ваша Варвара Николаевна?

— Что, что, батюшка?

— То-то была бы парочка!

— Эхъ, Николай Ивановичъ, охота тебѣ такой вздоръ говорить!

— Почему же вздоръ? Онъ не богатъ, за то у васъ прекрасное состояніе.

— Что ты, что ты? Перекрестись, батюшка! Тридцать душъ!.. Да этакъ всякій одноворецъ женихъ моей падчерицы.

— Такъ, Анна Степановна, такъ, не спорю: по состоянію Тонскій не женихъ Варенькѣ; но если-бъ онъ успѣлъ ей понравиться...

— Что? Понравиться?.. Безъ моего вѣдома?.. Да если-бъ она смѣла подумать объ этомъ! Если-бъ только заикнулась! Да сохрани ее, Господи! Да развѣ она можетъ выступить изъ моей воли? Развѣ я не ея опекунша? Да хоть бы за нее вся родня вступилась! Да хоть бы самъ покойникъ всталъ изъ гроба!..

— Ну, полноте, матушка, полноте, не сердитесь! Вѣдь, это одинъ только разговоръ.

— Добро бы еще онъ былъ въ чинахъ, — четвертаго или пятаго класса; а то простой офицерикъ, нищій... Да чему же ты смѣешься, батюшка?

— А тому, что мнѣ удалось васъ разсердить. Эхъ, матушка, Анна Степановна, ну, какъ вы могли подумать, чтобъ я сталъ сватать не шутя вашу Вареньку, мою крестную дочь, за какого-нибудь гусарскаго поручика, съ тридцатью ревизскими душами, потому только, что онъ уменъ, молодецъ собою и добрый малый?

— Ну, то-то же, мой отецъ! А то было я совсѣмъ перепугалась. Да и я дура: какъ будто бы не знаю, что ты всегда подшучиваешь! А мнѣ бы надобно съ тобой о серьезномъ поговорить, батюшка, да вотъ видишь ты какой, — опять начнешь балагурить! Варенька, что ты, мой другъ, иль забыла, что мы сегодня съ визитами ѣдемъ! Поди, матушка, надѣнь свое гриденевое платье... Ну, что стоишь? Ступай, сударыня!.. Теперь, Николай Ивановичъ, поговоримъ-ка о дѣлѣ,

— Поговоримте, Анна Степановна.

— Охъ, дѣти, дѣти!—продолжала хозяйка, смотря вслѣдъ за уходящей Варенькой. — Сколько съ ними горя и хлопотъ! Вотъ, говорятъ, мачихи не заботятся о своихъ падчерицахъ: не правда, мой отецъ! Видитъ Господь Богъ,—только и думаю о томъ, какъ бы пристроить Вареньку. Ты человѣкъ умный, батюшка,—посовѣтуй мнѣ; что ты, родной мой, скажешь, такъ тому и быть.

— Даже и тогда, Анна Степановна, когда мой совѣтъ будетъ не согласенъ съ вашею волею?

— И, батюшка! Да развѣ у меня есть какая-нибудь воля? Что скажутъ добрые люди, то и дѣлаю. Вотъ изволишь видѣть: твоя крестная дочка ужъ на возрастѣ.

— А что, развѣ вы хотите ее выдать замужъ?

— Пора, мой отецъ. Вѣдь, ей ужъ скоро семнадцать лѣтъ.

— Да это еще что за года, Анна Степановна!

— Полно, полно, Николай Ивановичъ! Я сама по четырнадцатому году за перваго мужа вышла замужъ,—такъ что тутъ говорить! Да и не объ этомъ рѣчь.

— А что, развѣ кто-нибудь сватается?

— Кто-нибудь!—повторила съ гордою улыбкою хозяйка.—Нѣтъ, батюшка,—продолжала она, поправляя свой чепецъ, — женишки-то давно уже около насъ увиваются, и въ старину бы мнѣ отъ свахъ отбою не было. Вотъ теперь дѣло другое: за это ремесло взялись наши сестры, дворянки. Да полно, лучше ли? Бывало отъ свахи узнаешь всю подноготную, отберешь все до копѣечки, и коли замѣтишь, что начала лисой лисить да переминаться, такъ ее, голубушку мою, въ три шеи со двора долой: вѣдь, дѣло-то торговое. А теперь, прошу покорно: сама губернаторша пріѣдетъ сватать; съ ней много говорить не станешь,—вѣрь на честное слово. «У такого-де, сударыня, тысяча душъ, да столько-то доходу, да то, да се». А попробуй сказать: «Нельзя ли, матушка, ваше превосходительство, документики сообщить?»—такъ пойдутъ исторіи, претензіи, разстанешься навсегда домами, и нашей сестрѣ, беззащитной вдовѣ, отъ этой губернаторши и всѣхъ ея прихвостницъ житья не будетъ.

— А что, развѣ губернаторша дѣлала вамъ предложеніе?

— Вотъ то-то и есть, батюшка! Она говорила мнѣ о своемъ племянникѣ.

— Объ Иванѣ Степановичѣ Вельскомъ?

— Да, Николай Ивановичъ! Я ужъ давно замѣтила, что этотъ отставной камеръ-юнкеръ имѣетъ виды на мою Вареньку. Конечно, онъ человѣкъ порядочный, — слишкомъ тысяча душъ, прекрасный домъ, отличная услуга, музыка,—все это хорошо, да вотъ о чемъ его тетушка не разсудила со мной распространиться: говорятъ, что у него до пятисотъ тысячъ рублей долгу, такъ это почти все равно, что онъ ничего не имѣетъ.

— Слѣдовательно, вы ему отказали?

— Ужъ тотчасъ и отказать! Погоди, батюшка: пусть посватается порядкомъ. Вѣдь, его тетушка стороной только мнѣ объ этомъ намекала. Вотъ, какъ онъ сдѣлаетъ формальное предложеніе и весь городъ будетъ знать, что онъ ищетъ въ Варенькѣ, такъ успѣю еще и тогда. Небольшая бѣда, если станутъ говорить, что у нея много жениховъ было.

— Такъ какого-же, матушка, вы просите у меня совѣта?

— А вотъ постой, мой отецъ, это еще одинъ женихъ.

— А кто жъ другой?

— Алексѣй Андреевичъ Зоринъ.

— Предсѣдатель гражданской палаты?

— Да, батюшка.

— Пожилой вдовецъ...

— Да, батюшка.

— Съ большою семьею...

— Такъ что жъ?

— Да кстати-ли ему свататься за Вареньку? Она ему въ меньшія дочери годится.

— Это ничего, Николай Ивановичъ! И мой покойникъ былъ вдвое меня старѣе. Да вотъ что худо: вѣдь, у него наслѣдственнаго имѣнія нѣтъ, а все благопріобрѣтенное куплено на имя покойной жены; такъ онъ изъ него только и можетъ взять законную седьмую часть, то-есть много-много душъ сто. Конечно, онъ человѣкъ умный,—нажилъ-бы еще; да времена-то не тѣ, батюшка: ко всему придираются! Судья возьметъ по дружбѣ какой-нибудь подарочекъ, а его назовутъ взяточникомъ. Не бери ни чѣмъ: ни деньгами, ни натурой; да этакъ скоро вовсе служить нельзя будетъ!

— И, матушка, Анна Степановна, ну что Господа Бога гнѣвить! И теперь еще такъ-то себѣ деревеньки и домики наживаютъ, что на—поди!

— Да, небось, ты скопилъ имѣньице? Шесть лѣтъ былъ дворянскимъ предводителемъ, сколько разъ засѣдалъ въ рекрутскомъ присутствіи—а что нажилъ?

— Да покамѣстъ честное имя, Анна Степановна.

— Честное имя! Да, вѣдь, честное имя доходу не даетъ; его не продашь, ни въ опекунскій совѣтъ заложить нельзя; такъ съ нимъ далеко не уѣдешь. А сверхъ того, вы всѣ, честные люди—гордецы, а гордымъ Богъ противится... Ну, что ухмыляешься?

— Радуюсь, матушка, Анна Степановна, что вы такъ хорошо знаете и ловко толкуете Священное Писаніе.

— Да что объ этомъ говорить! Всякій молодецъ на свой образецъ. Скажите-ка лучше, что мнѣ дѣлать? Я сама вижу, что Зоринъ по женихъ Варенькѣ.

— Такъ откажите ему.

— А про мое тяжебное дѣло-то, батюшка, ты, вѣрно, забылъ?

— Нѣтъ, помню. Такъ что жъ?

— А то, что коли испортятъ его здѣсь въ палатѣ, такъ еще Богъ вѣсть, поправишь-ли въ Москвѣ. Нѣтъ, мой отецъ, успѣю ему отказать и тогда, когда дѣло будетъ рѣшено въ мою пользу.

— Ну, вотъ ужъ два жениха забракованы. Нѣтъ ли еще третьяго?

— Есть, Николай Ивановичъ, есть женишокъ! Да и дѣло-то почти совсѣмъ слажено.

Вотъ что! Какъ же мнѣ Варенька ничего объ этомъ не намекнула?

— Да она еще сама не знаетъ.

— Право? Такъ вы заранѣе увѣрены, что этотъ женихъ ей понравится?

— Какъ ему не понравиться, батюшка! Вѣдь, у него,—легко вымолвить,—четыре тысячи душъ.

— Четыре тысячи? Такъ это...

— Князь Василій Ивановичъ Верхоглядовъ. Что, батюшка, каковъ женишокъ!

— Да хорошо ли вы знаете этого человѣка?

— Я знаю, батюшка, навѣрно, что у него четыре тысячи душъ и ни копѣйки долгу.

— Конечно, послѣ этого и говорить нечего. Вотъ, если бы у него не было ста тысячъ въ годъ доходу...

— Полтораста, батюшка.

— Неужели?.. Смотри, пожалуй! Такъ что жъ это говорятъ, будто онъ самый пустой человѣкъ; будто у него нѣтъ никакихъ правилъ; будто онъ на словахъ сумасшедшій либералъ, а на дѣлѣ трехъ-бунчужный паша; будто онъ толкуетъ безпрестанно о потребности вѣка, о высшихъ взглядахъ, о правахъ человѣчества... и разоряетъ своихъ крестьянъ; будто у него давно уже умъ за разумъ зашелъ и что, рано или поздно, а ему не миновать опеки?

— И, что ты, мой отецъ! Да развѣ отдаютъ подъ опеку людей, у которыхъ полтораста тысячъ въ годъ доходу и ни копѣйки долгу?

— Вотъ то-то и есть. Говорятъ также, что будто бы у него такой причудливый и скверный характеръ, что съ нимъ ужиться нѣтъ никакой возможности.

— Вздоръ, батюшка, вздоръ! То-же самое говорили и про моего покойника; да, вѣдь, жили же мы кое-какъ. Ну, конечно, какъ безъ того: бывало пошумимъ, погрыземся, а все-таки онъ, дай Богъ ему царство небесное, сдѣлаетъ какъ сдѣлаетъ по-моему. Нравный мужъ не бѣда, мой отецъ; лишь только не поддавайся, да кричи громче его, такъ все пойдетъ своимъ чередомъ.

— Правда, Анна Степановна, правда; это самый лучшій способъ жить въ ладу съ мужемъ. Дурака запугаешь, умному надоѣшь, такъ и тотъ и другой будутъ поневолѣ дѣлать все, что жена захочетъ. Да Варенька-то, кажется, у насъ не такого характера: она уступчива, добра, самаго кроткаго нрава...

— Перемѣнится, мой отецъ, перемѣнится. Вѣдь, нужда чему не научитъ!

— Конечно, Анна Степановна, конечно. Да и материнскіе ваши совѣты, быть можетъ, на нее подѣйствуютъ. Такъ это дѣло кончено; племяннику губернаторши Вельскому...

— Я ничего рѣшительнаго не сказала; однако же, признаюсь, надеждою польстила.

— Предсѣдателю палаты Зорину...

— Его поневолѣ приголубливаю, батюшка, вотъ такъ изрѣдка намеки дѣлаю, обиняки говорю.

— А князю Владиміру Ивановичу Верхоглядову?

— И ему еще формальнаго слова не давала.

— То есть вы обнадежили разомъ трехъ жениховъ?

— Эхъ, батюшка, батюшка, да когда-же мнѣ и поломаться-то, какъ не теперь? Пока я не совсѣмъ еще порѣшилась, такъ мнѣ житье-то славное. Посмотри въ собраніи, на балахъ, кому такой почетъ, какъ мнѣ? Одинъ слугу отыщетъ, другой салопъ подастъ, третій съ лѣстницы сведетъ,—не успѣешь откланиваться. А какъ въ вистикъ-то съ ними засяду, батюшка, въ вистикъ! Житье, да и только! Ренонсъ сдѣлаю,—никто не видитъ; безъ двухъ фигуръ сочту четыре онера,—молчатъ. И даже этотъ скопидомъ, Зоринъ, не заикнется сказать, что я ошиблась. А ужъ объ этомъ не говорю, сколько другихъ прочихъ мелкихъ женишковъ мнѣ въ глаза-то забѣгаютъ. Ну, такъ и рвутся одинъ передъ другимъ, чтобъ мнѣ услужить!

— Не спорю, Анна Степановна, теперь вамъ весело; да весело ли будетъ тогда, какъ женихи узнаютъ, что вы ихъ дурачили?

— Такъ что жъ, батюшка? Посердятся, посердятся, да будутъ таковы. Одинъ Алексѣй Андреевичъ Зоринъ могъ бы мнѣ хлопотъ надѣлать, если бъ узналъ объ этомъ; да, къ счастію, дѣло мое слушаютъ на будущей недѣлѣ. Ты самъ знаешь, батюшка, резолюціи перемѣнить нельзя; такъ что жъ мнѣ помѣшаетъ тогда выдать Вареньку за князя Владиміра Ивановича?

— Хорошо разочтено. Анна Степановна! Вы только забыли одно, что отъ этого можетъ пострадать репутація вашей дочери.

— А это какъ, батюшка?

— Да такъ: станутъ говорить, что Варенька сама заводила всѣхъ жениховъ, что она съ ними кокетничала, обманывала съ вами заодно. Мало ли что злость можетъ придумать.

— Помилуй! Да съ чего бы это взяли?

— Знаю, Анна Степановна, что въ этомъ и на волосъ не будетъ правды; но зачѣмъ давать поводъ къ злословію? Вѣдь, клевета, какъ уголь,—не обожжетъ, такъ замараетъ.

— И, полно, мой отецъ! Стану я бояться всѣхъ людскихъ рѣчей! Да мало-ли что и про меня грѣшную говорили: и обобрала-то я покойнаго моего мужа, и пустила по міру родного брата, да и Богъ вѣсть что! Всего, батюшка, не переслушаешь. А, вотъ и Варенька!.. Ну, что, одѣлась, мой другъ?.. Побудь покамѣстъ съ твоимъ крестнымъ...

пойду и сама принаряжусь. Пора ѣхать съ визитами.

Варенька, оставшись одна съ крестнымъ отцомъ своимъ, сѣла подлѣ него и, не говоря ни слова, не смѣя поднять глазъ, перебирала въ рукахъ концы своего газоваго эшарпа. Щеки ея то пылали, то покрывались блѣдностью. Холминъ также молчалъ. Онъ смотрѣлъ съ нѣжностью и примѣтнымъ состраданіемъ на бѣдную дѣвушку, которая нѣсколько разъ пыталась начать разговоръ, но каждый разъ чувствовала такое сильное замираніе сердца, что слова исчезали на устахъ ея.

— Бѣдненькая!—сказалъ, наконецъ, Холминъ, положивъ руку на ея плечо.

Варенька подняла глаза, взглянула робко на своего крестнаго отца и бросилась къ нему на шею.

— Ну, что, мой крестный папенька?—прошептала она едва слышнымъ голосомъ.—Говорили-ли вы?

— О чемъ, мой другъ?

— Ну... о томъ.

— О томъ?—повторилъ съ улыбкою Холминъ.—Нѣтъ, мой ангелъ, я ничего не говорилъ *о томъ*.

— Неправда! Вы что-то говорили; я слышала сама, что вы называли его по имени.

— Да о комъ ты говоришь, Варенька?.. Ну, полно, полно, не гнѣвайся! Да, мой другъ, я говорилъ о немъ.

— Ну что жъ маменька?

— И слышать не хочетъ.

— Ахъ, Боже мой!

— Она рѣшилась выдать тебя замужъ за князя Владиміра Ивановича...

— Что вы говорите?—вскричала съ ужасомъ Варенька.

— Что жъ ты испугалась, мой другъ? Не бойся: на святой Руси насильно никого не вѣнчаютъ. Послушай, моя душа,—ты ужъ не ребенокъ и должна иногда думать о будущемъ. Ты любишь Тонскаго, и онъ достоинъ этого счастія. Но у князя полтораста тысячъ въ годъ доходу, а Тонскій почти ничего не имѣетъ. Ты также, мой другъ, безъ всякаго состоянія, или, что почти одно и то же, оно совершенно зависитъ отъ твоей мачихи. Покойный твой батюшка былъ человѣкъ, истинно, добрый, но подъ старость такъ ослабѣлъ и тѣломъ и душою, что не имѣлъ, рѣшительно, собственной своей воли. Ты знаешь, Варенька, что всѣмъ его имѣньемъ владѣетъ по жизнь Анна Степановна и что хотя по духовной покойнаго ты имѣешь право требовать въ приданое за собою тысячу душъ, но только тогда, когда выйдешь замужъ за того, кого она сама назначитъ; въ противномъ случаѣ, одно только добровольное ея прощеніе можетъ возвратить тебѣ это право. Теперь ты видишь, мой другъ, что у тебя ничего нѣтъ. Анна Степановна никогда не согласится выдать тебя замужъ за Тонскаго и никогда не проститъ тебя, если ты выйдешь за него противъ ея воли.

— Ахъ, Боже мой! Да какая ей прибыль, если я выйду за этого князя?

— Пребольшая, мой другъ. Засадить тебя вѣчно въ дѣвкахъ она не можетъ: это было бы уже слишкомъ явнымъ и слишкомъ гнуснымъ доказательствомъ ея жадности. Ты сирота: правительство можетъ взять тебя подъ свою защиту, а сверхъ того—и самые бездушные люди боятся общаго мнѣнія. Князь Владиміръ Ивановичъ беретъ тебя безъ приданаго,—я это знаю, хотя почтенная Анна Степановна заблагоразсудила умолчать объ этомъ, говоря со мною. Теперь видишь-ли, мой другъ...

— Такъ что-жъ, — прервала съ живостью Варенька,—неужели вы думаете, что Тонскій не откажется также отъ моего приданаго?

— О, я не сомнѣваюсь въ этомъ!.. И развѣ богатство можетъ сдѣлать наше счастье?

— Не о богатствѣ рѣчь, мой другъ. Полтораста тысячъ въ годъ доходу не сдѣлаютъ тебя ни на волосъ счастливѣе, но бѣдность... Ахъ, Варенька, Варенька, мы живемъ не въ Аркадіи! Кустъ розановъ, шалашъ и милый другъ, — все это прекрасно въ романсѣ, который ты поешь, сидя за фортепіано; но въ шалашѣ и холодно и тѣсно; розаны цвѣтутъ только весною; милый другъ не вѣчно будетъ ворковать подлѣ тебя; онъ захочетъ ѣсть, ты также, а тамъ семья, дѣти... Нѣтъ, мой ангелъ, если счастье наше не всегда бываетъ слѣдствіемъ хорошаго состоянія, по крайней мѣрѣ оно помогаетъ намъ сносить терпѣливѣе всѣ житейскія горести и напасти, которыя при бѣдности становятся еще несноснѣе. Подумай хорошенько, если ты выйдешь за князя, то всѣ желанія твои, всѣ прихоти будутъ исполняться. Ты очень молода, мой другъ: тебя еще, безъ всякаго сомнѣнія, плѣнятъ и щегольской экипажъ, и модныя платья, и тысячи другихъ блестящихъ бездѣлокъ, которыя стоятъ такъ дорого, хотя и не служатъ ни къ чему. Придетъ время, когда все это тебѣ надоѣстъ,—не спорю, но пока еще лѣта и горькій опытъ не отучатъ тебя забавляться этими игрушками взрослыхъ людей, ты станешь тосковать о нихъ. Сколько разъ ты будешь плакать отъ зависти и досады, сравнивая свой простенькій московскій буръ-де-суа съ какимъ-нибудь колокольцовскимъ платкомъ или турецкой шалью прежней твоей подруги. Встрѣчая на каждомъ шагу знакомыхъ, которые станутъ давить тебя своимъ богатствомъ и роскошью, ты поневолѣ сдѣлаешься подозрительною: дружба богатыхъ людей будетъ тебѣ казаться обиднымъ покровительствомъ, а каждое ласковое слово—милостынею, которую подаютъ тебѣ изъ состраданія. Что, если тогда встревоженное твое самолюбіе и эта тяжкая необходимость отказывать себѣ почти во всемъ расхододять

прежнюю твою любовь?.. Что, если ты начнешь горевать о томъ, что не вышла за богатаго князя, и бѣдный мужъ твой отгадаетъ, наконецъ, причину этой горести?...

— Мужъ мой?—прервала съ жаромъ обиженная дѣвушка. — Тотъ, кого выбрало мое сердце? И вы можете такъ дурно думать о вашей крестной дочери? Щегольской экипажъ... турецкая шаль!.. Боже мой!.. Да, и я стала бы плакать о турецкой шали, если бы въ ней показалась милѣе моему мужу! И я стала бы завидовать богатому экипажу, когда бы могла имъ потѣшить моего мужа; но желать всего этого для себя, грустить, что богатый мужъ не закутаетъ меня, какъ куклу, въ турецкія шали; горевать о томъ, что я не принадлежу этому князю, котораго ненавижу... Да, да... ненавижу!..

— Да за что же, мой другъ?

— За то, что онъ хочетъ быть моимъ мужемъ! И вы могли мнѣ совѣтовать?..

— Я ничего тебѣ не совѣтую. Когда дѣло идетъ объ участи цѣлой жизни, тогда трудно, мой другъ, совѣтовать. Впрочемъ, если любовь твоя къ Топскому не одно только минутное предпочтеніе, не какая-нибудь романическая, безотчетная страсть, но искренняя, душевная привязанность, то, безъ всякаго сомнѣнія, съ нимъ и бѣдность будетъ для тебя счастьемъ. Но прежде, чѣмъ ты рѣшительно откажешься отъ супружества, которое свѣтъ сталъ бы называть блестящимъ, я долженъ былъ описать тебѣ всѣ невыгоды твоего замужества съ человѣкомъ небогатымъ. Тебѣ самой никогда-бы не пришло въ голову и подумать о вашемъ будущемъ домашнемъ бытѣ, о необходимомъ прожиткѣ, о расходѣ и приходѣ, однимъ словомъ, о всемъ томъ, что господа поэты называютъ земнымъ и прозаическимъ, но безъ чего и поэзія становится подчасъ прескучною прозою. Теперь я исполнилъ мою обязанность, и если безпрерывныя лишенія и бѣдность тебя не пугаютъ, если любовь точно можетъ для тебя замѣнить все, вотъ тебѣ рука моя, — ты будешь женою Тонскаго. Я не богатъ, Варенька, но все, что имѣю, будетъ принадлежать вамъ... Не благодари меня, мой другъ! Я былъ искреннимъ пріятелемъ отца твоего и люблю тебя, какъ родную дочь. Покойный твой батюшка, умирая на рукахъ монхъ, повидимому, раскаялся въ своемъ необдуманномъ поступкѣ; но духовной перемѣнить было уже невозможно. За нѣсколько минутъ до своей кончины онъ крѣпко сжалъ мою руку и устремилъ свой потухающій взоръ на твой портретъ, который висѣлъ надъ его изголовьемъ. Онъ не могъ уже говорить, но я понялъ его,—и мой бѣдный, обманутый другъ умеръ спокойно: онъ зналъ, что дочь его не останется круглой сиротою...

Варенька опустила голову на плечо крестнаго отца своего и горько заплакала.

— Полно, полно, мой другъ! — сказалъ Холминъ.—Ты и такъ довольно погоревала. Ба, ба, ба, да никакъ и я расплакался? — продолжалъ онъ, утирая глаза. — Куда мнѣ это должно быть къ лицу!.. Послушай, мой другъ: хорошій генералъ никогда не считаетъ себя побитымъ до тѣхъ поръ, пока не истощитъ всѣхъ средствъ, чтобъ вырвать побѣду изъ рукъ непріятеля. Ты выйдешь за Тонскаго,—это рѣшено; но если въ то же время и состояніе ваше будетъ обезпечено, такъ, кажется, это ничего не испортитъ.

— Да вы сами говорите, что Анна Степановна никогда не согласится...

— Безъ всякаго сомнѣнія, не согласится. Но дѣло не въ томъ, чтобъ она была твоею посаженною матерью, а только бы, послѣ свадьбы, васъ простила. У меня кой-что бродитъ въ головѣ. Что если бы?.. Почему же нѣтъ!.. А какъ бы это было забавно!..—промолвилъ Холминъ, и глаза его, выражавшіе за минуту глубокую чувствительность, заблистали веселостью... Но вотъ, кажется, Анна Степановна кончила свой туалетъ, — продолжалъ Николай Ивановичъ.—Вы ѣдете сегодня съ визитами, я также сдѣлаю завтра поутру нѣсколько визитовъ и, можетъ быть... Но впередъ загадывать нечего. Прощай, Варенька; прощай, мой другъ!

II.

На другой день Николай Ивановичъ Холминъ, часу въ десятомъ утра, надѣлъ свой коричневый кафтанъ, накрылъ голову бѣлымъ пуховымъ картузомъ и, опираясь на высокую «натуральную» трость, съ костянымъ набалдашникомъ, отправился пѣшкомъ сначала въ домъ предсѣдателя гражданской палаты, Алексѣя Андреевича Зорина. Но прежде, чѣмъ я открою читателямъ причину его посѣщенія, мнѣ должно ихъ предувѣдомить, что, вмѣсто разсказа, я памѣренъ предложить имъ для прочтенія нѣсколько отдѣльныхъ драматическихъ сценъ изъ этой комедіи, которую мы называемъ «общественною жизнью» и которая, глядя по тому, какъ на нее смотришь, и забавна, и скучна, и смѣшна, и печальна, а иногда,—не погнѣвайтесь,—не только вовсе не утѣшительна, но даже гадка и возмущаетъ душу. Можетъ быть, я ошибаюсь, но мнѣ кажется, что эта глава будетъ менѣе утомительна, если я дамъ ей форму совершенно драматическую. *А посему*, прерывая мой разсказъ, прошу почтенныхъ читателей превратиться въ почтеннѣйшихъ зрителей и вообразить, что передъ ними театральный помостъ, на которомъ происходитъ *нижеслѣдующее*:

СЦЕНА ПЕРВАЯ.

(*Довольно опрятная комната, оклеенная зелеными обоями. По стѣнамъ висятъ эстампы въ почернѣвшихъ золоченныхъ рамкахъ,*

шапкѣ безъ темляка и шляпа съ бѣлымъ плюмажемъ. Между двухъ оконъ,—покрытый краснымъ сукномъ столъ, заваленный бумагами. Въ одномъ углу нѣсколько полокъ съ толстыми книгами. Передъ столомъ широкія кресла, обтянутыя черной кожею, которая прибита по краямъ гвоздями съ мѣдными головками. На креслахъ сидитъ Александръ Андреевичъ Зоринъ, въ бухарскомъ халатѣ, тафтянномъ зеленомъ наглазникѣ и красныхъ шитыхъ золотомъ сапожкахъ. Подлѣ него съ бумагами стоитъ секретарь).

Зоринъ (*подписавъ одну бумагу*). Ну что, Андрей Пахомычъ? Что говорятъ присутствующіе о дѣлѣ Анны Степановны Слукиной? Вѣдь, оно на будущей недѣлѣ пойдетъ въ докладъ.

Секретарь. Да что, ваше высокородіе,—совѣтникъ все еще ломается, никакихъ резоновъ не принимаетъ! А когда я сталъ ему докладывать, что, въ силу сепаратнаго указа тысяча восемьсотъ перваго года, можно дать резолюцію въ пользу челобитчицы вдовы, статской совѣтницы Слукиной, такъ онъ понесъ такую околесную, что и сказать нельзя: и новые, дескать, указы уничтожаютъ силу предыдущихъ, и случайное-де измѣненіе закона, сдѣланное не въ примѣръ другимъ и въ пользу одной особы, не можетъ служить основаніемъ для судейскаго приговора, и то, и се. Вотъ я было намекнулъ ему, что штрафа бояться нечего: во-первыхъ, потому, что палата во всякомъ случаѣ можетъ отозваться, что судила по крайнему своему разумѣнію, а во-вторыхъ потому, что всякое денежное взысканіе будетъ обезпечено со стороны просительницы; но лишь только я это вымолвилъ, какъ онъ закричалъ!.. Господи, Боже мой! Вѣрите-ль, ваше высокородіе, не зналъ, куда дѣваться!

Зоринъ. Чудакъ!.. Хорошо, хорошо. Я съ нимъ самъ объ этомъ поговорю. (*Дверь изъ лакейской потихоньку растворяется*). Кто тамъ?

Секретарь. Андрюшка сапожникъ.

Андрюшка (*въ синемъ сюртукѣ и кожаномъ фартукѣ. Въ одной рукѣ шило, въ другой сапожное голенище*). Пріѣхалъ Николай Ивановичъ Холминъ.

Зоринъ. Проси. А ты, братецъ, Андрей Пахомычъ, подожди покамѣстъ въ столовой. Быть можетъ, у насъ завяжется серьезный разговоръ. Вѣдь, онъ крестный отецъ Варвары Николаевны. (*Секретарь кланяется и выходитъ въ боковыя двери*).

Холминъ (*входя въ комнату*). Здравствуйте, Алексѣй Андреевичъ!

Зоринъ (*идя къ нему навстрѣчу*). А, почтеннѣйшій! Добро пожаловать! Какими судьбами?.. Прошу покорно! (*Подвигаетъ стулъ*).

Холминъ (*садясь*). Давно хотѣлъ съ вами повидаться. Ну что, какъ поживаете?

Зоринъ. Плохо, батюшка, Николай Ивановичъ, плохо! Когда хозяйки нѣтъ въ домѣ, такъ какое житье.

Холминъ. Хозяйки нѣтъ,—такъ что жъ? Вы, Алексѣй Андреевичъ, не въ такихъ еще годахъ, чтобъ вамъ оставаться вдовцомъ. Я думаю, вамъ и пятидесяти нѣтъ.

Зоринъ. Да... съ небольшимъ.

Холминъ. Такъ за чѣмъ же дѣло стало? Неужели за невѣстою?

Зоринъ (*улыбаясь*). Невѣста, быть можетъ, и найдется...

Холминъ. Вотъ что? Поздравляю! А кто, если смѣю спросить?

Зоринъ. Полноте, почтеннѣйшій! Полноте подшучивать! Чай, вы давнымъ-давно знаете.

Холминъ. Право, нѣтъ.

Зоринъ. Да перестаньте! Какъ вамъ не знать? Вы у нихъ человѣкъ свой.

Холминъ. У кого, Алексѣй Андреевичъ?

Зоринъ. Да хоть у Анны Степановны.

Холминъ. Слукиной? Такъ вы на ней хотите жениться?..

Зоринъ. И, нѣтъ, батюшка! Анна Степановна ни за кого не пойдетъ замужъ, да и на что ей? Вотъ дѣло другое — дѣвица безродная, безъ отца, безъ матери...

Холминъ. Какъ? Такъ дѣло-то идетъ о моей крестной дочери?

Зоринъ. Что жъ вы этому такъ удивились, Николай Ивановичъ? Конечно, мы съ ней не ровни...

Холминъ. И, что вы? Не о лѣтахъ рѣчь. По мнѣ, чѣмъ старѣе мужъ, тѣмъ лучше. Да и чего ждать путнаго, если бъ такой ребенокъ, какъ Варенька, вышла замужъ за какого-нибудь мальчишку!

Зоринъ. Конечно, конечно!

Холминъ. Когда дѣвушка по сиротству, или какой ни есть другой причинѣ, выходитъ прежде двадцати лѣтъ замужъ, такъ ей надобенъ мужъ не вѣтрогонъ, не слетокъ какой-нибудь, а человѣкъ зрѣлыхъ лѣтъ, опытный и благоразумный.

Зоринъ. Совершенная правда.

Холминъ. Хороши мужъ и жена, которые оба еще въ куклы играютъ. Вѣдь, страсть—пустое дѣло, Алексѣй Андреевичъ: и къ молодому, и къ старому мужу приглядишься; любовь пройдетъ, а дружба и уваженіе остаются.

Зоринъ. Правда, истинная правда!

Холминъ. Нѣтъ, батюшка, я знаю, какой мужъ ей надобенъ. Человѣкъ умный (*Зоринъ кланяется*), солидный (*Зоринъ кланяется*), который не станетъ учиться, а другихъ можетъ поучить какъ домъ вести (*Зоринъ кланяется*), который ея приданаго не промотаетъ, да и своего имѣнья не проживетъ (*Зоринъ ухмыляется*); по милости котораго жена будетъ занимать не послѣднее мѣ-

сто въ губерніи (*Зоринъ бросаетъ довольный взглядъ на свою шляпу съ бѣлымъ плюмажемъ*), который могъ бы въ одно и то же время быть ея супругомъ и наставникомъ,—однимъ словомъ, такой мужъ, какъ вы, Алексѣй Андреевичъ!

Зоринъ (*кланяясь и пожимая руку у Холмина*). Помилуйте!.. Мнѣ, право, совѣстно! Такъ вы не прочь отъ этого?

Холминъ. Кто? Я? Да если бы это отъ меня зависѣло, такъ я и думать бы не сталъ; но вы знаете, что ея мачиха...

Зоринъ (*улыбаясь*). Съ ней-то мы какъ-нибудь поладимъ.

Холминъ. Право? А что, развѣ ужъ объ этомъ рѣчь была?

Зоринъ. Какъ же! Сначала мы говорили все обиняками, да намеки другъ другу дѣлали, а третьяго-дня я просто напрямки сказалъ.

Холминъ. Ну, что жъ она?

Зоринъ. Почти слово дала; только просила пообождать и до времени не говорить никому.

Холминъ. Вотъ что! Ай да Анна Степановна!.. Ну!!!

Зоринъ. А что такое?

Холминъ. Такъ, ничего! Что мнѣ въ эти сплетни мѣшаться! Когда они отъ меня секретничаютъ да не хотятъ со мною посовѣтоваться, такъ мое дѣло сторона.

Зоринъ. Да что жъ вы такое знаете?

Холминъ. Что я знаю?.. (*Помолчавъ нѣсколько времени*). Послушайте, Алексѣй Андреевичъ. Мнѣ васъ учить нечего, а на вашемъ мѣстѣ я зналъ бы, какъ поступить. Всѣ эти секреты да отсрочки ни къ чему не ведутъ. Я настоятельно бы сталъ требовать помолвки, да не по-домашнему, а публично, торжественно, чтобъ весь городъ зналъ, что вы женитесь на Варенькѣ. И мальчишкѣ лѣтъ въ двадцать остаться съ носомъ—вовсе не забавно, а какъ нашему брату, пожилому человѣку, забрѣютъ затылокъ, такъ, признаюсь!..

Зоринъ. Забрѣютъ затылокъ?.. Такъ вы полагаете, что Анна Степановна изволитъ надо мной потѣшаться?

Холминъ. Я не говорю этого. И какъ подумаешь, такъ на что бы, кажется, ей васъ обманывать?.. Э, да, вѣдь, у ней есть тяжебное дѣло, и если оно должно скоро рѣшиться...

Зоринъ. Ну, нѣтъ еще—очередь не за нимъ. А позвольте васъ спросить: развѣ у ней есть еще какіе-нибудь женишки на примѣтѣ?

Холминъ. Женишки? Да въ нашемъ городѣ, кажется, жениховъ довольно. Вотъ хоть Иванъ Степановичъ Вельскій.

Зоринъ. Э, э, э! Губернаторскій племянникъ!

Холминъ. Да этого также обракуютъ. (*Поглядѣвъ вокругъ себя и вполголоса*). А развѣ князь Владиміръ Ивановичъ...

Зоринъ. О, о! Вотъ что? Такъ и онъ также сватается за Варвару Николаевну?

Холминъ (*значительно улыбаясь*). Не знаю!

Зоринъ. Ну, если такъ, то позвольте, Николай Ивановичъ... И подлинно, это дѣло надо привести въ ясность.

Холминъ. Однако жъ, смотрите, не выдавайте меня.

Зоринъ. Не безпокойтесь.

Холминъ. Ну то-то же! Пожалуйста, чтобъ это осталось между нами.

Зоринъ. Да ужъ будьте увѣрены! Тутъ и умерло.

Холминъ. Правду сказать, мнѣ бы вовсе не слѣдъ мѣшаться въ эти сплетни. Да и что мнѣ въ голову пришло? Вотъ то-то и есть: языкъ мой—врагъ мой! (*вставая*). Ну, добро, прощайте, Алексѣй Андреевичъ. Да смотрите же!

Зоринъ. Не бойтесь! Мы люди присяжные, молчать умѣемъ. Да что жъ вы такъ изволите торопиться? Не угодно ли закусить чего-вибудь?

Холминъ. Нѣтъ, я никогда не завтракаю.

Зоринъ. Не прикажете ли донского?.. Рюмочку мадеры?

Холминъ (*уходя*). Покорнѣйше васъ благодарю.

Зоринъ (*проводивъ его до дверей передней*). Гмъ-гмъ! Такъ вы, матушка, Анна Степановна, финтить со мной изволите?.. Нѣтъ, моя благодѣтельница! Прошу не прогнѣваться,—мы васъ выведемъ на чистую воду, а покамѣстъ... (*подходитъ къ дверямъ*). Андрей Пахомычъ, пожалуй сюда! (*Секретарь входитъ*). Такъ ты говоришь, что совѣтникъ никакъ не соглашается съ твоимъ мнѣніемъ?

Секретарь. Касательно дѣла госпожи Слукиной?

Зоринъ. Да.

Секретарь. И слышать не хочетъ.

Зоринъ. А что, любезный, какъ ты думаешь! Вѣдь, оно въ самомъ дѣлѣ...

Секретарь. Что грѣхъ таить: плоховато, ваше высокородіе!

Зоринъ. То-то и есть! Не худо бы его еще разокъ-другой прочесть со вниманіемъ. Да время-то коротко —вѣдь, мы слушаемъ его на будущей недѣлѣ?

Секретарь. Можно и поотложить.

Зоринъ. Нѣтъ ли справокъ какихъ?

Секретарь. Какъ не быть! И если вы прикажете...

Зоринъ. Да, да, не мѣшаетъ. Ступай-ка, любезный, да похлопочи объ этомъ.

Секретарь. Слушаю-съ. (*Кланяется и уходитъ*).

СЦЕНА ВТОРАЯ.

Роскошный кабинетъ, отдѣланный въ готическомъ вкусѣ. Онъ освѣщается двумя окнами: одно изъ нихъ съ узорчатыми рамами, въ ко-

торыя вставлены разноцвѣтныя стекла. Полъ обитъ цѣльнымъ ковромъ. На длинномъ столѣ съ витыми ножками множество бронзовыхъ вещицъ; коллекція обдѣланныхъ въ золото и перламутръ щетокъ, гребешковъ, лорнетовъ и трубочекъ; полный приборъ инструментовъ для чищенія и подстриганія ногтей и нѣсколько чернильницъ, безъ чернилъ,—готическихъ, китайскихъ, фантастическихъ, изъ бронзы, хрусталя, фарфора. Стѣны оклеены французскими обоями. Вмѣсто картинъ и эстамповъ, вдѣланные въ четыреугольныя дощечки изъ чернаго дерева, миніатюрные портреты мамзель Марсъ, Тальони, Зонтагъ, г-жи Пасты и многихъ другихъ знаменитыхъ артистокъ. Въ одномъ углу этажерка съ дюжиною альбомовъ, кипсековъ и альманаховъ, въ тисненныхъ, сафьянныхъ и бархатныхъ переплетахъ; въ другомъ, на мраморной колоннѣ, ваза изъ прозрачнаго алебастра, и прочая, и прочая. Иванъ Степановичъ Вельскій почти лежитъ въ широкихъ, украшенныхъ рѣзьбою креслахъ; на немъ, сверхъ фланелевой фуфайки, надѣтъ халатъ изъ терно. Противъ него на стулѣ съ высокою готическою спинкою сидитъ Холминъ.

Вельскій (*зѣвая*). Извините, я не смѣлъ васъ не принять... Но если бъ вы знали, какъ я измученъ! (*Зѣваетъ*). Вчера я имѣлъ дурачество сѣсть послѣ ужина по пятидесяти рублей въ вистъ съ этимъ несноснымъ Волгинымъ. Ахъ, какой злодѣй!.. Полчаса думаетъ, полчаса держится за карту, двадцать разъ ее мѣняетъ. Повѣрите ли, мы кончили нашу партію безъ свѣчей!

Холминъ. А что вы сдѣлали?

Вельскій. Проигралъ.

Холминъ. Не много?

Вельскій. Такъ, бездѣлицу! (*Зѣваетъ*). Рублей триста или четыреста,—не помню.

Холминъ. Вы, кажется, всегда проигрываете?

Вельскій. Почти.

Холминъ. Такъ зачѣмъ вы играете?

Вельскій. Для того, чтобъ какъ-нибудь убить время. Мнѣ надобно было пріѣхать сюда, чтобъ устроить мое имѣнье, и вотъ ужъ я два года занимаюсь хозяйствомъ. Это очень забавно,—не спорю. Когда я до обѣда порядкомъ пошумлю съ моими приказчиками, одного похвалю, другого побраню, выгоню ихъ, наконецъ, изъ моего кабинета, отобѣдаю, отдохну,—вотъ, кажется, и день прошелъ, слава Богу! А съ вечеромъ-то что прикажете мнѣ дѣлать? Неужели ѣхать въ здѣшній театръ, который, хоть мнѣ это казалось и невозможнымъ, право еще хуже московскаго.

Холминъ (*улыбаясь*). Нѣтъ, шутите!

Вельскій. Въ самомъ дѣлѣ. Виноватъ,—здѣсь иногда въ трагедіи я смѣюсь, а тамъ... о Боже мой! Но въ Москвѣ есть французскій спектакль, въ Москвѣ есть даже общество, а здѣсь, если васъ не посадятъ за карты, такъ, смѣю спросить, какъ вы проведете ва вечеръ? Говорить! О чемъ, съ кѣмъ?.. Хопровой,—что ея горничная дѣвка све любовную связь съ вице-губернаторскимъ кеемъ? Съ Елецкимъ,—что у него взбѣсил полвопѣгій кобель и перекусалъ всю ста Съ губернскимъ докторомъ, фонъ-Баухомъ,- что онъ дѣлаетъ изъ собственнаго своего т баку отличный кнастеръ? Съ Вельдюзевой,- что у ней сманили третью мадамъ?.. Конечн все это имѣетъ свою забавную сторону первые три дня; по два года!!.. Нѣтъ, Ник лай Иваповичъ, холостому человѣку, котор ищетъ разсѣянія въ обществѣ, невозмож жить въ провинціи; а если ему придется своимъ обстоятельствамъ заживо схорони себя въ какомъ-нибудь губернскомъ город то онъ долженъ непремѣнно...

Холминъ. Жениться, не правда ли?

Вельскій. Разумѣется. Разсчетъ сам вѣрный. Съ хорошей женой ему будетъ в село и дома; съ дурной онъ станетъ безпр станно ссориться; слѣдовательно, во всяко случаѣ не умретъ отъ этой проклятой ску (*зѣваетъ*), которая душитъ меня съ утра вечера.

Холминъ. Такъ что-жъ, Иванъ Степан вичъ,—лѣкарство у васъ, кажется, подъ р ками.

Вельскій (*значительно улыбаясь*). Вы д маете?

Холминъ. Да мало-ли у васъ невѣст Вотъ, напримѣръ, Катерина Ѳедоровна Р дугина: восемьнадцати лѣтъ, собою не дурн состояніе хорошее, воспитана...

Вельскій (*прерывая*). Прекрасно! Двух словъ не умѣетъ сказать сряду и одѣвается какъ прачка. Помилуйте,—да ее стыдно б детъ въ люди показать.

Холминъ. Я думаю, вы не скажете это о Катенькѣ Лидиной. Она воспитана въ Смол номъ монастырѣ, ловка, мила, собою прелесть.

Вельскій. То есть, молода. Впрочемъ, к нечно, она довольно презентабельна, и если я что-нибудь къ ней чувствовалъ, такъ уж вѣрно бы не остановился тѣмъ, что у не ничего нѣтъ. Я не хлопочу о богатств однако-жъ...

Холминъ. Понимаю. Такъ вамъ бы же ниться на единственной дочери перваго вин наго заводчика нашей губерніи, у которог какъ говорятъ, есть лежащихъ до полумил ліона. Конечно, Степанида Алексѣевна Сал ковская не красавица...

Вельскій. Салковская? Что вы, что вы Да развѣ мой домъ кунсткамера? Салковская Побойтесь Бога! Да ее можно возить п ярмаркамъ, чтобъ за деньги показывать.

Холминъ. Ну вотъ то-то и есть,—на вас не угодишь.

Вельскій. Да вы, Богъ знаетъ, кого на зываете.

Холминъ. Какъ, Богъ знаетъ? Я назвалъ вамъ первыхъ здѣшнихъ невѣстъ.

Вельскій. А для чего же вы ни слова не говорите о вашей крестницѣ?

Холминъ. О Варенькѣ?

Вельскій. Да, о Варварѣ Николаевнѣ.

Холминъ. Для того, что, по моему мнѣнію, одна и та-же дѣвушка не можетъ быть въ одно и то-же время невѣстою двухъ жениховъ.

Вельскій. Двухъ жениховъ? Что вы хотите сказать?

Холминъ. Не прогнѣвайтесь: это еще покамѣстъ семейная тайна. По-настоящему, мнѣ бы не должно было намекать объ этомъ.

Вельскій. Ахъ, сдѣлайте милость!..

Холминъ. Послушайте, Иванъ Степановичъ,—я могу вамъ сказать только одно, и то подъ большимъ секретомъ: не сватайтесь за мою крестницу, она почти помолвлена.

Вельскій. За кого?

Холминъ. Извините, этого я не могу вамъ сказать.

Вельскій. Вы меня удивляете! Третьягодня тетушка говорила обо мнѣ съ Анной Степановной, и она не только не отказала, но даже подала ей большую надежду.

Холминъ. Что вы говорите?

Вельскій. Увѣряю васъ.

Холминъ. Ну, это не хорошо, очень не хорошо! Эхъ, Анна Степановна,—вѣчно надѣлаетъ глупостей!

Вельскій. Такъ поэтому вы увѣрены...

Холминъ. Теперь и самъ не знаю, что подумать,—кого она дурачитъ: меня или васъ?

Вельскій (*невольно приподымаясь съ кресель*). Меня?.. Да нѣтъ, это невозможно! (*Садится опять*).

Холминъ. Со мною, кажется, ей хитрить нечего,—такъ воля ваша, мнѣ кажется, она дурачитъ васъ!

Вельскій (*съ примѣтною досадою*). Меня? Oh, ceci est trop fort! Я не люблю, чтобъ меня дурачили женщины и помоложе Анны Степановны. Впрочемъ, я во всякомъ случаѣ благодаренъ, что вы мнѣ это сказали. Теперь я знаю, какъ мнѣ должно поступить.

Холминъ. Постойте, постойте! Что вы хотите дѣлать?

Вельскій. Не безпокойтесь, я васъ не компрометирую; но сегодня же эта статская совѣтница скажетъ мнѣ рѣшительно: принимаетъ ли она мое предложеніе или нѣтъ. Я знаю, что замужество Варвары Николаевны зависитъ отъ ея воли; но если она для того, чтобъ продолжать грабить свою падчерицу, будетъ подъ разными предлогами отдѣлываться отъ рѣшительнаго отзыва. то дядя мой, какъ начальникъ губерніи, и, безъ сомнѣнія, нашъ предводитель дворянства вступятся въ положеніи этой несчастной сироты, тѣмъ болѣе, что исканія мои, какъ видно по всему, не противны Варварѣ Николаевнѣ.

Холминъ. Въ самомъ дѣлѣ?

Вельскій. А вотъ послушайте. Недѣли три тому назадъ, мой дядя давалъ балъ. Я пріѣхалъ поздно, потому что долженъ былъ завернуть къ Александру Михайловичу Тонскому,—вотъ къ этому гусарскому офицеру. Вы, кажется, съ нимъ знакомы?

Холминъ. Да, немножко.

Вельскій. Онъ также приглашенъ былъ на балъ, и просилъ меня заѣхать за нимъ въ моей каретѣ. Тетушка разсказала мнѣ послѣ все. До моего пріѣзда на балъ ваша крестница была печальна, задумчива, разсѣяна, безпрестанно смотрѣла на двери и какъ будто кого-то дожидалась; но лишь только я показался на балѣ, она въ ту-же самую минуту стала весела, разговорчива,—словомъ, совершенно переродилась. Ну, что вы на это скажете?

Холминъ. Да, это не даромъ.

Вельскій. Въ прошлую субботу, на déjeuner dansant у княгини Ландышевой, когда въ котильонѣ къ ней подводили два раза меня и Тонскаго,—то, какъ вы думаете, кого она каждый разъ выбирала?.. Да не забудьте, что это было въ глазахъ ея мачехи; не забудьте также, что Тонскій танцуетъ лучше меня и, какъ кажется, старается очень съ ней любезничать. Меня, Николай Ивановичъ! Оба раза меня! Смѣю спросить, что это значитъ?

Холминъ. О, это явное предпочтеніе!

Вельскій. Когда я сталъ въ первый разъ говорить ей о любви моей, такъ она поблѣднѣла и до того смѣшалась, что не могла отвѣчать ни слова. Конечно, не всякій постигнетъ настоящую причину этого испуга; но тотъ, кто имѣетъ нѣкоторый опытъ, кто успѣлъ уже разгадать женское сердце, — тотъ безъ труда пойметъ, что значитъ такая необычайная робость.

Холминъ. Ну, Иванъ Степановичъ, исполать вамъ! Да, я вижу, вы настоящій профессоръ въ этомъ дѣлѣ.

Вельскій (*улыбаясь*). Опытъ, Николай Ивановичъ, опытъ! Женщины имѣли всегда такое сильное вліяніе на судьбу мою! Въ жизни моей было столько необычайныхъ случаевъ, что я... Да вы, вѣрно, знаете французскую пословицу—à force de forger...

Холминъ. Какъ не знать! Однако жъ, я съ вами черезчуръ заговорился: мнѣ еще надобно кой-куда зайти, а ужъ теперь, я думаю, часъ первый?

Вельскій. Едва ли. Да постойте, выпейте со мною чашку шоколаду.

Холминъ. Я его никогда не пью. (*Вставая*). Прощайте. Только, сдѣлайте милость,—если у васъ дойдетъ до какого-нибудь изъясненія съ Анной Степановной, такъ прошу васъ, чтобъ я былъ совершенно въ сторонѣ.

Вельскій (*провожая его нѣсколько шаговъ*). Не безпокойтесь. Я комедій не люблю, а особливо съ тѣхъ поръ, какъ живу въ про-

винціи. Все то, что слишкомъ обыкновенно, становится скучнымъ. Прощайте. До свиданія!

СЦЕНА ТРЕТЬЯ.

(*Обширная комната. Кругомъ большіе шкапы съ книгами. Въ одномъ углу, на столѣ, модели разныхъ машинъ, воздушный насосъ и полный гальваническій приборъ; въ другомъ, коллекція медалей и образчики разныхъ минераловъ. По стѣнамъ развѣшаны эстампы, гравированные съ картинъ Вернета, и портреты Лафаета, Манюэля, Виктора Гюю, Мирабо, Байрона и леди Морганъ. Всѣ шкапы и этажерки уставлены бюстами Вольтера, Руссо, Дидерота и другихъ философовъ прошедшаго столѣтія. Вездѣ, на окнахъ, въ простѣнкахъ, на столахъ, бюсты и статуи Наполеона,—большіе, маленькіе, бронзовые, фарфоровые, изъ слоновой кости, во всѣхъ возможныхъ видахъ и положеніяхъ. Посреди комнаты, огромный столъ, на столѣ ящикъ съ сигарами, переплетенные въ юфть фоліанты, одинъ томъ Conversations-Lexicon'a, романы: Жюль Жанена, Евгенія-Сю и Жоржъ-Занда, Journal des Débats и Revue de deux mondes. Подъ столомъ нѣсколько листковъ Франкфуртскаго Журнала и цѣлыя кипы русскихъ періодическихъ изданій. Къ ножкѣ стола привязанъ веревкою оборванный мальчикъ лѣтъ двѣнадцати. Князь Верхоглядовъ сидитъ въ откидныхъ вольтеровскихъ креслахъ. Онъ держитъ въ одной рукѣ исписанный листъ бумаги, а въ другой толстый хлыстъ. Холминъ стоитъ въ дверяхъ кабинета*).

Князь (*не замѣчая Холмина и обращаясь къ мальчику*). Глупое созданіе! Ничего не понимаешь, ничего не помнишь! Да я вколочу въ тебя просвѣщеніе!.. Мало-ли я толковалъ тебѣ о достоинствѣ человѣка,—животное! Ну, что такое человѣкъ?

Мальчикъ (*привязанный къ ножкѣ стола*). Человѣкъ есть твореніе, имѣющее свободную волю...

Князь. Слѣдовательно, никто не имѣетъ права... Ну!

Мальчикъ. Никто не имѣетъ права...

Князь. Посягать на его личность и долженъ... Ну!

Мальчикъ (*переминаясь*). И долженъ... и долженъ...

Князь (*бьетъ его хлыстомъ*). И долженъ... поступать съ нимъ кротко и сердобольно!

Мальчикъ (*кричитъ и плачетъ*). Ай, ай, ай!.. Кротко и сердобольно... больно... больно!

Холминъ. Что это вы, князь Владиміръ Ивановичъ, какую науку преподаете?

Князь (*вставая*). Ахъ, это вы, Николай Ивановичъ!

Холминъ. Извините, что я вошелъ к вамъ безъ доклада: въ лакейской никого нѣтъ

Князь. Какъ никого? Возможно-ли? (*бе житъ къ дверямъ и вдругъ останавливается*) Да, да, совсѣмъ забылъ. Вы знаете, что ненавижу эту азіатскую роскошь и никогд не держу болѣе четырехъ слугъ: вчера долженъ былъ двухъ отдать въ солдаты...

Холминъ. А третьяго я сейчасъ повстрѣ чалъ: онъ, кажется, ведетъ четвертаго н съѣзжую.

Князь. Негодяй!.. Закоренѣлый невѣжда Какъ вы думаете, онъ не только не хотѣлъ мнѣ вѣрить, но даже осмѣлился спорить с мною, когда я сталъ ему толковать, что солнц гораздо болѣе земли?.. Варваръ!.. (*Отвязы ваетъ мальчика*). Пошелъ въ лакейскую!. Да если ты выйдешь за ворота!.. (*Мальчик уходитъ*). Прошу покорно садиться. Ну, что не слышали-ли чего-нибудь новаго? Правд ли, что въ Петербургѣ входятъ въ большо употребленіе артезіанскіе колодцы?

Холминъ. Нѣтъ, не слыхалъ. Да для чег бы это?

Князь. Какой вопросъ! Помилуйте, Ни колай Ивановичъ, да будемъ ли мы когда нибудь европейцами?

Холминъ (*улыбаясь*). А развѣ европеецъ непремѣнно долженъ пить воду изъ артезіан скаго колодца?

Князь. О, святая Русь!.. Да неужели вы не постигаете, что отвергать всѣ улучшенія, держаться во всемъ старины, стоять на од номъ мѣстѣ, когда вся Европа идетъ впередъ, есть самый вѣрный признакъ непро свѣщенія!

Холминъ. Нѣтъ, князь, я постигаю, что хорошее перенимать вовсе не стыдно; да только вотъ бѣда, — не все хорошее равно хорошо для всѣхъ. Перенимать, не думая о томъ, полезна-ли будетъ эта новость собствен но для насъ, передразнивать иностранцевъ только для того, чтобъ сказать: «я иду за вѣкомъ, я европеецъ!»—воля ваша, а это по моему просто пускать пыль въ глаза и увле каться однѣми фразами и громкими словами, которыя, конечно, имѣютъ свою цѣну послѣ сытнаго обѣда и рюмки шампанскаго, но на тощій желудокъ никуда не годятся.

Князь. Да почему-жъ вы полагаете, что, хоть, напримѣръ, введеніе артезіанскихъ ко лодцевъ...

Холминъ. Чрезвычайно будетъ полезно въ степныхъ и безводныхъ мѣстахъ, — въ этомъ, конечно, никто съ вами спорить не станетъ; но въ Петербургѣ, гдѣ подчасъ отъ воды не знаютъ куда дѣваться, смѣю васъ спросить, какую пользу принесутъ эти артезіанскіе колодцы?

Князь. Пользу, пользу! Вы только и думаете о пользѣ! Да знаете-ли, сударь, что эти-то меркантильные разсчеты и убиваютъ все на свѣтѣ. Прошу говорить о просвѣще-

ніи и высшихъ взглядахъ съ людями, которые считаютъ копѣйки!

Холминъ. Чтожъ дѣлать, князь! Каждый думаетъ по своему. По мнѣ, всякое новое изобрѣтеніе, служащее къ улучшенію общественнаго быта, тогда только достойно подражанія, когда оно приноситъ дѣйствительную пользу не одному человѣку, не одному классу людей, а цѣлому обществу. Все то, что не облегчаетъ труда рабочихъ людей, не улучшаетъ состоянія простого народа, не оживляетъ торговли, не уменьшаетъ расходовъ на первыя и необходимыя потребности человѣка, однимъ словомъ, что не доставляетъ существенной и общей пользы, едва-ли можетъ быть предметомъ безусловнаго подражанія. Я удивляюсь изобрѣтательному генію человѣка, который придумалъ артезіанскіе колодцы, и сталъ бы еще болѣе удивляться тому, кто нашелъ бы способъ извлекать изъ воздуха чистую, рѣчную воду; но вѣрно бы не рѣшился тратить и время и деньги на то, чтобъ для вседневнаго употребленія добывать воду посредствомъ химическаго процесса, когда можно просто зачерпнуть ее въ рѣкѣ. Вотъ, я очень понимаю всю пользу канала, который устраивается теперь близъ древней нашей столицы, для соединенія Москвы рѣки съ Волгою: когда барки съ товаромъ не должны будутъ отправляться изъ Москвы въ Нижній, чтобъ попасть въ Петербургъ, такъ тутъ не трудно понять, для чего правительство учреждаетъ это водяное сообщеніе.

Князь. Водяное сообщеніе! И, Николай Ивановичъ, кто въ наше время станетъ заботиться о водяныхъ сообщеніяхъ! Да развѣ вы не знаете, что чугунныя дороги давно уже убили всѣ каналы?

Холминъ. Можетъ быть; но до тѣхъ поръ, пока у насъ нѣтъ еще чугунныхъ дорогъ...

Князь. Да что у насъ есть?.. Степи, лѣса, болота. Намъ еще надобно многому учиться у иностранцевъ, много перенять... Нѣтъ, Николай Ивановичъ, я совершенно согласенъ съ однимъ изъ нашихъ мыслителей, что мы до тѣхъ поръ не поумнѣемъ, пока не переймемъ не только обычаевъ, но даже одежды иностранцевъ.

Холминъ. Вотъ что! Вѣроятно, князь, это касается до нашего простого народа, потому что мы съ вами давно уже носимъ фраки. А что вы думаете, — въ самомъ дѣлѣ, нашъ русскій мужичекъ точно поумнѣетъ, если вмѣсто своего теплаго овчиннаго тулупа надѣнетъ, а особливо зимою, холодный нѣмецкій камзолъ или холстинную блузу французскаго крестьянина. Хоть, по правдѣ сказать, я не очень вижу, почему нашъ толковый простой народъ глупѣе французскаго и когда въ тысячу восемьсотъ четырнадцатомъ году мнѣ удалось побывать во Франціи...

Князь (*прерывая съ досадой*). Да, вы были въ Парижѣ точно такъ же, какъ были въ немъ цѣлыя поколѣнія башкирцевъ; но что отъ этого прибыли, когда вы смотрѣли на все сквозь призму этого, — извините! — квасного патріотизма, котораго душа моя выносить не можетъ. Нѣтъ, почтенный Николай Ивановичъ,—вы человѣкъ умный, не безъ познаній, много читали, но, не смотря на это,—признайтесь,—вы очень отстали отъ нашего вѣка.

Холминъ (*улыбаясь*). Статься можетъ, князь. Я человѣкъ пожилой, бѣгать не мастеръ, да и боюсь: какъ разъ спотыкнешься.

Князь. Мы этого не боимся.

Холминъ. И, полноте, князь! Будто бы вы никогда и ни въ чемъ не ошибались? Не смотря на премудрость, *глубину* и либерализмъ нашего вѣка, мы точно такъ же, какъ прежде, рабы своихъ собственныхъ страстей,—слѣдовательно, ошибаемся, дѣлаемъ глупости и всегда возстаемъ противъ здраваго смысла, если онъ противорѣчитъ нашему образу мыслей. Въ старину закоренѣлые невѣжды называли благоразумнаго человѣка вольнодумцемъ, а нынче его же, и, можетъ быть, тѣ же самые люди, назовутъ старовѣромъ, отсталымъ и варваромъ. Нѣтъ, Владиміръ Ивановичъ, люди всегда останутся людьми. Да одна любовь сколько глупостей заставляетъ насъ дѣлать не только въ молодыхъ лѣтахъ, но и въ годахъ зрѣлаго разсудка, и если, князь, вы когда-нибудь любили...

Князь. Я?.. Если я любилъ?.. И вы это спрашиваете?.. У меня?

Холминъ. Ого! Да вы, кажется, и теперь еще любите?

Князь. Съ безуміемъ, съ неистовствомъ!

Холминъ. Ай, ай, ай!

Князь. Какъ Ромео любилъ свою Жульетту, какъ Дюмасовъ Антоній свою... свою...

Холминъ. Невѣсту?

Князь. Нѣтъ,—жену другого.

Холминъ. Ахъ, батюшки! Да неужели и вы также?..

Князь (*почти съ горемъ*). О, нѣтъ, она свободна!

Холминъ. Слава Богу! Да кто-жъ эта красавица, которая, какъ видно, къ крайнему вашему прискорбію, можетъ законнымъ образомъ принадлежать вамъ?

Князь. Она? Это фантастическое созданіе пламеннаго юга? Эта полувоздушная пери! Эта сильфида!.. О, какъ она прекрасна! Какое блаженство льется изъ-подъ ея сладострастно опущенныхъ рѣсницъ! Она... да неужели вы не отгадали, о комъ я говорю?

Холминъ. Нѣтъ, князь. Это піитическое описаніе вовсе меня съ толку сбило.

Князь. Виноватъ! Я позабылъ, что вашъ идеалъ красоты не можетъ быть сходенъ съ моимъ. Вы любите русскую красоту. По-вашему, была бы только бѣла, да дородна, да румянецъ во всю щеку. А такъ какъ ваша крестная дочь и блѣдна и худощава...

Холминъ. А, такъ вы это говорите о Варенькѣ?

Князь. Да о комъ же, Николай Ивановичъ? Кого бы я могъ назвать сильфидою?

Холминъ. Вотъ что! Вѣроятно, и вы, князь, ей также нравитесь?

Князь. О, мы давно уже понимаемъ другъ друга. Съ мѣсяцъ тому назадъ, я пріѣхалъ поутру къ Аннѣ Степановнѣ; въ гостиной никого не было, но на столѣ лежало рукодѣлье и бѣлый платокъ; онъ былъ смоченъ, вымытъ слезами. Этотъ платокъ былъ ея. Я невольно прижалъ его къ груди, и чувство сладостное и горькое, чувство вовсе до того мнѣ незнакомое, какъ дикій звѣрь впилось въ мое сердце. О, сколько поэзіи было въ этомъ брошенномъ платкѣ! Этотъ платокъ былъ цѣлая поэма!.. Она вошла въ гостиную, наши взоры встрѣтились,—и все было кончено.

Холминъ. Такъ вы даже и не говорили съ ней объ этомъ.

Князь. Нѣтъ! Одинъ взглядъ сказалъ мнѣ все: я прочелъ въ немъ и настоящій адъ ея положенія, и будущій рай моего блаженства. Мнѣ нужно было только переговорить съ ея мачехою. Тутъ земной языкъ былъ необходимъ: мы съ ней поладили, и, можетъ быть, недѣли черезъ двѣ вы поздравите меня женихомъ.

Холминъ. Отъ всего сердца. Но зачѣмъ же черезъ двѣ недѣли? Зачѣмъ не прежде?

Князь. Вотъ ужъ объ этомъ меня не спрашивайте. Анна Степановна никакъ не хотѣла согласиться на мои просьбы и даже требовала, чтобъ я отъ всѣхъ скрывалъ это какъ государственную тайну.

Холминъ (*значительнымъ голосомъ*). Право? Послушайте, князь, дѣлайте, что хотите, но, по-моему, чѣмъ скорѣе будетъ вашъ сговоръ съ Варенькою, тѣмъ лучше.

Князь. Вы думаете?

Холминъ. Имѣю полное право такъ думать. Отвѣчайте откровено: какъ вы полагаете,—выдавая за васъ свою падчерицу, что имѣетъ въ виду Анна Степановна: ея счастіе или собственную свою выгоду? Да не церемоньтесь, говорите прямо.

Князь. Ну, если вы хотите, такъ я думаю, что дѣло идетъ вовсе не о счастіи вашей крестной дочери.

Холминъ. Вотъ видите! Вы теперь поладили съ Анной Степановной, а если кто-нибудь другой поладитъ съ ней еще болѣе... Вы меня понимаете?

Князь. Понимаю. Но развѣ вы имѣете причины подозрѣвать, что кто-нибудь другой...

Холминъ. Я не скажу вамъ ничего. Только совѣтую не соглашаться ни на какую отсрочку. Эй, князь, куйте желѣзо, пока оно горячо! Вы не знаете Анны Степановны: она готова объявить торги и съ аукціона продать свою падчерицу.

Князь. Что вы говорите?

Холминъ. То, что внушаетъ мнѣ искреннее желаніе выдать мою крестную дочь человѣка, который ея достоинъ и за ко рымъ она вѣрно будетъ счастлива.

Князь. Мнѣ чрезвычайно пріятно слыша Николай Ивановичъ... Я вамъ очень бла даренъ.

Холминъ. Не безпокойтесь, князь: ва право, не за что меня благодарить.

Князь. Такъ вы думаете, что я долженъ

Холминъ. Настоятельно требовать, что все было рѣшено, и какъ можно скорѣе. оно, впрочемъ, и натурально. Вы сами го рите, что любите безъ ума Вареньку, а л бовь всегда нетерпѣлива. Это знаютъ вс это даже пойметъ и Анна Степановна,—вѣ всякій изъ насъ любилъ хоть разъ въ сво жизни.

Князь. Любилъ! И, полноте! Да знаю ли у насъ, что такое любовь? Могутъ ли х лодныя сердца, воспитанныя на квасѣ, пон мать это чувство, исполненное жизни и эне гіи? Взгляните на изображеніе этой неукр тимой страсти во всѣхъ произведеніяхъ юн европейской словесности,—и если дыханіе сопрется въ груди вашей, если волосы ва не станутъ дыбомъ, если вы не постигне всей прелести этихъ судорожныхъ восторгов этихъ неистовыхъ порывовъ страсти, эт адской пытки и райскаго наслажденія, сдѣлайте милость, Николай Ивановичъ, кушайте на здоровье ваши соленые огурц живите два-три года по уши въ снѣгу, з ведитесь, если хотите, хозяйкою, только Б га ради не говорите ничего о любви!

Холминъ. Слушаю, ваше сіятельств Впрочемъ, если за мои грѣхи Господь Бо пошлетъ на меня горячку съ пятнами, так можетъ быть, тогда...

Князь (*почти съ презрѣніемъ*). Не б демте говорить объ этомъ! Скажите-ка лу ше, увижу ли я васъ сегодня вечеромъ княгини Ландышевой?

Холминъ. Не думаю.

Князь. Я постараюсь пріѣхать къ ней п ранѣе. Вотъ женщина, съ которой еще мож провести безъ скуки нѣсколько часовъ. Н правда ли, что она вовсе не походитъ нашу русскую барыню?

Холминъ (*улыбаясь*). А мнѣ такъ каже ся, что очень походитъ. Однакожъ, проща те, князь, мнѣ пора домой.

Князь (*провожая его нѣсколько шаговъ* Очень вамъ благодаренъ. До свиданія!

III.

Начиная эту повѣсть, я, кажется, гов рилъ уже моимъ читателямъ, что почти в каждомъ губернскомъ городѣ дворянское об щество раздѣляется на нѣсколько кругов Надобно прибавить къ этому, что ни в одной изъ столицъ этотъ раздѣлъ не набл дается съ такою строгостью, какъ въ про

винціи. Можно было бы сравнить эти отдѣльные круги съ индѣйскими кастами, если бы иногда, въ табельные дни, за обѣденнымъ столомъ у губернатора и на балахъ Благороднаго собранія, не сливались они въ одно общество; но и въ этихъ рѣдкихъ случаяхъ самый высшій кругъ отличается обыкновенно отъ другихъ и туалетомъ, и французскимъ языкомъ, а болѣе всего этимъ свободнымъ обращеніемъ и насмѣшливой улыбкой, которыя, какъ кладъ, не даются деревенскимъ мелкопомѣстнымъ барышнямъ и дочерямъ ассесоровъ, стряпчихъ и секретарей.

Молодая вдова, княгиня Ландышева, занимала первое мѣсто въ числѣ этихъ блестящихъ созвѣздій городского общества. Домъ ея былъ сборнымъ мѣстомъ всѣхъ модныхъ дамъ высшаго круга и молодыхъ фешенебельныхъ людей всей губерніи. Княгиня Ландышева имѣла весьма хорошее состояніе, наружность пріятную и столько ума, чтобъ съ перваго взгляда не показаться глупою: она знала наизустъ множество краснорѣчивыхъ фразъ, въ которыхъ не было ни на волосъ здраваго смысла, и все то, чего не понимала, называла «тривіальнымъ»; говорила весьма хорошо по-французски, не дѣлала никогда pes liaisons dangereuses и выговоръ имѣла самый чистый. Но это еще ничего: она два раза ѣздила въ Карлсбадъ, провела цѣлое лѣто въ Дрезденѣ и сверхъ того,—о, Господи, помилуй насъ грѣшныхъ!—два мѣсяца жила въ Парижѣ. Ожесточеніе, съ которымъ она преслѣдовала все русское, было бы очень забавно, если-бъ она не такъ часто прибѣгала къ этому средству выказывать свое европейское просвѣщеніе. Впрочемъ, надо сказать правду: въ этомъ отношеніи ей нечѣмъ было похвастаться передъ своими пріятельницами. Конечно, и наши московскія барышни,—дай имъ Богъ добраго здоровья! — не упустятъ случая сдѣлать обидное сравненіе между чужимъ и своимъ отечествомъ, но у нихъ бываютъ иногда минуты милосердія и справедливости: случается, что онѣ похвалятъ отечественнаго художника, прочтутъ съ удовольствіемъ русскую книгу и даже, къ ужасу своихъ почтенныхъ матушекъ, рѣшатся подчасъ назвать глупцомъ француза, если онъ точно пошлый дуракъ; но наши провинціальныя модницы—

„Жестокія созданья!
Онѣ не знаютъ состраданья
И душатъ сряду всѣхъ".

Небольшой кругъ, котораго главою была княгиня Ландышева, называлъ самъ себя обществомъ людей «высокаго полета»,—извините, не умѣю лучше перевести французскаго выраженія—de la haute volée. Въ числѣ этихъ высоколетающихъ господъ, разумѣется, первыя мѣста занимали князь Владиміръ Ивановичъ и Вельскій, а между дамами отличались особенно высокимъ полетомъ Анна Ивановна Златопольская и Глафира Ѳедоровна Гореглядова. Первая—женщина лѣтъ тридцати пяти, съ томными глазами, глубокой чувствительностью и огромнымъ носомъ, который, par procédé, называли греческимъ. Она жила большую часть года въ своемъ городскомъ домѣ, ѣздила по баламъ для того, чтобъ поддержать знакомство, давала у себя вечера для своей дочери, которую еще никуда не вывозила, и не мѣшала заниматься хозяйствомъ своему мужу, который жилъ почти безвыѣздно въ деревнѣ, пахалъ землю, курилъ вино и ѣздилъ съ собаками. Вторая, то есть Глафира Ѳедоровна Гореглядова—лѣтъ двадцати двухъ, весьма пріятной наружности, ловкая, стройная женщина, которая такъ граціозно присѣдала, входя въ комнату, и такъ мило припрыгивала, когда подходила цѣловаться съ хозяйкою дома, что всѣ дѣвицы и молодыя женщины низшаго полета смотрѣли на нее съ какимъ-то благоговѣніемъ и удивлялись ей со страхомъ и трепетомъ. Старикъ, мужъ ея, человѣкъ богатый, но скупой и мѣсяцевъ десять въ году прикованный подагрою къ своимъ вольтеровскимъ кресламъ, женился на ней для того, чтобъ не сидѣть одному дома; а она вышла за него для того, чтобъ разъѣзжать съ утра до вечера по гостямъ. Сначала онъ сердился; потомъ, какъ слѣдуетъ, пересталъ, и чтобъ не умереть отъ скуки, билъ хлопушкою мухъ, выводилъ канареекъ и игралъ въ марьяжъ со своимъ дворецкимъ. Весь городъ дивился ихъ согласію и всѣ называли старика Гореглядова отмѣнно счастливымъ.

Часу въ седьмомъ вечера, въ тотъ самый день, въ который по-утру Николай Ивановичъ Холминъ сдѣлалъ три визита, описанные въ предыдущей главѣ, княгиня Ландышева, въ ожиданіи гостей, которые и въ провинціи не съѣзжаются прежде девятаго часа на вечеръ, сидѣла въ гостиной съ пріятельницами своими: Златопольской и Гореглядовой. Передъ ними на столѣ лежали двѣ французскія книги въ синей красивой оберткѣ; это были: «Сцены изъ приватной жизни», сочиненіе г. Бальзака.

— Сцены изъ приватной жизни!—сказала Гореглядова (разумѣется, по-французски), перебирая листы перваго тома. — Это названіе немного обѣщаетъ.

— Я получила ихъ сегодня, — прервала княгиня. — Говорятъ, что онѣ очень интересны.

— Но ужъ вѣрно не такъ, какъ романы моего милаго д'Арленкура, — подхватила Златопольская, закативъ подъ лобъ свои чувствительные глаза.

— И я сомнѣваюсь въ этомъ, — сказала княгиня.—Кто написалъ Неизвѣстную, Ренегата, Ипсибоэ...

— А Пустынника!—вскричала Златополь-

ская.—А Пустынника! — Fuis, fleure de la vallée!.. О, д'Арленкуръ!

— Я читала, однако-жъ, — продолжала княгиня,—въ одномъ русскомъ журналѣ, что этотъ Бальзакъ...

— Ахъ, перестань, ma chère! — прервала Златопольская. — Что можетъ сравниться съ д'Арленкуромъ... Fuis, fleure de la vallée!

— Это правда, — прибавила Гореглядова.—Кто читалъ Ипсибоэ, Ренегата...

— И знаетъ наизусть Пустынника,—сказала Златопольская, — тому не скоро понравится какой-нибудь Бальзакъ. Да онъ же и старый писатель! Я еще ребенкомъ слыхала о немъ отъ нашего французскаго учителя. Какая разница мой милый д'Арленкуръ!.. Oh fuis fleure...

— Ольга Ѳедоровна Зарѣцкая! — сказалъ громкимъ голосомъ лакей, отворяя двери гостиной.

— Ольга Ѳедоровна!—вскричала княгиня, вставая съ канапе.—Такъ она пріѣхала изъ Москвы?.. Ахъ, chère amie, какъ я рада, что вы опять съ нами!—продолжала она, идя на встрѣчу къ пожилой дамѣ, разодѣтой по послѣдней модѣ, съ преогромными *беретами* на рукавахъ и колоссальнымъ токомъ на головѣ.

Послѣ обыкновенныхъ лобызаній и отрывистыхъ фразъ, которыя, разумѣется, должны всегда выдерживать искреннюю радость, хозяйка и гости усѣлись вокругъ стола и между ними начался слѣдующій разговоръ:

Княгиня. Ахъ, ma chère, какіе у васъ чудные рукава Comme c'est joli!

Зарѣцкая. Да. Это самая послѣдняя мода; мадамъ Лобуръ поклялась мнѣ, что этимъ фасономъ первое платье сдѣлано для меня.

Златопольская. Ахъ, какъ мило!

Гореглядова. Прелесть! А косынка!.. Посмотрите!

Зарѣцкая. Ихъ только что привезли изъ Парижа. Это шали.

Княгиня. Шали... Да, да, знаю! C'est délicieux!

Гореглядова (*тихо Златопольской*). Какъ все это пестро!.. А этотъ токъ! Боже мой, въ пятьдесятъ лѣтъ!.. Elle est d'un ridicule achevé.

Княгиня. Ну что, ma chère, вы очень веселились въ Москвѣ?

Зарѣцкая. О, не говорите мнѣ! Я умирала съ тоски.

Княгиня. Неужели?

Зарѣцкая. Ахъ, ma chère, что за общество! Что за тонъ! Я вообразить себѣ не могла, чтобъ въ городѣ, который называется столицею, было такъ мало просвѣщенія. Одни названія улицъ выведутъ всякаго изъ терпѣнія. Напримѣръ, я остановилась у моей родственницы, въ собственномъ ея домѣ,—какъ вы думаете, гдѣ?—на Плющихѣ!!!

Златопольская. На Плющихѣ? Dieu, comme c'est vulgaire.

Зарѣцкая. А какъ живутъ, ma chère! Вотъ однажды пригласили меня на балъ въ одинъ домъ, помнится, за Москвой-рѣкой, на Зацѣпѣ...

Гореглядова. На Зацѣпѣ? Боже мой, какія *тривіальныя* названія!

Княгиня. Согласитесь, что это можетъ быть только у насъ.

Зарѣцкая. И только въ Москвѣ. Вотъ мы ѣхали, ѣхали какими-то огородами, Крымскимъ Бродомъ... Ужасъ! И чтожъ вы думаете нашли на этомъ балѣ?.. Хозяйку, которая заговорила съ нами по-русски, голыя деревянныя стѣны и сальныя свѣчи въ запачканныхъ хрустальныхъ люстрахъ.

Княгиня. Нѣтъ, шутите!

Зарѣцкая. Увѣряю васъ. По этому вы можете судить, какъ живутъ въ Москвѣ. Въ Благородномъ собраніи я была только однажды, на масленицѣ. Зало не дурно; но что за тонъ, что за манеры! Молодые люди ходятъ взадъ и впередъ; никто не обращаетъ на васъ никакого вниманія, и если вы не хотите сидѣть на скамейкѣ, то ужъ, конечно, не догадаются подать вамъ стула. Я это испытала на себѣ.

Княгиня. А театръ, ma chère?

Зарѣцкая. Французскій — прелесть, но зато русскій!.. Вы не можете себѣ представить!.. Что за актеры, какія названія у этихъ актеровъ! Щепкинъ, Рѣпина. Ну, повѣрите ли, тошно слышать! А какъ играютъ!.. Меня уговорили однажды посмотрѣть какую-то оперу. кажется, Волшебнаго Стрѣлка. Ну, ma chère, признаюсь, мнѣ стало стыдно, что я русская. Но это еще ничего. Подлѣ меня въ ложѣ, какой-то господинъ, котораго называли графомъ, началъ говорить со своими дамами и хвалить игру актеровъ, декораціи, костюмы, словомъ—все, и даже увѣрять ихъ, что онъ видѣлъ эту оперу въ Парижѣ и что она дается тамъ не лучше, чѣмъ въ Москвѣ. Какъ вы думаете? Эти дамы, которыя, впрочемъ, одѣты были не дурно и, казалось, принадлежали къ хорошему обществу, слушали его, какъ оракула! Такое невѣжество вывело меня совершенно изъ терпѣнія, и чтобъ показать этому господину, какъ мнѣ гадко было слушать его наглую ложь, я вскочила, накинула шаль и тотчасъ уѣхала изъ театра.

Княгиня. Признаюсь, и я на вашемъ мѣстѣ не усидѣла бы спокойно.

Гореглядова. Вы меня удивляете, Ольга Ѳедоровна!

Княгиня. Ахъ, ma chère, чему тутъ удивляться? Да развѣ прошлаго года не были у насъ пріѣзжіе изъ Москвы. Помнишь этого князя Брянскаго и еще какого-то ученаго? Ну, вотъ этихъ, надъ которыми мы такъ смѣялись, когда они объявили преважно,

что *вояжируютъ* по Россіи. Они не хотѣли сблизиться съ нашимъ кругомъ,—а съ кѣмъ были знакомы? Съ Волгиными, съ Дубровинымъ, съ Закамскимъ, съ этимъ невѣжею Холминымъ. Помнишь, что они говорили: «Вотъ почтенные люди! Вотъ настоящіе русскіе дворяне! Вотъ истинно просвѣщенные помѣщики!» Просвѣщенные!.. А первый Дубровинъ говоритъ по-французски такъ, что безъ смѣха нельзя слышать.

Зарѣцкая. Ну, ma chère, я въ Москвѣ видѣла двухъ вояжеровъ англичанъ, которые еще хуже Дубровина коверкаютъ несчастный французскій языкъ.

Княгиня. И, ma bonne amie! Да зато они прекрасно говорятъ по-англійски.

Зарѣцкая. Да, это правда. Да что это за князь Брянскій, ma chère? Я что-то никогда не слыхала этой фамиліи. Что онъ такое?

Княгиня. Какъ что? Онъ принадлежитъ къ лучшему московскому обществу,—я это знаю.

Гореглядова. О, если такъ, то, кажется, намъ нечего перенимать у Москвы.

Златопольская. Намъ перенимать? Нѣтъ, ma chère, не мы у Москвы, а Москва должна перенимать у насъ.

Княгиня. Да, да! Не мѣшало бы ей поучиться здѣсь хорошему тону и спросить у насъ, что значитъ образованный вкусъ.

Зарѣцкая (*которая между тѣмъ взяла въ руки одну изъ книгъ*). Ахъ, Боже мой! Бальзакъ!

Княгиня. Вы знаете, ma chère?

Зарѣцкая. Бальзака? Какой вопросъ! Вся Москва отъ него безъ ума.

Гореглядова. Неужели?

Златопольская. Однако жъ, вѣрно, д'Арленкуръ...

Зарѣцкая. Фи, ma chère, что вы говорите? д'Арленкуръ! Да его ужъ никто не читаетъ; всѣ надъ нимъ смѣются. Но Бальзакъ!.. Ахъ, Бальзакъ!.. Въ Москвѣ нѣтъ ни одной порядочной женщины, которая не знала бы его наизустъ.

Княгиня. Въ самомъ дѣлѣ?

Зарѣцкая. Да, ma chère. Когда на масленицѣ я была въ Благородномъ собраніи, кто-то сказалъ, что Бальзакъ въ Москвѣ. Потомъ стали говорить, что онъ въ собраніи. Боже мой, какъ всѣ дамы засуетились, какая пошлая тревога, шумъ, разспросы! Одного молодого человѣка, который съ виду походилъ на француза, совсѣмъ было задушили. Къ счастію, онъ заговорилъ по-русски; это его спасло.

Златопольская. Ахъ, ma chère, вы, вѣрно, дадите мнѣ прочесть эти книги?

Гореглядова. И мнѣ, ma bonne amie!

Княгиня. Съ большимъ удовольствіемъ... когда прочту ихъ сама.

Слуга (*растворяя дверь*). Анна Степановна Слукина!

Княгиня. Ну, такъ,—всегда первая!.. Какъ она мнѣ надоѣла! (*Идетъ къ ней навстрѣчу*). Вотъ одолжили, Анна Степановна! Это по-пріятельски. Чѣмъ ранѣе, тѣмъ лучше... А, Варвара Николаевна! Bon soir, mon enfant!

Черезъ полчаса въ гостиной княгини Ландышевой играли уже на трехъ столахъ въ вистъ, а въ залѣ музыканты настраивали свои инструменты. Иванъ Степановичъ Вельскій и Алексѣй Андреевичъ Зоринъ были на-лицо; но Анна Степановна не взяла карточки, потому что недоставало князя Владиміра Ивановича, чтобъ составить ея всегдашнюю партію. Четвертаго игрока найти было не трудно, да только, можетъ быть, онъ не сталъ бы прощать Аннѣ Степановнѣ ренонсы и не позволилъ бы ей приписывать онеровъ. Вотъ ужъ въ гостиной стало тѣсно. Вотъ загремѣла музыка, и нѣсколько вѣжливыхъ кавалеровъ съ просѣдью *подняли* съ полдюжины почетныхъ дамъ и первыхъ чиновницъ общества. Переваливаясь съ ноги на ногу, они потащились въ залу, чтобы, какъ водится, открыть балъ неизбѣжнымъ «польскимъ». Молодые люди нехотя пристали къ нимъ, и длинный рядъ танцующихъ, изгибаясь и изворачиваясь въ разныя стороны, началъ прохаживаться по залѣ и всѣмъ открытымъ комнатамъ. Въ третьей парѣ Вельскій велъ Анну Степановну, которая съ примѣтнымъ нетерпѣніемъ посматривала вокругъ себя.

— Что это нашъ князь Владиміръ Ивановичъ не ѣдетъ?—сказала она, наконецъ, своему кавалеру.—Охота же ему терять золотое времячко! Да не сѣсть ли намъ, батюшка, Иванъ Степановичъ, втроемъ? Я буду играть парти-фиксъ съ болваномъ.

— Князь скоро будетъ, — отвѣчалъ сухо Вельскій,—а между тѣмъ я хочу воспользоваться его отсутствіемъ и спросить васъ: слышали ли вы, что говорятъ въ городѣ?

— А что такое?

— Вы, вѣрно, не забыли, зачѣмъ пріѣзжала къ вамъ третьяго-дня моя кузина. Вы почти дали ей слово, а, несмотря на это, говорятъ, будто бы имѣете какіе-то другіе виды на Варвару Николаевну. Я не хочу этому вѣрить; но согласитесь, что такіе слухи очень непріятны, особливо для человѣка, который, смѣю васъ увѣрить, не привыкъ играть жалкую роль всесвѣтнаго жениха. Такъ извините, Анна Степановна, если я попрошу васъ не откладывать моего благополучія и объявить рѣшительно, что вы принимаете мое предложеніе.

— Что вы, что вы, Иванъ Степановичъ? Подумайте! Мѣсто ли здѣсь?..

— Да я и не прошу васъ дѣлать помолвку здѣсь на балѣ, а если позволите, пріѣду къ вамъ послѣзавтра съ моей кузиной.

— Послѣзавтра? То есть въ пятницу? По-

милуйте, что за экстра такая, и къ чему такъ торопиться?

— Да хоть бы для того, сударыня, чтобъ уронить эти вздорные слухи, столько же обидные для васъ, сколько и для меня. Впрочемъ, я не хочу никакъ васъ женировать; извольте, я пріѣду къ вамъ не въ пятницу, а въ субботу; но тогда уже попрошу у васъ позволенія извѣстить всѣхъ родныхъ и пріятелей о моей помолвкѣ. Послѣ того, что вы изволили говорить моей кузинѣ, я не смѣю и сомнѣваться...

— Помилуйте, да что жъ я такое говорила?—прервала съ большимъ смущеніемъ Анна Степановна.—Конечно, я сказала ея превосходительству, что для меня весьма пріятно, что я очень буду рада...

— Слѣдовательно, вы согласны? И позвольте вамъ сказать, Анна Степановна, что послѣ этого всякое съ вашей стороны затрудненіе будетъ явнымъ доказательствомъ, что вы хотѣли насъ одурачить, смѣяться надо мной, надъ моей кузиной, надъ всѣмъ нашимъ семействомъ... Но,—виноватъ,—я вижу, что ужъ одно это обидное предположеніе васъ огорчаетъ. Итакъ, въ субботу?.. Вотъ и «польскій» кончился. Теперь я въ вашихъ приказаніяхъ, и если вамъ угодно играть втроемъ въ вистъ...

Но Слукиной было не до виста. Она отказалась и сѣла въ залѣ между матушекъ, тетушекъ и старшихъ сестрицъ. Проигравъ еще нѣсколько минутъ «польскій», музыка перестала, и изъ толпы нетерпѣливыхъ танцовщиковъ, между которыми было человѣкъ пять военныхъ, раздалось, наконецъ, давно жданное восклицаніе — «вальсъ!» Музыканты заиграли изъ «Волшебнаго Стрѣлка», и этотъ, исполненный жизни, веселый и невинный танецъ начался...

Невинный! Какая пошлая иронія! Какая старая, избитая насмѣшка! Извините, я вовсе не шучу и повторяю еще разъ безъ всякой ироніи, что этотъ танецъ точно такъ же невиненъ, какъ и всѣ прочіе: какъ щеголеватая французская кадриль, какъ блестящая мазурка, какъ давно забытые экосезы и даже, какъ древній, чопорный минуэтъ. Англійскіе писатели, а вслѣдъ за ними французскіе, а вслѣдъ за французскими наши немилосердно клевещутъ на бѣдный и, право, безвинный вальсъ. Послушайте ихъ: какъ сердце дѣвушки бьется почти въ одной груди съ сердцемъ того, кто съ ней танцуетъ; какъ дыханья ихъ сливаются; какъ шелковые волосы красавицы касаются его пылающихъ щекъ; какъ рука въ руку, душа въ душу, они летаютъ по гладкому паркету, отдѣляются отъ земли, живутъ въ другомъ мірѣ, и прочая. Ну, прошу послѣ этого вѣрить печатному! Я спрашиваю всѣхъ молодыхъ людей, что можетъ быть невиннѣе этого удовольствія, и приходитъ ли кому изъ нихъ на умъ въ то время, когда онъ вальсируетъ съ какой-нибудь красавицей, что она почти лежитъ въ его объятіяхъ? Чувствуетъ ли онъ какое-нибудь особенное удовольствіе отъ того, что рука ея покоится на его плечѣ, и не предпочтетъ ли онъ праву обвивать своей рукой ея талію и вертѣться съ нею въ кадансъ дозволеніе, просто, безъ всякихъ танцевъ и украдкою, взять ее за руку? Почему правовѣрный мусульманинъ, не имѣющій никакого понятія о нашихъ обычаяхъ, отвернется съ отвращеніемъ отъ самой добродѣтельной женщины, которая подойдетъ къ нему съ открытымъ лицомъ и почтительно будетъ смотрѣть на какую-нибудь Нинону Ланкло, если она окутаетъ свою голову вуалемъ? Потому, что наши дамы, даже и не очень красивыя, не прячутъ ни отъ кого своихъ лицъ; на Востокѣ безъ покрывала ходятъ однѣ только женщины, принадлежащія къ самому послѣднему и презрительному разряду общества. Почему какая-нибудь краса Востока, пламенная черноглазая турчанка трепещетъ и дрожитъ, какъ преступница, почему сердце ея замираетъ отъ восторга и ужаса, когда она откидываетъ назадъ свое покрывало передъ мужчиною? Потому, что, открывая лицо свое, она дѣлаетъ все то-же самое, что сдѣлала-бы наша русская барышня, если бъ сказала мужчинѣ: «Я люблю тебя и хочу быть твоею». Теперь видите ли, что въ нашемъ житейскомъ быту не самое дѣйствіе, но мысль, которую мы къ нему привязываемъ, дѣлаетъ его или совершенно невиннымъ, или рѣшительно преступнымъ въ глазахъ нашихъ! И вотъ почему я называю невиннымъ танецъ, который, несмотря на всѣ піитическія описанія, не можетъ возбуждать въ насъ никакихъ дурныхъ помысловъ, потому что право обнимать гибкій станъ дѣвушки и держать въ рукѣ своей ея руку принадлежитъ не исключительно одному, но всѣмъ, то есть каждому, кто танцуетъ, и по этой самой причинѣ не говоритъ ничего нашему воображенію, не ведетъ насъ ни къ чему и, слѣдовательно, не значитъ ничего.

Но, виноватъ: заступаясь за бѣдный, оклеветанный вальсъ, я забылъ совѣмъ про мою не столь невинную Анну Степановну. «Въ субботу»,—повторяла она про себя, — «въ субботу! А дѣло мое слушаютъ еще на будущей недѣлѣ... Нѣтъ, батюшка Иванъ Степановичъ, хоть вы и родня нашему губернатору, а не прогнѣвайтесь: своя рубашка къ тѣлу ближе. Не хотѣлось бы мнѣ ссориться съ ея превосходительствомъ... ну, да дѣлать нечего!»

Въ эту самую минуту обѣ половины дверей передней распахнулись, и губернаторша, въ сопровожденіи двухъ дамъ, вошла въ залу. Она сказала что-то мимоходомъ хозяйкѣ и, не замѣчая никого, прямо подошла къ Слу-

киной, расцѣловалась, сѣла подлѣ нея на стулѣ и наговорила ей столько пріятныхъ вещей, что бѣдная статская совѣтница совсѣмъ одурѣла, особливо, когда губернаторшины ассистентки принялись одна передъ другой увѣрять ее въ своей дружбѣ, любви и уваженіи. Вся твердость ея поколебалась. «Ахъ ты, Господи Боже мой»!—думала она, когда губернаторша усѣлась со своимъ причтомъ за ломберный столикъ. «Да что же мнѣ дѣлать? Идти на явную ссору съ ея превосходительствомъ послѣ такихъ ласкъ? Теперь я почти первый человѣкъ на балѣ... а тогда! И взглянуть-то на меня никто не захочетъ. Охъ, да вѣдь они потребуютъ приданаго... непремѣнно потребуютъ!.. А мое дѣло?.. Ахти!.. Бѣда, да и только!»

— Здравствуйте, матушка, Анна Степановна!—сказалъ предсѣдатель гражданской палаты, Зоринъ, усаживаясь подлѣ Слукиной.—Радъ сердечно, что могу съ вами словечка два перемолвить. Да гдѣ же Варвара Николаевна?

— Здѣсь, батюшка, Алексѣй Андреевичъ! Развѣ не видишь, танцуетъ вотъ съ этимъ гусарскимъ офицеромъ... какъ его?

— Тонскимъ?

— Да, батюшка. Да что жъ она съ нимъ такъ растанцовалась!.. Не видитъ, что ты здѣсь, а то давно бы кончила, чтобъ подойти къ намъ. Ужъ какъ она тебя уважаетъ, Алексѣй Андреевичъ, какъ любитъ!.. Варенька, поди сюда, мой другъ! Ну, вотъ ты все спрашиваешь: «Да будетъ ли сюда Алексѣй Андреевичъ? Да пріѣдетъ ли онъ?..» Вонъ онъ, на-лицо. Ну что, успокоилась?

Бѣдная Варенька поглядывала съ удивленіемъ на свою мачеху, краснѣла, присѣдала и не знала, что ей отвѣчать.

— Какъ вы изволили вспотѣть, Варвара Николаевна!—сказалъ съ вѣжливою ужимкою Зоринъ, цѣлуя у ней руку.—Словно розанъ раскраснѣлись. А что, вѣрно, очень устать изволили?

— Нѣтъ-съ!—отвѣчала разсѣянно Варенька, поглядывая въ ту сторону, гдѣ стоялъ прекрасный собою молодой человѣкъ, въ гусарскомъ вицъ-мундирѣ.

— Вы, какъ вижу, отмѣнно любите танцы,—продолжалъ Алексѣй Андреевичъ.

— Да-съ.

— Угодно вамъ французскую кадриль? — сказалъ, шаркнувъ ногою, долговязый недоросль съ огромнымъ хохломъ и накрахмаленными брызжами.

Варенька подала ему руку, а Зоринъ снова обратился къ Аннѣ Степановнѣ.

— Сегодня, матушка, я цѣлое утро занимался вами,—сказалъ онъ вполголоса.

— Мною, Алексѣй Андреевичъ?!

— То есть вашей тяжбой.

— Покорнѣйше васъ благодарю.

— Охъ, Анна Степановна, надѣли вы мнѣ петлю на шею!

— Какъ такъ, батюшка?

— Да вѣдь дѣло-то ваше больно плоховато.

— Что ты, мой отецъ! Дѣло чистое, святое!

— Нѣтъ, матушка, Анна Степановна, пополамъ съ грѣшкомъ. Конечно, можно бы повернуть его иначе, да чтобъ оглядокъ не было. Вѣдь рѣшеніе уѣзднаго суда не законъ, а голословныя доказательства вашего права не документы, матушка, Анна Степановна!

— Ну, Алексѣй Андреевичъ, не думала я, чтобъ ты...

— Да что жъ мнѣ дѣлать! — прервалъ предсѣдатель.—Я вамъ докладываю, что дѣло ваше очень плоховато. Конечно, одинъ Богъ безъ грѣха: что и говорить,—какъ подчасъ не покривить душою для родного человѣка...

— Ну вотъ то-то и есть, батюшка!

— Да вѣдь мы еще съ вами не родня, Анна Степановна!

— Я тебѣ говорила, мой отецъ, возьми терпѣнья недѣльки на три.

— Такъ и вы ужъ, матушка, потерпите.

— Какъ потерпѣть? А не ты ли мнѣ сказалъ, что на будущей недѣлѣ?..

— Мало ли что говорится, сударыня! Да вѣдь я же вамъ не передъ зерцаломъ это объявилъ, и мои слова въ протоколъ не записаны.

— Ну, батюшка, Алексѣй Андреевичъ, покорнѣйше благодарю!

— Да что, Анна Степановна, изъ пустого въ порожнее переливать! Не угодно ли вамъ этакъ денька черезъ три помолвку сдѣлать, такъ я за ваше дѣло примусь порядкомъ. А тамъ, какъ свадебку сыграемъ, такъ на другой день и резолюцію подмахну.

— Что ты, что ты, мой отецъ? Черезъ три дня помолвка! Да вѣдь это не что другое— около пальца не обведешь. Черезъ три дня! Да въ умѣ ли ты, батюшка!

— Какъ угодно, Анна Степановна! Вашъ разумъ, ваша и воля.

— И гдѣ видано? Присталъ, какъ съ ножомъ къ горлу!

— И, матушка, Анна Степановна! Да коли вы сами проволочекъ не жалуете, такъ за что же и мнѣ ихъ любить?.. Но, извините: господинъ Вельскій сказалъ мнѣ, что вы отъ партіи отказались, такъ я взялъ карточку и, чай, меня дожидаются. Подумайте хорошенько, матушка. Денька черезъ два я самъ у васъ побываю. Честь имѣю кланяться!

Анна Степановна не успѣла еще образумиться отъ такого неожиданнаго нападенія, какъ вдругъ худощавый мужчина, высокаго роста, съ усами и густыми черными бакенбардами, которыя, сходясь подъ галстухомъ, обхватывали, какъ рамками, блѣдное лицо его, явился передъ нею и молча устремилъ на нее свои блестящіе глаза.

— Ахъ, князь Владиміръ Ивановичъ!— вскричала Слукина.—Это вы?

— Да, сударыня, это я, — прошепталъ князь, — продолжая смотрѣть на нее съ той «горькой» бироновской улыбкой, о которой такъ много говорятъ новѣйшіе французскіе писатели.—Это я!—повторилъ онъ тихо, но такимъ мрачнымъ и глухимъ голосомъ, что у статской совѣтницы сердце замерло отъ ужаса.

— Ахъ, батюшка, ваше сіятельство,—сказала она съ безпокойствомъ,—да что съ вами сдѣлалось?

— Ничего, бездѣлица, самый обыкновенный случай. Представьте себѣ, что мнѣ бы вздумалось понтировать и счастье всей моей жизни поставить на одну карту.

— Эхъ, князь, напрасно! Что вамъ дался этотъ банкъ? Играли бы себѣ да играли въ вистикъ...

— Да! — продолжалъ князь, не слушая Слукиной.—Да, все блаженство, всѣ радости, все, что привязываетъ насъ къ жизни, поставлено на одной картѣ, и вы думаете, что я позволю банкомету передернуть?.. Вы меня понимаете!

— Нѣтъ, батюшка, не понимаю.

— Скажите мнѣ, Анна Степановна, знаете ли вы, что такое любовь?

— Какъ не знать, Владиміръ Ивановичъ! Я очень любила покойника.

— Любили? То-есть поплакали, когда онъ умеръ, износили черное фланелевое платье и построили деревянный голубецъ надъ его могилой?

— Да, князь, я все это выполнила, какъ слѣдуетъ.

— Какъ слѣдуетъ! Нѣтъ, Анна Степановна, я говорю вамъ не объ этой любви.

— О какой же, батюшка?

— О той, которая наполняетъ мою душу; о той, которая не знаетъ и не хочетъ знать никакихъ приличій, никакихъ условій свѣта, которая... Но я вижу, что мнѣ должно говорить съ вами опредѣлительнѣе. Эта любовь, сударыня, походитъ на булатный кинжалъ черкеса: онъ гладокъ, свѣтелъ и красивъ, но имъ играть опасно. Вы меня понимаете?..

— Нѣтъ, батюшка, не понимаю!

— Послушайте. Я люблю Варвару Николаевну, и если бы кто-нибудь осмѣлился забавляться этой страстью, шутить счастіемъ всей моей жизни; если-бъ вы, Анна Степановна...

— Ахъ, батюшка, ваше сіятельство, что вы, что вы?..

— Я васъ спрашиваю, для чего она до сихъ поръ не принадлежитъ мнѣ? Для чего мнѣ эти отсрочки? Кажется, между нами все кончено. Мы сторговались?..

— Опомнитесь, князь! Что вы говорите?

— Не прогнѣвайтесь, Анна Степановна! Я ненавижу эту приторную вѣжливость, которая хочетъ все на свѣтѣ усыпать розами. Я люблю называть вещи собственными ихъ именами, и повторяю еще разъ:—мы сторговались; и теперь вы не имѣете никакого права продавать эту несчастную сироту съ публичнаго торга, какъ продаютъ невольницъ на базарахъ Востока. Она—моя!

— Тише, князь! Бога ради, тише! Что вы это?..

— Скажите одно слово, и я замолчу.

— Да что это съ вами сдѣлалось! Помилуйте, съ чего вы взяли, что я отступлюсь отъ моего обѣщанія?—Но вѣдь надобно также подумать и о Варенькѣ. Дайте ей хоть немножко къ вамъ привыкнуть,—а то долго ли до бѣды? Какъ больно круто повернемъ, да дѣвка то заупрямится...

— О, объ этомъ не безпокойтесь!

— Ну, Богъ вѣсть! Вѣдь она еще молода, глупа, не вдругъ пойметъ, что жениха съ четырьмя тысячами душъ не встрѣтишь на каждомъ перекресткѣ.

— Фи, что это такое? Да кто вамъ говоритъ о душахъ, Анна Степановна? Я вижу, мы вѣчно не поймемъ другъ друга. Послушайте: быть можетъ, вы имѣете причины откладывать нашу свадьбу, но я ихъ не имѣю, и говорю вамъ рѣшительно: или завтра же вы меня примете, какъ жениха Варвары Николаевны, или весь городъ узнаетъ, какъ вы торгуете вашей падчерицей.

— Завтра? Какъ завтра?

— Извольте, я дамъ вамъ двое сутокъ на размышленіе. Слышите ли, Анна Степановна? Двое сутокъ! То есть, — прибавилъ князь, посмотрѣвъ на свои часы,—въ пятницу, ровно въ полночь, Варвара Николаевна назоветъ меня женихомъ своимъ, а вы, — какъ вамъ угодно,—вы можете не называть меня своимъ сыномъ: я объ этомъ не хлопочу.

Сказавъ это, князь кивнулъ слегка головою Аннѣ Степановнѣ и пошелъ отыскивать хозяйку дома.

— Да чтожъ это такое?—прошептала статская совѣтница. — Что они всѣ, прости Господи, бѣлены чтоль объѣлись? Ну какъ они вздумаютъ стакнуться, да всѣ трое разомъ ко мнѣ пристанутъ? Ахъ, Господи! Нѣтъ, нѣтъ!.. Уберусь-ка, за добра ума, поскорѣй домой, и завтра чѣмъ-свѣтъ пошлю за Николаемъ Ивановичемъ: авось онъ придумаетъ что-нибудь?.. Варенька! Варенька!.. Не слышитъ!.. Да что у ней за шуры-муры съ этимъ Тонскимъ?.. Варвара Николаевна!

— Что вамъ угодно? — сказала Варенька, подойдя къ Аннѣ Степановнѣ.

— А то, сударыня, чтобъ вы не изволили перебивать съ каждымъ сорванцомъ, который танцуетъ съ вами на балѣ. О чемъ ты, матушка, тараторила полчаса съ этимъ офицерикомъ, а? Ужъ не подпускаетъ ли онъ тебѣ какихъ-нибудь турусовъ на колесахъ? Ну то-

то; у меня смотри, сударыня! Да изволь-ка взять свою шаль: мы сейчасъ ѣдемъ.

— Какъ маменька? Такъ рано!

— У меня голова очень разболѣлась.

Когда Слукина сошла съ крыльца, чтобъ ѣхать домой, она почувствовала, что кто-то подсаживаетъ ее въ карету. Этотъ вѣжливый кавалеръ былъ Тонскій.

— Покорно васъ благодарю, батюшка,— сказала она очень сухо,—напрасно изволили трудиться!

Карета застучала по исковерканной мостовой, и кто-то черезъ минуту проскакалъ мимо нея на дрожкахъ.

— Да чтожъ это такое?—продолжала Слукина, помолчавъ нѣсколько времени. — Что этотъ усачъ, словно осенняя муха, такъ въ глаза мнѣ и лѣзетъ? Куда я не люблю этихъ подлипалъ!

— А онъ очень васъ любитъ и уважаетъ, — сказала робкимъ голосомъ бѣдная дѣвушка.

— Право?.. А что мнѣ, матушка, въ его любви? И на какую потребу уваженіе этого нищаго? Я и сама замѣтила, что онъ что-то не путемъ умильно на тебя посматриваетъ. Ужъ не хочетъ ли денегъ попросить взаймы?.. Пожалуй, чего добраго, прикинется, что влюбленъ въ меня. Вѣдь эта голь хитра на выдумки: на обухѣ рожь молотитъ и съ камня лыки деретъ.

— Вы напрасно, маменька, такъ дурно о немъ думаете. Онъ очень честный и хорошій человѣкъ.

— Ась?.. Что мать моя?

— Я говорю, что онъ честный и хорошій человѣкъ.

— Право? Да что ты за него заступаешься? Что это значитъ, сударыня?

— Такъ, маменька, ничего.

— То-то ничего. Правда, я до нынѣшняго дня не замѣчала, чтобъ ты съ нимъ пускалась въ большіе разговоры, да и не думаю, чтобъ этотъ однодворецъ осмѣлился... Но какъ бы то ни было, а прошу васъ, сударыня, впередъ съ нимъ не фамильярничать: я этого не люблю. Да вотъ ужъ и мы пріѣхали. Ну, что сидишь? Вылѣзай, матушка!

Варенька выпрыгнула изъ кареты, и когда обернулась назадъ, сердце ея забилось отъ радости: насупротивъ, въ маленькомъ домикѣ, свѣтился огонекъ и подлѣ открытаго окна сидѣлъ Тонскій.

IV.

— Голубчикъ, Николай Ивановичъ, батюшка, будь отецъ родной: приставь голову къ плечамъ!—такъ говорила Анна Степановна Слукина, когда на другой день, рано поутру, Холминъ вошелъ въ гостиную, въ которой она его дожидалась.

— Что съ вами сдѣлалось, Анна Степановна?—спросилъ онъ, садясь подлѣ нея на канапе.

— Охъ, бѣда, кормилецъ, сущая бѣда! Всю ноченьку не спала; ужъ я вертѣлась съ боку на бокъ, думала, думала!.. А что проку? Какъ ни кинь, все клинъ!

— Да что такое?

— Что, батюшка, худо! Всѣ женихи мои взбѣленились.

— Какъ такъ?

— Да такъ: словно заговоръ какой. Вчера,—да еще, слава Богу, что поодиночкѣ,— пристали ко мнѣ: «рѣши, да рѣши!» Я и такъ, и сякъ. Куда-те! И слышать не хотятъ. Повѣришь ли, никто больше трехъ дней сроку не даетъ? Этотъ франтъ, шематонъ, губернаторскій племянникъ, такъ закидалъ меня словами, что я чуть было сама не повѣрила, что выдаю за него Вареньку. А крапивное то сѣмя, выжига проклятая, Зоринъ, какъ будто бы ему чортъ на ухо шепнулъ! Формально объявилъ мнѣ, что дѣло мое до тѣхъ поръ не будетъ рѣшено, пока я сама съ нимъ не порѣшусь. И даже этотъ шальной князь, Владиміръ Ивановичъ, ну вотъ такъ и напираетъ,—да такія рѣчи говоритъ, — Господи, Боже мой, уши вянутъ, батюшка!

— Ну, матушка, не предсказывалъ ли я вамъ?..

— Эхъ, Николай Ивановичъ,—брани меня, ругай, да только выручи!

— Выручи! Это легко сказать, Анна Степановна. Какъ ни вертись, какъ ни хитри, а надобно объявить, за кого Варенька идетъ замужъ.

— Да лишь только я объявлю, такъ Зоринъ и Вельскій...

— Что и говорить: житья вамъ не будетъ! А особливо Вельскій и его семейство...

— Охъ, бѣда, батюшка! Живую съѣдятъ. Вѣдь ты знаешь, какая семейка-то!

— То-то и есть. Впрочемъ, что жъ въ самомъ дѣлѣ: не за того, такъ за другого, а надобно выйти замужъ. Оно досадно,—спору нѣтъ, да вѣдь нельзя же и Варенькѣ разорваться. Посердятся, посердятся да перестанутъ. А вотъ чего никогда вамъ не простятъ, что вы ихъ обманывали, водили за носъ, за-знамо дурачили.

— Такъ, батюшка, такъ.

— Ну, пусть Варенька выйдетъ за князя Владиміра Ивановича,—это еще ничего; только бы васъ-то какъ-нибудь выгородить.

— Въ томъ-то и дѣло, мой отецъ. Постарайся, родной! Придумай что-нибудь.

— Постойте-ка!.. А что, въ самомъ дѣлѣ, Анна Степановна, — вѣдь вы тогда только будете въ отвѣтѣ, когда отдадите сами Вареньку замужъ!.. Ну, а если она убѣжитъ и обвѣнчается безъ вашего вѣдома?..

— Какъ убѣжитъ!

— Ну да! Если ее увезутъ.

— Увезутъ? Кто увезетъ?

— Разумѣется, князь Владиміръ Ивановичъ.

— А, понимаю! Только, воля твоя, что ему за радость увозить Вареньку, когда онъ и безъ этого можетъ на ней жениться?

— Что за радость? Такъ вы вовсе его не знаете! Да онъ, я думаю, съ тоски умираетъ, что долженъ жениться такимъ обыкновеннымъ и пошлымъ образомъ. О, повѣрьте мнѣ, Анна Степановна, — лишь только я ему намекну, что онъ можетъ и даже долженъ увезти свою невѣсту, такъ онъ запрыгаетъ отъ радости. Да, впрочемъ, это ужъ мое дѣло: не безпокойтесь.

— Но, я думаю, мнѣ надобно прежде поговорить объ этомъ съ Варенькой?

— Что вы, что вы! Напротивъ, она должна думать, что все дѣлается безъ вашего вѣдома. За скромность мою я вамъ ручаюсь; но я никакъ не поручусь вамъ ни за Вареньку, ни за будущаго ея мужа, съ которымъ, вѣроятно, она секретничать не станетъ. Вы, я думаю, понимаете всю важность этой тайны. И малѣйшее подозрѣніе можетъ васъ совершенно погубить въ общемъ мнѣніи. А если, на бѣду, откроется вся истина, то вы совсѣмъ погибли. Весь городъ на васъ обрушится. Чего добраго, эту невинную хитрость назовутъ, пожалуй, подборомъ, стачкою, фальшивымъ поступкомъ, вмѣшаютъ правительство. А вы знаете, Анна Степановна, какъ судятъ дворянъ за фальшивые поступки?..

— Охъ, знаю, батюшка, знаю! Лишатъ чиновъ и дворянства. Только, воля твоя, гдѣ-жъ тутъ фальшивый поступокъ?

— Какъ гдѣ? Да развѣ вы не должны будете принести жалобу губернатору? Развѣ не станете кричать, что Вареньку увезли, что она обвѣнчалась безъ вашего вѣдома и согласія?.. Вѣдь чѣмъ болѣе вы надѣлаете шуму, тѣмъ невиннѣе будете казаться въ глазахъ тѣхъ, которые по милости вашей останутся въ дуракахъ.

— Правда, мой отецъ, правда!

— Не мѣшайте только мнѣ, а ужъ дѣло будетъ сдѣлано. Да гдѣ Варенька?

— У себя, батюшка, на антресоляхъ.

— Такъ я пойду и переговорю съ нею, а вы подождите меня здѣсь.

Часа черезъ полтора Холминъ вошелъ опять въ гостиную.

— Ну что, мой отецъ, — спросила торопливо Анна Степановна,—уладилъ ли ты наше дѣльце?

— Кой-какъ уладилъ. Да ужъ чего же мнѣ это стоило! Въ одномъ я не ошибся: Варенька точно не равнодушна къ князю, но убѣжать съ нимъ и обвѣнчаться безъ вашего вѣдома никакъ не хотѣла.

— Вотъ что!

— Я объявилъ рѣшительно, что вы никогда не выдадите ее замужъ за того, кого она любитъ.

— Ну!.. Что-жъ она?

— Заплакала, а бѣжать не соглашалась. Я сказалъ ей, что она не родная ваша дочь и не обязана вамъ слѣпымъ повиновеніемъ.

— Ну, ну! Что-жъ она?

— Согласилась со мною, а бѣжать не хотѣла. Я сталъ ей доказывать, что это одинъ способъ выйти замужъ; что она вѣчно останется въ дѣвкахъ, если будетъ дожидаться вашего благословенія.

— Ну!

— И въ этомъ не спорила со мною, а убѣжать никакъ не рѣшилась.

— Этакая упрямая дѣвчонка! Батюшкинъ нравъ, что и говорить. Да чего-жъ она хотѣла?

— Чтобъ я далъ честное слово, что вы ее простите. Нечего быть дѣлать: я побожился ей, что вы торжественно и при всѣхъ ее простите. Теперь смотрите же, Анна Степановна, не введите меня въ слово.

— Такъ она очень этого добивалась? А не знаешь ли, батюшка, на что ей мое прощеніе?

— Она говоритъ, что ей стыдно будетъ на людей смотрѣть, если вы навсегда отъ нея отступитесь.

— Право? Такъ у ней нѣтъ ничего другого на умѣ?

— А что такое?

— Такъ, ничего! Впрочемъ мы съ княземъ на этотъ счетъ ужъ объяснились; и у меня есть кой-какіе документики.

— Документы? Какіе документы?

— Такъ, батюшка, такъ! Вотъ изволишь видѣть: дѣло мое вдовье,—сохрани Господи, навяжется зять ябедникъ, затаскаетъ по судамъ. Вѣдь за меня, сиротинку, вступиться некому. Такъ Варенька хочетъ непремѣнно, чтобъ я ее простила?

— Да, Анна Степановна, и я въ этомъ далъ ей честное слово.

— Ну, хорошо! Однако жъ, какъ ты думаешь, батюшка: все-таки надобно поломаться?

— Немножко, да! Но много не совѣтую: это будетъ ненатурально. Вы всегда такъ любили Вареньку, ваша нѣжность къ ней всѣмъ извѣстна, и если вы хоть крошечку пересолите, злые люди тотчасъ скажутъ, что вы играли комедію.

— Хорошо, батюшка, хорошо! А когда же?

— Чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше; а то, Богъ знаетъ, неравно еще ваши женихи какъ-нибудь изъяснятся между собою, такъ и выдумка наша ни на что не будетъ годиться. Я думаю, сегодня ночью.

— Сегодня?..

— Да. Скажите, что у васъ голова болитъ. Вареньку спать не укладывайте, а сами часу въ десятомъ ляжьте почивать. Она скажетъ своей дѣвушкѣ, что у ней безсонница и, этакъ часу въ двѣнадцатомъ, пойдетъ гу-

лять по саду. Въ задней улицѣ, подлѣ калитки будетъ стоять карета, а я въ моей деревнѣ,—знаете, что верстъ пять отсюда,—стану ихъ дожидаться въ приходской церкви. Да ужъ не безпокойтесь,—все будетъ улажено. Вы, Анна Степановна, не извольте вставать ранѣе обыкновеннаго; а какъ встанете, да хватитесь Вареньки, такъ и подымите штурмъ: сейчасъ карету, къ губернатору; ревите, плачьте... Да что вамъ толковать,—прибавилъ Холминъ, раскрывая свою серебряную табакерку:—ученаго учить, лишь только портить.

Слукина улыбнулась и, понюхавъ табаку вмѣстѣ съ Николаемъ Ивановичемъ, сказала съ видомъ глубокаго смиренія:

— И, батюшка, гдѣ намъ! Вѣдь я человѣкъ глупый: что на умѣ, то и на языкѣ. Да дѣлать нечего,—попробую, прикинусь какъ-нибудь.

— Только смотрите.—продолжалъ Холминъ, вставая,—если губернаторъ васъ спроситъ: на кого вы имѣете подозрѣніе, не вздумайте намекнуть на князя: онъ изо всѣхъ Варенькиныхъ жениховъ самый выгодный, слѣдовательно, тотчасъ можетъ родиться подозрѣніе, что тутъ есть съ вашей стороны какая-нибудь хитрость и подборъ. Стойте въ одномъ: знать не знаю, вѣдать не вѣдаю!

— Слушаю, батюшка.

— Прощайте-же, Анна Степановна. Я отправлюсь теперь къ князю, а тамъ къ себѣ, въ деревню. Мнѣ сегодня дѣла будетъ много,—такъ не погнѣвайтесь, если я къ вамъ ужъ не зайду.

Николай Ивановичъ отправился. Вотъ прошло утро; вотъ ужъ буфетчикъ Филька, въ своемъ засаленномъ сюртукѣ, вошелъ въ гостиную и доложилъ, что кушанье готово. Анна Степановна сѣла вдвоемъ со своей падчерицей за столъ. Онѣ обѣ молчали. Какъ ни старалась Варенька казаться спокойною, но яркій румянецъ, который выступалъ по временамъ на ея блѣдныхъ щекахъ, разсѣянные взоры, смущенный видъ,—все изобличало необыкновенное состояніе ея души. Анна Степановна была также не очень спокойна; кушала очень мало, то есть, не за троихъ, вертѣлась на своемъ стулѣ и безпрестанно посматривала на стѣнные часы съ курантами, которые висѣли въ столовой.

— Что это подѣлалось съ нашей барыней?—шептали межъ собой слуги.—Словно въ воду опущенная; словечка не вымолвитъ! Да и барышня-то не краше ея.

— Посмотри-ка, Пароенъ,—сказалъ буфетчикъ, сдавая повару непочатое блюдо,—что за диковинка такая: барыня не изволила сегодня и левашниковъ кушать?

— Да, братъ, это не даромъ!—замѣтилъ поваръ, посматривая съ удивленіемъ на любимое «хлѣбенное» Анны Степановны... Всѣ до одного цѣлехоньки! Ну!..

Такъ прошелъ весь день. Часу въ девятомъ Анна Степановна стала жаловаться на головную боль, повязалась намоченнымъ въ уксусѣ полотенцемъ и безпрестанно нюхала одеколонъ.

— Ахъ, какъ у меня голова-то расходилась,—промолвила она подъ-конецъ болѣзненнымъ голосомъ.—Лягу пораньше, авось сномъ пройдетъ... А вы, голубушки, смотрите,—продолжала она, обращаясь къ своимъ горничнымъ дѣвушкамъ,—прошу не мѣшать мнѣ спать: что-бы ни случилось, не смѣй никто меня будить! Слышите?.. Ахъ, Господи, словно молотками въ виски колотитъ! А все оттого, что совсѣмъ моціону не дѣлаю. Да и ты, Варенька, вовсе не ходишь: все сидишь за рукодѣльемъ. Ну, что, хоть теперь: вечеръ славный, пошла бы себѣ гулять по саду. Эхъ, вы, барышни, барышни,—толку-то въ васъ нѣтъ: или всю ночь танцуете допаду, или цѣлый день сидите на одномъ мѣстѣ! Въ твои годы я, бывало, такую теплую ночь на-пролетъ гуляю. Ступай-ка, мой другъ, ступай! Какъ обойдешь разъ двадцать всѣ дорожки, такъ завтра будешь какъ встрепанная. А я прилягу: авось пройдетъ... Охъ, батюшки-свѣты, что за боль такая! Такъ голова и трещитъ... Прощай, Варенька, прощай, мой другъ!

Прошло еще около двухъ часовъ. Вотъ въ столовой заиграли куранты, и громкій колокольчикъ прозвенѣлъ одиннадцать разъ сряду.

— Не дожидайся меня, Дуняша,—сказала тихимъ голосомъ Варенька: мнѣ что-то не спится,—я пойду гулять по саду и разбужу тебя, когда ворочусь назадъ.

Дуняша, толстая дѣвка лѣтъ тридцати, у которой давно уже глаза слипались, вышла въ другую комнату, помолилась Богу, прилегла на свою постеленку и заснула мертвымъ сномъ. Варенька закутала голову платкомъ, накинула на себя бархатную кацавейку и сошла по дѣвичьему крыльцу во дворъ. Кругомъ все было тихо; одинъ только дремлющій сторожъ постукивалъ отъ времени до времени въ чугунную доску и лаяла изрѣдка цѣпная собака. Робко озираясь кругомъ, Варенька растворила рѣшетчатыя дверцы сада и пустилась по длинной, заросшей травою, аллеѣ. Ночь была лунная, но свѣтъ отъ полнаго мѣсяца едва проникалъ сквозь частыя вѣтки огромныхъ липъ, которыми обсажены были дорожки. О, какъ билось, какъ замирало сердце бѣдной дѣвушки! Черезъ нѣсколько минутъ участь ея должна была навсегда рѣшиться. Каждый шорохъ приводилъ ее въ трепетъ: зашелеститъ-ли вѣтерокъ между деревьями, хрупнетъ-ли сухая вѣтка подъ ея ногою, вскрикнетъ-ли кузнечикъ,—все заставляло ее вздрагивать и озираться.

Случалось ли вамъ,—я спрашиваю это

у моихъ читателей, а не читательницъ: женская скромность помѣшаетъ имъ отвѣчать откровенно,—случалось ли вамъ, впервыхъ, любить?.. Но поймите меня хорошенько: не такъ любить, какъ любятъ всѣ,—во второй, десятый, сотый разъ,—а такъ, какъ мы любимъ въ первый разъ въ жизни, со всею непорочностью юной, дѣвственной души; когда честь и добродѣтель той, которую выбрало наше сердце, дороже намъ самой жизни; когда мы не вѣримъ, а вѣруемъ и въ дружбу, и въ любовь? Если вы испытали это чувство, если когда-нибудь, поздно вечеромъ или въ тихую весеннюю ночь, вы дожидались вашей любезной въ тѣнистой рощѣ, и дожидались для того только, чтобъ въ сотый разъ повторить ей и, можетъ быть, въ первый услышать отъ нея: «я люблю тебя»—то скажите мнѣ, что происходило тогда въ душѣ вашей? Не замирало ли сердце, не прерывалось ли ваше дыханіе, когда, послѣ многихъ и напрасныхъ тревогъ, вы слышите, наконецъ, знакомый для васъ шорохъ, и вдали между деревьями мелькаетъ бѣлое платьице? Если вы не забыли еще, какое производили надъ нами дѣйствіе эти мучительныя и, въ то же время, неизъяснимо пріятныя ощущенія, то легко можете себѣ представить, что почувствовала Варенька, когда въ недальнемъ отъ нея разстояніи раздался внятный шелестъ шаговъ. Въ концѣ аллеи, по которой она шла, двѣ густыя черемухи, сплетаясь вѣтвями, составляли небольшой сводъ, сквозь который виднѣлись, какъ въ окно, свѣтло-голубыя, усѣянныя звѣздами, небеса. Вдругъ что-то темное заслонило этотъ отдаленный просвѣтъ.

— Это онъ!—шепнула Варенька, прислонясь къ дереву, чтобъ не упасть на землю.

Вотъ опять замелькали вдали звѣзды; опять что-то ихъ заслонило. Этотъ темный предметъ, бросая передъ собой длинную тѣнь, быстро подвигался впередъ. Вдругъ свѣтлый лучъ мѣсяца прорвался сквозь частыя вѣтви липъ и облилъ своимъ мирнымъ и тихимъ свѣтомъ закутаннаго въ сѣрую шинель высокаго мужчину. Варенька хотѣла сдѣлать шагъ впередъ, но ноги ея подогнулись, и она упала почти безъ чувствъ въ объятія Тонскаго.

— Это вы!.. Это ты, мой другъ!..—вскричалъ съ восторгомъ молодой человѣкъ.—О, я не смѣю вѣрить моему счастію! Мнѣ все кажется... Да, мой другъ, да, я боюсь проснуться!

Варенька не говорила ни слова, но голова ея лежала на груди Тонскаго и крупныя слезы текли по ея пылающимъ щекамъ.

— Ахъ, если вы когда-нибудь перестанете любить меня!—прошептала она прерывающимся голосомъ.

— О, никогда, никогда!

— *Меня некому было* благословить,—продолжала Варенька, рыдая.—У меня нѣтъ ни отца, ни матери...

— Они видятъ мое сердце,—прервалъ Тонскій,—и, вѣрно, въ эту минуту благословляютъ насъ обоихъ. Но пойдемъ, мой другъ: твой крестный отецъ дожидается насъ въ церкви. О, поспѣши, поспѣши сказать, что ты навсегда будешь принадлежать мнѣ!

Опираясь на руку Тонскаго, Варенька вышла изъ аллеи на обширный лугъ, который начинался отъ самаго дома и оканчивался заборомъ. Она невольно оглянулась назадъ, и ей показалось, что одно изъ оконъ спальни ея мачехи до половины было растворено. Между тѣмъ Тонскій отперъ калитку. Она опять захлопнулась, и коляска, запряженная четверкою лихихъ коней, помчалась, какъ изъ лука стрѣла. На минуту оживилась молчаливая улица: вдали раздался окликъ полусоннаго будочника, еще далѣе залаяли встревоженныя собаки... Стукъ отъ звонкой мостовой становился все тише и тише... Вотъ раздался еще одинъ едва слышный окликъ часового, и вскорѣ все замолкло попрежнему.

— Ну, слава Богу, уѣхали!—сказала Слукина, затворяя окно.—Ухъ, какъ гора съ плечъ!

Она поправила свой ночникъ, легла на постель и, мечтая о двухъ тысячахъ душъ, которыя теперь на всю жизнь и нераздѣльно останутся въ ея единственномъ владѣніи, заснула самымъ сладкимъ и спокойнымъ сномъ.

V.

— Дѣвка, дѣвка!.. Малашка!

Горничная дѣвушка отворила потихоньку дверь въ спальню Анны Степановны и остановилась на порогѣ.

— Который часъ?

— Семь часовъ, сударыня.

— Какъ я заспалась сегодня! Да что ты тамъ стоишь? Войди!

Горничная вошла. За нею перевалилась за порогъ старуха Кондратьевна, нянюшка Анны Степановны; за Кондратьевной тащилась ключница Мавра; за Маврой—двѣ пожилыя сѣнныя дѣвушки, изъ-за которыхъ виднѣлись головы трехъ или четырехъ прачекъ,—онѣ не смѣли войти въ опочивальню ихъ барыни и стояли въ уборной. На всѣхъ лицахъ изображались страхъ, смущеніе и какое-то робкое любопытство.

— Что вы, что вы?—вскричала Слукина.—Зачѣмъ?

Нянюшка посмотрѣла на ключницу, ключница поглядѣла на сѣнныхъ дѣвушекъ, сѣнныя дѣвушки поглядѣли другъ на друга, но никто не отвѣчалъ ни слова.

— Ну, что-жъ вы молчите? Зачѣмъ пришли? — повторила грознымъ голосомъ Слукина.

— Ахъ, матушка, Анна Степановна! — прохрипѣла, наконецъ, Кондратьевна.

— Родная ты наша! — завопила ключница.

— Да что такое сдѣлалось? — спросила Слукина, вставая съ постели и накидывая на себя шлафрокъ.

— Бѣда, матушка! — завизжала одна изъ сѣнныхъ дѣвушекъ.—Такой грѣхъ, что и доложить не смѣемъ.

— Да скажете ли вы мнѣ, проклятыя? — закричала Анна Степановна.—Говори хоть ты, Кондратьевна!

— Что, матушка, — несчастье, да и только: Варвара Николаевна безъ вѣсти пропала.

— Какъ пропала?

— А такъ, кормилица,—сгинула, да пропала. Вчера около полуночи она изволила пойти гулять въ садъ, Дуняшкѣ приказала себя не дожидаться, а та сдуру-то прилегла соснуть, да и прохрапѣла до самаго утра, окаянная. Какъ проснулась,—глядь, барышни нѣтъ, постель не измята! Она въ садъ, и тамъ никого; а калитка отперта! Вотъ, какъ она увидѣла, что дѣло-то худо,—ко мнѣ! Мы подняли всю дворню на ноги, обшарили всѣ мышиныя норочки: нѣтъ, какъ нѣтъ!

— Ахъ, Боже мой, да что жъ это значитъ? Неужели Варенька убѣжала съ какимъ-нибудь пострѣломъ? Быть не можетъ!

— Охъ, кормилица, видно такъ!—промолвила ключница. — Я сейчасъ ходила купить французскихъ хлѣбовъ къ нѣмцу булочнику, вотъ, что живетъ позади нашего сада.—«Все ли у васъ здорово?»—спросилъ онъ у меня.— А что, Францъ Ивановичъ.—«Да такъ!.. Вчера, этакъ въ полночь, подлѣ калитки вашего сада стояла коляска и я самъ видѣлъ, какъ какой-то высокій баринъ съ барыней вышли изъ саду, сѣли въ нее, да и по всѣмъ по тремъ!»

— Ахъ, Господи! Такъ въ самомъ дѣлѣ?!— вскричала отчаяннымъ голосомъ Слукина.— Такъ точно, она ушла?!. Карету, карету! Одѣваться, скорѣй, сейчасъ! Ахъ, срамъ какой? Бѣгите къ Николаю Ивановичу! Скажите ему, что я поскакала къ губернатору. Вотъ до чего дожила! Что стоите? Ступайте вонъ!.. Антонъ и Филька поѣдутъ за каретою... Ахъ, батюшки мои свѣты, что это!.. Малашка, черное платье!.. Да поворачивайся, негодная!.. Государи мои, что это!.. Бѣлый чепецъ!.. Да, Бога ради, карету, скорѣй карету!

Карету подвезли. Два дюжихъ лакея посадили въ нее Анну Степановну, у которой съ горя ноги подкосились и чуть-чуть голова держалась на плечахъ. Кучеръ ударилъ по лошадямъ, и онѣ взяли съ мѣста рысью, — что обыкновенно случалось въ однихъ только важныхъ и «экстренныхъ» случаяхъ. Анна Степановна была очень сострадательна къ животнымъ, и особенно берегла своихъ лошадей; правда, она кормила ихъ однимъ сѣномъ, но зато всегда ѣздила шагомъ. До губернаторскаго дома было далеко, и Слукина успѣла обдумать все и приготовиться къ своей роли. Она сдернула на одну сторону чепецъ, растрепала волосы, перевернула на-изнанку свою турецкую шаль, и до тѣхъ поръ нюхала откляночку съ нашатырнымъ спиртомъ, что глаза ея налились кровью, а вѣки распухли и покраснѣли. Вотъ, наконецъ, усталые кони остановились у подъѣзда губернаторскаго дома. Антонъ и Филька вынули свою барыню изъ кареты, почти внесли ее на рукахъ на лѣстницу, потомъ ввели подъ-руки въ столовую и посадили въ кресла, которыя подалъ ей вѣжливый губернаторскій камердинеръ, сказавъ, что его превосходительство сейчасъ ее приметъ. Минутъ черезъ пять двери изъ гостиной отворились, и вышелъ Николай Ивановичъ Холминъ.

— Губернаторъ проситъ васъ къ себѣ, — сказалъ онъ.

— Ахъ, это ты, мой отецъ! — вскричала Слукина. — Помогите мнѣ, родной. Охъ, батюшки мои!.. Ноги нейдутъ!

Николай Ивановичъ пособилъ ей подняться и, ведя ее подъ-руку, прошепталъ:

— Славно, Анна Степановна, славно; нельзя лучше. Только, пожалуйста, не такъ налегайте,—тяжело, матушка.

Въ гостиной встрѣтилъ ихъ губернаторъ; подлѣ него стояли дворянскій предводитель и докторъ фонъ-Дахъ.

— Успокойтесь, сударыня, — сказалъ губернаторъ, усаживая Слукину на канапе.

— Ахъ, батюшка, ваше превосходительство!—завопила она.—Отецъ ты нашъ!.. Помоги, спаси!

— Успокойтесь!.. Будьте увѣрены, я сдѣлаю все, что отъ меня зависитъ. Я сейчасъ узналъ отъ Николая Ивановича, что Варвара Николаевна...

— Вотъ, ваше превосходительство, до чего я дожила! Какой позоръ! Уйти изъ моего дома!.. Убѣжать, Богъ знаетъ съ кѣмъ!..

— Какъ? Такъ вы не знаете?

— Нѣтъ, ваше превосходительство! Какъ Богъ святъ, не знаю.

— И не имѣете даже подозрѣнія?

— Не имѣю, видитъ Богъ, не имѣю! Да и кого я могу подозрѣвать? Какъ могло прійти мнѣ въ голову, чтобъ дочь покойнаго моего Николая Степановича рѣшилась на такое дѣло? Ахъ, Господи, да неужели бы я стала противиться ея склонности? Ужъ я ли не любила, я ли не тѣшила ее, неблагодарную? На всѣхъ пошлюсь: въ глаза ей смотрѣла, сдувала съ нея каждую порошинку. И чѣмъ же она мнѣ отплатила? Ахъ, я несчастная! Охъ, тошно!.. Батюшки мои, тошно!.. Смерть моя!..

Анна Степановна закрыла глаза, голова

ея скатилась на грудь, и она упала *безъ чувствъ* на канапе.

— Воды, скорѣй воды!—закричалъ губернаторъ.—Ей дурно!

— Однако жъ она вовсе не поблѣднѣла,— замѣтилъ предводитель.

— Позвольте! — сказалъ докторъ фонъ-Дахъ, взявъ за руку Слукину.—Гмъ, гмъ!— промычалъ онъ, нахмуривъ брови. — Пульсъ очень высокъ, весьма высокъ... Сильный приливъ крови къ головѣ... Посмотрите, какъ горитъ ея лицо! Э, да это можетъ имѣть серьезныя послѣдствія. Сей-же-часъ надобно пустить кровь.

— Вы думаете?—сказалъ Холминъ.

— Да, да! Позвольте: со мною, кажется, есть ланцетъ. Гей, человѣкъ, тарелку... полотенце! Скорѣй, скорѣй! Не надобно терять ни минуты! Потрудитесь, Николай Ивановичъ, заворотить рукавъ, хотя на правой рукѣ... все равно!

Анна Степановна очнулась.

— Что вы, что вы? — вскричала она, отталкивая фонъ-Даха.

— Ничего, сударыня, ничего! Потерпите одну минуту. Вамъ надобно непремѣнно пустить кровь.

— Ахъ, батюшка, зачѣмъ, на что? Подите прочь, подите прочь!..

— Какъ вы себя чувствуете? — спросилъ губернаторъ.

— Крошечку получше. Охъ, батюшка, ваше превосходительство, что мнѣ дѣлать, къ чему приступить?.. Надоумьте меня, посовѣтуйте мнѣ!

— Если вамъ угодно знать мое мнѣніе, такъ вотъ оно. Вѣроятно, Варвара Николаевна уже обвѣнчана; слѣдовательно, это перемѣнить нельзя: на вашемъ мѣстѣ я простилъ бы ее.

— Какъ, батюшка, ваше превосходительство? Вы мнѣ совѣтуете?..

— Да вы сами говорили, что не стали бы противиться ея склонности.

— О, конечно бы не стала!.. Но разсудите милостиво!

— Я не оправдываю поступка вашей падчерицы: она дурно сдѣлала, что не имѣла къ вамъ довѣренности; вы такъ ее любите...

— Какъ родную дочь!.. Видитъ Богъ, какъ родную дочь!

— А если такъ, сударыня,—сказалъ предводитель,—такъ будьте же до конца нѣжной матерью—простите ее!

— Въ самомъ дѣлѣ, Анна Степановна, — прибавилъ Холминъ, мигнувъ украдкою Слукиной,—вѣдь снявши голову, о волосахъ не плачутъ. Добро-бы дѣло то было поправное, а то, что толку и себя надрывать, и ихъ мучить? Эхъ, матушка, простите ее!

— Ну, если всѣ меня просятъ, — сказала съ глубокимъ вздохомъ Слукина,— такъ, видно, пришлось простить...

— Но, можетъ быть,—промолвилъ губернаторъ,—тотъ, за кого она вышла замужъ...

— Да кто-бы онъ былъ,— прервала Слукина,—все равно! По-моему, батюшка, ваше превосходительство, прощать, такъ прощать. Онъ мужъ ея, такъ я и его буду любить, какъ родного сына.

— Какъ вы добры, Анна Степановна! — сказалъ предводитель.

— Что жъ дѣлать, Николай Ивановичъ! Знаю сама, что это слабость, да ужъ у меня натура такая!

— Вы слышите, ваше превосходительство?— сказалъ вполголоса Холминъ, обращаясь къ губернатору. — Госпожа Слукина добровольно, по одному побужденію своего добраго сердца, прощаетъ мою крестницу... Варенька здѣсь, Анна Степановна, и если вы позволите ей войти...

— Охъ, постой, батюшка, постой! Дай собраться съ духомъ... Сердце-то у меня, сердце... вотъ такъ выскочить и хочетъ!

— Право, вамъ не мѣшаетъ пустить кровь, сударыня,—шепнулъ докторъ фонъ-Дахъ:—вы въ такомъ волненіи...

— Не ваше дѣло, батюшка! — вскричала Слукина.—Ну, пусть войдетъ!—О, Господи, укрѣпи меня, грѣшную!

Боковыя двери отворились, и молодые вошли въ гостиную.

— Вотъ она!—сказалъ Холминъ, подводя къ Слукиной свою крестницу.

— Ну, Варенька, Богъ тебѣ судья,—проговорила Анна Степановна, стараясь всхлипывать:—огорчила ты меня на старости! Ну, да такъ и быть, Господь съ тобой! Я прощаю тебя, мой другъ!.. Да гдѣ-же твой мужъ?

— Вонъ онъ, маменька.

Слукина подняла глаза: передъ нею стоялъ Тонскій.

На этотъ разъ она не шутя упала въ обморокъ, и докторъ фонъ-Дахъ добился своего: онъ пустилъ ей кровь.

— —

Недѣли черезъ двѣ послѣ этого приключенія въ собраніи общества людей «высокаго полета» происходилъ слѣдующій разговоръ:

Княгиня Ландышева (*обращаясь къ Вельскому*). Такъ князь Владиміръ Ивановичъ сегодня къ вамъ не будетъ?

Вельскій. Нѣтъ, княгиня. Я уговорилъ его отправиться въ деревню.

Гореглядова. Что это вамъ вздумалось?

Вельскій. Такъ вы не знаете? Князь хотѣлъ рѣзаться съ Тонскимъ.

Златопольская. Ахъ, Боже мой! Дуэль?

Вельскій. Да! И вы не можете себѣ представить, какого мнѣ стоило труда доказать ему, что онъ навсегда сдѣлается смѣшнымъ, если станетъ драться съ этимъ молокососомъ, и за кого-же? За какую-то Варвару Николаевну Тонскую, урожденную Слукину?

Княгиня. Да неужели онъ въ самомъ дѣлѣ былъ влюбленъ въ эту дѣвочку?

Вельскій. До безумія.

Княгиня. Впрочемъ, у ней очень хорошее состояніе. Надобно сказать правду, Анна Степановна поступила съ ней весьма благородно: она дала за ней въ приданое тысячу душъ.

Гореглядова. Право? О, такъ я понимаю, что Тонскій могъ въ нее влюбиться. Но князь! Боже мой, да что онъ нашелъ въ ней хорошаго? Une petite sotte!

Зарѣцкая. Худа, блѣдна, какъ смерть.

Гореглядова. Стеклянные, голубые глаза...

Княгиня. Сѣрые, ma chère.

Гореглядова. Сѣрые или голубые, только въ нихъ вовсе нѣтъ души.

Златопольская. А носъ, ma chère, носъ?.. (*взглянувъ украдкою въ зеркало*). Надѣюсь, его никто не назоветъ греческимъ.

Вельскій. И, полноте,—охота вамъ говорить объ этой алебастровой куклѣ! Мнѣ все кажется, что ее сейчасъ на лоткѣ носили.

Зарѣцкая. Comme vous êtes méchant!

Гореглядова. Для меня этотъ Тонскій несравненно лучше своей жены. (*Взглянувъ исподлобья на Вельскаго*). Il est assez joli garçon.

Вельскій. Кто, онъ? Да, конечно, онъ былъ бы прекраснымъ тамбуръ-мажоромъ.

Княгиня. Да, это правда, — онъ не дуренъ собою, но такъ обыкновененъ! Такія *иньобельныя* формы!..

Зарѣцкая. Бѣлъ, румянъ...

Златопольская. Свѣтлые волосы... Фи, настоящая русская физіономія!

Вельскій (*улыбаясь*). Вы, кажется, не всегда это думали.

Златопольская (*коверкаясь*). Ай, что вы это говорите? Полноте!

Вельскій (*обращаясь къ Зарѣцкой*). Да, мнѣ помнится, что и вы...

Зарѣцкая (*ломаясь*). Кто? Я?.. Quelle idée!

Вельскій. Если не ошибаюсь, такъ было время, что даже и вы, княгиня...

Княгиня (*взглянувъ пристально на Вельскаго*). Я?

Вельскій. Да, да! Признайтесь, что онъ вамъ очень нравился.

Княгиня. Можетъ быть. Я даже вамъ скажу, когда это было... Да, точно такъ: въ то самое время, какъ вы сватались за эту алебастровую куклу.

Гореглядова (*вспыхнувъ*). Какъ? Вельскій, вы хотѣли на ней жениться?

Вельскій (*съ примѣтнымъ замѣшательствомъ*). Кто? Я... Жениться на Слукиной? Помилуйте!..

Княгиня. Да вы почти при мнѣ ей дѣлали предложеніе.

Гореглядова (*не скрывая своей досады*). Прекрасно!

Вельскій (*тихо Гореглядовой*). Полноте! (*Громко*). Какъ вамъ не стыдно, княгиня!

Княгиня. А, Вельскій, вы любите шутить надъ другими!

Гореглядова. C'est bien, monsieur! C'est très bien! Такъ вы хотѣли жениться?.. (*Ее начинаетъ подергивать*).

Княгиня. Qu'avez-vous, ma chère?.. Что вы?

Гореглядова. Ничего!.. Dieu!.. Спазмы! Мнѣ душно...

Княгиня. Человѣкъ!.. Человѣкъ!.. Спирту, воды! (*Всѣ суетятся около Гореглядовой*).

Гореглядова (*Вельскому*). Laissez moi!.. Ахъ, я задыхаюсь!.. Oh, les hommes, les hommes!

Вельскій. Это ничего, пройдетъ! (*Тихо княгинѣ*). Какая неосторожность!

Златопольская (*тихо Зарѣцкой*). Какъ она себя компрометируетъ!

Зарѣцкая. Да, ma chère! Мнѣ ее очень жаль! Elle est si bonne!.. (*Въ сторону*). Поѣду сейчасъ разсказать объ этомъ моей кузинѣ!

БЛАГОРОДНЫЙ ТЕАТРЪ.

Комедія въ стихахъ въ четырехъ дѣйствіяхъ.

C'est à qui sera jeune, amant, prince ou princes
Et la troupe est souvent un beau sujet de pièc
Delille.

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:

Г. Любскій, дядя Оленьки.
Г-жа Любская, жена его.
Оленька, племянница ихъ.
Вельскій, влюбленный въ Оленьку.
Честоновъ, братъ Любскаго отъ другого отца.
Волгинъ, дядя Вельскаго.
Посошковъ, женихъ Оленькинъ.
Кутермина, знакомая Любскихъ.
Лилѣевъ, Бирюлькинъ } Актеры благородной труппы.
Извѣдовъ, отставной придворный актеръ.
Наташа, горничная Оленьки.
1-я племянница, 2-я племянница } Кутерминой.
1-й племянникъ, 2-й племянникъ } Кутерминой.
1-й, 2-й } Слуги Любскаго.
4 дѣвочки, 2 мальчика, Учитель, Гувернантка, Нянюшка } Безъ словъ.

Дѣйствіе происходитъ въ губернскомъ городѣ въ домѣ Любскаго.

ДѢЙСТВІЕ ПЕРВОЕ.

Театръ представляетъ гостиную, съ лѣвой стороны отъ зрителей большое зеркало, съ правой столъ, по бокамъ и въ серединѣ двери.

ЯВЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

Г-жа Любская, Оленька, Наташа, Любскій, Посошковъ, Вельскій и Извѣдовъ (*всѣ сидятъ, выключая Извѣдова и Наташи*).

Любскій. И такъ, мои друзья, спектаклю должно быть
Сегодня къ вечеру; — прошу не позабывать,
Что ровно въ семь часовъ начнется представленье;
Потомъ дадимъ мы балъ; и вѣрно угощенье
Весь городъ удивитъ.—Не правда-ли, жена?

Любская. Конечно, удивитъ.—Ну, тѣ-ли времена,
Чтобъ праздники давать.

Любскій. Опять браниться стала?

Любская. Да, да! рублей пятьсотъ какъ будто-бъ не бывало;
Къ чему, сударь? Зачѣмъ? Большая нужда...

Любскій. И, полно, матушка!..—Ну, что же, господа?
Пора-бы, кажется, за пробу приниматься.

Извѣдовъ. Конечно-бы пора; но должно всѣмъ собраться.

Посошковъ. Слуги и дяди нѣтъ.

Любскій. Да что за чудеса!
Ихъ вѣчно нѣтъ, какъ нѣтъ.

Вельскій. А скоро два часа.

Посошковъ. Мнѣ кажется, въ такихъ дѣлахъ единодушно
Всѣ дѣйствовать должны: а это ужъ и скучно,
Все я, да я: толкуй, показывай, учи,
Піесу сочиняй, со всѣми хлопочи;
За что?

Любскій. Охъ эти мнѣ Бирюлькинъ и Лилѣевъ!
Всегда послѣдніе.

Посошковъ. Отъ этихъ намъ злодѣевъ
Житья ужъ вовсе нѣтъ; играютъ хуже всѣхъ...

Любскій. Сердись на нихъ, брани, а имъ лишь только смѣхъ.

Посошковъ. Послѣдней не хотятъ порядкомъ сдѣлать пробы.

Любскій. Изволь ихъ ждать! Да что за важныя особы?

Ужъ имъ опаздывать! Бирюлькинъ, напримѣръ,
Вѣдь баринъ не большой,—въ отставкѣ земле-
мѣръ,
Актеръ весьма плохой и человѣкъ прескучный;
По милости моей имѣетъ хлѣбъ насущный;
И еслибъ только я хотѣлъ его прижать...
Любская. Вотъ то-то, батюшка, всѣхъ
хочешь одолжать:
Готовъ хоть все отдать за пару комплимен-
товъ,
Онъ годъ по векселю не платитъ и процен-
товъ,
А ты, сударь, молчишь.
Любскій. Ну, да, теперь молчу;
Зато ужъ послѣ я порядкомъ проучу,
И если вечеромъ по нашему желанью
Піеса не пойдетъ, такъ вексель ко взысканью.
Вельскій. Онъ боленъ, можетъ быть.
Любскій. И это не резонъ;
Ужъ мнѣ наскучило терпѣть.
Посошковъ. Да вотъ и онъ.

ЯВЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

Тѣ-же и Бирюлькинъ.

Любскій. Помилуй, батюшка! на что это
похоже!
Бирюлькинъ. Простите, виноватъ!
Посошковъ. Всегда одно и то-же!
Бирюлькинъ. Дѣлишки завелись: сейчасъ
въ палатѣ былъ;
Насилу вырвался.
Любскій. А это позабылъ,
Что ты еще путемъ своей не знаешь роли?
Бирюлькинъ. Не смѣя выступить никакъ
изъ вашей воли,
Я всячески твержу, учусь, измученъ весь,
И еслибъ не дѣла...
Любскій. Дѣла-то, сударь, здѣсь.
Посошковъ. Не знаете-ль, куда Лилѣевъ
нашъ дѣвался?
Бирюлькинъ. Гуляетъ, кажется; сейчасъ
лишь мнѣ попался.
Любскій. Гуляетъ! Боже мой!
Посошковъ. Ну, есть-ли совѣсть въ немъ:
Ужъ скоро третій часъ, когда-же мы на-
чнемъ?
(*Любскому*). Хоть этотъ разъ его порядкомъ
побраните.
Любскій. Все это, братецъ, ты.
Посошковъ. За что-жъ меня вините?
Любскій. За то, что безъ тебя мнѣ въ
умъ-бы не пришло
Театры заводить.
Посошковъ. Когда на то пошло,
Позвольте-жъ вамъ сказать, и вы не слишкомъ
правы:
Театръ мы завели для собственной забавы,
Такъ вамъ-бы пригласить порядочныхъ людей;
На что Лилѣевъ вамъ?
Любскій. Ужъ подлинно злодѣй!
И какъ смѣлъ думать онъ, что можетъ насъ
дурачить?
Откуда спесь взялась? и что онъ въ свѣтѣ
значитъ?
Безпутный мотъ, давно извѣстный за глупца,
Сѣдой столѣтній франтъ, плѣняющій сердца,
Всемірный шутъ, нахалъ, болтунъ и лжецъ
безстыдный!
Посошковъ. А сверхъ того талантъ ни
мало незавидный:
Бормочетъ прозою, коверкаетъ стихи,
Ну, словомъ, истинно, актеръ онъ за грѣхи.
Любскій. Какой актеръ! Пустой акте-
ришка,—превздорный!
Вельскій. Т-съ! тише, онъ идетъ.
Любскій. Такъ что-жъ?..

ЯВЛЕНІЕ ТРЕТЬЕ.

Тѣ-же и Лилѣевъ.

Лилѣевъ (*кланяясь*). Слуга покорный!
Посошковъ. Насилу дождались.
Любскій. Здорово, милый мой!
А я было хотѣлъ послать къ тебѣ домой.
Скажи пожалуйста, боишься-ли ты Бога!..
Лилѣевъ. А что?
Любскій. Ужъ третій часъ.
Лилѣевъ. Я опоздалъ немного;
Ну, что-же? не бѣда.
Посошковъ. Конечно, не бѣда.
И это можетъ быть со всякимъ—иногда;
Но каждый разъ...
Любскій. Мы всѣ сносили терпѣливо;
Теперь позволь сказать: вѣдь это неучтиво
Заставить ждать...
Лилѣевъ. Такъ что-жъ? вина не велика;
Къ тому-жъ, вы знаете, я ролю старика
Взялся играть у васъ единственно изъ дружбы.
Посошковъ. Но вы...
Лилѣевъ. Ахъ, Боже мой! да это хуже
службы!
Неужто долженъ я, для вашихъ всѣхъ затѣй,
Забыть родныхъ своихъ, знакомыхъ и друзей,
Съ утра до вечера ничѣмъ не заниматься,
Отъ всѣхъ веселостей охотой отказаться—
И даже не гулять? Нѣтъ, нѣтъ, благодарю!
Да этакъ я себя въ недѣлю уморю.
Посошковъ. Зачѣмъ брались...
Лилѣевъ. Зачѣмъ?.. Вы точно, сударь,
правы:
Не должно-бы никакъ, для собственной мнѣ
славы,
Вездѣ любовниковъ играя молодыхъ,
Показывать себя въ такихъ роляхъ пустыхъ.
Возьмите, вотъ она!
Любскій. И какъ тебѣ не стыдно.
Лилѣевъ. Да что-жъ, помилуйте! Мнѣ
это ужъ обидно;
Я жертвую собой, хочу вамъ угодить,
Меня-жъ бранятъ.

Любскій. Ну, вотъ! нельзя и пошутить.
Лилѣевъ. (*Посошкову*). Я, кажется, отъ васъ ни мало не завишу.
Любскій. И, полно, братъ!
Извѣдовъ. Прочесть позволите-ль афишу?
Любскій. А что, затѣйлива?
Извѣдовъ. Старался сколько могъ!
Посошковъ. Напрасно не сказалъ, а то-бы я помогъ.
Ужъ вѣрно хороша! Онъ былъ актеръ придворный
И малый умница,—досужій и проворный.
Извѣдовъ (*кланяясь*). Помилуйте!
Лилѣевъ. Да, да! и ловокъ и остеръ.
Посошковъ. Къ тому-жъ, при немъ скажу, отличнѣйшій суфлеръ.
Извѣдовъ (*читаетъ афишу*). «Сегодня, въ пятницу, въ домѣ Степана Ивановича Любскаго, обществомъ любителей театра представлена будетъ въ первый разъ: «Осмѣянный опекунъ», комедія въ трехъ дѣйствіяхъ, сочиненіе г. Посошкова»...
Посошковъ. Нельзя-ли это вонъ?
Любскій. Зачѣмъ, сударь? Напрасно! Комедія твоя написана прекрасно.
Посошковъ. Но я бы не хотѣлъ...
Любскій. И, полно, братецъ, вздоръ! Пусть знаютъ всѣ, что ты и авторъ и актеръ.
Извѣдовъ (*читаетъ*). «Дѣйствующія лица: Г. Сундуковъ, опекунъ Лизы — Авдѣй Михайловичъ Посошковъ, Лиза, богатая сирота—Ольга Дмитріевна Любская»...
Любскій. Смотри, племянница, всю ролю знать до слова!
Оленька. Она ужъ у меня недѣли двѣ готова.
Извѣдовъ (*читаетъ*). «Эрастъ, влюбленный въ Лизу — Андрей Степановичъ Вельскій»...
Посошковъ (*Вельскому*). Вотъ истинный талантъ! Отъ васъ я безъ души,
Въ любовныхъ сценахъ вы отлично хороши: Натура чистая!
Извѣдовъ (*читаетъ*). «Сурскій, дядя Лизы—Сергѣй Ивановичъ Лилѣевъ. Антропка, Эрастовъ слуга—Максимъ Петровичъ Бирюлькинъ. Машенька, служанка Лизы—госпожа... госпожа...
Признаться откровенно, Объ васъ не сказано.
Посошковъ. А должно непремѣнно.
Извѣдовъ. Конечно, такъ; но я ужасно затрудненъ:
Не знаю, какъ назвать.
Любскій. Ты, право, мнѣ смѣшонъ; Неужто позабылъ? Она питомка наша,
Дочь крестная моя, по имени Наташа,
Ну, вотъ тебѣ и все!
Извѣдовъ Я это знаю самъ.
Любскій. Такъ чтожъ еще?
Извѣдовъ. Нельзя-жъ актрисъ по именамъ Въ афишѣ называть,—вѣдь это неучтиво: *Фамилія нужна.*
Любскій. Она, братъ, не спесива, Какъ хочешь назови. Отецъ ея Панфил Былъ управителемъ, а чванства не люби Служилъ мнѣ по просту, и вѣренъ былъ гроб
Зато и дочь его люблю.
Посошковъ. Когда-же проба?.. Мы вѣчно не начнемъ.
Извѣдовъ. Позвольте прочитать. (*читаетъ*). «Начало въ 7 часовъ. Всѣ г равно любезны хозяину, — слѣдовательно мѣста всѣ равныя; плата за оныя — дру и снисхожденіе зрителей; это отмѣнно рого, но хозяинъ дешевле уступить не жетъ».
Любскій. Прекрасно, милый мой!
Извѣдовъ. Такъ можно и въ печать?
Любскій. Пошли скорѣй, смотри, чтоб вечеру поспѣл
Посошковъ. Теперь все кончено; пор намъ за дѣл
Любскій. А что, позавтракать у охоты нѣт
Любская. И, батюшка! къ чему! Ис тите обѣд
Любскій. Все лучше закусить.
Бирюлькинъ. И я такой-же вѣры.
Любскій. Пойдемте-жъ, господа,—по мочкѣ мадер
А тамъ и на театръ.

(*Уходятъ всѣ. Извѣдовъ останавлива Наташу*).

ЯВЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Извѣдовъ и Наташа.

Извѣдовъ. Постой, моя душа!
Наташа. Ну, что?
Извѣдовъ. Сегодня ты какъ ангелъ рош
Наташа. Благодарю. (*Хочетъ идти*).
Извѣдовъ. Куда жъ?
Наташа. Съ тобой болтать пустого Мнѣ нѣкогда; прощай!
Извѣдовъ. Позволь сказать два слова
Наташа. Какой привязчивый! — Чего хочешь ты Ну, говори скорѣй.
Извѣдовъ. О, чудо красоты! Соборъ всѣхъ прелестей и горничныхъ риц
Скажи, доколь судьбы жестокая десница Или, яснѣй сказать, свирѣпая рука...
Наташа. Ты что-то говоришь не ко свысока
Извѣдовъ. Служивъ пять мѣсяцевъ успѣхомъ Мельпомен
Я точно такъ всегда говаривалъ на сцен
Наташа. Да здѣсь вѣдь не театръ, и ужъ не актеръ

Извѣдовъ. Зато артистъ въ душѣ — и страшный аматеръ;
Но дѣло не о томъ: когда-же наша свадьба?
Ты знаешь, у меня прекрасная усадьба
И домикъ щегольской; есть деньги — по рукамъ!
И если крестный твой отецъ поможетъ намъ,
Откроемъ здѣсь театръ; лишь надобно терпѣнье,
А труппу заведемъ безъ всякаго сомнѣнья;
Ты будешь представлять царицъ, а я царей.
Ну, что-же, ангелъ мой, рѣшайся поскорѣй;
Тутъ думать нечего.

Наташа. Прошу не торопиться.
Во-первыхъ, баринъ мой...

Извѣдовъ. Онъ вѣрно согласится.

Наташа. Все такъ; но признаюсь, мнѣ свадьба въ умъ нейдетъ:
Какъ вспомню барышню, такъ сердце и замретъ.
Вотъ, милый, каково остаться сиротою!
Что къ Вельскому она привязана душою,
Ты это знаешь самъ, а что еще вѣрнѣй—
Несносный Посошковъ всего противнѣй ей;
И, несмотря на то, ему ужъ слово дали.

Извѣдовъ. Неужто Вельскому сегодня отказали?

Наташа. О, нѣтъ еще: теперь онъ надобенъ для насъ.

Извѣдовъ. Такъ завтра поутру...

Наташа. Рѣшительный отказъ.

Извѣдовъ. А все, чай, дядюшка! Да какъ ему не стыдно
Губить племянницу!—Подумать-то обидно:
Ну, этотъ Посошковъ годится-ль ей въ мужья?

Наташа. На мѣстѣ Вельскаго на все бъ рѣшилась я.

Извѣдовъ. Не знаю, какъ тебѣ, а мнѣ онъ очень жалокъ;
Влюбленъ, надежды нѣтъ, и къ этому вдобавокъ
Сегодня долженъ съ ней любовника играть—
Не больно-ли, скажи?

Наташа. Ужъ нечего сказать!
Повѣришь-ли? На нихъ измучилась я глядя.

Извѣдовъ. А что, мой другъ, вѣдь ей Честоновъ также дядя;
Неужели и онъ не хочетъ ей помочь?

Наташа. О, нѣтъ! онъ барышню любилъ всегда, какъ дочь,
И этой свадьбою не можетъ быть доволенъ;
Но онъ теперь въ Москвѣ, два мѣсяца какъ боленъ
И—объ закладъ побьюсь—не знаетъ ничего.

Извѣдовъ. Нельзя-ли какъ-нибудь увѣдомить его?
Что еслибъ ты къ нему объ этомъ написала?

Наташа. Недолго написать, да пользы будетъ мало.

Извѣдовъ. А я такъ думаю, что онъ поможетъ намъ.

Наташа. Охъ, трудно, милый мой! Старикъ нашъ такъ упрямъ,
Что Вельскому помочь нѣтъ средства никакого.

Извѣдовъ. Постигнуть не могу! И какъ для Посошкова
Рѣшиться отказать такому молодцу!

Наташа. Молчи! Мнѣ кажется, подъѣхали къ крыльцу...
Ну, такъ и есть. (*Хочетъ идти*).

Извѣдовъ. Постой! чего-жъ ты испугалась?

Наташа. Пусти! И такъ съ тобой я слишкомъ заболталась
Прощай! (*убѣгаетъ*).

ЯВЛЕНІЕ ПЯТОЕ.

Извѣдовъ (*одинъ, глядя вслѣдъ за Наташей*). Вотъ золото! Рѣшительно скажу:
Женясь на ней, театръ я смѣло завожу;
Съ такой актрисою мнѣ нечего бояться:
Ей только надобно на сцену показаться,
А то сведетъ съ ума всю нашу молодежь.
И подлинно, такой субретки не найдешь,
Хоть изъ конца въ конецъ объѣзди всю Европу;
А здѣсь, въ губерніи—сыграетъ и Меропу!

ЯВЛЕНІЕ ШЕСТОЕ.

Извѣдовъ и Честоновъ.

Извѣдовъ. Возможно-ль! Николай Степанычъ—это вы!

Честоновъ. Извѣдовъ! здравствуй, братъ!

Извѣдовъ. Давно ли изъ Москвы?

Честоновъ. Вчера пріѣхалъ въ ночь.

Извѣдовъ. Вы насъ совсѣмъ забыли.

Честоновъ. Я боленъ былъ: къ тому-жъ мнѣ голову вскружили,
Измучили совсѣмъ проклятыя дѣла.
Ну, что племянница? Здорова, весела?

Извѣдовъ. О, нѣтъ, сударь! Она теперь...

Честоновъ. Степеннѣй стала?
Тѣмъ лучше для меня.

Извѣдовъ. Вы помните, бывало
Смѣется цѣлый день, а нынче иногда...

Честоновъ. Не рѣзвится? Такъ что-жъ? На все свои года,
И рѣзвость прежняя была бы не у мѣста:
Ей скоро двадцать лѣтъ, къ тому-жъ она невѣста...

Извѣдовъ. Такъ вы ужъ знаете?..

Честоновъ. Сегодня поутру
Узналъ я все. Какъ жаль покойную сестру?
Какая-бъ радость ей! Но жалобы напрасны:
Ее не воскресишь!

Извѣдовъ (*съ удивленіемъ*). Такъ вы, сударь, согласны?

Честоновъ. На что?.. На свадьбу ихъ? А почему-жъ не такъ?

Извѣдовъ (*въ сторону*). Возможно ли! И вы!.. Попался я впросакъ!

Честоновъ. И что тутъ страннаго! Что Оленька счастлива,

Сомнѣнья въ этомъ нѣтъ. Хотя очень прихотлива
На выборъ жениховъ покойница была;
А лучше-бъ мужа ей, конечно, не нашла:
Онъ добръ, уменъ; хотя фамиліи не знатной,
Но старый дворянинъ; наружности пріятной...
Извѣдовъ. Помилуйте!
Честоновъ. Къ тому-жъ отмѣнно скроменъ, тихъ...
Извѣдовъ. Кто? Онъ, сударь?
Честоновъ. Ну, да! Племянницынъ женихъ.
Извѣдовъ. Такъ вы найдете въ немъ большую перемѣну.
Позвольте вамъ сказать...

ЯВЛЕНІЕ СЕДЬМОЕ.

Тѣ же и Бирюлькинъ.

Бирюлькинъ (*Извѣдову*). Васъ ждутъ давно на сцену.
Извѣдовъ. Начните безъ меня.
Бирюлькинъ. Безъ васъ нельзя никакъ. (*Тихо*) Кто этотъ господинъ? Честоновъ, точно такъ!
Позвольте, батюшка, съ пріѣздомъ васъ поздравить.
Честоновъ. А, старый другъ!
Бирюлькинъ. Во снѣ не могъ себѣ представить
Такой я радости,—я вижу наяву.
Честоновъ. Какъ поживаешь, братъ?
Бирюлькинъ. Да такъ, кой-какъ живу. (*Извѣдову*). Ступайте-же!
Извѣдовъ. Мы васъ должны оставить оба:
На пробу насъ зовутъ.
Честоновъ. Да что у васъ за проба?
Извѣдовъ. Сегодня здѣсь театръ.
Честоновъ. Театръ?
Извѣдовъ. А послѣ балъ.
Честоновъ. Театръ? Вотъ этого никакъ не ожидалъ!
Кой чортъ! Да кто-жъ у васъ? Хозяинъ самъ актеромъ.
Извѣдовъ. О, нѣтъ, сударь.
Честоновъ. Такъ вы?
Извѣдовъ. Я только что суфлеромъ;
А вотъ одинъ артистъ.
Честоновъ. Бирюлькинъ! Что ты, братъ!
Въ своемъ-ли ты умѣ!
Бирюлькинъ. Отецъ! и самъ не радъ, (*Извѣдову*). Да дѣлать нечего. Ужъ вамъ прочтутъ рацею!
Ступайте поскорѣй!
Извѣдовъ. А вы, сударь?
Бирюлькинъ. Успѣю;
Я въ первомъ дѣйствіи совсѣмъ не выхожу.
Извѣдовъ. (*Честонову*) Позвольте мнѣ!
Объ васъ я братцу доложу. (*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ ВОСЬМОЕ.

Бирюлькинъ и Честоновъ.

Честоновъ (*улыбаясь*). Такъ вы, сударь, актеръ? Неужто въ самомъ дѣлѣ?
Бирюлькинъ. Эхъ, батюшка! Чуть, чуть душа осталась въ тѣлѣ!
Совсѣмъ замучили! Пускай-бы два стиха—
Нѣтъ, сотню выучи!.. А память-то плоха.
Твердить примусь — бѣда: начнетъ душить зѣвота;
Къ тому-же у меня и кашель и перхота—
Ну, что я за актеръ!
Честоновъ. Нельзя-же безъ труда
Актеромъ быть. Когда старикъ въ твои года
Захочетъ въ рѣзвостяхъ тягаться съ молодыми,
Такъ долженъ все сносить.
Бирюлькинъ. Конечно, такъ—кто съ ними
Проказить за одно; а я, почтенный мой.
И знать ихъ не хочу: мнѣ надобенъ покой.
Честоновъ. Но развѣ ты не могъ отдѣлаться отъ роли,
Зачѣмъ брался?
Бирюлькинъ. Зачѣмъ! Возьмешься поневолѣ,
Когда на старости пугнуть тебя судомъ.
Честоновъ. Судомъ?
Бирюлькинъ. Я думаю, извѣстны вы о томъ,
Что братцу вашему еще въ запрошломъ лѣтѣ,
Имѣя на бѣду покупочку въ предметѣ,
Рублей до тысячи я какъ-то задолжалъ.
Хоть тысяча рублей неважный капиталъ,
Но такъ какъ у меня весь хлѣбъ побило градомъ,
А что осталося, пришлось продать съ накладомъ;
Къ тому же мужички не выслали оброкъ:
Такъ деньги я внести по векселю не могъ.
Вашъ братецъ, знаете, зоветъ меня сосѣдомъ
И жалуетъ; ну, вотъ, однажды за обѣдомъ
Изволитъ говорить: «Послушай-ка, сосѣдъ,
Заводимъ мы театръ; въ тебѣ хоть толку нѣтъ,
Однако жъ, такъ и быть, ступай и ты въ актеры».
Вотъ я было и прочь! Куда-те! Хоть до ссоры!
Какъ крикнетъ, батюшка: «Со мною не шути!
Прошу играть, не то—по векселю плати!»
Да что я за актеръ? Вѣдь мнѣ шестой десятокъ.
«Не хочешь, такъ плати!»—Дождитеся хоть святокъ!
Я все съ процентами сполна вамъ заплачу.—
«Нѣтъ! Въ судъ!»—Помилуйте!—и слышать не хочу!
«А, впрочемъ, не играй — вѣдь я, братъ, не неволю».
Что дѣлать? Замолчалъ. Въ карманъ пихнули ролю,
Очнуться не дали...

Честоновъ. И жалко, и смѣшно.
Бирюлькинъ. Дурачить такъ меня, ей, ей, отецъ, грѣшно!
Во мнѣ-же вовсе нѣтъ способностей природныхъ.
Честоновъ (*улыбаясь*). А вѣрно ты попалъ на роли благородныхъ
Отцовъ, — а можетъ быть, и знатный господинъ?..
Бирюлькинъ. И должно бъ такъ: вѣдь я природный дворянинъ,
Такъ нѣтъ, сударь. Меня упрятали въ холопы,
Ну, легче бъ, кажется, итти мнѣ въ рудокопы—
А дѣлать нечего: хоть плачь, а будь актеръ.
Вѣкъ съ честію служилъ, ужъ двадцать лѣтъ маіоръ—
И мнѣ лакеемъ быть!..
Честоновъ. По чести это больно.
Бирюлькинъ. Вѣстимо, батюшка! да дѣло-то невольно.
Одно изъ двухъ: плати—не то играй слугу;
Попробуй отказать, такъ онъ согнетъ въ дугу.

ЯВЛЕНІЕ ДЕВЯТОЕ.

Тѣ же, Любскій, Любская и Оленька.

Любскій (*обнимается*). Насилу Богъ принесъ! Какими, братъ, судьбами?
Честоновъ. Хотѣлось поскорѣй увидѣться мнѣ съ вами.
Оленька. Любезный дядюшка!
Честоновъ (*обнимая ее*). Здорово, милый другъ.
Любскій. Ты здѣсь? Послушай, братъ! Теперь ей недосугъ. Позволь...
Оленька. Ахъ, дядюшка! А я было хотѣла...
Любскій. Ступай, сударыня!
Честоновъ. Зачѣмъ?
Любскій. Да такъ, есть дѣло.
(*Бирюлькину*). А ты что здѣсь?
Бирюлькинъ. Охти! попался я въ бѣду!
Любскій. Ну, что стоишь! пошелъ!
Бирюлькинъ. Иду, сударь, иду!
(*Бирюлькинъ и Оленька уходятъ*).

ЯВЛЕНІЕ ДЕСЯТОЕ.

Тѣ же безъ Бирюлькина и Оленьки.

Любская. Какъ это, батюшка, пустился ты въ дорогу?
Проѣзду вовсе нѣтъ.
Честоновъ. Однако-жъ, слава Богу,
Доѣхалъ какъ-нибудь.
Любскій. Ты вѣрно, братъ, усталъ?
Но дѣлать нечего: у насъ сегодня балъ,
Какъ хочешь, а прошу со мною веселиться.
Честоновъ. Нельзя-ль помиловать?
Любскій. Вотъ это не годится.
Въ столицѣ побывалъ, такъ съ нимъ не говори,
Нашъ городъ не Москва, однако-жъ, посмотри,
Какъ мы пируемъ здѣсь — не хуже вашей знати!
Любская. Охъ, эти мнѣ пиры! Совсѣмъ бы намъ не кстати!
Доходовъ нѣтъ...
Любскій. Ну, такъ! Одно все въ головѣ!
(*Честонову*). Да полно, матушка! Услышатъ и въ Москвѣ,
Какъ мы живемъ. Ни въ чемъ не будетъ упущенья!
И танцы и театръ,—а что за угощенье!
Какого подадутъ отличнаго вина!..
Любская. И вѣрно выпьютъ все!
Любскій. Уймешься-ль ты, жена!
(*Честонову*). Послушай, милый мой, сказать ли по секрету?
Есть свадебка у насъ.
Честоновъ. Да я ужъ новость эту
Узналъ и безъ тебя, и всей душою радъ.
Женихъ мнѣ по сердцу.
Любскій. Не правда ли, что кладъ?
Любская. Живетъ разсчетисто, богатъ и здѣшній житель.
Любскій. Преумный человѣкъ! Актеръ и сочинитель.
Честоновъ. Я этого не зналъ.
Любскій. Да это ничего:
Здѣсь въ обществахъ и жить не могутъ безъ него;
На все готовъ: завесть игру, затѣять фанты...
Честоновъ. Такъ Вельскій отъ меня скрывалъ свои таланты!
Любская. Что, что?
Честоновъ. По чести! Я совсѣмъ не зналъ объ нихъ.
Любскій. Какъ Вельскій? Что за вздоръ!
Честоновъ. Кто-жъ Оленькинъ женихъ?
Любскій. Да развѣ жениха не можетъ быть другого?
Съ чего ты взялъ?
Любская. Она идетъ за Посошкова.
Честоновъ. Возможно ли?
Любская. Женихъ, надѣюсь, не худой!
Честоновъ. Старикъ!..
Любская. Какой старикъ! Онъ малый молодой.
Честоновъ. Ему за пятьдесятъ...
Любскій. Но всѣ единогласно
Со мною повторятъ, что можно даже страстно
Въ него быть влюблену; племянница сама...
Со временемъ его полюбитъ безъ ума.
Честоновъ. Когда со временемъ, такъ видно это значитъ...
Любская. Что, можетъ быть, теперь немного и поплачетъ,
Да слюбится впередъ.
Честоновъ. Эй! на душу грѣхъ
Не должно брать.
Любскій. И къ этому придачи
Шестьсотъ наличныхъ душъ, луга, лѣсныя дачи...

Честоновъ. И десять тысячъ душъ, безъ собственной души,
Не значатъ ничего.
Любская. Эй, братецъ, не грѣши!
Не значитъ ничего богатое имѣнье!
Честоновъ. Богатство при слезахъ—плохое утѣшенье;
Оно должно быть здѣсь! Повѣрь, кто сердцемъ чистъ...
Любская. Ты судишь, батюшка, какъ сущій атеистъ:
Вѣдь деньги Божій даръ.
Честоновъ. А чаще—наказанье.
Но дѣло не о томъ. При первомъ я свиданьи
Намѣренъ Волгина порядкомъ побранить:
Онъ дядя Вельскому и, кажется, шутить
Насчетъ племянника ему-бы неприлично...
Любскій. Какъ! Волгинъ здѣсь?
Честоновъ. Да, здѣсь! и говоритъ публично
О свадьбѣ Вельскаго.
Любскій. Съ чего-жъ онъ это взялъ?
Хоть Вельскій сватался...
Честоновъ. Но ты вѣдь отказалъ?
Любскій. Не то чтобъ отказалъ... однако, не далъ слова.
Честоновъ. Но если Оленька идетъ за Посошкова,
Такъ должно отказать.
Любскій. Я это знаю самъ.
Честоновъ. Зачѣмъ-же ты молчишь?
Любскій. Отвѣть и завтра дамъ.
Все кончу поутру.
Честоновъ. А что-жъ тебѣ мѣшаетъ
Сказать теперь?
Любскій (*вполголоса*). Нельзя! сегодня онъ играетъ.
Честоновъ. Сегодня? У тебя?
Любскій. Вотъ то-то и бѣда:
Пришлось молчать; зато ужъ послѣ никогда
Я Вельскому къ себѣ и ѣздить не позволю.
Лишь нынче-бъ какъ-нибудь сыгралъ свою онъ ролю,
А завтра, кончено! Рѣшительный отказъ!
Честоновъ. Я, право, отъ тебя не ждалъ такихъ проказъ.
Во всѣхъ дѣлахъ твоихъ и тѣни нѣтъ разсудка.
Любскій. И, полно! Шутишь, братъ.
Честоновъ. Какая это шутка!
Ну пусть племянница идетъ за старика,
За что-жъ изъ Вельскаго вамъ дѣлать дурака?
Любскій. Но мой театръ...
Честоновъ. Скажи! походитъ-ли на дѣло?
По милости твоей, теперь онъ можетъ смѣло,
Съ утра до вечера, съ ней роли проходить;
Шептать ей на ухо, о страсти говорить;
И это все сносить ты долженъ терпѣливо.
Любскій. Конечно, такъ, мой другъ! Ты судишь справедливо:
Да какъ же мой театръ?..
Честоновъ. Эй, братецъ, не шути!
Ну, если Оленька задумаетъ уйти?..
Хотя племянница во всемъ тебѣ послушна;
Но если къ Вельскому она неравнодушна...
Любская. Не долго до грѣха!
Любскій. Ты точно, милый, правъ!
И если бъ не театръ...
Честоновъ. Какой несносный нравъ!
Кой чортъ! Да что тебя къ театру привязало?
Любскій. Меня?.. По мнѣ его хоть вѣкъ бы не бывало:
Но дѣлать нечего—и плачу, да люблю:
Вѣдь я, мой другъ, одинъ весь городъ веселю;
Такъ хочешь, или нѣтъ, а разсылай билеты.
Любская. Да, батюшка! Что день, то новые банкеты...
Любскій. Молчи, жена!
Любская. Ну, вотъ! Всегда одинъ отвѣтъ
Помилуй, мой отецъ! Расходамъ счету нѣтъ
Ужъ этотъ насъ театръ доѣдетъ непремѣнно
Любскій. Пустое! Вздоръ! Хотя, признаться откровенно,
Онъ нѣсколько и мнѣ становится тяжелъ.
Что грѣхъ таить! Съ тѣхъ поръ, какъ я его завелъ,
Покою нѣтъ; когда-жъ дойдетъ до представленья,
Вотъ тутъ-то, братъ, вертись: костюмы, освѣщенье...
Ну, словомъ, голова у всѣхъ пойдетъ кругомъ.
Любская. Весь домъ въ послѣдній разъ поставили вверхъ дномъ;
А сколько извели холстины на кулисы!..
Любскій. Спасибо, что теперь домашніе актеры,
А то—хоть изъ дому бѣги! Съ ума сойдешь!..
Бывало никого на пробу не сберешь:
То некогда притти, то роля не готова,
Та на вечеръ звана, другая нездорова...
Повѣришь-ли? Тоска! Подчасъ хоть въ петлю радъ.
Сегодня, напримѣръ, хоть все идетъ на ладъ.
А, не смотря на то, дрожу, боюсь...
Честоновъ. Чего-же?
Любскій. Ну, если мой театръ, — чего избави Боже!—
На выворотъ пойдетъ? Что дѣлать мнѣ тогда?
Честоновъ. А что! И подлинно, большая вѣдь бѣда!
Любскій. Шути себѣ, шути! а я межъ тѣмъ увѣренъ,
Что если-бы и ты...
Честоновъ. И спорить не намѣренъ,
А просто мнѣніе мое тебѣ скажу:
Что ты завелъ театръ, ни мало не тужу;
Я самъ любилъ играть, но только не для славы.
Бывало—въ два часа, для собственной забавы,
Готовъ я вытвердить хоть дюжину страницъ;
Но если эта страсть выходитъ изъ границъ,

То вѣрь, мой другъ, придетъ съ веселостью проститься
И скуки ждать одной. Тотъ худо веселится,
Кто, смыслу здравому идя напереломъ,
Забаву дѣлаетъ какимъ-то ремесломъ.
Вотъ самъ ты, напримѣръ, скажи мнѣ, ради Бога...

Любскій. Да ты не знаешь, братъ, судить-то будутъ строго.
Здѣсь много знатоковъ, не долго до бѣды:
Распишутъ такъ...

Честоновъ. И вотъ тщеславія плоды!
Чтобъ только твой театръ хорошимъ называли,
Готовъ ты уморить племянницу съ печали,
Замучить самъ себя, имѣнье разорить...

Любская. Ну, слышишь, батюшка?

Честоновъ. Да что тутъ говорить!
Бывало въ старину мы рѣзвимся для смѣха,
А нынче завели театръ—пошла потѣха!
Волненье страшное, тревога, кутерьма!
Хозяева въ чаду, актеры безъ ума;
Тотъ пламенной игрой и чувствомъ удивляетъ:
Забытаго дѣтьми Эдипа представляетъ,
А самъ дѣтей своихъ давно уже забылъ.
На сценѣ, для другой, одинъ супругъ лишь милъ,
Имъ дышетъ, имъ живетъ — тогда какъ въ самомъ дѣлѣ
Дѣйствительный супругъ лежитъ больной въ постели.
Интригамъ нѣтъ конца; насмѣшки, сплетни, лесть...
А ссоры вздорныя нельзя и перечесть:
Одинъ желаетъ быть отцомъ, другой тираномъ;
Тотъ ролю выплакалъ, тотъ взялъ ее обманомъ;
Та теткой хочетъ быть, тотъ просится въ слуги,
Тому любовника давай—ну, вонъ бѣги!
И, словомъ, труппа вся, признаться должно въ этомъ,
Прекраснымъ можетъ быть комическимъ сюжетомъ.

Любскій. Все это пустяки, мой другъ, одни слова!
Хоть въ этомъ мнѣ повѣрь; я труппѣ всей глава,
Такъ дѣло вѣдь мое, чтобъ жили мы согласно.

Честоновъ. Не вѣрю, милый мой.

Любскій. Зачѣмъ судить пристрастно.
Ты прежде посмотри, а послѣ ужъ брани.

Честоновъ. И вы не ссоритесь?

Любскій. О! Боже сохрани!
И знать не знаемъ мы, что есть на свѣтѣ ссоры.

ЯВЛЕНІЕ ОДИННАДЦАТОЕ.

Тѣ-же и Наташа.

Любскій (*Наташѣ*). Зачѣмъ?

Наташа. Бѣда, сударь! Поссорились актеры.

Любскій. Охти! За что?

Наташа. А вотъ спросите сами ихъ.

ЯВЛЕНІЕ ДВѢНАДЦАТОЕ.

Тѣ-же, Посошковъ, Лилѣевъ, Бирюлькинъ, Вельскій, Извѣдовъ и Оленька.

Лилѣевъ. Я вамъ, сударь, сказалъ, что грубостей такихъ
Сносить я не хочу.

Посошковъ. Играть изволитъ франта,
Тогда какъ надобно...

Лилѣевъ. Такъ нѣтъ во мнѣ таланта?

Посошковъ. Я это говорилъ, еще вамъ говорю
И буду говорить.

Любскій (*Честонову*). Сейчасъ ихъ помирю.
Стыдитесь, господа! На что это похоже!
За что вы ссоритесь?

Лилѣевъ. Мнѣ честь всего дороже,
И я не дамъ себя обидѣть никому!

Любскій. Да что, скажите мнѣ!

Лилѣевъ. Прилично ли тому,
Кто самъ плохой актеръ...

Любскій. И какъ тебѣ не стыдно!

Посошковъ. Торжественно скажу: онъ хочетъ, очевидно,
Испортить все.

Любскій. Да что? Добьюсь-ли толку я?
О чемъ вы спорите?

Посошковъ. Такъ будьте жъ вы судья!
Онъ ролю старика взялся безъ принужденья,
Охотой, самъ играть...

Лилѣевъ. Ну, да! Изъ снисхожденья.

Посошковъ. И что жъ играетъ онъ? Терпѣнья, право, нѣтъ!
Намѣсто старика—мальчишку въ двадцать лѣтъ.

Лилѣевъ. За что жъ винить меня? Вините въ томъ натуру, которая дала такую мнѣ фигуру.

Посошковъ. Такъ знайте жъ, господинъ
Столѣтній селадонъ...

Лилѣевъ. Столѣтній!..

Любскій. Ну, бѣда!

Лилѣевъ. Что значитъ этотъ тонъ?

Любскій. Послушайте!

Лилѣевъ. Кому вы это говорите?

Посошковъ. О, вѣрно ужъ не вамъ! Вотъ зеркало, взгляните!

Лилѣевъ. Насмѣшки, дерзости... но я вамъ отплачу:
Извольте ролю взять—играть я не хочу.

Любскій. Какъ! Что! Помилуй, братъ! сегодня представленье,
А ты...

Лилѣевъ. Чтобъ я сносилъ такія оскорбленья!

Любскій. Позволь...

Лилѣевъ. Я вамъ сказалъ, что честь мнѣ дорога.

Любскій. Да выслушай!..

Лилѣевъ. Нѣтъ, нѣтъ! Покорный вашъ слуга. (*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ ТРИНАДЦАТОЕ.

Тѣ-же безъ Лилѣева.

Любскій (*бѣжитъ за Лилѣевымъ*). Въ умѣ-ли ты! Постой!

Посошковъ. О, глупое созданье!
Повѣрьте мнѣ, въ немъ нѣтъ и капли дарованья.

Любскій (*возвращаясь съ отчаяніемъ*). Ушелъ! Совсѣмъ ушелъ!

Посошковъ. Тѣмъ лучше, очень радъ!

Любскій. Зарѣзалъ безъ ножа!

Посошковъ. Я бьюся объ закладъ,
Что онъ и смолоду прескверным былъ актеромъ;
Ему подъ шестьдесятъ, а хочетъ быть Линдоромъ.

Любскій. Что дѣлать мнѣ теперь? Весь городъ приглашенъ,
А нашъ театръ...

Посошковъ. Никакъ попасть не можетъ въ тонъ.
Гдѣ должно говорить съ душой—одни лишь крики.

Любскій. Эхъ, братецъ!..

Посошковъ. Никогда не ждетъ своей реплики.

Любскій. Несносный человѣкъ!

Посошковъ. Что скажетъ, то совретъ.

Любскій. Да слышишь-ли, злодѣй? Театръ нашъ не пойдетъ!

Посошковъ. И, что вы! Для него? Да это ужъ безбожно!
Неужто замѣнить Лилѣева не можно?

Любскій. Посмотримъ! Говори! Кого ты назовешь?

Посошковъ. Хоть это не легко...

Извѣдовъ. Не вдругъ теперь найдешь.

Любскій. Ну, что молчишь? Скорѣй зарѣжь однимъ ужъ разомъ!

Любская. Послать-бы, батюшка, скорѣй ко всѣмъ съ отказомъ.

Любскій. Съ отказомъ? Боже мой! Вотъ дожилъ до чего!

Вельскій. Позвольте... точно такъ! Я знаю одного
Охотника играть; старинный мой пріятель
И дальній родственникъ... Уѣздный засѣдатель...

Посошковъ. Да кто такой?

Вельскій. Андрей Степанычъ Прямиковъ;
Онъ былъ всегда въ числѣ хорошихъ знатоковъ
И мастеръ самъ играть.

Любскій. Ахъ, сдѣлай одолженье!

Посошковъ. Возьмется-ль выучить?

Вельскій. Безъ всякаго сомнѣнья.

Любскій. И! Роля ничего! Рѣшился бъ только взять...

Посошковъ. Она жъ не велика, всего страничекъ пять.

Любскій. Ступай-же поскорѣй!

Вельскій. Я не прощаюсь съ вами.

Честоновъ (*Вельскому*). И я съ тобой.

Любскій. А ты куда? Обѣдай съ нами.

Честоновъ. Нельзя; мнѣ надобно кой-что распорядить.
(*Тихо Вельскому*).
Съ тобою долженъ я о многомъ говорить.
(*Уходятъ*).

ЯВЛЕНІЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ.

Тѣ-же, безъ Вельскаго и Честонова.

Любскій. Охъ, этотъ мнѣ театръ! Прекрасная забава!
Ложись, да умирай!

Извѣдовъ. За то какая слава!

Посошковъ. Кто этотъ Прямиковъ? Я здѣсь живу давно,
А что-то не слыхалъ.

Любскій. Эхъ, братецъ, все равно!
Ну, что тутъ спрашивать? Актера нѣтъ другого.
Пойдемте, господа! Чай, кушанье готово.

Посошковъ. Придется попозднѣй сегодня намъ начать.

Любскій (*уходя Посошкову*). Добро, мой другъ! За все ты будешь отвѣчать.

(*Всѣ уходятъ въ боковыя двери*).

КОНЕЦЪ ПЕРВАГО ДѢЙСТВІЯ.

ДѢЙСТВІЕ ВТОРОЕ.

Та-же комната.

ЯВЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

Извѣдовъ (*одинъ*). Мы нынче, кажется, обѣдали по модѣ.
(*Смотритъ на часы*).
Ну, такъ и есть! Легко-ль! Четвертый часъ въ исходѣ,
А Вельскаго все нѣтъ, какъ нѣтъ! Эй, быть бѣдѣ!
Такого удальца не сыщетъ онъ нигдѣ,
Кто-бъ ролю выучилъ серьезно, не для шутки,
Не только въ нѣсколько часовъ, но даже въ сутки.
Ужъ я-ли въ старину не дѣлалъ чудеса?
Бывало выучить придется въ два часа
Осьмушекъ до шести: а все играть какъ станутъ,
Такую дичь начнешь пороть, что уши вянутъ.
Нѣтъ! Видно по всему, театру не бывать;
А, право, жаль! Старикъ нашъ будетъ горевать.
Что еслибъ мнѣ!.. А чтожъ? Чѣмъ хуже я другого?—
Лилѣевъ дворянинъ—объ этомъ я ни слова;

Зато какой актеръ, послѣдней ужъ руки;
А я, сомнѣнья нѣтъ, сыграю мастерски,
И мой талантъ...

ЯВЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

Тотъ-же, Посошковъ, Оленька и Наташа.

Посошковъ (*Оленькѣ*). Да, да! Вамъ съ Вельскимъ должно вмѣстѣ
Всю сцену повторить. Ну, что! Какія вѣсти?
Извѣдовъ. Покуда никакихъ.
Посошковъ. Такъ Вельскій не бывалъ?
Извѣдовъ. И слуху нѣтъ о немъ.
Посошковъ. Куда же онъ пропалъ?
Не стыдно ли ему! Онъ далъ честное слово,
Какъ можно поскорѣй привесть къ намъ Прямикова...
Извѣдовъ. Да врядъ-ли приведетъ.
Посошковъ. И, что ты, братецъ, вздоръ!
Извѣдовъ (*глядя въ окно*). Постойте! Вотъ и онъ въѣзжаетъ къ намъ на дворъ.
Посошковъ. Одинъ?
Извѣдовъ. Одинъ, сударь.
Посошковъ. Неужто въ самомъ дѣлѣ?
(*Бѣжитъ къ нему на встрѣчу*). Ну, что?
Ахъ, Боже мой! Войдите хоть въ шинели,
Да только поскорѣй!

ЯВЛЕНІЕ ТРЕТЬЕ.

Тѣ-же и Вельскій.

Посошковъ. Скажите, отчего
Не съ вами Прямиковъ?
Вельскій. Нѣтъ въ городѣ его.
Посошковъ. Нѣтъ въ городѣ!.. Такъ мы остались безъ актера?
Извѣдовъ (*кланяясь*). Когда позволите, такъ я...
Вельскій (*прерывая*). Онъ очень скоро
Воротится домой, навѣрно въ пять часовъ.
Извѣдовъ (*съ досадою*). Да въ роли у него не десять только словъ:
Когда-жъ успѣть ему...
Вельскій. Я вамъ ручаюсь смѣло,
Что онъ...
Извѣдовъ. Сыграетъ какъ-нибудь.
Посошковъ. Да что за дѣло,
Лишь только бы сыгралъ; но точно-ль будетъ онъ?
Вельскій. Сомнѣнья въ этомъ нѣтъ.
Извѣдовъ. Попасть какъ должно въ тонъ,
Реплики выучить,—все это не бездѣлки.
Посошковъ. И, вздоръ!
Извѣдовъ (*въ сторону*). Охъ, эти мнѣ актеры скороспѣлки!
Вездѣ отъ нихъ бѣда.
Посошковъ (*Вельскому*). Такъ ровно черезъ часъ
Онъ будетъ здѣсь?
Вельскій (*тихо Оленькѣ*). Теперь, сударыня, отъ васъ
Зависитъ все.
Посошковъ (*Вельскому*). И вы увѣрены, что можетъ
Онъ къ вечеру поспѣть?
Вельскій. Старанье все приложитъ,
Ручаюсь за него.
Наташа (*стараясь отвлечь Посошкова*). Позвольте васъ спросить:
Здѣсь въ роли у меня должны ошибки быть,—
Вотъ тутъ?
Посошковъ. Посмотримъ. Гдѣ?
Наташа (*показывая рукою*). Внизу.
Вельскій (*тихо Оленькѣ*). Мнѣ очень нужно
Сказать вамъ слова два.
Посошковъ (*читаетъ роль*). «Съ нимъ жить я стану дружно».
Наташа. А, дружно? Точно такъ.
Вельскій (*тихо Оленькѣ*). Мнѣ съ вами говорить
Теперь нельзя, но я...
Посошковъ (*Вельскому*). А что бъ намъ повторить...
Наташа (*показывая свою роль*). Позвольте!
Вотъ еще тутъ что-то непонятно.
Посошковъ (*читаетъ роль*). «Какъ этихъ стариковъ обманывать пріятно!
«Ну, имъ ли женщинъ быть умнѣе и хитрѣй».
Помилуй, матушка! Что жъ этого яснѣй?
(*Вельскому*). Андрей Степановичъ! За чѣмъ же дѣло стало?
Пройдемте сценки двѣ.
Наташа. Не лучше ли сначала
Заняться вамъ со мной?
Посошковъ. На что же намъ однимъ?
Мы сцены двѣ иль три всѣ вмѣстѣ повторимъ.
(*Вельскому*). Не правда ли?
Вельскій. Отъ всей души.
Посошковъ (*Оленькѣ*). А вы?
Оленька. Извольте.
Посошковъ. Съ чего бы намъ начать?
Вельскій. Мнѣ кажется...
Посошковъ. Постойте!
(*Смотритъ въ тетрадь*). Явленіе пятое... да! Точно съ этихъ поръ
Мы можемъ повторить. А гдѣ же нашъ суфлеръ?
Извѣдовъ. Я здѣсь, сударь.
Посошковъ. Вотъ стулъ, прошу садиться.
Возьми комедію... Да чуръ—не торопиться.
(*Вельскому*). Вы въ этомъ дѣйствіи отмѣнно хороши,
(*Оленькѣ*). А въ васъ бы я желалъ поболѣе души.
Натура и душа!—безъ этихъ двухъ условій
Искусство ничего.
Извѣдовъ (*въ сторону*). Нельзя безъ предисловій.
Прикажете начать?
Посошковъ. Да, душенька, начни.

Извѣдовъ. Явленіе пятое. Сначала вы одни,
Потомъ Эрастъ.
Посошковъ. Живѣй какъ можно эту сцену!
Извѣдовъ (*Наташѣ*). Извольте! Вамъ.
Наташа (*Оленькѣ*). «Я въ васъ большую перемѣну
«Сегодня нахожу.
«Быть можетъ васъ я этимъ разсержу,—
«Но, право, мнѣ смѣшно: вы плакали въ постели,
«Теперь вздыхаете... неужто въ самомъ дѣлѣ
«Боитесь вы?»...
Оленька. «Всего!
«Ахъ, Машенька! Я такъ люблю его!
«И вотъ ужъ пятый день»...
Наташа. «Къ окну онъ не подходитъ.
«Такъ это-то съ ума васъ сводитъ?
«Да онъ ужъ не живетъ напротивъ насъ».
Оленька. «Возможно ли? Эрастъ»...
Наташа. «Изъ нашего сосѣдства
«Давно ужъ выѣхалъ и, вѣрно, ищетъ средства
«Увидѣть ближе васъ;
«Вашъ опекунъ хитеръ, а онъ еще хитрѣе,
«И, можетъ быть»...
Оленька. «А мнѣ такъ кажется вѣрнѣе,
«Что онъ уѣхалъ изъ Москвы»...
Наташа. «Да вотъ онъ налицо».
Оленька. «Возможно ль! это вы?»
Посошковъ. Не то, совсѣмъ не то! Простое удивленье
Не значитъ ничего. Гдѣ жъ радость, восхищенье?
Нѣтъ, нѣтъ, сударыня! Вы слишкомъ холодны!
Не правда ль, что въ него вы страстно влюблены?
Наташа. Конечно, такъ.
Посошковъ. Что съ нимъ и видѣться хотѣли?
Что онъ любовникъ вашъ... Ну, вотъ и покраснѣли!
Охъ, эта скромность мнѣ! Пора вамъ быть смѣлѣй.
Наташа. Я то же говорю.
Посошковъ. Скажите веселѣй:
«Возможно-ль! Это вы!» Ну, что же! Говорите!
Оленька. «Возможно-ль! Это вы?..»
Посошковъ. Куда же вы глядите?
Смотрите на него: онъ главный персонажъ.
Вельскій. «Да, Лиза, это я—любовникъ вѣрный вашъ!
«Я съ вами, вижу васъ... и все теперь: разлуку,
«Печаль, тоску... все, все забылъ!»
Посошковъ (*Вельскому*). Цѣлуйте руку!
Оленька. «Вы здѣсь, Эрастъ! И вы пять дней могли
«Не видѣться со мной!»
Наташа. «Да будьте-жъ съ нимъ построже:
«Легко ль, пять дней! На дѣло не похоже!
«Мы чуть было отъ васъ въ постелю не слегли:
«Съ утра до вечера, все плакали, грустили»...
Вельскій. «Я ѣздилъ изъ Москвы».
Наташа. «Вы ѣздили?»
Вельскій (*Оленькѣ*). «Но вы вездѣ со мною вмѣстѣ были!
«Вы здѣсь и навсегда!»
Оленька (*Наташѣ*). «Ахъ, какъ онъ милъ!»
Вельскій. «Я съ вами разставался
«За тѣмъ, чтобъ вѣчно вашимъ быть:
«Я ѣздилъ къ дядюшкѣ, во всемъ ему признался,
«Клялся ему васъ вѣкъ любить!
«Кто чувствуетъ, какъ я,—тому краснорѣчивымъ
«Не трудно быть: я всѣ сомнѣнья превозмогъ,
«Онъ мнѣ позволилъ быть счастливымъ.
«Теперь я здѣсь, у вашихъ ногъ!
«Отъ вашего зависитъ приговора
«Все счастье, жизнь моя»...
Посошковъ. Ахъ, если бы актера
Еще такого намъ!
Вельскій. «Скажите только: да!
«И я навѣки, навсегда
«Любовникъ вашъ, супругъ»...
Посошковъ. Прекрасно, превосходно!
Вотъ истинный талантъ!
Оленька. «Притворство мнѣ не сродно...
«Я васъ люблю»...
Посошковъ. Нѣжнѣй, сударыня, нѣжнѣй.
Оленька. «Я васъ люблю, Эрастъ»!..
Посошковъ (*Вельскому*). Подвиньтесь ближе къ ней.
Оленька. «Но я, къ несчастію, свободы не имѣю
«Располагать собой».
Наташа. «Я васъ не разумѣю».
Оленька. «Мой опекунъ»...
Наташа. «Да что онъ за указъ?
«И есть ли что-нибудь съ нимъ общаго у васъ?
«Онъ старъ, вы молоды; онъ дуренъ, вы прекрасны».
Вельскій. «Что значитъ власть опекуна,
«Когда вы будете согласны
«Супругой быть моей»?
Оленька. «Такъ я должна»..
Наташа. «Должны, какъ слѣдуетъ, сначала колебаться,
«Твердить о томъ, о семъ,
«Поплакать и потомъ—
«Сегодня убѣжать, а завтра обвѣнчаться».
Оленька. «Что ждетъ меня? Насмѣшки, клеветы...
«Ахъ! Участь сироты
«Достойна сожалѣнья!»
Вельскій. «Рѣшитесь быть моей, и мы сегодня въ ночь
«Уѣдемъ къ дядюшкѣ; онъ приметъ васъ, какъ дочь»...
Оленька. «Но какъ рѣшиться мнѣ? Какое положенье!
«Предметомъ сдѣлаться злословья, клеветы...

«Нѣтъ, нѣтъ, Эрастъ!»
Вельскій. «О, если все напрасно,
«И просьбы, и любовь»...
Наташа. «Чего жъ хотите вы?
«Не вдругъ же ей сказать: Извольте! я согласна!»
Вельскій. «Какъ долго я обманывалъ себя!
«Васъ пламенно любя,
«Я смѣлъ мечтать, что тѣ же чувства
«Понятны и для васъ;
«Что съ сердцемъ искреннимъ, безъ всякаго искусства,
«Сказавъ: люблю! мнѣ въ первый разъ,
«Навѣкъ вы сдѣлались моею»...
Оленька. «Вы сердитесь»?..
Вельскій. «О, нѣтъ! Я холоденъ какъ ледъ:
«Упреки дѣлать вамъ я права не имѣю,—
«Его любовь даетъ.
«А вы»...
Наташа. «Помилуйте! Ну то ли
«Вамъ должно говорить?»
Оленька. «Но я не вѣкъ останусь въ неволѣ:
«Быть можетъ, черезъ годъ...
Вельскій. «Безъ васъ годъ цѣлый жить!
«Безъ васъ! Ахъ, Боже мой! Кто можетъ быть порукой,
«Что я, измученный тоской и скукой,
«Еще годъ цѣлый проживу?»
Наташа. «И больше проживете».
Вельскій. «Нѣтъ! Лучше навсегда оставлю я Москву;
«Тогда вы вѣрно предпочтете
«Моей любви вашъ собственный покой;
«Тогда соперникъ мой»...
Оленька. «Соперникъ вашъ?.. Какой»?
Вельскій. «Вашъ милый опекунъ»...
Наташа. «Ну, есть кого бояться!»
Вельскій. «Быть можетъ, наконецъ, ему повиноваться
Рѣшитесь вы, и цѣлый свѣтъ
«Васъ будетъ прославлять—онъ самъ... нѣтъ.
«Лиза, нѣтъ:
«Ему-ль понять блаженство
«Супругомъ вашимъ быть»!..
Посошковъ. Какое совершенство!
Ну, Вельскій, признаюсь, отъ васъ я безъ ума!
Вельскій. Недурно я сыгралъ?
Посошковъ. Какъ Гаррикъ, какъ Тальма, Почти какъ я!
Вельскій. О, нѣтъ! Ужъ это слишкомъ много.
Посошковъ. Повѣрьте мнѣ, я васъ сужу отмѣнно строго!
Да иначе судить васъ было-бы грѣшно:
Вѣдь вы талантъ! Вамъ все натурою дано.
Наружность славная, органъ отлично гибокъ;
Конечно есть кой что—нельзя-же безъ ошибокъ:
Подчасъ играете вы слишкомъ горячо,
Руками машете, да лѣвое плечо
Немножечко шалитъ.
Извѣдовъ. Нѣтъ, это ужъ нападки:
Позвольте вамъ сказать, всѣ эти недостатки
Такъ мелочны, что ихъ смѣшно и замѣчать.
Посошковъ. Да Вельскому нельзя и мелочи прощать—
Онъ истинный артистъ.
Извѣдовъ. Все такъ, но разсудите...
Посошковъ. Намъ спорить некогда! Извольте! Повторите
Послѣднія слова.
Вельскій. Послѣднія?.. Да, да!
«Супругомъ вашимъ быть».
Наташа. «Ну, барышня, бѣда!
«Намъ нѣтъ спасенья никакого».
Извѣдовъ (*суфлируя*). «За сценой голосъ Сундукова».
Посошковъ (*начиная играть свою роль*).
«Эй, люди! Дурачье? Да слышите-ль! Кто тамъ!»
Оленька. «Ахъ, Боже мой! Куда дѣваться намъ»?
Посошковъ. «Я васъ, разбойники!»
Наташа. «Пропали мы!»
Вельскій. «Пустое!
«Не бойтесь ничего!»
Извѣдовъ (*суфлируя*).
«Явленіе шестое;
«Лишь только я съ двора»...
Посошковъ. Эхъ, братецъ! Не спѣши!
«Лишь только я съ двора, такъ въ домѣ ни души...
«Кой чортъ! Да здѣсь проѣзжая дорога».
Оленька. «Ахъ, ради Бога,
«Уйдите поскорѣй!»
Посошковъ. «Ворота на запоръ! Ключи отъ всѣхъ дверей
«Принесть ко мнѣ. Ужъ я тебя, скотина!
«Шататься все, а нѣтъ, чтобъ дворъ подместь...
«Пошелъ, болванъ!.. Эге! Да здѣсь и гости есть!
«Возможно-ли—мужчина!
«Вы кто, сударь? Зачѣмъ и почему?
«Кого вамъ надобно?»
Вельскій. «Извините!
«Я только что взошелъ».
Посошковъ. «Взошли... Къ кому?..
«Что вижу? къ вамъ?.. Вотъ я васъ! Погодите!
«Взошли!.. Зачѣмъ, сударь? Да развѣ здѣсь корчма?
«Взошли, когда хозяина нѣтъ дома»...
Вельскій. «Вы все узнаете изъ этого письма».
Посошковъ. «Рука, мнѣ кажется, знакома».
Вельскій. «Отъ дяди моего».
Посошковъ. «Да это все равно,
«Письмо—письмомъ, а вамъ бы не мѣшало
«Безъ спроса не входить».
Вельскій. «Вы дружны съ нимъ давно.
«Степанъ Кондратьевичъ Окновъ».

Посошковъ. «Окновъ? Такъ стало.
«Онъ живъ еще?
(*Читаетъ*). «Любезный другъ! Податель сего
племянникъ мой Сурскій»...
«Вы Сурскій? Очень радъ!
«Покойный вашъ отецъ со мною знакомъ былъ
лично;
«А все скажу, что вовсе неприлично
«Вломиться силой въ домъ».
Вельскій. «Чтожъ дѣлать—виноватъ!»
Посошковъ (*читаетъ*). «Онъ любитъ одну
весьма достойную дѣвицу, но, къ несчастію,
у него есть соперникъ. Я стараюсь уладить
это дѣло, а между тѣмъ, боясь, чтобъ онъ
не надѣлалъ дурачествъ, отправилъ его въ
Москву; не оставляйте его вашими совѣтами.
Надѣясь на дружбу вашу, я увѣренъ и проч.,
и проч.».
«Такъ вы намѣрены жениться?
«Вотъ это хорошо! Я съ вами подружиться
«Душою радъ... Да только вотъ бѣда!
«Вы ѣздить будете напрасно—
«Меня нѣтъ дома никогда.
«И такъ вы любите? И очень страстно?»
Вельскій (*глядя на Оленьку*). «И сердце
и душа,
«Все ей принадлежитъ.»—
Посошковъ. «Ужъ, вѣрно, хороша?
«И спрашивать не надо».
Вельскій. «Всѣ въ мірѣ женщины ея не
стоятъ взгляда».
Посошковъ. «Похвально! Хорошо! Прошу ко мнѣ впередъ!
«А что, соперникъ вашъ и молодъ и прекрасенъ?»
Вельскій. «О, нѣтъ! Онъ вовсе не опасенъ:
«Сѣдой старикъ, скупецъ, животное, уродъ...»
Посошковъ (*своимъ голосомъ*). Эхъ, батюшка, не то! Вамъ должно обозначить
Насмѣшку тутъ: вѣдь вы должны меня дурачить.
Наташа. Да онъ, мнѣ кажется, и такъ
дурачитъ васъ.
Посошковъ. Побольше тонкостей! Играя
въ первый разъ,
Ихъ всѣ нельзя схватить, а вы, сударь, не
вновѣ:
Вамъ стыдно ихъ не знать. «Уродъ!» — при
этомъ словѣ
Взгляните на меня.
Вельскій (*повторяя*). «Сѣдой старикъ!
скупецъ!..»
Посошковъ. Вотъ такъ!
Вельскій. «Уродъ!»
Посошковъ. Брависсимо!
Вельскій. «Глупецъ!»
Посошковъ. Отлично! Хорошо!
Вельскій. «А сверхъ того...»
Посошковъ (*начинаетъ опять играть*).
«Увольте!»...
(*Наташѣ и Оленькѣ*).
«Я брани не люблю. Ступайте вонъ!»
Наташа. «Позвольте
«Сказать вамъ слова два».
(*Отводитъ Посошкова къ сторонѣ, а между тѣмъ Вельскій и Оленька говорятъ тихо*).
Посошковъ. «Ну, что-же, говори!»
Наташа. «Хотите-ли держать пари,
«Что этотъ господинъ пріѣхалъ къ вамъ не
даромъ?»
Посошковъ. «Неужели?»
Наташа. «Тутъ что-нибудь да есть—
Замѣтили-ль, съ какимъ онъ жаромъ
«Описывалъ любовь свою, а между тѣмъ
«Смотрѣлъ на барышню?»
Посошковъ. «Смотрѣлъ? Зачѣмъ?»
Наташа. «Я этихъ сорванцовъ ужасно
ненавижу:
«Отъ нихъ того и жди...»
Посошковъ (*своимъ голосомъ*). Да стань
сюда! Я вижу;
Закрой побольше ихъ! Ахъ, нѣтъ! Еще впередъ!
(*Вельскій отдаетъ записку Оленькѣ*).
Все вижу, матушка: записку отдаетъ,
Вотъ шепчетъ на ухо!
Вельскій. (*тихо Оленькѣ*). Прочтите поскорѣе!
Посошковъ (*Вельскому*). (*Беретъ у Оленьки записку*).
Не такъ! Позвольте мнѣ! Проворнѣй и хитрѣе:
Смотритъ на меня! Совсѣмъ не тотъ пріемъ!
(*Отдаетъ записку Оленькѣ*).
Мы вотъ какъ, батюшка, записки отдаемъ.
(*Наташѣ, продолжая играть свою роль*).
«Итакъ, мнѣ должно опасаться?»
Наташа. «Большой опасности тутъ нѣтъ».
Посошковъ. «Все можетъ статься.
«Эхъ, Машенька, не долго до грѣха...»
Извѣдовъ. Позвольте! У меня послѣдняго
стиха
Въ піесѣ нѣтъ.
Посошковъ (*беретъ тетрадь и смотритъ*).
Ну, такъ! Впередъ я самъ засяду
И буду списывать. Тутъ двѣ ошибки сряду.
Кто списывалъ ее?
Наташа. Фома, буфетчикъ нашъ.
Посошковъ. (*Извѣдову*). Охъ, эти мнѣ
писцы! Подай мнѣ карандашъ!
Вельскій. Угодно мой?
(*Подаетъ ему. Посошковъ дѣлаетъ поправки, а между тѣмъ Оленька вполголоса читаетъ письмо*).

Оленька (*читаетъ*). «Я боялся, что не пайду свободной минуты переговорить съ вами, и для того заготовилъ это письмо. Почтенный благодѣтель мой, вашъ дядюшка Честоновъ, и слышать не хочетъ, чтобъ вы были за Посошковымъ; онъ далъ слово помогать намъ, и если вы согласитесь...» (*Прячетъ письмо*).

ЯВЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Тѣ-же, Любскій, Любская и Бирюлькинъ.

Любскій. Ну, вотъ они! А мы искали
Васъ цѣлый часъ въ саду.
Наташа. Мы роли повторяли.
Посошковъ (*перевертывая листы въ тетради*). Постой, еще! Да тутъ премножество грѣховъ!
Любскій. Ага! И Вельскій здѣсь? Ну, что твой Прямиковъ?
Вельскій. Уѣхалъ за городъ; однако-же, къ обѣду
Хотѣлъ онъ быть домой.
Любскій. Такъ что-же ты?
Вельскій. Я ѣду
Опять къ нему.
Любскій. Боюсь, откажется злодѣй!
Вельскій. О, вѣрно нѣтъ!
Любскій. Да ты узналъ бы отъ людей,
Куда уѣхалъ онъ.
Вельскій. Теперь его застану:
Ужъ скоро пятый часъ.
Любскій. А если нѣтъ?
Вельскій. Такъ стану
Искать его вездѣ и гдѣ-нибудь найду.
(*Тихо Оленькѣ*). Вы все прочли?..
Любскій. Ступай скорѣй!
Вельскій. Сейчасъ, иду. (*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ ПЯТОЕ.

Тѣ-же, безъ Вельскаго.

Любскій. Да этотъ Прямиковъ, какъ кладъ, намъ не дается.
Любская. Эй, батюшка, повѣрь—намъ вечеромъ придется
Съ отказомъ посылать ко всѣмъ...
Любскій. Молчи, жена!
(*Посошкову*). И безъ тебя тоска! А все твоя вина.
Не знать навѣрное—да это хуже пытки!
Одинъ бы ужъ конецъ.
Любская. Напрасные убытки,
Расходы, хлопоты и больше ничего.
Любскій (*Посошкову, который смотритъ въ окно*). Ну, что?
Посошковъ. Отправился.
Любская. Нельзя ли безъ него
Кой-что пройти? Вѣдь онъ не нуженъ вамъ?
Посошковъ. Ни мало;
Мы можемъ повторить весь первый актъ сначала.
Любскій. Такъ что же? Повтори.
Посошковъ (*беретъ тетрадь у Извѣдова*). Извольте по мѣстамъ.
(*Оленькѣ*). Явленье первое. Куда же вы? Не тамъ.
(*Наташѣ*). Вы здѣсь должны сидѣть. А вы сюда поближе.
(*Оленькѣ*). Держите голову немножечко пониже!
Да кто же въ горести такъ весело глядитъ?
Задумайтесь! Вотъ такъ! Еще печальнѣй видъ,
Чтобъ тотчасъ же была замѣтна горесть ваша.
Явленье первое...
Любскій. Постой, постой! Наташа,
Подвинься-ка впередъ — еще лѣвѣй! Вотъ такъ.
Слуга (*входитъ и говоритъ громко*). Матрена Савишна Кутермина.
Любскій. Дуракъ!
Скажи, что дома нѣтъ.
Слуга. Докладывалъ.
Любскій. Такъ что-же?
Слуга. Изволитъ все итти.
Любскій. Ну, вотъ! На что похоже!
Ступай, животное! Скажи, что я...
Любская. Молчи!
Она идетъ.
Любскій. Что мы...
Любская. Да полно, не кричи!

ЯВЛЕНІЕ ШЕСТОЕ.

Тѣ-же, Кутермина, 1-я племянница и 2-я племянница.

Кутермина (*Любской*). Здорово, матушка!
(*Любскому*). А, здравствуй, Ѳедоръ Львовичъ
(*Бирюлькину*). Каковъ ты, мой отецъ? Ты! здѣсь, Максимъ Петровичъ?
Не стыдно ли! Совсѣмъ изволилъ насъ забыть.
(*Любской, представляя племянницъ*).
Племянницы мои! Прошу ихъ полюбить.
Они сбирались къ вамъ вчера, да поздно встали:
На дежёне дансанъ всю ночь протанцовали;
Прыгуньи страшныя.
Любская. Давно ли здѣсь?
Кутермина. Дней пять.
Любская. Повѣрите-ль. Гляжу и не могу понять,
Какъ можно вырость такъ.
Кутермина. А что, вѣдь не узнаешь.
Вотъ Софья, старшая. Ну, что-жъ не присѣдаешь!
Вся въ матушку свою, привычками, лицомъ,—
Ну, словомъ, сходства нѣтъ съ покойникомъ отцомъ:
Предобрая! А вотъ меньшая, Катерина,
Не правда ль, что въ отца? Красавецъ былъ мужчина,
И дочка вся въ него.
1-я племянница. Ахъ, полноте, ma tante!

Кутермина. Когда бы знали вы, какой у нихъ талантъ?
Да вотъ, на этихъ дняхъ, заѣдемъ къ вамъ пораньше,
И вы услышите! Большія музыканши:
Вездѣ отъ пѣнья ихъ всѣ были безъ ума;
Объ этомъ изъ Москвы писала мнѣ кума
Глафира Саввишна, а кумушка не лгунья;
Ты знаешь, чай, ее?

Любскій (*въ сторону*). Проклятая болтунья!
(*Громко*). Я звалъ васъ на вечеръ и очень буду радъ...

Кутермина. А, кстати! Что у васъ сегодня? маскарадъ?..

Любскій. Театръ, сударыня.

Кутермина. Да, точно виновата!
Не знаю отъ кого, а, помнится, отъ свата
Андрея Карпыча я слышала... иль нѣтъ! —
Отъ Ленской, кажется, что вы не то балетъ,
Не то трагедію, а что-то дать хотите.
Да дѣло не о томъ—племянницы, просите,
Чтобъ мнѣ позволили и васъ съ собой привесть.

Любскій (*въ сторону*). Ну такъ! Я это зналъ!..
(*Громко*).
Мы вѣрно бы за честь
Почли себѣ... и намъ, конечно... очень лестно,
Что вы... Но, я боюсь, не будетъ ли имъ тѣсно...

Кутермина (*Любской*). Я васъ, мои друзья, считаю за родныхъ;
Однако жъ, все-таки хотѣла прежде ихъ
Представить вамъ сама.

Любская. Напрасно вы трудились.

Кутермина. Помилуй, матушка! На что бъ онѣ годились,
Когда-бъ учтивости не стали наблюдать?
А нынче, нечего—лишь стоитъ волю дать,
Тотчасъ нагрянутъ всѣ, и даже есть нахалы,
Которые вездѣ втираются на балы,
Хоть не были бъ никѣмъ туда приглашены.
Вотъ я, такъ нѣтъ! Люблю держаться старины
И долгъ мой не считать за вѣжливость пустую,
Всегда, какъ слѣдуетъ, сперва рекомендую,
А тамъ и привезу — и трудно-ль въ первый разъ
Съ визитомъ побывать? Сегодня я приказъ
Моимъ племянникамъ дала, и очень строго,
Чтобъ имъ... Ты знаешь ихъ?

Любскій. У васъ родныхъ такъ много...

Кутермина. Отецъ ихъ, Пустельгинъ, двоюродный мой братъ.
Я знала напередъ, что ты имъ будешь радъ:
Однако же, сюда пріѣхать имъ велѣла.

Любскій. Помилуйте! На что?

Кутермина. Я просто бы не смѣла
Ихъ на вечеръ привесть.

Любскій (*въ сторону*). Да что же я молчу?
(*Громко*).
Позвольте вамъ сказать...

Кутермина. И слушать не хочу!

Любскій. Вы безпокоили племянниковъ напрасно.

Кутермина. Эхъ, батюшка, повѣрь, ихъ баловать опасно:
Какъ разъ зазнаются, повадку только дай!
Нѣтъ! Дружба дружбою, а долгъ свой наблюдай!

Любскій. Не спорю, матушка, все это справедливо...

Кутермина. О, я на этотъ счетъ отмѣнно щекотлива:
Невѣжу не пущу къ себѣ на полдвора.
Да что жъ они? Давно бъ пріѣхать имъ пора,
Мнѣ кажется: я къ нимъ сегодня до разсвѣта
(*Смотритъ въ окно*).
Отправила слугу... А вотъ и ихъ карета!
Пріѣхали! (*Идетъ къ дверямъ*).

Любскій (*Посошкову*). Въ ней нѣтъ и на волосъ стыда.

Посошковъ. Какой въ ней стыдъ!

Кутермина. Сюда, голубчики! Сюда!

Любскій. Ну, можно ль быть кому безстыднѣй и наглѣе!

Кутермина. Андрюша, Ваничка! Ступайте же скорѣе!

ЯВЛЕНІЕ СЕДЬМОЕ.

Тѣ же, 1-й племянникъ и 2-й племянникъ.

Кутермина. Вотъ, батюшка, они! Съ рукъ на руки сдаю.
Племянникъ мой, Андрей, отъ васъ не потаю,
Отцовскій фаворитъ.

Любскій. О, въ этомъ я увѣренъ!

Кутермина. Да то бѣда—служить онъ въ конницѣ намѣренъ,
И вотъ, какъ видите, усы ужъ отпустилъ.
Охъ, эта молодежь! Отецъ его просилъ,
Мы всѣ: «Андрюшенька, убьютъ!» Такъ нѣтъ! Все даромъ.
Рѣшительно сказалъ, что хочетъ быть гусаромъ,
И служба статская ему какъ острый ножъ.
Вотъ, Ваничка совсѣмъ на брата не похожъ:
Ученый человѣкъ и даже былъ студентомъ.
Племянникъ не сочтетъ, конечно, комплиментомъ,
Когда при всѣхъ ему скажу въ глаза, что онъ
Чуть-чуть не философъ, ученъ, переученъ;
Науки нѣтъ такой, гдѣ бъ онъ не отличился,
Все знаетъ, мой отецъ, и физикѣ учился.

Посошковъ. Да этой болтовнѣ не будетъ и конца.

Кутермина. Со свѣчкой поискать такого мудреца.

Посошковъ (*тихо Любскому*). Отдѣлайтесь скорѣй!

Любскій. Я крайне сожалѣю,
Что не могу никакъ... и даже ихъ не смѣю
Сегодня пригласить. Я очень бы желалъ

Имѣть ихъ у себя, но нашъ театръ такъ малъ,
Ко мнѣ же назвалось гостей, конечно, вдвое,
Чѣмъ могъ я ожидать...
Кутермина. И, батюшка, пустое!
Два гостя лишніе не значатъ ничего.
Любскій. Клянусь вамъ, не могу...
Кутермина. Я жъ мѣста одного
(*Показывая на другою племянника*)
Для Ванички прошу; объ этомъ, мой почтенный,
Прошу не хлопотать: вѣдь, онъ полувоенный,—
Протрется какъ-нибудь.
Посошковъ (*Любскому*). Охота-жъ время длить!
Рѣшитесь поскорѣй.
Любскій. Извольте, такъ и быть!
Кутермина (*племянникамъ*). Спасибо, мой отецъ! Ну, что-жъ? Благодарите!
Любскій. Быть можетъ, господа, въ дверяхъ вы постоите—
Впередъ вамъ говорю.
Кутермина. Взойти-бы только въ дверь,
А тамъ ужъ ихъ бѣда.
Любскій. Позвольте намъ теперь
Заняться пробою, намъ, право, недосужно.
Кутермина. Сейчасъ, почтенный мой, сейчасъ! мнѣ только нужно
(*Племянникамъ*).
Минутки двѣ. При мнѣ карету запрягли,
Такъ что-жъ они?
1-й племянникъ. Въ одну усѣсться не могли.
Любскій. Ахъ, Боже мой! Еще? Нѣтъ, это ужъ злодѣйство!
Кутермина. Да, да! Еще кой-кто изъ нашего семейства:
Сейчасъ представлю вамъ, сейчасъ!
Любскій. Напрасный трудъ!
Я вамъ ужъ объяснилъ.
Кутермина. Ихъ тотчасъ привезутъ.
Что-жъ дѣлать, мой отецъ! Ужъ я дала имъ слово!
Къ тому-же все свои, ни одного чужого:
Мусье Ле-Гро, жена его, мадамъ Адель,
Отличный человѣкъ; нѣмецкая мамзель,
Шарлотта Карловна, немножечко болтлива,
Зато ужъ какъ добра, тиха, неприхотлива!
Какъ ходитъ за дѣтьми! На шагъ не отстаетъ;
Старательна, умна и дешево беретъ.
А тамъ еще кой-кто; но этою бездѣлкой
Не стоитъ затруднять тебя — народъ все мелкій.
Послушай, душенька, голубчикъ, золотой!
Потѣшь моихъ внучатъ! Всего-то ихъ... постой!
Танюшка, Вѣрочка, Акулинька и Глаша,
Да, кажется, еще...
Любскій. Еще? Нѣтъ воля ваша...
Кутермина (*бѣжитъ къ дверямъ*).
Пріѣхали. Сюда, мусье, ведите ихъ!

ЯВЛЕНІЕ ВОСЬМОЕ.

Тѣ-же, учитель, гувернантка, нянюшка, четыре дѣвочки и два мальчика.

Любскій. Что вижу! Боже мой! Весь родъ Кутерминыхъ!
Кутермина. Позволь имъ, батюшка! Ты этимъ мнѣ докажешь,
Что истинный мой другъ! Неужели откажешь?
Любскій. Да что-жъ, помилуйте! Вѣдь, домъ мой не трактиръ.
Кутермина. И! Что ты, мой отецъ!
Любскій. Вы этакъ цѣлый міръ
Готовы привести.
Кутермина. Но ты мнѣ самъ позволилъ...
Любскій. Гдѣ видано...
Кутермина. За что разгнѣваться изволилъ?
Любскій. За что? Да вы ко мнѣ пристали, какъ съ ножомъ.
Кутермина. Ахъ, батюшки! И вѣкъ не загляну въ твой домъ,
А съ горя не умру. Ступайте вонъ!.. Ну, что-же!
(*Учитель, гувернантка и дѣти уходятъ*).
Не знала, батюшка, что вамъ театръ дороже
Такихъ друзей, какъ я! Возможно-ль! Отказать
Въ такой бездѣлицѣ! А правду-то сказать?:
Чего смотрѣть?
Посошковъ. Чего? Нѣтъ, это ужъ безстыдство
Изъ мѣры вонъ!
Кутермина. Да, да! И что за любопытство?
Большая невидаль—театръ! Ахъ, Боже мой!
(*Племянницамъ*)
Вы съ братьями сейчасъ въ карету и домой!
(*Племянницы и племянники уходятъ*).
Посошковъ. Позвольте доложить! Вы сердитесь напрасно...
Кутермина. За вѣжливость мою наказана прекрасно.
(*въ сторону*) Добро, ты, грубіянъ!
Любскій. Мнѣ, право, очень жаль...
Кутермина. Конечно, и для насъ ужасная печаль!
Я знаю, вашъ театръ — восьмое въ свѣтѣ чудо.
Посошковъ (*тихо Любскому*). Мы цѣлый день ее не выживемъ отсюда;
Уйдемте поскорѣй.
Кутермина. (*въ сторону*). О, если-бъ я могла
Порядкомъ отплатить!
Любскій. (*Кутерминой*). У насъ свои дѣла,
Итакъ, позвольте намъ...
Кутермина. Кто держитъ васъ? Идите.
Посошковъ. На пробу намъ пора.
Любскій. Прошу васъ, не взыщите,
Что мы оставимъ васъ однѣхъ. Пойдемъ, жена!

Любская. Позволь хоть мнѣ...
Любскій. И, вздоръ! Пускай сидитъ одна!
(*Всѣ уходятъ*; *Кутермина останавливаетъ Бирюлькина*).

ЯВЛЕНІЕ ДЕВЯТОЕ.

Кутермина и Бирюлькинъ.

Кутермина. Два слова, душенька! Но только съ уговоромъ:
Всю правду мнѣ скажи! Ты также здѣсь актеромъ?
Бирюлькинъ. Кто, я-съ? Что грѣхъ таить! Ужъ видно такъ судьбѣ
Угодно, матушка...
Кутермина. Не стыдно-ли тебѣ,
Проживши столько лѣтъ, на старости срамиться!
Бирюлькинъ. Такъ, такъ, сударыня!
Кутермина. Ну, можно-ль согласиться?..
Бирюлькинъ. Все знаю, матушка! Меня, какъ на убой,
Ведутъ...
Кутермина. Они въ глаза смѣются надъ тобой.
Бирюлькинъ. А что! И подлинно!
Кутермина. Да это очевидно.
Эхъ, батюшка Максимъ Петровичъ! Какъ не стыдно
Хотѣть въ твои лѣта нарядным шутомъ быть!
Бирюлькинъ. Такъ, такъ!
Кутермина. Эй, будешь ты въ бубенчикахъ ходить!
Ну, ежели они тебя одѣнутъ франтомъ?
Бирюлькинъ. Навѣки осрамятъ.
Кутермина. Добро бъ ты былъ съ талантомъ,
А то, подумай самъ, ну, что ты за актеръ?
Бирюлькинъ. Охъ, точно такъ! Бѣда! Безчестье и позоръ!
Кутермина. Да что ты охаешь? Къ чему всѣ эти вздохи?
Не самъ ли ты пошелъ охотой въ скоморохи?
Бирюлькинъ. Охотой, матушка? Да кто бы мнѣ велѣлъ!
Помилуйте, за что?
Кутермина. Такъ ты, сударь, хотѣлъ
Всѣмъ разомъ угодить?
Бирюлькинъ. Какое угожденье!
Я Любскаго боюсь: опишетъ все имѣнье.
Кутермина. Опишетъ? Почему?
Бирюлькинъ. Вѣдь, я его должникъ.
Кутермина. Должникъ?
Бирюлькинъ. По векселю; хоть долгъ мой не великъ,
Но я уплатою отмѣнно озабоченъ.
Кутермина. И срокъ уже прошелъ?
Бирюлькинъ. Давнымъ-давно просроченъ,
Какъ-разъ потянетъ въ судъ.
Кутермина. Смотри, какой злодѣй!
А сколько долженъ ты?
Бирюлькинъ. До тысячи рублей...
Повѣрите ль, какой терплю я недостатокъ:
Копѣйки въ домѣ нѣтъ. Вотъ если-бы до святокъ
Хотѣлъ онъ подождать, иль только до зимы...
Кутермина. Послушай! Такъ и быть! Я дамъ тебѣ взаймы,
Но только съ тѣмъ, чтобъ ты отъ роли отказался.
Бирюлькинъ. Ахъ, Боже мой! Да какъ?
Кутермина. Чего жъ ты испугался?
Бирюлькинъ. А Любскій, мутушка? Бѣда! Вѣдь, онъ презлой!
Кутермина. Такъ хочешь ты, чтобъ всѣ смѣялись надъ тобой,
Не только взрослые, но даже и ребята?
Подумай, у тебя давно ужъ есть внучата;
Хоть ихъ-то не срами!
Бирюлькинъ. Все такъ... я знаю самъ...
Кутермина. Послушай, душенька! Вѣдь, я отсрочку дамъ
Еще на цѣлый годъ.
Бирюлькинъ. О, если такъ—извольте!
Кутермина. Нельзя ль еще кого?.. Да много ль васъ?
Бирюлькинъ. Постойте!
Во-первыхъ, я, потомъ какой-то Прямиковъ,
Котораго всѣ ждутъ; тамъ Вельскій, Посошковъ...
Кутермина. И этотъ Вельскій здѣсь? Мальчишка преупрямый,
Племянникъ Волгина?
Бирюлькинъ. Да, матушка, тотъ самый.
Кутермина. Что если бъ мнѣ?.. А что-жъ? Попытка не бѣда:
Отправлюсь къ Волгину. А ты ступай туда,
Молчи, и въ пять часовъ иль около шестого
Явись ко мнѣ домой. Да слышишь ли,—ни слова!
Чтобъ никто не зналъ...
Бирюлькинъ. Когда угодно вамъ,
Такъ я, сударыня, и виду не подамъ.
Кутермина. Ну то-то же, ступай!
(*Бирюлькинъ уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ ДЕСЯТОЕ.

Кутермина (*одна*). Теперь-то постараюсь!
Добро, мой другъ! Ужъ я съ тобой расквитаюсь;
Всѣ мерзости твои на дѣлѣ докажу:
Поѣду къ Волгину, о всемъ ему скажу,
Раскрашу, распишу, гдѣ надобно прибавлю,
Взбѣшу его—и вашъ театръ вверхъ дномъ поставлю. (*Уходитъ*).

конецъ второго дѣйствія.

ДѢЙСТВІЕ ТРЕТЬЕ.

Та же комната.

ЯВЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

Вельскій и Извѣдовъ

(*входятъ на сцену изъ среднихъ дверей*).

Извѣдовъ. И такъ, спектакль нашъ придется отложить?

Вельскій. Что жъ дѣлать! Прямиковъ...
Извѣдовъ. Неужто упросить
Его нельзя никакъ?
Вельскій. Къ несчастію, нѣтъ средства:
На-днихъ онъ получилъ какое-то наслѣдство
И ѣдетъ за сто верстъ.
Извѣдовъ. Когда?
Вельскій. Сегодня въ ночь.
Извѣдовъ. Такъ горю вашему придется мнѣ помочь:
Отдайте ролю мнѣ, я дѣло все поправлю!
Вельскій. Ты хочешь самъ играть?
Извѣдовъ. За счастіе поставлю.
Не спорю—эта честь отмѣнно велика;
Зато ручаюсь вамъ, что въ роли старика
Увидите вполнѣ отличнаго актера.
Вельскій. Все такъ, но какъ же намъ остаться безъ суфлера?
Извѣдовъ. Да развѣ приказать не можно никому?
Заставьте, напримѣръ, буфетчика Ѳому.
Онъ малый грамотный: не только что свободно,
Читаетъ мастерски,—а впрочемъ, какъ угодно,
Принять и не принять вольны вы мой совѣтъ,
А только, вѣрьте мнѣ, другого средства нѣтъ.
Вельскій. Ступай же поскорѣй, узнай отъ Посошкова...
Извѣдовъ. Сейчасъ, сударь, иду! Одно лишь слово:
Скажите мнѣ, что вамъ Честоновъ говорилъ?
За васъ онъ или нѣтъ?
Вельскій. Онъ жизнь мнѣ возвратилъ.
Извѣдовъ. Такъ онъ не противъ васъ?
Вельскій. Ни мало.
Извѣдовъ. Что за диво,—
Къ чему жъ онъ говорилъ: «Племянница счастлива:
Женихъ по сердцу; онъ скроменъ, тихъ, съ умомъ...»
Вельскій. Да знаешь ли, кого считалъ онъ женихомъ?
Извѣдовъ. Кого? Неужто васъ?
Вельскій. Насилу догадался!
Извѣдовъ. Вотъ что! Ахъ, я дуракъ! Чего же я боялся?
Хоть дядя противъ васъ, но это пустяки.
Ура, сударь! Когда Честоновъ вамъ съ руки,
Бояться нечего: теперь намъ все возможно.

ЯВЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

Тѣ же и Честоновъ.

Честоновъ (*Вельскому*) Скорѣй, мой другъ, скорѣй! Тебѣ сейчасъ же должно
Отправиться домой. Ужасная бѣда!
Вельскій. А что?
Честоновъ. Твой дядюшка сбирается сюда.
Вельскій. Сюда?..
Честоновъ. Не знаю, кто изволилъ потрудиться
И все ему сказать: онъ хочетъ объясниться,
Отъ. Любскихъ получить рѣшительный отвѣтъ;
Кричитъ, что совѣсти ни на волосъ въ нихъ нѣтъ;
Что онъ никакъ не дастъ племянника дурачить,
Что свадьбы день должны сегодня же назначить,
Что быть игрушкой ихъ никто не сотворенъ:
Бранитъ весь свѣтъ, шумитъ и, словомъ, такъ взбѣшенъ,
Что съ братомъ онъ тебя поссоритъ непремѣнно.
Вельскій. Ахъ, Боже мой! Онъ все испортитъ совершенно,
Разсердитъ Любскаго...
Честоновъ. И нашъ разстроитъ планъ.
Вельскій. А скоро будетъ онъ?
Честоновъ. При мнѣ надѣлъ кафтанъ,
И я его почти оставилъ за порогомъ.
Вельскій. Что-жъ дѣлать мнѣ?
Честоновъ. Скачи домой и подъ предлогомъ
Какимъ-нибудь его старайся удержать.
Вельскій. Но вотъ бѣда: пѣшкомъ придется мнѣ бѣжать,—
Я дрожки отпустилъ.
Честоновъ. Ступай въ моей каретѣ,
А я къ своимъ пойду.
Извѣдовъ. Вашъ братецъ въ кабинетѣ.
(*Показывая, куда идти*). Вотъ здѣсь!
(*Уходитъ вмѣстѣ съ Честоновымъ*).

ЯВЛЕНІЕ ТРЕТЬЕ.

Вельскій и потомъ Посошковъ (*во французскомъ шитомъ кафтанѣ*).
Вельскій. Ну, если онъ?.. И вздумать не могу!
(*Хочетъ идти, но въ дверяхъ встрѣчается съ Посошковымъ*).
Посошковъ (*оборотясь назадъ*). Я завтра съ деньгами пришлю къ нему слугу.
Что, что?.. И, вздоръ! Ужъ мы условились о платѣ
Съ хозяиномъ твоимъ; ступай! А, Вельскій! Кстати!
Я уважалъ всегда вашъ тонкій вкусъ и умъ,—
Извольте-ка взглянуть! Каковъ, сударь, костюмъ?
Вельскій. Хорошъ...
Посошковъ. Не правда ли? Ужъ мы не ошибемся.
Ну, что вашъ дядюшка? Когда его дождемся?
Вельскій (*съ удивленіемъ*). Такъ вы ужъ знаете, что будетъ онъ сюда?
Посошковъ. Да это знаютъ всѣ.
Вельскій. Ахъ, Боже мой! (*Хочетъ идти*).
Посошковъ (*удерживая*). Куда?
Позвольте васъ спросить: онъ родственникъ вамъ дальній?
Вельскій. Кто? Дядя мой?
Посошковъ. Ну, да! Вашъ дядя театральный,
Вотъ этотъ,—какъ его? Не помню...
Вельскій. Прямиковъ?

Посошковъ (*Честонову*). Я вовсе не бретеръ, но ежели до чести
Коснется кто моей, то—Боже сохрани!
Я этимъ не шучу.
Волгинъ (*Честонову*). Эхъ, братецъ! Прогони
Его!
Посошковъ (*Честонову*). Чтобъ я спустилъ такому грубіяну!
Во-первыхъ, съ нимъ играть рѣшительно не стану,
Хоть, правда, безъ него придется худо намъ,—
Но, такъ и быть!
Честоновъ. Да онъ совсѣмъ не нуженъ намъ.
Посошковъ. Вотъ то-то и бѣда! Актера нѣтъ другого.
Честоновъ. Напротивъ, вашъ театръ идетъ безъ Прямикова.
Посошковъ. Нѣтъ, шутите?
Волгинъ (*Честонову*). Ну, что жъ! Спровадь скорѣй его.
Честоновъ. И что бъ уладить все, ждутъ васъ лишь одного.
Посошковъ (*Волгину*). Иду, бѣгу, сейчасъ! Мнѣ должно бы отчета
Отъ васъ потребовать...
Честоновъ (*отводя Посошкова*). И, что вамъ за охота!
Онъ человѣкъ простой, къ тому же мнѣ родня...
Посошковъ. Ну, если бы не вы—узналъ бы онъ меня! (*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ СЕДЬМОЕ.

Волгинъ и Честоновъ.

Волгинъ. Тьфу, чортъ его возьми! Насилу провалился!
Когда бъ послушалъ ты, какъ онъ со мной бранился!
Сначала все шутилъ, да вдругъ передъ концомъ
И ну ругать меня: комическимъ отцомъ,
Невѣжой, мужикомъ, вотъ такъ и лѣзъ на драку.
Охота же держать такого забіяку!
Нѣтъ! Тришка мой хоть золъ, а все-таки смирнѣй:
Съ нимъ можно пошутить, а этого не смѣй
Назвать и дуракомъ...
Честоновъ. А ты назвалъ?
Волгинъ. Такъ что же!
По-моему: дуракъ и шутъ—одно и то же.
Честоновъ. Да что онъ говорилъ съ тобой?
Волгинъ. Какой-то вздоръ.
О роли говорилъ, какъ будто бъ я актеръ;
Да это ничего—изъ этихъ словъ лишь видно,
Что вовсе онъ дуракъ,—а вотъ что, братъ, обидно,
Что я теперь и самъ попался въ дураки.
Честоновъ. Попался! Какъ?
Волгинъ. А что? Чай, скажешь, пустяки?
Вотъ этотъ глупый шутъ и тотъ, сударь, находитъ,
Что дядюсвоего племянникъ за носъ водитъ,
А дядя-то, вѣдь, я!
Честоновъ. Охота жъ о пустомъ
Такъ долго толковать. Да дѣло не о томъ!
Зачѣмъ пріѣхалъ ты?
Волгинъ. Зачѣмъ? Чтобъ изъясниться,—
Ты это знаешь самъ.
Честоновъ. Эхъ, братецъ, торопиться
Не должно бы.
Волгинъ. Я ждалъ и такъ четыре дня
И буду ждать еще?
Честоновъ. Да выслушай меня!
Не лучше ль подождать и, выбравъ часъ свободный...
Волгинъ. Чтобъ я, премьеръ-маіоръ и дворянинъ природный,
Позволилъ надъ собой шутить?
Честоновъ. Съ чего ты взялъ?..
Волгинъ. Съ чего? Такъ слушай же? Племянникъ мнѣ писалъ,
Что онъ посватался, что все идетъ порядкомъ:
Дѣвица умная, хорошая, съ достаткомъ,
Что ей онъ нравится, и самъ въ нее влюбленъ,
Обласканъ дядею, родными ободренъ
И прочее. Вотъ я, ну! шить скорѣй наряды;
Домашнія дѣла—покосъ, жнитво, подряды—
Бросаю все, скачу,—пріѣхалъ, наконецъ.
«Здорово, братъ! Ну, что! Когда же подъ вѣнецъ?
«Я мѣшкать не люблю, и на твоемъ бы мѣстѣ
«Все мигомъ повернулъ. Вези меня къ невѣстѣ».
—Ахъ, дядюшка, нельзя! Вѣдь, Оленька больна.
«А Любскій?»—Нездоровъ.—«Такъ Любского жена?..»
—Могла бы васъ принять, но также не здорова.
«Помилуй! Что за моръ? Неужто дали слово
«Всѣ разомъ захворать? Весь домъ въ постелю слечь.
«Ну, такъ и быть! Я жъ самъ съ дороги занемогъ:
«Такъ не-хотя пришлось мнѣ дома оставаться».
Сегодня, лишь успѣлъ со мной ты распрощаться,
Вдругъ шасть ко мнѣ на дворъ—и кто жъ? Кутермина!
Честоновъ. Матрена Саввишна?
Волгинъ. Ты знаешь, что она болтунья страшная.
Честоновъ. За ней одно лишь дѣло: злословить всѣхъ.
Волгинъ. А тутъ какъ будто онѣмѣла

Я то, я се — молчитъ. Конечно, есть печаль,—
Подумалъ я. Спросилъ: «Да, батюшка, мнѣ жаль».
—Кого, сударыня?—«О! если непремѣнно
«Ты хочешь знать,—тебя! Признайся откровенно:
«Зачѣмъ ты прискакалъ?»—Племянника женить.—
«Охота же себя на старости срамить!»
—Какъ такъ?—«Да такъ! Тебя съ племянникомъ дурачать».
—Но онъ ко мнѣ писалъ.—Что эти письма значать!
«Пустое, вздоръ! Его бѣдняжку завели.
«Не вѣришь мнѣ? Такъ что жъ! Попробуй и вели
«Узнать ему: когда его судьба рѣшится?
«А лучше и того: ступай-ка изъясниться
«И Любскихъ самъ спроси».—Спросить-то я готовъ,
Да только у кого? Вѣдь, Любскій не здоровъ,
Жена его больна, племянница въ постели.—
«Какъ! Любскій не здоровъ? Неужто въ самомъ дѣлѣ?»
—Добро бъ одинъ, а то, какъ на смѣхъ, вся семья!—
«Давно ли мой отецъ?» — Объ этомъ слышалъ я
Дня три тому назадъ.—«Дня три! Ахъ, мой Создатель!
«Вчерась ихъ угощалъ гражданскій предсѣдатель,
«А нынче былъ у нихъ губернскій прокуроръ,
«Ну, видишь ли теперь, что это все подборъ,
«И Любскіе тобой, какъ пѣшкою, играютъ».
—Какъ пѣшкою! Меня за пѣшку почитаютъ!
И послѣ этого прикажешь мнѣ молчать?
Молчать! Нѣтъ, чортъ возьми Да я готовъ! кричать
Не только здѣсь, вездѣ—въ Москвѣ на лобномъ мѣстѣ,
Что въ Любскихъ нѣтъ стыда, ни совѣсти, ни чести,
Что братецъ твой...

Честоновъ. Злодѣй! Что вся его семья,
Весь Любскихъ родъ: всѣ братья, сваты, кумовья,
Сестрицы, тетушки въ двѣнадцатомъ колѣнѣ,
Всѣ внуки, правнуки и даже предковъ тѣни
Тобой рѣшительно навѣки прокляты,—
Довольно, кажется? Теперь спокоенъ ты?

Волгинъ. Да! Смѣйся, братъ! Куда смѣшно! Умора!

Честоновъ. Мы долго продолжать не можемъ разговора—
Итакъ, прошу мнѣ дать рѣшительный отвѣтъ,
Но только въ двухъ словахъ: ты хочешь или нѣтъ,
Чтобъ Вельскій былъ женатъ?

Волгинъ. Хочу ль, чтобъ онъ женился!
Да развѣ двѣсти верстъ я даромъ прокатился?
Нѣтъ, вздоръ! Хоть плачь, а мнѣ невѣсту подавай!

Честоновъ. Такъ, дѣло кончено. Теперь, мой другъ, ступай
Скорѣй домой!

Волгинъ. Домой?

Честоновъ. Ты можешь бы спокоенъ:
Мнѣ Вельскій по сердцу, онъ Оленьки достоинъ
И будетъ мужемъ ей—за это я берусь.

Волгинъ. Нѣтъ, милый, извини! Пока не изъяснюсь,
Я съ мѣста не сойду.

Честоновъ. Но это изъясненье
Поссоритъ васъ.

Волгинъ. Такъ что жъ?

Честоновъ. Да сдѣлай одолженье,
Послушайся меня! Ступай скорѣй домой!

Волгинъ. И слышать не хочу.

Честоновъ. Такъ знай, любезный мой,
Ты этой скоростью племянника погубишь.

Волгинъ. Мнѣ все равно.

Честоновъ. Равно? Такъ ты его не любишь?

Волгинъ. Вотъ то-то и бѣда! Къ несчастію, люблю.
Ну, такъ и быть, изволь! Сегодня потерплю,
Но завтра ни за что; я больше не намѣренъ
Минуты ждать одной.

Честоновъ. Сегодня жъ, я увѣренъ,
Все будетъ кончено.

Волгинъ. Ну, то-то же, смотри!
Помолвка черезъ день, а свадьба черезъ три,—
Даешь ли слово мнѣ?

Честоновъ. Да, да, мой другъ! Согласенъ.
Ступай!

Волгинъ (*идетъ и возвращается назадъ*).
Чтобъ былъ отвѣтъ рѣшителенъ и ясенъ,
Иль да, иль нѣтъ...

Честоновъ. Я все порядкомъ поведу,
Лишь только уѣзжай скорѣй.

Волгинъ (*уходя*).
Иду, иду! (*Возвращаясь*).
Смотри! Чтобъ Вельскому сегодня жъ слово дали,
Не то—въ кибитку съ нимъ и поминай, какъ звали!

Честоновъ. Уйдешь ли ты?

Волгинъ. Вѣдь, я на это молодецъ.
И если ужъ рѣшусь...

Честоновъ. Да будетъ ли конецъ?

Волгинъ. Иду! Но слушай, братъ, ты далъ мнѣ обѣщанье
(*Честоновъ показываетъ большое нетерпѣніе*).
И я... Ну, ну! Прощай покамѣстъ, до свиданья!
(*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ ВОСЬМОЕ.

Честоновъ (*одинъ*) и потомъ Вельскій.

Честоновъ. Уйдетъ ли онъ? Ахти! Никакъ идетъ назадъ!
Ну, если какъ-нибудь съ нимъ встрѣтится мой братъ?
Бѣда! Нѣтъ! Кажется, уѣхалъ. Слава Богу!
Вельскій (*выглядывая изъ боковыхъ дверей*).
Что, дядюшка?
Честоновъ. Ушелъ. (*Вельскій уходитъ*).
Надѣлалъ онъ тревогу!
Съ нимъ былъ соперникъ твой.
Вельскій. Я это ожидалъ.
Честоновъ. И если бы меня позвать ты опоздалъ,
То плохо бы ему пришлось отъ Посошкова.
Онъ дядю твоего почелъ за Прямикова,
А тотъ его назвать изволилъ дуракомъ—
Чуть, чуть не подрались. Но дѣло не о томъ,—
Мнѣ Оленька во всемъ призналась откровенно;
Я нашъ открылъ ей планъ, и должно непремѣнно
Сегодня кончить все. Какой сюрпризъ для всѣхъ!
И смѣло можно бы ручаться за успѣхъ,
Да то бѣда—она ужасно боязлива.
Послушай, милый мой! Любовь краснорѣчива—
Повѣрь, одинъ твой взглядъ подѣйствуетъ сильнѣй,
Чѣмъ всѣ мои слова, а чтобъ успѣть вѣрнѣй,
Рѣшительно скажи, что средства нѣтъ другого.
Вельскій. Она сюда придти сейчасъ дала мнѣ слово,
И, чтобъ склонить ее, я все употреблю.
Ахъ! Если бъ знали вы, какъ я ее люблю!
Честоновъ. Тѣмъ лучше, милый другъ! На свѣтѣ все непрочно,
Но добрая жена... Идутъ! Она? Такъ точно!
Смотри, не опоздай! У задняго крыльца
Карета въ шесть часовъ, а въ восемь нѣтъ вѣнца.
Прощай, мой другъ! (*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ ДЕВЯТОЕ.

Вельскій и Оленька.

Вельскій (*идя навстрѣчу Оленькѣ*).
Съ какимъ я ждалъ васъ нетерпѣньемъ!
Все кончено! Одно осталось намъ спасеньемъ,
И если ужъ ничто не можетъ тронуть васъ,
Такъ знайте же, что мы теперь, въ послѣдній разъ,
Не только говоримъ, но видимся другъ съ другомъ;
Что нынче жъ вы должны назвать меня супругомъ
Иль, можетъ быть, со мной разстаться навсегда.
Оленька. Разстаться? Боже мой! Нѣтъ, Вельскій, никогда!
Вельскій. А если завтра же откажутъ мнѣ отъ дому?
Оленька. Хотя рука моя обѣщана другому,
Хоть сердцемъ я могу лишь вамъ принадлежать,
Но долгъ забыть къ роднымъ, рѣшиться убѣжать...
Вельскій. Такъ будьте жъ имъ во всемъ, сударыня, послушны,
Когда къ судьбѣ моей вы вовсе равнодушны...
Оленька. Ахъ, нѣтъ! Я вамъ клянусь!..
Вельскій. Что значатъ всѣ слова?
Что клятвы всѣ, когда священныя права
И дружбы, и любви и все—забыто вами!
Любви, въ которой мнѣ сто разъ клялись вы сами,
Мечтая съ радостью о томъ счастливомъ днѣ,
Когда я буду вашъ навѣкъ! Ахъ! Вѣрьте мнѣ,
Что счастіе мое, а, можетъ быть, и ваше
Въ рукахъ теперь у васъ. Я все сказалъ Наташѣ.
Сегодня въ шесть часовъ насъ будетъ ждать къ себѣ
Вашъ дядюшка. Когда и онъ въ моей судьбѣ
Участіе беретъ (*бросаясь на колѣни*), такъ вы ли захотите...

ЯВЛЕНІЕ ДЕСЯТОЕ.

Тѣ же, Любскій и Посошковъ.

Любскій. Что вижу! Боже мой!..
Посошковъ. Эхъ! Тише, не шумите!
Вельскій (*не видя Любскаго и Посошкова*).
Минуты дороги—рѣшайтеся скорѣй!
Любскій. Возможно ли! Одна!..
Посошковъ. Такъ что-жъ?
Любскій. И Вельскій съ ней...
Посошковъ. Да какъ же иначе? Они проходятъ роли.
Вельскій. И вы колеблетесь! Когда отъ вашей воли
Зависитъ все...
Любскій. Какъ смѣть!..
Посошковъ. Еще! Какой болтунъ!
Вельскій. Рѣшитесь быть моей!..
Посошковъ (*Любскому*). Тутъ входитъ опекунъ.
(*Подходитъ къ Вельскому и Оленькѣ*).
Ага! сударыня! Попались!
Оленька. Ахъ, Боже мой!
Вельскій (*въ сторону*). Ай, ай!
Посошковъ. «Чего-жъ вы испугались?
«Вѣдь, я не мужъ, а только что женихъ.
«Гдѣ видано! Застать вдвоемъ—однихъ!
«Да какъ вы смѣли!

«Къ чему, сударыня, зачѣмъ онъ съ вами былъ?
«Что, матушка! Я вижу, онѣмѣли»!..
«А васъ, сударь... А васъ»... Кой чортъ! Опять забылъ.
(*Вынимаетъ роль и читаетъ по ней*).
«А васъ, сударь, велю»...
(*Вельскому*). Подвиньтеся немножко!
«Велю сейчасъ я выкинуть въ окошко!
«И этотъ сорванецъ, и этотъ глупый франтъ
«Подумать смѣлъ, что я»... (*Любскому*). Вотъ, батюшка, талантъ!
Вотъ геній истинный! Смотрите, удивляйтесь!
Каковъ испугъ?

Любскій (*съ досадою*). Хорошъ.

Посошковъ. Да что же! Восхищайтесь!
Взгляните на него! Какъ истуканъ стоитъ!
(*Оленькѣ*). И вы? Брависсимо! Какой смущенный видъ!
Вотъ это мимика! Смотрите, поблѣднѣла!
Давно-ль двухъ словъ сказать порядкомъ не умѣла?
А все, вѣдь, я?.. (*Вельскому*). Одно замѣтить должно вамъ:
Напрасно вы къ ея бросаетесь ногамъ,
Оно не худо-бы, да слишкомъ театрально.
Но испугались вы...

Любскій (*поглядывая на Вельскаго*). Да! Очень натурально.

(*Тихо Оленькѣ*).
Сто разъ я говорилъ, не быть наединѣ!
Негодная! (*Громко*). Ступай въ гостиную, къ женѣ.
(*Оленька уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ ОДИННАДЦАТОЕ.

Тѣ же, безъ Оленьки. Извѣдовъ (*входитъ изъ среднихъ дверей*).

Любскій (*Извѣдову*). Ну, что? Ты былъ въ саду?

Вельскій. Обѣгалъ всѣ дорожки:
Его тамъ нѣтъ.

Любскій. Вели запречь скорѣе дрожки
И съѣзди самъ къ нему. (*Извѣдовъ уходитъ и тотчасъ возвращается*).
Бирюлькинъ нашъ пропалъ.

Посошковъ. Да что съ нимъ сдѣлалось? На пробѣ онъ все спалъ,
Забылъ всѣ выходы, разъ двадцать ошибался...

Любскій. Вотъ я его пугну! Совсѣмъ избаловался.

(*Вельскому*).
А что же твой Андрей Степанычъ Прямиковъ?

Вельскій. Ушелъ домой.

Любскій. Эхъ, жаль!

Посошковъ. Я повторить готовъ:
Въ немъ есть талантъ; но съ нимъ играть— слуга покорный!
Онъ страшный грубіянъ и человѣкъ превздорный
Къ тому-жъ и безъ него у насъ охотниковъ есть:
(*Извѣдову*). Ты, кажется, взялся?

Извѣдовъ (*кланяясь*). Я чувствую всю честь
Актеромъ въ труппѣ быть, гдѣ важныя особы...

Посошковъ. Я думаю, что ты сыграешь и безъ пробы?

Извѣдовъ. Извольте, я готовъ.

Любскій. Смотри, не осрамись!

Извѣдовъ. Кто? Я, сударь?

Любскій. Да, ты! Не больно, братъ, храбрись!
Я что-то за тебя ужасно какъ робѣю.

Извѣдовъ. Но ролю выучить я къ вечеру поспѣю.

Посошковъ. И! Какъ не выучить! Она не велика. (*Входитъ слуга*).

Слуга (*подавая Любскому письмо*). Письмо, сударь!

Любскій. Подай! Знакомая рука...
Бирюлькинъ! Что за вздоръ!.. Какъ! Что!.. Ахъ, мой Создатель!
Возможно-ли! Злодѣй! Разбойникъ и предатель!

Вельскій. Что съ вами сдѣлалось?

Любскій. Что сдѣлалось! Нѣтъ силъ!
(*Подаетъ письмо Посошкову*).
Прочти!

Посошковъ (*читаетъ*). «Милостивый государь и благодѣтель! Убѣдясь просьбами всѣхъ моихъ знакомыхъ и чувствуя самъ, что въ мои лѣта не прилично быть актеромъ, я рѣшился не играть сегодня и возвращаю при семъ мою роль. Должные мною тысячу рублей по векселю, съ глубочайшей моею благодарностію, завтрашняго числа не премину къ вамъ доставить.—По гробъ обязанный вами и всепокорнѣйшій слуга Максимъ Бирюлькинъ».

Любскій. Что скажешь, братъ?

Посошковъ. Да кто его подбилъ?

Любскій. Весь городъ—всѣ!

Посошковъ. И, нѣтъ! Какой-нибудь проказникъ
Не кстати пошутилъ...

Любскій. Чтобъ нашъ испортить праздникъ!
И послѣ этого театры затѣвай!
Придумывай, трудись, здоровье убивай,
Тѣшь этихъ неучей! Давай пиры и балы!
О, варвары! Мордва!.. Чуваши!.. Камчадалы!..
Вамъ хочется самимъ? Извольте, господа!
Театръ мой не пойдетъ.

Вельскій (*въ сторону*). Вотъ новая бѣда!

Любскій. Неблагодарные!

Вельскій. За что-жъ на всѣхъ сердиться?

Любскій. Посмотримъ, безъ меня какъ станутъ веселиться!

Посошковъ. Повѣрьте мнѣ—всему виной
Кутермина.
Любскій. Матрена Саввишна?
Посошковъ. Она сотворена
На эти мерзости.
Любскій. Ну, такъ! Она хотѣла
Сгубить меня за то, что я... Да что за дѣло!..
Она, иль нѣтъ—теперь и самъ я не хочу:
Велю сломать театръ, въ деревню ускачу...
Посошковъ. Постойте! Точно такъ! Театръ мы не отложимъ.
Любскій (*съ радостью*). Неужели?..
Посошковъ. Да, да! Мы все поправить можемъ;
Но мѣры сильныя теперь намъ должно брать:
Извѣдовъ можетъ роль Бирюлькина сыграть,
И очень будетъ милъ въ Антропкиномъ нарядѣ;
А вы попробуйте,—сыграйте ролю дяди.
Любскій. Кто? Я? Въ умѣ ли ты? Съ чего ты взялъ?
Да я и съ молоду актеромъ не бывалъ.
Вельскій. Всему начало есть.
Посошковъ. Попробуйте, начните!
Любскій. Нѣтъ, братецъ! Ни за что!
Посошковъ. Такъ вы себя вините,
Что нашъ театръ нейдетъ; я средство вамъ даю.
Любскій. Я знаю наизусть комедію твою
И могъ-бы, кажется, мнѣ роль учить не надо...
Да нѣтъ! Нельзя никакъ!
Посошковъ. Ужъ какъ же будетъ рада
Матрена Саввишна! Начнетъ по всѣмъ домамъ
Скакать, разсказывать, шутить—заѣдетъ къ вамъ...
Любскій. Ко мнѣ? Нѣтъ, душенька! И носу не покажетъ.
Посошковъ. Куда бы ни взошла — поклонъ и тотчасъ скажетъ:
«Что, матушка, каковъ вчерась спектакль былъ?
«Ужъ, вѣрно, Любскій васъ отлично угостилъ:
«Сбирался цѣлый годъ, такъ диво ли?..
Любскій. Злодѣйка!
Посошковъ. «Вѣдь, у него ребромъ послѣдняя копѣйка».
— Театра не было. — «Такъ что-же онъ кричалъ?
«Зачѣмъ такъ чванился? По выбору всѣхъ звалъ?
«Къ чему? Да онъ и тѣмъ быть долженъ благодаренъ,
«Что ѣздили къ нему! Ну, что за важный баринъ?
«Съ его ль имѣньишкомъ мотать?..»
Любскій. Ахъ! Чортъ возьми!..
Посошковъ. «Пусть это водится межъ знатными людьми,
«А онъ-то что?..»
Любскій. Какъ что!
Посошковъ. «На дѣло не похоже!
«А ужъ хвастунъ какой! Хвастунъ — избави Боже!
—«Сегодня принимать гостей я не велю—
«Я такъ усталъ! Одинъ весь городъ веселю,
«Театры завожу, актеровъ набираю...
—«Анъ, вотъ вашъ и театръ!»
Любскій. Такъ вретъ она! Играю!
Посошковъ. Рѣшились, наконецъ! Теперь мы спасены.
Любскій. Я знаю, мнѣ житья не будетъ отъ жены:
Да такъ и быть! Пойдемъ!
Посошковъ. Я думаю, на сцену?
Тамъ лучше роль пройти.
Любскій. А что же я надѣну?
Посошковъ. Кафтанъ, большой парикъ...
Любскій. Да въ немъ на дурака
Я буду походить! Нельзя-ль безъ парика?
Посошковъ. Никакъ нельзя: таковъ характеръ вашей роли.
Любскій. Хорошъ же буду я! Куда красивъ! Въ камзолѣ!
Въ косматомъ парикѣ... въ узорчатыхъ чулкахъ...
Вельскій. Зато, подумайте! Кто будетъ въ дуракахъ!
Посошковъ. Что этой можетъ быть пріятнѣе награды:
Матрена Саввишна задохнется съ досады!
Извѣдовъ. Да ништо ей! А мы поставимъ на своемъ.
Любскій. Такъ пусть задохнется! Негодная!.. Пойдемъ! (*Всѣ уходятъ*).

КОНЕЦЪ ТРЕТЬЯГО ДѢЙСТВІЯ.

ДѢЙСТВІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Театръ представляетъ комнату позади машинъ театра, на правой и лѣвой сторонѣ двери; прямо небольшая лѣсенка, приставленная къ дверямъ, которыми входятъ на сцену; нѣсколько креселъ, два стола и большое зеркало.

ЯВЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

Любскій (*сидитъ*), Посошковъ (*расписываетъ ему лицо*), парикмахеръ (*держитъ парикъ*), слуга.

Любскій (*одному слугѣ*). По окнамъ шкалики, а плошки на крыльцо.
Ступай! (*Слуга уходитъ*)... Эхъ, полно, братъ! Испачкалъ все лицо.
Да будетъ ли конецъ?
Посошковъ. Еще одну морщину:
Вѣдь, вы играете не среднихъ лѣтъ мужчину,
Вамъ должно походить лицомъ на старика.

Взгляните на меня! Да, лѣвая щека
Блѣднѣй; а вотъ сейчасъ мы разомъ подрумянимъ,
Сидите же смирнѣй! Вотъ такъ! Теперь мы станемъ
Прилаживать парикъ! Подай! (*Беретъ парикъ и надѣваетъ на Любскаго*).

Любскій. Ну что, надѣлъ?

Посошковъ. Постойте! Надобно, чтобъ ловко онъ сидѣлъ.

Любскій. Ай! Волосы дерешь! Терпѣнія не стало!

Посошковъ. Мнѣ кажется, парикъ напудренъ очень мало— (*Парикмахеру*). Вотъ съ этой стороны!

Любскій. Да полно! Не тирань!
Пусти меня!

Посошковъ. Сейчасъ!
(*Парикмахеръ пудритъ Любскаго*).

Любскій (*вспрыгиваетъ съ креселъ*). Довольно! Перестань!

Посошковъ (*парикмахеру*). Пошли Извѣдова.

Любскій (*смотритъ въ зеркало*). Ну, такъ! Уродъ уродомъ!
И кто могъ слѣдовать такимъ дурацкимъ модамъ?
Какой нечистый духъ придумалъ парики!
Да ништо мнѣ! Пошелъ охотой въ дураки...

Посошковъ. А мнѣ такъ кажется, что въ этомъ вы нарядѣ...

Любскій. Да, батюшка, красивъ! И спереди, и сзади
Святочный пугало.

Посошковъ. Охота-жъ вамъ терзать
Самихъ себя...

ЯВЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

Тѣ-же и Извѣдовъ (*изъ среднихъ дверей*).

Извѣдовъ (*Посошкову*). Что вамъ угодно приказать?

Посошковъ. Готово-ль у тебя?

Извѣдовъ. На сценѣ все готово.

Любскій. А что, который часъ?

Извѣдовъ. Три четверти седьмого.

Любскій. Что жъ Оленька нейдетъ?

Посошковъ. Я къ ней сейчасъ послалъ;
А Вельскій гдѣ? И онъ опаздывать ужъ сталъ,—
Я прежде не зналъ за нимъ привычки этой.

Извѣдовъ. Онъ изъ дому хотѣлъ уже одѣтый
Пріѣхать въ шесть часовъ.

Посошковъ. Нельзя-жъ ему забыть,
Что ровно въ семь часовъ на сценѣ должно быть. (*Входитъ слуга*).

Любскій. Ну, что ты?

Слуга. Доложить, что начали съѣзжаться.

Любскій. Ухъ! Сердце замерло! Хоть вовсе отказаться.

Посошковъ. Помилуйте!

Любскій. Да я, навѣрно, осрамлюсь:
Я знаю напередъ, лишь только появлюсь,
Всѣ лопнутъ со смѣху.

Посошковъ. Ахъ, какъ вы малодушны!
Не стыдно-ли!

Любскій. Боюсь!

Посошковъ. Да будьте же послушны
Разсудку вашему. Чего бояться вамъ?
(*Слугѣ*). Ступай! Проси сюда скорѣе нашихъ дамъ.

Любскій. Эй, братецъ, быть бѣдѣ! Не даромъ лихорадка
Меня трясетъ.

Посошковъ. Да вы сыграете...

Любскій. Прегадко!
Я-жъ въ этомъ парикѣ на чучелу похожъ...
Ахъ, батюшки мои! То броситъ въ жаръ, то въ дрожь!

Посошковъ. Неужели на васъ не дѣйствуютъ примѣры?
Ну вотъ, боюсь-ли я?

Любскій. Не выпить-ли мадеры?

Посошковъ. Помилуйте! Зачѣмъ? Чтобъ ролю позабыть?

Любскій. Хоть рюмочку одну.

Посошковъ. Нѣтъ, нѣтъ.

Любскій. Да какъ-же быть?
Смотри, я весь дрожу.

Посошковъ. Вамъ это не поможетъ.
И что, скажите мнѣ, такъ сильно васъ тревожитъ?
Вы знаете, у насъ партеръ не прихотливъ,—
Сыграйте какъ-нибудь!

Любскій. Ты видишь, я чуть живъ.

Посошковъ. Добро, останьтесь здѣсь, а я пойду на сцену.

Любскій. Нѣтъ, вѣчно не прощу Бирюлькину измѣну!
По милости его теперь я въ западнѣ.

Посошковъ. Когда сберутся всѣ, махните только мнѣ,
И я велю начать тотчасъ же увертюру.

Любскій (*смотрясь въ зеркало*). И эту глупую, несчастную фигуру
Я долженъ выставить сегодня на-показъ!
Добро-бъ я былъ талантъ.

Посошковъ. Таланта много въ васъ.
Хотя замѣтна въ немъ какая-то незрѣлость,
Но это ничего: вы знаете, что смѣлость
Беретъ и города. Смѣлѣй, сударь, смѣлѣй!
(*Уходитъ на сцену*).

ЯВЛЕНІЕ ТРЕТЬЕ.

Тѣ-же, безъ Посошкова.

Любскій. Да, да! Толкуй! А все по милости твоей.

Нѣтъ, душенька! Впередъ театра не затѣешь! (*Извѣдову*).
Признайся, братъ, и ты немножечко робѣешь?
Извѣдовъ. Кто! Я-съ?
Любскій. Чай, скажешь, нѣтъ?
Извѣдовъ. Такъ это въ первый разъ,—
Помилуйте: ну что за публика у васъ?
Кого робѣть? Друзья, пріятели, старушки,
Полъ-дюжины дѣтей. Да это что! Игрушки!
И роля-то моя всего странички двѣ.
Нѣтъ, сударь! Въ старину, какъ я игралъ въ Москвѣ,
Такъ есть чего робѣть: не мало и не много
Три тысячи персонъ. А судятъ-то какъ строго!
Ужъ милости отъ нихъ не жди и не проси:
Какъ шикать примутся, такъ, Боже, упаси.
Бѣда! Не такъ, какъ здѣсь: тамъ публика не наша,—
Соврать не смѣй!
Любскій. А вотъ идетъ сюда Наташа.

ЯВЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Тѣ же и Наташа (*входитъ съ лѣвой стороны и бѣжитъ на сцену*).

Наташа (*не видя Любскаго*). Гдѣ Ѳедоръ Львовичъ? Гдѣ?
Любскій. Куда бѣжишь? Куда? Я здѣсь.
Наташа. Ахъ, Боже мой!
Любскій. Что сдѣлалось?
Наташа. Бѣда!
Любскій. Ахти! Спектакль нашъ нейдетъ?
Наташа. Ахъ, сударь! хуже! Вѣдь, Ольга Дмитріевна...
Любскій. Племянница? Да ну же? Злодѣйка, говори!
Наташа. Она...
Любскій. Я жду всего!.. Съ ней дурно сдѣлалось?
Наташа. Охъ! это бъ ничего, А то какъ вздумаю... Какое приключенье! Какой ударъ!
Любскій. Ну, вотъ, прошу имѣть терпѣнье! Негодная! Да что?
Наташа. Она...
Любскій. Занемогла?
Наташа. Нѣтъ, хуже...
Любскій. Что за вздоръ?
Наташа. Она, сударь... ушла!
Любскій. Ушла?.. Куда?.. Зачѣмъ?.. Не можетъ это статься.
Извѣдовъ (*тихо Наташѣ*). Такъ барышня твоя...
Наташа (*также*). Уѣхала вѣнчаться.
Любскій. Ушла?.. Нѣтъ, нѣтъ! Ты врешь!
Наташа. Я все вамъ разскажу: Вотъ съ часъ тому назадъ, въ уборной я сижу И барышня со мной, совсѣмъ уже одѣта; Вдругъ, къ заднему крыльцу подъѣхала карета...
Любскій. Ну, ну!
Наташа. Дверь скрипнула, и кто-то на крыльцо Тихонечко взошелъ; глядь барышнѣ въ лицо, Она—какъ смерть!
Любскій. Ну, ну.
Наташа. Заплакала, вскочила, Накинула платокъ и въ дверь...
Любскій. А ты пустила?..
Наташа. Эхъ, сударь! Слушайте!
Любскій. Ну, ну!
Наташа. Я вслѣдъ за ней. Выходимъ на крыльцо; гляжу — въ сѣняхъ лакей, Онъ подъ руку ее; тутъ барышня взглянула Такъ жалко на меня, платочкомъ мнѣ махнула, Въ карету прыгъ! И слѣдъ простылъ...
Любскій. А ты? Ну, ну!
Наташа. Не вспомнилась.
Любскій. И ты не кликнула жену, Людей, весь домъ?..
Наташа. Безъ чувствъ я цѣлый часъ лежала, А послѣ, кажется—да, точно такъ—кричала.
Любскій. Злодѣй-то кто?
Наташа. Да какъ увидѣть въ темнотѣ? Помилуйте!
Любскій. Ты врешь! Нѣтъ, душенька! Не тѣ Уловки у тебя! Ты знала шашни эти.
Наташа. Кто? Я-съ?
Любскій. Да, ты! Сейчасъ скажи, кто былъ въ каретѣ?
Наташа. Сказать навѣрное не смѣю я никакъ, А Вельскій, кажется...
Любскій. Ахъ, старый я дуракъ! Такъ точно! Это онъ.
Наташа. Я, впрочемъ, не ручаюсь.
Любскій. Молчи, негодная! Чего жъ я дожидаюсь? Пошлю!—Пойду!—Куда?—Я вовсе безъ ума. (*Наташѣ*). Пошли жену!
Наташа. Да вотъ она идетъ сама.

ЯВЛЕНІЕ ПЯТОЕ.

Тѣ же и Любская.

Любская. Ахъ, я несчастная! Ну, сгибла да пропала! Вотъ грѣхъ какой!
Любскій. Ага! Теперь ты плакать стала! Безумная!
Любская. Кричи, сударикъ мой, кричи!
Любскій. Чего смотрѣла ты?
Любская. А ты, сударь?
Любскій. Молчи!
Любская. Чтобъ стала я молчать! Нѣтъ, батюшка, довольно!

Вѣкъ цѣлый поступать ты хочешь самовольно,
А я должна...
Любскій. Жена!
Любская. Такъ нѣтъ, не замолчу!
Терпѣть не буду я, не стану, не хочу!
Все выскажу...
Любскій. Жена!
Любская. Ну, вотъ твои затѣи,
Вотъ глупый твой театръ! Актеры всѣ— злодѣи,
Губители твои, и даже Посошковъ.
Кого ты набралъ въ домъ? — Фигляровъ, дураковъ;
Срамилъ себя, моталъ, разстроилъ все имѣнье.
Что праздники твои?—Безпутство, разоренье!
А твой театръ...
Любскій. Жена!
Любская. Разбойничій вертепъ!
Скажи мнѣ, батюшка, иль вовсе ты ослѣпъ?
Бывало, при тебѣ, шушуканье, безстыдство
Одно лишь на умѣ, амуры, волокитство.—
И съ кѣмъ?—Съ племянницей. Что жъ вышло, наконецъ?
Она изъ-за кулисъ бѣжала подъ вѣнецъ.
Не я-ль сто разъ одно и то же говорила...
Любскій. Ты только объ одномъ, сударыня, вопила,
Что деньги трачу я...
Любская. А кто твердилъ о томъ,
Что долженъ запереть отъ Вельскаго нашъ домъ
И выдать поскорѣй племянницу - злодѣйку!
Да я бы отдала послѣднюю копѣйку,
Лишь только-бъ этотъ срамъ поправить чѣмъ-нибудь,
Лишь только-бъ этотъ грѣхъ... Нѣтъ силъ
Стѣснило грудь!
(*Падаетъ на кресло*).
Наташа. Пойдемте къ вамъ...
Любская. Нѣтъ, нѣтъ! Пускай умру при мужѣ.
Ахъ, душно.—Смерть моя!
Любскій. Часъ отъ часу все хуже!
Наташа (*ищетъ въ карманахъ*).
Куда дѣвался спиртъ?
Извѣдовъ (*подавая бутылку со стола*).
Вотъ здѣсь ло-де-лаванъ.
Наташа. Подай сюда!
(*Льетъ Любской на голову и третъ виски*).
Любскій (*кричитъ*). Воды! Скорѣй воды стаканъ!
Любская (*хватаетъ себя за голову и вскакиваетъ*).
Ахъ, Боже мой! Ты вѣкъ останешься скотиной!
Ну, что ты, дура, льешь! Бутылка два съ полтиной.
Подай! (*Беретъ бутылку и прячетъ въ ридикюль*).
Любскій (*глядитъ въ окно*). Смотрите-ка! Полнехонекъ весь дворъ!
Каретъ до двадцати!
1-й слуга. Пріѣхалъ прокуроръ! (*Уходитъ*)!
Любскій. Зачѣмъ я звалъ его! Вѣдь, онъ московскій житель,
Насмѣшникъ, зубоскалъ!
2-й слуга. Губернскій предводитель. (*Уходитъ*).
Любскій. И, вѣрно, не одинъ, съ невѣсткой и женой!
Съѣзжайтесь, господа! Потѣшьтесь надо мной!
3-й слуга (*вбѣгаетъ запыхавшись*). Его сіятельство!..
Любскій. Гражданскій губернаторъ?
3-й слуга. И съ нимъ пріѣзжій князь. (*Уходитъ*).
Любскій. Возможно-ли! Сенаторъ! Зачѣмъ?
Наташа. Его Авдѣй Михайлычъ пригласилъ.
Любскій. Негодный Посошковъ! И кто его просилъ!
Подай его!
Извѣдовъ (*подходитъ къ среднимъ дверямъ и кричитъ*). Авдѣй Михайловичъ! Два слова!
Наташа (*Любскому*). Онъ сдѣлать вамъ сюрпризъ хотѣлъ.
Посошковъ (*показываясь въ дверяхъ*). Что? Все готово?
Сейчасъ! (*Уходитъ*).
Любскій. Постой! Постой! Куда бѣжишь?
Зачѣмъ? (*За кулисами начинаютъ играть увертюру*).
Часто слышу! Музыка!.. Прирѣзали совсѣмъ
Все кончено! Погибъ! Куда я себя дѣну?
Гдѣ спрятатья?..

ЯВЛЕНІЕ ШЕСТОЕ.

Тѣ-же и Посошковъ (*сходитъ постепенно внизъ*).

Посошковъ. Ну, что нейдете вы на сцену?
Любскій. Идти! Куда идти?.. На что?.. Зачѣмъ?.. Къ чему?
Ну! что молчишь?
Посошковъ. Играть пора.
Любскій. Играть?.. Кому?
Играй, голубчикъ мой! Играй! И точно кстати!
Не хочешь-ли одинъ попрыгать на канатѣ?
Посошковъ. Что съ вами сдѣлалось?
Любскій. Со мною?.. Ничего!
Я здѣсь... а Вельскій гдѣ?
Посошковъ. Неужто нѣтъ его?
Любскій. А гдѣ племянница?..
Посошковъ. Какъ гдѣ?
Любскій. Я жду отвѣта.
Ну, что же? Говори!
Посошковъ. Она была одѣта—
Я это видѣлъ самъ.
Наташа. И даже прежде всѣхъ.

Посошковъ. Что съ нею сдѣлаться могло?
Любская. Такой-то грѣхъ,
Что вымолвить нельзя!
Любскій. Ступай къ своей невѣстѣ!
Ступай! Ищи ее!.. Она и Вельскій вмѣстѣ.
Посошковъ. Какъ вмѣстѣ? Гдѣ?—Такъ что жъ! Зовите ихъ сюда.
Любскій. Такъ знай: племянница ушла.
Посошковъ. Ушла? Куда?
Возможно-ль! Какъ ушла?
Наташа. Да такъ, какъ всѣ уходятъ.
Любскій. Что, видишь-ли теперь? — Вотъ роли какъ проходятъ!
Посошковъ. Уйти... когда гостей полнехонекъ весь дворъ!
Любская. Когда назначены помолвка и сговоръ!
Посошковъ. Какъ будто-бъ убѣжать и завтра не успѣла!
Ахъ, Боже мой!
Любскій. Тебѣ, голубчикъ мой, за дѣло!
Посошковъ. Да я чѣмъ виноватъ?
Любскій. Кто въ петлю-то втащилъ
Себя, меня, всѣхъ насъ—зарѣзалъ, погубилъ?
Злодѣй! Не ты-ль завелъ всѣ эти представленья?
По милости твоей въ какомъ мы положеньи!
Что дѣлать намъ?
Посошковъ. Театръ вамъ должно отказать.
Любскій. Но какъ и для чего?
Посошковъ. Вы можете сказать,
Что Оленька больна.
Любскій. И всѣ единогласно
Начнутъ кричать...
Любская. Къ чему убытчиться напрасно!
Отказывай скорѣй!
Любскій. Эхъ, матушка! Молчи!
Любская (*Извѣдову*). Ступай, вели гасить всѣ лампы и свѣчи!
Любскій. Зачѣмъ, сударыня? Все думаешь о вздорѣ!

ЯВЛЕНІЕ СЕДЬМОЕ.

Тѣ-же и Честоновъ.

Любскій (*идя къ нему навстрѣчу*).
Ты здѣсь? Поди сюда! Ты слышалъ наше горе?
Честоновъ. Какое горе?
Любскій. Какъ! не знаешь ничего?
Вѣдь, Оленька...
Честоновъ. Ушла.
Любскій. Ты слышалъ? Отъ кого?
Честоновъ. Я видѣлъ ихъ.
Любскій. Ага, голубчики! Попались!
Ну, гдѣ-жъ они? Пойдемъ!
Честоновъ. Они при мнѣ вѣнчались.
Любскій. Возможно-ли! Они вѣнчались при тебѣ?..
И ты?..
Честоновъ. Послушай, братъ! Противиться судьбѣ
Не должно и нельзя.
Любскій. Эге, сударь! Такъ стало
Вы были за одно?
Честоновъ. Сердиться пользы мало:
Они обвѣнчаны.—Что думать, братъ, рѣшись!
Любскій. Простить племянницу?
Честоновъ. Да полно, не сердись.
Что сдѣлано, того поправить невозможно.
Любскій. Чтобъ я простилъ ее! Она, сударь, безбожно,
Злодѣйскимъ образомъ зарѣзала меня.
Представь себѣ, пойдетъ какая болтовня:
Прибавки, выдумки, разспросы, пересуды!
И завтра же ко мнѣ пріятели-Іуды
Нагрянутъ всѣ! А что мнѣ будетъ отъ старухъ!
Начнутъ терзать меня не шопотомъ, а вслухъ:
Читать мораль, бранить, ругать, давать совѣты;
Засудятъ, заказнятъ; а здѣшнія газеты—
Матрена Саввишна!.. Нѣтъ! Вѣчно не прощу!
Честоновъ. Но выслушай!..
Любскій. Нѣтъ, Нѣтъ!
Честоновъ. Пожалуй, замолчу.
А жаль! Они теперь сыграли-бъ превосходно.
Любскій. Что, что?
Честоновъ. Такъ, братецъ, вздоръ! Вамъ это неугодно—
Такъ что жъ и говорить.
Любскій. Ты холоденъ, какъ ледъ,
Тогда какъ я—твой братъ...
Честоновъ. Спектакль вашъ пойдетъ,
И даже не съ тобой, мой другъ! Съ другимъ актеромъ.
Любскій. Неужели пойдетъ?
Честоновъ. Но только съ уговоромъ:
Прости племянницу.
Любскій. Нѣтъ, братецъ! Ни за что!
Честоновъ. О, если такъ! Прощай! (*Хочетъ идти*).
Любскій. Постой! Да я не то
Хотѣлъ сказать... Злодѣй! Какъ онъ меня терзаетъ!
Добро! Ужъ такъ и быть... пускай она играетъ.
Честоновъ. Такъ ты прощаешь ихъ? Ну, милый, очень радъ!
Любскій. Да, да! Я... завтра ихъ прошу.
Честоновъ. Нѣтъ, шутишь, братъ!
Теперь иль никогда...
Любскій. Такъ вздоръ! Я не намѣренъ...
Честоновъ. О, если такъ... (*Хочетъ идти*).
Любскій. Постой! Да точно-ль ты увѣренъ,
Что нашъ театръ...
Честоновъ. Пойдетъ.
Любскій. Кто-жъ выкупитъ меня?
Честоновъ. Найдемъ кого-нибудь.
Любскій. Кого? Моя родня,
Пріятели, весь свѣтъ составленъ изъ злодѣевъ.
Честоновъ. А прежній другъ — Сергѣй Ивановичъ Лилѣевъ?

Любскій. Возможно-ли?
Честоновъ. Я съ нимъ объ этомъ говорилъ.
Вы съ нимъ поссорились, но я васъ помирилъ.
Любскій. Да точно-ли?
Честоновъ. Ужъ я за это отвѣчаю.
Любскій. Ну! Дѣлать нечего! Изволь, мой
другъ!.. Прощаю!
Давай-же ихъ скорѣй!
Любская. А я такъ не прощу.
Любскій. Вотъ выскочка! Когда ужъ я
простить хочу,
Такъ кстати-ли тебѣ!..
Честоновъ. Сестра! Побойся Бога!
Вѣдь, ты ихъ уморишь!
Любская. Туда имъ и дорога!
Любскій. Жена!
Любская. Ну, слыхано-ль! Невѣстѣ ухо-
дить!
Честоновъ. А чтобъ вамъ стоило ихъ
свадьбу снарядить?
Скромненько обвѣнчать нельзя: не тѣ ужъ
годы.
Какіе-бы тогда пошли у васъ расходы,
На мелочи, на вздоръ послѣдній рубль отдашь;
Подумай-ка, сочти!—Нарядный экипажъ,
Четверка вороныхъ, богатыя ливреи,
Кафтаны кучерамъ и прочія затѣи,
Которымъ нѣтъ конца...
Любская. Такъ, батюшка! Ты правъ.
Бѣда!
Честоновъ. Вотъ то-то же! Ты знаешь
братнинъ нравъ:
Что вышло-бъ у него на разные предметы?
Чего-бы стоили сюрпризы и конфекты,
Одинъ вечерній столъ, дессертъ, питье, ѣда,
Шампанское вино...
Любская. Охъ, подлинно, бѣда!
Честоновъ. Вотъ то то-же! А тамъ ви-
зиты, посѣщенья,
Обѣды, вечера, театры, угощенья...
Да, Боже сохрани! Онъ сряду-бъ цѣлый годъ
Пиры давалъ.
Любская. Такъ, такъ!
Честоновъ. Теперь-же безъ хлопотъ:
Они обвѣнчаны безъ всякаго парада—
Эхъ, матушка, прости! Приданаго не надо!
Любская. Пришлось простить.
Честоновъ. Такъ дѣло и съ концомъ!
Посошковъ. А я-то, сударь, что?
Честоновъ. Вы были женихомъ...
Посошковъ. И точно былъ любимъ.
Честоновъ. Не Оленькой, а братомъ.
Посошковъ. Да что-же я теперь?
Любскій. Остался, братъ, за штатомъ.
Посошковъ. Такъ я же не одинъ останусь
въ дуракахъ.
Любскій. Что, что еще?
Посошковъ. Теперь вы всѣ въ моихъ
рукахъ:
Театръ вашъ не пойдетъ.
Любскій. Ну, такъ! Недоставало,
Чтобъ онъ еще!.. Злодѣй! Безсовѣстный!
Такъ стало...
Да, нѣтъ! Ты шутишь, братъ!..
Посошковъ. Повѣрьте, не шучу.
Играть не буду я.
Любскій. Не хочешь?
Посошковъ. Не хочу.
Честоновъ (*Посошкову*). Авдѣй Михайло-
вичъ! Мы всѣ молчимъ покуда,
А какъ разсердимся, такъ не было-бъ вамъ
худо:
Сыграютъ и безъ васъ.
Посошковъ (*въ сторону*). Не хочетъ-ли
ужъ онъ...
Честоновъ. Намъ стоитъ выкинуть всю
ролю вашу вонъ,
Любскій. Но какъ!..
Извѣдовъ. Послушайте! Да это сплошь
бываетъ.
Любскій. Неужели?
Извѣдовъ. Одинъ лишь авторъ постра-
даетъ,
А мы свое возьмемъ.
Посошковъ. Но авторъ-то, вѣдь, я!
Любскій. Твоя комедія и галиматья:
Такъ все равно! (*Извѣдову*). Марай.
Посошковъ. Но я вамъ не позволю...
Любскій. Да! Стану я смотрѣть! (*Извѣ-
дову*). Вымарывай всю ролю!
Посошковъ. Помилуйте!
Любскій. Ступай!
Честоновъ (*подавая карандашъ*). А вотъ
и карандашъ.
Посошковъ. Какъ можно выкинуть глав-
нѣйшій персонажъ?
Любскій. А вотъ увидишь какъ!
Посошковъ. Совсѣмъ не будетъ связи:
За чтожъ срамить меня при публикѣ, при
князѣ...
Любскій. Все это, душенька, зависитъ
отъ тебя—
Играй!
Честоновъ (*Посошкову*). Послушайте! Васъ
искренно любя,
Я долженъ вамъ сказать, что это представ-
ленье...
Посошковъ. Убьетъ комедію!..
Честоновъ. Безъ всякаго сомнѣнья.
Вы знаете, кому охота разбирать,
Кто правъ, кто виноватъ...
Любскій (*Посошкову*). Ну, что?
Посошковъ. Пришлось играть!
Любскій. Вотъ такъ-то лучше, братъ!
Посошковъ. Но будьте справедливы.
Легко ли мнѣ сносить! Они теперь счастливы,
А я...
Любскій. А ты кричалъ: «Имъ надо роль
пройти!
«Не троньте ихъ!»...
Честоновъ (*въ боковыя двери*). Теперь вы
можете взойти.

ЯВЛЕНІЕ ВОСЬМОЕ.

Тѣ же, Вельскій, Оленька и Лилѣевъ (*въ костюмѣ*).

Оленька. Ахъ, дядюшка!
Честоновъ (*Оленькѣ*). Смѣлѣй! Все кончилось прощеньемъ.
Вельскій (*Любскому*). Одна любовь моя мнѣ служитъ извиненьемъ...
Любскій. Добро! Ужъ такъ и быть.
Любская. И я прощаю васъ.
Честоновъ (*подводя къ Любскому Лилѣева*). А вотъ вамъ и актеръ!
Любскій (*Лилѣеву*). Надѣлалъ ты проказъ! Не стыдно ли тебѣ!
Лилѣевъ. Забудемте объ этомъ!
Честоновъ. Ему не надобно сидѣть за туалетомъ: Какъ видишь, онъ готовъ.
Посошковъ (*Извѣдову*). Совсѣмъ не старикомъ Одѣтъ.
Любскій. Такъ я могу разстаться съ парикомъ! Долой его! (*Сбрасываетъ парикъ*). Теперь играйте, какъ хотите!
Посошковъ (*Оленькѣ*). Ну, Ольга Дмитріевна!..
Оленька (*присѣдая*). Что жъ дѣлать! Извините!
Любскій (*женѣ*). А ты, сударыня, ступай теперь къ гостямъ. (*Любская уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ ДЕВЯТОЕ.

Тѣ же безъ Любской.

Любскій. Ну, что же, господа!
Извѣдовъ (*подводя Наташу*). Позвольте ужъ и намъ...
Любскій. На всѣхъ пошло! И вы жениться захотѣли?
Извѣдовъ. Когда позволите, на будущей недѣлѣ...
Любскій. Хоть завтра поутру, лишь только не теперь. Гей, малый! Кто-нибудь! (*Входитъ слуга*). Смотри, чтобъ въ эту дверь Никто не проходилъ. (*Показываетъ направо*).
Посошковъ (*Вельскому и Оленькѣ*). Подите, подрумяньтесь: Вамъ такъ играть нельзя.
Извѣдовъ (*отворяя дверь налѣво*). Пожалуйте!
Лилѣевъ (*Извѣдову*). Останьтесь! Я это сдѣлаю.
Посошковъ (*съ насмѣшкою*). И, вѣрно, лучше всѣхъ. Кто опытенъ, какъ вы...
Лилѣевъ. Что значитъ этотъ смѣхъ?
Любскій. Эхъ, полноте! (*Лилѣеву*). Ступай! (*Вельскій, Лилѣевъ и Оленька уходятъ налѣво*).

ЯВЛЕНІЕ ДЕСЯТОЕ.

Тѣже, безъ Лилѣева, Оленьки и Вельскаго, а вскорѣ Волгинъ.

Извѣдовъ. Онъ сердится.
Любскій. Вотъ то-то! Къ чему шутить! И что за смертная охота Дразнить Лилѣева!
Волгинъ (*за кулисами съ правой стороны*). Прошу же не толкать!
Слуга (*за кулисами*). Нельзя, сударь!
Волгинъ (*врываясь насильно*). Пусти!
Слуга. Не велѣно пускать!
Посошковъ. Возможно ль! Прямиковъ!
Любскій. Какъ, этотъ засѣдатель. Что къ намъ въ актеры-то хотѣлъ?
Волгинъ (*Честонову*). Ага, пріятель! Ты спрятался! Да вздоръ! Тебя вездѣ найдутъ. Скажи-ка мнѣ... (*увидя Посошкова*). Ахти! Опять проклятый шутъ! И, кажется, хмѣленъ...
Посошковъ. Да что жъ онъ въ самомъ дѣлѣ! Вотъ я его! (*Кричитъ Волгину*). Зачѣмъ вы здѣсь? И какъ вы смѣли? Ступайте, сударь, вонъ!
Волгинъ. Ну, такъ! Совсѣмъ готовъ! (*Увидя Извѣдова и Любскаго въ костюмахъ*). Ахъ, батюшки! Да здѣсь коллекція шутовъ! Одинъ, два... три!
Посошковъ (*подходя ближе къ Волгину*). Вы что! Упрямы или глупы? Вамъ, сударь, сказано, что вы для нашей труппы Не надобны,—и вамъ актеромъ не бывать! Ступайте вонъ сейчасъ!
Волгинъ. Прошу не приставать! Послушай, братъ! Вѣдь я сердитъ! Эй, будетъ схватка! (*Честонову*). Уйми его! Кой чортъ! Пристадъ, какъ лихорадка!
Честоновъ. Не трогайте его!
Волгинъ. Пожалуйста, отстань! Поди-ка, братъ, сюда! Вотъ такъ, поближе стань! Что значитъ твой пріѣздъ?
Волгинъ. А это, сударь, значитъ, Что Волгина никто никакъ не одурачитъ. Ты что мнѣ обѣщалъ? Твердилъ и то, и се.. Нѣтъ, шутишь, душенька! Теперь я знаю все. Подай племянника! Подай!
Честоновъ. А что ты знаешь?
Волгинъ. Что ты со мной и съ нимъ прескверно поступаешь, Что вы всѣ за одно,—твой братъ, его жена

И даже Оленька. Сейчасъ Кутермина,
Матрена Саввишна, мнѣ все пересказала.
Вотъ дѣло въ чемъ: у васъ актера не достало—
Такъ вы племянника ласкали для того,
Чтобъ онъ игралъ. Теперь вы держите его
Для вашихъ нуждъ, игры, комиссій и разсылокъ,
А послѣ этого забреете затылокъ?
Честоновъ. Но выслушай меня!..
Волгинъ. Нѣтъ! Я вѣдь не дуракъ...
Подай племянника!
Честоновъ. Да онъ женатъ!
Волгинъ. Кто!.. Какъ!.. На комъ?
Честоновъ. На Оленькѣ.
Волгинъ. Когда-жъ они успѣли?
Честоновъ. Сейчасъ лишь отъ вѣнца.
Волгинъ. Неужто въ самомъ дѣлѣ?

ЯВЛЕНІЕ ОДИННАДЦАТОЕ.

Тѣ-же и Вельскій, а вскорѣ Лилѣевъ и Оленька (*выходятъ изъ лѣвыхъ дверей*).

Вельскій. Ахъ, дядюшка! Вы здѣсь!
Волгинъ. Поди сюда, пострѣлъ!
Такъ ты меня позвать на свадьбу не хотѣлъ?
Онъ женится, а я себѣ и въ усъ не дую.
Честоновъ. Гдѣ Оленька? (*Лилѣевъ и Оленька входятъ*).
Вельскій. А вотъ она. (*Подводитъ ее къ Волгину*). Рекомендую!
Честоновъ. Его жена, мой другъ!
Волгинъ. Я очень, очень радъ!
Прошу любить меня!.. (*Вельскому*). Да точно ль ты женатъ?
Смотри!
Честоновъ. О! Въ этомъ нѣтъ сомнѣнья никакого.
Посошковъ. Что это значитъ все? (*Любскому*). Вы поняли?
Любскій. Ни слова!
Честоновъ. (*Волгину, подводя его къ Любскому*). А вотъ мой братъ.
Волгинъ. (*Любскому*). Съ тобой мы слишкомъ сорокъ лѣтъ
Не видѣлись...
Любскій. Такъ вы?..
Волгинъ. Гусарскій тожъ корнетъ,
Проказникъ, балагуръ, твой старый сослуживецъ,
Ну—Волгинъ!
Любскій. Какъ?
Волгинъ (*обнимая его*). Да, да! Ты былъ всегда счастливецъ
И въ картахъ и въ любви; теперь, чай, не таковъ?
Честоновъ. (*подводя Посошкова*).
Пріятель нашъ, Авдѣй Михайлычъ Посошковъ.
Волгинъ. Неужели?
Честоновъ. Вы съ нимъ немного посчитались...
Волгинъ. Такъ вы, сударь, не шутъ?
Посошковъ. Мы оба ошибались,
И я васъ принималъ совсѣмъ не за того.
Волгинъ. Мнѣ, право, совѣстно...
Посошковъ. И, сударь! Ничего!
Любскій. А что—который часъ?
Извѣдовъ. Безъ малаго ужъ восемь.
Любскій. Пора-бы начинать.
Посошковъ. Сейчасъ! (*Къ другимъ актерамъ*). Покорно просимъ!
Честоновъ. (*Волгину*). Пойдемъ-ка, милый мой! Посмотримъ молодыхъ.
Волгинъ. Вотъ такъ-то бы всегда, безъ вычуровъ пустыхъ,
Женились, да и все! А то, глядишь, бѣдняжки
Прождалибъ цѣлый годъ. Отсрочки, да оттяжки!
А все вѣдь я, мой другъ, ихъ свадьбой повернулъ.
Честоновъ. Конечно, ты! Пойдемъ! (*Уходитъ*).
Волгинъ. Насилу отдохнулъ.
Ступайте-же! (*Уходитъ на сцену*).
Посошковъ (*Лилѣеву*). Я васъ прошу: не молодитесь!
Играйте старика!
Лилѣевъ. Тьфу, пропасть! Отвяжитесь!
Я знаю лучше васъ, какъ должно мнѣ играть.
(*Уходитъ*).
Посошковъ! Ну, вотъ увидите! Онъ точно будетъ врать!
(*Всѣ уходятъ на сцену, кромѣ Наташи и Извѣдова*).

ЯВЛЕНІЕ ДВѢНАДЦАТОЕ.

Извѣдовъ и Наташа.

Извѣдовъ. Я счастья своего никакъ не постигаю:
Афишку сочинилъ, женюсь—и самъ играю!
Наташа. Все это хорошо, однакоже пойдемъ!
Извѣдовъ. Теперь, сомнѣнья нѣтъ, театръ мы заведемъ
И, вѣрно, съ честію поддержимъ наше званье!
Наташа. Ну, что-жъ! Пойдемъ!
Извѣдовъ. Постой! Еще одно желанье.
Безъ этого, мой другъ, все прочее хоть брось,
А признаюсь, когда-бъ и это удалось—
Афишку бы тогда я въ рамочку повѣсилъ...
Наташа. Что-жъ надобно?
Извѣдовъ. Чтобъ намъ похлопали изъ креселъ.

Г-нъ БОГАТОНОВЪ или ПРОВИНЦІАЛЪ ВЪ СТОЛИЦѢ.

Комедія въ пяти дѣйствіяхъ.

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:

Г-нъ Богатоновъ, недавно пріѣхавшій въ столицу.
Г-жа Богатонова, жена его.
Лиза, племянница г-на Богатонова.
Князь Блесткинъ, женихъ Лизы.
Баронесса Вольмаръ, вдова.
Графъ Владимиловъ, влюбленный въ Лизу.
Мирославскій, пріятель г-на Богатонова и графа.
Климъ Кондратьичъ, дворецкій г-на Богатонова.
Анюта, горничная Лизы.
Филутони, иностранецъ.
Модная торговка.
Человѣкъ г-на Богатонова.
Полицейскій чиновникъ.

Дѣйствіе происходитъ въ С.-Петербургѣ, въ домѣ г-на Богатонова.

ДѢЙСТВІЕ ПЕРВОЕ.

Общая комната въ домѣ Богатонова; нѣсколько креселъ, диванъ и вольтеровскія кресла.

ЯВЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

Лиза, а потомъ Анюта.

Лиза (*держа въ рукахъ книгу*). Какая скука! Книга падаетъ изъ рукъ! Аннушка!..

Анюта (*входитъ*). Что прикажете, сударыня?

Лиза. Аннушка! А! ты здѣсь.

Анюта. Что вамъ угодно?

Лиза. Мнѣ? Ничего.

Анюта. Вы изволили меня спрашивать.

Лиза. Я? Неужели?

Анаюта. Да, сударыня, вы что-то хотѣли мнѣ сказать.

Лиза. Быть можетъ.

Анюта. Что-же вамъ угодно?

Лиза, Ничего. Мнѣ очень скучно.

Анюта. Не прикажете-ли принести вамъ книжку?

Лиза. Нѣтъ, я не хочу читать.

Анюта. Вы нынѣ не играли на фортепіанахъ.

Лиза. Они такъ разстроены!

Анюта. Вы что-то сегодня очень разсѣяны, сударыня. Ужъ не оттого-ли, что цѣлые два дня не видали князя Блесткина?

Лиза. Сдѣлай милость, не говори мнѣ ничего объ этомъ несносномъ человѣкѣ.

Анюта. Однако жъ, сударыня, князь вашъ женихъ.

Лиза. Но еще не мужъ.

Анюта. Дядюшка вашъ его любитъ.

Лиза. Какая мнѣ до этого нужда.

Анюта. Тетушка ваша отъ него безъ памяти.

Лиза. Тѣмъ хуже для нея.

Анюта. Дядюшка вашъ хочетъ, что бъ вы вышли за него замужъ.

Лиза. Можетъ быть, но я не хочу.

Анюта. Онъ о томъ только и думаетъ.

Лиза. Да я объ этомъ совсѣмъ не думаю.

Анюта. Дядюшка вашъ...

Лиза (*прерывая съ досадою*). Дядюшка вашъ, дядюшка вашъ, дядюшка вашъ! Перестань, ты мнѣ наскучила. Я сказала уже ему, что не намѣрена выходить ни за кого замужъ.

Анюта. Ни за кого! Полно, правда-ли, сударыня? Ну, если-бы, напримѣръ, вмѣсто князя былъ женихомъ вашимъ графъ Владиміровъ?

Лиза. Владиміровъ! Ахъ, Аннушка! гдѣ онъ? Здоровъ-ли? Помнитъ-ли обо мнѣ?

Анюта (*передразнивая*). Ахъ, Аннушка! гдѣ онъ? Помнитъ-ли обо мнѣ? Ну, сударыня, вы не хотите ни за кого выходить замужъ?

Лиза. Ни за кого, кромѣ Владиміова! А такъ какъ онъ не можетъ быть моимъ мужемъ...

Анюта. А почему-же нѣтъ, сударыня?

Лиза. Тетушка и дядюшка не согласятся никакъ на то.

Анюта. Г. Мирославскій писалъ къ вашему дядюшкѣ, что будетъ сюда; онъ большой пріятель графу, и если согласится помогать намъ, то...

Лиза. Изъ этого ничего не выйдетъ.

Анюта. Почему знать! Блесткинъ князь, да и графъ Владиміровъ не простой дворянинъ, а вѣдь дядюшка того только и добивается, чтобъ называть васъ при людяхъ ваше сіятельство.

Лиза. Полно, Аннушка, посмотри лучше, къ намъ кто-то пріѣхалъ. Если это Блесткинъ, то я уйду въ свою комнату.

Анюта (*смотритъ въ окно*). Это кто-то въ дорожномъ экипажѣ. Кажется, какъ будто... Такъ точно! Это г. Мирославскій!

Лиза. Неужели?

Анюта. Точно! Да вотъ онъ самъ.

ЯВЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

Тѣ-же и Мирославскій.

Мирославскій (*цѣлуя руку у Лизы*). Здравствуйте, сударыня! Какъ поживаешь, Аннушка?

Лиза. Мы никакъ не ожидали такъ скоро васъ видѣть.

Мирославскій. Я и самъ не надѣялся: дороги такія дурныя, и если бъ я ѣхалъ одинъ, то вѣрно дня два не былъ бы еще въ Петербургѣ.

Лиза. Кто-жъ ѣхалъ вмѣстѣ съ вами?

Мирославскій. Пріятель мой, графъ.

Анюта. Владиміровъ?..

Мирославскій. Точно такъ.

Лиза. Ахъ, Боже мой! Неужели?

Мирославскій. Что же вы такъ испугались, сударыня?

Лиза. Я-съ? Я, право, не знаю! Я...

Мирославскій. Вы, кажется, принимаете въ немъ особенное участіе?

Лиза. Вы знаете, сударь, графъ ѣздилъ къ покойной моей матушкѣ.

Анюта. Полноте, сударыня, къ чему тутъ скромничать; я думаю, г. Мирославскій и безъ васъ кой-что ужъ знаетъ.

Мирославскій. Пріятель мой откровеннѣе васъ: я знаю, вы любите другъ друга. Графъ разсказывалъ мнѣ все только такъ, какъ разсказываютъ влюбленные, а я желалъ бы лучше знать всѣ обстоятельства, чтобъ найти вѣрнѣе способъ составить благополучіе моего друга.

Лиза. Ахъ!

Мирославскій. Что значитъ этотъ вздохъ?

Анюта. Это значитъ, что вы немного поопоздали пріѣхать.

Мирославскій. Какъ! Неужели?

Анюта. Не пугайтесь, барышня еще не замужемъ; ее хотятъ только выдать замужъ.

Мирославскій. Кто же этотъ счастливый смертный?

Анюта. Постойте. Вы хотѣли знать всѣ обстоятельства, я разскажу вамъ все по порядку. Когда матушка барышни моей была еще жива и жила здѣсь въ Петербургѣ, познакомился къ нею графъ Владиміровъ; онъ сталъ часто ѣздить, влюбился въ барышню, барышня въ него, и дѣло пошло было своимъ порядкомъ, какъ вдругъ графу досталось наслѣдство въ Рязанской губерніи. Онъ уѣхалъ, и мы цѣлые пять мѣсяцевъ не получали о немъ никакого извѣстія.

Мирославскій. Онъ былъ отчаянно боленъ.

Лиза. Я это ужъ знаю.

Анюта. Между тѣмъ скончалась барыня, и мы отправились жить въ деревню къ брату ея, г-ну Богатонову. Вы знаете: не успѣли мы тамъ пообжиться, какъ дядюшкѣ разсудилось бросить свои фабрики и отправиться на житье въ Петербургъ. Мы пріѣхали сюда опять; дядюшка и тетушка открыли пышный домъ, начали сыпать деньгами, завели дружбу съ знатными...

Мирославскій. И вѣрно безъ дальняго труда: они какъ-то охотно знакомятся съ богатыми провинціалами и отмѣнно бываютъ ласковы...

Анюта. Когда имъ нужно занимать деньги. Чаще всѣхъ ѣздилъ къ намъ князь Блесткинъ...

Мирославскій. Князь Блесткинъ! И онъ-то вѣрно соперникъ графа?

Анюта. Вы отгадали.

Мирославскій. Князь Блесткинъ; мнѣ что-то знакома эта фамилія... А, теперь я вспомнилъ: у него были богатыя деревни въ нашей губерніи.

Лиза. Онъ продалъ ихъ для того, чтобъ прожить два года въ Парижѣ.

Мирославскій. Точно такъ, это онъ. И васъ хотятъ выдать за этого вертопраха? О, не надобно терять времени! Я постараюсь показать дядюшкѣ и тетушкѣ въ настоящемъ видѣ ихъ Блесткина, а между тѣмъ нынѣшнимъ же утромъ привезу сюда графа.

Лиза. Нынѣшнимъ утромъ! Какъ вы любезны, г. Мирославскій!

Мирославскій. Я только что догадливъ, сударыня. (*Къ Анютѣ*). Смотри, милая, ты также должна помогать мнѣ. На первый случай не худо бы было поссорить Блесткина съ тетушкой: ты женщина, такъ это твое дѣло.

Анюта (*Лизѣ*). Благодарите, сударыня.

Лиза. Вотъ и дядюшка!

ЯВЛЕНІЕ ТРЕТЬЕ.

Тѣ-же и Богатоновъ,

Г. Богатоновъ (*оборотясь къ кулисамъ*). Слышишь ли? Узнай о здоровьѣ графа, да мимоходомъ заверни къ барону. Племянница!.. (*Увидя Мирославскаю*). Ба, ба, ба, дружище, ужъ здѣсь! По добру ли, по здорову? (*Обнимаетъ его*).

Мирославскій. Слава Богу! Я только часа съ два, какъ пріѣхалъ. Ну, любезный сосѣдушка, скажи-ка мнѣ, какъ поживаешь?

Г. Богатоновъ. Да такъ, благодаря Бога, мы живемъ не хуже людей. Да что это братъ на тебѣ? (*Осматриваетъ его кругомъ*).

Мирославскій. Какъ, что?—Платье.

Г. Богатоновъ. Ужъ подлинно, что платьице! Что за кафтанъ! Какой покрой! Ха, ха, ха! Какой это портной вздумалъ нарядить тебя такимъ уродомъ?

Мирославскій. Тотъ же самый, который шилъ на тебя въ прошломъ году.

Г. Богатоновъ. И ты ѣхалъ въ немъ по городу, и на тебя пальцами не указывали?

Мирославскій. Полно, братецъ, кому какая нужда до моего кафтана; поговоримъ-ка лучше о дѣлѣ. Ты, уѣзжая, препоручилъ мнѣ фабрику свою...

Г. Богатоновъ. Воля твоя, братецъ, а на тебя смотрѣть умора! Ко мнѣ весь городъ ѣздитъ; неравно увидятъ тебя въ этомъ нарядѣ...

Мирославскій. Фабрика твоя...

Г. Богатоновъ. Я рекомендую тебѣ моего портного: мастеръ, собака! Правда, за работу беретъ онъ не дешево, и сукно-то иногда ставитъ дурное, но зато ужъ одѣнетъ тебя, какъ куколку.

Мирославскій. Хорошо, хорошо! Фабрика твоя...

Г. Богатоновъ. И, братецъ, полно объ этомъ толковать, мы наговоримся еще о дѣлѣ! Да я было и забылъ. Племянница! жена зоветъ тебя къ себѣ. Мадамъ Трише прислала къ ней съ три пропасти всякой всячины; поди-ка, авось ли и тебѣ что приглянется. (*Лиза и Анюта уходятъ*).

ЯВЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Г. Богатоновъ и Мирославскій.

Г. Богатоновъ. Ну, мой милый, какъ я радъ, что ты сюда пріѣхалъ; у меня здѣсь такое большое знакомство, и все съ знатными.

Мирославскій. Поздравляю.

Г. Богатоновъ. Да, да, все съ знатными: графы, да князья, баронессы, да превосходительныя...

Мирославскій. Прошу покорно! Да этакъ ты съ нашимъ братомъ, простымъ дворяниномъ и знаться не захочешь.

Г. Богатоновъ. Полно, братецъ! Мы старые знакомые, сосѣди, — такъ что тутъ за счеты.

Мирославскій (*съ усмѣшкою*). Въ самомъ дѣлѣ! Однако жъ, не показалось бы странно твоимъ графамъ и князьямъ, что простой дворянинъ смѣетъ мѣшаться въ ихъ компанію.

Г. Богатоновъ. Ничего, ничего! Мы это дѣло сладимъ: я рекомендую тебя, какъ моего пріятеля.

Мирославскій. Нельзя ли уволить. На что я имъ? Праздниковъ давать я не могу, кланяться не люблю, придакивать не охотникъ...

Г. Богатоновъ. Экій ты, братецъ! Да зачѣмъ тебѣ кланяться? Вы, деревенскіе, думаете, что къ знатнымъ-то и приступу нѣтъ. Вздоръ! Я съ ними со всѣми за панибрата; вотъ, напримѣръ: «Здравствуйте, батюшка графъ, ваше сіятельство!» Здравствуйте, любезный господинъ Богатоновъ!» А кто же это говоритъ? Его сіятельство графъ Недочетовъ.

Мирославскій. А скажи-ка правду: не случалось ли его графскому сіятельству занимать у тебя денегъ?

Г. Богатоновъ. Ну что, братецъ, бездѣлицу: всего-то перебралъ онъ у меня тысячъ десять. Да эти деньги не пропадшія: онъ человѣкъ богатый, и только я заикнись, то онъ, пожалуй, и мнѣ дастъ взаймы.

Мирославскій. Право! Зачѣмъ же онъ занималъ у тебя?

Г. Богатоновъ. Да такъ, все такъ-то случилось: то книжку оставитъ дома, то про-

играетъ больше, чѣмъ взялъ съ собою, а мнѣ прислать-то послѣ какъ-нибудь забудетъ.

Мирославскій. И конечно: до того ли знатному человѣку, чтобъ помнить о такой мелочи.

Г. Богатоновъ. Вотъ какъ поразсказать тебѣ еще про пріятеля моего барона Радугина: что за человѣкъ! Да этакихъ людей и при дворѣ на рѣдкость.

Мирославскій. Не забываетъ ли и онъ дома своей книжки?

Г. Богатоновъ. Нѣтъ, мой милый, этому я самъ рублей пятьсотъ долженъ.

Мирославскій. Это какимъ образомъ?

Г. Богатоновъ. Мы съ нимъ бьемся по два рублика въ пикетъ и повѣришь ли, какое ему счастье? Платить не успѣваю.

Мирославскій. Какъ не повѣрить!

Г. Богатоновъ. Вообразите, мой милый, какой баронъ добрый человѣкъ: я играю плохо, а онъ не только не скучаетъ, но изъ снисхожденія играетъ иногда со мною часа по четыре сряду.

Мирославскій. И только по два рубля? Подлинно этотъ баронъ очень тебя любитъ.

Г. Богатоновъ. А за что бы, кажется? А любитъ, точно любитъ, но все-таки не такъ, какъ мой милый князь Блесткинъ. Вотъ, братъ, ужъ пріятель: жить безъ меня не можетъ.

Мирославскій. Про этого-то я кой-что ужъ знаю.

Г. Богатоновъ. Вѣрно, тебѣ Лизанька сказала. Мы прочимъ ее за князя, да она что-то не изъ короба, ни въ коробъ: «я, дескать, не расположена идти замужъ, хочу въ дѣвкахъ остаться». Да полно, у нихъ ужъ у всѣхъ такой обычай: толку не добьешься.

Мирославскій. Да знаешь ли ты хорошенько этого князя?

Г. Богатоновъ. Какъ себя. Такой честной души поискать, а ученъ-то, воспитанъ!..

Мирославскій. То есть мастеръ танцовать, шаркать ногами, говорить по-французски...

Г. Богатоновъ. Что и говорить! Повѣришь ли: я отдалъ бы половину своего имѣнія, чтобъ знать все то, что онъ знаетъ. Ну, да погоди, время еще не ушло, была бы только охота...

Мирославскій. Ужъ не хочешь ли приняться за указку?

Г. Богатоновъ. А почему бы и не такъ: вѣкъ живи, вѣкъ учись. Я уже подговорилъ себѣ французскаго учителя.

Мирославскій. Ты хочешь учиться по-французски?

Г. Богатоновъ. Да, мой милый. Меня всякій разъ въ краску броситъ, какъ подумаю, что я и здравствуй не знаю сказать по-французски; стыдъ да и только!

Мирославскій (*въ сторону*). Онъ повредился.

Г. Богатоновъ. Вообрази, мой другъ, каково мнѣ, когда бываю въ Лѣтнемъ саду или на бульварѣ: рта открыть не смѣю. Здѣсь такой ужъ городъ: заговори только по-русски, такъ тебя разомъ за подлаго и примутъ.

Мирославскій. Чѣмъ больше я тебя слушаю, тѣмъ болѣе удивляюсь: ты совсѣмъ перемѣнился!

Богатоновъ (*съ радостью*). Право! а я еще и году здѣсь не живу; погоди-ка еще годика два, такъ меня никто и узнавать не будетъ.

Мирославскій. Да я и теперь тебя не узнаю.

Г. Богатоновъ. Не правда ли, что я непохожъ ужъ на вашего брата деревенскаго? Что во мнѣ есть что-то такое... что-то такое, какъ бы тебѣ сказать... что-то барское, знатное!

Мирославскій. Въ самомъ дѣлѣ! Однако жъ, знаешь ли что?

Г. Богатоновъ. Что такое?

Мирославскій. Прежде, какъ ты былъ простымъ дворяниномъ, судилъ ты какъ человѣкъ умный, а теперь...

Г. Богатоновъ. А теперь сужу какъ человѣкъ знатный? Это, братъ, кажется, будетъ немного получше...

Мирославскій. Не смѣть говорить по-русски!..

Г. Богатоновъ. Да что вы въ вашей глуши знаете по-русски, по-русски! А сказать правду, что толку-то въ русскомъ языкѣ: всякій мужикъ говоритъ по-русски; понастоящему, намъ-бы и знать-то его не надобно.

Мирославскій. Я удивляюсь твоимъ успѣхамъ: ты начинаешь ужъ говорить какъ человѣкъ, который получилъ самое модное воспитаніе.

Г. Богатоновъ. Насилу замѣтилъ! Вотъ видишь ли, что значитъ жить въ большомъ свѣтѣ,—а давно ли я пріѣхалъ сюда дуракъ-дуракомъ.

Мирославскій. А теперь сталъ какимъ умницей!

Г. Богатоновъ. И всѣмъ этимъ обязанъ я милому моему князю. Да что и говорить: родной братъ не сталъ бы такъ стараться сдѣлать меня путнымъ человѣкомъ, какъ этотъ любезный Блесткинъ.

Мирославскій. Итакъ у васъ рѣшено: онъ будетъ мужемъ Лизы.

Г. Богатоновъ. Непремѣнно.

Мирославскій. А если бы, напримѣръ, сыскался женихъ повыгоднѣе?

Г. Богатоновъ. Повыгоднѣе! Да будь онъ хоть заморскій принцъ, такъ не видать ему племянницы. Если бъ ты все зналъ, чѣмъ я обязанъ князю...

Мирославскій. Ужъ не самъ ли учитъ онъ тебя по-французски?

Г. Богатоновъ. Нѣтъ не то. Ну, да что объ этомъ говорить,—это статья особъ.

Мирославскій. Полно, братъ, что за секреты съ стариннымъ пріятелемъ.

Г. Богатоновъ. Такъ-съ, ничего! Люди мы деревенскіе, простые,—гдѣ влюбиться въ насъ какой-нибудь петербургской красавицѣ.

Мирославскій. Что это значитъ?

Г. Богатоновъ. Ничего, бездѣлица! Мы успѣли уже вскружить голову одной баронессѣ!

Мирославскій. Одной баранессѣ!

Г. Богатоновъ. Да, да! баронессѣ Вольмаръ, молодой вдовушкѣ, близкой родственницѣ князя.

Мирославскій (*въ сторону*). Хороша-же, видно, эта баронесса!

Г. Богатоновъ. Что, милый, ты удивляешься?

Мирославскій. Какъ не удивляться: кружить головы въ твои лѣта.

Г. Богатоновъ. Въ мои лѣта! Да что мои за лѣта? Прямой ты деревенщина! Кто здѣсь говоритъ о лѣтахъ: здѣсь всѣ молоды. Попытайся-ка спросить у какой-нибудь вдовушки, который ей годъ, такъ она тебя такъ отбояритъ, что ты и мѣста не найдешь.

ЯВЛЕНІЕ ПЯТОЕ.

Тѣ-же и Климъ Кондратьичъ.

Мирославскій. А! Климъ Кондратьичъ! И ты здѣсь? (*Климъ кланяется*).

Г. Богатоновъ. Какъ же, я взялъ его съ собою. На фабрикѣ былъ онъ у меня конторщикомъ, а здѣсь отправляетъ должность—тово, бишь... какъ онъ?..

Мирославскій. Дворецкаго?

Г. Богатоновъ. И, нѣтъ, братецъ, а вотъ эти... Провалъ бы ихъ взялъ. — Метри... метро...

Мирославскій. Метръ-д'отель?

Г. Богатоновъ. Да, да, метрадотеля, метрадотеля! Ну, что скажешь, Кондратьичъ?

Климъ. Мусье Филутони дожидается въ передней.

Мирославскій. Филутони! Что это за человѣкъ?

Г. Богатоновъ. Не человѣкъ, а сокровище! Вотъ у него-то, подлинно, чего хочешь, того просишь; все сыщетъ, все сдѣлаетъ, скажи только слово.

Мирославскій. Да не жалѣй денегъ.

Г. Богатоновъ. Нѣтъ, братъ, не такой человѣкъ: все вѣритъ въ кредитъ; я ему тысячъ около трехъ долженъ. Жена его держитъ трактиръ, а онъ промышляетъ всякой всячиной.

Климъ. Опъ пришелъ съ какимъ-то счетомъ.

Г. Богатоновъ. Знаю, знаю! Я давалъ вчерась баронессѣ за городомъ праздникъ,—онъ приготовлялъ столъ. Позови его.

Климъ (*отворивъ дверь*). Мусье, ступай сюда.

ЯВЛЕНІЕ ШЕСТОЕ.

Тѣ-же и Филутони.

Г. Богатоновъ. Здорово, братъ мусье! Какъ поживаешь?

Филутони. Потиконька, милостиви косударь, потиконька.

Мирославскій. Я не хочу тебѣ мѣшать, да мнѣ надобно еще кое-куда завернуть. Прощай, мой другъ!

Г. Богатоновъ. Развѣ ты у меня не обѣдаешь?

Мирославскій. Я пріѣду и привезу къ тебѣ одного человѣка, который очень хочетъ съ тобою познакомиться.

Г. Богатоновъ. Вѣрно, кто-нибудь изъ нашихъ деревенскихъ?

Мирославскій. Да! Человѣкъ очень добрый.

Г. Богатоновъ. Не имѣетъ ли онъ ко мнѣ какой надобности?

Мирославскій. Можетъ быть. Прощай, любезный, до свиданья. (*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ СЕДЬМОЕ.

Богатоновъ, Климъ и Филутони.

Г. Богатоновъ. Имѣетъ ко мнѣ надобность... Что бы такое? А, понимаю, какой-нибудь бѣднякъ, котораго должно опредѣлить къ мѣсту. Хорошо, хорошо! мы это увидимъ. (*Къ Филутони*). Что новенькаго?

Филутони. Нишефо! Што, monsieur Покатонъ, тафольно пила вшерашни опѣдъ?

Г. Богатоновъ. Очень доволенъ! Ты хватски насъ отпотчевалъ.

Филутони. Кохда снатна паринъ исфоль у насъ кушаить, ми нишефо не шалѣй! Мой приніосъ непольши сшотъ.

Г. Богатоновъ. Давай сюда. (*Беретъ*). Да это никакъ писано по-французски?

Филутони. Monsieur со всѣмъ не снай француска езыкъ?

Г. Богатоновъ. Нѣтъ, не могу сказать, что бъ совсѣмъ не зналъ, да я какъ-то, знаешь ты, безъ очковъ-то плохо читаю французскую грамоту. Да что тутъ написано?

Филутони. Тшена кушаньи.

Г. Богатоновъ. Цѣна кушаньямъ. Читайка самъ, а я послушаю.

Филутони (*читаетъ*). Перьви антре: супъ а ла тортю...

Г. Богатоновъ. То есть супъ, — знаю, знаю!

Филутони. Дватсять пять рубль. Пети паше бивстексъ, котелетъ отруфль...

Г. Богатоновъ. Да, да, котлеты! Читай, читай,—я все понимаю.

Филутони. Фосемдесять пять. Соте де желиноть, пулардъ, фрикасе а ла модъ...

Г. Богатоновъ. Сирѣчь, модное фрикасе;—не такъ ли?

Филутони. Тошно такъ!

Г. Богатоновъ. Мы-таки, братъ, кой-что разумѣемъ!

Филутони. Во фарси...

Г. Богатоновъ. Полно читать-то,—скажи-ка лучше разомъ, что весь столъ стоитъ?

Филутони. Фесь? Сейшасъ. Фи исволилъ кушать шесть персонъ—по пятьдесятѣ рубль съ персонъ, триста рубли.

Г. Богатоновъ. Триста.

Филутони. Вина исфолилъ на сто фосемдесять три, ликеръ на пять съ половиной рубль, тоталь: четыреста фосемьдесятъ фосемъ рубль атна бульдинъ.

Г. Богатоновъ. Четыреста восемьдесятъ восемь рублей съ полтиною. (*Въ сторону*). Разбойникъ, какъ онъ деретъ! А торговаться какъ будто совѣстно,—онъ не русскій.

Филутони (*подавая счетъ*). Угодна, повѣряитъ.

Г. Богатоновъ. Чего повѣрять!—вы народъ дѣльный, итоги подвести умѣете. (*Въ сторону*). Четыреста восемьдесятъ рублей съ полтиною! (*Громко*). Послушай-ка, мусье?..

Филутони. Шево исфолишь?

Г. Богатоновъ. Что, знатные-то господа, чай, иногда также торгуются?

Филутони. Э, фи! monsieur! Одна мѣсшань проста народъ торгуй, а польши паринъ—сохрани Богъ!

Г. Богатоновъ (*въ сторону*). Ну, вотъ, что будешь дѣлать! Плачь себѣ, а денежки плати. Четыреста восемьдесятъ восемь рублей! Чортъ бы побралъ этихъ знатныхъ господъ, и кто завелъ такую моду! Четыреста восемьдесятъ рублей!

Филутони. Monsieur, буди платить или прикажи на сшотъ поставить?

Г. Богатоновъ. Нечего дѣлать, вишь ты говоришь, что знатные не торгуются, — запиши въ счетъ общаго долга.

Филутони. Ошень корошо! Monsieur приказалъ мнѣ вшерась принесть франсуски табакъ.

Г. Богатоновъ. Да, да, я было и позабылъ. Покажи-ка!

Филутони (*вынимаетъ изъ узелка, который, входя, оставилъ на стулѣ у дверей, картузъ табаку*). Фотъ исфолитъ, сами сфѣшій.

Г. Богатоновъ (*нюхаетъ*). Самый свѣжій. А что фунтъ?

Филутони. Тесять рубль!

Г. Богатоновъ. Десять рублей, только-то! (*Нюхаетъ*). Да что это за табакъ? Дрянь! Князь платитъ за свой по двадцати рублей, а этотъ десять!.. Нѣтъ, братъ, возьми его назадъ. (*Отдаетъ*).

Филутони. Посфольте, Monsieur, у меня есть утифительный табакъ, только ошень торога.

Г. Богатоновъ. Очень дорогъ! За кого ты меня принимаешь? Очень дорогъ! Для меня, братъ, все дешево. Давай сюда.

Филутони. Сей минутъ! (*Идетъ къ углу и дѣлаетъ видъ, будто вынимаетъ другой картузъ, а между тѣмъ беретъ тотъ же самый; Климъ подходитъ и разсматриваетъ узелокъ*). Вотъ, Monsieur!

Г. Богатоновъ. Ну, этотъ и на взглядъ-то не тому чета.

Филутони. Въ селомъ кородъ нѣтъ таки табакъ.

Г. Богатоновъ. А вотъ увидимъ. (*Нюхаетъ*).

Климъ (*подойдя близко къ Филутони*). Мусье, да съ тобой только и былъ одинъ картузъ.

Филутони (*тихо Климу*). Пошалуй мальши.

Г. Богатоновъ. А что картузъ?

Филутони. Сорокъ рубль.

Г. Богатоновъ. Сорокъ рублей! Вотъ это табакъ! Что за духъ! (*Нюхаетъ*). Какой вкусъ! То-ли дѣло, дорого да мило! А то вздумалъ было отпотчивать меня десяти-рублевымъ табачишкомъ.

Филутони. Таки табакъ и на Парижъ малъ; ефо дѣлаитъ тле отне каралевски фамиль.

Г. Богатоновъ. Для одной королевской фамиліи! Шутишь? Хе, хе, хе! а мы и не короли, да понюхиваемъ. (*Нюхаетъ*). Ай да мусье! спасибо, братъ. Вотъ ужъ удружилъ!

Филутони. У меня толька есть шесть фунтъ. Его сіятельство графъ Недошотовъ коши взять.

Г. Богатоновъ. Нѣтъ, братъ, нѣтъ, не продавай никому; я его весь беру за себя.

Филутони. Крафъ буди сердись.

Г. Богатоновъ. Э, братецъ, посердится, да перестанетъ. Пожалуйста, любезный, уступи мнѣ.

Филутони. Ну, што дѣлать, изфольте—я все шесть фунтъ принесу послѣ опѣдъ.

Г. Богатоновъ. Спасибо, мусье, спасибо! Смотри-жъ, не забудь—послѣ обѣда.

Филутони. О, нѣтъ, не песпокойтесь!

Г. Богатоновъ. Прощай же, мой милый; я пойду одѣваться. (*Въ сторону*). Всѣ шесть фунтовъ мои! Ха, ха, ха! въ какихъ-же дуракахъ графъ! Онъ лопнетъ съ досады, а я то буду его потчивать, да похваливать! (*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ ВОСЬМОЕ.

Филутони и Климъ.

Климъ (*послѣ короткаго молчанія*). Ну, мусье, что скажешь?

Филутони. Что скажу? что съ русски косподъ намъ шить очень хорошо.

Климъ. Да русскимъ-то господамъ съ вами жить накладно. Не совѣстно-ли тебѣ такъ явно обманывать барина?

Филутони. А што такой софестно?

Климъ. Ты, видно, братъ, ни на какомъ языкѣ этого не понимаешь. Не стыдно-ли тебѣ взять сорокъ рублей за картузъ табаку?

Филутони. Отшефо стыдно? Твой паринъ не люби тіошева купить, а я не люби тіошева продать.

Климъ. Розонъ достаточный. Однакоже, мусье, сдѣлаемъ-ка прежде уговорецъ: обирай какъ хочешь барина, только, чуръ, барыши пополамъ.

Филутони. Какъ парышъ пополамъ! А са што?

Климъ. За то, что я молчу.

Филутони. Ну, мой будетъ давать тебѣ на вотка.

Климъ. На водку! Нѣтъ, мусье, водкой-то не отдѣлаешься. Ты хитеръ, да я и самъ десять лѣтъ былъ въ уѣздномъ судѣ подъячимъ. Давай-ка на чистоту: что мнѣ за то, что я молчалъ, какъ ты обманывалъ барина?

Филутони (*даетъ деньги*). Фотъ восьми.

Климъ. Десять рублей! Только-то? Какъ хочешь, а мнѣ, право, совѣстно; пойду скажу барину всю правду.

Филутони. Постой. фотъ есшо.

Климъ. Еще десять.

Филутони. Теперь тафольно?

Климъ. За одинъ картузъ довольно, а ты сегодня принесешь еще шесть. Нѣтъ, мусье, мнѣ право, жаль, барина (*Хочетъ идти*).

Филутони. Постой! Што ти коши?

Климъ. Ну, такъ и быть, я человѣкъ сговорчивый: по десяти рублей съ картуза, да и концы въ воду.

Филутони. Ай, ай, ай! по тесяти рубль.

Климъ. Что, видно, нашла коса на камень. Полно, братъ, торговаться,—плати, а не то мнѣ сейчасъ сдѣлается совѣстно.

Филутони. Нешево тѣлать. (*Отсчитываетъ деньги*). Фосьми.

Климъ. Давай сюда. (*Въ сторону*). Никакъ мало я съ него сорвалъ. (*Громко*). Однако же, мусье, мнѣ что-то какъ будто все еще чего-то стыдно.

Филутони (*въ сторону*). Ай, ай, ай! (*Вслухъ*). Прощай, мой батюшка. (*Хочетъ итти*).

Климъ. Постой-ка на минутку: меня опять начало совѣсть мучить.

Филутони. Мнѣ нушна, ошень нушна! Adieu! (*Уходитъ*).

Климъ. Инъ быть ужъ такъ,—ступай; въ другой разъ буду умнѣй.

ЯВЛЕНІЕ ДЕВЯТОЕ.

Климъ (*одинъ, считаетъ деньги*).

Десять, двадцать, шестьдесятъ, восемьдесятъ. (*Кладетъ ихъ въ карманъ*). Такъ-то лучше! Нѣтъ, мусье, не проведешь. Вотъ какъ разбогатѣю, да выйду въ люди, такъ и меня ваша братья будетъ обманывать, а теперь, погоди, дружокъ! Я еще не баринъ, а хочу только сдѣлаться бариномъ. (*Уходитъ*).

КОНЕЦЪ ПЕРВАГО ДѢЙСТВІЯ.

ДѢЙСТВІЕ ВТОРОЕ.

ЯВЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

Г-жа Богатонова, князь Блесткинъ Лиза и модная торговка.

Г-жа Богатонова (*къ торговкѣ*). Сюда, матушка мадамъ; прошу покорно. Покудова прибираютъ мою комнату, мы кой-что еще посмотримъ.

Князь (*къ Богатоновой*). А propos. Знаете ли, сударыня, что васъ ситируютъ въ городѣ, какъ даму, которая одѣвается съ удивительною ловкостію!

Г-жа Богатонова. Право! Да я уже съ ребячества была такова: люблю, батюшка, князь, чтобъ на мнѣ все такъ и пѣло. Послушай-ка, мадамъ: что у тебя тамъ въ этой коробкѣ-то?

Торговка. Въ этомъ картонѣ, сударыня?

Г-жа Богатонова. Да, да, въ картонѣ что ль!

Торговка. Цвѣты, сударыня.

Г-жа Богатонова. Покажи-ка, милая!

Князь (*тихо Лизѣ*). Г-жа Богатонова имѣетъ чудесный даръ коверкать всѣ французскія слова.

Лиза. Что дѣлать, сударь, она не жила два года въ Парижѣ.

Г-жа Богатонова. Ахти, батюшки! Да у тебя, мадамъ, цвѣтовъ-то здѣсь воза съ два.

Торговка. Мы, сударыня, третьяго-дня ихъ очень много получили изъ Парижа.

Г-жа Богатонова. Изъ Парижа! Да скажи мнѣ, матушка мадамъ, гдѣ ты научилась такъ хорошо говорить по-нашему.

Торговка. Я, сударыня, русская.

Г-жа Богатонова. Русская! Такъ мадамъ Трише держитъ у себя и русскихъ?

Торговка. Меня одну, сударыня.

Г-жа Богатонова. Прошу покорно! Русская—простая русская! А я называла ее ма-

дамою! Экая я дура. Покажи мнѣ, голубушка, этотъ букетъ. (*Разсматриваетъ цвѣты*).

Князь (*Лизѣ*). Вы увидите—тетушка ваша вздумаетъ одѣться флорою.

Г-жа Богатонова (*отдавая цвѣты*). Нѣтъ, душенька, это что-то очень пестро. Князь, помогите мнѣ что-нибудь выбрать.

Князь. Къ чему выбирать, сударыня! Все, что вы ни надѣнете, должно быть прекраснымъ.

Г-жа Богатонова. Однако жъ, батюшка, все-таки умъ хорошо, а два лучше. Какъ ты думаешь, Лизанька, не купить ли мнѣ эту розовую гирлянду?

Лиза. Не слишкомъ ли будетъ это для васъ молодо, тетушка?

Г-жа Богатонова. Прошу послушать, князь! Вотъ каково мое житье: ты хочешь посовѣтоваться, а она вздоръ замелетъ. Слишкомъ молодо! А почему бы такъ, сударыня?

Лиза. Въ ваши лѣта, тетушка...

Г-жа Богатонова. Въ мои лѣта! смотри пожалуй! Оттого, что я уже не такой ребенокъ, какъ она, такъ мнѣ нельзя и розановъ носить!

Лиза. Но, тетушка...

Г-жа Богатонова. Но, племянница, прошу меня не учить.

Лиза. Какъ вамъ угодно.

Г-жа Богатонова. Мнѣ угодно носить розаны, сударыня.

Лиза. Воля ваша.

Г-жа Богатонова. Конечно, моя, и я на зло тебѣ все платье обошью розанами. Что, душенька, стоитъ эта гирлянда?

Торговка. Семьдесятъ пять рублей, сударыня.

Г-жа Богатонова. Семьдесятъ пять! Что ты, мать моя! Статное ли дѣло? Семьдесятъ пять!

Торговка. Извольте посмотрѣть, какъ цвѣты сдѣланы.

Г-жа Богатонова. Полно, матушка, да тутъ и на пять рублей не пошло товару. Ну, душенька, возьми пятьдесятъ.

Князь. Подай мнѣ, миленькая. Позвольте мнѣ предложить вамъ ее, сударыня.

Г-жа Богатонова. Что вы, князь! Нѣтъ, нѣтъ, я не хочу!

Князь. Сдѣлайте милость.

Г-жа Богатонова. Помилуйте, батюшка! Такой подарокъ!..

Князь. Вы обидите меня, если откажете.

Г-жа Богатонова. Нечего дѣлать! Только, воля ваша, князь, вы совсѣмъ разоряетесь.

Князь. И, сударыня, что значитъ такая бездѣлица!

Торговка. Не угодно ли вамъ, сударь, купить золотую табакерку?

Князь. Покажи. Она хороша; фасонъ прекрасный: я беру ее себѣ.

Торговка. Четыреста двадцать пять рублей..

Князь. Четыреста двадцать пять и семьдесятъ пять—пятьсотъ. Сейчасъ, миленькая. (*Вынимаетъ книжку*). Неужели? Ха, ха, ха! я узнаю себя! (*Къ Богатоновой*). Какъ вы думаете, сударыня, что у меня въ книжкѣ?

Г-жа Богатонова. Почему мнѣ знать, батюшка?

Князь. Попробуйте, отгадайте.

Г-жа Богатонова. Какія-нибудь важныя бумаги, деньги.

Князь (*показывая пустую книжку*). Ничего!

Г-жа Богатонова. Въ самомъ дѣлѣ?

Князь. Позволительно ли имѣть такія дистракціи! Взять книжку и не положить въ нее денегъ. Послушай, душенька, приходи ко мнѣ завтра по-утру.

Торговка. Но, сударь...

Князь. Ты можешь узнать отъ здѣшнихъ людей, гдѣ я живу.

Торговка. Но, сударь...

Князь. Теперь дожидаться тебѣ нечего; завтра, миленькая.

Торговка. Но, сударь, я не имѣю чести васъ знать.

Князь. Не безпокойся; ты можешь смѣло ко мнѣ придти.

Торговка. Я, сударь, безъ хозяйки не смѣю ничего продавать въ кредитъ.

Князь. Какъ примѣтно, душенька, что ты русская! (*Къ Богатоновой*). Сдѣлайте милость, сударыня, дайте мнѣ пятьсотъ рублей.

Г-жа Богатонова. Очень хорошо. Я заплачу тебѣ, голубушка.

Князь. Это составитъ съ пятьюстами, которые я вамъ долженъ, ровно тысячу; я возвращу вамъ ихъ съ благодарностью при первомъ случаѣ.

Г-жа Богатонова. И, князь! мы люди свои—сочтемся.

Князь. О, нѣтъ! Я люблю быть аккуратнымъ. Что дѣлать, это моя слабость, сударыня.

Лиза (*въ сторону*). Я знала впередъ, чѣмъ кончится эта комедія.

Князь. Кстати о дистракціяхъ! Я вамъ, кажется, еще не сказывалъ? Баронесса Вольмаръ будетъ у васъ сегодня обѣдать.

Г-жа Богатонова. Ахъ, Боже мой! а я еще въ своемъ утреннемъ дезабильѣ. Ну, если она теперь пріѣдетъ! Пойду поскорѣе одѣваться. (*Къ торговкѣ*). Ступай ко мнѣ, душенька: я тебѣ заплачу. (*Къ Лизѣ*). А ты куда? Останься здѣсь съ княземъ.

Лиза. Тетушка!..

Г-жа Богатонова. Пустое, сударыня; къ чему такое жеманство! Князь твой женихъ; прошу остаться и занимать его. (*Уходитъ съ торговкою*).

———

ЯВЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

Князь, Лиза и Анюта.

Князь. Какое счастіе сударыня!..

Лиза. Что тетушка приказала мнѣ остаться съ вами?

Князь. Могу ли ласкать себя надеждою, — вы безъ досады выполняете ея приказаніе?

Лиза. Не спрашивайте меня князь, я бываю иногда слишкомъ откровенна.

Князь. Ахъ! будьте откровенны, сударыня: это самая плѣнительная черта вашего милаго характера. Что можетъ быть восхитительнѣе откровенности! Какое блаженство читать въ сердцѣ страстно любимой женщины; какое наслажденіе...

Лиза. Князь! Избавьте меня отъ сентиментальныхъ фразъ, я ихъ терпѣть не могу.

Князь. Вы нынче очень немилостивы. Неужели любовь моя...

Лиза. Опять любовь. Вы хотите остаться одни, князь?

Князь. О, нѣтъ! я молчу, сударыня. Признайтесь, однако же, надобно имѣть мое несчастіе: женщины, къ которымъ я ничего не чувствую, преслѣдуютъ меня; я люблю васъ, и вы...

Лиза (*прерывая*). Вы были вчерась въ театрѣ?

Князь. Былъ, сударыня! — Я люблю васъ, и...

Лиза. Что давали, князь?

Князь. Какую-то оперу.—И вы однѣ презираете любовь мою.

Лиза. Заслуживаетъ ли она какое-нибудь вниманіе?

Князь. Любовь моя?

— Лиза. Нѣтъ, сударь, вчерашняя пьеса.

Князь. И, сударыня, какъ будто русская пьеса можетъ быть хороша! Скажите мнѣ, могу ли я имѣть надежду...

Лиза. Что же вы находите дурнымъ во вчерашней оперѣ?

Князь. Все, сударыня, все! Впрочемъ, я не слыхалъ изъ нея ни одного слова. Я былъ въ ложѣ графини Пронской; мы разговаривали...

Лиза. Графини Пронской! Я такъ давно ее не видала; здорова ли она?

Князь. Слава Богу! Она спрашивала меня о васъ, хотѣла знать, скоро ли я буду счастливѣйшимъ изъ смертныхъ.—Ахъ! сударыня, если бъ я могъ надѣяться...

Лиза. Какъ досадно, что она мѣшала вамъ слушать: вы ничего не можете сказать мнѣ о вчерашней оперѣ.

Князь (*въ сторону*). Проклятая опера!— Неужели вы всегда будете нечувствительны къ любви моей, и къ какой любви! Я не нахожу словъ описать вамъ всю пламенность, всю горячность чувствъ моихъ. Ахъ, сударыня! страсть, которую описывать въ романахъ, ничто передъ моею. Признайтесь, такая любовь достойна взаимности.

Лиза. Признаюсь, князь, я не ожидала, что бъ вы такъ свободно изъяснялись на русскомъ языкѣ.

Князь. Вы шутите, сударыня! О, не шутите! Вы не знаете, до чего можетъ довести безнадежная любовь!

Лиза. Изъ какой это драмы, князь?

Князь (*съ досадою*). О, это уже слишкомъ: соединять жестокость съ насмѣшкою.

Лиза. Вы сердитесь, князь. Ахъ, я очень боюсь сердитыхъ. Прощайте!

Князь. Постойте, сударыня, выслушайте меня!

Лиза. Если вы не все еще кончили, то можете остальное договорить Аннушкѣ: это все равно. (*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ ТРЕТЬЕ.

Князь и Анюта.

Князь. Остановитесь! Она ушла! (*Къ Анютѣ*). Послушай, малюточка, что сдѣлалось съ твоей барышней? Она нынче такъ странно обошлась со мною.

Анюта. Кто виноватъ, сударь; вы сами желали, чтобъ она была откровенна.

Князь. Но я не могу понять, отчего я не нравлюсь твоей барышнѣ. Развѣ я старъ, дуренъ собою, нимало не любезенъ...

Анюта. О, сударь, не сватайтесь за нее, и вы будете еще любезнѣе.

Князь. Я начинаю догадываться... Такъ точно, у меня долженъ быть соперникъ; не правда ли, миленькая?

Анюта. Я ничего, сударь, не знаю.

Князь (*снимаетъ кольцо*). Надѣнь-ка, душенька, это кольцо. Ну, теперь ты знаешь?

Анюта. Вы заставляете меня краснѣть. Такой дорогой подарокъ! Вѣдь оно осыпано брилльянтами?

Князь. Разумѣется.

Анюта. Извольте; я скажу вамъ все, что знаю. Барышня моя... Только, сдѣлайте милость, не проговоритесь кому нибудь.

Князь. Будь спокойна, малютка.

Анюта. Барышня моя... Но я все боюсь, что вы какъ-нибудь это выведете.

Князь. Даю тебѣ честное слово; говори, говори!

Анюта. То-то же, не введите меня въ бѣду. (*Оглядываясь кругомъ*). Вотъ изволите видѣть: мнѣ неизвѣстно, любитъ ли кого барышня, но знаю навѣрно, что васъ она терпѣть не можетъ! (*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Князь (*одинъ*).

Прекрасно! Да меня кажется, дурачатъ.

Ну, если Аннушка сказала правду, если Лиза не согласится выйти за меня замужъ? Пустое! терпѣнье и постоянство, дядюшка и тетушка,— посмотримъ, устоитъ ли она противъ этого. Надобно только привести скорѣе все къ концу. Богатонова—женщина простая: я все изъ нея сдѣлаю; мужъ ея—животное, дуракъ, котораго баронесса водитъ за носъ, какъ ей угодно. Точно такъ...

ЯВЛЕНІЕ ПЯТОЕ.

Князь и Богатоновъ (*въ свѣтло-зеленомъ фракѣ*).

Г. Богатоновъ. Точно такъ, точно такъ! О чемъ это, ваше сіятельство, съ такимъ жаромъ разсуждать изволите?

Князь. Ахъ, это вы!

Г. Богатоновъ. Нѣтъ, не я. Посмотри-ка, князь, мою обнову. Какъ кажется тебѣ этотъ фракъ?

Князь. Онъ сшитъ прекрасно.

Г. Богатоновъ. А цвѣтъ?

Князь. Самый модный.

Г. Богатоновъ. Ну, мой милый, жена сказала мнѣ, что оставила тебя съ глазу на глазокъ съ племянницей; объ чемъ вы потолковали?

Князь. Я говорилъ ей о любви моей.

Г. Богатоновъ. Право! Что, каково идутъ твои дѣла?

Князь. Я начинаю терять всю надежду.

Г. Богатоновъ. Полно, любезный, какъ тебѣ не стыдно! Какого ей еще жениха: ты князь, молодъ, уменъ...

Князь. Однако же, со всѣмъ тѣмъ я, кажется, ей не нравлюсь.

Г. Богатоновъ. Пустое, понравишься! Послушай-ка, мой милый: скажи мнѣ лучше, что говорила баронесса о вчерашнемъ праздникѣ?

Князь. Она отъ него безъ памяти.

Г. Богатоновъ. Право! А скажи ка правду, не было ли у васъ рѣчи обо мнѣ?

Князь. Объ васъ? Если бъ вы знали, что она сегодня поутру объ васъ говорила!

Г. Богатоновъ. Что? Что такое?

Князь. О, счастливѣйшій изъ смертныхъ!

Г. Богатоновъ. Сдѣлай милость, не мучь меня, говори скорѣй!

Князь. Вы знаете, что кузинѣ очень хочется, чтобъ я женился на вашей племянницѣ.

Г. Богатоновъ. Знаю, знаю!

Князь. Вы знаете также, что когда женщина забереть себѣ что-нибудь въ голову, то готова на все рѣшиться...

Г. Богатоновъ. Лишь бы только на своемъ поставить. Какъ не знать: я женатъ, мой милый.

Князь. Нынче поутру говорили мы о вчерашнемъ праздникѣ· между прочимъ баронесса сказала мнѣ, что вы человѣкъ прелюбезный.

Г. Богатоновъ. Прелюбезный!..

Князь. Что вы становитесь для нея каждый день опаснѣе, что она начинаетъ васъ бояться.

Г. Богатоновъ. Ахъ, батюшки, бояться! Да отчего же?

Князь. Оттого, что вы слишкомъ ей нравитесь и можете лишить ее спокойствія, къ которому она привыкла.

Г. Богатоновъ. Ага! понимаю! Это—дѣло другое! Ну, что же она еще говорила?

Князь. Что если вы исполните ея желаніе, выдавъ за меня племянницу вашу, то она потеряетъ совершенно голову и, не будучи въ состояніи противиться двумъ чувствамъ—любви и благодарности, рѣшится...

Г. Богатоновъ. Ну...

Князь. Платить за любовь любовью.

Г. Богатоновъ. И она все это говорила?

Князь. Слово отъ слова.

Г. Богатоновъ. И ея превосходительство баронесса Вольмаръ все это говорила! Вотъ тебѣ рука моя, князь: не будь я Иванъ Сидорычъ Богатоновъ, ежели Лиза не будетъ твоей! Когда же я ее увижу?

Князь. Она будетъ къ вамъ сегодня обѣдать.

Г. Богатоновъ. Какъ бы я желалъ отъ нея самой все это слышать.

Князь. Найдите случай говорить съ нею наединѣ.

Г. Богатоновъ. Это не фигура. Да вотъ что бѣда, мой милый,—меня всегда робость беретъ; сколько разъ, бывало, хочу сказать ей: матушка баронесса, помилуй! Влюбленъ я въ тебя по уши! Да не тутъ то было— языкъ не поворотится.

Князь. Постарайтесь сегодня быть смѣлѣе.

ЯВЛЕНІЕ ШЕСТОЕ.

Тѣ же и человѣкъ.

Человѣкъ. Барыня проситъ князя въ свою горницу.

Г. Богатоновъ. Что тамъ еще? Не дадутъ слова сказать (*Къ князю, который хочетъ идти*). Полно, князь, не ходи; ужъ вѣрно за какимъ-нибудь вздоромъ: хорошо ли голова убрана, такъ ли бантикъ приколотъ.

Князь. Но, сударь, можетъ быть ей нужно...

Г. Богатоновъ. Какія нужды. Останься-ка да поговоримъ лучше о нашемъ дѣлѣ.

Князь (*въ сторону*). Какъ бы отъ него отдѣлаться! (*Вслухъ*). Вамъ надобно кончить вашъ туалетъ: баронесса сейчасъ будетъ.

Г. Богатоновъ. Да развѣ я не одѣтъ?

Князь. Развѣ вы хотите принять баронессу въ сѣромъ фракѣ? На что это будетъ похоже?

Г. Богатоновъ. Правда, правда. Экій я дуракъ,—и изъ ума вонъ.

Князь. Одѣвайтесь же скорѣе. (*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ СЕДЬМОЕ.

Г. Богатоновъ (*одинъ*). Чуть-чуть въ просакъ не попался; хорошъ бы я былъ безъ князя!.. Да, я было и позабылъ. Кондратьичъ, Кондратьичъ!

ЯВЛЕНІЕ ВОСЬМОЕ.

Г. Богатоновъ и Климъ Кондратьичъ.

Климъ. Чего изволите, сударь?

Г. Богатоновъ. Все ли приготовлено къ столу?

Климъ. Все, сударь.

Г. Богатоновъ. Купленъ ли дессертъ?

Климъ. Пожалуйте денегъ.

Г. Богатоновъ. Какъ! Да развѣ у тебя нѣтъ расходныхъ?

Климъ. Всѣ до рубля вышли.

Г. Богатоновъ. Какъ же быть: вѣдь у меня нѣтъ ни копѣйки. Послушай, Кондратьичъ, не можешь ли гдѣ достать?

Климъ. Я, право, не знаю.

Г. Богатоновъ. Ты человѣкъ экономный, какъ не быть у тебя своихъ денегъ; на будущей почтѣ должно мнѣ получить изъ деревни, и я тотъ же часъ съ тобой раздѣлаюсь.

Климъ. И, государь милостивый! Какія, мой отецъ, у меня деньги!

Г. Богатоновъ. Эй, Кондратьичъ, нельзя ли какъ-нибудь?

Климъ. Повѣрьте, сударь, радъ бы за васъ душу заложить, но что будешь дѣлать? Правда, у меня имѣются нѣкоторые благопріятели, да сохрани Боже! Я и подумать не осмѣливаюсь.

Г. Богатоновъ. А что такое?

Климъ. Люди они честные и готовы всегда доброму человѣку служить деньгами, да процентики-то беруть не больно христіанскіе.

Г. Богатоновъ. А по многу-ли?

Климъ. По пятнадцати рублей со ста.

Г. Богатоновъ. Что ты, Кондратьичъ, да это кладъ: по пятнадцати рублей со ста...

Климъ. Въ мѣсяцъ.

Г. Богатоновъ. Въ мѣсяцъ? Ну, подлинно, благопріятели твои люди честные. По пятнадцати въ мѣсяцъ! Ахъ, они искаріоты! А, дѣлать нечего, придется занять у этого жидовскаго сѣмени.

Климъ. Нѣтъ, батюшка, воля ваша, меня совѣсть замучаетъ. Разсудите милостиво: денегъ *проживаете вы* бездну, да какъ еще *будете занимать подъ* такіе проценты, то, и Боже упаси, долго-ли этакъ и совсѣмъ разориться.

К. Богатоновъ. Какъ быть, другъ мой! Хоть ты себѣ голосомъ вой, а придется тысячи двѣ призанять.

Климъ. Но подумайте, сударь, триста рублей за одинъ мѣсяцъ.

Г. Богатоновъ. Какъ ни думай, а занимать должно.

Климъ. Ахъ, Боже мой, Боже мой! До чего, отецъ нашъ, ты дожилъ: платить такіе проценты! У меня сердце такъ и разрывается. (*Утираетъ глаза*).

Г. Богатоновъ. Полно, Кондратьичъ! Я знаю, что ты меня любишь; да о чемъ тутъ плакать, триста рублей бездѣлица. Ступай же теперь поскорѣе за деньгами.

Климъ. Нечего дѣлать! Да я и позабылъ сказать: вѣдь злодѣи то ничего не дадутъ безъ заклада.

Г. Богатоновъ (*вынувъ ключи*). На, возьми: вынь самъ изъ моего комода бриліантовую табакерку: она стоитъ болѣе четырехъ тысячъ.

Климъ. Слушаю, сударь.

Г. Богатоновъ. Ступай же, да пожалуйста скорѣе. (*Уходя*). Куда какъ этотъ старикъ меня любитъ!

ЯВЛЕНІЕ ДЕВЯТОЕ.

Климъ (*одинъ*). Я недалеко пойду; благопріятели-то лежатъ у меня въ коробкѣ! Ай да Климъ Кондратьичъ! Не робѣй, любезный, ты скоро заживешь домикомъ. Да такъ и должно: господинъ мотаетъ, а дворецкій карманы набиваетъ. Пускай себѣ пройдетъ еще годковъ пять, шесть, такъ, чисто, не я ужъ у барина, а онъ у меня будетъ управителемъ (*Уходитъ*).

КОНЕЦЪ ВТОРОГО ДѢЙСТВІЯ.

ДѢЙСТВІЕ ТРЕТЬЕ.

ЯВЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

Мирославскій и графъ Владимировъ (*одитые просто, входятъ*).

Графъ. Я до сихъ поръ не могу повѣрить: Какъ, князь Блесткинъ мой соперникъ!

Мирославскій, Чему вы удивляетесь, графъ?

Графъ. Князь Блесткинъ! Этотъ полуфранцузскій петиметръ! Этотъ глупый модникъ!

Мирославскій. Да, этотъ глупый модникъ вскружилъ головы Богатоновымъ; они хотятъ непремѣнно выдать за него свою племянницу.

Графъ. И противъ ея желанія! Нѣтъ, я не могу постигнуть, чѣмъ могъ ихъ обольстить этотъ ничтожный вертопрахъ?

Мирославскій. Своею любезностію, умомъ, познаніями!

Графъ. Вы шутите.

Мирославскій. По крайней мѣрѣ, такъ говоритъ г. Богатоновъ.

Графъ. Своимъ умомъ, познаніями! Надобно отдать справедливость г. Богатонову: онъ первый сдѣлалъ это важное открытіе.

Мирославскій. Нѣтъ, я отъ многихъ слышалъ то же самое.

Графъ. Вы смѣетесь надо мною.

Мирославскій. Не изъ Америки ли вы пріѣхали, графъ? Будто вы не знаете, какъ легко въ свѣтѣ прослыть умницей. Развѣ человѣкъ съ тупымъ понятіемъ не можетъ имѣть острой памяти? Кто мѣшаетъ ему выучить наизустъ нѣсколько стиховъ изъ Буало, два-три монолога изъ Расина, полдюжины моральныхъ заключеній изъ Лабрюйера; послѣ этого онъ смѣло можетъ мѣшаться въ ученые разговоры, блистать своимъ умомъ, говорить съ презрѣніемъ объ отечественной словесности, которую не знаетъ, восхищаться иностранными авторами, которыхъ не понимаетъ, и кричать громче тѣхъ, которые вдесятеро его умнѣе и ученѣе.

Графъ. Это весьма легкій способъ, но, думаю, онъ не всегда удается.

Мирославскій. И вы можете имѣть такое непозволительное сомнѣніе? Нѣтъ, графъ, вы слишкомъ зажились въ деревнѣ. Что этотъ способъ легокъ,—не спорю, но вы должны также согласиться, что онъ и самый вѣрнѣйшій. Будьте только смѣлы или, лучше сказать, безстыдны, поступайте всегда вопреки здравому смыслу, хвалите все иностранное, ругайте все русское, вмѣсто доказательствъ прибѣгайте къ насмѣшкамъ, но, пуще всего, кричите какъ можно громче,—и, увѣряю васъ, вы составите себѣ вскорѣ самую блестящую репутацію. Второклассные дураки будутъ удивляться вамъ, какъ чуду; умные... Ну, какое до нихъ дѣло! Ихъ такъ мало,—и что значитъ ихъ тихій голосъ передъ громкимъ пустословіемъ нашихъ полуученыхъ мудрецовъ.

Графъ. Какъ! вы на нихъ нападаете? Но скажите мнѣ, находите ли вы какую-нибудь возможность переувѣрить Богатоновыхъ?

Мирославскій. Это, кажется, не трудно было бы сдѣлать, но, къ несчастію, у князя есть сильная покровительница. Онъ познакомилъ съ Богатоновымъ свою родственницу, какую-то баронессу Вольмаръ; старикъ вздумалъ въ нее влюбиться, и она дѣлаетъ изъ него, что хочетъ.

Графъ. Баронессу Вольмаръ! Не вдову ли?

Мирославскій. Точно такъ.

Графъ. Надобно признаться, вашъ пріятель окруженъ прекрасными людьми! Я зналъ эту женщину еще замужемъ. Цѣлые два года жила она бѣднаго барона своими капризами, прихотями, вѣтренностью; наконецъ, несчастный мужъ потерялъ все терпѣніе...

Мирославскій. И развелся съ нею?

Графъ. Нѣтъ, умеръ: и лучше этого, вѣрно, ничего не могъ бы придумать.

Мирославскій. Вотъ, кажется, и хозяинъ. Я предувѣдомляю васъ: вы увидите презабавнаго чудака.

ЯВЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

Тѣ же и г. Богатоновъ.

Г. Богатоновъ. Здорово, мой милый! Виноватъ, я заставилъ тебя дожидаться: у меня былъ такой интересный разговоръ съ баронессою.

Мирославскій (*подводя графа*). Вотъ, мой другъ, рекомендую тебѣ моего пріятеля, про котораго я говорилъ нынче поутру. (*Графъ низко кланяется*).

Г. Богатоновъ. Да, да, я помню.

Графъ. Я давно желалъ, сударь, имѣть эту честь!

Г. Богатоновъ. Хорошо, хорошо, голубчикъ! (*Показывая на стулъ, который стоитъ у дверей*). Садись, душенька.

Мирославскій (*тихо Богатонову*). Что ты, мой милый! Да знаешь ли...

Г. Богатоновъ. Знаю, знаю: какой-нибудь дворянчикъ?

Мирославскій. Смотри, чуръ, послѣ не пенять.

Г. Богатоновъ. И, мой милый, что за фигура! Садись-ка, пріятель. (*Мирославскій садится на канапе, Богатоновъ на вольтеровскія кресла. Къ графу, который стоитъ*). Полно, братъ, чиниться,—садись; я человѣкъ не спесивый,—садись, знай. (*Графъ садится*).

Мирославскій. Да ты, мой милый, и подлинно начинаешь походить на большого барина.

Г Богатоновъ (*къ графу*). Что ты, голубчикъ, пріѣхалъ сюда на время или хочешь здѣсь къ мѣсту?

Графъ. Нѣтъ, сударь, я человѣкъ отставной и привыкъ жить въ деревнѣ.

Г. Богатоновъ. Въ деревнѣ? Право! Такъ у тебя есть и деревнишка? Въ какой губерніи?

Графъ. Въ Орловской.

Г. Богатоновъ. А сколько въ ней душонокъ, мой милый?

Графъ. Съ небольшимъ сто.

Г. Богатоновъ. Сто душъ! Такъ ты не совсѣмъ бѣдный человѣкъ. Прошу покорно, подвинься-ка къ намъ поближе, любезный. (*Графъ подвигается*). А много ли она даетъ доходу?

Графъ. Очень мало; гораздо менѣе, чѣмъ

Г. Богатоновъ. Какъ! такъ у васъ въ Пензѣ есть деревня?

Графъ. Двѣсти душъ.

В. Богатоновъ. Итого триста. (*Мирославскому*). Да онъ человѣкъ порядочный! Гей, малый! (*Человѣкъ входитъ*). Кресла сюда, къ намъ ближе. Милости просимъ, батюшка; я очень радъ съ вами познакомиться. (*Сажаетъ его возлѣ себя*). Итакъ, у васъ только и есть эти двѣ деревни?

Графъ. Извините, у меня есть еще полторы тысячи душъ въ Рязанской губерніи.

Г. Богатоновъ (*вскакиваетъ*). Полторы тысячи!

Графъ. Да двѣ тысячи въ Саратовской.

Г. Богатоновъ. И двѣ тысячи! Ахъ, Боже мой, Боже мой! какой и дуракъ! Милостивый государь! сдѣлайте милость, будьте милостивы! Не прикажете ли на эти кресла, здѣсь вамъ будетъ спокойнѣе.

Графъ. Къ чему это?

Г. Богатоновъ. Покорнѣйше прошу.

Графъ. Если вы непремѣнно хотите. (*Садится на вольтеровскія кресла*).

Г. Богатоновъ. Позвольте узнать, милостивый государь, съ кѣмъ я имѣю честь говорить?

Графъ. Я, сударь, графъ Владимиловъ.

Г. Богатоновъ. И, графъ! Часъ отъ часу не легче. Ахъ я скотина! Ваше сіятельство, извините. Я не знаю... я, право... я совершенно обезумѣлъ! (*Къ Мирославскому*). Пусти-ка, братецъ. Ваше сіятельство! не угодно ли вамъ сюда на канапе?

Графъ. Вы напрасно безпокоитесь.

Г. Богатоновъ. О, ваше сіятельство, я знаю различать людей.

Мирославскій. Однако жъ, на этотъ разъ ты ошибся.

Г. Богатоновъ. Я не знаю самъ, что со мною сдѣлалось. Батюшка графъ. ваше сіятельство! Мнѣ такъ совѣстно, такъ стыдно, ну хоть бы сквозь землю провалиться!

Графъ. Помилуйте, сударь, что за важность, вы ошиблись; это со всякимъ можетъ случиться.

Г. Богатоновъ. Какъ можно ошибиться! какъ не узнать съ перваго взгляда знатнаго человѣка. Ахъ я животное! А тебѣ не стыдно не шепнуть мнѣ на ухо.

Мирославскій. Вѣдь я говорилъ, чтобъ послѣ не пенять.

Г. Богатоновъ. И, братецъ! Да кому придетъ въ голову, что его сіятельство графъ Владимиловъ будетъ такъ низко клапяться.

Мирославскій. Въ самомъ дѣлѣ, графъ, боитесь ли вы Бога; вамъ надобно было, какъ знатному человѣку, чуть-чуть кивнуть головою.

Г. Богатоновъ. Человѣкъ! (*Приходитъ*). Зови скорѣй всѣхъ сюда! Ваше сіятельство! *Позвольте мнѣ представить* вамъ мою старуху *и племянницу.*

Графъ. Я сочту себѣ за большую честь.

Г. Богатоновъ. Помилуйте, честь вся для нихъ! Да прошу покорно сидиться!

Графъ. Да для чего вы не изволите сами сѣсть, г. Богатоновъ?

Г. Богатоновъ. И, ваше сіятельство, я постою; вѣдь у меня отъ этого ноги не отвалятся. Сдѣлайте милость.

Графъ. Я не сяду прежде васъ.

Г. Богатоновъ. Если вы приказываете. (*Въ сторону*). Какъ онъ вѣжливъ! Ну, кто-бы подумалъ, что у него четыре тысячи душъ!

ЯВЛЕНІЕ ТРЕТЬЕ.

Тѣ же, г-жа Богатонова, баронесса, князь и Лиза.

Г. Богатоновъ (*подводя жену*). Батюшка графъ! честь имѣю рекомендовать вамъ жену мою. (*Къ женѣ*). Его сіятельство графъ Владимиловъ.

Г-жа Богатонова. Милости просимъ; мы очень рады.

Г. Богатоновъ (*подводя Лизу*). Племянница наша!

Графъ (*цѣлуетъ у нея руку*). Какъ давно, сударыня, я не имѣлъ счастія васъ видѣть.

Г. Богатоновъ. Какъ, ваше сіятельство! Да вы развѣ знакомы съ Лизанькой?

Графъ. Я имѣлъ удовольствіе пользоваться пріязнью ея покойной матушки.

Г-жа Богатонова. Ты позабылъ, батюшка; Лизанька намъ объ этомъ сказывала.

Г. Богатоновъ. Точно, точно! Экая память. А кажется не проходило дня, чтобъ племянница о графѣ не говорила.

Графъ (*къ Лизѣ*). Долженъ ли я вѣрить этому, сударыня!

Лиза. Могла ли я забыть человѣка, котораго покойная моя матушка называла другомъ?!

Г. Богатоновъ. Ваше сіятельство! Позвольте мнѣ познакомить съ вами пріятеля моего князя Блесткина.

Князь. Если не ошибаюсь, я имѣлъ нѣкогда удовольствіе встрѣчаться съ вами у общихъ знакомыхъ.

Графъ. Точно такъ, сударь.

Г. Богатоновъ. А вотъ баронесса Вольмаръ, пріятельница моей жены.

Баронесса (*тихо Богатонову*). Вы могли бы избавить меня отъ этой рекомендаціи.

Графъ. Извините, сударыня, я никакъ не могъ узнать васъ,—вы такъ перемѣнились.

Баронесса. Боже мой! Графъ, вы говорите, какъ будто я цѣлыя сто лѣтъ не имѣла чести васъ видѣть.

Г-жа Богатонова. Человѣкъ, стулья. (*Приносятъ*).

Г. Богатоновъ. (*къ Лизѣ, подлѣ которой сѣлъ графъ*). Пусти-ка, племянница, меня къ графу.

Графъ. Не безпокойтесь, мнѣ очень хорошо.

Г. Богатоновъ. Нѣтъ, нѣтъ! Я самъ хочу занимать такого дорогого гостя.

Мирославскій (*тихо Богатонову*). Живешь ты всегда съ знатными, а не знаешь, что они церемоній терпѣть не могутъ.

Г. Богатоновъ. Ну, ну, хорошо. (*Садится подлѣ Лизы*).

Баронесса (*тихо князю*). Вы знаете этого Владимилова?

Князь (*тихо*). Знаю. Педантъ,—настоящая нравоучительная книга!

Г-жа Богатонова. Что, батюшка графъ, вы надолго изволили къ намъ въ Петербургъ пожаловать?

Графъ. Не знаю самъ, сударыня. Здоровье мое послѣ прошлогоднишней болѣзни не совсѣмъ еще поправилось; я намѣренъ посовѣтоваться съ докторами.

Г-жа Богатонова. О, васъ здѣсь тотчасъ вылѣчатъ, да еще и безъ лѣкарства.

Г. Богатоновъ. Да, да, безъ лѣкарства (*Мирославскому*). Что, братъ, чай, у васъ въ глуши про эти чудеса еще и не знаютъ?

Мирославскій. Ты, вѣрно, хочешь говорить о магнетизмѣ; нѣтъ, и у насъ о немъ много сказокъ сочиняютъ.

Г. Богатоновъ. Какъ, сказокъ! Ты не вѣришь, что посредствомъ магнетизма можно прочесть письмо, не вынимая его изъ кармана.

Мирославскій. Прошу покорно!

Г. Богатоновъ. Что душа можетъ говорить въ человѣкѣ и разсказывать, какими лѣкарствами лѣчить больного.

Мирославскій. Какой вздоръ!

Г-жа Богатонова. Нѣтъ, батюшка, не вздоръ, а точная правда! Вотъ, напримѣръ, дочь пріятельницы моей Глупоновой была всегда такая слабая, такая блѣдная и никакія лѣкарства ей не помогали; стали ее магнетизировать,—душа въ ней заговорила и сказала, что надобно ее замужъ выдать. Ну, какъ вы думаете? Лишь только она вышла за князя Лестова, то какъ рукой сняло: откудова взялось здоровье!

Мирославскій. Да, это настоящія чудеса!

Князь. Въ природѣ нѣтъ никакихъ чудесъ, и все это можно доказать естественнымъ образомъ.

Г. Богатоновъ. Конечно, можно; и если ты не вѣришь, то я тебѣ докажу.

Мирославскій. Посмотримъ; докажи, докажи!

Г. Богатоновъ. Да только поймешь ли ты?

Мирославскій. Почему знать, говори.

Г. Богатоновъ. Ну, такъ и быть, слушай же! Вотъ видишь ли: магнетическая жидкость, то есть жидкость магнетическая, есть нѣкотораго рода жидкость: вліяніе, которое она, нѣкоторымъ образомъ, такъ сказать... однимъ словомъ... Растолкуй ему, князь!

Князь. Вы хотѣли сказать, что посредствомъ дѣйствія ея на нервную систему, дирекція нервовъ, въ отношеніи своемъ къ нервамъ, по всеобщей системѣ вліянія, имѣетъ нѣкоторое вліяніе, которое, симпатизируя съ общимъ вліяніемъ, производитъ сіе дѣйствіе (*Богатонову*). Вы понимаете меня?

Г. Богатоновъ. Какъ не понять: это ясно!

Князь. Я только пояснилъ то, что вы сказали.

Мирославскій. Подлинно пояснили! Жаль только, что я ничего не понялъ.

Г. Богатоновъ. Бѣдненькій! Вотъ то-то и дѣло,—чему научиться въ деревнѣ? Надобно жить между просвѣщенными людьми, чтобъ понимать такія глубокія матеріи.

Князь. Должно признаться, родъ человѣческій идетъ гигантскими стопами къ совершенству; безпрестанно дѣлаютъ новыя открытія; люди становятся умнѣе, просвѣщеннѣе вездѣ, выключая любезнаго отечества нашего.

Графъ. Выключая отечества нашего? Мнѣ кажется, князь, что нигдѣ просвѣщенье не имѣло такихъ скорыхъ и блестящихъ успѣховъ, какъ въ нашемъ отечествѣ.

Князь. Да, мы сдѣлали блестящіе успѣхи, только въ чемъ, если смѣю спросить?

Баронесса. Берегитесь, mon cousin, вы дѣлаете такой рѣшительный вызовъ; ну, если графъ вамъ сейчасъ докажетъ?

Князь. Боже мой! я увѣренъ въ этомъ но, несмотря на то, желалъ бы очень знать что-нибудь объ этихъ блестящихъ успѣхахъ.

Графъ, По всему видно, вы не желаете этого.

Князь. Да что у насъ хорошаго? Мы хвалимся своимъ Петербургомъ. Люди, которые не бывали никогда далѣе заставы, называютъ его первымъ городомъ въ свѣтѣ, а что значитъ этотъ первый городъ въ свѣтѣ передъ какимъ-нибудь парижскимъ предмѣстіемъ!

Г. Богатоновъ. Простая деревня или много что уѣздный городишка.

Князь. Имѣемъ ли мы хоть что-нибудь, чѣмъ гордится Франція? Гдѣ у насъ Лувръ, Пале-Рояль, Тюльери, Пантеонъ?

Г. Богатоновъ. Да, да, гдѣ у насъ этакіе города?

Графъ. Это все равно, если бъ я спросилъ француза: гдѣ у васъ адмиралтейство, биржа, набережныя, рѣшетка Лѣтняго сада...

Князь. Рѣшетка Лѣтняго сада! Но что значитъ она передъ тюльерійскою, которая есть чудо искусства, которая отдѣлана съ такимъ вкусомъ, съ такимъ совершенствомъ, которая, можно сказать, сдѣлана вся анъ филаграмъ?

Г-жа Богатонова. Анъ филаграмъ!

Баронесса. Возможно ли?

Графъ. Я самъ, сударь, былъ въ Парижѣ...

Князь. И, сударь, кто нынче не былъ въ Парижѣ! Тѣмъ хуже для тѣхъ, которые были въ немъ и осмѣливаются дѣлать такія параллели.

Г. Богатоновъ (*тихо Мирославскому*). Онъ совсѣмъ загонялъ графа.

Графъ. Вы правы, князь! Какъ можно хвалить что-нибудь русское, какъ можно хвалить народъ, который, подъ предводительствомъ своего государя, освободилъ отъ ига всю Европу, котораго каждый шагъ былъ ознаменованъ побѣдами; это было бы такъ натурально, и чѣмъ бы можно было тогда отличиться отъ обыкновеннаго человѣка?

Баронесса (*съ насмѣшкою*). Очень жаль, сударь, что вы не сочиняете рѣчей: вы имѣете удивительныя диспозиціи быть хорошимъ ораторомъ.

Графъ. Не знаю, сударыня, похожъ ли я на оратора, но знаю только, что я не льстецъ, не люблю думать одно, а говорить другое, и для того скажу вамъ, что, по-моему, человѣкъ, который не любитъ свое отечество — жалокъ, а тотъ, кто осмѣливается поносить его, заслуживаетъ общее презрѣніе.

Князь (*съ досадою*). Графъ! я надѣюсь...

Графъ. Что я говорю не на вашъ счетъ? Безъ сомнѣнія! Вы, конечно, думаете то же, что я,—не правда ли, князь?

Князь (*поетъ*). Ла, ла, ла!

Графъ. О! Я увѣренъ, вы совсѣмъ не изъ числа тѣхъ жалкихъ модниковъ, у которыхъ, кромѣ ихъ фамиліи, нѣтъ ничего русскаго.

Князь (*къ баронессѣ*). А гроров! я давно уже не слышалъ васъ пѣнія, сударыня! Смѣю ли просить?

Баронесса. Я, право, не могу (*Къ Лизѣ*). Не угодно ли вамъ?

Г-жа Богатонова. Да, да, пропой-ка намъ что-нибудь, Лизанька; графу, вѣрно, будетъ пріятно тебя послушать (*Всѣ встаютъ; Богатоновъ подходитъ и говоритъ тихо съ баронессою*).

Графъ. Два года тому назадъ я очень часто имѣлъ это удовольствіе.

Г-жа Богатонова. Послушайте-ка теперь, графъ,—вы не узнаете!

Г. Богатоновъ (*тихо баронессѣ*). Я буду васъ дожидаться. (*Громко*). Ваше сіятельство! прошу покорно! Лизанька! покажи, куда идти графу. (*Всѣ уходятъ; Богатоновъ останавливаетъ князя*).

ЯВЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Г. Богатоновъ и князь.

Г. Богатоновъ. Послушай-ка мой милый, я сказалъ тихонько баронессѣ, что мнѣ нужно съ ней кой о чемъ поговорить.

Князь. Очень хорошо.

Г. Богатоновъ. Вѣдь надобно же мнѣ сказать ей когда-нибудь, что я влюбленъ въ нее безъ памяти.

Князь. Такъ вы рѣшились сегодня сдѣлать вашу декларацію?

Г. Богатоновъ. Да, мой милый! Да вотъ что бѣда: я не знаю, съ чего начать.

Князь. Какъ будто это такъ трудно!

Г. Богатоновъ. Какъ ты думаешь: сперва примусь я вздыхать.

Князь. Однако жъ, какъ можно менѣе: женщины до вздоховъ не охотницы.

Г. Богатоновъ. Потомъ закину нѣсколько обиняковъ, а тамъ вдругъ хлопнусь передъ ней на колѣни,

Князь. На колѣни! Фи! Кто нынче становится на колѣни! Вы испортите все дѣло.

Г. Богатоновъ. Неужели?

Князь. Баронесса тотчасъ догадается, что любовникъ ея принадлежитъ къ прошедшему столѣтію.

Г. Богатоновъ. Хорошо, хорошо! А тамъ скажу я ей, а тамъ я ей скажу... что... я... что она... Вотъ тутъ-то, мой милый, и запятая.

Князь. Потомъ вы признаетесь ей въ любви своей.

Г. Богатоновъ. Да, да, потомъ признаюсь ей въ любви моей, то есть скажу, что я люблю ее.

Князь. Какое мѣщанское выраженіе! «Я люблю васъ!» — какъ это обыкновенно! Нынче, сударь, одни провинціалы и простой народъ любятъ; а мы обожаемъ, боготворимъ!

Г. Богатоновъ. Право! Вотъ видишь-ли, мой милый, все это для меня ничего, пустячки; вся сила въ томъ, какъ начать, а тамъ ужъ, небойсь, лицомъ въ грязь не ударимъ.

Князь. Какъ начать? Ну, вотъ, напримѣръ, представьте себѣ, что я баронесса; вы подходите къ ней и начинаете говорить: «Какъ я радъ, сударыня...»

Г. Богатоновъ. «Какъ я радъ, сударыня...»

Князь. «Что могу, наконецъ, говорить съ вами откровенно о моихъ чувствахъ».

Г. Богатоновъ. «Говорить съ вами откровенно о моихъ чувствахъ».

Князь. Теперь, положимъ, что баронесса скажетъ: «Какъ, сударь, о вашихъ чувствахъ? Я не понимаю васъ, что хотите вы сказать».

Г. Богатоновъ. Что? Какъ что?

Князь. Отвѣчайте-же.

Г. Богатоновъ. Погоди, погоди, дай справиться. Что, бишь, она спроситъ?

Князь. «Что хотите вы сказать?»

Г. Богатоновъ. «Я хочу сказать, сударыня, что... что...» Да вздоръ, братецъ, она этого не спроситъ. Зачѣмъ ей спрашивать? Вѣдь она знаетъ, что я въ нее влюбленъ.

Князь. Но, сударь, въ такихъ случаяхъ женщины должны хоть для одной проформы казаться недогадливыми.

Г. Богатоновъ. Вотъ еще какое глупое обыкновеніе! Ну, я скажу ей: «Сударыня! Я хочу объявить вамъ, что ваша красота пронзила мое сердце, что чувства мои, то есть мои чувства, отъ прелестей вашихъ, которыя прельщаютъ взоръ, сирѣчь зрѣніе, прельстили мои чувства и свели съ ума вашего покорнѣйшаго слугу. А? Каково?

Князь. Изрядно!

Г. Богатоновъ. Слушай, слушай, то-ли еще будетъ! «Прекрасная и жестокая баронесса! Я обожаю тебя!»

Князь. Хорошо, хорошо! Жестокая и прекрасная баронесса!

Г. Богатоновъ. «Помилуй! Я умираю, горю, таю!»

Князь. Прекрасно!

Г. Богатоновъ. То-то же, мой милый! я тебѣ говорилъ: лиха бѣда мнѣ начать, а тамъ ужъ только слушай!

Князь. Теперь я не сомнѣваюсь: вы успѣете совершенно вскружить голову моей кузинѣ.

Г. Богатоновъ. Ой-ли? Какъ-бы только не забыть начало. Какъ быть? Да, да: «Какъ я радъ, сударыня...»

Князь. Да вотъ и она!

ЯВЛЕНІЕ ПЯТОЕ.

Тѣ же и баронесса.

Князь (*идя къ ней навстрѣчу*). Что, сударыня, невѣста моя поетъ?

Баронесса. Она сейчасъ только начала пѣть арію изъ «Жоконда».

Князь. Изъ «Жоконда»! Извините, я васъ оставляю.

Г. Богатоновъ (*тихо князю*). Я что-то, мой милый, начинаю робѣть!

Князь (*тихо*). Стыдитесь! (*Громко*). Я оставляю васъ въ пріятномъ обществѣ, сударь. (*Идя вонъ, тихо баронессѣ*). Не забудьте о моей женитьбѣ.

ЯВЛЕНІЕ ШЕСТОЕ.

Баронесса и Богатоновъ.

Баронесса (*послѣ минутнаго молчанія*). Вы хотѣли что-то говорить со мною.

Г. Богатоновъ. Да-съ, я хотѣлъ... (*Въ сторону*). Гмъ! гмъ! смѣлѣе! (*Громко*). Какъ я радъ, сударыня.

Баронесса. Вы рады?

Г. Богатоновъ. Да, сударыня, я радъ, очень радъ!..

Баронесса. Чему-же вы радуетесь, сударь?

Г. Богатоновъ. Что... что сегодня у насъ прекрасная погода. (*Въ сторону*). О, трусъ!

Баронесса. Вы это только и хотѣли мнѣ сказать?

Г. Богатоновъ. Ахъ, сударыня!..

Баронесса. Вы вздыхаете?

Г. Богатоновъ. Да, сударыня, я вздыхаю. Ахъ!..

Баронесса. Можно-ли спросить васъ о причинѣ сихъ вздоховъ?

Г. Богатоновъ (*въ сторону*). Она спрашиваетъ! Не робѣй, Иванъ Сидорычъ. (*Громко*). Я вздыхаю оттого, что долженъ вздыхать.

Баронесса. Должны! Поэтому вы имѣете какую-нибудь скрытную горесть; сердце ваше неспокойно?

Г. Богатоновъ. Бѣдненькое, оно все изныло!

Баронесса. Отчего-же? Скажите, г. Богатоновъ, кто причиною вашей горести?

Г. Богатоновъ. Одна безжалостная особа...

Баронесса. Безжалостная особа?

Г. Богатоновъ. Тиранка моего сердца.

Баронесса. Какъ, сударь, да вы влюблены?

Г. Богатоновъ (*въ сторону*). Ухъ, насилу догадалась!

Баронесса. И, мнѣ кажется, не на шутку.

Г. Богатоновъ. Какія шутки! Я горю, пылаю, таю!

Баронесса. И даже таете! Какъ это жалко!

Г. Богатоновъ. Вы жалѣете! Ахъ, матушка баронесса, если бы я смѣлъ, если бы вы знали.

Баронесса. Что, сударь?

Г. Богатоновъ. Ни-ничего, ничего, сударыня. (*Въ сторону*). Съ духомъ не могу собраться!

Баронесса. И такъ, вы любите эту жестокую?

Г. Богатоновъ. Люблю!—О, нѣтъ, сударыня, Боже сохрани!

Баронесса. Что это значитъ? (*Въ сторону*). Онъ повредился!

Г. Богатоновъ. За кого вы меня принимаете! Что бъ я сталъ любить, — я обожаю, боготворю!

Баронесса. Такъ вы обожаете, а не любите. Кто-же эта счастливая смертная...

Г. Богатоновъ. Мучительница моя? Ахъ, сударыня! Она самая прекрасная и самая жестокая персона въ цѣломъ свѣтѣ. Я страдаю, томлюсь—и она не хочетъ этого и замѣтить.

Баронесса. Можетъ быть вы не искали случая доказать ей любовь свою; женщины помѣшаны на доказательствахъ: это лучшій способъ тронуть ихъ сердце. Да и какъ вѣ-

рить словамъ вашимъ: вы всѣ мужчины обманщики.

Г. Богатоновъ. Помилуйте, матушка баронесса!

Баронесса. Нѣтъ, нѣтъ, опытъ меня увѣрилъ въ этомъ. Вотъ, напримѣръ, вы, описывая такимъ плѣнительнымъ образомъ любовь вашу, вкрадываясь, такъ сказать, въ сердце, смѣетесь, можетъ быть, внутренно надъ тою, которая вамъ вѣритъ.

Г. Богатоновъ. Ахъ, Боже мой, да какія вамъ надобно доказательства? Хотите ли, что бъ я выпрыгнулъ изъ окошка, сломилъ себѣ шею, хотите ли...

Баронесса. Сломить себѣ шею есть, конечно, хорошее доказательство любви, и я не ожидала менѣе отъ человѣка, который не любитъ, а обожаетъ, но такое доказательство неразлучно съ нѣкоторыми непріятностями, и для того, если бъ я была на мѣстѣ этой неизвѣстной мучительницы...

Г. Богатоновъ. Если бъ вы были на ея мѣстѣ?..

Баронесса. То въ доказательство любви вашей не заставила бы васъ прыгать изъ окошка, а попросила бы составить скорѣе благополучіе моего cousin, князя Блесткина.

Г. Богатоновъ. За этимъ дѣло не станетъ; и если вы только хотите...

Баронесса. Но я не имѣю никакого права требовать этого.

Г. Богатоновъ. Требуйте сударыня, требуйте!

Баронесса. Именемъ дружбы... Надѣюсь, сударь, этимъ правомъ я могу пользоваться?

Г. Богатоновъ. Безъ сомнѣнія! И такъ, я могу называть васъ своимъ другомъ?

Баронесса. О, конечно!.. А скоро ли будетъ свадьба вашей племянницы?

Г. Богатоновъ. Лишь только ее уломаемъ, такъ и въ церковь.

Баронесса. И вы будете ее уговаривать?

Г. Богатоновъ. Сегодня же.

Баронесса. Честное слово?

Г. Богатоновъ. Вотъ вамъ рука моя.

Баронесса (*подаетъ ему руку*). Смотрите же, а не то я вамъ ни въ чемъ не буду вѣрить.

Г. Богатоновъ (*цѣлуя ея руку*). Какая прекрасная ручка!

Баронесса. Перестаньте, сударь!

Г. Богатоновъ. Ахъ, матушка сударыня! Да какъ не цѣловать такія ручки!

Баронесса. Вы забыли: я могу узнать вашу незнакомку и пересказать ей...

Г. Богатоновъ. Да вы ее знаете.

Баронесса. Неужели?

Г. Богатоновъ. И очень хорошо.

Баронесса. Вы шутите! Кто же она?

Г. Богатоновъ. Она, сударыня, она... (*Въ сторону*). Ну, такъ и быть, была не была! (*Громко*). Эта прекрасная незнакомка, эта тиранка...

ЯВЛЕНІЕ СЕДЬМОЕ.

Тѣ-же и Анюта (*скоро вбѣжитъ*).

Анюта. Барыня приказала васъ звать кушать.

Г. Богатоновъ. Тьфу, мерзкая, провалъ бы тебя взялъ, какъ съ неба свалилась.

Анюта. Она изволила ужъ сѣсть за столъ.

Г. Богатоновъ. Эка бѣда! Такъ и надобно тебѣ было вбѣжать сюда, выпяля глаза, какъ бѣшеной. (*Въ сторону*). Нелегкая принесла ее, проклятую; было лишь только развернулся.

Баронесса. Пойдемте, сударь: вы забыли, что насъ дожидаются.

Г. Богатоновъ. Пойдемте, нечего дѣлать. (*Проходя мимо Анюты*). Добро, негодная! (*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ ВОСЬМОЕ.

Анюта (*одна*).

За что онъ изволилъ такъ разгнѣваться? Онъ что-то говорилъ съ жаромъ баронессѣ... Ужъ нѣтъ ли тутъ чего-нибудь? Вѣдь не даромъ же онъ около нея увивается, даетъ ей праздники, обѣды... Такъ точно! Ахъ, я дура, до сихъ поръ не могла догадаться, что онъ за ней волочится! Такъ вотъ почему баринъ хочетъ выдать замужъ свою племянницу; теперь я понимаю: баронесса хлопочетъ за своего двоюроднаго брата. Но постойте, сударыня, кто кого перехитритъ. Во что бъ ни стало, я разстрою ваши планы или откажусь навсегда отъ званія горничной. (*Уходитъ*).

КОНЕЦЪ ТРЕТЬЯГО ДѢЙСТВІЯ.

ДѢЙСТВІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

ЯВЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

Мирославскій и графъ.

Мирославскій. Куда вы бѣжите, графъ?

Графъ. Ахъ, дайте мнѣ перевести духъ! Никогда еще не слышалъ и не видѣлъ я столько глупостей въ одно время.

Мирославскій. Но что подумаютъ хозяева?

Графъ. Не безпокойтесь. Я сказалъ г-ну Богатонову, что вспомнилъ одно важное дѣло, о которомъ долженъ переговорить съ вами

наединѣ. Нѣтъ, надобно имѣть ангельское терпѣніе, чтобъ выносить спокойно цѣлые два часа несносное жеманство баронессы, плоскія остроты князя и безпрестанныя восхищенія хозяина при каждой новой глупости своего милаго Блесткина.

Мирославскій. Мнѣ жаль очень бѣднаго Богатонова: эти друзья успѣли совершенно вскружить ему голову.

Графъ. Этотъ князь...

Мирославскій. Нимало для васъ не опасенъ.

Графъ. Однако жъ, Богатоновъ положилъ непремѣнно выдать за него свою племянницу.

Мирославскій. И князь, будучи увѣренъ, что она богатая наслѣдница, положилъ также, непремѣнно на ней жениться, но когда узнаетъ...

Графъ. Что такое?

Мирославскій. Что въ наслѣдство послѣ дядюшки останутся ей одни долги.

Графъ. Какъ, неужели Богатоновъ успѣлъ уже расточить свое имѣніе?

ЯВЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

Тѣ-же и Филутони.

Мирославскій. Да, графъ! Богатоновъ почти совершенно разорился.

Филутони (*въ сторону*). Што я слышъ!

Мирославскій. Если онъ долженъ, то ему придется уѣхать потихоньку изъ Петербурга, чтобъ успѣть сберечь хотя что-нибудь изъ своего состоянія.

Филутони (*тоже*). Ай, ай, ай!

Мирославскій. Я почти увѣренъ, что ему должно будетъ, наконецъ, объявить себя банкротомъ и не платить никакихъ долговъ.

Филутони (*тоже*). Што, што! не плати долхъ? Боже сохрани. (*Громко*). Милостиви государь!

Мирославскій. А, Филутони! Что тебѣ, мой другъ, надобно?

Филутони. Исфинить, мой коши спросить фасъ: ви исфолилъ кафарить, што каспадинъ Покатонъ совсѣмъ разорилъ?

Мирославскій. Что Богатоновъ совсѣмъ разорился.

Филутони. Та, сударь.

Мирославскій. Да какое тебѣ до этого дѣло?

Филутони. Я принимай польшой участіе въ monsieur Покатонъ.

Мирославскій (*въ сторону*). Какая счастливая мысль! (*Вслухъ*). Ну, если такъ, то я скажу тебѣ: онъ въ самомъ дѣлѣ разорился.

Филутони. И коши ѣздить въ терефнь?

Мирославскій. Не такъ еще скоро.

Филутони. О, ошень скоръ: онъ не коши платить толгъ.

Мирославскій. Какой вздоръ! Будь спокоенъ, мой другъ. Если онъ тебѣ долженъ, то прежде не выѣдетъ изъ Петербурга, пока не заплатитъ.

Филутони. Карашо, карашо! (*Въ сторону*). Онъ тумай обмануть, нѣтъ, мой батюшкъ!

Мирославскій. Совѣтую тебѣ недѣли три его не безпокоить.

Филутони. Ошень корошо! (*Въ сторону*). Не такъ клупъ, мой фосметъ свой прекасіонъ! (*Громко*). Прошайте, коспода.

Мирославскій. Куда-же ты?

Филутони. Я имѣй непольшой нуждъ. (*Кланяется и уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ ТРЕТЬЕ.

Графъ и Мирославскій.

Мирославскій. Ну, теперь дѣла наши пойдутъ своимъ чередомъ. Я увѣренъ, этотъ французъ обѣжитъ сегодня домовъ десять, а завтра же заимодавцы нагрянутъ кучею къ Богатонову, а пріятели не будутъ узнавать его въ лицо; можетъ быть, это заставитъ его образумиться.

ЯВЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Тѣ-же и г. Богатоновъ.

Г. Богатоновъ. А, батюшка графъ, вы здѣсь! Ну, все ли изволили переговорить съ Мирославскимъ?

Мирославскій. Да, мы переговорили все, что надобно.

Г. Богатоновъ. Ужъ вѣрно о какомъ-нибудь важномъ дѣлѣ?

Графъ. Г. Мирославскій говорилъ объ одномъ пріятелѣ своемъ, котораго желалъ бы избавить отъ совершеннаго разоренія.

Г. Богатоновъ. Вѣрно, онъ, бѣдняжка, попался подъ судъ, и Мирославскій просилъ ваше сіятельство замолвить за него словечко?

Мирославскій. Нѣтъ, мой другъ...

Г. Богатоновъ. Да отчего не хотѣлъ ты мнѣ сказать о немъ? Вѣдь и мы также, благодаря Бога, не безъ пріятелей.

Мирославскій. Это совсѣмъ другого рода дѣло. Вотъ видишь ли, мой другъ: одинъ изъ моихъ знакомыхъ, человѣкъ простой, но очень добрый, задумалъ жить не по своему состоянію: началъ проматывать имѣнье, завелъ большое знакомство, да такъ какъ онъ плохо знаетъ свѣтъ...

Г. Богатоновъ. Вѣрно, братъ, пріятель твой какой-нибудь деревенщина?

Мирославскій. Да, онъ недавно пріѣхалъ изъ деревни.

Г. Богатоновъ. Ну, такъ и есть; я ужъ смекнулъ дѣломъ! И вѣрно полѣзъ въ знать?

Мирославскій. Ты отгадалъ.

Г. Богатоновъ. Точно такъ! А на знатнаго-то человѣка совсѣмъ не походитъ?

Мирославскій. Ни крошечки. У него нашлись пріятели, которые стали обыгрывать его въ карты, занимать деньги...

Г. Богатоновъ. Ничто ему: не въ свои сани не садись!

Мирославскій. И онъ твердо увѣренъ, что всѣ эти пріятели любятъ его самого, а не его деньги.

Г. Богатоновъ. Экій простакъ!

Мирославскій. Его обираютъ, обыгрываютъ, смѣются надъ нимъ въ глаза, а онъ же говоритъ, что очень имъ обязанъ.

Г. Богатоновъ. Прошу покорно, ха, ха, ха! И родятся же такіе олухи! Да скажи пожалуйста, гдѣ живетъ этотъ бѣдняжка?

Мирославскій. Здѣсь въ Петербургѣ.

Г. Богатоновъ. Здѣсь? Тьфу пропасть! Я почти весь городъ знаю, а кажется, будто этакого чудака нигдѣ не видалъ.

Графъ (*тихо Мирославскому*). Мнѣ право его жаль!

Г. Богатоновъ. Та, та, та, знаю, знаю! Такъ точно, это вѣрно Промотаевъ. Да развѣ ты съ нимъ знакомъ?

Мирославскій. Нѣтъ, мой другъ, ты ошибаешься!

Г. Богатоновъ. Полно, полно, не обманешь; ты описалъ его точь въ точь. Это, ваше сіятельство, прежалкій человѣкъ! Забралъ себѣ въ голову, что можетъ быть въ дружбѣ съ знатными; ну, а гдѣ ему... человѣкъ простой, двухъ перечесть не умѣетъ; весь свѣтъ надъ нимъ смѣется.

Мирославскій. И онъ одинъ только думаетъ, что ни мало не смѣшонъ.

Г. Богатоновъ. Куда ты! Да еще барится, думаетъ, что онъ преважная особа; умора да и только!

Мирославскій. Ха, ха, ха! это въ самомъ дѣлѣ забавно. (*Къ Графу*). Графъ, мнѣ кажется, и вы смѣетесь?

Г. Богатоновъ. Да какъ не смѣяться! Посмотрѣли бы вы на Промотаева: чуть кто не графъ, да не князь, такъ и взглянуть не хочетъ, а самъ-то, ха, ха, ха! Что за рожа! Ну, мужикъ мужикомъ. Если бъ вы знали, какъ его, бѣдняжку, обманываютъ! Вотъ, напримѣръ: какой-то плутъ взялся ему выписать изъ Парижа то самое вино, которое употребляютъ тамъ, при дворѣ, да и содралъ съ него рублей по тридцати за бутылку, ну, какъ вы думаете, вѣдь никто его не переувѣритъ; хоть ты его зарѣжь, а стоитъ въ томъ, что вино прямо съ королевскаго стола. Ха, ха, ха! А вино-то куплено здѣсь въ какомъ-то погребѣ.

Графъ. Это смѣшно и жалко. (*Вынимаетъ табакерку*).

Г. Богатоновъ. А, кстати! (*Вынимаетъ свою табакерку*). Не прикажете ли, ваше сіятельство?

Графъ. Французскій?

Г. Богатоновъ. Французскій: да чудо, не табакъ! (*Графъ нюхаетъ*). Ну, что, батюшка графъ, каковъ?

Графъ. Табакъ порядочный!

Г. Богатоновъ. Порядочный! Ха, ха, ха! Да сказать ли вамъ по секрету: вѣдь это тотъ самый табакъ, который дѣлаютъ въ Парижѣ для одной царской фамиліи.

Мирославскій (*въ сторону*). Это стоитъ королевскаго вина!

Графъ. Я думаю, вы очень дорого за него платите?

Г. Богатоновъ. Таки не дешево. Да у меня ужъ, батюшка ваше сіятельство, такой обычай: давай все лучшее, а за деньгами не стоимъ. Вотъ, напримѣръ, моя библіотека: всю, батюшка, до книжки выписалъ изъ Парижа.

Мирославскій. Это что-то новое! Давно-ли ты сдѣлался охотникомъ до книгъ?

Г. Богатоновъ. Здѣсь, братъ, поневолѣ сдѣлаешься! Я мѣсяца съ два какъ завелъ библіотеку; дорого она мнѣ проклятая стоитъ, и читать-то правда я по французски не умѣю, да что будешь дѣлать: куда не загляни, у всякаго библіотека. Вѣдь надобно же что-нибудь въ кабинетѣ-то поставить.

Графъ. А какихъ больше у васъ книгъ?

Г. Богатоновъ. Какихъ! Да всяка, батюшка ваше сіятельство: есть и большія и маленькія.

Мирославскій. Я думаю, племянница твоя любитъ читать?

Г. Богатоновъ. Племянница умираетъ на книгахъ. Она вздумала было ставить ихъ по-своему: ученыя къ ученымъ, такія къ такимъ...

Графъ. То есть племянница ваша хотѣла ихъ расположить по матеріямъ.

Г. Богатоновъ. Анъ и вышло дурно. А я такъ взялъ да подобралъ ихъ, крупныя къ крупнымъ, а мелкія къ мелкимъ, такъ теперь любо-дорого смотрѣть.

Мирославскій. Вотъ что значитъ любить порядокъ!

Г. Богатоновъ. Да не прикажете ли, ваше сіятельство, посмотрите сами, прошу покорно.

Графъ. Очень хорошо! (*Тихо Мирославскому*). Пойдемте смотрѣть эту несчастную библіотеку. (*Всѣ уходятъ*).

ЯВЛЕНІЕ ПЯТОЕ.

Князь и баронесса (*выходятъ изъ противоположной стороны*).

Князь. Куда это Богатоновъ повелъ своихъ гостей? Вѣрно въ библіотеку. Онъ не отстаетъ ни на минуту отъ этого графа.

Баронесса. Вы безпрестанно говорите о графѣ. Неужели вы въ самомъ дѣлѣ замѣтили...

Князь. Какой забавный вопросъ! Мнѣ кажется, не трудно было примѣтить, что графъ садился всегда подлѣ Лизы, глядѣлъ безпрестанно на Лизу, относился поминутно къ Лизѣ и былъ вѣжливъ только съ Лизою.

Баронесса. Это оттого, что она давно уже его знаетъ.

Князь. За столомъ онъ говорилъ съ ней вполголоса; она потупила глаза, краснѣла, бросала на него исподтишка такіе стыдливые, робкіе взгляды!.. Не правда ли, и это также оттого, что она съ нимъ давно знакома?

Баронесса. Что съ вами сдѣлалось, mon cousin? Я не смѣю вѣрить,—ужъ не ревнуете ли вы?

Князь. Погодите, дайте мнѣ жениться, и тогда, надѣюсь, вы не сдѣлаете мнѣ этого упрека, но теперь, признаюсь вамъ, я очень былъ радъ, что Богатонова занялась гранъ-пасьансомъ, и я могу свободно говорить съ вами о моихъ подозрѣніяхъ.

Баронесса. Неужели графъ Владимировъ, этотъ жалкій чудакъ, кажется вамъ опаснымъ соперникомъ?

Князь. Не онъ, а его четыре тысячи душъ! Замѣтили ли вы, какъ господинъ Богатоновъ за нимъ ухаживаетъ?

Баронесса. О, что касается до Богатонова, вы можете быть спокойны: бѣдняжка потерялъ совершенно голову.

Князь. Кстати! Вы ничего мнѣ еще не сказывали о вашемъ tête à tête,—дѣлаетъ ли какіе-нибудь успѣхи мой воспитанникъ?

Баронесса. Неимовѣрные. Онъ становится часъ отъ часу забавнѣе.

Князь. Вы говорили о моей женитьбѣ?

Баронесса. Г. Богатоновъ далъ мнѣ честное слово нынче же поговорить съ своей племянницей и настоятельно требовать ея согласія.

Князь. Какъ я вамъ обязанъ!

Баронесса. Не благодарите меня. Сначала я рѣшилась играть эту комедію для того только, что надѣялась помочь вамъ сдѣлать выгодную партію, но теперь... О, вы не можете представить, какъ забавляютъ меня дурачества этого Богатонова.

Князь. И такъ, я могу надѣяться...

Баронесса. На покровительство дяди; за это я вамъ ручаюсь.

Князь. Какая восхитительная будущность! Я живу открыто,—безпрестанные балы, вечера. Жена моя будетъ принимать гостей; къ ней станутъ пріѣзжать, но настоящею хозяйкою будете вы, кузина: вы станете всѣмъ распоряжаться, сдѣлаетесь душою нашего общества!

Баронесса. Которое составится изъ нашихъ общихъ знакомыхъ.

Князь. Безъ сомнѣнія! У насъ не будутъ извѣстны эти скучныя монотонныя игры, эти безконечные бостоны, несносные висты; крепсъ, макао...

Баронесса. И небольшой фараончикъ. Вы знаете, князь, какъ я его люблю.

Князь. Мы заведемъ домашній театръ. Другъ, вашъ, прелестная Оленька, станетъ играть скромныхъ Агнесъ.

Баронесса. А вы страстныхъ любовниковъ.

Князь. И жена моя, сидя между зрителей, будетъ намъ аплодировать. О, это восхитительно!

Баронесса. Мечтатель!

Князь. Не правда ли, я прекрасно расположилъ будущій образъ моей жизни?

Баронесса. Нельзя лучше; теперь остается только подумать о бездѣлицѣ: ну, если Лиза, несмотря на всѣ увѣщанія своего дяди, не согласится выйти за васъ замужъ?

Князь. Если... Это проклятое «если» разстраиваетъ всѣ мои планы; и сказать вамъ правду, я имѣю много причинъ опасаться этого. Если подозрѣнія мои справедливы, если графъ...

Баронесса. Отъ него очень легко избавиться. Я увѣрю Богатонова, что онъ долженъ отказать ему отъ дому.

Князь. И вы думаете, онъ васъ послушается?

Баронесса. Безъ сомнѣнія.

ЯВЛЕНІЕ ШЕСТОЕ.

Тѣ же и г-жа Богатонова.

Г-жа Богатонова. Вы здѣсь, а я было васъ заискалась. Куда же дѣвались мой мужъ и графъ?

Князь. Они въ библіотекѣ.

Г-жа Богатонова. Ну матушка баронесса, вѣдь гранъ-пасьянсъ-то не вышелъ.

Баронесса. Не вышелъ! Какъ досадно, а я было загадала..

Г-жа Богатонова. Что такое?

Баронесса. Скоро ли будетъ свадьба вашей племянницы.

Г-жа Богатонова. Скоро, скоро! Я еще нынче говорила объ этой съ Лизанькой.

Князь. Право! Поэтому она начинаетъ быть ко мнѣ милостивѣе.

Г-жа Богатонова. Я думаю, что такъ. Прежде она только и твердила, что хочетъ вѣчно остаться въ дѣвкахъ, а теперь говоритъ уже, что жить съ милымъ человѣкомъ гораздо пріятнѣе, чѣмъ умереть въ одиночествѣ.

Князь. Но кто же этотъ милый человѣкъ?

Г-жа Богатонова. Да кому же быть, какъ не вамъ, батюшка; вѣдь за нее кромѣ васъ никто не сватается.

ЯВЛЕНІЕ СЕДЬМОЕ.

Тѣ же, г. Богатоновъ, Мирославскій и графъ.

Г. Богатоновъ. Помилуйте, ваше сіятельство, куда же вы изволите спѣшить?

Графъ. Мнѣ непремѣнно надобно заѣхать въ одно мѣсто.

Мирославскій. Мы черезъ два часа опять сюда будемъ. (*Кланяются*).

Графъ (*къ Богатонову, который идетъ провожать*). Прошу васъ, не безпокойтесь.

Г. Богатоновъ. И, графъ, что такое.

Графъ. Къ чему эти церемоніи, останьтесь. (*Уходитъ съ Мирославскимъ; г. Богатоновъ провожаетъ ихъ за дверь*).

Князь. Я не понимаю! Г. Богатоновъ такъ ухаживаетъ за графомъ, какъ будто онъ какая-нибудь важная особа.

Баронесса. И онъ же показываетъ, что всѣ эти вѣжливости ему въ тягость.

ЯВЛЕНІЕ ВОСЬМОЕ.

Князь, баронесса, г-жа Богатонова и г. Богатоновъ.

Г. Богатоновъ (*къ князю*). Ну, мой милый, пустилъ же я графу-то пыли въ глаза. А! каковъ у насъ былъ нынче дессертъ?

Князь. Прекрасный!

Г. Богатоновъ. А вина?

Князь. Превосходныя!

Г. Богатоновъ. То-то же! (*Къ баронессѣ*). Поглядѣли бы вы, матушка, какъ онъ разинулъ ротъ, какъ я привелъ его въ библіотеку.

Баронесса. И онъ не сказалъ, сударь, что книги ваши никуда не годятся, что кабинетъ убранъ безъ всякаго вкуса.

Г. Богатоновъ. Вотъ тебѣ на! Да отчего бы онъ сказалъ это?

Баронесса. Оттого, что въ цѣломъ свѣтѣ нѣтъ ничего по его мыслямъ, оттого, что онъ привыкъ находить все дурнымъ и бранить всѣхъ, выключая самого себя.

Князь (*къ Богатоновой*). Да, онъ человѣкъ преопасный! Знаете ли, отчего онъ живетъ въ деревнѣ? Здѣсь никто не хотѣлъ съ нимъ знаться.

Г-жа Богатонова. Неужели?

Баронесса (*къ г. Богатонову*). Замѣтили ли, съ какой презрительной усмѣшкой смотрѣлъ онъ на вашъ серебряный сервизъ, какъ морщился, когда пилъ вино?

Г. Богатоновъ. Шутите!

Князь (*г-жѣ Богатоновой*). Вы, вѣрно, не примѣтили, сударыня, что онъ безпрестанно осматривалъ васъ съ ногъ до головы, *шепталъ* на ухо Мирославскому и смѣялся *вамъ почти въ глаза*.

Г-жа Богатонова. Ахъ онъ деревенщина!

Баронесса (*г. Богатонову*). Неужто вы не слышали, какъ онъ разсуждалъ за столомъ, что для него жалки, то есть смѣшны, всѣ тѣ, которые оставляютъ деревни для того, что бъ прожить въ столицѣ все свое имѣніе? Вѣдь онъ говорилъ это на вашъ счетъ.

Г. Богатоновъ. Вотъ тебѣ на! Да какое ему до меня дѣло?

Князь (*г-жѣ Богатоновой*). Помните ли, какъ онъ, не зная къ чему, сталъ доказывать, что ничего не можетъ быть смѣшнѣе пожилой женщины, которая наряжается, какъ шестнадцатилѣтняя дѣвушка, и при этихъ словахъ взглянулъ съ насмѣшливою улыбкою на розовую гирлянду, которая у васъ на головѣ.

Г-жа Богатонова. Ахъ, батюшки! Да смотрѣлъ бы онъ на себя! Вотъ еще выискался какой учитель.

Баронесса. Знаете ли, что онъ сочиняетъ стихи, пишетъ на всѣхъ сатиры, посмотрите, если онъ и на васъ какихъ стиховъ не выпуститъ.

Г. Богатоновъ. Боже сохрани!

Баронесса. Ну, если онъ вздумаетъ напечатать въ своей сатирѣ, что у васъ прескверное вино и сервизъ не серебряный, а аплике?

Г. Богатоновъ. Аплике! Ахъ, разбойникъ! Онъ этакъ совсѣмъ меня осрамитъ!

Князь. Не принимайте его, это лучшее средство избавиться всѣхъ непріятностей.

Г-жа Богатонова (*мужу*). Въ самомъ дѣлѣ, батюшка! Что за важность; вѣдь мы жили же безъ него. Только слава-то, что графъ, а, право, онъ хуже простого дворянина.

Г. Богатоновъ. Однако жъ, жена, что ни говори, человѣкъ онъ знатный.

Баронесса. Мнѣ кажется даже, — этотъ графъ имѣетъ виды на вашу племянницу.

Г. Богатоновъ. На мою племянницу! О, это пустое, и что бъ онъ этого и въ головѣ не держалъ, я позову ее сейчасъ сюда и заставлю дать слово князю.

Баронесса (*тихо*). Я вижу, вы хотите сдержать ваше обѣщаніе.

Г. Богатоновъ (*тихо*). Если бъ я могъ также надѣяться?

Г-жа Богатонова. О чемъ вы потихоньку разговариваете?

Г. Богатоновъ (*испугавшись*). Такъ ничего, ничего,—о погодѣ!

Князь (*къ Богатоновой*). Ахъ, сударыня, я забылъ вамъ сказать: Вѣтронова развелась съ своимъ мужемъ, и знаете ли, отчего?.. (*Говоритъ ей тихо*).

Г. Богатоновъ. Если бъ я могъ еще поговорить съ вами наединѣ; нынче поутру мнѣ не удалось открыть вамъ мою тайну.

Баронесса. Не знаю, сударь, должна ли я согласиться; такая довѣренность... Но такъ и быть, вы имѣете право на мое снисхожденіе. Постарайтесь часа черезъ два быть одни въ этой горницѣ.

Г. Богатоновъ. Очень хорошо!

Г-жа Богатонова (*громко*). Прекрасно! Мужъ назначаетъ при женѣ любовное свиданіе.

Г. Богатоновъ (*испугавшись*). Что, что такое?

Г-жа Богатонова. И она дура не могла до сихъ поръ этого замѣтить?

Г. Богатоновъ. Какъ замѣтить?

Г-жа Богатонова. Да, батюшка! Вѣтронова насилу догадалась, что мужъ ея негодяй, и только вчерась съ нимъ развелась.

Г. Богатоновъ (*въ сторону*). Ухъ, отдохнулъ!

Г-жа Богатонова. Да что мы собрались всѣ сюда, пойдемте лучше въ мою горницу: тамъ гораздо свѣжѣе.

Князь. О, несравненно! Окошки вашей комнаты даютъ въ садъ...

Баронесса. Сидя подлѣ нихъ, мы можемъ взять немного свѣжаго воздуху.

Г-жа Богатонова. Пойдемте же! А ты, мой другъ, останься, да поговори съ Лизанькой: вѣдь надобно это когда-нибудь кончить. (*Уходятъ всѣ, кромѣ г. Богатонова*).

ЯВЛЕНІЕ ДЕВЯТОЕ.

Г. Богатоновъ и (*вскорѣ*) Анюта.

Г. Богатоновъ. Эй, кто-нибудь?

Анюта (*входитъ*). Что вамъ угодно?

Г. Богатоновъ. Позови сюда племянницу. (*Анюта уходитъ*). Мнѣ надобно принять на себя видъ посердитѣе. Постой, я сяду на эти кресла: это будетъ важнѣе. (*Садится на вольтеровскія кресла*). Она станетъ вотъ здѣсь, противъ меня; я взгляну на нее вотъ такъ и скажу: «Племянница, знаешь ли, что я тобою очень недоволенъ?» Хорошо, хорошо! Посмотримъ, какъ она осмѣлится не уважать моихъ приказаній.

ЯВЛЕНІЕ ДЕСЯТОЕ.

Г. Богатоновъ, Лиза и Анюта.

Лиза. Вы меня звали, дядюшка?

Г. Богатоновъ (*отрывисто*). Да. Подойди сюда; сюда! ближе! Такъ.

Лиза. Къ чему всѣ эти приготовленія!

Г. Богатоновъ. Прошу молчать! (*Кашляетъ*). Посмотри-ка на меня прямо.

Анюта (*въ сторону*). Что за комедія?

Г. Богатоновъ. Знаешь ли, племянница, что я очень тобою недоволенъ?

Лиза. Нѣтъ, дядюшка!

Г. Богатоновъ. Какъ нѣтъ! Да развѣ ты слѣпа?

Лиза. Нѣтъ, дядюшка!

Г. Богатоновъ. Развѣ ты не видишь, что я сердитъ?

Лиза. Нѣтъ, дядюшка!

Г. Богатоновъ (*передразнивая*). Нѣтъ, дядюшка! Да, племянница, я сердитъ, понимаешь ли, очень сердитъ!

Анюта. Какъ не понять, сударь, вы говорите по-русски.

Г. Богатоновъ. Молчать, негодная! Ты мнѣ и такъ ужъ насолила. (*Къ Лизѣ*). Отвѣчайте, сударыня, на то, что я буду васъ спрашивать.

Лиза. Извольте, дядюшка.

Г. Богатоновъ. Для чего вы не хотите выйти за князя Блесткина?

Лиза. Потому что онъ мнѣ не нравится.

Г. Богатоновъ. А почему онъ вамъ не нравится, сударыня?

Лиза. Я не нахожу въ немъ ничего хорошаго.

Г. Богатоновъ. А отчего вы не находите въ немъ ничего хорошаго?

Анюта. Кому, сударь, охота искать пустого мѣста.

Г. Богатоновъ. Опять заговорила! Отвѣчай же! Ну, что же ты не отвѣчаешь?

Лиза. Потому...

Г. Богатоновъ. Потому что, потому?

Лиза. Потому...

Г. Богатоновъ. Что, нечего, видно, сказать; ну, говори, что въ немъ дурного?

Лиза. Все.

Г. Богатоновъ. Все?

Лиза. Онъ мотъ.

Г. Богатоновъ. Вздоръ!

Анюта. Вы правы, сударь! Князь не мотъ,—ему нечего уже проматывать.

Г. Богатоновъ. Замолчишь-ли ты?

Лиза. Игрокъ.

Г. Богатоновъ. Такъ что жъ, развѣ это бѣда?

Лиза. Вѣтренникъ.

Г. Богатоновъ. Пустое, сударыня, пустое! Ты не знаешь, что сказать.

Лиза. Однимъ словомъ, онъ мнѣ не нравится, и я ни за что не выйду за него замужъ.

Г. Богатоновъ (*передразнивая*). Онъ мнѣ не нравится, и оттого я не хочу за него выйти замужъ. Экое дурацкое сужденіе, а того не подумаетъ, что будетъ княгиня.

Лиза. Развѣ это названіе сдѣлаетъ меня счастливѣе?

Г. Богатоновъ. Да какъ же, глупенькая! Вѣдь ты сдѣлаешься большой барыней; всѣ знатные станутъ къ тебѣ ѣздить, будутъ говорить: вчерась я былъ на балѣ, завтра ѣду на званый обѣдъ — къ ея сіятельству

княгинѣ Блесткиной. А! Къ ея сіятельству! Что скажешь, это не весело?

Лиза. Ни мало.

Анюта. Вы говорите, сударь, какъ будто вашъ князь только и на свѣтѣ...

Г. Богатоновъ. Перестанешь ли ты врать, негодница! Послушай племянница, я говорю тебѣ въ послѣдній разъ: идешь ли ты за князя?

Лиза. Нѣтъ, дядюшка!

Г. Богатоновъ (*вскакиваетъ*). Такъ я-жъ тебѣ сказываю: ты будешь за нимъ, или я лишу тебя наслѣдства!

Лиза. Какъ вамъ угодно.

Г. Богатоновъ. Не буду называть племянницей!

Лиза. Воля ваша.

Г. Богатоновъ. И укрѣплю все имѣніе князю.

Лиза. Это отъ васъ зависитъ.

Г. Богатоновъ (*въ сторону*). Экая упрямая! (*Громко*). Послушай, Лизанька, другъ мой! Утѣшь меня не упрямься! А, что? Ты послушаешься, не правда-ли, миленькая, ты выйдешь за князя?

Лиза. Никогда.

Г. Богатоновъ. Никогда! Негодная!—Никогда! Бездыдница! Да вздоръ, сударыня; я поставлю на своемъ: ты себѣ хоть тресни, а княгиней будешь!

Анюта. Въ самомъ дѣлѣ, сударыня, для чего вамъ не согласиться? Во-первыхъ, никто не скажетъ, что вы польстились на имѣніе: у него копѣйки нѣтъ за душою, во-вторыхъ...

Г. Богатоновъ. Во-вторыхъ, я сломлю тебѣ шею, если ты еще слово скажешь.

Анюта. Я, сударь, за васъ же вступаюсь. Во-вторыхъ, еслибъ вы знали, сударыня, кто проситъ объ этомъ вашего дядюшку.

Г. Богатоновъ. Кто проситъ?

Анюта. Правда, если бъ барыня знала это такъ же хорошо, какъ я, то вѣрно не сталабы спѣшить выдавать васъ замужъ.

Г. Богатоновъ. Что это значитъ?

Анюта. Такъ-съ, ничего.

Г. Богатоновъ. Что ты знаешь?

Анюта. Мы знаемъ, что знаемъ.

Г. Богатоновъ (*въ сторону*). Ужъ не провѣдала ли она какъ-нибудь? Быть не можетъ. (*Громко*). Послушай, голубушка, я не люблю обиняковъ; говори прямо, что ты знаешь?

Анюта. Вы приказываете, сударь? Я знаю, что баронесса...

Г. Богатоновъ (*Анютѣ тихо*). Тсъ! — Племянница, пойди въ свою комнату.

Лиза. Вы на меня сердитесь, дядюшка?

Анюта. Что-же дѣлать, вѣдь и на него также сердятся.

Г. Богатоновъ. Она при ней все выскажетъ! (*къ Лизѣ*): Нѣтъ, мой другъ, я не сержусь.

Лиза. Вы не будете болѣе отъ меня требовать...

Г. Богатоновъ. Хорошо, хорошо! Ступай же, душенька. (*Лиза уходитъ, г. Богатоновъ останавливаетъ Анюту*).

ЯВЛЕНІЕ ОДИННАДЦАТОЕ.

Г. Богатоновъ и Анюта.

Г. Богатоновъ. Постой, постой, голубушка! Ты должна прежде сказать мнѣ, что ты знаешь.

Анюта. Смотрите же, сударь, чуръ не краснѣть. Вы влюблены въ баронессу.

Г. Богатоновъ. Тсъ, тише, тише! Что ты горланишь. Это вздоръ, неправда!

Анюта. Неправда? Отчего же вы испугались?

Г. Богатоновъ. Отчего?.. Ты врешь; кто испугался?

Анюта. Полноте секретничать, сударь, я все знаю.

Г. Богатоновъ. Все! Какъ все? (*Въ сторону*). Вотъ тебѣ на!

Анюта. Баронесса не даетъ вамъ отдыху; она хочетъ непремѣнно женить князя на барышнѣ.

Г. Богатоновъ. Какой вздоръ! (*Въ сторону*). Надобно изъ нея вывѣдать, все-ли она знаетъ. (*Громко*). Послушай: съ чего ты взяла, что я влюбленъ въ баронессу?

Анюта. Я ужъ сказала вамъ, что все знаю, и знаю даже, что вы говорили съ ней сегодня поутру.

Г. Богатоновъ. Ну, что я говорилъ?

Анюта. О любви вашей—не правда ли?

Г. Богатоновъ (*въ сторону*). Ахти! Она все знаетъ!

Анюта. Увѣряли, что обожаете ее; не такъ ли?

Г. Богатоновъ (*въ сторону*). Она все знаетъ!

Анюта. Да полно! не назначили-ли вы съ ней свиданія?

Г. Богатоновъ. Анъ вотъ и вздоръ: поутру объ этомъ и слова не было.

Анюта. Такъ вы говорили съ ней объ этомъ послѣ обѣда.

Г. Богатоновъ. А гдѣ назначила она мнѣ свиданіе?

Анюта. Гдѣ! И вы думаете, что я не знаю?

Г. Богатоновъ. Небось скажешь, въ этой комнатѣ?

Анюта. Да, сударь, въ этой комнатѣ.

Г. Богатоновъ (*въ сторону*). Ну, она все пронюхала!

Анюта. Не долго-ли вамъ будетъ здѣсь дожидаться: вѣдь баронесса-то, я думаю, прежде трехъ или двухъ часовъ къ вамъ не выйдетъ.

Г. Богатоновъ. Двухъ часовъ! Такъ ты и то знаешь, что она черезъ два часа сюда будетъ?

Анюта (*въ сторону*). Черезъ два часа, прекрасно! (*Громко*). Какъ же, сударь, я ужъ сказала, что все знаю.

Г. Богатоновъ (*въ сторону*). Дѣлать нечего, надобно ее приласкать! (*Громко*). Послушай, миленькая, я вижу, отъ тебя ничего не скроешь; надѣюсь, однако жъ, Анушка...

Анюта. Не безпокойтесь, сударь, я болтать не охотница.

Г. Богатоновъ. То-то же, смотри, никому ни слова.

Анюта. Будьте увѣрены.

Г Богатоновъ. Я самъ тебѣ отплачу: ты будешь вольная, получишь хорошее приданое...

Анюта. Много милости, сударь.

Г. Богатоновъ. Прощай же; я пойду теперь къ женѣ. (*Треплетъ ее по щекѣ*). Помни же, Анюточка,—отпускная и приданое. (*Уходя, въ сторону*). Ну, теперь дѣло въ шляпѣ, и она съ моей стороны.

ЯВЛЕНІЕ ДВѢНАДЦАТОЕ.

Анюта (*одна*).

Добро, старый волокита, я сыграю съ тобой шуточку. Черезъ два часа! Хорошо, я приведу барыню; она услышитъ все, и мы увидимъ тогда, на чьей улицѣ будетъ праздникъ!

КОНЕЦЪ ЧЕТВЕРТАГО ДѢЙСТВІЯ.

ДѢЙСТВІЕ ПЯТОЕ.

ЯВЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

Г. Богатоновъ (*одинъ*).

Насилу вырвался! Жена какъ будто на смѣхъ не хотѣла отстать отъ меня ни на минуту. Теперь засѣла она съ княземъ въ пикетъ и, вѣрно, проиграетъ часа три сряду. Баронесса должна сейчасъ сюда прійти.— Ну, Иванъ Сидорычъ, не осрами себя; скажи ей прямо, безъ запинки, что ты ее любишь! Тсъ! Кто-то идетъ! Это она!

ЯВЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

Г. Богатоновъ и баронесса.

Баронесса. Кажется, сударь, я не заставила васъ дожидаться?

Г. Богатоновъ. Нѣтъ, сударыня, я только что пришелъ.

Баронесса. Мнѣ надобно о многомъ васъ спрашивать. Говорили-ли вы съ своей племянницей?

Г. Богатоновъ (*печально*). Говорилъ, сударыня.

Баронесса. И, какъ кажется, безъ всякаго успѣха?

Г. Богатоновъ. Что будешь съ ней дѣлать; повѣрите-ли, матушка, я такой упрямой дѣвки еще и не видывалъ.

Баронесса. И такъ, нѣтъ никакой надежды?

Г. Богатоновъ. Нѣтъ, я еще не отчаиваюсь; какъ буду ее увѣщевать каждый день, такъ, можетъ быть, наконецъ, князь ей и понравится.

Баронесса. Жалкое средство!

Г. Богатоновъ. Какъ вы думаете, что сказала она, когда я представилъ ей, что будетъ знатной госпожей, княгиней? «Вѣдь, дескать, отъ этого я не буду счастливѣе».— Прошу говорить дѣло съ такой безтолковой.

Баронесса. Но вамъ бы должно говорить совсѣмъ другое. Вы твердили бы ей безпрестанно, что князь ее любитъ, что для нея презираетъ всѣхъ женщинъ, что одна она наполняетъ его душу, что ею одной онъ дышитъ...

Г. Богатоновъ. Виноватъ, матушка, вотъ этого-то я и не догадался. Погодите, завтра же объявлю племянницѣ, что князь ею дышитъ. Посмотримъ, что она на это скажетъ! (*Баронесса оглядывается*). Что вы, сударыня?

Баронесса. Мнѣ показалось, что кто-то сюда идетъ.

Г. Богатоновъ. Не безпокойтесь, насъ никто не подслушаетъ.

Баронесса. Признаюсь, я не желала бы, что бъ кто-нибудь, кромѣ меня, зналъ вашу тайну.

Г. Богатоновъ. Избави Боже!

Баронесса. Мнѣ пріятно мыслить, что я одна заслужила вашу довѣренность.

Г. Богатоновъ. Ахъ, сударыня! Если бъ я... если бъ мы... (*Въ сторону*). Тьфу пропасть, опять не знаю, какъ начать!

Баронесса. Что значитъ это смущеніе? Позвольте вамъ напомнить, сударь,—вы говорите съ другомъ вашимъ.

Г. Богатоновъ. Не знаю, отчего, но всякій разъ, какъ говорю съ вами, на меня такой столбнякъ находитъ.

Баронесса. Можетъ быть оттого, что воображеніе ваше наполнено прекрасною незнакомкой: вы думаете, что говорите съ нею.

Г. Богатоновъ. Точно, точно! Я какъ будто вижу ее передъ собою.

Баронесса. Вы обѣщали открыть мнѣ...

Г. Богатоновъ. Ея имя,—да, сударыня, я обѣщался, но позвольте мнѣ прежде пого-

ворить съ вами объ одномъ искреннемъ моемъ пріятелѣ.

Баронесса. Что такое?

Г. Богатоновъ. Онъ, сударыня, бѣдняжка,—пожалѣйте о немъ—онъ по уши въ васъ влюбленъ.

Баронесса. Вы шутите?

Г. Богатоновъ. Если бъ вы знали, какъ онъ мучится.

Баронесса. Мнѣ очень жаль.

Г. Богатоновъ. И никакъ не можетъ собраться съ духомъ сдѣлать это признаніе.

Баронесса. Онъ очень хорошо это дѣлаетъ.

Г. Богатоновъ. Какъ, сударыня!

Баронесса. Онъ сталъ бы понапрасну безпокоиться: я рѣшилась никого не любить.

Г. Богатоновъ (*въ сторону*). Вотъ тебѣ на!

Баронесса. Мужчины не то, что были прежде; нынче вѣрность, постоянство—одни пустыя слова. Нѣтъ, сударь, я повторяю еще разъ: мы не должны любить. Я согласна, если бъ молодые люди, подобно вамъ, соединяли всѣ достоинства нашихъ предковъ съ любезностію нынѣшняго времени.

Г. Богатоновъ. Подобно мнѣ!

Баронесса. Если бъ они умѣли, такъ, какъ вы, не любить, а обожать, быть скромными, не смѣть безъ трепета произнести священное слово «люблю!», вздыхать...

Г. Богатоновъ. Ахъ!

Баронесса. Такъ, какъ вы вздыхаете теперь то, можетъ быть, я первая сказала бы мужчинамъ: вы достойны любви нашей, вы сами умѣете любить.

Г. Богатоновъ (*въ сторону*). Дуракъ, чего еще тебѣ! (*Громко*). Сударыня! Пріятель мой точно такъ же обожаетъ, вздыхаетъ, какъ я!

Баронесса. Неужели?

Г. Богатоновъ. Онъ, какъ двѣ капли, походитъ на меня.

Баронесса Право! Кто же онъ?

Г. Богатоновъ. Кто онъ? Матушка баронесса, помилуй! (*Бросается на оба колѣна*). Вотъ онъ, весь тутъ!

Баронесса. Что это значитъ? А ваша незнакомка?

Г. Богатоновъ. Это вы!..

Баронесса. Да встаньте же, сударь, встаньте.

Г. Богатоновъ. Нѣтъ, ни за что не встану.

ЯВЛЕНІЕ ТРЕТЬЕ.

Тѣ же, г-жа Богатонова и Анюта.

Анюта. Ну, сударыня, вы не хотѣли вѣрить.

Баронесса (*не видя Богатоновой*). Ахъ, Боже мой! Да встанете ли вы, сударь?

Г. Богатоновъ (*не видя жены*). Издохну, а не тронусь съ мѣста. — Говори, жестокая! Жить или умереть!

Г-жа Богатонова (*подойдя сзади*). Прекрасно!.. Ахъ ты старый беззаконникъ!

Г. Богатоновъ (*оглянувъ отъ удивленія*). Что, что такое?

Г-жа Богатонова. Да встанешь ли ты, негодный.

Г. Богатоновъ (*встаетъ и въ сторону*). Ну, попался я!

Г-жа Богатонова. Ахъ ты сквернавецъ! Ну твоей ли дурацкой харѣ влюбляться!..

Г. Богатоновъ. Да послушай, жена,—ты не знаешь....

Г-жа Богатонова. Чего мнѣ еще знать, сударь?

Баронесса. Это, сударыня, была одна только шутка.

Г-жа Богатонова. Прекрасная шуточка. Да и вы, матушка—прекрасная дама: развратить подъ старость человѣка!—Съ тобой-то, голубчикъ, я перевѣдаюсь.

Г. Богатоновъ. Да, тьфу пропасть, что ты разшумѣлась! Послушай!..

Г-жа Богатонова (*съ бѣшенствомъ*). Я расшумѣлась? И онъ же говоритъ, что я расшумѣлась!—Ахъ ты негодный, ахъ ты мерзкій старичишка! Нѣтъ, нѣтъ! Я докажу тебѣ, ты увидишь, ты узнаешь. — Эй, кто здѣсь! Аннушка, зови всѣхъ сюда. (*Аннушка уходитъ.*)

Г. Богатоновъ. Помилуй, матушка, что ты...

Г-жа Богатонова. Да, да, всѣхъ сюда! Я хочу, что бъ всѣ видѣли, чтобъ весь свѣтъ зналъ: племянница, князь!..

Г. Богатоновъ. Какой срамъ, — жена!...

Г-жа Богатонова. Да, да, я осрамлю тебя передъ всѣми. Созову всѣхъ: знакомыхъ, людей, дѣвокъ! Лизанька, князь! (*Бѣжитъ вонъ*).

ЯВЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Г. Богатоновъ и баронесса.

Баронесса. Что вы надѣлали!

Г. Богатоновъ. Бѣда, да и только! Да откуда она выползла?

Баронесса. Ее, кажется, привела сюда Аннушка.

Г. Богатоновъ. Аннушка! Неужели? Ну, доѣхала же она меня!.. Ахъ, злодѣйка! Провести меня, какъ пошлаго дурака!..

ЯВЛЕНІЕ ПЯТОЕ.

Тѣ же, Богатонова, князь, Лиза и Аннушка.

Г-жа Богатонова. Ступайте всѣ сюда!—Князь! Полюбуйтесь вашимъ пріятелемъ.

Князь. Да растолкуйте мнѣ!

Г-жа Богатонова. Такъ, ничего, я застала, что онъ изъяснялся въ любви этой почтенной госпожѣ, стоялъ передъ нею на колѣняхъ...

Князь. На колѣняхъ! (*тихо Богатонову*). Вѣдь я говорилъ вамъ: на колѣни не становиться.

Г. Богатоновъ (*тихо князю*). Лукавый попуталъ.

Г-жа Богатонова. Онъ, чай, не признается; да нѣтъ, голубчикъ я видѣла сама, видѣла своими глазами.

Князь (*тихо Богатонову*). Постойте, я поправлю все дѣло. (*Громко*). Итакъ, вы застали Богатонова на колѣняхъ передъ баронессою?

Г-жа Богатонова. Да, сударь, на колѣняхъ.

Князь. Слышали, какъ онъ изъяснялся въ любви?

Г-жа Богатонова. Да, сударь, слышала, слышала своими ушами.

Князь. И сердитесь? Ха, ха, ха!

Г-жа Богатонова. Ахъ, батюшка! не прикажете ли мнѣ радоваться?

Князь. Прекрасно, это несравненная сцена! Ха, ха, ха!

Г-жа Богатонова. Мнѣ кажется, батюшка, тутъ нѣтъ ничего смѣшного.

Князь. Напротивъ, надобно умереть со смѣху. Ха, ха, ха!

Г-жа Богатонова (*сердито*). Князь!

Князь. Какая забавная ошибка?

Г-жа Богатонова. Ошибка? Не думаете ли вы меня увѣрить...

Князь (*къ Богатонову*). Нечего дѣлать, сударь, намъ придется открыть нашу тайну.

Г-жа Богатонова (*къ мужу*). Какую тайну? Что это значитъ! Отвѣчайте, сударь!

Г. Богатоновъ. Это значитъ... это значитъ... Князь, скажи ей.

Князь. Вы не сердиться, а благодарить должны г-на Богатонова.

Г-жа Богатонова. Благодарить!

Анюта (*въ сторону*). Неужели этотъ князь ихъ выручитъ?

Князь. Именины ваши будутъ въ нынѣшнемъ мѣсяцѣ; г. Богатонову вздумалось сдѣлать вамъ сюрпризъ.

Г-жа Богатонова. Сюрпризъ! Ужъ не этотъ ли?

Князь. Онъ упросилъ меня и баронессу присоединиться къ нему и выучить втроемъ небольшую комедію. Я не умѣю играть нѣжныхъ ролей, и для того взялъ роль мужа, а господинъ Богатоновъ роль любовника.

Баронесса. А я той, въ которую онъ влюбленъ.

Князь. Нынѣшній день хотѣли мы сдѣлать репетицію; всѣмъ оставить васъ было нельзя, и для того г. Богатоновъ ушелъ въ эту комнату съ баронессою.

Г-жа Богатонова. Какъ, сударь, то, что онъ говорилъ...

Князь. Было не что иное, какъ роль любовника, которую онъ хотѣлъ играть въ комедіи.

Г. Богатоновъ. Да, мой другъ, мы съ баронессой протверживали наши роли.

Г-жа Богатонова. Неужели я ошиблась?

Анюта (*тихо Богатоновой*). Помилуйте, сударыня, ну похоже ли это на истину?

Г-жа Богатонова. Молчи, это не твое дѣло. (*Къ Богатонову*). Ты протверживалъ свою роль. Ну, такъ и надобно было тебѣ назначать для этого потихоньку свиданіе съ баронессою?

Князь. Да какъ же бы иначе отъ васъ скрыть, что мы готовимъ вамъ сюрпризъ.

Г. Богатоновъ. Конечно, ты все дѣло испортила; зато тебѣ и сюрприза не будетъ.

Баронесса. Я первая отказываюсь отъ своей роли. Послѣ такого обиднаго подозрѣнія со стороны госпожи Богатоновой...

Г. Богатоновъ. Вотъ видишь ли: ты разобидѣла баронессу.

Г-жа Богатонова. Но могло ли мнѣ придти это въ голову? Я и теперь еще не знаю, что думать.

Князь. Но вы не знаете, сударыня, какъ я люблю васъ и почитаю? Слѣдственно, не могу обманывать: повѣрьте, это было такъ, какъ я разсказывалъ.

Г-жа Богатонова. Нечего дѣлать; если всѣ меня увѣряютъ, то, видно, я въ самомъ дѣлѣ виновата. Извините меня, матушка баронесса; что дѣлать, мы всѣ люди, всѣ человѣки,—долго ли ошибиться.

Баронесса. Я извиняю васъ отъ добраго сердца.

Г-жа Богатонова (*мужу*). Ты не сердишься?

Г. Богатоновъ. Ну, добро, такъ ужъ и быть я тебя прощаю.

Анюта (*въ сторону*). Ну, какъ не треснуть съ досады! И она же проситъ прощенія.

ЯВЛЕНІЕ ШЕСТОЕ.

Тѣ же, Мирославскій и графъ.

Г. Богатоновъ (*въ сторону*). Опять этотъ графъ!

Мирославскій (*къ Богатонову*). Вотъ, мой другъ, мы опять здѣсь.

Г. Богатоновъ. Гдѣ изволили побывать, ваше сіятельство?

Графъ. У нѣкоторыхъ знакомыхъ моихъ.

Мирославскій. Мѣстахъ въ пяти. Мы очень устали, но хотѣли непремѣнно сдержать свое слово—провести вмѣстѣ вечеръ и отужинать съ вами.

Г-жа Богатонова (*къ Мирославскому*). Вамъ мы очень рады, батюшка, но намъ совѣстно графа,—онъ будетъ голоденъ.

Графъ. Я, сударыня?

Г-жа Богатонова. Да, сударь. Вы, я думаю, привыкли къ деликатнымъ столамъ, а у насъ столъ простой; да и гдѣ намъ: мы простые дворяне, а не знатные графы.

Г. Богатоновъ (*толкая жену*). Жена!

Графъ. Вы шутите, сударыня.

Г-жа Богатонова. Сервизишка у насъ бѣдный, вина скверныя!

Г. Богатоновъ. Жена!

Г-жа Богатонова (*къ баронессѣ*). Какъ вы думаете, матушка баронесса, не снять ли мнѣ съ головы гирлянду, вѣдь инымъ это не нравится.

Баронесса. И, сударыня, всѣмъ угодить не можно.

Г-жа Богатонова. А не угождай, то того и гляди, попадешься въ какой-нибудь пасквиль.

Г. Богатоновъ. Жена! Да уймешься ли ты?

Графъ (*тихо Мирославскому*). Мнѣ кажется, противъ меня есть заговоръ.

Мирославскій. Это очень примѣтно.

ЯВЛЕНІЕ СЕДЬМОЕ.

Тѣ же и Климъ.

Климъ (*Богатонову*). Мусью Филутони, сударь, пришелъ.

Г. Богатоновъ. А! Вѣрно съ французскимъ табакомъ.

Климъ. Нѣтъ, сударь, съ какимъ-то полицейскимъ чиновникомъ.

Г. Богатоновъ. Съ полицейскимъ чиновникомъ? Что это значитъ!

Мирославскій (*тихо къ графу*). Дѣло идетъ къ развязкѣ; Филутони помогаетъ намъ лучше, чѣмъ я надѣялся.

Г-жа Богатонова. Зови ихъ сюда.

Климъ (*отворивъ дверь*). Извольте войти.

Г. Богатоновъ. Что бы это такое? Я никакъ не могу понять!

ЯВЛЕНІЕ ВОСЬМОЕ.

Тѣ же, Филутони и полицейскій чиновникъ.

Полицейскій чиновникъ. Позвольте узнать, кто здѣсь г. Богатоновъ!

Г. Богатоновъ. Я! Что вамъ угодно?

Полицейскій чиновникъ. Должны ли вы этому человѣку? (*показываетъ на Филутони*).

Г. Богатоновъ. Филутони. Долженъ, но къ чему это?

Полицейскій чиновникъ. Много ли?

Г. Богатоновъ. Три тысячи.

Филутони (*полицейскому чиновнику*). Исфолитъ слышать, три тысячъ.

Полицейскій чиновникъ. Когда вы сами изволите, что должны ему три тысячи, то, вслѣдствіе поданнаго отъ него, Филутони, прошенія, я объявляю вамъ именемъ правительства, что, прежде уплаты сего долга, вамъ не дозволено будетъ оставить здѣшній городъ. Извините, сударь, я долженъ былъ выполнить свою обязанность. (*Кланяется и уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ ДЕВЯТОЕ.

Тѣ же, кромѣ полицейскаго чиновника.

Г. Богатоновъ. Да кто думалъ отсюда ѣхать? Что ты, Филутони, рехнулся что-ль?

Филутони. О, нѣтъ, мой патюшкъ! Я снай, што фи расорилъ, што фи коши ѣхать, што фи не коши платить толгъ...

Г. Богатоновъ. Чортъ меня возьми, если я тутъ хоть слово понимаю! Я разорился, я хочу ѣхать: что это за ералашъ?

Мирославскій. Ну, мой другъ! Если весь городъ объ этомъ ужъ знаетъ, то и мнѣ таить нечего: ты точно разорился.

Г-жа Богатонова. Боже мой!

Г. Богатоновъ. Я разорился?

Князь (*тихо баронессѣ*). Какой непріятный сюрпризъ.

Г. Богатоновъ. Да помилуй, братецъ, куда же дѣлся мой винный заводъ?

Мирославскій. Онъ сгорѣлъ.

Г. Богатоновъ. Сгорѣлъ?

Г-жа Богатонова. Ахъ, Боже мой, какое несчастіе!

Г. Богатоновъ. А суконная моя фабрика?

Мирославскій. Управитель по твоему приказу отослалъ сюда всѣ деньги; ему не на что было послѣ закупить матеріаловъ; работа остановилась, поставку продолжать не могли, и фабрика твоя взята подъ казенный присмотръ.

Г-жа Богатонова. Подъ казенный присмотръ! Ахъ, я умираю! (*Падаетъ на кресло*).

Г. Богатоновъ. Ну, теперь-то я совсѣмъ разорился!

Мирославскій. Кто виноватъ, мой другъ? Если бъ ты не пріѣхалъ жить въ столицу, то ничего бы не случилось. Непомѣрные расходы должны были разстроить твое состояніе.

Г. Богатоновъ. Такъ, такъ! По дѣломъ мнѣ! Зачѣмъ я далъ волю негодной женѣ моей сорить по-пустому деньги; зачѣмъ...

Г-жа Богатонова (*вскакиваетъ*). Какъ? Что? Я сорила деньгами, я мотала? Ахъ ты, безстыдный!

Г. Богатоновъ. Да, да! Сколько вышло денегъ на твои чепчики, дурацкія шляпки и глупые цвѣты?

Г-жа Богатонова. А сколько проигралъ ты въ карты, роздалъ взаймы своимъ знакомымъ?

Г. Богатоновъ. Продавай теперь свои ветошки; что за нихъ дадутъ?

Г-жа Богатонова. Попробуй собрать долги съ твоихъ пріятелей; много ли получишь?

Г. Богатоновъ. Пріятели меня въ нуждѣ не оставятъ; а тебѣ, чай, поможетъ твоя мадамъ Трише?

Г-жа Богатонова. Ахъ, Боже мой! Да развѣ у меня нѣтъ друзей? Матушка баронесса...

Баронесса. О, сударыня...

Г. Богатоновъ. Князь!

Князь. Боже мой! Повѣрьте, сударь...

Г-жа Богатонова. Если бъ я могла только раздѣлаться съ моей модной торговкой.

Г. Богатоновъ. Мнѣ нужно только здѣсь расплатиться съ долгами, а тамъ могъ-бы я ѣхать въ деревню.

Баронесса. (*къ жѣ Богатоновой*). Въ дружбѣ моей сомнѣваться вы не можете, но клянусь вамъ, я сама въ критическомъ положеніи: я очень бѣдна деньгами, а мнѣ надобно купить новую шаль.

Князь. Господинъ Богатоновъ! Вы не знаете, я все готовъ сдѣлать для друга, но, божусь вамъ, я теперь безъ копѣйки: проклятый Крепсъ разорилъ меня.

Г-жа Богатонова. Князь! Если бъ вы могли отдать мнѣ...

Князь. Повѣрьте, сударыня, я принимаю истинное участіе въ вашемъ злополучіи.

Г-жа Богатонова. Хотя половину...

Князь. Вы приводите меня въ отчаяніе.

Г-жа Богатонова. Хотя нѣкоторую часть вашего долга.

Князь. Сударыня! Пощадите мою чувствительность.

Г-жа Богатонова. Вы видите, совершенная необходимость вынуждаетъ меня.

Князь. Перестаньте, сударыня, къ чему усугублять мою горесть; развѣ не довольно: вы несчастливы, и я не могу помочь вамъ.

Г. Богатоновъ. Какое несчастіе! Какое несчастіе! Мнѣ надобно ѣхать въ деревню, надобно расплатиться съ долгами, надобно выдать замужъ племянницу.

Князь. Отъ этого безпокойства я могу васъ избавить.

Г. Богатоновъ. Какъ! Что хочешь ты сказать?

Князь. Что не намѣренъ жениться. Племянница ваша очень любезна, очень мила, но я имѣю несчастіе ей не нравиться, притомъ-же она...

Мирославскій. Сдѣлалась теперь бѣдною невѣстою.

Лиза. И очень рада, если это избавитъ ее отъ князя Блесткина.

Князь. О, сударыня, это очень легко сдѣлать,—я не заставлю просить себя!—Время прекрасное, не хотите-ли вы въ Лѣтній садъ?

Баронесса. Очень хорошо!

Г. Богатоновъ. Какъ, князь! Такъ вотъ твоя дружба?

Г-жа Богатонова. Прекрасно! Вы отказываетесь отъ Лизы, оставляя насъ въ такомъ несчастномъ положеніи?..

Князь. Извините, сударыня, эта сцена такъ меня растрогала,—мнѣ должно непремѣнно быть на свѣжемъ воздухѣ (*Къ баронессѣ*). Угодно вамъ?

Г. Богатоновъ. (*тихо баронессѣ*). Какъ сударыня, и вы?..

Баронесса. Да, сударь, и я. (*Уходитъ съ княземъ*).

ЯВЛЕНІЕ ДЕСЯТОЕ.

Г. Богатоновъ, г-жа Богатонова, Мирославскій, графъ, Лиза, Анюта, Климъ и Филутони.

Г. Богатоновъ (*въ сторону*). Вотъ тебѣ и баронесса! Ахъ, скотина, и я думалъ, что она меня любитъ!

Филутони (*подойдя къ Богатонову*). Когда, monsieur, буди платить?

Г. Богатоновъ. Не стыдно-ли тебѣ, братецъ, присталъ съ ножомъ къ горлу! Дай мнѣ съѣздить въ деревню—я, вѣрно, поправлю свои дѣла, и тогда отдамъ тебѣ съ процентами.

Филутони. Исфинить! Я не можишь штать, мой нушна теньга.

Г-жа Богатонова. И, мусье, не стыдноли тебѣ,—человѣкъ ты знакомый.

Филутони. (*пожимая плечами*). Што тѣлать, мадамъ!

Г-жа Богатонова. Мадамъ! Ахъ, Боже мой! Вотъ до чего мы дожили... Мадамъ! И эта заморская харя смѣетъ меня называть мадамою! Нѣтъ, мерзкій мусье, мы разорились, но я все-таки не мадамъ, а природная русская дворянка.

Г. Богатоновъ. Послушай, мусье, пошелъ вонъ, или я велю тебѣ бока отломать.

Филутони. Потише, мой батюшка, потише! Фи есше не таки польши паринъ, штопъ вмѣсто деньга тавать палкъ.

Г. Богатоновъ. Климъ, вытолкай его!

Климъ. И, государь! Не тѣ ужъ времена, что бъ кого выталкивать; того и гляди, что намъ самимъ придется жить на улицѣ. Чего ради во избѣжаніе сего, прошу покорно меня нижайшаго уволить и въ доказательство непорочной и усердной службы моей снабдить аттестатомъ.

Г. Богатоновъ. Что ты, Кондратьичъ, не рехнулся ли! Ты хочешь меня оставить?

Климъ. Да, сударь, вторично прошу увольненія.

Г. Богатоновъ. Такъ-то ты помнишь мои благодѣянія! Ну, если такъ, то убирайся къ чорту: мнѣ тебя не надобно.

Климъ. Богъ видитъ, государь, что кѣлаю сіе съ сердцемъ сокрушеннымъ...

Г. Богатоновъ. Пошелъ же вонъ, тварь неблагодарная!

Климъ. Даруй, Господи, что бъ ты, отецъ нашъ...

Г. Богатоновъ. Уйдешь ли ты съ глазъ моихъ, негодный?

Климъ. Иду, государь, иду! (*Кланяется и уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ ОДИННАДЦТОЕ.

Г. Богатоновъ, г-жа Богатонова, графъ, Мирославскій, Лиза, Анюта и Филутони.

Г. Богатоновъ. Всѣ меня оставляютъ!

Г-жа Богатонова. Думала ли я, что бъ князь поступилъ такимъ подлымъ образомъ!

Г. Богатоновъ. Воображалъ ли я, чтобъ баронесса... Да что и говорить, весь свѣтъ наполненъ обманщиками; у меня только и надежды на барона Радугина и графа Недочетова.

Мирославскій. Смотри, мой другъ, что бъ и они тебя не обманули; вѣдь ты уже въ пикетъ играть не будешь.

Г. Богатановъ. Нѣтъ, братецъ, они люди вѣрные. (*Входитъ человѣкъ и отдаетъ письмо*).

Человѣкъ. Отъ барона Радугина.

Г. Богатоновъ (*Мирославскому*). Ну, вотъ видишь ли, мой другъ, онъ узналъ о моемъ несчастіи и торопится предложить свои услуги.

Мирославскій. А вотъ увидимъ.

Г. Богатоновъ (*распечатываетъ письмо и читаетъ*).

Точно, точно, я его знаю.—«Съ крайнимъ прискорбіемъ извѣстился я о вашемъ несчастіи...» Съ крайнимъ прискорбіемъ! милый баронъ. — «Вы никогда не сомнѣвались въ дружбѣ моей...» Боже сохрани!—«слѣдственно повѣрите, что я принимаю живѣйшее участіе въ вашемъ положеніи...» Живѣйшее участіе: о, добрый человѣкъ!—«Зная благородный образъ вашихъ мыслей, я увѣренъ, что вы считаете карточный долгъ священнымъ...» Что это такое? (*Продолжаетъ читать, запинаясь*)—«и доставите мнѣ съ симъ посланнымъ проигранные вами на прошлой недѣлѣ пятьсотъ рублей». Прекрасно!

Мирославскій (*беретъ у него письмо*). Тутъ есть еще приписка. (*Читаетъ*). «Графъ Недочетовъ...»

Г. Богатоновъ. Графъ Недочетовъ? Ну, ну, скорѣй прирѣзывай меня, что графъ Недочетовъ?

Мирославскій (*читаетъ*). «Графъ Недочетовъ просилъ увѣдомить васъ, что по причинѣ отъѣзда своего въ чужіе края онъ не можетъ заплатить бездѣлицу, которую вамъ долженъ».

Г. Богатоновъ (*опустя руку*). Ну, Иванъ Сидорычъ, хорошъ ты!

Г-жа Богатонова. Бездѣлицу, десять тысячъ!

Г. Богатоновъ. Не можетъ заплатить! Не можетъ! Ахъ, онъ злодѣй! И я называлъ ихъ друзьями, думалъ, что они меня любятъ. О, злодѣй, о, разбойники! На что я гожусь? Что мнѣ теперь дѣлать? Куда дѣваться? И какой чортъ дернулъ меня пріѣхать въ Петербургъ? И какъ пришло мнѣ въ голову знакомиться съ этими знатными? Всѣ меня покинули, всѣми я оставленъ.

Мирославскій. Нѣтъ, у тебя есть еще друзья.

Г. Богатоновъ. Друзья! Гдѣ они?

Мирославскій. А обо мнѣ ты позабылъ?

Г. Богатоновъ. Да, да, ты другъ мой! Но что ты можешь сдѣлать? Ты самъ человѣкъ небогатый.

Графъ. Позвольте, г-нъ Богатоновъ, предложить вамъ мои услуги; если угодно, я возьму на себя выплатить всѣ долги ваши.

Г. Богатоновъ. Какъ, батюшка, ваше сіятельство, вы хотите... вамъ угодно... Боже мой, долженъ ли я вѣрить?

Г-жа Богатонова. Ахъ, графъ! Вы хотите насъ воскресить.

Мирославскій (*къ Филутони*). Эй, ты, честный человѣкъ!

Филутони. Шефо исфолитъ?

Мирославскій. Приходи завтра, тебѣ заплатятъ, а теперь пошелъ вонъ.

Филутони. Ошень корошъ! Serviteur, monsieur! (*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ ДВѢНАДЦАТОЕ.

Тѣ-же, кромѣ Филутони.

Г. Богатоновъ (*къ графу*). Чѣмъ могу изъяснить вамъ мою благодарность?

Мирославскій. Я тебя надоумлю, мой другъ: выдай за графа свою племянницу.

Г. Богатоновъ (*съ удивленіемъ*). Какъ?

Графъ. Да, сударь, согласитесь на общее наше благополучіе; мы давно уже любимъ другъ друга.

Г-жа Богатонова. Что я слышу!

Г. Богатоновъ. Неужели? Племянница!..

Лиза. Да, дядюшка, графъ сказалъ правду.

Г. Богатоновъ. О, если такъ... Но не шутите-ли вы, графъ?

Графъ. Какъ можете вы это думать!

Г. Богатоновъ. Лизанька! (*Подводитъ ее къ графу*). Она ваша невѣста.

Г-жа Богатонова (*цѣлуетъ Лизу*). Отъ всего сердца поздравляю тебя, мой другъ!

Анюта (*къ г. Богатонову*). Ну, сударь, не говорила ли я вамъ, что у барышни будетъ женихъ почище вашего Блесткина?

Г. Богатоновъ (*къ графу*). Я не хочу

васъ обманывать: теперь я не могу ничего дать за своей племянницей.

Графъ. О, сударь, на что это; я и такъ совершенно благополученъ!

Мирославскій. Послушай, мой другъ, я тебя обрадую, только съ уговоромъ: завтраже поѣдемъ всѣ отсюда.

Г. Богатоновъ. Вотъ тебѣ моя рука: лишь только расплачусь, то тутъ-же и въ деревню.

Мирославскій. Ты не совсѣмъ разорился: заводъ твой не сгорѣлъ.

Г. Богатоновъ. Не сгорѣлъ?

Г-жа Богатонова. Не сгорѣлъ? Какое счастіе!

Г. Богатоновъ. Бога же ты не боишься, зачѣмъ ты всѣхъ насъ такъ переполошилъ?

Мирославскій. Я хотѣлъ тебѣ показать на самомъ дѣлѣ, что значитъ дружба городскихъ твоихъ пріятелей. Ты захотѣлъ изъ простого дворянина превратиться въ знатнаго человѣка; что вышло изъ этого? Ты разстроилъ свое имѣніе; плуты тебя обманывали, честные люди жалѣли о тебѣ, но также не могли не смѣяться твоимъ легковѣріемъ; однимъ словомъ...

Г. Богатоновъ Хорошо, хорошо, мой милый! Ты договоришь это въ другое время, а между тѣмъ племянница-то моя все-таки будетъ сіятельная!

ВЕЧЕРИНКА УЧЕНЫХЪ.

КОМЕДІЯ ВЪ ТРЕХЪ ДѢЙСТВІЯХЪ.

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:

Госпожа Радугина, вдова.
Софья, меньшая сестра ея.
Волгинъ, братъ ихъ.
Князь Вечеславинъ.
Болеславскій, влюбленный въ Софью.
Шмелевъ, журналистъ.
Сластилкинъ. } литераторы.
Дребедневъ. }
Снѣгинъ. }
Саша, горничная Софьи.
Слуга Радугиной.

Дѣйствіе происходитъ въ Москвѣ, въ домѣ г-жи Радугиной.

ДѢЙСТВІЕ ПЕРВОЕ.

ЯВЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

Софья (*сидитъ за работою*). Саша (*стоитъ подлѣ нея*).

Софья (*за работою*). Сашенька, что дѣлаетъ сестрица?

Саша. Пишетъ, сударыня.

Софья. Вѣрно, оканчиваетъ свою драму. Ну, если бъ братецъ зналъ, что у насъ дѣлается!

Саша. Сохрани Боже! Онъ поднялъ бы такой шумъ и крикъ, что хоть изъ дому бѣги.

Софья. Если бъ онъ увидѣлъ эту толпу безграмотныхъ сочинителей, эти ученыя собранія, надъ которыми весь городъ смѣется... О! Я увѣрена, лишь только дойдутъ до него слухи, онъ тотчасъ прискачетъ изъ своей деревни...

ЯВЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

Тѣ-же и Волгинъ.

Софья (*вскочивъ со стула*). Ахъ, братецъ! Это вы?,.

Волгинъ (*съ сердитымъ видомъ*). Здорово, Софья, здорово! Дома ли сестра?

Саша. Дома, сударь.

Софья. Какъ это вамъ вздумалось къ намъ въ Москву пріѣхать?

Волгинъ. Да по милости г-жи Радугиной, любезной сестрицы нашей. До меня дошли прекрасные слухи! Прекрасные слухи!

Софья. Что такое?

Волгинъ. Что? Стыдно, да и только!

Софья. Но скажите мнѣ...

Волгинъ. Хороши вы, сударыня! Весь городъ надъ нами смѣется.

Софья. Что это значитъ?

Волгинъ. А вотъ что: я живу себѣ преспокойно въ своей деревнишкѣ, не зная ни-

чего, что у васъ дѣлается, какъ вдругъ на послѣдней почтѣ получаю письмо отъ пріятеля моего Угрюмова; развертываю... читаю... Вотъ оно, прочти сама. (*Отдаетъ письмо Софьѣ*).

Софья (*читаетъ*). «Любезный другъ! Поспѣши пріѣхать къ намъ въ Москву. Старшая сестра твоя, г-жа Радугина, сошла съ ума или весьма близка къ этому; она помѣшалась на учености: сдѣлала изъ своего дома академію, набрала себѣ кучу рифмачей; завела какіе-то литературные вечера, на которыхъ порютъ такую дичь, что уши вянутъ; учится по урокамъ краснорѣчію и поэзіи; сама пишетъ стихи, сочиняетъ драмы и даже, слухъ носится, намѣрена выдавать журналъ».

Волгинъ. А! Какъ тебѣ кажется? Выдавать журналъ! Волосы стали у меня дыбомъ! Сестра моя пишетъ драмы, хочетъ выдавать журналъ! Ахъ, Боже мой! да съ тѣхъ поръ, какъ существуютъ Волгины, этакого срама не было въ нашей фамиліи. Я бросилъ все, взялъ почтовыхъ и прискакалъ сюда.

Софья. Къ несчастію, все это справедливо, но что намѣрены вы сдѣлать?

Волгинъ. Что? Я скажу ей, что она сдѣлалась посмѣшищемъ цѣлаго свѣта.

Софья. Она вамъ не повѣритъ.

Волгинъ. Что она срамитъ свою фамилію.

Софья. Она вамъ докажетъ противное.

Волгинъ. Представлю ей самыя удивительныя причины.

Софья. Она не будетъ ихъ слушать.

Волгинъ. Стану просить, уговаривать, начну кричать... чортъ возьми! Разругаюсь съ нею.

Софья. А если и это не поможетъ?

Волгинъ. То... то... схвачу ея дурацкіе стихи, глупыя драмы, выброшу ихъ за окошко и ускачу опять въ свою подмосковную.

Софья. Только-то? Немного-же вы сдѣлаете добраго!

Волгинъ. Нѣтъ, нѣтъ! Прежде выдамъ тебя замужъ, а потомъ уже поѣду въ свою деревню; пускай она проказитъ себѣ одна, сколько ей угодно.

Софья. Вы хотите отдать меня замужъ?

Волгинъ. Да, да, вѣдь Болеславскій изъ плѣну возвратился,—онъ здѣсь!

Софья. Здѣсь!

Волгинъ. Что жъ ты испугалась?

Софья. Здѣсь! Какое счастіе! Но, братецъ, я не знаю, будетъ ли согласна сестра моя.

Волгинъ. Почему же нѣтъ?

Софья. Сестрица хочетъ выдать меня за князя Вечеславина; вы знаете, сначала всѣ считали Болеславскаго убитымъ.

Волгинъ. Вздоръ! Была бы только твоя охота, а то мы обойдемся и безъ ея согласія.

Софья. Вы забыли, братецъ, батюшка, умирая, завѣщалъ въ своей духовной, что я не могу выйти замужъ безъ согласія старшей сестры моей; въ противномъ же случаѣ лишусь всѣхъ правъ на законную часть изъ его имѣнія.

Волгинъ. Правда твоя! Эта статья въ духовной покойнаго батюшки много намъ хлопотъ надѣлаетъ. Но скажи мнѣ, что это за Вечеславинъ, ужъ не авторъ ли онъ?

Саша. Нѣтъ, сударь, не то, чтобы авторъ, а пуще всякаго автора! Онъ... какъ бишь, ихъ называютъ, сударыня? Вотъ эти господа-то ученые... ни то, ни се.

Софья. Литераторъ, или любитель словесности.

Волгинъ. А, знаю, знаю! Вотъ эти-то, что все судятъ, да рядятъ, все бранятъ, да ругаютъ, а сами не умѣютъ ничего написать путнаго.

Софья. Точно такъ, братецъ.

Волгинъ. И сестра хочетъ тебя за него выдать? Пустое, дай мнѣ только поговорить съ нею, и мы увидимъ...

Софья. Вы все испортите; я знаю васъ: сперва вы станете ее уговаривать, потомъ разгорячитесь, начнете кричать; она также разсердится, и кончите тѣмъ, что вы съ нею поссоритесь, а мнѣ не сдѣлаете никакой пользы.

Волгинъ. Что жъ буду я дѣлать?

Софья. Не говорить ни слова, а предоставьте это мнѣ. Сестра моя жила здѣсь, Болеславскій познакомился въ деревнѣ съ батюшкой, слѣдовательно, знаетъ его только по наслышкѣ; представьте его подъ чужимъ именемъ, какъ человѣка съ большими способностями къ поэзіи!

Волгинъ. Ну, а если она потребуетъ отъ него стиховъ?

Софья. Я увѣрена, что онъ ей понравится, и тогда намъ не трудно будетъ выманить ея согласіе.

Волгинъ. Но зачѣмъ же онъ долженъ принять чужое имя?

Софья. Для того, что сестра моя очень предубѣждена противъ Болеславскаго и не захочетъ, можетъ быть, принять его.

Волгинъ. Ну, ну, быть такъ; объ этомъ не скажу ни слова. Да гдѣ же она? (*Хочетъ уйти*).

Софья. Въ своемъ кабинетѣ. Извольте подождать, сударь, она занимается теперь сочиненіемъ, и Боже сохрани, ежели кто подумаетъ ей помѣшать!

Волгинъ. Такъ и быть, сердись она или нѣтъ, а я ей помѣшаю. (*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ ТРЕТЬЕ.

Софья и Саша.

Софья. Ахъ! Сашенька! Болеславскій здѣсь!

Саша. Да, сударыня.

Софья. Такъ ли онъ меня любитъ, какъ прежде?

Саша. Почему-же вы сомнѣваетесь?

Софья. Мужчины такъ непостоянны.

Саша. Неужели вы думаете, сударыня?..

Софья. Легко быть можетъ, что прежняя его страсть осталась только въ одномъ воображеніи.

Саша. Но также легко можетъ быть, что вы и ошибаетесь.

Софья. И для того-то я желала-бы испытать, справедливы-ли мои подозрѣнія.

Саша. Къ чему это? Вѣдь онъ пріѣхалъ сюда на васъ жениться; какихъ-же надобно вамъ еще доказательствъ?

Софья. Можетъ быть Болеславскій дѣлаетъ это для того только, что бъ выполнить свое обѣщаніе; какъ честный человѣкъ, онъ не могъ поступить иначе, а этого еще для меня не довольно.

Саша. Ну, сударыня, если бъ всѣ невѣсты были такъ разборчивы, то куда-бы много было пожилыхъ дѣвушекъ.

Софья (*размысливъ*). Да, точно такъ! Я приму его холодно, буду показывать совершенное равнодушіе.

Саша. Что вы затѣваете, сударыня?

Софья. Если онъ меня любитъ, какъ прежде, то холодность моя приведетъ его въ отчаяніе; онъ станетъ осыпать меня упреками.

Саша. А если онъ не будетъ ни кричать, ни сходить съ ума?

Софья. То подозрѣнія мои оправдаются, и я избавлюсь отъ несчастія принадлежать человѣку, который женится на мнѣ изъ одной обязанности.

Саша. Ну, сударыня, воля ваша, только мнѣ очень не нравится это испытаніе, и если бъ вы послушали моего совѣта...

Софья. Нѣтъ, я рѣшилась, не знаю только, буду ли я въ состояніи, увидѣвши его, скрыть свою радость.

Саша. О, въ этомъ я не сомнѣваюсь; нѣтъ женщины, которая, желая испытать любовника, не сыграла бы мастерски свою роль.

ЯВЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Тѣ-же и слуга.

Слуга. Письмо отъ князя Вечеславина.

Софья. Подай сюда. (*Беретъ письмо; слуга уходитъ*). Оно не запечатано. (*Читаетъ*). «Вамъ угодно было имѣть стихи мои, которые буду читать сегодня на вашемъ вечерѣ: выполняю приказаніе ваше. Вы можете показать прекрасной Софьѣ эту безделку, но я желалъ бы, что бъ авторъ остался для нея неизвѣстнымъ до тѣхъ поръ, пока самъ не прочитаетъ ихъ».—Что это значитъ?

Саша (*взглянувъ на подпись*). Да это письмо къ г-жѣ Радугиной.

Софья. А! въ самомъ дѣлѣ. (*Развертываетъ и глядитъ*). Стихи, русскіе стихи! Ну! князь не на шутку желаетъ угодить моей сестрицѣ. (*Читаетъ*). «Къ моей любезной». Ахъ! это напоминаетъ мнѣ стихи, которые Болеславскій сочинилъ, разставаясь со мною.

Саша. Вы помните ихъ наизусть, сударыня?

Софья. Какъ не знать ихъ наизусть! Каждое слово дышетъ въ нихъ истиннымъ чувствомъ, пламенной любовью!.. (*Говоритъ съ чувствомъ.*)

Гонимый гнѣвною судьбою,
Я дни лишь горести считалъ,
Наскуча свѣтомъ и собою,
Одной отрады въ смерти ждалъ;
Но вдругъ, какъ солнцемъ озарилась
Унылая душа моя,
Надежда въ сердцѣ водворилась—
Тебя, мой другъ, увидѣлъ я!

Саша. Я слышу голосъ вашей сестрицы: сложите скорѣй письмо, сударыня; неравно еще она разсердится, что вы читаете ея переписку съ княземъ.

Софья (*складываетъ письмо и кладетъ его на столъ*).

ЯВЛЕНІЕ ПЯТОЕ.

Тѣ-же, Волгинъ и Радугина.

Радугина. Ну, мой милый, какъ я рада, что ты пріѣхалъ.

Волгинъ. Да мнѣ то нечего радоваться, сестра.

Радугина. Почему же, мой другъ? Здѣсь такъ весело. Я безъ тебя надѣлала кучу новаго знакомства.

Волгинъ. И, чай, все съ учеными?

Радугина. Да, братецъ! Вотъ, напримѣръ, сегодня вечеромъ ты увидишь у меня такое собраніе ученыхъ, какого тебѣ никогда не удавалось видѣть.

Волгинъ. Въ этомъ я увѣренъ.

Радугина. Нынче у меня чтеніе: журналистъ Шмелевъ будетъ читать рецензію на новую пьесу; Змѣйкинъ эпиграмму на ту же пьесу; Тиранкинъ свою двадцать восьмую комедію; князь будетъ читать... но нѣтъ, это я еще навѣрно не знаю. Послушай, мой милый, тебѣ надобно непремѣнно познакомиться съ княземъ.

Волгинъ. Сестра! я совѣтовалъ бы тебѣ...

Радугина. Онъ человѣкъ знатный, важной фамиліи; а ужъ ученъ... ученъ...

Волгинъ. Вѣрю; но послушай...

Радугина. Подлинно ужъ надобно удивляться!.. чего онъ не знаетъ!.. По нѣмецки, по гречески, кажется и по латыни; а о французскомъ и говорить нечего.

Волгинъ. Вѣрно, сударыня...

Радугина. Ну, вѣришь ли Богу! и всѣми этими языками онъ говоритъ лучше, чѣмъ по-русски.

Волгинъ. Согласенъ, но...

Радугина. А науки то, что ль? Литературу, словесность, поэзію, стихотворство...

Волгинъ. Не спорю.

Радугина. Психологію, хронологію, географію, землеописаніе...

Волгинъ. Вѣрю, матушка.

Радугина. Эстетику, статистику...

Волгинъ. Вѣрю, сударыня, вѣрю, вѣрю! да что мнѣ до этого за нужда?

Радугина. Что за нужда! А знаешь ли ты, что онъ сватается за Сонюшку?

Волгинъ. Тѣмъ хуже для него.

Радугина. А почему бы такъ, батюшка братецъ?

Волгинъ. А потому, матушка сестрица, что у Софьи есть и безъ него женихъ.

Радугина. Кто бы это, сударь?

Волгинъ. Болеславскій, сударыня.

Радугинъ. Болеславскій!

Волгина. Да, Болеславскій; вѣдь онъ не убитъ, а былъ только въ плѣну.

Радугина. Не убитъ! А какое мнѣ до этого дѣло?—вотъ что забавно, не убитъ!

Волгинъ. Ты себѣ что ни говори, Сонюшка за нимъ будетъ.

Радугина. Нѣтъ, сударь, нѣтъ!—Не убитъ! вольно же было ему воскреснуть; я ему уже эпитафію сочинила и теперь не хочу знать, что онъ живъ.

Софья (*тихо Волгину*). Братецъ, вы обѣщались...

Волгинъ. Хорошо, хорошо, объ этомъ послѣ. Теперь скажи ка мнѣ, что это тебѣ вздумалось подъ старость то въ ученость удариться?

Радугина. Оттого, сударь, что не хочу быть такою невѣждою, какъ ты; оттого, что люблю литературу; оттого... оттого, что во мнѣ скрывались такія способности, о которыхъ ты не имѣешь даже и понятія.

Волгинъ. Сестра! побойся Бога! ну, гдѣ видано, чтобъ въ человѣкѣ талантъ открывался на 52 году.

Радугина. Экое варварское сужденіе! — Да знаешь ли ты, что Руссо, Жанъ-Жакъ Руссо началъ писать на сороковомъ году?.. а!.. а сколько написалъ онъ книгъ?

Волгинъ. Ну посуди сама, не курамъ ли это на смѣхъ: старшая ты мнѣ сестра, а вздумала сдѣлаться школьницею?

Радугина. Да что же тутъ дурного?

Волгинъ. Похоже ли это на дѣло, учиться подъ старость грамотѣ!

Радугина. Не грамотѣ, а русскому языку; я хочу знать въ совершенствѣ языкъ, на которомъ сочиняю.

Волгинъ. Ну, пускай бы учились по-русски наши барышни и молодыя барыни,—это дѣло. Не мѣшало бы имъ умѣть хотя молитвы читать на своемъ языкѣ; но тебѣ, матушка, не стыдно ли въ твои лѣта сидѣть за указкою?

Радугина. А тебѣ, батюшка, не стыдно ли въ твои лѣта не знать своего языка? Сидѣть за указкою! развѣ это по-русски? за указкою!—Съ указкою, сударь, съ указкою!

Волгинъ. Такъ или нѣтъ, только пора тебѣ, сестра, образумиться.

Радугина. Видишь ли теперь, для чего я учусь? Ну, вотъ, напримѣръ, ты никакъ мнѣ не докажешь, почему можно сказать съ указкою, а нельзя сказать за указкою.

Волгинъ. Охота же тебѣ изъ пустого въ порожнее переливать!

Радугина. Попробуй, докажи.

Волгинъ. И, матушка!

Радугина. Увидимъ, увидимъ, какъ ты докажешь.

Волгинъ. Вѣрю, сударыня, что ты великая грамотѣйка, да что...

Радугина. Сашенька!

Саша. Чего изволите?

Радугина. Я пристыжу тебя, братецъ: Саша бываетъ при моихъ урокахъ и, вѣрно, тебѣ докажетъ.

Саша. Я, сударыня, я? да я ничего не знаю.

Радугина. Вздоръ! какъ не знаешь! Говори. сейчасъ.

Саша. Ну, вотъ изволите видѣть: указка имя прилагательное, предлогъ за... за... предлогъ, союзъ, мѣстоименіе... предлогъ... Право, сударыня, я ничего не помню.

Радугина. Прошу покорно, какая дура! такой бездѣлицы не можетъ доказать. Слушай, братецъ.

Волгинъ. (*отодвигаясь съ досадою отъ нея*). Увольте, мнѣ становится ужъ скучно.

Радугина. Я не отстану отъ тебя, пока не докажу. Предлогъ за...

Волгинъ (*Софьѣ*). Что намъ съ ней дѣлать?

Радугина. Предлогъ «за» — означаетъ. первое: движеніе назадъ; напримѣръ: стать за стулъ, стать за дверь.

Волгинъ. Помилосердуй!..

Радугина. Второе: положеніе назади, какъ-то: стоять за стуломъ, сидѣть за столомъ.

Волгинъ. Тьфу пропасть!

Радугина. Но поелику за указкою нельзя ни стоять, ни сидѣть, то слѣдственно...

Волгинъ (*Софьѣ*). Сестра! часто ли на нее находитъ?

Радугина. То, слѣдственно, и надобно говорить съ указкою, а не за указкою; ибо можно, прошу замѣтить это, можно...

Волгинъ. Да кой чортъ далась тебѣ эта указка!

Радугина. Сидѣть, находиться, быть, пребывать съ указкою...

Волгинъ (*съ сердцемъ*). А нельзя быть, находиться, пребывать съ ученою дурою, которая изъ ума выжила!

Радугина. Прекрасно! да ты уже и браниться!

Волгинъ. Ты выведешь хоть кого изъ терпѣнія.

Радугина. Впрочемъ, не безпокойся, я не разсержусь, ибо имѣю довольно философіи, чтобъ презирать ничтожныя ругательства.

Волгинъ. Не о философіи рѣчь. Эй, сестра! право, сойдешь съ ума; выкинь эту дурь изъ головы.

Радугина. Что ты, братецъ! напротивъ, я хочу, чтобъ и ты не хуже меня зналъ словесность.

Волгинъ (*тихо Софьѣ*). Попытаюсь, не удастся-ли мнѣ ее усовѣстить. (*Громко*). Сестра! позволь мнѣ откровенно сказать тебѣ всю правду.

Радугина. Изволь, братецъ! Послушаемъ, что ты скажешь. (*Садится*).

Волгинъ. Женщина была ты всегда умная; подумай хорошенько, на что походитъ твой образъ жизни? Завела ты знакомство съ этой литературной челядью! Ну, ужъ такъ бы и быть, но ты сама пустилась съ ними взапуски смѣшить честныхъ людей, перестала заниматься хозяйствомъ, имѣніе твое разстроилось; приказчики стали тебя обманывать, разорять бѣдныхъ крестьянъ, — и все это оттого, что барыня, вмѣсто того, чтобъ заниматься ими, учится краснорѣчію и сочиняетъ драмы.

Радугина. Хорошо, хорошо!—далѣе.

Волгинъ. Теперь скажи, какая будетъ польза отъ твоего ученья? Не думаешь-ли ты, что пріятели твои говорятъ правду? — что у тебя въ самомъ дѣлѣ есть дарованія? Эхъ, матушка! повѣрь, они смѣются надъ тобою. Ну, какъ не сказать, что ты женщина съ талантомъ: у тебя прекрасный поваръ, хорошія вина; попробуй, раздай имъ свое имѣніе, такъ они скажутъ, что ты и звѣзды съ неба хватаешь!

Радугина. Недурно, продолжай.

Волгинъ. Подумай сама, матушка, на что это похоже: хочешь ты издавать журналъ, женское-ли это дѣло? Ну, если ужъ у тебя такая смертная охота марать бумагу, то писала-бы для одной себя; а то,—долго-ли до грѣха? распубликуютъ тебя въ газетахъ, начнутъ писать на тебя стихи, ты войдешь въ пословицу у журналистовъ; да что и говорить: ты, чай, и сама знаешь; попадись только въ руки этимъ зубоскаламъ, такъ они тебя со свѣта сживутъ.

Радугина (*встаетъ*). Ну, мой милый, я слушала тебя со вниманіемъ, и, къ удовольствію моему, должна сказать...

Волгинъ. Что я говорю правду. (*Софьѣ*). Слава Богу! она не совсѣмъ еще помѣшалась.

Радугина. Должна сказать, что въ тебѣ таится много природнаго краснорѣчія.

Волгинъ (*съ удовольствіемъ*). То-то-же, а кажется я человѣкъ неученый.

Радугина. И для того я совѣтую тебѣ поучиться вмѣстѣ со мною діалектикѣ.

Волгинъ. Какъ!

Радугина. Да, мой другъ! Истинно будетъ жаль, если такой талантъ, какой примѣчаю я въ тебѣ, пропадетъ даромъ.

Волгинъ. Сестра!

Радугина. Если ты этимъ займешься, въ чемъ я и не сомнѣваюсь, то можешь быть современемъ отличнымъ прозаистомъ.

Волгинъ. Вотъ тебѣ на! а я думалъ, что ее усовѣстилъ.

Радугина. Послушай, мой милый! останься здѣсь: Сластилкинъ, мой учитель логики и поэзіи, сейчасъ будетъ, и ты сегодня же можешь взять первый урокъ.

Волгинъ. Прощай, сестра! (*Хочетъ уйти*).

Радугина. Куда-же ты спѣшишь? Погоди немного.

Волгинъ. Я у тебя буду обѣдать. Прощай!

Радугина. Останься, пожалуйста, Сластилкинъ сейчасъ будетъ.

Волгинъ. Чтобъ ему сквозь землю провалиться со всею этою сволочью, которая вскружила тебѣ голову! Прощай!

Радугина. За что-жъ ты сердишься? Я желаю тебѣ добра; хочу, чтобъ твой талантъ не пропалъ даромъ.

Волгинъ. Да тьфу дьявольщина! какіе ты нашла у меня таланты? Слушай, сестра, пусти меня, а не то я наговорю много лишняго. Прощай, Софья. (*Уходя*). Экое сумасбродство, экое сумасбродство!

ЯВЛЕНІЕ ШЕСТОЕ.

Тѣ-же, безъ Волгина.

Радугина. Что, Сонюшка, каковъ нашъ братецъ? Ну, гдѣ видано такое упрямство, такое закоренѣлое невѣжество?

Софья. Да и вы, сестрица, хотите человѣка насильно сдѣлать ученымъ.

Радугина. Да что-же дѣлать, мой другъ? Примѣчаешь въ родномъ братѣ дарованія, хочешь ему дать способъ образовать ихъ, выйти изъ неизвѣстности, а онъ-же за это сердится!

Софья. Я не знаю, что съ нимъ сдѣлалось! Со мною говорилъ онъ совсѣмъ другое: нимало не сердился, что вы сочиняете, и даже сказалъ, что намѣренъ привести къ вамъ одного пріятеля, который пишетъ стихи, и очень удачно.

Радугина. Неужели? Какъ-бы это было хорошо! нынче у насъ чтеніе; онъ также-бы что нибудь прочелъ. Вѣдь братъ привезетъ его сегодня?

Софья. Я думаю.

Саша (*подавая письмо*). Къ вамъ, сударыня, принесли это письмо.

Радугина. Ко мнѣ? А! знаю, знаю! (*Читаетъ про себя*).

Саша (*тихо Софьѣ*). Сестрица не замѣтила, что вы его читали.

Софья. Тѣмъ лучше.

Радугина (*въ сторону*). Князь хочетъ остаться до нынѣшняго вечера неизвѣстнымъ. Такъ и быть, надобно его потѣшить! — Сонюшка! посмотри, какіе я получила стихи отъ какого-то неизвѣстнаго.

Софья. Отъ неизвѣстнаго?

Радугина. Да, отъ неизвѣстнаго, котораго мы узнаемъ не прежде, какъ нынѣшнимъ вечеромъ. Возьми-ка, прочти ихъ. (*Подаетъ ей стихи*).

Софья (*начинаетъ читать*).

«Къ моей любезной!

Гонимый гнѣвною судьбою,
Я дни лишь горестьми считалъ;
Наскуча свѣтомъ и собою,
Одной отрады въ смерти ждалъ.

(*Въ сторону*). Что это значитъ?

Радугина. Ты нынче очень дурно читаешь.

Софья. Стихи такъ мелко, такъ связно написаны. (*Продолжаетъ читать, запинаясь*).

Но вдругъ какъ солнцемъ озарилась
Унылая душа моя;
Надежда въ сердцѣ водворилась:
Тебя, мой другъ, увидѣлъ я!

(*Въ сторону*). Точно такъ! это стихи Болеславскаго! Какъ попали они къ князю?

Радугина (*вырываетъ у нея стихи*). Подай сюда! Ты до завтра не кончишь. Да гдѣже мои очки? (*Ищетъ очки*).

Софья (*тихо*). Надобно употребить это въ мою пользу. Точно такъ, — пресчастливая мысль!..

Радугина. А! насилу отыскала! (*Надѣваетъ очки*). Второй куплетъ! Гмъ! гмъ! (*Читаетъ*).

Что жизнь безъ страсти сердцу милой?
Печальный къ смерти переходъ;
На что ни взглянешь—все постыло,
Все къ горестямъ лишь насъ ведетъ.

Каково?

Софья. Прекрасно.

Радугина (*продолжаетъ читать*).

Когда-же къ чувствамъ прикоснется
Хоть искра страстнаго огня,
Тогда, мой другъ, лишь жизнь начнется,
Тогда и началась моя".

Ну, что скажешь, милая?

Софья. Я въ восхищеніи!

Радугина (*съ важнымъ видомъ*). Стихи, конечно, очень не дурны; но они слишкомъ просты, слишкомъ ясны; я желала-бы въ нихъ больше чувства, больше возвышенности въ слогѣ.

Софья. Вы слишкомъ строги, сестрица; стихи прекрасны!

Радугина. О! я не спорю въ этомъ!

Софья. Они плѣнили меня!

Радугина. Очень рада, что они тебѣ нравятся.

Софья. Какія чувства! Каждый стихъ, каждое слово трогаетъ душу!

Радугина. Неужели? Не правда-ли, Сонюшка, что сочинитель этихъ стиховъ долженъ быть очень любезенъ?

Софья. Я съ вами согласна.

Радугина. Что трудно не любить человѣка, который изъясняется такимъ плѣнительнымъ образомъ?

Софья. Вы правы и, признаюсь вамъ, я первая не могла-бы видѣть равнодушно того неизвѣстнаго, котораго стихи... Ахъ, сестрица! можетъ ли что быть обворожительнѣе этихъ стиховъ?

Радугина (*въ сторону*). Прекрасно! (*Громко*). Послушай, милая, почему ты знаешь, можетъ быть неизвѣстный знаетъ тебя... любитъ...

Софья. Что вы говорите? Какая мысль! если онъ меня любитъ...

Радугина. Если онъ предложитъ тебѣ свою руку?

Софья. То... но я не скажу теперь ничего. Я знаю только, что кто-бы онъ ни былъ, я не могу не любить его и скажу вамъ откровенно: мнѣ кажется, что одинъ только сочинитель этихъ стиховъ, одинъ онъ можетъ замѣнить для меня Болеславскаго и получить мою руку, если я рѣшусь когда-нибудь отдать ее.

Радугина (*въ сторону*). Что я слышу! Я очень рада, милая, что ты умѣешь цѣнить таланты, что поэзія имѣетъ на тебя такое вліяніе...

Софья. Мы узнаемъ нынѣшнимъ вечеромъ!..

Радугина. Кто неизвѣстный? Да, милая! (*Въ сторону*). Какъ я рада! Гдѣ ты, князь! Чувствуешь-ли ты свое благополучіе?

Софья (*въ сторону*). Если не ошибаюсь, хитрость моя удастся.

ЯВЛЕНІЕ СЕДЬМОЕ.

Тѣ-же и Шмелевъ.

Радугина. А! любезный журналистъ!

Софья. Здравствуйте, г-нъ Шмелевъ.

Шмелевъ. Я думалъ найти здѣсь князя: онъ сказалъ мнѣ, что будетъ сегодня у васъ обѣдать.

Радугина. Теперь еще рано. Не видали вы г-на Сластилкина? Я нынче цѣлое утро не могу его дождаться... Но вотъ и онъ.

ЯВЛЕНІЕ ВОСЬМОЕ.

Тѣ-же и Сластилкинъ.

Радугина. Гдѣ вы до сихъ поръ были, г-нъ поэтъ!

Сластилкинъ. Виноватъ! я немного позамѣшкалъ.

Шмелевъ. Вѣрно г-нъ Сластилкинъ, идя къ вамъ, погрузился въ мечтанія, прошелъ въ другую сторону, и очнулся только за заставою.

Сластилкинъ. Извините, я не мечталъ, а восхищался.

Софья. Восхищались?

Сластилкинъ. Да, сударыня! я любовался великолѣпною природою.

Радугина. Да гдѣ же вы были!

Сластилкинъ. На бульварѣ, сударыня.

Шмелевъ. Какое живое воображеніе! Вы видите великолѣпную природу тамъ, гдѣ видны однѣ обстриженныя липки и трехъ-этажные дома.

Сластилкинъ. Природа! вездѣ природа!

Радугина. Люблю за это милаго Сластилкина, — то-то ужъ подлинно поэтическое воображеніе! У него безпрестанно природа да ручеечки, лѣсочки да тихіе зефиры.

Софья. Съ такимъ пламеннымъ воображеніемъ вы, я думаю, не зябнете и въ крещенскіе морозы?

Шмелевъ. О, сударыня! есть случаи, въ которыхъ самое пламенное воображеніе не разогрѣетъ. Вотъ, напримѣръ, мнѣ сказывали, что на этяхъ дняхъ г-нъ Сластилкинъ дѣлалъ сентиментальную прогулку за городомъ.

Сластилкинъ. Г. Шмелевъ! я знаю вашу остроту, но увольте.

Шмелевъ. Позвольте разсказать это плачевное приключеніе: г-нъ Сластилкинъ, восхищаясь природою, отъ излишняго энтузіазма сошелъ съ большой дороги въ сторону...

Сластилкинъ (*съ досадою*). Господинъ Шмелевъ!

Шмелевъ. Не чувствуя ничего отъ сердечныхъ восторговъ, онъ зашелъ въ болото, увязъ по поясъ. Немилосердная мать натура нахмурилась, скропила его проливнымъ дождемъ, и господинъ Сластилкинъ, несмотря на душевные экстазы, возвратился чуть живъ домой.

Сластилкинъ (*въ сторону*). Негодный насмѣшникъ!

Софья. Г-нъ Сластилкинъ, неужели это трагическое приключеніе справедливо?

Сластилкинъ. Г-нъ Шмелевъ умѣетъ придавать всему такой видъ...

Радугина. Ужъ это правда! попадись только ему въ передѣлъ: разбранить ли какое сочиненіе, разругать ли какого автора...

Шмелевъ. Я не ругаю, сударыня, а критикую.

Софья. Разумѣется, одно дурное.

Шмелевъ. Да, смотря по обстоятельствамъ.

Софья. Какъ, сударь! такъ вы иногда и хорошее произведеніе браните?

Шмелевъ. Иногда необходимость бываетъ закономъ, сударыня.

Софья. Ну, какъ можно критиковать то, что хорошо?

Шмелевъ. О, сударыня, ничего нѣтъ легче! Стоитъ только изъ книги выписать всѣ дурныя мѣста, умолчать о хорошихъ,—такъ дѣло и сдѣлано.

Радугина. Правда, что и говорить, правда!

Софья. Я не могу опомниться отъ удивленія; вы великій человѣкъ, г-нъ Шмелевъ! Неблагодарное отечество! и такіе таланты остаются безъ награды!

Сластилкинъ (*значительно*). Не всегда, иногда ихъ и награждаютъ. Спросите у г-на Шмелева, сударыня.

Шмелевъ. Что подъ этимъ разумѣете?

Сластилкинъ. Ничего, совершенно ничего! Я слышалъ только мимоходомъ, что г. Вспышкинъ, на котораго вы написали подобную рецензію, обошелся съ вами не очень вѣжливо.

Шмелевъ. Неправда, сударь; я съ нимъ никогда не ссорился!

Сластилкинъ. Да онъ, говорятъ, немного поссорился съ вами.

Шмелевъ. Клевета, сударь; я знакомъ съ нимъ, на пріятельской ногѣ; онъ очень хорошій человѣкъ. (*Радугиной.*) Но, сударыня, вы дожидались г-на Сластилкина, чтобъ взять урокъ. Время проходитъ.

Радугина. Но князь будетъ сюда скоро, и если я уйду въ свой кабинетъ...

Шмелевъ. Не безпокойтесь, я приму его.

Радугина. Сдѣлайте милость, вы попросите его ко мнѣ. — Пойдемте, г-нъ учитель. Сонюшка, ты любишь быть при моихъ урокахъ?

Софья. Да, сестрица, это иногда меня забавляетъ.

Радугина. Пойдемте же. (*Идетъ и воротается къ Шмелеву*). Какіе я получила нынче стихи! вы ихъ услышите, услышите! (*Уходитъ съ прочими*).

ЯВЛЕНІЕ ДЕВЯТОЕ.

Шмелевъ (*одинъ*). Стихи!.. А!.. это вѣрно, тѣ, которые князь по моей милости называетъ своими. Какъ я умно сдѣлалъ, что не напечаталъ въ своемъ журналѣ, когда получилъ ихъ изъ арміи отъ какого-то Болеславскаго; теперь они мнѣ пригодились. Я слышалъ, что этотъ Болеславскій убитъ, слѣдственно, по праву наслѣдства, я могъ присвоить ихъ себѣ и услужить князю.

ЯВЛЕНІЕ ДЕСЯТОЕ.

Шмелевъ и князь.

Князь (*подходитъ тихо къ Шмелеву и бьетъ его по плечу*). Здравствуйте, mon cher Шмелевъ!

Шмелевъ. Ахъ, это вы, князь!

Князь. Что дѣлаетъ наша Сафо?

Шмелевъ. Госпожа Радугина? Она теперь въ своемъ кабинетѣ слушаетъ лекцію о краснорѣчіи; она препоручила мнѣ васъ здѣсь дождаться и просить къ себѣ.

Князь. Для того, чтобъ душить меня нѣсколько часовъ своими несносными стихами?

Шмелевъ. Можетъ быть.

Князь. Я не могу забыть вчерашняго дня. Ахъ! мнѣ кажется, что я слышу и теперь еще эти варварскія рифмы!

Шмелевъ. Подлинно, надобно имѣть ангельское терпѣніе.

Князь. Пять часовъ сряду слушать глупости.

Шмелевъ. И безпрестанно хвалить ихъ.

Князь. Восхищаться вслухъ, зѣвать украдкою.

Шмелевъ. И, умирая отъ скуки, говорить, что очень весело.

Князь. Должно быть такимъ влюбленнымъ, какъ я, чтобъ рѣшиться каждый день выдерживать такую пытку. Нѣтъ, этотъ тиранизмъ становится несносенъ; нынче же я постараюсь все кончить. Кстати, я еще не благодарилъ васъ за стихи, которые вы мнѣ доставили.

Шмелевъ. Я очень радъ, что могъ услужить вамъ этой бездѣлкой.

Князь. Надѣюсь, это останется между нами.

Шмелевъ. Вы обижаете меня, князь! Такое сомнѣніе...

Князь. Очень простительно. Стихи станутъ хвалить, авторское самолюбіе заставитъ васъ признаться двумъ, тремъ пріятелямъ, и...

Шмелевъ. Положитесь на мою скромность.

Князь. A propos! знаете ли вы, Честоновъ напечаталъ собраніе своихъ сочиненій?

Шмелевъ. Знаю, князь.

Князь. А знаете ли вы, что его мнѣніе на счетъ литературы?..

Шмелевъ. Совершенно противное вашему; очень знаю.

Князь. Что же вы скажете о его сочиненіяхъ?

Шмелевъ. Какъ можно болѣе дурного.

Князь. Очень хорошо!

Шмелевъ. Я скажу, что его проза...

Князь. Наполнена ошибками, жестка, шероховата.

Шмелевъ. Что стихи его...

Князь. Преплоскіе! что во всѣхъ его твореніяхъ видѣнъ дурной вкусъ, невѣжество; стихи не имѣютъ никакого колорита, никакой силы; они такъ просты, такъ обыкновенны, въ нихъ нѣтъ этихъ быстрыхъ порывовъ генія, этихъ... этихъ... однимъ словомъ, они никуда не годятся.

Шмелевъ. Все такъ, князь; но чтобъ доказать это, надобно было сдѣлать выписку, найти дурное.

Князь. И вы безъ сомнѣнія нашли.

Шмелевъ. И да, и нѣтъ; въ первомъ томѣ, на одномъ мѣстѣ, вмѣсто предлога поставленъ союзъ.

Князь. Хорошо: вы намекаете, что Честоновъ худо учился синтаксису.

Шмелевъ. Точно такъ. Въ третьемъ томѣ я замѣтилъ лишнюю запятую и... и двоеточіе не на своемъ мѣстѣ...

Князь. Прекрасно, прекрасно! вы можете сказать, что авторъ не знаетъ правописанія.

Шмелевъ. Конечно, и хотя очень замѣтно, что это типографскія ошибки...

Князь. Какая вамъ до того нужда! Развѣ вы обязаны отгадывать, кто ошибся, наборщикъ или сочинитель?

Шмелевъ. Со всѣмъ тѣмъ не знаю, меня какъ будто совѣсть зазираетъ.

Князь. Вы шутите!

Шмелевъ. Но, князь, безпристрастіе...

Князь. Безпристрастіе! Вотъ еще забавная добродѣтель для журналиста! Откуда вы выкопали это безпристрастіе? Желалъ бы я знать, какъ вы согласите ваше безпристрастіе съ обязанностями литератора, который имѣетъ свои партіи, связи, своихъ протекторовъ и непріятелей?

Шмелевъ. Такъ и быть! я пренебрегу всѣми, чтобъ выполнить вашу волю: для васъ, князь, я готовъ все сдѣлать.

Князь. Съ моей стороны, я могу увѣрить васъ въ своемъ покровительствѣ. Продолжайте быть всегда таковымъ, и увѣряю васъ, вы сдѣлаете свою дорогу.

Шмелевъ (*кланяясь*). О, ваше сіятельство! я очень чувствую.

Князь. Пойдемте, любезный Шмелевъ, къ хозяйкѣ: она, я думаю, насъ дожидается.

Конецъ перваго дѣйствія.

ДѢЙСТВІЕ ВТОРОЕ.

ЯВЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

Саша (*одна*). Всѣ добрые люди давно уже отобѣдали, а барыня все еще читаетъ свою драму. Ну, видно, она хочетъ сегодня совсѣмъ доконать своихъ гостей. Каково намъ, бѣдненькимъ, сидѣть два часа сряду, какъ куколкамъ, не смѣть ни чихнуть, ни кашлянуть; я и служанка, а не захотѣла бы ни за что быть на ихъ мѣстѣ.

ЯВЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

Саша, Волгинъ и Болеславскій.

Волгинъ. Сестра моя дома?

Саша. Дома, сударь. (*Болеславскому.*) Ахъ, здравствуйте, сударь! Какъ же я рада, мы опять васъ видимъ! Да вы ни крошечки не перемѣнились, г-нъ Болеславскій!

Волгинъ. Тсъ! тише! онъ теперь не Болеславскій. Поди, скажи сестрѣ, что я привезъ къ ней пріятеля своего Людмилова.

Саша. Барыня изволитъ теперь читать свои сочиненія,—я не смѣю ей доложить, а побѣгу сказать барышнѣ. (*Уходитъ*)

ЯВЛЕНІЕ ТРЕТЬЕ.

Волгинъ и Болеславскій.

Болеславскій. Итакъ, вы увѣрены, что Софья любитъ меня попрежнему?

Волгинъ. Эхъ, братецъ! какъ наладилъ одно, да одно! Вѣдь ты разъ двадцать объ этомъ спрашивалъ.

Болеславскій. Вы ни одного раза не отвѣчали мнѣ удовлетворительнымъ образомъ!

Волгинъ. Ну, да что ты хочешь, чтобъ я сказалъ? Кажется, рада-то она тебѣ рада, а любитъ ли, какъ прежде, не знаю; вѣдь въ душу то, братъ, никому не взойдешь.

Болеславскій. Три года разлуки, разсѣянная жизнь, слухъ о моей смерти,—сколько причинъ, чтобъ мнѣ опасаться!

Волгинъ. Полно, братецъ! Къ чему заранѣе себя тревожить? Ты ее увидишь, переговоришь съ нею и, можетъ быть, найдешь, что она ни крошечки не перемѣнилась.

ЯВЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Тѣ-же, Софья и Саша.

Саша (*тихо Софьѣ*). Какъ, сударыня, вы хотите непремѣнно?..

Софья. Испытать Болеславскаго,—непремѣнно!

Волгинъ (*увидя Софью*). А, сестра! Рекомендую тебѣ моего пріятеля Людмилова.

Болеславскій (*бросается къ ней*). Софья!

Софья (*отступая назадъ, приседаетъ*). Здравствуйте, сударь.

Волгинъ. Ха, ха, ха! Она тебя не узнала. Сонюшка, вѣдь это Болеславскій.

Софья. Я вижу, братецъ; г-нъ Болеславскій совсѣмъ не перемѣнился.

Волгинъ. Вотъ тебѣ на! Да ты, кажется, не очень обрадовалась?

Софья. Извините, я очень рада... Вы, братецъ, вѣрно у насъ обѣдаете?

Болеславскій (*тихо Волгину*). Ну, сударь, подозрѣнія мои не справедливы?

Волгинъ. Она, вѣрно, меня стыдится. (*Софьѣ*). Софья! Я пойду къ сестрѣ послушать ея стиховъ: вамъ, вѣрно, есть о чемъ переговорить между собою. (*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ ПЯТОЕ.

Тѣ-же, безъ Волгина.

Болеславскій. Какое счастіе,—я опять васъ вижу, сударыня!..

Софья. Я сама очень рада, что слухи о вашей смерти были несправедливы.

Болеславскій. Я спѣшилъ, сударыня!..

Софья. Возвратиться въ Россію,—это весьма натурально. Кто не любитъ своего отечества? А! Кстати, мнѣ надобно сказать вамъ, для чего вы должны были пріѣхать къ намъ подъ чужимъ именемъ?..

Болеславскій. Братецъ вашъ сказалъ мнѣ, что г-жа Радугина...

Софья. Не захотѣла бы, можетъ быть, принять васъ и лишила бы меня удовольствія видѣть еще хотя однажды пріятеля покойнаго моего батюшки.

Болеславскій. Какъ, сударыня!

Софья. Да, Болеславскій! Только однажды сестра требовала, чтобъ я...

Болеславскій. Чтобъ вы забыли Болеславскаго; и вы, сударыня, рѣшились...

Софья. Повиноваться той, которая служитъ мнѣ вмѣсто матери.

Болеславскій. И вы!.. Но виноватъ, сударыня, мнѣ должно молчать и удивляться только, съ какой покорностью выполняете вы приказанія сестры вашей!

Софья. Надѣюсь, сударь, вы согласитесь, что все заставляетъ меня поступать такимъ образомъ: благодарность, которою я обязана сестрѣ, мой долгъ...

Болеславскій. И собственныя ваши чувства. Будьте откровеннѣе, сударыня, къ чему это излишнее притворство? Вы меня не любите болѣе?

Софья. Признайтесь, Болеславскій, вѣдь это не привело бы васъ въ отчаяніе?

Болеславскій. Меня, сударыня? Я вижу, вы судите по себѣ.

Софья. И очень увѣрена, что вы такъ же, какъ я, кромѣ дружбы ничего ко мнѣ не чувствуете; да и смѣшно бы было думать, что любовь можетъ продолжаться вѣчно.

Болеславскій (*въ сторону*). Неблагодарная! Но ты не будешь утѣшаться моимъ отчаяніемъ! (*Громко*). Итакъ, вы меня не любите? Какъ я радъ! Теперь и мнѣ не трудно будетъ сдѣлать мое признаніе!

Софья (*съ удивленіемъ*). Ваше признаніе!

Болеславскій. Да, сударыня! до сихъ поръ я говорилъ языкомъ жениха, который былъ увѣренъ, что найдетъ невѣсту свою постоянною: мои правила, прежнія обязан-

ности, все заставляло меня поступать такимъ образомъ.

Софья. Какъ, сударь! ваши правила, прежнія обязанности...

Болеславскій. Да, сударыня, мои правила, а не любовь. Искренность ваша даетъ мнѣ право быть откровеннымъ.

Софья (*тихо Сашѣ*). Сашенька! что это значитъ?

Саша. По дѣломъ вамъ

Болеславскій. Какъ я доволенъ, время излѣчило насъ обоихъ! намъ не въ чемъ упрекать другъ друга. (*Въ сторону*). Измѣнница!

Софья. Не думаете ли, что я буду дѣлать вамъ упреки? (*Въ сторону*). Вѣроломный!

Болеславскій. Итакъ, у насъ все кончено?

Софья. Все!

Болеславскій. Могу ли я надѣяться, по крайней мѣрѣ, что мы останемся друзьями?

Софья (*въ сторону*). Злодѣй! предлагать мнѣ свою дружбу! (*Громко*). Нѣтъ, сударь, нѣтъ! никогда!

Болеславскій. Она меня ненавидитъ! Чѣмъ заслужилъ я, сударыня?..

Софья. Чѣмъ? чѣмъ?.. Извольте, мы будемъ друзьями! Я вижу, вы только и способны къ этому холодному чувству.

Болеславскій (*дѣлаетъ движеніе уйти и останавливается*). Признаюсь, сударыня, я не думалъ, чтобы столичная жизнь перемѣнила такъ много вашъ характеръ.

Софья. Я никогда не воображала, чтобъ два года, проведенные во Франціи, могли сдѣлать человѣка совершенно другимъ.

Болеславскій. Правда, здѣсь столько удовольствій; молодые люди здѣсь такъ любезны!..

Софья. Да, сударь, француженки такъ милы, такъ привлекательны! Не правда ли?

Болеславскій. Да, сударыня! ихъ напрасно упрекаютъ въ вѣтренности, въ непостоянствѣ; благодаря просвѣщенію, наши россіянки...

Софья. Должны перенимать у нихъ; должны обманывать, презирать мужчинъ; мучить ихъ, забавляться ихъ отчаяніемъ, и никогда не любить: они не заслуживаютъ этого.

Болеславскій (*съ любопытствомъ*). И такъ, вы не сдѣлали еще никакого выбора, сударыня?

Софья. О, нѣтъ, я знаю мужчинъ: любовь у нихъ одно пустое слово, нѣжность—одно притворство, чувствительность—гнусное лицемѣріе; мужья—или измѣнники, или тираны своихъ женъ. Нѣтъ, нѣтъ, я ненавижу мужчинъ! Они видятъ въ насъ одни недостатки, считаютъ для себя все позволительнымъ, и не прощаютъ намъ ничего. Если женщина весела, любезна—она кокетка; если тиха, скромна, постоянна—она утомительна, нестерпима. Однимъ словомъ, мы имѣемъ всѣ пороки, вы никакихъ! Мужчины называютъ насъ вѣтренными и не знаютъ сами постоянства; считаютъ ни за что измѣнять своимъ клятвамъ и вмѣняютъ намъ въ преступленіе ту самую холодность, которой они сдѣлались достойными. Не подумайте-жъ, однако, чтобъ я говорила на вашъ счетъ; о, нѣтъ! вы только мужчина, какъ и всѣ прочіе.

Болеславскій. Къ несчастію, я также былъ легковѣренъ, какъ и всѣ.

Софья. Почему знать, можетъ быть, во Франціи женщины умѣли васъ сдѣлать постояннымъ; можетъ быть, какая-нибудь милая француженка.

Болеславскій. Женщины вездѣ одинаковы, сударыня: вездѣ легкомысленны, неблагодарны; онѣ не заслуживаютъ быть любимыми; ихъ нѣжность, постоянство, вѣрность существуютъ въ однихъ романахъ; онѣ любятъ не насъ, но право, которое даетъ имъ любовь терзать бѣдныхъ мужчинъ своими капризами, повелѣвать ими, какъ невольниками, приводить въ отчаяніе своимъ непостоянствомъ; ихъ счастіе дурачить каждаго и смѣяться надъ всѣми; видѣть всѣхъ у ногъ своихъ и не любить никого. Да, сударыня, кто знаетъ женщинъ и любитъ ихъ, тотъ потерялъ разсудокъ; и если онъ умѣетъ презирать притворныя слезы, ложныя клятвы, если гнушается измѣною, обманомъ, коварствомъ, то долженъ ненавидѣть ихъ, долженъ... Не подумайте, впрочемъ, чтобъ я говорилъ на вашъ счетъ; о нѣтъ! вы только женщина, какъ и всѣ другія. (*Хочетъ уйти*).

Софья. Вы отсюда ѣдете?

Болеславскій. Да, сударыня!

Софья. Куда, если спросить смѣю?

Болеславскій. Не знаю, можетъ быть...

Софья. Опять въ прелестную Францію?

Болеславскій. Нѣтъ, нѣтъ! въ Камчатку, на край свѣта! какъ можно далѣе отъ милыхъ просвѣщенныхъ женщинъ.

Софья. И вы скоро ѣдете?

Болеславскій. Да, сударыня, сегодня, сейчасъ, сію минуту! чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше! Прощайте! (*Хочетъ уйти*).

Софья (*въ сторону*). Ахъ, Сашенька, онъ уѣзжаетъ!

Саша. Пришлось мнѣ вступиться въ ваше горе! (*Болеславскому*). Погодите-ка, сударь, ѣздить въ Камчатку. (*Беретъ его за руку и ведетъ къ Софьѣ*).

Болеславскій. Куда ты ведешь меня?

Саша. А вотъ сюда; станьте-ка вотъ здѣсь. Теперь взгляните на барышню.

Болеславскій. Ахъ, Софья!

Софья. Ахъ, Болеславскій!

Саша. Прошу покорно! да вы въ самомъ дѣлѣ другъ друга терпѣть не можете! Не стыдно ли, сударь, вы не могли до сихъ поръ примѣтить, что это было только небольшое испытаніе.

Болеславскій. Что я слышу? Правда ли это?

Софья. Какая вамъ нужда до этого! Вы меня не любите.

Болеславскій. Больше, чѣмъ когда-нибудь! Я никогда не переставалъ любить васъ?

Софья. Отдыхаю!

Болеславскій. Итакъ, это была одна только шутка?

Софья. И вы можете въ этомъ еще сомнѣваться?

Болеславскій. Вы возвращаете мнѣ жизнь.

Софья. Простите ли вы мнѣ, Болеславскій? Я, я поступила такъ легкомысленно!

Саша. Тише! сюда идутъ.

ЯВЛЕНІЕ ШЕСТОЕ.

Тѣ-же, Волгинъ и Радугина.

Волгинъ. Да отстанешь ли ты отъ меня?

Радугина. Нѣтъ, сударь, нѣтъ! я не перестану тебѣ твердить, что ты безъ вкуса, безъ души!

Волгинъ. Да тьфу пропасть! что за бѣда!

Радугина. Что за бѣда! безсовѣстный! что за бѣда!—заснуть, слушая мою драму, лучшую мою драму!

Софья (*подводя Болеславскаю*). Сестрица!..

Радугина. Драму, которая должна привести въ восхищеніе каждаго!..

Софья. Сестрица!..

Радугина. Заснуть! Ахъ, Боже мой! заснуть при князѣ и Шмелевѣ; заставить ихъ уйти изъ кабинета, прервать мое чтеніе, и онъ же говоритъ: что за бѣда! заснуть вмѣсто того, чтобъ восхищаться...

Волгинъ. Да кой чортъ! кому придетъ въ голову восхищаться, слушая твои бредни!

Радугина. Мои бредни! О невѣжество! и онъ мнѣ родной братъ! и мы родились съ нимъ отъ одной матери!

Софья. Сестрица!..

Радугина. А! это ты, Сонюшка! Вообрази, что надѣлалъ любезный мой братецъ! Пришелъ ко мнѣ въ кабинетъ, какъ путный человѣкъ, слушать,—и что же? Въ самомъ интересномъ мѣстѣ, когда князь и Шмелевъ таяли отъ восхищенія, утопали въ восторгахъ...

Волгинъ. Да обернись, матушка!

Радугина. Заснулъ! Князь и Шмелевъ, будучи не въ силахъ удержаться отъ смѣха, изъ пристойности вышли вонъ. Я должна была перестать читать.

Болеславскій (*подходя къ Радугиной*). Позвольте мнѣ, сударыня...

Радугина (*увидя Болеславскаю*). Ахъ, извините?..

Волгинъ. Рекомендую тебѣ, сестра, пріятеля моего Людмилова.

Радугина. Очень рада, сударь. (*Болеславскій кланяется*).

Волгинъ. Славный малый! жаль только, что онъ также, какъ ты, бредитъ стихами.

Болеславскій. Я, сударь?..

Радугина. Тѣмъ лучше, тѣмъ лучше! я люблю людей съ талантами, и братъ очень одолжилъ меня, доставя случай съ вами познакомиться.

Болеславскій. Я считаю себѣ за особенную честь...

Радугина. Позвольте узнать, въ какомъ родѣ вы болѣе пишете?

Болеславскій. Въ какомъ родѣ?.. я не знаю, сударыня.

Радугина. О! я вижу, вы не хотите сказать; но, впрочемъ, всѣ роды хороши, выключая скучнаго.

Волгинъ. Ну, сестра, дурной же ты родъ для себя выбрала.

Радугина. Опять!.. Послушай, братецъ, эпиграммы твои становятся несносными, и если-бъ я имѣла менѣе терпѣнія...

Волгинъ. Дай-то Богъ, чтобъ у тебя его было столько же, какъ у тѣхъ, которые слушаютъ твои драмы.

Радугина. Мои драмы! безбожникъ! мои драмы! Вѣдь надобно же имѣть мѣдный лобъ, чтобъ говорить о моихъ драмахъ тому, кто... (*Болеславскому*). Я положусь на васъ, сударь: вы человѣкъ съ талантомъ, слѣдственно умѣете сами цѣнить дарованія. Какъ вы думаете: что сдѣлалъ вашъ пріятель, который говоритъ съ такою насмѣшкою о моихъ драмахъ?

Волгинъ. Что сдѣлалъ? А вотъ что: она стала мнѣ читать какую-то претолстую драмищу; на первомъ листѣ я началъ зѣвать, на второмъ задремалъ, а на третьемъ заснулъ,—вотъ и все тутъ.

Радугина. Заснулъ! Слышите ли, батюшка, заснулъ!

Болеславскій. Г-на Волгина можно извинить: онъ только что пріѣхалъ изъ дороги,—усталость...

Радугина. Какія жалкія причины! Можно ли чувствовать усталость, когда сердце растрогано? Я прочту вамъ мою пьесу,—вы увидите, что въ ней есть такія мѣста, такія сцены...

Волгинъ (*сквозь зубы*). Хвались, хвались, ржаная каша!

Радугина. Я, сударь, не хвалю себя; я очень чувствую свои недостатки... но со всѣмъ тѣмъ, несмотря на это, я не говорю ничего... Вы услышите сами.

Болеславскій. Я очень вѣрю, сударыня.

Радугина. Сюжетъ моей драмы самый интересный; вотъ изволите видѣть: одинъ жестокій отецъ имѣетъ одну несчастную дочь, которая влюблена въ одного страстнаго любовника; этотъ страстный любовникъ имѣетъ нѣжную мать, которая родная сестра одному почтенному старику, который...

Волгинъ (*зѣваетъ*). Помилуй, сестра! меня опять дремота беретъ.

Радугина. Нѣтъ, это выше всякаго понятія! Люди съ умомъ восхищаются моими произведеніями, а мой братецъ...

Волгинъ. Да они восхищаются-то тебѣ въ глаза, а послушала бы ты, что говорятъ о тебѣ заочно.

Радугина. Ты думаешь, мнѣ льстятъ? Знаешь ли: очень легко доказать, что ты ошибаешься.

Волгинъ. Право?.. желалъ бы очень.

Радугина (*Софьѣ*). Ты читала мои стихи подъ названіемъ: «Ѳиміамъ Музамъ?»

Софья. Читала, сестрица.

Радугина. Но ты не знаешь, что я послала ихъ вчера къ Шмелеву съ просьбою напечатать ихъ въ журналѣ.

Софья. Нѣтъ, сестрица.

Радугина. Мнѣ хотѣлось сдѣлать сюрпризъ моимъ знакомымъ, и для того я скрыла мое имя. Шмелевъ не знаетъ, кто сочинялъ ихъ, слѣдственно скажетъ о нихъ откровенное свое мнѣніе. Я постараюсь завести объ этомъ рѣчь, и ты услышишь самъ, братецъ.

Волгинъ. Услышу! услышу!

ЯВЛЕНІЕ СЕДЬМОЕ.

Тѣ-же, Шмелевъ, князь и Сластилкинъ.

Радугина. А, князь! Рекомендую вамъ пріятеля моего брата. (*Князь и Болеславскій кланяются. Радугина тихо князю*). Это молодой стихотворецъ съ большимъ талантомъ. (*Громко*). Безъ сомнѣнія, г-нъ Людмиловъ пробудетъ у насъ цѣлый день?

Болеславскій. Съ великимъ удовольствіемъ, сударыня.

Радугина. У насъ сегодня вечеромъ небольшое чтеніе; я надѣюсь, вы не откажетесь что-нибудь прочесть.

Болеславскій. Охотно бы выполнилъ вашу волю, но...

Радугина. Г-нъ Людмиловъ! не заставляйте себя просить.

Болеславскій. Это не моя привычка, сударыня; но, клянусь вамъ, у меня теперь ничего нѣтъ.

Радугина. Пустая отговорка, сударь! пустая отговорка!

Шмелевъ. Если не ошибаюсь, вы никогда еще не выпускали въ свѣтъ вашихъ сочиненій?

Болеславскій. Нѣтъ, сударь; у насъ и безъ меня такъ много сочинителей.

Князь. А особливо нынче, когда страсть печатать сдѣлалась общею.

Шмелевъ. Кто знаетъ это лучше меня: я намѣренъ скоро продавать на вѣсъ прозу и стихи, которыми меня со всѣхъ сторонъ заливаютъ.

Радугина. Не получили ли вы чего нибудь новаго на этой недѣлѣ?

Шмелевъ. На нынѣшней... бездѣлицу! два посланія изъ Вятки, три элегіи изъ Саратова, четыре баллады изъ Петербурга, двадцать эпиграммъ отъ здѣшнихъ авторовъ да одну торжественную оду изъ Уфы.

Радугина. И больше ничего?

Шмелевъ. Ничего... Ахъ, нѣтъ! извините, я было забылъ про самую интересную пьесу, — какой то «Ѳиміамъ Музамъ» отъ неизвѣстнаго.

Радугина. (*тихо Волгину*). Слышишь ли? самую интересную.

Шмелевъ. Она подлинно заслуживаетъ большого вниманія!

Радугинъ (*тихо Волгину*). Слышишь ли?

Шмелевъ. Мнѣ не удавалось читать еще никогда такой несравненной, такой превосходной...

Радугина. Неужели!..

Шмелевъ. Нелѣпости! Я не понялъ изъ нея ни одного слова.

Волгинъ. Слышишь ли, сестра?

Радугина (*тихо Волгину*). Молчи, братецъ!

Князь. Что жъ вы сдѣлали съ этимъ «Ѳиміамомъ?»

Шмелевъ. Раскурилъ имъ трубку.

Волгинъ. Слышишь ли, сестра?

Радугина (*тихо*). Братецъ!

Софья. Какое жестокосердіе!

Шмелевъ. Напротивъ, я изъ состраданія къ бѣдному автору не хотѣлъ ихъ напечатать.

Радугина (*съ скрытою досадою*). Я думаю, онъ обошелся бы и безъ вашего состраданія, г-нъ Шмелевъ.

Шмелевъ. Въ этомъ я увѣренъ; онъ, вѣрно, не чувствуетъ моего благодѣянія.

Радугина. Надобно признаться, г-нъ Шмелевъ отмѣнно строгъ ко всѣмъ, включая самого себя.

Шмелевъ. Какъ, сударыня?

Радугина. Да, сударь, я совѣтовала бы вамъ посматривать иногда и на то, что вы сами пишите.

Шмелевъ (*въ сторону*). Что это значитъ? Неужели!

Волгинъ (*громко*). Сестра! Чтожъ ты сердишься? Вѣдь этакъ всѣ узнаютъ, что стихи-то твои.

Радугина (*съ жаромъ*). Да, сударь, они мои, и я, несмотря на всѣхъ журналистовъ въ свѣтѣ, не стыжусь назвать ихъ своими.

Шмелевъ. Прекрасно! наконецъ вы сами попались; и вы думали, сударыня, что я не узнаю ваши стихи оттого, что вы не подписали своего имени?

Радугина. Какъ! вы знали...

Шмелевъ. Да, сударыня, вы скрыли свое имя, но могли ли вы скрыть эти красоты воз-

зіи, эту прелесть слога, которая однимъ вамъ свойственна?

Радугина. Что же должна я думать?

Шмелевъ. Что я хотѣлъ заставить васъ признаться и для того долженъ былъ тронуть авторское самолюбіе, впрочемъ, простительное для женщины съ вашимъ талантомъ; я спорилъ объ этихъ стихахъ съ княземъ: онъ не хотѣлъ вѣрить, что они ваши. Ну, князь, теперь видите, кто изъ насъ правъ.

Князь. Признаюсь, сударыня, я всегда былъ увѣренъ въ дарованіяхъ вашихъ; но такіе стихи...

Радугина. Прошу покорно! надобно же быть дурой, чтобъ не догадаться. Ну, г-нъ Шмелевъ, поддѣли же вы меня.

Волгинъ. Вывернулся, какъ вывернулся, проклятый!

Князь (*тихо Шмелеву*). Вы хорошо отдѣлались!..

Шмелевъ. Не совсѣмъ: мнѣ надобно ихъ завтра напечатать, а я...

Князь. Погодите. (*Громко*). Сударыня, завтра ваши стихи будутъ напечатаны; но мнѣ бы очень пріятно было прочесть ихъ прежде...

Радугина. Я очень рада вамъ услужить: вы сегодня же получите съ нихъ копію.

Князь. Надѣюсь, вашей руки?

Радугина. Если вы хотите.

Волгинъ (*смотря на часы*). Сестра, третій часъ; что по вашему, ученому-то, въ которомъ часу обѣдаютъ?

Радугина. Теперь еще рано.

Волгинъ. Да мы съ Людмиловымъ люди деревенскіе,—по-нашему такъ пора бы ужъ изъ за-стола.

Радугина. Всего лучше, не угодно ли вамъ, любезные мои гости, въ зало; тамъ приготовленъ завтракъ.

Волгинъ (*Болеславскому*). Пойдемъ-ка, братъ, да закусимъ чего-нибудь.

Радугина (*прочимъ*). Прошу покорно, господа. (*Всѣ уходятъ; князь останавливаетъ Радугину*).

ЯВЛЕНІЕ ВОСЬМОЕ.

Князь и Радугина.

Князь. Одно слово, сударыня! Я хочу спросить васъ...

Радугина. Получила ли я ваши стихи? Да, князь, они прекрасны!

Князь. Нѣтъ, сударыня...

Радугина. Какъ нѣтъ? О! въ этомъ никто не будетъ согласенъ съ вами.

Князь. Но я хотѣлъ сказать...

Радугина. Вы хотите сказать, что они нехороши. Князь! вы очень скромны!

Князь. Оставимте это, я...

Радугина. Нѣтъ, нѣтъ! я не намѣрена щадить вашей скромности...

Князь (*съ нѣкоторою досадою*). Ахъ, Боже мой! да выслушайте меня...

Радугина. Такое смиреніе прилично людямъ съ обыкновенными дарованіями, но человѣкъ съ вашимъ умомъ, съ вашими познаніями...

Князь. Но я хотѣлъ говорить не о стихахъ, сударыня...

Радугина. Не о стихахъ! О чемъ же?

Князь. О вашей сестрицѣ.

Радугина. О сестрѣ!

Князь. Скажите, могу ли я имѣть надежду, что исканіе мое не противно Софьѣ, что я узнаю, наконецъ, рѣшеніе моей участи?..

Радугина. И гораздо скорѣе, чѣмъ вы думаете.

Князь. Неужели?

Радугина. Знаете ли вы, какое имѣли дѣйствіе стихи ваши надъ Софьею?

Князь. Они ей понравились...

Радугина. Она отъ нихъ безъ памяти.

Князь. Я очень радъ.

Радугина. Софья призналась мнѣ даже, что не могла бы видѣть равнодушно автора сихъ стиховъ.

Князь. Вы шутите.

Радугина. Каждый стихъ казался ей превосходнымъ.

Князь. Знаетъ ли Софья, что они мои?

Радугина. Нѣтъ еще; гораздо лучше, если вы объявите объ этотъ вечеромъ; вы будете ихъ читать при полномъ собраніи; а теперь, князь, ступайте къ Софьѣ, старайтесь быть какъ можно любезнѣе и, если я не ошибаюсь, то, можетъ быть, нынче же... Но что будетъ, то будетъ, впередъ нечего загадывать.

Князь. Прощайте, сударыня; я спѣшу къ прелестной вашей сестрицѣ.

ЯВЛЕНІЕ ДЕВЯТОЕ.

Радугина (*одна*). Надо постараться показать брату наше общество во всемъ его блескѣ. Сашенька, Сашенька!

ЯВЛЕНІЕ ДЕСЯТОЕ.

Радугина и Саша.

Саша. Что прикажете, сударыня?

Радугина. Все ли у тебя приготовлено къ вечеру?

Саша. Извольте приказывать, сударыня.

Радугина. Чтеніе будетъ въ кабинетѣ; письменный мой столъ накрыть краснымъ сукномъ.

Саша. Слушаю, сударыня.

Радугина. Кругомъ поставить стулья.

Саша. Слушаю, сударыня.

Радугина. На столъ противъ каждаго стула положить по листу бѣлой бумаги.

Саша. Развѣ ваши гости будутъ писать, а не читать?

Радугина. Нѣтъ, дура! это одна проформа: такъ вездѣ водится. На столъ поставить мою большую чернильницу.

Саша. Слышу, сударыня.

Радугина. И два бронзовыхъ канделябра съ восковыми свѣчами.

Саша. Слушаю, сударыня.

Радугина. Теперь ступай. Постой, постой! Я забыла самое нужное: приготовь поболѣе воды съ сахаромъ и поставь также на столъ.

Саша. Слушаю, сударыня. (*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ ОДИННАДЦАТОЕ.

Радугина (*одна*). Ну, кажется, все приказано, что нужно. А! да вотъ и Сластилкинъ.

ЯВЛЕНІЕ ДВѢНАДЦАТОЕ.

Радугина и Сластилкинъ.

Сластилкинъ. Я васъ ищу, сударыня, и изъ ума вонъ, что у меня есть къ вамъ порученіе отъ Тиранкина.

Радугина. Что такое, батюшка?

Сластилкинъ. Онъ проситъ извинить его,—ему никакъ нельзя быть у васъ сегодня.

Радугина. Нельзя? Быть не можетъ! Онъ обѣщалъ мнѣ сегодня читать у меня свою новую комедію.

Сластилкинъ. Онъ очень занятъ планомъ трагедіи, которую хочетъ непремѣнно кончить на будущей недѣлѣ.

Радугина. Нельзя быть! вотъ пріятели! ты на нихъ надѣешься, считаешь... а они!.. Нельзя быть, боится ли онъ Бога? нельзя быть! безсовѣстный!

ЯВЛЕНІЕ ТРИНАДЦАТОЕ.

Тѣ-же и Дребедневъ.

Радугина. А! г-нъ Дребедневъ!

Дребедневъ. Я сейчасъ отъ Змѣйкина, сударыня; онъ никакъ не можетъ быть у васъ сегодня.

Радугина. Какъ! и Змѣйкинъ...

Дребедневъ. Бѣдняжка въ страшномъ горѣ: онъ потерялъ родного дядю, который оставилъ ему въ наслѣдство три тысячи душъ. Вы не можете вообразить, въ какомъ онъ отчаяніи.

Радугина. Какое несчастіе! и надобно ж было этому дядѣ умереть сегодня!

ЯВЛЕНІЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ.

Тѣ-же и слуга.

Слуга. Отъ г-на Усыпляева. (*Подаетъ письмо*).

Радугина. Отъ Усыпляева! неужели и онъ... нѣтъ, нѣтъ! быть не можетъ! (*Читаетъ*). «Нынѣшнимъ вечеромъ хотѣлъ я читать у васъ мою сатиру, но, къ крайнему моему сожалѣнію, не могу выполнить своего обѣщанія».—Не можетъ!—«Вчера былъ я въ театрѣ, давали комедію общаго нашего злодѣя Честонова. Несносная публика приняла ее рукоплесканіемъ. Я взбѣсился, хотѣлъ освистать комедію, актеровъ, зрителей; отъ ужасной досады у меня разлилась желчь, и я долженъ теперь поневолѣ сидѣть дома!» Ну, и есть люди, которые говорятъ, что Честоновъ добрый человѣкъ. Злодѣй! И зачѣмъ было Усыпляеву смотрѣть эту проклятую комедію? Ну, господа, у меня на васъ теперь только и надежда.

Дребедневъ. Къ несчастію, у меня, кромѣ двухъ строфъ новой оды, ничего къ сегодняшнему вечеру не приготовлено.

Радугина. (*Сластилкину*). Нѣтъ ли хоть у васъ чего-нибудь?

Сластилкинъ. Ничего, сударыня; я полагалъ, что и безъ меня довольно будетъ чтенія.

Радугина. Ничего? Ахъ, Боже мой! да какъ не имѣть чего въ запасѣ? Прекрасно! Что скажетъ братъ? Что скажетъ г. Людмиловъ? А я хотѣла ихъ удивить, поразить, заставить восхищаться! (*Дребедневу*). Нельзя ли написать что-нибудь на скорую руку? что-нибудь! бездѣлицу! хоть какую-нибудь торжественную оду!

Дребедневъ. Я, право, не могу.

Радугина. Что мнѣ дѣлать? Осрамлюсь я передъ этимъ пріѣзжимъ; что онъ обо мнѣ подумаетъ? (*Сластилкину*). Батюшка, выкупи изъ бѣды, постарайся, поройся въ своихъ бумагахъ, нѣтъ ли у тебя какой завалящей элегіи?

Сластилкинъ. Постойте, сударыня: у меня, кажется, есть одинъ сентиментальный отрывокъ прозы (*шаритъ въ карманѣ*). Такъ точно! (*Вынимаетъ бумаги и читаетъ*). «Вздохи души моей, или мечтанія и мысли при лунномъ свѣтѣ на берегу тихо журчащаго ручейка».

Радугина. Прекрасно! прекрасно!..

Сластилкинъ. Я его окончу непремѣнно къ вечеру.

Радугина. Постарайтесь только, чтобъ онъ былъ длиннѣе. Пойдемте теперь обѣдать. Г-нъ Сластилкинъ, еслибъ вы вмѣсто обѣда пошли ко мнѣ въ кабинетъ окончить вашъ отрывокъ?

Сластилкинъ. Вмѣсто обѣда? о, Боже

сохрани! да я и двухъ словъ не напишу на тощій желудокъ.

Радугина. По крайней мѣрѣ тотчасъ послѣ обѣда.

Сластилкинъ. Не безпокойтесь, лишь только изъ-за стола, то и за перо.

КОНЕЦЪ ВТОРОГО ДѢЙСТВІЯ.

ДѢЙСТВІЕ ТРЕТЬЕ.

На сценѣ столъ, накрытый краснымъ сукномъ.

ЯВЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

Саша (*одна*). Я думаю, скоро уже начнется чтеніе; надобно приготовить и зажечь свѣчи. (*Беретъ ихъ со стола и ставитъ въ шандалы*). Вотъ бѣда! нечѣмъ подвернуть; онѣ такъ держаться не будутъ. А! это что за листъ? Какой измаранный! (*Читаетъ*). «Ахъ! увы! милая природа». Такъ точно, сочиненіе г-на Сластилкина; вѣрно, написано начерно: почти всѣ слова перекрещены. Кстати же онъ его здѣсь бросилъ. (*Беретъ и подвертываетъ онымъ свѣчи*).

ЯВЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

Саша, Софья и князь Вечеславинъ.

Князь. Нѣтъ, сударыня! я не отстану отъ васъ: я хочу непремѣнно, чтобъ вы сказали...

Софья. Какъ вы мнѣ наскучили, князь.

Князь. Я постараюсь вамъ наскучить еще болѣе; можетъ быть, вы рѣшитесь тогда отвѣчать на мои вопросы.

Софья. Прекрасное средство! и, вѣрно, оно вамъ часто удается.

Князь. Всегда ли вы будете платить за любовь мою одною холодностью?

Софья. Перестанете ли вы когда-нибудь мучить меня своими жалобами?

Князь. Признайтесь сами, можно ли быть постояннѣе меня?

Софья. Согласитесь, князь, что я очень терпѣлива.

Князь. Вотъ уже два мѣсяца, какъ я говорю вамъ безпрестанно о любви моей и сношу вашу холодность.

Софья. Вотъ уже два часа, какъ я слушаю это и не мѣшаю вамъ говорить.

Князь. Вы всегда избѣгаете изъясненія. Узнаю ли я когда-нибудь причину вашего равнодушія?

Софья. Вы хотите знать ее,—извольте: я не могу принадлежать вамъ,—выборъ мой уже сдѣланъ.

Князь. Какъ, сударыня?

Софья. Да, князь, нынѣшнимъ утромъ я рѣшилась, и ничто въ свѣтѣ не перемѣнитъ моего намѣренія.

Князь. Нынѣшнимъ утромъ? А! понимаю, сударыня: этотъ пріѣзжій, который былъ знакомъ съ вами еще въ деревнѣ...

Софья. Вы думаете, что Людмиловъ?

Князь. Нѣтъ, право, не думаю этого... я такъ недогадливъ... я ошибаюсь...

Софья. Да, князь, вы ошибаетесь.

Князь. Неужели? Позвольте же мнѣ узнать имя счастливаго смертнаго...

Софья. Я и сама еще не знаю.

Князь. Вы смѣетесь надо мною.

Софья. Князь, вы любезны, имѣете много достоинствъ, но все это не составило бы моего счастія: я хотѣла имѣть мужемъ человѣка, который восхищалъ бы меня своимъ талантомъ; я нашла его и твердо рѣшилась принадлежать ему, или не быть никогда замужемъ. Этотъ человѣкъ есть извѣстный сочинитель стиховъ, которые сестрица получила сегодняшнимъ утромъ.

Князь (*въ сторону*). Что я слышу!

Софья. Смѣйтесь надо мною, называйте меня мечтательницею, сумасшедшею, всѣмъ, чѣмъ вамъ угодно, но я не перемѣню своего намѣренія.

Князь. Напротивъ, я...

Софья. Я хочу доказать, что женщины умѣютъ не менѣе мужчинъ цѣнить таланты и дарованія.

Князь. Кто смѣетъ сомнѣваться въ этомъ. (*Въ сторону*). Какое счастіе!

Софья. Вы заставили меня признаться, и если это для васъ непріятно...

Князь. О! нѣтъ, сударыня, признаніе ваше восхищаетъ меня!

Софья. Восхищаетъ васъ? Какъ, сударь? Неужели? Но я не хочу теперь ничего знать...

Князь. Неизвѣстный, котораго стихи имѣли счастіе вамъ понравиться...

Софья. Не долженъ еще открывать своего имени.

Князь. Но можно-ли удержаться?..

Софья. Князь! я имѣю на то свои причины, я хочу этого.

Князь. Вы хотите? Желанія ваши для меня законы,—я молчу, сударыня.

Софья. Нынче на чтеніи мы его узнаемъ, и тогда, если онъ меня любитъ...

Князь. Онъ обожаетъ васъ!

Софья. Я повторю при всѣхъ обѣщаніе принадлежать ему.

Князь. Какъ онъ благополученъ! (*Въ сторону*). Я не ожидалъ такой счастливой развязки.

Софья. Теперь вы видите, что Людмиловъ для васъ совсѣмъ не опасенъ.

Князь. Мнѣ, право, жаль его. Бѣдняжка! онъ васъ любитъ, я это замѣтилъ, точно замѣтилъ! Можетъ быть, въ деревнѣ вы отличали его отъ прочихъ знакомыхъ вашихъ.

Софья. Это правда.

Князь. Такъ точно! онъ, вѣрно, надѣется и, что всего забавнѣе, сколько я могъ заклю-

тить, онъ никакъ не предчувствуетъ этого громового удара; онъ такъ спокоенъ, такъ увѣренъ... и вдругъ, какой сюрпризъ! ха! ха! ха! бѣдный Людмиловъ!

Софья. Перестаньте, князь, пожалѣйте его.

Князь. Я пойду теперь къ г-жѣ Радугиной. Она знаетъ намѣреніе ваше?

Софья. Да, князь, я сказала ей, что никто, кромѣ неизвѣстнаго сочинителя стиховъ, не получитъ моей руки.

Князь. И она...

Софья. Согласна на это.

ЯВЛЕНІЕ ТРЕТЬЕ.

Прежніе и Болеславскій.

Князь. Я внѣ себя отъ восхищенія! Ахъ, сударыня, если-бъ я могъ... но я не говорю теперь ничего; черезъ полчаса вы узнаете неизвѣстнаго, который... но я повинуюсь вамъ и молчу. (*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Софья и Болеславскій.

Софья. Князь сказалъ правду! это будетъ такой забавный сюрпризъ!.. (*Увидя Болеславскаго*). Ахъ! это вы?

Болеславскій. Князь оставилъ васъ въ такомъ восхищеніи, онъ говорилъ о какомъ-то неизвѣстномъ...

Софья. Который долженъ быть непремѣнно моимъ мужемъ.

Болеславскій. Неизвѣстный! вашимъ мужемъ! что это значитъ? но вы вѣрно шутите?

Софья. Нѣтъ, Болеславскій, я говорю правду. Сегодня сестрица получила отъ какого-то неизвѣстнаго стихи; они свели меня съ ума, и я рѣшилась отдать свою руку тому, кто сочинилъ ихъ.

Болеславскій. А! теперь понимаю: это опять небольшое испытаніе.

Софья. Увѣряю васъ, я говорю нешутя.

Болеславскій. Въ самомъ дѣлѣ, это такъ походитъ на истину.

ЯВЛЕНІЕ ПЯТОЕ.

Тѣ-же и Волгинъ.

Волгинъ (*Софьѣ*). Я тебя искалъ вездѣ. Правда-ли, что и ты также сошла съ ума?

Софья. Какъ, братецъ?

Волгинъ. Правда-ли, что ты хочешь выйти замужъ за какого-то риѳмача, который прислалъ сегодня къ сестрѣ стихи?

Софья. Правда, братецъ.

Волгинъ. Итакъ, сестра меня не обманула. Ну, голубушки, я вижу, вамъ обѣимъ не миновать желтаго дома. (*Болеславскому*). Пойдемъ, братъ.

Болеславскій. Однако-жъ, сударыня, такая шутка... я надѣюсь, вы скоро ее кончите.

Софья. Я увѣрена, братецъ, вы не откажетесь быть на моей свадьбѣ.

Волгинъ. На твоей свадьбѣ?

Софья. Даже и тогда, если я выйду за Болеславскаго?

Волгинъ. За Болеславскаго? Да что это за вздоръ. То то, то другое. Что ты морочишь что-ли насъ?

Софья. Это моя тайна; подождите полчаса и вы все узнаете.

Волгинъ. Послушай, Софья, я загадокъ не люблю, да мнѣ-же некогда и дожидаться; у васъ начнется сейчасъ чтеніе, такъ я намѣренъ заранѣе убраться по-добру да поздорову.

Софья. Вотъ этого-то вамъ и не надобно дѣлать; вы должны непремѣнно быть при развязкѣ.

Болеславскій. Останьтесь, сударь; я самъ также горю нетерпѣніемъ видѣть, что все это значитъ.

Волгинъ. Да развѣ ты не можешь сказать теперь?

Софья. Никакъ... но тише,—сюда идутъ.

ЯВЛЕНІЕ ШЕСТОЕ.

Тѣ-же и Радугина.

Радугина. Ахъ, братецъ! ты здѣсь. (*Людмилову*). И вы также? а я было испугалась, думала, что вы уѣхали. Саша, зови всѣхъ сюда. (*Саша уходитъ*).

Волгинъ. Ну, нечего дѣлать, попался я какъ куръ во щи! Однако, смотри, сестра, чуръ не сердиться,—неравно меня сонъ одолѣетъ.

Радугина. Не безпокойся, я увѣрена, ты не заснешь.

ЯВЛЕНІЕ СЕДЬМОЕ.

Тѣ-же и Снѣгинъ.

Радугина. А! г-нъ Снѣгинъ! я ужъ думала, что и вы не будете?

Снѣгинъ. Я немного опоздалъ, сударыня; разныя хлопоты, дѣла...

Радугина. У васъ, вѣрно, есть что-нибудь новенькое.

Снѣгинъ. Да, сударыня, со мной есть кой-что, небольшая бездѣлка, которую я буду имѣть счастіе представить сегодня на благоразсмотрѣніе всего почтеннаго общества.

ЯВЛЕНІЕ ВОСЬМОЕ.

Тѣ-же, князь, Шмелевъ, Сластилкинъ, Дребедневъ и Саша.

Снѣгинъ (*подходя къ князю, кланяется*). Ваше сіятельство!

Князь. А! г-нъ Снѣгинъ, очень радъ васъ видѣть.

Радугина. Князь, прошу покорно занять ваше мѣсто. Господа! (*Всѣ садятся за столъ, выключая Софьи, Волгина и Болеславскаго*). Г-нъ Людмиловъ, не хотите-ли вы также?

Болеславскій. Позвольте мнѣ остаться въ числѣ слушателей, сударыня.

Волгинъ. Садись-ка подлѣ меня, братъ. (*Волгинъ, Софья и Болеславскій садятся на другой сторонѣ театра*).

Радугина. Г-нъ Сластилкинъ, не угодно-ли вамъ начать?

Сластилкинъ. Сейчасъ, сударыня. (*Вынимаетъ бумаги, кашляетъ и начинаетъ читать*). «Вздохи души моей, или мысли и мечтанія при лунномъ свѣтѣ».

Волгинъ. А смѣю спросить, батюшка, много-ли листовъ въ этихъ вздохахъ?

Радугина. Тсъ! братецъ, прошу не прерывать чтенія. Продолжайте, г-нъ Сластилкинъ.

Сластилкинъ (*читаетъ*). «Какая глубокая тишина! какое мертвое молчаніе! Все тихо, все предано сну; вся природа дремлетъ; одинъ я лишенъ покоя. Увы! сонъ бѣжитъ несчастныхъ! я сижу подъ тѣнью вѣтвистаго дуба, на берегу мирнаго ручейка; вздохи мои мѣшаются съ бурнымъ его журчаніемъ, и ночное эхо разноситъ ихъ по воздуху. Ахъ! сказалъ я... Ахъ! сказалъ я... (*Перевертываетъ листъ*). Ахъ! сказалъ я...» (*Снова перевертываетъ*).

Волгинъ. Ну, сударь, «ахъ! сказали вы.»

Сластилкинъ. Что это значитъ? изъ самой середины недостаетъ одного листа.

Радугина. Неужели?

Сластилкинъ. Я не знаю, куда онъ дѣвался. Вѣрно, я оставилъ его, когда здѣсь писалъ.

Саша. На столѣ, сударь, валялся листъ, весь измаранный.

Сластилкинъ. Гдѣ-же онъ?

Саша. Онъ, сударь... онъ...

Радугина. Да скажешь-ли ты?

Саша. Ахъ, сударыня! я... виновата, я думала, что онъ ни на что не годится, и...

Сластилкинъ. Да гдѣ-же онъ?

Саша. (*показывая на свѣчи*). Вотъ здѣсь, сударь.

Сластилкинъ. Боже мой! она подвернула имъ свѣчи.

Волгинъ. Ха! ха! ха! ай-да Саша!

Радугина. Прошу покорно! Ахъ, ты негодница! Да дѣлать нечего. Добро ты, голубушка! Господа, не угодно-ли вамъ?.. (*Дребедневъ и Снѣгинъ начинаютъ вмѣстѣ читать*).

Дребедневъ. «Къ Полигимнѣ, ода, строфа первая».

Снѣгинъ. «Погибшее дитя, романическая повѣсть».

Шмелевъ. Поодиночкѣ, господа, ради Бога, поодиночкѣ!

Снѣгинъ. Очень хорошо, я начну первый.

Дребедневъ. Вы можете погодить, г-нъ Снѣгинъ.

Снѣгинъ. А почему-бы такъ, если смѣю спросить, г-нъ Дребедневъ?

Волгинъ. Послушайте-ка, господа, читайте вмѣстѣ, авось этакъ скорѣй кончите.

Радугина. Мнѣ пріятно видѣть, господа, такое благородное рвеніе; но я полагаю, что намъ лучше начать съ оды. Г-нъ Дребедневъ!

Дребедневъ. Гмъ! гмъ! «Къ многопѣсной Полигимнѣ, ода», то есть лирическое произведеніе.

Шмелевъ. Благодаримъ за поясненіе.

Дребедневъ. Я представляю на разсмотрѣніе почтеннаго общества только двѣ строфы сей оды, — произведеніе минуты пламеннаго восторга!

Къ Полигимнѣ!..

Небо пылаетъ, грозныя тучи
Быстро несутся съ звѣздныхъ высотъ;
Бури волнуютъ воды зыбучи,
Въ страхѣ Эратой дышетъ Эротъ!
Кто се грядетъ къ намъ со свода небесна?
Ты-ль, Полигимна? Ты-ль, многопѣсна?
Твой-ли священный образъ я зрю?
Полно-жъ пѣть мнѣ, речетъ гордыни,
Свѣтъ для риемы гнусныя дыни,—
Духомъ теперь я къ небу вспарю!

Радугина. Что твой Ломоносовъ! Какая быстрота!

Снѣгинъ (*важно*). Строфа достойна Пиндара и Горація.

Сластилк. Небо пылаетъ! Грозныя тучи!

Радугина. Быстро несутся съ звѣздныхъ высотъ!—Какая величественная картина!

Дребедневъ.

Тщетно уранги, буйно строптивы,
Силются стрѣлы въ грудь мнѣ вонзить;
Черви, грызущи тощія нивы,
Могутъ-ли птицу Зевеса язвить?
Горе крамольнымъ, если воспряну!
Палицей грозной въ дерзкихъ я гряну;
Всѣ обратятся мигомъ во прахъ!..
Ужасъ пройдетъ отъ рода до рода,
И отъ земли до небеснаго свода
Слухъ о моихъ разнесется дѣлахъ!

Радугина. Превосходно! Какой лирическій безпорядокъ!

Сластилкинъ. Какая описательная поэзія!

Снѣгинъ. Какое звукоподражаніе!

Радугина. Палицей грозной! то есть грозной палицей, гнетущей палицей!

Сластилкинъ. Прелестно!

Волгинъ. Чортъ возьми, если я тутъ хоть одно слово понимаю.

Радугина. Бѣдненькій, мнѣ, право, тебя жаль. Какъ досадно, г. Дребедневъ, что ода

вышла не кончена: мы лишены большого удовольствія.

Дребедневъ. О! сударыня, вы слишкомъ милостивы.

Радугина. Г-нъ Снѣгинъ! у васъ есть что-то новенькое?

Снѣгинъ. Да, сударыня, это такъ, милая бездѣлка въ нѣмецкомъ мрачномъ родѣ, гдѣ все дышетъ въ ней истиннымъ чувствомъ и простотою.

Дребедневъ. Г. Снѣгинъ охотникъ до предисловій.

Снѣгинъ. Сюжетъ самый простой, самый невинный! Мальчикъ въ глухую осеннюю полночь ушелъ потихоньку отъ отца удить рыбу въ пустынномъ озерѣ. Водяные черти утащили его на дно, и несчастный погибъ невозвратно. Тутъ есть много поэтическихъ картинъ: мрачныя небеса и свѣтлая луна, тихое шептаніе вѣтерка и грозное завываніе водяной сволочи, скрежетъ зубовъ, визгъ, гудъ, гулъ, пискъ и прочія принадлежности. (*Вынимаетъ толстую тетрадь и кладетъ на столъ*).

Волгинъ. (*вскакиваетъ*). Помилуй, Господи! что это такое?

Радугина. Что ты, братецъ?

Волгинъ. Какъ что? Посмотри-ка, какую онъ тетрадищу вывалилъ!

Снѣгинъ. Въ ней всего пятьдесятъ листовъ.

Волгинъ. Только-то? Нѣтъ, сестра, слуга покорный! слушай эту милую бездѣлку кто хочетъ, а я...

Князь. Въ самомъ дѣлѣ, г. Снѣгинъ, ваше сочиненіе немного велико.

Снѣгинъ. Помилуйте, я берусь новую кончить съ небольшимъ въ два часа.

Князь. Позвольте мнѣ прежде прочесть стихи неизвѣстнаго сочинителя.

Радугина. Въ самомъ дѣлѣ! Князь, прочтите ихъ. Садись, братецъ; я увѣрена, ты съ удовольствіемъ ихъ выслушаешь: они не велики.

Софья. Я готова биться объ закладъ, что они очень понравятся г. Людмилову.

Болеславскій (*тихо Софьѣ*). Эти стихи...

Софья. Тѣ самые, которые вскружили мнѣ голову.

Князь. Сочинитель ихъ имѣетъ право на ваше снисхожденіе. Они написаны сегодняшнимъ утромъ въ четверть часа. (*Вынимаетъ стихи и читаетъ*).

«Къ моей любезной!»

Гонимый гнѣвною судьбою,
Я дни лишь горестьми считалъ;
Наскуча свѣтомъ и собою,
Одной отрады въ смерти ждалъ.

(*Пьетъ изъ стакана*).

Болеславскій (*въ сторону*). Что это значитъ? Не ошибаюсь ли я?

Князь (*продолжаетъ*).

Но вдругъ какъ солнцемъ озарилась
Унылая душа моя;
Надежда въ сердцѣ водворилась,—
Тебя, мой другъ, увидѣлъ я!

Болеславскій. Такъ точно, они мои! (*встаетъ*). Князь, эти стихи...

Софья. Прекрасны! не правда ли, г. Людмиловъ? Попрошу васъ удержаться отъ восторговъ,—выслушайте до конца. (*Болеславскій садится*).

Радугина (*брату*). Видишь ли, мой другъ, какое вліяніе имѣютъ хорошіе стихи на человѣка съ талантомъ: г-нъ Людмиловъ не могъ на стулѣ усидѣть.

Волгинъ. Въ самомъ дѣлѣ, онъ какъ будто не въ себѣ.

Радугина. Отъ восхищенія, мой милый!

Князь (*продолжаетъ читать*):

Что жизнь безъ страсти сердцу милой?
Печальный къ смерти переходъ!
На что ни взглянешь—все постыло,
Все къ горестямъ лишь насъ ведетъ;
Когда же къ чувствамъ прикоснется
Хоть искра страстнаго огня,
Тогда, мой другъ, лишь жизнь начнется—
Тогда и началась моя.

Радугина. Можетъ ли быть что лучше!

Софья (*тихо Болеславскому*). Потерпите еще немного (*Громко*). Сестрица, я обѣщала сказать при всѣхъ свое мнѣніе объ этихъ стихахъ.

Радугина. Да, да, милая.

Софья. Они до того мнѣ нравятся, что я говорю теперь рѣшительно: никто, кромѣ неизвѣстнаго сочинителя стиховъ, не получитъ мою руку, и кто бы онъ ни былъ...

Шмелевъ. Какъ, сударыня! кто бы онъ ни былъ?

Софья. Да, кто бы онъ ни былъ,—я держу свое слово.

Шмелевъ. Что я слышу? Такая богатая невѣста!

Софья (*сестрѣ*). Надѣюсь, вы не будете противиться моему желанію?

Радугина. Напротивъ, съ радостію соглашусь и утверждаю твой выборъ.

Софья. Братецъ, вы слышите—сестрица согласна.

Волгинъ. Да что это за комедія?

Князь (*встаетъ и всѣ также встаютъ*). Какое благополучіе! Теперь пора разорвать завѣсу, которая скрывала до сихъ поръ неизвѣстнаго. Прелестная Софья! ваша рука принадлежитъ мнѣ.

Софья. Какъ князь? Эти стихи...

Князь. Написаны мною.

Болеславскій. Нѣтъ! такая наглость... (*Громко*). Князь!..

Шмелевъ. Позвольте одно слово. (*Софьѣ*). И вы выполнили бы свое обѣщаніе и тогда, если бъ неизвѣстный былъ не князь, но простой, обыкновенный человѣкъ?

Софья. Безъ сомнѣнія.

Шмелевъ. А если такъ, то извините, князь, долженъ сказать правду: эти стихи не ваши.

Радугина. Какъ?

Князь. Что это значитъ, г-нъ Шмелевъ?

Шмелевъ. Они сочинены мною.

Радугина. Быть не можетъ.

Князь Г. журналистъ! вы съ ума сошли.

Шмелевъ. Извините, я въ полномъ разумѣ. (*Софьѣ*). Ваше слово, сударыня, должно быть для васъ священно: и если вы согласитесь сдѣлать счастливымъ человѣка, который втайнѣ обожалъ васъ, то я сейчасъ докажу, что эти стихи принадлежатъ мнѣ.

Князь. Такая дерзость!.. (*Радугиной*). Я удивляюсь, сударыня, что въ вашемъ домѣ смѣютъ меня манкировать до такой степени.

Радуг. Я тутъ ничего не понимаю, князь.

Болеславскій. Споръ этотъ тутъ не трудно кончить. Успокойтесь, господа! — зачѣмъ вамъ ссориться за чужіе стихи?

Радугина. Вотъ еще новое!

Князь. Какъ, сударь?!

Болесл. Стихи, которые вы сегодня поутру написали, сочинены три года тому назадъ.

Князь. (*съ гордостію*). Государь мой, совѣтую вамъ...

Болеславскій. Потише, князь! повторяю вамъ еще разъ; вы присвоили себѣ чужое; и если это вамъ не нравится...

Софья. То вы можете отсюда уѣхать.

Князь. И вы, сударыня? Прекрасно!.. здѣсь всѣ были въ заговорѣ. (*Радугиной*). Вы также?

Радуг. Но растолкуйте мнѣ, чьи эти стихи?

Болеславскій. Мои сударыня.

Радугина. Ваши?

Волгинъ. Вотъ тебѣ и развязка!

Болеславскій. И признаюсь, князь, я удивляюсь безстыдству...

Князь. Избавьте отъ объясненій; я не люблю никакихъ исторій.

Радуг. Какъ, князь! вы рѣшились назвать чужое произведеніе своимъ?.. рѣшились!..

Князь. О! сударыня; я охотно отъ нихъ отступаюсь: стихи преплоскіе! (*Дребедневу, Снѣгину и Сластилкину*) Господа, не угодно ли вамъ ко мнѣ? (*Уходитъ съ ними*).

ЯВЛЕНІЕ ДЕВЯТОЕ.

Тѣ же, кромѣ князя, Дребеднева, Сластилкина и Снѣгина.

Радугина. Постойте, князь!.. Ахъ, Боже мой! онъ ушелъ.

Болеславскій. Ну, г. Шмелевъ, прошу быть откровеннѣе; какимъ образомъ достались вамъ эти стихи?

Шмелевъ. Я, сударь, написалъ ихъ самъ; и для меня очень удивительно...

Болеславскій. Г. журналистъ! какъ вы ни увертливы, но отъ меня не отдѣлаетесь. Говорите сейчасъ, что вы солгали, или сегодня же мы будемъ стрѣляться!

Шмелевъ. Стрѣляться!.. нѣтъ, сударь, я не стрѣляюсь, я не хочу стрѣляться!

Софья. Какъ, сударь, вы трусите?

Шмелевъ. Я, сударыня, рѣзаться готовъ на бумагѣ съ кѣмъ угодно; но стрѣляться— слуга покорный! это не по моей части.

Болесл. Говорите же, сударь, прошу васъ.

Шмелевъ. Ну, если пошло на правду, то я скажу все: эти стихи не принадлежатъ ни мнѣ, ни вамъ, г-нъ Людмиловъ: они написаны Болеславскимъ; а такъ какъ онъ убитъ...

Болеславскій. Онъ живъ, сударь.

Шмелевъ. Неужели! Гдѣ же онъ?

Волгинъ (*показывая на Болеславскаго*). А вотъ, батюшка, передъ вами.

Шмелевъ. Какъ! что! (*Въ сторону*). Ну, въ какихъ же я дуракахъ!

Радугина. Какъ сударь! Это вы? И подъ чужимъ именемъ?

Волгинъ. За это, сестра, сердись на меня. Да дѣло не о томъ: ты соглашалась, чтобъ Софья вышла замужъ за того, кто написалъ эти стихи?

Софья. Надѣюсь, сестрица, вы не будете противиться моему счастію?

Радугина. Хорошо, сударыня, вы меня обманули, какъ пошлую дуру.

Волгинъ. Какъ бы то ни было, а ты соглашалась, отъ этого тебѣ нельзя отпереться: я самъ былъ свидѣтелемъ.

Радугина. Дѣлать нечего, я подтверждаю свое согласіе, съ уговоромъ только, чтобъ Болеславскій и для меня что-нибудь сочинилъ.

Болеславскій. Все, что вамъ угодно. (*Софьѣ*). Наконецъ, я могу назвать васъ своею!

Шмелевъ (*подходя къ Болеславскому*). Не прикажете ли въ будущемъ нумерѣ напечатать ваши стихи?

Волгинъ (*отводя въ сторону Шмелева*). Совѣтовалъ бы вамъ, батюшка, отсюда скорѣе убраться: Болеславскій человѣкъ горячій, а вы же хотѣли было перебить у него невѣсту.

Шмелевъ. Неужели? О! если такъ... (*Хочетъ идти*).

Радугина. Г. Шмелевъ!..

Шмелевъ. Извините, я позабылъ: мнѣ надобно еще заняться корректурою завтрашней книжки. Слуга покорный! (*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ ДЕСЯТОЕ.

Тѣ-же, безъ Шмелева.

Радугина. Надобно сказать правду, такого несчастнаго вечера у меня не было: не успѣла даже прочесть своего посланія къ Харитинѣ!

Волгинъ. Ну, сестра, ты согласилась на желаніе Софьи, надобно и тебя потѣшить. Пойдемъ въ кабинетъ читать твое посланіе, а завтра поутру, какъ я хорошенько высплюсь, то, такъ и быть, что со мною ни будетъ, читай мнѣ свои драмы одна за другою.

ДОБРЫЙ МАЛЫЙ.

КОМЕДІЯ ВЪ ТРЕХЪ ДѢЙСТВІЯХЪ.

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА.

Ладовъ.
Ладова.
Посидѣлова, тетка Ладовой.
Лиза, дочь Ладова отъ перваго брака.
Стародубовъ, пріѣзжій изъ Рязани.
Рославлевъ, племянникъ его.
Вельскій.
Тузовъ.
Маша, горничная Ладовой.
Служанка.
Слуга Ладова.

Дѣйствіе происходитъ въ Москвѣ, въ домѣ Ладова.

ДѢЙСТВІЕ ПЕРВОЕ.

Театръ представляетъ комнату хорошо убранную. По бокамъ и въ срединѣ двери. Съ правой стороны на авансценѣ столъ, со всѣмъ нужнымъ для письма.

ЯВЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

Стародубовъ (*одинъ говоритъ, оборотясь къ дверямъ*).

— Скажи своему барину, что къ нему пріѣхалъ Стародубовъ, — слышишь ли? Стародубовъ! Ну, пріятель мой Ладовъ живетъ, видно, попрежнему; тотъ же самый порядокъ: людей содомъ, а въ цѣломъ домѣ ни одной бѣшеной собаки; насилу отыскалъ какого то полупьянаго лакеишку. — Слава Богу! кто-то идетъ.

ЯВЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

Стародубовъ и Маша.

Стародубовъ. Ба, ба, ба! Машенька, это ты!

Маша. Ахъ, Николай Степановичъ! милости просимъ! Давно ли вы изволили пріѣхать?

Стародубовъ. Вчерась ночью. Ну, Машенька, что подѣлываетъ мой старый пріятель?

Маша. Баринъ, сударь? То-же, что и прежде: сбираетъ рѣдкости да покупаетъ картины.

Стародубовъ. Я слышалъ, у васъ что день, то новое веселье.

Маша. Да, сударь, съ тѣхъ поръ, какъ баринъ опять женился, мы живемъ очень весело.

Стародубовъ. Право! Такъ, видно, ужъ Ладовъ совсѣмъ забылъ покойную свою жену?

Маша. Какъ забыть, сударь? Она была такая добрая!

Стародубовъ. А эта развѣ зла?

Маша. Напротивъ, всѣ говорятъ, что она настоящій ангелъ.

Стародубовъ. Такъ, поэтому, онъ счастливъ?

Маша. Да, сударь, всѣ говорятъ, что онъ очень счастливъ.

Стародубовъ. И они живутъ согласно?

Маша. Какъ же, всѣ говорятъ...

Стародубовъ. И, Машенька, всѣ говорятъ: да самъ то онъ что говоритъ?

Маша. Онъ, сударь?.. ничего.

Стародубовъ. Какъ ничего?

Маша. Да, вѣдь, нечего дѣлать, противъ цѣлаго свѣта одинъ не сговоришь.

Стародубовъ. Такъ вотъ что! Понимаю; видно, жена то его ангелъ для всѣхъ, а чортъ для него?

Маша. Да, сударь, она такъ прибрала его къ рукамъ, что онъ у себя въ домѣ значитъ меньше, чѣмъ въ другомъ дворецкій или управитель.

Стародубовъ. Жаль мнѣ Ладова; да кто виноватъ? Какой нечистый духъ дернулъ его жениться подъ старость, имѣя дочь невѣсту.

Маша. Ахъ, сударь! вотъ она-то мнѣ и жалка! настоящая сирота!

Стародубовъ. Бѣдненькая! хоть бы Ладовъ выдалъ ее скорѣе замужъ.

Маша. А женихъ то есть. Вотъ, напримѣръ, г-нъ Рославлевъ.

Стародубовъ. Племянникъ мой?

Маша. Да, сударь. Я знаю, они любятъ другъ друга.

Стародубовъ. Не ошибаешься ли ты?

Маша. Нѣтъ, сударь, я это замѣтила, такъ же какъ и то, что барынѣ хочется ее выдать за пріятеля вашего племянника г-на Вельскаго.

Стародубовъ. За Вельскаго? Боже сохрани! Да развѣ Ладовъ хочетъ погубить свою дочь?

Маша. Что вы, сударь? Вельскаго здѣсь всѣ любятъ: баринъ называетъ его своимъ другомъ, барыня не можетъ быть безъ него ни минуты, и даже тетушка Настасья Іевлевна...

Стародубовъ. Посидѣлова?—Да развѣ эта рязанская барыня здѣсь? Давно ли?

Маша. Дней пять. Да вотъ, кажется, и баринъ. Я оставлю васъ однихъ, вѣрно, вамъ есть о чемъ переговорить. (*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ ТРЕТЬЕ.

Стародубовъ. (*одинъ*).

Если Маша говорила правду... Но прежде надо хорошенько узнать.

ЯВЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Стародубовъ и Ладовъ.

Ладовъ. А! любезный другъ! поздравляю съ пріѣздомъ. (*Обнимаются*).

Стародубовъ. Здорово, пріятель, здорово!

Ладовъ. Какъ мы давно не видались! Ну, мой милый, а я безъ тебя опять женился.

Стародубовъ. Знаю.

Ладовъ. У меня ужъ есть сынъ.

Стародубовъ. И это знаю.

Ладовъ. Извини, что я не поведу тебя знакомить съ женою. Она у себя въ комнатѣ и очень грустна: Володя нашъ боленъ, а на бѣду и попугай ея запемогъ. Да ты, кажется, съ нею знакомъ?

Стародубовъ. Да, я зналъ ее ребенкомъ, когда она еще жила у тетки своей, Посидѣловой.

Ладовъ. Какъ это ты разстался съ своею деревнею? Вѣрно, захотѣлъ повидаться съ племянникомъ?

Стародубовъ. Да, мой другъ. Онъ только что вышелъ изъ университета, молодъ, неопытенъ и хотя съ добрымъ сердцемъ, но съ такой пылкой и опрометчивой головой, что какъ разъ надѣлаетъ глупостей. Я слышалъ, онъ проигралъ какому-то Тузову двадцать тысячъ.

Ладовъ. То-ли-бы онъ еще проигралъ, еслы бы его не удерживалъ Вельскій. Этотъ честный человѣкъ, чтобъ успокоить Рославлева, скупилъ у Тузова всѣ его векселя и заплатилъ за нихъ послѣднія свои деньги.

Стародубовъ. Вельскій — честный человѣкъ! Нѣтъ, пріятель, онъ изъ нашей стороны, такъ я его коротко знаю, и готовъ биться объ закладъ, что этотъ честный человѣкъ за одно съ Тузовымъ обыгралъ племянника.

Ладовъ. Что ты, братецъ! опомнись! Ну, можно ли подумать, чтобъ Вельскій, чтобъ этотъ благородный, добрый малый...

Стародубовъ. Добрый малый! Да сжалься надо мною! скажи, что находишь ты добраго въ этомъ безпутномъ человѣкѣ?

Ладовъ. Что? Да все! Во-первыхъ, онъ... очень добрый малый; во-вторыхъ...

Стародубовъ. Безстыдный лжецъ!

Ладовъ. И, братецъ, какъ тебѣ не стыдно! Правда, если хочешь, у него есть небольшая слабость: любитъ красное словцо отпустить; да развѣ это бѣда?

Стародубовъ. Насмѣшникъ!

Ладовъ. Вотъ что правда, то правда, нашъ грѣхъ! любимъ посмѣяться! оно не хорошо—не спорю; но зато, если бы ты зналъ, какъ онъ честенъ!

Стародубовъ. Прекрасная честность: у всѣхъ занимаетъ и никому не платитъ.

Ладовъ. А ты развѣ это знаешь? Ну, если такъ, то и я скажу — за нимъ это водится; правда, онъ и самъ готовъ отдать послѣднюю копѣйку. Ужъ, вѣрно, никто не скажетъ, чтобъ онъ былъ худой пріятель, а и того менѣе худой родственникъ; послушалъ бы, какъ онъ говоритъ о своей родинѣ.

Стародубовъ. А говоритъ-ли онъ когда-нибудь о своемъ двоюродномъ братѣ Простаковѣ, котораго обыгралъ самымъ безстыднымъ образомъ и пустилъ по міру?

Ладовъ. Неужели? Да вздоръ! это клевета. Чтобъ Вельскій обыгралъ своего двоюроднаго брата, — быть не можетъ! Онъ, конечно, игрокъ, — это правда; просиживаетъ цѣлыя ночи за картами — не спорю; но со всѣмъ тѣмъ... Нѣтъ, нѣтъ! это невозможно! Впрочемъ, надѣюсь также, никто не скажетъ, чтобъ Вельскій велъ себя дурно?

Стародубовъ. О нѣтъ! онъ только разъ по шести въ недѣлю бываетъ пьянъ.

Ладовъ. Ба! ба, ба! такъ ты и этотъ грѣхъ за нимъ знаешь? Ну, нечего таить, онъ любитъ повеселиться; оно, кажется, какъ будтобы и худо, а поговори-ка съ нимъ, такъ онъ тебѣ докажетъ, что нѣтъ. У него, братъ, своя философія; онъ придерживается системы Эпикура: наслаждается жизнію, да и все тутъ! Признаюсь, люблю его за то,—хоть что, такъ

докажетъ; мастеръ говорить! Что за познанія! что за острота! какой умница!..

Стародубовъ. Нѣтъ, не умница, а злоязычникъ, для котораго нѣтъ ничего святого; безчестный, подлый насмѣшникъ..

Ладовъ. Безчестный? Худо же ты его знаешь, мой другъ. Нѣтъ, не дастъ никому наступить себѣ на ногу: онъ очень дорожитъ своею честію.

Стародубовъ. Какою?.. Знаю я эту честь-то, пріятель! Куда хорошо вы ее понимаете? По-вашему, стыдно бѣдному человѣку принять отъ кого-нибудь подарокъ, а не стыдно богатому скупать по гривнѣ свои векселя и разорить нѣсколько семействъ; по вашему, безчестно женатому человѣку и отцу семейства не стрѣляться съ какимъ-нибудь сорванцомъ, который ищетъ исторіи, а не безчестно обыграть своего пріятеля, развратить его жену, сдѣлать ихъ на вѣкъ несчастными!.. Эхъ, какъ подумаю, такъ я за эту честь и гроша бы не далъ.

Ладовъ. Горячись, горячись, любезный, а Вельскій все-таки добрый малый.

Стародубовъ. Въ самомъ дѣлѣ! онъ только что дурной плательщикъ, худой родственникъ, лжецъ, игрокъ, насмѣшникъ и безпутнаго поведенія, — а впрочемъ, конечно, добрый малый.

Ладовъ. Что ты? Помилуй!

Стародубовъ. Да ты самъ въ этомъ признался.

Ладовъ. Что ты, братецъ, перекрестись! я не спорю,—онъ имѣетъ свои слабости, недостатки; но со всѣмъ тѣмъ... воля твоя... спроси, кого хочешь... въ немъ есть что-то такое... онъ имѣетъ... ну, однимъ словомъ, что ни говори, а онъ, право, добрый малый!

Стародубовъ. Хорошо, хорошо! я, вѣдь, тебя знаю: заберешь что въ голову, такъ тебя самъ чортъ не переувѣритъ. Прощай!

Ладовъ. Куда же ты?

Стародубовъ. На минуту къ графу Знатову; онъ живетъ отсюда въ двухъ шагахъ. Черезъ полчаса, а можетъ быть, и прежде, я опять здѣсь буду. (*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ ПЯТОЕ.

Ладовъ (*одинъ*).

Онъ все таковъ же, какъ былъ: честный человѣкъ, хорошій пріятель, а не приведи Господи попасться ему на язычокъ!

ЯВЛЕНІЕ ШЕСТОЕ.

Ладовъ, Ладова и Посидѣлова.

Ладовъ (*идя къ Ладовой*). А, мой ангелъ, это ты! кстати,—я шелъ къ тебѣ.

Посидѣлова. Кто это у тебя былъ, племянникъ?

Ладовъ. Стародубовъ.

Ладова. Стародубовъ! этотъ чудакъ, дядя Рославлева?

Посидѣлова. Не слыхать, зачѣмъ изволилъ пожаловать? Жилъ бы у себя въ деревнѣ,—здѣсь и безъ него много дураковъ.

Ладовъ. Вы, кажется, съ нимъ коротко знакомы.

Посидѣлова. Какъ же, батюшка, мы съ нимъ сосѣди. Пренесносный человѣкъ! все на свѣтѣ ругаетъ, всѣхъ онъ умнѣе; ну, жить отъ него никому нѣтъ.

Ладовъ. Правда, у него есть эта замашка.

Посидѣлова. Онъ было однажды и во мнѣ подъѣхалъ съ порученіями: «Къ чему, дескать, мать моя, это пустое чванство: женщина ты одинокая, а дворовыхъ у тебя больше, чѣмъ крестьянъ; дѣлать то они ничего не дѣлаютъ, а только по пустому хлѣбъ ѣдятъ»...

Ладовъ. Что же вы ему отвѣчали?

Посидѣлова. Что будешь отвѣчать на такое холодное разсужденіе! Плюнула, да пошла прочь. А самъ-то онъ — стыдокъ въ люди сказать — человѣкъ богатый, а живетъ хуже иного однодворца: ни псовой охоты, ни роговой музыки, — и всего то на всего въ домѣ пять, шесть лакеишковъ,—срамъ, да и только! А вотъ у меня, такъ не въ похвальбу сказать, какъ набьются въ переднюю, такъ прошу продраться!

Ладовъ. Признаюсь, эта азіятская роскошь мнѣ очень нравится.

Посидѣлова. Благодарю Бога, у меня, батюшка, не считая моего шута, кормилицы, двухъ дуръ и одного гусляста, полтораста душъ на мѣсячинѣ.

ЯВЛЕНІЕ СЕДЬМОЕ.

Тѣ же и Вельскій.

Ладова. А! Вельскій!

Вельскій. Здравствуйте, сударыня! (*Цѣлуетъ у Ладовой и Посидѣловой руки*).

Ладовъ. Здорово, мой философъ! Откуда?

Вельскій. Не спрашивайте, я обскакалъ половину Москвы.

Посидѣлова. Гдѣ же ты рыскалъ, повѣса?

Вельскій. Постойте, я разскажу вамъ по порядку. Во-первыхъ, я былъ на Прѣснѣ, почти за заставою, у одного иностранца, который торгуетъ попугаями. (*Лядовой, показывая скляночку*). Какъ вы думаете, что въ этой скляночкѣ?

Ладова. Я, право, не знаю.

Вельскій. Лѣкарство для вашего Жако.

Ладова. Для моего попугая? Какъ вы добры, Вельскій.

Ладовъ. Напрасно безпокоился, любезный, у жены ужъ есть чѣмъ его лѣчить. Я перерылъ сегодня всѣ мои книги, и, наконецъ,

нашелъ описаніе лѣкарства, которымъ лѣчатъ попугаевъ въ Бразиліи.

Ладова. Однако жъ, не лучше ли...

Ладовъ. Эхъ, мой ангелъ! не безпокойся, это мое дѣло,—я ужъ вылѣчу твоего попугая.

Посидѣлова (*Вельскому*). Ну, батюшка, а съ Прѣсни куда ты поѣхалъ?

Вельскій. Въ ряды; мнѣ надобно было кой-что купить. Да гдѣ же вашъ Иванушка? Здоровъ ли онъ?

Посидѣлова. Шутъ мой? Слава Богу! Я сегодня отпустила его гулять на цѣлый день.

Вельскій. Право? Такъ потрудитесь отдать ему эту бездѣлку.

Посидѣлова. Что это? Табакерка! Ужъ не золотая ли? Спасибо, мой отецъ! То-то добрый человѣкъ! никогда не забудетъ моего шута.

Вельскій. Да онъ такой забавный, а я страхъ люблю тѣшить дураковъ. Постойте, чуть было не забылъ. (*Ладову*). Иванъ Архиповичъ, знаете ли, что я для васъ досталъ? Посмотрите-ка.

Ладовъ. А! древняя монета! Дай-ка сюда! Тьфу пропасть! тутъ ничего не разберешь, все стерлось... Однако жъ... кажется, это русская полушка?

Вельскій. Точно, русская полушка,—да какая?.. Владиміра Мономаха!

Ладовъ. Владиміра! Ба, ба, ба! да это вещь отмѣнно рѣдкая.

Вельскій. Надѣюсь.

Ладова (*тихо Вельскому*). Признайтесь, Вельскій, вѣдь, это обыкновенная полушка?

Вельскій (*также тихо*). Вы думаете?

Ладова. Точно, точно! я вижу по вашимъ глазамъ,—не стыдно ли?

Вельскій. Послушайте!.. да если бъ и такъ, что за бѣда,—вѣдь, это его утѣшаетъ.

Ладовъ (*который во все время разсматриваетъ монету*). Чѣмъ болѣе разсматриваю я эту монету, тѣмъ болѣе тебѣ благодаренъ, Вельскій. Драгоцѣнная вещь!

Посидѣлова. Ужъ и драгоцѣнная! Ну что за важность, батюшка, полушка.

Ладовъ. И, тетушка, вы не знаете Владиміра Мономаха! Да для охотника весь мой кабинетъ не стоитъ этой полушки.

Ладова. Для охотника! а я такъ думала—для всякаго. Не правда ли, Вельскій?

Вельскій. И, нѣтъ! у него много такихъ рѣдкостей.

Посидѣлова. Да что мы стоимъ,—сядемте.

Ладовъ. Эй! малый, стульевъ! (*Садятся*). Ну, Вельскій, спасибо,—одолжилъ. Какъ же не сказать, что ты добрый малый. А! кстати! Знаешь ли, я сегодня чуть за тебя не поссорился съ Стародубовымъ.

Вельскій. Съ Стародубовымъ? Когда онъ пріѣхалъ?

Ладовъ. Я думаю, вчерась. Онъ очень тебя не любитъ, мой милый.

Вельскій. Я это знаю. Мы были съ нимъ нѣкогда хорошіе пріятели, и если бы не одинъ забавный случай...

Посидѣлова. Какой случай?

Вельскій. Ну, право, стыдно разсказывать, вы сочтете это за сказку. Если хотите, Стародубовъ не глупый человѣкъ, но такой невѣжда, что способу нѣтъ! Года два назадъ, въ Рязани, я былъ съ нимъ въ одномъ обществѣ. Разговоръ коснулся древнихъ художниковъ, и какъ вы думаете? кто, по мнѣнію Стародубова, былъ лучшимъ греческимъ живописцемъ?

Ладовъ. Тутъ спрашивать нечего,—Апелесъ.

Вельскій. Нѣтъ, сударь,—Сократъ.

Ладовъ. Сократъ—живописецъ! ха, ха, ха! какое невѣжество!

Вельскій. Мнѣ бы должно было смолчать, но я не вытерпѣлъ и доказалъ въ двухъ словахъ, что онъ невѣжда. Съ тѣхъ поръ Стародубовъ меня терпѣть не можетъ.

Ладовъ. Пожаловать Сократа въ живописцы! ха, ха, ха! Постой же, Вельскій, я надъ нимъ позабавлюсь.

Вельскій. И, нѣтъ! не говорите ему ничего объ этомъ.

Ладовъ. Ты слишкомъ добръ, Вельскій,—онъ отзывается о тебѣ такъ дурно...

Вельскій. А я, напротивъ, буду спорить съ цѣлымъ свѣтомъ, что онъ очень честный и хорошій человѣкъ!

Ладовъ. Слышите ли, тетушка?

Ладова. Какія благородныя чувства!

Посидѣлова. О, добрая душа!

Вельскій. Признаюсь, я не умѣю мстить. У меня много слабостей: я вѣтренъ, неоснователенъ и даже повѣса, но, право, не злой человѣкъ.

Ладовъ. Худо же тебѣ платитъ Стародубовъ. Вообрази себѣ, онъ вздумалъ увѣрить меня, что ты обыгралъ двоюроднаго своего брата.

Вельскій. Простакова? Ну что жъ, онъ не солгалъ, это правда.

Ладовъ. Помилуй! твоего двоюроднаго брата?

Вельскій. Ну да, моего двоюроднаго брата.

Ладоваа. Вы шутите?

Вельскій. Нимало.

Ладовъ. Вотъ это, Вельскій, не хорошо, воля твоя, не хорошо!

Вельскій. Да постойте, выслушайте меня. Пріѣхавши въ Рязань, я нашелъ, что Простаковъ проигралъ уже половину своего имѣнія какому-то Подтасовкину; сколько я ему ни говорилъ, что онъ даромъ отдаетъ свои деньги, онъ не хотѣлъ никакъ перестать.

Ладовъ. И ты рѣшился обыграть его самъ?

Вельскій. А, по-вашему, лучше бы было,

если бы онъ проигралъ все одному Подтасовкину?

Посидѣлова. Въ самомъ дѣлѣ! вѣдь, ему отъ этого лучше бы не было.

Ладовъ. Оно, если хочешь, такъ, а все бы лучше, если бы ты оставилъ своего брата...

Вельскій. На произволъ судьбы? Нѣтъ, сударь, я сдѣлалъ гораздо лучше: я обыгралъ его; но зато онъ живетъ теперь у меня въ деревнѣ, на пансіонѣ, ни въ чемъ не нуждается и гораздо счастливѣе, чѣмъ былъ прежде.

Ладовъ. Вотъ это другое дѣло! (*Ладовой*). Какъ ты думаешь, мой другъ, вѣдь, Вельскій-то правъ?

Ладовой. Разумѣется.

Вельскій. Притомъ же, согласитесь сами, не долженъ ли я былъ стараться удержать въ нашей фамиліи родовое имѣніе, которое могло бы все достаться въ чужія руки.

Ладовъ. Точно, точно! Теперь и я вижу, что ты правъ; а какъ говорилъ объ этомъ Стародубовъ...

Вельскій. То я казался виноватымъ? Неудивительно,—злые люди умѣютъ все перетолковать въ дурную сторону.

Ладовъ. Это правда, — отъ злыхъ людей никуда не уйдешь. А что, Вельскій, я думаю, иногда и мнѣ достается?

Вельскій. Вамъ?.. Хотите ли, чтобъ я говорилъ откровенно? Теперь я знаю, что вы человѣкъ почтенный, по вашему необыкновенному уму, глубокимъ познаніямъ...

Ладовъ. Спасибо, мой другъ, спасибо! Признаюсь въ моей слабости, люблю, когда меня хвалятъ! Да и ты, мой милый, человѣкъ съ большимъ вкусомъ.

Вельскій. А знаете ли, что я думалъ о васъ прежде?

Ладовъ. А чтобы, напримѣръ?

Вельскій. Представьте себѣ, меня увѣряли, что вы человѣкъ слабый, безхарактерный, смѣшной,—что вы беретесь судить обо всемъ и ничего не знаете.

Ладовъ. Неужели?

Вельскій. Считаете себя знатокомъ въ живописи и платите отмѣнно дорого за рублевыя картины.

Ладовъ. Ха, ха, ха!

Вельскій. Выдаете себя охотникомъ до древностей и разоряетесь, покупая антики, которые моложе васъ.

Ладовъ. Ха, ха, ха! Перестань, ты уморишь меня! Чего, подумаешь, злые люди не скажутъ: я не знаю толку въ древностяхъ!.. Ха, ха, ха! Посмотри, и жена смѣется.

Ладова. Какъ же, мой другъ, это очень забавно. Послушайте, Вельскій, будьте также откровенны и со мною,—скажите, что говорили вамъ обо мнѣ?

Вельскій. Совершенную истину. Мнѣ описывали васъ, какъ женщину чувствительную, любезную, добрую;—правда, иные обвиняли васъ въ излишней привязанности къ попугаю; другіе увѣряли даже, что вы любите его болѣе, чѣмъ вашего Володю, но я никогда этому не вѣрилъ, и вижу теперь на самомъ дѣлѣ, что это сущая клевета.

Ладова. И самая ужасная! Я не люблю моего Володю? Боже мой! да я жизнь-бы отдала, только чтобъ онъ былъ теперь здоровъ. (*Горничная вбѣгаетъ съ правой стороны*).

Посидѣлова. Что ты?

Горничная. Пожалуйте въ дѣтскую, сударыня.

Ладовъ. Къ Володѣ? Ужъ не сдѣлалось-ли ему хуже?

Горничная. Да, сударь, онъ очень слабъ. (*Уходитъ*).

Ладова. Сердце мое предчувствовало! (*Ладову*).

Пойдемъ, мой другъ, пойдемъ! (*Хочетъ итти*).

(*Маша выбѣгаетъ съ лѣвой стороны*).

Маша. Сударыня! съ попугаемъ что-то сдѣлалось?

Ладова. Что ты говоришь?

Маша. Онъ совсѣмъ крылья опустилъ.

Ладова. Бѣдный попинька!

Маша. И глазами не смотритъ.

Ладова. Не смотритъ! Боже мой!

Маша. Онъ совсѣмъ умираетъ, сударыня.

Ладова. Умираетъ! Что мнѣ дѣлать?.. Какое ужасное положеніе!.. Володя!.. Жако!.. Я совершенно потеряла голову... Тетушка!.. другъ мой!.. ступайте скорѣе къ Володѣ... Пойдемъ, Машенька, пойдемъ! Бѣдный Жако! (*Уходитъ въ лѣвую сторону*).

ЯВЛЕНІЕ ВОСЬМОЕ.

Тѣ-же, безъ Ладовой.

Посидѣлова. Останься здѣсь, батюшка, я пойду посмотрю Володю,—вѣрно, какой-нибудь вздоръ. (*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ ДЕВЯТОЕ.

Тѣ-же, безъ Посидѣловой.

Вельскій. Какъ вы счастливы, Иванъ Архиповичъ! Какая у васъ чувствительная жена!

Ладовъ. Да, чувствительная!—Послушай, братецъ! мы съ тобой пріятели. (*Осматривается кругомъ*). Ну, скажи, пожалуйста, на что это походитъ: сынъ умираетъ, а она побѣжала къ попугаю? Срамъ да и только!

Вельскій. Да оно немного смѣшно; впрочемъ, кто не имѣетъ своихъ слабостей.

Ладовъ. Эхъ, братецъ! да ужъ это изъ рукъ вонъ! терпѣнья не достаетъ! Что, въ самомъ дѣлѣ! скажу ей самой, что это ни на что не походитъ.

Вельскій. Смотрите, чтобъ не было худо: за нее вступится тетушка...

Ладовъ. Такъ чтожъ? Развѣ я ее боюсь? Я скажу ей въ глаза: «Стыдно, матушка Настасья Іевлевна! какъ ты воспитала свою племянницу? Вмѣсто того, чтобъ любить своего мужа, дѣтей она любить одного лишь попугая». Нѣтъ, любезный, ты меня не знаешь: какъ начну рѣзать правду, такъ она у меня на ногахъ не устоитъ! Давай ее сюда!..

ЯВЛЕНІЕ ДЕСЯТОЕ.

Тѣ-же и Посидѣлова.

Посидѣлова (*которая слышала послѣднія слова*). Кто это, батюшка?

Ладовъ (*испугавшись*). Ахъ! это вы? Ничего, ничего.—Что, каковъ попугай?

Посидѣлова. Я, вѣдь, была у Володи.

Ладовъ. Да бишь, я хотѣлъ сказать, каковъ Володя?

Посидѣлова. У него былъ кризисъ; теперь ему гораздо лучше. Сейчасъ пріѣхалъ докторъ и говоритъ, что опасность прошла. Да о чемъ ты здѣсь такъ раскричался?

Вельскій. Такъ, мы говорили объ васъ, сударыня.

Посидѣлова. Обо мнѣ? Что такое?

Вельскій. Вы хотите знать? Такъ и быть, скажу!..

Ладовъ (*тихо*). Что ты, Вельскій, полно!

Вельскій. Иванъ Архиповичъ говорилъ о воспитаніи, которое вы дали вашей племянницѣ.

Ладовъ (*тихо*). Да перестань, братецъ!

Вельскій. Онъ не могъ довольно нахвалиться своимъ счастіемъ.

Посидѣлова. Право, мой другъ?

Ладовъ. Какъ же, тетушка! (*Тихо Вельскому*). Добро ты, негодный!

ЯВЛЕНІЕ ОДИННАДЦАТОЕ.

Тѣ же и Маша.

Маша. Ахъ, Боже мой!

Ладовъ. Что ты, Машенька?

Маша. Бѣда, сударь!

Посидѣлова. Бѣда?

Ладовъ. Что такое?

Маша. Ахъ, сударь! если бы вы видѣли, въ какомъ положеніи барыня.

Посидѣлова. Что съ ней сдѣлалось?

Маша. Какое несчастіе!

Ладовъ. Да тьфу пропасть, скажешь ли ты, проклятая!

Маша. Вотъ и барыня,—вы узнаете отъ нея самой.

ЯВЛЕНІЕ ДВѢНАДЦАТОЕ.

Тѣ же и Ладова.

Посидѣлова. Что, мой другъ, съ тобою сдѣлалось?

Ладова. Бога ради, кресло! я насилу дышу! (*Вельскій подаетъ кресло*).

Вельскій. Успокойте насъ, сударыня, скажите, что сдѣлалось?

Ладова. Ахъ! пожалѣйте обо мнѣ: я совершенно осиротѣла!

Ладовъ. Что ты, мой другъ! вѣдь, Володѣ лучше.

Ладова. Бѣдный Жако!

Вельскій. Вашъ попугай?

Ладова. Все кончено! онъ не существуетъ болѣе.

Вельскій. Какая жалость! Ужъ не ошиблись ли вы?.. Почему знать? Постойте! (*Уходитъ скоро на лѣвую сторону*).

ЯВЛЕНІЕ ТРИНАДЦАТОЕ.

Тѣ же безъ Вельскаго.

Ладовъ. Да отчего онъ умеръ?

Ладова. И онъ спрашиваетъ? Злодѣй! ты уморилъ его!

Ладовъ. Я?.. помилуй!

Маша. Да, сударь, это правда. Лишь только барыня дала ему вашего заморскаго лѣкарства, то онъ, бѣдняжка, тутъ же протянулся.

Посидѣлова. Такъ и есть! Вотъ тебѣ и лѣченье! И зачѣмъ хвататься не за свое дѣло. Я, дескать, не хуже доктора лѣчить умѣю. Ну, какой ты докторъ?.. Коновалъ!

Ладовъ. Помилуйте, тетушка, да въ Бразиліи...

Посидѣлова. Замолчи, батюшка!

Ладовъ. Да въ книгѣ...

Ладова. Перестаньте, сударь! Вы нарочно уморили моего попугая: вамъ досадно было, что я имъ утѣшаюсь.

Посидѣлова. Вотъ, это напрасно, племянница! вѣдь, онъ хотѣлъ тебѣ же услужить.

Ладова. Ахъ, тетушка! Вамъ хорошо говорить; посмотрѣла бы я, если бы онъ уморилъ вашего шута.

Посидѣлова. Что ты, мать моя? Богъ съ тобою! вѣдь, шутъ-то мой все-таки человѣкъ, а не скотина.

Ладовъ. Не грусти, мой ангелъ! я куплю тебѣ хоть цѣлую дюжину попугаевъ, только успокойся.

ЯВЛЕНІЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ.

Тѣ же и Стародубовъ.

Стародубовъ. Вотъ и воротился. (*Посидѣловой*). А, матушка Настасья Іевлевна! какъ поживаете?

Посидѣлова. Слава Богу, батюшка Николай Степановичъ, слава Богу!

Стародубовъ (*Ладову*). Кто эта дама?

Ладовъ. Жена моя.

Стародубовъ. Прошу покорно,—я совсѣмъ ее не узналъ. (*Въ сторону*). Она что-то печальна! Да бишь, я и забылъ: малютка ихъ боленъ. (*Подходитъ къ Ладовой*). Вы, вѣрно, меня не помните: я зналъ васъ еще ребенкомъ.

Ладова. Ахъ! извините! я васъ узнала; я теперь такъ разстроена.

Стародубовъ. Мнѣ ужъ сказывали о вашемъ горѣ, и повѣрьте, я принимаю въ немъ душевное участіе.

Ладова. Ахъ, сударь!

Стародубовъ. Но для чего же такъ отчаяваться!

Ладова. Если бъ я имѣла хотя малую надежду!

Стародубовъ. Да развѣ вы ее не имѣете?

Ладова. Онъ умеръ!

Стародубовъ. Умеръ.

Ладова. И мои слезы не воскресятъ его.

Стародубовъ. Боже мой! какое несчастіе! Бѣдная!

Ладовъ. Да успокойся, мой другъ, эту потерю можно замѣнить. Вотъ тебѣ моя рука: у тебя будетъ другой и гораздо лучше.

Стародубовъ. Эхъ, братецъ, хоть бы ты людей постыдился! до шутокъ ли ей теперь?

Ладовъ. Да я и не шучу.

Стародубовъ. Безсовѣстный!

Ладова (*мужу*). Ну, сударь, видите ли, что есть люди, которымъ горесть моя не кажется смѣшною?

Стародубовъ. Смѣшною? Да развѣ я извергъ? Нѣтъ, сударыня, я дѣлалъ самъ большія потери. (*Съ чувствомъ*). Я знаю, каково сердцу родительскому, и никогда не буду смѣяться надъ горестію нѣжной матери, которая оплакиваетъ свое дитя! (*Утираетъ слезы*).

Ладова. Что это значитъ? Да о комъ вы говорите?

Стародубовъ. Я говорю о вашемъ сынѣ.

Ладова. А я о моемъ попугаѣ.

Стародубовъ. (*Съ большимъ сердцемъ*). И, сударыня! чортъ возьми вашего попугая!

Ладова. Что вы?

Стародубовъ. Тьфу пропасть! а я было перепугался. Такъ поэтому вашъ сынъ живъ?

Ладовъ. Съ чего ты взялъ, что онъ умеръ? Попугай ея...

Стародубовъ. Околѣлъ,—большая важность! Ну, сударыня, видно, слезы-то у васъ даровыя.

Посидѣлова. Ахъ, батюшка! да ты ужъ ругаешься.

Ладова. Какъ я ошиблась! Я думала, что у васъ есть сердце.

Стародубовъ. Есть, сударыня, да, видно, не такое, какъ у васъ. Я люблю свою семью, родныхъ, всѣхъ добрыхъ людей, готовъ съ ними всякое горе пополамъ дѣлить, а не стану оплакивать смерть какой-нибудь кошки или собачонки. Всему есть мѣра: почему не забавляться и попугаемъ, но сходить съ ума оттого, что онъ издохъ, и смѣшно, и стыдно!

ЯВЛЕНІЕ ПЯТНАДЦАТОЕ.

Тѣже и Вельскій.

Вельскій (*вбѣгая скоро*). Онъ живъ!

Ладова. Что я слышу?

Вельскій. Да, сударыня, вашъ Жако живъ. Я замѣтилъ, что онъ еще дышитъ, влилъ ему нѣсколько капель своего лѣкарства,—онъ открылъ глаза.

Ладова. Открылъ глаза!

Вельскій. И теперь, я увѣренъ, останется живъ.

Ладова. Какое счастье! Ахъ, Вельскій! вы возвратили мнѣ жизнь! Чѣмъ могу я вознаградить васъ.

Вельскій. Помилуйте! стоитъ ли это...

Ладова. Нѣтъ, нѣтъ! я не хочу быть не благодарною. (*Вполголоса*). Я знаю, вы любите Лизу, и чего бы мнѣ это ни стоило, а вы получите ея руку. (*Уходитъ съ Посидѣловой и Машей*).

ЯВЛЕНІЕ ШЕСТНАДЦАТОЕ.

Тѣже безъ Ладовой, Посидѣловой и Маши.

Ладовъ. Ну, хорошо, что такъ кончилось. Не стыдно ли тебѣ, братецъ, жена и безъ того огорчена, а ты вздумалъ ее дразнить.

Стародубовъ. Признаюсь, я не могъ хладнокровно слышать...

Ладовъ. То-то и горе, пріятель, живя въ свѣтѣ, надобно на многое сквозь пальцы смотрѣть.

Стародубовъ. Въ самомъ дѣлѣ? Нѣтъ, любезный! я и съ молоду не бывалъ льстецомъ, а теперь ужъ и подавно кривить душой не буду.

Вельскій (*подходя къ Стародубову*). Позвольте мнѣ, Николай Степановичъ, поздравить васъ съ пріѣздомъ.

Стародубовъ. Слуга покорный.

Вельскій. Я такъ давно не имѣлъ удовольствія васъ видѣть.

Стародубовъ. Я думаю, сударь, ни вамъ, ни мнѣ объ этомъ горевать нечего.

Ладовъ. Онъ все еще на тебя сердитъ; но погоди немного...

Вельскій. Что вы хотите дѣлать? перестаньте!

Ладовъ. Нѣтъ, нѣтъ! я помирю васъ (*Стародубову*). Послушай, любезный, пора бы ужъ тебѣ съ нимъ помириться.

Стародубовъ. Помириться?

Ладовъ. Неужели ты никогда не забудешь неосторожный его поступокъ?

Стародубовъ. Какой поступокъ?

Ладовъ. Ему, конечно бы, не должно было доказывать при всѣхъ, что ты не знаешь исторіи...

Стародубовъ. Что ты, въ умѣ ли?

Ладовъ. Повѣрь, онъ теперь самъ раскаивается, что завелъ разговоръ объ этихъ древнихъ художникахъ.

Стародубовъ. О какихъ художникахъ? Г-нъ Вельскій! что это значитъ?

Ладовъ. Полно, полно! кто старое вспомнитъ, тому глазъ вонъ; будьте попрежнему друзьями; что было, то прошло. Вельскій, обними своего друга!

Вельскій. Отъ всего сердца! (*Хочетъ обнять Стародубова, но онъ его отталкиваетъ*).

Стародубовъ. Что это? Что это? Дуракъ что ли я вамъ достался? Государь мой! я не позволю надъ собою шутить.

Ладовъ. Какъ тебѣ не стыдно? Да помирись съ нимъ.

Стародубовъ. Тьфу пропасть! да въ чемъ мнѣ съ нимъ мириться? Я отъ роду не имѣлъ съ нимъ никакого дѣла, да, вѣроятно, и имѣть не буду. Чего вы, сударь, отъ меня хотите? — денегъ что ль? Такъ ступайте къ племяннику: я ужъ велѣлъ ему съ вами разсчитаться.

Вельскій. Я вижу, вы рѣшились меня ненавидѣть. Не желая быть долѣе вамъ въ тягость, я ухожу; можетъ быть, въ другое время вы отдадите мнѣ болѣе справедливости. (*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ СЕМНАДЦАТОЕ.

Тѣже, безъ Вельскаго.

Ладовъ. Эхъ, братецъ! у тебя каменное сердце.

Стародубовъ. Что это за вздоръ?

Ладовъ. Не стыдно ли быть такъ злопамятну!

Стародубовъ. Да растолкуй мнѣ.

Ладовъ. Что тутъ толковать,—ты знаешь лучше моего...

Стародубовъ. Чтобъ мнѣ сквозь землю провалиться, если я тутъ что-нибудь понимаю.

Ладовъ. Ты не можешь простить Вельскому, что онъ при всѣхъ обнаружилъ твое невѣжество.

Стародубовъ. Мое невѣжество? Ха, ха, ха!

Ладовъ. Смѣйся, смѣйся! А кто назвалъ Сократа живописцемъ? А?

Стародубовъ. Ха, ха, ха! теперь вижу: этотъ безпутный сплелъ тебѣ сказку,—и ты ему вѣришь?

Ладовъ. Добро, сказку! вѣдь, ты, братъ, не признаешься. (*Глядитъ на часы*). Два часа! Пойдемъ-ка лучше да позавтракаемъ; можетъ быть, за рюмкою вина ты будешь откровеннѣе. (*Уходятъ*).

Конецъ перваго дѣйствія.

ДѢЙСТВІЕ ВТОРОЕ.

ЯВЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

Вельскій (*одинъ входитъ изъ среднихъ дверей*).

Вельскій. Рославлевъ еще не пріѣхалъ. Странно! онъ хотѣлъ быть вслѣдъ за мною. Итакъ, Лиза можетъ быть моею. Ладова съ тетушкою рѣшились мнѣ помогать, и если я поссорю Рославлева съ Лизою... Однако жъ, отнять у пріятеля невѣсту?.. Вотъ забавно! развѣ я обязанъ любить друга больше, чѣмъ самого себя?.. Да я хотѣлъ бы еще знать, будетъ ли онъ счастливъ, женясь на Лизѣ? Не думаю! характеры ихъ совершенно различны; они, конечно, не уживутся; дойдетъ до ссоры, ихъ разведутъ, и тогда они оба несчастны. Ну, право, если подумать хорошенько, то я, какъ истинный другъ Рославлева, не только могу, но долженъ отбить у него невѣсту.

ЯВЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

Вельскій и Тузовъ.

Вельскій. Ба! Тузовъ! ты какъ сюда попалъ?

Тузовъ. Мнѣ нужно съ вами кой о чемъ переговорить.

Вельскій. И ты за этимъ сюда пріѣхалъ? Какая неосторожность!

Тузовъ. Да что же дѣлать? я заѣзжалъ къ вамъ, и мнѣ сказали, что вы цѣлый день не будете дома,—а дѣло, о которомъ я долженъ говорить съ вами, не терпитъ ни минуты.

Вельскій. Ну, что такое? Говори скорѣй!

Тузовъ. Худо, очень худо?

Вельскій. Ты всего боишься; вѣрно, какой-нибудь вздоръ?

Тузовъ. Нѣтъ, не вздоръ. Полковникъ Рубакинъ, который проигралъ намъ прошлую недѣлю сорокъ тысячъ, не подписываетъ векселей и сказалъ наотрѣзъ, что не намѣренъ платить ни копейки.

Вельскій. Неужели? Тебѣ надобно къ нему съѣздить и путемъ изъясниться.

Тузовъ. Изъясниться? съ Рубакинымъ? Нѣтъ! слуга покорный! онъ живетъ въ третьемъ этажѣ, а я прыгать совсѣмъ не мастеръ; не угодно ли вамъ?

Вельскій. Хорошо, я объ этомъ подумаю.

Тузовъ. Мнѣ сказывали также, что Пустодомовъ...

Вельскій. Ну, что такое Пустодомовъ? Неужели и онъ не хочетъ платить?

Тузовъ. Совсѣмъ не то! Онъ человѣкъ добрый и вѣрно-бы расплатился; но у него жена и шестеро дѣтей, которые останутся безъ куска хлѣба.

Вельскій. Да развѣ это наша вина? Кто жъ ему велѣлъ играть?

Тузовъ. Разумѣется! Однако жъ, жена и дѣти Пустодомова, какъ слышно, хотятъ подавать просьбу.

Вельскій. Ужъ эти мнѣ жены! мѣшаются не въ свои дѣла! — Послушай, съѣзди отъ меня къ Пустодомову, поторгуйся и, если надобно, то... чортъ возьми! мирись съ нимъ хотя на половинѣ.

Тузовъ. Потрудитесь сами къ нему съѣздить.

Вельскій. А для чего же не ты?

Тузовъ. Я рѣшился перестать играть, и не хочу теперь ни во что мѣшаться.

Вельскій. Помилуй! что тебѣ сдѣлалось?

Тузовъ. Того и гляди, что попадешь въ какую-нибудь непріятную исторію.

Вельскій. Полно дурачиться!

Тузовъ. Нѣтъ, кончено, я больше не играю.

Вельскій. Ну, какъ хочешь, я на твое мѣсто найду много охотниковъ. Прощай!

Тузовъ. Постойте на минуту, — намъ надобно еще поразсчитаться.

Вельскій. Разсчитаться! Въ чемъ?

Тузовъ. Въ сущей бездѣлицѣ. О векселяхъ я ни слова; но я знаю, что Рославлевъ заплатилъ вамъ сполна всѣ двадцать тысячъ, а такъ какъ я былъ въ пятой долѣ...

Вельскій. Ахъ, Тузовъ! Не говори мнѣ объ этомъ выигрышѣ: онъ лежитъ у меня на душѣ. Я хотѣлъ Рославлеву дать небольшой урокъ, а, право, не обыграть его, — и хочу непремѣнно, чтобъ онъ отыгрался.

Тузовъ. Какъ угодно, отдайте только мою долю.

Вельскій. Хорошо, мы сочтемся послѣ.

Тузовъ. Нѣтъ, сударь, не послѣ: мнѣ уже наскучило получать одни обѣщанія.

Вельскій. Что это значитъ?

Тузовъ. Это значитъ то, что я съ мѣста не сойду, пока вы со мною не раздѣлаетесь.

Вельскій. Да вы, сударь, видно забыли, что играли съ Рославлевымъ на мои деньги, и должны быть довольны тѣмъ, что я вамъ дамъ за труды.

Тузовъ. Прекрасно! такъ вы этакъ выполняете ваши обѣщанія? Какая низость?

Вельскій. Прошу не забываться, г-нъ Тузовъ! вспомните, что вы были прежде.

Тузовъ. Тоже, что и теперь.

Вельскій. Не забудьте, что вы всѣмъ обязаны мнѣ: я поставилъ васъ на ноги; если бы не я, то вы до сихъ поръ играли бы по гривнѣ въ бостонъ.

Тузовъ. Такъ вспомните же, что и я для васъ дѣлалъ: я просиживалъ цѣлыя ночи за картами, а вы были въ сторонѣ! подбиралъ, приписывалъ, обсчитывалъ, — а вы были въ сторонѣ! меня ругали, меня называли бездѣльникомъ, плутомъ, и даже иногда... а вы были въ сторонѣ!

Вельскій. Такъ что жъ? я платилъ вамъ за это деньги.

Тузовъ. Трудясь для васъ, я совершенно потерялъ свою репутацію.

Вельскій. Не разорительная потеря.

Тузовъ. Право! Такъ постойте же, я выведу и васъ на чистую воду.

Вельскій. Какъ вы смѣете!..

Тузовъ. Дайте мнѣ увидѣть Рославлева, посмотримъ, устоитъ ли тогда и ваша репутація.

ЯВЛЕНІЕ ТРЕТЬЕ.

Тѣ же и Рославлевъ.

Вельскій (*не замѣчая Рославлева*). Г-нъ Тузовъ! если я потеряю терпѣніе... (*Увидя Рославлева въ сторону*). Рославлевъ!

Тузовъ Ну, сударь! что-жъ вы тогда сдѣлаете?

Вельскій (*перемѣнивъ голосъ*). Я не ожидалъ, сударь, чтобы вы осмѣлились сдѣлать мнѣ такое гнусное предложеніе.

Тузовъ. Что это значитъ?

Вельскій (*какъ будто бы увидя нечаянно Рославлева*). А! мой другъ! ты пріѣхалъ? очень кстати!

Тузовъ. Г-нъ Рославлевъ здѣсь? Прекрасно!

Рославлевъ. Что вы, господа?

Вельскій. Представь себѣ! этотъ господинъ, узнавши, что дядя привезъ къ тебѣ много денегъ, пріѣхалъ подговорить меня— за одно съ нимъ тебя обыграть.

Рославлевъ. Меня! нѣтъ, шутишь?

Тузовъ. Это ужъ ни на что не походитъ! Г-нъ Рославлевъ!..

Вельскій. И когда я сказалъ, что выведу наружу его плутни, вздумалъ меня стращать, да и чѣмъ же? Что скажетъ тебѣ, будто бы я и прежде за одно съ нимъ тебя обыгрывалъ.

Рославлевъ. Ты? Ха, ха, ха!

Тузовъ. Это правда, г-нъ Рославлевъ, онъ точно васъ обыгрывалъ.

Вельскій (*Рославлеву*). Слышишь?

Тузовъ. Эти двадцать тысячъ...

Рославлевъ. Онъ выигралъ пополамъ съ вами?.. Экій злодѣй! — Не стыдно ли тебѣ, братецъ? а?

Тузовъ. Я вижу, вы не вѣрите?..

Рославлевъ. Помилуйте! не вѣрить вамъ? такому честному человѣку!

Тузовъ. Клянусь вамъ честію!

Рославлевъ. Слышишь, Вельскій, онъ клянется...

Вельскій. Да еще своею честію. Чортъ возьми! тутъ нехотя повѣришь.

Тузовъ. Хорошо, сударь! вы теперь торжествуете, но погодите! я найду способъ сорвать съ васъ личину. До свиданья! вы скоро обо мнѣ услышите! (*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Рославлевъ и Вельскій.

Вельскій. Прошу покорно! и онъ же грозитъ! Какой безпутный клеветникъ!

Рославлевъ. Признаюсь, и я не ожидалъ этого отъ Тузова. Да онъ настоящій плутъ!

Вельскій. Насилу увидѣлъ! Вотъ то-то же, Рославлевъ, тысячу разъ говорилъ тебѣ не связываться съ этимъ негодяемъ, — двадцать тысячъ были бы дома...

Рославлевъ. Полно! ты вѣчно бранишь меня; что сдѣлано, того не воротишь. Скажика лучше, гдѣ ты вчерась пропадалъ? Я искалъ тебя по всему городу. Ужъ гдѣ я не былъ! У Волгиной, Зарѣцкой, Лидовой и даже у Прелестиной,—и тамъ тебя не было.

Вельскій. Ахъ, кстати о Прелестиной. Знаешь ли что? Кто-то ей сказалъ, что я намѣренъ жениться, и она написала ко мнѣ сегодня преотчаянную записку. Мнѣ хотѣлось бы ей отвѣчать, сказать, напримѣръ, что она ребячится; что если бы и въ самомъ дѣлѣ я вздумалъ по какимъ-нибудь причинамъ жениться, то это не помѣшало бы мнѣ любить ее попрежнему. Да вотъ моя бѣда! лишь только дойдетъ дѣло до любовныхъ записокъ, такъ я дуракъ дуракомъ, двухъ словъ не напишу сряду.

Рославлевъ. Бѣдняжка! Хочешь ли я тебѣ помогу?

Вельскій. А что, въ самомъ дѣлѣ! садись-ка, братъ, да пиши; вѣдь, это по твоей части, ты злодѣй на любовныя фразы.

Рославлевъ (*садится за столъ*). Тебѣ надобно это покороче?

Вельскій. Да, да! словъ десять.—Послушай, если ты мастеръ, такъ пиши прямо набѣло, безъ помарокъ.

Рославлевъ. Что ты думаешь, не напишу?

Вельскій. Посмотримъ! посмотримъ!

Рославлевъ. А вотъ увидишь (*Пишетъ*).

Вельскій (*въ сторону*). Онъ пишетъ,— хорошо! (*Громко, смотря черезъ плечо*). Славно, славно! ай да Рославлевъ!.. Довольно! дай сюда; я спишу и отошлю его къ Прелестиной. (*Кладетъ письмо въ карманъ*). Ну, это кончено, поговоримъ теперь о твоихъ сердечныхъ обстоятельствахъ. Ты все еще любишь Лизу?

Рославлевъ. Больше, чѣмъ когда-нибудь.

Вельскій. Право! такъ ты влюбленъ не на шутку?

Рославлевъ. Какая шутка! я хочу на ней жениться.

Вельскій. Жениться! ха, ха, ха! жениться въ твои лѣта!

Рославлевъ. Что-же тутъ страннаго?

Вельскій. Жениться на двадцать второмъ году! Подумай самъ, на что это похоже?

Рославлевъ. Смѣйся какъ хочешь, а я ужъ рѣшился.

Вельскій. Жениться недолго, Рославлевъ, только воля твоя, сердись на меня или нѣтъ, а ты будешь несчастливъ.

Рославлевъ. Почему ты это думаешь?

Вельскій. Потому, что знаю твой характеръ. Скажи самъ, женился-ли бы ты на Лизѣ, если бы зналъ, что она тебя не любитъ?

Рославлевъ. Разумѣется, нѣтъ; но Лиза...

Вельскій. Ты ее не знаешь. Это холодное твореніе не любитъ ни тебя, ни меня, никого на свѣтѣ; а выйдетъ за всякаго для того только, чтобъ не жить вмѣстѣ съ своей мачихой.

Рославлевъ. Ха, ха, ха! какой вздоръ!

Вельскій. Эй, Рославлевъ, смотри, не разсерди, меня, вѣдь, я докажу.

Рославлевъ. Доказывай, мой милый, доказывай!

Вельскій. Ты смѣешься? Хорошо же! только смотри, чуръ не сердиться.

Рославлевъ. Не безпокойся.

Вельскій. Послушай, если Лиза тебя любитъ, то, вѣдь, она не пойдетъ охотою за другого?

Рославлевъ. Разумѣется; но неужели ты думаешь, что Лиза...

Вельскій. Я ничего не думаю. (*Размышляя*). Такъ точно! это одинъ способъ вывести тебя изъ заблужденія; онъ нѣсколько страненъ — это правда; но такъ и быть: когда дѣло идетъ о томъ, чтобъ спасти друга, то всѣ средства хороши. Да, мой другъ, я открою тебѣ глаза.

Рославлевъ. Но растолкуй мнѣ...

Вельскій. Ни слова болѣе! ты узнаешь скоро, другъ-ли я тебѣ, и любитъ-ли тебя Лиза.

ЯВЛЕНІЕ ПЯТОЕ.

Тѣ-же, Ладова, Посидѣлова и Лиза.

Ладова. А! Здравствуйте, Рославлевъ. Куда вы пропадали, Вельскій? Я думала, что вы у насъ обѣдаете.

Вельскій. Я никакъ не могъ.

Ладова. Мы идемъ гулять по саду, — время прекрасное.

Посидѣлова (*Рославлеву*). Что, батюшка, твой дядя скоро отсюда уѣдетъ?

Рославлевъ. Я думаю, сударыня.

Посидѣлова. Въ самомъ дѣлѣ, что ему

здѣсь дѣлать, — ѣхалъ-бы опять къ себѣ въ деревню.

Ладова. Пойдемте-же, тетушка.

Посидѣлова. Пойдемъ, мой другъ, пойдемъ!

Ладова. А вы, господа?

Рославлевъ. Съ большою охотою. (*Подавая Лизѣ руку*). Не угодно-ли вамъ?

Ладова. Нѣтъ, нѣтъ! дайте мнѣ вашу руку, Рославлевъ. (*Тихо Вельскому*). Ступайте съ Лизою. (*Посидѣлова, Ладова и Рославлевъ уходятъ. Вельскій останавливаетъ Лизу*).

ЯВЛЕНІЕ ШЕСТОЕ.

Вельскій и Лиза.

Вельскій. Одно слово, сударыня!

Лиза. Что вамъ угодно?

Вельскій. Я цѣлый день ищу случая поговорить съ вами наединѣ. Скажите, правда-ли, что вы выходите замужъ?

Лиза. Я! съ чего вы это взяли?

Вельскій. Послушайте! вы всегда были со мною откровенны; къ чему таиться; вѣдь, я знаю, Рославлевъ, вѣрно, не получитъ отказа: вашъ батюшка его любитъ... вы также къ нему неравнодушны... Не правда-ли?.. Вы молчите?

Лиза. Что-же я буду вамъ говорить?

Вельскій. Понимаю! кто молчитъ, тотъ соглашается. Итакъ, это кончено; теперь еще одинъ вопросъ: скажите, можете-ли вы быть счастливы съ человѣкомъ честнымъ, добрымъ, хорошимъ, но который женится на васъ не по любви, а по однимъ разсчетамъ?

Лиза. Что вы этимъ хотите сказать?

Вельскій. Отвѣчайте прежде на мой вопросъ: можете-ли вы быть счастливы съ такимъ человѣкомъ?

Лиза. О, конечно, нѣтъ, но я надѣюсь, что Рославлевъ...

Вельскій. Рославлевъ!.. Ахъ, сударыня! я очень о васъ жалѣю.

Лиза. Боже мой! да что такое?

Вельскій. Если бъ я могъ быть увѣренъ, что это останется между нами...

Лиза. Говорите, говорите!

Вельскій. Такъ и быть! вы узнаете все... Однако жъ, подумайте хорошенько; малѣйшая нескромность съ вашей стороны можетъ быть причиною большихъ несчастій; обѣщайте мнѣ, что Рославлевъ никогда не узнаетъ...

Лиза. Да, да! обѣщаю вамъ все, только говорите.

Вельскій. Вы думаете, что Рославлевъ васъ любитъ?.. Онъ васъ обманываетъ, сударыня!

Лиза. Какъ, сударь! и вы это говорите о вашемъ другѣ?

Вельскій. Да, сударыня, о немъ; дружба имѣетъ свои предѣлы... Я люблю Рославлева и готовъ за него стрѣляться въ двухъ шагахъ; но помогать ему обманывать невинную дѣвушку, или молчать тогда, когда я могу ей открыть глаза, было-бы съ моей стороны преступленіемъ.

Лиза. Рославлевъ меня обманываетъ? Нѣтъ, это невозможно!

Вельскій. Я самъ бы этому не повѣрилъ, если-бы мнѣ не попалось нечаяннымъ случаемъ вотъ это письмо, которое онъ писалъ на дняхъ къ Прелестиной.

Лиза. Къ Прелестиной?

Вельскій. Вы знаете его руку — прочтите! (*подаетъ ей письмо*).

Лиза (*читаетъ*). «Я не вѣрилъ глазамъ моимъ, читая вашу записку. Какъ можете вы сомнѣваться въ любви моей?»—Измѣнникъ!— «Если я въ самомъ дѣлѣ вздумаю жениться по какимъ-нибудь разсчетамъ, то развѣ это помѣшаетъ мнѣ любить васъ; я могу отдать мою руку, а не сердце: оно давно принадлежитъ вамъ».—Злодѣй!..

Вельскій. Довольно, остальное вамъ читать не нужно. Отдайте мнѣ письмо.

Лиза. Нѣтъ, сударь! я оставлю у себя; пускай оно напоминаетъ мнѣ всегда, какъ я должна ненавидѣть всѣхъ мужчинъ.

Вельскій. Всѣхъ! это было бы несправедливо, сударыня: не всѣ мужчины походятъ на моего друга; я знаю человѣка, который истинно васъ любитъ... который...

Лиза. Перестаньте! всѣ мужчины обманщики!

Вельскій. Послушайте меня!..

Лиза. Я не хочу ничего слышать. (*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ СЕДЬМОЕ.

Вельскій (*одинъ*).

Постойте!.. Она ушла! письмо осталось у нея. Ну, если она вздумаетъ показать его Рославлеву? На скромность влюбленной дѣвушки полагаться не можно. Пойду, постараюсь оное выручить.

ЯВЛЕНІЕ ВОСЬМОЕ.

Вельскій, Ладовъ и Стародубовъ.

Ладовъ. Куда ты бѣжишь, Вельскій?

Вельскій. Въ садъ; мнѣ надобно поговорить съ Рославлевымъ.

Ладовъ. Да побудь вмѣстѣ съ нами.

Вельскій. Извините, я, право, не могу. (*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ ДЕВЯТОЕ.

Ладовъ и Стародубовъ.

Ладовъ. Вѣдь, это онъ отъ тебя бѣгаетъ, Стародубовъ.

Стародубовъ. Тѣмъ лучше, — я очень радъ.

Ладовъ. А, однако жъ, знаешь ли что? я хочу съ тобою браниться за Вельскаго.

Стародубовъ. Эхъ, братецъ! оставь его въ покоѣ.

Ладовъ. Не стыдно ли тебѣ, въ твои почтенныя лѣта, заслуживъ репутацію честнаго человѣка, мѣшаться въ сплетни, распространять гнусную клевету и, что всего хуже,—давать дурной толкъ хорошимъ дѣламъ?

Стародубовъ. Я тебя не понимаю.

Ладовъ. Не ты ли сказалъ мнѣ, что Вельскій обыгралъ двоюроднаго своего брата?

Стародубовъ. Ну да, это правда.

Ладовъ. А для чего же ты не прибавилъ, что онъ дѣлалъ это изъ великодушія!

Стародубовъ. Изъ великодушія!

Ладовъ. Да, сударь! онъ поступилъ въ семъ случаѣ, какъ самый хорошій родственникъ: онъ обыгралъ Простакова! Но для чего? Для того, чтобъ дать ему спокойное убѣжище! Не оставилъ за нимъ души христіанской,—не спорю, но за то родовое ихъ имѣніе не досталось въ чужія руки. Вельскій не могъ удержать Простакова отъ игры и обыгралъ его самъ,—умно и сдѣлалъ! Изъ двухъ необходимыхъ золъ надобно выбирать всегда меньшее. Что, пріятель, ты удивляешься, остолбенѣлъ? То-то же, признайся, ты не ожидалъ найти во мнѣ такъ много философіи?

Стародубовъ. Нечего сказать! откуда ты набрался такой премудрости?

Ладовъ. Тутъ нѣтъ никакой премудрости, мой милый! Здравый смыслъ, очищенная мораль—и больше ничего.

Стародубовъ. Ужъ, подлинно, очищенная! Ну, мой другъ, теперь я вижу, — ты великій философъ!

Ладовъ. Эхъ, любезный! не то бы еще было, если бы жена не отвлекала меня отъ ученыхъ занятій, а то иногда я за разборъ какого-нибудь манускрипта,—а она меня въ модную лавку; я за перо, — а она меня въ англійскій магазинъ.

Стародубовъ. Видно же, она тобой изрядно помыкаетъ.

Ладовъ. Да что будешь дѣлать? У нея разстроены нервы: чуть не по ней, такъ и спазмы; и признаюсь тебѣ какъ старинному другу, иногда мнѣ бываетъ, ой, ой, ой, какъ тяжело!

Стародубовъ. Вѣрю.

Ладовъ. Въ иное время ты, право, бы обо мнѣ пожалѣлъ.

Стародубовъ. Нѣтъ, любезный другъ, человѣкъ, который въ твои лѣта не умѣетъ поддержать достоинство мужа, не жалокъ, а смѣшонъ.

Ладовъ. Да скажи мнѣ, что я долженъ дѣлать?

Стародубовъ. Осмѣлься хотя однажды имѣть собственную свою волю: не выполняй всѣхъ ея капризовъ...

Ладовъ. И, милый! Вѣдь, это будетъ шумъ да слезы; а я люблю тишину и спокойствіе!

Стародубовъ. Скажи лучше, ты боишься жены своей.

Ладовъ. Боюсь! Съ чего ты это взялъ?

Стародубовъ. Ты слова не смѣешь сказать ей вопреки.

Ладовъ. Не смѣю? Нѣтъ, братъ! Если дѣло пойдетъ на то, я и самъ упрямъ.

Стародубовъ. Полно, правда ли?

Ладовъ. Если я не шутя чего захочу, то она себѣ хоть тресни, а дѣлай по моему.

Стародубовъ. Не вѣрю.

Ладовъ. Не вѣришь? Такъ я же тебѣ докажу. Что въ самомъ дѣлѣ! Стоитъ только однажды рѣшиться.

ЯВЛЕНІЕ ДЕСЯТОЕ.

Тѣ же, Посидѣлова и Ладова.

Ладова. Какъ я устала!

Посидѣлова. Мы сегодня много ходили.

Ладова (*мужу*). Зачѣмъ ты, мой другъ, не пришелъ гулять вмѣстѣ съ нами?

Ладовъ. Зачѣмъ? Оттого, что не хотѣлъ.

Ладова. Да отчего же?

Ладовъ. Не хотѣлъ, да и все тутъ.

Ладова. Напрасно, я совѣтовала бы тебѣ...

Ладовъ. Нечего совѣтовать,—я ужъ не ребенокъ.

Ладова. Что это значитъ?

Ладовъ. Да такъ, ничего.

Ладова. Помилуйте, сударь! Что за глупый тонъ?

Ладовъ. Глупый? Прошу не забывать, сударыня, что вы должны говорить со мною съ уваженіемъ,—разумѣете ли?

Ладова. Какъ!

Ладовъ. Я мужъ, а вы жена! — понимаете ли?

Посидѣлова. Что, что?

Ладовъ. Мнѣ наскучило уже выполнять ваши капризы,—слышите ли!

Посидѣлова. Да что ты, батюшка, рехнулся что-ль?

Ладовъ. Не ваше дѣло, тетушка! Я хочу ей доказать, что я господинъ въ моемъ домѣ.

Ладова. Вы, сударь?

Ладовъ. И что я могу ходить гулять, когда мнѣ угодно.

Посидѣлова. Ты господинъ въ своемъ домѣ? А племянница-то что-жъ, развѣ она твоя служанка?

Ладовъ. Я не говорю этого...

Посидѣлова. Развѣ ты думаешь, что она должна выносить твои грубости? Негодный!

Ладовъ. Прошу не ругаться! У меня у самого есть языкъ.

Ладова. Уйдемте, тетушка, отъ этого бѣшенаго человѣка.

Посидѣлова. Уйдемъ, милая!.. Но добро! Осмѣлься только придти въ нашу комнату!.. Покажись только! (*Уходятъ*).

ЯВЛЕНІЕ ОДИННАДЦАТОЕ.

Ладовъ и Стародубовъ.

Ладовъ. Ну, братъ, каково?

Стародубовъ. Очень дурно.

Ладовъ. Какъ! Да развѣ я не выдержалъ характера?

Стародубовъ. Зачѣмъ ты поссорился съ своею женою?

Ладовъ. Да не ты ли мнѣ совѣтовалъ?

Стародубовъ. Я никогда тебѣ не совѣтовалъ придираться къ ней изъ-за пустяковъ.

Ладовъ. Такъ поэтому я виноватъ?

Стародубовъ. Безъ сомнѣнія; она имѣетъ полное право на тебя сердиться.

Ладовъ. Ну, такъ и есть!.. Эхъ, братецъ! Охота тебѣ давать совѣты!

Стародубовъ. Вольно-жъ было тебѣ...

Ладовъ. И кто проситъ посторонниихъ людей мѣшаться въ семейственныя дѣла?

Посидѣлова (*за кулисами*). Воды! Скорѣй воды!

Ладовъ. Что это (*Слуга бѣжитъ чрезъ сцену*). Куда ты?

Слуга. Барынѣ, сударь, сдѣлалось дурно. (*Уходитъ*).

Ладовъ. Дурно!.. Ахъ, Боже мой! — Ну, пріятель, нечего сказать, удружилъ!

Стародубовъ. Помилуй, братецъ...

Ладовъ. Хорошо, очень хорошо! Ссорить мужа съ женою!

Стародубовъ. Да ты самъ хотѣлъ, чтобъ я сказалъ свое мнѣніе.

Ладовъ. Твое мнѣніе? Да твое мнѣніе-то гроша не стоитъ! Какъ я покажусь теперь женѣ? Я ее огорчилъ, разобидѣлъ! (*Служанка бѣжитъ чрезъ сцену*). Что жена?

Служанка. Съ ней сдѣлались спазмы. (*Уходитъ*).

Ладовъ. Спазмы... Прекрасно, прекрасно! И какой чортъ дернулъ меня... Да и что говорить! Подѣломъ мнѣ! Нашелъ съ кѣмъ совѣтоваться. Человѣкъ, который называетъ Сократа живописцемъ... (*Маша бѣжитъ чрезъ сцену*). Ну, что? Говори, говори проворнѣй!

Маша. Барыня, сударь...

Ладовъ. Ну!

Маша. Съ ней сдѣлался обморокъ! (*Уходитъ*).

Ладовъ. Обморокъ!.. Ну, пропалъ я!

Стародубовъ. Успокойся!

Ладовъ. Да слышишь ли, варваръ? Обморокъ? Вотъ тебѣ и пріятельскіе совѣты! Вотъ тебѣ и достоинство мужа! Спазмы, обморокъ— и все это по твоей милости!.. Что мнѣ теперь дѣлать?.. Пойду!.. Побѣгу!.. Спасибо, любезный! Спасибо! (*Уходитъ*).

Въ продолженіе сей сцены слуга проходитъ назадъ со стаканомъ воды; горничныя также перебѣгаютъ, — вообще, на сценѣ должна быть большая суматоха).

ЯВЛЕНІЕ ДВѢНАДЦАТОЕ.

Стародубовъ (*одинъ*).

Бѣдный Ладовъ! Какъ тебя дурачатъ! Ужъ пускай бы жена, а то и этотъ негодный Вельскій. Жаль, очень жаль! А пособить нечѣмъ. (*Входитъ слуга и подаетъ Стародубову письмо*). Что это? (*Читаетъ*). «Милостивый государь, если вы желаете знать нѣчто касающее вашего племянника, то потрудитесь съѣздить на вашу квартиру: вы найдете тамъ человѣка, который откроетъ вамъ одну важную тайну»... И безъ подписи! Терпѣть не могу эти безыменныя письма; честный человѣкъ не стыдится нигдѣ подписывать своего имени; но дѣло идетъ о племянникѣ—такъ и быть, пойду! Посмотримъ, что это за тайна.

КОНЕЦЪ ВТОРОГО ДѢЙСТВІЯ.

ДѢЙСТВІЕ ТРЕТЬЕ.

ЯВЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

Ладовъ, Ладова и Маша (*ведетъ подъ руку Ладову. Ладовъ идетъ позади*).

Ладова. Куда ты меня ведешь?

Маша. У васъ очень душно, сударыня; здѣсь гораздо свѣжѣе. (*Сажаетъ ее на кресло*).

Ладовъ. Ангелъ мой! Душа моя!

Ладова. Подите, сударь, я не могу васъ видѣть!

Ладовъ. Помилуй, неужели тебя нельзя умилостивить.

Ладова. Нѣтъ, сударь, я никогда этого не забуду.

Ладовъ. Другъ мой!

Ладова. Разругать меня при постороннемъ человѣкѣ, наговорить мнѣ тысячу грубостей!.. Ахъ! отъ одной этой мысли... Спирту! Машенька, спирту!

Ладовъ. Что это? Ей опять дурно!.. Негодный Стародубовъ!

Маша (*тихо Ладову*). Пройдетъ, сударь, не хлопочите!

Ладовъ. Дай-то Богъ! Какъ ты себя чувствуешь, мой другъ?

Ладова. Ахъ! оставьте меня умереть спокойно.

Ладовъ. Умереть!.. Слышишь-ли, Машенька? это ужъ не шутка.

Маша (*тихо Ладову*). Не бойтесь,—не умретъ.

Ладовъ. О, проклятый Стародубовъ! Без-

цѣнное мое сокровище! другъ мой!.. Она молчитъ! О, злодѣй Стародубовъ... Душенька, жизненочекъ мой! да взгляни хоть на меня!.. О, разбойникъ Стародубовъ!

ЯВЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

Тѣ же и Посидѣлова.

Ладовъ. Вступитесь хоть вы за меня, тетушка.

Посидѣлова. Что, она тебя не прощаетъ? Подѣломъ, надобно тебя проучить.

Ладовъ. Да, вѣдь, повинную-то голову и мечъ не сѣчетъ.

Посидѣлова. Добро, добро! я тебя помирю съ нею, только съ уговоромъ.

Ладовъ. Говорите, я на все согласенъ.

Посидѣлова. А вотъ посмотримъ. (*Говоритъ тихо Ладовой*).

Маша (*въ сторону*). Къ чему это онѣ подбираются?

Посидѣлова. Маша, позови къ намъ Лизаньку.

Маша. Барышню?

Посидѣлова. Ну да! Развѣ ты оглохла? (*Маша уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ ТРЕТЬЕ.

Тѣ же, безъ Маши.

Посидѣлова. Послушай, батюшка! племянница хочетъ, чтобъ ты выдалъ замужъ Лизаньку.

Ладовъ. Лизаньку! За кого?

Посидѣлова. За Вельскаго.

Ладовъ. За Вельскаго? По мнѣ, пожалуй, я очень радъ! Будетъ-ли только согласна Лизанька.

Посидѣлова. Согласна? Вотъ еще какой вздоръ! Нѣтъ, сударь, въ старину мы этого не знали; бывало, хочешь или не хочешь, а замужъ ступай!

Ладовъ. Помилуйте! выдавать насильно замужъ.

Посидѣлова. И, батюшка! что за насильно? Припугни-ка ее порядкомъ, такъ она пойдетъ съ охотою.

Ладовъ. Воля ваша, а я принуждать ее не буду.

Ладова. Ну, тетушка, видите, какъ онъ меня любитъ? Послушайте, сударь, если вы не сдѣлаете сегодня помолвку...

Ладовъ. Сегодня!..

Ладова. Вы не соглашаетесь?

Ладовъ. Да разсуди сама, матушка!..

Ладова (*вскочивъ съ кресель*). Такъ знайте же, сударь, я больше не живу съ вами.

Ладовъ. Что ты, мой другъ?

Ладова. Я не хочу быть долѣе гувернанткой вашей дочери. Да, сударь, рѣшено: или она будетъ сегодня помолвлена, или я... Ахъ, Боже мой! (*Бросается опять на кресло*).

Посидѣлова. Что ты, милая?

Ладова. Какой ужасный шумъ въ головѣ!

Посидѣлова. Слышишь-ли, батюшка? Соглашайся скорѣй!

Ладовъ. Я, право, не знаю...

Ладова. Ахъ, душно!

Посидѣлова. Злодѣй! Что ты, уморить что ль ее хочешь?

Ладова. Спазмы!

Ладовъ. Спазмы!.. Согласенъ, матушка, на все согласенъ.

Посидѣлова. Слава Богу!.. Экій упрямый!—Что, мой другъ?

Ладова. Немного получше.

Посидѣлова. Теперь, милая, его можно ужъ и простить. Поди сюда, батюшка, — сюда!.. Проси у нея прощеніе... да на колѣняхъ!

Ладовъ. Помилуйте! кто нынче становится на колѣни?

Посидѣлова. Да, вѣдь, ты, сударь, не любовникъ, а мужъ,—а мужей баловать не должно. На колѣни!

Ладовъ. Нечего дѣлать! (*Становится на колѣни*).

Ладова. Какъ вы думаете, тетушка, простить ли мнѣ его?

Посидѣлова. Прости, мой другъ!

Ладова. Чувствую сама, что я слишкомъ добра; но такъ и быть—встань: я тебя прощаю (*Даетъ ему поцѣловать руку*).

Ладовъ. Ухъ! какъ гора съ плечъ!

ЯВЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Тѣ же и Лиза.

Ладовъ. Поди сюда, Лизанька: мнѣ надобно поговорить съ тобою о важномъ дѣлѣ.

Лиза. О важномъ дѣлѣ! (*Въ сторону*). Что это значитъ?

Ладовъ. Ты, мой другъ, ужъ не ребенокъ: пора тебя пристроить къ мѣсту.

Лиза. Какъ, батюшка! вы хотите...

Ладовъ. Да, мой другъ, я хочу выдать тебя замужъ.

Лиза (*въ сторону*). Боже мой? неужели Рославлевъ?..

Ладовъ. Женихъ тебѣ, вѣрно, понравится; ты съ нимъ давно уже знакома.

Лиза (*въ сторону*). Я не ошибаюсь, это Рославлевъ. (*Громко*). Я знаю, о комъ вы говорите, батюшка, но ни за что на свѣтѣ не соглашусь выйти за него замужъ.

Ладовъ. Какъ!

Лиза. Я его ненавижу.

Ладова. Что это значитъ, сударыня?

Лиза. Онъ злой человѣкъ.

Посидѣлова. Опомнись, мать моя!

Лиза. Чудовище!

Ладовъ. Да тьфу пропасть! Что онъ тебѣ сдѣлалъ? Послушай, Лизанька, не дурачься, вѣдь, надобно-же когда-нибудь выйти замужъ.

Лиза. За него—никогда.

Ладовъ. Лизанька, другъ мой! утѣшь меня,—не упрямься.

Лиза. Батюшка! если вы непремѣнно хотите, чтобъ я была замужемъ, то я готова выйти за всякаго, кромѣ Рославлева.

Ладовъ. Дурочка! Да кто говоритъ тебѣ о Рославлевѣ?

Лиза. Какъ! Такъ это не онъ?

Ладовъ. Совсѣмъ нѣтъ; я хочу выдать тебя за Вельскаго.

Лиза (*испугавшись*). За Вельскаго?.. Ахъ, Боже мой!

Ладовъ. Чего же ты испугалась?

Лиза. Батюшка!

Посидѣлова. Что, сударыня, и этотъ не по нраву? Да пустое, матушка! Ты сама сказала, что выйдешь за всякаго, кромѣ Рославлева.

Ладовъ. Да, да! и если ты еще будешь упрямиться, то прошу меня не называть отцомъ.

Лиза (*въ сторону*). Такъ и быть! пускай узнаетъ этотъ измѣнникъ, какъ я его презираю! (*Громко*). Батюшка! дѣлайте, что вамъ угодно.

ЯВЛЕНІЕ ПЯТОЕ.

Тѣ-же и Стародубовъ.

Стародубовъ. Всѣ здѣсь! Тѣмъ лучше.

Ладовъ. А! Стародубовъ! Небось, иди! я ужъ на тебя не сержусь. Да ты что-то веселъ?

Стародубовъ. Это правда. Я сдѣлалъ одно важное открытіе; теперь, надѣюсь, не трудно будетъ вывести тебя изъ заблужденія?

Ладовъ. Изъ какого заблужденія?

Стародубовъ. Я имѣю вѣрныя доказательства, что пріятель вашъ Вельскій—негодный человѣкъ.

Ладовъ. Опять принялся за старое.

Стародубовъ. Вы думаете, что Вельскій васъ любитъ?

Ладова. О, сударь! оставьте насъ въ этомъ заблужденіи.

Стародубовъ. Онъ всѣхъ васъ обманываетъ.

Ладовъ. Вздоръ, сударь? Вельскій не обманщикъ.

Ладова. Правда, онъ никому не говоритъ грубостей.

Посидѣлова. Не выдаетъ себя за прямого человѣка для того, чтобъ ругать цѣлый свѣтъ

Ладовъ. И никогда не мѣшается въ семейныя дѣла для того, чтобъ ссорить мужа съ женою.

Стародубовъ. Знаете ли вы, что этотъ Вельскій...

Ладовъ. Я знаю только, что онъ добрый малый.

Посидѣлова. Да! онъ добрый малый! а ты, батюшка, злой человѣкъ.

Ладова. Вы, сударь, клеветникъ!

Ладовъ. У тебя, братецъ, прескверный характеръ!

Стародубовъ. Да послушай...

Ладовъ. Что?.. тебѣ не удалось поссорить меня съ женою, такъ ты хочешь ссорить съ пріятелемъ? Да нѣтъ! не на того напалъ, любезный!

Стародубовъ. Погоди, ты сейчасъ увидишь...

Ладовъ. Что тутъ видѣть? онъ мнѣ другъ, и я не хочу о немъ слышать ничего дурного, а если это тебѣ не нравится, то прошу не знать моего дома,—вотъ и все тутъ!

ЯВЛЕНІЕ ШЕСТОЕ.

Тѣ-же, Вельскій и Рославлевъ.

Вельскій. Здѣсь, кажется, о чемъ-то спорятъ!

Ладовъ. Поди сюда, Вельскій. Пускай Стародубовъ говоритъ, что хочетъ, никто не увѣритъ меня, чтобъ ты не былъ добрый малый.

Рославлевъ. Дядюшка! неужели вы всегда будете несправедливы противъ моего друга?

Стародубовъ. И ты называешь его своимъ другомъ?

Рославлевъ. Да, дядюшка, онъ истинный мнѣ другъ.

Стародубовъ. Истинный другъ! Ну, право, мнѣ придется треснуть съ досады!

Ладовъ. Такъ тресни же: я отдаю за него мою дочь.

Рославлевъ (*въ сторону*). Что я слышу?

Ладовъ. Вельскій! ты хочешь жениться на Лизанькѣ?

Вельскій. Я почту себя отмѣнно счастливымъ...

Рославлевъ (*тихо Вельскому*). Что ты, Вельскій...

Вельскій (*тихо*). Молчи! я спасаю тебя.

Ладовъ. Такъ дѣло и кончено; Лизанька также согласна. Ну, дѣти, по рукамъ! (*Соединяетъ ихъ*).

Рославлевъ (*Лизѣ*). И вы согласны, сударыня?

Лиза. Да, сударь, я согласна.

Ладовъ (*Посидѣловой*). Не правда ли, тетушка, черезъ недѣлю и свадьба?

Посидѣлова. Конечно, зачѣмъ откладывать.

Рославлевъ (*Вельскому*). Что это значитъ? Ты женишься на Лизѣ?

Вельскій. Кажется, что такъ.

Рославлевъ. Итакъ, я былъ обманутъ?

Вельскій. Да, мой другъ! хорошъ бы ты былъ, еслибы не я.

Стародубовъ. Что, племянникъ, каковъ твой истинный-то пріятель?

Рославлевъ. Ахъ, дядюшка! вы не знаете,—онъ дѣлаетъ это изъ великодушія.

Стародубовъ. Изъ великодушія! Нѣтъ, чортъ возьми, это ни на что уже не похоже! вы всѣ съ ума сошли (*Ладову, который во все это время говорилъ тихо съ Посидѣловой*). Послушай, Ладовъ! я думаю, ты не разсердишься, если я познакомлю тебя покороче съ будущимъ твоимъ зятемъ. Вотъ письмо, которое онъ на прошлой недѣлѣ писалъ къ пріятелю своему Тузову.

Вельскій (*въ сторону*). Какъ! неужели?.. Проклятый Тузовъ!

Ладовъ (*заглянувъ*). Точно такъ! рука его.

Стародубовъ. Прошу послушать, что онъ пишетъ.

Вельскій. Г-нъ Стародубовъ! для меня очень странно...

Ладова. Въ самомъ дѣлѣ, куда какъ благородно, сударь, читать при всѣхъ чужое письмо.

Стародубовъ. Выслушайте только.

Ладова. Нѣтъ, я не могу спокойно видѣть такую низость. Позвольте! (*вырываетъ письмо*).

Стародубовъ. Что это значитъ? Письмо мое, сударыня! прошу васъ...

Вельскій (*тихо Ладовой*). Изорвите его.

Ладова (*взглянувъ на письмо*). Что это?.. (*Читаетъ*). «Вчерась я не могъ съ тобою увидѣться: я былъ у Ладовой; эта сентиментальная дура...» Какъ, сударь! и вы осмѣлились?..

Стародубовъ. Позвольте мнѣ, я прочитаю сряду. (*Беретъ письмо и читаетъ*). «Вчерась я не могъ съ тобою увидѣться: я былъ у Ладовой; эта сентиментальная дура засадила меня въ пикетъ съ любезной своей тетушкой; ужъ выдержалъ я пытку...»

Посидѣлова. Что, что, батюшка?

Стародубовъ (*продолжаетъ читать*). «Ты не знаешь, каково играть съ скупою старухою, которая за каждую полушку готова удавиться...»

Посидѣлова. Какъ! И это тутъ написано?

Стародубовъ (*показывая письмо*). Посмотрите сами.

Посидѣлова. Прошу покорно, я готова удавиться за каждую полушку! Ахъ ты богоотступникъ!

Стародубовъ. Постойте, постойте! дайте кончить. (*Продолжаетъ читать*). «Если Рославлевъ вздумаетъ опять играть, то отдѣлайся повѣжливѣе: бѣдняжка проигралъ намъ двадцать тысячъ и чуть не сошелъ съ ума; долго ли до грѣха, — проиграетъ сорокъ и застрѣлится». Ну, племянникъ, что скажешь?

Рославлевъ. Нѣтъ, это невозможно! Какъ! Тотъ, кого я считалъ моимъ другомъ...

Посидѣлова. И, батюшка! да отъ этого злодѣя все станется. Скупая старуха!.. негодный!

Рославлевъ. Дружба и любовь; все для меня исчезло. (*Лизѣ*) И вы, сударыня, вы!..

Лиза. Нѣтъ, я не могу долѣе молчать! (*Подавая Рославлеву письмо*). Прочтите, сударь, и краснѣйте, если вы еще можете краснѣть.

Вельскій. Все противъ меня!

Рославлевъ. Что это значитъ? Это самое то письмо... Неужели Вельскій?..

Лиза. Да, сударь! Вельскій открылъ мнѣ глаза.

Рославлевъ. А! теперь все для меня ясно! Какое гнусное предательство!

Ладовъ. Что за вздоръ! я тутъ ничего не понимаю!

Ладова. И я также.

Рославлевъ (*Вельскому*). Я надѣюсь, сударь, вы не заставите просить себя и скажете при всѣхъ, что значитъ это письмо. (*Вельскій смѣется*).

Посидѣлова. Экій безбожникъ! посмотрите: онъ еще смѣется!

Рославлевъ. Говорите, сударь,—я требую этого.

Вельскій. Ха, ха, ха! Что за повелительный тонъ! Ты съ ума сошелъ, Рославлевъ?

Рославлевъ. И вы смѣете?..

Вельскій. Не горячись, милый! Я могъ бы доказать въ двухъ словахъ, что дѣлалъ все съ добрымъ намѣреніемъ, но я не привыкъ оправдываться, а особливо, когда мнѣ приказываютъ. Впрочемъ, если ты считаешь себя обиженнымъ...

Рославлевъ. Да, сударь, я обиженъ, и вы должны раздѣлаться со мною со шпагою въ рукахъ.

Посидѣлова. Ахъ, батюшки, дуэль!

Стародубовъ. Не безпокойтесь! Стыдись, племянникъ, упоминать о шпагѣ, говоря съ этимъ господиномъ; презрѣнье—вотъ одно оружіе противъ бездѣльниковъ.

Вельскій. Что это значитъ? Государь мой, благодарите вашимъ лѣтамъ... Но вы не стоите того, чтобъ я съ вами изъяснился. Рославлевъ! Ты можешь каждое утро застать меня дома, — понимаешь? До свиданья! (*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ СЕДЬМОЕ.

Тѣ же, безъ Вельскаго.

Посидѣлова. Ахъ, племянница! Отдохнуть не могу; экій головорѣзъ!

Рославлевъ. Какъ я былъ обманутъ!

Ладова. Растолкуйте намъ,—что значитъ

письмо? (*Рославлевъ, Лиза, Ладова и Посидѣлова говорятъ между собою тихо*).

Стародубовъ. Ты что молчишь, пріятель? а?

Ладовъ. Да я до сихъ поръ не могу ни-чего понять; вы всѣ на него опрокинулись, не дали бѣдняжкѣ двухъ словъ сказать въ оправданіе.

Стародубовъ. Помилуй! Чѣмъ могъ онъ оправдаться?

Ладовъ. Чѣмъ? Полно, братецъ! Ты хотѣлъ только на своемъ поставить. И нечего сказать, поставилъ! Пріѣхалъ, всѣхъ перемутилъ, перессорилъ... Я было затѣялъ свадьбу...

Стародубовъ. Не сердись! За свадьбой дѣло не станетъ. Послушай, мой другъ: племянникъ любитъ твою дочь; какъ ты думаешь, не породниться ли намъ?

Ладовъ. Намъ? Нѣтъ, любезный, выкинь это изъ головы!

Стародубовъ. Почему же ты не хочешь согласиться?

Ладовъ. Не я, братецъ: по мнѣ, пожалуй, Рославлевъ малый хорошій; немного вѣтренъ,—да это пройдетъ.

Стародубовъ. Такъ за чѣмъ же дѣло стало?

Ладовъ. А вотъ за чѣмъ. (*Вполголоса*). Лиза его терпѣть не можетъ.

Стародубовъ. Полно, такъ ли?

Ладовъ. Точно! Я это давно уже замѣтилъ.

Стародубовъ. Не ошибаешься ли ты?

Ладовъ. Я? Нѣтъ, пріятель! Что касается до этого, то я очень проницателенъ.

Стародубовъ. Однако жъ, попробуй, скажи ей.

Ладовъ. Пожалуй, только это напрасный трудъ. Лизанька! Пріятель мой Стародубовъ сватаетъ тебя за племянника своего Рославлева; согласна ли ты за него выйти?

Лиза. Согласна, батюшка.

Ладовъ. Вотъ тебѣ на! Что это значитъ?

Стародубовъ. Это значитъ, что ты очень проницателенъ.

Ладовъ. Такъ чортъ же васъ разберетъ, въ самомъ дѣлѣ! Ну, не ты ли съ полчаса назадъ говорила, что Рославлевъ злодѣй, чудовище, что ты скорѣй выйдешь за всякаго, чѣмъ за него?

Лиза. Ахъ, батюшка! Я думала тогда, что Рославлевъ меня обманываетъ.

Рославлевъ. Вельскій употребилъ самую гнусную хитрость, чтобъ насъ поссорить.

Ладовъ. Вотъ что, понимаю! Ну, такъ бы и говорила.

Лиза. И я чуть было изъ отчаянія не вышла за этого негоднаго Вельскаго.

Посидѣлова. Хороша бы ты была, голубушка! Чего ждать путнаго отъ человѣка, который не постыдился сказать... Мерзавецъ! Вспомнить не могу!

Ладовъ. Правда, тетушка, правда! Теперь и я вижу: Вельскій поступилъ очень дурно, а особливо съ Рославлевымъ,—и какъ подумаешь, такъ нечего сказать,—пострѣлъ!.. А жаль, право, жаль!

Стародубовъ. Помилуй! О комъ ты жалѣешь? Человѣкъ, который всѣхъ васъ обманывалъ, обыгралъ своего пріятеля, хотѣлъ отбить у него невѣсту...

Ладовъ. Эхъ, милый! Все такъ... да малый-то онъ добрый!

КОМЕДІЯ ПРОТИВЪ КОМЕДІИ или УРОКЪ ВОЛОКИТАМЪ.

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА.

Графиня Болеславова, богатая вдова.
Софья. } ея племянницы.
Княгиня Зарѣцкая, молодая вдова. }
Князь Тюльпановъ.
Графъ Фольгинъ, племянникъ его.
Изборскій.
Эрастовъ, сочинитель.
Даша, служанка.

Дѣйствіе происходитъ въ загородномъ домѣ, близъ Петербурга.

ПРЕДИСЛОВІЕ
къ комедіи противъ комедіи.

Я всегда былъ увѣренъ, что, выключая дурного журнала, ничто не можетъ быть скучнѣе предисловія, и, конечно, не написалъ бы его, если бъ не находилъ за нужное изъяснить въ короткихъ словахъ причины, побудившія меня сочинить сію комедію.

При первомъ представленіи комедіи «Урокъ кокеткамъ, или Липецкія воды», видѣлъ я, съ какимъ восторгомъ была она принята публикою, но, несмотря на то, могъ бы я предсказать автору, что онъ будетъ имѣть непріятелей. Многіе *полулитераторы*, не понимая или не желая понять истиннаго смысла нѣкоторыхъ мѣстъ сей пьесы, воспользовались удобнымъ случаемъ выступить на литературное поприще, блеснуть не чужимъ, но (къ несчастію) собственнымъ своимъ умомъ; къ нимъ присоединились, можетъ быть, и тѣ, коимъ не нравилась роль *Угарова*. Тупыя эпиграммы, ироническія сатиры, ругательные куплеты посыпались на автора; въ нихъ старались увѣрить публику, что «Липецкія воды» дурная комедія. Упрямая публика не хотѣла имъ вѣрить; старались выдавать гнусную клевету за истину, и сама истина показалась бы клеветою въ ихъ сочиненіяхъ. Не держась никакой партіи, я слушалъ спокойно странныя сужденія противниковъ сей комедіи, находилъ ихъ довольно забавными, рѣдко спорилъ, потому что невозможно спорить съ тѣми, которые, вмѣсто доказательствъ, прочитаютъ какую-нибудь жалкую эпиграмму или пропоютъ ругательные куплетцы; но находя много комическаго въ семъ литературномъ ополченіи противъ «Липецкихъ водъ» и здраваго смысла, рѣшился написать комедію, въ коей могъ бы помѣстить мое мнѣніе о новой пьесѣ и нѣсколько забавныхъ сценъ, которыхъ я былъ очевиднымъ свидѣтелемъ.

Правда глаза колетъ. Я долженъ былъ ожидать, что враги «Липецкихъ водъ» сдѣлаются и моими; твердо рѣшившись молчать и не отвѣчать ни на какія критики, я не сказалъ бы ни слова о *мнѣніи* какого-то *постороннемъ*, напечатаннаго въ 46-омъ номерѣ «Сынъ Отечества», если бъ не было въ немъ ничего, кромѣ ругательствъ; но сочинитель сей жалкой статьи называетъ меня *представителемъ* и, какъ кажется, хочетъ дать почувствовать, что я есть не что иное, какъ орудіе, употребленное другимъ; что черезъ меня дѣлаетъ кто-то другой какое-то торжественное отреченіе,—однимъ словомъ, г. *посторонній* хочетъ сдѣлать и меня постороннимъ во всемъ, что касается до моей комедіи.

Для избѣжанія всѣхъ пустыхъ толковъ я не скрывалъ своего имени, и теперь снова повторяю, что *вся* комедія, *не исключая* перваго явленія во второмъ дѣйствіи, написана *однимъ* мною, но что успѣхъ ея приписываю я менѣе себѣ, чѣмъ прекрасной игрѣ актеровъ; что, сочиняя мою комедію, я имѣлъ въ виду одну истину, не помышляя ни о какихъ *трактахъ и капитуляціяхъ*, и что прошу всѣхъ господъ *постороннихъ* и *не постороннихъ*, печатая подобныя клеветы, не забывать подписывать своего имени. Впрочемъ, сочинитель сей статьи поступилъ еще довольно милостиво, называя меня представителемъ другого автора,—онъ не отрицаетъ по крайней мѣрѣ моего существованія,—а есть такіе догадливые люди, которые увѣряютъ, что не только я, но даже и моя фамилія вымышлена. Совѣтую симъ недовѣрчивымъ господамъ заглянуть въ дворянскую родословную книгу, и если они умѣютъ читать по-русски, то найдутъ въ ней неоспоримое доказательство, что на этотъ разъ были они черезчуръ уже догадливы.

ДѢЙСТВІЕ ПЕРВОЕ.

Театръ представляетъ комнату; сквозь окно видѣнъ садъ.

ЯВЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

Княгиня (*оканчиваетъ передъ зеркаломъ свой туалетъ*), Софья (*сидитъ подлѣ ея*) и Даша.

Княгиня. Какъ я блѣдна, какой у меня усталый видъ! (*Софьѣ*). Не правда ли, ma chère?

Даша. Вы нынче очень рано изволили встать, сударыня.

Княгиня. И сверхъ того большую часть ночи не могла заснуть.

Софья. Отчего же? Развѣ васъ что-нибудь безпокоило?

Княгиня. Вчерашняя пьеса.

Софья. Она не выходитъ у васъ изъ головы.

Княгиня. Да!—Несносная комедія!

Софья. Несносная! Вы, кажется, прежде ее хвалили.

Княгиня. Такъ зло, и что еще досаднѣе, съ такимъ умомъ нападать на бѣдныхъ женщинъ. Насъ бранятъ и мы же должны находить это прекраснымъ.

Софья. Мнѣ кажется, княгиня, что авторъ хотѣлъ осмѣять однѣхъ кокетокъ.

Княгиня. То-есть тѣхъ, которыя желаютъ нравиться не одному, а многимъ. Признайся же, милая, что въ этомъ смыслѣ мы всѣ немного кокетки.

Софья. Всѣ! Въ этомъ я не согласна.

Княгиня. Да, всѣ, не исключая и тебя, съ тою только разницею, что однѣ употребляютъ для этого способы совершенно невинные, а другія позабываютъ всѣ приличности и жертвуютъ всѣмъ, добрымъ именемъ, мнѣніемъ свѣта и даже спокойствіемъ, для того, чтобъ вскружить голову мужчинѣ, къ которому онѣ ничего не чувствуютъ.

Софья. По этому вы находите, что характеръ кокетки...

Княгиня. Изображенъ съ такимъ совершенствомъ, что всякая женщина должна хоть немного въ немъ себя узнать.

Софья. Какъ хотите, княгиня, а я первая не нахожу въ немъ никакого сходства съ собой.

Даша (*княгинѣ*). Позвольте васъ спросить сударыня, что это за чудная комедія? Объ ней только и говорятъ, всѣ ее ругаютъ. Вы называете ее несносною, а тетушка ваша графиня лишь только объ ней вспомнитъ, то и начнется истерика; князь Тюльпановъ, который пріѣхалъ сегодня чѣмъ-свѣтъ на нашу дачу, только и дѣлаетъ, что бранитъ комедію, сочинителя, и даже тѣхъ, которымъ она нравится.

Княгиня. О! что касается до князя и тетушки, то они имѣютъ полное право на нее гнѣваться. Столѣтній волокита и неутомимая бостонистка, какъ будто на заказъ съ нихъ списаны.

Софья. Я не понимаю, отчего видите вы вездѣ сходство, котораго я никакъ не могу примѣтить.

Княгиня. Скажи лучше, что не хочешь. Знаешь ли, ma chère, что мнѣ всего досаднѣе, для чего я не авторъ.

Софья. Вотъ странное желаніе!

Княгиня. Какъ примѣтно, что сочиняютъ мужчины, что партеръ наполненъ мужчинами: вездѣ нападаютъ на бѣдныхъ женщинъ, и всегда съ восхищеніемъ аплодируютъ каждому острому словцу, сказанному на счетъ нашего пола.

Софья. Ну, что же, если бы вы были сочинителемъ!

Княгиня. Что! О, я отомстила бы мужчинамъ, я доказала бы имъ, что они гораздо болѣе насъ заслуживаютъ быть выведены на сцену, что въ десяти женщинахъ едва ли есть одна кокетка, когда въ такомъ же числѣ мужчинъ вѣрно нѣтъ ни одного, который бы пропустилъ случай обмануть неопытную женщину или хвалить ее въ глаза, а заочно надъ ней смѣяться.

Софья. Неужели мужчины такъ злы?

Княгиня. Ты ихъ еще не знаешь, милая! (*Задумывается*). Да! да! прекрасно, чего же лучше,—попросимъ Эрастова: онъ сочинитель и вѣрно не откажется быть нашимъ защитникомъ, или, лучше сказать, мстителемъ всего пола нашего.

Даша. О! вѣрно не откажется, сударыня! Я еще не видала такого охотника писать; когда вы слушать его не хотите, то онъ поймаетъ меня, да ужъ читаетъ, читаетъ, такъ что раза два успѣешь выспаться.

Софья. Вы думаете, что комедію такъ легко написать.

Княгиня. Конечно, трудно; да какъ же иначе отомстить мужчинамъ. Названіе ужъ готово,—пускай напишетъ онъ, вмѣсто урока кокеткамъ, урокъ вѣтренникамъ; въ оригиналахъ онъ, кажется, не будетъ имѣть недостатка.

Софья. Вы не шутя намѣрены просить его?

Княгиня. Напротивъ, очень серьезно. Я хочу, чтобъ онъ вывелъ на сцену молодого вѣтренника, который боготворитъ каждую женщину и не любитъ никого, клянется въ постоянствѣ по утру одной, а въ вечеру другой, любитъ одного себя, хвалитъ одного себя, считаетъ умнымъ одного себя и смѣется надъ всѣми, выключая тѣхъ, которые ему подражаютъ или которымъ онъ самъ подражать старается.

Софья. Вы пугаете меня, княгиня.—Неужели есть между мужчинами...

Княгиня. Такіе любезные, милые вѣтренники? О, чрезвычайно много! Вотъ, напримѣръ, одинъ молодой человѣкъ,—ты знаешь его, очень знаешь,—какъ двѣ капли воды похожъ на мое изображеніе, и Эрастовъ, если будетъ писать нашу комедію, не найдетъ, вѣрно, лучшаго оригинала для роли своего вѣтренника.

Софья. Кто же? Я, право, не знаю!

Княгиня. Бѣдненькая! И ты не можешь отгадать: племянникъ князя Тюльпанова.

Софья. Графъ Фольгинъ?

Княгиня. Точно.

Софья. Вы шутите. Онъ вѣтренъ, это правда, но не способенъ быть обманщикомъ.

Княгиня. Ты это думаешь?

Софья. Онъ искренно меня любитъ.

Княгиня. Искренно любитъ—графъ Фольгинъ! ха, ха, ха! Ахъ! ma chère, очень видно, что ты еще не жила на свѣтѣ.

Софья. Почему-жъ кажется вамъ это невѣроятнымъ? Я не имѣю никакой причины сомнѣваться въ его искренности.

Княгиня. О, конечно! Странно только, что графъ, несмотря на свою искреннюю любовь къ тебѣ, старается меня увѣрить въ томъ же: дѣлаетъ куры тетушкѣ, и волочится даже...

Даша. За мною. Да почему-жъ и не такъ, сударыня, вѣдь и я также женщина.

Софья. Это лишь вѣтренность. Я увѣрена, что графъ любитъ одну меня.

Княгиня. Иль можетъ быть богатое приданое, которое тетушка даетъ за тобою.

Софья. Княгиня! это уже обидно.

Княгиня. Не сердитесь, милая, — онъ точно такъ же любитъ тебя, какъ меня, какъ твою тетушку, какъ всѣхъ женщинъ. Ему надобно богатое приданое, чтобъ заплатить свои долги. Ахъ! ma cousine, какъ бы я была рада, если бъ вмѣсто его женился на тебѣ Изборскій.

Софья. У васъ нынче все такія странности...

Княгиня. Ты была бы съ нимъ гораздо счастливѣе, чѣмъ съ этимъ графомъ Фольгинымъ. Вотъ уже другой годъ, какъ Изборскій тебя любитъ.

Софья. Другой годъ! Съ чего вы взяли— онъ никогда не говорилъ мнѣ ничего похожаго на это.

Княгиня. Это-то и доказываетъ, что онъ истинно тебя любитъ. Непритворно влюбленные всегда застѣнчивы. Но сколько есть другихъ способовъ показывать свою любовь. Изборскій ищетъ безпрестанно случая быть вмѣстѣ съ тобою; одинъ ласковый взглядъ—и онъ счастливъ; это написано на лицѣ его. Повѣрь мнѣ, въ этихъ случаяхъ женщины никогда не ошибаются. Я увѣрена, что Изборскій любитъ тебя такъ же пламенно, такъ же страстно, какъ Малекъ-Адель любилъ свою Матильду.

Софья. Еслибъ это была и правда, то согласитесь...

Княгиня. Что графъ болѣе достоинъ любви, чѣмъ Изборскій. О! въ этомъ я никогда не соглашусь съ тобою.

Софья. Онъ такъ холоденъ, такъ скученъ.

Княгиня. Эта одна застѣнчивость.

Софья. Я согласна, что онъ очень добръ, скроменъ—имѣетъ, можетъ быть, познанія,— и когда бываетъ здѣсь одинъ, то я нахожу его даже любезнымъ, — все это правда, но когда онъ и графъ вмѣстѣ, то согласитесь, княгиня, что онъ дѣлается тогда совсѣмъ незамѣтнымъ.

Княгиня. Неудивительно, — одинъ кричитъ о своихъ достоинствахъ, а другой скрываетъ ихъ.

Софья. Что графъ уменъ, очень уменъ, въ этомъ, думаю, и вы должны признаться.

Княгиня. Несмотря на то, что онъ самъ въ этомъ клянется безпрестанно, я осмѣливаюсь ему не вѣрить. Онъ, какъ говорится, натертъ чужимъ умомъ; выучилъ наизустъ кучу каламбуровъ, насмѣшекъ, острыхъ словъ, комплиментовъ и болѣе ничего.

Софья. Извините, княгиня! онъ очень любитъ литературу и знаетъ почти всѣхъ извѣстныхъ писателей.

Княгиня. По именамъ—можетъ быть; для этого нужна только одна память. Послушай, ну если я докажу тебѣ точно на самомъ дѣлѣ, что Изборскій гораздо его умнѣе и любезнѣе, и что графъ любитъ не тебя, а твое богатство?

Софья. Если вы мнѣ докажете... Но это невозможно!

Княгиня. Первое совсѣмъ не трудно,— Изборскій и графъ сегодня здѣсь будутъ— надобно только завести разговоръ, въ которомъ ему нельзя было бы блеснуть чужимъ умомъ, вотъ, напримѣръ, о вчерашней комедіи—я увѣрена, что ты, несмотря на свое предубѣжденіе, будешь со мною согласна.

Даша. Сюда идутъ графиня и князь Тюльпановъ. Они кажется съ большимъ жаромъ о чемъ-то разсуждаютъ.

Княгиня. Вѣрно о твоей свадьбѣ. Я только знаю, что князь пріѣхалъ къ вамъ такъ рано для того, чтобъ переговорить объ этомъ съ графинею.

ЯВЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

Тѣ же, графиня и князь.

Графиня (*вполголоса князю*). Да, князь, это будетъ кончено завтра или даже сегодня, но теперь ни слова. (*Увидя Софью и княгиню*). А, ты здѣсь, Сонюшка! Ну, что же вы здѣсь дѣлаете, время прекрасное —вамъ бы надобно прохаживаться, гулять, рѣзвить-

ся... Я, право, думала, что вы давно уже весь садъ обѣгали. Ба! Сонюшка, ты еще не совсѣмъ одѣта; пойди, кончи твой туалетъ.

Князь (*цѣлуя руку Софьи*). Вы вѣрно, сударыня, остались дома для того, чтобъ не заставить краснѣть бѣдныя розы, которыя, увидя васъ, должны отъ стыда завянуть.

Княгиня. Браво, князь! вы безцѣнный человѣкъ для комплиментовъ,—какая игривость воображенія: розы, которыя краснѣютъ отъ стыда,—какъ это замысловато! Откуда берете вы такія піитическія выраженія?

Князь. Глядя на васъ, сударыня, можно ли говорить иначе, какъ языкомъ сердца. (*Взглянувъ на зеркало*). Граціи, какъ видно, только что окончили свой туалетъ.

Княгиня. Нѣтъ, граціи занимались совсѣмъ другимъ. Мы сочиняли комедію.

Графиня. Комедію! Что вы это? Да знаете ли, что для меня разбойники лучше, чѣмъ сочинители комедій,—они хоть полиціи боятся, а на эти проклятыя комедіи и суда не найдешь. Ужъ эти авторы такую взяли волю, что съ ними и житья нѣтъ. Сиди все дома, да не смѣй никуда носу показать, а не то того и гляди, что упрячутъ тебя въ какую-нибудь комедію. И кто выдумалъ писать эти комедіи, и зачѣмъ играютъ эти комедіи, и что толку въ этихъ комедіяхъ! Уфъ! какъ вспомню, то у меня духъ такъ и захватитъ. (*Садится*).

Князь. Не угодно ли вамъ воды, сударыня?

Графиня. Нѣтъ, теперь ничего,—а вчерась ужъ подлинно, если бъ не гофманскія капли, то не знаю, что бъ со мною сдѣлалось. Скажите сами, батюшка,—вывести на сцену почтенную даму, которая любитъ играть въ бостонъ, бранить молодыхъ людей, когда они дурачатся, и заставить весь партеръ надъ ней смѣяться,—ну на что это похоже?

Князь. Это верхъ невѣжества!

Княгиня. Да зачѣмъ берете вы это на свой счетъ, тетушка? Мало ли есть охотницъ играть въ бостонъ и браниться.

Графиня. И, матушка, да я рада бы не брать это на свой счетъ, да поневолѣ возьмешь, когда станутъ на тебя пальцами указывать.

Княгиня. Будто вы не знаете, какъ золъ свѣтъ; авторъ, можетъ быть, и душой не виноватъ. Повѣрьте, графиня, что тотъ, кто скажетъ вамъ, что авторъ имѣлъ намѣреніе представить васъ въ своей комедіи, желаетъ зло одному ему и, можетъ быть, пойдетъ отъ васъ увѣрять въ томъ же самомъ десять другихъ дамъ, которыхъ и имена даже не знакомы сочинителю.

Князь. Вы изволите защищать автора вчерашней комедіи, сударыня; но позвольте вамъ замѣтить, что онъ, какъ по всему видно, никогда не читывалъ не только Овидіева искусства любить, но даже и ни одного хорошаго любовнаго романа.

Княгиня. Быть можетъ.

Князь. Онъ научился бы изъ нихъ, какъ мы должны боготворить и уважать богинь сердецъ нашихъ; узналъ бы, что главнѣйшая обязанность мужчинъ состоитъ въ безпрестанномъ служеніи прелестному полу, что человѣкъ нѣкоторыхъ лѣтъ можетъ влюбляться, не будучи смѣшнымъ, можетъ любить, обожать, томиться, умирать отъ восторговъ, цѣлуя прекрасную ручку. (*Хочетъ поцѣловать руку княгини*). Можетъ...

Княгиня. Безъ доказательствъ, князь. Вы не дали мнѣ окончить, тетушка. Наша комедія будетъ совершенно вопреки вчерашней. Мы хотимъ доказать, что надъ мужчинами можно такъ же смѣяться, какъ они смѣются надъ женщинами.

Графиня. Вопреки! О! это другое дѣло; и если только можно хорошенько разбранить несносную пьесу, то пишите противъ нея все: комедіи, трагедіи, оперы и даже драмы.

Князь. И даже драмы! Прекрасно, сударыня, прекрасно! У меня есть пріятель, удивительный человѣкъ для драмъ; ему написать драму въ пяти дѣйствіяхъ то же, что вамъ сыграть пулю въ бостонъ. Если угодно, я попрошу его, и вы найдете въ его драмѣ все: жестокихъ отцовъ, несчастныхъ любовниковъ, слезы, вздохи, страхи, ужасы и даже, если надобно, разбойника.

Княгиня. И, князь! на что намъ всю эту сволочь,—вѣдь надобно только разругать вчерашнюю комедію.

Князь. За этимъ дѣло не станетъ: онъ разбранитъ ее безъ милосердія, выведетъ даже на сцену самого автора и заставитъ его плакать и вздыхать отъ перваго явленія до послѣдняго.

Княгиня. Зачѣмъ же мѣшать невинныхъ съ виноватыми, — что сдѣлали намъ бѣдные зрители?

Графиня. Что сдѣлали? А развѣ они не аплодировали? Развѣ не вызывали автора? Подѣломъ имъ. Да, князь, надобно путемъ ихъ проучить,—заказывайте смѣло драму.

Княгиня. И, графиня! пускай себѣ князь плачетъ и зѣваетъ, сколько ему угодно, а мы будемъ смѣяться и для того попросимъ Эрастова написать намъ комедію.

Графиня. И въ самомъ дѣлѣ: вѣдь онъ сочинитель.

—

ЯВЛЕНІЕ ТРЕТЬЕ.

Тѣ же и Эрастовъ.

Княгиня. Какъ вы кстати пріѣхали,—мы сейчасъ только о васъ говорили.

Эрастовъ. Я только что изъ города. Недалеко отсюда обогналъ я Изборскаго и графа Фольгина: они сейчасъ здѣсь будутъ.

Княгиня. Мы имѣемъ до васъ просьбу.

Эрастовъ. Приказывайте, сударыня.

Княгиня. Будьте защитникомъ бѣдныхъ женщинъ.

Графиня. Вступитесь за дамъ, которыя любятъ играть въ бостонъ и дѣлать наставленія молодымъ людямъ.

Князь. Увѣрьте публику, что не одни только тѣ, которыхъ должно еще водить на помочахъ, могутъ любить и нравиться прекрасному полу.

Эрастовъ (*княгинѣ*). Изъяснитесь, сударыня,—я, право, не понимаю.

Княгиня. Вы видѣли вчерашнюю пьесу?

Эрастовъ. Видѣлъ, сударыня.

Княгиня. Мы также были въ театрѣ. Намъ всѣмъ досадно, что господа сочинители нападаютъ всегда на женщинъ, несмотря на то, что можно было бы найти много кой-чего смѣшного и въ мужчинахъ—и для того намѣрены просить васъ написать комедію. гдѣ, вмѣсто кокетки, былъ бы выведенъ какой-нибудь вѣтренникъ, который, желая обманывать всѣхъ женщинъ, былъ бы самъ обманутъ.

Эрастовъ. Написать комедію? Вы шутите, княгиня: какъ осмѣлиться взять на себя такую обязанность, когда у насъ завелись свои Мольеры, свои неподражаемыя комедіи!

Княгиня. Про какихъ Мольеровъ вы говорите?

Эрастовъ. По крайней мѣрѣ, такъ угодно многимъ величать автора вчерашней пьесы.

Княгиня. Тѣмъ лучше: вы докажете, что можно не только сравниться съ этой неподражаемой комедіей, но даже превзойти ее.

Эрастовъ. Конечно, сударыня, можно надѣяться безъ дальняго самолюбія написать комедію, которая не будетъ имѣть по крайней мѣрѣ слишкомъ разительныхъ недостатковъ вчерашней пьесы, но для этого надобно, чтобъ большая часть нашей публики имѣла болѣе вкуса, болѣе истиннаго понятія о всемъ изящномъ, и для того позвольте мнѣ не выполнить вашего желанія.

Графиня. Что это, батюшка! Не хотите ли вы отказаться?

Эрастовъ. Я, право, графиня, не могу никакъ обѣщать.

Графиня. Если вы сейчасъ не согласитесь, то пріятель князя напишетъ для насъ драму.

Княгиня. И мы заставимъ васъ прочесть ее съ начала до конца.

Эрастовъ. До конца! Сжальтесь, княгиня! Я на все согласенъ.

Княгиня. У меня есть на примѣтѣ прекрасный оригиналъ для вашего вертопраха.

Эрастовъ. Объ этомъ я не забочусь. Я живу въ хорошемъ обществѣ, сударыня. Но интрига, планъ, завязка?..

Княгиня. Постойте... Да, да! Я думаю, мнѣ удастся дать вамъ сюжетъ. Вамъ надобно будетъ только слушать и примѣчать.

Графиня. Послушайте, князь, время прекрасное,—пойдемте теперь въ садъ: тамъ въ бесѣдкѣ можемъ мы покуда до гостей сыграть нѣсколько королей въ пикетъ.—Дашенька!

Даша. Что вамъ угодно, графиня?

Графиня. Если кто къ вамъ пріѣдетъ, то скажи, что мы въ саду. Пойдемте, князь. (*Подаетъ руку князю*). А ты что, племянница?

Княгиня. Я сейчасъ за вами буду.

ЯВЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Княгиня, Эрастовъ и Даша.

Княгиня. Дашенька, принеси мою шляпку. (*Даша уходитъ*).

Эрастовъ. Позвольте мнѣ предложить вамъ мою руку.

Княгиня. Могу ли я отказать вамъ,—вы вооружаете ее для защищенія пола нашего. Я осталась съ вами одна для того, чтобъ изъяснить въ двухъ словахъ, въ чемъ состоять долженъ сюжетъ вашей комедіи.

Эрастовъ. Сдѣлайте милость, сударыня.

Княгиня. Догадываетесь ли, кто долженъ быть оригиналомъ вашего моднаго вѣтренника?

Эрастовъ. О! сударыня, ихъ такъ много, и они такъ сходны между собою...

Княгиня. Напримѣръ, графъ Фольгинъ.

Эрастовъ. Женихъ Софьи?

Княгиня. Вотъ этого-то именно я и желаю, чтобъ вы помѣстили его въ своей комедіи. Послушайте, я хочу открыть глаза Софьѣ и доказать ей, что графъ ничтожный, пустой вѣтренникъ и женится не на ней, а на ея богатствѣ. Теперь, я думаю, вы меня понимаете. Вамъ должно будетъ только слушать и примѣчать, чтобъ сочинить планъ вашей комедіи. Можетъ быть, сегодня же доберетесь вы и до развязки.

Даша (*принося шляпку*). Извольте, сударыня.

Княгиня. Пойдемте.—Дорогою разскажу я подробнѣе, что вамъ надобно будетъ дѣлать.

ЯВЛЕНІЕ ПЯТОЕ.

Даша одна.

Даша. Мнѣ изъ ума нейдетъ вчерашняя комедія; всѣ объ ней говорятъ: одни бранятъ, другіе хвалятъ. Какъ бы я желала ее посмотрѣть! Барышня сказывала, что въ ней есть также горничная дѣвушка, которая очень похожа на меня, и будто многіе говорили, что она слишкомъ умна для служанки! Какіе смѣшные эти господа: думаютъ, что теперь такія же глупыя горничныя, какъ лѣтъ сто назадъ. Нынче умной горничной стоитъ только лучше пріодѣться, да пооткрыть побольше плечи, такъ она, право, иную и графиню перещеголяетъ.

ЯВЛЕНІЕ ШЕСТОЕ.

Даша, графъ и Изборскій.

Графъ. Ахъ, mon cher, какъ я измученъ, какъ усталъ! По чести, мнѣ должно было бы никуда не выѣзжать изъ дому. Несносная мостовая!

Изборскій. Мы, кажется, довольно спокойно ѣхали.

Графъ. Правда, коляска моя не тряска, а [illegible] тѣмъ... А! Дашенька, ты здѣсь, душенька!

Даша. Здравствуйте, сударь.

Графъ. Ты здѣсь одна, [illegible]?

Даша. Барышня еще одѣвается, а [illegible] съ вашимъ [illegible] пошла въ садъ.

Графъ. Скажи, пожалуйста, Дашенька, [illegible] ты каждый день [illegible]?

Даша. Я [illegible].

Графъ. Изборскій, видалъ ли ты [illegible]-нибудь [illegible]?

Даша. [illegible], сударь, какъ кажется, не [illegible] съ барышней.

Графъ. Мы [illegible] еще [illegible] другъ на друга. (*Беретъ её за руку*). Послушай, [illegible]?

Даша. [illegible], сударь, [illegible] руками. [illegible] въ садъ,—графиня васъ дожидается.

Графъ. Э, Дашенька! [illegible] барышнѣ,—[illegible] объ ней, [illegible].

Даша. Я, графъ, [illegible] — [illegible], а я пойду [illegible] барышнѣ, что вы пріѣхали. (*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ СЕДЬМОЕ.

Графъ и Изборскій.

Графъ [illegible]. Ахъ, [illegible] мнѣ [illegible] тебя.

Изборскій. [illegible]. Ты вчера [illegible] у барона.

Графъ. [illegible] сказать въ [illegible] часовъ [illegible] уже [illegible].

Изборскій. [illegible], графъ,—я не могу [illegible] или [illegible].

Графъ. [illegible] тебя [illegible] еще [illegible] жить въ свѣтѣ, [illegible] разсуждать [illegible] образъ жизни, [illegible]. [illegible], напримѣръ, ты вовсе не можешь [illegible] — вчерась ты почти не вмѣшался ни разу въ общій разговоръ.

Изборскій. Виноватъ ли я, что не могу, подобно тебѣ, разсуждать съ систематическою точностію, въ какихъ случаяхъ и какимъ образомъ такой-то мизеръ можно выиграть, или съ такою-то игрою поставить ремизъ. [illegible] въ крепсѣ гораздо выгоднѣе кричать банко, чѣмъ дѣлать самому предложеніе.

Графъ. Положимъ, что, не будучи игрокомъ, ты не можешь судить объ игрѣ, но вчерась у барона были сочинители, ученые,— они говорили о литературѣ.

Изборскій. Я слушалъ ихъ.

Графъ. А самъ не говорилъ ничего.

Изборскій. Они разсуждали о сочиненіяхъ, которыхъ [illegible] мнѣ [illegible] только [illegible].

Графъ. Какая нужда! Ты также могъ бы дѣлать свои сужденія: сказать, напримѣръ, что [illegible] тяжелъ, непріятенъ [illegible], и если бъ не могъ доказать [illegible], то заставилъ бы по крайней мѣрѣ думать другихъ, что ты не менѣе [illegible] познаній, потому что споришь и не хочешь съ ними соглашаться.

Изборскій. Потому, графъ, ты полагаешь, что [illegible] спорить о томъ, что для насъ неизвѣстно, или чего не понимаешь, гораздо приличнѣе для [illegible] человѣка, чѣмъ [illegible].

Графъ. Скромность, скромность! Фи, mon cher, [illegible] ты [illegible] объ этой скромности? [illegible] только матушки, да и то [illegible] которые [illegible] уже [illegible].

ЯВЛЕНІЕ ВОСЬМОЕ.

Тѣ же и Даша [illegible].

Даша. [illegible]?

Графъ. Послушай, Изборскій, я хочу непремѣнно [illegible] тебя и [illegible] человѣкомъ. Я [illegible] мнѣ, что изъ всѣхъ [illegible] непростительная скромность! Ты можешь [illegible] въ своихъ [illegible], но не долженъ никогда показывать этой увѣренности въ самомъ себѣ [illegible] во всѣхъ твоихъ поступкахъ; но болѣе всего старайся говорить съ [illegible] какъ можно чаще о себѣ самомъ, и какъ можно рѣже о другихъ.

Даша [illegible]. Какія [illegible] ученія!

Изборскій. Ты [illegible], графъ, что [illegible] правило: хвалить самаго себя — [illegible] человѣкъ [illegible] это [illegible] другимъ.

Даша [illegible]. Какова эта [illegible].

Графъ. Есть еще [illegible] изъ тѣхъ [illegible]

скихъ изъятыхъ молью правилъ. Нынче всякій, кто имѣетъ хотя немного ума, старается его показывать, и тотъ только, кто его совершенно не имѣетъ, молчитъ, или, говоря твоимъ языкомъ, играетъ роль скромнаго человѣка.

Даша. Онъ не худо отдѣлывается!

Изборскій. Но развѣ человѣкъ съ небольшимъ умомъ можетъ увѣрить другихъ, что онъ гораздо умнѣе, чѣмъ есть въ самомъ дѣлѣ?

Графъ. О! очень часто. Я знаю здѣсь многихъ, которые, имѣя отъ природы умъ весьма посредственный, до того кричали и заставляли кричать своихъ пріятелей о необыкновенномъ ихъ разумѣ, что, наконецъ, всѣ имъ повѣрили, и теперь закидали-бы каменьями всякаго, кто осмѣлился бы въ этомъ хотя немного посомниться; но я отбился отъ своего предмета; я хотѣлъ тебѣ открыть въ двухъ словахъ великую тайну общежитія.

Даша. Послушаемъ, что это за тайна.

Графъ. Въ большомъ свѣтѣ застѣнчивость считается главнѣйшимъ порокомъ. Надобно обо всемъ говорить съ благородною смѣлостію, дѣлать рѣзкія сужденія, находить въ чемъ нибудь или все превосходнымъ, или все дурнымъ. Сказавши глупость, не только не краснѣть, но поддерживать ее, и даже снова повторять, если то надобно; быть всегда любезнымъ съ женщинами, разсуждать съ ними съ видомъ глубокомысленнымъ о бездѣлицахъ, всегда льстить ихъ самолюбію, стараться всѣмъ кружить головы и никогда не влюбляться самому.

Даша. Безбожникъ!

Изборскій. Ты даешь наставленія, а между тѣмъ не выполняешь ихъ. Никогда не влюбляться! А Софья?

Графъ. Ну что же? Развѣ это что-нибудь доказываетъ? Я хочу на ней жениться.

Изборскій. Слѣдственно ты ее любишь?

Графъ. Да, она довольно милая дѣвушка, не слишкомъ остра; не имѣетъ совсѣмъ живости, любезности своей двоюродной сестры, но за то добра, какъ ягненочекъ.

Даша. Негодный!

Изборскій И ты можешь говорить такъ равнодушно, такъ холодно объ этой прелестной, несравненной Софьѣ!

Графъ. И, mon cher! я давно уже отвыкъ отъ этихъ пламенныхъ восторговъ, особливо теперь, когда я намѣренъ жениться, были-бы они очень кстати. Супругъ аркадскій пастушокъ, который таетъ отъ восхищенія, смотря на томную свою подругу! О! я уморилъ-бы со смѣху всѣхъ моихъ знакомыхъ.

Даша. Туда-бы имъ и дорога!

Графъ. Впрочемъ, Софья имѣетъ много достоинствъ: она тиха, снисходительна, и, кажется, будетъ предоброю женою.

Даша. Нѣтъ, я не могу ужъ болѣе слушать!—Графъ!

Графъ. А! ты здѣсь, Дашенька! Ужъ не подслушивала-ли ты насъ?

Даша. Нѣтъ, сударь, я сейчасъ только взошла. Барышня пошла въ садъ, не угодно ли и вамъ туда же пожаловать?

Графъ. Пойдемъ, mon cher! Прощай, плутовочка! (*треплетъ ее по щекѣ и отходитъ съ Изборскимъ*).

ЯВЛЕНІЕ ДЕВЯТОЕ.

Даша. (*Даша одна смотритъ имъ вслѣдъ*). Хорошъ гусь! И этотъ-то бездушный женится на моей барышнѣ. Какая разница между нимъ и Изборскимъ! Какъ бы я была рада, еслибъ княгинѣ удалось то, о чемъ она давича говорила съ барышней. Хоть бы одного изъ этихъ модниковъ вывести путемъ на свѣжую воду, можетъ быть тогда-бъ стали имъ меньше вѣрить, или они поумнѣе насъ обманывали.

КОНЕЦЪ ПЕРВАГО ДѢЙСТВІЯ.

ДѢЙСТВІЕ ВТОРОЕ.

Театръ представляетъ садовую бесѣдку.

ЯВЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

Графъ, князь и графиня (*играютъ въ бостонъ*); Эрастовъ, Изборскій, княгиня и Софья (*сидятъ полукружіемъ*).

Графиня. Вамъ дѣлать сюры, кнѣзь.

Княгиня. Кстати, Изборскій, я еще васъ и не спрашивала, были ли вы вчерась въ театрѣ?

Изборскій. Былъ, сударыня.

Княгиня. Что вы думаете о новой комедіи?

Изборскій. Урокъ кокеткамъ, или Липецкія воды.

Графъ (*играя въ карты*). Спросите лучше, княгиня, стоитъ ли она того, чтобъ объ ней что-нибудь думать.

Изборскій. Какъ, графъ! ты говоришь...

Графъ. Да, я говорю, что она прежалкая пьеса.

Графиня. Да и вы, батюшка, прежалкій игрокъ! Что вы дѣлаете! Ну такъ и есть: у васъ дама, самъ третей, а вы бьете бубны. Дать выиграть такую игру! Вы были бы безъ двухъ, князь.

Графъ. Извините, я заговорился.

Графиня. Прекрасное оправданіе. Да развѣ можно говорить, когда играютъ въ бостонъ. Зачѣмъ мѣшаться въ ихъ разговоры. Проклятая комедія! Восемь выиграны, мой ремизъ взятъ, а вся бѣда опять отъ нея.

Графъ. Мы такъ давно ужъ играемъ, что у меня голова начинаетъ кружиться. (*Софьѣ*). Могу ли васъ просить сыграть за меня нѣсколько игръ?

Софья. Съ великимъ удовольствіемъ!

Княгиня (*тихо Софьѣ*). Не забудь, что мы говорили по утру. Совѣтую тебѣ замѣчать нашъ разговоръ. (*Софья садится на мѣсто князя и начинаетъ играть, а графъ садится на ея мѣсто*).

Княгиня. Растолкуйте мнѣ, графъ, что вы хотѣли сказать,—своей жалкой пьесой?

Графъ. Мнѣ кажется, это очень понятно, сударыня.

Княгиня. Итакъ, по вашему мнѣнію, вчерашняя комедія...

Графъ. Плоска, суха, несносна, скучна до безконечности.

Изборскій. Ты шутишь, графъ.

Графъ. Надобно имѣть ангельское терпѣніе, чтобъ вынести ее до конца.

Изборскій. Какія-же имѣешь ты причины находить ее дурною?

Графъ. Тысячу. Во-первыхъ она, отъ самаго начала до послѣдняго явленія, никуда не годится.

Изборскій. Но чѣмъ докажешь ты это?

Графъ. Чѣмъ, чѣмъ? Забавный вопросъ. Какъ будто я обязанъ доказывать! Довольно—я говорю, что она никуда не годится,—чего же тебѣ больше?

Изборскій. Это еще не убѣдительное доказательство.

Графъ. Я спалъ въ продолженіе всей пьесы.

Изборскій. Можетъ быть передъ этимъ ты игралъ цѣлую ночь въ крепсъ.

Графъ. Я спалъ не одинъ—всѣ спали.

Изборскій. Всѣ! Это что-то новое!

Графъ. И если хочешь, покажу тебѣ эпиграмму, въ которой то же самое напечатано.

Княгиня. Слышите ли, Изборскій,—надобно, чтобъ вы были слишкомъ упрямы, если не согласитесь теперь, что и вы спали вмѣстѣ съ другими.

Изборскій. Я не буду самъ отвѣчать. Графиня! позвольте васъ спросить, уснули ли вы вчера въ театрѣ?

Графиня. И! батюшка, какъ можно было уснуть! Всѣ какъ будто взбѣленились: такое было хлопанье, что до сихъ поръ въ ушахъ звенитъ.

Графъ. Это партеръ, вѣчная опора господъ авторовъ. Какъ будто рукоплесканіе партера что-нибудь значитъ!

Князь. Это бы ничего, мой милый; но вообрази, до какой степени вкусъ публики испорченъ—я самъ видѣлъ, что аплодировали не только въ креслахъ, но даже и въ ложахъ!

Изборскій. Видишь ли, графъ, твоя эпиграмма солгала.

Графъ. По крайней мѣрѣ я не аплодировалъ ни разу, и проснулся только въ пятомъ актѣ отъ фейерверка, которымъ, какъ кажется, сочинитель хотѣлъ поразогрѣть свою пьесу.

Княгиня. Поразогрѣть свою пьесу—какъ вы злы, графъ! Поразогрѣть! Какъ это остро! Мнѣ досадно, что авторъ васъ не слышитъ: я увѣрена, что это поразогрѣть было бы ему совсѣмъ не по сердцу.

Графъ. Я намѣренъ противъ него кой-что написать. Стиховъ я не сочиняю, но какую-нибудь сатиру въ прозѣ. О, сударыня, если бъ вы знали, что у меня есть въ головѣ...

Князь (*играя*). Грандъ-мизеръ парту.

Изборскій. Пиши, что хочешь: и прозой и стихами, а со всѣмъ тѣмъ комедія прекрасна; она дѣлаетъ честь нашей словесности. Я нахожу даже, что въ ней есть мѣста достойныя Мольера.

Графъ. Достойныя Мольера — ха, ха, ха!—Мольера, который восхищаетъ и французовъ!

Изборскій. Чему-жъ ты смѣешься?

Графъ. Я? такъ — ничему. Достойныя Мольера!—Это безцѣнно!

Изборскій. Что же кажется тебѣ тутъ страннымъ?

Графъ. Ничего, совершенно ничего. Достойныя Мольера! — Это забавно — очень забавно!

Изборскій. Можно ли не восхищаться сценою между Пронскимъ и графиней Лелевой?

Графъ. Это правда: слушая ее, я зѣвалъ отъ восхищенія.

Княгиня. Еще!—Нѣтъ, графъ, мнѣ жаль ужъ бѣднаго сочинителя! Зѣвать отъ восхищенія — можно ли быть такимъ насмѣшникомъ. Надобно сказать правду, попадись только вамъ на язычекъ...

Графъ. Вы шутите, княгиня, — будто я такъ золъ! Повѣрьте, что я...

Графиня (*играя*). Бетъ, сударь, бетъ,— прошу записать.

Графъ. Что я гораздо милостивѣе многихъ говорю объ этой пьесѣ, — послушали бы вы моихъ знакомыхъ.

Изборскій. Я не понимаю, отчего вздумалось тебѣ и твоимъ пріятелямъ укладывать насъ спать, когда вся публика отдаетъ должную справедливость этой пьесѣ.

Графъ. Послушай, возьмемъ въ посредники г-на Эрастова; онъ сочинитель, слѣдственно, лучше можетъ доказать, что вчерашняя комедія никуда не годится.

Эрастовъ. Извините, графъ, я не совсѣмъ буду согласенъ съ вами. Вы судите слишкомъ строго. Въ ней проскакивали кой-гдѣ мѣста довольно сносныя, стихи вообще нельзя назвать совершенно дурными.

Графъ. О, не говорите мнѣ ничего о стихахъ. Сколько ни старался я замѣтить, но

до сихъ поръ не знаю, чѣмъ она писана: стихами или прозой.

Изборскій. Тѣмъ лучше, — слѣдственно, стихи такъ плавно и легко написаны, что трудность размѣра и удареній въ нихъ совсѣмъ непримѣтны.

Графъ. Фи, mon cher! какъ тебѣ не стыдно! Какіе это стихи, если ихъ можно читать такъ же легко, какъ прозу? Надобно, чтобъ въ стихахъ была всегда какая-то величественная шероховатость, которая придаетъ имъ видъ важный, а особливо въ мрачныхъ описаніяхъ. Вотъ, напримѣръ, одинъ изъ моихъ знакомыхъ читалъ недавно при дамахъ свое сочиненіе: лишь только онъ началъ, то у всѣхъ, кто могъ его понимать, волосы стали дыбомъ; въ половинѣ чтенія сдѣлалось многимъ дурно, а подъ конецъ одна дама упала въ обморокъ и лежитъ теперь при смерти въ горячкѣ. Вотъ истинно пиитическіе стихи.

Княгиня. Ну пусть бы обморокъ, а то горячка! Нѣтъ, графъ, эти стихи ужъ слишкомъ хороши.

Изборскій. Я до сихъ поръ думалъ, что ясность есть первое достоинство стиховъ.

Графъ. Ясность, ясность! Вотъ на чемъ помѣшались всѣ эти господа; да знаете ли, что сказалъ одинъ знаменитый писатель: авторъ не тѣмъ великъ, что изъясняетъ, но тѣмъ, что должно въ немъ отгадывать.

Изборскій. Поэтому въ Телемахидѣ каждый стихъ заключаетъ въ себѣ нѣчто великое?

Княгиня. Я вижу, что вы хотите замять разговоръ о комедіи, но это вамъ не удастся. Г. Эрастовъ, вы начали что-то говорить о ея недостаткахъ.

Эрастовъ. Я бы никогда не кончилъ, сударыня, и для того замѣчу только главнѣйшіе: во-первыхъ, вся комедія имѣетъ видъ сатиры...

Изборскій. Вы позабыли, сударь, Аристотель говорилъ, что сатира сдѣлалась тогда поучительнѣе, когда ее стали представлять на театрѣ въ видѣ комедіи.

Графъ. Аристотель говоритъ! Прекрасное доказательство! Аристотель могъ быть учителемъ своихъ римлянъ, но мы...

Изборскій. Онъ былъ грекъ.

Графъ. Грекъ или римлянинъ для меня все равно,—я знаю только, что всѣ римскіе и греческіе мудрецы не увѣрятъ меня, что вчерашняя пьеса можетъ назваться хорошею.

Княгиня. Браво, графъ, не уступайте. Неужели въ самомъ дѣлѣ, не спросясь у г-на Аристотеля, нельзя бранить никакой комедіи?

Графиня. Объ чемъ ты думаешь, Сонюшка,—раздается въ другой разъ сряду.

Софья. Я слушала, какъ графъ говорилъ объ Аристотелѣ.

Князь. О, сударыня! мой племянникъ великій человѣкъ для этого; онъ знаетъ по пальцамъ всю древнюю исторію.

Княгиня. Это, думаю, кузина успѣла ужъ и замѣтить. Ну, г. Эрастовъ, добивайте поскорѣй несчастную комедію.

Эрастовъ. Я нахожу, что вообще всѣ разговоры между кокеткой и графомъ Ольгинымъ ни на что не похожи. Такъ-ли должно молодому воспитаному человѣку обходиться съ благородною женщиною? Чѣмъ начинается ихъ разговоръ при первомъ свиданіи? Онъ говоритъ ей вещи, которыя едва ли можно позволить себѣ съ простою горничною дѣвушкою; однимъ словомъ, характеръ кокетки совсѣмъ не выдержанъ, и дерзкій тонъ графа такъ унижаетъ ее въ глазахъ зрителей, что она становится для нихъ совсѣмъ не интересною.

Графъ. Браво, г. Эрастовъ, прекрасно, нельзя лучше. Ну, что же ты ничего не отвѣчаешь?

Изборскій. Это не трудно сдѣлать; я нахожу...

Графъ. Отвѣчай же, отвѣчай!

Изборскій. Мнѣ кажется...

Графъ. Говори, говори; посмотримъ, что ты скажешь?

Изборскій. Мнѣ кажется, что графъ Ольгинъ поступаетъ естественно. Не забудьте, что авторъ хотѣлъ въ немъ представить самаго дерзкаго, избалованнаго женщинами модника; онъ знаетъ Лелеву, знаетъ, что она должна была поневолѣ уѣхать изъ Петербурга, слѣдственно, не считаетъ себя принужденнымъ наблюдать съ ней ту вѣжливость, которою мы обязаны женщинамъ, заслуживающимъ уваженіе общества; онъ думаетъ даже симъ способомъ открыть глаза своему двоюродному брату. И гдѣ же была бы мораль пьесы, если бъ авторъ, въ сей унизительной для графини сценѣ, не хотѣлъ показать, какимъ непріятностямъ подвергается всякая женщина, пренебрегая сужденія свѣта, и какъ излишнее кокетство даетъ мужчинамъ право быть дерзкими и терять къ нимъ всякое уваженіе.

Княгиня. Ай, ай! — Графъ! наши дѣла идутъ худо.

Графъ. Пустыя доказательства, mon cher! Наборъ громкихъ словъ и больше ничего.

Княгиня (*Эрастову*). Скорѣй секурсъ, а не то мы пропали.

Эрастовъ. Вы скажете также, что характеръ кокетки не униженъ, когда она даетъ рандеву тому же самому вертопраху, который за нѣсколько минутъ до того наговорилъ ей столько дерзостей.

Изборскій. Это то самое и заставляетъ ее назначить свиданіе: она надѣется завести его самого, вскружить ему голову, заставить быть скромнымъ, и не только не мѣшать ея планамъ, но даже помогать ей. Если бъ онъ

не испугалъ ее съ самаго начала своимъ насмѣшливымъ тономъ, то она не имѣла бы никакой причины назначать ему свиданія, тѣмъ болѣе, что всякая нескромность со стороны вѣтреника превратила бы въ ничто все ея намѣреніе.

Княгиня. Мнѣ кажется, графъ, что Изборскій лучше сдѣлаетъ, если замолчитъ.

Графъ. О, гораздо лучше! По чести, мнѣ жаль тебя, mon cher, ты всѣхъ заставишь смѣяться надъ собою. Защищать такую комедію!

Эрастовъ. Г. Изборскій защищался довольно хорошо; но посмотримъ, чѣмъ оправдаетъ онъ личности, которыми наполнена пьеса.

Изборскій. Личности! Вотъ всегдашній и самый несправедливый упрекъ, который дѣлаютъ комическимъ авторамъ. Комедія должна быть зеркаломъ, въ которомъ каждый можетъ видѣть свое изображеніе, но не долженъ узнавать себя. Авторъ, сочиняя комедію, осмѣиваетъ пороки, и какъ неудивительно, что, давая своимъ персонажамъ характеры, сообразные съ планомъ пьесы и нравами его современниковъ, можетъ самымъ невиннымъ образомъ сдѣлать себѣ кучу непріятелей.

Эрастовъ. Въ этомъ я согласенъ; но баллады, про которыя онъ такъ часто говоритъ...

Графъ. Да, да, баллады! Я было и позабылъ объ этомъ. Ну, г. защитникъ, что скажешь ты теперь? Развѣ это не личности?

Изборскій. Гдѣ-жъ тутъ личность? Развѣ баллада лицо? Автору «Липецкихъ водъ» не нравится сей родъ сочиненій — это ни мало не удивительно. Однѣ красоты поэзіи могли до сихъ поръ извинить въ немъ странный выборъ предметовъ, и если сей родъ найдетъ подражателей, которые, не имѣя превосходныхъ дарованій своего образца, начнутъ также писать объ однихъ мертвецахъ и привидѣніяхъ, то признайтесь сами, что тогда словесность наша немного выиграетъ.

Графъ. Ты мастеръ дѣлать фразы; но это не поможетъ тебѣ нимало. Всѣ мои знакомые одного со мною мнѣнія; комедію засыпаютъ эпиграммами. А propos! мнѣ сегодня еще про одну сказывали: постойте, я вспомню. Ничего не можетъ быть прекраснѣе — совершенно французскій оборотъ: въ первомъ стихѣ есть что-то о природѣ, а во второмъ о сухихъ водахъ.

Княгиня. О сухихъ водахъ! Это въ самомъ дѣлѣ прекрасно! Жаль только, что я не понимаю.

Графъ. Это элюзія на счетъ названія пьесы. Сухія воды! Чувствуете ли, княгиня, какъ это остро! Какая ѣдкая двусмысленность. Сухія воды! Какъ зло! По чести, въ этихъ двухъ словахъ гораздо болѣе ума, чѣмъ во всей этой жалкой комедіи.

Княгиня. Я согласна съ вами: эти сухія воды удивительно замысловаты. Признайтесь, графъ, вы первые подали мысль написать эту эпиграмму?

Графъ. О, нѣтъ, сударыня.

Княгиня. Вы скромничаете.

Графъ. Увѣряю васъ.

Княгиня. Въ этой эпиграммѣ видѣнъ вашъ умъ, ваша острота.

Графъ. Вы очень милостивы; но клянусь, что тутъ я совсѣмъ не виноватъ предъ бѣднымъ сочинителемъ.

Княгиня. Ну, Изборскій, попробуйте теперь защищать еще вашу комедію. Видите ли, что достается автору. Князь говорилъ еще про какую то сатиру въ прозѣ — смотрите, чтобъ и васъ туда не помѣстили.

Изборскій. Это меня совсѣмъ не пугаетъ. Знаете ли что, княгиня! я имъ прочту прекрасную басню: «Слонъ и Моська», одного знаменитаго нашего писателя.

Графъ. Нашего писателя... Прочти, прочти.

Изборскій.

По улицамъ слона водили,
Какъ видно, на показъ;
Извѣстно, что слоны въ диковинку у насъ,
Такъ за слономъ толпы зѣвакъ ходили.
Отколѣ ни возьмись навстрѣчу моська имъ.
Увидѣвши слона, ну на него метаться,
И лаять, и визжать, и рваться;
Ну, такъ и лѣзетъ въ драку съ нимъ.—
Сосѣдка, перестань срамиться,—
Ей шавка говоритъ,—тебѣ-ль съ слономъ возиться?
Смотри, ужъ ты хрипишь, а онъ себѣ идетъ впередъ,
И лаю твоего совсѣмъ не примѣчаетъ.
Эхъ! эхъ!— ей моська отвѣчаетъ:—
Вотъ то то мнѣ и силы придаетъ,
Что я совсѣмъ безъ драки
Могу попасть въ большіе забіяки.
Пускай-же говорятъ собаки:
Ай, моська! знать, она сильна,
Что лаетъ на слона!

Княгиня. Вы этимъ не удивите: они найдутъ тотчасъ свое оправданіе въ концѣ басни.

Графъ. Вся эта басня украдена изъ Лафонтена, точно такъ же, какъ и комедія изъ Мольера.

Изборскій. Вы правы, графъ, оба наши автора стараются украсть талантъ французскихъ писателей.

Графиня (*бросая карты*). Что это! Семерка самъ другъ, и двѣ маленькія, а мизеръ выиграпъ; на что это похоже! Не стыдно ли вамъ, князь! дожили вы до сѣдыхъ волосъ, а не умѣете путемъ разыграть открытаго мизера.

Князь. До сѣдыхъ волосъ! Сударыня! будьте поразборчивѣе въ вашихъ выраженіяхъ.

Графиня. Да, сударь, да! Когда человѣкъ дожилъ до семидесяти лѣтъ...

Князь. Вы скажете, пожалуй, что я былъ совершеннымъ человѣкомъ, когда вы выходили замужъ.

Графиня. Какая дерзость! Куда какъ хорошо дѣлаютъ, что дурачатъ въ комедіяхъ столѣтнихъ волокитъ, которые наканунѣ

своей смерти думаютъ еще любезничать и казаться молодыми.

Князь (*вскакивая со стула*). Наканунѣ смерти! Да, сударыня, поступаютъ очень умно, выводя не сцену старыхъ барынь, которыя всѣхъ думаютъ учить, а не знаютъ сами общежитія.

Графиня (*вскакивая*). Князь!

Князь. Графиня!

Графиня. Если бъ я болѣе уважала словами вашими...

Князь. Если бъ я менѣе почиталъ полъ вашъ...

Софья (*графу*). Помирите ихъ!

Графъ (*тихо графинѣ*). Какъ вамъ не стыдно на него сердиться, графиня! Развѣ вы не видите, что онъ изъ ума выжилъ и хочетъ, вопреки цѣлому свѣту, казаться молодымъ.

Графиня. Это правда.

Графъ (*тихо князю*). Не смѣшно ли, что вы не хотите ей уступить,—развѣ не примѣчаете, что это одна только привычка со всѣми браниться.

Князь. Я то же думаю.

Графъ. Неужели такая бездѣлица можетъ васъ поссорить?

Графиня. Нѣтъ, я ужъ не сержусь; однако жъ выиграть такой мизеръ, и на послѣднюю игру!

Князь. Я постараюсь, графиня, играть впередъ осторожнѣе.

Княгиня. Время прекрасное! Какъ вы думаете, тетушка, не походить ли намъ до обѣда по саду?

Графиня. И въ самомъ дѣлѣ, а то ужъ мы очень засидѣлись. Пойдемте, князь, видите, я ужъ не сердита; прошу, однако жъ, впередъ не дѣлать такихъ ошибокъ.

Князь. Будьте спокойны, графиня, я не дамъ выиграть ни одного мизера. (*Подаетъ ей руку*).

Княгиня (*подавая руку графу*). Графъ! Вы не откажетесь быть моимъ кавалеромъ. Изборскій, дайте руку кузинѣ. (*Эрастову*). Подождите меня здѣсь. (*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

Эрастовъ (*одинъ, садится на стулъ и вынимаетъ книжки*). Не надобно терять свободнаго времени. Я теперь одинъ; начнемъ планъ нашей комедіи. Комедіи! Гмъ! Если бъ мнѣ удалось разбрызгать моей пьесой эти несносныя Липецкія воды! Почему жъ и не такъ! Правда, въ нихъ много ума, очень много, такъ что жъ? Тѣмъ лучше! Умныя дѣти не долго живутъ. Начнемъ!

ЯВЛЕНІЕ ТРЕТЬЕ.

Эрастовъ и Даша.

Даша (*не видя Эрастова*). Здѣсь никого нѣтъ, видно, бостонъ ужъ кончился. Мнѣ показалось издали, что барышня прогуливается съ Изборскимъ. Ужъ нейдетъ ли на ладъ наше дѣло; какъ бы я была рада! Барышня была бы счастлива, а сіятельный вѣтреникъ прогуллъ бы прекрасную невѣсту и, что еще досаднѣе, — богатое приданое. Какъ бы дѣвушка ни была прекрасна, сколько бъ ни имѣла достоинствъ, да если только нѣтъ къ нимъ прилагательнаго, то того и гляди, что красавица вѣчно просидитъ въ дѣвкахъ.

Эрастовъ (*продолжая писать*). Прекрасно, прекрасно, нельзя лучше!

Даша. Ахъ! Вы здѣсь, г. Эрастовъ! Какъ вы меня испугали.

Эрастовъ. Мысль нова! Оригинальна! Оборотъ совершенно необыкновенный. Посмотримъ, г. русскій Мольеръ, посмотримъ, на чьей сторонѣ будетъ публика.

Даша. Что вы тутъ дѣлаете, сударь? Вы забились въ такой уголокъ, что васъ совсѣмъ и не видно.

Эрастовъ. А, это ты, Дашенька! Не мѣшай мнѣ, я пишу комедію.

Даша. А будетъ ли въ ней какая-нибудь служанка?

Эрастовъ. Непремѣнно!

Даша. Ахъ, сударь, что вы это дѣлаете? Да знаете ли, что ничего нѣтъ труднѣе, какъ написать роль для служанки.

Эрастовъ. Почему ты это думаешь, миленькая?

Даша. А развѣ вы не слышали, какъ разсказывала княгиня, что говорили про служанку вчерашней комедіи: одни кричатъ, что она черезчуръ умна, другіе увѣряютъ, что она слишкомъ глупа, третьи, что не кстати мѣшается въ разговоры,—и если вы всѣмъ захотите угождать, то придется вашей служанкѣ не говорить ни слова.

Эрастовъ. О! Я увѣренъ, что моя горничная всѣмъ понравится. Я выведу, Дашенька, тебя въ моей комедіи.

Даша. Меня! Какъ это весело! И я также буду въ комедіи! Ну, сударь, вамъ помѣшаютъ; я вижу—сюда идутъ княгиня и графъ.

Эрастовъ. Ахъ, Дашенька, пожалуйста уйди! Они вѣрно будутъ говорить между собою; если ты помѣшаешь, то я пропущу, можетъ быть, лучшую сцену для моей комедіи.

Даша. И въ самомъ дѣлѣ. Смотрите же, спрячьтесь подалѣе, чтобъ васъ не увидѣли. (*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Эрастовъ (*одинъ*). О! это будетъ несравненная сцена! Одинъ станетъ клясться, другая не вѣрить — оба будутъ другъ друга обманывать.

ЯВЛЕНІЕ ПЯТОЕ.

Графъ, княгиня и Эрастовъ (*скрытый*).

Графъ. И такъ, княгиня, вы рѣшились никогда мнѣ не вѣрить?

Княгиня. Перестаньте, графъ! Неужели вы думаете, что я такъ же легковѣрна, такъ же неопытна, какъ Софья. О, я знаю васъ, господа мужчины! Любовь, постоянство, вѣрность всегда на языкѣ у васъ, а въ сердцѣ никогда.

Графъ. Вы шутите, княгиня! Вамъ ли жаловаться на непостоянство мужчинъ! Съ вашей красотой, съ вашей любезностью можно ли встрѣчать измѣнниковъ. Оставьте этотъ упрекъ для обыкновенныхъ женщинъ; но вы— вы, которая, соединя въ себѣ всѣ прелести пола вашего...

Княгиня. Не хочу имѣть прочихъ женщинъ легковѣрность; не то-ли думали вы сказать мнѣ?.. Послушайте, графъ, первѣйшее доказательство любви есть откровенность,—будьте со мной чистосердечны.

Графъ. Сударыня! читайте въ моемъ сердцѣ.

Княгиня. Признайтесь откровенно, которую уже женщину увѣряете вы въ вашей вѣчной, постоянной любви?

Эрастовъ. Придется попросить грифельной доски.

Графъ. Клянусь, съ тѣхъ поръ, какъ я сталъ жить въ свѣтѣ...

Княгиня. Нѣтъ, со вчерашняго дня.

Эрастовъ. Прекрасно! Ай да княгиня! (*Пишетъ*).

Графъ. Вы смѣетесь надо мною, сударыня!

Княгиня. Ни мало. Я нахожу мой вопросъ очень натуральнымъ. Вы хотите жениться на кузинѣ, слѣдственно говорите ей то же, что и мнѣ. Я слышала нѣсколько разъ сама, что вы, позабывшись, чуть-чуть не открывались въ любви моей тетушкѣ; однимъ словомъ, мнѣ кажется, нужно только быть женщиной, чтобъ имѣть право на сердце и постоянную, безкопечную любовь вашу.

Графъ. Какъ, сударыня! вы даете такую цѣну этимъ пустымъ, ничтожнымъ вѣжливостямъ. Я полагалъ, княгиня, что вы лучше умѣете отличать истинную любовь отъ обыкновенныхъ комплиментовъ. Пускай старыя вдовушки, которыя рады ко всему прицѣпиться, находятъ въ нихъ болѣе, чѣмъ одну условную вѣжливость; но вамъ—ошибаться такимъ непростительнымъ образомъ! О! этого, княгиня, не смѣлъ бы даже я и думать.

Княгиня. Но, сударь, я была уже свободна, когда вы узнали Софью, а со всѣмъ тѣмъ вы женитесь на ней.

Графъ. Я поздно уже узналъ васъ, княгиня. Сначала молодость Софьи, ея—ея излишняя доброта, которая казалась мнѣ милою стыдливостью, невинностью, свойственною ея лѣтамъ, плѣнили меня; я сталъ искать въ ней и имѣлъ несчастіе ей понравиться. Теперь, когда первый восторгъ мой прошелъ, я вижу все различіе между вами и Софьей; но согласитесь, княгиня, это было-бы слишкомъ уже жестоко, слишкомъ ужасно, завести невинную, неопытную дѣвушку и послѣ ее оставить.

Княгиня. И такъ вы женитесь на ней изъ одного сожалѣнія?

Эрастовъ. Пятьдесятъ тысячъ доходу хоть кого разжалобятъ.

Графъ. Почти! Ахъ, княгиня! для чего понравился я Софьѣ, для чего, вмѣсто любви, не получила она ко мнѣ отвращенія; какъ бы я былъ счастливъ!

Княгиня. Ваша откровенность заставляетъ и меня быть довѣрчивѣе. Признаюсь, я была бы очень довольна, если бы вы не нравились моей кузинѣ.

Графъ. Что вы говорите, княгиня! Какое благополучіе! могу ли вѣрить?..

Княгиня. Да, графъ! притворство мнѣ не свойственно, и хотя бы не должно было... Но повторяю еще, что почла бы благополучной ту минуту, въ которую Софья отказалась бы отъ руки вашей. Графъ! я знаю вамъ истинную цѣну, она не создана для васъ.

Графъ (*въ сторону*). Прекрасно! она меня обожаетъ, любитъ!

Эрастовъ. Пускай попробуетъ другой обманывать, говоря правду.

Графъ. Княгиня! какъ изъяснить вамъ мою благодарность; вы любите меня!

ЯВЛЕНІЕ ШЕСТОЕ.

Тѣ же, графиня, князь, Изборскій и Софья.

Графъ (*не примѣчая другихъ, продолжаетъ говорить, цѣлуя руку*). Какое благополучіе можетъ сравниться съ моимъ! О, повторите еще разъ!..

Графиня. Что это значитъ! Прекрасный женихъ! Сватается за мою Сонюшку, а между тѣмъ... А тебѣ, сударыня, не стыдно!..

Эрастовъ. Браво! вотъ и развязка!

Графиня (*князю*). Ну, сударь, каковъ вашъ племянникъ!

Князь. Я, право, не понимаю, сударыня...

Графиня. Чего тутъ понимать, батюшка! Развѣ вы не слышали, что онъ говорилъ; развѣ

не видали, съ какимъ жаромъ цѣловалъ ея руку!

Графъ. Выслушайте меня, сударыня...

Графиня. Не хотите ли вы и меня увѣрить...

Графъ. Одно слово, графиня, и я оправданъ. Я просилъ княгиню вступиться за меня, уговорить васъ не откладывать болѣе мою свадьбу, и въ ту самую минуту, какъ вы взошли, я благодарилъ ее и просилъ еще разъ повторить обѣщаніе быть моей покровительницей.

Графиня. Какъ! неужели я ошиблась? Вы въ самомъ дѣлѣ говорили объ этомъ?

Княгиня. Да, тетушка, мы говорили о кузинѣ.

Эрастовъ. Вывернулся, какъ вывернулся. Придется еще одинъ актъ прибавить.

Князь. Видите ли, графиня, наружность всегда обманчива. Всѣ любовные романы наполнены подобными случаями: напримѣръ, въ «Маркизѣ Глаголѣ»...

Графъ. И, дядюшка! оставьте вашихъ маркизовъ; попросите лучше графиню и прелестную ея племянницу довершить мое благополучіе.

Графиня. Хорошо, хорошо! Оставьте же насъ теперь однихъ съ княземъ; намъ надобно будетъ съ нимъ кой о чемъ поговорить.

Княгиня (*тихо Софьѣ*). Жаль, милая, что ты не слыхала, объ чемъ мы говорили съ графомъ. Я перескажу тебѣ объ этомъ послѣ.

Князь. Однако же, племянникъ, это нехорошо оставаться наединѣ съ княгиней: злые люди могутъ Богъ знаетъ что выдумать.

Графъ. Вы правы, дядюшка; вотъ если-бъ вы были на моемъ мѣстѣ, то злые люди не могли бы тогда, вѣрно, ничего подумать дурного. (*Княгиня подаетъ руку графу*).

Графиня. Что это, матушка! Можно хоть разъ пустить графа погулять съ своей невѣстой.

Княгиня. И, тетушка! имъ будетъ для этого довольно еще времени. (*Скоро уходитъ съ графомъ, Софья съ Изборскимъ за ними*).

ЯВЛЕНІЕ СЕДЬМОЕ.

Графиня, князь и Эрастовъ (*скрывшись пишетъ все время*).

Князь. Какой дерзкій насмѣшникъ!

Графиня. Какая безстыдная кокетка!

Князь. Ну, точь въ точь, какъ этотъ вертопрахъ въ «Липецкихъ водахъ».

Графиня. Двѣ капли воды, какъ эта вѣтреница во вчерашней комедіи.

Князь. Подѣломъ смѣются надъ этими повѣсами.

Графиня. Не мѣшаетъ, чтобъ почаще сочиняли комедіи на этихъ безстыдныхъ.

Князь. Слышали ли, сударыня, какъ племянникъ изволилъ подшутить надо мною?

Графиня. Видѣли ли, какія чудеса изволитъ строить моя племянница? Понимаю всѣ твои затѣи, сударыня. Знаете ли, князь, я готова удариться объ закладъ, что она хочетъ отбить у Сонюшки графа.

Князь. Вы шутите, сударыня.

Графиня. Нѣтъ, я ее ужъ знаю. Развѣ вы не примѣтили, что она почти насильно заставила графа идти съ собою; но всѣ эти хитрости ей не удадутся. Князь, я намѣрена нынче же сдѣлать сговоръ.

Князь. Очень хорошо, сударыня.

Графиня. Пойдемте въ мою горницу, здѣсь становится холодно; тамъ мы обо всемъ переговоримъ хорошенько. (*Уходятъ*).

ЯВЛЕНІЕ ВОСЬМОЕ.

Эрастовъ (*одинъ, выходитъ на средину сцены, держа въ рукахъ записную книжку*). Планъ для первыхъ двухъ актовъ готовъ; кажется, они будутъ довольно интересны. Теперь надобно приняться за третій. О! третій актъ меня удивительно мучитъ. Ужъ мнѣ этотъ графъ! Надобно было вывернуться. Комедія была бы кончена, а теперь придумывай опять новую развязку; прибавляй цѣлое дѣйствіе. Ну, такъ и быть. Пойду въ какую-нибудь густую аллею, буду бродить взадъ и впередъ, надумаю, начну писать, окончу, отдамъ свою пьесу на театръ — и прощай «Липецкія воды», только объ нихъ и говорили. (*Уходитъ*).

КОНЕЦЪ ВТОРОГО ДѢЙСТВІЯ.

ДѢЙСТВІЕ ТРЕТЬЕ.

Комната княгини Зарѣцкой.

ЯВЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

Княгиня, Софья и Даша.

Софья. Ахъ, княгиня! я до сихъ поръ не могу повѣрить...

Княгиня. Что графъ Фольгинъ не шутя открывался мнѣ въ любви? Это еще ничего, но вотъ что забавно: онъ думаетъ, что вскружилъ мнѣ голову.

Софья. Не удивительно, если вы захотите его увѣрить въ этомъ.

Княгиня. И не думала. Я говорила только, что очень была бы рада, если бъ ты не вышла за него замужъ.

Даша. И его сіятельство расчелъ тотчасъ, что вы желаете это для того только, чтобъ онъ на васъ женился. Надобно сказать правду, у этихъ господъ совсѣмъ нѣтъ самолюбія.

Княгиня. Мнѣ кажется, милая, когда мы ходили по саду, ты совсѣмъ не скучала съ своимъ кавалеромъ.

Софья. Я должна сказать правду: Изборскій никогда еще не бывалъ такъ любезенъ.

Княгиня. Это оттого, что прежде ты всегда съ предубѣжденіемъ объ немъ судила.

Даша. Воля ваша, сударыня, а я не взяла бы за одного Изборскаго цѣлую сотню такихъ графовъ, какъ вашъ женихъ. Послушали бы вы, какъ онъ изволилъ нынче поутру объ васъ поговаривать: «она добра, добра какъ ягненочекъ; о, она будетъ предоброю женою»—да какимъ же ѣдкимъ голосомъ, вотъ такъ бы съ досады ему въ глаза и вцѣпилась.

Софья. Я начинаю сама примѣчать, что выборъ тетушки не можетъ составить мое благополучіе; но что присовѣтуете мнѣ дѣлать? Вы знаете, когда графиня на что-нибудь рѣшится...

Княгиня. Объ этомъ не безпокойся; я берусь довести до того графа, что онъ самъ откажется отъ твоей руки.

Софья (*съ нѣкоторою досадою*). Откажется! Не слишкомъ ли много надѣетесь вы на себя, княгиня?

Княгиня. Напротивъ, это такъ легко, такъ не трудно...

Софья (*съ живостію*). Признайтесь, кузина, что вы бываете иногда очень самолюбивы.

Княгиня. Браво! ты сердишься, ma chère! Но утѣшься, милая, на это есть причины, которыя не должны никакъ оскорблять твоего самолюбія. Я еще разъ повторяю тебѣ: онъ не любитъ и не можетъ любить никого, кромѣ самого себя.

Софья. Вы не такъ поняли меня. Я никакъ не могу повѣрить, чтобъ графъ былъ способенъ къ такой низости.

Княгиня. Должна будешь повѣрить, когда узнаешь его покороче. Я намѣрена, однако-жъ, сдѣлать съ тобою небольшой уговоръ. Если графъ отъ тебя откажется...

Софья. То я должна выйти за Изборскаго,— не правда ли?

Княгиня. Точно!

Софья. Я теперь согласна съ вами: онъ гораздо любезнѣе графа, и я не могу вспомнить безъ стыда прежнее свое предубѣжденіе.

Княгиня. Дашенька обѣщалась мнѣ помогать. Я думаю, ты твердо знаешь свою роль?

Даша. Будьте покойны, сударыня: могу ли забыть ее, когда дѣло идетъ о томъ, чтобъ одурачить какого нибудь модника. Ахъ, сударыня, если-бъ вы знали, какъ я ихъ всѣхъ ненавижу. Ну, право, я не знаю, какъ есть еще такія жалкія женщины, которыя могутъ любить этихъ выпускныхъ куколъ.

ЯВЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

Тѣ же и Эрастовъ.

Эрастовъ. Я васъ искалъ вездѣ, княгиня! Я пропалъ безъ вашей помощи. Планъ моей комедіи не подвигается ни крошечки впередъ. Я сколько ни мучился, не могъ никакъ придумать, съ чего начать этотъ несносный третій актъ.

Княгиня. Начните его тѣмъ, что молодая неопытная дѣвушка, которая была прежде ослѣплена наружнымъ блескомъ мнимыхъ достоинствъ нашего вѣтренника, узнаетъ свое заблужденіе. Между тѣмъ онъ продолжаетъ обманывать ея тетку, и... Но чего же лучше? Графиня и графъ идутъ сюда! Мы уйдемъ, а вы сядьте въ этомъ углу за столикомъ. Я увѣрена, что они продиктуютъ вамъ цѣлую сцену. Пойдемъ, милая, я разскажу тебѣ, какимъ образомъ намѣрена провести нашего жениха. (*Уходятъ*).

ЯВЛЕНІЕ ТРЕТЬЕ.

Эрастовъ (*за столомъ*), графиня и графъ.

Графиня. Гдѣ жъ Сонюшка! Я думала, что найду ее здѣсь. Вѣрно, они ушли опять гулять по саду.

Графъ. Графиня, позвольте еще разъ повторить вамъ мою просьбу: сдѣлайте меня совершенно благополучнымъ.

Графиня. Такъ вы очень любите Сонюшку?

Графъ. Ахъ, сударыня! нашъ языкъ не имѣетъ выраженій, которыя могли бы дать вамъ хотя нѣкоторое понятіе о моихъ чувствахъ. Ея прелестный видъ, ангельская доброта, плѣнительная невинность обворожаютъ меня; и простите моей смѣлости, графиня, —то чудесное сходство, которое нахожу я между вами...

Графиня. Въ самомъ дѣлѣ, вы находите, что племянница походитъ на меня?

Графъ. Невѣроятнымъ образомъ! Натурально, нѣкоторое различіе въ лѣтахъ уменьшаетъ это сходство,—она еще такъ молода, черты лица ея не имѣютъ еще той полноты, того совершенства, тѣхъ формъ, которыя даютъ имъ лѣта,—однимъ словомъ, она обѣщаетъ еще только быть тѣмъ, что вы есть теперь, сударыня.

Графиня. Льстецъ! Правда, смолоду я была не дурнѣе ея, но теперь...

Графъ. Перестаньте, графиня, вы заставляете меня краснѣть. Позвольте вамъ напомнить: излишняя скромность становится порокомъ. Итакъ, сударыня, вы намѣрены сдѣлать мою свадьбу!

Графиня. Очень скоро! Вы можете еще

подождать — нѣсколько дней не составятъ большой разницы.

Графъ. Но для чего откладывать мое благополучіе, когда нѣсколькими днями прежде могу получить лестное право называть васъ моею тетушкою. Вы знаете, какъ золъ свѣтъ, сударыня; мое уваженіе, душевная къ вамъ привязанность, частыя посѣщенія, все заставляетъ злыхъ людей дѣлать свои заключенія. Назовите меня скорѣй племянникомъ, и всѣ эти клеветники должны будутъ замолчать.

Графиня (*въ сторону*). Онъ такъ убѣдительно проситъ! (*Ему*). Подождите здѣсь, любезный графъ, я подумаю, и можетъ быть... Но я не говорю теперь ничего. (*Уходя, въ сторону*). Пойду, сыщу Сонюшку, приведу сюда и тутъ же сдѣлаю сговоръ! *Уходитъ*.

ЯВЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Графъ и Эрастовъ.

Графъ (*не замѣчая Эрастова*). Ха, ха, ха! Что можетъ быть легче, какъ вскружить голову старухѣ, которая воображаетъ, что еще молода! Бѣдняжки! Имъ даже и то пріятно, когда услышатъ, что можно еще сомнѣваться въ ихъ добродѣтели. Итакъ, я женюсь на Софьѣ! Женюсь! Какъ трудно выговорить это слово! Софья такъ проста, такъ скучна!.. Но что нужды до этого? Я буду каждый день ѣздить съ утра до вечера по моимъ знакомымъ; она станетъ сидѣть дома— и мы только изрѣдка будемъ видѣться между собою. Княгиня сказала мнѣ, что придетъ сюда о чемъ-то говорить со мной. Какъ она мила! Какъ любезна! И если мнѣ надобно непремѣнно уже жениться, то для чего бъ не на ней? Нѣтъ, княгиня мила, очень мила! Но двѣ тысячи душъ...

Эрастовъ. Еще милѣй.

Графъ. Ба! Г-нъ Эрастовъ, что вы тутъ дѣлаете?

Эрастовъ. Пишу комедію.

Графъ. Только!.. (*Въ сторону*). Княгиня сюда будетъ; какъ бы его отправить. (*Ему*). Знаете ли, г-нъ Эрастовъ, что древніе всегда сочиняли на чистомъ воздухѣ?

Эрастовъ. Когда они списываютъ съ природы. Живописцу не должно терять изъ виду своихъ оригиналовъ.

Графъ. Такъ подите жъ скорѣе въ садъ: дядюшка съ графиней тамъ гуляютъ.

Эраст. Они хороши только для второклассныхъ персонажей, а меня теперь занимаетъ главное лицо и проклятая развязка; никто лучше васъ мнѣ не поможетъ ее сдѣлать.

Графъ. Я бы самъ желалъ, чтобъ вы меня развязали съ вашей комедіей, которой ни плана, ни завязки я не знаю.

Эрастовъ. Я вамъ все разскажу. Извольте видѣть...

Графъ. Я, сударь, ничего не вижу. (*Въ сторону*). Онъ такъ же несносенъ, какъ авторъ вчерашней пьесы.

Эрастовъ. Послушайте! Сюжетъ довольно забавенъ.

Графъ. Вѣрю, сударь, вѣрю.

Эрастовъ. Не правда ли, что промотавшійся вѣтренникъ, который хочетъ жениться на приданомъ и попадется въ дураки, будетъ очень смѣшонъ. Ха, ха, ха!

Графъ. Смѣшонъ... Можетъ быть.

Эрастовъ. Однако жъ, вы не смѣетесь.

Графъ. Вамъ угодно чтобы я хохоталъ, извольте, сударь: ха, ха, ха... Довольны ли вы теперь?

Эрастовъ. Изрядно; а еще больше меня одолжите, ежели скажете, что мнѣ въ концѣ пьесы сдѣлать съ моимъ вѣтренникомъ?

Графъ. Охъ! сударь, пошлите его къ чорту.

Эраст. Къ чорту? Браво, брависсимо! Прекрасная мысль: ихъ будетъ пара; я вамъ очень благодаренъ. Побѣгу къ Изборскому; онъ человѣкъ умный и поможетъ мнѣ придумать, какъ бы поскорѣй его туда отправить. (*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ ПЯТОЕ.

Графъ, потомъ Даша.

Графъ. Что вралъ мнѣ этотъ несносный поэтъ о вѣтренникѣ, о приданомъ... Мнѣ кажется, онъ сказалъ, что хотятъ его дурачить... Неужели онъ осмѣлился на мой счетъ... Меня дурачить... Ха, ха, ха! Какая плоская мысль,— чѣмъ, смѣю спросить? Развѣ Софья не безъ памяти въ меня влюблена; развѣ тетка не отдаетъ ей всего имѣнія... А, Дашенька!

Даша. Княгиня прислала меня сказать вамъ, что она сейчасъ сюда будетъ.

Графъ. Но не такъ еще скоро, чтобъ я не успѣлъ между тѣмъ поцѣловать тебя.

Даша. Перестаньте, сударь.

Графъ. Какъ я радъ, что у будущей моей жены будетъ такая миленькая служаночка.

Даша. А развѣ вы слышали, сударь, что графиня отдаетъ меня за ней въ приданое?

Графъ. Да какъ же! Вѣдь Софья наслѣдница всего имѣнія.

Даша. Какъ, сударь! Всего имѣнія?

Графъ. Да какъ же, миленькая!

Даша. Право! Поэтому графиня передумала.

Графъ. Что такое?

Даша. Такъ ничего—я слышала...

Графъ. Что жъ ты слышала, душенька?

Даша. Я, сударь... я не знаю какъ вамъ сказать...

Графъ. Ну, да говори же, чего ты боишься?

Даша. Я, сударь, боюсь, если вы на меня послѣ скажете. Можетъ быть, графиня имѣетъ причину таить это.

Графъ (*въ сторону*). Что это значитъ? (*Вслухъ*). Говори смѣло, Дашенька! Увѣряю тебя, что объ этомъ никто не узнаетъ.

Даша. Вѣдь наслѣдница всего графинина имѣнія княгиня.

Графъ. Ты шутишь, Дашенька!

Даша. Точно, сударь; барышня воспитывалась у графини, вотъ почему всѣ и думаютъ, что она ея наслѣдница, а, напротивъ, графиня хочетъ непремѣнно, чтобъ все имѣніе осталось въ ея родѣ, и для того укрѣпила его княгинѣ, дочери родного ея брата, а не вашей невѣстѣ, которая ей племянница по покойницѣ ея сестрицѣ.

Графъ (*въ сторону*). Что я слышу! Такъ поэтъ и правъ: чуть-чуть не попался я въ дураки.

Даша (*въ сторону*). Задумался. (*Вслухъ*). Я увѣрена, что это васъ нимало не огорчаетъ, графъ,—вы женитесь на моей барышнѣ не для имѣнія.

Графъ. Конечно, миленькая! (*Въ сторону*). Какъ-то будетъ мнѣ теперь выпутываться.

Даша. Вотъ и княгиня!

—

ЯВЛЕНІЕ ШЕСТОЕ.

Тѣ же и княгиня.

Графъ. Съ какимъ нетерпѣніемъ я дожидался васъ, сударыня.

Княгиня. Меня задержала графиня; она ищетъ по всему саду князя и Софью. Мнѣ кажется, графъ, что тетушка намѣрена сдѣлать нынче вашъ сговоръ.

Графъ. Право!

Княгиня. Я думаю, это должно быть для васъ очень пріятно.

Графъ. Конечно! Но позвольте вамъ сказать откровенно, княгиня, я не хотѣлъ бы слишкомъ спѣшить своею свадьбою.

Княгиня. Какъ, сударь! Давно-ли вы показывали такое нетерпѣніе?

Графъ. Это правда, сударыня. Мнѣ такъ уже наскучило быть женихомъ, что хотѣлъ все кончить; но теперь, обдумавши хорошенько, вижу, что эта поспѣшность совершенно не у мѣста.

Княгиня. Давно-ли стали вы обдумывать то, что дѣлаете?

Графъ. Мнѣ надобно прежде аранжировать свои дѣла: привести въ порядокъ мое имѣніе. Послушайте, княгиня, неужели вы думаете, что я женюсь на Софьѣ, не знавъ, что она не богата; я знаю, точно знаю, что она будетъ имѣть одно только весьма умѣренное приданое.

Княгиня. Какъ, графъ! Съ чего вы взяли это? Я увѣрена, что тетушка отдаетъ ей все свое имѣніе. Вы ошибаетесь.

Графъ. Ожидалъ ли я, сударыня, что Дашенька будетъ со мною откровеннѣе, чѣмъ вы.

Княгиня. Что это значитъ? (*съ сердитымъ видомъ*). Дашенька?

Даша. Я, сударыня... я... Графъ, не стыдно-ли вамъ? Я право... только говорила... только сказала...

Княгиня. Кончишь-ли ты...

Даша. Виновата, сударыня!.. Я не думала... чтобъ мужчины были такъ же болтливы, какъ...

Княгиня. Женщины; благодарствуй.

Графъ. Божусь, княгиня, она только подтвердила мнѣ то, что я уже давно зналъ.

Даша. Изволите слышать, сударыня, графъ самъ давно ужъ зналъ.

Княгиня. Но ты какъ смѣла!

Даша. Проклятый языкъ!.. Ахъ! я проболталась; ради Бога, не говорите ничего графинѣ... Да попросите, сударь, за меня...

Графъ (*въ сторону*). Теперь нѣтъ сомнѣнія! (*Громко*). Я васъ прошу, не погубите эту малютку.

Княг. А я васъ прошу вѣрить не ей, а мнѣ...

Графъ. О, я готовъ вѣрить всему, что вы прикажете.

Княгиня. Нѣтъ! нѣтъ! Я вижу по вашей хитрой улыбкѣ, что вы сомнѣваетесь.

Графъ. Но чѣмъ могу я доказать вамъ...

Даша. Чѣмъ-нибудь, сударь, да только поскорѣе; у меня такъ сердце и бьется, — чтобъ не пришла графиня.

Графъ (*въ сторону*). Прекрасная мысль: однимъ камнемъ два удара! (*Громко*). Извольте, княгиня, я вамъ это докажу: вы знаете мои правила...

Княгиня. Знаю, сударь.

Графъ. Итакъ, какъ благородный человѣкъ, я не могъ бы отказаться отъ Софьи, когда бъ она была точно бѣдна,—не правда ли?

Княгиня. Правда.

Графъ. А я, княгиня, если это вамъ угодно, отъ нея отказываюсь. Вы видите теперь, кому я вѣрю.

Княгиня. Вижу!

Даша (*въ сторону*). И я также!

Графъ. Но будетъ ли это вамъ пріятно, княгиня?

Княгиня. Мы, кажется, давеча объ этомъ уже говорили.

Графъ. Однако жъ мнѣ все-таки совѣстно; эта бѣдняжка въ меня такъ влюблена...

Даша. Какъ, сударь?.. Проклятый языкъ! Опять было проговорилась.

Графъ. Что такое!

Даша (*глядя на княгиню*). Ничего, сударь!..

Графъ. Прошу васъ, княгиня, скажите, скажите!

Княгиня. Самая удивительная странность; я не могу безъ смѣха вздумать: моя кузина влюблена въ Изборскаго.

Графъ. Въ Изборскаго! Вы шутите! Въ Изборскаго! Прекрасный вкусъ!

Княгиня. И онъ почти два года украдкой по ней вздыхаетъ,—не забавно ли это?

Графъ. Ха, ха, ха!

Княгиня. Предпочитать вамъ Изборскаго...

Графъ. Ха, ха, ха! Таить два года!

Княгиня. И не говорить ни слова!

Графъ. Уморительно! Ха, ха, ха! Послу-

шайте, княгиня, кончимте этоть жалкій романъ,—женимте ихъ!

Княгиня. Женимте!

Даша. Жените!

Графъ. Какъ это будетъ забавно! Ха, ха, ха!

Княгиня. Забавно! Ха, ха, ха!

Даша. Очень забавно! Ха, ха, ха!

Княгиня. Даша, позови Изборскаго.

Даша (*въ сторону*). Попался голубчикъ. (*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ СЕДЬМОЕ.

Тѣ же, кромѣ Даши.

Графъ. Вы спѣшите воскресить новаго Вертера! Какъ вы жалостливы, княгиня.

Княгиня. Не должно терять времени, когда дѣлаютъ доброе дѣло.

Графъ. А когда ихъ можно сдѣлать два вдругъ, то надобно еще больше спѣшить,— не правда ли, княгиня?

Княгиня. Конечно!

Графъ. Итакъ, вы согласитесь?..

Княгиня. На что, сударь?

Графъ. Сдѣлать счастье человѣка, который ничѣмъ не походитъ на Изборскаго.

Княгиня. Да увѣрены ли вы, что я могу сдѣлать счастье такого человѣка?

Графъ. Вы одни, или никто,—вы знаете меня, княгиня.

Княгиня. Да вы еще не очень меня знаете.

Графъ. Я, сударыня!..

Княгиня. Вы, графъ, вы!.. Думаете ли, что женщины всегда бываютъ тѣми же въ своей семьѣ, какими кажутся въ обществахъ. Ахъ, сколько есть женъ, которыя, восхищая цѣлый свѣтъ, мучатъ безъ милости своихъ мужей.

Графъ. Но вы умны, чувствительны, любезны...

Княгиня. Но я жива, вспыльчива, вѣтрена и, признаюсь,—люблю нравиться.

Графъ. Какая восхитительная разнообразность; мужъ долженъ будетъ васъ обожать, боготворить!...

Княгиня. Я была ужъ замужемъ, графъ, и боюсь всѣхъ безконечныхъ привязанностей. Ревность!..

Графъ. Ревность! За кого вы меня принимаете, княгиня? Развѣ я кажусь вамъ какимъ-нибудь Изборскимъ, который, того и гляди, что залюбитъ и заревнуетъ до смерти свою жену. Нѣтъ, я буду умѣть почитать васъ и себя, и не дать себѣ ридикюль — быть несноснымъ ревнивцемъ.

Княгиня. Но можно ли любить и не ревновать? Я, сударь, сама очень ревнива.

Графъ. А я, сударыня, найду средство излѣчить васъ отъ этой болѣзни: никогда васъ не оставлю, буду всегда у ногъ вашихъ.

Княгиня. Ахъ! вы меня пугаете.

Графъ. Чѣмъ, сударыня?

Княгиня. Всегда у ногъ моихъ! Это сдѣлается для меня такъ обыкновеннымъ, такъ однообразнымъ, что наше безконечное супружество мнѣ наскучитъ.

Графъ. Мы будемъ тогда видѣться рѣже, княгиня.

Княгиня. Рѣже, сударь! Вотъ каковы мужчины! Еще вы не женились, а хотите уже видѣться рѣже!..

Графъ. Но, княгиня, я думалъ...

Княгиня. Вы думали! Что сударь?

Графъ. Мнѣ казалось, что вамъ это угодно... (*Въ сторону*). Какая женщина!

Княгиня. Я вижу, графъ, что мой нравъ, моя искренность вамъ не нравятся.

Графъ. Мнѣ не нравятся, княгиня! Можно ли имѣть нравъ лучше вашего. Я прошу васъ быть только всегда такъ же искренней.

Княгиня. Повѣрьте, я никогда не перемѣнюсь и если мужъ мнѣ наскучитъ, то скажу ему дружески: ахъ, mon cher! ты мнѣ очень надоѣлъ. Графъ, какъ вы думаете, что онъ будетъ отвѣчать?..

Графъ (*въ сторону*). Это ужъ ни на что не похоже! (*Громко*). Но, княгиня, есть мужья, которымъ вы, вѣрно, этого не скажете.

Княгиня. Нѣтъ, право, скажу!

Графъ. Въ такомъ случаѣ, въ ожиданіи лучшей погоды, мужъ возьметъ себѣ особую половину...

Княгиня. И, живя въ одномъ домѣ съ своей женою станетъ съ нею переписываться; не правда ли, что это будетъ прелестно?

Графъ. Восхитительно! (*Въ сторону*). Она полусумасшедшая, но наслѣдница.

Княгиня (*въ сторону*). Его никакъ не отобьешь отъ тетушкина имѣнья.

ЯВЛЕНІЕ ВОСЬМОЕ.

Тѣ-же, Изборскій и Даша.

Княгиня. Изборскій, подите сюда. Благодарите великодушнаго пріятеля вашего, онъ уступаетъ вамъ Софью.

Изборскій. Какъ, сударыня! Что вы говорите? Графъ...

Графъ. Да, мой другъ! Княгиня сказала мнѣ, что ты любишь мою невѣсту, и что она также чувствуетъ къ тебѣ склонность...

Изборскій. Княгиня! долженъ ли я этому вѣрить?

Княгиня. Вы услышите это отъ нея самой.

Изборскій. Какое благополучіе! Графъ! такой благородный, великодушный поступокъ...

Графъ. О, не благодари меня, mon chere, это очень натурально: ты обожаешь Софью, она любитъ тебя; какой бы благородный человѣкъ поступилъ иначе на моемъ мѣстѣ.

Изборскій. Но, можетъ быть, графиня не согласится сдѣлать меня благополучнымъ.

Княгиня. Она уважаетъ васъ, и если

графъ отказывается добровольно отъ руки Софьи, то она, вѣрно, не захочетъ противиться ея желанію.

Изборскій. Но, графъ, такое великодушіе удивительно.

Графъ. Ты обижаешь меня, Изборскій. Ты долженъ былъ всего ожидать отъ своего друга, и если бъ онъ зналъ прежде все то, что знаетъ теперь, то никогда не былъ бы твоимъ соперникомъ.

ЯВЛЕНІЕ ДЕВЯТОЕ.

Тѣ же, графиня, князь и Софья.

Графиня. Князь, пожалуйте сюда. (*Беретъ за руку Софью и подводитъ къ графу*). Любезный графъ, примите, наконецъ, награду за ваше постоянство.

Софья. Тетушка!

Графъ. Графиня! Чувства мои все тѣ же, но обстоятельства перемѣнились. Священный долгъ службы, заставляетъ меня отказаться отъ руки Софьи.

Графиня. Что это значитъ?

Князь. Племянникъ! Что ты дѣлаешь?

Графъ. Да, дядюшка! Я узналъ, что Изборскій любитъ Софью, что она также къ нему неравнодушна, и для того, какъ другъ его, какъ благородный человѣкъ, отказываюсь отъ всѣхъ правъ своихъ.

Графиня. Отказываетесь! Прошу покорно, онъ отказывается, самъ отказывается отъ моей Сонюшки! И вы, сударь, могли, и вы, сударь, осмѣлились! Нѣтъ, нѣтъ, я этому не вѣрю! Не могу вѣрить. Такая дерзость, такая наглость нигдѣ не видана.

Князь. Племянникъ! Это, въ самомъ дѣлѣ, ни на что не похоже. Такого глупаго великодушія не найдешь и въ романахъ.

Изборскій. Сударыня! будьте такъ же великодушны, какъ графъ.

Графъ. Повѣрьте, графиня, что я самъ душевно сожалѣю.

Графиня. Ахъ, Боже мой! онъ еще жалѣетъ. Да не думаете ли вы, сударь, что мы всѣ умремъ съ горя отъ того, что вамъ не угодно жениться на моей племянницѣ; вы сейчасъ увидите, какъ много я объ этомъ думаю. Сонюшка! хочешь ли ты выйти за Изборскаго?

Софья. Я увѣрена, тетушка, что буду съ нимъ счастливѣе, чѣмъ съ графомъ.

Графиня (*подводя ее къ Изборскому*). Изборскій, возьмите ее, она ваша.

Изборскій (*цѣлуя руку Софьи*). Сударыня! Какъ я счастливъ!

Графиня. Ваша свадьба будетъ черезъ недѣлю, а сегодня же укрѣплю я Софьѣ все свое имѣніе.

Графъ. Все имѣніе! Княгиня! что это значитъ?

Графиня. Ничего.

Эраст. (*вбѣгая*). Я поспѣлъ къ развязкѣ!

Графъ. Я обманутъ ужаснымъ образомъ!

Княгиня. Что нужды, графъ, что я не богата. Взаимная любовь наша, сходство характеровъ,—вотъ одно, что можетъ сдѣлать насъ счастливыми.

Графъ. Конечно, сударыня, вашъ характеръ, ваша любовь, что сказать.

Княгиня. Успокойтесь, графъ, я не заставлю васъ насильно на мнѣ жениться. Это была только шутка—небольшое испытаніе.

Графиня. Что это все значитъ?

Князь. Какое-нибудь новое дурачество моего племянника.

Княгиня. Ничего, тетушка! Графу показалось, что вы не отдаете Софьѣ вашего имѣнія, и онъ изъ великодушія уступаетъ свою невѣсту Изборскому.

Графиня. Теперь я не удивляюсь.

Графъ. Прекрасно, княгиня прекрасно! Я теперь вижу, отчего кокетка вчерашней комедіи вамъ не понравилась.

Княгиня. И, графъ! еслибъ всѣ женщины употребляли кокетство только для того, чтобъ давать уроки подобнымъ вамъ, то ихъ, вѣрно, не стали бы за это выводить на сцену.

Графъ. Это правда, сударыня, вы заставили меня играть довольно забавную роль. (*Графинѣ*). Графиня, желая поберечь вашу репутацію, оставляю навсегда вашъ домъ.

Графиня. Какая наглость! И вы еще можете, сударь...

Графъ (*Изборскому*). Изборскій, будь добрымъ мужемъ и попроси княгиню, чтобъ она усовершенствовала твою супругу. Прощайте, княгиня, я спѣшу обскакать своихъ знакомыхъ и стану всѣмъ разсказывать о сегодняшнемъ приключеніи.

Княгиня. Не думаю.

Графъ. Слуга покорный! Поѣдемте, дядюшка!

Князь. Я, право, не могу понять.

Графъ. Поѣдемте! Вы поймете это въ каретѣ. (*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ ПОСЛѢДНЕЕ.

Тѣ же, кромѣ князя и графа.

Княгиня (*Эрастову*). Ну, сударь, что ваша пьеса?

Эрастовъ. Планъ уже готовъ.

Княгиня. А развязка?

Эрастовъ. Самая натуральная! Осмѣянный повѣса уходитъ, степенный молодой человѣкъ женится на своей любезной. Зрители, если хотятъ, апплодируютъ, а актеры раскланиваются.

ДЕРЕВЕНСКІЙ ФИЛОСОФЪ.

КОМЕДІЯ-ВОДЕВИЛЬ ВЪ ОДНОМЪ ДѢЙСТВІИ.

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА.

Г-нъ Волгинъ.
Лиза, дочь его.
Ленская, пріятельница Лизы.
Г-нъ Ландышевъ, женихъ Лизы.
Болеславскій, влюбленный въ Лизу.
Князь Зарѣцкій, пріятель Болеславскаго.
Иванъ, слуга Волгина.

(*Театръ представляетъ садъ; съ лѣвой стороны деревня и кустарники, съ правой часть дома; въ глубинѣ сцены рѣшетчатый заборъ съ воротами, за которымъ видно поле и нѣсколько избъ*).

ЯВЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

Болеславскій (*одинъ выходитъ изъ дому*). Какое прекрасное утро! Какъ должно быть весело тому, кто счастливъ и покоенъ! Давно ли и я былъ счастливъ и покоенъ... а теперь...

Давно ль въ безпечности счастливой,
Среди забавъ не зная зла,
Въ ладу съ фортуной прихотливой,
Спокойно жизнь моя текла;
Я вслѣдъ за славой не стремился,
Довольный жребіемъ благимъ..
Увидѣлъ Лизу—и простился
Навѣкъ я съ счастіемъ моимъ.

***

Давно ли всѣхъ забавъ душою
Въ кругу пріятелей я былъ
И скуки никогда съ собою
Въ бесѣду ихъ не приносилъ;
Бездѣлкой всякой веселился,
Минуты не былъ безъ затѣй...
Увидѣлъ Лизу—и простился
Навѣкъ съ веселостью моей.

Итакъ, послѣ-завтра этотъ несносный Ландышевъ назоветъ Лизу своею женою... Своей женою!.. и я не могу помѣшать этому!— не могу имѣть ни малѣйшей надежды!.. А впрочемъ, почему жъ?.. Она еще не замужемъ; легко можетъ быть какое-нибудь непредвидимое обстоятельство, какой-нибудь счастливый случай отдалитъ на нѣсколько времени эту свадьбу, и тогда... почему знать, можетъ случиться... отчаяваться никогда не должно.

Терять надежды никогда
Любовникамъ не должно;
И если робкимъ все бѣда,
То смѣлымъ все возможно.
Въ любви надежда умъ даетъ,
Отчаянье насъ губитъ;
И кто надеждой не живетъ,
Тотъ истинно не любитъ.

Такъ точно: кто любитъ, тотъ долженъ надѣяться. Надобно только хорошенько подумать; можетъ быть, я и найду какое-нибудь средство избавиться отъ моего соперника. Что, если бъ я... Подумаемъ!..

ЯВЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

Болеславскій и князь Зарѣцкій.

Князь. Слава Богу! насилу отыскалъ живого человѣка. Да это, кажется, самъ хозяинъ.

Болеславскій (*продолжаетъ размышлять, не замѣчая князя*). Нѣтъ, изъ этого ничего не выйдетъ!

Князь (*подходя къ Болеславскому*). Извините, милостивый государь... Кой чортъ!—не ошибаюсь ли я?—старый мой сослуживецъ— Болеславскій!

Болеславскій. Возможно ли! князь Зарѣцкій!

Князь. Какая театральная встрѣча! Обними меня, мой другъ! Да не у тебя ли я въ гостяхъ?

Болеславскій. Ты въ домѣ у сосѣда моего Николая Ивановича Волгина.

Князь. У твоего сосѣда? Такъ ты помѣщикъ въ здѣшнемъ округѣ?

Болеславскій. Моя деревня въ пяти верстахъ отсюда.—Да тебя какъ Богъ занесъ въ нашу сторону? Откуда ѣдешь, куда и зачѣмъ?

Князь. Изъ Москвы, въ деревню, жениться.

Болеславскій. Жениться?

Князь. И сдѣлаться твоимъ сосѣдомъ.

Болеславскій. Нѣтъ, шутишь?

Князь. Да, мой другъ; деревня будущей моей жены въ двадцати верстахъ отсюда. И вообрази мою досаду: на здѣшнемъ почтовомъ дворѣ всѣ лошади въ разгонѣ, а обывательскихъ не даютъ безъ помѣщика, и потому я пришелъ было просить его...

Болеславскій. Ты женишься—въ двадцати верстахъ отсюда,—да на комъ же?

Князь. На милой, прелестной и богатой вдовушкѣ.

Болеславскій. На вдовѣ?

Князь. Мы познакомились въ Москвѣ. Я ей понравился, она мнѣ приглянулась; я много думать не люблю, она также не охотница долго размышлять: въ двѣ недѣли мы полюбили другъ друга, объяснились, помолвили и, чтобъ избѣжать пустыхъ толковъ и пересудовъ, рѣшились сыграть нашу свадьбу въ ея деревнѣ. Она поѣхала впередъ, а я остался окончить кой-какія дѣла; отдѣлался скорѣй, чѣмъ думалъ, и лечу теперь на крыльяхъ любви, то есть скачу на почтовыхъ.

Болеславскій. Вѣдь это не секретъ? Твою невѣсту зовутъ?..

Князь. Ее зовутъ?!.. Чуть было не забылъ! Вѣдь я далъ ей слово не говорить никому о нашей свадьбѣ до тѣхъ поръ, пока мы не обвѣнчаемся.

Болеславскій. И ты, какъ вижу, не забываешь своего обѣщанія.

Князь. Разумѣется. Ахъ, Болеславскій! Если бъ ты могъ вообразить, какъ она мила!

Болеславскій. Воображаю, мой другъ, и даже такъ живо, что, кажется, могу описать ее.

Князь. Въ самомъ дѣлѣ?

Болеславскій. Послушай!

Всегда съ пріятелемъ готова
Смѣяться и шутить она...

Князь. Точно! Моя невѣста превеселаго характера.

Болеславскій.

Хотя и росту небольшого,
Зато какъ грація, стройна...

Князь. И это правда.

Болеславскій.

Плѣнять собою всѣхъ желанья
Враги въ ней даже не найдутъ...

Князь. О, нѣтъ она не кокетка?

Болеславскій.

И чтобъ окончить описанье,—
Ее Глафирою зовутъ.

Князь. Какъ, Болеславскій, такъ ты знаешь, что Глафира Ленская...

Болеславскій. Твоя невѣста.

Князь. Вотъ женщины! Взяла у меня слово молчать, а сама проболталась.

Болеславскій. Не она, князь, а ты.

Князь. Помилуй! Да я только сказалъ, что ея деревня въ двадцати верстахъ отсюда.

Болеславскій. Бездѣлица! А въ двадцати верстахъ кругомъ, кромѣ Ленской, нѣтъ ни одной молодой, прекрасной и богатой вдовы.

Князь. Ну, Болеславскій, если ты знаешь мою невѣсту, то суди самъ, съ какимъ нетерпѣніемъ я спѣшу ее увидѣть. Итакъ, прошу не погнѣваться, я очень радъ, что встрѣтился съ тобою, но, несмотря на то, не хочу терять ни минуты, и для того... (*Хочетъ войти въ домъ*).

Болеславскій (*останавливая его*). И, нѣтъ, мой другъ, мы такъ скоро не разстанемся... твоя невѣста здѣсь.

Князь. Здѣсь?

Болеславскій. Да! Ленская такъ же, какъ я, въ гостяхъ у Волгина.

Князь. Она здѣсь? Возможно ли? Пойдемъ, мой другъ, пойдемъ. (*Хочетъ войти въ домъ*).

Болеславскій (*останавливая*). Какой нетерпѣливый! Да погоди! Ты сейчасъ ее увидишь: она приходитъ каждое утро сюда гулять и, можетъ быть, чрезъ полчаса...

Князь. Чрезъ полчаса. И я долженъ дожидаться полчаса!

Болеславскій. Какъ тебѣ не стыдно, князь! Можетъ быть, чрезъ нѣсколько дней она навсегда будетъ твоею, и ты не хочешь подождать полчаса! Каково жъ мнѣ,—вообрази, мой другъ! Въ кои-то вѣки вздумалъ я влюбиться въ прелестную, милую дѣвушку, — и черезъ двѣ недѣли она выходитъ замужъ за другого.

Князь. Ага, пріятель, такъ и ты попался!

Болеславскій. Что жъ дѣлать, мой другъ,—видно уже такъ написано было въ книгѣ судебъ. Вышедши въ отставку, я пріѣхалъ сюда, познакомился съ Волгинымъ. влюбился въ его дочь и только третьяго дня узналъ, что онъ намѣренъ ее выдать замужъ за своего пріятеля Ландышева.

Князь. А что за человѣкъ этотъ Ландышевъ?

Болеславскій. Вотъ то-то и досадно, мой милый! Ужъ пускай бы онъ былъ человѣкъ, а то животное, какой-то деревенскій философъ, въ которомъ нѣтъ ни на волосъ здраваго смысла.

Князь. Это въ самомъ дѣлѣ досадно. Да нельзя ли какъ-нибудь помочь твоему горю? Послушай! Увези ее,—я помогу.

Болеславскій. Нѣтъ, князь, она на это никакъ не рѣшится; а признаюсь, другого средства я и самъ не вижу. Но кто-то идетъ, кажется... такъ точно, Ленская.

ЯВЛЕНІЕ ТРЕТЬЕ.

Тѣ же и Ленская.

Ленская. Боже мой! Князь! Вы ли это?

Князь (*цѣлуя у нея руку*). Да, сударыня, это я, вашъ страстный, нѣжный и вѣрный любовникъ!

Ленская. Какъ вы меня испугали и обрадовали; я никакъ не ожидала такъ скоро васъ увидѣть.

Князь. И вы могли думать, что я рѣшусь цѣлый мѣсяцъ быть съ вами розно?

Ленская. Какъ вы милы, князь! (*Увидѣвъ Болеславскаго*). Ахъ, Боже мой, вы здѣсь!

Князь. Не бойтесь, ничего:—это мой сослуживецъ и старинный пріятель; онъ знаетъ все.

Ленская. Какъ, сударь! Такъ вы забыли ваше обѣщаніе!

Князь. Боже сохрани! Да я пошлюсь на него. Я только намекнулъ, что пріѣхалъ сюда жениться,—а онъ тотчасъ и отгадалъ, что на васъ.

Болеславскій. И признаюсь, отгадать было очень трудно.

Князь. Теперь ничто въ мірѣ не заставитъ меня разстаться съ вами. Сегодня мы отправимся въ вашу деревню, завтра обвѣнчаемся...

Ленская. А послѣ-завтра поѣдемъ опять въ Москву,—не такъ ли?

Князь. Въ Москву или въ Сибирь, въ Петербургъ или въ Камчатку,—куда вамъ угодно, хотя на край свѣта, только вмѣстѣ съ вами.

Ленская. И вы рѣшитесь оставить безъ всякой помощи Болеславскаго? Я увѣрена, онъ успѣлъ уже разсказать вамъ о своемъ горѣ.

Князь. Какъ же!—бѣдняжка влюбленъ.

Болеславскій. И безъ всякой надежды.

Ленская. Что жъ дѣлать! Я никакъ не могу уговорить Лизу сказать на-отрѣзъ своему жениху, что она терпѣть его не можетъ: Лиза такъ робка, привыкла съ такою покорностью выполнять приказанія своего батюшки, что скорѣй рѣшится молчать и умереть отъ отчаянія, чѣмъ сказать одно слово и выйти замужъ за человѣка, котораго любитъ больше всего на свѣтѣ.

Князь. А что этотъ Ландышевъ не молодой ужъ человѣкъ?

Ленская. Нельзя сказать,—ему лѣтъ за пятьдесятъ.

Князь. Такъ поэтому онъ очень богатъ?

Болеславскій. Да—у него безъ малаго сорокъ душъ.

Князь. А, понимаю: онъ человѣкъ чиновный.

Ленская. Какъ же: отставной титулярный совѣтникъ.

Князь. Тьфу пропасть! Что же въ немъ нравится вашему Волгину?

Болеславскій. Что нравится? Да ты не знаешь: Ландышевъ великій человѣкъ:

Онъ родился хоть незнатнымъ,
Но за то какой мудрецъ,
Сочинитель и дѣлецъ!
Языкомъ для всѣхъ понятнымъ
Двухъ не скажетъ сряду словъ;
И хоть даже не асессоръ,
Но въ политикѣ профессоръ
И ужасный философъ.

Князь. Все это хорошо; но я никакъ не понимаю...

Болеславскій. А вотъ послушай! Надобно тебѣ сказать: этотъ Ландышевъ, тому лѣтъ двадцать назадъ, издалъ въ свѣтъ какую-то политическую книгу, въ которой онъ доказываетъ, что отечество безъ него обойтись не можетъ; неблагодарное отечество не обратило на это никакого вниманія, — онъ разсердился, вышелъ въ отставку...

Ленская. И, потерявъ всю надежду сдѣлаться человѣкомъ государственнымъ, рѣшился быть философомъ, то есть презирать славу, почести и чины.

Болеславскій. Его деревня отсюда въ двухъ верстахъ. Хозяинъ здѣшняго дома, г. Волгинъ, имѣетъ также слабость считать себя великимъ политикомъ и, чтобъ доказать это на самомъ дѣлѣ, пишетъ безпрестанно проекты; натурально, они познакомились.

Ленская. Ландышевъ, который въ глазахъ Волгина, какъ философъ и сочинитель политической книги, есть нѣчто очень важное, успѣлъ завладѣть имъ совершенно, сталъ поправлять его проекты, и скоро сдѣлался для Волгина столь необходимымъ...

Болеславскій. Что онъ, желая еще болѣе привязать его къ себѣ, рѣшился выдать за него свою дочь.

Князь. Бѣдненькая! Да чѣмъ же она виновата?

Болеславскій. Вотъ то-то и есть! А признаюсь, если бъ Ландышевъ не былъ моимъ соперникомъ, то я отъ всей бы души надъ ними смѣялся. Я не знаю ничего забавнѣе этого чудака! Онъ, какъ философъ, презираетъ богатство и беретъ двойной оброкъ съ своихъ крестьянъ; говоритъ съ пренебреженіемъ о знатныхъ и готовъ рѣшиться на все, что бъ только заслужить благодарную улыбку какого-нибудь вельможи.

Ленская. Да вотъ не далѣе, какъ вчерась, онъ получилъ письмо изъ Петербурга. Не знаю, кто-то пишетъ къ нему, что одинъ отмѣнно знатный человѣкъ отправился подъ чужимъ именемъ путешествовать по Россіи и, вѣроятно, на этихъ дняхъ будетъ проѣзжать чрезъ нашу губернію; вы не можете представить, какъ эта новость его взволновала; цѣлый день онъ только о томъ и говорилъ.

Лиза. Ахъ, батюшка!..

Волгинъ. Что такое?

Ленская (*тихо*). Смѣлѣй, милая!

Волгинъ. Ну, что же, говори!

Лиза. Неужели моя свадьба черезъ двѣ недѣли?

Волгинъ. Да, сударыня! А что ты хочешь этимъ сказать?

Лиза (*испугавшись*). Ничего-съ.

Ленская (*тихо*). Рѣшись!

Лиза. Ахъ, батюшка! я безъ ужаса и подумать не могу объ этомъ.

Волгинъ Ба, ба, ба!—что это значитъ? Ужъ не упрямиться ли ты хочешь? Боже тебя сохрани!

Лиза. Ахъ, нѣтъ-съ... я...

Волгинъ. Такъ чего-жъ ты боишься? понимаю: тебѣ ужъ наскучило быть невѣстою, не правда ли? Хорошо, хорошо, мой другъ, свадьба твоя не черезъ двѣ недѣли, а послѣзавтра.

Ленская (*въ сторону*). Прекрасно!

Волгинъ. Ты молчишь, плутовка? Добро, ступай-ка, да примѣрь свое подвѣнечное платье; я посмотрю его на тебѣ самъ.

Ленская (*тихо Лизѣ*). Какое малодушіе! Не стыдно ли тебѣ?

Лиза. Ахъ, милая! я едва дышу отъ страха. (*Уходитъ*).

Ленская (*идя за нею въ сторону*). Бѣдный Болеславскій!

ЯВЛЕНІЕ СЕДЬМОЕ.

Волгинъ и Ландышевъ.

Волгинъ. Ну, любезный, мы теперь одни: при барыняхъ я не люблю говорить о дѣлѣ. Какъ ты думаешь? Я нынче писалъ всю ночь и кончилъ мой проектъ объ устроеніи водянаго сообщенія между Чернымъ моремъ и Каспійскимъ.

Ландышевъ. Неужели кончили?

Волгинъ. И переписалъ набѣло

Ландышевъ. Да вы убиваете себя.

Волгинъ. Что жъ дѣлать, милый! Кто хочетъ быть полезенъ своему отечеству, тотъ долженъ забывать самого себя.

Ландышевъ. Это очень похвально, но...

Волгинъ. Нѣтъ, нѣтъ, любезный,—для блага общаго можно и должно жертвовать собою.

Ландышевъ. Не спорю, однако жъ...

Волгинъ. Подумать не могу безъ восхищенія! Соединить два моря,—какое великое дѣло! А для торговли-то сколько выгодъ, мой другъ!

Чтобъ подробно ихъ исчислить,
Коротка вся жизнь моя;
Безъ восторга и помыслить
Не могу объ этомъ я.
Персіяне и китайцы,
Кашемирцы и бухарцы
Приплывутъ въ Одессу къ намъ;
Мы соболью бросимъ ловлю,
А индѣйскую торговлю
Приберемъ тогда къ рукамъ.

***

Одного лишь опасаться
Я, мой другъ, сегодня сталъ,
Что едва ли согласятся
Въ триста верстъ провесть каналъ.

Ландышевъ.

И къ тому же есть другое
Затрудненье небольшое.

Волгинъ.

Да пустое, братецъ, вздоръ!
Чтобъ свершить мое желанье...

Ландышевъ (*перебивая*).

Нужно срыть до основанья
Сотни двѣ кавказскихъ горъ.

Волгинъ. Эхъ, милый! Ну, конечно, съ перваго взгляда это какъ будто бы и страшно, а, впрочемъ, пустое, — были бы только руки. Да вотъ постой, я прочту тебѣ мой проектъ, такъ ты самъ увидишь.

Ландышевъ (*въ сторону*). Ахти бѣда!

Волгинъ. Слушай! Кой чортъ! да это простая бумага!.. Видно, я захватилъ ее вмѣстѣ съ проектомъ. Постой!.. (*перебираетъ бумаги*).

Ландышевъ (*въ сторону*). Уморитъ онъ меня!

Волгинъ. А, нашелъ, вотъ онъ! (*Читаетъ*). «Проектъ о соединеніи посредствомъ канала двухъ морей, Каспійскаго и Чернаго» (*откашливается*). Не подвержено ни малѣйшему сомнѣнію...

ЯВЛЕНІЕ ВОСЬМОЕ.

Тѣ же и Иванъ (*входитъ скоро*).

Волгинъ. Что ты?

Иванъ. Я, сударь, по вашему приказу былъ сейчасъ на почтовомъ дворѣ.

Волгинъ. Ну кто этотъ проѣзжій?

Иванъ. А Богъ его знаетъ, сударь.

Волгинъ. Что ты врешь?

Иванъ. Да, точно такъ-съ. Почталіонъ сказалъ мнѣ, что ему этотъ господинъ отмѣнно подозрителенъ.

Волгинъ. Подозрителенъ!

Иванъ. Да, сударь! Въ подорожной онъ названъ просто какимъ-то Пронскимъ, а слуга говоритъ ему: ваше сіятельство.

Волгинъ. Что это значитъ, братецъ?

Ландышевъ. Странно, очень странно!

Волгинъ. Ужъ не тотъ ли это знатный путешественникъ?

Ландышевъ. Быть можетъ.

Волгинъ. Какъ ты думаешь: не пригласить ли его?

Ландышевъ. Зачѣмъ?

Волгинъ. Какъ зачѣмъ? А если онъ знатный человѣкъ?

Ландышевъ. Такъ что жъ! Эхъ, Николай Иванычъ! вовсе нѣтъ въ васъ философіи! Но что вамъ за дѣло, что онъ знатный человѣкъ?

Волгинъ. А что и въ самомъ дѣлѣ, изъ чего хлопотать; пусть сидитъ себѣ въ избѣ. (*Ивану*). Ступай!

Ландышевъ. Постой, постой! Конечно, онъ ни на что намъ не нуженъ, однако жъ, гостепріимство есть философическая добродѣтель.

Волгинъ. Не спорю, братецъ. Да не подумалъ бы онъ, что мы это дѣлаемъ изъ подлости.

Ландышевъ. А что вы думаете,—быть можетъ. Нѣтъ, не надобно его звать.

Волгинъ. Не надобно. Ступай!

Ландышевъ. Погоди! А если онъ, бѣдняжка, усталъ и желалъ бы отдохнуть; послушайте: вѣдь и къ знатнымъ надобно имѣть состраданіе, они такіе же люди.

Волгинъ. Такъ ты мнѣ совѣтуешь...

Ландышевъ. Пригласите его.

Волгинъ (*Ивану*). Бѣги же скорѣй и проси его сюда.

Ландышевъ. Постой, постой! Что вы дѣлаете! Почему жъ и передъ знатнымъ человѣкомъ не быть вѣжливымъ? Пригласите его сами.

Волгинъ. Правда, правда. (*Хочетъ идти*).

Иванъ. Не извольте безпокоиться: вонъ онъ самъ.

ЯВЛЕНІЕ ДЕВЯТОЕ.

Тѣ же и князь Зарѣцкій.

Князь (*весьма холодно и отрывисто*). Позвольте узнать, кто хозяинъ здѣшняго дома?

Волгинъ (*кланяясь*). Я, милостивый государь.

Князь (*приподнявъ шляпу*). Извините! Я спѣшу ѣхать; на почтовомъ дворѣ всѣ лошади въ разгонѣ: надѣюсь, вы прикажете мнѣ дать обывательскихъ.

Волгинъ. Съ величайшею охотою! Мои лошади и я самъ къ вашимъ услугамъ.

Князь. Очень благодаренъ. Впрочемъ, мнѣ нужны однѣ лошади.

Ландышевъ (*въ сторону*). Какъ онъ отвѣчаетъ! О, онъ точно знатный человѣкъ!

ЯВЛЕНІЕ ДЕСЯТОЕ.

Тѣ же и Болеславскій.

Болеславскій (*не замѣчая князя*). Здравствуйте, Николай Ивановичъ! Вы нынче поздно встали, а я ужъ успѣлъ... Боже мой! не ошибаюсь ли я!.. (*Подходя почтительно къ князю*). Какой случай доставилъ намъ счастіе...

Князь. А, любезный Болеславскій! очень радъ васъ видѣть. (*Волгину*). Это старинный мой пріятель.

Болеславскій. Возможно ли! такая честь!.. Ахъ, ваше сія....

Князь (*дѣлаетъ знакъ Болеславскому*). Тсъ! Какъ мы давно съ вами не видались!

Болеславскій. Съ тѣхъ поръ, какъ я въ послѣдній разъ имѣлъ счастіе служить...

Князь (*прерывая*). Вмѣстѣ со мною. (*Волгину*). Вашъ садъ, кажется, недуренъ.

Волгинъ. Вы очень милостивы!

Князь. И даже, сколько можно замѣтить, расположенъ съ нѣкоторымъ вкусомъ. (*Осматривается кругомъ*).

Волгинъ (*тихо Болеславскому*). Кто этотъ господинъ?

Болеславскій. Неужели вы не знаете?

Волгинъ. Скажи скорѣе!..

Болеславскій. Такъ знайте же...

Князь. Болеславскій.

Болеславскій (*подбѣгая*). Чего изволите?

Князь (*съ разсѣяннымъ видомъ*). Такъ, ничего.

Болеславскій (*кланяясь*). Слушаю!

Князь. Да, да!.. я хотѣлъ вамъ сказать... (*говоритъ съ нимъ тихо*).

Волгинъ (*Ландышеву*). Теперь нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія: это тотъ знатный вояжеръ, о которомъ тебѣ писали.

Ландышевъ. Я и самъ то же думаю.

Волгинъ. Правда, онъ очень молодъ?

Ландышевъ. Что вы? помилуйте;—онъ только моложавъ.

Князь (*тихо Болеславскому*). Не бойся, я не забуду своей роли; а моя невѣста?

Болеславскій. Я ужъ съ ней переговорилъ (*громко и кланяясь*), смѣю васъ въ этомъ увѣрить.

Князь (*также*). Я полагаюсь на вашу скромность. (*Волгину*). Позвольте узнать: я скоро буду имѣть лошадей?

Волгинъ. Сію же минуту. Но если бъ вамъ угодно было сдѣлать мнѣ честь у меня откушать...

Князь. Очень бы радъ, но я такъ тороплюсь.

Ландышевъ. Осмѣлюсь ли спросить, куда вы изволите ѣхать?

Князь. Я, сударь? Я, право, не могу вамъ сказать; я путешествую.

Ландышевъ (*тихо Волгину*). Слышите?

ЯВЛЕНІЕ ОДИННАДЦАТОЕ.

Тѣ же и Ленская.

Князь. Мнѣ давно хотѣлось объѣхать нѣкоторую часть Россіи.

Волгинъ. Прекрасное намѣреніе!

Ленская (*тихо Ландышеву*). Кто это? Лицо мнѣ что-то знакомо.

Ландышевъ. Быть можетъ.

Князь (*Волгину*). Не ошибаюсь ли я: это г-жа Ленская?

Волгинъ. Точно такъ.

Князь (*подходитъ къ ней*). Вы не узнали меня, сударыня?

Ленская. Ахъ, князь!.. извините!

Ландышевъ (*тихо Волгину*). Слышите, князь!

Ленская. Какъ могло мнѣ придти въ голову, что я буду имѣть честь...

Князь (*прерывая*). Признаюсь, я и самъ не ожидалъ васъ такъ скоро увидѣть. Въ послѣдній разъ, если не ошибаюсь, я имѣлъ удовольствіе быть вмѣстѣ съ вами у пріятеля моего...

Ленская. Его свѣтлости князя Знатова.

Князь. Точно такъ.

Ландышевъ (*въ сторону*). У князя Знатова?—Онъ случайный человѣкъ.

Волгинъ. Осмѣлюсь вторично просить васъ сдѣлать мнѣ честь, откушать у меня сегодня.

Князь. Я, право, не знаю.

Ленская. Позвольте присоединить и мою просьбу.

Князь. О, если вамъ это угодно, то я согласенъ. Я не привыкъ отказывать такимъ любезнымъ просительницамъ.

Ландышевъ (*въ сторону*). Просительницамъ? Онъ—министръ. (*Входитъ Иванъ*).

Иванъ. Вашъ человѣкъ здѣсь дожидается.

Князь. Сейчасъ? Извините. Чрезъ двѣ минуты я вашъ. (*Уходитъ въ ворота*).

ЯВЛЕНІЕ ДВѢНАДЦАТОЕ.

Тѣ же безъ князя.

Волгинъ (*Болеславскому*). Скажи скорѣе, братецъ, кто онъ такой? Неужели въ самомъ дѣлѣ Пронскій?

Ленская. Пронскій?.. Какой вздоръ!

Волгинъ. Кто же онъ?

Ленская. Прекрасно! Такъ вы не знаете?..

Болеславскій (*стараясь прервать*). Послушайте!..

Ленская. Онъ князь...

Болеславскій. Бога ради!.. (*Говоритъ ей на ухо*).

Ландышевъ (*Волгину*). Слышите?

Ленская (*съ удивленіемъ*). Въ самомъ дѣлѣ? Я этого не знала.

Волгинъ. Такъ онъ не Пронскій?

Ленская (*съ смущеніемъ*). Это правда... онъ ѣдетъ подъ чужимъ именемъ; онъ точно князь...

Волгинъ. Да какой?

Болеславскій. Какой?.. Постойте! да!.. онъ князь Зарѣцкій.

Ландышевъ. Ха, ха, ха! Откуда изволили выкопать эту фамилію?

Волгинъ. Но его званіе, чинъ?

Болеславскій. Кажется, онъ... точно... отставной ротмистръ.

Ландышевъ. Отставной ромистръ! ха, ха, ха!

Не хотите вы сознаться
И его сказать намъ чинъ,
Но не трудно догадаться,
Что большой онъ господинъ,—
Ошибиться невозможно:
Онъ на знатнаго похожъ.

Ленская (*доканчивая куплетъ*).

Для меня, признаться должно,
Онъ важнѣе всѣхъ вельможъ.

Ландышевъ. Неужели?

Болеславскій (*Ленской*). Перестаньте!

Ленская. Я больше ничего не скажу.

Волгинъ (*Болеславскому*). Да полно, братъ, секретничать! Ну, чего ты боишься?

Ты слишкомъ, милый, остороженъ,—
Вѣдь дѣло все лишь въ двухъ словахъ.

Болеславскій.

Бояться я, къ несчастью, долженъ;
Судьба моя въ его рукахъ.
И то, къ чему душой стремился,
Теперь зависитъ отъ него.

Волгинъ.

Я, видно, толку не добьюсь;
Понять нельзя тутъ ничего.

Болеславскій. Да, сударь, отъ него зависитъ все мое счастіе.

Ландышевъ. Все ваше счастіе,—и онъ отставной ротмистръ! Ха, ха, ха!

Ленская. Вотъ, кажется, и онъ. Прощайте,—я пойду кончить мой туалетъ. Признаюсь, при вашемъ гостѣ я хочу быть какъ можно нарядѣе (*Уходитъ*).

Болеславскій. И я также не намѣренъ остаться въ сюртукѣ; побѣгу скорѣй одѣться. (*Уходитъ*); *князь показывается за рѣшеткою*).

Ландышевъ. Посмотрите: ну, похожъ ли онъ на отставного ротмистра?

Волгинъ. Какой важный видъ!

ЯВЛЕНІЕ ТРИНАДЦАТОЕ.

Князь (*выходитъ на сцену, Ландышевъ и Волгинъ идутъ къ нему навстрѣчу*).

Князь. Представьте мою досаду: коляска изломана, и я долженъ пробыть здѣсь цѣлыя сутки.

Волгинъ. Эта непріятность весьма пріятна для хозяина, потому что доставитъ ему честь и пріятность.

Князь (*къ Ландышеву*). Далеко ли отсюда губернскій городъ?

Ландышевъ. Верстъ пятьдесятъ; — вы изволите туда торопиться?

Князь. Да, мнѣ нужно кой о чемъ поговорить съ губернаторомъ, и, между прочимъ, узнать отъ него, гдѣ живетъ въ здѣшней губерніи одинъ почтенный человѣкъ, съ которымъ я отмѣнно хочу познакомиться.

Волгинъ. Смѣю ли спросить: кто эта знаменитая особа?

Князь. О, сударь, совсѣмъ не знаменитая: онъ человѣкъ не знатный, но одаренъ такими необычайными способностями, такимъ великимъ геніемъ...

Ландышевъ (*въ сторону*). Что это значитъ?

Князь. Еслибъ онъ согласился посвятить свои таланты отечеству, то безъ всякаго сомнѣнія обратилъ бы на себя вниманіе всей Европы.

Ландышевъ (*въ сторону*). Я начинаю догадываться.

Князь. Мнѣ удалось прочесть одно изъ его сочиненій, которое, къ стыду нашему, оставалось до сихъ поръ въ неизвѣстности. Какая глубокая политика! какія соображенія!..

Ландышевъ (*въ сторону*). Точно это я!

Волгинъ. Позвольте спросить: его фамилія?..

Князь. Весьма обыкновенная.—Имя его я не знаю, а по фамиліи онъ—Ландышевъ.

Волгинъ. Ландышевъ!

Ландышевъ (*князю*). Вы видите его передъ собою.

Князь. Возможно ли! вы — г-нъ Ландышевъ! позвольте обнять себя! Какъ, сударь, это вы сочинитель книги или разсужденія?..

Ландышевъ. О политическомъ состояніи европейскихъ государствъ.

Князь. Точно такъ! Теперь я не жалѣю, что моя коляска изломалась.

Волгинъ (*въ сторону*). Я зналъ, что рано или поздно, а отдадутъ ему справедливость.

Князь. Я весьма бы желалъ поговорить съ вами откровенно.

Ландышевъ. Съ величайшею охотою!.. (*тихо Волгину*). Оставьте насъ однихъ!

Волгинъ (*князю*). Мнѣ нужно кой-что распорядить—и такъ позвольте!..

Князь. Сдѣлайте милость...

Волгинъ (*отведя Ландышева къ сторонѣ*). Послушай-ка, милый! Вотъ мой проектъ; постарайся его прочесть князю.

Ландышевъ. И, сударь, къ чему это!

Волгинъ. Пожалуйста! нельзя ли какъ-нибудь!

Ландышевъ. Ну, хорошо, хорошо! — ступайте. (*Беретъ бумагу и кладетъ ее въ карманъ*). Какъ надоѣли мнѣ эти проекты! (*Волгинъ уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

Князь и Ландышевъ.

Князь. Очень радъ, что мы остались одни. Я надѣюсь, вы будете со мною откровенны.

Ландышевъ. Повѣрьте, ваше сіятельство...

Князь. Какъ, сударь! что это значитъ?..

Ландышевъ. Можетъ быть я поступаю не скромно—вамъ угодно скрывать ваше имя, но мы здѣсь одни.

Князь. Прошу васъ, оставьте это. Завтра, а можетъ быть и сегодня вы узнаете все; но теперь поговоримъ о другомъ. Неужели вы навсегда рѣшились предпочитать свободу славѣ и почестямъ, которыя ожидаютъ васъ въ службѣ?

Ландышевъ. Повѣрьте, ваше сіятельство, слава и почести...

Князь. Ничто въ глазахъ истиннаго философа,—не спорю. Но быть полезнымъ своимъ согражданамъ, заслужить всеобщую благодарность... вы колеблетесь?..

Ландышевъ. Я право не знаю...

Князь. Г-нъ Ландышевъ! Отечество васъ призываетъ.

Ландышевъ. Отечество?—О, послѣ этого мнѣ ничего не остается сказать! Ваше сіятельство, располагайте мною.

Князь. Да я тутъ совершенно ничего; это одинъ дружескій совѣтъ.

Ландышевъ. Я принимаю его съ должнымъ уваженіемъ.

Князь. Какъ вы думаете: если какой-нибудь вельможа, государственный человѣкъ... вы меня понимаете?

Ландышевъ. Понимаю, ваше сіятельство.

Князь. Предложитъ вамъ на первый случай мѣсто правителя канцеляріи,—что вы на это скажете?

Ландышевъ. Я за счастіе почту...

Князь. Нѣтъ, нѣтъ, виноватъ, способности ваши требуютъ обширнѣйшаго театра, и я думаю... точно такъ, вамъ должно служить по дипломатической части. Надѣюсь, вы не женаты?

Ландышевъ. Нѣтъ еще, ваше сіятельство.

Князь. Тѣмъ лучше.

Ландышевъ. Но я уже помолвленъ.

Князь. Въ самомъ дѣлѣ? Это жаль, очень жаль!

Ландышевъ. Впрочемъ, женитьба не помѣшаетъ мнѣ быть полезнымъ моему отечеству.

Князь. Не помѣшаетъ, сударь? Да знаете ли, что государственный человѣкъ долженъ совершенно посвятить себя службѣ и не имѣть никакихъ другихъ обязанностей.

Ландышевъ. Конечно, ваше сіятельство, конечно; однако-жъ, много есть примѣровъ.

Князь (*значительно*). По крайней мѣрѣ, я такъ думаю.

Ландышевъ. О, когда вы изволите это думать, то безъ всякаго сомнѣнія... и, если ваше сіятельство полагаете это нужнымъ...

Князь. Необходимымъ, сударь, по крайней мѣрѣ, для того, кто начинаетъ служить.

Ландышевъ. Я не смѣю сказать утвердительно, но можетъ быть, жертвуя собой общей пользѣ и выполняя желанія вашего сіятельства, рѣшусь...

Князь. Договаривайте.

Ландышевъ. Отказаться отъ моей невѣсты.

Князь. (*съ радостію*). Отказаться?—Дайте мнѣ вашу руку! Вотъ истинный сынъ отечества! Такъ, вы заслуживаете всю мою довѣренность и скоро, очень скоро узнаете меня короче. Повѣрьте, г. Ландышевъ, я кажусь вамъ совсѣмъ не тѣмъ, что я есть въ самомъ дѣлѣ.

Ландышевъ. Почему же вашему сіятельству не угодно теперь удостоить меня своей довѣренности?

Князь. О, я имѣю на это весьма важныя причины.

Ландышевъ. Впрочемъ, если бы я смѣлъ догадываться...

Князь (*съ важностію*). Я васъ прошу быть недогадливымъ.

Ландышевъ. Слушаю, ваше сіятельство!

Князь (*въ сторону*). Начало сдѣлано; теперь надобно посовѣтоваться съ Болеславскимъ. (*Громко*). Извините, мнѣ нужно сказать нѣсколько словъ Болеславскому. (*Идетъ въ домъ*).

Ландышевъ. Позвольте мнѣ проводить васъ...

Князь. Не безпокойтесь!

Ландышевъ. Сдѣлайте милость...

Князь (*съ важностію*). Я васъ прошу остаться.

Ландышевъ. Слушаю, ваше сіятельство. (*Князь уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ ПЯТНАДЦАТОЕ.

Ландышевъ (*одинъ*).

Слава Богу! Наконецъ и я могу выйти въ люди- Одно только досадно: неужели въ самомъ дѣлѣ я долженъ отказаться отъ моей невѣсты?.. Ну, да объ этомъ еще подумаемъ. Смотри, Ландышевъ, не упускай своего счастія! Что этотъ князь знаменитый вельможа, въ этомъ нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія. Что онъ отъ меня безъ памяти, это также очень примѣтно. И такъ, рѣшено: я служу... стараюсь всячески угождать князю; награды и чины польются на меня рѣкою, и вскорѣ, можетъ быть, имя мое сдѣлается повсюду извѣстнымъ.

О, восторгъ восхищенье!
Какъ пріятно знатнымъ быть!
Я имъ буду безъ сомнѣнья;
Нужно только мнѣ служить.
До чиновъ большихъ добраться
Можно будетъ безъ труда;
Стану ниже нагибаться,
И одно твердить всегда:

точно такъ, ваше сіятельство! справедливо, ваше сіятельство — очень справедливо! и прочее и прочее. Его сіятельство улыбается, это значитъ: поздравляю васъ съ чиномъ; потреплетъ меня по плечу, то есть завтра вы получите новое мѣсто. Я удвою мои ласкательства, и можетъ быть... почему-же нѣтъ?—лѣтъ черезъ шесть или семь сдѣлаюсь и самъ большимъ бариномъ. О, тогда-то узнаютъ, каковъ Ландышевъ! У меня будутъ каждое утро

Толпы просителей въ прихожей,
Въ пріемной залѣ господа.
Не хуже многихъ изъ вельможей
Я стану бариться тогда.
Съ однимъ вступаю въ разговоры,
Кивну другому головой;
А на того лишъ кину взоры,
И тотъ-же часъ къ нему спиной...

Я слышу со всѣхъ сторонъ: Ваше превосходительство! будьте защитникомъ и благодѣтелемъ!—Ваше превосходительство! отъ васъ зависитъ мое счастіе! Судьба моя въ рукахъ вашего превосходительства!

Вы защита всѣхъ несчастныхъ,
Покровитель и отецъ!

Будьте спокойны, сударь, надѣйтесь.

Отъ прижимокъ я ужасныхъ
Разорюсь безъ васъ въ конецъ!

Хорошо, голубчикъ! Мы это разсмотримъ.

Къ вашимъ я ногамъ готова,
Благодѣтель мой, упасть.
Ахъ, отецъ! скажите слово
И не дайте мнѣ пропасть!

Довольно, довольно!—Ступайте! (*Музыка перваго куплета*).

О восторгъ, о восхищенье!
Какъ пріятно знатнымъ быть!
Я имъ буду безъ сомнѣнья,
Стоитъ только мнѣ служить.
Философію забуду;
Мудрость бѣднымъ лишь нужна;
Безъ нея извѣстнымъ буду,—
Такъ на кой-же чортъ она?

ЯВЛЕНІЕ ШЕСНАДЦАТОЕ.

Ландышевъ и Волгинъ.

Волгинъ. Ну что милый?

Ландышевъ (*съ нѣкоторою важностію*). А! это вы?

Волгинъ. О чемъ ты поговорилъ съ княземъ?

Ландышевъ. Его сіятельство предлагалъ мнѣ мѣсто правителя канцеляріи.

Волгинъ. Правителя канцеляціи!

Ландышевъ. Да, правителя канцеляріи;—но я на это не согласился.

Волгинъ. Что ты, братецъ, въ умѣ-ли?

Ландышевъ. Онъ упрашивалъ меня самымъ убѣдительнымъ образомъ, и, наконецъ, я рѣшился служить по дипломатической части.

Волгинъ. При какомъ-нибудь посольствѣ?

Ландышевъ. Нѣтъ, лично при его особѣ.

Волгинъ. Поздравляю, милый, поздравляю — очень радъ! А что его сіятельство сказалъ о моемъ проектѣ?

Ландышевъ. О вашемъ проектѣ?

Волгинъ. Ты обѣщалъ прочесть его князю.

Ландышевъ (*въ сторону*). Какъ бы отъ него отдѣлаться. (*Громко*). Да, я докладывалъ его сіятельству.

Волгинъ. Что жъ онъ изволилъ сказать?

Ландышевъ. Онъ на этотъ счетъ не совсѣмъ еще изъяснился; но, сколько можно замѣтить, князь отмѣнно имъ доволенъ.

Волгинъ. Неужели? А какъ ему показалось вступленіе?

Ландышевъ. Вступленіе? Гмъ!.. Вступленіе показалось ему нѣсколько неяснымъ.

Волгинъ. Неяснымъ? Такъ поэтому конецъ...

Ландышевъ. Да, да, конецъ-то болѣе всего и понравился.

Волгинъ. Въ самомъ дѣлѣ?

Ландышевъ. Впрочемъ, я совѣтую вамъ не говорить ничего объ этомъ князю.

Волгинъ. Но я желалъ бы кой-что пояснить...

Ландышевъ. Положитесь въ этомъ на меня.

Волгинъ. Послушай-ка, любезный! Если уже его сіятельство такъ ко мнѣ благосклоненъ, то нельзя ли какъ-нибудь ему намекнуть, что я желаю... то есть.. что я, въ угодность ему, готовъ согласиться занять какое-нибудь мѣсто.

Ландышевъ. Помилуйте, Николай Иванычъ!—служить въ ваши лѣта!

Волгинъ. Послужу еще, не безпокойся!

Ландышевъ. Съ вашими болѣзнями!

Волгинъ. Эхъ, братецъ! Ну, да если я хочу пожертвовать собою...

Ландышевъ (*насмѣшливо*). Для блага общаго?

Волгинъ. Разумѣется.

Ландышевъ. А не вы ли сегодня поутру мнѣ говорили:

„Завидовать я знатныхъ долѣ
Не вижу пользы никакой.
Служить лишь нужно поневолѣ;
Тому, кто любитъ свой покой,
Чины, мѣста и награжденье.
Пустое все, мой другъ,—повѣрь!“

Волгинъ (*доканчивая куплетъ*).

Такъ что жъ? За то большое рвенье
Я къ службѣ чувствую теперь.
Да я же, братецъ, большого и не добиваюсь,—на первый случай хоть въ губернаторы, а тамъ...

Ландышевъ (*насмѣшливо*). И въ министры?

Волгинъ. Я не говорю этого, — что Богъ дастъ.

Ландышевъ (*въ сторону*). Онъ повредился.

Волгинъ. Ну что жъ, мой милый? Хочешь ли взять на себя трудъ поговорить объ этомъ съ княземъ; а не то, пожалуй, я и самъ скажу.

Ландышевъ (*въ сторону*). Чего добраго: отъ этого дурака все станется. (*Громко*). Хорошо, хорошо, будьте спокойны.

Волгинъ. Я заготовилъ на всякій случай записку, что такой-то, желая вступить въ службу, покорнѣйше просить о томъ и о томъ-то. Вотъ она; послушай, я прочту. (*Развертываетъ*). Что это? возможно ли?

Ландышевъ. Что съ вами сдѣлалось?

Волгинъ. Да это мой проектъ.

Ландышевъ. Проектъ?!

Волгинъ. Да, да, мой проектъ.

Ландышевъ. Такъ, видно, вы отдали мнѣ копію. (*Вынимаетъ изъ кармана бумагу*).

Волгинъ. Подай!.. Боже мой! простая бумага!

Ландышевъ (*въ сторону*). Вотъ тебѣ на!

Волгинъ (*осматривая бумагу кругомъ*). Ни одной строчки, ни одного слова!.. Что жъ ты читалъ князю?

Ландышевъ. Но я не могу понять...

Волгинъ. И я также.

Ландышевъ. Какимъ образомъ...

Волгинъ. Вы прочитали мой проектъ князю? Вотъ это-то и чудно! А еще страннѣе, что вступленіе показалось ему неяснымъ, а конецъ очень понравился. Ну, что жъ вы, сударь, молчите? Растолкуйте мнѣ это!

Такъ нагло можно ль и безстыдно
Ко мнѣ почтенье все забыть!
Нѣтъ, это слишкомъ ужъ обидно,
И мнѣ ль игрушкой вашей быть?

Ландышевъ.

Да кто жъ велѣлъ вамъ ошибаться;
Вы сами этому виной.

Волгинъ.

Надъ тестемъ будущимъ смѣяться,
Шутить такъ дерзко надо мной!

Ландышевъ.

Все это ничего не значитъ;
Прошу васъ только не кричать.

Волгинъ.

Какъ смѣли вы меня дурачить!
Извольте, сударь, отвѣчать!

Ландышевъ. Да что жъ въ самомъ дѣлѣ вы пристали? Ну, не читалъ, такъ не читалъ,—да и читать не буду.

Волгинъ. А почему бы такъ?

Ландышевъ. А потому, что если бы князь взглянулъ на вашъ проектъ, то счелъ бы васъ за сумасшедшаго.

Волгинъ. За сумасшедшаго? Ба, ба, ба! Господинъ философъ! такъ вы этакъ-то поговариваете?

Ландышевъ. Да, сударь, я философъ и льстить не люблю.

Волгинъ. Такъ знайте же, господинъ полоумный философъ, что вамъ не видать моей дочери, какъ своихъ ушей.

Ландышевъ. Тише, тише, сударь!—я самъ отъ нея отказываюсь.

Волгинъ. О, если такъ, то милости просимъ,—вотъ двери!

Ландышевъ. Потише, сударь, потише!

Волгинъ. Сей же часъ вонъ изъ моего дома!

Ландышевъ. Не горячитесь! Я теперь нахожусь при его сіятельствѣ и не иначе, какъ вмѣстѣ съ нимъ оставлю вашъ домъ.

Волгинъ. А вотъ увидимъ!

ЯВЛЕНІЕ СЕМНАДЦАТОЕ.

Тѣ же, Ленская и Лиза.

Волгинъ. Ты здѣсь, Лизанька? Поди сюда! Да къ чему изволила такъ нарядиться?

Лиза. Вы сами приказали мнѣ надѣть подвѣнечное платье.

Волгинъ. Подвѣнечное платье! Слышите ли? чтобъ я тебя въ немъ не видалъ! Подвѣнечное платье!.. (*Лиза хочетъ идти*). Нѣтъ, нѣтъ, постой! посмотри хорошенько на этого человѣка! Если ты когда-нибудь осмѣлишься о немъ подумать, такъ я тебя со свѣту сживу.

Лиза. Какъ, батюшка?

Волгинъ. Да, да! забудь, какъ его зовутъ.

Лиза. Какъ я рада!

Волгинъ. Рада ты или нѣтъ, только знай, что онъ никогда не будетъ твоимъ мужемъ.

Лиза. Какое счастье!

Ландышевъ. Въ самомъ дѣлѣ, сударыня, о чемъ вамъ горевать: вы такая выгодная невѣста, а жениховъ здѣсь такъ много...

Волгинъ. И онъ еще насмѣхается! Ужъ не думаете ли вы. что у Лизаньки безъ васъ и женіховъ не будетъ? Ахъ, Боже мой!.. если бъ теперь навернулся какой-нибудь женихъ, то я на зло бы ему сейчасъ сдѣлалъ помолвку.

Ленская. За этимъ дѣло не станетъ; у насъ есть женихъ.

Волгинъ. Женихъ? Какой женихъ?

Ленская. Да вотъ онъ на-лицо.

ЯВЛЕНІЕ ВОСЕМНАДЦАТОЕ.

Тѣ-же, князь и Болеславскій.

Князь. Я имѣю до васъ большую просьбу, Николай Ивановичъ!.. Болеславскій признался мнѣ, что любитъ вашу дочь; она также къ нему неравнодушна: согласитесь на ихъ счастье...

Волгинъ. Неужели въ самомъ дѣлѣ?

Князь. Я знаю, дочь ваша помолвлена за г. Ландышева; но я увѣренъ,—онъ откажется.

Волгинъ. Откажется, ваше сіятельство. Да ужъ ему отказано.

Ландышевъ. (*тихо князю*). Вы сами изволите видѣть, какъ я поспѣшилъ выполнить ваше приказаніе.

Князь. Очень вамъ благодаренъ. Надѣюсь, теперь нѣтъ никакого препятствія.

Волгинъ. Ни малѣйшаго. Онъ мой сосѣдъ, я его уважаю, и если Лизанька согласна...

Лиза. Отъ всего сердца!

Волгинъ. Такъ дѣло и кончено, — по рукамъ! Послѣ-завтра и свадьба!

Болеславскій. Какое благополучіе! А я не смѣлъ и надѣяться!..

Ленская. И я не ожидала такой удачной развязки.

Князь. Какъ пріятно смотрѣть на счастливыхъ любовниковъ! — Не правда ли, сударыня?

Ленская. О, конечно!

Князь. Какъ вы думаете? Не сдѣлать ли и намъ того же?

Ленская. Почему же нѣтъ? (*Беретъ князя за руку*). Имѣю честь рекомендовать вамъ моего жениха.

Ландышевъ. Что это значитъ?

Волгинъ. Возможно ли! Его сіятельство..

Ленская. Давно уже на мнѣ помолвленъ.

Ландышевъ. Помолвленъ? На васъ?

Ленская. Да что же тутъ страннаго; это тотъ женихъ, котораго я сюда ожидала.

Волгинъ. Такъ поэтому вы не знатный?

Князь. Нѣтъ, сударь.

Ландышевъ. Да кто же вы, если смѣю спросить?

Ленская. Отставной ротмистръ князь Зарѣцкій.

Волгинъ. Уфъ! какъ гора съ плечъ! Какъ я радъ!

Ленская. Чему жъ вы радуетесь?

Волгинъ. А тому, сударыня, что если князь отставной ротмистръ, то и этотъ негодяй останется вѣчнымъ титулярнымъ совѣтникомъ.

Ландышевъ. Что это значитъ? Такъ я въ дуракахъ?

Ленская. Насилу догадались.

Ландышевъ (*Волгину*). Вы видите, Николай Иванычъ, какъ я былъ обманутъ.

Волгинъ. Вижу, братецъ, и душевно радуюсь.

Болеславскій. Да васъ никто не обманывалъ.

Ландышевъ. Никто не обманывалъ?..

Болеславскій. Конечно. Я вамъ говорилъ, что онъ отставной ротмистръ Зарѣцкій,—вольно же вамъ было не вѣрить.

Ландышевъ. А вы, сударыня, не постыдились сказать, что онъ важнѣе всѣхъ вельможъ?

Ленская. Для меня, разумѣется,—вѣдь онъ мой женихъ.

Ландышевъ. Какой гнусный обманъ! какое безстыдство!

Князь. Не горячитесь, г. философъ; это вовсе не пристало тому, кто имѣетъ счастіе служить лично при моей особѣ.

Ландышевъ. И вы еще смѣете... Я задыхаюсь отъ бѣшенства! Прощайте, г-нъ безыменный князь! прощайте. Вы скоро обо мнѣ услышите! (*Уходитъ*).

Волгинъ (*кричитъ ему вслѣдъ*). Милости просимъ на свадьбу. И этотъ мерзавецъ называетъ себя философомъ! (*Князю*). Ну, батюшка, какъ вы его одурачили! Да скажите, что это вамъ вздумалось?

Болеславскій. Мы все подробно разскажемъ вамъ за столомъ.

Волгинъ. И то дѣло; кушанье уже подано. Ну, князь, нечего сказать, вы такъ хорошо представляли знатнаго, что ужъ пускай Ландышевъ, а то и я чуть-чуть было не повѣрилъ.

Ленская. А что, и въ самомъ дѣлѣ, его можно похвалить: онъ игралъ очень недурно свою роль.

Болеславскій. Конечно, недурно, а еще бы лучше,

Если бъ зрители сказали:
Всѣхъ васъ можно похвалить,—
Мы бъ за счастье почитали,
Что могли имъ угодить.

Ленская (*къ зрителямъ*).

Если бъ въ этомъ не успѣли,
Не судите строго насъ:
Мы отъ всей души хотѣли
Быть угодными для васъ.

Хоръ.

Мы отъ всей души хотѣли
Быть угодными для васъ.

ДЕНЬ ПЕРВАГО ПРЕДСТАВЛЕНІЯ НОВОЙ ПЬЕСЫ.

Кабинетъ Сурскаго. (*Входитъ Людмилъ*).

Сурскій. А! здравствуй, мой другъ! Что такъ рано?

Людмилъ. Мнѣ нельзя было заѣхать къ вамъ позднѣе: сегодня я все утро былъ занятъ.

Сурскій. Я такъ давно у васъ не былъ. Что? Всѣ твои здоровы?

Людмилъ. Слава Богу!—Сегодня даютъ въ первый разъ...

Сурскій. Воротился ли изъ деревни батюшка?

Людмилъ. Нѣтъ еще.—Сегодня въ первый разъ...

Сурскій. Мнѣ сказывали, что вы купили домъ?

Людмилъ. Да-съ!—Сегодня въ первый разъ...

Сурскій (*улыбаясь*). Даютъ твою комедію? Знаю, мой другъ и, можетъ быть, завтра поздравлю тебя съ успѣхомъ.

Людмилъ. Я надѣюсь, публика будетъ снисходительна къ первому опыту.

Сурскій. Да, если этотъ *первый опытъ* доставитъ ей удовольствіе.

Людмилъ. Но я имѣю право надѣяться... Мнѣ кажется... Я думаю...

Сурскій. Ты думаешь, что твоя комедія не можетъ упасть: не правда ли?

Людмилъ. О, нѣтъ! я никогда этого не думалъ: легко быть можетъ, что первое представленіе моей комедіи будетъ и послѣднимъ.

Сурскій. И эта мысль тебя не пугаетъ?

Людмилъ. Ни мало. Расинова «Федра» и Мольеровъ «Мизантропъ» не имѣли успѣха.

Сурскій. Понимаю! Потомство отдастъ тебѣ справедливость; не спорю, эта мысль утѣшительна для старика, который не живетъ уже въ здѣшнемъ мірѣ; но ты еще молодъ и долженъ, можетъ быть, въ ожиданіи лавровъ, коими нѣкогда украсятъ твою гробницу, переносить съ терпѣніемъ всѣ непріятныя послѣдствія неудачнаго опыта. Положеніе автора освистанной пьесы ужасно. Представь себѣ радость глупыхъ насмѣшниковъ, которые могутъ шутить насчетъ твоей комедіи; обидные отзывы журнальныхъ критиковъ; совѣты безграмотныхъ любителей словесности и торжество соперниковъ, *которые въ глубокомъ трауръ*, но съ радостной душою пріѣдутъ утѣшать несчастнаго своего со-

брата,—и чрезъ нѣсколько дней напишутъ на него дюжины двѣ эпиграммъ.

Людмилъ. А я выучу ихъ наизусть, если онѣ будутъ остры и забавны.

Сурскій. Въ самомъ дѣлѣ? Очень радъ, мой другъ. Признаюсь, я боялся, что ты не перенесешь съ благоразумною твердостью неудачу, которая тебя ожидаетъ.

Людмилъ. Возможно ли? Моя комедія?

Сурскій. Не будетъ имѣть успѣха.

Людмилъ. Но почему вы это думаете?

Сурскій. Такъ! Я имѣю причины опасаться. Комедія твоя многимъ не нравится.

Людмилъ. Неужели?

Сурскій. Говорятъ о какихъ-то личностяхъ.

Людмилъ. Личности? Въ моей комедіи?

Сурскій. Увѣряютъ, что всѣ дѣйствующія лица твоей пьесы списаны съ натуры, и что ты не пощадилъ даже твоего благодѣтеля графа Знатова.

Людмилъ. Какая клевета!

Сурскій. Болѣе всѣхъ сердится на тебя Лидинъ; онъ увѣряетъ, что глупый нѣмецкій баринъ твоей комедіи, какъ двѣ капли воды походитъ на искренняго его друга барона Штейнкопфа.

Людмилъ. Помилуйте! Я въ первый разъ слышу объ этомъ баронѣ.

Сурскій. Извѣстные литераторы, Теоровъ и Кастальскій, также не очень хвалятъ тебя и твое сочиненіе. Они говорятъ, что комедія скучна, безъ связи, наполнена общими мѣстами, что ты упрямъ, самолюбивъ, не принимаешь ничьихъ совѣтовъ.

Людмилъ. Да знаете ли, что они мнѣ совѣтовали? Теоровъ убѣждалъ меня прибавить нѣсколько любовныхъ сценъ, а Кастальскій требовалъ, чтобы я выкинулъ всю любовь мою изъ моей комедіи. Ну какъ же я могъ послушаться ихъ обоихъ?

Сурскій. А за то, что не послушался ни того, ни другого, они оба противъ тебя.

Людмилъ. Злодѣи!..

Сурскій. Ты знаешь, что мнѣнія ихъ весьма уважаются, у нихъ много пріятелей, друзей.

Людмилъ. Боже мой! зачѣмъ я читалъ имъ мою комедію!

Сурскій. Да! Лучше, если бы ты этого не дѣлалъ.

Людмилъ. Но кто бы могъ подумать? Впрочемъ, что за бѣда? Если я написалъ хорошую комедію, то рано или поздно... и вы точно слышали, что она многимъ не нравится?

Сурскій. Да, мой другъ.

Людмилъ. И послѣ этого трудись, пиши для этихъ варваровъ! Но я докажу имъ, что для человѣка съ талантомъ мнѣніе безсмысленной толпы ничего не значитъ; что онъ находитъ награду трудамъ своимъ въ самомъ себѣ; *что онъ... Но неужели* вы думаете, что зри*тели станутъ шикать?*

Сурскій. Можетъ быть.

Людмилъ. Въ самомъ дѣлѣ? Такъ я же васъ увѣряю, что этого не будетъ. Прощайте!

Сурскій. Куда ты, Людмилъ?

Людмилъ. Въ театръ. Я потребую назадъ мою комедію, и ничто въ свѣтѣ не заставитъ меня согласиться... Злодѣи!..

Сурскій. Постой, мой другъ.

Людмилъ. Нѣтъ, нѣтъ! рѣшено,—ее играть не будутъ.

Сурскій. Да успокойся! Не всѣ возстаютъ противъ твоей комедіи: у тебя найдутся и защитники.

Людмилъ. Но Лидинъ и его пріятели?..

Сурскій. Я доказалъ имъ, что ты никогда не видалъ барона,—слѣдовательно, не могъ вывесть его на сцену.

Людмилъ. А Теоровъ и Кастальскій?..

Сурскій. Оба не будутъ въ театрѣ.

Людмилъ. Боитесь ли вы Бога? За что жъ вы меня перепугали?

Сурскій (*улыбаясь*). Извини, мой другъ! Я хотѣлъ полюбоваться твоимъ философическимъ равнодушіемъ и испытать, не сильнѣе ли подѣйствуетъ на тебя моя проза, чѣмъ стихи общаго нашего пріятеля?

Людмилъ. Который убѣждалъ меня не писать для театра? Но вы говорите нешутя, а посланіе къ Людмилу одна только шутка *).

Сурскій. Въ самомъ дѣлѣ.—Итакъ, всѣ непріятности и досады, коимъ подвергается драматическій писатель, несправедливыя критики журналистовъ, зависть соперниковъ и неблагодарность публики, описанныя въ посланіи нашего пріятеля, есть не что иное, какъ піитическій вымыселъ?

Людмилъ. Я не говорю этого. Конечно, драматическій сочинитель долженъ запастись большимъ терпѣніемъ,—одни совѣты заботливыхъ пріятелей сведутъ его съ ума: одинъ находитъ, что его экспозиція слишкомъ сжата, другой, что она растянута, третій предлагаетъ перемѣнить весь ходъ пьесы, то есть хочетъ доказать, что онъ въ полчаса обдумалъ планъ комедіи гораздо лучше, чѣмъ авторъ, который нѣсколько лѣтъ надъ нею трудился,—словомъ, каждый думаетъ, что замѣчанія его справедливы, и что онъ одинъ не можетъ ошибаться. Все это весьма непріятно, но зато какая награда ожидаетъ сочинителя! Авторъ пьесы, заслужившій общее одобреніе, можетъ смѣло сказать, что онъ произвелъ чудо; заставить двухъ человѣкъ мыслить совершенно одинаковымъ образомъ есть уже дѣло весьма трудное, но согласить мнѣніе двухъ тысячъ особъ, увлечь силою своего таланта всѣ сердца, слить помышленія и чувства всѣхъ зрителей въ одну и ту же душу, въ одинъ и тотъ же восторгъ,—

*) Посланіе къ Людмилу напечатано въ „Трудахъ Общества Любителей Рос. Словесности“ и въ послѣднемъ томѣ „Образцовыхъ сочиненій“.

о, это такое торжество!.. такая блаженная минута!

Сурскій. Потише, мой другъ,—не горячись! Ты забылъ, что мы живемъ не въ Аѳинахъ и что у насъ большая часть зрителей пріѣзжаютъ въ театръ совсѣмъ не для того, чтобы слушать и восхищаться. Во-первыхъ, одинъ раекъ имѣетъ привиллегію приходить въ восторгъ, а люди *порядочные* должны въ русскомъ театрѣ или зѣвать, или, по крайней мѣрѣ, не слушать, что говорятъ актеры, и находить почти все дурнымъ. Впрочемъ, крики, вызовы и хлопанье зрителей, сидящихъ подъ самымъ плафономъ, должны столь мало льстить самолюбію автора, сколь мало огорчать его всегдашнее равнодушіе тѣхъ, которые сидятъ внизу. Одни по невѣжеству вызываютъ одинаковымъ образомъ и автора хорошей комедіи, и переводчика посредственнаго водевиля; другіе изъ шалости или по привычкѣ дѣлаютъ то же самое,—словомъ, за исключеніемъ нѣкоторыхъ просвѣщенныхъ любителей драматическаго искусства, нашу театральную публику можно раздѣлить на два рода посѣтителей: одни совершенно равнодушны ко всему русскому, слѣдовательно, *должны* находить все посредственнымъ или дурнымъ, а другіе хлопаютъ и кричатъ *браво*, потому что это не запрещено, и стали бы свистать, если бъ это было позволено, для того, чтобы надѣлать болѣе шуму.

Людмилъ. Мнѣ кажется, вы очень строго судите нашу публику.

Сурскій. Быть можетъ, завтра сужденіе мое покажется тебѣ слишкомъ умѣреннымъ.

Людмилъ. Какъ бы то ни было, а я надѣюсь, что это равнодушіе...

Сурскій. Не устоитъ противъ твоей комедіи? Желаю, мой другъ, чтобы ты былъ вторымъ Пигмаліономъ.

Людмилъ. Смѣйтесь, смѣйтесь! А я между тѣмъ отправлюсь на репетицію; надобно какъ можно лучше сладить послѣднее дѣйствіе, и тогда мы увидимъ. Прощайте.

РОМАНЪ НА БОЛЬШОЙ ДОРОГѢ.

КОМЕДІЯ ВЪ ОДНОМЪ ДѢЙСТВІИ.

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА.

Ландышева.
Софья, ея племянница.
Тирсисъ Ивановичъ Посошковъ, женихъ Софьи.
Изборскій, племянникъ Ландышевой.
Пронскій, пріятель Изборскаго.
Трактирщикъ.

Дѣйствіе происходитъ на станціи, въ трактирѣ по Большой Московской дорогѣ.

ЯВЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

Пронскій сидитъ у стола съ правой стороны театра и читаетъ; съ лѣвой стороны также столъ и нѣсколько стульевъ. Трактирщикъ входитъ.

Пронскій. Что, привели ли лошадей?

Трактирщикъ. Нѣтъ, сударь! Я сейчасъ былъ на почтовомъ дворѣ,—всѣ до одной въ разгонѣ.

Пронскій. Но я думаю, можно найти вольныхъ?

Трактирщикъ. Человѣкъ вашъ побѣжалъ на село, да врядъ ли наймете! Нынѣ пора рабочая.

Пронскій. Итакъ, мнѣ придется пробыть здѣсь цѣлый день.

Трактирщикъ. Такъ что жъ, сударь, милости просимъ. Не въ похвальбу сказать, по всей Петербургской дорогѣ нѣтъ трактира лучше моего: вы найдете у меня все, что вамъ угодно.

Пронскій. Есть ли у тебя особая комната?

Трактирщикъ. Какъ же, сударь: вотъ здѣсь, направо, чистая горница.

Пронскій. Хорошо, я буду въ ней обѣдать.

Трактирщикъ. Слушаю, сударь. (*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

Пронскій (*одинъ*). Какая досада! безпрестанно остановки; впрочемъ, кажется, мнѣ некуда спѣшить: здѣсь, въ Москвѣ, на краю свѣта — вездѣ тоска и скука

будетъ меня преслѣдовать! (*Беретъ книгу и начинаетъ читать*).

ЯВЛЕНІЕ ТРЕТЬЕ.

Пронскій и Изборскій.

Изборскій (*входитъ скоро и, не обращая вниманія на Пронскаго, садится подлѣ стола на лѣвой сторонѣ*). Чортъ возьми проклятую телѣгу! Мы ѣздили шагомъ, а я такъ усталъ, какъ будто бы скакалъ на почтовыхъ. Куда бы хорошо что-нибудь закусить. Посмотримъ мою казну. (*Смотритъ книжку*). Пять рублей—только, а до Москвы далеко. Да полно, есть ли здѣсь что-нибудь путное; трактиришка дрянной,—въ немъ, я думаю, и за деньги ничего не достанешь.

ЯВЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Тѣ же и трактирщикъ.

Трактирщикъ (*Пронскому*). Не прикажете ли водки?

Пронскій (*не перемѣняя положенія*). Нѣтъ!

Изборскій. Что если бы выпить рюмочку?... Нѣтъ, мнѣ и такъ жарко.

Трактирщикъ (*увидя Изборскаго*). Еще пріѣзжій! (*подходитъ и кланяется; Изборскій киваетъ ему головой*). Ага! да онъ, кажется, человѣкъ не простой. Милостивый государь! не угодно ли вамъ чего-нибудь покушать?

Изборскій. А что у тебя есть, мой другъ?

Трактирщикъ. Что прикажете: котлеты съ горохомъ, телятина, бифштексъ...

Изборскій. И бифштексъ! Да нѣтъ, я не хочу ѣсть... А что стоитъ у тебя обѣдъ?

Трактирщикъ. Пять рублей, сударь.

Изборскій. Только! А ужинъ?

Трактирщикъ. Два съ полтиной.

Изборскій. Такъ давай мнѣ ужинать.

Трактирщикъ. Помилуйте! какъ ужинать?

Изборскій. Да, ужинать,—я ужъ обѣдалъ; проворнѣе, любезный.

Трактирщикъ. Слушаю, сударь! (*Въ сторону*). Что это за чудакъ!

Изборскій. Да кстати, подай мнѣ чего-нибудь напиться.

Трактирщикъ. Не прикажете ли бутылку вина?

Изборскій. Ужъ и вина? Да какого? Есть ли у тебя марго?

Трактирщикъ. Есть, сударь.

Изборскій. А лафитъ?

Трактирщикъ. Самый лучшій; только что изъ Петербурга.

Изборскій. Неужели?

Трактирщикъ. Прикажете чего-нибудь?

Изборскій. Да, мой другъ, подай мнѣ—*стаканъ воды.*

Трактирщикъ. Съ виномъ?

Изборскій. Нѣтъ, нѣтъ! Свѣжей ключевой воды: я не люблю никакой смѣси.

Трактирщикъ. Сейчасъ, сударь! (*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ ПЯТОЕ.

Тѣ же, безъ трактирщика.

Изборскій. Ба! да я не одинъ. Что это? Не ошибаюсь ли я?.. Точно такъ, это онъ! Какая счастливая встрѣча! Пронскій!

Пронскій. Что я вижу? Изборскій! ты ли это, любезный сослуживецъ?

Изборскій (*обнимая его*). Я, мой другъ, я!..

Пронскій. Какъ мы давно съ тобой не видались.

Изборскій. Да, съ тѣхъ поръ, какъ ты вышелъ въ отставку.

Пронскій. Ты ѣдешь въ Москву?

Изборскій. Въ Москву, милый, и какъ ты думаешь,—зачѣмъ? Чтобъ на другой же день отправиться назадъ въ Петербургъ.

Пронскій. Что это тебѣ вздумалось прокатиться?

Изборскій. А вотъ послушай. Въ Москвѣ живетъ у меня тетушка, у которой двѣ тысячи душъ, а родныхъ только я да моя двоюродная сестра; дней девять назадъ, получилъ я отъ нея письмо, которымъ она увѣдомляетъ меня, что намѣрена пріѣхать вмѣстѣ съ моею кузиною въ Петербургъ. Ну какъ имъ, бѣдняжкамъ, ѣхать такую даль однѣмъ безъ провожатаго, а особливо тетушкѣ, которая, начитавшись страшныхъ романовъ, видитъ вездѣ разбойниковъ, убійцъ и привидѣній. Я собрался въ полчаса, сѣлъ въ кибитку, поскакалъ—и теперь седьмой день въ дорогѣ.

Пронскій. Помилуй, седьмой день! И ты ѣдешь на почтовыхъ?

Изборскій. Да, голубчикъ! и я ѣхалъ на почтовыхъ.

Пронскій. Ѣхалъ,—а теперь?

Изборскій. На долгихъ, мой милый!

Пронскій. Какъ это тебѣ вздумалось?

Изборскій. Да такъ,—для перемѣны.

Пронскій. Ужъ не обокрали ли тебя?

Изборскій. Хуже, мой милый. Два дня скакалъ я, сломя голову,—все шло хорошо; одно только меня бѣсило: я позабылъ взять съ собою мелкихъ ассигнацій, а съ крупными на каждой станціи мнѣ были хлопоты. Въ одномъ мѣстѣ меня позадержали; на бѣду случился тутъ какой то проѣзжій: онъ предложилъ мнѣ отъ скуки маленькій банчикъ. Я, конечно бы, не согласился, да этотъ злодѣй, какъ будто бы на смѣхъ, выложилъ на столъ пятьсотъ рублей все синенькими; ну, какъ было не прельститься? Я сталъ играть...

Пронскій. И проигралъ?..

Изборскій. Прогоны, дорожную шкатулку, чемоданъ,—однимъ словомъ, все. Представь же себѣ, мой другъ, весь ужасъ моего положенія: мнѣ приходилось окончить мое путешествіе пѣшкомъ, а я отъ роду не служилъ въ инфантеріи! Къ счастію, отъ общаго пораженія уцѣлѣли двадцать пять рублей, которые были у моего Семена. Онъ сыскалъ попутчиковъ, далъ имъ задатку, и мы теперь налегкѣ тащимся по пятидесяти верстъ на день.

Пронскій. Надѣюсь, Изборскій, ты не откажешься: моя коляска, деньги — все къ твоимъ услугамъ.

Изборскій. О! Конечно, не откажусь!.. Въ Москвѣ мы разочтемся. (*Входитъ человѣкъ со стакановъ воды*).

Слуга. Вотъ, сударь, вода.

Изборскій. Убирайся съ нею къ чорту! Скажи своему хозяину, что я уже раздумалъ ужинать: пусть дастъ онъ намъ скорѣе обѣдать; да чтобъ не забылъ вынуть бутылку своего славнаго лафита.

Слуга. Слушаю, сударь! (*Уходитъ*).

Изборскій. Знаешь ли, Пронскій, я замѣчаю въ тебѣ большую перемѣну: ты ужасно похудѣлъ.

Пронскій. Ахъ, мой другъ!

Изборскій. Ба, ба, ба! Да ты ужъ выучился вздыхать! Давно ли? Тьфу пропасть! что съ тобой сдѣлалось? Ты ли тотъ веселый, лихой гусаръ, краса своего полка, любимецъ женщинъ, всегда послѣдній въ ретирадѣ и первый на пріятельской пирушкѣ.

Пронскій. Все это прошло, какъ сонъ.

Изборскій. Да развѣ съ тобой случилось какое-нибудь несчастіе?

Пронскій. Большое, мой другъ: я влюбленъ.

Изборскій. Только-то!

Пронскій. И безъ всякой надежды.

Изборскій. Большая бѣда! Такъ отъ этого и надобно сходить съ ума? Да если-бъ я худѣлъ отъ такихъ вздоровъ, то давно бы высохъ какъ спичка.

Пронскій. Ты не имѣешь понятія объ истинной любви.

Изборскій. Право! Такъ разскажи же мнѣ свою исторію. Я весь въ мою тетушку: страхъ люблю романы.

Пронскій. Ты знаешь, я давно уже вышелъ въ отставку; проживши около двухъ лѣтъ въ деревнѣ, я пріѣхалъ на зиму въ Москву. Въ нѣсколько мѣсяцевъ познакомился я съ цѣлымъ городомъ, веселился, каждый день разъѣзжалъ по баламъ; на одномъ изъ нихъ встрѣтилъ и Софью...

Изборскій. Ага! Романъ начинается.

Пронскій. Я привыкъ видѣть прекрасныхъ женщинъ, но со всѣмъ тѣмъ...

Изборскій. Увидѣвши ее, остолбенѣлъ, не правда ли?

Пронскій. Я желалъ бы описать тебѣ прелестную ея наружность...

Изборскій. Не безпокойся, я читалъ «Новую Элоизу»; ужъ вѣрно же твоя Софья не лучше Юліи.

Пронскій. Лучше, мой другъ, несравненно лучше.

Изборскій. Нѣтъ, шутишь?

Пронскій. Одна минута рѣшила навсегда мою участь. Я не спускалъ съ нея глазъ, говорилъ, танцовалъ безпрестанно съ нею...

Изборскій. Постой, остальное я доскажу самъ. Ты познакомился со всѣми домами, куда она ѣздитъ, сталъ вездѣ съ нею встрѣчаться, открылся ей въ любви...

Пронскій. И узналъ, что я взаимно любимъ.

Изборскій. Неужели! Такъ о чемъ же мы плачемъ?

Пронскій. Къ несчастію, Софья зависитъ отъ одной старой родственницы, у которой она воспитывалась. Нашлись добрые люди, которые описали меня самыми черными красками, и когда тетушкѣ стали обо мнѣ говорить, то она наотрѣзъ отказала.

Изборскій. Злодѣйка!

Пронскій. И что всего хуже — увезла Софью въ деревню.

Изборскій. Въ деревню? Какое варварство!

Пронскій. Я все еще надѣялся; но мѣсяца два назадъ, услышалъ, что Софья помолвлена за какого-то деревенскаго сосѣда ея тетушки. Я возненавидѣлъ Москву, уѣхалъ въ Петербургъ, но и тамъ мнѣ было не легче: образъ прелестной Софьи въ объятіяхъ другого всюду меня преслѣдовалъ. Я рѣшился ѣхать опять въ Москву, устроить свои дѣла и отправиться путешествовать.

Изборскій. Пресчастливая мысль, мой милый! Знаешь ли, что я также выйду въ отставку: поѣдемъ въ Саксонію; тамъ много хорошенькихъ,—ты какъ разъ забудешь свою Софью, влюбишься въ какую-нибудь Шарлоту, я въ Вильгельмину; женимся, поселимся на берегахъ Эльбы и начнемъ разводить виноградъ и сажать картофель.

ЯВЛЕНІЕ ШЕСТОЕ.

Тѣ же и трактирщикъ.

Трактирщикъ. Обѣдъ готовъ.

Пронскій. Ужъ и готовъ! а мнѣ совсѣмъ ѣсть не хочется.

Изборскій. Не безпокойся, мой другъ, я потружусь и за тебя. Пойдемъ и за бутылкою вина обдумаемъ хорошенько планъ будущей нашей жизни. (*Уходятъ*).

ЯВЛЕНІЕ СЕДЬМОЕ.

Трактирщикъ (*одинъ*). Что за несчастіе! Сегодня поутру проѣзжихъ было безъ счету, а теперь, какъ лошадей нѣтъ и всякій по неволѣ долженъ у [меня остановиться, ну, на смѣхъ никто не ѣдетъ. (*Смотритъ въ окно*). А! кто-то еще подъѣхалъ. По Московской дорогѣ... карета, бричка, кибитка,—другая; остановились, говорятъ съ смотрителемъ, выходятъ, идутъ сюда... Побѣгу навстрѣчу! (*Бѣжитъ къ дверямъ и отворяетъ*). Милости просимъ, милости просимъ.

ЯВЛЕНІЕ ВОСЬМОЕ.

Г-жа Ландышева, Софья, Посошковъ (*съ приколотымъ къ груди букетомъ цвѣтовъ*). Трактирщикъ, двое слугъ и двѣ горничныя (*съ ящиками и узлами*).

Ландышева. Нѣтъ! вѣкъ мой не буду ѣздить на почтовыхъ: скачутъ себѣ проклятыя, сломя голову, того и гляди, что косточки живой не останется. (*Трактирщику*). Батюшка трактирщикъ! покажи моимъ дѣвушкамъ особенную комнату.

Трактирщикъ. Сейчасъ, сударыня. Да не прикажите ли чего-нибудь покушать?

Ландышева. Нѣтъ, голубчикъ, мы на той станціи обѣдали, здѣсь будемъ ужинать.

Трактирщикъ. Пожалуйте сюда, дѣвушки! (*Уходитъ съ горничными и слугами на лѣвую сторону*).

ЯВЛЕНІЕ ДЕВЯТОЕ.

Тѣ же безъ трактирщика.

Ландышева. Какъ меня укачало! Что, Сонюшка, ты устала?

Софья. Да, тетушка, у меня и теперь еще кружится голова.

Ландышева. Да и жениху-то твоему, видно, досталось: онъ что-то молчитъ. Что, Тирсисъ Ивановичъ, какова дорога?

Посошковъ. Прелестная!

Ландышева. И, батюшка, помилуй! — Оврагъ на оврагѣ!

Посошковъ. Самые живописные виды.

Ландышева. Легко ли, верстъ пять мы ѣхали по косогору,—какъ Богъ помиловалъ. А лѣсомъ-то, лѣсомъ! душа вся выдрогла.

Посошковъ. Чего же вы боялись?

Ландышева. Какъ чего? Помните ли этотъ оврагъ, гдѣ мы спускались на узенькій мостикъ? Ну, точь-въ-точь такое же мѣсто описано въ «Удольфскихъ таинствахъ», или въ «Сенклерскомъ аббатствѣ»... не помню хорошенько. Настоящее разбойничье гнѣздо!

Посошковъ. А! помню, помню! тутъ нарвалъ я этотъ букетъ... Какое прелестное уединеніе для несчастнаго любовника! (*Софьѣ*). Какъ вы думаете, сударыня, не поселиться ли мнѣ въ этомъ пустынномъ уголкѣ?

Софья. Почему же нѣтъ, если онъ вамъ нравится.

Посошковъ. Право! Такъ поэтому я несчастный любовникъ? Хе, хе, хе! дайте-ка взглянуть на ваши глаза... (*Софья отворачивается*). Ага! боитесь, чтобъ эти милыя плутишки вамъ не измѣнили? То-то же, притворщица!

Софья (*въ сторону*). Несносный человѣкъ!

Ландышева. Сонюшка! да будь поласковѣе съ своимъ женихомъ; вѣдь, право, подумаетъ, что ты его не любишь.

Посошковъ. Оставьте ее, пускай себѣ скромничаетъ; это такъ, маленькое кокетство. Я знаю, она отъ меня безъ памяти. (*Софьѣ*). А что, сударыня, за кого бы вы болѣе всѣхъ испугались, если бы на насъ напали разбойники?

Ландышева. Эй! перестань, Тирсисъ Ивановичъ! Наговоришь ты на свою голову. Знаешь ли что? я не хотѣла васъ только перепугать: какъ мы ѣхали лѣсомъ, то я точно слышала свистъ.

Посошковъ. Свистъ! это вѣрно было пѣніе филомелы.

Ландышева. Какъ, батюшка, филомелы?

Посошковъ. То есть соловья.

Ландышева. А! знаю, знаю, это по французски.

Посошковъ. По-французски? ха, ха, ха! (*Въ сторону*). Какое невѣжество!

Ландышева. Да на какомъ же это, батюшка, языкѣ?

Посошковъ. Помилуйте! и вы этого не знаете? На древнемъ латинскомъ, сударыня.

Ландышева. Вотъ что! Ну, батюшка, хоть побожиться, такъ не знала.

Изборскій (*за кулисами*). Хозяинъ!

Ландышева. Что это! да здѣсь видно кромѣ насъ есть проѣзжіе.

Изборскій (*за кулисами*). Хозяинъ, хозяинъ!

Ландышева. Голосъ что-то мнѣ знакомъ.

ЯВЛЕНІЕ ДЕСЯТОЕ.

Тѣ же и Изборскій.

Изборскій. Куда онъ дѣвался? Что я вижу? Тетушка!

Ландышева. Ахъ, Боже мой! племянникъ!

Софья. Братецъ!

Изборскій (*цѣлуя руку у Ландышевой*). Здравствуйте, тетушка! Здорово, кузина! (*Увидя Посошкова, въ сторону*). Что это за уродъ?

Ландышева. Какъ ты здѣсь очутился, мой милый?

Изборскій. Самымъ натуральнымъ образомъ: я хотѣлъ васъ застать въ Москвѣ и провожать до Петербурга.

Ландышева. Такъ ты это для меня скакалъ пятьсотъ верстъ? Ахъ, мой милый Ваничка, дай тебя обнять, мой другъ! (*Обнимаетъ его*).

Изборскій. Какъ досадно, что я не засталъ васъ въ Москвѣ!.. Правда, я давнобы тамъ былъ, если-бъ не одно несчастное приключеніе...

Ландышева. Несчастное приключеніе! Что ты говоришь? Ужъ не напали ли на тебя разбойники?

Изборскій. Да, тетушка! Представьте себѣ, пятьдесятъ два разбойника.

Ландышева. Ахъ, Боже мой! Какая шайка!

Изборскій. Злодѣи не оставили у меня копейки въ карманѣ.

Ландышева. Другъ мой Ваничка! какъ быть-то, вѣдь намъ ѣхать по той-же самой дорогѣ?

Изборскій. Не безпокойтесь, тетушка, они давно уже въ Петербургѣ.

Ландышева. Право! Такъ ихъ переловили? Слава Богу! Ну, Сонюшка, видишь-ли теперь, какъ на большихъ дорогахъ не быть разбойникамъ: вѣдь вздоръ-то въ книгахъ печатать не станутъ.—Племянникъ, да я еще тебя не познакомила. (*Подводитъ его къ Посошкову*). Прошу любить да жаловать.

Посошковъ (*кланяясь*). Милостивый государь! Эхо, достигшее до нашихъ мѣстъ о достоинствахъ вашихъ, давно уже содѣлало для меня имя ваше драгоцѣннымъ.

Изборскій (*въ сторону*). Что это за вздоръ?

Ландышева. Ну, племянникъ, отгадай, кто это?

Изборскій. Я право не знаю.

Ландышева. Не предчувствуешь ли ты чего-нибудь?

Изборскій. Постойте! (*въ сторону*). Тетушка кажется писала ко мнѣ, что шутъ ея Сидорка опился,—точно такъ! (*Громко*). Теперь понимаю.

Ландышева. Какъ! неужели?

Изборскій. Поздравляю васъ, тетушка, да это находка! — Познакомимся, пріятель! (*Бьетъ его по плечу*).

Посошковъ. Вы, какъ я вижу, человѣкъ не церемонный.

Изборскій (*повертывая его*). Смотри пожалуй, какой молодецъ! Ну, право, тетушка, жаль будетъ, если и этотъ у васъ обопьется.

Ландышева. Обопьется? Да за кого ты его принимаешь?

Изборскій. А вы думали, что я не отгадаю: это вашъ новый шутъ на мѣсто Сидорки.

Ландышева. Что ты, батюшка!

Посошковъ. Шутъ, я шутъ? Вотъ знатокъ въ физіономіяхъ!

Ландышева. Опомнись, племянникъ, это сосѣдъ мой Тирсисъ Ивановичъ Посошковъ.

Изборскій. Какъ!

Ландышева. И сверхъ того Сонюшкинъ женихъ.

Изборскій. Женихъ! Кузина, неужели?

Софья (*печально*). Да, братецъ.

Ландышева. Я не писала объ этомъ для того, что мнѣ хотѣлось сдѣлать тебѣ сюрпризъ.

Изборскій. Какъ можно было такъ ошибиться! Ахъ, сударь! извините меня...

Посошковъ. Ничего, сударь, ничего.

Изборскій. Мнѣ право совѣстно...

Посошковъ. Оставимте его. Прошу меня полюбить; я надѣюсь, мы будемъ друзьями: сыны Марса должны любить дѣтей Аполлона.

Изборскій. Такъ вы стихотворецъ?

Посошковъ. Къ вашимъ услугамъ.

Изборскій. Тѣмъ лучше, я очень люблю хорошихъ поэтовъ.

Посошковъ. Такъ! вы меня полюбите: мои стихи всѣмъ нравятся. Кстати, вы ѣдете изъ Петербурга; я посылалъ кое-какія бездѣлки въ тамошніе журналы; скажите, знаютъ ли меня тамъ, говорятъ ли обо мнѣ?

Изборскій. Какъ же, теперь я вспомнилъ: имя Посошкова всѣмъ извѣстно.

Посошковъ. Позвольте узнать, какая изъ моихъ пьесъ болѣе всѣхъ нравится петербургской публикѣ?

Изборскій. Какая? Постойте!.. какъ бишь названы эти стихи, которые такъ милы, въ которыхъ такъ много ума?.. Вотъ эти... не припомните ли ихъ?

Посошковъ. «Игрушки Амура»...

Изборскій. Точно такъ; весь Петербургъ отъ нихъ безъ памяти.

Посошковъ. Весь Петербургъ! — Позвольте обнять себя... Весь Петербургъ!.. (*Ландышевой*). О! сударыня, племянникъ вашъ малый безцѣнный!..

Ландышева. Я знала напередъ, что вы поладите.

ЯВЛЕНІЕ ОДИННАДЦАТОЕ.

Тѣ же и трактирщикъ.

Трактирщикъ (*Ландышевой*). Смѣю спросить, сударыня, вы будете здѣсь ночевать?

Ландышева. Да, батюшка, мнѣ-таки хочется немного отдохнуть.

Трактирщикъ. У меня теперь четыре порожнія комнаты, такъ не угодно ли вамъ будетъ выбрать самимъ любую?

Ландышева. Хорошо, мой другъ. Пойдемъ, Тирсисъ Ивановичъ, да посмотримъ вмѣстѣ. (*Изборскому*). А ты останься здѣсь съ

Сонюшкой,—я вижу, тебѣ хочется съ нею обо многомъ поговорить. (*Уходитъ съ Посошковымъ, а за ними и трактирщикъ*).

ЯВЛЕНІЕ ДВѢНАДЦАТОЕ.

Изборскій и Софья.

Изборскій. Ну, кузинушка, женихъ-то у тебя не нарядный. Помилуй, неужели это твои выборы?

Софья. Можешь ли ты это думать, братецъ!

Изборскій. Такъ онъ и тебѣ не нравится? Какъ я радъ!

Софья. Чему же ты радуешься?

Изборскій. Какъ чему? Да знаешь ли, кузина, я бы отъ родства съ тобою отказался, если бы этотъ уродъ могъ тебѣ нравиться.

Софья. Но, несмотря на это, я должна быть его женою.

Изборскій. И, вздоръ, милая! Не выходи за него.

Софья. Тетушка хочетъ этого; она очень его любитъ.

Изборскій. Любитъ! такъ съ Богомъ, за чѣмъ дѣло стало,—пускай сама за него выходитъ.

Софья. Ты шутишь, братецъ, а мнѣ совсѣмъ не весело.

Изборскій. Бѣдняжка! мнѣ, право, тебя жаль. А кто виноватъ, сударыня? Вы всѣ разборчивыя невѣсты: этотъ не хорошъ, тотъ дуренъ,—вотъ и дождалась до того, что тетушка сама выбрала тебѣ жениха.

Софья. Ахъ, братецъ! я гораздо несчастнѣе, чѣмъ ты думаешь: я люблю...

Изборскій. Любишь? Кого?

Софья. Одного любезнаго молодого человѣка; онъ сватался, но тетушка ему отказала.

Изборскій. И все для этого Посошкова? Послушай, сестра, сдѣлай съ нимъ одинъ конецъ: попробуй, скажи ему, что ты его терпѣть не можешь.

Софья. Да я ужъ ему это говорила.

Изборскій. И онъ все отъ тебя не отстаетъ?

Софья. Онъ вѣрить не хочетъ, что я его не люблю.

Изборскій. Нѣтъ, шутишь.

Софья. Ахъ, братецъ! ты не можешь представить, какъ самолюбивъ этотъ Посошковъ: что бъ я ни сдѣлала, онъ все умѣетъ толковать въ свою пользу.

Изборскій. Ну, если ужъ отъ него нельзя добромъ отдѣлаться, такъ постой же, кузинушка, я какъ-нибудь къ нему придерусь, вызову на дуэль, обрублю ему носъ и уши, и тогда... неужели тетушка захочетъ выдать тебя за урода?

Софья. И, братецъ! ты все дурачишься.

Изборскій. По чести, нѣтъ! я готовъ на все рѣшиться, чтобъ избавить тебя отъ этого дурака. Однако жъ, какъ я подумаю, какое странное приключеніе! Сегодня безпрестанно встрѣчаются со мной влюбленные: ты вздыхаешь здѣсь, а вотъ тутъ за стѣной стонетъ другой.

Софья. Кто такой?

Изборскій. Старинный пріятель, съ которымъ я здѣсь нечаянно повстрѣчался. Что если бы васъ свести вмѣстѣ, то-то бы вы навздыхались досыта. У васъ одинаковое горе, и я готовъ биться объ закладъ, что вы съ перваго взгляда полюбите другъ друга... Да вотъ, кажется, и онъ.

ЯВЛЕНІЕ ТРИНАДЦАТОЕ.

Тѣ же и Пронскій (*выходитъ задумавшись и не примѣчая Софьи*).

Софья. Ахъ, братецъ!

Изборскій. Не правда ли, онъ очень интересенъ?

Пронскій (*взглянувъ на Софью*). Что я вижу!

Изборскій. Вотъ что значитъ симпатія: взглянули другъ на друга — и оба остолбенѣли.

Пронскій. Софья! вы ли это?

Изборскій. Ба, ба, ба! такъ ты влюбленъ въ мою кузину?

Пронскій. Какъ, мой другъ, ты братъ ея?

Изборскій. Да, мой милый, и теперь мнѣ еще досаднѣе.

Пронскій. Я не смѣю васъ спросить, сударыня,—вы замужемъ?..

Изборскій. Нѣтъ еще, мой другъ, а скоро будетъ.

Пронскій. Вы свободны и отдаете вашу руку другому?

Софья. Я, сударь, привыкла повиноваться своей тетушкѣ.

Пронскій. И, какъ видно, повинуетесь охотно. Я не спорю, сударыня, можетъ быть, женихъ вашъ гораздо любезнѣе меня...

Изборскій. Да, надобно сказать правду, мой милый, молодецъ! Я было его совсѣмъ принялъ за тетушкина дурака.

Пронскій. Какъ! и вы будете принадлежать этому человѣку?

Софья. Ахъ, Пронскій! я буду несчастлива, но по крайней мѣрѣ стану утѣшать себя мыслью, что выполнила свою обязанность.

Пронскій. Итакъ, я не могу имѣть никакой надежды?.. Вы молчите!.. Прощай, мой другъ!.. (*хочетъ уйти*).

Изборскій. Постой, куда ты?

Пронскій. Куда глаза глядятъ, но здѣсь не останусь ни минуты!

Изборскій. Эхъ, братецъ, погоди! Мнѣ все кажется, что судьба не даромъ свела

насъ вмѣстѣ,—подумаемъ-ка, нельзя ли какъ-нибудь отдѣлаться отъ этого Посошкова.

Софья. Ахъ, если бъ можно было... Но нѣтъ, тетушка никогда не согласится.

Изборскій. Послушай, пріятель,—мы оба съ тобою надѣлали дурачествъ: ты влюбился въ кузину, а я плѣнился синенькими бумажками; ты мнѣ помогъ, теперь очередь за мною. Какъ бы намъ разжалобить или напугать тетушку?.. Что если бы на скорую руку сплести какой-нибудь романъ... Постой! помнится, ты игралъ однажды на благородномъ театрѣ роль любовника въ операѣ «Изступленный»... что если бы... Впрочемъ, если это не удастся, такъ бѣда небольшая: вѣдь хуже-то съ тобою ничего уже не будетъ.

Пронскій. Я тебя не понимаю.

Изборскій. Пойдемъ,—въ нашей комнатѣ я изъясню тебѣ подробно мой планъ; здѣсь могутъ насъ застать, и тогда все пропало.

Софья. Да скажи, братецъ, что ты хочешь дѣлать?

Изборскій. А вотъ увидишь; тебѣ надобно будетъ только смотрѣть, молчать, на все соглашаться и, если можно, быть гораздо ласковѣе со своимъ Терсисомъ. Пойдемъ, Пронскій. (*Уходятъ*).

ЯВЛЕНІЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ.

Софья (*одна*). Нѣтъ, изъ этого ничего не будетъ; я боюсь, братецъ надѣлаетъ какихъ-нибудь дурачествъ, не пособитъ намъ ни въ чемъ, а только поссорится съ тетушкою!

ЯВЛЕНІЕ ПЯТНАДЦАТОЕ.

Софья, Ландышева, Посошковъ и дѣвушка съ узломъ.

Ландышева (*дѣвушкѣ*). Положи это на столъ. (*Дѣвушка кладетъ узелъ и уходитъ*). Да гдѣ же племянникъ?

Софья. Онъ пошелъ въ свою комнату.

Ландышева. Ну, Сонечка, какую намъ отвели прекрасную горенку! Намъ будетъ очень спокойно. Тирсисъ Ивановичъ, покуда тамъ прибираютъ, выберетъ что-нибудь почитать: вечеръ дологъ, а дѣлать-то намъ нечего.

Посошковъ. Съ величайшею охотою.

Ландышева. Это все новыя книги, которыя я купила передъ отъѣздомъ изъ Москвы... Что за названія! Одно другого лучше.

Посошковъ. Посмотримъ, сударыня, посмотримъ (*вынимаетъ по очереди книги и читаетъ*). «Видѣніе въ Немвродскомъ замкѣ», «Улло, горный Бардъ, или Страшилище въ скалахъ Хиллы», «Ночныя привидѣнія въ западной башнѣ Чернаго лѣса»...

Ландышева. Какъ, Тирсисъ Ивановичъ! въ западной башнѣ? Это должно быть хорошо. Я замѣтила, гдѣ есть западная и восточная башня, то ужъ тамъ такіе страхи, что и Боже упаси! Не правда ли, Сонюшка?

Софья. Не знаю, тетушка,—я вѣдь никогда не читаю этихъ книгъ.

Ландышева. Вотъ, сударь, какой вкусъ! читаетъ себѣ какую то «Матильду» да «Элоизу»! Что въ нихъ толку-то? На первой страницѣ заснешь. То ли дѣло мои любезные романы, подземельные ходы, западни да опускныя двери,—чудеса на чудесахъ! Нѣтъ, тутъ не до сна: то раздается гробовой голосъ, то вздохъ, то мелькнетъ блѣдная тѣнь, то вспыхнетъ огонекъ, а сердце, батюшка, сердце такъ и замираетъ!

Посошковъ. Посмотримъ же далѣе. (*Читаетъ*). «Люксембургскій разбойникъ, или таинственныя развалины», «Саксонскій разбойникъ, или подземелье Гонштейна», «Разбойникъ поневолѣ, или ужасы лѣсовъ Шварцвальдскихъ», «Таинственный свитокъ, или сумасшедшій отъ любви». Какъ вы думаете, не прочесть ли намъ эту книгу? Сумасшедшій отъ любви! это должно быть трогательно и чувствительно.

Ландышева. Правда, батюшка! я сама думаю, что это должно быть чувствительно и трогательно!

ЯВЛЕНІЕ ШЕСТНАДЦАТОЕ.

Тѣ же и Изборскій.

Изборскій. Какая куча книгъ! Что это вы дѣлаете, тетушка?

Ландышева. Да вотъ выбрали себѣ книжку, хотимъ почитать... Не знаешь ли ты ея? «Сумасшедшій отъ любви»!

Изборскій. Ахъ, тетушка, что вы мнѣ напомнили!

Ландышева. Что такое?

Изборскій. Несчастный другъ! ты также сдѣлался жертвою злополучной любви!

Ландышева. Твой другъ? Разскажи, пожалуйста, племянникъ: это должно быть очень интересно

Изборскій. Ахъ! сердце ваше обольется кровью! Садитесь и слушайте.

Ландышева (*торопливо*). Ну, батюшка, мы слушаемъ.

Изборскій. Я познакомился въ арміи съ однимъ молодымъ офицеромъ. Въ нѣсколько недѣль мы сдѣлались совершенными друзьями, обстоятельства насъ разлучили, и я, не болѣе какъ три мѣсяца назадъ, встрѣтился съ нимъ опять въ Петербургѣ. Я насилу узналъ его: тайная скорбь, казалось, снѣдала его сердце. Ахъ! свинцовая рука неумолимой

судьбы положила на чело его печать мрачнаго отчаянія.

Ландышева. Ахъ, мой милый! Какъ ты хорошо разсказываешь! точь въ точь, какъ у меня въ романахъ.

Посошковъ. Свинцовая рука!.. сильно сказано!..

Изборскій. Несмотря на нашу дружбу, онъ былъ отмѣнно скроменъ, и я могъ только узнать, что будучи въ Москвѣ онъ влюбился въ какую-то Софью, и что родственница, у которой воспитывалась Софья, отказала ему наотрѣзъ.

Ландышева. Жестокая.

Изборскій. Онъ переписывался съ московскими своими пріятелями и не потерялъ еще надежды, какъ вдругъ однажды въ полночь... И теперь еще сердце мое замираетъ отъ страху!

Ландышева (*оглядываясь кругомъ*). Ну, батюшка, однажды въ полночь?..

Изборскій. Двери съ шумомъ растворились и другъ мой, блѣдный, какъ ночное привидѣніе, явился предо мною. «Изборскій», — сказалъ онъ ужаснымъ голосомъ,— «все погибло: Софья выходитъ за другого!» Тутъ глаза его заблистали, онъ схватилъ со стѣны одинъ изъ моихъ пистолетовъ...

Ландышева. И застрѣлился?

Изборскій. Нѣтъ, пистолетъ не былъ заряженъ. А лучше, если бы онъ, бѣдняжка, застрѣлился!

Ландышева. Чтожъ съ нимъ сдѣлалось?

Изборскій. Онъ сошелъ съ ума.

Ландышева. Несчастный молодой человѣкъ!

Изборскій. Онъ вообразилъ въ своемъ сумасшествіи, что Софья умерла отъ отчаянія. Сколько его лѣчили, ничто не помогло, и я, собираясь ѣхать въ Москву, взялъ его съ собою для того, чтобъ отвезти къ одному изъ его родственниковъ, который живетъ недалеко отъ Москвы.

Ландышева. Какъ, племянникъ! такъ онъ здѣсь?

Изборскій. Здѣсь, тетушка.

Ландышева. Да какъ называется этотъ несчастный?

Изборскій. Пронскій.

Ландышева. Пронскій! — Сонюшка, за тебя сватался какой-то Пронскій.

Софья. Сватался, тетушка.

Ландышева. Да быть не можетъ: гдѣ тому сойти съ ума — тотъ былъ сущій повѣса.

Изборскій. Точно, точно, это онъ! Теперь все становится для меня ясно, и какъ до сихъ поръ мнѣ не пришло это въ голову? Ахъ! тетушка, сжальтесь надъ моимъ несчастнымъ другомъ!

Ландышева. Да что я могу сдѣлать, племянникъ?

Изборскій. Очень много. Пронскій помѣшанъ на томъ, что Софья умерла; если онъ увидѣлъ...

Посошковъ. Понимаю! вы хотите, какъ въ «Швейцарскомъ семействѣ», или какъ въ «Нинѣ», посредствомъ нечаяннаго появленія Софьи, возвратить ему разсудокъ. Это дѣло возможное, и если бы я за это взялся...

Ландышева. Что ты, батюшка! подумай хорошенько: вѣдь онъ былъ влюбленъ въ Сонюшку.

Посошковъ. Ну такъ чтожъ? Не думаете ли, что я боюсь соперника? Ха, ха, ха! не безпокойтесь!

Изборскій. Ахъ, Тирсисъ Ивановичъ! какая будетъ для васъ слава: вы возвратите, такъ сказать, жизнь, и кому же?—сопернику вашему!

Посошковъ Хорошо, мы сдѣлаемъ этотъ опытъ; впрочемъ, что же будетъ пользы: вѣдь ему не жениться же на вашей сестрицѣ.

Изборскій. Да кто объ этомъ говоритъ, лишь бы только его вылѣчить, а любовь пройдетъ сама собою.

Посошковъ. О! если такъ, то я согласенъ; только прошу меня слушаться: тутъ нужна большая осторожность; для этого надобно знать хорошо сердце человѣческое, а я знаю его, какъ мои пять пальцевъ.

Изборскій (*прислушиваясь у дверей*). Постойте, онъ, кажется, говоритъ.

Ландышева. Племянникъ, я боюсь!

Посошковъ. Вѣдь онъ не дерется?

Изборскій. И, сударь! Какъ будто вы не знаете, что всѣ сумасшедшіе отъ любви отмѣнно тихи. На него только находитъ иногда такое изступленіе, что онъ ничего не видитъ, и тогда первому, который ему попадется, онъ разсказываетъ свои несчастія, думая, что говоритъ со мною.

Ландышева. Бѣдняжка!

Изборскій. Тише, онъ идетъ сюда.

Посошковъ. Скорѣе, скорѣе! (*Софьѣ*). Вы станьте поодаль; мы покажемъ васъ тогда, когда будетъ надобно. (*Ландышевой*). Вы можете стать позади насъ, а мы останемся здѣсь и будемъ дѣйствовать.

Софья (*въ сторону*). Что изъ всего этого будетъ?

ЯВЛЕНІЕ СЕМНАДЦАТОЕ.

Тѣ же и Пронскій (*отворяетъ съ шумомъ дверь и скоро входитъ. Въ одеждѣ замѣтенъ нѣкоторый безпорядокъ*).

Пронскій. Постой, постой, милая тѣнь!.. Ахъ! она исчезла! Прелестный призракъ, зачѣмъ покидаешь ты несчастнаго?.. Теперь опять стало все такъ мрачно... скучно... Ахъ! Софья! (*Задумывается*).

Ландышева. Какая жалость!

Посошковъ. Надобно его понемногу приготовить къ рѣшительному удару. Тише!— Господинъ Пронскій!

Пронскій. Кто меня зоветъ? Ахъ! это ты, другъ мой!

Посошковъ. Онъ принялъ меня за васъ, тѣмъ лучше! Послушай, Пронскій, перестань грустить,—я имѣю предчувствіе, ты опять будешь счастливъ.

Пронскій Да, да! она звала меня къ себѣ, тамъ я буду счастливъ, очень счастливъ!.. а здѣсь, здѣсь я совершенный сирота!.. Дай мнѣ свою руку, Изборскій: ты одинъ не покинулъ несчастнаго!.. Благодарю тебя, мой другъ!

Посошковъ. Ай, ай, ай, чортъ возьми, какъ онъ жметъ!

Пронскій (*смотритъ быстро на Посошкова*). Изборскій, что съ тобой сдѣлалось? Я не узнаю тебя... Ахъ, мой другъ, зачѣмъ ты надѣлъ эту гнусную маску?

Посошковъ. Маску? Бѣдняжка!

Пронскій. Скинь, мой другъ, скинь скорѣе эту отвратительную харю.

Посошковъ. Эге! да онъ совсѣмъ сумасшедшій!

Изборскій. Однако жъ, иногда онъ говоритъ довольно кстати.

Посошковъ. Только надѣюсь, не теперь.

Пронскій. Изборскій! ты, вѣрно, ѣдешь въ маскарадъ? Не ѣзди, мой другъ!.. можетъ быть, ты встрѣтишь тамъ Софью и будешь несчастливъ; ты не знаешь, я также въ первый разъ увидѣлъ на балу мою Софью... Ахъ! жестокіе люди насъ разлучили!.. Ее хотѣли отдать насильно замужъ и за кого же, мой другъ? за какого-то деревенскаго поэта, дурака, осла...

Посошковъ. Что это? Да онъ ужъ ругается.

Ландышева. И, батюшка! да вѣдь онъ сумасшедшій.

Пронскій. Другъ мой, пожалѣй о Софьѣ: она умерла отъ отчаянія!.. Жестокая тетка! ты была ея убійцею, ты будешь и моей! Трепещи, безжалостная,—я умру, но тѣнь моя будетъ повсюду тебя преслѣдовать...

Ландышева. Ахъ, Боже мой! Племянникъ, что онъ говоритъ?

Пронскій. Въ каждомъ дыханіи зефира ты будешь слышать послѣдній вздохъ мой; журчаніе тихаго ручейка будетъ тебѣ казаться стонами умирающаго... и лишь только ударитъ полночь...

Ландышева. Какой ужасъ!

Пронскій. Лишь только проглянетъ блѣдная луна, окровавленная тѣнь моя предстанетъ предъ тобою!

Ландышева (*падая въ кресла*). Ахъ, умираю!

Посошковъ (*Софьѣ*). Спирту, сударыня, спирту!

Изборскій (*Сажая Пронскаго на стулъ*). Успокойся, мой другъ.

Пронскій (*тихо*). Каково?

Изборскій. Мастерски!

Ландышева. Ахъ, не могу опомниться! Ваничка, мой другъ! что мнѣ дѣлать? Ну, какъ онъ въ самомъ дѣлѣ умретъ да начнетъ ко мнѣ приходить по ночамъ?

Изборскій. Вотъ то-то же, тетушка, зачѣмъ вы не выдавали за него Софью.

Посошковъ. Не безпокойтесь, сударыня! лишь бы только его вылѣчить, а то ужъ онъ вѣрно не умретъ. Постойте, онъ задумался, не надобно упускать этой минуты. (*Софьѣ*). Станьте, сударыня, вотъ здѣсь, напротивъ него; вотъ такъ... тсъ, тише!

Пронскій (*послѣ минутнаго молчанія вскакиваетъ и глядя на Софью*). Изборскій! видишь ли?..

Изборскій. Вижу, мой милый!

Пронскій. Кто это? Говори, мой другъ, кто это?

Изборскій. Неужели не узнаешь? Посмотри-ка на нее хорошенько!

Посошковъ. Не то, не то, вы все испортите. Эхъ, сударь, зачѣмъ браться не за свое дѣло? Ты хочешь знать, Пронскій, кто это? Ахъ! это несчастная дѣвушка.

Пронскій. Несчастная!— Изборскій, позови ее, я также несчастливъ.

Посошковъ (*Софьѣ*). Подойдите сударыня, поближе, еще ближе. Если онъ начнетъ съ вами говорить, то не противорѣчьте ему ни въ чемъ.

Пронскій. Вы несчастливы, сударыня? Ахъ, вѣрно, васъ хотятъ выдать замужъ за дурака?

Софья. Да, сударь, это правда.

Посошковъ. Не то, совсѣмъ не то!

Софья. Вы сами велѣли...

Посошковъ. Да не такъ! Ее, мой другъ, любилъ одинъ молодой человѣкъ.

Пронскій. И васъ разлучили?

Софья. Да, сударь, насъ разлучили.

Пронскій. Жестокіе.

Посошковъ. Любовникъ ея сталъ грустить, тосковать...

Пронскій. Бѣдный!

Посошковъ. И, наконецъ, отъ ужасной горести сошелъ съ ума.

Пронскій. Что ты говоришь, мой другъ, онъ сошелъ съ ума?

Посошковъ. Ему вообразилось, что любезная его умерла отъ отчаянія.

Пронскій. Умерла отъ отчаянія? Боже мой!—Говори, говори скорѣе, какъ зовутъ эту несчастную?

Посошковъ. Софья.

Пронскій. Софья!.. А его?

Посошковъ. Пронскій.

Пронскій. Пронскій! какое воспоминаніе! Боже мой!.. Гдѣ я?.. Что со мною дѣлается? Софья! ты ли это?

Посошковъ. Браво! онъ спасенъ!

Ландышева. Спасенъ? какое счастіе!

Пронскій (*Ландышевой*). Вы здѣсь, сударыня? Вы возвращаете мнѣ Софью? Ахъ! гдѣ найду я словъ выяснить мою благодарность.

Изборскій (*Ландышевой*). И мы должны вывести его изъ заблужденія. Ну, не жалость ли это, тетушка?

Ландышева. Не говори, племянникъ, я плачу!.. (*утираетъ глаза*).

Изборскій (*подводя Пронскаго къ Посошкову*). Вотъ, мой другъ, твой спаситель.

Пронскій. Такъ это вы возвратили мнѣ разсудокъ? Ахъ! г. докторъ, требуйте все, что вамъ угодно.

Посошковъ. Я, сударь, не докторъ, а другъ вашъ.

Пронскій. Да, сударь, это имя навсегда принадлежитъ вамъ: вы возвратили мнѣ разсудокъ, а вмѣстѣ съ нимъ и мою Софью.

Посошковъ (*въ сторону*). Бѣдняжка! а нечего дѣлать, надобно ему сказать. (*Громко*). Г. Пронскій! вы теперь можете управлять вашимъ умомъ и, конечно, не будете желать невозможнаго. Софья не можетъ быть вашей женою: она любитъ другого.

Пронскій. Другого? Невозможно!

Посошковъ. Жаль мнѣ васъ, Пронскій, ей-ей жаль! а должно однимъ словомъ лишить васъ всей надежды: Софья любитъ меня.

Пронскій. Что вы говорите!

Посошковъ. Вы не вѣрите? Такъ пускай же она сама рѣшитъ. Говорите, сударыня!

Ландышева (*тихо Посошкову*). Тирсисъ Ивановичъ, ну, если Сонюшка скажетъ, что она тебя не любитъ?

Посошковъ. Не скажетъ, не бойтесь! теперь ужъ ей нельзя скромничать. Говорите, сударыня, говорите смѣло.

Софья. Вы этого хотите, сударь?.. извольте! Я люблю Пронскаго, и если бы тетушка согласилась, то сейчасъ бы отдала ему мою руку.

Ландышева. Слышишь, батюшка?

Посошковъ (*тихо Софьѣ*). И, сударыня! боитесь ли вы Бога? Ну, какъ вамъ не жалко дурачить этого бѣдняжку?

Софья. Ахъ, тетушка, отъ васъ теперь зависитъ наше благополучіе!

Пронскій. Скажите одно слово, — и мы счастливы!

Изборскій. Неужели вы рѣшитесь разлучить этихъ несчастныхъ любовниковъ?

Ландышева. Я, право, не знаю, что дѣлать? Они мнѣ очень жалки! Какъ ты думаешь, Тирсисъ Ивановичъ, не согласиться-ли намъ?

Посошковъ. Что это значитъ? Такъ это ужъ не шутка? Помилуйте! да я-то чѣмъ не женихъ?

Ландышева. И, батюшка! Да ты вѣдь еще съ ума-то не сходилъ?

Изборскій. И не сойдетъ, за это я вамъ ручаюсь.

Пронскій. Зачѣмъ возвратили вы мнѣ разсудокъ? Я былъ гораздо счастливѣе, думая, что Софьи нѣтъ на свѣтѣ.

Ландышева. Въ самомъ дѣлѣ, сударь, кто просилъ тебя его лѣчить?

Посошковъ. Какъ хотите, а мы ужъ помолвлены, и я никогда не соглашусь...

Пронскій. Г. Посошковъ! вы не иначе получите Софью, какъ вмѣстѣ съ моею жизнію.

Посошковъ. Если такъ, то пожалуй, — я готовъ за нее драться.

Ландышева. Слышишь, племянникъ? дойдетъ у нихъ до бѣды.

Изборскій. Постойте, я его уговорю. (*Посошкову*). Послушайте, Тирсисъ Ивановичъ, ну, что будетъ хорошаго, если онъ опять сойдетъ съ ума.

Посошковъ. Пускай себѣ сходитъ.

Изборскій. Да вѣдь и драться-то невесело, а я долженъ вамъ сказать, онъ рубится такъ мастерски, что въ полминуты окарнаетъ васъ какъ моську.

Посошковъ. Неужели?

Изборскій. Рѣшитесь на доброе дѣло. пусть будетъ онъ вамъ всѣмъ обязанъ: отступитесь отъ Софьи.

Посошковъ. Ни за что на свѣтѣ.

Изборскій. Ну, такъ рубиться!

Посошковъ. Нѣтъ, сударь, я буду съ нимъ стрѣляться.

Изборскій. Стрѣляться! Что вы? Да знаете-ли, что онъ попадаетъ безъ промаху въ туза?

Посошковъ. Въ десяти шагахъ?

Изборскій. Въ тридцати, сударь! Послушайте, не упрямтесь, докажите, что вы человѣкъ великодушный.

Посошковъ. Великодушный! Нечего дѣлать! вы тронули мою слабую струну,—такъ и быть, я буду великодушенъ (*беретъ Пронскаго и Софью за руки*). Пожалуйте сюда. (*Подводитъ къ Ландышевой*). Узнайте, каковъ Посошковъ: я отступаюсь отъ моей невѣсты. Мать, благослови дѣтей своихъ!

Ландышева. Отъ всего сердца! (*Они цалуютъ у нея руки*). Уфъ! какъ гора съ плечъ! Вѣдь ты, батюшка, теперь ужъ не умрешь?

Изборскій. До того ли ему, тетушка: теперь-то ему и пожить.

Посошковъ (*Ландышевой*). Ну, кто бы подумалъ, сударыня, что съ нами случится сегодня такой романъ.

Ландышева. Подлинно, романъ! Тутъ все есть, что надобно: тетка, страстные любовники...

Изборскій. Услужливый пріятель.

Посошковъ. И великодушный соперникъ.

УРОКЪ МАТУШКАМЪ.

Русская провинціальная быль.

ВЪ ТРЕХЪ ДѢЙСТВІЯХЪ.

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА.

Анна Степановна Слукина.
Варенька, падчерица Слукиной.
Николай Ивановичъ Холминъ, крестный отецъ Вареньки.
Князь Верхоглядовъ. } влюбленные въ Вареньку.
Иванъ Ѳедоровичъ Вельскій. }
Алексѣй Андреевичъ Зоринъ. }
Александръ Михайловичъ Тонскій. }
Княгиня Ландышева, молодая вдова.
Глафира Филипповна Гореглядова. } ея знакомыя.
Ольга Дмитріевна Зарѣцкая. }
Ѳома Ѳомичъ Фонъ-Дахъ, губернскій докторъ.
Губернаторъ.
Губернскій предводитель.
Аксинья, ключница. } Слукиной.
Кондратьевна, нянюшка. }
Даша, горничная. }
1-я дѣвушка. }
2-я дѣвушка. }
Маленькая дѣвочка. }
Мальчикъ князя Верхоглядова.
Слуги князя Верхоглядова.
Слуги Слукиной.

Гости обоихъ половъ на балѣ у княгини Ландышевой.

ДѢЙСТВІЕ ПЕРВОЕ.

Театръ представляетъ комнату въ домѣ Слукиной, обитую старинными обоями; по стѣнамъ развѣшаны фамильные портреты; мебель ветхая, стараго фасона.

ЯВЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

Слукина, Холминъ и Варенька. (*Слукина сидитъ за ломбернымъ столомъ и раскладываетъ гранъ-пассьянсъ; Холминъ также сидитъ подлѣ нея на стулѣ; Варенька стоитъ у раствореннаго окна*).

Слукина (*отталкнувъ съ досадою карты*). Опять не вышло!.. А все этотъ проклятый валетъ: нейдетъ, какъ нейдетъ!.. Эй, дѣвка!.. Дашка!.. (*Входитъ горничная*). Возьми, положи карты въ комодъ, въ третій ящикъ!.. Да что это, мать моя?.. Никакъ въ корсетѣ?.. Смотри пожалуй!.. И онѣ ужъ стали затягиваться!.. Варенька!..

Варенька (*оборачиваясь торопливо*). Что вамъ угодно, маменька?

Слукина. Ну, что?.. Дождикъ пересталъ?

Варенька. Кажется, пересталъ, маменька.

Слукина. Такъ на дворѣ прочищается?

Варенька. Кажется, прочищается.

(*Въ эту минуту слышенъ большой шумъ отъ дождя*).

Слукина. Чу!.. Помилуй, матушка! Дождь ливмя льетъ, а ты говоришь... Да что ты—ослѣпла, что ль?.. Эй, человѣкъ... человѣкъ!.. (*Человѣкъ входитъ*). Ну, что стоишь?.. Слышишь, протекло въ гостиной!.. Ведро! (*Слуга уходитъ*). Да, вѣрно, на чердакѣ ушатовъ нѣтъ; вотъ я васъ, разбойники!.. Смотри пожалуй: дождь нейдетъ!.. прочистилось!..-Да чего жъ ты въ окно-то смотрѣла, сударыня?.. Ужъ не на этого ли молодчика?..

Холминъ. На кого это, матушка Анна Степановна, на кого?

Слукина. Да вотъ недавно отвели квартиру, противъ нашего дома... терпѣть не могу этого усача! Ну, словно осенняя муха,

такъ въ глаза мнѣ и лѣзетъ... Куда ужъ я не люблю этихъ подлипалъ!

Варенька. А онъ очень васъ любитъ и уважаетъ, маменька.

Слукина. Право? И что мнѣ, матушка, въ его любви?.. И на какую потребу уваженіе этого нищаго? Я и сама замѣчаю это; онъ что-то умильно на меня посматриваетъ; ужъ не хочетъ ли денегъ взаймы попросить—чего добраго! Вѣдь эта голь хитра на выдумки: на обухѣ рожь молотитъ.

Варенька. Вы напрасно, маменька, такъ дурно о немъ думаете: онъ, право, честный и хорошій человѣкъ.

Слукина. Ась?.. Что, мать моя?

Варенька. Я говорю, что онъ хорошій человѣкъ.

Слукина. Право?.. Да что ты за него такъ заступаешься?.. Что это значитъ, сударыня?

Варенька. Такъ, маменька, ничего.

Слукина. То-то ничего; у меня смотри!..

Холминъ. Да о комъ вы, матушка, говорите?

Слукина. Вотъ объ этомъ гусарскомъ офицеришкѣ... какъ бишь его... дай Богъ память... Да!.. Тонскій!

Холминъ. Александръ Михайловичъ?.. Ну что жъ!.. Онъ, точно, отличный молодой человѣкъ.

(*Во время этого разговора Варенька потихоньку отходитъ прочь и становится опять у окна*).

Слукина. И, батюшка! Да что въ немъ отличнаго... Ну, конечно, собой онъ молодецъ изрядный; говорятъ, не пьетъ, въ карты не играетъ,—да и то сказать,—что ему сердечному проигрывать: вѣдь голъ, какъ соколъ; а какъ поглядишь иногда — Господи Боже мой?—весь облитъ золотомъ; фунта три выжиги будетъ; а, чай, дома перекусить нечего. Вотъ то-то и есть: служилъ бы себѣ да служилъ въ пѣхотѣ,—такъ нѣтъ, всякая стрень-брень въ гусары лѣзетъ.

Холминъ. Онъ не такъ бѣденъ, какъ вы думаете; его дядя оставилъ ему небольшое, но прекрасно-устроенное имѣніе.

Слукина. Право?.. А сколько душъ, батюшка?

Холминъ. Конечно, немного: душъ тридцать...

Слукина. Тридцать душъ! И ты, Николай Ивановичъ, зовешь его имѣніемъ?

Холминъ. Нельзя же всякому, какъ вамъ, Анна Степановна, имѣть тысячъ пятьдесятъ въ годъ доходу. Разумѣется, въ сравненіи съ вами Тонскій бѣденъ, но зато какой добрый, вѣжливый молодой человѣкъ...

Слукина. Да, Николай Ивановичъ! Что *правда*, то правда: и вѣжливъ, и услужливъ; *прошлое воскресенье*, кабы не онъ, такъ не знаю, что было бы со мною,—на рукахъ вынесъ изъ губернаторской столовой.

Холминъ. А что такое съ вами было?

Слукина. Вотъ что, батюшка, Николай Ивановичъ.—Я прошлое воскресенье была у губернатора въ благородномъ театрѣ. Какъ вошла я въ этотъ театръ, гляжу: на заднихъ скамеечкахъ просторно, но зато на передней вотъ такъ человѣкъ на человѣкѣ и сидитъ. Ну, нельзя же, мой отецъ, статской совѣтницѣ сидѣть сзади, и Богъ вѣсть подлѣ кого. Вотъ я, гдѣ бочкомъ, гдѣ локотками, продралась и сѣла впереди. Тѣсно, батюшка, душно, а дѣлать нечего—сижу! Вотъ, подъ конецъ, голова стала у меня кружиться и начало въ глазахъ зеленѣть, — а я все-таки сижу! Когда театръ кончился, я встала вмѣстѣ съ другими, а что-то плохо! Вошла въ гостиную, мнѣ какъ будто бы получше. Вотъ поднялись всѣ, чинъ чиномъ, въ столовую къ ужину; я, пропустя мимо себя губернаторшу, хотѣла было, по моему чину, вслѣдъ за нею, какъ вдругъ, откуда ни возьмись, дворянская предводительница—шмыгъ изъ-подъ меня, да шасть первая къ столу!.. Коллежская ассессорша!.. Ну, батюшка, хотя я и беззащитная вдова, хотя за меня, круглую сироту вступиться некому, я ужъ не стерпѣла бы такого афронта, и если бъ это не было у губернатора, подняла бы такую кутерьму, что и Боже упаси! А тутъ дѣлать нечего—смолчала! Да ужъ каково-то было моей душенькѣ! Начало меня подергивать, подкатилось къ сердцу, схватило удушье, и если-бъ не подвернулся этотъ Тонскій,—дай Богъ ему здоровья!—то я бы со всѣхъ ногъ грянулась о полъ.

Холминъ. Скажите пожалуйста! Подлинно спасибо ему!.. А знаете ли, Анна Степановна, что если бъ Тонскій былъ побогаче, такъ этакого жениха поискать!

Слукина. Да!. Если бъ у него было тысячъ тридцать въ годъ доходу.

Холминъ. Погодите, будетъ и больше. Онъ отличный офицеръ, служитъ охотникъ и пойдетъ далеко.

Слукина. Статься можетъ, батюшка,—да вѣдь это еще буки.

Холминъ. Я увѣренъ, что и теперь любая невѣста въ нашемъ городѣ за него пойдетъ.

Слукина. Любая, не любая, а, можетъ быть, и найдутся охотницы. Вѣдь дураковъ и дуръ вездѣ много, Николай Ивановичъ, ихъ не орутъ, не сѣютъ,—сами родятся.

Холминъ. Ну, нѣтъ! — по мнѣ Тонскій хоть кому женихъ.

Слукина. Что это, батюшка? Ужъ не мѣтишь ли ты на Вареньку?.. Да сохрани ее Господи!.. Да если бы самъ покойникъ всталъ изъ гроба!.. Добро бъ еще этотъ Тонскій былъ въ чинахъ, статскій совѣтникъ или пятаго класса, а то простой офицеришка, нищій... Чему же ты смѣешься, батюшка?

Холминъ. Да какъ не смѣяться? Эхъ, матушка Анна Степановна! Ну, какъ вы могли подумать, чтобъ я сталъ сватать не-шутя вашу падчерицу, мою крестную дочь, за какого-нибудь гусарскаго поручика, съ тридцатью ревизскими душами, потому только, что онъ уменъ, молодецъ собою и добрый малый?

Слукина. Ну то-то же, мой отецъ! А то было я совсѣмъ перепугалась. Да и я дура! Какъ будто не знаю, что ты всегда подшучиваешь... А мнѣ бы надобно съ тобой о серьезномъ дѣлѣ поговорить, батюшка,—да вотъ, видишь ты какой: опять начнешь балагурить!.. Варенька!.. Что жъ ты, мой другъ, иль позабыла, что намъ пора ѣхать? Ступай одѣваться. (*Варенька уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

Тѣ-же, кромѣ Вареньки.

Холминъ. Куда вы сбираетесь?

Слукина. Теперь съ визитами, а тамъ прямо на балъ къ княгинѣ Ландышевой.

Холминъ. И я также приглашенъ. Говорятъ, она зазвала весь городъ. Ну, тѣсно-же будетъ въ ея домикѣ.

Слукина. Да вѣдь она даетъ балъ въ домѣ своего родственника, князя Владиміра Ивановича Верхоглядова.

Холминъ. Ну, это другое дѣло; у него домъ настоящія палаты.

Слукина. Теперь, Николай Ивановичъ, мы остались одни; поговоримъ-ка о дѣлѣ.

Холминъ. Поговоримте, матушка.

Слукина. Ты человѣкъ умный, мой батюшка, посовѣтуй! — Что ты, родной, скажешь, такъ тому и быть.

Холминъ. (*улыбаясь*). То есть, когда мой совѣтъ будетъ согласенъ съ вашей волею!

Слукина. И, батюшка! Да развѣ у меня есть какая-нибудь воля? Что скажутъ добрые люди, то и дѣлаю. Вотъ, изволишь видѣть: твоя крестная дочка ужъ на возрастѣ...

Холминъ. А что? Развѣ вы хотите выдать ее замужъ?

Слукина. Пора, мой отецъ, вѣдь ужъ ей скоро семнадцать лѣтъ.

Холминъ. Да это что еще за года, Анна Степановна.

Слукина. Полно, полно, Николай Ивановичъ, я сама по четырнадцатому году за перваго мужа вышла замужъ, такъ что тутъ говорить; да и не о томъ рѣчь.

Холминъ. А что, развѣ кто нибудь сватается?

Слукина. Кто-нибудь?.. Нѣтъ, батюшка, женишки-то давно ужъ около насъ увиваются, и въ старину бы мнѣ отъ свахъ отбою не было; вотъ теперь дѣло другое, за это ремесло взялись наши сестры, дворянки. да, полно, лучше ли? Бывало, отъ свахи узнаешь всю подноготную, отберешь все до копѣечки, и коли замѣтишь, что она начала лисой лисить да переминаться, такъ ее, голубушку мою, въ три-шеи со двора долой.— Вѣдь дѣло-то было торговое, а теперь—прошу покорно! Сама губернаторша пріѣдетъ сватать, съ ней много говорить не станешь; вѣрь на честное слово: «У такого-де, сударыня, тысяча душъ, да столько-то доходу, да то, да се»! А попробуй сказать: «Нельзя ли, матушка, ваше превосходительство, документики сообщить»?—такъ пойдутъ исторіи, претензіи, разстанешься домами; нашей сестрѣ, беззащитной вдовѣ, отъ этой губернаторши и всѣхъ ея прихвостницъ житья не будетъ.

Холминъ. А что, развѣ губернаторша дѣлала вамъ предложеніе?..

Слукина. Вотъ то-то и есть, батюшка: она говорила мнѣ о своемъ племянникѣ.

Холминъ. Объ Иванѣ Ѳедоровичѣ Вельскомъ?

Слукина Да, Николай Ивановичъ. Я ужъ давно замѣтила, что этотъ отставной камеръ-юнкеръ имѣетъ виды на мою Вареньку. Конечно, онъ человѣкъ порядочный, слишкомъ тысяча душъ, прекрасный домъ, отличная услуга, музыка—все это хорошо, да говорятъ, что у него до пяти сотъ тысячъ рублей долгу, такъ это почти все равно, что онъ ничего не имѣетъ.

Холминъ. Слѣдовательно, вы ему отказали?

Слукина. Ужъ тотчасъ и отказать! Погоди, батюшка, пусть посватается порядкомъ. Вотъ, какъ онъ сдѣлаетъ формальное предложеніе и весь городъ будетъ знать, что онъ ищетъ въ Варенькѣ, такъ успѣю и тогда. Небольшая бѣда, если станутъ говорить: у нея много жениховъ было.

Холминъ. Такъ какого же, матушка, вы просили у меня совѣта?

Слукина. А вотъ постой, мой отецъ: еще одинъ женихъ.

Холминъ. А кто жъ другой?

Слукина. Алексѣй Андреевичъ Зоринъ.

Холминъ. Предсѣдатель гражданской палаты?

Слукина. Да, батюшка!

Холминъ. Пожилой вдовецъ.

Слукина. Да, батюшка!

Холминъ. Съ большой семьей.

Слукина. Такъ что жъ?

Холминъ. Да кстати ли ему свататься за Вареньку? Она ему въ меньшія дочери годится!

Слукина. Это ничего, Николай Ивановичъ: и мой покойникъ былъ вдвое меня старѣе, а вотъ что худо: у Зорина наслѣдственнаго мѣнія нѣтъ, а все благопріобрѣтенное,— куплено было на имя жены, такъ онъ изъ него только и можетъ взять законную седьмую часть, то есть много, много душъ сто

Конечно, онъ человѣкъ умный, нажилъ бы еще, да времена то не тѣ, батюшка: ко всему придираются. Судья возьметъ по дружбѣ какой ни есть подарочекъ, а его назовутъ взяточникомъ; не бери ничѣмъ: ни деньгами, ни натурой. Да этакъ скоро вовсе служить нельзя будетъ.

Холминъ. И, матушка Анна Степановна. Ну, что Господа Бога гнѣвить! И теперь еще такъ-то себѣ деревеньки и домики наживаютъ, что на—поди!

Слукина. Да! Небось ты скопилъ имѣньице? Шесть лѣтъ былъ дворянскимъ предводителемъ, сколько разъ засѣдалъ въ рекрутскомъ присутствіи, а что нажилъ?

Холминъ. Да покамѣстъ честное имя, Анна Степановна.

Слукина. Честное имя! Да вѣдь честное-то имя доходу не даетъ; его ни продать, ни въ опекунскій совѣтъ заложить нельзя, такъ съ нимъ далеко не уѣдешь; а сверхъ того вы всѣ, честные люди, гордецы, а гордымъ Богъ противится—ну, что ухмыляешься?

Холминъ. Радуюсь, матушка Анна Степановна, что вы такъ хорошо знаете и такъ ловко толкуете священное писаніе.

Слукина. Да что объ этомъ говорить: всякій молодецъ на свой образецъ. Скажи-ка лучше, что мнѣ дѣлать? И сама вижу, что Зоринъ не женихъ Варенькѣ.

Холминъ. Такъ откажите ему.

Слукина. А про мое тяжебное дѣло ты, вѣрно, забылъ, Николай Ивановичъ.

Холминъ. Нѣтъ, помню, — такъ что жъ?

Слукина. А то, что коли испортятъ его здѣсь въ палатѣ, такъ еще, Богъ вѣсть, поправятъ ли въ Москвѣ. Нѣтъ, мой отецъ! Успѣю ему отказать и тогда, какъ дѣло будетъ рѣшено въ мою пользу.

Холминъ. Ну вотъ уже два жениха забракованы, нѣтъ ли еще третьяго?

Слукина. Есть, Николай Ивановичъ, — есть женишокъ! Да и дѣло-то почти совсѣмъ слажено.

Холминъ. Вотъ что! Какъ же мнѣ Варенька ничего объ этомъ не намекнула?

Слукина. Да она еще сама не знаетъ.

Холминъ. Право? Такъ вы заранѣе увѣрены, что этотъ женихъ ей понравится?

Слукина. Какъ ему не понравиться, батюшка? Вѣдь у него, легко вымолвить, —четыре тысячи душъ.

Холминъ. Четыре тысячи? Такъ это...

Слукина. Князь Владиміръ Ивановичъ Верхоглядовъ. Что, батюшка, каковъ женишокъ?

Холминъ. Да хорошо ли вы знаете этого человѣка?

Слукина. Я знаю навѣрное, что у него четыре тысячи душъ и ни копейки долгу.

Холминъ. Конечно, послѣ этого и говорить нечего. Вотъ если бы у него не было сто тысячъ въ годъ доходу...

Слукина. Полтораста, батюшка!

Холминъ. Неужели? Прошу покорне! Такъ что жъ это говорятъ, будто онъ самый пустой человѣкъ; что у него нѣтъ никакихъ правилъ; что онъ на словахъ ужасный филантропъ, а на дѣлѣ трехъ-бунчужный паша; что онъ толкуетъ безпрестанно о потребности вѣка, высшихъ взглядахъ, правахъ человѣчества и разоряетъ своихъ крестьянъ; что у него давно ужъ умъ за разумъ зашелъ, и что рано или поздно, а ему не миновать опеки!

Слукина. И, что ты, мой отецъ! Да развѣ отдаютъ подъ опеку людей, у которыхъ полтораста тысячъ въ годъ доходу и ни копейки долгу?

Холминъ. Вотъ то-то и есть: говорятъ также, что будто бы у него такой причудливый характеръ, что съ нимъ ужиться нѣтъ никакой возможности.

Слукина. Вздоръ, батюшка, вздоръ! То же самое говорили и про моего перваго мужа, да вѣдь жили же кое-какъ? Ну, конечно, какъ безъ того — бывало, пошумимъ, погрыземся, а все-таки онъ,—дай Богъ ему царство небесное!—сдѣлаетъ, такъ сдѣлаетъ по-моему. Нравный мужъ не бѣда, мой отецъ. Лишь только не поддавайся да кричи громче на него, такъ все пойдетъ своимъ чередомъ.

Холминъ. Правда, Анна Степановна, правда! Это самый лучшій способъ жить въ ладу съ мужемъ. Дурака запугаешь, умному не до насъ, такъ и тотъ, и другой будутъ поневолѣ дѣлать все, что жена захочетъ. Да Варенька-то, кажется, у насъ не такого характера: она уступчива, добра, самаго кроткаго нрава.

Слукина. Перемѣнится, мой отецъ, перемѣнится! Вѣдь нужда чему не научитъ?

Холминъ. Конечно, Анна Степановна, конечно. Да и материнскіе ваши совѣты, быть можетъ, на нее подѣйствуютъ. И такъ, это дѣло конченное: племяннику губернаторши Вельскому...

Слукина. Я ничего рѣшительнаго не сказала, однакожъ, признаюсь, надеждой польстила...

Холминъ. Предсѣдателю палаты Зорину...

Слукина. Его поневолѣ приголубливаю, батюшка! Вотъ такъ, изрѣдка намеки дѣлаю, обиняч ки говорю.

Холминъ. А князю Владиміру Ивановичу?..

Слукина. И ему еще формальнаго слова не давала.

Холминъ. То есть вы обнадежили разомъ трехъ женіховъ.

Слукина. Эхъ, батюшка, батюшка! Да когда же мнѣ и поломаться-то, какъ не теперь. Пока я не совсѣмъ еще порѣшилась, такъ мнѣ житье-то славное. Посмотри—въ собраніи, на балахъ, кому такой почетъ? Одинъ слугу отыщетъ, другой салопъ подастъ, третій съ лѣстницы сведетъ; не успѣваешь раскланиваться. А какъ въ вистикъ-то съ ними засяду,

батюшка, въ вистикъ! Житье да и только! Ренонсъ сдѣлаю, никто не видитъ; безъ двухъ фигуръ сочту четыре онера,—молчатъ. И даже этотъ скопидонъ Зоринъ не заикнется сказать, что я ошиблась. А ужъ о томъ не говорю, сколько другихъ, прочихъ, мелкихъ женишковъ въ глаза-то мнѣ забѣгаютъ. Ну, такъ и рвутся одинъ передъ другимъ, чтобъ мнѣ услужить.

Холминъ. Ну, да! Теперь хорошо, а когда они узнаютъ, что вы ихъ дурачили?

Слукина. Такъ что-жъ, батюшка?—Посердятся, посердятся, да будутъ таковы. Одинъ Алексѣй Андреевичъ Зоринъ могъ бы мнѣ хлопотъ надѣлать, да, къ счастью, дѣло мое слушаютъ на будущей недѣлѣ,—а ты знаешь, батюшка, резолюцію перемѣнить нельзя.

Холминъ. Расчетъ вѣрный, Анна Степановна! Вы забыли только одно, что отъ этого можетъ пострадать репутація вашей падчерицы. Станутъ говорить, что она заводила жениховъ, кокетничала, обманывала съ вами заодно...

Слукина. Помилуй! Да съ чего бы это взяли?

Холминъ. Знаю, Анна Степановна, что въ этомъ и на волосъ не будетъ правды, но зачѣмъ давать поводъ къ злословію? Вѣдь клевета, какъ уголь, не обожжетъ, такъ замараетъ.

Слукина. И полно, мой отецъ! Стану я бояться всѣхъ людскихъ рѣчей. Да мало ли что и про меня говорили: и обобрала-то я покойнаго моего мужа, и пустила по міру родного брата, да и Богъ вѣсть что? Всего не переслушаешь. А вотъ и Варенька! (*Варенька входитъ*). Побудь покамѣстъ съ твоимъ крестнымъ, а я пойду и сама принаряжусь; да если кто заѣдетъ, такъ извините меня! (*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ ТРЕТЬЕ.

Тѣ же, кромѣ Слукиной.

Варенька (*послѣ нѣкотораго молчанія*). Послушайте крестный папенька, вы, кажется, говорили съ Анной Степановной?

Холминъ (*улыбаясь*). О чемъ, мой другъ?

Варенька. Ну!.. О немъ!..

Холминъ. Говорилъ.

Варенька. Что-жъ она?

Холминъ. Твоя мачиха! Она рѣшилась выдать тебя замужъ.

Варенька (*съ радостію*). Возможно ли?

Холминъ. За князя Владиміра Ивановича Верхоглядова.

Варенька (*съ ужасомъ*). Что вы говорите?!

Холминъ. Что-жъ ты испугалась! Не бойся, мой другъ, на святой Руси насильно никого не вѣнчаютъ. Послушай, моя душа! Ты ужъ не ребенокъ и должна подумать о будущемъ. Ты любишь Тонскаго, и онъ достоинъ этого счастья, но у князя полтораста тысячъ въ годъ доходу, а Тонскій почти ничего не имѣетъ; ты также, мой другъ, безъ всякаго состоянія, или—что почти одно и тоже—оно совершенно зависитъ отъ твоей мачихи. Покойный твой отецъ былъ человѣкъ истинно добрый, но подъ старость такъ ослабѣлъ и тѣломъ и душою, что не имѣлъ рѣшительно собственной своей воли. Ты знаешь, Варенька, всѣмъ его имѣніемъ владѣетъ Анна Степановна, и хотя по духовной покойнаго ты имѣешь право требовать въ приданое за собою тысячу душъ, но только тогда, когда выйдешь замужъ съ ея согласія; въ противномъ случаѣ, одно только добровольное ея прощеніе можетъ возвратить тебѣ это право. Теперь ты видишь мой другъ, что у тебя ничего нѣтъ; Анна Степановна никогда не согласится выдать тебя замужъ за Тонскаго и никогда не проститъ, если ты выйдешь за него противъ ея воли!

Варенька. Ахъ, Боже мой! Да какая ей прибыль, если я выйду за этого князя?

Холминъ. Пребольшая, мой другъ. Засадить тебя вѣчно въ дѣвкахъ она не можетъ, это было бы слишкомъ явнымъ доказательствомъ ея жадности; ты сирота, правительство можетъ взять тебя подъ свою защиту, а сверхъ того, и самые бездушные люди боятся общаго мнѣнія. Я узналъ нечаянно, но отъ вѣрнаго человѣка, что князь Владиміръ Ивановичъ беретъ тебя безъ приданаго и сдѣлалъ даже какую-то бумагу, которая обезпечиваетъ на этотъ счетъ твою мачиху. Теперь видишь ли, мой другъ?

Варенька (*съ живостью*). Такъ что-жъ? Неужели вы думаете, что Тонскій не откажется также отъ моего приданаго?

Холминъ. О, я не сомнѣваюсь въ этомъ.

Варенька. И развѣ богатство можетъ сдѣлать наше счастіе?

Холминъ. Не о богатствѣ рѣчь, мой другъ. Полтораста тысячъ въ годъ доходу не сдѣлаютъ тебя и на волосъ счастливѣе. Но бѣдность! Ахъ, Варенька, Варенька! Мы живемъ не въ Аркадіи; кустъ розановъ, шалашъ и милый другъ—все это прекрасно въ романсѣ, который ты поешь, сидя за фортепіано, но въ шалашѣ и холодно, и тѣсно; розаны цвѣтутъ только весною; милый другъ не вѣчно будетъ ворковать подлѣ тебя: онъ захочетъ ѣсть, ты также, а тамъ семья, дѣти!.. Нѣтъ, мой ангелъ, если счастье наше не всегда бываетъ слѣдствіемъ хорошаго состоянія, то, по крайней мѣрѣ, оно помогаетъ намъ сносить терпѣливѣе всѣ житейскія горести и напасти, которыя при бѣдности становятся еще несноснѣе. Подумай хорошенько: если ты выйдешь за князя, то всѣ желанія твои, всѣ прихоти будутъ исполняться; ты молода, мой другъ, тебя, вѣрно, еще плѣнятъ и щегольской экипажъ, и модныя платья, и

тысяча другихъ блестящихъ бездѣлушекъ, которыя стоятъ такъ дорого и не служатъ ни къ чему; пока еще года и горькій опытъ не отучатъ тебя забавляться этими игрушками взрослыхъ людей, ты станешь тосковать о нихъ. Сколько разъ ты будешь плакать отъ зависти и досады, сравнивая свой простенькій московскій буръ-де-суа съ какимъ-нибудь колокольцовскимъ платкомъ или турецкою шалью прежней твоей подруги! Встрѣчая на каждомъ шагу знакомыхъ, которые станутъ давить тебя своими богатствами и роскошью, ты поневолѣ сдѣлаешься подозрительною; дружба богатыхъ людей будетъ тебѣ казаться обиднымъ покровительствомъ, а каждое ласковое слово милостынею, которую даютъ тебѣ изъ состраданія. Что, если тогда встревоженное твое самолюбіе и эта тяжкая необходимость отказывать себѣ почти во всемъ расхолодятъ прежнюю любовь твою? Что, если ты начнешь горевать о томъ, что не вышла за богатаго князя, и бѣдный мужъ твой отгадаетъ, наконецъ, причину этой горести?

Варенька (*съ жаромъ*). Мужъ мой! Тотъ, кого выбрало мое сердце!.. И вы можете такъ дурно думать о вашей крестной дочери!.. Щегольской экипажъ!.. Турецкая шаль!.. Боже мой!.. Да я стала бы плакать о турецкой шали, если бы могла въ ней показаться милѣе моему мужу... Но желать ее для себя, горевать о томъ, что я не принадлежу этому князю, котораго ненавижу—да, да! ненавижу!

Холминъ (*улыбаясь*). Да за что же, мой другъ?

Варенька. За то, что онъ хочетъ быть моимъ мужемъ. И вы могли мнѣ совѣтовать!..

Холминъ. Да полно, не гнѣвайся! Послушай, мой другъ. Прежде чѣмъ ты еще рѣшилась отказаться отъ супружества, которое свѣтъ сталъ бы называть блестящимъ, я долженъ былъ описать тебѣ всѣ невыгоды замужества съ человѣкомъ небогатымъ; я исполнилъ мою обязанность, и если бѣдность тебя не пугаетъ, то вотъ рука моя: ты будешь женою Тонскаго. Я не богатъ, Варенька, но все, что имѣю, будетъ принадлежать вамъ. Не благодари меня, мой другъ!.. У меня нѣтъ дѣтей, а живя съ вами, я забуду объ этомъ. Да и зачѣмъ отчаяваться? Почему знать? Быть можетъ, ты выйдешь за Тонскаго и не потеряешь своего состоянія.

Варенька. Но вы сами говорили, что Анна Степановна никогда не согласится.

Холминъ. Безъ всякаго сомнѣнія, не согласится, но дѣло не въ томъ, чтобъ она была твоей посаженой матерью, а лишь только бы послѣ свадьбы-то васъ простила... У меня кой-что бродитъ въ головѣ... Что, если бы?.. Почему же нѣтъ?.. А какъ бы это было забавно!.. Только смотри, Варенька: слушаться меня во всемъ.

Варенька. О, въ этомъ можете быть увѣрены.

Холминъ. Постой! Кажется, кто-то пріѣхалъ. (*Смотритъ въ окно*). Вельскій! Вотъ кстати. Поди, мой другъ, къ себѣ въ комнату. (*Варенька уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Холминъ и Вельскій.

Холминъ (*идя навстрѣчу Вельскому*). Анна Степановна дома, но проситъ васъ извинить ее: она сейчасъ ѣдетъ съ визитами.

Вельскій. Здравствуйте, Николай Ивановичъ! Очень радъ, что васъ вижу.

Холминъ. Да присядьте хоть на минутку, Иванъ Ѳедоровичъ! Позвольте мнѣ похозяйничать. (*Садятся*).

Вельскій. Покорнѣйше васъ благодарю! И признаюсь, мнѣ надо отдохнуть: я такъ усталъ! У тетушки обѣдалъ Зоринъ, и я имѣлъ дурачество съ нимъ сѣсть въ карты. Ахъ, какой злодѣй! Полчаса думаетъ, полчаса держится за карту, двадцать разъ ее мѣняетъ,—измучилъ!

Холминъ. А что вы сдѣлали?

Вельскій. Проигралъ.

Холминъ. Немного?

Вельскій. Бездѣлицу! Рублей полтораста или двѣсти,—не помню.

Холминъ. Вы, кажется, всегда проигрываете?

Вельскій. Почти.

Холминъ. Такъ зачѣмъ вы играете?

Вельскій. А что жъ прикажете мнѣ дѣлать? У насъ въ провинціи, если васъ не посадятъ за карты, такъ смѣю спросить, какъ вы проведете вашъ день? Говорить? О чемъ? Съ кѣмъ? Съ Хапровой, что ея горничная дѣвушка свела любовную связь съ вице-губернаторскимъ лакеемъ; съ Елецкимъ, что у него взбѣсился борзый кобель и перекусалъ всю стаю; съ губернскимъ докторомъ Ѳомою Ѳомичемъ фонъ-Дахомъ, что онъ дѣлаетъ изъ своего табаку отличный кнастеръ; съ Вельдизевой, что у нея сманили третью мадамъ... Конечно, все это имѣетъ свою забавную сторону—въ первые три дня, но круглый годъ и всякій день одно и то же!.. Нѣтъ, Николай Ивановичъ! Холостому человѣку невозможно жить въ провинціи, а если ему придется, по своимъ обстоятельствамъ, заживо схоронить себя въ какомъ-нибудь губернскомъ городѣ.., то онъ долженъ непремѣнно...

Холминъ. Жениться? Не правда ли?

Вельскій. Разумѣется. Расчетъ самый вѣрный: съ хорошей женой ему будетъ весело и дома, съ дурной онъ станетъ безпрестанно ссориться, слѣдовательно, во всякомъ случаѣ не умретъ отъ этой проклятой скуки, которая душитъ меня съ утра до вечера.

Холминъ. Такъ что жъ, Иванъ Ѳедоровичъ, лѣкарство у васъ, кажется, подъ руками.

Вельскій (*значительно улыбаясь*). Вы думаете?

Холминъ. Да мало ли у насъ невѣстъ? Вотъ, напримѣръ, Катерина Ѳедоровна Радугина: восемнадцать лѣтъ, собой недурна, воспитана...

Вельскій. Прекрасно! Двухъ словъ не умѣетъ сказать съ-ряду, и одѣвается, какъ прачка. Помилуйте! Да ее стыдно будетъ въ люди показать.

Холминъ. Я думаю, вы не скажете этого о Катенькѣ Ладиной.

Вельскій. Да! Она довольно мила, но за то... послушайте! я не хлопочу о богатствѣ... однако жъ...

Холминъ. Понимаю! Такъ вамъ бы жениться на дочери нашего виннаго заводчика Расторгуева. Конечно, Степанида Алексѣевна не красавица...

Вельскій. Что вы? Что вы? Да развѣ мой домъ кунсткамера?.. Расторгуева! Побойтесь Бога! Да ее можно водить по ярмаркамъ да за деньги показывать.

Холминъ. Ну вотъ то-то и есть! На васъ не угодишь.

Вельскій. Да вы Богъ знаетъ кого называете.

Холминъ. Какъ, Богъ знаетъ? Я назвалъ вамъ первыхъ здѣшнихъ невѣстъ.

Вельскій. А для чего же вы ни слова не говорите о вашей крестницѣ?

Холминъ. О Варенькѣ?

Вельскій. Да, о Варварѣ Николаевнѣ.

Холминъ. Для того, что одна дѣвушка, не можетъ быть невѣстою двухъ жениховъ.

Вельскій. Двухъ женихов? Что вы хотите сказать?

Холминъ. Не прогнѣвайтесь — это еще покамѣстъ семейная тайна; по-настоящему, мнѣ бы не должно было и намекать объ этомъ.

Вельскій. Ахъ, сдѣлайте милость!..

Холминъ. Послушайте, Иванъ Ѳедоровичъ. Я могу вамъ сказать только одно, и то подъ большимъ секретомъ: не сватайтесь за мою крестницу,—она почти помолвлена.

Вельскій. За кого?

Холминъ. Извините! Этого не могу вамъ сказать.

Вельскій. Вы меня удивляете! Третьяго дня тетушка говорила обо мнѣ съ Анной Степановной, и она не только не отказала, но даже подала большую надежду.

Холминъ. Что вы говорите?

Вельскій. Увѣряю васъ.

Холминъ. Ну, это не хорошо! Очень нехорошо!.. Эхъ Анна Степановна! Вѣчно надѣлаетъ глупостей. Ну, прилично ли заводить, дурачить?

Вельскій (*приподымаясь невольно съ кресель*). Дурачить?.. Меня?.. Да нѣтъ, это невозможно. (*Садится опять*).

Холминъ. Со мною хитрить ей нечего; такъ воля ваша—мнѣ кажется, она дурачитъ васъ.

Вельскій (*вскочивъ*). Меня? O! cesi est trop fort! Я не люблю, чтобъ меня дурачили женщины и помоложе Анны Степановны. Впрочемъ я, во всякомъ случаѣ, благодаренъ, что вы мнѣ это сказали.

Холминъ. Постойте, постойте! Что вы хотите дѣлать?

Вельскій. Не безпокойтесь,— я васъ не скомпрометирую. Но сегодя же эта статская совѣтница скажетъ мнѣ рѣшительно: принимаетъ ли мое предложеніе или нѣтъ. И если для того, чтобъ продолжать грабить свою падчерицу, она станетъ отдѣлываться отъ рѣшительнаго отзыва, то дядя мой, какъ начальникъ губерніи, и безъ сомнѣнія, нашъ предводитель дворянства вступятся въ положеніе этой несчастной сироты, тѣмъ болѣе, что я имѣю право думать, что мои исканія не противны Варварѣ Николаевнѣ...

Холминъ. Въ самомъ дѣлѣ?

Вельскій. Да, да! Я имѣю этому доказальства. Недѣли три тому назадъ, мой дядя давалъ балъ и пріѣхалъ поздно, потому что долженъ былъ завернуть къ Александру Михайловичу Тонскому, вотъ къ этому гусарскому офицеру—вы, кажется, его знаете?

Холминъ. Да, немного.

Вельскій. Онъ также приглашенъ былъ на балъ и просилъ меня заѣхать за нимъ въ моей каретѣ. Тетушка разсказывала мнѣ послѣ все. До моего пріѣзда на балъ, ваша крестница была печальна, задумчива, разсѣянна, безпрестанно смотрѣла на двери и какъ будто-бы дожидалась кого-нибудь, но лишь только я показался на балѣ, то она въ ту же минуту стала весела, разговорчива, словомъ, совершенно переродилась. Смѣю спросить что это значитъ?

Холминъ. О, это явное предпочтеніе.

Вельскій. Когда я сталъ въ первый разъ говорить ей о любви моей, такъ она поблѣднѣла и до того смѣшалась, что не могла отвѣчать ни слова. Конечно, не всякій постигнетъ настоящую причину этого испуга, но тотъ, кто имѣетъ нѣкоторый опытъ, кто успѣлъ уже разгадать женское сердце, тотъ безъ труда пойметъ, что значитъ такая необычайная робость.

Холминъ. Ну, Иванъ Ѳедоровичъ, исполать вамъ! Да, я вижу, вы настоящій профессоръ въ этомъ дѣлѣ.

Вельскій (*улыбаясь съ гордостію*). Опытъ, Николай Ивановичъ, опытъ! Женщины имѣли всегда такое сильное вліяніе на судьбу мою, въ жизни моей было столько необычайныхъ случаевъ... Да вы вѣрно знаете французскую пословицу: la a force de forger...

Холминъ. Какъ не знать!

Вельскій. Прощайте, покамѣстъ! Я надѣюсь сегодня увидѣть васъ и Анну Степановну у княгини Ландышевой?

Холминъ. Да, мы тамъ будемъ.

Вельскій. Итакъ, до свиданія.

Холминъ. Только сдѣлайте милость, если у васъ дойдетъ до какого-нибудь изъясненія, прошу васъ, чтобъ я былъ совершенно въ сторонѣ.

Вельскій. Не безпокойтесь,—я комеражей не люблю. (*Идетъ и встрѣчается въ дверяхъ съ Зоринымъ*).

ЯВЛЕНІЕ ПЯТОЕ.

Тѣ же и Зоринъ.

Зоринъ (*кланяясь Вельскому*). Честь имѣю... (*Вельскій откланивается и уходитъ*).

Холминъ. Здравствуйте, Алексѣй Андреевичъ.

Зоринъ. А, почтеннѣйшій!.. Какими судьбами? Я думалъ, что васъ нѣтъ и въ городѣ?

Холминъ. Да, я недавно пріѣхалъ изъ деревни. Прошу покорно. (*Садятся*).

Зоринъ. Гдѣ жъ Анна Степановна?..

Холминъ. Она ѣдетъ съ визитами и не можетъ теперь васъ принять.

Зоринъ. А я было зашелъ потолковать о ея дѣльцѣ.

Холминъ. Ну, что? Какъ поживаете?

Зоринъ. Плохо, батюшка, Николай Ивановичъ, плохо! Когда хозяйки нѣтъ въ домѣ, такъ какое житье!

Холминъ. Хозяйки нѣтъ, — такъ что жъ! Вы, Алексѣй Андреевичъ, не въ такихъ еще годахъ, чтобъ вамъ оставаться вдовцомъ. Я думаю, вамъ и пятидесяти нѣтъ.

Зоринъ. Да, съ небольшимъ.

Холминъ. Такъ за чѣмъ же дѣло стало, неужели за невѣстою?

Зоринъ (*улыбаясь*). Невѣста, быть можетъ, найдется.

Холминъ. Вотъ что? Поздравляю! А кто, если смѣю спросить?

Зоринъ. Полноте, почтеннѣйшій! Полноте подшучивать! Чай, вы давнымъ-давно знаете.

Холминъ. Право, нѣтъ.

Зоринъ. Да перестаньте! Какъ вамъ не знать,—вы у нихъ человѣкъ свой.

Холминъ. У кого, Алексѣй Андреевичъ?

Зоринъ. Да хоть у Анны Степановны.

Холминъ. Слукиной... Такъ вы на ней хотите жениться?

Зоринъ. И, нѣтъ, батюшка! Что ей за охота идти замужъ... Вотъ дѣло другое, дѣвица безродная, безъ отца, безъ матери...

Холминъ. Какъ?.. Такъ дѣло-то идетъ о моей крестной дочери?

Зоринъ. Что жъ вы этому такъ удивились, Николай Ивановичъ? Конечно, мы съ ней не ровни...

Холминъ. И, что вы? Не о лѣтахъ рѣчь; по мнѣ, чѣмъ старѣе мужъ, тѣмъ лучше. Да *нечего ждать путнаго*, если бы такой ребенокъ, какъ Варенька, вышла за какого-нибудь мальчишку.

Зоринъ. Конечно, конечно!

Холминъ. Когда дѣвушка, по сиротству, выходитъ прежде двадцати лѣтъ замужъ, такъ ей надобенъ мужъ, не вѣтрогонъ, не мальчикъ какой-нибудь, а человѣкъ зрѣлыхъ лѣтъ, опытный и благоразумный.

Зоринъ. Совершенная правда.

Холминъ. Хороши мужъ и жена, которые оба еще въ куклы играютъ! Вѣдь страсть—пустое дѣло, Алексѣй Андреевичъ; и къ молодому, и къ старому мужу приглядимся; любовь пройдетъ, а дружба и уваженіе остаются.

Зоринъ. Правда, истинная правда!

Холминъ. Нѣтъ, батюшка! Я знаю, какой мужъ ей надобенъ: человѣкъ умный (*Зоринъ кланяется*), солидный (*Зоринъ кланяется*), который не станетъ учиться у другихъ, а самъ поучитъ, какъ домъ вести (*Зоринъ кланяется*), который ея приданаго не промотаетъ, да и своего имѣнія не проживетъ.

Зоринъ. Да!

Холминъ. Который можетъ быть, въ одно и то же время, ея супругомъ и наставникомъ, по милости котораго жена будетъ занимать не послѣднее мѣсто въ губерніи; однимъ словомъ, такой мужъ, какъ вы, Алексѣй Андреевичъ!

Зоринъ. Помилуйте!.. Мнѣ, право, и совѣстно!.. Итакъ, вы не прочь отъ этого?

Холминъ. Кто, я? Да если бъ это отъ меня зависѣло, такъ я и думать не сталъ. Но вы знаете, что ея мачиха...

Зоринъ (*улыбаясь*). Съ ней-то мы какъ-нибудь поладимъ.

Холминъ. Право? А что, развѣ ужъ объ этомъ рѣчь была?

Зоринъ. Какъ же; сначала мы говорили все обиняками, да намеки другъ другу дѣлали; третьяго-дня пришлось какъ-то къ слову, такъ я просто напрямки сказалъ.

Холминъ. Ну, что же она?

Зоринъ. Почти слово дала, просила только пообождать и до времени не говорить никому.

Холминъ. Вотъ что!.. Ай да Анна Степановна! Ну!!!

Зоринъ. А что такое?

Холминъ. Такъ, ничего!.. Что мнѣ въ эти вздоры мѣшаться. Когда онѣ отъ меня секретничаютъ да не хотятъ со мною посовѣтоваться, такъ мое дѣло сторона.

Зоринъ. Да что жъ вы такое знаете?

Холминъ. Что я знаю?.. (*Помолчавъ нѣсколько времени и оглядываясь*). Послушайте, Алексѣй Андреевичъ! Мнѣ васъ учить нечего, а на вашемъ мѣстѣ я зналъ бы, какъ поступить. Всѣ эти секреты да отсрочки ни къ чему не ведутъ. Я настоятельно бы сталъ требовать помолвки, да не по-домашнему, а публично, торжественно, что бъ весь городъ зналъ, что вы женитесь на Варенькѣ. И мальчишкѣ лѣтъ въ двадцать остаться съ но-

сомъ вовсе не забавно, а какъ нашему брату, пожилому человѣку, забрѣютъ затылокъ — такъ признаюсь...

Зоринъ. Забрѣютъ затылокъ? Такъ вы полагаете, что Анна Степановна изволитъ надо мной потѣшаться?

Холминъ. Я не говорю этого; и какъ подумаю, такъ на что бы, кажется, ей васъ обманывать?.. Э!.. Постойте-ка! Вѣдь у нея есть тяжебное дѣло, и если оно должно скоро рѣшиться...

Зоринъ. Ну, нѣтъ еще! Очередь не за нимъ... А позвольте васъ спросить: развѣ у нея есть еще какіе-нибудь женишки на примѣтѣ?

Холминъ. Женихи?.. Да въ нашемъ городѣ, кажется, жениховъ довольно. Вотъ хоть Иванъ Ѳедоровичъ Вельскій...

Зоринъ. Э, э, э! Губернаторскій племянникъ?

Холминъ. Да этого также обракуютъ (*Понизивъ голосъ*). А развѣ князь Владиміръ Ивановичъ...

Зоринъ. О, о!.. Вотъ что! Такъ и онъ также сватался за Варвару Николаевну.

Холминъ (*улыбаясь*). Не знаю.

Зоринъ. Ну, если такъ, то позвольте же, Николай Ивановичъ! И подлинно, это дѣло надо привести въ ясность.

Холминъ. Однако жъ, смотрите, не выдайте меня.

Зоринъ. Не безпокойтесь!

Холминъ. Ну то-то же! Пожалуйста, что бъ это осталось между нами.

Зоринъ. Да ужъ будьте увѣрены: тутъ и умерло.

Холминъ. Правду сказать, мнѣ бы вовсе не слѣдъ мѣшаться въ эти сплетни; да и что мнѣ пришло въ голову?.. Вотъ то-то и есть: языкъ мой—врагъ мой!..

Зоринъ (*вставая*). Не бойтесь, Николай Ивановичъ! Мы—люди присяжные, молчать умѣемъ. Да сдѣлайте милость, заверните когда-нибудь! Я до двѣнадцати часовъ всегда дома.

Холминъ. Съ большимъ удовольствіемъ.

Зоринъ. Прошу покорно! Часикъ, другой побесѣдуемъ. Закусимъ, чѣмъ Богъ послалъ, а тамъ отвѣдаемъ донского, выпьемъ рюмочку мадеры...

Холминъ. Я очень скоро буду имѣть это удовольствіе.

Зоринъ. Итакъ, до свиданья!.. Честь имѣю кланяться!

Холминъ. Прощайте, Алексѣй Андреевичъ!.. Да смотрите же!..

Зоринъ. Ужъ я вамъ сказалъ,—не безпокойтесь!.. (*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ ШЕСТОЕ.

Холминъ одинъ.

Холминъ. Ну!.. И этотъ готовъ!.. Теперь надобно приняться за князя Владиміра Ивановича. (*Уходитъ*).

ДѢЙСТВІЕ ВТОРОЕ.

Театръ представляетъ довольно богатую гостиную комнату; съ правой и съ лѣвой стороны по одной двери; въ глубинѣ театра трое дверей. Нѣсколько раскинутыхъ ломберныхъ столовъ съ приготовленными картами и свѣчами; на авансценѣ вольтеровскія кресла, подлѣ которыхъ круглый столъ; на столѣ лежатъ книги.

ЯВЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

Князь Верхоглядовъ и мальчикъ лѣтъ тринадцати. (*Князь сидитъ въ вольтеровскихъ креслахъ, мальчикъ стоитъ противъ него на колѣняхъ. Князь держитъ въ одной рукѣ исписанный листъ бумаги, а въ другой хлыстъ*). Холминъ (*входитъ съ правой стороны и, не замѣченный княземъ, останавливается на порогѣ*).

Князь. Глупое созданье! Алеутъ, камчадалъ безмозглый! Ничего не понимаетъ! Да я вколочу въ тебя просвѣщеніе! Мало ли я толковалъ тебѣ о достоинствѣ человѣка, животное! Ну, что такое человѣкъ?

Мальчикъ. Человѣкъ есть твореніе самобытное...

Князь. Слѣдовательно, никто не имѣетъ права посягать на его личность... Ну!

Мальчикъ. На его личность... и всякій, подобный ему...

Князь. Обязанъ обходиться съ нимъ... Ну!

Мальчикъ. Обходиться съ нимъ...

Князь (*бьетъ его хлыстикомъ*). Кротко и сердобольно!

Мальчикъ. Ай, ай, ай!.. Больно, больно!

Холминъ (*входитъ*). Что это вы, князь Владиміръ Ивановичъ, какую науку преподаете?

Князь (*вставая*). Ахъ, это вы, Николай Ивановичъ?

Холминъ. Извините, я вошелъ къ вамъ безъ доклада; въ лакейской никого нѣтъ.

Князь. Вѣрно всѣ въ залѣ. (*Мальчику*). Пошелъ, дуракъ, въ лакейскую! (*Мальчикъ уходитъ*). Сегодня моя кузина, княгиня Ландышева, даетъ здѣсь балъ.

Холминъ. Я это знаю.

Князь. Теперь еще рано, такъ я отъ нечего дѣлать занялся этимъ мальчикомъ—сынъ моего приказчика; хочу сдѣлать изъ него че-

ловѣка. Да прошу покорно садиться. Моя кузина еще не пріѣхала, такъ, покамѣстъ, я здѣсь хозяиномъ... вы вѣрно приглашены на балъ?

Холминъ. Княгиня сдѣлала мнѣ эту честь.

Князь. Ну что? Не слыхали ли чего-нибудь новаго? Правда ли, что въ Петербургѣ начинаютъ входить въ большое употребленіе артезіанскіе колодцы?

Холминъ. Нѣтъ, не слыхалъ. Да и для чего бы это?

Князь. Какой вопросъ! Помилуйте, Николай Ивановичъ! Да будемъ ли мы когда-нибудь европейцами?

Холминъ (*улыбаясь*). А развѣ европеецъ долженъ непремѣнно пить воду изъ артезіанскаго колодца?

Князь. О, святая Русь! Да неужели вы не постигаете, что отвергать всѣ улучшенія, держаться во всемъ старины, стоять на одномъ мѣстѣ, когда вся Европа идетъ впередъ—есть самый вѣрный признакъ варварства!

Холминъ. Нѣтъ, князь, я постигаю, что хорошее перенимать вовсе не стыдно, да только вотъ бѣда, не все хорошее равно хорошо для всѣхъ перенимать, не думая о томъ: полезна ли будетъ эта новость собственно для насъ; передразнивать иностранцевъ только для того, чтобъ сказать: «я иду за вѣкомъ, я европеецъ!»—воля ваша, а это, по мнѣ, просто пускать пыль въ глаза и увлекаться однѣми фразами и громкими словами, которыя, конечно, имѣютъ свою цѣну послѣ сытнаго обѣда и рюмки шампанскаго, но на тощій желудокъ никуда не годятся.

Князь. Да почему же вы полагаете, что, хоть напримѣръ, введеніе артезіанскихъ колодцевъ...

Холминъ. Чрезвычайно будетъ полезно въ степныхъ и безводныхъ мѣстахъ; въ этомъ, конечно, съ вами никто спорить не станетъ, но въ Петербургѣ, подчасъ отъ воды не знаютъ куда дѣваться, — смѣю васъ спросить—какую пользу?..

Князь. Пользу, пользу!.. Вы только и думаете о пользѣ! Да знаете ли, сударь, что эти-то меркантильные разсчеты и убиваютъ все на свѣтѣ. Прошу говорить о просвѣщеніи и высшихъ взглядахъ съ людьми, которые считаютъ копейки!.. Нѣтъ, почтенный Николай Ивановичъ! Вы человѣкъ умный, съ познаніями, много читали, но, несмотря на это, признайтесь—вы очень отстали отъ нашего вѣка.

Холминъ (*усмѣхаясь*). Статься можетъ, князь, я человѣкъ пожилой, бѣгать не мастеръ, да и боюсь: какъ разъ спотыкнешься.

Князь. Мы этого не боимся.

Холминъ. И, полноте, князь, будто бы *вы никогда* и ни въ чемъ не ошибались? *Несмотря на премудрость* и глубину нашего вѣка мы точно такъ же какъ прежде, рабы своихъ страстей, слѣдовательно, ошибаемся, дѣлаемъ глупости и всегда возстаемъ противъ здраваго смысла, если онъ противорѣчитъ нашему образу мыслей. Въ старину, закоренѣлые невѣжды называли благоразумнаго человѣка вольнодумцемъ, а нынче его же и, можетъ быть, тѣ же самые люди назовутъ старовѣромъ, отсталымъ и варваромъ. Нѣтъ, Владиміръ Ивановичъ, люди всегда останутся людьми. Да одна любовь сколько глупостей заставляетъ насъ дѣлать, не только въ молодости, но и въ годахъ зрѣлаго разсудка; и если, князь, вы когда-нибудь любили...

Князь. Я?.. Если я любилъ?.. И вы это спрашиваете у меня!

Холминъ. Ого! Да вы кажется, и теперь еще любите?..

Князь. Съ безуміемъ, съ неистовствомъ!..

Холминъ. Ай, ай, ай!..

Князь. Какъ Ромео—любилъ свою Джуліету, какъ Дюмасовъ Антоній свою... свою...

Холминъ. Невѣсту?

Князь. Нѣтъ жену другого.

Холминъ. Ахъ, батюшка! Да неужели и вы также?..

Князь (*почти съ горемъ*). Ахъ, нѣтъ! Она свободна.

Холминъ. Слава Богу!.. Да кто же эта красавица, которая, какъ видно, къ крайнему вашему прискорбію, можетъ законнымъ образомъ принадлежать вамъ?

Князь. Кто она?.. Это фантастическое созданіе пламеннаго юга! Это полувоздушная пери! Это сильфида!.. О, какъ она прекрасна! Какое блаженство льется изъ подъ ея сладостно опущенныхъ рѣсницъ... она... да неужели вы не отгадали, о комъ я говорю?

Холминъ. Нѣтъ, князь, это піитическое описаніе вовсе меня съ толку сбило.

Князь. Виноватъ! Я позабылъ, что вашъ идеалъ красоты не можетъ быть сходенъ съ моимъ — вы человѣкъ русскій! По вашему, была бы только бѣла, да дородна, да румянецъ во всю щеку; а такъ какъ ваша крестная дочь блѣдна и худощава...

Холминъ. А! Такъ вы говорите о Варенькѣ?

Князь. Да о комъ же, Николай Ивановичъ? Кого могъ бы я назвать сильфидою.

Холминъ. Вотъ что? Вѣроятно, и вы, князь, ей также нравитесь?

Князь. О, мы давно уже понимаемъ другъ друга! Съ мѣсяцъ тому назадъ я пріѣхалъ поутру къ Аннѣ Степановнѣ; въ гостиной никого не было, но на столѣ лежало рукодѣлье и бѣлый платокъ; онъ былъ смоченъ, вымытъ слезами; этотъ платокъ былъ ея! Я невольно прижалъ его къ груди, и чувство сладостное и горькое, чувство вовсе до того мнѣ незнакомое — какъ дикій звѣрь впилось въ мое сердце. О, сколько поэзіи

было въ этомъ брошенномъ платкѣ: этотъ платокъ былъ цѣлая поэма! Она вошла въ гостиную, наши взоры встрѣтились, и все было кончено.

Холминъ. Такъ вы даже и не говорили съ ней объ этомъ?

Князь. Нѣтъ, одинъ взглядъ сказалъ мнѣ все; я прочелъ въ немъ — и настоящій адъ ея положенія, и будущій рай моего блаженства. Мнѣ нужно только переговорить съ ея мачихою, тутъ земной языкъ былъ необходимъ; мы съ ней поладили, а можетъ быть, недѣли черезъ двѣ вы поздравите меня женихомъ вашей крестной дочери.

Холминъ. Отъ всего сердца. Но зачѣмъ же черезъ двѣ недѣли? Зачѣмъ не прежде?

Князь. Нѣтъ, ужъ объ этомъ меня не спрашивайте. Анна Степановна никакъ не хотѣла согласиться на мои просьбы и даже требовала, чтобъ я отъ всѣхъ скрывалъ это, какъ государственную тайну.

Холминъ. Право?.. Послушайте, князь, дѣлайте все, что хотите, но, по моему, чѣмъ скорѣе будетъ вашъ сговоръ съ Варенькою, тѣмъ лучше...

Князь. Вы думаете?

Холминъ. Имѣю полное право такъ думать. Отвѣчайте откровенно, какъ вы полагаете: выдавая за васъ свою падчерицу, что имѣетъ въ виду Анна Степановна: ея счастіе или собственную свою выгоду? Да не церемоньтесь, говорите прямо!

Князь. Ну, если вы хотите, такъ я думаю, что дѣло идетъ вовсе не о счастіи вашей крестной дочери.

Холминъ. Вотъ видите. Вы теперь поладили съ Анной Степановной, а если кто другой поладитъ съ ней еще болѣе?.. Вы меня понимаете?

Князь. Понимаю, но развѣ вы имѣете причины подозрѣвать, что кто-нибудь другой...

Холминъ. Я не скажу вамъ ничего, только не совѣтую соглашаться ни на какую отсрочку. Эй, князь, куйте желѣзо, пока оно горячо! Вы не знаете Анны Степановны: она готова объявить торги и съ аукціона продать свою падчерицу.

Князь. Что вы говорите?

Холминъ. То, что внушаетъ въ меня искреннее желаніе выдать мою крестную дочь за человѣка, который ея достоинъ, и за которымъ она, вѣрно, будетъ счастлива.

Князь. Мнѣ чрезвычайно пріятно слышать, Николай Ивановичъ... Я вамъ очень благодаренъ.

Холминъ. Не безпокойтесь, князь,—вамъ, право, не за что меня благодарить.

Князь. Такъ вы полагаете, что необходимо...

Холминъ. Настоятельно требовать, чтобъ все было рѣшено какъ можно скорѣе, да оно, впрочемъ, и натурально: вы сами говорите, что любите безъ ума Вареньку, а любовь всегда нетерпѣлива; это знаютъ всѣ, это поймете даже и Анна Степановна. Вѣдь всякій изъ насъ любилъ хоть разъ въ своей жизни.

Князь. Любилъ! И, полноте! Да знаютъ ли у насъ, что такое любовь?.. Можемъ ли мы, воспитанные на русскомъ квасѣ, понимать это чувство, исполненное жизни и энергіи? Взгляните на изображеніе этой неукротимой страсти во всѣхъ произведеніяхъ юной европейской словесности, и если дыханіе не сопрется въ груди вашей, если волосы ваши не станутъ дыбомъ, если вы не постигнете всю прелесть этихъ судорожныхъ восторговъ, этихъ неистовыхъ порывовъ страсти, этой адской пытки и райскаго наслажденія, то сдѣлайте милость, Николай Ивановичъ, кушайте на здоровье ваши соленые огурцы, живите двѣ трети года по уши въ снѣгу, заведитесь, если хотите, хозяйкою, только, Бога ради, не говорите ничего о любви.

Холминъ (*улыбаясь*). Слушаю, ваше сіятельство. Впрочемъ, если за мои грѣхи Господь Богъ пошлетъ на меня горячку съ пятнами, такъ, можетъ быть, тогда и я...

Князь (*почти съ презрѣніемъ*). Не будемте говорить объ этомъ. Постойте! Кажется, подъѣхала карета... вѣрно княгиня! Вотъ женщина, съ которой еще можно провести безъ скуки нѣсколько часовъ: не правда ли, что она вовсе не походитъ на нашу русскую барыню?

Холминъ (*усмѣхаясь*). А мнѣ такъ кажется, что очень походитъ.

Князь. Я слышу ея голосъ... извините! Мнѣ надобно надѣть фракъ... Да не угодно ли и вамъ ко мнѣ въ кабинетъ: вы ей помѣшаете хозяйничать.

Холминъ. Съ большимъ удовольствіемъ. (*Уходятъ налѣво; всѣ три среднія двери отворяются; за ними видна ярко освѣщенная комната*).

ЯВЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

Княгиня Ландышева, Гореглядова и слуги.

Княгиня (*выходя изъ среднихъ дверей и обращаясь къ слугамъ*). Теперь ступайте скорѣй и зажигайте въ залѣ люстру; сюда поставить два канделябра!.. Кажется, мы не опоздали. Да гдѣ же князь?

Гореглядова. Вѣрно, одѣвается; вѣдь онъ долженъ сюда явиться, какъ гость.

Княгиня. Сядемъ, ma chère! Мы еще успѣемъ устать объ.

Гореглядова (*садясь въ вольтеровскія кресла*). Ахъ, какъ покойно...

Княгиня. Да, мой кузенъ любитъ, чтобъ у него было все комфортабельно.

Гореглядова (*беретъ со стола книгу*). Что это за книга?.. «Сцены изъ приватной жизни», сочиненіе Бальзака.

Княгиня. Я что-то объ нихъ слышала отъ князя.

Гореглядова. Онъ хвалитъ ихъ?

Княгиня. Да! Ну, ужъ, вѣрно, онѣ не такъ интересны, какъ романы милаго Дарленкура... Помнишь «Пустынникъ»!.. Ахъ!.. Fuis, fleur da la vallée! О, Дарленкуръ!

Гореглядова. Мнѣ помнится, я читала въ какомъ-то русскомъ журналѣ, что этотъ Бальзакъ..

Княгиня. И, ma chere!.. Что такое Бальзакъ, Бальзакъ!.. Да вѣдь это старый писатель, я еще ребенкомъ слыхала о немъ отъ нашего французскаго учителя... Вотъ Дарленкуръ... ахъ, какъ онъ милъ!.. Fuis, fleur!..

Слуга. Ольга Дмитріевна Зарѣцкая, наша пріѣзжая изъ Москвы.

Княгиня. Ольга Дмитріевна! (*Идетъ къ ней навстрѣчу*).

ЯВЛЕНІЕ ТРЕТЬЕ.

Тѣ же и Зарѣцкая.

Княгиня. Ахъ, Ольга Дмитріевна, какъ я рада, что вы опять съ нами. (*Цѣлуются*). Прошу покорно садиться. (*Всѣ садятся*).

Зарѣцкая. Ну что, здоровы-ли вы, княгиня?

Княгиня. Слава Богу!.. Ахъ, ma chère! Какіе у васъ чудные рукава!.. Какъ это мило!..

Зарѣцкая. Да, это самая послѣдняя мода. Мадамъ Лебуръ поклялась мнѣ, что этимъ фасономъ первое платье сдѣлано для меня.

Гореглядова. Ахъ, какъ хорошо!

Княгиня. Прелесть!..

Гореглядова. А косынка? Посмотри, ma chère!

Зарѣцкая. Ихъ только что привезли изъ Парижа—это...

Княгиня. Comme c'est bisarre!

Гореглядова. Ну, что скажете? Вы очень веселились въ Москвѣ?

Зарѣцкая. О, не говорите мнѣ, я умирала съ тоски.

Княгиня. Неужели?

Зарѣцкая. Ахъ, княгиня, что за общество, что за тонъ! Я вообразить себѣ не могла, чтобъ въ городѣ, который называется столицею, было такъ мало образованности; одни варварскія названія улицъ выведутъ всякаго изъ терпѣнія! Напримѣръ: я остановилась у моей родственницы, въ собственномъ ея домѣ... Какъ вы думаете, гдѣ?.. на Плющихѣ!!!

Княгиня. На Плющихѣ?.. Dieu comme c'est vulgaire.

Зарѣцкая. А какъ живутъ, ma chère! Вотъ однажды пригласили меня на балъ въ одинъ домъ, помнится, за Москвой рѣкой на *Зацѣпѣ*.

Гореглядова. Боже мой, какія тривіяльныя названія!

Княгиня. Согласитесь, что это можетъ быть только у насъ.

Зарѣцкая. И только въ Москвѣ. Вотъ мы ѣхали, ѣхали какими-то огородами... Крымскимъ бродомъ... Ужасть!.. И что жъ вы думаете нашли мы на этомъ балѣ?.. Хозяйку, которая заговорила съ нами по русски, голыя стѣны и сальныя свѣчи въ запачканныхъ хрустальныхъ люстрахъ.

Княгиня. Нѣтъ, шутите?

Зарѣцкая. Увѣряю васъ!.. Теперь вы можете судить, какъ живутъ въ Москвѣ. Въ благородномъ собраніи я была только однажды на масляницѣ. Зало не дурна, но что за лица? Ни одного знакомаго. Молодые люди ходятъ взадъ и впередъ, никто ни обращаетъ на васъ никакого вниманія, и если вы не хотите сидѣть на скамейкѣ, то ужъ, конечно, не догадаются подать вамъ стулъ; я это испытала на себѣ.

Княгиня. А театръ, ma chere?

Зарѣцкая. Французскій хорошъ, но русскій!.. Что за актеры! Какія названія у этихъ актеровъ!.. Щепкинъ, Рѣпина! Ну, повѣрите-ли, тошно слышать! А какъ играютъ! Меня уговорили однажды посмотрѣть какую-то оперу, кажется «Волшебнаго Стрѣлка». Ну, ma chere! Признаюсь, мнѣ стало стыдно, что я русская!.. Но это еще ничего; подлѣ меня въ ложѣ какой-то господинъ началъ говорить съ своими дамами, самымъ безстыднымъ образомъ хвалить все, и даже увѣрять, что онъ видѣлъ эту оперу въ Вѣнѣ, и что она дается тамъ не лучше, чѣмъ въ Москвѣ,—какъ вы думаете! Эти дамы, которыя, впрочемъ, были одѣты недурно и, казалось, принадлежали къ хорошему обществу, слушали его, какъ оракула. Такое невѣжество вывело меня совершенно изъ терпѣнія, и чтобъ показать этому господину, какъ мнѣ гадко было слушать его наглую ложь, я вскочила, накинула шаль и тотчасъ уѣхала изъ театра.

Княгиня. Признаюсь, и я бъ на вашемъ мѣстѣ не усидѣла бы спокойно.

Гореглядова. Вы меня удивляете, Ольга Дмитріевна! Такое варварство! И гдѣ жъ? Въ столицѣ!

Княгиня. И, ma chère! Чему тутъ удивляться? Да развѣ прошлаго года не были у насъ пріѣзжіе изъ Москвы? Помните этого князя Брянскаго и еще какого-то ученаго? Ну, вотъ этихъ, надъ которыми мы такъ смѣялись, когда они объявили преважно, что путешествуютъ по Россіи! Они не хотѣли сблизиться съ нашимъ кругомъ, а съ кѣмъ были знакомы? Съ Волгиными, съ Дубровинымъ, съ Закаменскимъ, съ этимъ педантомъ Холминымъ, — помните, что они говорили: «Вотъ почтенные люди! Вотъ настоящіе русскіе дворяне! Вотъ истинно просвѣщенные помѣщики!» Просвѣщенные!.. А

первый Дубровинъ говоритъ по-французски такъ, что безъ смѣха нельзя слышать.

Зарѣцкая. Ну, ma chère, я въ Москвѣ видѣла двухъ англичанъ-вояжеровъ, которые еще больше Дубровина коверкаютъ несчастный французскій языкъ.

Княгиня. И, ma bonne amie! Да зато они прекрасно говорятъ по-англійски.

Гореглядова (*Зарѣцкой*). Я вижу, ma chère, намъ нечего перенимать у Москвы.

Зарѣцкая. Намъ перенимать?.. Помилуйте! Не мы у Москвы,—Москва должна перенимать у насъ.

Княгиня. Да, да! Не мѣшало бы ей здѣсь поучиться хорошему тону и спросить у насъ, что значитъ образованный вкусъ.

Зарѣцкая (*которая взяла между тѣмъ со стола книгу*). Ахъ, Боже мой!.. Бальзакъ!

Княгиня. Вы читали его?

Зарѣцкая. Бальзака? Какой вопросъ?.. Вся Москва отъ него безъ ума.

Гореглядова. Неужели?

Княгиня. Однако жъ, вѣрно, Дарленкуръ...

Зарѣцкая. Фи, ma chère! Что вы говорите? Дарленкуръ!.. Да его ужъ никто не читаетъ; всѣ надъ нимъ смѣются... Но Бальзакъ... Ахъ, Бальзакъ! Въ Москвѣ нѣтъ ни одной порядочной женщины, которая не знала бы его наизустъ.

Княгиня. Въ самомъ дѣлѣ?

Зарѣцкая. Да, ma chère. На масленицѣ я была въ благородномъ собраніи: кто-то сказалъ, что Бальзакъ въ Москвѣ, потомъ стали говорить, что онъ въ собраніи,—Боже мой, какъ всѣ дамы засуетились, какая пошла тревога, шумъ, разспросы, и одного молодого человѣка, который съ виду походилъ на француза, совсѣмъ было задушили; къ счастью, онъ заговорилъ по-русски: это его спасло.

Гореглядова (*княгинѣ*). Ахъ, ma chère, пожалуйста, возьмите у князя эти книги.

Княгиня. Да, да, ma bonne amie! Мы прочтемъ ихъ вмѣстѣ. Но вотъ, кажется, Радугина!.. Такъ точно!

ЯВЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Тѣ же и гости (*которые входятъ одни за другими. Мужчины раскланиваются, а дамы цѣлуются съ княгинею*).

Княгиня (*встрѣчая*). А! Софья Степановна!.. Ѳедосья Степановна!.. Максимъ Ивановичъ!.. Кирила Семеновичъ!.. (*Гореглядовой*). Похлопочи, ma chère, раздай карточки. (*Гореглядова составляетъ партіи и разсаживаетъ за ломберные столы гостей*).

ЯВЛЕНІЕ ПЯТОЕ.

Прежніе, Слукина и Варенька.

Княгиня. Анна Степановна!

Слукина. Здоровы-ли, матушка, ваше сіятельство?

Княгиня. Какъ видите, слава Богу! Mesdames, прошу покорно въ зало!

Слукина. Я, матушка княгиня, здѣсь останусь! Да не безпокойтесь, я составлю себѣ партію; вотъ ужъ одинъ игрочекъ на лицо. (*Въ задней комнатѣ показывается Вельскій*).

Княгиня (*Варенькѣ*). Пойдемте, Варвара Николаевна. (*Всѣ уходятъ; на сценѣ остается только одна Слукина и тѣ гости, которые сидятъ за картами; черезъ минуту раздается вдали музыка; она должна быть едва слышна. Въ задней комнатѣ отъ времени до времени проходятъ слуги и прохаживаются гости; музыка также повременамъ*).

ЯВЛЕНІЕ ШЕСТОЕ.

Тѣ же и Вельскій.

Слукина. Здравствуйте, Иванъ Ѳедоровичъ! (*Вельскій вѣжливо, но очень сухо кланяется*). Ну, что ваши игрочки подъѣхали?

Вельскій. Я видѣлъ въ залѣ Алексѣя Андреевича Зорина.

Слукина. А князь?

Вельскій. Его, кажется, нѣтъ.

Слукина. Охота жъ ему терять золотое времечко. Да не сѣсть ли намъ, батюшка, втроемъ? Я буду играть парти-фиксъ съ болваномъ.

Вельскій. Позвольте мнѣ прежде сказать съ вами нѣсколько словъ... Сядемте! (*Садятся*).

Слукина. А время-то идетъ, какъ идетъ!

Вельскій. Успѣете наиграться, сударыня. Слышали-ли вы, что говорятъ въ городѣ?

Слукина. А что такое, Иванъ Ѳедоровичъ?

Вельскій. Вы вѣрно забыли, зачѣмъ пріѣзжала къ вамъ третьяго дня моя тетка; вы почти дали ей слово, а несмотря на это, говорятъ, будто-бы вы имѣете какіе-то другіе виды на Варвару Николаевну. Я не хочу этому вѣрить, но согласитесь, что эти слухи очень непріятны; итакъ извините, Анна Степановна, если я попрошу васъ не откладывать моего благополучія и объявить рѣшительно, что вы принимаете мое предложеніе.

Слукина. Что вы, что вы, Иванъ Ѳедоровичъ! Подумайте, мѣсто-ли здѣсь...

Вельскій. Да я не прошу васъ сдѣлать

помолвку здѣсь на балѣ, а если позволите, пріѣду къ вамъ послѣзавтра съ моею теткою.

Слукина. Послѣзавтра, то-есть въ пятницу?.. Помилуйте, что за экстра такая, и къ чему такъ спѣшить?

Вельскій. Да хотя-бы для того, сударыня, чтобъ уничтожить эти вздорные слухи, столь же обидные для васъ, сколько и для меня. Впрочемъ, я не хочу васъ женировать: извольте, я пріѣду къ вамъ не въ пятницу, а въ субботу, но тогда уже попрошу у васъ позволенія извѣстить всѣхъ родныхъ и знакомыхъ о моей помолвкѣ. Послѣ того, что вы изволили говорить моей теткѣ, я не смѣю сомнѣваться...

Слукина. Помилуйте! Да что жъ я такое говорила? Я сказала ея превосходительству, что для меня весьма пріятно, что я очень буду рада...

Вельскій. Слѣдовательно, вы согласны? И позвольте вамъ сказать, Анна Степановна, что послѣ этого, всякое съ вашей стороны затрудненіе будетъ явнымъ доказательствомъ, что вы хотѣли насъ дурачить, смѣяться надо мной, надъ моей теткою, надъ всѣмъ нашимъ семействомъ... Но, виноватъ! Я вижу, что ужъ одно это обидное предположеніе васъ огорчаетъ—итакъ въ субботу!.. (*Вставая*). Теперь я въ вашихъ приказаніяхъ, и если вы желаете играть въ вистъ...

Слукина. Покорнѣйше васъ благодарю.

Вельскій. Какъ вамъ угодно. (*Кланяется и уходитъ*).

Слукина. Въ субботу!.. Нѣтъ, батюшка! Хоть вы и родня нашему губернатору, а не прогнѣвайтесь: своя рубашка къ тѣлу ближе.

ЯВЛЕНІЕ СЕДЬМОЕ.

Тѣ-же и Зоринъ.

Зоринъ (*кланяясь Слукиной*). Здравствуйте, матушка Анна Степановна, радъ сердечно, что могу съ вами словечка два перемолвить. Позвольте. (*Садится подлѣ нея*).

Слукина. Вы давно ужъ здѣсь?

Зоринъ. Съ четверть часа. Да гдѣ же Варвара Николаевна?

Слукина. Здѣсь, батюшка Алексѣй Андреевичъ, танцуетъ, — да вотъ никакъ она ходитъ съ Расторгуевой... Варенька!.. Варвара Николаевна! Поди сюда, мой другъ!.. (*Варенька подходитъ*). Ну, вотъ ты все спрашивала: «Да будетъ ли сюда Алексѣй Андреевичъ? Да пріѣдетъ ли онъ?» Вотъ онъ на лицо! Ну что, успокоилась! (*Варенька смотритъ съ удивленіемъ на Слукину*).

Зоринъ (*встаетъ и съ вѣжливой уклонкой*). Какъ вы изволили вспотѣть, Варвара Николаевна!.. Словно розанъ раскраснѣлись! (*Варенька присѣдаетъ*). Вѣрно очень устать изволили?

Варенька. Нѣтъ-съ!

Зоринъ. Вы, какъ вижу, отмѣнно любите танцы?

Варенька. Да-съ! (*Входитъ Вельскій*).

Вельскій (*Варенькѣ*). Угодно вамъ французскую кадриль?

Варенька. Извольте-съ! (*Уходитъ вмѣстѣ съ Вельскимъ*).

Зоринъ (*помолчавъ нѣсколько времени*). Сегодня, матушка Анна Степановна, я цѣлое утро занимался вами.

Слукина. Мною, Алексѣй Андреевичъ?

Зоринъ. То-есть вашей тяжбою.

Слукина. Покорнѣйше васъ благодарю!

Зоринъ. Ахъ, Анна Степановна, надѣли вы мнѣ петлю на шею.

Слукина. Какъ такъ, батюшка?

Зоринъ. Да вѣдь дѣло-то ваше больно плоховато.

Слукина. Что ты, отецъ мой! Дѣло чистое, святое.

Зоринъ. Нѣтъ, матушка Анна Степановна! Пополамъ съ грѣшкомъ. Конечно, можно бы повернуть его иначе, да что въ оглядокъ не было. Вѣдь рѣшеніе уѣзднаго суда не законъ, а голословныя доказательства вашего права не документы, матушка Анна Степановна!

Слукина. Ну Алексѣй Андреевичъ! Не ожидала я, чтобъ ты...

Зоринъ. Помилуйте! Да что-жъ мнѣ дѣлать? Я вамъ докладывалъ, что дѣло-то плоховато. Ужъ мы сегодня съ секретаремъ около него попотѣли, матушка... плохо, больно плохо! Думали и такъ, думали и этакъ... что ты будешь дѣлать! Приступу нѣтъ.

Слукина. Полно, батюшка! Захочешь помирволить, такъ натянешь какъ-нибудь. ну хоть съ грѣхомъ пополамъ—такъ что-жъ?

Зоринъ. Конечно,—одинъ Богъ безъ грѣха, что и говорить: какъ подчасъ не покривить душою для родного человѣка.

Слукина. Вотъ то-то и есть, батюшка!

Зоринъ. Да вѣдь мы еще съ вами не родня, Анна Степановна.

Слукина. Я тебѣ что говорила, мой отецъ? Возьми терпѣніе недѣльки на три.

Зоринъ. Терпѣніе? Что терпѣніе!.. А впрочемъ, пожалуй, извольте! Только и вы, матушка, потерпите!

Слукина. Какъ потерпѣть? А не ты ли мнѣ сказалъ, что на будущей недѣлѣ.

Зоринъ. Мало ли что говорится, сударыня. Да вѣдь я же это вамъ не передъ зерцаломъ объявилъ, мои слова въ протоколъ не записаны.

Слукина. Ну, батюшка Алексѣй Андреевичъ!.. Покорнѣйше благодарю.

Зоринъ. Да что, Анна Степановна, изъ пустого въ порожнее переливать! Не угодно ли вамъ этакъ денька черезъ три помолвку сдѣлать, такъ я за ваше дѣло примусь порядкомъ, а тамъ, какъ свадебку сыграемъ, такъ на другой день и резолюцію подмахну.

Слукина. Что ты, что ты? Черезъ три дня помолвка? Да это вѣдь не что другое: около пальца не обведешь... Черезъ три дня!.. Да въ умѣ ли ты, батюшка?

Зоринъ. Какъ угодно, Анна Степановна: вашъ разумъ, ваша и воля.

Слукина. И гдѣ видано? Пристать, какъ съ ножомъ къ горлу!

Зоринъ. И, матушка! Да коли вы сами проволочекъ не жалуете, такъ за что же и мнѣ ихъ любить? Но, извините! Я взялъ карточку, и, чай, меня дожидаются! Подумайте хорошенько! Денька черезъ два я самъ у васъ побываю. Честь имѣю кланяться! (*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ ВОСЬМОЕ.

Слукина и вскорѣ князь Верхоглядовъ.

Слукина. Прошу покорно!.. Да что это на нихъ нашло!.. Ну, худо дѣло!.. (*Князь входитъ, становится противъ Слукиной и устремляетъ на нее неподвижный взглядъ*). Ахъ, князь Владиміръ Ивановичъ! Это вы?

Князь (*мрачнымъ и торжественнымъ образомъ*). Да, сударыня! Это я.

Слукина. Ахъ, батюшка, ваше сіятельство! Да что съ вами сдѣлалось?

Князь. Ничего! Бездѣлица! Самый обыкновенный случай: я вздумалъ понтировать и счастье всей моей жизни поставить на одну карту.

Слукина. Эхъ, князь, напрасно! Что вамъ дался этотъ банкъ? Играли бы себѣ да играли въ вистикъ.

Князь. Да! Все блаженство, всѣ радости, все, что привязываетъ насъ къ жизни, поставлено на одной картѣ, и вы думаете, что я позволю банкомету передернуть?.. Вы меня понимаете?

Слукина. Нѣтъ, батюшка, не понимаю.

Князь. Скажите мнѣ, Анна Степановна, знаете ли вы, что такое любовь?

Слукина. Какъ не знать, Владиміръ Ивановичъ,—я очень любила покойнаго мужа.

Князь. Любили!.. То есть поплакали, когда онъ умеръ, износили черное фланелевое платье и построили деревянный голубецъ надъ его могилою?

Слукина. Да, князь, я все это выполнила, какъ слѣдуетъ.

Князь. Какъ слѣдуетъ! Почему жъ, какъ слѣдуетъ?.. Нѣтъ, Анна Степановна, я говорю вамъ не объ этой любви.

Слукина. О какой же, батюшка?

Князь. О той, которая наполняетъ мою душу, о той, которая не знаетъ и не хочетъ знать никакихъ приличій, никакихъ условій свѣта, которая... Но я вижу, что мнѣ должно говорить яснѣе... Эта любовь, сударыня, походитъ на булатный кинжалъ черкеса: онъ гладокъ, свѣтелъ и красивъ, но имъ играть опасно... Вы меня понимаете?

Слукина. Нѣтъ, батюшка, не понимаю.

Князь. Послушайте! Я люблю Варвару Николаевну и, если кто-нибудь осмѣлился забавляться этой страстію, шутить счастіемъ всей моей жизни... Если бъ вы, Анна Степановна...

Слукина. Ахъ, батюшка, ваше сіятельство, что вы, что вы?

Князь. Я васъ спрашиваю: для чего она до сихъ поръ не принадлежитъ мнѣ? Для чего всѣ эти отсрочки?.. Кажется, между нами все кончено,—мы сторговались.

Слукина. Опомнитесь, князь! Что вы говорите?

Князь. Не прогнѣвайтесь, Анна Степановна: я ненавижу эту приторную вѣжливость, которая хочетъ все на свѣтѣ усыпать розами; я люблю называть вещи собственными ихъ именами и повторяю еще разъ: мы сторговались, и теперь вы не имѣете никакого права продавать эту несчастную сироту съ публичнаго торга, какъ продаютъ невольницъ на базарахъ Востока,—она моя.

Слукина. Тише, князь, Бога ради, тише! Что вы это?..

Князь. Скажите одно слово, и я замолчу.

Слукина. Да помилуйте, съ чего вы это взяли, что я отступлюсь отъ моего слова, но вѣдь надобно подумать и о Варенькѣ: какъ больно повернемъ, да дѣвка-то заупрямится...

Князь. О, объ этомъ не безпокойтесь!

Слукина. А Богъ вѣсть! Вѣдь она еще молода, глупа, не вдругъ пойметъ, что жениха, у котораго четыре тысячи душъ, не встрѣтишь на каждомъ перекресткѣ.

Князь. Фи!.. Что это такое! Да кто вамъ говоритъ о душахъ, Анна Степановна? Я вижу: мы вѣчно не поймемъ другъ друга. Послушайте: быть можетъ, вы имѣете причины откладывать нашу свадьбу, но я ихъ не имѣю и говорю вамъ рѣшительно: или завтра же вы меня примите, какъ жениха Варвары Николаевны, или весь городъ узнаетъ, какъ вы торгуете вашей падчерицей.

Слукина. Завтра! Какъ завтра?

Князь. Да, да, сударыня! Я даю вамъ однѣ сутки (*Смотритъ на свои часы*). Завтра ровно въ одиннадцать часовъ, вечеромъ, Варвара Николаевна назоветъ меня женихомъ своимъ, а вы—какъ вамъ угодно: вы можете не называть меня вашимъ сыномъ. Я объ этомъ не хлопочу. (*Кланяется и уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ ДЕВЯТОЕ.

Слукина и вскорѣ Холминъ.

Слукина. Да что жъ это такое?.. Что они, прости Господи, бѣлены что ли объѣлись?.. Какъ они вздумаютъ столкнуться, да всѣ

трое разомъ ко мнѣ пристанутъ... Ахъ Господи...

Холминъ (*подходя къ Слукиной*). Что это вы не за картами, Анна Степановна?

Слукина. До картъ ли мнѣ, батюшка! Поди-ка сюда, садись. (*Холминъ садится подлѣ нея*).

Холминъ. Что съ вами сдѣлалось?

Слукина. Ахъ, бѣда, кормилецъ! Сущая правда!

Холминъ. Да что такое?

Слукина. Что, батюшка, худо! Всѣ женихи мои взбѣсились.

Холминъ. Какъ такъ?

Слукина. Да такъ, словно заговоръ какой. Пристали ко мнѣ, да еще, слава Богу, что поодиночкѣ: рѣши да рѣши! Я и такъ, и сякъ,—куда-те! И слышать не хотятъ! Повѣришь ли, никто больше трехъ дней сроку не даетъ! Этотъ франтъ-шематонъ, губернаторскій племянничекъ, такъ закидалъ меня словами, что я чуть было сама не повѣрила, что выдаю за него Вареньку. А крапивное-то сѣмя, выжига проклятая—Зоринъ, какъ будто бы ему чортъ на ухо шепнулъ, формально объявилъ, что дѣло мое до тѣхъ поръ не будетъ рѣшено, пока я сама не порѣшусь. И даже этотъ шальной князь Владиміръ Ивановичъ, ну вотъ такъ и напираетъ, да какія рѣчи говоритъ!.. Господи Боже мой! Уши вянутъ, батюшка!

Холминъ. Ну! Не предсказывалъ ли я вамъ?

Слукина. Эхъ, Николай Ивановичъ, брани меня, ругай, да только выручи.

Холминъ. Выручи! Это легко сказать, Анна Степановна. Какъ ни вертись, какъ ни хитри, а надобно сказать, за кого Варенька идетъ замужъ.

Слукина. Да лишь только я объявлю, то Зоринъ и Вельскій...

Холминъ. Что и говорить,—житья вамъ не будетъ, а особливо Вельскій... и его семейство...

Слукина. Охъ, бѣда! Живую съѣдятъ.

Холминъ. Вотъ то-то и есть. Впрочемъ, что же въ самомъ дѣлѣ, не за того, такъ за другого, а надобно выйти замужъ: посердятся, посердятся, да перестанутъ, а вотъ чего вамъ никогда не простятъ: что вы ихъ обманывали, водили за носъ, за-знамо дурачили.

Слукина. Такъ, батюшка, такъ!

Холминъ. Ну, пусть Варенька выйдетъ замужъ за князя Владиміра Ивановича—это еще ничего, лишь только бы васъ-то какъ-нибудь выгородить.

Слукина. Въ томъ-то и дѣло, мой отецъ, постарайся, придумай что-нибудь.

Холминъ. Постойте-ка!.. А что?.. Въ самомъ дѣлѣ!.. Вѣдь вы тогда только будете въ отвѣтѣ, когда отдадите Вареньку замужъ?.. *Ну! А если она убѣжитъ и обвѣнчается безъ вашего вѣдома?*

Слукина. Какъ убѣжитъ?

Холминъ. Ну да! Если ее увезутъ?

Слукина. Увезутъ? Кто увезетъ?

Холминъ. Разумѣется, князь Владиміръ Ивановичъ.

Слукина. А!.. Понимаю!.. Только, воля твоя, что ему за радость увозить Вареньку, когда онъ и безъ этого можетъ на ней жениться?

Холминъ. Что за радость? Да онъ съ тоски умираетъ, что долженъ жениться такимъ обыкновеннымъ и пошлымъ образомъ. Да знаете ли, что онъ ужъ предлагалъ Варенькѣ бѣжать.

Слукина. Неужели? Что жъ она?..

Холминъ. Ну, разумѣется, не согласилась. Хоть она очень его любитъ...

Слукина. Въ самомъ дѣлѣ?

Холминъ. Она мнѣ сама въ этомъ призналась.

Слукина. Такъ чего же она думаетъ?

Холминъ. Вы знаете, какъ она къ вамъ привязана; да и легко ли скромной и невинной дѣвушкѣ рѣшиться на такой поступокъ. Вотъ, если я ей посовѣтую...

Слукина. Посовѣтуй, батюшка!

Холминъ. Ужъ такъ и быть! Я это дѣло слажу, и сегодня же...

Слукина. Сегодня?

Холминъ. Да. Чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше. Черезъ полчаса ступайте домой, скажите, что у васъ голова болитъ, лягте почивать и строго прикажите, чтобъ васъ ни подъ какимъ предлогомъ не смѣли будить. Часу въ первомъ ночи, когда всѣ будутъ спать, Варенька выйдетъ потихоньку въ садъ; у калитки ее будетъ дожидаться коляска... Да ужъ не безпокойтесь, все будетъ сдѣлано.

Слукина. Дай Богъ тебѣ здоровья! То-то истинный родной!

Холминъ. Вы, Анна Степановна, не извольте вставать ранѣе обыкновеннаго, а какъ встанете да хватитесь Вареньки, такъ и подымите штурмъ—ревите, плачьте... (*Раскрываетъ свою табакерку*). Да что намъ толковать—ученаго учить лишь только портить... Не прикажете ли?

Слукина (*нюхая табакъ изъ табакерки Холмина*). И, батюшка, гдѣ намъ! Вѣдь я человѣкъ глупый: что на умѣ, то и на языкѣ... да дѣлать нечего! Попробую, прикинусь какъ-нибудь.

Холминъ. Теперь я пойду и переговорю съ Варенькой, а тамъ все улажу съ княземъ. Прощайте покамѣстъ! (*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ ДЕСЯТОЕ.

Слукина и вскорѣ Тонскій.

Слукина. Охъ, батюшки, кабы удалось!.. Дай-то, Господи! Рублевую свѣчу поставлю.

(*Тонскій подходитъ и кланяется Слукиной*). Здравствуйте, господинъ Тонскій!

Тонскій. Какъ ваше здоровье, Анна Степановна?

Слукина (*очень сухо и отрывисто*). Слава Богу батюшка, слава Богу.

Тонскій. Позвольте мнѣ рекомендовать себя вашимъ сосѣдомъ: я теперь живу напротивъ.

Слукина. Знаю, батюшка, знаю. Домишка маленькій, какъ избенка... да и на что вамъ больше,—вѣдь не балы давать.

Тонскій. А гдѣ же Варвара Николаевна?

Слукина. Здѣсь, батюшка, танцуетъ.

Тонскій. Такъ она въ залѣ?

Слукина. Ахъ, батюшки. Да неужто въ передней? Разумѣется, въ залѣ. (*Тонскій кланяется и уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ ОДИННАДЦАТОЕ.

Слукина и вскорѣ докторъ фонъ-Дахъ.

Слукина. Да что этотъ пустокарманникъ мнѣ такъ въ глаза лѣзетъ? Зналъ бы сверчокъ свой шестокъ! А, батюшка Ѳома Ѳомичъ!

Фонъ-Дахъ. Страстфуйте, моя матушка Анна Степанофна! Страстфуйте!.. Ну што? Какъ наше сдорофье?..

Слукина. Худо, отецъ мой, худо! Голова что-то очень болитъ.

Фонъ-Дахъ. Калофка палитъ.

Слукина. Смерть, батюшка! Вотъ словно молотками въ виски колотятъ.

Фонъ-Дахъ (*беретъ у нея руку*). Пасфольте!.. Гмъ, гмъ!.. Калофка палитъ!.. Та, та!.. Сильна пульсаційй... ошень сильна!.. Экъ, матушка, матушка!.. Все сидитъ за карточка—мала масіонъ, мнока крофъ...

Слукана. И, Ѳома Ѳомичъ! Что за много!

Фонъ-Дахъ. Ошень мнока!.. Анна Стефановна! Пускаитъ крофъ, пожалуйста пускаитъ!.. Посмотритъ, какъ фи красна, а класки, а класки свѣтла, ошень свѣтла... пускаитъ крофъ, матушка, пожалуйста пускаитъ!..

Слукина. Не хочется начинать, Ѳома Ѳомичъ.

Фонъ-Дахъ (*вполголоса*). А что, скажите мнѣ... (*Начинаетъ говорить съ ней тихо*).

ЯВЛЕНІЕ ДВѢНАДЦАТОЕ.

Тѣ-же Холминъ и Варенька.

Холминъ (*Варенькѣ*). Да, мой другъ! Въ полночь, коляска будетъ у калитки вашего сада; я стану васъ дожидаться въ моемъ селѣ: ты знаешь, оно въ двухъ верстахъ отъ города; тамъ все будетъ готово; вы обвѣнчаетесь, и я отвезу васъ въ мой городской домъ; потомъ...

Варенька. Ахъ, сердце мое обмираетъ отъ ужаса. Боже мой! И я должна рѣшиться...

Холминъ. Вонъ Тонскій! Онъ разскажетъ тебѣ всё подробнѣе.

(*Музыка становится слышнѣе, на сцену входитъ длинный польскій; въ первой парѣ князь Владиміръ Ивановичъ съ княгиней Ландышевой*).

Тонскій. (*Варенькѣ*). Угодно-ли вамъ польскій? (*Беретъ ее за руку и входитъ въ середину танцующихъ, которые, обогнувъ всю сцену, уходятъ назадъ тѣми же дверьми*).

Холминъ (*подходя къ Слукиной*). Не угодно-ли и вамъ пройтись со мною?

Слукина. Изволь, батюшка! Да смотри-же, будь молодцомъ,—проведи меня хорошенько.

Холминъ. Постараюсь, Анна Степановна. (*Уходитъ вмѣстѣ съ нею вслѣдъ за танцующими*).

ДѢЙСТВІЕ ТРЕТЬЕ.

Театръ представляетъ комнату перваго дѣйствія.

ЯВЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

Даша и Кондратьевна. (*Даша стоитъ у боковыхъ дверей съ лѣвой стороны отъ зрителей и смотритъ въ замочную скважину. Кондратьевна выглядываетъ въ полураствореннныя двери.*

Кондратьевна (*входитъ на цыпочкахъ*). Даша, а Даша!.. Ну, что?

Даша. Почиваетъ.

Кондратьевна (*вполголоса*). Экій грѣхъ! Экій грѣхъ!.. Пропали наши головушки.

Аксинья (*выглядывая изъ среднихъ дверей*) Кондратьевна!.. Что барыня?

Кондратьевна. Изволитъ почивать.

ЯВЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

Тѣ же и Аксинья (*выходитъ потихоньку, вскорѣ 1-я и 2-я дѣвушки*).

Аксинья. Что это на бѣду она такъ распочивалась сегодня, — о, Господи, Господи! Что будетъ съ нами горемычными! (*1-я и 2-я дѣвушки входятъ*). Тсъ! Тише вы, тише? Экія ступы проклятыя!

Кондратьевна. Аксинья Власьевна, ты — человѣкъ умный, придумай, матушка, приставь голову къ плечамъ! Какъ намъ сказать? Какъ приступить къ такому дѣлу?

Аксинья. Поневолѣ скажешь, какъ барыня спроситъ: «Гдѣ Варвара Николаевна?

Давай сюда Варвару Николаевну! Подавай ее! Гдѣ она?» Гдѣ? А кто ее знаетъ. Эхъ, барышня! барышня! Богъ тебѣ судья! Будемъ пить по милости твоей горькую чашу!

Кондратьевна. И какъ она прокралась?.. Какъ мы не усмотрѣли?

Аксинья. Ну, вотъ поди ты!

Даша. Эхъ, бабушка Кондратьевна! Снявши голову, о волосахъ не плачутъ; что тутъ «какъ прокралась?» Видно, хорошо смотрѣли... Ужъ вы! Не могли укараулить барышни! И хи-хи!

Первая дѣвушка. Да, ты бы укараулила!

Кондратьевна. Что и говорить: всѣ безъ вины виноваты!

Даша. Всѣ? Нѣтъ, бабушка! Я хожу за барыней, такъ мнѣ за другими смотрѣть некогда,—мое дѣло сторона...

Кондратьевна. Ахъ, мать моя! Да ты-то что за святая?

Вторая дѣвушка. Видишь, какая!

Первая дѣвушка. Смотри, какая барыня! Ея дѣло сторона!

Даша (*первой дѣвушкѣ*). Ты, Дуня, молчи! Ты всѣхъ виноватѣе.

Первая дѣвушка. Какъ бы не такъ!

Даша. Ты спишь подлѣ барышниной комнаты... А гдѣ ты была ночью-то, какъ она убѣжала?

Первая дѣвушка. Какъ, гдѣ?

Даша. Да, гдѣ? Чай, на улицѣ, за воротами?.. То-то и есть, видали мы!.. Ѳедька пѣсенку поетъ, Андрюшка на балалайкѣ, а ты себѣ стоишь да орѣшки пощелкиваешь. Знаемъ мы васъ!

Первая дѣвушка. Ну, ужъ хороша и ты!

Даша. Что я?

Первая дѣвушка. Да, да! Выпросилась намедни въ собачью комедію съ дѣдушкой Филиппомъ, а небось Ванька проводилъ.

Даша. Анъ врете, сударыня, не Ванька!

Вторая дѣвушка. Такъ денщикъ этого офицера, что противъ насъ живетъ; вѣдь ты съ нимъ давно перемигиваешься.

Даша. Кто? Я? Ахъ, ты, лгунья!

Первая дѣвушка. А помнишь, вчерась, что ты передъ окномъ-то лебезила?

Даша. Ты врешь, ты врешь!

Вторая дѣвушка. Да, даромъ ты тянешься! Видишь, корсетница какая!

Первая дѣвушка. А роговой-то гребень съ рѣзьбою кто тебѣ купилъ?

Вторая дѣвушка. А томпаковое-то колечко... Небось, на улицѣ нашла?

Кондратьевна. Что вы это, мерзкія!.. Что вы грызетесь? Я васъ!

Аксинья. Да ну ихъ совсѣмъ! Толкуютъ, дуры, кто правъ, кто виноватъ; что тутъ толковать—всѣ придемъ съ повинной головою: воля ея барская—что хочетъ, то и дѣластъ... Чу!.. Никакъ изволила проснуться... (*подходитъ къ двери и смотритъ въ замочную скважину*). Надѣла пудремантъ... Идетъ сюда!.. Тсъ! (*Всѣ уходятъ потихоньку въ комнаты*).

ЯВЛЕНІЕ ТРЕТЬЕ.

Слукина (*выходитъ въ бѣломъ пудреманѣ и волосахъ*). Десять часовъ!... Чай, теперь молодые сбираются ко мнѣ просить прощеніе... Ну, не поспала я эту ночку!.. Охъ, этотъ князь, все дѣлаетъ не по-людски!.. Ну, кто увозитъ дѣвушку въ такую лунную ночь—и все видѣла изъ окна, какъ онъ встрѣтилъ Вареньку въ саду, какъ вышли изъ калитки... и караульщикъ могъ ихъ увидѣть, да поднять тревогу, и дозоръ остановить... Ну, да слава Богу, никто не помѣшалъ. Фу, батюшки, какъ гора съ плечъ! Варенька замужемъ, имѣніе при мнѣ, а судиться некому и не за что. «Чѣмъ, дескать, она бѣдная, виновата»—подумаютъ... Вотъ то-то, не знаешь!.. Кажется, пустой человѣкъ этотъ Николай Ивановичъ Холминъ, а пригодился, какъ пригодился! Кабы не онъ, такъ мнѣ-бы и въ голову не пришло.

ЯВЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Слукина и Холминъ.

Холминъ. Здравствуйте, Анна Степановна.

Слукина. А, это вы, батюшка Николай Ивановичъ!

Холминъ. Мнѣ сказали, что вы еще почиваете, но я все-таки вошелъ.

Слукина. Ну что, мой отецъ?

Холминъ. Все кончено. А вамъ еще, кажется, не докладывали, что Варенька ушла?

Слукина. Нѣтъ, батюшка, я еще, покамѣсть ничего не знаю.

Холминъ. Насилу-то, Анна Степановна, я все уладилъ; да чего мнѣ это и стоило! Ужъ я уговаривалъ, уговаривалъ Вареньку... Не вѣнчайте, да и только! Помилуй, матушка, вѣдь ты его любишь? Я люблю, а безъ согласія маменьки вѣнчаться не хочу!

Слукина. Смотри пожалуй!

Холминъ. Я объявилъ ей рѣшительно, что вы никогда не выдадите ее замужъ за того, кого она любитъ...

Слукина. Ну!.. Что-жъ она?

Холминъ. Заплакала, а къ вѣнцу нейдетъ. Я сказалъ ей, что она не родная ваша дочь и не обязана вамъ слѣпымъ повиновеніемъ...

Слукина. Ну, ну!.. Что-жъ она?

Холминъ. И слушать не хотѣла. Я сталъ доказывать, что это для нея одинъ способъ выйти замужъ, что она вѣчно останется въ дѣвкахъ, если будетъ дожидаться вашего благословенія.

Слукина. Ну!..

Холминъ. Въ этомъ то она согласилась со мною, а вѣнчаться все-таки не хотѣла.

Слукина. Экая упрямая дѣвчонка!.. Батюшкинъ нравъ, что и говорить! Да чего же она хотѣла?

Холминъ. Что бъ я далъ честное слово, что выпрошу ей прощеніе.

Слукина. Вотъ что!

Холминъ. Нечего было дѣлать: я побожился ей, что вы торжественно и при всѣхъ ее простите. Теперь смотрите же, Анна Степановна, не введите меня въ слово.

Слукина. Такъ она очень этого добивалась?.. А не знаешь ли, батюшка, на что ей мое прощеніе?

Холминъ. Она говоритъ, что ей стыдно будетъ на людей смотрѣть, если вы навсегда отъ нея отступитесь.

Слукина. Право?.. Такъ у нея нѣтъ ничего другого на умѣ?

Холминъ. А что такое?

Слукина. Такъ, ничего!.. Впрочемъ, мы съ княземъ на этотъ счетъ ужъ объяснились, и у меня есть кой-какіе документики.

Холминъ. Документы? Какіе документы?

Слукина. Такъ, батюшка, такъ. Вотъ изволишь видѣть: дѣло мое вдовье, сохрани Боже, навяжется зять ябедникъ—затаскаетъ по судамъ. Вѣдь за меня, бѣдную сиротинку, вступиться некому... Такъ Варенька хочетъ непремѣнно, что бъ я ее простила?

Холминъ. Да, Анна Степановна, я въ этомъ далъ ей честное слово.

Слукина. Ну, хорошо. Однако жъ, какъ ты думаешь, батюшка, все-таки надобно поломаться?

Холминъ. Немножко — да, но много не совѣтую: это будетъ ненатурально. Вы всегда такъ любили Вареньку; ваша нѣжность къ ней всѣмъ извѣстна, и если вы хотя крошечку пересолите, то злые люди тотчасъ скажутъ, что вы играете комедію.

Слукина. Хорошо, батюшка, хорошо.

Холминъ. Ну, теперь прощайте. Я поѣду къ губернатору, и если до него дошли ужъ объ этомъ слухи, такъ я исподволь приготовлю его къ вашему пріѣзду: опишу ему ваше отчаніе, горе; надобно, знаете, хорошенько это раскрасить, а вы межъ тѣмъ начинайте ваше дѣло, да смотрите, не больно надрывайтесь сначала, поберегите себя къ концу. Ну, прощайте. (*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ ПЯТОЕ.

Слукина (*одна*).

Эхъ, лучше бы не прощать!.. Оно бы вѣрнѣе... Конечно, станутъ говорить, что я это дѣлаю изъ какихъ-нибудь видовъ... Да и что жъ я, въ самомъ дѣлѣ, чего боюсь?.. А условіе то, подписанное княземъ, что онъ отказывается отъ приданаго, а въ случаѣ, если жена его потребуетъ отъ меня, слѣдующія ей по духовной, тысячу душъ, то обязанъ заплатить мнѣ пятьсотъ тысячъ; вѣдь оно заключено по формѣ и имѣетъ силу контракта, а контрактъ святъ и ненарушимъ... Однако жъ, не пора ли?.. Я думаю... Эй, Дашка! Дашка!

ЯВЛЕНІЕ ШЕСТОЕ.

Слукина и Даша (*остановясь въ дверяхъ*).

Даша. Чего изволите?

Слукина. Который часъ?

Даша. Скоро одинадцать.

Слукина. Какъ я заспалась!.. Что, Вареька встала?.. Ну, чтожъ ты молчишь? Иль оглохла?.. Да что ты стала въ дверяхъ, дура, войди! (*Даша входитъ; за нею показываются Кондратьевна и Аксинья, первая и вторая дѣвушки останавливаются въ дверяхъ*). Что вы? Что вы? Зачѣмъ? (*Всѣ кланяются и молчатъ*). Ну, что жъ вы молчите?.. Зачѣмъ пришли?

Кондратьевна. Ахъ, матушка, Анна Степановна!

Аксинья. Родная ты наша!

Слукина. Да что такое сдѣлалось?

Аксинья. Бѣда, матушка: такой грѣхъ, что и доложить нельзя!

Слукина. Да скажете-ли вы мнѣ, негодныя, что сдѣлалось?.. Говори хоть ты, Кондратьевна!

Кондратьевна. Что, матушка! Несчастье, да и только: Варвара Николаевна безъ вѣсти пропала.

Слукина. Какъ пропала?

Кондратьевна. А такъ, кормилица, сгинула да пропала. Вчера около полуночи она изволила пойти гулять въ садъ. Дуняшкѣ приказала себя не дожидаться, а та съ дуру-то прилегла соснуть, да и прохрапѣла до самаго утра, окаянная! Какъ проснулась—глядь, барышни нѣтъ; постель не измята; вотъ Дунька въ садъ, и тамъ никого, а калитка отперта; какъ она увидѣла, что дѣло-то плохо—ко мнѣ!..

Слукина. Ну!..

Кондратьевна. Мы подняли всю дворню на ноги, обшарили всѣ мышиныя норки — нѣтъ, какъ нѣтъ!

Слукина. Ахъ, Боже мой! Да что-жъ это значитъ? Неужели Варенька убѣжала съ какимъ-нибудь пострѣломъ?.. Быть не можетъ!..

Аксинья. Ахъ, кормилица—видно, такъ! Я сейчасъ ходила купить французскихъ хлѣбовъ къ нѣмцу булочнику, вотъ что живетъ позади нашего сада. — «Все ли у васъ здорово?»—спросилъ онъ у меня.—А что, Францъ Ивановичъ?—«Да такъ, вчера, этакъ въ полночь, подлѣ калитки вашего сада стояла коляска, и я самъ видѣлъ, какой-то баринъ

вышелъ съ вашей барышней изъ саду, сѣли въ нее, да и по всѣмъ по тремъ».

Слукина. Ахъ, Господи!.. Такъ въ самомъ дѣлѣ... Она ушла!.. Ушла изъ моего дома!.. А вы-то на что? Чего вы смотрѣли?—Карету!.. Ужъ я съ вами раздѣлаюсь!.. Одѣваться скорѣй... сейчасъ!.. Ахъ, срамъ какой!.. Бѣгите къ Николаю Ивановичу, скажите ему, что я поскакала къ губернатору... Что стоите? Ступайте вонъ!.. (*Всѣ, кромѣ Даши, уходятъ*). Вотъ до чего дожила!.. Антонъ и Филька поѣдутъ за каретою!.. Ахъ, батюшки мои, свѣты—что это?.. Дашка, черную шаль!.. Да поворачивайся, негодная!.. Государи мои, что это? Бѣлый чепецъ! Да Бога ради—карету, скорѣй карету!..

— — —

ЯВЛЕНІЕ СЕДЬМОЕ.

Тѣ же и Холминъ.

Слукина (*идя къ нему навстрѣчу*). Николай Ивановичъ!.. Батюшка!.. Знаешь ли, какая бѣда сдѣлалась?

Холминъ. Знаю, Анна Степановна, знаю! (*Тихо*). Хорошо, хорошо! (*Громко*). Мнѣ нужно съ вами поговорить наединѣ.

Слукина (*Дашѣ*). Пошла вонъ. (*Даша уходитъ*).

— — —

ЯВЛЕНІЕ ВОСЬМОЕ.

Слукина и Холминъ.

Холминъ. Къ вамъ сейчасъ будетъ губернаторъ.

Слукина. А я къ нему ѣхала.

Холминъ. Все равно. Я повстрѣчался съ полицеймейстеромъ, онъ сказалъ мнѣ, что губернатору все извѣстно, и что его превосходительство вмѣстѣ съ предводителемъ ѣдетъ къ вамъ. А какъ они должны думать, что это очень васъ поразило, то привезутъ съ собою доктора.

Слукина. Ѳому Ѳомича?

Холминъ. Да, онъ на ту пору случился у губернатора. Ну, Анна Степановна, смотрите, не ударьте лицомъ въ грязь! Боже сохрани, если замѣтятъ, что вы играете комедію. Это должно для всѣхъ въ мірѣ остаться тайною. На мой счетъ вы совершенно можете быть спокойны: сдержите ваше слово, простите Вареньку, и эта тайна умретъ со мною. Надѣюсь, вы понимаете, какъ это важно? И малѣйшее подозрѣніе можетъ васъ совершенно погубить въ общемъ мнѣніи, а если на бѣду откроется вся истина, то вы совсѣмъ погибли, весь городъ обрушится—чего добраго: пожалуй, эту невинную хитрость назовутъ подборомъ, стачкою, фальшивымъ поступкомъ, вмѣшаютъ правительство, а вы знаете, Анна Степановна, какъ у насъ судятъ дворянъ за *фальшивые поступки*?

Слукина. Ахъ, знаю, батюшка, знаю!.. Лишаютъ чиновъ и дворянства!.. Только, вотъ твоя, гдѣ-жъ тутъ фальшивый поступокъ?

Холминъ. Какъ гдѣ? Да развѣ вы не должны будете принести жалобу губернатору? Развѣ не станете кричать, что Вареньку увезли, что она обвѣнчалась безъ вашего вѣдома и согласія? Вѣдь чѣмъ болѣе вы надѣлаете шуму, тѣмъ невиннѣе будете казаться въ глазахъ тѣхъ, которые по милости вашей остнутся въ дуракахъ.

Слукина. Правда, мой отецъ, правда!

Холминъ. Губернаторъ знаетъ только, что Варенька убѣжала, а съ кѣмъ убѣжала, это ему неизвѣстно—такъ смотрите же. Если онъ спроситъ, на кого вы имѣете подозрѣніе, не вздумайте намекнуть на князя: онъ изо всѣхъ Варенькиныхъ женіховъ самый выгодный, слѣдовательно, тотчасъ можетъ родиться подозрѣніе, что тутъ есть съ вашей стороны хитрость и подборъ.

Слукина. Правда, Николай Ивановичъ, правда!

Холминъ. Стойте въ одномъ: знать не знаю, вѣдать не вѣдаю.

Слукина. Слушаю, батюшка.

Холминъ. Погодите, я на васъ посмотрю!.. Глаза-то у васъ — да... вовсе не заплаканы. Эхъ, не догадались, матушка, хрѣну понюхать!

Слукина. Вотъ, Николай Ивановичъ, у меня пузырекъ съ нашатырнымъ спиртомъ.

Холминъ. Всеравно! Нюхайте, нюхайте!— Чу!.. Никакъ пріѣхали?.. Да что это у васъ шаль какъ надѣта!.. Помилуйте! Что вы, съ визитами что ли ѣдете? Набросьте ее какънибудь... Переверните на изнанку!.. Вотъ такъ!.. А чепецъ-то, чепецъ!..

Слукина (*хватаясь за голову*). Что такое, батюшка?

Холминъ. Точно на балъ собрались! Да сдерните его на одну сторону... Поизомните! Что въ во всемъ было замѣтно горе, отчаяніе... безпорядокъ... — Хорошо, идутъ! (*Входятъ два лакея и растворяютъ настежь двери*). Ну, матушка, принимайтесь!

Слукина (*встаетъ и, опираясь на Холмина, идетъ къ дверямъ*). Гдѣ его превосходительство? Гдѣ? Ведите меня къ нему!.. Ведите!.. Ахъ, батюшки мои, свѣты!.. Ноги не идутъ!

Холминъ (*вполголоса*). Славно, Анна Степановна, славно! Только, пожалуйста, не такъ налегайте,—тяжело, матушка!

— — —

ЯВЛЕНІЕ ДЕВЯТОЕ.

Тѣ же, губернаторъ, предводитель и фонъ-Дахъ.

Слукина. Ахъ, батюшка, ваше превосходительство! Отецъ ты нашъ!.. Помоги, спаси!..

Губернаторъ (*беретъ ее за руку и усаживаетъ въ кресла*). Успокойтесь, сударыня!

Будьте увѣрены, я сдѣлаю все, что отъ меня зависитъ. Я сейчасъ узналъ, что Варвара Николаевна...

Слукина. Вотъ, ваше превосходительство, до чего я дожила... Какой позоръ!.. Уйти изъ моего дома, убѣжать Богъ знаетъ съ кѣмъ...

Губернаторъ. Какъ? Такъ вы не знаете?

Слукина. Нѣтъ, ваше превосходительство, какъ Богъ святъ—не знаю.

Губерн. И не имѣете даже подозрѣнія?

Слукина. Не имѣю—видитъ Богъ, не имѣю. Да и кого могу подозрѣвать?.. Какъ могло мнѣ прійти въ голову, чтобы дочь покойнаго моего Николая Степановича рѣшилась на такое дѣло? Ахъ, Господи, да неужели бы я стала противиться ея склонности? Ужъ я ли не любила, я ли не тѣшила ее, неблагодарную—на всѣхъ пошлюсь: въ глаза ей смотрѣла, сдувала съ нея каждую порошинку... и чѣмъ же она мнѣ отплатила!—Ахъ, я несчастная!.. Ахъ, тошно!.. Батюшки мои, тошно!.. Смерть моя!.. (*Падаетъ въ обморокъ*).

Губерн. Воды! Скорѣй воды! Ей дурно!

Предводитель. Однако жъ, она вовсе не поблѣднѣла.

Фонъ-Дахъ (*щупаетъ у нея пульсъ*). Посвольте!.. Гмъ, гмъ!.. пульсъ ошень, весьма висока!.. Крѣпка прилифъ крофъ къ калафѣ... Эта можетъ имѣить суріосна ресултатъ. Сейшасъ натапно пускаить крофъ...

Холминъ. Вы думаете?

Фонъ-Дахъ. Та, та! Посфольте, со мной, кашись, есть лансетъ—ія, ія!.. Гей, слуга!.. Тарелка, плотенсъ—скорѣй—хешвиндъ!.. Не натапно тераить не отна минутъ, зафоротить рукафа—коть на прафа рукъ—все рафно!

Слукина (*вскочивъ съ кресель*). Что вы, что вы?

Фонъ-Дахъ. Нишего, моя сутаринь,—нишего! Потерпить отна минутъ; вамъ ната непремѣнно пускаить крофъ!..

Слукина (*отталкивая Фонъ-Даха*), Ахъ, батюшка, зачѣмъ? На что? Подите прочь, подите прочь!..

Предвод. Какъ вы себя чувствуете?

Слукина (*садясь опять*). Крошечку получше! — Охъ, батюшка, ваше превосходительство, — что мнѣ дѣлать? Къ чему приступить? Надоумьте меня, посовѣтуйте!

Губернаторъ Если вамъ угодно знать мое мнѣніе, такъ вотъ оно: вѣроятно, Варвара Николаевна уже обвѣнчана, слѣдовательно, этого перемѣнить нельзя; на вашемъ мѣстѣ я простилъ бы ее.

Слукина. Какъ, батюшка, ваше превосходительство, вы мнѣ совѣтуете...

Губернаторъ. Да вы сами говорили, что не стали бы противиться ея склонности.

Слукина. О, конечно бы не стала... но разсудите милостиво...

Губерн. Я не оправдываю поступка вашей падчерицы; она дурно сдѣлала, что не имѣла къ вамъ склонности, вы такъ ее любите...

Слукина. Какъ родную дочь, видитъ Богъ—какъ родную.

Предводитель. А если такъ, сударыня, такъ будьте же до конца нѣжной матерью: простите ее!

Холминъ. Въ самомъ дѣлѣ, Анна Степановна. Добро бы дѣло то было поправное, а то что толку и себя надрывать, и ихъ мучить. Эхъ, матушка, простите ее! (*Входитъ слуга и шепчетъ на ухо Холмину*).

Слукина. Ну, если всѣ меня просятъ—такъ, видно, пришлось простить!

Губернаторъ. Но, можетъ быть, тотъ, за кого она вышла замужъ...

Слукина. Да кто бы онъ ни былъ—все равно! Нѣтъ, батюшка, ваше превосходительство, по моему, прощать — такъ прощать; онъ мужъ ея, такъ и я его буду любить, какъ родного сына.

Предв. Какъ вы добры, Анна Степановна!

Слукина. Что жъ дѣлать, Алексѣй Ивановичъ! Знаю сама, что это слабость, да ужъ у меня натура такая.

Холминъ (*губернатору*). Вы изволили слышать: Анна Степановна добровольно, по одному побужденію своего добраго сердца, прощаетъ мою крестницу... (*Входитъ слуга и шепчетъ на ухо Холмину*).

Губернаторъ. Мы всѣ этому свидѣтели.

Холминъ. Анна Степановна, они пріѣхали—позвольте имъ войти.

Слукина. Охъ, постой, батюшка! Постой! Дай собраться съ духомъ... Сердце то у меня, сердце—вотъ такъ выскочить и хочетъ!

Фонъ-Дахъ. Анна Степанофна!.. Прафа не мѣшаитъ пускаить фамъ крофъ,—фи фъ такой волненьи...

Слукина. Эхъ, отвяжитесь, Ѳома Ѳомичъ!—Ну!.. Пусть войдутъ... О, Господи, укрѣпи меня, грѣшную!

(*Холминъ подходитъ къ дверямъ и подаетъ знакъ, чтобы они вошли; Слукина сидитъ, закрывъ руками лицо*).

ЯВЛЕНІЕ ДЕСЯТОЕ.

Тѣ же и Варенька, а позади ея Тонскій.

Холминъ (*подводитъ къ Слукиной Вареньку*). Вотъ она!

Слукина. Ну, Варенька, Богъ тебѣ судья! Огорчила ты меня на старости... да такъ и быть, Господь съ тобой! Я прощаю тебя, мой другъ!.. (*Обнимаетъ ее*). Да гдѣ же твой мужъ?

Варенька (*отстраняясь*). Вотъ онъ, маменька.

Слук. (*одеревенѣвъ отъ ужаса*). Тонскій!..

Холминъ (*тихо*). Молчите, Бога ради, молчите! Насъ обманули!

Слукина. Что это, что это?.. (*Вскочивъ*). Нѣтъ! Не прощаю.

Холминъ (*тихо*). Что вы, что вы?

Губернаторъ. Да вы ихъ ужъ простили, сударыня; мы всѣ были этому свидѣтели.

Слук. Но могла ли я вообразить? Я думала...

Холминъ (*тихо*). Опомнитесь! Что вы?.. А фальшивый-то поступокъ...

Слукина (*падая въ кресла*). Ахъ, смерть моя!

Тонскій (*Слукиной*). Я не знаю, чѣмъ могъ заслужить, сударыня...

Слукина (*тихо Холмину*). Злодѣй!

Холминъ (*тихо*). Послѣ, матушка, послѣ.

ЯВЛЕНІЕ ОДИННАДЦАТОЕ.

Тѣ же, Зарѣцкая и кн. Ландышева.

Княгиня. Ахъ, Анна Степановна, что вы? Какъ вы себя чувствуете?

Зарѣцкая. Успокойтесь! (*Княгинѣ*). Мы, кажется, попали въ самую интересную минуту.

Холминъ (*княгинѣ*). Жаль, что вы немного опоздали и не могли вмѣстѣ съ нами полюбоваться поступкомъ Анны Степановны.

Слукина (*тихо Холмину*). Варваръ!

Предводитель. Да, Анна Степановна поступила въ этомъ случаѣ, какъ нѣжная мать.

Холминъ. И какъ самая благородная женщина. Если бы она не простила Варвару Николаевну, то имѣла бы, на основаніи духовной покойнаго мужа, полное право не выдать ей слѣдующую часть имѣнія; Анна Степановна не посмотрѣла на это, забыла свой собственный интересъ.

Зарѣцкая. Какой благородный поступокъ!

Княгиня. Какъ это великодушно!

Холминъ. Она могла простить ее наединѣ, съ глазу на глазъ,—такъ нѣтъ! Анна Степановна сдѣлала это при начальникахъ губерніи—публично, чтобъ не было никакой возможности остаться Варварѣ Николаевнѣ безъ приданаго.

Слук. (*тихо*). Молчи, палачъ!.. Задыхаюсь!

Зарѣцкая. Ахъ, Анна Степановна, какую это дѣлаетъ вамъ честь!

Губерн. Это истинно отличный поступокъ.

Холминъ. Да не подумайте, чтобъ часть имѣнія, которую она такъ великодушно, такъ безкорыстно уступила своей падчерицѣ, была какая-нибудь бездѣлка, нѣтъ, милостивые государи,—тысячу душъ!

Слукина. Тысячу душъ! Нѣтъ силъ! Ахъ, тошно! Душно!.. Умираю!..

Вмѣстѣ. Княгиня. Что съ вами?..
Варенька. Ахъ, маменька!
Холминъ. Успокойтесь.

Слукина. Подите прочь!.. Подите прочь!.. Тысяча душъ... Дурно, дурно!.. Ахъ, смерть моя!.. Ѳома Ѳомичъ, пустите мнѣ кровь! (*Фонъ-Дахъ засучиваетъ ей рукавъ и вынимаетъ ланцетъ; всѣ около нея суетятся*).

ЛЕБЕДЯНСКАЯ ЯРМАРКА.

ИНТЕРМЕДІЯ ДИВЕРТИСЕМЕНТЪ.

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:

Гуръ Филатычъ.
Фекла Тарасьевна, жена его.
Любушка.
Еремѣевна, сваха.
Надоѣдаловъ, другъ Гура.
Затѣйкинъ, Простофилинъ } женихи Любушки.

Танцуютъ: по-цыгански—русски—венгерски и съ флагами.

(*Театръ представляетъ ярмарку; впереди сцены крестьяне пьютъ около стола и поютъ хоромъ круговую; по окончаніи хора выходятъ съ правой стороны Затѣйкинъ и Простофилинъ*).

Простофилинъ. Ахъ, Боже мой! Да что это вы ко мнѣ привязались?

Затѣйкинъ. Какъ что? Послушай, братъ, я тебѣ говорю: не отбивай у меня невѣсты, а то быть куду. Вѣдь я не даромъ же служилъ сержантомъ—я человѣкъ горячій.

Простофилинъ. Ахъ, батюшки свѣты! Да почему-же мнѣ не свататься за Любушку?

Затѣйкинъ. А потому, что я хочу на ней жениться—ну, понимаешь-ли ты, дурацкая чучела! (*Приступаетъ къ нему*).

Простофилинъ. Прошу подальше — не такъ чтобъ очень, такъ-съ,—я горло-то драть и самъ умѣю.

Затѣйкинъ. Ахъ ты, образина!—Ну, тебѣ-ли недорослю хвататься съ гвардейскимъ сержантомъ.

Простоф. То-то же,—прошу не лаяться.

Затѣйкинъ. Прошу покорно! Да онъ никакъ хорохорится. Послушай, братъ: не знаю, много-ли тебя въ землѣ-то, а на землѣ немного; вѣдь я разомъ.

Простофилинъ (*остервенясь*). Ну, что — что! Анъ, лихъ, не боюсь тебя! Давай что-ль, хоть за святыя.

Затѣйкинъ. Постой, постой,—вотъ я тебя, конопляникъ (*хотятъ драться. Еремѣевна подходитъ сзади и разнимаетъ ихъ*).

Еремѣевна. Что вы, что вы, господа честные, въ умѣ-ли, драться! (*Къ Затѣйкину*). И, батюшка, Николай Назарычъ (Андрей Сысоичъ), человѣкъ ты, отецъ мой, военный, а связываешься съ недорослемъ.

Затѣйкинъ. Правда твоя, Еремѣевна, — нашему брату нечего тутъ и рукъ марать.

Еремѣевна (*къ Простофилину*). Ну, подумай самъ, родной,—человѣкъ ты смирный, а связываешься съ такимъ сорванцомъ,—разсуди самъ, что скажутъ добрые люди?

Простофилинъ. Дѣло, бабушка! Мнѣ стыдно и говорить съ такимъ буяномъ.

Затѣйкинъ. Послушай-ка, Еремѣевна, — что жъ, когда моя свадьба съ Любушкою?

Еремѣевна. Положись на меня, отецъ мой,—все будетъ хорошо.

Простофилинъ. Ну что жъ, бабушка, — ты хотѣла за меня посватать Любовь Гурьевну?

Еремѣевна. Небось, мой родимый,— ужъ половина дѣла сдѣлана,—послушайте-ка, господа: чѣмъ вамъ ссориться, вы бы лучше повеселили вашу невѣсту, — дѣло праздничное, позвали бъ пѣсенниковъ да плясуновъ—да и потѣшили бы всю честную компанію.

Затѣйкинъ. И то дѣло! Посмотримъ-ка, Простофилинъ, кто изъ насъ лучше позабавитъ Любовь Гурьевну.

Простофилинъ. А вотъ увидимъ: я и самъ лицомъ въ грязь не ударю, у меня есть на примѣтѣ заморскіе плясуны почище твоихъ цыганъ.

Затѣйкинъ. Посмотримъ, посмотримъ. (*Уходитъ*).

Простофилинъ. Да вотъ никакъ сюда идетъ Гуръ Филатычъ со всей фамиліею. — Прощай, Еремѣевна. Побѣгу и заразъ опять явлюсь съ своими плясунами. (*Гуръ Филатычъ, Фекла Тарасьевна, Надоѣдаловъ и Любушка выходятъ съ противной стороны*).

Надоѣдаловъ. Ну, братъ Гуръ, что ни говори, а что правда, то правда, вѣдь Награждай-то знатная собака!—Какъ я онамеднись, знаешь ты, запустилъ въ островъ гончихъ-то...

Гуръ. И, братъ, да ты ужъ десять разъ мнѣ это разсказывалъ.

Надоѣдаловъ. Не хочешь слушать, такъ я разскажу Любови Гурьевнѣ. Вотъ, изволите видѣть, мать моя, какъ я запустилъ въ островъ гончихъ...

Любушка. Ай, да какіе вы скучные! Все говорите о собакахъ, да о себѣ.

Надоѣдаловъ. Да объ чемъ же и говорить нашему брату, какъ не о собакахъ? По мнѣ, пожалуй, не слушайте, — я разскажу Феклѣ Тарасовнѣ. Вотъ, изволишь вѣдать, матушка сударыня, какъ я запустилъ гончихъ...

Фекла. И, мой отецъ,—да помолчишь-ли ты когда-нибудь: тебѣ бы все говорить, да говорить; ужъ какъ это у тебя языкъ не примелется, дай намъ посмотрѣть товаровъ, вѣдь ярмарка-то у насъ не десять разъ въ году бываетъ. (*Простофилинъ и Затѣйкинъ подходятъ*).

Затѣйкинъ. Что хорошенькаго вы подѣлываете, Гуръ Филатычъ?

Гуръ. Да такъ, батюшка, пришелъ себя показать, да людей посмотрѣть.

Затѣйкинъ (*Любушкѣ*). Коман-ву портеву, мамзель?

Любушка. Ахъ, Богъ мой! Какъ вы скверно говорите по-французски!

Затѣйкинъ. Помилуйте, матушка, Любовь Гурьевна, зачѣмъ такая немилость, чѣмъ хуже мы другихъ здѣсь; въ цѣломъ околоткѣ никто и заикнуться не умѣетъ по-французски, а мы, такъ что угодно! И коман-ву портеву, и бон-журъ монъ шеръ,—да и мало ли чего другого прочаго.—Извольте-ка только поразговориться.

Гуръ. Ну, да что жъ мы здѣсь остановились, пойдемте дальше.

Затѣйкинъ. Нѣтъ, сударь, просимъ покорно пообождать: я хочу васъ кой чѣмъ позабавить.

Простофилинъ. И я также...

Гуръ. Что это вы затѣваете? Ужъ не сюрпризъ ли?..

Простофилинъ. Я хочу...

Затѣйкинъ. Небольшую потѣшку.

Простофилинъ. Васъ повеселить.

Фекла. Посмотримъ, посмотримъ. Вотъ мы здѣсь присядемъ.

Затѣйкинъ. Эй вы, любезные. (*№ 1. Цыганская пляска*).

Всѣ. Прекрасно! Хорошо!

Простофилинъ. Послушай-ка моей Дуняши. (*№ 2. Пѣсня г-жи Самойловой*).

Гуръ. Что твоя пава.

Простофилинъ. Посмотрите-ка моего мусью. (*№ 3, съ флагомъ*).

Надоѣдаловъ. Ахъ, злодѣй, какія онъ штуки строитъ,—ну, ужъ знатно!

Затѣйкинъ. Извольте-ка послушать и моего пѣвуна-то, — нечего сказать, матушка, Любовь Гурьевна, — что ваши петербургскіе итальянцы, — трель-ли пустить, другое-ли что; ну-ка, братъ, развернись. (*№ 4. Шуваловъ поетъ*).

Простофилинъ. Ну, это все ничего передъ моими крестьянами. Ну-ка на послѣднемъ просимъ покорно. (*№ 5. Русская пляска*).

РЕПЕТИЦІЯ НА СТАНЦІИ

ИЛИ

ДОБРОМУ СЛУЖИТЬ—СЕРДЦЕ ЛЕЖИТЪ.

АНАЛОГИЧЕСКІЙ ВОДЕВИЛЬ ВЪ ОДНОМЪ ДѢЙСТВІИ.

Другъ человѣчества и твердый другъ закона,
Смиренный въ почестяхъ и скромный средь похвалъ,
Предстатель ревностный за древній градъ у трона,
Какихъ ты доблестей въ себѣ не сочеталъ?
Любовь высокую къ святой землѣ отчизны,
Самозабвеніе и непрерывный трудъ;
Въ день брани—мужество, въ дни міра—правый судъ,
И чистоту души, и жизни безъ укоризны...
Вельможа гражданинъ! Тебѣ—въ потомствѣ мзда;
И зависти въ упрекъ, уже сіяетъ снова
Знакомая Москвѣ безсмертія звѣзда
Еропкина и Чернышева!

Ж.

Ты жилъ въ заботахъ,
Но Москва твой вѣчный монументъ!

Глинка.

Ея Сіятельству

Княгинѣ Софьѣ Степановнѣ Щербатовой.

Милостивая Государыня!

Много лѣтъ уже прошло, какъ люди, преданные достойноуважаемому князю Дмитрію Владиміровичу, влеченные не пристрастіемъ или какими видами, но по чувству души и сердца, собирались подъ гостепріимный кровъ его помѣстья, участвовать въ семейныхъ торжествахъ; время это для нихъ такъ драгоцѣнно, что эти люди желали оживить воспоминаніе давно минувшаго, прекраснаго событія.

Вамъ, княгиня, болѣе чѣмъ кому либо, извѣстна частная жизнь незабвеннаго для нихъ человѣка, ознаменованная высокими добродѣтелями, независимо отъ государственныхъ его заслугъ, и вамъ же, по родству и чувству близкому покойному, судьба, въ утѣшеніе несчастныхъ, опредѣлила заступить мѣсто той благотворительницы въ Москвѣ, которой память живетъ и никогда не угаснетъ въ сердцахъ людей, исполненныхъ благодарности.

Позвольте, чтобъ эта небольшая піеса, какъ свидѣтель любви и уваженія къ общественной заслугѣ князя Дмитрія Владиміровича, украсилась вашимъ именемъ, и примите ее съ тѣмъ благосклоннымъ вниманіемъ, какое покойный, свѣтлѣйшій князь, оказывалъ участвовавшимъ въ Рождественскомъ праздникѣ.

А.*

Его забота объ одномъ:
О пользѣ родины и вѣка!
Въ Москвѣ вельможу любять
въ немъ,
Въ деревнѣ—человѣка!
Писаревъ.

Москва знаетъ и хранитъ глубоко въ памяти высокія заслуги, ей оказанныя въ продолженіе четверти вѣка свѣтлѣйшимъ княземъ Дмитріемъ Владиміровичемъ Голицынымъ, но немногимъ изъ ея жителей, можетъ быть, извѣстна частная жизнь этого знаменитаго вельможи-гражданина; она была столь же прекрасна относительно общества его знакомыхъ и имѣвшихъ счастіе находиться подъ его высокимъ покровительствомъ, какъ его дѣянія на поприщѣ государственномъ, какъ величественная наружность и кроткая улыбка, которою онъ привлекалъ къ себѣ каждаго. Князь Дмитрій Владиміровичъ имѣлъ обыкновеніе проводить время своего отдыха отъ заботъ и трудовъ въ любимомъ своемъ Рожественѣ, селѣ, находящемся въ Дмитровскомъ уѣздѣ, въ 40 верстахъ отъ Москвы; тамъ нерѣдко, лѣтомъ и даже въ глубокую осень, въ домѣ, убранномъ съ изящною простотою, окруженномъ террасами и роскошнымъ тѣнистымъ садомъ, собирался тѣсный кругъ его знакомыхъ; одинаково ласковый для всѣхъ пріемъ хозяина, который перерождался въ любезнаго добродушнаго гражданина на это время, привѣтливость его почтенной супруги, княгини Татьяны Васильевны, памятной Москвѣ своею примѣрно-добродѣтельною жизнію, обворожали гостей, сокращая и самые ненастные осенніе вечера въ удовольствіи. Съ какимъ нетерпѣніемъ ожидали всегда день именинъ и рожденія князя, сколько приготовлялось къ этимъ днямъ искреннихъ ему привѣтствій знакомыми, людьми ему преданными; число ихъ было велико, потому что князь Дмитрій Владиміровичъ, обладая рѣдкими душевными качествами, соединялъ его изъ всѣхъ состояній. Въ 1827 году, цѣлое общество собралось праздновать 29-го октября, драгоцѣнный день его рожденія, въ Рожественѣ. Многіе изъ извѣстныхъ людей въ Москвѣ изъявили желаніе быть участниками предположеннаго торжества; въ дѣлѣ, гдѣ руководствуетъ сердце, не нужно прибѣгать къ усиліямъ; сюрпризъ былъ слаженъ въ нѣсколько дней. А. А. Б.***, будучи въ то время сосѣдомъ покойнаго князя по небольшой усадьбѣ, принадлежавшей ему близъ Рожествена, предложилъ, съ свойственнымъ ему добродушіемъ, чтобы всѣ приготовленія дѣлались у него въ деревнѣ; онъ первый раздѣлилъ оригинальную мысль М. Н. З.***, чтобы въ водевилѣ, написанномъ симъ послѣднимъ въ нѣсколько часовъ, каждый изъ участвующихъ назывался своимъ именемъ, за исключеніемъ лицъ вводныхъ, которыя должны были довершать интересъ и комизмъ пьесы. Дѣйствіе ея перенесъ З.*** въ Солнечную Гору, (вторую станцію отъ Москвы, по прежнему распредѣленію), отъ нея ближайшій поворотъ въ село Рожествено; остроумный А. И. Писаревъ, похищенный безвременно у друзей и поэзіи, написалъ къ водевилю куплеты, въ которыхъ выразилась дѣятельная жизнь и характеръ маститаго градоначальника; и такъ, участвующими были: А. А. Б.*** Б. К. Д.*** А. С. Т.*** А. Н. В.*** А. И. Писаревъ, кн. Н. А. Щ.*** П. Н. А.***; послѣдній представлялъ трактирщика; къ нимъ присоединились первоклассные артисты того времени, которые также просили включить ихъ въ число прочихъ, какъ, людей обязанныхъ князю во время его главнаго начальства надъ московскимъ театромъ *), М. С. Щепкинъ, покойные Рязанцевъ, Сабуровъ и Кубишта; обстоятельства не позволили тогда просвѣщенному любителю отечественнаго театра Ѳ. Ѳ. Кокошкину лично участвовать въ сюрпризѣ, но стихи его, для этого случая сочиненные, были прочитаны А. А. Б.***, нѣсколько пробъ водевиля сдѣланы у А. А. Б.*** въ деревнѣ, и передъ вечеромъ, 29-го октября, вся труппа съ подвижнымъ театромъ была уже въ Рожественѣ. Въ удобную минуту, когда хозяина заняли серьезнымъ разговоромъ въ гостиной, разобранъ былъ бильярдъ въ смежной съ нею комнатѣ, мгновенно разставлены кулисы, загремѣлъ оркестръ, нарочно привезенный изъ Москвы, составленный изъ первыхъ артистовъ театральной дирекціи, взвилась занавѣсъ—и сыгранъ водевиль «*Репетиція на станціи*». Покойный князь Дмитрій Владиміровичъ былъ тронутъ до глубины души вниманіемъ общества, устроившаго ему сюрпризъ и отъ души смѣялся въ сценѣ главнаго комика Щепкина съ просительницею бригадиршею, которую представлялъ неподражаемый Рязанцевъ; всѣ куплеты, относившіеся къ новорожденному, были приняты съ громкими рукоплесканіями и повторены нѣсколько разъ; восторгъ при этомъ былъ общій; за водевилемъ слѣдовалъ дивертисементъ, который заставилъ смѣяться

*) Князь Дмитрій Владиміровичъ со вступленіемъ въ званіе генералъ-губернатора 1820 г., до 1826 г., т. е до времени учрежденія министерства Императорскаго Двора, завѣдывалъ московскимъ театромъ, который главнѣйше обязанъ ему за значительные способы, которые князь исходатайствовалъ отъ Высочайшихъ щедротъ на его улучшеніе. Въ 1824 году зданіе большого Петровскаго театра возрождено при немъ отъ основанія; пріобрѣтенъ покупкою въ казну домъ купца Варгина, въ которомъ устроенъ Малый театръ. Первые артисты балетной труппы во время главнаго управленія театромъ князя Дмитрія Владиміровича выписаны изъ Парижа, а балетъ московскій приведенъ на степень совершенства; французскій спектакль также устроенъ его попеченіемъ. Русскіе артисты преимущественно были всегда ободрены имъ и состояли подъ его покровительствомъ.

зрителей. Дорога отъ Москвы до Рожествена, покрытая различными экипажами, представляла въ тотъ день многолюдное гулянье. Между прочимъ осталась памятною черта характера покойнаго Александра Васильевича Арсеньева, служившаго въ то время членомъ репертуарной части при московскомъ театрѣ: онъ твердо сохранялъ обычай нигдѣ не бывать въ гостяхъ, даже у самыхъ короткихъ знакомыхъ, чуждаясь всякаго угощенія; ѣздилъ только каждый день въ театръ по должности; знавши эту оригинальную странность Арсеньева, впрочемъ умнаго и любезнаго человѣка, никому изъ его знакомыхъ не пришло на мысль пригласить его въ день сюрприза въ Рожествено, но какъ онъ имѣлъ обыкновеніе каждый разъ подавать князю афишу, когда князь Дмитрій Владиміровичъ пріѣзжалъ въ театръ въ свою ложу, то Арсеньевъ, желая быть и въ этотъ разъ аккуратнымъ, въ ту минуту, когда зрители заняли мѣста, явился въ залѣ спектакля въ камергерскомъ вицъ-мундирѣ и почтительно поднесъ афишу князю; князь Дмитрій Владиміровичъ едва успѣлъ сказать ему два слова, какъ предусмотрительный Арсеньевъ, исполнивъ свой пріятный, какъ онъ говорилъ, долгъ, сѣлъ въ коляску и ускакалъ обратно на почтовыхъ домой. Зрители спектакля въ Рожественѣ до того были восхищены пьесою, что возбудили любопытство многихъ въ Москвѣ; все высшее общество желало видѣть повтореніе «*Репетиціи на станціи*»; покойный Ѳ. Ѳ. Кокошкинъ предложилъ участвовавшимъ еще разъ сыграть ее у него въ домѣ, самъ игралъ въ небольшой комедіи, предшествовавшей водевилю, и можно безъ преувеличенія сказать, что если бы зала Кокошкина была въ три раза больше, то и тогда она не вмѣстила бы всей публики, которая, по первому свѣдѣнію о представленіи водевиля, во что бы то ни стало, стремилась его видѣть, аплодировала куплетамъ и заставляла ихъ многократно повторять при громкихъ восклицаніяхъ.

Считаемъ приличнымъ, чтобъ этотъ водевиль явился нынѣ въ печати; сборъ отъ распродажи экземпляровъ назначенъ въ пользу крайне нуждающихся и долженъ быть раздаваемъ въ память того, кто былъ виновникомъ истиннаго торжества жителей Москвы въ продолженіе двадцати пяти лѣтъ, кто будетъ жить всегда въ сердцахъ и памяти благородныхъ соотечественниковъ, кому Москва есть вѣчный *монументъ!*

П. Араповъ.

Вышеприведенныя посвященіе княгинѣ О. С. Щербатовой и предисловіе къ комедіи „Репетиція на станціи“ написаны П. Н. Араповымъ, въ качествѣ издателя этой пьесы, при появленіи ея въ свѣтъ въ 1845 году.

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:

А. А. Б.*** сосѣдъ князя Д. В. Голицына.
Б. К. Д.***
А. Н. В.*** въ видѣ хориста Реутова.
А. И. П.*** сочинитель куплетовъ.
Кн. Н. А. Щ.***
Г-жа Фондуклейкина, бригадирша.
Лордъ Бульдогъ, англійскій путешественникъ.
Макарони, итальянскій пѣвецъ.
М. С. Щепкинъ, актеръ московскаго придворнаго театра.
Трактирщикъ. П. Н. А.***
Слуга въ трактирѣ. А. С. Т.***
Двѣ горничныя дѣвки Фондуклейкиной.

Дѣйствіе происходитъ въ Солнечной Горѣ, на 2-й станціи отъ Москвы.

ЯВЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

(*Общая комната въ гостиницѣ*)

Трактирщикъ, П.*** (*сидитъ за столомъ и пишетъ*) и слуга.

Трактирщикъ (*вошедшему слугѣ*). Что никого не видно?

Слуга. Ни души; сейчасъ покатила легкая почта на четырехъ тройкахъ въ Питеръ.

Трактирщикъ. Отъ легкой почты мнѣ не легче: что ни день, то убытокъ. Ну, гдѣ-бы кажется и деньги брать, какъ не на Петергрской дорогѣ.

Слуга. То то, видите ли, что кумъ вашъ Торговъ правъ, снялъ себѣ въ Москвѣ Геръ, да и не тужитъ, его доходъ повѣрнѣе. чѣмъ вашъ на Солнечной Горѣ: сколько разъ онъ говорилъ вамъ, чтобъ вы не лѣзли въ гору.

Трактирщикъ. Чортъ меня дернулъ снять трактиръ! А все жена: «Эй, сударь, послушайся, Подсолнечная — вторая станція отъ Москвы, денегъ не оберешься». Вотъ тебѣ и станція! Въ три дня пяти рублей не выручилъ.

Слуга. Проѣзжіе что то нынче экономны, иной поѣстъ въ Москвѣ, да и терпитъ до Твери, развѣ что чаю спроситъ на перекутьѣ.

(*Увидя П.*). Да его милость ничего не требовалъ!

Трактирщикъ. Въ этомъ проѣзжемъ на грошъ нѣтъ толку, сидитъ себѣ да пишетъ.

Слуга. Нѣтъ, чтобъ спросить покушать или выпить рюмку водки: ужъ зачѣмъ этотъ народъ разъѣзжаетъ по большимъ дорогамъ.

Трактирщикъ. Впрочемъ, можетъ быть, еще кто-нибудь подъѣдетъ.

Когда здѣсь долѣ проживу,
Проѣзжихъ вѣрно будетъ много,
Отсель дорога есть въ Москву,
И есть въ Рожествено дорога;
Но я, скитаяся вездѣ,
Привыкъ къ дорожному искусству;
Въ Москву все ѣздятъ по нуждѣ.
Въ Рожествено—по чувству.
Хозяинъ этого села
Въ одномъ не избѣжалъ упрека:
Онъ не умѣетъ дѣлать зла,
А на добро великій дока!
Его забота объ одномъ:
О пользѣ родины и вѣка.
Въ Москвѣ вельможу любятъ въ немъ,
Въ деревнѣ—человѣка!

П. (*перечитывая про себя*). Кажется, куплеты не дурны; не мудрено: въ нихъ дѣло идетъ о журналахъ, а это мой любимый предметъ. (*Читаетъ*).

Попавши въ кругъ судей извѣстныхъ,
Къ нимъ такъ поддѣлался Хапковъ,
Что безъ доводовъ полновѣстныхъ,
Не наклоняетъ ужъ вѣсовъ;
Не кончитъ тяжбы безъ натяжекъ,
Тьму дѣлъ у правды оттягалъ,
И сто бумагъ, и сто бумажекъ,
Вседневно вноситъ въ свой журналъ.
Счастливъ, кто жить мѣшалъ злодѣю
И добрымъ людямъ помогалъ,
Кто не сгибалъ предъ сильнымъ шею,
Предъ слабымъ носъ не поднималъ;
Счастливъ, кто бѣгалъ отъ амура,
И съ Бахусомъ не забывалъ,
Что тамъ престрогая цензура
Разсмотритъ дѣлъ его журналъ.
Всему великому причастенъ
Отважный русскій нашъ народъ,
Онъ только Богу лишь подвластенъ,—
Захочетъ лавровъ и пожнетъ!
Въ Москву вломились вражьи скопы,
Гори, Москва, онъ провѣщалъ,
И кровью на поляхъ Европы,
Писалъ побѣдъ своихъ журналъ!

ЯВЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

Тѣ-же и Б.***

Б. ((*оборотясь къ дверямъ*). Безъ подорожной, братецъ; пропиши просто генералъ-маіоръ Б.*** Нѣтъ! нѣтъ! тьфу пропасть! не могу привыкнуть — дѣйствительный статскій совѣтникъ! (*Трактирщику*). А! здравствуй,—что нѣтъ никого проѣзжихъ?

Трактирщикъ. Никого, сударь!

Б. Какъ нѣтъ? А это? (*показывая на П.****).

Трактирщикъ. Какой это проѣзжій,—не ѣстъ, не пьетъ, только что пишетъ.

Б. Ба! Да это П.***. Ай да умникъ! Спасибо, что не опоздалъ.—Что ты пишешь?

П. Куплеты.

Б. Которые мы будемъ пѣть сегодня въ Рожественѣ?

П. Нѣтъ, это такъ, запасные куплеты для водевиля, который я когда-нибудь напишу.

Б. Эхъ, братецъ! Да брось этотъ вздоръ; давай наши куплеты—на сегодняшній день.

П. Я еще за нихъ не принимался.

Б. Помилуй, П.***—да что-жъ мы будемъ дѣлать? Ай да народецъ!—Въ двѣнадцать часовъ хотѣли сюда всѣ съѣхаться, уговориться сдѣлать сюрпризъ князю, ты взялся написать стихи—и никого нѣтъ, ничего не готово! А кажется всѣ отъ добраго сердца взялись за это, всѣ на перерывъ хотѣли участвовать въ этомъ праздникѣ.

П. Что-жъ дѣлать: молоды—вѣтрены.

Б. Молоды! молоды! Я и самъ человѣкъ не старый! Однако жъ, не вѣтреничаю!—Ахъ, Боже мой! Боже мой!—когда мы успѣемъ все это уладить.

П. Да что-жъ наши помощники?

Б. Хороши помощники! Посовѣтоваться не съ кѣмъ. Д*** все молчитъ, шепчетъ только про себя chère Anne adorable amie, а объ нашемъ дѣлѣ ни слова.—Хотѣлъ поговорить съ З.***, такъ приступу нѣтъ: онъ пишетъ какую-то оперу, въ которой чортъ главное дѣйствующее лицо, и такъ занятъ этимъ вздоромъ, что бредитъ какъ полоумный. В.***, такъ же въ горячкѣ съ пятнами, пишетъ музыку къ этой оперѣ; ну, словомъ, всѣ наши будто бы согласились ничего не дѣлать.

П. Нельзя ли какъ-нибудь отложить эготъ сюрпризъ?

Б. Вотъ то-то и бѣда, что не можно! И кто просилъ князя родиться въ субботу—почему бы не въ воскресенье?

Иначе невозможно
Поспѣть намъ, потому
Что въ праздникъ было должно
Родиться бы ему,
И выбрать воскресенье
По мнѣ ничуть не грѣхъ,
Когда его рожденье
День праздничный для всѣхъ.

ЯВЛЕНІЕ ТРЕТЬЕ.

Тѣ-же и Д.***

А. Б. К—чъ! Насилу пріѣхалъ. Ну, что? А Щ—вой-то все еще нѣтъ?

Д. Слава Богу, она здорова!

Б. Не о томъ рѣчь,—надѣешься ли ты...

Д. Какъ же! Я сегодня ее увижу.

Б. Эхъ, милый!—Ты долженъ сегодня...

Д. Да, сегодня я буду танцовать съ нею—

Б. Тьфу, чортъ возьми!—я говорю тебѣ о нашемъ сюрпризѣ.

Д. А! знаю! Да, конечно, сюрпризъ будетъ хорошъ;—chère amie!

Б. Ну, вотъ толкуй съ этимъ народомъ! Я спрашиваю тебя, скоро ли всѣ сберутся?

Д. Да, кстати! Никто изъ нашихъ пріятелей не можетъ сюда пріѣхать.

Б. Какъ никто?—А нашъ сюрпризъ?

Д. (*не слушая*). Adorab...

Б. Да полно смотрѣть по сторонамъ, когда я съ тобой говорю; скажи, что мы будемъ теперь дѣлать?

Д. Я, право, не знаю.

Въ сюрпризѣ этомъ, признаюся,
Я вамъ ничѣмъ не помогу,
Играть и пѣть въ немъ не берусь;
Любить—вотъ все, что я могу!
Какое въ свѣтѣ выраженье
Сравниться можетъ съ чувствомъ къ ней?
Ахъ! Только къ князю уваженье
Равно съ любовію моей.

ЯВЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Тѣ же и Макарони (*входитъ во время пѣнія*).

Макарони. Браво! Брависсимо!

Б. Что это значитъ?

Макарони. Пердонате! Синьере такъ прекрасно пѣлъ, что я не могъ удержаться.

Б. Если не ошибаюсь, вы итальянецъ?

Макарони. Си, синьере.

Б. И, вѣрно, пѣвецъ?

Макарони. Си, синьере.

Б. Вы ѣдете въ Москву?

Макарони. Си, синьере! Я желаитъ дать нѣсколько представленій.

Б. Въ такомъ случаѣ я могу васъ рекомендовать пріятелю моему, члену театральной дирекціи З.***,—онъ чрезвычайно любитъ итальянскую оперу.

Макарони. О, фортуна бенедита! Екселенца! Чѣмъ могу я заслужить...

Б. Останьтесь сегодня вмѣстѣ со мною и украсьте вашимъ талантомъ праздникъ, который мы даемъ недалеко отсюда.

Макарони. Съ величайшею охотою.

Б. Такъ пропойте намъ что-нибудь на пробу.

Макорони. Съ удовольстви! Изволитъ слушай. (*Поетъ арію*).

Б. Брависсимо! Б. К—чъ прикажи переложить его чемоданъ въ коляску.

Макарони. Но, но, синьере, я ѣдитъ налегкѣ, со мною нишего нѣтъ.

Д. А не хотите ли вы позавтракать?

Макарони. Си, синьере! Си, синьере!

Д. Пойдемте же со мною! (*уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ ПЯТОЕ.

Б*** и П.***, (*вскорѣ*) трактирщикъ и Реутовъ.

П. Вамъ счастье помогаетъ, вотъ одного и завербовали.

Б. Не мудрено, братецъ.

Мнѣ усердье ихъ понятно.
И могло ль иначе быть?
Самъ ты знаешь какъ пріятно
Добродѣтельнымъ служить;
Въ комъ съ любезностью прямою
Страсть къ добру всегда живетъ,
Тотъ къ себѣ, своей душою,
Какъ магнитомъ, всѣхъ влечетъ.

Трактирщикъ (*въ дверяхъ*). Куда лѣзешь?—Назадъ!

Реутовъ (*въ дверяхъ*). Да пустите, батюшка, отдохнуть.

Трактирщикъ. Пошелъ отдыхть въ харчевню.—Видишь какой! Пришелъ пѣшкомъ, а лѣзетъ въ ресторацію.

Реутовъ (*врываясь насильно*). Большая невидаль,—ресторація! Мы, батюшка, люди московскіе! Здравія желаю, господа.

Б. Мнѣ что-то это лицо знакомо; кто ты, голубчикъ?

Реутовъ. Отставной артистъ, если позволите.

Б. Артистъ!

Реутовъ. Точно—такъ-съ, я двадцать лѣтъ былъ хористомъ при московскомъ театрѣ, и если бъ не имѣлъ несчастья поссориться съ регентомъ, то пѣлъ бы и теперь

Прославимъ, прославимъ!!
Господъ молодыхъ!

Вы, господа, не можете представить, какъ безпокойно и хлопотливо служить при театрѣ.

Съ утра до вечера у насъ
Полна просителей контора,
Тамъ смѣхъ, тутъ слезы или ссора,
И нѣтъ покоя ни на часъ.
Актеръ тамъ ссорится съ суфлеромъ,
Въ жару трагическомъ кричитъ;
Суфлеръ бранится съ бутафоромъ,
А всѣхъ ихъ публика бранитъ.
Повсюду страшный шумъ и крикъ:
Иному дайте вы прибавку,
Любовникъ просится въ отставку,
И въ службу просится старикъ;
Здѣсь,—роль проходитъ сочинитель,
Съ Пиладомъ ссорится Орестъ,
А тамъ сажаетъ нашъ смотритель
За пьянство чорта подъ арестъ!
У балетмейстера за то
Тамъ съ машинистомъ вышла сцена,
Что сдѣлалъ море по колѣна
И не похоже ни на что!
Всѣ безпрестанно суетятся,
Одинъ молчитъ, другой кричитъ,
Хлопочутъ, ссорятся, бранятся,
А всѣхъ ихъ публика бранитъ.

П. Куда же ты пробираешься?

Реутовъ. Да хочется въ Тверь. Говорятъ,

въ тамошнемъ театрѣ недостаетъ перваго опернаго любовника.

Б. А что! И этотъ можетъ пригодиться; послушай-ка, братъ! Во-первыхъ, гей кто-нибудь! Рюмку настойки!

Реутовъ. Чувствительно благодарю!

Б. Во-вторыхъ, хочешь ли пообѣдать даромъ и взять синенькую?

Реутовъ. Помилуйте-съ, какъ не хотѣть!

Б. Ты точно пѣвалъ на театрѣ?

Реутовъ. Въ двухъ стахъ пятидесяти четырехъ операхъ русскихъ, да, помнится, въ шестидесяти двухъ операхъ французскихъ.

Б. Даже и во французскихъ!

Реутовъ. Какъ же, сударь; какъ теперь помню: я пѣлъ въ одной французской оперѣ теноромъ: «Ешпантонъ съ серебромъ на бульваръ тащилъ».

П. То есть chantons, célébrons la gloire d'Achille'.

Реутовъ. Точно такъ-съ!

Б. А пѣвалъ ли ты соло?

Реутовъ. Помилуйте, сколько разъ, Даже французскіе романсы пѣлъ, напримѣръ:

Лѣплю вербу въ хату!

Б. Что это за дичь?

П. Постойте,—вѣрно: le plus vert bocage!

Реутовъ. Точно такъ-съ!

Б. А русскіе пѣвалъ?

Реутовъ Если прикажете, и теперь спою.

Д. Не знаешь ли ты куплеты, которые пѣли однажды въ Петровскомъ; можетъ быть, и ты былъ въ числѣ хористовъ?

Реутовъ. Былъ, сударь, и знаю, но для этого надобно передразнить В—го.

П. Такъ что жъ: передразни.

Реутовъ. И вы сами увидите, что мастерски. (*Скидаетъ парикъ и сюртукъ*).

Всѣ. Возможно ли! В—ой!

В. Что, господа, какова мистификація?

Всѣ Безподобна!

П. Однако жъ, хористъ или В—ой, все долженъ намъ пропѣть обѣщанные куплеты.

В. Изволь, пропою, и съ такимъ же удовольствіемъ, съ какимъ ты писалъ ихъ.

Счастливъ, кто можетъ наслаждаться
Плодами добрыхъ дѣлъ своихъ
И только объ одномъ стараться,
Чтобъ быть полезнымъ для другихъ;
Кого одна боязнь тревожитъ,
Чтобъ даромъ дня не потерять,
И кто, подобно князю, можетъ
Добромъ всѣ дни свои считать
Счастливъ, кто могъ себѣ дѣлами
Отъ всѣхъ почтенье заслужить
И благодарности слезами
Несчастья слезы замѣнить;
Къ кому съ надеждой шелъ невинный,
Кого виновный трепеталъ,
И кто справляетъ именины
При шумѣ правильныхъ похвалъ!

Б. Все это хорошо, да нынче не именины, а рожденье.

П. Знаю. В—ой пропоетъ третій, новый куплетъ, на тотъ же голосъ.

В. Куплетъ новый, а чувства къ князю все прежнія; слушайте-жъ:

Давно вошло въ обыкновенье,
Кого мы любимъ, тѣхъ хвалить
И похвалою въ день рожденья
Новорожденнаго дарить;
Но безъ того давно ужъ слава
Ему даръ этотъ поднесла,
И похвала съ нимъ будетъ права,
А правда будетъ похвала!

ЯВЛЕНІЕ ШЕСТОЕ.

Тѣ же и лордъ Бульдогъ.

Лордъ (*въ дверяхъ*). Годдемъ! Ви ошень исрядно, скверно ѣхайте; нѣтъ фотка! Пошелъ прошь! годдемъ! (*входитъ*). Гайдиду! Господинъ трактирщикъ! Г-нъ трактирщикъ!

Трактирщикъ! (*входитъ*). Что вамъ угодно?

Лордъ. Г-нъ трактирщикъ! Ви шрезвышайно, ошень глупъ!

Трактирщикъ. Какъ, сударь?

Лордъ. Да, тошно, много глупъ! Ви русска шелофекъ, а на фаша таверна написанъ франсузска ресторасіонъ.

Трактирщикъ. Такъ что же?

Лордъ. Фи! скверна! годдемъ! Въ нашъ Британи нѣтъ франсузска надпись на таверна; мнѣ стытна за васъ, г-нъ трактирщикъ!

Б. Вотъ порядочный чудакъ! Смѣю спросить, вы ѣдете въ Москву?

Лордъ. Да!

Б. По коммерческимъ дѣламъ?

Лордъ. Но.

П. Такъ вы путешественники?

Лордъ. Да!

Б. И, вѣрно, хотите пробраться въ Азію?

Лордъ. Но.

П. Вы долго намѣрены прожить въ Москвѣ?

Лордъ. Ошень дофольно много! Я желаить фидѣть въ Москвѣ акрономическа обществъ.

Б. Такъ вы для этого ѣдете въ Москву?

Лордъ. Да! Я шрезвышайно, ошень шелаитъ былъ знакомъ съ президентъ эта обществъ.

Я слышалъ, онъ за край родной
Какъ русскій бился въ полѣ брани,
Въ дни мира, позабывъ покой,
Идетъ стезей благодѣяній;
Держа Ѳемидины вѣсы,
Къ одной лишь правдѣ ихъ склоняетъ,
И даже отдыха въ часы,
О земледѣльцахъ помышляетъ.

Б. По этому описанію я узнаю князя Дмитрія Владиміровича Голицына; такъ вы съ нимъ хотите познакомиться?

Лордъ. Мнѣ фсе равно!—Я слышалъ, што обществъ нашолъ фашна секретъ.

П. Да, труды его достойны всякаго уваженія!

Лордъ. Я ошень знайть, што обществъ имѣй секретъ: изъ овса, когда онъ посѣютъ, дѣлайтъ пшеницъ.

Б. (*смѣясь*). Полно, такъ ли?

Лордъ. Годдемъ! —Я знай, что знай! Я самъ большой астрономъ;—годдемъ!

П. Не сердитесь, милордъ; если вы хотите познакомиться съ президентомъ общества, то поѣдемте съ нами вмѣстѣ: мы сегодня будемъ у него.

Лордъ. Такъ онъ не въ Москва?

Б. Нѣтъ, въ своей деревнѣ, недалеко отсюда.

П. Сегодня день его рожденія, и мы хотимъ сдѣлать ему сюрпризъ; не хотите ли и вы участвовать?

Лордъ. Та! та!

Б. Умѣете ли вы танцовать?

Лордъ. Годдемъ! Лордъ — Буль-догъ — ушилъ два годъ у Фестрисъ и тансуй какъ Биготинни.

Я любитъ всѣ экзерсицій,
Эта нушна въ модна свѣтъ,
И годдемъ, всѣ пять позицій
Тошасъ внучилъ,—въ пять лѣтъ,
Оттого вотъ и толкуетъ
Объ милордъ Буль-догъ народъ,
Что я съ шуствами тансуетъ,
Что я грассами поетъ!

Б. Итакъ вы ѣдете съ нами?

Лордъ. Нѣтъ! Я пошелъ пѣшкомъ; я презвышайно ошень люблю ходилъ пѣшкомъ. Прошайтъ. (*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ СЕДЬМОЕ.

Тѣ-же безъ лорда.

П. А что вы думаете? Этотъ англичанинъ стоитъ хорошаго сюрприза!

Б. Пусть онъ будетъ нашимъ авангардомъ.

ЯВЛЕНІЕ ВОСЬМОЕ.

Тѣ-же, Д.*** и Макарони.

Д. Когда-жъ мы ѣдемъ?

Б. Надобно прежде сдѣлать какую-нибудь репетицію.

Макарони. Я готовъ, екселенца.

П. То есть вы ужъ сыты.

Д. Посмотрите: карета! коляска! бричка!

Фондуклейкина (*за кулисами*). Я васъ, негодные! Лошадей!

ЯВЛЕНІЕ ДЕВЯТОЕ.

Трактирщикъ *вводитъ* Фондуклейкину. (*за нею двѣ дѣвки съ узлами*).

Трактирщикъ. Пожалуйте сюда!

ндуклейкина (*оборотясь къ дверямъ*). Антошка! Смотрите, у меня не зѣ-

Трактирщикъ. Не прикажете ли, ваше благородіе?

Фондуклейкина. Благородіе! За кого ты меня принимаешь, душенька?

Умѣй съ высокородной
Учтивымъ быть во всемъ:
Мой мужъ былъ благородный,
И бригадиръ притомъ,
Объ немъ въ газетахъ было,
Что выѣхалъ въ Ростовъ;
Итакъ—я стою, милый,
Одна шести скотовъ!

Трактирщикъ. Не прикажете ли покушать, ваше высокородіе?

Фондуклейкина. Да, голубчикъ, вели мнѣ подать молочной каши и кислыхъ щей! Дунька, шаль! (*Дѣвка надѣваетъ шаль*).

Б. Не ошибаюсь ли я? Такъ, точно, это Фондуклейкина. (*Подходитъ къ ней*). Матрена Саввишна!

Фондуклейкина. Ахъ, батюшка, А—. А—чъ! сколько лѣтъ, сколько зимъ!

Б. Какъ я радъ, что имѣю удовольствіе...

Фондуклейкина. Смотри пожалуй! Совсѣмъ не перемѣнился, точь въ точь какъ былъ, такой же шаркунъ; рада, батюшка, что тебя вижу: мы старинные знакомые, помнишь ли, какъ ты былъ поручикомъ гвардіи лѣтъ шестьдесятъ тому назадъ?

Б. Помилуйте! Не вѣрьте ей, господа, она вретъ.

Фондуклейкина. Какой ты былъ весельчакъ. (*Роняетъ платокъ*). Фенька, подыми платокъ! (*Дѣвки исполняютъ приказаніе*). Я сама была затѣйница,—а теперь дѣла, процессы съ ума свели; Дунька, открой табакерку! (*нюхаетъ табакъ*). Охъ! вдовье дѣло, бѣда! Всѣ обижаютъ. Фенька, поправь шаль! Да, батюшка, у меня каждый годъ процессъ за процессомъ, замучили по судамъ!

Б. Такъ у васъ есть тяжебныя дѣла?

Фондуклейкина. Какъ же, мой отецъ, у меня дѣла съ братомъ, съ двумя сестрами, съ вотчимомъ, золовкою, племянникомъ, пасынкомъ, съ тремя зятьми и одной невѣсткою.

Б. То-есть со всею роднею.

Фондуклейкина. О, охъ-ти мнѣ! Что дѣлать, полъ-имѣнья протягала; да и я же ихъ путемъ доѣду: пойдутъ голубчики по-міру. Теперь одно дѣло перешло въ Москву—такъ собралась туда хлопотать, своеручно подамъ просьбу господину генералъ-губернатору.

Д. Его нѣтъ теперь въ городѣ.

Фондуклейкина. А гдѣ же онъ?

Д. Недалеко отсюда, въ своей деревнѣ.

Фондуклейкина. Ахъ, батюшки мои! Такъ что жъ, я и тамъ его найду; нѣтъ, мой родной, отъ меня не отдѣлается; гдѣ хочетъ, хоть въ деревнѣ, хоть въ городѣ, а давай мнѣ судъ и расправу.

Б. Вы могли бы съ нимъ и здѣсь встрѣтиться: онъ часто бываетъ на этой станціи.

Фондуклейкина. Куда бъ было хорошо!

Здѣсь на просторѣ я ему всѣ дѣла бы мои разсказала.

Б. Да, если бъ онъ сталъ васъ слушать.

Фондуклейкина. А почему бъ, батюшка, ему меня и не выслушать?

Б. А вотъ почему: онъ готовъ выслушать всякаго, готовъ вступиться всегда за невиннаго, подать руку помощи притѣсненному, да только вотъ что худо—онъ очень не любитъ ябедниковъ.

Фондуклейкина. А кого ты, батюшка, называешь ябедниками?

Б. Не васъ, сударыня,—Боже упаси!

Фондуклейкина. То-то не меня! Я, вѣдь, батюшка, сама бригадирша и за обиду моей чести со мной добромъ не раздѣлаешься.

Б. Неужели вы могли подумать...

Фондуклейкина. И, родной мой, да развѣ нынче дружбу помнятъ? Хоть ты, А.—А—чъ, небось все забылъ, что было? Помнишь ли ты, какъ однажды въ Москвѣ, въ благородномъ собраніи, танцовалъ ты со мною; какъ теперь гляжу, ты былъ такъ авантажень: въ свѣтло-розовомъ атласномъ кафтанѣ, въ шитомъ камзолѣ, причесанъ а лель де-пижонъ; весь вечеръ ты не спускалъ съ меня глазъ, смотрѣлъ на меня такъ нѣжно, такъ умильно.

Б. Не вѣрьте, господа,—она лжетъ!

Фондуклейкина. Все прошло! И Матрена Саввишна стала ужъ не та! Охъ, прости Господи мое прегрѣшенье, заболталась окаянная! Пойти-ка да посмотрѣть, скоро ли лошади будутъ готовы! (*Дѣвкамъ*). Что вы бѣльмы-то выпучили? Ступайте! (*Уходятъ*).

ЯВЛЕНІЕ ДЕСЯТОЕ.

Тѣ же безъ Фондуклейкиной.

Б. Уфъ! Какъ гора съ плечъ! Ну, теперь, господа, подумаемте, въ чемъ будетъ состоять нашъ сюрпризъ?

В. Я думаю, что можно спѣть романсъ.

Макарони. Не лучше ли бравурная арія?

П. И, полноте, что за романсы? Всего приличнѣе пропѣть куплеты.

Д. А мнѣ кажется, лучше протанцовать что-нибудь.

Б. Если каждый будетъ говорить свое, то мы ничего не сдѣлаемъ.

В. Я стою за романсъ.

П. А я за куплеты.

Д. А я за танцы.

Макарони. Екселенца! Безъ бравурной аріи сюрпризы быть не мошна.

Б. Эй, уймитесь, господа! Если мы будемъ спорить, то ничего путнаго не выйдетъ.

В. Я не отступлюсь отъ своего мнѣнія.

П. И я!

Д. И я!

Б. Что будешь дѣлать! Толкуй съ ними, а время идетъ да идетъ!

Щепкинъ (*за кулисами*). Проворнѣй лошадей! Дамъ на водку!

П. Знакомый голосъ! Неужели? Точно такъ—Щепкинъ.

ЯВЛЕНІЕ ОДИННАДЦАТОЕ.

Тѣ же и Щепкинъ.

Б. А! Любезнѣйшій!

В. Михайла Семеновичъ!

Щ. Здравствуйте, господа!

Б. Какъ ты попалъ сюда?

Щ. Ѣду въ Петербургъ.

Б. Зачѣмъ?

Щ. Сыграть нѣсколько разъ на тамошнемъ театрѣ и взять бенефисъ.

П. Вы выѣхали сегодня?

Щ. Нѣтъ, вчера, тотчасъ послѣ спектакля.

Б. А что давали?

Щ. Драму «Эдуардъ въ Шотландіи»; я игралъ въ ней полковника.

Трактирщикъ (*входитъ*). Смѣю спросить,—извините, имя и званіе ваше не имѣю честь знать?

Щ. Не знаю, душенька, что сегодня, а вчера былъ полковникомъ.

Трактирщикъ. Ахъ, извините, ваше высокоблагородіе! Не угодно ли вамъ что-нибудь покушать.

Щ. Спасибо! Не хочу.

Б. Голубчикъ, Михайла Семеновичъ, помоги нашему горю!

Щ. О чемъ вы хлопочете?

Б. Во-первыхъ, ты останешься сегодня съ нами.

Щ. Невозможно,—я тороплюсь.

Б. Для того, чтобъ сдѣлать сюрпризъ князю Дмитрію Владиміровичу; сегодня его рожденье.

Щ. Вотъ это другое дѣло, — извольте, — остаюсь!

Всѣ мы готовы съ восхищеньемъ
Тому начальнику служить,
Кто просвѣщеннымъ управленьемъ
Умѣлъ театръ возстановить.
Изъ рукъ его благотворенья
Москвѣ и намъ всегда лились,
И князю сдѣлать угожденье—
Вотъ самый лучшій бенефисъ!

Б. Правда, придумай же, что намъ сдѣлать? Мы до сихъ поръ не можемъ согласиться между собой.

Щ. И, господа! Да тутъ, мнѣ кажется, и спорить не о чемъ! Вы хотите сдѣлать сюрпризъ, вопросъ: какого рода?—Сентиментальный или комическій?

Б. Комическій!

Щ. Слѣдовательно, позабудьте объ умѣ—умъ хорошо, да только онъ не всегда бываетъ забавенъ, а вы, вѣрно, хотите, чтобъ всѣ смѣялись?

Всѣ. Разумѣется.

Щ. Итакъ, побольше глупостей.—Вы, ваше превосходительство, поете плохо—зато хорошо говорите, вы должны произнести рѣчь.

Б. Да что я за импровизаторъ? Я буду врать.

Щ. Тѣмъ лучше, будутъ смѣяться. (*Д****) Вы сочините куплеты, (*В****) а вы ихъ пропоете, (*Д****) а вы...

Д. Я хочу танцовать.

Щ. Резонъ! Вы съ его превосходительствомъ протанцуете pas de deux à l'écho; да дѣлайте почаще пируэты à tir-bouchon; теперь бы въ заключеніе какую-нибудь великолѣпную глупость.

Макарони. Я пропою бравурную арію.

Щ. Брависсимо! Прекрасная музыка,—глупыя слова,—чего-же лучше! Теперь, кажется все улажено.

П. Нельзя ли прорепетировать?

Щ. И можно, и должно. (*Б.****) Извольте говорить рѣчь!

Б. Хорошо! хорошо! Михайла Семеновичъ! Садись здѣсь,—представляй ты князя.

Щ. (*садится*).

Б. (*начинаетъ съ важностію; въ это время входитъ Фондуклейкина*). Ваше сіятельство...

Фондуклейкина. Что я слышу!

Б. Ваше сіятельство! Вы видите предъ собою людей, которыхъ души наполнены одними и тѣми же чувствами! Занимая знаменитый постъ градоначальника московскаго, вы всегда пеклись...

Фондукл. Такъ точно! Это генералъ-губернаторъ! — Батюшка! ваше сіятельство!

Щ. (*вскакивая*). Что это значитъ?

Фондуклейкина. Вы здѣсь инкогнито—но это все равно!

Щ. Я не князь, сударыня!

Фондуклейкина. Вы напрасно хотите скрывать свое достоинство: этотъ важный видъ, величественный ростъ,—все доказываетъ...

Щ. Что я человѣкъ не простой! Быть можетъ, конечно,—мои товарищи носятъ иногда порфиру и корону, но я, право, совсѣмъ не тотъ, за кого вы меня принимаете.

Фондуклейкина (*Б.****). Отецъ мой, А. А., попроси, чтобъ онъ меня выслушалъ.

Б. А что, и въ самомъ дѣлѣ. (*Тихо Щепкину*). Послушай, сыграй роль князя: — эта женщина ужасная ябедница, — отдѣлай ее хорошенько.

Щ. За этимъ дѣло не станетъ; отпущу ей сцену изъ Мольера, такъ она у меня язычокъ прикуситъ. (*Фондуклейкиной*). Что тебѣ угодно, сударыня?

Фондуклейкина. Сіятельный князь! Вступись за бѣдную сироту, у меня тяжбы со всѣми родными.

Щ. Какъ! Тяжбы со всѣми родными! (*Тихо Б****). Скажу ей тираду изъ «Скапиновыхъ обмановъ!» (*Фондуклейкиной*). У тебя столько процессовъ! А думала ли ты о всѣхъ каверзахъ правосудія? О подъячихъ, писцахъ, переписчикахъ, стряпчихъ, канцеляристахъ, регистраторахъ, засѣдателяхъ, прокурорахъ, ассессорахъ, судьяхъ?

Фондукл. Думала, отецъ мой, думала!

Щ. Протоколистъ не такъ запишетъ въ протоколъ; стряпчій продастъ, регистраторъ запишетъ въ реестръ; прокуроръ пропуститъ, секретарь скрѣпитъ; судья осудитъ, засѣдатель справитъ.

Фондуклейкина. Долго ль до грѣха!

Щ. А деньги, деньги.—Онѣ нужны тебѣ будутъ на письмо, на переписку, на записку, на выписку и на росписку...

Фондуклейкина. Такъ! такъ!

Щ. Деньги!—Надобно ихъ давать: за сочиненье, за явку, за справку и за выправку.

Фондуклейкина. Такъ! такъ!

Щ. Деньги! Ихъ можно платить за просрочку, за неявку, за публикацію, за рукоприкладство, за штрафъ, за проторы,—убытки, волокиты и безчестье...

Трактирщикъ (*подходитъ скоро къ Щ****). Извините! Почему, сударь, вы изволите называться полковникомъ, когда вы московскій придворный актеръ? Я себя дурачить никому не позволю.

Фондуклейкина. Какъ! Онъ актеръ?

Трактирщикъ. Я самъ смотрѣлъ въ подорожной!

Фондуклейкина. Ахъ ты, негодный скоморохъ! Да какъ ты осмѣлился! (*Всѣ смѣются*). Смѣйтесь, смѣйтесь! Я сейчасъ ѣду къ князю; я и въ деревнѣ его найду,—отъ меня не спрячется,—я буду просить—настою, потребую, — смѣяться надъ бригадиршей! Лошадей, сейчасъ лошадей! (*Уходитъ*).

Щ. Ну, господа, мнѣ за шутку досталось—не на шутку! Теперь за репетицію!

П. (*Б****). Я хотѣлъ послушать, какъ вы импровизируете, а рѣчь-то есть готовая: ее написалъ Ѳ. Ѳ. К—нъ, а такъ какъ ему самому нельзя пріѣхать, то онъ просилъ отдать ее вамъ.

Б. Что жъ ты молчишь, разбойникъ? Давай проворнѣй.

П. А вотъ вамъ, господа, по куплету.

В. Какъ! Ужъ и готовы!

П. Когда сердце водитъ перомъ, то стихи пишутся скоро!

Щ. Ну, начинайте, господа!

Б. (*говоритъ рѣчь*):

Обычай съ давнихъ лѣтъ ведется у людей
День праздновать рожденья
Въ кругу семейства и друзей;
И что отраднѣе сего обыкновенья!
Конечно, скажутъ мнѣ, однако, не для всѣхъ.
Иныхъ пріѣздъ на здѣшнюю планету
Семейству—безъ утѣхъ,
Безъ пользы—свѣту,
А часто и къ бѣдѣ; такъ тѣхъ
Рожденье праздновать, признайтесь, право, грѣхъ.
Нерѣдко—лишь храня приличія условье—
Наморщившись, ихъ пьютъ здоровье.
Нерѣдко ближній и чужой,
Предлогомъ случай взявъ пустой,

На пиръ рожденнаго всегда не поспѣваетъ,
И скуки и бѣды избавяся такой,
Бокаломъ пѣнистымъ себя лишь поздравляетъ.
Кто жъ станетъ спорить въ томъ, моя о томъ ли рѣчь?
И долго ль истину изъ этого извлечь.
Растетъ къ несчастію и на лугахъ душистыхъ
Между цѣлебныхъ травъ негодная трава,
И мутный токъ течетъ близъ водъ прозрачныхъ, чистыхъ;
Такъ смертнымъ Богъ даетъ различныя права,
И что жъ торжественнѣй, какъ праздникъ для рожденья—
Того, кто, даръ благихъ небесъ,
Съ младенчества въ семьѣ причиной сладкихъ слезъ,
Слезъ радости и восхищенья,
А въ юности предметъ любви и уваженья—
На то лишь посвятилъ всѣ дни своей весны,
Чтобъ, въ добродѣтеляхъ гражданскихъ успѣвая,
Содѣлаться щитомъ отечественна края
И славою родной страны!
Кто, съ поприща сошедъ священныя войны,
Довѣріемъ монарховъ отличенный,
Святымъ усердіемъ къ престолу вдохновенный,
Начальника правдиваго судьи,
Исполнитъ въ точности, ко благу всѣхъ сословій,
И сердца слухъ на стонъ склоняя вдовій,
На жалобу сиротъ, минуты всѣ свои
На благо общее, на пользу посвящаетъ,
Участіемъ своимъ науки ободряетъ,
И славу родины пріемля лишь въ предметъ,
Лелѣетъ всѣ полезныя искусства,
Распространяя вкругъ благихъ познаній свѣтъ;
Къ кому признательныя чувства
Глубоко врѣзаны въ сердца,
Въ комъ видятъ добрые добрѣйшаго отца,
Чей кроткій нравъ и взоръ привѣтливый,
Отраду вкругъ лія,
Хранятъ притомъ и правды долгъ завѣтный;
Кому сограждане—полезные друзья,
Всѣ честные—своя семья!
О! кто въ чертахъ сихъ не узнаетъ
Въ сей день рожденнаго на свѣтъ,
Кто благъ ему не пожелаетъ?
Кто въ сердцѣ не творитъ обѣтъ
Да трудъ его тяжелый услаждаетъ,
Во всемъ благій успѣхъ, въ теченьи долгихъ лѣтъ!

Куплеты.

Б. Кто, жизни не щадя, разилъ
Врага Европы и отчизны?
Кто мечъ отцовъ своихъ носилъ
Безъ трепета и укоризны!
До сей поры солдатъ о комъ
Безъ сладкихъ слезъ не воспоминаетъ,—
Того мы здѣсь не назовемъ,
Но всякій самъ его узнаетъ!

А. Кто, возвратившись на покой,
Объ общемъ думаетъ покоѣ;
Кто твердою своей рукой
Хранитъ достоинство прямое?
Кто проницательнымъ судомъ
Любить законы заставляетъ?—
Того мы здѣсь не назовемъ,
Но всякій самъ его узнаетъ!

В. Кто, правя древнею Москвой,
Ее воздвигъ отъ разрушенья?
Кто смылъ заботливой рукой
Слѣды враговъ и расхищенья?
Кто градъ престольный съ каждымъ днемъ
Красою новой украшаютъ?..—
Того мы здѣсь не назовемъ...
Но всякій самъ его узнаетъ!

Д. Кто, добродѣтели любя,
Себя за нихъ любить заставилъ?
Кто благостью вокругъ себя
Покой и радость всѣмъ доставилъ;
Кто всѣхъ въ кругу своемъ родномъ
Семейнымъ счастьемъ надѣляетъ?—
Того мы здѣсь не назовемъ,
Но всякій самъ его узнаетъ!

Щ. Кто подчиненныхъ породнилъ
Благотвореніемъ съ собою,
Кто столько милости излилъ
На нихъ правдивою рукою?
Служить отечеству при комъ
Съ восторгомъ каждый пожелаетъ,—
Того мы здѣсь не назовемъ,
Но всякій самъ его узнаетъ!

К. Кто все прекрасное постигъ
Умомъ разборчивымъ и чувствомъ,
Кто здѣсь убѣжище привыкъ
Давать артистамъ и искусствамъ;
Кто, бывъ надежнымъ ихъ щитомъ,
Свой отдыхъ ими услаждаетъ?—
Того мы здѣсь не назовемъ,
Но всякій самъ его узнаетъ!

П. Ба! Милордъ! Вы воротились?

Лордъ. Я не нашелъ дорогъ, зашелъ въ болото и ошень много увязъ.

Д. Такъ вы поѣдете съ нами?

Лордъ. Есъ! Но вы все пѣлъ!—годдемъ!—и я кашу пѣлъ.

П. А вы умѣете пѣть?

Лордъ. Ошень много умѣетъ.

П. А я не умѣю: пропойте за меня.

Лордъ (*поетъ*):

Новорожденнаго для васъ
Поэзія изобразила,
И подивитесь: въ этотъ разъ
Она ни крошечки не льстила,
Ей только стоило писать,
Что зрители давно ужъ знали;
И вамъ не нужно называть—
Кого вы сердцемъ угадали!

Трактирщикъ. Господа! Не прогнѣвайтесь: впрочемъ, я вовсе не виноватъ: ея высокородіе накушалась молочной каши, да и захватила всѣхъ лошадей.

В. Какъ-же быть?..

П. Моя тройка, я думаю, выкормилась; чтобъ сюрпризъ былъ смѣшнѣе, поѣдемте верхами.

Б. Помилуй! насъ семеро, а лошадей только три.

П. Подвое на лошадь, ваше превосходительство; возьмите ресторатора: онъ покажетъ дорогу; Б*** повезетъ итальянца въ торокахъ, а я сяду съ Щепкинымъ.

Лордъ. А я со всѣми вами...

П. Нѣтъ, вы пойдете пѣшкомъ: это будетъ похоже на капитана Кокрена.

Лордъ. Ошень много хорошъ!

Всѣ. Ѣдемъ! ѣдемъ!

Лордъ. А я идемъ.

К. Щ. (*входя*). Куда вы, господа?

Б Къ князю.

Кн Щ. Такъ поѣдемте вмѣстѣ: я везу фейерверкъ.

Б. И прекрасно!

Всѣ. Въ Рожествено! въ Рожествено!

УРОКЪ ХОЛОСТЫМЪ

ИЛИ

НАСЛѢДНИКИ.

Комедія въ стихахъ въ вдномъ дѣйствіи.

Его Сіятельству

Князю Дмитрію Владиміровичу Голицыну.

Позвольте мнѣ, посвящая вамъ первую мою комедію въ стихахъ, забыть на нѣсколько минутъ военныя заслуги и достоинства, возведшія васъ на степень градоначальника древней столицы русской; довѣренность Монарха, признательный гласъ цѣлаго общества и любовь подчиненныхъ: вотъ одно, что можетъ быть достойной ихъ наградою. Принося сей даръ не вельможѣ, но истинному любителю отечественной словесности, всегда готовому покровительствовать тѣмъ, кои занимаются ею, я жалѣю только объ одномъ, что не могу украсить симъ почетнымъ именемъ произведенія, болѣе достойнаго вниманія вашего и одобренія просвященной публики.

Михаилъ Загоскинъ.

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:

Г-нъ Звонкинъ.
Г-жа Звонкина.
Любимъ, сынъ ихъ.
Лиза, дальняя родственница Звонкиной.
Г. Турусинъ, двоюродный братъ Звонкина.
Г. Здравосудовъ, дядя Звонкина и Турусина.
Иванъ, слуга Звонкина.
Маша, дочь Турусина, 8-ми лѣтъ.
Пятеро дѣтей Турусина отъ 9 до 14 лѣтъ.

Дѣствіе происходитъ въ Москвѣ, въ домѣ Звонкина.

ЯВЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

(*Театръ представляетъ гостиную комнату; столъ, нѣсколько стульевъ вольтеровское кресло; на столѣ колокольчикъ*).

Лиза и Любимъ.

Любимъ. Да, Лиза милая, надѣяться намъ можно.
Лиза. Мнѣ даже и мечтать о счастіи не должно!
Зачѣмъ, Любимъ, зачѣмъ обманывать меня?
Къ родителямъ своимъ почтеніе храня,
Обязанъ ты забыть,—ихъ волю исполняя, —
Меня... любовь свою... и можетъ быть... другая...
Любимъ. Чтобъ я забылъ тебя? Чтобъ съ сердцемъ ледянымъ,
Съ холодною душой смотрѣлъ, какъ ты съ другимъ
Пойдешь къ вѣнцу? Чтобъ я навѣкъ съ тобой простился?..
Лиза. Что, если бы за насъ хоть дѣдушка вступился!
Любимъ. О, вѣрно, вступится.
Лиза. Но какъ? Его здѣсь нѣтъ.
Любимъ. Онъ знаетъ все.
Лиза. Такъ ты писалъ? Ну, чтожъ отвѣтъ?
Любимъ. Отвѣта жду давно съ большимъ я нетерпѣньемъ.
Я знаю, — дѣдушка съ душевнымъ огорченьемъ

Читалъ мое письмо.—Ты спросишь, отчего?
Возьми, прочти сама,—вотъ копія съ него.
Лиза (*читаетъ*).
«Любезный дѣдушка! Вы одни можете спасти Лизу, а вмѣстѣ съ ней и вашего Любима. Вы знаете — она сирота, дальняя родственница моей матушки. Мы любимъ другъ друга, но батюшка съ матушкой не хотятъ и слышать объ этомъ, а что всего ужаснѣе— ее принуждаютъ выйти замужъ за моего двоюроднаго дядюшку, г-на Турусина, который втрое ея старѣе. Сколько разъ вы говорили при мнѣ, что Лиза милая дѣвушка и составитъ счастіе того, кому отдастъ свою руку. Любезный дѣдушка! Я не смѣю просить васъ пріѣхать къ намъ въ Москву, — по крайней мѣрѣ, вступитесь за насъ—напишите къ батюшкѣ. Если вы этого не сдѣлаете, то я умру отъ отчаянія».
Любимъ. Не правда ли, что онъ хотя изъ сожалѣнья
Къ тебѣ поможетъ намъ?
Лиза. О, въ томъ нѣтъ сомнѣнья,
Лишь только бы письмо твое онъ прочиталъ;
Но я боюсь, что онъ... Давно ли ты писалъ?
Любимъ. Отвѣтъ ужъ получить мнѣ должно бы съ недѣлю.
Лиза. Ну, если боленъ онъ и слегъ опять въ постелю?
Любимъ. А я такъ думаю, скорѣй ждать должно намъ,
Что дѣдушка сюда надняхъ пріѣдетъ самъ.

ЯВЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

Тѣ-же и Звонкина.

Звонкина. Что я вижу? Опять, негодные, вы вмѣстѣ!
Пристало ли тебѣ, помолвленной невѣстѣ,
Забывши мой приказъ, съ нимъ быть наединѣ?
Нѣтъ, свѣтикъ мой! Вѣдь я живу по старинѣ
И вольностей такихъ терпѣть никакъ не буду.
Любимъ. Но мы...
Звонкина. Прошу молчать! Я вѣкъ не позабуду,
Что эта дѣвочка свела тебя съ ума.
Лиза Ахъ, тетушка!
Звонкина. Ну, да! Я знаю и сама,
Что какъ-то мы родня по дядюшкѣ Пламенѣ,
Что тетка я тебѣ въ двѣнадцатомъ колѣнѣ
И что изъ милости даю лишь уголокъ.
Лиза. Конечно, я бѣдна, но бѣдность не порокъ.
Звонкина. А что-жъ, сударыня, чай, скажешь—добродѣтель.
Покойный твой отецъ, всемірный благодѣтель—
А нищій самъ, какъ ты, точь въ точь же разсуждалъ,
Престрогій былъ судья и взятокъ онъ не бралъ.
Тотъ домикъ выстроилъ, другой купилъ деревню,
А онъ прямехонько попалъ бы въ богадѣльню.
Любимъ, Честнѣйшій человѣкъ!
Звонкина. Скажи, сударь, гордецъ:
Хотѣлъ быть всѣхъ умнѣй! Что-жъ вышло наконецъ?
Да что и говорить! Онъ былъ совсѣмъ безъ правилъ.
Служилъ въ палатѣ вѣкъ,—а дочь съ сумой оставилъ.
Любимъ. Все такъ, однако жъ онъ...
Звонкина. Ну, полно врать—молчи!
Пошли ко мнѣ отца, а ты достань ключи
Отъ сахару — они въ столѣ; — отдай ихъ Дунькѣ;
Да у меня смотри! Прошу ходить по струнке.
Ступай!

ЯВЛЕНІЕ ТРЕТЬЕ.

Звонкина (*одна*).

Звонкина. Нѣтъ, надобно разстаться намъ скорѣй,
Къ чему откладывать? — Пора ужъ быть умнѣй;
Мнѣ кажется, и такъ терпѣла я не мало,
Ждать больше не хочу; — да, да, во чтобъ ни стало,
Все дѣло приведу сегодня я къ концу.
И плачь она, иль нѣтъ — а завтра же къ вѣнцу.

ЯВЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ,

Звонкинъ и Звонкина.

Звонкинъ. Здорово, ангелъ мой! Ты нынче рано встала.
Звонкина. Я что то, Ваничка, всю ночь не засыпала.
А ты, мой милый другъ, какъ чувствуешь себя?
Звонкинъ. Изрядно, Катенька! — А — глядя на тебя,
Подумаетъ иной... Да что съ тобой случилось?
Ты такъ красна, мой другъ...
Звонкина. Я очень разсердилась!
Представь, моя душа, сейчасъ былъ здѣсь Любимъ,
И какъ ты думаешь, кого нашла я съ нимъ?
Звонкинъ. Неужто Лизаньку?
Звонкина. Ее.—Дѣвчонка эта,
Которая у насъ накормлена, одѣта,
Живетъ десятый годъ,—Богъ знаетъ почему,
Рѣшилась голову совсѣмъ вскружить ему.
Нѣтъ! — Долженъ завтра же твой братъ на ней жениться.

Звонкинъ. А если быть за нимъ она не согласится?
Звонкина. Тогда... весь этотъ вздоръ окончить мнѣ пора,—
Тогда, безъ дальнихъ словъ — сгоню ее съ двора.
Звонкинъ. Помилуй, да она...
Звонкина. Должна повиноваться:
Я этого хочу.
Звонкинъ. А надобно признаться,—
Не кстати братецъ мой жениться захотѣлъ.
Звонкина. Не кстати почему?
Звонкинъ. Онъ слишкомъ устарѣлъ.
Звонкина. Да развѣ срокъ кому для этого назначенъ?
Какіе пустяки!
Звонкинъ. Собой не очень взраченъ.
Звонкина. За то богатъ.
Звонкинъ. Вдовецъ.
Звонкина. Такъ что жъ?
Звонкинъ. И дѣти есть.
Звонкина. Какъ будто много ихъ—всего-то на все шесть.
Звонкинъ. Да стоютъ двадцати. Кричи, хоть какъ изволишь...
Звонкина. Что это, ангелъ мой?—Мнѣ кажется, ты споришь?
Звонкинъ (*испугавшись*). О нѣтъ, моя душа, я тотчасъ уступлю.
Звонкина. Ну то-то, ангелъ мой, я споровъ не терплю.
А ты всегда готовъ о всякомъ спорить вздорѣ,—
Не стыдно ли тебѣ!—Твой братъ въ ужасномъ горѣ,
Влюбленъ, не ѣстъ почти, не пьетъ ужъ ничего!
Изсохъ какъ спичка весь,—и ты жъ противъ него.
Звонкинъ. Эхъ, нѣтъ! Да Лиза-то съ нимъ будетъ несчастлива:
Наружность у него отмѣнно некрасива,
Онъ часто боленъ, старъ, ужасно прихотливъ.
Звонкина. Лишь былъ бы только онъ съ женой своей счастливъ.
Звонкинъ. Однако жъ и о ней подумать также должно.
Звонкина. Да къ мужу всякому, мой другъ, привыкнуть можно,—
Я знаю по себѣ. А кстати вотъ и онъ.

ЯВЛЕНІЕ ПЯТОЕ.

Тѣ же и Турусинъ.

Турусинъ. Желаю здравія!
Звонкинъ. Здорово, селадонъ!
Что скажешь новаго? Чай, все въ тоскѣ, въ кручинѣ?
Звонкина. Ну, милый мой, куда легокъ ты на поминѣ:
Сейчасъ лишь объ тебѣ у насъ былъ съ мужемъ споръ.
Турусинъ. Осмѣлюсь ли спросить, за что?
Звонкина. Да такъ, за вздоръ.
Со мной онъ не хотѣлъ сначала согласиться,
Что завтра жъ долженъ ты на Лизанькѣ жениться,
А мнѣ такъ кажется и лучше и вѣрнѣй
Окончить это все какъ можно поскорѣй.
Турусинъ. Согласенъ съ вами я, дѣйствительно вы правы;
Однако жъ, хоть ждать, мнѣ вовсе нѣтъ забавы,—
На время отложить придется свадьбу намъ.
Звонкина. Помилуй, для чего?
Турусинъ. Извѣстно уже вамъ,
Что въ каждый свой пріѣздъ и лѣтомъ, и зимою
Нашъ дядюшка въ Москвѣ живетъ всегда со мною,—
Ко мнѣ же вѣсть дошла, что ѣдетъ онъ сюда.
Звонкинъ. Сюда? Зачѣмъ?
Звонкина. Къ чему? Въ его ли ужъ годы,
Забывши докторовъ совѣты и угрозы,
Таскаться по зимамъ въ крещенскіе морозы?
Звонкинъ. Затѣмъ, чтобы въ Москвѣ обрыскать всѣ дома.
Звонкина. Да онъ, повѣрьте мнѣ, ужъ выжилъ изъ ума.
Турусинъ. Я слышалъ, что на-днях онъ будетъ непремѣнно.
Звонкинъ. А что, любезный мой, сказать ли откровенно:
Мнѣ кажется, могу побиться объ закладъ,
Что гостю этому не слишкомъ будешь радъ.
Турусинъ. Не радъ, да будь готовъ, а вправду-то признаться—
Я такъ его люблю, что вѣкъ бы не видаться.
Звонкина. Рѣшиться можно бы на это безъ труда.
Звонкинъ. Да полно,—правда ли, что ѣдетъ онъ сюда?
Давно ли, кажется, онъ былъ опасно боленъ.
Турусинъ. Совсѣмъ ужъ умиралъ,—и докторъ былъ уволенъ.
Звонкина. Вотъ то-то и бѣда: онъ, вѣрно, бы не всталъ,
Когда бъ попрежнему лѣчиться продолжалъ.
Турусинъ. И, нѣтъ! лишь даромъ всѣ лѣкарства растеряютъ:
Его и доктора не доконаютъ;
Теперь, увидите, лѣтъ на сорокъ пойдетъ:
Не только насъ однихъ, внучатъ переживетъ.
Звонкина. И долженъ пережить. Мы горе испытали:
Съ семьей, съ дѣтьми, — подчасъ засохнешь отъ печали;
Ему жъ, скажите мнѣ, крушиться отчего?
Живетъ себѣ одинъ, не любитъ никого,
Привязанность къ роднымъ считаетъ за пустое...
Турусинъ. Да есть ли у него хоть что-нибудь святое?
Онъ сущій эгоистъ.
Звонкина. Ханжа

Турусинъ. Злословъ!
Звонкина. Скупецъ!
Турусинъ. Безъ чувства...
Звонкина. Безъ души...
Турусинъ. И только, наконецъ,
Одно могу сказать къ нему изъ состраданья,
Что онъ пустой старикъ, не стоющій вниманья.
Звонкинъ. Да стоитъ или нѣтъ, какъ хочешь, разсуждай,
А дѣлать нечего,—хоть плачь да угождай.
Звонкина. Чтобъ стала угождать я этому уроду?
Да если бъ не имѣлъ ста тысячъ онъ доходу,
И не было бъ у насъ съ тобой кой-что въ виду...
Турусинъ. Когда бъ наслѣдникомъ я не былъ на бѣду,
Давно бы съ дядюшкой почтеннымъ ужъ разстался.
Звонкина. Визита бы отъ насъ тогда онъ не дождался.
Турусинъ. Тогда бы не пустилъ его на полъ-двора.
Звонкина. Нѣтъ, гнуться передъ нимъ я слишкомъ ужъ стара;
Я жъ лести не терплю, а подлость ненавижу;
И если чванства въ немъ хоть крошечку увижу—
Посмотрите тогда, какъ съ нимъ я обойдусь.
Турусинъ. Да я, невѣстушка, и самъ не очень гнусь!
Онъ будь со мной на старости и тѣмъ доволенъ,
Когда зайду узнать, здоровъ ли онъ, иль боленъ.

ЯВЛЕНІЕ ШЕСТОЕ.

Тѣ же и Иванъ (*запыхавшись*).

Иванъ. Сударыня!
Звонкина. Ну, что?
Звонкинъ. Зачѣмъ пришелъ, Иванъ?
Иванъ. Позвольте отдохнуть!..
Звонкина. Смотри какой болванъ!
Пришелъ къ намъ отдыхать! Да что ты запыхался?
Иванъ. Бѣжалъ, сударыня!.. Со мною повстрѣчался
Отсюда въ полверстѣ... насилу обогналъ!
Звонкина. Кого?
Иванъ. Слуга его Антипка мнѣ сказалъ,
Что въѣдетъ онъ сюда и хочетъ здѣсь остаться.
Звонкинъ. Да кто?
Иванъ. Вашъ дядюшка.
Турусинъ. Сюда! Не можетъ статься!
Звонкина. Возможно ль—дядюшка?
Звонкинъ. Ступай, бѣги скорѣй,
Пошли мнѣ повара!
Звонкина. Зови сюда людей
(*Иванъ уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ СЕДЬМОЕ.

Тѣ же безъ Ивана.

Звонкинъ. Признаться, этого не ждалъ я посѣщенья,
Турусинъ. Едва опомниться могу отъ удивленья!
Онъ прямо въѣдетъ къ вамъ?
Звонкина. Да, кажется, что такъ.
Турусинъ. И будетъ жить у васъ?
Звонкинъ. Какой ты, братъ, чудакъ!
Ну что тутъ страннаго? Я думаю, свободно
Онъ можетъ жить вездѣ.
Звонкина. Да братцу неугодно,
Чтобъ жилъ онъ здѣсь.
Турусинъ. И, нѣтъ, мнѣ, право, все равно;
Я этой честію ужъ пользуюсь давно.
А жаль, что домикъ вашъ не выгодно устроенъ
И даже слишкомъ малъ.
Звонкина. Зато, сударь, покоенъ.
И лучше въ десять разъ, чѣмъ вашъ огромный домъ,
Въ которомъ тьма дѣтей и цѣлый день содомъ.
Турусинъ. И жить-то въ тѣснотѣ не всякому охота.
Звонкина. Да это, батюшка, не ваша ужъ забота.
Турусинъ. Однако жъ, дядюшка всегда любилъ просторъ.
Звонкина. О, зависть гнусная! Все это, сударь, вздоръ:
Нашъ домъ не малъ, и я могу увѣрить смѣло—
Онъ будетъ жить у насъ.
Турусинъ. А мнѣ какое дѣло?
Пускай себѣ живетъ.
(*Входятъ люди*).
Звонкинъ. Всѣ люди здѣсь, мой другъ.
Звонкина (*людямъ*). Андрей и ты, Ѳома, здѣсь будьте для услугъ!
Сегодня вы должны, какъ въ праздникъ, быть одѣты.
Звонкинъ (*повару*). Чтобъ были къ ужину подъ соусомъ котлеты:
Я помню, дядюшка до нихъ охотникъ былъ.
Звонкина. А вафли-то, мой другъ?
Звонкинъ. Совсѣмъ было забылъ!
Вѣдь вафли для него пирожныхъ всѣхъ вкуснѣе.
Звонкина. Ну, слышишь ли? — пошелъ. А ты бѣги скорѣе,
Шампанскаго купи,—иль нѣтъ,—ступай верхомъ:
Не правда ль, жизнь моя, намъ надо за столомъ
Его здоровье пить?
Звонкинъ. Безъ всякаго сомнѣнья.
Турусинъ (*въ сторону*). Бѣдняжечки! Съ ума сошли отъ восхищенья!
Звонкина (людямъ). А вы всѣ дядюшку встрѣчайте у воротъ.

Турусинъ (*въ сторону*). О, подлая душа!
Давно ль онъ былъ уродъ!
Звонкина. Смотрите у меня! Услуживать
старайтесь.
Звонкинъ. Почаще кланяйтесь и ниже
нагибайтесь.
Турусинъ (*въ сторону*). Видалъ ли кто-
нибудь безстыднѣе льстеца.
Звонкина. А мы съ тобой пойдемъ,
дождемся у крыльца.
Звонкинъ. Замерзнешь, матушка! Вѣдь
градусовъ, чай, двадцать.
Звонкина. Пустое, сударь, едва ли есть
двѣнадцать.
Турусинъ. Я слышу шумъ... пойдемъ!
Звонкина (*мужу*). Ну, что же ты
пейдешь?
(*Встрѣчаются въ дверяхъ съ Турусинымъ*).
Помилуй, батюшка! Проходу не даешь!

ЯВЛЕНІЕ ВОСЬМОЕ.

Тѣ же и Здравосудовъ (*два человѣка бѣгутъ впереди и растворяютъ двери*).

Звонкинъ. Любезный дядюшка!
Звонкина. Почтенный благодѣтель!
Турусинъ. Ахъ, дядюшка! Клянусь! —
И въ этомъ Богъ свидѣтель,—
Я радости такой никакъ не ожидалъ!
Здравосудовъ. Не правда ли, что я какъ
съ неба къ вамъ упалъ.
Ну что, мои друзья, здоровы ль?
Звонкинъ. Понемногу.
Здравосудовъ. А Лизанька и нашъ
Любимъ?
Звонкина Все слава Богу!
Здравосудовъ. Какъ радъ, что наконецъ
могу на нихъ взглянуть!
Звонкина (*подвигая кресла*). Садитесь,
дядюшка,—вамъ надо отдохнуть.
Здравосудовъ. И, милыя друзья! Къ
чему? Не хлопочите;
Я сяду самъ.
Звонкина. Иль нѣтъ,—немного погодите!
Подушку поскорѣй!
(*Звонкинъ бѣжитъ вонъ и возвращается тотчасъ съ подушкой*).
Здравосудовъ. Напрасно! Не нужна.
Звонкина. Нѣтъ, нѣтъ! Покоить васъ я
всячески должна:
Проѣхать триста верстъ, чтобъ съ нами по-
видаться!
(*Мужу*). Подай! (*беретъ подушку и кладетъ на кресла*).
Турусинъ (*въ сторону*). Ну, начали
теперь въ ногахъ валяться.
Добро-бы ужъ она—а то и онъ?.. Подлецъ!
(*Громко дядѣ*). Неловко вамъ? Сейчасъ!
(*вынимаетъ изъ-подъ стола скамейку и ставитъ ему подъ ноги*).
Звонкина (*мужу*). Смотри, какой срамецъ!
Скамейку подаетъ!
Здравосудовъ. И, какъ тебѣ не стыдно!
Турусовъ. Позвольте, дядюшка!
Звонкина (*мужу*). Подумать-то обидно!
И этотъ человѣкъ къ несчастію твой братъ!
Здравосудовъ. Кому бы въ умъ пришло:
дней нѣсколько назадъ,—
Когда и двухъ шаговъ ступить я не былъ въ силѣ,
Когда одной ногой стоялъ уже въ могилѣ,—
Что я оправлюся недѣли черезъ двѣ,
Увижу васъ опять—и буду самъ въ Москвѣ!
Все это для меня какъ будто сновидѣнье!
Турусинъ. Повѣрьте, дядюшка, благое
провидѣнье,
Молитвамъ внявъ моимъ и всѣхъ моихъ сиротъ,
Болѣзни перенесть вамъ силы подаетъ!
И если бы мое желаніе сердечно
Исполниться могло—вы бъ жили безконечно.
Звонкина. Когда бы умирать не общій
былъ удѣлъ...
Здравосудовъ. И, полноте, друзья! Всему
вѣдь есть предѣлъ.
И такъ на свѣтѣ я помаялся довольно,—
Пора ужъ на покой.
Звонкина. По чести, слышать больно!
Ну, вамъ ли умирать?
Здравосудовъ. Иной-бы, жизнь любя,
Старался всячески обманывать себя,
А я такъ нахожу, что этотъ трудъ напрасенъ
Мой докторъ думаетъ,—и въ этомъ я согла-
сенъ,—
Что мнѣ осталося не долго ужъ пожить.
Турусинъ. Охота доктору объ этомъ го-
ворить?
Ужъ эти доктора!—Пугать всегда ихъ дѣло;
И я хоть объ закладъ готовъ побиться смѣло,
Что вамъ назначено прожить... конечно имъ...
Здравосудовъ. Немного, милые!—Лѣтъ
двадцать съ небольшимъ.
Звонкина. Лѣтъ двадцать? Боже мой!
Здравосудовъ. Не спорю, это мало,
Да дѣлать нечего.
Турусинъ. И духу въ немъ достало
Вамъ это говорить?
Звонкина. Возможно ль! Двадцать лѣтъ!
Звонкинъ. Да это вздоръ.
Звонкина (*утирая глаза*). Въ такихъ лѣ-
тахъ покинуть свѣтъ!
Здравосудовъ. И милая, не плачь! Ну,
есть о чемъ крушиться!
Вѣдь докторъ не пророкъ—онъ могъ и оши-
биться.
Турусинъ. Ахъ, дай-то Богъ!
Звонкина. Злодѣй!
Звонкинъ. Онъ бредитъ наяву!
Здравосудовъ. Не бойтеся, друзья, я
сорокъ проживу.
Я-жъ чувствую въ себѣ большую перемѣну:
Сталъ хуже на-лицо—поэтому въ замѣну
Здоровъ какъ въ тридцать лѣтъ, совсѣмъ
помолодѣлъ.
Бывало, прежде я безъ трости, встать не
смѣлъ;
Теперь—хоть взапуски готовъ пуститься съ
вами.

Звонкина (*мужу*). Мнѣ кажется, что онъ
смѣется ужъ надъ нами?
Здравосудовъ. Все это хорошо, да только
вотъ бѣда—
Здоровье-то въ мои обманчиво года:
Сегодня хоть на балъ, а завтра и въ по-
стелѣ.
Вотъ я бы страхъ хотѣлъ на будушей недѣлѣ,
Окончивъ всѣ дѣла, отправиться домой,
А можетъ быть.
Звонкинъ. Такъ вы хотите и зимой
Въ деревнѣ жить?
Звонкина. И, нѣтъ, зачѣмъ вамъ торо-
питься:
Въ Москвѣ такъ весело!
Здравосудовъ. Да я не веселиться
Пріѣхалъ къ вамъ; совсѣмъ другое въ головѣ.
Нельзя ли вамъ найти кого-нибудь въ Москвѣ,
Кто зналъ бы толкъ въ дѣлахъ?
Звонкинъ. Конечно для совѣта?
Здравосудовъ. Есть дѣло у меня.
Турусинъ. Для этого предмета
Приказный нуженъ вамъ?
Здравосудовъ. И даже бы сейчасъ;
Вѣдь дѣло, можетъ быть, касается до васъ.
Турусинъ (*въ сторону*). До насъ?
Звонкина (*мужу*). Ахъ, Ваничка!—Ну,
если завѣщанье?..
Турусинъ. Позвольте ваше мнѣ испол-
нить приказанье!
Есть стряпчій у меня,—большой знатокъ въ
дѣлахъ,
Извѣстенъ онъ во всѣхъ присутственныхъ
мѣстахъ;
Не только что дѣлецъ, онъ даже и писатель.
Звонкинъ. Здѣсь нѣкто мнѣ знакомъ, иль
лучше мой пріятель,
Который, такъ сказать, въ приказахъ по-
сѣдѣлъ,
Теперь же, находясь два года не у дѣлъ,
Трудится иногда для собственной забавы,—
Не денегъ ищетъ онъ—единственно лишь
славы,
Угодно, дядюшка?—Онъ явится какъ разъ;
Бумагу ль написать, подвесть ли вамъ указъ—
На все готовъ.
Турусинъ. На все! По чести удивленье;
Да это сущій кладъ! Безъ всякаго сомнѣнья
Сей славный мужъ, кѣмъ нашъ гордиться
долженъ вѣкъ...
Звонкинъ (*перерывая*). Пріятель мой
Крючковъ.
Турусинъ. Прекрасный человѣкъ!
Звонкина. А вы сударь—вопросъ за дер-
зость не сочтите—
Конечно, Цаплина представить намъ хотите?
Турусинъ. Его сударыня!
Звонкина. Какая честь для насъ!
Увидѣть Цаплина! Ну, есть ли совѣсть въ
васъ?
Знакомить дядюшку съ такимъ извѣстнымъ
воромъ!
Я знаю все: онъ былъ когда-то прокуроромъ;
Въ грабительствѣ не зналъ ни мѣры, ни
конца,—
Не только что съ чужихъ—онъ взятки бралъ
съ отца,
И, наконецъ, набивъ путемъ свои карманы,
За гнусныя дѣла, за плутни и обманы,—
Какъ самъ онъ говоритъ, — невинно постра-
далъ.
Звонкинъ. Да, да! Какъ взяточникъ подъ
слѣдствіе попалъ.
Звонкина. И вы-бъ, сударь, должны сты-
диться этой дружбы!
Турусинъ. Такъ что-жъ, сударыня? Онъ
выключенъ изъ службы;
А другъ-то вашъ Крючковъ, — забыли вы о
томъ?
За кляузы свои пять лѣтъ былъ подъ судомъ.
Звонкина. Не спорю, батюшка — онъ
былъ, да оправдался.
Турусинъ. Да кто за Цаплина бѣдняжку
заступался?
Извѣстно всѣмъ, что онъ...
Звонкинъ. И ябедникъ, и плутъ.
Турусинъ. Помилуйте! Да всѣ Крючкова
такъ зовутъ.
Звонкина. И Цаплинъ... Боже мой, какое
посрамленье!
Вашъ другъ! — И эта тварь, достойная пре-
зрѣнья...
Да я, сударь, за васъ краснѣю отъ стыда.
Турусинъ. И вы краснѣете? Ну, это ужъ
бѣда!
Звонкина. Насмѣшки глупыя ни мало не
обидны:
Извѣстно всѣмъ, что вы и дерзки и без-
стыдны;
Но, несмотря на то, еще вамъ повторю...
Здравосудовъ. Постойте, милые! Тотчасъ
васъ помирю:
Изъ этихъ двухъ господъ одинъ мнѣ только
нуженъ,
Я въ домѣ у тебя — а ты съ Крючковымъ
друженъ,
Такъ пусть пріѣдетъ онъ.
Звонкина. Ступай скорѣй за нимъ.
Звонкинъ. Сейчасъ, мой другъ, иду.
(*Уходитъ*).
Здравосудовъ. Да гдѣ же нашъ Любимъ?
Звонкина. Онъ дома, дядюшка—и вѣрно
занятъ чтеньемъ.
Когда-бъ онъ зналъ, кто здѣсь — съ какимъ
бы восхищеньемъ...
Здравосудовъ. Такъ что-жъ его, мой
другъ, никто не позоветъ?
Звонкина. Позвольте, я сама..,
Здравосудовъ. Да вотъ и онъ идетъ.

ЯВЛЕНІЕ ДЕВЯТОЕ.

Тѣ же и Любимъ.

Звонкина (*идя навстрѣчу къ Любиму*).
Ступай, спѣши, Любимъ, скорѣе взять участье
Въ всеобщей радости.

Любимъ. Вы здѣсь? Какое счастье!
Вы-ль это, дѣдушка? Какъ могъ я ожидать?..
Здравосудовъ. Здорово, милый другъ!
Да дай себя обнять! (*Обнимаетъ его*).
Любимъ. Ахъ, дѣдушка! А мы надѣяться не смѣли...
Здравосудовъ. Чтобъ я, Любимъ, забывъ и вьюги и метели,
Рѣшился къ вамъ въ Москву отправиться зимой?
Хоть это тяжело, не спорю, милый мой,
Но я хотѣлъ давно увидѣться съ роднею,
Съ друзьями побывать,—а больше всѣхъ съ тобою.
Звонкина. Къ тому-жъ у дядюшки скопилось много дѣлъ.
Здравосудовъ (*глядя на Любима*). Мнѣ кажется, что ты еще похорошѣлъ!
Когда-бъ, Любимушка, всегда мы вмѣстѣ жили,
Куда-бъ я счастливъ былъ!
Турусинъ (*въ сторону*). Ну, внучка подпустили!
Звонкина. За то ужъ, дядюшка, и онъ какъ любитъ васъ!
Турусинъ (*въ сторону*). Ахъ, Боже мой! да онъ съ него не сводитъ глазъ;
Попался дѣдушка теперь злодѣямъ въ руки!
Да нѣтъ, любезные, и я пущусь на штуки:
Пойду, сберу дѣтей,—и мигомъ здѣсь явлюсь.
(*Идетъ*).
Здравосудовъ. Куда, племянникъ, ты?
Турусинъ. Я тотчасъ ворочусь. (*Уходитъ*).
Здравосудовъ (*вслѣдъ ему*). Смотри же, поскорѣй!
Звонкина. Ушелъ!—Ну, легче стало! (*Здравосудову*).
Вы знаете, я васъ никакъ не ожидала;
И такъ позвольте мнѣ кой-что распорядить.
Здравосудовъ. Ступай, мой другъ!
Звонкина (*уходя Любиму*). Смотри, старайся ласковъ быть,
Какъ слѣдуетъ всегда почтительному внуку; (*тихо*).
А пуще-то всего цѣлуй почаще руку.

ЯВЛЕНІЕ ДЕСЯТОЕ.

Здравосудовъ и Любимъ.

Здравосудовъ. Когда-бъ ты зналъ, мой другъ, какъ я сюда спѣшилъ,
Надѣюсь, мой пріѣздъ...
Любимъ. Онъ жизнь мнѣ возвратилъ.
Вы вѣрно вступитесь...
Здравосудовъ. За Лизу? — Будь спокоенъ.
Она тебя, Любимъ, а ты ея достоинъ;
Родители твои... но это не бѣда,—
Я ихъ склонить могу безъ дальняго труда.
Любимъ. Вамъ стоитъ объявить при нихъ свое желанье.
Здравосудовъ. И, нѣтъ! — Они сочтутъ его за приказанье,
А я приказывать отмѣнно не люблю;
Нѣтъ, милый другъ, совсѣмъ иначе поступлю.
И ежели мои догадки не напрасны,
То слова не скажу, а будутъ всѣ согласны.
Любимъ. Вы шутите?
Здравосудовъ. О, нѣтъ!
Любимъ. Я долженъ вѣрить вамъ,
Однако жъ признаюсь...
Здравосудовъ. А вотъ увидишь самъ.
И если никакой не будетъ остановки,
Сегодня-жъ можетъ быть дойдетъ и до помолвки.
Любимъ. А свадьба, дѣдушка?
Здравосудовъ. Недѣли черезъ двѣ.
Любимъ. Какое счастье!
Здравосудовъ. Я знаю, что въ Москвѣ
Всѣ станутъ говорить: ну, какъ, дескать, возможно
Жениться въ двадцать лѣтъ? Ему служить бы должно;
Вѣдь время не ушло,—на все свои года.
Я этого сказать не смѣю никогда,
Особенно тому, въ комъ бралъ всегда участье
Повѣрь, кто въ жизни сей, Любимъ, имѣлъ несчастье
Въ одиночествѣ проживъ до старыхъ лѣтъ,
Жениться—другу тотъ всегда подастъ совѣтъ.
Любимъ. Я помню, дѣдушка, вы часто говорили,
Что если бы могли, то всѣхъ бы вы женили.
Здравосудовъ. Да, да, Любимъ!—Пускай смѣются надо мной.
Одно лишь счастіе,—жить съ доброю женой.
Ахъ! Старость въ сиротствѣ не жизнь, мой другъ,—страданье,
Ужаснѣе, Любимъ, нѣтъ въ мірѣ состоянья.
Конечно, знаю самъ, здѣсь много есть людей,
Которые, живя въ кругу своихъ друзей,
Среди веселостей и роскошей столицы,
Не зная прихотямъ ни мѣры, ни границы,
Найдутъ меня тотчасъ и страннымъ и смѣшнымъ.
Жениться? Боже мой! Къ чему? — Ну, кстати-ль имъ,—
Когда для нихъ что день, то радости готовы,—
Супружества надѣть несносныя оковы?
Нѣтъ, нѣтъ! Свободные лишь счастливы одни,—
Для нихъ весь свѣтъ открытъ. — Такъ думаютъ они;
И наслажденія встрѣчая съ каждымъ шагомъ,
Свободу юноша считаетъ первымъ благомъ;—
Но, молодость пройдетъ — исчезнутъ вмѣстѣ съ ней
Надежды, радости, друзья,—всего скорѣй;
Тогда ничтожность ихъ увидитъ онъ надѣ:
Тогда,—болѣзнями прикованный къ постелѣ,
Забытый отъ всѣхъ, — друзей онъ тщетно ждетъ:

Одни наемники вокругъ его;—умретъ,—
И явятся тотчасъ наслѣдники толпою
Въ глубокомъ траурѣ, но съ радостной душою!
Ахъ, эта мысль, Любимъ, ужаснѣе всего!

Любимъ. Зачѣмъ же думать вамъ...

Здравосудовъ. Коль мало и того,
Представь, что онъ забытъ и смертію самою.
Томяся скукою, измученный тоскою,
Встрѣчая лишь одни холодныя сердца,
Страданіямъ своимъ не видитъ онъ конца;
Года уже прошли счастливыхъ заблужденій:
Онъ ясно видитъ все — онъ мертвъ для наслажденій.
Разсѣянья-ль искать среди людей... ахъ, нѣтъ!
Коварный ужъ давно ему наскучилъ свѣтъ;
И словомъ, все, мой другъ, что прежде веселило,
Все стало для него и скучно и постыло;
Одними горестьми считая лишь года,
Онъ смерть, какъ друга, ждетъ. — Тогда, Любимъ, тогда
Повѣрь, — ничто ему, страдальцу, не поможетъ!
Несчастный! — Чувствами онъ жить уже не можетъ,
А сердцемъ—не живетъ!—Я самъ...—нѣтъ, нѣтъ, Любимъ!
Отрадой ты всегда былъ горестямъ моимъ!
Тобой еще однимъ дышу на этомъ свѣтѣ!

Любимъ. Ахъ, дѣдушка!..

Здравосудовъ. Постой, мнѣ кажется,—въ каретѣ (*Смотритъ въ окно*).
Подъѣхали къ крыльцу,—и что-то много въ ней.
Хоть ждать и не могу такъ скоро я гостей,
Однако жъ, можетъ быть... а я отмѣнно некрасиво,
Кой-какъ одѣтъ!—Принять ихъ въ этомъ не учтиво.
Пойду, принаряжусь. (*Уходитъ*).

Любимъ (*глядя ему вслѣдъ*). Почтеннѣйшій родной!
Но что за странный шумъ?

Турусинъ (*за кулисами*). Ступайте всѣ за мной!

ЯВЛЕНІЕ ОДИННАДЦАТОЕ.

Любимъ и Турусинъ; за нимъ Маша и 5 другихъ дѣтей.

Турусинъ (*дѣтямъ*). Смотрите, не шумѣть, не бѣгать и не драться!
(*Любиму*). Да гдѣ-же дядюшка?

Любимъ. Онъ вышелъ одѣваться.
Угодно вамъ къ нему?

Турусинъ. Нѣтъ, милый, все равно,
И здѣсь я подожду.—Да онъ ушелъ давно?

Любимъ. Сейчасъ.

Турусинъ. Нельзя-ль сказать вотъ такъ—между словами,—
Что здѣсь я жду его съ моими сиротами.

Любимъ. Извольте, я скажу. (*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ ДВѢНАДЦАТОЕ.

Тѣ-же, безъ Любима.

Турусинъ. Сюда! Ко мнѣ, въ кружокъ!
Вамъ надо повторить сегодняшній урокъ:
Чтобъ дѣдушкѣ отъ васъ не стало безпокойно,—
Прошу вести себя и тихо и пристойно.
Вы помните, что я твердилъ вамъ на дому!
Лишь только онъ войдетъ, бросайтесь всѣ къ нему.

Маша. Да я боюсь.

Турусинъ. Чего, сударыня?—Пустое.
Ты дѣдушку цѣлуй въ плечо, а ты въ другое;
Вы также всѣ его старайтеся ласкать.
И если вамъ руки не будетъ онъ давать,
(*одному изъ дѣтей*).
Хватайте на лету!—Проклятая привычка!
(*другому*)
Опять разинулъ ротъ! На что похожъ, чумичка!
(*третьему*)
Испачканъ весь, утрись! А ты растрепанъ какъ!
Ну, что стоишь? Поправь манжеты-то, дуракъ!
Но, кажется, идутъ... Смотрите-же—смѣлѣе;
Подходитъ ужъ къ дверямъ... Ну, милые, дружнѣе!

ЯВЛЕНІЕ ТРИНАДЦАТОЕ.

Тѣ же и Звонкина.

Звонкина. Что это? Боже мой! Здѣсь цѣлая орда!
Зачѣмъ изволили пожаловать сюда?

Турусинъ. Зачѣмъ, невѣстушка?—Почести, это странно!
Вѣдь дѣдушка у васъ—такъ очень натурально,
Что имъ хотѣлося...

Звонкина. Не имъ, сударь, а вамъ.
Повѣрьте, толкъ давать умѣю я словамъ,
И ваши хитрости проникнуть мнѣ не трудно.

Турусинъ. Позвольте вамъ сказать, мнѣ очень чудно...

Звонкина. А я такъ не дивлюсь,—другого не ждала:
Обманы, подлости, всѣ гнусныя дѣла
Приличны вамъ.

Турусинъ. Да я...

Звонкина. Конечно, позабыли?
Давно ли, кажется, вотъ здѣсь вы говорили:
(*передразнивая*)
«Да я, невѣстушка, и самъ не очень гнусь»!
Скамейку подаешь!

Турусинъ. Такъ что же! Не запрусь:
Я къ старости всегда имѣю уваженье.
И что за важное, скажите преступленье—
Скамеечку подать? А врядъ ли и отца
Встрѣчать я побѣгу у самаго крыльца.

Звонкина. Какъ будто бъ вѣжливость есть подлая услуга...

Турусинъ. Повѣрьте, намъ краснѣть не должно другъ отъ друга.
Притомъ же и бѣды не вижу я большой.
Не мы одни кривимъ подчасъ своей душой!
Звонкина. Возможно ли?—И онъ еще себя изволитъ
Равнять со мной!
Турусинъ. Слѣпецъ слѣпцу всегда глазъ колетъ.
Звонкина. Да ты забылъ весь стыдъ, подлѣйшій изъ людей!..
Турусинъ. И ваша память то не лучше вѣдь моей.
Звонкина. Наглецъ!
Турусинъ. Помилуйте!

ЯВЛЕНІЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ.

Тѣ же и Здравосудовъ.

Звонкина (*не примѣтя Здравосудова*). Ужъ подлинно недаромъ.
Зовутъ тебя вездѣ...
Здравосудовъ. О чемъ съ такимъ вы жаромъ
Ведете разговоръ?..
Звонкина. Ахъ!.. Такъ-съ... былъ споръ у насъ...
Турусинъ. Мы спорили о томъ, кто больше любитъ васъ.
Здравосудовъ. Спасибо, милые!
Турусинъ (*указывая на дѣтей*). Позвольте вамъ представить...
Здравосудовъ (*не слушая его*). Я знаю, вы со мною не станете лукавить.
Турусинъ. Почтенный дядюшка! Здѣсь вся моя семья.
(*Дѣтямъ тихо*)
Бѣгите всѣ къ нему! (*дѣти не трогаются съ мѣста*).
Здравосудовъ. А, здравствуйте, друзья
Вы здѣсь?—Я очень радъ.
Турусинъ. О, глупые ребята!
Ну, что же стали въ пень! Ступайте, пострѣлята!
Дѣти (*подбѣгая къ Здравосудову, одна Маша остается на своемъ мѣстѣ*).
Ахъ, дѣдушка!
Звонкина. Смотри!—Чуть-чуть не сшибли съ ногъ!
Здравосудовъ. Здорово, милые!
Турусинъ. Молитвы ваши Богъ
Услышалъ, наконецъ!—Повѣрите-ль, бывало
Лишь только и рѣчей,—ну, такъ, что скучно стало:
«Да скоро-ль дѣдушку увидимъ своего?
«Когда пріѣдетъ онъ? Дождемся-ль мы его.»
А вотъ и дождались.
Здравосудовъ. Совсѣмъ не тѣ ужъ стали.
(*Показывая на Машу*).
Вѣдь это Машенька!
Турусинъ. Такъ вы ее узнали!
Поди же къ дѣдушкѣ! (*тащитъ, а она идетъ*).
Здравосудовъ. Зачѣмъ, не принуждай.
Турусинъ (*громко*). Не бойся, душенька!
(*Подводитъ ее насильно*)
(*Тихо ей*). Вотъ я тебя!—Ступай!
Ужъ какъ застѣнчива! — Взглянуть, такъ скажешь—дура,
А право нѣтъ!—робка, такая ужъ натура.
Здравосудовъ. Поди сюда, мой другъ!
Вѣдь мы, чай, года три
Не видѣлись съ тобой.
Турусинъ. Ну, что же?—Говори!
Скажи хоть что-нибудь! (*тихо*) Ужъ быть тебѣ безъ чаю! (*Громко*).
Ты любишь дѣдушку?
Маша. Люблю!
Здравосудовъ. За что?
Маша. Не знаю.
Турусинъ. За то, молъ, дѣдушка, что вы одни у насъ. Отецъ, и дѣдъ, и все...

ЯВЛЕНІЕ ПЯТНАДЦАТОЕ.

Тѣ же и Звонкинъ.

Здравосудовъ (*Звонкину*). Пріѣхалъ ты?
Звонкинъ. Сейчасъ.
Здравосудовъ. Ну, что пріятель твой?
Звонкинъ. Онъ ждетъ васъ въ кабинетѣ.
Здравосудовъ. О важномъ говорить мнѣ надобно предметѣ:
И такъ, мой другъ, прошу, останься здѣсь со мной,
А дѣточекъ своихъ отправь теперь домой;
Хоть съ ними поболтать желалъ бы я о многомъ,
Да некогда теперь.
Турусинъ. Сейчасъ! Ступайте съ Богомъ!
Здравосудовъ. Прощайте, милые.
Турусинъ (*провожая дѣтей до дверей*). Дорогой не шалить!

ЯВЛЕНІЕ ШЕСТНАДЦАТОЕ.

Тѣ же безъ дѣтей.

Здравосудовъ. Послушайте, друзья! Я тайну вамъ открыть,
Какъ истиннымъ роднымъ, преважную намѣренъ;
Васъ зная хорошо, я долженъ быть увѣренъ,
Что счастье вамъ мое дороже всѣхъ богатствъ,
Что чужды вы со мной всѣхъ хитростей, лукавствъ!
Что тотъ, по вашему, достойнѣй всѣхъ презрѣнья,
Кто любитъ не родныхъ, а только ихъ имѣнья;
Что вы...
Звонкинъ. Ахъ, дядюшка! — Наслѣдство ваше намъ
Не нужно ни за что.
Звонкина. Не вѣрите словамъ?
Такъ это доказать на дѣлѣ мы готовы.
Турусинъ. Лишь были бъ только вы спокойны и здоровы.
А то, помилуйте,—гори оно огнемъ!

Здравосудовъ. Я вижу, что могу открыться вамъ во всемъ.
Безспорно, что давно я умеръ ужъ для свѣта,
Но живъ еще, — а жить безъ всякаго предмета,—
Быть вѣчно одному—куды какъ тяжело!
Мнѣ-бъ ваше общество отрадой быть могло,
Но съ вами вѣкъ живу, къ несчастью, я розно:
И, такъ, рѣшился я,—хоть нѣсколько и поздно...
Звонкина. Рѣшились?. На что?
Здравосудовъ. Не смѣйтесь надо мной!..
Жениться, милые.
Звонкина. Жениться? Боже мой!..
Здравосудовъ. Да, это рѣшено: женюсь я непремѣнно!
Но, впрочемъ, вамъ, друзья, признаюсь откровенно,
Что выборъ мой не васъ, а, можетъ быть, другихъ
Немного удивитъ;—да что смотрѣть на нихъ!
Лишь былъ бы счастливъ я, живя спокойно дома...
Турусинъ. Но кто жъ особа та?
Здравосудовъ. Она вамъ всѣмъ знакома. (*Звонкиной*).
Особенно тебѣ. И вотъ ея портретъ:
Какъ ангелъ хороша, семнадцать только лѣтъ.
Бѣдна,—за то добра, тиха, неприхотлива,
Всѣ горести сносить привыкла терпѣливо,
И сверхъ того во всемъ послушна такъ уму,
Что упрекнуть ее не можно никому
И въ самомъ мелочномъ, незначущемъ капризѣ.
Теперь вы знаете, что я женюсь на Лизѣ.
Турусинъ. Что слышу я?
Звонкинъ. Ай, ай!
Звонкина. Возможно ль, чтобъ она...
Здравосудовъ. Чему-жъ дивишься ты? Вѣдь Лизанька бѣдна.
Смѣяться надо мной, конечно, всѣ свободны,
Но признаюсь,—хотя лѣтами мы не сходны,
А я смѣшного тутъ не вижу ничего.
Я старъ, зато богатъ,—и, право, оттого
Племянница твоя несчастнѣе не будетъ,
Что бѣдность прежнюю, живя со мной, забудетъ.
Я все ей поручу: хозяйство и дѣла,
И даже, наконецъ, чтобъ Лиза не могла
Имѣть въ любви моей ни малаго сомнѣнья,—
При жизни укрѣплю ей все мое имѣнье.
Звонкина. Какъ, дядюшка!
Здравосудовъ. Да, да! Повѣрьте, не шучу!
Все это выполнить рѣшительно хочу.
Но съ благодарностью приму я всѣ совѣты:
Ошибки свойственны во всякія намъ лѣты.
И васъ покорнѣйше прошу, безъ дальнихъ словъ,
Всю правду мнѣ сказать; я слушать васъ готовъ,
Хотя бы вы со мной заспорили о вздорѣ.
И такъ, останьтеся здѣсь подумать на просторѣ.
А я межъ тѣмъ пойду съ Крючковымъ толковать. (*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ СЕМНАДЦАТОЕ.

Тѣ же безъ Здравосудова.

Звонкина (*помолчавъ нѣсколько времени*).
Что это, Ваничка?
Турусинъ. Кто могъ-бы ожидать?
Звонкинъ. Очнуться не могу!
Турусинъ. И этотъ вѣкъ прошедшій
Жениться захотѣлъ!
Звонкина. Онъ вовсе сумасшедшій!
Турусинъ. Имѣнье все отдать!
Звонкина. Наслѣдниковъ забыть!
Звонкинъ. Да дѣло не о томъ, — какъ горю пособить?
Звонкина (*Турусину*). Досаду на меня оставь свою покуда!
Ты видишь, мой отецъ, намъ всѣмъ приходить худо,
Что мы бранимся, ты объ этомъ позабудь,
Скажи-ка лучше мнѣ: нельзя-ли какъ-нибудь
За слабоуміемъ отдать его въ опеку?
Турусинъ. Но какъ?..
Звонкина. И, батюшка! Ну, трудно-ль человѣку
Разумному подвесть какой-нибудь указъ?
Турусинъ. Никакъ нельзя.
Звонкина. Нельзя! Когда онъ грабитъ насъ!
Такъ дѣло заведемъ.
Турусинъ. И этого не можно.
Звонкина. Несносный человѣкъ! — Да что жъ намъ дѣлать должно?
Турусинъ. Ума не приложу!
Звонкина. Ну, такъ!—Пришлось одной
Мнѣ думать обо всемъ!—А кто всему виною?
Когда бъ не ты съ твоимъ дурацкимъ предложеньемъ,
То, вѣрно-бъ, сжалившись надъ Лизинымъ мученьемъ,
И сына моего отъ всей души любя,—
Давно-бъ женила ихъ.
Звонкинъ (*Турусину*). Все это отъ тебя.
Турусинъ. Что жъ дѣлать!—Я влюбленъ.
Звонкина. Твоей-ли, сударь, рожѣ
Влюбиться въ дѣвочку!
Звонкинъ. На дѣло не похоже!
Турусинъ. Такъ что жъ? Попробуемъ!— Межъ имъ и мной рѣшитъ
Пусть Лизанька сама.
Звонкинъ. Да чортъ-ли ей велитъ?—
Онъ старѣе тебя, а все-таки сноснѣе.
Звонкина. И сверхъ того умретъ, конечно ужъ, скорѣе.
Звонкинъ. Для бѣдной дѣвочки старикъ богатый—кладъ.
Турусинъ. Вотъ то-то и бѣда, что больно онъ богатъ!
Ну, такъ и быть—рѣшусь!—Еще я средство знаю...
Пожертвую собой!.. Пускай одинъ страдаю.
Скажите, что вашъ сынъ не только что влюбленъ,
Но даже съ Лизою давно ужъ обрученъ.

Звонкина. Чтобъ я...
Турусинъ. Одно изъ двухъ: вамъ должно согласиться
Сейчасъ помолвить ихъ.
Звонкина. Сейчасъ!..
Турусинъ. Не то лишиться
Наслѣдства навсегда.
Звонкинъ. Рѣшись, мой другъ, скорѣй!
Турусинъ. Вѣдь мнѣ, невѣстушка, и вашего тошнѣй,—
Да дѣлать нечего.
Звонкина. А если не поможетъ
И это намъ,—такъ что жъ тогда?..
Звонкинъ. О, быть не можетъ!
Турусинъ. Ужъ какъ ни думайте—все надо ихъ женить.
Рѣшитесь, матушка!
Звонкина. Согласна!—Такъ и быть,
А признаюсь, и мысль мнѣ эта нестерпима!
Турусинъ. Да дѣлать нечего!
Звонкинъ (*звонитъ въ колокольчикъ; входитъ слуга*). Пошли сюда Любима.
Звонкина. И Лизу позови!
(*Слуга уходитъ*).
Звонкинъ. Смотрите-же, при ней
О дядюшкѣ ни слова—молчать всего вѣрнѣй.
Хоть, правда, у него не важная осанка,
А все пять тысячъ душъ большая вѣдь приманка.
Звонкина. Вотъ это пустяки! Ты знаешь, что она...
Звонкинъ. Ну, да, въ Любимушку смертельно влюблена;
Да пять-то тысячъ душъ...
Турусинъ. А что жъ? И я согласенъ;
Не долго до грѣха...
Звонкинъ. Повѣрьте—онъ опасенъ.

- - -

ЯВЛЕНІЕ ВОСЕМНАДЦАТОЕ.

Тѣ-же, Любимъ и Лиза.

Звонкина. Сюда, мои друзья,—сюда, поближе съ намъ!
Звонкинъ. Какую объявить хотимъ мы радость вамъ!
Звонкина. И думать не могли объ этомъ вы сюрпризѣ.
Любимъ. Позвольте намъ узнать?
Звонкина. Ты женишься на Лизѣ.
Лиза. На мнѣ!
Любимъ. Что слышу я!
Турусинъ. Божусь, я очень радъ!
Звонкинъ. По милости его на Лизѣ ты женатъ.
Любимъ. Какъ, дядюшка?!
Звонкина. Да, да! На слезы ваши глядя,
За васъ старался самъ почтеннѣйшій твой дядя.
Звонкинъ. Невѣсту уступя, примѣръ онъ доброты
Неслыханный явилъ!
Звонкина (*Лизѣ*). Ну, что жъ, согласна ты?
Лиза. Ахъ, тетушка!.. Но нѣтъ, и вѣрить я не смѣю.
Звонкина. Не вѣришь, милая?.. Такъ средство я имѣю
Увѣрить въ томъ тебя. Поди сюда, мой свѣтъ!
(*Подводитъ ее къ Любиму*)
Любимъ! Она твоя!
Любимъ. Теперь сомнѣнья нѣтъ.
Мы счастливы!
Звонкина. Скажи—будь искренна со мною.
Ты любишь вѣдь его?
Лиза. Всѣмъ сердцемъ и душою.
Скрывать я не хочу предъ вами чувствъ моихъ.
Звонкина. А если сдѣлаетъ другой тебѣ женихъ,
Повыгоднѣй еще, такое-жъ предложенье,
Тотчасъ откажешь ты?
Лиза. Безъ всякаго сомнѣнья.
Звонкинъ. Да полно, перестань!
Звонкина. И даже, если бъ онъ
Сто тысячъ въ годъ имѣлъ!
Лиза. Хотя бы милліонъ.
Турусинъ. Въ глаза и за-глаза скажу; немногимъ сродно
Такъ чувствовать, какъ вамъ, и мыслить благородно.
Звонкина (*обнимая Лизу*). Позволь, моя душа, позволь себя обнять!
Ну, можно ли кому умнѣе разсудить?
Да ты сокровище, мой другъ!
Звонкинъ. Какія чувства!
Турусинъ. Заставить вамъ легко безъ всякаго искусства
Себя боготворить въ семейственномъ кругу.
Лиза (*тихо Любиму*). Что значитъ это все?
Любимъ (*также*). Постигнуть не могу.
Звонкина. Теперь намъ дядюшку склонить на это должно.
Турусинъ. Тутъ надо поступать отмѣнно осторожно.
Любимъ. Ну, нѣтъ, за дѣдушку ручаюсь смѣло вамъ.
Звонкинъ. Все такъ, да онъ подчасъ бываетъ страхъ упрямъ;
Какъ скажетъ «не хочу»! Такъ съ свадьбой и прощайтесь.
Турусинъ. Мы будемъ всѣ просить, а вы ужъ постарайтесь
Разжалобить его: поплакать не бѣда.
Звонкина. А что-жъ, и подлиннно!—Вѣдь слезы-то вода. (*Лизѣ*)
Поплачь, мой другъ!
Любимъ. Зачѣмъ...
Лиза. Повѣрьте мнѣ, напрасно.
Звонкина. Все лучше, милая! Согласенъ онъ—прекрасно!
А если нѣтъ?..
Любимъ. Но я...
Звонкина. Ты слишкомъ ужъ уменъ:
Нельзя ли помолчать!
Турусинъ. Но тише,—вотъ и онъ!
Звонкинъ. Ну, сердце замерло!

Звонкина. Я что-то оробѣла.
Турусинъ. Не бойтесь ничего! — Начать мое ужъ дѣло.

ЯВЛЕНІЕ ДЕВЯТНАДЦАТОЕ.

Тѣ же и Здравосудовъ.

Здравосудовъ. Да здѣсь, мнѣ кажется... такъ точно,—вся семья.
Тѣмъ лучше — очень радъ! — Ну, что, мои друзья,
Чай, все обдумали,—и ваши всѣ сомнѣнья
Теперь ужъ рѣшены?.. Но вы въ большомъ смущеньи;
Что сдѣлалось?
Турусинъ (*въ сторону*). Съ чего бы мнѣ начать?
Здравосудовъ (*Звонкину*). Скажи, мой другъ!
Звонкинъ (*показывая на Турусина*) Вотъ братъ вамъ будетъ отвѣчать.
Турусинъ (*въ сторону*). Ахти, бѣда! — А онъ глядитъ такимъ злодѣемъ!
Звонкинъ (*тихо Турусину*). Рѣшись.
(*Тихо Звонкиной*). Нельзя ли вамъ?
Звонкина (*громко*). Сказать-то мы не смѣемъ.
Здравосудовъ. Скажи!
Звонкина. Ну, если васъ мы этимъ огорчимъ?
Вѣдь съ ней давно...
Здравосудовъ. Ну, что?
Звонкина. Помолвленъ нашъ Любимъ.
Здравосудовъ. Возможно ли? И я совсѣмъ не зналъ объ этомъ!
Звонкинъ. Сегодня-жъ къ вамъ писать хотѣли съ эстафетомъ,
Да вы пріѣхали.
Здравосудовъ. Въ какихъ я дуракахъ!
Звонкина. Ихъ участь, дядюшка, у васъ теперь въ рукахъ!
Здравосудовъ. И я въ тебѣ, Любимъ, соперника встрѣчаю!
Лиза. Соперника?
Любимъ (*въ сторону*). Ага! Теперь я понимаю.
Здравосудовъ. Вотъ этого, божусь, никакъ не ожидалъ,
Чтобъ ты, Любимъ...
Звонкина. Да если бы онъ зналъ,
Что вы на Лизанькѣ намѣрены жениться,
То, вѣрно бъ, ужъ не смѣлъ въ нее влюбиться.
Здравосудовъ. Конечно, милая, я это знаю самъ,
Однако жъ, признаюсь...
Турусинъ. Не грустно ль будетъ вамъ
Навѣкъ ихъ разлучить?
Звонкина. Когда ужъ все готово
Для свадьбы ихъ. (*тихо Лизѣ*). Да плачь!
Звонкинъ (*тихо Любиму*). Ну, что жъ! Скажи хоть слово!
Турусинъ. Заставьте за себя вѣкъ Бога ихъ молить.
Здравосудовъ. Досадно, а пришлось невѣсту уступить.
Звонкина. Согласны вы?
Здравосудовъ. Но съ тѣмъ, чтобъ онъ съ своей женою
Съ сихъ поръ ужъ на всегда остался жить со мною.
Любимъ. Отъ всей души.
Звонкинъ. Да вамъ лишь стоитъ приказать.
Турусинъ (*въ сторону*). Зарѣжетъ онъ меня!
Здравосудовъ. Я долженъ вамъ сказать,
Что я, себя почти женатымъ ужъ считая,
И васъ вознаградить отъ всей души желая
За безкорыстіе, достойное похвалъ,—
По двѣсти тысячъ вамъ въ духовной назначалъ,
Но такъ какъ, моему противно ожиданью,
Я долженъ ужъ теперь, по вашему желанью,
Остаться холостымъ,—то эти деньги я,
Съ согласья вашего, любезные друзья,
Даю въ приданое Любимовой невѣстѣ.
Лиза. Возможно ли!
Турусинъ (*въ сторону*). Чуть-чуть я устоялъ на мѣстѣ!
Любимъ. Вы благодѣтель нашъ!
Здравосудовъ. Скажи, мой другъ, отецъ!
Да, дѣти милыя, я счастливъ, наконецъ:
Пусть буду я теперь покинутъ цѣлымъ свѣтомъ,
Повѣрьте мнѣ — грустить не стану я объ этомъ;
Живя средь васъ, свое забуду сиротство:
Вы мнѣ замѣните и свѣтъ и все родство;
И, въ васъ однихъ найдя подъ старость утѣшенье,
Однимъ оставлю вамъ по смерти все имѣнье.
Турусинъ (*въ сторону*). Какъ? Что? Ахъ, Боже мой! Да это ужъ разбой!
Здравосудовъ. Теперь, мои друзья, прошу идти со мной;
Все это утвердить хочу я завѣщаньемъ.
(*Здравосудовъ, Любимъ и Лиза уходятъ*).
Звонкина Турусину (*уходя*). Не мы, такъ нашъ Любимъ съ богатымъ состояньемъ.
Звонкинъ (*женѣ*). Пойдемъ! (*Уходитъ съ ней за Здравосудовымъ*).
Турусинъ (*одинъ*). Что слышалъ я? Во снѣ, иль на яву?
Они наслѣдники—и я еще живу!
О, варваръ! О, злодѣй!.. Ну, выдумалъ я средство:
Безъ денегъ, безъ жены и даже — безъ наслѣдства.

СТИХОТВОРЕНІЯ.

I.

Посланіе къ Н. И. Гнѣдичу.

Разстался я надолго съ вами,
Брега священные Невы!
Уже исчезли предъ глазами,
Среди туманной синевы,
Небесъ Петрополя унылыхъ
Послѣднія главы церквей.
И я, какъ вихрь, лечу, друзей оставя милыхъ,
На тройкѣ удалыхъ коней,
И въ первый разъ, живя досель съ веселіемъ въ дружбѣ,
Узналъ я горе не шутя.
А ты, товарищъ мой по чувствамъ и по службѣ,
Безсмертныхъ дѣвъ любимое дитя,
О, Гнѣдичъ, можетъ быть съ тобою
На вѣкъ, мой другъ, простился я!
Увы! Сей грустною мечтою
Полна теперь душа моя!
Кто знаетъ, что въ своемъ совѣтѣ
Творецъ небесный мнѣ предрекъ?
Слѣпые смертные на этомъ жалкомъ свѣтѣ,
Играемъ въ жмурки мы весь вѣкъ!
Грядущаго никто не знаетъ:
Оно сокрыто отъ людей:
Таясь во мракѣ, какъ злодѣй,
Судьба ударъ свой совершаетъ.
Сегодня я здоровъ, а завтра билъ мой часъ!
И часто, можетъ быть, забывъ, о, другъ мой милый,
Что жизнь зависитъ не отъ насъ,
Мы пляшемъ надъ своей могилой!

Такъ думалъ я, и духъ невольно унывалъ,
Предчувствіемъ во мнѣ таинственнымъ смущенный;
Казалось мнѣ, что я, на скорби обреченный,
И счастье и друзей навѣки покидалъ.
Далеко ужъ за мной роскошная столица;
И я, сквозь легкій сонъ, закутавшись въ шинель,
Мечтаю о тебѣ, о, сѣвера царица,
О, юныхъ дней моя вторая колыбель!
Въ тебѣ я началъ жить, въ тебѣ я встрѣтилъ друга;
Въ тебѣ я въ первый разъ знакомъ съ любовью сталъ,
И счастіе въ тебѣ жъ семейственно позналъ,
Названіе принявъ священное супруга.
Ты скрылася, но мнѣ остались мечты:
Средь ихъ ищу я утѣшенья.
И вдругъ, о, чудо воображенья!
Моимъ глазамъ явилась снова ты.
Въ тебѣ опять съ друзьями я встрѣчаюсь,
Иду опять бродить по улицамъ твоимъ;
Любуюсь снова всѣмъ и молча восхищаюсь
Или спѣшу съ утра къ занятіямъ моимъ,
И свой окончивъ трудъ, народное теченье
Иду смотрѣть на невскій тротуаръ.
Какая пестрота и чудное смѣшенье!
Тутъ вижу персіянъ, бухарцевъ и татаръ,
Французовъ вѣтренныхъ и англичанъ степенныхъ;
Тамъ храбры воины, отечества сыны,
Въ одеждахъ, златомъ испещренныхъ,
И мирный квакеръ здѣсь, незнающій войны.
Или окрестности градскія посѣщаю.
Вотъ въ Царскомъ я селѣ, въ волшебныхъ сихъ мѣстахъ,
Гдѣ всякій разъ пѣвца Торквато вспоминаю,
Мечтая быть въ его Армидиныхъ садахъ.
Иль, въ шумномъ жить наскуча въ мірѣ,
Я мыслями лечу въ унылый Петергофъ,
И тамъ на берегу морскомъ я въ Монплезирѣ,
Дремлю подъ шумъ сѣдыхъ валовъ,
Гляжу, какъ блѣдная Геката
Верхи деревъ сребритъ въ саду.
Или, въ часъ солнечна заката,
Въ обитель Невскую иду;
Люблю смотрѣть я тамъ на чудное сближенье
Предметовъ двухъ, столь разныхъ межъ собой.
Вотъ здѣсь въ моихъ глазахъ, терясь въ отдаленьи,
Та улица, куда веселою толпой

Стремятся всѣ: гдѣ роскошью все дышитъ,
Гдѣ пышность дивную—Причудницы Творца
Волшебное перо едва ли намъ опишетъ,
Гдѣ вѣчной суетѣ и шуму нѣтъ конца,
Гдѣ все сулитъ намъ вѣкъ счастливый,
Среди пріятныхъ жизни сновъ!
И что-жъ въ концѣ сей гордой перспективы?

Жилище смерти, рядъ гробовъ!
Невольно здѣсь душой я возвышаюсь,
Мірскую суету ничтожность всю узрѣвъ.
Но день уже протекъ; я далѣ отправлюсь,
Съ холоднымъ чувствомъ осмотрѣвъ
Умершихъ пышныя могилы,
Предметъ тщеславія и роскоши живыхъ.
Теперь я на мосту склонившись на перила,
Встрѣчаю сумерки. Вотъ шумъ градской затихъ:
Вечернія мольбы ужъ кончились во храмахъ,
И я смотрю, ночной любуясь тишиной,
Какъ свѣтится Нева въ своихъ прозрачныхъ рамахъ,
Чуть-чуть волнуяся, течетъ передо мной:
Луна и рядъ палатъ, какъ будто бы въ картинѣ,
На гладкомъ зеркалѣ ея прозрачныхъ водъ.
«Давно-ль подумалъ я, въ ужасной здѣсь пустынѣ
Лишь вѣтеръ вылъ? Теперь кишитъ вездѣ народъ.
Давно ли здѣсь, среди болотъ, лѣсовъ дремучихъ,
Нэ смѣлъ и дикій звѣрь прокладывать слѣда?
Явился градъ Петровъ, краса царей могучихъ,

Прошли немногіе года,
И славу ужъ его вселенну наполняетъ!
О, Русскій Царь. ты былъ воистину великъ!
Ты восхотѣлъ — и флотъ твой море покрываетъ;
Сказалъ—и новый Римъ на сѣверѣ возникъ!»
Вотъ такъ-то милый другъ, мечтою обольщенный,
На краткій мигъ я горе забывалъ.
«О если бъ, я сказалъ, восторгомъ увлеченный,
Небесъ священный даръ, тобой я обладалъ!
Когда бъ я могъ, пѣвецъ Омирова рожденья,
Во слѣдъ тебѣ, на лирѣ золотой,
Воспѣть душевны наслажденія,
Бесѣды всѣ съ волшебною мечтой;
Когда бы могъ»... Но вдругъ незнаемый доселѣ,

По членамъ трепетъ пробѣжалъ;
Уста сомкнулись по-неволѣ,
Въ груди священный огнь вспылалъ;
Все стало для меня пріятнѣй;
Свѣжѣе зелень на лугахъ,
И воздухъ чистый ароматнѣй,
И тѣнь прохладнѣе въ лѣсахъ;
Всей, всей природы обновленной
Казался мнѣ прелестный видъ!
О, радость... наконецъ, восторгомъ упоенный,
Позналъ я въ первый разъ безсмертныхъ Піерибъ;
Позналъ небесно наслажденье,
Поэтовъ счастливыхъ кумиръ,
Тебя, святое вдохновенье!
И новый мнѣ открылся міръ;
И новымъ озарилась свѣтомъ
Моя душа и другъ твой сталъ поэтомъ!

II.

Авторская клятва.

Какъ часто я слыхалъ, что главный нашъ порокъ—
Любовны клятвы всѣ и нѣжны увѣренья
Писать лишь на пескѣ: повѣетъ вѣтерокъ,
И мигомъ страстныя исчезнутъ выраженья,
А съ ними и любовь. Такъ точно иногда
Поэтъ, обиженный судомъ несправедливымъ,
Клянется съ музами разстаться навсегда,
Навѣкъ прости сказать мечтамъ любимымъ,
И чтобъ вѣрнѣй свой выполнить обѣтъ,
Объ этомъ онъ друзьямъ въ посланьи объявляетъ,
И разругавъ путемъ коварный злобный свѣтъ,
Стиховъ онъ не писать... стихами обѣщаетъ,
Что эту истину не трудно доказать,
Въ томъ спора нѣтъ ни мало,
Лишь только бъ въ васъ, друзья терпѣнія достало
То выслушать, что вамъ хочу я разсказать.
Однажды въ скукѣ я (тому назадъ недѣлю)
Дремалъ у камелька, десятый часъ пробилъ,
И я сбирался на постелю,
Какъ вдругъ вбѣжалъ ко мнѣ Людмилъ,
Старинный мой пріятель,
Изрядный малый и съ умомъ!
А ремесломъ
Комическій писатель.
«Что вижу,—я вскричалъ, — ты блѣденъ и смущенъ!
Взглянувши на тебя нельзя не испугаться».
Ахъ, дай притти въ себя и съ мыслями собраться:
Я такъ замученъ, разбѣшенъ!
Да сказывай скорѣй, что сдѣлалось съ тобою?
Ничтожный вздоръ; къ чему разсказывать его?
Я только въ дуракахъ—и больше ничего!—
Осмѣянъ, посрамленъ и самъ тому виною!
Какой нечистый духъ... «Да полно не тужи!
Садись-ка лучше здѣсь — и все мнѣ разскажи!»
— Ты хочешь знать?—«Весьма желаю».
— Такъ слушай же, мой другъ, и смѣйся надо мной!
Отъ Вельскаго вчера письмо я получаю,
Въ которомъ проситъ онъ—любовію одной
Къ моимъ талантамъ побужденный—

Прочесть въ кругу его лишь искреннихъ друзей
Мой новый трудъ и что, заранѣ восхищенный,
Творца онъ завтра ждетъ съ супругою своей.
Попуталъ грѣхъ меня: подумалъ, соблазнился
И, давши мой отвѣтъ на сей проклятый зовъ,
Сегодня вечеромъ я ровно въ семь часовъ
Съ пьесою моей у Вельскаго явился.
Вхожу—и что-жъ? Полна гостиная людей.
Кой чортъ, подумалъ я, поклоны раздавая,
Какъ много искреннихъ у Вельскаго друзей!
Межъ тѣмъ хозяйка пожилая,
Извѣстная своимъ умомъ,
Ужасно суетилась
Вокругъ стола, покрытаго сукномъ.
И вотъ толпа гостей по кресламъ размѣстилась,
Умолкли всѣ—и началъ я читать.
Увы! Языкъ гостей не долго былъ спокоенъ!
Чтобъ тонкій вкусъ вполнѣ свой оказать,
Знатокъ прямой ничѣмъ не долженъ быть доволенъ.
Хвалить! И—кстати ли себя унизить такъ,
Хвалить вѣдь можетъ и дуракъ;
Но тотъ, кто смѣло все бранитъ и осуждаетъ,
Ужъ вѣрно умница и все на свѣтѣ знаетъ.
Едва лишь первый актъ окончить я успѣлъ,
Какъ вдругъ одинъ, словесности любитель,
Извѣстный меценатъ, талантовъ покровитель,
Своимъ блеснуть умомъ и вкусомъ захотѣлъ.
Окинувъ взоромъ всѣхъ надменно,
«Я вамъ—сказалъ онъ мнѣ—приснаюсь откровенно,
Что экспозиція ужасно не ловка.»
Быть можетъ, что долга? «О, нѣтъ! Ее бы можно
Еще порастянуть.» Что, вижу, коротка?
«И этого въ ней нѣтъ, признаться должно».
Скучна? «Нимало, нѣтъ!» Такъ видно не вѣрна,
Фальшива, сбивчива? «О, нѣтъ, совсѣмъ другое!
И лучше бъ быть могла конечно вдвое...»
Позвольте мнѣ сказать—пристала тутъ одна
Премудрая жена,
Которая вездѣ по городу считалась
Игрицей первою въ бостонъ и модный вистъ—
Мнѣ кажется, у васъ языкъ не очень чистъ:
Я это замѣчать, по чести, не старалась,
Но, признаюсь, мой слухъ давно уже отвыкъ
Отъ всѣхъ тяжелыхъ выраженій.
Въ комедіи у васъ слуга совсѣмъ мужикъ,
Вездѣ онъ говоритъ безъ всякихъ украшеній,
Такимъ преподлымъ языкомъ;
Признайтесь сами въ томъ!
Вѣдь я не вовсе виновата,
И если критика вамъ кажется строга...
Помилуйте! Да онъ не принцъ — простой слуга!—
Такъ что жъ, не важная утрата—
Могли бъ и выкинуть его!
А впрочемъ,—знаете ль, прочтите Мариво!
Вотъ истинный талантъ—вездѣ въ немъ превосходство!
Какой прелестный тонъ, какое благородство!
Служанка, госпожа, лакей и господинъ.
«А я совсѣмъ не то замѣтить вамъ желаю—
Прервалъ съ улыбкою и нюхая табакъ,
Мудрецъ, котораго на зло вездѣ встрѣчаю
Педантъ несносный и чудакъ—
Искусствомъ вы меня своимъ не обманули:
Сюжетъ въ Теренціѣ вы точно почерпнули».
Въ Теренціѣ? «Ну, да! Я вздора не скажу;
Повѣрьте, сходство есть большое;
Вы спросите какое?—
Постойте, докажу:
У васъ...» Нѣтъ силъ терпѣть, хозяйка закричала:
Вы только спорите, а время все идетъ!—
«Позвольте доказать!» Нѣтъ, нѣтъ! Ужъ я устала,
И этотъ долгій споръ тоску лишь наведетъ.
Прошу васъ, продолжайте!
Успѣемъ, можетъ быть.... Ахти, десятый часъ!
Что если бъ вы... иль нѣтъ, послушайте: для васъ,
Конечно, все равно, вы все-таки читайте,
А я межъ тѣмъ могу гостей занять въ бостонъ!—
Хотя терпѣньемъ я изрядным одаренъ,
Однако жъ, чортъ возьми, всему вѣдь есть граница:
Я вышелъ изъ себя, вскочилъ, схватилъ тетрадь—
И прежде, чѣмъ могла проклятая игрица
Опомниться путемъ, ударился бѣжать,
Кой какъ до улицы добрался;
Забывши о гостяхъ, не помня о себѣ,
Прыгнулъ въ карету и помчался
Прямехонько къ тебѣ.
И вотъ, мой милый другъ, судьи, которыхъ мнѣнья,
Вездѣ всеобщаго достойныя презрѣнья,
Оракуломъ, закономъ чтутъ,
Которые, къ стыду насъ всѣхъ, признаться должно,
Хваля безъ толку все, иль все браня безбожно,
Безславіе и славу раздаютъ!
И послѣ этого за славою гоняйся!
Забудь веселье и покой.
Пиши комедіи—будь мученикъ—старайся,
Но льстить себя не смѣй наградой никакой!
Читать въ домахъ — бѣда! Отдать играть—другая;
Да что и говорить — скажу безъ дальнихъ словъ:
Театръ, гдѣ царствуетъ посредственность златая,
Страшнѣе для меня и самыхъ знатоковъ.
У насъ хоть не пройдетъ безъ новости недѣли,
Зато ужъ ничего, не ѣзди подъ качели,
Играютъ мастерски—ну, кобо посмотрѣть!

А если примутся артисты наши пѣть,
Иль станутъ въ оперѣ при всѣхъ мѣнять кулисы,
То вонъ бѣги!
И, словомъ, — отъ царя до самаго слуги—
Пѣвицы и пѣвцы,—актеры и актрисы,
И даже самая суфлера западня
Терзаетъ все и мучитъ лишь меня.
Нѣтъ, кончено! Писать я больше не намѣренъ,
Клянусь—и клятвѣ сей, конечно, буду вѣренъ!
Да, да, мой другъ!—Клянусь... а жаль! Вѣдь есть сюжетъ,
И если-бъ только я рѣшиться могъ... да нѣтъ!
Все кончено!.. А планъ и сцены ужъ готовы —
Придуманъ и конецъ,
И всѣ характеры такъ новы!
Прекрасный резонеръ—чувствительный отецъ;
Контрасты рѣзкіе—съ природы, а не съ сказки!
Тутъ будетъ все: и плутъ, и честный человѣкъ,
Интрига чудная.., а веселѣй развязки
Нельзя придумать въ вѣкъ,
И интересныхъ сценъ, конечно, будетъ съ двадцать!
Да впрочемъ... почему-жъ... ага, ужъ бьетъ двѣнадцать!
Пора домой! «Такъ ты рѣшился не шутя?»
— Прощай!— «Да погоди, карета не готова!»
Но мой Людмилъ въ отвѣтъ ни слова;
Поклонъ и, шляпу ухватя,
Отправился домой. Домой? Конечно, спать?
Ахъ, нѣтъ, мои друзья: комедію писать!

III.

Выборъ жены.

Въ дурачествахъ своихъ намъ трудно сознаваться:
Мы всѣ помѣшаны на томъ,
Что сами никогда ни въ чемъ
Не можемъ ошибаться.
Причиной неудачи, всѣхъ горестей и бѣдъ,—
Иль случай, иль судьба, иль что-нибудь другое,
Но только ужъ не мы. Одинъ несчастье злое
Клянетъ, съ дурной игрой поставивши лабетъ;
Другой, хотя блеснуть съ умѣреннымъ доходомъ,
Вступаетъ съ богачомъ въ неровную борьбу
И послѣ, не сведя никакъ приходъ съ расходомъ,
Винитъ во всемъ жестокую судьбу,
Какъ будто бы она и въ томъ ужъ виновата,
Что бѣдный человѣкъ не долженъ жить богато,—
А съ взяткою одной бостонъ нельзя играть.
Но чтобы вы, друзья, не начали дремать
Отъ сихъ преважныхъ поученій,
Не лучше ль мнѣ, на мѣсто разсужденій,
Отъ скуки вамъ кой-что поразсказать?
Сюда, друзья, въ кружокъ — я сказку начинаю:
Въ одной изъ двухъ столицъ,—а точно гдѣ, не знаю,
Положимъ, что въ Москвѣ: для сказки все равно,—
Тому назадъ не такъ чтобы давно,
Среди веселья жилъ счастливецъ,
Фортуны баловень, по имени Клеонъ.
И подлинно былъ счастливъ онъ:
Красотъ московскихъ всѣхъ любимецъ;
Душа ихъ общества и зависти предметъ;
Всѣ маменьки его ласкали
И часто дружескій совѣтъ
Бозъ умысла ему давали
(Хваля своихъ любезныхъ дочерей)
Жениться поскорѣй.
И послѣ этого—кому повѣрить можно,
Счастливецъ сей, признаться должно,
Природой былъ не слишкомъ одаренъ:
Красавцемъ онъ не могъ назваться,
Отлично не былъ и уменъ,
И даже — я стыжусь по чести вамъ признаться—
И даже не умѣлъ въ мазуркѣ рисоваться,
А несмотря на то, какъ будто бъ на подрядъ,
Невѣсты скромныя его ловили взглядъ.
За что, вы спросите, Клеона уважали?
Хотите знать? Онъ былъ... я вижу—отгадали!
Да, да, друзья, онъ былъ богатъ.
Но участью своей кто въ мірѣ семъ доволенъ?
Клеонъ вдругъ сдѣлался задумчивъ, безпокоенъ;
Сталъ рѣдко ѣздить со двора,
Вздыхать, грустить, томиться,
Иль, попросту сказать, ему пришла пора жениться.
Повѣрьте, въ тридцать лѣтъ пріятнѣй жить вдвоемъ!
Итакъ, счастливецъ нашъ, обдумавъ все путемъ,
Рѣшился общему послѣдовать закону
И, чтобъ сомнѣнья всѣ вѣрнѣе истребить,
Отправился тотчасъ къ пріятелю Честону
И такъ съ нимъ началъ говорить:
«Жениться никогда, мой другъ, шутить не должно!
Ужъ надо поступать отмѣнно осторожно:
Ты опытенъ и знаешь свѣтъ,
Такъ въ этомъ можешь дать полезный мнѣ совѣтъ!
Изъ всѣхъ невѣстъ я двухъ сестеръ предпочитаю:
Послушай, я тебѣ точь въ точь ихъ опишу;
Знать мнѣніе твое, Честонъ, весьма желаю,
Но только, милый другъ, быть искреннимъ прошу!

Онѣ фамиліи не знатной, но извѣстной;
Аглая, старшая сестра, тиха, скромна,
Имѣетъ нравъ прелестный
И даже, говорятъ, умна,
Но только утверждать я этого не смѣю:
Съ тѣхъ поръ, какъ ѣзжу я къ нимъ въ домъ,
Едва ли удалось, какъ помнится, о томъ
Сказать словъ шесть мнѣ съ нею,
Что время скверное и дождь идетъ съ утра.
Какая разница, мой другъ, ея сестра!
Представь себѣ, Честонъ, Киприду для примѣра:
Какъ слабо и тогда сравненіе твое!
Нѣтъ, нѣтъ! Эмилія, конечно, не Венера,
А лучше во сто разъ ея!
Остра, умна, талантовъ бездна,
А какъ ловка, мила, любезна!
Пускай иной въ ней слабости найдетъ:
Она, не спорю я, какъ будто бы спесива,
Немножко вѣтренна, немножко прихотлива,
Да только вотъ бѣда: все это къ ней идетъ;
Насмѣшлива — нельзя и въ этомъ не признаться,
И если ужъ надъ кѣмъ она шутить начнетъ,
То мертваго заставитъ разсмѣяться!
Все это хорошо, да только не въ женѣ,—
Вѣдь сердцу доброму таланты не замѣна!
Повѣрь, Клеонъ, какъ другу, мнѣ:
Коварство, злоба и измѣна
Всегда насмѣшниковъ удѣлъ!—
И, милый другъ,—ну что за преступленье!
Какъ будто бы грѣшно
Надъ тѣмъ смѣяться, что смѣшно?
Да гдѣ же взять терпѣнья
Съ глупцомъ безъ смѣха говорить?
Притомъ же,—съ клятвою могу я утвердить,—
Чувствительнѣй ея не можетъ быть;
Она добрѣе, чѣмъ Аглая:
Та любитъ лишь людей,
А эта даже и звѣрей.
Эмилія надняхъ, лишившись попугая,
Почти изсохла отъ тоски...
Нѣтъ, нѣтъ, мой другъ, она совсѣмъ не злорѣчива,
А любитъ изрѣдка глупцамъ давать щелчки!
Сестра жъ ея ужъ слишкомъ молчалива.
Ты скажешь, что она скромна.
Что жъ толку въ томъ? Зато вѣдь вовсе невидна;
А я хочу, чтобы жена моя блистала,
Чтобъ свѣтъ не только красотой,
Талантами, умомъ и всѣмъ обворожала,
Чтобъ праздникъ тотъ считался за пустой,
Который ей самой украсить не угодно.
А если жъ вздумаю явиться всенародно,
Пущусь въ собранье съ ней...
Какое торжество!—Среди толпы людей,
Въ глазахъ у всѣхъ она, какъ Грація, танцуетъ;
Не только что умы—сердца у всѣхъ волнуетъ:
Того-то и хочу.
Всѣ вкругъ нея тѣснятся,
Всѣ ахаютъ, дивятся.
А я—стою спокойно и молчу;
Гляжу на всѣхъ съ улыбкой сожалѣнья
И думаю:—«Ей дань платите удивленья,
А мнѣ—завидуйте, друзья!»
И вотъ ужъ шепчутъ, слышу я:
Вотъ мужъ ея, вотъ онъ, и вкругъ меня народу
Ужасная толпа, и мнѣ ужъ нѣтъ проходу!
—Умѣрь его, мой другъ,—сказалъ Честонъ, вставая,—
И выслушай совѣтъ — я въ двухъ словахъ скажу:
Супругой доброй быть способнѣе Аглая.
Повѣрь, блистать всю жизнь не можетъ человѣкъ,—
Съ женою жить не годъ, не два, а цѣлый вѣкъ.
Теперь, прощай,—въ деревню ѣду,
Мнѣ хочется поспѣть на станцію къ обѣду;
Смотри жъ, Клеонъ, держи совѣтъ мой въ головѣ!—
Простилися; Клеонъ подумать обѣщался...
И на Эмиліи спустя недѣли двѣ
Съ большимъ парадомъ обвѣнчался.
Три года минуло, и вотъ опять Честонъ
Въ столицу возвратился;
Оправиться едва успѣлъ съ дороги онъ
И тотъ же часъ къ пріятелю пустился.
—Ну вотъ, Клеонъ, опять въ Москвѣ я наконецъ;
Куда, мой другъ, давно съ тобой мы не видались!
Ты былъ женихъ, когда разстались,
Теперь любовникъ, мужъ и счастливый отецъ...
Но ты нахмурилъ лобъ, молчишь, не отвѣчаешь?
Какой ужасный взглядъ—ты сталъ совсѣмъ другимъ,
Тебя, по чести не узнаешь!
Давно ли чудакомъ ты сдѣлался такимъ?
«Давно ль? Съ тобой на что таиться...
Съ тѣхъ поръ, какъ за грѣхи задумалъ я жениться!»
—Возможно ли, Клеонъ? Да развѣ ужъ жена
Твоя въ собраньяхъ не блистаетъ?—
«Попрежнему всегда толпой окружена
И всѣхъ собой обворожаетъ».
—Талантовъ что ль убавилось число?—
«О, нѣтъ... вѣдь нравиться желанье не прошло:
Въ мазуркѣ и пѣньѣ она весьма успѣла!»
—Такъ что жъ? Неужели богиня подурнѣла?
«Богиня, скажешь, красоты?..»
—Да это говорилъ не я, мой другъ, а ты!—
«Не можетъ быть!—Я толкъ немного въ этомъ знаю!
И что въ ней нравится—никакъ не понимаю?
У ней во всемъ лицѣ нѣтъ правильной черты».
—Скажи же наконецъ, что сдѣлалось такое?—
«А то, Честонъ, что добрая моя жена
Долгъ матери считаетъ за пустое:
По баламъ каждый день, въ гостяхъ разряжена!

Супружеской любви въ ней даже нѣтъ и тѣни:
Со всѣми страхъ мила, но только не со мной;
И если я когда останусь съ ней одной.
Тотчасъ пойдутъ и спазмы, и мигрени...
И сверхъ того злодѣйка такъ хитра,
Что въ свѣтѣ прожила предоброю женою,
Я мученикъ—и всѣ жъ смѣются надо мною!»
— А гдѣ теперь ея сестра?—
«Давно ужъ замужемъ, Людмилъ на ней женился:
Ну, видно, Богу онъ молился!
Какъ счастливо живетъ онъ съ ней!
Она всегда съ дѣтьми, всегда въ семьѣ своей.
Въ женитьбѣ испыталъ Людмилъ одно блаженство;
За что жъ такое неравенство?
Одинъ счастливъ, другой судьбою угнетенъ;
За что жъ не онъ, а я жить долженъ несчастливо?
Куда, подумаешь, судьба несправедлива!»
—Напрасно ты винишь судьбу,—прервалъ Честонъ,—
Вини себя въ своей печали:
Съ Людмиломъ оба вы нашли, чего искали!
Аглая, попросту, безъ пышныхъ всѣхъ затѣй,
Живетъ для мужа и дѣтей;
Зато твоя ловка, по модѣ разодѣта,
Плѣняетъ всѣхъ, а мучитъ лишь тебя;
Но кто же виноватъ? Ты взялъ жену для свѣта,
А онъ женился для себя.

IV.

Посланіе къ Людмилу.

Съ какимъ торжественнымъ и радостнымъ лицомъ,
Съ какимъ восторгомъ мнѣ, Людмилъ, ты объявляешь,
Что, рѣзвой Таліи рѣшившись быть жрецомъ,
Досуги ты свои театру посвящаешь.
Повѣрь, въ томъ жалости, мой другъ, нимало нѣтъ,
Кто вздумалъ дать тебѣ столь пагубный совѣтъ!
Скажи, какой злой духъ, конечно въ наказанье
За тяжкіе грухи, внушилъ тебѣ желанье
На этомъ поприщѣ твоихъ извѣдать силъ?
Иль участь горькую не знаешь ты, Людмилъ,
Въ удѣлъ сужденную комическимъ поэтамъ?
Веселья всѣ забывъ, разставшись съ цѣлымъ свѣтомъ,
Трудамъ всю жизнь свою ты долженъ посвятить,
Съ терпѣньемъ слушать вздоръ, безъ ропота сносить
Насмѣшки остряковъ, нападки журналистовъ,
Сужденія купцовъ, лакеевъ, копіистовъ,—
И словомъ, всей Москвѣ отдавъ себя на судъ,
За милость почитать, когда изъ снисхожденья,
Порядкомъ осмѣявъ твое произведенье,
Съ нимъ вмѣстѣ и тебя забвенью предадутъ.
Все это бъ доказать я могъ легко примѣромъ,
«Но участи другихъ тебѣ не можно ждать,
«Ужъ, вѣрно, будешь ты у насъ вторымъ Мольеромъ;
«Всѣ станутъ и должны тебѣ рукоплескать».
Согласенъ и на то. Не скажемъ мы ни слова,
Какъ много ты ночей провелъ совсѣмъ безъ сна;
Положимъ, что твоя комедія готова,
Отдать ее въ театръ—забота лишь одна
Осталася тебѣ,—и вотъ изъ доброй воли,
Мытарства всѣ пройдя, успѣешь наконецъ;
Пьеса принята, расписаны всѣ роли,
Друзья заранѣе плетутъ тебѣ вѣнецъ,
Враги до времени свою скрываютъ злобу,
И ты, довольный всѣмъ, являешься на пробу,
Спѣшишь ее начать... О, бѣдный мой Людмилъ!
Крѣпись, мой другъ, терпи! Часъ бѣдствій наступилъ.
Какихъ ты перенесть не долженъ испытаній,
Препятствій и досадъ, несносныхъ истязаній...
Ты, вѣрно, скажешь мнѣ: «Все это не бѣда,
Награду пріобрѣсть не можно безъ труда».
Она передъ тобой — твоя, въ томъ нѣтъ сомнѣнья!
И вотъ насталъ ужъ день желанный представленья;
На сценѣ ты давно—въ ужасныхъ суетахъ,
Съ смущеньемъ на челѣ, съ улыбкой на устахъ.
Къ актерамъ всѣмъ въ глаза съ поклономъ забѣгаешь,
Здѣсь руку жмешь слугѣ, тамъ дядю обнимаешь,
И даже самъ суфлеръ, попавъ къ тебѣ въ друзья,
Бросаетъ вкругъ себя взглядъ важный и спесивый.
Но вотъ шумитъ партеръ—сей грозный судія,
Въ сужденіяхъ своихъ нерѣдко торопливый;
Пробило шесть часовъ—знакъ поданъ роковой;
Хлопочетъ режиссеръ, актеровъ всѣхъ сзывая,
Оркестръ гремитъ, и ты, съ поникшей головой,
Смятеніе свое и страхъ едва скрывая,
Спѣшишь среди кулисъ прижаться въ уголокъ.
Хоть скромность лишняя—не авторскій порокъ,
Повѣрь, Людмилъ, въ сіи минуты ожиданья
Исчезнутъ всѣ твои надменныя мечтанья,
Надежда пропадетъ, — твой трудъ, въ которомъ ты
Доселѣ находилъ однѣ лишь красоты,
Представится тебѣ столь мелкимъ и ничтожнымъ,
Что, всякій ужъ успѣхъ считая невозможнымъ,
Предвидишь торжество завистниковъ твоихъ,
Погрѣшности забыть стараешься напрасно,
Ошибка каждая и каждый слабый стихъ —
Все-все придетъ на умъ теперь; ты видишь ясно:
Завязка сбивчива, интрига не вѣрна,—
Такъ точно—Боже мой! Комедія дурна!

Всѣ зрители должны дремать, заснуть отъ скуки...
Уже ты чувствуешь начало адской муки—
Ты слышишь злобный смѣхъ, и шиканье, и свистъ;
Ты видишь предъ собой—о, страшное явленье!
Какъ сердцемъ ледянымъ, холодный журналистъ,
Подробно описавъ постыдное паденье
И подписью скрѣпивъ твой смертный приговоръ,
Въ листкахъ своихъ тебя выводитъ на позоръ!
Тогда, Людмилъ, съ какимъ душевнымъ сокрушеньемъ
Ты вспомнишь мой совѣтъ,—винишь, клянешь себя.
Но вдругъ затихнетъ все, и вмѣстѣ съ представленьемъ
Мученья новыя начнутся для тебя.
Ты съ трепетомъ глядишь на каждаго актера...
Не даромъ за себя боишься и за нихъ.
Тотъ выйти опоздалъ, тотъ скушалъ цѣлый стихъ,
А здѣсь другой, отстать не смѣя отъ суфлера,
Безъ точки съ запятой не скажетъ ничего.
Терпи, Людмилъ! Терпи, а болѣе всего
Показывать не смѣй ни гнѣва, ни досады.
Но вотъ ужъ наступилъ желанный часъ награды:
Могущество свое доказывать любя,
Партеръ шумитъ, кричитъ и требуетъ тебя.
Всѣ эти вызовы между собой похожи:
Съ приличной скромностью, согнувшись весь въ кольцо,
Пріятелямъ своимъ покажешь ты изъ ложи
Давно уже для нихъ знакомое лицо,—
Доволенъ, счастливъ ты! Не спорю я съ тобою,
Но знаешь ли, какой ужасною цѣною
За этотъ счастья мигъ ты долженъ заплатить?
Жрецъ истины святой, всегдашній бичъ пророка,
Поэтъ комическій льстецомъ не можетъ быть,
И если не успѣлъ хорошаго урока
Онъ дать насмѣшникамъ, надменнымъ богачамъ,
Иль, кистью вѣрною изображая намъ
Безстыднаго ханжи смиренную личину,
Не смѣлъ сорвать съ него обманчивый нарядъ,
Не смѣлъ сказать въ глаза большому господину,
Что гордость есть порокъ, что славныхъ предковъ рядъ,
Безъ собственныхъ заслугъ, да тайны уваженья,
Несла для него—и стыдъ, и поношенье;
Коль хитрость и обманъ, злословье и вражда
Судью не строгаго найдутъ въ тебѣ,—тогда
Напрасно ты себя поэтомъ называешь;
Но если ты сей долгъ священный исполняешь
И смѣло обличать порокъ вездѣ готовь,
То знай, мой другъ: полки безчисленныхъ враговъ
Возстанутъ на тебя всеобщимъ ополченьемъ.
Весь умъ свой изострятъ надъ бѣднымъ сочиненьемъ,
Найдутъ погрѣшности, не сыщутъ въ немъ красотъ
И, чтобъ вѣрнѣй убить едва возникшій геній,
Твореніе твое, прекрасный, зрѣлый плодъ
Ужаснѣйшихъ трудовъ, глубокихъ размышленій,
О, стыдъ, съ какимъ-нибудь посланіемъ сравнятъ!
Проснется клевета—зоилы зашипятъ.
Тогда, при помощи услужливыхъ журналовъ,
Презрѣнная толпа новѣйшихъ ювеналовъ,
Тяжелыхъ, какъ свинецъ, педантовъ и враловъ,
И словомъ, сборище парнасскихъ всѣхъ шмелей
Какъ туча надъ тобой развернется и грянетъ;
Подъ тяжкимъ, желчью ихъ напитаннымъ перомъ
Твой юный, свѣжій лавръ безвременно завянетъ:
И ты, Людмилъ, повѣрь, согласенъ будешь въ томъ,
Что лучше вѣкъ не быть комическимъ поэтомъ,
Безъ славы умереть,—чѣмъ сдѣлаться предметомъ
Злословья, клеветы и злобныхъ эпиграммъ.
Ты хочешь мнѣ сказать: «Я знаю это самъ,
«Поэтамъ истиннымъ прилична ль боязливость?
«Что значитъ въ ихъ глазахъ враговъ пристрастный судъ?
«И рано ль, поздно ли, а вѣрность, справедливость
«Таланту твоему потомки отдадутъ:
«Забвеніе твоимъ не можетъ быть удѣломъ;
«Оставя за собой въ твоемъ полетѣ смѣломъ
«Ничтожныхъ всѣхъ пѣвцовъ театръ украсивъ нашъ,
«Творенія свои вѣкамъ ты передашь!»
— Прекрасно, милый мой! Большое утѣшенье,
Награда лестная—всю жизнь терпя гоненье,
По смерти быть въ чести! Не лучше ли хотѣть,
Безвѣстный кончивъ вѣкъ, спокойно умереть.
Чѣмъ жертвой вѣчной быть интригъ и вѣроломства?
Къ чему намъ льстить себя безсмертія мечтой?
Что слава мнѣ тогда, и что мнѣ до потомства,
Когда въ сырой землѣ и прахъ истлѣетъ мой!
Что нужды мнѣ, что свѣтъ и лживый, и коварный
Раскается тогда въ сужденіи своемъ?
Нѣтъ, нѣтъ! Людмилъ! Оставь сей трудъ неблагодарный!
Коль славнымъ хочешь быть, ступай инымъ путемъ:
Извѣстность не всегда подруга дарованья!
Будь лирикомъ, мой другъ! Примись-ка за посланья,
Писателей, друзей хвалить не уставай!
Хорошихъ—потому, что ихъ хвалить не стыдно,
Дурныхъ же—для того, чтобъ не было обидно;
Описывай пиры, а чаще ихъ давай!

А такъ какъ здравый смыслъ давно уже не
въ модѣ,
То можешь иногда писать и въ мрачномъ родѣ.
Поймутъ тебя иль нѣтъ... что нужды — все
равно!
А лучше и того, пѣвецъ любви счастливой,
Воспой прелестный взглядъ Лаисы прихотли-
вой,
Забавы юности, безпечность и вино.—
«Да это, скажешь ты, не новые предметы,—
«Въ семъ родѣ есть отличные поэты».
Отъ нихъ-то и живись! Гражданскія права
Не значатъ ничего въ республикѣ словесной.
Талантъ украсть нельзя—такъ выкради слова.
Лети во слѣдъ мечты—крылатой и прелестной;
Всѣ сны волшебные чувствительной души
И нѣги праздной сонъ описывай въ тиши,
Оплачь потерю дней, въ чужбинѣ проведен-
ныхъ,
Кипящей младости отцвѣтшіе года.
Короче, модныхъ словъ, талантомъ освящен-
ныхъ,
Будь полнымъ словаремъ,—описывай всегда
Души растерзанной всѣ бури и ненастья,
Цвѣтъ жизни молодой, грядущаго обѣтъ,
Бывалыя мечты, а пуще сладострастье:
Безъ этого словца въ стихахъ спасенья нѣтъ.
Хоть это все старо,—не спорю я нимало,
Зато, Людмилъ, чернилъ лишь только бы
достало,
А то, мой другъ, пиши! Стихи твои жестки?
Не бойся ничего! Друзья найдутъ въ нихъ
силу.
Разбавлены водой? Такъ что жъ? Они легки.
Ошибки всѣ простятъ богатому Людмилу.
Шампанскимъ кто поитъ, того никто не тронь!
Нѣтъ смыслу наконецъ,—зато какой огонь!
И словомъ: ты рожденъ писателемъ чудеснымъ!
Ты долженъ славнымъ быть, ты долженъ быть
извѣстнымъ!
Стихамъ твоимъ гремитъ повсюду похвала;
И вскорѣ, можетъ быть, безъ всякихъ за-
трудненій,
По милости друзей и сытнаго стола,
Ты будешь все—талантъ, поэтъ и даже геній.

ЖУРНАЛЬНЫЯ СТАТЬИ.

I.

ИЗЪ „СѢВЕРНАГО НАБЛЮДАТЕЛЯ“.

1817 года.

1.

Добрый малый.

Сегодня поутру я прогуливался съ г. С*** въ Лѣтнемъ саду. Намъ попался на встрѣчу Шмелевъ. Онъ подбѣжалъ къ г. С*** и, пожавъ дружески ему руку, началъ съ безпокойнымъ видомъ разспрашивать о здоровьѣ его домашнихъ. Г. С*** отвѣчалъ, что они всѣ здоровы. «Слава Богу! — вскричалъ Шмелевъ, — слава Богу! А мнѣ сказали, что у меньшей вашей дочери болятъ зубы,—я нарочно прибѣжалъ въ Лѣтній садъ, надѣясь васъ здѣсь встрѣтить и узнать, правда ли это? Теперь я спокоенъ. Прощайте! Я вижу въ концѣ аллеи графа Д***,—мнѣ надобно узнать, точно ли онъ проигралъ вчерась двѣ тысячи фишъ въ бостонъ. До свиданія!»

— Какой добрый малый!—сказалъ г. С***, когда Шмелевъ ушелъ у насъ изъ виду.

— Нѣтъ!— вскричалъ я,—мнѣ давно уже наскучило это слышать. Да сжальтесь надо мною,—растолкуйте мнѣ Бога ради, что находите вы добраго въ этомъ пустомъ человѣкѣ?

— Какъ что добраго? Очень много. Во-первыхъ, онъ честный человѣкъ...

— Прекрасная честность! Этотъ Шмелевъ занимаетъ деньги у всѣхъ и никому не платитъ.

— Ну, что правда, то правда, мой милый: за нимъ это водится. Онъ занялъ у брата моего тысячу рублей на пять дней и вотъ уже пятый годъ не говоритъ о нихъ ни слова. Это не совсѣмъ честно, но зато также надобно сказать правду, какъ онъ благодаренъ! Онъ самъ готовъ отдать пріятелю послѣднюю копѣйку.

— Не думаю! Прошлую зиму онъ былъ въ *выигрышѣ*. Добросердовъ, который столько разъ помогалъ ему въ нуждѣ, не могъ у него выпросить въ займы двухъ тысячъ рублей и потерялъ отъ этого свой домъ, который продали за ничто съ публичнаго торгу.

— А развѣ ты объ этомъ слышалъ? Ну, если такъ, то и я скажу: этотъ поступокъ не дѣлаетъ ему чести: съ друзьями такъ не поступаютъ. Но если Шмелевъ не всегда бываетъ благодаренъ, зато какъ онъ услуживъ:сколько ни давай ему комиссій, онъ никогда не откажется.

— Да и выполняетъ ихъ по своему. Вы сами это испытали.

— Такъ ты и это знаешь? Правда, мой милый, что ни говори, а со мной онъ поступилъ не очень благородно. Я далъ ему денегъ купить фарфоровый сервизъ, а онъ вмѣсто фарфороваго купилъ простой фаянсовый. Однако жъ не солгалъ, сказалъ откровенно, что остальныя деньги проигралъ въ карты. По крайней мѣрѣ ты не скажешь, чтобъ онъ былъ лгунъ. Люблю его за это,—всегда говоритъ правду.

— Помилуйте! Развѣ вы забыли, какъ онъ клялся и увѣрялъ, будто фектуетъ такъ хорошо, что можетъ шпагою отбить пулю. Вы скажете, пожалуй, что это не ложь!

— Прошу покорно! Ты это все еще помнишь.—Правду, сказать, онъ любитъ красное словцо запустить и иногда такую дичь порётъ, что уши вянутъ, но, несмотря на то въ немъ много есть хорошаго. Напримѣръ, какъ не сказать, что онъ добрый мужъ: безпрестанно говоритъ о своей женѣ.

— И никогда не бываетъ съ нею вмѣстѣ.

— Вотъ это правда, мой милый. Онъ ведетъ слишкомъ разсѣянную жизнь, а особливо, съ тѣхъ поръ, какъ жена больна и никуда не выѣзжаетъ. А ему бы грѣшно ее покидать: она разстроила свое имѣнье для того, чтобы выплатить его долги. Впрочемъ, надѣюсь, никто не скажетъ, чтобъ онъ велъ себя дурно.

— О нѣтъ! Онъ только что разъ по шести въ недѣлю бываетъ пьянъ.

Ба, ба, ба! Такъ ты и этотъ грѣхъ за нимъ знаешь? Ну, нечего таить: онъ пьетъ иногда мертвую чашу. Сколько разъ я ему говорилъ,

но все понапрасну, а жаль, право, человѣкъ онъ хорошій.

— Подлинно хорошій! Онъ только что неблагодаренъ, обманщикъ, лгунъ, дурной мужъ, пьяница и безчестный человѣкъ.

— Что ты! Что ты! Мой милый, побойся Бога!

— Вы сами должны были согласиться, что Шмелевъ имѣетъ эти пороки.

— Быть не можетъ! Онъ, конечно, имѣетъ свои слабости, но со всѣмъ тѣмъ,—воля твоя, спроси кого хочешь,—въ немъ есть что-то такое... онъ имѣетъ... онъ... Ну, однимъ словомъ, что ни говори, а онъ добрый малый!

2.

Испытаніе.

Въ два часа утра, когда все утихаетъ въ городѣ, когда шумный Петербургъ дремлетъ, — музыка гремѣла въ домѣ Мирославскаго. Каждую недѣлю въ этотъ день давалъ онъ балъ своимъ знакомымъ. Ничто не можетъ быть хлопотливѣе обязанности хозяина, когда онъ хочетъ, чтобъ всѣ гости были довольны: тутъ надобно составить вистъ, тамъ пріискать четвертую пару для блестящей мазурки, однимъ словомъ, онъ долженъ быть вездѣ, хлопотать о всемъ и не имѣть ни одной минуты покоя. Желая отдохнуть на нѣсколько времени, Мирославскій сѣлъ подлѣ пріѣхавшаго недавно изъ провинціи пріятеля своего Здравомыслова.

— Не правда ли, мой другъ, — сказалъ онъ, у меня очень весело?

— Надѣюсь, однако жъ, не для тебя, — отвѣчалъ Здравомысловъ:—ты такъ усталъ, такъ измученъ...

— Это правда, — завтра я буду цѣлый день боленъ, но меня утѣшитъ мысль, что пріятели мои провели пріятнымъ образомъ вечеръ.

— Пріятели твои? У тебя ихъ отмѣнно много?

— Да, мой другъ, всѣ тѣ, которыхъ ты здѣсь видишь, безъ памяти меня любятъ.

— А особливо, когда ты даешь имъ балы.

— Ты ошибаешься. Мѣсяцъ тому назадъ я былъ боленъ—и не проходило дня, чтобъ меня не навѣщали. Я не говорю уже объ истинныхъ друзьяхъ моихъ...

— У тебя есть также и истинные друзья? А сколько ихъ, если смѣю спросить?

— Баронъ Д***, Клеонъ, Эрастъ и князь Лестовъ.

— Только четверо?

— А развѣ это мало? Я помню, ты всегда говорилъ, что трудно имѣть и одного истиннаго друга.

— Признаюсь, я и теперь тоже думаю.

— Это оттого, что ты имѣешь наклонность къ мизантропіи. Если не ошибаюсь, ты говорилъ также, что добрую жену еще труднѣе встрѣтить, чѣмъ истиннаго друга; со всѣмъ тѣмъ я женился не размышляя и могу назвать себя счастливымъ. Жена моя добра, какъ ангелъ, предупреждаетъ всѣ мои желанія; напримѣръ, она говоритъ, что ненавидитъ танцы, и несмотря на то, танцуетъ для того, чтобъ угодить мнѣ; не любитъ наряжаться и покупаетъ по три шали въ годъ—для того, чтобъ угодить мнѣ; терпѣть не можетъ гулянья и не пропускаетъ ни одного — для того, чтобъ угодить мнѣ; однимъ словомъ, она живетъ для одного меня и жертвуетъ всѣмъ для моего удовольствія.

— Отъ всего сердца поздравляю тебя, мой другъ, но называй меня, если хочешь, мизантопомъ, недовѣрчивымъ, а со всѣмъ тѣмъ я думаю, что ни одинъ изъ друзей твоихъ не выдержалъ-бы самаго легкаго испытанія. Я не смѣю сказать этого о женѣ твоей однако жъ...

— Что такое? Говори, говори!

— Нѣтъ, мой другъ, я не скажу ни слова; зачѣмъ истреблять заблужденіе, которое дѣлаетъ тебя счастливымъ!

— Заблужденіе! Ты шутишь, мой другъ. Послушай, чтобъ доказать тебѣ, кто изъ насъ заблуждается, я готовъ пуститься на всѣ испытанія.

— Смотри, чтобъ послѣ не раскаяваться.

— Не безпокойся! Говори только, что долженъ я дѣлать.

— Хорошо. Если ты хочешь непремѣнно испытать друзей твоихъ, то тебѣ надобно будетъ на нѣсколько времени перемѣнить твой образъ жизни. Согласишься ли ты на это?

— Я на все согласенъ.

— Если такъ, то не давай больше баловъ, это будетъ началомъ испытанія.

— Ха, ха, ха! Прекрасное испытаніе! И ты думаешь... Хорошо, мой другъ, я объявлю всѣмъ, что у меня болѣе дня не будетъ. Я увѣренъ, жена моя будетъ этому безъ памяти рада.

— Теперь прощай! Мнѣ пора домой. — Извини, если я къ тебѣ не буду ѣздить: я заваленъ дѣлами.

— Нѣтъ нужды, мой другъ, на будущей недѣлѣ я самъ къ тебѣ заѣду. До свиданія!

Ровно черезъ три недѣли послѣ сего разговора Мирославскій пріѣхалъ къ своему пріятелю. Извини, мой другъ,—сказалъ онъ, — я не сдержалъ своего слова: цѣлыя двѣ недѣли чувствовалъ себя нездоровымъ и дней пять не вставалъ съ постели.

— Право! Но, я думаю, тебѣ не было скучно; пріятели твои...

— Не говори о нихъ, мой другъ! Они не стоютъ сего названія. Повѣришь ли, никто изъ тѣхъ, которые бывали у меня каждую недѣлю на балѣ, не хотѣлъ заѣхать узнать о моемъ здоровьѣ. Кромѣ четырехъ друзей, о которыхъ я тебѣ сказывалъ, ни одинъ че-

ловѣкъ у меня не былъ, но за то они не пропускали ни одного дня.

— Тѣмъ лучше! Что значитъ толпа церемонныхъ гостей передъ обществомъ, составленнымъ изъ четырехъ искреннихъ друзей и доброй жены...

— Кстати о моей женѣ! Я не знаю, что съ ней сдѣлалось; она удивительно перемѣнилась. Вообрази, мой другъ, не смотря на свое отвращеніе къ танцамъ жена цѣлую недѣлю сердилась на меня за то, что я пересталъ давать балы.

— Это оттого, мой другъ, что принуждаешь ее покупать наряды, когда ей теперь нѣтъ въ нихъ никакой нужды.

— Въ самомъ дѣлѣ ты правъ Вчерась еще, желая по обыкновенію своему угодить мнѣ, она заказала себѣ пикинетовое платье, которое придется ей запереть въ комодъ, потому что она никуда не выѣзжаетъ, а у насъ почти никто не бываетъ. Точно, точно! Ей досадно по пустому бросать деньги, и если я скажу, что не хочу болѣе видѣть ее нарядною, то она, вѣрно, не будетъ жалѣть о балахъ.

— Безъ сомнѣнія.

— Однако жъ, мой другъ, что же твое испытаніе?

— Правда, большая часть моихъ знакомыхъ меня забыли, но истинные друзья остались по прежнему друзьями.

— Посмотримъ, на долго-ли. Это было начало испытанія: теперь перемѣни своего повара, возьми самаго простого, давай какъ можно менѣе денегъ на кушанье и вмѣсто шато-марго вели подавать къ столу обыкновенный медокъ.

— Изволь, я тебя послушаюсь. Только къ чему это?

— Подожди нѣсколько дней и тогда ты самъ догадаешься, а теперь извини меня—я ѣду по своимъ дѣламъ.

— Что новаго?—спросилъ Здравомысловъ, увидя входящаго къ себѣ Мирославскаго, — мы съ тобой три недѣли не видались. Что твои друзья?

— Ихъ осталось только трое, — отвѣчалъ съ печальнымъ видомъ Мирославскій. — Баронъ пересталъ ко мнѣ ѣздить. Признаюсь, я не ожидалъ этого! Бывало лишь только ударитъ три часа, баронъ и въ двери, а теперь онъ каждый день у одного откупщика, который нанялъ прежняго моего повара, а ко мнѣ ни ногою.

— А что говорятъ о перемѣнѣ твоего стола остальные пріятели?

— Ни слова. Они такъ же ко мнѣ привязаны, какъ прежде. Надобно сказать правду, безъ нихъ-бы я сошелъ съ ума. Мы играемъ каждый день въ бостонъ и пока я сижу за картами, жена оставляетъ меня въ покоѣ.

— *Что ты хочешь* сказать? Жена твоя...

— Совершенно перемѣнилась. Безпрестанно сердится, поминутно въ истерикѣ; кричитъ, что она пресчастная женщина, собирается умереть, и мнѣ пришлось бы бѣжать, еслибъ не князь Лестовъ: онъ одинъ только можетъ развеселить ее. Клеонъ и Эрастъ играютъ со мной въ карты, а князь разговариваетъ съ женою и такимъ образомъ иногда проходитъ цѣлый день безъ жалобъ и истерики. Теперь видишь ли мой другъ, что эти три человѣка истинно меня любятъ. Они жертвуютъ всѣми удовольствіями городской жизни для того только, чтобы дѣлить время съ однимъ мною. О, они точно меня любятъ!

— Даже и тогда когда ты выигрываешь?

— Какое подозрѣніе! Не стыдно ли тебѣ, мой другъ. Нѣтъ, ты уже слишкомъ недовѣрчивъ.

— Можетъ быть. Однако жъ, послушайся меня: перестань играть на нѣсколько времени.

— Такъ и быть. Но, признаюсь тебѣ, мнѣ уже становится скучно.

— Еще двѣ недѣли, и если друзья твои не перемѣнятся, я признаю себя побѣжденнымъ.

Лишь только назначенный срокъ кончился, Мирославскій явился къ своему пріятелю.

— Ну, г. мизантропъ, — вскричалъ онъ, входя въ комнату.—Испытаніе кончено, и ты побѣжденъ!

— Неужели!

— Въ этомъ могу тебя увѣрить.

— Ты не даешь баловъ, худо кормишь, не играешь въ карты, и друзья твои не перемѣнились?

— Не друзья, а другъ: Клеонъ и Эрастъ меня оставили, но князь Лестовъ,—по крайней мѣрѣ я въ немъ не ошибся,—онъ сталъ ѣздить ко мнѣ чаще прежняго; это еще ничто передъ тѣмъ, что князь для меня сдѣлалъ: дружескіе его совѣты исправили жену мою, она стала попрежнему настоящимъ ангеломъ. Ты себѣ представить не можешь, какъ она его уважаетъ!

Въ то время, какъ Мирославскій договаривалъ сіи слова, вошелъ человѣкъ и подалъ ему письмо отъ жены.

— Ты увидишь, любезный Здравомысловъ, — сказалъ онъ, распечатывая оное, — жена, вѣрно, пишетъ, чтобъ я скорѣе пріѣхалъ на дачу; она еще вчерась туда отправилась. Съ нѣкотораго времени жена моя сдѣлалась такъ нѣжна, такъ ласкова, такъ... Боже мой! Что это значитъ?

— Что съ тобой сдѣлалось? — спросилъ Здравомысловъ.—Ты поблѣднѣлъ, какъ смерть.

— Посмотри, мой другъ, жена моя пишетъ, что не намѣрена жить со мною и для этого рѣшилась уѣхать навсегда въ чужіе края?

— Возможно ли? Госпожа Мирославская уѣхала въ чужіе края! И одна...

— Никакъ нѣтъ!—сказалъ слуга, принесшій письмо. — Человѣкъ князя Лестова сказывалъ мнѣ, что баринъ ихъ поѣхалъ съ нею вмѣстѣ.

3.

Неравный бракъ.

Лиза была молода, прекрасна и любезна, г. Славолюбскій былъ старъ, скупъ и дуренъ. Она любила городскую жизнь, балы, театры и всѣ шумныя удовольствія, онъ любилъ деньги, малый расходъ, холмогорскихъ быковъ и голландскихъ коровъ. Ей было не болѣе 18 лѣтъ, ему около шестидесяти. Кто не пожалѣетъ о бѣдной Лизѣ? Она была его женою! Вообразите фигуру уродливаго карлы, представьте себѣ лицо, на которомъ время напечатлѣло неизгладимыми чертами полные 60 л.—вотъ Славолюбскій. Видали-ли вы когда-нибудь богиню красоты, написанную рукою искуснаго художника: вотъ портретъ Лизы. Странно покажется, что Лиза вышла за такого урода. На это есть небольшая причина, о которой я позабылъ упомянуть. Г. Славолюбскій имѣлъ нѣсколько сотъ тысячъ и три или четыре подмосковныя. Но возможно-ли, чтобъ молодая, любезная дѣвица была такъ привязана къ богатству? Конечно нѣтъ! Но 18-лѣтняя дѣвушка не можетъ располагать сама собою, а какому батюшкѣ не кинутся въ глаза три тысячи душъ! Какая матушка не захочетъ видѣть свою дочку осыпанную брилліантами!

Лиза воспитывалась въ Москвѣ. Тамъ увидѣла она и полюбила Эраста, молодого, любезнаго человѣка. Онъ сватался; ему отказали (Эрастъ былъ небогатъ). Бѣдная дѣвушка грустила, тосковала и въ одинъ вечеръ получила повелѣніе явиться въ кабинетъ къ своему батюшкѣ. Она взошла и увидѣла тамъ всѣхъ родныхъ своихъ, собранныхъ вмѣстѣ. Дядюшки, тетушки: родные, двоюродные, внучатные и проч. и проч., всѣ они посматривали другъ на друга и перешептывались. Почтенный батюшка, подобно Іакову, сидѣлъ посреди сего многолюднаго семейства. Подозвавъ поближе изумленную Лизу, изъяснилъ онъ въ короткихъ словахъ причину сего чрезвычайнаго собранія.

— Дочь моя,—сказалъ онъ,—тебѣ извѣстно какъ разстроено наше состояніе; ты можешь своимъ послушаніемъ вывести насъ изъ критическаго положенія, въ коемъ мы находимся: почтенный другъ нашъ, г. Славолюбскій, берется выплатить долги всей нашей фамиліи и требуетъ въ замѣну сего руки твоей. Я хочу знать, согласна ли ты выполнить нашу волю.

Тутъ поднялъ онъ величественнымъ образомъ свои взоры и устремилъ ихъ на трепещущую Лизу.

Она молчала.

— Отвѣчай, дочь моя, согласна ли ты?

— Батюшка, — сказала тихимъ голосомъ бѣдная дѣвушка,—онъ такъ старъ!

— Три тысячи душъ,—ворчалъ двоюродный братецъ.

— Такъ дуренъ!..

— Триста тысячъ наличными деньгами,— пищала толстая тетушка въ пятомъ колѣнѣ.

— Я никогда не буду любить г-на Славолюбскаго.

— Дурочка!—шептала ей мать.—Да кто и требуетъ этого; тебѣ говорятъ, чтобъ ты только вышла за него замужъ.

— Я умру, если вы принудите меня это сдѣлать.

— Пустое, голубушка,—сказала внучатная сестрица—дѣвушка лѣтъ подъ сорокъ,—отъ этого не умираютъ.

— Къ чему всѣ эти отговорки, — продолжалъ батюшка, — говори прямо: хочешь ли за него выйти или нѣтъ?

— Нѣтъ!

Тутъ маменька закричала, папенька топнулъ ногою, дядюшки и тетушки, вся внучатная и правнучатная бесѣда зашумѣла, какъ туча шмелей, бѣдная Лиза плакала, плакала и, наконецъ, обтерши слезы бѣлымъ платочкомъ и бросивъ горестный взоръ въ ту сторону, гдѣ жилъ Эрастъ, сказала: да!

На другой день Лиза имѣла свиданіе съ женихомъ своимъ; выслушала длинную диссертацію о способѣ разводить съ удобностію рогатый скотъ. На третій—г. Славолюбскій нарядился въ свой праздничный кафтанъ, а вечеромъ называлъ уже Лизу своею супругою. На четвертый, при полномъ собраніи дядюшекъ и тетушекъ, сказалъ своему тестю, что чувствуетъ всю честь, ему сдѣланную, и считаетъ себя обязаннымъ подумать о приведеніи въ порядокъ его дѣлъ; потомъ, взявъ подъ руку плачущую Лизу, прошелъ сквозь длинный рядъ родственниковъ и, сѣвши въ карету, отправился въ свою подмосковную.

Бѣдные родственники! Итакъ, всѣ лестныя надежды ваши кончились однимъ пустымъ обѣщаніемъ.

Долго не могли они опомниться, всѣ стояли въ прежнемъ положеніи. Наконецъ заговорили въ одно время, зачали ругать Славолюбскаго.

— Я предувѣдомляла, что отъ этого осла ничего путнаго не будетъ,—кричала одна.

— Я предсказывалъ, что мы останемся въ дуракахъ,—ворчалъ другой.

— Для чего прежде свадьбы не заставить его выполнить данное обѣщаніе,—восклицала третья.

— Зачѣмъ упустили его,—пищала тетушка въ пятомъ колѣнѣ.

Батюшка заперся въ свой кабинетъ, матушка въ уборную, а жалкіе родственники,

съ наполненными горестью сердцами и пустыми карманами, разъѣхались по домамъ.

Между тѣмъ, не смотря на тысячи проклятій, которыя стремились вслѣдъ за молодымъ супругомъ, путешествіе его приходило къ благополучному окончанію. Уже можно было различать вдали деревню, которая готова была сдѣлаться темницею несчастной Лизы. Она молчала, поглядывала назадъ, и слезы невольнымъ образомъ капали на прелестную грудь ея. Она оставляла позади себя друзей своихъ, Эраста, все.

Славолюбскій смотрѣлъ впередъ и улыбался; онъ радовался скорому свиданію съ своими холмогорскими быками и голландскими коровами. Съ каждымъ шагомъ впередъ несчастная чувствовала прибавленіе своей горести. сердце ея разрывалось.

Будучи воспитана съ самаго младенчества въ кругу родныхъ своихъ, привыкши къ городскимъ веселостямъ, она видѣла передъ собою пустыню, въ которой, можетъ быть, должна была на вѣкъ погребсти себя, жить въ деревнѣ, жить въ отдаленіи отъ друзей, родныхъ своихъ, имѣть каждую минуту передъ глазами человѣка, котораго ненавидѣла болѣе всего на свѣтѣ, который разрушилъ навсегда всѣ прелестныя мечты ея. Ахъ! Такая жизнь казалась ей несноснѣе самой смерти. Предавшись глубокой задумчивости, вспоминая счастливые дни прежней жизни своей, милаго Эраста, она позабыла на нѣсколько минутъ горестное свое положеніе.

— Вотъ онъ, вотъ онъ, — вскричалъ съ восхищеніемъ Славолюбскій, высунувшись до половины изъ окошка. Лиза вздрогнула; заблужденіе ея исчезло и, вмѣсто пламеннаго Эраста, она увидѣла своего уродливаго супруга, который въ сильныхъ конвульсіяхъ необычайной радости казалось хотѣлъ выпрыгнуть изъ окошка, продолжая кричать изо всей силы: вотъ онъ, вотъ онъ! Изумленная Лиза спросила съ нѣкоторымъ любопытствомъ.

— Что такое?

— Скотный дворъ! Я вижу его отсюда.

Лиза, несмотря на печаль свою, улыбнулась.

— Такъ, это онъ,—продолжалъ Славолюбскій,—наконецъ я опять васъ увижу, любезные мои, увижу и долго уже, долго не разстанусь съ вами!

Глубокій вздохъ вырвался изъ груди несчастной красавицы: она слышала приговоръ свой!

Супруги подъѣхали къ околицѣ, и пронзительный колокольный звонъ раздался по воздуху. Крестьяне стояли у воротъ; старики, женщины, ребятишки—каждый горѣлъ нетерпѣніемъ увидѣть молодую барыню. Впереди сей толпы стоялъ земскій изъ семинаристовъ; съ важнымъ видомъ поглядывалъ онъ на шумное собраніе народа; подавая имъ знакъ рукою пребывать въ молчаніи, онъ готовился произнести поздравительную рѣчь, надъ которой потѣлъ нѣсколько ночей. Карета остановилась и Славолюбскій вышелъ вмѣстѣ съ унылою Лизою.

Ораторъ выступилъ два шага впередъ, смиренно поклонился, надулся, правая рука отдѣлилась, поднялась и латинскій текстъ вылетѣлъ изъ краснорѣчивыхъ устъ его; за онымъ послѣдовали полновѣсные періоды, въ которыхъ истощено было все краснорѣчіе сего новѣйшаго Цицерона: метафоры лились рѣкою, голосъ его дѣлался часъ отъ часу живѣе, жесты выразительнѣе. Онъ уподоблялъ Лизу плодовитому древу, которое должно принесть сладчайшіе плоды, и кончилъ свое поздравленіе, пропѣвши хоромъ вмѣстѣ съ тремя дьячками «многія лѣта» молодымъ супругамъ. Славолюбскій изъявилъ свое благоволеніе, сѣлъ снова въ карету и поѣхалъ далѣе.

Теперь да позволено мнѣ будетъ, прежде чѣмъ доѣдутъ молодые до барскаго двора, сдѣлать небольшое отступленіе. Каждый разъ, употребляя въ семъ описаніи слово «карета», чувствовалъ я, сколь много погрѣшалъ противъ истины, давая сіе названіе экипажу, въ коемъ ѣхали новобрачные, и каждый разъ долженъ былъ сожалѣть, что мода и обычай изгнали изъ языка нашего много такихъ словъ, которыя въ нѣкоторыхъ случаяхъ бываютъ необходимы, напримѣръ, слово «колымага» могло бы дать совершенное понятіе о дорожномъ экипажѣ Славолюбскаго; но кто не побоялся бы на моемъ мѣстѣ, употребляя оное, подвергнуться колкимъ насмѣшкамъ модныхъ рецензентовъ, которые назвали бы сіе коренное русское слово низкимъ, площаднымъ и присудили бъ въ какомъ-нибудь періодическомъ изданіи къ политической смерти и автора, и его сочиненіе.

Посреди обширнаго двора, заросшаго полынью и репейникомъ, обнесеннаго высокимъ заборомъ, возвышались на кирпичномъ фундаментѣ деревянныя, обитыя тесомъ, хоромы—наслѣдственное зданіе въ фамиліи Славолюбскихъ. Свинцовая рука времени привела въ ничтожество бо́льшую часть тесницъ на кровлѣ сего дома; искусная рука Антипыча, приказчика Славолюбскаго, замѣнила ихъ соломою. Еруслань Лазаревичъ и храбрый Бова Королевичъ, растерзанные безъ всякаго милосердія, были прилѣплены къ окнамъ на мѣсто разбитыхъ стеколъ; сзади къ дому примыкала густая дубовая роща; спереди, противъ воротъ, стоялъ огромный скотный дворъ—средоточіе всѣхъ радостей и наслажденій г. Славолюбскаго.

На тяжкихъ вереяхъ ворота заскрипѣли,
Бичъ хлопнулъ, и—

новобрачные вышли изъ кареты. На крыльцѣ, посреди кучи слугъ, стоялъ съ толстымъ брюхомъ и подобострастною миною г. управитель.

— Честь имѣемъ поздравить!—сказалъ онъ входящей на крыльцо новобрачной четѣ.

«Поздравить честь имѣемъ!» подхватила хоромъ вся дворовая сволочь.

— Спасибо, ребята, спасибо! Что, Антипычъ, каково на скотномъ дворѣ?

— Все, сударь, въ надлежащей исправности.

— Бѣлый холмогорскій быкъ? Черная голландская корова?..

— Вчерась, сударь, изволила отелиться.

— Душенька,—сказалъ Славолюбскій, оборотясь къ своей женѣ,—ступай въ свою комнату, а я забѣгу взглянуть на своихъ коровокъ.

Лиза, провожаемая кучею дворовыхъ дѣвокъ, кои осматривали поперемѣнно съ ногъ до головы то молодую барыню, то служанку ея Анюту, прошла черезъ нѣсколько комнатъ, на голыхъ стѣнахъ которыхъ видны были остатки древнихъ обой. Вошедши въ свою спальню, выслала она всѣхъ, исключая Анюты, и предалась на свободѣ своей горести.

Ахъ, какая женщина, привыкшая съ дѣтства къ блестящему обществу, не пришла бы въ отчаяніе, будучи на ея мѣстѣ!

— Послушай, Антипычъ! Я намѣренъ съ тобою посовѣтоваться, — сказалъ Славолюбскій, спустя три дня послѣ своего пріѣзда,—завтрашній день я хочу дать свадебный обѣдъ; надобно позвать гостей и ближнихъ моихъ сосѣдей.

— Слушаю, сударь!

— Какъ бы, Антипычъ, придумать намъ подешевле отпраздновать; всѣ эти праздники стоятъ дорого, а проку то отъ нихъ немного.

— Конечно, сударь.

— Однако жъ, намъ не надобно себя и лицомъ въ грязь ударить.

— Совершенно правда, сударь.

— Во-первыхъ, желалъ бы я хорошенько иллюминовать домъ, да плошки то нынче не путемъ стали дороги, того и гляди, что рублей пять на эту дрянь выйдетъ.

— Позвольте, сударь, я думаю, что безъ плошекъ обойтись можно: я отдамъ приказъ крестьянамъ, чтобъ они снесли на барскій дворъ всѣ старые лагуны; какъ мы ихъ зажалимъ, что твои плошки. Любо-дорого посмотрѣть будетъ!

— И то дѣло! Ай, да Антипычъ! Ну, право, ты старикъ умный! Намъ надобно также достать какую-нибудь музыку. Какъ ты думаешь, Антипычъ?

— Въ городѣ, сударь, есть два скрипача, да гуслистъ; дашь имъ копѣекъ пятьдесятъ, да по рюмкѣ водки, такъ они васъ цѣлые сутки тѣшить будутъ.

— И это хорошо. Теперь надо подумать объ обѣдѣ: дичи то настрѣлено у насъ довольно, да этого все мало будетъ. Ну, инъ такъ и быть! Пускай-же себѣ не говорятъ, что Славолюбскій угощать не умѣетъ. Черный-то быкъ, лѣтъ двадцати, онъ что-то больно сталъ плохъ: ни пьетъ, ни ѣстъ, того и гляди, что издохнетъ. Антипычъ, зарѣжемъ его!

— Зарѣжемте, сударь.

— Вели разлить по бутылкамъ полведра прошлогодней наливки, да вынуть изъ погреба двѣ бутылки французскаго пить здоровье, а о дессертѣ и говорить нечего: моченыхъ яблоковъ хоть не ѣшь.

— Да и сушеныхъ грушъ у насъ довольно.

— Хорошо, это все пойдетъ въ дѣло. Теперь, гдѣ бы намъ расположить обѣденный столъ: въ залѣ у насъ вчерась обвалился потолокъ; поправить къ завтраму не успѣютъ, а другія комнаты больно тѣсны.

— Не прикажете-ли, сударь, опростать каретный сарай?

— Нѣтъ, я придумалъ лучше: вели сдѣлать на скорую руку лубочную галлерею, внутри можно ее украсить зеленью и цвѣтами, а полъ усыпать пескомъ.

— Очень хорошо, сударь! Сейчасъ же пошлю накосить воза два травы! Извольте положиться на меня, все будетъ сдѣлано.

— Теперь ступай, Антипычъ, да мимоходомъ скажи старостѣ, чтобъ онъ отпустилъ полгарнца пшеничной муки дворовымъ людямъ: они должны завтра напудриться.

Что дѣлала бѣдная Лиза въ то время, когда супругъ ея приготовлялся съ такою пышностью торжествовать свою свадьбу? Она сидѣла въ своей комнатѣ, говорила съ Анютою объ Эрастѣ, плакала, гуляла по рощѣ и перебирала листы въ одномъ томѣ экономическаго журнала, который нашла у себя на окошкѣ.

— Ну, душенька,—сказалъ Славолюбскій, входя къ ней въ комнату,—будь повеселѣе: завтра у насъ будутъ гости; ты познакомишься съ городничихой—препочтенная дама! Во всемъ околоткѣ она одна можетъ похвастаться такими коровами, какія у меня. Да кстати, ты еще не была у меня на скотномъ дворѣ? Право, милая, есть что посмотрѣть.

— Вѣрю, сударь, но я еще прежде нашей свадьбы говорила вамъ, что не охотница до этого!

— Полюбишь, милая, полюбишь, какъ поживешь здѣсь годовъ десять...

— Ахъ, сударь! Неужели мы всегда будемъ здѣсь жить?

— Я иногда буду по дѣламъ ѣздить въ Москву, а ты, душенька, станешь оставаться дома и хозяйничать; вѣдь надобно-же тебѣ пріучаться.

О, Лиза, Лиза, для чего ты сказала да? Для чего не перенесла равнодушно упреки своихъ дядюшекъ и тетушекъ? Для чего пожертвовала ты собою? Такъ думала бѣдная Славолюбская, оставшись одна, и—о, вы, строгіе моралисты, непреклонные къ слабостямъ другихъ, снисходительные къ собствен-

нымъ вашимъ порокамъ, осмѣльтесь осудить ее.

Весь день былъ употребленъ на приготовленіе къ торжеству; умирающій быкъ кончилъ жизнь свою отъ руки жестокаго повара; скрипачи и гуслисты настраивали въ застольной свои инструменты; лагуны разставлены по мѣстамъ, и прежде, чѣмъ солнце скрылось за густую дубовую рощу, лубочное зданіе было окончено. Антипычъ превосходилъ самого себя. Ничто не укрывалось отъ прозорливыхъ его взоровъ: мимоходомъ замѣтилъ онъ въ одномъ углу двора старую заржавленную чугунную пушку, которая около двадцати лѣтъ лежала на одномъ мѣстѣ и была нѣкогда въ большомъ употребленіи у бабушки г-на Славолюбскаго, великой охотницы до пальбы. Читатели, я думаю, замѣтили уже, что Антипычъ былъ одаренъ отъ природы изобрѣтательнымъ и скорымъ на выдумки воображеніемъ. Чугунная пушка возродила въ немъ желаніе удивить пріятною нечаянностью своего барина; за желаніемъ слѣдовало исполненіе,—и грозное орудіе лежало уже позади лубочнаго зданія на двухъ чурбанахъ, кои лучшимъ образомъ замѣняли недостатокъ лафета; большая куча тростника, оставшагося отъ кровли, скрывала ее отъ любопытныхъ взоровъ.

— Кумъ,—сказалъ Антипычъ краснорѣчивому Земскому,—я думаю, ты не оставишь въ завтрашній высокоторжественный день произнести приличное слово.

— Всеконечно, любезный куманекъ!

— Если такъ, то прошу тебя заключить оное многолѣтіемъ, потому что вмѣстѣ съ онымъ намѣренъ я произвести пушечную пальбу.

— Изрядно, куманекъ! Но нижайше прошу взять въ разсужденіе, что оной пальбѣ слѣдуетъ произойти неукоснительно при концѣ моей рацеи, дабы не прервать меня посреди одного изъ періодовъ.

— Не безпокойся, все будетъ сдѣлано, какъ слѣдуетъ.

Вмѣстѣ съ наступленіемъ ночи кончились всѣ приготовленія. Славолюбскій, ложась спать, восхищался, воображая, сколько шуму надѣлаетъ въ околоткѣ роскошный пиръ, имъ приготовленный: болѣе всего ему нравилась безубыточная выдумка освѣщенія. — Ахъ, если бъ онъ предчувствовалъ всѣ бѣдствія, которыя произойдутъ отъ проклятыхъ лагуновъ. Если бъ зналъ, какихъ золъ будетъ причиною сія пагубная иллюминація.

Солнце едва еще стало показываться на горизонтѣ, какъ Антипычъ явился съ кучею крестьянокъ, обремененныхъ цвѣтами и различною зеленью; онъ приступилъ немедленно къ украшенію внутренности вновь сооруженнаго зданія. Красноглаголивый земскій изливалъ ее въ послѣднемъ періодѣ своей поздравительной рѣчи все краснорѣчіе, почерпнутое имъ въ семинаріи; крестьяне торопились на работу, чтобы успѣть возвратиться заранѣе домой и поглядѣть на ужасное истребленіе лагуновъ своихъ; Славолюбскій примѣривалъ свой праздничный кафтанъ въ то время, когда люди его посыпали головы свои пшеничной мукой! Горе имъ! Если бъ господинъ ихъ могъ читать въ книгѣ судебъ; если бъ какая-нибудь сибилла предрекла ему слѣдствія злополучнаго праздника: онъ велѣлъ бы тогда, вмѣсто муки пепломъ посыпать имъ главы свои.

Не знаю, тайное ли какое предчувствіе или что-нибудь другое было тому причиною, что Лиза, которая, несмотря на предувѣдомленіе своего супруга, не намѣрена была для гостей наряжаться, приказала поутру Анютѣ вынуть лучшее свое платье и просидѣла за туалетомъ гораздо долѣе обыкновеннаго.

Анюта прикалывала послѣдній цвѣтокъ къ головному убору своей барыни, какъ г. Славолюбскій вошелъ въ ея комнату.

— Душенька, — сказалъ онъ, — одѣвайся проворнѣе,—гости уже съѣхались и г-жа городничиха съ нетерпѣніемъ тебя ожидаетъ.

Лиза взглянула въ окошко: ободранныя коляски, плачевные рыдваны, безконечныя линеи и коротенькія линеечки, перемѣшанныя различнымъ образомъ, стояли въ пріятномъ безпорядкѣ посреди двора; подобно Колоссу, возвышался между оныхъ огромный фаэтонъ почтенной городничихи, предметъ зависти и удивленія всѣхъ ея знакомыхъ.

Лиза окончила свой туалетъ и вошла вмѣстѣ съ супругомъ своимъ въ гостиную.

Гдѣ ты, неподражаемый Гогардъ! Оставь на минуту своихъ флегматическихъ соотечественниковъ, переселись въ мою веселую горенку, возьми свою чудотворную кисть и изобрази на холстѣ, тобою одушевляемомъ, то, чего не можетъ описать перо мое: представь со всѣмъ причтомъ г-на городничаго и высокоименитую супругу его; сдѣлай легкій эскизъ обществу, посреди котораго должна жить воспитанная въ самомъ блестящемъ кругу несчастная супруга Славолюбскаго; изобрази ее входящею въ пріемную комнату; представь весь церемоніалъ уѣздныхъ рекомендацій, какъ каррикатура за каррикатурою подходятъ съ различными ужимками, минами и тѣлодвиженіями къ смущенной Лизѣ; какъ старыя дамы въ кисейныхъ накрахмаленныхъ чепцахъ душатъ ее своими безконечными поздравленіями: какъ молодыя женщины, разодѣтыя не хуже московскихъ горничныхъ дѣвушекъ, осыпая ее поцѣлуями, пересчитываютъ всѣ складки ея платья и замѣчаютъ каждый бантикъ въ головномъ уборѣ; какъ почтенные чиновники уѣзднаго и земскаго судовъ, старые помѣщики и длинные недоросли шаркаютъ ногами и истощаютъ все краснорѣчіе въ своихъ витіеватыхъ рекомендаціяхъ; изобрази все это, неподражаемый Го-

гардъ, и поставь смѣло свою картину наряду съ лучшими произведеніями руки твоей.

— Ну, моя радость,—сказала, когда всѣ усѣлись по мѣстамъ, г-жа городничиха, толстая, короткая, краснощекая, лѣтъ подъ сорокъ дама,—какова вамъ кажется наша сторона?

— Я такъ недавно еще здѣсь, сударыня, что ничего не могу вамъ отвѣчать на это.

— Сначала, миленькая, вамъ, конечно, покажется здѣсь скучнѣе московскаго, но, какъ пообживетесь, то будетъ весело; я сама была воспитана въ губернскомъ городѣ, и когда, вышедши замужъ, должна была жить въ уѣздномъ, то сначала очень тосковала. Не правда ли, мой другъ?—продолжала она, оборотясь къ своему мужу, худенькому и малорослому старичку.

— Правда, мой ангелъ,—отвѣчалъ онъ,— первые дни ты была настоящимъ дьяволомъ: сердилась на меня, дралась съ своими дѣвками,—однимъ словомъ, все было не по тебѣ, все казалось противнымъ; если бъ не посѣтила насъ на третій день любезная наша Анна Степановна, то мнѣ осталось бы, завязавши глаза, бѣжать прямо въ воду. Ужъ истинно по милости ея гляжу я теперь на свѣтъ Божій!

— Какой затѣйникъ,—сказала исправничиха, къ которой относились послѣднія слова,— вѣчно съ своими шуточками!

Вскорѣ разговоръ обратился на другіе предметы. Одинъ изъ сосѣдей Славолюбскаго, копія Скотинина, извѣстнаго дѣйствующаго лица въ прекрасной комедіи «Недоросль», взошелъ съ нимъ въ жестокій споръ; онъ доказывалъ, что природа ни въ чемъ не показала столь много своего могущества, что творческая рука ея не создала ничего совершеннѣе большой жирной свиньи и что рогатый скотъ цѣлаго свѣта не стоитъ одного настоящаго, породистаго цуцкаго борова. Славолюбскій съ жаромъ опровергалъ его мнѣніе; городничиха взяла сторону хозяина, другіе присоединились къ его сопернику, и споръ сдѣлался общимъ.

Жалкое сіе преніе было прервано приходомъ человѣка, который прокричалъ громогласно, что пріѣхалъ Мирославскій, одинъ изъ сосѣдей Славолюбскаго. Дверь отворилась, и онъ взошелъ съ незнакомымъ молодымъ человѣкомъ.

— Рекомендую вамъ моего пріятеля!— сказалъ Мирославскій хозяину. Лиза подняла глаза, которые до того были потуплены, и кто изъяснитъ ея удивленіе! Незнакомый молодой человѣкъ былъ Эрастъ!

Ахъ! Какъ запылали лилейныя щеки нашей красавицы, когда Мирославскій, подведя къ ней Эраста, сказалъ: «Кажется, не нужно рекомендовать вамъ моего пріятеля: если не ошибаюсь, вы съ нимъ давно уже знакомы».

Бѣдная Лиза какъ будто онѣмѣла: она не могла выговорить ни одного слова.

— Да, сударь,—сказалъ Эрастъ, примѣтя смущеніе Лизы,—я имѣлъ счастіе пользоваться знакомствомъ почтенныхъ ея родителей.

Что можетъ укрыться отъ проницательныхъ взоровъ ревниваго мужа? Славолюбскій примѣтилъ смущеніе Лизы, ея пылающія щеки и какой-то необыкновенный взглядъ, брошенный украдкою на Эраста. Этого уже было довольно, чтобъ привести его въ ужасное безпокойство; широкій лобъ его покрылся морщинами; онъ подошелъ къ Эрасту, сказалъ ему съ холодностью нѣсколько обыкновенныхъ вѣжливостей и, отведя на другой конецъ горницы, просилъ садиться. Влюбленный человѣкъ не уступитъ въ догадливости ревнивому мужу. Эрастъ, замѣтя, что его подозрѣваютъ, сталъ разговаривать съ своими сосѣдями, не глядѣлъ на Лизу и, казалось, совсѣмъ позабылъ, что она съ нимъ въ одной горницѣ. Славолюбскій успокоился, зачалъ думать, что ошибся въ своемъ подозрѣніи,— что необычайная краска въ лицѣ его супруги произошла отъ одной застѣнчивости, и возобновилъ съ прежнимъ жаромъ споръ, прерванный пріѣздомъ Мирославскаго. Натурально, Эрастъ взялъ его сторону.

— Позвольте,—сказалъ онъ упорному защитнику свиней,—сдѣлать вамъ небольшое замѣчаніе: вы, унижая любимыхъ скотовъ г. Славолюбскаго, позабыли, что самъ Юпитеръ превращался для похищенія Европы въ сіе благородное животное, что древніе египтяне имѣли всегда въ числѣ боговъ своихъ одного бѣлаго быка, и что свиньи никогда и ни въ какой части свѣта не пользовались такою честью.

Все упорство г. Скотинина не могло устоять противъ сего историческаго довода; онъ не могъ опровергнуть онаго по весьма натуральной причинѣ: Эрастовы слова казались ему китайскою азбукою. Удивляясь обширнымъ познаніямъ и глубокой его премудрости, онъ замолчалъ и уступилъ ему мѣсто сраженія.

— Браво!—вскричалъ Славолюбскій, обнимая съ восхищеніемъ побѣдителя, — нельзя лучше доказать превосходство моихъ любимыхъ животныхъ передъ всѣми прочими; я вижу, вы знатокъ и охотникъ. Смѣю васъ увѣрить, что если побываете на моемъ скотномъ дворѣ, то ваша къ нимъ привязанность чрезъ сіе нимало не уменьшиться.

— Сердечно, сударь, радуюсь, что наши сходны вкусы межъ собою.

Между тѣмъ всѣ гости поднялись. Хозяинъ повелъ городничиху; супругъ ея хотѣлъ было сдѣлать эту честь Лизѣ, но Эрастъ былъ проворнѣе: онъ подалъ ей руку и пошелъ вмѣстѣ съ прочими гостями.

Быть долгое время въ разлукѣ съ любимцемъ души своей, думать, что разлука сія должна быть вѣчною и вдругъ увидѣть его

передъ собою, слышать пріятный голосъ своего возлюбленнаго, прикасаться своей рукой къ его рукѣ,—О, эти чувства!.. Но извините, я не знаю, какъ описать ихъ! Прекрасная читательница! Если вы никогда не любили, то спросите вашихъ милыхъ подругъ, и вѣрно многія изъ нихъ будутъ вамъ описывать то непостижимое и пріятное чувство, которое наполняетъ нашу душу, когда мы находимся въ первый разъ послѣ долгой разлуки вмѣстѣ съ милымъ или милою своей; будутъ вамъ толковать, изъяснять, дказывать, и вы не поймете ихъ до тѣхъ поръ, пока сами въ свою очередь не узнаете по опыту того, чего никакая теорія совершенно изъяснить и доказать не можетъ.

— Зачѣмъ вы сюда пріѣхали? — шепнула Лиза голосомъ, который имѣлъ видъ упрека, и съ нѣжнымъ взоромъ, который говорилъ совсѣмъ другое. О, женщины, женщины! Вамъ лишь возможно въ одно и то же время приводить насъ въ отчаяніе и подавать лестную надежду; казаться нашими невольницами и деспотически повелѣвать нами; однимъ словомъ, дѣлать изъ насъ все то, что вамъ угодно.

— Ахъ, сударыня!—отвѣчалъ Эрастъ,—я рѣшился на все, рѣшился видѣть торжество моего соперника; хотѣлъ узнать, заслуживаетъ ли онъ свое благополучіе, найти васъ счастливою, и умереть, утѣшаясь мыслью, что я одинъ несчастливъ.

Вмѣсто отвѣта, Лиза взглянула на него такъ жалко, такъ жалко, что сердце бѣднаго Эраста облилось кровью. Съ горестью пожалъ онъ трепещущую руку несчастной красавицы и замолчалъ

Все многочисленное общество вступало въ лубочную галлерею. Дамы ахнули отъ удивленія! Внутренность ея была убрана гирляндами изъ цвѣтовъ, полъ усыпанъ пескомъ и зеленью: однимъ словомъ, во всемъ виденъ былъ тонкій вкусъ Антипыча и расточительный нравъ его барина. Посреди тростниковаго потолка, на тоненькой бичевочкѣ, висѣла люстра; на концахъ, положенныхъ крестъ-на-крестъ, двухъ палокъ прилѣплены были четыре восковыя свѣчки; вся люстра были убрана зеленью и представляла вмѣстѣ съ прочими украшеніями галлереи что-то романическое и пріятное для глазъ всего восхищеннаго собранія, но когда взоры ихъ обратились въ передній уголъ, то всеобщее браво, какъ громъ, раздалось по воздуху. Гирлянды изъ полевыхъ цвѣтовъ, изгибаясь различнымъ образомъ, образовали изъ себя вензелевое имя хозяина и его супруги; надъ ними изъ огромныхъ подсолнечниковъ была представлена корона, а внизу—рога несчастнаго двадцатилѣтняго быка, обвитые гирляндами и туго набитые цвѣтами, въ совершенствѣ представляли рога изобилія, и, казалось, предвѣщали счастливую и безмятежную жизнь молодымъ супругамъ! Прошу не погнѣваться: Антипычъ не хуже всякаго зналъ миѳологію.

Между восхищенными гостями нашелся, однако жъ, одинъ записной уѣздный насмѣшникъ (гдѣ нѣтъ этихъ господъ!), который шепталъ своимъ сосѣдямъ, что эти рога ничего путнаго не предвѣщаютъ, но никто не хотѣлъ слушать его замѣчаній. Скрипачи-виртуозы и гуслисть затянули. «При долинушкѣ стояла»; туча лакеевъ въ разнокалиберныхъ ливреяхъ, шитыхъ при Петрѣ Первомъ, заняли свои посты позади стульевъ, и всѣ гости разсѣлись по старшинству чиновъ, разумѣется супруга городничаго заняла первое мѣсто.

Случай ли былъ тому причиною или что-нибудь другое: Эрастовъ стулъ находился прямо противъ того мѣста, гдѣ сидѣла Лиза. Онъ не спускалъ съ нея глазъ, а какъ по весьма натуральной причинѣ, тотъ, кто глядитъ не сводя глазъ въ одно мѣсто, не можетъ видѣть того, что дѣлается въ другомъ, Эрастъ не замѣчалъ подозрительныхъ взглядовъ Славолюбскаго. Лиза сидѣла потупивши глаза и, казалось, смотрѣла на тарелку; но если бы ее спросили въ ту минуту, какое передъ ней стоитъ кушанье, то она не знала бы, что отвѣчать; изрѣдка глаза ея встрѣчались съ пламенными взорами Эраста: бѣдная Лиза приходила въ такое смущеніе, что брала вмѣсто ножа вилку и хотѣла ложкою разрѣзывать жаркое; все это ужаснымъ образомъ заставляло хмуриться ревниваго мужа. Но безпрерывная ихъ разсѣянность была замѣчена не однимъ подозрительнымъ супругомъ; прислуга Славолюбскаго, для которой въ круглымъ году не было ни одного мясоѣда, воспользовалась безпечностію своей барыни и незнакомаго гостя: тарелки съ кушаньемъ исчезали, а на мѣсто ихъ появлялись пустыя; они не обращали на сіе никакого вниманія; это было также замѣчено хозяиномъ.

«Кто во время стола не спускаетъ съ чего-нибудь своихъ глазъ и позабываетъ ѣсть, тому сей предметъ милѣе ѣды; кто любитъ кого болѣе своего желудка, тотъ очень любитъ; слѣдственно Эрастъ очень любитъ мою жену, а жена моя очень любитъ Эраста». Такъ философствовалъ Славолюбскій и часъ отъ часу хмурился больше.

На дворѣ смеркалось, вокругъ дома и праздничной галлереи запылали разставленные въ симметрическомъ порядкѣ лагуны: столъ приходилъ къ концу, уже начинали подавать моченыя яблоки, уже двѣ бутюлки стараго французскаго были раскупорены, — какъ вдругъ, толкая направо и налѣво, пробивается сквозь толпу лакеевъ, въ праздничномъ кафтанѣ, съ тетрадью въ рукѣ г. Земскій; все собраніе обратило на него свои

взоры; онъ вышелъ впередъ и, сдѣлавши низкій поклонъ, началъ:

— Высокоименитое собраніе, и ты, о преблаженная чета!..

Вдругъ раздался громкій выстрѣлъ; дамы ахнули; мужчины выскочили съ своихъ мѣстъ. Антипычъ остолбенѣлъ; прерванный ораторъ бросалъ на него взоры, въ коихъ изображалось ужасное негодованіе.

— Что это значитъ? — спросилъ Славолюбскій.

— Пожаръ, пожаръ! — раздалось снаружи;—пожаръ, пожаръ!—закричали внутри, и вмигъ быстрый пламень охватилъ тростниковую кровлю лубочнаго зданія.

Ахъ, какъ зазвенѣли стаканы и графины, какъ загремѣлъ бѣдный фаянсовый сервизъ г-на Славолюбскаго, когда огромный столъ со всѣмъ своимъ приборомъ повалился на полъ! Вся субординація была потеряна: люди давили своихъ господъ, дамы кричали какъ сумасшедшія, мужья забывали своихъ женъ, жены не думали о своихъ нарядахъ; большая часть гостей валялись посреди остатковъ обѣда, покрытые упадшимъ столомъ, который не позволялъ имъ приподняться. Злое несчастіе, которое всегда преслѣдуетъ людей, заставило миніатюрную г-жу исправничиху попасть подъ увѣсистую супругу г. городничаго. Бѣдная думала, что цѣлая свинцовая гора на нее обрушилась, она не могла кричать, не могла переводить духа; опасность умудряетъ всякаго: она вцѣпилась зубами въ тотъ предметъ, который отнималъ у нея дыханіе. Городничиха, чувствуя боль и воображая, что начинаетъ уже понемногу горѣть, кричитъ ужаснымъ голосомъ и употребляетъ тоже средство, чтобы высвободиться изъ подъ двухъ толстыхъ помѣщицъ и одного засѣдателя. Пронзительный крикъ, ужасный вой раздаются повсюду; съ трескомъ обрушивается тростниковая кровля, и все собраніе исчезаетъ посреди пылающихъ ея остатковъ.

Что дѣлалъ Эрастъ въ минуту сей ужасной суматохи? Онъ искалъ глазами Лизы;—ея не было. Эрастъ бросился вмѣстѣ съ прочими къ дверямъ и, продравшись кой-какъ сквозь толпу, очутился въ рощѣ. Первое движеніе его было искать Лизу; вдали между кустовъ мелькало бѣлое платье, онъ побѣжалъ туда: это была она.

— Ахъ, Эрастъ! вы спаслись. Боже! Я вся дрожу отъ страха.

— Не бойтесь, сударыня, пожаръ не будетъ имѣть дальнѣйшихъ слѣдствій. — Ахъ! Какъ много я ему обязанъ? Я могу говорить съ вами свободно, могу сказать вамъ...

— Что вы отъ меня хотите, сударь! Мы должны забыть другъ друга.

— Лиза, прелестная Лиза!

— Она должна быть для васъ госпожей Славолюбской.

— Нѣтъ, нѣтъ! Вы всегда останетесь для меня Лизою! Я не хочу думать о семъ ненавистномъ бракѣ. Вы та же Лиза, та самая, которую я не переставалъ любить пламенно, которая говорила мнѣ нѣкогда: «Эрастъ, я люблю тебя, люблю болѣе самой жизни!»

— Перестаньте, сударь, не забывайте, что я принадлежу другому: вы должны забыть меня! — Ахъ, Эрастъ! Я не существую для васъ болѣе!

— Мнѣ забыть васъ? Ахъ! Я живу однимъ воспоминаніемъ тѣхъ блаженныхъ минутъ, когда я ласкалъ себя надеждою быть супругомъ вашимъ, одною мыслію, что Лиза меня любитъ, и вы хотите, чтобъ я забылъ васъ. Нѣтъ, нѣтъ, это невозможно.

Тутъ Эрастъ схватилъ ея руку, осыпалъ пламенными поцѣлуями. Смущенная, трепещущая Лиза едва имѣла довольно силъ, чтобы отнять ее; громко говорила за Эраста любовь въ сердцѣ ея, но ангелъ непорочности бодрствовалъ надъ нею; потупивъ глаза, слушала она своего любовника, уже не отнимала она своей руки, которую Эрастъ прижималъ къ груди своей... Но возвратимся къ нашимъ несчастнымъ гостямъ, которые валяются въ различныхъ положеніяхъ, покрытые полуобгорѣвшимъ тростникомъ и остатками великолѣпнаго пиршества.

Нѣтъ! Они уже не лежатъ, не валяются кучами на полу, не кричатъ, не давятъ другъ друга; сырые лубки не стали горѣть, и пожаръ кончился вмѣстѣ съ паденіемъ кровли; гости выползаютъ понемногу изъ-подъ стола, изъясняются, говорятъ, извиняются и находятъ, что сіе ужасное приключеніе не имѣетъ весьма важныхъ слѣдствій. Два или три недоросля опалили себѣ волосы. Исправникъ разбилъ себѣ до крови носъ. Г. Скотининъ былъ облитъ съ ногъ до головы краснымъ соусомъ, и въ семъ видѣ чрезвычайно походилъ на своихъ любимыхъ животныхъ. Хозяинъ?! О, хозяинъ потерпѣлъ болѣе всѣхъ: весь полъ былъ устланъ остатками разбитаго сервиза, и цѣлая фалда праздничнаго его кафтана во время суматохи была оторвана. Неподвижными глазами смотрѣлъ онъ на сію картину разрушенія,—какъ вдругъ одна мысль быстрѣе молніи заставила его окинуть глазами все собраніе: Лизы нѣтъ. Онъ ищетъ глазами Эраста:—его также нѣтъ. Какъ сумасшедшій бросается онъ вонъ изъ галлереи и бѣжитъ въ рощу.

Покуда онъ осматриваетъ каждый кусточекъ, я разскажу въ двухъ словахъ причину всей суматохи. Прошу припомнить, что пушка, стоявшая позади галлереи, была маскирована кучей тростника, оставшагося отъ кровли; одинъ изъ горящихъ лагуновъ, бывъ нечаянно опрокинутъ, покатился прямо въ кучу: сухой тростникъ вспыхнулъ, пламень поднялся до кровли,—она запылала; нѣсколько искръ попали въ затравку чугунной пушки, и кутерьма началась.

— Милый Эрастъ!—шепталъ кто-то позади

пустого орѣховаго куста.—Славолюбскій кидается туда безъ памяти и о, ужасъ! Эрастъ стоитъ на колѣняхъ передъ его супругою, покрывая горячими поцѣлуями ея руку. Если бы тысячи громовъ, соединясь вмѣстѣ, упали къ ногамъ Лизы, то и тогда бъ она менѣе испугалась, чѣмъ нечаяннаго появленія своего супруга, который, подобно бѣснующемуся, скрипѣлъ зубами и не могъ отъ бѣшенства произнести ни одного слова.

— Что вы здѣсь дѣлаете, сударыня!—закричалъ онъ, наконецъ, глухимъ, прерывающимся голосомъ.

— Ахъ, сударь,—сказала блѣдная, трепещущая Лиза,—вы можете имѣть ужасное подозрѣніе, но увѣряю васъ...

— Молчи, негодная!

— Успокойтесь, милостивый государь! — сказалъ Эрастъ, оправясь отъ перваго замѣшательства,—клянусь вамъ честью, что подозрѣніе ваше не справедливо,—мы разговаривали...

— О! Я вижу, сударь,—отвѣчалъ съ адскою улыбкою Славолюбскій,—вы разговаривали и, кажется, съ большимъ жаромъ. Но прошу васъ сію же минуту отсюда убираться и не пріѣзжать болѣе разговаривать съ моей женой. Что же вы остановились, сударыня,—продолжалъ онъ, дернувъ за руку полумертвую Лизу,—не хотите ли броситься на шею къ вашему милому Эрасту и при мнѣ съ нимъ распрощаться?

Никто изъ дѣйствующихъ лицъ сей сцены не примѣтилъ толпу зрителей, между коихъ находилась и супруга г-на городничаго; она стояла ближе всѣхъ и не проронила ни одного слова.

Лиза ушла въ свою спальную; гости стали разъѣзжаться. Мирославскій увезъ насильно Эраста, который хотѣлъ непремѣнно изъясниться съ хозяиномъ, а Славолюбскій заперся въ свой кабинетъ, осыпая проклятіями Эраста и свою невѣрную супругу.

— Что вы думаете о г-жѣ Славолюбской?— сказала на другой день супруга городничаго почтенной исправничихѣ.

— Она совсѣмъ безъ воспитанія: не спросила даже, почемъ кисея на моемъ платьѣ!

— А послѣдняя сцена, которой мы были свидѣтелями?—Не правда ли, Славолюбскій дурно сдѣлалъ, что женился на этой вѣтренницѣ?

— Ништо ему старому скрягѣ; мало ли здѣсь невѣстъ! Нѣтъ! Дай ему московскую модницу! Пускай же теперь и сгуливаетъ: по дѣломъ вору и мука!

— А что вы скажете объ его обѣдѣ; не правда ли, ничто не можетъ быть хуже?

— Я съ вами согласна: столъ былъ предурной, услуга скверная, наливка гадкая, однимъ словомъ, все никуда не годилось.

То же самое или почти то же говорили *въ каждомъ домѣ*: ругали мужа, поносили жену, осмѣивали угощеніе, и если бъ онъ ихъ опять позвалъ, то всѣ бы безъ исключенія опять къ нему и поѣхали.

— Ну, сударь, и вы скажете теперь, что книга ваша имѣетъ какую-нибудь моральную цѣль?

— Да, сударыня!

— Перестаньте, сударь! Чѣмъ начинается ваше сочиненіе? Невѣрностью молодой женщины, которая не успѣла еще выйти замужъ, а сдѣлала уже своего мужа... Но кто сказалъ вамъ, прекрасная читательница, что Лиза измѣнила своему супругу? Я увѣренъ, подозрѣнія ревниваго мужа не справедливы: но если бъ оно было истинно, то согласитесь сами, что начало моей книги содержитъ прекрасный урокъ для престарѣлыхъ людей, которые, подобно Славолюбскому, имѣли дурачество жениться на 18-лѣтней дѣвушкѣ, и сумашествіе думать, что, закопавъ ее въ деревнѣ и лиша всѣхъ удовольствій, свойственныхъ ея лѣтамъ, могутъ они предохранить отъ всякаго посрамленія супружеское чело свое.

Ну, слава Богу, я кое-какъ отдѣлался отъ моей немилосердной рецензентки. Но что я слышу, какое множество различныхъ голосовъ! Бѣдная книга, какая ужасная буря сбирается надъ тобою!.. Вывесть на сцену какого-то деревенскаго приказчика, какого-то гусляста кучу уродовъ, глупѣй одинъ другого, писать цѣлыя страницы о коровахъ и свиньяхъ, входить въ такія мелкія, низкія подробности. Фи, какъ это все гадко! Mon Diéu! И эта книга называется романомъ! Тутъ нѣтъ ни на волосъ вкуса, ни ума! Эта книга не годится ни на что, точно, ни на что!

Милостивые государи и милостивыя государыни, позвольте бѣдному сочинителю промолвить хотя одно слово въ свое оправданіе, и послѣ говорите все, что вамъ угодно. Начиная сію книгу, я намѣренъ былъ описывать свѣтъ и людей точно таковыми, каковыми они есть; я не хотѣлъ, подобно многимъ романистамъ, выводить на сцену вмѣсто обыкновенныхъ людей мечтательныя существа, имѣющія бытіе свое въ одномъ воображеніи автора; не хотѣлъ описывать характеры, которыхъ вы не встрѣтите въ нашемъ отечествѣ. Я желалъ, начиная мою книгу, взглянуть мимоходомъ, вмѣстѣ съ читателемъ, на образъ жизни богатаго и скупого помѣщика, которыхъ, скажу вамъ потихоньку, есть много, очень много на нашей матушкѣ святой Руси. Смѣю васъ увѣрить, я рисовалъ съ натуры, и могу скорѣе назваться живописцемъ, чѣмъ авторомъ; такъ виноватъ ли я, что кругъ людей, описанный мною, составленъ не изъ князей и графовъ; виноватъ ли я, что они вмѣсто Фильда слушаютъ какого-нибудь гусляста, а вмѣсто болонскихъ собакъ любятъ жирныхъ свиней и холмогорскихъ быковъ. Впослѣдствіи, можетъ быть, буду имѣть

честь описывать и васъ, милостивые государи и государыни! Если же и тогда вы станете осыпать меня насмѣшками и упреками, то я сравню васъ съ старою кокеткою, которая тѣмъ болѣе сердится на своего живописца, чѣмъ сходнѣе онъ изображаетъ ее на холстинѣ. Впрочемъ, я объявилъ уже въ моемъ предисловіи, что отъ васъ совершенно зависитъ читать или разорвать на папильотки мою книгу, раскурить ею трубку или поставить на полочкѣ въ вашей библіотекѣ, однимъ словомъ, дѣлать изъ нея все то, что вамъ угодно.

— Что скажешь, Антипычъ? — спросилъ Славолюбскій своего управителя, который однимъ утромъ, спустя девять мѣсяцевъ послѣ бѣдственнаго праздника, вошелъ къ нему въ комнату.

— Я, сударь, пришелъ вамъ доложить, что барыня сдѣлалась очень нездорова.

— Пошли въ городъ за лѣкаремъ.

— Не лучше ли, сударь, за повивальной бабкою?

Славолюбскій нахмурился.

— За повивальной бабкою! — повторилъ онъ сквозь зубы. — Итакъ, она сбирается родить?

— Мнѣ сейчасъ сказывала, сударь, объ этомъ ея дѣвушка.

Тутъ ревнивый старикъ вскочилъ, сталъ ходить скорыми шагами по горницѣ, дѣлая такія ужасныя гримасы, что у бѣднаго управителя волосы стали дыбомъ.

— Антипычъ,—сказалъ онъ послѣ коротказо молчанія, устремя на него быстрый взоръ, — на кого думаешь ты, будетъ походить ребенокъ?

Управитель молчалъ. Онъ повторилъ свой вопросъ.

— Почему, сударь, мнѣ это знать; можетъ быть на барыню, можетъ быть на васъ.

— На меня! Скажи лучше на Эраста, старый дуракъ.

— Воля ваша, сударь, вы понапрасну изволите на нее грѣшить: вотъ уже девять мѣсяцевъ, какъ она сидитъ въ четырехъ стѣнахъ. Ахъ, сударь! Пора бы вамъ умилостивиться. Бѣдная барыня, сколько ты потерпѣла!

— Пошелъ вонъ, старая плакса, — закричалъ Славолюбскій сердитымъ голосомъ.— Этакихъ-то дураковъ, какъ ты, — прибавилъ онъ,—молодыя жены за носъ и водятъ.

Все, что ревность имѣетъ въ себѣ ужаснаго, наполняло въ сію минуту душу Славолюбскаго. Онъ представлялъ себѣ каждую минуту Эраста, стоящаго на колѣняхъ предъ своей женой; въ ушахъ его раздавалось безпрестанно то, что слышалъ онъ, подходя къ орѣховому кусту.

Не знаю, имѣлъ ли онъ какія-нибудь особенныя доказательства, или была одна ревность тому причиною; онъ твердо былъ увѣренъ, что не будетъ имѣть никакого права называть себя отцомъ. Ахъ, какъ бы я желалъ собрать въ одно мѣсто всѣхъ стариковъ, которые, несмотря на сѣдые волосы, хотятъ быть мужьями молодыхъ женъ. Я показалъ бы имъ тогда Славолюбскаго; пускай посмотрѣли бы на его лицо, обезображенное ревностію, на его помутившіеся отъ бѣшенства глаза, и если бъ они и послѣ этого не унялись отбивать невѣстъ у своихъ правнуковъ, то... то я посовѣтовалъ бы имъ пустить себѣ кровь и лѣчиться отъ горячки!

Послѣ праздника, который кончился столь горестнымъ образомъ, Славолюбскій походилъ болѣе на жестокаго тирана, чѣмъ на строгаго и подозрительнаго мужа. Бѣдная Лиза почти никогда не выходила изъ своей комнаты; изрѣдка позволялось ей прогуливаться по рощѣ вмѣстѣ съ своимъ мучителемъ, но и тутъ всякій разъ, когда они подходили къ извѣстному орѣховому кусту, онъ осыпалъ ее язвительными упреками, не слушая никогда ея оправданій. Въ продолженіе сего ужаснаго заключенія получила она два письма: одно отъ родственниковъ, черезъ господина Славолюбскаго, въ которомъ извѣщали ее о смерти родителя и постриженіи ея матери, другое отъ Эраста, отданное ей потихоньку Анютою. Эрастъ увѣдомлялъ въ ономъ о своей женитьбѣ и оканчивалъ письмо изъявленіемъ своего глубочайшаго почтенія, совершенной преданности и всего того, въ чемъ обыкновенно увѣряютъ въ письмахъ, и чему также обыкновенно никогда не вѣрятъ.

Само по себѣ разумѣется, что оба сіи письма не принесли Лизѣ большого утѣшенія. Она осталась теперь совершенно сиротою. Могла ли Лиза считать за что-нибудь толпу бездушныхъ родственниковъ, которые, если-бы могли, продали бы ее опять за нѣсколько тысячъ рублей. Бывало, случалось ей строить воздушные замки, бывало, случалось забывать на нѣсколько минутъ горестное свое положеніе; часто воображала она себя свободною, супругою Эраста, и пріятное заблужденіе исчезало не прежде, какъ съ появленіемъ ея мучителя. Теперь, ахъ, теперь она не могла уже имѣть и сего утѣшенія! Что значило письмо Эраста? Къ чему было увѣдомлять о своей женитьбѣ? И притомъ съ такою холодностію, съ такими безпрестанными увѣреніями въ своемъ почтеніи, уваженіи, преданности.

Частое повтореніе сихъ словъ походило болѣе на насмѣшку, чѣмъ на обыкновенную вѣжливость. Что почувствовала бѣдная Лиза, когда, читая и перечитывая разъ до двадцати письмо Эраста, она почти увѣрилась въ своихъ догадкахъ? Да и что могла она думать? Какая другая причина, кромѣ желанія показать ей явно, что онъ никогда ничего къ ней не чувствовалъ, заставила Эраста увѣдомить ее съ такою холодностію и въ

такихъ двусмысленныхъ выраженіяхъ о своей женитьбѣ, но въ то-же время, вспоминая прежнее свое поведеніе, не могла постигнуть причины, побудившей Эраста сдѣлать сей поступокъ. Свое поведеніе! Такъ точно, любезный читатель! Пора уже вывести тебя изъ заблужденія, въ которомъ ты, можетъ быть, находишься вмѣстѣ съ г. Славолюбскимъ, и сказать утвердительно, что Лиза была невинна. Въ то время, когда супругъ ея бѣгалъ, какъ бѣшеный по рощѣ, она упрашивала Эраста никогда болѣе къ нимъ не ѣздить и не напоминать о своей страсти, которая казалась уже преступною въ глазахъ супруги Славолюбскаго. Эрастъ обѣщался исполнить ея приказаніе, и ласковое слово, услышанное ревнивымъ мужемъ, было единственною наградою за его послушаніе.

Отцы и матери, и ты, о, жадная толпа родственниковъ, не по душѣ, а по одному названію, пусть примѣръ несчастной Лизы послужитъ для васъ урокомъ! Не продавайте за деньги дочерей и родственницъ вашихъ, не заставляйте ихъ обманывать самого Бога и говорить предъ лицемъ Его одно, а чувствовать въ сердцѣ своемъ другое. Взгляните на бѣдную Лизу, готовую сдѣлаться матерью, взгляните на уродливаго ея супруга, вмѣняющаго ей въ преступленіе то самое названіе, которое долженствовало-бы сдѣлать для него Лизу еще любезнѣе, и не принуждайте болѣе дѣтей вашихъ, или выходите сами за жениховъ, которые вамъ нравятся!

— Кто тутъ? — вскричалъ Славолюбскій, вскоча съ постели.

— Я, сударь! — отвѣчалъ тонкій женскій голосъ.

— А, это ты, Аннушка! Зачѣмъ это вздумала въ полночь ко мнѣ пожаловать?

— Барыня изволила, сударь, сейчасъ родить.

— Надобно было меня будить для этого вздора!

Славолюбскій легъ спокойно опять въ постель и закутался въ одѣяло. Анюта подошла къ дверямъ и, постоявъ нѣсколько минутъ, опять воротилась.

— Послушайте, сударь!

— Что тебѣ надобно, безотвязное животное?

— Младенецъ очень слабъ: его сейчасъ крестить будутъ, какое прикажите дать ему имя?

— Нужно мнѣ очень назначать имена чужимъ ребятамъ; по мнѣ хоть не давайте ему никакого!

— Но, сударь...

— Убирайся къ чорту!

Анюта, несмотря на сіе вѣжливое приказаніе, постояла еще нѣсколько минутъ у дверей и, наконецъ, видя, что упрямый старикъ *притворился* спящимъ, ушла опять въ залу, *гдѣ приготовлялись* крестить младенца.

— Что изволилъ приказать баринъ?—спросила Анюту повивальная бабка.

— Ничего: вмѣсто того, чтобъ назвать им младенцу, онъ отправилъ меня къ чорту.

— Что же мы будемъ дѣлать? Можно бы было спросить у барыни, но она такъ слаба, что не въ состояніи проговорить ни одного слова.

— Если такъ,—сказалъ священникъ, которому не нравились всѣ эти остановки,—мы дадимъ ему имя въ честь сегодняшняго святого.

Священникъ заглянувъ въ святцы — и подивитесь странному стеченію обстоятельствъ,— ребенокъ былъ названъ Эрастомъ!

Кто можетъ описать бѣшенство Славолюбскаго, когда на другой день узналъ онъ, какое младенецъ получилъ имя! Онъ разругалъ Антипыча, перебилъ почти всѣхъ людей и, несмотря на свою скупость, коверкалъ и ломалъ все, что ни попадалось ему въ руки. Тщетно доказывали ему, что Лиза нимало въ семъ не участвовала, что лишь одинъ слѣпой случай былъ всему причиною: ничто не могло увѣрить ревниваго старика, что младенецъ окрещенъ подъ симъ именемъ не по приказанію самой Лизы. Задыхаясь отъ злости, осыпая проклятіями свою супругу, онъ пошелъ туда, гдѣ обыкновенно находилъ утѣшеніе въ своихъ печаляхъ, гдѣ часто, несмотря на ненависть свою къ Эрасту, вспоминалъ краснорѣчивыя его доказательства, показавшіяся столь убѣдительными г. Скотинину. Читатель, думаю, отгадалъ уже, что дѣло идетъ о скотномъ дворѣ.

Остановись, несчастный! Куда ведетъ тебя отчаяніе? Ты не знаешь еще всѣхъ твоихъ бѣдствій, не знаешь, что жилище твоихъ радостей, твоихъ сердечныхъ наслажденій превратилось въ мрачную юдоль горести! Лишь только Славолюбскій сталъ подходить къ полузатвореннымъ воротамъ скотнаго двора, какъ вдругъ горестные вопли поразили его слухъ. Онъ удвоилъ шаги свои, запыхавшись вбѣжалъ въ ворота, взглянулъ, и—о ужасъ! Посреди двора лежалъ любимый его быкъ; онъ испускалъ послѣднее дыханіе въ ту самую минуту, какъ господинъ его, гонимый страннымъ предчувствіемъ, перешагнулъ черезъ подворотню. Это уже было слишкомъ для Славолюбскаго. Онъ задрожалъ, поднялъ руку, чтобъ поразить несчастнаго скотника, который, проливая ручьи слезъ, вопилъ голосомъ надъ тѣломъ покойника, но вдругъ глаза его помутились и онъ упалъ безъ чувствъ подлѣ своего любимца. Два дня не приходилъ Славолюбскій въ память, бредилъ безпрестанно то объ Эрастѣ, то о любимомъ быкѣ своемъ, изрѣдка о Лизѣ. На третій, дѣйствительно ли оттого, что не могъ выдержать столько ударовъ въ одно время, или уже такъ было написано въ книгѣ судебъ, отправился туда, куда и я, и ты, лю-

безный читатель, когда-нибудь рано или поздно отправимся также въ свою очередь.

Мы попросимъ нашихъ читателей вообразить, что прошло уже около шести мѣсяцевъ отъ кончины Славолюбскаго до одного утра, въ которое Лиза, сдѣлавшись опекуншею своего сына и полною начальницею имѣнья покойнаго мужа, сидѣла подлѣ окошка и перечитывала единственное письмо, которое она имѣла отъ Эраста.

Вошелъ человѣкъ и доложилъ о пріѣздѣ г. Мирославскаго.

— Давно уже, сударыня, — сказалъ онъ, взойдя въ комнату,—намѣренъ былъ я узнать о здоровьѣ вашемъ, но различныя дѣла и обстоятельства не позволяли мнѣ выполнить моего обѣщанія.

— Я слышала, сударь, вы все это время прожили въ Москвѣ?

— Точно такъ, сударыня, я былъ на свадьбѣ у одной изъ моихъ родственницъ.

— Поэтому можно васъ поздравить?

— И тѣмъ болѣе, что она вышла по любви.

Лиза вздохнула.

— Если вамъ угодно,—продолжалъ Мирославскій,—я разскажу исторію моей родственницы, въ ней есть много романическаго. Она была влюблена въ одного молодого человѣка, почти въ то время сватался за нее старикъ. Сердце моей родственницы говорило въ пользу молодого человѣка, но батюшка и матушка не хотѣли никакъ согласиться съ сердцемъ ихъ дочери: она вышла за милліонщика. Ревность была изъ числа не послѣднихъ достоинствъ стараго мужа: онъ увезъ на край свѣта молодую жену свою и держалъ ее взаперти. Между тѣмъ, увѣдомилась она чрезъ письмо отъ прежняго своего любовника, что онъ женился. Вскорѣ за этимъ пришла ревнивому мужу въ голову прекрасная мысль сдѣлать супругу свою свободною: онъ умеръ! Молодая вдова пріѣхала въ Москву, нашла своего любезнаго также свободнымъ и наградила его постоянство, отдавши ему свою руку.

— Какъ вы думаете, сударыня, хорошо ли поступила моя родственница?

— Мнѣ кажется,—сказала Лиза съ нѣкоторымъ замѣшательствомъ, что нельзя такъ много выхвалять постоянство сего молодого человѣка: онъ былъ женатъ на другой.

— А если женитьба сія была ни что иное, какъ выдумка? Если онъ увѣдомлялъ мою родственницу въ самыхъ холодныхъ выраженіяхъ для того только, чтобъ заставить скорѣй забыть себя? Если онъ старался показать себя неблагороднымъ, вѣроломнымъ, недостойнымъ ея привязанности, однимъ словомъ, пожертвовать самимъ собою единственно для ея спокойствія?

— Бога ради! — вскричала Лиза, которая во время сего разговора находилась въ неописанномъ смущеніи,—истина ли то, что вы разсказываете?

— О, сударыня! Если вы не вѣрите, то пускай онъ самъ поклянется въ справедливости словъ моихъ!

Двери съ шумомъ растворились, и Эрастъ лежалъ у ногъ своей Лизы.

Черезъ три мѣсяца Эрастъ женился на Лизѣ и получилъ первый поцѣлуй наканунѣ своей свадьбы, подлѣ того самаго орѣховаго куста, гдѣ нѣкогда Лиза заплатила столь дорого за свою неосторожность. Свадебный пиръ былъ немного получше, чѣмъ два года тому назадъ. Антипычъ и семинаристъ не пропустили сего случая, чтобъ доказать усердіе свое новому барину; всѣ дѣйствующія лица бѣдственнаго праздника, описаннаго во второй главѣ, были созваны, угощены прекраснымъ образомъ, разъѣхались благополучно по домамъ и, такъ же, какъ прежде, не успокоились до тѣхъ поръ, пока не отдѣлали посвойски молодыхъ супруговъ и не оцѣнили, какъ слѣдуетъ, ихъ угощенія; однимъ словомъ, все происходило надлежащимъ образомъ, и кончилось, какъ нельзя лучше. Лиза, по разнымъ причинамъ, рѣшилась воспитывать своего сына въ деревнѣ, которая изъ ужасной пустыни превратилась для нея въ прелестное уединеніе,—счастливую обитель мира и истинной любви.

II.

Статьи изъ «Соревнователя просвѣщенія и благотворенія» 1820 и 1821 годовъ.

1.

Любители словесности.

Вчера вечеромъ зашелъ ко мнѣ пріятель мой Рогнѣдовъ. Разговаривая о томъ и другомъ, мы добрались, наконецъ, до любимаго нашего предмета—до русской словесности.

— Нельзя довольно нарадоваться, — сказалъ я,—смотря на быстрые успѣхи просвѣщенія въ любезномъ нашемъ отечествѣ; лѣтъ сто назадъ, дѣды наши не знали даже и названія словесности, а теперь...

— А теперь всякій хочетъ ею заниматься,— прервалъ Рогнѣдовъ, — вотъ это-то и худо! Никогда истинные цѣнители дарованій не принесутъ столько пользы, сколько надѣлаетъ вреда эта безграмотная толпа ложныхъ любителей словесности.

— А я такъ думаю противное; я не спорю съ тобою, что многіе изъ нихъ съ трудомъ подписываютъ свои имена, что большая часть не имѣетъ никакихъ познаній, и только нѣкоторые могутъ назваться *истинными* любителями словесности, но со всѣмъ тѣмъ эта общая любовь къ искусству, которое слу-

жить, такъ сказать, преддверіемъ къ просвѣщенію цѣлаго народа, даетъ мнѣ право надѣяться, что мы вскорѣ, какъ мирные граждане, станемъ на ту степень народной славы, до которой, какъ храбрые защитники отечественной свободы, давно уже достигли.

— Ты мастеръ дѣлать фразы—объ этомъ ни слова, только по всему видно, тебѣ не случалось никогда быть въ обществѣ этихъ записныхъ любителей словесности.

— Напротивъ, очень часто.

— И ты могъ равнодушно слушать ихъ вздорныя сужденія? Признаюсь, мой другъ, я не имѣю твоего счастливаго хладнокровія: кровь кипитъ въ моихъ жилахъ, когда я слушаю какого-нибудь двадцатилѣтняго мудреца, который, вмѣсто того, чтобъ доучиться путемъ грамматикѣ, судитъ и рядитъ, раздаетъ и отнимаетъ безсмертіе.

— А меня такъ это очень забавляетъ.

— Въ самомъ дѣлѣ?—О, если такъ, то я сегодня же могу тебѣ доставить это удовольствіе. Я обѣщалъ быть у Ратмирова: онъ давно хочетъ съ тобою познакомиться,—поѣдемъ вмѣстѣ!

— Съ охотою.

— Ты найдешь у него цѣлое общество литераторовъ и можешь забавляться сколько тебѣ угодно; что жъ касается до меня—знаю напередъ, я не выдержу, начну спорить, разсержусь и, вѣрно, завтра слягу въ постель.

Мы застали у Ратмирова человѣкъ пятнадцать гостей. Всѣ сидѣли вокругъ стола, за которымъ какой-то питомецъ музъ дочитывалъ предлинное посланіе *къ друзьямъ своимъ*. Хозяинъ подошелъ къ намъ на ципочкахъ, молча поклонился и показалъ два порожнихъ мѣста. Мы тотчасъ ихъ заняли. Сосѣди мои были мнѣ совершенно незнакомы. Съ лѣвой стороны подлѣ меня, закинувъ назадъ голову и развалившись въ креслахъ, сидѣлъ распрысканный духами франтъ; онъ нюхалъ безпрестанно табакъ, зѣвалъ въ слухъ и, казалось, не хотѣлъ нимало скрывать, что умираетъ отъ скуки. Сосѣдъ мой съ правой стороны, отмѣнно толстый человѣкъ, болѣе всѣхъ обращалъ на себя мое вниманіе: отъ роду не видывалъ я такого страннаго смѣшенія глупой спеси, чванства и какого-то комическаго величія, которыя изображались на лицѣ его или, лучше сказать, на той части тѣла, которая у другихъ называется лицомъ; судя по его наморщенному лбу и слегка прищуреннымъ глазамъ, можно было бы подумать, что онъ размышляетъ, но, посмотрѣвши хорошенько, не трудно было замѣтить подъ важною сею наружностью пустого человѣка, который, не размышляя ни о чемъ, хочетъ казаться глубокомысленнымъ. Всего забавнѣе было видѣть, что во время чтенія большая часть гостей какъ будто бы согласилась его *передразнивать;* онъ улыбался—и всѣ умирали со смѣху, одобрялъ—и похвалы лились рѣкою на сочинителя.

— Очень радъ, что вы пожаловали,—сказалъ мнѣ хозяинъ, когда чтеніе кончилось,—надѣюсь, вамъ не будетъ у меня скучно: маленькое мое общество составлено изъ литераторовъ, безъ сомнѣнія, давно уже вамъ знакомыхъ.

— Извините! Я не знаю здѣсь никого.

— Нѣтъ, шутите? Это удивительно! Кажется, гости мои всѣ люди извѣстные,—по крайней мѣрѣ, вамъ, какъ любителю словесности, имена ихъ должны быть знакомы!

— Если вамъ угодно будетъ сказать...

— Съ величайшею охотою! Напримѣръ, какъ вы думаете, кто этотъ толстый человѣкъ, который сидѣлъ подлѣ васъ съ правой стороны?

— Не знаю.

— Дулебовъ, сударь!—Ну, теперь знаете?

— Виноватъ! И теперь не знаю.

— Странно, очень странно! Вы не знаете Дулебова, который извѣстенъ всему ученому свѣту по своему глубокомыслію и обширнымъ познаніямъ!

— Я въ этомъ нимало не сомнѣваюсь.

— Да, надобно отдать ему справедливость, что за ученость! Какой очищенный, вѣрный вкусъ! Какая логика!—О, если бъ этотъ человѣкъ взялъ на себя трудъ писать, то, конечно бы, убилъ всѣхъ нашихъ прозаиковъ.

— Такъ онъ ничего не пишетъ?

— Нѣтъ, ничего, но подъ руководствомъ его пишутъ многіе, между нами будь сказано, онъ глава цѣлой литературной партіи.

— О! Такъ поэтому онъ въ самомъ дѣлѣ важная особа. Теперь позвольте васъ еще спросить: кто этотъ молодой человѣкъ, который такъ немилосердно зѣвалъ во время чтенія?

— Неужели вы не знаете? Это князь Б***.

— Признаюсь въ моемъ невѣжествѣ — не знаю!

— Помилуйте! Такъ вы поэтому никого не знаете!—Князь Б*** литераторъ и весьма уважаемый; онъ не имѣетъ такихъ познаній, какъ Дулебовъ, но зато какая острота! Какой блестящій разговоръ! Какое краснорѣчіе!

— А въ какомъ родѣ онъ пишетъ?

— Вотъ то-то и горе, что ни въ какомъ! Богъ знаетъ почему, терпѣть не можетъ русскаго языка; если бъ не это, то онъ давно бы обогатилъ нашу словесность.—Вы, вѣрно, также замѣтили этого молодого человѣка съ блѣднымъ лицомъ и *вдохновенными* глазами? —Вотъ, батюшка, талантъ-то необыкновенный? Что за пламенное воображеніе! Что за огонь! Какія сильныя, новыя идеи...

— По крайней мѣрѣ этотъ пишетъ что-нибудь?

— Нѣтъ, сударь, и этотъ ничего! — Что будешь дѣлать? — До сихъ поръ не можетъ рѣшиться, какъ ему писать — стихами или

прозой? Но мнѣ кажется, пріятель вашъ споритъ съ Дулебовымъ; я страхъ люблю эти ученыя распри—тутъ всегда услышишь что-нибудь и умное и полезное—пойдемте къ нимъ!

Въ самомъ дѣлѣ Рогнѣдовъ былъ въ жестокой схваткѣ съ Дулебовымъ.

— Да, сударь,—говорилъ онъ.—Вельскій гораздо болѣе имѣетъ таланта, чѣмъ этотъ скучный, однообразный Эрастовъ.

— Да помилуйте,—отвѣчалъ Дулебовъ,—пощадите! Что находите вы хорошаго въ вашемъ Вельскомъ? Смѣло можно сказать, во всѣхъ его твореніяхъ нѣтъ ни одной классической пьесы, ни одного живого стиха; впрочемъ, я глупо дѣлаю, что съ вами спорю—вы вѣдь должны поневолѣ находить его хорошимъ.

— Это почему, если смѣю спросить?

— Потому, что вашъ пріятель, графъ С** ему покровительствуетъ—весьма натурально—вы придерживаетесь его мнѣнія.

— Нѣтъ, сударь! Я не привыкъ быть ничьимъ отголоскомъ и соглашаюсь съ мнѣніемъ другихъ тогда только, когда оно не противно собственному моему чувству.

— Какъ, сударь? Даже и тогда, когда это *собственное чувство* противно общему мнѣнію?

— Общему мнѣнію? — Да гдѣ оно? — Каждая литературная партія старается увѣрить публику, что мнѣніе ея есть мнѣніе общее, и вотъ, сударь, отчего эти смѣшныя журнальныя войны, въ которыхъ нерѣдко противъ одного человѣка ополчаются цѣлыя сотни этихъ любителей, или, лучше сказать, губителей нашей словесности!

— Вотъ забавное названіе!

— Да, сударь, губителей! Истинные любители словесности должны быть безпристрастными судьями дарованій, — должны забывать всѣ личности и никогда не говорить: такой-то не написалъ ни одного *живого стиха* потому, что онъ въ ссорѣ съ моимъ пріятелемъ; у такого-то во всѣхъ сочиненіяхъ нѣтъ ни одной классической пьесы потому, что я его звалъ, а онъ ко мнѣ не пріѣхалъ.

Толстый любитель словесности покраснѣлъ и не отвѣчалъ ни слова, и вѣроятно споръ бы кончился, если бы не вмѣшался въ разговоръ князь Б***.

— По чести, — сказалъ онъ, качаясь на стулѣ и перебирая пальцами табакъ въ золотой своей табакеркѣ,—по чести, я не понимаю, какіе могутъ быть споры, когда говорятъ о нашей жалкой словесности? — Это все равно, если бы стали разсуждать о характерѣ и свойствахъ ребенка, который лежитъ еще въ колыбели!

Сдѣлавъ сіе прекрасное сравненіе, онъ остановился съ важностію римскаго сенатора, окинувъ взглядомъ все собраніе, понюхалъ табаку и продолжалъ, относясь къ Рогнѣдову:

— Признайтесь, сударь, что мы еще до сихъ поръ не можемъ похвалиться ни однимъ хорошимъ произведеніемъ; скажите сами, что у насъ есть? Попробуйте, назовите мнѣ кого-нибудь!

Этотъ странный вызовъ такъ изумилъ моего пріятеля, что онъ не могъ отвѣчать ни слова; я поспѣшилъ къ нему на помощь.

— Мнѣ кажется, князь,—сказалъ я,—на этотъ вопросъ отвѣчать не трудно: мы имѣемъ превосходныя стихотворенія во всѣхъ родахъ, прекрасныя театральныя произведенія, хорошіе переводы и, наконецъ, благодаря Бога, отечественную исторію, которую можемъ смѣло поставить наряду съ безсмертными произведеніями Гюма и Робертсона. Впрочемъ, если хотите, я могу вамъ назвать по именамъ всѣхъ великихъ нашихъ писателей.

— Великихъ! Боже мой! И мы смѣемъ это говорить? Смѣемъ послѣ французскихъ трагиковъ писать свои трагедіи! Смѣемъ послѣ французскихъ трагиковъ переводить Расина, заставлять его говорить нашимъ варварскимъ, полудикимъ языкомъ! Пишемъ послѣ Тасса, Вольтера, Аріоста—эпическія поэмы, послѣ Тасса, Вольтера, Аріоста—эпическія поэмы, послѣ Лафонтена—басни, послѣ Мольера и Реньяра—комедіи! Нѣтъ, сударь, мы можемъ быть обезьянами великихъ писателей, можемъ портить безсмертныя творенія, переводя ихъ на нашъ языкъ, можемъ даже называть себя какъ намъ угодно, но что мы еще школьники, ученики, едва знающіе азбуку,—въ этомъ, я думаю, всякій благоразумный человѣкъ долженъ будетъ со мною согласиться.

— Такъ же, какъ и въ томъ, князь,—возразилъ Рогнѣдовъ, краснѣя отъ досады,—что въ одной только Россіи можно видѣть людей, которые находятъ удовольствіе порицать все отечественное, которые, не имѣя понятія о нашей словесности, не зная даже языка своего, говорятъ о немъ съ презрѣніемъ, которые, пробывъ нѣсколько времени въ Парижѣ, думаютъ, что пріобрѣли симъ право быть оракулами вкуса и располагать мнѣніемъ цѣлаго общества. Не правда ли, князь, что этимъ господамъ приличнѣе было бы судить о покроѣ какого-нибудь моднаго фрака, чѣмъ о безсмертныхъ произведеніяхъ, которыя они не только цѣнить, но даже и понимать не могутъ.

Князь хотѣлъ было что-то отвѣчать, но Рогнѣдовъ не далъ ему выговорить ни слова. — Знаете ли, сударь, — продолжалъ онъ, вставая съ своего стула,—что бы я сказалъ этимъ господамъ? Помилуйте! Развѣ для насъ не довольно, что вы мучите насъ своимъ французскимъ болтаньемъ, глупыми остротами и площадными каламбурами? Оставьте, по крайней мѣрѣ, въ покоѣ людей, которыми гордится Россія; не говорите о нихъ ничего: похвала ваша и ругательства равно для нихъ оскорбительны!

Тутъ Рогнѣдовъ схватилъ свою шляпу и, не поклонясь никому, ушелъ. Лишь только

онъ вышелъ за двери, ученое собраніе взволновалось. — «Да онъ сумасшедшій», — говорили одни, — «самый дерзкій, невоспитанный человѣкъ», — кричали другіе. — Ни то, ни другое, — сказалъ князь, стараясь улыбаться; — онъ просто дуракъ и очень забавный: обижаться его словамъ было бы смѣшно и глупо. — Защищать моего пріятеля противу всѣхъ я не могъ, а пристать къ общему *хору* не имѣлъ ни малѣйшей охоты, и для того, распростившись съ хозяиномъ, отправился домой.

Я лежалъ уже часа два въ постели, но никакъ не могъ заснуть: мнѣ мечтался безпрестанно толстый Дулебовъ. Я старался отгадать, какимъ способомъ этотъ человѣкъ могъ сдѣлаться главою какой-нибудь партіи. Извѣстный стихъ Буало:

Un sot trouve toujours un plus sot, qui l'admire.

не разрѣшалъ моего сомнѣнія: мнѣ казалось, что Дулебовъ не подходилъ даже и подъ это правило. Вѣроятно, мнѣ бы долго еще не заснуть, если бы одинъ нечаянный случай не открылъ тайны, которую я никакъ не могъ проникнуть. Подлѣ меня живетъ Г. Д*. Когда-нибудь я познакомлю съ нимъ покороче моихъ читателей, а теперь скажу только, что мой сосѣдъ отмѣнно умный и очень странный человѣкъ. Онъ вошелъ къ себѣ въ кабинетъ, смежный съ моею спальнею, и, вѣроятно, позабывъ, что насъ раздѣляетъ одна деревянная оштукатуренная перегородка, началъ съ кѣмъ-то говорить очень громко. Будучи отъ природы любопытенъ, я не могъ удержаться, сталъ слушать, и вотъ слово отъ слова этотъ чудный разговоръ:

— Ну, мой cousin, — сказалъ Г. Д*, притворяя двери своего кабинета, — мы остались одни, поговоримъ откровенно. Ты теперь возвратился изъ чужихъ краевъ; тебѣ безъ малаго тридцать лѣтъ: надобно подумать, какую роль ты будешь играть въ свѣтѣ. Ты имѣешь большое состояніе, изрядное родство, но этого мало, чтобъ сдѣлаться извѣстнымъ.

— А развѣ это необходимо нужно?

— О, безъ сомнѣнія! Быть неизвѣстнымъ и не существовать — одно и то же. Посмотримъ, какъ пособить этому горю. Ты объѣхалъ большую часть Европы и могъ бы выдавать себя за *вояжера*, который все видѣлъ, все замѣчалъ, но къ сожалѣнію, это невозможно. Ты былъ въ Парижѣ и не умѣешь даже путемъ разсказать о Палѣ-Роялѣ; жилъ два мѣсяца въ Римѣ и не знаешь, по чьему плану строена церковь св. Петра; провелъ все лѣто въ Неаполѣ и не потрудился ни разу взойти на Везувій и сойти въ Помпею. Ты знаешь только, что Лондонъ выстроенъ на Темзѣ, въ Вѣнѣ колокольня св. Стефана очень высока, что въ Швейцаріи много горъ, а въ Голландіи ихъ нѣтъ, однимъ словомъ, ты знаешь все то, что можно знать и не выѣзжая изъ Петербурга.

— Это правда, я ничего не замѣчалъ; я всегда бываю такъ разсѣянъ.

— Итакъ, объ этомъ нечего и думать. Если бы ты былъ хорошъ собою, то женщины стали бы тебѣ покровительствовать, но ты дуренъ. Хотя бы, по крайней мѣрѣ, ты былъ ловокъ, то могъ бы сдѣлаться хорошимъ дансеромъ, и тогда бы все было исправлено. Посмотри на Вертушкина: всѣ женщины отъ него безъ памяти. Его ласкаютъ, приглашаютъ на всѣ балы, зовутъ милымъ, любезнымъ, а Вертушкинъ дуренъ собою, простъ, не умѣетъ сказать двухъ словъ сряду, но зато онъ первый *мазуристъ* въ городѣ, и вальсируетъ, какъ зефиръ. Къ несчастію, Вертушкинъ не можетъ для тебя служить примѣромъ: ты такъ неловокъ, такъ тяжелъ! Съ такою *несчастною* наружностью тебѣ бы очень кстати быть сочинителемъ.

— Боже сохрани! Да я не умѣю хорошенька и письма сочинять.

— Всего бы лучше было, если бы ты... — тутъ Г. Д*. сталъ говорить такъ тихо, что я не могъ ничего разобрать. — Что жъ дѣлать, mon cousin, — отвѣчалъ черезъ нѣсколько минутъ пріѣзжій изъ чужихъ краевъ, — я ужъ нѣсколько разъ принимался читать *ключъ къ таинствамъ натуры и приключеніе послѣ смерти*, да ничего не могу понять.

— Вотъ то-то и горе! Ты и на это не годишься. Я, право, не знаю, что изъ тебя сдѣлать. А, прекрасно! Мысль пресчастливая! Запишись въ любители словесности, мой милый. Изъ всѣхъ возможныхъ способовъ сдѣлаться извѣстнымъ это самый легчайшій.

— Но, помилуй! Я...

— Ты не любишь литературы. Да это и не нужно: дѣло идетъ объ одномъ только названіи.

— Однако жъ, я долженъ признаться...

— Что худо знаешь *грамату*. И это не бѣда. Рѣшено, мой другъ: ты долженъ быть любителемъ словесности — и вотъ тебѣ рука моя, ты разомъ попадешь въ умницы, прослывешь ученымъ и тогда можешь говорить свободно вздоръ съ утра до вечера. Чѣмъ менѣе въ словахъ твоихъ будетъ смысла, тѣмъ болѣе станутъ имъ удивляться.

— Что же долженъ я дѣлать?

— Почти ничего. Во-первыхъ, я пришлю тебѣ списокъ именъ всѣхъ извѣстныхъ сочинителей. Тебѣ надобно вытвердить его наизустъ.

— Нельзя ли обойтись безъ этого: у меня совсѣмъ нѣтъ памяти.

— Невозможно, мой другъ! Впрочемъ, его можно будетъ нѣсколько убавить: рѣшись хвалить только нѣкоторыхъ писателей, а прочихъ ругать всѣхъ — не по-одиночкѣ, а *гуртомъ*, тогда тебѣ не нужно будетъ знать по именамъ всѣхъ сочинителей. Если, напримѣръ, кто-нибудь заговоритъ съ тобою о тѣхъ, которыхъ ты положилъ находить дурными, по-

жми плечами, значительно улыбнись и не отвѣчай ни слова. Тверже всего ты долженъ выучить наизустъ имена древнихъ поэтовъ. Говори безпрестанно о Виргиліи, Софоклѣ, Горацiи, Тибуллѣ, но чаще всѣхъ о Гомерѣ: онъ долженъ быть у тебя поминутно на языкѣ. Пріучись восхищаться при одномъ имени «Иліады». Ты не рѣшишься прочесть ее, но этого и не нужно. Повѣрь, большая часть тѣхъ, которые восхищаются красотами Гомера,—которые готовы рѣзаться за «Иліаду», никогда ея не читали. Тебѣ должно завести библіотеку,—это необходимо. Не забудь, однако же, велѣть разрѣзать листы въ книгахъ, которыя будутъ безъ переплета: надобно, чтобъ всѣ думали, что ты читаешь очень много. Тебѣ нуженъ также письменный столъ; разложи на немъ въ искусственномъ безпорядкѣ нѣсколько толстыхъ *фоліантовъ* и дюжины двѣ маленькихъ книжекъ. Выборъ ихъ долженъ быть таковъ, чтобъ всякій видѣлъ, что ты занимаешься всѣми родами словесности. Пусть проповѣди Масильона и Боссюэта лежатъ подлѣ Гельвеція и Диредота; Фенелоновъ «Телемакъ» подлѣ Вольтеровой Дѣвственницы; Бюффонъ подлѣ Дората и два, три тома энциклопедіи подлѣ Аббата Берни и Грекура.

— Ну, мой другъ, всѣ эти ненужныя для меня вещи стоютъ, я думаю, очень дорого?

— Безъ сомнѣнія, не дешево, но вѣдь нвльзя же даромъ попасть и въ умницы; для этого названія можно чѣмъ-нибудь пожертвовать. Совѣтую тебѣ также познакомиться со всѣми извѣстными литераторами. Ты богатъ, можешь дѣлать обѣды, давать взаймы: къ тебѣ охотно будутъ ѣздить, но замѣть: ты долженъ знакомиться только съ *извѣстными* писателями. Какая тебѣ нужда, что Аристъ пишетъ прекрасные стихи, а Дамонъ очень дурные. Ариста никто не знаетъ, слѣдственно, и тебѣ его знать не надобно. Дамона всѣ носятъ на рукахъ, слѣдственно, и ты долженъ сажать его на первое мѣсто. Будучи знакомъ съ людьми, которые считаются законодателями нашей словесности, ты можешь судить обо всемъ, не опасаясь быть осмѣяннымъ: изъ уваженія къ хорошему столу твоему, они будутъ находить сужденія твои справедливыми. Но всего лучше, мой другъ, если ты будешь осуждать всякое новое произведеніе, разумѣется, написанное не твоими пріятелями. Ругая безъ разбора все, ты никогда не попадешь въ дураки. Если сочиненіе дурно, ты правъ; если хорошо, тысячи писателей. которые имѣютъ *свои причины* находить его дурнымъ, будутъ согласны съ тобою, и ты все-таки останешься правымъ.

— Однако жъ, мой милый, мнѣніе нѣсколькихъ людей не есть мнѣніе цѣлаго общества. Я согласенъ,—пріятели мои будутъ прославлять меня, но публика...

— Ты ея не знаешь, мой другъ. Мы всѣ не что иное, какъ попуган: рѣдко говоримъ то, что думаемъ, а очень часто повторяемъ только то, что *говорятъ* другіе. Впрочемъ, если ты хочешь быть совершенно увѣренъ въ успѣхѣ твоего намѣренія, то присоединись къ какой-нибудь литературной партіи, и тогда вмѣсто нѣсколькихъ защитниковъ ты будешь имѣть ихъ цѣлыя сотни.

— Но, другъ мой, не умѣя ничего написать, я буду вездѣ безполезнымъ членомъ.

— Пустое! Развѣ простые воины не бываютъ иногда полезнѣе самыхъ полководцевъ. Пріятели твои будутъ сочинять эпиграммы, а ты станешь развозить ихъ по городу. Они напишутъ сатиру на сочинителя противной партіи, а ты будешь ее читать всѣмъ своимъ знакомымъ; и, наконецъ, почему знать, изъ простого *солдата* сдѣлаешься, можетъ быть, *военачальникомъ*, главою цѣлаго литературнаго общества, и тогда-то уже говори смѣло все, что захочешь, брани, ругай, поноси все то, что писано не въ *вашемъ духѣ*; сдѣлайся бичомъ истинныхъ дарованій; подавляй возрождающійся талантъ; возьми за правило, что всякій, кто смѣетъ писать не подъ знаменами твоей партіи,—есть преступникъ, злодѣй, котораго всѣ сотрудники твои должны преслѣдовать и стихами, и прозой, мучить, не давать покоя и, если можно, довести до того, чтобъ онъ бросилъ перо и возненавидѣлъ словесность. Поступая такимъ образомъ, ты составишь себѣ блестящую репутацію и даже, какъ меценатъ, какъ другъ людей съ талантомъ, будешь имѣть право на безсмертіе. Имя твое, неразлучное съ именами извѣстныхъ писателей, перейдетъ къ позднѣйшему потомству и займетъ свое мѣсто въ лѣтописяхъ нашей словесности.

— О, если такъ, вотъ тебѣ рука моя,—я на все согласенъ, только сдержи свое слово. Я хочу непремѣнно сдѣлаться *безсмертнымъ*.

— Не безпокойся, мой милый, ты будешь не первый *полулитераторъ*, который, прицѣпясь кой-какъ къ знаменитымъ писателямъ своего времени, доползъ вслѣдъ за ними потихоньку въ храмъ безсмертія.

Тутъ сосѣди мои перемѣнили разговоръ: они стали говорить о политикѣ, и я тотчасъ заснулъ.

2.

Путешественникъ.

. . . . . .

Что бъ ни сулило вамъ воображенье ваше,
Но вѣрьте, той земли не сыщите вы краше,
Гдѣ ваша милая, иль гдѣ живетъ вашъ другъ.

Крыловъ.

Если по народнымъ пословицамъ можно судить о характерѣ и духѣ цѣлой націи, то, конечно, чаще всѣхъ должна употребляться

у насъ, русскихъ, пословица: *тамъ хорошо, гдѣ насъ нѣтъ.* Впрочемъ, благодаря успѣхамъ истиннаго просвѣщенія, съ нѣкотораго времени, это пристрастіе ко всему иноземному уменьшается весьма примѣтнымъ образомъ. На сихъ дняхъ, разговаривая съ однимъ французомъ о Парижѣ, сдѣлалъ я это замѣчаніе: — онъ хотѣлъ доказать мнѣ, что набережная Сены гораздо лучше Невской, потому именно, что наша сдѣлана изъ гранитныхъ плитъ, а та изъ простыхъ камней, которыми мостятъ улицы. Лѣтъ тридцать назадъ, конечно никто не смѣлъ-бы усумниться, что въ Парижѣ гораздо удобнѣе ходить по мостовой, чѣмъ въ Петербургѣ по гладкимъ гранитнымъ плитамъ, а теперь... порадуйтесь со мною, любезные читатели! Какъ вы думаете?—Изъ десяти русскихъ, бывшихъ свидѣтелями нашего разговора, только шестеро взяли сторону француза. Судя по этому, не трудно догадаться, что мы начинаемъ уже понемногу привыкать любить свое и не удивляться всему чужому, а особливо теперь, когда путешествія по Европѣ сдѣлались для многихъ русскихъ почти обыкновенными прогулками. Нѣтъ сомнѣнія, что мы, познакомясь покороче съ чужими краями, будемъ иногда дѣлать между ними и нашимъ отечествомъ сравненія не всегда безвыгодныя для послѣдняго. Доказательствомъ сей истины можетъ служить путешествіе пріятеля моего Вельскаго.

Прошлаго года, въ началѣ весны, однимъ утромъ, когда я сидѣлъ въ уединенномъ моемъ кабинетѣ, вбѣжалъ ко мнѣ пріятель мой Вельскій. Живая радость блистала въ глазахъ его.

— Слава Богу,—вскричалъ онъ, обнимая меня съ необыкновеннымъ восторгомъ,—слава Богу! Наконецъ я устроилъ свои дѣла и могу распрощаться съ этимъ скучнымъ и однообразнымъ Петербургомъ: завтра, не позже какъ завтра, я ѣду въ чужіе края и недѣли черезъ двѣ, а можетъ быть и прежде, буду за границей! Ахъ, мой другъ! Ты не можешь себѣ представить моего восхищенія! Романическая Германія, Франція—средоточіе вкуса и всѣхъ удовольствій, гордые, свободные британцы и ты, благословенная Италія,—я вижу васъ! — Да, мой другъ, я объѣду всю Европу, побываю вездѣ и вѣроятно не увижусь съ тобою пять, шесть, десять лѣтъ...

— Ужъ и десять! Помилуй!

— Десять-то лѣтъ бездѣлица: я ѣду [illegible] только, чтобъ, сѣ[illegible] разъ въ чужіе края, мнѣ не вздумалось навсегда тамъ остаться, и хотя, между нами будь сказано, я не большой охотникъ до нашего [illegible] [illegible], но, какъ бы то ни было, я русскій, и если не жить, то, по крайней мѣрѣ, умереть хотѣлъ бы въ своемъ отечествѣ.

— Въ самомъ дѣлѣ, [illegible] [illegible] намъ пріѣзжай.

— Да ужъ нечего сказать, мой другъ, с[illegible] лости просимъ къ намъ всякаго, кто [illegible] умереть отъ скуки.

— Посмотримъ, такъ ли ты будешь [illegible] когда воротишься изъ чужихъ краевъ.

— И, полно, мой милый! Ужъ мнѣ [illegible] смѣшной патріотизмъ!—Ну, гдѣ у насъ [illegible] но жить по-людски? Въ деревнѣ занесетъ [illegible] бя снѣгомъ, въ губернскомъ городѣ [illegible] *претензіями* и сплетнями, въ столицахъ . . не приведи Господи. Да я увѣренъ, что [illegible] каждомъ нѣмецкомъ городкѣ въ тысячу [illegible] веселѣе и пріятнѣе жить, чѣмъ въ Мос[illegible] или въ Петербургѣ.

Тутъ началъ онъ мнѣ разсказыва[illegible] своихъ намѣреніяхъ и планахъ, вынулъ [illegible] кармана дорожную карту, показалъ на [illegible] всѣ мѣста, гдѣ хотѣлъ останавливаться [illegible] обнявъ меня въ послѣдній разъ, далъ че[illegible] ное слово говорить въ своихъ письмахъ [illegible] всемъ совершенную истину, предоставя [illegible] впрочемъ, свободу писать, что вздумает[illegible] *въ путевыхъ своихъ замѣткахъ*, которы[illegible] украсивъ, какъ водится, восторгами, пламе[illegible] ными описаніями, живыми картинами и г[illegible] вированными картинками, онъ хотѣлъ [illegible] менемъ выдать въ свѣтъ подъ пышнымъ [illegible] званіемъ *живописнаго путешествія*.

Въ продолженіе года я получилъ отъ [illegible] нѣсколько писемъ; вмѣсто того, чтобы сдѣлать изъ нихъ общую выписку, я помѣщаю ихъ здѣсь, по-порядку, одно за другимъ, безъ всякихъ перемѣнъ и поправокъ, то[illegible] въ такомъ видѣ, въ какомъ я получалъ [illegible] отъ моего пріятеля.

При первомъ письмѣ приложенъ былъ небольшой образчикъ путевыхъ записокъ, въ которомъ пріятель мой описываетъ свои мысли и чувства при переѣздѣ чрезъ Нѣманъ. Я начну симъ отрывкомъ.

Пилькаленъ. На границѣ Пруссіи.

Дорожная моя коляска была уже въ Пруссіи, а я стоялъ еще на берегу милой родины. Вечеръ былъ прелестный, заходящее солнце освѣщало кровли миловидныхъ крестьянскихъ домиковъ, разбросанныхъ на противоположномъ берегу. Мнѣ подали небольшой челнокъ; тутъ, оборотясь въ послѣдній разъ къ странѣ для меня любезной, я сказалъ вполголоса: «Лети, лети, легкій вѣтерокъ! Отнеси этотъ прощальный вздохъ въ мое отечество, къ моимъ друзьямъ, на берега священной Невы! О! Какъ одна мысль объ отчизнѣ потрясаетъ душу русскаго! Сердце мое трепещетъ... и слезы горестнаго отчужденія орошаютъ грудь мою!..» Чрезъ нѣсколько минутъ я былъ уже заграницей: новые разнообразные пред-

[illegible] —на грѣхъ попал.— [illegible] пріятель мой [illegible] [illegible] одного журнала. [illegible]

меты заставили меня забыть родимый край, съ которымъ разставался. Казалось, вселенная была для меня открыта: я мечталъ уже видѣть въ туманной отдаленности тѣ страны, куда влекло меня любопытство... Русскій крестьянинъ, подошедшій ко мнѣ требовать за перевозъ, прервалъ мои мечтанія. Услыша очаровательные звуки отечественнаго языка, я такъ обрадовался, что не могъ довольно наговориться съ симъ добрымъ человѣкомъ и, вмѣсто условленной платы, далъ ему безъ счета полную горсть мелкаго серебра. Но коляска моя готова! Прощайте, милые друзья, я ѣду!

Письмо 1.

Кенингсбергъ.

Наконецъ, мой другъ, я кой какъ дотащился до древней столицы Пруссіи. Начало моего путешествія было не очень забавно... Я переправился заграницу ночью; на бѣду, вздумалось мнѣ отпустить мою коляску впередъ, а самому переѣхать чрезъ рѣку въ челнокѣ. Прусскій жидъ перевезъ меня на другой берегъ за два злотыхъ. Погода была препесносная,—во время переѣзда пошелъ проливной дождь и промочилъ меня до костей, а къ довершенію всѣхъ несчастій, не успѣлъ я отъѣхать пяти миль, какъ моя коляска и лошади увязли посреди дороги; во всю ночь не могли мы выбиться изъ этой ужасной грязи, о которой русскіе не имѣютъ даже и понятія. Право, хоть съ ума сойти, если бъ не утѣшала меня мысль, что я уже не въ Россіи. Что сказать тебѣ о здѣшней землѣ? — Сначала новость предметовъ сдѣлала на меня большое впечатлѣніе, но когда повсмотрѣлся хорошенько, то невольно долженъ былъ признаться, что русскому, а особливо жителю Петербурга, *и смѣшно, и жалко* смотрѣть на здѣшніе *клѣтчатые* дома, напоминающіе мнѣ карточные домики, которые нѣкогда я былъ большой мастеръ строить. О здѣшней почтѣ и говорить нечего: самое грубое, несносное и флегматическое животное есть безъ сомнѣнія нѣмецкій почталіонъ: онъ ѣздитъ такой тихой и вялой рысью, что приведетъ въ отчаяніе всякаго русскаго. Начните его понукать—и онъ, не говоря ни слова, поѣдетъ шагомъ; закричите громче—и злодѣй, вмѣсто отвѣта, остановится у перваго трактира; пойдетъ пить водку, курить табакъ и прохлаждаться. По неволѣ вспомнишь нашихъ проворныхъ, *лихихъ* ямщиковъ, которые, попѣвая веселыя пѣсенки, несутся вихремъ и, несмотря на свои длинныя бороды, въ тысячу разъ вѣжливѣе нѣмецкихъ нарядныхъ почталіоновъ.

Кенигсбергъ городъ прекрасный, но и здѣсь также встрѣчаются безпрестанно эти шахматные, безобразные дома. Здѣшній образъ жизни слишкомъ однообразенъ: я былъ въ нѣсколькихъ обществахъ и почти во всѣхъ рестораціяхъ и кофейныхъ домахъ, вездѣ одинаковая тишина и порядокъ. Въ частныхъ обществахъ сидятъ, курятъ трубки, пьютъ пиво и молчатъ, а въ кофейныхъ домахъ и клубахъ молчатъ, пьютъ пиво, курятъ трубки и сидятъ. Можетъ быть, для нихъ это очень забавно, но, признаюсь, мнѣ здѣсь такъ скучно, такъ скучно, какъ будто-бы я еще не выѣзжалъ изъ Петербурга.

Прощай! Завтра я ѣду далѣе и, вѣроятно, до самой Саксоніи нигдѣ не буду останавливаться.

Письмо 2.

Франкфуртъ на Майнѣ.

Я не успѣлъ еще ничего видѣть въ здѣшнемъ городѣ и поэтому скажу тебѣ нѣсколько словъ о моемъ путешествіи по Германіи. Вездѣ одно и то же: прекрасная земля, прелестныя мѣстоположенія, добродушный, честны, но грубый народъ, скука, однообразіе и какой-то общій эгоизмъ, непонятный для русскаго; хлѣбосольство, къ которому мы такъ привыкли въ нашемъ отечествѣ, здѣсь совершенно неизвѣстно. Впрочемъ, надобно сказать правду, просвѣщеніе Германіи удивительно: вездѣ встрѣчаются ученые, цѣлые города населены профессорами и студентами; жаль только, что послѣдніе, почти безъ исключенія, заражены какимъ-то духомъ своевольства и безначалія,—къ несчастью, я узналъ это по собственному своему опыту.

Изъ небольшого городка *Ейльсбека* вздумалось мнѣ доѣхать до Гетингена въ дилижансѣ. Сначала все шло хорошо. Въ дилижансѣ было человѣкъ десять путешественниковъ, въ томъ числѣ два студента съ пребольшими бородами, въ платьяхъ древняго нѣмецкаго покроя. Подлѣ меня сидѣлъ одинъ весьма словоохотливый нѣмецъ; мы разговорились съ нимъ о политикѣ и . . . . . .

Теперь прощай на нѣсколько часовъ; я ѣду на дачу г. Бетмана, сегодня будетъ тамъ почти весь городъ . . . . . Завтра же чѣмъ свѣтъ уѣзжаю изъ этого проклятаго города. Ахъ, мой другъ, сегодняшній день едва не былъ послѣднимъ днемъ моей жизни! Я гулялъ уже около часу на дачѣ г. Бетмана; время было прекрасное; народъ прогуливался толпами по всему саду. Въ одной аллеѣ, гдѣ менѣе чѣмъ въ другихъ было гуляющихъ, сѣлъ я отдохнуть на скамейку подлѣ человѣка, весьма опрятно одѣтаго; лицо его было до половины закрыто надвинутою на глаза шляпою, изъ-подъ которой онъ робко посматривалъ во всѣ стороны и, казалось, боялся быть узнаннымъ; я началъ съ нимъ говорить, онъ отвѣчалъ очень вѣжливо. Не прошло пяти минутъ, какъ вдругъ кто-то закричалъ недалеко отъ насъ: гипъ!

ить!» Въ одну минуту множество голосовъ повторили эти слова; сосѣдъ мой вскочилъ съ ужасомъ и, сказавши мнѣ торопливо «уйдемте отсюда!», потащилъ меня за собою къ небольшой рощицѣ, которая была у насъ въ виду. Мы не успѣли сдѣлать десяти шаговъ, какъ насъ окружила цѣлая толпа народа; товарищъ мой пустился бѣжать, человѣкъ двадцать бросились за нимъ, а другіе, схвативъ меня за волосы, ударили о землю, и прежде, чѣмъ я опомнился, такъ меня оборвали, что я не походилъ на самого себя. Къ счастію, полицейскій офицеръ, прибѣжавшій на шумъ, успѣлъ меня освободить изъ ихъ рукъ.

— Кто вы?—спросилъ онъ меня, когда мы вышли изъ сада.

— Русскій путешественникъ.

— Такъ ступайте же скорѣй домой,—васъ приняли здѣсь за жида.

— Помилуйте! Да если бы я былъ и жидъ, такъ за что же меня бить?

— Да развѣ вы не знаете? Здѣсь, по примѣру многихъ нѣмецкихъ городовъ, началось гоненіе на жидовъ, а такъ какъ вы были вмѣстѣ съ извѣстнымъ евреемъ, да не погнѣвайтесь, и лицо у васъ походитъ нѣсколько на жидовское...

— Что вы говорите? Возможно ли, чтобы въ нашемъ вѣкѣ, въ просвѣщенной Германіи, были гоненія?

— Что же дѣлать, сударь мой! Вдругъ этого безпорядка прекратить невозможно; впрочемъ, будьте увѣрены, что тѣ самые, которые поступили съ вами такъ дурно, будутъ первые жалѣть, когда узнаютъ о своей ошибкѣ.

«Прекрасное утѣшеніе!—думалъ я,—потрогивая избитыя свои плечи».—Меня гораздо болѣе утѣшаетъ мысль, что я разстанусь скоро, и вѣроятно навсегда, съ землею, гдѣ одни прославляютъ либеральныя идеи, а другіе бьютъ жидовъ за то только, что они жиды. Прощай мой другъ! Завтра я буду во Франціи.

Письмо 3.

Парижъ.

Что за городъ! Что за люди! Ахъ, мой другъ, только въ Парижѣ умѣютъ наслаждаться жизнью; мы, дѣти сѣвера, не имѣемъ и понятія о тѣхъ удовольствіяхъ, которыя встрѣчаются здѣсь на каждомъ шагу; мы кое-какъ, съ горемъ пополамъ, убиваемъ время и не живемъ, а считаемъ дни; но здѣсь! Представь себѣ... Я затѣваю пустое! Парижъ нельзя описывать,— его надобно видѣть. Вотъ ужъ три дня, какъ я бѣгаю по городу, смотрю на все, любуюсь всѣмъ: Пантеономъ, Луврь, Тюльери, Палерояль, Тиволи,— все это такъ перемѣшалось въ моемъ воображеніи, что я *не могу тебѣ ничего* о немъ сказать. Шумъ, *столпотвореніе*, разнообразіе новыхъ предметовъ меня развлекаютъ, что я по сихъ поръ хожу какъ будто въ чаду. Вообрази себѣ большую аллею Лѣтняго сада въ Духовъ день; точно такъ же толпится народъ на бульварѣ—не по праздникамъ, а каждый день. Ты удивишься, когда я скажу тебѣ, что не былъ еще въ театрѣ; что же дѣлать? До сихъ поръ не могъ рѣшиться, съ котораго начать. Сегодня буду однако жъ въ Одеонѣ,—тамъ даютъ новую пьесу; билетъ прислалъ мнѣ хозяинъ дома, въ которомъ я стою. Признаюсь, я восхищенъ французской вѣжливостью: они такъ услужливы, такъ добры! Мнѣ скажутъ, что это одна только наружность. Быть можетъ, но какое мнѣ до этого дѣло? Они ласковы, пріятны въ обращеніи, а что у нихъ на сердцѣ, того я знать не хочу. Шесть часовъ,—пора въ театръ . . . . . .

. . . . . .

Я сейчасъ изъ театра и, признаюсь не очень доволенъ. Французы не всегда бываютъ вѣжливы; за мои грѣхи я это испыталъ сегодня на себѣ. Пріѣхавши въ театръ, насилу могъ я добраться до моихъ креселъ; отъ роду не видывалъ я такой тѣсноты. Предъ новой пьесой давали маленькую комедію *Модный балъ*. Я спросилъ одного изъ моихъ сосѣдей:

— Хороша ли эта комедія?

— Презабавная,—отвѣчалъ онъ,—да неужели вы ее видите въ первый разъ?

— Я недавно сюда пріѣхалъ.

— Право! Такъ вы иностранецъ?

— Я русскій.

— Русскій! Какъ я радъ! Въ этой комедіи выходитъ на сцену русскій офицеръ; надѣюсь, вы не откажетесь перевести мнѣ на французскій языкъ то, что онъ говоритъ?

— Съ величайшею охотою.

Тутъ заиграла музыка и чрезъ нѣсколько минутъ занавѣсъ поднялся. Въ концѣ пьесы появился на сцену какой-то затянутый, какъ куколка, офицеръ въ синемъ мундирѣ.

— Вотъ русскій офицеръ! — сказалъ мой сосѣдъ, — постойте онъ сейчасъ заговоритъ, слушайте *Нгема глебонишь попоиско рюскофъ*. Какой странный языкъ!

— Подлинно странный!

— Скажите, что значитъ по-французски?

— Это, я думаю, ни на какомъ языкѣ ничего не значитъ.

— Какъ ни на какомъ? Да вѣдь это по-русски?

— Что не по-русски — въ этомъ могу я васъ увѣрить, можетъ-быть, по татарски...

— Ну, да, по-татарски или по-русски, — вѣдь это одно и то же?

— Нѣтъ, сударь! Совсѣмъ не одно и то же. Мнѣ кажется, сочинитель смѣется надъ вами: онъ выдумалъ свой собственный языкъ и хочетъ васъ увѣрить, что говоритъ по-русски.

— Да, сударь, по русски, — сказалъ маленькій человѣкъ, въ кругломъ парикѣ, сидѣвшій позади меня.—Я знакомъ съ сочинителемъ комедіи, онъ дѣлалъ послѣднюю кам-

панію, былъ въ Москвѣ и говоритъ самъ очень хорошо по-русски.

— О чемъ тутъ спорить? Это точно по-русски,—подхватилъ мой сосѣдъ, — *попоиско глебонигиъ*—настоящія русскія слова, я самъ тысячу разъ слышалъ отъ казаковъ, когда русскіе были въ Парижѣ.

Не имѣя возможности переувѣрить этихъ господъ, я рѣшился молчать. Занавѣсъ поднялся снова, первое явленіе слушали со вниманіемъ, потомъ начался глухой ропотъ, и вдругъ при одномъ остромъ словцѣ на счетъ нынѣшняго правленія, буря разразилась: съ одной стороны загремѣли рукоплесканія, съ другой раздался громкій свистъ. При семъ незнакомомъ для меня звукѣ, сердце мое забилось отъ радости. «Наконецъ,—думалъ я,—слава Богу, удалось мнѣ побывать въ театрѣ, гдѣ зритель есть настоящій и верховный судья актеровъ и сочинителей; у насъ публика связана; ей не позволяютъ даже громко шикать, а здѣсь—какая разница! Я могу свистать, шумѣть, кричать, дѣлать все, что мнѣ угодно! Между тѣмъ, зрители шумѣли часъ отъ часу болѣе; à bas le rid! à bas là cabale! раздалось по всѣмъ угламъ залы; въ партерѣ, мѣстахъ въ трехъ происходили уже рукопашныя побоища; съ лѣвой стороны, подлѣ меня, человѣкъ пять свистали какъ сумасшедшіе. Признаюсь въ моемъ грѣхѣ! Мнѣ смерть захотѣлось посвистать въ первый разъ отъ роду, но лишь только было я принялся помогать своимъ сосѣдямъ, какъ вдругъ кулакъ тяжелый какъ свинецъ обрушился на мою голову; искры посыпались у меня изъ глазъ, и прежде, чѣмъ могъ опомниться, началось вокругъ меня ужасное побоище. Не знаю, какъ это сдѣлалось, только въ одну минуту получилъ я дюжины двѣ толчковъ и пощечинъ. Кой-какъ вырвался я изъ залы, добѣжалъ, не оглядываясь, до перваго фіакра и отправился домой. Вскорѣ за мною возвратился мой хозяинъ съ подбитымъ глазомъ: онъ былъ въ партерѣ и храбро сражался за пьесу. Когда я сталъ ему говорить о нашемъ несчастномъ приключеніи, то онъ отвѣчалъ, улыбаясь:

— Это бездѣлица! Такія ли бываютъ схватки въ нашихъ театрахъ; посмотрѣли бы вы первое представленіе *Германика*: вотъ тутъ было настоящее сраженіе! Кромѣ изувѣченныхъ и раненыхъ, одинъ остался убитымъ въ мѣстѣ.

Сейчасъ ложусь въ постель; боюсь, какъ бы не занемочь, у меня болитъ все: голова, грудь, бока... Нѣтъ, мой другъ, право, хорошо, что у насъ не свищутъ!

Письмо 4.

Кале.

— Какъ?—скажешь ты, — пріятель мой, который такъ восхищался Парижемъ, не прожилъ въ немъ и трехъ мѣсяцевъ? Что-же дѣлать, мой другъ! Мѣсяца два назадъ, я самъ былъ увѣренъ, что Парижъ никогда не можетъ надоѣсть, но когда первый восторгъ прошелъ, я почувствовалъ такую пустоту въ душѣ, такую тоску, что готовъ былъ убѣжать на край свѣта. Мы, русскіе, привыкли жить въ обществахъ, а здѣсь, особливо для иностранца, нѣтъ другого общества, кромѣ того, которое онъ встрѣчаетъ на улицахъ и въ ресторацiяхъ; притомъ же вообрази себѣ, во всемъ Парижѣ ты не найдешь уголка, гдѣ бы не замучили тебя политикою. Въ трактирахъ, кофейныхъ домахъ, садахъ, театрахъ, вездѣ слышишь слова: *конституція, представитель палаты, выборы* и проч.; каждый день новыя распри между *ультрами и либералами*, того и глядп, что здѣсь начнутся безпокойства и гоненія, а я еще благодаря Бога, не забылъ и того, которое бѣдные евреи претерпѣваютъ въ Германіи. Съ недѣлю тому назадъ, отъ нечего дѣлать, вздумалъ я, право,. для одной забавы, поиграть въ рулетку: дня въ два я такъ себя потѣшилъ, что остался почти безъ копѣйки. У меня есть векселя на лондонскихъ банкировъ,—вмѣсто того, чтобъ перевести ихъ на здѣшнихъ, я ѣду туда самъ. Можетъ быть, ошибаюсь, но, мнѣ кажется, проживу тамъ гораздо болѣе. Я всегда любилъ этихъ гордыхъ островитянъ, ихъ свободу, мудрые законы и даже самый образъ жизни.

Я позабылъ тебѣ сказать, что давно уже не продолжаю моихъ путевыхъ записокъ: воображеніе мое истощилось. Впрочемъ я увѣренъ, тебѣ многое въ нихъ понравится, напримѣръ, описаніе моихъ чувствъ и восторговъ при видѣ Рейнскаго водопада, отъ котораго, между нами будь сказано, былъ я въ пятидесяти миляхъ. Въ Лондонѣ попытаюсь начать новый журналъ не для публики, а для одного тебя.

Письмо 5.

Лондонъ. Вторникъ.

Съ какимъ радостнымъ чувствомъ ступилъ я на берегъ счастливой Британіи! Мнѣ казалось, что я даже и дышать начинаю свободнѣе. Нѣтъ, мой другъ, вѣтренные французы долго не поравняются съ своими сосѣдями, которые умѣютъ пользоваться свободою и не употребляютъ ее во зло; однако жъ, изъ сего общаго числа я исключаю здѣшнихъ таможенныхъ смотрителей: они еще грубѣе и нахальнѣе нѣмецкихъ. Разсмотрѣвъ мой чемоданъ, эти господа принялись было и меня обыскивать, но помиловали, когда я вручилъ имъ полновѣсную гинею, за которую, впрочемъ, не сказали мнѣ даже и спасибо. Это бы еще не бѣда, да вотъ что досадно: ты помнишь мой дорожный серебряный сервизецъ? Вообрази себѣ, мой другъ, какая

жалость! У меня его отобрали и возвратили на другой день изломаннымъ. Я было началъ шумѣть, но мнѣ прочли законъ, которымъ запрещается ввозить въ Англію серебро и золото въ издѣліяхъ; послѣ этого мнѣ нечего было говорить. Дорога отъ Дувра до Лондона очаровательна; прелестныя дачи, бархатные луга, все веселитъ взоры путешественника, жаль только, что по дорогѣ, а особливо на станціяхъ, множество нищихъ. Способъ ихъ просить милостыню довольно страненъ; когда я сажусь въ коляску, со всѣхъ сторонъ приступаютъ ко мнѣ съ просьбами: «дайте мнѣ крону,—говоритъ одинъ,—вы чихнули, а я сказалъ вамъ здравствуй!» «Дайте шиллингъ,—кричитъ другой,—я снялъ у васъ съ плеча соломинку», и, что всего досаднѣе, имъ дашь, а они шляпы не приподнимутъ. Лондонъ сдѣлалъ на меня большое впечатлѣніе, но только не совсѣмъ пріятное. Въ Парижѣ совѣтовали мнѣ остановиться въ одномъ трактирѣ, до котораго я долженъ былъ ѣхать почти всѣмъ городомъ: длинныя улицы, закопченные кирпичные дома, какъ двѣ капли воды другъ на друга похожіе, площади правильныя, но дурно обстроенныя, и цѣлыя облака угольнаго дыма, который, какъ густой туманъ, лежалъ на черныхъ кровляхъ,—все это вмѣстѣ придавало городу видъ отмѣнно мрачный. Надобно сказать правду, мой другъ, что касается до красоты и великолѣпія публичныхъ зданій, другого Петербурга нѣтъ въ цѣлой Европѣ. На одной изъ площадей, по большому стеченію народа, карета моя должна была на время остановиться посреди многолюдной толпы; на пустой фурѣ стоялъ какой то ораторъ, онъ говорилъ съ большимъ жаромъ и размахивалъ руками; отъ времени до времени народъ принимался кричать съ такимъ отвратительнымъ визгомъ, что я заткнулъ себѣ уши; ко мнѣ безпрестанно заглядывали въ карету звѣрскія, полупьяныя рожи и растрепанныя безобразныя твари, которыхъ по одному только платью я счелъ за женщинъ. Наконецъ добрался я кое-какъ до моей квартиры.

Хозяинъ, довольно ласковый старикъ, отвелъ мнѣ двѣ прекрасныя комнатки и для перваго знакомства проговорилъ со мною цѣлый вечеръ. Говоря объ ораторѣ, котораго я видѣлъ мимоѣздомъ, онъ сказалъ мнѣ между прочимъ, что въ Манчестерѣ, въ подобныхъ собраніяхъ, иногда бываетъ народу тысячъ по двадцати и болѣе.

— Какъ-же полиція позволяетъ такія сходбища,—спросилъ я.

— Полиція! У насъ полиція? Нѣтъ, благодаря Бога, мы ея не знаемъ. Притомъ-же, по нашимъ законамъ, народъ имѣетъ право сбираться для совѣщаній.

— Но я думаю, эти совѣщанія не всегда оканчиваются спокойно!

— Напротивъ, они никогда не имѣютъ дурныхъ слѣдствій; правда, изрѣдка случаются небольшіе безпорядки: человѣкъ пять, шесть убьютъ до смерти, но объ этихъ мелочахъ и журналисты не пишутъ.

Я не совсѣмъ согласенъ съ моимъ хозяиномъ. Впрочемъ, всякое правленіе имѣетъ свои неудобства, но не всякое можетъ похвалиться законами, которые, подобно англійскимъ, охраняютъ личную свободу каждаго гражданина и ручаются за цѣлость его собственности.

Сейчасъ иду прогуливаться. Отъѣзжая изъ Парижа, я купилъ прекрасный Мальтійскій крестикъ, хочу его обновить.

. . . . . .

Худо не знать обычаевъ города, въ которомъ живешь. Я пошелъ было посмотрѣть церковь Св. Павла, но съ половины дороги долженъ былъ воротиться. Почему?—спросишь ты. А вотъ послушай: я шелъ довольно спокойно по тротуару, не замѣчая сначала, что почти всѣ встрѣчающіеся со мной англичане заглядывали мнѣ въ лицо и косились. Наконецъ необычайный шумъ заставилъ меня оглянуться; толпа испачканныхъ, оборванныхъ мальчишекъ бѣжала вслѣдъ за мною; многіе изъ нихъ показывали на меня пальцами и кричали; French dog! French dog! Я не могъ понять, что это значило. Къ счастію, одинъ англичанинъ сжалился надо мною.

— Снимите вашъ орденъ,—сказалъ онъ мнѣ.

— Для чего?—спросилъ я.

— А для того, чтобъ васъ не закидали грязью.

— Грязью? Помилуйте! За что?

— За то, что вы хотите отличаться отъ другихъ, въ лондонскихъ улицахъ всѣ должны казаться равными.

Я снялъ мой крестикъ, но проклятые мальчишки не хотѣли отъ меня отстать и заставили поневолѣ воротиться домой. Минутъ пять я подосадовалъ, но какъ подумалъ хорошенько, то мнѣ очень понравилась эта гордость англійской свободы.

Воскресенье.

Не думаю, чтобъ я пробылъ здѣсь долго. Воспитанный англичаниномъ, я привыкъ съ ребячества уважать и любить Англію и конечно-бы любилъ ее и уважалъ до самой смерти, если бы случай не привелъ меня увидѣть вблизи эту землю, которая издали казалась мнѣ земнымъ раемъ. Къ чему это предисловіе?—спросишь ты, а къ тому, мой другъ, чтобъ сказать тебѣ, что, по моему мнѣнію, здѣшняя вольность очень походитъ на своевольство; я скоро буду бояться выходить на улицу; не проходитъ ни одного дня, чтобъ я не имѣлъ какихъ-нибудь непріятностей. Гордость англичанъ и презрѣніе ихъ ко всѣмъ другимъ народамъ несносны; самый послѣдній ремесленникъ, нищій считаетъ себя важнѣе всякаго иностранца и ста-

рается доказывать это весьма непріятнымъ образомъ.

Въ Петербургѣ прогуливаюсь я, ничего не опасаясь, и если никого не толкаю, и меня никто не толкаетъ, а здѣсь, повстрѣчавшись съ какимъ-нибудь запачканнымъ англичаниномъ, я тотчасъ даю ему дорогу, для того только, чтобъ онъ не столкнулъ меня въ грязь или, что и того хуже, не предложилъ для забавы подраться на кулакахъ. Нѣтъ, мой другъ, я никогда не рѣшусь назвать истинно свободнымъ государство, гдѣ порядочный человѣкъ не можетъ быть ни на минуту увѣренъ въ своей безопасности.

Суббота.

Пожалѣй обо мнѣ, мой другъ! Вотъ уже пятый день, какъ я лежу въ постелѣ. Голова у меня проломлена, а лицо такъ обезображено, что я не похожу на самого себя, и все это потому, что живу въ землѣ свободной, подъ защитою премудрыхъ законовъ. Вотъ исторія сего несчастнаго приключенія: я обѣдалъ у моего банкира; возвращаясь домой въ наемной каретѣ, я былъ остановленъ недалеко отъ парламента цѣлою толпою народа; въ одну минуту человѣкъ десять пьяныхъ англичанъ окружили мою карету, одни осыпали меня проклятіями и ругательствами, другіе, крича во все горло hear! hear! дразнили языкомъ. Кучеръ мой ударилъ по лошадямъ, толпа разступилась, и я думалъ, что этимъ и отдѣлался; не тутъ-то и было, въ меня начали кидать грязью, я поднялъ стекла и, вмѣсто грязи, каменный градъ посыпался на мою карету, куски стеколъ полетѣли мнѣ прямо въ лицо и одинъ камень попалъ въ голову. Пріѣхавъ на квартиру, я насилу могъ дотащиться до постели; черезъ полчаса явился ко мнѣ хозяинъ.

— Я пришелъ васъ утѣшать, — сказалъ онъ,—мнѣ извѣстно теперь все,—успокоитесь! Народъ изувѣчилъ васъ ошибкою!

— Вотъ забавно! Да развѣ мнѣ отъ этого легче?

— Васъ приняли за одного парламентскаго члена, котораго партія *радикальныхъ* терпѣть не можетъ.

— Да неужели вашъ народъ имѣетъ право кидать грязью и камнями въ того, кто ему не нравится?

— Кидать грязью онъ можетъ; по крайней мѣрѣ, правительство не обращаетъ на это никакого вниманія, да и стоитъ ли эта бездѣлица того, чтобъ стѣснять для нея права свободнаго народа? Но кидать каменьями у насъ не позволено!

Поэтому, если-бы я зналъ, кто проломилъ мнѣ голову, то могъ-бы на него пожаловаться?

— Конечно, могли-бы.

И онъ былъ бы наказанъ?

— Безъ сомнѣнія. Разумѣется, если вы докажете, что онъ точно хотѣлъ бросить въ васъ камнемъ, а не захватилъ его нечаянно вмѣстѣ съ грязью.

— И послѣ этого вы смѣете хвалиться вашими законами?

— Да что же тутъ страннаго? Они даютъ только возможность обвиняемому оправдаться. Впрочемъ, ни у кого не отнята свобода: въ васъ кидаютъ грязью, кидайте сами.

— Помилуйте! Неужели порядочный и просвѣщенный человѣкъ захочетъ драться?

— Почему же нѣтъ? Вы, вѣрно, не откажете въ просвѣщеніи Американскимъ Соединеннымъ Штатомъ, а посмотрите, что у нихъ дѣлается. Недавно въ законодательномъ ихъ собраніи одинъ членъ плюнулъ въ лицо другому; на слѣдующій день обиженный вызвалъ своего противника на поединокъ, мѣсто сраженія назначено въ самомъ собраніи; они дрались кулаками и кочергами изъ камина и валялись по полу передъ всѣми депутатами. Мы еще до этого не дошли,—прибавилъ, со вздохомъ, мой хозяинъ, — наши парламентскіе члены только что ругаютъ другъ друга, а не дерутся.

Какъ я ни былъ огорченъ, но не могъ удержаться отъ смѣха; гордый англичанинъ разсердился и, сказавши сквозь зубы раза два goddam, ушелъ.

Дай Богъ, чтобъ я скорѣе выздоровѣлъ; съ первымъ кораблемъ отправлюсь непремѣнно въ Россію. У насъ хоть холодно, да спокойно. Я не поѣду даже и въ Италію; говорятъ, тамъ цѣлыя шайки разбойниковъ грабятъ всѣхъ не на большой дорогѣ, а у самыхъ городскихъ воротъ. Въ Германіи меня изувѣчили за то, что я прогуливался съ жидомъ, во Франціи прибили потому, что я свисталъ вмѣстѣ съ другими, въ Англіи проломили голову оттого, что я похожъ на парламентскаго члена; чего добраго—въ Италіи зарѣжутъ.

Прощай, мой другъ! Богъ милостивъ, надѣюсь, скоро съ тобою увидѣться.

Этимъ письмомъ кончилась наша переписка. Теперь пріятель мой давно уже въ своемъ отечествѣ и любитъ его отъ всего сердца. О Германіи не говоритъ никогда, о Франціи вспоминаетъ иногда съ удовольствіемъ, но объ Англіи не можетъ подумать безъ ужаса. «Если бъ мнѣ предложили, — говоритъ онъ всегда,—выбрать любое: жить въ Англіи или повѣситься, то, конечно, я попросилъ бы нѣсколько дней на размышленіе».

III.

Изъ альманаха «Литературный вечеръ» 1844 года.

I.

Выдержки изъ памятной книжки.

Первая книга, напечатанная по приказанію Петра I-го, гражданскими буквами, появилась

въ свѣтъ въ 1708 году, подъ названіемъ: «Приклады, како пишутся комплименты». Вотъ одно письмо, взятое изъ этой книги, на удачу:

Поздравленіе къ предстоящему празднику:

«Понеже предстоящіе Святые дни, меня о моей должности напоминаютъ, то не могу я оставить вашей любви, къ показанію моего ревностнаго желанія, на сіи Святые дни, радостныя мысли, бодрую силу тѣлесную и что еще по Бози ко успокоенію души и тѣла, принадлежитъ усердственно желати,— Божеское милосердіе да свободитъ вашу любовь многіе еще такіе торжественные дни увидѣть, въ желаемомъ состояніи, и да подастъ мнѣ случай, вашей любви, многопріятныя услуги показати, понеже я вящего увеселенія имѣть не могу, яко оное; еже состоитъ въ дѣйствительномъ пребываніи вашей любви вѣрный сродственникъ, N. N.»

Нерукотворная здѣсь русская гора,
Внявъ гласу Божію изъ устъ Екатерины,
Пришла во градъ Петровъ чрезъ Невскія пучины
И пала подъ стопы Великаго Петра.

Кто не знаетъ этихъ превосходныхъ стиховъ изъ надписи къ монументу Петра I-го, по милости которыхъ имя Рубана не совсѣмъ еще забыто. И такъ нѣтъ сомнѣнія, что человѣкъ, не имѣющій никакого таланта, можетъ ошибкою сочинить нѣсколько хорошихъ стиховъ, точно такъ же, какъ человѣкъ съ величайшимъ дарованіемъ напишетъ иногда дурные; и вотъ почему нерѣдко рифмачъ, не рожденный поэтомъ, пользуется какою то извѣстностію и даже славою.

Ему посчастливилось написать гладкими стихами пѣсенку, элегію или посланіе, въ которыхъ есть чувство, свѣжія мысли, удачныя выраженія, и если сверхъ того у него много друзей, то есть если онъ богатъ, то во всѣхъ журналахъ начнутъ его называть знаменитымъ писателемъ и ставить на ряду съ лучшими поэтами нашего времени, — и тогда горе журналистамъ, наборщикамъ, корректорамъ и книгопродавцамъ, — ничто не спасетъ ихъ отъ преслѣдованія!

Дурного стихотворца, которому удалось написать порядочную пѣсенку, столь же легко увѣрить, что онъ геній, сколько трудно ему доказать впослѣдствіи, что всѣ прочіе стихи его никуда не годятся.

Я приведу здѣсь еще одинъ примѣръ въ доказательство, что нѣсколько хорошихъ стиховъ не всегда служатъ признакомъ истиннаго таланта,—вотъ двѣ строфы, написанныя *имъ и тѣмъ же* авторомъ:

Строфа 1-я.

Вонми, о небо!—и реку,
Земля да слышитъ устъ глаголы,
Какъ дождь я словомъ потеку,
И снидутъ, какъ роса къ цвѣтку,
Мои вѣщанія на долы.

Кто не скажетъ, что эта строфа достойна Ломоносова?—Вотъ вторая, которая слѣдуетъ тотчасъ за первою:

Строфа 2-я.

Какъ туча падаетъ на злакъ,
Или какъ иней гдѣ на сѣно,
Господня имя есть мнѣ въ знакъ,
То мыслей сказано не въ мракъ:
Славь Бога всяко въ насъ колѣно.

Прочтя эту строфу и послѣдующія, написанныя такими же стихами, не трудно догадаться, что сочинитель ихъ, несмотря на то, что первая строфа прекрасна, не Ломоносовъ, а Третьяковскій. Говоря вообще о пристрастіяхъ въ литературѣ и незаслуженной знаменитости нѣкоторыхъ писателей нашихъ, нельзя не замѣтить, что въ семъ отношеніи мы менѣе заблуждались, чѣмъ просвѣщенные французы, называющіе себя законодателями вкуса. Кому придетъ въ голову (если онъ уже этого не знаетъ), что лучшая трагедія Расина, «Гоѳолія», спустя двадцать лѣтъ послѣ смерти знаменитаго трагика, когда всѣ партіи и самая зависть должны были умолкнуть, считалась худшею трагедіею французскаго театра и что, играя въ фанты наказывали тѣхъ, которые ошибались, заставляя ихъ прочесть нѣсколько стиховъ изъ этой трагедіи. У насъ нѣкогда дѣлали то же употребленіе изъ «Телемахиды» Третьяковскаго, и, кажется, въ семъ случаѣ мы нѣсколько правѣе французовъ. Еще одинъ примѣръ. Въ книгѣ, подъ названіемъ «Pièces interessantes et peu connues», помѣщенъ списокъ поэтовъ, получавшихъ пенсіоны при Людовикѣ XIV. Въ этомъ спискѣ я нашелъ имена трагика Расина и Шепелина, сочинителя поэмы «Орлеанская Дѣва», который, какъ стихотворецъ, можетъ стать наряду съ нашимъ Третьяковскимъ; вотъ, что сказано объ этихъ двухъ писателяхъ:

Au sieur Racine Poéte Francais—800 livr. de pension,

A sieur Chapelain le plus grand Poéte Francais qui ait jamais été et du plûs solide jugement—3000 livr. de pension.

Изъ числа книгъ, печатанныхъ гражданскими буквами, при Петрѣ I-мъ, весьма любопытна изданная въ С. П. въ 1722 году, Дмитріемъ Кантемиромъ, подъ названіемъ: Система, или состояніе мухамеданскія религіи» *). Вотъ посвященіе сей книги, которое

*) Экземпляръ этой рѣдкой книги можно видѣть въ Императорской публичной библіотекѣ въ С.-Петербургѣ.

въ свое время, вѣроятно, казалось весьма краснорѣчивымъ:

Петру Великому.

Освященнаго Россійскаго Государства, Освященнѣйшему Автократору, вѣры православныя всеблаженнѣйшему защитителю, Императору Благочестивѣйшему, Преблагому Отцу Отечества: злодѣяній прогонителю, добродѣтели и свободныхъ наукъ и художествъ насадителю, Славянскихъ народовъ вѣчной славы начальнѣйшему Автору, Великому Князю, побѣдителю, Царства прибавителю и распространителю, Ордена Св. Андрея Апостола основателю, смотрѣливѣйшему и иныхъ Орденъ Кавалеру, предостойнѣйшему Преображенскаго полка верховному Хиліарху, обоего войска Марсу и Архистратигу Генеральнѣйшему, нашего вѣка державнѣйшему Нептуну, на четырехъ моряхъ, Россійскаго флота Вице-Адмиралу, Англиканскаго же, Голландскаго и Дацкаго Адмиралу избранному и проч., и проч. Государю и Повелителю своему Всемилостивѣйшему и прекротчайшему, *Словоприношеніе.*

Первымъ основаніемъ законовъ долженъ быть здравый смыслъ; эта аксіома не подвержена никакому сомнѣнію. Но иногда законы и постановленія непросвѣщенныхъ народовъ то того противны здравому смыслу, что нѣтъ никакой возможности добраться, основываясь даже на однѣхъ догадкахъ, какъ могла подобная нелѣпость прійти въ голову законодателя.

Шведскій писатель Олафъ Далинъ въ 1-й части исторіи своего отечества, на страницѣ 357, выписываетъ слѣдующій законъ изъ 4 главы Вестготландскаго узаконенія: «Если музыкантъ убитъ будетъ, то убійца повиненъ дать его наслѣднику трехлѣтняго неукротимаго теленка, у котораго былъ-бы хвостъ остриженъ и намазанъ саломъ. Убійца обязанъ также дать ему перчатки и башмаки, намазанные саломъ. Потомъ наслѣдникъ вести долженъ теленка на бугоръ и взять хвостъ въ руки; тогда одинъ изъ присутствующихъ зрителей ударитъ теленка три раза плетью,— и если наслѣдникъ удержитъ его, то теленокъ дѣлается его собственностію, если же выпуститъ изъ рукъ, то весь искъ его пропадаетъ.—Есть люди, которые жалѣютъ, что европейскіе нравы и обычаи совершенно измѣнились и что мы ни въ чемъ не походимъ на нашихъ предковъ. Не понимаю, какъ можно жалѣть о вѣкахъ, въ которые существовали и выполнялись подобные законы.

2.

Отрывки изъ записокъ.

Girouettisme—выраженіе, котораго нельзя перевести на русскій языкъ, а можно замѣнить словомъ также иностраннымъ, но болѣе для насъ понятнымъ. Кусокъ листового желѣза, укрѣпленный на концѣ длиннаго шеста, для показанія направленія вѣтра называется у насъ флюгеромъ, а на французскомъ языкѣ—girouette; слѣдовательно флюгерство будетъ значить то-же самое, что girouettisme. Слово это вошло въ употребленіе у французовъ въ теченіе достопамятной войны Россіи съ Наполеономъ, за свободу и независимость всей Европы; политическіе перевороты, которые тогда столь быстро слѣдовали одинъ за другимъ, имѣли необходимо большое вліяніе на мнѣнія и поступки французовъ, и, надобно сказать правду, никогда положеніе парижскихъ журналистовъ не было столь затруднительнымъ. Изъ тысячи примѣровъ флюгерства этихъ господъ, я приведу здѣсь одинъ, который надняхъ попался мнѣ нечаянно въ одномъ извѣстномъ парижскомъ журналѣ:

Journal des debats, 1815 года, марта 20 числа.

«Франція ненавидитъ Бонапарте; это чувство не подвержено никакому сомнѣнію, оно общее и явное: чего можно ожидать отъ тигра, который умѣетъ царствовать не иначе, какъ проливая кровь своихъ подданныхъ... Самое ничтожество выгоднѣе для Франціи, чѣмъ стыдъ подпасть снова подъ позорный яремъ своего палача...»

Journal des debats, 1815 года, марта 21 дня, (т. е. на другой день).

«Фамилія Бурбоновъ выѣхала прошедшую ночь изъ Парижа».

«Парижъ представляетъ сегодня картину всеобщаго спокойствія и радости. Бульвары покрыты безчисленными толпами народа, ожидающаго съ нетерпѣніемъ вступленія войскъ подъ предводительствомъ героя, имъ возвращеннаго. Небольшое число воиновъ, которыхъ имѣли сумасшествіе ему противопоставить, присоединилось къ орламъ, и все войско Франціи, сдѣлавшись снова національнымъ, выступаетъ подъ знаменами славы и отечества. Императоръ прошелъ двѣсти миль съ быстротою молніи, посреди народа, пораженнаго чувствами удивленія и почтенія, увѣреннаго въ настоящемъ и будущемъ своемъ счастіи... Таковъ былъ возвратъ его или, лучше сказать, торжественное шествіе, въ которомъ Императоръ не встрѣтилъ другихъ враговъ, кромѣ презрительныхъ пасквилей, представлявшихъ забавную противоположность съ истинными чувствами народа, восхищеннаго его присутствіемъ»...

Не дѣлая на это никакихъ замѣчаній, я прибавлю только, что листокъ журнала, въ которомъ напечатана эта краснорѣчивая статья, и предыдущій нумеръ, любопытные могутъ видѣть въ оригиналѣ—въ С.-Петербургской публичной библіотекѣ.

Оглавленіе II-го тома.

стр.

Кузьма Рощинъ. 5

Москва и москвичи. Записки Богдана Ильича Бѣльскаго 65

Искуситель. 499

Офиціальный обѣдъ. Быль 713

Тоска по родинѣ 769

Вечеръ на Хопрѣ 925

Три жениха. Провинціальные очерки 1005

Благородный театръ. Комедія въ стихахъ въ четырехъ дѣйствіяхъ 1059

Г-нъ Богатоновъ или провинціалъ въ столицѣ. Комедія въ стихахъ въ пяти дѣйствіяхъ 1123

Вечеринка ученыхъ. Комедія въ трехъ дѣйствіяхъ 1181

Добрый малый. Комедія въ трехъ дѣйствіяхъ 1219

Комедія противъ комедіи или урокъ волокитамъ 1253

Деревенскій философъ. Комедія-водевиль въ одномъ дѣйствіи 1289

День перваго представленія новой пьесы 1313

Романъ на большой дорогѣ. Комедія въ одномъ дѣйствіи 1317

Урокъ матушкамъ. Русская провинціальная быль. Въ трехъ дѣйствіяхъ . . 1337

Лебедянская ярмарка. Интермедія-дивертисементъ 1379

Репетиція на станціи или доброму служить—сердце лежитъ. Аналогическій водевиль въ одномъ дѣйствіи 1383

Урокъ холостымъ или наслѣдники. Комедія въ стихахъ въ одномъ дѣйствіи . 1403

Стихотворенія 1427

Журнальныя статьи 1443

У В. И. ГУБИНСКАГО въ СПБ.

ПРОДАЮТСЯ СЛѢДУЮЩІЯ КНИГИ:

Аракчеевъ. Историческій романъ XIX вѣка. Н. Э. Гейнце, въ двухъ томахъ и шести частяхъ. Томъ I. Мечты и жизнь. Томъ II. Опальный (около 1400 стр. убористаго текста). Второе изданіе. Цѣна за оба тома 2 р.

Женскій ядъ. Романъ-быль Гейнце. Ч. 1. У дверей гроба. Ч. 2. Живая покойница. Ч. 3. У тихой пристани. Ц. 75 к. 3-е изд. 1895 г.

Власть женщины. Повѣсть Н. Гейнце. Спб. Ц. 60 к.

Генералиссимусъ Суворовъ. Историческій романъ XVIII столѣтія. Въ 3-хъ частяхъ. Соч. Н. Э. Гейнце. 818 стр. Спб. 1896 г. Ц. 2 р.

Барышни и барыни. Вл. Михневича. Разсказы изъ современной жизни. Спб. Ц. 1 р. 25 к.

Старый другъ и путеводная звѣзда. Романъ и повѣсть. Соч. Ясинскаго. Спб. Ц. 60 к.

Серьезные люди. Романъ К. Орловскаго. 2-е изд. 368 стр. Спб. Ц. 1 р.

Фридрихъ Шпильгагенъ. Собраніе сочиненій. Въ новомъ переводѣ съ послѣдняго лейпцигскаго изданія подъ редакціей Г. Брилліанта въ шестнадцати томахъ, каждый томъ въ 20 листовъ, всего 5160 страницъ, съ портретомъ и біографіей автора, цѣна 5 р. 50 к. Содержаніе: 1) Загадочныя натуры. 2) Изъ мрака къ свѣту. 3) Одинъ въ полѣ не воинъ, 4) Баловень счастья. 5) Между молотомъ и наковальней. 6) Впередъ. 7) О чемъ пѣла ласточка. 8) Бурный приливъ. 9) Въ двѣнадцатомъ часу. 10) Сорокъ восьмой годъ (фонъ-Гогенштейнъ). 11) Филиппъ Гансъ и пр. Въ романахъ Шпильгагена бьется пульсъ общественной жизни, твердая вѣра въ побѣду добра надъ зломъ вызываетъ въ читателѣ подъемъ духа, авторъ всегда обнаруживалъ симпатіи къ судьбѣ своихъ героевъ, онъ высоко цѣнитъ подвиги и служеніе общему благу и не забываетъ напоминать о любви къ ближнему и страждующему человѣку. Его природная и тонкая наблюдательность служитъ ему орудіемъ, а разностороннее образованіе позволяетъ судить о явленіяхъ жизни и приводить къ логическимъ выводамъ и заключеніямъ, онъ всегда знаетъ прекрасно, чего онъ хочетъ, а потому ясно формулируетъ свои мысли и даетъ точныя опредѣленія вещамъ, сердце его согрѣто чувствомъ и передается невольно своимъ читателямъ. Книги отпечатаны въ хорошей типографіи, на очень приличной бумагѣ, назначенная цѣна очень дешева и всякому доступна.

Плоды просвѣщенія и Смерть Иваиа Ильича. Соч. гр. Л. Н. Толстого. Спб. 1891 г. Ц. 40 к.

Повѣсти и разсказы. Соч. М. Альбова. Содержаніе: День итога. — Психіатрическій этюдъ.—О людяхъ, «взыскающихъ града».—I. Воспитаніе Лельки. II. Сутки на лонѣ природы.—Конецъ невѣдомой улицы.—Хроника и пр. 2-е изд. 510 стр. (большой томъ). Спб. Ц. 1 р. 25 к.

Пшеницы. М. Н. Альбова. Романъ изъ Петербургской жизни.—Фаустъ и Мефистофель (силуэты).—Прологъ романа. Спб. 1890 г. Ц. 1 р.

Нѣмецкій прибой. Романъ изъ современной русской жизни. Соч. С. А. Сафонова. Спб. 596 стр. Ц. 1 р.

Не хочешь, да хохочешь. Сцены, куплеты и разсказы изъ еврейскаго быта. Соч. Л. Леонидова. 4-е доп. изд. Спб. 1898 г. Ц. 1 р. Авторъ мастерски набросалъ картины изъ жизни гешефтъ-махеровъ, тузовъ желѣзнодорожнаго, биржевого, банковаго, надувало обирательскаго и коммерческаго міровъ, этихъ выходцевъ Бердичева и Шклова,—разныхъ Ицекъ, Шмулекъ, продѣлки которыхъ заставятъ читателя хохотать при чтеніи этой книги. Рекомендуемъ ее лицамъ, желающимъ весело провести время въ семейномъ кругу.

Сочиненія Немировича-Данченко. Крестьянское царство. Очерки и разсказы изъ поѣздки на Валаамъ. 2-е дополненное изданіе. Приложеніе: Описаніе поѣздки въ женскій монастырь. Въ двухъ томахъ. Ц. 2 р.—Воскресшія были. Повѣсть. Ц. 1 р.—Всполохи. Повѣсти и разсказы. 1892 г. Ц. 1 р.—Разошлись. Повѣсть. Ц. 1 р. — Въ потьмахъ. Очерки и разсказы. Ц. 1 р.—Въ ежовыхъ рукавицахъ. Романъ. Ц. 1 р. 25 к.—Незамѣтные герои. Повѣсть. 2-е изд. 1891 г. Ц. 1 р.—Краденое счастье и Аспазія. Повѣсть. Спб. Ц. 1 р.—Подъ грозой. Романъ изъ войны 1877—78 гг. Съ рис. Ц. 1 р. 50 к.—Горячая любовь. Романъ. Ц. 1 р.—Ночи безсонныя. Повѣсти, разсказы, миражи. Ц. 1 р. 25 к.—Святыя горы. Очерки путешест. 2-е изд. 1897 г. Ц. 1 р.—Просвѣтъ. Очерки и разсказы. Ц. 1 р.

Черный день. Повѣсть Крашевскаго. Спб. 1891 г. Ц 75 к.

Гетманскіе грѣхи. Иллюстрированный романъ. Спб. Ц. 60 к.

Древнее сказаніе. Крашевскаго. Ц. 1 р. 50 к.

Труженики моря. Романъ. Соч. Виктора Гюго. Ц. 1 р.

Исторія двухъ городовъ. Соч. Чарльза Диккенса. Спб. Ц. 1 р. 50 к.

Американскіе разсказы. Соч. Чарльза Диккенса. Ц. 1 р. 50 к.

Наши знакомые. Влад. Михневича (фельетонный словарь современниковъ), 1000 характеристикъ русскихъ государственныхъ и общественныхъ дѣятелей, ученыхъ, писателей, художниковъ, коммерсантовъ и проч. Съ 71 портретомъ-каррикатурою. Большой томъ in octavo. Ц. вм. 5 р.—3 р.

Попурри. Штуки и шаржи М. В. Шевлякова. Спб. 1898 г. 2-е изданіе. Ц. 60 коп. Книга эта заключаетъ въ себѣ серію юмористическихъ разсказовъ, мастерски приноровленныхъ къ исполненію на сценѣ и для чтенія въ семейномъ кругу. Сценки отличаются сжатостью, легкостью изложенія и заразительною веселостью, благодаря чему онѣ сдѣлались репертуарными и часто разсказываются какъ на столичныхъ, такъ и на провинціальныхъ сценахъ. Постоянно сопровождающій ихъ успѣхъ вызвалъ второе изданіе, значительно дополненное новыми шутками и шаржами. Вся книга, отъ начала до конца, блещетъ яркими блестками остроумія, наблюдательности и неподдѣльнаго юмора. Для любителя веселаго—это незамѣнимый спутникъ.

Русскіе романсы. (Музыкальные шедевры). Съ портретами ихъ исполнителей: М. И. Долиной, Е. К. Мравиной, Н. Н. Фигнера, И. А. Мельникова, П. А. Хохлова, І. В. Тартакова, А. Я. Чернова, А. Г. Яковлева и А. Д. Давыдова. Отдѣлы: I. Женщина. II. Любовь. III. Разочарованіе. IV. Чувство и настроеніе. V. Мысли. Спб. 1898 г. Цѣна 75 к.

Могикане Парижа. А. Дюма, въ 3-хъ томахъ, 9-ти частяхъ. Спб. Ц. 2 р. 50 к.

ЭМИЛЬ ЗОЛЯ. Шесть разсказовъ: Капитанъ Брюль. Какъ умираютъ. За одну ночь любви. Среди природы. Праздникъ въ Коксвилѣ. Наводненіе. Спб. Ц. 1 р.
Разгромъ. Ром. (La debâcle). Полный перев. (большой томъ). Спб. Ц. 1 р. 50 к.
Деньги. Романъ. Спб. Цѣна 1 р.
Римъ. Романъ. Цѣна 1 р. 25 к.
Парижъ. Романъ. Цѣна 1 р. 25 к.
Лурдъ. Романъ. Цѣна 1 р. 50 к.

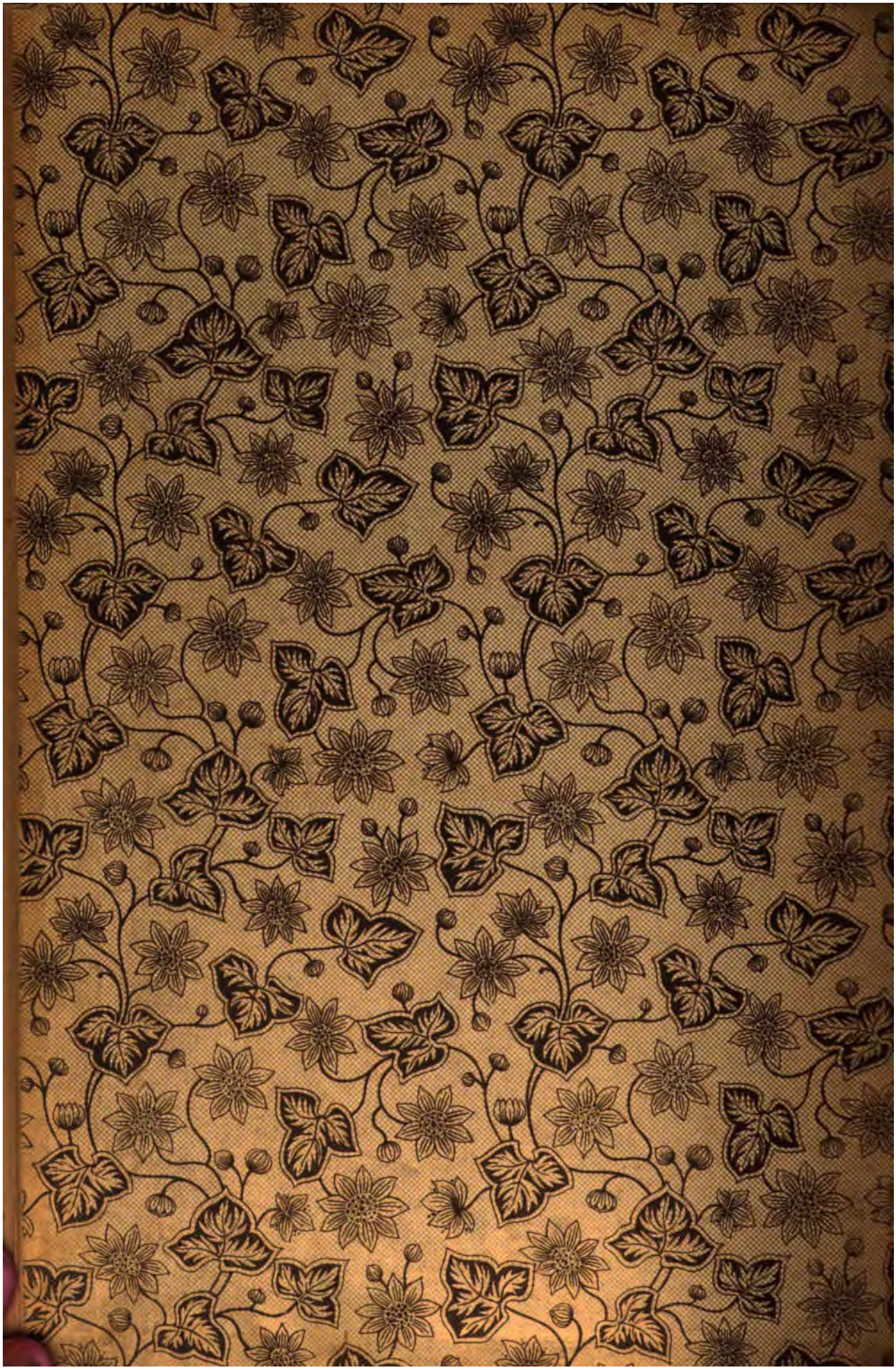
Сочиненія Гр. Е. А. Саліаса. Вѣдунья. Истор. романъ. Москва. Ц. 1 р. 50 к.—Панъ Круль, Истор. романъ. М. Ц. 1 р. 50 к.—Зайра, ром. Ц. 1 р. 50 к.—Филозовъ. Истор. повѣсть. М. Ц. 1 р.—Фрейлина Маріи Лещинской. Ц. 1 р. 50 к.—Бригадирская внучка. Московск. быль. Ц. 1 р. 50 к. — Самозванка (принцесса Владимірская). Ист. ром. Ц. 3 р.—Барыни-крестьянки. Ист. ром. Ц. 2 р.—Квутоярская царевна. Истор. повѣсть (1773 г.). М. Ц. 1 р. 50 к.—Пятое колесо. Романъ. М. Ц. 1 р. 50 к.—Кудесникъ. Романъ. Ц. 2 р.—Тьма. Повѣсть. Ц. 1 р. — Камеръюнгфера. Повѣсть. Ц. 1 р.—Янъ-Кундзе. Романъ. М. Ц. 2 р.

Бродячая Русь (Христа ради). Бытовые очерки С. В. Максимова, автора «Куль хлѣба». СПБ. Ц. 3 р. 1. Прошаки и Запрощики.—2. Кубраки и Лобара.—3. Нищая братія: побирушки, погорѣльцы, нищеброды, калуны и калѣки перехожіе (артели слѣпыхъ).—4. Богомолы и богомольцы.—5. Скрытники и христолюбцы.

Юзя Чаплинская. Истор. романъ Н. А. Попова. Спб., 1896 г. Ц. 75 к.

Полное собраніе сочиненій И. П. Мятлева. 2 тома большого формата, на лучшей веленевой бумагѣ, съ портретомъ автора, гравированнымъ на сталн въ Лондонѣ Спб. Ц. 2 руб.

Благодѣтели. Романъ М. Михайлова. Спб. 1891 г., 318 стр. Ц. 1 р. 25 к.



Stanford University Libraries
3 6105 002 322 357

DATE DUE

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004